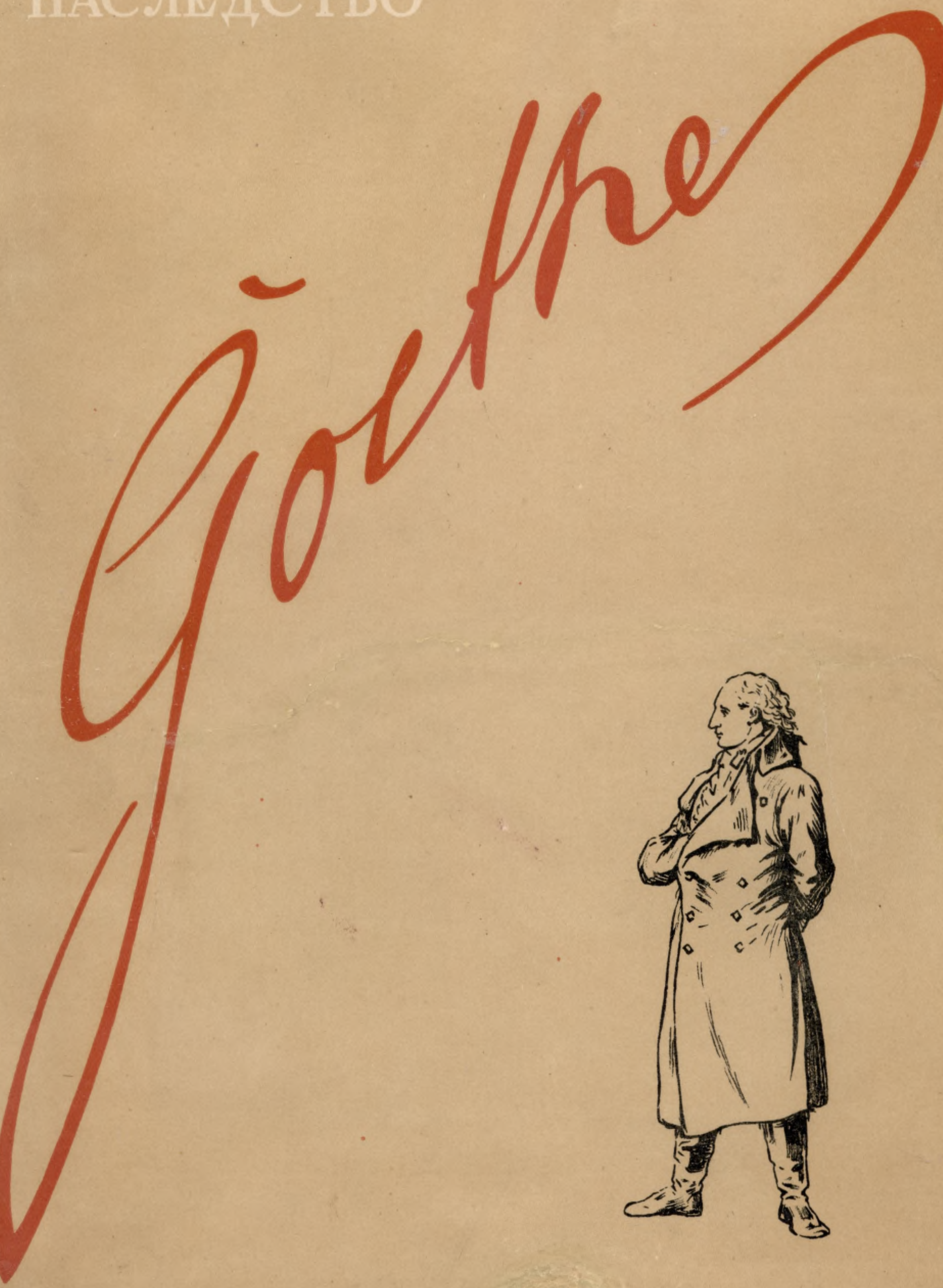
Литературное наследство



ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 9 3 2

SEIN ERBE BEWAHREN – HEISST KEINESWEGS
SICH AUF SEIN ERBE BESCHRÄNKEN
LENIN

LITERATURNOJE NASLEDSTWO

4-6

VEREINIGTER ZEITSCHRIFTEN UND ZEITUNGSVERLAG
1 · 9 · MOSKAU · 3 · 2

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО — ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

4-6

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 · 9 · МОСКВА · 3 · 2

ГОЗНАК

ГЕТЕ

Рисунок Ореста Кипренского, 1823 г., литографированный Анри Гревдоном около 1825 г.

Государственная Публичная Библиотека, Ленинград

ОТ РЕДАКЦИИ

Выпуская в свет очередной том «Литературного Наследства», посвященный одному из лучших представителей «старой великой германской поэзии» (Ленин) и являющийся как бы итоговым по отношению к гетевским торжествам в СССР, редакция считает нужным предпослать ему несколько замечаний.

Гетевские торжества доказали снова, что мир расколот на два лагеря: лагерь агонизирующей буржуазии и лагерь победоносного пролетариата.

Чевствуя Гете, пролетариат отбирает в его наследстве все, что «принадлежит будущему» и что может послужить камнем в великом здании социалистической культуры. «Гете велик и ценен для пролетариата и социализма теми сторонами своего творчества, в которых наиболее ярко и полно отражались революционные идеи буржуазии периода «бури и натиска», направленные против феодализма и средневековья». Эти слова т. Бубнова прекрасно характеризуют отношение к Гете его истинных наследников—революционных пролетариев.

Выяснению позиций пролетарского литературоведения в той борьбе, которая развернулась вокруг памяти Гете, и критике буржуазных попыток захватить Гете в свои обезьяньи лапы и посвящена первая часть этого тома «Литературного Наследства».

Мы противопоставляем здесь нашу позицию—позицию марксистско-ленинской литературной науки—позициям буржуазного литературоведения. Исходной точкой нашего понимания является замечательное определение Гете, данное молодым Энгельсом: «В Гете постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и опасливым сыном франкфуртского патриция, либо веймарским тайным советником, который видит себя вынужденным заключить с ним перемирие и привыкнуть к нему. Так Гете то колоссально велик, то мелочен, то это непокорный, насмешливый, презирающий мир гений, то осторожный, всем довольный, узкий филистер. И Гете был не в силах победить немецкое убожество: напротив, оно побеждает его... Перед дилеммой—существовать в жизненной среде, которую он должен был презирать, и все же быть прикованным к ней как к единственной, в которой он мог действовать,—перед этой дилеммой Гете находился постоянно, и чем старше он становился, тем все больше отступал могучий поэт, de guerre lasse, перед незначительным веймарским министром».

Мы могли бы поставить эпиграфом к нашей книге слова Энгельса: «Мы не упрекаем Гете, как это делают Берне, Менцель, за то, что он не был либерален, а за то, что временами он мог быть филистером; мы не упрекаем его и за то, что он не был способен на энтузиазм во имя немецкой свободы, а за то, что свое эстетическое чувство он приносил в жертву филистерскому страху перед всяким современным великим историческим движением; не за то, что он был придворным, а за то, что в то время, когда Наполеон очищал огромные авгиевы конюшни Германии, он мог с торжественной серьезностью заниматься ничтожнейшими делами и menus plaisirs ничтожнейшего немецкого двора. Мы вообще не делаем упреков ни с моральной, ни с партийной, а разве лишь с эстетической и исторической точек зрения...»

Буржуазные политики и ученые либо—как бравые соратники Людендорфа—в противоположность Берне «упрекают» Гете за то, что он был слишком либерал, вольнодумец и плохой немец, либо—как услуживающие буржуазии социал-фашисты—подрисовывают ему нехватающий на их взгляд оттенок либерализма и превращают веймарского обитателя в столп Веймарской конституции. Противопоставляя указанное различие в подходе к Гете, т. Авербах в своей статье правильно указывает: «Творчество Гете было подготовкой буржуазно-национального единства Германии и борьбой за него. Трудно переоценить его роль в этом деле. Напомним, что писал Фихте: «Только литература является единственной объединяющей связью науки. В духовном единстве своей литературы наш народ видит гарантию своего собственного духовного единства и вместе с тем залог своего национального возрождения».

И эта роль Гете является издевкой над современной немецкой буржуазией. Как на заре своего развития она была труслива в борьбе за национальное освобождение, как в период своего подъема она вела такие «освободительные» войны против Наполеона, в которых меняла господство французов на плетку русского казака,— так и теперь, заканчивая свое историческое существование, она своим господством закрепляет национальный позор Германии, порабощенной Версалем и планом Юнга. Тот, кто задумается над исторической оценкой деятельности Гете, тот должен отдать себе отчет в том, что современной буржуазии никак не пристала роль наследника Гете».

* * *

«Литературное Наследство» по существу стоящих перед ним задач не могло ограничиться общей характеристикой гетевского творчества. Перед нами стояла задача подытожить все, что известно в нашей стране о Гете. И здесь обнаружилось, что до сих пор не было и нет ни одной суммирующей работы, систематизирующей прежние русские розыскания, посвященные Гете. Это понятно. С одной стороны, русской буржуазии, жадной и невежественной, было не до Гете: продукты «культуры» с парижских бульваров были ей ближе, понятней, родней, они-то и выдавались за «культуру Запада». С другой стороны, молодой пролетариат еще не смог уделить Гете того внимания, которого он заслуживает. Поэтому «Литературному Наследству» пришлось впервые поставить во всю ширь проблемы о связи Гете с Россией XIX века и с тогдашней русской культурой. Так выросла вторая часть нашей книги: многочисленные обзоры, с разных сторон подводящие итоги нашим знаниям о Гете.

Они неодинаковы. Если например большая работа В. М. Жирмунского не только приводит в известность стихотворное наследие Гете в русской поэзии, но и пытается его осмыслить,—пусть это еще не решение вопроса, пусть здесь есть ошибки, но она бесспорно сдвигает вопрос с мертвой точки, заостряет проблему, толкает к дальнейшей работе,—то например статья И. В. Сергиевского о Гете в русской критике представляет собою только первую во многом недостаточную попытку. И дело здесь не только в том, что говорить о русском гетеанстве как о вполне определенном и характерном явлении русской культуры (подобно например «вольтерьянству» или «байронизму») преждевременно. Даже при бедности отзывов можно и должно было осветить вопрос шире, привлечь ряд других высказываний. Не только шире, но и глубже следовало бы осветить эту тему, поставив на ее материале свежее, острее, актуальнее ряд вопросов. Однако и в таком виде, несмотря на свои недостатки, статья эта дает первый свод русских критических высказываний о Гете. Если статья С. С. Попова дает почти исчерпывающий свод отражений Гете в русской музыке, хотя и не претендуя на обобщение собранного материала, то работа «Гете в русском театре» едва ли исчерпала тему, хотя несомненно след, оставленный Гете в русском театре, не велик.

Эта группа статей сопровождается соответствующими библиографическими указателями: Б. Я. Бухштаба—«Гете в русских переводах», В. П. Зубова—«Гете в русской критике» и С. С. Попова—«Гете в русской музыке». Не претендуя на абсолютную полноту, они все же охватывают весь о с н о в н о й материал и разумеется на много превосходят все прежде имевшиеся библиографические работы по этим вопросам. Достаточно одного примера, чтобы сравнить масштаб проделанной работы: в недавно вышедшей четвертой книге журнала «Марксистско-ленинское искусствознание» помещена составленная научно-вспомогательным сектором Института ЛИЯ Комакадемии «Русская гетеана». Эта «Гетеана» содержит указание всего на 66 переводов русских поэтов из Гете, тогда как в нашем указателе (который мы сами не считаем исчерпывающим) их указано свыше 900!

Сообщения С. А. Рейсера и А. В. Федорова дают почти исчерпывающую картину прохождения сочинений Гете через русскую цензуру. Как известно, германская цензура тоже не была ласкова к «величайшему немцу», и сравнение этих материалов позволяет шире поставить тему об «опасном» Гете, преследуемом цензурой за всеми пограничными шлагбаумами. Обстоятельная работа М. А. Петровского знакомит советского читателя с объемом и судьбой литературного наследства Гете. Статья А. М. Эфроса посвящена детальному анализу художественного восприятия Гете в СССР. Сюда надо присоединить небольшие сообщения И. К. Ипполита о новонайденной рецензии Плеханова на книгу о Гете, М. К. Клемана—о неизвестных пометках Тургенева на вронченковском переводе «Фауста», Н. Н. Гусева—о новонайденном письме Толстого, посвященном Гете, и приведенную впервые на русском языке в сообщении Ф. П. Шиллера эпиграмму молодого Маркса на Пусткухена, добавляющую интересный штрих к отношениям Маркса к Гете.

Основное достоинство работы С. Н. Дурылина «Русские писатели у Гете в Веймаре» заключается в том, что она впервые не только в русской, но и в мировой литературе с такой полнотой охватывает тему русских связей Гете. Ниже нам придется еще сказать об уровне, на котором находятся знания буржуазных гетеведов по этой части. При рассмотрении их работ сразу выяснилось, какой клубок лживых легенд сплела буржуазия вокруг Гете, чтобы опереться на них в своей попытке приспособить Гете к обслуживанию своих корыстных нужд. Чтобы иметь представление о том, на каком уровне находилось изучение отношений Гете с русскими писателями, достаточно указать, что П. А. Висковатов в статье «Об отношениях Жуковского и Гете» («Литературный Вестник» 1902 г., кн. 5, стр. 6) пишет: «*Жуковский был едва ли не единственным из русских писателей, лично знавшим Гете*»; в работе же Дурылина приведен материал о связях Гете более чем с тридцатью русскими литераторами.

Оказалось достаточным просто привести в известность, свести и поставить рядом факты о русских связях Гете, как они заговорили сами, и, как шелуха, стали отпадать один за другим мифы о гетевской аполитичности, олимпийстве и т. д. Дурылин сам пытается создать некую схему освоения Гете, и при всех методологических недостатках его труда—о них мы сказали более подробно в предисловии к нему—*он приобретает большое значение именно как первая попытка в противовес буржуазной историографии правдиво выяснить проблему отношений Гете к России.* Значение труда Дурылина в том, что он поставил эту проблему и поставил не абстрактно, а на громадном, конкретно-историческом, документальном материале.

Из самого же Гете редакции пришлось ограничиться публикацией доселе неизданных переводов старых русских поэтов, в том числе Кюхельбекера, Огарева, Ал. Толстого и Тютчева и, что особенно любопытно,—раннего поэтического опыта Чернышевского; кроме того мы даем новый перевод пятого акта второй части «Фауста», сделанный В. Я. Брюсовым. Отметим между прочим, что проблема «Фауста», затронутая как в предисловии к этому акту И. К. Ипполитом, так и другими авторами нашего сборника (А. В. Луначарским, Л. Л. Авербахом, Б. И. Пуришевым и др.), не всегда разрешается одинаково, что естественно на сегодняшнем этапе марксистской критической оценки Гете.

Если мы выше говорили, что русская буржуазная литература оказалась совершенно беспомощной в этой теме, то ничуть не выше показала себя и европейская буржуазная наука. Тема «Гете и Россия»—несомненно один из самых необследованных и самых неразработанных участков как в западном гетеведении, так и в биографии самого Гете. Тема «Гете и Россия» не могла разумеется пройти мимо их внимания, и отклики на нее мы имеем, начиная с 30-х годов прошлого столетия. Начиная же со статьи Георга Шмидта «Гете и Уваров в их переписке» («Russische Revue» 1888 г., т. XVIII) и до наших дней, до последнего номера журнала «Germanoslavica», эта тема возникает довольно часто перед исследователями. Они сознают, что без разработки этой темы нельзя знать Гете, но не хуже они понимают и то, что добросовестное развитие этой темы приведет их к кричащему противоречию с буржуазным каноном легенды о Гете. Им остается лишь отмахнуться от темы. Так они и поступают, и те статьи на эту тему, которые нам известны, являются по существу либо отпиской от нее, либо грубым искажением исторической действительности.

Примером первого рода статей может служить напечатанная сравнительно недавно в солидном ученом издании «Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft» (1921 г., т. VIII) статья Евгения Цабеля «Гете и Россия». В этой статье все свалено в одну кучу: и интерес Гете к русской истории, и сношения его с русскими писателями, и отношения к Гете Белинского и Тургенева, и русская осетровая икра, которую любил Гете, и дружба Павла Жуковского (сына) с Рихардом Вагнером; это—«взгляд и нечто» на тему о Гете и России.

Примером статей второго рода являются статьи А. Погодина «Гете в России» и Р. Ягодича «Гете и его русские отношения» в «Germanoslavica» (1932 г., № 3). Эти статьи, не имеющие ровно никакого научного значения, не использующие и десятой доли наличного, уже известного в печати материала о российских связях Гете, отличаются совершенной теоретической беспомощностью. Зато тем яснее выступает их политический смысл, сводящийся к тому, чтобы созданием иллюзии гетевского олимпийства позволить империалистической буржуазии использовать Гете в своих интересах.

Дело не ограничивается литературой. Года полтора назад в Данциге состоялась помпезная «Goethe-Woche». В связи с этим была устроена и выставка «Goethe und der Osten»; на выставке была представлена Польша, Латвия и другие лимитрофы,

но по СССР не нашлось ни одного экспоната! Могут возразить, что здесь сказался провинциализм данцигской «учености», но есть и более разительные примеры «ученого» невежества. Для образца можно взять пользующиеся немалой популярностью в Германии ежегодники Киппенберга («Jahrbuch der Sammlung Kippenberg»), посвятившие в одном из последних томов (т. VIII, 1930 г.) специальную статью Вильгельма Фрельса «Топография гетевских рукописей». Ученый автор водит читателя в поисках за гетевской строкой чуть не по всему миру: он предлагает поклоннику Гете вести линию от Парижа через Гренобль на Флоренцию, отсюда через Белград и Будапешт на Дерпт и Ревель, оттуда морем через Лунд (?) на Кембридж и форт Августа (Шотландия) и из Лондона обратно аэропланом в Париж,—этим он якобы очертил всю область местонахождения гетевского рукописного наследства. Для полноты автор прибавляет сюда и поездку в Северную Америку и в итоге он получает 90 пунктов от Ревеля до Нью-Иорка. Забыты лишь Ленинград и Москва, которые многим могли бы пополнить его познания и в которых буквально в десять раз больше автографов, чем в Дерпте или Белграде. В этом исключении Советской страны невежество приобретает политический оттенок.

Для ученых специалистов-гетеведов большое значение имеет статья А. Г. Габричевского, описывающая 32 новых, доселе неизвестных автографа Гете, находящихся в Советском Союзе. Некоторые из этих автографов, как например две Agenda, наброски из «Вильгельма Мейстера», письмо к фон-Мюллеру и другие, представляют самостоятельный интерес, т. е. не как записки, писанные рукой Гете, а как тексты, углубляющие и дополняющие наши знания о «делах и днях» Гете. И это только начало. Редакция, по сути дела, публикует итог самых первых своих достижений, результаты первых поисков и первых находок.

* * *

Особое внимание редакция уделила розысканиям новых архивных материалов по всем темам этого тома. Детальные розыски были произведены в фондах Центрархива СССР, во всех государственных архивохранилищах Москвы и Ленинграда. Любопытные материалы были извлечены и из ряда частных собраний (вплоть до нахождения четырех подлинных автографов Гете). Непосредственное обращение в Национальный Гете-Шиллер архив в Веймаре и в Франкфуртский Гетевский Музей дало возможность впервые опубликовать большое количество важнейших документов (в том числе и письма В. К. Кюхельбекера, А. И. Тургенева, Федора Толстого и др., о существовании которых не догадывался ни один русский исследователь!).

То же самое относится к подбору иллюстраций. Несмотря на большие трудности, встретившиеся на пути выполнения поставленных задач—всесторонне осветить в иллюстрациях все основные темы нашего тома,—несмотря на крайнюю дробность иконографических фондов и на полнейшее отсутствие каталогов этих фондов в музеях, мы даем в этом томе свыше 250 иллюстраций, большинство из которых воспроизводится впервые. Наибольший интерес представляют здесь прижизненные портреты Гете и его автографы, сохранившиеся в СССР, а также неизвестные доселе портреты русских писателей.

Таков вкратце состав гетевского тома «Литературного Наследства». Созданный почти целиком по твердому плану, он является первым в ряду томов, которыми «Литературное Наследство» будет откликаться на большие литературные юбилейные даты. Редакция придает большое значение настоящей книге не только как итогу полугодовых трудов, но как показу «лица» нашего издания, наметке его типа и характера. Этот номер является как бы ответом на те замечания и указания, которыми встретила «Литературное Наследство» советская критика и которые редакция учла в своей работе.

В заключение редакция «Литературного Наследства» приносит свою глубокую благодарность всем учреждениям и лицам, помогшим ей в создании этого тома: директору Национального Гете-Шиллер архива в Веймаре Prof. Dr. Wahl, сотруднику Франкфуртского Гетевского Музея Dr. Rumpf, непременному секретарю Академии Наук СССР—ак. В. П. Волгину, зам. зав. Центральным Архивным Управлением СССР В. В. Максакову, директору Всесоюзной Библиотеки им. Ленина В. И. Невскому, ученому секретарю ленинградской Публичной Библиотеки В. Э. Банку и заведующему Рукописным отделением ленинградской Публичной Библиотеки И. А. Бычкову.

А. ЛУНАЧАРСКИЙ

ГЕТЕ И ЕГО ВРЕМЯ[1]

Развитие капитализма в XVII, XVIII и в начале XIX века, подъем буржуазии, вторжение этого нового класса на всемирную историческую арену с явным стремлением взять власть в свои руки вызвали ряд явлений не только экономического и политического характера, но и характера культурно-идеологического.

Англия первая вступила на путь буржуазного развития. В Англии раньше, чем в других странах, произошел грандиозный социальный взрыв. И эта эпоха выдвинула в ней целый ряд блестящих, гениальных исследователей и поэтов — Бэкона, Шекспира, Мильтона, Гоббса и других мыслителей, доходивших до необыкновенно радикальных форм сокрушения всех устоев предшествующего общества. Несколько позднее Франция по стопам Англии вступила на ту же дорогу и, подготовляя свою Великую революцию, выдвинула плеяду изумительных людей, которыми буржуазия могла бы гордиться, если бы не отреклась позднее от лучшего, что было в их учении. Здесь мы видим и разъедающую насмешку Вольтера, и грандиозный сердечный, в области чувств происходящий, романтический бунт Руссо против всех основ цивилизации и классового порядка, и группу энциклопедистов, которая, сокрушительными ударами потрясая все здание старой культуры, закладывала фундамент нового миросозерцания и нового общества, признаваемого «рациональным» и «нормальным».

Но если в Англии и Франции эпохи буржуазной революции не было недостатка в мыслителях и поэтах, то центр движения буржуазии принадлежал все же политикам-практикам. В этих странах мы имеем «плебейскую», по выражению Маркса, манеру довершать движение буржуазии: королям рубили головы, разгоняли старую аристократию, стирали внутренние границы между сословиями и княжествами, изменяли законы и закладывали фундамент буржуазной демократии с огромной решительностью и последовательностью.

Волна контрреволюции пыталась позднее уничтожить завоеванное, но все-таки глубокие следы первых буржуазных завоеваний сохранились, и весь характер дальнейшего развития Европы зависел от этих грандиознейших событий.

Иначе шло дело в Германии. В своей замечательной книге по истории немецкой философии и религии Гейне первый отметил с необыкновенной чуткостью эту особенность.

К тому времени, когда на Западе бурно развертывалась молодая буржуазная культура, Германия имела уже некоторую прослойку буржуазии и группу буржуазных интеллигентов, которым не могло оставаться чуждым то, что делалось за границами Германии. Но все же это была страна отсталая. Сколько-нибудь значительных масс, которые могли бы поддержать

своих вождей, у немецкой буржуазии не было. И Гейне с изумительной проницательностью отмечает, что в Германии, лишенной с самого начала возможности действовать практически, начинается процесс сублимации. Социальная активность, не выражающаяся в действии, преломляется в фантазию, в художественные образы, которые передаются в музыке, книгах и картинах, в замечательные узоры всяких идейных положений. Это тоже творчество буржуазной культуры, этим тоже кладется начало борьбы со старым порядком, со старыми идеями, но эта борьба ведется только словом, идейным оружием. Немецким мыслителям той поры присуще недоверие к непосредственной активности, к практическому делу, как таковому. Они склонны понимать самую суть мира, понимать самое существо человека идеалистически,—работа фантазии, напряженной мысли для них особенно дорога, именно ею они жили.

Можно ли сделать отсюда вывод, что если в Германии молодая буржуазия оказалась более слабой и неорганизованной, чем где бы то ни было, то зато в своей области, в области идеологии, она одержала безукоризненно блестящие успехи? Нет, дело обстоит не так просто,—дело не только в том, что Германия оказалась страной «мыслителей и поэтов», а не страной борцов и действия.

Когда я отметил идеализм, присущий самосознанию немецких мыслителей, я указал на вещь нездоровую с нашей точки зрения, с точки зрения пролетариата, но мало того: идеологи немецкой буржуазии не могли вообще свободно развернуться даже и в той области, деятельность в которой была им доступна,—даже их художественные творения заражены духом известной отсталости, остаются в плену того порядка, который существовал в Германии и сильно разнился от порядка, существовавшего в других западноевропейских странах.

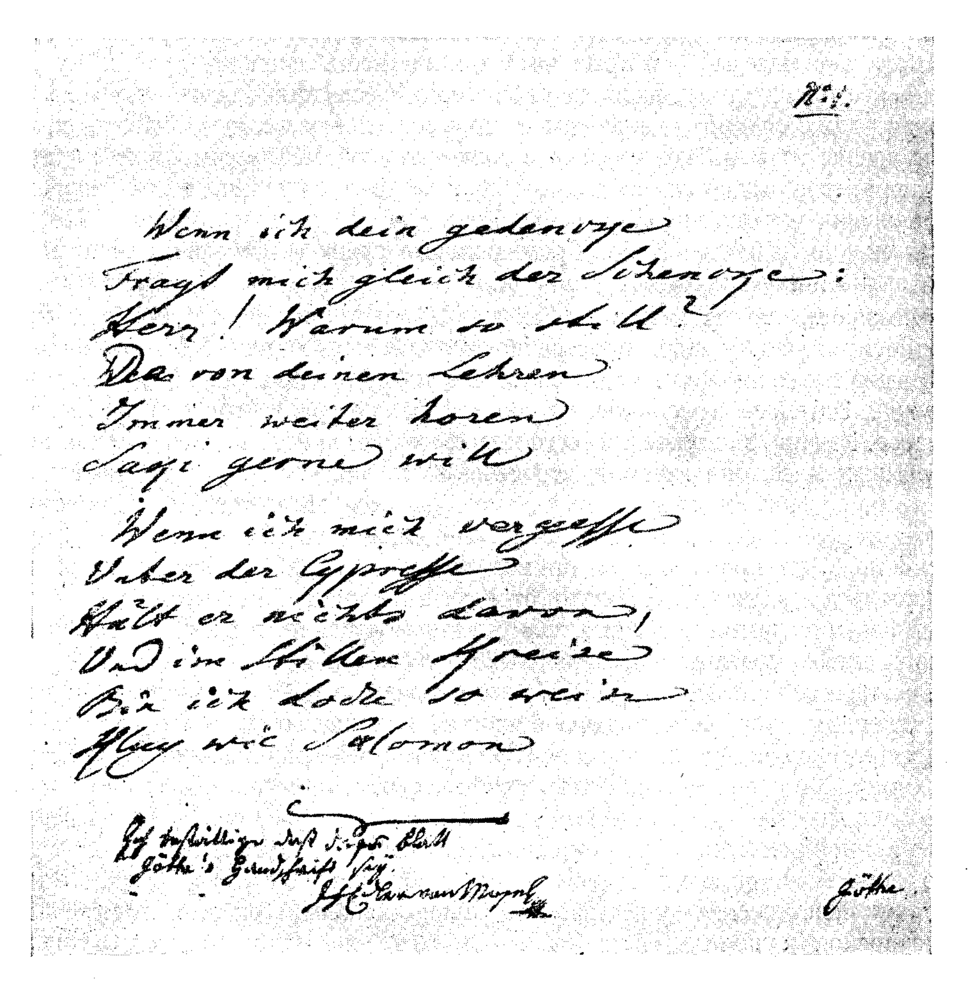
Энгельс в своей статье «Положение Германии» пишет о германской буржуазии:

«Соединившись с народом, они могли бы ниспровергнуть старую власть и восстановить империю, как это отчасти сделали английские средние классы между 1640 и 1688 гг. и как это в то время делала французская буржуазия. Но средние классы Германии никогда не обладали такой энергией, никогда не претендовали на такое мужество; они знали, что Германия—только навозная куча, но они хорошо чувствовали себя в этой грязи, потому что они сами были навозом и чувствовали себя в тепле, окруженные навозом» [2].

И далее:

«Это была одна гниющая и разлагающаяся масса. Никто не чувствовал себя хорошо. Ремесло, торговля, промышленность и земледелие были доведены до самых ничтожных размеров. Крестьяне, торговцы и ремесленники испытывали двойной гнет: кровожадного правительства и плохого состояния торговли. Дворянство и князья находили, что их доходы, несмотря на то, что они все выжимали из своих подчиненных, не должны были отставать от их растущих расходов. Все было скверно, и в стране господствовало общее недовольство. Не было образования, средств воздействия на умы масс, свободы печати, общественного мнения, не было сколько-нибудь значительной торговли с другими странами; везде только мерзость и эгоизм; весь народ был проникнут низким, раболепным, гнусным торгашеским духом. Все прогнило, колебалось, готово было рухнуть, и нельзя было даже надеяться на благотворную перемену, потому что в народе не было такой силы, которая могла бы смести разлагающиеся трупы отживших учреждений.

Единственную надежду на лучшие времена видели в литературе. Эта позорная политическая и социальная эпоха была в то же самое время великой эпохой немецкой литературы. Около 1750 г. родились все великие умы Германии: поэты Гете и Шиллер, философы Кант и Фихте, а лет двадцать спустя—последний немецкий великий метафизик Гегель. Каждое замечательное произведение этой эпохи проникнуто духом протеста, возмущения против всего тогдашнего немецкого общества. Гете написал «Геца


No: 1.

Wenn ich dein gedenke
Fragt mich gleich der Schenke:
Herr! Warum so still?
Da von deinen Lehren
Immer weiter hören
Saqi gerne will

Wenn ich mich vergesse
Unter der Cypresse
Hält er nichts davon,
Und im stillen Kreise
Bin ich doch so weise
Klug wie Salomon

Göthe

Автограф стихотворения Гете из „Западно-восточного Дивана". Веймар, сентябрь—октябрь 1811 г. Институт Русской Литературы, Ленинград

фон Берлихингена», драматическое восхваление памяти революционера. Шиллер написал «Разбойников», прославляя великодушного молодого человека, объявившего открытую войну всему обществу. Но это были их юношеские произведения. С годами они потеряли всякую надежду. Гете ограничивался наиболее смелыми сатирами, а Шиллер впал бы в отчаяние, если бы не нашел прибежища в науке, в особенности в великой истории древней Греции и Рима. По ним можно судить о всех остальных. Даже самые лучшие и самые сильные умы народа потеряли всякую надежду на будущее своей страны» [3].

Вот общая характеристика положения этих великих людей, среди которых величайшим был Гете.

Ленин учил нас, что есть два пути развития капитализма: американский путь развития—самый решительный путь, при котором капитализм расцветает бурно и оказывается в состоянии мобилизовать большие массы, сметающие со своего пути всю гниль прошлого, и другой путь,—который фатальным для Гете образом Ленин назвал прусским путем,—характеризующийся тем, что напор растущей буржуазии не может разрушить грязных дамб феодализма и просачивается сквозь них кое-как, буржуазия не располагает массами, которые в состоянии вести гражданскую войну с теми, кто препятствует развитию общества, и вследствие этого оторванные вожди, даже лучшие, даже самые проницательные, самые благородные, вынуждены итти на компромисс с господствующим классом; духовенство и дворянство остаются во главе общества, а буржуазия, довольствуясь отдельными уступками, приспособляется, поддерживает их. Жертвой этого пути можно назвать и Гете. Громадная его слава свидетельствует о том, что он не явился жертвой до конца.

Мы знаем, что принесла с собой человечеству зрелая буржуазия и что приносит с собой теперь перезрелая буржуазия,—хорошего в этом мало. Но в начале движения мыслители молодой буржуазии, как это правильно отмечал Энгельс, перескакивали иногда даже за границы интересов своего класса. Именно в интересах своего класса, желая привлечь к нему симпатии огромных масс, они говорят, что дело, за которое они борются, делается для «народа», что жизнь людей в старом режиме—это накопление глупости, что история до сего дня была бессмыслицей, но что так будет до тех пор, пока не будет провозглашен примат разума,—когда все начнет освещать разум, все изменится и все муки отойдут в прошлое. Правда, при дальнейшем своем развитии победившая буржуазия отнюдь не выполняет обещаний своих смелых мыслителей. На первый план выступают теперь не мыслители, не поэты и даже не политики, а те, кто является основой буржуазии,—промышленники, торговцы, позднее банкиры. Они развертывают до изумительных пределов точную науку и основанную на ней грандиозную по размаху технику. Но одновременно, как говорит Маркс, они развертывают циничный, обнаженный торгашеский дух, они изгоняют все следы былой революционной романтики, неприкрыто ставят вопрос о барыше и, продвигаясь по дороге накопления все больших и больших богатств, безжалостно топчут человеческие существа. Все больше и больше сказывается эксплоататорская сущность буржуазии, и в то же время растет антипод буржуазии—пролетариат. Буржуазия изменяет своим прежним идеалам. Она заменяет красное знамя знаменем розовым, за тем розовое знамя—оранжевым и наконец доходит до черной реакции. Она идет все дальше напопятную и вновь протягивает руку дворянам и попам. Теперь не эти последние являются господами, которые пользуются поддержкой буржуазии; теперь буржуазия—господин, прибегающий к поддержке классов, потерявших первенство. Но все это создает в империалистическом мире приблизительно такую же реакционную мешанину, какую мы видим в начале капитализма, развивающегося прусским путем. Теперь эти страдания появляются от перезрелости капитализма, а тогда их причиной была его незрелость, медленность темпов его развития, накладывающая на творчество и жизнь мыслителей печать мучительной заторможенности.

Все особенности начала прусского пути развития буржуазного общества в величайшей степени сказались на Гете. Не было ни одного мыслителя, ни одного поэта того времени, который бы с такой силой переживал молодое, творческое буржуазное начало, весну нового класса, как Гете.

Блестящее освещение личности Гете в ее внутреннем противоречии сделано Энгельсом в его статье «Немецкий социализм в стихах и прозе»:

«Гете в своих произведениях двояко относится к немецкому обществу своего времени. Он враждебен ему; оно противно ему, и он пытается бежать от него, как в «Ифигении» и вообще во время итальянского путешествия; он восстает против него, как Гец, Прометей и Фауст, осыпает его горькой насмешкой Мефистофеля. Или он, напротив, дружит с ним, примиряется с ним, как в большинстве его «Кротких Ксений» и во многих прозаических произведениях, прославляет его, как в «Маскараде», защищает его от напирающего на него исторического движения, особенно во всех произведениях, где он говорит о французской революции. Дело не в том, что Гете признает будто бы лишь отдельные стороны немецкой жизни в противоположность другим сторонам, которые ему враждебны. Часто это только проявление его различных настроений; в нем постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и опасливым сыном франкфуртского патриция, либо веймарским тайным советником, который видит себя вынужденным заключить с ним перемирие и привыкнуть к нему. Так Гете то колоссально велик, то мелочен, то это непокорный, насмешливый, презирающий мир гений, то осторожный, всем довольный, узкий филистер. И Гете был не в силах победить немецкое убожество; напротив, оно побеждает его; и эта победа убожества (misère) над величайшим немцем является лучшим доказательством того, что «изнутри» его вообще нельзя победить. Гете был слишком универсален, слишком активная натура, слишком плоть, чтобы искать спасения от убожества в шиллеровском бегстве к кантовскому идеалу; он был слишком проницателен, чтобы не видеть, что это бегство в конце концов сводилось к замене плоского убожества высокопарным. Его темперамент, его сила, все его духовное направление толкали его к практической жизни, а практическая жизнь, которая его окружала, была жалка. Перед этой дилеммой—существовать в жизненной среде, которую он должен был презирать, и все же быть прикованным к ней как к единственной, в которой он мог действовать,—перед этой дилеммой Гете находился постоянно. Чем старше он становился, тем все больше отступал могучий поэт, de guerre lasse, перед незначительным веймарским министром. Мы не упрекаем Гете, как это делают Берне, Менцель, за то, что он не был либерален, а за то, что временами он мог быть филистером; мы не упрекаем его и за то, что он не был способен на энтузиазм во имя немецкой свободы, а за то, что свое эстетическое чувство он приносил в жертву филистерскому страху перед всяким современным великим историческим движением; не за то, что он был придворным, а за то, что в то время, когда Наполеон очищал огромные авгиевы конюшни Германии, он мог с торжественной серьезностью заниматься ничтожнейшими делами и menus plaisirs ничтожнейшего немецкого двора. Мы вообще не делаем упреков ни с моральной, ни с партийной, а разве лишь с эстетической и исторической точек зрения; мы не измеряем Гете ни моральным, ни политическим, ни «человеческим» масштабом. Мы не можем здесь представить Гете в связи со всей его эпохой, с его литературными предшественниками и современниками в его раз-

витии и в жизни. Мы ограничиваемся поэтому лишь тем, что констатируем факт» [4].

Но если Гете был так загрязнен и в эстетическом, и в бытовом, и в политическом отношении, если он в такой огромной мере оказался в плену предрассудков, то не должны ли мы сказать буржуазии: Гете ваш, нам делать с ним нечего, хороните его, как хотите,—пусть мертвые хоронят мертвого, а Гете принадлежит вашему миру, миру мертвых?

Энгельс не так смотрел на Гете; он не только безоговорочно называет Гете величайшим из немцев, но, так как эта статья написана против Грюна, против мещанского восхваления Гете, Энгельс дополняет:

«Если мы выше рассматривали Гете лишь с одной стороны, то в этом вина исключительно г-на Грюна. Он совсем не изображает Гете со стороны его величия. Он спешит проскользнуть мимо всего, в чем Гете действительно велик и гениален» [5].

В разных местах Энгельс прямо указывает на величайшие достижения Гете. Так например Энгельс в статье «Положение Англии», говоря о Карлейле, попутно высказывается и о Гете: «Гете неохотно имел дело с «богом»,— говорит он,—от этого слова ему становилось не по себе; он чувствовал себя, как дома, только в человеческом, и эта человечность, это освобождение искусства от оков религии именно и составляют величие Гете. В этом отношении с ним не могут сравниться ни древние, ни Шекспир. Но эту совершенную человечность, это преодоление религиозного дуализма может постигнуть во всем его историческом значении лишь тот, кому не чужда другая сторона немецкого национального развития—философия. То, что Гете мог высказать лишь непосредственно, т. е. в известном смысле «пророчески», теперь развито и доказано в новейшей немецкой философии» [6].

Нет, ни в коем случае мы не можем сказать буржуазии: Гете ваш. Гете принадлежит не только буржуазии, он какой-то своей стороной принадлежит и нам.

Как же развивался этот человек и что принес он с собой? Здесь подобно маяку светит характеристика, данная Энгельсом.

Что это такое Sturm und Drang молодого Гете? Все, кто видел Гете в кругу взволнованных молодых людей, которым претило окружающее убожество, которые не хотели больше жить в смрадной мгле, которые хотели выявить может быть еще не совсем ясные мечты и осуществить их в жизненной практике,—те, кто видел Гете в кругу этих людей, говорят о нем, как о блистательном явлении среди явлений второстепенных. Это был человек физически, морально и умственно одаренный до такой степени, что все, к нему приближающиеся, отмечали его исключительность и оставались очарованными им.

От имени своего поколения, назвавшего себя поколением гениев, Гете, подлинный гений, ставил для себя и для других гигантскую задачу. Задача эта была не политическая, а чисто индивидуальная: развернуть все таящиеся в человеке возможности.

Это и есть тот критерий, благодаря которому можно сравнивать различные общественные строи, порядки и уклады. Маркс говорит, что тот общественный строй выше, который позволяет максимально развернуть все заложенные в человеке возможности. Маркс понимает это самым демократическим образом: возможности, заложенные во всяком человеке, заложены и во всем человечестве. У Гете может быть эта мысль имела более аристо-

кратический оттенок, но не настолько, чтобы это сделало ее совершенно далекой от высказанной Марксом.

Во времена своей орлиной молодости, во всей полноте энергии, Гете говорит, что ничто его не волнует так, как церковное песнопение «Veni, spiritus, creator» («Гряди, дух творческий»): «Я знаю, что это не обращение к богу, это обращение к человеку и особенно к тому человеку, который одарен творчеством; творчески-одаренный человек—это вождь, это организатор». И несколько позднее Гете говорит:

Warum sucht'ich den Weg so sehnsuchtsvoll,
Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen soll!

(Стал ли бы я с такой тоской стремиться к тому, чтобы найти правильную дорогу, если бы не должен был показать ее своим братьям?)

Может быть Гете знал определение гения, данное Кантом. Для него гений осуществляет все как нечто естественное, вытекающее из его собственной индивидуальной сущности, но то, что он осуществляет, становится примером и законом для других. Мы, обладающие марксистским анализом, можем сказать, что гении—глубоко одаренные люди—формируют раньше, чем их класс в целом, то, что ему нужно, и мысли их молниеносно распространяются, становятся орудием самопознания масс. Таков был Маркс, таков был Ленин, и Гете хотел быть таким. Но не было в Германии такого

ГЕТЕ НА УЛИЦЕ В ИЕНЕ
Зарисовка карандашом неизвестного художника
(Иена, около 1792 г.)
Собрание А. Киппенберга, Лейпциг

класса, который мог бы поддержать его. Гете прекрасно чувствовал, что в эпоху, предшествующую французской революции, не суждено осуществить идеала, чтобы общество не мешало, а помогало бы развитию творчески-совершенной личности. Он предчувствует даже, что такие выдающиеся личности непременно будут разбиты, падут жертвами. Он создает «Прометея», «Магомета» и наконец «Вертера»—произведения, являющиеся как бы признанием почти навязчивой мысли, что нет иного выхода из этой катастрофы, как смерть.

Все в тебе звучит, и все в тебе трепещет,
И чувства тмятся, и кажется тебе—исходишь ты и никнешь,
И все вокруг тебя в ночи кружится,
И ты все более в тебе присущем чувстве
Объемлешь целый мир—тогда-то умирает человек.

Смерть оказывается просветлением, смерть оказывается апофеозом. Почему? Что это—мистика? Нет, это не мистика. Если у величайшего буржуазного поэта Шекспира Гете учился в значительной степени такому пониманию жизни, что не важно-де быть счастливым, не важно быть победителем, важно быть великим, важно жить такими чувствами, мыслями, встречать в жизни и создавать в ней такие события, о которых можно было бы сказать: вот это подлинная жизнь, полная деятельности, величайшей энергии,—то у другого буржуазного мыслителя, у Спинозы, Гете учился познанию природы.

Для Гете природа была все, единое целое, в котором все части связаны в некоторую гармонию. Но больше чем Спинозе Гете присуща была идея, что это «все» постоянно совершенствуется, что процессы, которые происходят в мире, имеют смысл, потому что эта материя, обладающая бесконечными возможностями и осуществляющая их в своем противоречивом развитии путем воздействия отдельных частей друг на друга, постоянно идет вперед. к лучшему, к высшему своему развитию. Эта идея развития лежала вообще в основе немецкого идеализма. И кроме того Гете усваивал материю как необыкновенно одаренный художник; она была для него совокупностью красок, звуков, запахов, действенности, наслаждений, т. е. она говорила ему через необыкновенно яркую ткань самых живых переживаний. И он чувствовал, что быть частью этого целого—прекрасно. Он великолепно сознавал, что противопоставлять себя как часть целому, свою личность этому громадному свету, этой самодовлеющей материи—дико и смешно. Но как добиться этого целого, как пробиться к этому целому через общество, через то германское общество, о котором говорил Энгельс как о гниющей навозной куче? Пробиться нельзя, и Гете готов допустить мысль, что нет других ворот к природе, как только смерть. У Ибсена в «Пер Гюнте» есть такой образ: человек встречает Плавильщика, и Плавильщик говорит: «Я собираю пуговицы, у которых нет петель, и бросаю назад в тигель», т. е. людей, которые ни на что не нужны, смерть бросает обратно в поток материи, потому что надо брать в переделку то, что не удалось. А Гете—бриллиантовая пуговица, и у нее есть великолепная петля, но вот пришить ее некуда—кафтан негоден. Поэтому, несмотря на то, что он не ниже, а выше действительности, он стремится к смерти. Сам он не умер. Он написал только «Вертера»—вещь, которая выставила идею смерти, потрясшую мир и ввергшую многих в ряды самоубийц. Но сам Гете остался в тупике, на перепутьи, не зная, что делать.

И тут-то дворянство в лице герцога Карла-Августа Саксен-Веймарского предложило Гете союз. Об этом союзе говорится много неточного и поверхностного. Между тем это было величайшим событием в жизни Гете, и он долго думал, прежде чем принять это решение, т. е. отказаться от роли вождя буржуазии. Он знал, что здесь придется пресмыкаться, быть в положении приживальщика, увеселителя, метр-д'отеля, стать главным приказчиком своего господина, в сущности, заурядного. Когда он ушел к дворянам, такие люди, как республиканский мыслитель и поэт Клопшток, перестали подавать ему руку. Гете предвидел это, но он не знал, как же иначе жить? В нем клокотала сила, которая толкала его к творчеству, к деятельности, к наслаждениям, и дворянство ему говорило: иди к нам, мы потеснимся, дадим тебе место среди нас, ты будешь фон Гете, у тебя будут деньги, у тебя будут коллекции, лаборатории, у тебя будет полная возможность путешествовать, мы сделаем тебя министром, мы дадим тебе править страной,—это маленькая страна, но все же «великое герцогство».

Гете склонился к этому предложению, и здесь его второе падение. Первое падение, заключающееся в том, что Гете перестал быть революционно настроенным вождем, было, в сущности, фатально. Ибо в тогдашней Германии вождям не хватало массы. Теперь же был поставлен вопрос, как спасти свою собственную жизнь, спасти ее для будущего? И это было сделано путем известной самопродажи господствующему классу дворян. И тут-то произошло у Гете самое ужасное, как говорит Энгельс,—то, что в один прекрасный день он проснулся в объятиях людей, подобных Грюну, то, что он позволил выдать себя за одну из главных опор реакционно-мещанского порядка темной Германии.

Энгельс говорит об этом:

«История отомстила Гете за то, что он каждый раз отрекался от нее, когда оказывался лицом к лицу с ней, но эта месть не в нападках Менцеля, не в ограниченной полемике Берне. Нет, как

Титания в стране чудес и фей
В объятиях Основы очутилась,

так Гете проснулся однажды в объятиях господина Грюна» [7].

И таких грюнишек и грюнчиков, лгунишек и лгунчиков оказалось колоссальное количество.

По поводу союза Гете с дворянством они говорят, что это возвысило Гете, что от взволнованной, неуравновешенной юности он пришел к настоящей зрелости. Они называют его счастливым, его судьбу—идеальной. А Гете сам говорил о себе Эккерману: «Говорят, что я счастливый человек, но когда я оглядываюсь назад, то я вижу бесконечное количество отречений, бесконечное количество отказов от того, чего я хотел. Я вижу непрерывный труд, и только изредка мой путь освещается лучом, напоминающим счастье. И так с самого начала до самого конца».

Это говорил человек 80 лет, и он говорил правду, потому что тяжелыми оказались эти золотые цепи. С самого начала, когда Гете попадает в Веймар, он из собственного Вертера делает фарс в угоду новой среде. Он поступает к фрау Штейн буквально в обучение, и фрау Штейн выдергивает у него из крыльев все перья, которые кажутся ей недостаточно придворными. Она стремится втиснуть его в рамки заурядного придворного, и в этой придворной жизни Гете, нужно сказать, попадаются позорные страницы.

Правда, Гете измучился невероятно и через некоторое время рвался из Веймара. Почти не спрося разрешения, едет он в Италию, чтобы подышать свежим воздухом.

Великий человек, великий бюргер, который не жил в таком бюргерском обществе, в котором он мог бы дышать свободно, устремляется к природе и к обществу, но к обществу прошлого.

В Италии Гете находит великие остатки Греции и Ренессанса великих бюргерских эпох, эпох, искусство которых умело показывать красивых людей, полных самоуверенности, полных языческой страсти и приведенных в норму в том смысле, что сознание ими своей силы делает их спокойными и величественными.

Гете создает вокруг себя искусственный мир, но современное ему общество прожужжало ему уши напоминаниями о том, что ему нужно вернуться в Веймар. Гете думает с отвращением о возвращении.

В это время Гете пишет свою страшную пьесу «Торквато Тассо». Эта пьеса страшна не тем, что ее герой, итальянский поэт, сходит с ума. Эта пьеса страшна своим замыслом, который заключается в изображении даровитого, страстного, естественного человека, настоящего человека, которого за талант приближают ко двору, и он вдруг осмеливается считать себя не только привилегированным шутом, а равным аристократам человеком и полюбить одну из принцесс. За это—гром и молнии, за это—полная гибель, и гибель моральная, потому что принцесса тоже относится к любви поэта так, как если бы ей сделала предложение обезьяна.

Но и не в этом главная трагедия. В этой пьесе существует Антонио, вся мудрость которого может быть прекрасно уложена в слова русской пословицы: «Всяк сверчок знай свой шесток». И вот Гете приходит к выводу, что Антонио—мудрец, что он носитель настоящей морали, а Торквато Тассо—носитель трагической вины. Он это пишет для того, чтобы самому себе доказать—знай, Гете, свой шесток, не лезь туда, куда не надо, не лезь в реформаторы общества, не мечтай по-своему поставить дело. Ты должен уметь отрекаться: в этом настоящая мудрость.

И несмотря на то, что Гете вступил на путь компромисса, когда он вернулся в Германию, от него почти все отвернулись. При дворе шипят на него за то, что он покинул Веймар и выказал этим свое презрение. Женственная фрау Штейн пишет сначала роман, а потом и пьесу против Гете, и Брандес, один из биографов Гете, говорит, что ни разу ревнивая женщина, возненавидевшая своего великого любовника, не писала книги столь клеветнической и грязной. Правда, дружба с Шиллером, другим буржуазным гением, отчасти поддержала Гете (здесь не место говорить о Шиллере, хотя он имел известное значение для Гете).

Вот с этих пор, в особенности после смерти Шиллера, Гете прикрывается плащом величественного превосходства, надевает на лицо маску олимпийца.

Гете этой поры вызывает удивление: где же тот орел, тот гений, который, как огонь, взвивался ввысь? Вот этот величественный и спокойный человек, у которого ни один мускул не дрогнет? Но это тоже обманная маска. В это время, содрогаясь всем телом, Гете говорит: «Я не могу написать трагедию. Это свело бы меня с ума!» Он слышит сонаты Бетховена, он рыдает в полутемной комнате и становится почти врагом Бетховена. Он говорит: «Если бы такая музыка была исполнена большим оркестром, то все разрушила бы вокруг себя».

Автограф заключительной части письма Ф. Энгельса к К. Марксу от 15 января 1847 г. с отзывом о Гете, данным Энгельсом в связи с оценкой книги Карла Грюна „О Гете с человеческой точки зрения“

Институт Маркса—Энгельса—Ленина, Москва

Энгельс говорит, что чем старше становился Гете, тем больше он превращался в ограниченного гехеймрата. Но Энгельс не знал некоторых документов, по которым мы видим силы, противостоящие этому процессу. Даже по убеленному сединами Гете можно узнать, сколько сил он в себе хоронил и как они порою в нем клокотали.

Вот что можно рассказать об этом: после изгнания Наполеона началась реакция, князья стремились лишить народ всех тех завоеваний, на которые он претендовал в результате освободительной войны.

Гете был потрясен этим зрелищем, на что мы имеем теперь прямое указание. Врач Кизер рассказывает о вечере 13 декабря 1813 г., который он провел у Гете:

«Я пришел к нему в шесть часов вечера. Я нашел его в одиночестве и необыкновенно возбужденным, прямо-таки воспламененным. Я провел у него два часа и так и не понял его хорошенько. Он развертывал широкие политические планы и просил моего участия; я прямо-таки испугался его. Он показался мне похожим на китайского дракона. Он был гневен, мощен, рыкающ. Глаза были полны огня, лицо пылало, слов часто не хватало, и он заменял их бурными жестами».

Но от бедного Кизера невозможно добиться, что это были за планы. Он говорит только, что Гете осуждал несправедливости, накопившиеся в веках.

Однако на следующий день Гете разговаривал с более передовым и умным человеком—с профессором Люденом. Повидимому планы активного протеста против подготовлявшейся реакции в виду полной неосуществимости их для Гете были им оставлены. Но зато на этот раз мы видим, что привело Гете в такое крайнее возбуждение:

«Может быть вы думаете, что мне чужды великие идеи свободы, народа, отечества? Эти идеи—часть нашего существа. От них никто не может уйти. Но вот вы разговариваете о пробуждении, о подъеме моего немецкого народа. Вы утверждаете, что он не позволит вырвать из своих рук свободу, которую он так дорого купил, жертвуя своим достоянием и жизнью. Но разве немецкий народ проснулся? Сон был слишком глубок, и первая встряска не может привести его в чувство. Не спрашивайте меня больше. Прокламации иностранцев о наших я сам нахожу превосходными. Ах, ах, коня, коня,—полцарства за коня!»

Но коня ему не дали. Ему дали полцарства, «пол великого герцогства» дали, но коня, чтобы руководить какими-то великими политическими атаками, ему не дали. Наполеонофильство Гете однако было всем заметно. Он совершенно ясно сознавал, что Наполеон—не только враг отечества, но что он несет с собой более высокий уклад. Людендорф, «великий маршал», говорит, что нужно заклеймить Гете за то, что он был недостаточно французоедом, но интересно, что мадам Людендорф издала книгу, в которой она утверждает, что все великие немцы были убиты жидами или масонами: в частности Шиллер был отравлен масоном Гете. Эта глупая и грязная книга разошлась в культурной Германии в 30 тысячах экземпляров. Уже по этому можно заключить, что «правая Германия» далека от безусловного преклонения перед Гете и проявляет довольно странное «критическое» отношение к нему.

Конечно у Гете политика—слабейшая сторона его деятельности. Гораздо более близок нам Гете—философ, ученый и поэт. Но все же для политической характеристики Гете надо сделать еще одну существенную прибавку.

Гете к концу жизни уже начал замечать внутренние противоречия, которые несет с собой развитие буржуазного общества. Он крепко любил труд, любил технику, любил науку. Не эти сильные стороны буржуазии его отталкивали; его отталкивал торгашеский дух и хаос, которые несла с собой буржуазия. Поэтому он пытался нарисовать для себя строй, в котором торжествовало бы плановое начало и где бы свободные и трудящиеся люди были объединены в трудовой союз. Это отразилось в последней части великой драматической поэмы «Фауст». Эти знаменитые строки очень часто приводятся, но не лишне их еще раз привести—они показывают, как Гете переходит за грани своего века:

Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и с в о б о д ы,
Кто каждый день идет за них на бой.
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной
Дитя и муж, и старец пусть ведет,
Чтоб я увидел в блеске силы дивной
Свободный край, свободный мой народ.
Тогда сказал бы я: мгновенье,
Прекрасно ты, продлись, постой,
И не смело б веков теченье
Следа, оставленного мной.

Только тот, кто действительно творчески содействует людям, кто не жаждет покоя, но словом и делом борется за победу жизни, кто сопротивляется тем силам, которые стараются заковать их,—только тот может сказать, что он прожил плодотворно свою жизнь.

Итак, Гете-мыслитель и Гете-поэт гораздо ближе нам и гораздо важнее, чем политик. Правда, даже в области общественно-политической в творчестве Гете все время сказывается передовой бюргер-гражданин. Но все же восстание молодой буржуазии против старого мира чувствуется гораздо сильнее в поэзии и философии Гете.

Колоссальная сила его музыки, его образов имеет источником молодость класса. Обыкновенно те, кто просыпается к творчеству передового класса, обладают свежестью восприятия; они, как Адам, называют все новыми именами, они создают свой язык, они становятся резервуаром всего того, что может и должен воспринять обновленный человек. И Гете говорит:

Lieben, hassen, fürchten, zittern,
Hoffen, zagen bis ins Mark
Kann das Leben zwar verbittern,
Aber ohne sie wär's Quarq».

(Нужно любить, нужно ненавидеть, нужно бороться, нужно содрогаться, это может сделать жизнь горькой, но без этого вся жизнь—хлам).

Сила, активность, жизненность Гете делают честь буржуазии, породившей эту орлиную молодость, но зато бесчестие для буржуазии—жизнь Гете постольку, поскольку она его молодость сковала, ограничила и поскольку она вообще никогда и ни при каких условиях программы этой молодости выполнить бы не могла.

Как поэт Гете обладает еще возможностью с необыкновенной силой в образах выражать то, что он чувствует. Говоря об этом, он характерным образом на первое место среди всех переживаний ставит страдание: «Если

обыкновенный человек в горе умолкает, то мне некоторое божество дало силу рассказать все мои страдания».

Еще долго мы будем разбираться в гетевском творчестве, потому что теперь наступает время разобраться в нем по-настоящему.

Выше были приведены замечательные цитаты из Энгельса, где он оценивает глубоко революционный характер философской концепции Гете.

Я хочу закончить мою статью одним философским письмом Гете. Это— одна из самых светлых, глубочайших страниц, которые были когда-либо написаны.

«Не могу не поделиться неоднократно овладевавшей мною в эти дни радостью. Я чувствую себя в счастливом единогласии с близкими и далекими, серьезными, деятельными исследователями. Они признают и утверждают, что нужно принять в качестве предпосылки и допущения нечто неисследимое, но что затем самому исследователю нельзя ставить никакой границы.

И разве приходится мне принимать в качестве допущения и предпосылки самого себя, хотя я никогда не знаю, как я, собственно, устроен? Разве не изучаю я себя непрестанно, никогда не достигая понимания себя, а также и других, и тем не менее бодро подвигаясь все дальше и дальше?

Так и с миром: пусть он лежит перед нами безначальный и бесконечный, пусть будет безгранична даль, непроницаема близь; но это так, и все-таки— пусть никогда не определяют, насколько далеко и насколько глубоко способен человеческий ум проникнуть в свои тайны и в тайны мира». В этом смысле предлагаю принять и истолковать нижеследующие полные бодрости строки:

«Ins Innere der Natur»—
O, du Philister!
«Dringt kein erschaffner Geist».
Mich und Geschwister
Mögt ihr an solches Wort
Nur nicht erinnern!
Wir denken: Ort für Ort
Sind wir im Innern.
«Glückselig, wem sie nur
Die äussre Schale weist!»
Das hör'ich sechzig Jahre wiederholen,
Ich fluche drauf, aber verstohlen,
Sage nur tausend, tausendmale:
Alles gibt sie reichlich und gern;
Natur hat weder Kern
Noch Schale,
Alles ist sie mit einem Male;
Dich prüfe du nur allermeist,
Ob du Kern oder Schale seist!»

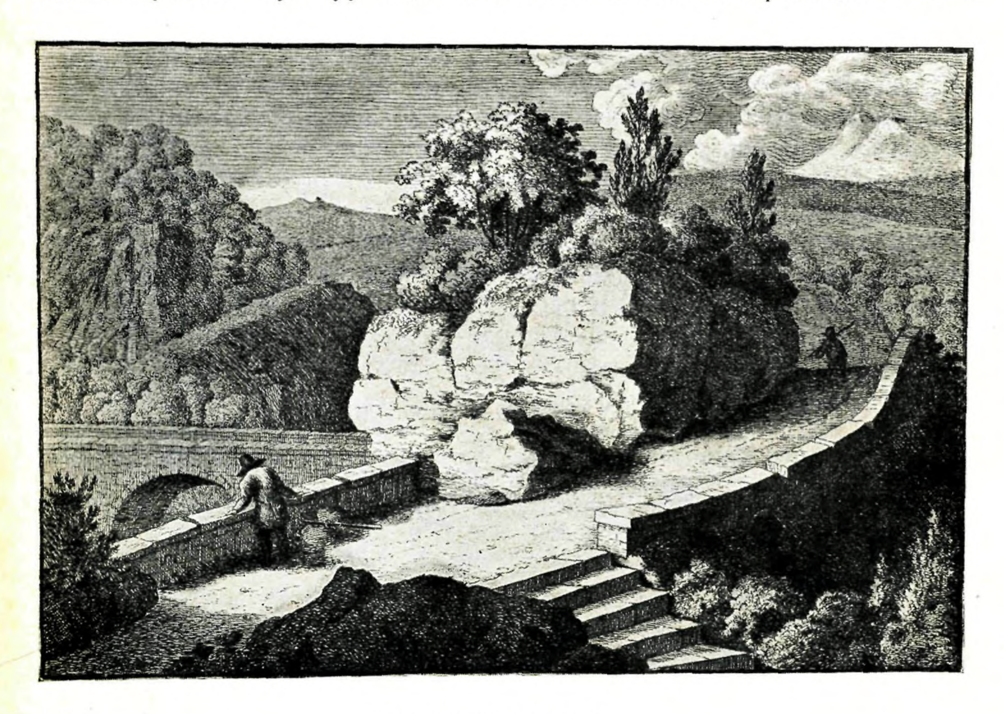
(«Внутрь природы»—о, филистер!—«не проникнуть сотворенному духу». Ко мне и моим собратьям лучше уж не обращайтесь с подобными речами! Мы полагаем: куда мы ни ступим—везде мы внутри.

«Счастлив тот, кому она раскрывает хоть наружную скорлупу». Это я слышу целых шестьдесят лет, отругиваюсь, но про себя повторяю тысячи и тысячи раз: все дает она щедро и охотно; у природы нет ни ядра, ни скорлупы, она—все сразу; лучше испытай-ка хорошенько: сам-то ты—ядро или скорлупа».

Слова в кавычках—из стихотворения физиолога и поэта Галлера).

Понятно, что такое философское настроение, вера в познание, вера в неограниченный человеческий разум—это наше. Как только буржуазия начинает приостанавливаться в своем развитии, загнивать, она от реалистического, творческого и бодрого мировоззрения отходит.

Мы не можем не быть аналитиками, не разбираться внимательно и критически в том, что оставили нам века прошлого, ибо они почти никогда не дают ничего, что в целостном виде было бы для нас приемлемо. Произведения прошлых культур заключают в себе вместе с сокровищами много



Гравированный рисунок Гете

Воспроизведен в прижизненном Гете издании „Radierte Blätter nach Handzeichnungen (Skizzen) von Goethe“, hsg. v. Schwerdgeburth. Weimar, 1821

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

всякого хлама, который мы должны отбросить и отделить. Вот это мы теперь делаем с Гете. И мы видим, что после этого от него остается не только лучшая часть, но и существенная часть—то, что было самым существенным в самом Гете.

Еще могут грюнчики и грюнишки называть Гете олимпийцем, приклеивать ко лбу Гете всякого рода реакционные ярлычки, но против них уже возвышается голос пролетариата, который строит новый мир и который устраивает свой страшный суд над эксплоататорским обществом и его культурой.

Да, социальная революция, которая, как сказал Маркс, продлится может быть десятки лет,—это страшный суд, и не только потому, что эта революция низвергает врагов народа в социальной борьбе, а потому, что она есть суд над живыми и мертвыми.

Перед судом пролетариата, строящего новую жизнь, проходят те, кто работал в прежние времена, те пророки нашего движения, которые стояли лицом к восходящему солнцу, озаряющему нас теперь.

Перед судом пролетариата проходят представители других классов, перешагнувшие через границы своего классового сознания, создавшие программы, которые не мог выполнить этот класс и выполнить которые суждено другому классу.

Как на великой фреске Микель-Анджело стоит могучая фигура пролетария, который низвергает то, что считалось великим,—здесь обломки царских корон, золото банкиров, фальшивые лавры и т. д., а с другой стороны возвышаются те, память о которых не сотрется веками.

К Гете этот пролетарский, политический, культурный и художественный суд обращается так: «Ты должен снять с себя свою раззолоченную саксен-веймарскую ливрею, твоя маска олимпийского спокойствия должна растаять, потому что мы знаем, что под ней кроется великий человек и великий страдалец. Оставь то, что тебе навязано убожеством твоего времени: ты сам знаешь, что от этого ты станешь только лучше, гораздо выше и гораздо светлее. Войди в вечность с теми, кто способствовал действительному подъему человеческого общества».

Вот смысл слов наших учителей: пролетариат есть верный наследник великих мыслителей и великих поэтов-классиков молодой Германии и среди них быть может величайшего—Иоганна-Вольфганга Гете.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Исправленная стенограмма доклада, прочитанного 22 марта 1932 г. в Доме союзов на вечере, посвященном столетию со дня смерти Гете.

2 Маркс и Энгельс, Сочинения. Изд. Института Маркса и Энгельса, т. V, стр. 6.

3 Там же, т. V, стр. 6—7.

4 Там же, т. V, стр. 142.

5 Там же, т. V, стр. 156.

6 Там же, т. II, стр. 345.

7 Там же, т. V, стр. 156.

Л. АВЕРБАХ

О ВЕЛИКОМ ГЕНИИ И УЗКОМ ФИЛИСТЕРЕ

В 1828 г. в «Московском Вестнике» было опубликовано письмо Гете веневитиновскому кружку: «Продолжайте с той же постепенностью, как прежде, передавать своим соотечественникам то, что имеет для них пользу ближайшую. Имея всегда в виду монарха и его мудрые благодетельные намерения, Вы на Вашем месте исполняйте Вам предстоящее. Что честному возможно, то и полезно, что простыми понято, то принесет плоды. Да будет вам всегда возбудительной наградой одобрение вашего сердца вместе с одобрением ваших начальников» [1].

Николаевские жандармы могли быть довольны таким откликом великого поэта на восстание декабристов! И это письмо не случайно для Гете. В нем многое от той «мудрости», к которой пришел Гете, побежденный историческим убожеством современной ему Германии и ее буржуазии.

Что же делать нам с Гете, нам, поставившим задачу выкорчевывания корней капитализма в человеческом сознании, нам, ударной бригаде мировой пролетарской революции? Чем больше думаешь над Гете, тем больше и больше вновь убеждаешься, какой подлый класс эта буржуазия!

Гете был гениальным художником периода ее исторического восхождения. Он велик как выразитель нового мировоззрения, противопоставляемого эпохе феодализма и культуре помещика и аристократа, как художник и мыслитель, вскрывающий ряд противоречий становящегося буржуазного индивидуализма, обнажающий исторические пределы «фаустовской» деятельности, невольно разоблачающий временность и преходящесть представительства буржуазией интересов всех, ранее угнетенных старым режимом.

Гете был создан немецкой действительностью. Но он стал одним из крупнейших мыслителей всего международного капиталистического общества. В истории буржуазной мысли он может быть поставлен рядом с Гегелем. Но как низко ему приходилось падать, отражая и выражая движение своего класса! Французская буржуазия пришла к власти через годы революций, через термидор, через эпоху наполеоновских войн. Немецкая буржуазия была куда слабее—она компромиссничала, соглашательствовала, выторговывала, она завоевывала историческую арену ползком на брюхе, юля, виляя, хныча и стеная.

Гете не был, как пишет Меринг, частью господствующего класса. Веймарский министр, усердный придворный, слуга ничтожного герцога крохотного государства Гете был историческим выразителем тактики той буржуазии, из среды которой он вышел, он был ее агентом и представителем, он стал жертвой ее политического бессилия, ее трусости, ее отсталости по сравнению с передовой практикой французской буржуазии.

Веневитиновскому кружку писал 80-летний старик. На его глазах развертывалась деятельность французских просветителей, он был главой немецкого Sturm und Drang'a, французскую революцию он встретил, вернувшись из Италии после десятилетней жизни в Веймаре и бегства из него, он следил за развертыванием классовой борьбы во Франции, он наблюдал за появлением Наполеона и пережил его смерть, он дождался новой французской революции 1830 г., он зрелым писателем встретил литературную деятельность Шиллера и Байрона, он похоронил их обоих, он был другом Гердера, он переписывался с Гегелем, он занимался Кантом, бывшим его современником, как и Фихте, Якоби, Шеллинг, он занимался многими областями естествознания, будучи энциклопедически-образованным человеком, свою работу о свете и цветах он ставил выше любого литературного произведения, и он действительно был выдающимся философом-натуралистом; ложный классицизм, сентиментализм, мировая скорбь, новый романтизм, Гейне,—и все это на протяжении его жизни!

В его произведениях можно найти много противоречий—не только свидетельств прямого развития, но и смены точек зрения, но и мирного сожительства в мире противоположных утверждений.

Цитатный подход к Гете не только недопустим—как вообще всегда и везде,—но и особенно наглядно абсурден.

Пусть разные фракции современной буржуазии причесывают Гете то под реакционера, то под дюжинного либерала, то под гуманистического космополита, то под нетерпимого националиста, то под идейного предшественника Лиги наций, то под монархического консерватора, то под идеалиста-интуитивиста, то под эмпирика-прагматиста, то под предвосхитителя учения Дарвина, то под злейшего врага теории развития,—одни мы не заинтересованы в том, чтобы превращать Гете в диалектика-материалиста. Ленинизм дает нам возможность понять и объяснить закономерность и существо гетевской жизни, гетевского творчества, гетевской деятельности. Выдергивание цитат из произведений или писем не может заменить целостной и продуманной оценки—цитата основа анализа или иллюстрация к нему, она подтверждает доказательство, но не устраняет его необходимости. Буржуазные газеты подходят к Гете *цитатно*. Мы можем отдать им много цитат, но со всем наследством Гете им не справиться—классики поднимавшейся буржуазии не по плечу *умирающей буржуазии*! Понять Гете—значит многое уяснить в природе буржуазии, значит бороться против нее!

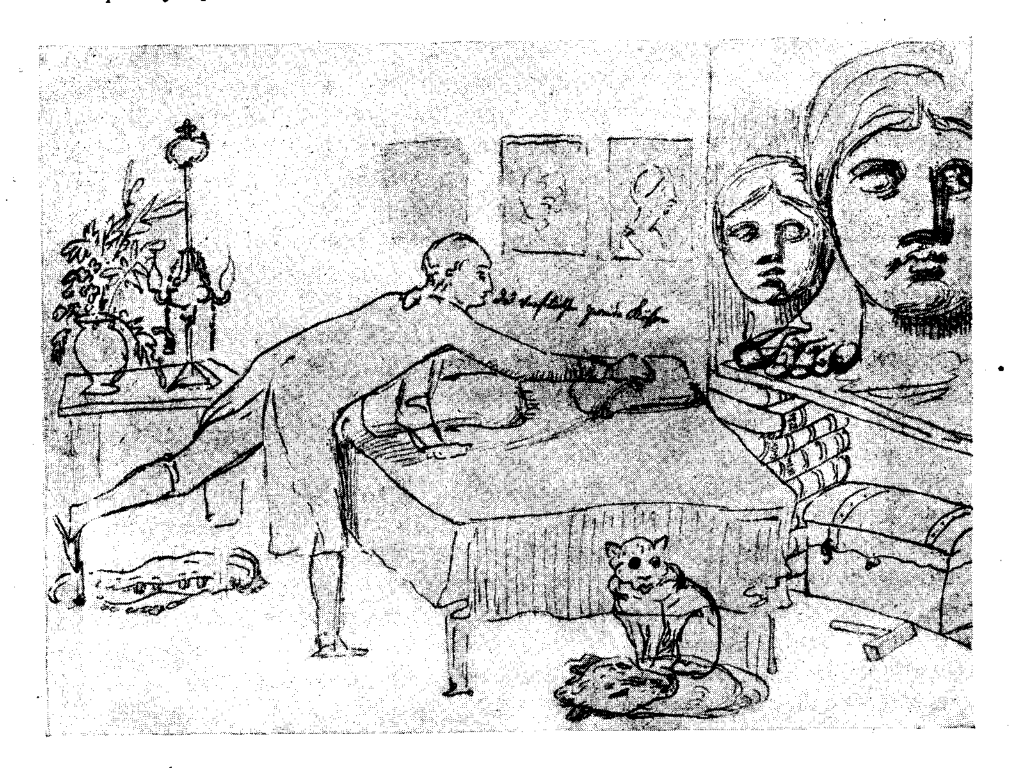
* * *

Замечательная характеристика Гете, данная Энгельсом в полемике с «истинным социалистом» г-ном Грюном [2], характеристика, из которой следует исходить, разбирая творчество Гете, обязывает нас к тому, чтобы проследить *развитие* противоречий Гете и дать классовую оценку противоречия между гениальным художником и жизненной средой, между шедшим на сделки с аристократией буржуазным поэтом и социальной практикой его класса.

Гете резко выступал против французской революции. Яркие свидетельства тому мы находим не только в его переписке и не только в его разговорах с Эккерманом, но и в его художественных произведениях. «Великий Кофта», «Генерал-гражданин», «Возмущенные», «Беседы немецких эмигрантов», незаконченная трагедия «Девушка из Оберкирха»—это мелкие, кле-

ветнические, злобные и художественно неудачные и неубедительные памфлеты Гете против великой буржуазной революции.

Было ли однако это борьбой с точки зрения феодального дворянства и во имя «старого режима»? Было ли это ренегатским разрывом с немецкой буржуазией? Или это была пропаганда «м и р н о г о» б у р ж у а з н о г о развития без крайностей парижских предместий, без якобинцев и террора, без насильственных переворотов, без скачков и катастроф? «Герман и Доротея»—поэма, написанная в 1797 г., в значительной мере дает ответ на этот вопрос. Это конечно противопоставление мира и порядка «хаосу» и «беспорядку» революции. Это конечно «показ положительного» в противо-



ГЕТЕ В СВОЕЙ КОМНАТЕ НА КОРСО
Рисунок пером В. Тишбейна (Рим, 1787 г.).
Goethe-Nationalmuseum, Веймар

вес ужасному отрицательному примеру Франции. Это конечно исключительно мещанская и филистерская идеализация, но кого—дворян, помещиков, аристократов, знати старого режима? Нет, это восторженное воспевание мелкого бюргера, сельского зажиточного труженика, нравов и поведения примерного буржуа.

Отрицательное отношение к французской революции было присуще почти всей немецкой буржуазии. Гердер и Форстер были и с к л ю ч е н и я м и. Взгляды Гете были л и н и е й его класса, предпочитавшего холопство перед бесчисленными мелкими герцогами и князьями следованию примеру Франции. Разве буржуазная жиронда не предпочитала блока с эмиграцией союзу с ремесленниками и мастеровщиной—предпролетариатом предместий? Разве не была буржуазия напугана теми силами, которые развязывала ее борьба против старого режима? Уж лучше ползком на брюхе, чем нож гильотины!

В отношении Гете к французской революции тоже можно обнаружить известную двойственность, и эта двойственность не его личная собственность: это двойственность немецкой буржуазии, стремившейся к буржуазному национальному единству, но не имеющей сил на революцию и боящейся «плебейской» борьбы.

И однако эта двойственность, вытекавшая из особенностей развития и положения буржуазии,—классическая черта поведения буржуазии во всяком национально-революционном движении, поднимающем к жизни трудящиеся низы.

Правда, Гете во многом шел на слишком большие сделки с феодализмом даже с точки зрения современной ему буржуазии. Но в то же время Гете нередко и во многом опережал ее [3]. Да, Гете был в стороне от чистки Наполеоном «авгиевых конюшен Германии» (Энгельс). Но именно Гете отдавал себе отчет в историческом смысле наполеоновских войн, сокративших число немецких государств с 300 до 38 и приведших к отмене личной зависимости крестьян в ряде частей Германии. И не случайно Гете упрекали за отсутствие у него ненависти во время так называемых освободительных войн против французов. У Гете не было пафоса борьбы против Наполеона, он не верил способности немецкой буржуазии объединить Германию и возглавить ее национальное развитие.

Может быть, впрочем, в отношении Гете к Наполеону сказывалось и восхищение замирителем, успокоителем, сильной властью наряду со страхом перед новыми потрясениями, новыми резкими изменениями в соотношении сил, новыми общественными сдвигами исторического масштаба и размаха.

Ведь к этому периоду Гете сильно постарел—вспомним, что он говорил Эккерману: «Много толкуют об аристократии и демократии, а вещь очень простая: в юности, когда у нас ничего нет или когда мы не умеем ценить спокойного обладания, мы—демократы, но если за долгую жизнь мы скопили себе собственность, то уже желаем, чтобы она была обеспечена не только нам, но чтобы и наши дети и внуки спокойно пользовались наследством. Вот почему к старости мы все становимся аристократами, хотя бы в юности держались иных мнений» [4].

* * *

Что восхищает Гете в «Вильгельме Мейстере»? «Домашний быт, основанный на благочестии, оживляемый и поддерживаемый старанием и порядком, — ни слишком узко, ни слишком широко, в самом благоприятном отношении способностям и силам... Здесь вижу перед собой ограниченность желаний и работу для будущего, осмотрительность и сдержанность, невинность и деятельность».

Это не похоже на неприятие убожества окружающей жизни? Да, это свидетельство и мера ее победы. Это итог пути, на котором Гете от «Прометея» переходил к «Пандоре», от «Геца фон Берлихингена»—к «Эгмонту», от «Вертера»—к «Избирательному сродству», от «Прафауста»—к концу второй части последнего варианта «Фауста».

Но как же эта проповедь благочестия, не слишком узкого и не слишком широкого, осмотрительности и сдержанности, как эта проповедь филистерской ограниченности и мещанского самодовольства, как эта апологетика

постепенности и борьба за срединность вяжутся с обычным представлением о бунтующем Вертере и вечно мятежной фаустовской душе?

Но подлинно ли так противоположны восстание «Прометея» против богов и космический характер протеста Вертера против действительности, с одной стороны, и проповедь отречения в «Вильгельме Мейстере», сдержанности и ограниченности в «Торквато Тассо»—

Кто хочет великого, должен уметь держать себя.
Мастер показывает себя только в ограничении.
Только закон может дать нам свободу—

дела и практической работы в «Фаусте», с другой стороны?

«Страдания юного Вертера» были произведением едва ли не наиболее нашумевшим во всей истории мировой литературы. Наполеон брал «Вертера» с собой в Египетский поход, перечитывал его семь раз и в разговоре с Гете выступал в роли конкретного критика.

«Оставаться непонятым—таков удел подобных нам людей!»—восклицает Вертер. Но успех Вертера был так велик именно потому, что он был понятен бунтующему бюргеру, что это была борьба за «живого человека» нарождающегося буржуазного общества. В форме восхищения перед природой и культа сердца и чувствительности читателю был ясен протест против социальной действительности; в «Вертере» идеализировалось «нутро» героя, нового для литературы и противоположного ее старым образцам.

Право на крайний индивидуализм—так воспринималась основная линия «Вертера в полном согласии со всем духом эпохи Sturm und Drang'а, искавшей большого человека самостоятельного поведения и сильной воли.

Слабость буржуазии немецкой по сравнению с французской, ее отсталость, узость ее кругозора определили то, что в «Вертере» приглушен голос социальной критики и протеста, что в «Вертере» нет вольтеровской остроты и язвительности, что в «Вертере» сила удара направляется не на тот строй, который мешает формированию буржуазного индивидуализма, а на мир вообще, на человечество в целом, на мироздание, как таковое. Недаром Лессинг протестовал против конца Вертера, против его самоубийства. Тон его критики был ясен: на что ты будешь годен в серьезной борьбе, ежели ты стреляешься из-за неудачной любви? Конечно дело не обстоит так просто, что, дескать, полюби Лотта Вертера или успокойся он с другой,—и не было бы мировой скорби, но как раз то и характерно, что такова сюжетная ось «Вертера» и здесь центр действия.

Чем отвлеченнее бунт, чем абстрактнее были стремления, чем неопределеннее—хотя бы и очень величественно—было восстание, чем более планетарный характер носило неприятие окружающего, тем более естественно готовился компромисс там, где дело дойдет до практики, тем более следовало ожидать быстрой потери красивого оперения после первых же столкновений с буднями жизни, тем закономернее проповедью большого и терпящего крах индивидуализма готовилось разочарование в больших задачах, в больших целях, в большом деле класса.

Уже в «Вертере» мы читаем размышления героя: «В жизни очень редко вопросы решаются посредством «или—или». Чувства и способы действий имеют столько же разнообразных оттенков, сколько есть промежуточных ступеней между носом ястребиным и шишковатым. Ты на меня поэтому не

обидишься, если я соглашусь со всей твоей аргументацией и все же постараюсь проскользнуть между «или — или». И не ясно ли, что, останься Вертер жив, и он, в полном согласии с позднейшими рассуждениями Гете, из демократа превратится в аристократа, т. е. из бунтующего сверхиндивидуалиста—в филистера, примиренного с миром гарантированным куском хлеба с маслом и домиком на околице в сторонке от исторической дороги [5]. И как раз в характере Вертера заложено развитие от волновавших молодого Гете образов Моисея или Магомета к образу Вильгельма Мейстера, находящего счастье в хирургии, символизирующей честную, маленькую, простую, ограниченную и специализированную общеполезную деятельность.

* * *

В опубликованном накануне гетевских дней обращении, подписанном Гинденбургом, Брюнингом, Гренером, Гримме [6], Г. Гауптманом, Томасом Манном и другим высшим командным составом буржуазной Германии, мы читаем: «Гете нес в себе все противоположности человеческой природы и пришел от страстной двойственности своего внутреннего существа к освобождающему созвучию».

Все противоположности человеческой природы! Нет, Гете как раз потому и велик, что он действительно оказался в состоянии вскрыть не все противоречия человеческой природы, будто бы вечной и неизменной, но многие противоречия рождающегося буржуазного индивидуалиста капиталистически развивающейся Германии, многие противоречия определенного социального типа, многие противоречия, которые тогда еще были только в зародыше, многие и мнимые, и действительные, и разрешимые, и не разрешимые ими противоречия, которые надо знать нам, приступившим к выкорчевыванию корней капитализма в человеческом сознании.

«Освобождающее созвучие»—это представление о Гете сегодняшних представителей того немецкого убожества, которое в свое время победило Гете. Конечно его «олимпийство», его «классицизм», его маска холодного спокойствия вовсе не были, как кажется некоторым, выражением гетевского превосходства над действительностью, ее преодоления, снятия ее противоречий на высотах мышления. Это была наиболее самозащитная форма приятия и признания окружающего. Но программа Шиллера—путь к свободе через красоту,

Заключись в святом уединении
В мире сердца, чуждом суеты.
Красота цветет лишь в помышлении,
А свобода—в области мечты—

не разрешала гетевской дилеммы, указанной Энгельсом.

Гете действительно тянулся к практической деятельности, он обладал величайшей радостью полного восприятия жизни (см. например «Римские элегии»), он стремился к цельной человеческой натуре, он цеплялся за нее для того, чтобы укреплять свой внутренний, ему присущий оптимизм.

«Вначале было дело» исправляет Фауст христианское «вначале было слово». В практике, в человеческой созидательной деятельности, в большом деле находит Фауст выход своей ищущей натуре.

Фауст давно стал именем нарицательным. Фаустовский человек, фаустовская техника, фаустовская душа, фаустовская культура...

Автограф письма Гете к супругам Гердер от 21 сентября 1781 г.
Публичная Библиотека, Ленинград

«Фауст—это портрет целой культуры», пишет Шпенглер. Даже главный теоретик немецкого фашизма Розенберг заявляет: «Гете изобразил в Фаусте наше существо, то вечное, что живет в нашей душе, во всяком ее оформлении» («Der Mythus des 20 Jahrhunderts»). С этим согласится и Гауптман, и Гундольф, и Риккерт, и Зиммель, и Людвиг, и любой либеральный публицист. Они будут спорить о содержании этого понятия, но «фаустовский человек» для всех них—символ внутреннего существа человека «нового времени».

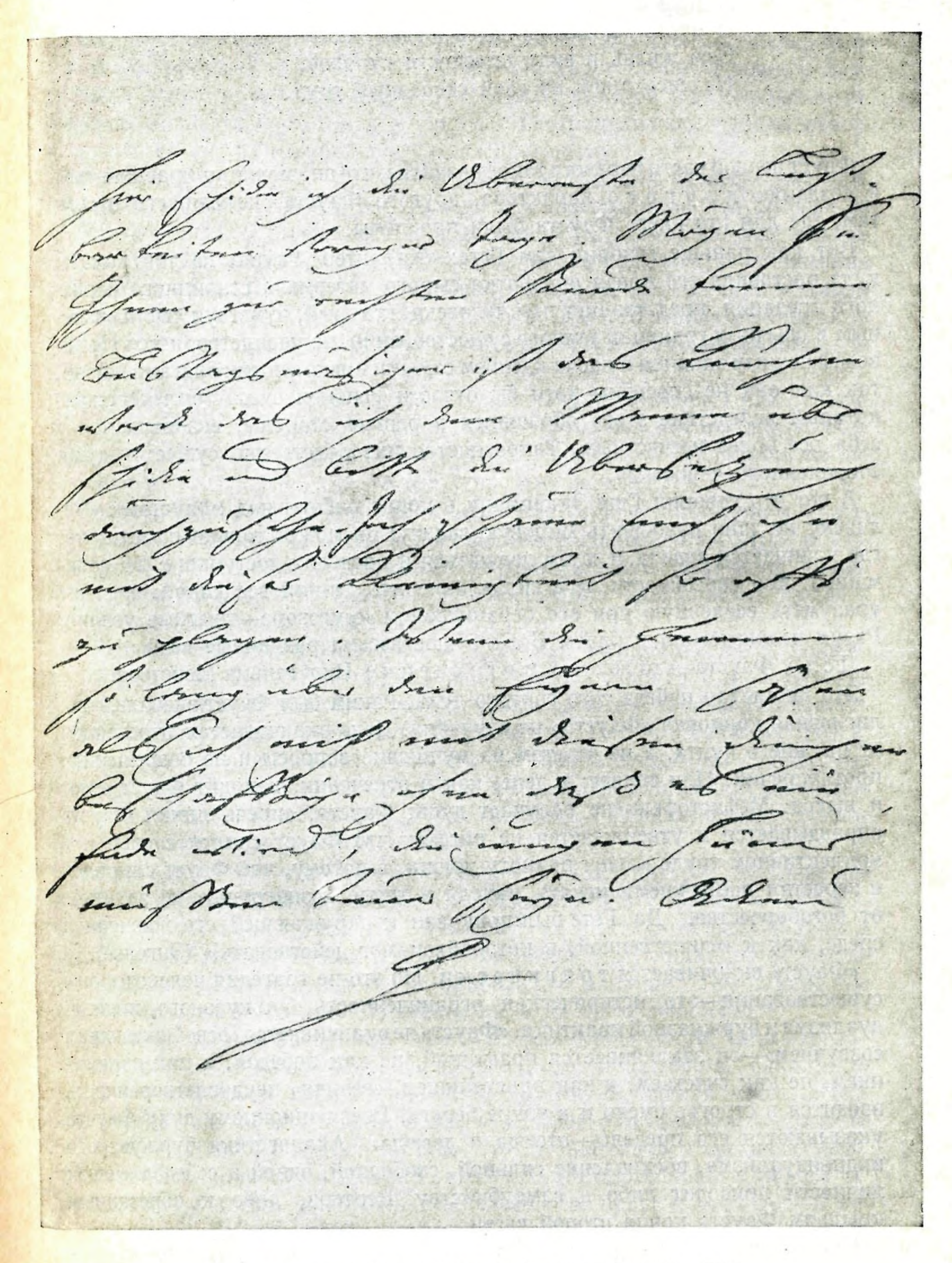
Фаустовский человек—это буржуазный индивидуалист, это Вертер, взятый в аспекте «вечных» проблем и общественной деятельности. Проблема Фауста—проблема философии его жизни. Гете выступает здесь не в качестве просто блестящего жизнеописателя, мастера реалистического искусства, не в качестве риторического борца средствами шиллерствующей бытовщины, не с оружием рифмованной декларации. Гете выступает в «Фаусте» в качестве величайшего поэта-мыслителя, художника-философа, мастера обобщения и глубокого проникновения. Личность, свободная личность, судьба личности, ее назначение, ее возможности, ее место в мире—вот тема «Фауста». Так занимается Гете буржуазной личностью, смело, остро, мужественно создавая историческую символику, сохраняющую действенность на многие десятилетия и величайшую познавательную ценность на века.

А. В. Луначарский очень правильно замечает, что «неудовлетворенность Фауста есть не что иное как жажда все растущей полноты жизни».

Я
Чрез мир промчался быстро, несдержимо,
Все наслажденья на лету ловя.
Чем недоволен был—пускал я мимо.
Что ускользало—то я не держал.
Я лишь желал, желанья совершал
И вновь желал. И так я пробежал
Всю жизнь,—сперва неукротимо, шумно,
Теперь живу обдуманно, разумно.
Достаточно познал я этот свет,
А в мир другой для нас дороги нет.
Слепец, кто гордо носится с мечтами,
Кто ищет равных нам за облаками!
Стань твердо здесь и вкруг следи за всем:
Для мудрого и этот мир не нем.
Что пользы в вечность воспарять мечтою!
Что знаем мы, то можно взять рукою.
И так мудрец весь век свой проведет.
Грозитесь, духи! Он себе пойдет,
Пойдет вперед средь счастья и мученья,
Не проводя в довольстве ни мгновенья.

Фауст отказывается искать ответ на прежде мучившие его вопросы и сомнения. Он мечтает стать просто человеком—от богоборчества «Прафауста» не остается и следа. В чем же нашел успокоение Фауст?

До гор болото воздух заражает,
Стоит, весь труд испортить угрожая;
Прочь отвести гнилой воды застой—



Автограф письма Гете к Каролине Гердер от 3 декабря 1784 г.
Публичная Библиотека, Ленинград

Вот высший и последний подвиг мой.
Я целый край создам обширный, новый,
И пусть миллионы здесь людей живут
Всю жизнь в виду опасности суровой,
Надеясь лишь на свой свободный труд.
. . . .

Фауст первой части пережил такое развитие, что оно может приравниваться к созданию другого характера, другого Фауста, находящего ответы там, где для прежнего Фауста были проблемы.

Вот как раньше говорил сам Гете: «Характер Фауста на той высоте, куда поставила его новая обработка сырого материала старинного народного предания, представляет нам человека, который, чувствуя себя связанным в обычных границах земного существования, не удовлетворяется самым возвышенным знанием и наслаждением самыми прекрасными благами жизни, так как они не способны хотя бы отчасти успокоить его томление: дух, который вследствие этого обращался в разные стороны, возвращается в себя все более несчастным. Такое настроение родственно существу души современного человека».

А вот что говорил Гете Эккерману в конце работы над «Фаустом»: «Человеку не дано разрешить мировую задачу; он может только изыскивать, где начинается задача, и затем держаться в пределах доступного его пониманию. Его способности не в силах измерить деяний вселенной: желание уразуметь вселенную при его ограниченном кругозоре—тщетные усилия. Разум человеческий и разум Божий—две весьма различные вещи» [7].

Дело Фауста— то же, что иотречение Вильгельма Мейстера.

Это не смелая победа того гордого духа, каким был Фауст вначале,—религиозная концовка «Фауста» не случайна. Дело оканчивается отречением от прежнего бунта, а не ответом на мучившие вопросы и не разрешением противоречий. Или точнее: в деле, как в отречении, находит Фауст ответ и выход. Мефистофель не получает души Фауста, сиречь линия Фауста оправдывается и утверждается не потому, что Фауст слился с «мы» и в коллективном труде нашел полноту жизни, а потому, что Фауст смирился и перестал попрежнему искать, находя в труде вознаграждение за отказ от богоборчества. Да, Гете был прикован к окружающей его жизненной среде, как к «единственной, в которой он мог действовать!» (Энгельс).

«Фауст» оканчивается трагически. Но это не трагедия человеческого существования—это историческая ограниченность буржуазного индивидуализма и буржуазной практики. «Фауст» не оканчивается «освобождающим созвучием»—он заканчивается практикой, не как победой, а как поражением, не как счастьем, а как пристанищем, «вечная» неудовлетворенность вводится в строгое русло и в узкие берега. Революционному духу Фауста указываются его пределы—отсюда и досюда. Апологетика буржуазного индивидуализма, восхваление сильной, свободной, одной и себедовлеющей личности приводит либо к самоубийству Вертера, либо к обрезанным крыльям Фауста конца второй части.

Продолжите Фауста дальше, дайте ему жизнь теперь—и образ Фауста сольется с образом Мефистофеля, и скептицизм, издевка, цинизм—подешевле, чем у гетевского Мефистофеля!—станут непременной частью внутреннего существа Фауста, и Фауст выродится в Клима Самгина или в лучшем случае в Ивара Крейгера.

«Фаустовский человек» был величайшим шагом вперед в развитии человечества по сравнению с людским типом феодальной эпохи.

«Фаустовский человек» оказался способным бешено двинуть вперед дело покорения природы и развития техники. Но фаустовский человек и фаустовская эпоха не могли привести к созданию великой и целостной человеческой личности, о которой мечтал Гете, признавая однако невозможность ее существования в «фаустовскую эпоху».

«Справедливо говорят, что совокупное развитие всех человеческих способностей желательно и что в нем-то и есть совершенство. Но человек не рожден для такого совершенства, и всякий, собственно, должен образовывать себя как особое существо, стараясь притом достигнуть понимания того, что такое мы вместе» [8],—рассуждает Гете, и он декларирует в «Вильгельме Мейстере»: «Да, теперь наступило время для односторонности, и благо будет тому, кто это понимает и кто действует в этом направлении для себя и для других».

Гундольф законно констатирует, что «Фауст кончает, как специалист, подобно Вильгельму Мейстеру, а ведь Фауст был дан вначале всеобъемлющим, подобно его братьям Магомету и Прометею». Гундольф и не догадывается, какой это удар по «фаустовскому человеку»!

Проблема односторонности имеет непосредственное отношение к трагедии Фауста. Разделение труда и рост индивидуальности находятся в противоречии при системе буржуазного индивидуализма. Калечение личности, зажим миллионов талантов, придавливание большинства людей—такова практика фаустовской культуры.

В недавно вышедшей уже третьим изданием интереснейшей и показательнейшей для буржуазного духовного кризиса книжке Карла Ясперса мы читаем: «Мерой человека теперь стала средняя производительность труда, поэтому индивидуальность безразлична. Нет незаменимых людей. Мир попал в руки посредственности, во власть людей без судьбы, без достоинства, без человечности; работа не связана с индивидуальностью человека... Рабочий становится частью машины... В наше время большие люди уступают место деловым людям» [9].

Где же выход? Вот ответ Гитлера: «Мировоззрение, которое, отказавшись от демократической массы, стремится предоставить эту землю в распоряжение лучшего народа, т. е. людей высшего порядка, логически должно и внутри этого народа подчиниться аристократическому принципу и обеспечить лучшим умам руководство и наибольшее влияние. Тем самым оно будет опираться не на идею большинства, а на идею личности» [10].

Здесь есть логика: избранный народ—избранные личности, один народ—высшая порода, другие—быдло, которым надо командовать, одни люди в том же избранном народе—личности, другие—безличная масса. Здесь есть логика—это логика капитализма, озверевшего от предчувствия своего конца, это логика начала варварства, это логика ската к средневековью, это логика исторического кризиса, выход из которого либо в гибели человеческой культуры, либо—что неизбежно, что будет и что идет—в победе мировой пролетарской революции.

Ответ Гитлера—по сути наиболее нагло откровенный ответ со стороны всякого, кто не восстает против основ буржуазного порядка. Ответу Гитлера противостоит отнюдь не болтовня маскирующихся либеральной фразой. Ответу Гитлера противостоят теория и практика ленинизма, и только ленинизма.

Строй, рождающий буржуазный индивидуализм, изжил себя. Наш коллективизм—условие и предпосылка роста личности. «Преодолевая пережитки капитализма в экономике и сознании людей» (XVII партконференция), мы хороним буржуазный индивидуализм и тем неслыханно расчищаем пути роста человеческой индивидуальности. Коммунистический труд преодолевает односторонность капиталистической специализации. Коммунизм устраняет противоположность умственного и физического труда. Социалистическая техника преодолевает ограниченность техники буржуазной [11], предполагая и уже осуществляя иную роль и иного рабочего в производственном процессе. Наш новый человек растет и крепнет в процессе изменения мира. Нет таких вопросов, от разрешения которых он отказывался бы. Его революционная мысль и практика разрешает не только все волновавшие фаустовского человека вопросы, но и ставит новые куда более сложные, глубокие, специальные, всеобъемлющие.

Кризис буржуазной мысли находит свое ярчайшее выражение в пропаганде борьбы против техники, борьбы, ведущейся уже не только словом, но и делом.

Гете, который не дожил даже до первой железной дороги в Германии, двойственно относился к технике. Он знал неизбежность ее развития, но он боялся ее. Он писал в одном из писем к Цельтеру: «Быстрота и обогащение—вот чем восхищается свет, вот к чему все стремятся: железные дороги, спешная почта, пароходы, всевозможные удобства сообщения—вот в чем образованный мир старается превзойти, перещеголять самого себя, благодаря этому он не в состоянии возвыситься над посредственностью... В сущности это самое подходящее время для способных голов, для сметливых практических людей, которые, обладая известным проворством, чувствуют свое превосходство перед массой, хотя сами и лишены высших дарований» [12].

Не ясно ли, что в «Фаусте» Гете показывал не только противоречия между феодальными устоями и новым человеком буржуазного общества? Не ясно ли, что гениальность Гете проявлялась в том, что он дорастал до понимания противоречий самого типа буржуазного индивидуализма и его исторической практики? Не ясно ли, что заключительные слова фаустовского монолога—

Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой—

уже давно не являются нормой поведения современного «фаустовского человека»?

Посредственность и буржуазный индивидуализм связаны так же, как расцвет личности и социалистическое товарищество в борьбе. Фаустовская неудовлетворенность окружающим и стремление к большому делу, к изменению действительности и ее переделке отражали подъем буржуазии, ее молодость, ее свежие силы. С этими фаустовскими чертами нечего делать современной буржуазии. Эти фаустовские черты—в том гетевском наследстве, которое принадлежит только нам—мировому пролетариату в стране победившего социализма, партии, руководимой Сталиным. У нас нет противопоставления неких метафизических вечных вопросов и недостижимых целей

как предпосылки фаустовского томления духа. У нас есть величайшее удовлетворение нашей сегодняшней практикой, удовлетворение, рождающее все большую страсть дальнейшей борьбы, удовлетворение, стимулирующее революционную активность. У «фаустовского человека»—или космическое недовольство или мещанское самодовольство. У нас величайшим единством теории и практики воспитывается тип «практического материалиста»

ВСТРЕЧА ГЕТЕ И БЕТХОВЕНА С АВСТРИЙСКИМ ГЕРЦОГОМ НА ПРОГУЛКЕ В ТЕПЛИЦЕ (ЛЕТОМ 1811 г.).
Рисунок Карла Релинга

(Маркс)—не в смысле филистерского практицизма, но целостного, крепкого духом, пропитанного историческим оптимизмом в борьбе и для борьбы развивающего все стороны своего существа социалистического человека.

В неудовлетворенности Фауста есть и нежелание примириться с относительностью достижений. Но самое такое противопоставление относительных достижений и абсолютных стремлений относительно, исторически обусловлено и социально преходяще. «Для Богданова (как и для всех марксистов) признание относительности наших знаний **исключает** самомалейшее допущение абсолютной истины. Для Энгельса из относительных

истин складывается абсолютная истина. Богданов—релятивист. Энгельс—диалектик» (Ленин). Наше стремление вперед не нуждается в подстегивании тоской по недостижимому абсолютному!

Рассуждая по поводу «Фауста», т. Луначарский писал: «Великаны борются в одиночку,—быть может им так лучше, быть может одинокие великаны сильнее; крупные люди борются группами, перекликаясь друг с другом в веселой военной потехе, а люди маленькие борются партиями, армиями и в таком виде являются страшной силой. Чем меньше у человека личных сил и дарований, тем больше радости принесет ему чувство социальное, партийное, классовое. Толпа ничуть не ниже гения, когда и она борется за культуру, за полноту жизни, за просвещение» [13].

Трудно придумать более резкое изложение буржуазных пошлостей. Это, видите ли, маленькие люди борются партиями, социальное, партийное, классовое приносит оказывается человеку тем больше радости, чем меньше у него личных сил и дарований; «толпа»-то тоже «ничуть не ниже гения», когда она борется!

Значит, ежели ты «великий» или «крупный» человек—тебе не нужна партия? Значит, ежели у тебя много личных сил и дарований, тем меньше радости принесет тебе чувство социального и классового? Значит есть какие-то вообще личные силы и дарования и отдельно существующее социальное, партийное, классовое?

«Маленькие» люди становятся «большими», проходя через школу партии. Чем больше в человеке «чувства» пролетарского, «социального, партийного, классового»,—тем больше растут и реализуются его «личные силы и дарования». Строительство социализма уничтожило прежнюю «толпу»—у нас масса, состоящая не из безличностей и не нивелирующая человеческие характеры, у нас коллектив, ликвидирующий капиталистическую посредственность и воспитывающий такого человека, средний уровень которого будет превосходить прежних гениев царства индивидуалистической конкуренции, ячества и личничества.

* * *

Принято говорить о бегстве Гете в мир искусства. И сам он неоднократно говорил, что «как только в политическом мире появлялось что-либо чудовищное и угрожающее, так я упрямо уходил в самое отдаленное» [14]. Чем же было это «бегство»—отказом от участия в практике своего класса или формами поисков целесообразного служения ему? Уход в отдаленное был простым дезертирством или своеобразным обслуживанием тех же исторических задач, которые разрешались в политическом мире?

«Сравнение немецкого народа с другими народами возбуждает в нас неприятное чувство, которое я всячески стараюсь преодолеть, и вот в науке и в искусстве я нашел те крылья, при помощи которых можно подняться над этим. Наука и искусство принадлежат миру, и перед ними исчезают грани национальности, но утешение, которое они даруют,—все же плохое утешение, и не возмещает гордое сознание принадлежности к великому, сильному, уважаемому и возбуждающему страх народу», заявил Гете Лудену после битвы при Лейпциге. Цель же, по мнению Гете, состоит в том, чтобы немецкий народ «не испугался бы, не стал бы малодушным, но остался бы способным на всякое большое дело, когда наступит день славы» [15].

Гете прекрасно понимал исторические задачи немецкой буржуазии, но он видел ее слабости, пессимистически оценивал ее силы и курсу на рево-

люционное свержение феодализма противопоставлял курс на его буржуазное перерождение и завоевание изнутри. Он реалистически-справедливо оценивал свое положение—да, наука и искусство плохое утешение, но разве лучшее утешение в ограничении деятельностью веймарского министра? До пути французской революции он, как и его класс, не дорос—отсюда уход на такой путь, где, казалось ему, есть возможность готовить немецкий народ к способности на большое дело, «когда наступит день славы».

Железные дороги—вот что ведет к единству Германии, в конце своей жизни заметил Гете. Но он знал, что своей литературной деятельностью он служил осуществлению той же цели.

Творчество Гете было подготовкой буржуазно-национального единства Германии и борьбой за него. Трудно переоценить его роль в этом деле. Напомним, что писал Фихте: «Только литература является единственной объединяющей связью науки. В духовном единстве своей литературы наш народ видит гарантию своего собственного духовного единства и вместе с тем залог своего национального возрождения». И эта роль Гете является издевкой над современной немецкой буржуазией. Как на заре своего развития она была труслива в борьбе за национальное освобождение, как в период своего подъема она вела такие «освободительные» войны против Наполеона, в которых меняла господство французов на плетку русского казака,—так и теперь, заканчивая свое историческое существование, она своим господством закрепляет национальный позор Германии, порабощенной Версалем и планом Юнга. Тот, кто задумается над исторической оценкой деятельности Гете, тот должен отдать себе отчет в том, что современной буржуазии никак не пристала роль наследника Гете. Она наследует его компромиссы и филистерство, она наследует его мелочность и падения—этим она руководствуется, этому она подражает, выше этого она не поднимается.

«Имя Гете означает для немецкого народа послание, возвещающее внутренний мир», пишут Гинденбург, Брюнинг и Гренер в своем обращении.

Они ратуют за «внутренний мир» как условие срыва борьбы за национальное освобождение Германии, которое может быть следствием только социального освобождения—на пути пролетарской революции под руководством коммунистической партии.

Они ратуют за «внутренний мир» как псевдоним их политики, их господства, их классового угнетения. Они чествуют Гете не для вскрытия его исторической миссии—борьбы за национально освобожденную Германию,—но для прикрытия их сегодняшней трусости, их сегодняшней слабости, их сегодняшнего ничтожества. Но наследники того, в чем Гете был велик, не ищут выхода в уходе от политики «в самое отдаленное»—они сильны, их дело побеждает, их победа обеспечена, они борются!

* * *

Гете, вдумчиво осмысливавшего свой творческий метод, чрезвычайно волновал вопрос о субъективизме и объективизме. В противовес мелкобуржуазному субъективизму Шиллера, его превращению личности в простой рупор «духа времени», его идеалистическому романтизму, Гете стремился к объективному реализму. Исходить из действительности, итти от индивидуального к общему, борясь против эмпирического подхода к индивидуальному, рассматривая индивидуальное не как случайное, но ища его «закона»,—так определялись Гете его задачи, при разрешении которых

ему удавалось вскрыть даже самодвижение самого предмета, поднимаясь иногда в «Фаусте» до диалектической трактовки ряда категорий. Однако Гете отнюдь конечно не был диалектиком-материалистом, его творческий метод для нас относительно менее ценен, чем например наследство великого идеалиста Гегеля для нашей философии.

Высота гетевского мировоззрения по отношению к уровню мировоззрения его класса и его эпохи определила его величайшие художественные достижения. Его творческая практика—величайшее свидетельство роли мировоззрения. Его богатство и глубина дают меру силы и полноты художественного осмысливания действительности, проникновения в нее, воздействия на ее развитие. Но и коренные пороки мировоззрения Гете дают ключ к объяснению непоследовательности его реализма, ограниченности познания им окружающего, тяги к романтизму в юности и аллегорической символики в старости—всех недостатков его метода.

Гете недолюбливал диалектики Гегеля. Развитию противоречий он противопоставлял жажду гармонии. Он стремился к целостному ощущению жизни, и ему казалось, что требующаяся для этого объективность ее восприятия может быть достигнута бесстрастием, беспартийностью, своеобразной надмирностью.

Гете говорил Фальку, что Мейер «так проникает предмет, до того не подвержен никакой смущающей страсти, никакому партийному духу, что всегда видит карты в той игре, которую с ним ведет природа» [16].

В заключении к «французской кампании» он писал: «Впрочем следует сказать, что во всех важных политических случаях в наилучшем положении находятся те наблюдатели, которые становятся на сторону той или иной партии: они хватаются с радостью за то, что им действительно выгодно, невыгодное они отрицают, игнорируют или даже истолковывают к своей выгоде. Но поэт, который по своей природе внепартиен и должен таковым оставаться, старается проникнуться состоянием обеих борющихся сторон».

Должен ли поэт стремиться познать всю действительность? Безусловно. Значит ли это, что условием такого познания является отказ от всякой «смущающей страсти» и «партийного духа»? Ни в малой мере!

Гете мечтал о таком полном восприятии мира, при котором охватывается все его богатство, все его стороны, все его многообразие, и не в деталях, а в целом. Поэтому он боролся против субъективизма, противопоставляя его тенденциозности свой объективизм как паспорт по природе внепартийного поэта. Но если даже художник не работает по методу иллюстрирования «образами» рассудочного положения, даже если он стремится не к тому, чтобы вымерить действительность своим субъективным аршином, а к тому, чтобы вскрыть логику развития самой действительности, то и тогда в его произведении обязательно заключена оценка действительности как принцип отбора материала и его анализа, как идея художественного целого. Познание определяется, движется практическим отношением к предмету—так и в области художественного познания. Означает ли такое практическое отношение, такая оценка утерю чувства и понимания целого, о чем волнуется Гете, дающий даже ряд интуитивистических характеристик творческой работе писателя? Да, так было и бывает у всякого художника буржуазии, у всякого художника теперь, кроме художника пролетарского.

Гете тенденциозен отнюдь не меньше, чем Шиллер. Его объективизм фиктивен. Пропагандируя объективизм, он тоже был то велик, то мелочен

и ничтожен, то его объективизм означал протест против буржуазной тенденциозности, отнимающей возможность того познания и восприятия мира, к которому стремился Гете, то его объективизм выражал бегство от противоречий действительности, сберегание своего личного покоя, отгораживание себя от суеты земной. Его объективизм никогда не был и не мог быть надпартийностью; в лучшем смысле он давал ему возможность в данное время стать выше данной буржуазной партии по такому-то вопросу. Пристрастию Шиллера он противопоставлял свое бесстрастие, но это была другая форма буржуазной тенденциозности. И сам Гете должен был отдавать себе в этом отчет. В письме к Цельтеру он писал однажды: «Ведь даже самая заурядная хроника привносит кое-что из духа той эпохи, когда она писалась. Разве XIV век не вложит в рассказ о появлении кометы больше предчувствий и ожиданий, чем XIX век? Да, в одном и том же городе, об одном и том же важном событии вечером иначе расскажут, чем утром».

И конечно Гете бывал партиен в своих оценках действительности в художественных произведениях. Он был тенденциозен, он приукрашивал—хотя бы и не так грубо и аляповато, как Шиллер,—одни стороны действительности, он замалчивал ее другие стороны, и часто эта тенденциозность была выражением исторически прогрессивной роли буржуазии. Но это *мучило* Гете; он начинал пессимистически оценивать будущее искусство, кое в чем перекликаясь здесь с Гегелем. Он угадывал связь между противоречиями его творческого метода и особенностями его классовой среды и ее мировоззрения. «Как вяла и слаба стала сама жизнь в эти два оголтелые столетия! Где теперь найдешь открытую оригинальную натуру? У кого хватит силы быть правдивым и казаться тем, что он есть? А все это действует на поэта: теперь он должен все отыскивать в самом себе, потому что ничего уже не найдет вокруг себя». И в других разговорах с Эккерманом: «В том-то и беда всех художников нового времени, что у них нет достойных сюжетов. От этого страдаем все, я не скрываю и своей принадлежности к новому времени, всякая поэзия будет все более исчезать».

И у Гете *были* все основания пессимистически оценивать будущее буржуазного искусства, буржуазной литературы, буржуазной поэзии в связи с победой буржуазии в жизни, в связи с ростом буржуазных характеров, в связи с культурной гегемонией буржуазии. Только пролетарская литература разрешает те противоречия, некоторые из которых смутно осознает Гете. *Это первая в мире нетенденциозная литература именно потому, что это—открыто партийная пролетарская литература.*

Эта литература снимает прежние споры о реализме и романтизме, ибо это глубоко почвенная и глубоко действенная литература, ибо она умеет видеть тенденции развития, ростки завтра в сегодняшнем дне, ибо она—хозяин фактов, а не раб их, ибо ей нечего прятать и ничего не надо умалчивать для того, чтобы взволнованно, приподнято и с величайшим пафосом показывать героическую практику пролетариата.

Между классовой практикой пролетариата и объективными законами общественного развития нет противоречия. Пролетариат—единственный класс, могущий познавать и познающий действительность, как она есть. Это единственный класс, чья субъективность есть историческая тенденция и объективный результат и закон человеческого развития. Это единственный класс, чья теория и практика есть путь к овладению объективной истиной.

Ленин говорил об объективизме классовой борьбы. Эта партийность отношения к миру не имеет ничего общего с принижающим и опошляющим всемирно-историческую деятельность рабочего класса «пролетарским тенденциозничеством» в форме ли литфронтовской лакировки и сусальщины, граничащей с «красной» халтурой, в форме ли эмпиризма на ходулях.

Наши художники счастливы тем, что они живут сегодня: новые характеры, новые отношения, новая жизнь—радостная, не вялая, энергичная, не слабая, а сильная.

Мы строим бесклассовое человеческое общество—мы, рабочий класс, в классовой борьбе, своею классовой борьбой, и выражением этой практики пролетариата и является то, что наши художники могут брать, создавать, отражать, переделывать всю действительность, не нуждаясь ни в субъективизме Шиллера, ни в объективизме Гете, ни в пристрастии и ни в бесстрастии, а в партийной страсти борьбы за коммунизм.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо это, написанное в ответ на появившийся в «Московском Вестнике» перевод Шевырева «Елены», отрывка из «Фауста», было адресовано некоему Борхардту, жившему в Петербурге. Борхардт передал письмо Погодину для опубликования в «Московском Вестнике».

[2] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. V., стр. 142. См. также выше статью Луначарского, стр. 9—10.

[3] См. «Французскую кампанию» Гете. После битвы при Вальми он сказал: «Отсюда и сегодня начинается новая эпоха мировой истории, и вы можете сказать, что присутствовали при ее начале».

[4] «Разговоры Гете, собранные Эккерманом». Изд. Суворина, 1891 , ч. II, стр. 12.

[5] Интересно отметить, что в печатном тексте «Геца фон Берлихингена» Гете выбросил указание первоначального варианта на угнетение и эксплоатацию крестьян.

[6] Социал-фашист, в момент подписания воззвания—министр просвещения в Пруссии.

[7] «Разговоры Гете, собранные Эккерманом», ч. I, стр. 215.

[8] «Разговоры Гете, собранные Эккерманом», ч. I, стр. 164.

[9] K. Jaspers, Die geistige Situation der Zeit, 1932, S. 32, 63.

[10] A. Hitler, Mein Kampf, 1932, S. 493.

[11] В «Конце капитализма» Фрида мы читаем: «Механическая индустриальная революция, техническое развитие и вооружение хозяйства уже закончены. Нет основания ожидать новых, основополагающих изобретений». «Das Ende des Kapitalismus», S. 21.

[12] Goethe, Briefe, Bd. VIII, S. 123—124.

[13] А. В. Луначарский, Доктор Фауст. Вступительная статья к «Фаусту» Гете в переводе Валерия Брюсова. ГИЗ, М.—Л., 1928, стр. 33.

[14] «Анналы» Гете за *1813* г.

[15] «Goethes Gespräche». Insel-Verlag. 1931, S. 304—305.

[16] «Разговоры Гете, собранные Эккерманом», ч. I, стр. 167.

С. ДИНАМОВ

ЮБИЛЕЙ ГЕТЕ И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ЗАПАД

> У известных умов не следует отнимать их идиотизма
>
> Гете.

I

Всеобщий кризис капитализма с особой силой потрясает строй тех капиталистических стран, которые вышли побежденными из мировой войны. Германский капитализм, подписавший невыносимые условия Версальского договора, принявший планы Дауэса и Юнга, ныне уже не может выполнить принятых на себя обязательств. Всеобщий кризис капитализма раздробил основание плана Юнга. Рабочий класс Германии под руководством коммунистической партии самоотверженно борется против воплощения современного империализма—версальской системы, борется против «своей» буржуазии, ищет революционного выхода из кризиса. Юбилей Гете в этих условиях не мог не стать ареной классовой борьбы. Различные классы и партии стремились использовать юбилей как орудие классовой борьбы: для буржуазии великое наследство великого художника оказалось простым поводом к разнузданной пропаганде и агитации в защиту капиталистического порядка. Только рабочий класс, только коммунистическая партия, только передовые писатели-революционеры, как Ромен Роллан, подошли к Гете как к художнику, как к мыслителю, противостоя грязной, отвратительной торговле гениальным наследием Гете. Именно они подошли к нему без тенденциозности, стремясь вскрыть действительное содержание его произведений, подлинную сущность его творчества, настоящий смысл его творений.

Этот подлинно научный и подлинно объективный подход особенно резко выделяется на фоне той спекуляции памятью Гете, которую бешено развернули в Германии предприимчивые дельцы и ловкие коммерсанты.

Среди германской буржуазии перед юбилеем Гете наметились две тактики. Одна—устроить пышное празднество, показать величие Гете, чтобы скрыть карликовый уровень современной буржуазной культуры, представить Гете как национального гения и создать видимость полного единства интересов всех классов. Непосредственно с ней смыкалась другая линия, которая проскальзывала даже в прессе: обнаженно-циничное желание подзаработать на юбилее, привлечь иностранцев, пораспродать издания произведений Гете, оживить книжный рынок, наполнить пустующие гостиницы, усилить затухающие коммерческие обороты. Этому внешне противостояли те круги германской буржуазии, которые считали гораздо более выгодным экономически и политически отказаться от празднования

столетия со дня смерти Гете, тем самым превратить юбилей в демонстрацию протеста против версальской системы и поэтому опять-таки сплотить вокруг «национальных интересов» и повести за собой самые широкие слои германского народа. Последняя позиция была представлена журналом «Die literarische Welt».

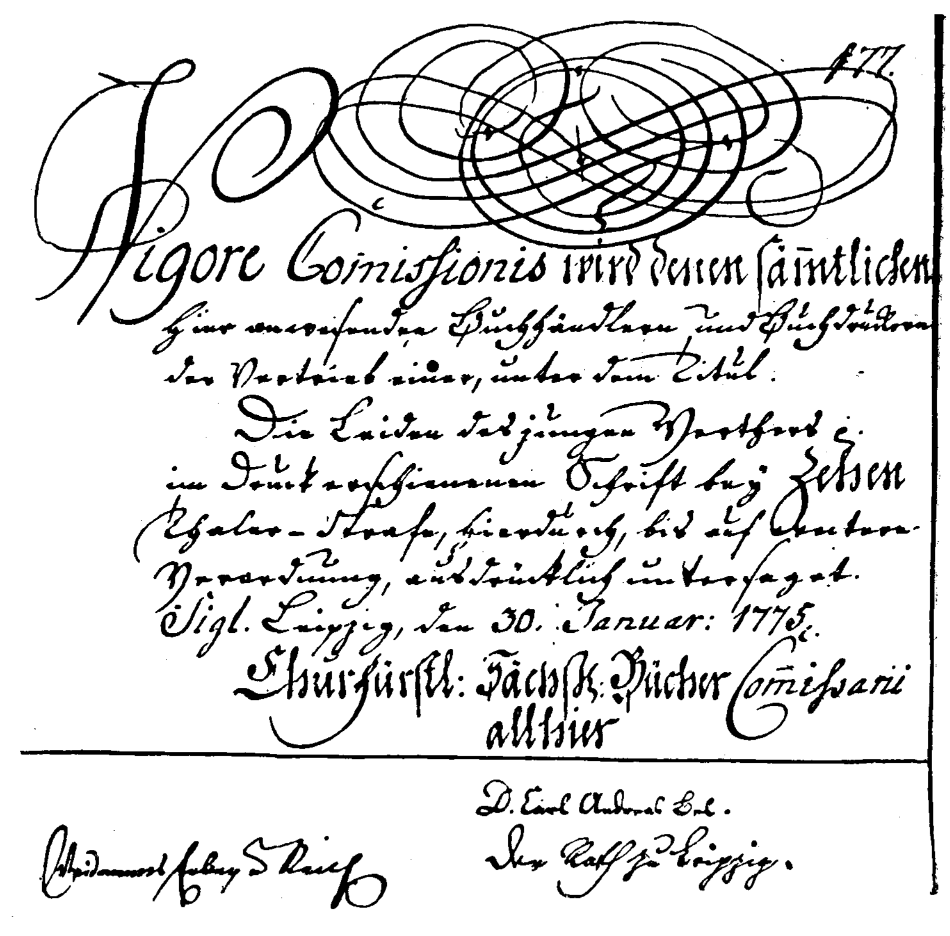
В 1931 г. в этом журнале была напечатана статья «Следует ли праздновать гетевский год?» [1] Редакция спрашивала: а почему нужно устраивать какой-то гетевский год, всенародное торжество годовщины; «неужели у нас нет других забот?» Германия больше не думает о наследстве Гете; он не чувствуется в сегодняшнем дне, не ведет за собой, поэтому «не будет настоящего торжества», утверждала редакция. «Зачем же создавать фикцию гетевского праздника как праздника всенародного?»

Нельзя не согласиться с редакцией, что действительно современной буржуазной Германии Гете не нужен. Газета «Berliner Börsenkurier» провела анкету на тему: «Читают ли и покупают ли в Германии произведения Гете?» [2]

Оказалось, что шума юбилейного много, а самого Гете не читают. Владелец одной из больших библиотек на вопрос о спросе на произведения Гете с негодованием ответил: «У меня современная библиотека!» Это значит, что Гете у него заменен детективными романами и уголовщиной. Провинциальные книгопродавцы также ответили, что больше одного-двух экземпляров полного собрания сочинений Гете в год не продают.

Но вернемся к передовой «Die literarische Welt». Редакция призывает к молчанию, к демонстрации путем отказа от празднования юбилея. «В нашей бедности и нужде,—пишет редакция,—мы можем обойтись без нескольких лишних книг, тем более, что научные исследования вряд ли еще могут дать что-нибудь новое о Гете». Редакция пишет, что в школах все меньше и меньше читают Гете, и не удивляется этому, ибо основные, с точки зрения редакции, идеи мировоззрения Гете (космополитизм, пантеизм, гуманизм, почитание античной древности) одна за другой вытеснялись из школы. Не нужно думать, что этот призыв к молчанию имеет пассивный характер. Нет, редакция призывает к воинственному молчанию, если можно так выразиться. «Нужно хотя один раз отбросить все компромиссы, в молчании встретились бы и враги, и друзья», читаем мы в передовой. Нужно успокоить нарастающий гнев широких масс, завязать их узлом внешнего единения, проявить внешние заботы об их благополучии, успокоить подачкой—вот смысл этого «заговора молчания». Отказ от празднования—попытка отпраздновать так, чтобы сгладить социальные противоречия. Отказ от празднования—попытка укрепить расшатанный ударами кризиса капиталистический режим, особая форма социальной демагогии. Именно поэтому призыв редакции не остался одиноким.

Крупнейший буржуазный писатель Якоб Вассерман поддержал предложение редакции. Празднование юбилея Гете—«это все равно, как если бы на чикагской бойне вдруг появился бы апостол зверей, чтобы со светлым вдохновением проповедывать бычачье евангелие» [3]. Зловещая аналогия! Даже Вассерману—этому реакционному художнику—буржуазная действительность кажется бойней. Якоб Вассерман против юбилея, ибо он—за безопасность. Он боится, что возвращение к Гете слишком обнажит буржуазную действительность. «Подобает только молчание. От какого-нибудь всенародного органа должно было бы выйти распоряжение,


1775.

Vigore Comissionis wird denen sämtlichen hier wohnenden Buchhändlern und Buchdruckern der Verkauf eines, unter dem Titel:

Die Leiden des jungen Werthers &c.

im Druck erschienenen Schrift bey Zehen Thaler-Strafe, hierdurch, bis auf anderweite Verordnung, ausdrücklich untersaget.

Sigl. Leipzig, den 30. Januar: 1775.

Churfürstl: Sächß: Bücher Comissarii allhier

D. Carl Andreas Bel.

Der Rath zu Leipzig.

Запрещение „Вертера“ немецкой цензурой

Факсимиле постановления Саксонской Книжной Комиссии от 30 января 1775 г. о „безусловном“ воспрещении „всем здесь проживающим книгопродавцам и книгопечатникам продажи вышедшей в печати книги под заглавием: Страдания юного Вертера под страхом штрафа в десять талеров“

Государственный Архив, Берлин

приписывающее молчание. А он, Гете, несколько столетий подождет, у него время есть».

Рудольф Паннвитц вполне согласен с Вассерманом и доводит до логического конца его соображения. Паннвитц в ужасе. Он боится, что, опираясь на Гете, будут совершаться—о ужас!—«предательства и государственные измены». Ибо теперь воцарились «вместо человеческой нравственной культуры—политика, вместо индивидуальной человечности—социальное движение, вместо господства дворянства и патрициев—пролетаризация, вместо влияния запада и юга—смешение востока и севера» [4].

Запретить юбилей—вот крик души прусского юнкера Паннвитца. Запретить, ибо свет гения Гете может осветить пропасть, в которую сброшено человечество капитализмом.

Гораздо скромнее ведет себя Р. Шрёдер; но именно с него начинается новая «эпоха» истории литературы. Оказывается, что юбилей нужно праздновать потому, что «наша хозяйственная разруха будет хоть в 1932 г. смягчена притоком иностранцев» [5]. Мир еще не знал подобной аргументации в защиту литературного юбилея, никогда и никто так не говорил

о великом писателе. Шрёдер—вот имя, которое отныне должно быть связано с именем Гете, ибо он, Шрёдер, выставил совершенно новый, блестящий и неожиданный, аргумент в пользу празднования юбилея.

Гораздо более сдержан другой защитник юбилея—известный буржуазный писатель Томас Манн. Он апеллирует к достоинству немцев. Он указывает, что даже такое «почетное» учреждение, как постоянная литературно-художественная комиссия при Лиге наций, решила почтить Гете—устроить свою весеннюю сессию во Франкфурте и целиком посвятить первое заседание Гете. Томас Манн польщен этим высоким уважением и мужественно выступает в защиту Гете [6].

Томаса Манна прекрасно дополняет профессор Карл Фосслер. Если у Манна находятся торжественные, парадные слова, если он из своего прислужничества делает прекрасную позу, то Фосслер более скромен. Фосслер хочет получить от юбилея хоть какое-нибудь подобие успокоения: «Едва ли станет короче та ночь, в которой мы живем, если мы погасим и немногие оставшиеся у нас светильники» [7].

Профессор Оскар Вальцель не верит в эти самые «светильники». Он даже думает, что окружающее столь неприглядно, что уж лучше бы их не зажигать. Он пишет, что даже в самом лучшем случае юбилей Гете мог бы натолкнуть на серьезные размышления и подчеркнуть, «как глубоко пало существо немецкого народа с той высоты, на которой некогда стоял Гете» [8]. Нельзя не согласиться с Оскаром Вальцелем. Буржуазия прошла после смерти Гете большой путь. Это был путь падения, а не подъема. Это был путь вниз, а не вверх. Дальше от Гете—ближе к концу.

Дискуссия, поднятая «Die literarische Welt», вызвала широкий отклик. В немецкой прессе появилось свыше 70 статей по этому поводу.

Любопытно высказывание Рихнера в «Kölnische Zeitung» [9]. Его аргументация в защиту юбилея прекрасно выражает настроения буржуазной Германии. Нужно использовать юбилей, чтобы добиться единства. Нужно показать миру, что Германия сохранилась, что ее культура есть «нечто высокое, светящееся, ценное для всего мира». Рихнер считает позором, что начинаются раздоры вокруг юбилея, ибо миру нужно показать целостную и спаянную Германию. Энгель в «Berliner Tageblatt» [10] также выступает в защиту юбилея. Нужно же дать возможность безработным также почитать Гете и за этим чтением забыть свою нищету! Заткнуть миллионы голодных ртов одним Гете—вот основной смысл статьи Энгеля. Он конечно говорит от имени народа. Он конечно утверждает, что Гете нельзя отделять от Германии в целом. Но все это лишь маска. «Год Гете не сделает Германию счастливой. Но она может быть несколько менее несчастной, чем была. Борьба за существование пойдет своим чередом, но годом Гете мы поднимем настроение». В этой концовке статьи Энгеля—ключ к пониманию той юбилейной шумихи вокруг Гете, которая была в Германии. Ослепить, поразить, создать видимость единства нации, успокоить миллионы безработных, попытаться выторговать кое-что у версальских победителей, показать «вечную» ценность буржуазной культуры и тем самым укрепить капитализм—вот основа гетевских торжеств.

Редакция «Die literarische Welt» однако не пошла на уступки. Заканчивая дискуссию, она заявляет, что попрежнему остается на своей точке зрения. Редакция «Die literarische Welt» развивает целую программу социальной демагогии. Нужно отапливать музеи, ибо в них теперь бывают

безработные; нужно увеличить часы работы библиотек, чтобы отвлечь безработных от их забот; нужно создать столовые при музеях—сюсюкает редакция,—чтобы подкармливать голодных посетителей [11]. Это—программа социальной демагогии, ибо никакие мероприятия подобного культурно-просветительного порядка ничего не могут дать безработным и рабочему классу Германии. Разногласия этих двух буржуазных групп—это разногласия лишь по форме, а не по существу. Спор здесь шел в одном лагере, принципиальных разногласий нет. Речь идет лишь о том, как целесообразнее использовать Гете, чтобы укрепить шатающуюся буржуазную Германию. Это разногласия друзей перед лицом кризиса. Победила та группа, которая считала необходимым устроить широкий юбилей, привлечь внимание всего мира к Германии и подзаработать политически и экономически на гениальности Гете. Правда, призыв монархиста Паннвитца о запрещении юбилея был услышан социал-демократическим полицей-президентом Берлина Гржезинским. Он действительно запретил празднование юбилея, но только кому? Германской компартии. Товарищам Витфогелю и Лукачу не было дано разрешение выступить с докладом о Гете в марксистской рабочей школе в Берлине. Мотивировка: «гражданский мир в опасности», если Гете будет разбираться под углом зрения марксизма. Даже буржуазная «Berliner Tageblatt» изумилась подобному холуйству Гржезинского.

Итак Германия со всей торжественностью и подобающей пышностью отпраздновала юбилей Гете, но на фоне этой пышности невольно вспоминаются высказывания Шрёдера в «Die literarische Welt» [12]. Шрёдер говорил, что было бы опасным делом отказаться от юбилея только потому, что достоинство празднующих юбилей весьма и весьма сомнительно. Шрёдер полагает, что можно праздновать юбилей и без этих достоинств. Так оно и вышло: пышности было много, торжественности также было в избытке. Вся Германия несколько дней якобы жила под знаком Гете, но действительного понимания творений Гете, серьезного отношения к нему заметно не было. Сотни речей, сотни книг, тысячи статей, бесконечное число заседаний и вместе с тем отсутствие подлинно научного подхода к художнику.

Невольно вспоминается юбилей 1899 г. (полтораста лет со дня рождения). Тогда один берлинский юморист Берг выступил с предсказанием, что юбилей породит массу всякой претенциозной и пустой литературы на такие «актуальные» темы, как «Гете и женщины», «Гете и евреи», «Гете и спорт» и т. д. и т. д. [13] Предсказания Берга вполне оправдались. Были обследованы студенческие годы Гете, хотя и до этого все о них было известно. Появились статьи на тему «Гете и женщины», «Гете и музыка», в которых опять и опять пережевывались уже достаточно известные вещи. Нащелся один «ученый», который в отдельной брошюре пресерьезно доказывал, что Гете вовсе не был Гете, а что Шиллер за оказанные ему со стороны высокого сановника Гете услуги написал для Гете «Эгмонта», «Ифигению в Тавриде», «Торквато Тассо» и даже «Фауста». История повторилась и в этот гетевский год: вдова Людендорфа выступила с подобными же «разоблачениями» Гете.

Юбилей 1899 г. был примечательным по своей пошлости, но ему далеко до юбилея 1932 г. Пустота буржуазной идеологии сильно выросла за эти 33 года. Империалистическая буржуазия стремительно идет к еще более пошлому, к еще более циничному отношению к своим великим людям.

В теперешний гетевский год в десятках книг, в сотнях статей всячески «обследуется» личная жизнь Гете. Все усилия их авторов направлены на то, чтобы представить Гете как человека, семьянина, любовника, мужа, сановника, даже домохозяина. Поистине блестящая эрудиция! Какое потрясающее знание счетов прачечных, оплаченных Гете, его приходно-расходных книг, его любовных переживаний, интимной разницы между Христианой Вульпус и баронессой Штейн обнаруживают эти авторы! Пауль Кюн написал целые два тома «Женщины вокруг Гете. Переживания и признания» [14]. Губен в серии тех же «переживаний и признаний» 230 страниц посвятил Оттилии фон Гете [15]. Альфонс Паке написал особый очерк на тему «Советница Гете и ее окружение» [16]. Вильгельм Шеффер подзанялся домом, в котором жил Гете, точно это может хоть сколько-нибудь приблизить к пониманию произведений великого писателя [17].

Каждый из этих авторов побивал рекорды другого, но пальму первенства нельзя не отдать изящному Фарну-Рейно, который в «L'Ordre» 22 марта открыл наконец тайну величия Гете. Оказывается, что «величие Гете заключается не в его трудах, а в невероятно гармоничном сочетании всех свойств человека» [18]. Итак, нечего изучать труды, дело не в них. Неважно, что написал Гете, а важно, как он жил. Но из всей жизни Гете Фарну-Рейно выделяет, так сказать, главное звено, ведущую линию—отношение к женщинам. Вот где, оказывается, скрывается тайна величия Гете! «Нельзя изучать Гете, не учтя влияния женщин на него». «Великий мыслитель был великим любовником и жил под знаком женщины. Что стало бы со звездой Гете без подвязок Фридерики Брион, мадам де Штейн и Христианы Вульпус?» Мы отдаем должное знаниям Фарну-Рейно. Мы с истинным восхищением ощущаем его тонкую эрудицию, когда он говорит о белых руках Катерины Шопкопф или объятиях Христианы Вульпус. Мы готовы поверить, что господин Фарну-Рейно получил специальное образование для познания сих тонких областей. Но мы не понимаем, какое это имеет отношение к Гете-художнику и почему именно через анализ объятий Христианы Вульпус нужно подходить к «Фаусту» или к «Эгмонту»?

Но даже Фарну-Рейно не побил рекорда пошлости. Этот рекорд устанавливает Пфлучк, обследовавший такую серьезную творческую проблему, как «Очки в гетевскую эпоху» [19], и некий доцент Берлинского университета, написавший диссертацию на тему... «Зубы Гете» [20].

Нельзя не вспомнить слов Франца Меринга, которые он сказал 50 лет назад: «Забота о памяти Гете оставалась в руках педантических филистеров. Готфрид Келлер, которого не без основания называют швейцарским Гете, однажды писал по этому поводу: «В культе Гете есть особый вид ханжества, который поддерживается действительными, а не представляющимися таковыми филистерами, профанами. Во всех разговорах господствует священное имя, всякая новая статья о Гете встречается аплодисментами, его же самого не читают. Такое состояние отчасти превращается в трусливую глупость, но, с другой стороны, как и религиозное ханжество, оно служит для прикрытия различных человеческих слабостей, которых не следует показывать». «Всякий, кто хоть немного знаком с литературой последнего поколения о Гете, подпишет этот суровый, но справедливый приговор»,—так заканчивает Меринг. И эти слова Меринга вполне современны и свежи: счета прачек за

Gegen Früchte aller Arten,
Saftig-süßen, schmeichlich-zarten,
Aus geschlungenstem Revier —
Send ich starre Distel dir.

Diese Distel laß sie gelten!
Ich vermag sie nicht zu schelten,
Die, was uns am besten schmeckt,
In dem Busen tief versteckt.

Weimar d. 11. Aug. 1831

JWvGoethe

Автограф стихотворения Гете при посылке артишока. Веймар, 11 августа 1831 г.
Частное собрание, Ленинград

стирку белья Гете и те оказались изученными; вытащили всяких давно умерших людей, имевших хотя бы самое незначительное отношение к Гете. «Kölnische Zeitung» например отдала свои страницы никому ненужной статье «Забытый кузен Гете» [21]. Графиня София фон Арним произвела на свет под покровительством «Общества имени князя Пюклера» книжечку «Гете и князь Пюклер» [22] только потому, что оный Пюклер имел встречу с Гете. Вместе с тем только «Rote Fahne» указало еще 24 января 1932 г., что действительные наследники Гете полностью забыты буржуазной Германией [23]. «Прямые потомки Гете,— пишет газета,—живут в Вене очень бедно и принуждены отдать своих детей общественному призрению». Правильно указывая, что венский Гете не имеет прямого отношения к гетевским произведениям, «Rote Fahne» считает позором, что единственный прямой потомок Гете находится в таком положении.

Конечно есть кое-что и ценное в потоке литературы, появившейся в гетевский год, но и это ценное буквально затоплено волной макулатуры, это ценное ни в какой степени не определяет основного тона. Такого наводнения «научной» пошлостью давно не было. Настоящее лицо буржуазной культуры здесь открывается с исчерпывающей полнотой, загнивание класса выражается здесь с такой очевидностью, что никакие торжественные речи, никакая пышность не могут скрыть то, что буржуазная мысль оцепенелая стоит перед сверкающими произведениями Гете, что культура скована, растлена и порабощена капитализмом.

В «гетевском годе» ясно обнаруживается еще одна линия—это желание «подработать» на юбилее. Книгоиздательства, железнодорожные компании, отели, домовладельцы, колбасники и булочники—все они непрочь подправить на Гете подкошенные кризисом дела.

Как сообщает газета «Kölnische Zeitung» [24], железнодорожное общество посылает всем организациям листки с приглашением посетить Германию по поводу гетевского года. Эти приглашения украшены изображениями Гете, окруженного... ангелочками!

Булочник Шмидт выпустил в продажу кондитерские изделия под названием «косички Гретхен», украсив их не только портретом Гете, но и своим собственным!

Почитатели Гете имеют возможность сморкаться в особые гетевские носовые платки, выпущенные фирмой Тиц. Бомбоньерки, вазы, тарелки, пудреницы, мыло, трости, окорока,—все это идет под маркой Гете, все это изрядно поднимает дела предприимчивых почитателей Гете.

Австрийские домовладельцы также решили почтить великого художника. В своем органе «Haus und Grundeigentum» они пишут: «23 марта празднует немецкий народ столетнюю годовщину смерти великого человека. Мы, домовладельцы, должны особенно чествовать Гете. Он не только сам был домовладельцем и своими усилиями украсить и улучшить свой дом на Францплатц должен нам служить образцом, но он рассматривал домовладение как символ буржуазной культуры» [25]. Отныне можно выжимать квартирную плату под знаком Гете! Отныне можно выбрасывать безработных из квартир во имя Гете! Отныне можно наводить трепет на неисправного плательщика, опираясь на автора «Фауста»! Вперед, домовладельцы! Выше держите ваше знамя! Но будет все же спокойнее, если вы не будете читать Гете.

Автограф стихотворения Гете при посылке медали, Веймар, 3 ноября 1831 г.
Частное собрание, Ленинград

II

Юбилей Гете проходил под знаком глубочайшего кризиса для значительных слоев мелкобуржуазной интеллигенции Германии. Не разделяя торгашеского цинизма всякого рода дельцов, стремившихся подзаработать на юбилее, не становясь на позиции фашистской критики, беззастенчиво зачислившей Гете в ряды фашистов, эта интеллигенция пыталась найти в наследии Гете твердую опору, на которую можно было бы опереться в эти дни, дни всеобщего мрака и уныния, для тех слоев, которые кризис капитализма воспринимают как кризис человечества.

Показательной является речь известной писательницы Рикардо Гух, произнесенная во Франкфурте при передаче Гетевской премии [26]. Писательница отмечает, что Гете становится чуждым современной германской молодежи, что она к нему равнодушна или даже враждебна, но что рано или поздно к Гете придется вернуться, ибо он «лучшее воплощение немецкого мышления и немецкой сущности».

Другой, еще более видный немецкий писатель—Генрих Манн—в своей статье в «Berliner Tageblatt» стремится также найти связь между Гете и современностью, в которой так мало великих и сильных личностей, которые кажутся писателю ничтожными по сравнению с величественностью прошлого, когда жил и творил Гете. Манн кончает статью следующими словами: «Мы празднуем память Гете в момент умственного одичания. Он его хорошо знал, потому что умел ненавидеть и принужден был все время бороться. Мы празднуем его также потому, что нам необходимо надеяться, что он еще к нам вернется» [27].

Надежда—прекрасное слово. Но какой мрачной выглядит она, когда становится принуждением! Слова Манна о необходимости надежды—это слова отчаяния и безнадежности.

Третий видный немецкий писатель—Гергардт Гауптман—выступил с неменее любопытным признанием по поводу Гете (речь его в университете «Колумбия» в Нью-Иорке, переданная в Германию по радио) [28]. Гауптман оговаривается, что он не философ, не оратор, не историк литературы и не филолог. Гете ему нужен как соотечественник, на которого можно опереться теперь, протянув руку через столетие: «Если бы Гете жил и сейчас, он стал бы опять нашим великим вождем. За столетие, истекшее после его смерти, многие грезы человечества стали благодаря неустанному развитию техники действительностью. Но мы все-таки разочарованы и тяготимся жизнью. От этого разочарования Гете освободил бы нас».

Как же можно освободить человечество от разочарования и усталости? «Путем добра, великодушия и правды», отвечает Гауптман, повторяя слова Карлейля, сказанные им на смерть Гете.

Мелкобуржуазные иллюзии Гауптмана видны в этом искании правды вообще, великодушия вообще, добра вообще.

Культура сама по себе не может дать никакого выхода. Никакой самый торжественный юбилей не может спасти капитализм, но создается иллюзия снятия противоречий, иллюзия решения проклятых вопросов.

Слова этих трех писателей—это слова десятков, сотен журналистов, критиков, ораторов, доцентов, профессоров, которые раздавались в Германии в дни юбилея. Говорили о Гете—думали о кризисе. Говорили о величии произведений Гете—пытались сохранить то, что есть и что никак не может быть названо великим.

Следует отметить статью Рейнхардта Геринга в юбилейном мартовском номере «Die Literatur» [29]. «Гете был последним большим, зрелым плодом на дереве Западной Европы»,—такими словами сожаления о прошлом открывается эта статья. Геринг видит, что столетие после смерти Гете было столетием все усиливающегося кризиса буржуазной культуры, когда на иссохшем дереве этой культуры уже не появлялось больше плодов, подобных чудесному гению Гете. «С тех пор мы живем в непрекращающемся кризисе, смысл которого в том, что весь плодоносящий организм меняется. Другими словами: западное человечество меняется, и после совершения этой перемены оно как целое будет стоять в отношении к своему миру и к прошлому несомненно иначе, чем до того».

Очень неясно высказывает здесь свои мысли Геринг. Но он не может не видеть перемен, он не может не ощущать кризиса всей системы капитализма, он не может не видеть этих страшных теней страшного заката. Для него Запад охвачен «великим чувством прощания». «Вещи, институты, люди, которые в течение веков были глубоко уважаемы и любимы, которые жизнь пробуждали и жизнь разрушали,—со всеми этими вещами нужно расстаться навсегда».

Эти перепевы шпенглерианства в связи с юбилеем Гете конечно не случайны. Именно при подъеме к вершине буржуазной культуры, которой был Гете, становится ясным все глубокое падение этой культуры в эпоху империализма. Этого не могут не видеть даже буржуазные критики и ученые, жмурящиеся при взгляде на ослепительный свет прошлого. Геринг сознает, что это прошлое уже не вернется. Он прощается с ним. Но класс, у которого только прошлое без будущего, а будущее—смерть, неизбежно должен возвращаться назад и там искать опору для сегодняшнего, такого взметенного и непокойного. Так и с Герингом: прошлое нельзя вернуть, но он опять и опять возвращается к нему. Он хочет, хотя бы через Гете, попытаться взять из ушедшего такие элементы, которые остановили бы судороги гибнущего строя. И он создает миф о том, что рождается новый человеческий вид, новая человеческая порода, новые люди, которые смогут быть может спасти это общество:

«На этой шатающейся почве все становится бессмыслицей и вместе с тем приобретает глубочайший смысл, но слишком уже поздно. Тут даже не отдельный человек, а все человечество брошено в тигель, предсказать же результат этого плавления нельзя. Ибо все, что сказано, будет сказано на языке старого мира и благодаря этому искажено дыханием заката. Мы—люди, народы—стоим в этом потоке становления так же бессознательно, как вон то дерево за моим окном, над которым приговор вида произнесен, но который ни об этом приговоре, ни о его совершающемся исполнении ничего не знает».

Вся статья Геринга пропитана сознанием глубочайшей катастрофы. Жизнь он ощущает как смерть. Он судорожно цепляется за Гете, чтобы сохраниться и сохранить, скрепить расшатанные устои современности величием прошлого.

Приведенные нами высказывания представителей мелкобуржуазной интеллигенции отличаются от национал-фашистских установок в отношении Гете и ура-патриотических речей. Гете для них—это огромная культурная ценность, они стремятся утвердиться на тех высотах мышления, на

которые поднялся Гете. Они с благоговением относятся к гению Гете, они не превращают его наследство в предмет рыночного обращения, в товар, в средство для пропаганды самой черной реакции. И здесь—зерно конфликта этих слоев с капиталистическим строем. Их благоговейное почитание Гете противоречит торгашескому отношению к нему со стороны капиталистической прессы и торгово-промышленных буржуазных предприятий и учреждений. Их стремление осмыслить духовные ценности, созданные Гете, находится в противоречии со стремлением превратить Гете в фашиста, католика, реакционера, соратника Бисмарка и Гитлера, прямого представителя французского империализма или итальянского фашизма.

Эти писатели и критики находятся в плену мелкобуржуазных иллюзий, они еще верят в вечные надклассовые истины, в общечеловеческие культурные ценности, они проходят мимо той ярмарки, которую устроил «в честь» Гете буржуазный мир, мимо той грязной возни с наследством Гете, которую подняли империалистические литераторы. Только слепой может не видеть, что юбилей Гете разоблачает капитализм, что он раскрывает его враждебность настоящему искусству, подлинной культуре. Зловещие трупные пятна разложения покрывают культуру буржуазии. Класс, себя переживший, класс, обреченный на гибель, только так—по-торгашески, грубо-утилитарно—и мог подойти к Гете. Это увидел Ромен Роллан. Его прекрасная статья о Гете [30]—это удар по старому миру, это призыв к тем, кто еще не смог понять, кто колеблется встать на революционные позиции, кто не хочет поддерживать умирающий строй—уйти от него и бороться с ним.

III

В 1919 г. в Берлине вышла чрезвычайно любопытная книга «Между Гете и Шейдеманом» Иосифа Буххорна [31], автора многочисленных сборников гимнов, романов и брошюр вроде: «Я и пруссак», «Быть студентом; когда цветут фиалки», «О Германия, родина», «Черно-бело-красное». Это типичный прусский юнкер, вообразивший себя писателем.

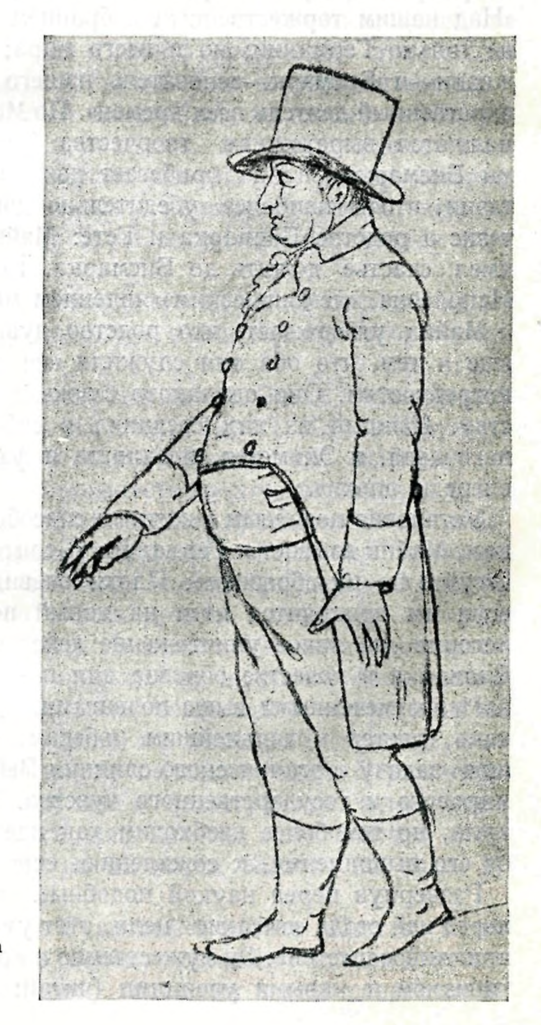
Данная книга является плодом впечатления автора от конституционных торжеств в Веймаре в 1919 г., когда была принята теперешняя германская конституция.

Буххорн, видя крушение династии Гогенцоллернов, в диком ужасе от разразившейся революции принимает даже Эберта и Шейдемана за революционеров и противопоставляет миру хаоса и беспорядка творчество Гете. Да, Гете конечно не был художником революции, но тот портрет который дает Буххорн,—это фантастическая, дикая карикатура на Гете, ибо он изображает его как аристократа, империалиста, контрреволюционера и т. п. Не Гете, а один из генералов Вильгельма! Эту забытую книжечку не мешает вспомнить и теперь, ибо очень многое из этих фантасмагорий Буххорна возрождено было в дни юбилея. Прямо непонятно становится, чем же Гете отличается от любого Джека-потрошителя в генеральской форме, когда читаешь фашистскую националистическую прессу! [32] А ведь именно Гете принадлежат слова: «патриотизм развратил историю». И он же сказал: «Я сочувствую прямому восстанию против неправой власти... Я только буду наблюдать со всем возможным вниманием, какую приобрету перспективу, когда будет убран старый забор».

Самые разнообразные средства были пущены в ход, чтобы доказать духовное родство Гете с современным фашизмом. Способы привязывания Гете к современной буржуазной Германии были самыми разнообразными.

«Vossische Zeitung» например обнародовала архивные изыскания о том, как Гете был избран в члены прусской Академии наук. Сам Гете даже не отметил нигде этого отрадного факта: слишком тревожное было время (лето 1806 г.). Но «Vossische Zeitung» занялась этим вопросом не потому, что Гете был избран членом Академии, а потому, что вместе с ним был избран лейпцигский профессор математики Гинденбург, предок теперешнего президента Германской республики. «Vossische Zeitung» возрадовалась этому историческому событию, придав случайности характер символа: «Нам, современным людям, особенно многозначительным должно казаться тесное соседство двух великих (!?) немецких имен: Гете и Гинденбург. Близится день, когда исполнится сто лет со дня смерти Гете, и который, мы надеемся, принесет нам Гинденбурга как главу государства».

Особый смысл в этой связи приобретает телеграмма Гинденбурга к столетию Гете: «Многоуважаемый господин министр. Я чувствую необ-



ГЕТЕ НА ПРОГУЛКЕ
Рисунок карандашом Фридриха-Вильгельма Римера
(Веймар, около 1810 г.)
Goethe-Nationalmuseum, Веймар

ходимость Вам как председателю Веймарского общества чествования Гете, а через Вас и населению города Веймара передать мое глубокое сожаление, что благодаря сложившейся политической обстановке я не мог последовать приглашению Тюрингского правительства и возложить на могилу великого немецкого писателя венок немецкого народа. Мои пожелания касаются не только внешней стороны празднования. Да объединит 22 марта всех немцев, находящихся вне наших границ, на воспоминании об их великом прошлом, да изгонит 22 марта раздирающие споры, напомнив об единой культуре и народности, и пусть даст нам надежду на лучшее будущее, ради которого мы, наперекор всем превратностям судьбы, хотим сохранить государство, народ и также немецкое искусство»[33].

Эту мысль подхватил некий доктор Рудольф фон Кампе, который очень старательно доказывал в статье «Гете-немец»[34], что Гете был самым чистокровным немцем-патриотом и что поэтому он близок по своей идеологии к Бисмарку.

Еще более развернуто «доказывает» это Гарри Майнк в своей речи «Гете и Бисмарк», произнесенной 18 января в Марбургском университете[35]. Свое выступление в Академии Майнк начал с того, что взял быка за рога и сразу же произвел Бисмарка в Гете, а Гете—в Бисмарка: «Над нашим торжественным собранием возвышаются два великих имени не только Германии, но и всего мира: Гете— глава немецкой духовной жизни—и Бисмарк—основатель нашего государства и величайший государственный деятель всех времен». По Майнку выходит, что дела Бисмарка являются выражением творчества Гете, а мысли Гете связаны с делами Бисмарка. Майнк прибегает даже к помощи своей худосочной фантазии, чтобы наиболее убедительно доказат свой явно неубедительный тезис о родстве Бисмарка и Гете: Майнк утверждает, что если бы Гете имел счастье дожить до Бисмарка, то он бы считал последнего, как и Наполеона, «демоническим» явлением мировой истории.

Майнк утверждает, что родство душ Бисмарка и Гете доказывается еще и тем, что оба они служили «не только вечности, но и насущным потребностям. Они одинаково служили как богу, так и своему государству. Каждый из них соединил в себе и Прометея, как борца реального дела, и Эпиметея, идеалиста и фантазера, и наконец оба они шли впереди эпохи».

Установив подобным нехитрым способом полное единство Гете с Бисмарком, Майнк взывает к Германии: «Берите пример с Гете и Бисмарка и действуйте по их образцам». Плохи очевидно дела поклонников Бисмарка, если им приходится итти на явный подлог, на явную фальсификацию истории, на явное уничтожение действительного Гете, чтобы предлагать Бисмарка в качестве образца для подражания. Но Майнк не ограничивается отмеченными выше подвигами. Этот рыцарь Бисмарка, как боевой конь, рвется к дальнейшим победам. Он ставит для науки «грандиозную» задачу «органического слияния Веймара и Потсдама как воплощения мирового и государственного чувства. Этот синтез недоступен как формула, но тем более необходим как идеальное требование оттого, что мы от его выполнения, к сожалению, еще далеки».

Развернув перед наукой подобные ослепительные горизонты, поставив перед ней столь «высокие» цели, этот умственный карлик продолжает свое крикливое шествие. Он мужественно и храбро призывает к борьбе с коллективизмом и новыми учениями (читай: с марксизмом и коммунизмом).

Поднимая самого себя за довольно длинные уши и потрясая мечом пошлости, Майнк кончает свою речь призывом защищать буржуазную Германию под знаменем Гете и Бисмарка: «И поражение может вести к победе. Пруссия-Германия в тяжелые времена стояла выше всего и возмещала потери материальные духовными приобретениями. Гете и Бисмарк ведут наш народ вперед, как спасительные духи. Давайте развивать, сохранять и культивировать то, что нам создали и оставили эти великие люди, о которых мы сейчас вспоминаем, полные любви и благодарности: немецкое государство и страну Гете, государство того и другого мира, государство улиц и звезд. Это двойное государство, которое в то же время едино,—это государство должно нам остаться».

Мюнхен не уступает Марбургу, и Эрнст Шрумпф издает в этом городе брошюру «Национальный Гете»[36]. Как сообщает «Bayrische Staatszeitung», Мюнхенский союз писателей и журналистов слушал Шрумпфа, читавшего эту книгу сначала в виде доклада, с необычайным восторгом и затаив дыхание. «Этим докладом Шрумпф оказал великую услугу родине и немецкому народу», заявляет газета.

Если мы обратимся к этой «великой услуге» и познакомимся с ней, то окажется, что перед нами явный и очень ловкий фальсификатор. Подбирая отдельные высказывания Гете, не ставя их в кавычки, добавляя к ним свои собственные измышления, Шрумпф превращает эти тексты Гете в проповедь самого отъявленного шовинизма и черносотенства.

Этот способ фашистского литмонтажа показывает, до какого глубокого падения дошла современная буржуазная мысль, не останавливающаяся перед явными подлогами и извращениями важнейших фактов истории культуры и литературы. Книга наполнена грязными ругательствами по адресу «революционной черни». И подобную омерзительную чепуху слушали «затаив дыхание»!

Но фашист Шрумпф не остается одиноким в этих своих грязных манипуляциях с наследством Гете. Ему помогают очень многие авторы книг и статей о Гете.

Таким помощником например является Вольдемар Эльке, написавший брошюрку «Назад к Гете, ибо он наш» (Берлин, 1932 г.). Как и Шрумпф, этот фашистский «критик» действует очень просто. Он выбирает у Гете наиболее подходящие цитатки, безжалостно кромсает тексты, добавляет собственные измышления, сдабривает все это приподнятой националистической патетикой и фашистскими лозунгами. «Германия превыше всего, ибо в ней жил Гете»—вот основная мысль брошюрки Эльке, с величайшим презрением говорящего о всех других народах, у которых не было Гете. Большего идиотизма быть не может. Книжечка кончается призывом к действию, при чем, если принять во внимание фашистскую идеологию автора, то смысл этого действия совершенно очевиден. «Поэтами Германия не бедна,—говорит автор на последней странице,—но Гете для нас нечто большее, чем просто немецкий поэт. Перешагнув через «подобие» преходящего, он ведет нас к недоступному, к действию. Это действие нужно нам прежде всего, так как мы одного с ним племени, каждый сам по себе. Поэтому он 22 марта 1832 г. не умер. И поэтому—назад к нему, ибо он наш».

Перекликается с Шрумпфом и Эльке Гундольф в работе «Детство Гете» (Берлин, 1932). Гундольф тоскует по новому человеку, который сумел бы справиться со всеми затруднениями, стоящими перед современной

Германией, который сумел бы подняться выше «русской (?) и американской паники». «Нужен человек свободный, духовно выросший, имеющий мужество жить». Неопределенность этого заявления Ф. Гундольфа не является конечно случайной. Определенность опасна, ибо если будешь раскрывать эти туманные образования словесных рядов, то увидишь, что Гундольфу нужен терпеливый, выносливый, покорный, мужественный немец, который бы спокойно выносил любую тяжесть репараций, налогов, кризиса и т. п. Ф. Гундольф показывает, как умело можно использовать даже такую «нейтральную тему», как детство Гете.

Вильгельм Виллиге в своей книге «Гете. Очерк его духовной сущности» (Веймар, 1932 г.) ставит себе не менее определенные националистические цели. Нет никакого смысла останавливаться на мыслях уважаемого В. Виллиге, ибо таковые отсутствуют в этой книге. Нет никакого основания искать что-либо новое в этом, с позволения сказать, «научном труде». Какой смысл например в таких ораториях, как «Гете мог всегда как в малой, так и в большой звезде переживать божественные красоты нашего мира и тем приобрел этот возвышенный покой и просветление, которое является характерной чертой последней трети его жизни».

Не в этом смысл книги Виллиге. Стержень ее в том, что Виллиге пытается поднять «дух» немецкого народа, пытается сплотить разрозненные части в одно целое, чтобы под этими призывами к борьбе, к освобождению, к труду еще крепче затянуть петлю смирения на шее трудящихся Германии. Вот простой тезис этой философии: «Немцы показали, что они умеют умирать. Теперь им нужно показать, что они умеют воскресать».

Воскресни, рабочий, чтобы умереть за немецкую буржуазию! Очевидно именно это нужно нашему уважаемому автору. Но только книга так скучна и так безнадежно бессодержательна, что вряд ли ее прочел кто-либо из людей, которых стремится обмануть Виллиге. Туманный смысл глупостей Виллиге становится более ясным, если мы обратимся к одной из статей журнала «Die Literatur». Близкий к этому мотив звучит в статье: «Гетевский год в силу особых обстоятельств современного момента вдруг получил новое содержание, стал новым лозунгом. Это—лозунг спасения и укрепления духовной ценности германской культуры» [37].

Редакция журнала вспоминает, как в столетие годовщины со дня рождения Шиллера (1859) стремление немцев к единению выразилось в «Национальном союзе», и ставит задачей юбилея создать союз имени Гете. Это должен быть союз для сохранения культурных благ, основанный повсюду людьми, сознающими свою ответственность. В каждом местечке следует основать, так сказать, духовные парламенты культуры, чтобы противопоставить обесцененным духовным ценностям некое «место совести», которые смогли бы помочь немецкому народу.

Не менее откровенно пишет Вальтер Линден в своей книге «Гете и немецкая современность» [38]. Книга во многом повторяет уже известные нам материалы о Гете. В ней отрицается гармоничность и олимпийство Гете, писатель вместе с тем старательно ретушируется под современного бюргера, снабженного всеми чертами эпохи всеобщего кризиса. Гете в этой книге выглядит таким же ущербленным и ущемленным, как немецкий буржуа.

Когда читаешь эту книгу, то становится непонятным, как же такой Гете мог написать «Фауста»? По Линдену, Гете учит современных нем-

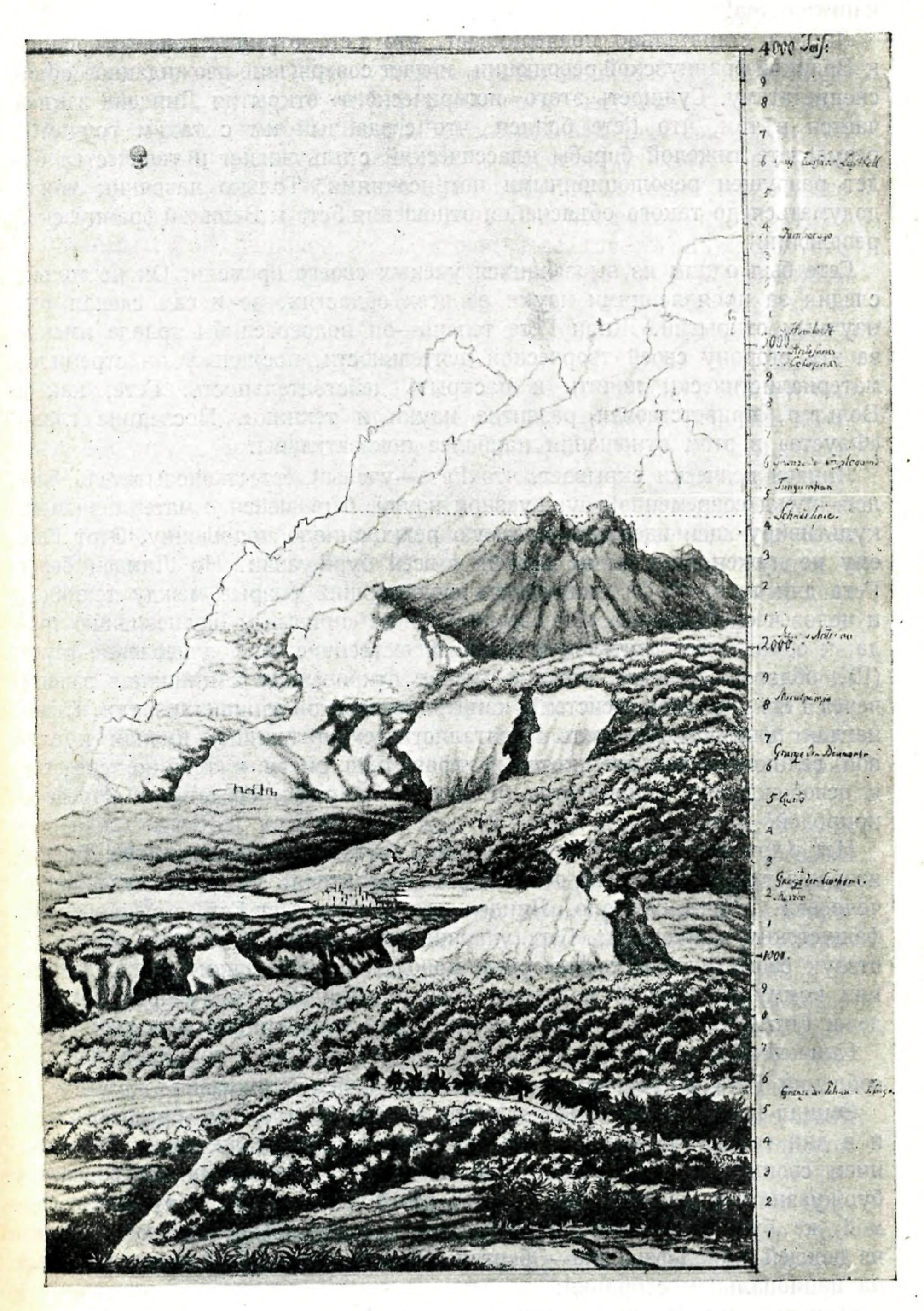


Рисунок Гете
Схематическое изображение растительных и горных зон
Goethehaus, Веймар

цев самоограничению, ибо без этого они, как и Тассо у Гете, должны погибнуть. Самоограничивайтесь, немцы, во славу Гете, для спасения капитализма!

Линден старательно подчеркивает, что Гете отрицательно относился к Великой французской революции, и дает совершенно неожиданное объяснение этому. Сущность этого «исторического» открытия Линдена заключается в том, что Гете боялся, что созданный им с таким трудом в результате тяжелой борьбы классический стиль жизни и творчества будет разрушен революционными потрясениями. Только лавочник может додуматься до такого объяснения отношения Гете к Великой французской революции!

Гете был одним из выдающихся ученых своего времени. Он не только следил за проявлениями науки во всех областях, но и сам сделал ряд научных открытий. Живи Гете теперь—он подвергся бы травле именно за эту сторону своей творческой деятельности, поскольку он стремился материалистически понять и раскрыть действительность. Гете, как и Вольтер, приветствовал развитие науки и техники. Последние главы «Фауста» в этом отношении наиболее показательны.

Линден всячески скрывает, что Гете—ученый, естествоиспытатель, биолог—чужд современной буржуазной науке, борющейся с материализмом, культивирующей идеализм и самую реакционную поповщину. Этот Гете ему не нужен, как он не нужен и всей буржуазии. Но Линден берет Гете для того, чтобы уничтожить «ужасающий разрыв между техникой и человеческой душой». Он слышит у Гете «призыв к одушевлению труда, к обновлению деятельной души общественности». Одушевление труда (!!), облагораживание техники—какая откровенная и циничная защита через Гете ужасающей системы капиталистической рационализации, какая наглая попытка оправдать капиталистическую технику именем и славой великого писателя, который правильно видел в технике средство к освобождению человечества от власти природы, средство к борьбе с природой!

Нет, о другой технике, о другой науке, о другом труде говорил Гете! Линден извращает действительный облик Гете—мыслителя, ученого, художника, человека. Но этого мало. Линден прямо связывает Гете с современным фашистским движением. «Гете, учащий закономерному действию, нашел бы отзвук своих идей в современном молодежном движении». Не о движении коммунистической молодежи говорит Линден,—он говорит о молодежи Гитлера. Но что общего между этими молодчиками и гением Гете? Книжечка В. Линдена—циничный и откровенный документ приспособления Гете к требованиям фашизирующейся буржуазии.

Социал-фашисты с честью конечно несли свое знамя предательства, и в дни гетевского юбилея они ни в чем не отступали перед выполнением своих высоких обязанностей агентуры капитализма. Ведь основа буржуазного правопорядка, правда, все более и более нарушаемая самой же буржуазией,—Веймарская конституция—была освящена одним из вождей социал-фашизма—Эбертом—именем Гете. Эберт заявил в 1919 г. на национальном собрании:

«Теперь дух Веймара, дух великих философов и поэтов, должен снова наполнить нашу жизнь (здесь стенограф отмечает аплодисменты немецкой демократической партии). Мы должны обращаться с великими общественными проблемами в духе того, как они были взяты

Гете во второй части «Фауста» и «В годах странствия Вильгельма Мейстера»: не уноситься в бесконечность и не расплываться в теориях, не колебаться и не медлить, но с ясным взглядом и твердой рукой взяться за практическую жизнь» [39].

Мы знаем эту «практическую жизнь» социал-фашизма. Неужели имеют что-либо общее с духом Гете кровавые псы империализма — Носке, Шейдеманы, Гржезинские и Эберты? Расстреливая революционных рабочих, с бешеной ненавистью относясь к Советскому союзу — отечеству трудящихся всего мира, — обманывая тех рабочих, которые еще не осознали своих классовых интересов, и делая их послушными рабами существующего строя, защищая не за страх, а за совесть интересы «своей» буржуазии, социал-фашизм снова доказывает, что он есть левая фракция фашизма, послушное и верное орудие буржуазии. Ни одна из социал-демократических газет в Германии ни одного слова не нашла в дни юбилея, чтобы показать рабочему классу, как нужно пролетариату относиться к великому наследию Гете. Наоборот: гетевский юбилей был использован для того, чтобы еще успешнее обманывать рабочий класс и интеллигенцию. Вот один пример. Социал-фашистские и «демократические» руководители «Союза германских писателей» дали директиву: «Говорить только о гетевском юбилее, но не о нужде писателей». Когда левая группа в 600 человек ослушалась этого приказания, она была исключена из союза. «Vorwärts» в дни юбилея писал о чем угодно: о торжественных приготовлениях буржуазной Франции, которая выглядела на страницах этой продажной газеты, как невинная овечка, о медалях, выбиваемых в честь Гете, о торжествах в Веймаре, о болезнях Гете (какая серьезная тема!), об открытках в честь Гете, но ни единого слова не было о том, что именно юбилей Гете подчеркивает всю глубину разложения буржуазной культуры, что именно обращение к великим именам буржуазного восхода особенно очевидным делает весь мрак капиталистического заката.

«Vorwärts» издается уже десятки лет. Полезно поэтому обратиться к тому, как «Vorwärts» оценивал Гете раньше. В № 209 за 1899 г. газета отмечала сто пятьдесят лет со дня рождения Гете. В статье есть сравнение Лессинга и Шиллера с Гете, при чем симпатии целиком на стороне Шиллера, оценка Шиллера и Гете Марксом совершенно не принимается в расчет. Мотивировка этой симпатии совершенно нелепая:

«На первый взгляд совершенно ясно, что между великанами классической литературы Гете никак не может считаться наиболее близко стоящим современному пролетариату. Гораздо ближе пролетариату Лессинг и Шиллер, потому что они происходили из угнетенных классов и в их произведениях звучат громче и яснее боевые призывы буржуазной революции, а в складах сердца бессознательно дремала пролетарская революция» (??). «Vorwärts» в 1899 г., как и теперь, совершенно не бичует филистерство современной буржуазии, тогда как именно на примере Гете, также отдавшего дань филистерству, это можно было прекрасно сделать. Руководящий орган германской социал-демократии явно не хочет по-революционному подойти к Гете, — он берет его культурнически. Верная мысль, что именно пролетариат является наследником Гете, лишена революционного содержания, выхолощена, превращена в нечто сугубо беспартийное и нейтральное: «Немецкий пролетариат не разделяет точки зрения Берне, который называет Гете рифмованным

рабом, как Гегеля нерифмованным рабом. Как ни необходима была борьба с односторонним эстетизмом, укрепившимся в нашей классической литературе, она все-таки в настоящее время уже превзойдена. Уже давно установлено, чем современная культура обязана классикам; они оставили за собою неизмеримое наследство, и это наследство в первую очередь принадлежит рабочим. В то время как немецкая буржуазия безмерно восхваляет на словах своих великих мыслителей и поэтов, она фактически на каждом шагу порицает их по существу. И, наоборот, немецкий пролетариат без взяких уверток отрицает все мелкое в классических учениях и творчестве и в то же время он все бессмертное в них спускает с заоблачных высот для реализации в практической жизни».

Так немецкая буржуазия почтила память Гете. Так было произведено беспримерное в истории мировой культуры издевательство над одним из величайших писателей мира. Одним из основных принципов концепции Маркса-Энгельса-Ленина о капиталистической культуре является утверждение, что капиталистический способ производства враждебен «духовному производству». Проведение юбилея Гете на Западе является прекрасной иллюстрацией к этому положению.

IV

Почти во всех брошюрах и статьях фашистских и националистических критиков мы имеем подчеркивание связи Гете с религией.

Клерикальная критика в полном единстве с общей фашистской линией в отношении Гете постаралась в свою очередь извратить облик Гете, навязать совершенно несвойственную ему религиозность и превратить его чуть ли не в католика. Поповской критике, клерикальным фашистским элементам дела нет до того, как в действительности Гете относился к католицизму и к религии вообще. Это их не интересует. Нужно доказать, что этот величайший мыслитель был связан с церковью. Им нужно использовать юбилей Гете, чтобы усилить все более и более слабеющее влияние религии на широкие общественные слои.

По самым различным направлениям, самыми различными способами ведется эта фальсификация наследства Гете.

Крюгер например выступает с солидным трудом на тему «Религия гетевской эпохи», опубликовав два тома [40]. Гейтнер пишет глубокомысленное исследование «Гете в свете божественного» [41] и т. д. и т. д. Религиозная пропаганда протаскивается в связи с самыми различными фактами жизни и творчества Гете.

Так П. Фишер очень умело ведет эту пропаганду в своей книге «Последний год жизни Гете» [42].

Клерикальный «Reichspost» приходит в восторг от этой книги, ибо Фишер якобы доказывает, что в последний год своей жизни Гете полностью отказался от своего «язычества», стал искренне верующим. Этот же «Reichspost» в номере от 21 февраля дает установки для пропаганды религии в связи с юбилеем: «Над падением и хаосом нашего времени возвышаются, подобно звездам, герои умственной жизни, пророки, которые сознательно или бессознательно вещают божью волю и предсказывают нам подъем нашего народа из нищеты и отчаяния. Легко понять, что немецкий народ почитает память своих великих и лучших людей, чтобы со-

Автограф письма Гете к К. Л. фон Кнебелю от декабря 1796 г.
Публичная Библиотека, Ленинград

вместно в духовном единстве как-то изменить течение времени и направить его в более светлое будущее».

Из этой же газеты мы узнаем, что в берлинском университете под покровительством ректора и академического сената был заслушан доклад доктора Надлера о религиозном начале в Гете. Этот самый доктор, выступивший после доклада о Гете как естествоиспытателе, посвятил свою речь доказательству того, что Гете проделал эволюцию от Канта к Христу: «Спасение человека—не позднейший придаток, оно органически входит в поэзию Гете, только не первого, а второго периода, что служит доказательством, что Гете не был удовлетворен идеалистической теорией Канта. Слова Гете вполне совпадают с нашей верой, когда он требует для спасения человеческого рода божьего милосердия».

В этой же неутомимой газете «Reichspost» от 20 февраля подвизается еще один доктор—доктор Видмар, фальсифицирующий мысли Гете на тему о браке. Видмар конечно не считает Гете язычником, приводя такие потрясающие доказательства, как утверждение католика, духовного магната барона Дальберга о воспитательном значении романа «Избирательное сродство». Доктор Видмар заявляет, что «в то время как духовенство возмущалось безнравственностью этого произведения, католическая Германия с трепетом и изумлением сто лет спустя после смерти радуется католическим высказываниям великого язычника. Здесь можно с уверенностью говорить об anima naturaliter catolica».

Но все эти доктора от религии не могут переплюнуть некоего Ганса Пфёртнера, опубликовавшего в Мюнхене брошюрку «Гете и Голгофа» [43]. Пфёртнер считает совершенно самоочевидным, что Гете был религиозным. Но это он считает недостаточным и «доказывает», что Гете верил абсолютно во все догматы церкви. Эта «симпатичная» книжечка разбита на не менее симпатичные главки. Например: «Гете чувствует необходимость спасителя», «Гете стоит за христианские корни немецкой культуры» и т. п. Заодно Пфёртнер всячески убеждает своих читателей, что Гете был антисемит, связывая это с выдуманной им религиозностью Гете.

Конец книжечки, правда, более печален, чем начало. Несмотря на все усилия, храбрый Пфёртнер не мог, основываясь на произведениях Гете, доказать его религиозную ортодоксальность. Потерпев здесь крушение, он ищет спасения в биографии Гете: «Творчество Гете не всегда соответствует христианскому миросозерцанию, но его образ действия вполне достоин христианина... Суд над христианством Гете мы спокойно можем предоставить богу. Но лозунгом в борьбе с религией и христианством имя Гете может быть использовано только малограмотными и поверхностными людьми».

В полном единении с тем мракобесием, которое переполняет современное буржуазное теоретическое естествознание, Карл-Юстус Обенауер в книге «Гете и его отношение к религии» [44] старательно фальсифицирует естественно-научные работы Гете, чтобы доказать, что Гете как ученый был религиозен и что его религиозность имела научные основы.

«Поразительно, как Гете удается объединять в себе различные душевные и духовные силы и как ему через это удается никогда не терять

H. Rath Kräuter
dict.

In Gefolg unserer früheren Verabredungen erbitte mir eine kleine Gefälligkeit. Eben war ich im Begriff an Herrn Grafen von Einsiedel ein schriftlich-gemüthliches Blatt abzusenden, als ich einen gar freundlichen Brief von demselben erhalte. Nun ersuche Sie: mir den Namen des Neugebornen, Geburts- und Tauftag desselben zu schreiben, damit ich mich darnach richten könne. Was ich alsdann absende nehmen Sie die Freyheit durch Ihre Hände gehen zu lassen.

Grüßen Sie unsern Freund zum schönsten und lassen mich von Zeit zu Zeit durch Wenige wissen ob Sie sich alle wohl befinden

Weimar d. 17ⁿ Novbr. 1819.

treulichst
Goethe

Автограф письма Гете к Луизе фон Кнебель от 17 ноября 1819 г.
Публичная Библиотека, Ленинград

жизненного единства. Его сила заключается в том, что как естествоиспытатель он никогда не забывает ту глубину, которой обладает религия, а как религиозный человек никогда не отказывается от исследовательского восприятия. Тот, кто хочет познать его отношение к вопросам религии, не может пройти мимо Гете-естествоиспытателя». Обенауер превращает Гете в пошлого, лицемерного христианина, бессмысленно покоряющегося велениям церкви.

Но даже этот ловкач вынужден отметить, что Гете очень неохотно говорил о религии, и поэтому его религиозное миросозерцание приходится находить в отрывочных высказываниях, разбросанных по всем его сочинениям.

Гете заметил однажды: «Самый вредный предрассудок—думать, что какая-либо отрасль естествознания может быть подвергнута опале». Это бьет именно по Обенауерам, травящим с религиозных позиций дарвинизм, выступающим против материализма в науке, отбрасывающим науку назад к средневековью. Гете-ученый ничего общего с такими своими «друзьями» из клерикального лагеря не имеет.

Таков извращенный облик Гете, подогнанный под требования религиозной ортодоксии, изуродованный и фальсифицированный. Гете Обенауера и других клерикальных критиков так же далек от действительности, как они сами далеки в своей пошлости от гения Гете. Действительное отношение Гете к религии вскрывает Энгельс и совсем иначе характеризует это отношение в статье «Положение Англии» в «Немецко-французских летописях» за 1844 г.: «Гете неохотно имел дело с «богом»; от этого слова ему делалось не по себе; он чувствовал себя как дома в человеческом, и эта человечность, это освобождение от оков религии именно и составляет величие Гете. В этом отношении с ним не могут сравняться ни древние, ни Шекспир. Но эту совершенную человечность, это преодоление религиозного дуализма может постигнуть во всем его историческом значении лишь тот, кому не чужда другая сторона немецкого религиозного развития—философия. То, что Гете мог высказать лишь непосредственно, т. е. в известном смысле и пророчески, то развито и доказано в новейшей немецкой философии» [45].

На ряду с открыто клерикальными авторами отношение Гете к религии искажается и более замаскированными способами, как это делает Юлиус Баб в книге «Жизнь Гете» [46]. Направление книги определяется следующим программным заявлением Баба: «У нас существует уже много столетий религия, но в ней все больше и больше угасает жизнь. С Гете связывается ощущение, что мы можем зажить в новой религии, в новом мифе». Гете создал образы борцов с действительностью, неустанных искателей и строителей, как Фауст, Прометей, Мейстер. До этого нет дела Бабу. Гете заявлял, что «не стоило бы достигать семидесятилетнего возраста, чтобы вся мудрость мира была только глупостью перед богом». И мимо этого основополагающего заявления старца Гете проходит Баб, ибо он имеет лишь одну цель: создать облик Гете-смиренника, Гете-покорившегося, Гете-фаталиста и тем самым противопоставить его наследство тем настроениям недовольства современным строем и борьбы с ним, которые все более и более охватывают даже мелкобуржуазные слои. По Бабу выходит, что «Гете воспринимал как внутренний закон души, как божественное здание и как «религию» всякую судьбу, всякое дело этого мира». Филистерство было очень сильно в Гете. Мы зна-

ем, что ему принадлежат и такие высказывания, как «Дельный, энергичный человек, умей заслужить и ожидай:

От знатных—милости,
От сильных мира—благоволения,
От деятельных и добрых—поощрения,
От толпы—расположения,
От единичных личностей—любви».

Или:

«Деспотизм вызывает самодеятельность всякого и, требуя от низшего до высшего индивидуума ответственности, побуждает этим в нем проявление высшей степени деятельности». Но видеть только этого веймарского Гете—это значит намеренно закрывать глаза на действительного Гете, с огромным трудом, падая и поднимаясь, но никогда не сдаваясь до конца перед косностью и мраком, пробивавшегося вперед. Это прекрасно выражено им самим: «Я предпочитаю вредную истину полезному заблуждению; истина исцеляет страдание, быть может причиненное ею».

Но Баб видит именно только филистерское в Гете; о его книге можно сказать то же, что Энгельс сказал о книге К. Грюна «Гете с человеческой точки зрения» в письме Марксу от 15 января 1847 г.: «Я переработаю статью о грюновском Гете, сокращу ее до размеров полулиста, максимум трех четвертей листа, и подготовлю ее для нашей публикации, т. е. «немецкой идеологии», если ты это одобряешь, о чем ты должен немедленно мне написать. Книга слишком характерна. Грюн восхваляет всякое филистерство Гете как человеческое, он превращает франкфуртца и чиновника Гете в «истинного человека», между тем как все колоссальное и гениальное он обходит или даже оплевывает до такой степени, что эта книга представляет блестящее доказательство того, что человек равен немецкому мещанину».

Недаром же этот новый Грюн заслужил такие похвалы со стороны всей буржуазной прессы: лакей постарался, ему дали щедро «на-чай». Клевещите, клевещите, Юлиус Баб, все равно к Гете ваша клевета не пристанет!

Нельзя не вспомнить книги «Гете и загадка мира» Курта Гейке [47], где подобными же «тонкими» методами Гете превращается в сторонника идеи перевоплощения человека, взятой им у древних христиан. Эта самая «идея» была очень модной в капиталистическом мире еще до войны, но с особой силой она пропагандируется после 1918 г., когда всеобщий кризис капитализма еще более расшатал и до этого неустойчивые скрепы буржуазного общества. Сэр Оливер Лодж, мировой физик, выступил например с книгой «Почему я верю в личное бессмертие», в которой с самым серьезным видом доказывал, что человек имеет существование и после смерти. В том же году он осчастливил мир другой своей книгой на эту же тему, где опять-таки «с научной точки зрения» доказывал бессмертие души [48]. Известный ученый Дриш совмещает свои занятия естественными науками с выполнением обязанностей президента британского общества оккультистов. Берлинский профессор биологии К. Л. Шлейх в своих работах «Проблемы смерти» и «Сознание и бессмертие» утверждает, что душа бессмертна. Правда, это бессмертие возможно лишь при соблюдении некоторых условий, определенно выгодных для герман-

ской промышленности: не есть при жизни иностранных продуктов, «оставаться на своей кучке», т. е. быть националистом, и наконец третий курьез: не позволять сжигать свое тело после смерти, ибо, оказывается, этим будут уничтожены хромосомы, без которых не может существовать душа.

Курт Гейке и Юлиус Баб делают Гете соучастником этих махинаций, но все научное творчество Гете противостоит этому извращению подлинной науки в угоду интересам выродившегося класса. Французская буржуазная критика «дружески» поправляет своих немецких коллег, ибо она фальсифицирует Гете в других направлениях и здесь может позволить себе роскошь «объективности». Бернар Гретюйзен в номере «Nouvelle Revue Française» от 1 марта с. г. дает в статье «Жизнь Гете» [49] воображаемый диалог между св. Августином и Гете, вкладывая в уста Августина слова, обращенные к Гете: «Все тебе было дано, кроме познания бога». Гете стремится познать реальный мир, но на этом пути, говорит Августин, нельзя встретить бога. Таким образом Гретюйзен утверждает, что философия Гете и христианство несовместимы. Но мы не ошибемся, если скажем, что выступления, подобные статье Гретюйзена, были очень редкими и не имели совсем места в немецкой буржуазной прессе. Гете вошел в юбилей как «язычник» и пантеист, а вышел из него правоверным христианином. Но Гете есть Гете, его произведения нельзя фальсифицировать или уничтожить, и никакие наиболее тщательно разработанные, наиболее мастерские извращения действительного облика Гете не могут помочь устроителям пышных и лживых юбилеев.

V

Буржуазная Франция конечно не могла пройти мимо юбилея Гете. Французский империализм любит надевать на себя маску защитника культуры и цивилизации, прикрывая личиной гуманности политику бешеной подготовки новых войн и интервенций.

Не в первый и не в последний раз крики о культуре, человечности, великодушии и защите слабых и угнетенных прикрывают прямой разбой и уничтожение огнем и мечом всякого, кто осмеливается отказаться от «гуманизма» генеральных штабов.

Юбилей Гете французский империализм блестяще использовал для того, чтобы попытаться вовлечь германскую буржуазию в свои военные планы, чтобы усилить борьбу со Страной советов.

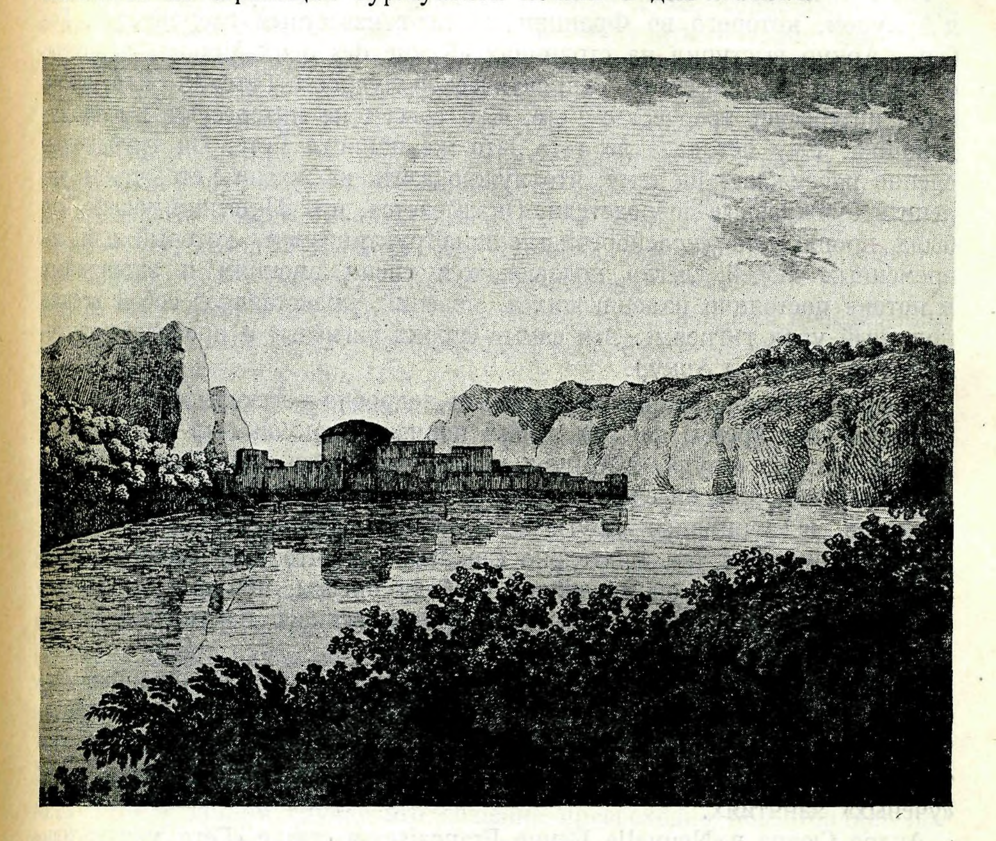
Так орган французского генерального штаба «Echo de Paris» [50] использовал юбилей Гете для того, чтобы выступить против торговых отношений Америки с СССР, против приобщения «туземцев» колоний к белой культуре, против распространения знаний. Именно в связи с юбилеем Гете газета присоединилась к предложению бывшего французского премьера Кайо обложить изобретения запретительными пошлинами. Гете был одним из великих ученых его времени. Научные работы Гете имели огромное значение для развития науки. Последние главы «Фауста»— это гимн всепобеждающей науке и технике.

До этого нет дела органу интервенции «Echo de Paris». Эта газета по-своему чтит память Гете. Она с наглой откровенностью делает юбилей орудием антисоветской кампании и подготовки интервенции.

Французская буржуазия гордится своей культурой. Но во Франции не появилось не только ни одной серьезной книги, но даже заслуживаю-

щей внимания статьи о Гете в связи с юбилеем. Шуму было много. Французское правительство распорядилось выбить медаль памяти Гете. В Париже был образован особый комитет во главе с Пенлеве для устройства выставки Гете в Национальной библиотеке.

Социал-фашистский «Vorwärts», захлебываясь от восторга, передавал о приготовлениях к чествованию Гете во Франции [51]. Но вся эта шумиха не могла скрыть того факта, что буржуазная мысль во Франции оказалась беспомощной перед гением Гете, что ничего, кроме болтовни, не появилось на страницах буржуазной печати в дни юбилея.



Гравированный рисунок Гете.
Воспроизведен в прижизненном Гете издании „Radierte Blätter nach Handzeichnungen (Skizzen) von Goethe", Hsg. v. Schwerdgeburth, Weimar, 1821
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Отсутствие действительного понимания Гете привело например к тому, что Национальная музыкальная академия решила восстановить первоначальный оригинальный текст либретто оперы «Фауст» Жюля Барбье и Мишеля Карре [52]. Казалось бы, очень похвальное желание—дать самый подлинный и оригинальный текст либретто оперы. Но дело в том, что этот текст Барбье и Карре является отвратительной, пошлой карикатурой на «Фауста» Гете, и полное восстановление этой пародии на величайшее произведение Гете является пределом издевательства.

Потрясающее впечатление производит статья К. Ф. Рамюза в «La Nouvelle Revue Française» под громким названием «Мудрец» [53]. В чем же увидел мудрость Гете храбрый француз Рамюз, какие главные пункты

философии Гете выделил он? На чем он останавливал свое просвещенное внимание? Этот центр, эта основа, это главное, по Рамюзу, заключается в том, что Гете был великим буржуа и собственником! Рамюз делает открытие, что мудрец всегда родствен буржуа, а раз Гете мудрец, то он буржуа, а раз он буржуа, то он и мудрец. Эта «философия» чрезвычайно выгодна для Рамюза, ибо нет никакого сомнения в буржуазности этого «мыслителя», хотя никакого, самого отдаленного, намека на мудрость в нем обнаружить нельзя.

Но Рамюз—это поистине «светлая личность» по сравнению с Робером д'Аркуром, которого во Франции считают известным германистом. Робер д'Аркур выступил на страницах «Revue des deux Mondes» в номере от 15 мая с. г., повествуя о «практической мудрости Гете» [54]. Его очень мало интересует творчество Гете. Его совсем не интересуют мысли художника. Ему нет дела до того, что же написал Гете. Он глубокомысленно рассуждает на тему: что нужно взять из жизни Гете, чтобы укрепить буржуазные добродетели. Оказывается, что 83-летняя жизнь Гете была проникнута «красноречивым конструктивизмом, который для современных людей, легко поддающихся своим эмоциям и затерянных в потоке постоянно изменяющихся явлений, представляет собой весьма полезный урок гигиены». Эти самые «уроки гигиены» и преподает трудолюбивый Робер д'Аркур.

В главе «Использование времени» он подробно рассказывает, как Гете сберегал свое время, как он любил порядок, как он был аккуратен и педантичен. Из «труда» д'Аркура мы можем узнать, как Гете наблюдал за хозяйством, как он следил за кухней, как он вел запись мельчайших расходов и занимался другими подобными «творческими» вопросами. Д'Аркур вместе с тем тщательно «доказывает», что Гете стоял за абсолютную власть, что он ненавидел свободу прессы, ибо она оскорбляла его любовь к порядку, что он был против всякого нарушения буржуазного порядка.

Немного же нужно иметь в голове, чтобы прослыть во Франции знатоком Гете! Нужно лишь свести деятельность Гете к ведению приходо-расходных книг и наблюдению за кухней. «Известный германист» и знаток писательских счетов Робер д'Аркур не остается одиноким в своих «ученых» занятиях.

Андре Сюаре в «Nouvelle Revue Française» в статье «Гете универсальный» [55] не скупится на то, чтобы превозносить гений Гете, его величие, силу, его творчество, высоту его духа. Но смысл этого фимиама заключается в установлении того, что Гете является «духом самой Европы» и и без него Европа была бы пустым словом. «Европа — не только функция чувства, но общая форма разума, и для каждого ума, способного подняться до этой высокой формы, Европа—это необходимая воля». Вот они, столь знакомые идеи пан-Европы! Гете оказывается в трогательном единомыслии с Аристидом Брианом!

Падения и взлеты Гете—это выражение прусского пути развития германской буржуазии. Есть и падения (а их только и видит современная буржуазная мысль), но есть и взлеты, до которых не может подняться современная буржуазия эпохи империализма. Возьмем статью Жерара Бауера из «Nouvelle Literaire» от 5 декабря 1931 г. под многообещающим названием «Место встречи перед Гете». Какая «трогательная» мысль: перед памятью великого писателя встречаются все народы и все классы,

но это трогательное очень тесно и неразрывно связывается например с такими прозаическими вещами, как Версальский договор, как план Дауэса, как план Юнга, как репарации.

Основная мысль статьи Бауера та, что германец гораздо больше, чем представитель латинской расы, должен бороться с собой. «Юбилей Гете должен быть не только празднованием его памяти. При том беспорядке, какой царит в настоящее время во всем мире, когда все охвачены какой-то смутной боязнью перед чем-то неизвестным и эта боязнь лишает народы даже сознания универсальности духа, свидание народов, каким является юбилей Гете, могло бы получить большое значение. Для своего народа, так же как и для всех, кто уважает Гете, великий германский писатель должен явиться примером сознательно приобретенной мудрости и человеческого достоинства. Неужели будет слишком оптимистично надеяться на то, что великие люди могут оказать влияние на народы? Разве голос Гете утратил то значение, какое он имел 100 лет назад? Не может ли дать нам хотя бы проблеск надежды воскрешение поэта, который написал, что «великие таланты—лучшее средство для примирения»? Бауер призывает Германию к смирению. Он призывает ее к мирному и спокойному отношению к версальским победителям. Да, «место встречи перед Гете»,—только одни стоят на коленях, а другие держат хлыст в руке.

Не менее звучно и красиво озаглавлена статья Жана де Панжа «Сентиментальная жизнь Гете». Статья начинается с лирического описания собрания ассоциации немецких студентов-католиков, где уже известный нам Робер д'Аркур читал лекции о германском и французском романтизме. Жан де Панж с большой нежностью повествует о том, как общаются вместе молодые немцы и молодые французы, какая чисто гетевская атмосфера царит у этих студентов-католиков. Жан де Панж подробно излагает книгу того же Робера д'Аркура «Сентиментальное воспитание Гете», где особое внимание уделяется тем благотворным результатам, которые имела на германскую культуру оккупация Франкфурта войсками маршала де Брогли.

Очень хорошо, что немецкая и французская молодежь может еще общаться между собой вопреки шовинистической пропаганде, но очевидно, что в данном случае это общение превосходно подготовляет порабощение Германии версальскими победителями, втягивание ее в орбиту влияния французского генерального штаба.

Именно из подобного «теоретического» центра и вытекают эти научные исследования Робера д'Аркура о благотворности французской оккупации для развития германской культуры.

По Роберу д'Аркуру выходит, что жизнь Гете была наиболее плодотворной, когда он был связан с представителями французской военщины. Поистине трудно разобраться, где во Франции начинается литературный критик и где кончается офицер.

На этом фоне совершенно понятным становится исследование некоего Бальденшпергера на тему «Гете и орден Почетного легиона» [56]. Орден «Почетного легиона»—это знак отличия, даруемый наиболее свирепым псам французского империализма, наиболее верным слугам капиталистической Франции. Археологические изыскания Бальденшпергера имеют целью поставить Гете в один ряд с этими непочетными кавалерами «Почетного легиона». Настоящий смысл всех этих разговоров об интеллекту-

альной связи Германии и Франции, о заслугах французской культуры в творчестве Гете раскрывает официоз французского империализма «Temps» в номере от 24 февраля с. г. [57].

По поводу приготовлений к празднованию гетевского юбилея в Эльзасе «Temps» напоминает, что Гете настолько увлекался французской литературой, что даже колебался, не писать ли ему своих произведений по-французски. «Temps» подчеркивает, что Гете с удовольствием читал французский перевод «Фауста», а часть «Фауста» написал в Страсбурге. На основании «французских симпатий» Гете автор статьи заключает, что Страсбург может «безо всяких задних мыслей» праздновать юбилей Гете. Но, как отмечает автор, «в этих празднествах чувствуется какая-то неловкость, какое-то смущение». «Проклятые автономисты мешают нам отпраздновать гетевский юбилей с надлежащим блеском», цитирует «Temps» письмо «известного страсбургского профессора». «Во всем у нас чувствуется какая-то фальшивая политическая нотка,—пишет этот профессор.—Если я буду говорить о великом писателе со слишком большим пылом, то автономисты скажут: в нем говорит его подлинная природа, а французы подумают обо мне: он немец».

В дальнейшем статья посвящена доказательству того, что автономизм «помрачает умы», ибо затрудняет сближение двух великих наций. «Немцы продолжают вести в Эльзасе германофильскую пропаганду,—утверждает «Temps»,—тогда как французы, оказывается, проявляют широкий либерализм» (??!). Вы сомневаетесь? Ведь даже Пуанкаре, «с бесконечной нежностью относящийся к Эльзасу», нашел, что в школах Эльзаса недостаточно хорошо поставлено преподавание немецкого языка.

Вы видите, что Гете уже прекрасно «работает» на французский империализм. Он оказывается непосредственным сотрудником Раймонда Пуанкаре. Какой откровенный цинизм, какое отвратительное лицемерие!

«Temps» говорит то, чего не говорят всякого рода профессора литературы, стоящие однако на тех же самых позициях.

Несколько иначе по форме высказывается в анкете «Welt-Spiegel» французский посол в Берлине Андре Франсуа Понсе [58]. Он говорит о гуманизме, но добавляет к нему словечко «новый». Он приглашает к гармонии, миру и равновесию, он благопристоен и чопорен, его ответ «Welt-Spiegel» выдержан в «лучших» традициях буржуазной дипломатии: «Я вижу в жизни и творчестве Гете совершеннейшее и наиболее мощное проявление того, что можно было бы назвать «современным гуманизмом». Но исчерпывается ли этим все значение Гете? Наоборот, я думаю, что если люди и народы, носители западной культуры, откроются для его воздействия, то они еще долго будут находить в Гете секрет того, как им разрешать противоречия своих душ и своей эпохи и превращать их в гармонию, равновесие и мир». Расшифруем же смысл этих прилизанных фраз.

Почему понадобился «новый гуманизм»? Почитайте Гастона Риу [59], «гуманистически» обещавшего расстрелять Ромена Роллана, просмотрите «Предательство клерков» Жюльена Бенда [60], тренировщика империалистической интеллигенции, дайте себе труд прочесть пухлый том откровений американских неогуманистов «Гуманизм и Америка» [61], просмотрите книгу Ирвинга Боббита [62], заставьте себя прочитать «философов» итальянского фашизма,—и тогда вы поймете, что «новый гуманизм»—это знамя фашистской реакции, что под маской гуманизма скрываются

Рисунок Гете,
Изображение междучелюстного шва на черепе
Goethehaus, Веймар

сейчас империалистическо-фашистские литераторы. Именно поэтому Теодор Драйзер и Ромен Роллан борются с неогуманизмом. Но именно поэтому же Понсе рекомендует его для всеобщего употребления, пользуясь юбилеем Гете. Нечего уже говорить о том, какой смысл им вкладывается в пожелания «гармонии» (под протекторатом империалистической Франции!), «равновесия» (в пределах версальской системы!) и «мира» (под покровительством орудия войны—Лиги наций!).

Франсуа Понсе стремится превратить Гете в плоского защитника капиталистической «гармонии» и буржуазного «равновесия». Иное бы сказал теперь сам Гете, еще при жизни протестовавший против превращения его в апологета существующего. Так он заявил Экерману 4 января 1824 г.: «Меня называли сторонником установленного порядка. Будь установленный порядок превосходным, справедливым и хорошим, я разумеется не имел бы ничего против; но так как на ряду с хорошим в нем имеется много плохого, несправедливого и неполного, то быть сторонником установленного порядка иной раз не лучше, чем быть сторонником отжившего и плохого». Гете очень хорошо ответил тогдашним и будущим Понсе по поводу неизменности существующего: «Мы познаем время как всякое движение вперед; порядок, почитавшийся совершенством в 1800 г., может быть уже преступлением в 1850 г.».

Специальный гетевский номер «Nouvelle Revue Française» от 1 марта с. г. является показательным для всего направления дискуссии о Гете во французской прессе. Немецкий критик Эрнст-Роберт Курциус в статье «Гете или немецкий классик»[63] верноподданнически припадает к стопам буржуазной Франции, он демонстрирует свою скромность и преданность, он дает ясно понять, что определенные круги Германии готовы сотрудничать с буржуазной Францией. Смирение—удел слабых, покорность—это долг бессильных. Курциус старательно подчеркивает, что Гете был универсальной ценностью в области немецкой культуры, чем и привлек к Германии симпатии других национальностей. Курциус на примере

Барреса, отошедшего от Гете, пытается доказать мысль, что для Франции выгоднее не быть такой националистической, ибо тогда она будет ближе к Гете. Если Франция действительно хочет ассимилировать Гете целиком, а не фильтруя его, она должна созерцать Германию под другим углом зрения. Курциус говорит, что он «против пан-германизма, но что он также и против пан-францизма, который заключается в утверждении, что национальная мысль французов олицетворяет все человечество в его чистом, абсолютном виде. Поэтому очень прискорбно, если Франция, чествуя память Гете, обратится к Гете-человеку, но не к Гете-немцу». Итак, пожмем друг другу руки над могилой Гете, забудем о победителях и побежденных.

Только Андре Жид в статье «Гете» [64] нашел простые слова для передачи своего личного восхищения гениальностью Гете, тогда как другие авторы в сущности переводят на литературный язык директивы французского генералитета.

Вот например статья Альбера Тибоде [65]. Германия, по Тибоде, может дать новых Несторов, которые будут поучать Запад. Но где же находится трибуна для этих Несторов, где же место главнейшего Нестора—место Гете? Оказывается, это место—Женева. Оказывается, нужно сделать Гете председателем в Женеве на 1932 г. и отдать ему этот год на полное попечение. Орудие войны—Лига наций—попала под покровительство Гете, и сам он оказался чуть ли не председателем этого малопочтенного учреждения.

Нельзя не обратить внимания на письмо о Гете Мюнье, исполняющего высокие обязанности почетного каноника Парижа.

Мюнье, католический прелат, как оказывается, преклоняется перед Гете. Он оправдывает свое увлечение тем, что Маргарита и вероятно Миньона—католички, а также тем, что вторая часть «Фауста» заканчивается песнопениями «почти достойными месяца девы Марии». Мюнье прощает Гете его ошибки и заблуждения, но весьма сожалеет, что Гете и Шатобриану не пришлось встретиться при жизни, так как тогда Гете может быть почувствовал бы необходимость искать выше (в небесах) объяснение своего существования.

«После тех бурь, которые разделили два великих народа, я хочу видеть в праздновании столетнего юбилея Гете первую радугу после бури и от всего сердца присоединяю свою дань преклонения перед Гете к ознаменованию памяти Гете».

Видите, как церковь умеет использовать даже такого далекого от христианства художника, как Гете. Мы можем напомнить почетному канонику слова Гете в письме Лафатеру: «Меня нельзя назвать ни антихристианином, ни дурным христианином. Я просто не христианин». Но разве есть дело католическому прелату до действительного Гете? Разве его целью не является извращение облика писателя?! Этот специальный гетевский номер «Nouvelle Revue Française», как и вся буржуазная пресса, не может конечно обойтись без нелепостей и пошлостей. Поистине потрясающую безграмотность демонстрирует некий Дени Сора [66]. Оказывается, Гете почти ничего хорошего не написал, кроме «Ифигении», а «Ифигению» написал только потому, что удачно следовал грекам и французам. «Фауст»—бесформен и абсурден. «Вертер»—глуп. «Герман и Доротея»—воплощение пошлости. Романы Гете нельзя читать. Франция вообще его давно забыла, Англия после смерти Мередита тоже о нем

не вспоминает. Зачем говорить о творчестве Гете,—пусть-ка лучше немцы подумают над тем, чтобы перестать ненавидеть французов и помнить об уроке Гете—о спокойствии и недовольстве особенно!

Выходит, что всякий идиот, который не может понять «Фауста», имеет право во Франции оплевывать его со страниц наиболее «авторитетных буржуазных органов».

Не напрасно ли Роберт Курциус в упомянутой нами статье так подобострастно подлизывается к буржуазной Франции, которая отвечает ему или пощечиной, как Дени Сора, или же недвусмысленно приглашает выполнить волю французского империализма, как Сюаре или Тибоде?

Прямое отношение к этому цепкому католику имеет один эпизод, о котором рассказывает Робинсон, в 1869 г. опубликовавший воспоминания о Гете. В 1899 г. Елена Майер по рукописи восстановила места о Гете и опубликовала пересказ в «Deutsche Rundschau». В этих записях Робинсона есть одно любопытное место, раскрывающее отношение Гете к религии.

В разговорах с Робинсоном Гете в особенности восторгался Байроном, которого считал лучшим английским поэтом, и несколько раз указывал на поразительную верность байроновских описаний природы, в которых он нашел только две или три ошибки. Однажды разговор зашел о религии и церкви. Гете держал в руках какой-то цветок, а по комнате летела бабочка. На замечание Робинсона, что всякая правда происходила от бога, а церковь делает ее понятной, Гете сказал спокойно, хладнокровно: «Конечно всякая правда идет от бога, но церковь ее не делает понятной, а только уродует. Бог говорит нам вот через этот цветок, вот через эту бабочку, а канальи патеры и пасторы не понимают этого божьего языка».

К породе таких «каналий» и относится достопочтенный и преподобный отец Мюнье.

Эти высказывания не являются новыми. Еще в 1930 г. была опубликована книга Ипполита Луазо, в которой была развернута концепция французского империализма в отношении Гете [67].

Книга Луазо—любопытное и тонко смонтированное произведение империалистического литератора. Он разбирает внешне чисто научные вопросы о литературном и культурном влиянии Франции на Гете. Тема его книги—это отражение в творчестве Гете французской культуры. Тема не новая, но ни в одном из исследований по этому вопросу (последнее из них появилось в 1915 г.) не была так выявлена эта тенденция превращения Гете в простого представителя буржуазной Франции. По существу Луазо очень мало интересуется, как отразились на искусстве Гете влияние французских мыслителей и писателей. Он говорит, правда, об этом, но это только форма, скрывающая истинный смысл книги: Ипполит Луазо стремится доказать, что Франция является подлинной колыбелью современной культуры, что только она высоко держит светоч разума, что только в ней горит настоящее пламя мысли, что только она, эта прекрасная Франция, закладывает основы настоящей литературы и настоящего искусства.

Кто будет отрицать, что современное искусство и литература, несмотря на национальные границы, тесно связаны между собой и влияют друг на друга? Но в другом тенденция книги Луазо. Он хочет показать, что именно Франция и должна быть водительницей народов, что именно

Франция и должна задавать тон всему европейскому, а может быть и мировому оркестру. Мы знаем, что французский империализм неустанно пропагандирует мысль о том, что именно Франция, ее вассалы, как Польша, как Румыния, являются оплотом против варварства, в особенности же против большевистского варварства. Вот задачам этой пропаганды и подчинена «научная работа» Ипполита Луазо.

Он открывает свою книгу следующим заявлением:

«Бесчисленны те немцы, которые в течение истории, а особенно в XVII и XVIII вв., подражали Франции в ее нравах, вкусах и в различных литературных и художественных проявлениях ее национального гения, но очень немногочисленны люди, признававшиеся сами себе в том, чем они ей обязаны, и еще меньше тех, кто признавался бы в этом публично и кто не отомстил бы нам за то, что был нашим должником, клевеща на нас или разыгрывая презрение. Лессинг, Гердер, Менцель—тому наиболее известные примеры».

«Явных друзей» Франции среди немецких писателей можно «пересчитать по пальцам», да и то достаточно их «поскрести», чтобы убедиться в их «не вполне германском происхождении», как например Гейне и Берне, и в том, что их франкофобия «скорее боевое оружие, чем глубокое убеждение». Нередко они «восхваляли Францию из ненависти к Германии или чтобы гальванизировать дремлющее самолюбие своих соотечественников».

Гете «любил Францию искренне и бескорыстно. Он старался отделить наши достоинства от недостатков... Он заботился только о справедливости и он не скрывал того, чем был нам обязан».

Так открывается работа Луазо. А потом начинается разоблачение Гете. Оказывается, что почти каждое произведение Гете или было заимствовано у Франции, или было написано под сильнейшим влиянием французов, или было просто переделкой какого-либо французского произведения, или же, когда Гете писал что-либо неудачное, было направлено против французского влияния.

Если верить Ипполиту Луазо, то можно со спокойной совестью на титульном листе каждого произведения Гете рядом с его именем добавлять имя какого-нибудь французского писателя. Только иногда Луазо позволяет Гете быть оригинальным.

Говоря о раннем творчестве Гете, об увлечении романтизмом и классицизмом, Луазо считает, что Гете здесь просто заимствовал эти свои увлечения у Франции. Выходит так, что романтизм и классицизм имели свою почву не в общественных отношениях эпохи, не в особом положении немецкой буржуазии, но в том простом факте, что романтизм и классицизм были и во Франции.

Луазо готов допустить мысль, что Гете находился под влиянием античности, но тут же добавляет, что, «увлекаясь древностью, он еще больше приближается к нам». Выходит, что, не будь Франции, не было бы и Греции, ибо Франция, по Луазо,—это «внучка Рима и Греции», а Гете начал свои увлечения именно с внучки, перейдя потом уже к бабушке.

Луазо конечно с большим одобрением относится к тому, что Гете выступил против Великой французской революции. Он не пытался хоть сколько-нибудь приблизиться к пониманию противоречивости отношения Гете к идеям Французской революции и к носителям этих идей, но просто зачисляет Гете в аристократы. Беря знаменитый термин Гете «вельт-

литератур» (мировая литература), Луазо и здесь оказывается верен самому себе: «вельтлитератур» означало французскую литературу, и Франция здесь становится олицетворением всего мира. Луазо знает, но не хочет понять слов Гете, сказанных Экерману 31 января 1827 г. как раз на эту тему:

«Поэзия—это общее благо всего человечества... В наше время выражение «национальная литература» почти утратило свой смысл: настали времена литературы всемирной, и каждый должен работать над тем, чтобы ускорить ее приближение. Француз—пленник идей узких и специфических—долго презирал иноземные народы и литературы, но теперь он знает немцев, англичан лучше, чем они знают самих себя... И французы извлекают наибольшую выгоду из громадного движения, связанного со всемирной литературой, их горизонт расширяется и точка зрения повышается»...

Здесь дается совершенно иное отношение Гете к Франции, бьющее по узколобому шовинисту Луазо. Для Гете французская литература была одной из составных частей мировой литературы. Величие ее было не в том, что она была французской, а в том, что в ней были большие идеи, выраженные в прекрасных формах. Луазо же исступленно пытается доказать, что все французское превыше всего, что все то, что было во Франции, достойно чуть ли не обожествления.

Луазо старательно борется за буржуазный порядок. Во всей его работе красной нитью проходит мысль, что чем меньше будет потрясений и смут во Франции, тем больше ее будут ценить другие государства. Например он пишет:

«Гете конечно очень любил Францию, но он наверное любил бы ее еще сильнее, если бы ее политическая история была менее связана со смутой и меньше смущала... Никогда не мог он примириться с двумя противоположными принципами этой политической истории: абсолютизмом и анархией».

Луазо здесь отказывается от наследства Великой французской революции, тогда как именно влияние великих умов XVIII в.—Вольтера, Дидро и Руссо—помогало Гете преодолевать ограниченность духовной жизни Германии его времени.

Совершенно комической является глава десятая, в которой Луазо пытается доказать французскую основу произведений Гете. Опять-таки мы считаем нужным подчеркнуть, что ни в какой степени не думаем отрицать того, что французская литература влияла на Гете. Но нельзя опошлять такого большого вопроса. Нельзя путем надерганных примеров показывать, что Гете—просто немецкий переводчик с французского.

Какое дело ему, этому бойкому и продувному империалистическому литератору, до связи идей Гете с идеями просветителей! Ему важно подчеркнуть всю гибельность революционных потрясений, для него главное—борьба с революцией теперь, защита гибнущего строя любой ценой, в том числе и головой оклеветанного, препарированного, выпотрошенного, как треска, Гете.

Доказательства (если это можно назвать доказательствами) чрезвычайно просты: например во Франции были развиты пасторали, Гете написал пастораль «Амина»,—значит он это взял из французских пасторалей.

В комедии «Совиновники» хороший диалог. Вывод: это мольеровский диалог. Но имеется отрицание собственной глупости: Луазо сам же го-

ворит, что это можно приписать влиянию Лессинга, тем более, что в отличие от Мольера в конце нет морали.

«Письмо пастора» Гете, где писатель дал свою религиозную концепцию, чем-то напоминает «Исповедь савойского викария». Вывод: значит в последнем и нужно искать корней этого произведения Гете. Луазо развертывает обширную программу офранцузивания Гете. Нет никакого сомнения в том, что великие умы Франции XVIII в. (Вольтер, Руссо, Дидро) и идеи Великой французской революции оказали сильнейшее влияние на Гете, о чем он сам говорил не раз. Мы знаем, что Гете относится отрицательно к тому разрушительному, что было во Французской революции, и написал на нее пасквиль «Генерал революционной гвардии». Но несмотря на это, идеи просветительства, идеи энциклопедистов, идеи Вольтера, Дидро, Руссо, ясно обнаруживаются в его творчестве на всем протяжении его жизни. Но разве это имеет что-либо общее с современной Францией? Разве это влияние не служит лишней иллюстрацией к тому, что современная буржуазия отказалась от своего собственного прошлого, что она отказалась от революционных идей XVIII в., что она идет назад от идей Великой французской революции? Разве что-либо общее имеет современный французский империализм и его апологеты—философы, художники, литераторы, журналисты—с идеями энциклопедистов, с их преклонением перед действительной наукой, с их стремлением к гуманности, к разуму, к истине, к счастью человечества? Никакой общности, никакой преемственности, никакой аналогии.

Стремление французских «литературно-генштабистских» империалистических критиков использовать юбилей Гете для усиления «западной ориентации» Германии, столь выгодной для версальских победителей, не могло не встретить противодействия со стороны Италии. Итальянская фашистская критика выставила контртезис о благотворности влияния Италии на Гете. Уже 28 января 1932 г. в органе фашизма «Пополо д'Италия» была напечатана программная статья «Характер немецкой драмы» Россо ди сан Секондо [68]. Автора интересует не немецкая драматургия, но драма немецкого народа; он делает вид, что его искренне волнуют бедствия Германии, тем более, что в благоденствующей Италии «даже не могут себе представить размеры немецкой трагедии». Секондо готов пролить горькие слезы, но подозрительна эта его жалость. Во-первых, почему он так настойчиво внушает Германии мысль, что «славянское влияние» может лишь повредить Германии, тогда как общеизвестно, что именно СССР (кстати сказать, это вовсе не «славяне», синьор Секондо) является единственой страной, действительно по-дружески относящейся к германскому народу. Но синьор Секондо хитер, он замалчивает эти всем известные факты дружеских связей между двумя великими государствами и уверяет, что «славянское влияние вносит с художественной точки зрения дезорганизацию, присущую русской литературе, с моральной же—полное отсутствие идеалов, которые так нужны как раз теперь, когда нищета готова побороть самые сильные немецкие души». Где же путь спасения? Оказывается, что «громадный ум Гете интуитивно понял и пытался разрешить» подобные же затруднения, «направляя немецкий дух к Средиземному морю». Мы узнаем также, что «Средиземное море означало для Гете синтез, организованность, ясность». И критик-фашист «дружески» советует Германии пойти спокойно в пасть итальянского империализма, ибо «таков был и таковым остается путь спасения».

11 марта 1932 г. Россо ди сан Секондо печатает в той же газете новую статью на ту же самую тему о Гете [69]. Секондо берет на себя смелость утверждать, что большевизм игнорирует и борется с Гете, тогда как именно рабочий класс является настоящим наследником того великого, чем был Гете, и от чего должен отказаться и отказывается родной

Вертер, рисующий детей

Картина маслом чешского художника М. Квадаля, работавшего в России в конце XVIII века (Петербург, 1796 г. Третьяковская Галлерея, Москва

класс писателя. Секондо опять запугивает «славянскими» влияниями, сеющими «зерна морального, художественного и политического растления», хотя эти страшные слова лишь разоблачают его глубочайшее невежество и такую тупость, которой может позавидовать простая дубинка, не в обиду ей будь сказано. Понятны эти трюки синьора Секондо: он созна-

ется, что германская интеллигенция все больше и больше революционизируется и начинает по-новому читать и Гете, «поглощая славянский яд». Как же нужно бороться с этим «ядом»? Рецепт мы уже знаем: «Средиземное море, античная красота и католицизм». Кстати о католицизме, который столь упорно навязывают Гете его современные «почитатели». Гете никогда не был католиком, как он никогда не был христианином. А в связи с католизацией Гете будет небесполезно привести отрывок из его «Путешествия в Италию».

«Мы устремились с толпой через обширный двор по слишком даже просторной лестнице. В этих аван-залах, против капеллы, в виду целого ряда комнат, странно чувствуешь себя под одною кровлею с наместником Христа.

Служение уже началось; папа и кардиналы были уже в церкви. Святейший отец—прекрасная, почтенная и мужественная фигура; кардиналы—различного возраста и вида.

Меня охватило странное желание, чтобы глава церкви раскрыл свои златые уста и, говоря с восторгом о невыразимом блаженстве праведных душ, привел бы и нас в восторженное настроение. Когда же я увидел, что он только двигается туда и сюда перед алтарем, поворачиваясь то в ту, то в другую сторону, кривляясь и бормоча, как простой поп, то во мне зашевелился прирожденный протестантский грех, и мне отнюдь не понравилось здесь знакомое и обычное дароприношение: ведь Христос еще мальчиком изустно толковал писание и в юношеском возрасте конечно не молча поучал и действовал, так как он говорил охотно, умно и хорошо, как нам известно это из евангелия. Что бы он сказал, подумал я, если бы взошел сюда и застал своего представителя на земле бормочущим и покачивающимся то туда, то сюда? Мне вспомнилось Venio iterum crucifigi, и я толкнул своего товарища, торопясь выйти на простор в сводчатые, украшенные живописью залы».

Путешествия Гете в Италию чрезвычайно много дали художнику, он вырвался из узкого круга Веймара, ближе подошел к действительности, его кругозор еще больше расширился, он сформулировал тогда с большой полнотой свое понимание античного искусства, правильно указав, что тайна его необычайной гармонии и красоты заключается в близости к природе, к действительности, в отсутствии христианского лицемерия. Но разве эта сторона интересует Секондо? Послушайте этого литератора: «Только на берегах Средиземного моря может найти Германия самое себя. В противном случае она погибнет...» Он считает, что это приобретает особый смысл теперь, «когда легионы Гитлера вдохновляются средиземным гением Муссолини». Вот где зарыта собака синьора Секондо! Гитлер и Муссолини—вот портреты, для которых он рисовал эти идиллические средиземноморские пейзажи. Гете здесь оказывается идейным соратником Гитлера.

Присяжный философ фашизма Джентиле также развил подобную же концепцийку в «Berliner Tageblatt» [70], второпях причислил было Гете к католикам, но одумался и сам сознался, что Гете относился к католицизму отрицательно (номер от 23 марта с. г.).

Никак нельзя сказать, чтобы попытки французского или итальянского империализма были успешны. Немецкая пресса очень сдержанно отнеслась к французским империалистическим литераторам, особого энтузиазма не вызвали и предложения прекрасной Италии стать утопленником

в таком античном и культурном море, как Средиземное. Немецкий посол в Италии конечно должен был распространиться насчет благотворности влияния Италии в своем ответе на речь Муссолини, но дальше дело не пошло [71].

Положительный отзыв «Deutsche Rundschau» о книге Ипполита Луазо также не сделал погоды; французский империализм не сумел много заработать на юбилее Гете: задушенная версальской системой Германия не верит в эти галантные расшаркивания перед Гете.

Эпоха империализма—это эпоха загнивания и гибели революций. Загнивающий класс, умирающее общество, гибнущий строй, качающийся и шатающийся порядок—разве это есть основа для расцвета философии, искусства, литературы?! Нет! Это оковы для мысли, для движения идеи, для развития самой жизни искусства. Это смерть культуры. Это ее гибель. Отсюда эта боязнь техники, эта боязнь машины, наиболее ярко выраженная Шпенглером, который выступает против «фаустовской души», понимая под этим научное отношение к миру. Обратно к средневековью!—вот лозунг современного буржуа, раздавленного всеобщим кризисом. При чем здесь Гете? При чем здесь его философия? В какой связи находится его дерзкая мысль с этим погибающим классом? Нет этой связи! Величие Гете не для его буржуазных потомков, не для его наследников.

Гете не вмещается в рамки современного капиталистического общества. Он их расшатывает. Он пугает своей колоссальностью. Нужно его принизить. Нужно его смять. Нужно его превратить просто в человека, который ведет приходо-расходные книги, который любит свой дом. Нужно сбросить его. Нужно растоптать глубину его мышления, исковеркать всю остроту его ума. Из огромного, всеохватывающего, универсального и необычного нужно сделать обыденным, домашним, уютным, не тревожащим. Какая лакейская цель, какая куриная психология, какая слепота класса, стоящего на краю пропасти! Сколько издевательства над Гете было в эти дни гетевского года, сколько непонимания, сколько нежелания думать, сколько намеренного искажения, сколько ненависти к тому великому, что было в нем, сколько мелких и грязных целей, сколько необычайно ничтожных потуг заставить Гете быть бечевкой, стягивающей расшатанный остов гибнущего общественного строя!

...Так отпраздновал капиталистический Запад столетие смерти великого художника, снова похоронив его, предав уничтожению его наследие, растоптав его гениальное творчество, по-варварски грубо, торгашески, со звериной ненавистью к великому отнесясь к тому, что создано было им, этим величайшим художником. И только наша страна, только Союз Советских Социалистических Республик, отметила годовщину так, как это подобает, так, как этого заслужил гений Гете. Только рабочий класс сумел подойти к Гете с подлинной серьезностью и настоящим пониманием. Это отношение очень хорошо выразила «Klassenkampf» [72]:

«Буржуазия праздновала год назад Гегеля, теперь она празднует Гете. Поток приготовлений, которые в большинстве случаев являются коммерческими предприятиями самого худшего качества, исходит из общества, которое уже утратило свои производительные силы.

Только пролетариат может постигнуть глубокие противоречия в творчестве Гете. Буржуазия его никогда не могла понять. Она пытается

сейчас выдергивать из Гете отдельные места, которые ей наиболее подходят. Отпугнутая непокорным гением Гете, она рабски преклоняется перед всем мелким, недалеким в его таланте, всем, что было вызвано «немецкой жизнью». Год Гете служит буржуазии, особенно немецкой, новым предлогом, чтобы прикрыть остатками своей юности разложение старости. Обвиняют предка, который, несмотря на все недостатки, был колоссом силы и здоровья, в том, отчего сами гниют».

Ромен Роллан, революционный художник, искренний и мужественный друг Советского союза, поднял свой голос в защиту наследства Гете и сорвал маски с капиталистических торгашей, с продажных писак, с гнусных прислужников империалистической буржуазии, с фашистской критики, с представителей цивилизованного варварства. Его прекрасная и глубокая книга «Умирай и созидайся»—достойный ответ всей этой своре капиталистических гончих, травящих Гете и торгующих его наследством. Словами Ромена Роллана рабочий класс отвечает тому Западу, который гниет и заражает вселенную своим гниением, который обречен на смерть, на уничтожение, на гибель:

«Истина в том, что будет, но никогда не в том, что умерло и осталось позади. Потому-то его мысль и воля всегда направлены к восходящему солнцу. Веймарский Гете может дожидаться его на месте, возвещая о нем. Но Гете-Фауст идет к нему навстречу и отвоевывает его у ночи. Не он ли сказал бессмертное слово умирающего Фауста:

«Лишь тот достоин свободы и жизни, кто должен ежедневно их завоевывать».

И это слово—наше знамя. *Оно развевается над всеми революциями и за пределами их. Ибо всякая революция намечает себе цель и останавливается на ней.* А умирающий Фауст все еще подвигается вперед, всегда будет подвигаться. Знамя его—знамя постоянной революции, *которая вечно идет на приступ, борясь с роком, и день за днем насильственно отвоевывает у него новый клочок истины.*

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. статью «Soll das Goethe-Jahr 1932 gefeiert werden?» Mit Beiträgen von: Prof. Herbert Cysary, Paul Ernst, Emil Ludwig, Thomas Mann, Rudolf Pannwitz, Wilhelm Schäfer, R. A. Schröder, Prof. Karl Vossler, Prof. Oskar Walzel, Jakob Wassermann.—«Die literarische Welt», Freitag, 18 September 1931, Nr. 38.

[2] «Goethe und Buchhandlung».—«Berliner Börsen-kurier», 20 April 1932, Nr. 72.

[3] Ответ *Jacob'a Wassermann'a* напечатан в газете «Die literarische Welt», Freitag, 18 September 1931, Nr. 38.

[4] Ответ *Rudolf'a Pannwitz* напечатан там же.

[5] Ответ *R. A. Schröder'a* напечатан там же.

[6] Ответ *Thomas'a Mann'a* напечатан там же.

[7] Ответ *Karl'a Vossler'a* напечатан там же.

[8] Ответ *Oskar'a Walzel* напечатан там же.

[9] M. *Rychner*, Zum 100 Todestag Goethes.—«Kölnische Zeitung», 24 September 1931, Nr. 521 (S. 2).

[10] *Fritz Engel*, Goethe-Jahr.—«Berliner Tageblatt» (Morgen Ausgabe), Mittwoch, 14 Oktober 1931, Nr. 484 (S. 15).

[11] См. статью—S., Kulturbau und Goethe-Jahr.—«Die literarische Welt», Freitag, 16 Oktober 1932, Nr. 42.

[12] Мнение R. A. Schröder'a см. в «Die literarische Welt», Freitag, 18 September 1931, Nr. 38 (S. 7).

[13] См. об этом «Исторический Вестник» 1889, т. LXXVIII, отд. «Новости и мелочи», стр. 375.

[14] Paul Kühn, Die Frauen um Goethe. 2 B-de. Mit vielen Tafeln. Graz: Das «Bergland-Buch». Deutsche Vereins-Druckerei (1932).

[15] H. Houben, Ottilia von Goethe. Leipzig, 1932.

[16] Alfons Paquet, Frau Rat Goethe und ihre Welt. Englert und Schlosser in Komm., Frankfurt a. M. 1931, S. 180.

[17] Wilhelm Schäfer, Goethes Geburtshaus. Frankfurt a. M. Deutsche Volksshende j. Goethes Geburtssätte, 1932, S. 45.

[18] L. Farnoux-Reinaud, Goethe.—«L'Ordre», 22 mars 1932, Nr. 824.

[19] A. v. Pflugk, Die Brille in der Goethezeit.—«Deutscher Almanach» 1932, S. 145—147.

[20] Эта «ученая» работа вызвала даже возмущение в правых кругах Германии. На нее обрушился между прочим бывший баденский премьер-министр Willi Helpach, напечатавший в «Berliner Tageblatt» возмущенную заметку о круге научных интересов германского юношества.

[21] «Ein übersehener Vetter Goethes».—«Kölnische Zeitung», 13 Januar 1932, Nr. 24, S. 2.

[22] Gräfin Sophie v. Arnim, Goethe und Fürst Pückler. Dresden, Zahn und Jaensch, 1932.

[23] См. заметку «Goethe in der Kinderfürsorge».—«Die Rote Fahne», Sonntag, 24 Januar 1932, Nr. 19 (S. 10).

[24] Статья «Auch eine Goethe-Reklame».—«Kölnische Zeitung», 28 Januar 1932, Nr. 54, S. 2.

[25] См. об этом в газете «Haus und Grundeigentum», 24 März 1932, Wien. Также заметку «Goethe den Hausbesitzern» в газете «Klassenkampf», Sonnabend, 26 März 1932, Nr. 72 (S. 4), Halle.

[26] Речь напечатана, см. Ricarda Huch, Goethe in unserer Zeit.—«Die Literatur» (Monatsschrift für Literaturfreunde), hrsg. v. Ernst Heilborn, Stuttgart, Oktober 1931, S. 32 ff.

[27] Heinrich Mann, Wir feiern Goethe.—«Berliner Tageblatt» (Morgen Ausgabe, 1 Beilage), Montag, 22 März 1932, Nr. 138 (S. 2).

[28] Содержание речи заимствуем из корреспондентской заметки «Hauptmanns Goethe-Rede», напечатанной в «Berliner Tageblatt» (Abend Ausgabe), Mittwoch, 2 März 1932, Nr. 105 (S. 7).

[29] Reinhard Goering, Goethe und die Zeit.—«Die Literatur» (Monatsschrift fur Literaturfreunde), hrsg. v. Ernst Heilborn, Stuttgart, März 1932, Heft 6, S. 305.

[30] Romain Rolland, Stirb und Werde. J. Engelhorns Nachf., Stuttgart, 1932; на русском языке статья «Умирай и созидайся» была перепечатана в III книге «Красной нови» за 1932 г. Отрывок был кроме того напечатан в «Литературной газете» в № 14 (183) от 23 марта 1932 г.

[31] Josef Buchhorn, Zwischen Goethe und Scheidemann. Weimarer Eindrucke, 2 Aufl. Statpolit. Verlag, Berlin, 1919.

[32] «Goethe und Hindenburg».—«Vossische Zeitung», 3 Februar 1932, Nr. 57 (S. 7).

[33] Телеграмма напечатана под заголовком: «Der Reichspräsident zur Goethe-gedenkfeier» в газете «Berliner Tageblatt» (Morgen Ausgabe), Montag, 22 März 1932, Nr. 138 (S. 2).

[34] Rudolf Kampe, Goethe, der Deutsche.—«Vossische Zeitung», 29 Januar 1932, Nr. 49 (S. 9).

[35] Harry Maync, Goethe und Bismark. Ein Wort an die akademische Jugend. Festrede geh. am 18 Januar 1932.—«Marburger Akademische Reden», Nr. 52, Marburg, 1932.

[36] Ernst Schrumpf, Der nationale Goethe. Ein Wegweiser für unsere Lage. München, J. F. Lehmanns Verlag, 1932.

[37] «Die Literatur» (Monatsschrift für Literaturfreunde), hrsg. v. Ernst Heilborn, Stuttgart, Januar, Heft 4, S. 211.

[38] Walter Linden, Goethe und die deutsche Gegenwart, Berlin, Deutsches Verlagshaus, Bong, 1932.

[39] См. об этом в упомянутой выше статье Josef'a Buchhorn'a «Zwischen Goethe und Scheidemann», Berlin, 1919.

[40] Gust. Krüger, Die Religion der Goethezeit. (Vorträge), Hbgn. Mohr, 1931, S. 155.

[41] Oskar Geithner, Goethe im Lichte des Göttlichen. Eine Betrachtung s. Weltanschauung u. Religion. 3 vollst. umgearb., bed. erw. Auflage. Dessau. Salzmann, 1931, S. 112.
[42] Paul Fischer, Goethes letztes Lebensjahr. Weimar, Böhlau, 1931, VIII—171 S. mit I Facs., 9 Taf.
[43] Hans Pförtner, Goethe und Golgatha. Flugschriften der Christlichen Wehrkraft, Nr. 3. Verlag Paul Müller, München (1932), S. 13.
[44] Karl-Justus Obenauer, Goethe in seinem Verhältnis zur Religion. Verlegt bei Eugen Diederichs in Jena, 1923, S. 242.
[45] Фр. Энгельс, Положение в Англии. Соч. К. Маркса и Энгельса, т. II, М.-Л., 1929, стр. 345.
[46] Julius Bab, Das Leben Goethes. Eine Botschaft. 4 vielfach verbr. Auflage Erich Weibezahl Verlag, Leipzig, 1932, S. 120, mit 9 Abb.
[47] Kurt Geucke, Goethe und das Welträtsel. Verlag der Concordia, Deutsche Verlagsanstalt, Berlin, 1932, S. 108.
[48] Sir Oliver-Joseph Lodge, Phantom walls, № 9, 1930.
[49] Bernard Groethuysen, La vie de Goethe.—«La Nouvelle Revue Française» 1 mars 1932.
[50] «Goethe».—«Echo de Paris», 22 mars 1932.
[51] «Vorwärts», 28 Januar 1932, Nr. 46, B. 23, S. 3.
[52] См. об этом в музыкальной хронике Henri Malherb'a (La musique. Chronique musicale), помещенной в «Temps», mercredi, 3 fevrier 1932, p. 3.
[53] C.-F. Ramuz, Le sage.—«La Nouvelle Revue Française» (Hommage à Goethe), 1 mars 1932, pp. 414—420.
[54] Robert d'Harcourt, La sagesse pratique de Goethe.—«Revue de deux Mondes», 15 mars 1932, pp. 343—347.
[55] André Suarès, Goethe l'Universel.—«La Nouvelle Revue Française» (Hommage à Goethe), 12 mars 1923, pp. 378—413.
[56] F. Baldensperger, Goethe et légion d'honneur.—«La revue de Paris», 15 mars 1932, Nr. 6, p. 369.
[57] «De Goethe à l'Alsace».—«Temps», mercredi, 24 fevrier 1932, Nr. 60, p. 1.
[58] Это высказывание напечатано в журнале «Der Welt-Spiegel», März 1932, Nr. 10.
[59] Gaston Riout, Europe—ma patrie, 1927.
[60] Julien Benda, La trahison des clercs, 1927.
[61] «Humanism and America», edited by Norman Foerster, New-York, 1930. Essays on the outlook of modern civilisation.
[62] «Democracy and Leadership» by Irving Babbitt, L., 1927.
[63] Ernst-Robert Curtius, Goethe ou le classique allemand.—«La nouvelle Revue Française» (Hommage à Goethe), 1 mars 1932, pp. 321—350.
[64] André Gide, Goethe. Там же.
[65] Albert Tibaudet, Le Président. Там же.
[66] Denis Saurat, Goethe aujourd'hui. Там же.
[67] Hippolite Loiseau, Goethe et la France, Paris, 1930, pp. 354.
[68] Rosso di san Secondo, Il carattere di drama tedesca.—«Il popolo d'Italia», Milano, 28/I Gennaio 1932, Nr. 24.
[69] Rosso di san Secondo, Dalla Valfuraal l'Empireo.—«Il popolo d'Italia» Milano, venerdi 11 Marzo 1932, Nr. 61.
[70] Giovanni Gentile, Goethe in Italia.—«Berliner Tageblatt» (Morgen Ausgabe), Montag, den 22 März 1932, Nr. 138.
[71] Речь немецкого посла v. Schubert'a, напечатанная в «Il popolo d'Italia», Milano, martedi 5 Aprile 1932, Nr. 82.
[72] «Goethe». Zum 100 Todestag Goethes.—«Klassenkampf», Halle, Dienstag, 22 März 1932 (S. 9).

С. ДУРЫЛИН

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ У ГЕТЕ В ВЕЙМАРЕ

Русское гетеанство менее всего может быть уложено в сравнительно узкие рамки «литературного влияния». Как осваивалось творчество Гете, какие отклики находило оно в современной ему литературной действительности,—все это вопросы конечно вполне законные и правомерные. Но, по существу, за ними встает другой вопрос—вопрос более общий—о русском гетеанстве как об идеологическом орудии классовой борьбы эпохи, орудии, получающем различный классовый смысл в зависимости от классовой физиономии «гетеанцев», в числе которых мы найдем представителей глубоко различных классовых группировок—от крупного вельможи, дворянина-крепостника, до разночинца.

Уже в эпоху наполеоновских войн правящие круги России используют мировое имя Гете для своих чисто политических нужд, пытаясь например оправдать экспансию на Восток русского крепостнического государства, опираясь на поддержку и сочувствие Гете. Таким образом проблематика «русского гетеанства» еще более расширяется и усложняется. Встает несколько неожиданный и на первый взгляд даже парадоксальный вопрос о русском гетеанстве как явлении русской внешней политики начала прошлого века.

К сожалению все эти вопросы оставались до сих пор не только не решенными, но и не поставленными. В буржуазной русской историографии, если не считать стоящей на исключительно низком научном уровне работы Розова («Пушкин и Гете», Киев, 1908), небольшого этюда Каллаша («Русские отношения Гете» в сборнике «Под знаменем науки», М., 1902) да незначительного числа мелких высказываний отдельных исследователей, к тому же высказываний, роняемых обычно походя,—для решения этих вопросов не сделано ничего. Так же или почти так же обстоит дело и в немецкой гетеане. Да и то немногое, что писалось до сих пор на эту тему, не столько может служить отправной точкой для дальнейшей работы, сколько должно явиться объектом критического преодоления. Классовость всякой науки, и науки историко-литературной в том числе, сказалась здесь в полной мере.

Интереснейшая проблема о взаимоотношениях Гете с Россией его эпохи не только не разрешена, но даже не поставлена во всем объеме задач марксистского исследования. Это исследование еще ждет своего автора. Но этот будущий автор встретит на пути к разрешению поставленных задач серьезнейшие препятствия, которые в значительной мере устраняет для него публикуемая здесь работа С. Н. Дурылина.

Дело в том, что путь к исследованию проблемы связан с совершенно исключительными трудностями по подбору материала. Многие историко-литературные темы обеспечены крупными архивными массивами, фундаментальными изданиями документов, естественно сложившейся в ходе документальных напластований концентрированностью фактического документального материала. Имеется очень часто какой-либо крупный, концентрированный фонд фактов, за которым недалеко ходить, который доступен и с которого просто и легко начать фундаментальное исследование. Ничего подобного нет для поставленной выше темы. Ее материал исключительно распылен и исключительно труден для собирания. Его надо по мельчайшим крупицам извлекать из многих разбросанных в разных концах архивных связок, из многотомных биографий, пыльных комплектов старых журналов, забытых анонимных произведений, редчайших безвестных памфлетов и брошюр, из случайных разрозненных листков частных писем, из отметок на полях книг, из надписей на титульных листах. Больше того: надо «сорвать маску» со многих «научных изданий» и обнаружить материал там, где он ранее упорно отрицался. Когда эти мельчайшие крупицы и осколки соединяются все вместе перед читателем, он удивленно чувствует грандиозность и захватывающий интерес поставленной темы, прочность и огромную глубину того фактического фундамента, который может быть под нее подведен. Но

понадобились многие годы для этой кропотливой работы сбора рассеянных крупиц. И тот факт, что предлагаемая читателю работа, являющаяся результатом этого сбора, заполняет огромным материалом то в сущности пустое место, которое раньше было в научной литературе под рубрикой «Гете в его взаимоотношениях с Россией его эпохи»,—этот факт уже говорит за себя.

Легенда о пресловутом «олимпийстве» Гете, составляющая ядро буржуазной гетеаны, привела к тому, что подлинные пружины интереса Гете к России и России к Гете, в особенности гетеанских происков и поползновений русского самодержавия и его адептов, неизменно оставались в лучшем случае просто нераскрытыми, а в худшем—сознательно или бессознательно завуалированными.

В этом смысле работа С. Н. Дурылина по полноте охваченного в ней материала и по содержащимся в ней попыткам дать материалистическую интерпретацию этого материала не имеет никаких прецедентов ни в русской, ни в зарубежной науке о Гете. Автором очень широко обследованы важнейшие печатные источники этой темы, источники часто трудно доступные, погребенные на страницах старых журналов и всяких исторических сборников. Со своей стороны редакция «Литературного Наследства» обследовала по этой теме основные фонды московских и ленинградских архивохранилищ и т. д. Не ограничиваясь советскими источниками, редакция предприняла поиски соответствующих материалов и в крупнейших из заграничных фондов. Так например, в веймарском архиве по указанию редакции были обнаружены и извлечены впервые публикуемые ниже столь ценные и важные документы, как письма В. К. Кюхельбекера, А. И. Тургенева, Федора Толстого и др.; неизвестные стихотворения Жуковского и Глинки и т. д.

Правда, работа С. Н. Дурылина далека от того, чтобы дать марксистское исследование темы во всем ее объеме. Свое исследование С. Н. Дурылин строит почти исключительно на материале личных встреч Гете с Россией его эпохи, с русскими современниками, используя все остальное лишь постольку, поскольку это необходимо для создания определенного исторического фона, для реставрации исторической обстановки, в условиях которой эти встречи происходили и вне которой совершенно не может быть понят их исторический и классовый смысл.

В конце XVIII, в начале XIX века Веймар не просто мелкое немецкое княжество, случайно ставшее местопребыванием Гете, но и современные Афины, говоря языком той эпохи, центр европейской образованности и центр широкого культурного паломничества, привлекающего многочисленных посетителей, стоящих на самых разнообразных ступенях социальной лестницы,—нечто аналогичное тому, чем был несколькими десятилетиями раньше Ферней и чем стала столетием позднее Ясная Поляна. Дом Гете в последнее тридцатилетие его жизни принимал «необозримый ряд иностранных гостей со всего цивилизованного мира», говорит биограф поэта. Поэтому законно выделение темы о встречах Гете с Россией его эпохи из общей и более крупной темы «Гете и Россия».

Выше мы указали, что автор не довольствуется ролью регистратора фактов и их систематизатора, но и пытается как-то связать все эти факты воедино, дав им социологическое обоснование. В этих попытках он не всегда бывает достаточно четок и последователен, не всегда делает все те выводы, которые можно было бы сделать из обследуемого материала, не всегда решается поставить точку над и.

Под каким углом зрения должна рассматриваться та сложная система исторических, культурных и всяких иных взаимодействий, которая обозначается понятием русского гетеанства? Прежде всего под углом зрения той борьбы за Гете, которая началась уже при его жизни и не кончена еще и сейчас, когда агонизирующая буржуазия пытается опереться на Гете в защите своего господства, представив его оплотом буржуазного «порядка» и «законности». Ей противостоит международный революционный пролетариат, извлекающий из поэтического и философского наследия Гете все, что достойно стать одним из камней социалистической культуры.

Основные направления этой борьбы и ее различные стадии схвачены С. Н. Дурылиным не всегда удачно. Нередко он теряет за субъективными намерениями человеческих помыслов и поступков их объективный классовый смысл. Ему не хватает методологической четкости и глубины проникновения марксиста, чтобы уловить всю сложность экономического, политического и литературного переплета эпохи, его взгляд часто скользит лишь по поверхности, и еще чаще там, где нужен острый скальпель марксистского анализа, чтобы вскрыть и показать читателю всю подоплеку изображаемых явлений, мы с огорчением видим, что наш автор работает обычным ножом. Отсюда и та нечеткость ряда характеристик персонажей, которую заметит внимательный читатель.

Эти недостатки—большие недостатки. Их ни на минуту не должен упускать из виду читатель, вошедший в работу С. Н. Дурылина. Об этих недостатках надо пожалеть: они много поубавили в ценности его труда. Но они не могут и не должны умалять его значения.

Несмотря на все недостатки работы С. Н. Дурылина, вряд ли могут быть сомнения в целесообразности ее опубликования. Одно то, что в ней впервые собран, систематизирован и как-то обобщен огромный фактический материал, касающийся русского гетеанства в самых разнообразных его проявлениях и доселе выпадавший из научного оборота, может ее оправдать. Она не решила поставленной проблемы, но безусловно дала солидный материал для ее решения.

Редакция

ВСТУПЛЕНИЕ

ГЕТЕ И РОССИЯ.—ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ И НЕОБХОДИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.—ЗНАЧЕНИЕ „РУССКИХ" ТЕМ ДЛЯ НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ ГЕТЕ.—ПОЧЕМУ ЛЕГЕНДА О ГЕТЕ СТОРОНИЛАСЬ ЭТИХ ТЕМ?—ОБЪЕМ, СМЫСЛ И ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГЕТЕ И РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.—НЕОБХОДИМОСТЬ КЛАССОВОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.—НЕМЕЦКИЕ ПОПЫТКИ ПОСТАНОВКИ ТЕМЫ: G. SCHMID, O. HARNACK, E. ZABEL.—АПОЛОГЕТИЧЕСКОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ В „GERMANOSLAVICA" РУССКИХ ОТНОШЕНИЙ ГЕТЕ.—РУССКИЕ ПОПЫТКИ ПОСТАНОВКИ ТЕМЫ: КАЛЛАШ, АЛЕКСАНДР ВЕСЕЛОВСКИЙ, ПОЛОВЦОВ.—НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКИХ ОТНОШЕНИЙ ГЕТЕ.—РАЗБРОСАННОСТЬ АРХИВНОГО МАТЕРИАЛА.—НЕСОВЕРШЕНСТВО РАБОТЫ.

«Гете и Россия»—так будет называться одна из глав будущей биографии Гете, которая покончит с легендой об «олимпийце» из мелкопоместного Веймара и займется жизнью человека, в котором «человеческое» играло всеми цветами своего спектра, в котором Фауст уживался с церемонным придворным, «с торжественной серьезностью занимавшимся,—по словам Энгельса,—ничтожнейшими делами и menus plaisirs ничтожнейшего немецкого двора».

В легенде о Гете такая глава невозможна: спектр Гете-человека играл бы в ней теми своими цветами, которых не любит легенда: от этого ни в одной из книг о Гете, старых и новых, ни у Льюиса, ни у Бельшовского, ни у Гундольфа, нет такой главы. Материал для этой главы и многообразие тем, которые должна она будет затронуть, поистине огромны.

Первая группа тем связана с отношениями Гете к России через книгу. Предстоит выяснить историю русских переводов Гете, проследить его влияние на литературу, изучить отображения Гете в русской историографии и литературной критике, отыскать следы научных идей Гете в работах русских ученых, выявить отклики русской музыки, живописи, театра на творчество Гете и т. д.

Вторая группа тем связана с отношениями Гете как живого современника к России Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I; полвека русской истории должны быть сопоставлены с пятьюдесятью годами жизни Гете: первые упоминания Гете о России и первые встречи его с русскими относятся еще ко времени его пребывания в Лейпцигском университете (1765—1768). Здесь легко выкристаллизовываются темы об интересе Гете к новейшей русской истории (Петр I и Екатерина II), об отношении Гете к участию России в борьбе против Наполеона, о роли Гете в русской политике веймарского двора; сами собою выдвигаются темы о политико-экономической зависимости Веймара от русского двора и об отражении этой зависимости в личной биографии Гете; из этих тем естественно выделяются дополнительные: Гете и Мария Павловна, Гете и русская аристократия. В круг тем «Гете и русская культура» входят: «Участие Гете в правительственно-просветительной деятельности эпохи Александра I»,

«Гете и Петербургская Академия Наук», «Гете и русские художники», «Русские писатели у Гете в Веймаре». Особняком стоит тема: «Немецкие друзья Гете в России».

Остановимся на некоторых из этих тем.

Биографами Гете достаточно подчеркивалась особая позиция, занятая им в тяжбе между Наполеоном и Германией: министр одного из феодально-провинциальных отечеств старой Германии, он как верный и блистательнейший представитель «третьего сословия» по существу стоит на стороне врага Германии—Наполеона, сметающего метлой войны весь залежавшийся сор бесчисленных феодальных курятников, в которых политически и экономически гнила Германия, и готовит нужную площадь для Германии буржуазной. Наполеон отлично осведомлен о настоящих симпатиях Гете и сам ищет с ним союза как с великой державой европейской культуры. В эпоху борьбы Германии с Наполеоном в 1813—1814 гг. Гете стоит в стороне от так называемого национального движения: он не верит в его культурно-историческую правоту. Но в этой борьбе есть третья сторона: Россия и Александр I. Отношение Гете к этой третьей стороне усложняется тем, что самое политическое существование Веймара связано теснейшим образом с поддержкой России, обусловленной династическими связями. Гете больше, чем кто-либо, участвовал сознательно в закреплении политической прочности Веймара путем подчеркнуто-предупредительного внимания и почтения, оказываемого русскому императору, его двору и дипломатии. Маленький Веймар в 1805—1815 гг. нередко являлся узлом, где стягивались сложнейшие политические нити. Проследить роль Гете в этом сложном переплете политических взаимоотношений составляет одну из задач биографа Гете. Задача эта не только не решена, но она даже не поставлена на очередь.

Совершенно в таком же положении—связанная с нею задача-тема «Гете и русский двор». Гете лично знал двух русских императоров и трех императриц; с одними из них он был в переписке, другим писал стихи; это—факты, которые каждый может извлечь из биографии и сочинений Гете. Второй ряд фактов менее известен: отношения Гете к этим особам и их окружению носили характер такой почтительной обязательности, которая граничит почти с верноподданничеством. Ближайшее изучение вопроса показывает, что политико-экономическая зависимость Веймара от России делала веймарский двор отделением петербургского, и веймарский придворный, тайный советник Вольфганг фон Гете, являлся петербургским придворным (хотя в Петербурге никогда не бывал) с вытекающими отсюда следствиями социально-политическими, биографическо-бытовыми и литературными.

Этот вывод приводит к третьей теме: экономические отношения Веймара и русского двора в их связи с отношениями политическими и культурно-литературными. В бюджете Веймара «дотации» Марии Павловны, шедшие из кармана эксплоататоров российского крестьянства, занимали чрезвычайно видное место. Многие из самых прославленных культурных учреждений Веймара, связанных с именем и с прямым руководством Гете, не могли бы существовать, еслиб не русские крепостные червонцы, получаемые из рук Марии Павловны. Эта русская экономика веймарских Афин первой четверти XIX века не только не изучена, но «благоразумно» обойдена молчанием немецкими исследователями, между тем как прямые заявления Гете в доступнейших источниках, каковы его дневник и раз-

говоры с Эккерманом, не позволяют и на минуту усомниться в действительности этого факта первостепенной важности.

Все эти три смежные темы ждут внимания советских историков. Без их тщательной разработки всякое построение биографии Гете в его последнее тридцатилетие было бы лишено социальной глубины и тем самым— научной достоверности. Темы эти требуют пристального архивного изучения. В СССР должны быть привлечены к делу архивные фонды, поступившие из б. министерства двора, из управления уделов, из б. министерства иностранных дел, из личных архивов Марии Федоровны, Александра I и Николая I; в Веймаре должны быть привлечены к делу архивы б. канцелярии Марии Павловны и б. герцогских учреждений (театра, библиотеки, рисовальной школы, благотворительных учреждений) до «Женского общества» включительно. Только таким путем можно обнаружить всю степень политической и особенно экономической зависимости Веймара Гете от крепостной империи Александра I и Николая I. Но и намеченный круг архивов тесен: даже архив военного ведомства мог бы дать ценнейшие документы. Пример—письмо Марии Павловны к Аракчееву, которое читатели найдут ниже.

Сказанного достаточно, чтоб показать сложность постановки темы «Гете и Россия». Постановка этой темы во всей полноте доступна будет лишь тем биографам Гете, которые отрешатся от двух легенд: об «олимпийстве» Гете и об «афинизме» Веймара. Поставь биографы—сказатели этих легенд—только три эти смежные темы, бегло здесь обозначенные, на них полился бы такой поток архивного материала, который снес бы мельницу олимпийско-афинской легенды в биографии Гете. На «счастье» биографов, до Октябрьской революции почти весь этот материал был заморожен в никому недоступных хранилищах.

Из цикла тем, связанных с живыми отношениями Гете к России, здесь выбрана одна: «Русские литераторы у Гете в Веймаре». Объем, содержание, границы темы ясны. Речь будет итти не о литературном воздействии Гете на русскую литературу (переводы, влияния в области поэтики, идеологии, стиля, критические изучения), но о жизненных отношениях Гете к российским литераторам его эпохи. Основной формой таких отношений будут личные встречи русских писателей с Гете в Веймаре и в немногих случаях—в Карлсбаде, Теплице, Иене, но не будут обойдены и другие формы личного общения: переписка с Гете, посылка ему книг и стихов, отдача своих произведений на его суд, посещение его жилища, сношения с близкими его друзьями, вводящими в круг его жизни и творчества. «Писатель»—в границах нашей темы и в пределах эпохи, ею затрагиваемой,—это не писатель-профессионал. В этом смысле понятие «писатель» истолковывается в настоящей работе достаточно широко: под него подойдут и известный писатель, печатающий свои произведения, вроде Жуковского, и русский дипломат, который всю жизнь пишет стихи и читает их по салонам, не заботясь о предании их тиснению.

К жизненным встречам и прямым дружеским, ученическим или менее глубоким сношениям с Гете русские писатели приходили конечно не раньше, чем испытав на себе воздействие творчества и поэзии Гете: прежде чем быть посетителями дома Гете, все они были в той или иной степени читателями его книг, а некоторые из них—еще и переводчиками его в России. Таким образом рассказ о жизненных встречах русских писателей с Гете неизбежно оказывается и историей мыслительного и творческого влияния

Гете-писателя на определенный круг русских писателей, но история этого влияния должна умещаться при этом в пределах личных или групповых (например «московские любомудры») биографий. Предлагаемые в этой работе биографические страницы из жизни целого ряда писателей не могут ни в какой мере притязать на полноту, но тем не менее все эти страницы сшиты одной нитью. Истолкование тяги русских арзамасцев, романтиков и т. д. к Гете всегда имеет классовое содержание: русский арзамасец, когда едет к Гете, не оставляет «русского барина» в России, а везет его в себе в Веймар; «московский шеллингианец» приезжает к Гете со всей своей неснимаемой социальной нагрузкой: приезжает не только «с душою прямо геттингенской», но и со всей своей социальной наличностью: богатого крупнопоместного «архивного юноши», записанного в такую-то дворянскую родословную книгу, или наоборот—разночинца, дворянина только по отцовскому чину, внука полкового лекаря из бурсаков. В свою очередь и сам Гете как участник своего биографического эпизода—сношений с русскими—не перестает быть веймарским министром, придворным, чиновником; некоторые эпизоды его встреч с русскими особенно ценны для будущей биографии Гете, которой нужно ждать от марксистского литературоведения: в них особенно ясно выступает классовая сущность Гете.

Однако было бы грубейшей ошибкой оставить эти встречи русских писателей с Гете самозамкнутыми в отдельные эпизоды отдельных биографий; все они происходят на одной общей исторической почве, в каждом из них ощущается давление одной и той же социальной атмосферы. Цепь встреч Гете с русскими писателями, звено в звено, сцепляется с такой же цепью его встреч с русскими аристократами, дипломатами, военными, придворными, великими князьями и императорами.

Если бы в какой-либо мере были изучены отношения Гете с русским двором, знатью, дипломатией, исследователь литературных звеньев цепи русских отношений Гете мог бы воспользоваться результатами изучений других звеньев этой цепи: политических, экономических и т. д.; он мог бы и сам базироваться, и отослать читателя к соответствующим историческим и социологическим сочинениям. Но таких изучений нет, и историку литературы поневоле приходится самому браться за ту долю социолого-исторической работы, какая ему необходима для его историко-литературных построений, но какую он с радостью взял бы из более уверенных и опытных рук историков-специалистов.

Читатель найдет далее главу «Гете в политике Александра I и Николая I». Она сплошь посвящена таким посетителям Гете, которые ничего общего не имеют с литераторами; в главе «Официальные и официозные гетеанцы» и в некоторых других местах моей работы он опять встретится с подобными же «гетеанцами» в мундирах, эполетах, при шпагах, или с дипломатическими портфелями. Это—та часть моей работы, которая должна была бы выйти из-под пера историка. В работе моей читатель найдет достаточно и других мест, которые—на первый взгляд—как бы выпадают из поставленной темы: он найдет сведения о сношениях Гете с русскими художниками, о русских чтениях Гете, об участии Гете в основании Харьковского университета, об отношениях Гете к Академии Наук и т. д. Еслиб существовали работы на эти темы, смежные с основной моей темой, я мог бы ограничиться простыми ссылками на них. Но работ этих нет, и мне опять приходилось самостоятельно проделывать для своих историко-ли-

тературных целей ту долю работы, которую хотелось бы просто заимствовать у историков искусства и культуры.

Все это расширяет и усложняет задачу исследования, намеченную темой «Русские писатели у Гете в Веймаре»: русские писательские посещения Гете становятся фактом, производным из другого, более крупного и сложного первичного факта—политико-социальных отношений Гете к России императоров и крепостного права. Поскольку исследование этого первичного факта не сделано доселе ни одним исследователем, русским или немецким, его приходилось делать (с неизбежными, повторяю, промахами и ошибками) в той мере, какая была необходима, чтобы перейти к детальному исследованию факта производного: личных сношений русских писателей с Гете.

История и смысл многих русских литературных знакомств Гете были бы совершенно неясны для читателя, если бы им не предшествовали страницы, посвященные русским политическим, придворным и официальным отношениям Гете. Даже летопись встреч Гете с таким первостепенным писателем, как Жуковский, оставалась бы неясной и неполной, если бы были оставлены без внимания отношения Гете к русскому двору.

В русской и немецкой литературе существует несколько опытов изучения отношений Гете и русских писателей.

Начало было положено немецкими исследователями. Мне не удалось ознакомиться с заметкой «Goethe in Russland» («Zeitung für elegante Welt» 1833, № 130, v. 6); другая одноименная заметка H. König'a «Goethe in Russland» («Frankfurter Telegraph», Neue Folge, № 17, April 1837, S. 129—131) рассказывает в двух словах о «Московском Вестнике», Шевыреве и его переводе «Елены» и приводит письмо Гете к Н. Борхарду в Москву, вызванное этим переводом. Еще в 1832 г. стали известны сношения Гете с Жуковским: в книге «Goethes letzte literarische Thätigkeit, Verhältnis zum Ausland und Scheiden, nach den Mitteilungen seiner Freunde dargestellt von Dr. Karl-Wilh. Müller, Jena» упомянуто о свидании 1827 г. и о стихах, написанных к Гете Жуковским; в 1883 г. «Goethe-Jahrbuch» (Hgg. von Ludwig Geiger, Frankf. a/M., 1883, B. IV) напечатал письмо Гете к Жуковскому и снабдил его (стр. 177—179) заметкой об их отношениях. В 1904 г. Adelgeid von Schorn издала письма канцлера Мюллера к Жуковскому («Deutsche Rundschau», Heft 11, S. 277—288). В 1888 г. появилось «исследование»: Dr. Georg Schmid, «Goethe und Uvarov und ihr Briefwechsel» («Russische Revue», B. XVII, Petersburg); «исследователь» понял свою задачу очень просто: напечатав переписку Гете и Уварова, он воспользовался ею, чтоб пропеть хвалебный гимн Уварову, возведя его в чин «друга Гете» и творца русской культуры. В 1890 г. появилась статья Otto Harnack, «Goethes Beziehungen zu russischen Schriftstellern» («Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte und Renaissance-Literatur». Hgg. von Dr. Max Koch u. Dr. L. Geiger, Neue Folge, B. III, Hf. 4—5. Berlin, S. 265—274); статья вошла в книгу Otto Harnack, «Essais und Studien zur Literatugeschichte», Braunschweig, 1899, S. 231—237); это ряд беглых заметок о тех же Уварове, Жуковском, Шевыреве как переводчике «Елены» с прибавлением сведения о Пушкине: о «Сцене из «Фауста» и о «пере Гете» (заимствовано у Анненкова). Бессодержательна заметка: Arth. Hoffmann, «Puschkin und seine Beziehungen zu Goethe» («S.-Petersburg. Zeitung», 1912, Montagsblatt, S. 428). В 1921 г. в издании «Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft» (B. VIII, S. 27—48) напечатана статья

известного критика Eugen Zabel'я: «Goethe und Russland». Работа поражает устарелостью материала и полной методологической беспомощностью. Можно лишь развести руками, как подобная статья, не дающая нового материала, совершенно игнорирующая необъятный материал по России, заключенный в дневниках Гете, и изобилующая грубыми ошибками, могла появиться на страницах специального ученого издания, посвященного изучению Гете! Последней новинкой в немецких изданиях из нашей области являются две статьи в специальном гетевском выпуске издания «Germanoslavica», Vierteljahrsschrift für die Erforschung der germanisch-slavischen Kulturbeziehungen, Jahrgang I, 1931—1932. Heft 3, I Goetheheft, Verl. v. K. Rohren (Brünn): A. P o g o d i n (Belgrad): «Goethe in Russland» и R u d o l f J a g o d i t s c h (Wien):«Goethe und seine russische Zeitgenossen» (даны лишь две главы: «Goethe und der russische Hochadel in Weimar» и «Russische Dichter bei Goethe in Weimar»; продолжение обещано в № 5). Эти статьи, не имеющие ровно никакого научного значения, не использующие и десятой доли наличного, уже известного в печати материала о российских связях Гете, отличаются совершенной теоретической беспомощностью. Зато тем яснее выступает их политический смысл, сводящийся к тому, чтобы созданием иллюзии гетевского олимпийства позволить империалистической буржуазии использовать Гете в своих интересах. Статья Погодина дает поверхностный набросок литературных воздействий, полученных русским читателем и писателем от Гете. Статья Ягодича ставит целью «в первую очередь установить многосторонние личные отношения Гете к России и к его русским современникам, не входя более глубоко в историко-художественные и идеологические связи, и характеризовать место и значение Гете в развитии русской литературы того времени» (S. 348). Ягодич привлекает больший материал, чем его предшественники, но в русской части он пользуется почти исключительно тем, что сообщено в цитатах и ссылках Александром Веселовским в его книге о Жуковским, и тем, что попало в «Goethe-Gespräche» Biedermann'а. Ему попрежнему остается неизвестен ряд ранних посетителей Гете (Ханыков, Греч, Стурдза и др.), пропущенных Веселовским. Не расширяя материала за пределы Biedermann'а и Веселовского, Ягодич не хочет относиться к нему критически: он ни единым словом не подвергает сомнению похвальное слово Уварову, напечатанное Schmid'ом, цитирует со спокойной совестью место из подложных записок Смирновой, повторяет легенду о Марии Павловне как о музе Эгерии, отсылая читателя к панегирической статейке Lily von Kretschmann, и т. д. По существу Ягодич дает искаженную, неверную, фальсифицированную картину. Для Ягодича не существует вопроса о пересмотре легенд в биографии Гете: он сам творит—в 1932 году!—в духе и силе старой легенды: она тщится поддержать миф о веймарском афинизме и гетевском олимпийстве, которая всегда была на руку политической реакции.

В русской литературе Уваров сам—в своей речи 1833 г.—разгласил о своих отношениях к Гете; рано стали известны отношения к Гете Жуковского (речь С. П. Ш е в ы р е в а «О значении Жуковского в русской жизни и поэзии», М. 1853 г.; в дальнейшем—заметка П. А. В и с к о в а т о в а «Об отношениях Жуковского и Гете» в «Литературном Вестнике» 1902 г., кн. 5 и очерк Е. В. П е т у х о в а «Письма В. А. Жуковского к канцлеру Фридриху фон Мюллеру» в «Новом сборнике статей по славяноведению, составленном учениками В. И. Ламанского». СПБ., 1905 г.) и т. д. Но пер-

вой попыткой взять вопрос в более широком объеме является заметка В. В. Каллаша «Русские отношения Гете» («Под знаменем науки», юбилейный сборник в честь Н. И. Стороженка. М., 1902, стр. 178—184 и дополн. на стр. 738). Содержание заметки до крайности скудно: немецкие источники обойдены вовсе; перепечатаны письмо Гете к Борхардту (стр. 180—183), стихи к Гете Веневитинова и Хвостова и упомянуты Жуковский, Шишков, Уваров, А. Тургенев и А. Толстой. Акад. А. Н. Веселовский уделил много места отношениям Жуковского и Гете в десятой главе своего труда «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения» (П., 1904; 2-е изд., П., 1918): им были привлечены впервые в России дневники Гете, сообщения Эккермана и канцлера Мюллера; в примечаниях даны на основании немецких и русских источников сведения о посещениях Веймара и встречах с Гете Шишкова, Кюхельбекера, А. Тургенева, Шевырева, Кошелева, Л. А. Яковлева, Блудова, Вигеля. Но и А. Н. Веселовскому остался неизвестен целый ряд русских посещений и встреч с Гете: Батюшкова, Ханыкова, Стурдзы, Греча, Лобанова-Ростовского, Рожалина, кн. З. Волконской, Э. Мещерского. В руках А. Н. Веселовского были неизданные дневники А. И. Тургенева, но он не воспользовался ими для рассказа о посещениях Гете Тургеневым (стр. 319, изд. 1918 г.), а построил его только на печатном материале. В 1904 г. попытку написать исследование на тему «Гете и Россия» делал А. В. Половцов; 28 сентября 1904 г. он обратился с письмом к Л. Н. Толстому, в котором спрашивал его мнение о Гете и передавал план своей предполагаемой книги, первым отделом которой были «Непосредственные личные отношения Гете к русским: Жуковскому, Уварову, Пушкину, Вьельгорскому, Шевыреву и другим» (см. «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка, 1878—1906 гг.», Л., 1929, стр. 358—359). Сколько мне известно, труд Половцова не появлялся в печати ни в целом виде, ни по частям.

Задачей моей работы было выявить и по возможности сгруппировать весь печатный материал, связанный с моей темой, и тем самым дать возможность для дальнейших выводов и обобщений будущим гетеведам. Проследить русские связи Гете, вскрыть, где можно, их социальную подоплеку; показать их закономерность, очертить их развитие—эти задачи (не мне судить об их выполнении) были для меня руководящими. Для этого пришлось прежде всего установить список русских писателей и художников, имевших личное общение с Гете (свиданием, письмом, посылкой своих книг и рукописей). Список этот превосходит в четыре раза список Александра Веселовского, называет ряд имен, неизвестных русским и немецким исследователям вопроса (В. В. Ханыков, А. С. Стурдза, гр. Р. А. Эдлинг, Н. И. Греч, Ф. Н. Глинка, кн. А. Я. Лобанов-Ростовский. кн. Э. П. Мещерский, Н. И. Кривцов, А. С. Норов, П. И. Полетика, Е. Кульман, В. А. Казадаев), тем не менее я не считаю его исчерпывающим: при дальнейшей работе в архивах возможны его дополнения. Список устанавливает жизненные связи с Гете целой плеяды русских писателей нескольких литературных эпох и поколений—от Радищева до славянофила Кошелева.

Материалом для моей работы послужили, с одной стороны, дневники, записки, воспоминания, письма, стихи русских посетителей Гете, с другой—дневники, письма, высказывания самого Гете и его ближайших веймарских друзей. Все эти свидетельства о русских посетителях, идущие с немецкой стороны, за редчайшими исключениями появляются впервые на

русском языке. Систематизированный свод русских и немецких свидетельств, легший в основу работы, дал возможность обнаружить несколько совершенно забытых историками литературы эпизодов из истории русских отношений Гете, а в историю более известных русских знакомств Гете внести ряд новых страниц или черт, не попадавших доселе в поле зрения немногочисленного числа исследователей, интересовавшихся темою. Так, впервые привлечены мною путевые записки Н. И. Греча, С. П. Шевырева, кн. З. А. Волконской, воспоминания гр. Р. С. Эдлинг, письма К. Н. Батюшкова и Н. М. Рожалина, письмо и стихи гр. Д. И. Хвостова, некролог А. И. Тургенева, писанный веймарским канцлером Мюллером, совершенно забытая статья кн. Э. П. Мещерского «Weimar» и мн. др. Распыленность печатного материала, нужного для работы, была крайне велика: отсутствие каких-либо обобщающих работ о Гете и России заставляло искать его в самых неожиданных источниках, редко попадающих в поле зрения не только литературоведа, но и историка. Разбросанность материала не позволяет надеяться, что удалось обнаружить все относящееся к Гете.

Архивные хранилища СССР дали для моей работы весьма ценный и до сих пор неизданный материал: письма вел. кн. Марии Павловны к императрице Александре Федоровне, листы из альбома В. А. Жуковского, веймарские и дрезденские записи дневников А. И. Тургенева 1826, 1827 и 1829 гг., его же письмо к И. И. Козлову о Гете, письмо С. П. Шевырева к А. П. Елагиной о посещении Гете (1829), дневник позднейшей поездки Шевырева в Веймар, письмо гр. М. Ю. Вьельгорского к Жуковскому из Веймара (1829) и др. Покойному Вл. М. Голицыну обязан воспоминаниями о В. А. Казадаеве. Весьма ценными оказались для моей работы обнаруженные С. А. Мухиным в библиотеке б. Павловского дворца книги Гете с его автографами, принадлежавшие имп. Марии Федоровне. Еще ценнее найденная в Публичной Библиотеке в Ленинграде книга Гете, подаренная им Кюхельбекеру.

Весь этот материал, впервые являющийся теперь на свет, существенным образом расширил объемы нашего знания о русских отношениях Гете. Несомненно однако, что это только начало тех находок в наших архивах, которые должны привести к более углубленному постижению исследуемой темы.

Благодаря исключительно внимательному отношению к моему труду и активнейшему содействию редакции «Литературного Наследства» мне была дана возможность воспользоваться и теми сокровищами, которые хранятся в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре и в «Доме Гете» во Франкфурте-на-Майне. Этими сокровищами не пользовался доселе ни один из русских и немецких исследователей русских отношений Гете. Объем настоящего труда, и без того вышедший далеко за пределы, обычные для журналов, не позволил мне воспользоваться очень многим из извлеченного из веймарского архива. До отдельного издания моего труда я откладываю опубликование писем к Гете кн. А. Щербатовой, гр. Г. К. Разумовского, гр. Северина Потоцкого, Г. А. Вилламова, Ф. Отто, проф. И. Шада; в настоящем издании я ограничиваюсь упоминаниями о них и напечатанием одного-двух. На предлагаемых ниже страницах читатель впервые найдет в печати стихотворения В. А. Жуковского и Ф. Н. Глинки, посвященные Гете; письмо В. К. Кюхельбекера с изъяснительным переводом одного из переложений Жуковского из Гете и с собственным стихо-

творением «К Промефею», автограф которого был неизвестен; письмо кн. З. А. Волконской к гр. К. Эглофштейн; рисунок Е. Рейтерна; письма к Гете А. И. Тургенева, Д. И. Хвостова, Ф. П. Толстого, А. А. Кавелина, печатаемые с автографов; страницы с записями ранних русских посетителей «Дома Гете» во Франкфурте. Обследование русских книг личной библиотеки Гете дало возможность установить ряд важных фактов в истории его русских отношений. Такое же значение имело знакомство с подробным инвентарем русских вкладов в знаменитые коллекции Гете (медали, портреты, минералы и т. д.).

Богатство и неожиданность многих из этих литературных находок только подтверждают уже высказанную мысль, что полное овладение исследуемой темой возможно будет лишь тогда, когда произведена будет длительная, планомерная работа в архивах. Один веймарский архив насчитывает до 55 000 писем, полученных Гете и расположенных ныне по годам. Новые находки писем русских корреспондентов в нем вполне вероятны: для этого необходимо установить точную хронологическую канву русских знакомств Гете. Настоящая работа хочет положить начало этому делу. Разбросанность нужного материала велика: в Ленинграде мне его дали Публичная Библиотека, Институт Новой Русской Литературы (б. Пушкинский Дом) Академии Наук СССР, в Павловске—библиотека дворца-музея, в Москве—Центрархив, Ленинская библиотека, Исторический музей, в г. Белеве—бывший архив Елагиных, в Харькове—архив Харьковского университета, в Веймаре—Гете-Шиллеровский архив, во Франкфурте-на-Майне—«Дом Гете». Нет сомнения, что и список городов, и перечень архивов придется увеличить для дальнейшего овладения темой. Отсутствие библиографических пособий по данному предмету изучения еще более затрудняло работу; автору приходилось создавать библиографию данного вопроса; вряд ли он вполне успешно с этим справился.

Тема работы—жизненные сношения Гете с русскими писателями на фоне его политико-культурно-экономических отношений с Россией Александра I и Николая I—требовала, таким образом, не только новой и поневоле расширенной постановки вопроса, не только неизбежных экскурсий из области истории литературы в области истории и социологии, но и выявления и овладения совершенно новым материалом—печатным и архивным,—разбросанным по двум государствам и библиографически не обследованным.

Ошибки, промахи, недосмотры, пропуски—естественный удел подобной работы как первой попытки такого рода. Автору несовершенство его работы яснее, чем кому бы то ни было.

Этих ошибок, недосмотров, погрешностей всякого рода было бы несравненно больше, если б не та товарищеская и дружеская помощь, которую отовсюду встречал я в своей работе. В мой труд вложено много труда и заботы теми, кому он был дорог. Не умею учесть долю труда каждого и просто, от всего сердца, благодарю за помощь—М. П. Алексеева, А. К. Виноградова, Г. С. Виноградова, А. Г. Габричевского, Е. В. Гениеву, Н. К. Гудзия, Г. А. Гуковского, И. С. Зильберштейна, И. А. Комиссарову, С. А. Макашина, М. А. Моисееву, С. А. Мухина, Ю. Г. Оксмана, К. В. Пигарева, И. Н. Розанова, ак. М. Н. Розанова, А. А. Сабурова, И. В. Сергиевского, Н. И. Тютчева, Н. В. Устюгова, Н. К. Шапошникову, А. М. Эфроса.

Глава первая

РАННИЕ РУССКИЕ ЗНАКОМСТВА ГЕТЕ

СТУДЕНТ ГЕТЕ И РУССКИЕ СТУДЕНТЫ В ЛЕЙПЦИГЕ.—А. Н. РАДИЩЕВ И ГЕТЕ.—ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОДЧИК ГЕТЕ О. П. КОЗОДАВЛЕВ.—„ВЕРТЕР" В РОССИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ КРУГИ ЕГО ЧИТАТЕЛЕЙ.—КАРАМЗИН В ВЕЙМАРЕ.—К ВИЛАНДУ ИЛИ К ГЕТЕ?—ФЕРНЕЙ И ВЕЙМАР, ВОЛЬТЕРЬЯНСТВО И ГЕТЕАНСТВО В КРУГАХ РУССКОГО ДВОРЯНСТВА.—ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СМЕНА ВЕХ: ВМЕСТО ФЕРНЕЯ—В ВЕЙМАР.—КН. Д. А. ГОЛИЦЫН И КН. АДЕЛЬГЕЙДА-АМАЛИЯ ГОЛИЦЫНА В СНОШЕНИЯХ С ГЕТЕ.—РУССКИЙ КАРАНТИН ПРОТИВ ГЕТЕ ПРИ ПАВЛЕ I.—ГР. СЕВЕРИН ПОТОЦКИЙ И ГЕТЕ.—УЧАСТИЕ ГЕТЕ В УСТРОЕНИИ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.—ИНТЕРЕС ГЕТЕ К РУССКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКЕ.—ЗАПИСКА ГЕТЕ О РУССКОЙ ИКОНОПИСИ.—ДЕЛО РУССКОГО МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ „О СОБИРАНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИКОНОПИСНОМ ДЕЛЕ ДЛЯ ТАЙНОГО СОВЕТНИКА ФОН ГЕТЕ".—КОЗОДАВЛЕВ И КАРАМЗИН КАК ИСПОЛНИТЕЛИ ПОРУЧЕНИЙ ГЕТЕ

В 1765—1768 гг. Гете был студентом Лейпцигского университета. В Лейпциге произошли его первые встречи с русскими: приехав в 1865 г. в этот город во время знаменитой ярмарки, он, по его словам, «с большим вниманием прошелся по рынку и по лавкам»; в особенности привлекли его «жители восточных стран в своих странных костюмах: поляки, русские, а больше всего греки» [1]. Но с русскими Гете скоро встретился и в стенах университета: у него оказались русские коллеги. 24 августа 1765 г. в список студентов Лейпцигского университета был внесен какой-то «Iwanowitz Petrus Boguslawskoiensis, Russus» (Петр Иванович Богуславский), а 26 февраля 1767 г. в список была внесена целая группа русской дворянской молодежи, посланная Екатериной II обучаться в Лейпциге историко-юридическим наукам. В числе этой молодежи был и «de Radischteff Alexander, equ. Moscov», будущий автор революционного «Путешествия из Петербурга в Москву», и его друг «d'Ouschakoff Theodor, equ. Novogrod», чье «Житие» написано Радищевым. А. Н. Радищев был однолеток с Гете (р. 1749 г.), Ф. Ушакову—самому старшему из всех—было 22 года, остальные были самая зеленая молодежь (младшему—Зиновьеву—было 13 лет) [2]. Эти русские студенты, опекаемые иеромонахом-духовником и скаредным попечителем Бокумом, встречались со студентом Гете в университетских аудиториях: они слушали одних и тех же профессоров. Гете, как известно, послан был своим отцом в надежде, что Лейпциг сделает из него юриста. Гете (против собственного желания) подчинился воле отца и по указанию проф. Беме, читавшего историю и государственное право, «должен был слушать» кроме его предметов «философию, историю права, институции и еще кое-что. Я согласился, но решил кроме того посещать лекции Геллерта по истории литературы». Гете упоминает еще профессора-классика Моруса, у которого он бывал [3]. Русские студенты точно так же «обучались логике, естественному праву, народному праву, универсальной истории, генеральному политическому праву, истории всех государств и о состоянии оных». Студенты ходили также в историческую коллегию проф. Беме, слушали лекции Геллерта или, как выражается сам Радищев, «наслаждались преподаваниями в словесных науках» [4]. Но встречи Гете с русской кучкой студентов, к тому же и поступившей в университет значительно позже Гете (он—в ноябре 1765 г., они—в конце февраля 1767 г.), не могли быть часты и вряд ли сопровождались знакомством, тем более, что Гете скоро охладел к университетской науке и стал редко посещать университет. Но не знать о существовании этой обособленной группы русских студентов Гете не мог: она была заметна на фоне лейпцигского студенчества, и когда через двадцать лет Карамзин заглянул в Лейпциг, он еще нашел там след памяти о Радищеве с товарищами [5].

Радищев—как все его поколение—знал «Вертера». В главе своего «Путешествия», озаглавленной «Клин», описывая впечатление, произведенное на слушателей слепым стариком, певшим про Алексия, человека божия, Радищев говорит: «Я рыдал, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертера» [6]. Круг Радищева во всяком случае дал одних из первых читателей Гете в России. Другого русского юношу, в это же десятилетие учившегося в Лейпциге, Осипа Петровича Козодавлева (1754—1819), с которым связана первая крупная дата русского гетеанства, Гете уже не мог видеть в Лейпциге: Гете покинул университет в 1768 г., а Козодавлев поступил туда 21 апреля 1769 г. [7].

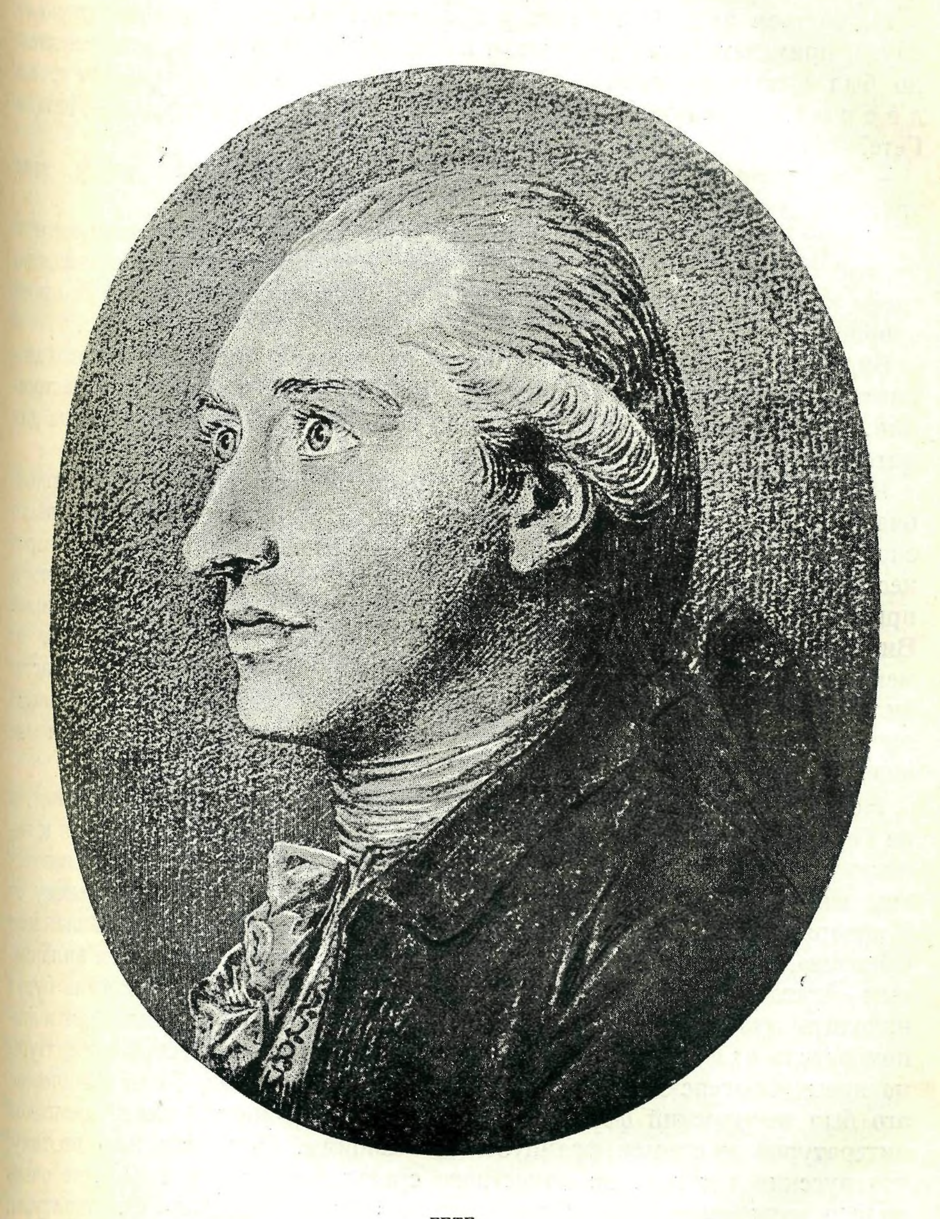
Этот круг лейпцигской русской молодежи положил начало русскому гетеанству. О. П. Козодавлев выпустил в 1780 г. в Петербурге свой перевод трагедии Гете «Клавиго» (1774). В предисловии Козодавлев писал: «Я за лишнее почитаю здесь предложить пространное известие о сочинителе сея трагедии и о достоинствах его, ибо они всем любителям словесных наук уже известны. «Страдания молодого Вертера», прекрасное произведение его пера, приобрело ему великую славу и сравняло его с лучшими писателями Германии, так как и сея трагедия заслужила от всех знающих людей великую похвалу». Россия начинала знакомство с Гете не в пример другим странам не с «Вертера», а со сравнительно мало популярной трагедии; однако ее ждал успех: в том же 1780 г. потребовалось второе издание перевода Козодавлева. В предисловии к этому новому изданию переводчик счел долгом прибавить несколько слов о значении драматургии Гете: «Г. Гете во всех сочинениях своих подражал единой натуре и не следовал правилам, удаляющим оную от глаз писателей и полагающим весьма тесные духу их пределы. О таковых драмах, какова сея трагедия, писанных непринужденным и естественным слогом, многие из славнейших писателей предложили свои мысли в некоторых сочинениях своих, и я за излишнее почитаю здесь оные повторять». Слова эти подчеркивали и объясняли русский успех «Клавиго»: на смену придворной пышной трагедии с риторическим стихотворным пафосом царей и героев шла выдвигаемая новым классом—буржуазией—бюргерская драма в прозе, с твердым, но редко достигаемым курсом на «натуру», на подлинные человеческие чувства и страсти, и эта новая драма сразу нашла в России своего читателя: через восемь лет Карамзин выпустит «Эмилию Галотти» Лессинга, а в конце века молодой тургеневский кружок будет бредить мещанскими драмами Шиллера. Очень любопытно и последнее заявление Козодавлева в его предисловии: «Я перевел сию драму в угодность некоторым приятелям моим» [8]. Это первый в России след какой-то читательской кучки, уже объединенной интересом к Гете.

На другой год после «Клавиго» появился в России «Вертер»: «Страсти молодого Вертера», перевод Ф. Галченкова (СПБ., 1781). Издание было повторено в 1794 г. [9]. Через четыре года тот же перевод вышел исправленный Ив. Виноградовым; в 1817 г. исправленный перевод был переиздан. В начале XIX ст. появились и доморощенные «Вертеры»—роман Михаила Сушкова «Российский Вертер. Полуправдивая повесть молодого чувствительного человека, нещастным образом самоизвольно прекратившего свою жизнь» (1802) и «оригинальный анекдот» А. Клушина—повесть «Вертеровы чувствования или несчастный М.» (1802). Как и в Германии, как и всюду, появились и в печати, и в альбомах стихотворные послания Вертера к Шарлотте и стихи на гроб Вертера. Вертер начал долгую жизнь свою в русской

литературе: каждая примечательная эпоха русской культуры имела свой перевод «Вертера», какими-то особенностями языка и слога созвучный эпохе [10]. В 1787 г. Н. И. Новиков уже отвел Гете место в своем «Драматическом словаре», где высоко расценил его как драматурга, а «Вертера» назвал «отличной книгой, похваляемой всюду». Это было правдой и относительно России: «Вертер» имел и у русского читателя большой, длительный и прочный успех, вызывая сочувствие и исторгая слезы у читателей нескольких поколений и нескольких социальных смен: он был «похваляем» и главой новой литературной школы—Карамзиным, и первым гетеанским русским кружком, собиравшимся в самом конце XVIII столетия в Москве вокруг Андрея Тургенева, и декабристом Н. И. Тургеневым, и пушкинской Татьяной, и московскими юношами-любомудрами 20-х годов, и сибирским поселенцем Кюхельбекером; все они находили в себе те или иные отзвуки «страданиям», мечтам и мыслям «мученика мятежного» (выражение А. С. Пушкина), не мало помучившего европейское общество конца XVIII—начала XIX столетия. История «Вертера» в России поучительна. «Вертер», переводный или подражательный, не был книгою дворцового читателя: он из московских дворянских антресолей проник скоро в усадьбы, в дворянскую провинцию, и Пушкин не случайно заприметил томик «Вертера» в руках у Татьяны Лариной: он своей интимною домашностью пришелся по душе этому усадебному читателю, еще довольному своей социальной судьбой. Для этого читателя «Вертер» был историей трогательной и несчастной любви, весенним томлением чувств, нежной и грустной школой чувствительности. Так читала «Вертера» в конце 10-х годов Ларина Татьяна, а двадцатью годами раньше так читали его в Москве юноши тургеневского кружка с Андреем Тургеневым и Жуковским во главе. Кюхельбекер читал «Вертера» в 20-х годах уже совсем иначе: он со всем поколением декабристов читал его как рассказ о неудачливом, правда, и слабовольном, но искреннем и горячем протестанте против устарелого феодально-иерархического уклада жизни: Вертера этих читателей Пушкин верно назвал «мучеником мятежным». «Вертерьянство» Рожалина и любомудров, представителей дворянской интеллигенции, пережившей революционный подъем 1825 г. и потерпевшей поражение в попытке реализации своих чаяний,—это опять новое «вертерьянство»: для них «Вертер»—повесть о человеке, не нашедшем себе места в жизни, потому что он отплыл от одного социального берега и потому что его оттолкнули от другого. «Вертер» захватил широкие читательские круги: он увлек и читателя-разночинца, проник и на студенческие чердаки и в домишки хорошо грамотного мещанства [11].

Но весь этот пестрый круг читателей для русского «Вертера» был еще впереди: он формировался исподволь, и потребовались десятилетия, чтобы он проник в ширь и глубь.

Как ни глубоко было впечатление, произведенное «Вертером» на русского читателя 80-х годов XVIII столетия, его одного было недостаточно, чтобы вызвать паломничество к его автору. Гете еще так мало был знаком русскому читателю, что первый русский литературный путешественник, побывавший в Веймаре, ехал туда не ради Гете. Когда 20 июля 1789 г. Н. М. Карамзин подъехал к Веймару, он у городских ворот «предложил караульному сержанту свои вопросы, а именно: «Здесь ли Виланд? Здесь ли Гердер? Здесь ли Гете?» «Здесь, здесь, здесь», отвечал караульный», и Карамзин «велел постиллиону вести» его «в трактир Слона».



ГЕТЕ
Рисунок карандашом Иенса Юэль (Женева, 1779 г.)
Fideikommissbibliothek, Вена

Вопросы литературного паломника заданы в убывающей степени его интереса к трем писателям: Гете на последнем месте.

На третьем месте стоял Гете у Карамзина и в его наказе трактирному слуге, примечательном по ответам посланного. «Наемный слуга немедленно был отправлен мной к Виланду, спросить, дома ли он?—Нет, во дворце.—Дома ли Гердер?—Нет, он во дворце.—Дома ли Гете?—Нет, он во дворце.

— Во дворце! во дворце!—повторил я, передразнивая слугу, взял трость и пошел в сад».

В двух строках Карамзин выразил весь социальный характер литературной столицы Германии: если «кроме герцогского дворца не найдешь здесь ни одного огромного дома», то и все «Афины» ограничиваются одним дворцом.

Будущий «историограф» российский и идеолог крепостнического дворянства, Карамзин в юные свои годы не был чужд либеральных настроений. Поэтому ему стало не совсем по себе от столь тесного жилища для литературы, как герцогский дворец.

Когда на другой день Карамзин с трудом добился свидания с Виландом, очень нелюбезно его встретившим, русский путешественник с первого слова заявил ему: «Желание видеть вас привело меня в Веймар», и через несколько минут нашел нужным прибавить: «еще повторяю вам, что я приехал в Веймар единственно для того, чтобы видеть вас». Опасливый Виланд еще раз спросил нежданного русского гостя: «Что вы от меня хотите?» А гость в третий раз ответил: «Ваши сочинения заставили меня любить вас и возбудили во мне желание узнать автора лично. Я ничего не хочу от вас, кроме того, чтобы вы позволили мне видеть себя»[12].

Не для одного Карамзина тогда Веймар был еще городом Виланда, а не Гете. И двадцать лет спустя порядок русской дворянской любви к немецким поэтам в общем остается прежним: Жуковский в 1806 г. назовет еще виландова «Агатона» «святою книгою» (письмо к Ал. Тургеневу от 8 января), в 1814 г. будет еще пытаться написать поэму «вроде Виландова Оберона», в конце 10-х годов юный Тютчев будет еще упиваться виландовым «Агатодемоном». Еще позже хвалители первой поэмы Пушкина будут находить, что она писана на манер «Оберона». Виланд служил первым этапом отхода от французской придворной трагедийно-одической литературы на новые бюргерские позиции, завоеванные Лессингом, Гете, Шиллером: это был веймарский форпост, ближе всего выдвинутый новой немецкой литературой к старым французским позициям. Неудивительно поэтому, что русские читатели из поместного среднедворянского круга, не очень охотно державшиеся на классических позициях французской литературы, с удовольствием перешли и позадержались на ближайшем немецком этапе. Шиллер, а потом Гете были уже дальнейшими этапами отхода на новые литературные позиции.

Карамзин—по анализу автора специального исследования о нем—«был хорошо знаком с «Вертером». Он даже один из первых заметил литературную связь между «Вертером» и «Новой Элоизой»: без романа Руссо, по его мнению, «не существовал бы и немецкий Вертер (основание романа то же и многие положения взяты из «Элоизы»: но в нем более натуры)». Карамзин «ученик Томсона, Стерна, Юнга, Ричардсона, Оссиана, Гете (Вертер)». Для ученичества Карамзина показателен «укор», брошенный

им в тексте первого (1792) издания «Писем русского путешественника»: «Тот, кто читает наизусть целые страницы из Расина, не знает, что есть на свете Гете» [13]. Сам Карамзин о Гете «знает», но это знание для него не увлекательно: Гете—не властитель ни его дум, ни его чувств. В самом Карамзине нет того «вертерьянства» мысли и чувства, которое бывало первым источником гетеанства в людях более поздних поколений, как Андрей Тургенев или Рожалин. В нем поэты «бури и натиска» не пробуждают и малого ветерка той «мятежности», которую Пушкин вплел в эпитет герою Гете. И если нельзя согласиться с В. В. Сиповским, что «Вертер», сделавшийся для германской молодежи вождем жизни, совершенно чужд и непонятен нашему Карамзину» (на том основании, что «Карамзин—решительный противник самоубийства от любви»), то все-таки отчужденность Карамзина от потока «бури и натиска» несомненна. И когда он отзывается о герое Гете:

Злощастный Вертер—не закон:
Там гроб его: глаза рукою закрываю,—

то этот отзыв нужно расширить: не только смерть, но и жизнь Вертера для Карамзина—«не закон». «Закон» он почерпает у других, более «благополучных», более сродных его дворянскому существу чувствительно-успокоенных героев и авторов, каковы Клопшток, Геллерт, Геснер, Лафатер, и сравнительно с восторгами перед ними или перед «Агатоном» Виланда «сочувственные отзывы Карамзина о Гете и Шиллере» действительно «производят впечатление скорее отзвуков «общего мнения», с которыми пришлось столкнуться нашему писателю во время его путешествия, чем отзывов, идущих от сердца» [14].

Между тем у Карамзина, как ни у одного из русских литературных паломников к Гете, был редкий случай, еще до паломничества, ознакомиться с жизненным путем и укладом Гете из весьма близкого источника—от Якоба Ленца (1751—1792). Этот поэт «бури и натиска», талантливый неудачник, был знаком с Гете в 1771 г., дружески близок с ним в 1773—1775 гг., а в 1776 г. даже переселился в Веймар в общество Гете, Виланда, Гердера. Пребывание там Ленца длилось всего несколько месяцев и кончилось его изгнанием из Веймара по приказу герцога Карла-Августа, вследствие какого-то поступка Ленца, доселе невыясненного, но касавшегося Гете и записанного у него в дневнике как «Lenzens Eselei» («Ослинство Ленца»). Ленц после долгих литературных и житейских мытарств очутился в 1781 г. в Москве и там познакомился с Карамзиным. Карамзин был глубоко заинтересован личностью и судьбой того писателя, который, по выражению Гете, «пролетел метеором по горизонту немецкой литературы» [15]. В Веймаре Карамзин в первое же свидание заговорил с Виландом о Ленце и одно из веймарских «писем русского путешественника» уделил рассказу о жизни Ленца в Веймаре, при «литературном» дворе Карла-Августа. Из бесед с Ленцем в Москве Карамзин запасся целым устным путеводителем по Веймару и его литературным достопримечательностям, и не будет ошибкой думать, что Гете занимал одно из первых, если не самое первое, мест в рассказах Ленца.

Попав к Гердеру, Карамзин получил маленький урок любви к лирике Гете, повидимому тогда мало известной Карамзину [16]. «Он хвалил Виланда, записывает наш путешественник,—а особливо Гете и, велев маленькому сыну принести новое издание его сочинений, читал мне с живостью

некоторые из его прекрасных мелких стихотворений. Особливо нравится ему маленькая пьеса, под именем «Meine Göttin», которая так начинается:

Welcher Unsterblichen
Soll der höchste Preis sein? и т. д.

«Это совершенно по-гречески,—сказал он,—и какой язык, какая чистота! какая легкость!» От себя Карамзин замечает: «Гердер, Гете и подобные им, присвоившие себе дух древних греков, умели и язык свой сблизить с греческим и сделать его самым богатым и для поэзии удобным».

Дважды посетив гостеприимного Гердера и дважды добившись свидания с уклончивым Виландом, Карамзин не торопился со свиданием с Гете. Зато его и постигла неудача: «Вчера ввечеру,—пишет он двадцать первого июля,—идучи мимо того дома, где живет Гете, видел я его смотрящего из окна, остановился и рассматривал его с минуту: важное греческое лицо! Ныне заходил к нему, но мне сказали, что он рано уехал в Иену».

Так Карамзину и не довелось видеть Гете. Он только похвалил герцогиню Амалию за то между прочим, что она «призвала Гете, когда он прославился своим Вертером», да в Цюрихе у озера вспомнил, что на этих берегах «Виланд и Гете в сладостном упоении обнимались с музами и мечтами для потомства». Можно предполагать, что и в беседах Карамзина с Лафатером речь не раз заходила о Гете: первый не растерял еще запаса веймарских впечатлений, а второй был другом Гете.

Когда Карамзин при первой встрече с Виландом заявил ему, что готов «остаться в Веймаре дней десять», чтоб видеться со своим «учителем в поэзии», негостеприимный Виланд сдался и сказал московскому гостю: «Мне нравится ваша искренность, и я вижу еще первого русского такого, как вы. Я видел вашего Шувалова, острого человека, напитанного духом этого старика (указывая на бюст Вольтеров). Обыкновенно ваши единоземцы стараются подражать французам, а вы...» Карамзин не дал докончить Виланду, поспешив воскликнуть: «Благодарю» [17].

Слова Виланда свидетельствуют, каким ранним и неожиданным гостем показался в Веймаре Карамзин. Русская культурная тропа в Европу была известна одна: в Ферней, к Вольтеру, и Виланд напомнил Карамзину одного из самых ревностных гостей Фернея—щеголя, остроумца и галантного стихотворца гр. Андрея П. Шувалова. Это был действительно хорошо примеченный Виландом представитель целой исторической полосы русского вельможного европеизма. Этот «европеизм» был поверхностной модой российских феодалов и не ознаменовывал изменения их классового существа. Дворянское российское «вольтерьянство» резко отличалось от подлинного вольтерьянства—предгрозового ветра Великой французской революции. Работа истинного вольтерьянства над разрушением феодальных твердынь с ужасом была осознана кокетничавшими с Вольтером российскими вельможами при первых известиях о революционных событиях. А Шувалов был типичным представителем крепостнического кокетства с Вольтером.

Шувалов был, так сказать, статс-секретарем Екатерины II по вольтерьянским делам. Императрица вела переписку с Вольтером; но не совсем была тверда во французской (как впрочем и в русской, и в немецкой) грамоте и, по не совсем вежливому выражению кн. П. А. Вяземского, граф Шувалов был у нее «прачкой по части французского белья»—ее писем к Вольтеру. «Даже когда бывал он в отсутствии, например в Париже, получал он черновую от императрицы, очищал ошибки, переписывал исправленное и отправлял

в Петербург, где Екатерина, в свою очередь, переписывала письмо и таким образом в третьем издании посылала его в Ферней» [18]. Могло случиться, грязное «французкое белье» Екатерины и прямо попадало в Ферней, только не к Вольтеру, а к тому же Шувалову, который часто гащивал у фернейского отшельника, затем, вымытое автором послания к Нинон Ланкло, оно возвращалось в Петербург, а оттуда—вновь в Ферней, но уже к господину Вольтеру.

Вот какого фернейского посла и вольтерьянского статс-секретаря Екатерины вспомнил умный Виланд, глядя на молодого Карамзина... Таких послов в Ферней у Екатерины и у русского вельможества было не мало. От многих крепостных захолустных твердынь и великолепных подмосковных уже проложена была торная дорога в Ферней. После «голландских» маршрутов Петра и его птенцов это был второй российский маршрут в Европу: не только веселиться в Париж, но и умничать и набираться ума в Ферней [19].

«Частное» вольтерьянство чтения, воспитания, моды жило иной раз не только официальным поощрением, но и прямым официальным примером. Вольтер был такая сила в Европе, что и правительствам казалось, что лучше с ним дружить, чем враждовать; это понимала и умная, хотя и не совсем грамотная Екатерина, и не очень умная и вовсе безграмотная Елизавета: первая с Вольтером переписывалась и, купив его библиотеку, пожизненно назначила его ее хранителем, вторая «заказала» ему историю

КЛАВИГО,
ТРАГЕДІЯ
ВЪ
ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ
ГОСПОДИНА ГЕТЕ,
переведена съ Нѣмецкаго.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,
при Артиллерійскомъ и Инженерномъ Шляхетскомъ Кадетскомъ Корпусѣ у Содержателя Х. Ф. Клеэна.
1780 года.

Титульный лист первого произведения Гете, изданного на русском языке—трагедии „Клавиго“ в переводе О. Козодавлева (СПБ, 1780)
Публичная Библиотека им. Ленина, Москва

своего отца, и обе слали к нему официальных вольтерьянцев, а первая— не боясь греха, как вторая,—и сама числилась в «вольтерьянках», пока революция не показала ей, что полагаться на Шлиссельбург надежней, чем на Ферней, и что палач Шишковский ближе к ее трону, чем Вольтер.

В словах Виланда Карамзину сквозит опасение: уж не сделал ли русский путешественник маленькую географическую ошибку—не попал ли он в Веймар вместо Фернея, где, правда, уже не было в живых хозяина, но куда все еще паломничали русские вельможи—столичные, губернские и уездные? У Виланда было правильное представление об европейских дорогах русских путешественников.

Карамзин не объяснил ему, что этим дорогам предстояло пустеть, что вольтерово «владычество на севере» приходило к краху. Великая французская революция заставила российских крепостников-вольтерьянцев с ужасом отвергнуть когда-то поверхностно понравившуюся идеологию, подлинное содержание которой всегда оставалось чуждым их сознанию. Заметим, что крах пережило именно феодальное дворянское «вольтерьянство». Вольтеру в России еще предстояло будущее, но уже в классовых кругах новых настроений, антифеодальных, революционных (вспомним интерес декабристов к Вольтеру).

Есть один эпизод из русских отношений Гете, который мог бы, если бы его знал Карамзин, хорошо иллюстрировать эту надвигавшуюся смену русских дворянских путей на Запад.

Одним из самых ярких русских вельможных «вольтерьянцев» нужно считать князя Дмитрия Алексеевича Голицына (1734—1803). Это был яркий человек, на которого «тень века его» пала под самым характерным и острым углом. При Елизавете и Екатерине, в 1754—1768 гг., он состоял при русском посольстве в Париже, писал на изысканнейшем французском языке дипломатические депеши, но более состоял при идеях Вольтера и Дидро. От Екатерины II у него были поручения не только к пышному двору Людовика, но и к скептическому двору Энциклопедии: он совещался с писателями и поэтами о выборе раритетов, антиков и предметов искусства для Царскосельского дворца. Он приятельствовал с энциклопедистами и, когда был назначен в 1768 г. посланником в Гаагу, тотчас воспользовался своим положением и голландскою свободою печати, чтобы издать посмертное сочинение Гельвеция «De l'homme, des ses facultés intellectuelles et de son éducation» (Гаага, 1772). Как русский посол при Энциклопедии он начал с издания этого славного кодекса материализма по рукописи, разысканной и приобретенной им в Париже, а потом, вспомнив, что сверх того он еще и посол России при королях, он издал и чью-то «Histoire de la guerre entre la Russie et la Turquie» (Амстердам, 1773) со своими примечаниями. Он вообще охотно и много писал и издавал—все на темы серьезные, или по крайней мере подражающие серьезным: то об электричестве («Lettres sur quelques objets d'Électricité», 1793), то в защиту Бюффона («Défense de Buffon», 1793), то о «духе экономистов» («De l'ésprit des économistes», 1796), то о Крыме («Description physique de la Tauride», 1788) и т. д. Голицын был одним из типичнейших русских вельможных фернейцев, крепостных «материалистов», придворных «вольнодумцев», знавших Россию только по екатерининским «крестовикам»-червонцам, которые она им высылала и из Петербурга, и из крепостных вотчин и угодий. Но в биографии Дм. Голицына царит не один Ферней, и в этом его отличие от его сверстников и сопоклонников вроде Андрея Шувалова и Белосельского-Белозерского:

тропа Голицына уже не может миновать Веймар или, по меньшей мере, соседнюю Иену.

Вольтерьянец и гельвецианец он был женат на фрейлине прусского двора гр. Адельгейде-Амалии ф. Шметтау (Schmettau) (1748—1806). Ей скоро стал не по духу каждый из дворов, при которых блистал ее муж: и петербургский, и версальский, и энциклопедический, и она, оставив их все, создала четвертый—свой собственный двор в Германии. Князь остался посланничать и вольнодумствовать в Гааге, княгиня переехала размышлять и мистицировать в тихий Мюнстер. Вокруг нее собрался кружок, нимало не похожий на «энциклопедии скептический причет», собиравшийся вокруг ее мужа. Ее гостями, друзьями и собеседниками были «северный маг» Гаманн, который даже похоронен в ее саду, философ Ф. Г. Якоби, прия-

Н. М. КАРАМЗИН

Миниатюра неизвестного художника (конец XVIII века)
Исторический Музей, Москва

тель Гете гр. Штольберг и многие другие, для которых она являлась «Диотимой», вдохновительницей и верховной собеседницей. Княгиня еще в 1785 г. посетила Веймар и узнала Гете, а о том, какое впечатление производила она на него, можно судить по письму Ф. Г. Якоби к кн. Голицыной: «Гете только что вернулся домой,—пишет ей друг обоих.—Но вы, дорогая Амалия, не пришли. После меня и моей сестры никто не скорбел об этом более, чем Гете. Ваш большой силуэт доставил ему несказанную радость. Я хотел только дать ему снять с него копию, но он с такой горячностью его себе присвоил, что я не мог противиться» [20]. В 1792 г. Гете приехал в Мюнстер к кн. Голицыной в пору очень для него тяжелую: после того как в сражении под Вальми (20 сентября 1792 г.) революционная французская армия заставила отступить немецкую соединенную армию интервентов, в которой, состоя при герцоге веймарском, находился и Гете. В этот день Гете прозрел от упорной слепоты к Великой французской революции, воскликнув: «С нынешнего дня и с этого места возникает новая эпоха всемирной истории, и вы можете сказать, что присутствовали при ее зарождении» [21]. Но прозрел он лишь для того, чтобы слепо напасть на

нее как писатель: к 1793—1794 гг. относятся его драматические памфлеты на революцию: «Генерал-гражданин» и «Возмущенные»—памятники столько же пристрастнейшей политической ненависти, сколько и удивительного творческого бессилия. Гете спешил в эти слабенькие пьески укрыться от грозной эпопеи французской революции, а еще раньше поспешил он укрыться от нее в тихий Мюнстер. Там в это время «философия чувства» Гаманна сменилась открытым католицизмом; «Диотима» была окружена аббатами и епископами, католиком стал приятель Гете гр. Штольберг. Гете, усталый от немецких военных неудач, оглохший от шума революционных побед (для него это был лишь шум черни, «достойный слез и смеха»— «слез» в пресной мещанской драме и «смеха» в придворной беззубой комедийке), был особенно рад этому католическому покою. Его в Мюнстере покоили с умом и с тактом,—конечно не без мысли, что и он последует когда-нибудь примеру друга Штольберга и княгини,—и Гете еще в 1829 г. «с большой похвалой говорил... обо всем круге лиц, собравшихся тогда вокруг княгини Голицыной в Вестфалии. Это были люди исключительного образования, с которыми он всегда хорошо проводил время и которые его, старого язычника, охотно терпели в своей среде» [22]. В другой раз, на 22 года раньше, Гете с особым оживлением рассказывал Римеру: «Княгиня Голицына во цвете лет отошла от двора из-за религиозности». Она сказала Гете, вручая свои сокровища (это были геммы.—*С. Д.*): «Если я обманусь в вас, это не будет мне во вред: я обогащусь тогда опытом» [23]. «Язычник» находил у Голицыной и великолепную пищу для своего язычества: он влюбился в ее античные геммы и камеи. Гете «обманул» княгиню: остался язычником, а не сделался католиком, но до конца сохранил к ней дружеские чувства, переписывался с нею, рассказывал о ней как о необыкновенной женщине своим собеседникам в старости, но кажется еще больше беседовал с ее геммами и камеями: его «Дневники» 1802—1822 гг. содержат немалое число отметок об ее геммах. Княгиня умерла в 1806 г., а геммы не разлучались с Гете, и например в марте 1822 г. «рассматривание голицынских камней» было одним из самых постоянных и любимых занятий Гете [24].

Бегство из «вольтерьянства» привело княгиню в католическую тишь: католические аббаты оказались более цепкими, чем парижские вольнодумствующие кавалеры, и не выпустили ее в гетеанское «язычество», но побывать в веймарских Афинах и подружиться с Гете она успела.

У ее мужа была другая дорога: он долго держался Фернея, но повидимому (биография его вовсе не разработана, даже не намечена в твердых чертах), как многие русские вельможные вольнодумцы, собственники тысяч «крепостных душ», почувствовал с грозным пожаром французской революции, что вольтерьянство и вольнодумство лучше выходит на паркетах гостиных, чем на булыжниках народных площадей, и отдался более мирным занятиям минералогией, которой, впрочем, всегда интересовался. Наука не может не вести в Германию. Кн. Д. А. Голицын был избран президентом минералогического общества в Иене и тут встретился с Гете, который был сам страстный минералог и член этого общества. Еще при жизни Голицын завещал свой минералогический кабинет этому обществу. Это был ценный дар. В своих годовых «итогах» Гете—«для себя»—так истолковал этот дар: «Голицын... постарался оценить честь поднесенного ему звания президента принесением в дар своего значительного кабинета». Но тот же Гете, сочиняя по поручению герцога письмо к тому же Голи-

цыну, отправленное ему от имени Карла-Августа, выразился об этом несколько иначе: «Это учреждение [Иенское минералогическое общество], начавшее с малого и достигшее прочного существования, исключительно вам, милостивый государь, обязано тем уважением и блеском, которые его теперь отличают среди других подобных учреждений. Вы не только благоволили принять на себя бремя звания президента, чтобы помогать обществу вашими знаниями, но вы влагаете излишек доброты, даря великолепную коллекцию, вдвойне интересную как по ценности и редкости экземпляров, так и по выбору знатока, который их собрал».

В библиотеке Гете доныне (июнь 1932 г.) хранятся сочинения Голицына по минералогии, полученные им от автора («Briefe über einige mineralogische Gegenstände an Herrn Peter Langer», Göttingen, 1791; «Seconde lettre a Mr. de Crell, ou réflexions sur la minéralogie moderne», Brunswick, 1799; «Recueil de Noms par ordre alphabétique aproprиés en minéralogie», Brunswick, 1802).

Как когда-то жена Голицына засадила Гете за геммы, так он засадил его за минералы. Гете отмечает в дневниках: «Г-ну проф. Ленцу (минералогу) с голицынскими письмами» (10 ноября 1802 г.) и вновь: «Записка проф. Ленцу относительно разбора голицынского кабинета» (27 ноября). Это—заботы и работы еще при жизни Голицына; но даже и в 1813 г., в тревогах надвигающейся войны, Гете все еще занят «голицынским каталогом» [25]. Так и старый фернеец и издатель Гельвеция нашел свою дорожку в Веймар, где не было революций, а была провинциальная тишь и невозмутимая минералогия великого веймарского поэта и малых иенских филистеров.

Большая проезжая дорога в Ферней и Париж с самого начала 90-х годов XVIII ст. начала замыкаться для русских проезжих заставами: Франция со всем ее «вольтерьянством» скоро сделалась запретной для русского странствователя благодаря рогаткам Екатерины и Павла. «Вольтерьянство» стало после казни Людовика XVI синонимом «революции», а «вольтерьянец» превратился в термин политический: вольтерьянцам открыт был путь не в Ферней, а в Шлиссельбург [26].

Борьбою с «вольтерьянством», как со «всяческим свободомыслием», особенно занялся Павел I. Цензура 1796—1798 гг. установила строжайшие карантины для ввозимых из-за границы книг, и из карантинов не были впущены в Россию как охваченные «вольтерьянскою заразою» многие сочинения веймарских писателей: Виланда, Гердера, Шиллера и Гете [27]. Особым вниманием русской цензуры всегда пользовался «Эгмонт». Даже на немецком языке он увидел свет рампы в России лишь в 1883 г. [28] Но с 18 апреля 1800 г. ни одна книга Гете, как и всех других иностранных писателей, не должна была проникать в Россию: Павел дал указ Сенату: «так как чрез ввозимые из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне, впредь до указа, повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке оные ни были, без изъятия, в государство наше, равномерно и музыку». На основании этого указа были задержаны даже книги, выписанные из-за границы императрицею Мариею Федоровною, и ей не без труда удалось упросить Павла разрешить получить эти книги [29]. Таким образом все сочинения Гете, которыми упивалась молодежь московского тургеневского кружка в конце XVIII ст., сплошь сделались нелегальной литературой, и самый кружок первых русских гетеанцев, несмотря на всю свою невинность, мог бы претерпеть кары, еслиб его восторги пред колеблющим

«законную власть» Эгмонтом или шиллеровскими «Разбойниками» сделались известны правительству, запретившему употребление самых слов «общество» и «гражданин» [30].

Павел перестал выпускать из России за границу; учение русской молодежи в заграничных университетах было запрещено, все русские студенты вызваны обратно.

Не только для паломничеств к Гете, но и для чтения Гете время было решительно неблагоприятно. Дружеская фаланга гетеанцев, которая собиралась в московском доме Тургеневых, рвалась в Германию Гете и Канта, но могла удовлетворить свои желания лишь после вступления на престол Александра I.

Александр I поспешил снять непристойные бабкины и отцовы рогатки: 22 марта 1801 г. было объявлено о свободном пропуске едущих в Россию и отъезжающих из нее, а 31 марта отменен указ о запрещении ввоза книг и нот. Русское «гетеанство» могло поднять голову. Но и ему предстояло разделиться на два русла—официальное и неофициальное. У Александра I был хороший случай вспомнить об официальном вольтерьянстве своей бабки: в 1802—1803 гг. в пяти изданиях появилась в русском переводе «Переписка Екатерины Великой с господином Вольтером» [31]. Александр I мог извлечь из нее хороший урок литературной политики у императрицы, наследником политических идей которой он любил себя выставлять. Как увидим, Александр I не хуже бабки понял, что при таких литературных столицах, как Ферней или Веймар, необходимо держать своих послов, как при столицах политических. Такие официальные и официозные отношения у Александра I с Веймаром и Гете и установились к середине 10-х годов с водворением там Марии Павловны в качестве наследной герцогини (1804 г.).

Но прямые русские отношения с Гете были возобновлены и ранее того.

Возобновил их—в интересах русского просвещения—поляк, состоявший на русской службе. Это был представитель аристократической семьи, издавна знакомой с Гете, друг знакомца Гете кн. Адама Чарторижского-сына [32] граф Северин Осипович Потоцкий (1762—1829). Я остановлюсь несколько подробнее на отношениях Северина Потоцкого и Гете, потому что о них вовсе не упоминают авторы специальных работ о Гете и поляках—Густав Карпелес и Гуго Цатей («Goethe in Pollen» von G. Karpeles. Berlin, 1890 и «Goethe i Polacy» Hugo Zathey. W Krakowie, 1890).

Северин Потоцкий долго и много учился за границей и всю жизнь не покидал стараний «в просвещении стать с веком наравне». Это ему удалось: польско-русский европеец, он, по свидетельству Н. И. Тургенева, хорошо его знавшего, обладал всесторонним образованием и жадно, непрерывно читал все новое, выходившее на европейских языках. Еще в 1793 г. он вступил в русскую службу и, подобно своему другу кн. Адаму Чарторижскому, сблизился с великим князем Александром Павловичем и в царствование Павла состоял при нем в звании камергера. Павел удалил его. По свидетельству А. Чарторижского, «дружеские отношения» Потоцкого с Александром «продолжались и после воцарения его» [33]. Потоцкий принадлежал к кружку «молодых друзей» императора, столь преувеличенно восхваленному либеральными историками, но не играл в нем выдающейся роли, повидимому и не старался играть: богатого магната не влекла административная карьера. В 1801 г. он был назначен сенатором. За графом Северином установилась слава «либерала», но точнее было бы усвоить ему славу

empfangen d. 10 Nov. 1803.

Monsieur

Ayant eu en vue de chercher des Professeurs pour
l'Université de Harkoff dont S.M. l'Emp. de
toutes les Russies a daigné me nommer Curateur je
comptois faire un tour dans l'Empire et nommément
en Saxe partie certainement la plus favorisée et la
plus distinguée depuis longtemps par les lumières et les
progrès qu'elles y ont effectués de temps immémorial, dans cette
espérance j'avois prié mon Cousin le C^te Ignace Potocki de
vouloir bien me donner quelques lettres et je me faisois un
voyage

Первая страница автографа письма С. О. Потоцкого к Гете от 12 сентября 1803 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

d'Alexandre Ier. et ces Conditions le avantageuses.
immenses dont les deux Enfans, et montants à 2000 eleves
(equivalent à plus de 600 # en or) j'ose Croire qu'il s'en
presentera en grand nombre. surtout Pour ces Provinces du
Midi. Ou un beau Climat et le bon marche des denrees ne
peuvent que rendre la vie plus douce et plus agreable. et
Ce me sera un double Plaisir Monsieur de les tenir de votre
main — Maintenant il ne me reste qu'a vous prier
de vouloir bien m'accorder la faveur d'un mot de reponse
Pour que je puisse me regler la dessus. pour les recherches
qui me sont ordonnees. Je vous supplie en meme temps d'
agreer mes excuses sur mon importunité fruit de votre
reputation ainsi que l'hommage de la haute et profonde
Consideration avec laquelle j'ai l'honneur d'etre Monsieur

[illegible] Ce 12. 8bre 1803

Votre tr. humble et tr. obeiss. serv.
Ct Severin Potocki Senateur et Curat. de l'Université de [illegible]

Последняя страница автографа письма С. О. Потоцкого к Гете от 12 сентября 1803 г.
Goethe-und Schiller-Archiv, Веймар

защитника сословных привилегий дворянства. 24 января 1803 г. Потоцкий был назначен попечителем Харьковского учебного округа; ему пришлось принять участие в устроении Харьковского университета (год учреждения 1804). Университет учреждался на деньги, собранные дворянством, «купечеством, горожанами и частными жертвователями». Ревностнее всех отнеслись к делу именно эти жертвователи из купечества и разночинцев: университет давал их детям доступ к государственной службе со всеми ее привилегиями. Когда университет был 17 января 1805 г. открыт, их дети действительно и наполнили аудитории: дворяне были на втором месте.

Создать университет в степной глуши Слободской Украины было в 1804 г. делом такого же рода, как в 1725 г. открыть Академию Наук на Ингерманландском болоте: в обоих случаях ученых приходилось выписывать из-за границы. В пышном списке знаменитых ученых, приглашаемых в Харьков советом университета,—только одно русское имя: Н. М. Карамзин; все остальные—ученые Германии, Франции, Англии. Рвением Потоцкого и его пособников едва не удалось переманить в захолустный безбиблиотечный Харьков самого Ф. А. Вольфа, знаменитого исследователя гомеровского эпоса: он «решился было уже на переезд в Харьков и даже подал в отставку у себя на родине, но был удержан рескриптом прусского короля, обещавшего большие выгоды ученому, которым гордилась Пруссия»[34]. Дело усложнялось тем, что русское правительство, приглашая знатных ученых иностранцев, было вовсе не щедро на оплату их труда. Потоцкий за границей вел переговоры со многими учеными, но должен был признаться ревнителю Харьковского университета—В. Н. Каразину: «Счастливым счел бы я себя, если бы мне удалось быть действительно полезным для всего округа, и обстоятельства могли бы, казалось, благоприятствовать этому во время моего путешествия по Германии и далее: можно было бы легко приискать здесь дельных профессоров (эту «легкость» Потоцкий явно преувеличивал.—*С. Д.*), но, к сожалению, все средства к исполнению этого у меня отняты: мне не высылают денег, о которых я так настоятельно просил перед отъездом, а без них ничего не поделаешь, никто из порядочных людей не согласится оставить свое место и пуститься в дальний путь, не имея в кармане, по крайней мере, третного жалованья и сотни четыре или пять рублей на дорогу. Признаюсь вам, что я не мало уже компрометировал себя, начав переговоры с несколькими лицами и не имея возможности кончить их по недостатку денег»[35].

Потоцкого, исправного «куратора» университета, человека европейски образованного, заботило это плохо удававшееся дело, и он решил переложить большой груз заботы на плечи... Гете.

Почему именно Гете?

Потоцкий не был в 1803 г. лично знаком с ним, но обращение его к Гете понятно. Польская аристократия давно узнала дорогу в Веймар и давно привыкла считать Гете во главе культурной Европы. Близкий друг Потоцкого кн. Адам Чарторижский-сын еще юношей являлся на поклон к Гете, встречался с ним и позднее, в 1805 и в 1812 гг. Он занимал должность параллельную с Потоцким: был попечителем Виленского учебного округа. Обращение Потоцкого к Гете, надо думать, совершилось не без прямого влияния князя Адама. Гете пересылал письма к Потоцкому на адрес кн. А. Чарторижского-отца. В глазах Потоцкого и Чарторижских, представителей польского европеизма, в Гете соединялось непререкаемое достоинство высшего выразителя европейской культуры с высоко ценимым

всякой аристократией качеством: неколебимого врага всяческих народоправств и революций. Этого было достаточно, чтобы именно к нему обратиться с таким щекотливым делом, как подбор профессоров-европейцев для университета, учреждаемого по указу самодержавного монарха: нужно было сделать такой выбор, чтоб и овцы просвещения были целы и волки реакции были сыты. В придворно-аристократических сферах целой Европы согласились бы с графом Северином, что никто лучше веймарского министра фон Гете не решит подобной задачи.

12 сентября 1803 г. Потоцкий писал Гете:

Милостивый государь!

Имея в виду найти профессоров для Университета в Харькове, попечителем которого Е. В. Государь всея России удостоил меня назначить, я рассчитывал совершить поездку в Империю и особенно в Саксонию, несомненно наиболее благоприятную ее часть и наиболее издавна почитаемую за ее просвещение и успехи, производимые им с незапамятных времен. В надежде на это, я просил моего двоюродного брата графа Игнатия Потоцкого дать мне несколько писем, и я предвкушал истинное удовольствие передать в Ваши собственные руки при сем прилагаемое. К несчастью различные обстоятельства вынудили меня ограничить мое путешествие единственно городом Веной и мне не остается ничего другого, как искать посредства у людей достойных, которые захотели бы взять на себя распространение просвещения на юге России. Я думаю, что не мог бы обратиться ни к кому успешнее чем к Вам, милостивый государь, который сами стояли во главе одного прославленного университета и, если Вам известны как в области наук о Политике и Морали, так и в области Химии, Физики и прикладной Математики несколько достойных лиц, я буду Вам обязан, если Вы сообщите мне об этом. Смею надеяться, что благодаря высокому покровительству, какое оказывается наукам в нашей Империи со времени счастливого восшествия на престол Александра I, и благодаря столь выгодным условиям, объявленным в указах (до 2 000 рублей, соответствующих более чем 600 талеров золотом), смею надеяться, говорю я, что достойные лица представятся в большом количестве, особенно для южных провинций, где прекрасный климат и дешевизна припасов не могут не сделать жизнь более отрадной и приятной, и для меня будет двойным удовольствием, милостивый государь, получить их из Ваших рук. Мне остается теперь только просить Вас оказать мне милость ответным словом, чтобы я мог руководствоваться им в розысках, мне приказанных. Я вместе с тем умоляю Вас принять извинения за мою назойливость, плод Вашей славы, и уверения в высоком и глубоком уважении, с которым имею честь быть,

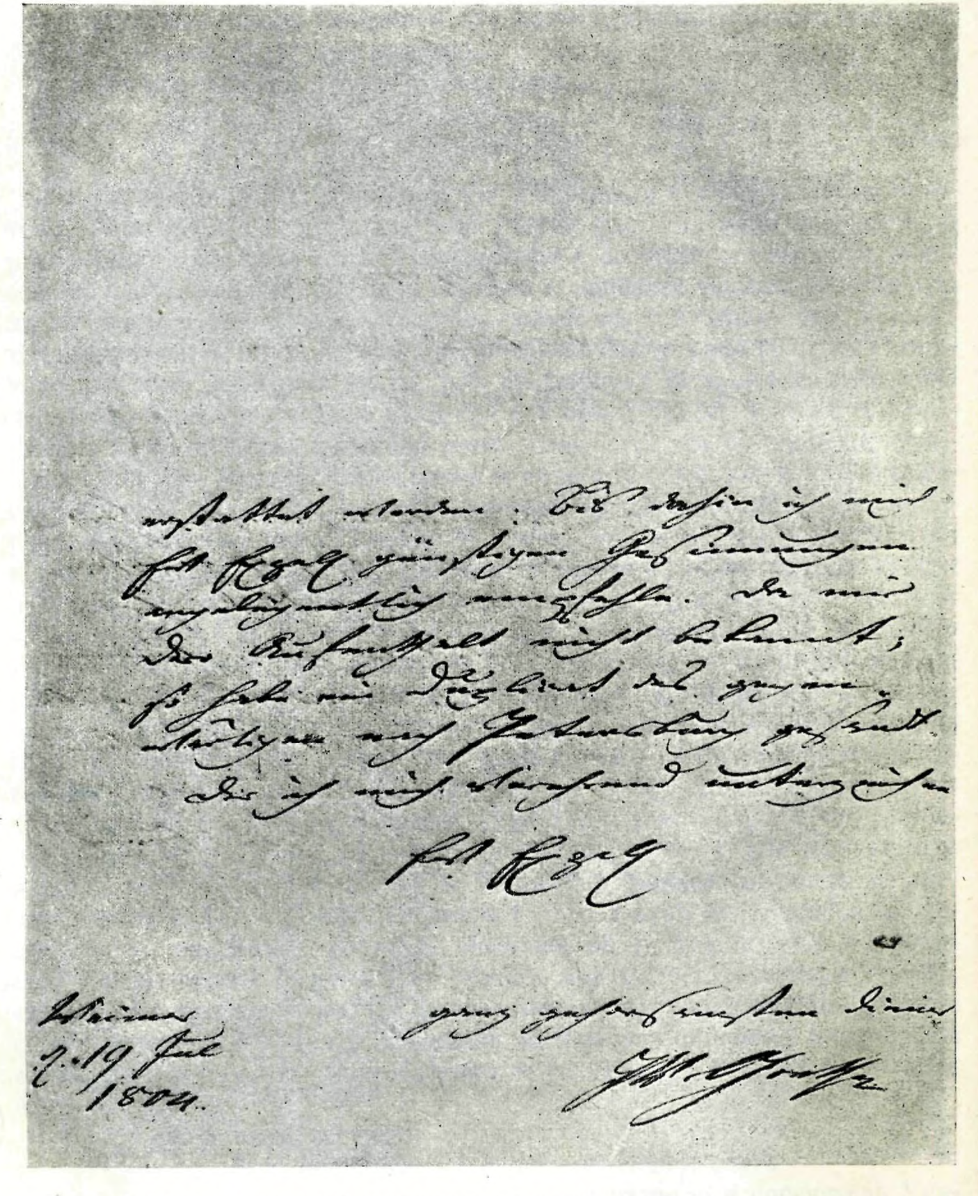
милостивый государь,

Ваш покорнейший и послушнейший слуга

граф Северин Потоцкий, сенатор и попечитель Университета в Харькове [36].

Гете живо и деятельно отозвался на призыв Потоцкого и 27 ноября 1803 г. писал ему: «Доверие, которым Вы, Ваше превосходительство, меня почтили, желая услышать мой совет относительно замещения кафедр в Харьковском университете, я пытался заслужить покорнейше прилагаемыми Promemoria, ожидая дальнейших приказаний Вашего превосходитель-

Первая страница автографа письма Гете к С. О. Потоцкому от 19 июля 1804 г.
Публичная Библиотека, Ленинград



Вторая страница автографа письма Гете к С. О. Потоцкому от 19 июля 1804 г.
Публичная Библиотека, Ленинград

ства. Ваше уважаемое письмо от 12 октября пришло ко мне только 10 ноября, и невозможно было раньше собрать все необходимые справки. Надеюсь, мои сообщения придут не слишком поздно и прошу извинения, что употребляю мой родной язык как тот, на котором, мне кажется, я лучше всего выражаю мои мысли. Вместе с тем, должен признаться, я не разобрал места, откуда Вы, Ваше превосходительство, отправили Ваше письмо; почему беру смелость переслать настоящее письмо светлейшему князю Чарторижскому. Поручаю себя Вашей благосклонной памяти и ожидая дальнейших распоряжений и пр.» Пересылавшиеся при этом письме «Promemoria» сохранились в архиве Харьковского университета [37].

Для кафедры «этики, естественного и всеобщего государственного права, как и для всех предметов, включающих в себя теоретическую и практическую философию», Гете рекомендовал иенского доцента Иоганна-Баптиста Шада (Schad, 1758—1834); для кафедры химии указал на молодого ученого Людвига Шнауберта (Schnaubert); для физики и прикладной математики выбор Гете пал на иенского профессора Иоганна-Карла Фишера (Fischer, р. 1763 г.). Гете снабдил рекомендуемых обстоятельными curriculum vitae, но и от Потоцкого запросил уточнения сведений о материальном и правовом положении харьковских профессоров: некоторые его вопросы показывают, что он хотел как бы застраховать жизнь немецких ученых, обрекаемых в жертву российскому просвещению.

21 февраля Гете получил ответ Потоцкого: он звал в Россию Шада и Шнауберта; кафедра физики была уже замещена. Аккуратнейший во всем и всегда Гете через шесть дней оповещал уже графа, что ответ его сообщен Шаду и Шнауберту—«и они покорнейше приняли милостиво обращенный к ним призыв»: и отъезд ускорят, и будут стараться до конца с пользою «употреблять в дело свои способности»,—и все это «по приказаниям и непосредственному руководству столь просвещенного знатока в области наук и государственных потребностей текущего момента»—самого Потоцкого. Гете был во всем осторожен; несмотря на то, что дело было решено, он не хотел преждевременной огласки и за пять дней до этого письма писал своему соредактору по «Иенской Всеобщей Литературной Газете», проф. Генриху Эйхштедту: «Я не хочу ничего разглашать относительно некоторых из наших, вероятно уезжающих в Харьков, пока не пошлю заметку Вашему благородию» [38]. Шад и Шнауберт тотчас были зачислены профессорами Харьковского университета. 19 июля Гете мог порадовать Потоцкого: «Оба лица, назначенные в Харьковский университет, выехали из Иены в половине мая и, согласно письмам, которые мы получили из Лемберга, они давно уже прибыли к месту назначения». Вышло так, что Шад ехал не один, а с бесплатным приложением: «Перед отъездом,—рассказывает Гете,—к проф. Шаду пришел молодой человек, по имени Антоний Рейниш (Antonius Reinisch), духовное лицо из упраздненного монастыря Вейнгартен,—жизнеописание его здесь прилагается,—и решился сопровождать Шада в путешествии. Это тем более могло быть допустимо, что Рейниш, кажется, не без опыта в педагогике и осведомлялся о письме его превосходительства г. попечителя о подобных лицах. К тому же г. Рейниш не стремился получить деньги на проезд, не искал обещания определенного места, а готов был на свои средства и риск предпринять все это длинное путешествие. Таким образом все предоставляется Вашему усмотрению». «Усмотрение» это оказалось благоприятным для Рейниша, и этот сомнительный педагог попал в профессора Харьковского университета.

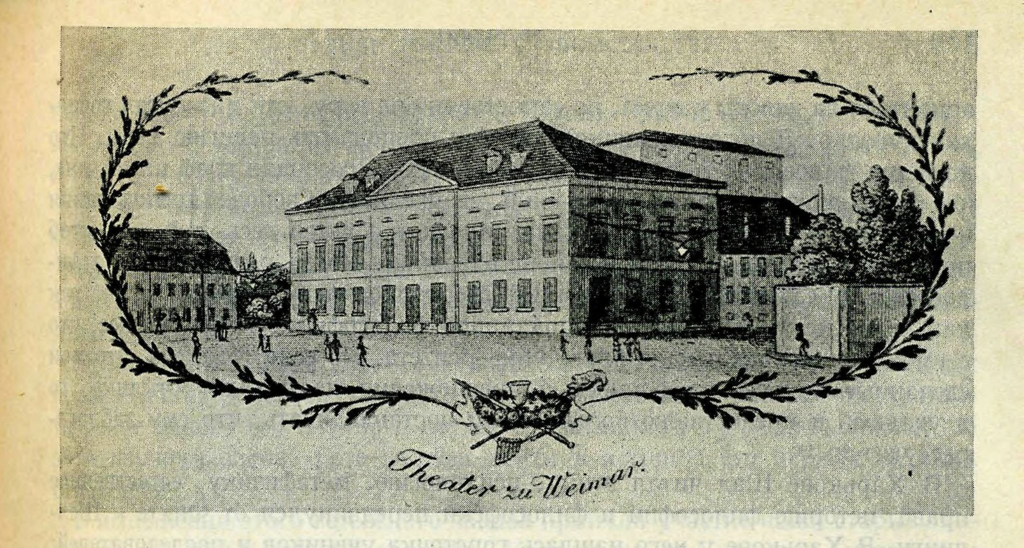
Утверждение историков этого университета Багалея, Сумцова и Бузескула, что «Совет университета пригласил на разные кафедры, в числе других немцев, и Рейниша» [39], неверно: Рейниш попал туда случайно. В сущности, Гете умыл руки в этом деле перед Потоцким. Гете спрашивал куратора: «Удовлетворена ли в Харькове потребность в педагогах, или требуются туда еще?» и извещал, что ему не удалось найти преподавателя политической экономии; иенский профессор Сарториус поведал Гете, что «лица, мало-мальски известные в этой области, уже отклонили русские предложения», а из ученой молодежи тоже нет охотников ехать в Россию. Но Гете спешил порадовать Потоцкого: «относительно замещения кафедры ветеринарии скорее есть надежда». Заметил ли Гете иронию своего письма польскому ревнителю русского просвещения? Заместить кафедру государственного права в России—нет надежды, а вот заместить кафедру скотолечения—надежда есть. К этому письму опять были приложены «Promemoria», в которых Гете уяснял Потоцкому, «каково до сих пор положение дел с профессурой в Харькове» [40].

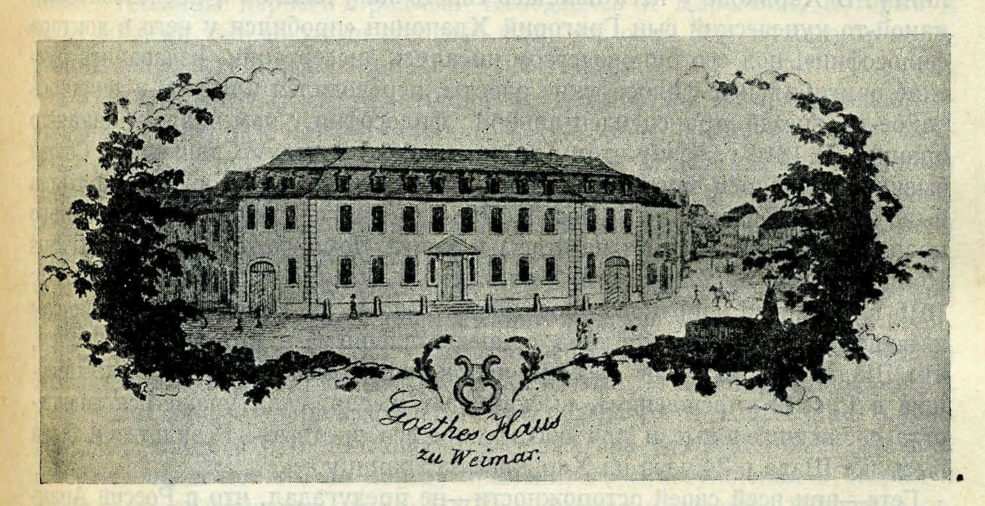
13 сентября 1804 г. Гете спешил «доставить» куратору Потоцкому «удовлетворение», извещая, что «г. капитан Пильгер из Гиссена рекомендуется к профессуре по ветеринарии, а находящийся в настоящее время в Геттингене г. фон Леуварден (Leuwarden)—в качестве профессора по политическим наукам (Staatswissenschaft)». Были приложены и две авторитетные рекомендации [41]; но ирония вещей взяла свое: государствовед Харькову не пригодился, а ветеринар отлично устроился и профессорствовал вполне благополучно.

На этом прекращаются письменные сношения Гете с Потоцким. Летом 1806 г. им довелось встретиться в Карлсбаде: 8 июля Гете записал в дневнике: «Князь Любомирский и граф Потоцкий... Вечером в Почтовый Дом, где Любомирский устроил праздник. В 9 ч. обратно» [42].

Из всех профессоров, сосватанных Гете Харькову, примечателен был один—Иоганн-Баптист Шад. Он был знакомец и последователь Фихте и написал трехтомное изложение его философии, читанное Фихте в листах [43]. В этом были его права на философскую кафедру. Но и самая биография его имеет право на внимание. Сын мельника, он вступил в орден Бенедиктинцев, но вместо ученого монаха из него вышел в конце концов полемист против католичества, критик католической агиологии, автор рационалистических многотомных «комментариев на библию». Он бежал из монастыря, опасаясь преследования со стороны католических властей, сделался иенским студентом и удостоен был степени доктора философии.

Из Харькова Шад прислал Гете письмо, полное сомнений в успехе того дела, ради которого он уехал из Германии: «Пока собралось лишь 9 штатных профессоров, среди которых нет ни одного, который имел хотя бы представление о научности. Это живые ящики памяти, которые производят много шуму, когда они двигаются... Профессора и адъюнкты, которые здесь находятся,—частью французские, частью австрийские шарлатаны, которым вторят довольно невежественные русские... Весь проект относительно создания университета, кажется, больше рассчитан на то, чтобы произвести впечатление за границей, чем создать нечто действительно полезное. Попы пользуются здесь громаднейшим весом, и, чтобы угодить этому классу людей, ни один профессор не может произнести хотя бы одно слово о религии. По этой причине естественная теология или теория религии разума исключена из философии. Ибо религия не должна в России





Театр, дом Гете и базарная площадь в Веймаре
Раскрашенные гравюры начала XIX века
Музей Изобразительных искусств, Москва

опираться на доводы разума, но единственно на веру, как мне писал господин куратор. Дело священников поэтому преподавать религию веры. Что касается философии морали, то по этому поводу господин граф писал мне, что нет лучшей морали, чем мораль евангелия... Свобода преподавания и пера будет чрезвычайно стеснена. Мне потребуется весь мой ум, чтоб приносить пользу, не возбуждая негодования. Когда речь заходит о философии, о ее методах, то все профессора ополчаются против меня, так как никто не имеет понятия о подлинной философии... Я сделаю все, что с умом можно сделать для блага университета. Но если я замечу, что мои сделанные со всей умеренностью предложения не находят отклика, то я удалюсь и предоставлю большинству постанавливать, что ему заблагорассудится» [44].

В Харькове Шад читал этику, психологию, метафизику, естественное право, историю философии и философски передвинулся от Фихте к Шеллингу. В Харькове у него нашлась горсточка учеников и последователей: какой-то купеческий сын Григорий Хлапонин «пробился у него в доктора философии», под его руководством писались диссертации, издавались русские оригинальные философские работы, переводился Фихте [45]—свивалось какое-то гнездо трансцендентальной философии, намечалась какая-то школка. В 1816 г. всему этому пришел конец: в эпоху Священного Союза бывший ратоборец против католичества оказался не ко двору: на Шада было подано несколько доносов. Две его книги—учебник естественного права («Institutiones juris naturae») и книга Ломонда «De viris illustribus Romae» с его прибавлениями—поставлены были ему в вину. Новый (с 1816 г.) министр народного просвещения кн. А. Н. Голицын внял доносам и вошел в комитет министров с представлением, в котором жаловался, что Шад позволяет себе «весьма неприличные замечания на существующие в России учреждения», высказывает мысли, «для учащегося юношества соблазнительные и для воспитания его вредные». Результатом была высылка Шада в 24 часа из Харькова за границу.

Гете—при всей своей осторожности—не предугадал, что в России Аракчеева и Голицына даже Шад может показаться опасным.

Шад не молчал за границей: он «напечатал о своем деле в «Иенских Литературных Ведомостях». Посланник наш при прусском дворе уведомил, что изгнание Шада произвело крайне неблагоприятное впечатление: Шад кричит встречному и поперечному, что немецкие ученые преследуются в России... Шаду выдано было вознаграждение за понесенные убытки; в посольство сообщили описание дела в его настоящем виде (!) для помещения в иностранных газетах; сам Шад получил кафедру в Берлинском университете» [46].

Гете пришлось в этом деле стать на сторону Шада,—и это был кажется единственный случай, когда и рекомендация Гете не оправдалась в глазах русского правительства, и сам он оказался не на стороне правительственной.

В 1817 г. вслед за Шадом ушел из попечителей и кураторов и Потоцкий. Он совсем уклонился от политической деятельности: в Государственном совете, членом которого был с 1810 г., он только числился, а предался деятельности финансовой, участвуя в крупных торгово-промышленных предприятиях и увеличивая свое и без того огромное состояние.

Потоцкий еще в 1807 г. намечал избрать Гете в почетные члены Харьковского университета и предложил совету следующий курьезнейший список кандидатов в почетные члены: «Для изящных искусств: Карамзин, Херае-

ков, гр. Хвостов, Дмитриев, Эйхштедт (Иена), Виланд (Иена), Гете (Иена)». Но избрание закрытой баллотировкой не следовало списку попечителя, и Гете в число членов не попал, что вызвало неудовольствие Потоцкого [47].

В почетные члены Харьковского университета Гете был избран уже в 1827 г. в попечительство А. А. Перовского [48].

Рассказанный эпизод очень важен в истории русских отношений Гете: это был первый русский правительственный заказ, полученный и исполненный им.

Чрезвычайно показательно для интереса Гете к России, что и русскому правительству довелось получить от Гете своеобразный заказ—на удовлетворение одного его научного интереса, связанного с Россией. Эпизод об этом научном заказе Гете должен войти в историю его первых русских отношений.

В исполнении этого гетевского заказа приняли участие наши старые знакомые, гетеанцы первого призыва—Козодавлев и Карамзин, которые к этому времени уже достигли степеней высоких: один был министром внутренних дел, другой официальным историографом.

У Гете был интерес к литературной деятельности и историографии Карамзина. В 1810 г. 4 ноября Гете внес такую запись в свой дневник: «Музыка. Confirma hoc Deus и рождественская кантата. В первый раз канон св. Диогена. За обедом настоятель и дьякон с женой и г. Левандовский. О русской истории и литературе. Карамзин, вводящий немецкую манеру писать» [49]. Собеседниками Гете, ведшими разговор о Карамзине и его литературной реформе, был секретарь Марии Павловны, наследной герцогини Веймарской, М. Ф. Левандовский и причт русской православной церкви, основанной в Веймаре в 1804 г. для Марии Павловны, священник Никита Ясновский (1778—1837) и дьякон Алексей Егоров с женой. Собеседники Гете были достаточно осведомлены для разговора о Карамзине, а сам Гете знал немного и о противнике реформатора русской прозы: он еще в 1804 г. читал кое-что по поводу знаменитого «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» (1803) и отнесся к писанию Шишкова отрицательно.

Среди римских отметок Гете встречаем такую (6 января 1787 г.): «В первый день рождества я видел папу в храме св. Петра... Это—единственное в своем роде представление, великолепное и довольно внушительное; но я настолько состарился в своем протестантском диогенизме, что это великолепие более отнимает у меня, нежели дает мне... Сегодня, в праздник Крещенья, я смотрел и слушал литургию по греческому церковному обряду. Эти обряды кажутся мне величественнее, строже, обдуманнее и между тем общедоступнее латинских». Гете «и там также почувствовал», что «церковные обряды и оперы, и процессии, и балеты,—все это сбегает по мне, как по непромокаемому плащу» [50]. Но у него сохранился интерес к искусству, внедряющемуся в «греческие церковные обряды».

Под первым апрелем 1806 г. встречаем запись в дневнике Гете: «В русской церкви». От 20 апреля 1808 г. он писал композитору Цельтеру: «На этой пасхе проехали восемь певчих из Петербурга в Париж, в церковь русского посольства. Они пели здесь, в здешней греческой церкви, в оба праздничные дня и исполняли, как мне сказала ее высочество [Мария Павловна], подлинные древние песнопения». Гете был заинтересован строением русской церковной музыки, он сравнивал ее с «Canto fermo» итальянцев и с музыкой «Страстей» в католической капелле. Он поражен был

также своеобразием мелодического и гармонического строения русской народной песни и спрашивал Цельтера: «Откуда такая всеобщая тенденция к минорным тонам?» [51]

Заметим, что на какое-то знакомство Гете и с русскими народными песнями указывают еще записи в его «Дневнике» 6 мая 1810 г.: «Танцмейстер из Рудольфштадта. После обеда русские песни» и 10 июля того же года: «Русская песенка» [52]. Позднее Гете читал русские народные песни в переводе Ф. Л. Челаковского: в его библиотеке доныне хранится книга «Wiederhall russischer Lieder von Franz Ladislaus Celakowsky. Prag, 1829».

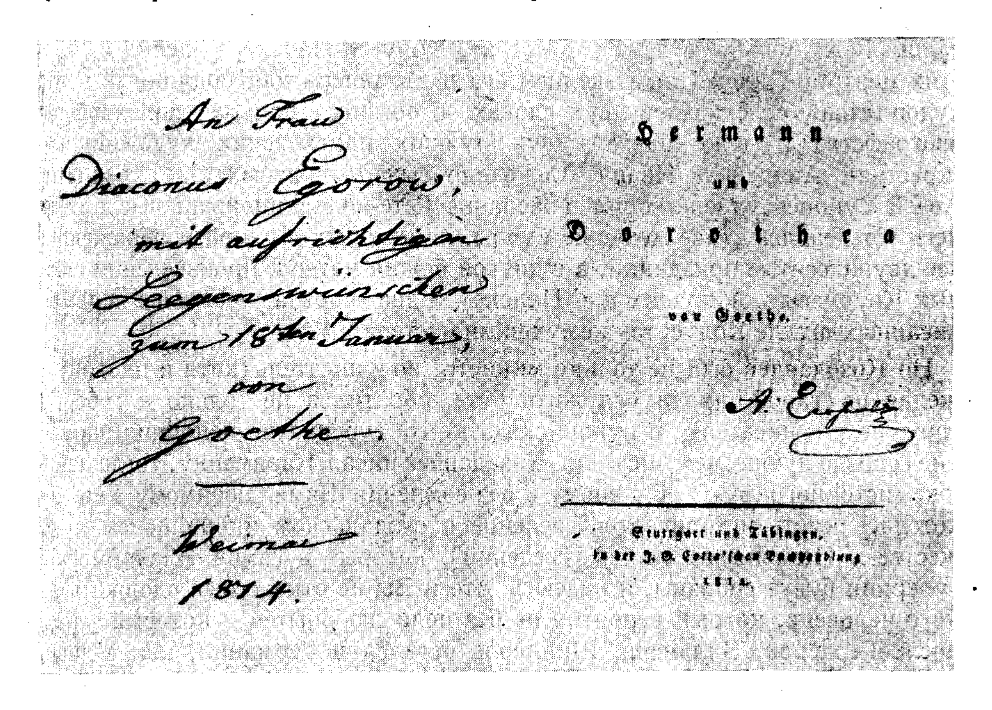
Но сильнее был у Гете интерес к древнерусской живописи. С произведениями такого рода Гете познакомился и в русской церкви, в которой, как видно из приведенной записи, бывал, и в домах русского причта, и в комнатах Марии Павловны, привезшей в Веймар вместе с «приданым» конечно и иконы, вряд ли древнего письма, но вероятно все же «фряжского изографства», совершенно незнакомого лютеранскому Западу. Гете с гениальной чуткостью понял по немногим и вероятно очень поздним образцам, что перед ним целая область искусства, неведомого Западу, но восходящего своими корнями к глубокой византийской и даже эллинской древности. Как всегда бывало, когда Гете нападал на новую для него область знания или искусства, он сделал все, чтобы усвоить его, овладев путями его постижения. Он начал с того, что попытался разузнать об иконописании и об его современном состоянии у русского церковного причта. Дневник Гете показывает, что у него были довольно частые и дружественные сношения с русским причтом. То он беседует с ним о Карамзине и русской истории, то дьякон Алексей Егоров «доставляет» ему какой-то «ящичек» в Карлсбад (1808 г.), то на пасхе 1811 г. (17 апреля) сам Гете появляется «в обед у протопресвитера со всеми русскими». Особенно дружественны были отношения с дьяконом Егоровым и его женою: они нередко бывали гостями и собеседниками Гете. Посещения и собеседования с дьяконом и дьяконицей Гете отмечает в 1811 г. (13 июня), в 1812 г. (3 января и 17 декабря), в 1814 г. (22 марта) [53]. Памятником дружеского расположения к ним Гете остался экземпляр «Германа и Доротеи» (1814 г.) с собственноручной надписью автора, подаренный дьаконице. [54]

Не может быть сомнения, что от причта Гете собрал сведения о современном русском иконописании, которые включил в записку «Russische Heiligenbilder», писанную рукою Джона (John), но с поправками самого Гете. Узнанное породило в Гете целую вереницу вопросов: «В городе Суздале, некогда главном городе губернии, а теперь принадлежащем к губернии Владимирской, изготовляются, как в самом городе, так и в деревнях окрестного уезда, те изображения, которые могут быть названы не столько предметом русского богослужения, сколько внешним побуждением к нему. Эти священные изображения пишутся на деревянных дощечках, выливаются полувыпукло из металла, гравируются резцом, покрываются лаком, вероятно и вырезываются из дерева. Изготовляются ли там же и целые статуи святых? Сомнительно, так как Петр Великий запретил статуи в церквах.

Желательно получить об этих предметах более подробные сведения,— как относительно их изготовления и числа людей, занятых им, так и о том, насколько торговля этими произведениями может быть значительной отраслью промышленности.

Нельзя ли узнать, как давно подобное заведение находится в данной местности? Существуют ли еще греческие иконы, которые при работе служат образцами? Отличаются ли между суздальцами выдающиеся художники? Все ли производится там в старинном, священном стиле, или изготовляются там и иные предметы искусства, на современный лад?

Было бы особенно приятно получить образчики всякого рода этих икон, хотя бы в самых малых размерах, если возможно, от руки лучших современных художников: ибо для любителя искусств весьма поучительно узнать, как вплоть до наших дней целая отрасль искусства, с древнейших времен перешедшая из Византии, сохраняется неизменною, благодаря


An Frau
Diaconus Egorow,
mit aufrichtigen
Segenswünschen
zum 18ten Januar,
von
Goethe.

Weimar
1814.

Hermann
und
Dorothea
von Goethe.

Stuttgart und Tübingen,
in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung
1814.

Дарственная надпись Гете дьяконице Егоровой на экземпляре издания „Германа и Доротеи" 1814 г. Институт Русской Литературы, Ленинград

постоянной преемственности, тогда как в других странах искусство развивалось и уклонилось от своих первоначальных, религиозных, строгих форм.

Хотя в данной местности четки не изготовляются (их работают в монастырях), однако желательно было бы получить также несколько образцов и четок, особенно, если возможно, из тех, которые приносятся монахами с горы Афонской» [55].

Записку свою Гете передал Марии Павловне [56], а она отослала ее императрице-матери, Марии Федоровне, которая, решив, что веймарский министр фон Гете спрашивает о чем-то, относящемся к «внутренним делам», передала «записку» министру этих «дел» О. П. Козодавлеву, когда-то переводчику «Клавиго». Козодавлев затеял, как и подобало министру, целое «дело» о Гете, захотевшем быть первым исследователем и коллекционером русских икон в Европе в то время, когда никто их не собирал и не изучал в самой России. Козодавлев затребовал прежде всего сведений от владимирского губернатора, указав ему, что действует по поручению са-

мой императрицы. Ради такого поручения губернатор постарался и отозвался министру (17 мая 1814 г.) довольно подробным «донесением», где ответил, собрав сведения «на местах» через исправников и прочих властей, на кое-какие из вопросов Гете. О прошлом «древнерусской живописи» губернатор конечно ничего не мог сообщить дельного, обошел он вовсе и все вопросы Гете об иконах из металла, резных, скульптурных, не ответил вовсе на вопрос Гете, пишут ли что-нибудь суздальские художники «на современный лад». Губернатору легко было бы ответить на этот вопрос одним словом «нет»; а о том, что и как могут писать «суздальские художники» не в «священном», но все-таки в своем «стиле», об этом не знали и сами эти художники. Но, на что мог, губернатор ответил недурно: он сообщил Гете нужные сведения о Мстёре, Хо̀луе и Па̀лехе, выделил из трех этих центров Палех (так выделяем его и мы теперь как подлинный центр художества), рассказал в двух словах об обычных приемах палеховского изографства и даже назвал двух лучших палеховских художников— «крестьян Андрея и Ивана Александровых Коурцевых» [57]. Губернатор Авдей Супонев удовлетворил и желание Гете-коллекционера: выслал для него Козодавлеву «две меньшие иконы, из которых в одной изображаются все двунадесятые праздники, а в другой божия матерь, произведения славных Коурцевых, живущих в с. Палехе», и два «образа, побольше первых», писанных «в селе Холуе, также лучшими мастерами» [58].

Но Козодавлев был не только министр, но и писатель (хотя и плохой) и, желая по старой памяти услужить Гете, обратился не только к губернатору, но и к писателю, и нужно сказать, что губернатор исполнил поручение гораздо лучше, чем писатель. Козадавлев писал Карамзину, тогда давно уже «историографу»: «Славному и без сомнения Вами любимому Гете захотелось иметь историческое сведение о суздальском иконописном художестве... Независимо от тех [сведений], которые в самой Владимирской губернии будут собраны, я надеюсь, что и Вы не откажетесь одолжить такого человека, котрый вероятно не без цели любопытен и который теперь после Гердеров, Виландов, Шиллеров остался в Германии, как головня после пожара, которая однакож еще не совсем погасла и бросает искры прежнего огня». Карамзин ответил 4 апреля 1814 г. из Москвы: «Усердно исполняя желание Вашего превосходительства, спешу ответствовать на предложенные Вами вопросы. 1. Суздальская иконопись есть подражение Византийской, которая вошла в Россию вместе с христианскою верою при Владимире. Греческие живописцы были учителями наших, из коих знаем св. Алимпия Печерского в XI веке (см. Патерик). 2. Сия иконопись у нас не изменилась в течение веков: ибо духовенство российское требовало от живописцов точного подражания византийским образцам, и новости считались ересью. Фигуры, их расположение, краски, одежда—все имело свой закон. Так, например, московский собор XVI века именно утвердил, чтобы иконы писать по образцам Андрея Рублева, а не иначе (см. Стоглав). 3. С которого времени суздальцы занимаются преимущественно иконописью? Думаю, со времен Андрея Боголюбского: он призывал в Владимир византийских художников и пекся о введении искусств в Суздальском великом княжении... Отвечаю коротко, чтобы не сказать ничего лишнего. В материалах нашей истории не нахожу никаких дальнейших объяснений на сей предмет. Не угодно ли будет Вашему превосходительству спросить у нашей Академии художеств, что она думает о суздальской иконной живописи? Не вмешиваюсь в ученость искусств» [59].

О. П. КОЗОДАВЛЕВ
Гравированный портрет Иенфа (Дерпт, 1813 г.)
Музей Изобразительных Искусств, Москва

Ответ «историографа» показывает, что объем его сведений о древнерусской живописи немногим превышал те сведения о ней, которые Гете понасбирал уже от русских «веймарцев»: он уклонился вовсе от суждения о современном состоянии народного иконописания, чем Гете более всего интересовался, и отослал за разъяснениями в Академию художеств, в которой меньше, чем где-либо, можно было добыть нужные сведения: там господствовала ложноклассическая рутина батальных картин, царских портретов и придворной мифологии. Козодавлев ждал от Карамзина особого внимания к просьбе Гете; этого внимания в ответе Карамзина нет и следа: там даже не упомянуто имя Гете.

Можно сказать, что научный заказ Гете русскому правительству оно выполнило довольно скверно. Во всяком случае сам Гете, как мы видели, положил гораздо больше старания в выполнении первого же полуправительственного заказа, полученного им из России.

В дальнейшем же русское правительство могло быть еще больше довольно вниманием и исполнительностью Гете.

Предстоит познакомиться теперь с русскими официальными командировками и неофициальными пилигримствами к Гете. Начало их восходит к первым годам XIX столетия. «Гете и русский двор»—это богатая тема для историка: она еще ждет своего исследователя, как и другая, близкая ей: «Гете и русская дипломатия в наполеоновскую эпоху». Мне приходится лишь коснуться этих сложных и богатых тем.

ПРИМЕЧАНИЯ

Условные обозначения наиболее часто цитируемых источников:

Собрания сочинений Гете:

«W. A.»—Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Grossherzogin Sophie von Sachsen. Erste Abtheilung: Werke im engenen Sinne. Zweite Abtheilung: Naturwissenschaftliche Schriften. Dritte Abtheilung: Tagebücher. Vierte Abtheilung: Briefe. Weimar. 1887—1911. Hermann Böhlau.

Гете.—Гете. Собрание сочинений в 13 томах. Юбилейное издание под ред. Л. Б. Каменева, А. В. Луначарского, М. Н. Розанова. ГИЗ. М.-Л., 1932 (вышли томы I и II).

Гете-Вейнберг. — Собрание сочинений Гете в переводе русских писателей. II изд. под ред. П. И. Вейнберга. 8 тт. СПБ., 1892—1895.

Источники на русском языке:

I. Журналы. «М. В.»—«Московский Вестник»; «М. Т.»—«Московский Телеграф»; «Р. А.»—«Русский Архив»; «Р. С.»—«Русская Старина»; «С.»—«Современник». II. Прочие издания. Арх. Т.—«Архив братьев Тургеневых». Изд. Академии Наук, СПБ., 1911—1921. Барс.—«Жизнь и труды М. П. Погодина» Николая Барсукова. Книги I—IV. СПБ., 1888—1891 гг. Бельш.—А. Бельшовский. Гете, его жизнь и произведения. Перев. под ред. П. И. Вейнберга. 2 тт., СПБ., 1898—1908; имея в виду русского читателя, приходилось делать ссылки на факты биографии Гете по такой книге, которая была бы ему доступна. Из крупных и более новых биографий Гете работа Бельшовского—единственная, имеющаяся в русском переводе. Она рекомендована как «необходимое пособие» и редакцией (А. В. Луначарский и А. Г. Габричевский) «Фауста» Гете в переводе Брюсова (ГИЗ, 1928, стр. 345). Вес.—акад. Алдр. Н. Веселовский: «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения». П., 1918. Дн.—«Дневники В. А. Жуковского». С примечаниями И. А. Бычкова. СПБ., 1903. Жук.—Полное собрание сочинений В. А. Жуковского, в 12 тт. Под ред. проф. А. С. Архангельского. СПБ., 1902. Кол.—Н. П. Колюпанов. Биография А. И. Кошелева. 2 тт., М., 1892. Кош.—А. И. Кошелев. Записки. Berlin, 1884. «О. А.»—«Остафьевский архив князей Вяземских». I. Переписка кн. П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. Под ред. и прим. В. И. Саитова, тт. I—IV. СПБ., 1899—1908. «Примечания» В. И. Саитова, со II тома издававшиеся отдельным полутомом, цитуются: «О. А.» п—Переписка П.—Сочинения Пушкина. Изд. Академии Наук. Переписка. Под ред. В. И. Саитова, 3 тт. СПБ., 1906—1911. Письма П.—Пушкин. Письма. Под ред. и с прим. Б. Л. Модзалевского, тт. I—II. ГИЗ, 1926—1928. Пуш. соч.—Пушкин. Полн. собр. соч., 6 тт. Под ред. Д. Бедного, А. Луначарского, П. Сакулина, В. Соловьева, П. Щеголева. ГИЗ, 1930—1931. «Р. Б. С.»—«Русский биографический словарь». Сак.—П. Н. Сакулин. Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 1 и ч. 2. М., 1913. Экк.—«Разговоры Гете, собранные Эккерманом». Перевод с нем. Д. В. Аверкиева. 2 тт. СПБ., 1905.

Источники на немецком языке:

Bied.—«Goethes Gespräche. Gesamtausgabe neu hsg. von Flodoart-Frhr. von Biedermann, B. I—V. Leipzig, 1909—1911.—Müller—«Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Müller. Hgg. von C. A. Burckhardt. 2-e Auflage. Stuttgart, 1898.—Propyl.—Propyläen Ausgabe von Goethes sämtlichen Werken. Erstes Supplement: «Die Bildnisse Goethes. Hgg. von Ernst Schulte-Strathaus.—Georg Müller Verlag, München (1910).—Schmid—dr. Georg Schmid, «Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel. «Russische Revue». XVII Jahrgang, 2 Heft, S.-Petersb. 1888, SS. 131—182.—Schorn—«Briefe des Kanzlers Friedrich von Müller an Wassily Andrejewitsch Joukowsky. Hgg. von Adelheid von Schorn. «Deutsche Rundschau» 1904, Heft 11, SS. 277—288.

В тексте исследования разрядка принадлежит всегда цитируемым авторам.

[1] «Поэзия и Правда. Из моей жизни», книга VI.—И. В. Гете «Поэзия и Правда», ч. 2. Перев. Н. А. Холодковского. «Всем. Лит.». Л.-М., 1923, стр. 28. В VII книге «Поэзии и Правды» Гете говорит о своем студенческом знакомстве с «несколькими уроженцами Лифляндии» (стр. 47), но это были немцы—русские подданные, рижане братья Ольдерогге, курляндец Ливен и Боргман, во время дуэли ранивший Гете в плечо. В Страсбурге, во время житья там с Гердером, Гете встретился у него с «одним симпатичным русским, по имени Пеглов», желавшим в Страсбурге «усовершенствоваться в хирургии». Гете отмечает его дружески-юмористическое отношение к некоторым писаниям Гердера, чтением которых он докучал Гете (там же, стр. 52—154). Это был штаб-лекарь одного из русских полков,—по всей вероятности также остзеец.

[2] М. И. Сухомлинов, Ист. Росс. Ак., вып. VI. СПБ., 1882, стр. 13.

[3] «Поэзия и Правда», кн. VI, изд. «Всем. Лит.», ч. 2, стр. 29—31, 36.

[4] Вяч. Якушкин, Учебные годы Радищева. Сб. «Под знаменем науки». М., 1902, стр. 200—201.

[5] «Он [профессор философии Эрнст Платнер, 1744—1818] помнит Кутузова,-озодавлева?], Р[адищева] и других русских, которые здесь учились. «Все они были

моими учениками,—сказал он». (Н. М. Карамзин, Письма русского путешественника. Избранные сочинения. Ч. 2. СПБ., 1892, стр. 42).

[6] Любопытно отметить, что в начале 800-х гг. в изданиях «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», кружка литературных учеников и последователей Радищева, печатались переводы из Гете (см. переводы И. М. Борка в «Свитке Муз» 1802).

[7] Сухомлинов, Ист. Росс. Ак., вып. VI, стр. 14. В Лейпцигском у-те одновременно с Гете, но на другом факультете, учился его однолеток—саксонский дворянин Карл фон Кюхельбекер (1748—1809), отец будущего русского поэта-гетеанца.

[8] Титул первого издания: «Клавиго, трагедия в пяти действиях господина Гете, переведена с немецкого. В Санктпетербурге, при артиллерийском и инженерном шляхетном кадетском корпусе, у содержателя X. Ф. Клеэна 1780 года».—Титул второго издания: «Клавиго, трагедия господина Гете. Переведено с немецкого. Второе исправленное издание. В Санктпетербурге, печатано в вольной типографии Вейтбрехта и Шнора. 1780 г.» Монолог из «Клавиго» (действие V: «Мертва! Мария мертва!») был перепечатан в «Санктпетербургском Вестнике» 1780 (ч. VI, июль,58—60 стр.). Предисловие ко второму изданию подписано К.... (четыре точки соответствуют числу гласных в фамилии переводчика).

[9] См. библиографию русских переводов «Вертера» в издании: В. Гете, Страдания юного Вертера. Перев. О. Б. Мандельштама, под ред. и с предисл. А. Г. Горнфельда, «Всем. Лит.». П., ГИЗ, 1922, и ниже в работе Б. Я. Бухштаба. Сопиков (т. IV, №№ 11575 и 11576) называет лишь переводы Галченкова —1781 г. и Виноградова—1798 г. В новейшей немецкой работе о Гете и России Евгений Цабель пишет: « Россия усвоила себе роман [«Вертера»] во всяком случае позднее [других стран]: первый перевод вышел там только в 1794 г., на двадцать лет позднее того, как о нем заговорили в литературных кругах Франции, Англии и Италии» (E. Zabel, Goethe und Russland. «Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft», Bd. VIII, 1921, SS. 27—48). Цабель делает грубую ошибку: «Вертер» у нас появился не через двадцать лет после выхода в свет (1774), как утверждает Цабель, а через семь (1781).

[10] Для поколения сентименталистов конца XVIII—начала XIX в. таким созвучным им переводом «Вертера» должен был быть труд Андрея Тургенева и Жуковского, не довершенный и известный лишь по одному печатному отрывку (Андр. Тургенева). Для поколения 20-х гг. своим «Вертером» явился перевод Н. М. Рожалина; люди 40-х гг. обладали своим переводчиком Гете—А. Н. Струговщиковым, которого весьма ценил Белинский; его «Вертер» вышел с сильным опозданием—в 1865 г. В 90-х гг. появились два «Вертера»—О. Н. Хмелевой (1892) и А. Р. Эйгеса (1892). Поколение интеллигенции, с глубоким пессимизмом выходившее из сумерек 80-х гг., оказалось прилежным читателем «Вертера». «Всем. Лит.», ставившая целью ознакомить нового, выдвинутого пролетарской революцией читателя с созданиями классиков, издала в 1922 г. новый перевод «Вертера» О. Б. Мандельштама. В своей статье «Goethe in Russland» белоэмигрантский профессор А. Л. Погодин пишет: «В эпоху романтики мы меньше слышим о «Вертере». Гете привлекал внимание как певец народных преданий»—и ссылается на «Лесного царя» Жуковского («Germanoslavica». Jahrgang I. 1931—1932, Heft 3. I. Goethe-Heft, Brünn, S. 337). Это совсем неверно: тот самый «кружок юных поэтов «М. В.», о котором Погодин пишет, с горячим участием следил за переводом «Вертера», делаемым членом кружка Н. М. Рожалиным, и считал «Вертера» настольной своей книгой: для многих из членов этого кружка быть гетеанцем значило быть вертерьянцем. Недаром Пушкин в список героев эпохи занес «Вертера, мученика мятежного».

[11] Меньше всего был Вертер тем, чем хочет представить его теперь проф. Погодин, утверждая, что «в кругах высшего русского общества Вертер пробуждал не только «чувствительность» [как будто в других кругах он пробуждал только «чувствительность»], но и возвышенное чувсвто гуманности» («Goethe in Russland», стр. 336). Из чего видно, что Вертер пробуждал «чувство гуманности» у петербургских собратий немецких великосветских врагов Вертера, мы не знаем, а профессор не помогает нам узнать, но что Вертер питал в русских читателях боль социальной обиды—это несомненно; см. главу моей работы, посвященную Н. М. Рожалину. Как выше указано, эти протестующие мотивы в романе Гете заставили декабриста Кюхельбекера любить эту книгу больше всех других сочинений Гете, а Пушкину внушили придать Вертеру эпитет «мятежный».

[12] Н. М. Карамзин, Избранные сочинения, ч. 2. СПБ., 1892, стр. 44, 45, 49.

[13] В. В. Сиповский, Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПБ., 1899, стр. 352, 372, 197.

[14] Там же, «Приложения», стр. 50—51.

[15] М. Н. Розанов, Поэт периода «бурных стремлений» Якоб Ленц. Его жизнь и произведения». М., 1901, стр. 267—269, 418, 484.

[16] Другу Карамзина И. И. Дмитриеву принадлежит чрезвычайно популярное в конце XVIII—начале XIX в. стихотворение «Размышление по случаю грома» («Гремит! благоговей, сын персти!»). Это—подражание, без сохранения размера, стихотворению Гете «Grenzen der Menschheit». По этому переложению впервые знакомились в России с лирикой Гете. Жуковский, побывав у Гете, писал Дмитриеву, что именно это «Размышление» дало первый толчок к его собственному поэтическому творчеству.

[17] Карамзин, Избр. соч., ч. 2, стр. 47, 55, 60, 50.

[18] П. Вяземский, Старая записная книжка. Ред. и прим. Л. Гинзбург. Л., 1929, стр. 134.

[19] Из вельмож, не только переписывавшихся с Вольтером, но и посещавших его, можно назвать: фаворита Елизаветы И. И. Шувалова, две недели прогостившего у Вольтера и привезшего ему заказ на «Историю Петра Великого» (этот же Шувалов, «покровитель» Ломоносова, встретился с Гете в 1781 г.; эта случайная встреча дает самую раннюю из точных дат русских знакомств Гете. «W. A.», III Abt., B. I, S. 132. Запись от 3 сентября); Б. М. Салтыкова (1723—1808), поселившегося в Фернее в качестве корреспондента Шувалова и помощника Вольтеру при писании этой истории; кн. А. М. Белосельского-Белозерского (1752—1809), отца кн. З. А. Волконской, *дипломата, поэта и музыканта*, и др. В 1775 г. придворно-философический сплетник бар. Гримм, по желанию вдовы знаменитого фельдмаршала гр. Румянцева, возил в Ферней ее сыновей—Сергея и Николая (будущего канцлера)—на поклон Вольтеру. (Д. Д. Языков, Вольтер в русской литературе. Сб. «Под знаменем науки». М., 1902. С. П. Шевырев, История Московского у-та. М., 1855, стр. 28, 48, 85, 118, 441.—«О. А.» т. III, прим. 461).

[20] Bied., B. I, S. 122, № 247.

[21] Бельш., т. II, стр. 31.

[22] Bied., B. IV, S. 174, № 2742.

[23] Там же, т. I, стр. 480, № 973.

[24] «W. A.», III Abt., B. II, S. 30, 31, 55; B. III, S. 38, 46, 61, 158; B. IV, S. 112; B. VIII, S. 171—173, 176, 185. Об Амалии Голицыной см.: Katerkamp, «Denkwürdigkeit aus dem Leben der Fürstin Amalie von Golitzin» (Münst., 1828); «Mitteilungen aus dem Tagebuche der Fürstin Amalie von Golitzin» (Stuttg., 1868).

[25] «W. A.», I Abt., B. XXXV, S. 155; IV Abt., B. XXXIX, S. 50; III Abt., B.III, S. 66—67; B. V, S. 13. О Д. А. Голицыне: кн. Н. Н. Голицын, Род князей Голицыных, т. I, СПБ., 1892. Доселе не обнародованы «голицынские письма», упоминаемые Гете.

[26] О русском провинциальном и не-вельможном вольтерьянстве конца XVIII в. см. в статье В. В. Сиповского, Из истории русской мысли XVIII—XIX ст. (Русское вольтерьянство).—«Голос Минувшего» 1914, № I, стр. 105—131.

[27] Сиповский, Карамзин, стр. 552; ср. ниже статью С. Рейсера.

[28] E. Zabel, Goethe und Russland «Jahrb. der Goethe-Gesellschaft», B. VIII, 1921, S. 27—48.

[29] В. И. Семевский, Вступительная статья к книге А. Г. Брикнера: «Смерть Павла I». СПБ., 1907, стр. XXXIII.

[30] В 1800 г. лифляндский пастор Зейдлер был приговорен к двадцати ударам кнута и отсылке в Нерчинские рудники по подозрению, что он из своей библиотеки дает для чтения книги «сумнительные и уже запрещенные».

[31] Д. Д. Языков, Вольтер в русской литературе, стр. 711.

[32] С Чарторижскими Гете был связан давним знакомством. Уже в 1785 г. на водах в Карлсбаде Гете познакомился с кругом польской аристократии: в их числе был кн. Адам-Казимир Чарторижский, отец будущего министра Александра I, кн. Изабелла Любомирская, гр. Станислав-Костка Потоцкий, переводчик столь любимого Гете Винкельмана, и мн. др. Кн. Адам-Казимир Чарторижский, в следующем же году, посылая своих сыновей в образовательное путешествие за границу, включил в их маршрут и Веймар. «Снабженные письмом от министра соседней Готы,—рассказывает Адам Чарторижский-сын, которому было тогда всего 16 лет,—мы отправились в Веймар, на который тогда уже указывали, как на Афины Германии. Министр Франк помог нашему знакомству со знаменитым Гете. Мы с Цесельским (воспитатель молодых Чарторижских) были даже приглашены на собрание, в котором Гете в кругу нескольких друзей читал только что оконченную им и не появившуюся еще в печати «Ифигению в Тавриде». Я с большим восторгом слушал его чтение. Гете был тогда в полном расцвете молодости; он был высокого роста, с лицом столь же прекрасным, как и величественным, с пронизывающим взглядом, иногда немного презрительным, смотревшим на мир с высоты своего величия, что вызывало улыбку

на его красивых губах. Восторг такого молодого человека, каким был я, был им едва замечен; это была дань, к которой он привык. Позже Гете сделался министром великого герцогства Веймарского и не выказывал такого же презрения к разным официальным милостям и получению орденов, но он всегда сохранил в выражении своего лица и всей своей фигуры некоторое величие, что заставляло сравнивать его с Фидиевой статуей Юпитера Олимпийского» («Мемуары кн. Адама Чарторижского и его переписка с Александром I». Перев. А. Дмитриевой под ред. А. А. Кизеветтера, т. I. М., 1912, стр. 28. См. также G. Karpeles, S. 11; H. Zathey, S. 12).

[33] «Мемуары кн. А. Чарторижского», т. I, стр. 220.

[34] «Краткий очерк истории Харьковского у-та за первые сто лет его существования» (1805—1905). Составлен Д. И. Багалеем, Н. Ф. Сумцовым и В. П. Бузескулом. Харьков, 1906, стр. 32.

[35] «Р. С.» 1875, № 10, стр. 271, 272.

[36] Печатается по фотографии с подлинника (на франц. яз.) из Веймарского архива.

[37] Гете везде именует университет академией—«Akademie Charkof». Приведенное письмо Гете к Потоцкому и самые «Promemoria» напечатаны по собственноручному черновику в «W. A.», IV Abt., B. XVI, S. 357—363.

[38] Гете—Потоцкому, 27/II 1804; там же, B. XVII, S. 78—79; там же, стр. 76.

[39] «Краткий очерк истории Харьковского у-та», стр. 33.

[40] «W. A.», IV Abt., B. XVII, S. 159—161.

[41] Там же, стр. 195—196 и 321.

[42] Там же, III Abt., B. III, S. 136.

[43] «Gemeinfassliche Darstellung des Fichtischen Systems und der daraus hervorgehenden Religionstheorie». Erfurt, B. I—II, 1800; B. III, 1802.

[44] Письмо от 16/VIII 1804 г. Печатается по фотографии с подлинника (на нем. яз.) из Веймарского архива.

[45] Густав Шпет, Очерк развития русской философии, ч. I. П. 1922, стр. 110—117.

[46] М. И. Сухомлинов, Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. I. СПБ., 1889, стр. 102—104. Удаление Шада из Харьковского у-та имеет немалую литературу. Полнее всего история Шада рассказана в исследовании проф. Д. И. Багалея, Удаление проф. Шада из Харьковского университета («Записки Харьк. у-та» 1899, кн. I, стр. 45—60, кн. II, стр. 1—135), перепечатанном в его же «Очерках из русской истории», т. I. Статьи по истории просвещения, Харьков, 1911. Там же статья «Роль Карамзина, Потоцкого и Тимковского в первоначальном устроении Харьк. у-та».

[47] М. М. Плохинский, Почетные члены и члены-корреспонденты Харьковского университета.—«Записки Харьк. у-та» 1895, кн. I, ч. неоф., стр. 45—60.

[48] Д. И. Багалей, Опыт истории Харьковского у-та, т. II (1815—1835). Харьков, 1904, стр. 363.

[49] «W. A.», III Abt., B. IV, S. 164. «Канон», упоминаемый Гете, был произведение его друга, композитора Цельтера.

[50] «Путешествие в Италию». Гете-Вейнберг, т. VI, стр. 96.

[51] «W. A.», III Abt., B. III, S. 123; IV Abt., B. XX, S. 48, № 5524.

[52] Там же, III Abt., B. IV, S. 116, 139. См. также «F. L. Celakovsky's Übersetzungen für Goethe». Mitgeteilt v. O. Fischer. «Germanoslavica», 3 Heft, S. 408—431.

[53] Там же, B. III, S. 346; B. IV, S. 198, 212, 250, 353; B. V, S. 100.

[54] См. ниже статью А. Габричевского «Автографы Гете в СССР».

[55] «W. A.», I Abt., B. XLa, S. 238—239. Отрывок приводится по переводу Георга Бахмана в его заметке «Гете о русских иконах».—«Р. А.» 1901, № 10, стр. 251—252, с примечанием П. Б[артенева].

[56] Мария Павловна поддерживала в Гете интерес к русским древностям. Очень характерна в этом отношении отметка в дневнике Гете 1823 г. (24/XI): «Корсунские врата в Новгороде, присланные на просмотр наследной великой герцогиней». (Это известная работа акад. Аделунга о знаменитых Корсунских вратах новгородского Софийского собора.) «W. A.», III Abt., B. IX, S. 148.

[57] Д. Ф. Кобеко, О суздальском иконописании.—«Известия Отделения русского языка и словесности Академии Наук» 1896, № I, стр. 2—4. Работа эта осталась неизвестной Г. Бахману и П. И. Бартеневу.

[58] Там же, стр. 5.

[59] Там же, стр. 1—2, 6.

Глава вторая

ГЕТЕ В ПОЛИТИКЕ АЛЕКСАНДРА I И НИКОЛАЯ I

I. ПОСОЛ РУССКОГО ЦАРЯ ПРИ ДВОРЕ ГЕТЕ

ИНТЕРЕС ГЕТЕ К РОССИИ.—ГЕТЕ И РУССКАЯ ИСТОРИЯ—ГЕТЕ И ПЕТР ВЕЛИКИЙ; ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИНТЕРЕСА ГЕТЕ К ПЕТРУ.—ГЕТЕ И УБИЙСТВО ПАВЛА I.—РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ВЕЙМАРСКОГО ДВОРА С ПЕТЕРБУРГСКИМ.—МАРИЯ ПАВЛОВНА И ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВЕЙМАРА.—НАПОЛЕОН I И МАРИЯ ПАВЛОВНА.—ВЕЙМАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО ДВОРА.—РУССКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ВЕЙМАРСКОГО КУЛЬТУРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ.—КУЛЬТУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГЕТЕ И ФИНАНСЫ МАРИИ ПАВЛОВНЫ.—ГЕТЕ КАК СЕКРЕТАРЬ МАРИИ ПАВЛОВНЫ.—„НИМФА ЭГЕРИЯ“ ИЛИ ПОСОЛ РУССКОГО ИМПЕРАТОРА.—МАРИЯ ПАВЛОВНА И ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛИТИКА РУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.—ЛЕГАЛИЗАЦИЯ РУССКИХ ПАЛОМНИЧЕСТВ И ВИЗИТОВ К ГЕТЕ.

Интерес Гете к России в XIX столетии несомненен, непрерывен и многообразен. Об его интересе к древнерусскому искусству речь уже была; об его внимании к русской поэзии и поэтам речь будет впереди. Наука в России также привлекала внимание Гете: он был в переписке с учеными немцами, работавшими в России, следил за их научными трудами, был членом петербургского минералогического и одного из харьковских научных обществ, был почетным членом Харьковского университета и Академии Наук, пытался принять участие в ее трудах, а несколько ранее—горячо принял к сердцу проект об учреждении в Петербурге Азиатской академии. В настоящей работе нельзя было обойтись без целых страниц, посвященных отношениям Гете к русским художникам: О. Кипренский, А. Орловский, Ф. Толстой, Г. Рейтерн были ценимы Гете. У него также был большой интерес к русской природе, быту, к географии России. Он дорожил каждой книгой, каждой беседой, расширяющей его познания в этой области. Познанию России—в самых разнообразных отношениях—Гете учился непрерывно. То он читает «Второе путешествие Палласа через Россию» (1803); то с любопытством слушает «юмористический рассказ» какого-то Шевалье о том, как «русский монах водил его по киевским пещерам и принял за магометанина, потому что он крестился перед святыми гробницами справа налево, а не слева направо» (1810); то отмечает «катанье на русских санях», интересующее его как подробность русского быта (1812); то вместе с гр. Головкиным, начальником русской большой экспедиции-посольства в Китай, рассматривает карту России и обсуждает маршрут бесконечного их пути (1812). От «Путешествия на Кавказ и в Грузию в 1807 г., 1808 г. и 1813 г.» И. Г. Клапрота он переходит к путешествию Дж. Д. Кохрана «Пешком через Россию и сибирскую Татарию» (1825), а в 1831 г. и сам путешествует вместе с Оттоном Коцебу: «по просьбе Вольфа—любимого внука—принесен был глобус, и с помощью его наглядно представили себе последнее кругосветное путешествие русских». Когда ему удается прочесть новую книгу, открывающую что-нибудь новое в той малоизвестной шестой части света, которая называется Россией, Гете счастлив: «Ледебур, русская флора, украсившая мою библиотеку благодаря великой герцогине,—записывает он 1 мая 1830 г.,—замечательное сочинение, вводящее много новых видов». Но кажется еще больше ценил Гете живые беседы о России с теми учеными путешественниками, знаниям и добросовестности которых он доверял. В 1817 г. он, обычно столь скупой на записи, заносит свой разговор с проф. Реннером «о России, в особенности о русских лошадях, рогатом скоте» и о болезнях скота. В 1823 г. Соре привел к нему какого-то «путешественника из Петербурга», и Гете рассматривал с ними «виды Петербурга в русских лито-

графиях и костюмы разных народностей». В том же году Гете посетил один прусский генерал, и Гете с ним беседовал о «канале, который делает возможным сообщение юга и севера русского государства»: это был разговор о Мариинской системе, которая как раз в это время подвергалась капитальному переустройству. В 1830 г. Гете отметил разговор с ученым юристом Cailloué, французом, «изъездившим Пруссию и Россию, изучая их правовой и юридический строй». Когда старый друг Гете Александр Гумбольдт возвратился из своего знаменитого путешествия по России, Гете, не без некоторого упрека за неполноту его рассказов, отметил в дневнике: «В 11 ч. г. ф.-Гумбольдт кратко рассказал, имея под рукой карту, о своем путешествии через русское государство» и утешился несколько на дальнейшем: «он обещал некоторые замечательные, там найденные, минералы» [1].

Все эти чтения и беседы—а число их можно было бы умножить—свидетельствуют о неослабном, даже растущем интересе старика Гете к далекой и чужой стране с ее неисследованными просторами и непонятными укладами жизни и быта [2].

Но как ни глубок и постоянен у Гете этот интерес к русскому искусству, литературе, науке, природе, быту,—он сильно уступает его же интересу к русской истории. Характер этого интереса ни в какой мере не академический. Хотя Гете не чужд интереса и к древней русской истории—в 1802 г. он читал русские летописи [3],—но внимание его по-настоящему направлено только на новейшую русскую историю с Петра, и все его чтения имеют явный характер комментария к той истории, которая творилась в эпоху наполеоновских войн на его глазах, в которой сам он был участником и в которой—иногда не без явного неудовольствия—замечал все большее и большее участие России. В своем историческом чтении Гете запасался материалом для изучения этого русского вмешательства в историю Европы, и часто историческое чтение или разговор, вызванный этим чтением, дают Гете случай высказать суждение, прямо напоенное злобой дня. Вот прекрасный пример: в августе—октябре 1809 г. Гете погружен был в чтение «Жизни Петра Великого» (Leben Petrus des Grossen) Герхардта-Антона Галема (1752—1819), четырежды отметил в дневнике этапы этого чтения [4] и в тот же день, когда сделал первую из отмет, высказал Римеру: «Что собственно получили немцы в их прелестной свободе печати, как не то, что всякий может наговорить про другого дурных и позорных вещей, сколько ему захочется?» [5] Это политическое высказывание Гете летит рикошетом от изучения жизни Петра I, который, в глазах Гете, делал крупные исторические дела и без «свободы печати». И самый интерес Гете к личности Петра был интересом политическим: враг революции, недруг республиканства и конституционализма, Гете в эпоху реставрации не хотел однако быть и со слепыми реставраторами старого режима, с католической и священно-союзной реакцией Людовика XVIII и Александра I, и оттого тянулся к Петру I, где не было революции, но была реформа,—была реформа, но не было реформаторов, заседающих в парламентах и причиняющих неприятности королям и герцогам. «Реформатор», но на троне, с министрами-помощниками вокруг трона—это было самое большее, на что шел Гете в своих политических чаяниях, более чем умеренных и менее всего соответствовавших гениальной остроте его поэтической и научной зоркости. Петр I и его деспотическое реформаторство сверху больше, чем кто-либо в истории, отвечал этим чаяниям, и Гете чувствовал особый интерес к нему.

В этом интересе было много общего с тем интересом, который Гете всегда питал к личности и делу Наполеона. «В войне и управлении государством» Гете считал их одинаково «гениальными», и Петру приписывал то же наитие «демонического», что и Наполеону. Оба они казались Гете столь мощными двигателями, при которых движение в истории обеспечивается и без поддержки народных масс. Тем пристальнее Гете желал судить их деятельность. В 1829 г. он очень внимательно читал книгу Сегюра «Histoire de Russie et de Pierre le Grand» (Paris, 1829). «Положение Петербурга,— говорил Гете Эккерману,—непростительно, особенно если вспомнить, что почва возвышается поблизости от него и что император мог охранить город от наводнений, поставив его несколько выше и оставив в низовьях только гавань... В таком поступке столь великого человека есть нечто загадочное. Знаете ли, чем я его объясняю? Человеку невозможно освободиться от впечатлений своей юности, и это доходит до того, что даже вещи, страдающие недостатками, но к которым он привык в юности и среди которых жил в эти счастливые годы, остаются для него и впоследствии дорогими и кажутся хорошими; он точно ослеплен ими и не видит в них никаких недостатков. Так и Петру Великому хотелось построить в устьях Невы любезный ему в юности Амстердам» [6]. У Гете не ослабевал интерес к истории новой России: проблема бытия России и исторического смысла этого бытия с особой яркостью встала перед Гете тогда, когда Александр I неожиданно для себя оказался вершителем судеб Европы и в особенности Германии. Даже тогда, когда Гете читает сочинения по общей истории Европы, он выделяет все, что относится к России. Так в 1808 г., читая чью-то «Staatengeschichte», он сделал две отметки о чтении части этого сочинения, посвященной России, и так же поступил в 1823 г.: читая сочинение Л. Т. Шпиттлера (1752—1810) «Очерк истории европейских государств», он выделил из него Россию, специально отметив чтение соответствующей главы [7]. На примере русских исторических чтений Гете наглядно доказывается истина, что историческое чтение есть всегда политическое чтение.

Но Гете мог читать русскую историю первой четверти XIX столетия не только из книг, а из самых событий, узнавать ее от людей, бывших участниками или свидетелями этих событий.

7 апреля 1801 г. Гете сделал такую отметку в дневнике: «Фауст. Смерть императора Павла» [8]. Связи между двумя отметками нет никакой, но соседство их примечательно: работу или думу над важнейшим созданием своего гения Гете поставил рядом с политическим событием, совершившимся в далекой России: так показалось оно ему важно и значительно.

В маленьком Веймаре мог быть особый интерес к этому событию: супруга герцога Карла-Августа, столь связанного с Гете, герцогиня Луиза была родной сестрой первой жены Павла I, вел. княгини Наталии Алексеевны (Вильгельмина, принцесса Гессен-Дармштадтская, 1755—1776). Когда Гете жил в Неаполе, он подружился с художником Ф. Гаккертом, который пользовался благосклонностью кн. Андрея Кирилловича Разумовского, бывшего в 1779—1784 гг. русским послом в Неаполе. Пометками о Разумовском и его привязанности к талантливому художнику пестрят страницы Гете, посвященные Ф. Гаккерту [9]. Гаккерт знавал Павла I и Марию Федоровну, когда они, под никого не обманувшим incognito «графа и графини Северных», путешествовали по Италии, и даже писал портрет Марии Федоровны. А о Разумовском, посланнике и Дон-Жуане, остроумном и тонком музыканте [10] ходила европейская молва как о счастливом

сопернике Павла у его жены, Наталии Алексеевны. На эту удачу Разумовского Екатерина сама раскрыла глаза Павлу: чтобы «утешить его в смерти жены», она представила ему пачку писем Разумовского к Наталии Алексеевне [11]. В утешение же Павлу Разумовский был выслан сперва в Ревель, потом в Батурин, потом... в Неаполь, где он имел вторую удачу у королевы Каролины. В Италии Павел и Разумовский имели удовольствие встретиться. Вот какой примерно круг рассказов о Разумовском и русском дворе с Павлом во главе мог слышать Гете от Гаккерта, писавшего для Екатерины II батально-морские картины, окутанные не только дымом пороха, но и дымом фимиама в честь «побед русского флота». Эти рассказы для Гете могли иметь специфический «придворный интерес», так как они касались сестры Луизы Веймарской.

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство Павла I были предметом длительного интереса, даже изучения со стороны Гете. Он с большой настойчивостью собирал все, что мог разузнать об убийстве Павла от лиц, бывших в это время в Петербурге, а с 1804 г. и от приближенных Марии Павловны и ее русских посетителей. Чрезвычайно любопытна в этом отношении отметка в его дневнике 14 марта 1814 г.: «У их высочеств. У miss Диллон. История смерти Павла I» [12]. Их высочества—это великие князья Николай и Михаил Павловичи, приехавшие в Веймар со своим воспитателем графом Ламсдорфом. Гете представлялся им и был вероятно весьма почтителен к сыновьям Павла I, а прямо от них проследовал к англичанке miss Диллон, служившей камер-фрау у Марии Павловны, и от этого интимно близкого к дочери Павла I лица вызнавал—в который—раз историю его убийства. Гете очень хорошо знал показную историю русского двора, но не менее знакома ему была его изнанка. Об этом свидетельствует результат его выспрашиваний о смерти Павла I—большая, тщательно составленная запись под заглавием «Die Palasterrevolution gegen Kaiser Paul I». В виду того, что она никогда не появлялась на русском языке и даже не упоминалась русскими историками, приводим ее целиком:

«Суббота. Отправляется курьер к Бонапарту. Раздел значительной части Германии. Баден не получает ничего. Виртемберг получает Мюнстер, Падерборн, Гильдесгейм, Вюрцбург, Бамберг, Пруссия—Ганновер, Баварский Зальцбург, Пассау, Бехтольсгаден.

Воскресенье. Измайловский гвардейский полк оскорблен на параде тем, что четыре офицера, среди них генерал Милютин и кн. Вяземский, отправлены в крепость. Происходит дуэль между кн. Четвертинским и камергером Рибопьером, последний ранен.

Понедельник. Под уговором великого князя гр. Пален должен замять дело. Князь (!—*С. Д.*) Нарышкин пробалтывается. Рибопьера сначала отправляют в крепость, потом высылают с семьей из города.

Вторник.

Среда.

Четверг.

Пятница 1 марта ст. ст. Великий князь Константин ругает своего отца, генерал-прокурор выдает. Император сам хочет привлечь его к ответу. Странным образом, это отвращено. Константин должен принести присягу.

Суббота 2.

Воскресенье 3.

Понедельник 4. Графу Кутайсову донесено о плане генерал-прокурора Обольянинова объявить себя опекуном несуществующего побочного ребенка императора.

Вторник 5. Граф Пален отстранен от двора, жена его также отослана со своим экипажем обратно.

Среда. Графу Палену внушают, что император вернет ему милость, если он прямо или косвенно через гр. Кутайсова попросит прощенья. Граф отвергает это.

Четверг. Палена снова призвали ко двору.

Пятница.

Суббота 9. Император впервые после долгого времени снова появляется в городе, но, найдя около строящегося Казанского собора кучу неизбежного мусора, приходит в ярость и шлет с фельдъегерем устный выговор графу (Палену; далее он везде называется просто: «Граф».—*С. Д.*)

Воскресенье 10. Свадьба Жерве, на которую граф обещает притти, но не приходит.

Понедельник 11. К графу приходит граф Кутайсов и в шутку высказывает некоторые подозрения. Бурная ночь. Обер-шенк Загряжский, на вечере у кн. Белосельского, в самую полночь, напоминает о предстоящем большом деле. Талызин дает ужин, на который отправляется граф. Все, кто там собрались, или посвящены в дело, или их тут же посвящают.

Вторник 12. Прекрасная погода. Всеобщая радость.

Среда 13. Князь Платон Александрович и граф Валерьян Зубов обедают у графа.

Участники числом 42

Зубов с 26	Пален с 13
1. Князь Платон Александрович 2. Граф Валерьян } Зубовы	1. Полиц. адъютант Тиран, бывш. адъютант Виомениля. 2. Майор Морелли из полиции в районе графа.
3. Гусарский генерал Николай Зубов.	3. Надв. сов. Карповский, обер-лейтенант и пристав одной из частей города, в настоящее время полицмейстер в Петербурге.
4. Дядя Зубовых Козицкий (теперь гофмаршал).	4. Ленев кавалергард.

5. Беннигсен (длинный Cassius) вышел в отставку генерал-лейтенантом, пытается опять поступить на службу, получает отказ, собирается в понедельник 11-го уехать, граф удерживает его и направляет его к Зубовым.

6. Генерал Чичерин.

7. Артиллерийский полковник Татаринов
8. Артиллерист князь Яшвиль, грузин } шарф.

9. Ротмистр Ушаков, единственный из конной гвардии. Брат генерала У[шакова], который был начальником бывшего так назыв. Сенатского полка и должен был выстроить его перед замком.

10. Генерал Уваров, начальник кавалергардов. Депрерадович, командир батальона великого князя Александра. В распоряжении графа. Запоздал больше, чем на 20 минут.

Талызин, генерал-лейтенант, командир императорского лейб-гвардии полка. Начальник того батальона этого полка, который выступил перед замком.

Вяземский, офицер Измайловского полка, потом он первый приветствовал нового императора.

Комендант Епифаров.

Горголи, обер-лейтенант и платц-майор (теперь полковник в полку императора Александра).

Граф Кутайсов, родом турок. Заведывающий гардеробом и прислугой.

Тайный секр. Мих. Дольской.

Гардероб. секретарь Трошин, слуга последней возлюбленной.

Его брат, офицер второго корпуса, осведомлявший о своем начальнике, Валерьяне Зубове.

Он был обманут последним, в ночь 11-го, с помощью концерта»[13].

Запись Гете очень ценна: это—одна из самых первых, по времени, и самых полных, по материалу, попыток создать твердую схему всего хода «дворцовой революции» 11 марта 1801 г. и дать список действующих лиц. Гете знает мельчайшие подробности дела. В этом отношении показательна отметка «шарф» при фамилиях Татаринова и Яшвиля в списке заговорщиков: с особой сдержанностью, какою отмечено в его записи все, относящееся к царской фамилии, Гете этим одним словом обрисовывает для себя всю сцену убийства Павла I: он был задушен шарфом, и ближайшими участниками этого дела во всех современных записках указываются именно Яшвиль и Татаринов. Другая «мелочь» в записи Гете была уже отмечена известным немецким историком Т. Шиманом: «Прозвище Беннигсена «длинный Cassius» поразительно и указывает на устную передачу»[14]. Для Гете это конечно не только «прозвище», но и целая характеристика Беннигсена как участника убийства. Многие другие кусочки гетевой записи показывают с несомненностью, что он собрал материал для нее от людей, чрезвычайно осведомленных, от близких свидетелей павловских «браней» и «яростей» и столь же близких участников прекращения этих «яростей» навсегда. С одним из прямых участников заговора, с Ф. П. Уваровым, Гете был лично знаком, как увидим далее.

Для чего сделал Гете свою запись о «дворцовой революции» 1801 г.? В ней нет никакого намека на то, что это—план или материал для какого-нибудь произведения—например драматического—из жизни Павла I; несомненно, это и не план исторического сочинения. Это—«труды и дни» небольшой придворной революции, чем-то особенно поразившей Гете. Можно догадываться о причине этого интереса: общей и частной. Частная—ясна. Веймарский дворик, как увидим далее и как отчетливо понимал Гете, был отделением петербургского двора: действующие лица петербургской трагедии постоянно появлялись и на тесной веймарской сценке; как же было не интересоваться и исполнителями, и самой трагедией, которую они сыграли 11 марта? Гете и сделал весьма точный набросок ее сценария. Но в происшествии 11 марта для Гете заключался и более крупный интерес. Россия Екатерины II и Павла I была оплотом против западной революции,—и вдруг в ней самой происходит дворцовая революция и притом успешная. Этот успех Гете и не пытается скрыть от себя в своей очень осторожной записи: «Прекрасная погода. Всеобщая радость». Гете отмечал, сколько мог тщательно, ярости и выходки «непросвещенного абсолютиста» Павла. В глазах Гете это—урок и предупреждение всем веймарским

и не веймарским абсолютистам. Гете хочет—как министр и политик—заучить весь завод механизма, каким приводятся в действие «дворцовые революции», чтобы знать, как не допускать до завода этого механизма. Эта запись—memento mori—верного слуги веймарского феодально-дворцового благополучия. Отметка о воцарении Александра I—как о «всеобщей радости» всего Петербурга—важна для понимания отношения Гете к первым годам царствования Александра I. В дневнике Гете отсутствуют записи об Александре I до его появления в Германии в 1805 г. У нас есть зато косвенные указания на интерес Гете к первым годам его царствования, возбудившим в либерально-дворянских кругах столь яркие и столь неосновательные надежды на политическое обновление государства, что вице-президент Академии Наук в Петербурге Андрей Кириллович Шторх предпринял даже специальное издание «Russland unter Alexander dem Ersten», посвященное сочувственному обзору всех мероприятий и проектов начальной эпохи царствования Александра I. Издание пришлось Шторху прекратить, когда этих «великих чрезвычайных дел и предприятий» вскоре же оказалось так мало, что нечем было заполнять страницы. Очень вероятно, что Гете читал Шторха, во всяком случае он хотел поехать посмотреть, как благоденствует Russland unter Alexander dem Ersten. Смысл такой поездки именно для Гете очевиден: как было указано, его политической программой был монархический реформизм сверху. Сам Гете пытался как министр быть проводником и вдохновителем такого реформизма в пределах игрушечного веймарского государства. Даже немецкие апологеты всяческой деятельности Гете признают, что он потерпел здесь полную неудачу: по словам Бельшовского, «он мечтал о грандиозных (!—*С. Д.*) реформах социально-политических»: «освобождение крестьян от барщины и десятины, преобразование крестьянского и помещичьего землевладения в свободную, делимую собственность, обложение имений податями сообразно с их доходностью», а «должен был удовлетвориться» вместо этих реформ вот чем: «в государственном управлении водворились экономия (дошедшая до того, что по уговору Гете «герцог отстранил своих придворных чинов от ежедневных обедов за придворным столом».—*С. Д.*), рачительность и гуманность, бремя воинской повинности было сокращено (веймарская «армия» уменьшена с 600 чел. до 310.—*С. Д.*), пути сообщения улучшены (все пространство Веймара равнялось 1900 кв. км.—*С. Д.*), принята широкая система орошения и осушения полей, приняты меры против порчи полей разными животными...» (т. е. поставлены загородки!—*С. Д.*) [15]. В России Гете мог надеяться увидеть более широкие опыты реформизма сверху и тем подтвердить свою политическую теорию, трещавшую по швам: вот почему он собирался поехать в Россию. Однажды—между октябрем 1806 г. и мартом 1807 г.—в Веймаре, в доме «надворной советницы» и писательницы Шопенгауэр, Гете встретился с писателем и педагогом Георгом Рейнбеком (Reinbeck, 1766—1849), который незадолго перед тем—в 1805 г.—издал книгу «Flüchtige Bemerkungen auf einer Reise von St.-Petersburg... nach Deutschland im Jahre 1805» («Беглые заметки по поводу путешествия из Петербурга... в Германию»). «Когда собралось много гостей, в их числе жена Гете,—вспоминал Рейнбек,—пришел тайный советник. Он вошел с приветливо-протяжным: хм! хм! раскланиваясь во все стороны, и искал себе стула. Потом он оглядел весь круг собравшихся, и, когда его взор упал на меня, он встал и пошел ко мне. Понятно, я тотчас же поднялся. Он торжественно поклонился и сказал: «Я должен

МАРИЯ ПАВЛОВНА, ГЕРЦОГИНЯ ВЕЙМАРСКАЯ
Раскрашенная гравюра с портрета Ф. Ягемана
Государственный Эрмитаж, Ленинград

вам принести благодарность». Я спросил, чем я так осчастливлен, что заслужил его благодарность?—«Я всегда имел намерение когда-нибудь посетить Россию,—ответил он,—но вы меня совершенно от этого излечили».—«Я бы очень об этом сожалел,—ответил я,—прежде всего из-за России, но также,—разрешите, ваше превосходительство, мне сказать это,—также и из-за вас». С его стороны это было шутливым оборотом дать мне понять, что он читал появившиеся тогда мои «Беглые заметки» о поездке через Москву и т. д., которые обратили на себя некоторое внимание тем, что тут и там в описаниях и суждениях отклонялись от обычных восхвалений Шторха: я прожил 14 лет в Петербурге... Гете много говорил со мной о России и спрашивал о многих тамошних знакомых» [16].

С восшествием на престол Александра I связь Веймара с русским двором усилилась: его жена Елизавета Алексеевна по своей матери, баденской маркграфине Амалии, приходилась родной племянницей той же герцогине Луизе.

Маленький двор получил большую родственницу. До сих пор Германия посылала своих принцесс в Петербург; в 1804 г. Петербург послал принцессу в Веймар: наследный веймарский герцог Карл-Фридрих (1783—1853) женился на третьей дочери Павла I Марии Павловне (1786—1859). Это была большая придворная и дипломатическая удача для крошечного Веймара.

В Петербурге долго не соглашались на брак великой княжны с захудалым веймарским принцем, и нужны были немалые дипломатические ухищрения, чтобы брак состоялся.

Сестра русского императора везла с собой на 80 русских подводах приданое, далеко превышавшее не один годовой бюджет всего веймарского герцогства. Богатства, привезенные Марией Павловной, были так невиданны в феодально-обнищалой Германии, что когда Гете случилось увидать в 1829 г. «все сокровища приданого» (Sämmtlichen Schätze des Trous-

seaux») Марии Павловны, он воскликнул: «Зрелище из «Тысяча и одной ночи!»[17] Но Мария Павловна вместе с тем привезла с собою династическое приданое—связи, которые были крупнейшею политическою поддержкой для Веймара в те времена, когда по мановению Наполеона десятки и сотни германских княжеств, герцогств и маркграфств исчезали с лица земли, как пушинки.

Даже готовясь к войне с Россией, Наполеон считался с тем, что наследная веймарская герцогиня происходит не из какого-нибудь Касселя или даже Берлина. Любопытную историю рассказывает Греч: «Дерзкий выскочка вздумал назначить в придворные дамы к императрице Марии-Луизе несколько природных принцесс Германии и в том числе наследную принцессу Веймарскую, великую княгиню Марию Павловну... Не знаю через кого, вероятно через Талейрана», дошло до Наполеона, «что немедленным следствием этой дерзости будет разрыв России с Францией и заключение союза с Англией. Приготовления к истребительной войне с Россией еще не были кончены, и декрет не состоялся»[18]. Немецкие принцессы избавились от удовольствия быть придворными дамами у Марии-Луизы только оттого, что у одной из них оказались сильные всероссийские родственники. Так ли было в случае Греча, или не совсем так, но значение новоприобретенных родственников очень серьезно и веско учитывалось и взвешивалось и в самом Веймаре, и в его европейском окружении—дружественном и враждебном.

Гете понимал лучше других, что династические связи—самый сильный козырь в копеечной веймарской политической игре. Это должно учитывать всегда при всех высказываниях Гете о Марии Павловне и ее родственниках. Учета этого обычно не делается, и в огромном большинстве писаний о Гете Мария Павловна выставляется чуть ли не его «нимфой Эгерией». Дело обстоит гораздо проще. Когда Гете говорит о ней, в его словах очень большая доля суждения всегда выходит из уст министра, дипломата, царедворца—и даже доброго веймарского бюргера: всем им было легче, безопасней, благополучнее жить в их веймарском отечестве, городе, поместье, доме с тех пор, как во дворце водворилась сестра Александра I. В эпоху, когда Наполеона боялись все большие и маленькие властители кусков и кусочков Европы, наследная веймарская принцесса, молоденькая Мария Павловна, боялась его меньше всех. Вот характернейший эпизод, рассказанный А. И. Тургеневым в его неизданном дневнике (запись от 5 мая 1829 г.). Дело происходит во время войны 1807 г.: Карл-Август выступал против Наполеона в качестве прусского генерала и союзника Александра. Под боком у Веймара Наполеон отторжествовал Иену; в Веймаре были французы; канцлеру Мюллеру пришлось вымаливать у Наполеона пощаду для Веймара.

«Был у канцлера Мюллера,—записывает А. И. Тургенев,—читал отрывки из его записок о свидании с Наполеоном во время войны 1807 г., о главной квартире Наполеона, о Дарю, о Талейране, о путешествии Мюллера в Париж: «Avez-vous les quittances de Daru?» спросил Наполеон и до тех пор не принял его. Предложение паспортов великой княгине: растоптала их, когда получила. Подозрение Мюллера в измене»[19].

Растоптать паспорта Наполеона—такую политическую роскошь могла позволить себе во всей Германии только одна Мария Павловна: она одна была там сестрой русского императора. В сопоставлении с этим эпизодом рассказ Греча теряет привкус анекдотичности.

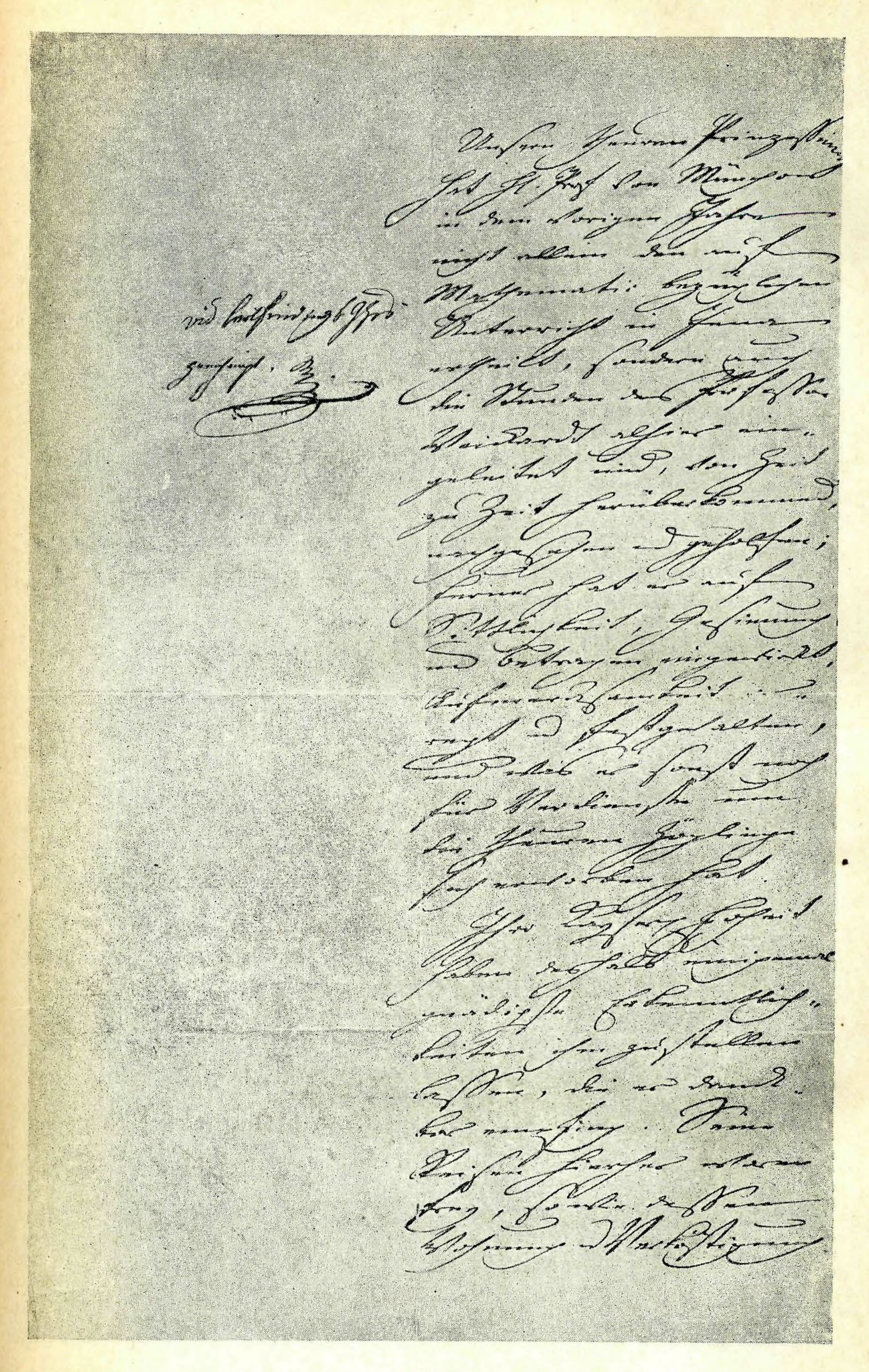
Можно поверить, что провинциальный Веймар достаточно искренне радовался в 1804 г., когда в него совершала въезд 18-летняя Мария Павловна: так в былое время бедная и малочиновная семья радовалась, когда ей удавалось породниться с семьей столичной, рангом, чином и карманом гораздо повыше и покрепче. Веймарскую радость должен был высказать Гете в специальном театральном приветствии, но он уклонился, будучи болен и не в духе; однако приветствовать Марию Павловну считалось столь серьезным делом, что «честь» перешла от первого веймарского поэта ко «второму»: потревожили больного Шиллера, и он написал «Приветствие искусств», разыгранное тогда же на театре. Мария Павловна не успела еще освоиться в Веймаре, как Гете уже воспел ей целый гимн (в письме к Марианне Эйбенберг от 26 апреля 1805 г.). «Она—чудо прелести и грации. Мне не приходилось еще видеть соединения такого совершенства с тем, что высшее общество ожидает и даже требует от высокопоставленной дамы» [20]. Гете несколько раз воспевал ее в стихах [21].

Когда Мария Павловна была уже «царствующей» герцогиней, Гете говорил о ней Эккерману: «Она с самого начала стала добрым ангелом для страны и, чем больше чувствовала себя связанной с новым отечеством, тем сильнее обнаруживала это свойство. Я знаю великую герцогиню с 1805 г., и у меня было много случаев удивляться ее уму и характеру. Она одна из лучших и замечательнейших женщин нашего времени, и была бы ею, не будь даже великой княгиней» [22]. Через полтора года Гете повторил этот отзыв: «Великая герцогиня и умна, и добра, и доброжелательна; она истинное благословение для страны. Люди всюду скоро чувствуют, откуда исходят на них благодеяния, и они почитают также солнце и другие благотворные стихии, а потому я и не удивляюсь, что все сердца обращаются к ней с любовью, и что за нею признают то, что она заслуживает» [23]. Оба эти отзыва Гете заменяют множество цитат из самого Гете,—хотя бы из его многочисленных писем к самой Марии Павловне,—из мемуаристов и из биографов, русских и немецких: Гете в этом двуедином отзыве выразил то, что и сам он, и все другие множество раз повторяли врозь. Если прибавить к отзыву Гете известное суждение Шиллера, находившего в Марии Павловне «большие способности к живописи и музыке и действительную любовь к чтению», то не будет нужды обращаться за другими отзывами: все будет повторением этих отзывов. Что же говорят здесь Гете и Шиллер о Марии Павловне? Гете дважды подчеркнул, что она «с самого начала стала добрым ангелом для страны». Феодально-дворянский бюргерский Веймар действительно мог быть доволен Марией Павловной: все те политические выгоды из ее брака с их принцем, о которых выше говорено, Веймар действительно получил. До самого конца октября 1813 г. в Веймаре были французы, и веймарцы сражались на стороне французов против Александра I и союзников. Положение было самое щекотливое и для герцога, и для его воинства. Мария Павловна и тут пришла на помощь. Вот что писала она «собственноручно» 11 сентября из Теплица самому графу Аракчееву: «Граф Алексей Андреевич. С особенным удовольствием получила я письмо ваше от 22 августа и благодарю вас усердно за старание ваше в рассуждении веймарских пленных офицеров, коим следует ожидать до будущего времени перемену их судьбы, где они находятся: а между тем, прошу вас меня уведомить вперед, ежели что воспоследует в пользу их; я, конечно, всегда сочту внимание ваше к их участи доказательством особой услуги, относящейся к моей особе» [24]. Сколько таких русских услуг

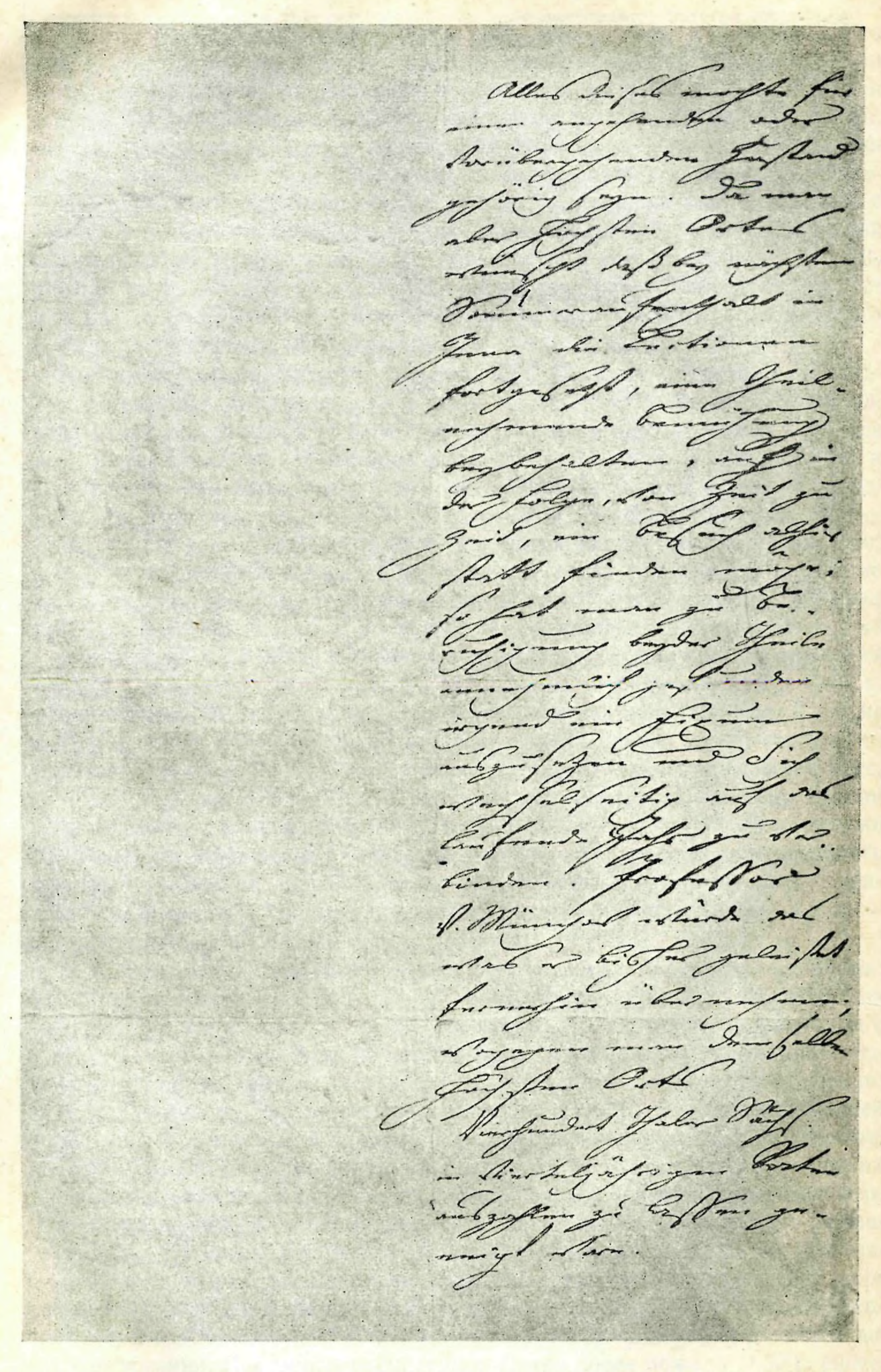
Веймару Мария Павловна вписала в свой личный счет, оплачиваемый ее братом и его приближенными! Веймар вышел из наполеоновских войн не только цел, но и с приращением территории, и с повышением владетеля в чине: из просто герцога он был сделан «великим». То обстоятельство, что Веймар уцелел и даже расширился в то время, как «многие сотни маленьких областей были поглощены более крупными» по приказам Наполеона и решению Венского конгресса 1815 г., Бельшовский приписывает Карлу-Августу: это все было сделано «в награду»-де «за патриотический образ действий герцога и за те тяжелые жертвы, которые выпали на долю страны во время войн» [25]. Это объяснение—простой обман: Карл-Август в эпоху наполеоновских войн проделал не мало опытов политического перебежничества между Наполеоном и Александром.

Когда-то, при тильзитском свидании 1807 г., германские провинциальные «отечества» получили уже пользу от петербургских родственников: «благодаря родственным связям с русским императорским домом остались неприкосновенны герцогства Ольденбургское, Мекленбург-Шверинское и Кобургское. Это была особенная любезность Наполеона к новому союзнику» [26]. Примеру Наполеона последовал и Венский конгресс 1814—1815 гг. На конгрессе помнили не о мнимых «заслугах» Карла-Августа, а о том, что жена его наследника—родная сестра Александра I: смешно было бы лишать наследственной вотчины сестру того человека, в руках которого были тогда острые ножницы для перекройки всей карты не только Германии, но и Европы. Маленького веймарского родственника простили и даже прибавили ему кой-что на бедность из-за большого,—а в 1815 г. даже и очень большого—петербургского родственника. Поэтому Гете не преувеличивал, а только снисходил до сентиментального языка какого-нибудь веймарского бюргера, когда называл Марию Павловну «добрым ангелом для страны». Бюджет императорско-российского содержания Марии Павловны как великой княгини позволял ей быть «доброй»: он настолько превышал все веймарские финансовые возможности, что позволял ей тратить крупные,—а исходя из веймарского масштаба даже исключительно крупные—средства на создание и поддержку разных просветительных и благотворительных учреждений.

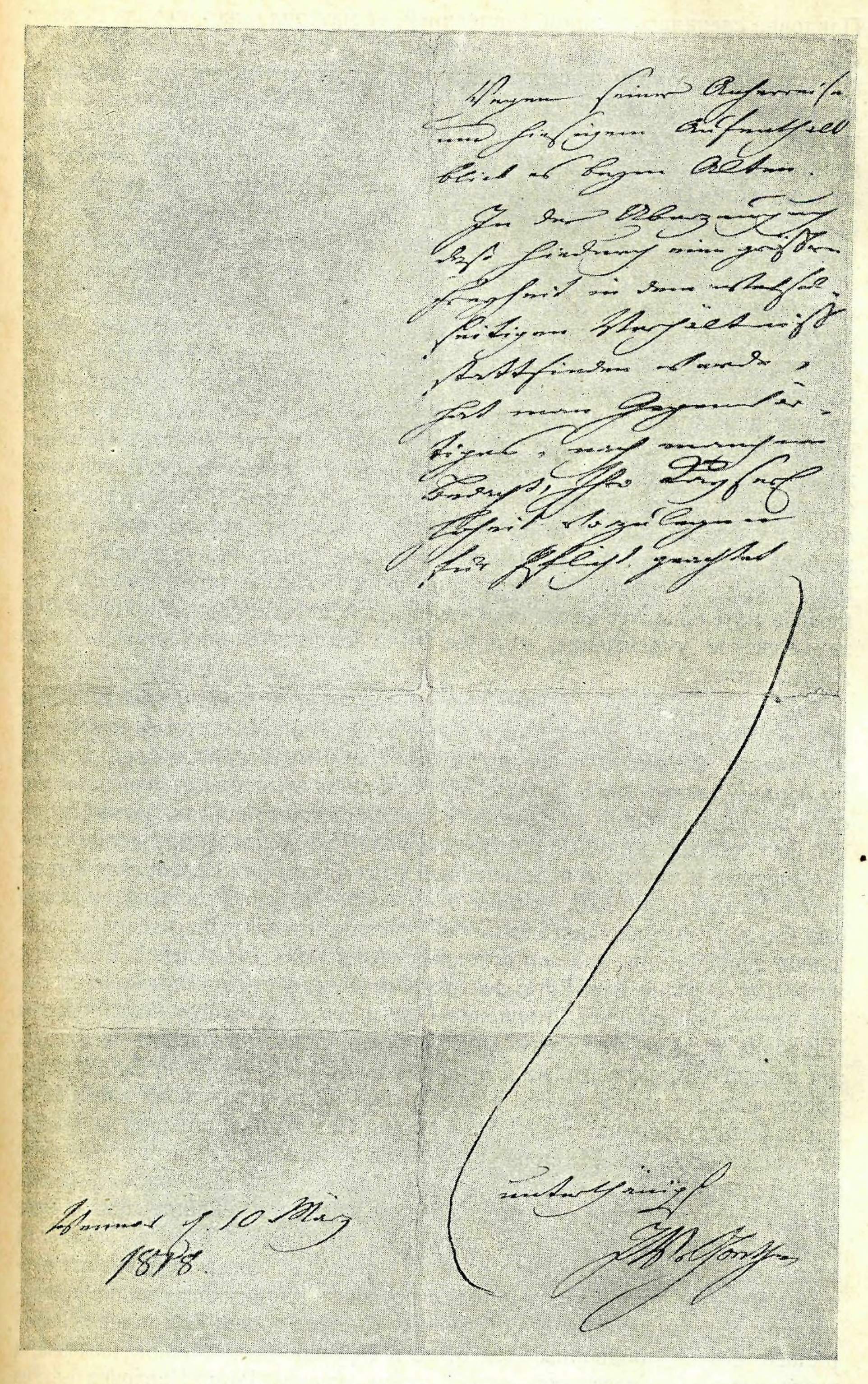
П. И. Бартенев вспоминал про веймарского русского протоиерея Сабинина: «Когда при нем осуждали супругу императора Николая Павловича за ее заграничные траты, замечал, что траты эти ничтожны в сравнении с тем, что истратила его мать на один Веймар, в котором лучшие здания воздвигались на высланные ею деньги» [27]. Это сообщение не преувеличенно. Вот что вынужден сказать о том же Rudolf Jagoditsch в своей новейшей (1932) работе: «Goethe und seine russischen Zeitgenossen»: «обильные средства, которые она [Мария Павловна] получала от императрицы-матери и от своих царственных братьев, переносили в Веймар нечто от блеска и роскоши петербургского двора... В особенности русское богатство пошло на пользу Веймару в художественных и научных планах Гете. Он получал от Марии Павловны постоянные средства для веймарской библиотеки и ее собраний, на содержание руководимой Мейером «Свободной школы рисования» («Freien Zeichenschule») и т. д. Библиотека Иенского университета также получала богатые пожертвования. Постройка веймарского театра после пожара 1825 г. своею быстротою также главным образом обязана ей. Даже устройство и украшение веймарского парка—излюбленная идея Гете—стало возможно только благодаря поддержке «императорского высочества». Когда Мария



Первая страница автографа письма Гете к герцогине Веймарской Марии Павловне от 10 марта 1818 г. Театральный Музей им. А. Бахрушина, Москва



Вторая страница автографа письма Гете к герцогине Веймарской Марии Павловне от 10 марта 1818 г.
Театральный Музей им. А. Бахрушина, Москва



Weimar d. 10 März 1818.

unterthänigst

J W v Goethe

Третья страница автографа письма Гете к герцогине Веймарской Марии Павловне от 10 марта 1818 г.
Театральный Музей им. А. Бахрушина, Москва

Павловна сделалась великой герцогиней, ее материальная помощь Веймару еще усилилась, и «ее практическому смыслу, постоянству и попечительности обязан Веймар рядом общеполезных и благотворительных учреждений» [28]. Воспитатель детей Марии Павловны Сорэ записал в своем дневнике 10 марта 1831 г.: «К часу ее высочество снова послала меня к Гете... Первое поручение касалось подарка в 1000 экю, которые великая княгиня хотела сделать дирекции [театра.—*С. Д.*], чтобы помочь образованию и развитию новых артистов» [29]. Через две недели сам Гете записал в дневнике: «В 12 час. была ее императорское высочество. Очень довольна счастливым преуспеянием различных учреждений, ею высочайше основанных, на которые, без сомнения, идут большие суммы». 5 октября 1831 г. Гете пометил в дневнике: «Г-ну ф. Отто, отчет частной кассы». Письмо это, в тот же день написанное, сохранилось: «Ваше высокоблагородие,—писал Гете этому секретарю Марии Павловны,—вдвойне меня обяжете, если будете так добры в подходящую минуту передать ее императорскому высочеству прилагаемый счет (Rechnung) вместе с покорнейшим докладом (unterthänigsten Vortrag). Подобным же образом и протекшая половина года занесена в счета и, смею надеяться, со временем также заслужит высочайшее одобрение» [30]. Гете представляет отчет и счета по какому-то из связанных с ним учреждений, содержимому всецело на средства Марии Павловны; нельзя понять иначе смысл печатаемого письма. К сожалению редакторы веймарского издания оказались так нелюбознательны, что не сделали и малейшей попытки уяснить, что это было за гетевское учреждение, которое жило исключительно даянием сестры Александра I.

Только специальная работа, построенная на архивном, веймарском и петербургском, материале, могла бы со всей полнотой вскрыть крепостные российские финансовые основы веймарского культурного благополучия, но и приведенные свидетельства не оставляют сомнения, что золотой русский дождь, поливший на Веймар со времени водворения там Марии Павловны, был частый, крупный и непрерывный. Этот дождь из крепостного золота—важный и почти необследованный факт биографии Гете. Еслиб Гете захотел быть точен в своих отзывах Эккерману о Марии Павловне, он должен был бы, говоря об ее «благодеяниях», сказать, что эти «благодеяния» составляют conditio sine qua non основных «афинских» учреждений Веймара, с которыми связано имя Гете: театра, библиотеки, художественной школы. Это предопределяло все отношение Гете и его «афинского» круга к Марии Павловне и к ее петербургским родственникам: поколебать чем-нибудь эти отношения, окрасить их в ненадлежащий цвет—значило бы просто-напросто нанести такую брешь в веймарском бюджете, которая ничем бы не могла быть заполнена: меценатство Марии Павловны и стоящих за нею бесконтрольных хозяев Российской империи было постоянной и чрезвычайно значительной статьей веймарского «прихода». Гетевский «расход» на свои и шиллеровы трагедии в театре, на редкие издания в библиотеке, на мейеров классицизм в художественной школе, на прекрасный парк в городе и на многое другое всецело зависел от этого «прихода». Когда молодой Гете въезжал в Веймар, его поразили руины сгоревшего герцогского дворца: у Анны-Амалии не было денег на его отстройку. В конце жизни Гете история повторилась: сгорел придворный театр, но в Веймаре была Мария Павловна, и театр быстро был восстановлен на русские деньги. Мария Павловна была не лицо, а учреждение в Веймаре—учреждение, от которого зависела его политическая крепость и финансовая устойчивость, и отношения к ней Гете

диктовались необходимостью охранять и чтить это полезное учреждение. Такому учреждению приходилось и служить. И Гете служил—от писания писем, по приказу Марии Павловны, до улаживания материальных дел и счетов с преподавателями ее детей. Ограничиваюсь только этими двумя примерами. Письмо к Марии Павловне, где Гете улаживает ее дела с проф. Мюнховым, входя во все мелочи расчета, читатель найдет в статье А. Г. Габричевского «Автографы Гете в СССР», а тому же секретарю Марии Павловны Отто вот что писал Гете 11 мая 1830 г.: «Пересылаю набросок милостиво возложенного на меня ответа, насколько он удался. Здесь есть трудность не только в том, что нужно угодить высокопоставленной даме (hohen Dame), но и в том, чтобы подыскать обороты, соответствующие ее положению. Если что-либо вызовет сомнения, я готов на всякие изменения». При письме был приложен проект письма от лица Марии Павловны к Варнхагену фон Энзе: рукою, мыслью и словом Гете Мария Павловна очень изящно благодарила известного писателя за доставленное ей удовольствие от чтения его книги «Жизнь Винцендорфа». Вероятно такие письма, изящно подписанные «Marie», много содействовали распространению славы об уме и талантах веймарской покровительницы талантов—«музы Эгерии».

Гете в ответ на исполненное поручение «удостоился» получить через секретаря Марии Павловны новое поручение и небольшой подарок от нее. Вот что писал ему в неизданном письме Отто:

Ваше Превосходительство!

Препровождаю по поручению Ее Императорского Высочества госпожи Великой Княгини и Великой Герцогини письмо господину Тайному Советнику Посольства Варнхагену фон Энзе с просьбой доставить его через Ваше любезное посредничество по назначению.

Одновременно прилагается литографированный портрет Императрицы Бразильской, который Ее Императорское Высочество приносит в дар местному музею.

С совершеннейшим уважением и преданностью я имею честь быть

Вашего Превосходительства
покорнейший слуга
ф. Отто [31].

Веймар, 16-го мая 1830 г.

Но Гете говорит не только о достоинствах положения Марии Павловны, но и об ее личных достоинствах: он имел «множество случаев удивляться ее уму и характеру». О достоинствах личных говорит и Шиллер, и множество немецких и русских вспоминателей. Разгадка этих отзывов кажется не трудна. Один из самых ранних отзывов о Марии Павловне принадлежит князю Адаму Чарторижскому, состоявшему вместе со своим братом в должности камер-юнкера при дочерях Павла I: «Обе великие княжны, Елена и Мария, к которым мы считались прикомандированными, были очень милы. Принцы, за которых им предстояло выйти замуж, были мало достойными людьми» [32]. В осторожном отзыве польского аристократа скромные достоинства княжен повышаются сравнением с недостоинством двух принцев—Мекленбургского и Веймарского. О Веймарском—Карле-Фридрихе, муже Марии Павловны,—даже Гете нашел возможным обмолвиться лишь двумя словами, найдя в нем «сердечную доброту» [33], и ничего больше. Карл-Фридрих был ничтожеством. Внучатный племянник Марии

Павловны, историк Николай Михайлович, говорит, что она «не была счастлива в замужестве» [34]. В сравнении с ее жалким мужем Мария Павловна, которую ее бабка Екатерина II звала за живость «настоящим драгуном» («c'est un vrai dragon») [35], являлась живым человеком с человеческими чувствами и интересами. Соседство с Карлом-Фридрихом было чрезвычайно выгодно для репутации Марии Павловны у всех, кто встречался с нею за ее долгое пребывание в Веймаре. Очень ярка благодарность, которую чувствовала к ней императрица Елизавета, жена Александра I: она ценила то «доверие», которое оказывала ей ее золовка, и была счастлива, что привязанность Марии Павловны «не может отнести только на счет денежной поддержки. Каков бы ни был ее источник, ее семья не избаловала меня этим» [36]. Это опять похвала обычным, но не при дворе, человеческим чувствам. Мы должны верить Гете, что Мария Павловна была добра, приветлива, учтива, ласкова, обходительна с людьми. Эти ее свойства повышаются в ценности от близкого соседства с противоположными свойствами, обитающими в людях такого же положения и социальной высоты. Петербургское «соседство» так же возвышало Марию Павловну, как и веймарское. То, что говорит о ней Шиллер,—тоже достоинство только в сравнении: «действительная любовь к чтению»—добродетель, но добродетель лишь в пределах петербургского, Аничкова дворца или веймарского Бельведера: за порогом же этих дворцов любовь к чтению—простое свойство многих миллионов грамотных людей [37].

Мария Павловна хорошо понимала, что престиж литературного двора и слава германских Афин сильно повышает место Веймара в «табели о рангах» пестрой германской государственности. Поэтому она позаботилась о закреплении этого престижа; по ее почину положено было начало архиву и музею Шиллера и Гете. Ее внутригерманская литературная политика нашла себе продолжательницу в лице герцогини Софии, напомнившей Германии и Европе о Веймаре и своей династии изданием первого полного собрания сочинений Гете.

Но у Марии Павловны была и особая сфера деятельности в Веймаре: она была превосходной представительницей придворных и политических интересов императорской России при том втором дворе, который был тогда в Веймаре: при дворе великого Гете. Этот второй двор имел несравненно большее европейское значение, чем первый дворик великого герцога. Мы увидим далее, что Наполеон прямо и открыто признавал и подчеркивал это. Представители России при герцоге менялись. Мария Павловна оставалась при Гете бессменной. Правда, она не писала дипломатических нот, но ее дипломатическая деятельность имела бесспорный и постоянный успех: Гете никогда не был великой державой, враждебной императорской России, как были ей враждебны такие великие современные державы, как Байрон, Виктор Гюго, Беранже, Генрих Гейне. Между тем Гете лично расположен был к России, к ее правительству и правителям вряд ли многим более сочувственно, чем эти враждебные России великие державы европейской словесности. Гете редко и неохотно говорит и пишет об Александре I и Николае I, но о Марии Павловне он много и охотно говорит, явно преувеличивая пропорции ее умственных возможностей: явный знак, что он доволен посланницей при своем дворе, в то время как не очень расположен к властителям, ее аккредитировавшим при нем. Нельзя не отнести этого на счет того искусства обхождения, которым Мария Павловна обладала лучше многих дипломатов-профессио-

Ew. Excellenz

Übersende ich im Auftrag Ihro Kaiserlichen Hoheit der Frau Großfürstin und Großherzogin beifolgend das Schreiben an den Hr. G. L. R. Varnhagen von Ense mit der Bitte dasselbe durch Ihre gütige Vermittelung zu seiner Bestimmung zu befördern.

Zugleich folgt hierbei ein lithographirtes Bild der Kaiserin von Brasilien, welches Ihro Kaiserliche Hoheit dem hiesigen Museum verehrt.

Mit der vollkommensten Hochachtung und Ergebenheit habe ich die Ehre zu seyn

Ew. Excellenz

Weimar
d. 16t. Mai 1830

ganz gehorsamster Diener
C. Otto

Автограф письма секретаря Марии Павловны К. Отто к Гете от 16 мая 1830 г.
Goethe-und Schiller-Archiv, Веймар

налов. Она окружала Гете исключительным вниманием (вплоть до посещения по три раза в неделю, в точно назначенные дни), снабжала его ценными книгами, дарила ему то, что отвечало его требовательным вкусам и страсти к коллекционированию, была внимательна ко всем мелочам сложного жизненного его обихода и делала все это не только как веймарская герцогиня, рачительно относящаяся к лучшему достоянию веймарского государства, но и как посланница России при очень влиятельной и консервативной, но все-таки независимой державе. В Ферней посылались Екатериной II лишь временные послы на короткие сроки, в Веймаре у русского двора было постоянное представительство. В трудной миссии Мария Павловна проявила не мало такта: он требовался от нее больше, чем от русских дипломатов при герцоге. Она достигла того, что Гете видел в русском дворе, правительстве и верхнем слое общества равноправных с ним обладателей наследия европейской культуры, а совсем не то, что например видел в них Байрон: полуазиатскую деспотию с французским языком и гримасами полупросвещения. Дальше видно будет, с какой ревностью Мария Павловна поддерживала сношения с Гете русского двора и дворянства, показывавшегося в Веймар. Многих из тех, кто заезжал к ней в Веймар как в филиал петербургского двора, она учила быть европейцами—и влекла их к Гете, приучая крепостных меценатов и медвежье-тамбовских туристов к обязанностям культурного «вояжера». Все это имело большое значение для формирования мнения Гете о царской России, а мнение Гете имело большое значение для Европы. У русского самодержавия была плохая репутация в Европе, несмотря на все заигрывания Екатерины II с Вольтером, Дидро, Бомарше и Гриммом, несмотря на все политические и мистические маневрирования Александра I с m-me де Сталь, Бентамом, Баадером, Юнг-Штиллингом, квакерами и др. Мария Павловна сделала все, что могла, чтобы подправить эту репутацию веским словом Гете или по крайней мере не менее веским его молчанием, истолковываемым как знак согласия с правителями и вдохновителями официальной России. В постоянстве этих ее усилий и в относительном их успехе мы будем убеждаться на протяжении всего нашего исследования. Мария Павловна была путеводителем почти для всех русских писателей и деятелей, отправлявшихся к Гете, и путеводитель этот был такой, что лучшего трудно было бы и желать: он был отлично осведомлен о Гете и его трудах и днях,— этим он привлекал к себе путешественников, но он же был и строго благонамерен: этим он совершенно удовлетворял лучшим чаяниям Александра I и Николая I.

И Александр I, и Николай I могли быть довольны, как их сестра проводила в жизнь гетеанскую политику русского самодержавия.

Обратимся к самым вдохновителям этой, доселе вовсе не изученной политики.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «W. A.», III Abt., B. III, S. 77; B. IV, S. 126, 251, 306, 340; B. X, S. 27; B. XIII, S. 47; B. XII, S. 235; B. VI, S. 32; B. IX, S. 26, 89; B. XII, S. 350; B. XIII, S. 18.

[2] Интерес к России поддерживался у Гете и теми немецкими его знакомцами, которые переселились в Россию и занимали там зачастую видные посты в мире административном и научном. Мы встретимся еще с ними в дальнейшем изложении, но указать на них необходимо и здесь. Из товарищей молодости Гете в Россию очень

рано, еще при Екатерине II, переселились Брейткопф и Клингер. При Екатерине же поселился в России воспитанник Иенского университета Август Коцебу (1761—1819), впоследствии известный драматург и реакционер. Он состоял на русской государственной службе при Павле и Александре. В конце жизни он жил в Веймаре. Из приятелей Гете эпохи «бури и натиска» в Москве доживал и окончил свою бурно-неудачливую жизнь Якоб Ленц. Знакомцем Гете был воспитатель Андрея и Александра Тургеневых, женевец Тоблер. Сын веймарского министра и соседа Гете по дому В. Трейтер в 20-х гг. занимал должность директора Московского воспитательного дома. В 20-х гг. декабрист Ал. Одоевский знавал в Петербурге профессора контрапункта Иоганна Мюллера и называл его «другом Гете». Гете состоял до самой смерти в переписке с московским профессором анатомии Христианом-Иоганном Лодером (1753—1832). Уроженец Лифляндии, он в 1777 г. получил степень доктора медицины и хирургии в Иене, сделался ординарным профессором и преподавал там до 1803 г. Гете был его учеником: с осени 1781 г. он занимался под его руководством анатомией, и в результате этих именно занятий он в 1784 г. сделал свое знаменитое открытие межчелюстной кости. Общение Гете с Лодером было тем ближе, что последний был причастен и ко двору: он был лейб-медик Карла-Августа. В 1806 г. Лодер уехал в Россию и создал кафедру анатомии в Московском университете. Учиться у него анатомии стекались не только студенты со всех факультетов, но и сторонние посетители. «Один такой профессор,—по мнению Погодина,—заменяет целый факультет» (Б а р с., т. I, стр. 50). Лекции Лодера слушал Кюхельбекер. «Из естественных наук,—вспоминал кн. В. Ф. Одоевский,—лишь одна нам казалась достойною внимания любомудра—анатомия как наука человека... Мы принялись за анатомию практически под руководством знаменитого Лодера, у которого многие из нас были любимыми учениками». (Предисловие для собрания сочинений. Кн. В. Ф. О д о е в с к и й. «Русские ночи», под ред. С. А. Цветкова, М., 1913 г., стр. 9). Таким образом Гете и его московские последователи были учениками одного и того же ученого. Гете знал также поэта и драматурга Раупаха, профессорствовавшего в конце 10-х годов в Петербурге. Ограничиваюсь пока этими указаниями, предполагая со временем выпустить работу на тему: «Немецкие знакомцы Гете в России».

[3] «W. A.», III Abt., B. III, S. 63, 88. См. об этом в III главе.

[4] Т а м ж е, B. IV, S. 56, 69, 70.

[5] B i e d., B. II, S. 49.

[6] Э к к., т. II, стр. 61, 197, 335. Записи 11/III 1828, 12/IV 1829, 8/III 1831.

[7] «W. A.», III Abt., B. III, S. 341—342; B. IX, S. 52.

[8] Т а м ж е, B. III, S. 11.

[9] Т а м ж е, I Abt., B. XLI, S. 29; B. XLVI, S. 229, 231, 235, 237.

[10] Впоследствии он был послом в Вене и собирал у себя музыкальное общество, играя вторую скрипку в квартетах. Гайдн, Моцарт, Бетховен были его друзьями. Известны квартеты Бетховена, посвященные Андрею Разумовскому. Об его отношениях—самых дружественных—к Бетховену см. в любой биографии Бетховена: Шиндлера, Ноля и др. См. также А. А. В а с и л ь ч и к о в, Семейство Разумовских, т. III. СПБ., 1882.

[11] Рассказ графа Рибопьера в «Дневнике» А. О. Смирновой от 18/III 1845 г. А. О. С м и р н о в а, Записки, дневник, воспоминания, письма. Со статьями и примеч. Л. В. Крестовой. М., 1929, стр. 291—292.

[12] «W. A.», III Abt., B. V, S. 100. Другую запись разговоров о смерти Павла находим под 11 сентября 1808 г. В Карлсбаде, в обществе графа Мощинского из Варшавы, австрийского графа И. Пергена и жены венского банкира Ц. Эскелес Гете обсуждал «Историю убийства Павла I и другие подобные» (т а м ж е, B. III, S. 385).

[13] «W. A.», I Abt., B. LIII, № 125, S. 412—414. Нельзя не подивиться здесь небрежности составителей примечаний к этому прославленному изданию, которым и по сю пору продолжают гордиться в Германии. Гете совершенно ясно и точно указывает в заметках своих день (или, точнее, ночь) убийства Павла—11 марта старого стиля (по которому Гете и ведет все свои «Павловские» записи). Под 12 марта он записывает: «Прекрасная погода. Всеобщая радость»—очень краткое, но весьма выразительное изображение того впечатления, которое производит убийство Павла на весь Петербург—от низов до верхов. Ученые же комментаторы «классического» издания пожелали поправить Гете и в примечании пишут: «Als Quelle für diese Aufzeichnung über die Palasterrevolution vom 4 April (23 März) 1801...» (т а м ж е, S. 415): выходит, что Павел был убит 23 марта старого стиля, на 12 дней позднее, чем в действительности. Целое открытие в полутора строках! Гете иной

раз неправильно передает трудные русские фамилии, напр.: «Segräschski»—вместо «Загряжский», но поправляют его ученые комментаторы иной раз еще ошибочнее. Так, Гете дважды именует главарей заговора: 1) в списке заговорщиков

1. Fürst Plato Alexander } Zouboff
2. Graf Valerian

и 2) в записи от 13 марта: «Speisen Fürst Plato Alexander und Graf Valerian Zouboff bey dem Grafen». Гете совершенно осведомлен: на первом месте он ставит фаворита Екатерины, получившего от нее княжеский титул, Платона Александровича Зубова, на втором—его брата графа Валериана. Комментаторы спешат поправить Гете и к записи 13 марта делают буквально такое примечание: «Platow Alex. und Valerian Subov, so auch 16—19» (т. е. подобное де «исправление» нужно внести и в «заговорщицкий список», стр. 415): князь Платон Александрович Зубов превращен у комментаторов в Платова Александра! Причина понятна: их смутило, что 1) два Зубова имеют разные титулы—князь и граф, и 2) что за «Fürst Plato» у Гете следует еще второе имя «Alexander». Но для того, чтоб этим смутиться, поправителям Гете надлежало: 1) вовсе не знать русской истории конца XVIII в. и 2) не иметь понятия, какое место занимает «отчество» в составе русских имен. Оба эти условия были налицо, и вместо комментирования был измышлен не существовавший Александр Платов.

[14] «W. A.», I Abt., B. LIII, S. 415.

[15] Бельш., т. I, стр. 271, 272.

[16] Bied., B. I, S. 481, № 975.

[17] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 73. Запись дневника 27/V 1829 г.

[18] Н. И. Греч, Записки о моей жизни. Под ред. Иванова-Разумника и Д. М. Пинеса. М.-Л., 1930, стр. 537.

[19] Журнал А. Тургенева, № 8, л. 49 об.— б. Пушк. дома № 308. Граф Пьер-Антуан Дарю (1767—1829)—один из важнейших военно-гражданских сановников Наполеона; он был уполномоченным при заключении мира в Тильзите (1807).

[20] «W. A.», IV Abt., B. XVII, S. 277—278.

[21] Вот далеко не полный список стихотворных обращений и речений Гете о Марии Павловне: 1) «Epilog zu Schillers Glocke», 2) «Die romantische Poesie» (стихи к маскарадному шествию 30 января 1810 г.), 3) «Vorspiel zur Eröffnung des Weimarischen Theaters am 19 September 1807 nach glücklicher Wiederversammlung der Herzoglichen Familie», 4) «Ihro Kaiserlichen Hoheit der Frau Erbgrossherzogin von Sachsen-Weimar und Eisenach» (сонет), 5) «An den verehrlichen Frauen-Verein» («Mariens Huld und Anmuth wollt' ich schauen...») и др.

[22] Экк., т. II, стр. 122.

[23] Там же, стр. 353.

[24] В. к. Николай Михайлович, Император Александр I, т. II. СПБ., 1912, стр. 593.

[25] Бельш., т. II, стр. 122.

[26] В. к. Николай Михайлович, Император Александр I, изд. 1914. СПБ., стр. 63—64.

[27] П. Б[артенев], Из дневников Вольфганга Гете.—«Р. А.» 1911, № 7, стр. 449.

[28] R. Jagoditsch, Goethe und seine russischen Zeitgenossen.—«Germanoslavica» 1931—1932, Heft 3, S. 350—351.

[29] Bied., B. IV, S. 343.

[30] «W. A.», III Abt., B. XIII, S. 51, 150; IV Abt., B. XLIX, S. 104.

[31] Там же, IV Abt., B. XIII, S. 57 u. 340. Письмо Отто печатается впервые по фотографии с подлинника, хранящегося в Веймарском музее.

[32] «Мемуары А. Чарторижского», т. I, стр. 168—169.

[33] Экк., т. II, стр. 121.

[34] В. к. Николай Михайлович, Русские портреты, т. I, вып. 3, №138.

[35] Там же.

[36] В. к. Николай Михайлович, Императрица Елизавета Алексеевна, т. I. СПБ., 1909, стр. 203, № 694.

[37] В 1856 г. Ф. И. Тютчев, только что представлявшийся Марии Павловне, нашел, что «она не очень умна» (письмо к жене от 17 июля. «Старина и новизна», кн. XIX, стр. 241). Отзыв Тютчева идет вразрез с суждением Гете и резко оттеняет панегиричность статьи Lily von Kretschmann, Die literarischen Abende der Grossherzogin Maria Pawlowna («Deutsche Rundschau» 1893, Heft 9, S. 422—448). Письма Марии Павловны к Гете собраны в книге «Goethe und Maria Pawlowna», Weimar, 1898.

II. АЛЕКСАНДР I И ГЕТЕ

АЛЕКСАНДР I, НАПОЛЕОН И ГЕТЕ. — ВСТРЕЧИ ГЕТЕ С НАПОЛЕОНОМ И АЛЕКСАНДРОМ В 1808 Г. — ГЕТЕАНСКАЯ ПОЛИТИКА НАПОЛЕОНА. — НАПОЛЕОН КАК ЗАКАЗЧИК ГЕТЕ. — ГЕТЕАНСКАЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I. — ГЕТЕ — РУССКИЙ ЗВЕЗДОНОСЕЦ. — ГЕТЕ, ЧИНЫ И ОРДЕНА. — ЗАКАЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО МОЛЧАНИЯ. — ГЕТЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ I И Г-ЖЕ КРЮДЕНЕР. — ЭПИГРАММА ГЕТЕ НА КРЮДЕНЕР. — ШИЛЛЕР, ГЕТЕ И МАЛЬТИЦ В ОТНОШЕНИИ К АЛЕКСАНДРУ I. — ПОЭТИЧЕСКАЯ „ВЕРНОПОДДАННОСТЬ“ ГЕТЕ КАК „ОБРАЗЕЦ“ ДЛЯ РУССКИХ ПОЭТОВ. — ТРАУР ГЕТЕ ПО АЛЕКСАНДРЕ I.

Впервые Александр I появился в Веймаре в 1805 г. «Из Берлина,— рассказывает его спутник, министр иностранных дел Чарторижский, еще в ранней юности видевшийся с Гете,—император направился в Веймар, где хотел навестить свою сестру. Старый герцог был еще жив; несмотря на преклонные лета, он все еще был полон жизни и сил... В Веймаре нас приняли с искренним радушием. Там мы познакомились с некоторыми знаменитыми писателями». В их числе Чарторижский называет Гете. Но это было знакомство свиты, а не императора: он «торопился в Ольмюц, где его ожидал император Франц» [1]. На деле вышло, что торопился к Аустерлицкому поражению. Гете ничем не отозвался на это посещение, но в 1808 г. он почему-то вспомнил «плохое поведение русских при Аустерлице». Запись эта предшествует другой, явно иронической, по отношению к Александру I и его союзнику, прусскому королю: «Студенческая проказа Александра и Фридриха-Вильгельма перед неприятельскими форпостами» [2].

В этом же году Гете познакомился с Александром,—в самое невыгодное для Александра время: в те же дни, когда он познакомился с Наполеоном. Известно, какое сильное впечатление произвел Наполеон на Гете. Можно составить целый том из высказываний Гете о нем. Для Гете Наполеон был—великий человек, так же вобравший в себя всю политическую волю эпохи, как Байрон вобрал в себя ее поэтическую мысль. Никакие колебания в судьбе Наполеона, ни самое его крушение не поколебали отношения к нему Гете. В 1815 году—в год окончательной катастрофы Наполеона—Гете восклицал о нем: «Величайший ум, какой когда-либо видел мир!» [3] А в 1829 г., когда над могилой Наполеона гнила реставрированная Франция упадочных королей, Гете говорил Эккерману целые монологи, полные старых восхищений перед Наполеоном:

«Наполеон так же справлялся с миром, как Гуммель с фортепиано; и то, и другое нам кажется чудесным, мы одинаково не понимаем ни того, ни другого; но оно так, и происходит перед нашими глазами. Наполеон был особенно велик тем, что всегда был одним и тем же» [4]. Восторг Гете понятен: гениальному сыну почтенного бюргера из вольного города Франкфурта,—как ни пытался он всецело и сполна вдавить себя в веймарское отечество,—было тесно в немецких феодальных клетушках, где любой его замысел реформ, диктуемых классовым самосознанием истого сына «третьего сословия», превращался в карикатуру, в борьбу с веймарскими коровами, в сооружение плетней вокруг огорода. Гете хотелось простора, и он с завистью, с восторгом, вопреки всем требованиям 360 немецких местных патриотизмов, заглядывался на Наполеона, рушившего все карточные домики, пастушьи хижинки и телячьи загоны феодальной Европы, и любовался им, как вся европейская буржуазия. Наполеон был для Гете не страница, не глава, а целый том мировой истории. Александр I был лишь страница в этом томе, правда, набранная шрифтом гораздо более крупным, чем петит веймарских и других немецких примечаний, но все-таки только страница.

25 сентября 1808 г. Гете записал в дневнике: «Обед во дворце. Император Александр появился между 6 и 7». На другой день Гете был представлен императору: «Обед во дворце. Большой стол. После я был представлен наследным принцем императору, который очень любезно расспрашивал о Виланде. Возобновил знакомство с гр. Румянцевым (канцлером Николаем Петровичем.—*С. Д.*). Присутствовал также брат маршала Ланна. Вечером—«Камилла». Император и великий герцог не были в театре» [5].

Император Александр славился своей любезностью. Гете и отметил ее, но любезность была странная: с писателем Гете — говорить... не об авторе «Вертера», а об авторе «Оберона», писателе Виланде. Вряд ли в этом можно видеть особое внимание к писательству Гете. Уж читал ли император Александр «Вертера», прочтенного всей Европой? Гете был тогда директором Веймарского театра и приготовил торжественный спектакль, но не мог похвалиться особым вниманием императора: он отсутствовал.

На другой день, 27-го, Александр I уехал в Эрфурт. Гете отметил его отъезд и то, что «французский император выехал ему навстречу к Мюнхен-Гольцену». Вслед за Александром уехал в Эрфурт и герцог, но уезжая дал Гете поручение, о котором сохранился рассказ канцлера Мюллера: «Наполеон уже много раз давал почувствовать, что веймарская герцогиня должна дать бал в честь его и его царственного гостя Александра I. Герцог просил Гете придумать, чем бы достойнее всего ознаменовать в Веймаре торжественность столь необычных дней. Гете действительно подал много прекрасных и импозантных идей; однако выполнение их потребовало бы слишком много времени, и к тому же они были слишком гигантские» [6]. Иными словами, Гете столь добросовестно проработал придворный заказ, что осуществить его план оказалось не по карману бедному Веймару.

На съезд императоров и королей в Эрфурте герцог Веймарский хотел непременно привезти с собой то, что у него было самого крупного: одни везли с собой червонцы и бриллианты, другие портфели с реестрами штыков и пушек, подкрепляющих доводы дипломатических нот,—Карл-Август вез Гете.

Наполеон очень хорошо оценил, что Карл-Август был богаче других: 1 октября он узнал о прибытии Гете, а уже 2-го в 11 утра назначил ему аудиенцию. После нее Гете писал своему издателю Котта: «Никогда еще лицо выше меня по положению не принимало меня подобным образом: он с особенным доверием приблизил меня к себе и достаточно ясно дал мне понять, что по натуре своей я ему по плечу» [7].

В течение одной недели Гете познакомился с двумя императорами. И Александр был на голову побежден Наполеоном.

Нам нужно вспомнить только две-три черты знаменитой встречи Гете с Наполеоном. Когда Гете вошел, Наполеон долго и пристально посмотрел на него и воскликнул: «Voilà un homme!» (По другому варианту: «Vous êtes un homme!»). Деланно или искренне, но это было хорошо сказано; в сущности, это было не оригинально: это был перевод «Ecce homo», но перевод исключительно удачный, нельзя было лучше определить Гете, о котором Энгельс сказал: «Гете неохотно имел дело с «богом»; от этого слова ему делалось не по себе. Он чувствовал себя как дома только в человеческом». Наполеон не только бросил «mot»—острое словцо, могущее стать эпиграфом книги о Гете,—он знал, о чем беседовать с Гете. На указание

присутствовавшего при аудиенции Дарю, что Гете перевел «Магомета» Вольтера, Наполеон без обиняков отрезал: «Это неважная пьеса», и затем, по рассказу самого Гете, «он с большими подробностями изложил неудобства, проистекающие от того, что властитель мира изображает самого себя в столь неблагоприятном виде»: замечание для писателей, как надо изображать властителей мира, чтобы изображение было им угодно!

Гете для всей Европы прежде всего, больше всего, а для огромного большинства читателей исключительно был автором «Вертера». Как «любимый сын молвы» Наполеон заговорил с Гете и о «Вертере», и так заговорил, что Гете навсегда запомнил и любил вспоминать, что Наполеон семь раз прочел «Вертера» и брал его с собой в Египетский поход. Наполеон оказался хорошим вертероведом: сам похвалился автору, что «изучил его вполне», а, по отзыву самого Гете, «после нескольких совершенно справедливых замечаний, он указал мне на одно место и сказал: зачем вы это сделали? Это не согласуется с природой». И он стал поддерживать свое мнение при помощи совершенно справедливых долгих рассуждений» [8].

Бесконечное число раз приводился разговор Наполеона о Вертере и всегда с умилительной целью: включить Наполеона в список гетеанцев, даже вертерьянцев и тем повысить на несколько ступеней писательский титул Гете. Сам Гете вернее охарактеризовал наполеоновское отношение к «Вертеру»: «Он его изучил, как уголовный судья изучает дело, и в этом смысле он говорил о нем и со мной» [9]. Как судья, а не как поклонник, сделал Наполеон Гете то замечание, которое у Бельшовского звучит очень умилительно: «Император указал на то, что Гете ослабил впечатление необычайно сильной любви Вертера, выставив поводом к его самоубийству, помимо любви, еще и оскорбленное честолюбие» [10]. Исследователи не хотят заметить, что император сделал писателю упрек за то, что он ввел социальный мотив в объяснение самоубийства своего героя: Гете как благонамеренный писатель должен был довольствоваться мотивом психологическим, а не смущать читателя тем, что остро почувствованная Вертером его неравноправность в феодально-дворянском обществе, его социальная обида так же толкает Вертера к пистолету, как и неудачная любовь. Наполеон разрушал старые «феодальные неравенства», от которых страдал Вертер, но он создавал новые «неравенства», буржуазно-цезарские, и счел долгом попенять Гете на его неблагонамеренную ошибку. Но в какой прикрытой, любезнейшей, утонченнейшей форме он это сделал! Он только посетовал— как поклонник, о, исключительно как поклонник!—что Гете неудачным творческим приемом «ослабил впечатление необычайно сильной любви Вертера». Старый Гете не отразил этого нападения на создание его «бури и натиска», но избегал говорить о замечании Наполеона.

Эпизод о «Вертере»—chef d'oeuvre литературно-политического разговора, но только эпизод. Наполеон тотчас же вернулся к главному: «он,— по словам Гете,—возвратился к драме и сделал весьма замечательные указания как человек, с великим вниманием следивший за трагической сценой и наманер следственного судьи. Он живо чувствовал, насколько французский театр далек от натуры и правды. Он отзывался также с неодобрением о пьесах, в которых рок играет большую роль. Он сказал, что они принадлежат к непросвещенному времени. «В наши дни,—сказал он,—что такое значит рок? Политика—вот в чем рок» [11].

Этот выпад Наполеона против феодально-придворных ложноклассических трагедий великолепен. Перед ним стоял великий драматург, автор

«Ифигении», где рок действует и вершит, как в старой трагедии,—и он прямо, почти командно, приказывает: «Повернитесь лицом к современности: в мире есть один рычаг всяческого действия, в том числе и театрально-трагического: политика». Но рычаг такой борьбы и действия был в руках Наполеона. Приказ звучал: «Повернитесь лицом ко мне». Команда была дана, но опять-таки в какой утонченно-умной форме обсуждения вопроса драматической поэтики! В аудиенции 2 октября Наполеон высказал Гете—первому писателю современности—все, чего он хотел бы от искусства,—службы его цезаризму.

Через несколько дней, 6 октября, Наполеон устроил в Веймаре спектакль с партером королей. Короли сидели в креслах, а на сцене французские актеры во главе с знаменитым Тальма играли, не без указки нового Цезаря, «Смерть Цезаря» Вольтера. Актер-Цезарь произносил со сцены:

Je sais combattre, vaincre et ne sais point punir.
Allons, n'écoutons point ni soupçons, ni vengeance.
Sur l'univers soumis régnons sans violence.

(Я умею сражаться, побеждать—и не умею наказывать. Оставим подозрения, оставим чувства мести и мирно будем править покоренной вселенной).

А Цезарь-актер поглядывал из первого ряда партера, хорошо ли слышат это короли, герцоги, дипломаты, военные, придворные, сидевшие позади его. Это был отличный политический спектакль, данный Наполеоном в театре Гете: на сцене превосходно играл Тальма, в партере еще превосходнее—Наполеон. На балу после спектакля Наполеон дал прямой заказ Гете, считая, что все условия заказа и требования заказчика ему уже достаточны ясны. Заказ был дан в таких словах, переданных самим Гете: «Трагедия должна быть школой государей и народов; вот самая высокая цель, которую может предложить себе поэт. Вы например должны бы написать «Смерть Цезаря» и более величественными чертами, чем Вольтер. Это могло бы быть лучшим делом вашей жизни. Следовало бы показать миру, каким счастьем одарил бы его Цезарь, как все получило бы иной образ, если бы ему дано было время для исполнения его возвышенных планов. Приезжайте в Париж, я непременно требую этого от вас. Там зрелище мира больше, там вы в изобилии найдете сюжеты для поэзии» [12]. «Там живу и действую я», оставалось только добавить Наполеону.

Наполеон заказывал первому писателю современности (неважно было, что он немец, важно было что он—первый мастер своего дела) новую политическую трагедию—обоснование и прославление собственного цезаризма. Гете, правда, трагедии не написал, но можно ли сказать, что заказ этот и та обольстительная почетная форма, в которой он был дан, вовсе не тронули Гете? Вот как Гете расценил эту форму: «В жизни моей не могло бы случиться ничего более высокого и отрадного, чем моя встреча, и именно т а к а я с французским императором». В своих многочисленных высказываниях о Наполеоне Гете всегда являлся его апологетом,—и ни от кого и никогда не скрывал этого апологетизма. Когда в 1815 г. он поневоле принял литературный заказ от противников Наполеона и написал свое «Пробуждение Эпименида» (см. главу о Кюхельбекере), он исполнил его так, что апофеоз союзников скорее смахивал на сатиру на них. В немногие октябрьские дни 1808 г. Наполеон навсегда и безвозвратно закрепил Гете за собой. Наполеон оформил это закрепление: 14 октября 1808 г. Гете уже

записал в дневнике: «Орден Почетного Легиона» [13] и 15-го делился своей радостью с друзьями, в их числе с Каролиной Сарториус: «император Наполеон пожаловал мне орден Почетного Легиона» [14].

Стоит сравнить два императорских разговора с Гете и их отражение в писаниях и разговорах самого Гете и его друзей, чтобы понять, насколько решительна и блистательна была победа Наполеона над Александром.

Александра I хватило только на несколько «любезных» фраз для не совсем любезного разговора о Виланде и для отсутствия на торжественном спектакле, специально для него назначенном театральным директором Гете. У воспитанника Лагарпа не хватило эрудиции даже для нескольких прилично незначущих фраз о Вертере, зачитанном до дыр всей Европой. Наполеон же под блистательной дипломатией композиционных поправок к Вертеру и размышлений о трагедии провел целую кампанию выгоднейшего «социального заказа» и одержал вторую Иену: заполучил себе не трагедию Гете, а самого Гете, что конечно стоило десятка-двух немецких княжеств и маркграфств. Но Александр I был в то время союзником Наполеона, и Наполеон непрочь был поделиться с ним своим новым веймарским завоеванием. В первую же аудиенцию, пригласив Гете вечером пойти на «Ифигению» и пообещав, что он найдет в партере много королей, Наполеон, по словам знаменитого Талейрана, присутствовавшего при свидании, спросил Гете: «Вы видели уже русского императора?» И тут же дал ему небольшой заказ для Александра I, но не безвыгодный и для себя: «Он хорошо владеет вашим языком; если вы напишете что-нибудь об Эрфуртском свидании, это нужно будет посвятить ему». Гете уклонился от заказа, объявив: «Я не имею этого обыкновения, ваше величество; с тех пор как я начал писать, я взял себе за правило никогда не делать посвящений, чтобы никогда не раскаиваться». Наполеон не без неудовольствия возразил: «Великие писатели века Людовика XIV смотрели на это иначе».—«Это верно, но ваше величество не можете быть уверены, что они никогда не раскаивались» [15]. Гете охотно шел навстречу заказчику Наполеону, но ему не очень улыбались заказы для Александра. Впрочем Наполеон не очень настаивал на этом заказе. Он был непрочь посвятить Гете в свою иронию, с которой относился к Александру. 6 октября, на балу в Бельведере, после «Смерти Цезаря», Наполеон долго беседовал с Виландом и Гете о Таците и о христианстве и вдруг оборвал разговор, любезно попросив прощения у двух знаменитых писателей: «Но я вас беспокою. Мы здесь не для того, чтобы разговаривать о Таците. Посмотрите, как хорошо танцует император Александр» [16].

Наполеон победил Александра в сердце и уме Гете, но это никак не означает, что Александр сам не хотел дать заказа Гете или считал безразличным отношение к себе этой великой державы германской словесности. Он только уступал Наполеону в умении заключить с нею союз и не обладал для этого столь же утонченно-изысканной дипломатией. Средства его были проще, грубее, обыденнее, но пустить их в дело Александр считал необходимым. Как его бабка была официальной «вольтерьянкой», так он объявил себя официальным гетеанцем. Ни в чем не желая уступить Наполеону, Александр в тот же самый день, когда Наполеон пожаловал Гете «Почетный Легион», сделал поэта кавалером «Святыя Анны». 14 октября Гете утром получил орден от Наполеона, потом «задержался во дворце из-за прибытия русского императора», а когда вернулся домой, «знаки ордена святыя Анны» [17] уже ожидали его дома. На другой день Гете, по-

делившись с Каролиной Сарториус радостью о получении ордена Почетного Легиона, прибавил: «и тут же и Александр подарил меня орденом». Он показал пакет, присланный императором. Пакет заключал в себе большую ленту Анненского ордена с бриллиантовой звездой. С этим он удалился, чтобы одеться ехать ко двору, куда был приглашен на декламацию» [18].

Гете стал «российским кавалером», с правом на пенсию, с правом воспитывать детей в институтах и кадетских корпусах; «Анна» навсегда осталась на груди у Гете вместе с веймарским «Белым Соколом». Гете изображен с нею на портретах: Г. Кюгельгена (1807—1809, 1810), Г. Доу (1819), Г. Кольбе (1822), Ю. Эглофштейн (1826—1827) и др.: он ценил этот знак императорского благоволения и не снимал, а надевал его, позируя художникам. С того момента как голштинско-романовская «Анна» засверкала на груди Гете,—гетеанство сделалось благонадежным и благонамеренным занятием для подданных его величества, императора всероссийского.

Найти большой законченный портрет Гете зрелых лет без «звезд» и «крестов» так же трудно, как разыскать портрет Пушкина в мундире камер-юнкера. Орденолюбие и чинолюбие Гете поражало многих его посетителей, приехавших из России,—и малочиновного А. И. Кошелева, и весьма орденоносного кн. Адама Чарторижского-сына. В своих интимных дневниках, несмотря на всю скупую краткость записей «для памяти», Гете никогда не забывает выписывать чин посетителей полностью. Даже посещения Шиллера отмечены у него (напр. в записи 7 мая 1799) как посещения «господина надворного советника Шиллера». В глазах веймарских герцогов и российских императоров это чинопочитание было величайшей политической добродетелью Гете, свидетельством его полной благонадежности. Надеть «святую Анну» на грудь Байрона или Шиллера можно было только в мечтах сумасшедшего чиновника Поприщина или графа Дм. И. Хвостова. Но Гете был украшен «звездою» и «лентою», и феодально-бюрократическое сердце могло радоваться, что российская «табель о рангах», эта «великая хартия» петербургской помещичье-бюрократической монархии, втянула в себя и величайшего поэта современности. Автор «Фауста»—российский звездоносец! Это было недурно придумано. Внуку удалось то, о чем не смела и помыслить бабушка—на Вольтера надеть «Анну» или «Владимира». В своей поминальной речи о Гете Уваров, талантливый идеолог русского официального «гетеанства», проведет в 1833 г. параллель между Вольтером и Гете,—и осудит первого как потворствователя «черни», а второго похвалит как ее врага и отрицателя.

Эту официально и свыше признанную еще с 1808 г. благонамеренность Гете—с точки зрения русского самодержавия—должно подчеркнуть. К Вольтеру в Ферней все-таки страшновато было ехать: и безбожник, и вольнодумец, хоть «всемилостивейшая монархиня и изволит читать его забавные острословия»; к Гете в Веймар в 1808—1813 гг. было ехать вполне безопасно и благонамеренно для всякого чина и звания: кавалеры Станислава и Владимира скакали к «кавалеру святыя Анны».

Из трех Мекк культурного паломничества XVIII—XIX ст. Ферней был—полуодобрителен для русского посетителя, Ясная поляна—совсем неодобрительна, Веймар—вполне одобрителен: в официальных гетеанцах числились два императора, три императрицы и бесчисленное число лиц из свиты, дипломатов и военных. Дорога в Веймар была едва ли не единственная дорога на культурный Запад, которую никогда не закрывали для

ГЕТЕ

Портрет маслом работы Юлии Эглофштейн (Веймар, 1826 г.)
Гете изображен здесь с русским орденом св. Анны на груди
Goethe-Nationalmuseum, Веймар

русского паломника ни Александр I, ни Николай I: они сами ходили по ней. «Святой Анной» и Марией Павловной в качестве поклонницы и еженедельной посетительницы Гете был легализован для русского посетителя, но только для посетителя, а отнюдь не для читателя на русском языке! Не будь этого, четырех пятых русских посетителей мы не видели бы в Веймаре.

Гете ни в чем не «посрамил» своего голштино-русского кавалерства. У него нет ни одной страницы вроде тех, какие есть у Байрона, сатирически живописующего Екатерину и ее двор в «Дон-Жуане», или у Шамиссо, воспевающего декабриста Бестужева, или даже у Гуцкова, слабо, но рьяно прославляющего Пугачева. Такое молчание Гете—большая политическая удача русского двора. Особенно сильно говорило это молчание Гете в 1830—1831 гг., во время польского восстания. Все великие, средние и малые державы европейской литературы поднялись на Николая I в защиту Польши и ее революции. Во Франции—Гюго, Беранже, Казимир Делавинь, в германских странах—Грильпарцер, Ленау, фон Платен, Уланд в стихах и прозе, в одах и памфлетах говорили в защиту Польши и обращали свои инвективы на Николая I. Но патриарх европейской литературы Гете молчал.

Не менее Жуковского Гете был придворным поэтом русского императорства: он писал стихи не только русским императрицам, но и о русских императрицах; в 1825 г. он принимал к сердцу декабрьскую тревогу романово-голштинской династии и в самом Жуковском едва ли не больше ценил воспитателя наследника, чем поэта.

Эта придворно-русская позиция Гете поражает своей устойчивостью. Какие бы события ни совершались в Европе, она остается неизменной: так глубоки и прочны ее политические корни.

В 1812—1815 гг., в эпоху последних наполеоновских войн, Гете политически молчал, не высказываясь ни за Наполеона, ни за Александра, ни за одну из политических веймарских и германских стратегий и тактик, вытекающих из того или другого «за». Подлинное его отношение к событиям и лицам этой эпохи, таимое про себя в дневниках и немногих интимных высказываниях, не подлежит сомнению: он не верил в освободительное национальное движение, не ужасался наполеонову господству над Германией и питал некоторый страх пред Россией, видя в ней слепую и грозную силу, сулящую опасности и беды европейской культуре. Этот страх отлично выражен в одном эпизоде 1813 года. В Дрездене, на рынке, Гете увидел толпу, зевавшую на казаков и приведенного ими верблюда; казаки были неинтересны Гете, но, глядя на верблюда, он не удержался от восклицания: «Настоящий символ Азии!» (Asiatisches Wahrzeichen). Войска Наполеона не являли этого «символа». В дневниках своих Гете тщательно отмечал русские успехи Наполеона: переход через Зап. Двину, «взятие Смоленска» и «взятие Москвы» [19]. Несомненно Наполеон был осведомлен об уклоне Гете в сторону Франции.

15 декабря к Гете явился секретарь французского посольства—как будто к владетельной особе—с почтительным докладом, что «Наполеон проехал через город и изволил осведомляться о Гете», а через небольшой промежуток времени явился к Гете с докладом сам французский посланник и передал ему «искренний привет» от Наполеона из Эрфурта. Показательно для политического веса Гете, что Наполеон, несясь в русских санях через Веймар, вспомнил о нем, а не о Карле-Августе, и этот последний не

без ехидства заметил Гете: «Как видишь, и небо, и ад делают тебе глазки» [20].

И в 1813 г. Гете продолжал предпочитать «ад» «небу». Его пометы об Александре, герое Европы, в этом и в 1814—1815 гг. сухи, только фактичны: видел, был, обедал, присутствовал. Он много раз видел Александра в этом году, встречался и обедал с ним при дворе своего герцога (например 24 октября и 24 декабря 1813 г.), еще больше встречался, говорил и обедал с его приближенными, но по дневнику Гете Александр I проходит как тень, не оставляющая следа.

Вот например запись от 24 октября 1813 г.: «Настоящее положение военных дел. Прекрасные настроения и взгляды пожилого австрийского офицера. Князь Лихтенштейн. При дворе. Большой стол. Император Александр». Это все: победитель Наполеона занимает в ней места меньше, чем «пожилой австрийский офицер» [21]. Сохранился довольно подробный рассказ, как Гете смотрел в 1813 г. въезд Александра и прусского короля в Дрезден, но сам Александр занимает в нем крошечное место—всего-навсе в вопросе Гете хозяйке дома, из которого он смотрел въезд: рада ли она, что видела русского императора? [22] Гете нигде ни единым словом не высказался за победителя Наполеона: Наполеон в сознании франкфуртского бюргера, попавшего в феодальные министры марионеточного государства, оставался никем не побежденным. Лишь дважды позволил себе Гете перед самим собой высказать некоторую иронию по адресу Александра—в известной нам записи о какой-то студенческой проказе Александра и Фридриха-Вильгельма и в карлсбадской записи 1810 г. (20/VI): «С князем Морицем Лихтенштейн в Карлсбрюкке. Разговор о последних мировых и военных событиях. Обратно на луг. Капельмейстер Гиммель. Продолжение предыдущего разговора. Император Александр, его ухаживания за всеми. Как провела его m-me Бахарат (жена купца в Петербурге), устроив торжественный чай вместо интимного, к которому он считал себя приглашенным» [23]. Но кроме двух этих иронических обмолвок Гете нигде, и тоже ни единым словом, не высказался, даже косвенно и перед самим собою против Александра. Он был надежнейшим из царедворцев: он умел почтительно молчать, если язык не поворачивался наипочтительнейше хвалить, и это молчание бывало столь умно и тонко, что сходило за ненаходящее слов хваление.

Вот для примера маленький эпизод. 23 апреля 1812 г. Гете отметил в дневнике: «Известие о присутствии г-жи Ю. Крюденер в Веймаре» [24]. Это—первое известие у Гете о знаменитой впоследствии мистической «наставнице» Александра I, любопытной фигуре феодальной политической реакции. Г-жа Крюденер была европейской знаменитостью в эпоху Венского конгресса и Священного Союза. И в тот самый год, когда Александр I лично с нею познакомился и вступил в переписку, тянувшуюся не один год и всячески афишируемую авантюристской, Гете уже знал кое-что, вряд ли особенно лестное, об императоре и г-же Крюденер. В письме к С. Буассере от 5 августа 1815 г., рассказав приятелю об общем знакомом Крамере и об его страхе перед русскими и их влиянием в делах культуры, Гете замечает: «Вечером я рассказывал ему, в связи с русскими, еще об отношениях императора Александра и Крюденер» [25]. Что рассказывал, каковы были эти отношения царя и пророчицы,—обо всем этом молчание. Историку нечем поживиться у Гете: он хранит тайну Александра I и только лишь однажды делает еще отметку: «История г-жи Ю. Крюденер в Эрфурте»

(3 декабря 1817 г.)[26]. «Великолепное» молчание веймарского верноподданного русского царя! Об Александре—из этой мистической пары—Гете молчал, но на Крюденер Гете написал злую эпиграмму (Иена, 4 апреля 1818 г.):

Junge Huren, alte Nonnen
Hatten sonst schon viel gewonnen,
Wenn, von Pfaffen, wohlberathen,
Sie im Kloster Wunder thaten.
Jetzt geht's über Land und Leute
Durch Europas edle Weite!
Hofgemässe Löwen scharnzen,
Affen, Hund' und Bären tanzen—
Neue leid'ge Zauberflöten—
Hurenpack, zuletzt Propheten[27].

По-русски это будет приблизительно так:

Встарь довольно было шлюхам
И монахиням-старухам
Чудеса творить с попами
За келейными стенами,
А теперь им тесно стало—
Для чудес Европы мало!
При дворе танцуют львицы,
Шимпанзе, медведи, псицы,
И, под писк волшебной дудки,
В пляс пророчат проститутки.

В этой эпиграмме было законное место и Александру, но оно осталось вакантным.

Свояченица Фр. Шиллера Каролина фон Вольцоген рассказывает про последний год жизни и труда поэта, когда он занят был недовершонным своим «Demetrius'ом»: «Родственное сближение нашего герцогского семейства с русским императорским домом не раз бывало у нас предметом разговоров. «Я мог бы,—сказал Шиллер однажды вечером,—устами молодого Романова, играющего благородную роль в моей трагедии, наговорить императорской фамилии много любезностей». Но на другой день он сказал: «Нет, я этого не сделаю, мое призвание должно оставаться чистым».

Это было в 1805 г. Прошло только десять лет—и другой немецкий поэт, Франц фон Мальтиц (1794—1857), в своем «Димитрии», вобравшем в себя все написанное на этот сюжет Шиллером, договорился до того, что заставил «дух Ксении» предсказывать Михаилу Романову, брошенному в темницу, и войну 1812 года, и даже Священный Союз:

Dich segnet, mein Enkel, des Ahnherrn Mund,
Dich, Held und Herrscher, nach dessen Willen
Sich Völker umarmen im heiligen Bund (Act. VI, Sc. 2).

(Тебя, мой правнук, благословит сонм прародителей, тебя, герой и властитель, чьею волей народы заключили себя в объятия в Священном Союзе)[28].

Гете занимает середину между Шиллером и Мальтицем: у него есть и молчание, и хвала: хвала—императрицам, молчание—императорам.

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой

был достаточно ясен старому министру и гениальному писателю-ученому, но он лишь случайно позволил себе обмолвиться рассказиком о неудачном любовном приключении «плешивого щеголя» и не шел дальше сухой отметки о политической или военной неудаче героя, «нечаянно пригретого славой». В таком рассказике проскользнуло нечто мефистофелевское. Тайный советник и кавалер фон Гете писал об Александре так, как писал бы о нем и любой русский тайный советник и кавалер, без «Вертера» и «Фауста» в формуляре. Когда Александр I умер, при веймарском дворе был наложен восьминедельный траур, и Гете совершенно справедливо писал Уварову про себя и других придворно-чиновных веймарцев: «С теми далекими покровителями и друзьями [которые остались в Петербурге—*С. Д.*] нас соединяет сейчас общий траур, не допускающий дальнейших слов» [23]. Точно так же «общая верноподданность» «не допускала» Гете до тех «дальнейших слов» об Александре I, до которых «допускали» себя такие плохие верноподданные, как Пушкин или Рылеев. Русский двор и правительство много сделали, чтобы завоевать это «верноподданничество» Гете, и ценили его высоко.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. Чарторижский, Мемуары, т. I, стр. 358.

[2] «W. A.», III Abt., B. III, S. 363. Запись от 22 июля.

[3] В письме к Буассере от 8/VIII. Цитирую по Бельш., т. II, стр. 285.

[4] Экк., т. II, стр. 176.

[5] «W. A.», III Abt., B. III, S. 389. Жан Ланн, герцог Монтебелло, французский маршал (1769—1809).

[6] Bied., B. I, S. 537, № 1097.

[7] Бельш., т. II, стр. 285.

[8] Экк., т. I, стр. 71, 75.

[9] Экк., т. II, стр. 178.

[10] Бельш., т. II, стр. 282.

[11] Экк., т. I, стр. 76.

[12] Экк., т. I, стр. 77.

[13] «W. A.», III Abt., B. III, S. 248.

[14] Bied., B. I, S. 549, № 1110.

[15] Там же, стр. 542, № 1103.

[16] Там же, стр. 544, № 1103.

[17] «W. A.», III Abt., B. III, S. 248.

[18] Bied., B. I, S. 549, № 1110.

[19] Бельш., т. II, стр. 290.

[20] Там же.

[21] «W. A.», III Abt., B. V, S. 80.

[22] Bied., B. II, S. 180—181.

[23] «W. A.», III Abt., B. IV, S. 133—134. Однажды случилось Гете похвалить вкус Александра I. 12 июля 1806 года он писал из Карлсбада Шарлотте фон Штейн: «Число курортных гостей за четырнадцать дней сильно возросло. Список доходит числом до 650. Среди последних приезжих—прекрасная княгиня (! *С. Д.*) Нарышкина, которая является доказательством того, что у Александра Первого вкус не дурен». («W. A.», IV Abt., B. XIX, S. 163—164). Гете имеет в виду любовницу Александра I—М. А. Нарышкину.

[24] Там же, B. III, S. 271.

[25] Bied., B. II, S. 318, № 1687.

[26] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 143.

[27] Там же, I. Abt., B. IV, S. 185.

[28] А. Лютер, Лебединая песнь Шиллера.—«Под знаменем науки», сборник в честь Н. И. Стороженка. М., 1902, стр. 351—352.

[29] «W. A.», IV Abt., B. XL, S. 187; III Abt., B. X, S. 330.

III. ТРИ ИМПЕРАТРИЦЫ И ГЕТЕ

А. ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА—ЧИТАТЕЛЬНИЦА „ИЕНСКОЙ ВСЕОБЩЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ“.—ГЕТЕ—РЕДАКТОР „ИЕНСКОЙ ГАЗЕТЫ“ И ЗАОЧНАЯ ЦЕНЗУРА РУССКОГО ДВОРА.—ВСТРЕЧИ ГЕТЕ С ЕЛИЗАВЕТОЙ АЛЕКСЕЕВНОЙ.—РАССКАЗ ФРЕЙЛИНЫ Р. С. ЭДЛИНГ.—ВЕРНОПОДДАННИЧЕСТВО ГЕТЕ.—ПИСЬМА ГЕТЕ К ЕЛИЗАВЕТЕ АЛЕКСЕЕВНЕ.

Б. ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ ФЕДОРОВНА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВЕЙМАРА.—ГЕТЕ—ОРГАНИЗАТОР И СОЧИНИТЕЛЬ ПРИДВОРНО-ТЕАТРАЛЬНОГО ЗРЕЛИЩА В ЧЕСТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ-МАТЕРИ.—ПОЭТИКО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ МАРИИ ФЕДОРОВНЕ.—ПЕРЕПИСКА ГЕТЕ С СЕКРЕТАРЕМ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ.—КНИГИ ГЕТЕ В БИБЛИОТЕКЕ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ В ПАВЛОВСКЕ.—МАРИЯ ФЕДОРОВНА—ЧИТАТЕЛЬНИЦА ГЕТЕ И СОБИРАТЕЛЬНИЦА ЕГО АВТОГРАФОВ.—НАГРАДЫ ГЕТЕ.—„УРОК“ ДЛЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.

В. ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА, ЕЕ SEHNSUCHT И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРЕПЕТ.—„ИДЕАЛИЗМ“ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ.—ПОСЕЩЕНИЕ ГЕТЕ НИКОЛАЕМ ПАВЛОВИЧЕМ И АЛЕКСАНДРОЙ ФЕДОРОВНОЙ В 1821 Г.—СТИХИ ГЕТЕ НА ЭТОТ СЛУЧАЙ.—ГЕТЕ УВЕНЧИВАЕТ БЮСТ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ.—ПОРУЧЕНИЯ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ К ГЕТЕ.—МЕСТО АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ В ГЕТЕАНСКОЙ ПОЛИТИКЕ НИКОЛАЯ I.

А

В 1813—1815 гг. Россия придворная, дипломатическая, военная дневала и ночевала в Веймаре.

В эти годы Гете знавал фельдмаршала кн. М. Б. Барклай де Толли, генералов Ф. П. Уварова, Тормасова, кн. Н. Г. Репнина (Волконского), Орлова-Денисова, Бенкендорфа, гр. Ф. В. Растопчина, дипломатов—канцлера гр. Н. П. Румянцева, послов—кн. А. Б. Куракина (Париж), гр. Ливена (Лондон), барона Алопеуса (Берлин), кн. Барятинского (Мюнхен) и многих других [1]. Целая галлерея деятелей 1812—1814 годов! С Гете перезнакомились десятки русских—одни вольно, другие—по должности, и эту пору должно считать эрой в истории русского гетеанства. Гете, легализованный императором, был объявлен легальным Монбланом европейской культуры, взбираться на который было разрешено, а—примером двора—даже рекомендовано русским туристам.

Пример гетеанского туризма показывали императрицы. Императрица Елизавета Алексеевна была читательницей «Иенской Всеобщей Литературной Газеты». Гете не мало в ней сотрудничал, и императрица читала его статьи и рецензии. В 1803 г. с «Газетой» произошла история. Пруссия сманила к себе ее издателя, профессора Шюца: за десять тысяч талеров он согласился перенести издательство в Галле. Гете употребил все усилия, чтобы с 1 января 1804 г., в противовес этой «Всеобщей Литературной Газете» в Галле, в Иене попрежнему выходила «Иенская Всеобщая Литературная Газета». Ей он отдавал много труда как главный руководитель и сотрудник. Императрица осталась верна Гете и продолжала читать его «Иенскую Газету».

Этот третьестепенный факт «гетеаны», что русская императрица читала и читает газету, возглавляемую Гете, приобретает далеко не третьестепенный интерес, если мы вчитаемся в одну из записок, посланную Гете-редактором, живущим в Веймаре, к своему помощнику, профессору филологии Генриху-Карлу Эйхштедту (Eihstädt, 1772—1848), живущему в Иене. 27 января 1804 г. Гете посылал ему пакет с просмотренным материалом для газеты и писал:

«Приложенные заметки достаточно интересны для Intelligenzblatt. Так как нашу газету читают в Петербурге при дворе, то важно, чтобы все тамошние дела являлись у нас освещенными в надлежащем смысле» [2]. Прославленная газета немецкой культуры—по приказу ее редактора—должна была применяться к читательнице из Зимнего дворца. Весь материал, касающийся русской жизни, помещаемый в газетном приложении к литературному изданию, должен был проходить как бы заочную цензуру русской императрицы. А материалу, посвященному России, газета уделяла видное место.

В 1804 г. у Гете еще не было никаких прямых сношений с русским двором и кавалерство св. Анны было еще впереди, но он знал, что делал, когда инструктировал своего ученого помощника кроить и шить русские известия по мерке, прикидываемой заочно на Елизавету Алексеевну и ее двор.

В январе 1804 г. уже шло сватовство наследного Веймарского принца к Марии Павловне: в июле она появилась уже в Веймаре. И Гете, учитывая не только то, что императрица Елизавета—родная племянница великой герцогини, но и то, что идет сватовство политически важное для Веймара и выгодное для двора, заранее принимал меры, чтобы в редактируемых им изданиях не появлялось ничего, что могло бы вызвать тень неудовольствия русского двора. Елизавета Алексеевна встретилась с Гете в январе 1814 г., когда поехала из Петербурга проведать своих баденских родственников. Она читала Гете. Льстивый Уваров даже сказал про нее: «Расин хотел бы ее иметь судьей, и Гете не написал ничего классического, что не привлекло бы ее внимания» [3]. Вот рассказ о пребывании императрицы в Веймаре, принадлежащий перу фрейлины гр. Р. С. Эдлинг:

«Солнце светило по-весеннему, и все встречное принимало более веселый вид, так что в Веймар мы приехали в очень хорошем расположении духа. Некогда в Петербурге я знала великую княгиню Марию Павловну. Она выразила мне удовольствие, что опять меня видит. Веймарский замок очень красив и все устроено в нем на широкую ногу. Двор многолюднее и богаче берлинского.

Принимала герцогиня, тетка императрицы, поистине с величавым достоинством, так что нам казалось, что ей надобно быть не в Веймаре, а разве на престоле Людовика XIV. Своими важными и в то же время изящными движениями напоминала она времена протекшие, и Вальтер Скотт мог бы поместить ее в какой-нибудь из своих прелестных исторических романов. Хотя императрица торопилась на свидание со своими, но ее уговорили принять бал и быть на представлении гетевой трагедии. Я познакомилась с этим славным поэтом; но в том, что он говорил, напрасно искала я следов пламенного воображения, плодами которого наслаждаются его современники. Передо мною был холодный, рассчитанно-приличный царедворец, удовольствованный лентою и чином. Его движения как-то странно противоречили прекрасной и благородной его наружности, напоминающей изваяние Юпитера. Однако случалось, что взор его оживлялся, и какое-нибудь счастливое выражение обличало в нем поэта» [4].

Елизавета Алексеевна пробыла в Веймаре всего два дня: 28 января Гете отметил в дневнике: «Ожидание русской императрицы. В 5 часов ко двору», а 31-го уже записал: «Русская императрица уехала» [5]. Из письма Елизаветы Алексеевны к своей матери, маркграфине Баденской Амалии, от 30 января видно, как она рвется из Веймара и высчитывает минуты, когда очутится в Бадене [6]. Но есть вещи, задерживающие и императриц против их желания. Гетеанство сделано было в Веймаре столь официальной обязанностью, что его просто требовал придворный этикет, и как ни спешила Елизавета Алексеевна к своим баденским родственникам, еле-еле отдышавшимся от наполеоновской опеки, она уплатила дань гетеанской политике двух дворов: посмотрела «гетеву трагедию» и познакомилась на представлении с автором, который был и директором театра. Все это Елизавета Алексеевна исполнила с покорностью и холодностью туриста, которому и совесть, и долг запрещают миновать достопримечательность, которая, сама по себе, вовсе не интересует туриста. Любопытна и веймарская тетушка. Она на-

стояла на том, чтоб один из двух веймарских вечеров императрица уделила на «Ифигению» с Гете. Сама она была далека от восторгов пред Гете, но твердо стояла за прерогативу и честь веймарского двора потчевать гостей «своим» Гете, показывать всем великим земли «ручного» великого поэта. Этим действительно мог гордиться не всякий двор: английскому двору решительно не повезло с приручением Байрона, Николай Павлович приручал, да не приручил Пушкина.

Умная и наблюдательная фрейлина дала превосходную, социально значительную зарисовку Гете. У нее он—тоже Юпитер, как у всех, но Юпитер в анненской ленте, с движениями и разговором, подобающими не «олимпийцу», а «тайному советнику и кавалеру» в приемной еще более высокой особы. Портрет этот тем ценнее, что Эдлинг узнала впоследствии Гете ближе—и не изменила пропорций этой зарисовки. В 1817 г. Роксандра Скарлатовна Стурдза (1786—1844), сестра известного реакционного писателя, вышла замуж за графа Альберта Эдлинга (1774—1841), который служил прежде в Саксонии, а затем принял должность маршала, театрального интенданта и министра иностранных дел в Веймаре.

Писательница Иоганна Шопенгауэр, мать философа, знавшая всех и вся в Веймаре, так отозвалась о графине Эдлинг: «Она не молода и не хороша собою. Кажется, старше его, но очень добра, очень образованна, очень серьезна и умела в высшей степени завоевать уважение двора и города» [7].

В 1819 г. Эдлинг оставил службу, но они жили в Веймаре до 1822 г., когда переселились в Россию. Александр наградил их в 1824 г. владением в Бессарабии, которое составляло, по величине, $^{1}/_{17}$ часть всего Веймара: они получили 10 000 десятин в Буджакских степях. Там Эдлинги завели свое аграрное «княжество», пользуясь как веймарские помещики вольнонаемным, а не крепостным трудом; супруг занялся сверх сельского хозяйства еще изучением древностей юга России, а супруга—благотворительностью. Вигель находил в графе сходство с добродетельно-хозяйственными баронами из романов семейственно-консервативного Августа Лафонтена. Что находил Гете в графе и графине, мы не знаем, но он встречался с ними и раза 2—3 отметил встречи и в дневнике: «В ботаническом саду. Граф и графиня Эдлинг. Прогулка. Дамы и свита. Осмотр музея. Обед» (2 мая 1817 г.). «К принцессам в Бельведер. Нашел там наследного великого герцога с супругой, также графиню Эдлинг» (22 октября 1818) [8].

Графиня же Эдлинг, уже при первом свидании с ним на представлении «Ифигении», рассмотрела его достаточно зорко: ее отзыв—один из немногих, где нет юпитеропреклонения.

*

Во второй раз Гете встретился с Елизаветой Алексеевной в ноябре 1815 г. 11-го числа он внес запись: «При дворе. Прибытие императрицы. Представление за столом» [9]. Императрица пожелала возобновить подписку на «Иенскую Литературную Газету». Гете был очень польщен и 1 декабря послал царице нарочито верноподданническое письмо, какого ни одна императрица не дождалась ни от Пушкина, ни от Жуковского, ни от Тютчева: «Исполнять высочайшие приказания для меня—святой и приятнейший долг. Посему препровождается Вам «Иенская Литературная Газета» со всеми вышедшими до сих пор прибавлениями к ней и будет высылаться до конца настоящего года, а также и за первую четверть следующего. Ваше величество убеждены, сколь бесконечно ценю я случай в немногих, но искренних словах выразить Вам мое приверженнейшее почтение и безграничную благодарность за оказанное мне доверие». 12 июня 1816 г.

Автограф письма Гете к редактору „Иенской Всеобщей Литературной Газеты“ Г. К. Эйхштедту от 23 сентября 1808 г.

Институт книги, письма и документа, Ленинград

Гете опять писал императрице: «По высочайшему приказанию был заготовлен экземпляр «Иенской Литературной Газеты» за первые три четверти 1815 года, который, как я надеюсь, в конце прошлого года Вы, Ваше Величество, получили. Теперь, вместе с письмом, препровождается, с должным почтением, экземпляр за последнюю четверть прошлого и за первую текущего года. Пусть оба доставят удовольствие Вашему Величеству. Эти листы, и ранее обратившие на себя некоторое внимание, становятся для меня тем ценнее, что доставляют мне счастье удостоверить Вашему Величеству чувства непрестанного почтения и преданности» [10]. 26 декабря Гете не забыл внести в дневник: «Деньги Вульпиусу на литературную газету для русской императрицы» [11].

В 1815 и 1816 гг. императрица Елизавета Алексеевна оставалась читательницей и подписчицей газеты Гете: это означало, что за 12—13 лет Гете не допустил в ней напечатать ничего, что сколько-нибудь могло бы быть неприятно его петербургским августейшим читателям. Мудрено ли, что репутация его в глазах петербургских «августейших» была безукоризненна?

Б

В декабре 1818 г. Гете познакомился со второй русской императрицей— Марией Федоровной.

Она первенствовала при петербургском дворе и в 1818 г. явилась первенствовать, а может быть отчасти и ревизовать его веймарский филиал. У нее была в одах и рескриптах творимая слава «человеколюбицы» и пересоздательницы рода человеческого по разделу благотворительной педагогии. Гете издавна знал об этой ее деятельности и плохо верил в ее результаты.

Прибытие Марии Федоровны в Веймар было событием, у которого была своя экономика и политика и потому должна была быть своя риторика и сценическо-поэтическая монтировка. Экономику и политику этого события Гете понимал очень хорошо, оттого он в дневнике своем отмечает с прилежностью все, что относится к «императрице-матери». Можно дивиться, что он находил охоту в интимном дневнике отмечать «рождения» и «именины» всероссийской «maman»: он делал это в 1810, 1811, 1817, 1819, 1826 гг. Но для Веймара это были такие же «высокоторжественные дни», как для Российской империи дни, в какие получались «монаршие милости» и «знаки благоволения», материально весьма чувствительные, и Гете тут не отставал от Веймара.

Еще задолго до приезда Марии Федоровны Гете получил от Марии Павловны заказ на поэтико-театральное оформление пришествия императрицы-матери. Это был не первый заказ такого рода. 16 февраля 1810 г. в Веймаре уже было маскарадное шествие народностей России, блаженствующих под скипетром Александра I,—«Maskenzug russischen Nationen», и Гете написал для него три стихотворения—«Festlied», «Gastlied» и «Brautlied» [12]. На этот раз заказ был гораздо серьезнее: требовалось в форме маскарадного шествия со стихами, декламацией и драматическим действом представить императрице-матери некий отчет о прошлом и настоящем процветании Веймара, нужно было сделать аллегорический доклад о процветании наук и искусств в Веймаре под покровительством Марии Павловны, ее свекора и свекрови. В предисловии к исполненной работе Гете так определил принятый заказ: «Когда ее императорское высочество, наследная великая герцогиня саксен-веймар-эйзенахская, изволила милостиво устра-

ивать нижеописываемое торжественное шествие, их высочества повелели: чтоб при этом были показаны местные плоды воображения и размышления и чтобы были даны намеки на многолетние и разнообразные достижения» [13].

23 ноября Гете отметил «прибытие в Веймар императрицы-матери, вечером в 6 часов, сопровождаемое колокольным звоном» [14].

Марию Федоровну скоро стали угощать Гете: 3 декабря в Веймарском театре был дан «Магомет» Вольтера в переводе Гете, с «Прологом» в честь императрицы-матери, поднесенным ей и в виде отдельного роскошного издания [15]. 9 декабря Гете был ей представлен Марией Павловной [16].

Пока готовился поэтико-маскраданый отчет, императрица-мать ездила по веймарским учрежденьицам и принимала «местные» отчеты: так 17 декабря «обозрела» она библиотеку, а тремя днями раньше Гете записал: «Оттилия поздно вернулась из школы, где императрица провела вечер» [17]. Гете пришлось быть не только сочинителем текста «маскарадного шествия», но и превратиться в режиссера, что видно из дневника: «Ульрика сообщила о дальнейшей организации шествия» (4 декабря). «Я был занят приготовлением к шествию» (17 дек.), и в самый день шествия: «Последние хлопоты в связи с шествием. С половины 10-го до 1 ч. репетиция в Городской Думе. Крейтер пополнил хороший экземпляр стихотворений для шествия. В 6 часов сбор масок в галерее великой княгини. В 8 ч. выступление. Бал до утра» [18]. Шествие затеяно было Гете повидимому слишком сложно для веймарских камер-артистов, и не обошлось без шероховатостей. В своей записи «итогов 1818 г.» Гете отозвался об этой затее с большою серьезностью: «Маскарадное шествие для ее величества императрицы-матери должно было представить в отдельных группах плоды многолетней поэтической деятельности веймарского кружка муз. И эти группы, появляясь перед высочайшими особами, должны были соответствующими стихами пояснять, что они изображают. Это произошло 18 декабря и порадовало милостивым приемом и радует длящимися воспоминаниями» [19]. Как бы посмеялся и над этой записью, и над этими трудами Гете по монтировке пришествия царицы-хозяйки его Мефистофель, которого в «шествии» изображал сын Гете—Август! Гете положил большой труд на эту российско-веймарскую затею: все, написанное им для этого «шествия», занимает семьдесят четыре страницы текста веймарского издания—размер целой трагедии.

Ко дню «маскарадного шествия» все, написанное для него Гете, было издано в виде отдельных роскошных изданий, которые были поднесены императрице, отпечатанные на толстой веленевой бумаге, с золотым обрезом, в переплетах из цветной кожи и сафьяна (maroquin), с цветными шелковыми форзатцами. Чего-чего не было издано: и «Предварительное изъяснение» («Vorläufige Anzeige»), и пояснение представленных живых «картин», и разъяснения сыгранных «шарад»,—целая литература около одной политико-маскарадной затеи [20]. Основным было издание «Bey Allerhöchster Anwesenheit Ihro Majestät der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna in Weimar Maskenzug 1818» («Маскарадное шествие по случаю высочайшего пребывания в Веймаре ее величества императрицы-матери Марии Федоровны»). Книжка состоит из прозаического предисловия, изъясняющего затею, из сложной поэтической драматизации («драматической кантаты») Гете «Festzug dichterische Landes-Erzeugnisse, darauf aber Künste und Wissenschaften vorführend» («Праздничное шествие, представляющее поэтические плоды страны, а затем—искусства и науки»), исполненной

участниками шествия, и из списка придворных, разыгрывавших в нем роли. Когда Гете писал все это, у него в это время столько было неоконченного, недописанного, недовершонного из его подлинных трудов: «Фауст», «Поэзия и правда»!.. Впрочем для Гете это было—исполнением его обычного придворно-поэтического дела, и он так его исполнил, что российская полухозяйка Веймара была им очень довольна. Поэтико-маскарадный отчет был принят милостиво, и Гете как удачливый составитель на другой же день был принят императрицей. Гете был Марией Федоровной заласкан, если верить его письму к С. С. Уварову от 21 декабря: «нисколько не будет восточной гиперболой, если я правдиво выражу то, что ощутил я, когда был представлен ее величеству императрице и увидел себя осыпанным милостями, доверием, подарками; я не нахожу в себе для этого слов и от души предоставляю Вам, чтимый друг, самому истолковать это и, при случае, где возможно, довести до сведения в высоких местах» [21].

Это письмо—тоже своего рода служебно-верноподданнический отчет: вот-де как воспринимается мною, таким-то «советником и кавалером», монаршая милость. Если б это словоизлияние читатель прочел, не зная, кто, к кому и о ком персонально здесь взывает, то он решил бы, что это подданный говорит о своей государыне, а обращается к ее более приближенному слуге. Поименование их Вольфгангом Гете, Марией Федоровной и С. С. Уваровым не меняет дела: безыменное определение сохраняет свою силу, так как действительные отношения Гете к русскому двору действительно и походили на отношения верноподданного из породы камергеров и гофмаршалов.

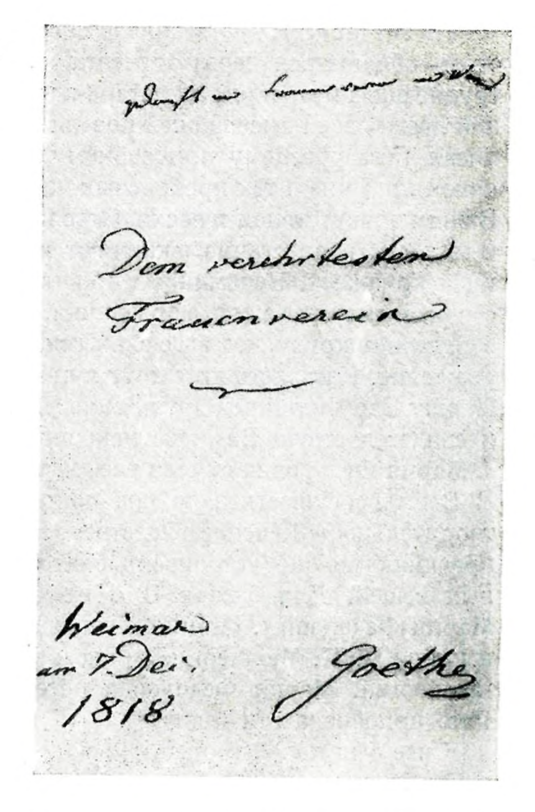
Императрица приняла Гете в 1 ч. дня 19 декабря, а немного позднее его посетил секретарь Марии Федоровны Г. А. Вилламов и остался у него обедать; 21 декабря Вилламов повторил свое посещение [22]. Из Петербурга был прислан Гете подарок императрицы: это была драгоценная табакерка с портретом императрицы Елизаветы Алексеевны [23]. Гете обменялся письмами с секретарем Марии Федоровны.

Первый написал ему Вилламов (печатается впервые):

С. Петербург, 7/19 марта 1819.

Ваше Превосходительство.

Я не посмел бы обеспокоить вас письмом, несмотря на мое страстное желание высказать Вам мое глубокое уважение и сердечное влечение, если бы меня не ободрила на это графиня Каролина своим лестным заверением в тех дружелюбных чувствах, которыми Вы удостаиваете меня. Я живо представляю себе, как много беспокойства Вы испытали в Вашей жизни от посторонних корреспондентов, не думавших о своей назойливости, когда они писали Гете, но лишь о надежде, что блеск этого имени озарит и их ничтожество. Я сознаюсь откровенно, что у меня было слишком много самолюбия, чтобы вмешаться в толпу этих посторонних писак, надоедливая толкотня которых с негодованием отбрасывается в сторону, и вместе с тем не достаточно самолюбия, чтобы вообразить себе, что мое письмо могло бы представить какой-либо интерес для Вас и, таким образом, я не знал, как мне поступить, чтобы добиться наслаждения выразить Вам свои чувства. Я был тем более смущен, что я не чувствовал себя даже в силах выразить их таким образом, чтобы они показались Вам подлинным языком сердца, а не голой фразеологией, что было бы мне самому в высшей мере противно и, по моему мнению, также недостойно и Вас. Поэтому


Dem verehrtesten
Frauenverein

Weimar
am 7. Dec.
1818

Goethe

Дарственная надпись Гете от 7 декабря 1818 г. на экземпляре книги Müller'a „Paris im Scheitelpunkte...“
Из бывшей библиотеки Марии Федоровны
Библиотека б. Павловского дворца, Ленинград

я предпочел воспользоваться посредничеством нашего общего друга, графини Каролины, и я надеюсь, что она Вам так тепло, как бы я этого хотел, рассказала, как меня влечет к Вам духом и сердцем, как живо я сожалею о том, что я наслаждался лишь столь недолго Вашим обществом, и как лестно мне было бы заслужить за это короткое время знакомства Ваше доброе мнение. Я должен лишь чистосердечно признаться, что у меня было достаточно самомнения надеяться, что более частое и продолжительное общение завоевало бы мне, быть может, Ваше расположение, но после моего столь беглого посещения я не мог себя льстить этой надеждой. Представьте себе поэтому, как я был бы горд, если бы я имел уверенность, что я был так счастлив оставить у Вас мысль быть достойным более близкого знакомства или даже Вашей дружбы. Если бы даже этого и не было, что весьма возможно, то я прошу Вас быть, по крайней мере, уверенным в моих чувствах, в моем глубоком, сердечном уважении, заверить Ваше любезное семейство в моей неизменной памяти о нем и временами помнить, что на далеком севере живет человек, который счастлив тем, что он знает не только писателя, как вся Европа, но и человека, который страстно желал бы, чтобы Вы нашли его достойным Вашей дружбы, и который всю свою жизнь будет помнить свое краткое пребывание в Веймаре.—Но может быть я уже слишком долго дал говорить своему сердцу. Будьте здоровы и не забывайте совсем

Вашего Превосходительства
преданнейшего
Г. Вилламова.

Могу я попросить передать вложенное графине Каролине?

Гете тотчас (12/IV) отвечал Вилламову. Письмо Гете написано с тем искусством обращаться через адресата к другому лицу, гораздо высшему, что трудно поверить, чтобы секретарь-адресат не доложил этого образца утонченной лести своей высочайшей повелительнице. «Ваше превосходительство,— писал Гете русскому придворному,—дружественным и любезным письмом напомнили мне о тех прекрасных часах, когда я имел счастье наслаждаться Вашим присутствием и восхищаться высокой дамой (hohe Frau), чья память и милость непрестанно оживляют меня и укрепляют в том добром, что за мною признают. Вспоминайте при чтении стихов, вылившихся из преданного сердца и мысли по случаю праздника, о прекрасных часах, когда Вы, находясь в интимном кругу, как бы с равными, внушили и нам прочное на всю жизнь уважение. Как часто этот круг лиц отдается дорогому о Вас воспоминанию. Прошу Вас достойным друзьям передать приложенную тетрадь и мой привет и свидетельствую Вам мое искреннее почтение» [24].

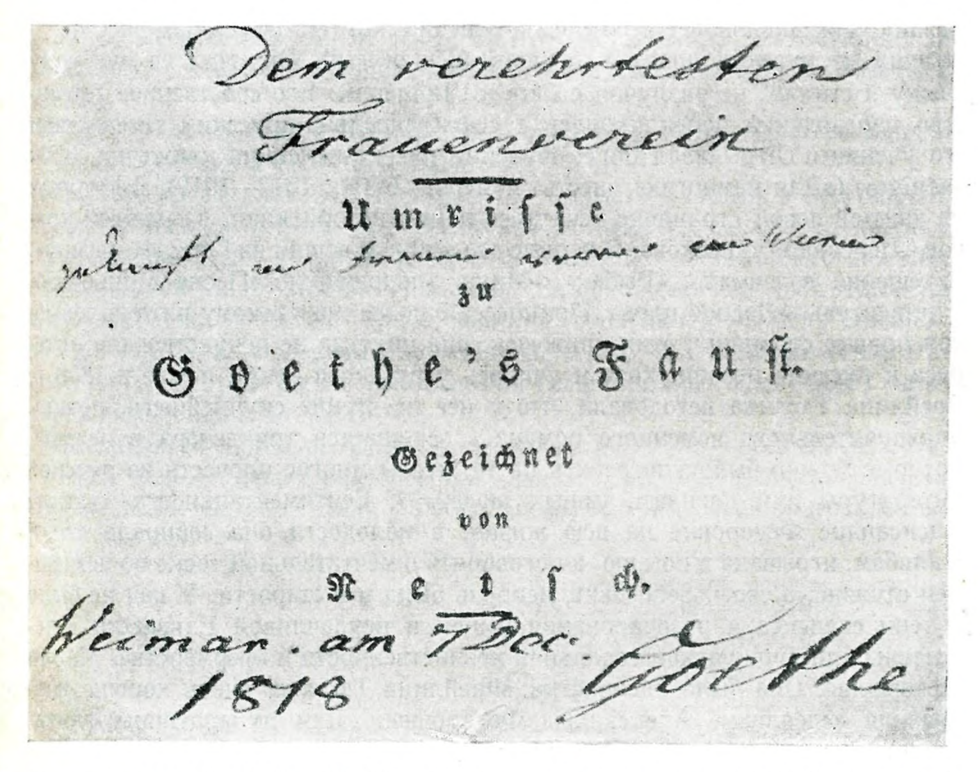
Мария Федоровна сумела весьма тонко изъявить Гете свое благоволение. В Веймаре существовало под покровительством Марии Павловны благотворительное «Женское общество» (Frauen Verein). Перед рождественскими праздниками оно устраивало благотворительные базары из пожертвованных вещей. Для базара 1818 г., совпавшего с пребыванием в Веймаре Марии Федоровны, Гете пожертвовал папку с рисунками Рича к «Фаусту» и книгу В. Х. Мюллера «Париж в зените», снабдив их собственноручными надписями. Мария Федоровна посетила базар и в особую любезность к Гете приобрела эти книги [25].

У нее был какой-то читательский (кто не читал тогда «Вертера»?) пиетет к Гете: она покупала и позднее книги с его автографами: в ее библиотеке оказался экземпляр «Германа и Доротеи», купленный для нее на рождестве 1827 г. с такого же базара: из всего Гете нельзя было выбрать более подходящего чтения для хозяйственно-сентиментальной императрицы, декорировавшей придворную идиллию в своем Павловске. В другой раз она приобрела рукопись гетевой переделки «Ромео и Юлии» Шекспира с автографом Гете. «Императрица попрощалась», замечает Гете 20 декабря, а на следующий день совсем по-камергерски докладывает сам себе: «С ее высочеством Марией Павловной к императрице. В половине 3-го обратно... Отъезд императрицы, последовавший в 5 ч. при звоне всех колоколов, как при ее прибытии» [26].

Императрица-мать до конца жизни была благосклонна к Гете. В ноябре 1828 г. канцлер Мюллер, одновременно с излиянием своих и веймарских чувств по поводу смерти императрицы, сообщил Жуковскому: «Гете только что получил от Вимана из Берлина великолепный бюст вашей милостивой императрицы и обрадован им несказанно» [27]. Жуковский, как известно, написал длинную элегию на смерть императрицы: она тотчас же была издана отдельной книжкой, и для единства придворных русско-веймарских отношений характерно, что в ответ на свою эпистолярную элегию канцлер Мюллер получил стихотворную элегию русского придворного поэта в двух видах: русском и немецком [28]. Нет сомнения, что Гете читал эту элегию своего собрата по придворной музе.

Как было русскому двору не ценить и не «осыпать милостями, доверием, подарками» Гете по его подлинным словам? Он был первый поэт своего века—и с тщанием и с рачением исполнял все нужные заказы своего дворика, спаянного со всероссийским двором. Он не только ревностно сочинял свой «Maskenzug», но и ревниво следил за его печатной репутацией. Вот

что записал канцлер Мюллер 22 января 1819 г.: «Мне кажется, будто Гете недоволен описанием праздника в «Журнале мод» и имеет на меня подозрение, что я помогал» [29]. Кто из русских писателей мог бы не только заботиться об отзывах о подобной стихотворной безделке,—кто из русских поэтов XIX в. мог бы согласиться написать на заказ подобный «Maskenzug»? Граф Дм. Ив. Хвостов, престарелый Ю. А. Нелединский-Мелецкий или еще какой-нибудь одописец из четверостепенных? Даже на действительного тайного советника И. И. Дмитриева надежда была плоха, даже на мягкосердечного В. А. Жуковского нельзя было уповать. А чтоб напи-



Дарственная надпись Гете от 7 декабря 1818 г. на экземпляре книги „Umrisse zu Goeth's Faust. Gezeichnet von Retsch“

Из бывшей библиотеки Марии Федоровны

Библиотека б. Павловского дворца, Ленинград

сал А. С. Пушкин... кто же бы из придворных и императриц смел на это надеяться? Вот Жуковский для той же императрицы-матери составил однажды полукомический, полумечтательный «Отчет о луне» и то был высмеян друзьями и следующего «отчета»—о «солнце» или «звездах»—уже не написал. А Гете представил целый поэтико-дипломатический отчет в действии, никем не был высмеян и с полной серьезностью принимал «высочайшие» благодарности. Как же было русскому двору не ценить и не хвалить Гете? Дорого бы дал этот двор, еслиб русские поэты следовали примеру патриарха мировой поэзии! А они, вместо сооружения Maskenzug'ов, обстреливали двор дробью эпиграмм (Пушкин, Вяземский) или негодующих сатир (Рылеев). Гете был пример, которому плохо следовали в России, но который именно поэтому и выдвигался официальными «гетеанцами» для всеобщего подражания.

В

Третья императрица—знававшая Гете еще великой княгиней—Александра Федоровна была «вертерьянка» на троне; недаром ее и звали Шарлоттой. Она росла в те годы, когда всякая немецкая принцесса считала долгом этикета уронить слезу над «страданиями молодого Вертера» и принять участие в бесконечной стихотворной переписке между Шарлоттой и Вертером, наполнявшей тогда все альбомы принцесс, графинь и знатных бюргерш. Когда в 1817 г. Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина Прусская приехала в Петербург и сделалась русской Александрой Федоровной, выйдя за Николая Павловича, в преподаватели русского языка ей дан был крупнейший из русских поэтов-гетеанцев—Жуковский. Он учил ее русскому языку и стихам, не разлучая с Гете и Шиллером. Его собственное гетеанство переводчика перекликалось с сентиментально-прусским гетеанством его ученицы. Он выдавал для ее обучения русско-немецкие книжечки: «Für Wenige» («Для немногих», шесть номеров, СПБ., 1817—1819), в которых на каждой левой страничке печатался немецкий оригинал, на каждой правой—перевод Жуковского. В первые две книжки вошли из Гете: «К месяцу», «Утешение в слезах», «Рыбак», «Мина» (подражание «Песне Миньоны»), в четвертую—«Лесной царь». Принцесса больше повидимому читала левые, чем правые странички этих книжечек: она никогда не почувствовала интереса к русской поэзии, хотя и училась у русского поэта, и еще в 1858 г. фрейлина Тютчева негодовала, что у нее на чтение скучнейшего, пошлонравоучительного немецкого романа «посвящается три вечера в неделю, которые можно было употребить на то, чтобы многое прочесть из русской литературы или повидать умных людей» [30]. Сентиментальности хватило Александре Федоровне на всю жизнь: в молодости она собирала стихи в альбом, игрывала в поэзию, а поговорить о мечтательной тоске по нездешней отчизне, о своей Sehnsucht, непрочь была и в старости. У ней не было и тени скепсиса и разочарования умной и неудачливой Елизаветы Алексеевны или буржуазно-феодальной хозяйственности и «фермерства» Марии Федоровны. Она была идеалистка. Фрейлина Тютчева очень хорошо изобразила «идеализм» Александры Федоровны: «Для императрицы фантастический мир великолепных дворцов, роскошных садов, веселых вилл, мир зрелищ и фееричных балов заполнял весь горизонт, и она не подозревала, что за этим горизонтом, за фантасмагорией бриллиантов и жемчугов, драгоценностей, цветов, шелка, кружев и блестящих безделушек существует реальный мир, существует нищая, невежественная, наполовину варварская Россия... Александра Федоровна была добра, у нее всегда была улыбка и доброе слово для всех, кто к ней подходил, но эта улыбка и это доброе слово никогда не выходили за пределы небольшого круга тех, кого судьба к ней приблизила. Если она слышала о несчастьи, она охотно отдавала свое золото, если только что-нибудь оставалось у ее секретаря после расплаты по громадным счетам модных магазинов, но она принадлежала к числу тех принцесс, которые способны были бы наивно спросить, почему народ не ест пирогов, если у него нет хлеба» [31]. «Доброта» Александры Федоровны лучше всего характеризуется в ее истинном социальном смысле ее отношением к казни декабристов. В канун казни—12/24 июля—она писала в своем дневнике: «Ночью. Я так взволнована! Еще бы!—Столица и такие казни»,—и добавляла с рассудительностью прусской принцессы: «Это так опасно!» А на утро: «Что это была за ночь! Мне все время ме-

рещились мертвецы. Мой бедный Николай так много перестрадал за эти дни!» В ночь казни декабристов Александра Федоровна была очень добра... к их убийце, но чувствительность не покидала ее: «К счастью ему [Николаю] не пришлось самому подписывать смертный приговор» [32].

Впервые эта «добрая» крепостница увидела Гете в 1821 г., когда посетила его вместе с Николаем Павловичем.

Гете знал его и раньше. В марте 1814 г. находим три отметы в его дневнике. 8-го: «Ожидание великих князей»; 9-го: «Прибытие великих князей»; 14-го: «У их высочеств» [33]. Эти «великие князья»—Николай и Михаил Павловичи. Такой же характер носят и отметы 1815 г. 17-го октября: «Приехали их высочества»; 18-го: «Обед при дворе. Великие князья Николай и Михаил» [34]. Николай Павлович искал тогда себе невесту по немецким дворам.

В 1821 г. он приехал в Веймар уже с супругою, и русско-прусская вертерьянка совершила свое паломничество к Гете.

Сам Гете тогда уже жил в стороне от прямого участия в придворной жизни, и первая запись его дневника—2 июня—отмечает придворное подготовление Гете-хозяина к приему «высоких гостей». Его посетил «Гофмаршал великого князя Николая». Самое посещение состоялось на следующий день: «Великий герцог, великая герцогиня [по смыслу дальнейшего должно быть: наследная Мария Павловна.—*С. Д.*]. Великий князь Николай и его супруга. Наследный великий герцог пришел после всех. Оставались до половины второго» [35].

Александра Федоровна была чрезвычайно довольна посещением Гете. В тот же день, 3 июня, она спешила записать: «К моей великой радости сегодня, после обедни, я была у Гете... Он был ко мне очень благосклонен,

Дарственная надпись Гете от декабря 1827 г. на экземпляре издания „Hermann und Dorothea“ 1826 г.

Из библиотеки Марии Федоровны
Библиотека б. Павловского дворца, Ленинград

показывал мне превосходные средневековые медали. Мы вдвоем прошлись по саду, и я обещала ему мой бюст для его большого собрания бюстов. Он мне сказал, что моя мать и тетка Кумберландская воспитывались когда-то (wären erzogen worden) в его доме во Франкфурте на Майне»[36].

А сам Гете через пять дней внес в дневник заметку, что его «заботит альбом великой княгини Александры»[37]. Она потребовала от Гете стихов в ее альбом. Судя по записи, исполнение заказа далось Гете не без труда, но все-таки альбом Шарлотты украсился его стихами. Сам Гете снабдил его таким пояснением: «Благодаря своему почти совершенному одиночеству... я заслужил себе имя отшельника, который однако и в келье, и в саду почувствовал себя очень польщенным, когда его господин и повелитель привел к нему две любезные молодые четы, и этим стихотворением я осмелился отозваться на любезное посещение»[38].

Der Frühling grünte zeitig, blüthe froh,
Narciss, und Tulpe, dann die Rose so;
Auch die Früchte reiften mit gedrängtem Segen
Der nah und nähern Sonnengluth entgegen
Die zierten wechselnd längst ersehnte Zeit
Und schmeichelten der tiefsten Einsamkeit,
Da stellte sich den Hocherstaunten dar
Ein hehrer Fürst und Jugend Paar um Paar,
So gut als lieb, ehrwürdig und erfreulich,
Der innre Sinn bewahret sie getreulich
In Frühling-, Sommer-, Herbst- und Wintertagen
Die holden Bilder auf- und abzutragen;
So kann er dann bei solcher Sterne Schein
Auch wenn er wollte, niemals einsam sein.

(Весна зазеленела в срок, радостно зацвели нарцисс и тюльпан, а там и роза, и плоды зрели в теснящейся благодати навстречу все более близкому солнечному зною; они, сменяя друг друга, украшали давно жданное время и льстили глубочайшему одиночеству. Тогда пред изумленнейшим предстали державный государь и юные четы, добры и милы, достойны и приветливы. Внутреннее чувство смело хранит их в себе, то принося, то унося благие образы в весенние, летние, осенние и зимние дни; осиянный такими звездами, он отныне уже не может быть одиноким, даже еслиб того захотел).

Важные посетители могли быть довольны стариком Гете. Стихотворение было достаточно лирикообразно, чтобы не казаться холодно-льстивым стихотворным комплиментом.

В ноябре 1821 г. Гете написал письмо учителю Александры Федоровны Жуковскому; он сумел так его написать, что оно казалось больше письмом к ученице, и учитель, к удовольствию Гете, показал его ей.

Подводя, по обычаю, итоги 1821 году, Гете отметил: «Мне было даровано нежданное счастье почтить у себя в доме и в саду их императорских высочеств, великого князя Николая и его супругу Александру, в сопровождении наших милостивых повелителей. Мне дозволено было почтительно вписать несколько поэтических строк в великолепный и изящный альбом ее императорского высочества великой княгини»[39].

Строки эти нуждаются разве только в напоминании, что это—строки из интимного «ежегодника» Гете, где подводились им годовые итоги его

Первая страница автографа письма секретаря Марии Федоровны Г. Вилламова к Гете от 7 марта 1819 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

Последняя страница автографа письма секретаря Марии Федоровны Г. Вилламова к Гете от 7 марта 1819 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

«трудов и дней», радостей и печалей. Поистине он был русско-веймарским придворным столь добросовестным, каких мало было при обоих дворах.

Александра Федоровна в том же году прислала ему свой бюст, а через несколько лет в день своего рождения, 28 августа 1825 г., Гете получил еще и ее портрет и отметил это событие в дневнике [40]. Перед бюстом Александры Федоровны однажды случилось Гете совершить целый поэтический обряд. 22 марта 1823 г. Сорэ записал: «Сегодня, в празднование выздоровления Гете, в театре давали его «Тассо» с прологом Римера, который прочла г-жа Гейгендорф. Его бюст, при восклицаниях взволнованных зрителей, был увенчан лавровым венком. После спектакля г-жа Гейгендорф отправилась к Гете. Она была в костюме Леоноры и поднесла ему венок Тассо, который он принял, чтобы увенчать им бюст великой княгини Александры Федоровны» [41].

Александра Федоровна больше не видала Гете, но она знала очень хорошо все эти его увенчания и хвалы, которыми он наделял ее живую и мраморную,—знала и от Жуковского, и от Марии Павловны, и от всех русских высокопоставленных туристов, заезжавших в Веймар, и отвечала на то «милостями»: подарками и приветами через Марию Павловну. В неизданном письме Марии Павловны к императрице от 1/13 января 1830 г. читаем: «Je verrai Göthe demain et ne manquerai pas de lui redire celui dont Vous l'honorez» («Гете я увижу завтра и не премину повторить ему то, чем вы его почтили») [42]. В другом неизданном письме от 24/III—5/IV 1831 г. Мария Павловна пишет императрице: «Je m'acquitterai de votre ordre pour Göthe que je vais voir souvent et j'ai à vous dire d'avance combien il sera sensible et flatté de votre souvenir: il est étonnement bien, malgré son grand age et la perte de son fils en automne, son esprit n'a rien perdu de son intimité, de sa vivacité, et il s'intéresse à toutes choses». («Я исполню Ваше поручение к Гете, которого я часто буду видеть, и говорю Вам заранее, как он будет тронут и польщен Вашей памятью. Он удивительно бодр, несмотря на преклонный возраст и потерю сына осенью. Ум его (esprit) нисколько не утратил своей искренности (intimité) и живости, и он интересуется всем на свете») [43].

Из трех императриц, видевшихся с Гете, «гетеанство» Александры Федоровны было самым литературообразным: недаром она была ученицей поэта-гетеанца. Но она же была и ученицей императрицы-матери и всех своих немецких родственников: от них переняла она благоразумный обычай помогать своим супругам в установлении добрых дипломатических отношений с великими державами словесности. «Ласки» и «лестные памятования» Александры Федоровны, передаваемые еще более «ласково» и «лестно» Марией Павловной, так же превосходно поддерживали отношения Николая I с Гете I, как «милости» Елизаветы Алексеевны и особенно Марии Федоровны устраивали отношения Александра I с Гете I.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ср. записи дневников Гете: «W. A.», III Abt., B. IV, S. 294, 316, 320, 334, 335; B. V, S. 37, 45, 61, 62, 80, 88, 118 и др.

[2] «W. A.», IV Abt., B. XVII, S. 35—36.

[3] Из неизданной рукописи С. С. Уварова: «A la mémoire de l'Imperatrice Elisabeth». В. к. Николай Михайлович, Императрица Елизавета Алексеевна, т. III. СПБ., 1909, стр. 754.

[4] «Из записок гр. Эдлинг, урожденной Стурдзы. С неизданной французской рукописи».—«Р. А.», 1877, вып. 3, стр. 294.

[5] «W. A.», III Abt., B. V, S. 94.

[6] В. к. Николай Михайлович, Императрица Елизавета Алексеевна. СПБ., 1909, т. II, стр. 589—590.

[7] «Damals in Weimar». Erinnerungen und Briefe von und an Johanna Schopenhauer. Ges. u. hgg. v. H. H. Houben. Berlin, 1929. S. 225.

[8] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 45, 256.

[9] Там же, B. V, S. 191—192.

[10] Там же, IV Abt., B. XXVI, S. 170—171, № 7234; B. XXVII, № 7424, S. 54.

[11] Там же, III Abt., B. V, S. 297.

[12] «W. A.», I Abt., B. XVI, S. 228—231.

[13] Там же, стр. 334.

[14] Там же, III Abt., B. VI, S. 269, 274.

[15] «Vorspiel bey der Anwesenheit Ihro Keiserl. Majestät der verwittweten Kaiserin von Russland Maria Feodorowna auf dem Grossherzogl. Hoftheater zu Weimar aufgeführt am 3 Dec. 1818. Die Musik ist vom Herrn Chor—Director Häser, Weimar, 1818. Роскошно переплетенный веленевый экземпляр этого «Пролога» вместе с программами «Пролога» и «Магомета» сохранился в собственной библиотеке Марии Федоровны в Павловске. Обследование библиотеки Павловского дворца-музея, произведенное в 1927—1928 гг. членом Ленинградского общества библиофилов С. А. Мухиным, впервые обнаружило в ней целый ряд изданий, связанных с пребыванием Марии Федоровны в Веймаре (о них дальше), три книги и одну рукопись с автографами Гете. Все сведения об этих книгах и рукописи сообщены нам С. А. Мухиным, которому приносим признательность. Находка этих превосходно сохранившихся экземпляров очень ценна для характеристики связи Гете с русским двором.

[16] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 271.

[17] Там же, стр. 273.

[18] Там же, стр. 269—273.

[19] Там же, I Abt., B. XXXVI, S. 137. Описание торжества дала Адель Шопенгауэр в письме (от 2/II 1819) к брату, знаменитому философу (Johanna Schopenhauer, Damals in Weimar. Hgg. v. H. Houben, Berlin, 1928, S. 278).

[20] В Павловской библиотеке Марии Федоровны сохранились все эти редчайшие издания в двух видах: в более роскошном (на толстой веленевой бумаге большого формата, в кожаных и марокеновых переплетах и т. д.) и в более простом (на обычной веленевой бумаге, в папках и т. д.). Вот их список: 1) «Bey Allerhöchster Anwesenheit Ihro der verwittweten Kaiserin Aller Russen Majestät Maskenzug im December. Vorläufige Anzeige. Weimar, 1818. Kl.-in 8; 2) «Bey Allerhöchster Anwesenheit Ihro Majestät der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna in Weimar Maskenzug, 1818 (сохранился в одном роскошном экземпляре); 3) «Bey... (как в № 2) ...in Weimar. Festspiel Gemälde Darstellung in zwei Abtheilungen. Im December 1818. Kl. in 4; 4) «Bey... (как в № 2) ...in Weimar. Als Festspiel Charade Benennung eines Kleinodes älterer und neuerer Zeit in drei Sylben nach der Franken Sprache. Im Dec. 1818; 5) «Bey... (как в № 2) ...in Weimar. Als Festspiel Charade fünfsylbiger Name eines Malers im Alterthum. Im Dec. 1818».

[21] «W. A.», IV Abt., B. XXXI, S. 30.

[22] «W. A.«, III Abt., B. VI, S. 273—274.

[23] R. Jagoditsch, Goethe und seine russischen Zeitgenossen, S. 352.

[24] Письмо Вилламова печатается по фотографии с подлинника, хранящегося в Веймарском архиве; ответ Гете—в «W. A.», IV Abt., B. XXXI, S. 123, 8/20/V 1819 г. Вилламов отвечал Гете любезнейшим письмом. Оно будет напечатано в отдельном издании моей работы. «Графиня Каролина»—Эглофштейн (1789—1868), придворная дама Марии Павловны.

[25] См. об этих и следующих приобретених Марии Федоровны в статье А. Г. Габричевского «Автографы Гете в СССР».

[26] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 274.

[27] Schorn, S. 284. Письмо это у Ад. Шорн датировано «1 октября» 1828 г. Bied. («Goethe Gespräche, B. V, S. 164) датирует его «сентябрем». Ни та, ни другая датировка невозможны. Мария Федоровна умерла 5 ноября 1828 г. нов. ст. (24 октября ст. ст.). В письме же Мюллер прямо говорит о «невероятно внезапной кончине (Ableben) высокочтимой императрицы-матери» (S. 283).

[28] «Gefühle am Sarge Ihrer Kaiserlichen Majestät der Kaiserin Maria Feodorowna. In der Nacht vor ihrer Beerdigung. Von Shukofski».—Е. В. Петухов, Письма В. А. Жуковского к канцлеру Фридриху ф. Мюллеру. «Новый сборник статей по славяноведению, составл. и издан. учениками В. И. Ламанского». СПБ., 1905, стр. 342. В Веймаре так усердно горевали по Марии Федоровне, что едкая и умная

Иоганна Шопенгауэр не выдержала и написала приятелю: «Мы дремлем, в полусне делаем глупости, кутаемся в креп. Со смерти императрицы-матери в Петербурге у нас нет театра, мы все угрюмы и недовольны и вместе с тем благополучны» (Johanna Schopenhauer, Damals in Weimar. Berlin, 1929, S. 390—391).

[29] Müller, S. 34.

[30] А. Ф. Тютчева, При дворе двух императоров. М., 1928, стр. 178.

[31] А. Тютчева, При дворе двух императоров, стр. 103.

[32] «Междуцарствие 1825 г. и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи». Подготовил к печати Б. Е. Сыроечковский. ГИЗ, М., 1926, стр. 93.

[33] «W. A.», III Abt., B. V, S. 99, 100.

[34] Там же, стр. 188.

[35] Там же, B. VIII, S. 63.

[36] Bied., B. II, S. 503, № 1944.

[37] «W. A.», III Abt., B. VIII, S. 66.

[38] Там же, I Abt., B. IV, S. 5. Перевод А. Г. Габричевского.

[39] Там же, B. XXVI, S. 187.

[40] Там же, III Abt., B. X, S. 97.

[41] Экк., т. I, стр. 9—10.

[42] Особый отдел Центрархива. Фонд № 27 (Зимнего дворца), опись I, д. № 981. Орфография Марии Павловны (французский текст) соблюдена.

[43] Там же.

IV. НИКОЛАЙ I И ГЕТЕ

РАЗГОВОР НИКОЛАЯ I С ГЕТЕ О „ВЕРТЕРЕ". — НЕМЕЦКИЙ ТЕКСТ, РУССКИЙ ПЕРЕВОД И ФРАНЦУЗСКИЙ ПОДЛИННИК. — ИСТОРИЯ ЭТОГО РАЗГОВОРА КАК ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВ ЛЖЕЗАПИСОК А. О. СМИРНОВОЙ. — ПОЧЕМУ О. Н. СМИРНОВА ЗАСТАВИЛА НИКОЛАЯ I РАЗГОВАРИВАТЬ С ГЕТЕ О „ВЕРТЕРЕ". — „ГЕТЕАНА" В „НИКОЛАЕАНЕ" РУССКОЙ ФРЕЙЛИНЫ. — ИЗЪЯТИЕ „РАЗГОВОРА ГЕТЕ С НИКОЛАЕМ I" ИЗ ФОНДА НЕМЕЦКОЙ „ГЕТЕАНЫ". — ЗНАЧЕНИЕ „ГЕТЕАНСТВА" РУССКИХ ЦАРЕЙ И ИХ ЖЕН ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО ПРЕСТИЖА САМОДЕРЖАВИЯ В ЕВРОПЕ. — ПОДЛИННЫЙ РАЗГОВОР НИКОЛАЯ I О ГЕТЕ. — НИКОЛАЙ I В ВЕЙМАРЕ В 1829 Г. — ИНТЕРЕС ГЕТЕ К ЕГО ПРИЕЗДУ. — ПОДАРКИ НИКОЛАЯ I ГЕТЕ. — ГЕТЕАНСКАЯ ПОЛИТИКА И РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ.

Николай Павлович оказался счастливее своего брата: тому не повезло на разговор с Гете: до «Вертера», о котором все посетители считали долгом беседовать с Гете, дело не дошло; Николай Павлович, наоборот, беседовал с Гете о «Вертере» так удачно, что его разговор, подобно знаменитой беседе Наполеона, попал в «Разговоры Гете» Ф. Ф. Бидерманна. В виду важности этого документа русского императорского гетеанства, приводим его слово в слово:

«Die äussere Erscheinung des alten Olympiers muss Nikolaus ausserordentlich imponiert haben; denn der Kaiser bemerkte darüber: «Ein prächtiger Kopf, der Kopf eines Jupiter Stator». Weiter meinte der Kaiser: «Er hat durch seine göttliche Ruhe und durch sein ernstes gehaltenes Wesen einen ganz gewaltigen Eindruck auf mich gemacht. Er erweckte Achtung durch diese Ruhe und durch seine schlichte Haltung. Als ich ihn sah, war ich noch sehr jung, möchte mich noch nicht in ein Gespräch mit ihm einlassen und hörte der Unterhaltung der Aelteren zu. Nie vernahm ich von ihm eine inhaltslose Äusserung, über alles wusste er mit der Ursprünglichkeit eines Genies, eines Menschen voller eigener, nicht erborgrter Ideen zu reden. Goethe fragte mich, was ich über «Werther's Leiden» und über Werther selber dächte. Diese Frage, ich gestehe es, kam mir nun ein wenig unerwartet. Ich, ein junger Mann, wie hätte ich einem Goethe mein Urtheil über sein Werk mittheilen sollen! Er bestand aber auf seiner Frage und so meinte ich denn: ich hielte den Werther für einen schwächlichen Charakter, der sich einbilde, stark zu sein. Charlotte wäre wohl unglücklich mit ihm geworden, da sie eine Frau war, die zugleich achten und lieben wollte; diese Seelenstimmung erhebe

sie in meinen Augen.—Meine Antwort befriedigte Goethe vollkommen. Im Fortgange der Unterhaltung drückte Goethe seine eigene Meinung über Werther aus und bemerkte unter anderem, dass er nie die Absicht gehabt, den Selbstmord als interessant hinzustellen, dass er ihn vielmehr als ein sittliches Vergehen beurtheile» [1].

Николай Павлович скромен. Он не хочет походить на Наполеона; робеет пред Гете:

В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь.

Но когда «старший из старших», сам Гете, вынуждает его высказать это суждение, он заявляет с полной мужественностью: нет, он не одобряет Вертера за слабохарактерность, но он уважает Шарлотту за добродетель, и Гете принимает эту критику с полною готовностью извиниться за себя и за своего героя. Великолепный разговор! Пусть не с Наполеоном, но с кем-то, кто идет еще более величественной дорогой, несмотря на всю свою юность... Однако этот важный документ русского императорского «гетеанства» должен быть представлен читателю и по-русски. Вот он:

«У Гете в самом деле голова Юпитера Статора, прекрасная голова. Он произвел на меня сильное впечатление своим серьезным и безмятежным видом, он внушает почтение своим спокойствием и простыми манерами. Я был еще молод, когда увидал его, мне еще не о чем было разговаривать с ним, я слушал старших. Я никогда не слыхал от него ни одной банальной фразы. Он говорил обо всем с оригинальностью гениального человека, человека с собственными, а не заимствованными мыслями... Гете спросил меня, что думаю я о «страданиях Вертера» и о самом Вертере. Признаюсь, это меня смутило немного. Как в мои годы высказать Гете мнение о его книге? Но он настаивал, и я сказал, что Вертер показался мне слабохарактерным человеком, мнящим себя сильным, и что может быть Шарлотта была бы несчастна с ним, потому что она была женщина, желавшая и уважать, и любить в одно и то же время, и это чувство облагораживало ее. Гете был очень доволен моим ответом. Гете говорил при мне, что он никогда не думал выставлять самоубийство интересным и что он считает самоубийство малодушием.

Мне не пришлось переводить этот документ. Я взял его готовым с 85, 86 и 87 страниц «Записок А. О. Смирновой. Часть I. Петербург, 1895 г.» Некоторый труд потребуется лишь на то, чтобы уяснить читателю, каким образом я избавился на этот раз от труда переводчика и должен был заняться совсем другим трудом, разделяемым мною со многими современными русскими литературоведами,—трудом окончательного разоблачения этих «Записок Смирновой».

В X том «Разговоров Гете», вышедший в 1896 г., Бидерманн внес разговор Николая I с Гете из «Beilage zur Deutschen Warte», IV Jahrg., 1892, № 134. В свою очередь, в «Beilage» рассказ был напечатан «nach den Anzeichnungen Smirnows in der «Nordischen Biene».

В немецкой гетеанской литературе «разговор» имел успех. Бидерманн сохранил его в новом издании своей книги (1909), озаглавив так же коротко, но не ясно, как и в 1896 г.: «Smirnow: 1821, Mai». Его перепечатал Ганс-Гетхард Греф (Gräf) в своей известной книге: «Goethe über seine Dichtungen. Versuch einer Sammlung aller Äusserungen des Dichters über seine Poetischen Werke». Frankf. a/M., B. I, 2, S. 653. («Гете о своих созданиях

Опыт собрания всех отзывов поэта о своих поэтических созданиях»). Иными словами, разговор Николая Павловича с Гете о «Вертере» прочно вошел в фонд основной немецкой «гетеаны».

Попробуем выяснить историю включения его в этот фонд. Первое немецкое издание, поместившее разговор, «приложения» к «Deutsche Warte» [2], указали, что берут его из русской «Северной Пчелы», из каких-то «заметок» (или записок) Смирнова (или Смирновой). Бидерманн не мог, по его словам, сверить перевод с русским оригиналом [3]. «Северная Пчела» издавалась около полувека; не похвалимся полною исчерпанностью наших поисков, но пока они не дали никакого результата: никаких «заметок Смирнова» или «записок Смирновой» там не оказывается. Показательно и умолчание немецкого первоисточника о годе и номере «Северной Пчелы», откуда они извлекли «разговор».

Прочтя немецкий перевод «разговора» и русский текст приведенного выше отрывка из «Записок А. О. Смирновой», нельзя не поразиться полным их совпадением: за исключением нескольких незначащих слов в начале «разговора» и одной полуфразы в середине текст немецкий и русский совпадают буквально. Было бы очень легко, оставя в стороне «Северную Пчелу», решить, что гетелюбивая редакция «Deutsche Warte» просто дала перевод соответствующего места из французских «Записок Смирновой», печатавшихся в русском переводе в «Северном Вестнике», но решение это необосновано: «Записки» начались печатанием в «Северном Вестнике» с 1 февраля 1893 г., а «разговор» по-немецки появился еще в 1892 г. Откуда же редакция «Deutsche Warte» могла получить этот яркий кусок русской гетеаны?

Ужели в самом деле сотрудники невидного немецкого издания рылись в пыльных листах «Северной Пчелы»? Нет сомнения, они получили «отрывок» оттуда же, откуда редакция «Северного Вестника» получила «Записки А. О. Смирновой»—от Ольги Николаевны Смирновой, а сопроводительное пояснение, кивающее на «Северную Пчелу», было защитным цветом, в который Ольга Николаевна предусмотрительно выкрасила свою подделку: кто из немцев, в самом деле, станет рыться в ворохах «Северной Пчелы», полный комплект которой имеется лишь в Публичной Библиотеке в Ленинграде? Предположение О. Н. Смирновой оказалось верным: ни Бидерманн, ни Греф не проверили ее и, успокоясь на ссылке на русскую полуправительственную газету 20—60-х годов, внесли вымысел в фонд гетеаны.

В тот же 1892 г., когда О. Н. Смирнова «обогатила» гетеану, она готовилась обогатить пушкиниану: изготовляла французский текст поддельных «Записок А. О. Смирновой» для доверчивой редакции «Северного Вестника». В сущности, она не занималась ни гетеаной, ни пушкинианой: она создавала талантливую «николаеану», базируя на всех, на ком только было выгодно, свой апофеоз Николаю I.

Обладая архивом своей матери, чья репутация друга Пушкина, Жуковского, Вяземского была общеизвестна, О. Н. Смирнова, монархистка по убеждениям, измыслила такой яркий миф о великом поэте, покровительствуемом и хранимом царем, что миф этот дожил, как многие мифы истории, до нашего времени: на нем строились целые философии литературной истории, превращавшиеся в апологетики самодержавия (статья Мережковского «Пушкин»). Только в самые последние годы разрушена была у нас эта легенда, почти сорок лет бытовавшая в публике и в литературе. На Западе она бытует и доселе. Известный немецкий историк литературы и критик Евгений Цабель в своей статье «Гете и Россия»,

помещенной в специальном гетеанском издании, в 1921 г. пишет, толкуя о строгостях русской цензуры к Гете и Шиллеру: «Далеко не каждый поэт находил, подобно Пушкину, столь благородного повелителя (Herrn) в царе Николае, который пожал Пушкину, при его ссылке на юг, руку (?—*С. Д.*) и сказал ему: «Теперь я хочу быть твоим цензором» [4]. При всем фактическом убожестве этого сообщения, какая полная вера в легенду о грешном поэте и милостиво-мудром царе!

Успех смирновской «николаеаны» поистине был прочен. Ольга Николаевна не могла миновать в ней Гете.

Крупнее, прочнее, выше его не было никого из тех, на кого можно было опереть культурно-исторический апофеоз Николая I, воздвигаемый ею в лжезаписках ее матери. У нее были материалы для включения Гете в свою работу: она была хорошо осведомлена в русских придворных отношениях к Веймару и к Гете, она читала в «Русском Архиве» письмо Жуковского к Гете, она недурно знала биографию Гете. Этого было достаточно, чтобы преподнести русскому читателю такой эпизод из истории императорского русского гетеанства:

«Сегодня вечером,—будто бы пишет ее мать,—Государь был расположен рассказывать. Нас было мало. Жуковский, Сесиль,Вьельгорский приглашались каждый вечер «Zum Thee und Souper». Государь говорил с Жуковским о Веймаре. Он видал Гете у Марии Павловны».

Собеседника царю для разговора о Гете О. Н. Смирнова выбрала удачно: она знала, что Жуковский бывал у Гете; очень удачно введена в сцену и Александра Федоровна: она была известная «вертерьянка», но для немцев О. Н. Смирнова начинала сцену иначе, чем для русских. Вот как начиналась она в «Deutsche Warte»: «Недавно императрица Александра Федоровна, в присутствии императора, начала говорить о том, что русский народ мало знает и ценит своих великих поэтов. Это удивительно: в Германии поступают совсем иначе—там Шиллера и Гете знают наизусть. Император выслушал это рассуждение и присоединил к нему рассказ о встрече своей с Гете, которая произошла в Веймаре, в салоне Марии Павловны, известной покровительницы искусств и наук» [5]. В таком «зачале» О. Н. Смирнова делала лестный комплимент немцам: «зачало» было очень хорошо для «Deutsche Warte», но для «Северного Вестника» было лучше его изменить:

«Императрица сказала ему:

— Черненькая говорила мне как-то, что хотела бы видеть вас вместе с Гете.

— Почему?—спросил государь.

— Скажите, почему?—прибавила императрица.

— Потому, что у вас античная и классическая голова,—ответила я,—голова Юпитера, а у Гете также античная и классическая голова. Пушкин говорил мне, что это очень редко встречается.—Все прекрасное—редко.

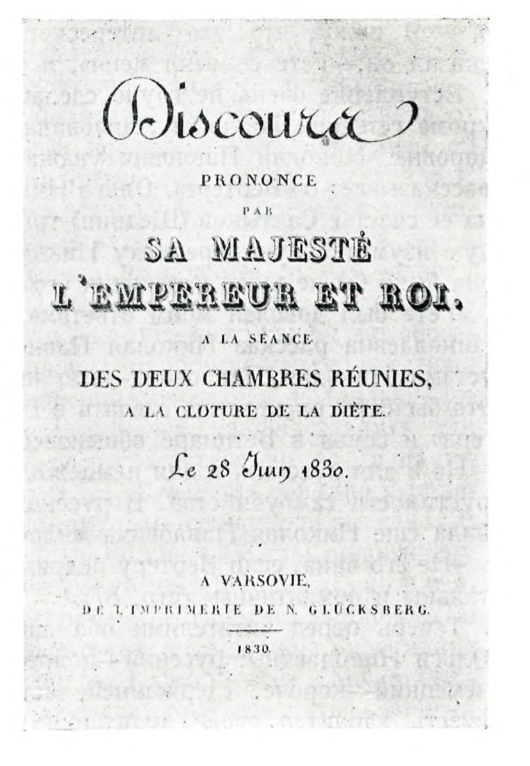
(Классические головы редки: у Гете—классическая голова. Как ясен вывод: Николай Павлович—хоть по голове—так же редок и прекрасен, как Гете! Но Ольге Николаевне этого мало.)

Государь засмеялся.

— Правда у меня голова Юпитера? какого же: громовержца, капитолийского или Статора? их много!

(Николай Павлович, оказывается, не хуже Гете, знаток античной скульптуры).

— Когда В. В. разгневаны, то громовержца,—ответила я,—а вообще капитолийского.


Discours
PRONONCE
PAR
SA MAJESTÉ
L'EMPEREUR ET ROI.
A LA SÉANCE
DES DEUX CHAMBRES RÉUNIES,
A LA CLOTURE DE LA DIÈTE.
Le 28 Juin 1830.

A VARSOVIE,
DE L'IMPRIMERIE DE N. GLÜCKSBERG.
1830.

Титульный лист отдельного издания речи Николая I, произнесенной им при закрытии сейма в Варшаве 28 июня 1830 г.

С экземпляра, хранящегося в личной библиотеке Гете

Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

Государь засмеялся еще более.

(Итак Юпитеры поделены: два из них—это Николай Павлович: громовержец и капитолийский, на долю Гете остается один: Статор. На это олимпиец Николай Павлович согласен.)

— У Гете в самом деле голова Юпитера Статора».

Далее следует знакомая уже нам и по-русски, и по-немецки аттестация, выданная юным Николаем Павловичем старому Гете в том, что он не говорит ничего банального и обладает собственными мыслями.

О. Н. Смирнова была умная сочинительница, она понимала, что для немецкого читателя было бы скучновато читать о двойном олимпийстве Николая I сравнительно с одинарным олимпийством Гете, а потому, опустив всю приведенную болтовню, она прямо начала с того, что немцам было интересно: с Гете-Статора. Но, с другой стороны, она ввела маленькую поправочку и для русского читателя. Немцам Николай I говорил, что приметил у Гете «göttliche Ruhe», «божественное спокойствие»; русским читателям сказано было поскромнее: просто «спокойствие».

Русскому читателю—по воле О. Н. Смирновой—Николай не мало передавал и других рассказов Гете: о свидании его с Наполеоном, о Байроне, но немецкий читатель был благоразумно избавлен ею от этих рассказов: он мог найти их, с малыми изменениями, в любой биографии Гете, и тогда обнаружился бы секрет производства О. Н. Смирновой. Поэтому, минуя рассказы о Наполеоне и Байроне, она предлагает немецкому читателю прямо эпизод о «Вертере», Гете и Николае Павловиче, нам уже дважды знакомый. Для русского читателя к этому эпизоду делается вступление:

«— Расскажите им про тот вечер, когда у Вашей сестры говорили о «Вертере»,—сказала императрица.

Государь улыбнулся и согласился.

— Я вижу, что это интересует «вечную принцессу» Жуковского,— сказал он.—Гете спросил меня», и т. д.

Вступление очень не глупо сделано: его цель—показать читателю, что кроме гетеанца Николая Павловича есть еще гетеанка—Александра Федоровна. Николай Павлович уважает «вертерьянство» своей супруги, и рассказывает о «Вертере». Ольга Николаевна «сочиняла» все это в 1892 г.; на ее счастье Салтыков (Щедрин) три года уже лежал в могиле; иначе какую изумительную переписку Николая I с Вертером мог бы затеять он; она была бы не хуже переписки его с Поль-де-Коком!

«Гете был доволен моим ответом», так заканчивает для немцев Ольга Николаевна рассказ Николая Павловича; русским же повествует она—устами Николая Павловича—всю историю «Вертера» и его прототипов. Это было бы рискованно сделать в Германии: там история создания «Вертера» и семьи в Ветцларе общеизвестна.

Но и для русских, и для немцев одинаково припасено назидание о недопустимости самоубийства. В русском варианте Ольга Николаевна заставила еще Николая Павловича милостиво оправдать Гете:

«Не его вина, если Вертеру подражали и если были настолько сентиментальны и романтичны» (стр. 87).

Теперь перед читателями оба варианта одного и того же сочинения Ольги Николаевны: русский—полнее, многоречивее и гораздо развязнее, немецкий—короче, сдержанней, осторожней. Ольга Николаевна умела учесть характер своей аудитории: «что нужно Лондону, то рано для Москвы», и обратно.

Итак то, что было напечатано в невидном немецком издании в 1892 г., вовсе не было отрывком из «Заметок Смирнова» из «Северной Пчелы», а из «Записок А. О. Смирновой», как раз в это время фабриковавшихся ее дочерью для «Северного Вестника». Готовясь познакомить русского читателя с своей «николаеаной» в ее пушкинской редакции, Ольга Николаевна нашла нелишним познакомить предварительно европейского читателя с отрывком «николаеаны» в ее гетеанском варианте. Каким путем дошел этот «отрывок» до немецкой редакции—в сущности безразлично: он шел от самой О. Н. Смирновой, так как явился публикацией отрывка из еще неопубликованного текста ее «сочинения». Примечательно, что, печатая в «Северном Вестнике» в расширенном виде свой гетеанско-вертеро-николаевский отрывок, в тексте «Записок» Ольга Николаевна ни одним звуком не упомянула ни о «Северной Пчеле», ни о «Заметках Смирнова», ни о немецком изданьице. Все следы были заметены. Два крупных ученых гетеанца Бидерманн и Греф не испытали укора научного сомнения и ввели подделку О. Н. Смирновой в фонд гетеаны.

Кажется, сказанного довольно, чтобы выбросить ее оттуда, как в СССР выброшены «Записки А. О.(=О. Н.) Смирновой» из фонда пушкинианы.

Для чего же понадобилось О. Н. Смирновой зачислять Николая Павловича в критики «Вертера» наподобие Наполеона?

Стряпая свою подделку, Ольга Николаевна продолжала давнюю традицию русского «официального гетеанства». Фрейлина русского двора, еще успевшая узнать веймарскую Марию Павловну (в 1855 г. О. Н. Смирнова уже фрейлинствовала, а в 1856 г. Мария Павловна долго гостила в Петербурге) и «вечную принцессу» Александру Федоровну, и самого Николая Павловича, она не могла не знать исстари налаженного строя русско-веймарских придворных отношений и их политики лите-

ратурной; как женщина умная и рьяно преданная интересам династии она понимала, что хорошая веймарско-гетеанская репутация никогда не была лишней в культурном престиже русской династии и двора,—престиже, который имел свою не малую политическую цену; она знала от матери, от Жуковского и из придворных преданий, как заботились об этой репутации три императрицы и как не пренебрегал ею сам Александр I. В 1892 г., в старости, О. Н., занимаясь составлением хорошей пушкинианской репутации Николаю Павловичу, приметила, что у него есть изъян и по части гетеанской репутации, и решила подправить ее ему, одарив его разговором с Гете. Николай I давно уже был в могиле, но эта подправка могла пригодиться для истории русского самодержавия: ею обогащался его культурный престиж; подправка пушкинианского престижа Николая I значила для Европы несравненно менее, чем подправка его престижа гетеанского. И был успех: Смирновой удалось занять для Николая I место в немецкой гетеане. Это место доселе, несмотря на то, что в деле «Записок А. О. Смирновой» О. Н. Смирнова поймана с поличным, удерживают за Николаем I те, кому это социально выгодно. В самоновейшей работе Р. Ягодича о Гете и России (1932 г.) попрежнему читаем: «Глубокое впечатление произвел Гете на Николая I, который, много лет спустя, ярко передавал его в салоне Александры Смирновой», и дальше идет в сокращении известный нам рассказ со ссылкой на Бидерманна и с подчеркиванием: «Из записок Александры О. Смирновой» [6]. Может быть Ягодич не знает, что советские исследователи доказали, что «Записки А. О. Смирновой»—подделка, что они опубликовали в 1929 и 1931 гг. подлинные записки и дневники А. О. Смирновой, в которых нет и следа этого «разговора»?

Процитируем единственное место в подлинных «записках» А. О. Смирновой, где упоминается Гете.

«Страшен был 1848 год: искра, упавшая из Парижа, разлила пламя в Италии и объяла всю Германию... Берлин представлял картину самую печальную; войска были выведены; когда они шли со строгим запрещением отвечать взбешенной черни, под Линденами их встретила чернь ругательствами и бросала в них всякий сор и камни... Тогда Гримм читал императрице «Фауста», который ей очень нравился. Он только что принялся читать, когда послышался шаг государя. Он, скрестив руки, передал императрице эти грустные известия. Она расплакалась и повторяла: «Mon pauvre frère, mon pauvre Guillaume!»—«Il s'agit bien de votre poltron de frère quand tout s'écroule en Europe, quelle est en feu, que la Russie pourrait aussi être bouleversée» («Мой бедный брат, мой бедный Вильгельм!»—«Нечего говорить о вашем трусливом брате, когда все рушится в Европе, когда она в огне и в России может также наступить передряга»). С императрицей сделалась дурнота; послали за Мандтом, который остолбенел, когда узнал, что творится в его фатерланде. Государыне дали лавровые капли и aconit... Гримм стоял все у двери с «Фаустом» подмышкой. Император напустился на него: «А вы смеете читать эту безбожную книгу перед моими детьми и развращать их молодое воображение. Это ваши отчаянные головы Шиллер, Гете и подобные подлецы, которые подготовили теперешнюю кутерьму» [7].

Николай Павлович был совершенно прав: Гете принадлежал ему своим феодально-придворным послушанием, своей политической отсталостью, своими «Maskenzug'ами» и хвалебными стихами, своим молчанием в эпоху

польского восстания, но «Фаустом» он принадлежал «кутерьме», революции и новым социальным силам, ее творящим. Николай Павлович был достаточно умен, чтоб понимать, что в конечном итоге—где «Фауст», там и Гете. А «Фауст» был—«безбожная книга», революционная книга. Современным сторонникам и последователям Николая Павловича из европейской буржуазии и белой эмиграции невыгодно цитировать настоящие записки фрейлины Смирновой, хотя они отнюдь не пренебрегают новыми советскими книгами по литературоведению [8], и они предпочитают пользоваться мифом, измышленным предусмотрительной О. Н. Смирновой, фрейлиной, которой было ведомо, какие действительные чувства питал гонитель Пушкина к автору «Фауста» и которая именно поэтому «творила свою легенду».

В 1829 г. Николай I—уже император—посетил Веймар, давно там ожидаемый. Но у Гете находим немногоречивую отметку: «3 декабря... пребывание императора Николая» [9]. Гете уже не являлся тогда ко двору, а Николай I не нашел нужным, как в 1821 г., явиться к Гете. Он поручал заведывать «официальным гетеанством» Марии Павловне и находил это достаточным.

Гете холодно зарегистрировал в дневнике «пребывание» Николая I в Веймаре, но вот что в самые дни этого пребывания, 5/XII 1829 г., писала Мария Павловна в неизданном письме к Александре Федоровне, не сопутствовавшей на этот раз мужу. Извещая императрицу, что весь двор принимает живое участие в ее счастьи (посещение Веймара Николаем), как раньше принимал в горе (смерть в 1828 г. Марии Федоровны), Мария Павловна уверяет Александру Федоровну: «Cet intérêt général vous ferait plaisir à voir il n'y a pas jusqu'à Göthe que j'ai été visiter l'autre jour et dont le premier mot a été: «Si n'avais pas de nouvelles de S. M. l'Empereur?» («Вам бы доставило удовольствие видеть участие всех, не исключая и Гете, которого я на днях посетила и первым вопросом которого было: «Нет ли новостей о его величестве императоре?») [10].

«Участие всех» было предопределено тесною связью двух дворов: трудно было бы определить, где кончался веймарский и где начинался петербургский двор.

В 1810 г. Гете работал над монографией о художнике Филиппе Гаккерте, много писавшем для России по заказам Екатерины, Павла и Марии Федоровны. Гете посвятил свою работу Марии Павловне, а начал свое посвящение так: «Блистательные имена Екатерины, Павла и Марии светят в жизни частного человека, как милостивые к нему звезды. Эти высокие особы услаждаются талантом выдающегося художника, дают ему работу, покровительствуют и кладут основание его земному счастью» [11].

Насколько «блистательным» считал Гете Павла, мы знаем из его записи о заговоре 11 марта 1801 г.; позволительно сомневаться, чтоб он верил в «блистательность» Марии Федоровны, но он совершенно спокойно мог писать эти строки об их «glänzenden Namen»: писанье таких посвящений, как и «участие» в радостях Марии Павловны и всех больших и малых представителей двух дворов, Гете рассматривал как одну из обязанностей своей придворно-поэтико-министерской профессии, точно так же, как «покровительство» художникам являлось в его глазах одной из обязанностей «блистательных» особ. Говоря старинным термином русского XVIII века, Гете «ласкался» к этим особам, но они его действительно и «ласкали». «Ласкал» его и Николай Павлович.

Известна страсть Гете к минералогии; удовлетворить этой страсти, пока дело идет о шпатах и сланцах, легко, но собрать коллекцию изумрудов, алмазов, бериллов, сапфиров, благородных металлов в самородках—на это нужны большие средства. Страсть находит тут свой предел.

Для Гете этого предела не было, и не потому, чтоб он не был стеснен денежными средствами.

Вот что писал ему 15/27 июня 1830 г. русский министр финансов гр. Е. Ф. Канкрин:

«Доброта, с какою Вы, Ваше превосходительство, любезно предоставили доступ к Вашим собраниям некоторым путешествующим питомцам нашего Горного корпуса, внушила мне мысль присоединить небольшой вклад. Я пересылаю при этом, с ведома императора, кусочек (ein Stückchen) самородного золота (весом 24 золотника) и кусочек (ein Stückchen) самородной платины (весом 23 золотника 69 долей); оба из золотых приисков Уральских гор, где подобные куски достигают до 25 ф. Вклад этот, хотя мал, но не лишен примечательности. Позвольте мне Вам, замечательному писателю, из произведений которого я многое читал и, надеюсь, понял, выразить мое почтение».

Министру финансов Николая I нельзя отказать в способностях канцлера: с такой изысканной прикровенностью и любезностью написана эта нота, именуемая письмом: император—в тени, ценный дар—превращен в ничтожность; зато доброта Гете к каким-то «питомцам Горного корпуса» выдвинута на самое видное место; недурна и концовка—комплимент писательству Гете.

Гете отвечал Канкрину письмом от 16 августа: «Ваше превосходительство почувствовали, конечно, в тот момент, когда назначали мне такой значительный дар, какая совершенная радость была мне этим уготована, и я потому имею право скорее умерять слова признательной благодарности, чем во всей полноте предавать их бумаге. Уже шестьдесят лет, как, преданный естествознанию и особенно ревностно минералогии и геологии, я собираю кое-что значительное, чтобы путем постепенно накопленных знаний приобщиться к развивающейся культуре.

Я с удовольствием признаюсь, что важные открытия бесценных рудников в столь богатом русском государстве возбудили все мое внимание, и чем более получал я сведений о них, тем более желал я иметь некоторые образцы, чтобы через непосредственное созерцание достигнуть как бы более глубокого усмотрения этих значительных явлений природы.

К моему изумлению, Ваше превосходительство благосклонно приближаете меня к исполнению этого желания, и когда я смею думать при этом, что его величество император хоть на одно мгновение меня вспомнил, предо мною снова оживают те счастливые часы, когда я имел счастье почтить высочайшую чету на малом пространстве моего сада; ибо перед воображением и в чувстве тогда снова сдвигаются разделяющие дали пространства и времени. Однако я вижу, что мне надо быть кратким, и потому я убедительнейше уверяю Вас, что дарованные мне драгоценные залоги, которые являются моему повторному созерцанию как чудеса природы, должны в то же время быть для меня символом высочайшей милости. Мне очень хочется, пока я пишу, рассматривать вышесказанное как текст к более пространному признанию, однако я заставляю себя на этом кончить и убедительно прошу Вашего расположения на остаток дней моих,—и не менее того заверяю, что участие, какое угодно Вашему превосходительству

проявить ко мне, я умею принимать с глубоким чувством и почерпнуть из него бодрость. С уважением Вашего превосходительства покорный слуга В. Гете» [12].

Канкрин мог быть доволен: его дипломатическая нота была прочитана так, как нужно: Гете взвесил полученные слитки, как «значительный дар», а не как «кусочек», и принял его не как «презент» гетелюбивого министра, а как «высочайшую милость» (подлинное выражение Гете).

В феврале (12-го) 1826 г. русский посол в Берлине писал Гете:

Высокоблагородный и высокочтимый господин
государственный министр!

Недавно я узнал случайно, что Ваше превосходительство желали бы иметь слепки с разных камней, находящихся в Императорском Петербургском Эрмитаже. Я воспользовался своим последним пребыванием в императорском городе, чтобы получить некоторые из них, что и рад переслать Вам в следующем за этим ящике. Мне было бы очень лестно, если бы этот незначительный подарок Ваше превосходительство приняли как доказательство высокого почтения и восхищения, давно к Вам питаемого, так как преимущественно Ваши произведения привлекли меня к изучению немецкого языка. Вы доставляете мне неизменное отдохновение и будете моим спутником на всю жизнь.

С этой мыслью, а также с благоговейным почтением, имею честь быть
Вашего превосходительства
покорнейший слуга
Граф Алопеус.

Удивительным образом все большие чиновники Николая Павловича оказывались почитателями таланта Гете: посол в Берлине заявил себя, не хуже министра финансов, поклонником Гете.

25 марта Гете отвечал послу: «В тот момент, когда, по высочайшей милости (allerhöchste Gnade), прибыл ко мне из Берлина бесценный документ (unschätzbares Dokument), важный по содержанию и достойный по форме, и побуждает меня к чувствительнейшей благодарности, я получаю благодаря необычайной внимательности Вашего превосходительства художественное сокровище» [13]. Это «художественное сокровище» была коллекция слепков с камей и гемм Петербургского Императорского Эрмитажа. Гете не мог не понимать, что заказать такую коллекцию слепков с сокровищ Эрмитажа, составлявших личную собственность императора и ни для кого, без его разрешения, недоступных, было невозможно без «милостивого» соизволения самого Николая Павловича. Но еще любопытнее тот «бесценный документ», который получил Гете «по высочайшей милости». «Милость» эта была несомненно русская, а не прусская: иначе не за чем было о ней и писать русскому послу в Берлине: судя по выражению Гете, «милость» далеко для него не безразличная. Но в чем она состояла? Что это был за «документ», важный по содержанию? Веймарское издание, по принятому им в таких случаях обыкновению, обо всем этом умалчивает. Подобные умалчиванья заставляют еще больше желать появления специального исследования отношений Гете к русскому двору.

В 1827 году Гете опять получил столь же неожиданный дар с русских «верхов». Это была целая коллекция древних русских монет. Коллекцию сопровождало следующее письмо:

Господин барон!

Зная, что Вы собираете коллекцию монет, я хочу предложить Вам несколько таких, которых, я предполагаю, Вам не хватает, так как они достаточно редки даже в России. Они перенумерованы с отметкой на каждой. Всякая Ваша минута посвящена полезной деятельности, почему я и не хочу быть причиной потери нескольких из них благодаря длине моего

Monsieur le Baron,

Sachant que vous rassemblez une collection de monnaies, j'ai voulu vous en offrir quelques unes, qui vous manquent je suppose, car elles sont assez rares même en Russie. Elles sont numérotées avec une notice sur chacune.

Tous vos moments sont consacrés à l'utilité, ainsi je ne veux pas être la cause de la perte de quelques-uns par la longueur de ma lettre; agréez donc, Monsieur le Baron, les assurances de l'estime la plus profonde et de la considération la plus distinguée avec lesquelles j'ai l'honneur d'être, Monsieur le Baron, votre très humble et très obéissant serviteur

A. Kavelin

le 16/28 mai 1827 St. Pétersbourg

Автограф письма адъютанта Николая I А. Кавелина к Гете от 16 мая 1827 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

письма. Примите, господин барон, уверения в глубочайшем уважении и исключительном почтении, с которым имею честь быть, господин барон,

Ваш покорнейший и послушнейший слуга

А. Кавелин.

16/28 мая 1827 г. Санкт-Петербург.

По упорной «случайности» и на этот раз дарителем оказалось лицо, чрезвычайно близкое к императору Николаю Павловичу. Это был его флигель-адъютант, полковник Александр Александрович Кавелин (1793—1850). В одном и том же году—в 1818—поступил он в адъютанты к Николаю Павловичу и в члены Союза Благоденствия. «Алфавит декабристов» вот как передает историю о том, как член Союза Благоденствия сделался преданнейшим адъютантом императора: «Кавелин вступил в Общество,

видя, слыша и удостоверяясь из действий, что предметом и целью оного было единственно просвещение и благотворение. Политических видов и тени не было заметно. Но вскоре по обстоятельствам службы отстал от сего общества. О сем объявил он сам в записке своей, представленной государю императору при производстве комиссиею следствия. Отзывы других членов совершенно согласны были с показанием Кавелина». Николай I так верил Кавелину, что произвел его во флигель-адъютанты в самый день 14 декабря, а в 1833 г. назначил состоять при наследнике, разделяя с Жуковским труды его воспитания. У Гете не было никаких личных отношений с Кавелиным до этого его письма: самое большее, если Гете виделся с ним в 1821 г., когда тот был в свите Николая 1 в Веймаре. Гете благодарил Кавелина, наградившего его титулом барона, за подарок любезным письмом, послал ему в отдарение какую-то медаль и закончил письмо словами, выказывающими, что ему хорошо была известна особая близость Кавелина к интимному кругу Николая I: «Сохраните память обо мне в Вашем благородном кругу, сделаться достойным которого я неустанно стремлюсь до старости» [14].

Вряд ли и этот дар Гете был совершон без ведом Николая Павловича, считавшего Кавелина за личного своего друга.

Николай Павлович занимает мало места в дневнике Гете, но в его социально-политическом фундаменте он занимает место прочное и твердое. Как писатель, чьи книги читают, Гете вряд ли существовал для Николая Павловича. Иначе обстоит дело с писателем, которого сами не читают, но чье влияние, положение и политико-общественную силу признают и с которым поэтому считаются: такого писателя Гете Николай Павлович уважал не меньше своего брата и сестры. Даже как «автор» Николай Павлович не хотел быть безвестен для Гете. Тут нет шутки: в библиотеке Гете доныне (сведения получены нами из Веймара в июне 1932 г.) хранится книга «Discours prononcé par sa Majesé l'Empereur et Roi Nicolas I à la séance des deux chambres réunis à la clôture de la diète. Le 28 juin 1830. Varsovie» («Речь, произнесенная Его Величеством императором и царем Николаем I в заседании соединенных обеих палат при закрытии сейма. 28 июня 1830 г. Варшава»). Это произведение ораторского и политического искусства Николая I попало в руки Гете конечно через Марию Павловну, но вряд ли этот посол Николая I при дворе его литературного величества Гете I действовал без ведома своего доверителя, желавшего держать Гете в курсе своих политических выступлений.

Гетеанскую политику русского самодержавия и двора Николай I ни в чем не нарушил. Это была кажется единственная литературная традиция, которую Николай I перенял от матери, брата и сестры и продолжил до конца. Александр I дал Гете звезду и ленту, Николай I подписал диплом об избрании Гете в почетные члены Академии Наук и дарил слитки золота и платины.

Русским писателям оба императора давали урок наглядного обучения: Радищев, Рылеев, Пушкин не уживались или плохо уживались с самодержавием. Пример Гете, отлично с ним уживавшегося, должен был показать России и Европе, что право было самодержавие, а не писатели.

Этот урок стоил, чтоб его оплачивать и бриллиантовой звездой, и золотыми самородками.

Так крепка была и так всегда последовательна эта политическая традиция русского официального гетеанства, что она не могла не нуждаться

в своем особом идеологе—в писателе, который за своих доверителей-самодержцев мог бы вести нужные разговоры с Гете, и вести их уверенней и удачнее, чем вели сами императоры и императрицы.

Таким идеологом русского правительственного гетеанства и явился Сергей Семенович Уваров.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Bied., B. II, S. 502—503, № 1943; в 10-томн. издании—том X. Lpz., 1896, S. 103, № 1699; у Gräf'a (см. ниже)—B. X, Ausg. 2, S. 653.

[2] В библиотеках Москвы, Ленинграда и Франкфурта-на-Майне не нашлось «Deutsche Warte». «Полный Книжный Лексикон» Хр.-Готл. Кайзера («Chr.-Gottl. Kayser's Vollständiges Bücher-Lexicon») указывает в 1891—1899 гг. два берлинских еженедельных издания под одним и тем же названием «Deutsche Warte», но с разными подзаголовками и с разными редакторами: 1) «Deutsche Warte». Wöchentliche Rundschau über Politik und Gesellschaft, Geistl. u. Wirtschaftl. Leben. Red. Bruno Schippang. Berlin, 52 №, 1891—1893 («Ch. G. Kayser's Vollst. Büch.-Lex.», Bd. XXVII, 2 Heft, 1891—1894. Lpz., 1896, S. 886) и 2) «Deutsche Warte». Belletrist. Wochenblatt. Begründet v. A. v. Studnitz. Red. H. Schade, 52, № 5—9 Jahrgang, Okt. 1894, Sept. 1899 (там же, B. XXX, Lpz., 1900, S. 956). В последнем издании («Belletr. Wochenblatt»), как видно из справки «Прусской Государственной Библиотеки» (Берлин) от 1/VI 1932 г. за подписью библиотекаря Poews'a, в № 134 «приложений» (Beilage) 1892 г. нет никаких «воспоминаний» или «записок» Смирнова или Смирновой. Получить подобную же справку о первом издании «Wöchentliche Rundschau» и т. д. мне не удалось.

[3] «К сожалению мне не было возможности дойти до источников этого разговора, чтобы их исследовать и установить что-либо точнее».

[4] Eugen Zabel, Goethe und Russland. Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft. B. VIII, 1921, S. 27—48.

[5] Bied., Band X. Lpz., 1896, S. 103. В издании 1909 г. это «начало» разговора Гете с царем опущено. Biedermann датирует разговор «маем 1821 г.». Еслиб «разговор» и был в действительности, дата эта вдвойне фантастична: в 1821 г. Николай I с женой были у Гете 3 июня, но, по смыслу легендарных слов Николая I, он беседовал с Гете не 25-летним женатым человеком, каким он был в 1821 г., а неоперившимся юнцом: таким он был в 1814 и 1815 гг., когда гостил в Веймаре и действительно виделся с Гете. Стало быть разговор о «Вертере» мог бы происходить лишь в 1814, либо в 1815 г. О. Н. Смирнова превосходно была осведомлена в истории русско-веймарских гетеанских отношений и сочиняла «наверняка».

[6] R. Jagoditsch, Goethe und seine russischen Zeitgenossen, S. 352—353.

[7] А. О. Смирнова, Записки, дневник, воспоминания, письма. Со статьями и примечаниями Л. В. Крестовой. Под ред. М. А. Цявловского. Изд-во «Федерация». М., 1929, стр. 260—261. В вышедшей в 1931 г. «Автобиографии А. О. Смирновой» (Неизданные материалы. Подготовила к печати Л. В. Крестова. С предисловием Д. Д. Благого. К-во «Мир», М.) какое бы то ни было сочетание Гете с Николаем I отсутствует совершенно. В «Автобиографии» есть рассказ А. О. Смирновой о сильнейшем впечатлении, произведенном на нее игрою артистки Зибах в роли Клерхен в «Эгмонте»: «В целом мире нет подобного Шекспиру и Гете в «Фаусте» и других его трагедиях» (стр. 227—228). Эти страницы единственные, где Смирнова говорит о Гете.

[8] В статье Ягодича цитируется книга М. Аронсона «Литературные кружки и салоны», вышедшая в Ленинграде в 1929 г. (стр. 372), но подлинные «Записки А. О. Смирновой», вышедшие в том же 1929 г. в Москве, остаются ему почему-то неизвестны: он предпочитает подложные.

[9] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 161.

[10] Особый отдел Центрархива. Фонд № 27 (Зимнего дворца). Опись I, д. № 981.

[11] «W. A.», I Abt., B. XLVII, S. 107.

[12] Там же, IV Abt., B. XLVII, S. 185—187; письмо Канкрина там же, стр. 392—393.

[13] Письмо гр. Алопеуса печатается по фотографии с подлинника (на немецком языке), из Веймарского музея. Ответ Гете—«W. A.», IV Abt., B. XL, S. 331—333.

[14] Письмо Кавелина печатается по фотографии с подлинника (на франц. яз.), хранящегося в Веймарском музее. О Кавелине: «Алфавит декабристов», под. ред Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., 1925, стр. 90 и 321—322. Ответ Гете—«W. A.», IV Abt., B. XLII, S. 206—207.

Глава третья

РУССКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ И ОФИЦИОЗНЫЕ ГЕТЕАНЦЫ

I. „ДРУГ ГЕТЕ“

СТОЛЕТИЕ ЛЕГЕНДЫ О ГЕТЕ И УВАРОВЕ В РУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (1832—1932).— ТВОРЦЫ ЛЕГЕНДЫ: С. С. УВАРОВ, И. И. ДАВЫДОВ, GEORG SCHMIDT И ИХ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОДОЛЖАТЕЛИ.—КАРЬЕРА УВАРОВА И „ПРОИЗВОДСТВО В УМ И ЗНАНИЕ“.—ФАБРИКАЦИЯ РЕПУТАЦИИ УЧЕНОГО.—ПРОЕКТ АЗИАТСКОЙ АКАДЕМИИ, ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОРНИ И ЦВЕТОЧКИ.—УВАРОВ ПРИВЛЕКАЕТ ГЕТЕ К ДЕЛУ АЗИАТСКОЙ АКАДЕМИИ.—ОБМАН И СОБЛАЗН ГЕТЕ.—ПРОЕКТ АЗИАТСКОЙ АКАДЕМИИ, ВЫШЕДШИЙ ИЗ КРУЖКА ГЕТЕ.—ПЕРЕМЕНА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ АЛЕКСАНДРА I В 1811 Г. ЗАСТАВЛЯЕТ ПОХОРОНИТЬ ПРОЕКТ.— НЕДОУМЕНИЕ ГЕТЕ.—ДАЛЬНЕЙШАЯ ПЕРЕПИСКА ГЕТЕ И УВАРОВА.—ГЕТЕ КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ РУПОР РУССКОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ.—ИЗБРАНИЕ ГЕТЕ В ЧЛЕНЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ.—ВНИМАНИЕ ГЕТЕ К НАУЧНЫМ ЗАДАЧАМ АКАДЕМИИ И НЕВНИМАНИЕ АКАДЕМИИ К НАУЧНЫМ ЖЕЛАНИЯМ ГЕТЕ.—ГЕТЕ О ХОЛЕРЕ В РОССИИ.—РЕЧЬ УВАРОВА НА СМЕРТЬ ГЕТЕ КАК АПОЛОГЕТИКА РЕАКЦИИ И НИКОЛАЯ I.— БЫЛ ЛИ УВАРОВ ЛИЧНО ЗНАКОМ С ГЕТЕ?

Ни с кем другим из русских писателей у Гете не было таких деятельных и продолжительных сношений, как с Сергеем Семеновичем Уваровым (1786—1855). Сношениям этим очень посчастливилось и в истории литературы. Уваров постарался сделать их широко известными: еще в поминальной речи о Гете, произнесенной в 1833 г. в Академии Наук, он не отказал себе в удовольствии рассказать о своей переписке с Гете. Переводчик этой речи, проф. И. И. Давыдов, со своей стороны, подчеркнул в предисловии к ее отдельному изданию: «Каждый россиянин, любящий отечественное просвещение, может с гордостью указывать на литературные сношения сочинителя сего слова с великим поэтом» [1].

Из всех русских писателей, сносившихся с Гете, Уваров оказался единственным, чьи отношения к Гете дождались целого исследования с обнародованием их переписки [2]. В то время как отношения Гете ко многим другим русским писателям делаются известными впервые только из настоящей работы, об отношениях Уварова к Гете сообщается всюду, где идет речь о Гете и России. Один из немецких исследователей русских отношений Гете Отто Гарнак воздал Уварову не принадлежащую ему честь: назвал его «п е р в ы м русским, который углубленно занялся изучением Гете», забывая о Карамзине, Андрее Тургеневе, Жуковском и всем втором «тургеневском кружке» [3].

С репутацией чуть ли не ученика Гете Уваров вошел в «Очерк развития русской философии» Густава Шпета: «Уваров был учеником немецких неогуманистов, был воспитан в идеологии, возглавляемой Фр.-Авг. Вольфом и видевшей путь к немецкой народности через эллинизм: он был лично знаком с Гете, которому посвятил одно из своих филологических исследований, состоял с ним в деятельной переписке» [4].

Уваров усердно создавал себе славу «друга Гете». В 1817 г. Гете упомянул в одной статье своей об одном печатно высказанном суждении Уварова и назвал себя—в третьем лице и безымянно—«старым другом» автора. Этого было достаточно, чтоб Уваров в следующем же письме бросился в «друзья» к великому поэту: «Edler, herrlicher Freund!» («Благородный, превосходный друг!»). Это было самозванство.

Письмо Гете от 18 мая, на которое отвечал Уваров, начиналось холодным: «Ew. Excellenz!» (Ваше превосходительство). В письме от 12/25 августа Уваров упорно самозванствовал: «Verehrter Freund» (Уважаемый друг), и в ближайшем письме (21 декабря) Гете пришлось волей-неволей обратиться к Уварову с этим же «уважаемым другом» (Verehrter Freund); но в дальнейших письмах Гете перешел опять на «ваше превосходительство», а Ува-

ров то сдавался на это «превосходительство» (письмо от 10 мая 1825 г.), то настаивал на «высокочтимом друге» (письмо от 10 августа 1825 г.) [5].

Так было в действительности, но в русской и немецкой легенде, называемой «историей литературы», от 30-х (проф. И. И. Давыдов) до 80-х годов («исследователь» Georg Schmid) звучало: «Уваров—друг Гете».

Попробуем отделить «правду» (Wahrheit) от «вымысла» (Dichtung) в Гете-Уваровской легенде.

Уваров получил от Николая I графский титул, но язвительный Вигель не без ехидного удовольствия читывал в салонах Москвы 40-х годов странички из своих «Записок», где повествовалось, что «у князя Потемкина был один любимец, добрый, честный, храбрый, веселый Семен Федорович Уваров» и что «сей бедный рядовой дворянин», будучи «флигель-адъютантом Екатерины, мастер был играть на бандуре и с нею в руках плясать вприсядку»: за этот пляс Потемкин обзывал флигель-адъютанта «Сеней-бандуристом» и вывел его в люди.

Если б Гете довелось слышать Вигеля, он перестал бы вероятно считать Уварова аристократом, и один из абзацев Гете-Уваровской легенды был бы зачеркнут. Тот же Вигель рассказывает про старшего сына этого «Сени-бандуриста»: «мальчик был от природы умен, отменно понятлив в науках, чрезвычайно пригож собою, говорил и писал по-французски в прозе и стихах, как настоящий француз: все хвалили его, дивились ему, и все это вскружило ему голову. Семнадцати лет не более попал он ко двору камер-юнкером пятого класса» [6].

Вигель прав, но обычное злоречие мешает ему быть правдивым до конца: Уваров не только отлично говорил по-французски, чему научил его аббат Mangin, но учился кое-чему и другому, чем не занимались обычно юноши его положения: занимался древней историей и, зачисленный еще в 1801 г. в коллегию иностранных дел, он отведал и «Lehrjahre» в Германии: побывал в Геттингене, отлично выучился по-немецки, так что, когда в 1810 г. с ним познакомился А. И. Тургенев, он нашел, что Уваров «так знает немецкую литературу, что и меня пристыдил даже в истории» [7]. В 1806 г. Уваров был причислен к посольству в Вене. По его собственным признаниям, в это время он и познакомился близко с сочинениями Гете.

В речи своей о Гете в 1833 г. Уваров вспоминал: «Во время появления «Фауста» я был в Германии; трудно изобразить впечатление от сего творения—впечатление восторга и негодования». Негодование, по мнению Уварова, было оттого, что «до Фауста никогда не объявлял Гете лютейшей вражды духу времени; никогда не нападал он на труды века с насмешкою столь язвительною». Фауст—только «возвышенная сатира на страсть немцев копаться в глубинах и пропастях таинственности, разоблачать ее покровы». Гете, как толкует Уваров, потому и вызвал «негодование» современников, что они преданы «разрушительному развитию» философии, а он—охранитель традиции, которому «рукоплескания черни приторны». Но слава Гете была так велика, как уверяет Уваров в 1833 г., что «никто из современников Гете при таких успехах «Фауста» не дерзал вооружиться против него»; негодовали, но не вооружались; «терпели бичевание, только приговаривая: так сказал учитель» [8].

Вряд ли все это—воспоминания о «Фаусте» современника его появлению: это—рассуждения президента Академии Наук и министра Уварова, из 1833 г. перенесенные в 1806—1808 гг. с целью опереть свою собственную образцовую благонамеренность маленького Уварова на великую благонаме-

ренность Гете. Это—всегдашний метод уваровского гетеанства: приткнуться к Гете для собственной устойчивости.

В те годы он «написал небольшую статью» о «Вильгельме Мейстере»; в 1814 г. он переслал ее Гете с такими сопроводительными словами: «Нашел ли я в ней истинную точку зрения, я не знаю, но писал я ее с любовью и воодушевлением» [9]. Отзыв Гете об этой юношеской статье Уварова неизвестен. Живучи в Германии, Уваров не побывал в Веймаре, но в 1810 г. он собирался заехать туда. Его новый приятель А. И. Тургенев писал в мае—июне брату Николаю из Петербурга, что, получив новое дипломатическое назначение, Уваров «поедет в Париж через Веймар, где увидится с Гете, о котором он писал кое-что на французском», а пока Тургенев восхищался талантами Уварова: «он сочинил следующие стихи dans le genre de Goethe. Прочти их Бутервеку [профессору эстетики в Геттингене] и спроси, наблюдены ли правила немецкого механизма в стихах».

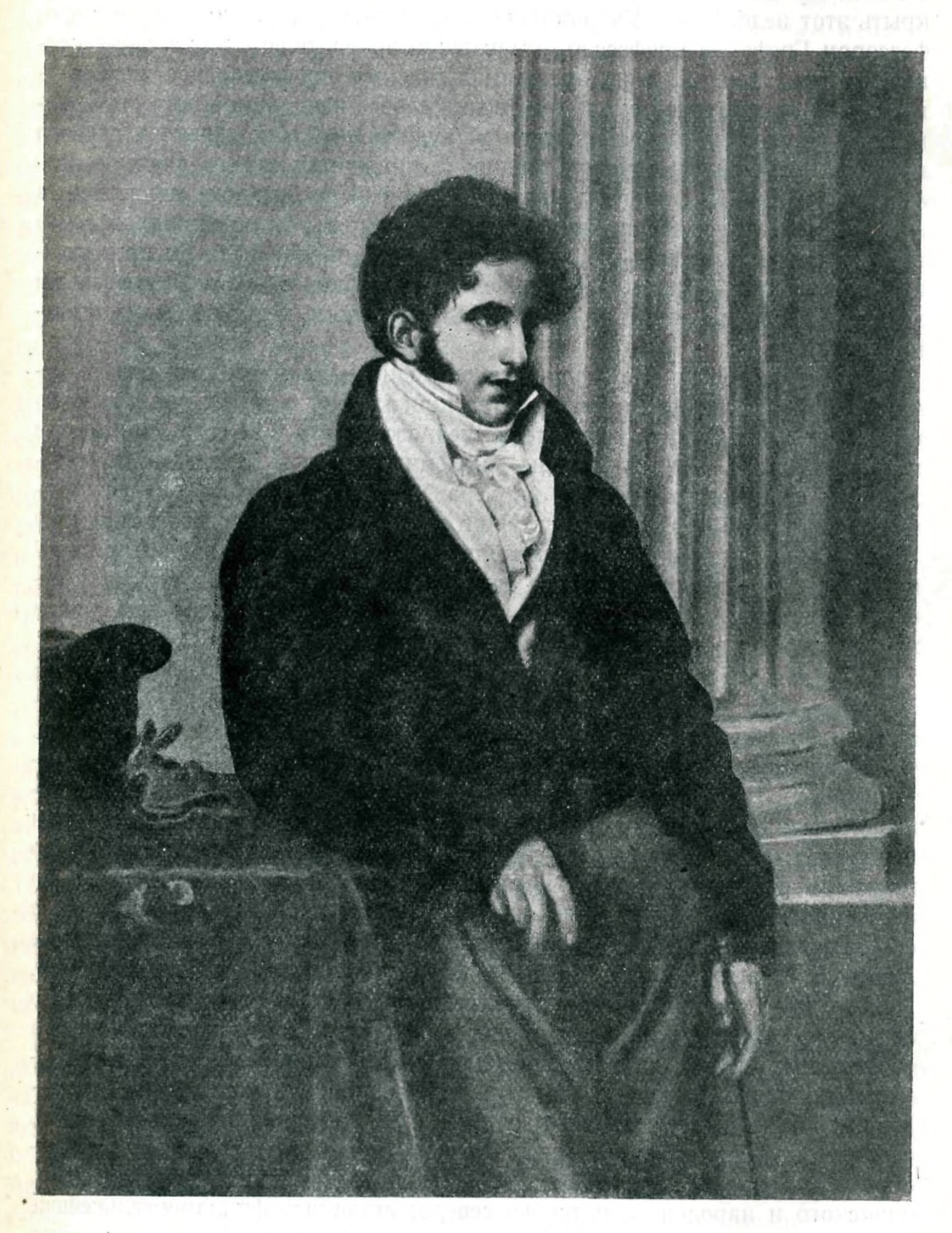
Sehnsucht

Träume der Jugend,
Farben des Frühlings,
Töne der Lyra,
Seyd ihr verschwunden,
Auf immer verstummt?
Ernst ist das Leben,
Dunkel die Zukunft,
Der Mensch, er muss streiten,
Mit feindlichen Mächten,
Mit der ewigschaffenden,
Alles zerstörenden
Mutter Natur и т. д.

(Мечты юности, краски весны, звуки лиры, с каких пор исчезли вы, умолкнув навсегда? Жизнь строга, будущее темно; человек—он должен спорить с враждующими силами, с вечно творящей, все уничтожающей матерью-природой).

Простодушный А. И. Тургенев умилялся: «Русский, камер-юнкер—сочиняет немецкие стихи! Скажи это Бутервеку» [10]. Свое гетеанство Уваров простер до того, до чего не простирали его ни Андрей Тургенев, ни Жуковский, ни Веневитинов: они писали по-русски стихи к Гете или переводили его стихи на родной язык. Уваров захотел быть поэтом на языке самого Гете и думал, что этот набор банальностей—стихи, писанные свободным размером Гете и даже с «Mutter-Natur», как у Гете.

Но и на этот раз Уваров не попал в Веймар, а А. И. Тургенев, не без наивного удивления, мог сообщить брату в Геттинген иного рода вести о поэте камер-юнкере: «Уваров женится на гр. Разумовской» (23 сентября 1810 г.) и «Уваров сделан действит. статс. советником и попечителем С. П. Бургского учебного округа» (10 января 1811 г.) [11]. Это был блестящий оборот ловкого карьериста: с женитьбой на некрасивой и немолодой дочери министра народного просвещения, богача гр. Алексея Кирилловича Разумовского, Уваров получал огромное приданое, поправившее его запутанные дела, и сильнейшего покровителя по делам карьерным. По позднейшему признанию самого Уварова, он был «призван к отправлению обязанностей попечителя учебного округа в таком возрасте, когда другие только начинают свое университетское воспитание». И потому «скоро заметил», что в его «образовании



С. С. УВАРОВ В МОЛОДОСТИ
Портрет маслом работы О. Кипренского
Третьяковская Галлерея, Москва

оказывался недостаток основательного знания дрéвних языков». Чтобы покрыть этот недостаток, Уваров начал заниматься греческим языком с профессором Грефе, «и профессор, отдававший попечителю отчет в своих университетских трудах, вечером занимал при нем профессорское место и за греческой грамматикой смело руководил своего начальника, которого приветствовал поутру в университетской аудитории». Как далеко и глубоко преуспел «попечитель»-ученик, видно из признания самого учителя-«профессора». В 1850 г., гостя у Уварова, который не был уже министром, в его Поречьи, Грефе воскликнул: «Как жаль, что вы были министром!—Что вы хотите этим сказать?—То, что без этого вы, право, были бы превосходным эллинистом.—Затем, понизив голос, он прибавил:—Если бы впрочем вы захотели побольше заняться изучением грамматики, которую вы не довольно уважаете» [12].

Впрочем усвоил или не усвоил «превосходный эллинист» греческую грамматику, ученые звания и достоинства шли к нему с такою же быстротою и щедростью, как чины: попечитель учебного округа в 24 года, он в том же году попадает в почетные члены Академии Наук, а 32 лет—в 1818 г.—делается ее президентом. Эта карьера Уварова—из камер-юнкеров, танцующих на посольских балах в Париже и Вене, в президенты Академии Наук—была так быстра и стремительна, что ученый митрополит Евгений не выдержал и обозвал Уварова «ученым шарлатаном»: «Во всех государствах случается, что жалуют в чины и не по заслугам, а в одной России жалуют даже и в ум и в знания без ума и знаний» [13].

Принимая эти щедрые пожалования «в ум и в знания», Уваров имел настолько ума, чтобы наскоро перехватить «знаний» у тех, кто ими действительно обладал (уроки с Грефе), и поскорее заявить себя ученым. Он начал с «Проекта Азиатской академии». Это был умный и тонко рассчитанный ход. К изучению Востока сам Уваров не имел даже и того небольшого касания, какое у него было к античной древности. Востока он не изучал ни в какой, даже самой элементарной мере и однако смело выступил с целым проектом ученого учреждения, которое должно было вести многообразные изучения языков, культур и древностей Азии, издав его по-французски с посвящением гр. А. К. Разумовскому («Project d'une Academie Asiatique. Dedié à le comte Alexis Rasoumovsky», S.-Ptsb. 1810). Нельзя было, прочитав этот проект и ничего не зная из биографии его автора, не подумать, что это пишет глубокий ученый, после множества собственных трудов по востоковедению пришедший к мысли о необходимости положить начало созданию мощного ученого коллектива, преследующего самые ответственные задачи. В проекте предусматривалось создание кафедр таких восточных языков, какие были совершенной новостью и для европейских ученых: манчжурского, тибетского, грузинского, японского и народов азиатского севера; ставились фундаментальнейшие задачи—издание словарей санскритского и китайского языков; таков был фасад проекта Уварова, обращенный в сторону науки, ученых и академий; нужно сказать тут же, что сам Уваров только раскрашивал его, а кирпичная кладка принадлежала двум крупным ученым—Клапроту и Фесслеру; но кроме фасада было и здание, все предназначенное для нужд правительства: тут была кладка самого Уварова:

«В момент возрождения наук о востоке,—спрашивал Уваров,—может ли Россия оставаться позади других наций? Сопредельная с Азиею Россия, обладательница всей ее северной части, не может не чувствовать одинако-

вого нравственного побуждения с прочими народами в их благородных предприятиях; но у нее есть побуждение особенное, политическое, которое, при одном взгляде на географическую карту, становится понятным и несомненным. Россия, так сказать, опирается на Азию. Сухопутная граница неизмеримого протяжения приводит ее в соприкосновение почти со всеми народами Востока, и трудно поверить, что из всех государств Европы именно в России менее всего развито изучение Востока. Достаточно самых простых политических соображений, чтобы усмотреть те выгоды, которые Россия извлечет из серьезного изучения Азии. Россия, которая находится в таких тесных отношениях с Турцией, Китаем, Персией, Грузией, тем самым не только поспособствовала бы распространению всеобщего просвещения, но и достигла бы своих собственных важнейших выгод, так что никогда еще политические побуждения не являлись в таком согласии с обширными видами нравственной образованности» [14].

Своим проектом Азиатской академии Уваров ловил на лету очередной заказ внешней политики самодержавно-крепостнического государства русского. Войны Екатерины дали России Крым и Прикубанье; 18 января 1801 г. совершилось присоединение Грузии, в 1803 г.—Мингрелии, в 1804 г.—Имеретии. Это внедрение России в Восток вводило ее в чрезвычайно сложный кругооборот мировой политики. Одновременно с Россией Павла I и Александра I зорко вглядывался в направлении Востока Наполеон: там, в Египте, в Индии, замышлял он нанести сильнейший удар Англии. Посылая войска в Египет и Сирию, Наполеон замышлял «ногою твердой стать» в колонизованном Египте, чтобы затем двумя ногами стать в Индии, выгнав оттуда малочисленные английские войска. В сентябре 1800 г. Павел I вышел из сколоченной Питтом противунаполеоновской коалиции, а в декабре уже писал первому консулу дружественное письмо. 12 января 1801 г. как союзник Наполеона, в полном согласии с его планом нанести удар Англии в Индии, он дал приказ атаману Войска Донского «итти и завоевать Индию». Смерть Павла пресекла поход, и Александр ввел русскую политику опять в полосу противубонапартовских коалиций. После Тильзита (1807 г.) и Эрфурта (1808 г.) Россия вновь вошла в русло наполеоновской политики, а это значило опять итти против Англии. В самые годы этих свиданий с Александром I Наполеон посылал в Персию миссию генерала Гарданна (1807—1808) с прямою целью—через Персию и Турцию наладить нападение на Индию.

Проникновение русских в Закавказье облегчало эти французские задачи. В глазах Англии, наоборот, появление русских в Закавказье означало возможность прокладки нового торгового пути из Европы в Азию, черноморско-закавказско-персидского: путь этот явился бы опасным соперником старых морских путей в Азию, над которыми господствовала Англия. При всяком направлении русской политики, английском или французском, Кавказ, Грузия, Турция, Персия, Индия оказывались очередной задачей русского политического внимания, которая не могла быть решена без помощи пристального изучения этих стран, обнимаемых названием «Востока» или «Азии». Уваров, перекочевавший в «науку» из «дипломатии», отлично это понимал, и его «научный» проект насыщен самой живой злобой политического дня. С Наполеоном или против Наполеона, с Англией или против Англии, но Россия должна знать свой и соседний Восток, чтоб над ним господствовать: вот мысль, положенная в основу проекта Азиатской академии. В свете этой простой мысли легко по-

нимаются все научные детали уваровского проекта. Вопрос об Индии, как видно из сказанного, был практическим, а не теоретическим интересом русской политики Павла и Александра I, поскольку она была связана с Наполеоном и Англией, и поэтому вовсе не для одного чтения «Магабхараты» желал Уваров учреждать кафедры индологии в своей академии. Не для одного насаждения в России вкуса к Саади и Гафизу понадобилась и персидская кафедра: Персия была в ближайшем круге русских политических интересов; в 1818 г. понадобилось уже назначить туда поверенного в делах, а «в 1820-х годах,—по словам историка,—быстро развившаяся транзитная европейская торговля через наши закавказские владения с Персиею до того встревожила сен-джемский кабинет, что он для окончательного уничтожения ее одним разом вовлек Персию в открытую войну с нами»[15]. Грибоедову, павшему жертвой русско-английского спора на персидской почве, пришлось в 20-х годах быть своим собственным профессором персидского языка и истории,—не поэзии, а политики ради. Прямая политическая нужда в кафедре грузинского языка не требует пояснения: нельзя было управлять за девять лет до того присоединенной страной, не имея чиновников, знающих ее язык. Кто владел Закавказьем, тот не мог обходиться и без знания соседнего, армянского, языка. Это было известно Уварову, но он предпочел маскировать нужду в грузинской и армянской кафедрах тем, что очень уж любопытны памятники древней письменности у грузин—царь Вахтанг, у армян—Моисей Хоренский. Очень много уделил Уваров места и ученой маскировке китайского и манчжурского языка. Однако в 1810 г. маскировка эта вероятно была заметна: в этом году очень многие знали в Петербурге и в Сибири, почему русскому правительству должно было заняться таким нелегким предметом, как Китай. В 1805 г. Александром I отправлено было в Китай пышное и многочисленное посольство во главе с гр. Ю. А. Головкиным, будто бы для того, чтобы поздравить богдыхана с восшествием на престол и возвестить о таком же восшествии Александра I, в действительности же для того, чтобы установить выгодные для России торговые сношения с Китаем и добиться уступки России Амура. Задача была так ясна, что даже один из юных участников посольства, Вигель, понимал ее: «Как не стать на Амуре и, вооружив берега его твердынями, как не предписывать законов гордому Китаю, дабы для подданных извлечь из того неисчислимые выгоды? Как не взять его в опеку и не защитить от вторжений других европейских народов?»[16] Однако осуществить эту задачу шумному посольству не удалось: его глава, гр. Головкин, и дипломаты российские были столь невежественны во всем, что касалось Китая, понаделали таких грубейших ошибок еще на пороге Китая, что их в Пекин не пустили: пришлось ретироваться из Урги восвояси. Уваров великолепно был осведомлен о первой причине неслыханной неудачи посольства: «китайскую маскировку» в его «проекте академии» сочинял тот самый ученый профессор Клапрот, который состоял при посольстве Головкина, но не мог спасти заранее проигранного дела. Даже тибетский язык понадобился Уварову не зря. Он очень эффектно зарисовал в своем проекте, как в его академии встретятся «критикующий европеец и азиатский лама» («critique Europeen à côté du Lama asiatique»)[17], но фон зарисовки прост: тибетский язык был официальным языком ламаитского буддийского культа, исповедуемого миллионами подданных русского царя в Азии, и иметь чиновников, знающих этот язык, было правительственною нуждою. На насущную нужду, утоляемую утонченною ака-

S. Petersburg. 15/27. December 1810.

Euer Excellenz nehme ich mir die freyheit ein exem-
-plar meines ersten litterarischen Versuchs zuzusenden.
Es ist Zeit dass auch wir an der jetzigen grossen gährung
aller Ideen antheil nehmen, um unsere Cultur auf
dem festen boden des Orients aufzubauen. Diese
herrliche Ansicht ist Ihnen nicht fremd. In Ihren
unsterblichen werken herrscht überall die fülle des
hohen Geistes, der gern in dem weiten felde des
besseren Alterthums verweilet, um sich dann als
Schöpfer zu dem gipfel der höchsten Poësie, empor zu-
-schwingen.
Ich bitte Sie die beygelegte Schrift nicht als ein
eigentliches Werk sondern vielmehr als ein Memoire
zu betrachten, welches ich für meinen Schwieger Vater,
grafen von Rasoumoffsky, verfertiget habe. Vielleicht
kann dieses unternehmen güte folgen haben, und
in unserem Norden das wahre licht ankündigen.
Der schönste lohn für mich ist wenn ich wissen
sollte dass Sie mein werkchen gelesen haben
Wenn Sie mich mit einer antwort beehren

Первая страница автографа письма С. С. Уварова к Гете от 27 декабря 1810 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

wollen so bitte ich *Sie, Ihren* brief mit der Post, oder auch mit Gelegenheit, nach S. Petersburg abzufertigen.

Mit Hochachtung verbleibe ich unterdessen

Euer Excellenz

Ergebenster Diener

Ouvaroff

Russisch-Kays.-Kammer-Junker

Вторая страница автографа письма С. С. Уварова к Гете от 27 декабря 1810 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

демиею, впрочем указал и сам Уваров: «весьма действительная польза, которую приносила бы академия, была бы уж в том, что она подготовляла бы переводчиков, в коих мы терпим нужду при сношениях с Турцией, Персией, Грузией и Китаем» [18]. Проект Уварова ярок и целен: это документ русского наступления на восток. Через восемнадцать лет из рук русского писателя А. С. Грибоедова, также почитателя и даже переводчика Гете, вышел схожий документ—«Общий взгляд на обширные виды, которые могут постепенно и по естественному ходу дел войти в круг действий учреждаемой в Тифлисе Закавказской Торговой Компании» и его же «Записка об учреждении Российской Закавказской Компании» (1828 г.) [19]. Оба—и Уваров, и Грибоедов—пытаются создать учреждения, которые сумели бы собрать в один фокус политические и экономические интересы России на Востоке. Оба учреждения хотят быть полуправительственными по своей организации: Уваров учреждает академию, которая, по его плану, кроме средств от правительства, должна была обладать и собственными источниками существования, Грибоедов основывает частную Компанию, но «на основе правительственных многоразличных привилегий, обращенных в закон» [20]. Разница задач: ученая академия—торгово-промышленная компания есть только разница эпох, когда зарождались эти учреждения: при Александре I надо было прежде всего знать Восток, чтобы удачно действовать на нем, при Николае I приходилось уже политически и экономически действовать и попутно запасаться знанием. Оба проекта политически были направлены против Англии, и оба не были осуществлены в связи с Англией: уваровский проект положила под сукно новая ориентация (с 1811 г.) политики Александра I—против Наполеона, следовательно, с Англией, грибоедовский проект был убит в Тегеране в 1829 г., при обстоятельствах, о которых даже Паскевич писал гр. Нессельроде, что «причины пагубного события были далеко небезызвестны англичанам, и они старались обострить враждебное нам настроение умов в Персии» [21].

Проект Уварова вызвал отзыв вел. кн. Екатерины Павловны, любимой политической собеседницы брата: «Это делает честь автору» [22]. Проект разослан был Уваровым по ученым и дипломатам Франции и нашел себе читателя, весьма компетентного не в маскировочном, а в истинном содержании проекта: Наполеон прочел его и, считая политически важным и практически ценным, предложил рассмотреть его «Институту». Академики, поняв урок Наполеона, рассыпались в похвалах Уварову [23].

Это была большая политическая удача Уварова; он отлично умел ее организовать, а именно для этого ее необходимо было скрыть: нужно было бросить весь свет европейского общественного мнения на научный фасад предприятия, чтобы тем успешнее в тени оно могло осуществлять свои действительные, но боящиеся яркого света политические задачи.

Мог ли Уваров не послать своего «Проекта» к Гете? Никто лучше Гете не мог бы бросить свет европейского культурного признания на фасад уваровской Академии. Уваров отлично знал, что городок, где жили Гете, Гердер (лестно помянутый в проекте) и их друзья, давно уже стал столицей германской, а может быть и европейской культуры. 27 декабря Уваров послал Гете свой «Проект» при следующем письме:

Ваше Превосходительство!

Беру смелость переслать Вам экземпляр моего первого литературного опыта. Пришло время и нам принять участие в современном великом движении всех идей, чтобы построить нашу культуру на прочной основе Во-

стока. Вам не чуждо это превосходное воззрение. В Ваших бессмертных творениях всюду господствует полнота высокого духа, который охотно пребывает в широких просторах прекрасной древности, чтобы потом творчески взлететь на вершину высокой поэзии. Прошу Вас не смотреть на мое писание, как на сочинение в строгом смысле слова, но скорее как на «записку» (Memoire), составленную для моего тестя, гр. Разумовского. Быть может это начинание будет иметь благие последствия и явится предвозвестником истинного света на нашем севере. Лучшей наградой мне будет знать, что Вы прочли это небольшое сочинение. Если Вы удостоите меня ответом, то прошу Вас отправить Ваше письмо по почте или с оказией в Петербург.

Остаюсь с глубоким почтением Вашего Превосходительства покорный слуга

Уваров,

Его Императорского Величества камер-юнкер [24].

На эту искательную лесть Гете отвечал большим письмом. К сожалению оно почему-то не сохранилось в Порецком архиве аккуратного Уварова, апологету Schmid'у оно осталось неизвестно и его приходится печатать по черновику, уцелевшему в архиве Гете в таком виде:

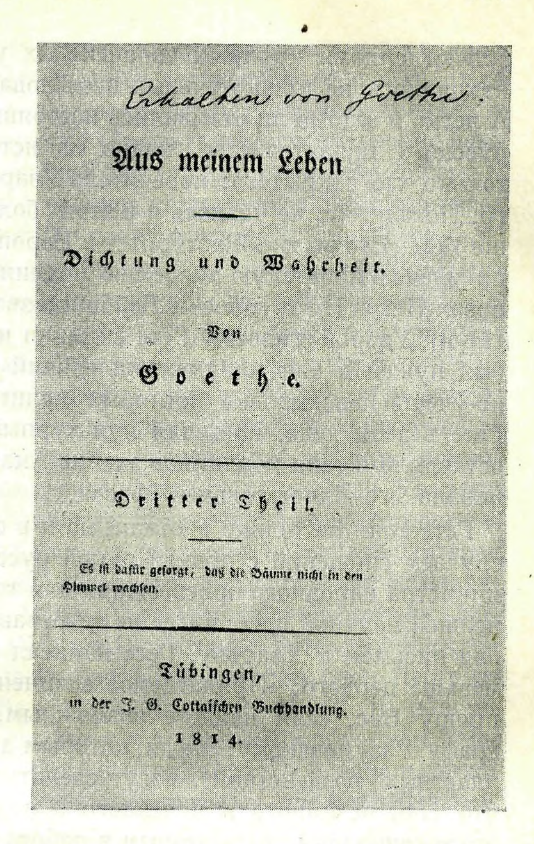
«С восхищением и радостью прочел я присланную, полную значения, записку (Memoire), с восхищением перед проникновенностью автора и широтой его кругозора, с радостью от его деятельности, от той доброй готовности, с какой он намерен применять свои знания в большом масштабе. Поистине мы живем в век итогов и resumés; так много произошло, так много нам предстоит, что мы отныне можем собирать, заканчивать, дополнять, продолжать, пользоваться результатами. Поэтому счастливы те, кто еще в молодости обладают способностями, влечением и нужными условиями для такой деятельности. Я ничего так не желаю, как того, чтобы Вы как можно скорее возглавили азиатский институт, стали бы распространять свет на обе части света, которым принадлежит государство Вашего великого монарха. По-царски способствовать этому начинанию—это усилило бы блеск, которым он умеет окружить свой трон. Из приложенных таблиц я не мог не усмотреть, что Ваши намерения направлены на то самое, к чему я давно и тщетно обращал свои желания: ибо, хотя я лишь набегами мог вторгаться в область индийской литературы, однако моя прежняя любовь к Веддам все время получала новое питание благодаря исследованиям Соннерà, усердным трудам Джонса, переводам «Саконталы» и «Джита-Говинды» [25], и некоторые легенды соблазняли меня их обработать; очень давно носилась у меня в мысли и поэтическая обработка Ведд; хотя бы она и не встретила со стороны критики высокой оценки, тем не менее она могла бы оживить для многих представление об этих глубокомысленных и прекрасных преданиях.

А так как новому восточному обществу будет предоставлена возможность integros adire fontes (проникнуть к чистым истокам) и проследить многообразные пути, намеченные Вашим превосходительством, то благодаря этому должен возникнуть совершенно новый мир, в котором нам можно будет вдоволь постранствовать, укреплять своеобразие нашего духа и освежать его к новой деятельности. Меня бы, например, осчастливило, если бы я дожил до полного перевода «Джита-Говинды».

Титульный лист экземпляра книги Гете „Dichtung und Wahrheit", подаренной им С. С. Уварову

Наверху надпись, сделанная рукой Уварова: „Erhalten von Goethe"

Библиотека Исторического Музея, Москва


Erhalten von Goethe.

Aus meinem Leben

Dichtung und Wahrheit.

Von

Goethe.

Dritter Theil.

Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

Tübingen,
in der J. G. Cottaischen Buchhandlung.
1814.

Сказанного слишком много для сопровождения моей искренней благодарности за присылку превосходного проекта, которому я желаю наилучшего успеха: успех не может не быть—и вследствие внутренней ценности проекта, и ради благоприятных условий, в которых Вы находитесь. Прошу Вас время от времени давать мне вести о радостных удачах и поручаю себя и впредь Вашей благосклонной памяти. Имею честь с особым уважением подписаться...» [26]

Не без некоторого стыда за «удачу» Уварова перечитываешь теперь это письмо. Гете ответил ему с исключительной серьезностью, с глубокой культурной верой в великое значение его проекта Азиатской академии, с надеждой на ее осуществление; Гете так был затронут проектом Уварова, что приоткрыл перед ним свои собственные творческие и научные чаяния, обращенные к Востоку (не надо забывать, что через три года после письма Гете начал работу над «Западно-восточным Диваном»), чаяния, воплощения которых можно было ждать от Азиатской академии. Почти трогательно звучит признание великого поэта, что его «осчастливило бы, если бы он дожил до полного перевода «Джита-Говинды», и еще трогательнее его наивная убежденность, что и автор «Проекта», подобно ему самому, очень скорбит оттого, что «мог лишь набегами вторгаться в область индийской поэзии».

Уваров мог быть доволен: умный победил гениального. У него, что называется, «клюнуло»: Гете сразу заинтересовался проектом, с первого же слова хвалил Александра I за готовящийся вклад в европейскую культуру. Гете был необходим агенту русского правительства. Азиатская академия со всей многосторонностью своих заданий могла быть осуществлена

только силами крупных европейских ученых: в России для Востока не находилось не только ученых исследователей, но и простых переводчиков. А легко и охотно ли отзывались настоящие европейские ученые на призывы русского правительства, видно из истории Харьковского университета, только что открытого: попечитель Уваров знал, что другому попечителю, гр. Потоцкому, не удалось и в этом, более простом деле обойтись без помощи Гете. Его высокий авторитет в Европе ученой и культурной должен был привлечь в Азиатскую академию подлинные научные силы. Уваров имитировал Петра I: тот голосом Лейбница звал европейских ученых в Академию Наук, Уваров голосом Гете скликал их в Азиатскую академию. Но Гете был нужен и как монументальнейший участник в великолепной культурно-ученой маскировке истинных политических задач Академии: участие Гете в этом деле, повышая культурный кредит самодержавия в Европе, оставляло в тени подлинное здание Академии и с особою яркостью расцвечивало его блистательный фасад.

Гете впал не только в обман, но и в соблазн. Он решил воспользоваться случаем сношений с правой рукой русского всесильного—как он думал—министра народного просвещения для того, чтобы дать ход своей излюбленнейшей научной идее, нигде не встречавшей признания. Уже подписавшись под письмом к Уварову, Гете написал ему, в сущности, второе письмо, не меньше первого: «Прилагаемое сочинение, посвященное учению о цветах, прошу Вас, если найдете возможным, передать его превосходительству графу Разумовскому. Люди, которым дан, как ему, самый широкий круг властных воздействий, могут сделать доступным и для массы все то, что есть истинного и полезного в подобной работе. Содержание и задачи этого сочинения, над которым я работал много лет, обстоятельно и подробно изложены в конце прилагаемой тетради (in quarto); к ним я ничего не прибавлю. Я должен только высказать ближайшие побуждения, заставившие меня послать Вам эту работу. Дело в том, что его сиятельство князь Репнин[27] направил в Петербург проф. Рейссига из Касселя, искусного механика и оптика. Он давно зкаком с моими задачами и средствами к их решению и, руководствуясь моим сочинением, уже изготовлял для друзей естествознания различные стекла и инструменты, необходимые для основных опытов. Он мог бы, еслиб это было найдено интересным, соорудить полную аппаратуру для какого-либо научного института». На этом Гете мог бы закончить высказывание своего заветного чаянья: увидеть, хотя бы в России, правильно поставленные опыты по своей теории цветов, но он знал, что пишет зятю гр. Разумовского, и закончил придворно-льстивой мотивацией: «и, быть может, из этого (из опытов по «Farbenlehre».—*С. Д.*) возникло бы что-нибудь приятное и занимательное для князя (für den Fürsten), любящего искусство и науку», и указал Уварову на таких примерных «князей»: «несколько дней назад мы имели счастье приветствовать здесь прекрасную чету Репниных, находящихся в таком близком родстве с вами[28], и желаем, чтоб их путешествие счастливо продолжалось и закончилось»[29].

Этому большому письму к Уварову, посланному 27 февраля 1811 г., предшествуют отметки в дневнике Гете, свидетельствующие об интересе к Уварову и его проекту: 21 февраля: «После обеда проект Азиатской академии»; 22-го через русского посланника Г. Струве «известия об Уварове». 27-го письмо пошло в Петербург с герцогским курьером[30], и в этот же день Гете писал Кнебелю: «В Петербурге совершилось очень приятное для меня событие. Молодой человек, по фамилии Уваров, камер-юнкер, зять

гр. Разумовского, министра народного просвещения, прислал мне посвященную его тестю записку, содержащую проект азиатского общества, цель которого—способствовать познанию языков и литературы всех древних и новых восточных народов. Наш маленький Клапрот, которого ты верно помнишь, вошел теперь в честь за свое знание Китая. Автору только 25 лет, и кажется можно ожидать, имея в виду его живое стремление и благоприятные внешние отношения, что его поставят во главе подобного учреждения» [31].

Очень существенно упоминание в этом письме Клапрота (Julius-Heinrich Klaproth, 1783-1835). Уваров вверил ему всю «китайскую часть», а также грузинско-армянскую, своего проекта. Это был немецкий ориенталист на службе русского правительства: оно посылало его в 1805 г. в Китай, а в 1807—1808 гг. в Закавказье (о чем упоминает и Уваров в «Проекте»). Гете знал Клапрота по Иене. Допустимо предположение, что этот ученый веймарско-иенского круга Гете, отдавший предпочтение русским полновесным червонцам перед тощими веймарскими талерами, и подал Уварову первую мысль обратиться к Гете, сообщив об его глубоком интересе к Востоку. Участие Клапрота в предприятии Уварова повышало интерес к нему Гете. Гете были известны труды Клапрота, выходившие в Веймаре: «Asiatisches Magazin, Bd. I u. 2» (W. 1802), «Verzeichnis der chinesischen Bücher der Büttnerischen Bibliothek» (W. 1804). Позднее Гете ознакомился и с другой книгой Клапрота: «Reise in den Kaukasus und nach Georgien in den Jahren 1807 und 1808. Halle und Berlin 1812—1814». 10 ноября 1813 г. Гете упоминает Клапрота в дневнике и тогда же пишет о нем Кнебелю как о «воплощенном китайце». Гете познакомился и с начальником неудачного русского посольства в Китай, как явствует из карлсбадской записи 27 июля 1812 г.: «Гр. Головкин, начальник чрезвычайного посольства в Китай. Карта России, проницательный разговор графа»; отмета позволяет думать, что Головкин заинтересовал Гете именно как русский правительственный китайских дел мастер. В июле 1813 г. опять отмечены у Гете встречи с китайским Головкиным [32].

Этот «китайский эпизод»—одно из многих доказательств того исключительного интереса, который проявил Гете к предприятию Уварова.

Он понял письмо этого камер-юнкера от науки как призыв к прямому участию в деле и 17 августа 1811 г. давал ему отчет в сделанном:

«Чтобы до некоторой степени доказать Вашему Высокоблагородию, что мы здесь также безустанно заняты тем же самым, что для Вас представляет такой интерес, я прилагаю небольшую статью, внушенную Вашей прекрасной и пространной запиской. Это—произведение г. советника Фридриха Мейера, который вот уже некоторое время находится у нас и который приобрел себе немалые заслуги в области азиатской литературы» [33]. Гете переслал Уварову целый контрпроект, написанный—конечно по его внушению—приват-доцентом Иенского университета Фр. Мейером (1772—1818), прочтенный и одобренный самим Гете. Мейер с первых же строк льет воду на мельницу Уварова и Александра I: «Рано или поздно русское правительство, сообразно своей истинной пользе, станет обращать свой взор все более, или, по крайней мере, с таким же вниманием, на Азию, как и на Европу. Как много мог бы помочь подобный институт созданию и поддержке проектов и предначертаний, отсюда возникающих». Мейер и Гете заблуждались, думая, что русское правительство лишь в будущем («рано или поздно») поймет свои задачи в Азии: оно понимало их уже и в настоящем и радо было услышать от Мейера и Гете такое идиллически-

раскрашенное (маскировка удавалась!), но по существу верное понимание целей будущего института: он должен служить колониальным задачам России в Азии; Александр I мог быть благодарен Гете-Мейеру за великолепный идеалистический перевод этих реалистических целей: «В планах мироустройства, кажется, предназначено свыше существование исполинского государства, которое вновь установит почти прерванную духовную связь обеих частей света, бывших издавна главной ареной всей высокой человеческой культуры, и приведет к полному, длительному и плодотворному их взаимодействию. Тем, чем были когда-то египтяне для народов в пределах Средиземного моря: мостом, по которому азиатская культура достигла до нас,—тем самым, только в еще более высоком значении, Россия может стать для Европы и Азии. В более высоком значении, потому что Россия сознательно и умышленно может сделаться таким посредником, тогда как Египет сделался им случайно и бессознательно. В этом отношении русскому правительству представляется самый блестящий случай стяжать неумирающую заслугу перед человечеством в области его высших интересов». Далее Мейер намечает схему организации Азиатской академии как ученого и учебного учреждения, развивает детальную программу предстоящих изучений, подчеркивая, как и Гете, главным образом область индийской культуры, языка и искусства, дополняя и усложняя наметки уваровского проекта. Записка Мейера ставила практическую цель. Он, с одной стороны, усиленно старается заинтересовать в Азиатской академии русское правительство, указывая, что в «учебном заведении» при академии подготовлялись бы «питомцы для политических целей управления—для дипломатических сношений с азиатскими соседями»; с другой стороны, он озабочен тем, чтоб было налажено и обеспечено привлечение к трудам академии иностранных ученых. Эти иностранцы «должны были бы получать или законодательно проведенную ежегодную плату, или такое вознаграждение за свои труды, которое было бы достаточно для поощрения и соревнования». Конечно для Мейера эти «иностранные ученые»—прежде всего немецкие ученые, и он спешит рекомендовать Уварову великого друга Гете: «Нельзя положить более блестящего начала экспедициям», организуемым академией, как «если побудить знаменитого Александра Ф. Гумбольдта совершить давно им намеченное путешествие в Азию из России и посетить, со всеми необходимыми средствами, Среднюю Азию, Тибет и Индию». Мы знаем, что эта наметка Мейера-Гете, в некоторой части своей, при поддержке и покровительстве русского правительства, осуществилась при Николае I. К российскому востоковедению Мейер очень предусмотрительно предлагает привлечь и миссионеров, и широкую сеть «членов-корреспондентов из всех сословий». Эти советы были по вкусу заказчиков, но они вероятно не без улыбки читали другие советы Мейера: заняться немедленно изданием трудов по санскриту Фр. Шлегеля и самого Мейера [34].

Гете и Мейер не скоро дождались ответа Уварова. Только 11 ноября (н.с.) 1811 г. собрался он, и очень кратко, им ответить:

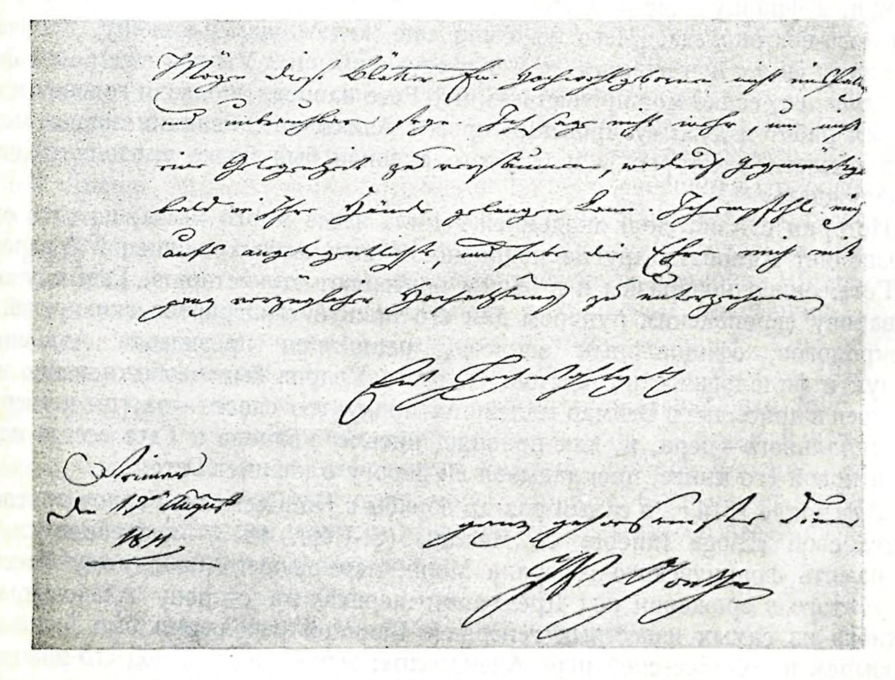
«Ваше Превосходительство! Ваше любезное письмо я получил с великой радостью. Для меня было радостной вестью узнать, что Вы с участием относитесь к идеям, которые, хотя еще и далеки от осуществления, способны однако возбуждать всеобщий интерес. Беру смелость послать Вам, Ваше Превосходительство, экземпляр немецкого перевода, который я несколько улучшил добавлениями. Прошу Вас передать один экземпляр г-ну советнику Фридриху Мейеру как знак моего уважения и благодар-

Hochwohlgeborner,

Insonders hochgeehrtester Herr,

Ew. Hochwohlgeboren einigermaßen zu beweisen, daß auch wir uns hier immerfort mit demjenigen beschäftigen, was für Sie soviel Interesse hat, lege ich einen kleinen Aufsatz bey, welcher durch Ihr schönes und ausführliches Memoire veranlaßt worden. Er ist von Herrn Rath Friedrich Majer, welcher sich schon seit geraumer Zeit bey uns aufhält und sich um die asiatische Literatur manches Verdienst erworben hat.

Первая страница автографа письма Гете к С. С. Уварову от 17 августа 1811 г.
Исторический Музей, Москва



Mögen diese Blätter Ew. Hochwohlgeboren nicht mißfällig und unbrauchbar seyn. Ich sage nicht mehr, um nicht eine Gelegenheit zu versäumen, wodurch Gegenwärtiges bald in Ihre Hände gelangen kann. Ich empfehle mich aufs angelegentlichste, und habe die Ehre mich mit ganz vorzüglicher Hochachtung zu unterzeichnen

Ew. Hochwohlgeboren

Weimar
den 17 August
1811

ganz gehorsamster Diener
JWvGoethe

Вторая страница автографа письма Гете к С. С. Уварову от 17 августа 1811 г.
Исторический Музей, Москва

ности за его превосходные замечания. Что Египет не был центром древнего мира, как это многие принимают, но мостом, по которому азиатская культура проникла в Европу, что, наконец, Россия могла бы в высшей потенции совершить то же самое для нового мира (однако с условием чище сохранять формы),—все это идеи, которыми я всегда жил.

Приходится только сожалеть, что дух времени неблагоприятен и стал невосприимчив к ним. Впрочем, награда за борьбу прекрасна, а надежды—велики. Однако не всем дано, как Вам, либо править веком, либо победно с ним бороться» [35].

Между первым письмом Уварова к Гете и вторым прошел почти год: за это время Александр I, готовясь круто повернуть колесо политики против Наполеона, вел переговоры с Австрией, Пруссией, Швецией, приготовляясь к борьбе с Францией. Во второй половине 1811 г. (когда Гете послал проект Мейера) ни для кого из сфер, где вращался Уваров, не было тайной, что разрыв с Наполеоном предопределен. Все внимание русского правительства было теперь перенесено на Запад; о Востоке была одна забота: чтоб он «спал, покой храня», покуда будет благоприятно решена борьба на Западе. «Дух времени» стал действительно «неблагоприятен» теперь для Азиатской академии. Уваров это и сказал Гете почти без обиняков, но сказано это было неглупо: «надежду» на возобновление дела он все-таки посулил, ввернув при этом комплимент Гете как «победителю века», а с Мейером согласился, что империя Александра I, точно, будет Египтом по своему культурному значению для Европы, но Египтом исправленным, дополненным и улучшенным при участии, разумеется, С. С. Уварова.

Гете получил отпуск от Уварова: он пока был ненужен. Сам Уваров для своей политической и ученой карьеры взял большие проценты с «проекта». Он стал известен Наполеону, удостоился похвал в кругу царской семьи, а французские академики, Гете и немецкие ученые сочли его за ученого-востоковеда. Чего же было еще желать камер-юнкеру, произведенному «в ум и в знание», как в следующий чин? Уваров еще более был бы доволен, еслиб мог прочесть то, что Гете написал, подводя годовой итог своих работ и дум: «уваровский проект Азиатской академии завлек меня в те области, в которых я и без того склонен был более продолжительно поблуждать» [36].

История с Азиатской академией заняла здесь много места, но зато она позволяет миновать другие подробности письменных сношений Уварова с Гете: они однообразны и в общем повторяют эту историю. Гете служил Уварову европейским рупором для его политико-патриотических речей и некрологов, официальных записок, memoire'ов президента Академии Наук и филологических опытов. От этого Уваров был необыкновенно исправен в присылке в Веймар малейших продуктов своего—на три четверти официального—пера, и, как правило, письмо Уварова к Гете всегда идет при новой его книге, прокладывая ей дорогу в кабинет Гете.

В феврале 1814 г., в самый разгар борьбы с Наполеоном, Уваров прислал Гете свой «Éloge funèbre de Moreau» (S.-Ptsb. 1813)—хвалебное слово в память французского генерала Моро, перешедшего на службу России и убитого в сражении под Дрезденом; переход на сторону Александра I одного из самых известных генералов Великой революции был большим козырем в политической игре Александра: выходило, что под его знамена стекаются все, кому дорого дело освобождения Европы. Уваров спешил быть истолкователем для Европы этого успеха своего царя. Гете мог быть

при этом прекрасным рупором, и он действительно писал Уварову, что «благородный Моро нашел благородного почитателя, который так правдиво и в то же время искусно и художественно сумел изобразить заслуги необыкновенного человека» [37].

В следующем же письме (16/VI 1814 г.), поблагодарив Гете за отзыв о «Moreau», Уваров посылал Гете новый продукт своего пера, очиненного острым политическим ножом: «L'Empereur Alexandre et Bonaparte» (S.-Ptsb. 1814), предупреждая своего веймарского читателя: «Я обязан был высказать о нашем великом императоре еще одно серьезное слово и я выполнил это с тем большей охотой, что предмет предстал пред нами столь прекрасен и свят» [38].

В 1815 г. (2/XII), в самый разгар работ своих над «Западно-восточным Диваном», Гете пробовал заговорить с Уваровым об Азиатской академии: «В силу особых обстоятельств я приблизился к изучению Востока, и хотя незнание языков полагает мне некоторое препятствие на пути, я снова, однако, взялся за Ваш проект восточного общества и извлек из него много полезного и для моих целей» [39]. Уваров в ответном письме (13/III 1816 г.) ни словом не отозвался на этот намек: политика еще клала под сукно российское «востоковедение», так все внимание еще было устремлено на Запад. Но как только западные дела показались устроены, пришел черед Востока. В 1818 г. не только впервые послано было постоянное дипломатическое представительство в Персию, но и последовало открытие восточных кафедр в Главном педагогическом институте, вскоре преобразованном в Петербургский университет. Уваров, только что возведенный в следующий чин—в президенты Академии Наук,—произнес тогда, по ядовитому определению Греча, «ультра-либеральную речь, за которую впоследствии сам себя посадил бы в крепость» [40]. Речь была не только о пользе восточной словесности, но и о пользе дворянской конституции. «Либерализм» Уварова был простым сервилизмом: он произносил свою речь 22 марта (ст. ст.), а за неделю перед тем—15 марта—Александр I произнес свою известную конституционную речь при открытии польского сейма. На Западе она произвела сильное политическое впечатление, напугав Пруссию и Австрию, чего и желал Александр I. Уваров, разглагольствуя о политической свободе, что она «есть последний и прекраснейший дар бога», и уверяя, что «в опасностях, бурях, сопровождающих политическую свободу, находится вернейший признак всех великих и полезных явлений одушевленного и бездушного мира», пугал «словеноросского» адмирала Шишкова, но был отличным русским и европейским подголоском Александра. Его речь вышла отдельной книжкой и по-русски, и по-немецки [41]. Гете опять понадобился для должности европейского рупора, и 25 августа 1818 г. Уваров уже писал ему: «При этом Вы получите, превосходный друг, немецкий перевод произнесенной мною русской речи. Пусть и в чуждом обличьи получит она Ваше одобрение. Участие, которое Вы принимаете в развитии изучения Востока, столь живо, что Вам, быть может, приятно будет услышать и от нас кое-что, относящееся к этому. Со своей стороны я всякий раз чувствую себя обязанным

Heraus zu treten in das Leben
In Tat und Wort, in Bild und Schall

[выступить в жизнь, в дело и слово, в образ и звук] и Вам, любимому превосходному наставнику, дать в том отчет. Оставайтесь надолго пастырем Вашей родины и гордостью Ваших друзей» [42]. Повторяем: каждое

письмо Уварова привносило в кабинет Гете какую-нибудь его брошюру, которую—к выгоде его карьеры и «для пользы службы» самодержавию—должен был прочесть Гете: ведь Гете 1810—1820 гг. со своими бесчисленными посетителями и собеседниками был лучшей изустной «литературной газетой» своего времени.

В начале 1816 г. Уваров предварил Гете, что «печатает одно немецкое сочинение» и «так смел, что решается посвятить его» Гете [43]. Это было его исследование о «последнем древнегреческом поэте»—«Nonnos von Panopolis, der Dichter. Ein Betrag zur Geschichte der Griechischen Poesie. S.-Ptsg. 1817». В своей речи о Гете в 1833 г. Уваров прямо и решительно заявлял: «Книга моя напечатана и издана под охранением Гете; он подстрекнул сочинителя». К чему подстрекнул? К сочинению книги или к писанию ее на немецком языке? Уваров благоразумно умалчивает; письма Гете с «подстреканием» к сочинительству нет ни у Шмида, пользовавшегося уваровским архивом, ни в Веймарском издании. Сам же Уваров привел в своей речи лишь отрывок из другого письма Гете, где он на слова Уварова, что «тщетно искал ученого немца, который бы принял на себя труд пересмотреть рукопись», увещевал президента российской Академии Наук: «Настоятельно прошу Вас, даже требую от Вас обещания никогда не поверять никому из немцев так называемого Вами просмотра рукописей Ваших. Наверно слог Ваш от этого потеряет все, что в моих глазах драгоценно, а в замену приобретет прикрасы, о коих я нимало не забочусь. Пользуйтесь тою важною выгодой, что Вы не знаете немецкой грамматики: лет тридцать стараюсь я забыть ее» [44].

Когда Гете дал Уварову столь удивительный совет и сделал столь поразительное признание? Сам Уваров в речи своей объясняет дело так: «Посылая ему книгу, я писал, что он верно найдет в ней выражения иностранца, руссизмы, даже несколько солецизмов», и дальше приводит в свое оправдание указание на поиски «ученого немца». Этого письма Уварова что-то нигде не отыскивается: его нет ни в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре, как явствует из справки, полученной нами в июне 1932 г., его нет в Уваровском архиве, хранящемся теперь в Москве, в Историческом музее; оно осталось неизвестно и Шмиду, писавшему в 80-х годах по документам, полученным от Уваровых, и Веймарскому изданию. Есть в письме и одна странность: Уваров не мог отыскать «ученого немца»! Да ведь Петербург и Академия Наук кишели ими! Можно поймать Уварова с поличным: такого «ученого немца» он отлично знал, пользовался, по собственным признаниям, его научными услугами, в 1825 г. рекомендовал его Гете как своего друга: это был—каждый внимательный читатель этой работы мог бы рекомендовать его Уварову—это был профессор (впоследствии академик) Фр. Грефе, с которым Уваров и занимался тем самым «Нонном из Панополиса», которому была посвящена немецкая работа Уварова; немца, стало быть, нечего было и искать: он стоял за спиной Уварова—«ученого». Письма Уварова с «немцем» у нас нет, и вряд ли оно существовало, но у нас есть то письмо Гете, в котором он благодарит Уварова за присылку книги о «Нонне из Панополиса». Это письмо от 28 марта 1817 г.; читатель найдет его немного ниже и убедится, что в нем н е т тех слов Гете, которые Уваров привел в своей речи, будто бы из письма, которым Гете отвечал на присылку книги. Может быть было еще какое-то письмо Гете, шедшее рядом с этим и заключавшее приведенную

Титульный лист сочинения *С. С. Уварова* „Nonnos von Panopolis der Dichter", посвященного Гете (СПБ, 1817)

Публичная Библиотека им. Ленина, Москва

NONNOS VON PANOPOLIS

DER DICHTER

EIN BEYTRAG ZUR GESCHICHTE DER GRIECHISCHEN POESIE

VON

WIRKLICHEN STAATSRATH

OUWAROFF

St. PETERSBURG

Gedruckt bey Alexander Pluchart

MDCCCXVII

выше похвалу забывшим или незнавшим грамматики? Но такого письма тоже нет нигде. С некоторою растерянностью недавно (1921 г.) писал Евг. Цабель (Eugen Zabel), процитовав знаменитое место о грамматике: «К сожалению этого места нельзя найти, как мне было подтверждено заведывающим архивом Гете и Шиллера в Веймаре, проф. Dr. J. Wahle, ни в напечатанных письмах издания Софии (Веймарское издание.—*С. Д.*), ни в труде Г. Шмида, хотя этот последний напечатал с оригиналов восемь писем Гете, хранившихся в Уваровском семейном архиве в Поречье (теперь он в Москве.—*С. Д.*). Поэтому приходится думать, что письмо, содержащее это место, утеряно» [45]. Приходится думать—поправим мы Цабеля,—что письмо это сочинено Уваровым: иначе пришлось бы дивиться жестокости случайностей: из всей переписки Гете с Уваровым пропали лишь те два письма Гете, которые были особенно лестны для Уварова, и то одно письмо самого Уварова, в котором особенно высоко было его научное смирение. Чтобы покончить с «жестокостью случайностей», приведу из речи Уварова те слова его, которыми он сопровождает знаменитый гетев апокриф о безграмотности: «Несмотря на внимание великого писателя, можно б принять сии строки за легкую иронию, еслиб в то же самое время не повторил он тех же похвал и не объявил бы того же мнения в изданном тогда сочинении: Kunst und Alterthum» [46]. Читатель найдет дальше этот отрывок Гете из «Kunst und Alterthum» и убедится, что по жестокой случайности ничего этого Гете не «повторял» и не «объявлял».

Нужно прочесть «посвящение» «Нонна из Панополиса», чтобы оценить декламационное и дипломатическое мастерство Уварова: оно заразило и самого Гете:

Гете.

Доброе участие и любезное расположение, коими Вы всегда дарили мои труды, дают мне смелость публично засвидетельствовать Вам свое глубокое уважение и благодарность. Вы имеете давнее и постоянное право на сие, питаемое мною, чувство: чудесные плоды Вашего духа, некогда на немецкой почве жадно поглощавшиеся юношей в полном согласии фантазии и души, ныне живительны и благотворны для мужа в смутном окружении делового мира. Ваше увещающее слово оказало также большое влияние на мое решение выступить ныне, как писатель, на чужом для меня языке. Ваша защита меня охраняет, да и кто осудил бы меня, еслиб я когда-нибудь из Ваших рук получил право гражданства в немецкой литературе? Возрождение науки о древности принадлежит немцам.

Пусть другие народы содействовали ему важными предварительными трудами; однако, если высшей филологии суждено когда-либо дорасти до завершонного целого, такого рода палингенезис мог бы, конечно, иметь место только в Германии. По сей причине некоторые новые воззрения едва ли могут быть выражены на каком-либо другом из новых языков. Надо надеяться, что ныне уже отошли от ложной идеи политического превосходства в науке того или иного языка. Настало время, когда каждый, не заботясь об орудии, должен всегда выбирать язык наиболее близкий к тому кругу идей, в который он собирается вступить.

Поскольку я этим своим сочинением также намеревался публично признаться в том, чем я обязан немецкой культуре и немецким друзьям, я, как почитатель Ваш, считал своим долгом посвятить эти страницы Вам, красе Вашего народа, великому мастеру немецкого языка и искусства.

13 ноября 1816 г. Автор.

Содержание «Посвящения» можно выразить в трех словах: «Я и Гете». Уваров сумел из своего посвящения Гете сделать настоящее «предисловие Гете» к своей работе. Мало того: сумел сделать себя немецким писателем, которого благословил на это сам патриарх немецкой литературы: нельзя было тоньше и удачнее восхвалить себя и выйти на дорогу европейского ученого писательства. В «предисловии» была и своя доля либерализма: отвергалось «политическое превосходство в науке того или другого языка».

Гете 28 марта 1817 г. отвечал Уварову не на его книгу, а на его «посвящение». Вот это замечательное письмо: «Вы доставили мне счастливые мгновения открытым свидетельством Вашего доброго расположения и приверженности ко мне. Всякий, кто ощущает в себе волю к творчеству, всюду встречает, пока он живет и творит, сопротивления и препятствия: ему лишь изредка приходится наслаждаться тем днем, когда он совершит что-нибудь доброе. Да и в нем самом живет постоянно стремление к лучшему, и все, сделанное им, уже не может не казаться ему слабым, почти недостойным внимания. И только впоследствии, когда обнаруживаются результаты, когда он заметит, что современники воспринимают его надежды, стремятся к их осуществлению и двигаются дальше,—только тогда почувствует он себя подлинно живым существом, составляющим единое целое со всеми остальными.

Такое чувство возбуждало во мне каждое из присылаемых Вами произведений, особенно же последнее, где Вы столь любезно вводите меня в круг Вашей деятельности. Спешу сердечно выразить Вам мою предварительную благодарность и оставляю за собою право высказать Вам в даль-

нейшем—в одной тетради, которая скоро должна быть закончена печатаньем,—мою радость по поводу достоинств Вашего труда и по поводу высказанной Вами верной мысли об употреблении различных языков для выражения разнохарактерных целей. Как раз для нашего времени эти слова звучат как желанное благовестие (Evangelium), возвещающее немцу, что он, вместо того чтоб замыкаться в себе самом, должен принять мир в себя, чтобы на него воздействовать. Ваш пример неоценим» [47].

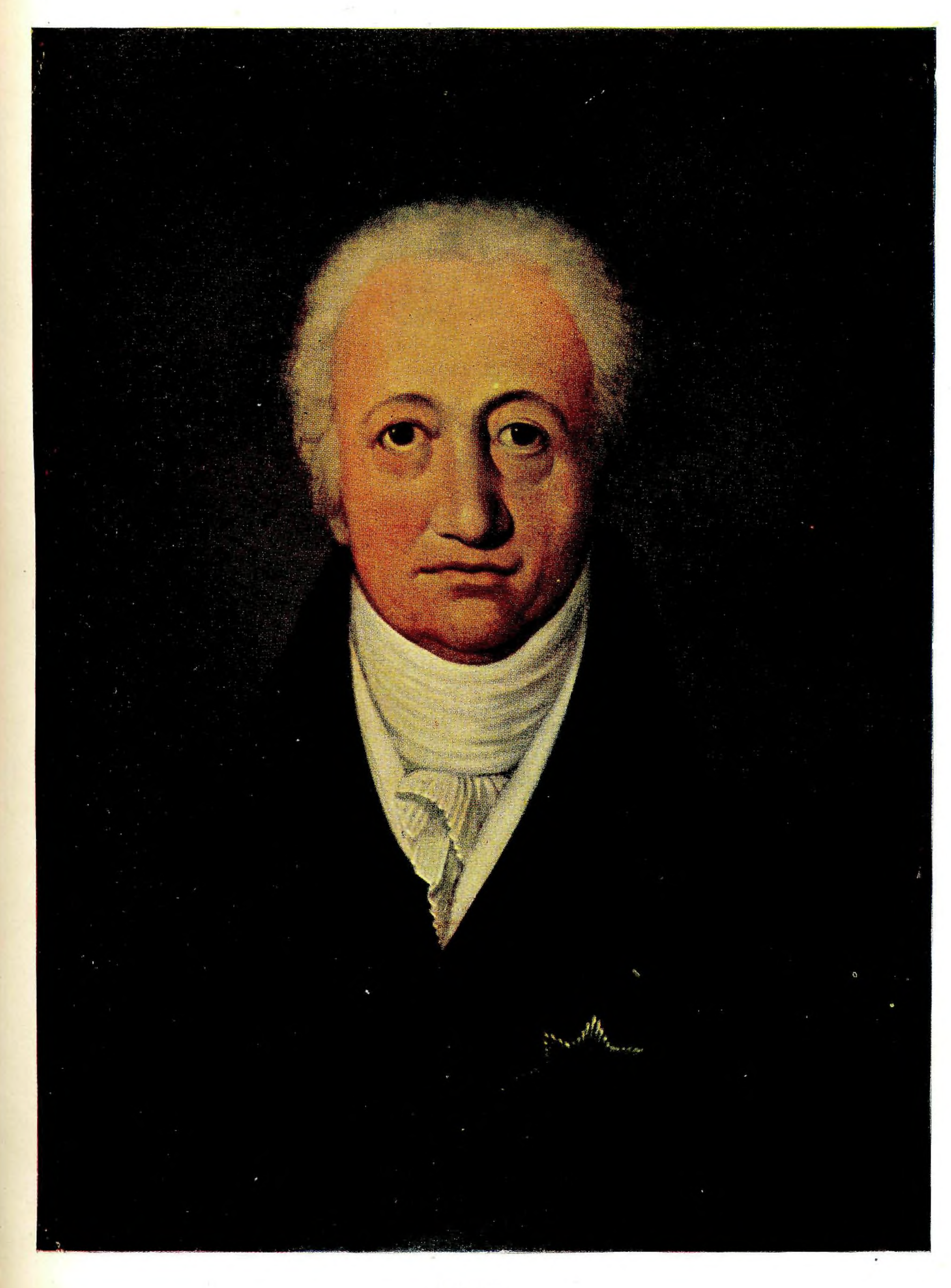
Письмо Гете поражает своей искренней простотой и простой искренностью. Как далеки от пресловутого невозмутимого «олимпийства» эти признания в вечной писательской неудовлетворенности, в этом творческом одиночестве! Гете х о ч е т быть не «олимпийцем», далеким от долин и плоскогорий жизни, а современником своих современников: по крайней мере ему дорог и нужен их отклик, а не эхо веков, на его произведения, их деятельное отзвучие на его надежды и мыслительные чаяния, и писательское счастье он испытывает лишь тогда, когда он—«одно живое существо» со своим веком и современностью. Признания исключительной цены, если вспомнить, как скуп Гете-старик на высказывания такого рода!

Но по какому ошибочнейшему поводу они высказаны! Гете мнит видеть живой, горячий, искренний отклик современника там, где на деле—умный и тонкий политический расчет: «и мы, слуги императора всероссийского, можем дать ученой Германии урок научного либерализма». Злой иронией звучит намерение Гете поставить Уварова в пример немцам как ученого-интернационалиста. Известно, с каким недоверием и прямым отчуждением относился Гете к немецкому освободительному патриотизму 1813 г., как мало он верил в общекультурную значительность этого националистического литературно-философского «германизма» и сколько упреков сыпалось на него за то, что и политически, и идеологически, и творчески он был чужд ему, если не враждебен. В уваровском заявлении—о праве ученого писать на любом языке, которого потребует сама наука и ее предмет,—Гете видел великолепный урок немцам, тем более внушительный, что урок этот исходил от представителя народа, который так же, как немцы, торжествовал победу над Наполеоном и мог предаваться националистическому похмелью. Как жестоко ошибся здесь Гете! Он мог бы легко узнать это, если бы он дожил до 1833 года, когда «интернационалист-ученый» был сделан министром народного просвещения и почтительно преподнес Николаю I знаменитую формулу: «Православие—самодержавие—народность», формулу, в зерне прозябавшую и во всей идеологии Азиатской академии. Ознакомься с нею Гете (у Уварова верно хватило бы смелости преподнести и ее своему «другу»!), он понял бы, что официальная народность Уварова круче, исключительней, жестче неофициальной «народности» немецких студентов, поэтов и философов 1813 г. Знай все это Гете, ему пришлось бы взять назад свой пример, который он выставил в 1817 г. в поучение немцам. А он его действительно выставил—и очень четко—в своем журнале «Kunst und Alterthum» (1817, B. I, 3 Heft, S. 63):

«Будет уместно привести благосклонное мнение, которым одарил нас, немцев, один замечательный иностранец. Русский действ. ст. сов. Уваров с почетом отзывается о нас в своем ценном сочинении «Nonnos von Panopolis»: в предисловии, обращенном к старому другу и благожелателю...» Гете приводит соответствующее место из посвящения Уварова (от слов «Пусть другие народы...» до «...собирается вступить») и с решительной силой и воодушевлением спешит присоединиться к мнению Уварова: «В этом

наконец-то слышится голос человека способного, талантливого, с подвижным умом: высоко поднявшись над скудной ограниченностью застывшего языкового патриотизма (Sprachpatriotismus), он всякий раз выбирает, подобно мастеру музыкального искусства, те регистры своего прекрасно оборудованного органа, которые выражают смысл и чувство мгновения. Пускай же все образованные немцы благодарно запечатлеют в памяти эти почетные и поучительные слова, и пусть одаренные юноши воспламенятся ими к тому, чтобы овладеть многими языками как орудиями жизни, применимыми в любых случаях»[48]. Уваров мог сиять, читая эти строки в гетевом журнале. Он и в 1833 г. не отказал себе в удовольствии напомнить слушателям об этом отзыве Гете. Реальный же комментарий к пышным фразам, очаровавшим старика Гете, был очень прост: дилетант в области греческой филологии, до конца, по осторожному выражению академика Грефе, «не довольно уважавший» греческую грамматику, Уваров хотел блеснуть перед Европой своим исследованием о Нонне из Панополиса, писанным под указку Грефе, который был первым знатоком и издателем текста этого поэта; но чтоб заставить читать русское исследование по классической филологии, чтоб найти себе читателей и рецензентов— на каком же языке его и писать, как не на немецком? Расчет был верен. А чтоб читатели и рецензенты были благосклонны к автору, Уваров предусмотрительно заручился рекомендацией Гете—и в своем «посвящении», построенном так, что оно смахивало на «предисловие Гете», и в отзыве Гете в его журнале. Но у классического Уварова была и реальная подоплека: ведь отзыв Гете—дважды печатно повторенный—во всеуслышанье выражал комплимент просвещенному либерализму русского государственного деятеля. В эпоху, когда Александр I производил конституционные маскарады в Польше и хотел, чтоб им верила Европа, это была некоторая копеечка серебром, положенная на текущий культурный счет русского самодержавия, не очень-то щедро открытый ему Европой.

Панегирический автор легендарного «сказания о Гете и Уварове», д-р Г. Шмид, выражает удивление: «Поражает, что Уваров, вопреки своей оценке немецкого языка в посвящении к «Nonnos», воспользовался им в своих работах еще всего лишь один раз[49], а другие работы выдавал на французском языке» и—один раз—на русском. Когда Уваров справлял 25-летие своего президентства, он издал (в 1844 г.) собрание своих филологических опытов также по-французски, а не по-немецки («Etudes philologiques et critiques»). Уваров знал, что делал: для того, чтобы в качестве ученого представиться немецким филологам, достаточно было двух сочинений по-немецки. Но тот, кто хотел, чтоб его читали политически-властные круги, тот должен был писать по-французски: это был язык реакционного интернационала дипломатов, придворных и реставрированных феодалов, правившего Европой под именем Священного Союза. Политическому спекулянту и ученому шарлатану, каким был Уваров, необходимо было перейти на этот эсперанто эпохи всеевропейской реакции. Он так и сделал: по-французски читал и печатал он свои заказные «похвальные слова» Александру I («A la mémoire de l'Empereur Alexandre. Paris, Didot, 1826») и императрицам Елизавете Алексеевне и Марии Федоровне, но по-французски же кропал он свои псевдо-филологические безделки. На каком языке—по теории Уварова, восхитившей Гете,—должно было писать о Гете? Казалось бы, на немецком; но Уваров свою речь о нем произнес и напечатал по-французски; это была политическая речь о самодержавии



ГЕТЕ

Портрет маслом Фердинанда Ягемана, 1818 г.

Государственный Эрмитаж, Ленинград

Воспроизводится впервые

Николая I и его преимуществах, и нужно было, чтоб вся Европа ее слышала на широко распространенном эсперанто реакции. Но так как было желательно, чтоб она широко распространилась и в тех кругах, которые плохо или вовсе не знали этого языка, то речь была выпущена и по-немецки (дважды), и по-русски. Был большой цинизм в том, что следующее же после немецкого «Nonnos» сочиненьице свое, специально филологическое («О басне о Геркулесе»), Уваров выпустил по-французски. Заметил ли это Гете? Во всяком случае это ни в какой мере не отразилось на его отношениях с Уваровым.

Этот эпизод не привлекался доселе (как и эпизод с Азиатской академией) для характеристики Уварова, но он великолепно укладывается в целый ряд уже сделанных характеристик Уварова—ученого, деятеля, человека. Гр. Оттон Брей, бывший в 1833—1862 гг. (с небольшими перерывами) послом Баварии в Петербурге, зарисовал Уварова как «человека умного и с тонко развитым вкусом». Но «этот восторженный поклонник великого поэта Гете, которому он отдал дань в своем замечательном «Notice sur Goethe», посвящением ему своего «Nonnos von Panopolis», поставил себе задачей искоренить из прибалтийских губерний немецкую науку и немецкий язык и довести до упадка Дерптский университет». Этот «гетеанец», ощетинившийся своею официальною народностью «на немецкую науку и язык, очень чувствителен однако к похвале со стороны иностранных ученых и обладает тщеславием писателя и ученого; само собой разумеется, ему воскуряют в этом отношении фимиам» [50]. Читатель сам может вставить два нарисованные здесь эпизода из отношений Уварова к Гете в эту рамку баварской характеристики Уварова. Но эти же эпизоды также отлично вставляются и в ту русского изделия рамку, которою навсегда руками А. Тургенева, Вигеля, Пушкина, Вяземского, Герцена и мн. др. обрамлена фигура Уварова. «Пред всеми высшими властями пресмыкающийся Уваров» (слова Вигеля) [51]—он пресмыкался также—и для себя, и «для пользы службы»—пред «высшею властью» современного ему европейского культурного мнения—пред Гете. Многие из русских паломников к Гете относились к нему восторженно, догматически-правоверно, но прямую, беззастенчивую лесть из года в год слышал Гете лишь от Уварова. «Это большой негодяй и шарлатан,—писал о нем Пушкин в феврале 1835 г.—Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрина был на посылках. Об нем сказали, что он начал тем, что был б..., потом нянькой, и попал в президенты Академии Наук, как княгиня Дашкова в президенты Российской Академии. Он крал казенные дрова и до сих пор на нем есть счеты (у него 11 000 душ)... Дашков (министр), который прежде был с ним приятель, встретил Жуковского под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: «Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком» [52]. Этот необычайный по резкости отзыв Пушкина целиком умещается в трехсловный отзыв мягкосердечного А. И. Тургенева: «всех оподляющий Уваров» [53]. «Всех оподляющим» было его министерское культуртрегерство, в котором Гете являлся вывеской, употребляемой для прикрытия непотребного промысла. Но тут должно дать слово Герцену, сказавшему такое похвальное слово Уварову—«гетеанцу», «культуртрегеру» и министру народного просвещения, с которым он и войдет в историю:

«Второй «знаменитый» путешественник» [посетивший Московский университет после А. Гумбольдта] был в некотором смысле «Промифей наших дней», только что он свет крал не у Юпитера, а у людей. Этот Промифей,

воспетый самим Пушкиным в послании к Лукуллу, был министр народного просвещения С. С. Уваров. Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал: настоящий сиделец за прилавком просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их казовые концы или, лучше, начала. При Александре он писал либеральные брошюрки по-французски, потом переписывался с Гете по-немецки о греческих предметах. Сделавшись министром, он толковал о славянской поэзии IV столетия, на что Каченовский ему заметил, что тогда впору было с медведями сражаться нашим праотцам, а не то, что песнопеть о самофракийских богах и самодержавном милосердии. В роде патента он носил в кармане письмо от Гете, в котором Гете ему сделал прекурьезный комплимент, говоря: «Напрасно извиняетесь вы в вашем слоге: вы достигли до того, до чего я не мог достигнуть,—вы забыли немецкую грамматику» [54].

В 1821 г. Уваров подал в отставку из попечителей петербургского учебного округа. Друзья готовы были видеть в этом верность либеральным принципам (которых у сервилиста Уварова никогда не было), так как место Уварова заступил известный мракобес Д. Рунич. Но опытный в делах житейских Греч лучше объяснил уход Уварова: с наступлением эпохи аракчеевского благочестия и благочестивого шпицрутенства Уваров «стал охать, выворачивать глаза и твердить в своих всенародных речах о необходимости чтения слова божия, но никак не мог подделаться под господствующий тон и с отчаяния перешел из просвещения в департамент мануфактуры и при сей верной оказии разорил несколько московских фабрик, мешавших его собственным фабрикам» [55]. В этом отрывке надо зачеркнуть только «с отчаяния» и заменить другим словом: «по расчету». Отчаиваться Уварову было не с чего: что правительство аракчеевцев ровно ничего против него не имело, явствует из того, что его преспокойно оставили и «по просвещению»—в президентах Академии. Место же по финансам—он сделался директором департамента внутренней торговли и начальником Комитета о снабжении войск сукнами—было и доходно, и удобно для обделывания собственных промышленно-крепостных дел, и по запаху времени: нос «гетеанца»-эллиниста отлично учуял, что в воздухе запахло гнилой осенью для дворянского заскорузлого землевладения и теплой весной—для промышленно-капиталистических отношений. Для тех выгод, которые получал Уваров с теплого местечка под крылом министра финансов, стоило проделывать то, в чем обвиняет его А. Тургенев: «Всех кормилиц у Канкрина знает и детям дает кашку» [56],—и стоило совершенно забыть о «превосходном друге» веймарском. В эту пору Гете политически стал не нужен Уварову ни для него самого, ни для правительственной агентуры; ставка уваровская была теперь на крепостную фабрику. Гете тут мало мог быть полезен: политика Александра 20-х годов была—крепче и глуше отгородиться от западных поветрий революционных, конституционных и литературных—и лозунг был прост: «собрать бы книги все, да сжечь». Гете тут был бесполезен: он, к сожалению, писал книги. За 1821—1824 гг. Уваров не пишет Гете ни слова. Повидимому не было за эти годы и никаких присылок от него в Веймар: в дневнике Гете, очень аккуратного на этот счет, нет ни одной отметы, связанной с Уваровым.

Только в 1825 г. напомнил он о себе «учителю» присылкой французского своего Mémoire о греческих трагиках при маленьком бессодержательном письме, да в том же 1825 г. посетил Гете рекомендованный Уваровым его живой подстрочник—профессор греческого языка Грефе [57].

Наступило царствование Николая. Летом 1826 г. он «управился» с декабристами. Подремонтировав зашатавшееся было здание самодержавия, можно было подумать и об украшении его фасада: с начала осени началась игра в «царя и поэта» с Пушкиным—это было для России, а зимою было нарочито торжественно отпраздновано столетие Академии Наук—это было для Европы. Уварову пришло время вспомнить о Гете. По его предложению Гете был избран 29 декабря 1826 г. вместе с другими немецкими, французскими, английскими и итальянскими учеными в почетные члены Академии Наук. Это был отличный жест в сторону Европы: правительство Николая I являло себя сочувственником и покровителем подлинного просвещения. Вместе с Гете и иностранцами-учеными были избраны в почетные члены прусский король Фридрих-Вильгельм III, русский наследник, великие князья Константин и Михаил Павловичи: цесаревич Константин Павлович—бурбон из бурбонов—рядом с Гете—поэтом из поэтов! Но ирония иронией, а и Константин Павлович делался, в глазах Европы, как будто несколько «пристойнее» от соседства с Гете и другими: все-таки значит не только шпицрутенствует над солдатами и поляками, но и покровительствует наукам! Это было недурно придумано.

Когда депутация от Академии во главе с Уваровым пришла к Николаю Павловичу просить разрешения на празднование столетия Академии и на избрание почетных членов, «его величество,—по словам П. А. Плетнева,—не только соизволил на это, но и выразил желание видеть собственное имя в числе имен почетных членов Академии».

Список почетных членов, избранных Академией в заседании 29 декабря, начинается целым поминанием должностных лиц государства российского: тут и митрополит Евгений, и адмиралы Мордвинов и Сенявин, и генералы барон Дибич, гр. Воронцов (гонитель Пушкина) и др., тут и автор «Донесения следственной комиссии» над декабристами Блудов, и мистико-реакционный министр Голицын, и только два человека, причастных к науке,—дерптские профессора Эверс и Струве. Но этот русский список верных слуг не науки, а Николая I прикрывается списком иностранных ученых, избранных в такие же почетные члены: тут блестящий сонм европейских имен—Шамполлион, Гемфри Дэви, Гершель, Мальтус, Нибур, Герен, Гете и др.

С негодованием отозвался на этот ловкий ход правительства Николая I А. И. Тургенев в своем неизданном дневнике: «назначение великого князя—членом А[кадемии] и Humphry Davy в одно время с Погодиным и с..... (точки у Тургенева.—*С. Д.*) суть следствия монгольского владычества в России! Новые члены: и Дибич и Блуменбах, и Гнедич и Бетигер! Что если догадаются тузы, с какими двойками ими козыряют? Но неизвестность прикроет наших» [58].

Чрезвычайно показательно для характера отношений Гете и Уварова, что, тепло поблагодарив за избрание, Гете принял его не только как «почет», но и как «труд»: он озабочен теми научными задачами, которые предложила Академия на соискание премий на том же заседании, на котором происходило и избрание почетных членов,—он толкует о них с Уваровым в своем благодарственном письме, полагая, что и президент Академии заинтересован этими темами по оптике «по тому отделу естественных наук»,—объясняет Гете,—которому «я в течение многих лет отдавал много внимания и продолжаю этим заниматься доселе. И если у меня есть еще основания желать более долгой жизни, то только для того, чтобы

постигнуть, благодаря разрешению вопроса, вдумчиво выдвинутого Академией, многое, что для меня, так же как и для выше стоящих, остается проблемой» [59]. Свое избрание, нужное Уварову и Николаю I только как вывеска, Гете принял всерьез: он захотел работать для Академии по оптике. Об этом свидетельствуют записи его дневника 1827 г. 15 апреля: «Обдумывал петербургскую работу на премию»; 16-го: «Обдумывал дальнейшее относительно петербургской академической работы на премию и продолжал диктовать статью для этого»; 17-го: «Продумал петербургскую работу на премию и кое-что отметил»; 14 мая: «Касательно избрания в Академию»; 3 июня через фрейлину Марии Павловны гр. Каролину Эглофштейн Гете послал Уварову-президенту какой-то пакет [60]. Что было в этом пакете? Какая-то работа Гете по оптике? Только архив Академии Наук мог бы дать ответ на это. Ни в архиве Уварова, ни в архиве Гете нет следа этой работы великого поэта-ученого.

Уваров не отвечал на письмо Гете. Даже и об избрании в члены Академии Гете известили повидимому чисто официальным образом: прислали диплом и медаль. Уваров не почел нужным писать «другу»: еслиб комунибудь вздумалось и тут все взваливать на «жестокость случайностей», на утерю этих писем к Уварову, тому следует указать на дневник Гете: там отмечены, без всяких случайностей, все присылы Уварова (напр. 5 октября 1818 г.: «Письмо и посылка от Уварова», 17 июня 1825 г.: «Президент Уваров о греческой трагедии») [61], но за 1827—1831 гг. встречаются только записи об отсылах самого Гете Уварову и ни одной записи о получении чего бы то ни было от него. Президент Академии Наук не отвечал ее почетному члену с таким же упорством, с каким предполагаемый президент Азиатской академии желал втянуть Гете в свое дело. Так изменились времена и их политические нужды.

В 1829 г., в письме к стороннику своей «теории цветов» Х. Шульцу, Гете сделал любопытное признание о задаче, предложенной по физике в юбилейном заседании 1826 г.: «Петербургская императорская Академия Наук, в день празднования столетия ее основания, предложила естествоиспытателям, назначив премию, важную задачу по физике. Прочтя программу, присланную мне тогда же как вновь избранному почетному члену, я откровенно и ясно высказал моим окружающим: Академия не получит разрешения [этой задачи] и не должна бы собственно этого ожидать. Она желает видеть различные гипотезы, высказываемые о завоевываемых, как думают, свойствах и особенностях света, окончательно объединенными, примиренными и соподчиненными между собою. Никто не уверен, что все они связаны с цветовыми явлениями: не думали, что явления, на коих эти гипотезы основаны, должны быть еще раз проверены, что еще требуется исследовать их чистоту, достаточность, простоту и многообразие, первичное и производное в них. Вышеупомянутое мое предсказание сбылось: 29 дек. 1828 г. Академия объявила: в эти два года она не получила ни одной работы, но делает однако отсрочку до сентября этого года, когда конечно также никакого ответа не получит и не может получить. За два года, в первом приливе возбужденного интереса, я занес на бумагу многое» [62].

Интерес этот ни в какой мере не был поддержан в Гете ни Уваровым, ни Петербургской Академией: Академия спала, а Уваров не мог взять никакого политического процента с этого научного интереса великого ученого.

Последнее письмо Гете к Уварову от 28 ноября 1830 г. испытало такую же участь. Обеспокоенный слухами и известиями о небывалом развитии холерной эпидемии в России в частности в Петербурге, Гете послал Уварову—опять как президенту Академии—какой-то рецепт против холеры (содержания его мы не знаем) с рассуждением о мерах борьбы с нею. Отметка о посылке этого письма в дневнике Гете, как и самое письмо его в бумагах Уварова, сохранились, но ответа на свое предложение Гете повидимому не получил: нет его следа в дневниках и архиве Гете. «Человеческая любовь к ближнему была тем, что заставило Гете написать последнее письмо к Уварову», говорит Г. Шмид. Сам же Гете так объясняет причины, побудившие его писать молчаливому президенту: «Уже несколько раз собирался я обратиться с этим скромным письмом. Счастье лично высказывать почтение нашей светлейшей герцогине (Марии Павловне.—*С. Д.*) и все то, что при ее посредстве получаю я себе на пользу с северо-востока, обязывает меня, как и многих других, направлять туда вдаль свои мысли и притом самым многосторонним образом. Сейчас меня побуждает к этому то величайшего значения обстоятельство, что там не прекращается развитие ужаснейшей болезни». Итак, не только «любовь к ближнему», но и верноподданничество Марии Павловне, признательность за «полезное», получаемое от русского двора («manches, was durch sie von Nordosten her auch mir zu gute kommt») [63], побудили Гете представить в Академию Наук соображения какого-то врача, переписывавшегося с ним по поводу борьбы с холерой. Как придворные стихи, как Maskenzug, как поручения по набору профессоров, как многое другое, холерная записка—это служебная работа Гете русскому двору.

В торжественном заседании Академии Наук через год после смерти Гете президент Академии произнес речь о нем. Она была напечатана по-французски («Notice sur Goethe»), переведена на русский в «Ученых Записках Московского Университета», издана переводчиком И. Давыдовым отдельно со льстивейшим восхвалением Уварова в предисловии [64]. Тотчас же появилось два немецких перевода: оратор хотел, чтоб его слышала вся Германия [65].

Уваров знал, что сказать о Гете в 1833 г., и речь его произнесена конечно не только президентом Академии, но и министром народного просвещения (в министры он был назначен 21 марта, а речь говорил 22-го), изобретателем знаменитой формулы «православие—самодержавие—народность». Он сделал все, чтоб у слушателя сложилось убеждение, что Уваров был первым гетеанцем в России и долголетним другом Гете: «изучение Гете составляло мои любимые и при всем том чуждые предрассудков занятия» (нелишняя осторожность: далеко не все, а очень малое в литературном наследии Гете было одобрительно с точки зрения николаевской цензуры); Гете «познал я из долговременных и частых сношений». Литературная характеристика Гете, даваемая Уваровым, банальна: Гете—«истинный Протей». Об этом русский читатель давно уже знал и от Кюхельбекера, и от Полевого, но не банально, а наоборот, ново добавление: «Протей самоуправный и упрямый... ничем не жертвовавший народности» (популярности). Этот мотив, что Гете упрям, что он не отвечает на вопросы современности, что он всегда «шествовал к литературному диктаторству» (стр. 16) Уваров варьирует в речи на все лады. Значит ли это, что он почитает гений Гете ни с кем несоизмеримым? Вовсе нет: он снисходительно подсмеивается над теми, кто сравнивает Гете с Шекспиром; он сознатель-

но преувеличивает подражательность и преуменьшает богатство немецкой литературы до Гете и во время Гете: в речи не упоминаются вовсе ни Гердер, ни Шиллер; Кант оказывается в изображении Уварова столь ничтожным, что его «непроницаемые, темные произведения... ныне едва известны по заглавиям»,—все это нужно Уварову для того, чтобы показать, что в сущности Гете—гений только по немецкой бедности, великий человек при изобилии малых. Самый «протеизм» Гете, по утверждению Уварова,—почти подражательность или подозрительная переимчивость: «соотечественники его пустились в века рыцарства на театрах и в романах»—и Гете сочинил «Геца», «пристрастилась Германия к богатой итальянской поэзии»—и Гете сочинил «Тассо», и т. д. Но этот Протей оказывается величайшим реакционером своего времени, и тут Уваров не находит слов для похвал ему. Для чего написан «Фауст»? По Уварову, это—реакционнейшая книга: «до Фауста никогда не объявлял Гете лютейшей вражды духу времени; никогда не нападал он на труды века с насмешкою столь язвительною» (стр. 18).

Но ведь «дух времени», когда писался «Фауст», был дух Великой революции, а «труды века»—труды новой мысли, новой науки, нового социального устройства: вот «Фауст», по Уварову, и нападал на все это «с насмешкою столь язвительною». Ловкий шулерский ход с крапленого козыря!

Гете—враг революции, столп консерватизма, ненавистник мятежей—значит враг и тех, кто затевал их в России в 1825 и в 1830 гг.: «Когда все всколебалось от бурей переворотов, когда этим чадом отуманились и умозрительные головы германцев,—витийствовал Уваров,—Гете не только не увлекся общим потоком, но даже пребыл в величественном безмолвии. (*Нужно ли доказывать, что Уваров тут попросту лгал, ибо каково бы ни было отношение Гете к Великой французской революции, он не «безмолствовал» о ней.—С. Д.*). Он постоянно оставался аристократом в правилах своих, желаниях, чувствованиях, явно обнаруживал гордое презрение к торжествующим мнениям черни. Так и в то время, когда безверие проникло в Германию, когда страсть к отвлеченностям поколебала основания нравственных законов, Гете сжалился над необузданною охотою соотечественников к метафизическим мечтаниям и преследовал грозными сарказмами их суесловие и пытливость» (стр. 15—16). Таково, по Уварову, все значение «Фауста».

Уваров очень хорошо знает, что Веймар сменил другую столицу европейского просвещения—Ферней,—но он так истолковывает эту смену, будто столица Вольтера была сменена столицей Николая Павловича, Санкт-Петербургом, а не книжным Веймаром: «Суровый и надменный, он [Гете] беспрестанно вооружался против мимолетных страстей и скоропреходящего вкуса; в противность Вольтеру, без обиняков объявлял, что рукоплескания черни ему приторны и оледеняли его, что чернь в словесности, равно как в политике, не способна управлять сама собою» (стр. 17).

Уваров пытается опереть на Гете властительство Николая Павловича; в какой прописи казарменно-государственной всероссийской морали нельзя было бы повторить этого заключения: «чернь в словесности, равно как в политике, не способна управлять сама собою»? По Уварову, эти слова выражали весь смысл деятельности и мировоззрения благонамеренного Гете в противность неблагонамеренному Вольтеру. Схема его поистине великолепна. «Чернь» нуждается в «управителях» и в словесности, и в

С. С. УВАРОВ
Миниатюра неизвестного художника (20-е годы XIX века)
Исторический Музей, Москва

политике. Но каковы же должны быть эти «управители»? На манер дагомейский? Турецкий? Всероссийский? Прусский? Английский? Ответом на это Уваров заканчивает свою речь: «Германия в сем знаменитом муже утратила единственного и последнего из своих повелителей в области словесности—повелителя, над всеми превознесенного на щитах законным правом гения и единодушием соотечественников, но повелителя решительно не конституционного, не любившего слышать о литературной хартии, а который, подвизаясь сам в умственных делах многочисленных подданных своих, был выше народного владычества в словесности и науках» (стр. 29).

Мы узнаем сразу этого «повелителя решительно не конституционного»—это Николай Павлович, другой почетный член той же Академии. То, что Гете—«в области словесности», то Николай Павлович—в империи российской: оба правят по одной и той же хартии невольности. Параллель с Гете безукоризненна: только один Николай Павлович выдерживает ее: прусские и английские управители—с «хартиями», а дагомейские и турецкие, правда, без хартий, но их не пускают на порог Европы. Уваров был «скромен»—он не сделал вывода; впрочем он явно предоставлял каждому сделать его: ежели в мечтательной области словесности столь необходима и благодетельна рука «правителя, решительно не конституционного», то во сколько же раз необходимее и благодетельнее такая рука в действительной области государствования? «Вечную память» Гете Уваров, как хорошо оплаченный протодьякон, закончил многолетием Николаю Павловичу, императору и самодержцу всероссийскому.

Смерть Гете развязала язык Уварову: Гете возражать ему не мог, а на правах «друга Гете» он рассчитывал заработать широкое российское и европейское доверие к той гнусной легенде, которую творил с академической кафедры.

«Доверием» побаловали его и некоторые европейские знаменитости. Вот что например писал Уварову Бальзак, путешествовавший в 1847 г. по России:

«Je reviens de Kiew, et l'acceuil que j'y ai reçu m'a fait comprendre combien d'obligations j'ai contractées envers Votre Excellence qui m'avez sans doute si vivement et si promptement recommandé auprès des autorités de cette grande Rome Russe. En vérité je crois que l'auteur de l'Éloge de Goethe a voulu voir en moi son confrère».

(Я только что вернулся из Киева; оказанный мне там прием заставил меня понять, как много я обязан Вашему превосходительству, без сомнения столь живо и столь лестно рекомендовавшему меня властям этого великого русского Рима. Право, я думаю, что автор Похвалы Гете удостоил видеть во мне своего собрата); неизданное письмо от августа 1847 г. в Уваровском архиве, в Историческом Музее в Москве.

Уваров был доволен впечатлением, которое произвел его публичный опыт укладывания Гете в карман рейтуз Николая I [66]. Но была и ложка дегтя в бочке меда. Своему подстрочнику и репетитору по греческим вокабулам, проф. Грефе, Уваров пожаловался: «В Веймаре моя заметка произвела совсем другое впечатление; повидимому меня хотят обвинить за то, что я не слишком фанатически и без идолопоклонства трактовал Гете» [67]. Попросту говоря, семья и друзья Гете поймали Уварова с поличным и хоть на словах (письменного протеста не было), да выразили свое несогласие с его речью.

Мы коснулись многих эпизодов из русско-немецкой «легенды» о дружбе Гете и Уварова. Чтобы с нею покончить, надобно остановиться еще на одном ее эпизоде—на вопросе о личном знакомстве Уварова с Гете.

Вероятность его конечно исключительно сильна: уж кому-кому, а С. С. Уварову, двадцать лет состоявшему в переписке с Гете, подобало бы познакомиться с ним лично. «Уваров заедет в Веймар»,—А. И. Тургенев несколько раз предварял об этом своего брата-декабриста еще в 1810 г. Предварение это делалось со слов самого Уварова. Но заехал ли туда когда-нибудь предприимчивый официальный гетеанец? Личное знакомство Уварова с Гете, как было сказано, утверждалось многими вплоть до Г. Шпета (1921) [68]. Наоборот, панегирический G. Schmid, как и следующий по его пятам R. Jagoditsch, отрицали это знакомство [69]. Прав несомненно Schmid: С. С. Уваров не удосужился навестить своего «друга». Как будто противоречат этому две записи в дневнике Гете, сделанные в эпоху «освободительной войны» 1813 года, в Теплице: 9 июля: «В 49-й раз принимал ванну. Обед у Serenissimo (у герцога.—*С. Д.*). Граф Головкин и Уваров» и 14 июля: «Обед у его высочества. Sereniss. Пр[инц? инцесса?] Гомбургск[ий? ая?], Ханыков, Головкин, Уваров» [70]. Две встречи с Уваровым. Но речь здесь идет несомненно о генерале Федоре Петровиче Уварове (1769—1824), участнике убийства Павла I и любимом генерал-адъютанте Александра I. В войне 1813 г. Ф. П. Уваров принимал самое деятельное участие: он участвовал в этом году «в делах: 8 и 9 мая в сражении при Бауцене; 14 и 15 августа под стенами Дрездена; 18 августа под Кульмом; 4—7 октября под Лейпцигом» [71]. «После Люценской битвы Уваров прикрывал отступление отряда принца Виртембергского к Бауцену, а затем, после поражения армии, ему была подчинена вся кавалерия. При Дрездене, Кульме и Лейпциге Уваров находился при государе» [72]. Пребывание в Теплице с Александром I было для Уварова антрактом между указанными сражениями, которые все произошли в соседней Саксонии, а Кульмское даже в Богемии, неподалеку от Теплица. Гете и встретился с Ф. П. Уваровым в русском военно-дипломатическом обществе, отдыхав-

шем в Теплице перед Дрезденом и Кульмом. Понятно, почему Гете упомянул этого Уварова в дневнике: он был известен ему как участник убийства Павла I,—его фамилию Гете внес в составленный им список заговорщиков. Ближайшее же письмо Гете С. С. Уварову подтверждает наше утверждение. 9 мая 1814 г. Гете выражал ему желание, чтобы «какие-нибудь обстоятельства привели» его «в скором времени в наши страны» и чтобы «можно было встретиться лично, в живом общении» [73]. Очевидно личной встречи у них не было, и Уваров отвечал на это: «Я ободрился мыслью, что может быть сам некогда буду иметь счастье познакомиться с вами ближе... Потребность души моей была бы удовлетворена, если бы я увидел Вас и поговорил с Вами» [74]. В 1816 г. Уваров сообщает Гете: «не раз она [Мария Павловна] приглашала меня посетить Веймар; к сожалению я не знаю, окажется ли для меня возможным осуществить эту влекущую меня мечту... Во всяком случае, если только я вступлю на немецкую землю, Веймар и в Веймаре вы будете главною целью моего путешествия» [75]. В 1819 г. Уваров попрежнему только повторяет Гете: «Глубоко в моей душе живет желание посетить Ваше превосходительство на берегах Ильма» [76].

В дневниках Гете нет и намека на пребывание Уварова в Веймаре.

Личного «влечения» к Гете у Уварова хватило только на эпистолярное выражение этих «желаний» и «мечтаний» о свидании с Гете. Уваров и тут последователен: Гете-собеседник был ему не нужен, ему нужно было, чтоб Гете с другими беседовал о нем и об его высочайших повелителях. А этой беседы—устной и письменной—Уваров успешно добивался своими письмами, присылами, официальными и официозными сношениями; личное свидание было излишне. Эпистолярная же беседа Уварова с Гете то делалась оживленна, то обрывалась на целые годы, смотря по тому, что показывали российские политические термометр и барометр, показаниям которых Уваров следовал покорно и безошибочно.

В легенде об Уварове и Гете мало поэзии (Dichtung): в ней есть очень много политики (Wahrheit) и немало отвратительной риторики. Ее Уваров передал своему преемнику—другому идеологу русского официального гетеанства—кн. Э. П. Мещерскому.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «О Гете. В торжественном собрании Императоской С.-Петербургской Академии Наук читано президентом Академии 22 марта 1833 г.». М., в Университетской типографии, 1833, стр. 3.

[2] «Goethe und Uvarov und ihr Briefwechsel» von Dr. Georg Schmid. «Russische Revue». Vierteljahrsschrift. Hgg. v. K. Hammerschmidt. XVII Jahrgang, 2 Heft. S.-Petersburg, 1888, S. 131—182. Дальше всюду—Schmid. Работа Г. Шмида, как и подобает преподавателю благонамереннейшего Историко-Филологического института в Петербурге, носит хвалебный по отношению к Уварову характер: в отрицание сурового приговора истории над насадителем «официальной народности», Шмид «творит легенду» об Уварове как об насадителе «европейского просвещения». «Легенда о Гете и Уварове»—самый крупный козырь в этой обреченной на проигрыш игре.

[3] Otto Harnack, Goethes Beziehungen zu russischen Schriftstellern.—«Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte und Renaissance-Literatur». Hgg. Dr. Max Koch und Dr. Ludwig Geiger. 5 Heft, Berlin, 1890, S. 269—270.

[4] Густав Шпет, Очерк развития русской философии. П., 1922, изд. «Колос», ч. I, стр. 240.

[5] Schmid, S. 158, 157, 164.

[6] Вигель, Ф. Ф., Записки. Ред. и вст. статья С. Я. Штрайха, т. II. М., 1928, стр. 58—59.

[7] А. И. Тургенев—Н. И. Тургеневу 16/II 1810. Арх. Т., т. II, стр. 412.

[8] « О Гете», стр. 17—19.

[9] Письмо от 16/VI 1814. Schmid, S. 152.

[10] Арх. Т., т. II, стр. 416, 421—422.

[11] Там же, стр. 427, 431.

[12] С. С. Уваров, Воспоминание об академике Фр. Грефе.—«Ученые записки Академии Наук по I и III отд.», т. I. СПБ, 1853, стр. 47 и 50. Хр.-Фр. Грефе (1780—1851)—филолог, профессор, впоследствии академик Петербургской Академии Наук.

[13] «Р. А.» 1889, кн. II, стр. 358.

[14] «Projet d'une Académie Asiatique», St.-Ptsb., 1810, I part., § 3, p. 8.

[15] Слова историка русского Закавказья А. Берже.—И. К. Ениколопов, А. С. Грибоедов в Грузии и Персии, изд. «Заккнига», Тифлис, MCMXXIX, стр. 184.

[16] Вигель, Записки, т. I, стр. 25.

[17] «Projet d'une Académie Asiatique», p. 9.

[18] Там же, стр. 10.

[19] «Общий взгляд» напечатан в I томе собр. сочин. А. С. Грибоедова под ред. И. А. Шляпкина, СПБ, 1889, «Записка»—в книге И. К. Ениколопова. А. С. Грибоедов в Грузии и Персии. Тифлис, MCMXXIX.

[20] Соч. под ред. Шляпкина, т. I, стр. 145.

[21] Ениколопов, стр. 184.

[22] Schmid, S. 137.

[23] Там же. Проект Уварова был напечатан по-русски под заглавием «Мысли о заведении в России Академии Азиатской» в «Вестнике Европы» (1811 г., № 1, стр. 27—52 и № 2 стр. 96—120). Жуковский, редактор журнала, пришел в восторг от «учености» Уварова и ничего не понял ни в личных, ни в политических мотивах, заставивших Уварова написать своей проект. «Проект Уварова я прочитал,—писал Жуковский А. И. Тургеневу 4 декабря 1810 г. из Белева,—и прошу тебя сказать ему от меня усердную благодарность за доставление этой книги. Мне приятно было узнать его со стороны его сведений, и он должен принадлежать, если не ошибаюсь, к числу необыкновенных людей из русских. Жалею только об одном: он разделяет, как видно, со многими несчастие предубеждения против всего Русского и лучше соглашается не быть оригинальным на французском языке, нежели унизить талант свой до Русского и быть отличным писателем Русским... Что же касается до самого прожекта, то он делает честь изобретателю, но едва ли может быть очень полезен в России. Тогда бы кажется могли мы заниматься и. с жарким рвением, и с верною пользою рассматриванием литературы Азиатской (привлекательной только для любопытства людей ученых), когда бы уже стояли на высокой степени образования; но где же у нас образование и где наша ученость? ...В Германии например заведение Академии Азиатской привело бы все головы в движение; у нас займет оно несколько образованных голов, и то вероятно голов, покрытых немецкими париками, а всем вообще Русским покажется странностию» («Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу». Изд. «Русского Архива». М. 1895 г., стр. 81—82). Не без удивления политически беспомощный Жуковский спрашивал у того же Тургенева в 1816 г.: «Правда ли, что у вас затевается опять Азиатская Академия?» (Там же, стр. 161). Вскоре с учреждением Восточного факультета при Петербургском университете «странность» превратилась в реальность: новый факультет сделался поставщиком подготовленных агентов для русского империализма на Востоке.

[24] Печатается по фотографии с немецкого подлинника, хранящегося в Веймарском архиве.

[25] П. Соннерà (Sonnerat, Pierre, 1749—1814)—известный французский естествоиспытатель и путешественник по Индии и Китàю. Его книгу «Reise nach Ostindien und China in den Jahren 1774—1781» (Zürich, 1783) Гете читал в феврале 1810 г. и перечитывал в декабре 1821 г. (Elise von Keudell, «Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek». Weimar, 1931, S. 106, 226). Книга Соннерà дала Гете сюжеты его стихотворений «Пария» (1821) и более раннего «Бог и баядера» (1797). Джонс (Sir William Jones, 1746—1794)—английский востоковед, знаток многих азиатских живых и мертвых языков. Десять лет прожив в Индии, он перевел много произведений с санскритского языка. «Джита-Говинда» (Gitagovinda, Dschajadeva)—индусская поэма автора, жившего в XII в., переведенная Джонсом (1799) по-английски и Мейером (Majer, 1802) и Дальборгом (Dalborg, 1802) по-немецки. «Саконтала»—известнейшая из драм великого индусского поэта Калидасы; немецкий перевод Георга Форстера (Georg Forster) вышел в Майнце-Лейпциге

в 1791 г. Гете отозвался на появление этого перевода дистихами «Willst du die Blüte des frühen»...

[26] Письмо от 27 февраля 1811 г. «W. A.», IV Abt., B. XXII, S. 43—44. У Schmid'a отсутствует.

[27] Кн. Ник. Гр. Репнин (Волконский) (1778—1845)—брат декабриста С. Г. Волконского, в 1813—1814 гг. генерал-губернатор Саксонии. В апреле 1810 г. приятель Гете Кнебель писал: «Герцог был с князем Репниным. Гете мне говорит, что это интересный человек» (B i e d., B. II, S. 75). Позднее, в 1814 г., Гете занес в дневник (4 января): «У князя Репнина. Обед при дворе. Князь и княгиня Репнины» («W. A.», III Abt., B. V, S. 91).

[28] Уваров и Репнин были женаты на родных сестрах, дочерях гр. А. К. Разумовского: Уваров—на Екатерине Алексеевне (1781—1849), Репнин—на Варваре Алексеевне (1771—1864).

[29] «W. A.», IV Abt., B. XXII, S. 45—46.

[30] Там же, III Abt., B. IV, S. 186—187.

[31] Там же, IV Abt., B. XXII, S. 40—41.

[32] «Projet d'une Académie Asiatique», p. 47.—Чтения Гете веймарских «китайских» изданий Клапрота повторно отмечены в 1815 г. (E l i s e v o n K e u d e l l, Goethe als Benützer der Weimarer Bibliothek. W., 1931, S. 151—152).—«W. A.», III Abt., B. V, S. 340.—Т а м же, B. IV, S. 306; B. V, S. 61—62 (Встречи с Головкиным). Вероятна и еще более ранняя встреча Гете с Головкиным: в Карлсбаде 8 июля 1806 г. (т а м ж е, B. III, S. 131): «Знакомство с гр. Головкиным». Другого Головкина кроме Юрия Александровича, сколько знаем, тогда не было. Но этой встречи противоречит указание в. к. Николая Михайловича, что Головкин появился в Петербурге лишь в декабре 1806 г., отсидев «карантин» в Иркутске («Русские портреты», т. III, СПБ, 1907, № 167).

[33] S c h m i d, S. 139. См. полный текст этого письма в статье А. Г. Г а б р и ч е в с к о г о, Автографы Гете в СССР.

[34] S c h m i d, S. 139—143. В «W. A.» записка Мейера не помещена.

[35] Т а м ж е, стр. 143. Немецкий перевод «Проекта»: «Ideen zu einer Asiatischen Akademie». S.-Ptsb., gedr. bei A. Pluchart u. C-ie, 1811.

[36] «W. A.», I Abt., B. XXXVI, S. 72.

[37] S c h m i d, S. 150.

[38] Т а м ж е, стр. 151—152.

[39] «W. A.», IV Abt., B. XXVI, S. 171. Письмо у Schmid'a отсутствует.

[40] Г р е ч, Записки, стр. 365.

[41] «Речь президента Имп. Академии Наук, попечителя С.-Петерб. учебного округа в торжеств. собрании Главного Педагогич. Института, 22 марта 1818». СПБ, 1818.—«Rede des Herrn Curators des St.-Petersburgischen Lehrbez. gehalten in der Feierl. Versammlung des Pädag. Centralinstituts den 22 März 1818. Aus dem Russischen S.-Ptsb. 1818». Из откликов на речь: Ф. Г л и н к а, Петербургские заметки («С. О.» 1818, ч. 45, стр. 22—26); проф. А. П. К у н и ц ы н, Рассмотрение речи г. президента, и т. д. (т а м ж е, ч. 46, стр. 136—146, 174—191). Своеобразным откликом на речь Уварова являются заметки А. С. Шишкова, начертанные на экземпляре «Речи» (Н и к о л а й Б а р с у к о в, С. С. Уваров и адмирал Шишков.—«Р. А.» 1882, вып. 6, стр. 226—228).

[42] S c h m i d, S. 164—165.

[43] Т а м ж е, стр. 153.

[44] «О Гете», стр. 20—21.

[45] E u g. Z a b e l, Goethe und Russland.—«Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft», B. VIII, 1921, S. 27—48.

[46] «О Гете», стр. 21.

[47] S c h m i d, S. 156.

[48] «W. A.», I. Abt., B. XLII, S. 127. Гете и еще раз позднее похвалил ученый «интернационализм» Уварова—в рецензии на книгу «Sappho von einem Herrschenden Vorurtheil befreit durch F. G. Welker», Göttingen, 1816.

[49] S c h m i d, S. 167. Вот список работ Уварова после его знаменитого заявления о языках: 1) Речь 1818 г. (см. выше; русск.), 2) «Un examen critique de la fable d'Hercule» (1818, франц.), 3) «Ueber das Vor-Homerische Zeitalter» (1819, нем.), 4) «Трактат о греческой антологии» (1820, русск.), 5) «Mémoire sur les tragiques Grecs» (1823, франц.), 6) «Discours prononcé par M. Ouvaroff, Président... du 16 nov. 1829» (1829, франц.), 7) «Notice sur Goethe» (1833, франц.).

[50] «Император Николай I и его сподвижники». Воспоминания графа О т т о н а д е Б р э—«Р. С.» 1902, т. I, стр. 132—133.

[51] «Записки», т. II, стр. 76.

[52] «Дневник Пушкина», 1833—1835. Под ред. и с объяснит. прим. Б. Л. Модзалевского. ГИЗ, М.-П., 1923, стр. 26—27.

[53] Письмо к Вяземскому от 18 октября 1836 г.—«О. А.», т. III, стр. 334.

[54] «Былое и думы». Редакция и предисловие Л. Б. Каменева, т. I. ГИЗ, М.-Л., 1931, стр. 89. В качестве доброго «признака времени» можно указать, что, говоря об отношениях Гете и Уварова, Eug. Zabel счел уже нужным (недаром он писал в 1921 г.) процитировать это место из Герцена. В 80-х гг. G. Schmid благоразумно умолчал об этом. «Благоразумие» это разделяет и R. Jagoditsch. Он с большой точностью указывает, что «Гете лично не был знаком с Уваровым», рассказывает вкратце историю о «Нонне», приводя отрывки из посвящения Уварова и ответного отзыва Гете, о получении Гете от Уварова медальона Ф. Толстого, об избрании Гете в Академию Наук (ошибаясь лишь в дате: не в 1824 г., как у него, а в 1826 г.),—но о герценовской оценке уваровского гетеанства предусмотрительно умалчивает (Jagoditsch, Goethe und seine russischen Zeitgenossen.—«Germanoslavica», 1931—1932, Heft 3, S. 356—357).

[55] «Записки», стр. 365—366.

[56] Письмо к Вяземскому от 15/IV 1824.—«О. А.», В. III, S. 33.

[57] Schmid, S. 168: письмо от 22 мая 1825 г. Очень характерно, что Гете превратился в этом письме из «друга» опять в «превосходительство» и сам автор письма подписался: «Ваш преданный Уваров, тайный советник». Письмо с рекомендацией Грефе (опять с «другом»).—Schmid, S. 169; отметка в дневнике Гете: «W. A.», III Abt., B. X, S. 139.

[58] П. А. Плетнев, Памяти гр. С. С. Уварова.—«Ученые Записки Имп. Академии Наук, 2-го отд.». Книга 2-я, вып. I, стр. LXXXII. «Recueil des Actes de la séance solennelle de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg tenue à l'occasion de la fête séculaire le 29 décembre 1826». S.-Ptsb. 1827., pp. 5—6. Журнал А. И. Тургенева № 5 (б. Пушк. дом Акад. Наук СССР, № 8), л. 23 об.; Гемфри Дэви (Humphry Devy, 1778—1829),—знаменитый английский химик, основатель электрохимической теории, президент с 1820 г. «Королевского Общества» (английская Академия Наук); Иог.-Фридр. Блуменбах (1852—1840),—знаменитый естествоиспытатель, профессор медицины и сравнит. анатомии в Геттингене; Карл-Август Беттигер (Böttiger, 1760—1835)—известный филолог и археолог, в 1791—1804 гг. директор гимназии в Веймаре, с 1814 г. хранитель музея в Дрездене; бар. Ив. Ив. Дибич (1785—1831)—начальник штаба у Николая I, аракчеевский любимец, один из палачей декабристов, одна из самых реакционных и тупых фигур аракчеевщины и николаевщины: Н. И. Гнедич (1784—1833), трудившийся тогда над переводом «Илиады», и начинающий историк М. П. Погодин (1800—1875) были избраны в члены-корреспонденты Академии.

[59] Письмо начала 1827 г. Schmid, S. 170—171.

[60] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 45, 46, 56; B. XII, S. 66.

[61] Там же, B. VI, S. 25; B. X, S. 69.

[62] «W. A.», IV Abt., B. XLV, S. 312—313.

[63] Schmid, S. 172.

[64] В предисловии Давыдов привел известный нам отзыв Гете об Уварове из «Kunst und Alterthum», но в «исправленном и дополненном виде». Предлагаем (это не бесполезно во многих отношениях) сравнить приведенный выше точный перевод этого места с таким словоизвержением Гете-Давыдова: «Так мыслил ученый, украшенный счастливейшими дарованиями, знаниями разнообразными, истинный талант, который, подобно художнику в области гармонии, играет на различных инструментах, смотря по тому, какой лучше выражает его мысли и чувствования» (стр. 4). Набранного разрядкой нет у Гете. Зато у Гете есть то, что не пожелал поведать русскому читателю благонамеренный проф. Давыдов про своего благонамеренного министра: то, что этот «ученый, украшенный счастливейшими» и пр.—«высоко поднялся над скудной ограниченностью застывшего языкового патриотизма» («Sprachpatriotismus»). В 1833 г. не гоже было повторять это про изобретателя «православия—самодержавия—народности», и Давыдов благоразумно выбросил эту похвалу Гете.

[65] 1) «Ueber Goethe». S.-Ptsb., 1833 (перевод дерптского профессора К. Моргенштерна) и 2) «Literarische Blätter der Börsen-Halle», 1833, № 829 от 3 июля.

[66] Вот некоторые из откликов на речь Уварова о Гете.

Гоголь писал Пушкину (23/XII 1833 г.): «Уваров собаку съел. Я понял его еще более по тем беглым, исполненным ума замечаниям и глубоким мыслям во взгляде на жизнь Гете... Я уверен, что у нас он более сделает, чем Гизо во Франции».

Письма Н. В. Гоголя. Редакция В. И. Шенрока, СПБ, т. I, стр. 271). Отзыв Гоголя не без «себе на уме»: он добивался тогда профессуры, и Уваров был для него тогда «persona grata», но и, вычитая это «себе на уме» в виде «Гизо», все-таки остается в отзыве «Гете», который произвел-таки на Гоголя впечатление.

Отзывы А. Тургенева и Вяземского были иные.

Через четыре дня после произнесения речи А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Он на-днях читал в Академии на французском языке статью о Гете и, по замечанию злоречивых, нашел способ по поводу «Фауста» сказать, что он—министр». А Вяземский, прочтя речь, отвечал: «В ней, кажется, много заимствовано из Клейна; по крайней мере судя по прежним выпискам твоим; но только выведено у него противоположное заключение. В строфах Баратынского более идеи, истины, нежели в брошюрке, в которой, впрочем, встречаются блестящие фразы Шатобриана, но вообще много легкомыслия и поверхностности, что не очень идет к лицу президента Академии Наук и министра просвещения в России, которой именно не нужно красноглаголания, а нужны мысли или мысль» («О. А.», т. III, стр. 228, 237).

От речи о Гете надолго потянулся тот след, который желателен был министру-оратору. Вот что читаем мы в некрологе Уварова, помещенном в «Библиотеке для чтения» (1856 г., март, стр. 73—74): «В 1833 г. он написал сочинение всем доступное и интересное для всякого любителя просвещения. Это была его записка на французском языке: «О Гете». По словам П. А. Плетнева «глубокомысленному критику представилась тема до такой степени богатая содержанием и важностью предмета, что он принужден был набросать только очерки мыслей для надлежащей обстановки обнимаемого им предмета». Автор некролога, сделав выписку из «похвалы» Уварова, заключает: «Эта небольшая записка о Гете показывает, что автору была весьма хорошо знакома личность великого писателя. В кратких, но резких чертах представил он свой взгляд на него, который отличается совершенною справедливостью. Гете именно является здесь таким гением, каким он был на самом деле; он следовал своему собственному влечению, своим заветным убеждениям и не подчинялся мнению толпы». Николай I был уже в земле, автор реакционной легенды о Гете был там же, а ложь этой легенды все еще раздавалась со страниц видного русского журнала.

[67] G. Schmid, Zur russischen Gelehrtengeschichte S. S. Uvarov und Chr.-Fr. Gräfe.—«Russische Revue» 1886, B. XXVI, 2 Heft, S. 160.

[68] Шпет, стр. 240.

[69] Schmid: «Желание Уварова лично познакомиться с Гете не исполнилось» (S. 173); Jagoditsch: «Уваров лично не знал Гете» (S. 357).

[70] «W. A.», III Abt., B. V, S. 61—62.

[71] «1812—1912. Военная галлерея 1812 года», СПБ, 1912 г. Экспедиц. Заготовл. Госуд. Бумаг, т. I—портрет, № 284, стр. 71; т. II—текст, № 284, стр. 248.

[72] Н. Чулков, Биография Ф. Уварова в «Сборнике биографий кавалергардов», под ред. С. Панчулидзева, кн. III, СПБ, 1906, стр. 1—10.

[73] Schmid, S. 151.

[74] Там же, стр. 151 и 153. Письмо от 4(16) VI 1814 г. В этом письме Уваров изображает себя мучеником своего «культуртрегерства» в России и с самолюбованием жалуется Гете: «Хорошо было бы неуклонно стоять на том пути, какой я проложил в моем отечестве; но тернии этого поприща бесчисленны, и слишком часто дух падает под их гнетом. Хотя я хорошо знаю, что жизнь при таких обстоятельствах есть длительная борьба, и я к этой борьбе издавна закалил себя,—однако, я чувствую в себе глубокое неиссякаемое влечение к иной, более свободной жизни, в страну, «где цветут лимоны», к друзьям вдали». Цитата из «Песни Миньоны» означала, что Уваров избирал Веймар и дом Гете местом отдохновения от трудов своего культуртрегерства российского.

[75] Там же, стр. 153—154. Письмо от 1(13) III 1816 г. Из этого письма узнаем, что и в Петербурге Мария Павловна любила разговаривать о Гете: «Несколько месяцев мы имеем счастье видеть у нас Вашу уважаемую великую княгиню; очень часто Вы являетесь предметом беседы».

[76] Там же, стр. 168. Письмо от 1(13) V 1819 г. При этом письме Уваров посылал Гете свою французскую филологическую безделку: «Un examen critique de la fable d'Hercule» (S.-Ptsb., 1819). Этот презент был великолепной иллюстрацией к добросовестности только что сделанного им в посвящении «Нонна из Панополиса» утверждения, что писать о предметах классической филологии можно только по-немецки.

II. ВЕЙМАРСКИЙ ПИТОМЕЦ РУССКОГО ОФИЦИАЛЬНОГО ГЕТЕАНСТВА

КН. Э. П. МЕЩЕРСКИЙ И ЕГО ВЕЙМАРСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.—ВСТРЕЧИ Э. МЕЩЕРСКОГО С ГЕТЕ.—ГЕТЕ ЗНАКОМИТСЯ ПО КНИЖКЕ Э. МЕЩЕРСКОГО С ИСТОРИЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.—ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Э. МЕЩЕРСКОГО В ПАРИЖЕ.—ЭЛИМ МЕЩЕРСКИЙ—КОРРЕСПОНДЕНТ РУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ПАРИЖЕ.—СТАТЬЯ Э. МЕЩЕРСКОГО „ВЕЙМАР" КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕЧИ УВАРОВА О ГЕТЕ.—ГЕТЕ КАК ОРУДИЕ БОРЬБЫ С РЕВОЛЮЦИОННОЙ И ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЕВРОПОЙ.—ПОПЫТКА ПРЕВРАТИТЬ ГЕТЕ В СТОЛП МИРОВОЙ РЕАКЦИИ И В ИДЕОЛОГА АРИСТОКРАТИИ И ДВОРА.

Князю Элиму Петровичу Мещерскому (1808—1844) было всего 10 лет, когда наблюдательный Вигель заприметил его мать, княгиню Екатерину Ивановну Мещерскую, в веймарской православной церкви; тогда—в 1818 г.—она уже «два года как тут поселилась» [1]. Стало быть князь Элим с 8-летнего возраста видывал Гете и воспитывался в придворном веймаро-русском благоговении к нему. В 1835 г. сам князь Элим предался приятным и благодарным воспоминаниям: «Веймар! Рай, где прошло мое детство! Я говорю о тебе, как говорят о друге. Твои деревья, твои дома для меня—воспоминания счастья и невинности. Я хотел бы опять быть восьмилетним, чтобы молиться за тебя и тебя благословлять. Читатель простит мне это пристрастие. Ты мне дал матерей, сестер, братьев, и в моей в а р в а р с к о й стране, в Р о с с и и (курсив и ирония самого Мещерского.—*С. Д.*), их не поносят, этих близких моих» [2].

Отец князя Элима, князь Петр Сергеевич Мещерский (1778—1856), имея только «домашнее образование», поднялся довольно скоро по обычным ступенькам «восхождения»: при Павле I умно вышел из Семеновского полка, не без пользы побывал в камер-юнкерах и в 30 лет был уже назначен херсонским гражданским губернатором, послужил и в Сенате, а в 1817 г. был назначен обер-прокурором святейшего синода и благополучно пронес свое «обер-прокурорство» и через аракчеевщину, и через декабрь 1825 г. и только в 1833 г. ушел из обер-прокуроров в сенаторы, но с сохранением всех окладов. Когда в 1824 г. аракчеевская партия свалила А. Н. Голицына, поставившего Мещерского в обер-прокуроры, Мещерский, не в пример А. И. Тургеневу, бывшему директором департамента духовных дел, «усидел». У него была «рука» при дворе: он был женат на Екат. Ив. Чернышевой (1782—1851), сестре будущего военного министра при Николае I, графа, а потом и князя А. И. Чернышева. Этот Чернышев был одним из любимых адъютантов Александра I, и его сестре была честь и место при веймарском филиале русского двора. Князь Элим очень мало знал Россию и очень редко в ней бывал: зато он лучше кого бы то ни было знал дворянский Петербург в его заграничных отделениях—придворных и дипломатических. В совершенстве знал он и родной язык этих отделений—французский. Но изучил и один из иностранных—русский, и изучил настолько, что читал в подлиннике русских поэтов и мог быть их переводчиком на свой родной язык, на французский. Князь Элим пошел по дипломатической части: он «сопричислялся» к миссиям в Дрездене, в Сардинии, в Париже, но славу ему принесла не дипломатическая, а литературная часть, впрочем отлично согласованная с дипломатической.

С Веймаром он не порывал связи никогда: он постоянно—и один, и с родителями—являлся в Веймар засвидетельствовать почтение Гете. Кажется это был самый частый из русских посетителей Гете. 15 июня 1825 г. Гете отмечает: «г. фон Струве и молодой князь Мещерский». Это—первое официальное появление князя Элима при дворе Гете: ему 17 лет. Князя Элима представляет Гете русский «поверенный в делах» Иоган-Густав Струве.

Проходит четыре месяца, и 10 октября Гете вновь отмечает «посещения ...молодого князя Мещерского»—очевидно неоднократные: князь Элим гостит в Веймаре, где у его родителей много знакомых и друзей, гостит месяцами, и только 17 января 1826 г. Гете опять регистрирует: «Князь Мещерский откланялся». Декабрьскую бурю 1825 г. кн. Элим переждал в тихом веймарском гнезде. Летом 1826 г. у Гете новая пометка: «9 июня. Князь Мещерский со своей матерью, по дороге в Эмс...» В 1827 г. князь Элим опять в Веймаре и 11 марта посещает Гете. В 1828 г. начинается дипломатическая оседлость молодого Мещерского в Дрездене, и в Веймар он повидимому не заглядывает, зато в 1829 г. дважды отмечает Гете: 15 мая—«после обеда князь Элим» и 11 июля—«Князь Мещерский и сын»; Элим-дипломат посетил теперь Гете со своим отцом обер-прокурором [3].

В 1830 г. Э. Мещерский впервые появился на поприще литературном. 26 июня этого года в «Атенее», в Марсели, он выступил с публичным чтением о русской литературе. Чтение это тогда же было напечатано в марсельском «Revue de Provence» и издано отдельно «De la littérature russe. Discours prononcé à l'Athenée de Marseille dans la séance du 26 juin 1830. Marseille. Juillet 1830» («О русской литературе. Речь, произнесенная в марсельском «Атенее» в заседании 26 июня 1830 г. Марсель. Июль 1830 г.). На книжке своей Мещерский предусмотрительно обозначил все свои официальные титулы и звания: «gentilhomme de la chambre de S. M. l'Empereur des toutes les Russies, attaché à sa légation près S. M. le roi de Sardaigne, chevalier de l'ordre du Faucon-Blanc» (камер-юнкер Е. В. Императора всея России, причисленный к посольству при Е. В. Короле Сардинии, кавалер ордена Белого Сокола»). В титуле Мещерского самое любопытное—«Белый Сокол»: 22-летний русский князек удостоился этой веймарской награды конечно за преданность веймарско-русским придворным заветам, за верность интересам филиала петербургского двора. Элим Мещерский представил в своей речи беглый набросок истории русской литературы, деля ее на два периода—классический и романтический. Ближайшей его целью было ознакомить французов с борьбой «классиков» и «романтиков» в России: сам князь Элим причислял себя к романтикам.

Набросок его был поверхностен, но он привел (хотя и не сполна) в своем «Discours» знаменитый «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» кн. П. А. Вяземского: это предисловие к первому изданию «Бахчисарайского фонтана» (1824) было боевым кличем русского романтизма 20-х годов и могло хорошо ознакомить французов с существом русских литературных споров 20-х годов. Переводя «Разговор», Мещерский точно послушался Пушкина, печатно заявившего, что «Разговор» Вяземского «писан более для Европы вообще, чем исключительно для России, где противники романтизма слишком слабы и незаметны и не стоят столь блистательного отражения» [4]. Пушкиным и заканчивает Мещерский свой очерк. Статья его вызвала сочувственные отклики во французской печати. Дельвигова «Литературная Газета» в том же 1830 г. перевела один из этих французских откликов и в 1831 г. сочла нужным в двух номерах разобрать критически «Discours» Мещерского (№№ 6 и 7).

3 сентября 1830 г. Гете сделал французскую пометку в дневнике: «De la littérature russe. Par le prince Elim Mestschersky» [5]. К удивлению, у Гете не было экземпляра от автора, и он, заинтересованный первым лите-

ратурным выступлением давно знакомого русского юноши, 2 сентября взял из Веймарской библиотеки это сочиненьице, а 4-го, с присущей Гете библиотечной аккуратностью, вернул назад [6]. Отметка Гете очень важна: очерк князя Элима явился единственной «историей русской литературы», которую довелось прочесть Гете, если только можно назвать «историей» набросок, занимающий всего около 48 печатных страниц. Из сочиненьица Мещерского Гете прочел нечто связное о Пушкине. Любопытно, что именно Мещерский знакомил если не Гете, то его домашних с сочинениями Пушкина. Еще до появления «Discours», когда в 1829 г. Шевырев был у Гете, то, по его позднейшим воспоминаниям, невестка Гете «Оттилия говорила о произведениях Пушкина и особенно о его «Кавказском пленнике», который узнала она через перевод, ей сообщенный князем Э[лимом] М[ещерским]» [7].

В 1832 г. Гете умер, с 1832 г. кн. Элим навсегда переселился в Париж, числясь там при посольстве. Он стал заметною фигурою литературного и светского Парижа и приобрел там много друзей и себе, и своему поэтическому творчеству. Он писал только по-французски. Романтик по литературным вкусам и симпатиям, он принадлежал к кругу Альфреда да Виньи и дважды выступал с книгами своих оригинальных стихов. В 1839 г. в Париже вышли его «Les boréales». Третья часть сборника отдана переводам, первую составляет послание Э. Мещерского к поэту Эмилю Дешан-де-Сен-Аман (1791—1874), вторая—сборник его лирики: «Le livre d'amour». В 1845 г. выходит его сборник «Les roses noires» (1-я часть—драматические опыты, 2-я—лирика). Стихи Э. Мещерского, как и он сам, нравились французским читателям и друзьям. Вот отзыв одной из его читательниц, Маргариты Ансло, жены писателя. В своих воспоминаниях «Un salon de Paris 1824 à 1864» она пишет: «Я именно этому милому господину Тургеневу [А. И.] обязана тем, что он ввел ко мне целую толпу очаровательных русских людей: это были князь Мещерский, восхитительный поэт, писавший стихи, к нашему счастью, по-французски» [8]. Однако не все французские читатели были согласны с восторженной дамой. Тот же самый А. И. Тургенев писал Вяземскому из Парижа, в год, а может быть даже и в месяц выхода «Les boréales» Мещерского: «Здешние литераторы... «Северное затмение» не слишком хвалят, хотя и обещали сказать за друга словцо. St.-Beuve советовался со мной; я указал ему на «I love you», на «L'état c'est moi» и на русский вонючий тулуп, которым прикрыто грешное тело автора: будь справедлив, а он хочет только быть благодарным за уважение к французскому языку» [9]. Благодушный сват русских поэтов французскому обществу и литературе Ал. И. Тургенев здесь исхищал у князя Элима благоприятный отзыв, готовый появиться из-под пера знаменитейшего из французских критиков. Почему? Подождем отвечать: быть может ответит все дальнейшее. Но на благоприятные французские отзывы кн. Элиму везло, и когда в 1846 г., уже после его смерти, вышла его антология «Les poètes russes traduits en vers français» (2 тома), первый ее том открывался венком дружеских стихотворений, возложенным на его могилу. В поэтической деятельности Э. Мещерского самая достойная часть—это его переводы русских поэтов (в «Boréales» и в «антологии»). Охватывая до пятидесяти русских поэтов—от Ломоносова до Тютчева, Бенедиктова и Мятлева, они давали французскому читателю некоторую возможность судить о всей русской поэзии за сто лет. В «Les poètes russes» была даже сделана попытка снабдить стихи краткими очерками об их авторах.

Но если всмотреться в «антологию» князя Элима, подбор переводимого покажет, что у переводчика «умысел другой» тут был: «хозяин» еще какую-то «музыку любил». Из двух стихотворений Жуковского в «Les poètes russes» одно—«Певец во стане русских воинов» (1812); из Батюшкова дана всего одна пьеса—«Переход через Рейн»; из Пушкина переведено пять стихотворений, в их числе: «Бородинская годовщина», «Пир Петра Первого», «Делибаш»; из Языкова—одно: «Песнь Баяна»; из Хомякова—всего два: «Россия» и «Киев». Все это—стихи патриотического или военно-исторического содержания. Случаен ли этот подбор? Наоборот; он вполне соответствует французской прозе князя Элима, а его проза вполне соответствует тому дополнительному (а, в сущности, главному) официальному назначению, которое он получил в июле 1833 г., когда по желанию министра народного просвещения С. С. Уварова был назначен парижским «корреспондентом» этого министерства. Прямою его задачей было собирать сведения «о ходе и направлении современного просвещения во Франции»; но важнее была другая задача: пользуясь тем, что он был французский писатель, вхожий в литературные салоны и кабинеты, кн. Элим обязан был давать отпор, в стихах и прозе, нападкам на императора Николая I и его империю. «Гетеанец» Уваров недурно придумал назначить апологетом Николая I этого гетеанца с отроческих лет. Пост этот Мещерский занимал официально до 1840 г. Выбор Уварова был подсказан брошюрой Э. Мещерского «Lettres d'un Russe, adressées à m.m. les redacteurs de La Revue Européenne, ci-devant du Correspondant», изданной в Ницце в 1832 г. без имени автора. Эти «Письма русского» были откликом на статьи, направленные против русского правительства в «Correspondant» в год польского восстания; в этом же 1831 г. Мещерский поместил первую свою отповедь в том же самом «Correspondant» (№ 10); продолжение печаталось в видном парижском органе «La Revue Européenne». Уваров, давно метивший в министры, внимательно следил за всеми русскими откликами на польское восстание: он снизошел даже до перевода «Клеветникам России» нелюбимого им Пушкина, как только сообразил, что может своим французским переводом прибавить несколько николаевских червонцев к своему политическому капитальцу; «Письма русского» были замечены им. В отдельном издании они были дополнены: кн. Элим явился в них апологетом николаевой политики в Польше, апологетом русского солдата как столпа монархической верности и геройства, апологетом верноподданнических добродетелей «русского народа»; он разбавил эту апологетику другим материалом—разглагольствованиями о Пушкине, о баснописце Крылове, о Загоскине. Как умно это было сделано, видно из привлечения к делу Загоскина. Его роман «Юрий Милославский» был в двойном смысле литературной новинкой: в 1830 г. он вышел в России, а в 1831 г. уже появился по-французски в переводе Софии Конрад. Мещерский, без всякой предвзятости, имел право говорить о нем. Но стоит вспомнить содержание романа: борьба русских с поляками, сатирическое высмеивание поляков как фанфаронов и фальстафов, прославление героизма и доблести русских, чтобы понять, что эта литературная тема в 1831 г., в эпоху польского восстания против русских, являлась политическою темою. Таким образом и Загоскин появился в «Письмах русского» не спроста. Апологетика вышла литературна и не аляповата—недаром кн. Элим со вкусом писал по-французски. Была впрочем и клякса: эпиграф князь Элим взял... у князя Шаховского из комедии «Пустодомы». Книжка произвела шум. Вяземский послал ее престарелому

И. И. Дмитриеву: «Это—письма молодого кн. Мещерского, сына синодального, и письма несколько синодские, а, с другой стороны, много ребяческого жара и болтовни, много самохвальства, не только патриотического, которое извинительно и даже увлекательно, когда оно поддержано дарованием, но много самохвальства личного и вовсе неприличного. Признаюсь, излишний патриотизм и в самом эпиграфе. Выходя на бой с Европою, смешно взять Шаховского герольдом своим, смешно иметь союзником себе и m-r Masclet (переводчика басен Крылова.—*С. Д.*). С ними далеко не уйдешь и никого не испугаешь. Впрочем, книгу всю прочесть можно с любопытством и с желанием автору более зрелости в мыслях, ибо благонамеренность одна в подобных случаях недостаточна». Но бывший министр Александра I не совсем согласился с Вяземским: его отзыв ближе к тому суждению, которое кн. Элим и его апологетики вызывали в официальных петербургских кругах: «Отчасти однакож я не без удовольствия читал ее: люблю, когда наш вступается за наших. Сыны новой Франции столь же недоброхотны и еще более невежды, как и их деды, когда им доводится говорить о России, несмотря на то, что и прежде, и ныне они копышутся в ней, как домашние» [10].

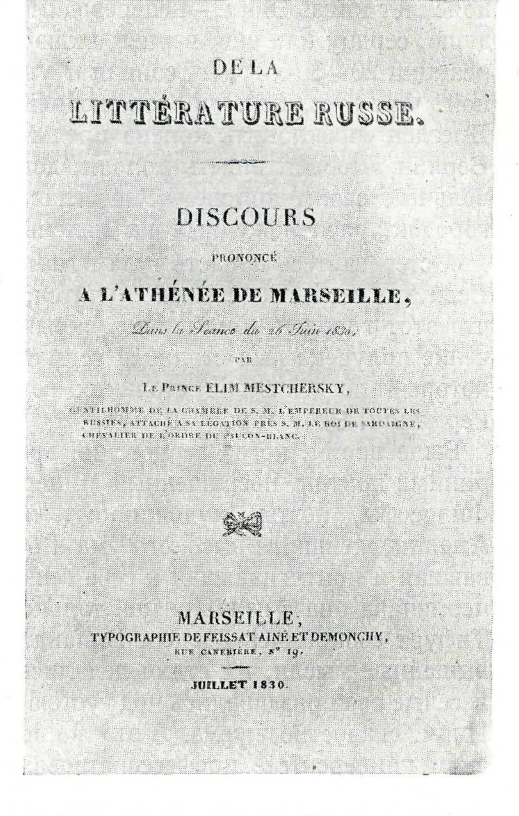
Такие отзывы доставили кн. Элиму место корреспондента Уварова в Париже. Они же заставили Ал. И. Тургенева говорить о «русском вонючем тулупе, которым прикрыто грешное тело автора».

«Корреспондент министерства народного просвещения» кн. Элим захотел, «для пользы службы», привлечь к делу и старика Гете, давно уже бывшего в могиле. У Мещерского связи с Веймаром, где оставалась Мария Павловна, не ослабевали. В год своей смерти он воспевал еще ее в стихах, преподнеся ей оду на рождение принца Карла-Августа [11]. В 1835 г. кн. Элим почел нужным поведать о своих связях с Веймаром и вывести отсюда все, согласные с его должностью, поучения на страницах читаемого всею Европою «Revue Universelle». Это—поучительнейший и совершенно неизвестный памятник русского официального гетеанства сверху; это—прямое продолжение уваровской речи 1833 г.

С первых же строк князь Элим раскрывает свои карты: Франция шумна, многоголоса, бойка; пять только лет отделяют ее от баррикад; Германия—тиха, покорна, безмятежна: поедемте в Веймар! Вот его призыв-приглашение к французам, к русским, ко всей Европе:

«Если вам придет фантазия дать отдохнуть вашей голове от всего этого великого шума, который нас окружает в Париже, шума улиц и клубов, телеграфов и бирж, журналов и книг, политики и литературы, философических и религиозных сект,—облекайтесь в вашу блузу артиста и берите вашу палку или устраивайтесь в дилижанс или, еще лучше, пусть щелкает кнут почтальона пред вашей английской каретой, и направляйтесь к Рейну, отправляйтесь повидать Германию. Там вы найдете также движение, но это движение—умственное».

«Дух поднимается на крыльях фантазии и парит в сферах творчества и мысли. Ум вопрошает бога: почему он создал мир? Ум обращается к насекомому, к стебельку травы, к атому, спрашивая, каким образом их создал бог. Ум [l'esprit] создает систему за системой; разрушает, чтоб создавать; создает, чтоб разрушать; он утверждает и он отрицает; он созерцает и он испытывает; он измеряет и он исследует; он ползает и он летает; он всегда идет вперед».


DE LA

LITTÉRATURE RUSSE.

DISCOURS

PRONONCÉ

A L'ATHÉNÉE DE MARSEILLE,

Dans la Séance du 26 Juin 1830;

PAR

Le Prince ELIM MESTCHERSKY,

GENTILHOMME DE LA CHAMBRE DE S. M. L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES, ATTACHÉ A SA LÉGATION PRÈS S. M. LE ROI DE SARDAIGNE, CHEVALIER DE L'ORDRE DU FALCON-BLANC.

MARSEILLE,

TYPOGRAPHIE DE FEISSAT AINÉ ET DEMONCHY,

RUE CANEBIÈRE, N° 19.

JUILLET 1830.

Титульный лист отдельного издания речи „О русской литературе", произнесенной Элимом Мещерским в марсельском „Атенее" 26 июня 1830 г. Гете брал 2 сентября 1830 г. эту книгу из Веймарской библиотеки

Landesbibliothek, Веймар

Вот сколько движения и борьбы производит—по князю Элиму—в Германии «дух», «ум» (l'esprit). Он—страшный «революционер», пред его «движениями»—ничто все парижские баррикады 1830 г. и тем более ничто то эхо баррикад, которое и в 1835 г. слышится еще то в парламенте, то в печати, то в обществе. Князь ставит немцев в пример французам: хотите «движений», «борьбы», «шуму»—следуйте примеру немцев: «Несмотря на то, что дух [или ум, l'esprit] идет вперед, сердце остается неизменным, чувство, нравы, национальный характер не изменяются; теории не овладевают людьми; страсти не овладевают народом; идеал не реализуется; мысль не приводит к действию».

Все движение «духа» остается в тех самых пределах, в каких оставался либерализм Репетилова: «Шумим, братец, шумим!»—«Шумите вы?—и только?» У Чацкого это «только»—укор; у Элима Мещерского—величайшая похвала. Только раз немцы «пошумели» не по-репетиловски: «Одна идея облеклась в плоть и вошла в общественную жизнь. Это был Лютер». Это конечно был большой грех немцев, но они давно уже покрыли его добрым поведением: «С этой первой большой революцией, которая, вероятно, будет и последней, Германия замкнулась опять в себе и жила воображением и аффектацией. Рассудок, неустанно тяготеющий к чувству, несомненная ось немецкого народа,—вот Германия».

Лечиться от революционных болезней Франции и Европе нужно у Германии: «Вы найдете отдых, которого ищете, как только начнете дышать этой атмосферой любви, благоденствия, благодушия, которая окружает немецкий народ: добрые качества его сердца сладки, как благовоние. Эти качества находят выражение в одном немецком слове: «Gemüth». Это слово,—

поясняет князь Элим,—непереводимо: по-французски Gemüth—равно уму, душе, сердцу или оно, вернее, включает все эти понятия». Итак, Германия реакции 20—30-х годов, сонная и унылая, оказывается страной обетованной. Француз, больной революцией и либерализмом, должен поехать в Дрезден «преклонить колена пред Мадонной Рафаэля», должен «посетить Берлин, чтобы... видеть короля, довольного своим народом, и народ, довольный своим королем», но, главное, он должен посетить «небольшой городок, расположенный на маленькой реке».

«Остерегайтесь попасть туда в момент озабоченности или предубежденья. Если это несчастье с вами случится, возвращайтесь скорее вспять, потому что этот городок—булыжник, скрывающий бриллианты. Этот город в течение полувека был столицей германского просвещения, был пьедесталом, который поддерживал стольких великих людей и явил их изумленной Германии. Этот город—Веймар.

Было время, когда герцогский двор саксен-веймарский походил на старинный портик, посвященный Минерве. Веймар звали Афинами Германии. Философы, поэты, художники и писатели толпились вокруг герцогини Амалии, женщины высокого ума и большого сердца. Это была фея, открывавшая и притягивавшая к себе гениев. Это была немецкая Медичи, но соперничала она с итальянской только добродетелями. В ее скромной вилле Тифурт собирались Гердер, Виланд, Шиллер, Иффланд и мн. др. Их возвышенные мысли, их стихи делались всемирными, их величественные или веселые речи раздавались под густою тенью деревьев, под которыми змеился Ильм, сладостно журча. В это же время, в нескольких лье оттуда, в Иенском университете профессорствовали другие люди, прославившие и поднявшие немецкую науку на высоту, которой не достигал ни один народ: это были Шеллинг, Фр. Шлегель и другие. Скипетр просвещения перешел от Франции к Германии. Родником, откуда начался этот поток науки и литературы, разлившийся вдруг по всему миру, был Веймар. Водоем, принявший воды этого родника, был герцогский двор».

«Корреспондент русского министерства народного просвещения» не оставил без надлежащего комментария поэтическую картину гетеанца князя Элима: он расставил все точки над i.

«В то время,—поясняет служащий С. С. Уварова,—как на левом берегу Рейна [читай: во Франции] все нивелировали, равняли [читай: делали Великую революцию], на правом—возвышали. Что бы там ни говорили, просвещение—естественный враг равенства: оно всегда восходит, а не спускается. Это—пирамида, которая, как бы ни была она широка в основании, постепенно суживается и кончается одной точкой. И чтоб еще ни говорили, двор—уже по одному тому, что он соединяет общественные верхи,—есть тот фокус, который притягивает к себе все самое подлинное и чистое, что есть на высотах ума. Только орлы посещают вершины».

Ни один из русских официальных гетеанцев не обнажал социально-политических корней своего гетеанства с такою показательною ясностью, как князь Элим. Уваров противопоставлял в своей речи 1833 г. Гете Вольтеру, «аристократизм» Гете—вольтерову угодничеству «черни», но сказать о дворе то, что сказал Мещерский, и он не решился. Очень характерно, что в рассуждении кн. Элима «Веймар»—больше, чем «Гете»: «двор»—водоем, а Гете и все другие из писателей—лишь ручьи, впадающие в этот водоем. Гете—не больше веймарского придворного «фокуса», вобравшего

в себя все литературно-философские лучи, но он больше каждого из этих отдельных лучей:

«Выше стольких слав, с которыми соединено имя Веймара, вырисовывается Гете со своими гигантскими пропорциями. Гете был олицетворением всего умственного движения эпохи. Целая вселенная отразилась в его душе. Его вместительный череп вместил всю науку во всем безбрежном развитии, которое она имела. В его божественных чертах вмещена вся красота форм, которые приняла литература. Он похож на статую Мемнона: он—тоже гранитный колосс, издававший гармонические звуки. С какой бы стороны ни освещало его солнце, Гете отзывался аккордами тонкими и нежными. Лучи востока душистым ветерком принесли ему «Диван» индусов (!—*С. Д.*), полуденные лучи создали ему «Римские элегии», всю эту Италию, Грецию, которая была перенесена в Германию; лучи Запада оживили в нем высокие создания французской сцены (князь Элим делает комплимент французам: Гете-драматург, оказывается, всего только воскресший Корнель с Расином.—*С. Д.*). И, наконец, светило Севера, он вобрал в себя всю германскую поэзию, все прошлое, все настоящее немецкой жизни от «Геца фон Берлихингена» и «Фауста» до «Вертера» и «Вильгельма Мейстера». Новое солнце, он имел только спутников; могучий из могущественных, он был провозглашен королем, и литературная республика в Германии превращается в абсолютную монархию. (Читатель сам уличит князя Элима в плагиате у Уварова.—*С. Д.*)

Шеллинг, который долгое время был в философии то же, что Гете— во всем, сказал своей аудитории, повещая, что этот человек больше не существует: «Господа, Гете умер, мы—одиноки».

Шеллинг процитирован: но цитата эта должна быть подтверждена другой, более надежной цитатой.

«Господин Уваров, который подготовляет мыслящую Россию (la Russie intellectuelle) к благородной будущности и который был другом Гете (qui fut l'ami de Goethe), говорит об этом в таких выражениях: «Германия, теряя этого знаменитого мужа, потеряла в нем единственного и последнего из своих литературных монархов,—монарха, вознесенного на щит и по законному праву гения, и по единодушному согласию соотечественников».

Кн. Элим процитировал своего начальника, отослал, в примечании, читателя к его речи: «Voyez la notice sur Goethe, lue...» и т. д. и пояснил читателю: «Г. Уваров—теперь министр народного просвещения». В сущности, все свое изложение «корреспондент» вел к этой цитате из «министра»: цитата венчает и выпад против революционной «нивелировки», и торжество по поводу превращения «литературной республики в Германии в абсолютную монархию».

Последняя фраза передает суть речи Уварова: если б кн. Элим продолжил свою цитату, там бы мы тотчас прочли: «но монарха решительно не конституционного и не любившего слышать о литературной хартии». Плагиаты и цитаты эти были из числа тех, за которые авторы не преследуют плагиаторов и хвалят цитаторов.

После цитаты из министра кн. Элим еще раз решил поставить все точки над i:

«Да, визитные карточки этого верховного первосвященника «ноократии» (de la noocratie) [12] хранили следующие слова: «фон Гете, действительный тайный советник его королевского высочества великого герцога Саксен-Веймарского».

«В том, что Гений воздал царствующему дому Веймара верноподданнический долг, отбросивший бессмертный блеск на этот двор и на этот город,—в том нет ничего удивительного. Гете понимал, что право ума и право социальное никогда не должны быть смешиваемы, что в политике первое должно оставаться подчиненным второму. Противники Гете обвиняют его в куртизанстве; это значит—они презирают его. Гете давал торжественный пример должного уважения к социальному порядку».

Весь этот комментарий к визитной карточке Гете кажется назидательной репликой в сторону русского «Гете»,—в сторону Пушкина, не склонного «воздавать верноподданнический долг» царствующему дому Петербурга: это говорилось в 1835 г., когда отношения Пушкина к Николаю I и его двору (включая и Уварова) стали особенно натянуты. Пример Гете должен был вразумлять писателей, не склонных «право ума» подчинять «социальному праву» Николая I.

«Итак,—продолжает Мещерский,—Гете был другом принца, чья мать была герцогиня Амалия. Их души были созданы для того, чтоб взаимно ценить друг друга. Карл-Август, наследовавший военную доблесть принца Бернарда, знаменитого полководца, происходившего от ветви Эрнестины Саксонской,—Карл-Август мог протянуть свою царственную руку Гете, а Гете принять ее с гордостью: эта рука вынула шпагу и призывала германское отечество к независимости в то время, когда победитель народов и королей давил Германию копытами своей белой лошади. Свои владения и свою особу Карл-Август приносил в жертву за свободу мира в ту эпоху, когда Пруссия, борясь совсем одна со звездой Наполеона, готовилась к славным похоронам, в ту эпоху, когда Россия не возглашала еще зова к освобождению.

«После битвы при Иене город Веймар был свидетелем сцены, которую историк перескажет с нежностью. В то время как все бежало перед французской армией, надвигавшейся на Веймар, герцогиня Луиза, супруга Карла-Августа, не покинула дворца. Она знала чувства Наполеона к герцогу и предвидела, что гнев императора отдаст город грабежу. Она ожидала удара, как железный шпиц ждет грома. Женщины, дети, старики—все собрались во дворце и разместились со своим скарбом в обширных помещениях герцогской резиденции. Великодушная герцогиня оживляла одних, ободряла верность других и не страшилась Аттилы. Наполеон явился. Достоинство и мужество герцогини изумили его и смирили его гнев. Герцогство было пощажено. Некогда, в подобном случае, женщины Вейнсберга унесли на своих плечах мужей. Женщина Веймара унесла свое государство.

Три могилы отмечены тремя именами: Гете, Карл-Август, Луиза... Путешественник, поезжай в Веймар, склонись перед этими пирамидами Саксонии».

Князь Элим не без ловкости сплел один венок из легенды и возложил его на три гробницы: двух веймарских монархов—политического и литературного—и одной монархини, сделав ее нравственной победительницей Наполеона. Но прошлое есть прошлое, а надо быть апологетом настоящего, и «корреспондент» легко берется за это: опять все начинается с Гете. Гете сказал:

Liegt dir Gestern klar und offen,
Wirkst du Heute kräftig treu,
Kannst auch auf ein Morgen hoffen
Das nicht minder glücklich sey.

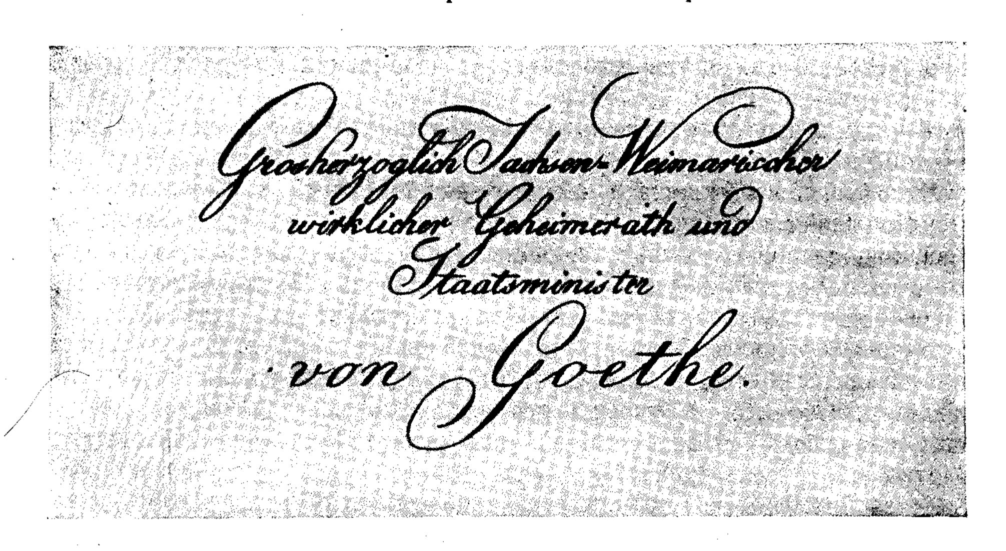
(Если вчерашний день лежит пред тобою ясный и открытый,
Сегодня ты можешь быть сильным и свободным,
Можешь надеяться также и на завтра,
Которое будет для тебя не менее счастливым).

«Если прошлое Веймара было блестяще и лучезарно, то его настоящее еще прекрасно, а будущее кажется чистым и счастливым. Дочь русских царей, великая княгиня Мария, и ее набожный супруг заботятся о благосостоянии этой исторической страны. Они—ангелы-хранители Веймара. Благоговение смыкает мне уста; похвалы живущим похожи на лесть; а то, что я хотел бы сказать, походило бы на нее еще больше, хотя я говорил бы только правду. Путешественник, спроси веймарцев; они оправдают мое молчание».

Таково настоящее Веймара: там уже нет Гете, но там не меньше величия, так как остался «фокус», притягивающий и собирающий лучи всякого величия, остался двор, а в центре его—Мария Павловна (князь Элим, подобно Гете, не мог придумать для ее супруга менее скромного эпитета, чем «набожный»).

«Но я хочу вам рассказать, как маленький городок предлагает вам все преимущества столицы, кроме одной скуки.

Герцогский двор сохранил все привычки старого времени (доброго, дореволюционного, доконституционного, старого времени Людовиков!— *С. Д.*)—это Версаль в миниатюре. Он собирает все, что есть в Веймаре, и все самое утонченное, что посылает ему Европа. Расположенный на больших дорогах Германии, Веймар принял у своего очага одного за другим всех знаменитостей двух веков и всех стран. Это—волшебный фонарь, на экране которого прошли все головы, увенчанные короной или славой, от Наполеона и Александра до Байрона и Ж.-Ж. Ампера, этого апостола северной литературы и немца среди французов; и их еще много пройдет, не сомневайтесь в этом. Мало городов во Франции обладают столь избранным обществом. Кажется что про женщин Веймара сложена немецкая


Grossherzoglich Sachsen-Weimarischer
wirklicher Geheimerath und
Staatsminister
von Goethe.

Визитная карточка Гете-министра

Текст карточки: „Действительный тайный советник и государственный министр великого герцогства Саксен-Веймарского фон Гете"

Институт Русской Литературы, Ленинград

пословица: «В Саксонии каждое дерево приносит красивую девушку». Древние почитали красоту атрибутом гения. Веймар в таком случае классическая страна.

Наслаждение было смотреть на грациозный полет голубей, выпархивающих из-под крыльев орла-Гете и вьющихся вокруг него. Это была картина, достойная пера певца Гретхен. Голова этого второго Юпитера Олимпийского господствовала над столькими нежными женщинами, которых XVIII век сделал богинями. В Веймаре было множество невиданных нигде празднеств. Вообразите себе бесчисленные кадрили, представляющие персонажей драм и поэм, наиболее прославленных в Германии; вообразите себе Гете, распределяющего роли, пишущего стихи на случай, направляющего шествие; вообразите себе сына Гете, играющего Мефистофеля, и детей Шиллера, появляющихся в группах».

Князь Элим, давний обитатель Веймара, многое мог бы вспомнить из придворных празднеств, но вспомнил он именно то, что требовалось «корреспонденту»: известный нам «Maskenzug» в честь Марии Федоровны.

«Дух Гете проник в общество Веймара. Каждый взял от него свою долю; судите, богаты ли в этом городе просвещением. Этот нравственный метампсихоз был предназначен этой избранной стране. Увы, увы! О том, что зовут *beau monde* в других столицах, не скажешь этого. В Веймаре мир изящества есть в то же время мир искусства и науки. Предместье Сен-Жермен, этот малый Париж просвещенья, выпустило недавно литературный журнал с произведениями на немецком, французском, английском и итальянском языках: все сотрудники этого журнала носят газ и ленты, они—дочери министров и важных баронов, им 16—18 лет. Юные иностранцы, слышавшие мерные строфы «Миньоны», произносимые этими прекрасными устами, теряют охоту итти к гондольеру за октавами Тассо. И многие из тех, что ускользнули из Оксфорда (а ими изобилует Веймар), просвещаясь, как гости Орфея, изучают теперь немецкий язык, как не изучали свою латынь, и появляются в герцогском дворце».

Князь Элим «забыл меру»: недаром он все-таки романтик, хоть и с денежным пособием от Уварова: у него выходит, что «дух Гете» так оказался проникновенен, что... заставил английских дворянских недорослей выучить немецкие вокабулы.

«Так как я взял на себя роль чичероне в этом музее гармоничных воспоминаний и любопытных вещей, я должен добавить, что в Веймаре есть все, чтобы сделать пребывание в нем особенно приятным. Публичная библиотека обладает драгоценными рукописями, между прочим—библиею Лютера, написанной его рукой. В кабинете для чтения, достойном Парижа, имеются редкие книги, лучшие журналы Европы. Театр, в котором под руководством Иффланда и Гете зрели лучшие артисты Германии, соперничает и до сих пор с театрами больших городов. В нем ставятся иногда оперы Россини по-итальянски, и Гуммель находится во главе оркестра. Общества и учреждения литературные и научные достойны внимания ученых и артистов. Из них назову Географический институт Бертуха».

Князь Элим почувствовал, что в конце концов речь его сбилась на зазыв путеводителя, и поспешил закончить: «В конце концов нужно бы написать целую книгу, еслиб захотели восстановить то, что я пропустил, или если бы захотели рассказать о другом городе герцогства, связанном с Лютером так, как Веймар—с Гете».

«Гете был настоящим микрокосмом; он заключил в себе целый мир; он сделал из него храм. Веймар был храмом Гете. В сфере интеллектуальной ничто не прошло без того, чтобы Гете не поставил на нем своего имени. В течение многих лет ни одно событие общественное, философское, литературное не вошло в историю без того, чтобы имя Веймара не повторялось, как эхо. Веймар! Рай...» [13]

Я привел весь текст статьи Мещерского. Он стоит того. Это вершина русского официального гетеанства. Все его социальные корни, политические устремленья тут обнажены; вся литературная монтировка налицо; согласованность с Уваровым, основным идеологом правительственного гетеанства, неоспорима. Уваров мнил себя классиком, и речь его претендовала быть oratio academica; Мещерский мнил себя романтиком, и речь его порывиста, хаотична, лирична. Но содержание там и тут одно и то же: оказывается Гете в литературе—такой же монарх без страха и упрека, как Николай Павлович в политике; он столь же антиконституционен, как Николай самодержавен; он столь же враждебен всякой революции, как палач декабристов. Одним из доводов «либералистов» против абсолютной монархии и монархов было утвержденье, что они душат гениев, принижают искусство, теснят свободу науки. Уваров и Мещерский ловят на лету это блуждающее обвинение дворянско-буржуазного либерализма, объединяющего собой и буржуазных революционеров, и романтиков, и философствующих утопистов, ловят и парируют резко и веско: Гете был гений, Гете был великий художник, Гете был великий ученый, каких нет в мире,—и смотрите: он был верноподданным своего герцога, он ненавидел революцию, он презирал демократию, он считал за честь именоваться тайным советником маленького царька, он был глубоко почтителен к самодержцам не малым, в том числе и всероссийским. Чтобы звучать веско, это возражение требовало нарочитого гетепочитания и гетепрославления: нужно было всячески подчеркнуть величие Гете как гения, чтобы тем разительнее представить благонамеренное смирение его как верноподданного и как приверженца существующего феодально-монархического строя. Уваров и Мещерский это именно и делают; гиперболизм их восхваления Гете (у одного—классически-«величавый», у другого—романтически-«приподнятый») при всей своей риторичности сплошь политически целесообразен с точки зрения крепостническо-дворянской России. Но одного Гете им мало; нужен еще и Веймар. Это превосходно удалось кн. Элиму: Гете у него—лишь самый яркий из веймарцев, но центр всего—Веймар: герцогский двор, высшее общество, феодально-абсолютистское правительство и государство. Все, что говорит Мещерский, сводится к апологетике правящей аристократии и двора: двор привлек писателей, двор дал им возможность явить себя в творчестве, двор явил гармонию власти и мысли, социального иерархизма и культуры; одним словом, двор есть фокус, сосредоточие всего бытия—культурного и политического.

Кн. Элим—реставратор; Веймар для него—Версаль эпохи короля-Солнца. Пусть революции уже сокрушили этот Версаль подстриженных деревьев и подстриженных стихов, голодных масс и бриллиантовых кавалеров,—кн. Элим уверяет Францию, что это—ошибка: такой Версаль существует. Это—Веймар Гете, Карла-Августа и Марии Павловны: он так культурен, блестящ, ярок (подите, убедитесь сами!), что кто же может возражать против, не возражая тем самым против великого Гете, против мирового поэта и ученого?

Из всех возможных выпадов справа против буржуазной Франции Людовика-Филиппа с ее конституционализмом и либерализмом кажется только этот один мог еще иметь видимость какой-либо убедительности: Гете и Веймар оставались единственным козырем в безнадежно проигрываемой игре абсолютистов-аристократов. Веймар и прошлого, и сегодняшнего дня противопоставлялся Парижу Великой революции, а Гете в самом деле был так велик, что его олимпийством на минуту можно было заслонить (но конечно не прикрыть) надвигавшиеся на Францию, а с нею и на Европу огни революции 1848 года.

Для дворянской России гетеанство кн. Элима (а все его французские статьи и издания свободно пропускались через границу и читались в России) имело самый живой смысл. В 1835 г., когда он писал про Гете, разыгрывался конфликт с правительством не у одного Пушкина. Вся народившаяся и нарождающаяся молодая поэзия и литература—Белинский, Лермонтов, Герцен, Тургенев, Достоевский, Некрасов—переходила в прямую оппозицию правительству. Правительство это сознавало. Весь смысл деятельности Уварова как министра народного просвещения в том и состоял, чтобы на основе организующей социально-политико-философской формулы «православие—самодержавие—народность» создать новую правительственную интеллигенцию, противопоставив ее оторвавшейся от правительства интеллигенции декабристов, формирующихся западников, намечающихся петрашевцев. Опыт Николая I с Пушкиным, с его «приручением» и «перевоспитанием» в духе правительственной идеологии, явно не удался. Приходилось в этом сознаться, но не отказаться от более обширного опыта с целым поколением, которому надлежало пройти через воспитательные горнила уваровских гимназий, университетов, журналов, цензур. Гете и Веймар давал великолепный образец для такого опыта. Амалиям, Луизам, Карлам-Августам, даже Мариям Павловнам с их министрами удалось в течение полувека приручить, сделать правительственными величайших поэтов и мыслителей своей страны, удалось около них создать веймарскую интеллигенцию, послушную правительству и действительно просвещенную. Почему же то, что удалось Марии Павловне с канцлером Мюллером, не могло удасться Николаю Павловичу с министром Уваровым в масштабе несравненно большем, но и со средствами тоже неизмеримо большими? Гетеанство и веймарианство входило самым прочным образом в программу Уварова-министра, и не могло не входить. Даже в борьбе своей с Пушкиным и он, и Николай I могли опереться на Гете: Николай I был не глупей, не хуже Карла-Августа; почему же Пушкин с ним не уживался, а Гете с Карлом-Августом отлично ужился? Давление громоздкой юпитерской фигуры звездоносца Гете на весах суда общественного—русского и европейского—должно было перетянуть легкую подвижность неустойчивой фигурки Пушкина, и дело решено было бы в пользу Николая I при «благородных свидетелях» в его пользу—Гете и Карле-Августе.

В князе Мещерском Уваров нашел отличного ученика и сотрудника.

Был даже какой-то проект распространить деятельность кн. Элима и на Россию, отнюдь не отрывая его от деятельности в Европе. Летом 1836 г.—после своего «Веймара»—Мещерский приехал в Россию и затевал какое-то издание. Н. В. Кукольник очень сбивчиво и сумбурно встревожился по этому поводу в своем дневнике: «Мещерский приехал из Парижа и затевает в Петербурге Revue русских произведений для русских во француз-

ЭЛИМ МЕЩЕРСКИЙ

Портрет маслом неизвестного художника (30-е годы XIX века)

Институт Русской Литературы, Ленинград

ских переводах!» Кукольник иронизирует: «Очень кстати! Неужели он надеется, что в Европе будут читать его статьи? Нет, не надеется. Там, в России? да! Наши вельможи не могут читать по-русски; не варит желудок» [14].

Кукольник ошибался: в Европе Элима Мещерского читали, а в Париже так и перечитывали; он хотел, чтоб его читали больше и в России. Предприятие князя Элима почему-то не осуществилось. Он ограничился Европою.

В истории русского гетеанства князь Элим—одна из примечательных фигур. Это—эпилог и итог русского правительственного гетеанства и его политических и социальных чаяний.

«Правительственная интеллигенция» не осуществилась. Провалилось и правительственное гетеанство. Но оно имело целую толпу приверженцев, больших и маленьких. С ним нам и предстоит познакомиться.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ф. Ф. Вигель, Записки, ч. V, изд. «Р. А.». М., 1892, стр. 99.

[2] Le prince Elim Mestcherski, Weimar.—«Revue universelle». Troisième année. Tome V, Bruxelles, 1836, page 334. Переводом этой статьи Э. Мещерского я обязан проф. Г. С. Виноградову.

[3] «W. A.», III Abt., B. X, S. 68, 180, 150, 202; B. XI, S. 31; B. XII, S. 68, 95.

[4] Пушкин, Соч., т. V, стр. 31.

[5] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 297.

[6] Elise Keudell, Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek. Weimar, 1931, S. 338. Запись №2149.

[7] С. Шевырев, Дорожные эскизы на пути из Франкфурта в Берлин.—«О. З.» 1839, т. III, стр. 116. Оттилия получила от Мещерского вероятно перевод Вульферта: «Der Berggefangene von A. Puschkin, S.-Ptsb. 1823», а может быть и известное контрафакционное издание того же перевода вместе с русским текстом, сделанное в 1824 г. Е. Ольдекопом.

[8] А. К. Виноградов, Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, стр. 23.

[9] Письмо от 2/14 января 1839, №824, «О. А.», т. IV, стр. 62.

[10] «Р. А.» 1868, стр. 621—622; «Старина и новизна», т. II, стр. 157. Обе цитаты из «О. А.», т. IV, П., стр. 697.

[11] «À LL. A. A. Impériales et Royales M-me la Grande Duchesse Marie et Messeigneurs le Grand-Duc et le Prince héréditaire de Saxe-Weimar, à l'occasion de la naissance du prince Charles-Auguste». Paris, 1844.

[12] Примечание Э. Мещерского: «Ноократия (Noocratie)—власть разума. Это слово было создано г. Лерминье в его курсе сравнительного законоведения». (Nove—по-гречески: разум.—*С. Д.*)

[13] Le prince Elim Mestcherski, Weimar.—«Revue universelle» 1835, т. V, pp. 329—334.

[14] «Баян» 1888, №10, стр. 90. Цитата из «О. А.», т. IV, стр. 715.

Наиболее подробные сведения о кн. Э. П. Мещерском даны в русской историографии В. И Саитовым в примечаниях к «Остафьевскому архиву» (том III, стр. 695—698). Но его характеристика Мещерского, как видно из сопоставления с предлагаемыми читателю страницами нашей работы, страдает решительным апологетизмом и определенным социальным привкусом. Вот что пишет Саитов: «Мещерский, много лет живший во Франции, очень любил эту страну и в совершенстве знал ее язык и литературу, представители которой относились к нему с большой симпатией. Кроме общности интересов этому способствовали и личные качества Мещерского, отличавшегося оригинальным живым умом и благородством характера. Однако, любовь к Франции не могла заглушить в Мещерском врожденного патриотизма и приверженности к православию, доказательством чего служит литературная деятельность его, обращенная почти исключительно на ознакомление Франции с Россией и на распространение во французском обществе правильных понятий «о нашем отечестве» (стр. 696). Эти «правильные понятия» были оправданием крепостнически-автократического строя николаевской империи. За распространение этих «понятий» Мещерский получал вознаграждение от Николая I.

III. РУССКАЯ ЗНАТЬ И РУССКАЯ РЕАКЦИЯ ВОКРУГ ГЕТЕ

„ДЯДЮШКА СЕНАТОР“ В СНОШЕНИЯХ С ГЕТЕ.—ПОЭТ-ДИПЛОМАТ И ГЕТЕ.—ВСТРЕЧА ГЕТЕ С АДМИРАЛОМ А. С. ШИШКОВЫМ.—ГЕТЕ—ЧИТАТЕЛЬ И КРИТИК ШИШКОВА.—ГЕТЕ ЗА РУССКОЙ ГРАММАТИКОЙ И СЛОВАРЕМ.— „ХОЛОП ВЕНЧАННОГО СОЛДАТА“ И ГЕТЕ.— ВЕЙМАРСКИЙ ПРИЮТ КОЦЕБУ.—ГЕТЕ—ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМИССИОНЕР РУССКОЙ АРИСТОКРАТИИ.—ГР. В. Н. ПАНИН И ГР. В. П. ОРЛОВ-ДАВЫДОВ У ГЕТЕ.—НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ ГЕТЕ—В. А. КАЗАДАЕВ.—РУССКИЕ ТУРИСТЫ У ГЕТЕ.—СИЯТЕЛЬНЫЙ КРИТИК „РАЗБОЙНИКОВ“.—ГЕТЕ И КН. А. Я. ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ.—ПОРТРЕТ ГЕТЕ РАБОТЫ О. А. КИПРЕНСКОГО.

Официальное причисление Гете к сонму лиц, благонадежных с точки зрения русского правительства, совершилось в 1808 г. Некоторые знакомства Гете, заключенные им в русском официальном мире еще с 1807 г., подготавливали такое «причисление».

В 1807 г. Гете проводил лето на водах в Карлсбаде и тут встретился с двумя русскими дипломатами, пожелавшими вступить в приязнь с европейской знаменитостью. Это были Лев Александрович Яковлев (1766—1839), впоследствии посланник в Штутгарте (1809) и при короле Вестфальском (1810—1812), и Василий Васильевич Ханыков (1759—1829), посол в Дрездене.

Яковлева современный читатель знает под псевдонимом «Сенатор». Он живет на страницах «Былого и дум» Герцена, Ханыков же безвестен.

Дядюшка Герцена, Лев Александрович Яковлев, «был по характеру человек добрый и любивший рассеяния; он провел всю жизнь в мире, освещенном лампами, в мире официально-дипломатическом и придворно-служебном, не догадываясь, что есть другой мир, посерьезнее,—несмотря даже на то, что все события с 1789 до 1815 гг. не только прошли возле, но зацеплялись за него. Граф Воронцов (Семен Романович, русский посол в Лондоне.—*С. Д.*) посылал его к лорду Гренвилю (английский министр иностранных дел.—*С. Д.*), чтобы узнать о том, что предпринимает генерал Бонапарт, оставивший египетскую армию. Он был в Париже во время коронации Наполеона. В 1811 г. Наполеон велел его остановить и задержать в Касселе, где он был послом «при царе Ереме», как выражался мой отец в минуты досады (при короле Иерониме, брате Наполеона.—*С. Д.*). Словом, он был налицо при всех огромных происшествиях последнего времени, но как-то странно, не так, как следует... Возвратившись в Россию, он был произведен в действительные камергеры в Москве, где нет двора. Не зная законов и русского судопроизводства, он попал в Сенат, сделался членом опекунского совета, начальником Марьинской больницы, начальником Александровского института и все исполнял с рвением, которое вряд было бы нужно, со строптивостью, которая вредила, с честностью, которую никто не замечал. Он никогда не бывал дома. Он заезжал в день две четверки здоровых лошадей: одну утром, одну после обеда. Сверх Сената, который он никогда не забывал, опекунского совета, в котором бывал два раза в неделю, сверх больниц и института он не пропускал почти ни один французский спектакль и ездил раза три в английский клуб. Скучать ему было некогда, он всегда был занят, рассеян, он все ехал куда-нибудь, и жизнь его легко катилась на рессорах по миру оберток и переплетов. Зато он семидесяти пяти лет был здоров, как молодой человек, являлся на всех больших балах и обедах, на всех торжественных собраниях и годовых актах все равно каких: агрономических или медицинских, страхового от огня общества или общества естествоиспытателей... да, сверх того, за то же, может, сохранил до старости долю человеческого сердца и некоторую теплоту» [1]

Что прибавить к этой блистательной зарисовке?

В нее отлично укладывается первая же запись дневника Гете, отмечающая его карлсбадские встречи с Яковлевым: 1 июня он разговаривал с Гете «о том, как путешествующие гонимы ходом современной войны туда и сюда» [2]. Наполеон мешал русскому барину с паспортом дипломата приятно вояжировать и пить карлсбадские воды,—и он пожаловался веймарскому министру на свою «гонимость». Гете отмечает свои прогулки и пикники с будущим «сенатором»: «Гулял с Яковлевым на лугу» (6 июня); «Обед-пикник в «Золотом Щите», большое общество дам и мужчин, в особенности французы и русские, Роганы, Яковлевы» (22 июня); «На лугу и по аллее с Яковлевым, готским принцем, г-жей фон Вертер, и затем на концерт» (8 авг.); «Рано утром пришел г. Яковлев, возвратившийся из Францесбруна» (29 авг.); «С Яковлевым у Больцы», у графа, владельца отеля «Золотой Щит» (2 сент.) [3]. Хронология записей показывает, что Гете провел с Яковлевым целый сезон в Карлсбаде. Было ли это только знакомство «на водах», кончающееся с последним стаканом минеральной воды, вместе выпитым у источника? Нет,—и это повидимому потому, что у «дядюшки сенатора» был один общий интерес с Гете. Вот что мы находим в тех же карлсбадских записях Гете: 26 июня: «Табакерка Яковлева и резная работа на халцедоне». 8 июля: «У Яковлева. Замечательный китайский ковер с ландшафтами, фигурами и цветами, все части которого вытканы или вывязаны по отдельности и соединены вместе. Я вспомнил подобные древние ковры в Магдебурге, на хорах собора». 31 августа: «У Яковлева, пересмотрел его резные камни» [4]. Барин-дипломат путешествовал, не разлучаясь со своей драгоценной коллекцией табакерок и камней, с художественными раритетами своей обстановки, и Гете, отличавшийся страстью к камеям и любовью к коллекционированию, нашел общий с Яковлевым предмет увлечения. Коллекции Яковлева художественностью самих предметов и тонким вкусом их подбора произвели на Гете такое сильное впечатление, что он уделил им большое место, подводя годовой итог своим художественным впечатлениям. Говоря, что в этом, 1807 г. ему есть «много, что сказать об изобразительных искусствах, о теоретическом их постижении и практическом упражнении в них», Гете к числу важных фактов такого рода относит и то, что «Яковлев показывал недавно вырезанные в Риме камеи: умное использование в них кусков халцедона и оникса заслуживает большой похвалы. Среди других достопримечательностей у него был старый китайский ковер, на котором по отдельности сделанные фигуры объединены гармонирующим фоном в одну картину. Я вспомнил, что подобные, из ранней германской поры, я видел в соборе в Магдебурге» [5].

Водные разговоры сменились у Гете с Яковлевым сношениями коллекционеров-любителей гемм и камей. 30 декабря 1809 г. Яковлев послал Гете художественную гранатовую табакерку, доселе хранящуюся в доме Гете. Гете отвечал Яковлеву любезнейшим письмом от 5 февраля 1810 г. и послал ему в отдаренье кусок слоистого халцедона как прекрасный материал для камеи [6].

Благожелательствуя Яковлеву, переведенному из Дрездена на дипломатический пост в Кассель, Гете писал (22 апреля 1810 г.) туда Рейнгардту, послу Наполеона: «Ради меня окажите ему [Яковлеву] дружеский прием; он всегда в высшей степени мило ко мне относится и еще недавно преподнес мне табакерку из породы, весьма для меня интересной» [7]. Яковлев

с отменной любезностью решил, что на халцедоне, подаренном Гете, должен быть иссечен профиль дарителя. «Передайте мой поклон господину Яковлеву,—поручал Ге́те наполеонову послу 7 октября 1810 г.,—я осведомлен об его милом намерении заказать в Риме резную камею с моим профилем для своего собрания. Подходящей гравюры не имеется, однако я посылаю Вам с почтой медальон, вылепленный г. фон Кюгельгеном,—на этот раз лучшее, что я знаю. Если это не то же самое, что Вы привезли из Гамбурга, он, может быть, этим удовлетворится» [8].

Дипломаты Александра и Наполеона расточали знаки внимания к Гете: русский хлопотал о камее, французский подыскивал для нее оригинал, а Гете благосклонно поручал второму передать первому наиболее подходя-

СЕНАТОР Л. А. ЯКОВЛЕВ
Миниатюра неизвестного художника (начало XIX века)
Исторический Музей, Москва

щее изображение для резчика. 28 апреля 1811 г. Яковлев послал в Рим резчику Николаю Морелли наказ: «Я вам послал гипсовый снимок с портрета одного великого немецкого писателя, который мне хотелось бы увидеть изображенным в виде камеи для кольца». Чем был тогда Гете для европейского общества, повидимому очень недурно понимал «дядюшка-сенатор», когда наставлял итальянца-резчика: «Больше всего старайтесь уловить сходство; так как этот писатель очень знаменит, то его портрет может вам доставить другие заказы в том же роде» [9]. 10 января 1812 г. Гете уже благодарил Яковлева за лестный подарок: за свой профиль работы Н. Морелли [10].

После отъезда Яковлева из Касселя, от «царя-Еремы», Гете уже не пришлось с ним встречаться, хотя русский дипломат-коллекционер в 1815 г. еще раз появился на Венском конгрессе.

Отзывов Гете о Яковлеве-дипломате и политическом деятеле мы не знаем: для него он был любезный causeur в международном обществе модного курорта и замечательный коллекционер. Но внимание Яковлева к Гете—

одно из первых русских официозных вниманий, направленных на великого писателя: такие большие и маленькие русские официозные встречи, знакомства и приязни с Гете закрепляли русское официальное внимание, а потом и признание Гете, о котором выше было говорено.

Продолжительнее было знакомство Гете с другим русским дипломатом, также завязавшееся на карлсбадских водах,—с Вас. Вас. Ханыковым.

Это был довольно неподвижный «дипломат»: двадцать семь лет (1802—1829) посольствовал он в Дрездене, сидя в нем сиднем, как в своей вотчине. Целая эпоха мировой истории прошла перед ним: каких-каких только «племен, наречий, состояний» не переплеснули в Дрезден наполеоновские войны. В этих больших событиях на долю Ханыкова выпадали лишь маленькие дела: то он заключает с саксонским двором трактат о возвращении русских дезертиров из бывшего герцогства Варшавского, то подписывает конвенцию с Саксен-Веймаром об уничтожении пошлин, взимавшихся в герцогстве и в России с имуществ, вывозимых из одного государства в другое. Этих малых дел было достаточно для получения больших наград, и уже в 1819 г. Ханыков был действительным тайным советником. Маленькие германские дворы с крошечными дипломатическими заботами были отличным поприщем для таких дипломатов-сибаритов, остроумцев и коллекционеров, какими были Яковлев и Ханыков.

При Екатерине II—преображенский офицер, при Александре I и Николае I—дипломат, Ханыков при всех императорах и королях славился как любезник и остроумец. Слава эта даже ужалила его «окогченной летуньей»—эпиграммой:

Пуд самолюбия, полфунта острых слов—
Вот все, чем славится Василий Ханыков.

Он славился и своими французскими стихами. Он их не печатал, а читал по салонам, а может быть даже перелагал на музыку. «Однажды,—рассказывает П. А. Вяземский про гр. Разумовскую,—забрала она за живое стихотворческое и русское самолюбие Нелединского. Пропев романс Ханыкова: «Quand sur les ailes des plaisirs» («Когда на крыльях удовольствия»), графиня сказала Нелединскому: «Вот никак не передать этих слов на русский язык». На другой день привез он ей свой прелестный перевод» [11]. Французское стихотворство Ханыкова казалось обитательницам аристократических салонов вершиною, недоступной для плебейского русского языка. Польщенный такими отзывами Ханыков писал стихи до старости, и всего за два года до его смерти А. И. Тургенев писал из Дрездена брату-декабристу: «Был у Ханыкова. Он читал мне свое послание на французском к какой-то даме об изящных художествах, коими теперь услаждается жизнь его. Стихи хороши; но грустно видеть старика, отжившего век на стихах» [12].

Из русских стихов Ханыкова стансы «На смерть брата» попали в «Аониды» Карамзина.

Через три года после встречи с Гете в Карлсбаде Ханыкова узнал известный генерал гр. П. Х. Граббе и зарисовал его такими штрихами: «Небольшого роста, сгорбленный, может быть, летами, рябой и неприятного выражения лица, он с успехом находил в разговоре не только приличное, даже отборное слово, но искал его и в это время языком шевелил передние поддельные свои зубы. Вежливость его была постоянна, но чрезмерностью своею затруднительна. Ханыков любил и знал хорошо не только

иностранную, но и русскую литературу и сам писал удачные стихи на русском языке. Он показал мне впоследствии свой перевод стихов Шиллера «Die Statuen in Paris», очень хороший» [13]. Ханыкову принадлежал и первый по времени русский перевод «Песни о колоколе».

П. А. Вяземский и Д. Н. Свербеев говорят об отменном любезничестве и острословии Ханыкова, но что-то помалкивают об его стихах. А вот Гете и стихи его счел отменными. Первую отметку о Ханыкове в его дневнике находим 9 июня 1807 г.: «В 6 часов к источнику; затем к Невбрунну. Ханыков, русский посланник в Дрездене»; а 31 июля поэт-дипломат уже читал свои стихи Гете и заслужил такой отзыв, которому позавидовали бы многие известнейшие поэты Европы: «К завтраку у генерала Ханыкова, который прочел свои очень приятные (sehr angenehmen) французские стихотворения. Большей частью это envois на случай о человеческих и общественных отношениях, о судьбе и о страстях, написанные с большим вкусом, тактом и искусством. Так как это обращено к действительно существующим лицам, а в отдельных происшествиях всегда есть нечто пикантное (etwas picantes), то выступают при этом очень красивые и удачные мотивы» [14]. Отзыв Гете достаточно благоприятен, чтобы заинтересоваться французскими стихами Ханыкова и поискать их в каких-нибудь рукописных сборниках. Отзыв А. И. Тургенева об одном из подобных envois Ханыкова гораздо умереннее. Надо впрочем вспомнить, что в отзыве своем Гете варьирует свою любимую мысль, что хорошо и истинно лишь то стихотворение, которое писано «на случай», т. е. в основе которого лежит подлинный, действительный факт, событие, пережитое автором. В стихах Ханыкова виделось Гете следование этой аксиоме поэтического творчества, и быть может потому великий поэт был так снисходителен к стихотворным опытам дипломата.

В сентябре 1810 г. Гете встречался с Ханыковым в Дрездене и дважды отметил беседы с ним, при чем почему-то стал титуловать его «графом» [15].

В 1813 г. на Ханыкова была возложена новая обязанность—состоять при Марии Павловне, а с 1815 г.—представлять Россию еще и при дворах ганноверском и ольденбургском. Эта новая веймарская должность особенно часто сталкивала Ханыкова с Гете и его семьей. Между ними установились, очевидно прочные светские отношения. Было бы скучно приводить эти придворно-обеденные записи Гете. Вот две-три для примера. 13 ноября 1813 г.: «Двор у ее высочества принцессы Ольденбургской (Екатерины Павловны.—*С. Д.*). Ханыков, Гагарин, Арсеньев, Волконский» (кн. Петр Михайлович.—*С. Д.*); 16 февраля 1816 г.: «Празднество у Ханыкова по случаю дня рождения наследной великой герцогини» (Марии Павловны.—*С. Д.*); 7 октября 1816 г.: «Дети [Август Гете с женой Оттилией] обедали у Ханыкова». Две отметки выделяются из этой серии. 1 июня 1816 г. Гете записывает: «Надв. сов. Мейер, известие о ханыковских Poussains»—это разговор с другом-художником о картинах знаменитого Ник. Пуссена из собрания Ханыкова,—а 20 мая 1819 г. Гете внес в дневник: «Долгая беседа с генералом графом (sic!—*С. Д.*) Ханыковым, который посетил меня». Предмет беседы неизвестен [16].

7 августа 1819 г. Гете получил от Ханыкова ценный подарок—бронзовую статую. Он любовался ею в тот же вечер вместе с художником Мейером. Сохранился черновик письма Гете к Ханыкову от 12 августа: «Ваше превосходительство! Перед отъездом в Иену свидетельствую Вам еще раз мою самую искреннюю привязанность. Весьма сомнительные, но к сожале-

нию теперь ставшие ежедневными высказывания прилагаю тут же; можно только сказать, что последствий предвидеть никак невозможно. Я не осмелюсь также проститься, не высказав повторно моей самой признательной благодарности за великолепный подарок, которым Вы меня осчастливили. Мой друг Мейер уже несколько вечеров также наслаждается со мною в проникновенном восхищении. Да отплатится дарящему подобным же удовольствием».

К сожалению остаются неизвестными эти чьи-то «высказывания», которые Гете, получив очевидно на прочтение от русского дипломата, возвращал ему при письме с аттестацией «сомнительных».

Ханыков попал и в «итог» этого года, подведенный Гете: «Дома, как и в Иене, я получил много приятного от мимолетно появлявшихся лиц и от остававшихся более продолжительно. Назову графа (!—*С. Д.*) Ханыкова и Бомбелля и затем более старых и новых друзей, встречи с которыми были поучительны» [17].

Все эти подарки и письма, все эти отметы о приемах у Ханыкова, о беседах с ним у герцога и Екатерины Павловны Ольденбургской или Марии Павловны Веймарской являются свидетельствами предупредительного внимания русской дипломатии к Гете. В те годы, когда Гете обедывал у Ханыкова на торжественных приемах в русском посольстве или вместе с ним приглашаем был к русским великим княгиням, он давно уже был «за штатом» веймарской правящей бюрократии и как экс-министр не имел права на внимание дипломатов могущественнейшей державы своего времени. Русская дипломатия однако многому научилась у французской: Александр I когда-то учился у Наполеона награждать Гете орденами. Ханыкову вероятно случалось слышать рассказ о том, как французские дипломаты докладывали Гете о проезде и привете Наполеона раньше, чем веймарскому герцогу, и он хорошо научился у них дипломатически «ласкать» Гете: он знал, что отношение Гете к России и ее правительству заслуживает большего внимания со стороны русского посланника, чем отношение к ней Карла-Августа. Со временем Ханыкова сменили в Веймаре Струве, гр. Санти, но лица менялись, а гетеанская политика русских дипломатов оставалась неизменна: ласкать Гете, но не очень заботиться о распространении в России его сочинений.

В Ханыкове ярко скрещиваются две линии русского гетеанства: он—читатель Гете (а может быть и переводчик: переводил же он Шиллера), он—поэт, ищущий одобрения славного немецкого поэта, но он же и дипломат, аккредитованный русским правительством столько же при великом поэте, сколько при великом герцоге.

Здесь уместно упомянуть и еще об одном русском дипломате, который, будучи в Германии, интересовался деятельностью Гете, хотя повидимому и не был знаком с ним. Это кн. П. Б. Козловский (1789—1840), в 1818—1820 гг. представитель России в Бадене и Виртемберге. Этот приятель кн. П. А. Вяземского, сотрудник А. С. Пушкина по «Современнику», остроумец и математик, знаток Ювенала и литературный старовер, пописывал стихи и, по словам В. И. Саитова, «пробовал заниматься переводами из Гете» [18]. Нам не удалось отыскать следов этих «проб» и личного знакомства Козловского с Гете, по существу очень вероятного—и во время его посланничества, и во время последующих (1821—1832) скитаний по Европе.

В такой же узел связывала жизнь многие другие нити в 1813 г., когда

Votre Excellence

sera persuadée
que l'envoi que je viens de recevoir,
en me surprenant très agréablement
m'a fait un plaisir infini, tant
comme gage précieux de Son
souvenir, que comme pièce très
interessante d'Histoire naturelle.

J'ose bien dire que je ne connois
entre les pierres composées aucune
qui me paroisse valoir celle là, qui
jusqu'ici a manqué a ma collection.

Votre Excellence aura la bonte
d'accepter avec les remerciemens les
plus sinceres une Pièce que je
fais partir par le Chariot de
Poste. C'est une Chalcedoine
a plusieures couches, qui taillée
et gravée sous Votre Direction
donnera lieu j'espere a quelque
Camée digne de Votre collection
precieuse.

Agrees en meme tems les assurances
les plus respectueuses du parfait
devouement de celui qui a l'honneur
de se souscrire

Weimar
ce 5. Febr
1810.

de Votre Excellence
le tres humble et
tres obeissant Serviteur
J W de Goethe

Автограф письма Гете к сенатору Л. А. Яковлеву от 5 февраля 1810 г.
Центрархив, Москва

и Наполеон, и Александр I побывали в Веймаре, когда, по выражению Карла-Августа, и «ад и рай делали глазки» Гете.

В официальном кругу посетителей и случайных встречных с Гете эпохи 1813—1819 гг. встречаются писатели правого фланга русской жизни и литературы.

В 1814 г. Гете встретился с литературным врагом Карамзина, адмиралом А. С. Шишковым (1754—1841). Он находился в Германии с Александром I в качестве государственного секретаря, автора знаменитых манифестов 1812—1815 гг. У Гете нет отметки об этой встрече, но сам Шишков повествует в «Записках»: «В Веймаре, где ожидали скорого прибытия государя, зашел я на короткое время к великой княгине Марии Павловне и видел тут известного писателя Гете» [19]. Шишков вероятно никогда не узнал, что Гете был знаком с самым знаменитым из его сочинений—«Рассуждением о старом и новом слоге российского языка» (1803). Эта книга вышла не только под знаком литературного староверства, но и политической реакции: под словено-российскими псевдо-филологическими вещаниями горел пафос политического памфлета. Сам Шишков нисколько не скрывал этого. «Следы языка и духа чудовищной французской революции, доселе нам неизвестные,—пишет он в «Записках» своих,—мало-помалу, но прибавляя по часу скорость и успехи свои, начали появляться в наших книгах. Презрение к вере стало сказываться в презрении к языку словенскому. Здоровое понятие о словесности и красноречии превратилось в легкомысленное и ложное; сила души, высота мыслей, приличие слов, чистота нравственности, основательность и зрелость рассудка, все сие приносилось в жертву какой-то легкости слова, не требующей ни ума, ни знаний» [20]. «Новый слог», на который нападает Шишков,—дитя революции: он ее литературный предвестник, вкрадывающийся всюду; он опасен: новое слово несет в себе новое понятие, а новое понятие колеблет твердыню старого патриархально-монархического строя. В «Рассуждении» Шишкова очень ярка борьба с такими словами-контрабандистами. Ограничимся одним примером: «Благодаря презрению к природному языку своему, кто не знает ныне по-французски?» спрашивает адмирал от филологии. «По мнению нынешних писателей, великое было бы невежество, нашед в сочиняемых ими книгах слово п е р е в о р о т, не догадаться, что оное значит révolution, или, по крайней мере, révolte». Шишкову очень бы хотелось, чтобы слова «révolution, révolte» остались в России ведомы лишь тем, кто читает только по-французски—высшему петербургскому кругу, не охочему до революций. В «старом слоге» нет этих неприятных слов с «ужасным» содержанием; поэтому Шишков строго блюдет обязательность «старого слога» для всех классов, кому может полюбиться содержание этих нехороших слов «нового слога», на котором с 1789 года заговорила история. Филологическая теория Шишкова, которой посвящено его «Рассуждение»,—тождество русского и церковно-славянского языков—сама по себе нелепа, но она была очень выгодна для политических целей: под благовидным предлогом защиты красоты и чистоты родного языка последовательно проводилась защита неприкосновенности всего строя крепостной России.

Вот характерная история знакомства Гете с «Рассуждением» Шишкова.

27 января 1804 г., т. е. очень скоро по выходе в свет этой книги, Гете, ведавший тогда редакцией «Иенской Всеобщей Литературной Газеты», писал в Иену своему помощнику проф. Генриху-Карлу Эйхштедту: «Пользуясь случаем, я сегодня же отправляю предназначавшуюся на завтра

Monsieur

Le nouvel an, Monsieur, n'auroit pu me saluer par un meilleur augure, que par celui de Votre envoi precieux. Je me vois en même temps honoré de Votre souvenir amical, que je chéris comme je dois, et d'un beau travail de l'art moderne qui me flatte personnellement.

J'aurois souhaitté que Vous eussiez été témoin du plaisir que j'ai exprimé a mes amis en leur faisant voir le bijou que je tiens de Votre bonté.

Je ne cherche pas de peindre ce contentement par beaucoup de paroles, d'autant moins que Vous n'auriez pu, Monsieur, me donner une telle marque de Votre bienveillance si Vous ne sentiez pas profondement que j'en suis digne par un attachement inviolable, et par la haute consideration avec laquelle j'ai l'honneur de me souscrire

de Votre Excellence

le treshumble et

tres obeissant serviteur

de Goethe

Weimar

ce 10. Jan.

1812

Автограф письма Гете к сенатору Л. А. Яковлеву от 10 января 1812 г.

Центрархив, Москва

посылку. Она содержит... (Гете перечисляет пересылаемое в редакцию.— *С. Д.*)... е) русскую книгу с французской рецензией на нее. Приложена записка тайного советника Фойгта, и я предоставляю Вам ближайшее попечение о предложенных им мерах предосторожности. Впрочем сочинение кажется мне обозримым при помощи рецензии: то, что в нем говорится о ценности русских духовных писаний, летописей (Annalen), хроник и т. д., совпадает с тем, что мы знаем от Шлецера, прочие же рассуждения вполне достойны языкового патриота (Sprachpatrioten)» [21].

Гете точно и метко отделил в «Рассуждении» Шишкова камешки науки от цемента политического памфлетизма: он хорошо знал Шлецера и его работы по древней русской истории. Еще 25 сентября 1802 г. он отметил в дневнике: «Русская хроника Нестора» [22]. В июле 1803 г. он взял из Веймарской библиотеки три книги—древние русские летописи в переводе И. Б. Шлейха («Des heiligen Nestors und der Fortsetzer desselben älteste Jahrbücher der Russischen Geschichte v. J. 758 bis z. J. 1203». Nach der in slawon. Sprache... gedr. Ausg. übers. v. J. B. Schleich. Lpz. 1774) и в позднейшем переводе и объяснении знаменитого Шлецера («Nestor. Russische Annalen... In ihrer slawon. Grundsprache verglichen, übers. u. erklärt v. August-Ludwig Schlözer. T. I—II. Göttingen, 1802») и рассказ самого Шлецера о своей жизни и научной работе в России («Schlözers, A. L. öffentliches und privates Leben, von ihm selbst beschr... I Fragm. Aufenthalt u. Dienste in Russland, 1761—1765. Göttingen. 1802»). Эти книги Гете держал у себя целый год (июль 1803—4 июля 1804): знак, что он—аккуратнейший по части возвращения книг в библиотеку—отнесся к ним с пристальным вниманием [23]. Показателем интереса к этому чтению является и запись в дневнике от 25 ноября 1803 г.: «Г-ну Вульпиусу, по поводу разбора (einer Recension) Нестора» [24]. Краткость записи не позволяет хорошенько разгадать ее: собирался ли сам Гете дать отзыв о «Несторе» Шлецера? Или предлагал сделать это библиотекарю Вульпиусу? Или просто отметил нечто, что сказал или хотел сказать ему по поводу чьей-то рецензии на эту книгу?

Как бы то ни было, но в руках Гете были два немецких перевода нашей начальной летописи в то время, когда он читал французскую рецензию на Шишкова и критиковал его «Рассуждение». Отметим тут же, что в сентябре 1804 г. Гете опять взял из библиотеки те же три книги Шлейха и Шлецера и продержал их год и четыре месяца. На этот раз интерес его к начальной русской истории еще углубился: ему потребовались для занятий немецко-русский и русско-немецкий словарь и русская грамматика. 6 октября он взял из библиотеки труды Johann'a Heym'a: «Deutsch-Russisches u. Russ.-Deutsch. Wörterbuch. T. I—II. Riga. 1801» и «Russische Sprachlehre für Deutsche. Riga. 1804» [25] и держал их у себя больше года. Эта единственная попытка Гете ознакомиться с русским языком связана таким образом с его чтением и изучением древнерусских летописей, занимавших его с перерывом два с половиной года.

Немудрено, что Гете сумел критически разобраться в «Рассуждении» Шишкова: то, что в нем говорилось о древнерусской литературе, показалось Гете ослабленным повторением Шлецера, а то, что было в нем от самого Шишкова, Гете иронически расценил как «рассуждения, вполне достойные языкового патриота». Почему же посылка книги Шишкова, к мысли и содержанию которой Гете отнесся совершенно отрицательно, заставляла осторожного редактора советовать своему помощнику при пе-

чатании отзыва на нее «принять близко какие-то меры предосторожности», намеченные в сопроводительном письме веймарского министра Фойгта?

Причина совершенно ясна: Гете понял, что книга Шишкова только одним краем касается науки, на деле же это—политическое сочинение, вышедшее из влиятельных и важных кругов петербургской знати, толпящейся вокруг трона. Раздражать эти круги (кто знает, насколько сочувствовал или не сочувствовал им Александр I?) было бы невыгодно для Веймара, как раз в это время налаживавшего сватовство наследного принца к Марии Павловне, и Гете предусмотрительно послал своему помощнику соответствующее внушение, прибавив к нему и особую записку Фойгта. Записка конечно имела в виду не только рецензию на Шишкова, но и вообще весь литературный материал о России, поступавший в газету: министр давал редакции «Иенской Газеты» инструкцию для надлежащего, угодного русскому двору обращения с этим рискованным материалом. Инструкция была тем своевременнее, что с этим же письмом Гете посылал кроме рецензии на Шишкова еще какие-то русские «заметки» для газеты и подчеркивал своему помощнику, что «Газету» читают в Петербурге, при дворе. Мы уже знаем, что ее читала императрица Елизавета Алексеевна.

Гете знаком был и с другим классическим произведением русской политико-мистической реакции: он читал трактат А. С. Стурдзы (1791—1854) «Размышления об учении и духе православной церкви».

Это тот самый Стурдза, политический деятель и писатель русский и французский, которого теперь знают только по злой песенке Пушкина:

Я вкруг Стурдзы хожу,
Вкруг библического,
Я на Стурдзу гляжу
Монархического.

Но в первой четверти XIX столетия он был известен всей Европе и России. В 1817 г. родная сестра А. С. Стурдзы, Роксандра Скарлатовна, фрейлина Елизаветы Алексеевны, выйдя замуж за гр. Эдлинга, поселилась в Веймаре. Александр I был с ней в переписке; она в значительной степени руководила его мистическими знакомствами: свела его с Юнгом Штиллингом и г-жей Крюденер. Она же добилась от императора средств на издание трактата своего брата, и в 1816 г. в Веймаре были изданы его «Considérations sur la doctrine et l'esprit de l'église orthodoxe». О том, что это была за книга, лучше всего судить по отзыву историографа «государства российского». Монархист и православный, Карамзин, пред которым Стурдза благоговел, не усомнился назвать это издание Александра I «мистической вздорологией» [26]. Гете получил книгу в 1817 г., вероятно от Р. С. Эдлинг, и прочел ее с большим вниманием; в его дневнике столь пространный отзыв—редкость: «Для себя—«Considérations sur la doctrine et l'esprit de l'église orthodoxe» par Alex. de Stourdza»,—значительная, хорошо написанная книга. Удивительно, что она появляется в год реформации и нападает на католицизм с той стороны, с которой он еще больше уязвим, чем с протестантской точки зрения. Католики уверяют, что вернулись к простоте первой церкви, греки же утверждают, что они в ней всегда оставались: вследствие этого отпадают аргументы католиков, основанные на их приоритете и древности» [27].

Гете разошелся с Карамзиным: то, что для второго—«мистическая вздорология», для первого—«значительная, хорошо написанная книга». Но

надо понять Гете. Он читал книгу Стурдзы в пору трехсотлетнего юбилея реформации: в протестантизме он с особою охотой хотел тогда видеть живую, творческую историческую силу. Она казалась ему особенно желанна как противодействие католической реакции времени реставрации. В стихотворении, написанном на 31 октября 1817 г., Гете с протестантизмом вероисповедным готов был, теряя остроту своего зрения, связать свой собственный протестантизм мысли, утверждая, что готов «как всегда, протестовать в искусстве и в науке».

Под знамя юбилея реформации вместе с Гете готово было стать все, что не принимало тошнотворной реакции Священного Союза. Известно, что празднование юбилея реформации в Вартбурге, устроенное студентами и профессорами и закончившееся сожжением реакционных книг, вызвало сильные протесты Пруссии и Австрии и принесло не мало неприятностей Карлу-Августу. В тесноте европейской реакции становилось так душно, что Гете рад был всякому слову, критикующему одну из могущественнейших сил реакции: католицизм. Такое слово почудилось ему и в книге Стурдзы. Гете не понял, что конфессиональный враг католицизма Стурдза был еще более злым врагом—и конфессиональным, и политическим—протестантства и что его «Considérations» заслуживали участи «Немецкой истории» Коцебу: сгореть в костре, зажженном иенскими студентами. В Стурдзе увидел Гете только критика католицизма и счел, что и этот грязный ручей подает воду на мельницу протестантизма. Специфического запаха мистического ханжества, который учуял Карамзин, Гете не почувствовал.

Свою ошибку Гете должен был почувствовать в следующем же году.

Стурдза «библический и монархический» был еще и «дипломатический»: он еще 18-летним юношей начал службу при русском министерстве иностранных дел и в 1818 г. отправился с министром гр. И. А. Каподистрией на Аахенский конгресс. По дороге он занялся вольным политическим наблюдательством, о котором сам же рассказал много лет спустя: «Я имел много случаев усмотреть и изведать направление умов в странах, коих словесность и политические связи мне были известны... По всей Германии кипел дух мятежа и ропота, возбуждаемый кичением учености во всех вместилищах высших наук. Университеты со всем вспомогательным войском журналистов, профессоров и студентов сделались рассадниками не только образования юношества, но и преобразования политического... Дух либерализма... овладел университетами Германии, утвердив тайное сообщество с недовольными всех стран Европы. Наставники и писатели внушали молодым людям, возвратившимся из похода, что они напрасно проливали кровь драгоценную: заслуги их не уважены, и отечество утратило случай к возрождению. Далее, простирая ядовитые уроки, они поселяли в умах уверенность в том, что все средства, даже самые преступные, позволительны для благой цели; что выспренные замыслы оправдывают все роды беззаконий и даже вероломное убийство. Сим гнусным учением ожесточив сердца и изострив кинжалы юных безумцев, лжемудрые наставники, подобные Фоллениусу, Деветту и Лудену (профессор Иенского университета, издатель «Немезиды» и «Конституционного архива», знакомец Гете.—*С. Д.*) готовили везде сильное потрясение, из коего долженствовало возникнуть их первенство в общежитии. Исполняя долг присяги и службы, я представил государю замечания о внутреннем положении Германии»[28]. Это был извет на всю Германию литературную, ученую, университетскую, донос на всех и каждого, кто был причастен к какому

КАРЛ ЗАНД УБИВАЕТ КОЦЕБУ
Рисунок акварелью неизвестного художника (срисован неизвестным русским в Либаве в ноябре 1835 г.)
Институт Русской Литературы, Ленинград

бы то ни было движению мысли в науке, искусстве, литературе и школе. Александр I извет принял, он был отпечатан в количестве 50 экземпляров и тайно разослан по всем большим и малым немецким кабинетам и дворам, которые прочли его не без кислой мины за русское вмешательство во внутренние дела Германии, но приняли к сведению и кое-где даже озаботились соответствующими мерами. Когда один из экземпляров этой стурдзовой записки «Sur l'état actuel de l'Allemagne» попал в Петербург, а из рук какого-то весьма высокопоставленного лица перешел в руки довольно высокопоставленного А. И. Тургенева, бывшего со Стурдзой в хороших отношениях, он с негодованием писал Вяземскому: «Меня так и обдало инквизицией, хотя и нигде безбожное сие слово не упоминается. Но дух ее может зародиться в началах, коими руководствуется автор. И какое невежество относительно главного предмета, о котором распространяется добрый Стурдза,—университетов немецких! И следовательно, какая дерзость говорить о том, чего не знаешь, писать приговор тысячелетним установлениям, коих отблеск отражается во всех умах европейских» [29]. Но Стурдзу ждала не только келейная критика. Его записка, вынырнув из тихих омутов дипломатии, была кем-то отпечатана в Брюсселе с полным именем составителя и пущена в продажу. Она возбудила величайшее негодование в Германии. По скромному выражению самого благочестивого автора, «клеветы, ругательства, превратные толки, неуместные личности посыпались градом на русского чиновника, исполнившего долг свой. Вышел в свет немецкий перевод сей записки, и вопли раздраженных демагогов оглашали высшие училища и частные беседы» [30]. Единственным хвалителем Стурдзы оказался в Германии русский шпион, драматург Август Коцебу (1761—1819), поместивший в своем журнале «Litterarisches Wochenblatt» статью с комплиментами Стурдзе и злыми издевками по адресу немецких студентов. Негодование на Стурдзу было так велико, что, опасаясь за свою жизнь, ему пришлось бежать из Германии, и 17 марта 1819 г. Вяземский из Варшавы спрашивал у Тургенева: «Правда ли, что Стурдза едет в Грецию, как говорят газеты? Впрочем, ему в самом деле в Европе теперь никуда показаться нельзя, как разве в Константинополе или Петербурге. Нет, теперь трудно врать в Европе или лгать; есть какое-то всеобщее судилище невидимое, но явное: как раз отрежет язык en effigie или наденет дурацкий колпак» [31]. Стурдза догадался последовать совету Вяземского: бежал в Петербург, а затем в свое имение и целый год отсиживался там. 23 марта н. ст. 1819 г. хвалитель Стурдзы Август Коцебу был заколот

в Мангейме бывшим студентом Карлом Зандом. «Студенты,—комментировал это убийство А. И. Тургенев,—оставив бедного Стурдзу, яко мыслящую машину, уходили того, который завел эту машину»[32]. Карамзин также ставил в связь статью Стурдзы со смертью Коцебу: «Занд услужил Стурдзе. Многие говорят теперь «Стурдза прав». Не я»[33].

Вот в немногих словах история доноса Стурдзы на немецкое просвещение. Вся Германия клокотала против Стурдзы в конце 1818—в начале 1819 г., а он находил себе в это время тихий приют в тихом Веймаре, под крылом своей сестры, русской фрейлины, и ее мужа, веймарского министра и гофмаршала Эдлинга. Это отсиживание Стурдзы в Веймаре поразительно: веймарский «двор муз» ласкал человека, которого общегерманское общественное мнение обрекало на остракизм, которому, по мнению Вяземского, во всей Европе только и было места, что у султана в Стамбуле да у Аракчеева в Петербурге. Один этот факт должен был бы заставить историков литературы пересмотреть все традиционные сказания о передовом «афинизме» Веймара и его царственных «покровителей» искусств и науки. Веймарское покровительство Шиллеру, певцу «Разбойников», всем известно; историческая справедливость требует, чтобы было известно и веймарское покровительство русско-молдавскому доносителю на немецкое просвещение. «Двор муз» благосклонствовал не ему одному: в эти же годы в Веймаре, недалеко от дома Гете, притулился и сам Август Коцебу: ему тоже безопаснее всего жилось тогда в Веймаре. Он был под прямой защитой русского посольства и русско-веймарского двора Марии Павловны—Карла-Августа. Состоявший в России при Екатерине II и Павле на государственной службе, Коцебу, переехав в Германию, официально числился «состоящим при русском министерстве иностранных дел». «Если бы я как писатель поставил себе целью желания толпы и старался бы о том, чтоб удовлетворить их, —говорил Гете Эккерману в 1830 г.,— то я рассказывал бы разные историйки и дурачил бы всех, как покойный Коцебу»[34].

Гете очень хорошо знал о той систематической литературной ненависти, которую питал к нему Коцебу, и сам питал к нему немногим более благосклонное чувство, но позволял себе выражать его лишь в келейных отзывах эпиграмматического характера (одна из «Invectiven», помеченная февралем 1816 г.). Когда иенская молодежь жгла на костре реакционную «Немецкую историю» Коцебу, Гете порадовался этому в стихах, написанных 18 октября 1817 г. в Эйзенахе (напечатаны после смерти Гете), но сам меньше всего хотел подлить масла в огонь этого костра вольности. В 1819 г. к Гете вернулся его юношеский «Прометей», который считался потерянным. Старый поэт не удержался от соблазна—послать копию с этого вольнолюбивого произведения своей юности другу Цельтеру, но брал с него слово держать «Прометея» в цепях: отнюдь не пускать его на простор печатного слова. «Он явился бы желанным Евангелием для нашей революционной молодежи, а высокие комиссии в Берлине и Майнце сделали бы строгие лица при виде моих юношеских мечтаний». «Он считал нужным принять эту предосторожность,—сочувственно поясняет Бельшовский,—несмотря на то, что главная и самая опасная часть драмы, монолог Прометея, в котором тот восстает против «олимпийских богов», уже с 1785 г. была в печати»[35]. Через много лет после убийства Коцебу Гете объяснил, почему он был убит: «Ненависть никому не вредит, но презрение губит людей. Коцебу давно ненавидели, но для того, чтобы студент по-

кушался на его жизнь с кинжалом в руках, требовалось, чтоб известные журналы сделали его имя презренным» [36]. Сам Гете не сделал ничего, чтоб это имя сделалось «презренным» для Германии: в Веймаре оно было именем заслуженного драматурга, чьи пьесы не сходили со сцены придворного театра, руководимого Гете, оно было именем чиновного лица, состоящего при императорском российском министерстве иностранных дел: как же можно было делать его «презренным»? Это было бы еще более неблагоразумным, чем давать своего «Прометея» в евангелисты революционной молодежи. Гете был великий литературный политик, и не сделал ни той, ни другой дипломатической ошибки. Дипломатом выказал себя Гете и по отношению к Стурдзе. Гете узнал Стурдзу лично во время его веймарского отсиживания. Записка Стурдзы вряд ли внушала Гете особые симпатии, хотя он и сам не был поклонником ни свободы печати, «ни многого из того, что происходило» тогда в германских университетах, но Стурдза был русский дипломат, вхожий в петербургские и веймарский дворцы, но записка его издана была впервые как официальное отношение русского правительства к германским дворам, и этого было достаточно, чтобы Гете был сугубо сдержан в своих отзывах о Стурдзе. К тому же он был братом давней знакомицы Гете, фрейлины Эдлинг, был принят у Марии Павловны,—и этого было довольно, чтоб Гете считал общение с ним обязательным для себя.

6 января 1819 г. он помечает: «Граф Стурдза. Обедал один. Диктовал некоторые письма» и т. д.

Придав Стурдзе не принадлежавший ему титул графа, Гете ни словом не обмолвился, о чем он беседовал с посетившим его «графом», а прямо перешел к следующему эпизоду своего писательского дня.

18 января—в день, когда Гете впервые получил «Мир как воля и представление» Шопенгауэра,—он не забывает записать: «Насмешливое извещение в «Berliner Zeitung» о книге Стурдзы». Это след внимания Гете к страстной полемике, направленной против доноса Стурдзы «Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne», но он попрежнему в стороне от нее.

Сводя воедино итоги всего 1819 г., Гете почел должным внести в свою летопись: «При спокойном в остальном течении жизни, приехала ее величество русская царствующая императрица; в это время я виделся с графом Стурдзой и статским советником Келером» [37].

КАЗНЬ КАРЛА ЗАНДА

Рисунок акварелью неизвестного художника (срисован неизвестным русским в Либаве в ноябре 1835 г.)

Институт Русской Литературы, Ленинград

Приезд Елизаветы Алексеевны, у которой сестра Стурдзы была любимой фрейлиной, еще плотнее прикрыл Стурдзу защитительным щитом от всех покушений немецких студентов и «либералистов». С отъездом Елизаветы Алексеевны Стурдзе стало боязно и в Веймаре (студенческая Иена была под боком), и уже 21 февраля во «Всеобщей Газете» (№ 52) появилась заметка: «По слухам, Стурдза отправился в обратное путешествие в Петербург из Веймара, где он до сих пор был. Он якобы сказал: «Климат Германии мне не подходит». При его проезде через Дрезден случилось как раз, что студенты чествовали проф. Круга за его сочинение против Стурдзы» [38].

Через месяц (23 марта н. ст.) был убит Коцебу. Прочтя весть об его смерти, Вяземский писал Тургеневу: «Я на месте Стурдзы не покойно бы спал» [39]. А 12 апреля ст. ст. он извещал из Варшавы того же приятеля: «Здесь Стурдза, укрывающийся в Варшаве от германских кинжалов. Он и Шмальц были обреченными жертвами, по крайней мере как он мне сказывал» [40]. Таким образом собеседник Гете отыскал четвертое место в Европе, где чувствовал себя в безопасности: к гетевскому Веймару, аракчеевскому Петербургу и падишахскому Константинополю прибавилась столица шпицрутенного Константина Павловича.

На это-то веймарско-варшавское спасение Стурдзы Пушкин и выкрикнул на всю Россию свою знаменитую эпиграмму:

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
Иль смерти немца Коцебу,
А впрочем ....!

Охранительный союз русского самодержавия с веймарским меценатством с ясностью проявился в этом эпизоде со Стурдзой. В борьбе Стурдзы с немецким просвещением Гете не был (вряд ли нужно и упоминать об этом) и быть не мог на его стороне. Но как характерно для его веймарско-русской позиции, что в то время, как вся молодая Германия презирала и оплевывала Стурдзу, он мирно с ним встречался и при дворе, и у себя дома, и ни одним словом не принял участия во всегерманском протесте. Пушкин, Вяземский и Тургенев горячей и кровней вступились за немецкое просвещение, чем величайший его представитель. Впрочем они не были ни царедворцами, ни дипломатами, а Гете был дважды царедворец: и веймарский, и русский, и оттого был дважды дипломат. Величайшее же искусство дипломатов—молчать или говорить лишь затем, чтобы скрывать свои мысли. Гете обладал им в совершенстве. Русскому же правительству большего невозможно было и желать от него. Поведение Гете в деле со Стурдзой и с Коцебу было поведением добросовестного союзника, который молчанием подает во всеуслышание знак согласия на ту политику своего союзника, с которой не должен был бы согласиться, еслиб позволил себе заговорить.

Уверенность в благонадежности Гете вместе с пиететом пред его талантом и ученостью заставляла верхние слои дворянства российского обращаться к нему с такими просьбами, с которыми не все решались обращаться к Вольтеру, столь же знаменитому, но далеко не столь благонадежному. Вот что писал сам Гете тому же профессору Эйхштедту в Иену 11 мая 1814 г.: «Граф Орлов-Денисов (Василий Васильевич.—*С. Д.*), командир

гвардейского казачьего полка и генерал-адъютант его величества императора, ищет человека, который может быть воспитателем его детей. У него три сына, старшему из которых семь лет. На него прежде всего следует обратить внимание. Математические, как теоретические, так и практические, познания требуются прежде всего, а также необходимо и все то, что относится до образования знатных молодых людей. Но так как нельзя ожидать, чтоб все это было посильно одному лицу, то намереваются пригласить нескольких. Приглашаемый будет жить на всем готовом и вполне считаться членом семьи и, кроме того, получать значительное вознаграждение. В настоящее время семья живет в Петербурге; если же граф выйдет в отставку, то будет жить внутри России. Насколько я могу судить, граф принадлежит к гуманнейшим и благомыслящим людям; его жена, которая до сих пор занималась с детьми, должна быть превосходной дамой»[41]. В письме к Марии Павловне от 24 мая Гете пишет: «Граф Орлов-Денисов просил меня сперва устно, потом письменно в promemoria рекомендовать ему нужного человека». Гете очень озабочен исполнением поручения адъютанта Александра I и сообщает Марии Павловне, что наметил в наставники Орловым-Денисовым проф. Линднера[42]. «Лестное» поручение отыскивать преподавателей для семилетнего генерал-адъютантского сына заставило Гете даже потревожить знаменитого исследователя поэм Гомера Фр.-Авг. Вольфа, прося и от него соответствующих рекомендаций. Дело тянулось несколько месяцев, в Веймаре сохранилась целая папка всяких бумаг, накопившихся у Гете в связи с «почетным» поручением казачьего генерала, но кончилось оно, кажется, ничем: судя по одному письму Гете, генерал был не очень тароват на оплату профессоров, удостоенных чести преподавать семилетнему графчику[43].

Как когда-то в Ферней к Вольтеру, молодых русских аристократов «вывозили» теперь к Гете.

Таков был визит к Гете молодого графа Вл. П. Орлова-Давыдова (1809—1892). Это был наследник фамилии екатерининских Орловых, по матери родной внук гр. Вл. Гр. Орлова (1743—1831), самого образованного из этой гвардейской семьи и потому сразу произведенного из заграничных школьников в «директоры Академии Наук». В конце 20-х годов внук странствовал по Западной Европе и посетил (предположительно в 1829 г.) Гете в Веймаре. Дедушка узнал об этом и похвалил: «Радуюсь, что великая княгиня Мария Павловна приняла тебя милостиво, по доброте ее всегдашней я сего ожидал. Ладно, что познакомился с г. Гете, с человеком, который исполнен природных дарований и приобретенных знаний»[44].

Вот и еще подобный случай. Сын руководителя внешней политики при Павле и Александре, гр. Н. П. Панина, а впоследствии сам один из столпов реакционной политики Николая I и Александра II, Виктор Никитич Панин (1800—1877) отправился в 1824 г. за границу, в дипломаты, в Мадрид. Ехал он туда не спеша, занятый тем, чтоб «и Европу посмотреть, и себя показать». В Веймаре ему удалось хорошо показать себя. 13 ноября 1824 г. опальный граф-отец Н. П. Панин писал своей дочери: «Письмо, которое я получил от сестры, содержит следующий отрывок: «Граф Нессельроде сказал мне на днях, что Виктор имел в Веймаре большой успех. Гете был на обеде у великой княгини. Его находят букой и грубоватым (bourru et grossier), но он так был поражен разговором Вашего сына,—быть может, и тем, что он с такой легкостью говорит по-немецки,—что, выйдя из-за стола, он просил, чтоб ему представили Виктора»[45].

Такая высочайшая милость Гете к молодому человеку, впервые вывезенному в дипломатический свет, была столь высока, что министр иностранных дел считал долгом довести ее до сведения своего опального коллеги, зная, как обрадует его этой вестью.

14 сентября 1824 г. Гете принял молодого Панина: «Граф Панин, привезший книгу от тайного советника Лодера из Москвы» [46].

Русские случайные и неслучайные заезжане в Веймар непременно являлись к Гете. Посетить Гете считалось не только долгом придворной вежливости или дипломатической учтивости, но и признаком хорошего тона, и блеснуть в каком-нибудь петербургском или московском салоне словцом, схваченным на лету из разговора с Гете, было в 20—30-х годах так же модно, как полвека назад похвалиться знакомством с Вольтером. Русские посетители Гете заезжали к нему из похвальной ревности не отстать от Европы, из желания «в просвещении стать с веком на равне»,—или по крайней мере в имитации просвещения. Список русских посетителей Гете —и прежде всего посетителей официальных и официозных—будет расти по мере самого интереса к теме. Тот, кто мог бы перечесть все груды изданных и особенно неизданных записок и писем, относящихся к 1813—1832 гг., нашел бы несомненно многих еще неизвестных нам посетителей. Еще больше могло бы назвать их устное предание, во время не записанное, а теперь уже замолкшее. Вот один из следов его. Скончавшийся в 1932 г. московский старожил В. М. Голицын по моей просьбе записал рассказ об одном из таких русских заезжан к Гете. Это—Владимир Александрович Казадаев, единственное печатное упоминание о котором я нашел лишь в «Предварительном списке» к «Словарю русских писателей и ученых» С. А. Венгерова как об «авторе рассказов из русской истории и переводчике» (М., 1870—1880) [47]. Это был случайный гость в области литературы и неслучайный странствователь по ступеням бюрократического восхождения.

Вот что сообщил о нем В. М. Голицын: «В. А. Казадаев жил в Москве в 80-х годах и ежедневно обедал в Английском клубе, рядом с которым жил в меблированных комнатах. Он мне передавал, что в 1829 или 1830 году он был в Веймаре и посетил Гете, который принял его у себя в доме и, посадив его, сам все время ходил по комнате, заложив руку за спину. Разговор был самый будничный. Одет он был в длинный сюртук, походящий на пальто и на халат. Он был высокого роста, держался прямо и выглядел моложе своих лет, 80 с лишком. Казадаев, когда жил в Москве, был уже очень стар, но бодрый, живой, веселый, обладавший прекрасной памятью. В царствование Николая I, в последние его годы, Казадаев был последовательно губернатором в Курске и в Туле. Он прекрасно перевел с английского или французского арабские сказки «1001 ночь». Перевод его был напечатан (М., 1877.—*С. Д.*) ...Труд этот он не продавал, а дарил своим знакомым». Казадаев умер в глубокой старости в конце 80-х годов: вероятно последний из русских посетителей Гете [48].

Я уверен, что устное—уже угасшее теперь—предание могло бы назвать не мало имен таких официозных посетителей Гете с литературными склонностями. Еще больше оно могло бы назвать посетителей нелитературных. Русские посетители в 1820—1830-х гг. зачастили в Веймар.

Иные из них доставляли Гете удовольствие, как тот, чье посещение он отметил 22 марта 1823 г.

Утром он послал записку художнику Мейеру: «Г. Сорэ (воспитатель сына Марии Павловны.—*С. Д.*) известил меня об одном петербургском

путешественнике, привезшем мне кое-что от Келлера; вместе с тем и литографии, о которых отлично отзываются. Они придут ко мне в половине первого. Может быть вы удосужитесь притти на полчаса; хорошо было бы, если бы Вы также могли высказать суждение об этих работах»[49]. Мейер повидимому не пришел, но Сорэ явился с петербуржцем, и Гете охотно отметил в дневнике, что заезжий гость «показывал русские литографированные виды Петербурга и костюмы различных народностей. Также восхищался некоторыми русскими минералами и с большой похвалой говорил о художнике-литографе Орловском. Обедали втроем»[50]. Этот безвестный русский из Петербурга настолько заинтересовал Гете литографиями А. О. Орловского (1777—1832) и своей беседой, что поэт оставил его обедать. Но часто случалось, что посещения русских набивали Гете изрядную оскомину и чрез это попадали в его дневник. Какое-то безыменное русское посещение 1813 г. он занес в дневник с недоумением: «странный русский» (27 окт.). 27 апреля 1830 г. Гете не без иронии отметил, что побывал у него некий «молодой русский в сопровождении водившего его итальянского капельмейстера». Перед этим, 19-го числа, Гете даже принес Эккерману жалобу на русских туристов, зараженных обычною туристическою болезнью—упрямо посещать все достопримечательности и столь же упрямо не уделять им ни доли умственного внимания: «Гете рассказывал о посещении двух русских, которые были у него сегодня. «Вообще,—сказал он,—они прекрасные люди, но один был относительно меня нелюбезен: за все время визита он не произнес ни одного слова. Он вошел, молча поклонился, за все время и рта не открыл и через полчаса ушел с молчаливым поклоном. Он кажется приходил единственно затем, чтобы посмотреть и понаблюдать меня. Я сидел насупротив их, и он не сводил с меня глаз. Это мне надоело, и я пустился болтать всякие глупости, какие только приходили в голову. Кажется, я стал толковать о Соединенных северо-американских штатах и говорил легкомысленно, без разбора и то, что знал, и то, чего не знал. Но обоим иностранцам это кажется понравилось, потому что они ушли повидимому довольные»[51].

Впрочем Гете мог здесь ошибаться, за «нелюбезность» принимая просто робость: мы увидим, как безмолствовали перед Гете даже такие русские посетители, которым было что ему сказать и которые были заочно с ним уже знакомы.

Из пестрой толпы «не робевших» перед Гете русских посетителей (конечно из круга знати) небесполезно отметить—правда, не веймарскую, а курортную (Карлсбад, 1806)—встречу Гете с гр. Николаем Путятиным (1745—1830), российским камергером, давно и безвыездно жившим за границей, в какой-то придворной «опале». «По обычаю князя,—не без иронии рассказывает сам Гете,—мы тотчас же вступили в глубокие рассуждения о небесных и земных вещах; мы коснулись также «Разбойников» Шиллера, и князь выразился следующим образом: «Будь я богом, и имей я намерение создать мир, и еслиб я в это мгновение предвидел, что «Разбойники» Шиллера будут написаны, то я не создал бы мира»... Вот отвращение, которое хватило через край, и его почти нельзя себе объяснить», замыкал Гете рассказ[52]. Отвращение действительно «хватило через край», но объяснить его не трудно: нелюбовь самого тайного советника Гете к революционной драме Шиллера по социально-политическому своему происхождению не далека от отвращения русского вельможи, напуганного революцией, поднесшей, как известно, Шиллеру достоинство «гражданина Французской республики».

Разговор с Путятиным—не только любопытный курьез. Он позволяет подслушать, о чем могли разговаривать русские официальные и официозные гетеанцы с Гете. У этих посетителей, сиявших только своими титулами и «бриллиантовыми знаками» на груди, находилась все-таки общая почва для разговоров с человеком, на весь мир сиявшим светом своего гения. Этой общей почвой была унылая плоскость его политического воззрения, прочная каменность его придворно-бюрократического бытия и быта. Девять десятых официозных посетителей Гете невозможно представить в кабинете Байрона или в комнате Бетховена: таких посетителей за версты отгоняли бы оттуда ирония первого, гнев второго. Но у Гете для них была открыта дверь. Они не могли найти за нею ни гнева, ни иронии. Они входили в жилище, где могли дышать тем же социальным воздухом, что и в их дворцах и усадьбах, а великое различие интеллектуальных запахов там и тут не смущало их: чтобы его ощутить, нужно было обладать слишком острым умственным обонянием. Они этим не страдали.

Лето 1822 г. Гете проводил в Мариенбаде на водах. Курортный листок отметил тогда же и другого посетителя вод: «Его сиятельство князь Александр Лобанов-Ростовский, флигель-адъютант русского императора, полковник, из Петербурга, живет в доме гр. Клебельсберга» [53].

Князю Александру Яковлевичу было тогда всего 34 года (1788—1866 г.). Его биография—одна из типичнейших биографий русского аристократа «дней александровых прекрасного начала» и громкой середины. Все в ней было: и школьные годы у иезуитов, в знаменитом пансионе аббата Николя, и пребывание в «архивных юношах» первого призыва, не-философического (1802—1805), и бегство из Архива министерства иностранных дел в корнеты, в кавалергардский полк, и участие во второй войне с Наполеоном, и в турецкой кампании, и кавалерийское ремонтерство в 1812 г., и командование полками в 1813—1815 гг., и участие во втором вступлении в Париж в 1815 г., и дальнейшие военно-служебные успехи: адъютантство у кн. П. Волконского, а потом флигель-адъютантство у Александра I. Все это обыкновенно и дюжинно.

Гораздо любопытней финал этой блистательно начатой карьеры: отставка при Николае I, в 1828 г., в самый год турецкой войны, и полное замыкание в интересы иного рода, замыкание, продолжавшееся вплоть до смерти в 1866 г. Кн. Лобанов был наместным «великим мастером» в самом крупном из русских масонских объединений конца 10-х годов—в союзе «Астреи». В одном из первых параграфов устава этого объединения было сказано, что ложи, в него входящие, «обязуются не иметь в предмете работ изыскания сверхъестественных таинств, не следовать правилам так наз. иллюминатов и мистиков, ниже алхимистов, убегать всех подобных несообразностей с естественным и положительным законом и, наконец, не стараться о восстановлении древних рыцарских орденов». Это был один из крупных масонов-рационалистов. Он был действительным членом польских лож в Варшаве и Кракове [54].

С флигель-адъютантом Скалозубом флигель-адъютант кн. Лобанов не мог бы приятельствовать: он был книголюб, коллекционер, пылал какой-то архивно-книжной страстью к двум прекрасным особам в истории: к русской княжне Анне Ярославовне, вышедшей замуж за французского короля Генриха I, и к Марии Стюарт. По архивам и антикварам всей Европы он собирал все, что могло относиться к жизни и эпохе этой дочери Ярослава, сидевшей на французском троне,—и сборы эти пошли не совсем прахом:

он издал книгу «Recueil de pièces historiques sur Anne ou Agnès, épouse de Henri I, roi de France» (Paris, 1825). Когда эта страсть к Анне была насыщена, он воспылал еще более сильною и продолжительною страстью к Марии Стюарт: еще упорнее разыскивал он малейшие следы, оставшиеся от нее,—и их набралось столько, что понадобилось несколько томов, чтобы вместить «Lettres inédites de Marie Stuart» (Paris, 1839), «Lettres, instructions et mémoires de Marie Stuart» (Лондон, 1844—1845, 7 томов), с дополнением к ним, изданным в Париже в 1859 г.; бывший «архивный юноша» увлекался по-юношески: он собрал до 800 портретов этой королевы («Notice sur la collection des portraits de Marie Stuart appartenant au prince A. Lobanoff». S.-Ptsb., 1856). Он собирал все это не только из «романтической» любви к «прекрасным королевам», но и из чувства монархиста-легитимиста, каким он был: он любил Париж эпохи реставрации, подолгу в нем живал и с благосклонностью был принимаем Карлом X. Свою «стюартовскую» коллекцию он завещал Эрмитажу. Публичная Библиотека получила его собрание портретов Петра I. Но он собирал и многое другое. Страстный библиограф, член парижской «Société des Bibliophiles Français» и в то же время, вопреки своей карьере, любитель моря, основатель и командор яхт-клуба в Петербурге, он соединил обе эти страсти в одну: с ревностью принялся собирать коллекцию географических карт и планов всех времен и народов. Это заменяло ему его несостоявшееся мореходство. Коллекция его и знания в этом деле сделали его членом Географического общества в Петербурге.

Он встретился с Гете в Карлсбаде у целебного источника. 5 июля 1822 г. Гете отметил первый его визит: «Посетил князь Лобанов-Ростовский». В течение июля они часто встречались: повидимому встречи доставляли обоюдное удовольствие. 7 июля Гете был у Лобанова и застал у него давнего своего знакомца, веймарского военного Г. К. Зеебаха (1786—1841) и баварского посла при саксонском дворе гр. Фр.-Хр. Люксбурга. На другой день Гете был зван на обед к Лобанову. 10 июля Гете опять обедал у него вместе с тем же Люксбургом, офицером Варденбергом и русским камергером Барклаем де Толли. Эти два обеда под ряд, выходящие из церемониала торжественных обедов,—хороший знак, что Гете было приятно общество и хлебосольство Лобанова. Затем князь на неделю уехал в Карлсбад, но 19 июля Гете опять уже записал: «У князя Лобанова, вернувшегося из Карлсбада. Часы Брегет. Показывал новую карту Европейской Турции на 15 листах. Annaire pour l'année 1822». Запись показывает, что Гете входит в коллекционерские интересы Лобанова. 21 июля Гете был вместе с Лобановым на обеде у гр. Люксбурга, а 30 июля внес запись: «Русская книга от Лобанова». Это был прощальный подарок: Гете уехал из Мариенбада, и 1 августа уже писал герцогу из Егера, почти пограничного городка Богемии. Какую книгу Лобанов подарил Гете, легко узнать из его собственноручного «списка приобретенных книг за 1822 г.»: «Евангелие от Матфия на русском языке, дидотовским шрифтом, изданное кн. Лобановым-Ростовским. Paris 1821. 8°. Подарок издателя» [55]. В гетевской отмете виден библиофил: Didot (Дидо) была знаменитая парижская типографская и издательская фирма; Фирмэн Дидо (1764—1836) один из первых применил на практике печатание стереотипом. Издание Лобанова обратило на себя внимание Гете именно с типографской стороны.

Книга с надписью издателя «À son Excellence Monsieur Goethe de la part de l'Éditeur» доселе сохранилась в библиотеке Гете.

Из Егера Гете поделился своим впечатлением от нового русского знакомого с герцогом Карлом-Августом и герцогиней Луизой: «Моим приятным соседом был русский князь Лобанов-Ростовский. Это—молодой человек, горящий жизнью, адъютант императора; он рано начал скитаться в походах, путешествиях, миссиях, посольствах и оттого утратил здоровье, которое подобало бы его возрасту. Хотя он кавалерист, но он, при решительном пристрастии к морю, стремится попытать счастья и на волнах. Все относящееся к морю и морскому делу его страстно занимает. Он обладает обширной коллекцией карт и планов, каталог которой он взялся приводить в порядок на досуге курортной жизни. Он привез с собою все заполненные карточки в пакетиках: по ним можно судить о большом объеме его коллекции... Я также видел у него карманные и настольные часы работы Брегета в Париже: они безусловно превосходят все, что только существует в этом роде» [56]. Письмо написано не без симпатии к Лобанову-Ростовскому и не без сочувствия коллекционера к коллекционеру.

В следующем, 1823, году Гете опять встретился в Мариенбаде с Лобановым-Ростовским. Это было последнее мариенбадское лето Гете, время его «последней любви»—к Ульрике фон Левецов.

Первое известие о новой встрече с Лобановым находится в письме Гете к сыну от 4 июля: «Меня посетил князь Лобанов-Ростовский».

12 июля Гете записал в дневнике: «Князь Лобанов и его художник» [57].

Этот художник был Орест Адамович Кипренский (1783—1836), занесенный в курортные списки с таким титулом: «Господин Кипринский (von Kiprinsky), императорский русский советник Академии художеств, из Санкт-Петербурга» [58]. На самом деле Кипренский не из Петербурга прибыл, а в Петербург возвращался после длительного (1816—1823) пребывания за границей, где пережил столько за эти семь лет, что хватило бы на целую жизнь: он испытал шумный успех в Италии, приведший его к высшей награде, какая может там выпасть иностранному художнику: к предложению написать свой собственный портрет для знаменитого собрания автопортретов славных художников в Уффициях; он пережил целый роман в Риме, по преданию, закончившийся трагедией, которая заставила его бежать в Париж; ему довелось испить полную чашу похвал как художнику и осуждений как человеку; он переживал начало заката своего таланта, не верил этому, начинал ненавидеть чужие края и рвался на родину. Гете недаром отметил, что князь Лобанов пришел к нему «со своим художником». Кипренский пользовался в то время материальною поддержкою князя и выполнял его заказы. Князь привел его к Гете с тем, чтобы условиться о писании портрета с великого своего знакомца. Мысль об этом принадлежала князю, а не Кипренскому. Несколькими днями раньше, по желанию того же Лобанова, Кипренский сделал в Мариенбаде же рисунок со знаменитого слависта-ученого Иосифа Добровского. Рисунок содержит собственноручную помету Кипренского: «Marienbad, 4 Julie 1823», а на обороте его находится надпись об его происхождении: «Портрет Иосифа Добровского, рисованный с натуры Кипренским и подаренный Академии Наук кн. А. Я. Лобановым-Ростовским в 1860 г. Непременный секретарь К. Веселовский» [59].

Совершенно так же, как рисунок с Добровского, Лобанов заказал Кипренскому работу с Гете, с которым сблизился. Сеансы начались со следующего же дня. 13 июля Гете записал: «В 11 часов русский художник

ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ
Эскиз карандашом к автопортрету (1828 г.)
Третьяковская Галлерея, Москва

рисовал (zeichnete) мой портрет. Разговор с ним о современном римском искусстве и художниках, в частности о немецких. Также о Париже и о тамошних обстоятельствах. Полдень—для себя. Художник еще раз». 14 июля—третий сеанс (считая, что 12-го их было два): «русский художник продолжал рисовать» (zeichnete fort). 15-го—четвертый сеанс в присутствии заказчика: «Кипринский, живописец, тут же князь Лобанов». 16 июля князь покидает Мариенбад, а художника оставляет доканчивать работу: «русский художник. Князь Лобанов уехал в Карлсбад»,—это пятый сеанс, а на следующий день, 17-го, шестой: «русский художник после 11 час.». 18 июля—на седьмом, утреннем сеансе, по словам Гете, «продолжалась работа над портретом или, точнее, последний был закончен». Этим седьмым сеансом закончилась работа над портретом. Но в тот же день, по словам дневника Гете, «после обеда художник пришел еще раз и набросал фигуру, сидящую за столом, в правой руке перо, левая не видна» [60].

Дошедший до нас след этой работы Кипренского—гравюра Гревдона—довольно близко подходит к этому описанию самого Гете: это как раз «фигура, сидящая за столом, в правой руке перо», но—вопреки описанию—левая рука на гравюре видна: четыре пальца этой руки положил Гете на край стола, пятый, большой, придержан им на самом ребре крышки стола.

9 августа Гете писал из Мариенбада своему приятелю, ученому физику и рисовальщику, Хр.-Л. Шульцу (см. о нем в главе о Тургеневе): «Я много часов позировал русскому художнику, учившемуся в Риме и в Париже, который хорошо мыслил и искусно работал; ему посчастливилось удовлетворить каждого, в том числе и великого герцога, которого нелегко

удовлетворить чем-нибудь в этом роде. Он думает направиться в Берлин и прозывается Кипринским» [61]. Письмо это не оставляет сомнения, что эту основную работу Кипренского, потребовавшую семи сеансов, видели в Веймаре еще в то время, когда Гете продолжал лечиться в Мариенбаде: иначе была бы непонятна фраза, что портрет, рисованный Кипренским, удовлетворил «каждого, в том числе и великого герцога»,—речь тут явно идет о веймарцах—друзьях Гете. Но никакого следа этого портрета не отыскивается доселе. Лобанов-Ростовский умер в 1866 г. бездетным. О художественных достоинствах работы Кипренского речь идет в другом месте. Здесь же должно отметить большое сходство (при всей романтичности творческого порыва, в котором изображен Гете) и отсутствие той неприятной официальности, которая так мертвит многие поздние портреты Гете.

Портрет Кипренского—памятник дружеского внимания к Гете кн. Лобанова-Ростовского.

В библиотеке Гете некогда хранился и другой памятник июльских встреч 1823 г. В «Списке приобретенных книг за июль» читаем: «Catalogue des cartes géographiques, topographiques et marines de la Bibliothèque du prince Alexandre Lobanoff de Rostoff. Paris. 1823»—с пометой: «от князя» [62]. В течение года князь довел до конца начатую на глазах Гете и при явном его сочувствии работу по каталогизации своей картографической коллекции и успел издать ее библиографическое описание. Каталогизация и каталоголюбие были также страстью князя: он собирал между прочим и коллекцию каталогов всех картинных галлерей Европы. Коллекционерство свое Лобанов завершил чудачеством: он увлекся собиранием тростей и палок, принадлежавших разным знаменитостям. Не просил ли он и Гете о пополнении этой своей коллекции?

Сколько знаем, больше ему не приходилось встречаться с Гете.

Русские официальные и официозные посетители Гете, часто и много видевшие его в 1810—1820 гг., не нашли в себе ни малейшей охоты рассказать о своих встречах. Гете был внимательнее к ним, чем они к нему: он прилежно и регулярно отмечал в дневнике своем их посещения. Лобанов-Ростовский и тут оказался с «не общим выраженьем»: он ничего не написал о Гете, но ему мы обязаны одним из лучших—как превосходно показывает это далее А. М. Эфрос—портретов Гете. Характерно для официозного гетелюбия, что его хватило на то, чтоб заказать портрет великого поэта, но не достало на то, чтоб сохранить и передать в его руки тех, кто способен более понимать и Гете, и художника, его написавшего [63].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. И. Герцен, Былое и думы, т. I. ГИЗ, 1931, стр. 25—27.

[2] «W. A.», III Abt., B. III, S. 218.

[3] Там же, S. 221, 228, 230, 236, 255, 266, 267, 269.

[4] Там же, S. 230, 236, 267.

[5] «Tag- und Jahres-Hefte». Там же, B. XXXVI, S. 389.

[6] Французский текст и перевод письма Гете к Яковлеву от 5 февраля 1810 г. см. ниже в работе А. Г. Габричевского, Автографы Гете в СССР. Чистовой текст напечатан впервые В. Нечаевой, Письма Гете («Красный Архив», 1923, III, 307). «W. A.», (IV Abt., B. XXX, S. 129) дает черновик, писанный самим Гете.

[7] «W. A.», IV Abt., B. XXI, S. 245.

[8] Там же, S. 395.

[9] В. Нечаева, стр. 309.

[10] Французский текст и перевод письма Гете к Яковлеву от 10 января 1812 г. см. ниже в работе А. Г. Габричевского «Автографы Гете в СССР». Чистовой текст напечатан впервые В. Нечаевой (см. выше). «W. A.» (IV Abt., B. XXII, S. 4) дает черновик. В архиве Гете хранятся три письма к нему Яковлева: от 18/30 XII, 1809 (Штутгарт), от 14/26 II 1810 (Штутгарт) и от 8/20 XII 1811 (Кассель).

[11] П. А. Вяземский, Старая записная книжка. Л., 1929, стр. 230.

[12] «Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу». Лейпциг, 1872 г., стр. 87.

[13] «Р. А.» 1873, кн. I, стр. 847—848.

[14] «W. A.», III Abt., B. III, S. 222, 250.

[15] Там же, B. IV, S. 154—155.

[16] Там же, B. V, S. 83, 207; B. VI, S. 258; B. V, S. 237; B. VII, S. 49.

[17] Там же, IV Abt., B. XXXI, S. 261; I Abt., B. XXXVI, S. 155.

[18] «О. А.», т. III, п., стр. 552.

[19] «Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова». Изд. Н. Киселева и Ю. Самарина. Berlin, 1870, т. I, стр. 303.

[20] Там же, т. II, стр. 4—5.

[21] «W. A.», IV Abt., B. XVII, S. 35.

[22] «W. A.», III Abt., B. III, S. 63.

[23] Elise Keudell, Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek. Weimar, 1931, S. 56.

[24] «W. A.», III Abt., B. III, S. 88.

[25] El. Keudell, S. 60—61. Шлецера и Шлейха Гете на этот раз держал у себя с 19 сент. 1804 г. по 25 янв. 1806; словарь Гейма—с 4 окт. 1804 г. по 3 апреля 1806; грамматику его же—с 6 окт. 1804 г. по 18 янв. 1806.

[26] «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву». Под ред. Я. К. Грота и П. А. Плетнева, 1866, стр. 190.

[27] Запись 15 апреля 1817 г. «W. A.», III Abt., B. VI, S. 37.

[28] «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1864, кн. II, стр. 81—86. Цитата из «О. А.», т. I, стр. 552—553.

[29] Письмо от 11 дек. 1818 г. из Петербурга.—«О. А.», т. I, стр. 169—170.

[30] Там же, стр. 553—554.

[31] Там же, стр. 201.

[32] Письмо от 2 апр. 1819 г.—«О. А.», т. I, стр. 209.

[33] Письмо к П. А. Вяземскому от 9 апр. 1819 г. «Старина и новизна», кн. I, 1899, стр. 75.

[34] Экк., т. II, стр. 295. Этот отзыв Гете о Коцебу повторяет его отрывок «Коцебу» («W. A.», I Abt., B. XXXVI, S. 283).

[35] Бельш., т. II, стр. 419.

[36] Экк., т. II, стр. 312.

[37] «W. A.», III Abt., B. VII, S. 2, 7; I Abt., B. XXXVI, S. 148. Генрих-Карл-Эрнст Кёлер (1765—1838)—петербургский академик, директор кабинета античных древностей.

[38] Там же, III Abt., B. VII, S. 272. Вильгельм Круг (1770—1842),—популярный профессор философии в Кенигсберге (преемник Канта) и потом в Лейпциге, имевший у студенческой молодежи репутацию защитника свободомыслия и просвещения.

[39] «О. А.», т. I, стр. 206.

[40] Там же, стр. 215.

[41] «W. A.», IV Abt., B. XXIV, S. 263—265.

[42] Там же, S. 289—291.

[43] «W. A.», III Abt., B. V, S. 108, 110, 170, 351; IV Abt., B. XXIV, S. 292—293; в письме к Риделю от 30 мая 1814 г. Гете пишет: «Я решил просить господина графа, чтоб он сделал одолжение освободить меня от данного поручения». Причиной этого—неуверенность Гете-комиссионера, что генерал-адъютант хорошо оплатит услуги рекомендуемого преподавателя: «Мало надежды на вознаграждение, а если будет только благодарность, то это—слишком большой риск (grosses Risico)».

[44] «Биографический очерк графа Владимира Григорьевича Орлова. Составлен внуком его гр. Владимиром Орловым-Давыдовым». СПБ, 1878, т. II, стр. 335.

[45] А. Брикнер, Материалы для жизнеописания гр. Н. П. Панина (1770—1837), т. VIII, СПБ, 1892, стр. 246.—П. И. Бартенев рассказывал («Р. А.», 1911, № 7, стр. 449—451), будто «Гете получал из Москвы, с Бол. Никитской, значительную плату от графа Орлова, взявшись наблюдать, как шло в Иене обучение его внука, графа Виктора Никитича Панина». Это—апокриф: Виктор Панин воспитывался дома, в усадьбе Дугине, под наблюдением отца и гувернера Бютгера и в 1819 г. выдержал экзамен при Моск. у-те, после чего тотчас поступил на службу в коллегию

иностранных дел (П. М. Майков, в «Р. Б. С.», том «Павел преподобный—Петр (Илейка)». СПБ., 1902, стр. 179). Апокриф сложился вероятно как отголосок многомесячных хлопот Гете по приисканию преподавателя для детей другого Орлова—гр. В. П. Орлова-Денисова (см. выше). Общий тон сообщений Бартенева о Гете отличается заметным недружелюбием.

[46] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 268.

[47] Том I, Лгр., 1915, стр. 338.

[48] Письма Вл. М. Голицына, ко мне от 28/XII и 7/IX 1931 г.

[49] «W. A.», IV Abt., B. XXXVI, S. 313.

[50] Там же, III Abt., B. IX, S. 26—27.

[51] Экк, т. II, стр. 289—230.

[52] Экк, т. I, стр. 265—266. Слова Гете Эккерману прямо повторяют запись дневника от 5/VII 1806 («W. A.», III Abt., B. III, S. 134—135). Гете и в дальнейшем (1813 г.). встречался с Путятиным.

[53] «W. A.», III Abt., B. VIII, S. 376.

[54] А. Н. Пыпин, Общественное движение в России при Александре I. Изд. 5, П., 1918, стр. 334—337.

[55] «W. A.», III Abt., B. VIII, S. 214, 215, 217, 218, 211, 321.

[56] Там же, IV Abt., B. XXXVI, S. 101—102. 3 сентября, уже из Веймара, Гете писал Марии Павловне: «Беру на себя смелость приложить достопримечательную тетрадь (Heft), которою я обязан любезности одного высокочтимого соседа в Мариенбаде. Исписанный лист дает предварительные сведения; что касается меня, то, увы, это пояснительное введение не уясняет мне дальнейшего» (там же, S. 138). Предположение веймарского издания, что Гете посылал Марии Павловне евангелие, полученное от Лобанова-Ростовского, опровергается фактом нахождения в библиотеке Гете этого подарка Лобанова, но что бы ни передавал Гете Марии Павловне, «высокочтимый сосед» был несомненно Лобанов.

[57] «W. A.», IV Abt., B. XXXVII, S. 118; III Abt., B. IX, S. 76.

[58] Там же, стр. 365.

[59] Бар. Н. Н. Врангель, Орест Адамович Кипренский в частных собраниях. Изд. О-ва защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. П., 1912, стр. 61, по каталогу № 80 (репродукция там же). Врангель передает надпись Кипренского: «Marienbad 4... 1823», но «Juli» читается совершенно ясно.

[60] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 76—79.

[61] Там же, IV Abt., B. XXXVII, S. 178. Впервые в русской литературе уделено было внимание этой работе Кипренского П. Д. Эттингером в его заметке «Гете в изображении Кипренского» («Художеств. Жизнь» 1920, № 2, январь-февраль, стр. 45—47). Н. Н. Врангелю и Н. П. Собко («Р. Б. С.», т. «Ибак-Ключарев», СПБ, 1897) этот портрет Гете остался неизвестен. Записи Гете в «Дневнике» остались однако неизвестны П. Д. Эттингеру. Подробно о работе Кипренского см. ниже в статье А. М. Эфроса.

[62] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 328.

[63] К позднейшим полуофициозным посещениям Гете нужно отнести визит Авраама Сергеевича Норова (1795—1869), впоследствии, в 1854—1858 годах, бывшего министром иностранных дел. Участник войны 1812 года, он под Бородиным лишился ноги. Это давало право Вяземскому, бывшему у него товарищем министра, сказать про него: «Он не имеет блестящих способностей Уварова, но... чище и благороднее душою и тверже на одной ноге своей, нежели тот был на двух» (Сочин., том X, стр. 145). С 1813 г. Норов начал печатать стихи и переводы с итальянского в альманахах и журналах. Пушкин, бывший с ним на «ты» и пользовавшийся книгами из его великолепной библиотеки, упомянул о ней в рецензии на «Северную Лиру» 1827 г., но лишь затем, чтоб «заметить, что г-ну Абраму Норову не должно бы переводить Данте». В 1821 г. Норов совершил первое путешествие по Европе. В 1830—1840 гг. он приобрел себе известность путешествиями по Азии и Африке; переизданные в 1853—1854 гг. в пяти томах, «Путешествия» доставили ему кресло академика. В 1827 г., когда Россия совместно с Англией и Францией действовала против турок за освобождение Греции, Норов, знаток европейских языков, был прикомандирован к начальнику русской эскадры, адмиралу Синявину. После Наваринской победы русская эскадра возвратилась в Балтийское море, а Норову довелось попасть в Веймар. 31 октября Гете записал в дневнике: «Статский советник Норов, офицер эскадры, которая возвратилась в Россию. Потерял в битве под Москвою левую ногу» («W. A.», III Abt., B. XI, S. 130). Запись показывает, что Норов-писатель остался неведом Гете; он был ему интересен, как участник Бородина и как свидетель новейшей войны с турками, за течением которой Гете пристально следил.

IV. НА ТРОПЕ К ГЕТЕ

К. Н. БАТЮШКОВ В ВЕЙМАРЕ В 1813 ГОДУ. — ОТКРЫТИЕ ГЕРМАНИИ В ЛИТЕРАТУРЕ. — ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КНИГА РУССКОГО ОФИЦЕРА — В ДАР ГЕТЕ. — НЕИЗДАННЫЕ СТИХИ Ф. Н. ГЛИНКИ К ГЕТЕ. — РУССКИЙ „АНАКСАГОР“ У ГЕТЕ. — Н. И. ГРЕЧ В ГОСТЯХ У ГЕТЕ. — РУССКИЙ ЧИНОВНИК В ДОМЕ ГЕТЕ. — ВСТРЕЧА ГРЕЧА С ИОГАННОЙ ШОПЕНГАУЭР. — ДВА АРЗАМАСЦА — Д. Н. БЛУДОВ И Ф. Ф. ВИГЕЛЬ — В ВЕЙМАРЕ. — ЦЕННОСТЬ ЗАРИСОВКИ ВИГЕЛЯ. — ГЕТЕ — ЧИТАТЕЛЬ ГР. Д. И. ХВОСТОВА. — ПИСЬМО ГР. ХВОСТОВА К ГЕТЕ. — СТИХОТВОРНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ХВОСТОВА К ГЕТЕ. — ГЕТЕ В ЖИЗНЕННОЙ СУДЬБЕ ЕЛИСАВЕТЫ КУЛЬМАН. — ГЕТЕ И КАРОЛИНА ПАВЛОВА. — ПАЛОМНИЧЕСТВО КНИГ И СТИХОВ.

Наполеоновские войны привели в Германию много русской молодежи в военных мундирах, но со штатскими, даже с литературными наклонностями. До войны, до похода в Германию, они были поклонниками французской poésie légère, читателями, а то и переводчиками Парни, Грекура, Грессе и стихотворного Вольтера. Война с Наполеоном потребовала от них патриотического бегства от французского языка и литературы, пребывание в Германии указало им, куда удобнее всего бежать из литературной Франции. Германия Виланда, Шиллера, Гете была перед ними. В Веймаре легче всего было открыть эту Германию.

Ее и открыл там себе К. Н. Батюшков, до похода 1813 г. бывший прилежным читателем, переводчиком и подражателем французских и итальянских поэтов. Офицер из штаба Н. Н. Раевского, 30 октбря 1813 г. он писал своему другу, поэту Н. И. Гнедичу: «Мы теперь в Веймаре дней с десять; живем покойно, но скучно. Общества нет. Немцы любят русских, только не мой хозяин, который меня отравляет ежедневно дурным супом и вареными яблоками. Этому помочь невозможно; ни у меня, ни у товарищей нет ни копейки денег в ожидании жалованья. В отчизне Гете, Виланда и других ученых я скитаюсь, как скиф. Бываю в театре изредка. Зала недурна, но бедно освещена. В ней играют комедии, драмы, оперы и трагедии, последние—очень недурно, к моему удивлению. «Дон Карлос» мне очень понравился и я примирился с Шиллером. Характер дон Карлоса и королевы прекрасны. О комедии и опере ни слова. Драмы играются редко по причине дороговизны кофея и съестных припасов; ибо ты помнишь, что всякая драма начинается завтраком в первом действии и кончится ужином. Здесь лучше всего мне нравится дворец герцога и английский сад, в котором я часто гуляю, несмотря на дурную погоду. Здесь Гете мечтал о Вертере, о нежной Шарлотте; здесь Виланд обдумывал план Оберона и летал мыслью в области воображения; под сими вязами и кипарисами великие творцы Германии любили отдыхать от трудов своих; под сими вязами наши офицеры бегают теперь за девками. Всему есть время. Гете я видел мельком в театре. Ты знаешь мою новую страсть к немецкой литературе. Я схожу с ума на Фоссовой «Луизе»; надобно читать ее в оригинале и здесь, в Германии. Книги вообще дороги, особливо для нас, бедняков, хотя здесь фабрика книг. Третьего дня приехала в Веймар великая княгиня Мария Павловна. Я был ей представлен с малым числом русских офицеров, здесь находящихся. Она со всеми говорила и очаровала нас своей приветливостью, и к общему удивлению—на русском языке, на котором она изъясняется лучше, нежели наши великолепные петербургские дамы» [1].

Было бы трудно лучше Батюшкова передать, чем был для русского офицера Веймар в 1813 г.: все в одной куче—и русские офицеры в театре Гете, и благоговейные припоминания русского читателя о Гете как об авторе «Вертера», и неизменный «Оберон», и мещанские драмы, которых нельзя давать на сцене по крайней бедности веймарского театра, и не

стерпимый для русских помещичьих желудков бюргерский суп, и гоньба за девками по аллеям парка, и восторг от открытия давно открытой Америки немецкой литературы! Целая картина в нескольких строках.

У Батюшкова почтения к литературной славе Веймара не меньше, чем у Карамзина, когда он приехал туда в 1789 г., но знания Гете у него не больше: как и Карамзин, он знает Гете только по «Вертеру», а в 1813 г.— уже пять лет, как был в продаже «Фауст». Биографию Гете Батюшков знает хуже Карамзина: Гете «не мечтал» в Веймаре о «Вертере», так как роман написан до переезда его в Веймар. Из других веймарцев русский поэт знает, как и Карамзин, «Оберона» Виланда, но с Шиллером он или мало знаком, или весь еще во власти французских симпатий,—и только «Дон Карлос», виденный в постановке Гете, заставляет его примириться с автором. Батюшков отмечает случайную встречу с Гете в театре, но у него нет еще живого, благодарно-читательского или, тем паче, писательского побуждения—пойти поискать неслучайных встреч с Гете (что конечно было очень легко устроить через ту же обязательную Марию Павловну). Очень показательно отношение Батюшкова к любимому детищу Гете—веймарскому театру. Ему, привыкшему к роскоши императорских театров Петербурга и Москвы, не хочется даже упоминать о веймарских операх и комедиях; он дает насмешливое объяснение редким постановкам драм в Веймаре: герцогский театр, по его мнению, беднее домашнего театра любого саратовского барина. Но исполнение трагедий вызывает его одобрение. Батюшков не знал, почему оно стояло высоко в Веймаре, не знал, что вдохновителем и учителем веймарской трагедии был сам Гете. Батюшков открыл в Веймаре Америку немецкой литературы, но в ней поспешил он «сойти с ума» не от Шиллера, не от Гете, а от «Фоссовой Луизы». Как трудно давался Гете даже первым поэтам чужой северной страны!

Превосходно показана в письме Батюшкова и Мария Павловна: она так приняла русских офицеров, что они тотчас же почувствовали, что не выезжали из Петербурга, даже не выходили из Зимнего дворца, а только перешли из залы очень большой, где принимала их Мария Федоровна, в залу поменьше, где приняла их Мария Павловна. Они были обворожены этой единой петербургско-веймарской придворной дипломатией.

Впечатления Батюшкова были устойчивы. Почти через месяц (10 ноября) он писал родным то же самое: «Мы теперь в Веймаре более трех недель живем праздно, между тем как генерал (Н. Н. Раевский, отец пушкинских друзей.—*С. Д.*) лечится. Здесь были обе великие княгини— Мария Павловна и Екатерина Павловна, и мы обеим имели счастье представляться. Знаешь ли ты мою новую страсть? Немецкий язык. Я ныне, живучи в Германии, выучился говорить по-немецки и читаю все немецкие книги; не удивляйся тому. Веймар есть отчизна Гете, сочинителя «Вертера», славного Шиллера и Виланда; здесь прекрасная библиотека, театр и английский сад, в котором часто гуляю» [2].

Свою «новую страсть» Батюшков приурочивает к Веймару и указывает на источники ее питания: прекрасную библиотеку и театр.

Через четыре года в своих «Мыслях о литературе» (1817 г.) Батюшков уже прямо заявляет: «Не надобно любителю изящного отставать от словесности. Те, которые не читали Виланда, Гете, Шиллера и даже Канта, похожи на деревенских старух, которые не знают, что мы взяли Париж и что Москва сожжена—до сих пор сомневаются» [3].

На примере Батюшкова легко видеть, какое значение имел поход в Германию для переключения русского литературного внимания с французской литературы на немецкую. Случайно попав в Веймар, французо- и итальянолюбивый поэт выезжает из него проповедником немецкой культуры в объеме от Виланда до Канта.

В числе тех русских военных, которые наводнили Веймар в 1813 г., было не мало людей с культурной тягой к Гете. Возможно, что многие из

Знаменитому Гётте
Сочинителю Вертера, поэмы:
Герман и Доротея и пр. и пр...
Далеко отъ долинъ Германіи цвѣтущей,
Въ укромной хижинѣ живущій
На хладномъ сѣверѣ, — незнаемой пѣвецъ,
Тамъ твои произведенія
О Гётте, нѣжный другъ чувствительныхъ сердецъ,
Тамъ — на сладкомъ восхищеніи
Тебѣ, питомецъ музъ! почтенія дань платилъ.
Онъ проситъ, чтобъ теперь ты взоръ свой обратилъ
На слабый трудъ его. Средь бранныхъ волненья
= средь гремящихъ битвъ, гдѣ смерть въ полях живетъ,
Возросъ сей слабой цвѣтъ! —
Да удостоитъ онъ твоего воззрѣнія!...
Въ различьи языковъ хоть есть межъ насъ преграда
Но мысли общи всемъ. =

ПИСЬМА
РУСКАГО ОФИЦЕРА
1812 и 1813 года.

= мой трудъ пусть будетъ чуждъ
въ отечествѣ твоемъ;
Но мнѣ вниманіе твое — награда! —

Руской офицеръ.
Theodor Glinka.

Стихотворное обращение к Гете Федора Глинки, написанное на экземпляре его книги „Письма русского офицера", преподнесенной им в дар Гете в 1814 году
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

них стучались и в дверь его дома. Вот один такой случай, память о котором сохранилась. Батюшков вздохнул, что по безденежью не может покупать книг, хотя Веймар и Германия—«фабрика книг». Другой русский офицер—какой-то Челыков—в такой же тоске по книгам пошел к Гете, и 22 февраля 1814 г. Гете послал записку библиотекарю Вульпиусу: «Русский бригадный адъютант Челыков (Tschellikow), живущий у Луденус, желает пользоваться герцогской библиотекой. Гете» [4].

В эту же пору из русской офицерско-литературной среды вышло характерное стихотворное приветствие Гете, остававшееся доселе неизвестным. В библиотеке Гете доныне (1932 г.) хранится книга «Письма русского офицера о войне отечественной 1812-го и о заграничной 1813-го года. Сочинения Федора Глинки. Москва, 1814 года».

Эта книга Федора Николаевича Глинки (1786—1880) была одной из самых читаемых книг в России 1812—1816 гг.; это было патриотическое

чтение не только московских гостиных, где модны стали патриотизм и русский язык, но и захолустных усадеб и купеческих подворий. Менее всего книга Глинки могла быть интересна Гете: он в эпоху 1813—1814 гг. был в стороне от всяческого, тем более от глинкинского наивного патриотизма. Мало того: он был в стороне от германского «освободительного движения» 1813 г. и не числился ни в каких списках героев и вождей противо-французского движения 1813 г. Но у Гете была громозвучная слава величайшего немецкого писателя, которая на девять десятых была славою автора «Вертера», и этого было довольно, чтобы русский офицер, поэт и прозаик, прошедший карамзинскую школу, послал Гете свою книгу.

Он сопроводил ее надписью в стихах (печатается впервые):

Знаменитому Гиотте
Сочинителю В е р т е р а, поэмы:
Г е р м а н и Д о р о т е я и пр. проч....

Далеко от долин Германии цветущей,
В укромной хижине живущий,
На хладном севере,—незнаемой певец
Читал т в о и произведеньи
О Г и о т т е, нежный друг чувствительных сердец!
Читал—и в сладком восхищеньи
Т е б е, питомец муз! почтенья дань платил.
Он просит, чтоб теперь ты взор свой обратил
Н а с л а б о й т р у д е г о. Средь бранного волненья,
Среди гремящих битв, где смерть в полях живет,
Возрос сей с л а б о й ц в е т! —
Да удостоится он твоего воззренья!..
В р а з л и ч ь и я з ы к о в хоть есть меж нас п р е г р а д а,
Но мысли общи всем.
Мой труд пусть будет чужд в отечестве твоем;
Но мне внимание т в о е — н а г р а д а!

Руской офицер:
Theodor Glinka.

Весь Гете умещается для Глинки в карамзинскую формулу «нежный друг чувствительных сердец», и понятно почему: в титуле Гете Глинка помещает только то, что «чувствительно», и то, что «идиллично»: «Вертера» (с выщерблением всего, что в нем есть от «бури и натиска») и «Германа и Доротею». Это—Гете, вставленный в узенькую розовую рамочку сентиментализма, сделанную руками признательного читателя из средне- и мелкопоместных усадеб и небогатых особняков окраинной Москвы. И ранний «Гец», и поздний «Фауст» для такого тихонького читателя—книги за семью печатями.

Неизвестно, при каких обстоятельствах книга Глинки со стихами вошла в дом Гете, но самая мысль—этим подарком засвидетельствовать благоговение пред ним—родилась в той же атмосфере открытия уже открытой немецкой Америки, какую так хорошо передал Батюшков.

К числу полувоенных, полулитературных посетителей Гете этого времени принадлежит и Николай Иванович Кривцов (1791—1843). Впоследствии он так сблизился с кругом Карамзина, Жуковского, Вяземского

и трех Пушкиных—Василия и Сергея Львовичей и Александра Сергеевича, что Вяземский выразился о нем: «Он не был записан в Арзамасском штате, но был приятелем почти всех арзамасцев». За границу он попал по военной, а не по литературной дорожке. Раненый при Бородине, взятый в плен французами, прославившийся на всю Европу тем, что в оставленной Наполеоном Москве отстоял французский госпиталь от истребления казаками, он вновь вернулся в армию, и в сражении под Кульмом (18 августа 1813 г.) ему оторвало левую ногу. Кривцов остался за границей сперва лечиться, потом набираться европейского просвещения и парижского лоска. Он имел успех в парижском обществе: обедал у Бенжамена Констана, посещал madame де Сталь, любопытствовал заглянуть и к сентиментальной г-же Жанлис, знавал и Талейрана, но искал встреч и с Александром Гумбольдтом. Это был двойник Александра Тургенева, но без его добродушия и сердечности. Если верно, что человек есть дробь, у которой числителем то, что он есть в действительности, а знаменателем то, что он о себе думает, то знаменатель у Кривцова был так велик, что он умел им импонировать людям значительным в европейской культуре и общественности. В либеральных кругах Парижа он был признан европейским comme il faut, но, конституционалист и либерал, он отлично умел ладить с реставрированными королями, а у главного реставратора—Александра I—умел получать аудиенции и пособия не только на леченье, но и на уплату долгов (25000 рублей). Ему так хорошо жилось за границей, что он оставался там до 1816 года и только 13 июня тронулся восвояси. 26 июня он проезжал через Веймар. Конечно он пожелал представиться европейской знаменитости. Гете его принял, но избалованный ласками реставраторов и реставрированных, он остался недоволен приемом Гете. Он отметил это в своем дневнике. М. О. Гершензон в своей хронике «Декабрист Кривцов и его братья» (М., 1914) не почел любопытным привести эту запись Кривцова и ограничился следующими строками от себя: «Видел он и Гете: проездом через Веймар он посетил немецкого поэта, но был им принят холодно. Кривцов не отнес эту холодность на свой счет: «другого приема,—пишет он,—и нельзя было ждать от царедворца-ученого»,—т. е. тем хуже для Гете» (стр. 13). Либерал, долги которого выплачивал русский император, был недоволен царедворством Гете! Но повидимому Гете мало нашел любопытного в Кривцове. В дневнике его находим только такую запись: «26 июня... Обед с Августом [сыном]. Г. Кривцов» (B. V, S. 246). Даже для лаконизма Гете это слишком лаконично: Гете не отметил даже чина Кривцова, даже того, что он русский офицер, участник Бородина и Кульма: обычные отметы Гете при записи подобных посетителей. Знаменателю Кривцова действительно должно было быть обидно.

А. С. Пушкин польстил Кривцову, обозвав его в своем послании именем Анаксагора, греческого философа, приговоренного к изгнанию из Афин за безбожие. Заезд к Гете русского Анаксагора с царскими субсидиями не удался, но он был сделан не только по адрес-календарю европейской культуры, где значилось: быть в 10-х годах в Европе и не видеть Гете—это все равно, что быть в Риме и не видеть папы. Заезд был сделан несомненно еще и по справочному указателю русского двора, которому Кривцов следовал не менее прилежно, чем европейскому адрес-календарю. В Россию вернулся он с репутацией чуть-чуть не якобинца, но уже в 1820 году, по словам Карамзина, «вышел из полку либералистов». Скоро он получил губернаторство в Туле.

Официальное признание Гете двором и знатью облегчило пути к нему для тех, кто хотел почтить стихами, лицезреть или посетить автора «Вертера». Знание Гете могло исчерпываться «Вертером» и «Германом и Доротеей», но для тех, кто одной ногой стоял в официозности, а другой—в литературе, Гете в 10-х годах был уже такою «persona grata», что обойти ее в своем вояже было невозможно, почти неприлично.

В этом отношении очень характерно посещение Н. И. Греча (1787—1867). Он посетил Гете в 1817 г.

В своих «Воспоминаниях юности» он называет первые полтора десятилетия XIX в. «прекраснейшим временем, каким когда-либо наслаждался свет», и одною из отличительнейших черт этого времени он считает то, что «Германия восстала после бедствий войны: науки, литература возникли в ней с новой силой; образовались новые школы, новые учения; живы были и Клопшток, и Фосс, и Шиллер, и Гердер». Гете в этом перечне отсутствует. Повидимому в тогдашних литературных сочувствиях Греча он не занимал видного места, хотя, говоря о своем приятеле Крюковском, авторе патриотической трагедии «Пожарский», Греч с сочувствием упоминает: «Клопшток, Шиллер, Гете были его обыкновенным чтением» [5]. Греч же был тогда не в отсталых фалангах литературы. Он был издателем «Сына Отечества», начатого в 1812 г. как патриотический орган, но к концу 10-х годов превратившегося в лучший русский литературный журнал с либеральным направлением. Еще по масонской ложе «Избранного Михаила» Греч был знаком и даже близок с будущими декабристами: Н. А. Бестужевым, М. К. и В. К. Кюхельбекерами, Г. С. Батенковым; в то же время к Гречу благоволили и «арзамасцы». Посылая А. Тургеневу свою статью о Вольтере, направленную против консервативного «Вестника Европы», Вяземский поручает: «Посылаю тебе сыноотечественную штуку. Прочтите ее в арзамасском ареопаге, и если она того стоит, отдайте ее Гречу» [6]. Это—обычный путь странствия либеральных статей и стихов Вяземского; путь этот пресекался частыми цензурными шлагбаумами [7]. Жуковский, Батюшков, Пушкин, Баратынский были сотрудниками «Сына Отечества». С декабристской стороны в нем участвовали Рылеев, А. и Н. Бестужевы, Кюхельбекер, Никита Муравьев, Корнилович, Батенков. Вяземскому не удалось, как предполагал он, печатать в журнале Греча польско-русские опыты конституционного законодательства, но тем не менее конституционные мотивы были в нем очень заметны. В 1818 г. пушкинский наставник проф. Куницын поместил в «Сыне Отечества» свою статью «О конституции». Один из крупнейших памятников политической мысли декабристов—«Опыт теории налогов» Н. И. Тургенева (1818), напечатанный в типографии Н. Греча,—нашел в его журнале сочувственный отклик. С 1817 г. Греч делается в России пропагандистом самой передовой системы обучения—ланкастерской, той самой, от которой чаяла стольких бед свояченица Фамусова:

И впрямь с ума сойдешь от этих от одних
От пансионов, школ, лицеев... как бишь их?
Да... от ланкарточных взаимных обучений.

Александр I недалеко ушел от этой свояченицы: когда в 1820 г. случилось известное возмущение Семеновского полка в Петербурге, он писал кн. И. Васильчикову: «Следите бдительно за Гречем и за людьми, находившимися в его школе, будь то солдаты или маленькие девочки.

Признаюсь, что я гляжу на них с тревогою... я уверен, что настоящие виновники найдутся вне полка, среди таких людей, как Греч или Каразин» [8]. Так велик был в 1820 г. у старухи Хлестовой и Александра I страх перед либерализмом Николая Ивановича Греча и его солдатскими школами взаимного обучения.

Страх можно было бы сильно поумерить, если бы Хлестова с Александром I были поприлежнее к чтению. В 1817 г. они могли бы прочесть в том же «Сыне Отечества» гречево «Обозрение литературы за 1815 и 1816 гг.»

Н. И. ГРЕЧ
Гравюра акватинтой Бушарди (Париж, 1817)
Институт Русской Литературы, Ленинград

(ч. 35, стр. 3—22, 55—67) и утешиться: гнилому Западу с его свободой предпочиталось здесь российское благополучие под попечительной опекой мудрого начальства. Это «Обозрение» вызвало атаку Н. И. Тургенева в «Арзамасе», занесенную и в его дневник: «Первое слово, вылившееся с пера его, было—цензура». Для книгопечатания Греч жаждет свободы, но лишь «благоразумной свободы». «Давно уже,—замечает Тургенев,—прямодушные люди не верят словам, сопровождаемым эпитетом благоразумия, и под благоразумным поведением разумеют тонкое, часто подлое поведение, под благоразумным человеком разумеют эгоиста, под благоразумием цензуры—благоразумие полиции. Мы не имеем нужды в очках г-на Греча» [9]. Тургенев оказался политически зорок: он нашел в молодом либерале ту главную черту—«благоразумие»,—которая так точно очертила всю личность позднейшего Греча—соратника Булгарина и издателя «Северной Пчелы». «Благоразумное поведение» Греча действительно в полной мере оказалось «подлым поведением».

Но то, что в 1817 г. было примечено Н. И. Тургеневым, оставалось не примечено в Грече ни справа, ни слева: как для Александра I, так и для

П. Вяземского,—он был «либералист». «Либералистом»—как в свадебную медовую поездку—пустился он и за границу в 1817 г. На старости лет сам Греч вспоминал про ту пору: «Я был в то время отъявленным либералом, напитавшись этого духа в краткое время пребывания моего во Франции (в 1817 г.)» [10].

Тогда же Греч попал в Германию. Он пожил и на родине Гете, но Франкфурт-на-Майне ему «не мог понравиться дипломатическим и купеческим гением своих обитателей»: он же был тогда либерал! «28 сентября 1817 г.,—рассказывает Греч,—сел я в коляску свою и пустился к востоку». Он ехал тем самым путем, каким когда-то молодой Гете направлялся из Франкфурта в Веймар.

«Около обеда приехал я в Веймар и остановился в трактире Слона. У меня было двое знакомых в этом городе: секретарь великой княгини Марии Павловны, бывший мой сослуживец Карл Иванович Отто, и Коцебу, с которым я познакомился в Петербурге в 1812 г. Принарядившись, пошел я с наемным слугою бродить по городу. Отто я не застал: он уехал в загородний дом Бельведер. У Коцебу, который был нездоров, оставил я карточку. Веймар, исключая дворец и сад великого герцога, построен довольно неправильно и некрасиво. Один только дом в два этажа, сооруженный в простом и благородном вкусе, с красивым портиком, обратил на себя мое внимание. «Это чей дом?» спросил я. «Его превосходительства господина тайного советника фон Гете!» отвечал слуга. Великий Гете—фон и тайный советник! Это дико, подумал я; но только в ушах иностранца: нет великого человека для наемных лакеев и камердинеров! Потом указали мне дом наследников Виланда: он ветх и угрожает падением. Семейство знаменитого поэта было бы в нищете, если бы не помогала ему великая герцогиня. В трактире Слона обедал я в обществе одного иенского профессора и двух молодых прусских офицеров, бывших его учеников. Беседа была занимательная и приятная, я скоро с ним познакомился: науки, искусства, литература связывают между собой людей разных наций может быть еще скорее и тверже, нежели язык связывает земляков. После обеда приказал я нанять коляску и готовился ехать в Бельведер для свидания с Оттом. Вдруг подходит ко мне молодой человек в реномистском [11] сюртуке, со снурками, в красной, обложенной галуном фуражке, с хлыстиком в руке и с пребольшой собакой. Нетрудно было узнать иенского студента, но как я удивился, когда он заговорил со мной по-русски! «Вы не узнаете меня, Н. И.?—сказал он.—Я Август Коцебу, учился в петербургской гимназии и очень вас помню. Батюшка крайне сожалеет, что сам по болезни своей не может навестить вас, и просит вас пожаловать к нему вечером». Я поблагодарил его за уведомление и пригласил ехать со мною. На коротком пути в Бельведер, не далее как от Адмиралтейства до Невского монастыря, мы раза три платили Chaussé-Geld, Thor-Geld, Brücken-Geld [12]. Отто, вовсе меня не ожидавший и даже не знавший, что я в Германии, очень мне обрадовался и поехал с нами обратно в Веймар.

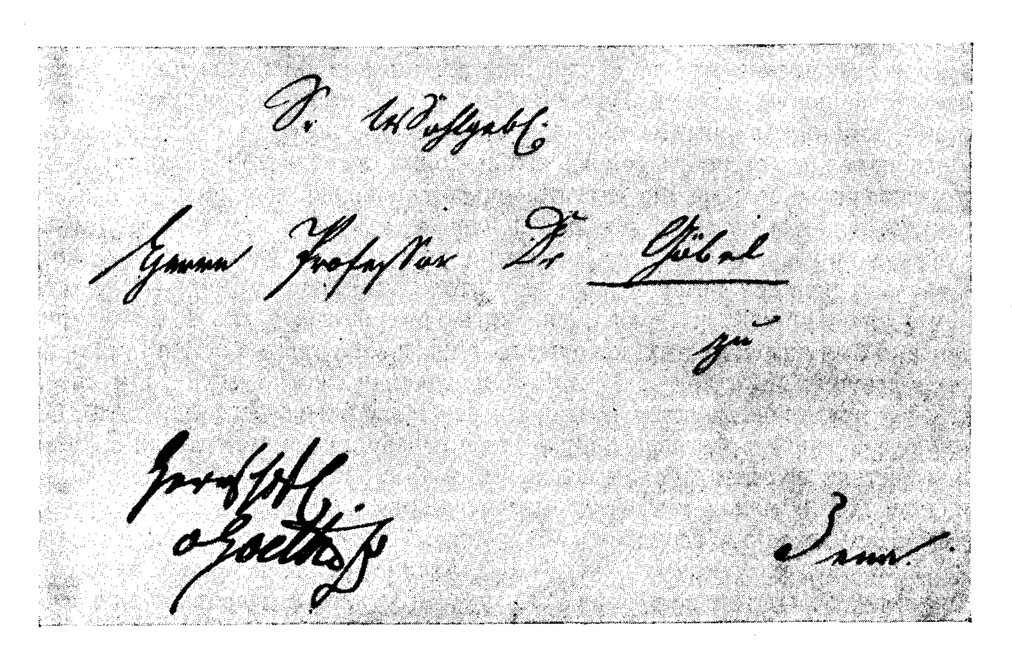
«Не пойдете ли вы к Гете?» спросил он у меня. «Нет,—отвечал я,—он меня не знает и мне не хотелось бы навязывать ему неинтересное для него знакомство, да и не знаю, как войти к такому человеку».—«Это ничего не стоит,—сказал Отто,—он меня принимает очень хорошо. Пойдемте». Случай был благоприятный. Я отправился. Внутреннее устройство дома не уступает изящной наружности. Прекрасное, смело построенное крыльцо ведет в верхний этаж, где живет Гете. Сначала сказали нам, что он не

принимает. Я отправил к нему, по совету Отто, визитную карточку, с изъявлением сожаления, что не буду иметь счастия видеть его, ибо сего же вечера должен выехать из Веймара. Визитная карточка, напечатанная великолепно у Дидота, с громким титулом почетного библиотекаря императорской библиотеки, произвела желанное действие. Слуги засуетились. В переднюю комнату вышла, чтоб позанять нас на время приготовлений к приему, женщина-автор, лет 45 отроду, как я узнал впоследствии— Иоганна Шопенгауэр, принадлежащая к числу самых ревностных почитательниц гениального Гете. Неприятным провинциальным диалектом (какой провинции, не мог я решить) беседовала она с господином Отто о приветных удовольствиях златокудрой осени, прекращающей на время полет таинственных гениев по романтическим областям воздушного мира. Вскоре пригласили нас во внутренние покои: они расположены и украшены с большим вкусом. Почтенный старец принял нас учтиво и церемонно, как придворный. Он был в простом светлосером сюртуке; покачивающаяся от старости голова его покрыта серебристой сединой; лицо его выразительное, можно сказать—прекрасное. Он пригласил нас в гостиную, посадил на софу и спросил у меня, откуда я приехал. «С Гиршграбена», сказал я (так называется та улица во Франкфурте-на-Майне, в которой родился Гете). «Итак, вы читали мою биографию?»—«С истинным удовольствием, и не раз: сперва в Петербурге, а потом во Франкфурте, и был на тех местах, которые вы описываете; тщетно искал Гретхен!» (Имя девушки, в которую Гете был влюблен в первой молодости своей и потом предал бессмертию, назвав ее именем героиню своего Фауста) [13]. Он вступил со мной в разговор о Франции и Швейцарии, рассказывал о своем путешествии по этим странам и повел в свой кабинет, где поставлена была прекрасная, в малом виде сделанная панорама швейцарских гор, подаренная ему великим герцогом веймарским. Потом расспрашивал о петербургских своих знакомых—Н. М. Карамзине, С. С. Уварове, генерале Клингере. Г. Отто в разговоре осведомился у него о здоровьи сына его, человека лет 25. «Не поэт ли он?» спросил я у Гете. «Нет,—отвечал улыбаясь почтенный старец.—Он натура практическая!» [14] Побеседовав с ним около часу, мы расстались. Я искренне благодарил доброго Отто за это знакомство: черты лица великого поэта никогда не изгладятся из моей памяти. Я не принадлежу к числу заветных его чтителей; признаюсь, что не вижу в Фаусте того, что видят другие, что не понимаю величия Вильгельма Мейстера; но в то же время не знаю ничего превосходнее его элегий, его Вертера!» [15]

Оказывается, Греч в 1817 г. читал Гете много больше других русских читателей: ему известны и «Ученические годы Вильгельма Мейстера», и «Фауст», и автобиография, но все это ему достаточно чуждо. Понятен ему Гете песен и «Вертера». Греч—это типичный читатель из служилой бюргерски-дворянской прослойки: ему доступно то самое в Гете, к чему лежало сердце такого же немецкого читателя. Но слава Гете была так уже велика и даже громоздка, что Греч, которому не нужен был «Фауст», не мог обойтись без визита к Гете и почел себя счастливым от приема знаменитым писателем. Беседа была в достаточной степени принужденна, но учтива, любезна, благосклонна. Крайне любопытна история приема. Греча повез к Гете—с некоторым маленьким понуждением—официальный русский чиновник при веймарском дворе—статский советник Отто, и на смущение Греча, как бы не обеспокоить Гете посещением, он с само-

уверенностью, граничащею с нахальством, ответил: «Это ничего не стоит».

Секретарь Марии Павловны, ведавший ее финансовыми делами, принимавший от Гете отчеты и счета по его учреждениям, содержимым на ее средства, он считал жилище и время Гете в полном своем распоряжении. Однако лакей русско-веймарской Марии Павловны слишком понадеялся на свое право камердинера. Гете отказал в приеме. Из рассказа Греча следует, будто его ничего не значащий бумажный «титул» «почетного библиотекаря императорской библиотеки» открыл ему доступ к великому писателю. Можно счесть это за хвастовство. Но это правда. Вот что вписал


Herrn Professor Dr. Göbel
zu
Jena

Надпись на обороте письма Августа Гете к профессору К. Х. Гебелю от 1 октября 1825 г. Институт Русской Литературы, Ленинград

Гете в свой дневник 7 октября об этом посещении: «Вечером советник Отто с одним проезжим петербуржцем. Греч, Bibliothècaire d'honneur». Гете внес в запись «титул» Греча по-французски, взяв его прямо с визитной карточки [16]. Чинопочитание, уважение ко всем степеням (даже чисто декоративным) бюрократического иерархизма, особенно веймарского и русского, было такою социальною добродетелью или, на другой взгляд, болезнью Гете, что пустому «чину» Греча он тотчас же поспешил отворить двери своего дома.

Чтобы занять столь официозного гостя до прихода хозяина, очевидно застигнутого в домашнем виде, был выслан в гостиную друг дома—«женщина-автор лет 45». Это была мать знаменитого философа, Иоганна-Генриетта Шопенгауэр (рожд. Трозинер, 1766—1838), с 1806 г. поселившаяся в Веймаре и действительно принадлежавшая к кругу людей, близких к Гете, и особенно к его невестке Оттилии, с которой была на «ты». Она была видная романистка с широким кругом читателей, еще при жизни дождавшаяся полного собрания сочинений (Sämtliche Schriften, 24 тома 1830—1831 гг. Лейпциг—Франкфурт), что не представляет редкости в наше

Автограф письма Августа Гете к профессору К. Х. Гебелю от 1 октября 1825 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

время, но что встречалось очень редко в ту эпоху. Иоганна была женщина большого ума и характера, в общении с которой находили удовольствие поэты и художники—Виланд, Тик, Зах. Вернер, Кюгельген, Шадов. В Веймаре ее гостиная была одним из центров умственного и художественного общения. Греч отнесся к Иоганне Шопенгауэр с явной иронией.

Предмет. предварительной беседы был поэтико-сентиментальный. Он мало заинтересовал положительного Греча [17]. Отвел душу в Веймаре он не с этой дамой и не с Гете, а вот с кем. «Потом,—рассказывает он,— пошел я один к Коцебу. Здесь была беседа другого рода». Греч был знаком с Авг. Коцебу в Петербурге, перевел его «Леонтину»; по этому переводу автор выучился русскому языку. Авг. Коцебу был отцом бесчисленного числа романов и драм, настолько наводнивших собою русскую сцену, что создался особый термин «коцебятина». Карамзин, Андрей Тургенев, Жуковский, как мы знаем, свое знакомство с немецкой литературой начали с увлечения Коцебу, с усердных переводов «коцебятины». Это был театр нарождающегося в России и торжествующего на Западе «бюргерства», изгнавшего со сцены богов, героев и царей, позволивший новому классу смеяться, как привык он смеяться, плакать, как привык он плакать: достаточно грубо, достаточно упрощенно, но здорово и громко. Громкие слезы и громкий смех—вот театр Коцебу, вызывавший насмешки Гете-поэта, но и требовавший постоянных постановок Гете-режиссера и директора. Для Греча Коцебу был писатель по плечу, по мерке, по вкусу. Его литературные вкусы в 1817 г. были как раз те, что у Андрея Тургенева и Жуковского на двадцать лет раньше: из Гете—только «Вертер», из Коцебу—целый годовой репертуар драм и годовой же круг чтения романов и повестей.

Беседа Греча с Коцебу была, надо думать, очень жива. Жаль, что он не рассказал о ней подробно, а еще пуще того жаль, что он не остановился на «анекдотах о Германии», слышанных им от Коцебу, дни которого тогда уже были отмерены [18].

В 1823 г. Греч читал «Отрывок из воспоминаний о Германии» в заседании «Вольного общества любителей словесности» в Петербурге, в зале Д. А. Державиной, и вызвал иронические замечания действительного любителя Гете—А. И. Тургенева: «Воспоминания о Германии в памяти моей не остались, хотя путешественник и говорил о Гете и Коцебу. Но признался, что «Фауст» первого никогда ему не нравился. Впрочем, потешил Уварова, сказав, что автор «Вертера» справлялся о нем, о Карамзине и о Клингере» [19].

В 1837 г. Греч совершил вторую поездку за границу. В Веймар он не заглянул, но в другом городе Гете побывал и нашел, что Франкфурт «во многом переменился к лучшему. Опрятность и миловидность главных частей его удивительны. Как приятна глазам улица Гирштрабен (место рождения Гете), в которой помещается картинная галлерея!» [20]

В следующую же заграничную поездку—в 1844 г.—Гречу было не до Веймара: он явился в Париж официальным адвокатом Николая I против книги Кюстина, а русские и полурусские дамы получили визитные карточки: «M-r Gretch, premier espion de sa Majesté l'Empereur de la Russie» [21] (Господин Греч, первый шпион Его Величества Императора Всероссийского).

В 1818 г., в самом начале июня, в Веймар заглянули, совершая заграничный вояж, два «арзамасца»—«Кассандра»—Д. Н. Блудов (1785—1864) и «Ивиков Журавль»—Ф. Ф. Вигель (1786—1856). Это были арзамасцы

уже без «Арзамаса». Этот веселый и остроумный кружок дворян-карамзинистов, стилистических нововеров из придворно-служилых и усадебно-литературных кругов, собрался впервые в октябре 1815 г., года два проостроумничал, прошутил с шумом и весельем, наплодив целую литературу шуток и эпиграмм, но не выдержал напора новых преддекабрьских запросов и настроений, родившихся в той же социальной среде, не пошел за Н. И. Тургеневым и М. Ф. Орловым, звавшими его на декабрьскую дорогу, и, исчерпав свое полемико-литературное содержание, в 1818 г. «тихо, неприметно заснул вечным сном» [22]. Блудов и Вигель занимали в «Арзамасе» особое место. Памфлет первого «Видение в какой-то ограде» явился первым толчком к основанию «Арзамаса», направленного против «Беседы» адмирала А. С. Шишкова: в кругу арзамасцев у Блудова была слава безошибочного судьи всего изящного (впрочем отрицаемая Пушкиным). У Вигеля была репутация остроумца с проперченным словом. Немецкая литературная струя вливалась в «Арзамас» через Жуковского. Эта немецкая струя в литературных сочувствиях была гораздо сильнее у Вигеля, чем у Блудова, тяготевшего к французскому XVII и XVIII вв. Даже прозвище Вигеля—«Ивиков Журавль»—было взято из заглавия баллады Шиллера, переведенной Жуковским. Еще до 1812 г. Вигель был усердным посетителем немецкого театра в Петербурге и стыдил петербургское общество за пренебрежение к нему: «Три четверти петербургской публики из одних афишек только знали, что дают на немецком театре; а чего на нем не давали? Число драматических писателей в последнее двадцатипятилетие в Германии чрезвычайно расплодилось, и каждый из них был отменно плодовит... И все это у нас играли... Источник такого богатства был у нас под носом, и никто не думал черпать из него; никто не спешил ознакомиться с гениальными творениями Лессинга, Шиллера и Гете. Таков был век. Мы, вслед за французами, почитали аристотелево правило о трех единствах на сцене нашею драматическою верою, тогда как в творческой гордости своей немцы совершенно пренебрегали им. Французы, наши наставники, приучили нас видеть в немцах одно смешное, а мы насчет сих последних охотно разделяли мнение их... В хорошем обществе кто бы осмелился быть защитником немецкой литературы, немецкого театра? Сами молодые немцы, в нем отлично принятые, Палены, Бенкендорфы, Шепинги, если не образом мыслей, то манерами были еще более французы, чем мы... Названия играемых трагедий или драм—«Минна фон Барнгельм», «Гец фон Берлихинген», «Доктор Фауст»—казались уродливы, чудовищны. И что это за Мефистофель? И как можно чорта пустить на сцену? Это то же, что пьяного сапожника представить в гостиную знатной модницы. Все это казалось неприличием, отвратительною неблагопристойностью» [23]. 1813 год, переселив на время этих критиков немецкого театра в Германию, заставил их, как видно на примере другого арзамасца—«Ахилла» Батюшкова, пересмотреть свой приговор: именно трагедии Шиллера и др. на веймарской сцене и вызвали его похвальный отзыв. Вигель приехал в Веймар с редким для русского зрителя знакомством с театром Лессинга-Шиллера-Гете. Во время пребывания Вигеля и Блудова Гете не было в Веймаре, но была Мария Павловна, и Вигель нарисовал достаточно сочными красками, разведенными впрочем на елее благонамеренной лести, картину русской придворной полувотчины.

«Имя Веймара известно всем состояниям в России, везде произносится оно в ней с любовью и почтением, в этом городе более тридцати лет живет...»

Гете?—Нет: «...великая княгиня, еще более русская по сердцу и по чувствам, чем по имени. Покоряясь судьбе, живет она вдали от России, которая осталась ее любимой мечтой. Она часто осуществляется перед нею проезжими русскими; все они смело идут к ней на поклонение. Блудовы обязаны были явиться к Марии Павловне... Мне же хотелось и можно бы было, и даже следовало ей представиться; да со мной мундира не было. Но и в этом случае какой церемониал соблюдается при маленьком дворе! С почтением и за советами пошли мы с Блудовым к находившемуся там кн. А. Б. Куракину [24]. Он остановился в Веймаре на все лето, в ожидании прибытия осенью вдовствующей императрицы, которая в старости последний раз хотела еще взглянуть на родину. Достопочтенный старец... рассказал, как поступить в деле представления. В тот же день великая княгиня прислала придворную карету свою за Анной Андреевной (женой Блудова.—*С. Д.*), приняла ее у себя просто и предложила ложу свою в театр. Не имея права вступить в нее, я пошел в него за свои деньги, нашел, что очень хорош, но что играли в нем, пусть не спрашивают: совестно сказать, не помню. Это точно непростительно: Веймар почитался немецкими Афинами; Шиллер, Гете, Виланд, Гердер долго жили в сем городке под покровительством старой герцогини Луизы; следственно и на сцене кроме изящного ничего быть не могло. Поименованных писателей не было уже на свете; один Гете был жив, и тот находился в отсутствии. Чиновник посольства или поверенный в делах Струве предложил Блудову итти осматривать его жилище; я не сопровождал их: такая набожность к знаменитости в моем мнении не столь высокой, еще живой, чужеземной, показалась мне непонятною и неумеренною.

Наши путешественники очень хорошо знают теперь, что все эти немецкие великокняжеские резиденции точно то же, ни более, ни менее, чем загородние увеселительные места наших царей. Народонаселением и тогда Веймар был богаче Царского села, но пространством и наполовину не мог с ним сравняться. Из наших комнат в гостинице Слона, на площади в середине города, везде не в дальнем расстоянии можно было видеть выезд из него: дома были тесно между собою построены, но не высоки и не красивы».

В дворцовом парке Вигель «видел продолговатую без купола грекороссийскую церковь нашу, и на другой день, который был воскресенье, я пошел в нее. Более всего хотелось мне взглянуть на великую княгиню. Во время обедни обыкновенно замечала она все новые лица, после того расспрашивала о них и подзывала к себе. Я не намерен был представляться и старался так стать, чтобы мне ее хорошо, а ей меня совсем не видать было. Из малого числа присутствовавших приметил я только одну, мне после столь знакомую, княгиню Мещерскую, которая два года как тут поселилась: это была Катерина Ивановна, жена синодального обер-прокурора, сестра министра Чернышева и мать русско-французского писателя князя Элима. После обедни Блудовы переоделись, нарядились и поехали представляться к великогерцогскому двору, после чего получили приглашение к обеду. По возвращении их я с любопытством обо всем расспрашивал, и мне не отказано было в удовлетворении. Королевские повадки герцогини Луизы, подобострастие придворных, коим умела она окружить себя, и по заочности мне понравились; жаль только, что не на более возвышенной сцене поставлена она была. Сестры ее, русская Наталия Алексеевна (первая жена Павла I.—*С. Д.*), прусская вдовству-

ющая королева, уже покойная, и маркграфиня Баденская, мать императрицы Елизаветы Алексеевны, так же, как и она, на самом краю поддерживали еще величие владетельных особ, когда в целой Европе готово оно было рушиться. После изображения свекрови приятно мне было слышать о любезности невестки, не менее исполненной достоинства, также о похвалах, которые невольно расточала она отечеству своему, даже блеску и белизне наших снегов. О их мужьях упомянуто было мало; впрочем известно, что один был старый почтенный воин времен Фридриха, а ныне царствующий сын и наследник его—предобрейший простяк»[25].

В рассказе Вигеля нет Гете, но страница, посвященная этому рассказу, должна быть в работе о русских отношениях Гете: редко кому из русских писателей удавалось с такой прочностью перекинуть мост между Веймаром и Царским селом:

Своя провинция! в отечестве с друзьями!

В столице Марии Павловны—все, как у императрицы-maman в Павловске, вплоть до православной церкви в парке, вплоть до кн. Куракина, будто в Гатчине дожидающегося приезда царицы, вплоть до постоянной веймарской жительницы кн. Мещерской, воспитывающей сынка в павловско-веймарских придворных преданиях, вплоть до этикета, который, вопреки ожиданиям Вигеля, в веймарском микро-дворе оказался столь щепетильно-чопорным, что—к явной досаде честолюбивого и ласкательного Филиппа Филипповича—ему так и не пришлось «представиться» Марии Павловне, ни даже посидеть в ее ложе. Вигель всегда едок: это его полудостоинство-полунедостаток как автора «Записок» в набросанной им веймарской идиллии является просто достоинством. О герцогинях он льстиво распространился (благо все они оказались родственницами Павлу I и его сыновьям), а о герцогах он выразился кратко, но крепко: прославленнейший гетеанцами всех калибров и времен Карл-Август оказался у него просто прусским воякой фридриховских времен, а Карл-Фридрих, муж Марии Павловны, и того проще—«предобрейшим простяком». Это—великолепный по точности перевод той «сердечной доброты», которую Гете учтиво разыскивал в этом умственно-ограниченном князьке.

В рассказе Вигеля есть и еще один ценный штрих, с постоянством повторяющийся во всех дальнейших русских посещениях Гете: русский «поверенный в делах» с величайшей готовностью вызывается быть гидом по дому Гете, он даже понуждает русских приезжих к этому посещению. В его глазах это такая же их обязанность, как посетить Марию Павловну. У русских «поверенных в делах», сколько их ни было при жизни Гете, это—верное чувство: кто и что же в Европе было в первой четверти века примечательнее Гете и его жилища, «властителя дум»? И в то же время ничего не могло быть поучительнее для русских литераторов, чем посещение дома величайшего, но и благонамереннейшего из верноподданных микроскопического Карла-Августа.

У Вигеля была и осталась слава злеца. Таким он были в Веймаре. Он—единственный из русских туристов начала XIX в., который сознательно не переступил порога гетева дома. В этом отношении Вигель выпадает из общего потока. В конце 10-х годов Гете был уже необъезжаемою достопримечательностью даже для тех, кто—искренне или неискренне—не чувствовал к нему особого влечения как к писателю.

Официальная прижизненная канонизация Гете в лике «благонамеренных», посмертно лучше всего выраженная Элимом Мещерским, толкала к нему всех, кто хотел и на себя обратить хоть один лучик литературной славы или придворно-министерской благонамеренности Гете.

Слава Гете в двух своих аспектах захватила наконец и самого знаменитого—с конца!—из русских поэтов—графа Дмитрия Ивановича Хвостова. Можно набрать целый том анекдотических, полуанекдотических и вовсе не анекдотических сказаний о том, как он искал себе читателей и каким ревностным был самому себе издателем, книгопродавцем, комиссионером и покупателем. Нет ни одной книги по русской литературе начала XIX ст., ни одних мемуаров этой эпохи без страницы, полустраницы, строки об этом искателе читателей и снабдителе своими стихами всего грамотного и полуграмотного Петербурга—от императрицы до приказчика книжной лавки. Но пределы самораспространительства графа Хвостова оказывается были еще шире.

Вот что читаем в дневнике Гете от 18 апреля 1819 г.: «Отдал Веллеру, вместе с распоряжениями, книги для академической библиотеки, как то: «Поэтические сочинения» («Die Poëtischen Werke») графа Хвостова, 4 тома 8° и «Trattato del Circolo» графа Томасси, 1 том 4°» [26].

«Академическая библиотека»—это библиотека Иенского университета, а приобретение, которое она удостоилась получить из рук Гете,—это «Полное собрание стихотворений гр. Хвостова» в четырех частях, изданное им в 1817—1818 гг. Неизвестно, сам ли великий самораспространитель своей поэтической славы прислал Гете свои творения, или кто-нибудь оказал ему эту услугу, но только они были в руках великого писателя. Имя Хвостова сделалось известно Гете раньше имен Жуковского, Батюшкова, Пушкина.

Хвостову этого было мало: его томы были на русском языке, а Гете по-русски не знал, и Хвостов решил притти ему на помощь в деле ознакомления со своею музою. У него был сын Александр (1796—1870)—«пакостнейшее творение графа Дмитрия Ивановича Хвостова», по определению Вяземского, и этот сын в 1822 г. отправлялся служить при саксонском дворе. По приказу отца он посетил в Веймаре Гете, и когда Хвостов получил от сына письмо об этом посещении, он послал Гете свои стихи в немецком переводе при следующем письме на дурном французском языке:

«Милостивый государь! Заслуженная слава Ваших бессмертных творений и благосклонность, которую изволили Вы засвидетельствовать моему сыну, графу Александру Хвостову, камер-юнкеру русского двора, во время его пребывания в Веймаре с его превосходительством г. Ханыковым, при коем находится он в Дрездене в качестве кавалера посольства, побуждают меня засвидетельствовать Вам по этому случаю совершенную признательность и просить Вас принять несколько экземпляров последних моих произведений. Так как я не имею счастья читать Ваши ученые произведения в оригинале, ибо не владею немецким языком, то и просил я славного г-на Раупаха перевести мои стихи на Ваш язык. Перевод, как меня уверяют, очень хорош и в то же время верен. Я буду счастлив, М. Г., если Вы удостоите принять несколько цветков семидесятилетней северной музы, имею честь быть с совершенным почтением Ваш послушный слуга гр. Хвостов» [27].

Хвостов выбрал себе действительно первоклассного переводчика: это был известный немецкий драматург Эрнст-Вениамин Раупах (1784—1852). С 1804 г. он жил в России: в 1816—1818 гг. был профессором немецкой

ПУШКИН и Д. И. ХВОСТОВ
Карикатура неизвестного художника из альбома И. И. Челищева (Петербург, 1830—1831)
Институт Русской Литературы, Ленинград

литературы в Главном педагогическом институте и с 1819 г. читал всеобщую историю в Петербургском университете, откуда был в 1823 г. изгнан Магницким по внушению мистико-реакционной клики. Один из видных немецких драматургов 1810—1820 гг., он хорошо знал русский язык и историю. Немногие из русских поэтов имели такого прекрасного переводчика-поэта, какого получил Хвостов для своих виршей. Но что-нибудь из двух: если перевод был «очень хорош», тогда конечно он был не верен: и Гете, вместо виршей Хвостова, читал стихи Раупаха; если же он был действительно «верен», то он не мог быть «хорош»: тогда Гете действительно читал стихотворения Хвостова.

Визит Хвостова-сынка не отмечен в дневнике Гете.

Гр. Д. И. Хвостов и в дальнейшем не лишал Гете удовольствия знакомиться с творениями своей плодовитой музы.

В 1822 г. он сложил оду «На прибытие великой княгини Марии Павловны 1822 г., ноября 26 дня». В ней он не отстал от других: воспел всю веймарско-музо-придворную идиллию и—признаться ли?—воспел ее не хуже, или немногим хуже других:

К нам гостья с Ильмы берегов
Ведет утехи за собою,
Средь бурь зефиры ей зимою
Пути готовят из цветов.

Это—интродукция, а вот обращение к Марии Павловне:

В лавровых рощах обитаешь,
Где Муз германских славный сад,
Где солнце изливает рано
Свой чистый благодатный луч
. . . .

Чудесных в мире соловьев
В Веймаре часто ты слыхала
И нежный слух свой услаждала
Бессмертным голосом певцов.
Я, севера поэт, могу ли петь зимою,
Пусть наши соловьи поют тебе весною.
Благодаренья дань неся к твоим стопам,
Не смею вслед итти я веймарским певцам.

Скромно. Очень скромно. Еще скромнее—два авторских примечания к стихотворению:

1) «Стихи на прибытие вел. кн. Марии Павловны были сочинены и напечатаны с переводом на немецкий язык известного поэта, бывшего тогда здесь профессором, Раупаха в конце 1822 г. и напечатаны в «Соревнователе» и особливою книжкою.

2) Автор российских стихов, не зная по-немецки, не может к сожалению достойно похвалить знаменитых Шиллера, Гете и других; но по славе сих писателей и по переводам, которые он имел случайность видеть, отдает полную справедливость превосходным дарованиям великих мужей»[28]. Этот раупаховский перевод стихов к Марии Павловне «особливою книжкою»: «Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Grossfürstin Maria Pawlowna, Erbgrossherzogin von Weimar, bei Ihrer Ankunft in Petersburg. S.-Petersb. 1822» доныне хранится в библиотеках Гете.

Скромное знакомство с «превосходными дарованиями» Гете не помешало Хвостову озаботиться и на этот раз, чтобы и Гете дана была возможность хоть скромного знакомства с лирой графа: для чего было заказывать Раупаху немецкий перевод стихов к Марии Павловне, как не для того, чтобы стихи были прочтены в Веймаре при двух дворах: герцогском и гетевском?

В 1824 г. Хвостов дал такой «Совет юным питомцам муз» (послание 1-е):

Какой является богатый сад, священный
Среди различных стран Европы просвещенной.
Там выше звезд сокол, там соловей в лесах,
Тоскует горлица о друге на кустах,
Поют пернатые согласным духом, хором,
Величие Творца вселенной перед взором,
Там Попе, Камоэнс, Торквато и Мильтон,
Там Гете с Шиллером, там Галлер и Байрон,—
Все вдохновенные небесной свыше силой,
Свой разливая огнь, поют и за могилой[29].

«Юным питомцам муз» граф предоставлял выбирать между «соколом» и «горлицей»—«Попе» и «Гете».

В том же 1824 г. Хвостов воспел известное петербургское наводнение.

И Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов—

иронизировал Пушкин.

Но и у книг есть не только своя судьба, но и своя ирония: сочинений Пушкина Гете не читал, а вот «Наводнение» Хвостова в его библиотеке

хранится и поныне: «Epistel an N. N. über die Überschwemmung Petersburgs am 7 November 1824. Von Grafen Chwostow. St. Petersburg. 1825».

И по смерти Гете Хвостов потревожил его своими стихами, написав обращение к «Славному германскому поэту Гете, скончавшемуся в марте месяце 1832 г. в г. Веймаре».

С богатым вымыслом, с природой неразлучный,
О Гете, голос твой прелестный, нежный, звучный
Умолк и перестал вселенну восхищать!
Умолкли на горах гремящие перуны,
Вдруг лиры золотой окаменели струны,—
К ним приложила смерть безмолвия печать!
Увы! Сокрылся бард в обитель привидений.
Но Гете жив, он жив—не умирает гений [30].

Самый энергичный из русских поэтов добился своего: Гете читал графа Д. И. Хвостова раньше всех других русских поэтов, и читал в переводе, принадлежащем прекрасному немецкому поэту. Это—один из курьезов истории русской и немецкой литературы, но и он не без смысла: он хороший показатель того, как в начале 20-х годов высоко стояла в России слава Гете: не знавший по-немецки Хвостов для собственной известности заставил Гете читать свои стихи и родительской властью командировал к нему сына. В предисловии к V тому «Собрания сочинений», изданному в 1830 г., Хвостов имел некоторое право похвастаться: «Что касается достоинства издаваемых мною стихотворений... некоторые из них заслужили похвалу на Парнассе германском и французском» [31].

Есть случай, когда мнением Гете определялась вся судьба поэтического дарования.

Я говорю об Елисавете Кульман (1808—1825)—о поэте с самой странной биографией и судьбой. Она никому у нас теперь неизвестна, кроме немногих специалистов по александровской литературной эпохе, но в 1820—1830 гг. у нее была вспыхнувшая бенгальским огнем слава чуть ли не гения. Российская Академия в 1832 г. издала ее «Пиитические опыты» в трех томах, а в 1839 г. повторила в более полном виде «Полное собрание русских, немецких и итальянских стихотворений Елисаветы Кульман» в четырех томах. Ей посвящал стихи Кюхельбекер; А. Тимофеев написал пьесу из ее жизни под названием «Фантазия» (1835 г.). Она пользовалась славою классика в немецкой литературе [32]: меньше чем в двадцать лет после ее смерти полное собрание ее немецких стихотворений выдержало пять изданий. Появлялись (с 1847 г.) и издания ее итальянских стихотворений в Италии, где она также приобрела репутацию, близкую к званью классика. Русские издания, предпринятые Академией, ясно исходили из той же веры в «классицизм» Е. Кульман. Вера эта оказалась посрамленной: русскую Елисавету Кульман ждало полное забвение.

В этой девушке из русско-немецкого семейства были черты исключительной одаренности. Формальный итог проявлений этой одаренности беспримерен: на ее памятнике (она умерла 17 лет от чахотки) значилось по-латыни: «Первая русская, учившаяся по-гречески, знавшая одиннадцать языков, говорившая на восьми, и, несмотря на юные годы свои, была отличною писательницей» [33]. Одиннадцать языков, усвоенных в 17 лет жизни! Это обещало второго полиглота Меццофанти. Она писала оригинальные стихи на трех языках. «Тринадцати лет она уже перевела Анакреона в прозе

на пяти языках, а белыми стихами—на трех любимых его языках: русском, немецком и итальянском» [34]. Это известие, сообщаемое ее наставником и биографом, немецким педагогом Карлом Гроссгейнрихом, поразительно, но не тем, что 13-летняя девочка из русско-немецкой офицерской семьи переводит Анакреона. Ее родными языками были русский и немецкий: оба знала ее мать. На каком же языке стала она сочинять? Она пыталась писать по-русски, но «наставник Елисаветы (Гроссгейнрих говорит о себе в третьем лице), не будучи в то время столь сведущ в русском языке, чтобы судить о слоге в ее сочинениях, попросил ее сначала писать по-немецки, так как для нее все равно было, на каком бы из обоих языков она ни писала» [35]. Чудовищное признание! Наставник ломал естественный росток поэтического дарования девочки Кульман и продолжал это делать до конца. Он воспитывал в ней филолого-поэтического вундеркинда, и воспитал: Анакреон на пяти языках понадобился конечно только для этого вундеркиндовского шика. Таких опытов с Е. Кульман педант Гроссгейнрих проделал множество. Об иных из них нельзя слышать без негодования. Девочка начала писать по его воле немецкие стихи, но начала их по-своему: без рифм, как бы стихийно выходя на дорогу «белых» и свободных стихов Гете и Шиллера и на близкие ей темы из мира природы. «Наставник» заставил ее писать с рифмами. Изумителен по педантизму выбор писателей, коим руководствовал Елисавету «наставник»: Маттисон, Геснер, Галлер, Клопшток, и ни звука из Шиллера и Гете. Он признавал Гете «для себя», но в ученьи и преподавании у него—«Клопштоки», точь в точь как у русских «профессоров-школяров» (выражение Гоголя) 20-х гг.: Пушкин—«про себя», а Державин и Ломоносов—для учеников. Когда наставник «позволил» наконец Кульман писать русские стихи, он задавал ей поистине чудовищные задачи: это «профессор-школяр» Победоносцев воспитывал Лермонтова. Он ей приказал воскресить древнегреческую поэтессу Коринну, от которой не осталось ни одного стиха, и бедная девочка до того «окориннилась» в лжеэллинизме, что даже похвалялась: «Со временем в Беотии не останется уголка, которого я не означила бы в сочинениях Коринны» [36]. Она сочиняла по географической карте. Под влиянием «наставника» она «пожелала подарить отечеству три эпопеи, а именно: Владимира, Иоанна, покорителя Казани, и Петра Великого», при чем в ее «воображении герои времен Владимира и покорения Казани представлялись гораздо величественнее, нежели в эпопеях Хераскова» [37]. В 1824 г. бедная девушка мечтала соперничать с «Россиадой» и «Петридой», принялась перекладывать Киршу Данилова в вирши, которыми умиляла «наставника»:

Жил Богуслай могучий
В Новограде великом
Лет девяносто девять,
И умер в день рожденья
К печали величайшей
Живущих в многолюдном
Первопрестольном граде
Всея земли славянской, и т. д.

Русские стихи Кульман — это не право ее на звание «классика», а право ее учителя на позорное звание педанта—губителя дарований. Можно легко понять, почему Российская академия, возглавляемая дряхлым

адмиралом Шишковым, с такой охотой издавала «творения девицы Кульман»: от русских ее стихов пахнет затхлым запахом «Беседы любителей русского слова».

И тем не менее в девочке был огонек настоящего поэтического дарования. В русских стихах ее он завален грудой хлама, наваленного ее «наставником», или почти задушен нарочитостью «задания», как в ее «Стихотворениях Коринны». В немецких стихах, с которых она начала, и в итальянских, которые она выпевала на языке, ею особенно любимом за его музыкальность, этот огонек—сколько ни дует на него тупой «наставник», горит. Ее стихи всегда вызывают на языке два «если бы»: если бы не встречать ей на своем пути тупого «наставника» и не быть вундеркиндом и если бы пожить ей подольше!

«Полное собрание сочинений Е. Кульман» (в особенности в его русской части)—одна из самых необычных книг в истории литературы. Но поэтическая одаренность Е. Кульман, ее бескорыстная и трогательная любовь к поэзии, ее страстное, поистине исключительное влечение к ней—вне всякого сомнения. Однако мать ее «обращала мысли Елисаветы на необходимость приискать занятие, которым бы она могла со временем снискивать себе необходимый кусок хлеба,—рассказывает Гроссгейнрих.—Елисавета была рождена для искусства, и, несмотря на то, мать ее считала обязанностью твердить ей только о способах снискания себе необходимого в жизни». «Наставник» решил бороться с этим внушением, но так, чтобы убедить и мать в том, что сила поэтического дарования Елисаветы так велика, что оно должно быть ее жизненным призванием. Боясь «безусловно объявлять, что Елизавета рождена быть поэтом», он желал «спросить совета у других и для того обратился к посредникам, которые казались ему непогрешительными». Этот «непогрешимый» был Гете. (Вторым был Жан-Поль Рихтер.) Выбор нас не должен удивлять: как педант не пользуясь Гете в школьном научении, Гроссгейнрих склонялся перед его громоздким авторитетом, обязательным для всех в Германии и в России. Гете предстояло решить поэтическую и жизненную судьбу неизвестной ему девочки из петербургского захолустья. «Один из товарищей его («наставника».—*С.Д.*) находился в то время врачем в Веймаре и по семейным связям был вхож к Гете. Наставник, просмотрев все написанные в то время немецкие стихотворения Елисаветы, выбрал из них тридцать, отличавшихся содержанием или отделкою, присовокупил к ним шесть итальянских и четыре французских, составил из всего род альбома и отослал к своему приятелю с просьбою показать Гете». Ответ Гете, скоро пришедший, Гроссгейнрих огласил в виде сюрприза на именинах девушки в присутствии ее матери, родственников и гостей.

«Я исполнил твое поручение в точности,—писал ему веймарский приятель.—Когда, с известною тетрадью в кармане, в первый раз пришел к Гете, он был занят, и я мог только засвидетельствовать ему свое почтение и тотчас же удалился. При выходе моем подошел ко мне пожилой слуга и сказал: «Если у вас есть какая-нибудь надобность или дело, то приходите часом раньше, тогда барин мой для отдыха прохаживается по комнате». Я пришел в другой раз через три дня; старый слуга, который верно поджидал меня, тотчас пошел доложить обо мне и, возвращаясь, сказал: «В добрый час, сударь».

Гете был очень весел, и я не медля приступил к делу. Вместо введения я слово в слово пересказал все то, что ты писал ко мне о твоей удивитель-

ной ученице, а между тем вынул из кармана рукопись и подал Гете, который взял ее с улыбкой. Он бегло просмотрел всю тетрадь не читая, потом отдал ее мне и, садясь и меня пригласив сесть возле себя, сказал:

— Пожалуйста, читайте вслух!

Читая, я несколько раз украдкой на него поглядывал, чтобы видеть выражение лица. Он очень внимательно слушал и по временам делал маленькое движение губами в местах, которые поражали его, как мне показалось. Потом к этим движениям присоединилась улыбка, которая часто долго не сходила у него с лица. При чтении «Журавля» у него вырвалось полувосклицание, но без слов; когда я читал «Поток», он слушал с напряженным вниманием, и тут, когда я кончил, он сказал: «Смело придумано!» После «Пещеры» он вскричал: «Превосходно!», взял у меня тетрадь и сам стал читать. «Молния» заслужила всю его похвалу, кивание головы и повторенное восклицание: «Превосходно!»

Теперь очередь пришла итальянским стихам. Он прочел их громким голосом и с особенным ударением. «Сколько лет сочинительнице?»—«Тринадцать», отвечал я. «Жаль, что она бедна,—сказал он с чувством,—а может быть и это ей полезно!» После некоторого молчания: «Есть и французские стихи?» Первые три стихотворения он прочел про себя, последнее громко.

Тогда, обратившись ко мне, он сказал: «Объявите молодой писательнице от моего имени, от имени Гете, что я пророчу ей со временем почетное место в литературе, на каком бы из известных ей языков она ни вздумала писать».

Тут голос Елисаветы, не раз изменявшийся во время чтения, был прерван ручьем слез: она зарыдала... Она ощущала смесь радости с печалью; радость о том, что ее талант был признан и заслужил похвалы первого поэта Европы, и печаль об очевидной невозможности посвятить себя исключительно поэзии.

Но под влиянием отзыва Гете мать воскликнула: «Как будто вдохновением с неба приходит мне мысль, которая устраняет все затруднения. Для снискания себе пропитания приготовляйся к званию воспитательницы; свободное же от трудов время посвящай своей любимой поэзии». Елисавета улыбнулась сквозь слезы... Весь вечер только и было речи, что о первом поэте Германии» [38].

Гете решил участь Елисаветы Кульман.

Через несколько лет Гете случилось быть судьей над работой и другой, также русско-немецкой поэтессы—Каролины Карловны Яниш (1810—1893, впоследствии Павловой). «Немецкие переводы Каролины доставлены были в рукописи Гете (известным переводчиком русских поэтов на английский язык Джоном Боурингом). Стихи Каролины он одобрил и послал ей ласковое письмо. Эти переводы Каролины Яниш были изданы за границей отдельно под заглавием: «Karoline von Janisch. Das Nordlicht. Proben der neuern russischen Literatur. Erste Lieferung. Dresden und Leipzig. 1833». Больше всего в этой книге переводов из Пушкина; в конце приложено несколько оригинальных стихотворений Каролины» [39].

Эпизод с Кульман (а также и с Яниш)—pendant к эпизоду с Хвостовым: в обоих случаях русские поэты ищут суда Гете: один, чтобы этим судом—предполагается, благоприятным—опровергнуть десятки и сотни обвинительных приговоров, услышанных им от русских читателей, писателей и критиков; другой для того, чтобы безапелляционно утвердить свое право на путь поэта. Поэты остаются в России, но их поэзия стран-

ствует в Веймар, в дом Гете. Это—яркие свидетельства гетепочитания в русской литературе 1820—1830 гг. Паломничество книг совершалось в его дом, когда не могли паломничать их авторы.

Эти два последних эпизода крепко связаны с русским официальным показом Гете как образцового поэта, удостоившегося высочайших признаний: к нему невозбранен и одобрительный путь, личный или письменный (Глинка, Хвостов, Гроссгейнрих, К. Павлова), для подданных русского монарха.

Эта официальная признанность и показность Гете ярко отражается даже и на тех русских посещениях Гете, которые были следствием действительного и длительного интеллектуального влечения к миру его поэзии и интереса к его необычайной личности.

Бесспорные следы этого отражения хранит и история встреч с Гете В. А. Жуковского и А. И. Тургенева.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] К. Н. Батюшков, Сочинения. Изд. 5-е. СПБ., 1887, стр. 477—478.

[2] Там же, стр. 424—425.

[3] Там же, стр. 398.

[4] «W. А.», IV Abt., В. XXIV, S. 171.

[5] Н. И. Греч, Записки о моей жизни. М.-Л., MCXXX, стр. 249, 286.

[6] «О. А.», т. I, стр. 208.

[7] Там же, напр. стр. 340: «Грозный Яценко запретил и твоего «Медведя»,—пишет Тургенев Вяземскому про его варшавскую «шутку», в которой увидели сатиру на Константина Павловича.—Греч уже напечатал его и на обвертке журнала; но из текста Яценко его вымарал. Что делать и кому жаловаться?» (29/Х 1819); стр. 345: «Академия Российская жаловалась на рецензию Греча, и Главное училищное правление положило сделать цензору и ему выговор, что и сделано от министерства» (5/XI, 1819), и др.

[8] В. к. Николай Михайлович, Император Александр I. СПБ., 1912, т. II, стр. 524.

[9] Арх. Т., т. V, стр. 17—20.

[10] «Записки», стр. 687.

[11] От слова Renomist—забияка, буян; смысл эпитета: «в сюртуке студента-буяна, бурша».

[12] Сборы шоссейный, заставный, мостовый.

[13] «Биография», о которой говорит Гете,—это его «Поэзия и Правда. Из моей жизни». Первые три ее тома вышли в 1811, 1812, 1814 гг. История любви Гете к Гретхен (фамилия ее доселе не установлена биографами) находится в пятой книге автобиографии (вошла в т. II, изданный в 1812 г.). Об упоминаемом далее ген. Клингере см. в главе о Кюхельбекере.

[14] Юлиус-Август Гете (1789—1830)—единственный из оставшихся в живых сын Гете и Христианы Вульпиус, нежно любимый отцом. Гете радовался склонности сына к естествознанию и тщательно руководил его образованием, в котором близкое участие принимал Ример. Август Гете учился в университетах в Гейдельберге и Иене. В 1810 г. отец определил его на государственную службу, указывая герцогу на «чисто практическую натуру» сына. С 1815 г. Август—в чине камер-юнкера—сделался помощником отца по делам заведываемых им научных и художественных учреждений, беря на себя практическую хозяйственную сторону дела. После смерти Христианы Гете называл Августа «помощником, советчиком, единственным устойчивым пунктом в беспорядке». С 1824 г. Август сделался блюстителем рукописей и изданий Гете. Дневники Гете свидетельствуют о его близости к сыну, но в разговорах они редко задевали вопросы литературы и искусства. Как раз в год посещения Греча Август Гете сочетался браком с Оттилией Погвиш (см. Dr. Julius Zeitler, «Goethe-Handbuch», В. II, Stuttgart, 1917, S. 7—10).

[15] «Поездка во Францию, Германию и Швейцарию 1817 г. Письма к А. Е. Измайлову». Сочинения Николая Греча, изд. А. Смирдина. СПБ., 1855, т. II, стр. 484—491.

[16] «W. А.», III Abt., В. VI, S. 119.

[17] Встречу с Гречем Иоганна Шопенгауэр никак не отметила в своей обширной переписке, обработанной проф. Г. Г. Губеном: «Damals in Weimar». Erinnerungen und Briefe von und an Johanna Schopenhauer. Gesammelt und herausgegeben von H. H. Houben. 2-e Auflage, Rembrandt-Verlag, Berlin, 1829.

[18] О сыне Коцебу—Августе, встретившемся с Гречем, ничего не знаем. Из других его сыновей Оттон-Евстафий (1787—1846) был известный кругосветный путешественник, офицер русской службы. Другой, Вильгельм, был русским посланником в Карлсруэ, Берне и Дрездене и писательствовал по-немецки и по-русски. Третий, Павел (1801—1884), был генерал русской службы, возведенный в графское достоинство и бывший в конце жизни варшавским генерал-губернатором. В 1818 г. Гете читал сочинение Морица Коцебу «Reise nach Persien mit der Russ. Kais. Gesandtschaft i. J. 1817». Weimar 1819 г. (E. K e u d e l l, Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek, S. 190).

[19] Письмо к П. А. Вяземскому от 25/V 1823.—«О. А.», т. II, стр. 326.

[20] Н и к о л а й Г р е ч, Путевые письма из Англии, Германии и Франции, ч. II. СПБ, 1839, стр. 208.

[21] «О. А.», т. IV, стр. 274.

[22] В и г е л ь, Записки, изд. 1928 г., т. II, стр. 113.

[23] Т а м ж е, т. I, стр. 327—328.

[24] Кн. Алдр. Борис. Куракин (1752—1818)—один из любимцев Павла I, посол при Наполеоне I перед самой войной 1812 г., лично знавший Гете. Встретясь с Куракиным в Веймаре непосредственно после занятия Москвы Наполеоном, Гете поразился в русском после «веселости и благодушию после такого пожара и других бедствий». («W. A.», IV Abt., B. XXIII, S. 151; письмо к Рейнгардту). Куракин умер в 1818 г. в Веймаре.

[25] Ф. Ф. В и г е л ь, Записки, т. V, изд. «Р. А.». М., 1892, гл. VII «Путешествие за границу», стр. 98—100. В новом издании под ред. С. Штрайха (1828) эпизод этот по непонятной причине выброшен.

[26] «W. A.», III Abt., B. VII, S. 38. Хр.-Эрнст-Фр. Веллер (1790—1854) был библиотекарем Иенского университета.

[27] «О. А.», т. I, стр. 290. Письмо гр. Д. И. Хвостова печатается по фотографии с французского подлинника, хранящегося в Веймарском архиве. Вторая половина письма была напечатана в статье П. О. М о р о з о в а, Граф Д. И. Хвостов.—«Р. С.» 1892, кн. 6, стр. 584.

[28] «Разные стихотворения графа Хвостова, сочиненные после полного собрания», т. V. СПБ, 1827, стр. 10—11, 266.

[29] Гр. Д. И. Х в о с т о в, Полное собрание сочинений, т. II. СПБ, 1829, стр. 149—150.

[30] Гр. Д. И. Х в о с т о в, Стихотворения, т. VII. СПБ, 1834, стр. 225 (отдел «Надгробия» и 275 (примечания). Первый стих этого «Надгробия» заимствован из известных надписей Андрея Тургенева и Жуковского.

[31] Полн. собр. соч., т. V. СПБ, 1830, стр. 111, «Предисловие».

[32] Уже в 1846 г. она была издана вместе с Л. Уландом в серии классиков: «Familienbibliothek der Deutschen Klassiker. Antologie aus den Gedichten von Elisabeth Kulmann und Ludwig Uhland».

[33] К. Г р о с с г е й н р и х, Елисавета Кульман и ее стихотворения. Перевод с немецкого Марии и Екатерины Бурнашевых. Санкт-Петербург. Печатано в типографии Карла Крайя. Стр. IV+134, 1849, стр. 146. Все цитаты взяты из этой редкой книги, принадлежащей перу руководителя Е. Кульман; сочинение это имеет значение первоисточника для ее биографии и лежит в основе всех статей о ней. Оно служило и вступительной статьей к пяти первым немецким изданиям ее стихов.

[34] Т а м ж е, стр. 54.

[35] Т а м ж е, стр. 98.

[36] Т а м ж е, стр. 84.

[37] Т а м ж е, стр. 100.

[38] Т а м ж е, стр. 57—59.

[39] В. Б р ю с о в, Материалы для биографии Каролины Павловой (Каролина Павлова, Собр. соч., т. I. М., 1915, стр. XX—XXI). Письмо Гете к К. К. Яниш (Павловой) в печати неизвестно; упоминания о ней в дневнике Гете отсутствуют. В «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаева (под ред. Иванова-Разумника. «Academia». Л., 1928 г., стр. 289) находим сообщение, нуждающееся в серьезной проверке: «Через пять минут (после знакомства) я узнал от г-жи Павловой, что она пользовалась большим вниманием Алекс. Гумбольдта и Гете, и что последний написал ей несколько строк в альбом... Затем был принесен альбом с этими драгоценными строками». О личном свидании Гете с К. Павловой нет никаких известий в литературе о Гете.

Глава четвертая

А. И. ТУРГЕНЕВ И ГЕТЕ

ПОЛУЭМИГРАЦИЯ А. И. ТУРГЕНЕВА.—СТАРЕЙШАЯ ГЕТЕАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ: ВТОРОЙ МОСКОВСКИЙ ТУРГЕНЕВСКИЙ КРУЖОК. — АНДРЕЙ ТУРГЕНЕВ И „ВЕРТЕР". — ГЕТЕАНСКИЕ СИМПАТИИ АНДРЕЯ И НИКОЛАЯ ТУРГЕНЕВЫХ. — ЗНАКОМЕЦ ГЕТЕ ТОБЛЕР В СЕМЬЕ ТУРГЕНЕВЫХ. — ПОЕЗДКИ ТУРГЕНЕВА В ВЕЙМАР В 1826, 1827 И 1829 ГГ. ПО НЕИЗДАННЫМ ЕГО ДНЕВНИКАМ. — ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ГЕТЕАНСТВА А. ТУРГЕНЕВА. — ОТХОД А. ТУРГЕНЕВА ОТ ГЕТЕ. — НЕКРОЛОГ А. ТУРГЕНЕВА, ПИСАННЫЙ КАНЦЛЕРОМ МЮЛЛЕРОМ.

«Ты—энциклопедический паровик», обзывал Вяземский Александра Ивановича Тургенева[1]. И это верно: он был «паровиком»—до такой степени он был жив, подвижен, неустанен в своих скитаниях за границей, в своих безудержных поисках интересных встреч и знакомств с людьми, памятниками, ландшафтами и идеями.

«Он старался ничего не пропустить,—вспоминала о Тургеневе его парижская приятельница, жена писателя, Виргиния Ансло,—бывало, когда два лектора в двух разных городах почти одновременно должны читать свои сообщения, он успевает попасть и на то, и на другое, летя сломя голову от дверей одного университета к другому в почтовой карете»[2]. Немудрено, что он обладал пестрейшей «энциклопедичностью» знаний и полузнаний, мыслей и домыслов, сведений и наслышек, цитат и воспоминаний: ее было довольно, чтобы вести умный разговор в любом европейском салоне или кабинете, а любознательности и любопытства к жизни и современности было у Тургенева так много, что и в самых письмах его, писанных тысячами, Пушкин находил и ценил «живой, теплый, внезапный отпечаток мыслей, чувств, впечатлений, городских вестей, бульварных, академических, салонных, кабинетных движений»[3]. Пушкин недаром так ценил его письма: европейская современность была представлена в его «Современнике» одним современником—А. И. Тургеневым.

«Он был умственный космополит: ни в каком участке человеческих познаний не был он, что называется, дома, но ни в каком участке не был он и совершенно лишним». На острый глазок старого приятеля, «в нем встречались и немецкий педантизм, и французское любезное легкомыслие: все это на чисто русском грунте»[4]. При несомненном уме, не глубоком и не сильном, но впечатлительном и емком, Тургенев рожден был быть собеседником: жадная живость ума делала его отзывчивым и переимчивым современником тех разных «современностей», о которых говорит Пушкин, а переимчивость и емкость ума обеспечивала ему немалый запас умных или остроумных реплик и для разговора о романтизме с Шатобрианом, и для прений о междучелюстной кости с Кювье. Пусть Тургеневу в этих разговорах принадлежали лишь реплики, но и для того, чтоб удачно подавать их Шеллингу, Вальтер Скотту и Гумбольдту, нужно было обладать подлинным умом, значительной образованностью и острым чувством современности. Неудивительно, что беседу и переписку с Тургеневым ценили те, чей литературный или научный гений ценила Европа.

На стихотворном «портрете», снятом с Тургенева дружеской, но мало умелой рукой, есть такие штрихи:

Он пишет сжато, коротко,
А чувствует глубоко.
Влюблен в писателей с умом,
И, странствуя всеместно,

Со всей Европою знаком,
Все знает, что известно.
У Вальтер Скотта он живал,
С Кювье он подружился,
У Гете гостем пировал,
У Гумбольдта учился;
С Шатобрианом вечерком
У Рекамье прелестной
Всем знаменитостям знаком,
И гость везде любезный,
И с Ла Мартином он езжал,
Знавал друзей Байрона.

Все это правда. Ни один русский писатель не мог бы похвалиться таким числом европейских знакомств, как А. И. Тургенев. Широкие европейские связи Герцена и И. С. Тургенева известны, но они малы и тесны в сравнении со связями А. И. Тургенева. Европа 20—40-х годов ему была своя. Он в молодости учился у Шлёцера, Герена и Бутервека в Геттингене, а в зрелых годах слушал лекции и приятельствовал с Кювье и Ал. Гумбольдтом. «Поехали мы к Дагеру и видели новый способ снятия видов», сообщает он приятелю: это значит, он в 1839 г. был в лаборатории отца фотографии при самом ее рождении [5]. Он хорошо был знаком с целой плеядой европейских историков разных школ и направлений: с Савиньи, Нибуром, Вильменем, Мишле, Гизо, Ог. Тьери, Сен-При, Барантом и мн. др., но знавал он и такого «делателя» истории, как Талейран. Он близок был с либеральным Бенжаменом Констаном, но встречался и с таким столпом католической реакции, как Лакордер. Барон Гаккстгаузен, «открывший» общину в России, был в числе его знакомцев. С Шеллингом он был в дружбе и в переписке, но знавал и Кузена, и Дежерандо. Во французской поэзии, романе, критике, что ни славное в 20—40-х годах имя, то знакомцы, друзья, корреспонденты А. Тургенева: Шатобриан, Ксавье де Местр, Арно, Нодье, Ламартин, А. Мюссе, Сент-Бев, Жирарден, Евг. Сю, Бальзак, Мериме... Какой перечень имен! Он равен нескольким важнейшим главам в истории французской литературы XIX ст. «Недаром судьба свела тебя со Стендалем,—писал Тургеневу Вяземский,— в вас есть много сходства» [6]. Стендаль служил ему чичероне при обозрении Рима. Но Тургенев знал целые живые главы и в других современных литературах: встречался в Париже с Генрихом Гейне, посещал Тика и Шлегеля, дружил с Мицкевичем, гостил в Абботсфорде у Вальтера Скотта. Он ловил из первых рук и живые предания об умерших «властителях дум» Европы: он встречался с ветхим Бонштеттеном, другом Вольтера и поклонником Руссо, он был как родной принят в семье философа Якоби, он действительно «знавал друзей Байрона», он собеседничал с дочерью мадам де Сталь и верно, что

На бале в Риме танцовал
С сестрой Наполеона.

Этот список европейских дружб, приятельств, знакомств и собеседований страдал бы неполнотой, если б не включал славнейших артистов эпохи: художников звука—Шопена и Листа, художников краски—Ораса Верне, П. Корнелиуса, Овербека. «Сейчас получаю подарок от Давида:

статуэтку сидячего Тика,—делился он с Вяземским радостью.—Удивительное сходство! Жаль, что ты не навестил его рабочей: вся знаменитая современность в лицах!»[7] Так «вся знаменитая современность»—в письмах Тургенева.

За границей Тургенев сватает французам Вяземского, Боратынского, Пушкина, он заочно знакомит Шеллинга с Чаадаевым. В журнале Гизо «Revue francaise» устраивает он статьи Вяземского. «Ламартин просит у меня стихов Пушкина в прозе,—спешит он порадовать приятеля,—я заказал гр. Шувалову перевести»[8]. «Архивы роя» в Ватикане, по всей Франции и Германии, извлекает он оттуда ценнейшие документы для русской истории, сватая ее русским и иностранным ученым. Точно так же русскому читателю сватает он европейскую литературу и культуру 20—40-х годов.: он спешит делиться с ним и письмом Вальтера Скотта к Гете, и описанием гетева дома в Веймаре, и всем пестрым калейдоскопом европейских литературных и научных новостей, открытий, мод, увлечений. Про А. И. Тургенева можно сказать, что в спертом воздухе николаевской казармы он был маленькой форточкой в Европу, чрез которую доносился до русского читателя «и говор народа, и стук колеса» европейской жизни. Недаром все лучшие русские журналы этих лет наперебой стремились залучиться письмами А. Тургенева, и они последовательно появлялись в «Московском Телеграфе» (1827), «Европейце» (1832), «Московском Наблюдателе» (1835), «Современнике» (1836—1842), «Москвитянине» (1845), и недаром николаевская цензура так ретиво пыталась покрепче притворить эту форточку.

Мог ли этот «энциклопедический паровик» миновать Веймар?

Свой путь туда Тургенев намечал еще в ранней юности. Его знакомство с Гете подсказано ему всей историей его «Lehrjahre».

А. И. Тургенев (1784—1845) был идейный выкормыш самого раннего гнезда русских гетеанцев—московского, так называемого второго «Тургеневского кружка», сменившего в самом конце XVIII ст. первый тургеневский кружок—масонский, также в значительной степени опиравшийся на германскую мысль и литературу и имевший свои живые связи с Германией. Душою этого второго кружка был старший брат Александра Ивановича Андрей (1781—1803). Он и его друзья слыли в кругу молодежи из университета и университетского благородного пансиона за «записных немцев» (выражение С. П. Жихарева): это были самые прилежные в России и несомненно самые чуткие тогда читатели и почитатели Шиллера и Гете. В 1836 г. А. И. Тургенев из Веймара, из кабинета Гете, «желал напомнить друзьям русской литературы, коей некогда Москва и в ней университет были средоточием, о том влиянии, которое веймарская афинская деятельность имела и на нашу московскую словесность. Несколько молодых людей, большей частью университетских воспитанников, получали почти все, что в изящной словесности выходило в Германии, переводили повести и драматические сочинения Коцебу, пересаживали, как умели, на русскую почву цветы поэзии Виланда, Шиллера, Гете, и почти весь тогдашний немецкий театр был переведен ими; многое принято было на театре московском. Корифеями сего общества был Мерзляков, Андрей Тургенев. Дружба последнего с Жуковским не была бесплодна для юного гения»[9].

Андрей Тургенев—этот Станкевич молодого тургеневского кружка и их «дружеского Литературного общества»—проложил свою литературную дорожку в Германию: он знал не только Коцебу и Виланда, но и Гете,

и, говоря о любви Андрея Тургенева к немецким писателям, его приятель так и начинает: он «любит страстно Гете...» Остальные немцы идут потом[10]. Несмотря на то, что «Вертер» был уже переведен и трижды (в 1781, 1794, 1796 гг.) издан в России, Андрей Тургенев в 1799 г. сел за перевод романа, привлекши к делу Жуковского и Мерзлякова. В своем дневнике Андрей Тургенев отмечает: «Вертера с письма от июня 6-го числа начал переводить мая 24-го, 1799 года в университете, в своей комнате в 10-м часу в исходе ввечеру... Переведши одно письмо перестал, и Мерзляков тоже, потому что услышали, что уже в Петербурге переведено снова»[11]. Однако любовь к «Вертеру» превозмогла это соображение, и 19 августа 1799 г. Андрей Тургенев писал Жуковскому: «Наконец мы решились с Мерзляковым переводить «Вертера» и сперва принимаемся за первую часть»[12]. Почему Андрею Тургеневу понадобилсь делать уже сделанное дело, он сам объяснил Жуковскому в 1802 г.: «Мое состояние очень походит на то, которое описано в «Вертере» в том письме, которое ты переводил»[13]. Переводить «Вертера» для Андрея Тургенева значило писать собственную исповедь. По этой же причине четверть века спустя сядет за новый перевод «Вертера» другой русский вертерьянец—юноша Н. М. Рожалин. Из неоконченного перевода трех друзей увидело свет только ранее (1798) переведенное Андреем Тургеневым «Письмо к другу»[14]. Гетеанство Андрея Тургенева и его кружка было вертерьянство их возраста, стиля, эпохи, класса. «Вертер» был настольной их книгой.

Андрей Тургенев подарил любимую книгу Жуковскому; на экземпляре «Leiden des jungen Werthers» von Goethe. Leipzig. Ausgeg. Georg-Joachim Göschen. 1787» он написал:

«Свободным Гением натуры вдохновенный,
Он в пламенных чертах ее изображал;
И в чувстве сердца лишь законы почерпал,
Законам никаким другим не покоренный.

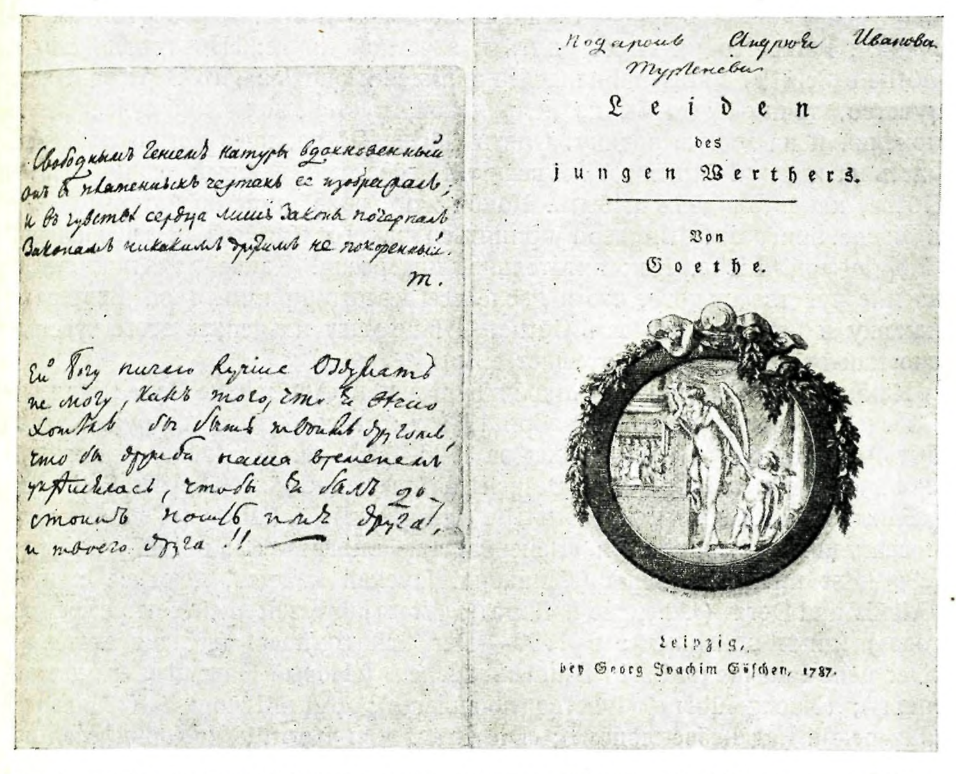
Т.

Ей богу ничего лучше вздумать не могу, как того, что я вечно хотел бы быть твоим другом, чтобы дружба наша временем укрепилась, чтобы я был достоин носить имя друга, и твоего друга!!»[15]

Эта надпись в целом—прекрасный памятник самого раннего русского вертерьянства, и эти стихи—первое русское стихотворное приветствие, обращенное к Гете.

Жуковский через 20 с лишком лет в своей «Надписи к портрету Гете» дал лишь парафразу этих стихов рано угасшего юноши, одного из первых русских Вертеров. «Вертер» долго жил в чувствах младших Тургеневых— Александра и Николая. В 1819 г. в Петербурге шла на театре пародия Дюваля и Рошфора: «Werther, ou les égarements d'un coeur sensible». Любопытный Ал. Тургенев посмотрел ее и даже посмеялся изрядно, но тут же и покаялся: «Сколько ни весело было мне смеяться над дурачествами Вертера, но я право не рад, что запачкал душу и воображение свое этими шутками и разочаровал себя, может быть, надолго для чтения настоящего «Вертера», которого почитаю прекраснейшим произведением ума и опытности человеческого сердца. Я его помню местами наизусть, между тем как все забыто мною, что прельщало молодое сердце»[16]. Это писал 35-летний помощник государственного секретаря, директор департамента духовных дел: так силен в нем был вертерьянский заряд молодости. Совершенно

так же отнесся к пародии на «Вертера» младший Тургенев—Николай, тогда уже автор «Опыта теории налогов» и один из главарей «Союза Благоденствия». «Я смеялся,—записал он в дневнике 18 октября 1819 г.,—но вообще осталось во мне чувство неприятное: mauvaise plaisanterie, la farce dégoûtante! (плохая шутка, безвкусный фарс!)... Я не помню пьесы, которая бы оставила во мне столь неприятное, отвратительное впечатление. Желал бы иметь жар и красноречие Руссо, чтобы показать всю гадость таких бессмысленных шуток и варварство публики, забавляющейся карикатурою Вертера, естьли впрочем эта публика знает настоящего



Книга Гете „Leiden des jungen Werthers", подаренная Андреем Тургеневым В. А. Жуковскому в 1799 г.
Слева—надпись Андрея Тургенева; надпись на титуле—рукою В. А. Жуковского
Институт Русской Литературы, Ленинград

Вертера, и естьли она достойна пера Руссо» [17]. Вертер так прочно вошел в мысль и чувство Тургеневых и их друзей, что даже отразился в их живом словаре: «Тебе в припадке романтизма весело надуваться,—упрекал Вяземский, отнюдь не Вертер, а Онегин 10—20-х годов, Александра Тургенева,—ты вертерничаешь изо всей мочи, а на поверку ветренничаешь» [18]. Получив от опального Пушкина письмо, Вяземский пишет тому же приятелю: «Я получил от него письмо после катастрофы, где он мне о ней говорит, но совсем не в вертеровом духе»[19].

Все это чувствовалось и говорилось в конце 10-х, в начале 20-х годов XIX ст.; молодыми же людьми в самом конце XVIII, в начале XIX ст. все это переживалось с удесятеренной силой.

В руках Андрея Тургенева и его сверстников был весь изданный тогда Гете: «Пришел и увидел у Мерзлякова Göthe 2-ую часть, стал перебирать

ее», записывает Андрей Тургенев в 1799 г.; через год—16 марта 1800 г.— он восторгается «Эгмонтом»: «Чтение гетева «Эгмонта» открыло во мне некоторые новые чувства. Он изображен так живо, с такой истиной и натуральностью, так близко к натуре человеческой, что я как будто бы знал его, наслаждался его обхождением и жил с ним» [20]. Чтение драм Гете и Шиллера освобождает эту молодежь от обаяния господствующей на сцене придворной французской и русской ложноклассической трагедии: «немецкие трагедии,—решает глава кружка,—преимущественны перед французскими, где действуют государи и пр., которые не могут так сблизиться с нами» [21]. Эти отпрыски старых дворянских гнезд ценят в поэтах «бури и натиска» новый реализм «мещанских драм» и трагедий с участием народных масс. Но их тянет опять к заветной книге: «Почитавши стихов Göthe в Schiller's Musenalmanach, принялся я опять за его Вертера. Какое чувство, точно будто бы из неприятной, пустой, холодной чужой земли приехал я на милую родину. Опять Göthe, Göthe, пред которым надобно пасть на колени! Опять тот же великий, любезный, важный, одним словом, Göthe, каков он должен быть. Какой жар, сила, чувство натуры! Тоже и после эпиграмм Шиллера приняться за его Карлоса, Раз[бойников], Cab[ale] und Liebe. Как питательно, интересно! Какое приятное теперь во мне чувство от того, что я после всего этого принялся за Вертера и нахожу в нем все, что есть Göthe. Я не могу изъяснить этого чувства: оно как-то согревает и утешает меня» [22].

Какие стихи Гете прочел Андрей Тургенев в «Альманахе Муз» Шиллера? Он сделал свою запись 26 ноября 1799 г.; стало быть в его руках могли быть выпуски этого «Альманаха» за 1796—1799 гг. Вот какие вклады сделал туда Гете: в 1796—«Der Besuch» («Посещение»); «Nähe des Geliebten» («Близость любимого»); «Meeresstille und glückliche Fahrt» («Тишь на море и счастливое плавание») и «Венецианские эпиграммы»; в 1797—«Mignon» («So lasst mich scheinen») («Миньона. Пускай кажусь, пока не стану»); «Alexis und Dora» («Алексис и Дора»); «Vier Jahreszeiten» («Четыре времени года») (цикл эпиграмм); в 1798—«Der Schatzgräber» («Кладоискатель»); «Der neue Pausias und sein Blumenmädchen» («Новый Павсий и его цветочница»); «Nachgefühl» («Чувство прошлого»); «An Mignon» («К Миньоне. Над рекой над небосклоном»); «Die Braut von Korinth» («Коринфская невеста»); «Der Gott und die Bajadere» («Бог и баядера»); «Der Zauberlehrling» («Ученик чародея»); в 1799—«Der Edelknabe und die Müllerin» («Паж и мельничиха»); «Amintas» («Аминт»); «Euphrosyne» («Ефросина»). Какой бы из годов «Альманаха Муз» ни был в руках Андрея Тургенева, но по этому перечню видно, что перед ним были лучшие перлы лирики Гете второго периода, в которых с особой яркостью и силой играл, сиял, обдавал космическим теплом его солнечный гений. Пред московским юношей был Гете, славящий жизнь, природу, любовь, Гете совершеннейшей классической формы,—и от всего этого цветения, солнца и синего неба Андрей Тургенев испытал чувство «неприятной, пустой, холодной, чужой земли». «Милой родиной» оказалçя опять «Вертер», только «Вертер».

Гетеанство этих усадебно-антресольных юношей среднего дворянского круга было, это должно повторить, вертерьянством.

Все, что в произведениях Шиллера и Гете расценивалось в Германии как политический протест или как новое социальное чаяние, для этих первых русских гетеанцев-кружковцев было не очень доходчиво: им понятнее была литературно-формальная направленность первых произведений Гете

и Шиллера против старой ложноклассической традиции да близок был не мятежный, а метущийся во внутренних чувствах герой первого романа Гете, в котором они видели самих себя.

Александр Ив. Тургенев воспитался не только под влиянием этих гетеанских чувств и чтений своего старшего брата, но и под влиянием живого предания о Гете. Воспитателем Андрея и Александра Тургеневых был женевец Георг-Кристоф Тоблер (Tobler, 1757—1812), родственник Лафатера, переписывавшегося с Ив. П. Тургеневым и Карамзиным. Он вошел в семью Тургеневых еще до 1792 г., когда И. П. Тургеневу приказано было Екатериной II—в связи с делом Н. И. Новикова—переселиться со своей семьей на безвыездное житье в симбирское поместье—в Тургенево. Все время ссылки (1792—1796) Тоблер провел с Тургеневыми и жил у них некоторое время и по возвращении их в Москву. В 1827 г. Александр Тургенев писал из Цюриха брату Николаю: «Мысль моя летала в минувшем, которое ближе моему сердцу. Я думал о Лафатере, коего любил батюшка, думал о родственнике Лафатера Тоблере, который был не столько учителем, сколько другом нашим, т. е. брата Андрея, ибо я еще не знал цену ему; но сохранил все его письма к брату, которого он любил и расставшись с ним»[25]. Тоблер был знакомец Гете. Весною 1781 г. он явился к Гете из Женевы и вручил ему рекомендательное письмо от Лафатера. Гете дружески отозвался о нем Лафатеру: «Тоблер очень мил: я могу быть с ним откровенен. Кнебель (друг Гете.—*С. Д.*) дал ему квартиру. Тебе также хорошо будет, что через него будешь слышать о нас. Минутами он очень живо напоминает мне тебя, в особенности когда он становится весел и шутлив» (7 мая). Через полтора месяца Гете опять писал Лафатеру о Тоблере, сообщая, что ему «у нас так хорошо, как только может быть при его обстоятельствах». 2 августа Гете записал себе для памяти: «С Тоблером при случае об истории». Повидимому Гете интересовался переводческими трудами Тоблера («Агамемнон» Эсхила), а любитель классической филологии Кнебель покровительствовал ему. В ноябре Тоблер покинул Веймар. «Кнебеля нет здесь,—писал Гете Лафатеру 14 ноября,—и эту зиму он проведет со своими. Это—причина того, что Тоблер так долго медлил. Он теперь приехал к тебе и в состоянии рассказать тебе о нас больше, чем я мог бы во многих письмах». Дополнительно Гете развивал ту же мысль в письме от 3 декабря 1781 г.: «Тоблер перенесет тебя к нам ближе, чем это сделали бы многочисленные письма. Никогда не бываешь в состоянии написать о себе другу то, что ему было бы всего интереснее, потому что сам не знаешь, что кому интересно»[24].

Сообщения Тоблера должны в глазах Гете заменить его дружеские письма к Лафатеру; знак, что к Тоблеру была известная доверенность, предполагающая и бесспорную симпатию, а тот факт, что Тоблер жил у другого друга Гете—Кнебеля, еще более удостоверяет, что швейцарец вошел в веймарский круг Гете.

В конце 80-х годов Тоблер отправился в Россию.

Такой человек мог внушить своим русским питомцам и их сверстникам не только интерес к поэзии Гете, но и тягу к личному общению с поэтом. Это так и было. Когда в 1802 г. Ал. И. Тургенев собирался в Германию, приятель его брата, некий И. Ф. Журавлев, человек небогатый, писал ему с отчаянием: «Щастлив тот, кто имеет случай там побывать. Щастливым называл я тебя, что имеешь надежду жить в блаженной ученой республике; я провожал тебя мыслями; не смел шептать тебе на ухо, чтобы

ты и меня с собою взял, считая невозможным; наконец предлагал тебе с радостью и некоторым сомнением, ожидая отказ. Мой друг! Щастие тебе благоприятствует; обстоятельства посылают тебя в любезную страну; мы вместе некогда мечтали быть и в ней неразлучными; вместе энтузиазмом горели пожить несколько в Германии, называя ее щастливою; теперь все восхитительные мечты твои сбываются, а я остаюсь. Сжалься, возьми и меня с собой; я службу оставлю и готов заменить одного из твоих лакеев, лишь бы только быть с тобою, быть в блаженной Германии» [25]. Это—вопль настоящей «тоски по чужбине», по прекрасному выражению П. А. Вяземского [26], по чужбине любимых поэтов и мыслителей, которая мнится тоскующему второй родиной, более родной, чем первая.

Если бы не заставы и карантины, наставленные Павлом I, эта молодежь вырвалась бы к Гете в Веймар раньше всех.

Александр Тургенев сам был охвачен этой тоской в 1802 г., когда, «архивный юноша» первого призыва, он получал уже чины в архиве Министерства иностранных дел и когда «службу вдруг оставил» и поехал учиться в Геттинген. С дороги, из Лейпцига, рассказывая Жуковскому о сильном впечатлении, произведенном на него представлением «Орлеанской Девы», Ал. Тургенев делится с другом заветным планом: «Из Геттингена съездим мы в Веймар, где живут теперь Шиллер, Гете, Виланд, Гердер» [27]. Однако план этот не осуществился. В Геттингене процветали науки исторические, и сам Тургенев так увлекся научными занятиями и лекциями Шлёцера, что последний добивался даже принятия Тургенева в адъюнкты Петербургской Академии Наук. Тем не менее любовь к Гете в нем не умалилась: он и у Шлёцера вел оживленные беседы о Гете, а 19/31 марта 1803 г. «госпитировал у Эйхгорна в Litterair-Geschichte и слышал описание его характеров и творений Лафатера и Гете»[28], и его попрежнему тянет в Веймар [29].

Вернувшись в Россию, опять поступив на службу и достигнув «степеней известных», А. Тургенев остается ревностным читателем Гете. В «Арзамасе» он вместе с Жуковским и Уваровым был представителем «немецкой стороны» в противоположность французолюбивому Вяземскому. Имя Гете пестрит в переписке Тургенева 10—20-х годов. В 1825 г. А. Тургенев с негодованием встретил мнение А. А. Бестужева («Полярная Звезда» 1825 г.), будто русские журналы «вряд ли уступают иностранным» и будто немцы давно уже живут только переводами из журнала Г. Ольдекопа, петербургского немца-цензора: «И я должен был прочесть этот приговор немцам в такую минуту, когда предо мной лежат классические их журналы с глубокомысленными и блистательными рассуждениями о всех предметах словесности и просвещения! Я бы мог указать ему на любую журнальную статью, в которой больше ума и даже вкуса, нежели во всех отечественных наших бреднях и хвастовствах» [30]. Как прилежно читал Тургенев Гете, видно из следующего эпизода: рассказывая не читавшему по-немецки Вяземскому о трагедиях Раупаха, Тургенев пишет: «Раупах, может быть, теперь из лучших поэтов, если не лучший в Германии, ибо Гете не принадлежит уже нашему веку, по крайней мере, по своей поэзии. Он теперь вдался в естественную историю и выдает журнал по сей части, в первой части коего описано его первое знакомство с Шиллером—единственное отступление от общего предмета журнала, но есть и стихи, достойные прежнего Гете, хотя не много» [31]. Вряд ли в Петербурге, кроме ученых немцев из Академии, кто-нибудь еще выписывал и читал сборник

Гете «Zur Morphologie» (1817—1823), где были напечатаны (ч. 1, стр. 90—96) воспоминания Гете о Шиллере («Glückliches Ereigniss»): до такой степени со всем без исключения знакомился А. Тургенев из того, что выходило из-под пера Гете. Столь же прилежным читателем Гете был и обремененный делами Н. И. Тургенев. В его дневниках (1816—1821 гг.) нередки записи о чтениях Гете и статей о нем: в 1816 г., 7 ноября, половина 12-го ночи: «Теперь возвратился и развернул Гете (Dichtung und Wahrheit)»; в 1817 г., 23 января: «Göthe, Dichtung und Wahrheit» (сделан ряд выписок из третьего тома); 4 февраля: «По вечеру читал Гете»; в 1818 г. 25 февраля: «Ну, пора спать и читать в (предположительно «Isis», журнал Окена.— *С. Д.)* разбор из Edinburg Review Göthe»; в 1821 г., 27 октября: «Я по вечерам читаю теперь «Ch. Lacreteble Assamblée Constituante» и «Фауста» Гете» [32]. Гете часто на языке у братьев Тургеневых. Он дает им и формулы для их негодования, возбуждаемого аракчеевским режимом 20-х годов: их томит желание бежать «под небо Шиллера и Гете» от эпохи шпицрутенов.

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn,
Im dunklen Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst du es wohl? ... Dahin! Dahin!

21 Aug. 1823.

Эпиграф из Гете („Kennst du das Land") к тринадцатой книге дневника Николая Тургенева
Запись от 21 августа 1823 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

Записав в дневнике своем сцену появления в Государственном Совете Аракчеева и холопского раболепства пред ним всего Совета, Н. Тургенев заключает ее воплем: «Dahin, dahin, wo die Zitronen blühen!» [33]

Это же восклицание он ставит эпиграфом ко всей 13-й книге своего дневника (1821—1824), наполненной негодованием на дворянское крепостничество и холопство пред аракчеевским капралом. То же «Dahin, dahin» повторяет и благодушный Ал. Ив., которому также стало невтерпеж от аракчеевства.

Характерно, что своей тягой в Германию А. И. Тургенев заразил в какой-то степени и французолюбца Вяземского. «Тебе, советам твоим, дружбе твоей поручаю указывать мне, где и как бросить свой страннический посох,—писал ему Вяземский еще в 1815 г.—Признаюсь тебе, что желание мое и сам рассудок манит меня в Германию ко двору или веймарскому или тому, где будет царствовать великая княгиня» (Екатерина Павловна). Вяземский непрочь был служить при литературном веймарском дворике [34].

14-е декабря застало братьев Тургеневых за границей. С родной чужбины на родину-чужбину Н. И. Тургенев мог возвратиться только через 30 с лишком лет. Александр Иванович эмигрантом не сделался, но полуэмигрантом он был до конца своей жизни: на родине он лишь гащивал,

на чужбине он жил и если загащивался в империи Николая I долго, то испытывал острую тоску по чужбине. «Как меня ни кормят здесь русской стариной,—писал он Вяземскому из Москвы в 1840 г.,—а я все в лес смотрю. Волею или неволею я принадлежу России, ее истории, ее внутренней жизни, ее коммеражам, ее порокам и бедствиям, ее славе и доблести. Я весь русский, но... не могу продолжать письма» [35]. Это «но» хорошо чувствовали охранители николаевской казармы и в 1843 г. пригласили А. Тургенева дать Бенкендорфу «некоторые объяснения» по поводу его полуэмиграции во Францию, Италию и Германию [36].

В первом же году своей полуэмиграции, в 1826 г., Тургенев и удовлетворил свою старую тягу в Веймар. В неизданном дневнике А. И. Тургенева находится запись:

«16 марта. Утро в Эрфурте.

Веймар. Нем[ецкие] Афины. В 12-м часу утра явился к великой княгине. В 2 часа прислала за мной карету, отдала письмо к императрице, говорила о России, об императоре со слезами. «Поведение братьев достойно незабвенного»—лучшего ни о ком сказать нельзя, и опять слезы блеснули в глазах ее.—Поручила поклониться Кар[амзиным]—уверена, что они не переменились ни в чувствах, ни в образе мыслей. Вот что удержал в памяти, смотря на милые черты ее, изображающие глубокую горесть, ум и душу высокую!—Поклон от гр. Эглофштейн Плещеевой» [37].

Свой первый шаг в Веймаре Тургенев, несмотря на свою полуэмиграцию, направил к Марии Павловне. Мария Павловна встретила его как верноподданного и повела разговор о преддекабрьских династических контраверзах, прикрыв их вуалью сентиментального умиления пред «самопожертвованием» Константина Павловича и «рыцарством» Николая Павловича. Тема разговора Тургенева с Марией Павловной—декабрьские события—наводит на предположение, что в разговоре могла итти речь и о брате Тургенева, декабристе. Александр Иванович искал средств для его политической реабилитации и мог надеяться найти в Марии Павловне нужного ходатая пред Николаем.

16 марта Гете была подана такая записка: «Русский действительный статский советник и помощник государственного секретаря А. Тургенев по дороге из Лондона в Петербург пробудет в Веймаре только несколько часов. Тургенев, друг юности Жуковского, мечтает о счастьи хоть раз в жизни увидеть г. тайного советника Гете. Веймар, 16 марта 1826 г.» [38].

Гете дал это счастье старому русскому гетеанцу, отметив в дневнике с обычной лаконичностью, не распространяющейся только на чины и титулы: «Г. А. Тургенев, русский императорский статский советник и помощник государственного секретаря» [39].

В дневнике Тургенев записал:

«Был у Гете. На пороге—Salve. Издает полные сочинения; сказал о занятиях своих по нат[уральной] ист[ории]: «Они нашли меня, не я набрел на них». В книжной лавке нет ничего нового. Желал видеть веймарский Вестминстер, St. Jacobs Kirche, где над Гердером свет, любовь [жизнь] сияют незаходимою славою, где (в) Бозе [пропуск у Тургенева] ожидают награды полезным трудам своим и где над Шиллером—нет памятника! Здесь и Лука Кранах и Музеус. Сия [пропуск у Тургенева] была заперта, и я издали поклонился праху их!—Вся Германия читает Шиллера—и прах его сиротствует. Приписывают это не холодности Германии, но обстоятельствам, в коих была Германия в год его кончины. Речка Ильм. Струи ее журчат бессмертием. Стихи Шиллера на Ильм» [40].

О живом Гете А. Тургенев сказал меньше, чем о покойных: Гердере, на могиле которого он не разобрал одного слова в эпитафии: «Licht, Liebe, Leben», и Шиллере, о посмертной судьбе которого он погоревал. Вероятно уже в это первое свидание Гете поразил Тургенева безукоризненной строгостью своего туалета и манер. В 1840 г. по поводу словесно-неряшливого публичного чтения Погодина о древней Руси Тургенев вспомнил Гете: «Не позволено... профессору пред публикой являться в шлафроке салонного разговора. Гете и запросто всегда выходил в сюртуке к своим посетителям» [41]. Судя по тому, что в своей записке Тургенев сослался на Жуковского, уже известного Гете, можно предположить, что короткий разговор Гете с Тургеневым не миновал этого поэта и придворного педагога.

В январе 1827 г. в Дрездене, в обществе поэтов и художников, А. Тургеневу довелось присутствовать при любопытном споре о Гете. Он записал этот вечер в дневник под 14 января, а на другой день—15-го—включил эту запись в письмо к поэту И. И. Козлову, оставив у себя в бумагах «Выписку из письма к Козлову от 3/15 января». Эта «Выписка» быстро перекочевала из Петербурга, где жил Козлов, в Москву, и уже в феврале русский читатель мог ее прочесть в «Московском Телеграфе» в отделе: «IV. Современные летописи. Иностранная переписка. «Письма из Дрездена» (№ 4, февраль, стр. 341—350; подпись «Э. А.» («Эолова арфа»). Быстрота, с какою частное письмо превратилось в статью для публики, свидетельствует о том живейшем интересе, с которым встречались письма А. Тургенева в мире литературном и издательском. Но и быстрота превращения записи дневника в письмо к приятелю—хороший показатель литературных приемов Тургенева: его письмо к Козлову Н. А. Полевой мог напечатать в своем журнале с ничтожнейшею редакторской правкой; это «письмо» было совершенно законченным стилистически и отточенным литературным произведением настоящего мастера: вся работа писателя произошла на стадии переработки записи дневника в письмо к приятелю.

Я привожу здесь этот рассказ о гетеанском споре по неизданной «Выписке из письма к Козлову» [42].

«Мы были на литературной вечеринке у здешней живописицы и литераторши m-lle Winkel, где собирается вся ученая, пишущая и поэтическая братия. Мы слышали журналиста Кинда, который нападал на Гете за то, что он сюжет для Германа и Доротеи украл у какого-то современного журналиста, слово в слово описавшего в Рейнском журнале анекдот, служащий основанием сочинению Гете. Все восстали против несправедливости нападения, как будто бы Гете имел нужду скрывать заимствованную быль (factum), которую он возвысил, украсил, сотворил снова в своей прекрасной поэзии. С равною справедливостью можно бы обличать в покраже мрамора для Венеры Фидиаса или создателя Аполлона. Тут дело не в глыбе мрамора, а в формах и в выражении божественности идеальной! Так же как Корреджио не краскам обязан своей Мадонной, так и Доротея Гете—вся хотя и в Натуре, но Гетем созданной, им идеализированной. Скорее Корреджио мог найти вдохновение для изображения своей Мадонны в богодухновенных песнях церковных, нежели Гете в журналах современных своего Германа. Слушая крошку-Кинда, который важничал, читая нам свои исторические документы против Гете, я невольно вспомнил Крылова:

Ай, Моська! Знать она сильна,
Что лает на слона!

Вместе с тем вспомнил и стихи Шиллера и применил их к Гете:

Und was er bildet, was er schafft,
Das dankt er seiner Dichterkraft!

а не повести о французских эмигрантах на Рейне. Но этой вылазке обязаны мы ответом антиквария Беттихера, который, выслушав Кинда, сел на его место и рассказал сам анекдот, коего он сам был свидетелем в Веймаре, у герцогини. В разговоре Гете с Гердером последний однажды сказал ему, что конечно он заимствовал содержание Германа и Доротеи из анекдотов о французских эмигрантах в 1792 г. Тут Гете с жаром ответил Гердеру, что он почти все сочинения свои брал из натуры и из истории, следовательно из других, но что именно простой сюжет этой идиллии он ни от кого не заимствовал, а сам изобрел. И в этом можно ему верить, ибо не нужно большого творческого труда, чтобы выдумать происшествие, которое, конечно с большим или меньшим изменением, не раз могло случиться во время похождений эмигрантов французских на Рейне и во всей Германии. Теперь и здесь, и в других местах Германии какой-то дух брани против Гете распространился, но враги так мелки, что их едва и замечают в борьбе с гигантом; а они, несмотря на то, продолжают гомозиться, забывая, чем Гете обязана Германия и что он истинный, верный представитель не одной только Поэзии Немецкой, но и всей Германской сивилизации. Он живое выражение всей их интеллектуальной национальности, более нежели Шекспир английской, а Вольтер—французской, ибо он выражает немцев и в поэзии, и в учености, и в чувстве, и в философии, действуя на них, а через них и на всю европейскую литературу; служить вместе и верным, всеобъемлющим зеркалом Германизма, коего он сам есть создание; между тем как Шекспир создал вкус и народность англичан в поэзии, а Вольтер образовал век свой и французов, а не ими образован. Я не понижаю и не возвышаю Гете, а ставлю его на его место в Германии, в сравнении с местом, занимаемым Шекспиром в Англии и Вольтером во Франции» [43].

Тургенев никогда не высказывал своего взгляда на Гете с такою полнотою, как в этом письме. Это в своем роде апология Гете, несмотря на заявление автора, что он не «возвышает» Гете, и очень характерно, что она вызвана защитой «Германа и Доротеи», этой бюргерской идиллии, в которой Гете дальше всего ушел и от весенне-бурного вертерьянства и от «томлений духа» Фауста, которыми бывало увлекался А. Тургенев.

Любопытна одна из записей его дрезденского дневника (после «30 генваря»; твердой даты нет). Он читал тогда книгу Д. Стюарта и сделал между прочим такое замечание: «Не одно зрение, как Аддисон и Reyd и другие полагали, но и все другие чувства наши, коими постигаем, доставляют материалы воображению: благоухание цветов, пение соловья в роще; даже вкус—Kennst du das Land, wo die Citronen blühen? В этой пьесе Гете кажется все чувства спорят о преимуществе обогатить, украсить воображение. Д. Стев[арт], не зная немцев, напомнил Томсона: «The wonders of the torrid Zone» (Чудеса знойной области) в его «Лете». Не Томсон ли в сих прекрасных стихах передал вдохновенье свое и Гете?

Bear me, Pomone! to thy citron growes:
To where the lemon' and the piersing lime
With the deep orange, glorios thro the green,
Thier lighter glories blend.

(Перенеси меня, Помона, туда, где растут лимоны, туда, где померанец и персик, прекрасные среди зелени, сочетаются с густыми апельсинными деревьями в их лучезарном великолепии).

Тургенев ставил вопрос о литературном источнике знаменитой любимой им строфы Гете[44].

В конце лета 1827 г. Тургенев выехал из Парижа в Эмс с поручением к Гете от Марка-Антуана Жюльена (Jullien de Paris, 1775—1848). Это был

Автограф записки А. И. Тургенева к Гете от 16 марта 1826 г.
Goethe- und Schiller-Archiv

выдающийся писатель, ученый (физик), публицист, педагог и поэт. Он был одним из основателей известных либеральных изданий «Constitutionnel» и «Revue Encyclopedique», читавшихся по всей Европе; и Тургенев, и Вяземский были прилежными читателями обоих изданий. «Московский Телеграф» часто печатал выдержки из «Revue», даже А. Бестужев считал это «обозрение» «сносным». Небезызвестен был Жюльен и как поэт, в особенности как автор «La France en 1825, ou mes regrêts et mes espérances»; собрание его стихов под таким же заглавием в 1825 г. вышло уже вторым изданием. Но у Тургенева был еще особый интерес к этому французу: Жюльен был переводчиком «Истории» Карамзина. В 1818 г. была объявлена в Париже подписка на «Историю», и Тургенев осведомлял Вяземского, что «французы перевели уже почти 7-й том, но не знают еще, чем платить; парижские французы (и Жюльен в их числе) выдают первый том». Французское предприятие вызвало тревогу Каченовского, давнего про-

тивника Карамзина, и он в 1819 г. в своем «Вестнике Европы» напал на «Предисловие» к «Истории», уже напечатанное Жюльеном и другими переводчиками. Однако и радость карамзинистов, и тревога Каченовского были преждевременны: во Франции не нашлось охотников читать «Историю государства российского», и предприятие не состоялось[45]. В 1825 г., когда А. Тургенев попал с братом Николаем в Париж, он завязал знакомство с Жюльеном, был вместе с ним на заседании филотехнического общества и из всего заседания запомнил лишь либеральный стих Жюльена: «La pouvoir absolu n'est jamais légetime»[46]. Жюльен вручил Тургеневу для передачи Гете письмо и пакет [47].

В Эмсе Тургенев взял и еще поручение к Гете от старого знакомого и корреспондента Гете Хр.-Лудв.-Фр. Шульца (1781—1834). По образованию будучи юристом, он увлекся естественными науками, был директором фарфоровой фабрики и как-то ухитрился связать свою работу с гетевским излюбленным «Учением о цветах». Шульца хватало на то, чтоб перекладывать на музыку стихи Гете, штудировать Платона, изучать химию и оптику и заниматься рисованием. Этот страстный поклонник «Учения о цветах»—книги, которою, как известно, Гете гордился больше, чем «Фаустом», и которая не была признана учеными,—сделался, едва ли не ради любви его к «Farbenlehre», одним из близких к Гете людей. Гете прислал ему свою книгу, а в 1816 г. состоялось их личное знакомство, поддерживаемое деятельной перепиской. Увлечение Шульца «Учением о цветах» было так велико, что он поставил в Берлинском университете оптические опыты по системе Гете и излагал отдельные параграфы «Farbenlehre» в стихах. У Шульца в Берлине собирались друзья Гете: Цельтер, Раух, Тик; бывал и Гегель. Гете дорожил Шульцем не только как последователем в корне ошибочного «Учения о цветах», но и как политическим единомышленником. В середине 1820 г. Шульц поселился в Вецларе и обратил свой научный интерес к архитектуре: он изучал памятники римлян в Германии. Гете поддерживал в нем этот, столь сродный ему самому интерес [48].

В Эмсе Шульц познакомился с А. Тургеневым и воспользовался случаем письменно побеседовать с Гете о римской архитектуре в Германии. В своем письме в Веймар от 2 августа Шульц писал: «Вероятно любезные графини Эглофштейн и их достойная мать распространили обо мне в высшем кругу, особенно среди русских высокопоставленных особ, слух, что Вы благоволите ко мне, и так как Ваше дорогое имя пользуется величайшим уважением, то и я, вовсе незаслуженно, удостаиваюсь чести, которая принадлежит только Вам. На-днях является ко мне господин Тургенев, русский действительный статский советник, с которым я познакомился и которого уважаю, и предлагает захватить завтра эти строки к Вам» [49].

Утром 6 августа Тургенев был уже в Веймаре, и Гете в этот день записал в дневнике: «Русский статский советник Тургенев, привезший письма и пакеты от г. Жюльена из Парижа и от ст. сов. Шульца из Эмса» [50].

Гете был болен, и Тургенев не был принят им, а только вручил письма его домашним.

Вот что читаем в неизданном дневнике Тургенева:

«4 в Франкфурте.... Выехал в 9-м часу вечера, пробыв 12 часов. 5 поутру в Фульде: церкви. Проехал Эйзенах; ввечеру видел издали, при свете луны, Вартбург. Проехал Готу ночью. Поутру 6-го в Эрфурте—и к 9 часам

в Веймаре. Гете, канцлер Мюллер. Священник Ясновский. Гофмаршал Бьелке. Парк. Бельведер. Вел. княгиня. Обед, вечер в парке. Дом городской и загородный Гете. Оранжерея. Парк поутру. Журнал [оставлено место, ничем не заполненное]. Статья Гагерна об Александре. Рукопись Карам[зина] для Гете. Библиотека и альбумы. Портреты и бюсты. Гете и Ал. Л. Нарышкин. Письмо к[н]. Волх[онской]. Ильма. Гете и современники уже как потомство. Медаль его. Герцог и супруга его. Наследный принц и М[арии] П[авловны] младшая дочь: характер ее. Пособие артистам и ученым. Незабудки в оранжерее сорванные. Выехал в 4 час. попол[удни]» [51].

Подробнее о веймарских впечатлениях А. И. писал брату Николаю (письмо от 7 августа): «Поутру просидел у меня более 2 часов канцлер Мюллер, друг Гете, которого я принял за Штруве (русский поверенный в делах в Веймаре.—*С. Д.*), поверив Никите, и в сем заблуждении и расстался с ним». Обедал Тургенев у Марии Павловны, тотчас же приславшей за ним, как только узнала о его прибытии, гофмаршала с коляской.

«Приняла ласково,—сообщает Тургенев брату,—и, выспросив о здоровьи кн. Волх[онской], много говорила о Карамзине. И муж, и милая дочь ее 15 лет, о которой рассказывают здесь чудеса по уму и характеру, были очень ласковы. Я обедал во фраке, но в башмаках; другие и в сапогах, и в костюмах довольно странных. И за обедом, и после много говорили; но перед прощанием в. к. еще подошла и сказала, чтоб еще что-нибудь поговорил с нею о Кар[амзине]. Я рассказал ей, как он рассердился за пенсию. Узнав, что я желаю видеть оранжерею и ботанический сад, она послала со мною гофм[аршала]. И садовник все показал мне» [52].

По этому письму получается впечатление, что при веймарском дворе больше говорили о Карамзине, чем о Гете. Но вот что писал тогда же А. И. Тургенев И. И. Дмитриеву: «Желал бы передать вам разговор мой с в. к. Марией Павловной, который обворожил меня. От России перешли мы к Германии и ее ученым, от Геттингена к Иене, от Гете к Карамзину и с ним опять возвратились в Россию, и я желал бы вечно слушать эту порфироносную музу. В. к. Анна Павловна говорила с чувством о Москве и о певце во стане русских воинов» [53]. Русско-веймарская пропорция литературных любезностей была соблюдена.

«После обеда узнал ошибку [относительно канцлера Мюллера],—продолжает А. И.,—и по его приглашению пошел к нему. Он возил меня по всему парку, показывал загородный дом Гете, где он писал свою Ифигению, потом привез и в городской сад его и показал места, им любимые, рассказывая о нем анекдоты и знакомя меня с гросс-герцогом. Уговорил меня завтра и ему, и старой герцогине представиться, сам ходил для этого к гофмаршалу и пришел ко мне с ответом уже в 10-м часу вечера и просидел до 12-го с тем, чтобы завтра в 7-м часу опять возвратиться итти со мной гулять в библиотеку. Прочел мне статью Гагерна, своего друга, о имп. Александре в периодич. сочинении «Der Einsiedler». Гете был у меня с визитом, по крайней мере я нашел его карту». Карточку Гете завез вероятно его сын Август; сам Гете не выходил из дому из-за простуды [54], как видно из записи канцлера Мюллера.

8 августа Мюллер занес в дневник: «Я застал Гете в постели, простуженного, однако бодрого. Я рассказывал ему про ст. сов. Тургенева,—он—много о «Globe». Что такое неприязненность, как не подчеркивание слабых сторон?» [55] Последняя фраза—вероятно подлинные слова Гете

из разговора с Мюллером—относится к Ж.-Ж. Амперу, чье письмо к мадам Рекамье о посещении Веймара помимо воли автора появилось в парижском «Globe»: оно было неприятно Гете между прочим и указанием, что у Гете есть «наивное сознание своей славы». Однако и приезд Тургенева повидимому не заинтересовал Гете.

День 7 августа Тургенев посвятил осмотру достопримечательностей Веймара, связанных с Гете и другими писателями. Его чичероне был канцлер Мюллер. «В 7 ч. утра явился ко мне уже канцлер Мюллер и повел в парк и в окрестности города, опять показывал сад и домик загородный Гете, который мы видели вчера уже в сумерки. Мы толковали о многом и о многих. Я слушал его с удовольствием, ибо он говорил о немецком Платоне, Якоби, и о Иоганне Мюллере, и о Гумбольдтах, и пр., всех знавал и со многими был в дружеской связи. Я и не знал, что он первое лицо здесь и у ворот моих дожидался его уже фурьер от гр.-герцога. Веймар со своими садами и парками, в самый город входящими, нравится мне отсутствием всякой популярности. За несколько шагов от центра города вы уже в парке; поднимитесь на гору и другая гора и деревья заслоняют от вас все городские здания. Кажется, как будто находитесь в отдалении и от шума городского. Ильма не река, а ручей, пробивается сквозь кустарники; но журчание этого ручейка слышно будет в веках. Гете, Виланд, Шиллер к нему прислушивались. Они топтали берега его и мечтали под тению его кущей. Гете, кажется, живет и теперь с потомством: о нем говорят уже как о воспоминании, с почтением, которое питают к великому и вместе давно минувшему. Показывают его жилище, как святыню. 1-й час. Мюллер принес мне в подарок медаль в честь Гете, герцогом и герцогинею выбитую, с их тремя изображениями и стихи свои на сей случай... и выписку из бумаг его [Якоби], несколько мыслей Якоби, нигде не напечатанных. Старый герцог и герцогиня приглашают меня завтра к себе обедать, а сегодня, по болезни герцога, принять не могут; но я вряд ли останусь. Мюллер водил меня в библиотеку... Но для меня примечательнее книг были бюсты и портреты веймарских ученых: Гете, Шиллер и Виланд во всех видах. Из русских только один А. Л. Нарышкин. Я не упоминаю о Петре Великом: ибо он пойдет в ряду с полубогами. Мюллер выпросил у меня записку Карамзина для Гете, который собирает рукописи славных людей и желал иметь его. Я дал одну из 3-х сот со мной путешествующих и именно ту, где он приглашает тебя и меня на именинный обед» [56]. Непоседливый Ал. Ив. на следующий день уехал из Веймара, так и не повидав Гете, но уже 9 августа писал брату Николаю из Дрездена, что около 25-го «выедет или в Лейпциг или в Веймар навстречу Жуковскому к юбилею празднику Гете, хотя дорога до Веймара и скучна». Однако не «выехал» и упустил случай вместе с Жуковским и Рейтерном провести три дня с Гете, о чем сильно пожалел, так как Гете был «необыкновенно любезен и как отец» с Жуковским: «он зажился три дня в Веймаре в беседе с Гете, от которого и я получил милое слово чрез канцлера Мюллера, который писал ко мне». «Гете незаменим», заключал свое сетование Александр Иванович [57].

Вторая веймарская поездка Тургенева может служить прекрасной иллюстрацией сложных литературно-политических отношений между дворами веймарским и петербургским, о которых выше было много говорено. Двор Марии Павловны умел всасывать в себя литературных или около-литературных посетителей Веймара, так что они и не замечали, как из

А. И. ТУРГЕНЕВ

Портрет сепией А. Кестнера (Рим, 14 февраля 1833 г.)

Под портретом стихи Кестнера:

Den Freund so wie den Dichter
Soll dieses Bild erfreuen
Wer viel gewohnt zu schützen
Weiss vieles *zu verzeihen*
Er fühle was beseelt
Und dichte, was ihm fehlt

Kestner, Rom, 14 Februar 1833

Институт Русской Литературы, Ленинград

паломников к Гете превращались в восторженных верноподданных ее русско-веймарского высочества.

Из высказываний А. Тургенева о Гете, предшествовавших его третьей поездке в Веймар, упомянем только одно. Когда-то А. И. Тургенев, подобно Пушкину, чуть ли не как личное оскорбление рассматривал получение им придворного звания камергера. Чинопочитание и орденолюбие Гете поэтому не пользовалось его симпатией, и он не без иронии писал брату-декабристу, что «нашел» в одном журнале «единственное замечание на новый отрывок Гете, что автор имеет теперь уже п я т ь орденов! Пусть говорят об этом, если хотят, в биографии тех государей, кои давали ордена сии, ибо это им некоторую честь делает: но что та грудь, где билось сердце Вертера, украшена датским Слоном! Тут можно бы по справедливости сказать: Слона-то я и не приметил» [58].

В 1829 г. А. И. Тургенев прожил в Веймаре десять дней (3—13 мая), но на долю Гете из них пришлось немного. Тургенев жил в Веймаре в свое удовольствие, в каком-то непрерывном придворно-литературном празднике и со свойственной ему жадностью к жизни отдался калейдоскопу впечатлений придворных, политических, мемориально-литературных, эстетических, театральных, гастрономических—всяческих. Свидание с Гете было только поворотом этого калейдоскопа, самым ярким, но не самым продолжительным. Тургенев чувствовал себя в Веймаре на положении гастролера в провинции: на столичной сцене актер играет вторые роли, его знают, но не замечают, даже слегка косятся на него, но когда он на время перекочевывает на глухую провинциальную сцену, он оказывается в центре внимания, ему честь и место, за ним ухаживают, он—гастролер.

Тургенев не без удовольствия записал свое веймарское гастролерство. Вот этот—впервые представляемый—калейдоскоп имен, лиц, книг, обедов, разговоров, визитов, пустяков, спектаклей, восхищений и легких порханий по людям и идеям:

«В Эрфурт приехал ночью и ждал часа два отправления; в Веймар, где пишу, приехал в 6 час. утра, 3 мая. Остановился в почтовом трактире: Alexanders Hof. Был у гр. Санти, с ним у Бьелке, у гофмаршала, в церкви и один у канцлера Мюллера, коего ожидаю к себе... Был у священника, но он в Дрездене на похоронах Ханыкова. Получил от Ник[олая] письмо №1 от 22 апреля (среда—утро). Был уже и на кладбище, где могилы украшены цветами; но кресты и надгробья не достойны немецких Афин. На могиле Вольфа, знаменитого актера, нашел жену его, с цветами. Получил приглашение на обед и на вечер к вел. княгине. У меня сидел канцлер Мюллер: долго говорил о В[альтер] Скотте, о Гете, который желает знать подробности о первом. Бьелке был у меня.

Обедал. За столом говорили об Англии, Веллингтоне, Грее, об эмансипации. После обеда с княжной о том же: Фицтум мешался в разговоры длинными рассказами. О смерти Ханыкова и его сочинениях и опять об Англии. Обедал у вел. княгини. Герцог. Дочь его, будущая, вероятно, королева Пруссии. Министр финансов Герсдорф, Фицтум, Бьелке и другие. Сидел подле герцога; говорили опять об Ханыкове и об эмансипации. После обеда представил меня принцессе Августе. Очень забавно говорила об Англии, но Фицтум мешал ей говорить, а мне слушать ее своими претенциозными речами. В 5 часов разошлись. Был с визитом у многоречивого Фицтума, слушал его о России и о государе, и о надеждах его на него. В 7 часов опять во дворец на вечер. Много дам. Предлагали мне играть

с герцогом в карты, но я отказался за неуменьем. Вел. княг[иня] позвала к себе и посадила подле себя и дам своих. Опять говорили об Англии, велик[ом герцоге?—*С. Д.*] Кумберл[андско]м, княгине Ливен, о Штейне. Просидела с нами до 9 часов и во все время почти меня расспрашивала о В. Скотте и о других. Сказала, что Гете думает, что В. Скотт писал «Историю Наполеона» по заказу прав[ительст]ва англ[ийско]го. Я разуверил ее. Разговор и знакомство с мин. фин. Герсдорфом.

Сегодня, т. е. 4 мая, был у Моса, гофмаршала вдовству[ющей] герц[огини], пригласившей меня к себе в 12 час. Разговор о Штейне. Портрет Капод[истрии], писанный d'Egloffstein и дурно выгравированный. О Веймаре и о его влиянии на Германию, о пок[ойном] герцоге. От нее к Мюллеру. О поэте гр. Платене и о его неблагодарности другу Гете, Кнебелю, которого одурачил, приняв его благодеяния. Гете, который ему обязан первым знакомством своим в Франк[фурте] с герцогом, не читает более сочинений Платена. Гете пригласил меня к себе в час. Мюллер показывал мне ящик с письмами Гете, Шиллера, Гердера, Виланда, кои герцог велел ему описать и хранить, а герцогиня разрешила напечатать некоторые. Никто еще, кроме герцогини, не читал их. Мюллер прочтет мне лучшие, кои не могут быть напечатаны, но в коих—«в с я д у ш а с л ы ш н а»—и душа 4-х душ, каковы Гете, Гердер, Шиллер, Виланд!—Был у герцогини; говорил об эман[сипации], о Кумберландском, о Грее, Ландсдовне, Кларанском, Эссекском и пр.—умная женщина»[59].

Рассказ Тургенева порхает, летит и спешит до того, что, спутавшись, отрываемый кем-то от дневника, он дважды рассказал об одном и том же обеде у Марии Павловны: иначе приходилось бы думать, читая эту его запись, что он дважды в день пообедал при дворе и с одними и теми же разговорами. Его появление в Веймаре произвело маленький и приятный переполох; говорливому и любезному гостю, только что набравшемуся самых свежих новостей в Лондоне, в салоне княгини Ливен, где собирался «скептический причет» дипломатов, не давали покоя, требуя рассказов о такой европейской знаменитости, как Вальтер Скотт. Он с охотою спешит удовлетворить захолустное любопытство проселочных герцогинь и уездных герцогов и не устает повторять им по нескольку раз все политические сплетни, все столичные новости по части литературы,—и немудрено, что этот уездный «двор» в восторге от него: не знает, где посадить и чем потчевать. Но и Гете—как дано уже знать Тургеневу—ждет своей порции лондонских вестей. В вихре придворных плезиров в записи Тургенева там и сям мелькают примечательнейшие сведения о Гете. Эпизод о Платене и Кнебеле оценят специалисты-гетеведы. Александр Иванович ловит на лету все эти сведения о Гете, но он не успевает сосредоточиться на чем-нибудь более устойчивом и связном, как сосредоточивался он в Дрездене, записывая разговоры о Гете на вечеринке m-lle Винкель: легко ли написать что-нибудь путное под щебет такой «дамы приятной во всех отношениях», какой была Мария Павловна!

Но вот наконец 4-го же числа А. И. попадает к Гете: «У Гете. О Вальтер Скотте, о его «Истории Наполеона», в коей много нового и для Гете: «Jch habe viel von dieser Zeit verschl[ossen], (Многое об этом времени я замкнул в себе), и нашел в сей истории и новое и ц е л о е, и то, как англичане видят вещи и Наполеона и свои отношения к нему». Велел кланяться Жуковскому и сказал от души несколько слов о нем. Спрашивал о Пиле и о других; о романах Вальтер Скотта и особливо о «Девице Пертской»[60].

Запись драгоценна: она сохраняет подлинные слова Гете, наполовину даже на его языке. Визит А. И. Тургенева был наполнен разговором о Вальтер Скотте, его романах, его «Истории Наполеона» и об английских деятелях современности.

Про это свидание 4 мая Гете так и записал в дневнике: «Русский статский советник Тургенев, возвращающийся из Англии и Шотландии, с рассказами о многих, с кем он познакомился. Он был уже у нас несколько лет тому назад с г. Жуковским»[61]. Память изменила Гете: Тургенев не был у него с Жуковским ни в 1821, ни в 1827 году. Вероятно визит Тургенева в 1826 г., когда он рекомендовался другом Жуковского, слился в слабеющей памяти Гете с посещением Жуковского в 1827 г.; но могло быть и так, что с этим сентябрьским посещением Жуковского слился у Гете августовский визит Тургенева в том же году; он тогда был в доме Гете, но не был им принят по болезни.

А. И. Тургенев был лично знаком с Вальтер Скоттом: в 1828 г. он посетил его в замке Абботсфорде, был с ним в переписке и от него самого знал историю его заочного знакомства с Гете. Своей связью со знаменитым романистом Гете дорожил и обрадовался, когда в 1827 г. получил от него большое дружеское послание. Гете был прилежным читателем и горячим почитателем Вальтер Скотта, признавая в нем великий талант и многообъемлющую натуру. Он находил, что у Вальтер Скотта, как у редкого из певцов, «в полном распоряжении весь объем голоса от самых высоких до самых низких нот», и отмечал в нем «всеобъемлющее знание реального мира». Понятен совершенно исключительный интерес, проявленный Гете к «Истории Наполеона» Вальтер Скотта: его любимый писатель писал об его любимом историческом герое. Он получил экземпляр этой книги от самого Вальтер Скотта, который писал Гете: «Я позволил себе поручить гг. Трейтеллю и Вюрену предложить Вам свой опыт жизнеописания того замечательного человека, который в течение столь многих лет оказывал такое страшное влияние на порабощенный им мир». Гете ожидал книгу с нетерпением: «Я слышал об этой книге много противоречивых и страстных отзывов, а потому уверен заранее, что книга во всяком случае замечательна». Ознакомившись с книгой, Гете выразил о ней мнение, которое в передаче Марии Павловны дошло до Тургенева в том виде, что Вальтер Скотт писал по заказу английского правительства с целью развенчать Наполеона. Теперь Тургенев, недавно видевшийся с Вальтер Скоттом, был перед Гете: великий поэт высказал перед ним свое мнение об «Истории Наполеона» и оно оказалось более выгодным для Вальтер Скотта, чем переданное августейшими устами. Реплики Александра Ивановича были вероятно повторением говоренного Марии Павловне. В 1830 г. Гете развивал перед Сорэ мысль, высказанную Тургеневу, что в книге Вальтер Скотта интересно «и то, как англичане видят вещи и Наполеона и свои отношения к нему». «Можно упрекнуть автора за большие неточности и за большую партийность,— говорил тогда Гете,—но именно оба эти недостатка и придают для меня особую ценность его сочинению... Книга В. Скотта, именно в ненависти к Наполеону и французам, служит верным представителем и истолкователем английского народного мнения и английского национального чувства. Его книгу никоим образом нельзя считать документом для французской истории: она документ английской истории».

Но если «Историю Наполеона» Гете принимал с оговорками, то о «Пертской красавице» Вальтер Скотта, о которой толковал с Тургеневым, отзы-

вался восторженно: «Вот это так написано! вот это так рука! Какая уверенность в плане, и в подробностях нет ни штриха, который не вел бы к цели. И какие подробности, как в разговорах, так и в описаниях! И то и другое превосходно. Его сцены и положения можно поставить наравне с картинами Теньера; в распорядке целого они обнаруживают высоту искусства; отдельные фигуры дышат правдой; все до мелочей отделано с любовью... В «Пертской красавице» нет ни одного слабого места, где бы чувствовалось, что у него не хватило знания или таланта». К этому обсуждению высоких достоинств «Пертской красавицы» Гете не раз возвращался в беседах с Эккерманом[62].

Таким образом своим живым рассказом о Вальтер Скотте Тургенев удовлетворял живому интересу Гете. Столь же интересен был для Гете и рассказ его об английских политических деятелях во главе со знаменитым Робертом Пилем-младшим (1788—1850), с которым Тургенев встречался в салоне княгини Ливен.

Беседа Тургенева с Гете не ограничилась однако темами, попавшими в дневник.

9 сентября 1829 г. Тургенев коротко писал Жуковскому: «Путешествие мое по Германии и Бельгии занимало меня. Я видел много нового и необыкновенного. В Бонне слышал Нибура, Шлегеля, оставил первому 12-й том Карамзина, ибо он все знает—и по-русски. В Дюссельдорфе гулял, обедал в Пемпельфорте, у сына Якоби, и был принят как родной. В Веймаре впервые в жизни насладился беседою Гете за бутылкою вина и осыпаем острым огнем Гете-сатирика над философами берлинскими»[63]. Сам Жуковский писал об этом визите Тургенева: «Я получил от Тургенева письмо; он мне рассказывает, между прочим, о Гете, с которым он провел восхитительный час»[64].

Гете язвительно нападал при Тургеневе на учеников Гегеля: именно их нужно разуметь под «философами берлинскими». Гегель посетил Гете в октябре 1827 г. и вел с ним разговор о диалектике, очень кратко и сбивчиво записанный Эккерманом; такие вопросы были вне осведомленности этого собеседника Гете. Повидимому Гете был тогда не против идеалистической гегелевской диалектики самой по себе, но резко нападал на злоупотребления ею и радовался, по его словам, что сам «занимался изучением природы», а не философией, выражая уверенность, «что многие диалектические болезни получают благодетельное целение в изучении природы». Но благосклонный более или менее к самому Гегелю, хотя так и не усвоивший его построений и метода, Гете язвительно нападал на маленьких ортодоксальных гегельянцев Берлина, которые казались ему вероятно схоластическими «Вагнерами» и «учениками» из его «Фауста». Тургенев мог тут только слушать и ценить «сатиризм» Гете, но не возражать и вряд ли даже подавать реплики: так далек он был от Гегеля и философии»[65].

В то же свиданье Гете пожаловался Тургеневу на талантливого писателя Ж.-Ж. Ампера, о котором уже была речь. В 1833 г. Тургенев, прочтя его книгу «Littérature et voyages» (Paris, 1833), где был перепечатан его рассказ о посещении Веймара, писал Вяземскому: «О Гете—интересно, но я помню, что старик на него жаловался, прочитав статью его в Глобе о Веймаре»[66].

Вот все, что мы знаем об этом свидании А. И. Тургенева с Гете.

Вернемся к веймарским впечатлениям А. И. Тургенева, отраженным в его дневнике. Вечером 4-го он был в театре:

«Герцог прислал лакея свести меня в театр. Давали раупахову пьесу «Die Schleichhändler» (Контрабандисты), в которой роль «Till, der Zoll-assistent» (Тилля, таможенного чиновника) актер Ларош играл очень удачно и совершенно в характере и с манерами самого Раупаха. Публика немногочисленна, театр не огромен, но это колыбель прекраснейшего в немецкой драматургии. Здесь Гете, Шиллер выводили на сцену свои бессмертные лица, здесь произнесены в первый раз слова его о мимическом искусстве, столько раз мною повторенные: und wer des etc. Но прежний театр сгорел и на том же месте построен нынешний, немного побольше старого и вмещающий до 1200 зрителей. Тут был и герцог—во фраке, как простой гражданин, менее в своей ложе важничающий, нежели Тюфякин в Большом каменном театре. Оркестр хорош. Он принадлежит к капелле герцога.

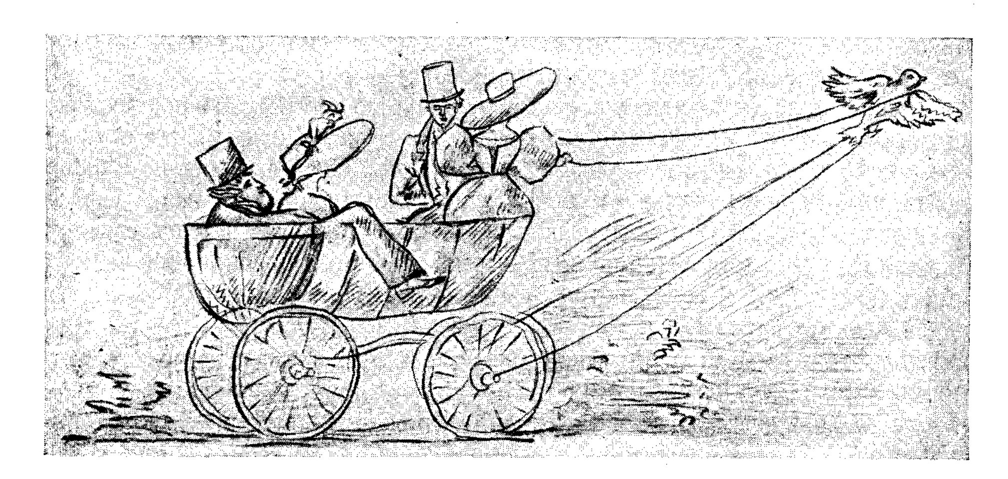
Вечер провел у Санти; с mad. Virlier говорил о гр. Разумовской, о Каподистрии, и я вздохнул благодарным сердцем по первой и возвратился в 10 час. в свой трактир; на улицах все уже тихо и никого не встретил и пешком, не только в экипажах. Только огонек светился в верхних светлицах. Жители, выходя в 8 часов из театра, желали уже себе доброй ночи, которой пора мне пожелать и самому себе»[67].

5 мая А. И. «гулял с Мосом в саду, в Römisches Haus, был в садике Гете, обедал у герцога: об имп[ератриц]е Марии, о свидании (?—*С. Д.*) и опять в театр, где играли «La reine de Golconde». Герцог говорил об истории веймарского театра». 6 мая Тургенев посетил загородную герцогскую виллу Тифурт; о ней он, как увидим, писал в пушкинском «Современнике». 7 мая—опять обед при дворе, опять расспросы о Вальтер Скотте, опять «вечер у великой княгини» с просмотром «новейших книг с видами Рейна, Гишпании, Италии», с «разговором об имп. Елисавете, о ее училищах, коих не показала вел. княгине, об имп[ераторе] Ал[ександре], отдавшем сумму театральным сиротам, и снова слезы». В результате: «уговорила остаться еще на несколько дней здесь». Эти «несколько дней» имеют мало отношения к Гете. Привожу только интереснейшее в историко-литературном и бытовом отношении. 9-го Тургенев «был у обедни, где кроме вел. кн. и Эглофшт[ейн] были: Томсон, Грим, две женщины и два или три лакея, кажется, русских. Пели изрядно. После об[едни] вел. кн. хвалила мне нашего священника. Познакомился у Мюллера с девицей Якоби, внучкою философа, показывала письмо его к ней—малолетней тогда, и рассказала разрыв его с Штольбергом—за недоверенность при перемене религии и с Фоссом за жестокость с Штольбергом. Пемпельфорт все еще принадлежит Якоби—отцу ее». В этот же день Тургенев «просматривал» книгу о друге Гете кн. Амалии Голицыной (см. выше) и интересовался сыном ее, католическим миссионером в Америке. 10 мая отметка: «у m-lle Fritsch—рисунки Гете. Гулял под мостом на месте, называемом: Der Stern. Вечер: с принцессой: о Тальме, о франц., англ. литерат. С великой княгиней о Дежерандо, его Visiteur du pauvre, о филантр[опических] общ[ест]вах в Париже и Лондоне. «Sie haben uns vortreffliche Vorlesung gehalten» (Вы прочли нам превосходную лекцию). О Штейне опять—благодарила за выписку из Герца»[68].

11 мая А. И. Тургенев был у канцлера Мюллера, рассматривал его альбом и внес в дневник «выписки из альбума Мюллера». Под благоговейно-восторженными по отношению к немецким Афинам строками Жуковского (см. их в главе V) и немецкого поэта Маттисона А. И. Тур-

генев написал: «Le bonheur est dans la vertu qui aime et dans la science qui éclaire; c'est surtout dans mes rapports avec les heureux de Weimar que j'ai senti la vérité de cette observation» (Счастье—в добродетели, которая любит, и в науке, которая просвещает: в моих сношениях со счастливцами Веймара я особенно почувствовал истину этого наблюдения)[69].

Эти записи характерны. Мюллер был канцлером, дипломатом, но, сам немного поэт, он отлично умел ладить с литераторами, полулитераторами и просто любителями литературы, посещавшими Веймар. В нем жила действительная любовь к литературе и действительное, не только придворно-дипломатическое преклонение перед Гете. Для канцлера Веймарского



А. И. ТУРГЕНЕВ ПУТЕШЕСТВУЕТ
Карикатура неизвестного художника
Институт Русской Литературы, Ленинград

государства, где писательство Гете и европейское паломничество к нему было важною областью политики, эти свойства Мюллера были большим достоинством. Он был ходячий комментарий к жизни и творчеству Гете, но комментарий, исполненный дипломатической ловкости и веймарского патриотизма. Никто больше Мюллера не поработал для создания культа Гете, — и никто, тем самым, столько не посодействовал укреплению легенды о вседовольном олимпийстве Гете, создавшемся на чахлой почве веймарского социально-политического микроорганизма, будто бы превратившегося в благословенную Аттику.

В тот же день, 11-го, А. И. Тургенев вновь посетил Гете. У Гете нет отметки об этом посещении. В дневнике Александра Ивановича скупо отмечено: «Прощался с Гете», но на следующий день, 12-го, он, описывая свое прощание с герцогом, обмолвился: «Веселый разговор при грустном прощании с принцем о Раупахе, о неудачном посещении Гете»[70]. В чем была эта неудача—неизвестно.

11 мая Тургенев встретился с новыми русскими приезжими к Гете. Это была княгиня Зинаида Александровна Волконская с сыном А. Н. Волконским и с двумя московскими любомудрами—С. П. Шевыревым и Н. М. Рожалиным. 12 мая они были приняты Гете (см. главу «Московские любомудры у Гете»). А. И. отметил в дневнике: «Кн. Зенеида о брате. Письма из Сибири. Поступок братьев с к[нязем] Сергием». Это—сухие вехи интересного разговора о декабристах: «брат»—Н. И. Тургенев; «письма

из Сибири»—конечно от деверя «княгини Зенеиды», декабриста С. Г. Волконского и его жены Марии Николаевны (урожд. Раевской); «братья» «князя Сергия»—муж «Зенеиды», кн. Никита Г. Волконский, и деверь ее—Николай Гр. Репнин (Волконский), знакомец Гете.

После свидания с З. А. Волконской Тургенев был во дворце, и ему, приятелю Жуковского, занимавшегося воспитанием русского наследника, «великая княгиня говорила о трудности воспитания сына, что для малого государства еще труднее воспитывать, чем для большого; но согласилась со мною, что часть учебная здесь легче и обильнее достигается. Советовала познакомиться с Швейцером, бывш. иенским профессором, а теперь здесь министром. Приезд кн. Мещерского». Это—знакомый нам князь Элим, тогда только готовившийся еще к роли официального российского гетеанца. Гете принял его 15 мая.

12 мая Тургенев побывал у рекомендованного ему Швейцера, но зашел и к Мюллеру: «У Мюллера читал письма Гердера о Риме, о Гете его же—и выписал место, где он называет Гете ангелом. Письма Гете—из Веймара и Италии—оба к герцогине и к герцогу; письма матери Гете и жены Гердера к ним же. Обедал: герцог 4 раза говорил то, что о себе писать совестно. У меня был Бьелке от в[еликой] к[нягини] и еще раз расспрашивал. После обеда прощался». После театра А. И. «простился с Зенеидой».

«13 мая в 3 часа утра встал, в $4^1/_4$ выехал в Дрезден» [71].

Итог этой третьей веймарской поездки А. И. Тургенева: десять дней придворной жизни—и среди них два свидания с Гете, удачное и неудачное, и ряд разговоров, чтений и экскурсий, связанных с ним.

Веймарский «фон»—двор, знать, министры и пр.—на зарисовке Тургенева застит фигуру Гете. Но весь секрет картины—«Веймарские Афины»—в том и состоит, что от Гете (и от мемориальных, уже музейных, Виланда, Гердера, Шиллера) идет то искусственное освещение in modo classico, которое позволяет видеть что-то «афинское» в этом уездном придворном бездельи, в этом «городке в табакерке» старых сентиментальных сказочек. Еслиб убрать рефлектор, каким являлся Гете, то тотчас же исчезла бы вся литературно-показательная позолота с этого дворика. Тургенев очень тщательно записывал все, что видел и слышал в течение десяти дней при дворе Марии Павловны (гораздо подробнее, чем виденное и слышанное у Гете), но из всего записанного нельзя отметить ни одного слова, ни одного факта, который порадовал бы «лица необщим выраженьем»: все необыкновенно тускло и скудно, но все тщится золотить себя мнимою литературностью. Смешно читать, как ex professio каждая принцесса и придворный пристают к Тургеневу с расспросами о Вальтер Скотте: так «принято», так «в традиции» говорить о литературе, что даже наконец и тупой Карл-Фридрих, встретясь 7 мая с Тургеневым на прогулке, «спросил о Вальтер Скотте». Если отнять от общества Марии Павловны лоск этой литературности поневоле, это политико-профессиональное сватанье всех заезжих чужеземцев с веймарскими—живыми и музейными—генералами от пера и чернильницы, то от «двора муз» повеет тою же позолоченной пошлостью, какою веяло на Пушкина от двора Николая Павловича, не видевшего проку ни в какой литературе. Между тем разговором о Вальтер Скотте, который Гете вел с Тургеневым, и теми разговорчиками о нем же, которыми докучали ему придворные, общего лишь то, что там и тут упоминалось имя одного и того же английского писателя. Но как характерно для «двора муз», что он натаскивал себя на

разговор на ту же, недоступную ему тему, которая была живым интересом великого писателя!

Действительному интересу к Гете и его творчеству А. И. Тургенев мог бы поучить любого из «высокопоставленных» веймарских гетеанцев, с которыми прожил десять дней.

Отклик Тургенева на смерть Гете нам не известен, но и в 30-х годах он остается прилежным его читателем. Цитаты из Гете часты на устах Тургенева. В заграничных странствованиях Гете часто вспоминается ему. В Милане, глядя на бюст Монти, он поражен сходством его с Гете; в Венеции он тужит, что «Гетевых эпиграмм на Венецию нельзя уже теперь во всем применить к ней: с тех пор многого не стало, многое смолкло»; в Риме, присутствуя при огромном успехе «Последнего дня Помпеи» Брюллова, он радуется, что «с этим художником можно рассуждать об его искусстве, и он читает Плиния и просит дать ему Гете «Farbenlehre», чтобы писать пожар и молнию»; побывав в студии Овербека, он пишет: «Картина его—историческая поэма, начертанная с неподражаемым совершенством, но еще только в рисунке и в малом виде; это Dichtung und Wahrheit Гете, который сначала, по собственному чувству и следуя своему гению, превозносил характер немецко-итальянской старинной школы, но после, попавшись в Италии в руки Анжелики Кауфман, Майера, Тишбейна и пр. и испорченный ими, порочил христианско-немецкое вдохновение живописцев этой школы. Художники-немцы жалеют, что ему не удалось видеть их теперешних произведений» [72]. О даровании Гете Тургенев попрежнему самого высокого мнения. Вот только один-два примера из числа многих, которые можно бы привести. Прочтя, как аттестует Artaud лично знакомого ему Шатобриана: «Chef de la littérature de l'Europe», он иронически задает вопрос: «Не Гете ли был его лейтенантом в Германии?» Как многие русские читатели 30-х годов (в их числе был и Лермонтов), Тургенев заинтересовался гражданской поэзией А. Барбье и в 1833 г. писал Вяземскому: «Посылаю тебе «Il Pianto», poème твоего protegé—Aug. Barbier, а кстати и «Ямбы» его, кои ты уже знаешь. В «Пиянто» хотел он писать в стихах, как Гете в бессмертных своих эпиграммах, Италию; но далеко кулику... Он корячится, как Гуго, но ниже своего предмета, или своих предметов» [73].

Однако год от году больше Тургенев становится читателем-критиком сочинений Гете, особенно посмертных. Из Женевы он пишет приятелю: «Обрыскаю окрестности Лемана с Эбелем и с Гете, коего путешествие по Швейцарии нашел в одной из 5-ти частей, после смерти его изданных. Издатели не пожалели и этого покойника! Сколько мелочи! Но в Эфрозине он опять почти Гете; 3-го дня в виду Монблана, на берегу озера при захождении солнца читал я стихи из этой пьесы:

Auch von des höchsten Gebirgs beeisten zackigen Gipfeln,
Schwindet Purpur und Glanz scheidender Sonne hinweg.
(Вот уже с горных вершин, ледяных, зубчатых, уходят
Гаснущий пурпур и блеск солнца прощальных лучей).

Вместе с этой поэзией вот какая проза передана потомству: «Donnerstag, den 19-ten. Mit Einpacken beschäftigt. Verschiedene Spaziérgänge» (Четверг, 19-го. С укладкою покончено. Разные прогулки). От этого пустословия голова устает более, нежели от исторических загадок поэзии Данта или от вашего тройственного и вольного подражания певцу во стане: «Надо вам поврать, непременно поврать надо» [74].

В 1836 г. он поехал опять в Веймар. Это было свидание со всем, что осталось от Гете: с его семьей, с его друзьями, с его домом, с его бумагами, с его реликвиями,—оно было особенно памятно для Тургенева, и он рассказал о нем лучше и несравненно полнее, чем о свиданиях с живым Гете.

Он сблизился в этот приезд с семьей Гете, как еще в 1827 г. сблизился с канцлером Мюллером. 3 июля 1836 г. он оповещал Вяземского из Москвы: «В Веймаре пробыл шесть суток. Великая княгиня осыпала меня ласками. Там не нашел я гравированного портрета сына Гете, но заказал живописцу, который для отца Гете писал всех его приятелей и самого сына. Он принес ко мне в минуту отъезда сверток с портретом Гете-сына, и он готов для тебя. Жена Гете присылала мне другой, маленький, посмотреть, но уверяют, что мой большой лучше. Я осматривал гетевы сокровища и списал письмо к нему Вальтер Скотта, но все... (Точки в подлиннике.— *С. Д.*). Скажи Жуковскому, что весь Веймар, а из Дрездена Тик, коего слышал в переводе Шекспира, и дряхлый, но все еще поэт Тидге, ему кланяются» [75]. Свои воспоминания о Веймаре и обо всем, что жило там от Гете и во имя Гете, А. И. Тургенев приберег для пушкинского «Современника». «Отрывок из записной книжки путешественника» попал в пятую книжку журнала, вышедшую уже после смерти поэта, но Пушкин читал его и готовил к печати. Тургенев дорабатывал этот «Отрывок» к печати в преддуэльные дни и беседовал с Пушкиным о немецком поэте; так 22 января 1837 г. встречаем запись в дневнике А-дра Ив-ча: «Зашел к Пушкину: о Шатобриане и о Гете». 23-го отмета: «кончил переписку веймарского дня, прибавил только 15 англичан к Гете и ответ его в стихах и после обеда отдал и прочел бумагу Вяземскому... Оттуда к Щербатов[ой]. Там с Лаваль и хозяйкой о Гете и Шиллере» [76].

Вот рассказ А. И. Тургенева о Веймаре, высоко оцененный Пушкиным и его друзьями (с сокращениями):

«21/9 июня 1836 г. Веймар.

Поутру отправился я с канцлером Мюллером в Тифурт, где я бывал некогда с мечтами и воспоминаниями, с грустью по умершем брате... Мы вошли во двор скромного, сельского домика, где в продолжение более 40 лет расцветал цвет германской словесности: где живал каждое лето Виланд, где Гердер, Гете, Шиллер, Кнебель собирались мыслить вслух при дворе, во услышание всей Европы и потомства; водворять в Германии владычество 18 века, поэзии, философии, прагматической истории человечества и в беседах своих, в сей академии возрожденного германизма, воскрешать древнюю Грецию, изменяя и возвышая ее христианскою философиею. Паганизм Виланда не чуждался ни библейской поэзии Гердера и «идей» его о судьбе человечества, ни шиллеровой религии сердца христианского, ни хладных сомнений всеобъемлющего, но не всепостигшего гения Гете—Мефистофеля.

В этом домике все просто, как гениальное сознание, все миниатюрно, но в миниатюрном отражается великое и возвышенное.

Тифурт—святыня германского гения, ковчег народного просвещения.— Поэзия, влиянием своим на современников Гердера, Шиллера и Гете, созидала историю, приготовляла будущее Германии и сообщала новые элементы для всей европейской литературы, для Байрона и Вортсворта, для исторического ума Гизо и Фориеля (о нем сказал кто-то: c'est le plus

allemand des savants Français), для души, которая все поняла и все угадала, и все угаданное и постигнутое в Германии передала Франции и Европе, для души Сталь; наконец, для нашего Жуковского, которого, кажется, Шиллер и Гете, Грей и Вортсворт, Гердер и Виланд ожидали, дабы воскликнуть в пророческом и братском сочувствии:

Мы все в одну сольемся душу!

И слились в душе Жуковского...

Веймарский мой cicerone Мюллер был и сам два года одним из собеседников сих корифеев немецкой словесности и его часто приглашали в круг их. Виланд был одним из старейших членов тифуртской беседы и написал здесь большую часть своих сочинений. Гете провел здесь лучшую часть поэтической и долговременной жизни своей.

Мюллер водил меня по всем комнатам и в каждой показал мне все предметы, все бесценные безделки, кои напоминают герцогиню [77] и друзей ее. По стенам и во всех уголках,—так что нет ни одного незанятого местечка,— ландшафты, портреты, напоминающие тогдашнюю эпоху, тогдашний мир веймарский и тифуртское житье-бытье...

Наконец Мюллер описал мне весь прежний тифуртский быт, всю старину, указал место, где собиралось общество, где беседовала герцогиня наедине с мудрецами своими.

Оттуда провел он меня в парк, в беседку, где она проводила с ними послеобеденное время, иногда приносили туда и обед. Мы взглянули на памятники Виланду, Гердеру, дяде нынешнего герцога, умершему на поле сражения противу французов, в саксонской службе: Гете дал идею для памятника, и сочинил надпись.

Перед вами аллея в гору, на вершине коей какая-то статуя.

Мы перешли мостик через неумолкающую Ильму. Здесь часто останавливались, разговаривали, мечтали поэты-философы Веймара. Гете разыгрывал на берегу Ильмы и на самом мостике одну из пьес своих:

Klein bist du und unbedeutend unter Germaniens Flüssen,
Aber du hast gehört manches unsterblich' Lied.

(Мал ты и вовсе ничтожен средь рек и потоков германских,
Но услыхал один песню бессмертную ты).

В рассказах и воспоминаниях о прошедшем мы обошли весь парк и возвратились в Веймар.

Я успел пробежать в прекрасно устроенном музее несколько литературных и политических журналов. В 6 часов зашел ко мне Мюллер и мы отправились в дом Гете, где уже ожидал нас Крейтор [78]. Я вошел в святилище с благоговением: у самого входа на полу приветствие древних: «Salve». Гете видел эту надпись в Помпее. Кабинет Гете о трех окнах, низкий и без всяких украшений. Посреди комнаты круглый стол простого некрашеного дерева, по стенам такие же шкафы с выдвижными ящиками, в них бумаги, минералы, монеты и всякая всячина. На простых креслах подушка, под креслами для ног сидевшего—другая. У стены еще стол, на котором Гете писал стоя; он наполнен черновыми бумагами, многие из них диктованы Гете секретарю его. Мне позволили взять три лоскута с помарками и с исправлениями рукой Гете; эти лоскутки в числе драгоценнейших моих аутографов и хранятся с письмами Шатобриана, Але-

ксандра Гумбольдта, Баланша, Кювье, Бонштеттена, Иоанна Мюллера, Шлёцера, Вальтер Скотта и т. д.

В альбуме нашел я имена посетителей этой святыни и русские стихи к Гете:

На Гете

Вот храм, где Гений жил, где Музы ликовали
И Грации цветы так щедро рассыпали!
Послушный сердцу одному
Страны далекой житель,
Войдя в твою обитель,
Бросает сей цветок к бессмертному венцу.

В. Ф. [79]

В том же альбуме отыскал я несколько милых имен: 25 августа 1833 г. был здесь и Жуковский.

В этом кабинете висят два слепка с портрета Наполеона. Мюллер рассказал мне историю одного из них. Сын Гете был страстный энтузиаст Наполеона; он собирал все его портреты и в 1813 году купил и принес к отцу и этот слепок. Гете повесил его в своем кабинете; в день Лейпцигской битвы этот слепок сам собою упал со стены и расшибся. Гете снова повесил его на стене, надписав на нем следующий стих из лукановой «Фарсалии»—с переменою одного только слова: Scilicet immenso superest ex nomine multum. (В оригинале: nihil).

Гете не хотел всего отнять у Наполеона, который все отнимал у других [80].

Мы вошли в спальню Гете, это не комната, а каморка, или чулан с одним окном. Здесь его кровать, без занавеса, и кресла с подушкой, на коей он скончался. Ветхое одеяло, коего Гете не хотел заменить другим, накрывает его постель. Вид из этой комнаты, как и из кабинета, в сад. До самой кончины Гете был в памяти, незадолго перед кончиной, заметив, что в кабинете его окна были полузанавешены, он сказал своим приближенным: «Licht, mehr Licht! (Свету, больше свету!) Это были последние слова его и как бы завет великого просветителя Германии потомству.

Кончина Гете напоминает и другую, также в Веймаре, и последние слова его современника Гердера. Поэт-историк в тоске смертной сказал плачущему сыну: «Gieb mir einen grossen Gedanken, dass ich mir erquicke» (Освежи меня великою мыслию). Гердер в сию великую минуту признавал господство мысли над тлением. Просьба умирающего отца к сыну была и символом веры его в бессмертие: он исповедывал его, когда уже дух его парил к своему источнику.

В другой раз, также в минуты борения со смертью, Гете, увидев на полу записку, упавшую со стола его, сказал с жаром: «поднимите, это записка, это рука Шиллера! Как можно ронять ее!» Казалось, что душа его в ту минуту была занята последнею мыслью о друге, с коим вскоре она должна была соединиться.

В верхнем кабинете Гете, который можно назвать музеем, перебирали мы собрание писем его корреспондентов: между ними письма Вальтер Скотта, Байрона. Я списал письмо первого от 9 июля 1827 года; я слыхал о нем (в 1828 г.) от самого Вальтер Скотта, когда он мне рассказывал историю своего заочного знакомства с Гете [81].

Гете любил собирать и в свободное время иногда пересматривать портреты своих приятелей: в портфеле нашли мы более 200. В другом портфеле собственноручные рисунки Гете карандашом (другое сходство с на-

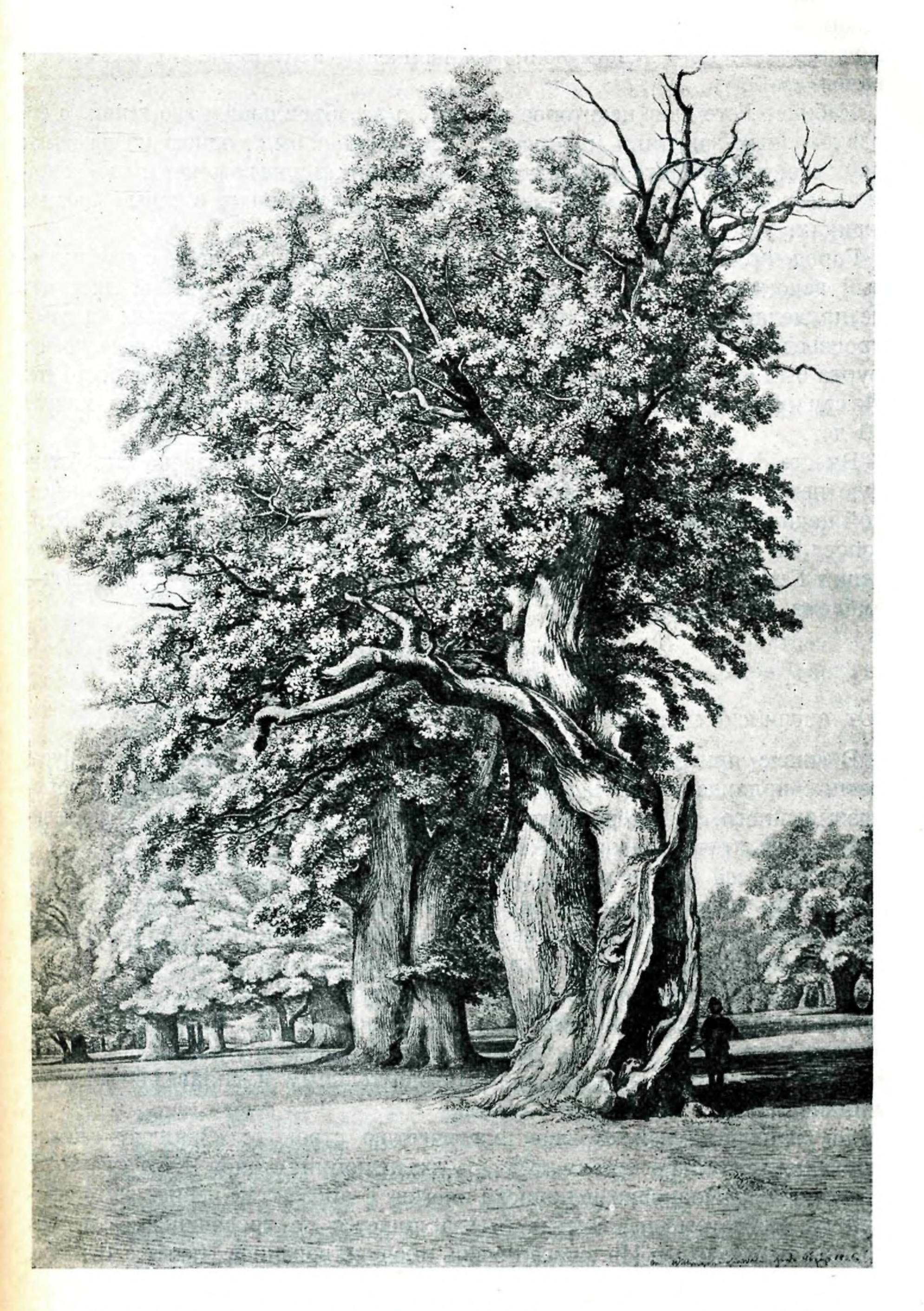


Рисунок Г. Рейтерна „Лес в Виллингсгаузене в августе 1826 г.“, преподнесенный им в дар Гете 6 сентября 1827 г.

Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

шим Ж[уковским]). Большею частью ландшафты, виды тех мест, кои ему нравились в его странствии по Германии и Италии. Тут и дерево, нарисованное для Гете нашим воином-живописцем Рейтерном: он часто любовался им [82].

Кабинет Гете дает некоторое понятие о всеобъемлющем его гении, о его разнородных занятиях и вкусах. Нумизматика была одною из любимых наук его, и вы видите редкое собрание древних и новых монет (одной шведской королевы Христины более 20). Все сии сокровища в самых простых ящиках.

Город Франкфурт (на Майне), место рождения Гете, поднес ему лавровый венок из золота; к нему приложен был лишний, особый листочек, не приделанный к венку: этот листочек был эмблемою надежды на новое произведение Гете, тогда еще полного жизни. Другой подарок города Франкфурта был кубок серебряный и при нем 48 бутылок вина—ровесника Гете. На сем кубке стихи его. Кубок сей поднесен Гете в 1819 г., когда ему минуло 70 лет.

Вместе с сими дарами от соотчичей видели мы и прекрасно выработанную печать из зеленого камня, на коем вырезана змея кольцом с немецкой надписью, выражающею характер гетевой деятельности: «Ohne Rast, sonder Hast» (Без отдыха, но и без спеха), августа 28, 1831 г. (день рождения Гете). На ручке вырезаны розы—символ Англии, дубовый венок—эмблема Германии, а вокруг

From friends in England
To the German master

(От английских друзей—германскому учителю).

В числе признавших Гете своим наставником имена: Томаса Мура, певца «ирландских мелодий», Соути Лауреата, Вортсворта, простотою возвышенного, Вальтер Скотта—некогда the great unknown и знаменитейших издателей разных «Reviews».

Подарок сей получил Гете в 1831 г. от 19-ти друзей из Англии [83].

В альбуме Гете к именам посетителей присоединил я и свое и написал на память четыре стиха переводчика Вертера, покойного брата Андрея, на 16-летнем возрасте им к портрету Гете написанных».

Далее Александр Иванович напомнил русскому читателю «о том влиянии, какое веймарская афинская деятельность» Гете, Шиллера, Виланда «имела и на нашу московскую словесность», давшую русской поэзии Жуковского. Мы уже знакомы с этим трогательным и справедливым напоминанием.

Он закончил свой отрывок элегическою строкою: «Заключу словами спутника поэта: «Где время то?» Но кто не помнит стихов Жуковского?» [84].

Александр Иванович и написал элегию в прозе: так вернее всего определить его «отрывок». Элегия всегда пишется по пословице: «De mortuis nil nisi bene», и Ал. Ив. сказал очень прочувствованное «bene» о Веймаре, о его писателях и властителях. Оно имело бы цену только как доброе излияние чувств доброго «карамзиниста», еслиб в нем Тургеневу не удалось сделать большего: во-первых, сохранить для нас несколько веймарских преданий, не лишенных цены для биографа Гете, во-вторых, передать ту атмосферу первых лет после смерти Гете, в которой складывался уже тогда веймарский «культ Гете», и в-третьих, сделать более трудное: Тургенев так описывает дом и комнаты Гете, что в них чувствуется присут-

ствие самого их хозяина. Невидимый, но живой образ Гете вызывается самым описанием мелочей его домашней обстановки. Это немалое мастерство и немаловажная заслуга писателя. Для русского же читателя 30-х годов это была отличная рекомендация живого Гете как европейского деятеля, связанного и с русской культурой.

На одно место в этой элегии следует обратить внимание: оно резко выдается из общего ее поминально-благоговейного тона. Вот как—уже лично от себя—отзывается Тургенев в 1836 г. о Гете: это—писатель «холодных сомнений». Это, «конечно, гений» и «всеобъемлющий»; тут Тургенев согласен и с Жуковским («всезрящей мыслию над миром он носился»), и с Боратынским («крылатою мыслию он мир облетел»), но на дальнейшие утверждения их: «на все отозвался он сердцем своим» (Боратынский), «и в мире все постигнул он» (Жуковский) Тургенев отвечает решительным «нет»: «всеобъемлющий, но не все постигший гений Гете—Мефистофеля».

Итак, теперь, во второй половине 30-х годов, Гете для Тургенева не Вертер и даже не Фауст, он—Мефистофель.

В 40-х годах он еще крепче стоит на этом. Он холоднее и реже отзывается о Гете в своих письмах, хотя попрежнему читает его и следит за книгами о нем. В 1840 г. он из Берлина пишет Вяземскому, которого когда-то так завлекал и в Веймар, и в книги Гете: «Я видел и слышал «Фауста», «Götz-Berlichingen», «Torquato Tasso» Гете и «Натана Мудрого» Лессинга. «Фауст» произвел на меня тяжкое ощущение. Нет, я бы не написал его. То-есть, не написал бы, если бы имел гений Гете. Оставаясь при моем страхе божием и любви к добрым людям, коим должно оберегать бога христианства и коих должно сберегать от дьявола и всех дел его, т. е. от гения Гете в «Фаусте» [85].

Этим отрицанием величайшего создания Гете заканчивается долголетнее «гетеанство» А. И. Тургенева и выказывается его социальная подоснова. Весь поверхностный либерализм брата декабриста, охваченного тщетным и страстным желанием «примирить» брата с правительством Николая I, «доказать» российским охранителям «невинность» Николая Тургенева и преданность его российскому престолу, оборачивается тут своим идиллико-феодальным лцом. Понять Гете как «Прометея» Тургенев разумеется не смог, как не смог прочесть и «Фауста» глазами восстающего против феодализма «мятежника». Но важно отметить, что «Фауст» отрицался Тургеневым не только из «страха божия»—таких отрицателей «Фауста» было множество и в Германии, и в России, и в Европе,—но из «любви к добрым людям». Это возражение, даже нападение на «Фауста», с точки зрения «любви к добрым людям», связано с переменой, происходившей в Тургеневе уже с половины 30-х годов. Тургенев так и умер, не уяснив себе, в чем она состояла. Он попытался намекнуть на нее Вяземскому: «Теперь все затихло в сердце и вокруг меня... Зато теперь душа вслед за умом устремляется к идеям высшего разряда, благо масс, и еслиб не смешно было признаться, то сказал бы—благо всего рода человеческого объемлющим. Это не космополитизм, а что-то иное, чего сам себе объяснить не умею» [86]. Тургенев не сумел объяснить, но умел доказать свою любовь к «массам»—самым несчастным из всех несчастных «масс» николаевской России: он, по словам Вяземского, «сделался в Москве ходатаем, заступником, попечителем несчастных, пересылаемых в Сибирь. Острог и Воробьевы горы (откуда отправляли в Сибирь партии арестантов.—*С. Д.*) были театром его мирных и человеколюбивых подвигов, а иногда и скромных,

но благочестивых побед, когда удавалось ему спасти или по крайней мере облегчить участь того или другого несчастного. Смерть неожиданно застигла его в исполнении усиленных и добровольно принятых им обязанностей» [87].

Веймар помянул А. И. Тургенева посмертным словом. Оно принадлежало канцлеру Мюллеру.

Тургенев поддерживал с ним дружеские отношения. Они были в переписке. Так по дневнику Тургенева видно, что в 1827 г. он получил от Мюллера письмо в Берн, в Швейцарию (23 сентября). 14 октября 1837 г. Мюллер писал Жуковскому, что «провел с Тургеневым прекрасные дни на юбилейных празднествах в Геттингене» [88].

В 1841 г. Тургенев встретился с канцлером Мюллером в Париже и был его чичероне по парижским литературным салонам, отплатив ему тем же за веймарское чичеронство. «Я представил его Рекамье и многим другим,— сообщает Тургенев Вяземскому,—хотя и король, и принцесса Орлеанская ухаживают за ним. В воскресенье мы слушали вместе записки Шатобриана в Аббатстве, где он (Мюллер) очень понравился. Он привез любопытную книгу о Гете, которую куплю в Германии» [89].

О смерти А. И. Тургенева Мюллер узнал от Жуковского (5/I 1846). Старый друг Тургенева, говоря о нем, советовал Мюллеру написать его некролог. Мюллер с живостью ухватился за эту мысль, и уже 17 января Жуковский сообщил ему нужные «биографические сведения о Тургеневе и характеризовал его как человека, предоставляя остальное дружескому перу». Мюллер написал некролог и выслал его Жуковскому в рукописи. Жуковский послал ему свои замечания, касавшиеся характера «Арзамаса», отношений А. Тургенева к кн. А. Голицыну и к брату Тургенева Сергею [90]. Все эти замечания были приняты Мюллером, и написанный им некролог появился в «Beilage zur «Allgemeinen Zeitung» (1846, № 157 от 6 июня, SS. 1249—1250) под заглавием: «Alexander Iwanowitsch Tourgueneff». В Тургеневе, утверждал Мюллер, «Россия потеряла одного из благороднейших своих сограждан, а духовная область гуманности и науки—одного из своих вернейших союзников. Редко соединяются в одном человеке такая горячая любовь к родине с таким космополитическим сердцем, с таким умом, открытым для понимания всего чисто человеческого, в какой бы стране оно не проявилось; такое неутомимое стремление к источникам знания и всем элементам цивилизации с такой теплотой, как в Тургеневе» [91].

А. И. Тургенев занимает одно из виднейших мест в галлерее русских гетеанцев: он вышел из самого раннего гнезда русского гетеанства, всю жизнь был прилежным читателем (но не всегда почитателем) Гете и явился в Веймар представителем двух русских литературных эпох: приехал туда еще с преданиями «Арзамаса», а писал о своей поездке в журнале Пушкина.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо от 31 окт. 1832 г.—«О. А.», т. III, стр. 213.

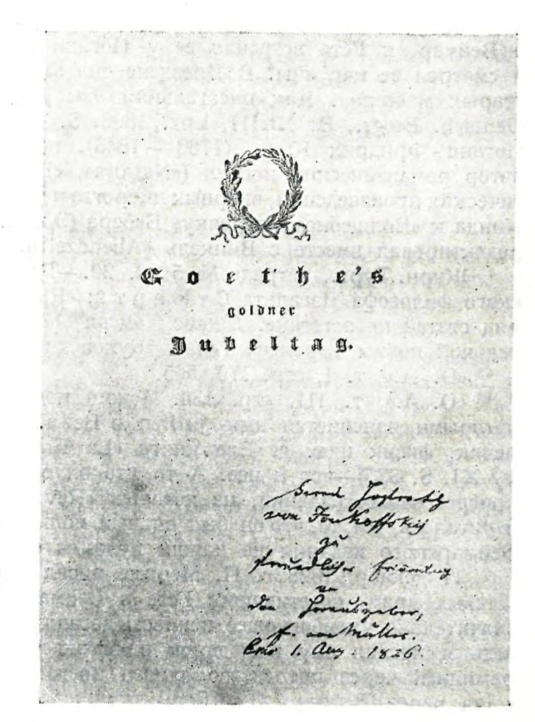
[2] M-me Ancelot, Un salon de Paris 1824 à 1864. Paris, 1866. Эту цитату из воспоминаний Маргариты-Луизы-Виргинии Ансло (1792—1875) беру у А. К. Виноградова «Мериме в письмах к Соболевскому». М., 1928, стр. 23.

[3] Пушк., соч., т. V, стр. 168 (заметка 1836 г.).

[4] П. А. Вяземский, Старая записная книжка. Л., 1929, стр. 175.

[5] «О. А.», т. IV, стр. 65.

[6] «О. А.», т. III, стр. 233.
[7] «О. А.», т. IV, стр. 70.
[8] «О. А.», т. III, стр. 30.
[9] «Отрывок из записной книжки путешественника». — «С.» 1837, т. V, стр. 304—305.
[10] Вес., стр. 52. «Сели за стол,— описывает поэт-провинциал Г. Каменев свое посещение семьи И. П. Тургенева,— в продолжение коего говорил я с детьми его о немецких авторах. Старший любит страстно Гете, Коцебу, Шиллера и Шписа, он много переводит из них». (П. Загарин, Жуковский и его произведения, изд. II. М., 1883 г., стр. 28.)
[11] Арх. Т., т. II, стр. 44.
[12] Вес., стр. 53.
[13] Там же.
[14] «Приятное и полезное препровождение времени» 1798, ч. XIX, стр. 107.
[15] Печатается с подлинника—по экземпляру «Вертера», хранящемуся в собрании А. Ф. Онегина в Институте Русской Литературы Академии Наук СССР.
[16] А. Тургенев Вяземскому 7 окт. 1819 г.—«О. А.», т. I, стр. 324.
[17] Арх. Т., т. V, стр. 218.
[18] Письмо от 1 окт. 1823 г.—«О. А.», т. II, стр. 354.
[19] Письмо от 25 июля 1824 г.—«О. А.», т. III, стр. 61.
[20] Арх. Т., т. II, стр. 81—82.
[21] Там же, стр. 82.
[22] Там же, стр. 81—82. Запись от 26 ноября 1799 г.
[23] Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу. Лейпциг, 1872, стр. 152.
[24] «W. A.», IV Abt., B. V, S. 123, 150, 216, 229; III Abt, B. I, S. 128, 131, 138.
[25] Арх. Т., т. II, стр. 37.
[26] «Здесь Шимановская и альбом ее, исписанный руками Benjamin Constant, Humboldt, Томаса Мура, Гете, пуще прежнего растравил тоску мою по чужбине». Вяземский — А. Тургеневу 12 ноября 1827 г. — «О. А.», т. III, стр. 167.
[27] Арх. Т., т. II, стр. 263. Письмо от 18 сент.
[28] Арх. Т., т. II, стр. 185, 205. Записи дневника от 18/30 янв. и 19/31 марта 1803 г.
[29] Там же, стр. 269. Письмо к Жуковскому от 4 янв. 1803 г.
[30] Письмо Вяземскому от 28 мая.—«О. А.», т. III, стр. 129—130.
[31] Письмо от 27 ноября 1818 г.—«О. А.», т. I, стр. 155.
[32] Арх. Т., т. V, стр. 6, 73, 76, 117, 169, 302.
[33] Там же, стр. 335. Запись от 13 дек. 1822 г.



Титульный лист экземпляра книги „Goethe's goldner Jubeltag", подаренной канцлером Мюллером В. А. Жуковскому

Внизу дарственная надпись Мюллера: „Herrn Hofrath von Joukowsky zu freundlicher Erinnerung an den Herausgeber. F. von Müller. Ems, 1 August, 1826" (Господину советнику Жуковскому на дружескую память об издателе. Ф. фон Мюллер. Эмс, 1 августа 1826)

Институт Русской Литературы, Ленинград

[34] «О. А.», т. I, стр. 26.

[35] «О. А.», т. IV, стр. 105.

[36] Там же, стр. 249.

[37] Из журналов А. Тургенева, тетрадь № 4—№ 5, л. 3—4 (Ленинград, Институт Русской Литературы Академии Наук СССР). Гр. Каролина Эглофштейн (1789—1868)—фрейлина Марии Павловны, бывавшая с нею в Петербурге и имевшая круг петербургских знакомых. С Гете она была в дружеских отношениях: несколько его мелких стихотворений посвящены ей. Обладая способностями к музыке, написала несколько песен. Была в переписке с Клингером (см. в главе о Кюхельбекере). Плещеева—может быть фрейлина Наталия Федотовна Плещеева (1768—1855), с 1826 г.—статс-дама; или—вторая жена арзамасца («Черный Вран») и приятеля Жуковского, А-дра А-сеевича Плещеева (1775—1827), камергера и чтеца Марии Федоровны.

[38] Печатаем перевод, сделанный по фотографии с собственноручного подлинника записки А. И. Тургенева, хранящейся в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре. Записка впервые напечатана в «W. A.», III Abt., B. X, S. 334.

[39] Там же, стр. 172.

[40] Из журнала А. Тургенева, тетрадь № 4, л. 3—4. Шиллер был похоронен в общем склепе, где останки его затерялись. Как раз в год посещения А. И. Тургенева, но в более позднее время, была начата расчистка кладбища, и череп Шиллера был опознан Гете. В ночь с 25 на 26 сентября Гете написал известные стихи: «Bei Betrachtung von Schillers Schädel». (При созерцании шиллерова черепа). Шиллер был «перепогребен» в герцогском склепе.

[41] А. Тургенев—Вяземскому 28 марта 1840.—«О. А.», т. IV, стр. 104.

[42] В своей работе «Младший тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев» акад. В. М. Истрин пишет про него: «Для писательства у него не было наклонности» и «А. И. не стал ни писателем, ни литератором» (Арх. Т., т. II, стр. 4, 9). Однако И. И. Дмитриев и А. С. Пушкин признавали в А. И. Тургеневе настоящее писательское дарование. Первый писал Тургеневу: «Вы... одарены всеми способностями автора» (Соч. И. И. Дмитриева под ред. А. А. Флоридова. СПБ., 1893, т. II, стр. 223), а Пушкин дал о нем блистательный отзыв: «Глубокомыслие, остроумие, верность и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога, полного жизни и движения, которые везде пробиваются сквозь небрежность и беглость выражения, служат лучшим доказательством того, чего можно было бы ожидать от пера, писавшего таким образом про себя, когда следовало бы ему писать про других» (Пушк., Соч., 1836, т. V, стр. 168).

[43] Тереза-Эмилия Винкель (1784—1867), у которой произошло литературное собрание, занималась музыкой, живописью и литературой. В 1809 г. она переехала в Веймар, и Гете встречал ее у Иоганны Шопенгауэр, слушал ее игру на арфе и смотрел ее картины. В Дрездене она занималась главным образом копированием старых мастеров. Как писательница выпустила «Beiträge für Kind's Harfe» (Allg. Deutsch. Biogr., B. XLIII, Lpz., 1898, S. 431—432). На Гете нападал в этот вечер Иоганн-Фридрих Кинд (1768—1843), поэт и писатель, юрист по образованию, автор романтических новелл («Natalia», «Leben und Liebe», «Tulpen» и др.), драматических произведений, оперных либретто и др. Гете одобрительно отзывался о либретто Кинда к «Волшебному стрелку» Вебера (Экк., т. II, стр. 99). В 1817—1826 гг. Кинд редактировал вместе с Винкель «Abendzeitung» в Дрездене.

[44] Журн. Тург., тетрадь № 5, л. 29.—Тургенев читал книгу известного шотландского философа Дэгальта Стюарта: «Philosophical Essays» (1810), в которой есть ряд статей по эстетике. Джемс Томсон (1700—1748)—английский поэт, автор описательной поэмы «Времена года». Жуковский переводил Томсона.

[45] «О. А.», т. I, стр. 179, 565.

[46] «О. А.», т. III, стр. 134. Можно подивиться скудости и неполноте сведений, которыми поясняется имя Jullien в Вейм. издании: «M.-A. Жюльен, французский медик, физик и т. д. Его книга «La France en 1825. Paris» («W. A.», III Abt., B. XI, S. 335)—вот и все. А то, что он был издателем двух европейски известных прогрессивных изданий, из которых «Revue Encyclopédique» немало писало о Гете и читалось им, то, что он был видный политический деятель,—все это комментаторы Веймарского издания не нашли нужным сообщить читателям.

[47] 11 декабря 1828 г. П. Мериме писал своему другу А. Стафферу, переводчику гетевых драм, посетившему Гете в Веймаре в мае 1827 г.: «Вот обстоятельство, значительно уменьшающее ценность догадливости [Гете] относительно автора «Guzla»—ведь я послал ему в подарок один экземпляр этой книги с надписью и полной фамилией через посредство одного моего русского знакомца, дорога которого лежала через Веймар. Он [Гете] приписал себе заслугу открытия, чтобы казаться

гением проницательности». (А. К. Виноградов, Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, стр. 46.) «La Guzla» вышла в свет в издании Левро в Страсбурге в июле 1827 г. Из русских, посетивших Веймар, в этом году и перед тем бывших в Париже, знаем по дневнику Гете лишь троих: кн. Э. П. Мещерского, Жуковского, Ал. Тургенева. Мещерский, посетивший Гете в марте, не мог быть передатчиком книги, вышедшей в июле. Жуковский провел в Париже май и июнь, а в июле уже лечился в Эмсе. Вероятным передатчиком «Guzla» Гете мог бы быть А. И. Тургенев: даже еслиб он не был знаком с 1827 г. с Мериме лично: один из французских друзей Тургенева, общих у него с Мериме, мог бы «организовать» эту оказию к Гете. Из других русских в дневнике Гете осенью и в начале зимы 1827 г. именуется в качестве посетителя А. А. Перовский (Погорельский), но о знакомстве его с Мериме или другими парижскими литераторами нам ничего не известно. А. К. Виноградов высказал предположение, что передатчиком письма Мериме был Н. А. Мельгунов. Однако имя его не упоминается в дневнике Гете.

48 «Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schulz». Hgg. und einl. v. H. Düntzer. Lpz., 1853, S. 3—130.

49 Там же, стр. 352. Упоминаемые графини Эглофштейн—уже известная нам фрейлина Марии Павловны Каролина, ее сестры Юлия (1792—1869) и Августа (1796—1862) и их мать Генриетта (1773—1864). Это была одна из самых близких к Гете семей в Веймаре. Мать, Генриетта, ради дочерей разведшаяся с мужем, чужим ей по мировоззрению, поселилась в Веймаре с конца XVIII ст. и прочно вошла в постоянный круг друзей Гете, еженедельно с 1801 года собиравшихся в его доме. В 1804 г. она вступила во второй брак и должна была отдаться жизни в тесном семейном кругу. Ее мемуары доселе неизданы. Юлия была придворной дамой у герцогини Луизы. У нее были способности к живописи, обратившие на себя внимание Гете. Ею написан большой его портрет. Младшая дочь, болезненная Августа, писала стихи, изданные после ее смерти в Веймаре: «Aus einem Tagebuche» (1864). Об Эглофштейнах см. еще в главе, посвященной Жуковскому.

50 «W. A.», III Abt., B. XI, S. 94.

51 Дневник А. Тург., тетрадь № 5, л. 104 об. Об Ясновском см. главу первую. Фридрих-Вильгельм Бьелке—с 1817 г. гофмаршал Марии Павловны.

52 Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу. Leipzig, 1872, стр. 62.

53 «Р. А.» 1867, стр. 668. П. И. Бартенев произвольно датирует это письмо 1825 годом; но 1) Тургенев только в 1826 г. впервые посетил Веймар и 2) только в 1827 г. записана у него в дневнике продолжительная беседа с Марией Павловной о Карамзине.

54 Письма А. Тург. к Н. Тург., стр. 64.

55 Müller, S. 197. «Globe»—известное парижское издание, постоянным читателем которого был Гете. В газете сотрудничали Виктор Гюго, Сент-Бев, Гизо, Кузен, Пьер Леру, Ремюза и др. «Я причисляю Le Globe к самым интересным газетам и не могу без него обойтись», сказал Гете Эккерману 1 июня 1828 г. (Экк., т. I, стр. 231). Жан-Жак Ампер (Ampеr, 1800—1864)—сын знаменитого математика, историк литературы, критик, профессор Сорбонны и Collège de France, сотрудничал в «Globe». Он был знаком с А. И. Тургеневым.

56 Письма А. Тург. к Н. Тург., стр. 64—65.

57 Там же, стр. 114.

58 Там же, стр. 79. Письмо от 29 января 1828 г. из Парижа.

59 Журн. А. Тургенева № 8, л. 47 об.—48 об.—У нас нет места для подробного комментария, которого требовал бы этот отрывок. Остановимся лишь на некоторых именах: Санти—гр. Вас. Алдр. Санти (1778—1841), русский поверенный в делах в Веймаре. Он занимал эту должность с 1828 г. по смерть. О Ханыкове см. в главе III, § 3. Вольф—Пий Александр Вольф (1782—1828), известный актер и драматург; юношей он отправился в Веймар к Гете, чтоб от него принять посвящение в литературу и театр, и сделался актером Веймарского театра, играл роли Тассо и Ореста («Ифигения в Тавриде») в пьесах Гете. В 1808 г. его заметил Тальма и подружился с ним. В 1815 г. перешел в Берлинский театр. Умер в Веймаре 28 августа 1828 г. Гете высоко ценил его талант. Жена Вольфа, урожд. Анна-Амалия Беккер,—артистка Веймарского театра, исполнительница ролей Ифигении, Джульетты и др., выступавшая вместе с мужем. Принцесса Августа—дочь Марии Павловны, впоследствии императрица германская. Эмансипация, о которой идет речь,—так наз. «уничтожение невольничества» в колониях; с одним из видных деятелей этого движения, В Вильберфорсом, Тургенев был лично знаком. Княгиня Ливен—кн. Дарья Христ. Ливен (1786—1857), родная сестра шефа жандармов Бенкендорфа, жена русского посла в Лондоне кн. Х.-А. Ливена (1774—1838); по злому замечанию Вигеля, она «при муже исполняла должность посла и советника и сочиняла депеши»; у нее

был влиятельный дипломатический салон. Штейн—бар. Генр.-Фр.-Карл Штейн (1756—1831), прусский государственный деятель, враг Наполеона, в 1812 г. приехавший в Россию по приглашению Александра I. В 1814—1815 гг. Н. И. Тургенев служил при Штейне в «Центральной правительственной комиссии», действовавшей во время заграничного похода русских войск. Гр. Август Платен (1796—1835),—известный немецкий поэт и драматург. В своих «Газелах» (1821) был под влиянием «Дивана» Гете, так же как и в «Венецианских сонетах». Из его драм известны «Смерть Марата», «Беренгар» и др. В беседах с Эккерманом Гете высказал ряд суждений о личности и сочинениях Платена. «Он обладает многими блестящими качествами, но ему недостает любви,—сказал Гете 25 декабря 1825 г.—Он столь же мало любит своих читателей и товарищей по поэзии, как и самого себя... Еще на-днях читал я стихи Платена и не мог не признать его богатого таланта. Но, повторяю, ему недостает любви, а потому он никогда не будет иметь того влияния, какое должен бы иметь» (т. I, стр. 220). Про пьесы Платена Гете высказался 30 марта 1824 г.: «Они весьма остроумны и в некоторых отношениях превосходны, но им недостает известного удельного веса, известной серьезности содержания. Они не такого рода, чтоб возбуждать в душе читателя глубокое и долго остающееся впечатление; скорее они только легко и торопливо затрагивают наши внутренние струны» (т. I, стр. 113). Суждения эти близки к отзыву, услышанному Тургеневым от канцлера Мюллера.— Упоминаемый в связи с Платеном Кнебель—Карл-Людвиг ф. Кнебель (1744—1834), прусский офицер, с 1774 г. воспитатель принца Константина, брата Карла-Августа. В декабре этого года Кнебель прибыл во Франкфурт в свите принцев Карла-Августа и Константина. Любитель литературы, почитатель «Вертера», он посетил Гете и устроил его представление веймарским принцам. В следующем году Гете по приглашению Карла-Августа переселился в Веймар. Кнебель, ушедший впоследствии от военно-придворной жизни и предавшийся занятиям классической филологией, был одним из самых близких к Гете людей.

[60] Журнал А. Тургенева № 8, л. 48 об.

[61] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 62—63.

[62] Экк., т. II, стр. 19, 21, 221, 91—92.

[63] «Письма к В. А. Жуковскому разных лиц».—«Р. С.» 1903, № 8, стр. 440.

[64] Е. В. Петухов, Памяти Гоголя и Жуковского. Юрьев, 1903, стр. 92—93. Письмо к проф. Карлу Моргенштерну.

[65] Экк., т. II, стр. 55. Об отношении Гете к философии см. главу «Московские любомудры у Гете».

[66] «Арх. Т.», т. VI, стр. 328.

[67] Журнал А. Тургенева № 8, л. 48 об. Упоминаются: Раупах (см. в гл. «Официальные гетеанцы»); Тюфякин—кн. Петр Ив-ч (1769—1845), в 1812—1816 гг. вице-директор, в 1816—1821 гг. директор императорских театров; Разумовская—графиня Генриетта, рожд. бар. Мальсен (1790—1827), первая жена гр. Григ. Кирилл. Разумовского (1758—1837), минералога, знакомца Гете. Знакомство ее в Петербурге (1806—1816) с братьями Тургеневыми обратилось в дружбу. С 1816 г. Разумовская жила в Париже, в ее салон были вхожи представители литературы и искусства.

[68] Журнал А. Тургенева № 8, лл. 49—50 об. Из упоминаемых: Фридрих-Генрих Якоби (1743—1819)—известный философ, противник Канта и трансцендентального идеализма; Гете познакомился с Фр. Якоби в 1774 г. и гостил в его имении Пемпельфорте близ Дюссельдорфа. Друг Гете, гр. Штольберг, под влиянием кн. Ад. Голицыной перешел в католичество (см. гл. I). Якоби близко знал и Штольберга, и Голицыну. Фосс, Иоганн-Генрих (1751—1826)—немецкий поэт, автор идиллии «Луиза», переводчик Гомера. Дежерандо—Marie-Joseph Degérando (1772—1842)—французский философ, моралист, педагог и социальный мыслитель; лично знаком был с А. И. Тургеневым. Разговор шел об его книге «Le visiteur du pauvre» (1820, 3-е изд. 1826), очень популярном в свое время филантропическом сочинении. Вопросами общественной благотворительности А. И. Тургенев очень интересовался и впоследствии был близок с известным д-ром Ф. П. Гаазом. Графиня Констанца Фритш (Frietsch, 1786—1858)—фрейлина Марии Павловны.

[69] Журнал А. Тургенева № 8, л. 51.

[70] Там же, л. 51 об.

[71] Там же.

[72] Арх. Т., т. VII, стр. 110, 112, 127, 155. Письма к Вяземскому 1832—1833 гг.

[73] Там же, стр. 232, 241.

[74] Письмо из Женевы к Вяземскому от 24/2 июля 1833 г.—Арх. Т., т. VI, стр. 242. Тургенев читал «Путешествие по Швейцарии 1797 года», редактированное Эккерманом

для посмертного издания. Элегия «Euphrasyne» включена в «Путешествие». Из курьезов тургеневской «гетеаны» нужно отметить, что один из его портретов был написан Кестнером, сыном соперника Гете по любви к Шарлотте: «Портрет мой Брюллова удался: но сын Шарлотты Вертеровой, Chargé d'af. Кестнер списал другой с меня, и я похож в нем на Д. П. Татищева. Это пришлю тебе» (1833, 13 января; Арх. Т., т. VI, стр. 145).

75 «О. А.», т. III, стр. 319. Неизвестно, почему Вяземский так желал иметь портрет незнакомого ему Августа Гете.

76 П. Е. Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина, 3-е изд. ГИЗ. Л., 1928, стр. 289.

77 Амалию, мать Карла-Августа.

78 Крейтер (Friedrich-Theod. Kräuter, 1790—1856)—личный секретарь Гете; с 1818 г. один из библиотекарей Веймарской библиотеки.

79 Печатаем эти стихи по копии, сообщенной нам дирекцией Гете-Шиллеровского архива в Веймаре (1932). У Тургенева подпись «В. Э.» и нет заглавия. Среди русских имен ближайших посетителей—«Le colonel au service de Russie Manitschuroff, 14 Fevr. 1833» (генерал русской службы Мансуров (?) 14 февр. 1833)—вероятно генерал-адъютант Александр Павлович Мансуров (1788—1880).

80 Стих римского поэта Лукана гласит: «От великого имени не остается ничего (nihil)». Гете, заменив слово nihil словом multum, дал другое значение стиху: «Многое остается от великого имени».

81 «Однажды добродушный и гостеприимный хозяин Абботсфорда показывал мне мраморный бюст, подаренный ему Байроном, стоявший в его библиотеке на деревянном пьедестале, внутри коего хранилась прежде его переписка со знаменитыми современниками. Дочь В. Скотта подошла ко мне и просила не спрашивать у отца ее о бумагах, в пьедестале хранящихся. «Воспоминание о них,—сказала она,—огорчит батющку, ибо один из посетителей, коему также показывал он свои сокровища, украл из пьедестала письма Байрона». (Примечание А. И. Тургенева.)

82 См. воспроизведение этого рисунка в тексте. О Рейтерне см. в главе о Жуковском.

83 См. в гл. «Московские любомудры», в параграфе, посвященном А. И. Кошелеву.

84 «Отрывок из записной книжки путешественника».—«С.» 1837, т. V, стр. 294—305.

85 «О. А.», т. IV, стр. 120.

86 Письмо от 26 июля 1833 г.—Арх. Т., т. VI, стр. 268.

87 П. А. Вяземский, Старая записная книжка. Л., 1929, стр. 182.

88 «Briefe des Kanzlers Friedrich von Müller an Wasily Andrejewitsch Jukowsky». Hgg. v. Adelheid von Schorn.—«Deutsche Rundschau» 1904, Heft 11, S. 284.

89 «О. А.», т. IV, стр. 133.

90 Е. В. Петухов, Письма В. А. Жуковского к канцлеру Фридриху фон Мюллеру. Новый сборник статей по славяноведению. Составл. и изд. учениками В. И. Ламанского. СПБ, 1905, стр. 340—341.

91 Beilage zur «Allgemeinen Zeitung» 1846, № 157 от 6/VI, S. 1249—1250.

Канцлер Мюллер дал в своем некрологе довольно полный очерк деятельности А. И. Тургенева, коснувшись и его государственной службы, и работы в Библейском обществе, и трудов по обследованию европейских архивов с целью собирания памятников, относящихся к русской истории. С особым вниманием он остановился на взглядах Тургенева на крепостное право. «Уничтожение крепостного права», пишет веймарский канцлер на основании, очевидно, личных бесед с Тургеневым, реяло перед ним как высокая святая цель, которой он приносил великодушные «жертвы в имениях своей семьи, побуждая к тому всех своих друзей». Мюллер имеет в виду те перемены, которые внесли в положение своих крестьян братья А. и Н. Тургеневы. Об одной из таких перемен А. Тургенев писал Вяземскому 18 сентября 1818 г.: «Брат возвратился из деревни. Он привел там в действо либерализм свой: уничтожил барщину и посадил на оброк мужиков наших, уменьшив через то доходы наши. Но поступил справедливо, следовательно и согласно с нашею пользою» («О. А.», т. I, стр. 121). «С каким ликованием»,—вспоминает Мюллер,—«приветствовал он указ от 2/IV 1842 г., уполномачивавший дворянство к уничтожению крепостного права при помощи свободных договоров, заключаемых с обеих сторон. Этот закон казался ему утренней зарей будущего, соответствовавшего самым горячим его желаниям». Конец некролога посвящен деятельности Тургенева по облегчению участи сидящих в тюрьмах и отсылаемых в Сибирь. Сам Тургенев писал 5 октября 1836 г. Вяземскому из Москвы: «Я доволен своей поездкой. Много начал и надеюсь хорошо кончить. Жил с каторжанами больше нежели кто приговаривает на каторгу, и слава богу» («О. А.», т. IV, стр. 331). В некрологе Мюллера содержится и несколько верных черт для характеристики А. Тургенева, как посла русской литературы при столицах европейской образованности.

Глава пятая

ЖУКОВСКИЙ И ГЁТЕ

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ЖУКОВСКОГО ЗА ГРАНИЦУ.— „ПРИДВОРНАЯ АРКАДИЯ“. — ИСТОРИЯ ГЕТЕАНСТВА ЖУКОВСКОГО.— ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ СБОРНИКОВ ПО НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.— ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ ГЕТЕ В БЕРЛИНЕ И ШТУТГАРТЕ.— СВИДАНИЕ С ГЕТЕ В ИЕНЕ В 1821 Г. — ОБМЕН ПИСЬМАМИ С ГЕТЕ. — ВТОРАЯ ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ В 1826—1827 ГГ. — ПРЕБЫВАНИЕ В ЭМСЕ И ДРЕЗДЕНЕ.—ХУДОЖНИК КАРУС. — ПРЕБЫВАНИЕ В ВЕЙМАРЕ.—НЕИЗДАННЫЕ СТИХИ К ГЕТЕ.— ПРОЩАНИЕ С ГЕТЕ. — ПОДАРОК ГЕТЕ ЖУКОВСКОМУ.—ПЕРО ГЕТЕ, ПОДАРЕННОЕ ПУШКИНУ.— М. ШИМАНОВСКАЯ И ЕЕ ПИСЬМО К КАНЦЛЕРУ МЮЛЛЕРУ. — А. ПЕРОВСКИЙ И ГР. А. К. ТОЛСТОЙ В ВЕЙМАРЕ. — ПИСЬМА КАНЦЛЕРА МЮЛЛЕРА. — ГР. МИХ. Ю. ВЬЕЛЬГОРСКИЙ В ВЕЙМАРЕ.—ЕГО НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО К ЖУКОВСКОМУ. — ПОЗДНЕЙШИЕ ПОЕЗДКИ ЖУКОВСКОГО В ВЕЙМАР. — ДРУЖБА С КАНЦЛЕРОМ МЮЛЛЕРОМ. — МЮЛЛЕР — ЧИТАТЕЛЬ ЖУКОВСКОГО. — ВЕЙМАРСКИЙ ПРИЮТ ОТ РЕВОЛЮЦИЙ. — ЭПИЛОГ ГЕТЕАНСТВА ЖУКОВСКОГО.

К началу 1820-х годов Жуковский имел два звания—придворное и литературное: он был преподавателем русского языка у великой княгини Александры Федоровны, жены в. к. Николая Павловича, и был, по собственному своему определению, «родителем на Руси немецкого романтизма и поэтическим дядькой чертей и ведьм немецких и английских».

Оба эти звания начинали уже возбуждать нападки ближайших друзей Жуковского: они опасались за независимость и человека, и поэта.

Товарищей мечты досужной,
Волшебниц, леших и духов,
Запас домашних привидений
И своекоштных мертвецов [1],—

обильнейший сентиментально-романтический запас, скопленный поэтом Жуковским к 1820 г., начинал казаться его друзьям и читателям чрезмерным, приторным, приевшимся. По поводу «потусторонности» сюжетов Жуковского острый и язвительный арзамасец Вяземский, отдавая должное таланту поэта («один Жуковский умеет доить и стричь этого духовного козла, от коего нет ни молока, ни шерсти») [2], признавал, что в этом же лежит и причина недостатков его поэзии: «однообразие выкроек, форм, оборотов» [3]. «Жуковский слишком уже мистицизмует, то-есть слишком часто обманываться не надобно: под этим туманом не таится свет мысли... Поэт должен выливать свою душу в разнообразных сосудах» [4].

Придворное звание Жуковского не менее тревожило его друзей. Политическая сонливость и безучастность Жуковского приводила либерала Вяземского в отчаяние: «В нем нет капли конституционной крови!» [5] воскликнул он еще в 1818 г. Говоря о придворных занятиях Жуковского, Вяземский писал: «Его голова крепче Филаткиной, если устоит против этой картечи порабощения и чванства. А я думаю о нем с сокрушенным сердцем, пеплом осыпаю его голову и плачу над его разверстою могилой, если не раздастся голос жизни в каких-нибудь новых стихах» [6]. Но «голоса жизни» не раздавалось, и Вяземский, сердясь, именовал Жуковского «придворным певчим» [7].

3 октября 1820 г. Жуковский выехал из Дерпта, направляясь в чужие края. Путешествие за границу—хотя и в свите вел. кн. Александры Федоровны—должно было, по мнению друзей, впустить Жуковскому в легкие свободного европейского воздуху и вернуть его к поэзии. Жуковский и сам верил в силу путешествия и, отъезжая, писал А. П. Елагиной: «Наконец некоторые желания сбываются: увижу прекрасные страны, в которых иногда бегало воображение, но, признаюсь, не думаю увидать их в том очаровании, какое дала бы им первая молодость, товарищ еще необразу-

В. А. ЖУКОВСКИЙ
Рисунок карандашом неизвестного художника (10-е годы XIX века)
Институт Русской Литературы, Ленинград

мившейся надежды. Жизнь изменилась, и все, что теперь ни увидишь, представится ограниченным в круге. Но все путешествие оживит и расширит душу. Надеюсь, что оно пробудит и давно уснувшую поэзию».

В числе заветных своих желаний Жуковский объявляет Елагиной: «Буду видеть и шиллеровы и гетевы трагедии», а объясняя свой маршрут, пишет: «...из Дрездена через Веймар (Гете) в Кассель, из Касселя во Франкфурт» [8]. Встреча с Гете задумана была поэтом еще в России.

С надеждой отпустив Жуковского за границу, Вяземский выразил однако опасение, что «путешествие не проветрит его» и «он перенесет свою Аркадию во дворец, возвратится с тем же беспечием, с тем же, смею сказать, отсутствием мужества, достойного его желания... Я вижу его отсюда: жмет немытую руку Гуфеланда, сравнивает ее с запачканной рукой Эверса и говорит: «О, сладкий жар во грудь мою проник!..» [9]

Жуковский действительно застрял в Берлине с великой княгиней на восемь месяцев и очутился там в прусской придворной «Аркадии», даже подружился с наследным принцем. Вяземский напрасно агитировал его из Петербурга: «посвяти пламень свой правде и брось служение идолов. Благородное негодование—вот современное вдохновение! При виде народов, которых тащут на убиение в жертву каких-то отвлеченных понятий чистого самодержавия, какая лира не отгрянет сама: месть! месть! Ради бога, не убаюкивай независимости своей на розах потсдамских, ни на розах гатчинских... В наши дни союз с царями разорван: они сами потоптали его. Я не вызываю бунтовать против них, но не знаться с ними... Воспользуйся разрешением твоим от петербургских оков, столкнись с мнением европейским; может быть это пробудит в тебе новый источник» [10].

Жуковский не откликнулся на этот призыв, «союза с царями не разорвал»: наоборот, настолько укрепил его при молодом дворе будущего Николая I и его супруги, что прусские коронованные «аркадийцы», завидовавшие более привольной «Аркадии» русского самодержавия, заискивали впоследствии

в воспитателе наследника русского престола. Не послушался Жуковский Вяземского и по второму пункту: не «столкнулся с мнением европейским». Вяземский-либерал разумел под этим «мнением» конституционалистов, политических писателей Парижа: «конституционной крови» в Жуковском так ни капли и не прибавилось. Но «розы потсдамские» по соседству с великой прусской казармой оказались слишком удушливы и для него: его потянуло если не к поэзии, то к поэтам, и он попытался заключить с ними личный союз.

Вяземский предвидел без ошибки: Жуковский в Берлине действительно «сдружился со стариком Гуфеландом» [11] и 3 ноября 1820 г. записал в дневнике: «Я провел прекрасный вечер. Гуфеланд привлекательный старик... Был разговор о Гете (которому, как говорят, сделался удар,—но это известие неверно). Он знал его в молодости и говорит, что никогда не встречал человека, в котором бы физическое и моральное было в таком совершенстве и гармонии, как в нем. Его кто-то прекрасно теперь назвал—Олимпийским Юпитером без бороды. Говорил и о Шиллере. Бюсты обоих у него в гостиной. Бюст сорокалетнего Гете: удивительно прекрасный профиль—это работа Тика» [12].

Вот первая, заочная, встреча Жуковского с живым Гете. Ей предшествовали долголетние встречи с его произведениями. Первым из них был конечно «Вертер». Еще в ранней молодости Жуковский, как знаем, принимал участие в переводе «Вертера», предпринятом Андреем Тургеневым. Но в эти годы Жуковский более начитан был во французской и английской поэзии, чем в немецкой. До 1808 г. он переводил Грея, Лафонтена, Флориана и откровенно признавался, что «немецкая литература мало знакома ему» [13]. В 1806 г. он делает первые попытки переложений из Шиллера.

1808 год—важная дата в биографии Жуковского и в истории его гетеанства. В этом году он сделался редактором «Вестника Европы» и тогда же сделал вольное переложение того самого стихотворения Гете «Meine Göttin», которое когда-то Гердер декламировал Карамзину в Веймаре. Жуковский и как редактор уделил большое внимание великому поэту: на титульном листе ноябрьской-декабрьской книжки «Вестника Европы» был помещен портрет Гете, а в тексте «Письмо из Веймара» с рассказом о встрече Александра I и Наполеона с Гете в Веймаре. Русскому читателю сообщалось: «После театра был дан при дворе бал, который император Александр открыл с королевой Вестфальской. Наполеон между тем разговаривал с герцогиней, Виландом и Гете. Последний за несколько дней перед тем завтракал у императора: он очаровал его разговором и почитает его величайшим из гениев. И Гете понравился Наполеону, который, говоря о нем, назвал его: «un homme comme il faut». Для гетелюбия Жуковского характерно помещение этой заметки: русский читатель «Вертера» и «Клавиго» призывался ею порадоваться той чести, которой удостоился их автор от Наполеона. Сам того не ведая, Жуковский поместил комплимент литературной политике Наполеона, дав читателю материал для менее лестного вывода об Александре I.

С 1808 г. до отъезда за границу Жуковским было переведено одиннадцать стихотворений Гете, в их числе «Миньона», «Лесной царь», посвящение к «Фаусту»: оно произвело на Жуковского такое впечатление, что он дважды вплел его в ткань своего творчества: оно послужило посвящением к «Двенадцати спящим девам» (1810—1817) и оно же тремя октавами влилось

в стихотворение «Цвет завета» (1819) [14]. Это все ширящееся внедрение свое в Гете Жуковский заключил известным своим обращением «К портрету Гете» (1819):

Свободу смелую приняв себе в закон,
Всезрящей мыслию над миром он носился,
И в мире все постигнул он
И ничему не покорился.

Однако осуществленная гетеана Жуковского меньше той, которая была намечена поэтом. В начале 1817 г. он предлагал арзамасцу Д. В. Дашкову «выдавать ежегодно по 2 книжки», из которых одна должна «вся состоять из одних русских сочинений», а другая должна дать «...собрание переводов образцовых немецких писателей, также в стихах и прозе». За немецкою частью хлопот немного: «материалы готовы, садиться и переводить». Переводы намечены из Гердера, Шиллера, Тика, Ла-Мотт-Фуке, Шлегеля, Якоби, Жан-Поль-Рихтера и др. Гете занимает в перечне Жуковского первое место: им начинается список и он представлен наибольшим числом произведений: «Проза. Гете: Römischer Carnewal. Märchen. Отрывки: Reisen nach Italien. Werther's Briefe über die Schweiz. Aus meinem Leben. У меня он полный», добавляет Жуковский. Уже в 1817 г. в его библиотеке было все, что тогда было издано из сочинений Гете. В первую книжку он хотел дать из Гете «Der Wanderer», а Дашков должен был перевести «Märchen» из Гете. «Для второй книжки хочется перевести «Hermann und Dorothea» [15]. Выбор Жуковского свидетельствует об его отличном знакомстве с сочинениями Гете: если бы издание Жуковского осуществилось, он уже в 1817—1818 гг. познакомил бы русских читателей, хотя и в отрывках, с такими произведениями Гете, которые они узнали лишь много десятилетий спустя в издании Гербеля (1878—1880 гг.), но издание не было осуществлено. Однако и то, что Жуковский успел дать русскому читателю до 1820 г., заставило юношу Пушкина еще в 1817 г. послать Жуковскому—

Штабс-капитану, Гете, Грею,
Томсону, Шиллеру привет!

В поэтическом титуле переимчивого поэта Гете таким образом блистал уже в 1817 г. наравне с Греем, которому Жуковский обязан началом своей известности.

У сентименталиста Жуковского не могло быть много точек соприкосновения с Гете: он легче и обильнее усваивал Шиллера,—но интерес

Автограф четверостишия В. А. Жуковского „К портрету Гете" (1819 г.)
Публичная Библиотека, Ленинград

к поэзии и личности Гете не покидал его всю жизнь. Тому свидетельство— его дневники, и в частности берлинский дневник 1820 г. Пребывание в Берлине служит Жуковскому как бы «введением в Гете»: он знакомится со многими его знакомцами и глубже погружается в изучение его сочинений.

Бюст Тика был для Жуковского как бы пластической иллюстрацией к словам Гуфеланда о гармонии морального и физического в Гете. Жуковский только омолодил Гете: когда его изваял Хр.-Ф. Тик (1776—1851), брат поэта, в 1801 г., ему было не 40 лет, а 52 года. На этом бюсте Гете многое навеяно знаменитым бюстом Триппеля, многое взято от его Гете-Аполлона, но Тик заставил идеализованного Аполлона несколько постареть,— несколько притомиться «трудами и днями». По словам самого Гете, его домашние «питали к этому бюсту род любви, граничащей с суеверием» [16]. Сам Гете разделял эту их любовь.

С Берлина начинаются встречи и знакомства Жуковского с целой фалангой поэтов и писателей романтиков: с Де-ла-Мотт-Фуке, с Беттиной фон Арним, Э.-Т.-А. Гофманом, Жан-Поль Рихтером и др., из которых многие знали Гете. Еще важнее встречи Жуковского с прямыми старыми друзьями Гете. Нельзя не досадовать на Жуковского за характер его дневника и не согласиться с Вяземским, что «часто отметки его—просто колья, которые путешественник втыкает в землю, чтобы означить пройденный путь, если придется на него возвратиться, или заголовки, которые записывает он для памяти, чтобы после на досуге, развить и пополнить» [17]. Жуковский ничего однако не «развил» впоследствии и не «пополнил». Приходится довольствоваться тем, что есть.

5 мая Жуковский «обедал у графа Брюля» (Карл-Фридрих-Мориц Брюль, 1772—1837), давнего знакомца и корреспондента Гете. Это был театральный деятель гетевской школы: еще в 1798 г. он начал под руководством Гете работать при герцогском театре в Веймаре. Жуковский делился с ним мыслью о посещении Гете: Брюль послал с ним письмо великому поэту.

Того же 5 мая Жуковский записал: «вечер у принцессы Радзивилл: Humboldt, m-me Humboldt, m-lle Kleist, Stegemann. Рисунки Фауста. Шёлер» [18]. Вот опять вечер, где несомненно говорили о Гете. Вильгельм Гумбольдт (1767—1831), знаменитый филолог, был другом Гете: поэт делился с ним своими творческими замыслами и так высоко ценил его и его брата Александра, знаменитого путешественника, что признался Эккерману в «великой выгоде» для собственного развития от того, что «на его глазах началась деятельность братьев Гумбольдтов» [19]. Хозяин дома—князь Антон Радзивилл (1775—1833) был автор музыки к «Фаусту».

Как для Гете, «Фауст» сделался для Радзивилла трудом всей жизни: музыкальному воплощению трагедии Гете (оркестр, хор, мелодрама) он отдал все зрелые годы; недовершонной осталась лишь сцена Вальпургиевой ночи. В Берлине Радзивилл сдружился с другом Гете, композитором Цельтером, и первую весть о музыке к «Фаусту» Гете узнал от Цельтера еще в 1810 г. Он встретил ее с радостью. 1 апреля 1814 г. Радзивилл посетил Гете в Веймаре и познакомил со своей музыкой. Гете писал Кнебелю о Радзивилле: «Он—первый трубадур, который ко мне явился; сильный талант, энтузиазм и, если угодно, что-то фантастическое его отмечает, и все, что он творит, носит индивидуальный характер». Еще восторженней отзыв, занесенный Гете в «Tag- und Jahreshefte»: «Посещение князя Радзивилла возбудило трудно удовлетворимое желание: его гениальная композиция к «Фаусту», счастливо и нас увлекающая за собой, оставляет

нам лишь отдаленную надежду увидеть это редкое произведение, поставленным на театре» [20]. С тех пор сценическое воплощение своего «Фауста» Гете соединял неразрывно с музыкой Радзивилла и принял непосредственное участие в его работе. «Нельзя было обойтись без некоторых перемен в тексте, и с согласия самого поэта иные сцены получили большее развитие». К числу их принадлежит сцена в церкви. «Некоторые хоры сам Гете дополнил для музыканта: он же переделал сцену в саду, так что она сделалась удобною для музыкальной обработки». В характеристике современника, русского слушателя 30-х годов, «целое и части, все в этом творении дышит глубокою поэзиею. Музыкант пользовался всеми новейшими пособиями музыки, но нигде не употреблял их во зло. Многие нумера (где требовали того слова) отличаются дикостью стиля; но это не стукотня Белини, а гайденовские и бетховенские диссонансы, имеющие свою высокую красоту, мотивы разнообразные, оригинальные, инструментовка богатая» [21]. Радзивилл был в переписке с Гете, а Цельтер постоянно осведомлял Гете со своей стороны о работе Радзивилла и о попытках постановки сцен из «Фауста» с его музыкой.

16 мая Жуковский записал: «Вечер у Радзивилла. За столом с Вольфом и Цельтером» [22]. Это—памятка об исполнении отрывков из музыки Радзивилла к «Фаусту». Три исполнителя названы дневником: сам Радзивилл был отличный виолончелист; Вольф—это известный уже нам Пий-Александр Вольф (1782—1828), талантливый актер, выученик Гете по веймарскому театру, с 1815 г. перешедший на берлинскую сцену, исполнитель гетевского репертуара, и Карл-Фридрих Цельтер (1758—1832)—композитор, переложивший на музыку многие песни Гете, один из его ближайших друзей, к которому обращены были в течение многих лет самые интимные письма Гете. Лучшего проводника к Гете Жуковскому было не найти.

Выбравшись из Берлина в конце мая, Жуковский в странствии по Германии встретился еще с одним другом и корреспондентом Гете и кажется сблизился с ним больше, чем с другими. Это был Сульпиций Буассере (1783—1854), страстный поклонник и знаток средневекового искусства и старонемецкой живописи, вместе со своим братом Мельхиором (1786—1831) собравший прекрасную коллекцию картин этой школы. Гете признавал, что Буассере удалось привлечь вновь его внимание к средневековому готическому искусству, совсем было упавшее после итальянского путешествия. К Буассере Жуковский явился с рекомендацией Каролины Гумбольдт, жены знаменитого филолога. Ее отзыв свидетельствует о высокой оценке, какую наш поэт нашел в берлинском кружке друзей Гете. Г-жа Гумбольдт аттестует Жуковского Буассере как вдумчивого путешественника, с глубоким и благодарным вниманием воспринимающего все, что есть в Германии прекрасного. «Он совершенно по-особому схватил правду и искренность, которую выражают старонемецкие и нидерландские картины. Вообще вы познакомитесь в нем с интересным и образованным человеком, который необычно полюбил Германию».

В первый раз Жуковский посетил Буассере в Штутгарте 3 октября. 4-го Жуковский подробно осматривал собрание картин Буассере, набросал схему происходившего разговора: «Мнение Кановы о картинах вдали и вблизи; дать списать живописцу; Гете о природе». Сближение с Буассере (5 октября он был у Жуковского и они толковали о немецкой поэзии, 6-го Жуковский дважды побывал у него) было так значительно, что

художник 6 октября предварил о нем Гете письмом как о скором посетителе Веймара и рекомендовал его в теплых выражениях [23].

А между тем у Гете была маленькая причина для недовольства Жуковским. Граф Брюль, вручивший Жуковскому в Берлине письмо для передачи Гете, писал ему: «Г-н Жуковский, учитель русского языка и лектор нашей любезной великой княгини Александры, надеюсь, передал Вам мое письмо, в котором я давал Вам обстоятельный отчет об освящении нового дома и об успехе пролога» [24]. Гете отвечал Брюлю 22 октября из Иены: «Ваше почтенное письмо очень обрадовало меня, так как я давно ничего о Вас не слышал, потому что г. Жуковский не передал мне Вашего письма; а теперь из Штутгарта мне рекомендуют его как прекраснейшего человека, желающего на возвратном пути познакомиться со мною. Возможно, что он не был здесь с их императорскими высочествами (т. е. с Николаем Павловичем и его женой.—*С. Д.*), или принял письмо, которое Вы ему дали с собою, за обычное рекомендательное письмо» [25].

Письмо Брюля к Гете странствовало с Жуковским по Германии с конца мая по конец октября. Штутгартская рекомендация была от Буассере. Он писал про Жуковского: «Этот талантливый человек обладает живым пониманием искусства и поэзии и всего того, что немцы внесли в нее. Он не только знает произведения Ваши и Шиллера, но многие из них перевел на русский язык.

Его знакомство стало для меня столь ценным, что я не могу отказать себе в том, чтобы обратить на этого человека Ваше внимание и приготовить ему дружественный привет, потому что, если только Вы с ним сойдетесь, для Вас не будет недостатка в удовольствии» [26].

Веймарская запись дневника Жуковского 1821 г. необыкновенно сжата и отрывиста:

«29 [октября]. Веймар. Штруве... Дом Гете: лестницы; бюсты и гипсы; Salve; длинная горница: Юпитер Олимпийский и Ахилл; музеум. Бюсты Шиллера, Гердера, Гете, древних и новых. Сад. Внук Гете. Длинная гостиная; рисунки; софа; над нею задернутая картина Les noces d'Aldobrandini; Мадонна. Горница, где портфели и антики» [27]. Жуковский не застал Гете: он был в Иене, но ему показали дом и сад. Он расставил свои «колья» по всему дому: запомнил «антики», слепки со статуй, привезенные Гете из Италии, в их числе Юпитера, о котором Гете писал из Рима в самый день Рождества 1786 г.: «Я не мог удержаться, чтобы не приобрести себе колоссальную голову Юпитера. Она стоит против моей кровати, хорошо освещенная, чтобы я мог обращать к ней мои утренние молитвы» [28]; отметил слова «Salve», приветственно начертанные на пороге, по примеру тех предпорожных приветствий, которые Гете видел в Помпее; заметил завешенную от солнца «Альдобрандинскую свадьбу», копию с античной картины, сделанную Мейером для Гете в 1797 г., и т. д. Из дома Гете Жуковский отправился во дворец: «К великой княгине: о греках, о Круге; наследный принц; хлопоты о Гете. Парк. Встреча с великою княгинею и ее дочерью. Обед у Штруве» [29]. «Хлопоты о Гете»—это старание с помощью Марии Павловны увидеть Гете. Они увенчались успехом; следующие «колья» ведут к Гете в Иену: «Дорога в Иену. Schneckenberg, Mühltal. Живописное положение Иены. Гете; французский язык; стол; план Рима; бюст; о Märchen; alles ist Wahrheit; Wahrheit und Dichtung («О сказке; все правда; правда и поэзия»—заглавие автобиографии Гете.—*С. Д.*). Жалкая помеха» [30].

В своем письме к Александре Федоровне Жуковский немного помогает разобраться в этих скупых вехах: «Плавание по Рейну было не так удачно: пасмурная осенняя погода затуманила для меня красоту рейнских берегов. Но я не раскаиваюсь, что их видел: они прекрасны и после Швейцарии. Из Франкфурта через Веймар и Лейпциг поехал я в Дрезден. От спеху не мог пробыть в Веймаре более одного дня; там имел счастье представиться великой княгине Марии Павловне, которая приняла меня с очаровательною милостью, и ее же милости обязан я свиданием с Гете: он находился в Иене, и, чтобы я имел время к нему съездить, ее высочеству угодно было прислать мне коляску, и я в тот же день видел поэта. Но свидание мое

Автограф записи в дневнике В. А. Жуковского от 29 октября 1821 г. с упоминанием о посещении Гете
Публичная Библиотека, Ленинград

с ним было похоже на плавание мое по Рейну: оно было туманное, хотя он принял меня с ласкою»[31].

В краткой записи Жуковского о свидании с Гете есть пометка: «французский язык». С этой пометкой связана одна из «туманностей» этого свиданья. Вот что читаем об этом в книге «Neue Bilder aus der Petersburger Gesellschaft» («Новые картины из петербургского общества»), изданной Юлием-Вильгельмом Эккардтом, лично знавшим Жуковского: «В Дрездене, Веймаре, в Швейцарии—знатному русскому поэту всюду открыты были двери всех замечательных людей, с кем он желал познакомиться; всегда веровавший в сверхчувственное, о чем философии и не снилось, Жуковский с Юстином Кернером заключил союз дружбы. Менее удачно вышло его посещение Гете, чего Жуковский задолго напряженно ожидал. По обычаю большого света, из всех иностранных языков самым употребительным был французский, и на этом языке он представился «величайшему лирику Запада». Жуковский тотчас же заметил затруднительность для Гете объясняться по-французски. И ему, добросердечному и утонченно-светскому человеку, показалось, что он только лишь ответил желанию своего нового,

им высоко ценимого знакомца, начав через некоторое время говорить по-немецки. Но Гете, кажется, принял это за оскорбление и был после того так натянут и односложен, что русский гость возвращался от него несколько разочарованным» [32].

30 октября Жуковский был еще в Веймаре: «У Струве... Дом бедный Шиллера; дом Гете», а 2 ноября в Дрездене был у Л. Тика и беседовал с ним о Гете [33].

Гете отметил посещение Жуковского: «29... под вечер г. Жуковский из Петербурга с г. Струве; рекомендован графом Брюлем и Буассере» [34].

Но впервые услышал Гете о Жуковском не от них, а несомненно от Марии Павловны, знавшей поэта по придворным встречам в Павловске и Петергофе, а в 1820 г. о Жуковском беседовал с Гете Кюхельбекер, рассказывая ему о переводах «Лесного царя» и «Миньоны»; как увидим, Кюхельбекер даже переслал Гете один из переводов Жуковского.

Гете писал Буассере: «Ожидаемый русский друг явился вслед за «Тремя святыми королями». К сожалению он не мог остаться у меня так же долго, как они. Когда он прибыл в Веймар, я был еще в Иене, и наша любезная наследная великая герцогиня исполнила его желание видеть меня, предоставив ему коляску четверней. Он посетил меня с русским поверенным в делах г. Струве, без доклада, когда уже надвигалась ночь, а я был занят совсем другими делами. Я постарался сделаться весь внимание, памятуя Вашу рекомендацию. Однако ведь всегда проходит некоторое время, пока почувствуешь друг друга, и, по правде, мне было жаль с ним расстаться. Через час они уехали, и только после их отъезда припомнилось мне, что я должен был бы спросить и сказать. Думаю написать ему несколько теплых слов и что-нибудь послать; хочу положить начало отношениям, чтоб чаще получать вести друг о друге, что при наших связях очень легко» [35]. Гете исполнил свое намерение и 15 ноября писал Жуковскому: «Ваше превосходительство вероятно почувствовали при отъезде из Иены, как мне было больно, что Вы не продлили Вашего короткого пребывания. Когда неожиданно явившийся, быстро овладевший Вашей дружбой человек столь же быстро удаляется,—начинаешь раздумывать, что бы мог ему сказать, о чем спросить, что ему сообщить. Не стану говорить, что все это я ощутил вдвойне и втройне, когда Вы и Ваш милый спутник покинули меня вечером в моем уединении; пока примите этот листок как повторение моего «добро пожаловать» и «прости». Я желал бы, чтобы память обо мне оставалась у Вас свежа и чтобы Вы при случае поручили меня благоволению и милости прекрасной принцессы (Fürstin), прелестный образ которой у меня ежедневно перед глазами: олицетворение великого дарования в соединении с небесной добротой и кротостью, он производит на меня самое благотворное влияние. Кончаю. Пусть это письмо скорее достигнет до Вас при посредстве высоких путешественников, которым да сопутствует счастье в их дальнейшем пути. Дружески преданный И.-В. фон Гете».

Письмо это, на тонкой с золотым обрезом бумаге в четверть листа, писанное чьим-то изящным, каллиграфическим почерком и только подписанное Гете собственноручно («Treu ergeben I. W. von Goethe»), составлено с явным расчетом на показ его Александре Федоровне: в первой части в нем царит Жуковский, во второй—его ученица, и письмо в этой части—образец придворно-поэтической лести Гете—написано так, что можно подумать, что Гете только и жив незримым, но созерцаемым им присутствием идеальнейшей из принцесс и ее «небесных» дарований. А между тем Гете

Monsieur!

C'était pour moi une joie bien grande et bien inattendue de recevoir la chère lettre de votre Excellence et le cadeau précieux qui l'accompagne. Mon retour, très retardé, à Petersbourg a été cause, que je l'ai reçue très tard, et que je n'ai pas encore fait ma réponse. Mais comment vous remercier pour cette marque précieuse de bienveillance et de souvenir! Je vous dirai tout simplement que la lecture de votre lettre m'a fait venir les larmes aux yeux. Ce que vous y dites avec tant de bonté sur notre entrevue, je l'ai senti en votre présence et après vous avoir quitté: Cette entrevue ~~[illegible] était pour moi un évènement~~ si ardamment desirée et attendue, ~~elle~~ ne fut qu'un ~~[illegible]~~ moment, mais ~~un~~ ce moment fut riche en sensations vives; je n'ai pu rien vous dire pa[illegible] par ce qu'~~il y~~ avait trop à dire; mais je vous ai vu et votre présence a été pour moi comme une récapitulation rapide des plus beaux tems de mon passé. Und manche liebe Schatten steigen auf! C'était cela!... Recevez donc, cher grand homme, ma reconnaissance et pour ce passé qui a été si souvent embelli par l'influence de votre génie, et pour ce court instant où j'ai senti le bienfait de votre présence et que vous avez terminé par un serrement de main si bienveillant, si paternel, et pour cette lettre si touchante, ce wiederholtes Willkommen und Lebewohl, qui sera conservée religieusement, comme un don sacré d'une main chérie. Je me suis empressé

Первая страница чернового автографа письма В. А. Жуковского к Гете от 25 февраля (9 марта) 1822 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

à Madame la Grande Duchesse Alexandrine: ce que vous y dites avec tant de vérité et de charme, sur son compte, l'a vivement touchée et Elle m'a chargée de vous exprimer ses sentiments. Cette âme, pure, simple et profondément sensible est faite pour être appréciée par la vôtre: Elle s'est trouvée bien à son aise avec Vous, comme Elle le dit elle même et sa vue a dû vous laisser un souvenir attendrissant et serein, comme l'apparition d'un être ami qui réunit en soi tout ce qui est grand et doux, le quel ce grand n'est autre chose que le naturel naïf et l'innocente simplicité d'un enfant. Tel est le caractère de cette chère Princesse. Ce que je vous dis sur son compte ne peut pas être nouveau pour vous, qui savez apprécier l'homme au premier coup d'oeil; mais le dire à Goethe est pour moi une jouissance, que je ne veux pas me refuser.

Je finis. Que la Providence vous comble de tous les dons du bonheur comme elle vous a comblé de tous les dons du genie. Tenez la promesse, que vous m'avez donnée en me disant adieu: restez encore bien, bien longtemps parmi nous autres, en nous faisant jouir de votre existence bienfaisante, en jouissant vous même des bienfaits que vous avez répandu sur les meilleurs de votre siècle. On garde facilement le souvenir de ceux par qui on est aimé: cela me donne le droit d'espérer que je ne serai pas effacé totalement dans le vôtre.

Je suis de coeur et d'âme avec le plus vrai devouement

de Votre Excellence

St Petersbourg.
25/9 Fevrier/Mars 1812

le très humble et très respectueux serviteur

Joukoffsky.

Вторая страница чернового автографа письма В. А. Жуковского к Гете от 25 февраля (9 марта) 1822 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

говорит просто-напросто о бюсте Александры Федоровны, который, как находящийся в его комнатах, он не мог не иметь «ежедневно перед глазами» [36].

Жуковский отвечал Гете только 9 марта (н. с.) 1822 г.

«Дорогое письмо Вашего превосходительства для меня было большой и неожиданной радостью, так же как драгоценный подарок, сопровождавший его. Запоздалое возвращение мое в Петербург было причиною, что я получил его очень поздно и еще не отвечал. Но как благодарить Вас за такой драгоценный знак Вашей благосклонности и воспоминания? Скажу просто, что когда я читал письмо Ваше, у меня на глазах навернулись слезы. То, что Вы с такой добротой говорите о нашем свидании, я чувствовал в Вашем присутствии и расставшись с Вами. Это желанное, ожидаемое свидание длилось одну минуту, но минута эта была богата живыми ощущениями; я ничего не мог сказать Вам потому именно, что слишком много хотелось сказать, но я Вас видел, и Ваше присутствие было для меня как будто трепетом лучших дней моей жизни, und manche liebe Schatten steigen auf (и много милых теней встало): так и было! Примите же, дорогой великий человек, благодарность мою за это прошлое, так часто украшенное влияниями Вашего гения, и за то мгновение, в которое я почувствовал благодеяние Вашего присутствия и которое Вы довершили таким дружеским, отеческим рукопожатием, за трогательное письмо, с повторенными Willkommen und Lebewohl, которое свято сохранится как священный дар милой руки. Я поспешил показать его великой княгине Александре Федоровне. То, что Вы об ней сказали так верно и так прекрасно, глубоко ее тронуло. Она поручила мне выразить Вам ее чувства. Эта душа, чистая, простая, глубоко чувствующая, может быть понята Вашею душой. Ей было с Вами хорошо, она сама это сказала; а Вам, конечно, взгляд на нее оставил светлое воспоминание как появление друга, заключающего в себе все великое, и в котором это величие есть не иное что, как природная чистота и простая невинность ребенка. Таков характер этой милой великой княгини. Вам не ново то, что говорю об ней; Вы при первом взгляде умеете оценить человека, но сказать это Гете есть наслаждение, в котором не хочу себе отказать.

Кончаю. Да ниспошлет Вам провидение все дары гения. Сдержите слово, данное мне при прощании: будьте долго, очень долго посреди нас, с нами; доставляйте нам наслаждение вашим благодетельным присутствием и наслаждайтесь сами благодеяниями, разлитыми Вами на лучших людей Вашего века. Легко вспоминать тех, кто нас любит; поэтому имею право надеяться, что не совсем исчезну из Вашей памяти. Сердцем и душою с истинной преданностью остаюсь Вашего превосходительства покорный и почтительный слуга Жуковский» [37].

Какой «драгоценный подарок» получил Жуковский от Гете, нам выяснить не удалось. На письмо Жуковского Гете не ответил.

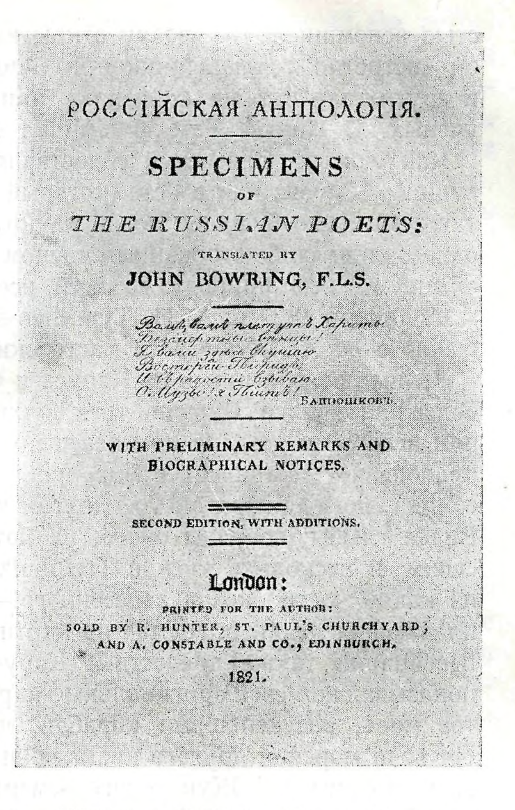
В 1822 г. Гете углубил свое знакомство с русским поэтом знакомством с его поэзией. В «Списке приобретенных книг», аккуратно ведшемся Гете, находим в июне этого года запись: «Specimens of the Russian poets. Lond. 1821» [38]. Это—известный сборник Джона Боуринга: «Российская антология. Specimens of the Russian poets: with preliminary remarks and biographical notices, transl. by John Bowring. L. 1821.» В 1823 г. вышел ее второй том. Боуринг дал переводы из Ломоносова, Державина, Хемницера, Богдановича, Кострова, Боброва,Карамзина, Дмитриева, Нелединского-Мелец-

кого, И. Долгорукова, Мерзлякова, Воейкова, Батюшкова, Д. Давыдова, Вяземского и обошел почему-то Пушкина. Жуковский представлен в I томе четырьмя стихотворениями: «Пловцом» (1811 г., «The mariner»), «Эоловой арфой» (1814), «Весенним чувством» (1816, «Song») и «Тоской по милом» (1808, «Romance»), заимствованной из Шиллера. Во II томе помещены «Певец во стане русских воинов» (1812), «Светлана» (1810—1812), переименованная в «Catherine», «Теон и Эсхин» (1814) и «Певец» (1811). Каковы бы ни были качества переводов Боуринга (сам Гете ценил его перевод «Сербских песен»), его подбор из Жуковского был достаточно полон, знакомя и с его лирикой, и с двумя лучшими балладами, и со столь характерной для его мировоззрения элегией «Теон и Эсхин», и с прославленным патриотическим «Певцом». Боуринг был единственным, как приходится думать, источником знакомства Гете с русскими поэтами. Другая русская антология—Emile Dupré de Saint Maure'a: «Antologie russe, suivie de poésies originales», изданная в Париже в 1823 г., где был представлен на ряду с Жуковским и Пушкин, повидимому осталась Гете неизвестна, так же как и более поздняя антология Héguin de Guerle: «Les veillés russes» (Paris, 1829); о них нет упоминаний в его письмах, дневнике, «списках приобретенных книг» и нет их в числе читанных Гете книг из веймарской библиотеки. «Specimens» Боуринга (1821) доселе (1932) хранятся среди книг Гете в Веймаре.

Гете признавал, что Боурингу обязан он своим знакомством с русскими поэтами и в частности с Жуковским. В своей хвалебной рецензии на новую антологию Боуринга «Serbian popular poetry, translated by John Bowring, London (1827)» Гете писал: «Г. Боуринг таким же образом еще в 1821 г. подарил нас русской антологией, и это побудило нас ближе познакомиться с отдаленными восточными талантами, от которых отчуждает нас мало известный язык. Таким образом не только возымели для нас более живое значение некоторые славные имена, но мы могли ближе узнать человека, который давно сроднился с нами в любви и приязни: г-на Жуковского. Он любезно почтил нас милыми стихотворениями, и теперь мы имели возможность полюбить и оценить его в более широких границах его творчества» [39]. Гете писал для публики (рецензия помещена в «Kunst und Alterthum» 1827 г.), и «мы» и «нас» здесь значит «я» и «меня».

Между 1821—1827 гг. Жуковским не было переведено ни одного стихотворения Гете. Памятником его внимания к Гете является письмо к И. И. Дмитриеву от 11/23 февраля 1823 г. Посылая старому поэту портрет Гете, Жуковский принес маленькую исповедь: «Принося Вашему высокопревосходительству этот подарок, я плачу долг благодарности: Ваши стихи «Размышление по случаю грома», переведенные из Гете, были первые, выученные мною наизусть в русском классе, и первые же мною написанные стихи были их подражанием. И так мне прилично подарить Вас портретом Гете. Вы мой учитель в поэзии. Я видел Гете и могу поручиться Вам за совершенное сходство портрета с оригиналом» [40].

Весною 1826 г. Жуковский вновь поехал за границу—лечиться и готовиться к новой придворной должности: быть воспитателем наследника престола. Он пробыл за границей до октября 1827 г. Это было путешествие не поэта, а человека, переучивающегося с азов для новой практической должности. В Эмсе, где Жуковский лечился, он встретился с веймарским канцлером фон Мюллером. Памятником их разговоров о Гете остался подарок Мюллера (теперь в Онегинском собрании в Институте Русской


РОССІЙСКАЯ АНѲОЛОГІЯ.

SPECIMENS

OF

THE RUSSIAN POETS:

TRANSLATED BY

JOHN BOWRING, F.L.S.

Батюшковъ.

WITH PRELIMINARY REMARKS AND BIOGRAPHICAL NOTICES.

SECOND EDITION, WITH ADDITIONS.

London:

PRINTED FOR THE AUTHOR:

SOLD BY R. HUNTER, ST. PAUL'S CHURCHYARD; AND A. CONSTABLE AND CO., EDINBURGH.

1821.

Титульный лист „Российской антологии" Боуринга
С экземпляра, хранящегося в личной библиотеке Гете
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

Литературы): книга «Goethes Jubeltag. Weimar 1826 г.» На этой книге, посвященной 50-летию пребывания Гете в Веймаре (1775—1825), торжественно отпразднованному 7 ноября 1825 г., Мюллер, издатель книги, надписал: «Herrn Hofrath von Joukowsky zu freundlicher Erinnerung an den Herausgeber F. von Müller. Ems, 1 August, 1826» (Господину надворному советнику Жуковскому на дружескую память об издателе. Ф. фон Мюллер. Эмс. 1 авг. 1826).

Переучиваясь, Жуковский безвыездно засел в Дрездене, где одновременно жил и А. И. Тургенев, и оба они были частыми посетителями литературного салона престарелой поэтессы гр. Ел. Рекке (р. 1756 г.), которая издавна знавала Гете. К ней заходил Л. Тик, и у нее пелись и читались стихи Гете. В Дрездене Жуковский часто встречался с очень полюбившимися ему художниками—Фридрихом и Карусом. Каспар-Давид Фридрих (Friedrich, 1774—1840), профессор дрезденской Академии художеств, привлекал Жуковского сюжетами своих романтических картин: его специальностью был меланхолический ландшафт, луна, море, ночь, кладбище. Жуковский покупал его картины. Примечательнее была личность Каруса (Карл-Густав Карус, 1789—1869). Он совмещал в себе выдающегося ученого и живописца. В философии близкий к Шеллингу, Карус был одним из влиятельнейших ученых в области анатомии и физиологии. Русские шеллингианцы учились из его книг анатомии и физиологии. «В этих книгах,—говорит В. Ф. Одоевский,—глубокая и положительная ученость соединяется с тем поэтическим элементом, благодаря которому Карус умел соединить в себе качества физиолога первой величины, опытного врача, оригинального живописца и литератора» [41]. В глазах самого Гете Карус принадлежал к немногочисленной кучке передовых ученых. Гете с благодарно-

стью вспоминал, что своему открытию междучелюстной кости у человека он «встретил сомышленников в Земмеринге, Окене, д'Альтоне, Карусе и других замечательных людях», при яростном противлении большинства ученых. О Карусе Гете «упоминал с чувством удивления» [42].

Как ученых Одоевский сопоставлял Каруса и Гете: «Признаемся, мы видим в Карусе, как в Гете (который также был и поэтом, и естествоиспытателем), зарю будущей новой науки, которая... не будет ограничиваться одним каким-либо оторванным членом природы, но заключит в живом своем организме всю природу во всей всеобщности» [43].

28 января 1827 г. А. И. Тургенев записал в неизданном дневнике посещение с В. А. Жуковским мастерских Фридриха и Каруса:

«Сейчас возвратились от Каруса и Фридриха—и первый мне едва ли не более понравился. Картина трех волхвов, путеводимых звездою, на пустынном небе сияющею, но уже освещенном тем незаходимым светом, который прообразует светоносца в мир прошедшего. Еще не свет полного, яркого солнца, но уже заря оного. Другая картина—моря, льдинами покрытого. Видел глыбы, громады оного, на которых тюлени наслаждаются бытием своим, и несколько кусков Treibholz (наносного леса.—*С. Д.*), кто знает из какой части океана занесенного!—вода зеленая разных отливов и от плавающих ледяных громад на картину смотреть холодно! Виды и зелень Швейцарии также прелестны! Карус и Док[то]р мед[ицины]! Фридрих показывал нам свои оригинальные картины, и у него видел льдинами покрытое море, раздавившими корабль, на коем уже нет признаков жизни. Но вода морская другого цвета, и льдины Фрид[риха] иначе образованы. Две картины для Жуковского—смерть и жизнь на кладбище. На одном кладбище изображены сельские надгробные памятники, и около них вьются цветы и зеленеет густая, полная жизни и соков трава; на другой—глубокий снег покрывает кладбище; сухое дерево напоминает ту же смерть и недалеко сугроб раскопан для могилы и лежат заступы, полузанесенные снегом! Все жило, все цвело, чтоб после умереть» [44].

У Каруса Жуковский приобрел тогда картину.

Июль и август 1827 г. Жуковский провел в Эмсе, лечась водами. Оттуда он собирался съехаться с А. И. Тургеневым в Веймаре ко дню рождения Гете, но это не состоялось, и Жуковский тронулся из Эмса с другим знакомцем Гете—с художником Рейтерном, своим будущим тестем, с которым познакомился в Эмсе же в 1826 г.

Рейтерн—любопытная страница из истории русских отношений Гете, и мы должны немного на ней задержаться.

Гергард (в русском усвоении—Евграф) Романович Рейтерн (1794—1865), уроженец Лифляндии, в ранней юности учился в Дерптском университете и прилежно занимался рисованием у проф. Зенфа, но увлекся военной карьерой и 19-летним юношей попал в Германию, участвуя в «освободительном походе» против Наполеона, сражался под Дрезденом, под Кульмом и в «битве народов» под Лейпцигом потерял правую руку. Судьба столкнула юношу-офицера с Гете в 1814 г., весною. Его лицо и фигура запомнились Гете, и в 1815 г. (27/IX) он из Гейдельберга писал жене в Веймар: «Русские движутся тремя колоннами... Раз они так торопятся, они скоро будут впереди, на что я надеюсь, чтобы обратный путь совершить через Вюрцбург. В Эрфурт я не могу больше приехать. Тяжело лишать себя стольких родственников, знакомых и друзей». И вдруг эти невеселые сообщения из круга военной сумятицы прерываются у Гете вопросом:

«Не вспоминается ли тебе прекрасный русский с одною рукой? Он встретил меня вчера во дворце; мы оба обрадовались встрече. Он проедет через Веймар»[45]. По рассказу детей Рейтерна, встреча их отца с Гете «была знаменательна. Гете был необыкновенно мил, отечески-сердечен, утро сияло. Рейтерн решился попросить Гете высказаться, что он думает и чувствует среди окружающей природы (встреча произошла в саду). Гете согласился. Рейтерн не помнит точно слов, но ему самому тут впервые открылись глаза на окружающее, на царящий в нем закон» [46].

Рейтерн впервые почувствовал себя не офицером, а художником. Гете позвал Рейтерна в Веймар, юноша посетил его, Гете был ласков, но не таков, по записи дневника Рейтерна, «как в то утро, в прекрасной стране, под свободным божьим небом» [47].

Рейтерн, пользуясь пребыванием за границей, утолял, где мог, в картинных галлереях и музеях, свое влечение к живописи и преодолел самое трудное: научился рисовать л е в о й рукой. В 1817 г. его отпустили из Петербурга в отпуск за границу, и он изучал искусство в Берлине. В 1818 г. он опять увиделся с Гете в Веймаре. 2 мая Гете отметил: «Г. фон Рейтерн, перед отъездом в Швейцарию и Италию» [48].

В 1819 г. Рейтерн наконец получил отставку, женился и сделался художником, одной ногой стоявшим в России, другой в Германии. В его семье говорили по-немецки; после попыток жить в России он окончательно обосновался в Германии, в Виллингсгаузене. Ему приходилось много лечиться. Он находился под покровительством императрицы Елизаветы Алексеевны и получал от нее пенсию. Быть художником-профессионалом он не считал возможным.

В 1826 г. он встретился на леченьи в Эмсе с Жуковским и очаровал его своими акварелями. Рейтерн занимался в это время у пейзажиста Родена в Касселе, но со смертью Елизаветы Алексеевны его живописание оказалось без материальной поддержки. Жуковский нашел ему новую меценатку в лице Александры Федоровны, представив ей несколько рисунков Рейтерна. Поэт, увлеченный «Аркадией» рейтерновского художества (он писал ландшафты и идиллические сцены из гессенской народной жизни), завидным образом устроил ему судьбу: ему было назначено из Петербурга постоянное денежное содержание, «позволено» Николаем Павловичем проживать беспрепятственно за границей, а искусством заниматься оставлено на его усмотрение: чем хочет и как хочет. Ни один русский художник не имел таких привилегий. Тем с большей благодарностью встретил Рейтерн опять в Эмсе в 1827 г. своего «старого милого философа» и познакомился с его другом А. И. Тургеневым [49]. Жуковский, сам не расстававшийся с рисовальным альбомом, обрадовался такому спутнику по Германии.

31 августа они с Рейтерном были во Франкфурте, на родине Гете, и осматривали город с мыслями о «Фаусте» и его творце: «Дом Гете; герб 3 лиры, двор, колодезь, мансарды, Гретхен. Окрестности Франкфурта»[50]. 1 сентября, в пути, Жуковский читал «Елену, только что появившуюся тогда классико-романтическую фантасмагорию, интермедию к Фаусту» Гете. 3 сентября путники прибыли в Веймар, и 4-го Жуковский по обычаю расставил «колья» целого дня: «Веймар. Поутру к принцу Филиппстальскому. К Гете. Крыльцо с поворотом. Собака. В прихожей: Юпитер du Capitole, Pallas de Velletri. В гостиной Aldobrandini, рисунки. Стол с портфелями. Голова Юноны колоссальная. Барон Швейцер, внук Вольфганг. У принца. У m-elle Sylvestre. Вечер дома» [51].

Жуковский еще раз возвращается к тем «realia» дома Гете, которые поразили его и в 1821 г. Жуковский заметил теперь и «Веллетрийскую Палладу» (Гете посетил богатейшее собрание древностей Борджиа в Веллетрии, по пути в Неаполь, 22 февраля 1787 г.), и Юнону; о ней в начале января 1786 г. Гете писал из Рима: «В утеху себе я вчера поставил в зале отливок колоссальной головы Юноны, оригинал которой стоит в Вилла Лудовизи. Это была моя первая страсть в Риме, и наконец я ею обладаю. Никакие слова не могут дать о ней понятие: это точно песнь Гомера»[52]. Любимой женщине, г-же ф. Штейн, он писал тогда же: «У тебя только одна соперница: это—колоссальная голова Юноны»[53]. В «personalia» этого дня—несколько имен, требующих пояснения. Жуковский был у Гете в сопровождении веймарского министра Христ.-Вильг. Швейцера (1781—1856), ученого юриста, и опять приметил «внука Гете», на этот раз назвав его: это был младший, любимец Гете, названный в честь деда Вольфгангом (1820—1883), впоследствии доктор прав, камергер, дипломат—официально, поэт и философ—неофициально. «Вельфхен»—частое действующее лицо в дневниках деда и в записях посетителей, и дед относился к его деятельности—шалостям и проказам—с величайшим снисхождением. Перед вечером Жуковский посетил m-elle Sylvestre. Это довольно примечательное лицо русской гетеаны. А. И. Тургенев встретился с m-lle Sylvestre в Женеве в 1833 г. и писал Вяземскому: «Если m-lle Sylvestre приедет с Уваровой в П-бург, то познакомься с ней: умна, добра, учена и воспитывала дочерей вел. кн. Марии Павловны; знавала Гете; услаждала последние дни Бонштетена, переправляла его сочинения и теперь занимается астрономией. Уваров мог бы от детей взять ее в Академию и выспросить ее о Гете для своей академической некрологии. Жуковский знает ее коротко»[54].

M-lle Sylvestre поехала в Россию не в Академию, а наставницей к детям Уварова, но по дороге, с рекомендацией А. И. Тургенева, побывала у Шеллинга, беседовала с ним и прислала такое любопытное письмо о Шеллинге, что очарованный им А. Тургенев переслал его в копии Вяземскому со строгим наказом дать читать Чаадаеву[55].

Запись 4-го числа ничего не говорит о самом Гете кроме обидно лаконичного «К Гете», а между тем на этот раз Жуковский застал Гете: в дневнике своем Гете пометил: «ф. Рейтерн и Жуковский, тут же г. ф. Швейцер, надворный советник Мейер»[56].

5 сентября Жуковский записал: «Поутру у графини Эглофштейн: Юлия, тетка, граф майор, графиня с дочерью. Домой. Внук гетев у Рейтерна Вальтер. К Гете: разговор о рейтер[н]овых рисунках. В музеум. Обедал в трактире. Миллер. Швейцер. После обеда опять к Гете. От него к Юлии Эглофштейн. Ее портрет, портрет ее матери; герцогини»[57].

Жуковский начал свой день с посещения уже знакомой нам придворной семьи Эглофштейн, очень близкой к Гете.

Через Каролину Эглофштейн, фрейлину Марии Павловны, Гете не раз сносился с Петербургом, а ее сестра Юлия была не бездарная художница. С октября 1826 г. до июля 1827 г. Гете не отказывался, с большими перерывами, позировать ей для портрета, на котором изображен у колонны, во фраке, с приспущенным плащом, со свитком и лавровым венком в левой руке[58]. Сестры Эглофштейн, случалось, дежурили при больном Гете. Он ценил их остроумие и живость мысли и чувства.

Вернувшись от Эглофштейн, где, сомнения нет, беседа шла о Гете, Жуковский застал старшего гетева внука в беседе с Рейтерном: 9-летний маль-

Автографы записей в дневнике В. А. Жуковского от 4, 5 и 6 сентября 1827 г. с описаниями посещений Гете

Публичная Библиотека, Ленинград

чик (1818—1885)—впоследствии барон и камергер, образованный музыкант, автор композиций для пения—вероятно был послан из дома Гете с каким-нибудь поручением. Затем следуют два посещения Гете, разделенные обедом и посещениями канцлера Мюллера и министра Швейцера. После второго посещения Жуковский посещает Юлию Эглофштейн, знакомясь с ее художественными работами, и заканчивает вечер во дворце.

Немецкие записи этого дня гораздо богаче записей Жуковского. Сам Гете записал: «Рассматривал рисунки Рейтерна. Он сам с г. Жуковским. Похвала его необыкновенному мастерству. Дальнейшие цели (очевидно—Рейтерна.—*С. Д.*) в жизни и в искусстве» [59].

В записи Гете все его внимание как будто устремлено на Рейтерна, а не на Жуковского. Канцлер Мюллер, наоборот, построил свою запись так, что внимание Гете падает равномерно на них обоих:

«В это утро Гете был так радостно тронут посещением Жуковского и Рейтерна, что я еще никогда не видал его более любезным, приветливым и общительным. Все, что он мог доставить этим друзьям приятного, сердечного, ободряющего в суждении, в намеке, в поощрении, в любви,—все это он дал им ощутить или высказал прямо... Обрадованный тем, что я уговорил друзей остаться здесь подольше, он сказал: «Я так распорядился своим временем, что для друзей его у меня всегда хватит» [60].

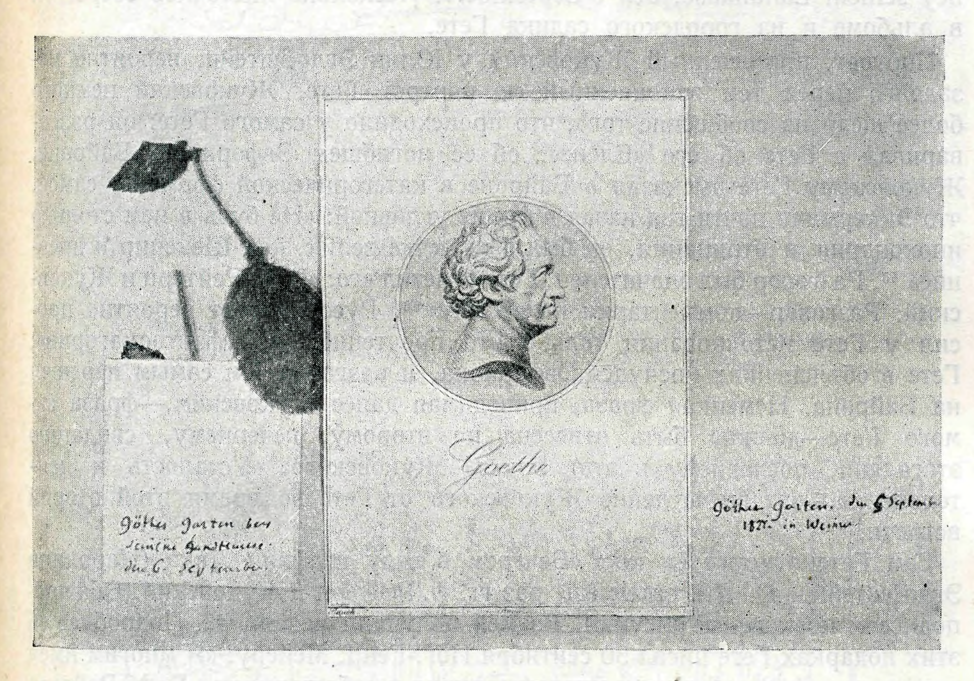
Запись Мюллера очень ценна: прилежный и постоянный свидетель «трудов и дней» Гете, приливов и отливов его общительности и отзывчивости, он дает в этих словах прочное свидетельство, что двукратное в этот день свидание Гете с русским поэтом и русско-немецким художником было не простою любезностью со стороны Гете, а его действительною потребностью.

С ярким восторгом описывает этот счастливый для себя день сам Рейтерн в письме к жене; письмо написано как отчет обо всем пребывании в Веймаре, но вероятнее всего оно может быть отнесено именно к 5 сентября. «Он меня не только успокоил,—говорит Рейтерн о Гете,—нет, поднял: меня самого наполнило изумление пред тем, что было правильного в моем неясном устремлении к искусству. Он указал мне путь художника для всей моей будущей жизни; мне обещан им несомненный успех, если только я так же буду продолжать видеть природу. Я как бы воспламенен в душе и внезапно стал глубже сознавать свою цель. Великолепный старец был совершенно откровенен, внимателен, общителен и неописуемо любезен, но так, что нас объял трепет, действительность ли это или сон, или какое-то высшее существо снизошло, чтобы нас возвести в свои светлые области, и мы радостно удивляемся и в неописуемом напряжении хотели бы охватить все, что мы видим и слышим. О моих работах Гете выразился следующим образом: «Во всех Ваших рисунках не нахожу ничего, что Вы могли бы устранить, во всем—ясно созерцаемая природа, верное чувство ее, восприятие характерного и прекрасного. Всюду чутье композиции, а там, где Вы применили краски, я вижу насыщенные цвета, и прекрасно то, что Вы не боитесь брать их так ярко, как являет их нам природа. Вы всегда созерцаете природу как образ, как картину (als Bild); это я нахожу во всем. Продолжайте, только пишите, и Вы увидите тогда, что Вы это можете. Все Вам будет тогда легко и Вы будете творить, как Вы вряд ли теперь можете поверить. Пишите и Вы будете творить». Жуковский был совершенно взволнован тем признанием, какое мои работы нашли у Гете, и вместе со мною испытывал счастье найти такого судью и покровителя» [61].

Этот малоизвестный отрывок письма Рейтерна очень ценен для понимания суждений Гете о живописи. Это—страстный призыв великого природолюбца к небоязни перед нею, к ученичеству у ней как у смелого мастера формы и колорита, к «насыщенному цвету», к яркости и смелости восприятия. Гете точно намечает пути, по которым впоследствии, особенно у французов, пошла новая живопись и по которым конечно не удалось пойти Рейтерну.

Запись дневника Гете за этот же день (5 сентября) еще раз отмечает «повторение [разговоров] о рейтерновских рисунках» [62].

Третий день общения с Гете—6 сентября—Жуковский записал так:



Страница из альбома В. А. Жуковского

В центре—гравюра с барельефа Гете; сбоку—листья, взятые В. А. Жуковским из сада Гете 6 сентября 1827 г.

Публичная Библиотека, Ленинград

«Поутру к m-elle Sylvestre. К Миллеру. Бумаги Гердера, Шиллера, Гете и Якоби. Lettres autographes. К Юлии Эглофштейн. Разговор о Каподистрия, императрице. Портрет. Рисунки. К Гете. Разговор о Елене, о Байроне. Гете ставит его подле Гомера и Шекспира. Die Sonne; die Sterne bleiben doch echt; es sind keine Copien (Солнце; звезды остаются неподдельны; это—не копии). Прогулка по саду Гете; дом, где он писал и сочинял Ифигению. Домик герцога. Место, где сиживали он, Шиллер, Виланд, Якоби, Гердер. Река Ильм. К Гете. Усталость и деятельность. Мы пробыли недолго. Эффект головы Юнониной. К m-elle Sylvestre. К графине Эглофштейн»[63]. Опять два свидания с Гете в один день. Первому, при посредстве канцлера Мюллера, предшествует знакомство Жуковского с автографическими достопамятностями Веймара. Жуковский в это утро умножил число их. В альбом канцлеру Мюллеру он вписал: «Der Augenblick deutet auf das Ungefähr, aber die Jahrhunderte auf Gott. Zum Andenken auf ein kurzes Zusammen lange Freundschaft d. 6 Sept. 1827. Weimar.» [64]

(«Мгновение говорит лишь о случайном, столетия—о боге. На память о кратком «вместе» долгой дружбы. 6 сент. 1827. Веймар»). Жуковский высказал мысль, много раз в течение жизни повторенную им в прозе и в стихах. Но в Веймаре, в альбоме друга Гете, она быть может имела особый смысл: не возражение ли это на знаменитую стержневую мысль «Фауста»: «Остановись, мгновенье: ты прекрасно!» «Нет,—возражает Жуковский,—мгновенье не может быть прекрасно: оно говорит только о случайном, а речь веков—не о прекрасном, а о боге».

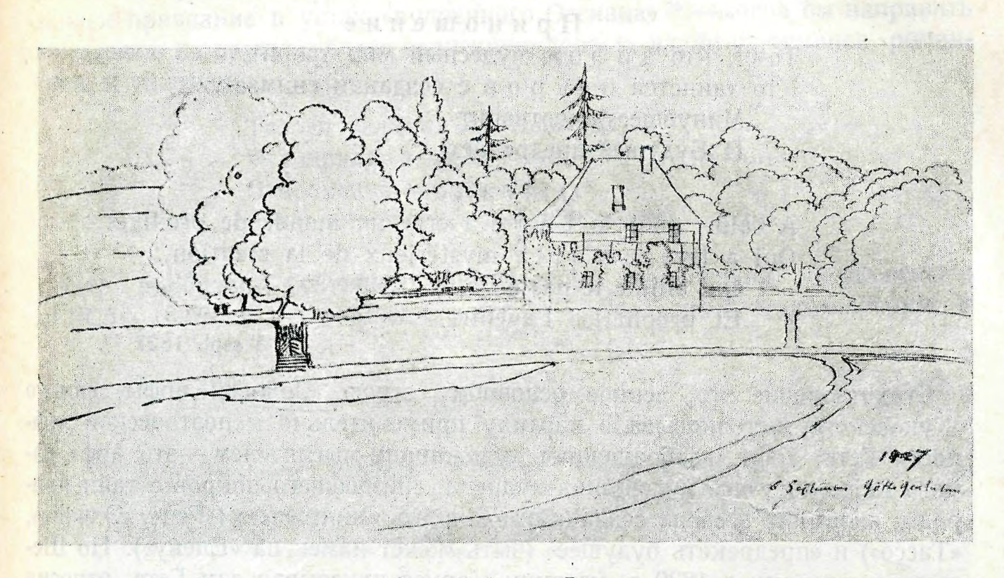
В саду загородного домика Гете Жуковский сорвал несколько листочков и сохранил их у себя в альбоме, надписав под ними: «Goethes Garten bey seinem Landhause, den 6 September». Несколько листочков сберег он в альбоме и из городского садика Гете.

Портрет, примеченный Жуковским у Юлии Эглофштейн, вероятно незадолго перед тем законченный ею портрет Гете. Жуковский немного более щедр на сообщение того, что происходило у самого Гете: он разговаривал с Гете об его «Елене», об ее погибшем Эвфорионе—Байроне. Жуковскому Гете высказал о Байроне в категорической форме то самое, что Эккерману почти год назад в форме условной: «Не будь в нем столько ипохондрии и отрицания, он был бы так же велик, как Шекспир и древние» [65]. Разговор был значителен. Гете отметил его: «Г. ф. Рейтерн и Жуковский. Разговор—комментарии на «Елену» [66]. Русский поэт вероятно просил у Гете истолкования только что прочтенной им «фантасмагории»; Гете в объяснениях коснулся Эвфориона, и разговор тем самым перешел на Байрона. Немецкая фраза, приводимая далее Жуковским,—фраза самого Гете—должна быть отнесена ко второму, вечернему, свиданию этого дня, последнему в этот приезд Жуковского. «Усталость и деятельность»—вот впечатление Жуковского от Гете во время этой второй встречи.

Сам Гете отметил ее так: «Вечером в саду графиня Лина (Каролина Эглофштейн.—*С. Д.*), затем еще раз гг. ф. Рейтерн и Жуковский. Оба преподнесли прекрасные рисунки. Взамен получили медали» [67]. Подробнее об этих подарках Гете писал 30 сентября Иог.-Генр. Мейеру: «Я многим имел возможность насладиться и многое получил в собственность. Г. ф. Рейтерн оставил прекрасный сильный рисунок леса; замечательная картина Каруса выражает восхищенному взору всю р о м а н т и к у, так же как «Геркулес и Телеф» в совершенстве передает классическое» [68].

В Веймаре доныне сохраняются в Доме Гете оба подарка: рисунок Рейтерна, изображающий, по его собственноручной подписи, лес в Виллингсгаузене, где он жил, и картина Каруса, подаренная Жуковским [69].

Вот что изобразил Карус.—Балкон готического здания—один из тех балконов, что в старых соборах и ратушах таятся в лесу тянущихся вверх колонн и остроконечных сводов. Колонны балкона увиты виноградом. На балконе, на особом возвышении, стул готического же рисунка. На спинку его одним концом наброшен чей-то плащ, он спускается на сиденье, покрывает его свободными сложными извивами, скрывая все ножки, падает на возвышенье. К стулу прислонена высокая арфа. Кто-то только что был на балконе, играл на арфе, оставил свой плащ—и ушел. А сквозь струны арфы сияет полная луна, на небе—ни облачка. Высокие шпили готического собора и еще какого-то здания и крыши домов залиты лунным светом.

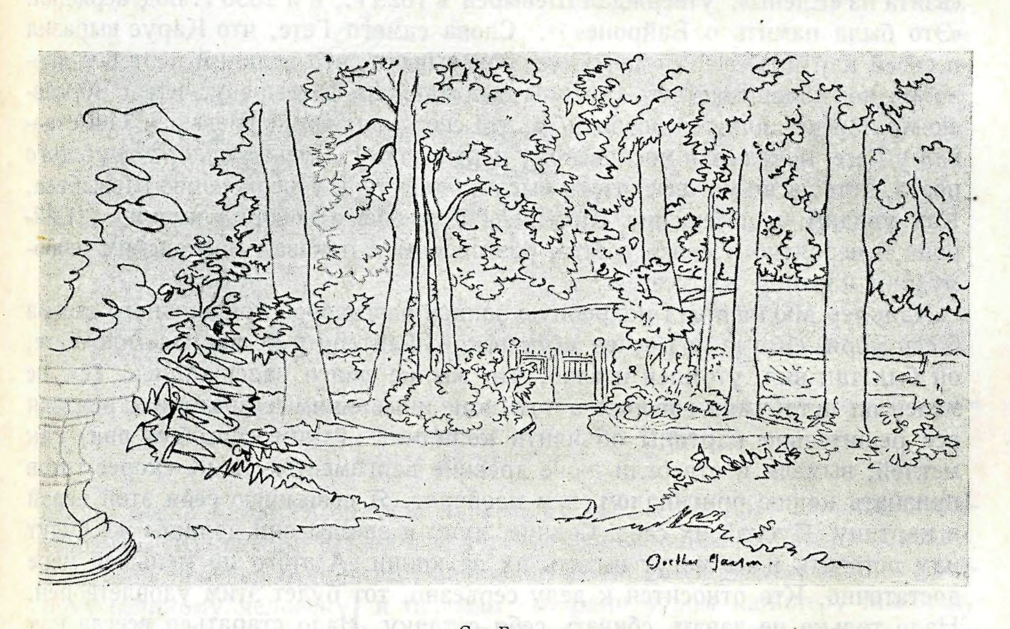


Загородный домик Гете

Рисунок пером В. А. Жуковского, сделанный 6 сентября 1827 г. в Веймаре

Внизу рукою Жуковского: „1827. 6 September. Göthes Gartenhaus“

Публичная Библиотека, Ленинград



Сад Гете

Рисунок пером В. А. Жуковского, сделанный 6 сентября 1827 г. в Веймаре

Внизу рукою Жуковского: „Goethes Garten“

Публичная Библиотека, Ленинград

На картине Каруса Жуковский сделал надпись:

П р и н о ш е н и е

Тому, кто а р ф о ю чудесный мир творит,
Кто таинства п о к р о в с создания снимает,
Минувшее животворит
И Будущее предрекает!

O f f r a n d e

A celui, dont la L y r e a crée un monde de prodiges,
Qui a levé le v o i l e mystérieux de la création,
Qui anime le passé
Et prophétise l'avenir.

5 sept. 1827 [70].

Стихотворение это, верное основному строю «Эоловой арфы» самого Жуковского, истолковывало картину применительно к поэтической личности Гете: арфа, изображенная художником-мыслителем,—это арфа самого Гете, могучего художника-мудреца, снимающего покров с тайн природы, властного в своих созданиях оживлять «минувшее» («Гец», «Эгмонт», «Тассо») и «предрекать будущее» (быть может намек на «Елену»). Но Шевырев, которому в 1829 г. картину Каруса показывал сам Гете, относил ее символику к Байрону: это—элегия по нем, вдохновленная той элегией-дифирамбом, которую пропел ему Гете в своей «Елене». «Мысль» картины «взята из «Елены», утверждал Шевырев в 1829 г., а в 1838 г. подтверждал: «Это была память о Байроне» [71]. Слова самого Гете, что Карус выразил в своей картине «всю романтику», показывают, что великий поэт в толковании полюбившейся ему картины был ближе к Шевыреву, чем к Жуковскому. Представляется вероятным, что свое толкование Шевырев заимствовал у Гете: показывая московскому переводчику «Елены» подарок русского поэта, Гете легко мог высказать мысль, близкую к утверждению Шевырева. Как увидим, в посещение Шевырева Гете много говорил именно о Байроне и вероятно в связи с этим разговором и показал московским любомудрам картину Каруса.

Канцлер Мюллер дал подробную запись разговоров прощального вечера 6 сентября. «Когда под вечер Жуковский, Рейтерн и я, мы посетили Гете, он был так вял, утомлен и слаб, что мы не долго задержались. Тем не менее он остроумно говорил о том, как иные мнимые знатоки стремятся все решительно картины объявить копиями: «Таким способом они, как метлой, вымели и отвергли даже древние пергаменты. Я же скорее готов признать копию оригиналом, чем наоборот. Я возвышаю себя этой верой в картину. Пускай их себе. Солнце, луну и звезды они должны же будут нам оставить и не могут выдать их за копии. А этого по меньшей мере достаточно. Кто относится к делу серьезно, тот будет этим удовлетворен. Надо только не давать сбивать себя с толку. Надо стараться всегда как можно больше развивать и укреплять собственное свое суждение» [72]. Таким образом немецкие слова в записи Жуковского—обрывок целой речи Гете, сохраненной канцлером Мюллером.

На следующий день, 7-го, Жуковский записал: «Чтение Гете. Отъезд. В полночь в Лейпциге» [73].

Он не записал главного, что он сделал в это последнее веймарское утро: он простился с Гете в стихах. Он пересмотрел в них всю свою поэтическую судьбу и не без горечи пороптал на нее, что она судила ему слишком позд-

нюю встречу с Гете-поэтом и с Гете-человеком: более ранняя встреча,—важное признание в устах «пудренного Оссиана»[74],—могла бы направить его поэзию на другую, более солнечную дорогу, вдали от туманов, романтики и пиэтизма:

Творец великих вдохновений,
Я сохраню в душе моей
Очарование мгновений,
Столь счастливых в близи твоей!... и пр.

Гете пробудил уснувшее поэтическое вдохновение Жуковского: за 1825—1827 гг. он написал всего 3—4 заказных стихотворения, и

Приношение

Тому, кто арфою чудесный мiръ творитъ!
Кто таинства покровъ съ Созданiя снимаетъ,
Минувшее животворитъ,
И будущее предрешаетъ!

—

Offrande

A celui, dont la lyre a créé un monde de prodiges,
Qui a levé le voile mystérieux de la création,
Qui anime le passé
Et prophétise l'avenir

5 Sept. 1827.

Автограф стихотворного обращения В. А. Жуковского к Гете на русском и французском языках на обороте картины Карла Каруса, подаренной Жуковским Гете
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

вдруг, после плохих куплетов на выпуск институток, это сильное стихотворение. Жуковский тут же сам перевел свое обращение к Гете по-немецки. Этот свой перевод Жуковский надписал: «Dem guten grossen Manne» (Доброму великому человеку) и передал его рано утром канцлеру Мюллеру для вручения Гете[75]. Поручение Жуковского Мюллер, пришедший в восторг от стихов нашего поэта, исполнил в тот же день, но был недоволен встречей, оказанной Гете этому подарку русского певца: «Слишком холодно, по-моему, принял Гете великолепное прощальное стихотворение Жуковского, хотя нашел в нем нечто восточное, глубокое, иератическое (Priesterliches)». Мюллер даже склонен приписать это полуравнодушие Гете стороннему вмешательству: «Он был сегодня совсем другой, чем позавчера. Тут могло действовать присутствие Мейера, пред которым он как бы избегает выказывать свои чувства. Мейер мне пока-

зался сегодня Мефистофелем, таким холодным, таким мироненавистником, лишенным любви». Но дело было конечно не в Мейере, что показал далее и сам добрый канцлер, огорченный за Жуковского. «Стихотворение баварского короля, которое король переслал мне из Фульды, показалось Гете слишком субъективным; не дело поэзии (es sei gar nicht poetisch) так трагично передавать прошедшее, вместо того чтобы признать настоящее и найти в нем чистое наслаждение; не следует поэту убивать прошедшее ради возможности воспеть его. Прошедшее надо изображать так, как оно изображается в «Римских элегиях». Однажды гр. Лебен высказал ему по случаю дня его рождения, что он только после его смерти по-настоящему сумеет выразить ему свою хвалу. Потому-то, что люди не умеют оживить, оценить настоящего, они и вожделеют будущего и кокетничают с прошлым. И Жуковскому надлежало бы более обратиться к объекту (mehr aufs Objekt hingewiesen werden müssen)» [76]. Гете решительно, хотя и сдержанно, возражает здесь не только на стихотворение, но и на весь уклад и строй поэзии Жуковского, более того: на все его мироощущение. Это отповедь великого объективиста мистическому субъективисту. В 1821 г., после прогулки в берлинском Thiergarten'е, Жуковский записал: «Мир существует только для души человеческой. Бог и душа—вот два существа; все прочее —печатное объявление, приклеенное на минуту» [77]. Если б Гете прочел эту запись, он, не вступая в спор о «двух существах», указал бы Жуковскому, что он пропустил небольшое третье: великий Objekt мира и природы.

На другой день после отъезда Жуковского Гете отметил: «Канцлер Мюллер принес кое-что от Рейтерна и Жуковского, говорил и расспрашивал о них» [78]. Должно быть это были какие-то дополнительные подарки Гете от уехавших друзей.

Жуковский также уехал из Веймара не без подарков.

«Памятником свидания Жуковского с Гете,—рассказывал в 1900 г. П. А. Висковатов со слов его друга и биографа К. К. Зейдлица,—является экземпляр элегии Гете («Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen...»), переписанный каллиграфически, но с собственной подписью Гете. Этот экземпляр, находящийся у меня, Зейдлиц получил от Жуковского и подарил его мне». По словам Висковатова, этот «экземпляр «Мариенбадской элегии» в некоторых незначительных частностях разнится от печатного. Есть и поправки, но сделаны ли они рукою Гете, трудно сказать. Во всяком случае рукописный экземпляр мой носит признаки раннего, еще не вполне исправленного списка. Он был Жуковскому подарен, должно быть в 1827 году... Доходила ли беседа поэтов до сообщения интимных пережитых ими в жизни эпизодов, конечно нельзя сказать, но характерно, что Гете дарит Жуковскому, еще не забывшему утраты Маши Протасовой-Мойер (умершей в 1823 г.) элегию свою, относящуюся к последнему эпизоду горячей любви его к г-же Левецов (тоже в 1823 г.) со знаменательным эпиграфом

Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen was ich leide.

(И если человек в страданьях нем,
Мне бог дает поведать, как я стражду).

Это могло относиться к обоим поэтам, потому что оба свое горе изливали в стихотворных произведениях, и Гете не одну только упомянутую «эле-

Картина Карла Каруса, подаренная В. А. Жуковским Гете 6 сентября 1827 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

гию» посвятил предмету поздней страсти своей... Этот подарок свидетельствует о некоторой интимности отношений...

Поэты говорили конечно и о произведениях литературы и может быть о планах новых задуманных произведений. К. К. Зейдлиц рассказывал, что Жуковский беседовал с Гете между прочим и о баснях, о «Рейнеке Лис» и о «Батрахомиомахии». Сообщение Зейдлица о том, что Жуковский говорил с Гете о «Войне мышей и лягушек», находит некоторое подтверждение в том, что Жуковский в это время вообще начинает интересоваться гекзаметром и переводит отрывки из «Илиады» тоже в 1827 г. Так что, если «Война мышей и лягушек» написана им в 1831 г., то задумана она была раньше» [79].

Жуковский вез от Гете своеобразный подарок и для Пушкина: перо Гете.

Сколько знаем, первый печатно сообщил об этом подарке Гете Пушкину П. В. Анненков. «Рассказывают, что он [Гете] послал Пушкину поклон через одного русского путешественника и препроводил с ним в подарок собственное свое перо, которое, как мы слышали, многие видели в кабинете Пушкина, в богатом футляре, имевшем надпись: «подарок Гете» [80]. Сообщение Анненкова, как и ряд разновременных сообщений о том же Бартенева в «Русском Архиве», основано на рассказе одного из достовернейших свидетелей жизни Пушкина—П. В. Нащокина: «Великий Гете, разговорившись с одним путешественником об России и слыша о Пушкине, сказал: «Передайте моему собрату вот мое перо». Пером этим он только что писал. Гусиное перо великого поэта было доставлено Пушкину. Он сделал для него красный сафьянный футляр, над которым было [надписано] напечатано: Перо Гете, и дорожил им».

Последний из русских исследователей, писавших о «пере Гете», М. А. Цявловский, писал в 1925 г.: «У нас нет оснований сомневаться в правдивости сообщения Нащокина» [81]. Между тем вопрос решен был еще в 1910 г. с выходом тома Va веймарского издания. Там, в примечании к стихотворению Гете: «Goethes Feder an...», написанному в 1826 г., был опубликован отрывок из французского письма известной польской пианистки Марии Шимановской (1790—1831) к веймарскому канцлеру Мюллеру из Петербурга от 16/28 июня 1828 г.: «M-r de Joukofsky a apporté un cadeau à m-r Puschkin, Poète Russe, une plume avec laquelle m-r de Goethe avait écrit» (Жуковский привез г. Пушкину, русскому поэту, в подарок перо, которым писал Гете). Другой отрывок из этого же письма Шимановской был напечатан в IV томе веймарского издания, в примечании к стихотворению Гете: «An den Dichter Adam Mickiewitz»: «M-r Mitzkieviez donnerait la moitié de sa vie pour en obtenir une» (Г. Мицкевич отдал бы половину своей жизни, чтобы получить подобное) [82]. Сообщение Марии Шимановской не может возбуждать сомнения ни с какой стороны: она лично знала всех тех лиц, которые связаны с этим ее сообщением: Гете, Жуковского, Пушкина, Мицкевича. С Гете она встретилась впервые в Мариенбаде летом 1823 г. и очаровала его своей вдохновенной игрой, своим умом, красотой и личным обаянием. Там же, в Мариенбаде, он написал ей стихотворение «Aussohnung» («Примирение»), составившее третью часть знаменитой «Трилогии Страсти» («Trilogie der Leidenschaft»). Осенью 1823 г. Шимановская посетила Гете в Веймаре и усилила то впечатление, которое оставила после Мариенбада: она, рассказывал Гете Эккерману, «возбудила во мне своими чарующими мелодиями отзвук тех юношески-блаженных дней» [83]. Обаяние, навеянное Шимановской, не покидало Гете никогда:

она сумела внушить Гете чувство, занимающее середину между любовью к исключительному артисту и утаиваемой от самого себя привязанностью к прекрасной женщине. Гете получал от нее письма и подарки [84].

В 1827 г. Шимановская вернулась в Россию и жила до кончины в Петербурге, где появилась впервые в 1822 г. и тогда же получила звание первой пианистки императриц. С Жуковским Шимановская была лично знакома. «Как мог ты не быть знаком с Шимановской и ее сестрой?—журил в 1822 г. Вяземский А. Тургенева в специальном письме из Москвы.—Они премилые. Познакомься с ними и влюбись. Я даю ей письмо и к Жуковскому. Научи ее, как его доставить, если он уже взобрался на Павловскую голубятню. Вчера у меня был для нее и Дмитриева московско-бригадирско-помещичий вечер: пляски и песни цыганские. Были и Кривцовы, и твой брат» [85]. С рекомендацией Вяземского, познакомившегося с ней в Варшаве, Шимановская вошла в круг литературных и светских его приятелей. Можно даже предполагать, что именно эта рекомендация Шимановской Жуковскому на его «Павловскую голубятню», т. е. во дворец Марии Федоровны в Павловск, и привела польскую пианистку к императорскому двору. Вяземский собирал в альбом Шимановской автографы русских поэтов и посвятил ему особую статью в «Московском Телеграфе» [86]. У Шимановской в Петербурге, на ее музыкальных вечерах, собирались представители высшего общества и литературы. В их числе бывал Пушкин. Сохранилась его французская записка к Шимановской: «С радостью спешу выразить свое согласие на Ваше милое приглашение. Окольным путем я имел известия о кн. Вяземском: он в данный момент должен находиться у княгини. Примите, сударыня, и т. д. А. Пушкин». Для определения времени знакомства Шимановской с Пушкиным важна одна дата: 1 марта 1828 г. Пушкин записал ей в альбом три стиха из только начатого тогда «Каменного гостя»[87]. С Мицкевичем Шимановская была в дружбе; в 1834 г., уже после ее смерти, Мицкевич женился на ее дочери Целине.

Все эти данные заставляют принять без всякого сомнения сообщение Шимановской, что Пушкин получил от Жуковского перо Гете: Шимановская знала это от самих Жуковского и Пушкина, а писала об этом человеку, ближе всех знавшему веймарские дела Гете и другу Жуковского: наш поэт, посетивший Гете в сентябре 1827 г., и был тот «русский путешественник», о котором рассказывал правдивый Нащокин.

Из его рассказа выходит, что Гете решил сделать подарок «своему собрату», «слыша о Пушкине». Это очень осторожное и потому верное выражение. О Пушкине Гете действительно слышал, но вряд ли его читал даже в той малой степени, какую давали возможность появившиеся до 1827 г. крайне немногочисленные переводы Пушкина на европейские языки. Боуринг, как мы знаем, обошел его своим вниманием; других антологий или переводов Пушкина не было в руках Гете (по крайней мере до 1827 г.). Бартенев делал предположение, что Гете мог знать Пушкина в переводах Каролины Павловой [88], но это лишь слабая догадка. В руках Оттилии Гете несомненно был «Кавказский пленник» в немецком переводе, но читал ли его сам Гете, остается неизвестным. Несомненно одно: Гете читал статью Элима Мещерского «О русской литературе», в которой видное место уделено было Пушкину. Но слышать от Жуковского о Пушкине Гете конечно мог: обидная краткость дневника Жуковского, где целое посещение великого веймарского поэта объемлется иной раз одним словом «Гете», допускает полную вероятность того, что такой разговор о Пуш-

кине не удостоился отметки даже при помощи самого маленького из сухих кольев [89].

Впечатление, вынесенное Жуковским из поездки в Веймар, было сильно. 8 сентября, под свежим впечатлением его рассказа, А. И. Тургенев писал из Лейпцига брату Николаю: «В полночь приехал Жуковский... Он зажился три дня в Веймаре в беседе с Гете, от которого и я получил милое слово чрез канцлера Мюллера, который писал ко мне. Жуковский жалеет, что меня не было с ним у Гете. Он был необыкновенно любезен и как отец с ним; ибо он говорит, что Гете и Шиллер образовали его, а с нами он рос и мужался с нами, Тургеневыми, и душевное и умственное образование получил с нами, начиная с брата Андрея; что только в чужих краях укрепилась душа его, между прочим, и твоими письмами, и что здесь началось его европейское образование, и я жалею, что не был с ним в Веймаре, хотя и много бы лишился, что приобрел в Лейпциге; но Гете— незаменим. Вот стихи Жуковского, оставленные им Гете» [90].

А канцлер Мюллер, сватавший к Гете всех русских посетителей-писателей, писал Жуковскому:

«Ваши прекрасные, исполненные благоговения, прощальные слова к Гете были ему очень радостны и тронули его. Он часто вспоминает о Вас с неизменным расположением и уважением, часто осведомляется у меня, нет ли вестей о Вас, и, подобно мне, сожалеет, когда их нет. Он бодр духом и телом. Через несколько дней появится третий выпуск его сочинений, и в нем много нового. Он непрерывно работает над второю частью «Фауста»; она распадается на 5 отделений; из них третьим нужно считать «Елену». Гете поручает мне передать Вам сердечный привет» [91].

Гете в последнее пятилетие своей жизни осведомлялся о Жуковском всякий раз, как его навещал кто-нибудь из русских, но интересовал его не столько поэт, сколько воспитатель будущего русского императора. Некогда сам почти «воспитатель» при Карле-Августе, он интересовался «положением» Жуковского при дворе. Зависимость провинциального веймарского двора от большого и богатого двора петербургского делали этот интерес Гете вполне понятным. Недаром Жуковского ласкали и при более независимом и состоятельном прусском дворе и сам прусский кронпринц «приятельствовал» с русским придворным педагогом. Со слов А. И. Кошелева, П. И. Бартенев передавал даже, будто «король прусский сам заискивал в Жуковском для укрепления своего малого значения при русском дворе» [92]. Гете не было конечно нужды «заискивать» перед Жуковским, но большой интерес к его придворно-педагогической деятельности и положению у Гете несомненны, и не раз русские посетители, не склонные к чинам и дворам, поражались этою чертою в Гете, и поражались неприятно.

Жуковский с Рейтерн уехали из Веймара, одинаково очарованные Гете. Но след этого очарования у каждого оказался различен.

Жуковский до конца жизни сохранил интерес к личности и творчеству Гете и, хотя больше не виделся с ним, но получал известия о нем от канцлера Мюллера и сделался впоследствии нередким гостем Веймара и семьи Гете. Как поэт же Жуковский не получил от свидания с Гете нового толчка к творческому вниманию к его поэзии: в 1829 г. он перевел три четверостишия из Гете (в числе их столь характерные для Гете: «Wer nicht das Auge sonnenhaft»), в 1833 г. пересказал басню «Орел и голубка», а в 1848 г. написал статью «Две сцены из Фауста», характерную только как

МАРИЯ ШИМАНОВСКАЯ
Миниатюра Никола Жак
Собрание Ф. Червяковского, Варшава

свидетельство воззрений самого Жуковского,—вот и все. Читательское же внимание Жуковского к Гете было неослабно.

С Рейтерном же было совсем другое: он был в самых живых сношениях с Гете до самой его смерти и делился с ним своей творческой работой, считая его советы и любовь к своему искусству лучшим возбудителем творческой энергии, а его суд—лучшим из критериев успеха.

В конце 1828 г. он послал Гете целый портфель со своими рисунками, акварелями и гравюрами, и Гете тотчас же отозвался на присыл: «Созерцание этих превосходнейших художественных произведений доставило мне великое наслаждение» [93]. Это была не лесть, а правда, и Гете делился этим наслаждением со всеми, кто у него бывал: рисунки Рейтерна гостили у него больше полугода, и в его дневниках за январь—май 1829 г. очень часты отметы: «показывал рисунки Рейтерна»—то принцессе Августе, то Римеру, то Эккерману, то другим посетителям [94]. Возвращая уже в июне 1829 г. портфель с рисунками Рейтерну, Гете писал в высшей степени приятные для художника вещи: «Великая правдивость, верная трактовка частей, изящная согласованность целого,—все это чувствовалось и замечалось всеми. Вы должны чувствовать себя совершенно удовлетворенным, видя как то, что Вы писали лично для себя в воспоминание милых дней, связанных с известными местами, вызывает и у всех самый желанный для художника интерес. Присоедините к этому, что я, быть может как более опытный любитель искусства, нахожу Вашу трактовку свободной и достойной восхищения. Но что значат слова там, где Вы в известном смысле невозможное воплотили в действительность?» Такое решительное одобрение Гете встречали не только рисунки и акварели Рейтерна, в которых он был опытен и умел, но и гравюры, которыми стал заниматься недавно. Они также удостоились похвалы Гете, занимавшегося, как известно, некогда гравированием. Он ободрил художника: «Ваша рука останется всегда тою же, и Вы быстро овладеете техникой и химическими средствами, которые должны притти к Вам на помощь» [95]. В таких ободрениях Рейтерн справедливо видел небывало высокую оценку его искусства и тем сильнее тянулся к Гете. В 1830 г. он решил переселиться на время в Рос-

сию. Ему, по хлопотам Жуковского, увеличили пенсию, и он вспомнил, что был все-таки русским художником, что его искусство гессенской идиллии материально базируется на деньгах, получаемых из России. Он два года прожил в России, оставив семью в Германии, и вошел в Петербурге в круг русских художников: К. Брюллова, пейзажиста М. Воробьева, знаменитого гравера Уткина, возобновил старое знакомство с Ф. Толстым. Но, уезжая в Россию, он не мог не заехать в Веймар, и пробыл там, общаясь с Гете, целую неделю (19—26 мая 1830 г.). Гете опять восторгался его работами и показывал их друзьям. 22 мая Гете записал в дневнике: «Говорили с ним [Рейтерном] об его прекрасном таланте». Обсуждая какую-то работу Рейтерна, Гете «указывал на богатство и значительность переднего плана». Вечером Гете показывал и объяснял его рисунки приглашенным друзьям [96].

23 мая 1830 г. Рейтерн сделал набросок с Гете. Собственноручная надпись Рейтерна на этом рисунке объясняет его источники: «Nach einer Handzeichnung in Aquarell von J. Stiller und eigener Erinnerung. Weimar, den 23 Mai 1830. 81 Jahralt» (По собственноручному акварельному рисунку И. Штиллера и по собственному воспоминанию. Веймар, 23 мая 1830 г. В возрасте 81 года). Рейтерн не писал, стало быть, с натуры. В основу рисунка он положил копию со знаменитого портрета Гете работы Иосифа Штиллера (1829): Гете ошибочно считал ее за принадлежащую самому Штиллеру, на самом деле ее сделал художник Фридрих Дюрк [97]. Эту копию Рейтерн поправил по собственному впечатлению от лица и фигуры Гете. Подправка больше всего коснулась глаз.

В 1831 г. Рейтерн опять прислал Гете целый портфель своих работ, и опять они вызвали лестные одобрения Гете. Среди них особенно нравилась Гете акварель «Три крестьянки, продающие корзины»: «молодой крестьянин рассматривает корзины на базаре; две женщины сидя и здоровая девушка стоя с удовольствием смотрят на красивого молодца». На этот раз Рейтерн обратился к Гете с особой просьбой: он прислал ему «богатый, сделанный золотом и яркими красками рисунок, изображающий рамку, в которой оставлено пустое место. Наверху нарисовано здание в готическом стиле, по обеим сторонам разнообразные арабески»[98]. В арабесках размещены были ландшафты; «правая сторона отображала его [Рейтерна] собственную жизнь, поля военных подвигов, ранения, вплоть до играющих детей. Вся рамка в целом должна была дать символическое изображение природы, искусства, фантазии»[99]. Художник желал, чтобы на оставленном в средине пустом месте Гете написал ему что-нибудь на память. Но Гете так пленился изяществом работы и так боялся «сделать клякс», что решительно отказался исполнить просьбу, несмотря на настояния художника, его жены, Эккермана, даже великой герцогини. Правда, он написал было жене больного художника: «Я ощущал страх пред заполнением моим писаньем пустого места между великолепными арабесками..., так как никогда нельзя себя считать застрахованным от несчастья и промаха пера. Наконец я набрался мужества, и надеюсь, что это удастся»[100]. Но «мужества» хватило только на это письмо: место в аллегорической рейтерновой рамке осталось незаполненным, а Гете просто-напросто прислал художнику прекрасное стихотворение, начинавшееся словами:

Gebieldetes fürwahr genug!
Bedurft es noch der Worte?

An Madame
Marie Szymanowska

Die Leidenschaft bringt Leiden! — wer beschwichtigt
Beklommnes Herz das allzuviel verlohren
Wo sind die Stunden allzuschnell verflüchtigt
Vergebens war das Schoenste dir erkoren
Trüb ist der Geist, verworrenes Beginnen;
Die hehre Welt wie schwindet sie den Sinnen

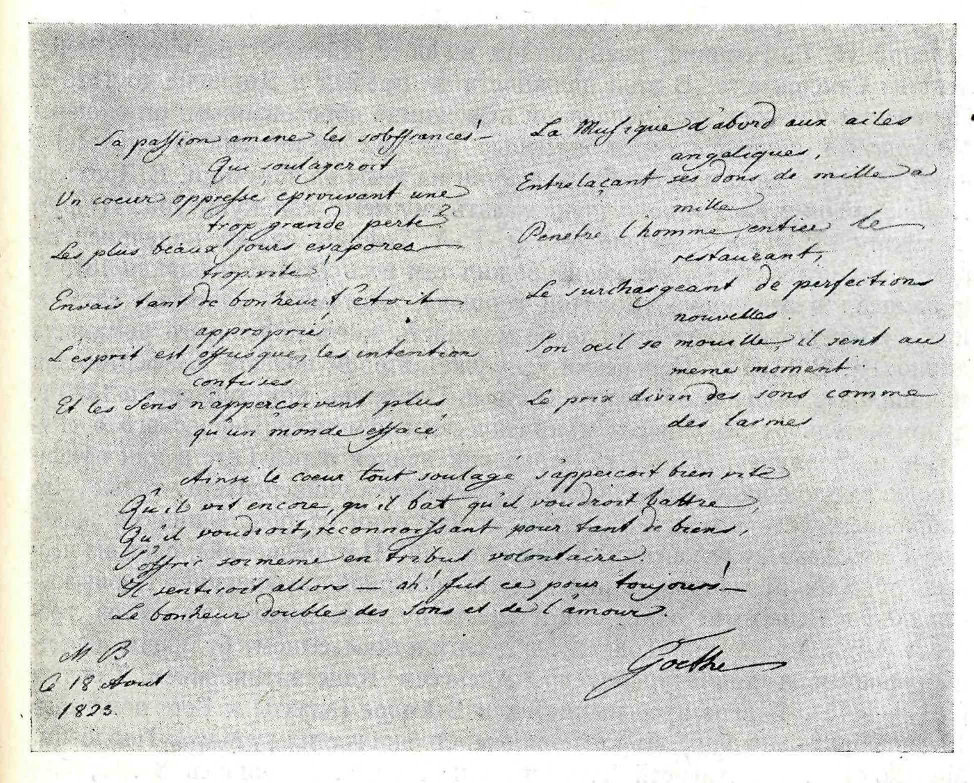
Da schwebt hervor Musik mit Engel schwingen
Verflicht zu Millionen Tön um Töne
Des Menschen Wesen durch und durch zu dringen
Zu überfüllen ihn mit ewiger Schoene;
Das Auge netzt sich, fühlt in höherm Sehnen
Den Götterwerth der Töne wie der Thränen

Und so das Herz erleichtert merkt behende
Daß es noch lebt und schlägt und möchte schlagen,
Zum reinsten Danck der überreichen Spende
Sich selbst erwiedernd willig darzutragen
Da fühlte sich — o daß es ewig bliebe! —
Das doppelglück der Töne wie der Liebe.

Marienbad
d. 18 Aug. 1823.

Goethe

Автограф стихотворения Гете „К Марии Шимановской“ на немецком языке. Мариенбад, 18 августа 1823 г.
Музей Мицкевича, Париж



La passion amene les souffrances! — Qui soulageroit
Un coeur oppressé eprouvant une trop grande perte?
Les plus beaux jours evaporés trop vite
Envain tant de bonheur t'etoit approprié!
L'esprit est offusqué, les intention confuses
Et les Sens n'appercoivent plus qu'un monde effacé

La Musique d'abord aux ailes angeliques,
Entrelaçant ses dons de mille a mille
Penetre l'homme entier le restaurant,
Le surchargeant de perfections nouvelles.
Son oeil se mouille, il sent au meme moment
Le prix divin des sons comme des larmes

Ainsi le coeur tout soulagé s'appercoit bien vite
Qu'il vit encore, qu'il bat qu'il voudroit battre,
Qu'il voudroit, reconnoissant pour tant de biens,
S'offrir soimeme en tribut volontaire.
Il sentiroit allors — ah! fut ce pour toujours! —
Le bonheur double des sons et de l'amour.

M B
le 18 Aout
1823.

Goethe

Автограф стихотворения Гете „К Марии Шимановской“ на французском языке. Мариенбад, 18 августа 1823 г.
Музей Мицкевича, Париж

(Изображенного достаточно! Разве оно нуждается еще в слове?)

Этот характернейший эпизод свидетельствует о том почтении, которое питал Гете к каждой работе Рейтерна, а вместе и о том почитании, которым художник платил Гете за благосклонность к его творчеству. Символически-графически изобразив весь путь своей жизни, от войны к искусству, он хотел непременно, чтобы Гете закрепил его своим словом, и это слово поставил в центр своего жизненного пути. Это и графически, и биографически верно для Рейтерна [101].

Вернемся к Жуковскому. Через несколько дней после отъезда Жуковского из Веймара новый русский посетитель напомнил о нем и Гете, и канцлеру Мюллеру, и Марии Павловне.

Вот три записи дневника Гете об этом посетителе. 19 сентября: «В 1 час г-жа фон Мюнхгаузен, потом канцлер фон Мюллер с Перовским», 27 октября: «статский советник Перовский» и 3 ноября: «Г. статский советник Перовский откланяться» [102]. Это был Алексей Алексеевич Перовский (1787—1836), побочный сын графа А. К. Разумовского, в то время (1825—1830)—попечитель Харьковского учебного округа и университета. У Гете с Перовским было много общих знакомых: с его родным дядей, любителем минералогии гр. Г. К. Разумовским (1759—1837), Гете встречался в Карлсбаде, был с ним в переписке, обменивался минералами, получал в подарок его книги [103]; знакомцы и корреспонденты Гете кн. Н. Г. Репнин и С. С. Уваров были женаты на его единокровных сестрах; наконец с его отцом, министром народного просвещения (1810—1816) А. Г. Разумовским, Гете был в сношениях через посредство Уварова. Перовский был не впервые в Германии: он участвовал в 1813 г. в сражениях при Дрездене и Кульме, а после Лейпцигской битвы был назначен старшим адъютантом при Н. Г. Репнине, назначенном на пост генерал-губернатора королевства Саксонского. В этой должности он пробыл в Дрездене до 1815 г. Перовский приехал туда человеком недюжинно образованным: он окончил Московский университет со степенью доктора философии и словесных наук и прочел даже три пробных лекции на темы из ботаники. В Дрездене Перовский окунулся во все, что могла дать ему немецкая культура. Вторую половину 1813 г. в Дрездене жил Э.-Т.-А. Гофман, служа капельмейстером в драматическом театре; он прожил там весь 1814 г. и начало 1815 г. и написал в это время «Золотой горшок», «Автомат», «Элексир сатаны» и др. «Перовский имел полную возможность знать даровитого романиста лично» [104]. В 1825 г. Перовский был уже автором повести «Лафертовская маковница», вызвавшей лестный отзыв Пушкина, который еще в 1820 г. с признательностью отнесся к критическим заметкам Перовского о «Руслане и Людмиле». В 1827 г. Перовский явился перед Гете и как официальное русское лицо—попечитель Харьковского университета, только что избравшего Гете в почетные члены, и как один из родственников знакомой Гете семьи Разумовских, и как «Антоний Погорельский», один из первых русских прозаиков, выросших на немецкой литературе. Перовский приехал в Веймар не один: с ним вместе путешествовала его сестра, графиня Анна Алексеевна Толстая, с десятилетним сыном, будущим известным поэтом и драматургом, гр. Алексеем Константиновичем Толстым (1817—1875). Долгое пребывание их в Веймаре (визиты к Гете помечены: 19 сентября—3 ноября) объясняется тем, что они гостили у Марии Павловны. Маленький граф Алексей Толстой, когда ему исполнилось 8 лет, был представлен наследнику Александру Николаевичу и сделался товарищем

его игр. Мария Павловна ни в чем не желала отставать от своего брата, и «в Веймаре Толстой представлен был будущему великому герцогу Карлу-Александру и играл в дворцовом парке как с ним, так и с другими детьми»[105].

О первом свидании Гете с другом Жуковского сохранилась запись канцлера Мюллера: «19 сентября, среда. Я был с Перовским у Гете, который среди разговора заметил: «Уже само по себе частое участие в церковных процессиях дает в католических странах детям известное образование и нравственный уклад (Bildung und Sitte) [106]. Это странное утверждение Гете не стоит ли в связи с разговорами о путешествии Перовского с сестрой и племянником по Италии и с толками о воспитании будущего русского поэта? У Мюллера есть и еще запись, относящаяся к Перовскому: «27 сентября. Перовский: о завещании его отца (умер в 1822 г.—*С. Д.*) и о том, как за свое великодушие он впервые был так оценен императором Александром» [107].

Будущий автор «Дон Жуана» был представлен автору «Фауста». В те годы Алексей Толстой был уже поэтом: по собственному его признанию, его первые опыты в поэзии относились к шестилетнему возрасту (1823—1824). В феврале 1825 г. А. Перовский в письме благодарил уже своего племянника за басню про льва и мышь и две песни, которые поэт ему прислал [108].

Много десятилетий спустя Алексей Толстой вспоминал свою встречу с Гете: «В одно из наших пребываний в Веймаре дядя взял меня к Гете, к которому я по инстинкту проникся величайшим почтением благодаря тому, что я слышал, как говорили о нем. От этого посещения у меня сохранились в памяти величественные черты Гете и то, что я сидел у него на коленях» [109]. По преданию, сообщаемому биографом А. Толстого, Гете «подарил мальчику кусок мамонтова клыка с собственноручно нацарапанным на последнем изображением фрегата» [110].

А. А. ПЕРОВСКИЙ (АНТОНИЙ ПОГОРЕЛЬСКИЙ)
Миниатюра неизвестного художника
Третьяковская Галлерея, Москва

Свидание с Гете—одно из зерен того раннего и постоянного интереса к нему, который дал столько ростков в творчестве Алексея Толстого: он был превосходным переводчиком Гете, дав русской литературе непревзойденные переводы «Коринфской невесты» и «Бога и баядеры», и с нескрываемой силой отдавался в собственном творчестве переживанию центральных мотивов Гете: «Дон Жуана» А. Толстого не существовало бы, если б не было «Фауста». Связи с Веймаром А. Толстой сохранил навсегда: он гащивал там в свои зрелые годы. 30 января 1868 г. на сцене гетевского театра в Веймаре была с большим успехом сыграна его трагедия «Смерть Иоанна Грозного» в переводе К. Павловой. В том же году он прочел Карлу-Александру другую свою трагедию—«Царь Федор Иоаннович», запрещенную в России для сценического исполнения, и герцог выразил желание увидеть и ее на веймарской сцене. Однако постановка ее и там не состоялась.

Поездка Перовского в Веймар была в духе поездок Жуковского: «Антоний Погорельский», русский романтик-прозаик, ехал к Гете, Алексей Перовский, попечитель Харьковского учебного округа и член высшего петербургского околодворцового круга, ехал к Марии Павловне.

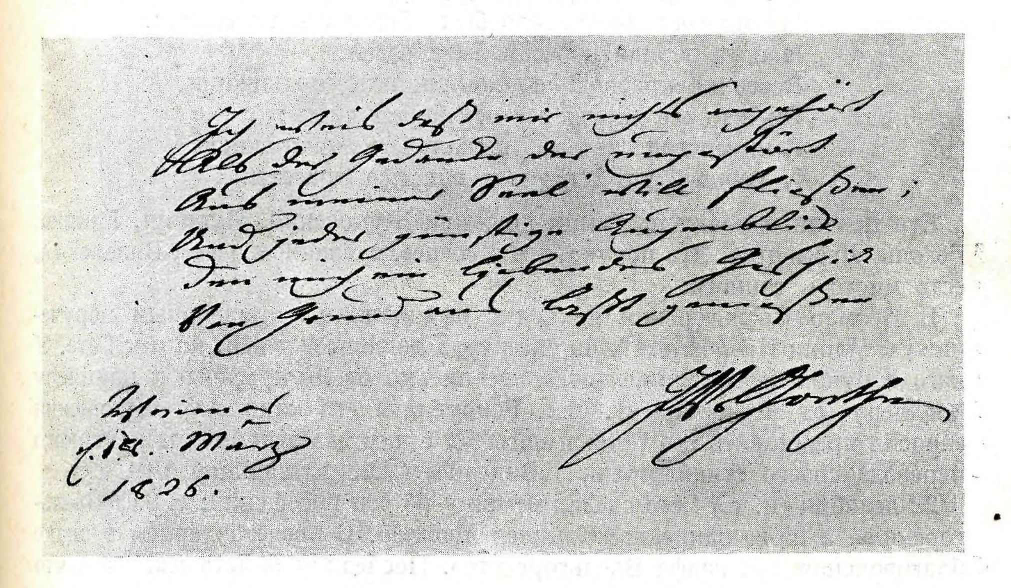
В следующем 1828 г. с особой яркостью обнаружился этот двойственный, литературно-придворный характер отношений Жуковского и круга его петербургских друзей к Веймару.

14 июня умер Карл-Август, 24 октября умерла Мария Федоровна.

О смерти Карла-Августа канцлер Мюллер писал Жуковскому: «Что я Вам могу сказать о жестокой скорби, которую причинила нам всем неожиданная кончина нашего возлюбленного повелителя? Вы сами ощутили ее, и Ваша струна, которую я тревожу, дрожит от того же самого! Мы исполнили горестное, тяжкое поручение: передать ужасную весть Гете. Глубоко потрясенный, он воскликнул: «Я не должен его пережить!» Потом он успокоился, и теперь горячо старается собрать все, что может послужить к прославлению памяти достославного повелителя... Придворный живописец Штиллер из Мюнхена, специально присланный королем, недавно написал здесь несравненно прекрасный и схожий портрет Гете, с которого я быть может скоро пошлю Вам литографию» [111].

Смерть Марии Федоровны вызывает в Мюллере совершенно те же по тону и по выражению сожаления, что и смерть его собственного «повелителя»: умерла «повелительница», общая у него с Жуковским. «Я пользуюсь случаем отсылки этого печальнейшего курьера, высокочтимый друг,—пишет он Жуковскому,—чтобы подать признак жизни, чтобы послать Вам сердечный привет мой, Гете и благородной графини Эглофштейн. С лета что мы пережили!» Мюллер как верноподданный Николая I перечисляет в списке пережитого не только смерть Карла-Августа, но и «случайности кровавой опасной войны» (попросту, неудачи Николая I в турецкой войне), и смерть Константина Бенкендорфа, брата шефа жандармов и «друга юности» самого Мюллера, и восклицает с сугубым потрясением: «И теперь эта невероятно внезапная кончина высокочтимой императрицы-матери! Какой ужасный удар для всех, для нашей великой герцогини особенно,—и это тогда, когда она только была вознаграждена за многие заботы радостным известием о взятии Варны! В глубочайшей скорби несет достойнейшая княгиня свою невознаградимую потерю, с такой же покорностью и смирением, как раньше потерю своего царственного брата. Это не пройдет даром для ее здоровья. Кроме семейных, она никого не видит.

Гете удалился после смерти своего царственного друга в Дорнбург в 5 часах отсюда, на Заале, в романтический замок великодушного незабвенного герцога. Там он укрепил себя, возобновив занятия ботаникой и геологией. Он оставался там недоступен для всех, кроме близких друзей, до середины сентября. Двенадцать превосходных писем получил я от него за это время—чудесную память высокого духа, сражающегося со скорбью и побеждающего ее новой своей деятельностью. Один листок из альбома, что он послал близкому другу, я прилагаю здесь. Мы в ближайшем же году можем ожидать продолжения «Метаморфозы растений» как плода тихой дорнбургской жизни. Он приветствует Вас самым сердечным образом... Гете только что получил от Вимана из Берлина превосходный бюст Вашей всемилостивой императрицы и невыразимо этим утешен» [112].


Ich weiß, daß mir nichts angehört
Als der Gedanke, der ungestört
Aus meiner Seele will fließen,
Und jeder günstige Augenblick,
Den mich ein liebendes Geschick
Von Grund aus läßt genießen.

Weimar d. 1. März 1826.

J W v Goethe

Автограф стихотворения Гете „Eigenthum", подаренный канцлером Ф. фон Мюллером В. А. Жуковскому
В. А. Жуковский вклеил этот автограф в свой альбом
Публичная Библиотека, Ленинград

Письмо это—великолепный образец русско-веймарских литературно-придворных отношений. Комментарием к нему может служить все сказанное в главе «Гете в политике Александра I и Николая I». Оно важно и для истории «гетеанства» Жуковского. Веймарский канцлер дает ему подробный отчет о «трудах и днях» Гете и делится реликвией слагающегося культа Гете. «Листок» из альбома, посланный в письме, Жуковский вклеил в свой собственный альбом, а на другой странице поместил гравюру с барельефа Гете и листочки, сорванные в его саду. На листке было написано Гете его стихотворение «Eigenthum» [113].

В связи с кончиной Марии Федоровны появился в Веймаре в декабре 1828 г. один из самых близких друзей Жуковского, гр. Михаил Юрьевич Вьельгорский (1788—1856). Он был влиятельный царедворец, но «употребляем» был Николаем I, благоволившим к нему, лишь по тем делам, где нужно было показать, что и Петербург—в Европе, что и в Аничковом дворце живут европейцы: Вьельгорский ведал «императорским покровительством» заезжим иностранным артистам, художникам, ученым, он

устраивал им приемы, меценатствовал по поручению Николая I и по собственному влечению к искусствам. В некоторых отношениях это был второй Владимир Одоевский. Он был одарен блестящими музыкальными способностями: артисты видели в нем, как в Зинаиде Волконской, артиста, талантливого композитора и исполнителя. Шуман назвал его «гениальным дилетантом». Но инвентарь его интересов этим не ограничивался: в нем еще значились масонство, философия, медицина, литература, теология, лингвистика и даже гастрономия. Вяземский, близко его знавший, отлично помянул его в своих «Поминках» (конечно по заповеди «de mortuis nil nisi bene»).

До невозможности он был разнообразен;
В нем с зрелой осенью еще цвела весна;
Но многострунный мир был общим строем связан,
И нота верная во всем была слышна.
Всего прекрасного поклонник иль сподвижник,
Он в книге жизни все перебирал листы:
Был мистик, теозоф, пожалуй чернокнижник,
И нежный трубадур под властью красоты.

Его ценили и уважали, с ним дружили Жуковский, Пушкин, Глинка, Гоголь, Лермонтов. Это порука, что в «bene», сказанном о нем Вяземским, есть много истинного.

В Веймар Вьельгорский явился с официальным придворным поручением к Марии Павловне. Но он ехал туда не только к ней, но и к Гете. У него в руках было рекомендательное письмо от Жуковского к канцлеру Мюллеру (от 22 ноября ст. ст.). Рекомендуя его канцлеру, Жуковский «просил представить его Гете» и посылал с ним два экземпляра немецкого перевода своего стихотворения «Видение» («Die Erscheinung») [114].

22 декабря (н. с.) Гете сделал отметку об его посещении: «Граф Вьельгорский», а 25-го записал: «Канцлер Мюллер. С представлением о знаке благоволения для графа Вьельгорского». Последняя помета означает, что Вьельгорский по представлению Мюллера получил от Марии Павловны золотую табакерку с именем «Мария» [115].

14/26 декабря гр. М. Вьельгорский послал письмо Жуковскому с отчетом о своих впечатлениях. Оно печатается здесь впервые:

После многих неприятных встретившихся препятствий на дороге при переправе рек приехал я наконец в Веймар 7/19 декабря. В Берлине остановился на одни сутки, чтоб починить карету, обедал у короля и провел весьма скучный вечер у Алопеуса, которого милая жена в Италии. Он же утешается бюстом Зонтаг, что меня немало удивило.

Здоровье В[еликой] К[нягини] лучше, нежели ожидать было можно. Лучше даже, нежели в Павловском, где у ней была какая-то опухоль, совсем теперь исчезнувшая. Сам доктор Швабе того же мнения. Грусть ее тихая, покорная, нет в ней ничего сжимающего. Много и часто слезы она проливала, вслушиваясь в мои рассказы. Несколько раз говорила о твоем письме, которое ее очень тронуло. Часто бывал я с канцлером, в котором нашел умного и любезного человека. Я для него перевел буквально и написал твое «Видение». Несколько раз был я у Гете, и сам ты вообразить можешь, какое для меня было наслаждение слушать сего великого мужа, которого кажется умел я снискать благорасположение. Он необыкновенно был в духе, особливо в последнее свидание, так что и меня возбудил:

с расширенным сердцем я его оставил. Мало времени мне оставалось для свидания с ними, и я намерен на возвратном пути пробыть здесь две недели по крайней мере (дабы погреться). Была речь и о тебе. Тебя многие помнят и помнят, как должно. Обними нежно Оську, через три дня буду на минуту со своими! Вицтум тебе привезет книжку, может быть и две. Пиши ко мне в Брюссель на имя Гурьева. К. К. сердечный поклон.

Веймар, 14/26 декабря [116].

Письмо Вьельгорского типично-двойственно: друг литераторов, «гениальный дилетант» в музыке, тонкий знаток поэзии, он полон впечатления

М. Ю. ВЬЕЛЬГОРСКИЙ
Рисунок карандашом неизвестного художника (1844 г.)
Институт Русской Литературы, Ленинград

от Гете, но, верный слуга царского дома, он первую половину письма уделяет Марии Павловне и ее горю: корреспондент знает, что точно так же написал бы ему из Веймара и адресат, будь он на месте Вьельгорского. Единство отношений к Гете А. Тургенева, Жуковского, Перовского, Вьельгорского несомненно: они искренние паломники к Гете, но они столь же искренние соучастники придворного круга Марии Павловны [117].

Лето 1832 г. Жуковский проводил за границей и, в связи с кончиной Гете, отдался чтению его произведений и воспоминаниям о нем—своим и

чужим. С 16 августа Жуковский живет в Висбадене, часто видится с Рейтерном и его семьей: чтение Гете и разговоры о нем делаются особенно оживленны. Особенно увлекается Жуковский «Итальянским путешествием». Характерна запись 22 августа: «Вейльбах. Гроза. Ввечеру чтение Гете: грот св. Розалии близ Палермо. О архитектуре, о материалах искусства. О исчислении времени в Италии. О ролях женщин в итальянских драматических пьесах. Ясность и живость. Нет ничего лишнего. Обо всем собственная мысль. Eigenthümlichkeit, Fasslichkeit und Bild (своеобразие, ясность, образность)—характер гетева слога. Краткость и легкий порядок в изложении; скрытая, но ощутительная мысль» [118]. Далее к «Итальянскому путешествию» присоединяются другие сочинения Гете,—и все они находят заведомый мыслительный отклик в Жуковском, что бы он ни читал: статью о Леонардо да Винчи, отрывки из «Aus meinem Leben» или «Hermann und Dorothea». Жуковский изучает в то же время трактат Дидро о живописи в переводе Гете [119].

В дальнейшем странствовании с Рейтерном по Германии память о Гете сопутствует Жуковскому: во Франкфурте 3 сентября у него происходит «разговор о Гете с книгопродавцем К. Югелем», а 8 сентября Жуковский с Рейтерном «рассматривали Фауста гетева и корнелиусова»—знаменитые гравюры Петра Корнелиуса (1787—1867). 10/IX в Гейдельберге внимание поэта останавливает «старинный дом с лестницей винтом, описанный в «Götz von Berlichingen». Прогулка на развалины. Рейн в блеске; туман; свечи на окнах; месяц за горою. Гете и разговор о назначении души» [120].

В странствованиях следующего 1833 г. Гете опять как бы сопутствует Жуковскому и на этот раз ведет его в Веймар. 23 августа Жуковский записывает: «Ночевал в Готе, Hôtel der Moor. Рисунки гетевы. Гравюры Рафаэля. Рембрандтовы рисунки. Подарки Гамбурга. В кабинет; бедность и Geschmacklosigkeit (отсутствие вкуса). Разделение часов. Портрет Наполеона. Бюст императрицы и венцы. Mehr Licht. Спальня. Библиотека, манускрипты. К m-lle Pogwisch. Альма и Вольфганг. К великой княгине. Spiegel с дочерью. Бьелке. Санти с женою. Вечер у великой княгини. Обозрение дворца» [121].

24 августа Жуковский в обычную свою сухую запись внес подлинные слова Гете, слышанные от кого-то из его близких:

«Переезд из Готы в Веймар. Приезд в 3-м часу. Остановился в Erbprinz. К канцлеру Мюллеру. С ним к Бьелке, к Фицтуму. В театр Jeanne d'Arc. После театра к Санти. Кудрявский. Анекдоты о Гете. «Nie in einem schlechten Theater sich zu langweilen, nie ein Kompliment zu sagen ohne es aufrichtig gedacht zu haben.—Von solchen Dingen spreche ich nur mit Gott». (Никогда не скучать в дурном театре, никогда не говорить комплимента, если по совести искренне не можешь его сказать.—О таких вещах я беседую только с богом) [122].

25 августа Жуковский посетил жилища Гете и Шиллера: «Поутру с Крейтором в библиотеку. Бюст Гете Давида. Ошибка. Перспектива. Шиллер. О привязанности Гете к Шиллеру. Виландово письмо о Гете к Якоби. Письма отца и матери (очевидно родителей Гете.—*С. Д.*). В башню. Альбомы дам XVI века. В доме Гете. Комната медалей средних веков; бронзы; слепок с шиллерова черепа (история, как он найден). Смерть Шиллера в 1804 г., погребение: в 1815; соединение скелета; черепа; бюст Данек[ер]а; портреты; вход по билетам; шиллеров слуга. Два зуба. Череп Вандика» [123].

На другой день «поутру» был Жуковский «у канцлера Мюллера», и они беседовали «о гетевском Фаусте». В тот же день Жуковский уехал из Веймара, 29 сентября в Берлине сделал пометку: «Рисунки Гете Рейтерну»[124].

В 1834—1836 гг. Жуковский не был в Веймаре и не обменивался письмами с веймарцами.

Первый прервал молчание канцлер Мюллер. 14 октября 1837 г. он написал примечательное письмо Жуковскому:

«Память о Вас, драгоценный человек, в течение долгих лет, протекших с последнего свидания с Вами в 1833 г., не исчезла, хотя никакой видимый знак взаимного памятования не ознаменовал ее. В тихом веймарском круге я жил только в прошлом, и взор мой часто с томлением обращался в былое, а Вы, в величии высшего призвания, сеяли богатые семена для будущего, и еще недавно неизмеримые молитвы возлетали в двух частях света, чтобы благословить будущего властителя на его будущее призвание.

Тургенев, с которым я провел прекрасные дни на юбилейном празднестве в Геттингене, должен был и мог сообщить мне много радостного о Вас. Но все это могло не уменьшить, а только усилить желание видеть Вас. После того большого и ответственного путешествия, думается, маленькая поездка по Германии должна бы явиться для Вас приятным отдыхом, нужным для Вашего здоровья.

Я посылаю Вам при этом весьма редкий медальон—лучшее изображение «великого доброго человека», которого Вы так искренне чтите, в уверенности, что он будет Вам приятен. И кто же более Вас достоин им владеть? Я сочинил песню с музыкой, которая удалась, и представил ее в масонскую ложу по случаю посмертного торжества в честь Гете. Да, есть утешение помнить:

Орел задевает крылом прах
И затем парит к солнцу...

Я очень рекомендую Вам новое издание сочинений Гете, 4 тома in 4°, с 12 гравюрами на стали, Котта; Вы найдете здесь 103 нигде не напечатанных еще отрывка в стихах и прозе, между которыми несравненный фрагмент «Вечный жид». Я очень желаю, чтоб это новое прекрасное издание распространилось в Петербурге. К пасхе думаю я издать переписку Гете с Кнебелем и гр. Рейнгардтом, в 4 томах in 8°; она содержит много высокого; позднее последуют мои «Десять лет из жизни Гете, 1776—1786», план которых в минувшую зиму я уже читал нашей герцогине в ее литературном кружке.

Тургенев рассказывал мне много о Вашем (sic!) журнале «Современник» и о других цветах Вашей музы. Кто же бы теперь не желал научиться по-русски! Но и переводчик скоро отыщется, как только мы будем иметь оригинал.

А теперь еще раз—сердечное прости! Гений всего прекрасного и доброго будь безотлучен от Вас! Позвольте мне скоро узнать, что Вы меня дружески помните. Ваш Ф. Мюллер»[125].

Письмо Мюллера продолжает гетевскую традицию—чтить в Жуковском воспитателя будущего императора, но в нем же есть и искреннее чувство привязанности к русскому гетелюбивому поэту, в характере и личности которого Мюллер нашел много созвучного себе самому.

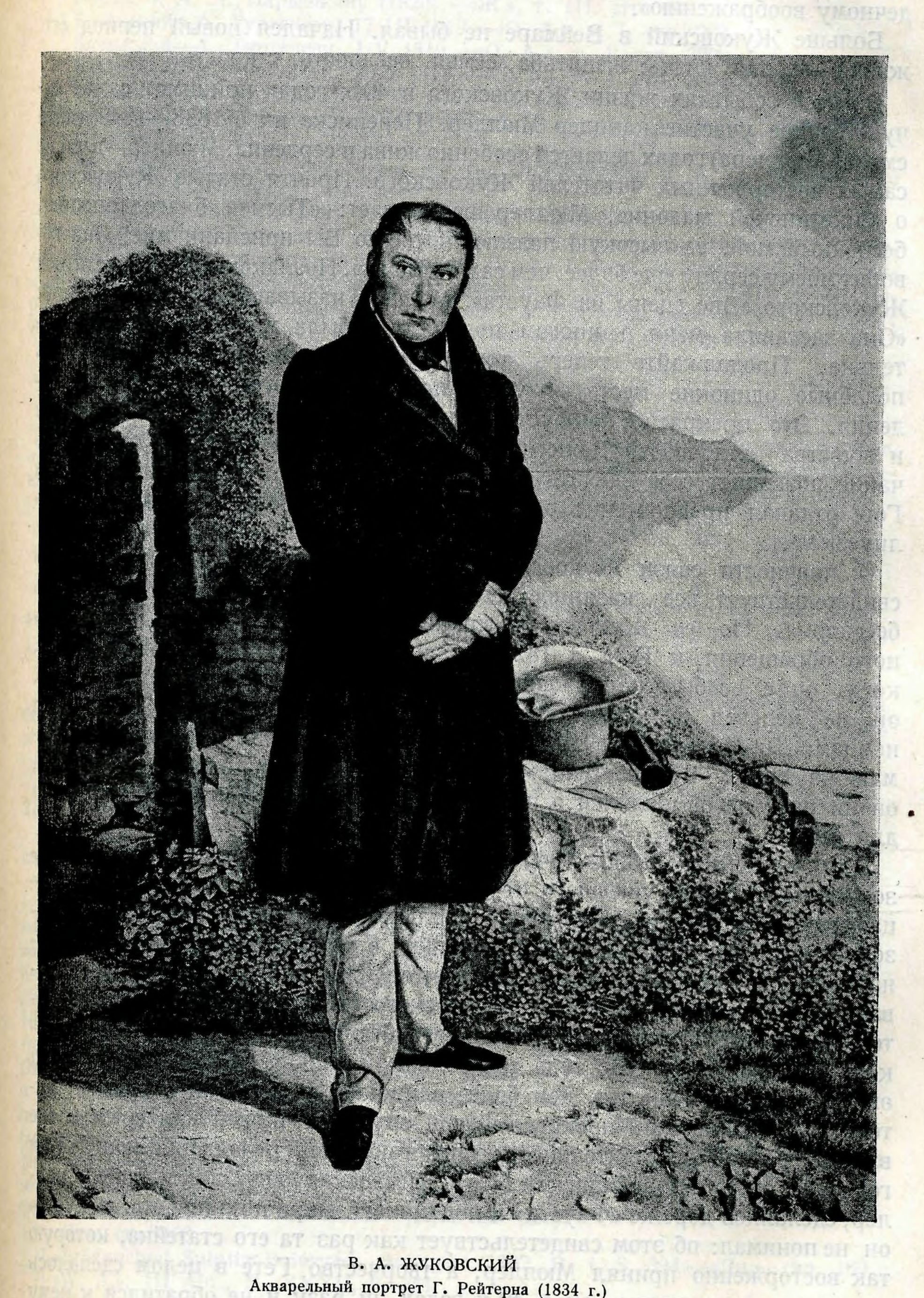
В следующем 1838 г. Жуковский действительно поехал в Германию; вместо той идиллической поездки, о которой мечтал Мюллер, ему опять

пришлось сопровождать наследника. Еще в Берлине начались его гетеанские впечатления: 31 мая «в Singacademie» он слушал хорошо ему известную музыку А. Радзивилла к «Фаусту», а 1 июня провел вечер у «Ольферса с Клейстом, Форстером, Тиком, Вертером и Штегманном»; они толковали «о актах в гетевском Фаусте» (т. е. о попытке Л. Тика уложить I часть трагедии в правильные акты) [126].

Великий князь поехал в Веймар, к тетушке Марии Павловне, и Жуковский 6 сентября записывает на ходу: «Weimar. До самого выезда из Эрфурта прекрасные виды. Было темно, когда приехали в Веймар. Мысли о Гете и Шиллере дают особую прелесть этим местам» [127]. Отметки Жуковского в это пребывание в Веймаре—отметки старого, преданного гетеанца, которому дорога каждая мелочь жизни и даже домашнего обихода Гете. 8 сентября Жуковский отмечает «первое посещение гетева дома». 9-го он опять там: «В доме Гете... Разговор с Эккерманом и Крейтором. Описание смерти Гете. Маленькие его комнаты. Застоявшийся воздух в горницах. Судно. Прелестный календарь в футляре. 22 марта. Бюст императрицы. Пирамида из папки: Sinnlichkeit зеленый цвет, Verstand голубой, Vernunft желтый, Fantasie красный. Поэмы и Tagebuch. Пролитые чернила. Гетевы рисунки. Его внук Вольфганг. Рисунок красками пирамиды. Знакомство с Шорном» [128]. 13 сентября Жуковский вновь посетил дом Гете вместе с наследником; 14-го отметил «посещение гетевой гробницы», а 15-го «рисовал в кабинете Гете» [129].

В 1839 г. Жуковский замыслил издавать у Смирдина «Библиотеку романов». Главная переводчица, А. П. Елагина, писала своему дяде-редактору: «Что касается библиотеки романов, то тут мир бесконечный, лишь бы только можно было уговориться с Смирдиным. Гете, один Гете чего стоит! Иван (Киреевский.—*С. Д.)* будет переводить Вильгельма Мейстера прозу, а вы стихи, то и будет к о н. Нужно все его романы: Wilhelm Meister's Lehr- und Wanderjahre, Walwerwandschaft, Dichtung und Wahrheit, Werther, переведенный у меня. Затем Jean Paul один или два романа. С итальянского не переведены у нас Манцони «Обрученные» [130]. Жуковский намечал дать русскому читателю германский цикл романов, с Гете во главе [131], в противовес французским романам Бальзака, Ж. Занд, Гюго и др., возобладавшим в русских журналах конца 30-х и 40-х годов. Это был подбор, направленный п р о т и в социального французского романа, которым в эту эпоху зачитывались Белинский и Достоевский, и очень типично, что Белинский в 1847 г. передавал Некрасову, что Тургенев «гетевский роман «Средства» (вместо «Сродство») не советует переводить для «Отечественных Записок» [132]. Предприятие Жуковского не осуществилось.

В последний раз Жуковский посетил Веймар в 1840 г. У него были самые тесные связи с друзьями и былыми собеседниками Гете. 26 марта Жуковский внес в дневник: «Пребывание в Веймаре... к Мюллеру. К его невестке, у которой я крестил». Итак, старая дружеская связь с добродушным, как он сам, канцлером до того окрепла у Жуковского, что он покумился с его сыном. 27-го Жуковский записал: «Пребывание в Веймаре. Утром у меня Штернберг (портрет), Шорны и Миллер. В Музеум: рисунки Карстенса. Осматривал горницы Шиллера, Виланда, Гердера и Гете... Маски Шиллера, Гете, Наполеона, Карла XII, Кромвеля, герцога Веймарского, Фридриха II, Иосифа II, Гуммеля. Голова мадонны. В гетев дом» [133].



В. А. ЖУКОВСКИЙ
Акварельный портрет Г. Рейтерна (1834 г.)
Третьяковская Галлерея, Москва

Старого поэта влекло под кровлю Гете. Он уже усвоил ее своему «сердечному воображению».

Больше Жуковский в Веймаре не бывал. Начался новый период его жизни—вторая жизнь: женитьба, семья, оседлость, старость.

Во всех событиях жизни Жуковского в 40-х годах принимал самое сочувственное участие канцлер Мюллер. Переписка их в 1838—1849 (дата смерти Мюллера) годах делается особенно жива и сердечна. Мюллер—в числе самых восторженных читателей Жуковского. Прочтя статью Жуковского о Сикстинской мадонне, Мюллер восклицает: «Тысяча благодарностей, бесценный мой, за высокую поэзию, которую Вы прислали мне! Она говорит моему сердцу еще более, чем сам Рафаэль». Познакомившись со статьей Жуковского «Две сцены из Фауста», Мюллер называет ее замечательной: «Она заставила меня о многом подумать и была мне воистину поучительна. Продолжайте теперь точно так же развивать и разъяснять подобные одинокие места «Фауста» по примеру этого Вашего рассуждения. Это прекрасно: «Фауст»—неистощимый источник размышления и чувства для людей Вашего духа и сердца». И только одно замечание позволяет себе сделать друг Гете: «Я должен Вам сообщить, что Гете отдавал предпочтение ретчевым рисункам пред рисунками Корнелиуса» [134].

О прочности связи Жуковского с домом и городом Гете достаточно свидетельствует все сказанное: его любовь к Гете и к его достоянию бесспорна. Но ее Жуковский хранил про себя. Своего стихотворного обращения к Гете в 1827 г. он не напечатал. В 40-х годах, когда он с особым напряжением отдался переводческой деятельности, он не перевел ни одной строки Гете, охотно обращаясь к другим немцам: Ла-Мотт-Фуке, Шамиссо, Рюккерту. В тех очерках и письмах из своих путешествий, которыми он иногда одарял журналы, он ни разу не обмолвился о посещениях Веймара: все это было только для себя.

Для Жуковского 1830—1840-х гг. сам Гете сделался идеальным образом поэта-мудреца, ушедшего от «бурь и натисков» современности, отрицающего весь пыл ее запросов, социальных и политических, стал образом олимпийца, покоющегося неподвижно в своем небесном и земном монархизме. А город Гете—в pendant к этому реально никогда не существовавшему олимпийцу—в глазах Жуковского сделался вожделенным приютом политической тишины, социального безмятежья и эстетического покоя. Жуковского тянуло туда тем больше и сильнее, чем дальше уходил он сам от современности, чем более одиноким делался он в русской литературе. Веймарский прекрасный сон ему был нужен как средство не видеть грозной действительности надвигающихся революций конца 40-х годов. От этого ему веймарский быт и веймарские люди, как канцлер Мюллер, сделались дороже «Фауста» и подлинного мира поэзии Гете. «Фауста» он не понимал: об этом свидетельствует как раз та его статейка, которую так восторженно принял Мюллер, а творчество Гете в целом сделалось ему чуждо совершенно: он в 40-х годах ни разу и не обратился к нему как переводчик.

Он начал в 1808 г. переводами из Гете, а кончил через 40 лет мечтой о старосветском рае, называемом Веймаром.

Живое знамя литературного гетеанства в 1820—1840-х гг. было в России в других руках.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо к А. Л. Нарышкину (1820).—«Ж.», т. III, стр. 44.

[2] Вяземский—А. Тургеневу, 17/III 1819.—«О. А.», т. I, стр. 203.

[3] Вяземский—А. Тургеневу, 1/V 1819.—«О. А.», т. I, стр. 222.

[4] Вяземский—А. Тургеневу, 5/IX 1819.—«О. А.», т. I, стр. 305.

[5] Вяземский—А. Тургеневу, 20/X 1818.—«О. А.», т. I, стр. 132.

[6] Вяземский—А. Тургеневу, 20/VI 1819.—«О. А.», т. I, стр. 255.

[7] Там же, стр. 213.

[8] И. А. Бычков, Неизданные письма Жуковского к А. П. Елагиной и А. П. Зонтаг. СПБ, 1912, стр. 5—6.

[9] Вяземский — А. Тургеневу, 18/XII 1820. — «О. А.», т. II, стр. 120—121. Христоф.-Вильгельм Гуфеланд (1762—1836) — бывший профессор Иенского университета, был лейб-медиком прусского короля. Его дочь была за известным реакционным писателем А. С. Струдзой, знакомым Жуковского (см. о нем гл. III, § 3). Лоренц Эверс (1742—1830)—профессор богословия в Дерптском университете. В 1815 г. Жуковский обратился к нему с посланием, в котором писал между прочим:

Могу ль забыть священное мгновенье,
Когда, мой брат, к руке твоей святой
Я прикоснуть дерзнул уста с лобзаньем. («Ж»., т. II, стр. 92).

Эверс был любим студентами, пользовался общим уважением. Жуковский писал о нем А. П. Киреевской: «Эверс, осьмидесятилетний старик, есть человек единственный в своем роде: он живет для добра, и со всем этим—простота младенца».

[10] 15/27 III 1821.—«Р. А.», 1900, № 2, стр. 181—182.

[11] Письмо к Тургеневу 18/VII 1820.—«О. А.», т. I., стр. 120—121.

[12] «Дн.», стр. 89.

[13] Вес., стр. 21.

[14] Эти строфы «Фауста» в «Цвете завета» (2-я, 3-я, 8-я) не попали в счет акад. Алдр. Н. Веселовского и оттого общее число переводов Жуковского из Гете равно у него 13, а не 14, как должно (стр. 303).

[15] В. А. Жуковский, Соч., изд. 1878 г., т. VI, стр. 439—443.

[16] «Propyl.», S. 44, Taf. 84. Жуковский видел именно первый тиковский бюст; 2-й был изваян Тиком в июне—августе 1820 г.; слепок с этого бюста еще не мог быть в руках Гуфеланда.

[17] П. А. Вяземский, Соч., т. VII. СПБ, 1882, стр. 481.

[18] «Дн.», стр. 118. Шёлер—вероятно дипломат Рейнгольд-Отто Schöler (1772—1840), 27 лет проведший в России.

[19] Экк., т. I, стр. 206. О жене В. Гумбольдта—Каролине (урожд. ф. Дахреден) см. далее.

[20] G. Karpeles, Goethe in Polen, Berl., 1890, S. 29—32.

[21] «О музыке князя Антона Радзивиллова на «Фауста» Гете».—«Литерат. прибавления к «Русск. Инв.» на 1837 г., № 12, стр. 111—113. Эта безыменная статья, имеющая задачей подготовить петербургского слушателя к концерту Ромберга, где должны были исполняться отрывки из «Фауста» Радзивилла, изобличает в авторе не только просвещенного музыканта, но и отличного знатока «Фауста» и прекрасного писателя. Не будет кажется ошибкой указать как на ее автора на кн. В. Ф. Одоевского: только в нем одном в Петербурге 30-х годов соединялись все эти достоинства. Он был ревностным сотрудником «Литер. приб. к «Р. И.», перешедших именно в 1837 г. к А. А. Краевскому, и часто печатался там безыменно. Самое противопоставление имен Гайдна и Бетховена модному тогда Беллини характерно для Одоевского, страстного почитателя немецкой классической музыки. Заметка изобличает философического гетеанца. В дополнение к ней в № 14 «Лит. прибавлений» была помещена «Напечатанная в собрании сочинений Гете сцена, которую он прибавил к Фаусту для музыки кн. Радзивилла» (стр. 132—133).

[22] «Дн.», стр. 100.

[23] «Briefwechsel Sulpitz Boisserée», Stuttgart, 1862, B. I, S. 394.—«Дн.», стр. 160.

[24] «W. A.», III Abt., B. XXXV, S. 351.

[25] Там же, S. 153.

[26] «Briefwechsel Sulpiz Boisserée», Stuttgart, 1862, B. II, S. 821.

[27] «Дн.», стр. 166.—И. Г. Струве (1763—1828)—русский поверенный в делах в Веймаре, частый собеседник Гете; его брат Генрих Струве (1772—1851), русский посланник при Ганзейском союзе, известный минералог, был также знаком с Гете. (См. письмо Гете к нему от 16 авг. 1823 г. из Мариенбада. «W. A.», IV Abt., B. XXXVII, SS. 168—169).

[28] «Итал. путеш.», 4 янв. 1787. Гете—Вейнберг, т. VI, стр. 93.

[29] «Дн.», стр. 166.—Круг—или Вильгельм-Траугот Круг (1770—1842)—популярный среди студентов профессор философии в Кенигсберге и после в Лейпциге (см. в главе III, § 3), или известный русский академик, историк и археолог Ф. И. Круг (1764—1844).

[30] «Дн.», стр. 167.

[31] «Письма В. А. Жуковского к вел. кн. Александре Федоровне из первого его заграничного путешествия в 1821 г.». Сообщил И. А. Бычков.—«Р. С.» 1902, № 5, стр. 357.

[32] Julius-Wilh. Eckardt, Neue Bilder aus der Petersburger Gesellschaft. 2 unveränd. Aufl. Lpz. Verlag v. Dunker u. Humboldt, 1874, S. 133—134.

[33] «Дн.», стр. 168.

[34] «W. A.», III Abt., B. VIII, стр. 130.

[35] Там же, IV Abt., B. XXXV, S. 175. «Три святые короля»—известная легенда о трех восточных волхвах-королях, принесших дары новорожденному Христу; в Кельне показывают их апокрифические гробницы. Буассере, знаток средневековья, очевидно послал Гете текст этой легенды или какой-нибудь снимок с изображения трех королей.

[36] Письмо впервые напечатано: «Goethe-Jahrbuch», hgg. v. L. Geiger, B. IV. Frankf. a/M., 1883, S. 177; «W. A.», IV Abt., B. XXXV, S. 172—173. Автограф в 1885 г. принадлежал сыну поэта, Павлу В. Жуковскому. Центральное место письма—сожаление о том, что не сказано то, о чем хотелось сказать,—взято Гете из вышеприведенного письма его к С. Буассере. О бюсте Александры Федоровны см. гл. II, § 3.

[37] «Р. А.» 1870, стр. 1817—1820: «Сохранилось в черновом подлиннике».

[38] «W. A.», III Abt., B. VIII, S. 320.

[39] «W. A.», I Abt., B. XL, S. 311. «Славные имена, о которых говорит Гете,—Ломоносов, Державин, Карамзин, издавна известные в Германии. Из Державина Гете читал оду «Бог» в латинском переводе Станислава Черского. В библиотеке Гете доныне (1932) хранится экземпляр этого перевода: «De Deo carmen rossicum illustris Derzavini latinis elegis explicuit Stanislaus Czerski. Iteratis 1819, typis Vilnae». На экземпляре надпись переводчика: «Clarissimo viro Göthe D. Czerski. MDCCCXIX». Отметим, что Гете интересовался не только напевами (см. гл. I), но и «словами» русских народных песен. В его библиотеке сохранились до наших дней экземпляры «Древних российских стихотворений Кирши Данилова», в издании К. Ф. Калайдовича (М., 1818 г.), снабженном нотами, и немецкий перевод русских песен, сделанный чешским поэтом и собирателем песен Францем Челаковским: «Widerhall russischer Lieder von Franz-Ladislaus Celakowsky, Prag, 1829, 8°. См. также: Otokar Fischer», F.-L. Celakowsky's Übersetzungen für Göthe («Germanoslavica», 1931—1932, Heft 3, S. 408—431).

[40] В. А. Жуковский, Соч., 7-е изд. СПБ, 1878, т. VI, стр. 430: «Размышление по случаю грома»—подражание Дмитриева стихотворению Гете «Grenzen der Menschheit» («Границы человечества», 1778—1781). Первые стихи Жуковского, подражающие «Размышлению», неизвестны.

[41] Кн. В. Ф. Одоевский, Русские ночи. Под ред. С. А. Цветкова. К-во «Путь». М., 1913, стр. 175. С благодарностью вспоминает Одоевский об услуге, оказанной Карусом всему поколению русских любомудров: Карус с его физиологией послужил одним из мостов, приведших Одоевского с товарищами от занятий метафизикой к изучению физики и химии (там же, стр. 9).

[42] Экк., т. II, стр. 293: разговор с Сорэ 2 авг. 1830; т. I, стр. 299, запись 1. II. 1827 г.

[43] Рецензия на книгу Каруса: «Основания краниоскопии. Перев. с нем. А. Кашина». СПБ, 1844. Принадлежность рецензии Одоевскому установлена П. Н. Сакулиным (Сак., т. I, стр. 488—489).

[44] Журн. А. Тургенева № 5 (б. Пушкинск. дома № 8), л. 24 об.

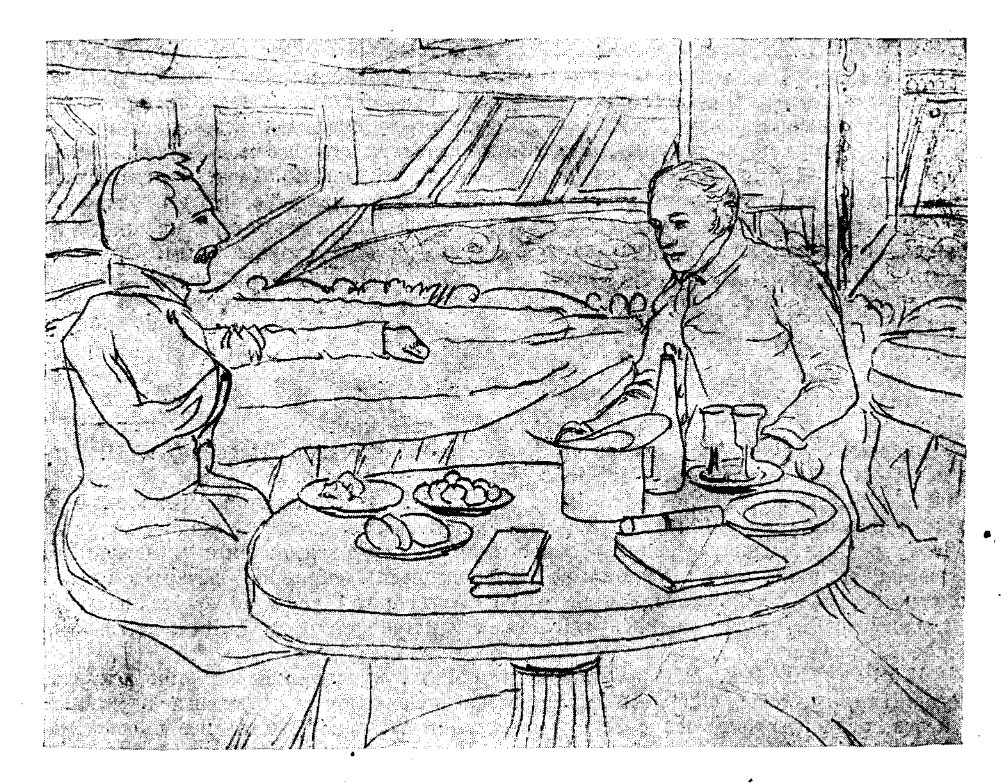
[45] «W. A. », IV Abt., B. XXVI, S. 86—89.

[46] «Gerhardt von Reutern. Ein Lebensbild, dargestellt von seinen Kindern». St.-Petersburg, 1894, SS. 26—27.

[47] Там же, S. 29.

[48] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 204. В записи Гете от 6 янв. 1818 г. читается: «Russischer Garde-Lieutenant von Reuter» (B. VI, S. 155). Если, вслед за редакцией веймарского издания, счесть это «von Reuter» за описку вместо «Reutern» (см. там же, S. 309), то Рейтерн был у Гете в этом году не один, а два раза. Биограф Рейтерна (см. выше: «Gerhardt von Reutern») полагает, что в это январское посещение Рейтерн, по просьбе гр. Ф. П. Толстого, доставил Гете некоторые из его барельефов на темы из «Одиссеи» (см. об этом гл. VI, § 1).

[49] «Gerhardt von Reutern», S. 49. Жуковский был знаком и с самыми ранними его рисунками, виденными в Дерпте у пр. Занфа.
[50] «Дн.», стр. 202.
[51] «Дн.», стр. 203.
[52] «Итал. путешеств.» Гете—Вейнберг, т. VI, стр. 109, 91, 95.
[53] Бельш., т. II, стр. 6.
[54] «Арх. Т.», т. VI, стр. 247.
[55] Там же, стр. 347—348.
[56] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 105.
[57] «Дн.», стр. 203.
[58] «Propyl.», S. 77, Taf. 147—149.
[59] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 106.
[60] Müller, S. 206.
[61] «Gerhardt von Reutern», S. 51—52.
[62] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 106.



В. А. ЖУКОВСКИЙ И Г. Р. РЕЙТЕРН НА ПАРОХОДЕ НА РЕЙНЕ
Рисунок карандашом В. Жуковского
Под рисунком рукою Жуковского: „Victoria“ 31 Jul.—12 Aug. [1840 г.]
Публичная Библиотека, Ленинград

[63] «Дн.», стр. 203—204. О загородном домике Гете, о Тифуртском малом дворце, об Ильме и пр. см. описание А. И. Тургенева (тл. IV).
[64] Журнал А. И. Тургенева, № 8 (б. Пушкин. дома № 308), л. 51.
[65] Экк., т. I, стр. 235.
[66] «W. A.», III Abt., B. XI, стр. 106.
[67] Там же.
[68] Там же, IV Abt., B. XLIII, стр. 94.
[69] Оба произведения воспроизводятся впервые.
[70] Печатается по фотографическому снимку с подлинника, хранящегося в Архиве Гете и Шиллера в Веймаре.—Стихотворение Жуковского «Приношение» издается впервые: оно не вошло ни в одно из изданий его сочинений и не было известно

его биографам и исследователям (Загарин, Лев Поливанов) Архангельский, Алдр. Веселовский и др.). Странным образом, они воспроизводили французский перевод «Приношения», сделанный самим же Жуковским, и ни разу не упомянули о русском его оригинале. Французский перевод они заимствовали у Шевырева. В своей актовой речи 1853 г. «О значении Жуковского в русской жизни и поэзии» он писал: «Карус в Дрездене сделал красками рисунок, изображающий романтическое местоположение: на балконе стояла арфа, освещенная лучами месяца; за нею пустое кресло, на которое наброшен был богатыми складками плащ. Ландшафт имел отношение к смерти Байрона. Жуковский подарил эту картину Гете 5 сентября 1827 г. и подписал под нею по-французски». Далее Шевырев приводит напечатанный выше текст со следующими отличиями: 1) он не разбит у него на строки, соответствующие отдельным стихам русского оригинала, 2) вместо «Lyre» у Шевырева «la harpe», вместо «levé»—«soulevé», вместо «qui anime le passé»—«qui donne la vie aux passé». «Я помню эту картину,—заканчивал Шевырев,—в гостиной Гете, в 1829 г.». («Речи и отчет, произнесенные в торжеств. собрании Имп. Московск. у-та... 12 января 1853 г.», М., 1853, стр. 73—74). Эту французскую надпись перепечатали из речи Шевырева П. Загарин («В. А. Жуковский и его произведения», 2-е изд. М., 1883, стр. 241) и акад. Алдр. Веселовский («В. А. Жуковский». П., 1918, стр. 323—324). Описание самой акварели Каруса у Шевырева грешит неточностями. Оно основано на двух ранних записях Шевырева: в 1829 г. Шевырев писал Елагиной, что Жуковский подарил Гете «картину, изображающую арфу у стула, на котором кто-то сидел и исчез, оставив плащ свой. Луна ударяет по струнам. Эта мысль взята из его Елены». («Р. А.» 1879, книга I, стр. 139). По его же описанию 1838 г., картина уже «представляла комнату с видом на поле и небо; в комнате никого не было, но все означало, что был кто-то недавно: стоял стул, у стула арфа, на стул кинут плащ, кем-то недавно оставленный. Луна светила в окно и освещала струны арфы. Это была память о Байроне» («О. З.» 1839, книга III, стр. 117). Ни в письме к Елагиной, ни в дневнике 1838 г. Шевырев не приводит ни русского, ни французского текста «Приношения».

[71] См. примеч. 70.

[72] M ü l l e r, S. 207.

[73] «Дн.», стр. 204.

[74] Шутливое прозвище, данное Жуковскому Вяземским.

[75] Впервые русский текст стихов «К Гете» был напечатан в «Письмах А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу», Lpz. 1872, стр. 115. Немецкий авторский перевод напечатан у Müller'a: «Goethes letzte liter. Thätigkeit. Verhältniss zum Auslande». Jena, 1832, и перепечатан у Müller'a, S. 207—208. В переводе стихи Жуковского приобрели местами бо́льшую силу: «Творец великих в д о х н о в е н и й» превратился в «творца великих о т к р о в е н и й» (Offenbarungen), скромное «вечернее сиянье» из строк «Твое вечернее сиянье не о закате говорит») усилено до «великолепно-пламенеющего вечернего солнца»—«nicht vom Untergange spricht Deine herrlich flammende Abendsonne» и т. д.

[76] M ü l l e r, S. 208. Мейер—старый друг Гете, художник и историк искусства Иоганн-Генрих Мейер (1759—1832). Стихи баварского короля Людвига I, мецената и поэта, переписывавшегося с Гете,—«Nachruf an Weimar» («Последнее прости Веймару»).

[77] «Ж»., т. XII, стр. 158.

[78] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 107.

[79] П. А. В и с к о в а т о в, «Война мышей и лягушек».—«Годовой отчет гимназии и реального училища д-ра Видемана за 1900/1901 г.». СПБ, 1904, 8—10. Эпизод о Гете и Жуковском автор выделил из этой статьи в отдельную заметку: «Об отношениях Жуковского и Гете» («Литературный Вестник» 1902, т. IV, кн. V, стр. 6—9). Зейдлиц относил получение Жуковским «элегии» от Гете к 1821 г., к свиданию их в Карлсбаде. Этого не могло быть уже по одному тому, что «Мариенбадская элегия» написана только в 1823 г. Ноябрьскую встречу в Веймаре в 1821 г. и Гете, и Жуковский называют первым своим свиданием, и потому встреча их летом 1821 г. на водах лишена вероятия.

[80] «Материалы для биографии А. С. Пушкина». СПБ, 1855, стр. 185.

[81] «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 гг.». Вступит. статьи и примеч. М. Цявловского. М., 1925, стр. 43, 112. По верному мнению М. Цявловского, отметка Соболевского: «Не видывал», относящаяся к этому месту записей Бартенева, «не может служить опровержением рассказа Нащокина и других лиц» (т а м ж е, стр. 112—113). Упоминания Бартенева о пере: «Р. А.» 1909, № 8, стр. 565; 1911, № 7, стр. 449—450.

[82] «W. A.», I Abt., B.Va; S. 166; B. IV, S. 185.

[83] Экк., т. II, стр. 380.

[84] Записи дневников Гете: 1823, 1824, 1828 гг. («W. A.», III Abt., B. IX, S. 93—96, 100, 109, 129, 133—140, 179, 198; B. XIII (Agenda), S. 243—244. Подбор отзывов Гете о Шимановской см. у Bied., B. III, S. 14—18, 28, 36—37. Автографы немецкого и французского текста стихотворения «Aussöhnung» и письма Гете к Шимановской от 19 августа 1823 г. воспроизведены в I томе юбил. издания Собр. соч. Гете в 13 томах (М., 1932), стр. 510. Об отношениях Гете и Шимановской см. G. Karpeles, Goethe in Polen, Berlin 1890, гл. IV, стр. 37—54, и статью Berthe Witt, Goethe und Szymanowska («Die Deutsche Frau» 1931, Heft 16).

[85] «O. A.», B. II, S. 255.

[86] П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. II, стр. 62—66.

[87] П. Эттингер, Пушкин и Мария Шимановская.—«Красная Нива» 1929, № 24, стр. 12.

[88] «Что именно знал Гете из произведений Пушкина (в немецкой передаче которых участвовала К. К. Павлова), не знаем».—«Р. А.» 1911, № 7, стр. 450.

[89] Вопрос о «пере Гете» обычно связывается с посвящением Пушкину стихотворения: Goethes Feder an ***.

Was ich mich sonst erkühnt,
Jeder würde froh mich lieben,
Hätt ich treu und frei geschrieben
All' das Lob, das Du verdienst.

(Что себе ни разрешу,
Буду я для всех любезно,
Коль хвалу тебе я честно,
По заслугам напишу.—Перев. С. Шервинского.)

Первый, кто связал это стихотворение о «пере Гете», говорящем комплимент кому-то, с пером Гете, подаренным Пушкину, был Отто Гарнак. В своей статье «Отношения Гете к русским писателям» (1890) он писал: «Я не могу удержаться от того, чтобы не указать здесь (при изложении, по Анненкову, истории получения Пушкиным пера Гете) на маленькое стихотворение Гете «по поводу», написанное в 1826 г., т. е. в том же самом году, как и пушкинская «Сцена из Фауста»,—стихотворение, про которое остается неизвестным, с чем оно связано. Напрашивается догадка, что эти слова сопровождали посланный Пушкину подарок» (Otto Harnack, Goethes Beziehungen zu russischen Schriftstellern.—«Zeitschrift für Vergl. Litteraturgeschichte und Renaissance-Litteratur» 1890, III Band, IV u. V Heft, S. 271).

Догадка Гарнака построена на двух посылках: 1) Гете узнал от кого-то о том, что Пушкин написал «Сцену из Фауста», и в благодарность послал ему свое перо вместе с специально для него написанным стихотворением, 2) стихотворение Гете «Goethes Feder an ***» иначе остается необъяснимым. Что объяснения ему пока нет, это верно, но история с Пушкиным вряд ли объясняет его. Шимановская ни слова не упоминает о том, что вместе с пером вручено было Пушкину стихотворное обращение Гете; ни слова не упоминает об этом и Нащокин: вряд ли бы они умолчали об этом более ценном даре Гете, еслиб действительно он был послан Пушкину. Данные, извлекаемые из самого стихотворения,—не в пользу пушкинской гипотезы. Стихотворение написано в 1826 г. (июль), перо послано в 1827 г. (сентябрь); если возможно еще верить, что Гете, побеседовав с Жуковским о Пушкине, так им заинтересовался, что решил подарить ему свое перо и тут же написал сопроводительные стихи, то как объяснить, что он в 1826 г. вдруг почему-то написал эти стихи (из русских литературных посетителей у него в этом году был лишь А. Тургенев, не занесший в свой дневник разговора ни о Пушкине, ни о «Сцене из Фауста») и решил послать перо, но в течение больше чем года не пересылал в Россию ни того, ни другого, имея много придворных оказий для всяких пересылок? Самое содержание стихотворения вовсе не говорит, что «перо Гете» держит свою речь к поэту: такую речь «перо» могло держать к любому знакомцу или знакомке или даже к любому незнакомцу или незнакомке Гете. Четверостишие Гете—обычный мадригал, адресатом которого мог быть кто угодно. Во всяком случае несомненно, что Жуковский не привез Пушкину этого «четверостишия» вместе с пером, вернувшись из своего заграничного путешествия 1826—1827 гг.

[90] «Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу». Lpz., 1872, S. 114—115.

[91] Bied., B. III, S. 239. Молодой Грильпарцер, вовсе неизвестный Гете, так выразился о своей встрече с ним: «Сначала он мне показался Юпитером, потом—отцом».

[92] «Р. А.» 1904, № 6, обложка.
[93] Письмо к Рейтерну от 29/XII 1828.—«W. A.», IV Abt., B. XLV, S. 95.
[94] Там же, III Abt., B. XII, S. 10, 13, 16, 18, 20, 22, 46, 75.
[95] Там же, IV Abt., B. XLV, S. 282—283. Письмо от 3/VI 1829.
[96] Там же, III Abt., B. XII, S. 245—246.
[97] «Propyl.», S. 80.
[98] Экк., т. II, стр. 360.
[99] «Gerhardt v. Reutern», S. 57—59.
[100] Письмо к Шарлотте Ф. Рейтерн 11/VII 1831.—«W. A.», IV Abt., B. XLIX, S. 5.
[101] Этот столь понравившийся Гете рисунок Рейтерна в 1899 г. был на выставке его рисунков в Петербурге. В настоящее время след его потерян. После смерти Гете Рейтерн с уверенностью и успехом продолжал свой путь, несомненно выпрямленный встречей и общением с Гете. Вернувшись в Германию, он переселился в Дюссельдорф и стал заниматься у лучшего колориста дюссельдорфской школы—Гильденбрандта. В 1835 г. он был Петербургской академией художеств признан «назначенным» за портрет Жуковского (который в 1841 г. сделался его зятем) и за «Две картины из семейной жизни» и в том же году получил звание академика («Список русск. художников к юбилейному справочнику Имп. Академии Художеств. Состав. С. Н. Кондаков», ч. II, стр. 166). В 1837 г. Рейтерн был сделан «живописцем императорского семейства» с небывалым правом—не писать этого «семейства», а «жить по своему усмотрению за границею, с сохранением при себе до окончания воспитания и сыновей своих». В 40-х годах он получил известность и как живописец маслом: ее ему дали две картины «Жертвоприношение Авраама» и «Мадонна». Он пережил и Жуковского, и свою дочь и умер в 1865 г. Похоронен во Франкфуртена-Майне («Р. Б. С.», том Рейтерн—Рольцберг. СПБ, 1913. Статья П. Майкова).
[102] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 112, 129, 132.
[103] В библиотеке Гете доныне (1932) сохранилась его книга: «Coup d'œuil, geognostique sur le nord de l'Europe en général et particulièrement de la Russie. Paris, 1819. Письмо Г. К. Разумовского к Гете появится в отдельном издании моей работы.
[104] А. И. Кирпичников, Антон Погорельский. Эпизод из истории русского романтизма, в «Очерках по истории новой русской литературы», т. I, 2-е изд. М., 1903, стр. 96.
[105] А. А. Кондратьев, Гр. А. К. Толстой. Материалы для истории жизни и творчества. СПБ, 1912, стр. 15—16.
[106] Müller, стр. 212.
[107] Там же.
[108] А. Кондратьев, стр. 8—9.
[109] «Автобиография». Полн. собр. соч. гр. А. К. Толстого. СПБ, 1888, т. I, стр. X.
[110] А. Кондратьев, стр. 10.
[111] Schorn, стр. 282—283.
[112] Schorn, стр. 283—284. Шорн датирует это письмо «1-м октября»: дата решительно невозможная: Мария Федоровна умерла 22 октября по ст. ст. (3 ноября по нов. ст.).
[113] См. об этом автографе в статье А. Г. Габричевского «Автографы Гете в СССР». Приведенное письмо Мюллера решает вопрос о времени получения Жуковским этого автографа. «Иллюстрацией к отзыву Гете о Жуковском» (см. выше), как хотелось думать А. Веселовскому (Вес., стр. 323), он быть не мог. Он получен Жуковским в 1828 г.
[114] Е. В. Петухов, Письма В. А. Жуковского к канцлеру Фридриху фон Мюллеру. «Новый сборник статей по славяноведению. Составлен и издан учениками В. И. Ламанского». СПБ, 1905, стр. 338.
[115] «W. A.», III Abt., B. XI, S. 318, 320, 353.
[116] С подлинника из собрания А. Ф. Онегина (Институт Новой Литературы Академии Наук СССР. «Видение»—стихотворение Жуковского:

Блеском утра озаренный,
Светоносный, окрыленный
Ангел встретился со мной... и т. д.

(1828; «Ж»., т. III, стр. 75). «Оська»—гр. Иосиф М. Вьельгорский, сын корреспондента Жуковского, рано умерший юноша, друг Гоголя. «К. К.»—Мердер, воспитатель наследника Александра Николаевича. Фицтум—веймарский гофмаршал.
[117] В дневнике Гете от 17 апреля 1828 г. находим такую запись: «Граф Вьельгорский, русский офицер, присланный сюда для поздравления» (подразумевается, Марии Павловны.—*С. Д.*). («W. A.», III Abt., B. XI, S. 206). Из вышеизложенного

ясно, что под этим «Вьельгорским» не может разуметься граф Михаил Юрьевич: он ехал в Веймар с письмом Жуковского, в котором поэт только еще просил канцлера представить Вьельгорского Гете: они, значит, не были еще знакомы. Предполагаем, что под Вьельгорским записи 17 апреля надо подразумевать младшего брата—графа Матвея Юрьевича (1794—1866), известного виолончелиста. В 1826 г. он вышел в отставку полковником и через год был «пожалован» в камергеры. В качестве придворного он и мог быть послан с каким-то поздравлением к Марии Павловне.

[118] «Дн.», стр. 229.

[119] «Дн.», стр. 229—230.

[120] «Дн.», стр. 233.

[121] «Mehr Licht!» (Больше свету!)—знаменитое предсмертное восклицание Гете. M-lle Pogwisch—вероятно родственница Оттилии Гете (урожд. Погвиш). Волфганг—внук Гете. Бьелке и Шпигель—гофмаршалы веймарского двора. Гр. Санти—Васил. А-др. (1788—1841), в 1828—1841 гг. русский поверенный в делах в Веймаре.

[122] «Дн.», стр. 310. Кудрявский, по предположению И. А. Бычкова, правитель канцелярии министерства иностр. дел. Ем. Афан. Кудрявский.

[123] «Дн.», стр. 310. Фридрих Крейтер—библиотекарь; у Гете занимал место секретаря и архивариуса. О бюсте Давида см. гл. VII, стр. 64. О черепе Шиллера см. гл. IV.

[124] «Дн.», стр. 310—311.

[125] Schorn, стр. 284. Мюллер говорит об известном путешествии наследника, будущего Александра II, по России вместе с Жуковским и А. А. Кавелиным в 1837 г.

[126] «Дн.», стр. 378. У дипломата Игн.-Франца Ольферса (1793—1871), любителя литературы, Жуковский провел вечер со скульптором Тиком, поэтом и историком Фридрихом Ферстером (1791—1868), с Генр.-Августом Вертером (1772—1859), министром иностранных дел, и Фр.-Августом Штегманном, поэтом и государственным деятелем. Всех этих лиц Жуковский знал уже много лет. Это все были члены того придворно-литературного кружка, в который Жуковский попал еще в первый приезд свой в Берлин, в 1820 году. 4—16 июля 1822 г. Жуковский писал наследному принцу, будущему королю Фридриху-Вильгельму IV: «Я вспоминаю Берлин с признательностью и даже как бы с тоской по родине. Там оставил я друзей, которых буду нежно любить всю жизнь, особенно семейство Клейст. Можно ли чувствовать себя более «дома», чем я себя чувствовал у них?» (А. А. Фомин, Поэт и король или история одной дружбы, СПБ, 1913 г., стр. 11). Из семьи умершего поэта Генриха Клейста (1777—1811) Жуковский особенно подружился с его сестрой. Два письма Марии Клейст (1829 года) к Жуковскому хранятся в Онегинском собрании. Там же находятся письма к Жуковскому упомянутого выше Ольферса (M. Hofmann, Le musée Pouchkine d'Alexandre Onéguine à Paris, Paris, 1926, p. 76, 80).

[127] «Дн.», стр. 408.

[128] «Дн.», стр. 409. 22 марта—день смерти Гете. Календарь был оставлен на этом числе. И. К. Шорн (1793—1842)—историк искусств, директор Института изящных искусств в Веймаре. О «пирамиде из папки» см. гл. VII, § 2.

[129] «Дн.», стр. 410. Жуковский сблизился в этот приезд с Эккерманом, который подарил ему лист из II части «Фауста», написанный собственноручно Гете (стихи 1391—1424 I акта) (Goethe-Jahrbuch, Hgg. v. L. Geiger, B. IV, Frankf. a/M. 1883, S. 179).

[130] Роман Манцони «Обрученные» был произведением итальянца, но высоко ценился Гете. В поездку 1838 г. Жуковский посетил А. Манцони и вел с ним «разговор о Гете, о Байроне, о тенденции нынешней поэзии». Оба писателя высказались против этой «тенденции» как революционной.

[131] «Уткинский сборник» под ред. А. Е. Грузинского. М., 1904, стр. 66. Под «Вертером», «переведенным у меня», А. П. Елагина разумеет перевод Н. М. Рожалина (см. гл. VII, § 1).

[132] «Письма В. Г. Белинского» под ред. Е. А. Ляцкого, т. III, 1914, стр. 817. Роман Гете однако был напечатан в «О. З.» (1847 г.).

[133] «Дн.», стр. 523. Из упоминаемых здесь лиц: Унгерн-Штернберг (1806—1868), романист; Асм. Я. Карсенс (1754—1798), живописец; Иог.-Непомук Гуммель (1778—1837), знаменитый пианист и композитор, концертировавший в 1822 г. в Петербурге и Москве; он умер в Веймаре, занимая должность герцогского капельмейстера.

[134] Schorn, S. 287. Указание на ретчевы рисунки вызвано тем, что Жуковский в своей статье толкует один из рисунков Корнелиуса к «Фаусту».

Глава шестая

ЛЮДИ 14 ДЕКАБРЯ И ГЕТЕ

I. КЮХЕЛЬБЕКЕР И ГЕТЕ

„ГЕРМАНИЗМ“ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ И В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР. — ПОЕЗДКА КЮХЕЛЬБЕКЕРА ЗА ГРАНИЦУ В 1820 Г. — ЗНАКОМСТВО С Л. ТИКОМ. — КЮХЕЛЬБЕКЕР У ГЕТЕ. — БЕСЕДА С ГЕТЕ О Ф. М. КЛИНГЕРЕ, Ф. П. ТОЛСТОМ И В. А. ЖУКОВСКОМ. — ГЕТЕ И Ф. П. ТОЛСТОЙ. — НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО Ф. П. ТОЛСТОГО К ГЕТЕ. — ПОДАРОК ГЕТЕ КЮХЕЛЬБЕКЕРУ. — НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО И СТИХИ КЮХЕЛЬБЕКЕРА К ГЕТЕ. — ГЕТЕ В СТИХОТВОРЕНИИ „НИЦЦА“. — КЮХЕЛЬБЕКЕР О ГЕТЕ В „МНЕМОЗИНЕ“. — ДЕКАБРИСТ В. А. МУСИН-ПУШКИН В ВЕЙМАРЕ У ГЕТЕ. — ДЕКАБРЬСКОЕ ВОССТАНИЕ. — ИНТЕРЕС ГЕТЕ К МЕЖДУЦАРСТВИЮ И ВОССТАНИЮ В ДЕКАБРЕ 1825 Г. — ГЕТЕ — ЧИТАТЕЛЬ „ДОНЕСЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ“. — ДЕКАБРИСТЫ — ЧИТАТЕЛИ ГЕТЕ: А. БЕСТУЖЕВ, А. ОДОЕВСКИЙ, БАР. РОЗЕН, Н. ТУРГЕНЕВ. — КЮХЕЛЬБЕКЕР, ПОЛИТИЧЕСКИЙ УЗНИК И ССЫЛЬНЫЙ, О ГЕТЕ. — БОРЬБА С ГЕТЕ В ТЮРЬМЕ И ССЫЛКЕ.

Еще в лицее, среди многих «слав», относящихся к неисчерпаемой «кюхельбекериаде», у ее героя была слава, не вмещающаяся в эту «ирои-комическую поэму»: слава любителя и знатока германской поэзии. «Клопштока, Шиллера и Гёльти [1],—вспоминал Пушкин про Дельвига,—прочел он с одним из своих товарищей, живым лексиконом и вдохновенным комментарием» [2].

Этот товарищ был Кюхельбекер; при зоркой меткости и веской силе своих эпитетов, Пушкин сказал ему большую похвалу: он в зрелые свои годы признавал за Кюхельбекером живое знание и вдохновенное истолкование немецких поэтов; похвала оказывается еще более веской, если вспомнить ту дружескую, но неизменную иронию, с которой Пушкин отзывался о трудах и днях Кюхельбекера.

В среде лицейских поэтов, между которыми порхали легкие имена Парни, Грекура и Вольтера-стихотворца, Кюхельбекер первый произнес имена германских поэтов, но примечательно, что Пушкин упомянул Шиллера и промолчал о Гете—оттого ли, что Шиллер легче усваивался после Парни, или оттого, что сам Кюхельбекер был «вдохновенным комментарием» Шиллера чаще, чем Гете. Но сам Кюхельбекер уже тогда знал и изучал Гете.

По выходе из лицея он напечатал в петербургском «Conservateur Impartial» статью «Coup d'oeil sur l'état actuel de la litérature russe» (1817). В ней он выделяет в русской поэзии «германическое направление», идущее от Жуковского: германская поэзия «доселе неуважаемая» выше и глубже французской. Появление этого «германического» течения в русской поэзии он приравнивает к настоящему перевороту—«la révolution»: «Жуковский не только переменяет внешнюю форму нашей поэзии, но даже дает ей совершенно другие свойства. Принявши образцами своими великих гениев, в недавние времена прославивших Германию, он дал гармонический дух русскому языку, ближайший к нашему национальному духу, как тот свободному и независимому» [3]. Через много лет сибирский изгнанник Кюхельбекер писал Жуковскому с юношеской восторженностью: «Смею считать себя одним из не совсем недостойных представителей того периода нашей словесности, который, по самой строгой справедливости, должен бы называться вашим именем, потому что вы первые нам, неопытным тогда юношам, и в том числе и Пушкину, отворили дверь в святилище всего истинно прекрасного и заставили изучать образцы великих иностранных поэтов. Никто из ваших преемников никогда не передавал ни Шиллера, ни Гете, ни Байрона в таком совершенстве, как вы» [4]. Самого себя Кюхельбекер признавал учеником Жуковского по «германическому направлению» лирики. Критика 20-х годов также готова была признать

В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Рисунок карандашом, сделанный А. С. Пушкиным на полях черновых набросков „Евгения Онегина" (Михайловское, 1826 г.)
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

это его ученичество. Его дружеское прозвище «Тевтон-Кюхля» указывало не на одну его кровную, но и на поэтическую родину. В рукописном наследии Кюхельбекера сохранился след его работы над Гете. В 1819 г. вышел в свет сборник Гете «West-Östlicher Divan»—книга лирики с прозаическими пояснениями. Кюхельбекер не только читал, но изучал ее: он составил подробный конспект прозаической части этой книги.

В 1820 г. Кюхельбекер попал за границу и мог лицом к лицу встретиться с излюбленными им «германистами»—поэтами. Он ехал в Германию секретарем «благополучнейшего» и ленивейшего вельможи трех царствований—А. Л. Нарышкина (1760—1826). Имея самые высшие придворные и не придворные звания—обер-гофмаршал, обер-камергер, действительный тайный советник, «канцлер всех российских орденов», которыми он был осыпан Екатериной, Павлом и Александром, Нарышкин был директором театров в течение двадцати лет (1799—1819): театр был тогда по придворному ведомству. Все должности этого избалованнейшего царедворца не уводили его за порог дворца. Он мог бы быть отличным посланником при скептическом дворе Вольтера: был богат, образован, остроумен, любил музыку, собирал картины, благосклонствовал к литературе, получал шутливо-почтительные послания от Жуковского—все права на посланничество в Ферней. Но Фернея уже не существовало, и, бросив театральное директорство в 1819 г. и отправившись от скуки в чужие края, Нарышкин непреминул посетить другой литературный двор—дом Гете в Веймаре. Как и подобало посланнику к литературным дворам, он искал себе в секретари поэта: за отказом Дельвига взял Кюхельбекера. Восторженный и несуразный в житейских делах секретарь некоторое время занимал собою скучающего вельможу, которому прискучила сухая церемониальность и холодная ампирность двора и потому нравилась и развлекала романтичность секретаря-поэта. Пушкин послал вслед Кюхельбекеру дельное пожелание: «Желаю ему... в канцелярии Нарышкина духа смиренномудрия и терпения» [5]. Известно, что Кюхельбекер проявил другой «дух»—вольный, и после чтения поэта в Париже о русской поэзии ему пришлось расстаться с меценатом.

В Дрездене Кюхельбекер увидел Л. Тика: он встретился с ним, сопутствуя Нарышкину, у старой поэтессы Елизаветы von der Recke, той самой,

у которой позднее бывали А. И. Тургенев и Жуковский. Уже без Нарышкина явился Кюхельбекер к Л. Тику и о встрече рассказал Дельвигу: «У Тика я был сегодня поутру; он человек чрезвычайно занимательный и достойный примечания по своему образу мыслей. Сначала я упомянул о сочинениях покойного Новалиса, Тиком изданных, и жалел, что Новалис при большом даровании, при необыкновенно пылком воображении не старался быть ясным и совершенно утонул в мистических тонкостях. Тик спокойно и тихо объявил мне, что Новалис ясен, и не счел нужным подтвердить то доказательством» [6]. Далее разговор шел о Виланде и Клопштоке.

Кюхельбекер не заметил лаконического сарказма в ответе Тика: «Новалис ясен», но А. И. Тургенев, другой «германист» русский, заметил и, нападая на статью Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии», напечатанную в той же книжке «Мнемозины», писал Вяземскому: «Кюхельбекера читал, и с досадою; утешил он меня только невинностью своего рассказа о разговоре его с Тиком о Новалисе. Он признался ему, что не понял Новалиса, а Тик добродушно отвечал ему: «А я понял». Довольно для Кюхельбекера, но зачем же признаваться в глупости?» [7]

После не совсем удачного посещения главы романтической школы Кюхельбекер предстал пред его антиподом—Гете. И Кюхельбекер, и Гете в один и тот же день сделали записи об их встрече. Гете записал под 10/22 ноября 1820 г.: «Молодой петербуржец фон Кюхельбекер в свите (in Gefolg) князя Нарышкина» [8]. Все характерно в этой записи. Нарышкин, как и подобало «послу»-вельможе, был так пышен и внушителен, что Гете наградил его титулом, ему не принадлежавщим, а «молодого петербуржца», снабдив привелигированным «von», поместил «в свиту» этого «князя». В Веймаре Нарышкин произвел повидимому большое впечатление: по крайней мере в 1827 г. А. И. Тургенев нашел в Веймарской библиотеке только два портрета русских «знаменитых» людей: один был Петр Великий, другой—А. Л. Нарышкин.

Кюхельбекер в тот же день писал Дельвигу: «Вчера вечером приехали мы в Веймар, в Веймар, где некогда жили великие: Гете, Шиллер, Гердер, Виланд; один Гете пережил друзей своих.—Я видел бессмертного; я принес ему поклон от Клингера.—Гете росту среднего, его черные глаза живы, пламенны, исполнены вдохновения.—Я его себе представлял исполином даже по наружности, но ошибся.—Он в разговоре своем медленен: голос тих и приятен; долго я не мог вообразить, что передо мною гигант Гете; говоря с ним об его творениях, я однажды даже просто его назвал в третьем лице по имени.—Гете знает нашего Толстого из работ его и любит в нем великого художника. Казалось, ему было приятно, что Жуковский познакомил русских с некоторыми его немецкими стихотворениями.—О нашем разговоре не много могу сказать вам, друзья мои; я был у него не долго, надеюсь, что он завтра несколько будет доступнее, а я смелее» [9].

Клингер, Толстой, Жуковский—вот предметы разговора Гете с Кюхельбекером.

Клингер (1753—1831) был двуликим Янусом, одно лицо которого (Фридрих-Максимилиан), обращенное к Германии, было лицо знаменитого писателя эпохи «бури и натиска», другое (Федор Иванович), обращенное к России, было каменным лицом сурового генерала екатерининой, павловой, александровой службы. Сам Янус жил в Петербурге и начальствовал над Первым кадетским корпусом (1801—1820).

Клингер был земляк и старинный друг Гете. Гете высоко ценил Клингера как замечательного романиста, дважды писавшего на родную для Гете тему: «Жизнь и деяния Фауста и путешествие его во ад» и «Восточный Фауст», как мощного драматурга, первая драма которого «Sturm und Drang» (1776) дала название целому периоду немецкой литературы, включившему в себя и «Геца», и «Вертера». В «Правде и поэзии» Гете признавал, что «в сочинениях Клингера выказываются... прямодушное чувство, живое воображение, счастливая наблюдательность разнообразных проявлений человеческой природы... Его дети и девушки милы и просты, юноши исполнены горячего пыла, мужчины умны и честны; в ясности юмора, счастливой изобразительности нет недостатка». Сколько редких достоинств в одном писателе! И только один полунедостаток: все это имело бы «еще больше цены, если бы к его ясной и веской шутливости не примешивался иногда оттенок горечи». Впрочем вряд ли это и полунедостаток: «это придает ему его собственную оригинальность». Но Гете не меньше ценит Клингера как человека: «всем, чем он обладал, был он обязан исключительно себе самому... Такая стойкость твердого характера»,—продолжает Гете, намекнув, что Клингер равно враждебно относился и к Канту, и к идеям французской революции,—«делается тем более достойною уважения, если он остается несокрушимым общественной и деятельною жизнью и если, относясь к окружающим его событиям резким, даже насильственным образом, он, действуя во-время, наивернее достигает цели. Это именно видим мы в Клингере» [10]. Прервем тут Гете и поясним, как Клингер «действовал во-время»: «на ловлю счастья и чинов» он в 1780 г. приехал в Россию и очень скоро устроился чтецом при наследнике престола, а браком сочетался с побочной дочерью екатеринина фаворита, гр. Г. Орлова, Елизаветой Алексеевой. При Павле I Клингер шел в гору: Павел неизменно благоволил к нему, но когда, по словам Августа Коцебу, убийца Павла «князь Зубов спросил у генерала Клингера: «Qu'est ce qu'on dit du changement?» (Что говорят о перевороте?)—«Mon prince,—отвечал Клингер в противность стольким прямодушным и твердым правилам в его сочинениях,—on dit, que vous avez été un des Romains» (Князь, говорят, что вы были один из римлян) [11]. «Он успел,—продолжает Гете,—самым твердым и честным путем возвыситься до значительных должностей». В самом деле, Клингер дослужился до чина генерал-лейтенанта, в 1801—1820 гг. был директором Первого кадетского корпуса, в 1803—1819 гг. сверх того—главноначальствующим Пажеского корпуса, а в 1803—1817 гг. был еще и попечителем Дерптского учебного округа, будучи назначен на этот пост по желанию самого Александра I, признавшего его за «человека открытого, энергичного» [12]. Но дальше, хваля своего земляка за то, что он «умел удержаться» в этих должностях, Гете ошибся. В 1817 г. Клингер был уволен из попечителей, по мнению Карамзина, за то, что был признан «вольномыслящим» в религии [13], а вернее за то, что Янус неудачно повернулся к правительствующим ханжам не той своей стороной, какой надо: не выбритой генеральской ланитой, а щекой вольнодумца «бури и натиска». И как раз в год приезда Кюхельбекера в Веймар Клингер вышел в чистую отставку. Он «пользовался милостями своих высочайших покровителей,—продолжает Гете,—но никогда при этом не забывал своих старых друзей».

Тут Гете был прав: петербургский гость и передавал ему привет не забывающего друга.

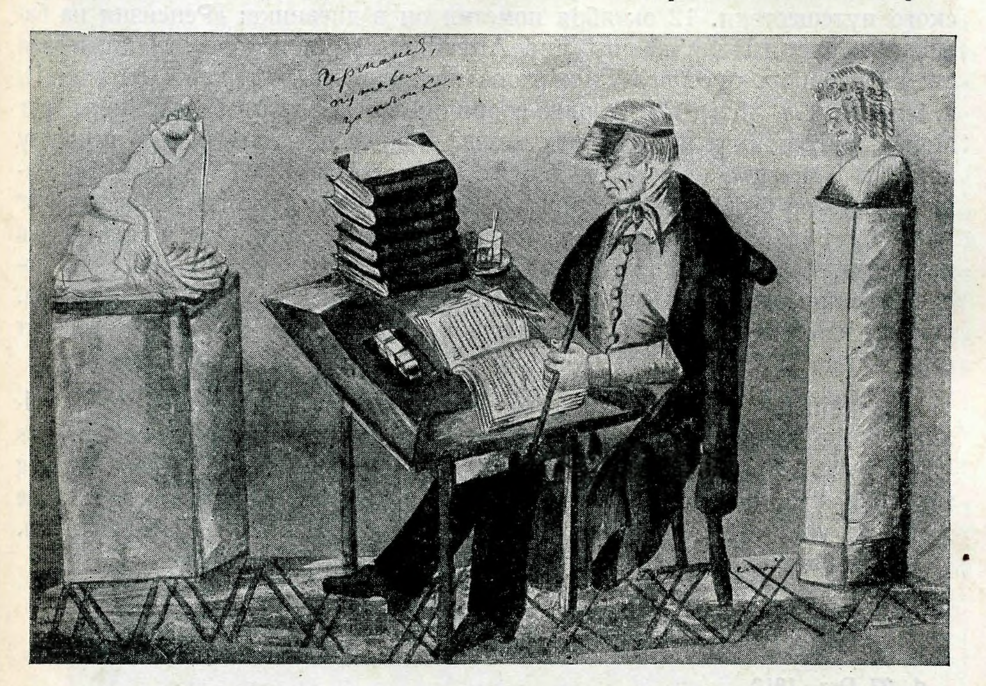
Еслиб Кюхельбекер виделся с Гете года на четыре позже, он вероятно не с такою охотою передавал бы Гете этот поклон. Он мог бы тогда, со слов Рылеева (которого не знал еще в 1820 г.), воспитанника Клингера по корпусу, рассказать Гете, как часто и беспощадно пороли там мальчиков по приказу автора «Жизни Фауста»: именно Клингер, у которого, по словам Гете, «Эмиль» Руссо был главною и основною книгою» [14], ввел в корпусе особенно жестокие телесные наказания. Мог бы тогда Кюхельбекер передать Гете и другой рассказ про Клингера, другого будущего декабриста, бар. А. Е. Розена: «Глубокомысленный ученый писатель, скептик, знаменитый классический писатель Германии», Клингер был «плохой директор: угрюмый в обращении, скупой на слова, медленный в походе, почему прозвали его «белым медведем». Дежурным по корпусу приходилось рапортовать ему до пробития вечерней зори. Строго было приказано входить к нему без доклада, осторожно, без шуму, отпирать и запирать за собою двери, коих было до полдюжины до его кабинета. Всякий раз заставал его с трубкой с длинным чубуком, в белом халате с колпаком, полулежачего в вольтеровских креслах, с закинутым пюпитром и с пером в руке. Может статься, он сочинял тогда своих «Братьев-близнецов», приписывавшихся одно время гениальному Гете. Бывало, медленно повернет голову и продолжает писать» [15].

Не был знаком еще в 1820 г. Кюхельбекер и с третьим воспитанником Клингера—Фаддеем Булгариным, а передать рассказ этого воспитанника было бы еще поучительнее, чем рассказы будущих декабристов: «Ни одна душа в корпусе не видела его улыбки. Он был строг в наказаниях и не прощал никогда. Он только тогда обращался с вопросом к кадетам, когда хотел узнать, наказаны ли они по его требованию.—Вам розги дали?—спрашивал он обыкновенно.—Дали,—отвечал кадет.—Вам крепко дали?—Крепко.—Хорошо! Этим оканчивалась беседа... Клингер, будучи попечителем Дерптского учебного округа и членом комиссии училищ при министерстве народного просвещения, сам предложил, чтобы сочинения его были запрещены в России... По собственным его словам, он жил телом в России, а душою в Германии... Говоря о человечестве, он отделял от него русских, и я сам слышал, как он однажды сказал: «die Menschen und die Russen» [16]. Для «людей» (für die Menschen)—романы и трагедии «бури и натиска», для «русских» (für die Russen)—розги аракчеевского засола. Еслиб романтические очки не мешали Кюхельбекеру знать все это про Клингера еще в 1820 г., какой богатый реальный комментарий мог бы он представить тогда Гете в ответ на его хвалы таланту, твердости характера и жизненным успехам Клингера, на хвалы, которые, нет сомнения, слышал тогда Кюхельбекер от Гете в ответ на переданный поклон!

Второй, о ком шла тогда беседа, был наш известный медальер и скульптор, впоследствии вице-президент Академии Художеств, гр. Федор Петрович Толстой (1783—1873), человек совсем иного склада, чем Клингер.

Он удостоился даже попасть в «Алфавит декабристов». Вот что читаем там о нем: «По показанию Пестеля и других, Толстой был членом и председателем Коренной думы и находился на совещании оной в 1820 г., где держал сторону республиканского правления. При допросе об оном в комиссии отвечал отрицательно, говоря, что он принадлежал к благотворительному обществу и об означенном собрании ничего не знает. Со времени же уничтожения Союза, он не принадлежал к тайным обществам».

Гете был большой любитель медальерного искусства (как и вообще пластики) и тщательно собирал коллекцию медалей. 4 февраля 1804 г. он писал В. Ф. Вольцогену: «Моя коллекция бронзовых и медных медалей, начиная с половины XV в., очень разрослась, так что простирается до 1000 экземпляров. В России, начиная с Петра Великого, а может быть и раньше, очень любили увековечивать события посредством медалей... Вы доставите мне особенное удовольствие, если добудете мне некоторые медали работы выдающихся петербургских мастеров. Если не ошибаюсь, там существует нечто в роде Академии медальеров» [17]. Гете не совсем ошибался: «Академии медальеров» в Петербурге не было, но при Академии Художеств был медальерный класс, а в нем как раз в это самое время



Ф. П. ТОЛСТОЙ, ПИШУЩИЙ СВОИ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
Акварель М. Ф. Каменской (дочери Ф. П. Толстого)
Собрание И. И. Рыбакова, Ленинград

был учеником мичман гр. Ф. Толстой. Уже в 1806 г. он обратил внимание знатоков своими работами. Барельефы на темы из «Одиссеи» прославили его. В 1809 г. граф-мичман, к ужасу аристократических родственников, определился медальером в Монетный департамент.

В 1818 г. Гете познакомился с работами Ф. П. Толстого. Он обнаружил к ним яркий, сильный интерес.

6 января этого года Гете записал в дневнике: «Русский гвардии-лейтенант фон Рейтер (von Reuter), показывавший художественную работу графа Толстого» (Kunstwerk des Grafen Tolstoi) [18]. Эта «художественная работа» русского скульптора так увлекла Гете своим эллинистическим духом и тонким изяществом исполнения, что Гете пожелал ее иметь у себя, и 18 мая не удержался от просьбы к Уварову: «Я видел,—писал он своему «другу»,—в гипсовом отливе художественную работу графа Ф. Толстого наподобие медали; она привела меня в восхищение. Если бы

Вы могли прислать мне что-нибудь из работ этого замечательного человека, а также сообщить сведения о его жизни и художественной деятельности, Вы бы меня много этим обязали» [19]. «Друг» Уваров, со своим лжеэллинизмом совершенно равнодушный к подлинному мастерству Ф. Толстого, еле-еле собрался 29 августа послать Гете один из гипсовых медальонов Толстого, «касающихся событий последней войны», а на пытливые вопросы Гете о самом художнике отвечал буквально одной фразой: «Граф Толстой—молодой человек из хорошей фамилии, но от обедневшей ее ветви, и живет исключительно для искусства» [20]. Гете был рад и этому. Он придавал большое значение работе Толстого, грезившего и мечтавшего в том же античном мире, который стал навсегда дорог Гете после итальянского путешествия. 12 октября пометил он в дневнике: «Рецензия на барельеф Толстого для «Kunst und Alterthum» [21], и вскоре эта хвалебная статья о работе русского скульптора появилась в журнале Гете (том II, ч. 1-я, стр. 177—181). О ней долго спорили: кто ее автор—Гете или его друг Мейер, художник и историк искусства? Вопрос решается теперь в пользу авторства Мейера, но участие в этом авторстве самого Гете также несомненно: Мейер был рупором его высокого мнения о Толстом. Подводя итог 1818 г., Гете писал: «Барельефы Толстого, из которых я знал лишь немногие, были присланы мне благожелательным художником чрез посредство проезжавшего курьера» [22]. Но жажда Гете все еще не была утолена. О том, как счастлив был этой жаждой сам русский художник, говорит его письмо к Гете, впервые здесь печатаемое:

Von meinem Freunde dem Baron Reuter erfahre ich, dass Ew. Excellenz einige meiner kleinen Arbeiten für nicht ganz werthlos halten. Das Urtheil des Ersten Kenners in Europa kann nicht anders als höchst wichtig für mich sein, und ich nehme mir die Freiheit Ihnen hiebei einige meine Abdrücke vorzulegen, und Sie gehorsamst um Ihre belehrende Kritik zu bitten.

Mit unbeschränkter Hochachtung habe ich die Ehre zu sein.

Ew. Excellenz
ganz ergebener Diener
Graf Theodor Tolstoi

d. 27 Dez. 1819.

(От моего друга, барона Рейтера, узнаю я, что Ваше превосходительство считаете некоторые из моих небольших работ за не совсем ничтожные. Суждение первого знатока в Европе не может не быть для меня в высокой степени важным, и я беру на себя смелость представить при сем некоторые мои отливки, и покорнейше просить Вашей наставляющей критики.

С беспредельным высокопочитанием имею честь быть

Вашего превосходительства
покорнейший слуга
граф Федор Толстой.

27 декабря 1819) [23]

Это письмо вручил Гете упомянутый в нем барон Рейтер. Повысив его в титуле и прибавив к его фамилии «н», Гете отметил его посещение 10 февраля 1820 г.: «Граф Рейтерн, прибывший из Петербурга и привезший с собою некоторые барельефы графа Толстого» [24].

В годовом «итоге» Гете с полным удовлетворением запечатлел: «В качестве образцов современной пластики я получил полное собрание

(vollständige Sammlung) медальонов, которые гр. Толстой вырезал на меди в память великой освободительной войны. Насколько эта работа достойна высоких похвал, было подробно разобрано веймарскими любителями художеств в «Kunst und Alterthum» [25]. Гете имел в виду статью «Медальоны гр. Ф. Толстого» (Band II, Heft III, S. 187—190), подписанную буквами W[eimarer] K[unst-] F[reunde].

Эта вторая веймарская статья давала высокую оценку творчеству Толстого, но самой лучшей оценкой его работы был тот исключительный интерес, который был проявлен к ней Гете; великий мастер формы, ценитель

Von meinem Freunde dem Baron Kenter
erfahre ich, daß Ew. Excellenz einige meiner
kleinen Arbeiten für nicht ganz werthlos
hatten: Das Urtheil des Ersten Kenners
in Europa kann nicht anders als höchst
wichtig für mich sein, und ich nehme
mir die Freiheit, Ihnen hiebei einige neue
Abdrücke vorzulegen, und Sie gehorsamst
um Ihre belehrende Kritik zu bitten.
Mit unbeschränkter Hochachtung habe
ich die Ehre zu sein

Ew. Excellenz

d. 27. Dez.
1819.

ganz ergebener Diener
Graf Theodor Tolstoi.

Автограф письма Ф. П. Толстого к Гете от 27 декабря 1819 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

античной пластики, поняв и полюбив искусство русского эллиниста-медальера, тем самым высоко его оценил.

Дочь Ф. П. Толстого Е. Ф. Юнге передает, как отец ей «рассказывал, что, когда он послал Гете свои барельефы из Одиссеи, поэт между прочим заметил: «У графа Толстого должны быть очень маленькие руки и ноги; я это заключаю из того, что они очень малы у всех его фигур» [26].

Посещение Кюхельбекера было как раз в 1820 г., когда Гете стал обладателем большой коллекции работ Ф. Толстого, и потому разговор о нем должен был быть особенно жив; называя нашего художника «великим», Кюхельбекер вероятно передавал подлинный отзыв Гете, согласный с при-

веденными выше его откликами на творчество русского скульптора. Также вероятно, что Гете показывал Кюхельбекеру работы Толстого; он всегда это делал, когда речь шла о его любимых художниках; великому пластику мало было говорить, ему надо было еще видеть и заставлять других смотреть.

Наиболее близка Кюхельбекеру была конечно беседа с Гете о Жуковском. Он лучше, чем кто-либо, мог ввести Гете в поэтическое дело Жуковского—насаждение в русской поэзии германизма, прежде всего веймарского, шиллеро-гетевского. Считавший себя тогда учеником и последователем Жуковского, Кюхельбекер знакомил Гете с его переводами, этими первоцветами гетевской лирики в России.

Гете повидимому охотно принимал молодого русского поэта. Он отметил и на другой день первого посещения: «Молодой Кюхельбекер. Обед вчетвером» [27].

В это свидание Гете подарил Кюхельбекеру книгу. Это было свидетельством его несомненной приязни к поэту из России, но выбор подарка был неудачен: свободолюбивому юноше, уже обдумывавшему свою республиканскую трагедию «Аргивяне», Гете подарил свой придворный «Maskenzug» в честь Марии Федоровны! Вряд ли это писание было по вкусу Кюхельбекера; зато его могла радовать сопроводительная надпись: «Herrn von Küchelbecker zu freundlichem Andenken. Weimar, d. 23 Nov. 1820. Goethe» (Господину фон Кюхельбекеру на добрую память. Веймар. 23 ноября 1820. Гете) [28].

Незадолго до отъезда из Веймара Кюхельбекер обратился к Гете с письмом: эти неизданные доселе страницы—лучший памятник веймарских отношений Гете с поэтом-декабристом:

Indem ich, Ew. Excellenz, hiebei die von Ihnen gütigst geforderte Interlineal-Uebersetzung überschicke, wage ich es Sie um eine Nachsicht zu ersuchen, die mir ausserordentlich theuer seyn würde. Ich weiss wohl, wie einem Mann, wie Ew. Excellenz, unerträglich seyn muss, Besuche anzunehmen, die keinen andern Beweggrund haben, als eine kleinliche Eitelkeit sagen zu können: auch ich habe den Unsterblichen gesehen! Mit dem Sehen ist eine sehr nützliche Sache u. wenn Ew. Excellenz sich nicht gerne besehen lassen wollen,—wer könnte das tadeln u. Ihnen verdenken?—Wenn ich aber die Züge meines Lehrers, dessen, dem ich so viel in der Erziehung meiner Seele verdänke, meinem Herzen einzuprägen suche, habe ich gewiss einen reinen, einen edlen Zweck.

Sadi sagt, dass eine Handvoll Thon den Geruch der Rosen erwarb, weil sie eine Nachbarin der Rosen gewesen war.

Meine Bitte: dürfte ich Sie vor meiner Abreise, noch mit e i n e m Besuche beschweren?—

Ihr, Sie gewiss fühlender Bewunderer,
von Küchelbecker.

(Ваше превосходительство, пересылая при сем благосклонно потребованный Вами дословный перевод, я отваживаюсь просить Вас о снисхождении, которое было бы мне чрезвычайно дорого. Я хорошо знаю, как несносно должно быть такому человеку, как Ваше превосходительство, принимать посещения тех, у кого нет других побудительных причин, кроме маленького тщеславия—иметь право сказать: «и я также видел бессмертного». Еслиб Ваше превосходительство не весьма охотно изволили раз-

решить свидеться с Вами и тому, кому свидание это было бы очень полезно,— кто мог бы порицать это и осудить Вас? Но если я ищу запечатлеть в моем сердце черты моего учителя, того, кому я столь многим обязан в воспитании моей души, то у меня, без сомнения,—чистая, благородная цель.

Сади говорит, что горсть глины приобрела благоухание роз оттого, что была соседкой роз.

Моя просьба: смею ли я перед моим отъездом обременить Вас еще одним посещением?

Ваш верно чувствующий Вас почитатель
фон Кюхельбекер).

На обороте письма Кюхельбекер сделал для Гете дословный перевод переведенного Жуковским (1816) знаменитого «Арфиста» («Harfenspieler»), извлеченного из «Годов учения Вильгельма Мейстера»:

Wer Tränen auf Brod sein nicht (hat fallen lassen*)
Кто слез на хлеб свой не ронял,
Wer bei Bett, wie bei Grabe
Кто близ одра, как близ могилы,
In Nacht schlaflos nicht geschluchzt hat,
В ночи, бессонный, не рыдал:
Der euch nicht kennt, höhere Mächte!
Тот вас не знает, вышние Силы!

* * *

Auf (ins) Leben wir geworfen von Euch!
На жизнь мы брошены от вас!
Und ihr selbst, zulassend **) bekannt werden uns mit Schuld
И вы ж, дав знаться нам с виною,
Dem Schmerze übergebt uns,
Страданью выдаете нас,
Schuld verfolgt mit Strafe!
Вину преследуете мздою!

*) im Russischen ein Wort.

**) eher möchte: дав, wohl noch—nachdem ihr zugelassen habt, heissen.

[*) по-русски одно слово.

**) «дав» скорее могло бы еще значить: «когда вы приказали»][29].

Воспроизведенное здесь письмо Кюхельбекера носит на первой странице вверху помету чьей-то рукой: слева—«I», справа—«v. Küchelbecker». Продолжением этого письма является, нужно думать, другой листок, сохранившийся в Гете-Шиллеровском архиве и также доныне остававшийся неизвестным. На нем помета тою же рукою: «II». На двух внутренних страницах (левая была плохо посыпана песком и оттого чернила отпечатались на правой страничке) почтового листа написано следующее:

Das Versmaass ist elegisch.—[Размер стихов элегический].

An Prometheus.

К Промефею.

O Prometheus, unter Sängern des Landes von Tuiskon! Erschaffer
О Промефей меж певцов земли Туискона! Создатель
Leichter mächtiger Geister, in denen unsterbliches Leben!

Легких, могущих духов, в коих бессмертная жизнь!
Du ihnen erzähltest alle Saiten der Herzen, erzähltest das Weltall.
Ты им поведал все струны сердец, поведал вселенну.
Ich sehe: sie aus deiner ewigblühenden Seele
Вижу: они из твоей вечноцветущей души
Im Schwarme auffliegen und plötzlich im heiligen triumphierenden Chor
Роем взвились и вдруг священным торжественным хором
Alle umringen mich. Starker, Göttlicher, du,
Все окружили меня. Сильный, божественный—ты,
Dein Pyritheus, dein Schiller und Herder, der Weise, der Sänger,
Твой Пирифой, твой Шиллер и Гердер, мудрец, песнопевец,
Mit Zauberfüssen Lyra Seele meine ihr entbrantet.
Чарами сладостных лир душу мою вы зажгли.
Der liederliebende Stamm der Slaven wird hören mit Liebe
Песнолюбивое племя славян услышит с любовью
Die Harfe, welche du in klar-heiligen Stunden
Арфу, которую ты—в светло-святые часы
Du mir gabst und ich durch dich werde unsterblich.
Ты мне вручил, и я—тобою буду бессмертен.
O, nehme an dann, Prometheus, alles mein Bestes zur Gabe
О прийми ж, Промефей, все мое лучшее в дар
Nicht Bewunderung blos, sondern Liebe und Töne einfache
Не удивленье одно—но любовь и звуки простые
Furchtsamer noch, aber durch dich kühn gestimmter Saiten!
Робких еще, но тобой смело настроенных струн!

Кюхельбекер.

Hiebei die Adresse des Dresdner Uebersetzer, von dem ich Ew. Excellenz die Ehre hatte zu erwähnen.

Küchelbecker.

[При сем адрес того из дрезденских переводчиков, о котором я имел честь упоминать Вашему превосходительству] [30].

Во всей литературе русского гетеанства нет более страстного и пламенного изъявления любви и приверженности к великому немецкому поэту, чем этот эллинизированный дифирамб Кюхельбекера в честь Прометея-Гете.

С внешней стороны это—памятник властительного влияния поэтики и символики Гете. Кюхельбекер с трогательной заботливостью верного ученика спешит особой надпиской предварить Гете, что размер русских стихов, которые предстоит ему прочесть в переводе,—«элегический»: он рад обрадовать своего учителя тем, что перенял от него и сделал опыт пересадки в русскую поэзию его любимого стихотворного размера—элегических дистихов, которыми написаны «Римские элегии», «Эвфросина», «Венецианские эпиграммы». Но не только размер—самая лирическая тема, самая разработка ее в полифонии элегии, самый образ Прометея—все здесь от Гете.

С внутренней стороны—это поэтическое родословное древо Кюхельбекера и вместе с тем—это его «credo». «Credo» звучит решительно и торжественно: Гете—полубог, Прометей, среди всех других певцов, и ему усвояются все черты божества: у него—«вечноцветущая душа», он обладает всеведеньем—ему ведомы «все струны сердец», он может «поведать вселенну», он—«Starker, Göttlicher» («Сильный, Божественный»—с большой

— Indem ich, Ew. Excellenz, hierbei die von Ihnen gütigst geforderte [illegible]-Uebersetzung überschicke, wage ich es Sie um eine Nachsicht zu ersuchen, die mir außerordentlich theuer seyn würde. — Ich weiß wohl, wie einem Manne, wie Ew. Excellenz, unerträglich seyn muß Besuche anzunehmen, die keinen andern Beweggrund haben, als einer kleinlichen Eitelkeit genügen zu können: auch ist sehr der Unsterblichen geschehen! Mit den Besuchen ist eine sehr mißliche Sache und wenn Ew. Excellenz sich nicht gern besuchen lassen wollen — was könnte der [illegible] Ihnen werden? — wenn ich aber die Züge meines Lehrers, dessen, dem ich soviel in der Erziehung meiner Seele verdanke, meinem Herzen einzuprägen suche, habe ich gewiß einen reinen, einen edlen Zweck.
Sadi sagt, daß eine Handvoll Thon den Geruch der Rosen annahm, weil sie eine Nachbarin der Rosen gewesen war. Meine Bitte: dürfte ich Sie, nur einmal [illegible], noch mit einem Besuche beschweren? —

Ich, Sie gewiß [illegible] Bewunderer,
von Küchelbecker.

Автограф письма В. К. Кюхельбекера к Гете от конца 1820 г.
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

Кто слезъ на хлѣбъ свой не ронялъ,
Кто близъ одра, какъ близъ могилы,
Въ ночи, безсонный, не рыдалъ:
Тотъ васъ не знаетъ, вышнія силы!

На жизнь мы брошены отъ васъ!
И вы-жъ, давъ знаться намъ съ виною,
Страданью выдаете насъ,
Винy преслѣдуете мздою. —

Переведенное В. А. Жуковским стихотворение Гете „Арфист" с подстрочным немецким переводом В. К. Кюхельбекера, написанное им на обороте письма к Гете

Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

Wer Thränen auf Brod sein nicht (hat fallen lassen)
Кто слезъ на хлѣбъ свой не ронялъ,
Wer bei Bett wie bei Grabe
Кто близъ одра, какъ близъ могилы,
In Nacht schlaflos nicht geschluchzt hat
Въ ночи, безсонный, не рыдалъ:
Der euch nicht kennt, höhere Mächte.
Тотъ васъ не знаетъ, вышнія силы!

\# \#

Ins (in's) Leben * uns geworfen von Euch
На жизнь мы брошены отъ васъ!
Und ihr selbst, zulassend bekanntwerden uns mit Schuld
И вы-жь, давъ знаться намъ съ виною,
Dem Schmerze übergebt uns
Страданью выдаете насъ,
Schuld verfolgt mit Strafe
Вину преслѣдуете мздою! —

* im Russischen ein Wort. —
** ihr möchtet: давъ, weil noch —: nachdem ihr zu gelassen habt, heißt es

Переведенное В. А. Жуковским стихотворение Гете „Арфист“ с подстрочным немецким переводом В. К. Кюхельбекера, написанное им на обороте письма к Гете
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

Первая страница автографа стихотворения В. К. Кюхельбекера „К Промефею" с немецким подстрочным переводом

Стихотворение это Кюхельбекер прислал Гете вместе с письмом

Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

буквы). Ему близки, но не равны «Пирифой-Шиллер» и «мудрец-песнопевец»—Гердер. Это все веймарцы, но Виланда нет среди них,—и никого нет из германцев не-веймарских: ни одного романтика. Кюхельбекер явно восстает на обычный, всеми и всюду принятый символ поклонения Гете. Каждым звуком, строкой, заглавием, образом своего дифирамба он провозглашает: нет, Гете—не Юпитер, не олимпиец, не монарх неба, пред которым коснеет и каменеет все небесное и земное, как и он сам коснеет и каменеет в своем холодном олимпийстве,—нет, Гете—божественный мятежник, дерзкий противоборец, враг олимпийцев и друг людей. Он Прометей, своим пламенем зажигающий огни поэзии, освещающий ими вселенную и животворящий сердца. В бесчисленных хвалах, обращенных в прозе и в стихах к Гете-старцу, мы не помним ни одной, где бы осмелился кто-нибудь величать его не как Юпитера, а как Прометея: Гете для всех— от Эккермана до Николая I, от поэта Мальтица до любомудра Шевырева, для всех—олимпиец и Юпитер, лишь для одного декабриста Кюхельбекера он—колебатель Олимпа, Прометей. Поэт-декабрист подчеркивает свое исповедание веры самой формой его: это—благодарственный гимн и вместе с тем посвятительная молитва своему божеству-мятежнику:

«О прийми ж, Прометей, все мое лучшее в дар»...

Свое собственное песнотворчество Кюхельбекер рассматривает как дар—наследие этого Прометея-Гете. Он обязан и прометеидам: Шиллеру, Гердеру, но прямое преемство он признает только от Гете:

Песнолюбивое племя славян услышит с любовью
Арфу, которую ты в светло-святые часы
Ты мне вручил и я—тобою буду бессмертен.

«Ты», еще раз «ты», «тобою»—ученику всего кажется недостаточно для того, чтобы запечатлеть пред учителем эту радость преданнейшего ученичества и благодарящего преемства. Читая эти «ты» и «тобою», не забудем, что это—не риторические обращения через посредство книги, а живая речь письма, повторяющая и закрепляющая еще более живую речь непосредственного личного общения.

Стихи «К Прометею» являются решающими для вопроса о «литературном подданстве» Кюхельбекера начала 20-х годов: он был, как никто из русских поэтов, привержен и предан Гете, но это была преданность не Гете-Юпитеру, а Гете-Прометею. Формулу этого исповедания веры в Гете составил не просто поэт, но поэт-декабрист. В этом ее большое значение и для истории русского гетеанства, и для биографии Кюхельбекера. Редко кто был так искренен и последователен в своей революционности, как Кюхельбекер: революционером он остался и в своем гетеанстве; в 20-х годах он пытается утвердить революционное «прометейство» Гете в отмену общепризнанного «олимпийства», а в 30-х и 40-х годах, не удовлетворенный этой попыткой, подвергает существеннейшей переоценке личность и творчество Гете и выносит ему суровый приговор: Кюхельбекер никогда не принимал «олимпийства» Гете как явления положительного. В этом отношении к нему совершенно близок только один из русских посетителей Гете— гр. А. Г. Строганов—человек декабристских чувств и настроений, и более или менее приближается разночинец из любомудров Н. М. Рожалин.

Возвращаемся к веймарскому письму Кюхельбекера. Гете внял трогательной просьбе русского поэта о последнем свидании, выраженной в этом почти влюбленном письме, и 15/27 ноября появилась новая отметка в днев-

нике Гете: «Молодой г. фон Кюхельбекер показал голову юноши, вырезанную на адуларии» (полевом шпате.—*С. Д.*) [31].

Возможно, что этот показ Кюхельбекером какой-то камеи вызван был продолжением разговора о Ф. Толстом. Для Гете—великого ценителя камей и гемм—характерно, что именно эту деталь последней встречи с Кюхельбекером он занес в свой дневник.

17/29 ноября Кюхельбекер писал матери из Веймара: «В Веймаре я познакомился с великим Гете; он был ко мне очень милостив и, казалось, весьма интересовался русской литературой. Он хорошо помнит папа Брейткопф, расспрашивал о нем с большим участием и подарил мне одно из новейших своих произведений» [32].

У Гете с будущим декабристом нашлись общие знакомые. Это была семья Брейткопф. В Лейпциге, студентом (1765—1768), Гете часто посещал культурный купеческий дом основателей доселе существующей нотоиздательской фирмы. О знакомстве этом Гете рассказывает в «Правде и поэзии»: «Отец Брейткопф изобрел или усовершенствовал печатание нот. Он позволил мне пользоваться прекрасною библиотекою... Равным образом, нашел я там хорошие гравюры на меди, изображавшие разные древности, и продолжал свои занятия и в этой области». Оба сына Брейткопфа были товарищами Гете по Лейпцигскому университету. «Старший был,— по словам Гете,—любитель и знаток музыки. Второй сын—добрая, верная душа, тоже музыкант, не мало содействовал оживлению концертов, которые у них часто устраивались. Оба они, равно как и их родители и сестры, благоволили ко мне. Мы часто занимались вместе; старший сын положил на музыку некоторые из моих песен... Я извлек лучшие из них и поместил их между моими прочими мелкими стихотворениями» [33].

«Второй сын» этой семьи, о котором так тепло отозвался Гете в 1812 г., переселился в Россию и стал мужем влиятельной и важной Анны Ивановны Брейткопф (1747—1823), начальницы петербургского и московского училищ ордена св. Екатерины, близкой к императрице Марии Федоровне. Анна Ивановна состояла в родстве с Кюхельбекерами, была приятельницей Иустины Яковлевны, матери декабриста. «Папа Брейткопф», старый лейпцигский товарищ Гете, преподавал в ее же институте немецкий язык и арифметику. Он умер в начале 30-х годов. С их дочерьми Кюхельбекер был дружен. Одной из них, Эмилии, он посвятил стихотворение (1838—1839), а при вести об ее кончине записал 9 октября 1845 г.: «Еще один ангел возвратился в свою отчизну небесную» [34]. Отметим, что, несмотря на все неудобства и неприятности, которые могло причинять этой чинной монархической семье, бывшей на виду у двора, знакомство с политически-неблагонадежным Кюхельбекером, она не прерывала своих сношений с ним и помогала ему.

Тем приятнее было Кюхельбекеру написать матери, а через нее Брейткопфам (свои письма к матери Кюхельбекер адресовал на имя благонадежнейшей maman Брейткопф), что Гете—великий товарищ «папа Брейткопф»—«помнит его».

У Кюхельбекера мог бы найтись и еще один вероятный общий знакомец с Гете: его собственный отец, Карл Кюхельбекер (1748—1809). Он, почти погодок Гете, учился одновременно с ним в Лейпцигском университете, кончил его агрономом и, подобно «папа Брейткопфу», отправился в Россию и занял место, связанное со двором: сделался управляющим Павловска, имения Павла Петровича и Марии Федоровны.

Посещения Кюхельбекера Гете отнес к заметным и отрадным фактам своей жизни за 1820 год, отметив в «Tag- und Jahreshefte»: «Dr. Кюхельбекер из Петербурга, фон Квандт с супругой, фон Арним и художник Руль своими интереснейшими беседами внесли много разнообразия в наше общество» [35]. Запись очень лестна для будущего декабриста: он попал в ней в избранное общество историка и теоретика искусств Иогана-Готлиба Квандта (1787—1859), известного поэта-романтика, собирателя народных песен Лудвига-Иоахима Арнима (1781—1831) и художника Лудвига-Сигизмунда Руля (1794—1887). Беседа с юношей поэтом поставлена Гете в ряд с разговорами с известными представителями немецкой культуры. Кюхельбекер пришелся по душе Гете.

Из веймарского затишья Кюхельбекер попал в Париж, где прочел лекцию о русской литературе, вызвавшую вмешательство русского посольства и разрыв Кюхельбекера с Нарышкиным. 1 марта 1821 г. он приехал в Ниццу и сделался свидетелем пьемонтской революции (март—апрель 1821 г.). Он отозвался на виденное и пережитое стихотворением «Ницца». В нем сплетены два живых чувства и впечатления: от Прометея-Гете и от народного восстания. Стихотворение напутствуется эпиграфом из Гете: «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?»—и первые строфы все пронизаны солнцем итальянского путешествия Гете, огнем его «Римских элегий» и тем томлением по югу, солнцу и воле, которое так часто ощущали и переживали в «Песне Миньоны» не один Кюхельбекер, но и декабрист Н. Тургенев, и его брат. I, III и IV строфы «Ниццы»—это вариации на «Песню Миньоны», «разыгранные перстами» верного ученика.

Лишь в VI строфе от чар поэзии Прометея-Гете, воскрешенных югом, переходит поэт-декабрист к впечатлениям революции. Н. А. Полевой был прав, когда, печатая в 1826 г. в «Московском Телеграфе» стихотворение Кюхельбекера и снимая, из цензурных соображений, заглавие «Ницца», заменил его заглавием «К Гете»: содержание стихотворения дает к этому основания [36].

В 1824 г. Кюхельбекер сделался вместе с кн. В. Ф. Одоевским издателем «Мнемозины» и в первой ее книжке, в ряду других выдержек из путевых писем, поместил свое письмо о посещении Веймара. Во второй книжке напечатал он статью «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», вызвавшую немалое волнение в литературных кругах. Еще в конце 1822 г. Дельвиг сетовал на своего друга: «Ах, Кюхельбекер! сколько перемен с тобой в 2-3 года» [37], и в числе этих «перемен» была и та, что Кюхельбекер примкнул к «архаистам», искателям литературной новизны в словесной старине: в Библии, в народной поэзии, в поэтах XVIII столетия. «Элегия и послание у нас вытеснили оду,—жаловался Кюхельбекер в своей статье, утверждая, что из русской лирики исчезли «сила, свобода, вдохновение... Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периодических изданиях». Виновник этого пан-элегизма—Жуковский. От преклонения Кюхельбекер перешел теперь к нападению на первого из русских «германистов». «Жуковский первый у нас стал подражать н о в е й ш и м немцам, преимущественно Шиллеру... Будем благодарны Жуковскому, что он освободил нас из-под ига французской словесности и от управления нами по законам Ла-Гарпова Лицея и Боттева Курса [38], но не позволим ни ему, ни кому другому, если бы он

владел и вдесятеро большим перед нами дарованием, наложить на нас оковы немецкого или английского владычества».

В «Обозрении российской словесности 1824 года» сам Кюхельбекер именует себя «германо-россом» [39]. Это—очень точное определение его литературной позиции времен «Мнемозины»: поле своего поэтического германизма он усердно засевает теперь не только русскими, но и «российскими» семенами, черпая их не только из закромов народной поэзии, но и из кошниц Державина и С. Ширинского-Шихматова. Нива архаического славизма должна была покрыть у Кюхельбекера поле былого германизма.

Но означал ли этот поход на Шиллера—Жуковского вместе с тем и поход на Гете? Отнюдь нет. Кюхельбекер нападал на элегию вообще, но готов признать, что она прекрасна, «когда свежестью, игривой пестротою цветов, которыми осыпает предмет свой, на миг приводит в забвение ничтожность его. Последнему требованию менее или более удовлетворяют элегии древних и элегии Гете, названные им Римскими». «Существует ли в сем смысле (в смысле самобытного национального рождения.—*С. Д.*) романтическая поэзия между немцами?» спрашивает строгий критик и отвечает: «Исключая Гете, и то только в немногих его творениях, они всегда и во всяком случае были учениками французов, римлян, англичан». Гете всюду выделен из недугующих современной поэзии: он здоровый среди больных. В конце статьи находим прямой апофеоз ему: «Если уже подражать, не худо знать, кто из иностранных писателей прямо достоин подражания? Между тем наши живые каталоги... обыкновенно ставят на одну доску: словесности греческую и латинскую, английскую и немецкую; великого Гете и недозрелого Шиллера...» Чтоб судить, как велик для Кюхельбекера Гете, надо продолжить чтение его параллелей, обратив внимание на то, к кому приравнивает он Гете и к кому—Шиллера: «исполина между исполинами Гомера и ученика его Виргилия; роскошного, громкого Пиндара—и прозаического стихотворителя Горация; достойного наследника древних трагиков Расина—и Вольтера, который чужд был в истинной поэзии; огромного Шекспира—и однообразного Байрона» [40].

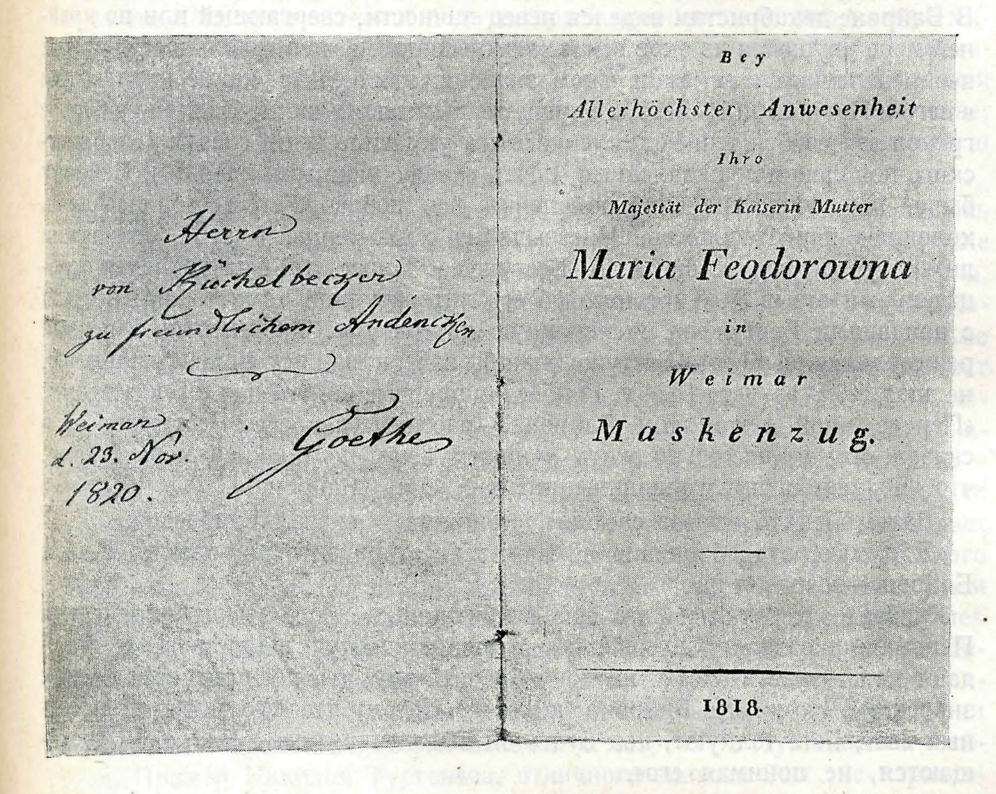
Известно, сколько нападок на Кюхельбекера вызвала эта статья. Больше всего досталось ему за «недозрелого Шиллера». Вяземский приписал этот выпад против Шиллера «упоению пивному, тяжелому», а А. И. Тургенев воскликнул: «Недозрелый Шиллер и классический Шихматов! Первый эпитет принадлежит не Кюхельбекеру, а Тику. C'est à peu près son idée sur Schiller, потому что он гетеанианец. Давно такого враля не бывало. Это Бестужев (младший), побывавший в ученой и многомыслящей Германии, но не понявший ее литераторов» [41].

Своим полемистам Кюхельбекер отвечал в следующей книжке «Мнемозины», в «Разговоре с Ф. В. Булгариным». Ответ превратился в апологию Гете. Апологетические свои аксиомы Кюхельбекер излагает по пунктам: «Гете, во-первых, не имеет шиллеровых предрассудков, ибо, рассуждая с французами и о французах (как то: в своих отметках о французских классиках, в разборе Дидеротова сочинения о живописи, в примечаниях к изданной и переведенной им книге Дидерота—«Племянник Рамо»), не помнит, что он немец, старается познакомиться, настроиться с образом мыслей французов, сих природных своих противников, проникнуть во все причины, заставляющие их думать так, а не иначе.

Во-вторых, он всегда забывает себя, а живет и дышет в одних своих героях. В чем могут убедить каждого его Гец, Тассо, Фауст и даже Вертер.

В-третьих—он всегда знает, чего ищет, к чему стремится.

В-четвертых—дивною легкостью Гете переносится из века в век, из одной части света в другую. В «Фаусте» и «Геце» он ударом волшебного жезла воскрешает XV век, Германию императоров Сигизмунда и Максимильяна; в «Германе и Доротее», в «Вильгельме Мейстере» мы видим наших современников, отцов наших, немцев столетий XIX и XVIII всех возрастов, званий и состояний; в «Римских элегиях», в «Венецианских эпиграммах», в путевых отметках об Италии встречаем попеременно современника тибуллова, товарища Рафаэля и Беневута Челини, умного


Herrn von Küchelbecker zu freundlichem Andencken

Weimar d. 23. Nov. 1820. Goethe

Bey Allerhöchster Anwesenheit Ihro Majestät der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna in Weimar Maskenzug.

1818.

Дарственная надпись Гете В. К. Кюхельбекеру от 23 ноября 1820 г. на экземпляре издания „Bey Allerhöchster Anwesenheit Ihro Majestät der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna in Weimar Maskenzug“
Публичная Библиотека, Ленинград

немецкого ученого и наблюдателя; в «Ифигении» он грек; древний Тевтон в «Вальпургиевой ночи»; поклонник Брамы и Маоде в «Баядере»; в «Диване», сколько возможно европейцу, никогда не бывавшему в Азии,—персиянин» [42].

Через 16 лет, в «Дневнике поселенца», Кюхельбекер нашел верное имя тому своему отношению к Гете, каким был он преисполнен еще долго после поездки в Веймар: это было «царствование Гете» над ним: впоследствии Кюхельбекер так прочно это осознал, что ему показалось даже, будто он «в 1824 году... заставил пасть с собою всю Россию» перед Гете [43].

Это неверно: поколение Кюхельбекера, и особенно ближайший круг его друзей и сверстников—декабристы—признавали тогда другого поэта «властителем своих дум»—Байрона и отнюдь не желали пасть на колени пред Гете.

Литературные симпатии и сочувствия декабристов из области западноевропейских литератур не подвергались еще систематическому изучению, но и те разрозненные сведения, какими можно располагать, не предпринимая специального изучения, дают право утверждать, что эти симпатии и сочувствия были обращены не к Гете. Отзывы о нем очень редки—в противоположность сравнительно частым отзывам о Байроне. Самый успех Пушкина среди декабристов был основан не только на его политических стихотворных выступлениях, но и на свободолюбивом байронизме его первых поэм. Байронические мотивы присущи поэзии Рылеева («Войнаровский»). В Байроне декабристам виделся певец личности, свергающей или по крайней мере рвущейся из оков всяческого деспотизма, певец вольности,—в том неопределенном, и емком, и узком, значении этого слова, какое вкладывали в него и Пушкин, и Рылеев, и другие декабристы. Участие Байрона в борьбе греков за освобождение от турецкого ига украсило его в глазах декабристского поколения гражданскими, почти революционными лаврами. Байрону было—все сочувствие этого поколения, вся любовь, Гете оставалась лишь холодная почтительность. Чрезвычайно характерны в этом отношении литературные сочувствия А. А. Бестужева. Только что был приведен отрицательный отзыв А. Тургенева об его литературной компетенции в связи с нападками Бестужева на немецкую литературу. Тургенев не в первый раз сердился на то, что Бестужев как бы зачеркивал всю немецкую поэзию, не зная ее. В августе 1824 г. Грибоедов впервые встретился с Бестужевым. «Передо мной лежал том Байрона,—рассказывает сам Бестужев,—и я сказал, что утешительно жить в нашем веке, по крайней мере потому, что он умеет ценить гениальные произведения (Байрона)».

«Даже оценять многое свыше достоинства», сказал Грибоедов.

«Я думаю, это обвинение не может касаться авторов, каковы Гете и Байрон,—возразил я».

Грибоедов ответил на это едкой критикой и гетеанцев, и байронистов. Первые «превозносят до небес каждую поэтическую шалость» Гете, «придают каждому его слову, наудачу брошенному, тысячу противоположных значений». Но участь Байрона еще хуже, потому что «его читает весь модный свет, Гете толкуют, как будто он был непонятен, а Байроном восхищаются, не понимая его».

«Этому виной,—ответил Бестужев,—различные способы их выражения. Гете облек мысли чувствами, между тем как Байрон расцветил чувства мыслями. Не всякий дерзнет хвалиться своим умом; но всякий рад сказать, что у него есть сердце, и, замечая, что Гете терзает более его ум, а Байрон чувство, полагает, что легче разгадать последнее, чем первое, хотя и то и другое трудно». В рассуждении Бестужева, при видимом уравнении Гете с Байроном, все-таки чувствуется, что он—на стороне последнего, и Грибоедов решительно возразил против этого: «Вы назвали их обоих великими, и это справедливо; но между ними все превосходство в величии должно отдать Гете: он объясняет своею идеею все человечество; Байрон со всем разнообразием мыслей—только человека». Бестужев попытался спасти первенство Байрона или по крайней мере его равновеликость с Гете указанием на Шекспира: «надеюсь, вы не сделаете этого укора Шекспиру. Каждая пьеса его сохраняет единство какой-нибудь великой мысли, важной для истории страстей человеческих», и т. д. Грибоедов, указав что Шекспир выше Гете, прекратил спор [44]. В споре совершенно ясно, что Бестужев—весь с Байроном, Грибоедов—на стороне Гете (он готовил в это время свой

перевод «Пролога в театре» из «Фауста» для «Полярной Звезды» 1825 г.). Но в это время Бестужев—и тут А. Тургенев был прав—почти и не знал ни Гете, ни других немецких поэтов. Он принялся за чтение их лишь в ссылке, в Якутске. 8 декабря 1828 г. он писал братьям: «Я теперь плотно принялся за германизм, на-днях кончил «Валленштейна» и теперь ломаю голову над «Фаустом». При этом «ломающий голову» не упускает случая покритиковать Гете: «Напрасно, однако ж, мне кажется, или по крайней мере излишне поместил Гете в «Фаусте» некоторые сцены, напр. сцену в погребе с пьяными. Чудеса для Фауста были бы не значащи, а для пьяных смысл его насмешки потерян; цель автора в отношении к читателю не минована, но в отношении к Фаусту это вставка. Или не хотел ли он выставить ему ничтожность земных увеселений?» К этому же времени относятся четыре перевода Бестужева из Гете [45]. Интерес к Гете креп в Бестужеве, и с Кавказа, в 1831 г., он «сестрицу Елену просил о немецких книгах о Гете: очень он желал иметь их» [46].

Таким образом настоящий интерес, а может быть и настоящая любовь к Гете пришли к самому яркому из декабристов-прозаиков уже после декабря 1825 г. В 1824—1825 гг. Бестужев знал и любил только Байрона. Упоминания о чтении Гете редки в письмах и записках декабристов. Какой-то слабый намек на приверженность к Гете находится в письме А. И. Одоевского к отцу (3 октября 1835 г.). Он рассматривал некий портрет Шекспира и сетует: он «не похож на прекрасную гравюру Шекспира, которую я видел у покойного Иоганна Мюллера—одно из моих старых знакомств по Петербургу (известный профессор контрапункта.—*С. Д.*),—гравюру, которую дал ему его друг Гете и которую он завещал мне, или по крайней мере обещал завещать мне после своей смерти» [47]. Декабрист бар. А. Е. Розен в 1832 г. плыл по Байкалу, отправляясь с Петровского завода на поселение: «На третий день поднялась буря. Нас качало и днем и ночью; глаза мои раскраснелись; только отрывками читал я «Goethes Genius»; эта книжка была в моем кармане» [48]. Вероятно можно при специальном обследовании умножить подобные свидетельства о встрече декабристов с Гете в книге, но наперед можно сказать, что их будет немного и они не перевесят свидетельств об умственных их встречах с Пушкиным и Байроном. Пример Николая Тургенева, отличного знатока Гете, не характерен: его любовь к Гете—следование наследственной традиции молодого тургеневского кружка. Не характерны и приведенные примеры: А. Одоевский развивался и читал под прямым влиянием Грибоедова, предпочитавшего Гете Байрону, бар. Розен был вскормленник немецкой культуры остзейского дворянства, видевшего в Гете своего национального поэта. Кюхельбекер одинок среди декабристов в своем гетеанстве. Но и в него должно внести отграничения, и их лучше всего сделать по книжкам «Мнемозины»: чем ближе их выход к декабрю 1825 г., тем ближе Кюхельбекер к Байрону. Во второй книге «Мнемозины» (М., 1824) он просто обозвал Байрона «однообразным». В третьей книге (М., 1824, вторая половина) он повторил это определение, но не только дал Байрону в соседство великих поэтов (Байрон рядом с Эсхилом, Дантом, Мильтоном, Державиным, которого Кюхельбекер признавал за великого поэта, сопоставляя даже с Гомером, Шиллером), но и «прибавил»: Байрон «с Тиртеем, Фемистоклом и Леонидом перейдет без сомнения в дальнейшее потомство» [49]. Байрон прославлен здесь как герой гражданской и национальной свободы, увенчан двойным венцом. Байрон умер в апреле 1824 г., и Кюхельбекер с горячностью

отозвался на его смерть поминальным «песнопением» «Смерть Байрона», дважды напечатав его в течение года: и в «Мнемозине», и отдельной книжкой.

Все это показывает, что на пороге декабря 1825 г. и сам Кюхельбекер вставал «с колен», на которые опустился в 1820 г. перед Гете.

Между посещением Кюхельбекера и восстанием 14 декабря Гете довелось встретиться еще с одним будущим декабристом.

21 мая 1823 г. он отметил в дневнике: «Граф Владимир Мусин-Пушкин» [50].

Это был гр. Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин (1798—1854), сын известного археографа, издателя «Слова о полку Игореве». По «алфавиту декабристов», этот блестящий измайловский офицер, адъютант главнокомандующего 1-й армиею гр. Остен-Сакена, «членом Северного общества был с 1825 г. и знал цель общества—введение конституции. От Нарышкина имел он с Титовым поручение завести управу, но, не знав правил насчет приема и выбора людей, оставил сие до времени». За эту причастность к «Северному обществу» Мусин-Пушкин расплатился сравнительно легко: просидев несколько месяцев в Петропавловской крепости под следствием, он отбыл еще месяц крепостного заключения по приговору, а затем переведен был в Петровский пехотный полк (7/VII 1826), а в начале 1829 г.— на Кавказ, в Тифлисский пехотный полк. Пушкину довелось с ним переваливать через Кавказ в 1829 г. В конце этого года Мусин-Пушкин получил отпуск в Москву—первое предзнаменование конца наказания, а 7 ноября 1831 г. был уволен от обязательной военной службы, но под условием жить в Москве и без права выезда за границу. В 1834 г. он был освобожден и от этих ограничений. Он был в приятельских отношениях с кругом писателей (Вяземский, Пушкин, салон Карамзиных) и художников (К. Брюллов) [51].

К Гете Мусин-Пушкин попал так, как попали к нему гр. В. П. Орлов-Давыдов, В. Н. Панин и многие другие молодые аристократы: поехать в Европу и не побывать в Веймаре у Гете считалось уже признаком не совсем хорошего тона.

Кроме двух будущих декабристов Гете успел узнать до 1825 г. и главных действующих лиц справа: он знал и Николая I, и Константина Павловича, и Михаила Павловича, и Бенкендорфа. 19 февраля 1817 г. канцлер Мюллер отметил у себя, что был с «генералом Бенкендорфом у Гете». Поставил Мюллер и две вехи разговора, происходившего тогда у Гете с генералом: «Иркутск в Сибири. Неаполь» [52]. Одна из этих вех—первая—часто служила потом в России при разговорах с Бенкендорфом и о Бенкендорфе.

Александр I скончался 1 декабря (н. с.) 1825 г., через две недели слух об этом дошел до Веймара. 14 декабря (н. с.) Гете внес его в дневник: «Вечером надворный советник Мейер. Сообщает слух о смерти императора Александра». На другой день он записал: «Распространяется известие о смерти императора Александра. Днем—молодые герцоги. От наследной великой герцогини несчастие еще скрыто». В этот же день Гете получил письменное извещение от Карла-Августа, что известие точно: Александр умер. Гете со строгою тщательностью отмечает все новые и новые известия о том же. Он делится ими и обсуждает их с ближайшими друзьями: 16-го: «За обедом д-р Эккерман. Канцлер фон Мюллер: становятся более известны обстоятельства смерти императора Александра»; 17-го: «Дальнейшее о смерти императора... Вечером надв. сов. Мейер; обсуждали печальное

Титульный лист официального издания следственного дела о декабристах (СПБ, 1826)
С экземпляра, хранящегося в личной библиотеке Гете
Goethe- und Schiller-Archiv, Веймар

RAPPORT
DE
LA COMMISSION
D'ENQUÊTE.

Saint-Pétersbourg,
DE LA TYPOGRAPHIE DE PLUCHART
1826.

известие». В тот же день Гете получил второе письмо от Карла-Августа [53]. Это все—памятки глубокого интереса старого, опытного царедворца к происшествию, случившемуся при главном дворе; смена властелина может и в ту и в другую сторону отразиться на маленьком дворе, зависящем во многом от главного. 18 декабря о смерти Александра I сказали наконец и Марии Павловне, и при Веймарском дворе был объявлен двухмесячный траур по Александре I. 22 декабря царедворец Гете писал царедворцу Уварову: «Нас соединяет сейчас общий траур» [54]. Это сказано как нельзя более верно, и Гете этим лишний раз признал, что он был связан с русским двором не менее, чем с веймарским.

Но веймарскому дворику, вместе с Гете, не пришлось на этот раз спокойно носить свой траур в течение восьми недель.

29 декабря (или 17-го по ст. ст.)—через три недели после декабрьского восстания—Гете записал не без тревоги, вызванной посещением мужа Марии Павловны: «Наследный герцог. Подробности о смерти императора; также нечто об ее последствиях... Колеблющиеся слухи о престолонаследии в России» [55]. В этот же день Гете беседовал с канцлером Мюллером и был им недоволен. «Он критиковал меня за то,—рассказывает Мюллер,—что я назвал отречение Константина от престола неподлежащим сомнению; он был вообще, по меньшей мере, замкнут». Тогда же Гете высказал мысль: «В политике люди мечутся с одного бока на другой, как на одре болезни, в надежде лечь лучше» [56]. Очевидно, в глазах Гете, надежда эта—пустая. На следующий день Гете опять виделся с Мюллером и беседовал все о том же: «Последние русские новости; продолжающаяся неизвестность относительно престолонаследия» [57]. Последние записи показывают, что легитимист и царедворец был в некоторой тревоге по поводу

колебания престола в России. Простодушный Мюллер одним штрихом набросал любопытную картину: веймарский канцлер стоял за ту версию, что Константин насильственно отстранен Николаем. Легитимист Гете отвергал эту версию как несовместимую с исправным верноподданничеством: нет, все совершилось законным порядком. Николай взошел на престол, как должен был взойти. Однако неизвестность—так ли уж все благополучно в Петербурге—несколько томит Гете, и он явно успокаивается, когда 18 января (н. с.) 1826 г. отмечает у себя в дневнике, что «генерал Стрекалов, посланный из Петербурга ко двору, привез известие о вступлении на престол императора Николая» [58].

Через месяц с небольшим Гете довелось познакомиться и еще с одним гонцом Николая I, посланным к немецким родственникам с вестью о торжестве над декабристами. Под 26 февраля читаем в дневнике Гете: «Около 12 часов принц. Г. Сорэ. Статский советник Полетика», а 28-го числа Гете отмечает: «В половине одиннадцатого великая герцогиня. Показал атлас Лесажа. О пребывании статского советника Полетики» («W. A.», III Abt., B. X, S. 166). Это был не статский, а тайный советник сенатор Петр Иванович Полетика (1778—1843), возвращавшийся из Штутгарта, от виртембергского двора. Видный дипломат, последовательно занимавший разные посты в русских посольствах в Европе, Северной и Южной Америке, он был в 1817—1822 гг. послом при Североамериканских Соединенных Штатах. В свои наезды в Петербург, давний знакомец Карамзина, он вращался в кругу Жуковского, Вяземского, братьев Тургеневых и под именем «Очарованного челна» был избран в «Арзамас». С 1822 г. он поселился в Петербурге, пользуясь любовью верхнего круга русских писателей как блестящий собеседник, наблюдатель жизни двух полушарий и человек верной и острой исторической памяти. Внеся в свой дневник несколько записей из рассказов Полетики, Пушкин признался там же: «Я очень люблю Полетику» (2 июня 1834 г.). Полетика и сам был писатель: его сочинение «Aperçu de la situation interieure des Etats-Unis d'Amerique et de leurs rapports politiques avec l'Europe» в отрывках было помещено в «Journal de St. Petersbourg» 1825 г. и в «Литературной газете» 1830 г., а полностью вышло по-английски в Лондоне и в Америке.

Свиданию Гете с Полетикой предшествовало посещение наследного принца, а два дня спустя Гете вел разговор о Полетике с великой герцогиней: вероятно обсуждались не только маленькие виртембергские новости, но и крупные петербургские события, с известиями о которых послан был в Штутгарт видный дипломат, гостивший на перепутьи у Марии Павловны. Герцогине Гете показывал историко-генеалогический и географический атлас А. Лесажа (A. Lesage. «Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique». Paris, 1814): рассматривание этого любимого атласа Гете стояло, надо думать, в связи с политическими сообщениями и дипломатическими рассказами Полетики, которые впоследствии так любил Пушкин.

В декабрьских и позднейших записях великого писателя поразительно одно: Гете молчит о самом событии 14 декабря. Что он о нем осведомлен, не может быть сомнений: мы только что видели, как к Гете стекались—даже от самого герцога—все известия о смерти Александра; Гете всегда был в курсе всех дипломатических и придворных новостей, проникавших в Веймар. Молчит Гете конечно оттого, что все декабрьское событие инте-

ресует его почти исключительно в плане различного рода веймарско-русских дворцовых взаимоотношений и менее всего как революционный акт. Он молча ждет, когда кто-то там, в Петербурге, управится со всей этой мятежной дрязгой, и когда с нею «управился» давно знакомый Гете Николай Павлович,—для Гете исчерпан весь интерес события. Ни в его дневнике, ни в записях аккуратного Мюллера, ни в разговорах Эккермана нет и следа интереса Гете к 14 декабря как к новой странице в истории России, как к первому революционному выступлению против самодержавия.

Только в июле 1826 г., очевидно в связи с процессом декабристов, Гете вновь заинтересовался русскими делами. 23 июля он—по записи дневника—«ближе знакомится с историей болезни императора Александра»: опять чисто придворный интерес царедворца! На другой день казни декабристов (14/26 VII) он отметил: «Вечером д-р Эккерман; в газетах—о течении русского заговора, согласно данным следствия» [59]. Гете читал «донесение следственной комиссии», писанное Д. Н. Блудовым: экземпляр «донесения», на французском языке,—«Rapport de la Commission d'enquète». Saint-Petersbourg, 1826—доныне (1932 г.) сохранился среди книг личной библиотеки Гете в Веймаре. Вероятно это был дар Николая Павловича через Марию Павловну. В этом «Донесении» прочел Гете и об участии в декабрьском восстании его былого гостя «д-ра Кюхельбекера», величавшего его «Прометеем» в то время, когда осторожный министр-поэт под секретом давал читать друзьям давно уже известного «Прометея» своей юности.

А Кюхельбекер помнил Гете; продолжая веймарское свидание, он разговаривал с ним... во сне: «Сегодня у меня были самые живые и, можно сказать, умные сны: я толковал о самых занимательных предметах и с кем же? С Гете, Пушкиным и Дельвигом. Зачем это было не наяву!» [60] Он записал это 25 апреля 1832 г., сидя в Свеаборгской крепости и не зная, что с Гете уже никому нельзя было разговаривать наяву: он умер 22 марта этого года. В тюрьме он часто вспоминал Гете-человека и сопоставлял с его жизнью свою: в его глазах они оба были поэты, а все остальное было неважно. В крепостной скуке и одиночестве такие сопоставления приносят ему утешение: «Чтобы не забыть: в известии о (Вальтер) Скотте упоминается, что в детстве он был охотник рассказывать своим товарищам сказки, которые он сам выдумывал. Это у него общее с Гете и (осмелюсь ли после таких людей называть себя?) со мною». В мрачный зимний день он записывает: «Гете в одной из римских эпиграмм называет мух, помешавших спать ему, вдохновительницами (Musageten); моим вдохновителем с понедельника было ненастье, от которого в моей конуре так было темно, что я не мог внести с доски в тетрадь окончания второй песни поэмы моей, а потому поневоле должен был выхаживать новые стихи». И через два года он продолжает находить какое-то утешение в приравнивании своих безрадостных «трудов и дней» к жизни и труду Гете: «Сегодня со мною было то, что Гете рассказывает про себя, а именно: когда излагал я моему доброму пастору план «Ивана купеческого сына», главная идея во мне самом развилась полнее и определеннее». «Известие о посмертных сочинениях Гете очень занимательно,—записывает он в 1834 г.,—особенно по выпискам из последнего тома «Dichtung und Wahrheit». Я сошелся в мыслях с Гете: и я лучшие свои произведения, напр. «Ижорского», считаю более произведением природы, нежели искусства». Его занимала мысль:

«нельзя ли самозванца превратить в русского Фауста». В этом же 1834 г. Кюхельбекер получил в тюрьму «несколько томов Гете» [61].

В «дневниках узника и поселенца» имя Гете примешивается во всех литературных суждениях Кюхельбекера. Рассуждая об юморе, он высказывает острую мысль, что юмор—вездесущ: «Он даже может служить началом, стихиею трагической басни, тому доказательство Гете в «Фаусте». Перечитывая державинскую антологию, он находит в его стихах «что-то восточное, что-то напоминающее» «Ost-Westlicher Divan» Гете». Таких примеров можно бы привести несколько. Он продолжает высоко ценить художественную сторону дарования Гете [62].

Но к самому Гете в «узнике» и «поселенце» Кюхельбекере нет уже и тени верноподданничества. Наоборот Гете так называемого «олимпийского» периода почти враждебен декабристу. Если он и любит что-нибудь в нем, то даже не «Фауста», а «мученика мятежного»—«Вертера». 9 сентября 1834 г. он записывает: «Читаю «Вертера». Несмотря на многое, искренне признаюсь, что это творение Гете предпочитаю иным из его позднейших: в «Вертере» теплота непритворная, есть кое-что, называемое немцами: exentrisch, но по крайней мере нет холодной чопорности, притворной простоты и бесстыдного эгоизма, встречающихся в его записках, Wilhelm Meisters Wanderjahre etc».

Впечатление от перечитываемого «Вертера» так сильно, что уже седеющий «мятежник и поэт» вновь на другой день обращается к юношеской книге Гете: «Поэтической жизни в «Вертере» пропасть; но от Гете—автора «Вертера», до Гете—сочинителя напр. «Эпименида» расстояние не меньшее, чем от Вертера до его благоразумных друзей: не стану спрашивать, кто из них лучше; но без сомнения «Вертер» и автор его привлекательнее чинного автора «Эпименида» и людей, которые в жизни то, что автор «Эпименида» в поэзии. Жаль только, что Вертер слишком много хнычет» [63].

Эту запись пишет не просто поэт, скинувший бремя владычества Гете, ее пишет декабрист. «Вертеру», созданию эпохи «бури и натиска», Кюхельбекер противопоставляет здесь «Пробуждение Эпименида»—писание эпохи реакции. Это драматическое произведение Гете было написано в 1814 г. по заказу директора Берлинского театра: прусский король желал, чтобы ко дню въезда в Берлин короля и императора Александра была представлена специальная пьеса, прославляющая победу союзников над Наполеоном. Гете весьма мало улыбалось прославлять победителей Наполеона, так как, подобно другим европейским умеренным буржуа, он сочувствовал гораздо больше Наполеону, чем «освободительным» войнам 1813—1815 гг., но все-таки он не почел возможным отказаться от «высочайшего» заказа и сочинил пьесу, в которой, пользуясь символико-аллегорической формой, оставил Наполеона в стороне, а, по мнению Ф. П. Шиллера, дал даже «завуалированную сатиру» на победителей. Тем не менее пьеса получилась достаточно официозной, а в эпилоге даже и нарочито официальной: недаром она и успех имела только официальный. Олицетворенную «Веру» Гете заставил возглашать в конце пьесы:

Погибель, кровь и смерть везде царили,
И я уже ждала конца всего,

но—пришли цари, победили Наполеона, и «Вера» оказалась спасена. В уста «Вере» и «Любви» Гете и вкладывает натянутые хвалы царям-победителям.

ГЕТЕ

Рисунок пером Г. Рейтерна, 1830 г.

Надпись на рисунке, сделанная рукой Рейтерна: „Nach einer Handzeichnung in Aquarell von J. Stieler und eigner Erinnerung. Weimar 23 May 1830. 81 Jahre alt“

Частное собрание, Ленинград

Воспроизводится впервые

Декабрист в своем отзыве делит всех читателей Гете и даже самого поэта на две половины: на тех, кто с юным и живым Вертером, и на тех, кто с дряхлым «Эпименидом», несмотря на свое «пробуждение», осужденным на поэтическую и социальную смерть. Впрочем у декабриста есть существенная поправка и к «Вертеру: «Жаль только что Вертер слишком много хнычет». Поправка эта несомненно сделана рукой того, кто никогда не «хныкал», боролся с элегическим хныканьем в поэзии, а 14 декабря на Сенатской площади хоть плохо, но стрелял в одного из тех, кто восхваляется в «Эпимениде».

Эпилогом отношения декабриста Кюхельбекера к Гете может служить его признание в «Дневнике поселенца» от 27 марта 1840 г.:

«Когда раз разочаруешься насчет кого бы то ни было, трудно даже быть справедливым к этому лицу. Царствование Гете кончилось над моею душою, и что ни говорил в его пользу Гезлитт (в «Rev. Britt.» [64]), мне невозможно опять пасть ниц перед своим бывшим идеалом, как то падал я в 1824 году и как то заставил пасть со мною всю Россию. Я дал им золотого тельца, они по сию пору поклоняются ему и поют ему гимны, из которых один глупее другого; только я уже в тельце не вижу бога» [65].

Можно добавить: ни Юпитера, которого не видел никогда в Гете, ни Прометея, которого видел некогда.

Поэт-декабрист верно передал здесь историю своего отношения к Гете. Он ошибся только в одном: и в 1824 г. не «заставил» он преклониться пред Гете «всю Россию», и в 40-х годах, когда он писал эти строки, в России Белинского и Герцена не было идолопоклонников пред Гете; его лишь читали, переводили, критиковали, а гимны ему спело другое поколение—немного помоложе того, к которому принадлежал сам Кюхельбекер, и постарше того, которое в 40-х годах переживало свои Wanderjahre,—поколение 20-х годов и начала 30-х: московские любомудры-шеллингианцы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Людвиг Гёльти (1748—1776)—поэт геттингенской народно-романтической школы.

[2] Пуш., Соч., т. V, стр. 356.

[3] Цитирую статью Кюхельбекера по русскому ее переводу в «Вестнике Европы» 1817, № 17—18, стр. 154—155.

[4] Письмо от 21 декабря 1845 г.—Н. Дубровин, Жуковский и его отношения к декабристам.—«Р. С.», т. CX, стр. 94.

[5] Письмо к Дельвигу от 23 марта 1820 г.—Письма П., т. I, стр. 16.

[6] «Отрывок из путешествия по Германии. Дрезден».—«Мнемозина», издав. кн. В. Одоевским и В. Кюхельбекером, ч. II. М., 1824, стр. 61.

[7] Письмо от 5 августа 1824 г.—«О. А.», т. III, стр. 69.

[8] «W. А.», III Abt., В. XII, S. 251.

[9] «Мнемозина», ч. I, стр. 89.

[10] «Правда и поэзия», книга XIV; Гете—Вейнберг, кн. VIII, стр. 378—379.—Отзыв старого Гете о сочинениях Клингера не схож с мнением не старого Гете. По рассказу Иоганна Фалька, «однажды пришел Клингер к Гете, вытащил большой пакет с рукописями и прочитал ему из них». Чтение скоро пресеклось возгласом Гете: «Что за проклятие, что ты снова взялся писать! Пусть это выносит дьявол!»—вскочил со стула и выбежал вон» (Johannes Falk, Goethe aus näherm persönlichen Umgange dargestellt. Dritte Auflage. F.-A. Brockhaus. Lpz., 1856, S. 117—118).

[11] Записки Августа Коцебу. «Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников». 2-е изд. СПБ, 1908, стр. 404.

[12] Мемуары кн. А. Чарторижского, т. I, стр. 290.

[13] «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву». 1866, стр. 204.

[14] Гете—Вейнберг, кн. VIII, стр. 378.

[15] Бар. А. Е. Розен, Записки декабриста. СПБ, 1907, стр. 11—12.

[16] Ф. Булгарин, Воспоминания, ч. I. СПБ, 1846, стр. 276, 272—274.

[17] «W. A.», IV Abt., B. XVII, S. 49. В национальном Гетевском музее в Веймаре доныне (1932) хранятся семь русских медалей, принадлежавших Гете, выбитых при Екатерине II (1787 г., с изображением императрицы; 1772 г., выбитая в честь И. И. Бецкого), Павле (большая золотая медаль с его портретом), Александре (две с изображением Александра, одна с изображением Петра I и Александра I, 1810 г.), Николае (серебряная медаль на столетие Академии Наук, 1826 г.).

[18] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 155. Как было уже указано (гл. V), Веймарское издание считает ошибкой Гете начертание: «Reuter»: поправляет его на «Reutern», подразумевая под последним известного художника Герхардта Рейтерна, и называет его передатчиком Гете барельефов Толстого. Дальнейшее показывает однако, что в деле ознакомления Гете с творчеством Ф. П. Толстого видное участие принял и барон Рейтер (Reuter), друг скульптора; на него указывает и письмо Ф. П. Толстого.

[19] «W. A.», IV Abt., B. XXIX, S. 176.

[20] Schmid, S. 159.

[21] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 252.

[22] «W. A.», I Abt., B. XXXVI, S. 147.

[23] Печатается по фотографической копии с подлинника, хранящегося в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре.—В Веймарском издании, в примечаниях к дневнику Гете, было напечатано полстроки («das Urtheil des Ersten Kenners in Europa») из этого письма (III Abt., B. VII, S. 304).

[24] «W. A.», III Abt., B. VII, S. 136 и 137.

[25] «W. A.», I Abt., B. XXXVI, S. 167.

[26] Е. Ф. Юнге (урожд. гр. Толстая), Воспоминания (1843—1860). М. (без года). Изд. «Сфинкс», стр. 121.

В 1827 г. собрание Гете обогатилось еще одним произведением Ф. П. Толстого: медалью по случаю столетия Петербургской Академии Наук. На одной ее стороне изображен профиль Николая I, на другой—Минерва, увенчивающая герму с двойным изображением Петра I и Александра I.

[27] «W. A.», III Abt., B. VI, S. 151.

[28] Книга эта хранится в Государственной Публичной Библиотеке в Ленинграде.

[29] Печатается по фотографии с подлинника, хранящегося в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре.

[30] Печатается по фотографии с подлинника, хранящегося в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре. Писано без помарок, за единственным исключением: в последней строке стихотворения было сперва: «kuhn durch dich» вместо «durch dich Kuhn». В известном прежде тексте встречается лишь одно разночтение сравнительно с печатаемым теперь по автографу: вместо стиха «Ты мне вручил, и я тобою буду бессмертен» в известном доселе тексте читалось: «Подал юноше мне—и тобою буду бессмертен». («Поэты-декабристы». Сборник под ред. Ю. Н. Верховского. М.-Л., 1926, стр. 245—246). Дата Верховского—1821 г.—неверна.

Туискон (иначе: Туиско)—имя одного из германских богов; «земля Туискона»—Германия. Пирифой—по греческим мифам, царственный сын Зевса и Дии, за попытку похищения Персефоны наказанный тем, что прирос к скале.

[31] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 252.

[32] «В. К. Кюхельбекер. Очерк его жизни и литерат. деятельности. Письма русских писателей 1817—1825 гг.». Сообщили Ю. В. Косова и М. В. Кюхельбекер.—«Р. С.» 1875, июль, стр. 341—342.

[33] Иоганн-Готлиб Брейткопф изобрел способ печатать ноты с помощью подвижных знаков. «Старший» из братьев Брейткопф—Бернгард-Теодор—издал в 1769 г. сборник песен на слова Гете. Это первое переложение стихов Гете на музыку—начало бесчисленных отражений Гете в музыке.—Гете, Поэзия и правда. Из моей жизни. Книга VIII. Перев. Н. Холодковского. ГИЗ. П.-М., MCMXXIII, ч. II, стр. 90—91. Готфриду Брейткопфу Гете писал в августе 1769 г. из Франкфурта: «Пиши мне по временам, и если брат Бернгард не хочет писать, пусть скажет тебе, что хотел бы передать мне, и присоедини к своему письму» («W. A.», IV Abt., B. I, S. 24).

[34] Дневник В. К. Кюхельбекера. Предисл. Ю. Н. Тынянова. Редакция, введение и примечания В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. Л., 1929. Изд. «Прибой», стр. 305. Дальше всюду: Кюх., Дн.

[35] «W. A.», I. Abt., B. XXXVI, S. 185.

[36] Подробности об этом стихотворении см. ниже в публикации «Неизданные переводы из Гете».

[37] Сочинения бар. А. А. Дельвига, с биогр. очерком В. В. Майкова. СПБ, 1893, стр. 149.

[38] На вопрос следственной комиссии: «Не слушали ли особых лекций? объяснив в последнем случае, чьим курсом руководствовались вы в изучении наук?» Кюхельбекер ответил 2/IV 1826 г.: «В Москве, в 1824 и в начале 1825 г. анатомию у профессора Лодера (старого друга Гете.—*С. Д.*). Руководствовался я в словесности и эстетике сначала правилами французской школы: Ла Гарпа, Баттё и др., но впоследствии оставил их вовсе и держался преимущественно немцев, особенно же Шеллинга, Шлегеля и Лессинга» («Восстание декабристов. Дела следств. комиссии», т. И, под ред. А. Покровского. М., 1926, стр. 192).

[39] «Обозрение» обнародовано Б. В. Томашевским в сборнике «Литературные портфели» (П., 1923), стр. 74.

[40] «Мнемозина», ч. II, стр. 29—41.

[41] Письма Вяземского Тургеневу от 25 июля и Тургенева Вяземскому от 5 августа 1824 г.—«О. А.», т. III, стр. 62 и 69. Под Бестужевым-младшим Тургенев разумеет А. А. Бестужева-Марлинского.

[42] «Мнемозина», ч. III. М., 1824, стр. 164. В IV части «Мнемозины» (М., 1825) Кюхельбекер поместил «Амур-живописец (подражание Гете)» (стр. 63—65).

[43] Запись 27 марта 1840 г. Кюх., Дн., стр. 252.

[44] А. Бестужев, Знакомство с Грибоедовым (1824).—«О. З.» 1860, кн. X, стр. 630—635.

[45] Через пять дней после приведенного письма Бестужев опять писал братьям: «Я погружен в германизм, и, ради чистого тщеславия, прошу вас сказать Якушкину, что после месяца чтения я могу теперь читать Шиллера и Гете без чьей бы то ни было помощи». М. И. Семевский, Александр Бестужев в Якутске. Неизданные письма его к родным.—«Р. В.» 1870, май, стр. 245—246. Прекрасный перевод А. Бестужева «Всегда и везде» (Immer und überall) помещен в I томе юбил. изд. Гете (стр. 490).

[46] Письмо к матери от 10 января 1831 г. из Дербента. М. Семевский, А. Бестужев на Кавказе.—«Р. В.» 1870, № 6, стр. 507.

[47] Курсив Одоевского. Письмо из Елани. П. Н. Сакулин, А. И. Одоевский в неизданных письмах. Сборник «Декабристы на каторге и в ссылке». М., 1925, стр. 269.

[48] Бар. А. Е. Розен, Записки декабриста. СПБ, 1907, стр. 183.

[49] «Мнемозина», ч. III, стр. 173.

[50] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 51.

[51] «Алфавит декабристов» под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., 1925, стр. 194 и 360.

[52] Müller, S. 21. В дневнике Гете находим следующие записи об А. Х. Бенкендорфе: 19 февраля 1817 г.: «Генерал Бенкендорф и канцлер фон Мюллер» и 12 апреля 1823 г.: «Бюст от генерала Бенкендорфа через Даннекера. Канцлер фон Мюллер, его переславший» («W. A.», B. IV, S. 14; B. IX, S. 35). Любимый слуга Николая I был отличен и веймарским двором: он получил орден Белого Сокола.

[53] «W. A.», III Abt., B. X, S. 135, 136, 330.

[54] «W. A.», IV Abt., B. XL, S. 169.

[55] «W. A.», III Abt., B. X, S. 140.

[56] Müller, S. 180. «Сравнение из Данта», замечает при этом Мюллер

[57] «W. A.», III Abt., B. X, S. 141.

[58] Там же, стр. 150.

[59] Там же, стр. 221.

[60] Кюх., Дн., стр. 50.

[61] Записи от 9/VIII и 15/XII 1832 г.; от 7/VII, 31/X, 30/VI, 27/V 1834 г. Кюх., Дн., стр. 69, 83, 199, 218, 198, 188.

[62] Записи от 8/II 1832 г., 24/XII 1835 г., стр. 41, 223; ср. также записи от 22/IX 1833 г., 8/VII 1834 г. Кюх., Дн., стр. 138, 200.

Последовательный «архаист», Кюхельбекер, намечая для себя сюжеты из старой русской истории, отыскивает форму для их предполагаемого воплощения у Гете: «Смерть Владимирка Галицкого—прекрасный предмет для баллады, а скитания Святослава Ольговича—для исторической картины в роде гетева «Геца фон Берлихингена» (запись 22/IX 1833 г.; «Дн.», стр. 138).

[63] Записи от 9 и 10/IX 1834 г. Кюх., Дн., стр. 210, 211.

[64] Вильям Газлитт (1778—1830)—английский критик, сотрудник парижского «Revue Britanique», одного из виднейших европейских журналов XIX столетия.

[65] Кюх., Дн., стр. 252.

II. АРИСТОКРАТ ДЕКАБРИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ У ГЕТЕ В ВЕЙМАРЕ

„РАЗГОВОР РУССКОГО ГРАФА С." С ГЕТЕ.—КРИТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ „ГРАФА С." К ЛИЧНОСТИ, ТВОРЧЕСТВУ И ВЕЙМАРСКОМУ БЫТУ ГЕТЕ.—БЕСЕДА ГЕТЕ О БАЙРОНЕ.—ГЕТЕ БЕЗ МАСКИ ОЛИМПИЙЦА.—ОСОБОЕ МЕСТО, ЗАНИМАЕМОЕ В ГЕТЕАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ „РАЗГОВОРОМ ГРАФА С.".—НЕМЕЦКАЯ ПУТАНИЦА ВОКРУГ ЛИЧНОСТИ „ГРАФА С.".—ГЕТЕ И ГРАФ ГРИГОРИЙ СТРОГАНОВ, ВОСПЕТЫЙ БАЙРОНОМ.—ИСТИННЫЙ АВТОР „РАЗГОВОРА"—ГР. АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ СТРОГАНОВ.—ЕГО ЛИЧНОСТЬ И ВЗГЛЯДЫ.—А. Г. СТРОГАНОВ И ВОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ НА УРАЛЬСКИХ ЗАВОДАХ ПЕРЕД ДЕКАБРЕМ 1825 Г.—ЕГО „ЗАПИСКА" НИКОЛАЮ I.—АВТОР „РАЗГОВОРА"—АВТОР „ЗАПИСКИ".—ЗНАЧЕНИЕ „РАЗГОВОРА А. СТРОГАНОВА" ДЛЯ НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ ГЕТЕ.

В книге «Разговоры Гете» Бидерманна был помещен разговор Гете «Mit dem russichen Graf S.» (с русским графом С.), датированный «zwischen 1825 und 1832» (между 1825 и 1832 г.). Вот рассказ этого «русского графа С.»:

«Не могу сказать, чтоб я был в настроении воздать должное почитание великому человеку, когда, несколько часов спустя после моего приезда в Веймар, я вручил наши карточки в доме тайного советника Гете. От природы серьезный и—говорю это без стеснения—нелишенный природной гордости, я всегда считал чем-то вроде унижения выказывать почтение людям, которые нам не господа и не благодетели, почтение, относящееся только к их талантам или достоинствам. Со столь же малой охотой мог бы я и сам принимать такое почитание, если бы выделялся еще чем-нибудь, кроме моего положения, которое, впрочем, есть такой же дар случайного счастья, как и великие таланты и дары природы. К тому же сочинения Гете никогда не внушали мне подобного благоговения. Его сильная мысль, его бодрое расположение духа, его глубокий взгляд на человеческую природу часто пробуждали сочувственный отклик в моей груди, но это сочувствие мое было не очень лестно для человечества, и благоволение мое простиралось лишь на немногие из произведений Гете. Большинство же остальных, в особенности столь прославленные «Годы учения и странствий Вильгельма Мейстера», были мне всегда в высшей степени противны. Гете достоин восхищения там, где он весь сосредоточен на постижении своего предмета и сжат в языке, как в «Фаусте»; правда, он сильно напоминает там непревосходимый образец—Шекспира, но все-таки остается большое своеобразие; оно придает явлению Гете мировое значение. Но там, где он распускается: начинает расчленять, разрисовывать, обрамлять,—там все мне становилось противно: и его далеко заходящая холодная удовлетворенность, с какою он сам себе внимает, и его недобросовестная паутина из незначительных нитей мысли, и его золотая чеканка наощупь взятых подражательных чувств. Правда, я слышал, как немцы горячо, в гиперболических выражениях восхваляют как раз то, что мне не нравится, но я хорошо знаком с национальной чувствительностью немцев, чтобы поддаться этому противоречию. Ни один народ в мире не мог бы так наслаждаться остроумным и чувствительным пустословием своих поэтов, и это лучшее доказательство, что все это действительно непереводимо ни на какой другой язык. При таком взгляде на сочинения Гете я, при всем моем уважении к этому высокому духу (Geist), был далек от энтузиазма и восхищения, которым отличалась, как мне часто случалось замечать, особая секта экзальтированных почитателей этого национального божества: в шутку их называли гетевскими воронами, и я имел честь быть рекомендованным Гете главами этой литературной партии. Казалось, они серьезно замышляли из меня, неверующего, сделать прозелита; однако в то время это так плохо им удавалось, что я не очень бы стал унывать, если б Гете каким-либо вежливым

образом отклонил мой визит. Мое дурное настроение было тем сильнее, что немецкий этикет от всех, и особенно от иностранцев, требовал соблюдения церемоний. Это было мне достаточно неприятно, так как я неохотно расставался с моим удобным дорожным костюмом. Моему весельчаку-брату это было легче, и как только мы получили приглашение от Гете, он принялся душиться и бриться так заботливо, будто ему предстоял утренний визит к прекрасной даме. Не без боязни, что веселость Алексея может повлечь за собою неприятность, но отчасти успокоенный его опытностью в хорошем тоне, проехал я с ним на виллу Гете. Нас сопровождал туда тайный советник Б.[1]; он был близок с Гете и, как казалось, сделался, по дружескому его поручению, посредником между восхищающимся любопытством иностранцев и особою поэта, так счастливо отмеченного своим положением в государстве и в обществе.

Встреча при нашем первом посещении была очень формальна и натянута; важность саксонских лакеев и размеренная серьезность нашего хозяина забавно питали веселость моего брата. Личность Гете известна; его почитатели описали ее так полно, что ни одному иностранцу не остается уже что-либо прибавить. Он, точно, человек прекрасно сложенный, с выразительным лицом; что же касается его манер, я нашел их прежде всего немецкими и далекими от того более тонкого и отменного придворного тона, который господствует в высших кругах в моем отечестве.

Алексей нашел, что гордостью преисполнено все существо Гете; я, при более глубоком знакомстве с его произведениями, оспариваю это. Я нашел, что его собственной гордыне противоречила та степень уважения, которую он, при нашем приеме, отдавал рангу русского дворянина. Этот человек, думал я, не может ни себя уважать столь высоко, чтобы этим оправдывалась его гордость, ни к нам испытывать такого почтения, воздаваемого рангу, полученному без всяких заслуг. Последующее показало, что я не ошибся в понимании характера Гете.

Насколько не значуща и ничего не говоряща была наша первая беседа, настолько же замечательна и незабываема была вторая, при моем прощальном посещении. Накануне вечером Гете собрал у себя большое общество явно для того, чтобы дать своим отечественным почитателям возможность увидеть таких редких птиц, как двое русских из Крыма, которые читали его произведения и поняли их. В то время как мы и особенно мой веселый брат Алексей ставили Гете в положение некоей «достопримечательности» для путешественников, он, с большою ловкостью, сделал нас самих предметом любопытства: со всех сторон нас осаждали странными вопросами о нравах и обычаях моего отечества, и мы едва успевали перевести дух, чтобы на них ответить. Русская деспотия (die russische Despotie) со всеми ее тонкостями была предметом их расспросов, и были выложены все спутанные понятия о нашем крепостничестве и о подобном. Я нашел в этом кругу людей весьма образованных (и Гете сам был таковым в высокой степени) только одну точку зрения, с которой они все рассматривали,—и эта точка зрения была ложная; поэтому между мною и обществом возник вежливый спор; в нем я фигурировал, превратно понимаемый чужеземцами, в качестве защитника ненавистного крепостного права, так как я пытался приблизить к их пониманию патриархальный характер русской народной жизни.

Гете при этом держался довольно нейтрально, но был видимо увеселен нашим разговором и, казалось, наслаждался нашим затруднительным положением. Чтобы отомстить ему за эту его уловку, я насильственным

поворотом навел разговор на его сочинения. Я, с некоторой беззастенчивостью, спрашивал его в упор о самых щекотливых вопросах, что сразу дало мне перевес над всем обществом. Я возбудил вопросы, о которых ученые господа в Германии частенько спорят, чтоб великий мастер снизошел их выручить. Мой брат поддерживал меня в этом и кого обижал своей живой манерой, тех же умиротворял своим добродушием.

Как понимать «Западно-восточный Диван», что означает «Фауст», какая философская мысль лежит в основе его произведений,—все это обсуждалось так открыто и безудержно, как если бы Гете был отдален от нас на расстояние в сотни миль. Но он не давал вывести себя из терпения этой откровенностью; она ему была, как я услышал позже, ни в какой мере не нова. Он удовлетворялся тем, что, улыбаясь, отвечал на какую-нибудь двусмысленную фразу и ронял слово присутствовавшему тут профессору из Лейпцига или Иены, имя которого я позабыл. Этот человек главным занятием своей жизни сделал толковать произведения Гете и принимал теперь широкие меры, дабы ответить на наши вопросы. Он предпринимал это с такой затратой непонятных выражений, философически-художественных терминов и ученых общих мест, что всякого другого иностранца это должно бы обескуражить.

Мне представлялось не невозможным, что Гете, ободрявший этого болтуна благосклонной улыбкой, воспользовался им для того, чтоб отвязаться от навязчивого вопрошателя, отстраняя это дело от себя. И точно: орудие для этой цели выбрано было с проницательностью; ибо так же трудно вымолвить слово при трескотне этой диспутирующей машины, как и ответить должным образом: для этого нужно было бы перечесть всю тяжелую груду книг и журналов, дух которых жил в докторе. Так как я ничего не понял из этого его переполаскивания, то попросил его, с видом восхищения, выразить мне смысл его длинной речи по-французски, ибо я не имею счастья быть близко знакомым с немецким языком, вновь обогащенным тысячей слов, похищенных из греческого, латинского и французского, в особенности же техническими терминами берлинской философии. Но ученый комментатор и панегирист ответил наотрез: ни на каком ином языке, кроме немецкого, нельзя рассуждать о великом художнике. Пока я, со всем приличием, насмехался над этим утверждением, Гете покинул комнату; однако я убежден, что из прилегающей он подслушал конец моего разговора с доктором. Я закончил спор заявлением, что невозможно столковаться, ежели спорящие исходят из столь противоположных взглядов,—и насколько убежден г. профессор в том, что чуждые нации не могут судить о гении Гете и об его философско-моральном влиянии на эпоху, настолько же я склонен, вместе с лордом Байроном, думать, что ни у одной нации в мире Гете не находит такого полного непонимания, как у немецкой.

Едва только произнес я это смелое утверждение, как вошел Гете с открытым, но серьезным видом, и пригласил общество перейти в другую комнату ужинать. В его обращении со мной отражалось, казалось, некоторое раздражение на тот злой комплимент, который я высказал немецкому народу, но он посылал мне иногда, как бы украдкой, взгляды, в которых не было никакой злобы. Несмотря на это, разговор уже не мог стать непринужденным, и я удалился с мыслью, что я обидел общество, а особенно хозяина, и национальное чувство обоих.

Однако я скоро разубедился в этом: мне случалось потом разговаривать со многими, по отдельности, из этого общества, и, к моему великому изу-

млению, я нашел, что высказывания такого рода, которые в России, Франции и Англии приняли бы за смертельную обиду, были неприятны вероятно одному только профессору. Все прочие уверяли меня, что в моем утверждении, к сожалению, заключается правда, но каждый при этом исключал из нее себя. Должен признаться, мне приятнее было бы видеть, если б они защищали против иностранцев свои национальные ошибки.

На следующее утро я получил записку, писанную рукой Гете, с моим именем и фамилией: он, в очень вежливых выражениях, приглашал меня на прогулку. Хотя и пораженный этой неожиданной вежливостью, я принял приглашение, и часом позже очутился один в коляске с великим человеком. Было великолепное утро, и крепкий старец казался юношески освеженным всеоживляющею весною. Лицо его озарялось необычной веселостью, и взор сверкал внутренним огнем; эта его живость, при преклонном его возрасте, умерялась только мужественным его спокойствием. Когда он со мною здоровался, он с дружеской приветливостью произнес: «Граф! Вы вчера с такой небрежностью роняли некоторые драгоценности, которые немцы лучше умеют беречь, что возбудили во мне желание ближе познакомиться со столь богатым человеком».—К какому же именно богатству мне отнести ваш интерес, г. тайный советник?—«К вашим идеям», отвечал он. Я поблагодарил с поклоном за комплимент, показавшийся мне недостаточно обоснованным. «Без лести, граф!—продолжал он, не дав мне выразить мою мысль.—У меня было много случаев разбираться в одобрениях, высказываемых людьми посредственными, и потому вы без опасения можете допустить, что я приобрел ловкость распознавать человека самостоятельного по самым неуловимым оттенкам в языке и поведении. Я нахожусь в положении Вольтера: он ни к чему так горячо не стремился, как к признанию со стороны тех, кто отказывал ему в своем одобрении. Вы возразите мне, что вы—не из тех, кто отказывает мне в одобрении; однако даже видимость мнения, противоречащего мнению общественному, правильность которого вы вчера оспаривали,—даже видимость такого мнения показывает мне человека с самостоятельным духом и характером, потому что только такой человек осмелится противоречить там, где все остальные согласны. Предоставляю вам решать, правильно ли мое суждение о вас».

Я возразил, что его суждение слишком льстит мне, на самом деле я без обиняков мог бы согласиться, что во мне была склонность к скромному сомненью вот в чем: в том, чтобы для такого великого человека, наслаждающегося всемирной славой, могло что-нибудь значить мнение какого-то странствующего кавалера, обыкновенного охотника за редкостями.

К этому нашему разговору примкнула в высшей степени интересная беседа об известности, значении и судьбе гетевых произведений. В этой беседе поэт раскрыл предо мной с доброжелательной откровенностью все самые глубокие черты его характера. Все главное, что он сказал тогда, я записал тотчас после прогулки, с намерением некогда обнародовать написанное, если смерть собеседника освободит меня совершенно от обязанности хранить тайну.

Вот в связном виде его слова—рапсодически, сокращенно и верно настолько, насколько удержала их память.

«Слава, любезный граф,—прекрасная пища души: она укрепляет и оживляет дух, освежает душу; слабое человеческое сердце склонно поэтому наслаждаться ею. Но на пути к известности быстро усваивается прене-

бражение ею. Публичное мнение (die öffentliche Meinung) обожествляет людей и хулит богов; оно часто восхваляет ошибки, от которых мы краснеем, и высмеивает добродетели, являющиеся нашею гордостью. Верьте мне: слава почти так же обидна, как дурная репутация. Тридцать лет борюсь я с пресыщенностью, и вы поняли бы это, если бы в течение немногих недель могли понаблюдать, как каждодневно некоторое число иностранцев желает восхищаться мною, а из них многие—как почти все французы и англичане—вовсе не читали моих произведений, и большинство меня не понимает. Смысл и значение моих произведений и моей жизни—это триумф чисто человеческого. Поэтому я никогда от него не освобождаюсь и наслаждаюсь славой, выпадающей на мою долю, но сладчайшим плодом для меня является понимание здорового человека. Поэтому даже противоречие тех, кто понимает чисто человеческое значение искусства, я ценю гораздо выше, чем болезненный энтузиазм экзальтированных поэтов нашего народа, которые душат меня фразами; поэтому я мог признать относительную справедливость вашего утверждения, что Германия меня не поняла. В немецком народе господствует дух чувствительной экзальтации, кажущийся мне странным: искусство и философия стоят оторванно от жизни, в абстрактной форме, далеко от природных источников, которые должны их питать. Я люблю настоящую народную духовную жизнь немцев и охотно блуждаю в ее тайниках, но в постоянном сопровождении здоровой жизненности. Жизнь я ставлю выше искусства, которое ее лишь украшает.

Вы правы: Байрон вполне меня понял, и, мне кажется, я понимаю его. Его суждение я ценю так высоко, как он—мое, но я не имел счастья познакомиться с его мнением во всем его объеме».

Это замечание, высказанное с особым ударением, объяснило мне вполне основной мотив интереса, проявленного Гете к моему разговору. Накануне вечером я обронил несколько слов о Байроне, которые не только свидетельствовали о моем близком знакомстве с таким особенным человеком, но позволяли предполагать, что у меня был случай ближе узнать его мнение о Гете. Действительно, в Венеции имел я счастье неоднократно насладиться дружественной беседой Байрона; после этого мне удалось не без труда отстранить—по крайней мере относительно меня—то предубеждение его против всех русских, которое поддерживалось тогда в нем греческими делами. Как ни странно, не мои лучшие свойства примирили его с моею национальностью, но мой тогдашний характер необузданного сорванца, который с величайшим равнодушием наслаждался жизнью и искусством ради того только, чтобы наслаждаться, не заботясь о расширении своих способностей и знаний. Байрон обращался со мной обыкновенно, как с невоспитанным ребенком, а во время своих капризов и чудачеств—даже с резкостью, но вместе с тем он оказывал мне, не имея причины опасаться от меня двуличия, больше доверия, чем любому из тогдашних своих знакомых, которые часто окружали его из эгоистических побуждений. Наше знакомство было не общением одинаково настроенных поклонников искусства, а общением жадных к жизни bonvivants, которые никогда не насыщаются. Я познакомился благодаря этому со многими особенностями частной жизни Байрона, сообщение которых воспринято было Гете с живейшим интересом и прервало самохарактеристику моего хозяина, чтобы еще больше ее усовершенствовать. У Байрона был обычай: в наши постоянные разговоры о прекрасных женщинах, которых оба мы с жаром пре-

следовали, вплетать промежуточные речи об искусстве,—благодаря этому он вовлек меня в круг своих мнений и сделал то, что я был в состоянии удовлетворить любопытство Гете. Поэтому я сказал ему, что действительно так счастлив, что могу дать ему некоторые разъяснения по поводу мнений Байрона о нем,—и я дал resumé моей беседы с Байроном об искусстве и литературе, в которых Гете часто являлся главной темой; оценку этих суждений Гете мог включить в продолжение своей интересной самохарактеристики. Впрочем я повел себя здесь не вполне откровенно и бескорыстно,—и это из уважения к приличию: оно позволяло мне передать только самое суждение Байрона, но не те выражения, в которых оно было заключено: они большей частью были таковы, что легко могли не понравиться Гете, хотя Байрон и питал к нему большую благожелательность. Так, он говорил часто, с большим юмором и малою почтительностью, о притворстве Гете и однажды выразился о нем: «Он—старый лис, который не покидает своего логовища и проповедует оттуда весьма прилично». Его «Избирательное сродство» и «Страдания Вертера» он называл высмеиванием брака, лучше которого даже услужливый дух его Мефистофеля не мог бы написать; конец обоих романов—вершина иронии. Между тем припоминание высказываний Байрона дало мне такой богатый материал для лестных отзывов, что я, без страха обидеть Гете, мог допустить кое-какие намеки на шероховатости мнений Байрона. Гете так был этим удовлетворен, что с необычной теплотой продолжал разговор и весь день оставался заинтересован одним этим предметом.

Мое понимание его философии я несколько раз успел ему высказать, и, казалось, оно ему особенно понравилось тем, что подкрепление ему он нашел в суждениях Байрона, столь ценимых им. Коснулись при этом многого такого, что Гете никогда не отважился бы повторить. Я высказал ему это мое предположение, и он, смеясь, сознался, что не намерен его отрицать. «Но раз уж мы вступили с вами в откровенную беседу,—сказал он,—хочу вам признаться, что смысл всего, о чем мы говорили, я вложил во вторую часть моего «Фауста», и потому я уверен, что этот финал после моей смерти будет объявлен моими соотечественниками скучнейшим продуктом моей жизни».

И чудо! Через несколько лет после этого разговора попал в мои руки одновременно со второй частью «Фауста» номер видной немецкой газеты; в нем было сказано: «Как физическое явление этой книги пережило физическое существование Гете, так и живущий в ней дух пережил его гений» [2].

«Разговор» написан—или записан—с блеском, какой редко встретишь—а может быть и не встретишь—и на лучших страницах Эккермана: это в полном смысле слова образец литературно-колоквиального искусства. По самому содержанию своему «Разговор» почти беспримерен: Гете дан в двух своих явлениях: в общедоступном и в общенедоступном. «Лукавый царедворец» своего собственного двора, он церемонно принимает двух русских светских европейцев и затем с принужденною вежливостью, которую они находят однако несколько провинциальной, показывает им вечером свой двор, своих придворных, своих литераторов и хвалителей. Показ не имеет успеха: не только ко двору Гете, но и к нему самому в его сане некоронованного самодержца немецкой, а может быть и мировой словесности русские аристократы относятся без малейшего пиэтета, а с иронией умеряемой добродушием молодой веселости. Эту иронию можно бы счесть сочиненной, наигранной манерностью европейских dandy, обеспеченных кре-

постными вотчинами, превышающими территорию Веймарского герцогства. Но это заключение было бы неточно: один из этих dandy оказывается близко знавал дерзновеннейшего из поэтов и dandy новой Европы, самого Байрона, знавал в годы самого напряженного его бунтарства, и в суждениях русского графа прорывается там и сям беспокойный палящий огонь этого великого бунтаря, ненавистного всей Европе реставрационной реакции и «священно-союзного» филистерского благополучия. Устами этого «графа С.» сам Байрон высказывается о Гете, и с такой подлинной «любовью-ненавистью» («odi et amo»)—л ю б о в ь ю к его гению, н е н а в и с т ь ю к его «логовищу»: к феодально-веймарской благополучности,—что в этом «odi et amo» Байрон узнается ex ungue leonem. Гете на другой же день оборачивается к русскому графу другой своей стороной—общенедоступной; какую-то часть своего расположения к Байрону перенеся на его русского знакомца и собеседника, он—один на один, в коляске, на прогулке—делится с ним признаниями поистине изумительными. Он в один миг смывает с себя грим Юпитера, которому поклоняется Веймар и вся королевско-герцогская Германия, и на горе всем апологетам, феодальным и буржуазным, объявляет, что его слава благополучнейшего из смертных ему так же обидна, как дурная репутация, и исповедует, что, вопреки всем апологетам, видящим в нем самом апологета существующего строя, весь «смысл и значение его произведений и жизни—это триумф чисто человеческого»; он резко, подчеркнуто резко, отмежевывается этими и дальнейшими словами от попыток теологов, мистиков и идеалистов всех толков и сект экспроприировать в свою пользу его гений, творчество и жизнь. Он подчеркивает свою близость к Байрону, и все, что он говорит русскому собеседнику,—все, удар за ударом, разрушает—теперь уже полуторавековую—легенду о веймарском вседовольстве Гете своим обществом, средой, положением и олимпийской репутацией. Во всех пяти томах собранных Бидерманном разговоров и высказываний Гете и о Гете нет ни одного места, которое могло бы соперничать с этими страницами по исключительной остроте и необычности этих признаний старого Гете. Это признания Фауста, насильственно произведенного в тайные советники, почти поверившего в то, что он—тайный советник, а не Фауст, и вдруг ощутившего, что Фауст в нем не умирал, а только притаился под мундиром со звездою.

Но если с о д е р ж а н и е «Разговора» Гете «с русским графом С.» исключительно интересно и необычайно важно, то самый тон разговора поистине беспримерен. Все поведение, весь разговорный натиск, все беседные отзывы и отклики «графа С.» производят такое впечатление, будто в среду придворных какого-то церемоннейшего, избалованного всепочитанием короля забежал умный и немного озорной андерсеновский мальчик и воскликнул: «А ведь король-то голый!». Прочтя все разговоры Эккермана, все записи Сорэ, Фалька, Мюллера, Римера, все русские записи, впервые собранные в предлагаемой работе, можно решительно утверждать: с Гете зрелых и преклонных лет никто так не разговаривал. Разве у одного Наполеона был этот же тон совершенной независимости, мыслительной и жизненной свободы, какой был у «графа С.». Он совершенно автономен от гетева владычества над эпохой, всецело независим от его «властительства дум»; он не вдохнул в свои легкие ни одной самомалейшей бациллы гетеанства—все равно какого: гетеанства увлечения, ученичества, единомыслия, или гетеанства моды, поветрия, социально-политической заразительности. И в то же время этот негетеанец отлично осведомлен во всем,

что вышло из-под пера Гете, и в своих суждениях опирается на единомыслие с другим «властителем дум» Европы. По своему независимому, твердо равноправному тону «граф С.» не имеет сотоварища из числа всех собеседников Гете, чьи «разговоры» дошли до нас. Эта беседа, повторяю, явление единственное во всей необъятной гетеане.

Но кто же он, этот необычайный собеседник Гете, подвигнувший его и на необычайную беседу?

Напечатав «Разговор с русским графом С.» в первом издании своего труда, Бидерманн снабдил его таким примечанием: «К сожалению, источники этого отрывка не могут быть указаны. Отрывок находится в копии (Abschrift), где такое указание отсутствует, и восполнить его не удалось, несмотря на все старания. Между тем сообщение это, по беззаботно высказанным мнениям, раздавшимся из полу-Азии, носит на себе, несомненно, печать подлинности, и, с другой стороны, оно так замечательно, что нельзя было, несмотря на этот недостаток, не включить его в наше собрание» [3].

В этом заявлении самое досадное—это отсутствие какого бы то ни было указания на самый тот источник, который был в руках Бидерманна: на эту «копию» или «список», с которого он печатал «Разговор». Откуда он его получил? Какая это была рукопись—русская? немецкая? Каковы были ее палеографические признаки? С какой степенью точности она им воспроизведена в его труде? Ни намека в ответ на эти законнейшие вопросы критика и исследователя Бидерманн не дал.

Перепечатывая «Разговор» через двадцать лет в новом издании «Разговоров», Бидерманн попрежнему должен был признать, что «источник» «Разговора» остается необнаруженным. Тем не менее напечатан теперь «Разговор» уже с более пространным заголовком: «(1825—1830). Graf Alexander Grigorevitsch Stroganoff» [4]. Вот какие основания приводит для этого Бидерманн: «Frl. Adelheid von Schorn сообщила свидетельство издателя «Русского Архива» в Москве, Бартенева: он утверждал, что в числе посетителей Гете были графы Александр и Алексей Григорьевичи Строгановы. Первый, старший, должен быть поэтому автором рассказа. К какому времени относится посещение, твердо установить при всем том невозможно. Один Строганов был в Веймаре в феврале 1823 г., но Гете вследствие нездоровья не мог его принять. Единственной опорой для предположительной датировки является смерть Байрона—19 апреля 1824 г. Остальное неизвестно: «рассказ» этот остается для меня все-таки загадочным» [5]. При всей «загадочности» Бидерманн ввел в указатель имен краткую биографийку рассказчика: «Строганов, Александр Григорьевич, граф (ум. в 1857), русск. государственный деятель, посол в Мадриде 1805—1808, потом в Стокгольме, в Константинополе 1821; потом—в путешествиях» [6].

Можно подивиться, как мало воспользовался Бидерманн тем материалом, который заключен в дневниках Гете, а отчасти даже приведен в его собственном издании. Он ссылается на одно упоминанье о каком-то графе Строганове, который в феврале 1823 г. был в Веймаре, да Гете его из-за болезни не видел. Вот как отмечено это у Гете в дневнике: «18 февраля. Боль в сердце... Через Струве (русский посланник в Веймаре) уведомил о себе Строганов, которого, к сожалению, я не мог видеть» [7].

Во втором томе своей книги Бидерманн мог бы найти очень авторитетное пояснение к этой записи Гете. Под № 2065 у него помещена выписка из записок Мюллера от 10/23 февраля 1823 г.: «С четверга до субботы беспрерывно чередовались улучшения и ухудшения в состоянии здоровья... Он

[Гете] часто повторял сожаление, что лишился посещений Строганова и что приостановил дальнейшую работу над Kunst und Alterthum». Упущенное из-за болезни «посещение Строганова» было для него чем-то важным и интересным, если он приравнял его своим сожалением к прерванной из-за недуга любимой работе. На другой день—23 февраля—Каролина Эглофштейн писала своей сестре Юлии (№ 2067): «Оттилия ухаживает за ним и проводит ночи. Она должна развлекать его и рассказывать ему, как и во дни здоровья. Он жалуется, что не видел Строганова, который выказал такое мужество в Константинополе» (welcher sich in Konstantinopel so brav benahm) [8]. «Строганова» этих двух отрывков Бидерманн считает тем же Александром Григорьевичем, которому усвояет и замечательный «Разговор»: в «указателе», при его имени, даны ссылки и на эти два отрывка, принадлежащие перу лиц, очень близких к Гете.—Но это—грубая ошибка: строка гр. Эглофштейн о константинопольском мужестве Строганова безошибочно указывает, что это был барон (с 1826 г.—граф) Григорий Александрович Строганов (1770—1857), бывший в 1816—1822 гг. русским послом при Оттоманской Порте, отец Александра Григорьевича. Это был человек широко известный в Европе. До Константинополя он был послом в Мадриде (1805—1810) и Стокгольме (1812—1816). Деятельность его в Константинополе обращала на себя внимание Европы—и Гете в том числе,—так как совпала с эпохой греческого движения, а потом восстания, когда Строганову пришлось вести сложную и двупланную политику: Александр I, под влиянием своего министра иностранных дел гр. И. А. Каподистрии (1776—1831), выказывал грекам в разных формах сочувствие к их освободительно-национальным стремлениям, но, «к противочувствиям привычен», в то же время уклонялся от прямой помощи и заверял Порту в том, что, согласно обетам Священного Союза, признает нерушимость ее державных прав. В соответствии с этим Строганову приходилось усиливать то один, то другой, противоположный, регистр своего органа, то извлекать что-то единое из обоих регистров: и содействовать освобождению греков, согласно наказам греческого патриота—русского министра, и удерживать целостность Оттоманской империи по обетам императора. В глазах же народных масс, неискушенных в хитростях дипломатии, в суждении рядовых турок и греков Строганов был врагом Ислама и турок и заступником греков. Положение русского посольства в Константинополе особенно обострилось в 1821 г., когда вспыхнуло греческое восстание на островах и на материке и одновременно Александр Ипсиланти поднял знамя восстания в Молдавии, рядом с русской Бессарабией. 30 апреля 1821 г. был казнен греческий патриарх в Константинополе и произошла резня греков турками. Гр. А. Д. Блудова передавала такой позднейший толк турецких славян о Строганове: «Он был последний русский посол в Константинополе,—говорили о нем славяне еще лет 20 назад,—да еще в такое время, когда сажали послов в Семибашенный замок с тем, чтобы при объявлении войны обезглавить» [9]. Такого именно конца ждал для русской миссии А. И. Тургенев в 1821 г., когда с тревогой писал о своем брате Сергее, состоявшем при Строганове: «Сношения наши с Царьградом прекращены. Ожидаю или скорого свидания с братом, или... (Тургенев не может дописать фразы от ужасного предчувствия.—*С. Д.*). Эта неизвестность так волнует при вести, что русская миссия отбыла из Константинополя». Он же писал Вяземскому: «Ожидают войны... Но теперь сердце как-то обратилось к грекам. Они потеряли последнего заступника в бароне Строганове и в миссии.

С каким чувством смотрели они на отплывающий корабль его? Вот предмет для поэта русского. Байрон Андреевич, перенесись в Перу и скажи нам греческую быль!... Право, ты или Пушкин! Не позволяй перебивать у себя: вперед такого случая не будет» [10]. Политика Александра I в Турции и греческое восстание приковывали к себе внимание и Гете. Год спустя после несостоявшегося посещения Строганова канцлер Мюллер записал политический спор у Гете: «Гете был очень горяч, склонен противоречить. В политике высказывал противление общему, как говорят, настроению против императора Александра и по отношению к грекам... Самым замечательным из того, что он сказал, было то, что он рассматривает современные греческие войны как аналогию и суррогат крестовых походов, с той точки зрения, что они, как и те, способствуют ослаблению мощи османов» [11].

Этот интерес Гете к греческим делам и к войнам России с Турцией впоследствии особенно ярко сказался в 1828—1829 гг., когда он с сочувствием следил за действиями русских войск, о чем свидетельствуют и записи в дневнике, и разговоры с Эккерманом [12]. Понятен поэтому был тот живой интерес, с которым Гете встретил появление в Веймаре того самого русского посла, за действиями которого в Константинополе в 1821 г. Гете следил с живым вниманием, и тем понятнее сожаление Гете, что он не мог видеть этого интересного человека.

Исправим Бидерманна: та биографийка, которую он присоединяет в «указателе» к имени Александра Григорьевича Строганова, в действительности представляет два-три факта из биографии его отца, знаменитого дипломата.

Но в дневнике Гете есть и Александр Григорьевич Строганов, что вовсе упустил из виду ученый немецкий гетеанец.

Летом 1823 г. Гете встретился с ним в Мариенбаде и записал его посещение под 30 июля: «Граф Строганов, позднее министр Бюлов» [13]. Что речь здесь идет именно об Александре Григорьевиче Строганове, можно убедиться из «мариенбадского курортного листка», где значится: «Г. барон Строганов, флигель-адъютант русского императора и капитан гвардейского Преображенского полка, с женой, рожденной гр. Кочубей, из С.-Петербурга, живет у Ремер» [14]. Эти указания совершенно точны: Александр Григорьевич Строганов (1795—1891) был тогда не графом, как его отметил Гете, а бароном (графом он сделался с 1826 г.), был штабс-капитаном Преображенского полка и флигель-адъютантом (с 1821 г.) императора; женат он был (с 1820 г.) на графине Наталье Викторовне Кочубей (1800—1855),— той самой, что значится в «дон-жуанском списке» Пушкина, упомянута в его дневнике и как первая его любовь прошла по целой гирлянде его стихотворений; превосходный портрет ее писан О. А. Кипренским. А. Г. Строганов был третьим сыном дипломата. Получив специальное образование в корпусе инженеров путей сообщения, он начал военную службу в гвардейской артиллерийской бригаде и принял участие в наполеоновских войнах: был участник сражений под Дрезденом и Кульмом и вступил с русскими войсками в Париж в 1814 г. Впоследствии, при Николае I, он занимал ряд крупных административных постов: в 1834—1836 гг. был товарищем министра внутренних дел, губернатором в Чернигове, Полтаве, Харькове, управлял министерством внутренних дел в 1839—1841 гг.; в 1849 г. был назначен членом Государственного совета; в 1854 г. получил назначение военным губернатором Петербурга, затем в течение 9 лет занимал пост новороссийского генерал-губернатора. После отставки он жил в Одессе и был избран «почетным гражданином» этого города за хлопоты по преоб-

разованию Ришельевского лицея в университет. На юге он интересовался греко-римскими древностями, во множестве имеющимися на северном побережье Черного моря, и был президентом Одесского общества истории и древностей, давая средства для его изданий. А. Г. Строганов был человеком широко образованным: он читал на нескольких языках, обладал разносторонними научными и литературными интересами и чрезвычайно умножил знаменитую строгановскую семейную библиотеку.

Эту драгоценную библиотеку с униками в различных областях знания, искусства, литературы, с великолепным подбором изданий эпохи Великой французской революции А. Г. Строганов пожертвовал в 1880 г. Томскому университету: это было своеобразное «отдарение» за те богатства, которые в течение столетий Сибирь доставила семье Строгановых. Библиотека Строгановых составляет главное богатство Томского университета [15]. Обладатель огромного состояния, связанного с Уралом и Сибирью, Строганов был любителем минералогии, и на этой почве у него в Мариенбаде же завязались в 1823 г. и продолжались сношения с Гете, следы которых сохранились в дневнике поэта. В этом отношении А. Строганов вероятно напомнил Гете кн. Д. А. Голицына и гр. Г. К. Разумовского, его приятелей «по минералогии». 8 августа 1823 г. Гете записал: «Штадельман—занят был упаковкой минералов для Строганова». Гете посылал ему в обмен минералы из своих собраний и запасов. В 1827 г. продолжались эти минералогические сношения Гете со Строгановым. 28 сентября он записал: «Г. надворный советник Швабе, принесший минералы от графа Строганова». На другой день: «От Serenissimo (от герцога.—*С. Д.*) также прекрасные строгановские минералы для Иены». 3 октября Гете работал над строгановскими минералами: «Составлял каталог на сибирские минералы по этикеткам... Г-ну горному советнику Ленцу в Иену. Извещение о минералах Александра Строганова». Этому Ленцу Гете писал: «С удовольствием сообщаю, что благодаря одолжению гр. Строганова Serenissimus (герцог.—*С. Д.*) получил уже ряд прекрасных сибирских камней. На-днях они будут запакованы и отправлены. Будьте добры, приготовьте диплом почетного члена нашего общества этому господину и пришлите мне при следующей отправке» [16]. Минералогические коллекции Иенского университета были обогащены Строгановым. Но от него же обогащались и собственные коллекции Гете: конечно главным образом Строганову обязан Гете теми изумрудами, бериллами, топазами, гранатами, цирконами, турмалинами и прочими драгоценными камнями, которые и по сей день хранятся в его минералогической коллекции в его веймарском доме [17].

Приведенных упоминаний об А. Г. Строганове в дневниках Гете достаточно, чтоб установить—вопреки Бидерманну—прямое знакомство Гете и неоднолетние (1823—1827) сношения его с Александром Григорьевичем Строгановым.

Это чрезвычайно важно: это доказывает, что именно этот Строганов мог быть тем «русским графом С.», с которым Гете вел свой замечательный разговор. Если вспомнить, что в 1825—1831 гг. графу Александру Григорьевичу было 30—36 лет, то года его вполне соответствуют возрасту примечательного собеседника Гете. Другие «русские графы на С.» —например подходящий по возрасту и по складу умственному и нравственному Самойлов, Николай Александрович (умер в 1841 г.), знакомец П. А. Вяземского, Пушкина, А. И. Тургенева и др., красавец и остроумец,—отсутствуют в дневнике Гете и не известны среди его знакомцев.

Первая страница докладной записки флигель-адъютанта графа А. Г. Строганова о волнениях на заводах купца Расторгуева

Ленинградское отделение Центрархива

Из автобиографических подробностей, вкрапленных в рассказ, налицо две: 1) у рассказчика есть младший брат Алексей и 2) рассказчик встречался с Байроном в Венеции. Первому условию вполне удовлетворяет Александр Строганов: его младшего брата звали Алексеем, в начале 20-х годов он служил при министерстве иностранных дел и носил звание камер-юнкера. Младшего же брата гр. Самойлова звали Михаилом [18]. У нас нет прямых сведений о знакомстве Александра Строганова с Байроном, но нет, с другой стороны, ни фактических, ни биографических, ни хронологических препятствий для такого знакомства. Какой-то след особой осведомленности Байрона о Строгановых даже отыскивается в его сочинениях. В CXLIX строфе первой песни «Дон Жуана» Джулия, чтоб привести мужу неотразимое доказательство своей верности, говорит ему с гневом:

Шесть месяцев вздыхал певец Каццани
У ног моих. «Из всех испанских дам
Лишь непорочны вы»,—граф Корниани
Так говорил.—За что же этот срам?
Граф Строганов писал мне ряд посланий:
Осталась я глуха к его мольбам.

Это—отзвук мадридской дон-жуанской славы гр. Григория Александровича (1805—1810). Биографии гр. Александра Григорьевича не существует: благодаря этому не представляется пока возможным найти в ней точные место и время для его встречи с Байроном, но нет и возражений против нее. Байрон приехал в Венецию в ноябре 1816 г. и с выездами и отлучками в другие места Италии прожил в ней до мая 1819 г. [19]. В эту пору гр. А. Строганову было 21—24 года—тот самый возраст, которым, судя по рассказу, обладал при встречах с Байроном собеседник Гете.

Как выше доказано, прямое знакомство Александра Строганова с Гете—факт, засвидетельствованный дневником Гете. Гораздо труднее найти время

той замечательной встречи его с Гете, которая описана в «Разговоре». Когда она могла произойти—до или после записи Гете о мариенбадской встрече 1823 года? По смыслу рассказа —особенно первой его половины, касающейся утреннего визита,—выходит, что этот принужденный визит двух молодых Строгановых к Гете был первым их знакомством со знаменитым писателем. Характер записи Гете 1823 г. таков, что позволяет думать, что мариенбадское свидание, наоборот, не было первым свиданием: Гете не прибавляет к «графу Строганову» никакого эпитета, ни единого пояснения: ни указания на чин, должность и т. п., ни указания на то, кем он рекомендован, представлен, где встречен и т. п., что Гете делает обычно, когда отмечает встречу с новым для него лицом. Поэтому следовало бы отнести первую встречу Строганова с Гете ко времени до 1823 г. Но это требовало бы допущения, что разговор происходил еще при жизни Байрона. Дает ли «Разговор» на это право? Бидерманн считает, что разговор происходит после смерти Байрона, и потому первой возможной его датой считает 1825 г. Но текст «Разговора» не дает никаких прямых указаний на то, что беседа происходит не при жизни Байрона, хотя скорее выносишь из беседы именно такое впечатление. Трудности хронологического определения усиливаются, если вспомнить, что Гете отмечал в дневнике даже малейшие факты повседневной жизни и самые рядовые посещения ничем не замечательных лиц: трудно объяснить себе, почему же он не записал ни утреннего визита двух молодых Строгановых, ни вечернего, столь живого и острого собрания у него по случаю их приезда, ни, наконец, прогулки с Александром Строгановым в коляске, сопровождавшейся исключительным по содержанию разговором? Гете был, правда, не любитель вносить в дневник рассуждения и высказывания свои и чужие, но, строгий летописец своей повседневности, он постоянно регистрировал все визиты, посещения, прогулки, поездки и т. п., и трудно понять, почему он не зарегистрировал ни одного из трех последовательных внешних фактов, связанных со Строгановыми. Вопрос должно признать нерешенным, как остается нерешенным и происхождение самого текста, сообщенного Бидерманном. Русский (или быть может французский или немецкий) его оригинал мне не удалось разыскать.

Рукописное наследство А. Г. Строганова, сколько знаем, доселе неизвестно и необнародовано.

Сам А. Г. Строганов несколько разъясняет историю текста его «Разговора». Приступая к изложению самой беседы с Гете, ведшейся в коляске, он поясняет: «Все главное, что он сказал тогда, я записал тотчас после прогулки, с намерением некогда обнародовать написанное». Итак, в основе всего «Разговора» лежит первоначальная запись, сделанная в самый день беседы с Гете; запись эта впоследствии дополнена и вправлена в рамку повествовательного характера.

В том, что «Разговор» мог принадлежать именно А. Г. Строганову, не может быть сомнений. Здесь стоит вспомнить и устное, как приходится думать, свидетельство П. И. Бартенева, на которое со слов Аделаиды Шорн ссылается Бидерманн. Эта Шорн—дочь Иоганна-Карла-Людвига Шорна (1793—1842), историка искусства, с 1833 г. заведывавшего художественными учреждениями в Веймаре. Есть указания, что «Жуковский вел переписку» с ним; во всяком случае в письмах своих к канцлеру Мюллеру (1838—1842) он постоянно посылал Шорнам, а после его смерти—жене его (1842—1846) поклоны, интересовался их домашними делами и

посвящал в такие интимные свои дела, как женитьба [20]. Бартеневское свидетельство находится в полном согласии с рассмотренными выше данными в пользу посещения Гете Александром и Алексеем Строгановыми.

Но есть еще одно, совершенно неожиданное свидетельство в пользу принадлежности «Разговора с Гете» именно гр. А. Г. Строганову.

Я уже отмечал, что по своему тону, по внутренней свободе от какого бы то ни было гетепоклонения «Разговор» не имеет себе равных; по отрицательному же отношению к гетеву «олимпийству» у Строганова есть только один единомышленник: декабрист Кюхельбекер. В Строганове нет и тени приятия Гете во всем его быте и укладе, украшаемом декорациями Олимпа: это конечно потому, что у Строганова есть какая-то близость к самому мятежному поэту Европы—Байрону. Почему этот ненавистник реакционной пошлости и пошлой реакции отметил в Венеции этого русского барченка? Вряд ли за одно то, что с ним можно было говорить о красивых женщинах. Очевидно в Строганове нашел Байрон что-то, хотя бы в малой степени сродное его собственному неприятию Европы Священного Союза, возглавляемого Россией. Байрон не скрывал перед Строгановым своей неприязни к России аракчеевского кнута и однако дружил с этим русским гвардейцем из высшего круга: без сомнения оттого, что видел в нем не сторонника, а противника этого и всяческого кнута. Только такой собеседник Байрона мог так язвительно критиковать реакционную веймарскую придворно-гетеанскую среду и самого Гете, поскольку он был причастен к ней. Кюхельбекер—по этим же основаниям—стремился и в старике Гете утвердить «прометейство», а не «олимпийство».

У них—одно умонастроение, окрашенное в преддекабрьские тона: оттого они оба так резко выделяются из всех русских посетителей Гете.

Строганов был человеком декабристских чувств и настроений. Ему принадлежит почетное место в одной главе «из истории рабочего движения

Последняя страница докладной записки флигель-адъютанта графа А. Г. Строганова о волнениях на заводах купца Расторгуева

Ленинградское отделение Центрархива

эпохи декабристов», открытой исследованиями М. В. Нечкиной. В 1822 г. пронеслась волна рабочих волнений на уральских заводах. Доведенные до отчаяния крепостной эксплоатацией, задержкой или невыдачей заработной платы, вычетами из нее, голоданием, прикрепленностью к заводам, полной бесправностью рабочие бросали работу и всем «скопом уходили в город жаловаться начальству». В марте—ноябре 1822 г. произошло подобное волнение на Кыштымском заводе. Оно перешло к формам рабочего организованного восстания: было создано «рабочее правление» на заводах: «была поставлена агитация—завод втягивал в восстание соседние заводы и деревни»; «агитация шла под лозунгом освобождения крестьян от крепостной зависимости; рабочие запасались оружием и готовились к встрече с правительственными войсками». Чтобы через несколько месяцев покончить с этим восстанием, правительству пришлось послать на Кыштымские заводы $2^1/_2$ тысячи солдат. Однако брожение на заводах не угасало, и напуганный декабрьским восстанием 1825 г. Николай I послал в 1826 г. для расследования «беспорядков на Кыштымских заводах» флигель-адъютанта гр. А. Г. Строганова. Он представил императору замечательную «Записку», в которой суммировал результаты своего расследования. Они все оказались в пользу рабочих. По словам Строганова, владелец заводов, купец Расторгуев, владевший 6880 душами, «не имел никакой другой цели, кроме корыстолюбия и умножения доходов посредством беспримерного угнетения и разорения людей... Участь сих несчастных зависела всегда от произвола и жестокости заводосодержателя, что и было единственною причиною первого расстройства и неповиновения... Заводчик Расторгуев, опасаясь строгой ответственности за беспорядки, коих сам был виною, желал уже, чтобы люди, угнетенные им, обратились в бунтовщиков, не повинующихся гласу законов, дабы чрез то некоторым образом отклонить от себя ответственность. Он не ошибся в предположении своем, ибо суждение екатеринбургского уездного суда и пермского горного правления обратилось не на худое и притеснительное Расторгуева управление, а на поступки и неповиновение заводских людей, которых и подвергли наказанию, а некоторых и ссылке в Сибирь». Яркими чертами рисует Строганов положение рабочих на заводах в 1824—1825 гг.: «Для увеличения доходов и ненасытного корыстолюбия стали работы возлагать без всякой соразмерности с силами человеческими, и вскоре за сим строгая взыскательность обратилась в жестокость и тиранство... Двести и триста ударов палками до прибытия моего в сии заводы почиталось лишь понудительным средством к прилежной работе.

...Все, что может увеличить добывание золота и доходы, корыстолюбивым и безжалостным попечителем придумано, предпринято и исполнено; но нигде не заметно следа отеческого и христианского попечения о благосостоянии людей, которых здесь можно смело сравнить по скудным платам за работы с каторжными, а по изнурениям—с неграми африканских берегов».

Записка Строганова произвела сильное впечатление в петербургских верхах: комитет министров постановил, с санкции Николая I, обратиться ко всем частным заводчикам со строгим предписанием не обострять создавшегося положения, не притеснять рабочих, относиться к ним «по-христиански» и т. д. Николай I был очень взволнован происшедшим и всячески торопил с проведением в жизнь постановления комитета министров. Это видно из его резолюции на журнале комитета: «Согласен, дело в Сенате кончить, елико возможно скорее».

Вот как оценивает записку гр. А. Г. Строганова современный историк пролетариата в России: «Записка А. Г. Строганова—замечательный документ... Бесспорна ее сила, красочность, подчас художественность. Этот документ легко можно использовать для педагогической или агитационной работы—он ярок и убедителен даже для неподготовленного читателя... Строганов в этом документе подчас говорит языком либерального дворянства, он осмеливается в официальной записке, обращенной к высшему начальству, употреблять по отношению к мучителям рабочих такие слова, как «самовластие» и «тиранство», дерзко сравнивает положение рабочих с положением «негров африканских берегов» и каторжников, находя впрочем, что последним лучше, чем рабочим,—на них правительство отпускает большие суммы, чем фабрикант на рабочих. Основная предпосылка рассуждений Строганова—мысль о достоинстве человека, которого он подчеркнуто замечает в крепостном рабочем. Бросаются в глаза ирония и сатирический стиль записки. Екатеринбургский уездный суд осудил приказчика, убившего рабочего: «Какая неимоверная деятельность и неслыханное в Пермской губ. правосудие!—иронизирует Строганов.—Но сколько прежде подобных случаев сокрыто было под общим наименованием скоропостижной смерти? Не для того ли единственно в Саймановском руднике, где нет ни церкви, ни молитвенного дома, ни постоянного жилья для работников, заведено кладбище, на котором хоронят скоропостижно умерших?» На расторгуевские заводы ездили же и прежде ревизоры, почему же они не заметили вопиющих фактов? «Большая часть ревизоров,—отвечает Строганов,—приступая к исполнению возложенных на них обязанностей, обращает все внимание свое или на качества напитков, хранящихся в запасе у каждого приказчика, или на наличность экстраординарной суммы и, судя о состоянии крестьян и управлении заводов по числу откупоренных бутылок шампанского, или запечатанных пучков ассигнаций, из коих отделяется им часть, сообразно с обстоятельствами, оправдывают заводчиков или делают выгодные о его управлении представления» [21].

Сопоставление этой «Записки» с нашим «Разговором» не оставляет сомнения в том, что их автор—одно и то же лицо. Тот, кто в официальном рапорте Николаю I смел позволить себе говорить правду о положении рабочих, и говорить ее с совершенно исключительной в официальных документах иронией по адресу провинциальных «слуг царевых»,—тот мог позволить себе сказать правду и в лицо веймарскому литературному самодержцу, с убийственной иронией по адресу его прислужников. Тот же тон независимого суждения и прямой мыслительной честности, который пленяет в «Разговоре», господствует и в «Записке». У ней тот же литературный блеск и та же убежденность человека декабристских настроений. А. Г. Строганов был один и тот же и на Урале, и в Веймаре, в гостиной Гете и в кабинете Николая Павловича.

Прочтя «Записку», мы понимаем теперь, почему Байрон мог разговаривать и дружить с одним из флигель-адъютантов Александра I, признаваемого им за предателя дела освобождения греков: он мог дружить потому же, почему этот флигель-адъютант после декабрьского «усмирения» и в годы торжества реакции мог писать Николаю I свой честный рапорт в защиту рабочих и в обвинение царских чиновников. Рапорт этот написан как будто рукою уцелевшего декабриста, которому дело раскрепощения крепостных рабочих было так же близко, как Н. Тургеневу дело раскрепощения крепостных крестьян.

«Разговор» Александра Строганова имеет все права на серьезнейшее внимание изучающих Гете. В нем обладаем мы одним из важнейших материалов для пересмотра «олимпийской легенды» о Гете,—пересмотра, который стоит на ближайшей очереди в науке о Гете и который—в этом нет сомнения—приведет к отвержению этой легенды.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Предполагаю, что это был Бьелке, гофмаршал веймарского двора, обычный чичероне русских, вверенных его попечению Марией Павловной.

[2] Bied., B. VIII, Lpz., 1890, S. 213—228, № 1435; во 2-м издании: Bied., B. IV, Lpz., 1910, S. 403—412, № 3010. Перевод М. А. Моисеевой (по 2-му изданию, исправленному).

[3] Bied., B. VIII, S. 407. Бидерманн выражал надежду, что обнародование дневников Гете поможет отыскать «русского графа» с фамилией С. из числа посетителей Гете.

[4] Bied., B. IV, S. 403; B. V, S. 182.

[5] Bied., B. V, S. 182.

[6] Bied., B. V, S. 432.

[7] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 17.

[8] Bied., B. II, S. 616, 618.

[9] «Р. А.» 1879, т. III, стр. 484.

[10] Письма к Вяземскому от 9 и 12 августа.—«О. А.», т. II, стр. 196, 198.

[11] Müller, S. 157.

[12] См. гл. VII, § 1.

[13] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 85; IV Abt., B. XXXVII, S. 157—упоминание об А. Строганове в письме к Августу Гете из Мариенбада от 6/VIII 1823 г.

[14] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 368.

[15] N., Библиотека гр. Строганова в Томском университете.—*«Русский библиофил»* 1914, т. II, стр. 5—10; на стр. 10—24 перечни редких изданий с воспроизведениями.

[16] «W. A.», III Abt., B. IX, S. 89; B. XI, S. 116—119; IV Abt., B. XLIII, S. 98. И. К. Штадельман—камердинер Гете в 1817—1824 гг. Фр.-В. Швабе—лейб-медик в Веймаре. И.-Г. Ленц (1748—1832)—преподаватель минералогии в Иене.

[17] Пользуюсь списком «Sibirische Mineralien», предоставленным мне дирекцией Гётевского национального музея в Веймаре.

[18] Кн. П. В. Долгоруков, Российская родословная книга, часть 2-я. СПБ, 1855, стр. 211. Колено XI (сыновья Григория Александровича Строганова): 31. Сергей. 32. Николай. 33. Александр. 34. Алексей.—В. Руммель и В. Голубцов, Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. II, 1887, стр. 354. Из литературы об А-дре Г. Строганове. «Р. Б. С.», том: Смеловский—Суворина. СПБ, 1909, стр. 484—485. «Отчет по Государственному совету за 1891 г.». СПБ, 1892, приложения, стр. 25—28.

[19] The works of Lord Byron. Vol. IV. Letters and Journals. L., 1900, p. 5—389.

[20] Е. В. Петухов, Письма В. А. Жуковского к канцлеру Мюллеру.—«Новый сборник статей по славяноведению». СПБ, 1905, стр. 339—341; Schorn, стр. 285—286.

[21] М. В. Нечкина, Из истории рабочего движения эпохи декабристов.—«История пролетариата СССР». Сборник II. Изд. Комакадемии. М., 1930, стр. 250—263. В «Записке» Г. А. Строганова заслуживает упоминания место, поражающее смелостью социальных сопоставлений: «Работник с семейством, состоящим из малолетних детей или престарелых и увечных родителей, не пользующийся в сих заводах господским провиантом, за труды свои получает плату весьма недостаточную и на один сухой хлеб, следовательно имеет несравненно менее против производимого правительством пересыльным арестантам 9 и 12-копеечного в сутки содержания» (стр. 263).

Иными словами, Строганов сказал Николаю I, что каторжникам у него живется лучше, чем рабочим! В другом замечании: «ни малолетним детям, ни престарелым и увечным, не могущим исправлять работ, не доставляется никакого содержания»—Строганов пытался провести новую тогда мысль о праве детей и инвалидов труда на социальное обеспечение.

У своих современников Строганов пользовался репутацией человека чести и добра. Верный передатчик общей молвы К. Я. Булгаков называл его «человеком умным, благородным и расположенным к добру». («Р. А.» 1904, кн. I, стр. 407).

Глава седьмая

МОСКОВСКИЕ ЛЮБОМУДРЫ У ГЕТЕ

I. ВЕРТЕР AUS DER STADT MOSKAU

АРХИВНЫЕ ЮНОШИ И ЛЮБОМУДРЫ.—МОСКОВСКИЕ КРУЖКИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 20-Х ГОДОВ.—ШЕЛЛИНГИАНСТВО И ГЕТЕАНСТВО ЛЮБОМУДРОВ И ЕГО СОЦИАЛЬНЫЕ КОРНИ.—РАЗНОЧИНЕЦ СРЕДИ РЮРИКОВИЧЕЙ.—Н. М. РОЖАЛИН И Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ.—КН. В. Ф. ОДОЕВСКИЙ И ГЕТЕ.—ЛЮБОМУДРЫ И 14-Е ДЕКАБРЯ.—САЛОН З. А. ВОЛКОНСКОЙ И „КРАСНОВОРОТСКАЯ РЕСПУБЛИКА“ А. П. ЕЛАГИНОЙ.—ПУШКИН И „МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК“.—ОРГАН РУССКОГО ГЕТЕАНСТВА.—ЕГО ПРОГРАММА В СВЯЗИ С ПОСЛЕДЕКАБРЬСКОЙ РЕАКЦИЕЙ.—РОЖАЛИН В „МОСКОВСКОМ ВЕСТНИКЕ“.—РОЖАЛИН—ПЕРЕВОДЧИК „ВЕРТЕРА“.—РОЖАЛИН У ЖУКОВСКОГО И ЗА ГРАНИЦЕЙ.—ДВА ПИСЬМА РОЖАЛИНА О ПОСЕЩЕНИИ ГЕТЕ.—ГЕТЕ В ЖИЗНИ И ГЕТЕ В СКУЛЬПТУРЕ.—РАЗГОВОРЫ С ГЕТЕ.—НЕДОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ГЕТЕ И РОЖАЛИНЫМ.—РОЖАЛИН О ГЕРМАНИИ, О ГЕТЕ И О ФИЛОСОФИИ.—ПОСЛЕДУЮЩАЯ СУДЬБА МОСКОВСКОГО ВЕРТЕРА.

В самом начале 20-х годов около университета и немецкой философии уже перезнакомились между собою все будущие любомудры, «сок умной молодежи» дворянской Москвы. «Немецкая философия, и в особенности творения Шеллинга нас всех так к себе приковывали,—вспоминал впоследствии А. И. Кошелев,—что все наше время мы посвящали немецким любомудрам. В это время бывали у нас вечерние беседы, продолжавшиеся далеко за полночь. Наш кружок все более и более разрастался и сплотнялся. Главными самыми деятельными участниками в нем были Ив. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин, кн. В. Одоевский, Титов, Шевырев, Мельгунов и я». К половине 20-х годов большинство этих любомудров вступило на службу в Архив Министерства иностранных дел. Архив прослыл средоточием «блестящей» московской молодежи, и звание «архивного юноши сделалось весьма почетным». Но «в это же время,—рассказывает Кошелев,—составилось у нас два общества: одно литературное, другое философское». Первое—известный кружок С. Е. Раича (1792—1855), где кроме любомудров бывали еще Ф. И. Тютчев, Н. В. Путята, Д. П. Ознобишин, А. С. Норов, Андрей Н. Муравьев и др., а почетными гостями являлись лица в роде московского губернатора кн. Д. В. Голицына, министра в отставке И. И. Дмитриева и др. «Другое общество»,—наоборот,—«собиралось тайно, и об его существовании участники никому не говорили». Это был, в тесном смысле слова, «кружок любомудров», насквозь философический. Этот отсев из более широких и емких закромов—архивного и раичевского—выдержали только: кн. В. Ф. Одоевский, Ив. В. Киреевский, А. И. Кошелев и Д. В. Веневитинов, пятым был Николай Матвеевич Рожалин (1805—1834) [1].

Имена четырех первых любомудров широко известны. Рожалин—одна из наименее освещенных фигур в истории русской литературы. Московские любомудры, как и архивные юноши, вербовались из отпрысков старых дворянских фамилий, из рюриковичей с княжескими титулами. Рожалин был по паспорту дворянин, но дед его был киевский бурсак, променявший бурсу на петербургский «гошпиталь»: он учился медицине в Лейпциге и Берлине и, что всего примечательнее, на собственный кошт, вернулся doctor'ом, преподавал materiam medicam в петербургском госпитале и стяжал себе даже научное имя. Отец Рожалина шел уже столбовой медицинской дорогой и в 20-х годах был ординатором в московской Мариинской больнице, где служил вместе с отцом Достоевского [2]. Таким образом Н. М. Рожалин был птенцом одного из первых гнезд русской разночинной интеллигенции. В его умственном облике есть много черт, связывающих его с его родной средой, которая одна в России начала XIX ст.

соприкасалась с научным естествознанием. Кн. В. Одоевский звал его «скептиком». Рожалин в 1824 г. блестяще окончил Московский университет со степенью кандидата. Из него мог выйти замечательный филолог-классик и историк искусства. Он жил уроками и переводами. Он славился как преподаватель. Как рассказывает К. Полевой, в 1825 г. Московский университет присудил золотую медаль «одному князю за диссертацию на тему об эстетическом развитии греков и римлян, хотя все знали, что эту диссертацию писал не сам молодой князь, а по заказу его кандидат Рожалин, славившийся своими способностями» [3].

В кружок Раича и в содружество любомудров Рожалин вошел одной тропой с Дм. В. Веневитиновым: они были близкие друзья. Веневитинов дважды обращался к нему с посланиями, в которых высоко ставил дружбу и личность Рожалина.

Кружок любомудров собирался, по словам Кошелева, «в двух тесных коморках молодого Фауста», квартировавшего в доме Ланской, по Газетному переулку,—у Вл. Одоевского. «Тут господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окэн, Горрес и др. Тут мы иногда читали наши философские сочинения, но всего чаще беседовали о прочитанных нами творениях немецких любомудров. Начала, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед, христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше евангелия и других священных писаний» [4]. В этой любви к пантеизму Спинозы московские юноши были близки к Гете. Любомудрие—«наука наук»,—выражал Одоевский в «Мнемозине» общее мнение пятерых,—ибо в нем «живая связь всех наук». «Изучению какой-нибудь о с о б е н н о й части должно предшествовать познание в с е о б щ е г о чертежа наук» [5]. С успехами любомудрия московские юноши связывали самое бытие русской культуры: «Причина тому, что мы до сих пор и в искусстве, и в науках—только подражатели, есть презрение к любомудрию» [6]. Отсюда и убеждение любомудров в своем призвании: их «свежим, неиспорченным силам поручено быть может охранение и образование столь высокого дела»—насаждения в России философской культуры [7]. С наивностью юности, «безмятежно расцветшей» в стеклянных теплицах дворянской крепостной культуры, любомудры были убеждены в том, что выразил их Фауст из Газетного переулка: «Представьте только Истину во всем свете людям, и они предадутся ей, ибо она родная душе человека». «Сие самое,—поясняет Одоевский,—исполнилось теперь с философией Шеллинга» [8].

Юноши весьма «благоразумно» огородили свое невинное дворянское «любомудрие» тайной: в эпоху Фотия и Аракчеева и крайний идеализм мог казаться деянием противоправительственным. Еще в 1821 г. М. Магницкий подал донос на благонамереннейшего И. И. Давыдова, обвиняя его в следовании «богопротивному учению Шеллинга», основу коего составляют «вольнодумство и разврат»: «веру заменяет она (философия Шеллинга) знанием, таинственные символы—естественными изъяснениями; под видом идеализма проповедует она самый грубый материализм» [9]. Невиннейшее теплично-дворянское содружество любомудров оказывалось противозаконным, тем более, что в 1822 г. последовал указ «об уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ».

Позиция Рожалина в его дружеской философической среде была своеобразна. Вряд ли он разделял до конца все мистические чаяния и идеалистические упования своих друзей. В одной из папок с неизданными рукописями В. Одоевского П. Н. Сакулин нашел отрывок, озаглавленный «Наука инстинкта—ответ Рожалину»—прямой след разногласий между председателем кружка и его членом по важнейшему вопросу сознания. Одоевский старается убедить «скептика», что существует верховное начало человеческой жизни и что есть в человеке «внутреннее чувство». «Это чувство развитое составляет основание нравственности» [10]. Очевидно «скептик» Рожалин в какой-то мере отрицал и то и другое, и власть над

Н. М. РОЖАЛИН

Силуэт работы П. В. Киреевского из альбома А. П. Елагиной

Собрание Беэр, Москва

ним идеалистического любомудрия была более тверда лишь в областях гносеологии и эстетики.

Вера в универсализм философии и сверхуниверсализм системы Шеллинга заставляла любомудров умалять искусство в угоду философии. На это умаление шел—и круче других—даже Д. В. Веневитинов, сам истинный поэт. В своем диалоге «Анаксагор» он подвергает поэтов остракизму из идеальной республики, так как поэты «наслаждаются в собственном своем мире» и «уклоняются от цели всеобщего усовершенствования». «Философия есть истинная поэзия» [11]. «Обилие поэтов,—утверждает поэт,—есть признак легкомыслия народа» [12]. Нельзя быть последовательней! Но у этого поколения молодежи, как у Фауста, не одна, а «две души жили в груди»: одна «душа» жила туманами идеалистической философии, другая—солнечным миром поэзии Гете. Веневитинов сам наметил тот мост, по которому можно было от Шеллинга перейти в запретную область поэзии: «Истинные поэты всех народов, всех веков были глубокими мыслителями, были философами и, так сказать, венцом просвещения» [13]. Этот двойной венец поэта и мыслителя сиял, в глазах Веневитинова, только на голове Гете. Ни Байрон, ни Пушкин им не обладали: вероятно они были бы изгнаны из строгой

республики любомудров. В своем известном послании к Пушкину Веневитинов говорит о Гете:

Он наш,—жилец того же света;
Давно блестит его венец,
. . . .
Наставник наш, наставник твой...

Последнее неверно: Гете не был наставником Пушкина, но первое верно: Гете был избранником и наставником этой философической молодежи. «Пророк свободы смелой, тоской измученный поэт» Байрон не был властителем ее дум, и, помянув его и А. Шенье в послании к Пушкину, Веневитинов обратился не к ним, а к одному Гете: «наставник наш». Гетеанство Веневитинова общеизвестно: в его собственной лирике есть прямые отзвуки философического лирического волнения, порожденного лирикой Гете, и особенно «Фаустом»; он успел перевести «Земное странствие художника» и «Апофеоз художника» и мечтал перевести «Фауста»; ранняя смерть ограничила этот перевод отрывками.

Веневитинов так же возглавлял гетеанство любомудров, как Одоевский возглавлял их шеллингианство: оба они влияли на сотоварищей в этих двух направлениях. Это предпочтение Гете всем поэтам своего времени, столь решительное у любомудров в 20-х годах, сохранилось у них навсегда. В 1837—1839 гг. В. Одоевский написал свою утопию «4338-й год». Оказывается, в 4338 году один ученый пожалуется: «Вот, например, хоть слово н е м ц ы; сколько труда оно стоило нашим ученым, и все не могут добраться до настоящего его смысла», а другой ученый утешит его: «Немцы были народ, обитавший на юг от древней России: это, кажется, доказано». В конце концов потомков этих «немцев» покорили «дейчеры—народ знаменитый, от которого даже язык сохранился в нескольких отрывках, оставшихся от их поэта Гете» [14]. Так, и в 4338 году—по мнению верного любомудра,—когда спорным станет даже самое имя германцев, сохранятся стихи Гете: у времени не поднимется рука на него одного.

Шеллингиански-гетеанский путь любомудров пресекся в своем ровном развертывании только однажды—в 1825 году, в эпоху, когда, по припоминанию А. И. Кошелева, «чуть не все беспрестанно и безумолку осуждали действия правительства, и одни опасались революции, а другие»,—конечно молодежь,—«пламенно ее желали». В начале 1825 г. Кошелев встретился у своего родственника М. М. Нарышкина с Рылеевым, Пущиным, Е. Оболенским и другими декабристами и полученный от них политический заряд тотчас передал друзьям. В тот же день они много «толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления». Вследствие этого они «с особенной жадностью налегли на сочинения Бенжамен Констана, Ройэ-Коллара и других французских политических писателей», и на время немецкая философия сошла у них «с первого плана». «Первые известия о 14 декабря» произвели на любомудров «потрясающее впечатление»... Кошелеву даже показалось, «что для России уже наступил великий 1789 год... Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и компанию [нужно бы включить сюда и Гете]—ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначали» [15]. Веневитинов даже был ненадолго арестован в связи с сыском по декабрьскому делу.

Но очень скоро политическая вспышка любомудров погасла: она сменилась испугом. В атмосфере после декабрьских страхов они прикрыли свой кружок и сожгли его протоколы. Это было так же естественно, как мало естественна была внезапная страсть к политическому фехтованию. Гетеанцам и шеллингианцам оно было не к лицу. В философии эта дворянская молодежь уходила в слишком густые туманы, чтоб можно было пробиться сквозь них к тому живому историческому делу, которое пытались сделать декабристы: туманы шеллингианства являлись для этого слоя дворянской интеллигенции дымовой завесой, за которой делались как бы «несуществующими» для этих философических дворян те социальные и политические явления русской жизни, которые вызвали политическое выступление декабристов. Гетеанство только укрепляло эту позицию любомудров. Чрезвычайно показательно для их политического лица то, что они противопоставляли Гете Байрону. Байрон был любимым певцом декабристов, Гете пользовался у них несравненно меньшим признанием [16]. Любомудры, наоборот, и до декабря, и особенно после декабря стоят на стороне Гете, а не Байрона. Они чрезвычайно ценят «олимпийство» Гете, его эстетический консерватизм, именуемый объективностью: по их мнению, Байрон—весь в злобах дня и в бореньях чувств, весь в живой и преходящей текучести; Гете—наджизнен, наддневен и весь в неколебимой объективности бытия, не нуждающегося ни в каких переменах и бурях. Более того: Гете космичен. Он почти то же, что природа. Байрон психологичен. Он—почти то же, что случайность мятежа человеческих чувств и действований, а, значит, и случайность революции.

Таков смысл тех обычных в кругу любомудров противопоставлений Гете Байрону, которые нашли себе обширное место на страницах «Московского Вестника», но начались еще ранее. Еще в 1825 г. Рожалин вел в этом духе полемику с Н. А. Полевым. В «Московском Телеграфе» Полевой поддерживал декабристскую традицию освободительного байронизма и резко отмежевался и от Пушкина, когда заприметил в его новых созданиях отход от этой традиции.

Рожалин вместе с Веневитиновым вмешался в спор с Полевым по поводу I главы «Онегина». Полевой неосторожно обронил фразу: «Род, к которому принадлежит роман, есть тот самый, к которому принадлежат поэмы Байрона и Гете» [17]. Сопоставление имен Байрона и Гете с Пушкиным вызвало взрыв споров: с кем же Пушкин—с Байроном или с Гете? Кто он—романтик или классик? Субъективист или объективист? Полевому пришлось уточнять свою мысль [18],—и тут-то напал на него Рожалин в «Вестнике Европы». Он заподозревал у Полевого знание Гете: «Полевой полагал, что «Онегин» написан вроде «Дон Жуана» и «Беппо» и что у Гете есть подобные поэмы», «которых я,—язвительно замечал Рожалин,—к сожалению, не нашел в своем полном издании». «Г. Полевой [в попытке найти определение романтизму и классицизму] выставляет в пример ясного определения слова Ансильона о характере Гете и Шиллера: будто бы в творениях первого отражается вся природа, а в творениях последнего сам Шиллер. Изображать природу!—думал я,—если природа отразилась в творениях Гете, то не должна ли она была отразиться сперва в нем самом? Как мог выразить Шиллер себя самого, как не посредством той же природы?—«Изображая себя, Шиллер дал характер односторонности своим поэмам».—Мне кажется, что причина тому не в предмете творений, но в самом творце. Гете так же отражается в своих поэмах, как и Шиллер: в них виден он сам, а не кто

другой. Если Шиллер односторонен, а Гете нет, то сие потому, что последний получил от природы гений, ей самой равносильный, который в Природе видел самого себя и в бесконечном разнообразии и поэтому для всех идей своих находил в ней явления, для всех чувств своих—живую аллегорию—дар, которого не имел Шиллер в такой высокой степени, и потому, это правда, остался ограниченнее в своем взгляде»[19].

В этом полемическом выступлении у Рожалина место Байрона заступает Шиллер. Объективист Гете представлен здесь равным величайшей объективистке—Природе: что Гете, что Природа—одно. Поэтому все, что вне Гете, оказывается стоящим как бы вне природы: ему остается удел шаткости, приблизительности, произвольности, случайности. Таким путем всякое высказывание и каждый поэтический образ Гете приобретают нормативный, императивный характер в противоположность произвольным образам и ни для кого не обязательным высказываниям Шиллера и Байрона.

Рожалин говорит как будто то же самое, что и Полевой, который также ведь признает, что в Гете отражается природа, в Шиллере—лишь он сам; на деле же Рожалин прямо-таки космизирует Гете: не природа в нем отражается, а он сам—гений, «ей самой равносильный». Мир творчества Гете общеобязателен, как мир природы, тогда как идеи и образы Байрона и Шиллера—лишь игра и произвол случайности. Это—крайнее гетеанство, но это же и крайний консерватизм. Гете заполняет всю область человеческого творчества, и всякий бунт против Гете—бунт против природы. Вся наличность олимпийского вседовольства и политического консерватизма Гете делалась общеобязательной при такой равновеликости Гете и природы. «Наставник наш»—Гете—был действительно наставником любомудров в области искусства, и роль этого наставника была схожа с ролью другого «наставника»—Шеллинга—в области философии. «Вседовольство» гетеанского олимпийства помогло им принять последекабрьскую действительность точно так же, как мистическая завеса шеллингианства позволяла им не видеть торжества политической реакции в эпоху капитуляции дворянской интеллигенции перед правительством Николая I.

Пушкин—отличный судья в этом деле. Он, как известно, недолюбливал немецкую философию и не очень горячо относился к Гете, но в эпоху своего «примирения» с николаевской действительностью 30-х годов признал: «влияние ее [немецкой философии] было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения»[20]. Нельзя сказать точнее: Шеллинг и Гете удержали эту московскую дворянскую молодежь от участия в декабрьском восстании и ввели ее в то русло николаевской реакции, в которое Пушкин тщетно нудил себя войти.

После декабрьской вспышки любомудры спокойно и последовательно возвращаются к своей философии и гетеанству. У них уже нет обособленного кружка, но есть два места преимущественных встреч и собеседований: дом кн. З. А. Волконской и дом Авдотьи Петровны Елагиной. В первом больше музицировали и занимались поэзией, во втором больше философствовали и гетеанствовали. Салон кн. З. А. Волконской Вяземский называл «волшебным замком музыкального мира», гостиную А. П. Елагиной, где встречались несколько поколений русской литературы, прозвали «республикой привольной у Красных ворот». Племянница и друг Жуковского, Авдотья Петровна бывала и его эстетическим цензором: он доверялся ее

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ
Акварельный портрет неизвестного художника из альбома А. П. Елагиной
Собрание Беэр, Москва

вкусу, признавая, что у ней «чудное чутье поэзии, да и по-русски пишет она, как никто»[21]. Ее литературные вкусы отразили художественные влечения Жуковского: она была давней читательницей и почитательницей германских поэтов, и в конце 30-х годов мечтала вместе с сыном, Ив. Киреевским, перевести все романы Гете для издания Жуковского, которому не суждено было осуществиться. Она умела быть молодой среди товарищей и друзей своих сыновей и повидимому ближе всех ей был Рожалин, юноша из чуждой среды: он был ей дорог как сын и как новобранец германской философическо-эстетической культуры. Муж Авдотьи Петровны, А. А. Елагин, был человек философски образованный; он был одним из тех русских усадебных европейцев, которые окончательно повернулись лицом к Кенигсбергу Канта и Веймару Гете, отвернувшись от «устарелого» Фернея. Из заграничных противонаполеоновских походов он привез в белевскую усадьбу «Критику чистого разума», потом смененную на сочинения Шеллинга, и на сельском досуге переводил шеллинговы письма о догматизме и критицизме[22]. В литературных своих симпатиях он также был на стороне Германии и непрочь был от меценатства гетелюбивым начинаниям любомудрой молодежи.

Литературное поколение декабристов ушло на виселицу и в Сибирь, и на его место поспешило встать поколение любомудров. Погодинский альманах «Урания», вышедший из раиче-веневитиновского окружения, поспешил в 1826 г. заменить загашенную «Полярную Звезду» Бестужева и Рылеева. Успех «Урании» побудил веневитиновцев приняться за второй— «Гермес», но он должен был стоять еще дальше от современности, чем первый: «Гермес» весь посвящался переводам из классиков. Выбор материала обнаруживал устойчивое веймарианство: Погодин сел за «Геца фон Бер-

лихингена», Веневитинов—за «Эгмонта», Шевырев—за то, что Гете высоко ценил в театре Шиллера,—за «Валленштейнов лагерь» (известно, что многие эпизоды его подсказаны Шиллеру Гете, а кое-что принадлежит перу самого Гете), Рожалин переводил шиллерова «Мизантропа». Предприятие выказывало большой эстетический вкус любомудров, но малую политическую опытность: половина переводимого была нецензурна: «Эгмонту» долго пришлось дожидаться права заговорить по-русски (лишь отрывки, переведенные Веневитиновым, вошли в 1831 г. в его посмертную «Прозу»), а «Валленштейнов лагерь» полностью разрешен был лишь в 1858 г.

В самый разгар работы над «Гермесом», осенью 1826 г., в Москву вернулся Пушкин из своего михайловского изгнания и познакомился с веневитиновскою молодежью. По посланию Веневитинова видно, что молодежь не нашла в нем поклонника и ученика Гете, а по отзывам Пушкина видно, что он, хоть и согласен был с тем, что пред ним «сок умной молодежи», но «сок» этот казался ему слишком насыщенным философической эссенцией. Молодежь стремилась уже не келейно, а печатно и журнально философствовать и гетеанствовать и была настолько практична, что, поняв, что журнал с одним Шеллингом и Гете в переводах, подражаниях и отзвуках не мог бы найти читателей, позвала Пушкина для приманки читателю. Для Пушкина участие в «Московском Вестнике» любомудров было также делом чисто практическим: «Полевой, Погодин, Сушков, Завальевский, кто бы ни издавал журнал, все равно. Дело в том, что нам надо завладеть одним журналом и царствовать самовластно и единовластно. Мы слишком ленивы, чтоб переводить, выписывать, объявлять etc., etc.» [23]. Так откровенно писал Пушкин Вяземскому—и в «Московском Вестнике» видел такой «один журнал», а «переводить, выписывать, объявлять» предоставлял Веневитинову с товарищами. Однако «переводить» предпочитали они только из Гете и немцев философических или почти философических, а «объявлять» умели они так плохо, что Пушкин скоро разочаровался в них и в журнале и с 1828 г. являлся в нем скорее случайным гостем, чем главным сотрудником. «Московский Вестник» явился журналом Гете, а не Пушкина, и такой характер гетеанского и философического органа сохранял до тех пор, пока, под единоличной редакцией Погодина, не превратился в складочное место для материалов по русской истории и археологии [24].

Гете явился на первых же страницах своего русского журнала.

Отдел стихов первой части журнала был украшен «монологом Фауста в пещере» («Всевышний дух! ты все, ты все мне дал...») в переводе Веневитинова. В отделе «Наука» помещена статья «Характер Гамлета (из гетева романа—Вильгельм Мейстер, гл. 3 и 13, кн. IV)», переведенная Ш[евыревым]. Это была своеобразная отповедь Полевому: примечание П[огодина] гласило: «В отрывке из путешествия Жуковского, помещенном в первой книжке «Телеграфа», мы прочли мнение Тика и Жуковского о Гамлете. В предлагаемом отрывке читатели узнают мнение Гете о великом произведении Шекспира». Проза третьей части нового журнала открывалась повестью Гете «Вот где был предатель»—переводом Рожалина из первого издания (1821) еще незаконченных тогда «Годов странствования Вильгельма Мейстера». В отделе «Наука» Шевырев дал «Разговор об истине и правдоподобии в искусстве (из Гете)», а в отделе «Смесь» содружество любомудров, столько сил и времени отдавшее дружбе и искусству, спешило сообщить русскому усадебному читателю, что думает Гете «о дружбе» и «об изящном» [25]. Так от «Стихов» до «Смеси» во всех отде-

лах нового журнала засиял усилиями Веневитинова, Рожалина, Шевырева солнечный гений Гете. Очень часто литературный вкус или выбор Гете сказываются в «Московском Вестнике» там, где их и не ожидаешь. Целый ряд заметок о примечательных книжных новинках Запада Рожалин переводит для «Московского Вестника» из «Globe», постоянным читателем которого был Гете, признававшийся Эккерману: «Я причисляю «Globe» к самым интересным газетам и не могу без него обойтись» [26]. В 20-х годах производит в Европе сильное впечатление китайский роман «Ю-Киао-Ли или двоюродные сестры». Сам Гете зачитывается им, признаваясь, что роман «кажется ему в высшей степени замечательным» [27], и Рожалин в том же 1827 г., когда читал его Гете, знакомит с ним русского читателя [28]. В Германии пробуждается интерес к поэзии и философии Индии, так ярко выраженный у Гете его письмами к Уварову, и Рожалин помещает перевод двух статей Герена о Рамайяне и Магабарате [29]. В журнальных заметках Рожалина мелькает имя Гете. Так в рецензии на «Северные Цветы» на 1827 г. он прибегает к сравнениям из Гете: «Картину, такую же очаровательную, какую представляет нам «Герман и Доротея» гетева»; ссылку на «Душеньку» Богдановича, как на пример poésie legère, он парирует указанием: «не мешает знакомиться ни с одной литературой, и из произведений Виланда и Гете найдутся многие, столь же игривые и непринужденно-веселые, как «Душенька» [30]. На этом примере, взятом из работ одного только Рожалина, хорошо видно, до какой степени гетеанство прослаивало и пропитывало весь материал, даваемый журналом. Еще ярче это было заметно на работе Шевырева в «Московском Вестнике», о чем речь будет дальше. Если философическая программа «Московского Вестника» была проникнута шеллинговским идеализмом и была далека от спинозизма, близкого Гете и некогда привлекательного и для любомудров, то его эстетика и поэтика покоились на Гете. Этим объясняется обилие переводов тех отрывков из Гете, где он является теоретизирующим эстетиком. Собственные опыты любомудров в этом роде питаются Гете как источником, хотя в иных случаях и уклоняются на тропу немецких романтиков. В журналистике 20-х годов «Московский Вестник» стоит на твердой и политически очень благонамеренной позиции гетеанства, в то время как гораздо менее благонамеренный «Московский Телеграф» Полевого, сохраняя пиэтет к Гете и знакомя читателей с его произведениями, отстаивает более левые позиции французского романтизма. Возможно, что некоторый гетеанский налет на журнале Полевого появляется не без воздействия конкурирующего журнала любомудров: Полевой дал своим читателям и несколько переводов из Гете, и его портрет, рисованный, так же как портрет «Московского Вестника», русским художником (Г. Афанасьевым).

Д. В. Веневитинов умер 15 марта 1827 г., и его любовь к Гете, которою он заразил друзей по любомудрию, не успела еще надеть на него котомку путника в Веймар.

Первый из любомудров, кто пожелал ее надеть, был его ближайший друг, давний и тесный собеседник Николай Рожалин.

В жизни и личности этого юноши было не мало такого, что —по примеру Андрея Тургенева—делало его гетеанство вертерьянством.

«Вертер» был настольной книгой Рожалина. Гете точно к Рожалину обратился в предисловии к «Вертеру»: «А ты, добрая душа, которая чувствуешь ту же тоску, что он, найди свое утешение в его страданиях и сде-

лай эту книгу своим другом, если, по несчастью или по собственной вине, ты не можешь найти ничего более близкого». Рожалин поступил по совету Гете. «Выбор этой книги,—говорит Колюпанов, сохранивший от Кошелева живое предание о Рожалине,—конечно не случайный: героя несколько напоминал характером и сам Рожалин—впечатлительный, отыскивающий идеальных привязанностей, часто переходивших в разочарование и наполнявших его душу страданием» [31]. Друг Рожалина Ив. Киреевский в письмах 1830 г. к матери вдумчиво подмечал в нем эти вертеровы черты выстраданного одиночества и замкнутости: «Уединение может сделать его не то что мизантропнее, а людебоязненнее, хотя он способен к тому и другому». «Видно у Рожалина были добрые приятели, которые так его ласкали иголочками, потому что мы до сих пор не можем навести его на прежнюю колеину». Только в сердечном тепле елагинского дома и узкого круга друзей Рожалину «жить можно спустя рукава и расстегнувши грудь, не боясь, что приятели в нее воткнут не кинжал (это бы слава богу), а иголку, которую заметишь только по боли» [32]. «Вертер» как своеобразная исповедь, схожая с исповедью «Вертера» другого исповедника, Андрея Тургенева, переживался в одинокой комнате Рожалина, а как создание переводческого искусства вынашивался в «красноворотской республике» Елагиных. Рожалинский перевод «Вертера»—важный памятник русского гетеанства. Между неосуществленным до конца переводом Андрея Тургенева и переводом Рожалина «Вертер» оставался в числе любимейших книг русского читателя: недаром над ним плакала пушкинская Татьяна (глава III, строфа IX). Но он нашел себе и нового читателя, проникая в новую, уже не дворянскую среду: недаром в проселочных гостиницах русских захолустий висели в 20-х годах картинки, изображающие «Историю Шарлотты и Вертера» [33].

Двум созданиям Гете естественнее всего было получить русскую одежду из рук московских юношей-любомудров—«Вертеру» и «Фаусту»: они были Вертерами по возрасту и характеру, Фаустами—по «томлению духа» и философическим чаяниям. Смерть помешала Веневитинову закончить «Фауста», но подождала, пока Рожалин закончит «Вертера» и посетит Гете как московский Вертер.

Перевод «Вертера» нашел издателя в лице А. А. Елагина и вышел в Москве в двух частях (1828—1829 гг.) без имени автора. Перевод имел большой успех, и через год понадобилось его новое издание. Каждое поколение конца XVIII—начала XIX ст. обладало своим «Вертером», и «Вертер» Рожалина принадлежит к числу изящнейших по языку и философской четкости перевода. Рожалин был уже за границей, когда издание его друзей попало ему в руки. Растроганный переводчик писал А. П. Елагиной: «Шевырев показывал мне ваше письмо к нему; там сказано между прочим: «теперь боюсь и спросить, как издание «Вертера» ему нравится». «Вертер» меня очень обрадовал. Издание мне очень нравится. Шевырев мне сказывал, что вы перевели сами некоторые письма, которые были мною пропущены; я избил весь свой экземпляр, чтобы найти, раз сто перечитал их; увы! напрасно, все кажется мое; назовите, ради бога, эти письма». Рожалин просил выслать все, какие есть, плохие отзывы: «не бойтесь огорчить меня: мне это знать нужно». Но плохих отзывов не было [34].

В конце мая 1828 г. Рожалин выехал из Москвы. Он вез с собой пук рекомендаций от кн. З. А. Волконской в европейские столицы. В Петербург он приехал с письмом А. П. Елагиной к Жуковскому. Еще в конце

Титульная страница первого номера „Московского Вестника" 1827 г.
Здесь были напечатаны „Монолог Фаустов в пещере" в переводе Д. Веневитинова и „Характер Гамлета" из „Вильгельма Мейстера" в переводе С. Шевырева
Исторический Музей, Москва

МОСКОВСКІЙ
ВѢСТНИКЪ.
ЖУРНАЛЪ,
издаваемый М. Погодинымъ.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
МОСКВА.
Въ Университетской Типографіи.
1827.

1827 г. она писала ему про Рожалина, что «он знает хорошо по-немецки, французски, латыни, гречески, итальянски; перевел Гете «Эгмонта» и «Вертера» два года тому назад, как только мог бы сам Гете, Heern'а, как бы сам Heern» [35], и добивалась через Жуковского, чтоб Рожалина послали за границу готовиться к профессуре. Теперь она желала, чтобы он получил с помощью Жуковского хорошую подорожную в Веймар. «Мне душевно жаль,—писал ей Жуковский после свидания с Рожалиным,—что он был для меня минутным явлением. Он мне очень понравился. Мы побеседовали дружески. И я очень рад, что узнал его. Ваше приказание исполнено: я дал ему письма в Дрезден, Веймар и Берлин. Буду рад его возвращению и встречу его как старого знакомца» [36].

Трудно было бы найти для Рожалина лучшего напутственника в Веймар, чем знаменитый переводчик «Лесного царя», знакомец Гете, друг канцлера Мюллера. «Удивительный человек!—писал Рожалин Елагиной.— Он выше своей поэзии, а этим, кажется, не мало сказано. Он дал много наставлений на путешествие, письмо к Мюллеру, который кажется познакомит меня с Гете» [37]. Уезжая в чужие края, Рожалин признался А. А. Елагину: «Мне жаль оставить некоторых здешних, но я рад, что уезжаю отсюда: в Германии и Италии надеюсь найти больше тишины и больше мыслей в голове своей; с их запасом приеду к вам, вы им порадуетесь, и мы воротимся к нашим спорам о женщинах, о Гете, о назначении человеческом. Я помню обещание, вам данное, и кажется исполню его: учиться, по крайней мере, будет главною моею целью в путешествии» [38]. Это прощальное письмо характерно и для корреспондента, и для адресата: он пишет к отчиму своих сверстников, пожилому другу декабриста Батен-

кова, как к близкому совопроснику и старшему товарищу, и не менее характерно для эпохи и среды то, о чем собираются они дружески беседовать по возвращении Рожалина. Когда-то Пушкин так же тешил себя и друга-поэта, склонного к немецкому любомудрию, надеждой на тесную беседу (так же не оправдавшейся, как и надежды Рожалина):

Поговорим о прежних днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

А здесь: «о женщинах, о Гете, о назначении человеческом».

В Германии Рожалин поселился в Дрездене преподавателем в русской семье Кайсаровых. Он весь отдался науке, философии, искусству. В Дрездене слушал он А. Шлегеля, но признавался, что философствующий романтик его «бесит и смешит» и вообще «читает не довольно соблазнительно». Дрезден очаровал юношу, искавшего тишины для умственного труда—для занятий классической филологией, древностями и историей: «Если в Дрездене нет пищи для рассеянности, то много пособий для человека, преданного учению» [39]. К Германии, к ее тихим городам со старинными университетами, с губернскими и уездными кафедрами философии и классической филологии, к ее библиотекам и музыкальным ферейнам Рожалин привязался навсегда, хотя вовсе не закрывал глаз на то, что страна мыслителей и философских кафедр на проселочных дорогах есть вместе с тем и край ученых филистеров и самодовольных мещан. «Не могу надивиться,—писал Рожалин Кошелеву,—что всех вас, русских, тянет этот старомодный, безнравственный, пустой Париж и что весь мир вам кажется ничто перед ним. Странно также, что люди, как мы, не могут понять и вкусить моей Германии... Киреевский говорил тебе, что я немцев ненавижу, а Шевырев, что обожаю! Знаете ли, что и то и другое почти правда? Я, точно, не совсем люблю н е м ц е в, хотя и уважаю их за многое, но Г е р м а н и я так согласна со мной во всем, что я не могу вообразить земли, где бы здоровый и больной человек могли жить уединеннее, покойнее, довольнее собой и даже веселей» [40]. Это отношение к немцам и к Германии русский любомудр выразил и Шевыреву: «Бесценная вещь немецкие университеты», писал он ему в 1830 г., но, соглашаясь с Шевыревым, что в немецкой учености есть «какая-то жесткость, сухость, холодная геометричность», остерегал приятеля насчет пошлого мещанства рядовых немецких ученых: «Пуще всего, приедешь в Германию, не сходись сейчас ни с одним профессором: здесь будут тебя мерить не по душе, а 1) по чину, 2) по деньгам, 3) по числу слов, которые знаешь наизусть» [41].

Немецкой науке Рожалин отдался с таким усердием и успехом, что друзья и все, кто знал его, чаяли, что из него выйдет второй Винкельман.

Рожалин прожил целый год в Германии, а подорожная в Веймар, письмо Жуковского к канцлеру Мюллеру, лежала у него втуне. Погруженный в науку, связанный с чужой семьей, в которой давал уроки, стеснительный и все более замыкавшийся в себе, как Вертер после великосветского столкновения, он может быть и не воспользовался бы ею, еслиб не приезд Шевырева и кн. З. А. Волконской. С нею и с Шевыревым вспомнить Веневитинова в Германии—значило ощутить его тягу к Гете и повторить его гетеанские заветы. Шевырев и Волконская просто увезли с собою Рожалина в Веймар, прихватив и его подорожную. От 12 мая 1829 г. уже сохранилась отметка канцлера Мюллера: «Княгиня Зинаида Волконская из Петербурга. Гг. Шевырев и Рожалин, молодые поэты и литераторы из Москвы» [42].

Через 11 дней, 23 мая, из своей заваленной классиками комнаты в Дрездене Рожалин писал А. П. Елагиной:

«Волконские с Шевыревым были у Гете. Что ж, был ли я? спросите вы с досадою. Мне не хотелось представляться ему, но, будучи в Веймаре, жаль было и не видать его; я просил княгиню взять меня с собою в виде лакея, но она заупрямилась и потащила меня в качестве несчастного переводчика Вертера. В этой крайности трусость Шевырева придала мне духу: я отчаянно вооружился наглостью и смело влетел к старику. Он стоял посреди своей гостиной с важным министерским видом, но, увидя нашу гурьбу, сам испугался, и нужно было все искусство княгини, чтобы посадить его в свою тарелку. Впрочем, на этот счет ее предупредили: он всегда бывает очень робок с иностранцами. Мы сидели у него с лишком час. Я мог вдоволь насмотреться на него, ибо меня посадили с ним рядом. Его черты врезались у меня в памяти. Профиль при маленьком особенном издании Вертера чрезвычайно похож, но не выражает и не мог выразить живости его физиогномии; портрет Кипренского также похож, только, думаю, в эдаком положении едва ли кто-нибудь видел голову Гете. Он очень важен, и тотчас можно заметить, что необыкновенно раздражителен. Взгляд его невыносим и даже неприятен, может быть оттого, что темные глаза его обведены какими-то странными светлосерыми кругами и кажутся птичьими. Я видел три бюста его, сделанные в разные времена: один, когда Гете был в Италии, лет тридцати, неописанно хорош. Как идет к нему этот убор кудрей, бывший тогда в моде! Стоит сличить эту голову с бюстом Байрона, который стоит почти рядом, чтобы увидеть, который из двух поэтов был прекраснее и собою, и гением. Другой бюст представляет Гете лет сорока с лишком, и тут совсем другое выражение: та же голова иначе стоит на плечах, те же черты сжались, и во всем лице есть что-то резкое и важное. В третьем он уже старик, похож на теперешнего, но все еще редкая голова. Что ж вам сказать про теперешнего Гете? Он говорил много о Наполеоне, с которым был хорошо знаком, сказал, что он возил его «Вертера» всегда с собою. Но дело не дошло ни до чего важного, ни до чего такого, где бы Гете мог сколько-нибудь обнаружиться. Говорила больше княгиня, чем он: видно было однакож, что он, вопреки здешним общим слухам, сохранил еще довольно свежести ума и много здоровья. Он сам себя лелеет и бережет, а его берегут еще больше: обе герцогини, старуха и наша великая княгиня, бывают у него аккуратно каждую неделю, сам же он почти никуда не выходит. Сказывать ли вам, что он сделал мне честь осведомиться, куда я еду, и обратиться ко мне с некоторыми вопросами, между прочим, переведен ли у нас Байрон, и кем и как? Шевырев не имел этой чести, зато любезничал с его belle-fille, дурной собою, но разговорчивой и любезной, и выгода едва ли не на его стороне. Мы пошли осматривать его антики и бюсты. Гете не провожал нас, но через Мюллера, который, будучи канцлером Веймарского государства, есть вместе и его канцлер, пригласил меня на другой день к себе. Я не отвечал ни да, ни нет; Оттилия, belle-fille de Göthe, повторила мне это приглашение, Мюллер обещал, что Гете будет весьма любезен, и даже сердился за мою нерешимость, но княгиня должна была ехать через несколько часов из Веймара; мы с Шевыревым рассудили, что я без них натоскуюсь один-одинехонек; к тому же мне не хотелось более отсутствовать у Кайсаровых; билет в дилижанс был для меня уже взят; я благодарил за приглашение и на другой день в 2 часа утра поскакал в Лейпциг. Вот вам подробная резенция нашего

свидания с Гете; расскажите об этом Алексею Андреевичу и вашим. Впрочем интересного тут мало. Гораздо важнее знакомство с Мюллером, предобрым кажется человеком, который просил меня, т. е. позволил мне адресоваться к нему во всех случаях, когда буду опять в Веймаре. Разумеется, ежели мои обстоятельства переменятся, то я воспользуюсь его услужливостью и опять вотрусь к Гете»[43].

Читая этот отчет о свидании с Гете, начинаешь понимать, почему один приятель Рожалина называл его «скептиком», а другой боялся за него, что он в своем внутреннем и внешнем уединении «сделается не то что мизантропнее, а людебоязненнее». В его отзывах о Гете чувствуется какая-то полуирония, не невольная, а подчеркнуто-проведенная через все письмо, а самое свидание с великим поэтом, о котором Рожалин мечтал (стоит только вспомнить его надежду после свидания с Жуковским, что канцлер Мюллер «познакомит его с Гете»), представлено им каким-то «свиданием поневоле», на которое Шевырев с Волконской почти влекут своего друга. Письмо к Елагиной начинается почти демонстративным заявлением: «Волконские с Шевыревым были у Гете». Умалчивая о себе, Рожалин не без удовольствия предвидит недовольные расспросы Елагиной:—«Что ж, был ли я? спросите вы с досадою»—и отвечает: «Мне не хотелось представляться ему». Это—ответ юного Вертера, пережившего оскорбительную историю у графа фон Ц. и не желавшего никаких встреч с ненавистным ему отныне светским кругом. Еслиб оскорбленному Вертеру тех дней, с сухими глазами и со лбом, хмурящимся под гнетом одиноких безрадостных мыслей, предложили посетить господина веймарского великогерцогского тайного советника В. фон Гете, он вероятно ответил бы так же, как его московский двойник:

«Мне не хотелось п р е д с т а в л я т ь с я ему»,—не в и д е т ь его, а именно п р е д с т а в л я т ь с я ему, высокой особе из круга «графа фон Ц.». Как у Вертера, и у Рожалина «видно были добрые приятели» из этого круга, которые так его «ласкали иголочками» (слова И. Киреевского), что он испытывал постоянную нелюбовь ко всяким «представлениям» и красился в иронию как в защитный цвет от этих «иголочек». Взглядом обиженного Вертера высматривает он в тайном советнике фон Гете «необыкновенную раздражительность» (которой не испытал), и «неприятность взгляда» (который, как видно из дальнейшего, был к нему вполне благосклонен), и то, что он «очень важен» (хотя тут же правдивый юноша должен признать, что Гете «очень робок с иностранцами»), и то, что старик «сам себя лелеет и бережет» (хотя тут же приведено честным наблюдателем и оправдание этому «самобережению»: 80-летний старец «сохранил еще довольно свежести ума и много здоровья»).

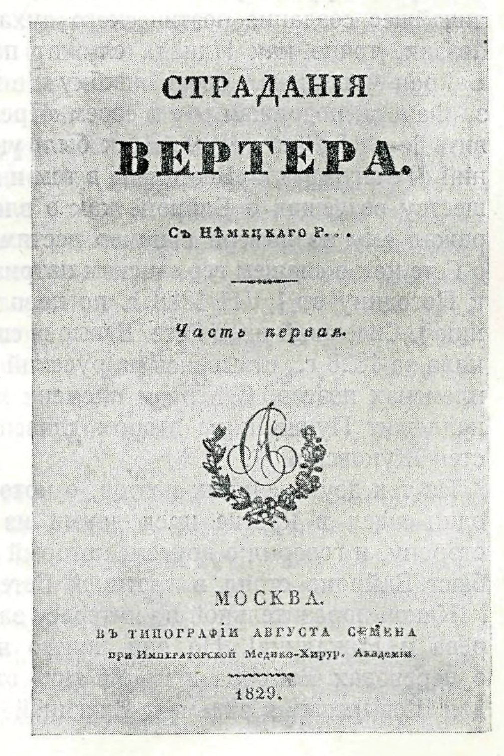
Самое странное в письме конечно то, что Рожалин не желал воспользоваться тем своим преимуществом, которое давало ему наибольшее право на знакомство с Гете без всякого «представления» или, вернее, с «представлением», обеспечивавшим ему внимательность и даже признательность Гете: переводчик «Вертера» желал явиться в дом его автора в качестве... лакея сиятельной княгини Волконской. «Вообразите,—жаловался на Рожалина Шевырев Авдотье Петровне,—не хотел итти к Гете как переводчик Вертера, а просился в лакеи, чтобы в передней его видеть. Княгиня насильно его потащила и избавила всех нас»[44]. Странное желание Рожалина хорошо разъяснено им же самим: он хотел в и д е т ь Гете-п о э т а («будучи в Веймаре, жаль было не видеть его»); «п р е д с т а в л я т ь с я» же Гете означало, в мыслях Рожалина, ожидать, что веймарский министр

благосклонно спустится на одну-две ступеньки к «лекарскому сыну» (хотя и переведшему «Вертера») и скажет два-три снисходительных слова. Этого-то и не хотел московский демократ и скептик и предпочитал сам спуститься еще на несколько ступенек пониже... до той площадки, где находится лакейская и где никакое «п р е д с т а в л е н и е» уже невозможно, а возможно только в и д е т ь министра, встречающего и провожающего сиятельную княгиню. Поняла ли умная и блестящая Волконская грустное и выстраданное при всей своей ироничности вертерьянство одинокого разночинца-любомудра, когда втолкнула его из лакейской в гостиную Гете?

Но переступив порог этой гостиной, московский Вертер поступил точь в точь так, как поступил бы и гетев Вертер, насильно введенный в салон к господину тайному советнику фон Гете: он «отчаянно вооружился наглостью и смело влетел к старику». Это конечно преувеличение: была не «наглость», а «смелость», которой явно недостало «архивному» Шевыреву.

Разговор шел о «Вертере», переведенном Рожалиным, и к разговору о Наполеоне Гете перешел, надо думать, оттого, что «Вертер» был некогда предметом знаменитой беседы между ним и Наполеоном (см. главу II).

Рожалину пришлось отвечать на вопрос Гете: переведен ли Байрон в России и кем? Это вероятно вопрос из более обширного разговора об английском поэте. В Веймаре в те годы часто и оживленно разговаривали о нем. Эккерман записал не мало таких разговоров. Гете не скупо делился своими впечатлениями от читаемых им произведений Байрона, «удивлялся» (подлинное выражение Гете) его гению, обсуждал его судьбу и дорожил почтительной приверженностью, высказываемой ему Байроном, посвятившим ему трагедии «Вернер» и «Сарданапал». Эти разговоры были тем чаще и живее, что под кровлей Гете жила великая почитательница английского


СТРАДАНІЯ

ВЕРТЕРА.

Съ Нѣмецкаго Р...

Часть первая.

МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА

при Императорской Медико-Хирург. Академіи.

1829.

Титульный лист издания „Вертера“ в переводе Н. М. Рожалина (М., 1829)
Институт Русской Литературы, Ленинград

поэта—Оттилия фон Гете, жена его сына. Она хранила как реликвию письмо Байрона к Гете из Генуи, и на пасхе 1826 г. «они очень мило поспорили» с адресатом письма, кому владеть автографом: Оттилия решительно заявляла: «Я не отдам его назад», а Гете «этого вовсе не хотел» [45]. Для разговора с московскими гостями о Байроне была налицо собеседница, умная и одушевленная. А для гостей разговор о Байроне представлял особый интерес. Пред Гете сидели друзья того поэта-юноши, который еще недавно обращался к величайшему поэту России с почтительным полуупреком в том, что стихи его

Хвалебным громом прозвучали

вслед ушедшей из мира тени Байрона, но не встречают хвалой закат другого поэта:

Но ты еще не доплатил
Каменам долга вдохновенья:
К хвалам оплаканных могил
Прибавь веселые хваленья.
Их ждет еще один певец.

Этот певец—Гете.

Байрон и Гете! Это, как мы знаем, были два противопоставления, два противочувствия, две противолюбви, боровшиеся между собою в русской поэзии и критике того времени. В эту пору Пушкин перевел взгляд с уединенной вершины Байрона на залитое солнцем плоскогорье Гете и писал в год его смерти: «Байрон, столь оригинальный в Чильд-Гарольде, в Гяуре и в Дон Жуане, делается подражателем, как скоро вступает на поприще драмы. В Manfred'е он подражал Фаусту, заменяя простонародные сцены и обороты другими, по его мнению, благороднейшими. Но Фауст есть величайшее создание поэтического духа, служит представителем новейшей поэзии, точно как Илиада служит памятником классической древности. Байрон чувствовал свою ошибку и впоследствии времени принялся вновь за Фауста, подражая ему в своем «Превращенном уроде» (думая тем исправить le chef-d'œuvre») [46]. Как было указано, одно из важнейших разделений «Телеграфа» и «Вестника» в том и состояло, что «Телеграф» по преимуществу возвещал о Байроне как о владыке романтизма, а «Вестник» возражал ему из номера в номер вестями философическими и поэтическими о Гете как о «нашем германском патриархе» (выражение Пушкина в письме к Погодину от 1/VII 1828 г. по поводу письма Гете в «Московский Вестник»). Сидевший пред Гете Шевырев еще так недавно, в X части этого журнала за 1828 г., отзываясь на русский перевод «Манфреда», говорил о двух племенах поэтов. В первом племени первенствует Гете и к нему же принадлежит Пушкин, во втором главенствует Байрон и к нему же причастен Жуковский [47].

Из тех двух великих поэтов, о которых так горячо спорили в Москве, один сидел в кресле пред двумя из участников спора, державших его сторону, и говорил о другом, который присутствовал безмолвно при беседе: бюст Байрона стоял в гостиной Гете.

Какой поразительной по интересу записи должно было ожидать от Шевырева и Рожалина! Но они ничего не записали, кроме гетева вопроса о переводах Байрона и кроме того отзыва о своей собеседнице, который дан Шевыревым в письме к Елагиной [48].

Была еще и третья тема разговора Гете с Рожалиным. О ней он почему-то не написал Елагиной, но после припомнил ее.

Рожалин мало беседовал с Гете, но только он один удостоился получить через Мюллера приглашение Гете вторично и единолично посетить его. Приглашение было подтверждено Оттилией и повторено канцлером: верный знак, что оно не было только официально-словесною любезностью, а выражало действительное желание Гете еще раз увидеть своего собеседника наедине. «Людебоязнь» приезжего Вертера одержала верх, и он, вероятно к добродушному негодованию канцлера и недоумению Оттилии, не воспользовался лестным настойчивым приглашением.

Гораздо больше, чем о том, что услыхал у Гете, Рожалин рассказал о том, что увидел у него. «Его черты врезались у меня в памяти». Вчитываясь в рассказанное, заключаешь, что Рожалин видел не одного, а двух Гете. Один был почти 80-летний старец, сидевший с ним рядом. Он отлично рассмотрел его глаза: «орлиные очи» (Боратынский) он с некоторой вертеровской иронией назвал просто «птичьими»; не обозначил их сине-карими, а просто «темными», но силу их взгляда, остроту их зрения передал верно и ярко: «взгляд его невыносим», как настоящий, настигающий с высоты, орлий взгляд. Рожалин отметил и невыраженную никем «живость его физиогномии»—то удивительное свойство лица Гете, которое делало его юным в старости, аполлоничным у старого Юпитера и вместе с тем могло наводить движущиеся тучи древнего Кронидова раздумья на ликующее чело Аполлона, только что победившего в Италии Пифона своей германской тоски. Правдивость наблюдения Рожалина высока, несмотря на его напускную ироничность: Гете, тысячеустно величаемый и в хвалу, и в хулу «олимпийцем», оказался «очень робок с иностранцами» не бог знает какого величия; «робкий» Гете!—какая живая и потому ценная черта наблюдения!

Это был один Гете—знаменитый старик, несколько принужденно принимавший чужестранцев в своей гостиной. Но смотря на Гете-собеседника, Рожалину сразу же вспомнился другой Гете—писатель, каким представлял его портрет нашего О. А. Кипренского, отлично известный кругу друзей Рожалина и русских почитателей Гете. Отзыв Рожалина важен: он увеличивает значение этой полузабытой работы русского художника. Кипренский дал Гете-писателя. Он словно ждет сформированья какого-то образа, стиха, и вот оттого приостановился на недописанном слове. Во властном лице—острота искания. Глаза его молоды, орлино-зорки. Вот-вот он настигнет нужную мысль или слово, как орел добычу, и чрез миг вновь начнет водить пером по бумаге. В портрете все точно, четко, ясно; никакой романтики, и вместе с тем это—портрет вдохновенного творца в момент творчества. Это—«холод вдохновенья», «змеиной мудрости расчет», изображенный с прекрасной твердостью четкого, строгого рисунка.

В эту явную, признанную самим Гете и его друзьями «схожесть» портрета Кипренского с оригиналом Рожалин внес только одну поправку: «только, думаю, в эдаком положении едва ли кто-нибудь видел голову Гете». Думается, поправку эту нужно отнести не столько к особой зоркости Рожалина, сколько к иронии московского Вертера.

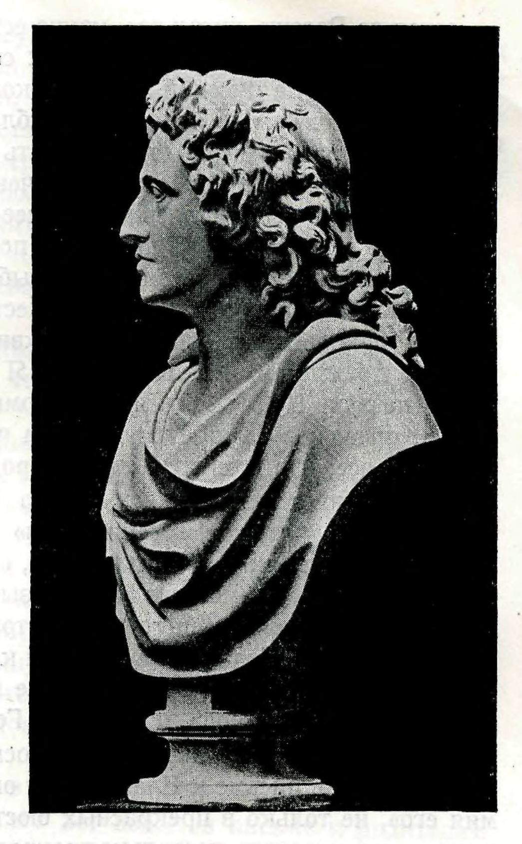
Другого Гете—поэта—Рожалин мог теперь не только вспоминать по портрету Кипренского, он мог смотреть на него. Это был Гете трех бюстов, трех периодов своей жизни. Рожалин превосходно всмотрелся в них,

сличая их мысленно с оригиналом. Он открыл в них важные перепутья жизненного и творческого пути Гете, вычитав их из бюста Гете средних лет работы Мартина-Готлиба Клауера (Веймар, ок. 1790 г.) и бюста Гете-старца работы Даниеля-Христиана Рауха (Иена, 1820 г.). Бюст Клауера очень правдив: в нем «отчетливо выступает ассиметрия двух сторон лица Гете, правая сторона несколько сдавлена, правый глаз лежит глубже, чем левый, правая часть лица уже левой»[49]; эту реалистическую правдивость Клауера верно подметил Рожалин, указав, что в этом бюсте «те же черты сжались и во всем лице есть что-то резкое», но тут же, и опять верно, добавил: «и важное». Это «важное» в лице сорокалетнего Гете один из современных исследователей определяет как «сочетание пламенности и стойкости», как черты «воспрянувшего и многое преодолевшего героя»[50]. Сам Гете признавался, что бюстом Рауха он «очень доволен», и находил его трактовку «поистине величественной» (wirklich grandios)[51]; в нем, на взгляд и современников Гете, и потомства, классически передано величие покоя и красота старости Гете: это самое распространенное из скульптурных изображений Гете.

Но привлек и приковал к себе Рожалина тот знаменитый бюст 38-летнего Гете, который А. Триппель изваял в Риме (1787—1788 гг.) и о котором Гете писал тогда же: «мой бюст отлично удался, все им довольны. Он сработан в прекрасном и благородном стиле, и я не против того, чтоб в мире осталось представление, что таков был мой облик». Московского Вертера очаровал бюст Гете, который, по выражению Э.-К. Метнера, «можно рассматривать как портрет автора «Ифигении» и исполнителя роли Ореста»[52]. В этой роли Гете ближе всего был русскому двойнику «мятежного мученика». На Гете-Ореста он смотрит без тени иронии, с высоким восхищением. Тут он нашел своего Гете, давным-давно возлюбленного в бессонные ночи, проведенные наедине с «Вертером» и «Фаустом»,—нашел Гете-Аполлона, то победно-ликующего, то опаляюще-грозного, но всегда светлого и прекрасного, всегда чуждого тени и тумана. И тут-то, при взгляде на этот бюст, скептик поневоле выразил всю любовь свою к Гете, всю силу давнего восхищения перед ним, поэтом и человеком: «стоит только сравнить эту голову с бюстом Байрона, который стоит почти рядом, чтобы увидеть, который из двух поэтов был прекраснее и собою, и гением».

Вот где, в молчаливом созерцании, а не в принужденной беседе с Гете, Рожалин высказался до конца о том, кто был его единственным «властителем дум». Целомудрие слова помешало ему высказать это Гете, но правдивость любви заставила «скептика» признаться в этом Елагиной.

Эта же правдивость сделала Рожалина внимательным к окружению Гете. Он, как и Шевырев, сумел верно оценить значение Оттилии в закатную пору Гете: она, вместе с двумя герцогинями, «лелеет и бережет» его старость, и сама умна и любезна. Московские юноши 20-х годов предвосхитили оценку биографа, писавшего в конце столетия: «В лице сына Оттилия скорее вышла замуж за отца, на которого она смотрела с нежным удивлением. Это была женщина с темпераментом, веселая, умная, оригинальная, и, о чем бы ни зашел разговор, она оказывалась лучшим собеседником для Гете»[53]. А друга Гете, благодушнейшего канцлера Мюллера, сердечно преданного не только Гете, но и всякому, кому был он люб, Рожалин не только понял, но и полюбил. Понял—можно сказать с полным правом: определение Рожалина, что Мюллер, «будучи канцлером Веймарского государства, есть вместе и его [Гете] канцлер», так метко, что должно войти в биографию



ГЕТЕ
Мраморный бюст работы Александра Триппеля
(Рим, 1787—1788 гг.)
Landesbibliothek, Веймар

Гете. Именно так: деятельный канцлер Веймарского государства, не слишком обремененный его не слишком крупными делами, Мюллер был в действительности канцлером необъятного гетева «властительства», простиравшегося, по измерению его биографа, «от Миссисипи до Волги», со столицей Веймаром, куда стекались добровольные подданные этого «властительства дум». Для всех них, в том числе и тех, что стекались «от Волги», Мюллер был настоящим канцлером: любезным, умным и усердным посредником между ними и самим «властителем дум», его кабинетом, его домом, его столицей. Насколько это посредничество было благоприятно, Рожалин испытал на себе и знакомство с канцлером впопыхах поставил даже выше знакомства с его повелителем.

Через двенадцать дней после письма к Елагиной Рожалин собрался написать родителям о посещении Веймара:

«Я проводил их [Шевырева и Волконских] до Веймара. Из всех немецких городов, мною виденных, это самый оригинальный: новенький, удивительно чистый, нет ни одного дома выше чем в три этажа, на улицах почти ни души, и когда вспомнишь, что здесь жили величайшие умы Германии—Виланд, Гердер, Гете и Шиллер, то невольно сравнишь его с человеком размышляющим, уединенным, тихим и задумчивым. Этот городок был некогда Афинами немецкими, и теперь, быть может, в нем лучшее немецкое общество. Я пробыл там дня полтора всего-на-все; однакож меня успели представить Гете. Он важен, но ласков и еще необыкновенно жив по своим летам. Физиогномия его прекрасная; брат может вам показать его портрет; он кажется есть у Киреевских. Гете интересуется всем, что

касается до России, читал все, какие есть, французские, немецкие, английские и итальянские переводы наших стихотворений, расспрашивал меня, что переведено на русский с английского и с немецкого, и звал на другой день опять к себе. Но я мог только благодарить его за приглашение, ибо не хотел другую неделю отсутствовать у Кайсаровых и был уже записан в дилижансе. Во всяком случае я очень счастлив, что, по крайней мере, его видел и что исполнилось мое давнее желание узнать человека, которого я почитаю величайшим из новейших поэтов, т. е. из всех поэтов христианских. Он уже ветхий старик, уже выбрал место для своей могилы подле своего друга Шиллера, и я видел это место. Видел и гроба Гердера и Виланда: первый похоронен в соборной церкви, Виланд в прекрасном поместье, которое прежде ему принадлежало. Я взял себе на память оттиск гердеровой печати. Кроме Гете я познакомился в Веймаре с канцлером Мюллером, предобрым и преуслужливым человеком, который вызвался показать мне все, что есть лучшего в городе, когда опять ворочусь туда» [54].

Письмо это поражает: оно писано точно другим человеком. Даже не упоминается «мятежно-мученическая» вертерьянская выходка с лакеем. Нет и следа иронии к Гете; напротив, откровенное признание: «я счастлив, что его видел», а самое свидание называется исполнением «давнего желания», узнать «величайшего из поэтов христианских». Горький отстой какой-то давней обиды, подмешанный к чернилам, которыми писано письмо к Елагиной, исчез совершенно: новое письмо писано теми же чернилами, что и перевод «Вертера», и строки о Гете в «Московском Вестнике».

Гете—«ласков»: вот новая черта, осветляющая старческий облик Гете, набросанный в письме к Елагиной, и он «необыкновенно жив». «Физиогномия его», не только в прекрасных бюстах, а и у восьмидесятилетнего старика,—«прекрасная», настолько прекрасная, что Рожалин заботится, чтоб родители хоть на портрете увидели ее. Трогательно отмечена и забота старца Гете о месте своего последнего успокоения, и даже посещено самое это место.

Оставив иронию, Рожалин вспомнил и еще один—интереснейший для нас—предмет его разговора: Гете говорил о России. «Гете интересуется всем, что касается до России». Это относится не только к русской литературе. Гете интересовался русской историей и политикой. В дневниках и разговорах Гете за первые месяцы 1829 г. не трудно отыскать следы этого живого интереса. Всю середину апреля 1829 г. Гете отдал на чтение только что вышедшей книги Сегюра «Histoire de Russie et de Pierre le Grand» (Paris, 1829). Он четыре раза отмечает это чтение в своем дневнике—15-го, 18-го, 19-го, 20 апреля. «Чтение очень интересовало его,—сообщает Эккерман,—и привело к некоторым заключениям», между прочим о «Петра твореньи», с которыми мы уже знакомы [56]. Петр I, о котором Гете много думал в апреле 1829 г., легко мог быть предметом майского разговора Гете с русскими посетителями. Еще более вероятно, что разговор шел о русско-турецкой войне, так занимавшей тогда Европу. Гете с живым и постоянным вниманием следил за ходом военных действий. 25 марта он отмечает в дневнике: «Читал известия о русской кампании». За два дня до встречи с москвичами он делает новую запись, одну из пространных в лаконичнейшем дневнике Гете: «Закончил «Das Bulletin universel». Обдумал прежде просмотренное; ближе рассмотрел положение дел греков в настоящую минуту. Русские прочно занимают полуостров Метану (Methana) под предлогом устройства провиантских магазинов». В июне следуют записи: «Занимался началом русско-турецкой кампании, битвою при Правади (Pravadi), которая пред-

ставляется очень ясно» (7-го); «Обсуждение большой победы русских над великим визирем. Мой сын сообщил о том, что теперь происходит в стане победителей» (24-го) [56]. В разговоре с Мейером и Эккерманом Гете выражал надежду на удачу русских в их походе во Фракию, а после заключения Адрианопольского мира сказал Эккерману: «что русские показали умеренность и не дошли до Константинополя—черта великая» [57].

С другой стороны, и Рожалин интересовался войной и, когда был заключен мир, спрашивал Елагину: «Объявлены ли у вас условия нашего мира с турками? Четыре народа освобождены от жестокого ига успехами нашего оружия» [58].

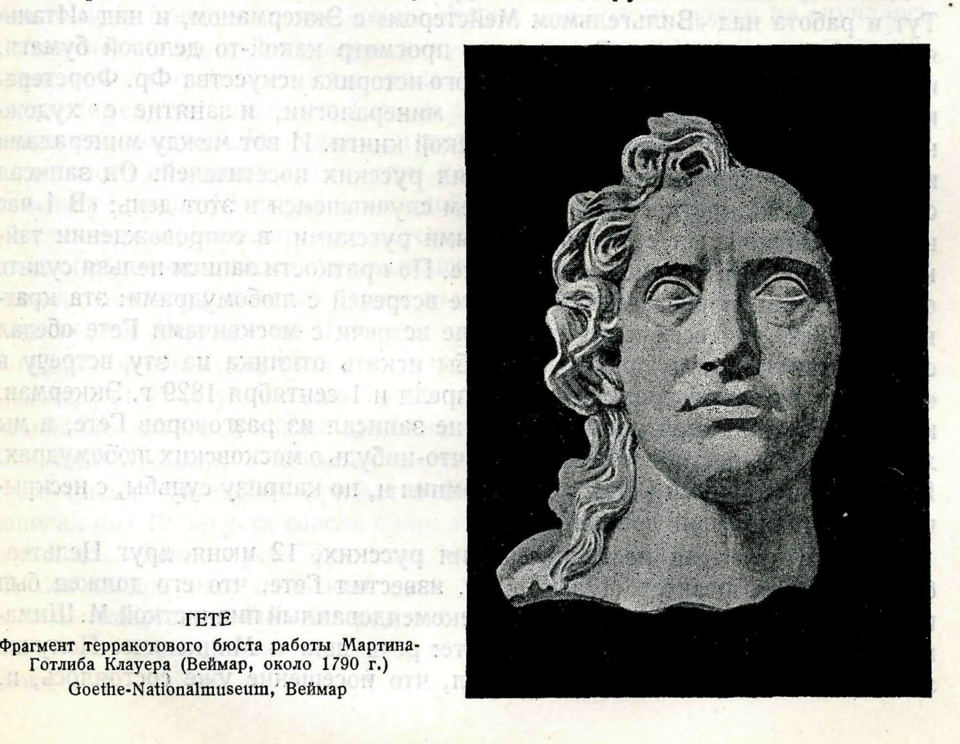
После сказанного можно допустить, что если в разговоре с русскими гостями «Гете интересовался в с е м, что касается до России», то и русский поход во Фракию несомненно был в числе этого «всего».

Но больше всего конечно интересовался Гете русской поэзией. Тут Рожалин сообщает сведение драгоценное: Гете «читал все, какие есть, французские, немецкие, английские и итальянские переводы наших стихотворений». Это значит, что Гете всеми доступными ему средствами искал знакомства с русской поэзией и знал ее постольку, поскольку русские поэты были переведены на знакомые Гете языки.

Но Гете задал ему и обратный вопрос: что переведено на русский язык с английского и немецкого? Рожалину в ответ пришлось говорить о русских переводчиках Шиллера и самого Гете—следовательно о Жуковском, Веневитинове, Тютчеве, А. А. Шишкове и др. Стеснительная лаконичность Рожалина скрыла все это от нас.

Увидев Гете зорче и глубже, чем в первом письме, Рожалин разглядел и город Гете: в елагинском письме его нет вовсе, в письме к родителям Веймар зарисован верною и любящей рукою.

Это письмо Рожалина, прекрасно уловившее закатную атмосферу Гете и его города, было по достоинству оценено его друзьями: они напечатали



ГЕТЕ

Фрагмент терракотового бюста работы Мартина-Готлиба Клауера (Веймар, около 1790 г.)

Goethe-Nationalmuseum, Веймар

его с незначительными пропусками в «Московском Вестнике» в ряду других «Отрывков из частных писем русского путешественника» [59]. Со страниц журнала оно производит сильное впечатление. Должно отметить, что письма Рожалина из-за границы очень ценились друзьями и не были не замечены врагами. «Журнал я издаю опять,—писал Погодин в конце 1829 г.— Да здравствует «Московский Вестник»! Четыре корреспондента в чужих краях: ведь это сокровище. Ив. Киреевский едет в Париж, Рожалин в Дрезден, Петр Киреевский в Мюнхен. По крайней мере будет место, где честному человеку сказать свое мнение» [60]. В 1833 г. П. А. Вяземский спрашивал А. И. Тургенева: «Пишет ли что-нибудь Рожалин? Ведь это скучно, что все вы ездите по белому свету, и никто ничего нам не рассказываете, вы, коим от господа бога, не в пример другим, грамота далась. Читаем же мы с жадностью сплетни других путешественников; еще жаднее читали бы мы ваши» [61]. Но это же корреспондентство любомудров, уехавших в Западную Европу, вызывало злость Булгарина. С прямым намеком на Рожалина и Шевырева он роптал: «В чужих краях странствуют несколько юных россиян, которые выдают себя за первоклассных русских поэтов, философов и критиков, и всем журналистам сообщают известия о России, а более о русской литературе» [62].

12 мая 1829 г. Гете записал в своем дневнике, по обыкновению кратко, но полно, весь свой день:

«Многообразные подготовительные работы. Генрих Мюллер начал рисовать терракоты. Людвиг Фейхтвангер из Гамбурга показывал красивые минералы... За обедом д-р Эккерман; обсуждали дальше мотивы «Годов странствий». Вечером г. Форстер с супругой у Оттилии, также женевец и эльзасец. Вечером проф. Ример. Просматривали извлечения из писем 1787 г. и обсуждали редакцию представленной бумаги. Для себя—«История Польши» Сисмонди» [63].

Какой длинный и насыщенный трудовой день для 80-летнего старца! Тут и работа над «Вильгельмом Мейстером» с Эккерманом, и над «Итальянским путешествием» с Римером, и просмотр какой-то деловой бумаги, и участие в приеме у Оттилии известного историка искусства Фр. Форстера, и час, уделенный давней страсти к минералогии, и занятие с художником, и чтение интересной исторической книги. И вот между минералами и обедом с Эккерманом Гете и принял русских посетителей. Он записал об этом так же кратко, как и обо всем случившемся в этот день: «В 1 час княгиня Волконская с двумя молодыми русскими, в сопровождении тайного советника ф. Мюллера». Вот и все. По краткости записи нельзя судить о впечатлении, произведенном на Гете встречей с любомудрами: эта краткость у Гете для всех и всегда. После встречи с москвичами Гете обедал с Эккерманом, и мы должны были бы искать отклика на эту встречу в «Разговорах», но как раз между 14 апреля и 1 сентября 1829 г. Эккерман, изменив своей аккуратности, ничего не записал из разговоров Гете, и мы лишены возможности и от него узнать что-нибудь о московских любомудрах. Но о свидании с ними Гете скоро вспомнил и, по капризу судьбы, с нескрываемой и напрасной досадой.

Ровно через месяц после посещения русских, 12 июня, друг Цельтер, берлинский композитор (1758—1832), известил Гете, что его должен был посетить в Веймаре польский поэт, рекомендованный пианисткой М. Шимановской, ценимой и Цельтером, и Гете: речь шла о Мицкевиче. Получив это извещение, Гете почему-то решил, что посещение уже состоялось, и,

ГЕТЕ
Гипсовый бюст работы Христиана-Даниэля Рауха
(Иена, август 1820 г.)
Goethe-Nationalmuseum, Веймар

весьма недовольный, отвечал Цельтеру 19 июля: «Сопровождая княгиню Волконскую, польский поэт посетил меня, с большой свитой (mit grosser Umgebung), не промолвил ни слова и не имел настолько такта, чтоб удостоить меня отдельного посещения. Еслиб и светским людям не случалось достаточно часто, в недобрую минуту, делать неловкости, то подобное поведение заслуживало бы порицанья и осужденья»[64]. За «польского поэта» (имени его очевидно Гете не знал или не помнил) сошел, по всем вероятиям, бедный Рожалин: он ведь действительно «не удостоил» Гете «отдельного посещения», несмотря на то, что трижды был зван на него; за «свиту» сошли Шевырев и молодой князь Волконский, а «не промолвил ни слова» Гете, запамятовав, перенес на Рожалина с Шевырева, из «трусости» пред «олимпийцем» промолчавшего все свидание. Из этого странного эпизода почти рикошетом узнаем мы, как обидело Гете внезапное бегство московского Вертера из Веймара.

Однако через месяц Гете как-то разобрался в этой путанице и написал Цельтеру (15/VIII): «Мы слишком рано побранили нашего польского поэта, рекомендованного madame Шимановской,—он еще сюда не прибыл; то был один русский, с которым мы его смешали»[65]. Через три дня после этого письма Мицкевич прибыл в Веймар вместе с Э. Одынцем, и Гете записал под 19 августа совсем сухо: «...Затем двое поляков... К обеду двое поляков». День спустя он писал Цельтеру уже с явным раздражением: «А вот теперь наш польский поэт дает о себе знать; несколько ранее, в том обществе, я был бы рад его видеть; теперь же мне приходится принимать его отдельно, — а это, в конце концов, трудно, почти невозможно!»[66]

Так вертерьянская стеснительность и людебоязнь Рожалина, заставившая его бежать из Веймара от второго свидания с Гете, причинила, волей-неволей, не один, а несколько огорчительных часов автору «Вертера».

Рожалин после Веймара опять основался в Дрездене.

Вскоре он был обрадован приездом Петра Васильевича Киреевского, а затем и Ивана Васильевича. Вместе с Петром Киреевским Рожалин отпраздновал в Дрездене праздник в честь Гете.

«Мы,—рассказывает Рожалин Елагиной,—пошли в театр смотреть «Фауста» и видели чудо! Первый монолог был испорчен бешенством актера; зато все остальное шло превосходно. Петр Васильевич был в восхищении; не находил только довольно грации в здешней Гретхен, хотя видел самую грациозную из немок. Зато что уж был за Мефистофель! Нельзя вообразить себе ничего совершеннее этой игры. Эта роль досталась Паули, первому здешнему актеру, которого имя стоит того, чтобы быть известным... Талант его очень разнообразен: он равно хорош в шуте, разбойнике и герое, и все это чудесно смешалось в роли Мефистофеля. Это был точно ледяной сосуд адского пламени[67]. Досадовал я только, что сумасшедший Тик слил сцену убийства маргаритинова брата, молитву Гретхен перед образом Богоматери и угрызения совести ее в церкви в одну сцену и тем все испортил. Впрочем сколько я здесь ни видел хороших трагедий, ни одна не производила такого эффекта. Фауст на сцене производит действие, как трагедия.

Фауст был дан 27 августа, когда вся Германия праздновала рождение Гете, уже восьмидесятилетнего. Обещали дать Фауста еще два раза; мы дожидались с нетерпением и узнали, что он запрещен. Вам известно, что здешняя королевская фамилия католической веры, почти одна из всего народа. Молодые принцы очень оскорбились словами Фауста: Wer kann sagen и пр. [68], а батюшка их, испугавшись, тотчас и запретил пьесу» [69].

В этом отрывке одинаково примечательна и нелюбовь, типично гетеанская, к католичествующему немецкому романтизму («сумасшедший Тик» испортил гетева «Фауста»), и негодование против католической реакции, враждебной Гете.

Но,—отмечает Рожалин с немалою наблюдательностью,—«в Германии воздвиглась сильная партия против философии вообще. Шеллинг, ничего не выдавая, своим молчанием как будто сам осудил ее; его последователи молчат также. Стефенс пишет одни романы. Подвизается только Гегель, но уже стар, а на него градом сыплются критики и хула. Враги философии собрались под знаменем Гете и клянутся этим одним именем. Он один все проникнул, все узнал, решил—и без философии» [70].

Последнюю фразу не надо понимать в том смысле, что Гете собрал под свое знамя врагов философии: он никогда этим не занимался. Но Рожалин верно уловил факт: антифилософская реакция в Германии очень желала опереться на Гете и прикрыться его авторитетом, тем более веским, что был юбилейный год. Гете-старец был автономен от всех потоков и ручьев немецкой философии начала XIX ст. Обладатель самодовлеющего и целостного мира своей поэзии—философии—науки, Гете так же не искал для своей философии помощи у Шеллинга или Гегеля, как для своей поэзии не испытывал нужды в пособлении Шлегеля или Тика, или для своего «Учения о цветах»—в научении со стороны тогдашних физиков. Критический пантеизм Гете не нуждался в не-критическом мистическом пантеизме Шеллинга, страдающем грехом всеистолковательства, а на Гегеля есте-

ствоиспытатель Гете пожаловался Эккерману, будто его философия «вытравляет беспредрассудочное, естественно-функционирующее созерцание и мышление, прививает искусственную и тяжеловесную манеру как мышления, так и изложения» [71].

Эти исключительно изустные и эпистолярные высказывания Гете были вовсе не кличем к походу против современной философии, а только отграничиванием себя от нее. Наоборот, Гете предвидел, что германской философии предстоят еще важные задачи, и говорил Эккерману, что ей «остается сделать еще два великие дела. Кант написал «Критику чистого разума». Теперь требуется, чтоб способный и значительный человек написал критику чувства и человеческого понимания и, если это будет, как следует, сделано, то от немецкой философии немного придется требовать» [72]. Это было сказано как раз в том 1829 г., когда «враги философии собирались под знаменами Гете»: на деле они собирались под собственными знаменами реакции, выдавая их за знамя Гете.

Характерно для московского любомудра, что он со своими «двумя душами, бьющимися в одной груди», тут, при первой вести о походе против философии, предводительствуемом будто бы Гете, так же крепко становится на сторону своей «философической души», как только что стал на сторону «души гетеанской» против католичества, посягающего на «Фауста».

Литературное «сегодня» Германии, по мнению Рожалина, бедно: «Впрочем здесь интересного хоть шаром покати. Изящная литература вообще спит. Тик, как все говорят и как я сам сужу по одной мною прочитанной и им недавно написанной повести, упадает». И есть только один, кто, как солнце германской культуры, не знает затмения: это—Гете. «Гете недавно выдал «Вильгельма Мейстера», несколько переделанного в «Wanderjahren», и третью часть своей переписки с Шиллером, и это есть важнейшее» [73]. Рожалин с неослабным вниманием следит за этим «важнейшим»—не только за «трудами», но и за «днями» Гете и, сообщив Шевыреву в декабре 1830 г., что «переписка» вышла вся, делится с ним горестным опасением, на этот раз, к счастью, не сбывшимся: «Остальных томов его сочинений мы ждали к новому году, но вероятно их не увидим. Гете сильно занемог и медики выдают уже отчаянные бюллетени» [74].

На этом можно бы закончить рассказ о встрече Рожалина с Гете, но к рассказу позволительно сделать post-scriptum: досказать жизнь и судьбу московского Вертера, прочимого друзьями в русские Винкельманы.

Почти до конца 1830 г. Рожалин прожил в Мюнхене с Ив. и П. Киреевскими. Они жили в доме друга Гете, знакомого нам искусствоведа С. Буассере: в нижнем этаже у него сдавались комнаты для студентов [75]. В Мюнхене Рожалин занимался классическими языками, древностями и историей еще усерднее, чем в Дрездене. С еще большим усердием слушал он Шеллинга и достиг второй своей мечты: узнал его лично. «Мы,—делится он своей радостью с А. П. Елагиной,—были у Шеллинга на дому два раза. Вчера он звал нас к себе через Петра Васильевича, который пробыл с ним целый вечер с глазу на глаз и принес назад много замечательных слов». 8 августа 1830 г. он писал родителям: «Шеллинговы уроки стали особенно интересны. Вообразите себе Платона, вооруженного всеми успехами, какие сделала наука с его времени, доказывающего языком самым поэтическим бессмертие души и необходимость принять все догматы откровения; таков теперь Шеллинг. Как жаль, что нельзя свести на его лекции всех тех русских, которые боятся его, как антихриста» [76]. Шеллингианская

мечта юности была утолена; но туманы шеллинговой «философии откровения» не отрывали Рожалина от науки: он отличался постоянством в своих научных занятиях и интересах. Мечта о широкой научной деятельности также близка была к утолению. Его уже звали на кафедру. В 1831 г. ему намечали передать кафедру истории в Московском университете, так как Погодин собирался в трехлетнюю командировку. Рожалин отвечал: «Я теперь о профессорстве не хочу еще и думать. Лучше сделать несколько шагов вперед к науке, чем с е с т ь на кафедре» [77]. Его прочили на кафедру словесности, на место Мерзлякова, он отвечал: «Эта кафедра н е п р е м е н н о должна принадлежать Шевыреву» [78].

Кафедру Мерзлякова занял карьерист-оппортунист И. И. Давыдов, а кандидатуру Рожалина на какую бы то ни было кафедру сняла сперва болезнь, потом смерть.

В июне 1831 г. он уехал в Рим, где заменил Шевырева в качестве преподавателя у сына кн. З. А. Волконской, но приехал туда уже больной чахоткой: «Я серьезно записался в мертвецы», с тоскующей иронией писал он Шевыреву [79]. Он знал, что скоро умрет, и тем с большей жадностью упивался Италией, ее античной красотой, искусством, небом. Он торопится все узнать, изучить, понять: «кроме развалин, которые я почти все осмотрел и изучил,—пишет он Кошелеву,—главными предметами моего изучения были и останутся Ватикан и Капитолий, да еще некоторые частные музеи и галлереи. Я буду доволен, если успею живым образом пройти здесь вообще историю искусства. Занятия мои в древней литературе также получают здесь какую-то особенную жизнь... Местность, климат, остатки древностей, даже некоторые обычаи объясняют мне много...» [80] Читая это большое письмо, иные мысли которого предвосхищают на несколько десятилетий воззрения Ипполита Тэна, начинаешь понимать, почему друзья видели в Рожалине будущего русского Винкельмана. Если бы это письмо довелось прочесть Гете, он верно приветствовал бы этот юный труд и одушевленные мечты, в которых не мог бы не увидеть следов своего собственного «Итальянского путешествия». В 1832—1833 гг. с Рожалиным встретился в Риме А. И. Тургенев. Рожалин заменил ему Стендаля в руководстве обозрением римских древностей и красот, и Тургенев нашел, что по своим знаниям и любви к искусству Рожалин будет «находка для университета». Тургенев требовал от Вяземского, чтобы тот добился от Уварова денежной помощи для Рожалина как замечательного ученого [81].

Но Рожалин уже знал, что для него все кончено. Он, почти умирающий, потянулся в Россию.

13 июня 1834 г. Жуковский писал А. П. Елагиной: «Рожалин должен быть теперь, если он приехал, в Петербурге. На эту минуту еще не знаю, что с ним делается и где он. Написал и я к Вяземскому, просил его отыскать Рожалина и узнать все его нужды... Готов просить за него Уварова, но наперед сказываю, что на свое ходатайство не надеюсь, ибо уже знаю на опыте, что Уваров мастер обещать и великий немастер исполнять. Что от меня будет зависеть, сделаю...»

А немного ниже Жуковскому пришлось приписать: «Вот что я получил нынче в ответ на письмо мое к Вяземскому. Посылаю записку его. Прибавить к этому нечего».

Приложена была записка С. А. Соболевского к Вяземскому: «Бедный Рожалин, приехавший в воскресенье поутру из-за границы, на другой же день скончался. Я его похоронил вчера поутру. Ваш Соболевский».

Приписка Вяземского: «Вот что, к сожалению, я узнал о Рожалине. Лучше было не спрашивать» [82].

Судьба захотела быть до конца немилостивой к московскому Вертеру: все его рукописи, пересланные после его смерти в Москву, сгорели в конторе дилижансов. Погодин записал в дневнике: «Был поражен до глубины сердца известием о гибели бумаг Рожалина. Боже мой! Этот человек как бы не существовал на земле!» [83]

Кн. З. А. Волконская, навсегда оставшаяся в Италии, не захотела и по смерти разлучить Рожалина с его другом Веневитиновым: в саду своей римской виллы она поставила ему памятник рядом с памятником переводчику «Фауста»: «Там,—по рассказу Погодина, посетившего виллу в конце 1830 г., — под сенью кипариса стоит урна в память о нашем незабвенном Дмитрии Веневитинове; близ нее—камень с именем Николая Рожалина» [84].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Записки А. И. Кошелева. 1812—1883 годы». Berlin, 1884, стр. 6—12.

[2] «Русский биографический словарь», том Рейтерн—Рольцберг. СПБ, 1913, стр. 319—320.

[3] Ксен. Полевой, Записки, т. I. СПБ, 1888, стр. 151.

[4] Кош., стр. 12—13.

[5] «Афоризмы из различных писателей по части современного германского любомудрия». «Мнемозина», ч. II. М., 1824, стр. 74, 76, 77.

[6] «Мнемозина», ч. IV. М., 1825, стр. 161.

[7] Там же, ч. II, стр. 77.

[8] П. Н. Сакулин, Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель, т. I, ч. I. М., 1913, стр. 161.

[9] Е. М. Феоктистов, Материалы по истории просвещения в России. СПБ, 1865, т. I, стр. 153—158.

[10] Сак., т. I, ч. I, стр. 545.

[11] Сочинения Д. Веневитинова. «Проза». М., 1831, стр. 18.

[12] Там же, «Несколько мыслей в план журнала», стр. 29.

[13] Там же.

[14] В. Ф. Одоевский, 4338-й год. Петербургские письма. Ред. и вступ. статья О. Цеховницера. М., 1926, стр. 26.

Кн. В. Ф. Одоевский навсегда сохранил глубокий интерес к Гете. Основной персонаж его лучшего произведения «Русских ночей» (1844)—Фауст, «мистик... в струе русского духа», по определению автора. «Русские ночи» напутствованы эпиграфом из Гете. В своей рецензии на «Основания краниоскопии» чтимого Гете анатома Каруса («О. З.» 1844, т. 34, библиогр., стр. 79—82) Одоевский признавался, что видит «в Карусе, как в Гете, который также был и поэтом, и естествоиспытателем, зарю будущей, новой науки, которая... не будет ограничиваться одним каким-либо оторванным членом природы, но заключит в живом своем организме всю природу во всей общности; словом, науки, которая, как природа, будет жива, едина и многоразлична, в противоположность нынешней науке, которая мертва, неопределенна и одностороння» (Сакулин, т. I, ч. II, стр. 488—489). В 1842 г. кн. В. Ф. Одоевский посетил дом Гете во Франкфурте; на стр. 9 альбома посетителей имеется его запись: «Fürst Wladimir Odoewsky aus Russland».

[15] Кош., стр. 13—16.

[16] См. главу о Кюхельбекере.

[17] «М. Т.» 1825, ч. II, № 5. «Современная русская литература. «Евгений Онегин», роман в стихах А. С. Пушкина», стр. 44.

[18] Там же, № 15, особое прибавление «Толки о Евгении Онегине», стр. 1—11.

[19] Н. Р...ин, «Нечто о споре по поводу Онегина. Письмо к редактору «Вестника Европы».—«Вестник Европы» 1825, № 17, сентябрь, стр. 26—28.

[20] «Мысли на дороге» (1833—1835). Пушк., Сочин., т. V, стр. 362.

[21] Письмо к А. П. Зонтаг от 6/18 марта 1849 г. «Уткинский сборник, I. Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой» под ред. А. Е. Грузинского. М., 1904, стр. 126.

[22] Сочинения И. В. Киреевского. Издание А. И. Кошелева. М., 1861, т. I, стр. 7.

[23] Письмо от 9 ноября 1826 г. «Письма» под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского, т. II. М.-Л., 1928, стр. 17.

[24] Об отношениях Пушкина к «М. В.» см. в новейшей работе И. В. Сергиевского «Пушкин-журналист» (вступит. статья к V тому Собр. соч. Пушкина, изд. «Красной Нивы». М., 1931, стр. 16—28).

[25] «М. В.» 1827, ч. I, стр. 11, 217—226; ч. II, стр. 17—47, 125—145, 283—284.

[26] Экк., т. I, стр. 231.

[27] Там же, стр. 286.

[28] «М. В.» 1827, ч. III, стр. 22—50, 121—148.

[29] «М. В.» 1827, ч. I, стр. 304—321 и ч. IV, стр. 394—407.

[30] «М. В.» 1827, ч. III, стр. 375—376.

[31] Н. Колюпанов, Биография А. И. Кошелева. Изд. О. Ф. Кошелевой, т. I, кн. II. М., 1889, стр. 121.

[32] Ив. В. Киреевский, Собрание сочинений под ред. М. О. Гершензона. К-во «Путь». М., 1911, т. I, стр. 45.

[33] В. П. Горчаков, Выдержки из дневника об А. С. Пушкине. См. М. А. Цявловский, Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931, стр. 112.

[34] «Р. А.» 1909, № 8, стр. 586—587. Письмо от 23/V 1829 г. из Дрездена.

[35] Heeren—Арнольд-Герман-Людвиг Герен (1760—1842)—знаменитый немецкий историк, профессор Геттингенского университета. В 1828 г. в «Лит. Нов.» «М. В.» было напечатано: «Н. М. Рожалин приступает к печатанию геренова большого сочинения: «О политике, сношениях и торговле древних народов». Первую часть, содержащую общие замечания об Азии и исследования о персах, он издает особо. Надеемся, что все благомыслящие соотечественники пожелают переводчику успешного окончания его прекрасного труда» (ч. VIII, стр. 234). Это издание не было осуществлено. В «М. В.» Рожалин поместил три отрывка из Герена—о Рамайяне и Магабарате (см. выше) и «О древней торговле» (ч. IV).

[36] Уткинский сборник, стр. 46—47.

[37] «Р. А.» 1909, № 8, стр. 572. Письмо от 28/V из Петербурга.

[38] Там же, стр. 568.

[39] «Отрывки из частных писем русского путешественника». Письмо из Дрездена от 22/XII 1828 г.—«М. В.» 1830, ч. II, «Смесь», стр. 300.

[40] Кол., т. I, кн. II, стр. 124—125.

[41] Письма от 17/XI и 12/XII 1830 г.—«Р. А.» 1906, № 2, стр. 240 и 247.

[42] «W. A.», IV Abt., B. XII, S. 370.

[43] «Р. А.» 1909, № 8, стр. 585—586.

[44] Так в подлиннике; очевидно: «избавила всех нас от неприятности видеть приятеля в числе лакеев в гетевой передней». Это письмо Шевырева к А. П. Елагиной от 29 мая 1829 г. из Флоренции печатаем с подлинника, вплоть до 1932 г. хранившегося в г. Белеве среди остатков Долбинского архива Киреевских-Елагиных; ныне—в Рукописном отделении Ленинской библиотеки в Москве. Письмо неполностью и неисправно было напечатано в «Р. А.» 1879, кн. I, стр. 138—139.

[45] Экк., т. I, стр. 229.

[46] «О Байроне», 1827 г. Пушк., Сочин., т. V, стр. 400.

[47] «М. В.» 1828, ч. X, стр. 56—63.

[48] Письмо от 29/V 1828 г. См. ниже.

[49] «Propyl.», S. 39, Taf. 74—75.

[50] Э. Метнер, К портретам Гете. В книге «Размышления о Гете». Книга I. М., 1914. Изд-во «Мусагет», стр. 409.

[51] «Propyl.», S. 63, Taf. 118.

[52] «Propyl.», S. 37, Taf. 69—71; «Итальянское путешествие», запись от 28 августа 1787 г. Гете—Вейнб., т. VI, стр. 235; Метнер—стр. 404—410, и воспроизведение, табл. 1—2.

[53] Бельш., т. И, стр. 431.

[54] Письмо из Дрездена от 4/VI 1829 г.—«Р. А.» 1909, № 8, стр. 565—566.

[55] Экк., т. II, стр. 61. Запись от 11/III 1829 г.

[56] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 43, 66, 79, 87.

[57] Экк., т. II, стр. 175 и 207. Записи от 7/IV и 6/XII 1829 г.

[58] Письмо от 13/XI 1829 г.—«Р. А.» 1909, № 8, стр. 592.

[59] «М. В.» 1830, ч. II, «Смесь», стр. 296—303. Полным совпадением приведенного письма Рожалина к родителям о веймарском посещении с «отрывком», напечатанным на стр. 300 «Московского Вестника», доказывается принадлежность Рожалину и всех других из этого цикла «Отрывков из частных писем русского путеше-

ственника», подписанных буквою «Г» (вероятно опечатка вместо обычного «Р»). Эти «Отрывки» не упомянуты в числе сочинений Рожалина ни Колюпановым в его «Библиографическом указателе сочинений и переводов Рожалина» («Биография А. И. Кошелева», т. I, кн. II. М., 1889, стр. 120), ни Саитовым в его очерке о Рожалине («Остафьевский архив», т. III, Примечания. СПБ, 1908, стр. 581—584). Наоборот, приписываемая Саитовым Рожалину статья «О нынешней славе России в чужих краях» («М. В.» 1830, ч. I, № 1) принадлежит ему лишь наполовину: под этим придуманным Погодиным заглавием напечатаны отрывки из письма Рожалина из Дрездена (ноябрь 1829 г.) и письма Шевырева из Рима (от 27 окт. 1829 г.). На это указывал и В. В. Стратен в новейшей из статей о Рожалине: «Н. М. Рожалин, идеалист 20-х годов XIX в.» («Ученые Записки высшей школы г. Одессы», т. II, Отдел Гуман.-Обществ. Наук. Одесса, 1922, стр. 103—107). Со статьей Стратена я ознакомился уже после того, как было написано мое исследование о Рожалине, небольшою своею частью вошедшее в исследование о Гете и русских писателях.

[60] Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. II. СПБ, 1889, стр. 327—328.

[61] «О. А.», т. III, стр. 220.

[62] Барс., кн. III, стр. 49.

[63] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 67.

[64] «W. A.», IV Abt., B. XLVI, S. 16—17.

[65] Там же, стр. 46.

[66] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 114; IV Abt., B. XLVI, S. 55.

[67] Отзыв Рожалина об известном артисте Людвиге-Фердинанде Паули (1793—1841) совпадает с установившимся суждением о нем как об актере широкого сценического охвата: он умел передавать в ярких образах и мягкий юмор старости, и лисье пронырство интриганов, и ироническую злобу Яго, и сумрачное злодейство Моора. Мефистофель, где сплетались все оттенки ума, злобы, хитрости и иронии, считался лучшей его ролью. См. «Allgemeine Deutsche Biographie», Leipzig, 1887, B. XXV, S. 266—267.

[68] Известный ответ Фауста на вопрос Маргариты:

Ты в бога веришь?
— Друг, сказать кто может:
Я верую в него?
Священника и мудреца встревожит
Вопрос твой... (Перевод В. Брюсова).

О сильном впечатлении от «Фауста» на сцене Рожалин писал и Шевыреву: «Он дан был прекрасно. Поверишь ли, что он чудесен на сцене? Что есть в нем трагического, то производит эффект огромный; прочие сцены улетают из внимания». («Р. А.» 1906, № 2, стр. 230).

[69] Письмо от 16/IX 1829 г.—«Р. А.», № 8, стр. 578.

[70] Там же, стр. 580.

[71] «Gespräche»: запись от 28/III 1827 г. Перевод Д. Аверкиева (Экк., т. I, стр. 304), очень далек.

[72] Экк., т. II, стр. 149.

[73] «Р. А.» 1909, № 8, стр. 581.

[74] Письмо от 10/XI 1830 г.—«Р. А.» 1906, № 2, стр. 235.

[75] «Р. А.» 1906, № 1, стр. 158.

[76] «Р. А.» 1909, № 8, стр. 596, 599.

[77] «Р. А.» 1906, № 2, стр. 251.

[78] «Р. А.» 1909, № 8, стр. 601.

[79] «Р. А.» 1906, № 2, стр. 253.

[80] Кол., т. I, вып. II, стр. 122—123.

[81] «Арх. Т.», т. VI, стр. 126, 149—150, 156, 185.

[82] И. А. Бычков, Неизданные письма Жуковского к А. П. Елагиной и А. П. Зонтаг. «Русский Библиофил» 1912, № 7—8, стр. 109.

[83] Барс., т. IV, стр. 249. О приезде Рожалина в Россию и об истории с его бумагами см. еще у С. Шпицера, Д. В. Веневитинов.—«Голос Минувшего» 1914, кн. I, стр. 268—269.

13 июля 1834 г. В. Одоевский писал Кошелеву: «Право, брат, это очень глупо: уроды живут и размножаются, а такие люди, как Рожалины, мрут, как мухи... Постарайся, чтобы собрали все, что осталось после покойника, и напечатали бы». (Кол., т. II, стр. 37).

[84] Барс., т. V, стр. 240.

II. С. П. ШЕВЫРЕВ И ГЕТЕ

ДВА ШЕВЫРЕВЫХ: 20-Х И 50-Х ГГ.—ШЕВЫРЕВ В СРЕДЕ ЛЮБОМУДРОВ.—ПУШКИН И ШЕВЫРЕВ.—УЧАСТИЕ ШЕВЫРЕВА В „МОСКОВСКОМ ВЕСТНИКЕ".—ПЕРЕВОД И ОБЪЯСНЕНИЕ „ЕЛЕНЫ" ГЕТЕ.—В. Л. ПУШКИН ПРОТИВ ГЕТЕ.—ПИСЬМО Н. БОРХАРДА К ГЕТЕ.—ГЕТЕ О СТАТЬЯХ ШЕВЫРЕВА, КАРЛЕЙЛЯ И АМПЕРА ОБ „ЕЛЕНЕ".—ПИСЬМО ГЕТЕ НА СТРАНИЦАХ „МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА".—ШЕВЫРЕВ У ГЕТЕ В 1829 Г.—ПОСЕЩЕНИЕ ШЕВЫРЕВЫМ ВЕЙМАРА В 1838 Г.—ПРИЕМ ПО КЛАССОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.—ДОМ И БЫТ ГЕТЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ ШЕВЫРЕВА.—ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРВОМ ПОСЕЩЕНИИ В 1829 Г.—ГЕРМАНИЯ И КАБИНЕТ ГЕТЕ.

Во время веймарского свидания с Гете 12 мая 1829 г. княгиня Зинаида Волконская говорила много, Рожалин меньше, а Степан Петрович Шевырев, по выражению самого Гете, «вовсе не промолвил с ним слова». Между тем можно было бы ждать как раз обратного: не «Северная Коринна» и не московский Вертер, переведший «Вертера», а именно Шевырев должен был бы стать во главе беседы. До 12 мая 1829 г. о Рожалине Гете не слыхал вовсе, с кн. З. Волконской у него была давняя светская встреча, но Шевырева он знал заочно, писал и даже печатал о нем. Шевырев, как никто другой после Веневитинова, мог быть пред Гете посланником от русского гетеанства. Рожалин был каким-то правнуком Гете по «Вертеру», он нес наследие юного Гете в своей судьбе, в замкнутом мире своего мышления и жизнечувствия, Шевырев же получил из рук Веневитинова знамя русского гетеанства и развернул его на страницах «Московского Вестника» так широко, что шелест его очень скоро достиг до слуха старца Гете в Веймаре. «Предъистория» знакомства Гете с Шевыревым гораздо интереснее его «истории».

Шевырев и Погодин! «Официальная народность» и «квасное славянофильство»!—нечто такое, от чего сторонились не только западники, но и славянофилы типа Хомякова и Ив. Киреевского. Славянофильство не в запрещенной мурмолке и в гонимой жандармами бороде, а в чиновном мундире и с официально-выбритым подбородком, славянофильство не под жандармским надзором, а с крупными чинами, немалыми орденами и нескудными пенсиями—вот что вспоминается при имени Шевырева, и вспоминается с полным основанием: мундир с орденами, полученными за служение уваровскому «православию—самодержавию—народности», так плотно и навсегда охватил невзрачную фигурку Шевырева, что из-под него не осталось видно ни клочка того романтического плаща, в котором ходил Шевырев в 20-х годах. А так именно, «москвичем в гарольдовом плаще», он и предстал пред Гете в 1829 г. В эти годы еще не было Шевырева—проводника официальной «народности», зачинателя исторического изучения прошлого русской литературы, противника Грановского, неприятеля Белинского,—в эти годы знали Шевырева—поэта, эстетика, переводчика Шиллера и Гете, бойкого полемиста против Булгарина и Греча. В эти медовые годы русского любомудрия имя Шевырева означало противоположное тому, что оно значило для Белинского и Герцена. Понять, что оно тогда означало, можно легко из письма Пушкина к Плетневу в 1831 г.: «Куда бы не худо посадить Шевырева на опустевшую кафедру Мерзлякова, доброго пьяницы, но ужасного невежды! Это была бы победа над университетом, т. е. над предрассудками и вандализмом» [1].

Репутация Шевырева в конце 20-х, начале 30-х годов была не та, что в 40-х и 50-х: его романтический плащ, на опытный глаз охранщиков, был на алой подкладке и не смахивал на благонамеренный мундир, вызывавший негодование Белинского и Герцена. В доносе Ф. Булгарина, поданном в 1827 г. в III Отделение, Шевыреву отведено второе место в рядах московских «отчаянных юношей», «исповедующих правила якобинства» [2].

В 40—50-х годах Шевырев—славянофил уваровского официального покроя, в 20-х годах—он горячий поклонник и проводник западной культуры. Он, правда, упорно думает об историческом призвании России, верит в ее высокое культурное назначение, но вот как выражает он эту свою думу и веру: «Я думаю, что первым писателем в России был бы теперь тот, кто бы вернее показал назначение Русского в ряду других народов. Если бы я был Академия или университет, я предложил бы эту задачу. Решение этой задачи имело бы удивительно быстрое влияние на ход образования нашего. У нас все должно быть с сознанием, потому нам можно заранее указать цель нашу. Пример в Петре, представителе всей России, в этом первом европейском Русском... Если уж русский полюбит образование, то водворит его во всем человечестве, и счастье его собственное будет тесно связано с образованием последнего дикого... Только Русские в состоянии объяснить Восток Европейцам, да они и созданы для этого кондукторства. Они просвещение Запада приведут туда и выйдут оттуда с полным солнцем». Он пишет драму из древнеримской жизни и на предполагаемый упрек друзей—«что не пишешь русской трагедии?»—отвечает: «Да у нас не слишком ли много теперь националят? Я боюсь, чтобы не надоели этой национальностью и чтобы только не изгадили дела?» Это все—мысли и ощущения Шевырева в 1830 г., когда он про себя говорил, что «пока предан Западу», хотя «мнениями» принадлежит уже «нашему Востоку—России». В 20-х годах он был «предан Западу» без этого «пока» [3].

Шевыреву было 17 лет (родился в 1806 г.), когда он впервые выступил как поэт, прочитав в Обществе любителей российской словесности свои стихи «Песнь старца», а на торжественном собрании Университетского благородного пансиона, этой дорогой и хрупкой оранжереи дворянской педагогики, произнес речь «О влиянии поэзии и красноречия на счастье гражданских обществ». В ней он, пропев гимн науке любомудрия, выдержал экзамен на звание любомудра. Но он не вошел в тесный веневитиновский кружок любомудров и в «Московском Вестнике» явился представителем поэзии, а не философии: он считал себя поэтом и писателем, и в этом его поддерживал Пушкин. «Это голос души моей: его я слышал от Жуковского, от Пушкина», [4] возражал он Погодину, влекшему его к повседневной работе журналиста. Шевырев имел право так думать. Как поэта его отметил сам Пушкин: он признавал в нем поэтический талант и критическое дарование. В отзыве на альманах «Денница» (М., 1830 г.) Пушкин писал: «Из молодых поэтов немецкой школы г. Киреевский упоминает о Шевыреве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим». Шевырев-поэт предпочтен здесь Тютчеву и признан поэтом «немецкой школы». Пушкин высоко ценил и Шевырева-критика. «Московская критика с честью отличается от петербургской,—писал он в «Мыслях на дороге» (1833—1835 гг.).—Шевырев, Киреевский, Погодин (все сотрудники «Московского Вестника».—*С. Д.*) и другие написали несколько опытов, достойных стать на ряду с лучшими статьями английских Reviews, между тем как петербургские журналы судят о литературе, как о музыке, и о музыке, как о политической экономии, т. е. наобум и как-нибудь». Известно, как Пушкин ненавидел туманы немецкой метафизики, которыми московская молодежь заволокла и захолодила поэзию и художественную прозу «Московского Вестника», и как «декламировал против философии» Погодину в 1827 г. В 1833—1834 гг. Пушкин сменил эту «декламацию» на более спокойное суждение. Рекомендуя читателю статью Ивана Киреев-

ского, он пишет: «Автор принадлежит к молодой школе московских литераторов, которая основалась под влиянием немецкой философии и которая уже произвела Шевырева... и Д. Веневитинова, так рано оплаканного друзьями прекрасного!» Читатель, как предполагается этой рекомендацией, уже знает Шевырева и ценит его не менее Веневитинова, всеми оплаканного. Свою высокую оценку литературной деятельности Шевырева Пушкин перенес и на его научные труды, начав в 1835 г. разбор его «Истории поэзии» восклицанием: «История поэзии»—явление утешительное, книга важная!» [5]

Восприятие и оценка Пушкиным литературной деятельности Шевырева 20-х—начала 30-х годов может служить образцом той оценки, которую она находила у писателей пушкинского поколения и у старших: Жуковского, Вяземского, Ал. Тургенева. Раздумывая, какую бы книгу послать за границу взыскательному русскому европейцу Ал. Тургеневу, Вяземский делает пушкинский выбор: «разве том «Истории поэзии» нашего Вильменя—Шевырева?» [6], приравнивая работу молодого ученого к блестящим «essais» и «œuvres» знаменитого французского академика, историка и критика, которым зачитывалась вся Европа.

В кружке же молодых писателей немецко-философического призыва Шевырев ценился еще выше. Можно было бы привести много таких оценок, принадлежащих Киреевскому, Соболевскому и др., но ярче всех, потому что наивнее всех, выразил эту любовь-веру в Шевырева Максимович, когда писал в 1829 г.: «Милому Шевыреву, светлой надежде нашей, привет!» [7] Эту «светлую надежду» на культурное служение Шевырева однажды выразили ему, в коллективном письме за границу, люди разного направления мысли и социального чина: славист Ю. Венелин и славянофил Хомяков, цензор С. Т. Аксаков и поэт-Хмель, Н. Языков, переводчик гумбольдтова «Космоса» Фролов и переводчик тассова «Иерусалима» Раич и многие другие. Пушкин счел нужным приписать и свой привет-призыв: «Примите и мой сердечный привет, любезный Степан Петрович, мы, жители прозаической Москвы, осмеливаемся писать к вам в поэтический Рим, надеясь на дружбу вашу. Возвратитесь, обогащенные воспоминаниями, новым знанием, вдохновениями, возвратитесь и оживите нашу дремлющую северную литературу» [8].

Шевырев несомненно «оживлял», если не «северную литературу», то «дремлющий» в метафизике, а потом уснувший в археологии «Московский Вестник»: он с первой же «части» явился в нем поэтом, переводчиком, критиком, полемистом—и всюду гетеанцем. Переводы из Гете и Шиллера он начал еще в «Урании» (1826). В первой части «Московского Вестника» 1827 г. он дал «Характер Гамлета» из «Вильгельма Мейстера», во второй—«Разговор об истине и правдоподобии в искусстве»—«из Гете»; в шестой части появился его «Отрывок из междудействия к «Фаусту»—«Елена» и его статья о ней. В 1828 г. в восьмой части журнала он дал три перевода стихотворений Гете—«Поэзия», «Время и поэт» и «Благодать», а в «Обозрении русских журналов за 1827 г.» он полемизирует с «Московским Телеграфом» по поводу его суждений о Гете и Шиллере. В десятой части—опять стихи «из Гете» и в большой рецензии на «Манфреда»—суждения о Гете и Байроне, с которыми мы уже знакомы. В одиннадцатой части, в разборе «критических сочинений» Шлегеля, рассказан эпизод о Гете и Фоссе. В двенадцатой части дан Шевыревым разбор «Геца фон Берлихингена» в переводе Погодина [9]. Целый круг гетеаны! Если прибавить к этому ряд его

С. П. ШЕВЫРЕВ
Рисунок карандашом Э. В. Дмитриева-Мамонова
Собрание Беэр, Москва

переводов из веймарцев, друзей и сотрудников Гете—из Шиллера и Гердера, то круг этой «гетеаны» станет еще обширнее. Входя в еще более широкий круг гетеаны Веневитинова, Рожалина, Титова, Мальцова, Погодина [10] и др., гетеана Шевырева занимает центральное место в этой гетеане «Московского Вестника». Шевырев всячески заинтересован Гете: и как поэт, и как критик, и как «теоретик изящного». Гете для него— не только величайший поэт современности, он еще и основоположник современной эстетики, и властный творец новой культуры, каждое слово которого важно для строителей здания «русской культуры», какими мнили себя любомудры. Шевырев старался раскрыть русскому читателю связь поэтического дела Гете с общим устремлением европейской культуры, как бы приучая их быть русскими европейцами и через то—гетеанцами.

«Гете назначено стать во главу нового века поэзии»,—пишет Шевырев по поводу русского «Геца фон Берлихингена».— Блестящий век французской литературы уже миновался». Германия таила в себе самобытные силы. Шекспир помог «образовать Гете и Шиллера» как драматических писателей. Шевырев приводит рассказ самого Гете о создании «Геца». Гете пошел дальше Шекспира по пути «сближения искусства с историею», перейдя от царей к людям всех классов и положений. Шевырев высоко ценит исторический реализм «Геца», включивший широкие народные массы в действо трагедии, которая от этого стала живой картиной XVI в. с его бурными движениями низов, подрывающих феодальный строй ударами восстаний. Шевырев признает эстетические недостатки трагедии, «но,—говорит он,—когда вспомним, что в этом произведении вмещено целое столетие, то невольно оправдаем автора» [11]. Эта статья Шевырева— не только первый в русской литературе опыт изучения Гете, но и апология исторического реализма, вызвавшего на сцену народные массы и похоронившего навсегда ложноклассическую трагедию королей и героев. Говоря так о Гете, Шевырев писал тем самым апологию и другой трагедии народных масс—«Бориса Годунова» Пушкина, сцена из которого была напечатана в первом номере «Московского Вестника» 1827 г.

Шевырев следил с живым вниманием за «трудами и днями» старца Гете. Этим объясняется, что отрывок из «Елены» появился в русском переводе, едва только она вышла по-немецки весною 1827 г., в 4-м томе последнего прижизненного издания его сочинений под названием «Елена». Классическо-романтическая фантасмагория. Интермедия к «Фаусту». В октябре 1827 г. Шевырев уже представил в редакцию «Московского Вестника» перевод отрывка из «Елены» (стихи 9273—9384) и свою статью о ней, а в первом ноябрьском выпуске журнала (ч. VI, № 21) то и другое было уже напечатано. Чтобы торжественнее обставить появление на русском языке нового произведения Гете, редакция «Московского Вестника» поместила в том же номере журнала литографированный портрет Гете работы одного из «архивных юношей»—И. С. Мальцова. Для перевода Шевырев выбрал эпизод с Линцеем, приносящим сокровища к стопам Елены, сидящей на троне. Фауст отвергает его дары, повелевая ему строить храм. Диалог между Фаустом и Еленой оканчивается его вопросом: «Кто сердцу жизни даст?»—«Моя любовь», отвечает Елена [12].

Представив опыт перевода из нового произведения Гете, Шевырев тут же дал опыт изъяснения целого произведения.

Этот опыт предпринят был не без полемической цели: «Московский Вестник» шел войною на «Московский Телеграф», по самому своему назва-

нию стремившийся быть скорейшим вестителем всех европейских культурных новостей. В № 17 журнала Полевого за 1827 г. было приведено сообщение некоего «француза, живущего в Веймаре»: «Я читал в рукописи новое необыкновенное творение Гете, которое скоро будет напечатано: это дополнение к «Фаусту», которое сам Гете называл фантасмагорией, и, мне кажется, это сочинение непереводимо. Между странным и темным, какая глубокость и поэзия! Не могу сказать вам, что это такое: от осады Трои до падения Миссолунги, греческая мифология, средние века, Байрон—все находится тут: то видение великой, самобытной души» [13].

«Телеграф» Полевого первым передал в Россию известие о «Елене», но, увы, оно уже запоздало: «Елена» не только была уже напечатана, но даже прочтена Шевыревым, и московские любомудры не отказали себе в удовольствии посчитаться с Полевым: «непереводимое сочинение» они всего через три недели после заметки Полевого предложили русскому читателю в стихотворном переводе, а в ответ на замечание о «странности и темноте» «Елены» Шевырев писал: «не желая безмолвно и безотчетно раболепствовать перед художником, как иные любители искусства, которые, не понимая произведения и называя его темным и странным, другими словами, бессмыслицей, все-таки им восхищаются и восклицают: тут много поэзии, хотя я ничего не понимаю,—мы постараемся по силам объяснить себе тайны поэта». «Объяснение» Шевырева выдержано в тонах христианского идеализма.

Для Шевырева «Елена»—не «темное», а символическое произведение, но имеющее при том «все признаки, все качества произведений самобытных, не применяемых ни к какой особенной мысли». Приблизительно так сам Гете объяснял «Елену» Эккерману, когда, не отрицая ее иносказательности, утверждал: «но все в ней ясно для чувств и при сценическом исполнении прямо бросится в глаза» [14]. Изложив предание о Фаусте, Шевырев говорит: «Это был один мертвый материал: поэту следовало вдохнуть в него жизнь, одушевить его мыслью,—и эта мысль есть преображение красоты во время рыцарства». Красота—по любомудру-истолкователю,—точно так же как и женщина, только со времени христианства получила «права священные и неотъемлемые. Свет любви чистой, одушевляющей религию нашу, осветил все чувства человека, и с того времени женщина стала прекрасною половиною преображенной души его». Эту метаморфозу испытал и образ Елены. В античности она—раба Менелая: тогда «красота еще рабствовала пред человеком», в средние века она «становится предметом обожания чистого, душевного». Пред такой Еленой—Еленой Гете—одинаково склоняется и власть «земного стяжания» (Линцей), и власть духа и мужества (Фауст). «Та Елена, которой никто не встретил в безмолвных палатах Менелая, кроме зловещего раздора, возводится на трон в готическом замке рыцаря Фауста. Ей вручено право казнить преступника и венчать царя. Единый взгляд ее лучше сокровищ мира. Кто имеет право на ее любовь? Вождь мужей, лучший из рыцарей, имеющий права над подобными себе!—Кто же родился от сочетания преображенной красоты с великодушным рыцарством?—Эвфорион, живая музыкальная поэзия христианского века, которая поет от сердца, измеряя его биением такт своих песен, столь же разнообразных, как чувства души человеческой; желая обнять вещественное, своим огнем превращает его в пламень и объемлет один призрак; непрестанно рвется из пределов мира земного в небеса беспредельные и исчезает в этом лучезарном стремлении. В сей поэзии

все небесно, все духовно, кроме лиры и мантии. Когда исчезла она,— исчезли ее родители: красота духовная, возвышенная и великодушное мужество,—исчезли в вечность». «Но какая участь пленниц Троянских, в коих олицетворена женщина древнего мира, назначенная для одних чувственных наслаждений?—Они превращаются в разные явления внешней природы и тем ясно оправдывают свое назначение.

В сей прозрачной фантасмагории поэт-ясновидец раскрыл многие тайны истории и поэзии. Здесь разрешена им загадка рождения романтизма и звучной рифмы. Вместе с торжественным преображением красоты должно было духовно преобразиться и то искусство, которое ей служит,—поэзия. Когда плененный рыцарь стал любить красоту не чувственно, но душевно, тогда любовь вылетела из тесных пределов земли, чтобы свободно носиться по небу и бесконечно предаваться своим очищенным наслаждениям,— тогда и песнь огласила не землю, но небо,—и в своих звуках выразила беспокойное стремление души бесконечно разнообразными размерами, и гармонию чувства любящего—гармоническим созвучием, рифмою. В беседе любовников как чувство отвечает чувству, так и слово должно отвечать слову» [15].

Толкование Шевыревым «Елены»—это плащ христианского романтика, ученика Жуковского, переводчика ваккенродеровых «Размышлений об искусстве» [16], наброшенный на создание поэта, испытывавшего физический озноб от выспренних туманов немецкого романтизма: «классическим я называю все здоровое, а романтическим—все больное», сказал однажды Гете Эккерману, а в год появления шевыревской статьи выразился еще резче про католичествующих романтиков: «я называю их поэзию лазаретной; напротив, истинно тиртейской поэзией я называю такую, которая не только воспевает битвы, но исполняет людей мужества для противостояния в житейской борьбе» [17].

Для Шевырева и его последовательного гетеанства характерно увлечение новым созданием Гете, далеко не вызвавшим восхищения у современников. Для его критико-литературного анализа похвально, что он—в неприведенных здесь местах его статьи—сумел найти «Елене» место в ряду других произведений Гете и сделать несколько верных замечаний об ее стиле и форме.

У «Елены» в России оказались и друзья, и враги. В числе последних очутился старый арзамасец В. Л. Пушкин. В его повестушке «Капитан Храбров», печатавшейся в лучших альманахах 1829—1830 гг., в том числе в «Северных Цветах», туповатый армейский капитан похваляется:

Но я всегда любил учиться,
И мой полковник, граф Вальтрон,
Саксонец, Гете обожатель,
Был мой наставник и приятель;
Он колдунов, чертей любил,
И, признаюсь, ему в угоду
Я принял новую методу:
Расина-трагика бранил,
Не смел Вольтера звать поэтом,
А восхищался я Гамлетом
И Фауста переводил.

326

СМѢСЬ.

Письмо къ издателю М. Вѣстника.

Съ особеннымъ удовольствіемъ посылаю вамъ письмо ко мнѣ отъ знаменитаго Гёте, которое я имѣлъ честь получить чрезъ Г. Трейтера, по случаю прибытія въ Петербургъ Ея Свѣтлости Наслѣдной Принцессы Саксенъ-Веймарской.

Великій Поэтъ написалъ сіе письмо въ отвѣтъ на мой отрывокъ Goethes Würdigung in Russland zur Würdigung von Russland, и разборъ Елены, Г-на Шевырева, мною переведенный и также къ нему отправленный. Въ своемъ отрывкѣ вотъ что́ я сказалъ о семъ разборѣ:

„Одинъ изъ молодыхъ стихотворцевъ, Г. Шевыревъ, принимающій дѣятельное участіе при изданіи Московскаго Вѣстника, помѣстилъ въ 21 No онаго на 1827 й годъ переводный отрывокъ изъ междудѣйствія къ Фаусту: Елена, и присовокупилъ разборъ сего послѣдняго, въ которомъ, показавъ содержаніе произведенія, развилъ и главную мысль онаго по своему мнѣнію. Здѣсь предлагается вѣрный переводъ его статьи. Быть можетъ, образъ мыслей молодаго стихотворца имѣетъ недостатки; но не менѣе того такая оцѣнка Гёте показываетъ, что въ юныхъ сынахъ Россіи зараждается благородное стремленіе къ высокому и духовному. Знакъ благопріятный! Нравственныя силы Россіи да уравняются ея могуществу тѣлесному.

327

Конечно мысли и чувства, выражаемыя молодымъ стихотворцемъ не соотвѣтствуютъ генію Творца Елены, но онѣ представляютъ пріятное свидѣтельство того, какъ умѣютъ цѣнить великаго Гете на языкѣ, которымъ говорятъ отъ Балтійскихъ береговъ до Камчатки и на которомъ съ благоговѣніемъ произносятъ его имя. На семъ-то языкѣ недавно одинъ изъ первыхъ Поэтовъ нашихъ, одаренный глубокимъ чувствомъ, Жуковскій, какъ бы отъ имени Россіи такъ выразилъ свою мысль о томъ же Гёте подъ его изображеніемъ:

„Свободу смѣлую пріявъ себѣ въ законъ,
Великой мыслію надъ міромъ онъ носился,
И въ мірѣ все постигнулъ онъ,
И ничему не покорился.“

Въ письмѣ есть много лестнаго вообще для Музъ Россійскихъ, много поучительнаго, — и я надѣюсь, что помѣщеніемъ его вы доставите большое удовольствіе всѣмъ ревнителямъ отечественнаго просвѣщенія и проч. *Н. Борхардъ.*

Съ величайшимъ удовольствіемъ исполняемъ желаніе Гна Борхарда. *М. П.*

Письмо отъ Гёте къ Г. Борхарду.

Die Gelegenheit welche sich mir darbietet ein Blatt nach Petersburg zu bringen, damit es von da bequemer und gewisser zu Ihnen gelange, darf ich nicht versäumen und ich ergreife sie um zu versichern daß	Имѣя вѣрный и удобный случай отправить письмо въ Петербургъ, я пользуюсь имъ, чтобы увѣрить васъ въ особенномъ удовольвіи, которое доставила мнѣ ваша посылка,

22 *

Начало письма Гете к Г. Борхарду о статье Шевырева по поводу „Елены“ Гете, помещенное в № 11 „Московского Вестника“ 1828 г.
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Но особенно увлеклась Гете жеманная капитан-исправничиха: начитавшись с армейским капитаном «Фантасмагории» в переводе Шевырева,

Еленой Фаустовой быть
Аксинья Павловна желала,
Чего-то тайного искала,
И не хотела говорить
О классиках она ни слова:
Но всей душой была готова
С рогами чорта полюбить
И всю вселенну удивить
Рождением Эвфориона [18].

На ряду с этим комическим врагом у шевыревской «Елены» нашлось в России много друзей—и среди них один, самый неожиданный.

Некий чиновник 10-го класса, служивший в Москве по министерству народного просвещения, Николай Борхард, большой почитатель Гете и прилежный читатель «Московского Вестника», прочтя шевыревскую «Елену», написал целый «отрывок»: «Goethes Würdigung in Russland zur Würdigung von Russland» («Оценка Гете в России, как оценка самой России»). Вот что он писал там в объяснение сделанного им перевода статьи Шевырева об «Елене»: «Быть может образ мыслей молодого стихотворца имеет недостатки; но не менее того такая оценка Гете показывает, что в юных сынах

России зарождается благородное стремление к высокому и духовному. Знак благоприятный! Нравственные силы России да уравняются ее могуществу телесному! Конечно мысли и чувства, выражаемые молодым стихотворцем, не соответствуют гению творца «Елены», но они представляют приятное свидетельство того, как умеют ценить великого Гете на языке, которым говорят от Балтийских берегов до Камчатки и на котором с благоговением произносят его имя. На сем-то языке недавно один из первых поэтов наших, одаренный глубоким чувством, Жуковский, как бы от имени России, так выразил свою мысль о том же Гете под его изображением:

Свободу смелую прияв себе в закон, и т. д.» [19]

Этот свой «отрывок» с переводом шевыревской статьи Н. Борхард вместе со своим письмом послал 12 февраля (н. с.) 1828 г. к Гете. 1 марта Гете уже записал в дневнике: «Письмо из Москвы от Николая Борхарда... К обеду Ример и Эккерман. Остались после обеда, обсуждалось послание из Москвы» [20]. Сообщенная Борхардом статья Шевырева сильно заинтересовала Гете. Как раз одновременно он получил еще два отклика на «Елену». Один был подписан Жаном-Жаком Ампером-сыном, профессором Сорбонны и Collège de France, и напечатан в парижском «Globe»; другой принадлежал Т. Карлейлю и был помещен в эдинбургском журнале [21]. Три одновременных отзыва представителей трех народов и культур о любимом его детище взволновали Гете. Он сопоставлял их один с другим и делился мыслями с близкими друзьями. След этих дум тянется по его дневнику и письмам с 1 марта до половины июня. 12 марта он заносит в дневник: «Думал о Карлейле и уяснил себе кое-что из его намерений... К обеду д-р Эккерман, обсуждали прием «Елены» в Париже и Москве». Через два дня: «Вновь просмотрел и обдумал статью об «Елене» в «Globe». На другой день: «Обдумал прием «Елены» в Германии, Париже и Москве» [22]. О том, что переживал Гете при этих обдумываниях и к чему он пришел, он рассказал Цельтеру: «Я замечаю, что получившая от меня вызов мировая литература устремляется на меня, желая потопить как ученика чародея. Шотландия и Франция изливаются почти ежедневно, в Милане издают весьма значительную газету под названием «Эхо»... К этому могу сообщить, что мне стало теперь известно, как принимают «Елену» в Эдинбурге, Париже и Москве. Очень поучительно познакомиться с тремя различными образами мышления (Denkweisen): шотландец ищет (sucht) проникнуть в произведение, француз—понять его, русский—усвоить себе. Среди немецких читателей, быть может, найдутся все три» [23]. Так сформулировал себе Гете три истолкования «Елены». Через три недели он написал знаменитейшему из толкователей, Карлейлю, ответ на его письмо. Гете уверяет английского мыслителя, что не было еще случая такого участия представителя одной нации к представителю другой: «тем более радостно было для меня ваше истолкование «Елены». Вы и здесь поступили по-своему и прекрасно, а так как к тому же времени получены были из Парижа и Москвы две статьи о том же произведении, столь долго вынашивавшемся, то я высказался об этом лаконически следующим образом». Гете приводит формулу из письма к Цельтеру и продолжает: «Таким образом, не сговорясь, эти трое представили все категории возможного участия в эстетическом произведении; притом понятно, что эти три способа не должны быть непременно резко отграничены между собою, но каждый зовет другие себе на помощь для достижения своей цели. И так как я не могу погружаться в подобные

размышления, несмотря на то, что при этом можно было бы высказать кое-что приятное и полезное, то я попросил молодого друга высказаться по поводу этого, принимая во внимание бывшие между нами разговоры. Это—dr. Эккерман» [24].

Своей формулой Гете был так доволен, что решил ее обнародовать почти в том виде, как сообщил Карлейлю; в журнале «Ueber Kunst und Alterthum» (во 2-й части VI тома, вышедшей в 1828 г.) появилась заметка Гете: «Helena in Edinburg, Paris und Moscau» (под заглавием выписаны названия журналов и в их числе «Der Moskowische Bote» № 21, 1827, S. 79). В ней Гете писал: «Шотландец стремится (strebt вместо прежнего sucht—ищет) проникнуть в произведение; француз—понять его; русский — усвоить себе (aneignen). Таким образом гг. Карлейль, Ампер и Шевырев вполне представили все категории возможного участия в произведении искусства или природы. Дальнейшее обсуждение да будет предоставлено нашим благосклонным друзьям. Отмечая и подчеркивая сопоставление этих трех, никогда резко не разграничиваемых друг от друга категорий, они найдут в этом для себя желанный повод просветить и нас относительно разнообразия эстетических воздействий» [25].

Таким образом сопоставление трех разнонациональных суждений об «Елене» явилось для Гете поводом установить вообще троякий образ восприятия творений не только искусства, но и природы. Гете умолчал, какой из этих трех родов восприятия кажется ему лучшим, но неоспоримо, что стремления «проникнуть» в произведение (durchdringen) и «понять» его (verstehen)—менее решительны и властны, чем стремление «у с в о и т ь е г о» (aneignen).

28 апреля 1828 г. Гете записал: «Просмотрел письмо в Москву... Наследная великогерцогская чета уезжает в Петербург. Продолжал вдумываться в посланье из Москвы от 31 января 1828 г.» Ответное письмо Гете пометил почему-то «1 мая», тогда как «чета», с которой было послано письмо, выехала из Веймара 30 апреля. Получив письмо, Борхард писал Погодину, издателю «Московского Вестника»: «С особенным удовольствием посылаю Вам письмо ко мне от знаменитого Гете, которое я имел честь получить через г. Трейтера [26] по случаю прибытия в Петербург ее светлости наследной принцессы Саксен-Веймарской. Великий поэт написал сие письмо в ответ на мой отрывок «Goethes Würdigung in Russland zur Würdigung von Russland» и разбор «Елены» г-на Шевырева, мною переведенный и также к нему отправленный». Приведя известную нам выдержку из своего «отрывка», Борхард заканчивал: «В письме [Гете] есть много лестного вообще для Муз Российских, много поучительного, и я надеюсь, что помещением его Вы доставите удовольствие всем ревнителям отечественного просвещения». Погодин «с величайшим удовольствием исполнил желание г-на Борхарда» и под заглавием «Письмо Гете» поместил в отделе «Смесь» в первом июньском выпуске «Московского Вестника» обращение Борхарда и письмо Гете в подлиннике и в русском переводе [27]. Вот что писал Гете в Москву:

«Имея верный и удобный случай отправить письмо в Петербург, я пользуюсь им, чтобы уверить вас в о с о б е н н о м удовольствии, которое доставила мне ваша посылка, счастливо сюда прибывшая.

Когда мы многие годы жизни употребим на образование самих себя, стараясь сохранить в творениях следы успехов нашего мышления с тем, чтобы и потомок наш мог видеть, что ему предстоит в жизни, что полезно

и что препятствие; и когда уже в преклонных летах мы узнаем, что наша цель, прежде казавшаяся далекою, достигнута, что смелое желание исполнилось, то какое сладкое чувствование мы тогда испытываем.

Я не легко сделался дидактическим в моих сочинениях: мне всегда казалось выгоднейшим поэтическое представление предметов, частью действительных, частью идеальных, дабы мыслящему читателю можно было смотреться в образы и самому, при возрастающей опытности, извлекать из них разнообразнейшие результаты.

Хотя мы, западные, многими посредствами, а особенно через г-на Боуринга [28] уже знакомы с достоинствами ваших стихотворцев, хотя, судя по ним и по многим другим благородным признакам, можем предполагать высокое эстетическое образование в обширной области вашего языка; но, несмотря на то, для меня все еще было неожиданным встретить в отношении ко мне на отдаленном Востоке чувства столь же нежные, сколько глубокие, коих милее и привлекательнее вряд ли мы можем найти и на нашем Западе, уже многие столетия идущем к образованию.

Разрешение проблемы, или, точнее сказать, узла проблем, предложенных в моей «Елене», разрешение столь же удовлетворительное, проницательное, сколько простосердечное,—не могло не удивить меня, хотя я и привык уже испытывать, что нельзя по прошедшему времени судить о быстроте успехов новейшего. Уже мои усладительные отношения к Жуковскому были мне доказательством нежнейшего сочувствия и чистого деятельнейшего соучастия.

Положение, в котором вы [29] находитесь, заставляет меня пожелать счастья в том прекрасном и спокойном влиянии, которое вы имеете на великий народ. Продолжайте с тою же постепенностью, как прежде, передавать своим соотечественникам то, что имеет для них пользу ближайшую. Имея всегда в виду монарха и его мудрые, благодетельные намерения, вы на вашем месте исполняйте вам предстоящее. Что честному возможно, то и полезно, что простыми понято, то принесет плоды. Да будет вам всегда возбудительною наградою одобрение вашего сердца вместе с одобрением ваших начальников». Нельзя тут не прервать Гете и не помочь ему высказать его мысль просто, без обиняков: «Не идите по следам декабристов»— вот то, что хочет он сказать московским любомудрам, и набрасывает им такую программу политического и общественного поведения, что, верно, прочтя ее, был доволен и сам Николай I. Это—программа не только верноподданнического послушания: 1) «иметь всегда в виду монарха и его мудрые благодетельные намерения» и 2) «исполнять» только то, что «предстоит» каждому на его «месте»,—это программа тишайшей гражданской умеренности: «что честному возможно, то и полезно», это, хуже того,—программа откровенного сервилизма: не только сентиментальное «одобрение сердца», но и более реальное «одобрение начальников» должно «возбуждать и награждать» послушных учеников Гете. Один из «архивных юношей» несомненно тут понял бы и поблагодарил Гете за совет: «числившийся по архивам» Алексей Степанович Молчалин, но он—сколько известно—не сотрудничал в «Московском Вестнике» (впрочем, может быть под псевдонимом).

Гете благожелательно обращался к молодежи, только что переведшей на русский язык его новую вещь, с изъяснениями, но, право, они могли усомниться в пользе своего дела, прочтя призыв «передавать соотечественникам с постепенностью» и лишь то, что имеет для них «пользу бли-

Простите мне долгое мое молчание
любезный Михайло Петровичъ; я
во всякой день упрекалъ и себя въ
непростительной лени, всякой день
собирался къ вамъ писать и все
не собрался — По сию пору не
присылалъ вамъ ничего въ
Моск. Вест. Правда, что и посы-
лать было нечего, но зато
скоро — Осень у воротъ; я уберусь
въ деревню и пришлю вамъ оброкъ
сполна — Надобно чтобъ нашъ
Журналъ издавался и на следую-
щий годъ. Онъ конечно, будь сказа-
но между нами, первый, единствен-
ный журналъ на святой Руси —
Должно терпениемъ, добросовестно-
стию, благородствомъ и особенно
настойчивостию оправдать ожиданий

Первая страница автографа письма Пушкина к М. П. Погодину от 1 июля 1828 г.
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Вторая страница автографа письма Пушкина к М. П. Погодину от 1 июля 1828 г.
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

жайшую». Как было решить, имеет ли мятежный «Фауст», переводимый Шевыревым, или бурный «Гец», издаваемый Погодиным, «пользу ближайшую» для «соотечественников»? По крайней мере в мудрых «намерениях монарха», осуществляемых цензурою и III Отделением, эта «польза» решительно отвергалась.

Наставления Гете даже по языку—тяжелому, мертвенно-бюрократическому—кажутся монологом Фамусова, но в «Московском Вестнике» не нашлось Чацкого, чтобы подать ему злую, заслуженно-злую реплику.

Но произнеся монолог Фамусова, Гете выступает далее в иной роли: проповедника мирного просвещенства:

«Размышления, к которым я приведен теперь, столь же обширны и необъятны, как то государство, в средоточии коего вы находитесь. Уже древняя столица, которую мы еще незадолго почитали в развалинах, снова непонятно возникла из пепла, и вы, вместе с достойными друзьями вашими, быв призваны разделить участь столь важной точки вселенной, в значительнейшую эпоху, не ставьте границ вашему учению, чтобы вернее достигнуть туда, где чистая, простая, благородная деятельность необходима для уничтожения многих препятствий, для совершения многого добра.

Здесь должен я окончить, ибо мои размышления, кажется, начинают уже терять свою цену, удаляясь от того, что служило к ним поводом; но я надеюсь, что вы в вашем положении будете уметь дать особенный смысл сказанному мною вообще.

Мой поклон вашим друзьям; продолжайте спокойно знакомить человека с самим собою, да почувствует он свою цену и достоинство и да научится узнавать то место, которое ему назначено в отношении к целому миру и в особенности внутри его определенного круга.

Если вы опять когда-нибудь пришлете мне искреннюю весть о себе и ваших успехах,—это мне доставит большое удовольствие, и во всякое время мне будет приятно иметь повод говорить с вами.

Прошу вас при случае сказать усердный поклон моему старинному любезнейшему другу, тайному советнику Лодеру, и напомнить обо мне прежнему моему соседу Г. Трейтеру, Главному доктору при Императорском Воспитательном Доме.

Искреннее участие в вас принимающий

И.-В. Гете.

Веймар, 1 мая 1828 г.».

В старости Погодин вспоминал, что «самое блистательное торжество имел Шевырев, написав «разбор» 2-й части «Фауста»: сам германский патриарх отдал справедливость Шевыреву, благодарил его и написал к нему письмо» [80]. Погодин был прав: письмо Гете Борхарду было благодарностью и наставлением Шевыреву и всему «Московскому Вестнику».

Пушкин живее всех отозвался на письмо Гете: через какой-нибудь месяц он уже поздравлял Погодина: «Надобно, чтоб наш журнал издавался и на следующий год. Он, конечно, будь сказано между нами, первый, единственный журнал на святой Руси. Должно терпением, добросовестностью, благородством и особенно настойчивостью оправдать ожидания истинных друзей словесности и одобрение великого Гете. Честь и слава милому нашему Шевыреву! Вы прекрасно сделали, что напечатали письмо Германского Патриарха. Оно, надеюсь, даст Шевыреву более весу в мнении общем, а того-то нам и надобно. Пора уму и знаниям вытеснить Булгарина и Фе-

дорова. Я здесь на досуге поддразниваю их за несогласие их с мнением Гете. За разбор Мысли [31] одного из замечательнейших стихотворений текущей словесности, уже досталось нашим северным шмелям от Крылова, осудившего их и Шевырева каждого по достоинству. Вперед и да здравствует «Московский Вестник!»

Пушкин вспомнил и в печати одобрение Гете: разбирая в 1830 г. «Денницу» Максимовича, он с похвалой отозвался о молодой школе московских литераторов, «которая уже произвела Шевырева, заслужившего одобрительное внимание великого Гете» [32].

Этим «вниманием великого Гете» Шевырев был поставлен как бы главою русского философического гетеанства, которое переживало в это время свой апогей. Но тотчас же начался и закат. Пожелания Пушкина, выраженные в письме к Погодину, не осуществились. «Московский Вестник» продолжал, правда, издаваться и в 1829, и в 1830 гг., но вряд ли бы он вызвал «одобрение великого Гете». Журнал хирел и тощал. В 1829—1830 гг. переводы из Гете и статьи о нем исчезают со страниц «Московского Вестника». «Не лежит у меня сердце к Гете», отметил Погодин в дневнике 2/III 1828 г. [33] Он наполнял «Московский Вестник» статьями по русской истории и археологии. Веневитинов умер, кн. В. Одоевский, Титов, Кошелев служили в Петербурге, Рожалин в 1829 г. уехал за границу. В феврале 1829 г. уехал в Италию и Шевырев наставником при сыне кн. З. Волконской. Друзья провожали его туда с великими надеждами.

Шевырев ехал в Италию гетеанцем, а через три года вернулся оттуда дантеанцем. Уже в 1830 г. он писал приятелю: «Я прочел всего Данте или лучше заготовил его на всю жизнь. Что за богатства! Как этот человек в себя вместил весь век свой!.. Читаю Петрарку и Ариоста. Что за язык— этот язык итальянский! У нас в нем только находят звуки и забывают его художественность, его красоту собственно эстетическую» [34].

С этой новой любовью Шевырев хотел связать и свою ученую, и свою поэтическую деятельность. Из Италии он прислал Погодину свое рассуждение «О возможности ввести итальянскую октаву в русское стихосложение» с образчиком перевода 7-й песни «Освобожденного Иерусалима». Оно было первым шагом на кафедру, где его так хотел видеть Пушкин, что, по словам Погодина, ехал в Петербург «облеченный во всеоружии брани» за Шевырева [35]. Вступая адъюнктом на кафедру словесности, Шевырев представил диссертацию «Данте и его век», а темой пробной лекции (в начале июня 1833 г.) взял итальянское возрождение: «Изящное искусство в XVI в.». С Италией же связывал Шевырев свою поэзию. Он переводил уже не Гете, а Тассо и Данте. Как Фауст, он сменил Гретхен, поэзию севера, на Елену, поэзию юга. Но в 1829 г. он выехал из Москвы поклонником Гретхен, и таким приехал в Веймар, увлекши с собой Рожалина.

«Предъистория» знакомства Гете и Шевырева обильна событиями. Зато «история» их встречи бедна ими. Когда знаешь эту «предъисторию» и вспомнишь о «трусости» Шевырева, которая почти зачеркнула его встречу с Гете, начинаешь понимать, что очевидно «олимпийство»—вольное и невольное—жизни и поэзии Гете могло внушить такую степень пиэтета, что она граничила с трепетом, с трусостью: иные посетители Гете, как Шевырев, способны были забыть свою биографию, все свои гетеанские труды, даже свою заочную известность Гете и дрожать перед ним.

То, что Рожалин обозвал «трусостью», сам Шевырев назвал немногим мягче—«робостью». 29 мая 1829 г. он писал А. П. Елагиной из Флоренции:

«Если Гете нас робел, как же мы-то должны были его бояться? Мы все молчали и смотрели. Он показал нам подарок Жуковского: картину, изображающую арфу у стула, на котором кто-то сидел и исчез, оставив плащ свой. Луна ударяет на струны. Эта мысль взята из его «Елены». Гете очень доволен этим подарком. Княгиня своею любезностью загладила нашу скромность. Оттилия Гете не хороша, даже дурна, но очень умна и любезна; она вся дышет Байроном и сожалеет, что он не успел исполнить своего обещания—посетить Веймар. Гете очень добрый дедушка: когда вошел в комнату внук его, он весь устремился на него. Видно, что в бессмертии своем, как поэт, он слишком уверен: ему хочется жить и во внуках. Какие огненные глаза! Но они одни и живут в нем, а в прочем он только что бродит по земле. Он сидел на стуле, протянувши руки и беспрестанно сжимая пальцы. Уже все ему в тягость, а особенно незнакомые лица,—как будто ему уж нет времени видеть новое. Он редко теперь выходит из дома, однако все издает журнал свой. По-французски говорит он дурно. С большим участием слушал он, как княгиня говорила ему о том, как ценят его в России. Оттилия слыхала о Пушкине, но не могла сказать его имени, потому что имена русские жестки даже и для немецкого уха» [36]. Вот и все: несколько строк, исполненных удивления пред огненным взором Гете, и теплого чувства к его старости и семейственности. Гете «с большим участием слушает», как ценят его в Москве, но это говорит ему не тот, чью «оценку» он недавно читал и на которую отвечал как на «оценку самой России», это говорит ему светская женщина. Гете показал картину, связанную с «Еленой», но перекинулся ли он хоть словом с переводчиком «Елены»? Гете просто отметил в дневнике, что у него были двое русских юношей с княгиней. Расслышал ли он фамилию одного из них, уже известную ему, побывавшую под его пером, напечатанную им в его журнале? Приходится думать, что нет, и этим объяснить, что сам Гете не заставил заговорить заробевшего гетеанца: если бы имя Шевырева дошло до слуха престарелого поэта, вряд ли оно скрылось бы в записи 12 мая под мало говорящей фразой о посещении «двух русских юношей».

Через девять лет Шевырев опять был в Веймаре и, освободившись от своей «робости» пред «олимпийцем», лежавшим уже в могиле, дополнил свой рассказ подробностями психологическими и описательными. Рассказ Шевырева о веймарском посещении 1838 г. совершенно забыт: ни один из старых и новых русских и немецких исследователей русских отношений Гете не упоминает о нем. Это дает ему право занять видное место в нашем исследовании:

«Восемь лет тому назад я имел счастье видеть Гете и быть у него. Такие минуты не забываются в жизни. Я был тогда в Веймаре с покойным Р[ожалиным]. Мы оба имели некоторое право на такую честь: Р[ожалин]—как переводчик «Вертера», я—как автор разбора «Елены», заслужившего приветливое слово Гете. Княгиня В[олконская] ввела нас обоих через канцлера фон Мюллера, который всегда, в подобных случаях, исправлял должность церемониймейстера при своем друге Гете. Канцлер предупредил нас, что поэт всегда будет смущен и молчалив при первом свидании с людьми ему незнакомыми...

Я помню, с каким благоговением и трепетом я всходил по изящной лестнице гетева дома, убранной копиями прекрасных статуй. Я понимал здесь впечатление Миньоны, гуляющей по галереям Ватикана. Мне также казалось, что все эти статуи смотрели на меня, входящего к великому Гете.

План Рима виден был на стене, как тот мраморный план, который вы видите на стенах лестницы Музея Капитолийского. Он был тут кстати: он приготовлял к великому видению. На верху лестницы перед входом в переднюю, на полу, у двери, глаза ваши встречали мозаиковое гостеприимное «Salve», как в домах Помпеи. Наконец я был в передней. Еще несколько шагов, и надобно было предстать пред Гете.

Эти минуты ожидания могу я сравнить только с теми, когда в первый раз подъезжал к морю, к Риму, к храму св. Петра, Мон-Блану... То же самое ощущение, когда приближаешься ко всякому земному величию. Роковые шаги были сделаны. Я стоял в дверях гостиной—и величавая фигура Гете медленно и спокойно двигалась к нам навстречу. Всего прежде поражало в нем, как в бюсте Юпитера, высокое чело, надрезанное морщинами; под ним юношески сверкали черные глаза, живости чудной на лице старца; след правильного греческого профиля еще обрисовывался ясно; могучие плечи и стан дивно прямо поддерживали эту древнюю пластическую голову. Когда Гете сел в кресла, он принял положение сидящего Юпитера: руки его со сжатыми кулаками спускались по коленям—и в пальцах заметно было движение когтей орла или льва, который то вбирает их в себя, то выпускает. Разговор сначала шел очень медленно, тем более, что Гете говорил на французском языке, который затруднял его. Оттилия, вольнее им владевшая, оживляла беседу—и, я помню, говорила о произведениях Пушкина и особенно о его «Кавказском пленнике», которого узнала она через перевод, ей сообщенный князем Э[лимом] М[ещерским]. Речь коснулась и Байрона; много сожалела Оттилия о том, что он не сдержал данного свекру ее слова и не приехал в Веймар. Когда Гете узнал, что Р[ожалин] перевел его «Вертера», он улыбнулся и сказал с каким-то вздохом: «А! Это шалость моей юности». Лицо его оживилось и просияло выразительною улыбкою, когда вошел его маленький внук, сын Оттилии, хорошенький мальчик, который теперь вырос и обещает быть замечательным музыкантом [37]. Гете устремил глаза на своего внука, как на свое будущее, и был рад, что мог рекомендовать его гостям». Гете показал гостям картину Каруса: «она ему очень нравилась... Гете любил показывать произведения искусства, которыми изобиловал дом его. Провожая, он повел нас в комнату, где стояли мраморы и гипсовые копии. Здесь я помню особенно бюст тридцатилетнего Гете: красота мужа необыкновенная,—это был помолодевший Юпитер Ватикана» [38].

В поездку 1838 г. Шевырев посетил Франкфурт и записал такое впечатление от родины Гете: «И в Франкфурте, как в Гамбурге, торговля осилила литературу: этот город больше торгует, чем пишет; но он хранит в себе самое драгоценное воспоминание для немцев: здесь колыбель Гете. Я видел дом, в котором он родился, дом богатый и высокий. Я видел Рöмер (Römer)—и здесь залу венчания императоров и залу пиршества. Сюда нельзя войти, не вспомнив, что здесь отроческий гений великого гения Германии питался памятью минувшего и, может быть, здесь зародился его «Гец». Франкфурт всегда был горд своим уроженцем и подкреплял ослабевшую старость поэта рейнвейном, ровесником ему по годам. Золотой венец, дар франкфуртских граждан, хранится в доме Гете в числе других редкостей» [39].

Второе посещение Веймара (19-20/7-8 июня 1838 г.) Шевырев очень ярко отразил в неизданном дневнике своем. Записи сделаны в самом Веймаре: они напоминают систему «кольев» Жуковского: кратки, обрывисты, сжаты.

Автограф письма С. П. Шевырева к А. П. Елагиной от 29 мая 1829 г. с рассказом о посещении Гете
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Но, в отличие от Жуковского, Шевырев очень скоро проделал у себя в кабинете второе путешествие по «кольям» с пером в руке, и «колья» превратились в связный рассказ о посещении дома Гете. Почти все записи «кольев» текстуально вошли в «Дорожные эскизы на пути из Франкфурта в Берлин», появившиеся на следующий год в «Отечественных Записках», но вошли. в связном, пополненном изложении автора, не нуждающемся в комментировании. Этот рассказ здесь и воспроизводится, а то, что не вошло в него из «кольев», будет приведено в скобках в соответствующем месте рассказа. Текст «кольев», целиком перенесенный в рассказ 1839 г., выделен разрядкой.

19/7 июня Шевырев записал в дневнике: «В Веймар приехали мы в три часа ночи. Насилу добрался я до трактира и до постели»[40]. Этот ночной приезд русского гетеанского паломника конца 30-х годов развернут в «Дорожных эскизах» в яркую, богатую социальными красками картину.

«Город глубоко спал, когда носильщик прикатил мои пожитки к гостинице. Разбуженный стуком Hausknecht отворил мне дверь и, сердитый, впросонках, отвел мне самую дурную комнату во всем трактире. Я спрашивал, нет ли лучше? «Нет, все заняты», был лаконический ответ его. Слуга ушел, а Шевырев с помощью служанки тотчас же перешел в лучшую комнату насупротив прежней. «Утром насилу я докликался слуги; вообще меня принимали очень дурно. Вот что значит притти пешком в гостиницу. Но когда я взял лон-лакея и объявил, что иду к канцлеру фон Мюллеру, когда на вопрос хозяйки: буду ли я обедать в гостинице, я отвечал, что обедаю в Бельведере у великой княгини, когда хозяин в книге проезжающих увидел возле моего имени чин гофрата,—тогда все переменилось: хозяин уже провожал меня до коляски, предложил мне переменить мою комнату на лучшую; за ужином и за обедом на другой

день сам потчевал меня во второй раз кушаньем. Вечером трусливый Hausknecht подошел ко мне с подобострастием и, глупо улыбаясь, спросил меня: не сердит ли я еще на него? Наконец слуга трактира, поднося мне счет перед отъездом, с глубоким поклоном сказал: «Da haben Sie die Rechnung, Herr Hofrath».

Никто из русских посетителей не набросал такой типичной для феодально-придворного Веймара сценки: «по одежке встречают, а—вопреки пословице—по социальному паспорту провожают»! Паспорт же этот выдавался в Веймаре двором.

Веймар 1838 г. произвел на Шевырева «впечатление Помпеи. Улица гробов, ведущая вас в город, покинутый жителями, наводит на вас такое же уныние, как теперь Веймар: только гробницы, да опустелые дома великих мужей!... «Вот дом Гердера», скажет вам проводник. «Вот дом Шиллера», скажет он вам еще на другой улице, указав на простой, низкий домик мещанской наружности. «Вот дом Гете», воскликнет он гордо, остановясь перед домом довольно большим и замечательным для скромного Веймара».

Шевырев посетил канцлера Мюллера, не застал Эккермана и отправился в дом Гете. Его описание дома чрезвычайно ценно: он, подобно А. И. Тургеневу, собрал в своем описании отзвуки живого и свежего предания о Гете и дал полнее и обстоятельнее всех русских посетителей топографию и описание комнат и всего, что в них было; кажется, что живой Гете сопутствует Шевыреву в его «путешествии по комнатам»; но в то же время Шевырев уловил в своем рассказе и начальный момент превращения дома Гете в платный музей, начало туристско-промышленного «использования» гетевской посмертной славы. Среди описаний гетева жилища, появившихся в первое десятилетие после его смерти, забытый рассказ Шевырева занимает, если не первое, то одно из первых мест. «Если захотите в Веймаре видеть дом Гете, надобно предупредить бывшего секретаря и библиотекаря при Веймарской библиотеке, г. Крейтора, который очень радушно всем его показывает, в ожидании разумеется червонца или по меньшей мере талера.

С чувством стеснительно неприятным всходил я опять по той же лестнице: план Рима висел на том же месте; статуи стояли тут же; то же «Salve» встретило меня перед входом... Но все как пусто и как изменилось! Нечистота лестниц уже показывала отсутствие хозяина. Парадные комнаты, в которых принимал нас Гете, были заперты по причине отсутствия г-жи Оттилии. Сюда не простирается право г. Крейтора, который заведует только кабинетом, спальнею и коллекциями Гете и комнатами, где находится естественный музей. Я вошел в кабинет. Крейтор, показывающий все с постепенностью и важностью, достойными дома Гете, остановил меня и сказал: «Вспомните, что вы вошли в комнату, где в течение сорока лет жил и думал Гете». Передо мною была маленькая, четвероугольная, довольно низенькая комната с низкими окнами в сад. Во всем ее убранстве господствовала простота до скудости. Все предметы ее остались точно так, как были они расположены в последний день жизни Гете, и с тех пор не тронуты с места. Простой четвероугольный стол стоит в средине: на нем в картоне деревянная чернильница и песочница. В комнате ни дивана, ни кресла, но всего три стула, из которых два у стола, и на одном из них, где сидел

Гете, лежит подушка. Возле стола высокая корзина, куда Гете клал свой платок. Такое отсутствие спокойной мебели в комнате все придумано с целью: Гете боялся всякой приманки к неге как повода к лени. В течение целого утра он более ходил по комнате и редко садился: этим беспрерывным движением его и содержанием тела в непрерывной деятельности Крейтор объясняет, почему он, несмотря на глубокую старость, всегда сохранял прямизну своего стана. Единственная нега, какую позволял он себе вечером, когда утомленный трудами дня садился у стола и собирал около себя друзей своих, была подушка, на которую облокачивал он руки. Никто, кроме самых искренних друзей, не мог проникнуть в тайну его кабинета, и эта комната до самой смерти Гете пребывала невидимою для его посетителей. Г. Крейтор с живым участием и весьма красноречиво показывает все вещи, принадлежавшие Гете, и сообщает много любопытных подробностей из его жизни. В его полной и изящной речи очень заметно, что он не малое время был секретарем при Гете, который часто диктовал ему свои произведения.

Между вещами много замечательного. Сначала привлекает внимание ваше бюст Наполеонов, ввиде флакона из венецианского стекла, на котором проходят всевозможные отливы радуги: это подарок, присланный дочерью Эккермана из Венеции. Гете очень любил эту игрушку и видел в ней подтверждение теории цветов. Флакон стоял у него всегда перед зеркалом, как стоит и теперь, так что в нем отражалась всегда и задняя сторона бюста со своими радужными цветами».

(После описания флакона в дневнике еще фраза: «Его (т. е. Гете) выражение об этом флаконе», но выражение это не приведено.—*С. Д.*).

«Далее замечательна призма из четырех красок, символически выражающая его теорию, и на каждой краске по надписи: Sinnlichkeit (чувственность), Phantasie (фантазия), Verstand (разум) и Vernunft (ум). Гете находил соотношение между лучами света и четырьмя способностями, в которые, по его мнению, дух человеческий преломляется, как свет в лучи. (В дневнике: «Призма четыре цвета: Sinnlichkeit (зеленый)—Phantasie (красный)—Verstand и Vernunft. Система фантастическая».—*С. Д.*). В числе автографов с благоговением развернете вы «Геца фон Берлихингена», писанного собственной рукою Гете: это черновая рукопись, но она написана так четко и разборчиво, что вы ее примете невольно за перебеленную. Вы обратитесь к Крейтору с вопросом удивления и он вам скажет, что он с тем же вопросом обращался к самому Гете: отчего все его рукописи так чисты и чужды помарок? Оттого, что Гете долго носил в себе произведения и тогда уже передавал их бумаге, когда они во всей полноте подробностей и в окончательных формах представлялись его воображению. (В дневнике важное пояснение: «Слова самого Гете Крейтору о том, как он долго носил в себе произведения и как скоро их писал».—*С. Д.*). Нельзя не согласиться, что потребна необыкновенная внутренняя сила и сосредоточенность гения, чтобы в самом себе выносить создание и отделать его в малейшие черты. Другая рукопись остановит вас: «Римские элегии» (Erotica romana). Здесь заметны некоторые поправки, но сделанные после рукою поэта. Крейтор рассказывал, что Гете, будучи недоволен самими римскими эле-

гиями, хотел сжечь их и поручил это ему, но он не исполнил приказания и сохранил их».

Шевырев, хорошо повидимому знакомый с историей создания «Римских элегий», весьма внимательно, по-ученому, ознакомился с их рукописью: он приводит отвергнутое Гете первоначальное их заглавие: «Erotica Romana», а в дневнике еще отмечает: «Поправки стихов в рукописи: regst вм. rührst. Место о Вертере, которое не было никогда напечатано». «Место о Вертере»—это начало первого, более короткого, варианта второй «Римской элегии», оставшегося в рукописи: Гете отмахивался в нем от прискучивших ему вопрошаний: существовал ли Вертер? кто такая Лотта? и т. п.

Экземпляр «Манфреда» с надписью: from the author, присланный от Байрона к Гете, в чудном фантастическом футляре Ост-Индии, лежит возле этих рукописей. Недалеко от стола, на двери, висит доска, где Гете записывал для себя все важные современные политические события, следя их внимательно по важнейшим газетам [41]. С другой стороны комнаты, между двумя этажерками, которые уставлены зонтиками, ширмочками и другими безделицами, дареными Гете от его знакомых и родных в день его именин и рождения, вы видите на стене гипсовый медальон, полуразбитый, с портретом Наполеона». Его историю мы уже знаем из письма А. И. Тургенева.

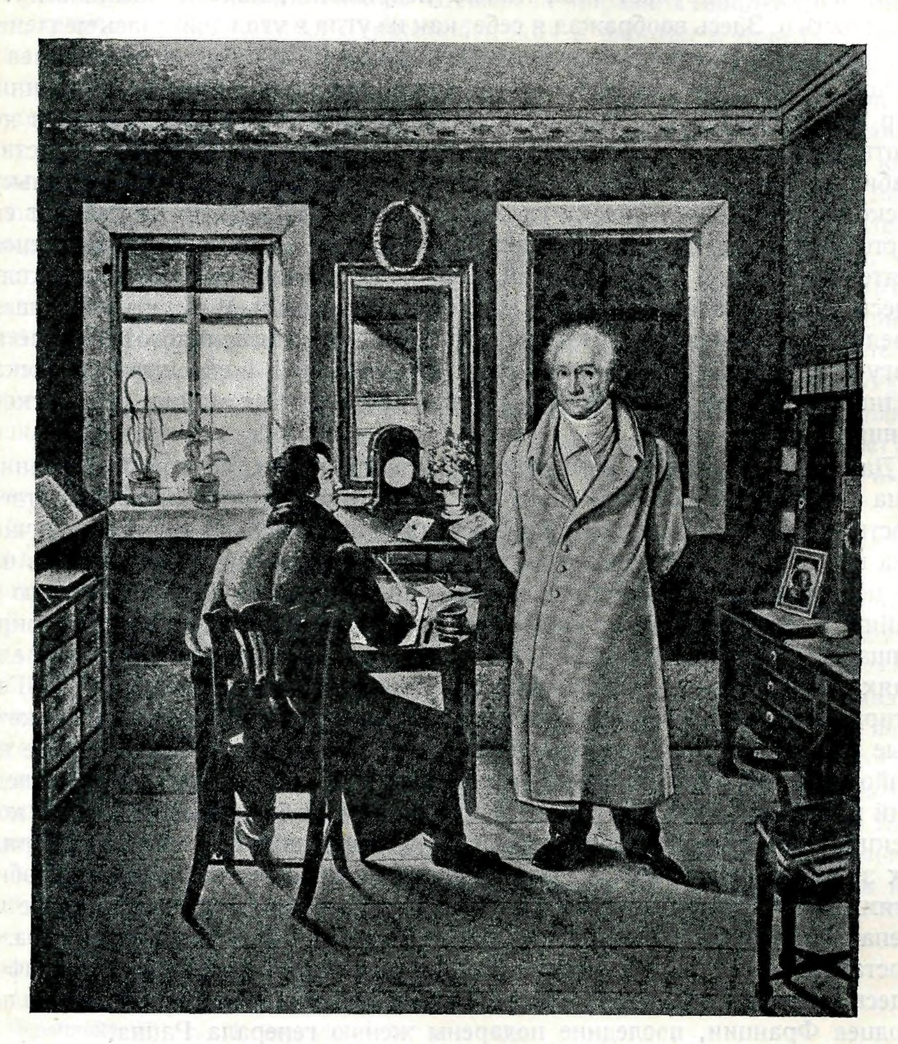
«Кроме стола, стоящего в середине, где занимался Гете, есть в комнате другой стол у окна: здесь обыкновенно сидели за столом внуки Гете, не отходившие от деда по смерти их отца. Иметь их у себя в кабинете не мешало его занятиям. Такая же точно чернильница стоит на столе внуков, какая у деда. В картоне видна корпия. Один из внуков Гете был очень жив и нетерпелив, ему не сиделось на стуле, он хотел резвиться. Старик приучал ребенка к терпению и, обещая ему награждение денежное, заставлял его в течение часа сидеть у стола и щипать корпию. Когда ребенок высиживал, тогда получал деньги.

На полках этажерок видны книги. Здесь заметны сочинения Гете и особенно теория цветов, которою он гордился более, нежели чем-нибудь. Три последние тома его переписки с Шиллером переплетены и стоят особо, на них видна буква L; они назначены были для отсылки к Лодеру, но Гете не успел сделать этого до своей смерти. Тут же видны исторические словари и Conversations-Lexicon, служившие ему для справок. Крейтор говорит, что Гете сначала не любил сего последнего сборника, но после сознался в его пользе и всегда держал его у себя в кабинете. На другой полке стоят книги, которые присланы ему были перед его смертью от разных ученых и литераторов. Тут заметил я Историю всемирной литературы А. Вахлера, которую Гете много уважал.

Из кабинета налево вы входите в спальню, которая еще вчетверо меньше кабинета. Здесь он умер. Самая простая деревянная кровать стоит в углу и занимает почти четверть комнаты; на ней перина, одеяло весьма запачканное и одна подушка... Комната снизу кругом обита коврами. Вольтеровские кресла поставлены у кровати и перед ними разложен маленький коврик для ног. Тут же столик и на нем зеленый зонтик для глаз. В углу, с другого конца, на столе видна склянка с лекарством, которое в последний раз принимал Гете; на ярлыке склянки вы читаете надпись: S. Excellenz dem Herrn Geheimrath von Göthe (его превосходительству господину тай-

ному советнику фон Гете). Все это осталось так, как было в день его смерти. Подумаешь, это постель и спальня самого бедного человека.

Здесь Крейтор с чувством расскажет вам последние минуты жизни Гете. Я уже знал их прежде из описаний, но в комнате, где совершилось событие, рассказ был кстати. «Отчего он умер? Какая была главная причина его смерти?» спросил я Крейтора. «Он простудился,—был ответ его.— Зима была очень суровая, здесь в комнатах дуло из-под полов. Нет, он не



Гете в своей рабочей комнате диктует секретарю
Картина маслом Иосифа Шмелера
Landesbibliothek, Веймар

должен был умереть так скоро; несмотря на 81 год, старость не коснулась его своим разрушением; как он прямо держал себя! Как тело его было свежо и еще полно сил до самой смерти! Вся жизнь его была так устроена, что он должен был провести самую долгую старость, умеренность во всем, начиная с пищи до внутренних ощущений; всякое неприятное чувство он удалял от себя; все ему служило, все поклонялось; уважаемый всем миром, ласкаемый судьбою он мог еще жить долго, долго». («Простота до скупости

в спальне Гете. Как богат был внутренний мир Гете! Чудное явление, если вникнуть во всю глубину его!»).

«Почти час провел я в кабинете и в спальне Гете, слушая занимательные рассказы Крейтора. В первом моем путешествии я видел гостиную Гете, теперь, после его смерти, в этих двух маленьких, тесных, скудных до бедности комнатках открылся мне тот богатый внутренний мир, в котором он жил, нарочно окружая себя такою непривлекательною, обыкновенною внешностью. Здесь воображал я себе, как из угла в угол двигалась медленно и спокойно его величавая пластичная фигура: это был орел или лев в тесной клетке. Но какое богатство души, какой роскошный внутренний мир надобно было носить в себе, чтобы добровольно запереть себя в нее и отказаться от всех приманок внешней жизни, имея все к тому средства! Кабинета в нашем смысле не было у Гете,—или, вернее, он был постольку, поскольку надобно человеку где-нибудь сидеть да ходить; но кабинет его настоящий был душа его, обнимавшая собою мир... Сорок лет такой чудной, деятельной жизни в этой тяжкой и довольно темной клетке о двух окнах! Здесь явился на свет «Тасс», «Фауст», «Вильгельм Мейстер», «Елена»... Зрелище поучительное, открывшееся нам по смерти великого! Эта клетка могучего гения есть свидетельство его железной воли, эта нищенская бедность говорит о чудном богатстве души... Вот тайна германского гения!

Да, кабинет Гете есть символ не только его жизни, но и всей Германии. Она вся такова: скудость снаружи, богатство внутри; бедная существенность—дивный мир мыслей. Русским, привыкшим к наружному величию, она кажется и тесна и мелка, и я с ними согласен,—и я готов шутить над ее невинностью в удобствах жизни, но в кабинете Гете я постигаю ее тайну, и сквозь эту жалкую существенность вижу яснее внутренние сокровища ее жизни немецкой... Но эта мысль, справедливая в других случаях и пошлая здесь, совершенно уничтожится, когда вы из кабинета Гете отправитесь с г. Крейтором рассматривать любопытные коллекции, которые стоили ему очень дорого. Здесь найдете многочисленное собрание ваз майолических (vasa majolica), итальянских медалей и разных произведений искусства. Гете жил всегда в этом мире и любил перебирать свои коллекции. Любопытно собрание бюстов, украшавших его комнаты: в ряду их заметите бюст Гегеля. Рядом стоят черепа: череп со всеми подробностями головной системы, самим Галлом [42] подаренный Гете, снимок с черепа шиллерова, и настоящий череп Вандика, не знаю, каким образом доставшийся Гете. Не менее достойно внимания собрание автографов: здесь оригинал письма В. Скотт к Гете и почерки всех знаменитых полководцев Франции, последние подарены женою генерала Раппа.

Гете любил иметь у себя портреты всех друзей своих и замечательных знакомых: но нельзя не сказать, что эти портреты исполнены очень дурно и похожи более на карикатуры: Гете заказывал их веймарскому живописцу Шмельцеру» [43].

В «Дневнике» в числе этих плохих портретов Шевырев отметил еще «портрет Мицкевича».

О драгоценных кубке, венце и печати, принадлежавших Гете, мы прочли уже у А. Тургенева.

В доме Гете, в его кабинете, спальне и парадных комнатах, Шевырев увидел символ его жизни и даже символ всей Германии. В этом много справедливого и много совершенно ложного. Превосходно уподобление, данное

Гете: «Это был орел или лев в тесной клетке», но ему не пришло в голову продолжить свое сравнение. Парадные комнаты с созданиями искусства и комнаты с научными коллекциями были тоже клетками—раззолоченными и разукрашенными отделениями той единой захолустной веймарской клетки, которая называлась—бытие великого поэта Гете в качестве господина тайного советника фон Гете, серьезного министра полуопереточного государства на курьих ножках. Шевырева поразила вопиющая несоответственность: величайший солнцелюбец жил и работал в темных клетушках (в дневнике своем Шевырев даже ахнул: «Простота до скупости в спальне Гете»), поэт мирового мыслительного простора сжимал себя под давящими потолками мещанских комнатушек. Знаменитое предсмертное восклицание Гете «Mehr Licht!» («Больше свету!»), тысячу раз символически комментированное, истолкованное как последняя заповедь гуманиста, ныне оспаривается. Но слова эти, по замечанию современной нам посетительницы дома Гете, «могли быть произнесены хотя бы по той причине, что свету в комнате слишком мало и умиравший Гете не мог не страдать от его недостатка» [44]. Должно сказать точнее: перед смертью или немного раньше Гете должен был произнести эти слова: он задыхался в своей закуте-спальне, и любой современный врач тотчас бы велел перевести больного в другую, просторную, светлую комнату, открыть форточки, дать больному вдоволь дышать свежим воздухом. Умиление на этот возглас Гете: «Больше свету!» просто отвратительно: это умиление на крик больного, которому не оказывают надлежащей помощи.

В сущности совершенно так же Гете задыхался и в клетке своей веймарской жизни. «Существовать в жизненной среде, которую он должен был презирать, и все же быть прикованным к ней как к единственной, в которой он мог действовать» (Энгельс),—существовать в этой среде—значит задыхаться, значит нажить себе тягчайшую астму. Весь веймарский быт Гете был существованием больного астмой: он от нее не умирал, правда, но он и никогда не был здоров: еслиб он мог без астмы жить в спертом воздухе веймарского мелкопоместного двора и общества, он не был бы тогда ни великим поэтом, ни зорким ученым. Шевырев сказал правду, извлекши ее из внимательного осмотра дома Гете: великий поэт больше сорока лет прожил в «тяжкой и довольно темной клетке о двух окнах», но только бывший московский любомудр ошибся названием: клетка называлась не «кабинетом Гете», а «Веймаром Гете». [45]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Переписка П., т. II, стр. 232.

[2] Б. Л. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором. 3 изд. Л., 1925, стр. 82—92.

[3] Письмо 1830 г. к Ал. В. Веневитинову, Барс., т. III, стр. 73—76.

[4] Барс., т. II, стр. 179—180.

[5] Пуш., т. V, стр. 49, 361—362; М. П. Погодин, Дневник 4/III 1827 г. «Пушкин и его современники», тт. XIX—XX, стр. 84; Пуш., т. V, стр. 46—47, 388.

[6] «О. А.», т. III, стр. 287.

[7] Барс., т. III, стр. 48.

[8] Письма П., т. I, стр. 85. Письмо от 29 апреля 1830 г.

[9] В виде предположения высказываю мысль, что Шевыреву же принадлежат выбранные из Гете «Мысли о дружбе и об изящном» во 2-й части и «Анекдоты о Гете» в 6-й части «М. В.» за 1827 г.

[10] В. П. Титов (1807—1891) в своей статье «О романе» (часть VII) высказывает ряд суждений о романах Гете; М. П. Погодину принадлежит «Юбилей г. Лодера»

(ч. V), московского профессора, старого друга Гете; не знаю, кому принадлежит известие о новом французском переводе «Фауста» и о представлении его (ч. VI).

11 «М. В.» 1828 г., ч. XII, Критика, стр. 109—128. Свои похвалы «Гецу фон Берлихингену» как трагедии с участием народных масс Шевырев должен был, цензуры ради, уравновесить указанием на то, что сам «Гец подчиняется священному гласу верховной власти своего монарха».

12 О портрете Гете работы И. С. Мальцова см. в работе А. М. Эфроса: «Гете в художественном наследстве СССР».— Вот три первые строфы из речи Линцея в переводе Шевырева:

Твой раб, царица, пред тобой!
Он молит милости одной:
Да скажет мне твой светлый взгляд:
«Ты нищ, как раб, как царь—богат».
Кто ныне я—и кто я был?
Я взглядом землю покорил,
Но молния моих очей
Притуплена красой твоей.
С Востока грозно мы пришли,
И Запад стерт с лица земли,
И за народом шел народ,
Не зная, кто во след идет... и т. д.

13 «М. Т.» 1828 г., № 17, стр. 54—55, «Литературные Известия».

14 Экк., т. I, стр. 281; запись 29 ноября 1827 г.

15 С. Шевырев, Отрывок из междудействия к «Фаусту»—«Елена» («М. В.», ч. VI, 1827 г., стр. 3—8)—«Иностранные книги. Елена, междудействие к Фаусту, соч. Гете». С. Ш... (там же, стр. 79—93).

16 Шевырев вместе с Титовым и Мельгуновым перевел этот катехизис романтической и идеалистической эстетики—«Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком». М., 1826.

17 Экк., т. II, стр. 159, 22; запись 2 апреля 1829 г. и 26 сентября 1827 г.

18 Первый отрывок—из II главы, напечатанной в «Северных Цветах» на 1829 г., второй—из III главы, помещенной в «Радуге» на 1830 г. Чтобы не вышло ошибки, о какой «Елене» идет речь, В. Л. Пушкин потрудился сделать примечание к строке: «Еленой Фаустовой быть»: «Читай «Елену», новую поэму г. Гете». (Сочинения В. Л. Пушкина, изданные под ред. В. И. Саитова. Изд. Евг. Евдокимова, СПБ, 1893, стр. 109—110.) В четвертой главе «Капитана Храброва» В. Пушкин сделал вылазку и против I части «Фауста», с ее сценами «Кухня ведьмы» и «Вальпургиева ночь»:

Мы после вдруг заговорили
О новых книгах, о стихах,
И модный романтизм хвалили.
«Хвала германцам. О чертях
Они понятие нам дали!»
Вскричал наш князь: «и доказали,
Что шабаш ведьм и колдунов,
Мяуканье и визг котов,
Крик филинов и змей шипенье
Прямое сцены украшенье.

Отрицательно отнесся ко II части «Фауста» и П. А. Катенин. Прочтя 10 томов посмертных сочинений Гете, он уверял Пушкина (письмо от 4 января 1835 г.), что в них «любопытного одно продолжение «Фауста» и то сумбур неизвиненный ничем гениальным, ибо гений выжился из лет» (Переписка П., т. III, стр. 177).

19 «М. В.» 1828 г., ч. IX, № 11, стр. 326.

20 «W. A.», III Abt., B. XI, S. 186.

21 «Globe», tome VI, № 34, p. 209. «The Foreign Review» 1828, № 11, p. 430.

22 «W. A.», III Abt., B. XI, S. 191—193.

23 Письмо от 21 мая 1828 г. («W. A.», IV Abt., B.. XLIV, S. 101).

24 Письмо от 15 июня 1828 г., там же, стр. 138.

25 Заметка вошла в «W. A.», Band XL, Weimar, 1903, S. 358. Выражение из письма к Карлейлю: «an einem ästhetischen Werke dargestellt» Гете заменил более широким и емким: «an einem Kunst- oder Naturprodukt vollständig durchgeführt».

26 Вильгельм Трейтер—главный врач Московского воспитательного дома, сын бывшего веймарского министра, дом которого был в соседстве с домом Гете. По медицинским спискам, в 1809 г. значится как «штаб-лекарь», в 1814 г.—как «доктор».

[27]«М. В.» 1828, ч. IX, № 11, стр. 326—333. Собственноручный подлинник письма Гете к Н. Борхарду остается неизвестен, поэтому немецкий текст «М. В.» является первоисточником. Веймарское издание перепечатало письмо Гете не из «М. В.», а с перепечатки в «Журнале для немецких читателей в России» (1837 г., № 30, 14 апреля). См. «W. A.», IV Abt., B. XLIV, 1909, S. 78—81 и 370—371. Редакторам Веймарского издания осталось повидимому неизвестным, что письмо к Борхарду было тогда же напечатано на родине Гете: во «Frankfurter Telegraph» («Neue Folge» № 17, April 1837, S. 129—131) в заметке: «Goethe in Russland». Mitgeteilt von H. König. Заметка принадлежит перу Г. Кёнига, известного автора книги о русской литературе: «Literarische Bilder aus Russland. Hgg. von H. König. Stuttg. u. Tübingen, 1837». Книга эта была написана Кёнигом по запискам и изустным сообщениям его русских знакомцев, встречавшихся с ним за границей, более всего по мыслям и суждениям одного из «архивных юношей»—Николая Александровича Мельгунова, которого Белинский недружелюбно называл «суфлером Кёнига» («Письма», т. I, СПБ, 1914, стр. 211). Несомненно этим «суфлером» внушены и вступительные к письму Гете строки во «Frankfurter Telegraph»: «В России между молодыми писателями и их друзьями имя Гете стяжало великое благоговение. Молодой московский поэт Шевырев при самом появлении «Елены» представил стихотворный перевод отрывка из этого интермеццо и изложил в своей статье содержание и основные мысли этого произведения». Борхарда Кёниг называет «живущим в Москве немецким литератором».—Русский текст письма Гете приведен по «М. В.».

[28]См. главу о Жуковском.

[29]«Гете не мог знать моих отношений,—делает к этому месту примечание сам Борхард,—и потому я не принимаю всех этих слов на мой счет. Но он сам мне вручил право, как читатели увидят ниже, дать особенный смысл всему сказанному им вообще, и я, с его позволения, вменяю себе в честь отнести все сие к русским литераторам, оставляя себе одно счастье быть посредником в этом деле».—Гете счел безвестного Борхарда—по аналогии с Ампером и Карлейлем—за влиятельного писателя, соратника Шевырева по «Der Moskowische Bote». Борхард своеместно вернул по принадлежности всю честь гетевых одобрений, пожеланий и надежд.

[30]М. Погодин, Воспоминания о Ст. П. Шевыреве. СПБ, 1869, стр. 15.

[31]В № 8 (ч. VIII) «М. В.» 1828 г. Шевырев поместил стихотворение «Мысль» («Падет в наш ум чуть видное зерно»...) (стр. 357—358). Отплачивая Шевыреву за едкий и сплошь отрицательный разбор «Северной Пчелы», напечатанный в «М. В.», Булгарин поместил в своей газете (1828, № 53 от 15 мая) «Письмо к издателям», в котором подверг издевательскому высмеиванию философское стихотворение Шевырева. Крылов, вступившийся за Шевырева,—сам «дедушка И. А. Крылов».

[32]Письма П., т. II, стр. 53. Пуш., т. V, стр. 47.

[33]В августе 1842 г. Погодин посетил Веймар, но в дневнике его гораздо ярче и обильнее отражены впечатления от семейства веймарского придворного «протоиерея Стефана Сабинина», чем от города Гете и Шиллера. Лишь одно замечание этого выходца из крепостной среды заслуживает отметки: «Недавно останки Шиллера и Гете поставлены в склепе под часовнею вместе с членами герцогской фамилии, что немцы считают великою почестию для бессмертных поэтов». Впрочем и Погодин не обошелся без традиционной хвалы этой «фамилии»: «Какое бедное владение Веймарское, но одно умное герцогское семейство, и Веймар бессмертен во веки-веков». Однако те параллели, которые Погодин приводит к Карлу-Августу, сильно ослабляют хвалу: «Август II (курфюрст Саксонский.—*С. Д.*) был государь во многих отношениях недостойный, но его собрания, составляющие первое украшение Дрездена, искупают множество проступков пред судом его подданных. Точно то же можно сказать теперь о Людовике Баварском, который возводит Мюнхен на высокую степень славы» (Барс., т. VII, стр. 31—33). Очевидно «точно то же» мог сказать Погодин и о Карле-Августе Веймарском.

Рассуждая в одном письме о некотором демократизме в русской литературе, Погодин вспомнил «как гениальный Гете кичился званием тайного советника великого герцогства Веймарского, которое поместится свободно в любом нашем уезде» («Р. А.» 1882 г., № 5, стр. 69).

[34]Барс., т. III, стр. 75. Письмо к А. В. Веневитинову.

[35]Там же, стр. 305.

[36]С подлинника из Елагинского архива. Шевырев с явным облегчением переходит далее к рассказу о Рожалине: «Но опять о Рожалине», и строки его дышат теплотой, сердечным вниманием к сложной личности и судьбе московского Вертера. В конце письма Шевырев успокаивает неудовлетворенную гетеанку Елагину: «Прочие все подробности о Гете расскажет Вам Погодин из других писем». В бумагах

Погодина, хранящихся в Ленинской библиотеке в Москве, не нашлось этих писем (см. «Р. А.» 1879, № 1, стр. 138—139).

[37] Внук Гете, хорошо запомнившийся Шевыреву и кн. Волконской, был старший— Вальтер, впоследствии барон фон Гете, камергер, занимавшийся музыкой и издавший несколько композиций для пения.

[38] С. Шевырев, Дорожные эскизы на пути из Франкфурта в Берлин.—«О. З.» 1839 г., т. III, стр. 114—117.

[39] Там же, стр. 109.

[40] Дневник Шевырева. Рукопись, т. II. Бумаги Шевырева № 4/2, л. 87; дальнейший текст на л. 87, 87 об., 88 (Гос. Публ. Библ. в Ленинграде).

[41] «В 1828 г. Гете заинтересовали тринадцать тогдашних событий политического характера. Он записал их на первую таблицу и отметил их последовательное развитие в годы 1829 и 1830 на двух следующих таблицах. Ход вещей, связь их в изложении Гете и перед его взором становится божественно (!) видимым... Связь— вот что открывается глазу Гете и что его прежде всего интересует» (Мариэтта Шагинян, Путешествие в Веймар. ГИЗ. М.-П., 1923, стр. 104—105).

[42] Франц-Иосиф Галль (Gail, 1758—1828)—френолог, автор сочинения «Philos. mediz. Untersuchungen über Natur und Kunst im kranken und gesunden Zustande des Menschen» (1792), далее: Вандик—Ван-Дейк, Антонис (1599—1641)—знаменитый фламандский портретист, ученик Рубенса.

[43] С. Шевырев, Дорожные эскизы, стр. 118—125.

[44] М. Шагинян, Путешествие в Веймар, стр. 105 (писано в 1914 г.).

[45] Почти одновременно с Шевыревым посетил Веймар Януарий Михайлович Неверов, друг Белинского, и впечатления западника почти совпали с впечатлениями славянофила. В очерке «Дом Гете в Веймаре. Из путевых впечатлений» («Литерат. Прибавл. к Русскому Инвалиду» 1839 г., том I, стр. 7—31) Неверов дает яркую зарисовку Веймара и дома Гете. Кельнер в гостинице пожаловался ему: «Когда жив был Herr Geheimrath von Goethe, то веймарские гостиницы были всегда наполнены приезжими, но теперь они стоят пустыми». Неверов был приглашен на вечер к Оттилии Гете, которая «одушевляла беседу рассказами о своем великом родственнике». В доме Гете «ясно рисуется колоссальная фигура Гете. В мелких подробностях, в вещах самых обыкновенных, видишь жизнь разумную, в которой все, даже самое обыкновенное, имело мысль и значение высшее. Я провел в этих залах только три часа; но в них надобно бы было остаться три недели: надобно изучать их, потому что кто лучше Гете умел разумно жить? Кто может сравниться с ним в неподражаемом искусстве сливать с жизнью вседневную науку и искусство?... Патриархальная простота и величавость—вот характер жилища Гете». В одной из зал «Гете является наверху своего земного, внешнего величия. Богатые собрания редкостей, царские подарки, на каждом шагу след глубокого благоговения современников, следы царственных особ, или лично посещавших поэта, или оказавших ему свое внимание богатыми подарками».

В одной из комнат находился «на круглом столе картон с портретами всех лиц, с которыми Гете был в связях или просто знаком: в это отделение дома он приходил обыкновенно после обеда и час или два занимался расстановкою, размещением своих музеев, что было и прогулкою и занятием: иногда же он спрашивал картон с портретами, говоря, что хочет повидаться со старыми друзьями, и эту молчаливую беседу часто оканчивал грустным замечанием, что многих уже не стало. Вообще он работал только поутру, до 2 часов; послеобеденное же время, если не принимал посторонних, любил проводить или в своем музее или в семействе».

О кабинете Гете Неверов пишет: «Это довольно просторная, но низкая, неприятная и дурно освещенная комната; хотя в ней и два окна, но они малы и выходят в сад. Стены ее приятные, штукатурные, окрашенные голубою краскою, без всяких украшений... Весь этот кабинет с его мрачностью, с его простыми, даже грубыми и почерневшими мебелями производит какое-то таинственное, скажу даже высокое впечатление на душу... Самый простой французский литератор не стал бы работать в этой черной комнате». Один из опекунов внуков Гете рассказал Неверову, «что поэт не любил принимать у себя в кабинете и доступ в него был так труден для постороннего, что король баварский в одно из своих посещений Гете, желая проникнуть в это убежище гения, принужден был употребить хитрость и, идучи по парадной лестнице, притворился, что у него идет кровь из носа, и вместо прямого пути вверх, в приемные комнаты, неожиданно повернуть направо, прямо в прихожую и кабинет поэта, о месте коих он заранее осведомился».

Общее значение посещения дома Гете Неверов выразил в следующих словах: «Понятие, составленное о нем (о Гете) при чтении его творений и автобиографии, превращается здесь в живой образ, присутствие которого кажется чувствуешь».

III. З. А. ВОЛКОНСКАЯ И ГЕТЕ

ВСТРЕЧА ГЕТЕ С З. А. ВОЛКОНСКОЙ В 1813 Г.—„КНЯГИНЯ ЗЕНЕИДА" В СВИТЕ АЛЕКСАНДРА I.—МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА В ЖИЗНИ З. ВОЛКОНСКОЙ.—„ГОТИЧЕСКИЙ ПАТРИОТИЗМ".—САЛОН ВОЛКОНСКОЙ В МОСКВЕ.—ЖАНДАРМСКИЕ ОТЗЫВЫ О ВОЛКОНСКОЙ.—БЕГСТВО ИЗ РОССИИ.—ВОЛКОНСКАЯ У ГЕТЕ В 1829 Г.—ВЕЙМАР В ПУТЕВЫХ ЗАПИСКАХ ВОЛКОНСКОЙ.—ГЕТЕ И ВОЛКОНСКАЯ НА РАЗВАЛИНАХ ПАЛЛАДИО В ВИЧЕНЦЕ.—ПАМЯТНИКИ В САДУ ВИЛЛЫ ВОЛКОНСКОЙ.

Из всех русских посетителей 12 мая в дневнике Гете сохранилось одно имя—кн. З. А. Волконской; оно оставило там и дальнейший след.

Гете встретился с ней впервые едва ли не в самые тяжелые дни своей жизни; 1 мая 1813 г. в Теплице он занес в свой дневник: «Вечером у его высочества. Фон Алопеус, графиня Нессельроде, княгини Волконские. Позднее пришел кн. Барятинский. Известие о смерти Кутузова» [1].

Это был самый разгар войны с Наполеоном. Веймарский герцог не присоединился к коалиции России и Пруссии и был на стороне Наполеона. В апреле «веймарский батальон был взят в плен пруссаками; пруссаки и русские заняли холмы близ Веймара; со дня на день могло разыграться сражение между ними и французами». В дневниках у Гете тревожные отметы: «Вступление русских в Гамбург и Лейпциг» (3/IV). «Шум из-за русских» (7/IV) и т. д. Домашние убедили Гете уехать. 17 апреля, «после того как его художественные сокровища, да вероятно и важнейшие рукописи были вынесены из дому и зарыты в землю, он покинул Веймар. Как раз во-время! Уже на следующий день пушечные ядра пролетали над городом, а на улицах раздавался треск ружейной пальбы». Через Дрезден приехал он в Теплиц. В дневнике под 21/IV запись: «Ночью суета и размещение русских с факелами». От Гете не укрылись и бытовые черты из жизни русского солдата: «Русские, покупавшие красные яйца»: наступила пасха (запись 25/IV). 8 мая Гете отмечает: «В город прибыло много русских раненых. Наполеон в Дрездене», и только через неделю более успокоительное известие: «Русские собрались в путь в то время, как пришло сообщение об австрийском решении выступить против Франции» [2]. Сам Александр I был в это время в Теплице.

В эти-то тревожные дни Гете встретился с «княгинями Волконскими» в самом высшем кругу теплицкого, тогда международного, общества. Одна из Волконских была княгиня Софья Григорьевна (1800—1868), сестра декабриста С. Г. Волконского и жена кн. П. М. Волконского (1776—1852), генерал-адъютанта и самого близкого человека к Александру I, не покидавшего его с юных лет до самой кончины. Другая была знаменитая «княгиня Зенеида», жена (с 1811 г.) другого ее брата, флигель-адъютанта, генерал-майора кн. Никиты Григорьевича (1781—1841) [3]. Гете встретил их в обществе русского посланника в Баварии кн. Барятинского, жены другого русского посланника—г-жи Алопеус и недоброй памяти графини М. Д. Нессельроде (1786—1849), той самой, которая проявила впоследствии такое злое усердие к гибели Пушкина. Душою этого общества была «княгиня Зенеида». В 1813—1815 гг., в самое пышное время русского «empire'а» и императорства, Александр I считал «княгиню Зенеиду» «одним из прекраснейших украшений своего двора» [4], а по отзыву придворно-исторического эхо, сам был неравнодушен к ней. Следуя со своим мужем в свите императора по всем устоявшим от революции и Наполеона и вновь реставрируемым большим и малым дворам европейских родственников и союзников Александра I, она всюду и всех поражала своей красотой, тонким умом и утонченным образованием: оно

было наследием ее от отца, «московского Аполлона», французского поэта и русского дипломата, кн. А. М. Белосельского-Белозерского (1752—1809), бывшего послом в Дрездене, а больше в Фернее у приятеля своего Вольтера, который хвалил его французские стихи и вместе с Делилем и Лагарпом обращался к нему со стихотворными посланиями. В эти именно годы З. Волконская приобрела от Европы титул «La Corinne du Nord», но она тогда еще не писала стихов: очаровывала своим пением и была скорее «русской Каталани».

Ее разговора искали придворные, дипломаты, полководцы, цари, и на них сыпались не только благоуханные лепестки ее изящного остроумия, но кололи их порой и острые шипы ее тонкой иронии.

Гете заметил ее, но из всех разговоров того вечера он отметил в своем дневнике не какое-нибудь блестящее или острое слово «Северной Коринны», а важную военную и политическую новость: смерть фельдмаршала Кутузова.

Через два года он записал для памяти: «советнику Фолькель [управляющему двором Марии Павловны] пакет для Волконской». Это могло быть и «княгине Зенеиде» [5].

Вторично встретился он с нею через 16 лет, и в том же месяце мае, но уже не в теплицком обществе «высочеств» и «светлостей», а в Веймаре, у себя в гостиной. За эти годы «княгиня Зенеида» пережила много,—так много, что, расскажи она об этом, из рассказа ее могла бы составиться целая книга высокого интереса и немалого исторического значения.

После теплицкой встречи с Гете ее ждали в 1815 г. блистательные успехи в Париже. Сам «упоительный Россини, Европы баловень, Орфей», рукоплескал ей за исполнение его «Italiana in Algeri» [6]. Великая трагическая артистка Марс сетовала, что природа ошиблась: аристократке дала великое сценическое дарование: для придворной дамы, с которой сам император был в переписке, подмостки и рампа были запретны. Она не была счастлива с мужем и вся отдалась воспитанию сына Александра (1811—1878). Теперь, в 1829 г., 18-летний юноша, он был уже автор стихотворения «Ангелы» [7]; впоследствии дипломат по наследству (в Дрездене, Неаполе, Мадриде), он стал и французско-русским писателем по наследству: писал в 30—40-х годах на наследственные темы—об Италии и Риме—и печатался в журналах друзей и поклонников его матери: в «Современнике», «Московском Наблюдателе», «Москвитянине».

В 1817 г. З. А. Волконская вернулась в Россию, но так заскучала в аракчеевском Петербурге, что уехала в полу-Италию—в Одессу. Батюшков писал оттуда друзьям: «она здесь поселилась, и все у ног ее» [8]. Через год она вернулась в Петербург, но, чуждаясь светской жизни, предалась литературным занятиям. В 1819 г. вышли ее «Les quatres nouvelles».

Десять лет спустя Шевырев писал об ее литературных опытах: «В ней врожденная любовь к искусству. О если бы она в молодости писала по-русски! У нас бы поняли, в чем состоит деликатность и эстетизм стиля. Она создала бы у нас шатобрианову прозу» [9]. Русская иностранка, она напряженно учится мыслить, говорить, писать по-русски. Она пробует стать на русскую почву, но аракчеевская земля уходит из-под ее ног, и она опять изчезает на юг: в Рим, в Верону. Она пишет там оперу «Giovanna d'Arco» и сама выступает в роли Орлеанской Девы. Пластическим совершенством исполнения она чарует художников: Ф. Бруни и Брюллов пишут ее портреты. Отдышавшись в Италии, она возвращается в Петербург

З. А. ВОЛКОНСКАЯ
Гравюра Вейсс с миниатюры Мюнере
Частное собрание, Москва

и, ища забвения в науке, погружается в изучение славянских и скандинавских древностей. После двух лет труда в Париже выходит ее повествование «Le tableau Slave», встреченное хвалою французской критики. Его переводят и на русский язык. Новый свой роман из древнеславянской жизни—«Ольга»—она начинает по-французски, но продолжает по-русски. Она так нешуточно отдалась своим историческим занятиям, что в известном археологе И. М. Снегиреве «возбудила большое удивление знаниями таких предметов, которые при ее положении в свете казались ей мало известны» [10]. Она вместе с поэтами-декабристами, А. Бестужевым, Кюхельбекером, А. Одоевским, одна из первых очутилась, по выражению ее внучатого племянника С. М. Волконского, «в полосе какого-то странного славяно-готического патриотизма. Люди, не имевшие или очень мало имевшие корней в своей стране, получившие умственное пробуждение с Запада, душою все же тяготели к родине и желали видеть ее культурно равною другим странам. Княгиня Зинаида заплатила дань этому влечению в своих писаниях и музыкальных произведениях» [11].

Московское пятилетие «княгини Зенеиды» (1824—1829) тесно связано с историей русской литературы. У нее был редкий дар и нужная смелость оказывать в своем доме гостеприимство свободной мысли, поэзии и красоте, не считаясь с тем, что суровые законы эпохи отказывали им во всяком приюте. Когда Пушкин писал ей:

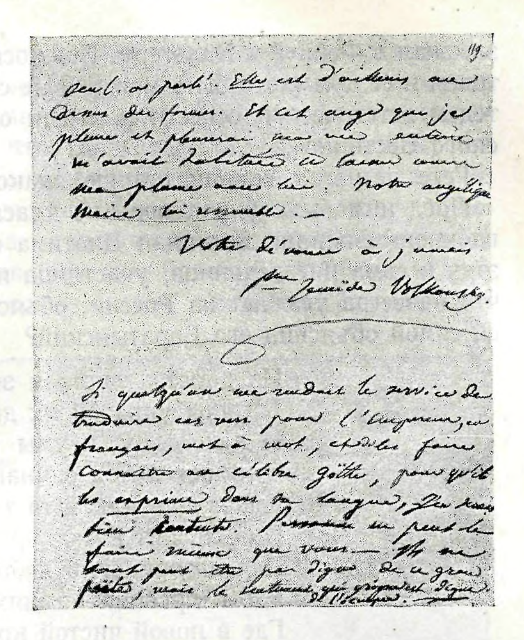
Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона,—

он перечислил не все «толки» и не весь «лепет», при которых

Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновенья.

«Княгиня Зенеида» держала этот «скипетр» свободных «вдохновений» при гораздо более опасных «толках»—тех, что вылетали про нее и ее общество из «портретных» Хлестовой и Фамусова, перепуганных 14-м декабря, и из властных казарм Скалозубов; она не опускала свой скипетр и при еще более опасном «лепете молвы»—доносах шпионов и заправил III Отделения. Она дала торжественный вечер в честь жены декабриста, отправлявшейся, вопреки воле Николая I, в Сибирь; она принимала у себя, как друга, опального изгнанника Мицкевича. Она была «царицей муз и м ы с л и» кружка любомудров и гетеанцев, поименно значившегося в списках III Отделения. Это учреждение выразило о ней свой «толк» в донесении фон Фока Бенкендорфу от 9/VIII 1826 г: «Между дамами самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство—княгиня Волконская и генеральша Коновницына (мать двух декабристов.—*С. Д.*); их частные кружки служат средоточием всех недовольных; и нет брани злее той, которую они извергают на правительство и их слуг» [12].

Волконская не скрывала, что расправа Николая I с декабристами внушает ей отвращение. Как многие, она романтизировала «дней александровых прекрасное начало». Ей тем легче было это делать, что она знала Александра в эпоху его блестящих заграничных военно-дипломатических гастролей 1813—1815 гг., когда он выступал на сценах Берлина, Дрездена, Парижа


119

seul. a parlé. Elle est d'ailleurs au
Dessus des femmes. Et cet ange que je
pleure et pleurerai ma vie entière
m'avait habituée à laisser courir
ma plume avec lui. Notre angélique
Marie lui ressemble. —

Votre dévouée à jamais
Pcesse Zénéide Volkonsky.

Si quelqu'un me rendait le service de
traduire ces vers pour l'Empereur, en
français, mot à mot, et de les faire
connaître au célèbre Göthe, pour qu'il
les exprime dans sa langue, j'en serais
bien contente. Personne ne peut le
faire mieux que vous — Ils ne
sont peut-être pas dignes de ce grand
poëte, mais le sentiment qui y règne est digne
de l'occuper. —

Последняя страница автографа письма З. А. Волконской к Каролине Эглофштейн от 31 января 1826 г. с упоминанием о Гете
Goethe-und Schiller-Archiv, Веймар

в роли освободителя Европы. Личные отношения к ней Александра носили характер дружбы, быть может и более сильного чувства. Романтизированный Александр являлся в глазах Волконской рыцарем, Николай казался выскочкой, Скалозубом на престоле; нельзя сомневаться в искренности этих чувств. Когда Александр I умер, Волконская испытала действительное потрясение, отразившееся в ее известном письме к ее учителю, академику бар. А. Мериану [13]. Она отозвалась на смерть Александра кантатой, где ей принадлежали не только слова, но и музыка. Посылая кантату в Веймар графине Каролине Эглофштейн и прося вручить ее Марии Павловне, Волконская присоединила и еще просьбу: «Если кто-нибудь окажет мне услугу перевести эти стихи об императоре по-французски слово в слово и сделать их благодаря этому известными Гете, я буду этому очень рада. Никто не сделал бы этого лучше вас. Они не достойны, быть может, внимания великого поэта, но чувство, которое царит в них, достойно того, чтоб овладеть им» [14].

Отзыва Гете об этом сочинении кн. Зинаиды мы не знаем. Но чувства к Александру, выраженные в этой кантате, и противоположные им чувства к Николаю I кн. Волконская сохранила навсегда. Николай I относился к ней с враждебной подозрительностью.

В мае 1829 г. она ехала в Италию с мыслью начать новую жизнь, забыв и навсегда оставив в России все николаевско-бенкендорфовское, все казарменно-кандальное, а все, что было ей дорого и что хотелось помнить из прошлого,—уместить в сад своей римской виллы. Она, по словам А. И. Тургенева, «оживила пустынность своей виллы воспоминаниями о живых и мертвых: там в русской избе—урна императору Александру, на греческой вазе—имя Каподистриа и французская эпитафия няньке Василисе» [15], там «древний обломок», посвященный Карамзину, урна в память Веневитинова. С годами там прибавилась плита Рожалину и «древний» же «обломок» Пушкину.

На перепутьи в это увезенное из России в Рим милое прошлое урн и обломков она сочла долгом заехать в Веймар к Гете, как некогда ее отец

заезжал в Ферней к Вольтеру. Все московское пятилетие Гете был властителем и ее дум (хотя быть может и не самодержавным), как был он пленителем эстетической совести и мысли окружавшей ее молодежи «Московского Вестника».

Гете встретил ее как старую знакомую.

Пред ним была уже теперь не краса общества дипломатов и царей, а вдохновительница, истинная Диотима опального круга мыслителей и поэтов и сама писательница, участница их журнала. Открыла ли она Гете, что навсегда уезжает из России, объяснила ли ему свой отъезд так, как ей самой объяснил его Боратынский?

Из царства виста и зимы,
Где под управой их двоякой,
И атмосферу, и умы
Сжимает холод одинакой,
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный
Под авзонийский небосклон...
Где в древних камнях боги живы,
Где в новой чистой красоте
Рафаэль дышет на холсте...
Там лучше ей.

Сам некогда беглец «под авзонийский небосклон», автор «Итальянского путешествия» понял бы ее.

Во всяком случае она, а не оробевший Шевырев, ввела Гете в культурную работу москвичей, одушевленную его именем, и ее «с большим участием слушал он».

Осталось два следа этого свидания Гете с З. Волконской. Гете отдарил ее за какой-то подарок, очевидно полученный при свидании: «две серебряные медали г. канцлеру Мюллеру для княгини Волконской», записал он 16 мая, через четыре дня после свидания, а на другой день писал—или обсуждал—ответ на письмо «княгини Зенеиды», не дошедшее до нас: «Под вечер г. канцлер фон Мюллер. Ответ княгине Волконской».

Переписка Гете с нею—или вернее княгини с ним—продолжалась; по крайней мере 30 января 1830 г. он записал: «Пришло послание от княгини Волконской» [16]. Это «послание» до нас не дошло.

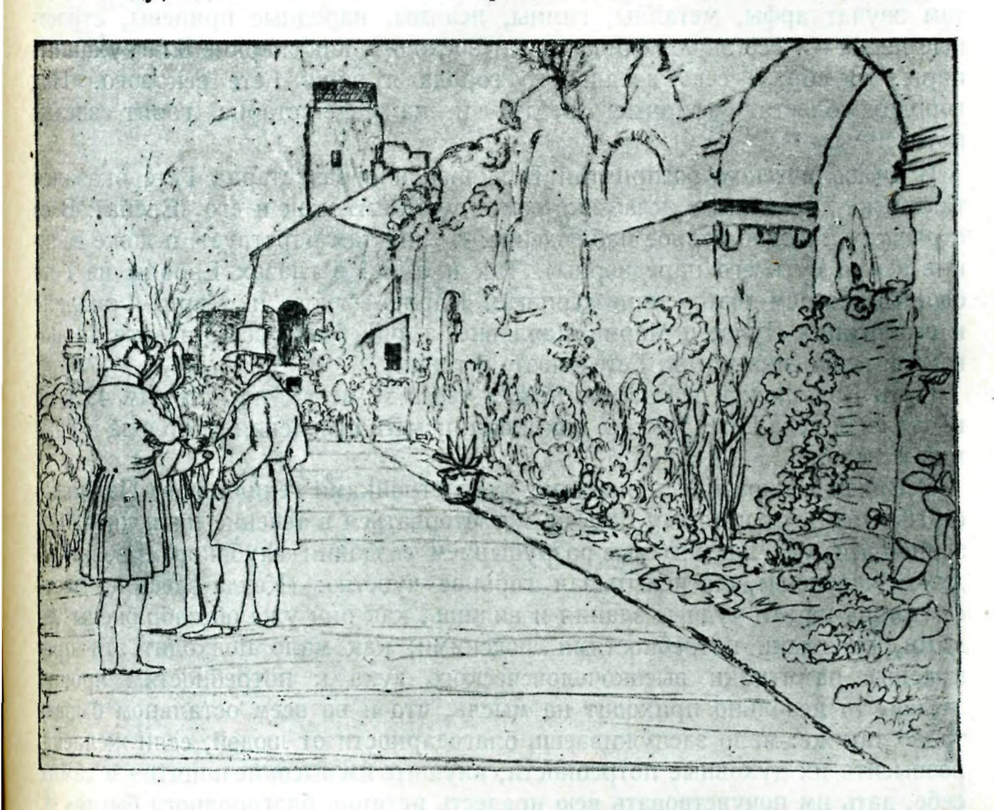
3 марта 1830 г. Оттилия Гете писала А. Мицкевичу и Э. Одынцу в Рим, где они бывали частыми гостями на вилле Волконской:

«Мой тесть, слава богу, чувствует себя хорошо и очень занят второй частью «Фауста». Он мне поручает не только самые сердечные приветствия для вас, но просит меня, чтобы Вы взяли на себя труд передать кн. Волконской его благодарность за письмо и подарок, которым она его обрадовала и почтила, как знаком памяти. От меня прибавьте, что я все еще жалею, что видела ее так мимолетно» [17].

Беспокойство,
Охота к перемене мест,
Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест—

было «свойством», но вряд ли «крестом» княгини Зинаиды. Наоборот, в нем находила она, как впоследствии ее друг Гоголь, успокоение от многих

мыслительных тревог и противочувствий. Она вела запись своих путевых впечатлений и восклицала: «Путешествие—какой изобильный источник для мыслящего! Там называют горами, что далее пригорки; что здесь дремучий лес—там редкая роща; то, что там пропасть, здесь долина; что для того восток, для другого север; для меня отечество, для тебя чужбина: но могут ли быть края совсем чужие для истинного филантропа? Отечество! Священное имя, священный прах, где над гробницами предков наших раздается наш родной язык. Отечество! Ты наш родитель, а братья и друзья—всюду, где жизнь пылает и сердце бьется. Славянин! Гордись ро-



Вилла Волконской в Риме
Рисунок пером В. А. Жуковского
Изображены: З. А. Волконская, говорящий с ней Н. В. Гоголь и стоящий рядом С. П. Шевырев
На рисунке сохранилась собственноручная подпись Жуковского: „Villa Wolchonsky"
Публичная Библиотека, Ленинград

диной, дари ее жизнью своею, но простирай руку всем, ибо великое родство соединяет на земле сердца, любящие бессмертную истину создателя и красоту его создания» [18].

Это «великое родство» она почувствовала и с Гете и поспешила запечатлеть свою встречу с ним в 1829 году:

«Веймар. Удаляясь от пантеона великих писателей германских, моя душа исполнена чувствами благоговейными. Все там дышит наукой, поэзией, размышлением и почтением к гению. Гений там царствует, и даже великие земли суть его царедворцы. Там я оставила ангела, проливающего слезы на земле [19]. Там я посетила Гете. Такого всеобъемлющего поэта можно сравнить со старинным, изящным, многолюдным городом, где

храмы светлого греческого стиля, с простыми гармоническими линиями, с мраморными статуями, красуются возле готических церквей, темных, таинственных, с прозрачными башнями, с кружевною резьбою, с гробницами рыцарей средних веков. В городе старинном все живо, важно, незабвенно: памятники, книги, здания, мавзолеи рассказывают векам о героях, о великих мужах. В городе изящном все действует, все парит; ученые углубляются в архивы всех времен; художники воображают, животворят; поэты, смотря на вселенную, упиваются вдохновением и пророчат. В городе многолюдном страсти кипят жизнью; там все звуки раздаются: там звучат арфы, металлы, гимны, псалмы, народные припевы, страстные песни—и все звуки сливаются и восходят, как жаркие благоуханные пары. В образе сего идеального города я вижу Гете векового. Над городом блестят эфирные звезды, и на челе старца горят звезды неугасимые» [20].

В символическом восприятии Волконской образ старца Гете оказался таким же двуединым, «классико-романтическим», как и его «Елена». В ее отрывке есть одно верное наблюдение: «Гений там царствует, и даже великие земли суть его царедворцы». Так и было: в глазах Европы не Гете был министром-поэтом при герцогах Карле-Августе и Карле-Фридрихе и герцогинях Луизе и Марии Павловне, а они были всего-на-все герцогами и герцогинями при Гете—поэте и гении.

Путь Волконской в Италию лежал через те места, по которым 43 года назад ехал туда Гете, так же, как и она, искать исцеления от холода и уныния севера.

В Виченце поразилась она теми же постройками гениального Палладио (1518—1580), от которых Гете не мог оторваться в течение пяти дней. Созерцая эти, уже настигаемые разрушением создания «глубокого и великого духом человека», он испытывал горькое чувство: «Когда здесь на месте смотришь на эти чудные здания и видишь, как они уже обезображены узкими, грязными потребностями людскими, как мало подходят эти прекрасные памятники высокочеловеческого духа к потребностям прочих людей, то невольно приходит на мысль, что и во всем остальном бывает точно так же: мало заслуживаешь благодарности от людей, если желаешь возвысить их духовные потребности, внушить им высокие понятия о самих себе, дать им почувствовать всю прелесть истинно благородного бытия» [21].

Княгиня Зинаида была потрясена тем же видом надвигающегося разрушения и вспомнила Гете:

«В Виченце имя Палладия одно гремит над будущими развалинами его зданий. Уже валятся украшения, валятся и камни; в театре, подражающем греческим театрам, пыль поднимается под стопами любителя художеств: все брошено, все темнеет... Одна вечно младая природа нежной рукой своей неразлучно обнимает изящные линии, и над рассекшимися карнизами то веет, то горит. Таким образом малолетний внук многомыслящего Гете ласкается и обвивает главу седую своими детскими руками» [22].

На разрушающихся постройках Палладио княгиня вспомнила ту же трогательную сцену, которую запомнил и Шевырев.

«Итальянское путешествие» Волконской кончилось, как и путешествие Гете, в Риме. Но она уже не покинула вечного города: ее могила в его древней земле. Когда умер Гете, поставила ли княгиня Зинаида и в его память еще один древний обломок под кипарисом в своем саду?

Вид виллы Волконской в Риме
Рисунок пером В. А. Жуковского
Сидит: Н. В. Гоголь
Внизу собственноручная подпись Жуковского: „Vue prise de la Villa Volchonsky. 3 Fevrier / 22 Janvier [1839]"
Публичная Библиотека, Ленинград

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «W. A.», III Abt., B. V, S. 40.

[2] Бельш., т. II, стр. 300; «W. A.», III Abt., B. V, S. 30—31; Бельш., т. II, стр. 300; «W. A.», III Abt., B. V, S. 36, 38, 43, 46.

[3] Гете знал и кн. Николая Григорьевича Репнина-Волконского (1778—1845), в 1813—1814 гг. бывшего генерал-губернатором Саксонии. См. в главе об Уварове.

[4] Выражение сына княгини, Ал-дра Ник. Волконского. М. А. Гаррис, Зинаида Волконская и ее время. М., MCMXVI, стр. 47.

[5] «W. A.», III Abt., B. V, S. 177.

[6] «Итальянка в Алжире».

[7] Напечатано в «Литерат. прибавл. к «Русскому Инвалиду» 1838, № 47.

[8] Соч., изд. 1886 г., т. III, стр. 515.

[9] Барс., т. II, стр. 36.

[10] Гаррис, стр. 76.

Когда в конце 1824 года Волконская переселилась в Москву, два ученые общества «Истории и Древностей Российских» и «Любителей Российской Словесности»—избрали ее в свои почетные члены. Она делала попытку основать «Русское Общество» (Société russe) для создания национального музея и для издания ученых трудов по истории и археологии. Позже она изыскивала возможность основать общество для ознакомления Европы с Россией, преимущественно с ее историей и древностями.

[11] «Архив декабриста» под ред. кн. С. М. Волконского и Б. Л. Модзалевского, т. I. П., 1918, стр. XXXVIII—XXXIX.

В октябре 1819 года П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу из Варшавы: «Сейчас я отдал княгине Зенеиде книгу Сопикова: она собирается писать что-то о русской словесности. Велик русский бог! Она мила и русская: не сомневаюсь в успехе или, лучше сказать, в удаче. Она очень любезна и поет, как ангел. Читал ли ты ее Nouvelles? В первой есть тонкие наблюдения и счастливые выражения». («О. А.», т. I, стр. 323).

[12] Гаррис, стр. 18.

[13] Там же, стр. 80—82, 117—128.

[14] Французское письмо к гр. Кар. Эглофштейн из Москвы от 31 января 1826 г. (Гете-Шиллеровский архив в Веймаре; перевод сделан по фотографии подлинника). Печатается впервые.

[15] «Арх. Т.», т. VI, стр. 124.

[16] «W. A.», III Abt., B. XII, S. 69, 189.

[17] Это письмо Оттилии Гете сохранилось в альбоме Марии Шимановской, хранящемся в музее А. Мицкевича в Париже; впервые напечатано в статье Юзефа Мирского «Polskie Weimariana w Paryżu», Kraków, 1932, стр. 26 (отдельный оттиск из «Przeglądu Wspólczesnego» 1932, № 119, март).

Большое письмо Оттилии Гете к Мицкевичу (стр. 25—27) с припиской к Одынцу (стр. 27) свидетельствует, что невестка Гете почувствовала живую симпатию к польским поэтам, посещение которых сплелось в причудливую связь с предыдущим посещением русских любомудров. Оттилия, очевидно, знала через Волконскую, что Мицкевич вращался в 1826—1827 году в обществе любомудров, собиравшихся у княгини Зинаиды в Москве.

[18] «Сочинения княгини Зинаиды Александровны Волконской, урожденной княжны Белосельской». Париж и Карлсруэ. 1865 г., стр. 11.

[19] Кто это «ангел?» Уж не Мария ли Павловна?

[20] «Отрывки из путевых впечатлений. Веймар. Бавария. Тироль». Сочинения, стр. 3—4. Первоначально в «Северных Цветах» на 1830 г., стр. 216—227.

[21] «Путешествие в Италию», запись: Виченца, 19 сентября 1786 г. Гете—Вейнберг, т. VI, стр. 31.

[22] Соч., стр. 14. Первоначально в «М. В.» 1830 г., ч. I, стр. 140—151: «Отрывки из путевых записок. Виченца. Падуа. Тоскана. Ниоба». Конец отрывка печатаем по рукописи—по письму З. А. Волконской к Погодину, позволяющей датировать «отрывок». «Сего 29 октября [1829 г.]. Прошу вас, любезный Михайло Петрович, поместить эти строки в вашем альманахе. Кн. Зинаида Волконская». В V части «М. В.» 1830 г. З. А. Волконской принадлежит еще статья «Добродушие» (стр. 372—373), обойденная «Собранием сочинений». Мысль статейки: чтобы верно судить о людях, не довольно ума и справедливости, даже снисходительности: нужно еще и добродушие, которое «охотнее любит и хвалит, нежели порицает».

IV. А. И. КОШЕЛЕВ У ГЕТЕ

КОШЕЛЕВ В КРУГУ ЛЮБОМУДРОВ.—ФИЛОСОФИЗМ И ПРАКТИЦИЗМ.—ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ.—ФИЛОСОФИЯ ПО ИНЕРЦИИ И МЕЧТЫ О „ДЕЛЕ".—ЛЮБОВЬ К А. О. РОССЕТ.—ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ.—КОШЕЛЕВ В ВЕЙМАРЕ.—ОТКРЫТИЕ БЮСТА ГЕТЕ РАБОТЫ ДАВИДА.—КОШЕЛЕВ У МАРИИ ПАВЛОВНЫ.—ДВА СВИДАНИЯ С ГЕТЕ.—ГЕТЕ-ЧИНОВНИК И ГЕТЕ-ПИСАТЕЛЬ.—ПОРТРЕТЫ ГЕТЕ.— КОНЕЦ ГЕТЕАНСТВА И ЛЮБОМУДРИЯ КОШЕЛЕВА.— ЭПИЛОГ РУССКИХ ПАЛОМНИЧЕСТВ К ГЕТЕ.

Через два года пред Гете предстал еще один московский любомудр—правда, накануне полной своей отставки от любомудрия. Это был Александр Иванович Кошелев (1806—1883).

Он был, как мы знаем, один из четырех друзей, принятых Веневитиновым из роя «архивных юношей» в тесный круг любомудров. Из этого круга он ближе всех был с кн. В. Ф. Одоевским и пронес эту дружбу через всю жизнь. Среди пятерых основных любомудров (Веневитинов, Одоевский, Ив. Киреевский, Рожалин) Кошелев был самым трезвым.

В 1823—1825 гг. и позже он с немецким прилежанием штудировал философов и не уступил бы в старании никому из друзей (от этого он и сумел так хорошо рассказать об этом в своих «Записках»). Он любил и умел учиться. Язык влюбленного слышится, когда он вспоминает о своих философах. Оторванный от них, он говорит о них с нежностью: «У меня явилось непреодолимое желание предаться любимым моим занятиям, и мои милые Шеллинг, Окен, Вагнер [1] чудный снова появились на моем столе. Не могу вам выразить удовольствия, овладевшего мною при виде этих книг, за которыми я провел столько счастливых часов» [2]. В напряжение занятий, в круговой обмен философическими знаниями у этой молодежи вводит письмо Д. Веневитинова к Кошелеву. Он признается, что «натуральная философия» Шеллинга еще не прочтена им, но зато он погружен в Платона и Окена. «Из Окена доставлю на-днях перевод. Я избрал для сего его «Теософию» и уверен, что она приведет вас в восторг, тем более, что вы теперь занимаетесь математикой; у него вся система зиждется на сей науке» [3]. Кошелев зачитывается журналом Окена «Isis» и—в книгах и журналах—прилежно странствует по всем столбовым и проселочным дорогам идеалистической философии. Но он заходил и на другие дороги, не столь торные в 20-х годах. «Скажи мне, любезный Одоевский,—спрашивает он в одной записке,— неужели у тебя ничего нет ни Локка, ни Кондильяка? Мне бы очень нужно» [4]. Он читал тогда не только Декарта, но и Юма, и Гельвеция.

Кошелева не особенно влекло в литературу. Его касания к писательству немногочисленны. Он слабее других был связан с «Московским Вестником». В конце 1826 г. Кошелев одновременно с В. Одоевским и Д. Веневитиновым переселился в Петербург и стал служить в канцелярии министерства иностранных дел. Это был первый переход к «делу». «Мы все часто виделись и собирались у кн. Одоевского,—вспоминает Кошелев,—главным предметом наших бесед была уже не философия, а наша служба с ее разными смешными и грустными принадлежностями. Впрочем, иногда вспоминали старину, пускаясь в философские прения и этим несколько себя оживляли» [5]. Кошелеву еще нужно любомудрие, но оно уже не занятие, как в Москве, а лишь способ оживления от занятий: это—живая вода, которою нужно иногда опрыснуть себя, чтобы зашевелились члены, скованные мертвой водой петербургской канцелярщины. «Вы не можете себе представить,—пишет Кошелев московским приятелям, для которых любомудрие и поэзия—еще занятия, почти профессия, а не случайные

живительные взбрызги,—как я почувствовал себя загрубевшим после того, как я три или четыре месяца провел в механических занятиях».

От ведомства графа Нессельроде он отдыхает в обществе Платона и Шеллинга: «Как я ими наслаждаюсь, проводя много времени среди китайских теней! Что это за божественные лица и как сравнительно ничтожны все нас окружающие! Клянусь вам, если бы эти божественные гении не напоминали мне мою небесную отчизну, я бы кончил тем, что совсем бы огрубел в окружающей обстановке, ибо ничто не влияет на нас так опасно, как постоянные встречи людей с ограниченными мыслями и чувствами» (4/IV 1827 г.) [6].

Так Кошелев, по выражению П. Н. Сакулина, «по инерции продолжал заниматься философией». Сила этой инерции значительно ослабела с кончиной Д. Веневитинова (15/III 1827 г.): он еще умер под споры друзей о философии вообще, о Шеллинге, о христианстве [7], но споры эти с каждым месяцем становились все глуше и тусклее. В 1830 г. Кошелев еще прослушал публичный курс лекций последовательнейшего шеллингианца проф. Д. М. Велланского, но это кажется и было последним проявлением силы инерции.

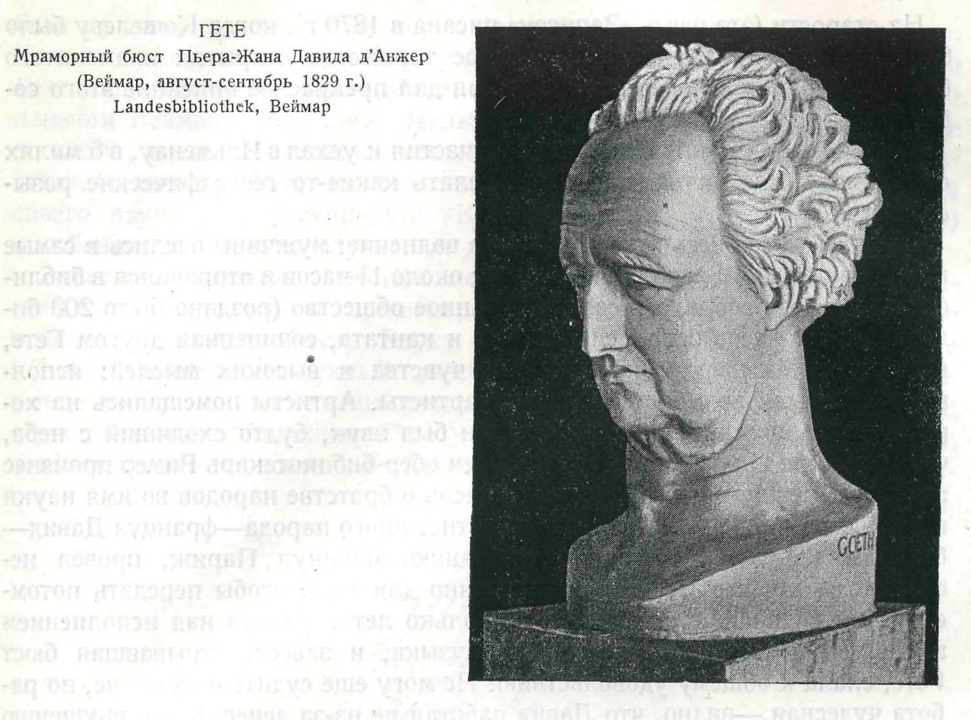
Еще в 1828 г., засев за книги по историческим, политическим и юридическим наукам, Кошелев писал матери, что готовит себя к поприщу «человека государственного», а через три года уже намечал себе целый план деятельности, ничего общего не имеющей с метафизикой: «Как ни сильно во мне желание учиться, но оно не может наполнить всего моего существования: мне нужна жизнь действительная. Постараюсь сделаться первым агрономом в России. Менее чем в 5 лет я удвою свои доходы и произведу чувствительные улучшения в положении крестьян» [8].

«Жизнь действительная» сразу, но не так, как предполагал Кошелев, оторвала его и от метафизики, и от петербургских канцелярий.

В 1831 г. он познакомился с «черноокою Росетти», и этот «небесный дьяволенок», по выражению Жуковского, внушил бывшему любомудру далеко не «небесную» страсть: он, по его словам, «страстно влюбился в Россет». Встречаясь с ней у Карамзиных, где она всех «очаровывала и красотою, и умом» [9], он добился ее полуответа: они «почти решили соединиться браком». Его смущало лишь ее фрейлинство и приверженность к большому свету. Он письменно обратился к ней «с изъяснением любви, но и с изложением предположений насчет будущего». Объяснение кончилось ее отказом. Кошелев впал в тоску, в тяжелую болезнь и искал исцеления в чужих краях.

Но за границей располагал он не только вылечиться от Россет, но и коечему научиться: «За границей я буду обращать особенное внимание на агрономию и относящиеся к ней науки. Я устрою сельское хозяйство по новому способу, я буду производить сахар, примусь за всевозможные предприятия,—одним словом, постараюсь с пользой употребить свое время» [10].

«В первых числах июня 1831 г., когда уже оказалась холера в Петербурге, отправился я в Любек,—вспоминает Кошелев в своих «Записках».— Плавание наше было благополучно. Вид безбрежного моря, нахождение между небом и бездонною водою и вообще новизна образа жизни на пароходе приводили меня в восторг; но особенно радовало меня то, что покончил с Петербургом, с его щетами и дрязгами, что я удаляюсь от места, где я в последнее время так много сердечно пострадал, и что теперь будто начинаю новую жизнь». Когда Кошелев ступил на берег, первою мыслью



ГЕТЕ
Мраморный бюст Пьера-Жана Давида д'Анжер
(Веймар, август-сентябрь 1829 г.)
Landesbibliothek, Веймар

его, верного преданьям «Московского Вестника», было, что он попирает землю великих философов и поэтов. Он весь отдался радости, что он—в Германии:

«Несмотря на сильные боли в печени, вид иностранного, хотя и маленького города и многого другого, чего я прежде не видывал, произвели на меня сильное впечатление. Мысль, что я нахожусь в стране Канта, Шеллинга и Гете, меня приводила в восторг. Мне все казалось замечательным, разумным, прекрасным. Самый немецкий обед в Травемюнде найден мною отменно вкусным, а гостиница по своим удобствам и чистоте чуть-чуть не баснословною. Любек, своеобразностью и древностью зданий, чрезвычайно меня поразил; казалось мне, что я расхаживаю по древней Германии»[11].

Кошелев отправился лечиться в Карлсбад. Воды ему помогли: через семь недель он выехал оттуда «почти совершенно здоровым». Дальнейший маршрут из Карлсбада на Лейпциг, Люцен, Наумбург был продиктован ему все тем же еще живым для него преданием «Московского Вестника».

«Из Карлсбада,—рассказывает Кошелев,—я направился на Веймар, куда газеты и другие публикации сзывали поклонников Гете на открытие памятника, ему воздвигавшегося в тамошней публичной библиотеке. Предполагалось поставить там сделанный известным французским ваятелем Давидом бюст Гете и совершить это торжество 28 августа, в 82-ю годовщину от рождения великого поэта. Я приехал в Веймар накануне этого дня, твердо уверенный, что в этот день наверное сподоблюсь счастия лицезреть Гете и тем удовлетворить давнишнему желанию увидеть наконец своими глазами того великого человека, которого творения меня и друзей моих приводили в восторг. Вышло однако вовсе не так. Гете, за два дня до этого торжества, уехал из Веймара, опасаясь слишком сильных ощущений от этого празднества»[12].

На старости (эта часть «Записок» писана в 1870 г., когда Кошелеву было 64 года) ему не припомнилось самое торжество открытия знаменитого бюста Гете, но в «Дневнике» 1831 г. он дал прекрасное описание этого события:

«Гете не хотел принимать личного участия и уехал в Ильменау, в 6 милях от Веймара, где он намерен был сделать какие-то географические розыскания [13].

С раннего утра весь город пришел в волнение: мужчины оделись в самые новые фраки, дамы разрядились в пух; около 11 часов я отправился в библиотеку, где уже собралось самое избранное общество (роздано было 200 билетов). В 11 часов загремела музыка и кантата, сочиненная другом Гете, канцлером Мюллером, исполненная чувства и высоких мыслей: исполнителями были все лучшие здешние артисты. Артисты помещались на хорах в третьем этаже, так что слышен был звук, будто сходящий с неба, что еще более придавало эффекта. Затем обер-библиотекарь Ример произнес речь, где, между прочим, развивал мысль о братстве народов во имя науки и искусства, приведя в пример, что артист иного народа—француз Давид—безвозмездно, по собственному желанию, покинул Париж, провел несколько месяцев в Веймаре единственно для того, чтобы передать потомству лик величайшего гения, и несколько лет трудился над исполнением этого намерения. Потом заиграла музыка, и завеса, скрывавшая бюст Гете, спала к общему удовольствию. Не могу еще судить о сходстве, но работа чудесная,—видно, что Давид работал не из-за денег, но по внушению высшему. Жаль, что зала слишком мала для такого колоссального бюста, оттого он стоял слишком низко и свет падал не сверху, а с одной стороны».

После свидания с Гете Кошелев дополнил свое впечатление: «Давид придал лицу Гете слишком много округлости и не выразил всей той живости, которою одушевлен Гете. Бюст Рауха гораздо ближе к оригиналу, но всего более сходства в гравюре по портрету Стилера».

«В два часа,—продолжает «Дневник»,—мы опять собрались на обед по подписке. За столом пили за здоровье Гете, за здоровье дам; последний тост был за доброе согласие народов (Völkereintracht). При каждом тосте была произносима речь, пелись или читались стихи. Мюллер, предложивший тост за здоровье Гете, произнес весьма трогательную речь; все внимали ему сначала с почтением, а потом с видимым сочувствием. После речи Мюллер прочел письмо, полученное Гете от 18 английских, шотландских и ирландских поэтов, которые соединились под председательством Вальтер Скотта и прислали Гете перстень. Оканчивая речь, Мюллер предложил выпить тост за здоровье Гете из кубка, присланного вольным городом Франкфуртом в дар своему знаменитому сыну. Обед продолжался до 8 часов, а вечером был придворный бал в Бельведере» [14].

В живом описании Кошелева верно уловлена особенность этого праздника: он был не веймарский, даже не всегерманский, а всеевропейский. Это подчеркивалось в речах и тостах, об этом свидетельствовал самый прижизненный памятник гениальному германцу, сработанный гениальным французом для всемирной столицы гетеанства. Пьер-Жан Давид д'Анжер лепил Гете в Веймаре в августе-сентябре 1829 г. Весною 1831 г. бюст был иссечен Давидом из мрамора и 13 августа доставлен в Веймар. 20 августа Гете писал Давиду, что в его работе видит не только «свидетельство расположения человека, близкого ему по духу», но и «доказательство преодоления строгих границ национальности» и выражал уверенность в том, что ра-

бота художника «приблизит нас к возвышенным намерениям дарящего». Таким образом основная мысль праздника была развитием мысли самого Гете. Величественный бюст (85 см. в высоту) вызвал большие толки в маленьком Веймаре. Гете писал Цельтеру, что все в бюсте «сработано превосходно, в высшей степени естественно, правдиво и согласованно в частях». Однако и сам Гете не все в нем принял: подойдя к бюсту, он не скрыл своего изумления, воскликнув: «Kurios! Kurios!» (Странно! Странно!) и добавив: «Во всяком случае, он должен быть поставлен выше» [15].

Замечание Кошелева о постановке бюста совершенно совпало с замечанием самого Гете. Кошелев признал работу Давида «чудесной», но в сходстве предпочтение отдал бюсту Рауха и особенно портрету работы Карла Штилера (Stieler). Это—самый известный из портретов Гете-старца; «орлиные очи» на нем исполнены человеческой зоркости и высокой мысли: перестав быть олимпийцем, Гете у Штилера стал человеком, но таким, которому радуются все живые. Еще когда работа Штилера не была закон-

Визитная карточка „тайного советника фон Гете"
Институт Русской Литературы, Ленинград

чена, Гете писал Оттилии: «Мой портрет будет лучшим из всех». Все веймарские друзья, а вслед за ними и берлинские—Цельтер, Раух, Шадов—нашли портрет превосходным. Он ныне—в новой Пинакотеке в Мюнхене. Фр. Дюрк сделал с него копию масляными красками, посланную в Веймар; принятая Гете за работу самого Штилера, она вызвала его теплую благодарность за то, что «повторение портрета сделано с такою же любящей нежностью». Рейтерн, как мы знаем, с копии сделал превосходный рисунок [16].

Таким образом в оценке портрета Штилера Кошелев сошелся и с Гете, и с его друзьями и родными.

В старости Кошелев, обойдя молчанием празднество в библиотеке и обед, с приятностью вспомнил придворный прием по случаю рождения Гете и открытия бюста. Его рассказ любопытен в историко-бытовом отношении. Всякий, кто приезжал из Петербурга, имея чин и звание, дававшее ему право хоть изредка заглянуть в Зимний дворец на «выход» или бал, встречался в веймарском Бельведере с распростертыми объятиями. Все, кто ехал из России к Гете, оказывались в гостях у Марии Павловны; в свою очередь и тот, кто ехал к Марии Павловне, непременно оказывался в гостях у Гете: его показывали в Веймаре «знатным иностранцам», как в Москве Ивана Великого: провожать таких иностранцев в дом тайного советника фон Гете было едва ли не самой важной государственной обязанностью канцлера фон Мюллера. Здесь обычаи Марии Павловны расходились

с обыкновениями Николая Павловича: гость камер-юнкера А. С. Пушкина не получал приглашения в Зимний дворец, а в круг обязанностей канцлера графа Нессельроде не входило провожать гостей Николая Павловича в квартиру камер-юнкера Пушкина: поручения по делам поэтов в Петербурге возлагались не на канцлеров, а на шефов жандармов. Николай Павлович счел бы сумасшедшим того гофмаршала своего двора, который предложил бы ему устроить вечерний выход и бал по случаю рождения не только Пушкина, но и царелюбивого Жуковского. Такова была разница между Веймаром и Петербургом, между Европой и Россией.

«Я был приглашен на вечер к Великой княгине,—вспоминал Кошелев в 1870 г.—И она, и герцог были очень любезны, тут я увидел цвет веймарского общества. Вечер показался мне очень оригинальным. Когда все собрались, тогда герцог и великая княгиня вышли очень торжественно, сказали каждому несколько слов и затем раскланялись. Я думал, что вечер тем и кончился, а потому собирался уезжать; но наш посланник гр. Санти меня остановил и объяснил, что кончилось только представление и начинается вечер. Вечер был совершенно запросто, и вел. княгиня была приветлива, мила и обаятельна до-нельзя. Главным предметом разговора был разумеется Гете. Великая княгиня познакомила меня с другом Гете—канцлером Мюллером, и поручила ему представить меня Гете, как скоро он возвратится. Отсутствие его продолжалось 10 дней: и в это время я был несколько раз приглашен и к обеду, и на вечер в Бельведерский дворец. И герцог, и в. к. были постоянно весьма любезны, а однажды их любезность дошла до того, что после обеда они пригласили меня остаться у них и на вечер, а чтобы мне не ехать в город и оттуда не возвращаться, они поручили своему сыну, ныне царствующему герцогу, тогда 13-летнему юноше, вместе с его попечителем показать мне парк, оранжереи и теплицы и занять меня до вечера».

В этих приемах и придворных разговорах о Гете прошло время до 4 сентября, когда Гете возвратился в Веймар и Кошелев «получил от канцлера Мюллера приглашение посетить Гете на следующий день в 11 часов утра» [17].

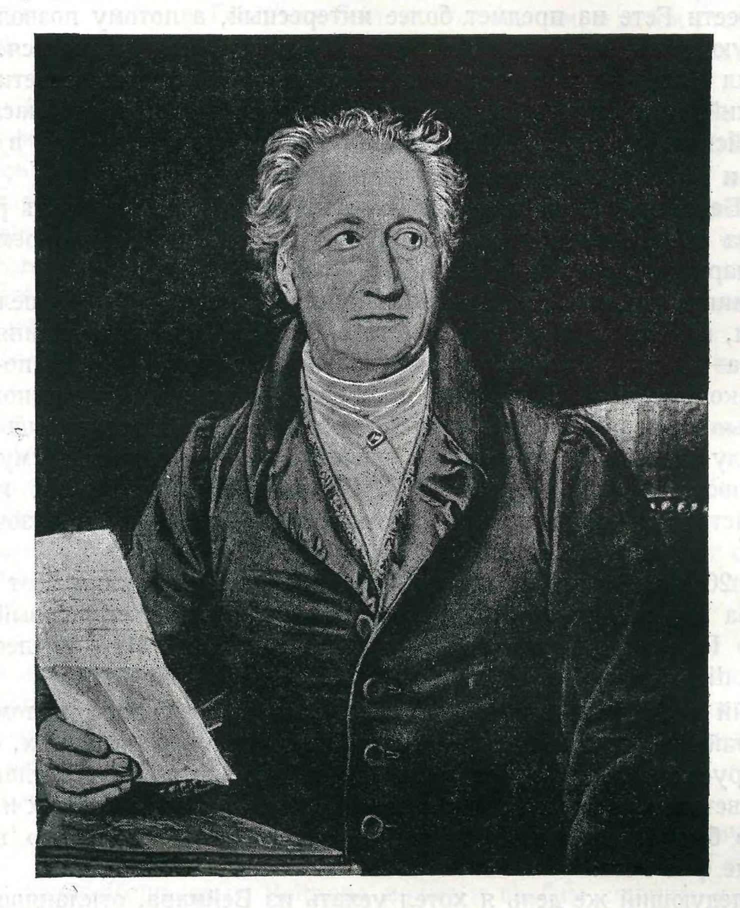
Вот что записал А. И. об этом посещении в своем дневнике:

«4 сент. 1831 г., в 12 час., был я у Гете. С благоговением вошел я в дом его. Лестница, ведущая в его жилище, вся уставлена статуями; в первой комнате много цветов и между цветами стол с книгами и некоторыми предметами из царства ископаемого, во второй—несколько картин и рисунков, статуи и огромные полки с гравюрами. Я не успел рассмотреть комнат, как вошел Гете.

Не могу выразить, что я чувствовал, увидевши этого величайшего гения нашего века; одет он был в светло-гороховом сюртуке и галстух повязан небрежно и весьма слабо, именно как Гете нарисован Стилером. Хотя Гете 84-й год, но он весьма свеж и жив, так что на лицо ему можно дать от 65—70 лет; лицо его весьма значительно, особенно верхняя часть. Держался Гете весьма прямо, глаза его были исполнены огня и жизни. Гете говорит очень скоро. Мы разговаривали о немецкой и русской литературе. Гете очень любит нашего Жуковского, с удовольствием говорит о часах, которые с ним провел; с восторгом вспоминает о времени, когда он жил в дружбе с Шиллером и Гердером, и вообще много ожидает от русских. Посидев у него около часа, я откланялся. Мне сказывали, что Гете до сих пор целый день работает, что у него много написано, что он кончил вторую часть Фауста, но никому ее еще не читал. Великая княгиня

Мария Павловна его весьма часто посещает, раза два или три в неделю. Нельзя вообразить, как он здесь всеми боготворим. На нем не сбылась пословица: on n'est jamais prophète dans son pays» [18].

Через 39 лет Кошелев снова рассказал о своей встрече с Гете, и ближайшее знакомство с этим вторым его рассказом убеждает, что, в исключение из обычного правила, в более позднем рассказе он был более точен, чем в рассказе, современном событию. Запись дневника, как явствует из сопоставления с позднейшим рассказом, повидимому слила в одно целое два разнородных впечатления от двух свиданий Гете: это—запись вообще



ГЕТЕ
Портрет маслом Иосифа-Карла Штилера (Веймар, май—июнь 1828 г.)
Новая Пинакотека, Мюнхен

о встрече, о знакомстве с Гете, а не о двух раздельных свиданиях с ним, образующих эту встречу. То, что рассказывается в дневниковой записи о доме Гете, о трепете ожидания, о внешнем виде поэта, о Жуковском,— все это относится к утреннему свиданию 4 сентября, но «восторженные воспоминания» Гете о Шиллере, вообще весь разговор о литературе, привнесен из другого свидания, 5 сентября вечером. Из этого же вечернего свидания почерпнуты и сведения о работах Гете.

Вот что в 1870 г. записал Кошелев о первом утреннем свидании 4 сентября [19].

«Не могу выразить, с каким трепетом приближался я к дому Гете, входил на его крыльцо и, наконец, позвонил. Служанка, вышедшая ко мне

навстречу, тотчас пригласила меня войти, указала мне гостиную, а сама пошла докладывать обо мне хозяину. Стены комнаты, в которую я вошел, были увешаны картинами и гравюрами, а в углах стояли статуи-антики. Я еще не успел осмотреться, как отворилась дверь из кабинета и вошел Гете. Хотя лицо его мне было весьма известно из множества портретов, мною виденных, однако глаза живого Гете и выражение его лица меня поразили. Когда мы сели, то Гете тотчас начал говорить о великой княгине, о счастии Веймара, обладающего таким сокровищем, и пр. Потом он заговорил о великом нашем императоре, о могуществе России и пр. Мне хотелось навести Гете на предмет более интересный, а потому позволил себе маленькую ложь, сказавши Гете, что Жуковский ему кланяется. «Ах,— подхватил Гете,—как счастлив действительный статский советник фон Жуковский, имея лестное поручение заботиться о воспитании наследника всероссийского престола». Дальнейший разговор продолжался в том же смысле, и я ушел более чем разочарованный» [20].

П. И. Бартенев сохранил в двух своих записях другой вариант рассказа Кошелева об утреннем посещении Гете, где царедворская церемонность Гете обнаруживается еще резче.

«Вспоминая про первое свое заграничное путешествие, Кошелев рассказывал, как ласково принимала его в Веймаре великая княгиня Мария Павловна и как она не могла довольно наговориться с ним по-русски. По ее рекомендации он отправился к Гете. Тот принял его с чиновничьею важностью и говорил только о русском дворе. Чтобы как-нибудь перевести беседу на другой предмет, Кошелев сказал, что привез ему поклон от Жуковского. «А, Жуковский! Он далеко пойдет! Он, кажется, уже действительный статский советник?» Кошелев ушел разочарованный» [21].

Через 20 лет Бартенев, говоря о Жуковском, вспомнил этот рассказ Кошелева и передал немецкую фразу из разговора Гете: «первый вопрос великого Гете приехавшему в Веймар молодому А. И. Кошелеву был: «Wie ist die Hoflage des Herrn Staatsraths Jukowsky?» [22]

Бывший московский любомудр искал встречи с великим поэтом, а был принят тайным советником; желая перейти к разговору о поэтах, он вспомнил о русском поэте, известном Гете, забыв, что автор «Светланы» был тоже «советник», и так и не мог избавиться от разговора о чинах и дворах. Он готов был бежать из Веймара, не найдя автора «Фауста» в тайном советнике фон Гете:

«На следующий же день я хотел уехать из Веймара, откланявшись поутру великой княгине и герцогу; но рано утром я получил от Гете записку, которою он приглашал меня к себе на вечер. Нельзя было не принять приглашения; и я был вполне вознагражден за неприятное утро, проведенное у Гете. Гостей было немного: канцлер Мюллер, живописец Мейер и еще человека три или четыре. Ни о великой княгине, ни о русском императоре не было и помину. Разговор весь был литературный. Гете жаловался на то, что политика и реализм убивают всякую изящную литературу и искусство, и что последние, в их нынешнем положении, не имея возможности ни прямо переделать людей, ни подчиниться их временным требованиям, должны стать на высшую точку, открыть или указать людям иной новый мир и покорить их силою новых мыслей. Мейер говорил очень умно. В 10 ¾ часов канцлер Мюллер встал и тем подал сигнал к отъезду. Я простился с Гете и на другой день отправился во Франкфурт-на-Майне» [23].

Кошелеву посчастливилось узнать Гете в самом тесном кругу его друзей. Среди них он пленился старым другом Гете Мейером, «особенно милым и общительным человеком, отличавшимся своею простотою и откровенностью» [24].

Гете отметил в дневнике только первую встречу с Кошелевым: «4 сентября. В 12 часов г. Александр Кошелев» [25]. Встреча с Гете была едва ли не последним ярким жизненным впечатлением, которое Кошелев искал еще под властью былого любомудрия и мечтаний «Московского Вестника». Он пережил эту встречу, как любомудр: с тем же печальным разочарованием, почти бегством от Гете, как было с Рожалиным, и затем с тем же восхищением и преклонением, с которым подошли к Гете Шевырев и Волконская.

Но это была последняя дань Кошелева «Германии туманной»: метафизической и поэтической. Он преклонился пред творцом «Фауста» тогда, когда весь «Фауст», за исключением разве конца II части, где действует Фауст-гидротехник, мелиоратор и агроном, перестал для него существовать.

Вернувшись из-за границы в Россию, Кошелев действительно принялся за осуществление своей хозяйственно-практической программы помещика, желающего в крепостном имении воспользоваться всеми достижениями буржуазной науки и техники.

От любомудрия он откочевал к славянофильству, но прежде всего стал человеком дела, буржуазно-дворянской инициативы.

В 1848 г. он записал в дневнике: «Мне 42 года; говорят, что я очень трудолюбив и, действительно, я великий человек на малые дела; но, в сравнении с тем, чем каждому человеку следовало бы быть, я—нуль. Конечно,—оговаривается он с полным правом,—другие из нашего сословия менее чем нуль,—и продолжает:—но разве ничтожность другого может служить мне в оправдание? Сколько времени потерял и как мало сделал добра на сем свете!» [26]

Времени—на метафизику и гетеанство—Кошелев потерял не так уж много, гораздо менее своих сверстников: но потерянное он во всяком случае наверстал, и среди не только «менее чем нулей», но даже и среди «единиц» своего класса он далеко выдавался как человек и как общественный и политический деятель. Но вся эта деятельность не имела уже ничего общего с философией и поэзией.

Кошелев и его посещение Гете—это эпилог московского любомудрия и гетеанства, это—его элегия: оно умерло раньше, чем умер сам Гете.

Но посещение Кошелевым Веймара может и вообще служить эпилогом истории о русских писателях в гостях у Гете: оно было последним, сколько знаем, посещением Веймара русским писателем при жизни Гете.

С 1832 г. туда можно было ездить лишь на его могилу.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] И. Я. Вагнер (1775—1841)—философ-математик, автор «System der Idealphilosophie» (1804), «Mathematische Philosophie» (1811) и др.

[2] Кол., т. I, кн. 2, стр. 216—217. Писано в 1827 г.

[3] Там же, стр. 110, осень 1825 г.

[4] Сак., т. I, ч. I, стр. 321.

[5] Кош., стр. 21.

[6] Кол., т. I, кн. 2, стр. 216—217.

[7] Сак., т. I, ч. I, стр. 311—321.

[8] Кол., т. I, кн. 2, стр. 216—217.

[9] Сочинения А. С. Хомякова, т. VIII. М., 1904, стр. 120.

[10] Кол., т. I, кн. 2, стр. 217.

[11] Кош., стр. 32.

[12] Там же, стр. 35.

[13] «Он посетил здесь (в Ильменау) старые, знакомые места, полные воспоминаний из юношеских дней; особенно радовался он, что может показать их внукам, которых взял с собою. В уединенно расположенном досчатом домике на Киккельгане он разыскал стихи, написанные им некогда на стене:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой.
Не пылит дорога,
Не дрожат листы.
Подожди немного—
Отдохнешь и ты.

7 сентября 1783 г. Гете.

«Да, подожди немного, отдохнешь и ты!» повторил он тихим и грустным голосом и осушил слезы, катившиеся по его щекам» (Бельш., т. II, стр. 603—604).

[14] Кол., т. II, стр. 3—6.

[15] «Propyl.», S. 83—84. Taf. 158.

В предпочтении бюста Рауха бюсту Давида с Кошелевым согласен и современный исследователь. В работе Э. К. Метнера «К портретам Гете» читаем: «Гениальный скульптор, Пьер-Жан Давид создал в 1829 г. великолепный образ неведомого «олимпийца», в котором отдельные личные и племенные черты Гете тонут в чуждом ему идеально-романском типе». («Размышления о Гете». Книга I. Кн-во «Мусагет». М., 1914, стр. 402).

[16] Там же, стр. 79—80.

[17] Кош., стр. 35—36.

[18] Кол., т. II, стр. 7—8.

[19] В частях, совпадающих с дневником, рассказ «Записок» так точен (хотя и более подробен), что должно думать, что Кошелев основывал его на записях дневника 1831 г., но дополнял по памяти всем, что было упущено тогда. Этим и объясняется, что «Записки» разделяют встречу с Гете на два свидания и резко обособляют их характер, содержание и отношение к ним самого Кошелева.

[20] Кош., стр. 36—37.

[21] Это «рассказывал», эта значительно большая резкость тона, свойственная изустному рассказу (сами «Записки» Кошелева скорее мягки по тону), и наконец то обстоятельство, что «некролог» Кошелева, откуда взято сообщение Бартенева, появился в 1-й январской книжке «Русского Архива», опередившей выход посмертных «Записок» в том же году (1884) в Берлине, заставляют признать сообщение Бартенева записью изустного рассказа, слышанного от близко знакомого ему Кошелева. П. Бартенев, Некрологи. А. И. Кошелев.—«Р. А.» 1884 г., № 1, стр. 248.

[22] «Каково положение при дворе статского советника Жуковского?»—П. Б[артенев]. Рецензия на Уткинский сборник.—«Р. А.» 1904 г., № 6, обложка. Еще раз этот рассказ Бартенев повторил в «Р. А.» 1911 г., № 7, стр. 449.

[23] Кош., стр. 37.

По рассказу П. И. Бартенева, вечером 5-го «великий человек был уже совсем иной. Общество состояло из писателей и художников, и разговор был тому соответственный» («Р. А.» 1884 г., № 1, стр. 248).

[24] Кол., т. II, стр. 7.

[25] «W. A.», III Abt., B. XIII, S. 133.

[26] Кол., т. II, стр. 80.

В своем «практицизме» Кошелев зашел далеко. Через пять лет после посещения Гете, в 1836 г., он просил В. Ф. Одоевского исходатайствовать ему право курить вино из картофеля. «Друзья мои», признается он сам, «жестоко меня за это бранили». Хомяков успокаивал друзей, говоря, «что человек, который погружался по уши в немецкую философию, не может сгинуть в откупах». (Кол., т. II, стр. 59). В 1848 г. Кошелев отказался от откупов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИОГРАФИЯ ГЕТЕ И ЭПОХИ РУССКОЙ ИСТОРИИ.—ВОЛЬТЕР В ПОЛИТИКЕ ЕКАТЕРИНЫ II И В ОБИХОДЕ РУССКОГО ДВОРЯНСТВА.—ГЕТЕАНСКИЙ КУРС ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОЛИТИКИ САМОДЕРЖАВИЯ.—РУССКИЕ ПОСЕТИТЕЛИ ГЕТЕ, ИХ СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ И МОТИВЫ ОБЩЕНИЯ С ГЕТЕ.—ПОСЕТИТЕЛЬ ГЕТЕ В РУССКОМ РОМАНЕ.—РУССКИЕ ПОСЕТИТЕЛИ ФРАНКФУРТСКОГО ДОМА ГЕТЕ.—ИЗУЧЕНИЕ РУССКИХ ОТНОШЕНИЙ ГЕТЕ.

Перед нами протянулась длинная цепь встреч Гете с Россией—преимущественно с литературной Россией его эпохи.

Тут налицо несколько классовых слоев, поколений, исторических смен. Если начать их исчисление с Радищева, учившегося в 1760-х гг. одновременно с Гете в Лейпцигском университете, то встречи, знакомства и сношения Гете с представителями России второй половины XVIII и первых десятилетий XIX в. занимают период времени в шестьдесят пять лет (1767—1832); это—три поколения, друг друга сменяющих в жизни и истории. В истории русской литературы это еще большее число эпох и смен: от рационалистического бунтарского просветительства времени Екатерины (Радищев) и придворной одописи (Хвостов), через розовые сады дворянского сентиментализма (Карамзин), «словено-русскую» бурсу адмирала Шишкова и потешные хоромы «Арзамаса»—в пушкинский салон З. Волконской, на московские антресоли дворянско-усадебного любомудрия и зачаточного славянофильства (Шевырев, Кошелев).

Первым русским литературным посетителем Веймара был Карамзин. Это было признаком смены вех в культурном устремлении русского дворянства. Веймару предшествовал Ферней, Гете предшествовал Вольтер.

Екатерина II как «первая помещица» своей империи своим интересом к вольтерову острословию, к его необозримой литературе словесного «приятства», пикантной вольности и вольного пикантства, своей перепиской с первым писателем века отбрасывала на все свое рабовладельческое сословие фальшивый блеск «просвещенности» и «европеизма». Екатерина была императрицей помещиков—эксплоататоров крепостного крестьянства, и ее отношения к Вольтеру, вплоть до покупки его библиотеки, которую он за русское жалованье должен был хранить в своем же доме, являются образцом идеологической маскировки абсолютизма. Вольтер превосходно умел на всю Европу разглашать благожелательные предисловия и комментарии по всем политическим делам и делишкам «северной Семирамиды». Этим двуединством отношения Екатерины к Вольтеру предрешался и круг его русских посетителей: это были—или послы, или «вояжеры». Состав их однообразен: это самый верхний, вельможный слой русского дворянства. К Вольтеру ехали из петербургских и московских дворцов и палат, а не из проселочных усадеб и маленьких особняков кривых московских захолустий. Социальный состав посетителей был гарантией, что из Фернея в Россию привезено будет лишь пикантное острословие, а не вольная мысль и революционная идея, которую умели извлечь—и в России!—из сочинений Вольтера другие классовые группы. Екатерина была спокойна за политическую благонамеренность и господина Вольтера, и его русских гостей со многими тысячами крепостных душ.

Русское гетеанство зарождалось в иной обстановке. «Вертер» в русских переводах и подражаниях сразу же нашел себе дорогу и в маленькую черноземную усадьбу, и в московские особняки среднедворянского круга, и в уездную глушь. Судя по этим успехам «Вертера» в широких кругах русских читателей разной социальной прослойки, надо было ждать в скорости и русских гостей в Веймар. Состав их был бы иной, чем «вояжеров» в Ферней.

В 90-х годах XVIII столетия мечтали попасть в Германию к Гете не только сыновья среднепоместного И. П. Тургенева, но и мелкопоместный Жуковский. Так это и было бы, еслиб не Великая французская революция 1789 года.

Она открыла глаза Екатерине на Вольтера: оказалось, что его читали не только владельцы крепостных душ, русских и французских, но и сами эти души—лучшие, умнейшие, передовые из них. «Вольтерьянец» стало означать «революционер». Присмотрелись к русской жизни, и увидели, что вольтерьянство в «низших» классах—в мелком провинциальном дворянстве, в мещанстве, в разночинцах—означает не благополучное острословие на французском языке, а религиозное вольномыслие, политический радикализм на самом простом русском языке. Вольтер был объявлен вне закона; бюсты его выброшены из зал и гостиных перетрусившей Фелицы, книги запрещены.

Павел пошел дальше своей матери: он запретил все книги, идущие из-за границы, и наставил рогаток на заставах. К Гете не только нельзя было поехать, но Гете нельзя стало читать в России без риска попасть в кутузку. Десятилетие 1790—1800 гг. не дает ни одного русского посещения Веймара.

Это была единственная ошибка в гетеанской политике самодержавия—во время реакционного перепуга принять гетеанца за вольтерьянца, смешать Ферней с Веймаром. Александр I поспешил ее исправить и установить иной курс, которого держался и Николай I.

Этот курс начинается с 1804 г.—со времени водворения в Веймаре Марии Павловны. Тогда начались и прочно закрепились связи русского двора с Веймаром. С точки зрения русского правительства социальный паспорт Гете оказался совершенно удовлетворительным: министр, верноподданный Карла-Августа, консерватор-монархист, враг народоправств и революций. Подробностями не интересовались: неважно, что этот министр написал «Фауста», влив в него свою мыслительную мятежность и едкий скепсис—в Мефистофеля, важно, что этот министр был знаменитый, признанный всей Европой писатель, союз с которым, или по крайней мере дружественный нейтралитет которого стоил союза с половиной германских государств. У Александра I оказался превосходный дипломат при дворе его литературного величества Гете I: Мария Павловна. Она умело, уверенно и прикровенно вела политику усвоения Гете русскому двору и монархии. Это вполне удалось: дружественный нейтралитет Гете был обеспечен даже в самых рискованных предприятиях самодержавия—например в подавлении польской революции 1830/31 г., когда все великие и малые державы европейской словесности восставали на державу Николая I. Великий литературно-научный и общекультурный авторитет Гете был отлично использован русским правительством (основание Харьковского университета, Азиатская академия). Многократно официально заявляемая и изъявляемая (письмами и визитами самодержцев и их жен, орденами, крупными подарками, академическими почестями, материальной поддержкой просветительных учреждений, руководимых Гете) дружба русского двора с Гете имела целью: с одной стороны—поднять и укрепить в Европе культурный престиж русского самодержавия, что продолжало вольтерьянскую политику Екатерины II, с другой стороны—дружба царей и цариц с Гете важна была для «внутреннего употребления». Гете был «освоен» с такой бесспорностью, что годился как поучительнейший объект наглядного обучения: мировой писатель жил в совете и в ладу с русским правительством, тогда как писатели не мировые и не

европейские, а только русские, не находили modus vivendi с тем же правительством. Вывод подсказывался сам собой: вина была в писателях, а не в правительстве. Русское правительственное и официозное гетеанство—это русская автократодицея, опыт правительственной самоапологии.

Павел I не разобрал, чем отличается гетеанство от вольтерьянства. Александр I и Николай I разобрали это очень хорошо: вольтерьянство, спускаясь в социальные низы, было и могло быть революционно,—это доказала Великая революция, в идеологическом сплаве которой доля вольтерова была достаточно велика; гетеанство то, что в нем было революционного,—«Фауста» и дух научной пытливости—могло передать лишь далекому будущему, а все остальное, связанное с пресловутым «олимпийством» его творца, не сулило никаких выходов на площадь, под знамена революции,—наоборот, все остальное в великолепной форме и с гениальной силой учило приятию настоящего и освящению существующего. Диагноз официальных гетеанцев подтвердился: поколение декабристов читало не Гете, а Байрона, и единственный декабрист, благоговевший пред Гете, Кюхельбекер, приняв сначала Гете как Прометея, кончил отречением от него, когда на досуге, в тюрьме и ссылке, хорошенько поразобрался в его «олимпийстве». Наоборот, последекабрьское поколение «любомудров», являвшееся идеологическим вскормленником дворянской реакции в эпоху аграрного кризиса 20-х годов, нашло в Гете «властителя своих дум»: оно обрело в его «объективизме» эстетико-философскую формулу приятия последекабрьской действительности, в его «олимпийстве»—догмат превосходства искусства над жизнью. Из среды гетеанцев-любомудров Николай Павлович не получил ни одного ссыльного, но нескольких апологетов «православия—самодержавия—народности» (Погодин, Шевырев). Лишь в конце 40-х годов Николаю Павловичу пришлось ругнуть Гете за «Фауста»: в немецкой революции 1848 г. он учуял и критику Мефистофеля, и творческий порыв Фауста. До этой поры даже «Фауст», хотя и не без труда, проходил все же врата русской цензуры (переводы Губера, 1838, Вронченко, 1844). «Гетеанство» было поэтому единственной литературной сектой, которую терпел и которой даже покровительствовал святейший синод русского самодержавия. «Гетеанец» никогда не приравнивался больше к «вольтерьянцу», как сделал это вовсе безграмотный Павел I.

Со своей стороны и Гете находил общую социально-политическую почву для личных отношений с русскими посетителями. Контингент этих посетителей многосложен. Два императора, три императрицы, великие князья и княгини, виднейшие представители русского двора, дипломатии, армии, высших кругов аристократии в неоднократных встречах, специальных посещениях и переписке свидетельствовали Гете свое почтение, уважение, восхищение. Пестрый и многочисленный строй внелитературных русских посетителей Гете, лишь частично отраженный на предшествовавших страницах, оставлял свой след не только в памяти и дневниках Гете, но и в его доме. Драгоценные подарки Яковлева и Ханыкова, коллекция автографов, собираемая через Клингера, коллекция сибирских драгоценных камней и минералов от Строганова (быть может и от гр. Гр. Кирилл. Разумовского), коллекция древнерусских монет от А. А. Кавелина, коллекция барельефов от Ф. П. Толстого, коллекция слепков с камей и гемм Эрмитажа, полученная от Алопеуса, золотой и платиновый самородки от Канкрина, а по сути дела от Николая I, многочисленные подарки от Марии Павловны, драгоценная табакерка от Марии Федоровны, бюсты

от Александры Федоровны—вот самый краткий инвентарь полученный Гете от его аристократических русских знакомых. Стоит здесь вспомнить историю с суздальскими иконами: для исполнения желания Гете были мобилизованы и министр внутренних дел, и губернатор, и историограф. Список русских корреспондентов и адресатов Гете заключает в себе тридцать пять имен, но вероятен и еще ряд имен, доводящий его до полусотни. Список всех русских знакомцев Гете переходит за сотню, но он не отражает их действительного числа: оно было значительно больше.

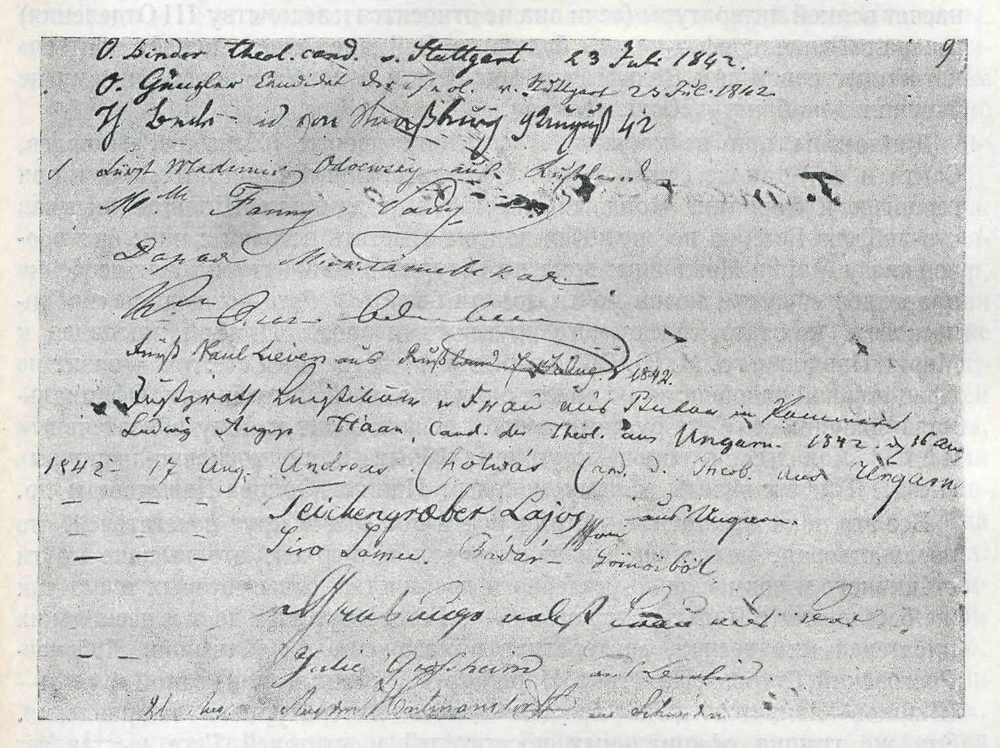
Тропа в дом Гете проложена была «высочайшими стопами» и поэтому она стала—особенно после 1813 года—торной для всех русских, кто появлялся в Германии и не хотел или не мог миновать Веймара. Довольно четко намечаются группы этих посетителей Гете. Тут есть и послы, и командированные, и визитеры, и путешественники, и паломники, и туристы, и «вояжеры».

Биограф Гете говорит, что его дом принимал в последнее тридцатилетие (1800—1832) жизни Гете кроме немцев еще «необозримый ряд иностранных гостей со всего цивилизованного мира». Для современников Гете был высшим представителем культуры вообще, и если сам не всегда и не для всех был «властителем дум» (это титул, более подходящий для Байрона) или «пленителем сердец» (что более подходит к Шиллеру), то всегда и для всех был владетелем вершины европейской культуры, при чем вершина эта была трехглавой: поэзия, философия, наука. Оттого с бьющимися сердцами паломничали к Гете «нежные Вертеры» разных стран и национальностей, но к нему же устремлялись и Фаусты современности из Англии, Франции, России, и Вильгельмы Мейстеры в годы своих странствий и социальных исканий, а с другой стороны—министр маленького Веймарского государства, тайный советник В. фон Гете, привлекал к себе и представителей европейской политики, государственности и придворного безделья больших и малых дворов царствующей Европы времен Империи и Реставрации: министр-поэт, писатель-царедворец у всех этих провинциальных королей и проселочных герцогов с их свитой почитался лицом, достойным их милостивого посещения.

Крепостная Россия XVIII—начала XIX в. влила свою струю в этот поток европейского посетительства. Перед нами прошли многочисленные представители этого русского потока. Они классово разнохарактерны—отсюда классовая разнохарактерность в их восприятии Гете: сиятельный крепостник, важный вельможа, представитель правящей дворянской России, носитель крупных чинов, знатный владелец крепостных душ ищет в тайном советнике фон Гете опоры для своих феодально-дворянских мнений и настроений. За крупным вельможей тянется и его провинциальный дворянский подголосок с его обожанием «великого Гиотте». Царская Россия в лице стоящей у власти феодально-дворянской бюрократической клики стремится сделать Гете орудием своей внешней и внутренней политики, использовать авторитет Гете и в реакционной политике мракобесия «Священного Союза», и в качестве примера послушного правительству слуги для строптивых русских литераторов. Иное видят в Гете представители антифеодального лагеря—декабрист Кюхельбекер, охваченный преддекабрьскими настроениями Строганов, разночинец Рожалин; они воспринимают в нем близкие к их классовой идеологии стороны: протест против разлагающегося феодального мира, песню нового молодого социального строя, идущего к нему на смену.

На фоне этой классово неоднородной толпы посетителей Веймара ярко видна и классовая сложность творчества Гете, и политическая острота использования Гете и его творчества как орудия классовой борьбы эпохи. Поскольку в настоящей работе нас интересуют именно русские посетители Гете, необходимо отметить, что последний относился к ним с особой внимательностью.

Рассказывая о доступности Гете для европейских посетителей, Бельшовский почтительно замечает: «И если великий человек и не принимал каждого безвестного писателя, каждого незрелого студента или какую-нибудь жену берлинского мясника, хотевшую выразить ему как автору «Коло-


O. Binder theol. cand. v. Stuttgart 23 Jul. 1842.
Fürst Wladimir Odoewsky aus Rußland
Mlle Fanny
Ludwig August Haan, Cand. d. Theol. aus Ungarn. 1842.
1842. 17 Aug. Andreas Cholwás Cand. d. Theol. aus Ungarn
Teichengraber Lajos aus Ungarn

Страница из книги записей посетителей (1842 г.) дома, в котором родился Гете во Франкфурте-на-Майне
Среди фамилий—имя В. Ф. Одоевского
Goethe-Museum, Франкфурт-на-Майне

кола» свое глубоко прочувствованное удивление, то все же доступность его была очень велика» (т. II, стр. 439). Это ограничение, о котором говорит биограф, относилось ко всем посетителям, только не к русским. Гете принимал всех русских посетителей без исключения. Неизвестно ни одного случая отказа в приеме русскому посетителю. Единственный раз, когда Гете заикнулся было об отказе русскому посетителю, был случай с Гречем, но и тут отказ был взят назад. Среди русских посетительниц Гете не находится параллели к «жене берлинского мясника», но вряд ли многие из русских дам, принятых им, были более осведомлены в его сочинениях, чем эта «жена мясника», и однако ни о каком отказе им и слуху нет. Гете принимал всех русских, и самое большее, если ворчал на них post factum как на тех двух туристов, на которых пожаловался Эккерману.

Причина этого предпочтения русским ясна: Гете находился в вотчине сестры русского императора, зависевшей от своих высоких русских род-

ственников. С появлением в Веймаре Марии Павловны образовался наиболее прочный круг посетителей Гете—от нее к нему шли и послы, и командированные, и визитеры. В Петербурге были сперва Александр, потом Николай Павлович. В Веймаре была Мария Павловна. Путешествуя по Германии, русскому сановнику, придворному или просто человеку хороших дворянских кровей было невозможно не нанести почтительного визита Марии Павловне: Александр или Николай Павлович в Петербурге непременно спросят: «А был ли ты у сестры?» Но нанести визит Марии Павловне—значило побывать непременно и у Гете, ибо поэт-министр был самым крупным алмазом очень скромной веймарской короны. Даже беззаботный насчет всякой литературы (если она не относится к ведомству III Отделения) генерал Бенкендорф,—и тот, будучи в Веймаре, «счел долгом явиться» к тайному советнику Вольфгангу фон Гете и в почтительности к нему не уступил декабристу Кюхельбекеру.

Дипломаты при веймарском и соседних дворах (Ханыков, Яковлев, Санти и др.) так же считают себя аккредитованными при Гете, как и при герцогах и королях. Вряд ли престарелый адмирал Шишков читывал что-либо из Гете, но все же почел долгом отметить встречу с ним: она произошла у Марии Павловны; вряд ли «Стурдзе библическому» мог особенно нравиться «Фауст», но он почел долгом бывать у Гете—отнюдь не «библического», но зато ласкаемого русским двором. Прямой посланец к Марии Павловне гр. М. Ю. Вьельгорский является и к Гете: это —визит по официальной надобности, но вместе с тем и по своей потребности. Официальная признанность Гете русским двором делает визит к нему обязательным и для молодых птенцов крупноусадебных и подмосковно-дворцовых гнезд. Таковы визиты к нему молодых Панина, Орлова-Давыдова и др.

Все это пока еще тот самый, или почти тот самый круг посетителей, что посольствовал, паломничал и вояжировал в Ферней: это высшие круги столичного и подмосковно-усадебного дворянства, отцы которых точно так же беседовали с Вольтером, как они—с Гете. Круг этот дает и нескольких писателей или господ, «литературе приверженных»: Ханыков, Лобанов-Ростовский, Стурдза, Полетика, Норов, гр. Р. Эдлинг, а один из этой группы—Шишков—является даже вождем целого литературного направления. Эта же группа официальных посетителей и чтителей Гете выставляет двух теоретиков и апологетов гетеанской политики русского двора—С. С. Уварова и кн. Э. П. Мещерского, в котором совмещается и вскормленник, и командированный, и постоянный турист и даже комми-вояжер Веймара и Гете.

Эта ведущая группа официальных и официозных гетеанцев дает начало моде на визиты и «вояжи» к Гете. С легкой руки царей, цариц и царедворцев устремление в Веймар с 1813 г. начинает приобретать характер своеобразного модного туризма: «просвещенный», т. е. прочитавший несколько французских книг и «Вертера» по-французски или по-русски, владетель каких-нибудь захолустных саратовских или тамбовских «крепостных душ», попав за границу, иногда считал долгом побывать и в Веймаре, как его отец, разгулявшись в Париже, не забывал заглянуть в Ферней. Юный Казадаев, несколько других русских с именем или без имени, проходящих тенями по дневникам Гете и по страницам «Разговоров с Эккерманом»,—вот примеры этих вояжеров из-за моды и туристов по советам высокопоставленных путеводителей. Этот второй круг посетителей Веймара уже значительно шире былых фернейцев: тут не одно вельможество,

не одни столичные верхи, но и среднедворянский, поместный и служилый круг.

Третью группу посетителей Гете составляют те, кто одной ногой стоит в придворной гостиной, другой в писательском кабинете. А. И. Тургенев и В. А. Жуковский с ранней юности были читателями Гете, чтителями его гения и рвались в Веймар еще через павловы рогатки. Это настоящие литературные паломники по устремлению, но, когда они попали в Веймар, их вертерьянские годы были уже позади, они, особенно Жуковский, успели примириться с тем обществом, которое изгнало из своей среды Вертера,—и их пребывание в Веймаре было одновременно и паломничеством к Гете, и почтительным представлением ко двору Марии Павловны. Жуковский в глазах Гете был чем-то близким к почетному и официальному представителю двора Николая Павловича. Таким посетителем был и А. А. Перовский: визит был двойствен—его делали одновременно и попечитель Харьковского учебного округа А. А. Перовский и писатель-романтик Антоний Погорельский.

Четвертая группа посетителей—чисто писательская. Она очень пестра: это ее резко отличает от былых посетителей Фернея. В ней и профессионал-журналист Греч, и вечно безместный «служащий дворянин» Кюхельбекер, переходящий в профессионалы-литераторы, и слегка фрондирующая кн. З. Волконская, наделенная подлинной любовью к искусству и столь же подлинной неуживчивостью с империей Николая I, тут и разночинец-скептик Рожалин, вычитавший из «Вертера» не то, что вычитывали Андрей Тургенев с товарищами, тут же и Шевырев, пока еще переводчик «Фауста», тут и любомудр - гетеанец, а в будущем откупщик и славянофил Кошелев. Это—путешественники и паломники к Гете; визит к Марии Павловне для них или просто не существует, или они наносят его тогда, когда уже нельзя не нанести его (Кошелев). Русская политика Гете им неприятна: Кошелев едва не сбежал от Гете из-за его изъявлений верноподданничества Николаю Павловичу с Марией Павловной. Эта группа ищет в Веймаре только Гете, а в Гете—только писателя: все остальное ей неинтересно. Немудрено, что этой группе, несмотря на то, что свидания ее с Гете были кратковременны, мы обязаны наиболее подробными сказаниями о нем. А. И. Тургенев живал по неделям в Веймаре, и показания его дневников больше относятся к двору Марии Павловны, чем к Гете. Рожалин и Шевырев пробыли в Веймаре один день, но сумели дать много ценного в своих письмах о Гете. Их путь к Гете был путем их собственного культурного развития. К личному общению с Гете их толкало долгое и плодотворное общение с его творчеством, толкала многолетняя работа над ним.

Смерть Гете прервала русские посещения Веймара тогда, когда они сделались уже настолько приметным явлением русской жизни, что появилась даже попытка обобщить это явление в художественном синтезе. В 1843 г. появился слабый роман Л. В. Бранта «Жизнь, как она есть. Записки неизвестного, ч. I—II. СПБ». В этом романе автор заставляет своего героя съездить в Веймар и описывает его беседу с Гете: ей посвящена вся XIII глава первой части (стр. 3—55). Это верный знак, что посещения Гете стали в конце 20-х—начале 30-х годов явлением столь же типичным для известных слоев русского общества, как посещения Толстого в Ясной Поляне в 80-х годах для гораздо более широких кругов того же общества: в конце 80-х годов появились также и первые изображения толстовства в художественной литературе.

Интересно взглянуть на круг посетителей гетевского дома уже после его смерти. Вот примеры русских записей из книги посетителей Дома Гете во Франкфурте-на-Майне: среди многих записей остзейских немцев читаем в 1842 г.: «Fürst Wladimir Odoewsky aus Russland. M-lle Fanny Davy. Дарья Миклашевская. Кн. Ольга Одоевская. Fürst Paul Lieven aus Russland» (7/VIII). Не знаем, кто такая Fanny Davy, но не удивляемся, встретя в Доме Гете давнего его почитателя любомудра кн. Вл. Ф. Одоевского с женою, кн. П. Ливена и какую-то Дарью Миклашевскую: это обычный круг и прижизненных посетителей Гете. Через два года встречаем посетителей: «D-r der Philosophie J. von Staden. Julius Diebrich, d-r med., aus Moskau» (1/VII 1844)—и это обычно: мало ли было у Гете поклонников из русских немцев и немецких русских? В 1847 г.: «Sokoloff, Mosaikarbeiter aus Petersburg» (2/X), а в 1856 г. «Professeur émérite de l'Académie Im-le des Beaux Arts de S. Petersbourg Nicolas Outkine» (13/VII): это продолжение того интереса к Гете, который был и у прежних русских художников: Кипренского, Толстого, Рейтерна. В 1857 г. «Gaievsky aus Petersburg»—это обычное литераторское посещение: тогда Шевырев, теперь—известный автор статей о Пушкине и Дельвиге В. П. Гаевский. Русский круг Веймара и Франкфурта остается тот же: он шире Фернея, но несравненно уже Ясной Поляны.

В этом круге есть как будто только одно вакантное место: в нем нет будущих «западников». Но в 1830—1840 гг. они много читали, переводили и истолковывали Гете. Герцен остроумно высмеивал лжегетеанство Уварова, Белинский приветствовал «Римские элегии» в переводе Струговщикова и нападал на «Менцеля, критика Гете», а друг его Ян. М. Неверов совершил паломничество в Веймар и оставил превосходный очерк: «Дом Гете в Веймаре. Из путевых записок» («Лит. прибавл. к «Русскому Инвалиду» 1839 г.). К дому Гете нашли свою тропу и «люди 40-х годов», но они по-разному и не так, как их предшественники, отнеслись к Гете. От поклонников Гете слово перешло к его критикам.

Писатели—лишь одна из групп русских посетителей Гете; история русских отношений Гете, как неоднократно повторялось в этой работе, значительно шире и сложнее его отношений с русскими писателями. Во всей глубине и сложности эти русские отношения Гете встанут пред нами лишь тогда, когда будет поднята нетронутая целина архивов русских и немецких. Остается пожелать, чтобы этот труд скорее был совершен. Тогда и история русских писательских посещений Гете будет освещена полнее и глубже, чем в этой работе.

В. ЖИРМУНСКИЙ

ГЕТЕ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Глава первая

ОБЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ. 2. ХАРАКТЕР НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ. 3. ВЛИЯНИЕ ГЕТЕ В РОССИИ.

1

В условиях неравномерности процесса социально-исторического развития человечества «страна промышленно более развитая,—по словам Маркса,—показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего» (предисловие к «Капиталу», 1867 г.). Неудивительно поэтому, что страны отсталые не всегда проделывают заново и самостоятельно тот этап пути, который был уже пройден странами передовыми. Передовая промышленная страна не только снабжает отсталую земледельческую товарами, служащими для удовлетворения определенных хозяйственных потребностей; не только новые технические завоевания передовой страны могут быть усвоены и использованы страной отсталой: подобный обмен и взаимное обслуживание совершается и в области идей. Новый общественный класс, выступая на историческую арену, не изобретает заново свою идеологию, а пользуется не редко уже готовым идеологическим оружием, созданным и испытанным в процессе классовой борьбы на идеологическом фронте в более передовой стране. В особенности в эпоху капитализма, с ростом международных связей в области экономической и политической, обмен идеями достигает небывалой интенсивности. Так Англия XVIII в., передовая страна промышленного капитализма, снабжала буржуазию всего Запада идеологическим оружием своей выделки, испытанным в борьбе с феодализмом; так идеи французского буржуазного просвещения, сложившиеся под влиянием Англии, формируют в эпоху Готшеда и Лессинга мировоззрение наиболее отсталой немецкой буржуазии. В области литературы в это время из Англии во Францию, а потом и в Германию «импортируется» мещанская драма, буржуазно-сентиментальный семейный роман и т. д. «Мисс Сара Сампсон» Лессинга является мещанской драмой английского образца и даже с героями англичанами, потому что для слабой и отсталой немецкой буржуазии XVIII в. английская буржуазия, уже завоевавшая экономическую и политическую гегемонию в своей стране и вполне сложившаяся в идеологическом отношении, должна была представляться недосягаемым образцом и идеалом.

Конечно процесс идеологического влияния и литературного взаимодействия не имеет никогда характера механического заимствования, т. е. простого воспроизведения готовых образцов. Сложность и противоречивость

единого социально-исторического процесса создает в отдельных странах значительные различия конкретной исторической обстановки и обусловленного этой обстановкой идеологического развития. В связи с этим родственные по своим классовым корням идеи могут быть использованы как орудие классовой борьбы в конкретных условиях данной страны, только пройдя через сложный процесс диалектического развития. Точнее говоря, сходные хотя и не тождественные формы исторического бытия определяют сходные хотя и не тождественные формы классовой идеологии, при чем влияние «импортированных» образцов является лишь импульсом для собственного идеологического творчества. Подобный процесс диалектического усвоения и переосмысления «импортированного» литературного наследия в соответствии с конкретной ситуацией классовой борьбы в данной стране мы можем наблюдать например при сопоставлении «Клариссы» Ричардсона с «Новой Элоизой» Руссо и «Вертером» Гете. В конкретных условиях исторического развития России в 20-х годах XIX в. русский байронизм должен был по-своему переработать и переосмыслить поэтическое наследие Байрона в соответствии с классовой идеологией господствующей дворянской литературы пушкинской эпохи. Тем не менее байроновские поэмы Пушкина не были бы написаны без Байрона или во всяком случае имели бы совершенно другой вид: в этом случае, как и во многих других, для удовлетворения определенного идеологического запроса был «импортирован» и творчески переработан наиболее соответствовавший этим запросам литературный образец.

Эти предпосылки сохраняют свое значение и для литературы в собственном смысле переводной. Переводы художественной литературы, в особенности сделанные самостоятельными художниками слова, оригинальными писателями, а не профессиональными переводчиками, всегда являются для удовлетворения определенного идеологического запроса, существующего на данном этапе исторического развития у данной литературно-общественной группы. С этой точки зрения выбор автора или произведения как объекта для перевода является сам по себе фактом глубоко знаменательным, свидетельством наличности определенных идеологических установок и художественных вкусов и знаком, характеризующим то или иное литературное направление. Перевод, как и более определенное подражание литературному образцу, в большинстве случаев связан с переосмыслением, выдвигающим на первый план, усиливающим и раскрывающим определенный аспект подлинника, наиболее близкий и потому наиболее доступный и понятный переводчику. Такие творчески освоенные переводы органически входят в состав литературы, к которой принадлежал переводчик, иногда занимая в ней место, не вполне соответствующее тому, которое занимает оригинал в своей родной литературе. Таковы например у нас переводы Жуковского, а в немецкой литературе—переводы романтика Августа Шлегеля из Шекспира и Кальдерона. В условиях значительной культурной отсталости переводы играют в литературе особенно важную роль: так было например в России в XVIII и в начале XIX в. С другой стороны, как уже было сказано, эпоха промышленного капитализма создает особенно благоприятные условия для развития международного культурного, в частности литературного, обмена, и в этом смысле наличие многочисленных переводов является одним из характерных признаков развития «всемирной литературы», возникновение которой приветствовал Гете еще в начале XIX века.

2

По отношению к влиянию немецкой литературы XVIII и начала XIX в. вопрос осложняется особым положением Германии на этом этапе капиталистического развития. Как известно, в начале XVIII в. Германия по сравнению с Англией и Францией являлась страной отсталой в экономическом и политическом отношении, страной аграрной по преимуществу, сохранившей в архаической неприкосновенности средневековые формы феодального землевладения и цехового ремесла и государственную раздробленность докапиталистической эпохи. В связи с этим буржуазная литература Германии XVIII в. отличается от буржуазной литературы Англии и Франции своим робким, нерешительным, двойственным и подчас даже реакционным характером в соответствии с общим характером ее главного носителя— мелкой буржуазии, которая, по словам «Коммунистического манифеста», «...с XVI в. снова и снова всплывает в Германии в различной форме как главное общественное основание существующего положения». В немецкой литературе XVIII в. за немногими исключениями отсутствует та активность и сознательность политической идеологии, которая характеризует боевую литературу восходящего общественного класса. Как прекрасно показал Маркс, общественно-политические идеалы немецкой буржуазии сублимируются и переносятся в абстрактно-философскую, моральную и эстетическую сферу. Борьба за политическую эмансипацию класса заменяется борьбой за философское и моральное освобождение личности от догматического феодально-клерикального мировоззрения; воспитание и развитие личности, культура личности (Bildung) становится высшей целью, при этом личности, рассматриваемой независимо от общественных отношений и всецело погруженной во внутренний мир своих собственных переживаний. Эта черта буржуазного развития Германии XVIII в. получила наиболее характерное выражение в той двойственности, которую отметил Энгельс в личности и творчестве Вольфганга Гете, величайшего поэта буржуазной Германии [1].

Для передовых стран капиталистического Запада литература полуфеодальной и мелкобуржуазной Германии XVIII в. не могла служить образцом, формирующим классовое сознание восходящей буржуазии. Политические тирады Карла Мора и маркиза Позы звучали довольно бледно после событий английской и французской революций, монолог Прометея Гете, бросающего вызов богам, никого не мог напугать после великой Энциклопедии и французского материализма, моральные парадоксы «Стеллы», по мнению современных филистеров, «оправдывающей двоеженство», вряд ли могли способствовать эмансипации от старой морали более решительно, чем такие продукты разложения дворянского общества при «старом режиме», как романы Ретифа де-ля-Бретон или Шодерло де Лакло. Но когда в условиях тех исторических противоречий, которые характеризуют развитие капитализма, в начале XIX в. наступает на Западе дворянско-феодальная реакция и под знаком политической реставрации развертывается борьба против буржуазного Просвещения с реакционных позиций дворянского и мелкобуржуазного романтизма, значение немецкой литературы в международном масштабе растет необычайно. Немецкий романтизм ведет за собой английский и особенно французский, немецкая идеалистическая философия находит сторонников в Англии и Франции, распространяется мода на все немецкое, отождествляемое со «средневековым», «туманным», «фантастическим». Идеологическая тяга романтизма к эпохе феодализма оправ-

дывает увлечение капиталистического Запада полуфеодальной Германией; ее «провинциальность» и своеобразная «отсталость» являются особой притягательной силой. В эту эпоху мадам де Сталь, по остроумному замечанию Гейне, открыла для французов немецкую литературу XVIII в., как Тацит открыл испорченному Риму первобытную, нетронутую культурой Германию.

В этом отношении весьма характерно, что как Гете, так и Шиллер—для Германии передовые писатели начальной поры буржуазного развития, отчетливо противопоставленные так называемой романтической школе и боровшиеся с ее реакционными установками,—воспринимаются на Западе (например во Франции) и в России XIX в. как вожди романтизма, под знаком романтической идеологии. В их восприятии западным читателем отступают на задний план те черты, которые делают их—для самой Германии—выразителями освободительных идей молодой буржуазной литературы; напротив, особенно значительными становятся те признаки, которые связаны с отсталостью Германии и своеобразием ее исторического пути. Так «Фауст» Гете воспринимается в эпоху французского романтизма не как выражение исканий человеческой личности, освобожденной от догмата и авторитета, а как изображение индивидуалиста, проблематической натуры, разочарованной в жизни и мечтательно погруженной в мир своих внутренних переживаний, в мистическое общение с природой и романтическое чувство любви.

3

По отношению к русской литературе необходимо прежде всего отметить, что место, занимаемое Гете в ее истории, гораздо менее значительно, чем место целого ряда других писателей.

Гете стоит в русской литературе как большое имя, окруженное почетом, уважением и смутной славой, но не связанное с задачами текущего дня и потому лишенное непосредственной действенности—общекультурной и специально поэтической. Только одна эпоха представляет в этом отношении характерное исключение—это эпоха ориентирующегося на Германию философствующего романтизма, русского шеллингианства и раннего гегельянства, обозначенная в истории русской общественной мысли именами Веневитинова и «любомудров», Станкевича, молодого Белинского и их друзей, а в истории русской поэзии—Жуковского (родоначальника так называемой немецкой школы), того же Веневитинова, Тютчева, Фета (ее позднего представителя). Таким образом и у нас, как во Франции, Гете воспринимается под знаком романтизма и философского идеализма, господство которых характеризует дворянскую литературу эпохи реакции, наступившей после подавления восстания декабристов. Годы 1825—1845 являются апогеем влияния Гете в России. До середины 20-х годов в русской литературе господствуют французские и английские веяния, характеризующие либерально-оппозиционные настроения дворянской литературы в конце царствования Александра I. Отсюда ориентация на передовые капиталистические страны Запада. С другой стороны, с середины 40-х годов, когда на новом этапе экономического развития России обостряется классовая борьба и выдвигается требование литературы общественно-активной и политически-оппозиционной, Гете снова сходит со сцены, уступая место французским и английским учителям (Бальзак, Жорж Занд, Чарльз Диккенс и др.).

Об отходе от Гете свидетельствуют уже в начале 40-х годов отдельные критические высказывания Белинского, И. С. Тургенева и др. (см. ниже, стр. 594), а во второй половине XIX в., в эпоху борьбы против «эстетики», только реакционное крыло дворянской литературы, хранители романтической традиции и защитники «чистого искусства», как А. Фет, А. Майков, Алексей Толстой, плывя «против течения», сохраняют еще живую связь с поэзией Гете.

Для остальной литературы Гете окончательно отходит в историческое прошлое, в пантеон великих имен, уже не связанных с интересами дня. Из рук поэтов и критиков усвоение Гете как памятника отдаленной культурной эпохи переходит в руки профессиональных переводчиков и ученых историков литературы.

Впрочем даже в пору наиболее сильного влияния в России—в конце 20-х и в 30-е годы—Гете не оказал особенно сильного воздействия на оригинальное творчество тех или иных русских поэтов, которое можно было бы достаточно отчетливо обнаружить на отдельных конкретных произведениях или на развитии определенных литературных жанров. В эпоху сближения с Гете его поэтическая личность и его творчество в целом стоят перед русской литературой как идеологическая проблема, в свете которой решаются (например Веневитиновым, Станкевичем, молодым Белинским) основные вопросы эстетики и философии культуры. С другой стороны, на фоне такого идеологического сближения мы можем констатировать некоторое общее художественное влияние—например «Вертера»—на сентиментальную повесть Карамзина («Бедная Лиза»), философской поэзии Гете—на Веневитинова и Тютчева, его интимной лирики—на Фета, влияние недостаточно конкретное и специальное, чтобы можно было отметить наличность бесспорных заимствований. Наконец наиболее видное место в литературном усвоении поэзии Гете занимают многочисленные переводы его произведений, которые в дальнейшем займут наше главное внимание. Богатство и разнообразие поэтического репертуара Гете, сложность и кажущаяся противоречивость его творческого пути обусловили то обстоятельство, что творчество Гете, в особенности творчество лирическое, различными своими аспектами воспринимается и входит в историю русской поэзии. Каждое такое сближение, засвидетельствованное в выборе темы и стиле перевода, должно рассматриваться как знак, под которым происходит усвоение Гете на данном этапе развития русской поэзии: при таком рассмотрении отдельные переводы из Гете включаются в процесс развития русской литературы и за фактом перевода вскрываются идеологические мотивы, подсказывавшие обращение к немецкому источнику.

Из многочисленных произведений Гете наибольшее значение имели для России «Вертер» (конец XVIII в.), лирика (первая половина XIX в.), «Фауст» (с 30-х годов до наших дней); на усвоении этих произведений мы сосредоточим в дальнейшем главное внимание.

Эпизодическое влияние имели «Гец фон Берлихинген», «Герман и Доротея» и немногие другие; в общем однако переводы крупных произведений Гете, кроме «Вертера» и «Фауста», не занимают в русской литературе самостоятельного места и относятся к тому более позднему этапу усвоения Гете, когда его произведения переводятся как исторический памятник прошлой культуры.

Глава вторая

ВЕРТЕРИАНА

1. НАЧАЛО ЗНАКОМСТВА С ГЕТЕ В РОССИИ: „КЛАВИГО“ КОЗОДАВЛЕВА (1780). 2. „ВЕРТЕР“ В ОТЗЫВАХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. 3. ПЕРЕВОДЫ ГАЛЧЕНКОВА (1781) И ВИНОГРАДОВА (1796). ПЕРЕВОДЫ ИНОСТРАННОЙ „ВЕРТЕРИАНЫ“ („ПИСЬМА ШАРЛОТТЫ“.—„СТЕЛЛИНО“). 4. СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВЕРТЕРУ. „ЛОТТА НА МОГИЛЕ ВЕРТЕРА“. 5. РУССКИЕ ПОДРАЖАНИЯ „ВЕРТЕРУ“. 6. ОТЗЫВЫ О „ВЕРТЕРЕ“ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА. ПЕРЕВОДЫ РОЖАЛИНА (1829) И СТРУГОВЩИКОВА (1865).

1

Первое произведение Гете, появившееся в русском переводе,—юношеская драма в прозе «Клавиго» (два издания в 1780 г.). Переводчик—О. П. Козодавлев (1754—1819), впоследствии видный государственный деятель, президент Российской Академии и реакционный министр при Александре I[2].

Несмотря на относительную простоту действия, характеризующую «Клавиго», которая в Германии была воспринята в свое время как некоторый отказ от эксцессов драматургии эпохи «бури и натиска», переводчик и следующий за ним составитель «Драматического словаря» сочли нужным оправдывать вольности драматической композиции пьесы, отступающей от «правил» классической драмы. В примечаниях к предисловию второго издания Козодавлев выдвигает в защиту Гете целый арсенал таких авторитетов, как Дидро, Мерсье, Лессинг, выступавших с обоснованием нового буржуазного драматического стиля. «Г. Гете,—пишет Козодавлев,—во всех сочинениях своих подражал единой натуре и не следовал правилам, удаляющим оную от глаз писателей и полагающим весьма тесные духу их пределы. О таковых драмах, какова есть сия трагедия, писанных непринужденным и естественным слогом, многие из славнейших писателей предложили свои мысли в некоторых сочинениях своих, и я за излишнее почитаю здесь оные повторять». Ср. в «Драматическом словаре»: «Мысль в сей трагедии так, как и во всех сочинениях его [Гете],—подражание единой натуре и не следуя правилам; следственно сия трагедия писана не принужденным, а естественным слогом».

Перевод Козодавлева формально очень точен; однако язык Гете у переводчика становится рассудочным и тяжеловесным. Очевидно русская проза до Карамзина не имеет подходящих оборотов речи для передачи эмоционального стиля сентиментальной драмы, тем более—для страстной напряженности и аффекта, характеризующих речь драматических персонажей в эпоху «бури и натиска». Об этом свидетельствует ряд незначительных изменений, подставляющих терминологию рационалистической эпохи на место нового сентиментального словаря. Ср. например начало действия I:

«Клавиго (вставая из-за стола, на котором чернильница, бумаги и несколько книг): Листок сей будет иметь хороший успех, он всех женщин приведет в восхищение. Скажи мне, Карлос, мое еженедельное издание не из лучших ли теперь в Европе?

Карлос: По крайней мере мы, испанцы, не имеем новейшего писателя, соединяющего толь великие мысли (Г. «so viel Stärke des Gedankens»—«такую силу мысли») и столь живое воображение (Г.«so viel blühende Einbildungskraft» — «цветущее воображение») с толь блистательным и легким стилем.

Клавиго: Постой! Я буду со временем в здешнем народе установителем хорошего вкуса. Люди склонны принимать всякие впечатления, а я здесь в славе, и сограждане мои имеют ко мне доверенность, да, между нами

сказано, и знания мои ежедневно умножаются, р а з у м мой (Г. «meine Empfindungen»—«мои ч у в с т в а») распространяется, а слог мой становится ч и щ е и в а ж н е е («wahrer und stärker»—«п р а в д и в е е и с и л ь н е е»).

К а р л о с: Очень хорошо, Клавиго! Но не погневайся, то сочинение твое мне казалось гораздо лучше, которое ты писал к н о г а м Марии (Г. «Zu Marien's Füssen» — «у ног») тогда, как еще сие любезное и веселое творение имело в дела твои влияние; в с е т о и з д а н и е (Г. «das ganze»— «целое»), я не знаю отчего, было н е ж н е е и п р и я т н е е (Г. «hatte ein jugendlicheres, blühenderes Ansehen» — «имело более ю н ы й, более ц в е т у щ и й вид»), и т. д.

Эта легкая стилистическая перестройка заключает уже идеологическое переосмысление. Оно свидетельствует о том, что напряженная эмоциональность молодой буржуазной литературы эпохи «бури и натиска» оставалась идеологически чуждой и стилистически недостижимой для русской дворянской литературы начала 80-х годов XVIII века [3].

2

Если Козодавлев обратил внимание на «Клавиго» и счел нужным познакомить с ним русского читателя, то это в значительной мере потому, что Гете был ему известен как автор «Вертера». Именно как автора «Вертера» представляет он Гете в «Клавиго» своему читателю: «Сочинитель сея, переведенныя мною, трагедии приобрел не только в Германии, но и во всем ученом свете великую славу своими сочинениями. С т р а д а н и я м л а д о г о В е р т е р а, сие прекрасное произведение его пера, сравняло его с лучшими немецкими писателями, так как и прочие его творения заслужили весьма великую от всех людей похвалу». Составитель «Драматического словаря» и в этом случае следует за предисловием Козодавлева, говоря о «Клавиго» как о трагедии «г. Гете, славного немецкого автора, который написал отличную книгу, похваляемую повсюду, С т р а д а н и я м л а д о г о В е р т е р а».

«Вертер» вообще был первым произведением немецкого писателя, который вывел молодую немецкую литературу из стадии провинциализма на широкие пути «мировой литературы». О международном успехе своего романа сам Гете писал впоследствии в «Венецианских эпиграммах»:

Deutschland ahmte mich nach, und Frankreich mochte mich lesen,
England! freundlich empfingst du den zerrütteten Gast.
Doch was fördert es mich, dass auch sogar der Chinese
Malet mit ängstlicher Hand Werthern und Lotten auf Glas?

(Германия мне подражала, и охотно читала меня Франция. Англия! дружелюбно приняла ты расшатанного гостя. Но что за польза мне в том, что даже китаец боязливой рукою пишет на стекле Вертера и Лотту?)

Для Франции, которая в эту эпоху была для России законодательницей мод, Гете остается до 20-х годов XIX в. по преимуществу автором «Вертера» [4].

Русские писатели сентиментальной эпохи хорошо знали «Вертера». Без «Вертера» вероятно не была бы возможна «Бедная Лиза» Карамзина (1792)— по крайней мере новая для XVIII в. трагическая развязка—самоубийство обманутой Лизы, и общая атмосфера чувствительности и меланхолии, которая окружает эту повесть. Однако различие художественной формы—сентиментальная повесть, т. е. рассказ от автора, хотя и окрашенный эмоционально,

в противоположность дневнику в письмах у Гете,—предохранило Карамзина от более близких заимствований из немецкого романа. Были однако для этого и более глубокие причины: русская дворянская литература карамзинской эпохи, как видно будет дальше на примере подражателей «Вертера», не способна была воспринять новое произведение молодой немецкой буржуазной литературы целиком; буржуазный индивидуализм Вертера, культ гениальной личности, конфликт ее со средой, напряженность и страстность переживания, пантеистическое восприятие природы, новые взгляды на искусство и т. д.,—все эти аспекты Вертера как бурного гения были заслонены его чувствительностью, несчастной любовью, сентиментально-меланхолическим тоном книги. «Письма русского путешественника» (1797) свидетельствуют о том, что Карамзин читал «Вертера»: в главе «Лозанна» он указывает на сходство этого романа с «Новой Элоизой» Руссо: без «Элоизы», говорит Карамзин, «не существовал бы и немецкий «Вертер»; следует выноска: «Основание романа то же, и многие положения (situations) в Вертере взяты из Элоизы, но в нем более натуры». Однако, как справедливо отмечает В. В. Сиповский [5], он уехал из Веймара, не добившись свидания с Гете, хотя был например очень настойчив при встрече с Виландом. По мнению Сиповского, типичные произведения эпохи «бури и натиска» были непонятны Карамзину: «вообще сочувственные отзывы Карамзина о Гете и Шиллере производят на нас впечатление скорее отзвуков «общего мнения», с которыми пришлось столкнуться нашему писателю во время его путешествия, чем отзывов, идущих от его сердца». «Вертер», утверждает Сиповский, «сделавшийся для германской молодежи вождем жизни, совершенно чужд и непонятен нашему Карамзину: он—решительный противник самоубийства от любви: «такие происшествия больше ужасают, чем трогают» сердце нашего писателя. Вот почему, вспоминая при случае о любимом герое штюрмеров, Карамзин вполне определенно осудил его («Послание к женщинам», 1795):

Злощастный Вертер—не закон;
Там гроб его—глаза рукою закрываю... [6]

О том, что Радищев, учившийся в Германии и хорошо знавший немецкую сентиментальную поэзию, читал и любил «Вертера», свидетельствует его «Путешествие»: в главе «Клин» путешественник, слушая слепого нищего, поющего народную песню об Алексее божьем человеке, проливает слезы вместе со всеми слушателями, «и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером».

Князь Шаликов, описывая весеннюю прогулку, наслаждается меланхолическим настроением, вызванным чтением любимого писателя: «Иногда хожу в поле с книжкою: Вертер, Новая Элоиза, любимые мои там... Слезы—сердечная дань всему злополучному—струятся из очей моих... Яркий солнечный луч играет в кристалле их» («Весна», 1798) [7].

Но наиболее восторженных поклонников «Вертер» и сентиментальный Гете находят на границе XVIII и XIX вв. в лице рано умершего Андрея Тургенева, страстного приверженца немецкой литературы, и молодого Жуковского, испытавшего в эти годы большое влияние Тургенева. Андрей Тургенев вместе с Мерзляковым переводят «Вертера» в мае 1799 г. Ср. в записках А. Тургенева: «Вертера с письма от июня 6-го начал переводить мая 24-го 1799 г. в университете, в своей комнате в 10-м часу в исходе ввечеру...» И дальше: «Переведши одно письмо, перестал, и Мерз[ляков]

Титульный лист первого на русском языке издания „Вертера“ Гете в переводе Ф. Галченкова (СПБ, 1781)
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

СТРАСТИ
МОЛОДАГО
ВЕРТЕРА.
ЧАСТЬ I.
переведена съ Нѣмецкаго.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,
1781 года.
иждивенiемъ Е. В.

тоже, потому что услышали, что уже в Петербурге переведено снова» [8]. Переведенное письмо появилось в «Приятном и полезном препровождении времени» (1798, т. XIX, стр. 107) под заглавием: «Письмо к другу. Мая 2. С нем. Андрей Тургенев». Другое письмо переведено было Жуковским, если судить по следующему упоминанию в письме к нему Тургенева: «Мое состояние очень походит на то, которое описано в Вертере, в том письме, которое ты переводил» (22/I 1802) [9]. «Вертер» надолго остается любимой книгой Тургенева; он дарит Жуковскому экземпляр романа с посвящением, представляющим характеристику Гете с точки зрения эпохи чувствительности:

Свободным Гением натуры вдохновенный,
Он в пламенных чертах ее изображал;
И в чувстве сердца лишь законы почерпал,
Законам никаким другим не покоренный. [10]

Позднейшие произведения Гете классика Тургенева не трогают. Об этом—характерное признание в записках (26/XI 1799): «Почитавши стихов Göthe в Schiller's Musenalmanach [«Альманах муз» Шиллера], принялся я опять за его Вертера. Какое чувство, точно как будто из неприятной, пустой, холодной, чужой земли приехал я на милую родину. Опять Göthe, Göthe, перед которым надобно пасть на колени! Опять тот же великой, любезной, важной, одним словом, Göthe, каков он должен быть. Какой жар, сила, чувство натуры! Как питательно, интересно... Какое приятное

теперь во мне чувство от того, что я после всего этого принялся за Вертера и нахожу в нем все, что есть Göthe. Я не могу изъяснить этого чувства; оно как-то согревает и утешает меня»[11].

Для Батюшкова Гете все еще—«сочинитель Вертера»[12]. Во время оккупации Веймара русскими войсками (1813) он гуляет в герцогском парке и предается литературным воспоминаниям: «Здесь Гете мечтал о Вертере, о нежной Шарлотте; здесь Виланд обдумывал план «Оберона» и летал мыслию в область воображения; под сими вязами и кипарисами великие певцы Германии любили отдыхать от трудов своих; под сими вязами наши офицеры бегают теперь за девками» (30/X 1813)[13].

Многочисленные подражания «Вертеру» показывают нам увлечение немецким романом как явление не только литературное, но широко бытовое. Оно длится довольно долго. «Дамский Журнал» кн. Шаликова выводит еще в 1823 г. в статье, посвященной романам, любителя модного чтения, который «знал на память все трогательные места Новой Элоизы, страстно любил прелестную Наталью боярскую дочь и охотно бы согласился на судьбу нещастного Вертера, лишь только бы любила его какая-нибудь Шарлотта» («О различии мнений относительно романов», «Дамский Журнал» 1823, ч. I). Пушкин в «Евгении Онегине», давая ироническую характеристику сентиментального круга чтения провинциальной барышни 20-х годов, слегка отставшей от столичной моды, упоминает Вертера среди других романических героев (гл. III, строфа IX):

Любовник Юлии Вольмар,
Малек Адель и де Линар,
И Вертер, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон,
Который нам наводит сон...

Но еще в 1834 г., находясь в Свеаборгской крепости, декабрист Кюхельбекер перечитывает «Вертера», и мятежный характер юношеского произведения Гете, отмеченный Пушкиным и оставшийся незамеченным в XVIII в., пленяет и его по сравнению с «примиренными» произведениями старческого периода Гете. Он пишет в «Дневнике узника» (9/IX 1834): «Читаю «Вертера». Несмотря на многое, искренне признаюсь, что это творение Гете предпочитаю иным из его позднейших: в «Вертере» теплота непритворная, есть коечто называемое немцами: exentrisch, но по крайней мере нет холодной чопорности, притворной простоты и бесстыдного эгоизма, встречающихся в его записках, «Wilhelm Meister's Wanderjahre» etc.». И далее (10/IX 1834): «Поэтической жизни в «Вертере» пропасть: но от Гете—автора «Вертера» до Гете—сочинителя напр. «Эпименида», расстояние не меньше, чем от Вертера до его благоразумных друзей: не стану спрашивать, кто из них лучше; но без сомнения «Вертер» и автор его привлекательнее чинного автора «Эпименида» и людей, которые в жизни то, что автор «Эпименида» в поэзии. Жаль только, что Вертер слишком много хнычет»[14].

3

Об интересе русского читателя к «Вертеру» свидетельствует переводная «Вертериана». Первый перевод Ф. Галченкова появился уже в 1781 г., через семь лет после выхода в свет немецкого оригинала, под заглавием «Страсти молодого Вертера», без обозначения фамилии переводчика. Перевод этот был переиздан в 1794 г. В 1796 г. появился второй перевод, также

анонимный, принадлежащий И. Виноградову: «Страсти молодого Вертера, соч. г. Гетте» с приложением «Писем Шарлоты к Каролине, писанных во время ее знакомства с Вертером», изданных уже раньше отдельным изданием в 1795 г. [15] Перевод И. Виноградова был также переиздан в 1816 г. [16] Сопоставление переводов 1781 и 1796 гг. обнаруживает, что Виноградов не переводил заново с оригинала, а ограничился сравнительно незначительной стилистической правкой и языковой модернизацией русского текста Галченкова, повторив все его ошибки и неточности. Так, оба переводчика приводят лишь небольшой, самый последний отрывок из песен Оссиана, переведенных Вертером (со слов: «Allein auf dem seebespülten Felsen hörte ich die Klagen meiner Tochter»... «Я слышал стенание дщери моея [В. моей], стоя един [В. один] на камне, омываемом волнами»), чтобы связать это место с предшествующим, оба пользуются оборотом речи, одинаково дополняющим подлинник: Г. «Ужас объял его сердце и слезы полилися из его очей [В. из глаз его], когда он дошел до того места, где Армин оплакивает смерть возлюбленной своей дщери» (вставка помечена разрядкой) [17]. У обоих повторяется комическое недоразумение в сцене грозы, где Вертер и Лотта стоят у открытого окна, и Лотта, вспоминая известную оду Клопштока, произносит имя поэта, волновавшего сердца сентиментальной молодежи эпохи Вертера. Галченков, не зная повидимому имени Клопштока, принял его за биллиардный термин (клопфштосс), но, считая вероятно неприличным в устах молодой девушки приглашение сыграть в биллиард, заменил его более принятой в дамском обществе игрой в карты («короли»). Виноградов и здесь повторяет Галченкова. Ср. Г.: «Шарлотта, опершись на руку, простерла взор свой в оную [В. ту] сторону, потом возвела оный на небо и на меня, и положа свою руку на мою, жалостно сказала: станем играть в Короли!» [18]

Указанное недоразумение свидетельствует конечно о невысоком культурном уровне переводов. Переводчики (вернее Галченков, поскольку Виноградов его повторяет) часто не улавливают оттенка мысли подлинника, не стремятся к точности, которая не была обязательна в переводах XVIII в., а главное—они нарушают стилистический характер подлинника, стремясь к привычной и легкой синтаксической структуре и уничтожая тем самым специфическую для «Вертера» периодизацию и ритмизацию лирической прозы (ср. например письмо II от 10 мая, гораздо тоньше переданное Андреем Тургеневым). Однако если сентиментальные страницы «Вертера» находят в восприятии переводчика и его стилистических навыках какие-то эквиваленты, то характерные для эпохи «бури и натиска» места, выражающие страстное напряжение чувства, иррациональное восприятие жизни, гениальный индивидуализм молодой буржуазной литературы остаются за пределами языковых возможностей переводчика, воспитанного в дворянской идеологии рационалистически-сентиментального стиля. Происходит, как в переводе «Клавиго», своеобразное стилистическое переосмысление и упрощение немецкого оригинала.

Недостатки перевода Галченкова были отмечены уже в рецензии «Санктпетербургского Вестника» (1781, ч. III, стр. 138—144): «Известие о новых книгах: «Страсти молодого Вертера». «Основание сего романа,—пишет рецензент,—есть историческое и при том обыкновенное, но воздвигнутое на оном высоких мыслей здание, пленяющее приятностью своего чувства, есть превосходнейшее в своем роде; в Германии приобрело оно зодчему своему г. Гете великую честь и славу;—изображение оного на российском

языке неверно, перепорчено...» Рецензент предлагает в своем переводе письма I и II, сопоставляя их с переводом Галченкова; он дает также отрывок из песен Оссиана, пропущенных переводчиком «в рассуждении их трудности»: «Звезда темнеющия нощи, прекрасно блистаешь ты на Западе...»

Однако несмотря на это справедливое предостережение, русскому читателю пришлось пользоваться Галченковым-Виноградовым в течение почти 50 лет до появления нового перевода любомудра Рожалина (1829).

Вместе с «Вертером» переводится на русский язык и кое-что из той «Вертерианы», которая окружала на Западе популярный образ меланхолического героя. Если в эпоху авантюрных романов понравившегося публике героя показывали в новых и новых сериях приключений, продолжавших нить основного романа, то в эпоху сентиментально-психологического интереса к душевным переживаниям, характерного для молодой буржуазной литературы, те же самые немногочисленные события заслуживавшего внимания романа охотно показывали в аспекте новых и новых вариаций переживания. Из такого рода заграничных вариаций на тему «Вертера» наибольшим успехом пользовались у нас «Письма Шарлотты к Каролине, писанные во время ее знакомства с Вертером, служащие дополнением его письмам»: они вышли отдельным изданием в 1795 г. и потом в приложении к переводу И. Виноградова. Русский перевод сделан с французского перевода английского подлинника: «The letters of Charlotte, during her connexion with Werter», Lond. 1786, 2 vls.—«Lettres de Charlotte pendant sa liaison avec Werter. Traduit de l'Anglais par M. D. D. S. G. [David de Saint-George]». A Londres 1787 [19]. Содержание писем—рассказ несчастной любви Вертера с точки зрения Шарлотты; автор точно придерживается течения событий гетевского романа, давая сентиментальную вариацию на знакомые читателю темы в отражении переживаний добродетельной и чувствительной героини.

К заграничным подражаниям «Вертеру», переведенным в конце XVIII в., относится французский роман «Стеллино или новый Вертер», М., 1794 («Stellino, ou le nouveau Werter», Rome et Paris, 1791 и 1792,2 prts.) [20]. Герой Стеллино встречается в Италии с английским лордом Петерсби и его прекрасной супругой Лорой. Влюбившись в Лору, он следует за английской четой в Англию, бывает у них в Лондоне и в поместьи лорда, сопровождает их во время вторичного посещения Италии. Он пользуется любовью Лоры и расположением лорда, но в конце концов этот последний, по наущению своего секретаря, обращает внимание на отношения своей жены и Стеллино, и Лора вынуждена просить Стеллино не посещать их дома. Стеллино удаляется в глухую горную деревню и кончает жизнь самоубийством. Его последние письма, написанные среди дикой природы и горного одиночества, развивают оссианические мотивы «Вертера» в духе французского преромантизма, уже напоминающего кое в чем представителей французского индивидуалистического романа начала XIX в.—Шатобриана и Сенанкура.

4

Образ Вертера, мученика несчастной любви, отразился и в русской поэзии XVIII в. Стихотворения на эту тему повторяют элегическую ситуацию, которую охотно рисовало себе воображение сентиментального читателя: Лотту на могиле Вертера. На эту тему существовало на немецком языке популярное элегическое стихотворение барона Рейтценштейна (Karl-Ernst

Freiherr von Reitzenstein), которое появилось в журнале Виланда «Немецкий Меркурий» («Deutscher Merkur» 1775, VI) и заслужило похвальный отзыв бурного гения Шубарта, назвавшего его «пучком кипариса на могилу Вертера»:

Lotte bey Werthers Grabe

Ausgelitten hast du—ausgerungen,
Armer Jüngling, deinen Todesstreit;
Abgeblutet die Beleidigungen,
Und gebüsst für deine Zärtlichkeit... и т. д.

(«Лотта на могиле Вертера». Ты уже отстрадал и закончил свою смертельную борьбу, бедный юноша! Ты уже смыл кровью свои обиды и потерпел наказание за свою нежность...).

Стихотворение это породило несколько ответов (например «Вертер Лотте»), подражаний: ситуация закреплена в английских гравюрах того времени[21]. Три русских стихотворения сохраняют ту же элегическую ситуацию: из них по крайней мере два последних переведены с французского, хотя подлинник, весьма отличный от Рейтценштейна, установить не удалось.

Первое по времени стихотворение «Шарлота при гробе Вертера» появилось в «Зеркале света» (1787, ч. II, стр. 768—773). Возможно, что оно также

Смятеніе Шарлотты при отдачѣ пистолетовъ.

Гравюрная иллюстрация из книги „Страсти молодого Вертера, соч. г. Гетте“ в переводе И. Виноградова (СПБ, 1796)
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

является переводом или переделкой неизвестного оригинала, но не исключена возможность самостоятельного происхождения. Автору, Дм. Баранову (1773—1833), было всего 14 лет, когда он выступил в печати с этим стихотворением. Оно построено по типу популярного в XVIII в. жанра «героиды» (элегического послания героини к возлюбленному), который подсказывался ситуацией, очень пространно (74 стих.) и отличается от прочих моральным осуждением героя-индивидуалиста. Стихотворение открывается обращением Шарлотты к ушедшему:

Внемли моим словам, о прах, о прах нещастный!
О Вертер! рай души тобой Шарлоты страстной,
Уже пресеклась нить дражайших дней твоих,
А я, а я живу в мучениях одних,
В тоске отчаянья, в лютейшей самой доле,
Доколь мне мучиться и, ах! страдать доколе?

Счастью умершего героиня противопоставляет свои страдания, мечтает умереть сама и покоиться в одной могиле с ним. Ночью ее тревожат мрачные сны; она видит своего милого, восставшего из могилы, в которой он предан адским мукам за совершонное преступление.

Лучше было бы умереть, чем испытывать такие мучения. Она готова призвать смерть, последовав примеру своего возлюбленного:

О смерть, един конец нещастия людей,
Приди и иссуши ключ горести моей!
Одной минутою, единым мановеньем
Окончи бытие наполненно мученьем
И, тело отделя от существа души,
Окончи бедствия и страсти утиши.
Но ежели судьба толь строго ополчится,
Что жизнь моя еще к мучению продлится,
Могу ль ей жертвовать всей крепостью моей,
Чтобы не прекратить своих нещастных дней?—
Но коей подлежит убийца той награде?
Не будет ли ему мучение во аде?
Самоубийство чтя законом естества,
Стараемся итти противу Божества.—
Какой ответ дадим мы пред его престолом?
Убийство завсегда убийство есть пред Богом.

Монолог Шарлотты заканчивается смиренной молитвой:

О счастия Творец, владетель над страстями!
О Бог! прославленный толико чудесами!
С превыспренних высот, с неколебимых мест,
Среди величества, средь тьмы чудесных звезд;
Простри, Творец миров! свою ко мне щедроту,
Приди и подкрепи нещастную Шарлоту.

Таким образом этот первый, повидимому самостоятельный отклик русского поэта на судьбу Вертера завершается осуждением мятежного героя-индивидуалиста с точки зрения традиционного дворянского религиозно-морального мировоззрения.

«Стихи на гроб Вертера» в «Полезном упражнении юношества» (М., 1789, стр. 376—377), заключающем труды питомцев Вольного Благород-

ного Пансиона при Московском университете, напечатаны без имени автора, которым, по указанию Колюпанова [22], следует считать Вельяшева-Волынцева (ок. 1770—1818). По содержанию с ним совпадает еще одно стихотворение, появившееся через два года в «Московском Журнале» Карамзина (1791, ч. VI, стр. 122—124) под заглавием «Шарлота на Вертеровой гробнице» и помеченное как перевод с французского: последнее обстоятельство заставляет и «Стихи» признать за перевод [23].

Оба стихотворения открываются стереотипной ситуацией: обращением Шарлотты к своему возлюбленному. В первом оно звучит так:

О тень любезная! тень горестно стеняща,
Вкруг кипарисов сих задумчиво ходяща,
Прежалостная тень! почто бежишь меня?
Остановись, и зри, как купно стражду я!
О Вертер! всякой час Шарлота умирает,
Когда всяк час ее скорбь люта вновь пронзает,
О Вертер, приими ее стесненный дух,
Спешащий в гробе сем распространиться вдруг...

Шарлотта вспоминает пережитую борьбу между долгом и любовью: во имя долга она погубила своего возлюбленного. Она зовет его вернуться с того света, ей кажется, что возлюбленная тень явилась перед ней, но это—только игра мечты:

Но не мечтаю ль я? Так, Вертер мой любимый
Не слышит тщетный стон, зефиром разносимый:
И вздохи жаркие лиющейся в слезах
Не могут оживить его холодный прах.
Вотще я предаюсь надеждам бесполезным!
Едина смерть меня соединит с любезным,
Ей предоставлено страдания скончать,
А я, преставши жить, престану умирать.

Автор второго стихотворения подписался в «Московском Журнале» буквой С. Карамзин сообщает в примечании, что «сочинитель или переводчик сей пиесы есть молодой, четырнадцатилетний человек», ему лично неизвестный. Этот более поздний перевод несколько короче первого (32 стиха вместо 40) и написан четырехстопным ямбом в соответствии с новыми литературными вкусами карамзинской школы:

О ты, вокруг сих мест плачевных
Носящаяся тень, постой!
Зри тьму страданий бесконечных—
Моею тронься ты тоской!
Смотри, о Вертер! как кончает
Стеня Шарлота жизнь свою;
К тебе как дух свой испускает,
В гробницу нисходя твою!.. и т. д.

Последнее стихотворное произведение этого типа—юношеское стихотворение Туманского («Благонамеренный» 1819, ч. VI, стр. 5). Оно вложено в уста Вертера и варьирует содержание его прощального письма в стиле элегической школы Жуковского. Автор обозначил его как «подражание французскому», хотя оригинал также неизвестен:

Вертер к Шарлоте

(За час перед смертью)

Светильник дней моих печальных угасает,
Шарлота! чувствую: мой тихий час настал;
В последний раз твой верный друг взирает
На те места, где счастье он вкушал.
Но ты моя! Душа в очарованьи
Сей мыслью сладостной, прелестною полна;
Я видел на устах твоих любви признанье,
И жизнь моя с судьбой примирена.
Когда луна дрожащими лучами
Мой памятник простой озолотит,
Приди мечтать о мне и горести слезами
Ты урну окропи, где друга прах сокрыт.

Так поэтические отклики на роман Гете переходят из XVIII века в начало XIX века.

5

О впечатлении, производимом «Вертером» на русских читателей, свидетельствуют также многочисленные подражания, характеризующие «массовую литературную продукцию» 90-х годов. Как всякая «массовая продукция», окружающая большое и впечатляющее произведение, эти творенья второстепенных, а иногда и третьестепенных авторов свидетельствуют прежде всего о том аспекте, в котором воспринимался современниками образец, о характере его понимания и усвоения. В. В. Сиповский дает подробный обзор русских подражаний «английскому» (т. е. сентиментальному) роману типа «Вертера» [24]. По справедливому наблюдению Сиповского влияния «Вертера» перекрещиваются у русских подражателей с более ранними, идущими от «Новой Элоизы» Руссо, и более поздними, имеющими русский источник—«Бедную Лизу» Карамзина, при чем сама «Бедная Лиза», по мнению Сиповского, разработана Карамзиным под влиянием «Вертера» (Сиповский отмечает эпизод, рассказанный Вертером, об утопившейся девушке) [25]. Русские подражания «Вертеру» следуют по времени непосредственно за «Бедной Лизой» (1792) как первым опытом русской сентиментальной повести; однако характерно, что по сюжету они чаще примыкают к «Вертеру», чем к «Бедной Лизе».

Из обширного перечня В. В. Сиповского можно выделить следующие произведения, непосредственно связанные с романом Гете: 1. «Несчастный М—в». Повесть А. Кл[ушина] («СПБ. Меркурий» 1793, ч. I, стр. 137—226). Отдельное издание под заглавием «Вертеровы чувствования или несчастный М. Оригинальный анекдот», СПБ, 1802 (не указано Сиповским) [26].— 2. «Несколько писем моего друга» («Приятн. и полезн. препров. времени» 1794, ч. IV, стр. 127—186, 1795, ч. V, стр. 374—385).—3. Аркадий Столыпин, «Отчаянная любовь. Отрывок» («Приятн. и полезн. препров. времени» 1795, ч. VII, стр. 210—239).—4. Кн. Д. Горчаков, «Пламир и Раида. Российская повесть», М., 1796.—5. Кн. П. Шаликов, «Темная роща или памятник нежности» (в сб. Шаликова «Плод свободных чувствований», М., 1798, ч. III, стр. 4—72).—6. П. Львов, «Александр и Юлия. Истинная русская повесть», СПБ, 1801.—7. «Российский Вертер, полусправедливая повесть, оригинальное сочинение М. С[ушкова], молодого, чувствительного человека,

Титульный лист подражательной повести М. Сушкова „Российский Вертер“ (СПБ, 1801)
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

РОССІЙСКІЙ
ВЕРТЕРЪ,
полусправедливая повѣсть,
оригинальное сочиненіе
М. С.
молодаго, чувствительнаго человѣка, нещастнымъ образомъ самоизвольно прекратившаго свою жизнь.

Съ позволенія С. П. Б. Цензуры.

Цѣна 80 коп. въ бум.

ВЪ Санктпетербургѣ,
въ Императорской Типографіи
1801 года.

нещастным образом самоизвольно прекратившего свою жизнь», СПБ, 1801 (не указано Сиповским).

Во всех перечисленных произведениях герой, чувствительный юноша, встречает прекрасную девушку, его любовь возбуждает ответное чувство (в противоположность «Вертеру», где героиня только симпатизирует своему поклоннику), препятствием служат бедность героя или его недостаточно знатное происхождение; родители подыскивают героине богатого и знатного жениха, увозят ее, выдают замуж насильно; во всяком случае она вынуждена отказать своему милому, иногда пишет ему письмо с просьбой оставить ее; в повести «Несколько писем моего друга» Амалия уже замужем, появление мужа и затем его вмешательство создают ситуацию, более близкую к «Вертеру». Покинутый герой впадает в мрачное отчаяние, за которым в некоторых случаях следует традиционная трагическая развязка—самоубийство. Но в других произведениях подражатели пытались избегнуть такого «мятежного» конца, противоречащего религиозно-моральным убеждениям русского дворянского общества XVIII в., сохранив в то же время обязательный печальный исход. Герои Столыпина и Шаликова умирают от тоски; герой Львова убит соперником, подославшим к нему наемного убийцу; наконец Пламир князя Горчакова сознательно отвергает самоубийство как несогласное с правилами чести и кончает свою жизнь на войне. «Самоубийство,—так морализирует рассказчик,—представляется уму единственным прибежищем; но правила, с младенчества им принятые, отражают мысль сию...» «Умрем!—сказал он, кровавый вздох испустя из глубины растерзанного сердца... Умрем... но не как подлый невольник, украдкою бегущий от господина своего... умрем так, как мы жили... с пользою комунибудь!» (стр. 52—54).

Несложный и стереотипный сюжет позволяет авторам развернуть весь арсенал интроспективного изображения эмоциональных переживаний чув-

ствительной души—в форме писем героя к другу, лирического дневника в письмах наподобие «Вертера» (2, 3, 7) или в форме лирически окрашенной сентиментальной повести, как в «Бедной Лизе» (1,4—6). Одиночество героя на лоне природы до встречи с возлюбленной, восторги взаимной любви предназначенных друг другу чувствительных душ—после встречи, мрачное отчаяние и меланхолия—после разрыва, поданные в освещении оссианических мотивов,—вот тот репертуар чувств, в которых вращаются подражатели «Вертера». Подхватываются, как обычно в таких случаях, отдельные ситуации оригинала, поразившие воображение и понравившиеся, в особенности в эпистолярных романах, более близких к «Вертеру» по самой композиции: например сцены с детьми (2), возлюбленная за фортепиано (2), совместное чтение сентиментальной книги (2, 4), картина непогоды, предшествующая самоубийству (1), дневник самоубийцы перед роковой развязкой, размеченный по часам (1), и мн. др. С другой стороны, все то, что не укладывается в этот круг сентиментальных переживаний—черты гениального индивидуализма, присущего «бурному гению», пантеистическое восприятие природы, рассуждения об искусстве в духе новой буржуазной эстетики, наконец элементы социального протеста против сословных привилегий дворянства и связанное с ними общее «мятежное» недовольство действительностью,—все эти идеологические мотивы, чуждые русской дворянской литературе XVIII в., не находят отклика у подражателей «Вертера».

Почти у всех подражателей встречаются упоминания о «Вертере», которые прекрасно иллюстрируют бытовую роль романа Гете как возбудителя сентиментальных переживаний. Так Амалия («Несколько писем») говорит влюбленному в нее герою: «Роман трогательный, каков девицы Стернгейм[27], или страдания молодого Вертера, суть пища души моей. Как часто я плачу, входя в чувствования страждущего, поставляя себя на его место! Но то приятные слезы, и драгоценны минуты, в которые текут они» (стр. 174). Вслед за этим по просьбе Амалии герой читает ей модное стихотворение, посвященное Вертеру: «Трепещущей рукою взял я книгу и читал печально немецкие стихи «Шарлота при гробе Вертера»... Следует выноска: «Они переведены уже и напечатаны (где?); и для того мы здесь не сообщаем другого перевода» (стр. 184). В повести Клушина «Вертеровы чувствования» герой, разлученный со своей милой, готовится к смерти и находит отголосок своих страданий в страданиях своего предшественника: «Вертер и портрет Софии не выходили из рук его; чтение первого увеличивало движения души его и делало несносными его несчастия; последний впечатлевал черты его любезной и соединенными силами восставал противу твердости его, которая давно уже поколебалась; Вертер, вскричал он, ты понес в гроб ленточку Шарлоты, портрет Софии драгоценнее для меня...» (стр. 53—54). В повести Д. Горчакова «Пламир и Раида» герой и героиня читают вместе «Вертера», и книга подсказывает им признание, как самому Вертеру—чтение Оссиана: «Пламир нашел ее за книгою; она читала «Вертера», который тогда лишь только вышел.—Я вам помешал, сударыня.—Ни мало... напротив. Я очень рада вашему приезду.—Однако эта книга так занимательна; вы из вежливости ее оставили.—Этому можно помочь, и от вас зависит сделать мне еще больше удовольствия.—Каким образом?—Вы так хорошо читаете! я могу вас слушать.—Пламир взял книгу и начал читать. Пламенный слог автора получал новую душу в устах Пламира. Все оттенки чувствований были выражены со всею точностью. Пламир находил подлинник сей книги в сердце своем...»

Из числа массовых подражаний «Вертеру» выделяются «Вертеровы чувствования» («Несчастный М—в») А. Клушина и «Российский Вертер» М. Сушкова как произведения, заключающие некоторые указания на бытовое вертерианство. Автор первой повести, издатель «Северного Меркурия» А. Клушин, известен как плодовитый писатель, российский вольтерианец и противник Карамзина. Тем неожиданнее встретить среди его произведений «Оригинальный анекдот» на популярную сентиментальную тему, основанный повидимому на действительном происшествии [28]. Герой, настоящая фамилия которого была Маслов, был, по сообщению Сушкова, «нежный стихотворец во вкусе Сафо (у приятелей несчастного и теперь есть многие стихотворения его, хотя они и не напечатаны)». Возможно, что его перу принадлежит стихотворение, напечатанное в «Северном Меркурии» (1793, ч. III) под буквами Г. П. М. А., с примечанием редактора, что автор известен публике «своею несчастною смертию, случившеюся недавно в Нарве». В повести Сушкова его герой, участвуя в ученическом спектакле, играет роль Ярба в трагедии Княжнина «Дидона». Здесь он знакомится с прекрасной Софьей, которая в восхищении от его игры. Через некоторое время директор училища рекомендует его домашним учителем в семью Софьи. Между ним и его прекрасной ученицей разыгрывается любовный роман. Но он—человек незнатный и бедный; отец Софьи, узнав об увлечении дочери, удаляет его из дому. Героиня вынуждена написать ему суровое письмо. Он впадает в отчаяние и кончает жизнь самоубийством. В общем, несмотря на бытовой материал, автор не выходит из сюжетного шаблона «Новой Элоизы» и «Вертера». Карамзин отнесся к повести Клушина отрицательно, но он передает Дмитриеву, что новый Вертер нашел горячих поклонников во вражеском лагере. «Поверишь ли ты, например, что Николев до небес превозносит «Меркурия»... и говорит, что приключение неизвестного М—ва гораздо лучше Вертера? Поверишь ли, что Горчаков [автор «Пламира и Раиды»] с ним соглашается? Но старик Херасков и Нелединский крайне сожалеют, что у нас на Руси можно impunément [безнаказанно] писать такие нелепости» (2/VI 1793) [29].

Гораздо интереснее «Российский Вертер» Сушкова. Михаил Васильевич Сушков (1775—1792) написал эту повесть в семнадцатилетнем возрасте и покончил с собой, как это описано в его произведении. Оставшиеся после него рукописи были изданы его братом через несколько лет после его смерти [30]. Издатель «Вертера» сообщает о нем следующее: «При издании сих писем мое намерение состоит в том, чтоб представить глазам общества странного молодого человека, описывающего с непонятным для меня хладнокровием собственный свой характер, почти все обстоятельства своей жизни и наконец смерти! Всякий, читая строки сии, сочтет их вымыслом самого автора; но увы!... уже более осьми лет он обратился в прах, окончав добровольно жизнь свою на 17 году от рождения и точно таким же образом, как он описал конец мнимого Вертера. Многие знают сию нещастную историю, но я не желаю напоминать имя его, боясь раскрыть тем раны его семейства» (стр. I—II). По сведениям «Русского биографического словаря» (1912) Сушков перед смертью отпустил на волю своих дворовых и оставил завещание, смысл которого «в смягченной форме» передан в завещании его героя: «Оставшиеся деньги, по приложенной к оным записке, он велел раздать нищим, а попам ничего, и для того нищие со слезами провожали его до места, где он был положен, а попы предали проклятию его имя». Сходным мотивом заканчивается и «Вертер» Гете: «Его несли мастеровые.

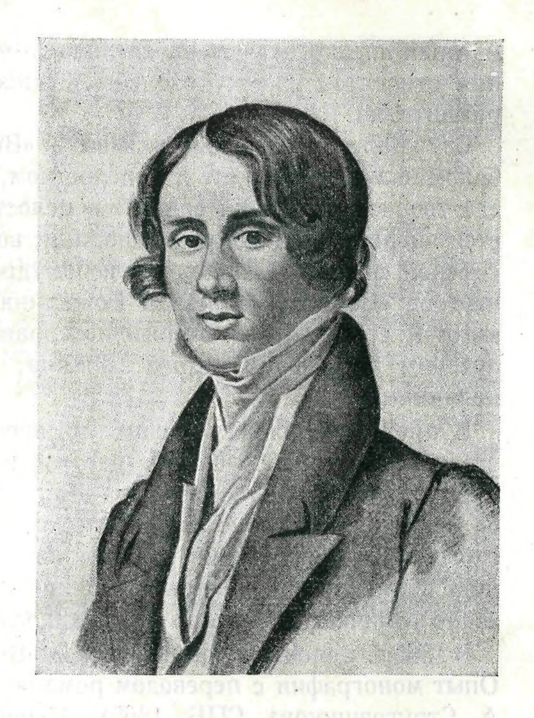
Ни один священник не провожал его». Но у Гете—это осуждение официальной церкви, не простившей герою-индивидуалисту, представителю нового буржуазного мировоззрения, его своеволия; со своей стороны, Вертер не бросает вызова церкви, хотя его религиозность носит неконфессиональный, пантеистический характер. У Сушкова это—черта «вольтерианства», характерная для русского дворянского мировоззрения XVIII в., воспитанного на французской просветительной философии, чуждой Гете и его эпохе. «Биографический словарь» упоминает о философских рассуждениях Сушкова, найденных после его смерти, в которых он изложил свое мировоззрение и которые не увидели света «по условиям цензуры»: «рассуждения» эти были в духе завещания, оставленного молодым вольнодумцем.

По примеру романа Гете, повесть Сушкова состоит из писем героя к другу; заключение—краткий рассказ о самоубийстве героя—дается от автора повести. Герой приезжает в свою деревню, скучает и томится в одиночестве. Случайно он знакомится с прекрасной соседкой Марией. Они сразу чувствуют взаимное расположение и открывают друг другу свои чувства. Но герой не может жениться на Марии, потому что он беден. Она уезжает. Он решает поступить на военную службу. Дуэль с сослуживцем заставляет его покинуть службу, как Вертера—столкновение с дворянским обществом. Он выходит в отставку и снова встречает Марию, которая уже три месяца замужем. Муж богат, стар и доброжелателен, она вышла за него по настоянию родителей, но чувствует себя печальной и несчастной, потому что попрежнему любит героя. Между ними происходят тайные свидания. Муж начинает подозревать правду. Мария вынуждена просить героя не видеться с нею. Он решает покончить жизнь самоубийством. Происходит прощальное свидание. В прощальном письме к другу он оправдывает свое самоубийство. Слуга находит его повесившимся. На его столе лежит «Англинская трагедия Катон» (Аддисона), открытая на монологе, оправдывающем самоубийство римского героя.

Интересно, что русский дворянин-вольтерианец разоблачает сентиментальную идиллию, созданную немецкой буржуазной литературой. Своеобразное сочетание рационализма и скепсиса, воспитанного философией французского Просвещения, с наносным и часто очень поверхностным сентиментализмом, характерно для русской дворянской культуры конца XVIII в. и выступает с особой отчетливостью в «Российском Вертере», составляя его основное отличие от немецкого «Вертера».

6

В течение первых двух десятилетий XIX века Гете продолжает оставаться для русского читателя по преимуществу автором «Вертера»: отдельные, очень немногие лирические стихотворения, промелькнувшие на страницах журналов до 1818 г., когда Жуковский в сборнике «Для немногих» выступил с целой серией стихотворных переводов, по существу не меняли конечно этого положения. «Вестник Европы», давая в 1808 г. характеристику Гете из «Физиогномики» Лафатера (ч. 42, стр. 44—48), находил нужным в примечании представить его читателю как сочинителя «Вертера». Немногочисленные сведения о Гете, изредка мелькавшие на страницах журналов, заимствуются по преимуществу из французских источников: так характеристика Гете, Виланда и Шиллера в том же «Вестнике Европы» (1814, ч. 77, стр. 120 и ч. 78, стр. 181) дана на основании литературной новинки—



Н. М. РОЖАЛИН
Литографированный рисунок неизвестного художника
Исторический Музей, Москва

«Германии» мадам де Сталь (1813). И эти упоминания в статье переводного происхождения относятся по преимуществу к «сочинителю Вертера», каким и Франция знала Гете в эти годы. Мы находим такие упоминания например в «Авроре» (1806, ч. II «О сказках и романах»), где дается сравнительная характеристика «Новой Элоизы» и «Вертера» как романов несчастной любви; в «Вестнике Европы» (1807, ч. 34 «О сказках и об английских писательницах»), где автор «Вертера» характеризуется с женской точки зрения как знаток женского сердца; в журнале «Улей» (1811, ч. II, стр. 266—280: «О книге Вертер, из «Mercure de France»), где критик обрушивается с консервативных позиций на «вздорное сие сочинение», «уродливое произведение немецкого ума», усматривая в идеологических установках романа «учение о независимости, которое возмущает человеческое сердце против власти всякого рода», «сие великое правило всех переворотов» в сочетании с пренебрежением к «чистоте вкуса» и с «истинным безначалием в словесности, которое родилось вместе с безначалием в государстве» [31]. О том, что такие отзывы находили сочувственный отклик в русских консервативных кругах, которые отталкивались от проявлений буржуазного индивидуализма в «мятежном» Вертере, показывает странное высказывание Неверова в «Друге юношества», которое приводит Колюпанов [32]: «Славный Гете Вертером своим, сочиненным по правилам французской словесности (!), причинивший не одно в Европе самоубийство и недавно в российских наших журналах обесславленный, становится опять оракулом изящности». Еще в 1825 г. «Сын Отечества» печатает статью Арто (Artaud) из «Revue Encyclopédique» («О духе поэзии XIX в.», 1825, ч. 102), в которой «Вертер», «Рене» и «Адольф» охарактеризованы как произведения «мечтательной поэзии», при чем «Вертер», наиболее «добродушный» из этих мечтателей, кажется вместе с тем наиболее опасным: «Сие мнимое добродушие тем опаснее для молодых читателей: оно более о с л е п л я е т их, увлекая за мечтами необузданной и преступной страсти,

которая пылкого Вертера сделала самоубийцей». Впрочем все эти суждения относятся уже к позднейшей эпохе борьбы вокруг нового явления романтизма.

Случайные переводные отзывы о «Вертере» не свидетельствуют о глубоком знакомстве с Гете и о целостном, хотя бы одностороннем понимании его творчества. Такой единый и целостный принцип понимания выдвигается впервые, как мы уже говорили, во второй половине 20-х годов философской «немецкой» школой «любомудров». К этой эпохе относится новый перевод «Вертера» Николая Рожалина[33] («Страдания Вертера», с немецкого. Р...,М., 1829), который по справедливости может считаться первым русским переводом этого романа, действительно воспроизводящим подлинник.

В противоположность своим предшественникам Рожалин, воспитанный в атмосфере кружка любомудров, воспринимает и умеет воспроизвести все оттенки мысли и чувств автора «Вертера», стремясь при этом к возможно более точной передаче его юношеского стиля, ритмического и синтаксического строя речи, лишь изредка позволяя себе при этом почти незаметную объяснительную амплификацию подлинника. Внимание к стилю выгодно отличает Рожалина от всех последующих переводчиков.

В 1865 г. появился новый перевод «Вертера» А. Струговщикова («Вертер». Опыт монографии с переводом романа Гете «Страдания молодого Вертера» А. Струговщикова, СПБ, 1865). Переводчик был известен в 40-х и 50-х годах как лучший, по отзывам Белинского и его современников, интерпретатор Гете.

Его перевод был снабжен обширным литературно-историческим очерком на основании немецких источников, обильными примечаниями и библиографическими приложениями. В соответствии с общими принципами своей переводческой работы и эстетическими воззрениями 40-х годов Струговщиков переводит «мысли» Гете, отрывая их от характерного словесного воплощения, и этот отрыв лишает его произведение того специфического обаяния эмоционального стиля чувствительного романа, которое сумел сохранить Рожалин, более чуткий к поэтическим особенностям подлинника. Ср. например из вступления—у Гете: «Und du, gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er, schöpfe Trost aus seinem Leiden, und lass das Büchlein deinen Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigner Schuld keinen näheren finden kannst!» Точно у Рожалина: «А ты, добрая душа, которая чувствуешь ту же тоску, что он, найди свое утешение в его страданиях и сделай эту книгу своим другом, если по несчастию или по собственной вине ты не можешь найти иного, более близкого» (стр. 5). Со свободной передачей мысли у Струговщикова: «Скорбящий, как он скорбел, почерпни утешение в его страданиях, в его борьбах, и пусть будет эта книжечка твоим другом, если по прихоти судьбы или по своей вине не имеешь лучшего!» (стр. 1).

Последующие переводы «Вертера» (Хмелевой, Эйгес, Мандельштама) принадлежат переводчикам-профессионалам и не играют роли в истории литературы, хотя и выполняли более или менее успешно свою культурно-просветительную функцию. Принципы Струговщикова одержали победу над методом Рожалина: эмоциональный стиль сентиментально-романтической прозы, понятный Рожалину, в эпоху реализма становится все более чуждым; общие эстетические установки эпохи требовали от переводчика «переложения мысли»; педагогическая модернизация подсказывала реали-

стическую и психологическую вероятность как норму речевого выражения. Таким образом перевод Рожалина, несмотря на устаревший язык, остается и поныне наиболее адэкватным немецкому подлиннику как продукт эпохи, еще созвучной «Вертеру» не только по вкусу, но и по идеологии. Эта созвучность—как эстетическая, так и идеологическая—отсутствует у реалистов и общественников середины XIX века. Если Кюхельбекер, воспитанник немецкого идеализма, еще сочувствовал мятежному «Вертеру», то Герцен уже в 1842 г. писал знаменательные слова («По поводу одной драмы»): «Что за жалкое, потерянное существование какого-нибудь Вертера, чтоб указать на знаменитость; сколько сумасшедшего и эгоистического в нем, при всей блестящей стороне, которую всегда придает человеку сильная страсть. Не должно ошибаться: это блеск очей лихорадочный, он имеет в себе магнетическое, притягивающее, а между тем он выражает не огонь жизни, а пламя, разрушающее ее. При всех поэтических выходках Вертера, вы видите, что нежная, добрая душа не может выступать из себя; что кроме маленького мира его сердечных отношений ничто не входит в его лиризм; у него ничего нет ни внутри, ни вне, кроме любви к Шарлотте, несмотря на то, что он почитывает Гомера и Оссиана. Жаль его! Я горькими слезами плакал над его последними письмами, над подробностями его кончины. Жаль его, а ведь пустой малый был Вертер!» [34]

Глава третья

ВОКРУГ ЛИРИКИ

1. ЛИРИКА ГЕТЕ В ЕЕ РАЗВИТИИ. 2. ЛИРИКА ГЕТЕ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УСВОЕНИЯ. 3. ПЕРВЫЕ ПЕРЕВОДЫ: И. ДМИТРИЕВ, ДЕРЖАВИН. ПАСТОРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ. СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ГЕТЕ: „СВИТОК МУЗ". 4. ЖУКОВСКИЙ И ГЕТЕ. 5. ПЕРЕВОДЫ ДЕСЯТЫХ И ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ. 6. ЭЛЕГИЧЕСКИЙ ГЕТЕ. АНТОЛОГИЯ. АРХАИСТЫ: ВОСТОКОВ, КАТЕНИН. ДРАМАТИЧЕСКАЯ САТИРА: ГРИБОЕДОВ. ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ: ПЕРЕВОДЫ ИЗ „ДИВАНА" И „БОГ И БАЯДЕРА". УКРАИНСКИЙ ГЕТЕ: „РЫБАК" ГУЛАКА-АРТЕМОВСКОГО. 6. ПУШКИН И ГЕТЕ. 7. ГРУППА ПУШКИНА: БАТЮШКОВ, КН. ВЯЗЕМСКИЙ, ДЕЛЬВИГ, БОРАТЫНСКИЙ, ЯЗЫКОВ. КЮХЕЛЬБЕКЕР И ЕГО РОЛЬ В ПРОПАГАНДЕ ГЕТЕ. 8. ЛЮБОМУДРЫ. „МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК" И ГЕТЕ. ШЕВЫРЕВ. ВЕНЕВИТИНОВ. ТЮТЧЕВ КАК ПЕРЕВОДЧИК ГЕТЕ. 9. КРУЖОК СТАНКЕВИЧА. РУССКИЕ ГЕГЕЛЬЯНЦЫ И ГЕТЕ: БЕЛИНСКИЙ, БАКУНИН. БЫТОВОЕ ВЛИЯНИЕ ГЕТЕ В СОРОКОВЫХ ГОДАХ: СВИДЕТЕЛЬСТВА ТУРГЕНЕВА. 10. ЛИРИКА ГЕТЕ В ЖУРНАЛАХ СОРОКОВЫХ ГОДОВ. ПЕРЕВОДЧИКИ ГЕТЕ: К. АКСАКОВ, Н. ОГАРЕВ, И. ТУРГЕНЕВ, АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ, МОЛОДОЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, ПОЛОНСКИЙ, ПЛЕЩЕЕВ, МЕЙ. ГЕТЕ И ПОЭТЫ „ЧИСТОГО ИСКУССТВА": ФЕТ, МАЙКОВ, А. ТОЛСТОЙ. ОТХОД ОТ ГЕТЕ И БОРЬБА ПРОТИВ ГЕТЕ В БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПЯТИДЕСЯТЫХ И ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ. 11. ГЕТЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ: А. СТРУГОВЩИКОВ, Ф. МИЛЛЕР, М. МИХАЙЛОВ, Н. ГЕРБЕЛЬ. ХАРАКТЕР СТИХОТВОРНЫХ ПЕРЕВОДОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. 12. СИМВОЛИСТЫ: ВЯЧ. ИВАНОВ, БАЛЬМОНТ, БРЮСОВ, И. АННЕНСКИЙ, Б. ПАСТЕРНАК.

1

В творчестве Гете лирике принадлежит господствующее место. Гете является лирическим поэтом по преимуществу не только в мелких, собственно лирических стихотворениях: под знаком лирики стоит и «Вертер»—лирический дневник в письмах, и «Фауст»—философско-лирическая драма, и даже стихотворные драмы «Ифигения» и «Тассо», претендующие на «объективность» классического стиля. Господство лирики и лирических жанров характеризует вообще немецкую буржуазную литературу эпохи Гете и романтизма, той эпохи, которая одновременно характеризуется в немецком искусстве расцветом музыкального творчества: погружение во внутренний мир человеческой личности, замыкание и углубление в сферу интимных внутренних переживаний человеческой души, неповторимых и индивиду-

альных, характерно, как уже было сказано, для того типа общественного сознания, который отличает немецкую буржуазию на ранних этапах капиталистического развития.

Вообще интимная лирика, лирика личного переживания (обыкновенно—любовного), неповторимо-индивидуального, рассчитанного на непосредственное, эмоциональное, как бы музыкальное воздействие, является новым литературным жанром, продуктом буржуазной культуры и характерным порождением буржуазного индивидуализма в области художественного творчества. Пример торжественной классической оды эпохи французского абсолютизма, или революционной лирики 1848 г. в Германии, или современной пролетарской поэзии в нашем Союзе показывает, что отождествление лирического творчества вообще с интимной лирикой является одним из предрассудков старого буржуазного литературоведения, обусловленным не только классовым вкусом, но и всем предшествующим литературным опытом буржуазии в XVIII—XIX вв. В Германии создателем нового жанра интимной лирики внутреннего переживания является молодой Гете: под его влиянием находится вся немецкая лирика более поздней эпохи, по преимуществу—романтическая, вплоть до Гейне. Поскольку именно в Германии были наиболее подходящие условия для развития этого жанра, неудивительно, что величайший немецкий лирик занял первое место среди лирических поэтов XVIII—XIX вв. вообще.

В пределах интимной лирики внутреннего переживания Гете за шестьдесят лет своего творчества проходит через ряд этапов развития, существенно отличных друг от друга [35]. Основная грань проходит, как и в других сторонах жизни и творчества Гете, между эпохой «бури и натиска» и веймарским классицизмом. Если учитывать все время указанное Энгельсом ведущее противоречие всего развития Гете, то в более ранние годы несомненно в нем сильнее выступают черты, характеризующие боевое наступление молодой буржуазии в немецкой литературе: индивидуалистическая требовательность к жизни, титанизм и бунтарство, потрясающие основы господствующего морального и общественного порядка; его искусство в эту эпоху стоит под знаком натурализма, эмоциональной непосредственности и повышенной экспрессивности. Напротив, веймарский придворный поэт и министр проповедует мудрое самоограничение, отказ от непомерной требовательности к жизни, оправдание «объективной действительности», в том числе и действительности социально-политической, которая строится для него на мирном сотрудничестве буржуазного патрициата с феодальным дворянством в условиях «просвещенного абсолютизма»; в искусстве он—сторонник высокого стиля, идеальной красоты гармонически успокоенных форм, «благородной простоты и спокойного величия» винкельмановского классицизма.

Ранняя (лейпцигская) лирика Гете (1766—1769), в значительной мере подражательная, стоит еще под знаком так называемой анакреонтики, французской и немецкой «легкой поэзии» середины XVIII в., вращающейся в узком круге условных и шаблонных тем и литературных приемов эпохи Рококо, обобщающих и стилизующих индивидуальное лирическое переживание в духе шаловливой грации, рефлектирующей иронии и безобидно-легкомысленного эпикуреизма салонного типа. В 1770—1775 гг. в бурные годы, проведенные в Страсбурге, Вецларе и Франкфурте, под влиянием Гердера и народной песни, новых идей и переживаний эпохи литературной революции (Sturm und Drang) Гете создает новый жанр ли-

рического стихотворения, порывающего с условной и обобщенной стилизацией: мгновение переживания, непосредственного, яркого и страстного чувства природы и любви, выражается непосредственно в эмоционально-действенной, песенной форме, при чем неповторимо-индивидуальный характер переживания создает неповторимую, на данный случай возникающую поэтическую форму, которая как бы развивается и изменяется вместе с развитием самого переживания. Таковы в особенности любовные стихотворения, посвященные Фридерике Брион и Лилли Шенеманн: «Свидание и разлука», «Майская песня» (1771), «Новая любовь—новая жизнь», «Белинде», «На озере» (1775). В веймарскую эпоху страстный тон этой ранней лирики смягчается: появляются, в особенности в переходную эпоху (1775—1785), мягкие, элегические, успокоенные тона, лирическое раздумье и созерцательность; например «Вечерняя песня охотника» (1775), «К месяцу» (1778), «Ночная песня странника» (1780), песня Миньоны (1784) и др. При этом переживание отходит в прошлое, отстаивается, обобщается: появляется некоторая устремленность к типическим, «общечеловеческим», объективным формам переживания, переживание переносится на идеального носителя, драматическую фигуру, отделившуюся от автора (песни Миньоны и арфиста из «Вильгельма Мейстера», 1782—1785). Формальным признаком этой типизации и объективации является использование античных размеров как стилизующего мотива: элегические двустишия появляются у Гете уже с начала 80-х годов («Одиночество», «Избранный утес», «Могила Анакреона», 1782—1785 и др.), расцвета же антологическая лирика достигает после итальянского путешествия, в эпоху собственно классическую (1786—1806) в «Римских элегиях» (1789), «Венецианских эпиграммах» (1790) и др. К антологическим стихотворениям приближаются также белые стихи особого типа (пятистопные хореи с женскими рифмами), которыми Гете охотно пользуется в лирике веймарской поры (уже с 1776 г.), но особенно—в цикле любовных стихов, посвященных Христине Вульпиус («Посещение», «Утренние жалобы», 1788): эротические ситуации этих стихотворений объективируются наличностью повествовательного сюжета или описания, рефлексией поэта по поводу собственного переживания и легкой иронией, показывающей свободное—как бы со стороны—отношение поэта к собственному чувству. В ту же эпоху Гете пользуется октавами в элегических медитациях и философских раздумиях типа «Посвящения» к лирике (1784) и «Посвящения» к «Фаусту» (1797), неоконченной поэмы «Тайны» (1784) и др. Последний этап—старческая лирика (1806—1832)—своеобразно перекликается с романтическими течениями эпохи: символическая многопланность, философский и моральный дидактизм, почти полное претворение личного элемента в типизации и обобщении, граничащем с абстракцией, характеризуют стихотворения этого периода. Рядом с античными формами здесь появляются сонеты, подсказанные влиянием романтизма, но особенно важное значение имеет рецепция восточной (персидской) поэзии в стихах «Западно-восточного Дивана» (1819).

Такие же противоположности намечаются у Гете и в других лирических жанрах. Среди од, написанных вольными стихами без рифм, первая группа («Песнь странника в бурю», «Прометей», «Ганимед», «Ямщику Кроносу», 1772—1774), относящаяся к эпохе «бури и натиска», характеризуется напряженностью и страстностью владеющего поэтом переживания: это — взволнованные драматические монологи, непосредственное выражение космического экстаза, индивидуалистического самоутверждения или вы-

зова. Оды веймарского периода (например «Божественное», «Границы человечества», «Моя богиня», 1779—1780) носят успокоенный и «умудренный» характер, они являются плодом созерцательного раздумья и выражением общей мысли, они учат отказу от индивидуальной требовательности и бунтарства и подчинению существующему. Точно так же ранние гетевские баллады эпохи «бури и натиска» («Степная роза», 1771, «Король Фульский», 1774 и др.) приближаются по своей манере к стилю народной песни с ее по преимуществу эмоциональным воздействием и лирической, любовной тематикой. Баллады переходного периода («Рыбак», 1778, «Лесной царь», 1782) уже несколько отдаляются от простоты композиции народно-песенного стиля, но сохраняют общий лирический характер: их тематика почерпнута из фольклора, но использована для выражения современного, романтически-окрашенного чувства природы. Баллады эпохи классицизма, возникшие в общении с Шиллером и отчасти под его влиянием («Коринфская невеста», «Бог и баядера», «Ученик колдуна» и др., 1797), являются обширными и сложными повествовательными композициями, маленькими поэмами, в которых конкретный повествовательный сюжет становится типическим случаем, воплощает общую морально-философскую идею; классической типизации и объективности соответствует высокий стиль, лишенный субъективно-эмоциональной окраски, и употребление сложных строфических форм как прием метрической стилизации.

Первый русский стихотворный перевод из Гете (И. Дмитриев, «На случай грома») появился в 1795 г., т. е. в эпоху, когда Гете как лирик прошел уже большую часть своего творческого пути, а к концу второго десятилетия XIX в., когда стихотворные переводы из Гете становятся у нас более многочисленными, великий немецкий поэт уже почти завершил весь круг своего развития в области лирического творчества. Поэтому русские переводчики и подражатели имели перед собой чрезвычайно широкий круг объектов, при чем объектов настолько разнородных, что существующая между ними внутренняя связь не выступала при первоначальном знакомстве с достаточной отчетливостью. И действительно, в первое время—до середины 20-х годов по крайней мере—к Гете подходят самые различные поэты, представители разных литературных направлений, и каждый находит отзыв в его лирическом творчестве на свои особые запросы: для одного он—мастер медитативной элегии, для другого—фантастической баллады на фольклорные темы, для третьего—антологических стихотворений. Все эти подходы сами по себе чрезвычайно знаменательны, но более характеризуют художественные вкусы русского подражателя, чем свидетельствуют об активном влиянии самого Гете, тем более, что процесс усвоения на этой первоначальной стадии почти всегда связан с более или менее значительным переосмыслением. Таким образом, появляясь в рядах почти всех литературных направлений, Гете не создает в русской литературе своего направления, для которого он был бы в собственном смысле учителем, как Байрон или даже Парни и А. Шенье. Благодаря случайному и внешнему характеру этих поэтических встреч, поэтический облик Гете в целом остается нераскрытым; к тому же и сведения о личности и произведениях Гете в русских журналах до середины 20-х годов чрезвычайно скупы и немногочисленны. Только во второй половине 20-х годов такое по преимуществу формальное, частичное и внешнее знакомство с Гете сменяется бо-

лее глубоким и целостным проникновением в его творчество. С возникновением «немецкой» философско-поэтической группы Веневитинова и его друзей в русской поэзии складывается гетевская школа. Это сближение с Гете и более глубокое его усвоение, как было уже сказано, происходит под знаком романтического идеализма; не переставая таким образом быть субъективным, оно становится полным и всесторонним, стараясь охватить и освоить проблему Гете—его поэтическую личность и литературное наследие—как некое единство и подчиняя свое собственное творчество существенным импульсам, почерпнутым из непосредственного общения с учителем.

Русские переводы лирических стихотворений Гете, как видно из библиографии Б. Я. Бухштаба, чрезвычайно многочисленны. Об этом свидетельствует уже Н. Гербель, который как редактор «Собрания сочинений Гете в переводах русских писателей» (СПБ, 1878—1879) первый подвел библиографический итог переводческой деятельности целого столетия. «Что же касается мелких стихотворений Гете,—пишет Гербель (т. I, стр. V—VI),—то редкая книжка журналов двадцатых, тридцатых и сороковых годов обходилась без перевода хотя бы небольшой лирической пьесы великого немецкого поэта, или отрывка из его «Фауста», «Торквато Тассо», «Ифигении в Тавриде» и «Германа и Доротеи», так как почти каждый поэт того времени считал непременной для себя обязанностью перевести хотя что-нибудь из Гете, наглядным доказательством чего может служить следующий перечень имен наших поэтов, трудившихся в двадцатых, тридцатых и сороковых годах над переводами стихотворений Гете. Вот они: Аксаков (К.—18), Бенедиктов (2), Бестужев (Марлинский—8), Веневитинов (6), Вронченко («Фауст»), Греков («Фауст»), Григорьев (Аполлон—12), Губер («Фауст» +4 стихотв.), Достоевский (М.—«Рейнеке-Лис»), Жуковский (18), Загорский (1), Картамышев (1), Катков (1), Катенин (1), Кронеберг (1), Красов (1), Крешев (1), (Лермонтов (2), Майков (7), Мей (3), Миллер (45+3 стих. драмы), Михайлов (М.—44), Огарев (4), Павлов (И.—«Фауст»), Петров (П.—2), Плещеев (2), Полонский (1), Станкевич (2), Стахович (1), Струговщиков («Фауст»+53 стих.+несколько крупных вещей), граф Толстой (А. К.—5), Тургенев (И.—4), Тютчев (15), Фет («Фауст», «Герман и Доротея» +18 стих.), Шкляревский (3), Яхонтов («Ифигения», «Тассо», «Венецианские эпиграммы»+4 стих.).

К списку Гербеля мы прибавили в круглых скобках число переводных стихотворений и отрывков по библиографии Б. Я. Бухштаба. Мы можем далее пополнить его именами некоторых более крупных поэтов и переводчиков, не вошедших в этот список. Из них важнейшие: И. Дмитриев (1), Державин (1), Дельвиг (1), Грибоедов (1), Гербель (24 ст.), Холодковский (69 ст.), П. Вейнберг (11 ст.), кн. Д. Цертелев («Фауст»+1 ст.), Вересаев (94), Бальмонт (9), Брюсов («Фауст»+4 ст.), И. Анненский (1) и др. Однако чтобы сохранить правильную историческую перспективу, нужно внести в замечания Гербеля некоторые существенные поправки.

Большинство перечисленных выше поэтов имеет лишь очень незначительное число переводов из Гете; много переводов имеют: из самостоятельных поэтов—Аксаков, Жуковский, Тютчев, Фет («немецкая школа»), из профессиональных переводчиков—Миллер, Михайлов, Струговщиков, Гербель, Холодковский. На первом месте переводы из Гете среди других переводов стоят только у Аксакова, Веневитинова, Тютчева, Струговщикова, Холодковского, Вересаева; у Жуковского первое место занимают

переводы из Шиллера, более близкого его морализму и мечтательной чувствительности, у Фета, Михайлова и Миллера—из Гейне, который, начиная с 40-х годов, несомненно побеждает в русской поэзии влияние Гете в сфере интимной лирики любовных переживаний. Характерно также отсутствие в этом списке целого ряда имен: с одной стороны, Батюшкова, Пушкина, Боратынского, Языкова, с другой—Некрасова и поэтов его группы; это показывает, что господствующая в начале 20-х годов поэтическая школа стоит вне круга влияния Гете так же, как впоследствии общественная лирика второй половины XIX в. Наконец не точна также у Гербеля характеристика журнальной продукции: в журналах и альманахах 20-х годов (за исключением «Московского Вестника») переводы из Гете не очень многочисленны: всего около 37 стихотворений и стихотворных отрывков. Несомненно, что в 20-х годах Гете по числу переводов уступает первое место не только Байрону, но даже Томасу Муру. В 30-х годах число переводов заметно возрастает, в особенности в конце десятилетия («Московский Наблюдатель» Белинского): всего около 60 номеров. С конца 30-х годов начинается усиленное внимание к стихотворениям Гете в русской журналистике. Апогея эта переводная продукция достигает в 40-х годах, в особенности в первую половину десятилетия: всего около 90 стихотворных переводов. Начиная с 50-х годов наблюдается опять довольно резкое падение: в 50-х годах—около 45, в 60-х—около 15, в 70-х—около 30, в 80-х—всего 2—3 стихотворения. Некоторый подъем намечается опять в 90-х годах—более 40. О причинах этих явлений уже говорилось выше [36].

3

Первый стихотворный перевод из Гете появляется в русских журналах с запозданием на 25 лет по отношению к началу поэтической известности Гете у себя на родине. Русские сентиментальные журналы последних годов XVIII в. и первого десятилетия XIX в. знают и переводят немецких поэтов сентиментального направления: анакреонтиков (Гагедорн, Уц, Глейм), описательную поэзию Галлера, религиозные гимны Клопштока, медитативные элегии Клейста, басни Геллерта, прозаические идиллии Гесснера, шутливые стихотворные повести Виланда. Интимная лирика нового типа, возникающая в эпоху бури и натиска, как и весь тот круг переживаний, который характерен для молодого Гете и его современников, не находит, как уже было отмечено по поводу «Вертера», никаких соответствий и откликов в русской дворянской литературе конца XVIII века.

В 1795 г. в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» (ч. VIII, стр. 209) появляется стихотворение И. И. Дмитриева «На случай грома. Подражание германскому поэту г. Гете». Характерен самый выбор стихотворения и метод его литературного усвоения. Немецкий оригинал «Границы человечества» («Grenzen der Menschheit»)—не интимное стихотворение, а философическая ода. Написанная в начале веймарского периода (1778—1781), она является как бы отповедью самого поэта на бунтарские настроения эпохи бури и натиска, на индивидуализм и богоборчество его юношеской оды «Прометей» (см. выше, стр. 530). Она проповедует «мудрое самоограничение» в духе веймарского Гете, подчинение человеческой личности абсолютному, надиндивидуальному смыслу жизни: в образе древних богов, которым должен покорствовать человек, воплощены законы природы, объективной действительности, в понимании спинозиста Гете. Ср.

в точном переводе Фета: «Когда стародавний святой отец рукой спокойной из туч гремящих молнии сеет в алчную землю,—край его ризы нижний целую с трепетом детским в верной груди.—Ибо с богами меряться смертный да не дерзнет: если подымется он и коснется теменем звезд, негде тогда опереться тяжким подошвам, и им играют тучи и ветры, если ж стоит он костью дебелой на крепкозданной прочной земле, то не сравняться даже и с дубом или лозою ростом ему. Чем отличаются боги от смертных? Тем, что от первых волны исходят, вечный поток: волна нас подъемлет, волна поглощает—и тонем мы.—Жизнь нашу объемлет кольцо небольшое, и ряд поколений связует надежно их собственной жизни цепь без конца».

Дмитриев довольно точно сохраняет отдельные мотивы стихотворения Гете, но вместе с тем он совершенно меняет его смысл, превращая философские раздумия Гете—классика и спинозиста—в благочестивый религиозный гимн и заменяя античных богов и Зевса, отца богов и людей, библейско-христианским богом отцом. Мы даем стихотворение Дмитриева в первоначальной журнальной редакции 1795 г., подвергшейся впоследствии значительной переработке:

Гремит!... благоговей, сын персти!
Се ветхий деньми с небеси
Из тихой, благотворной длани
Перуны сеет по земли.
Всесильный! с трепетом младенца
Целую я последний край
Твоей молниецветной ризы,
И исчезаю пред тобой.

Что человек? Стремится ль к тверди,
Касается ли темем звезд?
Нигде стопою ненадежной
Не может опереться он,
Игралище легчайших ветров!
Мозговыми ли стал костьми
На землю тверду, долговечну:
Пред дубом, ивой даже мал!

Ты дхнешь, и двигнешь океаны,
Речешь, и вспять они текут;
А мы—одной волной подъяты,
Одной волной поглощены!
Вся наша жизнь, о безначальный!
Пред тайной вечностью твоей—
Мечтание часов крылатых,
Луч бледный утренней зари.

В таком виде ода Гете напоминает стихотворные переложения псалмов, обычные в религиозной лирике XVIII в., или размышления на тему из Книги Иова, в роде ломоносовского: «О ты, что в горести напрасной на Бога ропщешь человек!», которые исчисляют величие библейского бога-творца по сравнению с ничтожеством человека. Перевод Гете на идеологический уровень господствующего в русской дворянской литературе XVIII в. церковного мировоззрения сопровождается полным стилистическим переоформлением, для которого характерны такие обороты речи, привычные для декламационной манеры русской торжественной оды, как

например: «Гремит!» или «Что человек?» или «А мы?» Из арсенала традиционной религиозной поэзии заимствовано риторическое противопоставление, отсутствующее у Гете: «Ты дхнешь, и двигнешь океаны, речешь, и вспять они текут». Переработка второй строфы в последующих редакциях еще более удаляет ее от подлинника и вводит не менее традиционный образ—пловца в утлой ладье:

Что человек? парит ли к солнцу,
Смиренно ль идет по земле:
Увы! там ум его блуждает,
А здесь стопы его скользят.
Под мраком, в океане жизни,
Пловец на утлой ладие:
Отдавши руль слепому року,
Он спит—и мчится на скалу.

Наконец последнее четверостишие—молитвенное обращение к Богу—является всецело добавлением Дмитриева, которое в окончательной редакции приобретает такую форму:

...Едва минутное мечтанье,
Луч бледный утренней зари...

В то же время свободные белые стихи Гете (обычно—с двумя ударениями в стихе), характерные для веймарских од («Когда стародавний святой отец...»), заменяются у Дмитриева метрически правильными четырехстопными ямбами без рифм: такие правильные белые стихи разных силлабо-тонических размеров вошли в употребление в школе Карамзина как эквиваленты английских и немецких белых стихов, в частности—свободных стихов Клопштока, недоступных русской стихотворной технике того времени.

В таком благочестивом облике поэта-псалмопевца, родственного Клопштоку и карамзинистам, явился впервые Гете перед русским читателем XVIII века. Редакция журнала в праве была представить его современникам с таким рекомендательным примечанием: «Вот поэзия во всей своей силе и славе, наперсница богов, одаренная бессмертной красотой!» (стр. 210).

Кроме Дмитриева из поэтов XVIII в. с переводом из Гете выступает только Державин, и то уже в начале нового столетия. Его «Цепочка» (1807) показывает усвоение лирики Гете в совершенно другом аспекте—стихотворения на случай, стихотворного комплимента, изящной безделушки в стиле немецкой «легкой поэзии». В этом смысле стихотворение «Mit einem goldnen Halskettchen» (1775) перекликается у Державина с его интимной, тоже «анакреонтической» лирикой старческого периода, с такими стихами на любовные темы, написанными в начале XIX в., как шутливое «Желание» («Если б милые девицы...»), «Старик», «Бабочка» и др.

Цепочка

Послал я средь сего листочка
Из мелких колец тонку нить:
Искусная сия цепочка
Удобна грудь твою покрыть.
Позволь с нежнейшим дерзновеньем
Обнять твою ей шею вкруг;
Захочешь—будет украшеньем;
Не хочешь—спрячь ее в сундук.

Иной ведь на тебя такую
Наложит цепь, что, ах, грузна:
Обдумай мысль сию простую,
Красавица!—и будь умна.

Перевод Державина в общем довольно точен, причем он следует первой редакции, сильно отличающейся от окончательной в последней строфе [37]. Но в то же время Державин передает шаловливую грацию подлинника тяжеловесным изяществом, свойственным русской дворянской литературе Екатерининской эпохи.

В начале XIX в. Гете появляется в сентиментальных журналах, связанных с Московским университетом, в новом облике поэта сентиментально-идиллического. В 1800 г. в сборнике «Ипокрена» (ч. II, стр. 513—521) напечатан диалог в прозе: «Художник и крестьянин. Идиллия. Из Гете», перевод К. Ф. С. (Сибирского). Оригинал—стихотворение Гете «Странник» («Der Wanderer», 1772), относящееся к эпохе бури и натиска,—более известен в переводе Жуковского как «Путешественник и поселянка» (1819). Странник, очевидно—сам поэт, встречает на пути своем поселянку с младенцем на руках; хижина ее пристроена к развалинам древнего храма; новая жизнь вырастает из развалин, не зная ничего о красоте и величии прошлого: так природа, творящая и разрушающая, одинаково благостна ко всем своим детям, одинаково щедра во всех своих проявлениях. Это характерное для эпохи бурных стремлений обоготворение природы, творящей и разрушающей из полноты бытия («Natur, du ewig keimende»), было воспринято и усвоено переводчиком Гете под знаком патриархальных идиллий Гесснера, несомненно имевших на самого Гете некоторое влияние: противопоставление горожанина как представителя цивилизации невинной и счастливой в своем неведении поселянке, развалин высокой культуры древности—природной простоте и патриархальности, диалогическая форма, наконец свободный белый стих, истолкованный переводчиком как проза, включили стихотворение Гете в привычный и понятный для переводчика круг художественных представлений немецкой патриархальной идиллии. Характерно, что через несколько лет «Странник» Гете вторично появляется в прозаическом переводе—на этот раз на страницах «Вестника Европы» (1814, ч. 76, стр. 3—8)—под заглавием «Художник и поселянка». Пять лет спустя написан стихотворный перевод Жуковского «Путешественник и поселянка». Отзыв Плетнева об этом переводе, относящийся к началу 20-х годов («Журнал изящных искусств» 1823, кн. 2, стр. 126 сл.), свидетельствует о том, что стихотворение воспринималось современниками как патриархальная идиллия в сентиментальном стиле: «Противоположность между восторгами путешественника при виде всего прекрасного и спокойствием ничего не знающей поселянки самая разительная, но она не рождает ничего неприятного. У поселянки есть своя поэзия: она заботится о младенце, рассказывает историю своей жизни, оживляется при мысли о скором возвращении своего мужа. Таким образом стихотворец, изображая свою главную мысль, окружает ее другими прекрасными понятиями. Он заставляет наконец путешественника, в избытке чувств от того, что его поражает в развалинах, и от того, что он слышит от поселянки, с доверчивостью предаться природе и выбрать ее единственным руководителем жизни. Изложение соответствует в полной мере достоинству изобретения и расположения. Язык поселянки оттенен какою-то трогательною простотой, пленительным чистосердечием и милою невинностью. Путешественник, напро-

тив того, говорит, как восторженный поэт. В их разговоре есть места неизъяснимо прелестные». [38]

Под знаком пасторальной поэзии переводится также музыкальная комедия (Singspiel) Гете: «Ери и Бетели», опера в одном действии, пер. В. Козлова («Журнал Драматический» 1811, ч. III). Плод поездки в Швейцарию (1779), эта пастушеская драма Гете по теме отвечала поэтическому вкусу, воспитанному на швейцарских идиллиях Гесснера, несмотря на черты натурализма, свойственного эпохе «бури и натиска».

В 1802 г. журнал «Свиток Муз» предпринимает первый опыт популяризации стихотворений Гете среди русских читателей. Переводчик, напечатавший в кн. 1—2 четыре стихотворения немецкого поэта, Иван Мартынович Борн (ум. 1851), по происхождению—русский немец, преподаватель русского языка в немецком училище св. Петра в Петербурге и автор первой истории русской литературы («Краткое руководство по российской словесности», 1808), выступает первым по времени в ряду тех русских немцев, которые в качестве переводчиков с немецкого на русский или с русского на немецкий служили посредниками между немецкой и русской литературой (Э. Губер, Ф. Миллер, Н. Гербель, К. Фидлер и др.). Борн был одним из основателей и председателем «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», в котором объединялись ученики Радищева, продолжавшие его ориентацию на немецкую сентиментальную поэзию. Переводы Борна не были литературным событием и не представляют большой литературной ценности. Они сделаны метрическими белыми стихами, по новой моде, и приобретают у Борна облик сентиментальной «песни». Ср. «Прощание» («Der Abschied»):

Пусть простится глаз с тобою,
А устами не могу!
Ах, сколь тяжко, тяжко сердцу!
Хоть и тверд душою я.
И залог любви сладчайший,
Милая, лишь скорбь теперь;
Сладкие уста холодны,
Слабо сжатие руки...

Первые три стихотворения («Свиток Муз» № 1: «Прощание», «Прекрасная ночь», «Здравствуй и прощай») переведены хореями, последнее («Свиток Муз» № 2: «Близость любезного») сохраняет ямбы немецкого оригинала, опуская однако рифму и меняя ритмическую структуру употреблением дактилических окончаний. Мы приведем его целиком как первый опыт перевода наиболее популярного у наших переводчиков лирического стихотворения Гете («Nähe des Geliebten»):

Ты мысль моя, когда от моря луч
    Является;
Ты мысль моя, когда свет месяца
    В струях горит;
Я зрю тебя, когда подымется
    С дороги пыль...
И в позднюю ночь, на узкой коль стези
    Зрю странника.
Я слышу там, в шуму валов, тебя,
    Мой милый друг!

В. А. ЖУКОВСКИЙ
Портрет маслом неизвестного художника из альбома А. П. Елагиной
Собрание Беэр, Москва

И в тишине лесов мне слышится
Твой нежный глас.
Я близ тебя, и в отдалении
Ты близок мне;
Спустился мрак, сияют звезды, ах,
Где ты, мой друг!

В том же «Свитке Муз» № 2 перевод из Гете В. Красовского—первое стихотворение, сохраняющее рифмы оригинала:

К удаленной

Так я навек с тобой расстался?
Тебя мой не увидит взор?
Но все в душе еще остался
Твой нежный глас и разговор.
Как странник, слыша в утро ясно
Приятный жаворонка свист,
Их ищет взорами напрасно:
Они взвились под эфир чист.
Так всюду я в тоске блуждаю
Чрез рощи, пажити и луг,
Тебя ищу, к тебе взываю:
Приди ко мне, любезный друг!

К этому сентиментальному Гете начала нового века можно прибавить случайное использование антологического двустишия Гете («Entschuldigung») для эпиграммы во французской манере. Ср. «Друг Просвещения» 1804, ч. IV:

Эпиграмма

На что твердить нам всякий час,
Что женский пол нам изменяет?
Он постоянного из нас
Чрез то мужчину избирает.

Таким образом в тех немногих переводах, которые мы насчитываем в начале XIX в., встречи русских поэтов с Гете носят и мимолетный, и довольно случайный характер.

4

Первым русским поэтом, исходившим в своих переводах стихотворений Гете из целостного восприятия его поэтической личности, был Жуковский, родоначальник «немецкой» школы русских поэтов (Веневитинов, Тютчев, Фет, А. Толстой и др.), наиболее прочно связанной с поэтическими традициями Гете. Жуковский сам признавался Ал. Тургеневу, что его образовали Шиллер и Гете [39]. Об этом знали и современники: И. Киреевский например, отмечая роль Жуковского в образовании нового немецкого направления, указывает на эту связь: «Поэзия Жуковского, хотя совершенно оригинальная в средоточии своего бытия (в любви к прошедшему, которую можно назвать господствующим тоном его лиры), была однако же воспитана на песнях Германии. Она передала нам ту идеальность, которая составляет отличительный характер немецкой жизни, поэзии и философии» [40]. Мы говорили уже о вертеровском периоде молодого Жуковского, периоде дружбы с Андреем Тургеневым, посвятившим его в немецкую литературу. Среди немецких переводов Жуковского 18 стихотворных переводов из Гете занимают второе место после переводов из Шиллера. Кроме того в 1817 г., в разгар своей переводческой работы, Жуковский в письме к Дашкову намечает целый ряд прозаических переводов из Гете для затеваемого им литературного альманаха. «Проза. Гете: «Römischer Carneval» [Римский Карнавал из «Итальянского путешествия»]. Märchen [«Сказка»]. Отрывки: Reisen nach Italien [«Итальянское путешествие». Werther's Briefe über die Schweiz [«Письма из Швейцарии»]. Aus meinem Leben [Автобиография]. У меня он полный». Из стихов кроме известного нам «Странника» Жуковский намечает перевод «Германа и Доротеи»: «Для второй книжки хочется перевести Hermann und Dorothea» [41]. Выбор произведений обнаруживает обширную и необычную начитанность.

Два стихотворения Жуковского, посвященные Гете, дают выражение его глубокому благоговению перед великим учителем. Первое «К портрету Гете» (1819) напоминает юношеское стихотворение Андрея Тургенева:

> Свободу смелую приняв себе в закон,
> Всезрящей мыслию над миром он носился,
> И в мире все постигнул он
> И ничему не покорился.

Пушкин находил, что эта надпись «прелесть» (письмо Жуковскому, май—июнь 1825 г.). Однако ее содержание ограничивается поэтическим общим местом, которое будет неоднократно повторяться в ближайшие десятилетия—указанием на всеобъемлющий характер миропонимания поэта-философа. Второе стихотворение «К Гете» (1827) было оставлено Жуковским в Веймаре после второго посещения Гете. Оно заключает не столько оценку поэзии Гете, сколько выражение личного отношения к учителю, человеческой благодарности и преклонения:

> Творец великих вдохновений!
> Я сохраню в душе моей
> Очарование мгновений,
> Столь счастливых в близи твоей!

Твое вечернее сиянье
Не о закате говорит!
Ты юноша среди созданья!
Твой гений, как творил, творит.
    Я в сердце уношу надежду
    Еще здесь встретиться с тобой:
    Земле знакомую одежду
    Не скоро скинет г е н и й твой.
В далеком полуночном свете
Твоею музою я жил,
И для меня мой гений Гете
Животворитель жизни был!
    Почто судьба мне запретила
    Тебя узреть в моей весне?
    Тогда душа бы воспалила
    Свой пламень на твоем огне.
Тогда б вокруг меня создался
Иной чудесно-пышный свет,
Тогда б и обо мне остался
В потомстве слух: он был поэт!

В Веймарском архиве сохранился немецкий прозаический перевод этого стихотворения, сделанный вероятно самим Жуковским, с пометкой «7 октября 1827 г.» и характерным для мировоззрения Жуковского посвящением: «Dem guten grossen Manne» (Доброму великому человеку). Текст этот приведен в «Беседах» канцлера фон Мюллера [42]. Мюллер нашел, «что Гете слишком холодно принял великолепное прощальное стихотворение Жуковского (herrliches Abschiedsgedicht), хотя и признал в нем что-то восточное, глубокое, жреческое» (etwas Orientalisches, Tiefes, Priesterliches) [43].

Впрочем несмотря на любовь и благоговение к Гете, Жуковский, как уже отмечали исследователи, понимал и переосмыслял его по-своему. «Перед ним Жуковский благоговел,—пишет Веселовский,—но благоговение не есть еще понимание; человек замечательно цельный в своей односторонности, он старался разгадать тайну другой цельности, бесконечной в своем разнообразии...» [44] Сам Гете, несмотря на поверхностное знакомство с Жуковским, отметил эту односторонность как излишнюю субъективность. «Потому-то, что люди не умеют оживить, оценить настоящего,—говорил он канцлеру Мюллеру,—они и вожделеют будущего и кокетничают с прошлым. И Жуковскому надлежало бы более обратиться к объекту» (mehr auf's Objekt). Свидетельством этой односторонности и субъективности являются переводы Жуковского. По самому выбору тем, как и по стилистическому переосмыслению подлинника, они показывают, что в своем восприятии Гете Жуковский не выходил за пределы свойственной ему самому поэзии «сердечного воображения» («любви к прошедшему», как говорит Киреевский): Гете в его творческом восприятии является в аспекте элегических раздумий и мечтаний.

Первое произведение Гете, переведенное Жуковским в 1808/09 г.,—«Моя богиня», философическая ода веймарского периода, написанная вольным размером без рифм. Веселовский уже отметил разницу стиля подлинника и перевода: «У Гете она—богиня фантазии, действительно дочь Зевса, ветренная, беззаботно порхающая; порхает и короткий вольный метр; от всего стихотворения веет земной жизнью и божественным весельем.

Жуковский замедлил темп, уже одни постоянно дактилические окончания стиха настраивают уныло. У Гете Зевс любуется своей ветренницей-шалуньей (hat seine Freude an der Törin), у Жуковского: «ее величает он Богинею радостью»; ее превращения бесконечны: у Гете она шествует повелительницей со скипетром в руке, у Жуковского она «малиновкой носится»; «порой, распустив волосы, отуманив взгляд, она веет ветром вокруг утесов...»; у Жуковского получился оссиановский образ:

Кудри с небрежностью
По ветру развеявши,
Во взоре уныние,
Тоской отуманена,
Глава наклоненная,
Сидит на крутой скале
И смотрит в мечтании
На море пустынное...» [45]

К 1814 г. относится «Мотылек», свободное переложение юношеского стихотворения Гете «Die Freude» («Радость») из цикла лейпцигских стихов (1768). Коротенькую басню Гете (15 стихов), проповедующую анакреонтическую мудрость—наслаждаться мгновением, не убивая радости бесплодной рефлексией,—Жуковский развернул в шестистрофное стихотворение, изменив его метрическую конструкцию и придав ему чуждый подлиннику сентиментальный тон:

Вчера я долго веселился,
Смотря, как мотылек
Мелькал на солнышке, носился
С цветочка на цветок.
И милый цвет его менялся
Всечасно предо мной,
То алой тенью отливался,
То нежной голубой... и т. д.

Сухую мораль последнего стиха («So geht es dir, Zergliedrer deiner Freuden!»—«Так бывает с тем, кто анализирует свои радости») Жуковский развернул в целую строфу, придав ей новый сентиментальный смысл, едва ли не противоположный смыслу подлинника: если анакреонтическое стихотворение учит наслаждаться жизнью, то Жуковский кончает элегическим вздохом о том, что никакое наслажденье не вечно:

...Увы! коснувшись к ним перстами,
Я стер их нежный цвет!
И мотылек... он все с крылами,
Но красоты уж нет!
«Так наслажденье изменяет!»
Вздохнувши я сказал:
«Пока не тронуто—блистает!
Дотронься—блеск пропал!»

Большинство переводов Жуковского из Гете относится к 1816—1818 гг. и были опубликованы в его сборнике «Für Wenige» («Для немногих» 1818). Из них два—«Рыбак» и «Лесной царь»[46]—были освоены им по линии фантастической баллады фольклорного содержания; остальные шесть—как элегические медитации. К числу последних относятся: «Кто слез на хлеб свой не ронял»

Черновой автограф перевода В. Жуковского стихотворения „Путешественник и поселянка Гете“ (1819)
Публичная Библиотека, Ленинград

Черновой автограф перевода В. Жуковского стихотворения „Путешественник и поселянка“ Гете (1819)
Публичная Библиотека, Ленинград

(песня арфиста из «Вильгельма Мейстера»), «Мина» (песня Миньоны, оттуда же), «К месяцу», «Утешение в слезах», «Жалоба пастуха» и стоящая несколько в стороне от этой группы «Новая любовь—новая жизнь». В этом аспекте Гете оказался неожиданно созвучным мечтательной музе Жуковского. Ср. например «Утешение в слезах» («Trost in Tränen»):

Скажи, что так задумчив ты?
Все весело вокруг:
В твоих глазах печали след;
Ты, верно, плакал, друг?
«О чем грущу, то в сердце мне
Запало глубоко,
А слезы... слезы в сладость нам,
От них душе легко...»

Под знаком элегического любовного томленья воспринимаются в кругу этих стихотворений «Жалобы пастуха»—воспоминанье об утраченной любви:

На ту знакомую гору
Сто раз я в день прихожу,
Стою, склоняся на посох,
И в даль с вершины гляжу.
. . . .
Над милой хижиной светит,
Видаю, радуга мне...
К чему? Она удалилась,
Она в чужой стороне!

Мотивы элегической мечтательности выступают также в знаменитой песне Миньоны, впервые переведенной Жуковским под заглавием «Мина»:

Я знаю край! там негой дышет лес,
Златой лимон горит во мгле древес,
И ветерок жар неба холодит,
И тихо мирт и гордо лавр стоит...
Там счастье, друг! Туда!—туда
Мечта зовет! Там сердцем я всегда!..

К этой же группе примыкает перевод «Посвящения» к «Фаусту», родственного Жуковскому по мотиву воспоминания: он появился в «Сыне Отечества» (1817 г., ч. 39) под характерным заглавием «Мечта. Подражание Гете» и в том же году, без указания источника—как вступление к поэме «Двенадцать спящих дев» в первом отдельном издании 1817 г.:

Опять ты здесь, мой благодатный гений,
Воздушная подруга юных дней,
Опять с толпой знакомых привидений
Теснишься ты, мечта, к душе моей...
Приди ж, о друг! дай прежних вдохновений,
Минувшею мне жизнию повей,
Побудь со мной, продли очарованья,
Дай сладкого вкусить воспоминанья...

Отметим также две строфы незаконченного чернового перевода «Посвящения» к лирическим стихотворениям, озаглавленного у Жуковского «Утро на горе» («Взошла заря. Дыханием приятным...»).

Метод творческого восприятия и переосмысления Гете осуществляется Жуковским не только в подборе тем, но и в приемах стилистической обработки.

О задачах стихотворного перевода сам Жуковский писал следующее: «Всего более перевод должен быть верен гармонии, которой, смею сказать, можно иногда жертвовать и точностью и силою. Поэзия то же, что музыкальный инструмент, в котором верность звуков должна уступать приятности».—«Переводчик в прозе есть раб, переводчик в стихах—соперник» [47]. Следуя этому принципу, Жуковский подвергает переводимое им стихотворение эмоциональной стилизации, более или менее значительной: при кажущейся точности он незаметно стилизует стихотворение в свойственных ему элегических тонах, усиливая в нем те элементы, которые родственны его собственному восприятию жизни и художественной идеологии и послужили поводом для выбора данного стихотворения. Таким образом создается новое художественное единство, вполне цельное и жизнеспособное, и оригинал оказывается переключенным в другую систему стиля. В переводах из Гете эта стилизация наблюдается в усилении и вставке мотивов, перекликающихся с элегической мечтательностью, характерной для Жуковского. Иногда это очень незначительные добавления и поправки: рыбак сидит «задумчив над рекой» (Г. «спокойно»—«ruhevoll»), пастух «вздохнув, медлительным шагом» спускается в долину за стадом (Г. «Я следую тогда за пасущимся стадом, моя собачка меня охраняет»); в припев Миньоны вводится отсутствующее в подлиннике: «Мечта зовет!» Иногда, как в стихотворении «Новая любовь—новая жизнь», это—целая система изменений и дополнений, превращающих шаловливое и грациозное стихотворение, посвященное Лилли, в мечтательно-элегическое. Ср. например такие добавления: «Сердце... что ты ноешь?» «Чем так сладостно грустило?» «Захочу ли... бросить томный, томный взгляд», «Рад тоске, хочу любить».

В стихотворении «К месяцу» выбрасывается целая строфа, по своему страстному тону не подходящая к элегической манере Жуковского:

Wenn du in der Winternacht
Wütend überschwillst,
Oder um die Frühlingspracht
Junger Knospen quillst...

Предшествующая строфа, подготовляющая у Гете этот взрыв страстного лирического напряжения, ослабляется у Жуковского, лишаясь своей порывистости и взволнованности, передаваемой самыми звуками стиха:

Rausche, Fluss, das Tal entlang
Ohne Rast und Ruh!
Rausche flüsternd meinem Gang
Melodien zu!

У Жуковского появляется сентиментальная образность («Одинокая лира»), и элегическая мечтательность подчеркивается соответственно измененной звуковой инструментовкой:

Лейся, лейся, мой ручей,
И журчанье струй
С одинокою моей
Лирой согласуй!..

Наконец «Посвящение» к «Фаусту» переведено наиболее свободно, о чем свидетельствуют такие стихи, принадлежащие элегической музе Жуковского, как например: «Побудь со мной, продли очарованья, дай сладкого вкусить воспоминанья», «Не встретят их простертые к ним руки, прекрасный сон их жизни улетел», «Не им поет задумчивая лира», «И снова в томном сердце воскресает» и др. Возможно, что именно поэтому Жуковский печатал впоследствии «Посвящение» без указания источника.

Освоенное таким образом «Посвящение» оказало влияние и на самостоятельное творчество Жуковского этих лет. Гете подсказал Жуковскому тип элегии, написанной октавами, как оба «Посвящения» (к «Фаусту» и к лирическим стихотворениям), «На кончину королевы Виртембергской» (1819) и «Цвет завета» (1819). Последнее стихотворение и в содержании своем обнаруживает целый ряд совпадений со стихотворением Гете, так что местами кажется не то вольным пересказом, не то вариацией на ту же элегическую тему сердечного воспоминания:

... И где же вы?.. Разрознен круг наш тесный,
Разлучена веселая семья,
Из области младенчества прелестной
Разведены мы в разные края...
Но розно ль мы? Повсюду в поднебесной,
О верные, далекие друзья,
Прекрасная всех благ земных примета
Для нас цветет наш милый цвет завета...

За хронологической гранью этой основной группы переводов, знаменующих апогей творческого увлечения Жуковского Гете, стоит стихотворение «Путешественник и поселянка» (1819), не вошедшее в сборник «Для немногих» (напечатано в «Сыне Отечества» 1823, ч. 84). Мы уже упоминали об этом стихотворении, воспринятом в русской литературе в аспекте патриархально-сентиментальной идиллии.

Переводы 20-х годов не внесли в облик Гете, претворенный Жуковским, ничего существенно нового. Антологическое стихотворение «Обеты» (1821), гномические строфы «Чист душой ты был вчера», «Будь несолнечен наш глаз», «То место, где был добрый, свято» (1829) соответствуют тому уровню понимания Гете как «доброго, великого человека», на котором Жуковский остался до конца своей жизни. В этом смысле характерно, что единственный более крупный перевод, на который вдохновило Жуковского личное знакомство с Гете в 20-х годах,—это басня «Орел и голубка» (1833) с ее голубиной мудростью: «Умеренность—прямое счастье».

5

Если Жуковский в своих переводах из Гете исходил из целостного, хотя и односторонне-субъективного восприятия его творческого облика, то большинство других поэтов 10-х и 20-х годов ограничивается внешним усвоением и использованием тех или иных аспектов его лирики, перекликающихся с их собственными творческими установками, нередко довольно различными и противоречивыми. Так например, Гете продолжает жить в русской поэзии этих лет как элегический поэт. Под знаком элегии особенно воспринимается в эту эпоху «Близость милого» («Die Nähe des Geliebten»). В тетрадях Дельвига находится перевод этого стихотворения, сделанный

еще в Лицее (1815—1817) под заглавием «Близость милой» (позднее «Близость любовников»); он опубликован в разных редакциях К. Я. Гротом, М. О. Гершензоном и Модестом Гофманом («Неизданный Дельвиг», 1922, стр. 94 и 137):

Близость любовников
(Из Гете)

Блеснет заря, а все в моем мечтаньи
    Лишь ты одна,
Лишь ты одна, когда поток в молчаньи
    Сребрит луна.
Я зрю тебя, когда летит с дороги
    И пыль и прах,
И с трепетом идет пришлец убогий
    В глухих лесах.
Мне слышится твой голос несравненный
    И в шуме вод,
Под вечер он к дубраве оживленной
    Меня зовет.
Я близ тебя, как ни была б далеко,
    Ты все ж со мной,
Взошла луна! Когда б в сей тьме глубокой
    Я был с тобой!

Через несколько лет в «Вестнике Европы» (1824, № 17, стр. 44) появляется гораздо более точный перевод А. Глебова:

Неразлучность с любезным
(Из Гете)

Я мыслю о тебе, когда луч солнца знойный
    В струях горит;
Я мыслю о тебе, когда их луч спокойный
    Луна златит;
Я вижу образ твой, когда в дали грядою
    Несется прах,
И путника во мгле над узкою стезею
    Объемлет страх;
Я слышу голос твой, когда с глухим роптаньем
    Встает волна,
Мне в роще мнится он, где лист без трепетанья,
    Где область сна;
Повсюду я с тобой: не суждено судьбами
    Разлуки нам!
Во влаге солнца лик, лазурь блестит звездами.
    Ах!—будь и там!

Последний стих, не удавшийся переводчику, поясняется им в подстрочном примечании: «O wärst du da!»

Значительно более свободную обработку того же оригинала с метрическим новшеством (кольцевым припевом, замыкающим каждую строфу) представляет перевод П. Ободовского, автора байронической поэмы «Хиосский сирота» (1828), также проникнутой элегическим тоном («Сын Отечества» 1829, ч. I, стр. 342—343):

Близость милой

(Подражание Гете)

Мечтаю о тебе, тобой душа полна,
Когда светило дня пылает на востоке,
Когда из облаков задумчиво луна
Глядится в трепетном, сверкающем потоке.
Мечтаю о тебе!
Тебя лишь вижу я, тебя взор ищет мой,
Когда густая пыль дорогу застилает,
Когда в вечерней мгле над горною тропой
Тень путника вдали, дрожащая, мелькает,
Тебя лишь вижу я!
Я голос слышу твой, когда резвясь струя
У брега в камышах с журчаньем раздробится,
К шагам твоим в саду прислушиваюсь я,
Когда и листик роз в тиши не шевелится,
Я голос слышу твой!
Где б ни была, мой друг, повсюду я с тобой,
И ты всегда при мне, как ангел легкокрылый,
Душа твоя навек слилась с моей душой.
Одной тобой дышу—и на краю могилы
Клянусь тобой дышать!

Наконец свободную вариацию на тему Гете представляет стихотворение Виктора Теплякова «К***», напечатанное впервые в «Московском Телеграфе» (1828, № 3, стр. 327) за подписью: В. Т.—Одесса 1827 г. В оглавлении

Близость Любовниковъ.

(Изъ Гете.)

Блеснетъ заря, а все въ моемъ мечтаньи
Лишь ты одна,
Лишь ты одна, когда потокъ въ молчаньи
Сребритъ луна.

Я зрю тебя, когда летитъ съ дороги
И пыль и прахъ,
И въ трепетѣ идетъ прохожiй убогiй
Въ глухихъ лѣсахъ.

Мнѣ слышится твой голосъ несравненный
И въ шумѣ водъ;
Подъ вечеръ онъ къ дубравѣ оживленной
Меня зоветъ.

Я близъ тебя; какъ небылъ бы далёко
Ты вѣчно со мной,
Взошла луна! Когда бъ въ сей тьмѣ глубокой
Я былъ съ тобой.

Автограф перевода А. Дельвига стихотворения „Близость любовников" Гете (1815—1817)
Институт Русской Литературы, Ленинград

эта подпись была раскрыта как подпись Туманского, и под авторством Туманского стихотворение было перепечатано в «Прибавлениях» к «Русскому Инвалиду» (1834, ч. XV, № 74, стр. 588) и оттуда в стихотворениях Туманского, изд. 1881 г. Однако, как показал Н. О. Лернер, стихотворение это было при жизни включено Тепляковым в изданное под его наблюдением Собрание стихотворений (1832), что решает вопрос об авторстве [48].

К***

Я твой, я твой, когда огонь Востока
Моря златит;
Я твой, я твой, когда сафир потока
Луна сребрит.
Я зрю тебя, когда в час утра бродит
Туман седой;
В глухую ночь, когда пришлец находит
Приют святой.
Ты мне слышна, когда в реке игривой
Журчит струя;
Слышна—когда в дубраве молчаливой
Блуждаю я.
Светило ль дня над морем умирает
В стране чужой—
И в хоре звезд рубиновых мелькает
Мне образ твой!

Другое элегическое стихотворение—песнь Миньоны («Ты знаешь край...») вслед за Жуковским переводит П. Шкляревский. Перевод его, сделанный, в отступление от подлинника, амфибрахическим размером, помечен 1825 г., но появился в стихотворениях 1831 года.

Ах, ты знаешь ли край с вечно юной весной,
Где цветет апельсин и лимон золотой,
Где с прохладою лета слит роз аромат,
Где приветливо мирты и лавры шумят,
Ах, ты знаешь ли край сей?
О если б туда
Я могла, о мой милый, с тобою лететь!

Оба стихотворения встречаются в дальнейшем в многочисленных переводах различных авторов.

Антологическое направление, представленное Батюшковым и его подражателями, также находит у Гете материал для творческой переработки—в стилизациях под античную форму («Antiker Form sich nähernd») веймарского периода. С точки зрения этого направления характерно пристрастие к стихотворению «Могила Анакреона», которое за пять лет (1819—1824) переводится три раза: сочетание элегического мотива (могилы поэта) с сентиментальной идиллией (горлица, кузнечик и т. д.), в традиционной стилизации сжатого и законченного антологического стихотворения объясняет успех поэта у тех, кто вместе с Батюшковым пленялись греческой антологией, воспринятой через посредство французов XVIII века. Первые два перевода заменяют античный размер Гете, элегические двустишия, шестистопным ямбом антологических стихотворений французской и батюшковской школы. Вот перевод И. Покровского («Благонамеренный», ч. VII, 1819):

Могила Анакреона
(Из Гете)

Здесь, где нарцисс цветет, где лавр сплелся с лозою
И стонет горлица, и стрекоза жужжит,
Где боги жизнью все наполнили младою,
Чей вижу памятник?—Анакреон тут спит.
Он видел прелести весны, златое лето
И осень—от зимы холм защитил поэта.

Второй перевод, М. Дмитриева, племянника старшего поэта, сделан александрийским стихом («Вестник Европы» 1824, № 7, стр. 190):

Гробница Анакреона

Где роза пышная живее расцветает,
Где горлица в тени столь сладостно вздыхает,
Где свищет в мураве кузнечик золотой,
Где лавр и виноград сплелись между собой,
Чей гроб нам говорит о жизни, наслажденьи?
Здесь спит Анакреон!—он в мудром упоеньи
Умел продлить весну до осени своей.
Сей холм укрыл певца от хлада зимних дней.

Третий переводчик, В. Тилло («Новости Литературы» 1824, кн. VIII, стр. 64), решается наконец ввести античный размер подлинника, который в эту эпоху уже начинает проникать в русскую поэзию в переводах и подражаниях Гнедича, Жуковского, Дельвига:

Анакреонова могила
(Из Гете)

Здесь, где кузнечик поет, где горлица нежно воркует,
Рдеет златой виноград, с миртами лавры сплелись,
Чья здесь могила, которую боги украсили щедро
Жизнью и пышной красой?—Анакреонов то прах!
Вешнею, летней, осенней порой насладился счастливец,
От ненастной зимы холмик его защитил.

В начале 20-х годов появляется в русском переводе еще несколько антологических стихотворений Гете. Тот же М. Дмитриев например перевел александрийскими стихами «Уединение» («Einsamkeit») («Вестник Европы» 1824, №7).

Переводы, сохраняющие античный размер подлинника, элегические двустишия, встречаются у Жуковского (уже в 1821 г.): «Обеты» («Ländliches Glück»): «Будьте, о духи лесов, будьте о нимфы потока»...; вслед за ним у названного выше В. Тилло: «Филомела» («Philomele»): «Отрок Амур тебя верно вскормил, о певица!...» («Новости Литературы» 1823, кн. III, стр. 48). Три таких стихотворения, вероятно в переводе С. Шевырева, напечатаны в «Московском Вестнике» (1828, ч. VIII).

Даже в старинной форме мадригала, написанного вольными ямбами, встречается обработка стихотворения Гете на пасторальную тему. Ср. Б. Федоров: «К пастушке, просившей фиалок» («Благонамеренный» 1825, ч. XXIX, стр. 273,—в первой редакции «К Лизе»—«Кабинет Аспазии», 1815, кн. 2, стр. 53):

Веселья верная подружка,
Прекрасная, как светлая весна
Невинная пастушка!
Меня винить ты не должна,

Что я фиалки в дар тебе не посылаю:
Все поле оглядел—и где найти, не знаю;
Но коль в венок тебе фиалочка нужна,
Поди туда, где в дол ручей сбегает
И травку ветерок, резвясь, перевевает—
Под ножкою твоей там вырастет она.

Рядом с элегическим Гете Жуковского и его школы и антологическим—школы Батюшкова самостоятельную форму освоения и использования лирического наследия немецкого поэта представляют переводы «архаистов». Ученый знаток немецкой поэзии и член-сотрудник шишковской «Беседы» А. Х. Востоков напечатал только один перевод из Гете, выбрав стихотворение морально-дидактического содержания: «Надежда» («Молюсь споспешнице Надежде...»; «СПБ. Вестник» 1812, № 3, стр. 286). Но среди его неизданных рукописей в архиве Академии Наук сохранились две замечательные работы, публикуемые ниже в «Переводах»: перевод оды «Моя Богиня» и первых двух явлений «Ифигении в Тавриде» (Бумаги Востокова I, 3 и I, 9) [49]. В первом произведении Востоков соперничает с Жуковским, напечатавшим свой перевод той же оды в 1809 г. Короткому размеру Жуковского (двустопному амфибрахию с дактилическими окончаниями без рифм) он противопоставляет вольные рифмованные ямбы драйденовской оды, меняющиеся по расположению рифм от строфы к строфе, оссиановскому элегическому тону—торжественный и праздничный, более близкий к подлиннику, но все же отступающий от него в сторону декламационного пафоса. Перевод вообще точнее, чем у Жуковского. Он был прочитан в «Обществе любителей словесности, наук и художеств» 28 декабря 1811 г. [50]

Перевод «Ифигении» представляет интерес как первый опыт усвоения русской поэзии драматического белого стиха, пятистопного ямба «Бориса Годунова» и пушкинских маленьких драм. До сих пор считали (вслед за Пушкиным в статье «О Борисе Годунове»), что размер этот впервые употреблен в «Аргивянах» Кюхельбекера (1823) и в отрывке переводной трагедии А. Жандра «Венцеслав» (1824), написанной в целом вольными стихами [51]. Переводы Востокова сделаны на тринадцать лет раньше и были прочитаны в том же «Вольном обществе» 9 июня 1810 г. Как видно из собственного примечания Востокова, он придавал проблеме метрической формы очень большое значение: этот опыт стоит в ряду других многочисленных метрических опытов, им проделанных. Он допускает изредка рядом с пятистопным ямбом отдельные четырехстопные и шестистопные строчки, которые намерен в будущем выправить. Для него размер гетевской «Ифигении» соответствует белому стиху античной трагедии, и как классицистическую трагедию, ориентированную на античный мир, воспринимает он произведение Гете, что видно из языка перевода, приподнятого, торжественного, архаистического. Так Гете-классик неожиданно перекликается с русским ученым-архаистом.

«Певец» Катенина («Der Sänger»), написанный в 1814 г., т. е. после «Светланы» Жуковского и за два года до «Ольги», обнаруживает уже характерные для Катенина установки: борьбу со «сглаженным языком», с ритмическим благозвучием и эмоциональной напевностью карамзинистов, ту «энергическую красоту», которую ценил в балладах Катенина Пушкин [52], т. е. простоту и некоторый натурализм трактовки, оправданный «народностью». Эта живописная «народность» русского феодального быта эпохи князя Владимира, ориентированная на национальную архаику былин, заменяет у Катенина абстрактное и идеальное средневековье баллады Гете,

Автограф последней страницы перевода А. Востокова „Моей богине“ Гете (1811)
Архив Академии Наук СССР, Ленинград

пренебрегающей обстановочностью и по существу уже приближающейся к классическому стилю (1782). Приводим для образца первые две строфы катенинского перевода (Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина. 1832, ч. II, стр. 27—29):

П е в е ц

В стольном Киеве великом
Князь Владимир пировал:
Окружен блестящим ликом
В светлой гридне заседал.
Всех бояр своих премудрых,
Всех красавиц лепокудрых,

Сильных всех богатырей,
Звал он к трапезе своей.
За дубовый стол сахарных
Сорок яств принесены;
Меду сладкого янтарных
Сорок чаш опразднены:
Всех живит веселье ново;
Изронил златое слово
Князь к гостям: «Пошлем гонца;
Грустен пир, где нет певца»... и т. д.

Из других поэтов, близких к литературным позициям архаистов, особое место как переводчик Гете занимает Грибоедов. Он первый переводит отрывок из «Фауста» («Полярная Звезда» 1825, стр. 306—312). Однако, что особенно характерно,—не один из тех философско-лирических монологов, которые в ближайшие годы станут известны русским читателям в переводах романтиков «немецкой школы»: Веневитинова, Тютчева и др., а «Пролог в театре», заключающий, в речах Директора, сатиру на театральную публику. Грибоедов, с одной стороны, отбрасывает последние четыре реплики Пролога, отходящие от сатирической темы; с другой стороны, он широко развертывает сатирическое обозрение Директора, превращая его в сатиру на современное общество, каким оно является в театральных креслах, переосмысленную в духе обличительных монологов Чацкого. Ср. сочинения (Акад. изд., т. I, стр. 11):

О, *гордые искатели молвы!*
Опомнитесь!—кому творите вы?
Влечется к нам иной, чтоб скуку порассеять,
И *скука вместе с ним ввалилась—*
дремлет он;
Другой явился отягчен
Парами пенистых бокалов;
Иной небрежный ловит стих,—
Сотрудник глупых он журналов; (1)
Но святочные игры их
Чистейшее желанье окрыляет,
Невежество им зренье затемняет
И на устах бездушия печать;
Красавицы, под бременем уборов,
Тишком желают расточать
Обман улыбки, негу взоров. (2)
Что возмечтали вы на вашей высоте?
Смотрите им в лицо!—*вот те*
Окременевшие толпы живым утесом;
Здесь озираются во мраке подлецы,
Чтоб слово подстеречь и погубить
доносом;
Там мыслят дань обресть картежные
ловцы, (3)
Тот буйно ночь провесть в объятиях бесчестных.
И для кого хотите вы, слепцы,
Вымучивать внушенье Муз прелестных?

Грибоедов удлиннил отрывок на одну треть (вместо 18 стихов—24). Ряд мотивов сатирического характера он вставил от себя: такие места выделены мною курсивом. Другие места он развил и видоизменил по-своему, везде придавая желчный характер сатире, довольно безобидной у Гете. Так он превратил наивного читателя рецензий в придирчивого рецензента (1. Г.: «И, что всего хуже, многие приходят после чтения журналов...»); кокетливым зрительницам приписал коварные умыслы (2. Г.: «Дамы показывают себя и свои наряды и без жалованья участвуют в представлении...»); мирных картежников сделал опасными шулерами (3. Г.: «Этот, после спектакля, надеется на картежную игру...»). Так Гете становится похожим на Грибоедова, либерального дворянина-общественника, пишущего сатиру на светское общество.

В середине 20-х годов большой интерес вызывают восточные стихи Гете, собранные в «Западно-восточном Диване» («West-östlicher Diwan», 1819), последней литературной новинке, связанной в эти годы с именем Гете. Успех «Дивана» у русских переводчиков становится понятным на фоне увлечения романтическим ориентализмом Байрона, Томаса Мура, многочисленных переводов «с арабского» (из Корана), «с персидского» и др., которые появляются в журналах и альманахах этих годов. Для романтизма восточная экзотика была одним из видов ухода от буржуазной действительности; оживление колониальной политики императорской России на Ближнем Востоке, завоевание Кавказа, война с Персией, греческое восстание, связанное с именем Байрона, образуют ту историческую атмосферу, в которую попадает новое произведение Гете.

В бумагах Кюхельбекера, хранящихся в Рукописном отделении Института Русской Литературы Академии Наук, сохранилась тетрадь (шифр 9288/1), заключающая конспект исторических и историко-литературных комментариев Гете к своему «Дивану». Тетрадь содержит работы 1825 г. (на стр. 21: «Обозрение российской словесности минувшего 1824 года»). Конспект (лл. 33—34) озаглавлен: «West-östlicher Diwan (Историческая часть)» и содержит краткие выписки исторических сведений об арабской и персидской поэзии. Заслуживает внимания прозаический перевод нескольких отрывков арабского стихотворения, которое Гете дает в построчном переводе, без сохранения стиховой формы, но с попыткой передать стилистический характер подлинника: стилизованная проза Кюхельбекера сохраняет художественное своеобразие подлинника.

«(Из Поэта после Магомета, но писавшего в духе их)»

в полдень поднялись мы юноши в враждебный поход, тянулись всю ночь, будто парящие без отдыха тучи.

Всяк из нас был меч, опоясан мечем, вырван из ножен, блестящий перун.—Они впивали духи сна, но, когда в дремоте склонялись главами, мы поразили их, и их не стало.

* * *

Горе меня не смягчит, само смягчится.

* * *

Утешилась жажда копья первым поением, невозбранилось ему вторичное.

* * *

Чашу смерти подали мы Гудзелитам; тут засмеялись гиэны и ты видел волков: их лица сверкали.

Налетали коршуны; переходили от трупа к трупу и с богатого пира не могли вознестись под облака.—»

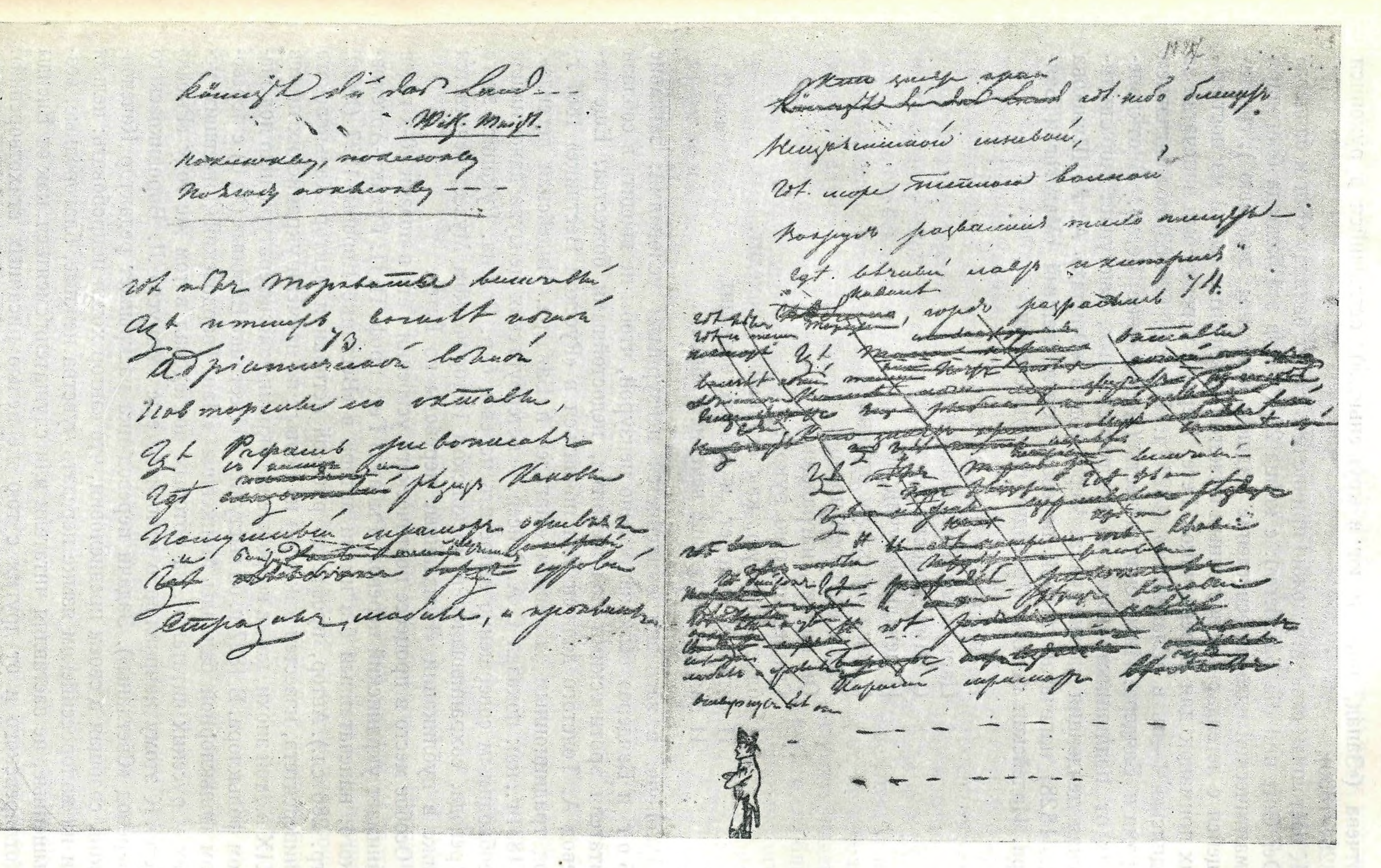
К 1828 г. относится несколько переводов из Гете А. Бестужева (Марлинского): из восьми стихотворений четыре переведены из «Дивана» (см. Полн. собр. соч. 1847, ч. XI, стр. 97—100), однако источник указан только при первом: «Из Гете (с персидского)» («Пейте: самых лет весна...»: «Trunken müssen wir alle sein»); в остальных случаях имеется только пометка: «с персидского» («Будь любезная далеко...»: «Bist du von deiner Geliebten getrennt»); «Зюлейка» («Нет, ты мой и мой навечно!»: «Nimmer will ich dich verlieren»); «Из Гафиза» («Прильнув в твоим рубиновым устам...»: «Lass deinen süssen Rubinenmund»). Переводы Марлинского перекликаются с восточной экзотикой его романтических повестей:

Прильнув к твоим рубиновым устам,
Не ведаю ни срока, ни завета.
Тоска любви—единственная мета,
Лобзания—целительный бальзам.

С переводом из «Дивана» выступает также уже названный М. Дмитриев (Стихотворения 1830 г., ч. I, стр. 85). Его «Персидские песни» заключают три перевода из «Книги Зюлейки»: «Восходит солнце! блеск чудесный...» («Die Sonne kommt! Ein Prachterscheinen...»), «В каких бы видах ты от взоров ни таилась...» (In tausend Formen magst du dich verstecken...»), диалог «Чрез Ефрат переплывая» («Als ich auf dem Euphrat schiffte...»), известный в более поздних переводах Ф. Миллера и М. Гальперина. Условный, несколько тяжеловесный ориентализм стиля особенно удачно сохранен во второй песне:

В каких бы видах ты от взоров ни таилась,
  О друг души моей! я узнаю тебя,
Хотя б волшебною повязкой ты покрылась,
  О вездесущая! я узнаю тебя.
Под пальмой стройною, красивой и прямою,
  О станом стройная! я узнаю тебя;
В потоке, блещущем веселою струею,
  Веселонравная, я узнаю тебя.
Стремится ль быстро вверх луч водный, раздробляясь,
  Игролюбивая! я узнаю тебя,
Бежит ли облако, различно изменяясь,
  Разнообразная! я узнаю тебя.
Блестит ли луч в цветах, как неба свод звездами,
  Звездоподобная! я узнаю тебя;
Объемлет ли меня сторукий плющ ветвями,
  О всеобъемлюща! я узнаю тебя.
На высоте ли гор луч утра загорится,
  Всеозарившая! Приветствую тебя,
Свод неба надо мной тогда стройней катится,
  И неба в тишине вдыхаю я тебя!
Душой ли что моей, иль чувством постигаю,
  О всех наставница! постиг через тебя!
Коль стоименного Аллу я нарицаю,
  За каждым именем я назову тебя!

В конце 20-х годов отметим еще один перевод, появившийся в «Московском Вестнике» (1828, ч. X: «Сонные спите по вашим шатрам...») и перевод



Черновой автограф стихотворения Пушкина „Кто знает край, где небо блещет“ с эпиграфом из Гете „Kennst du das Land...“ (1827)
Институт Русской Литературы, Ленинград

Тютчева («Запад, норд и юг в крушеньи...»), оставшийся в рукописи (1828—1830).

К восточным сюжетам можно причислить также балладу «Бог и баядера» («Der Gott und die Bajadere»): с конца 20-х годов эта баллада благодаря романтической идее (просветление падшей женщины любовью), сочетающейся с легендарным восточным сюжетом, становится одной из постоянных приманок для переводчиков Гете. Первый перевод был напечатан за подписью Ч—въ в «Славянине» (1827, ч. III, стр. 62—63) под заглавием «Брама и Баядера. Индийская повесть (Подражание Гете)». В отклонениях от подлинника, довольно многочисленных, выступает моралистическая тенденция переводчика. Через год в «Опытах» А. А. Шишкова (М., 1828) напечатан второй перевод, озаглавленный «Мадагог и Баядера. Индейская песня». Приводим первую строфу:

Не впервые к нам слетает
Царь вселенной, Мадагог;
С нами радость разделяет
И печаль могучий бог;
С нами жить ему отрада,
Мир идет своей чредой,
Он карает, награжденья
Сыплет щедрою рукой.
И область земную, как странник, проходит,
И сильных смиряет, и слабых возводит,
И дальше, и дальше вечерней порой...

Различие в заглавии объясняется цензурными условиями: заглавие «Бог и Баядера» было запрещено цензурой, чтобы не вводить в соблазн читателя эротическими положениями, недостойными божества. Еще перевод А. Толстого должен был появиться в «Русском Вестнике» 1867 г.. под традиционным заглавием «Магадев и Баядера. Индейская легенда». В 1831 г., как показал С. А. Рейсер,[53] петербургская цензура даже нашла необходимым совершенно запретить перевод бар. Розена. Рукопись этого перевода, сохранившаяся в московском Историческом Музее, печатается ниже в публикации «Неизданные переводы из Гете».

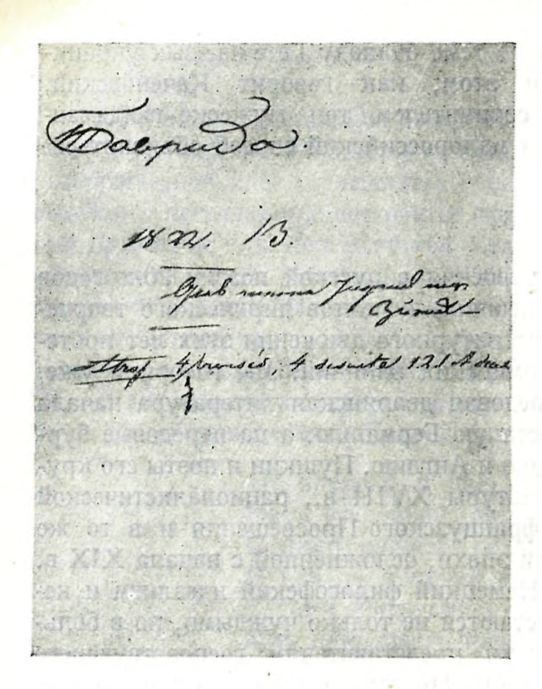
Особое место в процессе поэтического усвоения Гете в поэзии 20-х годов занимает украинский перевод «Рыбака» Гете проф. П. П. Гулака-Артемовского, напечатанный без имени автора в «Вестнике Европы» 1827 (№ 20, стр. 286 сл.). Автор, профессор русской истории и ректор Харьковского университета, известен как один из первых по времени украинских поэтов XIX в., той эпохи, когда возрождение украинской литературы шло под знаком фольклора. В 1827 г. он выступил в «Вестнике Европы» (№ 6) с переводом фольклорной баллады Мицкевича «Пан Твардовский», имевшим успех у русских читателей, за которым последовал в том же году «Рыбак» Гете. К этому направлению относится еще «Маруся» Л. Боровиковского (перевод «Светланы»). Задачи переводчика раскрывает редактор Каченовский, сообщая в своем предисловии, что «автор хотел попробовать: нельзя ли на малороссийском языке передать чувства нежные, благородные, возвышенные, не заставляя читателя или слушателя смеяться, как от Енеиды Котляревского и от других с тою же целью писанных стихотворений». В доказательство этой возможности автор ссылается на фольклор, «на некоторые песни малороссийские, на песни самые нежные, самые трогатель-

ные...» Он переводит фольклорную по теме балладу Гете на язык украинского песенного фольклора; при этом, как говорит Каченовский, если «в Твардовском выдержан сочинителем тон мужеско-гайдамацкий, так здесь принят им женский малороссийский способ объясняться» (стр. 287—288).

6

Несмотря на отдельные случаи усвоения в русской поэзии 20-х годов тех или иных—по преимуществу внешних—аспектов лирического творчества Гете, основное направление литературного движения этих лет протекает совершенно независимо от германских влияний. Мы говорили уже, что оппозиционно настроенная передовая дворянская литература начала 20-х годов ориентируется не на отсталую Германию, а на передовые буржуазные страны Запада—на Францию и Англию. Пушкин и поэты его круга—воспитанники французской культуры XVIII в., рационалистической и материалистической идеологии французского Просвещения и в то же время французской литературы этой эпохи, осложненной с начала XIX в. новыми английскими влияниями. Немецкий философский идеализм и немецкая философствующая поэзия остаются не только чуждыми, но в большинстве случаев даже неизвестными представителям господствующего в 20-х годах литературного направления. Поэтому для Пушкина и его ближайших литературных соратников—Вяземского, Дельвига, Боратынского, Языкова—влияние Гете не играет сколько-нибудь существенной роли.

Относительно Пушкина можно сказать, что ни одна черта в его поэтическом облике не была подсказана влиянием немецкого поэта. Не только Байрон и Вальтер Скотт, но даже Парни и Андрэ Шенье оказали на него в этом смысле гораздо более значительное воздействие. Попытка В. А. Розова поставить почти все творчество Пушкина в зависимость от Гете основана на наивном истолковании каждого случайного сходства, иногда самого общего и неопределенного, как прямого заимствования, и в этом смысле наиболее разительно обнаруживает методологическую несостоятельность основного положения, защищаемого автором [54]. Гораздо правильнее замечание Алексея Веселовского в юбилейной статье 1899 г.: «Немецкая поэтическая стихия, чуждая Пушкину еще с школьных времен, не привилась и после рассудочного сближения с нею в зрелом возрасте» [55]. Пушкин, по свидетельству современников, плохо владел немецким языком. В составе его библиотеки, описанной Модзалевским [56], мы не находим сочинений Гете—ни в подлиннике, ни во французских переводах, и очень мало сочинений о Гете [57]. Конечно после 1825 г. он мог познакомиться с драматическими произведениями Гете («Фауст», «Гец») в французском переводе Стапфера [58], однако свидетельств об этом не имеется. Зато Пушкин, как известно, читал книгу мадам де Сталь «О Германии» (1813), заключающую подробное изложение «Геца» и «Фауста», и отрывки из последнего; книга Сталь была в 20-х годах основным источником знакомства русских читателей с современной немецкой литературой: по мнению Б. В. Томашевского, «Пушкин узнал о немецкой словесности, о Шиллере и Гете, из той же книги», и Томашевский вероятно прав, когда приписывает автобиографическое значение черновому наброску «Евгения Онегина»: «Он знал немецкую словесность по книгам г-жи де Сталь» [59]. Впрочем «Вертер», как мы знаем, существовал уже в русском переводе; «Гец» появился в 1828 г. в переводе М. Погодина, наконец в последний год своей жизни Пушкин, по рассказу



Автограф титульного листа неоконченной поэмы Пушкина „Таврида“ с эпиграфом из Гете „Gieb meine Jugend mir zurück“ (1822)
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Губера, принимал ближайшее участие в работе этого последнего над переводом «Фауста».

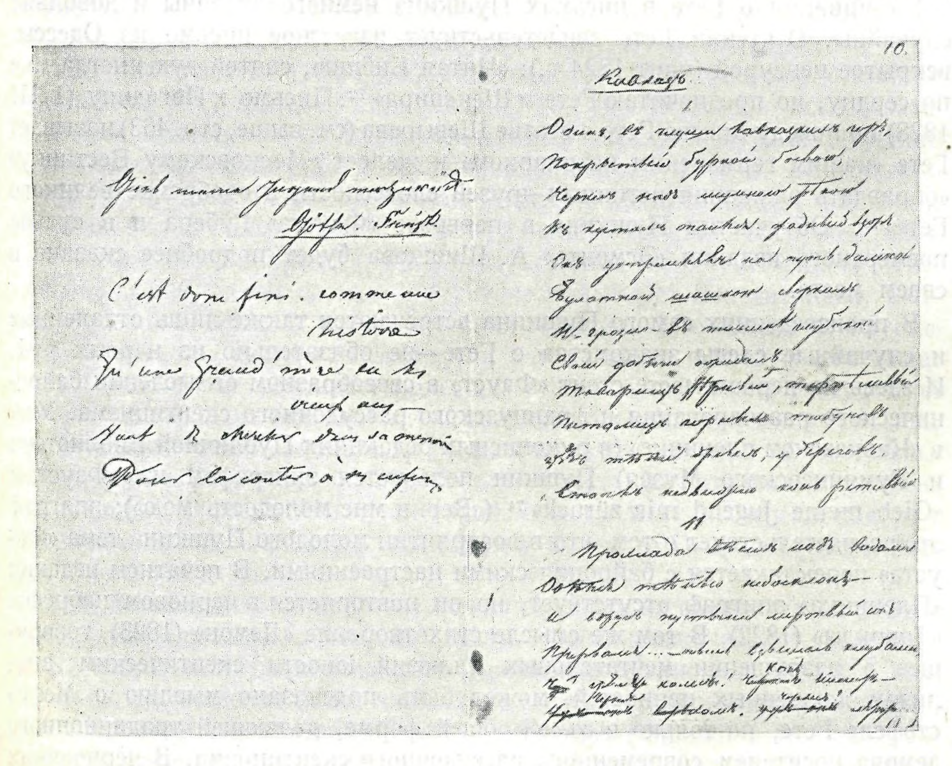
Упоминания о Гете в критических статьях Пушкина появляются довольно часто после 1827 г., т. е. после сближения с любомудрами и «Московским Вестником». Однако несмотря на глубокое уважение, которым окружено у Пушкина имя Гете как одного из великих современных поэтов, может быть— как величайшего среди них, эти упоминания нигде не раскрывают творческого образа Гете и конкретного содержания его поэзии и не свидетельствуют, тем самым, о близком и личном отношении к немецкому поэту. Если оставить в стороне упоминания совершенно общего и неопределенного характера, например о «бессмертных произведениях Гете и Байрона», противопоставляемых в статье о Боратынском (1831) «бледному подражанию»[60], то большинство отзывов Пушкина расположится вокруг «Фауста», «Геца» и «Вертера»: как лирик Гете был совершенно неизвестен Пушкину, не читавшему немецкого поэта в оригинале.

Высказывания о «Фаусте» связаны по преимуществу с Байроном, с той переоценкой творчества Байрона, которая характеризует философско-поэтические позиции любомудров. «Фауст,—пишет Пушкин в статье «О Байроне» (1827),—есть величайшее создание поэтического духа, он служит представителем новейшей поэзии, точно как Илиада служит памятником классической древности». В своем «Манфреде» Байрон «подражал Фаусту, заменяя простонародные сцены и Субботы другими, по его мнению благороднейшими». «Байрон чувствовал свою ошибку, и впоследствии времени снова принялся за Фауста, подражая ему в своем П р е в р а щ е н н о м у р о д е (думая тем исправить le chef d'œuvre)». К этому вопросу Пушкин возвращается в мелких заметках: «Гете имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил воображение творца Чильд-Гарольда. Два раза пытался Байрон бороться с этим Великаном романтической поэзии— и остался хром, как Иаков»[62]. Мимоходом он еще раз повторяет эту мысль в статье о Катенине (1833): Жуковский в «Светлане» сделал с «Ленорой»

Бюргера то же, «что Байрон в своем Манфреде сделал из Ф а у с т а: ослабил дух и формы своего образца»[63]. С величайшими произведениями мировой литературы «Фауст» сопоставляется в заметке «О смелости выражений» (1827): «Есть высшая смелость: смелость изобретения создания, где план обширный объемлется творческою мыслию—такова смелость Шекспира, Dante, Milton, Гете в Фаусте, Молиера в Тартюфе [Фонвизина в Недоросле, Байрона в Чильд-Гарольде]» [64].

Некоторый отпор сторонникам возвышенной философической поэзии дает, с точки зрения вкусов французской поэтической школы, следующее характерное замечание в статье о Дмитриеве (1834): «Благоговею пред созданием Фауста, но люблю и эпиграммы etc. Есть люди, которые не признают иной поэзии, кроме выспренней» [65].

Другая тема, стоящая у Пушкина в связи с Гете,—это проблема исторической трагедии, которая встала перед Пушкиным в работе над «Борисом Годуновым». Трудно сказать, был ли знаком Пушкин с исторической драмой Гете «Гец фон Берлихинген», когда писал «Бориса Годунова», иначе, чем в изложении мадам де Сталь, довольно подробном и содержательном: перевод драматических произведений Гете на французский язык, сделанный Стапфером, относится, как уже было сказано, к 1825 г. Во всяком случае, вопреки мнению Розова и некоторых немецких критиков [66], «Борис Годунов» не обнаруживает никаких точек соприкосновения с драмой Гете, кроме тех, которые обусловлены общей зависимостью от Шекспира. Во всяком случае Пушкин несколько раз называет рядом имена Шекспира и Гете как создателей исторической драмы. Так Вальтер Скотт,



Автограф начальных строф ранней редакции „Кавказского пленника“ Пушкина с эпиграфом из Гете „Gieb meine Jugend mir zurück“ (1820)

Публичная Библиотека, Ленинград

по мнению Пушкина (в статье об «Истории» Полевого, 1830), указал французским историкам новые источники, «несмотря на существование исторической драмы, созданной Шекспиром и Гете» [67]. В статье «О драме» (1830) современный этап развития драматического искусства открывается теми же именами: «Шекспир. Гете». Однако следующая фраза: «Влияние его на нынешний Французский Театр,—на нас» [68] несомненно относится не к Гете, а к Шекспиру, вопреки мнению Розова [69], так как Гете на французский театр влияния не имел. В черновике письма Пушкина к Н. Раевскому о «Борисе Годунове» (июль—август 1825) есть также зачеркнутое упоминание о Гете в связи с проблемой трагедии: «Sh. a saisi les passions, Goethe le costume» [70] («Шекспир схватил страсти, Гете обстановку»). Эта краткая, но совершенно точная характеристика исторической живописи гетевского «Геца» примыкает—вероятно не случайно—к отзыву мадам де Сталь: «Les mœurs et les costumes nationaux de l'ancien temps y sont fidèlement représentés» («Нравы и обстановка старины воспроизведены в нем с верностью»).

Наконец знакомство с «Вертером» Пушкин обнаруживает случайно, по поводу «Путешествия» Радищева, вспоминая, не без иронии, трогательный эпизод о нищем певце в главе «Клин». Пушкин отмечает, что рассказ о том, как нищий был похоронен с шейным платком, который подарил ему автор, подсказан Радищеву чувствительным романом Гете: «Имя Вертера, встречаемое в начале главы, поясняет загадку» [71]. Такая точная ссылка доказывает знакомство с романом Гете: Вертер был похоронен с розовым бантом, подаренным ему Лоттой.

Упоминания о Гете в письмах Пушкина немногочисленны и довольно случайны. О чтении Гете свидетельствует известное письмо из Одессы, вскрытое цензурой (март 1824 г.): «Читая Библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира» [72]. Письмо к Погодину (1/III 1828) по поводу отзыва Гете о статье Шевырева (см. выше, стр. 463) называет Гете «нашим германским патриархом» и желает «Московскому Вестнику» «оправдать ожидания истинных друзей словесности и одобрение великого Гете» [73]. Об участии Пушкина в переводе «Фауста» Губера и в судьбе посмертного издания «Эгмонта» А. Шишкова будет подробнее сказано в своем месте.

В произведениях самого Пушкина встречаются также лишь отдаленные и случайные следы знакомства с Гете—не обязательно из первых рук. И здесь на первом месте стоит «Фауст» в своеобразном осмыслении байронического разочарования и французского рассудочного скептицизма. Уже в «Кавказском пленнике» (в рукописных редакциях Публичной Библиотеки и Румянцевского Музея) Пушкин пользуется эпиграфом из «Фауста»: «Gieb meine Jugend mir zürück» [74] («Верни мне молодость мою»); эпиграф этот свидетельствует о том, что в восприятии молодого Пушкина тема «Фауста» перекликается с байроническими настроениями. В печатном издании «Пленника» эпиграф отсутствует, но он повторяется в черновом наброске «Тавриды» (1822). В том же смысле стихотворение «Демон» (1823), говорящее о разрушении мечтательных иллюзий юности скептическим анализом жизненных ценностей, может быть подсказано мыслию о Мефистофеле Гете, но только в самой общей форме, делающей традиционного демона носителем современного рассудочного скептицизма. В черновиках «Адской поэмы» Пушкина (1825) появляются Фауст и бес как действующие лица [75]:

Вот Коцит, вот Ахерон,
Вот горящий Флегетон—
Доктор, сразу, ну, смелее,
Сядь ко мне на хвост...

Фауст и бес переправляются через Флегетон и видят в котлах горящих грешников:

Погляди—цари!—
— О вари, вари!—

Затем бес приводит Фауста в ад, где в это время идет картежная игра:

Привел я гостя—ах, создатель!..
Вот доктор Ф. наш приятель—
Живой?—он жив, да наш давно—
Сегодня ль, завтра—все равно.

Впрочем Фауст в аду не является темой, близкой замыслу Гете. Если праздник в аду мог бы иметь точки соприкосновения с Вальпургиевой ночью, то обозрение адских мук скорее напоминает дантов «Ад». Во всяком случае тревоживший воображение Пушкина образ доктора Фауста связан лишь именем и общей сюжетной ситуацией с Фаустом Гете. То же можно сказать и о программе к Сценам из рыцарских времен (1835), в которой Фауст отождествляется с изобретателем книгопечатания и вместе с Бертольдом Шварцем, изобретателем пороха, помогает ниспровергнуть старый феодальный строй. Ср. конец программы (по-французски—Ленинский Музей, № 2384): «Пьеса заканчивается рассуждениями и появлением Фауста на хвосте дьявола (открытие книгопечатания—другая артиллерия)».

«Сцена из Фауста» (1825) является наиболее значительным откликом Пушкина на тему трагедии Гете. Однако, как уже указывали исследователи, и здесь, несмотря на сходство имен и общей сюжетной ситуации, Пушкин дает вполне самостоятельную концепцию проблемы Фауста, существенно отличную от идеи Гете. Фауст как носитель романтического томления, искатель бесконечного знания и безграничного счастья, погруженный в мистическое созерцание природы, и «чувственно-сверхчувственное» переживание любви, одним словом—романтический Фауст Веневитинова, Тютчева, Аксакова, остается вне поля зрения Пушкина. Его «Сцена из Фауста» стоит вообще под знаком Мефистофеля как главного действующего лица: в нем Пушкин еще усиливает присущие этому образу черты рассудочной критики жизненных ценностей в духе французских «вольнодумцев» XVIII в., скептического «вольтерианства», разоблачающего наивный и мечтательный идеализм. Этот рационалистический «Фауст», воспитанный в умственной традиции французской буржуазной мысли XVIII в., перекликается с разочарованными байроническими героями молодого Пушкина, со скучающим Онегиным и др.

Более отдаленное влияние Гете можно отметить на общем замысле «Разговора книгопродавца с поэтом» (1824). Инсценировка такого разговора между поэтом и предпринимателем, противопоставляющего чистое и возвышенное вдохновение поэта низкому практицизму литературного рынка, дана была Гете в одном из прологов к «Фаусту» («Пролог в театре»—разговор директора театра, поэта и комического актера). Вслед за Гете и Пушкиным этой формой стихотворной беседы о литературе пользовались Лермонтов («Журналист, читатель и писатель», 1840) и Некрасов («Деловой

разговор», 1851). Ближе к Гете по целому ряду реминисценций «Журналист и злой дух» С. Шевырева («Московский Вестник» 1827, ч. VI, стр. 500), диалог, в котором Мефистофель, «первый капиталист в литературе, соблазняет идеального журналиста корыстолюбием и эгоизмом и предлагает ему продать свою душу дьяволу.

Из лирических стихотворений Гете Пушкин использовал только наиболее популярное—песню Миньоны, «Ты знаешь край?», которая в эту эпоху повторяется всеми поэтами как традиционная формула романтического томления. По этой формуле построено начало стихотворения «Желание» (1821), посвященного крымским воспоминаниям поэта:

Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубравы и луга,
Где весело синеют, блещут воды,
Роскошные лаская берега,
Где на холмы, под лавровые своды,
Не смеют лечь угрюмые снега?
Скажите мне: кто видел край прелестный,
Где я любил, изгнанник неизвестный?

Через несколько лет (1827) Пушкин посвящает Италии незаконченное стихотворение такого же типа, на этот раз—с эпиграфом из Гете, сохранившим характерную орфографическую ошибку в первом слове: «Könnst du das Land» Wilh. Meist. («Ты знаешь край?» Вильгельм Мейстер). Второй эпиграф: «По клюкву, по клюкву, по ягоду по клюкву», очевидно пародирует, в сопоставлении с первым, ставшую традиционной романтическую формулу томления:

Кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
Вокруг развалин тихо плещет,
Где вечный лавр и кипарис
По воле гордо разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы... и т. д.

Впрочем дальнейшее описание райской красоты Италии («Италия, волшебный край!..») более напоминает Байрона (лирическое вступление к «Гяуру» и к «Абидосской Невесте»), чем Гете. Следует напомнить, что уже Байрон использовал песню Миньоны для описания экзотических красот южной страны в известном вступлении к «Абидосской Невесте» («Ты знаешь край, где кипарис и мирт—эмблемы деяний, совершающихся в этой стране?..»); именно у Байрона—длинная цепь перечислений этих красот, объединенных повторяющимся союзом: «где... где... где», и т. д. [76] Влияние Гете перекрещивается таким образом у Пушкина, как и у других его современников, с более прочным и авторитетным влиянием Байрона.

Наконец с традицией, восходящей к Гете, впрочем—не непосредственно, а через переводы и подражания Жуковского («Посвящение к Фаусту», «Цвет завета», «На кончину королевы Виртембергской»), связано у Пушкина употребление октавы в медитативной элегии. Строгую форму октавы

Автограф черновых набросков „Адской поэмы“ Пушкина (1825)
Институт Русской Литературы, Ленинград

Автограф черновых набросков „Адской поэмы“ Пушкина (1825)
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

дает пушкинская «Осень» 1830 г. («Роняет лес багряный свой убор»), самостоятельную вариацию восьмистрочной строфы—некоторые лицейские годовщины (1825, 1836). Кроме Пушкина в эту эпоху элегической октавой охотно пользуется Кюхельбекер (например «К Музе» 1829, «Эпилог поэмы» и др., особая форма октавы в «Лицейской годовщине» 1838 г.) [77].

7

Из ближайших учителей Пушкина в стороне от немецких влияний стоит Батюшков, воспитанный на французах и итальянцах: у него нет переводов из Гете, и характерно, что, живя довольно долго в Веймаре (1813), «в отчизне Гете, сочинителя Вертера, славного Шиллера и Виланда», он не искал случая с ним познакомиться [78].

Из друзей и соратников Пушкина кн. П. Вяземский, дворянин английской ориентации, выступает как теоретик романтизма, но романтизма, воспитанного в Англии и Франции. Как поэт и как критик Вяземский прошел мимо Гете, как переводчик он использовал на склоне лет два стихотворения немецкого поэта, связанные с Италией, где он путешествовал: «Сицилийскую песню» и одну из «Венецианских эпиграмм» (VIII), которая подсказала тему для совершенно самостоятельной разработки.

В одном стихотворении, напечатанном в «Современнике» (1836, ч. III, стр. 91), Вяземский использовал песню Миньоны для эффектного смешения русских стихов с общеизвестным немецким припевом:

Kennst du das Land

Kennst du das Land,
wo blüht Oranjenbaum?

Kennst du das Land, где фимиамом чистым
Упоены воздушные струи,
Где по холмам прохладным и тенистым
Весна таит сокровища свои?
Где негой роз и блеском их румянца
Ковры лугов пестреют и цветут,
И где срослись и злато померанца,
И зелени душистый изумруд?

Далее следуют: Kennst du das Land, где север смотрит югом?.. Kennst du das Land, гнездо орлов и грома?.. Kennst du das Land, где пурпуром и златом...; а в заключение—призыв:

Dahin, dahin, Жуковский, наш Торквато!
Dahin, dahin, наш Тициан—Брюллов!.. и т. д.

Этот эффект повторил еще раз Бенедиктов, использовав гетевское «Dahin!» как последний повторяющийся стих. Ср. Стихотворения 1884 г. (т. II, стр. 215):

Была пора: я был безумно молод,
И пыл страстей мне сердце разжигал,
Когда ж подчас суровый зимний холод
От севера мне душу проникал—
Я думал: есть блаженный юг на свете,
Край светлых гор и золотых долин,
И радостно твердил я вместе с Гете:
Dahin!—dahin!... и т. д.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ
Рисунок карандашом О. Кипренского с автографом и дарственной надписью художника (Рим, 17 марта 1835 г.)
Третьяковская Галлерея, Москва

Дельвиг, хотя и немец по происхождению, также развивается вне немецких влияний, по крайней мере—вне сферы влияния Гете. Пушкин свидетельствует о симпатиях юноши Дельвига к немецким сентименталистам, но не упоминает о Гете: «Клопштока, Шиллера и Гёльти прочел он с одним из своих товарищей [Кюхельбекером], живым лексиконом и вдохновенным комментарием» [79]. Мы говорили уже о юношеском переводе элегического стихотворения «Близость любовников»; этот перевод остался единственным и неопубликованным. Отметим, что рукописный сборник Гаевского [80], подготовленный Дельвигом к изданию в 1819 г., открывается эпиграфом из «Певца» Гете, который будет неоднократно повторяться в дальнейшем как утверждение самоценности поэзии и ее независимости от практических целей:

Ich singe, wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet;
Das Lied, dass aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet.

(Я пою, как поет птица, живущая в ветвях, песня, которая рвется из горла, вот дар, который щедро награждает).

Тот же эпиграф предпослан Дельвигом первому собранию его стихотворений (1829).

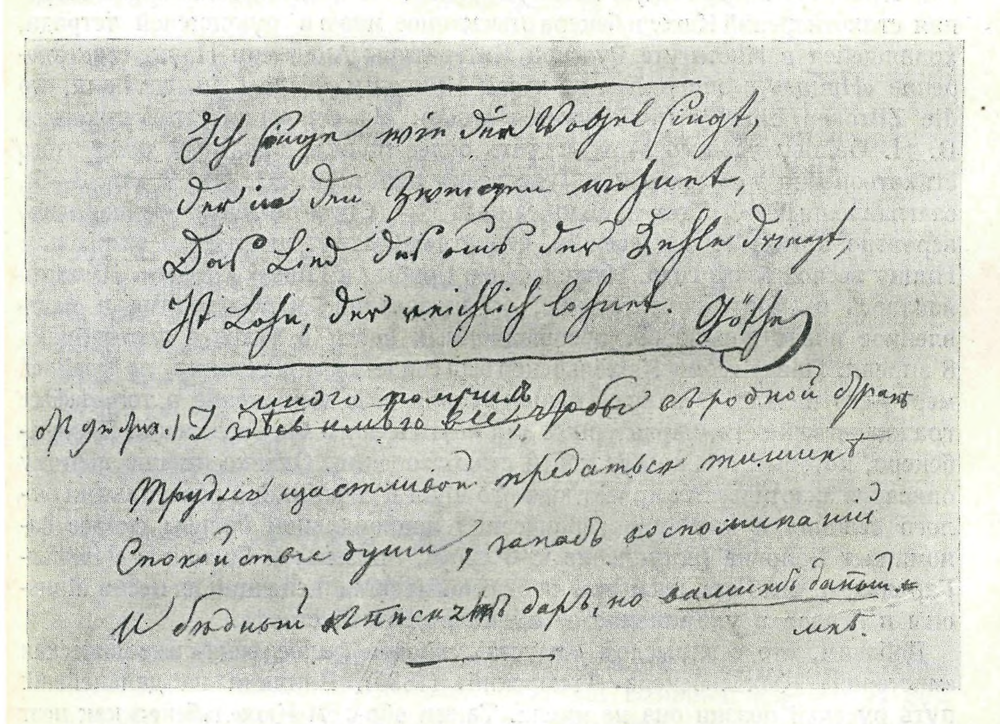
Никаких следов знакомства с лирикой Гете мы не находим у Боратынского, поэта, воспитанного всецело на французской философской и поэтической культуре. Правда, Боратынский отозвался на смерть Гете замечательным стихотворением (1832):

Предстала,—и старец великий смежил
Орлиные очи в покое...

Однако по своему содержанию стихотворение это не выходит за пределы того образа Гете как всеобъемлющего и всеотзывчивого поэта-мудреца,

который, как своего рода легенда, слагается в это время вокруг имени немецкого поэта: он совершил в пределе земном все земное, он облетел мыслию весь мир, он изучил труды мудрецов и создания искусства, он понимал тайную жизнь природы, он испытал сердце человека, и, если есть загробная жизнь, он достоин бессмертия. Для Боратынского, как и для Пушкина, образ Гете стоит недосягаемо высоко, но не конкретизуется непосредственным знакомством и личным переживанием его поэтических произведений.

Н. Языков, хорошо владевший немецким языком и долго проживавший в Дерпте в немецком окружении, был лучше знаком с немецкой литературой, чем остальные поэты пушкинского круга. Он читает по-немецки не только Гете в новом десятитомном издании (4/VIII 1828) [81], он интересуется драмой Грильпарцера «Сафо», сказками Тика, читает Шекспира в немецком переводе и т. д. [82] «Фауста» Гете он называет «возмутительно прекрасным» (18/III 1825) [83]. Началу «Онегина», который ему не понравился, он противопоставляет немцев, Гете и Шиллера, как недосягаемые образцы: «Мы, русские, меряем слишком маленьким аршином умственные творения и думаем, что наша мера такая же, как у просвещенных народов. Как мало наше великое в современной литературе, ничтожно значительное и низко возвышенное, если взглянуть на него, зная Гете и Шиллера, мы никнем перед сими исполинами, а все-таки думаем, что мы ровня им, или потому, что их не знаем, или потому, что не знаем себя и в чем истинная поэзия» (29/II 1825) [84]. Сборник «Стихотворения Н. Языкова» (1833) открывается, как и у Дельвига, эпиграфом из Гете, между прочим тем самым, которым Шевырев открывает в «Московском Вестнике» обсуждение гетевского «Геца».


Ich singe wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet,
Das Lied das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet. Göthe

Автограф записи А. Дельвига четверостишия из Гете „Ich singe wie der Vogel singt...“, предпосланного в качестве эпиграфа к первому собранию стихотворений Дельвига (1829)
Институт Русской Литературы, Ленинград

Wer das Dichten will verstehen,
Muss in's Land der Dichtung gehen;
Wer den Dichter will verstehen,
Muss in Dichters Lande gehen [85].

(Кто хочет понять поэтическое творчество, должен отправиться в страну поэзии; кто хочет понять поэта, должен отправиться в страну поэта).

Тем не менее у Языкова также нет переводов, и его творчество не обнаруживает никаких влияний Гете.

Добавим еще, что И. Козлов, также принадлежащий к этой группе, ни разу не переводил Гете, хотя и является одним из мастеров перевода в пушкинскую эпоху.

Особое место среди сверстников Пушкина занимает Кюхельбекер. Воспитанный в немецкой семье, он уже в Лицее был проводником немецких влияний, в противоположность французским.

Однако в его поэтической практике увлечение Гете не оставило особенно значительных следов. Он переводит стихотворение «Амур-Живописец» («Мнемозина» 1824, ч. IV, стр. 63—65), посвященное теме искусства и приближающееся к атологическому стилю (пятистопные хореи без рифмы):

До зари сидел я на утесе,
На туман глядел я неподвижный;
Простираясь, будто холст бесцветный,
Покрывал седой туман окрестность...

Он коспектирует, как уже было отмечено, комментарии Гете к «Дивану» и переводит стилизованной прозой архаическую, насыщенную торжественной страстностью арабскую военную песню. Не вошло до сих пор в собрания стихотворений Кюхельбекера отысканное мною в рукописной тетради, хранящейся в Институте Русской Литературы Академии Наук, стихотворение «Ницца» с эпиграфом из песни Миньоны: «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?» (публикуется ниже). На основании этой рукописи В. Н. Орлову удалось отождествить более полный печатный текст этого стихотворения в «Московском Телеграфе» 1826 г. (ч. XI, отд. 2, стр. 3—5), озаглавленный «К Гете» и подписанный *—. Стихотворение это написано вероятно в 1821 г. под свежим впечатлением путешествия в Марсель и Ниццу весной этого года. Кюхельбекер прибыл в Ниццу 1 марта. 10 марта началось пьемонтское восстание, организованное карбонариями и подавленное после поражения революционных войск в битве с австрийцами 8 апреля. Повидимому Кюхельбекер был свидетелем восстания, по крайней мере—его начала. Эти впечатления нашли себе выражение в том пафосе гражданственности, характерном для поэтического мировоззрения Кюхельбекера, которым проникнут конец стихотворения. Однако именно поэтому описание экзотических красот южного края в сочетании с развалинами былого величия и картиной героической национальной борьбы скорее напоминает Байрона (вступление к «Гяуру», призывы к Греции в «Чайльд-Гарольде»), чем Гете, несмотря на отдельные реминисценции из песни Миньоны в первой и упоминание ее имени в третьей строфе.

Добавим, что с замыслом «Фауста» связана философски-символическая «мистерия» Кюхельбекера «Ижорский» (1835). Влияния на дальнейший путь русской поэзии она не имела. Таким образом Кюхельбекер как поэт не наметил путей усвоения Гете; они определились всецело под влиянием его младших литературных союзников—любомудров.

8

Начало интенсивного влияния Гете на русскую поэзию относится ко второй половине 20-х годов: его главным проводником был кружок «любомудров», возникший в Москве в 1823 г. и просуществовавший до конца 1825 г., в состав которого входили кн. Вл. Одоевский, Веневитинов, Ив. Киреевский, Кошелев, Рожалин и к которому примыкали Титов, Мельгунов, Шевырев и Погодин. Любомудры выступают против идеологии французского буржуазного Просвещения, против материализма и рационализма «мнимой» французской философии, противопоставляя ей немецкий философский идеализм, в особенности—мистический идеализм Шеллинга, его философию природы и эстетику. Поэзия должна быть тесно связана с философией, должна быть проникнута возвышенной мыслью [86]. Подобно тому как «всякая Наука положительная заимствует свою силу из Философии», пишет Веневитинов, главный теоретик нового направления, так и «поэзия неразлучна с философией» («Разбор статьи о «Евгении Онегине») [87]. «Истинные Поэты всех веков были глубокими мыслителями, были Философами и, так сказать, венцом просвещения...» («Несколько мыслей в план журнала») [88]. Русская поэзия до сих пор отличалась бедностью мысли. Единственный путь углубления—«заставить ее более думать, нежели производить». Залог «самобытности» русской литературы, по мнению Веневитинова, «в одной философии» [89].

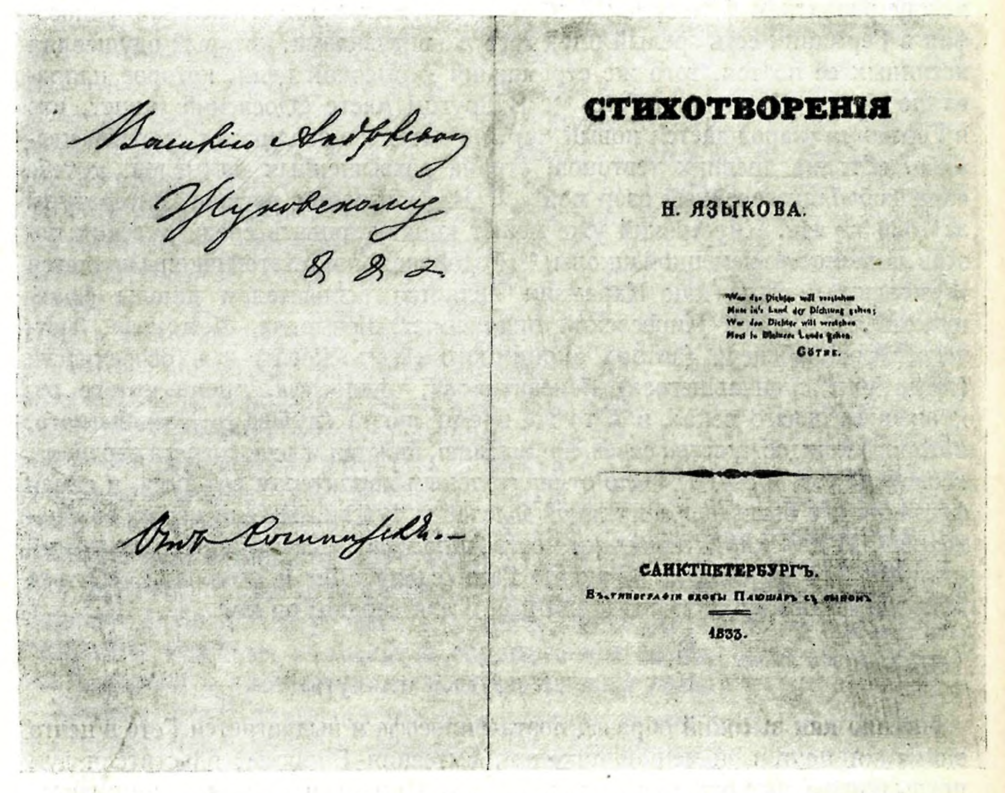
Осуществление идеала философской поэзии любомудры видели в поэзии немецкой. По мнению Веневитинова, в Германии существует тесная связь между развитием философской и поэтической мысли. «Новейшая философия в Германии есть зрелый плод того же энтузиазма, который одушевлял истинных ее поэтов, того же стремления к высокой цели, которое направляло полет Шиллера и Гете» [90]. В другом месте Одоевский пишет, что в Германии «зарождается новый мир, из которого заблистает свет невечерний». «Страна древних тевтонов! страна возвышенных помыслов! к тебе обращаю благоговейный взор мой!» [91] В «Обозрении русской литературы за 1829 г.» Ив. Киреевский уже может констатировать среди русских поэтов наличность «немецкой школы» [92]. Родоначальником этой школы является Жуковский, тогда как Карамзин является основателем школы французской. К первой Киреевский причисляет Шевырева, Хомякова, Тютчева, Кюхельбекера (автора анонимного «Ижорского») и в особенности (тогда уже скончавшегося) Веневитинова, «философа, проникнутого откровением своего века», и в то же время «поэта глубокого, самобытного, которого каждое чувство освещено мыслию, каждая мысль согрета сердцем». «Созвучие ума и сердца было отличительным характером его духа, и самая фантазия его была более музыкой мыслей и чувств, нежели игрою воображения». И для характеристики поэта-философа Веневитинова Киреевский цитирует его перевод из «Фауста» Гете (сцену «Лес и пещера»): «Оттого природа была ему доступною для ума и для сердца; он мог

В ее таинственную грудь,
Как в сердце друга, заглянуть» [93].

Именно как высокий образец поэта-философа и выдвигается Гете в центр внимания поэтов «немецкой школы», вытесняя Байрона, властителя дум предыдущего литературного поклонения. При этом Гете воспринимается сквозь призму Шеллинга и романтизма, приобретает черты мистического идеалиста. Ориентированная на Гете философская поэзия замыкается в

сферу «чистого искусства», эстетико-метафизического созерцания: она относится равнодушно, если не враждебно (как впоследствии Тютчев), к политической идеологии либеральной дворянской литературы начала 20-х годов. В эпоху политической реакции, после подавления восстания декабристов, вместе с которыми сходят с исторической сцены наиболее выдающиеся представители дворянской оппозиции, немецкое философское направление крепнет и становится главенствующим в русской дворянской литературе начала царствования Николая I. Пушкин, вступивший, как известно, в литературный союз с московскими любомудрами, вполне ясно отдавал себе отчет в этой связи между философией и политикой: «Философия немецкая,—пишет он в «Мыслях на дороге» (1833—1835),—которая нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее влияние ее было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения!» [94]

В 1827—1830 гг. кружок любомудров имеет свой печатный орган «Московский Вестник», который издается под редакцией М. Погодина и при ближайшем участии С. Шевырева как идеологического руководителя журнала; официальным покровителем и постоянным сотрудником журнала является сам Пушкин. «Московский Вестник» становится в эти годы идейным центром пропаганды немецкой литературы и поэзии Гете. В «Москов-


Василию Андреевичу
Жуковскому

СТИХОТВОРЕНІЯ

Н. ЯЗЫКОВА.

Göthe.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ типографіи вдовы Плюшаръ съ сыномъ.

1833.

Титульный лист издания „Стихотворений“ Н. Языкова с эпиграфом из Гете (1833)
Экземпляр с дарственной надписью поэта В. А. Жуковскому
Институт Русской Литературы, Ленинград

Н. М. ЯЗЫКОВ
Рисунок карандашом неизвестного художника из альбома А. П. Елагиной
Собрание Беэр, Москва

ском Вестнике» печатаются переводы из Шиллера, Жан-Поля Рихтера, Тика, Гофмана, Гейне, критические статьи Авг. Шлегеля и т. д. Но первое место среди немецких писателей отводится Гете. Из стихотворных вещей здесь напечатаны: «Монолог Фаустов» (Лес и пещера), пер. Веневитинова (1827, ч. I); «Отрывок из междудействия к «Фаусту»: «Елена», пер. Шевырева (1827, ч. VI); три антологических стихотворения («Поэзия», «Время и поэт», «Благодать»), пер. З. (1828, ч. VIII—Шевырев?), стих. из «Дивана»: «Сонные, спите по вашим шатрам...» («Freisinn») (1828, ч. X). Из художественной прозы: отрывок «Характер Гамлета» из «Вильгельма Мейстера», имеющий значение теоретического высказывания (1827, ч. I); другой отрывок оттуда же (книга II, гл. 2) под заглавием: «Одна глава из жизни Вильгельма Мейстера Гете» (1830, ч. III); эпизод из «Годов странствия Вильгельма Мейстера»: «Вот где предатель», пер. Рожалина (1827, ч. II). Из статей по искусству: «Разговор об истине и правдоподобии в искусстве», пер. Шевырева (1827, ч. II), заключающий основы классической эстетики Гете—противопоставление замкнутой обособленной сферы искусства бытовому реализму и эмпирической действительности; несколько отрывков из книги «Винкельман и его век» (1827, ч. I: «Мысли Гете о дружбе, об изящном»; 1830, ч. III: «Древние. Идолопоклонство», из Гете). Гете посвящены оригинальные статьи: Шевырева, о «Геце» по поводу перевода Погодина (1828, ч. XII), с подробной характеристикой пьесы, ее места в немецкой драматургии и несколькими выдержками из автобиографии Гете; его же о «Елене» в связи с переведенным отрывком (1827, ч. VI); о нем говорится в статье Титова «О романе как представителе образа жизни новейших Европейцев» (1828, ч. VII), заключающей характеристику романа немецкого типа Жана-Поля Рихтера и Гете («Вильгельм Мейстер»). Имеются и более случайные упоминания—в рецензии на «Манфреда», пер. Вронченко (1828, ч. X), в полемике с «Московским Телеграфом» (1828, ч. VIII) и др. В первом номере журнала 1827 г. помещен портрет Гете работы близкого любомудрам художника Мальцева. Наконец венчает гетеану «Московского Вестника» письмо самого Гете по поводу «Елены» Шевырева (1828, ч. IX), бла-

говейно воспроизведенное в немецком подлиннике и переведенное по-русски как своего рода благословение великого учителя его ученикам и поклонникам.

Из стихотворных переводов, напечатанных в «Московском Вестнике», наибольшего внимания заслуживает «Елена» Шевырева. Напечатанная весной 1827 г. «Елена, классико-романтическая фантасмагория. Междудействие к Фаусту» была литературной новинкой, когда ею заинтересовался Шевырев. Вторая часть «Фауста» была еще не написана, и Шевырев имел все основания считать «Елену» особым, самостоятельным произведением на тему «Фауста». Произведение это заинтересовало Шевырева как ответ на те проблемы философии культуры и искусства, которые он ставил перед собой как ученый и поэт.

Перевод Шевырева, не всегда буквально точный, прекрасно передает общий дух и художественный стиль оригинала. Примером может служить начало речи Линцея, рассказывающего о победе античной красоты над германскими варварами:

Твой раб, царица, пред тобой!
Он молит милости одной:
Да скажет мне твой светлый взгляд:
«Ты нищ, как раб, как царь богат!»
Кто ныне я — и кто я был?
Я взглядом землю покорил,
Но молния моих очей
Притуплена красой твоей.
С Востока грозно мы пришли —
И Запад стерт с лица земли,
И за народом шел народ,
Не зная, кто во след идет... и т. д.

Пушкин принял участие в гетеане «Московского Вестника» своей «Сценой из Фауста» (1828, ч. IX). Однако философический романтизм немецкого направления остался чужд Пушкину, воспитанному на идеологии французского просвещения, о чем с достаточной ясностью свидетельствует именно «Сцена из Фауста». Он признавал культурные заслуги и дарование молодых московских литераторов: «Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы», «Московская критика с честью отличается от петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие писатели написали несколько опытов, достойных стать на ряду с лучшими статьями английских Reviews» («Мысли на дороге») [95]. Но любомудрам не удалось сделать Пушкина своим соратником, несмотря на то, что Веневитинов в своем послании «К Пушкину» приглашал его—конечно не случайно—воспеть Гете как своего наставника:

...Но ты еще не доплатил
Каменам долга вдохновенья,
К хвалам оплаканных могил
Прибавь веселые хваленья.
Их ждет еще один певец:
Он наш,—жилец того же света.
Давно блестит его венец;
Но славы громкого привета
Звучней, отрадней, глас поэта.

Наставник наш, наставник твой,
Он кроется в стране мечтаний,
В своей Германии родной.
Досель хладеющие длани
По струнам бегают порой,
И перерывчатые звуки,
Как после горестной разлуки
Старинной дружбы милый глас,
К знакомым думам клонят нас.
Досель в нем сердце не остыло,
И верь, он с радостью живой
В приюте старости унылой
Еще услышит голос твой.
И может быть, тобой плененный,
Последним жаром вдохновенный,
Ответно лебедь запоет
И к небу с песнею прощанья
Стремя торжественный полет,
В восторге дивного мечтанья
Тебя, о Пушкин, назовет.

Из перевода Веневитинова в «Московском Вестнике» появился только «Монолог Фаустов», уже отмеченный выше (сцена «В пещере»: «Wald und Höhle», 1827, ч. I). Остальные переводы были напечатаны в 1829 г. в посмертном издании «Сочинений» рано умершего поэта. Они заключают: два отрывка из «Фауста»—«Фауст и Вагнер. За городом» («Vor dem Tor»—пасхальная прогулка, сцена заката) и «Песнь Маргариты» (за прялкой: «Прости, мой покой!»); две сцены из «Эгмонта» (д. I, сц. 2 и 3, заключающая песенку Клары: «Стучат барабаны!»); маленькую стихотворную драму «Земная участь и апофеоза художника». С переводами Веневитинова в русской поэзии появляется романтический Гете в стилизации немецкого философского идеализма. Драма о художнике, его высоких стремлениях, о нищете и бедствиях его земного пути и о посмертной славе, его ожидающей, перекликается с романтической концепцией художника-идеалиста и его земной судьбы в более поздних произведениях Тика, Гофмана, французских романтиков. Отрывки из «Фауста» показывают трагедию Гете в наиболее романтическом аспекте. Томление по недостижимому (романтическая Sehnsucht)—в сцене заката:

... И у кого душа в груди не бьется
И, жадная, не рвется от земли,
Когда над ним, невидимый, вдали
Веселый жаворонок вьется
И тонет в зыбях голубых,
По ветру песни рассыпая!
Когда парит орел над высью скал крутых,
Широкие ветрила расстилая,
И через степь, чрез бездну вод
Станица журавлей плывет
К весне полуденного края!

Непосредственное общение души с природой, пантеистическое переживание природы—в сцене «В пещере» (драматический белый стих ориги-

нала, еще необычный в русской поэзии того времени, заменяется в переводе, по образцу других сцен, вольными рифмованными ямбами):

Всевышний дух! ты все, ты все мне дал,
О чем тебя я умолял;
Недаром зрелся мне
Твой лик, сияющий в огне.
Ты дал природу мне, как царство, во владенье;
Ты дал душе моей
Дар чувствовать ее, дал силу наслажденья.
Иной едва скользит по ней
Холодным взором удивленья,
Но я могу в ее таинственную грудь,
Как в сердце друга, заглянуть...

Наконец песня Гретхен выражает любовное томленье и также окружена атмосферой романтического чувства:

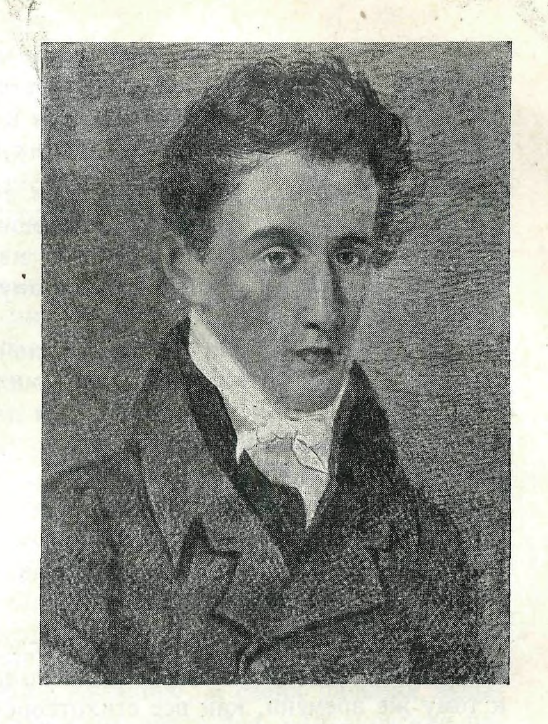
Прости, мой покой!
Как камень, в груди
Печаль залегла,
Покой мой, прости!..

Кроме журнальных стихотворений и отрывков любомудры выступают в эти годы с двумя переводами крупных произведений Гете: это «Гец фон Берлихинген», перевод М. Погодина (1828) и «Вертер», перевод Рожалина (1829), о которых сказано подробнее в своем месте (стр. 526 и 609). Из стихотворений, появившихся вне «Московского Вестника», следует отметить «Прекрасный цвет» («Песнь заключенного рыцаря») в дружественном альманахе «Северная Лира» (1827) Раича и Ознобишина («Das Blümlein Wunderschön»). Перевод по теме и обработке несколько напоминает элегические баллады Жуковского.

К «немецкому направлению» причисляет И. Киреевский и Тютчева, хотя, живя подолгу за границей, он стоял в стороне от литературных партий и не принимал участия в кружке любомудров. Тютчев прожил в Германии с перерывами около шестнадцати лет, был лично знаком с выдающимися представителями немецкой культуры, его первая и вторая жена были немки. Стихотворения Тютчева, особенно 30-х годов, как уже было неоднократно указано, близки по своим лирическим темам, чувству жизни и идеологии немецкому романтизму: мистический пантеизм, космические переживания, непосредственное погружение в живую и таинственную жизнь природы. В этом романтическом аспекте воспринимали русские поэты-идеалисты и творчество Гете. Кроме общей идеологической «атмосферы» философской лирики Тютчева связь с Гете устанавливается и в более случайных подробностях. Так реминисценцией из Гете являются стихи: «Ночь хмурая, как зверь стоокий, глядит из каждого куста» («Песок сыпучий по колени...»); ср. у Гете: «Где темнота глядела из кустов сотней черных глаз» («Wo Finsternis aus dem Gesträuche mit hundert schwarzen Augen sah»: «Willkommen und Abschied»)[96]. Напоминает Гете и стихотворение «Слезы людские, о слезы людские...»; ср. у Гете: «Wonne der Wehmut»: «Trocknet nicht, trocknet nicht, Tränen der ewigen Liebe» («Блаженство тоски»: «Не иссыхайте, не иссыхайте, слезы вечной любви...»).

Среди переводных стихотворений Тютчева, весьма многочисленных (около 50) и сделанных по преимуществу с немецкого, переводы из Гете

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ (?)
Рисунок цветным карандашом и сангиной неизвестного художника
Третьяковская Галлерея, Москва



занимают, уже количественно, первое место (15 или 16). Из них 7 стихотворений были напечатаны в журналах и альманахах конца 20-х и начала 30-х годов, два—в более позднее время (1838? и 1852), а остальные семь увидели свет только в посмертных изданиях. Самое раннее «Сакontала» появилось в «Северной Лире» (1827) и еще не характерно для Тютчева ни по теме, ни по методу перевода: антологическое четверостишие Гете, написанное элегическим дистихом, он развернул в многострофное стихотворение (14 стихов), являющееся свободной вариацией на мотивы немецкого оригинала. Переводы 1828—1832 гг. являются апогеем творческого интереса Тютчева к Гете и показывают нам Гете романтического. В «Галатее» (1830) напечатан отрывок из «Фауста», присланный Раичу из Германии: сцена заката, уже переведенная Веневитиновым: «Зачем губить в унынии пустом...»; в рукописях сохранилось еще 5 отрывков из I части, которые Г. И. Чулков датирует 1828—1830 гг. [97] В той же «Галатее» (1830) помещены баллады «Приветствие духа» и «Певец»: последняя в эту эпоху начинает пользоваться особенным вниманием переводчиков как созвучная романтическому учению о высоком призвании поэта и «свободе» искусства («Я пою, как птица на ветвях»—у Тютчева, с легким, но очень знаменательным переосмыслением: «П о Б о ж ь е й в о л е я п о ю, к а к птичка в поднебесьи»). В следующем году в альманахе «Сиротка» (1831) появляются две песни арфиста из «Вильгельма Мейстера». Из них первая («Кто с хлебом слез своих не ел...») была уже переведена Жуковским и звучит у Тютчева менее элегично, более мужественно и строго. Вторая обращает на себя внимание как романтический опыт в передаче ритмической игры вольного размера оригинала, являющийся для пушкинской эпохи смелым новаторством. Характерно, что современный Тютчеву рецензент «Московского Наблюдателя» (1831) был неприятно шокирован этим новшеством, чем объясняется вероятно его строгий отзыв: «Перевод столь плохой, что досадно читать» [98]; а позднейший редактор нашел нужным разбить его на два самостоятельных стихотворения (изд. Маркса):

Кто хочет миру чуждым быть,
Тот скоро будет чужд!
Ах, людям есть кого любить,—
Что им до наших нужд!

Так! что вам до меня!
Что вам беда моя!
Она лишь про меня,—
С ней не расстанусь я!

Как крадется к милой любовник тайком:
«Откликнись, друг милой, одна ль?»
Так бродит ночию и днем
Кругом меня тоска,
Кругом меня печаль!..
Ах, разве лишь в гробу
От них укрыться мне,
В гробу, в земле сырой,
Там бросят и оне!

Наконец в «Телескопе» (1832)—последний перевод из этого цикла «Вы мне жалки, звезды горемыки!» Согласно датировке К. Пигарева (по рукописи) к тому же времени, как все стихотворения этой группы, относится также оставшийся ненапечатанным до 1886 г. перевод из «Дивана»: «Запад, норд и юг в крушеньи» («Hegire»). Романтическая тема—возвращение из современной разорванности, рационализма и рефлексии в первобытный мир патриархального существования, пребывающий в бессознательной и счастливой мудрости религиозного миропонимания—перекликается с характерной для Тютчева-романтика реакционной критикой идеологии буржуазного просвещения:

Запад, норд и юг в крушеньи,
Троны, царства в разрушеньи,
На Восток укройся дальной
Воздух пить патриархальной,
В песнях, играх, пированье
Обновить существованье.

Там проникну, в сокровенных,
До истоков потаенных
Первородных поколений,
Гласу Божиих велений
Непосредственно внимавших
И ума не надрывавших.

Память праотцев святивших,
Иноземию претивших,
Где во всем хранилась мера,
Мысль тесна, просторна вера,
Слово в силе и почтенье,
Как живое откровенье.

Из стихотворных переводов более позднего времени серьезные сомнения в авторстве Тютчева вызывает приписанная ему последними издателями и комментаторами «Перемена» (1838):

Лежу я в потоке на камнях... Как рад я!
Идущей волне простираю объятья,—
И дружно теснится она мне на грудь;
Но, легкая, снова она упадает,
Другая приходит, опять обнимает:
Так радости быстрой грядою бегут!

Напрасно влачишь ты в печали томящей
Часы драгоценные жизни летящей,
Затем, что своею ты милой забыт:
О, пусть возвратится пора золотая!
Так нежно, так сладко целует вторая,—
О первой не будешь ты долго тужить!

Это стихотворение напечатано в «Московском Наблюдателе» 1838 г. (ч. XVIII, стр. 55) за подписью Т—ъ. В прижизненные собрания стихотворений поэта оно не входило. Первый извлек его из забвения Гербель и напечатал под именем Тютчева в своем издании Гете (т. I, стр. 7). Затем его перепечатал Быков в своем издании стихотворений Тютчева (стр. 373). Между тем Е. Ляцкий напечатал то же стихотворение в Сочинениях К. Аксакова с пометкой: «Перемена печатается по рукописи» (Сочинения, т. I, 1915, стр. 142 и 655). Белинский, руководивший в то время «Московским Наблюдателем» и лично близкий Аксакову, в своих письмах называет это стихотворение в числе аксаковских переводов: «Аксаковские переводы из Гете («Бог и Баядера», «Утренние жалобы», «Перемена»—Лежу я в потоке на камнях,[99] «Тишина на море») больше, нежели хороши—превосходны». Аксаков в это время печатает в «Московском Наблюдателе» целую серию переводов, Тютчев в этом журнале вообще не печатается. Далее—по теме стихотворение совершенно выпадает из сферы тютчевского Гете: это—юношеское стихотворение Гете в стиле лейпцигской анакреонтики, призывающее к легкому и бездумному наслаждению жизнью и смене чувственных удовольствий. Мы увидим, что Аксаков, напротив, именно в эту эпоху увлекается этим новым аспектом лирики Гете и что Белинский приветствует это увлечение как выход в «новую жизнь» (см. ниже, стр. 585). По стихотворной технике «Перемена» также не напоминает Тютчева, в особенности—целая серия неточных рифм: грудь: бегут, забыт: тужить, объятья: рад я.

Таким образом остается предположить, что подпись Т—ъ основана на каком-то неясном для нас недоразумении.

Позднее переводит Тютчев песню Миньоны («Ты знаешь край, где мирт и лавр растет?»), напечатанную в сборнике «Раут» (1852), сознательно вступая в состязание с другими переводчиками: «Романс из Гете,—писал Тютчев Н. В. Сушкову (27 октября 1851 г.),—несколько раз переведен был у нас, но так как эта пьеса—из числа тех, которые почти обратились в литературную поговорку, то она навсегда останется пробным камнем для охотников»[101]. Оригинальной особенностью перевода Тютчева является перестановка второй и третьей строфы (I «край», II «путь», III «дом»). Наконец песня Клерхен, напечатанная в посмертном издании 1884 г. («Радость и горе в живом упоеньи»), согласно указанию К. Пигарева, датируется (по рукописи) 1870 годом.

Особенный интерес для понимания характера усвоения Гете переводчиком Тютчевым представляют шесть отрывков из «Фауста», три из которых были впервые опубликованы недавно Г. И. Чулковым[102]. Тютчев, как и

Веневитинов, усваивает романтический аспект «Фауста»: он даже совпадает с Веневитиновым в выборе двух сцен—сцены заката («Зачем губить в унынии пустом...») и сцены «Лес и пещера» («Державный дух! ты дал мне, дал мне все...»). Остальные отрывки: разговор Фауста с Духом Земли («Кто звал меня?...»), гимн архангелов из «Пролога на небе» («Звучит, как древле, пред тобою...»), монолог под звук пасхальных колоколов («Чего вы от меня хотите?..») также выдвигают в трагедии Гете мотивы космические и религиозные. По стилю однако переводы Тютчева существенно отличаются от стиля переводов Веневитинова: элегическому тону Веневитинова, который мы хорошо знаем по оригинальному творчеству автора философских элегий [103], Тютчев противопоставляет патетическую торжественность и архаику философической оды, характерную для ученика Раича, близкого «младшим архаистам» [104].

Особенно разительно различие с Веневитиновым на примере сцены «Лес и пещера», которую Тютчев, в противоположность своему предшественнику, впервые переводит драматическим белым стихом оригинала:

Державный Дух! ты дал мне, дал мне все,
О чем молил я! Не вотще ко мне
Склонил в лучах сияющий твой лик!
Дал всю природу во владенье мне
И вразумил ее любить. Ты дал мне
Не гостем празднодумным быть
На пиршестве у ней, но допустил
Во глубину души ее проникнуть,
Как в сердце друга! Земнородных строй
Провел передо мной и научил
В дубровельтемной, в воздухе иль в лоне вод [на водах, в эфире]
В них братий познавать и их любить...

К романтическим страницам «Фауста» относится и переведенная Тютчевым песня Гретхен «Der König in Thule» («Король Фульский»), которая с 20-х годов (перевод Загорского в «Северных Цветах» 1825 г.) начинает привлекать внимание поэтов. Перевод Тютчева отмечен между прочим попыткой сохранить дольники немецкого народного стиха («Был царь, как мало их ныне...»),—особенность, сглаженную в посмертных изданиях, как и многое другое, в чем Тютчев отклонялся от традиций пушкинской эпохи.

Не дошел до нас перевод I действия II части «Фауста», завершающий для Тютчева эпоху творческого интереса к Гете (1832—1833). О нем сохранились сведения в письме к Гагарину (7/VI 1836): «По возвращении моем из Греции (1833), я принялся как-то в сумерках разбирать бумаги и уничтожил большую часть моих поэтических упражнений и лишь долго спустя заметил это. В первую минуту мне было немного досадно, но я скоро утешил себя мыслию, что сгорела Александрийская библиотека. Тут был между прочим перевод первого акта из второй части «Фауста», в переводе может быть лучшее из всего» [105]. Как и «Елена» Шевырева, этот утраченный перевод свидетельствует о живом сочувствии русских романтиков поэтической символике II части.

Стихотворение Тютчева на смерть Гете (1832), напечатанное уже после смерти русского поэта, по времени завершает период наиболее интенсивного творческого увлечения Тютчева лирикой Гете. Оно дает наиболее законченный образ «романтического Гете» эпохи любомудров:

Kennst du das Land?..

Автограф перевода Ф. Тютчева стихотворения „Kennst du das Land?“ из „Вильгельма Мейстера“ Гете
Собрание Н. И. Тютчева, Москва

На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом,
Воспитанный его чистейшим соком,
Развит чистейшим солнечным лучом.

С его великою душою
Созвучней всех на нем ты трепетал,
Пророчески беседовал с грозою
Иль весело с зефирами играл.

Не поздний вихрь, не буйный ливень летний
Тебя сорвал с родимого сучка:
Был многих краше, многих долголетней
И сам собою пал, как из венка.

9

Философские и эстетические традиции любомудров продолжает в 30-х годах кружок Станкевича, из которого к началу 40-х годов вышли оба враждующих крыла дворянской литературы: славянофильское—реакционно-феодальное, и западническое—прогрессивно-буржуазное. Все члены кружка в начале своего умственного пути—романтики-шеллингианцы, поклонники Гете и немецкой литературы. Сам Станкевич переводит два стихотворения Гете (1832)[106]. Одно принадлежит к «поэзии мысли»—«Песнь духов над водами», философская ода начала веймарского периода (1779):

Душа человека
Волнам подобна:
С неба нисходит,
Стремится к небу
И вечной премене
Обречена,
Снова должна
К земле обратиться...

Другое—произведение интимной лирики, элегическая песня «К месяцу», в переводе которой Станкевич небезуспешно соперничает с Жуковским:

Снова блеск твоих лучей
Землю осребрил;
Снова думам прежних дней
Сердце он открыл.
Ты глядишь печально в даль
На мои поля:
Иль тебя, мой друг, печаль
Трогает моя?..

В письмах Станкевича дается восторженное морально-философское толкование идеи отдельных лирических вещей Гете. В сентябре 1833 г. он читает Гете с Марией Афанасьевной, героиней его «деревенского романа»[107]: «Мне хотелось показать ей Гете с разных сторон. Я прочел ей, разумеется с выпусками, во-первых «Der Gott und die Bajadere» [«Бог и баядера»]. Это создание удивило ее! Она не ожидала этого от Гете! Идея всезиждущей любви, которою дышет эта легенда,—ей родная с давних пор. Я тоже как будто вновь понял ее! «Kenner des Grossen und Tiefen» [«знающий великое

Ф. И. ТЮТЧЕВ
Портрет маслом неизвестного художника (1820-е гг.)
Музей Тютчева, Мураново

и глубокое», у Гете—эпитет Брамы] как человек действует между человеков. Он не бросает перунов с неба, чтоб разрушить падшее создание, чтобы зажечь жизнь прекрасную, но орудием преображения избирает земных могучих деятелей—л ю б о в ь и г о р е. Очищенная им жизнь отлетает к источнику жизни! За этим я прочел ей балладу «Der Fischer», где выразилось невольное влечение, которое мы испытываем, смотря на спокойную поверхность воды, отражающей небо в своих недрах, потом «Erlkönig» [«Лесной царь»], «Sänger» [«Певец»] и наконец гигантское порождение гения «Die Braut von Korinth» [«Коринфская невеста»]. Нельзя не пасть перед Гете, прочитав это создание! Грозный союз любви и смерти, бледные уста, льющие кровавое вино, мертвая грудь, согревающаяся сладострастным пламенем, и сила юности, испарившаяся в один миг наслаждения, — овладевают душой, потрясают все нервы, так что, по окончании чтения, чувствуешь странный покой, подобный тому, который господствует в природе после ночной грозы, когда туча перешла на другую половину неба и звезды едва начинают блистать, освобождаясь из-под ее покрова...» [108] Незадолго до этого Станкевич сообщает Неверову свой план—написать драму на тему «Баядеры» Гете: «Припала мне охота развить в драматической форме «Баядеру» Гете,—осуществить в ней мое понятие о любви in genere, представить постепенное очищение, возвышение души...» (18/V 1833) [109]. С этим планом он носится в течение месяца и потом бросает его: «Баядеру» я бросил писать, не напишу—во-первых, сюжет гол для драмы, во-вторых, неприятно видеть что-нибудь прибавленное к гениальному произведению, даже отвратительно, тем более, что если я и понимаю мысль Гете, то не выражу так хорошо, как понимаю, а другие скажут, что профан обезобразил chef-d'œuvre. Но я напишу для себя и для тебя, если напишу» (2/VI 1833) [110]. Повидимому мысль о «Баядере» сочетается у Станкевича с личными переживаниями «деревенского романа». Точно так же, чтобы передать другу элегические настроения, овладевшие его душой, он цитирует названное выше стихотворение Гете «К месяцу», сперва по-немецки, потом в переводе Жуковского:

«Fliesse, fliesse, lieber Fluss!
Nimmer werd' ich froh—
So verrauschte Scherz und Kuss...

(Остальное не входит в мои обстоятельства: und die Treue so—мне на неверность жаловаться нечего)» (2/VI 1833) [111].

Но наиболее восторженный и любовный анализ посвящает Станкевич песне Миньоны: «Как божественна становится эта песнь, когда сообразишь обстоятельства, окружающие поэтическое существо—Миньону! Настоящее для нее исчезло—тот, кого она любила всей полнотою огненной души своей, вкушал перед ее глазами наслаждение в чужих объятиях; мир скрылся для нее под погребальным покровом, и тем живее пробудились неясные воспоминания детства! Италия со своими красотами, Италия, украшенная пламенной фантазией (которая тем более работала, чем слабее оставалась в памяти действительность) чудной девы,—вот что сделалось целью ее желаний, ибо желание не умирает, как способность: едва безнадежность убила одно из желаний, как другое возникает на развалинах первого; если же нет—то за этим должно последовать омертвение умственных сил или сама смерть. Последнее сбылось с Миньоной. С одной стороны, встречая возможность слить жизнь свою с жизнью любимого существа, с другой, томимая влечением в страну детства, украшенную (вновь созданную) ее фантазией,—она истаевала; вся она (с представления Гамлета) превратилась в одно Sehnsucht, в страстное влечение, которое возвышалось по мере того, как гасли ее жизненные силы. Наконец, истомленная борьбою, в одежде ангела,—она исповедала свое последнее желание, свои догадки: небесное отечество—вот куда стремилась мысль ее! И все кончено! И роскошное создание природы возвратилось в недра матери из среды людей, которые были недостойны ее! И все это выражает «Kennst du das Land...» Как бы хотелось слышать это чувство, отлитое в звуки! Здесь их поле. Увлечь душу, обаять ее (иначе не могу выразить) должна музыка на эту песню... если она не такова, то музыкант—или не гений, или не знает Миньоны. Эта музыка должна заставить меня схватить тебя за руку и сказать:

Dahin, dahin
Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!» [112]

Восторженные письма Станкевича иллюстрируют проникновение романтического Гете в бытовую атмосферу, в повседневные мысли и переживания русских шеллингианцев начала 30-х годов. В конце 30-х годов, в эпоху увлечения Гегелем, интерес к поэзии Гете достигает апогея. Идеологическую, литературно-философскую сторону этого увлечения раскрывает переписка Белинского. Для Белинского-гегельянца, как и для других членов кружка, Гете—величайший поэт нового времени, один из первых поэтов мировой литературы всех времен [113].

Первая половина 40-х годов является апогеем влияния Гете в России, когда молодая дворянская и уже идущая ей на смену буржуазная интеллигенция воспитывается прежде всего на Гете и Гегеле. Поездки в Германию с учебными и культурно-просветительными целями становятся с конца 30-х годов более распространенным явлением и способствуют также укреплению «немецкой» интеллектуальной ориентации. Впоследствии Боткин писал Фету из Берлина (28/VIII 1862): «Да, здесь es wird mir behaglich zu Mute [мне становится уютно на душе], это главное от того, что все мое духовное развитие связано с Германией. Не говоря уже о философии, поэзии,

даже немецкий комизм мне по сердцу... Станкевич, Грановский, вся моя юность клонит меня к Германии; все мои лучшие идеалы выросли здесь, все первые восторги музыкой, поэзией, философией шли отсюда»[114]. Тургенев, тонкий наблюдатель, показывает нам бытовую сторону этих увлечений уже с критической точки зрения 50-х годов. Так в «Фаусте» (1855) герой предается воспоминаниям, для которых Тургенев привлекает материал, несомненно автобиографический: «Я увидал книги, привезенные мною когда-то из-за границы, между прочим гетевского «Фауста». Тебе может быть неизвестно, что, было время, я знал «Фауста» наизусть (первую часть разумеется) от слова до слова, я не мог начитаться им... Но другие дни—другие сны, и в течение последних девяти лет мне едва ли пришлось взять Гете в руки. С каким неизъяснимым чувством увидал я маленькую, слишком мне знакомую книжку (дурного издания 1828 года). Я унес ее с собою, лег на постель и начал читать. Как подействовала на меня вся великолепная первая сцена! Появление Духа Земли, его слова, помните: «На жизненных волнах, в вихре творенья», возбудили во мне давно неизведанный трепет и холод восторга. Я вспомнил все: и Берлин, и студенческое время, и фрейлен Клару Штих, и Зейдельмана в роли Мефистофеля, и музыку Радзивилла, и все и вся... Долго не мог я заснуть: моя молодость пришла и стала передо мною, как призрак...» В написанном в то время «Рудине» (1855) герой читает Наталье «гетевского Фауста, Гоффмана, или Письма Беттины, или Новалиса, беспрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось темным»; «Рудин,—пишет Тургенев,—был весь погружен в германскую поэзию, в германский романтический и философский мир и увлекал ее за собой в те заповедные страны». В более отсталую, провинциальную мелкопоместную среду переносит нас Тургенев в «Гамлете Щигровского уезда» (1849): комната Софьи, «с желтоватыми альбомцами, резедой, с портретами приятелей и приятельниц, рисованных карандашом», украшена «бюстами Гете и Шиллера, немецкими книгами, высохшими венками и другими предметами, оставленными на память». К тому времени однако, когда культ Гете и немецкой литературы становится массовым бытовым явлением, уже наметился новый поворот в оценке великого поэта, обусловленной обострением классовой борьбы и разложением дворянско-феодального строя дореформенной России.

10

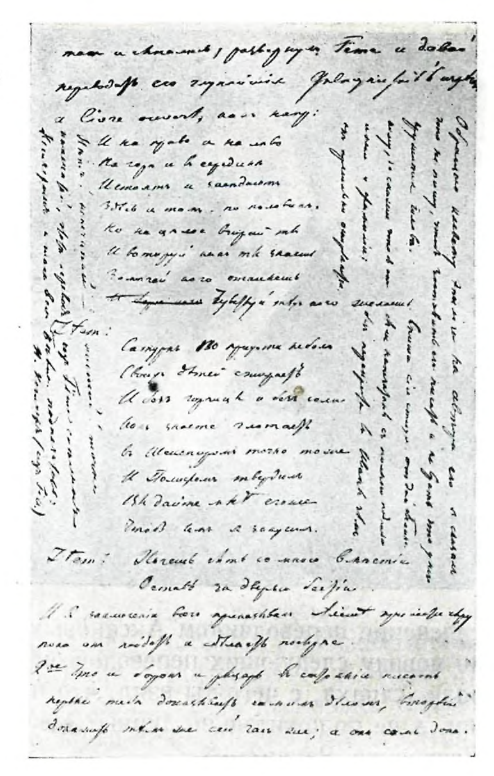
Конец 30-х и 40-е годы, в особенности первая половина последних, являются апогеем поэтического интереса к лирике Гете. На страницах руководящих журналов появляются из номера в номер новые стихотворные переводы: «Московский Наблюдатель» эпохи Белинского (1838—1840) показывает путь, «Отечественные Записки» и «Москвитянин», враждующие журналы западников и славянофилов, одинаково энергично продолжают его работу, поддержанные второстепенными журналами 40-х годов— «Репертуаром и Пантеоном», «Библиотекой для чтения» и др.; «Современник» Панаева и Некрасова во второй половине десятилетия (с 1847 г.) показывает уже значительное ослабление интереса. Почти все молодые поэты 40-х годов, несмотря на сказавшуюся в дальнейшем разницу направлений, испытали в эти годы свои силы на переводах из Гете. Кроме оригинальных поэтов начинают играть значительную роль профессиональные переводчики, обслуживающие широкий круг таких читателей, которые, подобно Белинскому, «не знают по-немецки, хотя и толкуют об искус-

стве Гете и Шиллера»[115]. К числу таких поэтов, известность которых основывается не на оригинальном творчестве, а на интерпретации чужого искусства, относятся в эту эпоху А. Струговщиков (в «Отечественных Записках»), Ф. Миллер (в «Москвитянине») и несколько позже М. Михайлов (в разных журналах). Белинский энергично озабочен тем, чтобы знакомить русских читателей с немцами, в первую очередь с Гете. В 1839 г. он собирается издавать альманах с переводами «из Шекспира, Гете, Гейне, Рюкерта—Каткова, Аксакова»: «за Струговщиковым—несколько переводов из Гете» (Панаеву 22/II 1839)[116]. Для «Отечественных Записок» он намечает в 1840 г. целую серию прозаических произведений Гете: «Да! Кстати: пришла нам с Панаевым мысль—перевести «Вильгельма Мейстера», да и хлопнуть в «Отечественных Записках». Он уместится в 2 №, и хорошо бы было в летние—в июньский и в июльский... Право, славная мысль, и я уверен, что «Вильгельм Мейстер» произвел бы эффект. А там бы и «Wahlverwandschaften»... Не вздумает ли Бакунин перевести записки Гете, переписку Гете с Шиллером? Это были бы и ученые, и вместе журнальные статьи...» (Боткину 16/IV 1840)[117]. Он покровительствует Струговщикову как лучшему, по его мнению, переводчику Гете. Он внимательно следит за появляющимися в журналах новыми переводами (Аксакова, Струговщикова, Огарева) и откликается на них неоднократно в своей переписке[118].

Из поэтов, примкнувших впоследствии к славянофильской группе «Москвитянина», особенно увлекается Гете Константин Аксаков. Его переводы относятся к 1838—1839 гг., когда он еще принадлежал к кружку московских гегельянцев: из них 13 отдельных стихотворений и отрывков были опубликованы в «Московском Наблюдателе» (1838), «Отечественных Записках» (1839) и «Москвитятине» (1840), остальные 6 напечатаны Е. Ляцким по рукописи[119]. Репертуар Аксакова чрезвычайно разнообразен. Ему близок романтический Гете Веневитинова и Тютчева. Как и они, он переводит несколько отрывков из «Фауста» (всего 4)[120], совпадая частично со своими предшественниками в выборе темы (сцена заката; хор архангелов из пролога). К этому циклу «романтических» тем можно присоединить уже переведенные Жуковским баллады «Рыбак» («Волна идет, волна шумит...») и «Пастух» («Там на горе так высоко»...). Сюда же мы отнесем «Певца», который и в эту эпоху продолжает быть выражением романтической идеи «свободы» искусства («Пою, как птица волен я, что на ветвях порхает...»), «Магадева и Баядеру», которого в том же году и в том же «Московском Наблюдателе» переводит И. Петров[121], наконец оставшуюся в рукописи и незаконченную «Коринфскую невесту»:

Юноша, оставивши Афины,
В первый раз в Коринф пришел, и в нем
Отыскать хотел он гражданина,
С кем отец его бывал знаком:
Еще в прежни дни
Сына, дочь—они
Нарекли невестой с женихом...

В то же время рядом с философической «поэзией мысли», особенно близкой молодому гегельянцу, Аксаков переводит интимную лирику личного переживания, например стихотворения «Новая любовь, новая жизнь», «На озере» (темы, которые роднят его с Фетом), «Тишина на море», «Не иссыхайте, не иссыхайте...» («Блаженство тоски»). Наконец он первый обратил вни-



Автограф вольных переводов из Гете в письме Н. Огарева и Х. Кетчера к А. Герцену (1841)
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

мание на тот аспект любовной лирики Гете, в котором доминирует не романтическое томление, а веселое и задорное, подчас ироническое наслаждение действительностью. Сюда относятся два перевода из лейпцигской анакреонтики—«Спасение» и спорная «Перемена», одна из римских элегий («Мальчик! зажги мне огня...») и белые стихи из цикла Кристины: «Посещение» («К милой я хотел прийти сегодня...») и «Утренние жалобы...»:

Ветренная девушка! скажи мне,
Чем я пред тобою провинился,
Что меня измучила ты столько,
Не сдержала данного мне слова?
Вечером вчера так дружелюбно
Ты мне жала руку и твердила:
«Да, приду, приду я перед утром—
Жди меня, друг милый, непременно...»

Белинский приветствовал эти переводы Аксакова как выход «из призрачного мира Гофмана и Шиллера» в мир действительности, чем Аксаков обязан «здоровой и нормальной поэзии Гете» (Станкевичу 19/IV 1839). «Аксаковские переводы из Гете,—писал он тогда («Бог и баядера», «Утренние жалобы», «Перемена»—Л е ж у я в п о т о к е н а к а м н я х, «Тишина на море»)—больше, нежели хороши—превосходны» (ему же 29/IX 1839) [122]. «Утренние жалобы» и «Перемена», как указывает далее Белинский, сыграли существенную роль в его развитии, открыли ему «новую жизнь» (ему же 2/X 1839). Они явились для него этапом борьбы против «прекраснодушия» в жизни и в искусстве, за «разумную действительность», в конечном счете—первым шагом к реалистическому мировоззрению. Правда,

Н. П. ОГАРЕВ
Портрет маслом крепостного художника (1830-е гг.)
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

увлечение переводчиком Аксаковым продолжалось у Белинского недолго; по поводу следующих переводов он уже пишет Боткину (1/III 1840): «Но, ради Аллаха, с чего ты взял, что переводы Аксакова положительно хороши, а не положительно дурны? Неужели это Гете?—чем он выше Семена Егоровича Раича?» [123]

Из поэтов, примыкавших к «Отечественным Запискам», Гете переводит молодой Огарев. Пройдя через период романтических увлечений в середине 30-х годов, Огарев хорошо знал Гете, которого, как и Герцен, при случае цитирует в письмах [124]. Но сюжеты его переводов свидетельствуют о новых идеологических установках: из «Фауста» он переводит две сцены из трагедии Гретхен («Отечественные Записки» 1841)—молитву Гретхен перед образом Богоматери и сцену в соборе, связанные темой сострадания к «падшей». В рукописи сохранилась публикуемая ниже в приложении сцена разговора между Фаустом и Мефистофелем, предшествующая договору: пессимистические рассуждения о смысле жизни и безнадежности идеальных стремлений человека. Следующая за ней сцена является оригинальным произведением Огарева на тему трагедии Гете: борьба между чувственным влечением к женщине и исканием в ней идеальной подруги жизни, несоответствие между высокими стремлениями героя и узким мещанским кругозором его возлюбленной. Мотивы эти имеют для Огарева автобиографическое значение и связаны вероятно с тяжелым опытом его первого брака. Новым в ряду переводов из Гете является также стихотворение «Дяде Кроносу» («Отечественные Записки» 1845), ода эпохи «бури и натиска», воспринятая друзьями Белинского под знаком «выхода в жизнь»:

Ну, скорей, Кронос!
Шумною рысью вперед!
Вниз по горе все дорога.
Что ж? Голова у меня
С тихой езды закружилась,
Живо, хоть тряско, вперед
Рысью по камням и кочкам
В жизнь поскорей выезжай!..

Белинский в письме к Боткину (март 1842) восхищается этим стихотворением, хотя в эту пору уже начинает относиться скептически к Гете: «Дяде Кроносу»—очень удачно переданная вещь»[125]. Характерно, что в то же время оду переводит и Струговщиков («Стихотворения», 1845).

В атмосфере немецкой философии и поэзии вырастает и молодой Тургенев. Данью увлеченья Гете являются его переводы: «Песенки Clärchen в Эгмонте» («Одной лишь любовью блаженна душа»),[126] оставшейся в рукописи, одной из «Римских элегий» (XII) и «Последней сцены Фауста», напечатанных в 1844 и 1846 гг. Выбор сцены из «Фауста»—опять очень знаменателен: как у Огарева,—это одна из сцен трагедии Гретхен, наиболее ярко выражающая мотив сострадания. Об увлечении Тургенева «Фаустом» свидетельствует рассказ под этим заглавием с эпиграфом из трагедии Гете: «Entbehren sollst du, sollst entbehren» и большая рецензия на «Фауста» Вронченко, о которой ниже. К более позднему времени относится перевод стихотворения «Перед судом» (1869), сделанный для романа Виардо; о популярности этого стихотворения в русской гетеане середины XIX в. будет сказано дальше.

Из молодой редакции «Москвитянина» через обязательную стадию увлечения Гете проходит Аполлон Григорьев. Его переводы из Гете печатаются сперва в «Репертуаре и Пантеоне», потом в «Москвитянине» (1845—1852). В 1850 г. он посылает редактору «Пантеона» Ф. А. Кони целый цикл переводных стихотворений: «Посылаю Вам несколько переводов из Гете, которые я желал бы видеть напечатанными не врозь, а вместе» (8/III 1850)[127]. Однако в этом году в «Пантеоне» появилось только одно переводное стихотворение А. Григорьева—«Лесной царь». Он предлагает

Автограф оригинального произведения Н. Огарева „Сцена из Фауста"
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

свои услуги также Краевскому в качестве переводчика гетевской прозы (16/XII 1849): «Вместе с тем позвольте обратиться к Вам со следующим делом: не угодно ли Вам поместить у себя в нынешнем году полный перевод «Вильгельма Мейстера», по крайней мере «Lehrjahre». Постоянно изучая Гете, я бы занялся этим делом с величайшим наслаждением и притом без особенных претензий, т. е. за Вашу обыкновенную, казенную плату с переводного листа, больше я даже не хочу, потому что этот труд был бы для меня, так сказать, отдыхом...»[128] Однако Краевский не осуществил старинного плана Белинского напечатать перевод романа Гете, и перевод А. Григорьева появляется спустя несколько лет в «Москвитянине» (1852), однако остается незаконченным: А. Григорьев перевел только две книги, третья переведена Л. Меем[129].

Репертуар стихотворных переводов Ап. Григорьева очень разнообразен. В его составе имеются старые романтические сюжеты: «Певец» и «Лесной царь». В последнем молодой поэт соперничает с Жуковским, решаясь впервые передать дольники немецкого оригинала, замененные у Жуковского метрическим однообразным амфибрахием:

Кто мчится так поздно под вихрем ночным?
Это—отец с малюткой своим.
  Мальчика он рукой охватил,
  Крепко прижал, тепло приютил.
— Что все личиком жмешься, малютка, ко мне?
— Видишь, тятя, лесного царя в стороне?
  Лесного царя в венке с бородой?
  — Дитятко,—это туман седой.

Рядом с этим—группа философских стихотворений: «Божественное» («Прав будь человек»...), ода начала веймарской эпохи, «Похоронная песня», неожиданно оказавшаяся созвучной масонским гимнам самого Григорьева, наконец «Das Vermächtnis» («Завет»), помещенное в статье о Тургеневе («Русское Слово» 1859) без указания имени переводчика как философское credo автора статьи. «Уловить в преходящем вечное и непременное,—пишет Григорьев в духе философского идеализма своих ранних статей,—принять его в себя не отвлеченно и искать его повсюду деятельно—вот правда, которая лежит под сердцем человеческим, и тогда, по слову Гете (Das Vermächtnis):

Внутри души своей живущей
Ты центр увидишь вечно сущий,
В котором нет сомнений нам:
Когда тебе не нужно правил,
Сознанья свет тебя наставил
И солнцем стал твоим делам...»

Примыкающая к философской лирике «Песня художников» («Снова ночь застала нас у ворот святыни...»), хотя и напечатана в «Иллюстрации» (1845, т. I) и оттуда у Гербеля с пометкой «из Гете», однако повидимому Гете не принадлежит и входит в цикл «масонских» гимнов самого Григорьева.

Новые темы представлены стихотворением «Покаянье» (1846), одновременно переведенным Плещеевым, и в особенности «Молитвой Парии» (1845), в которой Гете, в соответствии с господствующим умонастроением 40-х годов, выступает в неожиданном аспекте—социальной жалости.

Наконец отдал дань Гете и молодой Чернышевский. В его рукописях ученических лет имеются записи стихотворений Гете на немецком языке [130]. В студенческие годы он с увлечением читает немецкого поэта и делает доклад о нем у проф. Никитенко, защищая его от упрека в эгоизме [131]. Он даже замышляет написать рассказ из жизни Гете, выбирая темой его любовь к Лилли Шенеманн [132]. Во время саратовской ссылки и увлеченья своей будущей женою, О. С. Васильевой, Чернышевский ведет дневник, в котором цитирует любовное стихотворение Гете «Майскую песню» («Mailied») как созвучное его юношеской любви: «O Mädchen, Mädchen, wie lieb' ich dich!», однако—с характерным изменением: любовь вдохновляет его не на «песни и пляски», как Гете («zu neuen L i e d e r n und T ä n z e n»), но «на с ч а с т ь е и д е я н и я»:

...Die du mir Leben
Und Freud und Mut
Zu neuen Liedern
Und Tänzen gibst [133].

К этому времени относится перевод «Бога и Баядеры» Чернышевского, сохранившийся в рукописном фонде Дома-музея им. Чернышевского в Саратове и публикуемый в приложении по списку, приготовленному к печати В. Я. Каплинским. Для Чернышевского вероятно моральная тема этой баллады перерастает в социальную. В одной рецензии «Современника» (1860, № 6) он хвалит Гете за то, что, найдя в старинной легенде «намек на идею, которой сам был проникнут, развивал этот намек, ярко выставляя тот смысл, какой могли видеть в старом преданьи люди современные» [134]. Как хорошо был начитан Чернышевский в стихотворениях Гете, видно из случайной цитаты, вставленной в статью «О причинах падения Рима» (1861) [135]. Рассуждая о том, была ли исторически необходимой гибель Рима, он иллюстрирует свою мысль примером разрушения Магдебурга войсками Тилли во время Тридцатилетней войны и тут же цитирует стихотворение Гете на эту тему, стилизованное под старинные немецкие «исторические песни», передавая его содержание в прозе, тоже стилизованной: «Магдебург, Магдебург! Девушки в нем красавицы,—красавицы в нем и девушки и женщины. Все цветет там. Идет к нему Тилли, по цветущим лугам, по цветущим садам, идет к нему Тилли. Стал под ним Тилли—«Кто спасет наш город, кто спасет наш дом! Иди, мой милый, бейся с ним».—«Он не страшен, как ни грозит нам. Поцелую твои алые губки. Он не страшен».—Конец песни вам известен. Защитники Магдебурга перебиты, город взят, девушка бежит. Ландскнехт останавливает ее».

Среди поэтов старого и нового поколения, промелькнувших в 40-х и в начале 50-х годов с переводами из Гете, мы находим имена Лермонтова, Полонского, Плещеева, Мея. Лермонтов прошел мимо философских увлечений «немецкой школы»: он продолжает традицию дворянской политической оппозиции пушкинской эпохи, мятежного индивидуализма, ориентирующегося на передовые литературы Запада, на Байрона; во второй половине 40-х годов он сделается учителем новой общественной лирики мелкобуржуазно-демократического направления—Некрасова и его школы. Поэтому Лермонтов не участвует в общем увлечении Гете. Он перевел, вернее переделал, одно стихотворение «Горные вершины» («Wanderers Nachtlied»), появившееся в «Отечественных Записках» 1840 г. Его юношеское стихотворение «Завещание» («Есть место: близ тропы глухой...» 1831),

помеченное в автографе «Из Гете», является, как показал И. Эйгес[136], поэтическим переложением отрывка из предсмертного письма Вертера («Auf dem Kirchhof sind zwei Lindenbäume»).

Молодой Плещеев, испытавший в начале своей поэтической деятельности сильное влияние Гейне, засвидетельствованное большим числом переводов, перевел в 40-х годах два стихотворения Гете, помещенные в «Современнике» (1844—1845): «Тишина на море» и «Молитва». Последнее интересно по своей теме: женщина раскаивается в том, что своей холодностью загубила влюбленного в нее юношу. Новый аспект лирики Гете, засвидетельствованный этим стихотворением, которое переведено также Ап. Григорьевым, поразил впоследствии Чернышевского, отметившего в рецензии на сб. стихотворений Плещеева (1861)[137]: «перевод одного очень хорошего, хотя и мало известного стихотворения Гете: «Молитва»:

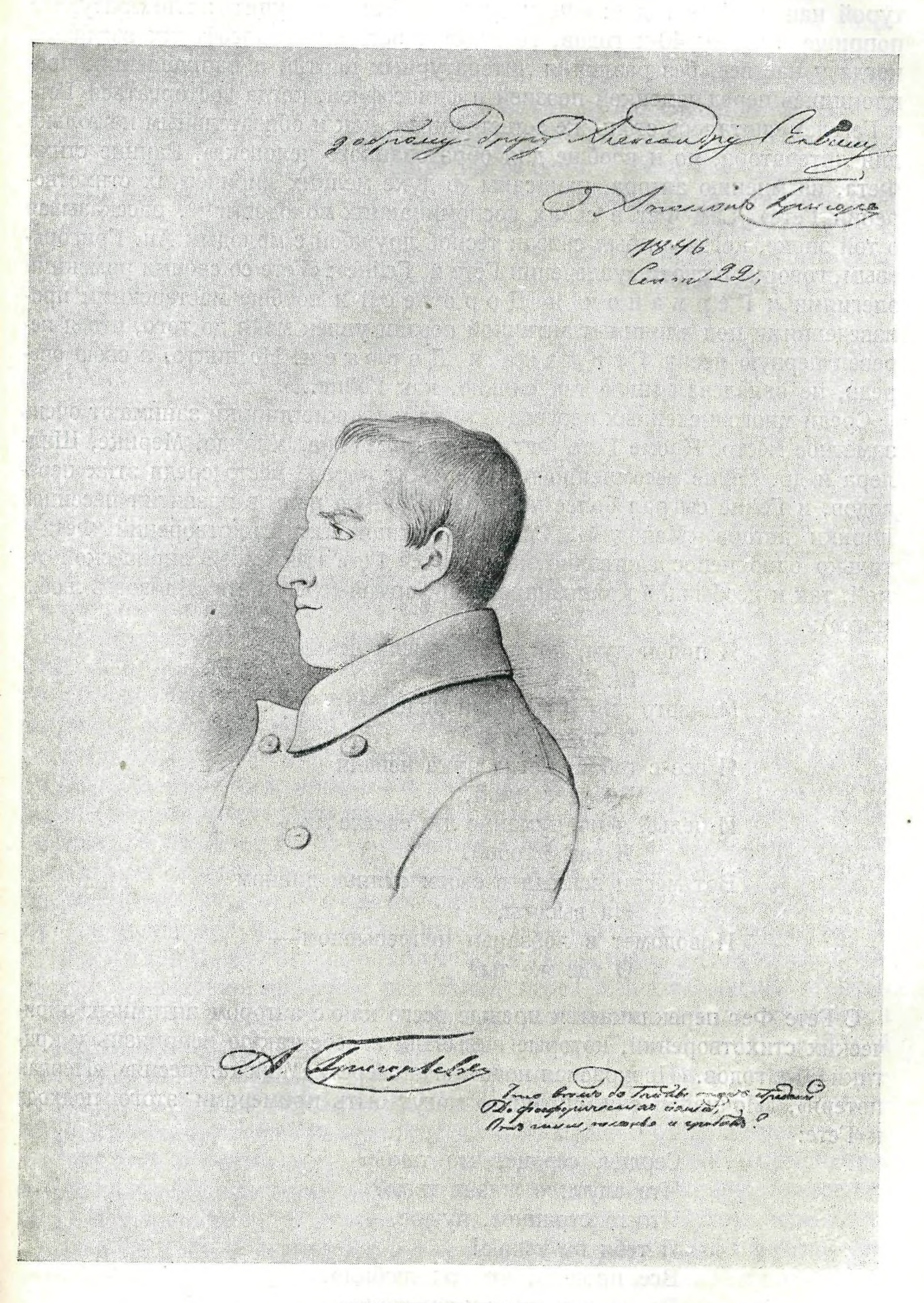
О мой творец! о боже мой!
Взгляни на грешную меня:
Я мучусь, я больна душой,
Изрыта скорбью грудь моя.
О мой творец, велик мой грех:
Я на земле преступней всех!..

Л. Мей, участвовавший вместе с Ап. Григорьевым в переводе «Вильгельма Мейстера» для «Москвитянина», перевел из третьей книги песни Миньоны и Арфиста. Наконец Полонский дал в «Современнике» (1851) вольное подражание «Рыбаку» Гете, занимающее довольно случайное место среди его ранней лирики:

Волна бежит, шумит, колышет
Едва заметный поплавок,
Рыбак поник и жадно дышет
Прохладой, глядя на поток... и т. д.

В то время как для всех перечисленных литературных деятелей и поэтов середины и второй половины XIX в. увлечение Гете является только этапом их юношеской, романтической молодости, три крупных лирических поэта этой эпохи, плывущих «против течения», сохраняют на протяжении всего своего развития верность воспитавшей их идеологии, это—Фет, Майков, Ал. Толстой. Представители реакционного, дворянско-феодального крыла русской литературы того времени, консерваторы по политическим убеждениям и романтики по литературным симпатиям, они сохраняют связь с немецкой поэтической традицией, господствовавшей в 30-х и начале 40-х годов, и противопоставляют социально-активной поэзии буржуазно-демократического направления аристократический лозунг «чистого искусства», опирающийся на гетевское изречение: «Я пою, как птичка на ветвях» («Ich singe wie der Vogel singt»). Как лирики по преимуществу, притом лирики интимного переживания, они перекликаются с лирикой Гете,—каждый конечно по-своему, в пределах свойственного им самим художественного опыта.

Фет, по матери немец, в молодые годы, как вспоминает о нем Полонский, «восхищался не только Языковым, но и стихотворениями Бенедиктова, читал Гейне и Гете, так как немецкий язык был в совершенстве знаком ему»[138]. Автор посвященного ему в «Русской Мысли» некролога[139] справедливо указывает на связь его умственных интересов с романтической куль-



АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ

Портрет карандашом работы Ф. Бруни с автографом А. Григорьева (1846)

Третьяковская Галлерея, Москва

турой начала 40-х годов: «Фету суждено было выступить на литературное поприще в эпоху 40-х годов, господства эстетико-философских взглядов, когда у нас все, без различия литературных партий и направлений, преклонялись перед немецкой поэзией и философией, когда восторгаться Гете и Гегелем считалось столь же естественным, как и обязательным не только для литератора, но и вообще для образованного человека». Ранние стихи Фета, по мнению автора, написаны «в духе мелких лирических стихотворений Гете». Сам Фет в своих воспоминаниях молодости [140], рассказывая о той эпохе, когда он был связан тесной дружбой с молодым Ап. Григорьевым, говорит о своем «увлечении Гете и Гейне»: «Гете со своими римскими элегиями и Германом и Доротеей и вообще мастерскими произведениями под влиянием античной поэзии увлек меня до того, что я перевел первую песню Германа и Доротеи. Но никто, в свою очередь, не овладевал мною так сильно, как Гейне...»

Среди многочисленных переводов Фета немецкие лирики занимают очень заметное место. Кроме Гете Фет переводил Гейне, Уланда, Мерике, Шиллера и др. Гейне несомненно принадлежит первое место среди этих переводов, и Гейне сыграл более непосредственную роль в развитии песенной лирики автора «Мелодий». Среди оригинальных стихотворений Фета— только одно непосредственно напоминает Гете как своей лирической темой, так и необычной композиционной формой (ср. у Гете «Близость любимого»):

Я полон дум, когда закрывши вежды
Внимаю шум
Младого дня и молодой надежды,
Я полон дум.
Я все с тобой, когда рука неволи
Владеет мной,
И целый день, туманно ли, светло ли—
Я все с тобой.
Вот месяц всплыл в своем сияньи дивном
На высоты,
И водомет в лобзаньи непрерывном,—
О где же ты?

С Гете Фет перекликается прежде всего как с автором интимных лирических стихотворений, которые вызывали к себе такую неприязнь у критики 60-х годов. «Прекрасная ночь», «На озере», «Майская песня», «Первая потеря», «Ночная песня путника» могут быть примерами этого подхода к Гете:

Сердце, сердце, что такое?
Что смутило жизнь твою?
Что-то странное, чужое,—
Я тебя не узнаю!
Все прошло, что ты любило,
Все, о чем ты так грустило,
Труд и отдых—все прошло,—
До чего уже дошло!..

Романтический Гете представлен традиционными балладами «Певец», «Рыбак», «Лесной царь», философическая ода—«Границами человечества» и «Зимней поездкой в Гарц»; на этих последних стихотворениях, как и на

переводах из цикла «Северное море» Гейне, Фет учился вольному стиху без рифм, который играет существенную роль в его собственном творчестве. Об увлечении антологическими стихотворениями Гете мы слышали в его воспоминаниях. Полоса увлечения античными формами и сюжетами проходит через оригинальную лирику Фета; начатый под этим знаком в юношеские годы перевод «Германа и Доротеи» был напечатан в «Современнике» в 1856 г. О переводе «Фауста» мы скажем в своем месте.

Интимные лирические стихотворения Гете переводит и А. Майков («Эта маленькая Лилли», «Ах, скажите мне прямо, чудесные глазки...» и др.). Но для Майкова как классициста характерна установка на античные стилизации Гете: он переводит идиллии «Алексис и Дора» (1870) и «Поэт и цветочница» (1872).

Наконец Алексей Толстой, воспитанный, как и Фет, на немецких литературных влияниях, переводит две баллады Гете, из которых первая не раз пленяла поэтов романтической эпохи: «Бога и Баядеру» («Русский Вестник» 1867) и «Коринфскую невесту» («Вестник Европы» 1868). А. Толстой прекрасно владел немецким языком, о чем свидетельствуют его юмористические немецкие стихи (в записной книжке 1867 г., хранящейся в Рукоп. отдел. Инст. Русск. Литер. А. Н.); он подолгу живал в Германии, встречаясь с наиболее известными представителями ее интеллектуальной культуры; переводы сделаны во время путешествия (в Карлсбаде в 1867 г.) и помечены Веймаром, где Толстой находился несколько времени спустя. О художественном методе своих переводов Толстой писал своей будущей жене, С. А. Миллер (30/IX 1867): «Я уже перевел 16 строф из «Коринфской невесты», и мне кажется, что между ними есть некоторые отличные... Я стараюсь, насколько возможно, быть верным оригиналу, но только там, где *верность* или точность не *вредит художественному впечатлению*, и, ни минуты не колеблясь, я отдаляюсь от подстрочности, если это может дать на русском языке другое впечатление, чем по-немецки. Я думаю, что не следует переводить *слова*, и даже иногда *смысл*, а главное, надо передавать общее *впечатление*.—Необходимо, чтобы читатель перевода переносился бы *в ту же сферу*, в которой находится читатель оригинала, и чтобы перевод действовал на *те же нервы*. И этого кажется мне удалось достичь.—Что ужасно трудно—это маленькие, короткие два стиха перед концом каждой строфы. Наши слова все гораздо длиннее, чем немецкие, и против воли приходится иногда отказаться от перевода маленьких подробностей; в «Коринфской невесте» довольно большое количество стихов, вставленных лишь как заклепки, и я эти стихи без церемонии отбрасываю, и русская строфа выигрывает и становится лучше немецкой. «Бог и Баядера» гораздо легче, так как там нет этих коротеньких стихов, и вышло по-русски очень гармонично, и, мне кажется, переносит вполне читателя в желанную сферу, тожественную с оригиналом»[141]. В другом письме он повторяет: «Нужно переводить *впечатление оригинала*, и поэтому некоторые переводы могут передать лучше мысль поэта, чем он сам это сделал... Я не знаю, что ты скажешь о моем переводе «Коринфской невесты», но я уверен, что я передал *впечатление*, часто не обращая внимания на подробность...» (13/X 1867)[142].

Эта теория художественного перевода при поверке поэтической практикой А. Толстого вовсе не обозначает импрессионической техники перевода. Черновые наброски перевода «Бога и Баядеры», сохранившиеся в

записной книжке 1867 г. (в Рукоп. отдел. Инст. Русск. Литер. А. Н.), и сравнение первопечатной редакции обеих баллад с окончательными собраниями стихотворений показывает, как долго и строго работал Толстой над окончательным текстом своих переводов. Но по сравнению с профессиональными переводчиками второй половины XIX в., переводившими основную «мысль» стихотворения, т. е. его содержание в отрыве от формы, Толстой сумел передать своеобразную лирическую атмосферу обеих баллад, их художественное «впечатление»—и в этом специфическая установка его переводов, основанная на творческом переживании лирики Гете.

Неопубликованными остались черновые наброски двух песенок Клэрхен, сохранившиеся в записной книжке, хранящейся в Рукописном отделении Института Русской Литературы (публикуются ниже).

Оба стихотворения принадлежат к числу наиболее часто переводившихся в романтическую эпоху русского гетеанства.

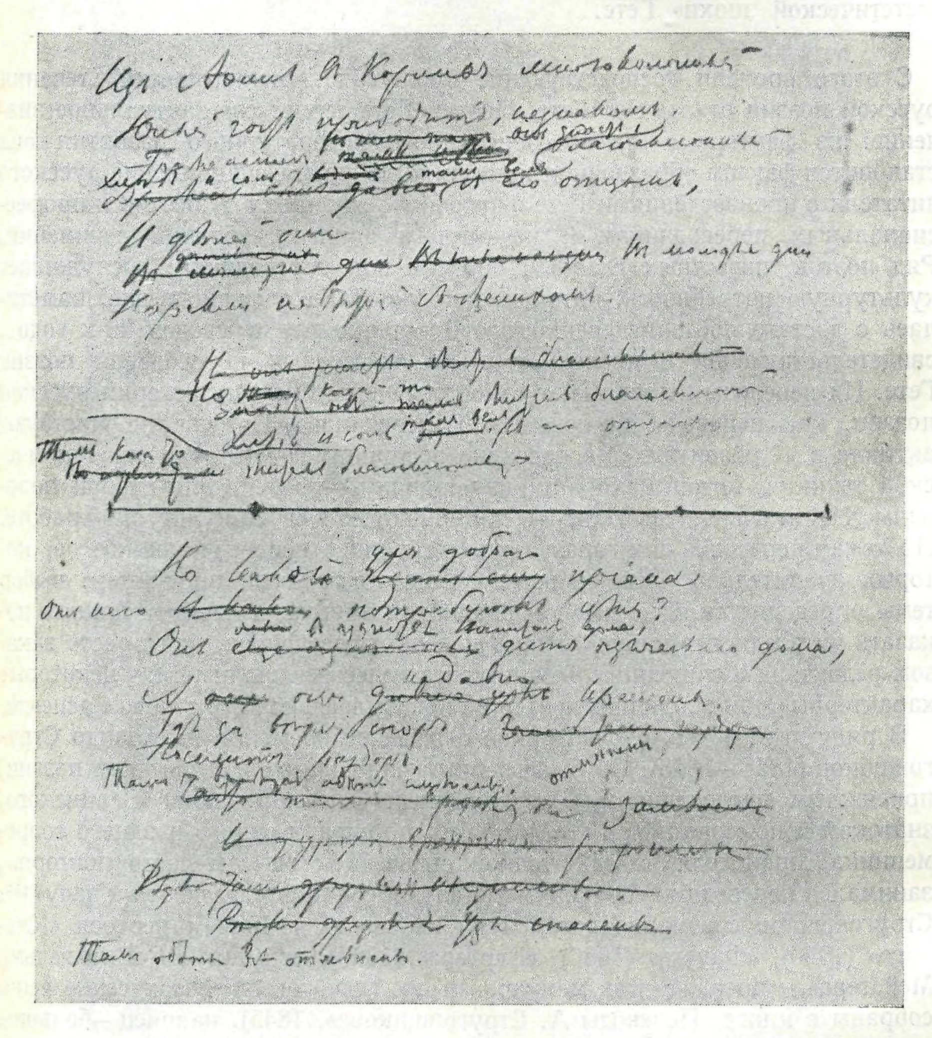
В оригинальном творчестве А. Толстого влияние Гете отразилось на замысле философской драмы «Дон Жуан», в особенности на прологе этой драмы, напоминающем «Пролог на небе» в «Фаусте». Песня Миньоны использована как композиционная канва для украинского лирического сюжета в стихотворении «Ты знаешь край, где все обильем дышет...»

Характерно, что переводы этих поэтов относятся не только к ранней молодости, но что интерес к Гете они сохраняют в зрелый период своего творчества, притом в такую эпоху (50—70-е годы), когда никто другой из крупных поэтов и писателей не уделяет никакого внимания лирическому творчеству немецкого поэта. В этом смысле для второй половины XIX в. характерна позиция Некрасова: хотя у него имеются переводы из Гейне и подражания Шиллеру, но Гете в его творчестве совершенно не представлен. Перелом намечается, как мы отмечали, уже в 40-х годах.

В середине 40-х годов отходит от своего юношеского увлечения Гете и Тургенев. Об этом свидетельствует его большая рецензия на «Фауста» Вронченко («Отечественные Записки» 1845, № 1)[143]. Гете, по мнению Тургенева, «был—поэт по преимуществу, поэт, и больше ничего. В этом, по нашему мнению, состоит все его величие и вся его слабость» (стр. 223). В соответствии с особенностью общественного развития Германии XVIII в. «последним словом всего земного для Гете (так же, как и для Канта и Фихте) было человеческое «я»: для Фауста не существует общество, не существует человеческий род: он весь погружается в себя, он от одного себя ждет спасения» (стр. 224). Поэтому Гете, который «гордился тем, что все великие общественные перевороты, которые совершались вокруг него, не возмутили ни на мгновение его душевной тишины», «остался назади своего века» (стр. 231). В наше время перед людьми стоят другие требования: «В жизни каждого из нас есть эпоха, когда «Фауст» нам является самым замечательным созданием человеческого ума, когда он вполне удовлетворяет всем требованиям; но приходит другая пора, когда, не переставая признавать «Фауста» величавым и прекрасным произведением, мы идем вперед, за другими, может быть меньшими талантами, но сильнейшими характерами, к другой цели...» (стр. 233).

То, чего не договаривает здесь Тургенев,—противопоставление индивидуализму минувшей эпохи борьбы за общественный идеал—с отчетливостью высказано молодым Герценом уже в первых его высказываниях о Гете. Несмотря на то, что Герцен никогда не принадлежал к немецкому философско-идеалистическому кружку Станкевича, он с молодых лет был

погружен, как и все его современники, в атмосферу произведений Гете, которые постоянно цитирует. Однако уже в 30-х годах он осуждает Гете с точки зрения общественно-политической, изображая его в рассказе «Встречи» (1834) в комической роли придворного поэта и ученого, напыщенно и по-дилетантски рассуждающего в лагере интервентов во время французской кампании о тех грандиозных событиях, которые развертываются перед его глазами, и бравирующего тем, что в походе он занимался теорией цветов. Острие рассказа подчеркивает иронический эпиграф из Гете: «Что



Черновой автограф перевода А. Толстого „Коринфской невесты“ Гете
Институт Русской Литературы, Ленинград

хорошего или дурного сделала французская революция, об этом я не могу судить; знаю только, что этой зимой она даст мне несколько лишних пар чулок». Этот мотив еще раз повторяется в «Записках одного молодого человека» (1838).

Это отношение к Гете в конце 40-х годов становится в условиях обострившейся классовой борьбы характерным для всей политически-оппозиционной литературы либеральной дворянско-буржуазной и революционно-

демократической, ориентированной на общественные проблемы и пренебрегающей лирикой ради социального романа с актуальным и поучительным содержанием. Новая литература, вышедшая из так называемой натуральной школы, учится не у Гете, а у передовых писателей буржуазного Запада—Бальзака, Диккенса, Жорж Занд. В 50-х и 60-х годах вырастает мелкобуржуазно-демократическая литература, и литературная критика ставит под сомнение самые принципы эстетики старой дворянской литературы, подобно тому как в 30-х годах в самой Германии велась борьба против «эстетической эпохи» Гете.

11

С этого времени господствующие буржуазно-демократические течения русской поэзии отходят от Гете. Поэзия Гете теряет свое актуальное значение: из фактора и факта современного литературного развития она становится фактом образования истории культуры. Ознакомление русского читателя с произведениями Гете переходит в эту эпоху от поэтов к профессиональным переводчикам и редакторам полных собраний сочинений. Ряд поэтов, известных главным образом как переводчики, обслуживает культурную потребность, которая, как уже было указано выше, наметилась с достаточной определенностью в журнальных переводах 40-х годов, свидетельствующих о численном росте «массового» потребителя поэзии Гете. Их переводы не занимают самостоятельного места в истории русской поэзии, как переводы Жуковского, Веневитинова, Тютчева, не участвуют активно в ее развитии: они пассивно воспринимают тот уровень поэтической техники, который характеризует эпоху,—уровень для второй половины XIX в. очень невысокий—и применяют ее в своей культурной работе. По темам переводов они гораздо разностороннее переводчиков-поэтов, которых значительно превосходят и количеством своей продукции: выбор темы определяется здесь не всегда личным вкусом, а часто желанием показать читателю что-нибудь новое, еще не переведенное, или просто заказом редактора «Сочинений». Тем не менее и здесь можно отметить некоторые характерные для эпохи предпочтения, показывающие Гете в новом аспекте.

В ряду этих новых переводчиков первый по времени—Александр Струговщиков (1858—1878). Он был военным чиновником и любителем поэзии, присяжным переводчиком «Отечественных Записок» эпохи Белинского, знатоком и поклонником Гете, который, по словам одного позднего современника, происходя из зажиточной семьи, как он сам часто повторял, занимался переводами «не ради металла», а «con amore, из любви к делу»[144]. Струговщиков специализировался на переводах из Гете и перевел «Клавиго» (1840), «Фауста» (1856), «Вертера» (1865), отрывки из «Вильгельма Мейстера» и прозаических мемуаров и др. (некоторые прозаические вещи собраны в книге «Переводы А. Струговщикова», 1845), наконец—большое число лирических стихотворений, которые печатались в журналах (главным образом в «Отечественных Записках» 40-х гг.) и были собраны в книге «Стихотворения Александра Струговщикова, заимствованные из Гете и Шиллера», СПБ, 1845; отдельным изданием вышли «Римские элегии» (1840), вызвавшие большую и очень сочувственную статью Белинского («Отечественные Записки» 1841, т. XVII). Белинский «открыл» Струговщикова, печатавшего свои переводы во второй половине 30-х годов преимущественно в «Сыне Отечества» и «Библиотеке для чтения», и привлек его к участию в «Московском Наблюдателе» и «Отечественных Записках». «Скажите мне, что за человек Струговщиков?—писал Белинский

Панаеву (10 августа 1838).—У него есть талант, он хорошо переводит Гете, по крайней мере, получше во 100 раз Губера, который просто искажает Фауста... Если вы знакомы с Струговщиковым, то попросите у него что-нибудь для меня, я с благодарностью (разумеется н е в е щ е с т в е н н о ю)

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
Рисунок карандашом работы К. Горбунова (начало 40-х гг.)
Исторический Музей, Москва

поместил бы» [145]. В случае переезда в Петербург, Белинский надеется на личное знакомство с понравившимся ему поэтом. «Надеюсь еще сойтись с г. Струговщиковым. Я не знаю его, как человека, ничего не слышал о нем с этой стороны; но кто т а к, как он, умеет понимать Гете, тот тысячу раз человек, и где есть еще такие люди, там можно жить. Кстати: его элегии,

пересланные ко мне через вас,—я обязан им такими минутами, каких немного бывает в жизни. В этих прекрасных гекзаметрах душа моя купалась, как в волнах океана жизни...» И противопоставляя опять Струговщикова Губеру, переводчику пушкинской эпохи, Белинский добавляет: «Право, ограниченные люди хуже, т. е. вреднее, подлецов: ведь если б не г. Струговщиков, то Губер еще на несколько лет зарезал бы на Руси Гете» (Панаеву 22/II 1839)[146]. Получив через Панаева переводы Струговщикова для своего журнала, Белинский пишет: «Пожмите от меня руку г. Струговщикову... Не умею благодарить его за присланные элегии Гете: несколько времени я обжирался ими: как в волнах океана жизни, купался я в этих гекзаметрах... Перевод «Прометея»—чудо! Прошу и умоляю г. Струговщикова не оставить меня и впредь своими трудами»[146]. Зато враждебную позицию по отношению к переводчику «Отечественных Записок» занял Шевырев в «Москвитянине», утверждая, что «в «Римских элегиях» Гете, переведенных г. Струговщиковым, не было правильного пентаметра» и что в своем переводе «Границ человечества» Струговщиков «ослабил философский и эстетический характер гетевской пиесы и не соблюл даже размера подлинника»; «перевод «Оды человеку» еще слабее и также размером отступает от оригинала». Для идеологических столкновений этой эпохи характерно, что Шевырев счел нужным противопоставить новому переводу «Границ человечества» Струговщикова старую переделку И. И. Дмитриева, переосмыслившую пантеиста Гете в духе церковного православия. Оба перевода были напечатаны в «Русской хрестоматии» Галахова, близкого кружку «Отечественных Записок». Обрушившись на хрестоматию, Шевырев между прочим писал: «первая [ода «Границы человечества»] поставлена выше Размышления по случаю грома И. И. Дмитриева, как будто для того, чтобы показать, что старая знаменитость должна уступить новой знаменитости г. Струговщикова; а между тем пьеса И. И. Дмитриева гораздо более имеет художественного достоинства, нежели пьеса г. Струговщикова, которую можно назвать слабым подражанием, а не переводом. Видно, что издатель хрестоматии не потрудился даже сравнить ее с подлинником. Дмитриев дал пьесе другое значение, уклоняясь от пантеистической мысли Гете, но в некоторых подробностях выражения он ближе к немецкому поэту, нежели молодой переводчик...» «Дмитриев знал русское чувство покорности при голосе грома небесного, воспользовался только намеком поэзии Гете и претворил ее в свое народное созданье, согласное с нашим народным духом»[148].

Это разногласие вскрывает идеологические корни столкновения. Для Белинского и его единомышленников некоторые переводы Струговщикова (например «Прометей», «Дяде Кроносу», отчасти ода «Границы человечества» в своих спинозистски-пантеистических элементах) открывали новый аспект творчества Гете, каким он являлся по преимуществу в молодости как мятежный «бурный гений», представитель буржуазной идеологии в немецкой литературе. По отношению к «Римским элегиям», которые Белинский тоже считал юношеским произведением Гете[149], об освобождающем значении этого нового художественного впечатления свидетельствуют и рецензия, и переписка. Для Шевырева, с его дворянско-феодальной идеологией, ориентирующейся на Гете эпохи любомудров, этот новый аспект является идеологически враждебным.

С художественной точки зрения переводы Струговщикова являются характерным свидетельством начинающегося в 40-х годах упадка стиховой культуры. Основной принцип его переводческой работы над стихом изло-

жен в предисловии к «Стихотворениям» 1845 г.: «Стараясь оставаться верным подлиннику в поэзии повествовательной и драматической, не допускающей произвола и исключающей, так сказать, в переводчике всякое творчество, я не мог и не хотел покориться тому же условию, когда вступал в очаровательную область лиризма... Здесь, забывая и отбрасывая иногда подробности, я был напутствуем одними главнейшими впечатлениями подлинника: так иногда воспоминания действуют на душу сильнее самих явлений». Фактически этот принцип приводит Струговщикова к отрыву содержания от формы, к передаче «мысли» подлинника вне конкретной формы ее воплощения, как мы видели уже на его переводе «Вертера». Этот метод перевода господствует в переводной поэзии второй половины XIX в., у Струговщикова он еще в зачатке, но уже ощущается как руководящий принцип, благодаря которому лирические пьесы Гете теряют свой специфический характер. Ср. например «Царь Фулы» (стр. 193):

Царь *счастлив был* подругой—
Не век она жила,
И умирая другу
Свой кубок отдала...

Невнимательный к особенностям конкретной художественной формы, Струговщиков охотно изменяет метрическую структуру переводимых стихотворений. Например одна из песен Миньоны («Heiss mich nicht reden, heiss mich schweigen, denn mein Geheimnis ist mir Pflicht») у Струговщикова переведена (стр. 3):

Не спрашивай, не вызывай признанья!
Молчания лежит на мне печать...

Особенно трудно даются ему свободные размеры Гете, о которых он сам признается: «Некоторые строфы перевода («Зимняя поездка в Гарц») впадают в постоянный тонический размер и образуют род правильных однозвучных стихов, тогда как в подлиннике этого вовсе нет. Там каждый стих имеет свою складку, звучит своим размером; там общая фактура стихов, общий ритм пьесы—гармония самой природы. По чести, я таких стихов писать не умею»[150]. Поэтому в борьбе со свободным размером оригинала ода «Дяде Кроносу» приобретает такой вид (стр. 62):

Что задумался, возница,
Приударь своих коней!
От езды окольной, тряской,
Утомился я; скорее
На дорогу выезжай!

Наконец плохо даются Струговщикову и античные размеры: в элегических двустишиях (состоящих из гекзаметра и пентаметра) гекзаметры, в которых «купался» Белинский, заменяют пентаметры, отсутствие которых смущало Шевырева. Ср. «Римские элегии» V:

Весело, славно живу я, здесь, на классической почве;
Утро проходит в занятьях: читая творения древних,
Ум постигает ясней век и людей современных;
Ночь посвящаю богу любви. Пусть вполовину
Буду я только учен,—да за это блажен я трикраты!

В других случаях появляется своего рода псевдо-пентаметр (гекзаметр, усеченный на один слог), который в противность закону античного размера почему-то всегда стоит впереди гекзаметра; ср. элегия VII:

О как мне весело в Риме, если я вспомню, когда
Бремя туманного, серого неба на мне тяготело;
Вспомню то время, когда пасмурный северный день
Душу томил, предо мной бледный покров расстилая...

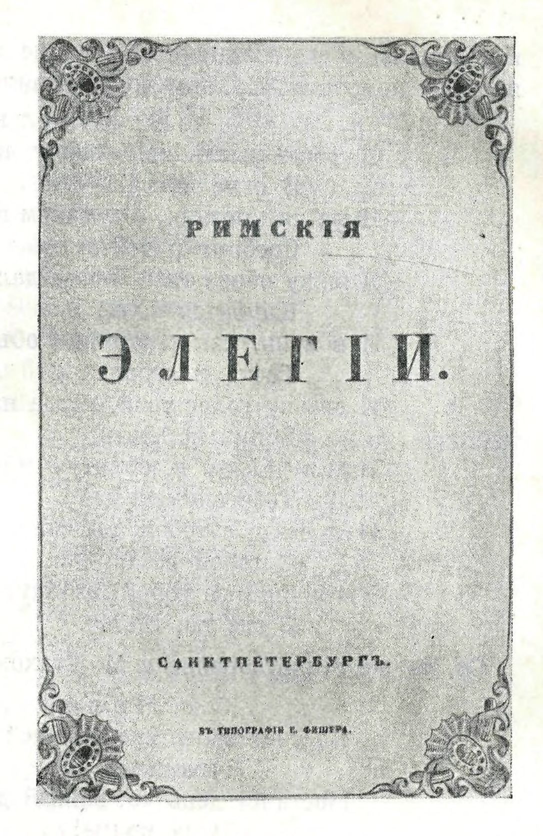
Однако успех «Римских элегий» у большинства современных рецензентов[151] свидетельствует о том, что направление художественных интересов эпохи шло не в сторону вопросов поэтической формы, и в этом смысле Струговщиков давал современникам такого Гете, какого они хотели иметь.

«Москвитянин» имеет в 40-х годах своего переводчика Гете в лице Федора Миллера. Ф. Б. Миллер (1818—1871), отец акад. Всев. Ф. Миллера, немец по происхождению и преподаватель немецкого языка в Московском кадетском корпусе, является автором многочисленных стихотворных переводов с немецкого, печатавшихся в журналах, начиная с 40-х годов, и частью собранных в его «Стихотворениях» (М., 1873). Среди них переводы из Гете, относящиеся к 1841—1846 гг., занимают не первое по численности место. Выбор Миллера ограничивается по преимуществу античными элегическими размерами (элегия «Алексис и Дора», мелкие антологические стихотворения) и хореическими белыми стихами веймарского периода («Морская тишь», «Ночь», «Утренние жалобы», «Амур—ландшафтный живописец»). Для Гербеля Миллер перевел впоследствии большое число различных стихотворений, в том числе и антологических, баллад, стихотворных драм классического периода («Эпименид», «Эльпенор», см. Собр. соч. Гете, т. IX, 1879). Его переводы точны, но суховаты, благодаря некоторой бесцветности языка и склонности к стилистическому упрощению. Ср. из «Римских элегий» VII, приведенную выше в переводе Струговщикова:

О, как мне весело в Риме, когда вспоминаю то время,
Как меня пасмурный день северных стран обнимал,
Как тяжело на чело мое мрачное небо спускалось,
Массой бесцветною мир пред утомленным лежал,
Как о самом я себе, с недовольной душой созерцая
Мрачные жизни пути, в думу сидел погружен!
Но вот теперь мне чело озаряет сиянье эфира,
Феб лучезарный творит образы в нем и цвета,
Чудная звездная ночь несет ко мне мягкие звуки,
Месяц мне светит с небес ярче, чем северный день...[152]

К концу 40-х годов относятся первые переводы М. Михайлова. Мих. Илар. Михайлов (1826—1865) дебютировал со своими переводами из Гете в журнале «Иллюстрация» (1847—1848), в 50-х годах печатался в «Москвитянине» (1851) и других журналах, позже сотрудничал в некрасовском «Современнике», где обратил на себя внимание статьями по вопросу о женской эмансипации, сблизился с левым крылом «Современника»—Чернышевским и Добролюбовым, разделял их политические взгляды, был сослан в Сибирь в 1861 г. за распространение прокламации, составленной его другом Шелгуновым, и умер в ссылке. В его «Собрании стихотворений» 1890 г.— около 40 переводов из Гете; однако он более известен современникам как переводчик «Песен» Гейне (отдельное издание 1858 г.). Гербель в издании

Обложка издания „Римских элегий“ Гете в переводе А. Струговщикова (СПБ, 1840)
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва



1878 г. воспользовался целым рядом переводов Михайлова, напечатав их, по цензурным условиям, под буквами М. М. Переводы Михайлова очень разнообразны по темам: интимные лирические стихотворения (песни), антологическая лирика, баллады. О новых идеологических интересах эпохи свидетельствует его перевод «Прометея», напечатанный посмертным изданием в «Неделе» (1871, № 1). Переводы интимных лирических стихотворений удаются Михайлову лучше всего: они отличаются легкостью и разговорной простотой языка, воспитанной на песнях Гейне, но так же, как все переводы эпохи, нередко пренебрегают сохранением размера и конкретной художественной формы, превращаясь в более или менее свободный пересказ «мысли» подлинника. Так в песне Миньоны, где форма и содержание образуют неразрывное целое, он придает стихотворению тон и характер романса, заменяя гетевские ямбы амфибрахиями и смежные рифмы опоясывающими:

Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут,
Где в темной листве померанец горит золотистый,
Где с неба лазурного негою веет душистой,
Где скромно так мирты, где гордо так лавры растут?
Ты край этот знаешь? Туда бы, туда
С тобою, мой милый, ушла навсегда!..

Манера давать поэтический пересказ вместо перевода настолько укрепилась в поэзии 50-х годов, что два разных перевода одного стихотворения Гете («Близость милого»), сделанные М. Михайловым (1859) и М. Стаховичем (1855), могли показаться Гербелю двумя различными стихотворениями

и появились в его сборнике «Немецкие поэты» (1877) под разными заглавиями и номерами. Ср. перевод Михайлова (стр. 149):

Близость милой

С тобою мысль моя—горят ли волны моря
В огне лучей,
Луна ли кроткая, с туманом ночи споря,
Сребрит ручей.
Я вижу образ твой, когда далеко в поле
Клубится прах,
И в ночь, как странника объемлет поневоле
Тоска и страх.
Я слышу голос твой, когда начнет с роптаньем
Волна вставать;
Иду в долину я, объятую молчаньем,
Тебе внимать.
И я везде с тобой, далекая от взора!
С тобой везде!
Уж солнце за горой, взойдут и звезды скоро:
О где ты, где?

Ср. то же стихотворение у М. Стаховича (стр. 150):

Милой

Блеснет заря, сверкающей волною
Отражена,
Настанет день—о, милый друг, тобою
Душа полна!
Промчится ль вихрь, шумя в полях травою
И прах клубя,
Иль горы спят, сребримые луною —
Я жду тебя.
Стоит ли тишь, иль бездна тяжко дышет
Морских зыбей —
Твой верный друг знакомый голос слышит
И звук речей.
Смеркается; прозрачной синевою
Ложится мгла;
Взошла звезда—о, если бы ты со мною
Теперь была!

Новые поэтические сюжеты, выдвинутые в эту эпоху, не многочисленны. Однако интересно отметить популярность баллады «Перед судом» («Vor Gericht»), которая в романтическую эпоху оставалась незамеченной, а теперь появляется в четырех переводах—Михайлова (в посмертном издании: «Дело» 1869, № 11), Тургенева (для П. Виардо, с музыкой, 1869), Гербеля («Вестник Европы» 1874, № 5), наконец В. Крылова («Пчела» 1877, № 3). Своей популярностью эта баллада обязана социальной теме и разрешению ее в духе передовой морали эпохи восхождения буржуазной культуры— оправданию «падшей». Ср. у Михайлова:

От кого я беременна—вам не скажу:
То заветная тайна моя.
Потаскушкой меня называете вы:
Лжете, честная женщина я!

С кем слюбилась я, этого вам не узнать.
Он хорош и пригож, милый мой,
В чем бы он ни ходил, в золотой ли цепи,
Иль в соломенной шляпе простой.
Если надо насмешки сносить и позор,
Их снесу я одна на плечах.
Знает милый меня, знаю милого я—
И про все знает Бог в небесах.
Перестаньте же, честные судьи мои,
Перестаньте меня вы томить!
Ведь дитя это было и будет моим
И не вам его надо кормить.

Наиболее интересен перевод В. Крылова—в манере «народной» баллады Некрасова (например «Огородник»):

От кого я ребенка под сердцем ношу,
Не скажу никому, это тайна моя.
Злую брань вашу я терпеливо сношу,—
Только все-таки честная женщина я.
Не узнаете вы, с кем порою ночной
Я слюбилась, и кто мне так дорог и мил;
Щеголял ли он барскою цепью златой,
Иль простую и бедную шляпу носил.
От людского презренья его отстраня,
Я себя лишь одну покрываю стыдом,
Ведь я знаю его, и он знает меня,
Да известно и Господу Богу о том.
О мой пастор и судьи! внемлите мольбам—
И оставьте в покое меня и его...
Мой ребенок моим остается—и вам
Не прибавить к тому ничего—ничего.

Стихотворение Тургенева интересно в ритмическом отношении—смелым сохранением дольников немецкого оригинала, вероятно—в связи с музыкой («Русские Пропилеи», т. III, стр. 81):

Под сердцем моим чье дитя я ношу,
Не знать тебе, судья!
Га! Ты кричишь: «развратница!»
Честная женщина я!
И с кем я спозналась, тебе не узнать!
Мой друг мне верен навек!
Ходит ли в шелке да в бархате он,
Бедный ли он человек! ... и т. д.

Гербель дает наиболее сглаженный перевод, точнее—пересказ, с обычными для него упрощениями, добавлениями и банализацией (разрядка наша):

Кто он—вам того никогда не узнать:
То тайна—и тайна моя!
Хотя вы и в праве меня обвинять —
Все же честная женщина я!
Оставьте меня: не скажу ничего!
Желанный—он в сердце моем:

Колеблются перья на шляпе его,
И цепь золотая на нем.
Вам нужен позор мой: пусть люди, кляня,
Меня покрывают стыдом...
Я знаю его, и он знает меня
И знает Всевышний о том.
Почтенные судьи, к чему мы томим
Друг друга — к чему все труды?
Дитя это было и будет моим,
И вам не поправить беды.

Выбор этого поэтического сюжета, натуралистического и социального, конечно явление не случайное. Оно не менее знаменательно, чем особая популярность у переводчиков «Фауста» отрывков, связанных с трагедией Гретхен, или перевод тем же Михайловым баллады «Пряха» (напечатанной посмертным изданием в журнале «Дело» 1869, № 11, стр. 192), которая рассказывает о судьбе работницы, соблазненной пригожим парнем.

Наиболее низкий уровень поэтической техники представляют переводы Н. Гербеля, П. Вейнберга, молодого Холодковского и др., делавшиеся в 60-х и 70-х годах для собраний сочинений, выходивших под редакцией Вейнберга и Гербеля. Переводы Н. Гербеля (1827—1883), известного в качестве издателя и редактора целой серии крупных переводных изданий (Шекспира, Байрона, Шиллера и др.), особенно показательны для поэтического вкуса эпохи: он с легкостью оперирует шаблонами и банальностями поэтического стиля того времени, сочетая их с прозаизмами и неловкими оборотами речи, подсказанными оригиналом, и в то же время дополняя подлинник собственными добавлениями по типу «вольных пересказов». Приведем опять песню Миньоны:

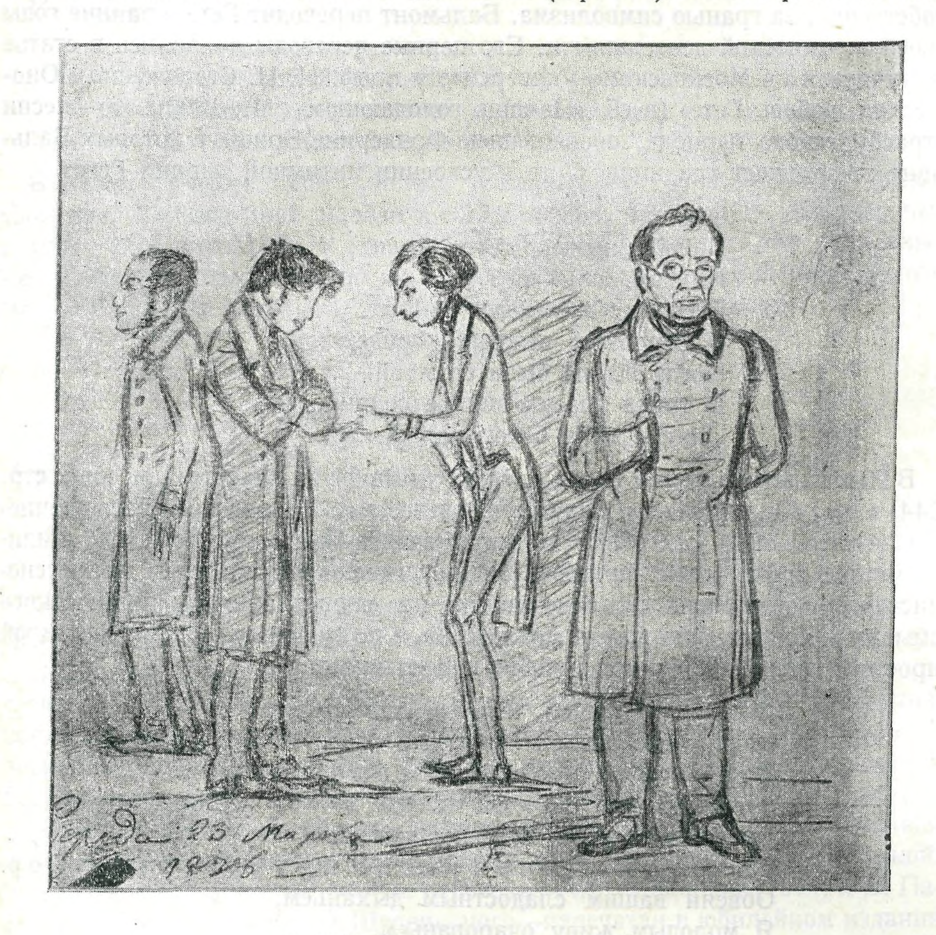
Ты знаешь ли тот край, где рдеет померанец,
Где золотит лимон зари живой багрянец,
Где веет тишиной с безоблачных небес,
Где мирта высока [?] и тих лавровый лес?
Ты знаешь ли его? Туда мой друг, туда
Хотела б я с тобой умчаться навсегда.

Эта переводческая техника просуществовала до XX в. и сошла со сцены лишь под влиянием поэтического переворота эпохи символизма.

12

Эпоха символизма во многих отношениях могла способствовать новой рецепции лирики Гете. Теоретик символизма Вяч. Иванов неоднократно ссылается на Гете для обоснования своего художественного метода. В статье «Две стихии в символизме» («По звездам» 1909) он говорит о «понятии символа в гетевском, объективно-познавательном и вместе мистическом смысле» (стр. 268) и приводит как родные символисту «реалистического типа» заветы художнику из «Годов странствия Вильгельма Мейстера» (прозаический перевод Вяч. Иванова): «Как природа в многообразии своем открывает единого Бога, так в просторах искусства творчески дышит единый дух, единый смысл вечного типа. Это есть чувствование истины, которая облекается только в прекрасное и смело устремляется навстречу последней ясности самого светлого дня» («Wie Natur im Vielgebilde»...). И дальше: «Пусть всегда стоит свежею перед художником радостная роза жизни, изо-

бильно окруженная своими сестрами, обложенная вокруг плодами осени, дабы она возбуждала своею явною тайной чувствование ее сокровенной жизни» (стр. 269, оттуда же). В статье «Гете на рубеже двух столетий»[153] Вяч. Иванов говорит: «В сфере поэзии принцип символизма, некогда утверждаемый Гете, после долгих уклонов и блужданий снова понимается нами в значении, которое придавал ему Гете, и его поэтика оказывается, в общем, нашею поэтикою последних лет» (стр. 114). Философское обосно-



Шарж Н. Степанова на переводчиков Гете

Стоят слева направо: А. Н. Струговщиков, Э. И. Губер, И. Н. Панаев и Н. И. Греч

Третьяковская Галлерея, Москва

вание такого понимания Гете раскрывают наиболее полно письма Вяч. Иванова в «Переписке из двух углов» (П., 1921). Мы видим, что символисты воспринимают Гете в аспекте, родственном романтическому восприятию эпохи любомудров и Тютчева, в соответствии с возвращением литературы господствующих классов эпохи империализма к романтическому символизму и романтической мистике.

Однако фактически в развитии русской лирики эпохи символизма рецепция Гете существенной роли не играет. Среди многочисленных стихотворных переводов этого времени—из Шелли, Кальдерона, Эдгара По, Бодлера, Верлена, Эмиля Верхарна и др.—пропадают немногочисленные переводы из Гете. Новым по сравнению с предшествующей эпохой в них

является внимание к ритмической, музыкальной стороне стиха в соответствии с музыкальным принципом лирики символистов, вообще—более высокий уровень формальной культуры. Однако творческое усвоение оригинала, как всегда, связано здесь со стилистической его перестройкой, которая обнаруживает глубокие принципиальные различия между художественным методом Гете и современных символистов.

Переводы Д. С. Мережковского (из «Фауста», 1892—1893) стоят еще, собственно, за гранью символизма. Бальмонт переводит Гете в ранние годы своей поэтической деятельности. Его первые переводы появились в статье его учителя по Московскому университету проф. Н. И. Стороженко «Юношеская любовь Гете» (в сб. «Помощь голодающим», М., 1892): это—песни страсбургского периода, посвященные Фридерике Брион, в которых Бальмонт продолжает традицию Фета в усвоении интимной лирики Гете:

Осенний, серый день на небе,
Полей унылых мертвый вид,
Кругом, куда свой взор ни бросишь,
Весь мир туманами покрыт.
О, друг мой нежный, Фридерика!
Когда бы ты была со мной!
В твоих глазах сиянье солнца,
Лазури неба блеск живой...

В 90-х годах Бальмонт переводит ряд отрывков из «Фауста» (см. ниже стр. 644) и оды «Прометей» и «Границы человечества». Лирическое «Посвящение» к «Фаусту» (1899) уже обнаруживает в зачаточной форме основные стилистические особенности переводов эпохи символизма: сложную импрессионистическую образность, основанную на многопланности поэтического смысла и «сопряжении далековатых идей» и по существу чуждую интимной простоте гетевской лирики личного переживания:

Вы вновь со мной, неясные виденья,
Пленившие когда-то смутный взор.
Сдержу ли ваше легкое теченье?
Сумею ли соткать мечту в узор?
Вы близитесь! Из сумрака забвенья
Сверкайте мне сквозь призрачный убор.
Обвеян вашим сладостным дыханьем,
Я молодым живу очарованьем.

Переводы Валерия Брюсова еще усугубляют эту сложность и вычурность поэтических иносказаний. Перевод того же «Посвящения» может служить примером:

Вновь близишься ты, зыбкий рой видений,
Что прежде смутно реял предо мной.
Решусь ли дать им ясность воплощений,
Позволю ль сердцу слиться с той мечтой?

Благодаря этому, достигая необыкновенной близости в передаче сложной музыкально-ритмической формы (например в стихотворении «Ночная песнь странника» или «Король Фульский»), Брюсов в то же время усложняет и искажает эмоциональный смысл стихотворения: простота, непосредственность и свежесть лирического чувства в таком стихотворении, как юношеское «Свидание и разлука» («Willkommen und Abschied» 1770), теряются в

импрессионистической сложности восприятия жизни, характеризующей поэта-субъективиста начала XX века.

Предстала ты. Мир неземного
Струил твой нежный взор, любя,
Всем сердцем был с тобой я снова,
Мой каждый вздох был для тебя...

И дальше:

Но—ах!—встает заря в сверканьях,
И в сердце пред разлукой—страх.
В твоих какой восторг лобзаньях,
В твоих какая скорбь очах!..

В этом смысле еще более показательно единственное стихотворение, переведенное из Гете Иннокентием Анненским («Посмертные стихи» 1923, стр. 137), в котором неожиданно выступает тот упадочный ужас перед смертью, который характеризует лирику самого И. Анненского. Это—«Wanderers Nachtlied» («Горные вершины» Лермонтова):

Над высью горной —
Тишь.
В листве, уж черной,
Не ощутишь
Ни дуновенья.
В чаще затих полет.
О, подожди!.. Мгновенье—
Тишь и тебя возьмет.

Это различие стиля вскрывает принципиальное различие между идеологическими основами лирики Гете и лирики импрессионистического символизма: в упадочной поэзии эпохи разложения буржуазной культуры сложная игра соответствий выступает как выражение эстетики субъективного идеализма, глубоко чуждой той простоте, непосредственности и цельности жизненного восприятия, которая характеризует интимную лирику Гете, сложившуюся в эпоху установления новой буржуазной культуры.

Новый поэтический сюжет, выдвинутый символизмом,—неоконченная поэма «Тайны», пленявшая переводчиков своей мистической символикой. За короткое время появилось два перевода—А. А. Сидорова (1914) и Б. Пастернака (1922); третий—С. Шервинского—напечатан в юбилейном издании (т. II, 1932). Переводы Сидорова и Пастернака стоят, как и следовало ожидать, на вершине стихотворной культуры наших дней: оба однако дают уже отмеченную нами модернизацию Гете, в особенности Пастернак, который заменяет гармоническую простоту линий, характерную для веймарского классицизма, пышной орнаментальностью сложных образов в стиле барокко. Ср. «Посвящение» (строфа I):

Шаги зари заслышав, с перепугу
Непрочный сон ресниц моих бежал.
Как утро свеж, покинул я лачугу
И горный путь до света продолжал.
Тонули ноги в сонной неге луга,
Бурьян в росе купался и дрожал.
Зажглась заря, и все кругом, пьянея,
Делиться звало упоеньем с нею...

Наибольшее расширение лирического репертуара русского Гете представляет I том нового Юбилейного издания ГИХЛ (1932): из 751 стихотворения этого тома 444 впервые переведены на русский язык и 259 напечатаны в новых переводах. Рассмотрение этого этапа усвоения лирического наследия Гете стоит однако за пределами нашей темы.

Глава четвертая

ПЕРЕВОДЫ КРУПНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ.

1. ПЕРЕВОДЫ КРУПНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. ДРАМЫ: „КЛАВИГО“, „СТЕЛЛА“, „ГЕЦ“, „ЭГМОНТ“, „ИФИГЕНИЯ“ И „ТАССО“. ПОЭМЫ: „ГЕРМАН И ДОРОТЕЯ“, „РЕЙНЕКЕ ФУКС“. РОМАНЫ: „ВИЛЬГЕЛЬМ МЕЙСТЕР“, „РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ“. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. СТАТЬИ. 2. СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ: БОЧАРОВА (1842), ВЕЙНБЕРГА (1865), ГЕРБЕЛЯ (1878), ГЕРБЕЛЯ—ВЕЙНБЕРГА (1892), „ОКТО“ (1912).

1

Как уже было сказано, из крупных произведений Гете только «Вертер» и «Фауст» имеют самостоятельную судьбу в русской литературе: остальные произведения переводятся в большинстве случаев в 40-х и 50-х годах, т. е. в ту эпоху, когда появляется более широкий читательский спрос на произведения Гете, единогласно признанного русскими журналами величайшим современным поэтом. Большая часть этих переводов имеет значение не как этап развития русской поэзии, а как один из элементов русской образованности и должна рассматриваться не столько с художественной, сколько с культурно-исторической точки зрения. Поэтому мы остановимся в дальнейшем лишь на отдельных, в литературном отношении наиболее выдающихся фактах этого усвоения.

Драма «Клавиго», по особому стечению обстоятельств, была первым произведением Гете, появившимся в русском переводе (1780). В эпоху повышенного интереса к Гете—во второй половине 30-х и в первой 40-х годов—появляется три новых перевода «Клавиго»: известного драматурга-водевилиста Федора Кони (1836), А. Струговщикова (1840) и неизвестного (вероятно Бочарова) в незаконченном Собрании сочинений (1842). Пристрастие переводчиков к этой сравнительно мало характерной драме молодого Гете объясняется главным образом отрицательными признаками: сравнительной несложностью драматической техники и отсутствием поводов для цензурных запретов[154]. Характерно, что за перевод «Клавиго» берется такой опытный театральный деятель, как Кони: его перевод был представлен в первый раз в Императорском Московском Театре 24 января 1836 г.

Из остальных драм эпохи «бури и натиска» не возбудила у нас никакого внимания «Стелла». Психологическая и моральная проблематика индивидуализма, вступающего в конфликт с общественной моралью, мужской «неверности» и двойной любви, не нашла себе отклика в условиях общественного развития России начала XIX в. О первом переводе «Стеллы», появившемся в неоконченном Собрании сочинений 1842 г., рецензент «Отечественных Записок» писал: «Брат и Сестра», «Заклад» и «Стелла» именно принадлежат к самым пустым и вздорным произведениям великого германского поэта». «Он любил делать героями своих драм характеры слабые, ничтожные, изнеженные, женоподобные, каковы: Франц Вейслинген (в «Геце»), Клавиго, Фернандо (герой «Стеллы») и пр.» (1842, т. XXII, отд. 6,

стр. 33—35). Впоследствии «Стелла» появилась только в издании Гербеля в переводе А. Соколовского; отдельным изданием не выходила никогда. В ту эпоху, когда проблематика «Стеллы» перекликалась с популярными в свое время драмами Ибсена и Гауптмана («Росмерсгольм»—«Одинокие»), пьеса эта уже устарела по своему сентиментальному тону и к тому же оставалась неизвестной широкому кругу читателей.

Историческая драма «Гец фон Берлихинген» (1773), единственная из юношеских драм Гете, возбудила к себе теоретический интерес в связи с проблемой национально-исторической трагедии, выдвинутой в русской литературе на первых этапах буржуазного развития. Мы упоминали уже о почтительных отзывах Пушкина, ставящих Гете как основателя исторической драмы рядом с Шекспиром. В 1828 г. из кружка московских любомудров выходит первый перевод «Геца» с посвящением Д. Веневитинову, датированный 1826 г. Переводчик, М. Погодин, редактор «Московского Вестника», ученый историк и будущий правый славянофил, близкий к теории официальной народности, в эти годы сам носится с планом исторической драмы из эпохи русского феодализма: его «Марфа Посадница» (1831) и по теме представляет некоторую аналогию с «Гецом». В своем переводе он подходит к Гете с точки зрения проблемы поэтической «народности»: историческую живописность драмы Гете, проявляющуюся между прочим и в языке—колоритными архаизмами и провинциализмами, Погодин пытается передать соответствующими эквивалентами русской «народной» речи, фольклорной окраской речевого стиля своих героев. «М е ц л е р: Жаль, что не удалась Гецу последняя штука. Ему было до зла-горя.— С и в е р с: Правда. Давно уж чай не случалось с ним такой напасти!... И если бы не изменили ему лукавые люди, то накостылял бы он шею Бамбергцу так, чтоб тот не забыл до новых веников.—П е р в ы й Р е й т е р: Что вы судачите о нашем епископе? Вы на задор лезете.—С и в е р с: Знай, сверчок, свой шесток. До нашего стола вам дела нет...» (стр. 3). Монах, брат Мартин, характеризуется у Погодина елейным языком русского духовного чина, например: «Вино веселит сердце человеческое, а веселье есть мать добродетелей» (стр. 12). Или: «Буди по глаголу вашему» (стр. 13— у Г. «In Gottes Namen!»—«Во имя Бога!»). Ученый юрист Олеарий говорит тяжеловесным канцелярским штилем: «Между тем как разночинцы прилагают достохвальное старание вознаградить талантами низость происхождения, дворяне с достохвальным соревнованием стараются наследственное достоинство возвысить блистательнейшими заслугами» (стр. 43).

В связи с переводом Погодина в «Московском Вестнике» появилась большая статья С. Шевырева, посвященная историко-литературной характеристике Геца («Московский Вестник» 1828, ч. XII). Позднейшие переводы в Собраниях сочинений и отдельных популярных изданиях (Н. Гербеля, Хмелевой, Займовского) не представляют особого интереса.

На судьбу «Эгмонта», не дошедшего в свое время до русского читателя, имели решающее влияние обстоятельства политические. Задуманная в эпоху «бури и натиска» во Франкфурте (1775) и законченная в эпоху веймарского классицизма во время итальянского путешествия (1787) драма «Эгмонт» сохранила следы своеобразной идеологической двойственности, свойственной многим произведениям Гете. По теме своей пьеса посвящена нидерландскому восстанию—первой великой буржуазной революции, и выбор темы характерен для умонастроения молодой буржуазной литературы Германии в эпоху литературного бунтарства 70-х годов; но политическая

М. П. ПОГОДИН
Рисунок карандашом Э. Д. Дмитриева-Мамонова
Собрание Беэр, Москва

тема всецело вытесняется личной, для которой она служит фоном—изображением исключительной личности Эгмонта, баловня жизни, одержимого «демоном» (как пояснял впоследствии Гете идею пьесы в заключительной главе своей автобиографии). В сущности трудно себе представить менее политическую пьесу на остро политическую тему, в особенности если сравнить «Эгмонта» с родственной драмой Шиллера «Дон Карлос», проникнутой всецело морально-политическим пафосом борьбы за политическое «освобождение» в духе немецкой буржуазной идеологии эпохи Просвещения. Тем не менее для русских политических отношений начала XIX в. даже в «Эгмонте» веял опасный ветер буржуазной революции, особенно в народных сценах первых действий, а лойяльная оппозиция самого героя произволу и насилию испанского абсолютизма должна была восприниматься как поощрение дворянского фрондерства. Как видно из цензурных материалов, собранных С. А. Рейсером (его статью см. ниже), с 1805 г. начинается серия запрещений «Эгмонта» к представлению и печатанию: впервые пьеса была напечатана полностью в переводе Вл. Смирнова в Собрании сочинений Гете под редакцией Вейнберга (1865), а к постановке на сцене разрешена была только в 1883 г. Перевод этот, как и последующие переводы Гербеля и Займовского, не представляют литературного интереса.

Однако в суждениях русских писателей о Гете «Эгмонт» играет некоторую роль. Уже Андрей Тургенев знает эту пьесу и учится на ней преодолению французских театральных условностей. «Чтение гетева Эгмонта,— пишет он 16/III 1800 г.,—открыло во мне некоторые новые чувства. Он изображен так живо, с такою истинною натуральностью, так близко к натуре человеческой, что я как будто знал его, наслаждался его обхождением и жил с ним». После чтения «Эгмонта» Тургенев записывает: «Это побудило меня смотреть так же и на героев других пьес, например на Дон Карлоса и проч., и из этой точки зрения немецкие трагедии преимущественны перед французскими, где действуют государи и проч., которые не могут так сблизиться с нами»[155]. Позже, в эпоху любомудров, над переводом «Эгмонта» работает Веневитинов; драма предназначалась для сборника «Гермес», который подготовляли Веневитинов и его друзья (1826)[156]; две сцены, переведенные Веневитиновым, вошли в его посмертное Собрание сочинений. Есть известие, что «Эгмонта» перевел Рожалин; рекомендуя своего питомца Жуковскому, А. П. Киреевская пишет в конце 1827 г.: он «пере-

вел Гете Эгмонта и Вертера два года тому назад как только мог бы сам Гете»[157]. Более определенные сведения сохранились о переводе А. А. Шишкова (1799—1832), близкого в эти годы «Московскому Вестнику». Его перевод должен был появиться в «Немецком театре» Шишкова (М., 1831), но был запрещен цензурой[158]. После смерти Шишкова Пушкин, по просьбе Греча (13/III 1833), хлопотал о напечатании сочинений Шишкова за счет Академии. В бумагах Пушкина сохранился черновик письма к графу С. С. Уварову, которое вдова Шишкова должна была подать с целью добиться цензурного разрешения «Эгмонта». Пушкин пишет от имени Шишковой: «Встретились и затруднения со стороны цензуры, задержавшей перевод Гетева Эгмонта. Трагедия эта входит в состав Немецкого Театра, который покойный муж вознамеривался издать. Эгмонт, изданный не особливой книжкою, но помещенный в числе других пяти или шести трагедий, кажется, может быть дозволен.—Обращаюсь к вам, как другу и ценителю великого Гете, с просьбою: не лишить русскую литературу хорошего перевода одного из прекраснейших произведений поэта»[159]. Уваров повидимому не исполнил просьбы Шишковой, подсказанной Пушкиным. «Сочинения и переводы» А. А. Шишкова вышли в 1834—1835 гг. без «Эгмонта», который не сохранился также и в цензурном архиве.

Между тем «Эгмонт» вовсе не воспринимался русскими читателями как пьеса с общественной тенденцией. Напротив, обострение политических и общественных интересов в литературе 40-х годов ведет к осуждению Эгмонта как индивидуалиста и эпикурейца. Так уже в письмах Белинского

ГЕЦЪ
ФОНЪ-БЕРЛИХИНГЕНЪ,
ЖЕЛѢЗНАЯ РУКА.
Трагедія
въ пяти дѣйствіяхъ.
Сочиненіе Гете.
Переводъ съ Нѣмецкаго.

МОСКВА.
Въ Университетской Типографіи.
1828.

Титульный лист первого на русском языке издания драмы „Гец фон Берлихинген" Гете в переводе М. Погодина (М., 1828)
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

в эпоху критической переоценки Гете (сестрам Бакуниным, 8/III 1843): «Вникните в характер Эгмонта, и вы увидите, что это лицо играет святыми чувствами, как предметом возвышенного духовного наслаждения, но они, эти святые чувства, вне его и не присущны его натуре. «Как сладостна привычка к жизни», восклицает он, и на это восклицание хочется мне воскликнуть ему: «какой же ты пошляк, о, голландский герой!» Гофман саркастически заставляет Кота Мурра цитировать это восклицание, достойное кошачьей натуры, которая может видеть «сладостную привычку» в том таинстве жизни, в котором непосредственно открывает себя людям Бог. Для Эгмонта патриотизм не более, как вкусное блюдо на пиру жизни, а не религиозное чувство. Святая натура и великая душа Шиллера, закаленная в огне древней гражданственности, никогда не могла бы породить такого гнилого идеала самоослабляющейся личности, играющей святым и великим в жизни»[160]. В соответствии с этим в «Отечественных Записках» по поводу сочинений Гете 1842 г. дается такая характеристика героя Гете: «В лице Эгмонта он [Гете] осуществил свой идеал «изящной личности», а этот идеал есть не что иное, как идеал «изящного эгоизма», которому, кроме самого себя, все трын-трава...» (1842, т. XXII, отд. 6, стр. 34).

Стихотворные драмы эпохи классицизма—«Ифигения» и «Тассо»—сравнительно поздно входят в репертуар русской поэзии. Правда, «Ифигению» переводил уже Востоков (1810), но его перевод остался в рукописи. Лихонин (1829), Ф. Миллер (1846—1848), Струговщиков (1840) опубликовали несколько отрывков из той или другой драмы, но первый полный перевод «Тассо» А. Яхонтова появился лишь в 1844 г. («Отечественные Записки, т. XXXV), а первый перевод «Ифигении», принадлежащий известному педагогу В. Водовозову, еще позже—в 1857 г. Впоследствии «Ифигению» переводили тот же Яхонтов («Светоч» 1860, № 6) и К. Р. (Стихотворения, т. II, 1911). Переводы Яхонтова, второстепенного поэта середины XIX в. (1820—1870), вошли в большинство Собраний сочинений Гете. Как и остальные названные переводы, они стоят на довольно высоком уровне стиховой культуры, но русская литература второй половины XIX в. не находила никаких точек соприкосновения с этими памятниками веймарского классицизма, и уже Водовозов, печатая «Ифигению», нашел необходимым предпослать своему труду обширное и основательное историко-литературное пояснение («Библиотека для чтения» 1856, т. 138—139).

Из поэм «Герман и Доротея» получила классическую форму в переводе Фета («Современник» 1856, т. 58), «Рейнеке Лис»—в переводе М. М. Достоевского («Отечественные Записки» 1848, т. 56). Оба перевода переиздавались неоднократно; были также попытки новых переводов (Гиляровской, Бутковского), не заменившие старых. Для художественного вкуса эпохи характерны неоднократные попытки пересказа обеих поэм в прозе, особенно «Рейнеке Лиса», который существует в нескольких обработках для детей. Из этих опытов заслуживает внимания только первый по времени прозаический перевод «Германа и Доротеи» Ф. Арефьева (1842), который ориентируется на читателя из мещанских кругов, давая ему изображение его собственной жизни. «Русский переводчик,—пишет Арефьев,—старался преодолеть по возможности те трудности, которые неизбежны при переложении творений подобного рода из иностранных стихов в отечественную прозу, звучных и приятных для родного слуха германца, но тяжелых и многосложных, в случае буквального перевода их, для нетерпеливого и сметливого ума русского народа; а потому необходимо было дозволить

себе многие отступления в этом вольном переводе, дабы сцены частной жизни германцев могли быть перенесены на суровую и еще мало возделанную Русскую почву». Мы не имеем сведений о том, как был принят перевод Арефьева в тех кругах, на сочувствие которых он рассчитывал. Гораздо важнее отметить то враждебное отношение, которое встретила мещанская идиллия, идеализирующая полуфеодальный быт старой Германии, у вождей демократической интеллигенции, перешедшей в оппозицию против Гете. «Недавно прочел я его «Германа и Доротею» [пер. Арефьева?],—пишет Белинский (8/III 1843),—какая отвратительная пошлость!»[161] Н. Г. Чернышевский говорит о поэме Гете как о «превосходном в художественном отношении», но «приторном» произведении, отмечает «вредную сентиментальность и пустоту ее содержания», а «приторное идеальничанье» объявляет «очень вредною для немцев болезнью» («Об искренности в критике», 1854 г.)[162].

Позже всего проникли к нам прозаические произведения Гете—его большие романы и мемуары. «Вильгельм Мейстер» известен был долгое время читателям русских журналов только в небольших отрывках и извлечениях. Такие отрывки печатались уже в «Московском Вестнике» (см. стр. 571). В 40-х годах Струговщиков переводит связные эпизоды из «Годов учения»: «Признания прекрасной души» (кн. VI—1847) и роман Марианны, первой возлюбленной Мейстера, который он монтирует из соответствующих отрывков («Марианна«. «Отечественные Записки» 1843, т. XXIX). О переводе всего романа мечтает в это время несколько человек. А. П. Киреевская строит план издания «Вильгельма Мейстера» в «Библиотеке романов», затеваемой Смирдиным: «Иван Киреевский переведет прозу, Жуковский—стихи» (письмо Жуковскому 7/XII 1839)[163]. Белинский мечтает заказать перевод для «Отечественных Записок» (письмо Боткину 16/V 1840)[164]. В 1843 г. в анонимном Собрании сочинений Гете приступают к переводу «Годов учения», но перевод обрывается вместе с изданием на начале II книги. Мы помним, что Ап. Григорьев предлагает Краевскому свои услуги в качестве переводчика романа Гете для «Отечественных Записок» (16/XII 1849). Фактически перевод Ап. Григорьева начал появляться в «Москвитянине» 1852 г., был продолжен Л. Меем и оборвался на III книге. Только в Собрании сочинений под редакцией П. Вейнберга появился наконец полный перевод «Годов учения» П. Полевого (1870), а у Гербеля и «Годы странствия» (1878). Отдельным изданием роман никогда не печатался полностью: только первые пять книг «Ученических годов» (пер. Сахаровой 1897) и монтаж отрывков о Миньоне («Миньона. Из Вильгельма Мейстера»—в «Народной Библиотеке» Маранцева 1889). «Вильгельм Мейстер» принадлежит и сейчас к числу наименее известных у нас произведений Гете.

Поздний роман Гете «Родственные души» («Wahlverwandtschaften», 1809) был переведен в «Современнике» (1847, т. III—IV) под заглавием «Оттилия» одним из постоянных сотрудников журнала А. Кронебергом, известным переводчиком Шекспира. Ригористическая идея святости брака, характерная для идеологии Гете в этот последний период его жизни, и своеобразный романтический аскетизм этой вещи не могли рассчитывать на успех у руководящих критиков 40-х годов.

Автобиографические сочинения Гете были также частично известны читателям журналов по извлечениям в посвященных Гете критических статьях (например Шевырева о «Геце фон Берлихингене» и др.) и по немногочисленным отрывкам (например «Гете и Гретхен», «Современник» 1846,

т. III). Сокращенный перевод «Записок» Гете дает «Современник» в 1849 г. (тт. XVI—XVIII); через два года выходит отдельное издание («Записки Гете», СПБ, 1851); оно рассчитано на занимательное чтение и переводит полностью эпизоды романического характера, связывая их пересказом и выпуская специальный историко-литературный материал. Полный перевод, обещанный в издании Вейнберга, появляется впервые в Собрании сочинений под редакцией Н. Гербеля (1878). Отдельное издание—пер. Н. Холодковского под редакцией Е. Браудо—было начато «Всемирной Литературой», но осталось незаконченным (ч. I—II, 1923). Из других автобиографических сочинений «Путешествие в Италию», которое хотел переводить еще Жуковский (см. выше), впервые появилось в издании Гербеля (пер. З. Шидловской). «Письма из Швейцарии» напечатаны также Гербелем (пер. А. Соколовского). «Разговоры Гете, собранные Эккерманом» выходят отдельным изданием в переводе Д. В. Аверкиева в 1891 г. (2-е изд. 1905). «Переписка Гете с Шиллером», которую сам Гете считал «великим даром немецкому народу», до сих пор не была переведена на русский язык. Это лишний раз указывает на несозвучность эстетики веймарского классицизма господствующему направлению оппозиционной буржуазно-демократической литературы второй половины XIX века.

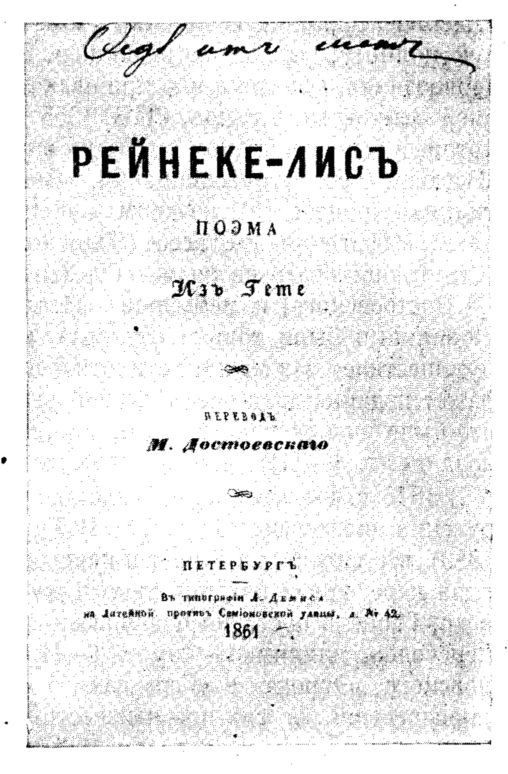
Очень бедно представлены в переводах и теоретические произведения Гете. Из его многочисленных статей по вопросам искусства и литературы переводилось лишь немногое: «Разговор о правде и правдоподобии» (еще в «Московском Вестнике» в переводе Шевырева, затем у Гербеля-Вейнберга), «Простое изображение природы, манера, стиль» (в сочин. 1842 г.), статья о «Тайной вечере» Леонардо (отдельным изданием в пер. А. Ярославцева, 1838 г. и у Гербеля, т. VIII) и немногие другие «Изречения в прозе» переведены были во 2-м издании Гербеля (1892), а также довольно полно в отдельном издании Бермана и Войтинского (1885—1888). Наконец избранные философские и научные статьи Гете появились уже после Октябрьской революции в книге В. О. Лихтенштадта «Гете. Борьба за реалистическое мировоззрение», ГИЗ, 1920. Автор, молодой коммунист-ученый, погибший на боевом посту во время наступления Юденича на Ленинград (расстрелян белыми 15/X 1919), переводил и комментировал Гете в Шлиссельбургской каторжной тюрьме в 1913—1914 гг. В обширном введении, характеризующем Гете как мыслителя и ученого, он выдвигает те прогрессивные элементы его идеологии, которые сближают его с философией диалектического материализма.

2

В 40-х и 50-х годах были переведены почти все крупные произведения Гете, которые могли рассчитывать у нас на более широкий отклик и интерес: переводчики—в большинстве случаев второстепенные писатели, профессионалы или любители, по собственной инициативе выбирающие знакомый и близкий их дарованию объект. С 60-х годов начинается период «Собраний сочинений», капиталистически организованных коллективных предприятий с культурной и коммерческой целью, которые главным образом и обслуживают в последней трети XIX в. образовательные интересы массового буржуазного читателя.

Первая попытка издания Сочинений Гете предпринята была анонимным переводчиком еще в 1842—1843 гг. Издание имело три выпуска, которые заключали кроме «Клавиго», «Стеллы» и начала «Вильгельма Мейстера»

Титульный лист издания „Рейнеке Лис“ Гете в переводе М. Достоевского (1861)
Экземпляр с дарственной надписью переводчика Ф. М. Достоевскому
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва



почти исключительно мелкие произведения и критические статьи Гете, рассчитанные очевидно на любителя; например драмы «Брат и сестра», «Заклад»; рассказы «Добрые женщины», «Новелла»; статьи «Простое подражание природе, манера, стиль», «О Лаокооне», «Об эпической и драматической поэзии», «Шекспир», «Отрывки об Италии» и др. Об инициаторах этого предприятия сообщалось довольно таинственно, что перевод затеян «Обществом молодых литераторов». Рецензент «Отечественных Записок» (1842, т. 22, отд. 6, стр. 33) называет как «одного из главных переводчиков» Бочарова, который «недавно издал книжку довольно плохих стихотворений». Определеннее говорит о Бочарове «Северная Пчела» (1842, № 172, стр. 686), называя его «переводчиком» и «вместе издателем своего перевода». «Мы знаем,—пишет «Северная Пчела»,—что Г. Бочаров—образованный молодой человек, только что вступающий на литературное поприще». «Мы знаем также, что он занимается своим делом con amore, переводит Гете для него самого; для того, чтоб перевести писателя, которого любит всем сердцем, которого изучает со всем юношеским жаром. Других видов, других расчетов молодой переводчик не имеет; он готов даже жертвовать своими выгодами, чтобы только осуществить мысль, с которою вполне сроднился, которую лелеет в душе своей». О Бочарове упоминает и «Дагеротип» (1842, тетр. VII, стр. 32) как об авторе перевода «Вильгельма Мейстера», появившегося в этом издании. Повидимому переводчик был энтузиаст и дилетант, и его издание, являющееся плодом юношеского увлечения, очень быстро потерпело крушение благодаря своему дилетантскому характеру. Рецензии, в общем мало благоприятные, отмечают странный подбор произведений и осуждают пристрастие переводчика к вещам необычным и незначительным [165].

Первое собрание сочинений Гете, осуществившее претензии на известную полноту, вышло под редакцией П. И. Вейнберга, известного критика, переводчика и знатока иностранных литератур. Сочинения Гете под редакцией Вейнберга (6 томов, СПБ, 1865 сл.) содержат тот круг произведений, который был уже знаком русскому читателю того времени: это—из романов «Вертер» (пер. Струговщикова), «Вильгельм Мейстер» I (Полевого), «Оттилия» (Кронеберга); из драм — «Гец» (Погодина), «Клавиго» (Струговщикова), «Ифигения» и «Тассо» (Яхонтова), «Эгмонт» (В. Смирнова), «Фауст» I (Струговщикова); из поэм—«Герман и Доротея» (Фета), «Рейнеке Лис» (М.Достоевского); из мемуаров—«Итальянское путешествие»(З.Шидловской). Новинками были только «Эгмонт», «Вильгельм Мейстер» и «Итальянское путешествие». Из мелких стихотворений было выбрано всего 25. Таким образом издание дает очень скупой выбор материала, подводит итоги тому, что было уже сделано до того. Тем не менее в 1875 г. понадобилось второе издание (т. I—III), которое существенных изменений не имеет.

В 1878 г. выходит новое издание: «Собрание сочинений Гете в переводе русских писателей» под ред. Н. В. Гербеля (10 томов). Н. В. Гербель (1827—1883), второразрядный поэт и переводчик, известен как организатор целого ряда переводных изданий такого же типа—Шекспира, Байрона, Шиллера и др. Гербель поставил издание на широкую ногу: был заказан ряд новых переводов, например «Фауст» I—II Н. Холодковского, «Стелла» А. Соколовского, «Эгмонт» и «Гец» самого Гербеля и др. В издание вошел ряд произведений, до сих пор неизвестных русскому читателю: из крупных вещей—«Фауст» И, «Вильгельм Мейстер» II (Полевого), «Поэзия и правда» (А. Соколовского); из менее значительных—юношеские драмы «Хандра влюбленных» и «Совиновные» (Соколовского); драматические импровизации эпохи «бури и натиска»—«Ярмарка в Плундерсвейлере» (Соколовского), «Эрвин и Эльмира» (Холодковского), «Сатир» (Соколовского); политические комедии, направленные против французской революции—«Генерал национальной гвардии» (Майкова) и «Великий Кофта» (Соколовского), наконец стихотворные драмы эпохи веймарского классицизма и старческого периода—«Побочная дочь», «Пробуждение Эпименида» и «Эльпенор» (Ф. Миллера) и др. Число лирических стихотворений увеличилось до 164, кроме полного перевода «Римских элегий» (разными лицами) и «Венецианских эпиграмм» (Яхонтова), при чем значительная часть этих стихотворений печаталась впервые или была переведена заново. В примечаниях были даны подробные библиографические указания о предшествующих переводах каждой вещи. Таким образом издание Гербеля означало бы крупное культурное завоевание, если бы особенность художественных вкусов той эпохи, когда он работал, не отразилась пагубным образом на самом характере сделанных для его издания переводов. Как проза, так и поэзия Гете, переведенные для Гербеля, за немногими исключениями, свидетельствуют о полном упадке художественной техники.

Второе издание «Гете в переводах русских писателей», предпринятое П. Вейнбергом после смерти Гербеля (1892 сл.), заключает лишь немного новых приобретений, в том числе «Изречения в прозе», «Пандору» (Холодковского) и 45 стихотворений. Библиографические примечания Гербеля отсутствуют; вместо них Вейнберг ввел историко-литературные предисловия и комментарии.

В XX в. появилось только очень неполное издание Гете в трех томах под ред. А. Грузинского (в серии «Европейские классики», изд. «Окто»,

1912). Новые переводы этого издания попрежнему не являются приобретениями, продолжая традиции переводчиков конца XIX века.

Таким образом Юбилейному изданию, предпринятому ГИХЛ (М., 1932 сл.), предстоит заполнить чувствительный пробел в русской переводной литературе как в смысле количественной полноты, так и по качеству продукции.

Глава пятая

РУССКИЙ «ФАУСТ»

1. РАЗНЫЕ АСПЕКТЫ РУССКОГО „ФАУСТА". 2. „ФАУСТ" Э. ГУБЕРА. 3. „ФАУСТ" М. ВРОНЧЕНКО. ОТЗЫВ ТУРГЕНЕВА. 4. СТРУГОВЩИКОВ, ГРЕКОВ, ОВЧИННИКОВ. 5. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА. „ФАУСТ" ХОЛОДКОВСКОГО И ФЕТА. 6. СИМВОЛИСТЫ: БАЛЬМОНТ, БРЮСОВ.

В то время как другие произведения Гете исчезают во второй половине XIX в. из сферы активных сил развития русской литературы, «Фауст» сохраняет свое значение для всего времени, о чем свидетельствуют многочисленные переводы, начиная с середины 20-х годов, когда трагедия Гете впервые вступает в эту сферу. Но в понимании «Фауста» и в самом восприятии «Фауста» как предпосылки его творческой переработки центральное произведение Гете является в разных аспектах, как уже было сказано и о его творчестве вообще. Диалектическая противоречивость творческого облика Гете, на которую указал Энгельс, именно в «Фаусте» выступает с особой отчетливостью. С одной стороны, образ «Фауста» является наиболее законченным философско-поэтическим выражением передовой идеологии эпохи восхождения буржуазной культуры. Освобождение личности человека от догматического и авторитарного средневекового мировоззрения было намечено в образе «Фауста» уже в «народной книге» XVI в.; Фауст легенды—новый человек буржуазной культуры Возрождения, «Uomo universale e singolare» (человек универсальный и непохожий на других),—ученый, порвавший с богословием и схоластикой для самостоятельных научных исканий и эмансипировавшийся от аскетического церковного мировоззрения ради чувственных наслаждений жизни, правда—показанный в полемическом освещении сторонников традиционной идеологии, для которых он—грешник, продавший душу дьяволу ради запретных знаний и грешных радостей земных. «В его отпадении,—говорит автор «народной книги»,—сказалось не что иное, как высокомерие, отчаяние, дерзость и смелость, подобная тем титанам, о которых повествуют поэты, что они громоздили горы на горы и хотели воевать против Бога, или похожая на злого ангела, который противопоставлял себя Богу, за что и был низвергнут Богом как дерзкий и тщеславный, ибо кто пытается высоко взлететь, тот падает с большой высоты». Спасение легендарного Фауста в немецкой буржуазной литературе XVIII в. (Лессинг, Гете) означало оправдание свободного искания человеческой мысли, отказавшегося (как это видно из монологов Фауста при звоне пасхальных колоколов и при переводе евангелия) от традиционной религиозной веры и догматического мировоззрения; вместе с тем оно означало и оправдание человеческой воли, порвавшей с бытовыми предрассудками и традиционной моралью (трагедия Гретхен). С этим исканием истины связан элемент критической мысли, направленный на мнимые жизненные ценности и иногда производящий впечатление почти разочарования в жизни («мировой скорби»): в образе Мефисто-

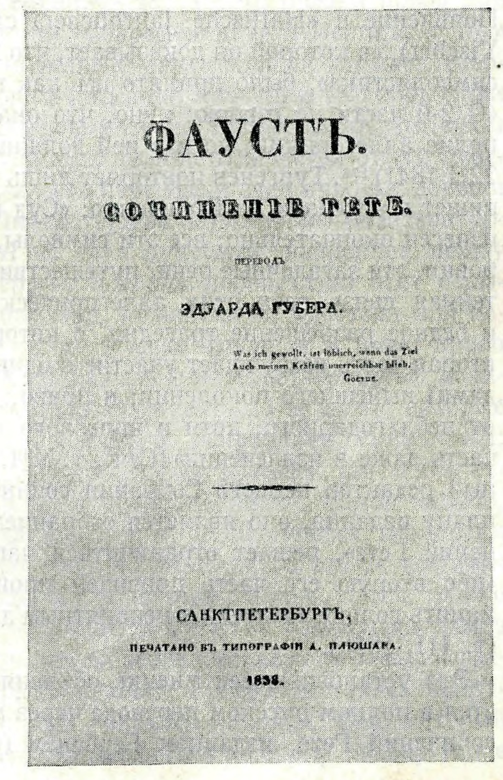
феля он выступает с чертами рассудочного скепсиса, рационалистического разоблачения моральных иллюзий в духе просветительной философии XVIII в., но в общем замысле драмы—это не главенствующий, а подчиненный момент, поскольку целое проникнуто глубоким оптимизмом и верой в человеческий разум и в моральную ценность человеческой личности («Пролог на небе»), характерными для оптимистического мировоззрения восходящего класса.

С другой стороны, для Гете в специфических условиях развития немецкой буржуазной идеологии весьма показательно, что проблема смысла жизни и ее оправдания ставится исключительно в личном плане как проблема воспитания и развития человеческой личности, рассматриваемой вне всяких общественных отношений (II часть, в особенности окончание V действия, вносит в этот основной замысел существенную поправку). При этом бесконечное стремление, оправдывающее Фауста, приобретает черты стремления к бесконечному, идеалистической «Sehnsucht» (томления), родственного романтизму и находящего удовлетворение в непосредственном созерцании природы, мистическом погружении в ее глубины, в поэтическом переживании «чувственно-сверхчувственной» женской любви (Гретхен), а из первоначального замысла, «Прафауста» эпохи бурных стремлений, выступают черты руссоизма—отказа от отвлеченных, интеллектуальных знаний ради полноты непосредственного жизненного переживания. Этот идеалистический аспект «Фауста» является столь же существенным элементом общего замысла, как и критический элемент борьбы за освобождение человеческой мысли.

Рецепция «Фауста» в русской поэзии, обусловленная различным восприятием, показывает нам по очереди эти многообразные аспекты произведения Гете. Прежде всего свое понимание вопроса высказала николаевская цензура: она запретила «Фауста» как произведение критической буржуазной мысли, колеблющей идеологические основы трона и алтаря, а позже разрешила его с большими пропусками. Эта точка зрения на «Фауста» была близка консервативному крылу дворянской литературы, защитникам традиционного религиозного мировоззрения. Ее высказывает например Жуковский в статье «Две сцены из Фауста» (1848), с тою разницей, что он относит ее к герою трагедии, а Гете приписывает намерение покарать этого последнего за «гордость», делающую его доступным «губительному искушению»; по мнению Жуковского, «главная загадка первой части «Фауста»—«торжество смирения и покаяния над силою ада и над богоотступною гордостью человеческою». К этой точке зрения близок и Ал. Тургенев, когда он пишет Жуковскому из Германии (20/VI 1840): «Фауст произвел во мне тяжелое ощущение. Нет, я бы не написал его! То-есть, не написал бы, если бы и имел гений Гете, оставаясь при моем страхе Божием и любви к добрым людям, коим должно сберегать Бога христианства и коих должно оберегать от дьявола и всех дел его, то-есть от гения Гете в Фаусте»[166]. С другой оценкой, но именно критическим аспектом Фауста пленяется и Пушкин, преувеличивающий в нем элементы разочарования и рассудочного скептицизма, заключенные в образе Мефистофеля, а Грибоедов, первый переводчик «Фауста» (1825), своеобразно пользуется отрывком «Пролога в театре» для критического обозрения «модного света», каким он является в театральных креслах (см. выше, стр. 552).

Вообще отрывки из «Фауста», появившиеся в журналах, с которых обыкновенно начиналась работа переводчиков, особенно показательны

для выбора темы, определяемого творческим восприятием переводчика. Мы видим уже, что с конца 20-х до конца 30-х годов (от эпохи «Московского Вестника» до «Московского Наблюдателя») господствует «романтический Фауст» (Веневитинов, Тютчев, К. Аксаков и др.): переводчики выбирают сцены, стоящие под знаком космического чувства природы или связанные с образом романтической любви (песня Гретхен за прялкой, баллада Гретхен: «Король Фульский»). К началу 40-х годов появляются новые темы и новые сцены (Огарев, Тургенев)—трагедия Гретхен, связанная с мотивом сострадания к «падшей». С другой стороны, центром внимания все более делаются философские монологи Фауста, которые в 30-х годах гораздо менее останавливали внимание переводчиков. Это—тот аспект «Фауста», который сохраняет значение для Белинского в пору начинающегося разочарования в Гете: «Чем больше читаю отрывки из «Фауста» (Струговщикова, Веневитинова и др.), тем более уверяюсь, что это—величайшее создание мирового гения. Понял я наконец, что такое р е ф л е к т и р о в а н н а я поэзия—великое дело! Мы не греки: греческий мир существует для нас, как прошедший (хотя и величайший) момент развития человечества, но он не может дать нам полного удовлетворения. Младенчество—прекрасное время, время полноты, но кому 30 лет, наскучит быть с одними детьми, как бы ни любил их» [167]. И Герцен пишет своей невесте о «Фаусте» (26/II 1838): «Там-то ты увидишь с т р а д а н и е о т м ы с л и, ты его незнаешь. О, и я был влюблен в науку, и я отдался бы Мефистофелю,—ежели бы не ты» [168]. По мнению Тургенева, высказанному в рецензии на перевод Вронченко, в «Фаусте» выразилось «начало новейшего времени, автономии человеческого разума и критики» («Отечественные Записки 1845, № 1) [169]. То же подтверждает в эти годы голос из другого лагеря: в рецензии на тот


ФАУСТЪ.

СОЧИНЕНІЕ ГЕТЕ.

ПЕРЕВОДЪ

ЭДУАРДА ГУБЕРА.

Was ich gewollt, ist löblich, wenn das Ziel
Auch meinen Kräften unerreichbar blieb.
Goethe.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ А. ПЛЮШАРА.

1838.

Титульный лист первого на русском языке полного издания первой части „Фауста" Гете в переводе Э. Губера (СПБ., 1838)

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

же перевод Вронченко И. Киреевский связывает мировой успех трагедии Гете с эпохой господства отвлеченной мысли: «Кажется однако, что огромное, изумительное влияние, которое имел «Фауст» на литературу Европейскую, не вполне можно отнести к его поэтическому и философскому достоинству. Значительная часть силы его заключалась в его современности. Он выражал минуту перехода Европейской образованности от влияния Французского к влиянию Немецкому. Фауст—рождающийся XIX век. Он так же Немец, как Кандид—Француз, Гамлет—Англичанин, Дон Жуан—Испано-Итальянец. Он мог вместить в себе значение всечеловеческое потому, что в этот час Европейской жизни таково было значение жизни Германской: мысль отвлеченная, требующая борьбы и волнений жизни; жизнь взволнованная, разногласная, требующая согласия и значения мысли» («Москвитянин» 1845, ч. I, стр. 11)[170]. Под этим знаком переводятся философские раздумья Фауста—сцены, озаглавленные «Ночь», «Ученый кабинет» и т. д. (Струговщиков, Греков и др.), сцена условий (Струговщиков) и т. п. Этот «критический» «Фауст» главенствует и во вторую половину XIX в. Моменты переоценки мы увидим только у символиста Бальмонта.

Вторая часть «Фауста», как мы уже отмечали, вызвала интерес в романтически настроенных кругах (Шевырев, Тютчев); однако Катенин, познакомившись с посмертными сочинениями Гете, изданными в 1833 г., писал Пушкину (4/I 1835), что не нашел в них «ничего любопытного, одно продолжение Фауста, и то сумбур неизвиненный ничем гениальным, ибо гений выжился из лет»[171]. Белинский и его соратники отнеслись к II части «Фауста» отрицательно. Белинский, в эпоху наибольшего увлечения Гете, «узнавши», как он сообщает Панаеву (19/III 1839), «нечто из содержания 2-й части «Фауста»,... с свойственной мне откровенностью провозгласил, что оная 2-я часть не поэзия, а сухая, мертвая, гнилая символистика и аллегорика». Появление в «Hallische Jahrbücher» статьи гегельянца Фишера (Theodor Vischer), «в которой он доказывает, что 2-я часть «Фауста» мертвая, пошлая символистика», было принято им как подтверждение[172]. Позже он писал: «О 2-й части не говорю: явно, что она вышла из подгнившей рефлексии, полна аллегориями, но и в ней должны быть дивные частности» (Боткину 22/I 1841)[173]. Тургенев повторяет лишь общее мнение современников, когда пишет в рецензии на Вронченко: «Суд над этой второй частью теперь произнесен окончательно; все эти символы, эти типы, эти обдуманные группировки, эти загадочные речи, путешествие Фауста в древний мир, хитросплетенная связь всех этих аллегорических лиц и происшествий, жалкое и бедное разрешение трагедии, о котором так много хлопотали,—вся эта вторая часть возбуждает участие в одних старцах (молодых или старых годами) нынешнего поколения; и право, г. Вронченко мог бы избавить себя от неблагодарного, хотя и полезного труда, представить нам эту вторую часть даже в извлечении» (Соч., т. XII, стр. 232). Даже П. Вейнберг, ученый редактор первого Собрания сочинений Гете, ссылаясь на то, что, по плану издания, оно является собранием «не всех, но только лучших сочинений Гете», решает ограничиться напечатанием первой части «Фауста», «ибо вторую его часть признаем произведением, способным только отуманить голову читателя и непонятным даже при целых томах комментариев» (т. III, 1866).

Это установившееся мнение объясняет тот факт, что 2-я часть появляется в полном русском переводе через много лет после первой, в Собрании сочинений Гете, изданном Гербелем (пер. Н. Холодковского, 1878). До

того времени русские читатели довольствовались, как Белинский, прозаическими пересказами (Губера, Врონченко) со стихотворными отрывками.

2

Первый полный перевод «Фауста» I принадлежит Эдуарду Губеру. Э. И. Губер (1814—1847), по происхождению русский немец, сын пастора из волжской колонии Усть-Залиха, получив полунемецкое, полурусское образование, появляется в 30-х годах на литературном горизонте Петербурга с честолюбивым замыслом—перевести «Фауста» на русский язык. Законченный в 1835 г. перевод этот был запрещен николаевской цензурой; молодой переводчик в отчаяньи уничтожил свою рукопись; но Пушкин, услыхав об этом происшествии, разыскал его, ободрил и заставил снова приняться за перевод. Об участии Пушкина в переводе Губера человеческой поддержкой и поэтической помощью много рассказывали после смерти Пушкина сам Губер и, со слов Губера, его биограф А. Г. Тихменев [174]; наиболее достоверно письмо Губера к брату, написанное еще при жизни Пушкина (в начале 1836 г.), которое приводит Тихменев (стр. 268): «Ежели я решусь когда-нибудь отдельно печатать свои стихи, то я изберу для этого «Современник», потому что я весьма коротко познакомился с Пушкиным, который весьма ободряет мои произведения, особенно перевод «Фауста», за которым я сидел почти пять лет; в прошедшем году он был готов, но цензура его не пропустила, и я с досады разорвал рукопись. В нынешнем году я по настоянию Пушкина начал его во второй раз переводить. Еще раз повторяю, ежели решусь вступить в журнальный цех, то я конечно изберу партию Пушкина». После смерти Пушкина в «Современнике» (1837, тт. 6 и 8), а затем и в других изданиях появляются отрывки из перевода Губера. Первая из этих публикаций («Современник» 1837, т. 6) подала повод для любопытного недоразумения. Редакция «Современника» поместила в этом номере назначенный Пушкиным для напечатания большой отрывок (первые сцены от начала первого монолога до конца прогулки за городскими воротами), приписав его Губеру. В свою очередь Губер, видя, что текст рукописи, найденный в бумагах Пушкина, сильно отличается от его перевода, решил, что Пушкин переработал его перевод, и счел нужным довести об этом до сведения читателей в «Литературном объяснении» («Литературные Прибавления» 1837, № 34): «Я не знал рукописи, найденной между бумагами покойника,—пишет Губер,—с которой перепечатан этот отрывок; но теперь спешу указать на поправки, которыми он удостоил мой перевод. Пушкин принимал живое участие в моем труде, и я имею право гордиться этим участием, но, не смея украшать себя собственностью великого поэта, считаю священною обязанностью указать на те места, которые принадлежат ему...». «Многие места перевода исправлены Пушкиным; но нигде рука мастера не помогла столько слабому ученику, как в том отрывке, который помещен в шестом томе «Современника». Самое начало, переведенное мною в размере подлинника, т. н. «Knittelverse», мастерски изменено им в звучный, прекрасный ямб...». «Я горжусь этими местами: они будут перлами в моем переводе. Судя по ним, нам остается только сожалеть, зачем Пушкин, глубоко сочувствуя Гете, не пересоздал нам в целости всего исполинского произведения этого бессмертного философа-поэта...» (стр. 335 сл.). Однако предположения Губера оказались неправильными. Автором найденной рукописи оказался некий А. Бек, который в «Современнике» 1838 г. (т. IX, стр. 64) напечатал по этому поводу такое

164

МЕФИСТОФЕЛЬ.

Ну чтожъ, когда она боится,
Что измѣнилъ ты бѣдной ей?
И то сказать, въ глуши своей
Онъ будто звѣрь ся дичится.

ФАУСТЪ.

Я близокъ къ ней вездѣ, всегда!
Какъ прежде пламенной любовью сердце бьется!
....
....

МЕФИСТОФЕЛЬ.

Смотря на васъ тайкомъ, и мнѣ
Завидно иногда бывало,
Когда въ завѣтной тишинѣ
Она тебя такъ пламенно ласкала.

ФАУСТЪ.

Прочь, [_____]

МЕФИСТОФЕЛЬ.

....
....
....
....
Ступай же! на твою бѣду
Глядѣть мнѣ право не подъ силу;
Я въ спальню къ ней тебя веду,
А не въ холодную могилу.

ФАУСТЪ.

Я пилъ восторгъ небесъ въ объятіяхъ ея.
Дай отогрѣться мнѣ на персяхъ дѣвы нѣжной!

164.

Я тѣлу божію завидую, когда
Устами чистыми она его
Коснется.

Фаустъ.
Прочь, сводникъ.
Мефистофель.
Богъ на все горазд[ъ].
Онъ всемогущею рукою
Сперва красавицу создастъ
А толь сводникъ весь тобою.

Страницы из издания „Фауста“ Гете в переводе Э. Губера (СПБ, 1838) с собственноручными вставками переводчика выброшенных цензурою стихов

С экземпляра, принадлежавшего Э. Губеру

Собрание редакции „Литературного Наследства“, Москва

«Литературное объяснение»: «Отрывки из «Фауста», перемешанные с бумагами покойного Пушкина без подписи переводчика и напечатанные с копии, без ведома сего последнего, по странному стечению обстоятельств, во II томе «Современника»,—переведены мною, а не г. Губером, который трудился над переводом всего «Фауста». Не имея никаких притязаний на авторскую славу, но уважая право собственности как свое, так и чужое, долгом считаю объяснить, что весь отрывок, начинающийся словами: «С какою пламенной любовью...» и кончающийся стихом «Студентов школьник образцовый», от стр. 30 до 338 [т. е. все, что напечатано в «Современнике».—*В. Ж.*], принадлежит исключительно мне, а не г. Губеру, и не Пушкину, как то сказано в «Литературном объяснении» в «Лит[ературных] Прибавл[ениях]» к «Р.[усскому] Инв.[алиду]» 1837 г., стр. 335». После этого Губер в отдельном издании своего перевода (1838) признал происшедшее недоразумение и заявил с некоторой небрежностью: «Время объяснило этот литературный qui pro quo, и я с удовольствием освобождаю себя от труда г-на Бека» (стр. XXXII). Это обстоятельство вынуждает относиться с некоторой осторожностью к легенде о прямом участии Пушкина как редактора в переводе Губера.

Отдельным изданием «Фауст» Губера появился в 1838 г. Автор снабдил его посвящением Пушкину, которое дает некоторое представление о его собственных стихах:

Когда меня на подвиг трудный
Ты улыбаясь вызывал,

Я верил силе безрассудной
И труд могучий обещал.
С тех пор один, вдали от света,
От праздной неги бытия
Благословением Поэта
В ночных трудах крепился я...

Переводу Губер предпослал историко-литературное предисловие с библиографией о немецкой легенде и ее обработках. В толковании «Фауста» он стоит на «охранительной» точке зрения (может быть по цензурным соображениям?): «Смирение, сознание собственной немощи—удел человека, когда стоит он перед лицом невидимого Создателя. Но бурное стремление ума, не признающего этих благодетельных границ, истощится в напрасной, высокомерной борьбе—и вера, этот краеугольный камень жизни, с ужасом скроется при дерзких вопросах сомнения. Отвергая единственный путь к спасению, человек идет по дороге своего произвола, и этот произвол ведет его к погибели». Фауст Гете является, по мнению Губера, «отважным бойцом в страшной борьбе веры и познания, в борьбе столь гибельной для мыслящего ума человека. Он стоит на страшной границе земного знания... Здесь кончается лукавое, бесполезное мудрствование, здесь одна только вера подает нам посох спасения. Но и это религиозное доверие, это смиренное благоговение многими добывается только в борьбе с мятежным умом, как отрадный плод успокоенного сомнения... Пройти сквозь мрак земных противоречий его назначение. Оно исполняется возвращением к вере. Конечный результат его борьбы заключается в отрадном успокоении религии».

165

~~Ея тоску смягчу ли я~~
Душою бурной и мятежной?
Бѣднякъ бездомный я бѣжалъ
Съ утеса на утесъ потокомъ водопада
И съ иступленіемъ искалъ
Бездонной пропасти хохочущаго ада.
Я погибалъ — а въ сторонѣ,
Тревожной горести не зная,
Она въ завѣтной тишинѣ
Цвѣла, какъ роза полевая.
Чиста, невинна какъ дитя,
Съ страстями свѣта незнакома,
Въ заботахъ маленькаго дома
Она жила еще шутя.
А я отверженный, въ борьбѣ съ моей судьбою
Не только на себя печали накликалъ,
Не только дерзкою рукою
О скалы скалы разбивалъ;
~~Я деву бѣдную встревожилъ,~~
Явясь какъ демонъ передъ ней,
~~И миръ души~~ огнемъ страстей
~~И взволновалъ и уничтожилъ~~!
Мнѣ страшно, бѣсъ! разсѣй мой страхъ!
Пусть грозный жребій совершится!
Пусть вмѣстѣ съ ней въ карающихъ громахъ
Небесный гнѣвъ надъ нами разразится!

МЕФИСТОФЕЛЬ.

Ну вотъ опять огнемъ горитъ!
Взойди, утѣшь ее отъ тяжкаго мученья!
Гдѣ онъ въ бѣдѣ хоть разъ сглупитъ,
Тамъ для него ужъ нѣтъ спасенья.

Страница из издания „Фауста“ Гете в переводе Э. Губера (СПБ, 1838) с собственноручными поправками переводчика

С экземпляра, принадлежавшего Э. Губеру

Собрание редакции „Литературного Наследства“, Москва

Тем не менее николаевская цензура выпустила перевод Губера только с большим числом пропусков, замененных многоточиями. Выпущено было в издании 1838 г. более 300 стихов. Имея под руками экземпляр этого издания, принадлежавший Губеру и Тихменеву, с рукописными вставками пропущенных мест, полностью до сих пор не опубликованных[175], мы можем вполне точно установить, какие мысли и выражения смущали николаевскую цензуру: испытанный этим пробным камнем «Фауст» неожиданно поворачивается к нам своей критической стороной, колеблющей идеологические устои алтаря и трона.

Большинство пропусков относится к разряду «богохульных» и «кощунственных». Пропущен целиком «Пролог на небе», т. е. сцена, которая современному читателю покажется наиболее религиозной по своей общей концепции: у последующих переводчиков (Вронченко, Струговщикова, Грекова, 1859) вместо Бога появляется «один из духов» или «чистый дух». Пропущен 3-й монолог Фауста—перевод Нового Завета, где Фауст заменяет начальные слова евангелия от Иоанна: «В начале было слово» характерным для нового мировоззрения: «В начале было дело» (19 стихов). Пропущен в разговоре Мефистофеля со студентом весь отрывок, посвященный критике богословия (стр. 86):

Неправдами усеян этот путь,
И яда скрытого так много в нем таится,
И от лекарства яд так трудно отличать.
Верней всего и здесь лишь одному внимать
И с верой за слова учителя божиться...

В разговоре Гретхен и Фауста о религии выпадает противопоставление свободной индивидуалистической религиозности пантеиста—догматической связанности церковной веры, т. е., за исключением первых двух строк, весь следующий отрывок:

Тогда в блаженстве утопая
Наполни грудь огнем любви,
И в этом царстве исчезая
Его как хочешь назови:
Бог, радость, сердце и любовь!
Ему нет имени, все чувство!
А имя только звук пустой!
Туман и дым!

Далее цензура исключает все непочтительные упоминания о духовенстве («Pfaffen»—«попы», как всюду переводил Губер). Например в первом монологе: «Хоть я и умнее, чем эти пустые попы да министры, глупцы записные». В разговоре Фауста с Вагнером:

Вагнер: Молва в народе говорит:
Актер попа перехитрит.

Фауст: Да, если поп им быть желает,
Что впрочем часто так бывает.

По этой причине выпускается весь рассказ о том, как патер похищает у матери Гретхен подаренное Фаустом ожерелье (стр. 132—133). В печатном тексте стоит:

Мать между тем—зовет;
Он видит, вещи не пустые

И с важным видом говорит:
Нет, вы не принимайте клада!

Тире заменяет слово «попа». Далее выпущено:

Тому, кто страсти победит,
Доступна райская награда.
Снесите в церковь дар бесславный!
У ней желудок преисправный,
Хоть съела целые владенья,
Но ей ничто не повредит.
Одна неправое именье
Лишь церковь Божия сварит.
Фауст
Цари с жидами не отстанут,
Не хуже церкви кушать станут.
Мефистофель.
Поп кольца, серги, все берет.
В суму бессовестно кладет:
Как будто дрянь такие клады,
Он и спасибо не сказал.
Небесных благ им пожелал,
А те тому и очень рады.

Третья группа пропусков относится к политике. Пропускается в разговоре Мефистофеля с учеником отрывок о юриспруденции, который, в духе буржуазного учения о естественном праве, противопоставляет узаконенным предрассудкам положительного права прирожденные и забытые права человека (стр. 86):

Мы как заразу вековую
Наследуем законы и права.
От поколенья к поколеньям
Их время медленно несет,
Благодеяние становится мученьем,
А ум в безумство перейдет.
За право вечное, что с нами родилось,
Никто к несчастью не вступился.
О нем у нас судить перевелось.

В сцене «Кухня ведьмы» пропущена песенка мартышек, намекающая на революцию:

Корона разбита!
Потом и кровью
Склей нам ее.

Целиком выпущена «Песня о блохе», исполняемая Мефистофелем в Ауэрбахском погребе, в виду ее явного политического смысла: против системы фаворитизма, господствующей в абсолютных монархиях. Интересно отметить, что последующим переводчикам пришлось переделывать песню о блохе. Вронченко заменяет короля старухой (стр. 109):

Жила была старуха
У ней была блоха...

Придворная карьера блохи как королевского министра и фаворита соответственно снижена (строфа 2):

И вот блоха нарядней,
Чем кто-нибудь другой:
У дочек плащ бумажный—
У блошки парчевой.
Блоха всем правит в доме,
Все ставит на своем;
И видя то, отвсюду
Полезли блохи в дом.

В последней строфе блохи кусают не королеву и придворную даму, а всю «семейку», «деток и внучат». С цензурным запретом пришлось иметь дело и Струговщикову (1856). У него тоже—«старуха», блоха управляет «домом, как собственным добром», блохи кусают «деток» (стр. 194). «Королевская» блоха впервые появляется у Грекова (1859).

Наконец очень небольшое число пропусков сделано с точки зрения цензуры нравов; например вольные речи Фауста о Гретхен при первом знакомстве:

И словом, если в эту ночь
Ты мне красотки не достанешь,
Так лучше убирайся прочь!

И дальше:

Мой аппетит и так велик!

Особенно же в тех случаях, где эротические представления сближаются с религиозными, например в словах Фауста:

Я телу Божию завидую, когда
Устами нежными она его коснется...

В художественном отношении, как видно из приведенных примеров, «Фауст» Губера значительно уступает тем отрывкам, которые переведены были в эти годы такими поэтами, как Веневитинов, Тютчев или даже Аксаков, и не стоит на высоте стихотворного уровня пушкинской эпохи, хотя «Библиотека для чтения» и писала в комплиментарном тоне: «Кажется, как будто лира Пушкина ожила нарочно для того, чтобы передать нам великолепное творение германского поэта и философа языком и стихом, достойным его» (1838, т. 31, отд. 6, стр. 41). Вместо многих примеров мы приводим отрывок из I монолога «Фауста», который проследим и в дальнейших переводах:

О месяц тихий, месяц ясный,
Зачем, зачем в полночный час
Над головой моей несчастной
Ты не блеснешь в последний раз!
Зачем по грудам мертвых книг
Ты в грудь отрадой не проник!
Зачем на темных вышинах
Я не могу в твоих лучах
Над бездной скал и над лугами
Летать с могучими духами!
Чтобы исцелясь от старых мук,
В твоей росе, луна златая,
Больную грудь мою купая,
Покинуть тщетный груз наук!

изъ фауста

Кто звалъ меня?
— О страшной видъ!
— Ты, силою и упрямыми чарами,
Мой кругъ волшебный сосалъ не даромъ —
И днесь —
твой взоръ меня мертвитъ!
— Не ты ль молилъ, какъ изступленный,
Да узришь ликъ и гласъ услышишь мой?
Склонился я на кликъ упорный твой —
И се, предсталъ!.. какой же страхъ презрѣнный
Вдругъ овладѣлъ, титанъ, твоей душой?
Гдѣ-ль эта грудь, чья творческая сила
Міръ цѣлый создала, взлелѣяла, вращала,
И все уносило отвагой неземной,
Съ неутомимымъ напряженьемъ,
До насъ, Духовъ, возвыситься рвалась?
Ты ль это, Фаустъ? и твой ли былъ то гласъ,
Тѣснившійся ко мнѣ съ отчаяннымъ моленьемъ?
Ты, Фаустъ? Сей бѣдный безпомощный прахъ,
Проникнутый насквозь моимъ дуновеньемъ,
Во всѣхъ души своей дрожащій глубинахъ?..
— Но другъ! Симъ пламеннымъ презрѣньемъ
Главы моей — не сломишь ты ея,
Я, Фаустъ, я, Духъ какъ ты! твой равный я!...

Автограф перевода Ф. Тютчева отрывка из первой части „Фауста“: „Разговор Фауста с духом земли“
Собрание Н. И. Тютчева, Москва

Но пересказанный Губером довольно свободно перевод его сохраняет в общем верность мысли оригинала и сыграл большую культурную роль при первом ознакомлении русских читателей с трагедией Гете. Многочисленные рецензии [176] были очень сочувственны. В тон этим рецензиям Герцен писал своей невесте: «Как только отпечатается прекрасный перевод «Фауста» (Губера),—пришлю» (26/II 1838) [177]. Только Белинский занял по отношению к Губеру резко враждебную позицию как по художественным, так и по идеологическим мотивам: Губер «просто искажает Фауста» [178].

Автограф перевода Ф. Тютчева отрывков из первой части „Фауста“: „Разговор Фауста с духом земли“ и „Гимн архангелов“ из „Пролога на небе“

Собрание Н. И. Тютчева, Москва

«Жалкий г. Губер, двукратно жалкий—и по своему переводу или искажению «Фауста», и по пакостной своей философской статье, которая ужасно воняет гнилью и плесенью бессмыслия! Право, ограниченные люди хуже, т. е. вреднее, подлецов: ведь если бы не г. Струговщиков, то Губер еще на несколько лет зарезал бы на Руси Гете. Впрочем, чорт с ними, с этими бездарными Губерами...» [179] «Статья Губера о философии обличает в своем авторе ограниченнейшего человека, у которого в голове только ветер посвистывает...» [180] Соответственно этому рецензия «Московского Наблюдателя» о Губере—резко отрицательная: «Он не понял, не передал Фауста». «У него создание Гете является не могущественным и крепким, проникну-

тым жизнью, которая веет даже в самых звуках стихов, но расслабленным и хилым. Не узнаешь тех мест, которыми восхищался в оригинале, хотя копия сохраняет наружную близость. То, что у Гете так живо и сильно,—тут сухо, мертво, безжизненно» (1839, ч. II, отд. 4, стр. 19 сл.).

«Фауст» Губера был издан вторично Тихменевым во II томе «Сочинений» Губера (1859). Имея под руками рукопись покойного поэта или экземпляр печатного издания со вписанными пропусками, Тихменев мог восстановить большинство пропущенных цензурой мест. Однако в нескольких местах остались многоточия: например в политическом отрывке—о юриспруденции и естественном праве (5 стихов), в проклятьи Фауста—проклятье «вере и надежде» и др. В других случаях, где по цензурным условиям нельзя было восстановить в точности текст оригинала, Тихменев занялся сочинительством (если это не сделала за него цензура?). В таких местах отсутствие рифмы выдает неумелую поправку. Так заменив Бога в «Прологе» чистым духом, Тихменев должен был допустить такую строфу (стр. 16):

Опять забрел ты как-то к нам, д у х ч и с т ы й [вм. о Б о ж е]
И о здоровьи спрашиваешь нас;
А потому меня на этот раз
Ты между дворней видишь т о ж е.

В начале первого монолога мы читаем:

Хоть я и умнее, чем эти пустые
Министры, судьи и писцы—дурачье.

В оригинале было: «Попы да министры, глупцы записные». Наиболее значительное искажение такого рода—в разговоре матери Гретхен со священником. Ср. с приведенным выше отрывком оригинального текста Губера (стр. 155):

Мать между тем ... зовет;
Он видит, вещи не пустые
И с важным видом говорит:
Нет, вы не принимайте клада!
Тому, кто страсти победит,
Доступна райская награда.
В ф и л а н т р о п и ч е с к и й о т д а й т е к о м и т е т.
О, т а м желудок преисправный,
Хоть съел он целые владенья,
Е м у ничто не повредит.
Б о ж у с ь, неправое именье
О д и н л и ш ь к о м и т е т с в а р и т.

И дальше:

М о й к о м и т е т, т о т все берет,
В суму бессовестно кладет... и т. д.

Эти искажения сохранились во всех последующих изданиях «Фауста» Губера, довольно многочисленных в конце XIX и в начале XX века.

Вторую часть «Фауста» Губер представил читателям в прозаическом пересказе со стихотворными вставками отдельных отрывков («Библиотека для чтения» 1840, т. XXXVIII, отд. I, стр. 173—218).

3

В 1844 г. выходит в свет перевод «Фауста» I М. Вронченко с изложением II части, сопровождаемым прозаическим переводом отдельных сцен, об-

ширной статьей о «Фаусте» и примечаниями. М. Вронченко (1801—1855), по профессии военный, известный своими военно-топографическими исследованиями, является автором нескольких стихотворных переводов мировых классиков—«Манфреда» Байрона, «Гамлета» и «Макбета» Шекспира и др. Принципы его перевода изложены им в предисловии: «При переводе обращалось внимание прежде всего на верность и ясность в передаче мыслей, потом на силу и сжатость выражения, а потом на связность и последовательность речи, так что забота о гладкости стихов была делом не главным, а последним» (стр. I). В соответствии с этой установкой перевод Вронченко отличается известной суховатой точностью, которая, правда, не передает лирической атмосферы оригинала, но зато при скупости и сосредоточенности словесного выражения избегает тех цветов собственного красноречия, которыми украшали Гете позднейшие переводчики. Ср. приведенный выше отрывок:

О, если б, полный месяц, ныне
Светил ты уж в последний раз
Моим трудам, моей кручине!
Меня ты долго, в поздний час
Видал, друг скорбный, в непокое,
Средь книг и хартий, при налое!
Когда ж я возмогу в полях
И на скалистых высотах
И у жерла пещер носиться
С воздушною Духов толпой,
Там пить твой свет, твоей росой
От чаду знаний исцелиться!

Добросовестность и точность Вронченко по отношению к «мысли» Гете доходит до того, что в своих примечаниях он оговаривает те места, где ему не удалось в стихе передать точную мысль подлинника. Ср. например в «Посвящении» (строфа 3): «Боюсь им чуждый, самых их похвал»—в прим. 1 оговорено: «В 6-м стихе 3-й октавы следовало бы сказать, точнее: «Самое одобрение их пугает мое сердце». И так во многих случаях.

Но особенно многочисленных оговорок потребовали те места, где Вронченко борется с цензурой. Пропуски гербелевского издания очевидно подсказывали ему, где произвести соответствующие переделки. О новой редакции «Блохи» мы уже говорили. В прологе на небе архангелы заменены «чистыми духами», а Бог—«одним из духов». Примечание 8-е сообщает: «Второй пролог переведен с некоторыми отступлениями и с пропуском нескольких стихов. В подлиннике три Чистые Духа, поющие Гимн, названы по именам, говорящий с Мефистофелем тоже назван. На русском некоторым речам дана, по необходимости, иная форма; мысли же пролога сохранены почти вполне—из главных не пропущено ни одной» (стр. 234). Насмешливые речи Мефистофеля в этой сцене сильно сглажены; примечания (9—12) об этом сообщают в точности; например примечание 9-е: «В подлиннике эта часть Мефистофелевой речи гораздо сильнее выражает характер чорта, нежели в переводе» (стр. 234). В разговоре Мефистофеля с учеником «богословие» заменено «философией»; примечание 64-е гласит: «В подлиннике здесь говорится не о философии вообще, а об одном особенном ее виде» (стр. 242). В проклятьи Фауста у Губера цензура выпустила проклятье «вере и надежде» (стр. 70)—у Гете: «Fluch sei der Hoffnung, Fluch

dem Glauben»; Врончепко переводит: «Будь прокляты вино, любовь, В с е ч т о ж е л а н н о, ч т о о т р а д н о», и делает примечание: «В подлиннике вместо общих выражений, поставленных в переводе, названы две сестры любви» (стр. 239). Обширный отрывок перевода евангелия, в котором Фауст посягает на текст священной книги, самовольно заменяя «слово»—«делом», изменен до неузнаваемости (стр. 58):

Но как начать их мне? С чего?
Что наши речи? где найду я слово,
Чтобы назвать, чтоб выразить Его,
Непостижимое ничьею мыслью Слово?
Скажу ль: Дух духа, Сила сил—
Все не придам тому достойного названья,
Что сам в себе совокупил
С причиной первой первое Деянье.

Эти благочестивые мысли, вложенные в уста «Фауста», Вронченко не совсем точно оправдывает в примеч. 35: «Следующие 8 стихов суть не перевод, а изложение сущности тех мыслей, которые в подлиннике, в 14 стихах, выражены несколько пространнее и с большей определительностью». Наконец одна из наиболее значительных переделок спасает сцену между матерью Гретхен и патером, заменяя церковь благотворительной «кружкою» и оговаривается, как всегда, в примечании: «В подлиннике шкатулка получает иное назначение—почему и весь рассказ о ней должен был в переводе несколько измениться» (стр. 244). Вот этот измененный рассказ (стр. 133):

...Последствий убоялась вредных
И вздумала: снесем находку в кружку бедных!..
...Вот мать к директору: а он, хитрец лукавый,
Такому случаю и рад—
Подметил, что не дурен клад,
И говорит: вы, дети, правы —
За жертву бедным награждает Бог;
Желудку кружки все под-силу—
Не раз он так жрал, что Господь помилуй,
А обожраться все не мог!
Да, только кружка ест в покое
Добро неправо нажитое.

В статье о «Фаусте» Вронченко также стоит на «охранительной» точке зрения. Он чрезвычайно враждебно относится к философским умствованиям немецких комментаторов поэмы и предлагает, «забыв даже о самом существовании каких-либо философических систем», «по мере сил наших руководствоваться единственно—здравым рассудком»: «этот вождь надежнее всякого другого» (стр. 377).

Следуя этому руководителю, Вронченко приходит к заключению, что основная идея «Фауста» выражена в «Прологе» словами Гете, что «мудрствуя нельзя не заблуждаться» (стр. 380). «Фауст найдет путь истинный, когда перестанет мудрствовать». «Итак в продолжение пьесы Фауст должен: сперва мудрствовать, итти путем Мефистофелевым, а потом перестать мудрствовать и, следуя неясному своему стремлению, найти путь истинный, озариться светом» (стр. 381). Эта антиинтеллектуалистическая точка зре-

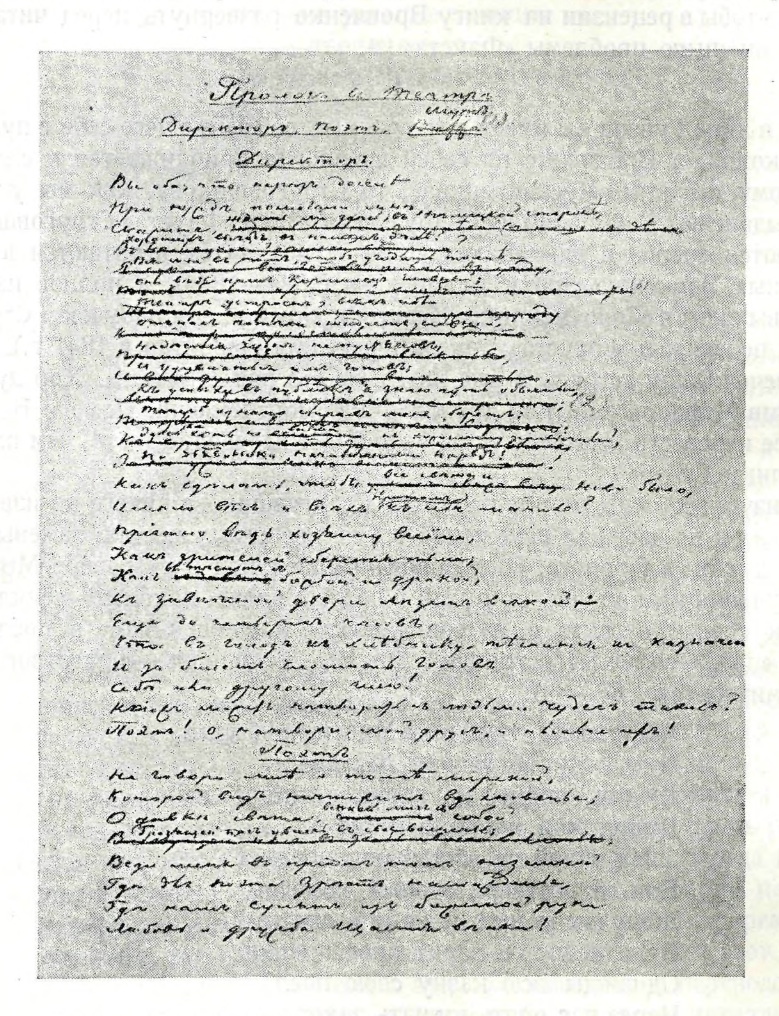
ния подтверждается подробным обзором первой части, но прежде всего комментарием к Прологу на небе, в котором словами «Человек рад мудрствовать во весь свой век, а мудрствуя нельзя не заблуждаться» Вронченко переводит: «Es irrt der Mensch, solang er strebt» (стр. 18), правда—с обычными оговорками в примечании: «В точности «стремясь» (т. е. вперед)» или «домогаясь (т. е. желаемого)». В подлиннике это выражено одним словом «streben». Ср. о том же в статье (стр. 380, примеч.) «Слово м у д р с т в о в а т ь, взятое отдельно, не может служить переводом немецкого s t r e b e n; но в настоящем случае оно, кажется, выражает мысль подлинника довольно верно, и потому мы удержим его, за недостатком лучшего, в продолжение всего обзора». Так благочестивое переосмысление замысла «Фауста» приводит обычно точного Вронченко к существенному искажению мысли оригинала.

Ко II части «Фауста» Вронченко относится отрицательно: его подробный пересказ должен доказать, что «пиеса, ясно и явственно, пришла не к тому концу, к которому притти долженствовала», потому что Гете не дает ответа на поставленный вопрос: «когда же он [Фауст] перестает мудрствовать? когда находит путь истинный?» (стр. 404). «Вторая часть растянута, туманна, в ней часто встречаются недоразумения и непонятности, в ней нет драматической жизни» (стр. 410). По мнению Вронченко, Гете был великим поэтом только в молодости: тогда он «с о з д а в а л», а впоследствии «только с о ч и н я л свои произведения» (стр. 438). Об этом свидетельствуют не только его старческие произведения—«Фауст» II, окончание «Вильгельма Мейстера», «Диван», но даже переделанные в Италии юношеские замыслы «Ифигении», «Тассо», «Эгмонта»: «Кто знает,—восклицает он с грустью,—в первоначальном виде не были ли они похожи на Геца!» (стр. 425).

В многочисленных рецензиях на «Фауста» Вронченко [181] перевод встретил в общем положительную оценку, хотя и указывали на некоторую его суховатость. Киреевский называет перевод «буквально верным, но далеко поэтически не верным», однако хвалит переводчика за то, что он «предпочел бесцветность стиха ложному колориту» («Москвитянин» 1845, ч. I, стр. 10). Общее несогласие встретили теоретические высказывания Вронченко. И. С. Тургенев посвятил переводу большую и интересную статью, в которой он подробно высказывается и о самой проблеме Фауста, и о взглядах Вронченко, и о его переводе. Отдавая справедливость «добросовестной отчетливости», «терпеливому трудолюбию» переводчика, Тургенев считает в то же время, что «он не поэт, даже не стихотворец». «Его труд—действительно труд... Это не источник, который свободно и легко бьет из недр земли; это колодец, из которого со скрипом и визгом насос выкачивает воду. Вам беспрестанно хочется воскликнуть: браво! еще одна трудность преодолена! между тем как нам бы не следовало и думать о трудностях» [182]. Но особенно резко возражает Тургенев против идеологии статьи, ее антиинтеллектуалистических установок. «В этом «обзоре» неприятно поражает читателя какое-то странное озлобление против философии и разума вообще, и против немецких ученых в особенности» (стр. 234). По поводу истолкования «Пролога» он замечает: «Ненависть к «мудрствованию» побеждает в почтенном переводчике его добросовестность, не подлежащую никакому сомнению: он переводит неверно... не переставая руководиться здравым рассудком» (стр. 235).

Гораздо острее эти выпады в черновых заметках на полях тургеневского экземпляра «Фауста» Вронченко, сохранившегося в Библиотеке Института

Русской Литературы Академии Наук [183]. Эти заметки показывают вообще, как внимательно и добросовестно готовил Тургенев свою рецензию. Поля перевода испещрены стилистическими пометками в роде: «не то», «казенно», «не понят подлинник», «совсем не то», реже: «очень хорошо переведено» и т. п.; особыми знаками помечены славянизмы и архаизмы, которые Тургенев в рецензии ставит в вину переводчику (стр. 241). Поля статьи испещрены полемическими замечаниями против основной идеи комментатора. На


Прологъ въ Театрѣ

Директоръ. Поэтъ. Буффа.

Директоръ.

Поэтъ

Черновой автограф перевода М. Вронченко „Пролога в театре“ из „Фауста“
Институт Русской Литературы, Ленинград

стр. 369, открывающей «Обзор обеих частей Фауста», написано: «NB. Сказанное о 2-й части вполне справедливо, но первой части г-н Переводчик не понял вовсе. С одним здравым рассудком, приправленным малороссийской злобой к разуму,—далеко не уедешь». На стр. 377, где Вронченко объявляет «здравый рассудок» наиболее надежным вождем, Тургенев приписывает: «в самом деле?» На стр. 378, где переводчик цитирует филологические труды Уварова, он приписывает: «Здравый смысл видно умеет и поподличать». На заявление Вронченко (стр. 381), что Фауст найдет истинный путь, когда перестанет мудрствовать, Тургенев замечает: «Каково-с»;

а там, где Вронченко мечтает, что душа героя в конце этого пути озарится светом, стоит ироническое «Браво!» Еще более резкие замечания разбросаны на стр. 387—по поводу Мефистофеля и пуделя: «О деревянная башка!» и далее на стр. 418—в связи с характеристикой творчества молодого Гете: «какое вранье!» Несомненно, что для Тургенева, воспитанного на «Фаусте» (каким он изобразил себя впоследствии в автобиографическом письме рассказа «Фауст»), это полемическое раздражение послужило главным стимулом, чтобы в рецензии на книгу Вронченко развернуть перед читателем свою концепцию проблемы «Фауста» [184].

4

Если в лице Губера мы имеем переводчика, связывающего себя с пушкинской школой, а Вронченко по своей идеологии приближается к славянофильскому кружку «Москвитянина», то Струговщикова, как мы уже видели, выдвигают Белинский и его друзья: отрывки «Фауста» Струговщикова появляются сперва в альманахах (1839—1840), затем печатаются в «Отечественных Записках» эпохи Белинского (1841—1844), а полное издание части I выходит в «Современнике» 1856 г. Белинский сам побуждал Струговщикова переводить «Фауста»; так он писал ему (вероятно в 1841 г.): «Раза три перечел Вашу тетрадь и еще хотел бы сто раз перечесть. Хор духов и речитатив Мефистофеля (мои дружки) чудо, как хороши. Помоги Вам Бог поскорее перевести всего «Фауста»—это будет перевод, а не то, чем плюнул на публику Губер» [185].

О цензурных испытаниях перевода Струговщикова ничего не известно. Однако и он не избежал искажений в уже известных местах: замены Бога чистым духом в Прологе, богословия—философией в разговоре Мефистофеля с учеником, короля—старухой в песне о блохе, наконец—неуклюжих попыток спасти рассказ о матери Гретхен и священнике: в последнем случае «попа» заменяет «стряпчий Михей», а церковь—«благотворительный комитет» (стр. 88—89).

Старуха за стряпчим: Михей прибежал,
Целый короб вздору насказал:
Людям, видно, не впрок нечистое добро,
Душу, мол, из тела гонит оно...
...На такой де, сударыня, предмет
Есть благотворительный комитет;
Желудок у него поистине славный:
Он и нечистое варит преисправно;
Однажды всю казну свою поел,
Через час опять кушать захотел.

«Фауст» Струговщикова имеет те же особенности, что и большинство стихотворных его переводов: по своему методу он является переложением основной «мысли» подлинника, в котором сглажены, вместе с метрической структурой, другие черты конкретной художественной формы. Понятно, что в философской трагедии этот метод менее дает себя знать, чем в лирическом стихотворении, где самое развитие лирических эмоций связано нередко с особенностями формальной структуры; поэтому «Фауст» Струговщикова вполне передает общее течение мысли Гете, хотя и отталкивает нейтральной и сглаженной «литературностью» общего тона, чрезвычайной многословностью и свободным обращением с приемами выражения оригинала. Ср. например из первого монолога Фауста (16 ст. вместо 12 у Г.):

О если б, месяц светозарный,
Светил ты здесь в последний раз!
Как скорбный друг, ты в поздний час
Придешь на труд неблагодарный
Свой тусклый, бледный луч пролить
И пыльной хартии страницы
Своим сияньем озарить!
Ласкать бы мне усталые зеницы,
О месяц, при твоих лучах,
Над ясным озером, на горных высотах!
С воздушною бы мне толпою
Их легких призраков летать,
В твоей росе, перед зарею,
Больную грудь мою купать!
Да исцелюсь от мук сомненья
И тяжкой пытки размышленья.

Перевод Струговщикова переиздавался неоднократно. Во второй половине XIX в. он считался лучшим переводчиком «Фауста». О его отношении к своей работе как переводчика среди молодого поколения литераторов ходили различные анекдоты, которые передает в своих воспоминаниях один современник, С. Ф. Либрович [186]. «Для него Фауст был альфою и омегою всемирной литературы, величайшим из произведений, созданных человеческим гением, своего рода литературным божеством, к которому надо подходить для совершения священнодействия. И такое именно отношение к «Фаусту» он хотел внушить всем, с кем только ему приходилось говорить. Он знал всего «Фауста» в подлиннике наизусть и готов был в любое время цитировать целые страницы. Перевел он гетевскую трагедию шесть раз под ряд и каждый раз сызнова. «Окончив перевод,—рассказывал он,—я клал рукопись в большой конверт, накладывал на этот конверт шесть сургучных печатей, прятал его в один из шести ящиков моего письменного стола, а ключ от данного ящика бросал в Неву, дабы случайно у меня не явилось желание при новом переводе, взглянуть, как перевел я раньше то или другое место, тот или другой стих. И это я повторял шесть раз в течение десяти лет, которые я посвятил переводам «Фауста». Когда наконец во всех шести ящиках оказалось, таким образом, по готовому переводу, я велел вскрыть все ящики и стал сличать сделанные в разное время переводы—и составил, так сказать, сводный седьмой перевод. Вот этот перевод и лежит теперь перед вами». Но и в этом окончательном переводе он все еще делал поправки и изменения. «Тысячу рублей я готов немедленно отдать тому, кто лучше и вернее меня переведет вот эти четыре строки «Фауста!» громко кричал он в магазине Вольфа, цитируя то одно, то другое место своего перевода, отнюдь не стесняясь присутствием публики, которая смотрела на него, как на маниака или психически больного» (стр. 199).

В 1859 г. выходит новый перевод «Фауста» Н. Грекова, переводчика и поэта, в свое время пользовавшегося некоторой известностью (1810—1866). В отношении исправности текста он почти свободен от цензурных искажений. В смысле методов перевода Греков еще усугубляет тот принцип вольного «переложения мысли», который характеризует Струговщикова и всю середину XIX века. Вот соответствующий отрывок I монолога в его переложении (вм. 12 стих.—21):

О если бы, луна, ты в этот грустный час
На скорбь души моей луч бросила холодный—
Ты, за-полночь меня видавшая не раз
Здесь за работою и трудной и бесплодной!
Тогда, подруга дум моих,
Над грудою бумаг и книг
Ты лик свой бледный мне являла;
О если б я теперь, тобою озарен,
Мог в горы быть перенесен,
Где серебристое ты стелешь покрывало,
Когда б в долинах и лугах,
Под сводом неба, на просторе,
С духами ночи, на крылах,—
Носился я в их шумном хоре,
Сливался б с сумраком ночным,
С сияньем трепетным твоим,
Лился б с прохладою в волнах благоуханья,
И чужд душевной там грозы
И не измучен жаждой знанья,
Купаться б мог я, при твоем мерцаньи,
Во влаге блещущей росы.

Особое место среди переводов 50-х годов занимает первый полный перевод II части «Фауста» А. Овчинникова, изданный в Риге под заглавием: «Фауст». Полная немецкая трагедия Гете, вольнопереданная по-русски А. Овчинниковым», Рига, 1851». О личности автора ничего неизвестно. В предисловии он сообщает, что сначала, лет семь назад, начал переводить первую часть. «Когда же объявлено было о выходе в свет второго перевода той самой части г. Вронченка—попытки мои оказались без ожидаемого успеха, и я, предав их до некоторого времени забвению, заблагорассудил посвятить свои досуги на перевод Второй части» (стр. X). Работа эта оказалась, по рассказу Овчинникова, очень трудной и продолжалась пять лет: «требовалось изучить много иностранных толковников, заметок и пояснений по поводу гетевой трагедии, надобно было перебрать весь запас наших областных речений, общенародных поговорок и т. п. и при том, для большей выдержки знаменательности оригинала, надо было собраться со всем сказочным духом русского мудрословия, главное—обеспечить себя терпением» (стр. XI). То, что получилось в результате этой работы, обнаруживает в авторе преждевременного и неудачливого предшественника В. Хлебникова: сочетание архаизмов, фольклорных элементов и новообразований в стиле тех и других создает своеобразный поэтический язык, отличный не только от сглаженного языка 50-х годов, но и от всего вообще известного нам в литературном языке XIX века. Так, у него встречаются такие слова: щалберь, глупендяй, дошляк, взбутуситься, прокукситься, очухать, укурнуть, подсластуля, подсвистуля, хрустье, неубоимка, сотворимка, неглядимка, злобраз, зломордка, каплюга, облыжнорылый, жарынь, перетур, звездня, взмазня, пирня, любня и мн. др. При дворе «кесаря» (действие I) у него выступают: Думный (Kanzler), Воевода (Heermeister), Казначей (Schatzmeister), Кравчий (Marschalk), Звездочет (Astrolog), а в маскараде участвуют: Фофаны (Faunen), Лешак (Satur), Горынята (Gnomen), Дроворубы (Holzhauer), Уродко-Зоил (Zoilo-Thersites) и др. «Женская болтовня» (Weibergeklatsch) передается так (стр. 42):

ПОСВЯЩЕНІЕ.

([illegible] ?)

Вы носитесь передо мною снова,
Неясныя видѣнья раннихъ дней!
Рѣшусь ли васъ облечь въ одежду слова?
Найду ли прежній пылъ въ груди моей? [illegible]
Вы неотступны? что жъ? душа готова
Пожить и нынѣ средь былыхъ гостей:
Волшебная, примчавшая васъ, сила
Въ нее опять жаръ юности вселила.

Вы время мнѣ напомнили златое,
[illegible] И много милыхъ призраковъ встаетъ:
Вотъ, какъ преданье старины святое,
Любовь и дружба первыя; но вотъ
[illegible] И грусть о всемъ, чѣмъ бытіе земное
Изукрашало прежде свой полетъ,
О тѣхъ друзьяхъ, что ужъ къ послѣдней цѣли,
Обмануты надеждой, отлетѣли!

Пометки И. С. Тургенева на экземпляре „Фауста" Гете в переводе М. Вронченко (СПБ, 1844)
Институт Русской Литературы, Ленинград

Тогда, какъ чудо въ кругѣ бытія
Конечно микрокозмомъ я
Назвалъ бы ваше высокостепенство. [57]

ФАУСТЪ

Что жъ я такое, ежели вполнѣ
Здѣсь человѣческое мнѣ
Недостижимо совершенство? [58]

МЕФИСТОФИЛЬ

Почтеннѣйшій! ты, просто — ты!
Надѣнь парикъ съ несмѣтными кудрями,
Имѣй ходули подъ ногами —
Ты все не болѣе, какъ ты.

ФАУСТЪ

Дѣйствительно, теперь мнѣ ясно,
Что умственныхъ сокровищъ я напрасно
Въ себѣ такъ много сгромоздилъ —
Отъ нихъ въ душѣ не прибываетъ силъ;
Я все ни на волосъ не выше
И къ безконечности не ближе

МЕФИСТОФИЛЬ

Ты видишь дѣло въ простотѣ своей,
Какъ вообще на взглядъ оно сдается;
Попробуй-ка, пока еще живется
Объ этомъ разсудить умнѣй:
Тьфу, пропасть! руки, ноги — все, отъ рожь
До прочаго — ну, да, оно твое;
Но все, что служитъ мнѣ на пользу — и оно же
Безспорно вѣдь мое!
Когда я шесть коней имѣю,
Не я ль ихъ силами владѣю?

Пометки И. С. Тургенева на экземпляре „Фауста“ Гете в переводе М. Вронченко (СПБ, 1844)
Институт Русской Литературы, Ленинград

Бабьи звяки
Там на четверке колесят...
Фыряет—знать то прокурат;
А трутень фофанит с запят,
Сам испитой, живья—ни-ни!
И тих—никшни! хотя щипни;
Одышкой чахнет искони...

Фалес в классической Вальпургиевой ночи приветствует восторженными словами Океан, в которые переводчик вносит (может быть—непреднамеренно) пародический элемент (стр. 168):

Фалес
Какие прелести!.. я возъюнел...
Вдруг усладительно оторопел...
Я совершенство лепоты узрел!
Да! мир живучий порожден водой—
Живет и движется лишь мокротой
И истекает что воды застой...
Ты Океан, источниче живой!
Когда б ты облаков не рассылал,
Тяжелых туч водой не разражал
И топей мокрястью не разжижал,
Когда б ты речек не разводенял
Да быстрины им не определял,
Когда бы о! не капало нам с крыш—
Что был бы мир без Океана?.. шиш!
Ты, Синий, все живишь и всех свежишь.
Эхо (целым хором)
Ты, сыне, все жидишь и всех смешишь [187].

Рецензии на Овчинникова, довольно многочисленные, наполнены цитатами и откровенными насмешками [188]. Для развития русской поэзии перевод его никакого значения не имел.

5

Переводы «Фауста» в последней четверти XIX в. очень многочисленны; поток этот продолжается и в первые годы XX в. Как мы уже говорили, «Фауст»—единственное произведение Гете, которое в эту эпоху еще живо занимает русского читателя. Мы имеем в 1875 г. незаконченный перевод И. Павлова (до сцены в Ауэрбахском погребе); в 1878 г.—в Собрании сочинений, изданном Н. Гербелем, перевод Н. Холодковского (часть I—II); в 1882 г.—перевод А. Фета, часть I и в 1883 г.—его же, часть II; в том же 1883 г.—П. Трунина, ч. I; в 1883 г.—Т. Аносовой, ч. II; в 1889 г.—бар. Н. Врангеля, ч. I и в том же году — Н. Голованова, ч. I; в 1901 г.—кн. Д. Цертелева, ч. I; в 1902 г.—А. Соколовского, ч. I—II (в прозе); в 1902 г.—П. Вейнберга, ч. I—II (в прозе). Из этих переводов ни один, кроме Холодковского и Фета, внимания не заслуживает, хотя некоторые, например Голованова и Трунина, переиздавались несколько раз. Все они пересказывают «мысли» Гете тем бесцветным, казенным языком, которым писались в эту эпоху упадка поэтического искусства как оригинальные, так и переводные стихи. Желание возможно точнее и добросовестнее передать «мысль» подлинника, при полном пренебрежении к ее конкретному художествен-

ному воплощению, отрыв отвлеченного содержания от формы выступают особенно ярко в прозаических переводах А. Соколовского и П. Вейнберга, самая наличность которых уже свидетельствует о характерных художественных установках эпохи, тем более что оба автора были известны в свое время как квалифицированные и культурные переводчики: А. Л. Соколовский прежде всего—как переводчик Шекспира (1898), но также Байрона, Гете и Гофмана, П. И. Вейнберг—как переводчик Гейне, редактор многих западных писателей, ученый критик и даже историк литературы. Оба конечно стоят несравнимо выше, чем какой-нибудь дилетант в роде Анатолия Мамонтова, который, для сохранения «мысли» подлинника, передает монологи «Фауста» бесформенными вольными ямбами без рифмы:

О если б на мое мученье
В последний раз смотрел ты, полный месяц,
Кого, полуночь не одну,
Я, бодрствуя, встречал у этого стола:
Тогда над книгами и над бумагой
Ты, друг тоскливый, мне являлся... и т. д.

Тем не менее А. Соколовский, который между прочим переводил и «Дон Жуана» Байрона прозой, вполне выражает общее мнение своего времени, когда пишет в предисловии к своему прозаическому переводу: «Совершенно верный и вполне понятный перевод «Фауста» в стихотворной форме невозможен ни на какой язык, и это именно потому, что при стихотворной форме нельзя никак сохранить буквально верный смысл тех загадочных выражений, которые требуют особого объяснения. Сверх того известно, что стихотворная форма, будучи вполне пригодной для перевода произведений, написанных в лирическом или драматическом роде, совершенно несостоятельна для передачи на иностранный язык афоризмов философских, этических или научных, не допускающих никакого отклонения от точного смысла текста. А «Фауст» столько же философское произведение, сколько и поэтическое» [189].

Не выше общего среднего уровня и перевод кн. Д. Цертелева (1852—1900), известного в свое время философа шопенгауэровской школы, переводчика «Манфреда» Байрона, который печатался отрывками в различных изданиях 90-х годов и вышел отдельным изданием в 1901 г. О переводах Бальмонта см. ниже (стр. 644) [190]. Два перевода выделяются на этом фоне— Холодковского и Фета. Н. А. Холодковский (1858—1913), профессор зоологии Военно-Медицинской Академии, выступает в конце 70-х годов, т. е. в юношеском возрасте, как поэт-переводчик: в 1878 г. Гербель печатает в своем Собрании сочинений перевод обеих частей «Фауста», сделанный молодым ученым, не имевшим в те годы ни литературного, ни научного имени. Успех перевода Холодковского вполне оправдал выбор Гербеля. Конечно перевод этот сделан не поэтом, и та поэтическая техника, в которой был воспитан Холодковский как переводчик, выступивший в 70-х—80-х годах XIX в., по своим методам не адэкватна художественному стилю Гете. Но серьезное отношение к тексту подлинника, долголетняя работа над переводом от издания к изданию, известный высокий средний уровень поэтического языка, при большой свежести, простоте и доступности, сделали из этого перевода, вполне заслуженно, наиболее известную и распространенную, так сказать стандартную, форму русского «Фауста» конца XIX и начала XX века. Ср.:

А. А. Фет читает 4 января 1884 г. у С. А. Толстой свой перевод 5-го акта второй части „Фауста“

Зарисовка карандашом А. А. Селивачевой

Собрание С. Н. Дурылина, Москва

О ясный месяц! Если б ныне,
В ночной печальной тишине,
В последний раз сиял ты мне
В моей тоске, в моей кручине.
О если б мог бродить я там
В твоем сияньи по горам,
Меж духов реять над вершиной,
В тумане плавать над долиной,
Науки праздный чад забыть,
Себя росой твоей омыть...

В противоположность Холодковскому Фет переводит «Фауста», как поэт, но как поэт, не всегда созвучный оригиналу. Перевод Фета встретил в русской печати своего времени почти единодушно враждебную оценку [191]. Правда, в значительной степени это враждебное отношение объясняется борьбой передовой русской печати против Фета как поэта «чистого искусства» и как политического консерватора. В этом смысле характерен отзыв «Дела», объединяющего в одной отрицательной рецензии «Вечерние Огни» и перевод «Фауста»: «Ничего не может быть проще, что трубадуру весенних роз и разных томных чувств и ощущений не может быть ни вполне понятно, ни вполне симпатично такое произведение, как «Фауст», произведение великого и протестующего человеческого духа. Результаты этого неестественного общения нашего крошечного и кротчайшего г. Фета с таким могучим умом и мятежным духом, как Фауст, получились курьезные» (стр. 71). Большинство рецензентов обвиняет Фета в чрезмерной формально-педантической близости к подлиннику, благодаря которой русский текст теряет самостоятельный смысл. «Он близок подлиннику,—пишет рецензент «Русской Мысли» (1889, № 3, стр. 92—93),—местами даже так близок, что, не имея в руках подлинника, совсем нельзя ничего понять». И отсюда делается характерный вывод: «Желая перевести «Фауста» рифмованными стихами, г. Фет взялся за почти неразрешимую задачу. Дело выиграло бы очень много, если бы перевод был сделан белыми стихами». Автор некролога в «Русской Мысли» говорит о странном правиле, которому Фет «неизменно и педантически следовал—сохранять в своих работах число строк оригинала. Этим пределом он ставил самого себя в чрезвычайно трудные условия и, стремясь переводить стих в стих, слово в слово, нередко впадал в тяжелый и неудобопонятный буквализм» («Русская Мысль» 1894, № 2, стр. 35).

В последнем наблюдении есть доля истины. В противоположность большинству переводчиков этой эпохи, Фет как поэт, и при том поэт музыкального склада, с большим вниманием относился к метрической структуре перевода, предваряя в этом вопросе теорию и практику символистов. Он не только сохраняет в «Фаусте» все размеры подлинника, в том числе и необычные в русской поэзии того времени дольники (Knittelverse), но следует чередованию рифм оригинала, в вольных ямбах старается воспроизвести, хотя бы приблизительно, последовательность более длинных и более коротких стихов, сохраняет, где возможно, синтаксическое членение фразы в стихе и т. д. Поэтому у него впервые и приведенный нами уже неоднократно отрывок приобретает точно соответствующую немецкому оригиналу метрическую структуру (четырехстопные ямбы с парными мужскими рифмами, в конце отрывка—два двустишия женских):

О месяц! Если б в этот час
Ты озарял в последний раз
Конторку комнаты моей,
Где столько я не спал ночей!
Тогда над книгами горой,
Печальный друг, ты был со мной.
О если б на вершинах гор
Я светом мог насытить взор,
Средь духов вкруг пещер носиться,
В лугах, в лучах твоих томиться,
От чада знанья облегченный,
В твоей росе возобновленный!

Но это внимание к «музыке стиха» сочетается у Фета как романтика-импрессиониста с невниманием к логически-смысловой стихии слова. Вернее, будучи по характеру своего дарования не мастером слова, а музыкальным импровизатором, Фет только там умеет дать адэкватный подлиннику перевод, где оригинал содержит поэтические элементы, родственные его собственной поэзии. Поэтому философические монологи первой части выходят у него иногда, при формальной точности, чрезвычайно неуклюже; например начало I монолога:

Ах, и философов-то всех,
И медицину, и права,
И богословие на грех,
Моя изучила вполне голова,
И вот стою я, бедный глупец!
Каким и был не умней под конец;
Магистром, доктором всякий зовет,
И за нос таскать мне десятый уже год
И вверх и вниз, и вкривь и вкось
Учеников своих далось.
И вижу, что знать ничего мы не в силах!

Зато многие музыкально-лирические места, в особенности II части, которая в общем переведена гораздо лучше первой, могут служить примером необыкновенных поэтических достижений. Ср. например из хора эльфов (ч. II, акт I):

...Ночь в долинах глубочайших.
Звезды вечные взошли,
Крупных искр средь искр мельчайших
Ближний блеск и свет вдали,
Прыщет в озере мигая,
Светит с тверди голубой,
И, покой наш завершая,
Правит месяц золотой...

Или из эпилога II части, P a t e r p r o f u n d u s:

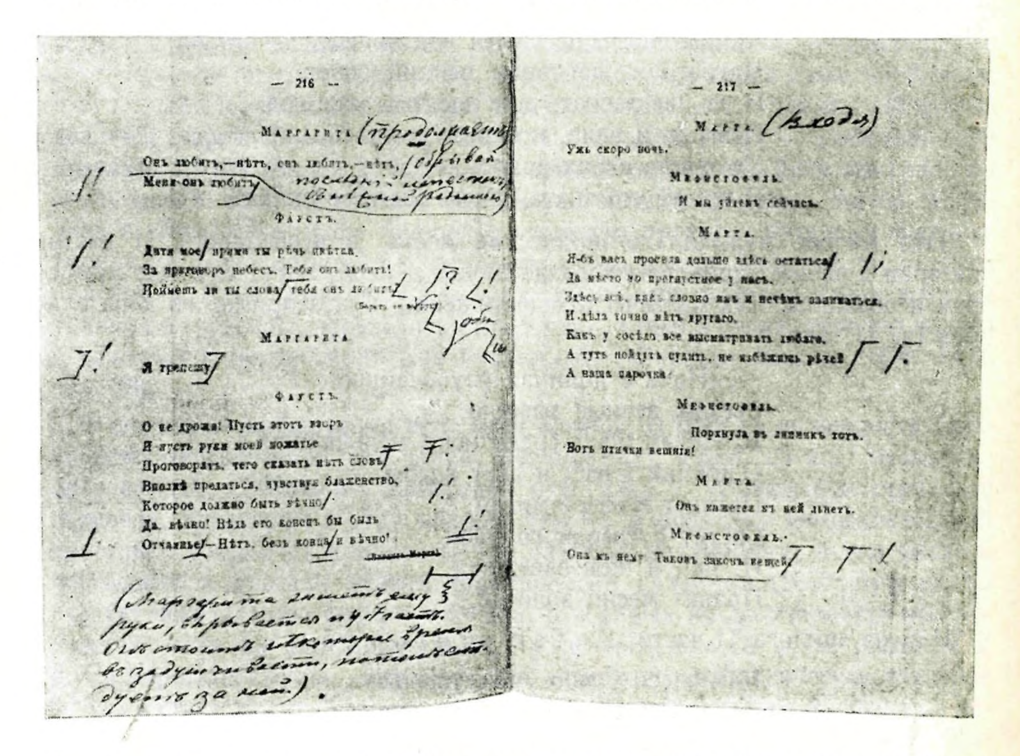
Как здесь у ног моих ущелье
В глубокой пропасти лежит;
Как тысяча ручьев в весельи
И в пене в бездну пасть спешит;
Как силой, вверх его несущей,

Древесный ствол в эфир влечет,—
Так и любовью всемогущей
Все создается, все живет.

В этих местах II части Фет является предшественником поэтического метода эпохи символизма.

6

В эпоху символизма над переводом «Фауста» работали Бальмонт и Брюсов. Молодой Бальмонт переводит в 90-х годах целый ряд отрывков из «Фауста». Как видно из его предисловия к переводу «Фауста» Марло [192], немецкая легенда пленяет его чертами индивидуалистического аморализма и «демонизма», которые кажутся родственными поклоннику Ницше и Бодлера. Бальмонт видит основную мысль легенды «в желании мятежной человеческой натуры перейти за пределы возможного,—силою соприкосновения с духом зла». «Человек, утомленный нищенской бледностью и повседневностью жизни, человек, возжаждавший сверхчеловеческого, старается достичь необыкновенной власти и необыкновенного проникновения» и потому он и «посягает на границы чисто человеческого и, предаваясь магии, вступает в договор с дьяволом» (стр. 171). Гете ослабил и рационализировал «трагический характер старинной легенды», который так отчетливо выступает например в драме Марло. Характерно, что Бальмонт переводит трагические сцены «Фауста», развязку судьбы Гретхен, которая, «начав свою жизнь среди цветов, кончает в тюрьме и на лобном месте» (стр. 173): сцены «Собор», «Пасмурный день», «Ночь», «Тюрьма». Эти переводы можно считать наи-


— 216 —

Маргарита.

Онъ любитъ,—нѣтъ, онъ любитъ,—нѣтъ,
Меня онъ любитъ

Фаустъ.

Дитя мое! пряма ты рѣчь цвѣтка.
За приговоръ небесъ. Тебя онъ любитъ!
Поймешь ли ты слова: тебя онъ любитъ?

Маргарита.

Я трепещу.

Фаустъ.

О не дрожи! Пусть этотъ взоръ
И пусть руки моей пожатье
Проговорятъ, чего сказать нѣтъ словъ:
Вполнѣ предаться, чувствуя блаженство,
Которое должно быть вѣчно!
Да, вѣчно! Вѣдь его конецъ бы былъ
Отчаянье!—Нѣтъ, безъ конца, и вѣчно!

— 217 —

Марта.

Ужъ скоро ночь.

Мефистофель.

И мы уйдемъ сейчасъ.

Марта.

Я-бъ васъ просила дольше здѣсь остаться,
Да мѣсто то прегнусное у насъ.
Здѣсь всѣ, какъ словно имъ и нечѣмъ заниматься,
И дѣла точно нѣтъ другаго,
Какъ у сосѣда все высматривать любаго.
А тутъ пойдутъ судить, не избѣжишь рѣчей.
А наша парочка?

Мефистофель.

Порхнула въ липникъ тотъ.
Вотъ птички вешнія!

Марта.

Онъ кажется къ ней льнетъ.

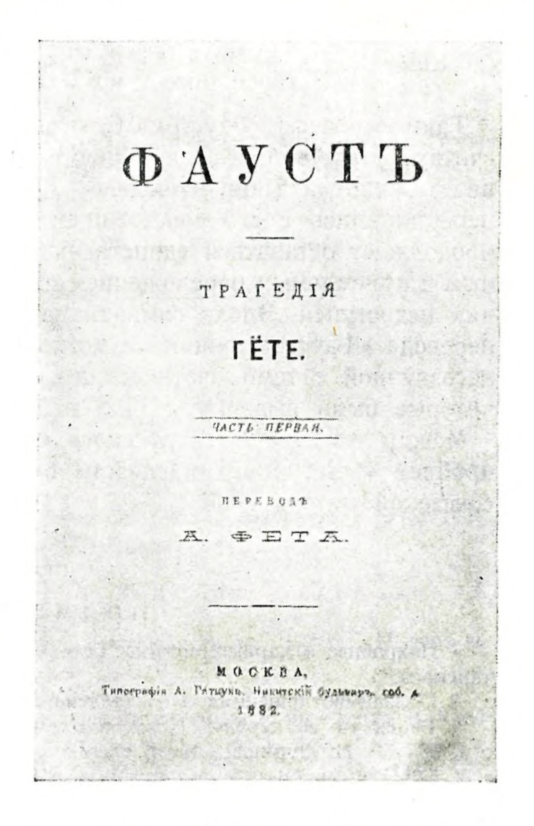
Мефистофель.

Она къ нему. Таковъ законъ вещей.

Корректурные страницы издания „Фауста“ Гете в переводе А. Фета (М., 1882) с собственноручными поправками переводчика

Библиотека I Московского университета

Титульный лист издания первой части „Фауста“ Гете в переводе А. Фета (М., 1882)
Библиотека I Московского университета


ФАУСТЪ

ТРАГЕДІЯ

ГЁТЕ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ПЕРЕВОДЪ

А. ФЕТА.

МОСКВА,
Типографія А. Гатцука, Никитскій бульваръ, соб. д.
1882.

более удачными. Напротив, с философическими монологами Фауста Бальмонт не умеет справиться: это та интеллектуалистическая, критическая сторона в гетевской обработке легенды, которая встретила наиболее живой отклик у передовых писателей 40-х годов и которая оставляет равнодушным поэта эпохи упадка буржуазной культуры.

«Фауст» Брюсова относится к концу литературной деятельности родоначальника русского символизма (1919—1920). Брюсов перевел обе части трагедии: до сих пор напечатана только первая (ГИЗ, 1928). Перевод сделан с тщательностью, характеризующей Брюсова как филолога, и с тем вниманием к особенностям метрической формы оригинала, которые отличают Брюсова как поэта эпохи символизма. Тем не менее в целом нельзя считать перевод удачным: как и в других переводах из Гете, единству и цельности впечатления мешает противоречие между стилем Гете и его своеобразным осложнением в стиле русского поэта-символиста, в его абстрактной и многопланной образности. Ср. стр. 85:

О месяц! если б свет свой ты
В последний раз *лил* с высоты
На грусть мою, что ряд ночей
Влачу я в комнате моей.
Над грудами бумаг и книг,
Печальный друг, ты вновь *возник*!
Ах, если б мне бродить в горах
В твоих пленительных лучах,
Скользить меж духов по вершинам,
В сияньи реять по луговинам,

И чад наук причтя к отравам,
В твоей росе купаться здравым.

Таким образом «Фаустом» Брюсова проблему русского «Фауста» нельзя считать решенной. Как и «Фауст» Фета,—это опыт большого поэта, но поэта лишь частично нашедшего в своем объекте такие аспекты, которые перекликались с его собственным творчеством. Перевод Холодковского продолжает оставаться единственным, хотя и скромным, но добросовестным и приемлемым переложением подлинника для того, кому этот подлинник недоступен. Эпоха символизма не создала адэкватного поэтического перевода «Фауста»: она и не могла этого сделать, будучи идеологически несозвучной с теми поэтическими образами и жизненными проблемами, которые были выдвинуты Гете в эпоху подъема буржуазной культуры.

Между тем проблема русского «Фауста»—одна из важнейших в ряду проблем культурного наследия: она должна и может быть разрешена советской литературой.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Подробнее о характеристике Гете, данной Энгельсом, см. выше в статье Луначарского.

[2] О взаимоотношениях Козодавлева и Гете см. выше в статье Дурылина.

[3] Рецензия на перевод Козодавлева появилась в «СПБ. Вестнике» 1780, ч. VI, стр. 58—60; Б. Пуришев, автор статьи о Гете в «Литературной Энциклопедии», т. II, стр. 523, считает «Вертера» первой вещью, переведенной на русский язык в 1781 г.

[4] Ср. Baldensperger, «Goethe en France», P., 1904. Около 1828 г. «автор Вертера» становится во французских журналах «автором Фауста».

[5] В. В. Сиповский, Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПБ, 1899, прил. 50.

[6] Там же, прил., стр. 50—51.

[7] В сборнике кн. Шаликова «Плод свободных чувствований», М., 1798, ч. I, стр. 26.

[8] Архив братьев Тургеневых, вып. 2. Письма и дневники Алекс. Ив. Тургенева. СПБ, 1911, стр. 82.

[9] А. Веселовский, В. А. Жуковский. 1904, стр. 58.

[10] Этот экземпляр находится в Институте Русской Литературы Академии Наук СССР.

[11] Архив братьев Тургеневых, вып. 2-й, стр. 81.

[12] Сочинения К. Н. Батюшкова, изд. Л. Майкова, т. III, стр. 245.

[13] Там же, стр. 240.

[14] Дневник В. К. Кюхельбекера, изд. В. Орловым и С. Хмельницким, 1929, стр. 210—211.

[15] Ср. В. В. Сиповский, Из истории русского романа и повести, ч. I. СПБ, 1903, № 1717.

[16] Библиография переводов «Вертера» очень запутана. В Публичной Библиотеке имеется 4 издания: 1781—1794—1796—1816 гг.; все анонимные. Кроме того библиографы упоминают издания 1798 и 1817 гг. Ср. Сопиков, №№ 11575—11576 и 13227 и в особенности примечание № 11576. Сиповский («Из истории русского романа и повести», ч. I, № 561, 1931) предполагает, что Галченков переиздавался три раза (1781—1794—1796), в последний раз—с приложением «Писем Шарлотты» (1796). Я полагаю однако в виду совпадения изданий 1796 и 1816 гг. как по тексту, так и по наличию приложения «Писем Шарлотты», что переводы Галченкова—1781 и 1794, а Виноградова—1796 и 1816; издания 1798 и 1817 гг., отсутствующие в Публичной Библиотеке, являются вероятно перепечатками. К сожалению они мне были недоступны.

[17] Галченков, стр. 223; Виноградов, стр. 217.

[18] Галченков, стр. 45; Виноградов, стр. 44.

[19] См. Appel, Werther und seine Zeit, Oldenburg, 1896, стр. 18—21.

[20] Там же, стр. 355—356. Автор—Joseph-Antoine de Gurbillon.

[21] В собрании Эрмитажа имеются гравюры Ридинга (1785) и Макарда по рисунку Бенуэля (1785).

[22] Колюпанов, «Биография Кошелева», т. I, кн. I, стр. 89.

[23] Стихотворение это указано мне П. Н. Берковым.

[24] В. В. Сиповский, Очерки из истории русского романа, т. I, вып. 2-й, гл. VII, стр. 512—618.

[25] Там же, стр. 519.

[26] Перепечатано еще раз в «Журнале для милых» (1804, №№ 6, 8 и 9) со странной пометкой: «сообщил Баранов, перев. Е. П. Люценко» (?).

[27] София Ларош (Laroche), автор романа «История девицы ф. Штернгейм» («Geschichte des Fräuleins von Sternheim», 1771).

[28] См. «Письма Карамзина к И. И. Дмитриеву», изд. Я. Гротом и Пекарским, стр. 25.

[29] Там же, стр. 37.

[30] «Память брату» или «Собрание сочинений и переводов Михаила Сушкова, найденных после смерти его». М., 1803.

[31] Ср. В. В. Сиповский, Из истории русского романа и повести, т. I, 1903, стр. 248, 257, 262, 288.

[32] Колюпанов, Биография Кошелева, ч. I, кн. I, стр. 194.

[33] О Рожалине см. подробнее выше в статье Дурылина.

[34] Соч. А. И. Герцена, 1905, т. IV, стр. 47.

[35] Прекрасную характеристику развития лирики Гете дает А. Г. Габричевский в юбилейном Собрании сочинений 1932 г., т. I, стр. 13.

[36] Подсчет только приблизительный—на основании библиографии Б. Я. Бухштаба.

[37] Ср. Weimarer Ausgabe, Bd. I, S. 386 (1887).

[39] См. Соч. П. А. Плетнева, 1885, т. I, стр. 84.

[39] Письмо Ал. Тургенева к брату Николаю от 8/IX 1824 г.; Веселовский, В. А. Жуковский, 1904, стр. 328.

[40] И. Киреевский, Обозрение русской словесности за 1829 г. Полное собрание сочинений, 1911, т. II, стр. 18.

[41] Соч. В. А. Жуковского, 1878, т. VI, стр. 439—443.

[42] См. Е. Петухов, Письма В. А. Жуковского к канцлеру Фридриху ф. Мюллеру («Новый сборник статей по славяноведению», СПБ, 1905, стр. 337).

[43] Goethes Unterhaltungen mit Kanzler Fr. v. Müller, 7/IV 1827, стр. 119—120.

[44] Веселовский, Жуковский, стр. 329.

[45] Там же, стр. 329.

[46] Ср. В. Каплинский, Жуковский как переводчик баллад.—«Журнал Министерства Народного Просвещения» 1915, № 1, стр. 18.

[47] Соч. Жуковского, т. IX, стр. 73 («О басне и баснях Крылова»).

[48] Ср. Н. О. Лернер, «Записки Одесского Общества Истории и Древностей», 1902, т. XXIV, стр. 70—71 и В. Туманский, Стихотворения и письма, ред. Браиловского, 1912, стр. 380.

[49] Указаны мне Г. А. Гуковским.

[50] См. В. И. Срезневский, Заметки А. Х. Востокова о его жизни (Сб. Отд. Русск. Яз. Слов. Акад. Н., т. 70, 1901, стр. 102).

[51] Ср. Соч. Пушкина, изд. Венгерова, т. V, стр. 419.—Дневник Кюхельбекера, стр. 151.

[52] О сочинениях Катенина, 1833 (Акад. изд., т. IX, ч. I, стр. 167). О борьбе Катенина с Жуковским в балладном жанре ср. Ю. Тынянов, Архаисты и новаторы, Л., 1929 г., стр. 107 сл.

[53] См. ниже статью С. А. Рейсера.

[54] В. А. Розов, Пушкин и Гете. Киев, 1908.

[55] Алексей Веселовский, А. С. Пушкин и европейская поэзия.—«Жизнь», 1899, № 5, стр. 125.

[56] Б. Л. Модзалевский, Библиотека Пушкина. СПБ, 1910 («Пушк. и его совр.», вып. IX—X).

[57] № 560. Austin Sarah, Characteristics of Goethe. From the german... 3 vols. Lond. 1833 (не разрезано).—№ 1135. Marmier X., Etudes sur Goethe. Paris, 1835 (разрезано).

[58] Théatre de Goethe, trad. par Albert Stapfer 1825 (Baldensperger, Goethe en France, 1904).

[59] Б. Томашевский, «Пушкин и Буало» (сб. Пушкин в мировой литературе, 1926, стр. 352).

[60] Соч. Пушкина, Акад. изд., т. IX, кн. I, стр. 130.

[61] Там же, стр. 34.

[62] Там же, стр. 403.

[63] Там же, стр. 167.

[64] Там же, стр. 43. Характерно, что Байрон зачеркнут.

[65] Там же, стр. 210.

[66] Honegger, Russische Literatur und Kultur, 1880, S. 189.—Weddingen, Geschichte der Einwirkungen der deutschen Literatur auf die Literatur der übrigen Volker, 1882, стр. 166. Еще раньше—Фарнгаген фон Энзе (русск. перев. «Сына Отечества» 1839, т. VII, стр. 17).

[67] Соч. Пушкина, Акад. изд., стр. 68.

[68] Там же, стр. 122.

[69] «Пушкин и Гете», стр. 106.

[70] Переписка Пушкина, изд. Саитова, т. I, 1906, стр. 248.

[71] «Мысли на дороге» (1833—1835). Акад. изд., стр. 190.

[72] Переписка, т. I, стр. 103.

[73] Там же, т. II, стр. 66—67.

[74] Соч. Пушкина, Акад. изд., т. II, стр. 382 и 447.

[75] Там же, т. IV, стр. 194 и примеч., стр. 276—280.

[76] Ср. В. Жирмунский, Байрон и Пушкин, 1924, стр. 166.

[77] Ср. Дневник Кюхельбекера, ред. В. Орлова и С. Хмельницкого, 1929, стр. 127.

[78] Соч. К. Н. Батюшкова, изд. Л. Н. Майкова, т. III, «Письма», стр. 245.

[79] Соч. Пушкина, Акад. изд., т. IX, стр. 136, «Дельвиг» (1831). Гёльти—ученик Клопштока, сентиментально-элегический поэт. Прежние издатели неправильно читали: «Гете». Пушкин не называет имени сосланного Кюхельбекера по цензурным условиям.

[80] Хранится в Рукописном отделении Института Русской Литературы Академии Наук.

[81] Языковский Архив, вып. I. Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829), изд. Е. В. Петуховым, 1913, стр. 367.

[82] Там же, стр. 207.

[83] Там же, стр. 153.

[84] Там же, стр. 158.

[85] Подробнее о гетеанстве Кюхельбекера см. в статье Дурылина «Русские писатели у Гете в Веймаре».

[86] Ср. Лидия Гинзбург, Опыт философской лирики («Поэтика», вып. 5-й, 1929, стр. 72 сл.).

[87] Сочинения Д. В. Веневитинова, изд. Смирдина, 1855, стр. 161.

[88] Там же, стр. 142.

[89] Там же, стр. 143.

[90] Там же, стр. 139.

[91] П. Сакулин, Из истории русского идеализма. Кн. В. Одоевский, т. I, ч. I. М., 1913, стр. 139 (по рукописи).

[92] Полное собрание сочинений И. П. Киреевского, ред. М. О. Гершензона, 1911, т. II, стр. 14—39.

[93] Там же, стр. 27.

[94] Соч. Пушкина, Акад. изд., т. IX, ч. I, стр. 174.

[95] Там же.

[96] Указано Н. Лернером.—«Русский Библиофил» 1912, № 5, стр. 9.

[97] См. Г. Чулков, Переводы Тютчева из Гете.—«Искусство» 1927, кн. II—III, изд. ГАХН, стр. 164—170.

[98] См. К. Пигарев, Тютчев—переводчик Гете.—«Урания. Тютчевский альманах», 1928, стр. 95.

[99] Подчеркнуто Белинским.

[100] Белинский, Письма, изд. Е. Ляцкого, 1914, т. I, стр. 341, к Станкевичу (29/IX 1839). К тому же стихотворению он возвращается вторично, ср. стр. 350.

[101] «Мурановский Сборник», вып. 1-й, 1928, стр. 67.

[102] Г. И. Чулков, Переводы Тютчева из Гете.—«Искусство» 1927, кн. II—III, стр. 164—170.

[103] Ср. Л. Гинзбург, Опыт философской лирики.

[104] Ср. Ю. Тынянов, Вопрос о Тютчеве («Архаисты и новаторы», стр. 367 сл.).

[105] «Русский Архив» 1879, кн. V., стр. 122—123 (оригинал писан по-французски).

[106] Н. Станкевич, Стихотворения. Трагедия. Проза. М., 1890, стр. 27 и 36.

[107] Ср. А. Корнилов, Молодые годы М. Бакунина. М., 1916, стр. 94—96.

[108] Переписка Н. В. Станкевича, М., 1914, стр. 249—250 (15/IX 1833).

[109] Там же, стр. 218.

[110] Там же, стр. 226.

[111] Там же.

[112] Там же, стр. 229—230 (11/VI 1833).

[113] Подробно об отношении Белинского к Гете см. ниже в статье И. Сергиевского.

[114] «Русское Обозрение» 1890, № 2, стр. 487, «Из воспоминаний Фета».

[115] Белинский, «Письма», ред. Е. Ляцкого, 1914.
[116] Там же, т. II, стр. 106.
[117] Там же.
[118] Ср. о переводах Аксакова—I, 317, 341, 349: II—69; о Струговщикове—I, 213, 313, 314; II—105, 212, 312; об Огареве—II, 282.
[119] Сочинения К. Аксакова, ред. Е. Ляцкого, 1915, т. I, стр. 129.
[120] Отрывки №№ 4 и 5 по счету Ляцкого (стр. 141) образуют одно целое.
[121] Перевод Петрова.—«Московский Наблюдатель» 1838, ч. XVI, перевод Аксакова—1838 г.
[122] Белинский «Письма», т. I, стр. 316, 341, 350.
[123] Там же, т. II, стр. 69.
[124] Ср. «Русская Мысль» 1889, кн. IV. Из переписки недавних деятелей, стр. 6, Герцену (1840): «Все это Schutt und Staub umnebelnd Himmelsgluth» (не совсем точная, очевидно по памяти, цитата из «Фауста»).
[125] «Письма», т. II, стр. 282.
[126] В письме Бакунину (8/10/IX 1840), см. «Русские Пропилеи», ред. М. О. Гершензона, т. III, стр. 78.
[127] Ап. Григорьев, Материалы для биографии. Ред. В. Княжнина, 1917, стр. 124.
[128] Там же, стр. 122.
[129] См. указание В. Спиридонова (Собр. соч. Ап. Григорьева, т. I, 1918, стр. 347).
[130] Н. Чернышевская-Быстрова, Каталог рукописей Н. Г. Чернышевского. Дневник Чернышевского, ч. II, 1932, изд. Всесоюзн. о-ва политкаторжан, стр. 371.
[131] «Н. Г. Чернышевский».—«Литературное наследие» 1928, т. I, стр. 294, 303, 322 (октябрь—ноябрь 1848).
[132] Там же, т. I, стр. 318.
[133] Там же, т. I, стр. 593, Дневник 2/III 1852.
[134] Полн. собр. соч. 1906 г., т. VI, стр. 274.
[135] Там же, т. VIII, стр. 168.
[136] «Сирена», Воронеж, 30 янв. 1919, № 4—5.
[137] Н. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 126.
[138] Ср. Я. Полонский, Мои студенческие воспоминания.—«Нива», Литер. Приложения 1898, № 12.
[139] В. Л-ий, А. А. Фет как поэт, переводчик и мыслитель.—«Русская Мысль» 1894, № 2.
[140] А. А. Фет, Ранние годы моей жизни. М., 1893, стр. 209.
[141] А. Толстой, Сочинения, ред. С. Венгерова, т. IV, стр. 128—129.
[142] Там же, т. IV, стр. 137.
[143] И. С. Тургенев, Сочинения, изд. А. Ф. Маркса, т. XII, стр. 219—224.
[144] С. Ф. Либрович, «На книжном посту» 1916, стр. 198—209: «Переводчик-маниак» (заключает ряд литературных анекдотов о Струговщикове).
[145] «Письма», т. I, стр. 213.
[146] Там же, т. I, стр. 313.
[147] Там же, т. I, стр. 315.
[148] «Москвитянин», т. III, стр. 511—512.
[149] Ср. в его рецензии: «молодой поэт», «любовь первой юности» и т. д.
[150] «Жизнь Гете и зимняя его поездка на Гарц» («Русская Беседа», СПБ, 1841, т. II, стр. 8).
[151] Кроме Белинского («Отечественные Записки» 1841, т. XVII, отд. 5, № 8, стр. 24—28) ср. еще «Библиотека для чтения» 1840, т. 39, отд. 6, стр. 1314; «Современник» 1840, т. XIX, стр. 151—162; «Литературная Газета» 1840, № 42, стр. 980—982.
[152] Собрание сочинений Гете, изд. Н. Гербеля, 1879, т. IX, стр. 72.
[153] «История западных литератур XIX в.», ред. Ф. Батюшкова, т. I, 1912.
[154] По цензурным данным, собранным С. А. Рейсером, разрешения на постановку «Клавиго» давались в 1816, 1835, 1842, 1862 гг.
[155] «Записки» (Архив братьев Тургеневых, вып. 2-й: Письма и дневники Александра Тургенева, 1911, стр. 82).
[156] Колюпанов, Биография Кошелева, т. I, кн. II, стр. 218.
[157] Уткинский сборник под ред. А. Грузинского. М., 1904, стр. 46.
[158] Указания по цензурному архиву см. ниже в статье С. А. Рейсера.
[159] См. И. А. Шляпкин, Из неизданных бумаг Пушкина, 1903, стр. 93 сл.—П. Щеголев, Заметки о Пушкине («Известия отделения русского языка и словесности» 1903, т. VIII, кн. IV, стр. 380).

[160] «Письма», т. II, стр. 350.

[161] Там же, т. II, стр. 351.

[162] Сочинения, т. I, стр. 154.

[163] «Уткинский сборник» 1904, стр. 61.

[164] «Письма», т. II, стр. 106.

[165] «Отечественные Записки» 1842, т. XXII, отд. 6, стр. 33—35; «Москвитянин» 1842, ч. IV, стр. 395—396; «Сев. Пчела» 1842, № 172; В. Межевич, «Литературная Газета» 1844, № 30.

[166] «Остафьевский Архив», т. IV, стр. 20.

[167] «Письма», т. II, стр. 210—211.

[168] Сочинения Герцена, т. VII, стр. 487.

[169] Сочинения Тургенева, т. XII, стр. 225.

[170] См. Сочинения, т. II, стр. 129.

[171] Переписка Пушкина, изд. Саитова, т. III, стр. 177.

[172] «Письма», т. I, стр. 333.

[173] Там же, т. II, стр. 210.

[174] Рассказ Губера—в «Литературных Прибавлениях» к «Русскому Инвалиду» 1837, № 34, стр. 335: «Литературное объяснение». Биографический очерк Тихменева—см. Соч. Э. И. Губера, 1859, т. III, стр. 267 сл.

[175] Экземпляр этот предоставил мне И. С. Зильберштейн.

[176] «Библ. для чтения» 1838, т. XXXI, отд. 6, стр. 41.—«Русский Инвалид» 1838, № 309.—«Сын Отечества» 1838, т. VI, отд. 4, стр. 60.—«Северная Пчела» 1838, №№ 272—274.—«Современник» 1839, т. XIII, стр. 73.—«Отечественные Записки» 1839, т. I, отд. 6, стр. 1.—«Московский Наблюдатель» 1839, т. II, отд. 5, стр. 18.

[177] Соч. Герцена, т. VII, стр. 487.

[178] «Письма», т. I, стр. 213 (10/VIII 1838).

[179] Там же, т. I, стр. 313 (22/II 1839).

[180] Там же, т. I, стр. 315 (25/II 1839).

[181] «Библиотека для чтения» 1844, т. 67, отд. 6, стр. 35—42.—«Современник» 1844, т. 36, стр. 360—363.—«Отечественные Записки» 1845, т. 38, № 1, отд. 5, стр. 1—66 и отд. 6, стр. 1—2 (И. Тургенев).—«Москвитянин» 1845, ч. I, № 1, стр. 10—14 (И. Киреевский).—«Русский Инвалид» 1844, № 264.—«Маяк» 1845, т. 19, кн. 37, стр. 26—28.—«Финский Вестник» 1845, т. I, отд. 5, стр. 60—68.

[182] Сочинения, т. XII, стр. 239.

[183] На существование этого экземпляра указал мне И. С. Зильберштейн.

[184] О замечаниях Тургенева на полях перевода Вронченко см. ниже публикацию Клемана.

[185] «Письма», т. II, стр. 212.

[186] С. Ф. Либрович, «На книжном посту» 1916 («Переводчик-маниак», стр. 198—209).

[187] У Гете: «Du bist's, der das frischeste Leben erhält. Echo: Du bist's, dem das frischeste Leben entquellt». («Ты тот, кто поддерживает самую свежую жизнь».—«Ты тот, от кого истекает самая свежая жизнь»). О «каплях с крыш» у Гете ничего не говорится.

[188] «Москвитянин» 1851, кн. II, № 22, стр. 331—343.—«Отечественные Записки» 1851, т. 79, № 11, отд. 6, стр. 37—40.—«Современник» 1851, т. 30, отд. 5, стр. 13—23.—«Сын Отечества» 1852, кн. I, отд. 7, стр. 78—86.

[189] «Фауст», трагедия Гете, в перев. и объяснениях А. Л. Соколовского, 1902. От переводчика.

[190] Библиографию русских переводов «Фауста» дает Н. Арский в своем переводе книги «Г. Бойезен, «Фауст» Гете. Комментарий к поэме». СПБ, 1899. Обзор прежних переводов дает рецензия «Русской Мысли» (1882, кн. XII, стр. 50—62) по поводу «Фауста» Трунина и «Неделя» (1889, № 41) по поводу перевода Голованова.

[191] «Заграничный Вестник» 1882, т. III, № 6, стр. 121—139, Ив. Казанский; «Русская Мысль» 1882, № 6 и 1889, № 3; «Дело» 1883, № 7; некролог в «Русской Мысли» 1894, № 2, стр. 28—40; «А. А. Фет как поэт, переводчик и мыслитель» (В. Л-ий).

[192] «Несколько слов о типе «Фауста» («Жизнь» 1899, т. VII, стр. 171—177).

А. ВОСТОКОВ, В. КЮХЕЛЬБЕКЕР, Е. РОЗЕН, Ф. ТЮТЧЕВ, Н. ОГАРЕВ, Н. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, А. ТОЛСТОЙ

НЕИЗДАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ ГЕТЕ

Печатаемые ниже переводы и подражания различных авторов по той или иной причине остались в свое время неопубликованными и выпали из истории русской поэзии и поэтического усвоения Гете. Мы публикуем их как новые материалы, освещающие судьбу Гете в русской поэзии XIX века.

I. А. Х. ВОСТОКОВ (1781—1864)

Переводы «Моей богини» и «Ифигении в Тавриде» печатаются по рукописям архива Академии Наук («Бумаги Востокова»). Обе рукописи беловые, с незначительными исправлениями. К «Моей богине» имеется черновик с вариантами. Рукописи подготовлены к печати В. Жирмунским.

Согласно указанию В. И. Срезневского («Заметки А. К. Востокова о его жизни» в «Сборнике Отделения Русского Языка и Словесности Академии Наук», т. 70, 1901 г., стр. 102) перевод «Моей богини» был прочитан в «Вольном обществе» 28 декабря 1811 г., а перевод «Ифигении в Тавриде»—9 июня 1811 г.

МОЯ БОГИНЯ

Которой из Богинь воздать всех больше честь?
Ни с кем не споря я, хочу ее принесть
Одной из них, всегда пременчивой и новой
Любимой дочери Зевеса, чудотворной
Фантазии. — Он ей
Не как другим богам, все прихоти прощает,
Какие только сам себе не запрещает.
Отцову эта дочь утеху составляет.
И милы все ему причуды в ней:
В венке ли розовом цветущими лугами
Пойдет она, держа лилейный скипетр свой
Повелевает мотыльками
И ко цветкам прильнув пчелиными губами
Медвяною питается росой.
Или—власы свои развеявши по ветру
Имея мрачный дикий взор
Блуждает по стремнинам гор,—
Тысящецветно
Переливаяся от света в тень,
Меняяся как ночь и день
Как лик луны сребристый ущербляясь
И в разных разных нам видах являясь.

Восхвалим древнего отца
Высокого небес владыку,
Что услаждающу сердца
Отраду нам послал толику,
И сей нетленной красоте
Велел быть смертному супругой,
При радости и при беде
Ввек неотлучною подругой!
Ущедрил сим Олимпа царь
Род человеческий единый
Беднейшая вся проча тварь
На лоне матери Земли чадообильной
Ярмом угнетена
Потребности всесильной
Живет для пищи и для сна,
Пасется, смутные имея наслажденья
И смутну скорбь,—рабы текущего мгновенья.
А нам он радуйтесь! сию
Послал досужую и ловкую, свою
Изнеженную дщерь.—Теките к ней с любовью,
Как к милу другу своему,
Пусть будет госпожей в дому
И чтоб от Мудрости, от старыя свекрови,
Любезну ангелу сему
Не видеть огорчений!
Но знаю я ее сестру,
По старее и по степенней;
С которой жить хочу, с которой и умру.
Я ею к благу понуждаюсь,
Мне с нею легче всякий труд,
Объемлюсь ею, утешаюсь,—
Надеждою ее зовут.

ПЕРЕВОД ДВУХ ЯВЛЕНИЙ ИЗ ГЕТЕВСКОЙ ИФИГЕНИИ РАЗМЕРОМ ПОДЛИННИКА

NB. Подлинник писан ямбическим пятистопным стихом древних Трагедий. Я старался в переводе соблюсти оный, позволяя себе однако в местах и шестистопные и четырехстопные стихи и другие вольности, как то: окончания стихов Дактилем вместо Ямба. Эти неисправности, ежели их так назвать угодно, можно будет при второй отделке исправить; теперь я более должен был думать о соблюдении смысла и красот подлинника, которые выразить—всякой знает, сколь трудно переводчику, а особливо с такого краткословного языка, каков немецкий, на такой протяжнословный язык, каков наш Русской. При сих трудностях не почел я за нужное задавать себе еще лишнюю трудность, какою не был стеснен и Гете; т. е. александрийские стихи с рифмами.

ИФИГЕНИЯ В ТАВРИДЕ

Трагедия соч. Гете.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ифигения
Тоас, Царь Тавридян
Орест
Пилад
Аркас

Действие в роще пред Дианиным храмом.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Ифигения

Под сень твоих колеблемых ветвей,
О древня, густолиственна дубрава,
Как в тихое святилище Богини,
Еще поныне с трепетом вхожу,
Как бы впервые—и не может
Обжиться и обвыкнуть здесь мой дух.
Уж столько лет меня в сокрытьи держит здесь
Святая воля, ей же покоряюсь;—
Но все еще я здесь как в первый год чужда.
От милых бо, увы! отделена я морем,
И на брегу по целым дням стою,
Летя душой ко Греческой земле;
Ах! и на вздохи все в ответ мне чрез пучину
Глухошумящий токмо отзыв волн.
Как горестно тому, с родными кто в разлуке,
Витает одинок! ему тоска
И близких радостей не даст вкусить:
Он мыслию не здесь а там,
В родительском жилище, где впервые
Взглянул на свет, в невинных где играх
Рождались связи сверстничества, дружбы.
С Богами не судиться мне; но льзя ль
Об женской участи не пожалеть!
Муж властвует везде, в дому, на рати,
И в чуждых он странах помочь себе умеет,
Стяжает собственность, венчается победой
И честную приемлет смерть.
А женщин счастие как стеснено!
Уже суровому повиноваться мужу
И долг велит и сердце; что ж, когда
Враждебной брошено судьбой в чужие люди
Творенье слабое? Не вдвое ли бедняй!..
Так здесь меня Тоас великодушный
В священных, строгих узах рабства держит.
Стыжусь признаться, что тебе, Богиня,
Служу я с внутреннею неохотой,
Тебе, Защитнице моей! Желала б я
Жизнь посвятить тебе мою непринужденно.
Надеялась всегда я непреложно,

Надеюсь и теперь, Диана! на тебя,
Что приняла меня, трепещущую жертву,
Великого царя, оставленную дщерь,
На кроткое твое святое лоно.
Так, дщерь Зевесова! Как если привела
Со славой ты в отечество обратно
Богоподобного Агамемнона,
Его же ты надмеру наказала,
На жертву дочери потребовав,—и он
Дражайшее свое принес тебе на жертву!
Как если ныне ты за то ему
Супругу соблюла, и сына и Электру,
Сии первейшие сокровища;—то даруй
Обратно и меня родным моим,
И коль от смерти ты избавила меня,
Избавь от здешней жизни, той же смерти.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Ифигения. Аркас.

Аркас

Меня послал с благим приветом царь
К Дианиной священнице. В сей день
Благодарение за новые победы
Таврида принести спешит своей Богине.
Предпослан я сказать, что царь идет
И воинство за ним.

Ифигения

Готовы мы
Принять их благолепно, и воззрит
Богиня наша милостивым оком
На жертвы, ей угодны от Тоаса.

Аркас

О, если бы и взор достойно чтимой жрицы,
Твой взор, святая дева, я обрел
Довольнее и радостнее ныне,
Спасительный нам признак всем!
Еще душа твоя печалью неизвестной
Помрачена; и сколько лет ты здесь—
Еще доверчивых мы не слыхали слов,
В которых бы твое нам говорило сердце.
Я сколько крат ни приходил сюда,
Всегда в тебе сей взор меня страшащий;
И крепко, как в веригах бы железных
Закована в груди душа твоя.

Ифигения

Как должно изгнанной и сироте.

Аркас

Изгнанницей себя и сиротою
Ты почитаешь здесь?

Ифигения

Страна чужая
Нам может ли отчизну заменить?

Ифигенія въ Тавридѣ

Трагедія. соч. Гете

*

Дѣйствующія лица.

Ифигенія.

Тоасъ, Царь Тавридянъ

Орестъ.

Пиладъ.

Аркасъ.

Дѣйствіе въ рощѣ предъ Діаниным храмомъ.

Дѣйствіе первое

Явленіе первое

Ифигенія.

Подъ сѣнь твоихъ колеблемыхъ вѣтвей
О древня, густолиственная дубрава,
Какъ въ тихое святилище богини,
Еще поныне съ трепетомъ вхожу
Какъ бы впервые — и не можетъ
Обыкнуться и освыкнуть здѣсь мой духъ
Ужъ столько лѣтъ меня въ сокрытіи держитъ здѣсь
Святая воля, ей же покоряюсь; —
Но все еще я здѣсь какъ въ первый годъ чужда.
Отъ милыхъ бо, увы! отдѣлена я моремъ,
И на брегу по цѣлымъ днямъ стою,
Летя душой ко Греческой землѣ;

Автограф перевода А. Востокова „Ифигении в Тавриде“ Гете (1810)
Архив Академии Наук СССР, Ленинград

Аркас
А ты отлучена отчизны?
Ифигения
Я об ней-то
Тоскую день и ночь. Еще отроковицу
В те годы, как привязанность сердечна
Усиливаться начинает в нас
К родителям и к кровным,—и когда
Младые отрасли стремились дружно
От корня старых древ подняться выспрь,
Тогда к несчастью вдруг меня постигло
За чуждую вину Проклятие...
От милых отняло, и медною рукою
Прекраснейший союз расторгло.—Отцвела
Беспечной молодости лучша радость,
Надежды лестные в ничто обращены.
Сама лишь я себе как тень осталась;
И прежней живости ничем не воскресить.
Аркас
Когда ты столь себя несчастной называешь,
Позволь же мне еще назвать тебя
И несколько неблагодарной—
Ифигения
Я
Всегда являла благодарность вам.
Аркас
Не искреннюю, не такую,
Которая благодеянью служит
Наградою—не тот веселый взор
Которым гость хозяину являет
Довольну жизнь, радеющее сердце.
В то время как таинственной судьбой
Приведена была к сему ты храму,
Тоас тебя как богом данную
Благоговейно и усердно встретил.
Сей брег тебе одной приязнен был и мирен,
Дотоле всем пришельцам столь ужасный:
Из них кто заходил на оный, до тебя,
Тот пред Дианиным святым кумиром
По древнему поверию должен был
Пасть непременно жертвою кровавой.
Ифигения
Жить—есть не только что дышать свободно.
Сколь бедная та жизнь, которую я здесь
В святилище—как тень над собственной могилой—
Влачу во скуке? То ли назову
Веселым и полезным бытием,
Когда нас каждый день празднотекущий, сонный
Приготовляет к темным оным дням
Что празднуют на Летиных брегах
В самозабвении усопших скучны лики?
Жизнь бесполезная есть рання смерть;

Сию-то участь женщин я всех боле
Изведала.

Аркас

Что недовольна ты
Собой, прощу тебе столь благородну гордость,
Колико мне не жаль тебя; она
Тебе мешает жизнью наслаждаться.
Ты разве ничего не сделала еще
С прибытья твоего сюда? А кто же
Цареву мрачну мысль рассеял, разъяснил?
Кто древний тот обычай лютый,
Чтоб кровию пришельцов обагрять
Дианин жертвенник—год от году умел
Воздерживать кротчайшим убежденьем?
И пленных свободив от верной смерти,
Столь часто во отчизну отсылал?
Диана не сама ли вместо гневу
За опущение кровавых прежних жертв,
Молитву кроткую твою прещедро
Услышала? Не беспрестанно ль ныне
Сопутствует победа нашим воям
И даже предлетит?—Не каждый ли из нас
Довольнее стал жребием своим
С тех пор как царь, столь долго бывший нам
Премудрый токмо вождь и храбрый, от тебя
И милосердью научается,
И поданным своим дарует льготу?
Ты это бесполезным называешь?..
Коль от тебя на тысячи людей
Лиется бальзам утешения;
Коль счастья нового источником ты стала
Народу, коему дана богами ты;
Коль брошеным сюда несчастным чужеземцам,
На бреге смерти негостеприимном,
Готовишь ты спасенье и возврат?

Ифигения

Содеянное кажется все малым
Тому, кто видит, сколько впереди
Еще осталось совершить ему.

Аркас

Но ты похвалишь ли того, кто не ценит
Своих деяний?

Ифигения

Тот достоин порицанья
Кто вес дает своим деяниям.

Аркас

И тот кто истинных в себе достоинств
Из лишней гордости, не хочет видеть,
Подобно как и тот, кто ложными гордится
Достоинствами.—О! поверь мне, не отринь
Моих советов искренних, усердных:
Коль царь сегодня вступит в речь с тобой,

Будь ласковей, и облегчи ему
Что он тебе намерен объявить.

Ифигения

Ты с каждым словом мне вселяешь новый страх,
Хоть чувствую, что мне добра желаешь;
С трудом уже я часто отклоняла
Царево предложение.

Аркас

Подумай
О следствиях, о пользе твоего
Поступка. Царь, с тех пор как сына он лишился,
Немногим верит уж из приближенных
И сим немногим меньше прежнего.
Он с недоверчивостью смотрит
На сына каждого вельможи
Как на преемника престолу своему;
Боится, чтоб на старости не быть
Оставленным и беспомощным; даже
Боится может быть и мятежа
От дерзновенных,—и кончины злой.
В витийстве хитром Скифы не горазды
А паче царь, обыкший искони
Повелевать и действовать всевластно.
Он не умеет речь свою вести
С нарочным умыслом, искусно, издалеча.
Не затрудняй же оной ты ему
Строптивым, отрезающим ответом
И недоразумением притворным;
Но снисходительно пойми его сама
На половине речи—сократи
Ему дорогу объясненья.

Ифигения

Мне ускорить самой грозящу мне невзгоду?

Аркас

Супружество его тебе гроза?

Ифигения

Оно страшнее для меня всех гроз.

Аркас

Ты на любовь его ответствуй токмо
Доверенностью.

Ифигения

Пусть он прежде
Отымет страх от сердца моего.

Аркас

Почто таишь пред ним свое происхожденье?

Ифигения

Священнице приличествует тайна.

Аркас

Ничто бы тайной быть не должно для царя;
И он хотя не требует, однако
Он чувствует и чувствует глубоко
В своей душе великой, что пред ним
Ты тщательно себя скрываешь.

Ифигения

Он за то
Не огорчен ли на меня?

Аркас

Почти.
Хотя он о тебе молчит; но я из разных
Промолвленных им слов, заметил что
В нем поселилося желанье непременно
Владеть тобой. Ах, не оставь его
На произвол движений собственных!
Дабы неудовольствие в нем выше
Не возросло—и следствия ужасны
Не принесло тебе, и ты бы поздно уж
Не каялась, что мой пренебрегла совет.

Ифигения

Как, разве помышляет царь о том,
О чем бы ни один благорожденный муж
Не должен думать, если честь ему
Мила и естьли он богов боится?
Насильственно он хочет влечь меня
От алтаря на одр свой? О! тогда
Всех призову богов, и первую Диану,
Ревнующее к правде Божество;
Она меня, священницу, конечно
И деву, дева же, охотно защитит.

Аркас

Спокойся! Не младая буйна кровь
В царе кипит, чтоб сталось от него
Такое сродное лишь юношеству дело.
Из слов его усматриваю я
Жестокое намеренье иное
Которое он непременно
Исполнит, ибо тверд и непреклонен он.
И так прошу тебя, явись к нему
Хотя доверчива и благодарна
Когда не можешь быть склонна.

Ифигения

Скажи,
Скажи, что далее тебе известно?

Аркас

Узнай от самого царя. Я вижу, он
Сюда уже идет; ты чтишь его,
И сердце собственно тебе повелевает
С ним ласковой и искренею быть.
Над мужем благородным много может
Жена одним умильным, добрым словом.

Ифигения (одна)

Хотя не знаю как последовать
Советам верного сего,—но буду
Охотно исполнять свой долг, чтоб за царево
Добро ко мне, платить хоть добрым словом.
О если бы при том я сильному могла
Сказать угодное, и правду не обидеть!

II. В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР (1797—1846)

Стихотворение В. К. Кюхельбекера «Ницца» печатается по тетради с его стихотворениями, хранящейся в рукописном отделении Института Русской Литературы Академии Наук. Рукопись представляет черновик с большим числом исправлений. Кюхельбекер писал начерно на лицевой стороне страницы и некоторые строфы в исправленном виде переписывал на оборотной стороне предшествующей страницы, налево от черновика. Стихотворение находится на лл. 77 об.—79 об.; следующий лист, на котором повидимому было окончание, вырван из тетради. На основании этой рукописи В. Н. Орлову удалось отыскать печатный текст стихотворения, до сих пор ускользавший от внимания издателей Кюхельбекера. Он озаглавлен «К Гете» и подписан *—(см. «Московский Телеграф» 1826 г., ч. XI, отд. 2, стр. 3—5). Текст «Московского Телеграфа» заключает полностью строфы, отсутствующие в оторванных частях черновика (в нашей публикации они взяты в квадратные скобки) и обнаруживает ряд разночтений, из которых наиболее значительное—в заглавии. По цензурным соображениям во второй строфе стихи 3—4 заменены тире, а в шестой строфе в стихе 8-м слово «вольность»—словом «радость». Возможно, что в основе печатного текста лежит другой рукописный вариант; во всяком случае сам Кюхельбекер не мог принимать участия в издании стихотворения, так как находился в это время в крепости.

Кюхельбекер прибыл в Ниццу 1 марта 1821 г. (см. «Дневник Кюхельбекера», Л., 1932 г., стр. 340). В марте—апреле 1821 г. произошла Пьемонтская революция, которая описана в конце стихотворения. Восстание, подготовленное карбонариями, началось 10 марта 1821 г. 12 марта восставшие заняли Турин и провозгласили конституцию. 13 марта король Виктор-Эммануил отрекся от престола в пользу своего брата Карла-Феликса. Однако последний не признал конституции и двинулся во главе австрийского войска против восставших. 8 апреля революционные войска во главе с Санта Розой были разбиты австрийцами при Новаре. Была восстановлена абсолютная монархия, участники революции, не успевшие бежать, были казнены или приговорены к долгосрочному тюремному заключению; при расправе пострадало много невинных. «Ненавистные Тудески», упоминаемые Кюхельбекером,—австрийцы (по-итальянски «tedeschi»—немцы).

Кюхельбекер вернулся в Россию осенью 1821 г. Стихотворение Грибоедову в конце той же тетради помечено «Тифлис, 1821 г.» Таким образом стихотворение «Ницца» написано между апрелем и концом 1821 г. под непосредственным впечатлением событий, свидетелем которых Кюхельбекер вероятно был в Ницце, принадлежавшей тогда к Пьемонту. Это бросает новый свет на прочность и серьезность его политических интересов и увлечений.

Рукопись подготовлена к печати В. Жирмунским.

НИЦЦА

(Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?)

Был и я в стране чудесной,
Там, куда мечты летят,
Где средь синевы небесной,
Ненасытный бродит взгляд,—
Где лишь мул на верьх утеса
Путь находит меж стремнин,
Где в зеленом мраке леса
Рдеет сочный апельсин.

* *
*

Край, любовь самой Природы,
Родина роскошных Муз,
Область браней и Свободы,
Рабских и сердечных уз,
Был я на холмах священных,
Средь божественных гробов,
В темных рощах, растворенных
Сладким запахом цветов.

Черновой автограф стихотворения В. Кюхельбекера „Ницца“
Институт Русской Литературы, Ленинград

* *
*

Дивною твоей луною
Был я по морю ведом—
Тьма сверкала подо мною—
Зыбь горела за веслом—
Над истоком Полиона
Я задумчивый стоял,
Мне казалось, там Миньона
Тужит между диких скал.

* *
*

К песне тихой и печальной
Преклонял я жадный слух
Из страны, казалось, дальной
Прилетел бесплотный Дух—
Он оставил тьму могилы
Раз еще взглянуть на свет,
Только край родной и милый
Даст ему забвенье бед.

* *
*

На горах среди туманов
Я встречал толпу теней,
[Полк бессмертных великанов,
Ратных, Бардов и вождей
Вечный Рим, кладбище славы,
Я к тебе летел душой!
Но встает раздор кровавый,
Брань несется в рай земной...]

* *
*

Гром завоет; зарев блески
Ослепят унылый взор;
Ненавистные Тудески
Спустятся с ужасных гор—
Смерть из тысяч ружей грянет—
В тысячи штыках сверкнет
Не родясь весна увянет—
Вольность не родясь умрет.

* *
*

Васильковою лазурью
Здесь пленяют небеса
[Под решительною бурью
Здесь не могут пасть леса,
Здесь душа в лугах шелковых,
Жизнь и в камнях и в водах!
Что ж закон судеб суровых
Шлет сюда и смерть и страх?

* *
*

. . . .

Здесь я видел обещанье,
Светлых, беззаботных дней,
Но и здесь не спит страданье,
Муз пугает звук мечей.]

В тетради Кюхельбекера, хранящейся в Институте Русской Литературы Академии Наук, на стр. 33—34 имеется краткий конспект, содержащий имена, хронологические даты, заметки для памяти, извлеченные из исторического аппарата к стихотворениям «Дивана» («Noten und Abhandlungen zu besserem Verständis des West-östlichen Divans»—«Заметки и статьи для лучшего понимания Западно-восточного дивана»). Из заметок Гете, касающихся истории арабской и персидской поэзии, Кюхельбекер конспектировал первую, собственно историческую часть с начала до главы «Джами» включительно. Из второй части, посвященной вопросам восточной поэтики,—только последняя выписка (главы «Blumen- und Zeichenwechsel» и «Chiffer»). Конспект составлен в 1825 г., так как на стр. 21 той же тетради имеется «Обозрение российской словесности минувшего 1824 г.».

Рукопись подготовлена к печати В. Жирмунским.

WEST-ÖSTLICHER DIWAN

(Историческая Часть)

Сведения о восточных Поэтах.

Евреи.—(Herder u. Eichhorn).

Арабы—Моаллакат, гимны, победившие при состязаниях до Магомета: повешены на воротах Мекской божницы.—Их 7.—Они принадлежат племени Кораишитов.—

Поэты: Амралкаи, Тарафа, Цохеир, Лебид, Антара, Амри, Гарец.

(Из Поэта после Магомета, но писавшего в духе их).

В полдень поднялись мы юноши в враждебный поход, тянулись всю ночь, будто парящие без отдыха тучи.

Всяк из нас был меч, опоясан мечем, вырван из ножен, блестящий перун.—Они впивали духи сна, но, когда в дремоте склонялись главами, мы поразили их, и их не стало.—

* * *

Горе меня не смягчит, само смягчится.

* * *

Утомилась жажда копья первым поением, невозбранилось ему вторичное!

* * *

Чашу смерти подали мы Гудзелитам; тут засмеялись гиэны и ты видел волков: их лица сверкали.

Налетали коршуны; переходили от трупа к трупу и с богатого пира не могли вознестись под облака.—

Персы—

Парсы—

Купель огненная. Поклонение стихиям. Опрятность.—Виноград. Хозру и Ширинь.—Балк. Мобеды. Бармекиды.—

NB. Магомет.—Различие между Поэтом и Пророком. (Разнообразие).

Монтонабби поэт, основатель секты вольнодумцев.

Персияне.

Махмуд Газнанский; цари поэтов. Бастанама, История древней Персии. Анзари-царь.—Ша-Наме, Поэма Фирдузи. Ее оканчивает Эсседи, учитель сего сына Тузкого садовника.—1030.

(Панегирик)

Энвери учился в Тузе. Как сделался Поэтом. Его несчастие за несбывшееся пророчество. 1152.

Низами. 1180. во время Сельшугидов в Генште род. и у Эротик Медшнун и Лейла, Хозру и Ширинь.—

Джелаледдин—Руми. 1262. С Отцем из Балка в Мекку, встреча с Аттаром. Мистик. Дидактик.—Ум. в Иконии.

West-östlicher Divan. —
(Историческая часть)
Сведенія о восточныхъ Поэтахъ. —
Евреи. — ([illegible] d. Hebräer)
Арабы — Моаллакатъ, гимны, побѣ-
[illegible] дившіе при состязаніяхъ
[illegible] пове-
до Магомета: [illegible] вѣ-
шенны на воротахъ Мекской бо-
жницы. — Ихъ 7. — Они принадлежатъ
[illegible] племени Корамшитовъ. —
Поэты: Амралкаи, Тарафа,
Цохеиръ, Лебидъ, Антара, Амри,
Гарецъ. —
(имя Поэта послѣ Магомета,
но писавшаго въ духѣ его)
въ полдень [illegible] гнали
поднявши мы юноши въ враждебный
походъ, тянулись всю ночь, [illegible]
[illegible] будто парчицы тучи [illegible].

Страница из тетради В. Кюхельбекера с конспектом исторического и историко-литературного комментария Гете к „Западно-восточному Дивану" (1825)
Институт Русской Литературы, Ленинград

Низами 1180. во времѧ Сельджукидовъ. въ Гендше род. и у. Эротикъ — Меджнунъ и Лейла, Хозру и Ширинъ. —

Джелаледдинъ — Руми. 1262. Съ Отцемъ изъ Балка въ Мекку, встрѣча съ Аттаромъ. Мистикъ. Дидактикъ — ум. въ Иконии.

Саади 1291. — на 102. году. Профессоръ Ширазскій

Гафисъ 1389. значитъ знающій Коранъ, изъ Шираза.

Джами 1494. 82 году. Соединитель.

Языкъ цвѣтовъ. Шифры мѣста изъ поэзіи

Страница из тетради В. Кюхельбекера с конспектом исторического и историко-литературного комментария Гете к „Западно-восточному Дивану“ (1825)
Институт Русской Литературы, Ленинград

Саади 1291.—На 102 году. Уроженец Шираский.
Гафис 1389. Значит знающий Коран, из Шираса.
Дшами 1494. 82 году. Соединитель.
Язык цветов. Шифры места из поэтов.

III. Е. Ф. РОЗЕН (1800—1860)

«Баядера», переведенная Е. Ф. Розеном, предназначалась к напечатанию в 1831 г. в «Альционе», но была запрещена петербургской цензурой (об этом см. ниже в статье С. Рейсера «Запрещенные переводы из Гете»). Печатается здесь по рукописи, находящейся в архиве Государственного Исторического Музея в Москве (в архиве Киреевских), и подготовленной к печати И. Сергиевским. Рукопись не датирована и каких-либо точных указаний о том, представляет ли она собою копию или беловой автограф, не содержит. Почерк дает некоторые основания предполагать последнее.

БАЯДЕРА

(Индейская баллада)

Из Гете

Могаде, земли властитель,
С неба к нам сошел опять,
Как простой юдольный житель,
Грусть и радость испытать.
Так же ведаясь с судьбами,
Чтоб людей судьею быть,
О, небесный, хочет с нами
Человечески пожить!
И в образе путника, взяв во вниманье
Веселье младенцев и взрослых дыханье,
Идет он иные страны навестить.
В вечер город покидая,
Вышел к крайним теремам,
Вот! прелестница младая,
Нарумяненная там!
«Здравствуй дева!»—В честь привета
Выйду тотчас!—«Кто же ты?»
— Баядера я, и это
Дом любви и красоты!—
И бьет она мерно в кимвалы для пляски;
Прелестно кружится и, полная ласки,
Ему, поклоняясь, подносит цветы.
Убеждений нежной силой
К двери путника манит:
«Вот сейчас, красавец милой,
Лампа терем осветит!
Ты устал ли, я водою
Боль в ногах твоих уйму,
Отведу тебя к покою,
Иль веселием займу!»
С улыбкой видит ее попеченье
Притворный страдалец: в грехах и растленье
Прямое является сердце ему.
Гостю рабски угождая,
Дева трудится шутя,

И искусница младая
Стала Истины дитя!
Понемногу, после цвета,
Плод растет своей чредой,
И покорность есть примета
Близкой страсти молодой!
Но строже и строже ее испытуя,
Всеведец, при ней то резвясь, то тоскуя,
Томится сердечною мукой живой.
Дева чувствует ответно,
Целовать себя дает,
И смущается приметно,
И впервые слезы льет:
Поворотливые члены
Опустились, и она
Упадает на колена
Другу сердцем предана...
Итак, для желанных любви наслаждений
В таинственный полог сливаются тени
Вкруг легкого ложа веселого сна.
Поздний сон за долгим счастьем,
Ночь минутою прошла,
Дева с сонным сладострастьем,
Гостя крепко обняла—
Труп холодный! Крик испуга,
И отчаяния зов...
Ах, уносят сердца друга
И костер уже готов!
Она погребальному пению внимает,
Свирепствует, плачет, толпу разделяет.
«Кто это? зачем ты?» вопрос ей жрецов.
Пред носилками упала:
«Мужа воротите мне!»
И вопила и кричала:
«Я ищу его в огне!..
Эти ль чудные составы
Пламя в пепел обратит!
Ах, одна лишь ночь забавы...
Но он мне принадлежит!..»
И хором поют: «Мы несем для сожженья
И старца, отжившего в дни одряхленья,
И юношу в дни, когда юность блестит».
«Слушай голос нашей веры:
Дева, муж твой не был он.
Мужа нет у Баядеры,
Нет обязанности жен!
Тень лишь следует за телом
Неразлучно к мертвецам:
Лишь супруга славным делом
За супругом, к небесам!..

Труба, изливай заунывные звуки!
О Боги, прострите вы к юноше руки—
Средь пламени юноша шествует к Вам!»
Хора мрачными словами
Девы грудь раздражена —
С распростертыми руками
В пламя бросилась она...
Но Небесный воскресает
На пылающем костре
С ним любовница взлетает
На руках его горе.
Раскаянья ждет от людей Провиденье:
В объятиях пламенных Бог нам спасенье
Готовит еще и на смертном одре.

Барон Розен

IV. Ф. И. ТЮТЧЕВ (1803—1873).

В архиве Тютчевых сохранился беловой автограф первоначальной редакции перевода Ф. И. Тютчева из Гете «Приветствие духа» («Geistesgruss»—Hoch auf dem alten Turme steht...). Рукопись эта читается так:

GEISTESGRUSS

Hoch auf dem alten Turme steht... u. s. w.
(Goethe)

1

На старой башне, одинок,
Дух рыцаря стоит —
И, лишь завидит он челнок,
Приветом огласит:

2

Играла жизнь и в сей груди,
Кулак был из свинца,
И богатырский мозг в кости,
И кубок до конца.

3

Пробушевал полжизни я,
Полжизни проволок...
А ты плыви, плыви, ладья,
Куда несет поток.

Неудовлетворенный этим чтением, Тютчев на другом листке начал его переработку. Первый вариант начальной строки: «Тень богатырская стоит» тут же зачеркивается, а вся первая строфа принимает следующий вид:

Порою богатырский дух
Стоит на башне там,
И шлет свои приветы вслух
Плывущим челнокам:

(Далее обе строфы записываются без помарок)

Кипела кровь и в сей груди,
Кулак был из свинца,
И богатырский мозг в кости,
И кубок до конца.

Geistes Gruss

Hoch auf dem alten Thurme steht des Helden edler Geist

(Goethe)

1.

На старой башнѣ, одинокой,

Духъ Рыцаря стоитъ —

И лишь завидитъ челноки,

Привѣтомъ гласитъ: —

2.

Мышца жилиста въ сей груди

Кипѣло быстро Сердце —

И богатырскій мозгъ въ костяхъ

И кубокъ до конца. —

3.

Пробушевавъ полжизни я —

Полжизни провлачилъ.....

А ты, плыви, плыви, ладья,

Куда несетъ потокъ

Автограф первоначальной редакции перевода Ф. Тютчева „Приветствия духа“ Гете

Собрание Н. И. Тютчева, Москва

Пробушевал полжизни я,
Другую проволок.
А ты плыви, плыви, ладья,
Куда несет поток.

Средняя и последня строфы так и остаются без изменения; первая зачеркивается и переделывается вновь:

На старой башне, у реки,
Тень рыцаря стоит —
И, лишь завидит челноки,
Приветом их дарит.

В такой редакции, только с заменой слова «тень» прежним «дух», строфа эта и вошла в первопечатный текст (журнал «Галатея» 1830 г., ч. XVIII, стр. 39; цензурная помета—сентября 19 дня), повторенный во всех изданиях стихотворений Тютчева. Так как одна из рукописей перевода—на бумаге 1827 г., перевод можно условно отнести к периоду 1827—1830 гг.

Автограф этот находится в собрании Н. И. Тютчева в Москве и подготовлен к печати К. Пигаревым.

V. Н. П. ОГАРЕВ (1803—1877)

Первый отрывок—перевод из так называемой «Сцены условий» «Фауста»—с начала сцены («Es klopft? Herein!...»), кончая «Проклятием» («Und Fluch vor allem der Geduld»).

Второй отрывок—оригинальное произведение Н. П. Огарева на тему «Фауста» (как «Сцена из Фауста» Пушкина). Романтическая концепция любви излагается Огаревым в его Profession de foi (1835—1836 гг.; см. «Русские Пропилеи», IV, стр. 138—142). Мотив разочарования в возможности осуществления такой любви связан вероятно биографически с историей расхождения Огарева с его первой женой.

Эти рукописи Н. П. Огарева хранятся в Комнате 40-х годов Государственной Публичной Библиотеки СССР им. Ленина в Москве и подготовлены к печати Я. Черняком.

СЦЕНА ИЗ ФАУСТА

Кабинет.

Фауст. Мефистофель.

Фауст

Стучат? Войди! Кто там опять?

Мефистофель

Я.

Фауст

Ну, войди!

Мефистофель

Три раза должен ты сказать.

Фауст

Да ну — войди!

Мефистофель

Так нравишься мне ты!
Поладим мы, надеюсь, меж собою!
Чтоб разогнать твои мечты,
Являюсь я перед тобою —
Одет природным дворянином:
В фуфайке красной с золотой каймой,
В плаще из ткани шелковой,
С пером на шляпе петушиным
И с длинной заостренной шпагой.

Прими ж совет ты от меня:
Скорей оденься так, как я.
Потом, исполненный отвагой,
Со мною отправляйся в путь —
Значенье жизни развернуть.

Фауст

Во всяком платье, кажется, страданье
Я жизни узкой стану ощущать;
Я слишком стар, чтоб только мне играть,
И слишком молод, чтоб не знать желанья.
Что может этот мир мне дать?
Терпеть ты должен и страдать!
Вот эта песня ввек поется
И в уши каждому одна
Всю жизнь звучит, звучит она
И все хриплее раздается.
Я с ужасом поутру пробужден,
Готов заплакать горько от страданья,
Что новый день я видеть осужден,
И что не выполнит мне он
Ни одного, ни одного желанья;
Что даже мне испортит он скорей
И самое предчувствье наслажденья
И кучею разрушит мелочей
В живой груди возникшее творенье.
А ночь придет, все так же я
Взволнован на постель кидаюсь,
И тут покой бежит меня:
Я снами дикими пугаюсь.
Тот бог, который жив в моей груди,
Меня порою глубоко тревожит,
Он властвует над силами души,
Но в внешность их вдохнуть не может,
И мне существовать — тоска,
Отрадна смерть, а жизнь горька.

Мефистофель

А все ж, как смерть нас посещает,
Отрады в этой гостье нет.

Фауст

Блажен, кому она среди побед
Чело кровавым лавром осеняет,
Иль после пляски резвой свой привет
В объятьях девы посылает.
О если б мог пред силой духа я
Упасть в восторге без дыханья.

Мефистофель

А кто-то ночью темной сок
Недавно проглотить не мог.

Фауст

Подсмотрщик ты, я замечаю.

Мефистофель

Не все, но многое я знаю.

Фауст

О! Ежели знакомый, сладкий звук
Меня исторг из тяжкого страданья
И обольстил прекрасный дней отзвук
Остаток детского воспоминанья:
Я проклинаю силу грез,
Что душу блеском обольщают
И лестью в эту бездну слез
Ее безвыходно ввергают.
Проклятие возвышенному мненью,
Что дух имеет о себе самом.
Проклятие явленьям, что кругом
На чувство нам наводят ослепленье.
Проклятье лицемерным снам
И словолюбия мечтам!
Всему, что нас в видении прельщает—
Жене и детям, плуту и рабу!
Маммоне, что богатую судьбу
Сулит и к смелым подвигам толкает.
Иль ложе расстилает нам,
Где ждет нас лености отрада!
Проклятье соку винограда!
Любви нежнейшей сладким снам!
Надежде! вере! К довершенью,
Проклятье пущее терпенью!

СЦЕНА ИЗ ФАУСТА

Вечер. Улица близ дома Маргариты.

Мефистофель и Фауст.

Фауст

Да, я люблю! О дивное созданье! —
Ты обещался мне ее достать,—
Держи же слово... и без отлаганья.
Ступай!.. Постой!.. Еще забыл сказать:
Хочу, чтобы она меня любила,
Душой любила б, поняла б меня,
Чтоб сердцу девушки доступно было
Все, чем страдаю, наслаждаюсь я.
Я думал: все равно, во что бы то ни стало,
Пусть будь она глупа, была б моя...
Ошибся! Этого теперь мне мало,
К союзу душ теперь стремлюся я.

Мефистофель

И прав Мефисто! Кто сказал тогда же,
Что невозможно девочке простой
Дать наслажденье Фаусту?—Все я же,
Твой верный друг, слуга покорный твой.
Я говорил: ей надо воспитанье;
Глупа—что делать—поискать другой.
А ты в ответ, мне будто в посмеянье,
Сказал: «Годится так!»—Нет, доктор мой,
Я прав! Возьми ее на испытанье.

Сцена изъ Фауста.

Кабинетъ.

Фаустъ. Мефистофель.

Фаустъ.

Стучатъ? Войди! Кто тамъ опять?

Мефистофель.

Я.

Фаустъ.

Ну войди!

Мефистофель.

Три раза долженъ ты сказать.

Фаустъ.

Да ну — войди!

Мефистофель.

Такъ нравишься мнѣ ты.
Поладимъ мы, надѣюсь, межъ собою;
~~Вотъ я предсталъ передъ тобою~~,
Чтобъ разогнать твои мечты
Явился я передъ тобою —
Быть природнымъ дворяниномъ:
Въ фуфайкѣ красной съ золотой каймой,
Въ плащѣ изъ ткани шелковой,
Съ перомъ на шляпѣ пѣтушинымъ
И съ длинной заостренной шпагой.
Примиши совѣтъ ты отъ меня:
Скорѣй оденься, такъ какъ я, —
Потомъ, исполненный отваги,
Со мною отправляйся въ путь —
Значенье жизни развернуть.

Автограф перевода Н. Огарева „Сцены условий“ из „Фауста“
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Фауст
Да, да! Родную душу надо мне.
В ее глазах есть ум, я это видел;
Ее возвышу я—и в тишине,
Отбросив все, что в жизни ненавидел,
Всю прозу мелкой, пошлой суеты
И черствый сор всех докторских занятий,
Я с ней войду в прекрасный мир мечты,
Забудусь в роскоши ее объятий.

Мефистофель
Пора! Ее пойду я поучить,
Как две души живут в соединеньи.

Фауст
Как! Ты ее мне хочешь воспитать?
Да разве чорту дам я позволенье?
Ты—женщину учить! Чему же ты
Ее научишь, гнусное созданье!
Ты черств и жестк. Весь мир твоей мечты
Есть формула сухая, без желанья
Прекрасного. Не надо тут тебя,
Ты математик славный и не боле...
Лишь я ее возвышу до себя.

Мефистофель
Ученый друг мой, это в вашей воле.
Вот и она.

Гретхен (тихо проходит и поет)
Увидала, полюбила,
Полюбила всей душой;
Глаз с него я не сводила
И все шепотом твердила:
Как хорош ты, милый мой!
Как хорош ты, я сказала,
Не рассталась бы с тобой,
Все тебя бы я ласкала,
Для тебя бы потеряла
Сердца юного покой...

Фауст
Он здесь, твой друг!

Гретхен
Ах! это вы...

Фауст
Дитя!
Звала меня, пришел я—испугалась.

Гретхен
Опять!

Фауст
Мой милый друг, люблю тебя!
С тех пор, как ты со мною не видалась,
Я думал о тебе; хотел взглянуть
На милый стан, на глазки голубые,
На плечике главою отдохнуть,
Лобзать тихонько кудри шелковые.

Гретхен

Ты сладко говоришь, Но вы, друг мой,
Мужчины—вы всегда так говорите,—
Соскучились—и ищите другой
Любви, а ту и знать уж не хотите.

Фауст

Тебя ль любить мне перестать!
Да я дышу тобой,
И целый мир готов отдать
За поцелуй я твой!

Гретхен

О! Еслиб так и в самом деле было.
Тебе я верю, Гейнрих, как дитя.

Мефистофель

Я жду. Что ж, ваше докторство, забыли.
Что вы учить хотели не шутя.
Вы целоваться, нежничать готовы,
Вводить же в мир возвышенной мечты
В помине нет, о нем уж и ни слова.
О! Поцелуй земной, как силен ты!

Фауст

Сейчас, сейчас, сопутник мой докучный,
Я не забыл. Всего нельзя же вдруг.
(Маргарите)
Мне тесен город стал пустой и скучный,
Куда-нибудь мы удалимся, друг.
Пойдем туда, на берег синя моря,
На солнце взглянем там в вечерний час
И взором погуляем на просторе,
И говор волн пусть услаждает нас.
Душа в мечтах далеко унесется,
И на высокие стремленья нам
Торжественно природа отзовется.
Я брошу книги. Вагнеру я сдам
Занятье скучное—перед толпою
Учеников понятий строгий ряд
Вытягивать с бездушной пустотою,
Рядить их в схоластический наряд.
Лазурь небес, да очи голубые,
Живую жизнь в природе и любви,
Вот я чего хочу. Часы такие—
Пусть будут лучшие часы мои.

Гретхен

Уехать, Гейнрих, хочешь ты со мною?
Изволь... да разве здесь не хорошо для нас?—
У дома сядем вечерком с тобою,
Я стану прясть и то-то в поздний час
Наговоримся мы, о друг мой милый,
Так просто и доверчиво,—а там
Придет соседка Марта. Все, что было
Поутру в городе, расскажет нам.
Здесь славно! Здесь по праздникам гулянье:
Народу сколько! Мы туда пойдем с тобой.

Мефистофель
Ученье плохо, доктор.
Фауст (Маргарите)
Но желанье
Обнять прекрасный мир живой душой,—
Ужели ты его не понимаешь?
Гретхен
Конечно, друг мой, хорошо оно.
Учился много ты и много знаешь,
Как богом в мире все сотворено,
Как все живет и с целью создавалось
Какой—все знаешь ты. А мне где знать!
Я в простоте родилась, воспиталась...
Любить я знаю, знаю целовать.

VI. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1828—1889)

Рукопись перевода «Бога и баядеры» хранится в Доме-музее им. Н. Г. Чернышевского в Саратове и подготовлена к печати В. Каплинским. Согласно указаниям сына писателя—М. Н. Чернышевского, стихотворение нужно датировать 1852 годом. Автограф представляет черновик с пометками, вариантами и вставками. Приводим окончательный текст перевода.

В рецензии на «Собрание чудес, повести, заимствованные из мифологии» Готорна, СПБ, 1860 («Современник» 1860 г., № 6) Чернышевский с высокой похвалой отзывается об этой балладе Гете.

[БОГ И БАЯДЕРА]

I

В шестой раз отец творенья,
Магадэва сходит к нам;
Смертных радость и мученье
Да изведает он сам.
Да, как гость земного края,
Сохранит его закон,
И щадя или карая —
Человеком будет он.
И город, как путник, везде обходил он,
На сильных взирал он и слабых хранил он,
И вечером дале пускается в путь.

II

Вот выходит он и вскоре,
Домы крайние пройдя,
Видит он—с огнем во взоре
Сладострастия дитя.
Он сказал ей: «Здравствуй, дева!»—
«Здравствуй, путник! Подожди».—
«Кто же ты?»—«Я—баядера,
Пред тобою дом любви».
Она ударяет в цимбалы и мчится:
Она так искусно, так страстно кружится,
Сгибается, гнется и кажет цветы.

Автограф перевода Н. Чернышевского „Бога и баядеры“ Гете
Дом-музей им. Н. Г. Чернышевского, Саратов

III

Речь ее звучит отрадой:
«Милый странник, кончен путь;
Скоро тихою лампадой
Озарится наш приют.
Ты устал, тебя обмою,
Освежу тебя я вновь.
Что ты хочешь? Пред тобою
Отдых, радость и любовь».
Она услаждает устами и горе.
Божественный видит, с улыбкой во взоре,
Прекрасное сердце сквозь тяжкий порок.

IV

Он услуг рабы желает.
Новой радостью полна,
Все веленья исполняет
Гостя юного она.
Так весною плод желанный
За цветком родится вновь:
И спешит в душе избранной
За покорностью любовь.
Но строже и строже ее испытанья:
И радость, и ужас, и муки страданья
Послал ей постигший и глуби и высь.

V

Он в чело ее целует —
И в душе любовь зажглась.
И стоит она, тоскует,
Льются слезы в первый раз.
Обняла его колена;
В ней уж нет страстей земли,
И ее младые члены,
Истомясь, изнемогли.
И к пиру ночному живых наслаждений
Раскинули быстро вечерние тени
Роскошные ткани с небесных высот.

VI

В наслажденьях ночь проходит,
Но очнувшись ото сна,
Юношу она находит—
Мертвым юношу она.
С воплем друга обнимает,
Но он спит глубоким сном,
И костер уже пылает
Черноплэменным столбом.
К ней песни могильной доносятся звуки,
И с воплем ужасным неслыханной муки
Она упадает без чувств пред костром.

VII

Голос дикий от испуга
Раздается в тишине:

«О, отдайте мне супруга!
С ним погибнуть дайте мне!
Как? ужель краса вселенной
На сожженье расцвела?
Нет, о мой, о несравненный!
Ночь одну я с ним жила».
Жрецы вторят гимны: «И старцев согбенных,
Измученных жизнью, годами смиренных
И пылкую юность к могиле несем.

VIII

Вспомни голос нашей веры:
Не был он супруг тебе.
Долга нет для баядеры —
Покорись своей судьбе.
Лишь за телом тень стремится
В недра хладные земли:
Лишь супруга может льститься
За супругом перейти.
Звучите, о трубы, священные песни!
Возьмите, о боги, цвет жизни прелестный!
Возьмите во пламени юношу к вам!»

IX

Так безжалостно ей муки
Умножает строгий хор,
И она, простерши руки,
В жаркий рухнула костер.
Но из пламенного кругу
Дивный юноша встает
И влюбленную подругу
На руках своих несет.
С весельем раскаянье боги приемлют;
Бессмертные падших охотно подъемлют
В объятиях пламенных к светлым звездам.

VII. А. К. ТОЛСТОЙ (1817—1875)

В записной книжке А. К. Толстого, находящейся в Рукописном отделении Института Русской Литературы Академии Наук, сохранился перевод двух песен Клэрхен из «Эгмонта»: «Freudvoll und leidvoll» и «Die Trommel gerühret». Рукопись подготовлена к печати В. Жирмунским.

Датируется книжка юмористическими немецкими стихами А. К. Толстого на следующих страницах, в которых упоминается о Карлсбаде и недавней встрече с директором Венского театра Лаубе (30 июня 1868—по письмам к С. А. Миллер. Соч., т. IV, стр. 145); кроме того в книжке имеются записи, помеченные августом. Таким образом перевод сделан во время заграничного путешествия, вероятно в августе 1868 г.

Радость и горе, волнение дум,
Сладостной мукой встревоженный ум,
Трепет восторга, грусть тяжкая вновь,
Счастлив лишь тот, кем владеет любовь.

———

Трещат барабаны и трубы гремят,
Мой милый в сраженье ведет свой отряд,
Готовится к бою, командует строю,

Автограф перевода А. Толстого „Песенки Клэрхен“ из „Эгмонта“ Гете
Институт Русской Литературы, Ленинград

Как сильно забилось вдруг сердце мое.
Ах, еслиб мне дали мундир и ружье!
Пошла бы отважно я с другом моим,
По областям шла бы повсюду я с ним,
Врагов отражает уж наша пальба.
О сколько счастлива мужчины судьба!

В. БРЮСОВ

НЕИЗДАННЫЙ ПЕРЕВОД ПЯТОГО АКТА ВТОРОЙ ЧАСТИ „ФАУСТА“

О «ФАУСТЕ»

У себя на родине Гете угрожает участь Клопштока, которого, по ядовитому замечанию Лессинга, все хвалят, но никто не читает. Сквозь юбилейный поток водянистых статей о Гете—лучшем цветке германского национального гения, апостоле и благовестнике внутреннего мира,—статей, тщетно маскирующих передачу упорно не вытанцовывающегося Goethejahr, промелькнули признания безупречно буржуазных изданий, свидетельствующие, что современный немец стоит далеко от Гете и им мало заинтересован [1]. «Гете не берут!»—таков отзыв книготорговцев и библиотекарей; собрания его сочинений так прочно легли мертвым грузом на полках, что сделали сомнительным рентабельность нового издания Гете. Недалеко пожалуй время, когда в стране строящегося социализма Гете будет более популярен, чем в своем отечестве, ибо пролетариат умеет ценить великих мыслителей и художников старого мира лучше, чем впавшая в варварство буржуазия.

Это не значит конечно, что пролетариат примет Гете всего целиком, без остатка, как не значит, что к нему подойдут со школьной меркой «от сих и до сих пор». «Гете то колоссально велик,—писал о нем Энгельс,—то мелочен; то это непокорный, насмешливый, презирающий мир гений, то осторожный, всем довольный узкий филистер». У нас часто видят здесь лишь противоречие между великим поэтом и тайным советником, поэзией творчества и правдой жизни, Dichtung и Wahrheit. Надо обладать большой долей теоретической беззаботности, чтобы противопоставлять цельное творчество цельной жизни и считать это единственным противоречием. Само творчество Гете противоречиво, внутри его творчества «опасливый сын франкфуртского патриция» борется с гениальным поэтом, и победа не всегда на стороне последнего. Ленин часто напоминал большевикам о необходимости усвоить и переработать культурные ценности буржуазной эпохи; именно так, критически переоценивая, надо подойти к Гете и работать над той частью его наследства, которая принадлежит не прошлому, а будущему.

Гете писал Festspiel'у вроде «Маскарадного шествия по случаю высочайшего пребывания в Веймаре ее величества императрицы Марии Федоровны» (1818), прологи на «Счастливое воссоединение герцогской семьи» (1807) и на подобные «исторические» случаи для увеселения правителей Веймарского уезда. Для кого зазвучит нынче это добровольно-принудительное творчество гехаймрата фон Гете? Кто кроме историков литературы станет перечитывать «Эрвина и Эльмиру», «Лилу», «Стеллу», «Клодину» и «Эльпенора»?

Не с этой стороны подойдем мы к Гете, и советский Госиздат с полным правом отсеет для «избранного» Гете многое и многое из 133 томов собрания его сочинений.

Чем ближе мы подходим к Гете, тем больше начинаем его ценить. И чем больше мы ценим Гете, тем яснее нам место «Фауста» в гетевском творчестве.

Замысел «Фауста» возникает у Гете в ранней юности и провожает его до могилы. Двадцатилетним юношей он вынашивает в себе поэтический образ Фауста. «Многозначительная кукольная повесть (о Фаусте.—*И.*),—рассказывает Гете в «Поэзии и правде»,—звучала и жужжала во мне на многие голоса. Подобно ему я вращался во всех областях знания и очень рано убедился в его суетности. И я в своей жизни много испробовал и всегда возвращался все более и более неудовлетворенный и измученный. Все это, да и многое другое я вынашивал в себе и наслаждался им в часы одиночества» [2]. В 25 лет, в 1774/75 г., Гете создает набросок первой части (так наз. «Urfaust»). Только в 1790 г. появляется в свет первый фрагмент

«Фауста». В 1806 г. заканчивается и в 1808 г. выходит наконец из печати первая часть «Фауста» в ее настоящем виде. Одновременно Гете работает над второй частью: в 1827 г. под заголовком «Классически-романтическая фантасмагория, интермедия к «Фаусту» появляется «Елена», составившая позже третий акт второй части. Последние годы жизни Гете целиком занят работой над второй частью. Он заканчивает ее и запечатывает рукопись, чтобы к ней не возвращаться, но художник берет свое, и за восемь недель до смерти, 24 января 1832 г., распечатав пакет, Гете холодеющей рукой заносит в дневник: «Новые импульсы к работе над Фаустом, в смысле более широкого развития основных мотивов, которые, чтобы покончить дело, обработал слишком кратко». В печати вторая часть «Фауста» появилась уже после смерти Гете.

Свыше шести десятков лет шло созидание «Фауста». Его образ витал над Гете с университетской скамьи до раскрытой могилы. В нем он подводил итог кругу своих наблюдений и мыслей. «Фауст»—синтез гетевской философии, и именно философское богатство, мировоззренческая насыщенность подняли «Фауста» на заслуженную высоту в мировой литературе. И Гете не преувеличивал, назвав «Фауста» главным делом своей жизни.

В гетевской библиографии «фаустина» занимает почетное место. Буржуазные ученые всех мастей, философы и юристы, литературоведы и теологи написали тысячи книг о «Фаусте». Прочесть их не хватит человеческой жизни, но немногие из этих книг оправдают время, потраченное на их чтение.

Буржуазные литературоведы рассматривают «Фауста» по преимуществу под углом изучения состава, генезиса и истории текста, расшифровки содержащихся в нем намеков, литературных параллелей, выяснения биографических подробностей в связи с «Фаустом». Таким образом даже самые вдумчивые из этих работ, какова например Куно Фишера, по существу комментируют «Фауста», а не исследуют его. Это в лучшем случае! А в худшем—«исследования» посвящены изысканиям хронологической даты падения Гретхен [8] (до или после сцены «Лес и пещера»?—Вопрос имеет свою литературу) или решению проблемы, проиграл ли по справедливости Фауст свое пари Мефистофелю,—тема, тоже оживленно дебатировавшаяся рьяными гетеанцами; кстати, ей посвятили много статей ученые юристы. Юристами же до тонкостей проштудирован жгучий вопрос, совершила ли Гретхен детоубийство «в состоянии невменяемости» или же «в состоянии уменьшенной вменяемости». С этим может сравниться только глубокомыслие современных немецких гелертеров, сочиняющих пудовые диссертации на темы «Зубы Гете», «Гете и автомобиль», «Очки в гетевскую эпоху» и т. д. Подобным сором заполнено изрядное число томов «фаустины».

Сам Гете издевался над этим сортом комментаторов: «Вот уже скоро тридцать лет как они [публика, критики],—говорил он Фальку,—бьются с помелами Вальпургиевой ночи и обезьяньими разговорами в кухне ведьмы, однако интерпретирование и аллегоризирование этих драматических, юмористических бессмыслиц что-то плохо дается. Поистине следует в молодости доставлять себе удовольствие ловить их на удочку такой чертовщины». И Гете мог переадресовать этим комментаторам реплику оркестра из той же Вальпургиевой ночи:

Fliegenschnauz' und Mückennas'
Mit ihren Anverwandten,
Frosch im Laub und Grill' im Gras,
Das sind die Musikanten!

(Комарьи, мушьи хоботки
Со всей родней талантов,
В траве лягушки и сверчки—
Вы—наш хор музыкантов!)

—для них она послужила бы прекрасным эпиграфом.

Еще больше томов занято изучением, так сказать, филологическим: историко-литературными и сравнительными глоссами к «Фаусту». В большинстве они заполнены крохоборческим, хотя и тяжеловесным уловлением и нанизыванием параллелей к «Фаусту» из мировой литературы. «Ползучие эмпирики», не поднимаясь над грудой фактов, далеки от сколько-нибудь принципиальных обобщений, но их кротовый труд все же не бесплоден: в результате формальный состав «Фауста» давно и в общем хорошо выяснен.

У «Фауста» большая традиция: от кукольного театра и народных легенд о чернокнижниках до литературных предшественников. Начиная с обработки Шписа (XVII век), затем Марло, Лессинг, Клингер, Мюллер, Вейдман и т. д.; в эту традиционную цепь Маркс добавляет одно новое звено: «Magico prodigioso» Кальдерона,

называя его в одном из писем «католическим Фаустом»,—из которого Гете почерпнул для своего «Фауста» не только отдельные места, но и целые сцены [4]. Досужие комментаторы «разъяснили» «Фауста» настолько, что, если разобрать его сюжет по косточкам, то окажется, что... собственно гетевского в нем почти нет: и сомнения Фауста, и договор с чортом, и приключения в Ауэрбаховском погребке и Елена— словом все, все «было раньше». Даже знаменитая цитата из вульгаты (канонический перевод библии на латинский язык) «Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum» («Будьте подобны богу, познаете добро и зло»), оказывается, фигурирует в источниках. Куно Фишер нашел ее в немецкой народной драме XVII века «Доктор Фауст». Все было прежде, все... кроме «Фауста». Говоря словами Гете,

... hat er die Teile in seiner Hand,
Fehlt, leider! nur das geistige Band.

(...все части держат в своей власти,
Лишь не хватает, увы, духовной части).

Как видно, сила не в легенде, не в формальной стороне сюжета, не в цитатах и заимствованиях. Столетние археологические раскопки в погоне за параллелями не приблизили нас ни на волос к пониманию бессмертной трагедии.

Важно не то, что Гете взял у других, а то, что он внес своего, ибо это— и только это—сделало «Фауста» тем, что он есть. Из чего и как слагался «Фауст»,— вопрос законный, но коренной вопрос: чем жив «Фауст»? Чему обязан «Фауст» века неувядающим успехом? Решить загадку жизненности «Фауста» значит в то же время ответить, в чем его значение и для пролетарского читателя.

Нельзя сказать, чтобы буржуазное литературоведение не пыталось ответить и на эти вопросы, но что это были за ответы?! Куно Фишер вообще «снял» вопрос об идейной значимости «Фауста» и предложил простейшее из возможных решений проблемы. «Единство поэмы не там, где его обычно ищут, не в одной и той же основной идее, совокупляющей в себе и связывающей все части, но в личности и в истории развития поэта», писал К. Фишер [5]. «Единство и противоречия ее не имеют другого прообраза, кроме самого Гете, никакого другого основания для ее объяснения, кроме перемен и противоречий в его собственных воззрениях на жизнь» [6].

Не трудно заметить, что это столь подкупающее простотой решение на самом деле ничего не решает: противоречия поэмы объяснены противоречиями личности автора. Очень хорошо! Но чем объяснить эти последние? Об этом Фишер умалчивает. Он только переносит трудности из одной области в другую: одно неизвестное он объясняет другим неизвестным. Однако от этого оно не становится яснее.

Другие маститые «ученые» истолковывают «Фауста» почти мистически—как откровение, эманацию «германского национального духа». Таков до наших дней лейтмотив немецкой буржуазной критики, во время юбилейных торжеств звучавший подавляюще мажорно. Но если бы эти господа дали себе труд продумать затверженного ими на зубок «Фауста»,—они поняли бы, что то, что Гете говорит о «духе времени», относится не меньше и к «духу нации».

Was ihr den Geist der Zeiten heisst,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist [7].

(Что духом времени слывет,
По существу дух нескольких господ).

Искать объяснения «Фауста» надо не в национальных, расовых корнях, как это делает современная буржуазная наука, а в классовых.

Неспособная понять Гете буржуазная наука пробует истолковать его, снизив Гете до уровня современного буржуа, и поставить на службу интересам империализма. Не надо думать, что приспособление Гете к потребностям капиталистического господства—дело новое; оно началось не с сегодняшнего и даже не со вчерашнего дня. Еще Бельшовский четко сформулировал линию, по которой нынче идет фальсификаторское «разъяснение» гетевского творчества: «Фауст»,—писал он,— евангелие примирения современного человека с жизнью на земле и с тем божественным, которое нам открывается в ней; оптимистическое исповедание веры в победу царства божия на земле» [9]. Отсюда—один шаг до превращения нынешними «исследователями» Гете в проповедника квиетизма и апостола Burgfrieden'a.

Пролетарское литературоведение прекрасно видит классовый смысл «объективности», «беспристрастности» и т. д. буржуазных ученых. Оно сводит Гете с Олимпа, где тот восседает, чуждый радостям и горестям грешной земли, в самый водоворот классовой борьбы. Оно разрушает легенду о Гете-небожителе и показывает Гете-

классового бойца. «Фауст»—«евангелие примирения»? Хорошо примирение! Именно в «Фаусте», как нигде, виден борец с консерватизмом отжившего социального порядка, страстный провозвестник нового общества. Революционная сила критического отрицания так сильна в «Фаусте», что сохранила значение не только для борьбы с феодализмом, но и для борьбы пролетариата. Указывая на двойственное отношение Гете к немецкому обществу своего времени, Энгельс говорит, что Гете «враждебен ему», восстает против него, как Гец, Прометей и Фауст, «осыпает его горькой насмешкой Мефистофеля» [9]. Гете подвергает в «Фаусте» едкой критике идеологические основы существующего порядка: право, религию, науку. Каким великолепным презрением к бумажному фетишизму звучат слова Фауста:

Allein ein Pergament, beschrieben und beprägt,
Ist ein Gespenst, vor dem sich alle scheuen.
Das Wort erstirbt schon in der Feder,
Die Herrschaft führen Wachs und Leder.

(Лист пергамента с печатями на нем—
Вот призрак, всех пугающий, к несчастью.
Мы слову смолкнуть на пере даем,
А воск и кожу—одаряем властью!)

С этими словами перекликается замечательная инвектива Мефистофеля, целиком подсказанная революционно-просветительским, руссоистским пониманием «естественного права»:

Es erben sich Gesetz und Rechte
Wie eine ew'ge Krankheit fort;
Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte.
Und rücken sich von Ort zu Ort.
Vernunft wird Unsinn, Wohltat—Plage;
Weh dir, dass du ein Enkel bist!
Vom Rechte, das mit uns geboren ist,
Von dem ist, leider! nie die Frage.

(Законы и права, наследное именье,
Как старую болезнь, с собой
Несет одно другому поколенье,
Одна страна стране другой.
Стал разум глупостью, заслуга—мукой,
Терпи за то, что внуком ты рожден.
А где ж врожденный нам закон,
Об том, увы, нигде ни звука).

Не таково ли его отношение и к официальной, казенной, бездушной науке?

Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und leider! auch Theologie
Durchaus studiert, mit heissem Bemühn.
Da steh' ich nun, ich armer Thor!
Und bin so klug, als wie zuvor.

(Ах, в философию я вник,
И в медицину, и в права,
Читал, увы, как ученик,
И богословские слова!
И вот я все же стою глупцом
И не умней, чем был в былом).

Этим пылким осуждением мертвых знаний открывается первая часть трагедии и оно же звучит до ее последних строк. Чего стоит Вагнер, незабываемый прообраз ученых буквоедов, размножением которых заняты капиталистические университеты! Вагнер говорит:

Des Vogels Fittig werd' ich nie beneiden!
Wie anders tragen uns die Geistesfreuden
Von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt.

(Нет, что мне крылья и зачем быть птицей!
Ах, то ли дело поглощать
За томом том, страницу за страницей)—

и он весь здесь, в этих словах,—«ничтожный червь сухой науки».

«Фауст»—«исповедание царства божия на земле»! Трудно придумать что-нибудь более противное духу и содержанию «Фауста», чем попытка обрядить Гете в черную рясу. Фаусту, проклинающему веру и терпенье, Фаусту, определившему бездонность поповского аппетита:

Die Kirche hat einen guten Magen

(У церкви божьей хороший желудок),

Фаусту, которому ненавистен унылый колокольный звон, Фаусту с его подчеркнуто земным символом веры:

Thor! wer dorthin die Augen blitzend richtet,
Sich über Wolken seines Gleichen dichtet!
Er stehe fest und sehe hier sich um;
Dem Tüchtgen ist diese Welt nicht stumm.

(...Слепец,
Кто ищет равных нам за облаками!
Стань твердо здесь—и вкруг следи за всем:
Для мудрого и этот мир не нем.)

—этому Фаусту смеют навязывать поповщину! Энгельс говорил: «Гете неохотно имел дело с «богом»: от этого слова ему становилось не по себе; он чувствовал себя как дома, только в человеческом, и эта человечность, это освобождение искусства от оков религии именно и составляет величие Гете» [10]. А Маркс писал эпиграммы в защиту язычника Гете от нападок попа Пусткухена. Именно это «самоуверенное язычество» Гете раздражало Льва Толстого и продолжает раздражать всех православных, католиков и протестантов, отдающих себе отчет в действии Гете. Любопытно и показательно отношение к «Фаусту» возглавляемого Людендорфом крыла германского фашизма. Недавно в издательстве Людендорфа вышла брошюрка генерала Роста, армейскому носу которого нельзя отказать в тонкости христианского чутья, где генерал от литературы квалифицирует «Фауста» как «франк-масонскую трагедию», а Мефистофеля как типично «еврейский элемент» [11].

Исходный пункт евангелия от Иоанна «В начале бе слово» превращается у Гете в евангелие «от Фауста»: «В начале было дело». К делу зовет Фауст и делом кончает свою жизнь. Здесь сказывается действенность Фауста, та неутомимая, ненасытная жажда деятельности, которая ни на минуту не дает ему удовлетворения, толкая вновь и вновь к борьбе за лучшее будущее человечества. И с этим как нельзя лучше гармонирует прекрасный вывод поэмы:

Das ist der Weisheit letzter Schluss:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muss.

(Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой).

Это однако еще не дает права считать апофеоз «Фауста», «строительную горячку» последней части, за «пророческую грезу о социализме». Гете не поднимался даже до утопического социализма. Он мечтал о прорытии каналов, соединяющих материки, о новых землях, о производственном расцвете, но о т н о ш е н и я людей в процессе производства—а именно здесь лежит критерий социалиста—его не занимали, а там, где он их касался (как в «Вильгельме Мейстере»), он решал их в противоположном социализму направлении [12]. Это не упрек Гете: мы считаем, что он, таков, как есть, достаточно крупная фигура в истории культуры, чтобы быть оцененным пролетариатом, и не нуждается в прикрашивании.

Разбирая гегелевский тезис о разумности всего действительного и показывая, как он превращается в тезис: достойно гибели все, что существует, Энгельс сравнивает с этим реплику Мефистофеля:

Ich bin der Geist, der stets verneint!
Und das mit Recht, denn alles, was entsteht,
Ist wert, dass es zu Grunde geht.

(Я—дух, который вечно отрицает! Да так и следует, ибо
все то, что возникает, достойно гибели).

Эта мысль поэта о постоянном переходе одного в другое, добра—во зло, истины—в заблуждение (припомним: Vernunft wird Unsinn), конечно же выражает в поэтическом образе диалектический закон. Так же хорошо усвоил Гете и положение диалектики о практике как критерии истины и выразил его классически.

Grau, theuer Freund, ist alle Theorie,
Und grün des Lebens goldner Baum.

(Теория, друг мой, сера,
Но зелено вечное дерево жизни).

С этой же точки зрения он издевался над метафизиками и схоластиками, у которых слово заслоняет дело, которые за буквой не видят жизни. И если печальный датский принц с презрением говорил «Слова, слова, слова...», то едкий скепсис Мефистофеля поет словам хвалу. Кто не знает его саркастического гимна:

....Wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.
Mit Worten lässt sich trefflich streiten,
Mit Worten ein System bereiten,
An Worte lässt sich trefflich glauben,
Von einem Wort lässt sich kein Jota rauben.

(Коль скоро недочет в понятиях случится,
Их можно словом заменить.
Словами диспуты ведутся,
Из слов системы создаются,
Словам должны вы доверять,
В словах нельзя ни иоты изменять).

Перебирая все эти наудачу взятые примеры (их можно было бы расширить до пределов книги), нельзя не увидеть в них литературного выражения борьбы, которую буржуазия вела с феодальным обществом. Более развитая и находящаяся в более счастливых исторических условиях французская буржуазия огнем и мечом разрушала старый строй; в Германии же «теория Великой французской революции» была переведена на язык классической философии. И здесь мы хотим особо подчеркнуть наличие у Гете, и именно в «Фаусте» в частности, того же могучего орудия, которое блестяще применял Гегель: диалектики. Конечно нельзя сравнивать логически развитую систему взглядов, возведенную в метод у Гегеля, с полустихийными, хотя и гениальными догадками у Гете. Но так или иначе, а зерно диалектики заложено в «Фаусте». И это первая причина его силы и популярности.

В центре трагедии стоит фигура протестанта, как бы раздваивающаяся на Фауста и Мефистофеля. Их нельзя брать врозь, они необходимо дополняют друг друга как отрешенные стороны единой сущности. Образ мятежной личности не случаен в «Фаусте»,—он соответствует всему творчеству Гете. Прежде им были Гец фон Берлихинген и Прометей, ныне это—Фауст. И даже Вертер, если вдуматься, не так далек от Фауста, как казалось бы на первый взгляд: Вертер также протестует против общественного порядка, нормы которого со всей резкостью повернулись против него. Но Вертер протестует по-своему, убивая себя; это акт борьбы еще не поднявшегося до осознания своих более широких задач и до самоутверждения в них индивидуума. Природа у них одна, но если Фауст изображает силу утверждающей себя буржуазной личности, то Вертер запечатлел ее слабость.

Таким же, как проповедь индивидуализма, выражением буржуазной идеологии поры ее расцвета является и действенность Фауста, его прагматизм, влечение к земному, ощутимому делу в противовес «слову», мечтательному, не связанному с действительностью логизированию. Слова Фауста:

Die That ist alles,
Nichts der Ruhm

(Мне дело—все,
а слава—вздор)—

слова борца, передового борца бывшего когда-то передовым класса.

Идеи «Фауста»—передовые идеи эпохи, а передовые идеи может выразить только передовой писатель, истинный идеолог своего класса, идущий в его авангарде и метким образом, художественным обобщением помогающий формированию мыслей и взглядов масс. Таким идеологом восходящей буржуазии и был Гете. Вот этот окры-

ленный дух, дух сбрасывающего путы и оковы старого общества человека, широко и смело созерцающего с высоты своей свободной мысли прошлое, настоящее и будущее человека, осмысливающий его истинное призвание, его взлеты и падения на этом пути, и создает то обаяние «Фауста», которым он подчинял себе поколения. Пролетариату во многом созвучны эти идеи, он понимает муки Прометея и находит

Автоиллюстрация Гете к „Фаусту" („Явление Духа земли")
Goethe- Nationalmuseum, Веймар

на них отклик в своем сердце: поэтому и «Фауст» живет и будет жить в новом, социалистическом обществе не как запыленный документ эпохи восхода капитализма, а как живой источник вечно мятежной человеческой мысли.

Известно, какое колоссальное влияние оказал «Фауст» на мировую литературу. Не случайно он вдохновлял к переводу лучших поэтов. В России, к примеру, на нем испытывали силу Грибоедов, Жуковский, Веневитинов, Тютчев, К. Аксаков, Тургенев, Михайлов, Огарев, Фет, Вейнберг, Мережковский, Бальмонт, Брюсов, почти все корифеи русской поэзии, не говоря уже о dii minores. Пушкин также не остался в стороне от «Фауста»: легенда связывает его имя с первым полным русским переводом «Фауста» Э. М. Губера. Более интересна и значительна пушкинская попытка создать, отталкиваясь от Гете, своего Фауста,—замечательно, как в этой единственной сцене ему удалось создать оригинальный, глубоко отличный от гетевского образ Фауста. Иная социальная подкладка обусловила иную трактовку образа, но это заслуживает особого рассмотрения. Заговорив о послегетевских

«Фаустах», нельзя не вспомнить Фридриха Энгельса. Мало кому известно, что молодой Энгельс также пробовал силы на «Фаусте»: «У меня теперь зарождается великолепный сюжет, по сравнению с которым все прежде написанное мной только детские игрушки. Я хочу в «сказочной повести» или в чем-нибудь подобном выявить современные чаяния, обнаружившиеся в средине века; я хочу вызвать к жизни духов, которые, погребенные под основанием церквей и подземных темниц, бились под твердой земной корой, стремясь к искуплению. Я хочу попытаться решить хотя бы часть той задачи, которую поставил себе Гуцков,—именно написать вторую подлинную часть Фауста, изобразить Фауста не эгоистом, а жертвующим собой за человечество» [13]. И среди марксистов Энгельс не остался одиноким. На наших глазах, после Октябрьской революции, появляется новая, возможно не последняя, попытка «дописать» «Фауста»,—«Фауст и город» А. В. Луначарского. Стало быть сила и жизненность «Фауста» до сих пор волнует умы и сердца, вызывает на соревнование даже в наши дни!

«Фауст» оказывал влияние не только на поэзию. Основоположники научного социализма умели понять и оценить его значение. Как известно, Маркс называл Гете в числе трех своих любимых поэтов. Он любил его, читал и перечитывал, прекрасно знал и был огорчен, когда кто-то «увел» сочинения Гете из его библиотеки. Читая как-то на досуге «Magico prodigioso» Кальдерона, первое, что он в нем отметил, было сходство с «Фаустом». Маркс, как и Энгельс, широко пользовался образами из Гете, и в первую очередь из «Фауста». В «Капитале» например известная характеристика «научности» прудоновской школы дается устами Мефистофеля, в ранних же работах Маркса и Энгельса Фауст и Мефистофель—постоянные гости. Энгельс не только мечтал «продолжить» «Фауста», но написал специальную статью о Гете и неоднократно подчеркивал свое уважение к нему.

Высоко стоял «Фауст» и в глазах Ленина. Н. К. Крупская рассказывает в своих воспоминаниях, что в сибирскую ссылку Ильича провожал томик «Фауста». Что Ленин не только знал «Фауста», но и высоко ценил его, видно из лестного отзыва, который он дал именно на основании «Фауста» о всем поэтическом творчестве Гете. Странным образом наши гетеведы и историки западной литературы прошли мимо этого важного высказывания; А. В. Луначарский например заявил, что ему неизвестны вообще отзывы Ленина о Гете, между тем достаточно взглянуть в общедоступное издание сочинений Ленина, в давно и широко известную статью «Заметки публициста», чтобы увидеть, что еще в 1920 г. Ленин, очень остроумно и удачно сравнивая Отто Бауэра с фаустовским Вагнером, который с восторгом переходит «от книжицы к книжице», прямо называет последнего «старым героем старой великой германской поэзии» (курсив *мой.—И.*) Эта категорическая оценка с не оставляющей сомнений ясностью показывает отношение Ленина к Гете в целом и к «Фаусту» в особенности.

О том же свидетельствует и то обстоятельство, что, цитируя Гете, Ленин по преимуществу пользуется «Фаустом». Интересно между прочим, что он взял из «Фауста»? Помимо только что упомянутой, Ленин остановил свое внимание на реплике Мефистофеля, где он ставит «живую жизнь», действительность выше всех теорий:

«Теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни».

Ленину так понравилось это художественно-философское обобщение, что он его употребил дважды: в апреле 1917 г. в своей полемике против Каменева, когда писал:

«...Необходимо усвоить себе ту бесспорную истину, что марксист должен учитывать живую жизнь, точные факты действительности, а не продолжать цепляться за теорию вчерашнего дня, которая, как всякая теория, в лучшем случае лишь намечает основное, общее, лишь приближается к охватыванию сложности жизни.

«Теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни» [14].

И второй раз, почти год спустя, 6 января 1918 г.:

«Не боги горшки обжигают»—эту истину должны крепче всего зарубить у себя рабочие и крестьяне. Они должны понять, что сейчас все дело в практике, что наступил именно тот исторический момент, когда теория превращается в практику, оживляется практикой, исправляется практикой, проверяется практикой, когда в особенности верны слова Маркса: «всякий шаг практического движения важнее дюжины программ», всякий шаг в деле практического реального обуздания, сокращения, взятия под полный учет и надзор богатых и жуликов важнее дюжины отменных рассуждений о социализме. Ибо «теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни» [15].

Характерно, что Ленин берет у Гете не эффектную фразу, не рифму, не изысканное сравнение, а глубокое философское обобщение, закрепленное в художественной форме. Развив и аргументировав мысль, Ленин как бы подытоживает ее гетевским стихом и навсегда врезает в память читателя.

К сожалению советский читатель до сих пор не имеет соответствующего его запросам перевода «Фауста». Диалектическая гибкость мысли, нашедшей адэкватное художественное выражение, составляющая совершенство поэмы, являла тем самым главную трудность перевода. И этого камня преткновения прежние переводчики не смогли одолеть: им приходилось либо жертвовать формой ради содержания (таковы все прозаические переводы), либо в интересах передачи музыки стиха наносить ущерб содержанию (большинство стихотворных переводов). Между тем форма «Фауста» содержательна, и без нее нет «Фауста». С другой стороны, перевод не равнодушен к содержанию, и каждый переводчик придает ему особый колорит, особенно чувствительно откликаясь на социально близкие ему самому мотивы произведения: так на каждом переводе мы найдем свой классовый отпечаток. Перевод Брюсова в наших глазах также не представляет идеала, но, должно признать, ему удалось справиться со многими трудностями. Как раз вторая—труднейшая—часть трагедии обработана Брюсовым лучше, чем прежде выпущенная первая часть. Не мало знакомых нам мест «Фауста» зазвучат по-русски иначе, чем мы обычно привыкли слышать. Несомненной заслугой Брюсова является щепетильное соблюдение размеров подлинника, рифмы которого зачастую совершенно исчезали в лучшем из старых переводов—в переводе Холодковского.

Из всего перевода, в недалеком будущем появляющегося отдельным изданием, мы заимствуем важнейший, наиболее интересный и значительный отрывок: заключительный (пятый) акт. В качестве специального комментария к нему ниже приводится статья Б. И. Пуришева, дающая подробную интерпретацию его в противовес буржуазной критике.

И. Ипполит

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См. анкету «Berliner Börsenkurrier», 20 April 1932, № 72 и дискуссию в «Die literarische Welt», 18 Sept. 1931, № 38.

2 «Поэзия и правда», II часть (цит. по гизовскому изд. «Фауста». М., 1928, стр.297).

3 Вообще буржуазная критика во всем «Фаусте» больше всего заинтересовалась драмой обманутой девушки, которую Гегель (а позднее и Плеханов) считал незначительным эпизодом трагедии, от которого она не выигрывала.

4 Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXII, стр. 29.

5 Куно Фишер, «Фауст» Гете. М., 1885, стр. 11.

6 Там же, стр. 73—74.

7 Кстати, в «Коммунистическом манифесте» эта догадка Гете была переведена на язык материалистической диалектики: «Господствующими идеями данного времени всегда были только идеи господствующего класса».

8 А. Бельшовский, Гете, его жизнь и произведения. М. 1908, т. II, стр. 601. Собственно эти строки принадлежат не Бельшовскому, а Г. Циглеру, закончившему работу Бельшовского после смерти последнего. Но что Циглер здесь ничуть не расходится с ним, видно из того, что и Бельшовский считал «основную тему «Фауста» попыткой человека постичь бога, постигнув его, понять мир и вести в нем достойное жизни, исполненное бога, в лучшем смысле слова угодное богу существование» (там же, т. II, стр. 507).

9 Соч., т. V, стр. 450.

10 Соч., т. II, стр. 345.

11 Goethes «Faust», eine Freimaurer-Tragödie von E. Rost, München.

12 В том же «Фаусте»—ряд моментов, выразительно говорящих о наличии другой, антиреволюционной стороны в его творчестве. В ответ на нарисованную Мефистофелем перспективу создания капиталистического города Фауст говорит:

Ну вот!
Нашел хорошую отраду.
Уже народ питай и грей, —
А после, смотришь, бунтарей
Ты воспитал себе в награду.

13 Соч., т. II, стр. 542.

14 Ленин, Сочинения, изд. 2-е, т. XX, стр. 101—102.

15 Ленин, Сочинения, изд. 2-е, т. XXII, стр. 165.

«ФАУСТ»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ, АКТ ПЯТЫЙ

I

Открытая местность

Странник

Да! Две старых липы рядом,
В прежней мощи, предо мной.
После долгих странствий—взглядом
Вновь ласкаю вид родной.
Снова я в краю счастливом,
Подле хижины, где жил,
В дни, когда ночным приливом
На пески я кинут был.
Тех хозяев, как и прежде,
Встречу ль? Их достойней нет!
Как довериться надежде?
Были оба дряхлых лет.
Ах! то люди, коих мало!
Постучать? Позвать?—Но им—
Мой привет, когда не стало
В тягость им служить другим.

Бавкида
(старушка, очень древняя)

Тише, тише, странник милый.
Ведь старик спит близко тут.
В долгом сне лишь черплет силы
Старость на свой краткий труд.

Странник

Ты ли, матушка, чей свято
Образ память сберегла?
Ты ли юноше когда-то
Вместе с мужем жизнь спасла?
Ты ль, Бавкида, кто вернула
Крепость мне, чтоб вновь мне жить?

Муж (входит)

Филемон, ты ль, кто из гула
Волн поспел мой скарб добыть?
Не зажги вы пламень красный,
Не пошли призывный звон,—
Из пучины, в час опасный,
Здесь я не был бы спасен.
Дайте ж к морю обратиться,
В даль безгранную взглянуть,
Дайте ниц упасть, молиться,—
Так полна волненьем грудь.

(Идет вперед по дюне)

Филемон (Бавкиде)

Стол накроешь, где зеленый
Сад цветами напоен;

Пусть побродит, изумленный,
И глазам не верит он.

(Идет следом)

Ф и л е м о н (стоя рядом со странником)

Здесь, где грозно поднимался
Вал за валом, бил чрез край,
Видишь, сад образовался,
Видишь, настоящий рай!
Я—старик, где у могилы
Мне, как встарь, других спасать!
Но, пока дряхлели силы,
Отступило море вспять.
Слуги мудрого владыки
Возвели валы плотин,
Там, где волны были дики,
Вместо них он—властелин.
Посмотри: стада по полю,
Нивы, сад, селенье, лес!
Но скорей любуйся вволю,
Солнце клонится с небес.—
Парусов семья стремится
В порт, их нам не перечесть,—
Так в гнездо несется птица,—
Ибо близко гавань есть.
Глядя в даль, ты видишь синий
Трепет моря, прежний вид,
Справа ж, слева, всюду ныне—
Новый край, где жизнь кипит.

II

В садике

За столом для троих

Б а в к и д а (страннику)

Что сидишь ты молча? Съел бы
Хоть кусок голодным ртом.

Ф и л е м о н

Он про чудо знать хотел бы,
Поболтай же вновь об том.

Б а в к и д а

Правда, чудо здесь свершилось,
Дай мне вспомнить ту пору.
Но боюсь, осуществилось
Это все не по добру.

Ф и л е м о н

Император разве к худу
Этот берег уступил?
Ведь герольд об этом всюду
Громогласно протрубил.
Близ от нашей дюны в море
Пѐрвый вал был проведен,
Лагерь, хижины.—А вскоре
И дворец восстал, как сон.

Бавкида

Тщетно люди днем трудились,
Роют, бьют лопата, лом.
Ночью ж здесь огни светились,
Утром, глядь, валы кругом.
Жертв людских здесь много пало;
Ночью ж стон везде стоял,
Море, все в огне, бежало,
Утром смотришь, вновь канал.
Он—безбожник, взять намерен
Нашу хату, наш удел.
Как сосед, самоуверен,
Все он ломит, груб и смел.

Филемон

Предлагал он нам в долине
Лучше место на все дни.

Бавкида

Ах, не верь морской пучине,
Высоту свою храни.

Филемон

Не к часовне ль нам спуститься?
На закат мы поглядим,
Станем там звонить, молиться,
И судьбу творцу вручим.

III

Дворец

Обширный изукрашенный сад, большой, прямо проведенный канал. **Фауст**, в глубокой старости, бродит задумчиво.

Линкей-башенник (в рупор)

Садится солнце, и в канале
Идут последние суда;
Большая барка на причале
За ними тянется сюда.
Там флагов пестрое движенье
И мачт высоких бодрый ряд;
Тебе шлют кормщики хваленье
И счастье долгое сулят.

(Колокол звонит на дюне)

Фауст (вздрагивая)

Проклятый звон! Он—оскорбленье,
Как из засады выстрел он!
Здесь без границ мои владенья,
А за спиной я оскорблен.
Твердят мне внятно эти всхлипы,
Что власть моя предельна. Чьи
Та хижина, и те две липы,
И та часовня?—Не мои.
Пойду ль гулять по той дороге,
Чужая тень грозит всегда.
О, сук в глаза, заноза в ноги!
Готов бежать я, но куда?

Башенник (как прежде)

Как бодро к вам летит ладья,
Вечерний ветерок ловя!
Как высока на ней гора
Тюков и всякого добра!

Великолепная барка, богато и разнообразно нагруженная произведениями всех чужих стран.

Мефистофель. Трое Сильных Товарищей.

Хор

Причаль, причаль!
Я якорь кину.
Привет патрону,
Господину.

Они сходят, товары выгружаются на берег.

Мефистофель

Наш кончен труд, на благо он,
Когда похвалит нас патрон.
На двух мы кораблях пошли,
Их двадцать в пристань привели.
Как много нами свершено,
Расскажет то, что свезено.
На вольном море волен дух,
Там рассуждать не время вслух!
Живей хватай, не то беда.
Лови там рыб, лови суда!
Поймал одно, тогда втроем
Легко четвертое возьмем,
С четвертым пятое забрав,
Кто посильнее, тот и прав.
Там спросят «что», не «как». Такой
Закон люб в море всем, не мне лишь.
Война, торговля и разбой,
Вот троица, что̀ не разделишь.

Трое Сильных Товарищей

Привета нет,
Кивка нет, глянь!
Иль мы везем
Патрону дрянь?
Суровы склад-
ки гневных губ.
Иль царский дар
Ему не люб?

Мефистофель

Еще награды
Вам ждать смешно;
Вы взяли долю
Свою давно.

Товарищи

Что взяли мы?
Одно тряпье.
По равной доле
Делить бы все.

Мефистофель

Сперва несите
В царский дом
Сокровища все
Чередом.
Когда осмотрит
Он груз вещей,
То сам оценит
Их верней.
Ведь всем известно,
Он—не скупой,
Задаст он флоту
Пир горой.
Лишь завтра все слетятся птички;
Об них забота—мне в привычке.

(Груз убирают)

Мефистофель (Фаусту)

Ты сумрачен, взор недвижим,
Стоишь над счастием своим.
Ты мудростью возвысил трон,
И морем брег усыновлен;
Оно покорно с берегов
Приемлет сонм твоих судов.
Здесь из дворца ты, так сказать,
Свой мир весь можешь обнимать.
Вот здесь был начат общий труд,
Стал первый твой шалаш вот тут,
Там узкий ров тянулся, где
Теперь бьют весла по воде;
Твой твердый ум, твой зоркий взор
Возвысил землю, дал простор,
Вот здесь...

Фауст

Кляну я это «здесь»!
Его мне трудно перенесть!
Тебе, бывалому, скажу я:
Шип за шипом меня язвит.
Терпеть все это не могу я,
Но и сознаться—острый стыд.
Пусть старики исчезнут! Жажду
Сесть там, под липой, в тишине!
Без тех двух-трех деревцев стражду,
Мироде́ржавство—в муку мне.
Оттуда мир хочу постигнуть,
Там вышку должен я воздвигнуть,
Чтоб обнимал вполне мой взор
Весь мною созданный простор,
Чтоб озирал я с высоты
Мощь человеческой мечты,
Как, силой мысли, создана
Народам новая страна.

I

Ночь

Начато 11 марта 1920

В тесной, готической комнате, с высокими сводами. Фауст, полный тревоги, в своем кресле с пюпитром.

Фауст

~~Я философию постиг,~~
Ах, в философию я вник
И в медицину, и в права,
Увы! прилежный ученик,
И в богословские слова!
Вот ~~жалкий я~~ глупец,
И ~~вот~~ стою я, наконец,
И не умней, чем был в былом!
~~Как прежде, жалкий ...~~

Я — магистр, в числе я докторов,
Уж десятый год — учеников
Туда, сюда, вперед, назад
Вожу я за нос наугад, —
И вижу: познать не дано нам!
Тем сердцу быть испепеленным!
Пускай я разумней, чем все забияки,
Доктора и магистры, попы и писаки,
От предрассудков пусть я свободней,
Не боюсь ни чорта ни преисподней, —
Зато ~~мне~~ радостей нет безнадёжно,
Не вижу более исхода ...
Не ~~верю, что знать что-либо можно,~~
Не вижу, чтобы мог ~~верю что~~ людей могу учить я,
Могу их улучшать, руководить, обращать я.
Притом я нищ, и нищенью всей
Не добыл власти и честей.
Так пес жить дольше б не остался!
Вот почему я магии предался,
Чтоб духа сила и слова
Мне вскрыли тайну естества;
Чтоб мне в поту учениках
Не лгать, чего не знаю сам;
Чтоб, наконец, изведать ~~мне~~,
Что во глуби мировой связь,
~~Что мир связует в глубине,~~
Чтоб видеть ...
~~Узреть все силы и все семена,~~
А не в словах искать вздорно.

Черновой автограф первого акта первой части „Фауста“ в переводе В. Брюсова (11 марта 1920)
Собрание И. М. Брюсовой, Москва

Так я скорблю в избытке сил,
В богатстве скудость ощутил;
Церковный звон, лип аромат—
Могильным запахом томят!
Вот, всемогущий, я в тоске
Разбит во прах на том песке.
Нет воли победить томленье,
Чуть зазвонят, я—в исступленьи!

Мефистофель

Понятно, дерзостью такой
Твой должен быть смущен покой.
Кто спорит? слыша в церкви звон,
Слух благородный оскорблен;
Проклятое бим-бом, бим-бом—
Что язва в небе голубом,
Вплетаясь в ваши все движенья
С крещенья вплоть до погребенья,
Как еслиб между бим и бом
Вся жизнь была нелепым сном.

Фауст

Упрямство и строптивость—всех
Смутят средь царственных утех;
Томясь, бесясь по целым дням,
Быть справедливым трудно нам.

Мефистофель

Об этом ли крушиться стóит?
Есть план колонии устроить?

Фауст

Так убери ты их подальше.
Ты знаешь чудный тот удел,
Что старичкам я присмотрел.

Мефистофель

Их уберут, свезут по чести;
Чуть взглянут, как на новом месте.
Досаду маленьких обид
Прелестный уголок смягчит.

(Он резко свистит. Трое Сильных появляются)

Мефистофель

Идем! Владыка дал приказ,
А завтра будет пир у нас.

Трое

Сурово принял нас старик,
Так праздник должен быть велик.

Мефистофель (к зрителям)

Все то же снова, что стократ!
Был Новуфея вертоград!

IV

Глубокая ночь

Линкей-башенник (поет на вышке)

Я видеть родился,
Смотреть присужден,
Я с башней сроднился,
Всем миром пленен.

Смотрю ли я в бездны,
Вниз кину ли взор —
Луна и сонм звездный,
Олени и бор.
И я, этой шири
Пленясь красотой,
Довольный всем в мире,
Доволен собой.
Счастливые очи!
Что видимо мне,—
Пусть будет, чем хочет, —
Прекрасно вполне.

(Пауза)

Только ль, ах! для наслажденья
Я стою на вышине!
Что за страшные виденья
Темный мир являет мне!
Блещут искры пред очами,
Где от лип вдвойне темно,
Все сильнее рдеет пламя,
Быстрым ветром взметено.
То—избушка, что от бора
Далеко и мхом одета;
Ей помочь бы нужно скоро,
Но надежды нет на это.
Старички! как вы боялись
Вздуть огонь неосторожно,
И в огне вы оказались.
Для судьбины все возможно.
Пламень ал и дымы свисли,
Только мхом черна ограда,
Ах, хозяева спаслись ли
Из пылающего ада!
Вьет огонь, как стрелы меток,
Между листьев, между веток.
Ветвь летит, другая, третья,
В искрах вся, треща, блестя..
Это ль должен усмотреть я,
Ах, зачем столь зорок я!
Валится часовня тоже,
Смята бременем ветвей,
До верхушки всходит строже
Пламя, свитое как змей,
И стволы от корня ало
Пурпур свой вонзают в ночь.

(Долгая пауза. Пение)

То, что взоры здесь пленяло,
Отошло с веками прочь.

Фауст (на балконе перед дюной)

Кто песней грустной высь тревожит?
То — запоздалый плач иль стон.

Линкей скорбит. И я, быть может,
В душе поспешностью смущен.
Пусть суждено тем липам ныне
Золой и праздным пеплом стать.
Воздвигну башню я в равнине,
Чтоб бесконечность озирать.
Оттуда буду новоселье
Я видеть милых стариков,
Что, с благодарностью, в весельи
Окончат круг своих годов.

Мефистофель и Трое (внизу)

Мы прибежали, видишь сам.
Прости! Неладно вышло там.
Стучались мы, ломились мы,
Ответа не было из тьмы.
Вот мы трясем, мы бьем теперь,
Летит с петель гнилая дверь;
Кричим мы, громко мы зовем,
Но нет нам отзыва ни в ком,
И, как бывает зауряд,
Не внемлют те и не хотят.
Мы тут, не тратя лишних слов,
Убрали силой стариков.
Не жалуясь, она и он
От страха—навзничь и дух вон!
У них был некий странник скрыт,
Он защищал их и убит.
В тот краткий срок, что страшный бой
Кипел, в солому сам собой
Запал огонь. Он мигом—вспых,
И вот костер для всех троих.

Фауст

На мой приказ ты глух был тож!
Обмен был нужен, не грабеж.
Проступок дикий и слепой
Кляну! Делите меж собой!

Хор

Есть слово древнее: Терпи!
Насилью вольно уступи!
А вступишь в бой, храни в бою
Свой дом, свой двор и жизнь свою.

(Уходят)

Фауст (на балконе)

Померкли звезд лучи и свет,
Огонь поник, пыланья нет:
Повеял свежий ветерок,
Несет ко мне чад и дымок.
Я поспешил, спешили те...
Что там за тени в темноте?

V

Полночь

Четыре мрачных женщины появляются.

Первая

Зовусь Нищетой я.

Вторая

Зовусь я Виной.

Третья

Зовусь я Заботой.

Четвертая

Зовусь я Нуждой.

Три

Здесь заперты двери, и нет нам пути,
Живет здесь богатый, к нему не войти.

Нищета

Там стану я тенью.

Вина

Ничто стану я.

Нужда

Он радостный лик отвратит от меня.

Забота

Вам, сестры, нельзя и не должно входить,
Забота ж умеет и в щели скользить.

(Забота исчезает)

Нищета

Вам, мрачные сестры, исчезнуть пора.

Вина

Бок-о-бок с тобою пойду я, сестра.

Нужда

Нужда вслед за вами пойдет без печали.

Три

Скрываются звезды и в тучах вся твердь.
Оттуда, оттуда! из глуби, из дали
Подходит сестрица, подходит, вот—Смерть.

Фауст (во дворце)

Пришли четыре, три ушли.
Смысл их речей невнятен был вдали.
Расслышал я нужда и твердь,
Как рифма следовала смерть.
Звук был так глух, был вестником судьбы.
Еще свободно я не вел борьбы.
О еслиб магию сумел изгнать я,
Вполне забыть все тайные заклятья,
С тобой, Природа, бой грудь с грудью длить,—
То было б ценно—человеком быть.

Таким я был, пока не рылся в мгле я,
Мир и себя еще проклясть не смея.
Теперь виденья всюду так кишат,
Что их ничей не избегает взгляд.
Пусть день, смеясь, их отгоняет прочь,
В сонм призраков нас вновь бросает ночь.
С полей весенних мы идем. В саду
Вдруг ворон каркнет; каркнет что? Беду.

Мы с предрассудками кругом срослись,—
Они пугают, нам грозят, сбылись,—
Наедине боимся мы всего.
Дверь проскрипела, но—здесь никого.

(Содрагается)

Здесь кто-то есть?

Забота

Ответ бесспорен: да!

Фауст

Но кто, ты кто же?

Забота

Я вошла сюда.

Фауст

Прочь уходи!

Забота

Останусь, так и знай.

Фауст

(сначала раздраженный, потом успокоясь, про себя)

Приди в себя и чар не применяй.

Забота

Слуху пусть неуловима,
В сердце я стучусь незримо;
В разных образах скользя,
Побеждаю силой я,
На путях и в бурном море
Ваша спутница на горе.
Не ища, меня найдут,
Будут льстить и проклянут.
Иль ты заботы ввек не знал?

Фауст

Чрез мир я только пробегал;
За волоса хватал я все желанья,
Бросал, что чуждо, без вниманья,
Что прочь бежало, оставлял.
Я лишь хотел, осуществлял алчбу,
И жаждал вновь; и так свою судьбу
Провел, сначала буйно и тревожно,
Теперь иду разумно, осторожно.
Весь круг земли вполне изведал я;
Что вне его, того постичь нельзя.
Глупец! кто тщетно ищет там глазами,—
Себе подобных мнит за облаками!
Стал твердо здесь, глядя вокруг: пред тем,
Кто полон сил, и этот мир не нем.
Зачем носиться по путям незримым,
Есть наслажденья в постижимом.
Возможно в том все дни свои замкнуть.
Пусть реют духи, ты свершай свой путь.
Восторг, как муки, обретешь в стремленьи—
Ты, не пресыщенный ни на мгновенье.

Забота

Тот, чьим сном я овладела
Чужд надежд в природе целой;

Мглами жизнь его объята,
Нет восхода, нет заката,
Внешне пусть острее мысли,
Все ж в нем сумерки повисли,
Пусть сокровища он сложит,
Или он владеть не сможет.
В счастьи, в бедах скорбь приветит,
В изобильи голод встретит,
Будь печально, будь отрадно,
Завтра станет ждать он жадно,
Только будущему веря,
Так всю жизнь желаньем меря.

Фауст

Молчи! ты не вползешь, как змей!
Не нужно болтовни подобной.
Прочь! вязь нелепых литаний
И мудрого смутить способна.

Забота

Вдаль итти? иль воротиться?
Неспособен он решиться.
Замедляет по дороге
Он неверный шаг в тревоге,
Заблуждаясь безвозвратно,
Видя все вокруг превратно,
Как других, себя смущая,
Задыхаясь, изнывая.
Жизни чужд, и не упавший,
Не смиренный, не восставший,
Так он, зыблем до могилы,
Бросить слаб, творить нет силы,
Не волён, не в заключеньи,
И во сне и в тяжком беденьи,
Все на месте, словно скован.
В жертву аду уготован.

Фауст

О злые призраки! Вы род людской
На сто ладов терзаете сурово,
Дни, что текут размеренной чредой,
Вы превращать в мучительство готовы.
От демонов, увы! бежать нельзя,
Духовных пут нам не порвать к несчастью;
Все ж ты, Забота, вкрадчиво скользя,
Меня своей не сломишь властью.

Забота

Ее признай же в миг, когда
Тебя с проклятьем я покину.
Пусть люди как слепцы всегда,
Ты, Фауст, встреть слепым свою кончину.

(Дует на него)

Фауст (ослеплен)

Ночь глубже все и глубже вкруг струится.
Но в глубине горит высокий свет;

Что я замыслил быстро да свершится;
Властительное слово—вот завет.
Вставайте, слуги! час работы бил!
Пусть ярко встанет, что я смело мнил!
Беритесь за лопаты! лом, за дело!
То, что намечено, кончайте смело!
Порядок стройный, спешный труд
Награду пышную найдут.
Довольно для возвышенных деяний
Единого ума над тысячами дланей.

VI

Большой двор перед дворцом. Факелы. Мефистофель, как смотритель, впереди.

Мефистофель

Сюда, сюда, скорей, скорей,
Лемуры в вечной дрожи,
Творимые из жил, костей
И связок полурожи!

Лемуры (хором)

Мы здесь, мы тотчас под рукой,
Насколько разумеем,
Еще одной страной большой
Мы скоро овладеем.
Точеных копий вот запас,
Вот цепи мерить цели:
Но для чего позвали нас,
Мы позабыть успели.

Мефистофель

Нет хитростей особых в том,
Свой рост за меру вы примите;
Длиннейший ляжет пусть ничком,
А вы, другие, дерн вокруг скосите,
Как ряд веков тому назад,
И длинный вырежьте квадрат!
Итти в могилу из дворца—
Кто глупого избег конца!

Лемуры

(с насмешливыми ужимками копают)

Я молод был и я любил,
Я жизнь считал за сказку.
Чуть слышу звон, веселья зов,
Пускались ноги в пляску.

Но старость подошла, клюкой
Схватив меня сердито;
И вот я над могилой стал,
Зачем она открыта!

Фауст (выходя из дворца, ощупывая притолоку)

Как сладостен мне этот стук лопат!
Толпа свершает, что мне нужно.
Земля сама с собой содружна,
Возводит волнам ряд преград,
Что море валом окуют.

Мефистофель (в сторону)

Ты лишь для нас трудился тут,
Творя плотину да препону;
Морскому черту, Посидону,
Уготовлял ты пышный пир.
Как ни трудись, но смертью ты отмечен,
Союз стихий и ада вечен,
Чтоб некогда сгубить весь мир.

Фауст

Смотритель!

Мефистофель

Здесь!

Автоиллюстрация Гете к „Фаусту“ („Вальпургиева ночь“)
Goethe- Nationalmuseum, Веймар

Фауст

На всем пути
Сбирать народ к работе надо;
Влияй угрозой иль наградой,
Зови, наказывай, плати,
И каждый день мне подавай отчеты,
Как над каналом движутся работы.

Мефистофель (вполголоса)

Мне кажется, так слухи мне твердили,
Здесь не в канале дело, а в могиле.

Фауст

Дыханьем местность заразив,
У гор болота проржавели.
Мы, топь гнилую осушив,
Достигнем тем последней цели.
Дадим мы место многим миллионам

Жить, пусть непрочно, но трудом законным
Нив плодородных круг стадам и людям
Даруя, землю новую добудем.
Пусть поселится на холмах крутых
Люд трудовой, сам воздвигая их.
Так здесь возникнет край эдемский мой,
И пусть о самый вал стучит прибой!
Где ж он в плотине путь себе прогложет,—
Содружный труд сейчас разрыв заложит.
Мне эту истину открыли годы.
В том смысл всей мудрости людской:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто день за днем за них вступает в бой.
Здесь в вечном страхе пусть ведет года
Ребенок, муж, старик, трудясь всегда.
Ах, этой жизни видеть ход,
Где волен край и волен весь народ,
Тогда мгновенью я сказал бы:
Помедли, так прекрасно ты!
И след земной мой не пропал бы
В эонах вечной темноты,
В предчувствии той радости, старик,
Я высшего мгновения достиг.

(Фауст падает навзничь, лемуры поднимают его и кладут на землю.)

Мефистофель

Не сыт восторгом, счастьем всем не сыт,
Он все о новых призраках хлопочет;
Пустой, последний, жалкий миг стоит,
Но удержать его он хочет.
В борьбе со мной он был велик,
Но время—царь, пал на землю старик,
Часы стоят.

Хор

Как полночь, немы! встали,
Упали стрелки.

Мефистофель

Сломаны, упали.

Хор

Всему конец.

Мефистофель

Конец! нелепый звук.
Сказать смешно.
Конец и чистое ничто—одно.
Что значит вечное творенье
И сотворенного исчезновенье?
«Всему конец!» что б это означало!
Да то, что этого и не бывало,
Но, словно есть, в круг мчится бесконечно,—
За то и мило мне Пустое—вечно.

Положение во гроб.

Лемур (соло)

Кто строил этот тесный дом
Кирками и лопатой?

Лемуры (хором)
Глухому в саване льняном —
Просторная палата!

Лемур (соло)
Где стулья, стол? Кто этот зал
Украсил так убого?

Лемуры (хор)
Все это он на время взял,
А кредиторов много.

Мефистофель
Простерто тело, хочет дух бежать,
Я лист представлю, что подписан кровью,
Но, ах, умеют ныне по условью,
У черта души отнимать.
Не стало прежних нам дорог,
На новых с нами все не дружны:
Сам прежде все б свершить я мог,
Теперь помощники мне нужны.
Теперь дела ведешь едва.
Обычаи и старые права
Повсюду ныне ненадежны.
Последний вздох кончал все прежде; лишь
Слетит он, схватишь быстренькую мышь,
Цап, и в когтях уносишь осторожно.
Теперь душа в обители гнилой
Сидит упорно, дом боясь покинуть,
Пока стихий упорный бой
Ее не сможет силой ринуть.
Часы и дни трудись я незаметно,
Когда, где, как—я спрашиваю тщетно.
Смерть потеряла роковую мощь
И даже, правда ль, сразу не поймешь:
Случалось мне смотреть на труп остылый,
То был обман, вставал он, полон силы.
(Фантастические крылорукие, заклинающие движения.)
Сюда скорее! шаг удвойте ваш,
Чины прямого и кривого рога,
Чертей бывалых верная подмога,
Сюда внесите адский запах наш.
У ада пастей много, много,
В черед, по званью ловит он во тьму,
Но в дни последние, теперь—не строго
Все стали относиться и к тому.
(Чудовищная адская пасть разверзается слева.)
Разверзлась челюсть, силы преисподней
Взметают пламя к вышине,
И в глуби, где дороги безысходней,
Сверкает Град в немеркнущем огне.
Высот до зубов его взметнулась пена,
Спастись надеясь, грешники плывут,—
Но зев сжимает грозная гиена,
Вновь в красное жерло они падут.

В углах еще безмерная громада
Мучительств, хоть предел и огражден.
Пугайте грешных ужасами ада!
Ведь все для них—лишь бред, и ложь, и сон!
(К толстым бесам короткого прямого рога.)
Вы, краснорожие пузаны,
На адской сере вздутые везде,
С короткой шеей, низкие чурбаны,
Смотрите, фосфор не зажжется ль где.
То—душенька, то крылья мчат Психею;
Сорвите их, и стать ей лишь червем!
Чтоб, заклеймив печатию своею,
Ее повлек я в огнебурный гром.
За нижней областью следите,
Пузаны, это ваш обет.
Не тем ли скрыты жизни нити,
Ответа точного нам нет.
Пуп ей, всего вернее, дом.
Эй, не зевать, не то скользнет тайком.
(К худым бесам длинного кривого рога.)
Гиганты, крылорукие верзилы,
Смотрите вверх вы, тоже не зевать!
Готовьте руки, в когти влейте силы,
Чтоб на лету беглянку задержать,
Наверно ей несносно стало там,
А гений жаждет взвиться к небесам.
Сияние свыше, справа.
Небесное воинство
Длите, посланники,
Неба избранники,
Радостный лет.
Грех да простится,
Прах оживится,
Всему, что в природе,
Дорогу к свободе
Да созидает
Нам медленный ход.
Мефистофель
Нескладный хор, противность бормотанья
С ненужным днем без нужды сходит к нам.
Вверху там дево-юношей взыванья,
Любезные лишь сумрачным ханжам.
Им ведомо, как в час, всегда проклятый,
Стремились мы весь род людской сгубить,
Но что нашли мы, худшее трикраты,
Казалось им достойным быть.
Они явились, лицемеры!
Нас много раз они свергали в прах.
Как мы, такие ж принимая меры,
Все те же черти, в клобуках!
Стыдом нам было б уступить им внове!
К могиле все, и будьте наготове!

Хор ангелов (рассыпая розы)

Розы цветущие,
Бальзамы льющие,
Гирлянды вьющие,
Всем жизнь дающие,
В ветках крыленные,
В почках рожденные,
Скройте весь край!
В зелени, в пурпуре
Дайте нам май!
Здесь же простертому—
Радостный рай!

Мефистофель (к дьяволам)

Что гнетесь, жметесь? Тот ли жар в аду!
Держитесь твердо, пусть их сеют,
Стой каждый смело в череду!
Иль думают, цветов блестящих сеть
Чертей горячих может одолеть?
В дыханьи вашем гаснет, блекнет все,
Ну, дуйте, рожи,—будет, будет, стой!
От вашей мочи сгинет тот рой,
Не так жестоко, нос и пасть заткнули б!
Эй, слишком сильно вы дохнули!
И должной меры все не сохранят.
Не сохнут—лишь трещат, блестят, горят.
На нас летит, жжет нас огонь тлетворный,
Сплотитесь вместе, будьте все упорны!
Слабеет мощь, нет сил с огнем таким!
Ах, чуют черти жар несродный им.

Ангелы

Цветенье священное,
Пламя блаженное,
Любовь раздают они,
Радость несут они,
Врачуя сердца!
Истины слово
С эфира благого,—
В хоре их снова
День без конца!

Мефистофель

О стыд! о вечный срам над нами!
Все черти стали вверх ногами,
Бездельники, поднявши зад,
Все в бездну кувырком стремятся,
Чтоб от ожогов искупаться,—в ад.
Но твердо я решил остаться.

(Сражаясь с пылающими розами)

Ну, что горишь, блудящий огонек!
Ты, схвачен, станешь лишь простой комок.
Сгинь, пропади, чего горишь без меры,
Затылок жжет, как зной смолы и серы.

Ангелы (хор)

Тех, что здесь чужды вам,
Вы не касайтесь;
Тех, что враждебны нам,
Вечно чуждайтесь.
Он и надменен будь,
Твердо храним мы путь,
Любящих взносит
Только любовь.

Мефистофель

Затылок, сердце, печень—все горит.
Сверхдьявольский огонь палит,
Чем и в аду жесточе.
Вот почему вы стонете все ночи,
Несчастные влюбленные, и бред,
Ломая шеи, мчите милой вслед.
И я! Зачем в их сторону гляжу я?
Не жил ли, с ними я всегда враждуя?
К ним взор всегда бросал я, как к врагу.
Что чуждое насквозь мне грудь пронзило?
В молодках этих все мне ныне мило;
Я почему ж ругать их не могу!
Но если вдамся я в обманы,
Кто здесь предстанет дураком?
Противные мне мальчуганы,
Сегодня вы по сердцу мне во всем.
Милашки-деточки хочу узнать я,
Не Люцифером ли вы рождены?
Прекрасны вы, вас жажду целовать я,
По-моему, вы здесь и быть должны.
Мне так естественно, так ладно,
Как еслиб я без счета видел вас,
По-кошачьи мне здесь отрадно,
Смотрю—и все милей вы каждый раз.
Идите ближе, бросьте мне хоть взгляд!

Ангелы

Подходим мы, но ты бежишь назад!
Мы близимся, коль можешь, не уйди!

(Ангелы разлетаясь, заполняют все пространство.)

Мефистофель (оттиснутый на авансцену)

Вы нас зовете духами паденья,
Но колдунов и в вас уменье,—
Мужчин и жен сбивать с пути!
Нелепейшее приключенье!
Любви ль стихия такова?
Горит все тело, но в волненьи
Огня не ощущает голова.—
Взлетают ввысь и вниз! Поближе рейте,
Чуть-чуть земного в прелесть членов влейте!
Мила, конечно, строгость в вас,
Но улыбнуться должно вам хоть раз!
То было б мне навек усладой,

Желал бы я влюбленных взгляда.
Одна черта у губ, ну поскорей!
Ты, длинный, всех других ты краше!
Поповские оставьте мины ваши.
Взгляните на меня чуть-чуть страстней!
Могли бы вы летать обнажены,
Рубашки эти длинны чрезмерно,—
Несутся прочь,—спиной обращены!—
Но все ж канальи лакомы,—то верно.

Хор ангелов

Пусть воссияет
Пламень любовный,
Пусть и греховный
Истину знает!
Чтобы все злое
Стихло в покое,
Чтоб в сонме духов он
Счастье обрел.

Мефистофель (овладевая собой)

Но что со мной!—Как Иов, рана к ране,
Я сам себе в болячках страшен стал.
Но торжествую я, во мне былой закал,
Себе я верен, род свой не продал,
Дух дьявола во мне спасен заране!
Любовный пыл сквозь волдыри пропал,
Проклятого огня не ощущаю,
Я всех вас, как и должно, проклинаю.

Хор ангелов

Пламя святое,
Кто им окутан,
Входит в приют он,
Где неземное,
От пепелища
К небу спеши.
Воздух очищен,
Дух им дыши!

(Они возносятся, унося, что было бессмертного в Фаусте)

Мефистофель (озираясь)

Но что ж!—Куда исчезли те, что были?
Молокососами я проведен,
Они с добычей к небу воспарили,
Затем и был ко рву их рой стеснен.
Великий клад, единственный, утрачен,
Высокий дух, что мной уже был схвачен,
Так ловко у меня похищен он.
Куда мне с жалобой явиться,
Кто защитит права мои?
На старости сумел ты осрамиться
И заслужил страдания свои!
Я вел себя совсем позорно,
Плод долгих замыслов, увы! исчез;
Простая похоть, пыл любовный, вздорный

Тебя смутил, бывалый бес!
И в эти детски-глупые дела
Мог вдаться ум, тебе подобный!
Да, надо верить, Глупость не мала,
Когда своих сразить способна.

VII

Горные ущелья,
лес, скалы, пустыня

Святые отшельники (разделенные по скалам, расположились между пропастями)

Хор и Эхо

Лес, он шумит кругом,
Скалы объяты сном,
Корни покрыты мхом,
Ствол загражден стволом;
Ключ за ключем бежит,
Пропасть, глубоко, спит;
Лев, подходя как друг,
Бродит близ нас, вокруг,
Звери покорно чтут
Высшей любви приют.

Pater extaticus
(паря ввысь и вниз)

Вечный блаженства жар,
Светлой любови дар,
Боль, что сжигает грудь,
Пенистый к богу путь.
Дрот, порази меня,
Пика, пронзи меня,
Млат, раздроби меня,
Молния, жги меня!
Чтоб все ничтожное
Гибло, как ложное,
Встаньте навек звездой
Зерна любви святой!

Pater profundis
(низшая область)

Как пропасть здесь у ног открыта,
Над низшей пропастью склонясь,
Как сто ручьев бурлят сердито,
Все взнесены во глубь стремясь,
Как мощно, силой им присущей,
Стволы возносятся в эфир,—
Так и любовью всемогущей
Мир сотворен и дышит мир.
Вокруг меня глухие бури,
С горами будто спорит бор,
И все ж бегут, полны лазури,
Ручьи на блещущий простор,—
Долину оросить спокойно;
И молния, летя во прах,

Акт первый.

I.

Живописная местность.

Фауст распростерт на цветущем лугу, утомленный, беспокойный, — во сне.

Сумерки.

Хор духов носится витая; милые маленькие образы.

Ариэль

(пение под звуки арф)

В дни, когда весна цветами
Осыпает всё вокруг,
И на смертных зеленями
Свежих всходов смотрит луг;
Малых эльфов ~~рой~~ сонм поспешает
Реет, чтоб помочь скорей.
Будь святой он, будь он грешник,
Всех несчастных жаль людей!

~~Вы, легким сонмом рея на вершине,~~
~~По долгу эльфов здесь явитесь ныне!~~
Вы, легкий рой вокруг него сплетя,
Явитесь здесь, долг эльфов исполняя!
Отвейте с
~~Смягчите~~ сердца лютую скорбь в мщении,
~~Смягчите боль от стрел судьбины в теле,~~
И устраните стрел судьбы страданье,
Очистите от страха глубь души!
Четыре ~~срока~~ предела — есть в ночном молчаньи, —
Его наполните, эльфов рой, скорей!
На мягкий мох его ~~чело~~ главу направьте,
Росой Летейской окропите его,
Недвижность членов скорченных расправьте.
~~Чтоб светлый день он~~
Пусть укрепленный день встречает он.
Прекрасный эльфов долг свершайте,
Ему блаженный свет отдайте!

Хор

(По одному, по два и многие, чередуясь и совместно)

Серенада.

* В теплом воздухе полей
Блещет [illegible] во мгле,

Черновой автограф первого акта второй части „Фауста" в переводе В. Брюсова
Собрание И. М. Брюсовой, Москва

Весь воздух очищает знойно,
Сжигая яд в его парах.
То—вестники! Чем все объято,
Чем живо, нам вещают вслух!
Пусть и во всем пылает свято
Мой смутный, мой холодный дух,
В оковы мысли заключенный,
Полураздавленный в кости!
Смири, о боже, ум смущенный,
И сумрак сердца просвети!

Pater Seraphicus
(средняя область)

Что за облачко там реет.
В тьме сосновой, через бор?
Как понять, что в нем светлеет!
Это—юных духов хор.

Хор блаженных Младенцев

Молви, отче, где мы, где мы,
Молви, добрый, что мы, кто?
Но блаженны все мы, все мы
Бытием, что в нас влито.

Pater Seraphicus

Дети! полночью вы взяты,
Не раскрыв свой ум и дух,
Вы—родителей утраты,
Ангелов—прибыток вдруг.
Чуя с любящим сближенье,
Поднимайтесь! все—сюда!
Но земного тяготенья
На счастливцах нет следа.
Вы в мой взор вполне войдите,
Орган мира и земли,
Как своим вы им смотрите
На страну, куда вошли.

(Принимает их в себя)

Это—лес, а это—скалы,
То поток, что как-нибудь
Дико мчится, одичалый,
Сокращая длинный путь.

Блаженные Младенцы (изнутри)

Вид величеством пленяет,
Но он грозен, как снести!
Страх и ужас обвевает,
Добрый, добрый, отпусти!

Pater Seraphicus

Возноситесь к высшей сфере,
Вечно выше, в синеву.
Укрепляясь в полной мере
Приближеньем к божеству.
Духам нет иных условий,
Что в эфире чистом мчатся,—

Откровением любови
До блаженства возвышаться.

Хор блаженных Младенцев (кружась над высочайшей вершиной)

Руки сомкните,
Радостно в круг спеша,
Пойте, летите,
Жаждой святой дыша!
Правду нашли мы!
Верьте ж мечтам!
Тот, нами чтимый
Явится нам.

Ангелы (паря в высших кругах атмосферы, унося бессмертного Фауста)

Духовных сфер член благородный
От мира зла спасен;
Чей жил исканьем дух свободный,
Не будет осужден.
А если и любовь осветит
Его с своих высот,
Сердечно хор блаженный встретит
Его с земли приход.

Младшие ангелы

Эти розы, что роняли
Грешниц кающиеся длани,
Победить нам помогали,
Завершили подвиг брани,—
Ценный дух мы взяли в руки;
Мы бросаем—черти никнут.
Попадаем—злые вскрикнут.
Вместо вечной адской муки,
Жгла любовь их страстью ярой.
Даже главный Дьявол старый
Той же мукой был волнуем.
Победили! Возликуем!

Более совершенные ангелы

Земное возносить
Нас все ж тревожит,
Хоть чист он,—чище быть
Асбест не может.
Когда могучий дух
Вберет стихии,
То серафимов круг
Узы двойные
Не в силах рушить вновь
Четы подобной;
Лишь вечная любовь
На то способна.

Младшие ангелы

Дыма идущего
В высь неземную,—
Духа присущего
Близость я чую,
Тучки—светлей, светлей;

Вижу я хор детей,
В смерти блаженный,
Сбросив весь гнет земной,
В лучшей вселенной
Он восстает,
Счастлив иной весной
Вечных высот.
Пусть на заре времен
К солнцу их приобщен
Будет и тот!

Блаженные дети

Дружно приемлем мы
Дух, что в личинке там;
Тем получаем мы
Ангелов помощь нам.
Пусть падут узы все
Памяти тленной;
Взрос и созрел уже
Он к жизни блаженной.

Doctor Marianus
(в высшей чистейшей келии)

Взносится дух и взгляд,
Дали—без меры.
Женщины здесь парят
В высшие сферы,
И, чтоб вести сердца,
В звездной короне
Неба Владычица
Блещет на троне.

(Восторженно)

О, владычица миров,
Дай мне в вечной сини,
Где простерт твой светлый кров,
Зреть твои святыни!
То прими, что в нас волной,
В страсти строгой, бродит
И любовью неземной
Нас к тебе возводит.
Где ты с нами, наших сил
Воля необорна,
Но ты гасишь буйный пыл
Лаской миротворной,
Дева вечной чистоты,
Мать, что нами чтится,
Славима будь с богом ты
Наравне, царица!
Тучки кружатся вокруг,
Пухом мелькая,—
Грешниц раскаянных
Светлая стая,
Льнут у твоих колен
В чистом эфире

С мольбой о мире.
Ты же, неприступная,
Ты не воспретила,
Чтоб душа преступная
Пред тобой молила.
В нашей слабости искать
Путь спасенья праздно;
Силой собственной порвать
Как нам цепь соблазна?
Ноги крепко ли стоят
Там, на почве зыбкой?
Ах кого то речь, то взгляд
Не влекут в ошибку!

M a t e r g l o r i o s a (парит в высоте)

Х о р к а ю щ и х с я г р е ш н и ц

Ввысь от земли ты
Паришь, блаженная,
Мольбам внемли ты,
О несравненная,
В прощеньях щедрая!

M a g n a p e c c a t r i x (от Луки VII, 36)

Ради той любви, струившей
Токи слез, как ток елея,
Ноги господа омывшей
Перед гневом фарисея,
Ради урны, проливавшей
Миро над его ногами,
Ради грешной, отиравшей
Их своими волосами—

M u l i e r S a m a r i t a n a (от Иоанна IV)

Ради кладезя, где пило
Древле стадо Авраама,
Той бадьи, что подносила
Я к устам Христовым прямо,
Ради чистого потока,
Что оттуда льется щедро,
Изобильно и широко
Проникая во все недра—

M a r i a A e g y p t i a c a (Acta Sanctorum)

Ради камня, где лежало
Тело бога в пеленах,
Той руки, что отстраняла
Ласково меня в дверях,
Той пустыни, где рыдала
Я все сорок лет в тоске,
И тех слов, что начертала
В час предсмертный на песке.

В с е т р и

Ты вешних грешниц взгляды
От себя не отстраняешь,
Им раскаянья награды
В вечности не возбраняешь;
К сей несчастной взор склоняя,

Впавшей раз лишь в заблужденье,
Что грешит, не сознавая,
Даруй ей свое прощенье!

Una poenitentium (прежде именовавшаяся Гретхен, присоединяется к ним)

Да смилосердится,
О, скорбиведица,
Лучами щедрая,
Над моим спасеньем облик твой!
Любимый прежде,
Вернут надежде,
Вновь предо мной!

Блаженные дети (приближаясь в круговом движении)

Опередил нас он
Могучим лётом;
Воздаст награду он
По всем заботам.
Нам рано жизни сон
Пришлось оставить;
Но был наставлен он
И нас наставить.

Одна из кающихся (прежде именовавшаяся Гретхен)

Пришлец, вступая в сонм лучистый,
Еще все видит как сквозь сон,
Но чуть вздохнет он жизнью чистой,
Уже блаженным сроден он.
Взгляни, как ветхого земного
Он узы торопливо рвет,
Как из эфирного покрова
Вновь мощно юность предстает!
Дозволь мне быть ему примером,
Еще он новым днем слепим.

Mater gloriosa

Иди! взнесись к предельным сферам,
Он—за тобой, ты—выше, с ним!

Doctor Marianus (молит, павши ниц)

Взгляните ввысь, спасенья лик
Встретьте в умиленьи,
Шлите за блаженный миг
Вы благодаренье!
В каждой правой мысли суть—
Ты лишь неуклонно;
Дева, мать, царица, будь
К нам ввек благосклонна!

Chorus mysticus

Что все тленное?
Символ оно.
Здесь неизменное
Воплощено,
Здесь, бесконечное,
Осуществись!
Женственно-вечное
Взносит нас ввысь!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Когда на склоне лет человек заболевает неизлечимым недугом и, сохраняя ясность сознания, следит за медленным, но пагубным его развитием, он должен обладать очень сильно развитыми позитивными силами, чтобы, беспристрастно обозрев сон своей жизни, не воскликнуть вместе с проповедником: «Я видел все, что свершается под солнцем, и скажу, что то лишь суета и горе».

Среди неслыханного, но слишком очевидного умирания культуры целой эпохи, если даже не части света, овеянные дыханием смерти, критически обозревая до конца изжитую культуру, мы крайне склонны все находить проблематичным, даже то, что прежде таковым не казалось... и, в первую очередь, великие символические образы, в которых прошлое себя предчувствовало, истолковывало, познавало и прославляло.

Так вышедший из войны мир отчасти обращен уже к Фаусту: душой, обильно причастившейся смерти, чья незыблемая некогда вера в абсолютный смысл «фаустовского стремления» в какой-либо мере оказалась потрясенной» (K. J. Obenauer, Der faustische Mensch. Vierzehn Betrachtungen zum zweiten Teil von Goethes Faust. Jena, 1922).

Приведенные строки, принадлежащие перу видного буржуазного ученого-гетеанца, очень ясно говорят о причинах того обостренного внимания к «Фаусту» Гете, которое столь типично для буржуазного литературоведения последнего десятилетия. Пораженная «неизлечимым недугом», «овеянная дыханием смерти» современная немецкая буржуазия устремляется к образам своего великого прошлого, чтобы в них почерпнуть силы, найти оплот против надвигающейся гибели. Это прошлое представляется ей «сияющим», тем более привлекательным, чем менее успокоительны ее виды на будущее. «Мы чествуем в нем (в лице создателя «Фауста»—*Б. П.*) наше сияющее прошлое, ибо наше будущее покрыто мраком», говорится в предисловии к одной из книг, посвященных юбилею Гете («Deutscher Almanach für das Jahr 1932». Leipzig, 1932).

В этом причина такого экстатического «открытия» гетевского «Фауста», рисующегося современной буржуазии своего рода монсальватом «национального духа», в котором не могут не таиться разгадки всех мучительных тайн современности, в сияющем блеске которого буржуазия наших дней надеется «gesund sich baden» («купаться здравой», «Фауст», ч. I, сц. 1). Все это ведет к культу «Фауста», какого никогда пожалуй не знала Германия, создает огромную литературу о нем и вместе с тем поднимает волну легенд о «Фаусте», попыток «истолковать» его применительно к интересам вступающей в полосу «мрака» буржуазии.

О. Шпенглер например, говоря о Фаусте как величайшем символе «нового времени», истолковывает путь Фауста, как стремление «фаустовской души» освободиться от земного и тем самым преодолеть свое трагическое одиночество. Ее высший идеал—Мадонна. В истолковании Шпенглера «Фауст» Гете—своего рода вариант Парсифаля Вольфрама фон Эшенбаха. У Обенауэра Гете явственно приобретает черты Плотина, Якова Бема, чуть ли не Владимира Соловьева. В его истолковании Фауст—законченный христианин, поскольку «идеальная сила, влекущая его на борьбу с хаосом»,—вполне «христианский импульс». Для К. Бензингера (K. Bensinger, Was bedeutet die Goethesche Faustdichtung den Menschen und der Menschheit? Mannheim, 1927) трагедия Гете прокламирует основы буржуазного демократизма, вырастает в апофеоз республики и реформизма. К Бензингеру близок Ю. Баб, по мнению которого Гете написал «Фауста», руководствуясь «единственной целью»—показать, как высшая сила («Бог-природа») «ввергает в бури незрелого человека, зрелого же награждает в спокойном движении своего дня». Над его книгой реет дух мелкобуржуазного реформизма, враждебного революции, всему «вулканическому» и «катастрофическому» в социальной жизни (J. Bab, Faust, das Werk des Goetheschen Lebens. Stuttgart, Berlin, Leipzig 1926).

По Ф. Росту (F. Rost, Goethes Faust, eine Freimaurer Tragödie, S. a), члену фашистской группки Людендорфа, в гетевском «Фаусте» запечатлена идеология «жидо-масонства», продолжающая смертельной угрозой нависать над не чующим опасности христианским миром. Олицетворяющий жидо-масонство Мефистофель через посредство соблазненного им Фауста губит Гретхен—немецкий народ,—не сумевшую дать отпора коварному злодею. Для основной фашистской прессы «Фауст»—книга о «сильном вожде», стоящем над толпою, и т. п.

Даже Генрих Риккерт, совсем недавно опубликовавший очень интересную работу о «Фаусте» (H. Rickert, Goethes Faust. Tübingen, 1932), безусловно представляющую крупное событие в истории изучения гетевского шедевра, прикладывает

то и дело руку к травестии Гете, доказывая, что Гете не был в сущности спинозистом, что, обнаруживая в «Фаусте» черты законченного дуалиста, он гораздо ближе к Канту и Лютеру, чем Спинозе, и т. п.

Примеры можно было бы умножить, но и без того ясно, какими тенетами «истолкований» опутывает современная буржуазия трагедию Гете, приобретшую под ее руками все свойства Протея, питавшего, как известно, непреодолимую склонность к наинеожиданнейшим превращениям, скрывавшим его подлинный образ.

При этом основное внимание подавляющего большинства пишущих о «Фаусте» направлено на II часть трагедии, из которой в свою очередь выделяется заключительный акт (который напечатан в настоящем номере), что не должно возбуждать удивления, так как во II части трагедии сосредоточен основной круг эпизодов, дающих материал для создания наиболее излюбленных «легенд» о «Фаусте».

«Эпилог на небе» доставил пищу легенде о приходе Гете к догматическому христианству (G. Kochheim, Faust im Zeichen des Kreuzes. Hamburg, 1932; F. Barth, Das Christentum nach Goethes Faust. 1932 и др.). Сцены 1—5 V акта II части породили легенду о том, что Гете вовсе не был горячим сторонником технического прогресса (Obenauer, ibid, и др., IV акт II части, особенно монолог Фауста:

....Находить
Во власти счастье должен повелитель... и т. д.

оплодотворил легенду о «Фаусте» как апофеозе «сильного вождя» типа Гитлера) и т. п.

Задача настоящего послесловия—наметить, опираясь на материал заключительного акта «Фауста», критику важнейших из указанных легенд. Обратимся с этой целью к трагедии Гете.

Основная ситуация 1—5 сцен V акта вырисовывается следующим образом: Фауст завершает свой жизненный путь созидательной работой на пользу общества. Некогда мятежный титан, которому мир рисовался в виде мрачной, достойной проклятия пропасти (часть I, сцена 4), изживает свой былой солипсизм, становясь организатором государства свободных, деятельных, способных созидать, покорять природу людей. Служить счастью миллионов для него ныне «высший предел мудрости». Обенауэр по этому поводу замечает: «Здесь основное—идея, намерение, дело (die Tat), а не то, что в действительности создается», ведь все эти грандиозные плотины, каналы и пр., с помощью которых Фауст реализует свою идею,—дело рук Мефистофеля. Именно так должен говорить единомышленник Шпенглера, Бергсона и прочих современных машиноборцев, усматривающих все беды современности в «гибельном» для человечества развитии науки и техники. Ратуя за «обуздание» «взбесившейся машины», они и Гете стремятся представить апостолом чистой «духовности», видевшем в техническом прогрессе козни дьявола. Но то, что для них теперь «кухня ведьмы», для Гете в действительности было горячо желанным. Идеолог молодой буржуазии, он был причастен пафосу капиталистической стройки, развертывавшейся на его глазах в Англии, Америке, Франции. И если при этом Гете в капиталистическом прогрессе способен был видеть также и отрицательные стороны, значит ли это, что он был братом по духу Шпенглеру и Бергсону?

Однако явствует ли из самой трагедии, что Гете не придавал особого значения техническому прогрессу? Об эфемерности и нелепости предпринятых сооружений говорит Мефистофель. Но ведь то Мефистофель—сын хаоса и мрака, «некогда бывших всем», апостол разрушения и небытия, с презрением взирающий на созидательную деятельность престарелого Фауста. Правда, он как раз и выступает в роли строителя, но строит он, лишь подчиняясь непреклонной воле Фауста, питая отвращение к плодам своей вынужденной деятельности, мечтая о том дне, когда разрушение восторжествует над созданным. Его стихия—злобная ненависть к прогрессу в той мере, в какой последний знаменует победу жизни над небытием. Стихия векового Фауста—радость творчества, обращенного на пользу миллионов. Разве Шпенглеры с их жаждой смерти и ужасом перед успехами науки не ближе Мефистофелю, чем Фаусту заключительного акта трагедии?

Но даже заставив служить своим целям Мефистофеля, Фауст тяготится его помощью. Отнюдь не потому, что в нем просыпается христианин, желающий порвать греховную связь с адом, не то, чтобы он разделял уверенность Мефистофеля в эфемерности возводимых последним сооружений.

Еще свободно я не вел борьбы.
О если б магию сумел изгнать я...
С тобой, природа, бой грудь с грудью длить—
То было б ценно—человеком быть.

Приведенные слова станут понятны, если мы вспомним, что в сцене первой I части трагедии Дух земли именует Фауста сверхчеловеком. В качестве сверхчеловека Фауст проклял все земное, все человеческое как ограничивавшее его титанизм. Его сверхчеловеческие порывы были проявлениями «смутно бродившей» силы, но также бессилия, слепого бунта «скорченного червя». Это был гигант и в то же время Вертер, существо достаточно своеобразное, но вполне типичное для буржуазной литературы периода «бури и натиска». Достигнув на склоне лет «высшего предела мудрости», Фауст (Гете) понял, что только через приятие земного он может изжить в себе «скорченного червя», что его былой титанизм означал не только силу, но и слабость, что, как Антей от соприкосновения с землей удесятерял свою мощь, так точно и человек лишь тогда способен по-настоящему расправить свои крылья, когда он слит в одном порыве с себе подобными. Но на пути окончательного превращения Фауста в человека стоит Мефистофель (магия), неизменный спутник титанического периода его жизни.

Даже осуществляя все замыслы Фауста, он оказывается лишним, поскольку Фауст уже больше не нуждается в посредниках между собой и природой. Раз «подлинный человек» это тот, кто в себе самом находит источник всеобщей свободы,— падает необходимость в помощи сверхъестественных сил. Происходит своеобразная трансформация. Сбрасывая шелуху былого титанизма, «спускаясь» со сверхчеловеческих высот, Фауст вместе с тем приобретает черты Прометея, достигая подлинного величия. В Мефистофеле исчезает нужда. Более того: то, что создает Фауст, будет жить *вопреки* Мефистофелю, будет жить как дело миллионов. Это и имеет в виду Фауст, когда говорит, что начатое им «не пропадет в эонах вечной темноты». Только идеолог молодого, безбоязненно глядевшего в лицо грядущему класса мог быть создателем сцен, подобных 5-й картине V акта «Фауста», напоенных пафосом творчества, веры в прогресс, радостью здешней человеческой жизни. Где же во всем этом антагонизм между «идеей» Фауста, одержимого «вполне христианским импульсом», и тем, что по его приказу реально создается, как началом дьявольским, на что намекает Обенауэр? Разве грандиозный канал, с помощью которого Фауст мечтает осушить болото, отравляющее воздух страны, не средство осуществления его «идеи», вне которого она мертва? И разве идея канала («последняя цель» Фауста) не означает вместе с тем идеи технического прогресса, обращенного на пользу коллектива? Здесь уместно вспомнить слова Гете: «При распространении техники не о чем беспокоиться; она мало-по-малу поднимает человечество над самим собою и подготовляет высшему разуму, чистейшей воле чрезвычайно подходящие органы». Набрасывая фигуру «очеловечивающегося» Фауста, Гете выступал идеологом входившей в жизнь немецкой промышленной буржуазии, не имевшей никаких оснований трепетать перед успехами науки и техники. Слова Фауста:

Стань твердо здесь, гляди вокруг: пред тем,
Кто полон сил, и этот мир не нем..

МЕФИСТОФЕЛЬ
Акварель М. Врубеля с дарственной надписью художника
Третьяковская Галлерея, Москва

были манифестом этого класса, вовсе не порывавшегося к «погружению в ничто», но шедшего, засучив рукава, перестраивать мир.

Но вот Фауст умирает. Пред читателем—«Эпилог на небе», завершающийся словами «мистического хора». Только что отрекшегося от порывов в потустороннее Фауста окружают образы, олицетворяющие собой это потустороннее—Мадонна, ангелы и пр. Для очень многих, писавших о «Фаусте», было загадкой, каким образом Фауст, в своих заключительных монологах вовсе не выказывающий себя набожным христианином (все его помыслы устремлены к земле, он ни на минуту не помышляет о небе), оказывается избранником Мадонны, соучастником мистического торжества. Фр.-Т. Фишер (Fr.-Th. Vischer, Goethes Faust. Neue Beiträge zur Kritik des Gedichts. 1875) находил финал трагедии «смехотворным»; по Ф. Гундольфу (Fr. Gundolf, Goethe. Изд 12-е. 1925) «Эпилог на небе» не может быть назван «некатолическим» (unkatolisch), но может быть назван «негетевским и нефаустовским» (ungoethisch und unfaustisch). Иезуит Баумгартнер (A. Baumgartner, Goethes Leben und Werke, т. III, 1885) писал: «Фауст, гордый апостол реформации, чувственно-суеверный представитель мира немецкого колдовства, Фауст, чувственный поклонник персонифицированной в Елене античной красоты, Фауст, штурмующий небо титан эпохи революции, преклоняет (?)—и это финал,—словно на средневековой картине, колена перед Марией». В наши дни Кохгейм, Барт и др., как сказано выше, видят в заключительных сценах V акта приход Фауста (Гете) к догматическому христианству.

Действительно ли однако «Эпилог на небе» означает капитуляцию Фауста (Гете) перед христианской догматикой, признание Гете идеалов христианской церкви в качестве более высоких, чем те, которыми был охвачен престарелый герой трагедии? Если это так, то падает все здание трагедии, становятся необъяснимыми 1—5 сцены V акта, важнейшие в общей композиции произведения. К счастью мы располагаем очень ценным признанием самого Гете. В беседе с Эккерманом (1831) он сказал: «Согласитесь, что конец пьесы, где говорится о вознесении спасенной души, был очень трудно осуществим и что, имея дело с такими сверхчувственными, едва доступными нашему представлению вещами, я легко мог бы заблудиться, если бы не придал своим поэтическим намерениям благодетельно ограничивающую форму и телесность посредством фигур и представлений церковной религии». Гете достаточно ясно говорит, что образы церковно-христианской мифологии привлечены им с чисто эстетическими целями.

Это не значит, что, создавая V акт трагедии, поэт не верил например в загробную жизнь, что весь «Эпилог на небе»—своего рода поэтическая мистификация. Эккерман записывает слова Гете: «Мое убеждение в нашем посмертном бытии проистекает из понятия деятельности (Tätigkeit), ибо, если я до самой кончины неутомимо действую (wirke), то природа обязана предоставить мне иную форму бытия, раз существующая уже больше не в силах удерживать мой дух».

Что говорят приведенные строки применительно к V акту «Фауста»? Фауст заслуживает бессмертия, переходя к иным формам бытия, именно потому, что он «стал твердо» на земле в качестве человека земли, развернув неутомимую деятельность. «Эпилог на небе» не только не отрицает земного пути Фауста, но он не был бы возможен, если бы Фауст не оказался гетевским Фаустом. В последнем случае его ждала бы участь спутниц Елены, слившихся со стихиями, поглощенных «эонами вечной темноты» (часть II, акт III, сцена 3-я).

Но что же означают образы церковно-католической мифологии, уснащающие заключительные сцены трагедии?

О центральном по своему значению образе этого ряда Г. Риккерт правильно замечает: «Mater gloriosa выступает не как дева «непорочного зачатия», но как покровительница любви, возникающей между мужчиной и женщиной» (см. слова, которые произносит Doktor Marianus). В числе ее спутниц находится Гретхен, некогда погибшая из-за любви к Фаусту. Заключительная сцена трагедии подводит нас к новому воссоединению Гретхен и Фауста, благословляемому Мадонной. Гретхен выступает в эпилоге не случайно. Эпилог в целом не что иное, как гимн «все образующей любви» (ср. «Эрос, который все начал», «классическая вальпургиева ночь»), любви как началу творческому, утверждающему жизнь. Ненавидящий все живое Мефистофель (и его слуги), для которого «вечная пустота», небытие—предел желаний, не выносит «ясного пламени» огненных роз, олицетворяющих все ту же любовь.

О любви как символе жизни говорят святые отшельники, например Pater Profundus, рисующий картину деятельной природы, непрестанно творящей себя, в которой силы разрушения в то же время оказываются силами созидания, равно являясь проявлениями «любви всесильной», «что все рождает, все хранит» (пер. Н. Хо-

Маска Гете

Институт Русской Литературы, Ленинград

лодковского). В 1782 или 1783 г. Гете писал: «Природа... зрелище ее всегда ново, ибо она создает все новых зрителей. Жизнь—прекраснейшее ее изобретение, и смерть —ее уловка иметь много жизни... Ее венец—любовь. Только через любовь подходишь к ней. Она полагает пропасти между всеми существами, и вот все хочет сплестись друг с другом. Она все отделила, чтобы все связать воедино...» Когда Фауст был апостолом солипсизма, он погубил Гретхен. Но после того как он восторжествовал над Мефистофелем, отдавшись творчеству на благо человечества, после того как он слился с миром, разрушив преграды между своим «я» и существующим, он оказывается желанным соучастником космического празднества «все образующей» «вечно творящей» силы. Триумф Фауста в заключительных сценах трагедии—это триумф примирившегося с землей, ставшего человеком. Как «лучшая часть» его человеческого существа (часть II, акт IV, сцена 1-я) Гретхен возвращается к нему (акт V, сцена 4-я). Любовь, а следовательно—жизнь, творчество торжествуют.

Теперь понятно, как понимать слова Гете, что он обращается к «фигурам и представлениям» церковной религии, дабы «не заблудиться» при изображении «сверхчувственного». Воспользовавшись образами церковной мифологии, Гете наполнил их не «католическим» (или протестантским), как полагал Гундольф, но именно «гетевским» или «фаустовским» содержанием.

Даже идея искупления, намеченная в эпилоге, за которую судорожно цепляются идеологи протестантизма, вовсе не опирается на почву протестантской догматики. Сохранились слова Гете: «В самом Фаусте все более высокая и чистая деятельность (Tätigkeit) до кончины, и сверху ему на помощь сходящая вечная любовь». «Ставший человеком», проявивший себя в творческом социально полезном порыве Фауст тем самым уже вошел в поток мировой творческой стихии, отчего «вечная любовь», персонифицированная в образах эпилога, сходит к нему лишь «на помощь», как к существу ей причастному, вовсе и не могущему быть «осужденным».

Так уводя нас «из мира», эпилог, в сущности, приводит нас обратно «в мир» («Aus der Welt—in die Welt». «Сказка» из «Бесед немецких эмигрантов»), поскольку венчает земной путь Фауста гимном мировой «любви», ярчайшими проявлениями которой в жизни Фауста были Гретхен и его борьба за счастье «свободного народа» на освобожденной от власти стихий земле.

Где же во всем этом капитуляция Гете перед церковно-христианской ортодоксией? Даже сделав на склоне лет ряд уступок христианству, Гете никогда не доходил до коленопреклоненного культа его, о чем так великолепно свидетельствует заключительный акт «Фауста», такой «не христианский» и такой «гетевский». Тем не менее легенда о «Фаусте» как апофеозе церковного христианства играет с годами все более заметную роль в буржуазном литературоведении Германии. Стремясь воспользоваться Гете как знаменем в развертывающейся классовой борьбе, современная буржуазия всеми средствами пытается изобразить его оплотом христианства, столпом католичества, либо протестантизма. Наша задача—и впредь разоблачать легенды о великом писателе, искажающие его подлинный облик, «приспособляющие» его к нуждам мировой реакции.

Б. Пуришев

И. СЕРГИЕВСКИЙ

ГЕТЕ В РУССКОЙ КРИТИКЕ

Материал, собранный в печатаемой ниже статье, свидетельствует о том, что о русской гетеане говорить во всяком случае преждевременно.

Любопытное обследование материалов об отношении русской критики к Гете доказало лишь, что систематическое рассмотрение высказываний русской критики о Гете не может дать ничего нового или ценного ни для понимания самого Гете, ни для истории русской общественной мысли. Когда т. Сергиевский пишет: «Русское гетеанство как цельное умственное движение иссякает к пятидесятым годам, а десятилетием позже затухают последние дискуссии о Гете»,—он прав конечно фактически, но пользуется выражениями слишком уж пышными. Ни «гетеанства как цельного умственного движения», ни «дискуссий о Гете» как мало-мальски значительного общественного явления констатировать в истории русской культуры XVIII—XX вв. нельзя.

Отзывы русских художников, слова критиков и публицистов о Гете случайны, фрагментарны и несамостоятельны, будучи—с одним-двумя исключениями, о которых ниже, лишь вариантами оценок, в тот или иной момент высказывавшихся в европейской литературе.

Что касается истории русской общественной мысли, то для изучения ее тема «Гете» тоже оказывается очень мало характерной, неспособной подарить нас какими-либо новыми ценными чертами или хотя бы черточками для ее познания и характеристики.

Перелистывая соответствующий материал, можно легко убедиться, что например русский «байронизм» для начала XIX века или «дискуссии» о французских символистах и о Ницше для конца его хранят в себе гораздо больше материалов для познания идейной революции, борьбы литературных партий и общественных сдвигов в русском обществе этого столетия, чем русская гетеана.

С этой же точки зрения русский Гамлет, восходящий к трагедии XVI века о датском принце, гораздо содержательнее русского «Фауста», восходящего к гетевской интерпретации образа «ученого доктора».

Между тем гениальный художник и великий мыслитель Гете, казалось бы, имел все основания войти гораздо ближе в круговорот русской общественной мысли XIX века. Этого однако не произошло, и объяснение этого явления остается, к сожалению, до сих пор единственной проблемой русской гетеаны.

Среди крупных русских художников и мыслителей второй половины XIX века лишь для Толстого Гете и его мировоззрение были живой, жизненной проблемой. В течение всей своей жизни Толстой читал и перечитывал Гете, явно проверяя на нем свое собственное мировоззрение, и в конце жизни в краткой формуле вскрыл основу своего отрицательного отношения к Гете. Эта формула гласила: «Гете чужд и враждебен мне, ибо он—язычник».

Это была, таким образом, борьба жизнеотрицающей идеологии помещичье-крестьянской России с жизнеутверждающим мировоззрением идеолога буржуазного восхождения.

На противоположном полюсе русской общественной мысли демократ и революционер Чернышевский, наоборот, нашел в язычестве Гете родственную себе и ценную для нового мировоззрения черту. Когда Чернышевский из далекой Сибири хотел передать своим сыновьям в возможно более кратких словах общие основы своего миросозерцания, он сослался на Фейербаха как своего учителя философии и на «Коринфскую невесту» Гете как на формулировку своего собственного отношения к миру.

«Хотите,—писал Чернышевский,—не только знать, что думаю я, но и то, что чувствую я?—то прочтите не «Фауста» Гете, нет, это писано с точки зрения чрез-

мерно устарелой,—но «Коринфскую невесту» Гете... Стыжусь, что не знаю всей этой дивной маленькой поэмы наизусть. Читайте ее...»

«Коринфская невеста»—одно из самых ярких воплощений гетевского протеста против жизнеубивающей морали христианства.

Но проблема христианского и языческого мировоззрения, христианской и языческой морали отнюдь не занимала центрального положения в той борьбе на идейном фронте, которой наполнена история XIX века в России. Это была лишь побочная тема, по существу решенная для прогрессивных элементов русской общественности уже в 40-х годах. Основной водораздел шел по другой линии.

Центральным вопросом русской общественной мысли, начиная с эпохи декабристов, был вопрос о том, удастся ли господствующим классам наладить в России компромисс между крепостничеством и интересами капиталистического развития страны. Этот компромисс все время налаживали сверху и он все время разлаживался снизу.

Общественную значимость, жизненную ценность могли приобрести в ходе борьбы сторонников и врагов этого компромисса лишь те идейные и художественные системы, которые могли послужить оружием в руках борющихся групп. Борьба эта в течение всего XIX века носила столь напряженный и острый характер, что для «нейтралитета» почти не оставалось места. Тот или иной европейский мыслитель или художник воспринимался в этой атмосфере лишь как враг или союзник.

Кем же был Гете и чем была его художественно-философская система с этой точки зрения? Это было живое, окруженное сияющим нимбом воплощение компромисса буржуазии с феодализмом.

Личная практика Вольфганга фон Гете, сына франкфуртского патриция, ставшего министром веймарского герцога, как нельзя более соответствовала этому восприятию. Его прославление гармонии, порядка, меры, закона в мире, в котором начатки капиталистических противоречий и эксплоатации переплетались в безобразном клубке с остатками противоречий и насилий феодализма, его резкое отталкивание от всяких проявлений крайности, его отвращение от Великой французской революции не могли не восприниматься в напряженной идейной атмосфере русской критики и публицистики как нечто глубоко чуждое и враждебное.

«Он великий человек,—писал о Гете Белинский,—я благоговею перед его гением, но тем не менее я терпеть его не могу... К Гете я начинаю чувствовать род ненависти». Примирившийся с феодалами бывший бунтарь-буржуа был наиболее ненавистной фигурой для всей передовой русской журналистики на всем протяжении XIX века, а Гете давал все основания зачислить его в этот разряд.

Что же касается апологетов компромисса крепостников и буржуа, то для них и для их дела поэзия Гете была попросту не нужна. Более или менее развитая философия подобного компромисса вообще начала складываться только в самом конце XIX века и лишь после революции 1905 г. получила более или менее «европейское» оформление. Нет сомнения, что в рамках этой философии нашла бы себе место и буржуазная концепция гетевского творчества, и Россия получила бы буржуазную гетеану, если бы... если бы буржуазии вообще в России было суждено закончить свое буржуазное дело.

Итак для разночинной интеллигенции России XIX века, в той или другой степени отражавшей революционный протест крестьянских масс против налаживавшегося сверху компромисса крепостников и буржуа, мировоззрение зрелого Гете, его общественная и художественная практика не только не могли служить орудием утверждения и укрепления своих позиций, но наоборот—были воплощением той именно системы, против торжества которой направлена была вся их умственная энергия. Сторонники же компромисса были слишком мало культурны, чтобы искать именно у Гете идеологической оболочки своих практических дел.

Гегемония в этом лагере принадлежала, как и в политике, не буржуа, а феодалам, и поэзия Гете, в которой было слишком много элементов от восходящей буржуазии, была для их задач малопригодна. Византийская мистика распятого Христа и славянофильские схемы самобытности и богоизбранности закабаленного русского мужика были для этого лагеря гораздо более подходящим идеологическим облачением, чем проникнутая рационализмом и диалектикой поэзия Гете.

Возвыситься над противоречиями Гете, понять его критически, переработать его наследство, воспринять живые черты последнего мог только новый класс, вооруженный иным пониманием мира, чем русская разночинная интеллигенция XIX века.

Русские марксисты чувствовали, что их не может удовлетворить ни буржуазная апология Гете, ни нигилистическое «отрицание его». Но раньше, чем добраться до Гете, марксистская мысль должна была разрешить много других задач, и для нее—

вплоть до завоевания власти пролетариатом—Гете не мог быть ни предметом пристального изучения, ни боевым союзником. Однако предчувствие новой постановки вопроса о Гете сказывается в немногочисленных высказываниях русских марксистов, связанных с Гете.

Рекомендуя вниманию читателей старую книгу Шахова «Гете и его время», Плеханов писал: «Шахов ограничен своим временем и смотрит на Гете глазами русского шестидесятника... Книгу Шахова можно с благодарностью принять, но только с тем ограничением, что индивидуальность Гете должна быть заново изучена и обязательно в разрез с устаревшим мнением»...

Это изучение выпадает на долю уже нового поколения работников пролетарской культуры.

Л. Каменев

I

Когда Гете впервые стал известен в России, он не был еще ни олимпийцем, ни тайным советником герцогства Веймарского, а был вчерашним франкфуртским адвокатом, только что получившим милостивое приглашение меценатствующего Карла-Августа, даже не возведенным еще в дворянское достоинство, и прежде всего был автором «Вертера», в котором он дал портрет слабого и безвольного немецкого бюргера кануна Великой французской революции.

Портрет этот был настолько социально типичен, что встретил самый живой и горячий отклик не только в Германии, но и за рубежом, у тех слоев городской буржуазии и буржуазной интеллигенции, которые, разуверившись в героических лозунгах эпохи просвещения, капитулировали перед действительностью, замыкаясь в кругу своих личных переживаний, уходя в мир эмоций, в иррационализм, в пассивное скорбничество.

Не мог образ Вертера остаться незамеченным и в России [1]. Как раз в эту эпоху начинает резко меняться культурно-бытовая и идейно-психологическая физиономия русского общества, и в его составе возникают отдельные социальные группировки, по своей общей настроенности близкие хозяйственно неокрепшему и политически отсталому немецкому бюргерству. Правда, условия образования этих группировок и даже причины их возникновения были здесь другие, нежели в Германии. Основным источником классовых сдвигов, переживаемых русским обществом в конце XVIII в., был как раз отчетливо тогда уже намечающийся кризис старого феодально-барщинного хозяйства и интенсивный рост удельного веса капиталистических форм в экономике страны. Эти изменения в области хозяйственной обстановки ведут к тому, что современное дворянство распадается на две группы, во многом отличные по своим классовым признакам. Основное ядро первой группы образует крупнопоместное дворянство, располагающее достаточно солидной материальной базой, чтобы без особых усилий и трудностей приспособиться к условиям товарно-капиталистического хозяйства. В составе второй группы объединяется дворянство среднее и мелкое, такой базы не имеющее и поэтому чувствующее себя в безвыходном положении, в тупике. Отдельные его представители, правда, ищут выхода и находят его в политических преобразованиях, прежде всего направленных к облегчению возможности пользования вольнонаемным трудом, т. е. к отмене крепостного права. Но прежде чем эти радикальные тенденции становятся достоянием сколько-нибудь широких кругов дворянской массы, проходит еще достаточное количество времени, а пока чувство безысходности доминирует в общей гамме ее эмоциональных переживаний. В недрах этой-то вот группы те настроения, сконцентриро-

ванным сгустком которых явился «Вертер», и получают наибольшее распространение.

Политическая окраска раннего русского вертерианства характеризуется таким образом определенной двойственностью. С одной стороны, его носителем является как раз тот общественный слой, который на всем протяжении первых десятилетий XIX в. выступает как слой наиболее передовой по своей политической платформе. Но вместе с тем оно отражает только одну сторону психоидеологии этого общественного слоя: ощущение распада старого жизнеустройства, старого культурно-бытового уклада и ощущение трудности перестройки, трудности приспособления к новой хозяйственной обстановке.

Эта двойственность политической окраски раннего русского вертерианства и является причиной того, что одновременно с ростом и распространением вертерианских настроений растет и оппозиция против них, растут нападки на «Вертера». Исходят они прежде всего от идеологов правого крыла дворянства, считающего, что надвигающийся кризис может и должен быть преодолен в рамках старой феодально-барщинной системы. Такой характер носит например выступление молодого Карамзина, принимающего общий социально-психологический тип Вертера, общий комплекс вертеровских переживаний, но осуждающий его смерть как нелогичную, не вытекающую из обрисованной в романе романической ситуации.

Но нападками такого рода антивертерианское движение в России не ограничивалось. Ведь уже и в Германии «Вертер» осуждался не только с позиций филистерского ханжества. Против него выступал и такой последовательный и законченный идеолог буржуазного восхождения, как Лессинг. Так и в России гораздо более резкий отпор, чем со стороны пассеиста и консерватора Карамзина, встречает Вертер-скорбник, Вертер-самоубийца со стороны левого, радикального крыла низового дворянства, усматривающего единственный выход из создавшегося положения в политических реформах, в борьбе, в действии.

В этом отношении очень симптоматично то почти единодушное молчание о Гете, которое хранят декабристы. В огромном мемуарно-эпистолярном наследии декабризма можно конечно найти несколько десятков случайных упоминаний о нем, несколько попутно приведенных цитат, но не больше. Правда, для декабристской массы вообще характерен довольно последовательный эстетический утилитаризм, с вытекающим отсюда пренебрежительно-поверхностным отношением к «изящной словесности». В ответах на поставленный следственной комиссией вопрос о том, какие из прочитанных преступниками книг питали их злоумышленные намерения, указания на художественные произведения отсутствуют совершенно, за исключением нескольких ссылок на «вольные» стихотворения, бытовавшие под именем Пушкина. Но редко обращались к Гете и литературные идеологи декабризма. Даже переведший несколько стихотворений из Гете Александр Бестужев ни разу не вспомнил о нем в своих шумевших обозрениях. А когда он коснулся Гете в одной из своих позднейших статей, то за шаблонными фразами о пресловутой гетевской всеобъемлемости очень тонко подчеркнул ту же черту поэтического наследия Гете, которая заставляла декабристов молча проходить мимо него,—его надземность, наджизненность, отсутствие в нем стимулов к практическому действию. Приводим полностью это интересное высказывание: «Тогда же блеснул и Гете, который собрал в себе ярким светом все лучи просвещения Германии,

который воплотил, олицетворил в себе Германию, мечтательную, полуземную Германию, вечно колеблющуюся между картофелем и звездами, Германию, которой половина в пыли феодализма, а другая в облаках отвлеченностей, Германию простодушную до смеха и ученую до слез, Германию всеобъемлющую, вселюбящую, всезнающую все, начиная от фиглярства Изидина храма до замыслов Розенкрейцеров, от символизма Зенд-Авесты до магнетизма земли. Все, что создали гении германские для памяти, для умозрения, для воображения, совместилось в Гете. Все яркое в мире отразилось в его творениях, все... кроме чувства патриотизма,— и этим он всего более осуществил в себе Германию, которая вынула из человека душу и рассматривала ее отдельно от народной жизни, анатомировала законы природы без отношения их к человеку» [2].

Остается конечно еще такой факт, как гетеанские увлечения другого, не менее серьезного и квалифицированного литературного идеолога движения,—гетеанство Кюхельбекера [3]. Но, во-первых, увлечение это временное, так сказать, юношеское. Из заключения Кюхельбекер ведет непрекращающуюся полемику с Гете, полемику, достигающую иногда очень большой резкости и остроты. А затем—и гетеанство молодого Кюхельбекера настолько специфично, что оно по сути дела не нарушает того общего оппозиционного отношения к Гете, которое характерно для декабристов. Здесь необходимо только учитывать два обстоятельства.

Прежде всего гетеанство Кюхельбекера совершенно определенно связано с его общей активной борьбой против салонно-кружковой эстетики начала века, эстетики дружеских светско-артистических объединений придворно-аристократической верхушки столичного дворянства. Эта салонно-кружковая эстетика с самого начала неизменно идет мимо Гете, в лучшем случае просто не замечая его, в худшем—активно заявляя о своем пренебрежении к нему. Один из наиболее ярких ее представителей—Вяземский, в старости, в 1855 г., посетивший Веймар и побывавший на могиле Гете, в пору своей молодости кажется ни разу не обмолвился о нем. Александр Тургенев тяготел к Гете так же, как тяготел ко всему европейскому вообще, и дружил с ним так же, как дружил с Вальтер Скоттом, с Мериме, с Мюссе и др.

Жуковский? Но неорганичность гетеанства Жуковского с большой правильностью и зоркостью отметил еще Полевой: «Не должно полагать, чтобы Жуковский глубоко проникал тогда в сущность германской и английской поэзии,—писал Полевой.—Он сам признается, что Гамлета считает чудовищным, уродливым произведением. Так же не мог он постигнуть глубины Гете». А вот Сергей Львович Пушкин, во всем литературном поведении которого эстетический быт русского ампира сгущается почти до гротескных форм, писал прямо: «Тартюф» и «Мизантроп» превосходнее всех нынешних трилогий. Не опасаясь гнева романтиков и несмотря на строгую критику Шлегеля, скажу искренне, что я предпочитаю Мольера, Гете и Расина Шиллеру» [4]. Но Мольер и Расин были ведь только авторитетами, пышными украшениями. А что противостояло Гете в реальном литературном обиходе кружков и салонов столичного барства? Легкие стихотворные сказки и альбомные мадригалы, эпиграммы и анекдоты, стихотворные шарады и буримэ. При таком положении вещей обращение к Гете Кюхельбекера—борца за монументальные, социально-емкие поэтические формы—приобретает совершенно определенный смысл.

Правда, сказанным не рассеиваются еще все недоумения, связанные с гетеанством Кюхельбекера. Остается еще один, на первый взгляд, темный и труднообъяснимый момент, сложность которого заключается в том, что все симпатии Кюхельбекера привлекает не Гете-бюргер, не Гете франкфуртского периода, а Гете-классик, Гете восьмисотых годов. На первый план им выдвигается таким образом та часть гетевского наследия, которая позднее служила знаменем наиболее реакционных течений русской (как впрочем и европейской) общественной мысли. Однако определенная закономерность есть и здесь. Акцентируя те же самые моменты творчества Гете, вокруг которых сосредоточивали свое внимание, скажем, русские гегелианцы десять лет спустя, Кюхельбекер осмысливал их совершенно иначе. Для него всеобъемлемость позднего Гете отнюдь не была равнозначна всеприемлемости и всепримиренности, как в тридцатых годах рисовалось это Бакунину или молодому Белинскому. Она была для него лишь знаком жизненной полноты и зрелости. Если вспомнить теперь, что в русском литературном сознании восьмисотых годов ранний Гете был канонизован не как идеолог прогрессивного бюргерства, а в первую очередь как поэт ущербных, скорбнических настроений, то сознательное тяготение Кюхельбекера к Гете—автору «Фауста» становится понятным. Тем самым он пытался нейтрализовать вертерианский уклон в гетеанстве, нейтрализовать увлечение Гете как проповедника всяческой пассивности и безволия.

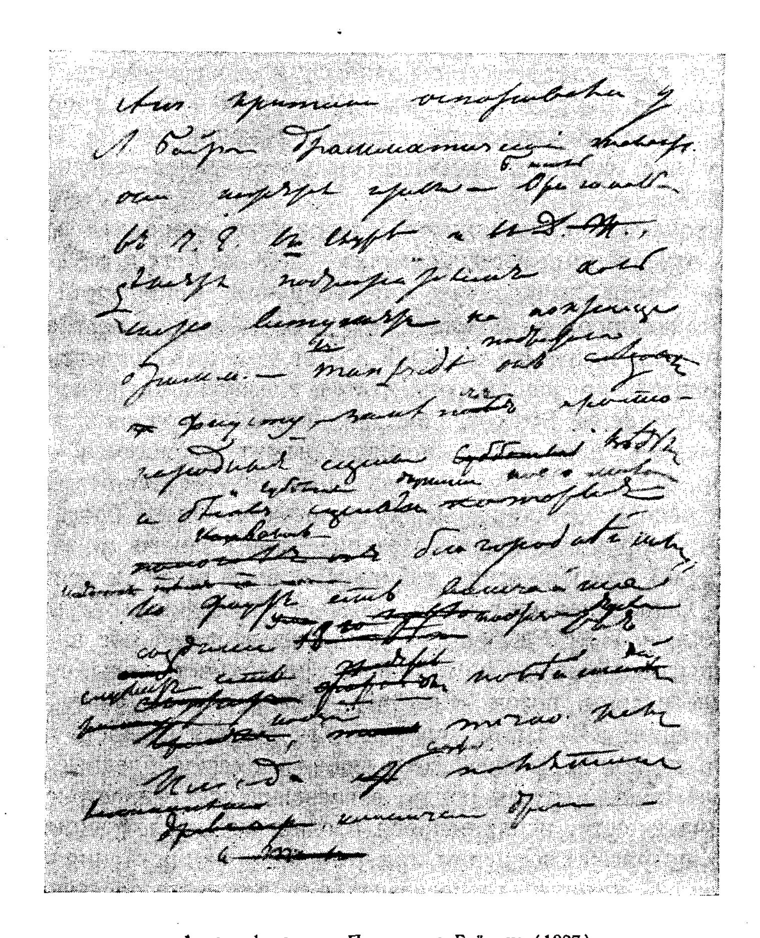
Поворотным в историческом становлении русского гетеанства был 1825 год. Общеизвестно, какое значение имела катастрофа 14 декабря в истории всего общественного сознания той эпохи. Кризис феодально-барщинного хозяйства начала века, породивший декабризм, идет на убыль, крепостной труд снова сказывается хозяйственно эффективнее вольнонаемного. Авангард левого, радикального крыла дворянской интеллигенции теряет поддержку широкой массы низового дворянства и изолированный от нее ликвидируется николаевским правительством при ее равнодушном молчании, а порою даже при ее активном сочувствии. Те немногочисленные интеллигентские ячейки, которые еще хранят черты какой-то оппозиционности, отходят от политической практики в область метафизического философствования, а когда пытаются снова вернуться к земной действительности, то уже не для того, чтобы изменить ее, а чтобы принять и оправдать ее с точки зрения своих заоблачных теорий. Таково основное содержание идейной эволюции дворянской интеллигенции тридцатых-сороковых годов по пути от Шеллинга к Гегелю, эволюции, на протяжении которой имя Гете становится для нее одним из самых близких и популярных.

Уже в эстетике любомудров имя Гете затмевает все остальные. Переводами из Гете и толкованием отдельных сторон его поэтического и философского наследия занимаются Веневитинов, Погодин, Рожалин, Тютчев, Шевырев, при чем на первом плане у всех у них стоит уже не Гете периода «бурных стремлений», а зрелый Гете, Гете—автор «Фауста», открывающий самое широкое поле для всяческой спекуляции и метафизирования.

Культ Гете, установившийся у любомудров, растет и ширится в философских кружках сороковых годов. «Знание Гете, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что она труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье», писал позднее Герцен [5], характеризуя нормы литературного поведения русских гегелианцев той поры. Прекрасная иллюстрация к этому герценовскому положению—

эпистолярное наследие Станкевича, являвшегося одной из центральных фигур интеллектуального движения эпохи.

Он вспоминает Гете ежеминутно, по всякому поводу и часто даже вообще без повода. Он вспоминает мелочи своего детства, и тотчас ему приходит в голову Гете: «...бывало, ставишь мельнички на канавах, пропускаешь воду, смотришь, как идет река, как начинает прилетать дичь—вся будущность, счастливая будущность прогулок по лесу, по лугу, видится в перспективе—и эти ожидания придают какую-то таинственную прелесть на-



Автограф заметки Пушкина о Байроне (1827)

В заметке следующие строки: „...Фауст есть величайшее создание поэтического духа, он служит представителем новейшей поэзии, точно как Илиада служит памятником классической древности"

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

стоящему. Гете жаловался, что на него в Италии незначительные, но знакомые предметы действовали больше, нежели прекрасное, которое он видел в первый раз. Но такому человеку стоило сознать в себе какую-нибудь вредную особенность, чтобы она у него исчезла, не то с нами. Сколько явлений в природе, сколько прекрасной музыки нравится нам по воспоминананию» [6].

В Риме он наслаждается памятниками классического искусства и—опять Гете: «Гете, посмотрев на творение Микель-Анджело, чувствовал, что не мог таким сильным взглядом смотреть на природу, и от этого в ту

минуту она ему не доставляла наслаждения. Правда, есть что-то уничижительное в этой гигантской силе; но смею ли это сказать?»[7]

О Гете вспоминает он, осматривая Пантеон: «Создание, уменье нужны для духовных наслаждений. Только не надо учиться этому целую жизнь: сознал раз—и марш в божий мир. Как чувствовал Гете, что мы много, слишком много готовимся к жизни и не успеваем жить? Он чувствовал это, а мы прочие?!!»[8]

Иногда эта манера постоянно оглядываться на Гете доходит до смешного. Он готовится к отъезду из Дрездена в Лейпциг и вспоминает, что дни, наполненные такими приготовлениями, Гете вычеркивал из жизни[9]. Он мечтает о том, как будет вместе с Грановским издавать журнал, и не может обойтись без параллели: «...мы—Шиллер и Гете, Строганов—наш покровитель вроде Веймарского герцога, Ключников, за недостатком остроумия у нас, сочиняет нам Xenien, и так далее—словом, сходство совершенное»[10].

Кстати о только что упомянутом Ключникове—тоже человек, вполне повидимому отравленный гетеанским ядом. «Кроме Гете и себя не говорит он ни о чем», писал Станкевичу о его посещениях Грановский[11].

Говорит Станкевич о Гете не иначе, как захлебываясь от восторга. «Вчера я читал Гете с Марьей Афанасьевной... Мне хотелось показать ей Гете с разных сторон. Я прочел ей, разумеется с выпусками, во-первых, «Der Gott und die Bajadere». Это создание удивило ее! Она не ожидала этого от Гете. Идея всезиждущей любви, которою дышит эта легенда,—ей родная с давних пор. Я тоже как будто вновь понял ее! «Kenner des Grossen und Tiefen», как человек действует между человеком. Он не бросает перунов с неба, чтобы разрушить падшее создание, чтобы зажечь жизнь прекрасную, но орудием преображения избирает земных могучих деятелей—любовь и горе. Очищенная ими жизнь отлетает к источнику жизни. За этим я прочел балладу «Der Fischer», где выразилось печальное влечение, которое мы испытываем, глядя на спокойную поверхность воды, отражающей небо в своих недрах, потом «Erlkönig», «Sänger» и наконец гигантское порождение гения: «Die Braut von Korinth». Нельзя не пасть перед Гете, прочитав это создание! Грозный союз любви и смерти, бледные уста, пьющие кровавое вино, мертвая грудь, согревающаяся сладострастным пламенем, и сила юности, испарившаяся в один миг наслаждения,—овладевают душою, потрясают все нервы, так что по окончании чтения чувствуешь странный покой, который господствует в природе после ночной грозы, когда туча перешла на другую половину неба, звезды едва начинают блистать, освобождаясь из-под ее покрова»[12].

В 1838 г. Станкевич вместе с Неверовым посетил Веймар, и оба оставили описания этого посещения, описания, благоговейные до приторности. Вот куски из письма Станкевича сестрам: «Вот вам домик с зелеными решетчатыми ставнями, покрытый черепицею, домик, в котором жил Шиллер. На другом листке вы видели, верно, дом Гете. Эти люди собрались в Веймаре около великого герцога, который любил их от всей души... Они вели блаженную жизнь... Но главное, что здесь нас утешило,—это внутренность гетева жилища. Какая богатая интересная жизнь! Тут мы нашли множество слепков со статуй, множество рисунков, медалей, минералогическое собрание—он все знал, всем занимался ...»[13] В тех же тонах письмо сестрам, писанное месяцем позднее: «...На другой день мы смотрели его жилище, собрание статуй, минералов и, что всего дороже, его cabinet d'études,

где лежали манускрипты его сочинений. Как жадно смотреть на них, как хочется уловить душевное его волнение в каждой, едва заметной черте, наконец мы видим спальню его, постель, кресло и последнее лекарство; еще перед этим мы посетили гроб его. Он стоит рядом с Шиллером в фамильной могиле великих герцогов» [14].

Описание, сделанное Неверовым, пространнее, обильнее деталями, но не менее благоговейно и почтительно [15].

Более трезво относится к Гете другой идеолог молодой России—Грановский. Он по крайней мере находил еще в себе достаточно трезвости, чтобы проявлять порою какой-то хотя бы элементарный критицизм в оценке гетевского наследия. Так в 1841 г. он пишет невесте: «Я оставил тебе два тома Гете, в котором ты найдешь «Геца фон Берлихингена» и «Эгмонта». Я хотел бы читать их вместе с тобой, но если тебе нечего читать, читай их одна. Что касается других вещей, помещенных в этом томе, это—случайные вещи, без какой бы то ни было поэтической ценности, и я тебя попрошу оставить их в стороне» [16]. Но удельный вес Гете в его интеллектуальном багаже нисколько не меньше, чем у Станкевича. В его дружеской переписке имя Гете фигурирует не менее часто. Еще в 1838 г., под влиянием чтения переписки Гете с Шиллером, он собирался писать «литературную историю Веймара от приезда туда Гете до его смерти» и отложил эту работу только потому, что нашел, что пока «дорос только до биографии, внешне-исторической части подобного труда» [17]. В 1840 г. он читает «Западно-восточный Диван», находя здесь «чудесные вещи, которые прежде не понимал и не мог понять» [18].

В этом же году посылает сестрам перевод «Вертера», расценивая его как «одно из лучших произведений Гете» [19]. В 1841 г. посылает Кромиде французский перевод гетева театра, особо советуя при этом обратить внимание на «Геца», «Эгмонта», «Смерть Тассо», «Ифигению», «Клавиго» [20]. Целых пятнадцать лет спустя, за несколько месяцев до смерти, он снова возвращается к Гете, вспомнив во время одного из ночных философских разговоров его взгляд на бессмертие, высказанный в беседах с Эккерманом. «Для меня,—продолжал Грановский,—относительно подобных вопросов важны мнения замечательных людей. Для меня—это отдельные огоньки, из которых в будущем загорятся новые веяния для человечества» [21].

Культ Гете процветает также в семействе Бакуниных. Сестры Бакунина вместе с ним переводят переписку Гете с Беттиной фон Арним, и на память об этом Бакунин дарит им «Дневник Беттины» с характерной надписью: «На память 1837-го года Любаше, Вариньке, Танюше и Саше в память того бурного и вместе прекрасного года, в котором мы вместе ее переводили. М. Бакунин. 1838—18-го сентября. с. Премухино». Внизу—текст из евангелия: «И познаете истинну и истинна освободит вас». «Кто не родится снова, тот не может увидеть царствия Божия». «Станем любить друг друга, ибо Любовь от Бога, и всякий, кто любит, рожден от Бога и знает Бога, ибо Бог есть любовь». На обороте под рисунком, изображающим Гете в гробу, эпиграф из «Фауста» II: «Nur der verdient die Liebe wie die Freiheit, Der täglich sie erobern muss», с характерным изменением подлинного текста: «Только тот заслуживает л ю б о в ь и с в о б о д у (у Гете: «с в о б о д у и ж и з н ь»—«die Freiheit und das Leben»), кто ежедневно должен их завоевывать» (сообщено В. М. Жирмунским).

Станкевич этого увлечения «Перепиской Беттины» между прочим не разделял. Он находил у Беттины «много фантазии», считал, что у нее

«есть изумительно верные мысли, но все так фигурно, нервно и через это однообразно и неестественно. Она была точно одушевлена, когда писала, но я знаю этот род одушевления: источник его не глубок. Фантазия много говорит истинного, но фантазия фантазирует часто собою, играет сама с собою, любуется в зеркале, отсюда кокетство в одушевлении» [22]. Невесту он предостерегает от этого увлечения: «Что за рассуждения внушила вам Беттина? Неужели вы думаете, что истина и простота обыкновеннее этой, так называемой гениальности? А эта истина и простота—есть она в Беттине?.. Довольно ли, чтоб уверить вас, что душа, полная любви, носящая тихо в себе сочувствие ко всему прекрасному, умеющая находить и ценить его вокруг себя в семействе, в людях, выше этой гениальности и заключает в себе прелесть, которой та всегда останется чуждою? И кто же способнее Гете был бы оценить это простое величие, которого он искал, которого он был выражением в жизни и в творениях?» [23] В Берлине Станкевич познакомился с Беттиной и рассказал ей о Бакунине как переводчике ее «Писем»; в случае приезда Бакунина в Берлин он обещает ему покровительство Беттины и ее мужа [24].

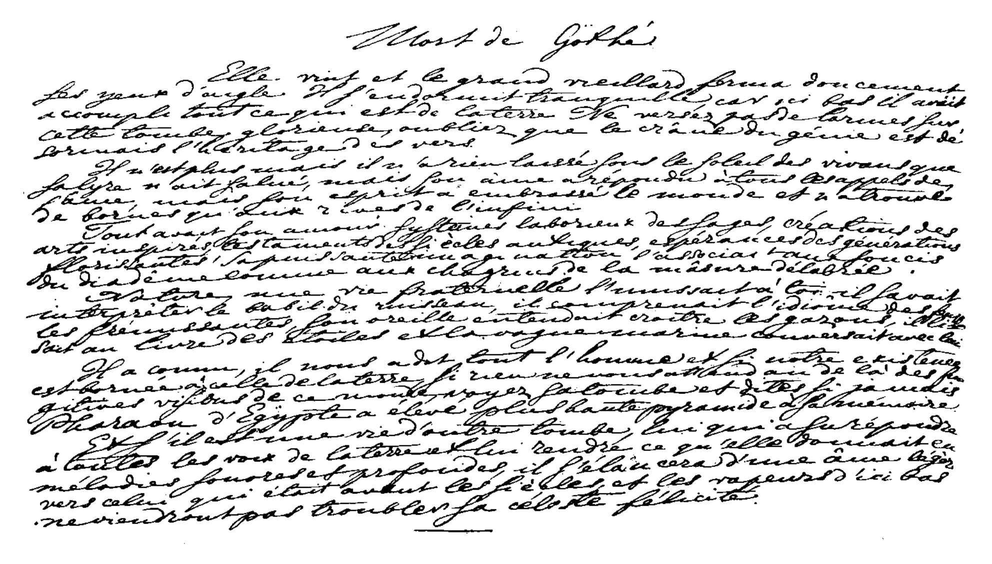
В 1837 г. появился русский перевод книги Менцеля. Русской литературной общественностью тридцатых годов он был встречен вообще отрицательно. Еще шесть лет назад, реферируя основные положения Менцеля в «Сыне Отечества», переводчик снабдил свое изложение целым рядом характерных оговорок. Признавая правомерность исходных оснований менцелевской критики, переводчик находит, что его порицания Гете «могли бы быть легче и снисходительнее», что автор «не беспристрастно хвалит Шиллера, умалчивая о его несовершенствах, и с некоторой несправедливостью восхваляет слабую сторону Гете, не показывая многих его достоинств» [25]. Гораздо категоричнее были отзывы рецензентов этого нового издания: Полевого, безусловно осудившего книгу как «самое дерзкое и хвастливое порицание того, что только делали до сих пор немцы, духа, в котором они действовали и характера литературы, ими образованной» [26], Губера [27] и других.

Но ничьи возражения и упреки Менцелю не носят такого страстного и резкого характера, как отзывы идеологов русского гегелианства. Уже упоминавшийся выше Неверов писал например: «...популярность Менцеля похожа на знаменитость моськи; дерзость—вот ее главный источник... ...Рассматривая внимательно Менцеля с той стороны, с которой он наиболее приобрел себе известность, именно в его выпадах против Гете, решительно не понимаешь, что это такое—действительная или поддельная слепота, злость или просто мелочное удовольствие блеснуть новизною. Гете, этого колосса, лишать титула гения, утвержденного за ним всем образованным миром, низводя его не только на степень таланта, но даже ниже, видеть в нем просто ловкого литератора,—нет, так смел не может быть писатель, умевший написать четыре тома остроумных, иногда метких критических заметок, заставивший всю литературную Германию трепетать под критическим ножом своим. Это просто злость и вместе желание произвести эффект, чего ему никогда не удалось бы сделать трудом совестливым, потому что у него нет ни убеждений, ни учености» [28].

Другим откликом московских гегелианцев на книгу Менцеля была статья Белинского, которой нам придется еще касаться. Здесь отметим только, что нападки Менцеля на Гете квалифицируются Белинским как «дерзкие и наглые» [29], а сам Менцель уподобляется пауку из басни Крылова: паук

прицепился к клюву орла,—и мощный орел вознес его на вершину опоясанного облаками Кавказа... Но с ним кончилось, как с пауком: пахнул ветер, и бедный паук опять очутился на низменной долине, а орел, взмахнув крыльями, с горных громад гордо и отважно ринулся в знакомые ему безбрежные пространства эфира» [30].

Построения гегелианцев тридцатых годов представляют собой одну из вершинных точек в развитии русского гетеанства, однако не только потому, что тяготение к Гете достигает у них наибольшей силы и интенсивности, но в первую очередь потому, что они первые пытаются как-то теоретически осмыслить это тяготение. Кое-что в этом плане имеется уже у Станкевича.


Mort de Göthe

Французский перевод стихотворения Е. Боратынского „Смерть Гете", сделанный им самим
Автограф Н. А. Боратынской (жены поэта)
Музей Тютчева, Мураново

«Гете заснул спокойно, когда корабль готов был разбиться об утес, думая о притче, усмирившей бурю» [31], писал он Л. А. Бакуниной в 1837 г. Но здесь еще многое от его личных качеств, в частности—от его религиозной аффективности.

Гораздо яснее и определеннее писал на эту тему Бакунин в своем предисловии к переводу «Гимназических речей» Гегеля: «Счастье не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой действительности; восставать против действительности и убивать в себе всякий живой источник жизни—одно и то же; примирение с действительностью во всех отношениях и во всех сферах жизни есть великая задача нашего времени. И Гегель, и Гете—главы этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь. Будем надеяться, что наше новое поколение также выйдет из призрачности, что оно оставит пустую и бессмысленную болтовню, что оно сознает, что истинное знание и анархия умов и произвольность в мнениях совершенно противоположны, что в знании царствует строгая дисциплина и без этой дисциплины нет знания. Будем надеяться, что новое поколение сроднится наконец с нашею прекрасною русскою действительностью и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно ощутит наконец в себе законную потребность быть действительными русскими людьми» [32].

Реакционная концепция Гете-олимпийца, фундамент которой был заложен еще любомудрами, дана здесь в максимально обнаженной форме и доведена до своего логического предела. Следующий этап в истории русского гетеанства знаменует собою уже начало борьбы против этой концепции, борьбы за подлинного, исторически понятого Гете, очищенного от реакционной гегелианской шелухи. В качестве зачинателя этой борьбы выступает Белинский.

II

«Боже мой, какие прыжки, какие зигзаги в развитии! Страшно подумать!» писал Белинский Боткину на исходе 1840 г. Слова эти Белинский относил, собственно говоря, ко всей идейной эволюции, пережитой им за первые десять лет своей литературной работы. Но сказаны они были по конкретному поводу. Ими закончил он следующее признание: «О Шиллере не могу и думать, не задыхаясь, а к Гете начинаю чувствовать род ненависти, и, ей-богу, у меня рука не подымется против Менцеля, хотя сей муж и попрежнему остается в глазах моих идиотом» [33].

Действительно ни для кого быть может из русских критиков поэтическое и философское наследие Гете не служило объектом таких длительных и сосредоточенных размышлений, как для Белинского, и никто в результате этих размышлений не приходил к таким противоречивым, исключающим друг друга выводам. Вообще эволюция философских и литературных воззрений Белинского была катастрофична по своей скачкообразности и зигзагообразности. Но даже учитывая эту ее особенность, трудно себе представить всю пестроту и сложность его суждений о Гете.

Но какая-то закономерность есть однако и в этой пестроте. Чтобы понять сложность той обстановки, в которой приходилось Белинскому осмысливать гетевское наследие, необходимо прежде всего учесть то обстоятельство, что Гете, как мы уже указывали, был одним из фетишей русского гегелианства сороковых годов. Сам Белинский, в полной мере отдавший дань гегелианским увлечениям бакунинского круга, на известном этапе своего жизненного пути полностью подчинивший свое миросозерцание идеологическим нормам гегелианства, не избежал и этой фетишизации Гете как творца поэтической системы, эквивалентной философской системе Гегеля.

Правда, еще в «Литературных мечтаниях» он посягнул однажды на непогрешимость Гете, усумнившись в творческой искренности его «Ифигении». Но, во-первых, высказывая это сомнение, он исходил не столько из самой «Ифигении», сколько из априорного положения о том, что «чем выше гений, тем более он сын своего века и гражданин своего мира, и подобные попытки с его стороны выразить совершенно ему чуждую народность везде предполагают подделку более или менее неудачную» [34]. О самой «Ифигении» он знал повидимому тогда только еще понаслышке, как понаслышке судил и о творчестве Гете вообще. «Я свято верю в гениальность Гете, хотя по незнанию немецкого языка чрезвычайно мало знаком с ним» [35], признавался он в тех же «Литературных мечтаниях». Во-вторых, оппозиция, как видим, была довольно робкой. А в-третьих, и эта робкая оппозиция, кроме приведенного случая, не проявилась ни разу.

Наоборот, все другие суждения Белинского о Гете, высказанные им в годы молодости, неизменно тяготеют к тому центральному положению, которое выдвинул он в 1838 г. в статье о Менцеле: «Менцель зол на Гете

за то, что тот не хотел быть ни крикуном, ни начальником какой-либо политической партии, что он не требовал невозможного сплочения Германии в одно политическое тело. У гения всегда есть инстинкт истины и действительности; что есть, то для него разумно, необходимо и действительно, а что разумно, необходимо и действительно, то только и есть. Поэтому Гете не требовал и не хотел невозможного, но любил наслаждаться необходимо сущим» [36].

Эта формула стоит за всеми теми неумеренно-патетическими эпитетами, которыми пестрят статьи Белинского тридцатых годов, когда заходит речь о Гете. Гете—«всеобъемлющий исполин», «Фауст» Гете есть Илиада нашего времени», «Гете—вот Гомер, вот прототип поэта нашего времени». «Здоровая и нормальная поэзия Гете» в этот период до конца противостоит в его сознании «призрачному миру Гофмана и Шиллера» [37].

Даже те стороны личной биографии Гете, которые позднее подверглись с его стороны таким яростным нападкам, пока что полностью оправдываются им. «Богатство Гете зависело не столько от его литературной деятельности, сколько от особенного стечения обстоятельств», писал он в 1837 г. «Не всякому, как Гете, удается выхлопотать у всех немецких правительств привилегию контрафакций и таким образом сделаться монополистом своих произведений; а без этой меры немецкий литератор не разбогатеет... Да, гения не убивает обаяние выгоды... Чем платит Гете своим высоким ласкателям? Двустишиями на балы, глухими мадригалами, а не «Вертером», не «Вильгельмом Мейстером», не «Фаустом» [38].

Первым проявлением оппозиции Белинского реакционно-идеалистической гетеане-гегелианских кружков было его выступление против второй части «Фауста», о которой сам он следующим образом рассказывает в одном из своих писем Панаеву: «Еще давно, прошлою осенью, узнавши нечто из содержания 2 части «Фауста», я с свойственной мне откровенностью и громогласностью провозгласил, что оная 2 часть не поэзия, а сухая, мертвая, гнилая символистика и аллегорика. Сперва на меня смотрели, как на богохульника, а потом как на безумца, который врет, что ему взбредет в праздную голову. Новое поколение гегелистов основало журнал в pendant к берлинскому «Jahrbücher», основанному Гегелем,—«Gallische Jahrbücher». В этом журнале появилась статья некоего гегелиста Фишера о Гете, в которой он доказывает, что 2 часть «Фауста»—мертвая, пошлая символистика, а не поэзия, но что 1 часть—великое произведение, хотя и в ней есть непонятные, а потому и непоэтические места, ибо (это то же самое говорил и я) поэзия доступна непосредственному эстетическому чувству, и отнюдь не требуется для уразумения художественных произведений посвящения в таинства философии, и что все непонятное в ней принадлежит к области символизма и аллегории. Фишер разбирает все разборы «Фауста» и нещадно издевается над ними; достается от него и первому поколению гегелистов, которые, говорят, ослепленные ярким светом гегелевской философии, пустились сгоряча все подводить под нее, и во 2 части «Фауста» особенно мнили видеть полное осуществление системы Гегеля в сфере искусства. Больше всех срезался Марбах, который в своей действительно прекрасной популярной книге напорол о 2 части «Фауста» такой дичи, что Боткин, прекрасно переведший из нее большой отрывок, ничего не понял и, когда хотел поместить этот отрывок в «Наблюдателе», то принужден был вычеркнуть большую часть того, что сказано там о 2 части «Фауста», которую Марбах называет «Книгою с семью

печатями» для непосвященных. Каково срезались ребята-то? И каков я молодец!»[39]

Оппозиция эта была не такой робкой, как может это показаться на первый взгляд. Вторая часть «Фауста» была евангелием гегелианцев и осудить ее—значило не просто разойтись с ним в одном частном вопросе, а разойтись в основном, в важнейшем. А кроме того Белинский ведь осуждал здесь не только вторую часть «Фауста»,—он брал под сомнение исходные методологические основы той интерпретации Гете, которую давал ему бакунинский круг. Свое мнение о «Фаусте» он мог еще и изменить и действительно изменил. Сначала, когда нашел законным и правомерным существование «рефлектированной» поэзии. Об этом в декабре 1840 г. он писал Боткину: «Я решил для себя важный вопрос. Есть поэзия художественная (высшее—Гомер, Шекспир, Вальтер Скотт, Купер, Байрон, Шиллер, Гете, Пушкин, Гоголь); есть поэзия религиозная (Шиллер, Жан Поль, Винтер, Гофман, сам Гете); есть поэзия философская («Фауст», «Прометей», отчасти «Манфред» и проч.). Между ними нельзя положить определенных границ, потому что они не пребывают в равнодушии одна к другой, но как элемент входят одна в другую, взаимно модифицируя друг друга. Слава Богу, наконец всем нашлось место». Позднее, когда признал, что «Фауст» является «полным отражением всей жизни современного ему немецкого общества», что «в нем выразилось все философское движение Германии в конце прошлого столетия»[40].

Расхождение касалось не одного произведения Гете, хотя бы и центрального. Оно было глубже и принципиальнее. Это становится особенно очевидным, когда позднее Белинский поднимает голос против той метафизации Гете, которая лежала в основе гегелианской концепции его творчества, восстает против самого существа этой концепции, восстает против образа «всеобъемлющего» Гете, созданного им в годы его гегелианских увлечений. Характерна в этом плане его оценка элегии Боратынского «На смерть Гете». Белинский пишет:

«На смерть Гете» есть одно из лучших между мелкими стихотворениями Боратынского. Стихи в нем удивительны; но стихотворение, несмотря на то, не выдержано и потому не производит того впечатления, какого бы можно было ожидать от таких чудесных стихов. Причина этого очевидна: неопределенность идеи, неверность в содержании. Поэт слишком много и слишком бездоказательно приписал Гете, говоря, что

...ничто не оставлено им
Под солнцем живым без привета;
На все отозвался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа;
Крылатою мыслью он мир облетел,
В одном беспредельном нашел он предел.

Прекрасно сказано, но несправедливо! Не было, нет и не будет никогда гения, который бы один все постиг или все сделал. Так и для Гете существовала целая сторона жизни, которая, по его немецкой натуре, осталась для него terra incognita. Эту сторону выразил Шиллер. Оба эти поэта знали цену один другого, и каждый из них умел другому воздавать должное. Обидно видеть, как люди, не понимая дела, все отдают Гете, все отнимая у Шиллера... Если уж надо сравнивать друг с другом этих поэтов, то, право, еще нерешенное дело—кто из них долее будет владычествовать в

царстве будущего; и многие не без основания догадываются уже, что Гете, поэт прошедшего, в настоящем умер развенчанным царем... Вместо безотчетного гимна Гете поэту следовало бы охарактеризовать его» [41].

Одновременно полным ходом идет разрушение легенды, созданной гегелианцами вокруг личности Гете, легенды о Гете как носителе пресловутой жизненной гармонии. Что Гете «отвратителен ему как личность», Белинский признавался уже в письме к Боткину, цитированном в начале этой главы. То

Автограф стихотворения Ф. И. Тютчева „На древе человечества высоком" на смерть Гете (1832)
Музей Тютчева, Мураново

же самое он повторяет в другом письме к Боткину же: «Что за свинья Гете как личность! Без воли, без силы, прекрасная душа, тайный Клавиго—хуже нас грешных. Ну, да чорт с ним!» [42] Наконец развернутое осмысление своих позиций в этом вопросе дает он в писанном в те же годы письме сестрам Бакуниным.

«Я теперь много думаю об эгоизме,—пишет Белинский.—Это интересный предмет для исследования. Дух тьмы и злобы есть не кто иной, как эгоизм. Когда эгоизм является в собственном своем виде,—он просто гадок или просто страшен как враждебная для других сила; но он не обольстителен и никого не соблазнит, а всех отвратит от себя. Опасней бывает эгоизм, когда он добродушно сам считает себя самоотвержением, внутреннею жи-

знию. Гете, по моему мнению, был воплощением такого эгоизма. Вникните в характер Эгмонта, и вы увидите, что это лицо играет святыми чувствами, как предметом возвышенного духовного наслаждения, но они, эти святые чувства, вне его и не присущны его натуре. «Как сладостна привычка к жизни!» восклицает он, и на это восклицание хочется мне воскликнуть ему: «Какой же ты пошляк, о, голландский герой!» Гофман саркастически заставляет Кота Мурра цитовать это восклицание, достойное кошачьей натуры, которая может видеть «сладостную привычку» в том таинстве жизни, в котором непосредственно открывает себя людям бог. Для Эгмонта патриотизм не более, как вкусное блюдо на пиру жизни, а не религиозное чувство. Святая натура и великая душа Шиллера, закаленная в огне древней гражданственности, никогда бы не могла породить такого гнилого идеала самоосклабляющейся личности, играющей святым и великим жизни. На созерцание эгоистической натуры Гете особенно навела меня статья во 2 № «Отечественных Записок»—«Гете и графиня Штольберг». Гете любит девушку, любим ею,—и что же? Он играет этой любовию. Для него важны ощущения, возбужденные в нем предметом любви: он их анализирует, воспевает в стихах, носится с ними, как курица с яйцом; но личность предмета любви для него—ничто, и он борется с своим чувством и побеждает его из угождения мерзкой сестре своей и «дражайшим» родителям. Девушка потом умирает,—и ни один стих Гете, ни одно слово его во всю остальную жизнь не напомнило о милой, поэтичной Лили, которая так любила этого великого эгоиста. Вот он—идеализированный, опоэтизированный холодный эгоизм внутренней жизни, который дорожит только собою, своими ощущениями, не думая о тех, кто возбудил их в нем, как ростовщик дорожит своими процентами, не думая о тех, которые, может быть, ценою кровавых слез принесли ему их» [43].

Фактом биографии Гете, одним из отрицательных свойств его личности, явившимся результатом его «слишком немецкой натуры», объявляет теперь Белинский и его «всепримиренность», его стремление стать над действительностью и выше действительности. Образ Гете-олимпийца, в котором идеально осуществилось гармоническое единство человека и поэта, оказывается теперь таким образом окончательно ниспровергнутым. В сознании зрелого Белинского, прошедшего свой путь от Гегеля к Фейербаху, Гете-поэт не сливается гармонически с Гете-человеком, а противостоит ему. «В Гете должно отличать человека от художника; Гете был великим художником, но человек он был самый обыкновенный», писал Белинский за два года до смерти. «Не искусство, а его личный характер заставляли его вечно тереться между сильными земли, жить и дышать милостыней их улыбок, равно как и оказывать самое холодное невнимание ко всему, что не касалось до него лично, что могло возмутить его юпитеровское, говоря поэтически, и эгоистическое, говоря прозаически, спокойствие. И потому равнодушие Гете к живым вопросам современной ему истории не имеет ничего общего с искусством; искусство и не думало обязывать его в свою пользу безнравственным равнодушием такого рода. Но тем не менее Гете как художник, как поэт был вполне сыном своей страны, своего века, вполне выразил собою если не все, то многие из существеннейших сторон современной ему действительности. Это доказывается его отвращением ко всему отвлеченному, туманному, мистическому, ко всякой, как называет ее Губер, «нездешней» поэзии. Это же доказывается его стремлением ко всему простому, ясному, определенному, здешнему, земному, действительному,

реальному, положительному; его страстным сочувствием природе, которое не только отразилось пантеистическим миросозерцанием в его поэзии, но еще и выразилось с его стороны великими услугами в области естествознания как науки. Как при этом не вспомнить о его живой симпатии к древнему миру среди всеобщего стремления к варварским средним векам, откуда поэзия выносила только невежественные идеи да уродливые образы? И вот причина, почему теперь, в наше время, скептический, холодный Гете в самой Германии в таком же содержании приобретает себе новых читателей и почитателей, в каком пламенный и рыцарственно-благородный Шиллер теряет их со дня на день. Да, в лице Гете искусство служило жизни или, лучше сказать, выражало жизнь; он не мог бы сделать его вспомогательным орудием для какой-нибудь эфемерной партии, но весь гений свой отдал он на помощь великой партии великого века» [44].

III

Голос Белинского, предпринявшего критический пересмотр гегелианской концепции Гете, остался одиноким в сороковых годах. Только Герцен, быстро преодолевший свое юношеское увлечение Гете-олимпийцем, «слишком высоким, чтобы иметь какое-либо направление, слишком высоким, чтобы участвовать в этих гомеопатических переворотах» [45], откликнулся на построения Белинского, дав в своих «Записках одного молодого человека» саркастический портрет Гете-сановника, тайного советника герцогства Веймарского [46].

Эстетическая критика пятидесятых годов если и вспоминает Белинского, то вспоминает его исключительно как оппонента Менцеля, вспоминает о том, как однажды он «возвысил голос в защиту поэта Гете, оскорбленного дидактической критикой Германии» [47], умалчивая обо всем, что писал и говорил Белинский на эту тему позднее. Для нее Гете снова предстает в своем старом олимпийском аспекте. «Как ни занимательна жизнь лорда Байрона,—пишет Дружинин,—как ни поучительны приключения Сервантеса или Мольера, биографии великих людей, здесь названных, никогда не будут тем, чем может быть биография веймарского олимпийца—Гете. Поэта, подобного автору «Фауста», нужно знать вполне или не знать вовсе, ибо все, что Гете делал как в литературе, так и в жизни, есть одно последовательное, неслыханно великое творение, вполне сознанное и поучительное в мельчайших своих подробностях. Гете велик как поэт, как мыслитель, как практический мудрец; но все эти достоинства могут назваться только частями одного целого. Гете есть целая философия. Гете есть мысль и воплощение века, крепкое звено, связующее прошлое с настоящим, дивное, величавое здание, построенное на том месте, где еще недавно валялись одни обломки. Можно ли освоиться с таким существом так, как осваиваемся с поэтом, хотя и великим, но не столь полным по своему значению?» [48]

Политический индиферентизм Гете, с такой категоричностью осужденный Белинским, низведенный им до степени факта личной биографии поэта, снова становится объектом патетических восхвалений. «Гете совершенно справедливо отворачивался от мелочных или односторонних, духом партий, а не духом жизни порожденных стремлением современной ему общественности, или от неистовых и насильственных напряжений ее, видя отсутствие существенного и непременного в окружавших его пошлых явлениях и лихорадочных порывах,—пишет Аполлон Григорьев.—Он—иска-

тель существенного и непременного—имел право уединяться в мире искусства...» [29]

На ту же тему пишет Боткин: «...И автора «Вертера» упрекали за то, что он был совершенно равнодушным к своей современности. Дело в том, что всякая современность имеет в себе две стороны. Одна состоит из фанатизма, исключительности партий, полных взаимной ненависти, быстро сменяющихся требований и стремлений, из которых каждое сжато дает этой современности название, соответствующее его целям; но другая, истинная, существенная сторона современности, которая перерабатывает всю эту вражду партий и интересов и произносит над ними свой высший, неотразимый суд,—увы!—эта современность с движущей ее мыслью почти всегда остается скрытою от нас. Мы знаем и понимаем ее только в прошедшем, в истории. Гете потому-то и великий поэт, что не увлекался своею современностью, а устремлял взоры свои только в вечные свойства природы, в вечные начала души человеческой» [50].

То, что Гете «мог петь, делать свое дело и кончать свое поприще посреди всякой Германии, какая бы она ни была» [51], ставил ему в особую заслугу Дружинин. И с этой точки зрения оправдывается пассивность Гете в освободительном движении 1813—1814 гг., которая особенно часто инкриминировалась ему: «Нам кажется, что русская кровь и русские пушки были в этом деле полезнее брошюр Арнта, гимнов Кернера и всего литературного стремления к прелестям древней Германии. И Гете, который во время славной войны, конечно, сердцем своим был с воинами своей родины, но песнями своими не примыкал к ряду Тиртеев-романтиков, нам кажется правым как нельзя более. Своим светлым умом он распознавал бессилие своих собратий, их расчет на увлечение минуты, их детскую заносчивость, их способность ликовать до победы, их стремление увлекаться в крайность, их самонадеянность и честолюбие, едва прикрытые возвышенными фразами. Роль поэта, думал Гете (и эту мысль он высказывал в разговоре), состояла в том, чтобы или молча биться за родину, или тихо следить за событиями, не прерывая своих занятий искусством. Кричать, не двигаясь ни шагу, не хотел Гете—его олимпийское величие не согласовалось с таким делом. Затягивать романтическую песнь там, где свистали пули и сталкивались полки, он предоставлял пустым мечтателям» [52].

И все же удары, нанесенные реакционно-идеалистической гетеане в России Белинским, на Западе—идеологами молодой Германии, были слишком сокрушительными, чтобы после них в образе Гете-олимпийца не осталось никаких трещин. Можно было конечно делать вид, что не замечаешь их. Так именно например и поступал Дружинин, ополчаясь против «мальчишек-неодидактиков», «осмеливавшихся не признавать заслуг Гете». «Вспомните, как недавно целая когорта крошечных, но трескучих поэтиков напала на «ледяной индеферентизм» Гете,—патетически писал он,— как разные сотрудники мелких журналов толковали о том, что «гетевский период поэзии не вернется более», как покойный Гейне, при всей проницательности, серьезно защищал старого поэта, но защищал его такими доводами, которые были обиднее вздорных хулений! Что сталось с трескучими поэтиками и философами неодидактической школы? Куда девались рьяные газетные сотрудники? Как сохранил поэт Гейне убеждения своей молодости? Что творили люди-карлики, осмеливавшиеся метать кусочки грязи в статую того, кто написал «Фауста»? Кусочки грязи не долетели до половины пьедестала и попадали назад, прямо на голову бросавших» [53].

Вся эта патетика не меняла положения. У литературных идеологов последнего поколения вымирающей дворянской интеллигенции хватало еще сил на то, чтобы как-то сопротивляться, отступая перед надвигающейся разночинской демократией, первенцом которой был Белинский. Но чтобы до конца удерживать за собой прежние позиции,—для этого уже не оставалось под ногами достаточно твердой почвы. На отношении к авторитетам, в частности к такому авторитету, каким был для поместно-феодальной эстетической культуры Гете, эта историческая ущербность эстетической критики пятидесятых годов сказывается особенно заметно.

И Дружинин, и Боткин, и Аполлон Григорьев, хотя и стоящий в этой группе особняком, но в своих исходных установках солидаризирующийся с ней,—все они благоговеют перед Гете так же, как благоговело перед ним поколение гегелианцев. Но это свое благоговение они часто обставляют такими оговорками, идут на такие компромиссы, на которые никогда не пошел бы ни Станкевич, ни Неверов, ни молодой Бакунин. Дружинин например согласен совершенно вычеркнуть из гетевского наследия «Вильгельма Мейстера». Этот роман, по его мнению, «не будет популярен нигде, кроме Германии—все эти Лаерты, Ярно и другие особы с нечеловеческими именами вечно станут отталкивать от себя современных читателей... Сколько ни хлопочут толкователи, но негерманская публика никак не уживется с этим морем мистицизма и аллегорий, с этими признаниями прекрасных душ, с этими событиями, происходящими не на земле, а где-то вне места и времени, не в человеческой среде, а в каком-то странном мире грез предрассветных» [54]. Боткин соглашается выбросить за борт бо̀льшую часть любовной лирики Гете: «Много прошло времени и медленно шло оно до тех пор, пока в обществе начал осуществляться принцип нравственного достоинства женщины, и новейшая любовная поэзия—именно Гете—есть проявление этого принципа... Но и в этом отношении стихотворения Гете делятся на два отдела: один, и самый большой, принадлежит к прежней эпохе и занимается доридами-пастушками, другой, очень небольшой, представляет истинное и вдохновенно-поэтическое выражение чувства любви» [55]. Аполлона Григорьева, видевшего в Гете «недостижимый идеал объективного лирического поэта», вместе с тем в нем «поражает некоторая фальшь его, утонченная пластичность». «Ифигению» он относит к числу произведений, «всеми похваляемых, но никак не читаемых», а о «Римских элегиях» пишет, что «в них высказывается или просто немец-художник в Италии, или человек, напрягающийся по заданной себе наперед мысли до античности чувствования, напрягающийся иногда неловко и даже антипоэтично» [56].

За всеми этими изъятиями (а их было больше: Дружинин склонен например к тому, чтобы и вторую часть «Фауста» признать ошибкой гения) оставалось одно: схема «всеобъемлющего Гете», постепенно лишающегося какого-либо конкретного содержания. Следующий этап разночинского наступления окончательно разрушает эту схему.

IV

Идеологи радикального разночинства шестидесятых годов начали почти теми же неумеренными хвалами Гете и неумеренным поклонением ему, какими начал Белинский. Гете—один из властителей дум молодого Чернышевского. «Из мертвых я не сумею назвать никого, кроме Гете, Шиллера (Байрона тоже вероятно бы, но не читал его), Лермонтова. Эти люди—

мои друзья, т. е. я им преданный друг», записывает Чернышевский в своем дневнике 1850 г.[57] Он повидимому много читает Гете. Произведения Гете для него некая эстетическая норма, мерило, из которого исходит он в оценке произведений других писателей. Письма Бенжамена Констана «очаровывают его так же, как автобиография Гете»[58]. Автобиографию Гете вспоминает он и читая записки Шатобриана[59]. В поле его внимания не только поэтическое наследие Гете, но и его житейская судьба. Раздумывая о неустроенности своей собственной судьбы, он замечает, что «Гете в его годы был одним из первых людей, и это ему неприятно»[60]. Наконец он пишет работу о Гете, и даже не одну, а две. Первая—университетская, для Никитенко, слушателем которого по Петербургскому университету Чернышевский был, имеет своей задачей отвести от него обвинение в эгоизме. Вторая—очевидно полубеллетристическая. «Вздумал написать рассказ о Лизе и Гете, который ввел в то, что писал Никитенке,—только в обширном размере романа», записывает он в том же своем юношеском дневнике[61]. И там же далее: «В воскресенье или понедельник начал было писать эпизод из жизни Гете (любовь к Лизе) под названием «Понимание»[62]. Судьба первой работы неизвестна. Вторая осталась неоконченной из-за того, что как раз в это время в «Современнике» начали появляться первые главы перевода «Wahrheit und Dichtung», на материале которой повидимому должен был строиться рассказ[63].

Правда, совпадение с юношескими настроениями Белинского здесь порядка, так сказать, чисто количественного. Молодой Чернышевский не в меньшей степени, чем молодой Белинский, увлечен Гете, но как именно он осмысливает гетевское наследие неизвестно,—материала для каких-либо заключений в этом направлении его юношеские записи не дают; но конечно уж не так, как осмысливал Белинский, не под углом зрения примирения с действительностью. Гете, Шиллер, Байрон, Лермонтов—такое сопоставление имен в гегелианских построениях Белинского было невозможно.

Ближе к Белинскому в этом отношении Писарев, который не только наследует от него общую высокую оценку Гете, но и строит эту оценку, в значительной мере исходя из тех же критериев, из которых исходил молодой Белинский. Гете для Писарева—прежде всего образец идеальной человеческой гармонии: «гениальный поэт, глубокий натуралист, делавший открытия в своей науке, и в то же время светский человек, любезный, живой собеседник, в молодых годах шалун и повеса, баловень женщин, а под конец—счастливый семьянин»[64].

В дальнейшем однако положение меняется. Свое юношеское благоговение перед Гете оба критика изживают довольно скоро. Те конечные выводы, к которым приходят они в результате пересмотра своих прежних позиций, тоже оказываются в основном сходными. Но в то время как Чернышевский, все дальше и дальше отходя от Гете, неизменно сосредоточивается на тех моментах гетевского наследия, которые он считал положительными, Писарев почти все время полемизирует, и очень резко полемизирует, с тем, что было в психо-идеологическом профиле Гете враждебно разночинскому радикализму шестидесятых годов.

Чернышевский только раз выступил против «всеприемлемости» и «всепримиренности» Гете, когда в «Очерках гоголевского периода» писал: «От Гете никому не было ни тепло, ни холодно, он равно приветлив и утонченно деликатен к каждому; к Гете может являться каждый, каковы бы

то ни были его права на нравственное уважение,—уступчивый, мягкий и, в сущности говоря, довольно равнодушный ко всему и ко всем хозяин никого не оскорбит не только явною суровостью, даже ни одним щекотливым намеком» [65]. Это выступление осталось единичным. Позднее он мог восставать против отдельных произведений Гете, мог нападать на «вредную сентиментальность и пустоту содержания «Германа и Доротеи» [66], мог из всей эпики Гете оставлять одного «Вертера» [67]. Целый ряд изъятий и исключений допускали здесь, как мы знаем, даже критики эстетической школы, преклонявшиеся перед Гете. В старости он девять десятых всего написанного Гете отметал прочь, но оставшаяся одна десятая оставалась для него «неизмеримо выше всего написанного по-немецки» [68].

Даже в те годы, когда облик Гете заслоняется в его представлении колоссальной фигурой другого идеолога восходящего немецкого бюргерства, более последовательного и чуждого тех срывов, которыми полон писательский путь Гете,—Лессинга, Чернышевский судит о Гете попрежнему, не только считая его стоящим «несомненно выше своего воспитателя по поэтическому таланту» [69], но и причисляя его наряду с Лессингом к «двигателям исторического процесса, имевшим прямое влияние на судьбу человечества, стоящим в ряду великих правителей, в одном ряду с Ришелье, Штейном, Робертом Пилем» [70]. В устах Чернышевского такая оценка звучала как высшая похвала.

Правда, он считает, что Лессинг «ближе к нашему веку, чем Гете, взгляд его проницательнее и глубже, понятие его шире и гуманнее», считает, что «Гете и Шиллер только довершают то, что уже было сделано Лессингом: их слушали, потому что Лессинг заставлял слушать; им сочувствовали, потому что Лессинг заставлял сочувствовать идеям, которые выражали они, и все, что было здорового в их идеях, было им внушено Лессингом» [71].

Но во всем этом характерно одно: то, что Чернышевский ни на минуту не противопоставляет Гете Лессингу, что Гете он воспринимает не как антипода Лессинга, а как его ученика и продолжателя, что здесь, как и всюду, говоря о Гете, он выдвигает на первый план не его «способность извиваться и блюдолизничать», а те прогрессивные элементы, которые были заключены в его творческом наследии.

Другое дело у Писарева. В русской гетеане шестидесятых годов как нигде ярко выразились две струи в развитии разночинского радикализма той эпохи: социалистическая, базирующаяся в области философии на фейербахианстве, а в области политики на французском утопическом социализме, и нигилистская, опирающаяся на вульгарный механистический материализм Бюхнера-Молешотта.

Еще полнее впрочем, чем у Писарева, выразилась точка зрения мелкобуржуазного нигилизма шестидесятых годов в суждениях Варфоломея Зайцева. Зайцев сопоставляет те оценки Гете, которые вынесли ему два идеолога молодой Германии—Гейне и Берне,—и по этому поводу пишет:

«Гейне как поэт часто увлекался мнимым или действительным величием человека до такой степени, что готов был поклоняться ему как божеству... Однажды он даже дошел до того, что называл Гете богом Юпитером и говорил, что искал возле него глазами орла. Если бы не знали, как безотчетно увлекался поэт не только Гете, но и Наполеоном, то приняли бы эти слова за насмешку. Мы бы могли подумать, что он намекает на государственный герб Пруссии и протестантизм, которому была посвящена деятельность тайного советника фон Гете. Увлечение не позволяло поэту

видеть, какая скрывается протестантско-поповская, деспотически-буржуазная личность за этими проявлениями могучего гения, и, как перед Наполеоном, он падал ниц перед саксен-веймарским обер гоф-Юпитером. Берне был проницательнее, потому что сам не был олимпийцем. Гейне был товарищем Гете по Олимпу, не саксен-веймарскому только. Берне же был простой смертный. Но взамен гения у него было сильно развито стремление к свободе, и в какую бы величественную оболочку не облекалось филистерство и лакейство—он видел его. Никакой туман не застилал его глаз. Будучи сам внутренне свободным человеком, он чуял как бы чутьем душевное рабство какого угодно гения. Он не боялся вступать в бой с самыми закоренелыми понятиями, с самыми грозными авторитетами» [72].

Обрисовав дальше суть антигетевской позиции Берне, Зайцев продолжает: «Каким жалким филистером является великий Гете с той стороны, с которой смотрит на него Берне. Как ничтожен и односторонен является он, этот мировой гений, видевший во Французской революции не более как повод написать либретто для оперы. О, какой Klein-Cophta!—остается воскликнуть вместе с Берне... Мировой гений, творец «Фауста» порицает Фихте за то, что он толкует о вещах, про которые должно молчать. Этого мало: он требовал усиления строгости цензурных правил! Но всего этого, может быть, недостаточно? Если так, то стоит заглянуть в его сочинения, особенно стихи, и станет ясно, как день, что всем им недостает следующего общего эпиграфа, взятого из его же дневника: «Присутствие в Карлсбаде ее величества, императрицы австрийской, вызвало некоторые приятные обязанности, и несколько мелких стихов развились в тишине». Таков этот гений, этот творец дьявола и рая, этот певец чистейшей любви и вечной ненависти; таков этот филистер, поставщик комедий и стихов» [73].

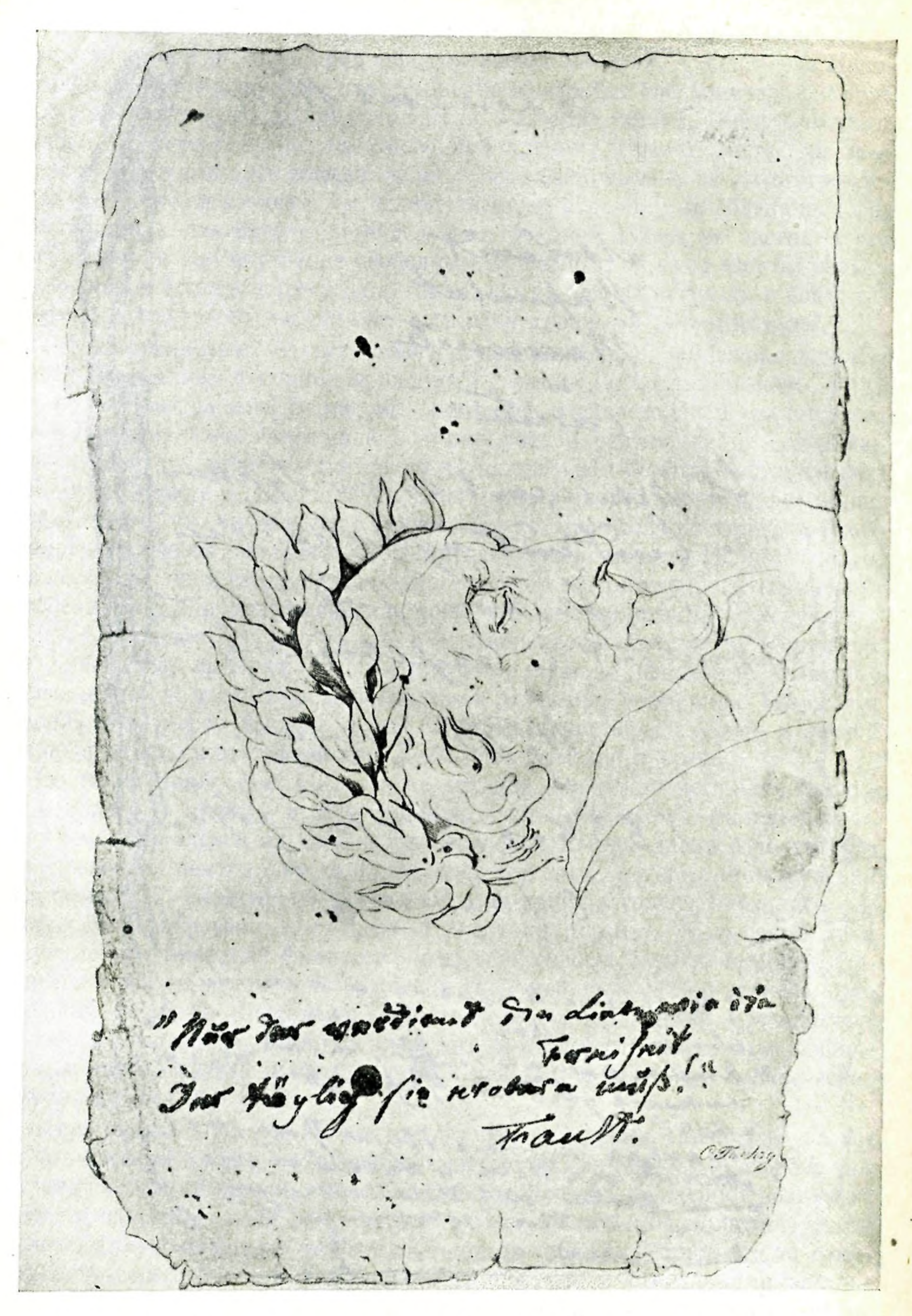
До таких крайностей Писарев не доходит. Но и для него Гете (вместе с Шиллером) прежде всего—«великие поэты немецкого филистерства». То, чем сказались в их творчестве передовые идеалы эпохи буржуазного восхождения, решительно меркнет перед тем злом, которые принесли они человечеству, «украсив на вечные времена свиную голову немецкого филистерства лавровыми листками бессмертной поэзии». «Благодаря этим двум поэтам немецкий филистер имеет возможность мирить высшие эстетические наслаждения с самой бесцветной пошлостью бюргерского прозябания. Он читает своих великих поэтов и вздыхает над ними, и умиляется, и заводит глаза, как откормленный кот, и остается безнадежным пошляком, и твердо уверен при этом, что он человек и что ничто человеческое ему не чуждо» [74].

Всего «громадного ума Гете хватило ему», по мнению Писарева, «на то, чтобы блеском своего поэтического мастерства, красивостью выражения скрыть пустоту содержания своих творений», убогость их идейной нагрузки. «Чтобы увидать в самом себе светлый храм, а в окружающей жизни—грязную базарную площадь, чтобы забыть таким образом естественную солидарность своего «я» с окружающими глупостями и страданиями остальных людей, надо было систематически подкупить и усыпить свой критический смысл красотой отборных выражений. Мелкие мысли и мелкие чувства надо было возвести в перл создания. Гете выполнил этот фокус, и подобные фокусы считаются до сих пор величайшим торжеством искусства» [75].

Все это Писарев писал в своей статье о Гейне в 1862 г. Два года спустя он несколько изменил свои позиции, увидев за способностью Гете «изви-

Автограф дарственной надписи Михаила Бакунина на книге Беттины фон Арним „Tagebuch" (Берлин, 1835), подаренной им своим сестрам 18 сентября 1838 г. „в память того бурного и вместе прекрасного года, в котором мы вместе ее переводили".

Институт Русской Литературы, Ленинград



Фронтиспис книги „Tagebuch“ Беттины фон Арним (Берлин, 1835) с автографом Михаила Бакунина
Изображение Гете в гробу воспроизводит рисунок Фридриха Преллера, сделанный с натуры в Веймаре в марте 1832 г.

Институт Русской Литературы, Ленинград

ваться и блюдолизничать», за «разными стихотворными миндальностями и чистенькими оперетками умственное величие», «с избытком заглаживающее или выкупающее» «низкие слабости его характера». Иначе оценивает он теперь историческую роль гетевского наследия, подходя к нему под углом зрения своей теории «мыслящих реалистов». «Гете никого не любил, кроме самого себя и своих собственных идей; он нисколько не заботился об интересах человеческих обществ, и, несмотря на то, он все-таки принес и еще долго будет приносить своими произведениями много пользы тем самым человеческим обществам, к которым он был совершенно равнодушен. Только пустые и мелкие люди могут оставаться бесполезными, а великие умственные силы непременно приносят пользу даже своими ошибками. Гете никогда не был и не будет любимым поэтом читающих масс: вследствие этого он никогда не будет действовать прямо и непосредственно на умственную жизнь масс, потому что на эту жизнь действует только тот, кто любит массу. Но это—наставники и руководители масс, люди различные между собою по дарованиям, но тесно связанные друг с другом единством святой любви и честных стремлений, эти люди, питающие других своими идеями, часто нуждаются сами в умственном подкреплении и обновлении. Эти люди—мыслящие и просвещенные работники, но совсем не мировые гении. Они по своему уму и развитию способны понимать Гете, но у них, разумеется, недостало бы сил произвести то, что он произвел. Для них-то его сочинения составляют гальваническую батарею, которая постоянно снабжает их утомляющиеся мозги новыми электрическими силами. Они читают Гете и глубоко задумываются над его страницами, и ум их растет и крепнет в этой живительной работе, приобретенный таким образом запас свежей энергии и новых умственных сил отправляется все-таки вниз по течению в то живое море, которое называется массой и в которое тем или другим путем рано или поздно вливаются, подобно скромным ручьям, или бурным потокам, или величественным рекам, все наши мысли, все наши труды и стремления. И холодный тайный советник и кавалер фон Гете действует таким образом, и сильно действует, на пользу бедных и простых ближних посредством тех идей и ощущений, которые он возбуждает своими произведениями в тесном кругу своих избранных и высокоразвитых читателей» [76].

V

Поколение шестидесятых годов было последним, для которого поэтическое и философское наследие Гете служило еще объектом каких-то дискуссий, для которого вопрос о принятии и непринятии Гете хранил еще свою актуальность и жизненную остроту. К семидесятым-восьмидесятым годам эта дискутабельность гетевского наследия исчезает окончательно. Читающая «публика» пробавляется теперь по преимуществу полуанекдотическими и вполне анекдотическими мелочами о Гете, находящими изредка место на журнальных задворках, в разделе «Смесь». Гетеана, так сказать, высокого стиля замыкается в рамках академических исследований и учебников по истории западноевропейской литературы.

Нейтрализация гетевского наследия к концу прошлого века не обозначала конечно того, что все, что писалось и говорилось о Гете после этого времени, что все попытки того или иного осмысления его творчества, предпринимавшиеся позднее, лишены каких бы то ни было элементов классовости. Даже в гетеане журнальных задворков и газетных подвалов,

как правило, в первую очередь направленной к тому, чтобы развлечь, позабавить читателя, иногда чрезвычайно отчетливо проявляется стремление отдельных общественных группировок использовать имя Гете для своих сегодняшних политических нужд. Наиболее яркий по своей циничной обнаженности пример такого «практического применения» Гете представляет собою, пожалуй, заметка некоего Конст. Михайлова под названием «Гете, Пушкин и Хомяков о Константинополе», появившаяся в «Новом Времени» в 1912 г., т. е. как раз во время наибольшего обострения восточного вопроса. Автор заметки рассказывает, как «в один из вечеров 1833 г. в апартаментах императрицы Марии Александровны собрались государь-император Николай Павлович, В. А. Жуковский, граф Вельегорский и две фрейлины... Граф Вельегорский спросил государя: «Говорил ли Гете о политике?» Государь на это ответил: «Однажды великая герцогиня Веймарская высказала очень практичный взгляд: Константинополь должен быть свободным городом, как Франкфурт. На это Гете ответил: «Я того же мнения. Греки им владели и потеряли его, а настоящая Греция—в Афинах». «Это совершенно верно,—добавил государь.— Это было сказано очень хорошо, очень разумно, очень практично». Дальше сообщается аналогичный эпизод с той только разницей, что на место Гете поставлен Пушкин, и, резюмируя все сказанное, автор заканчивает: «России остается выполнить завет Пушкина и Гете—постараться сделать Константинополь нейтральным, охранить и оградить Айа-Софию и оберечь свои жизненные и политические интересы в Черном море и в проливах. Этим закончится ее историческая миссия и наступательное движение России в сторону юго-востока Европы. В руках России должны быть два ключа: 1) все Черное море и 2) проливы. Этого хотел Пушкин для России» [77].

Не менее далеко простирались иногда попытки такого рода «актуализации» Гете, предпринимавшиеся представителями академической историографии. Так в годы империалистической войны в кадетском «Голосе Минувшего» появилась статья ученого литературоведа Владимира Фишера, автора распространенного школьного учебника по истории русской литературы, на тему «Гете и воинственная Пруссия», конечный вывод которой гласил, что Гете «своим орлиным взором предвидел наше время и послал проклятие тому, кто явился теперь причиной мирового кошмара» [78].

Но подобные примеры являются все-таки единичными. Как правило, классовая ориентированность русских гетеведов выступает в гораздо более замаскированной, завуалированной форме. Даже заявление в роде того, которое сделал известный переводчик Гете Струговщиков в своей работе о «Вертере», где он указывает, что одной из своих задач ставит «смягчить фактическими указаниями некоторые нарекания на Гете, встретившие свой отголосок и у нас,[79]— даже такие явления довольно редки. Обычно тяготение того или иного исследователя к той или иной концепции Гете: к феодально-крепостнической ли концепции Гете—всеобъемлющего и всепримиренного, или разночинской концепции Гете—гениального поэта и жалкого филистера, оказывается задрапированным в тогу самой строгой объективности.

Надо впрочем сказать, что разговор может итти здесь именно только о тяготении к одной из созданных ранее концепций. Попытки дать какое-то новое осмысление поэтического и философского наследия Гете как целого в русской академической гетеане места не имели. Вообще русская академическая историография не может похвалиться особым вниманием к Гете.

А. И. ГЕРЦЕН
Рисунок итальянским карандашом А. Витберга (1840-е гг.)
Третьяковская Галлерея, Москва

Работы о Гете научно-исследовательского характера, появлявшиеся до восьмидесятых-девяностых годов, почти целиком сводятся к простым пересказам построений западноевропейской гетеаны. Так печатавшаяся в пятидесятых годах в «Библиотеке для чтения» очень солидная (на несколько сот страниц) работа Думшина [80] представляет собой вполне исправный и добросовестный пересказ известной книги Льюиса. К шестидесятым годам относится ряд работ иногда описательно-очеркового, иногда исследовательского характера упомянутого выше Струговщикова [81]. Самая значительная среди них, пожалуй, статья о «Вертере», которую предпослал он своему переводу романа. Но и это опять-таки тщательная компиляция из немецких источников, прежде всего посвященных специально «Вертеру» монографий Аппеля и Кестнера.

К последним десятилетиям XIX века относится ряд работ, посвященных проблеме «Фауста». Все они довольно беспомощны теоретически, не очень богаты фактическим материалом и чего-либо существенного к тому, что было сказано о «Фаусте» ранее, не прибавляют. Исключение составляет, пожалуй, одна только статья известного театрального деятеля С. А. Юрьева «Опыт объяснения трагедии Гете «Фауст», не выходящая впрочем за пределы того культурного дилетантства, которым характеризуются и другие работы, относящиеся к этой группе. По своим теоретическим позициям С. А. Юрьев—выученик философско-эстетической историографии. «Фауст» для него—произведение, в котором «в художественной полноте слито воедино все, что до половины девятнадцатого века понято о человеке, о его творческих силах, его назначении и целях на земле, о том идеальном совершенстве, которое доступно его личным силам. Перед нами человек, обуреваемый стремлениями, переходящими меру сил человеческих, объять мыслью всю вселенную, проникнуть тайны жизни и самого божества. В борьбе с непостижимыми для него силами, скрывающими от него истину, он предоставлен только себе, только духу своей личной самодеятельности. Из

глубины духовной жажды, его снедающей, и борьбы с непостижимым выходит он победителем и сам становится творческой силой в жизни и затем причастником жизни вселенской»[82]. Работа эта была только начата автором. Позднее он собирался продолжить ее, но этого своего намерения так и не осуществил.

В русской университетской историко-литературной науке гетеана представлена всего двумя-тремя названиями, если не считать глав и параграфов, посвященных Гете в общих курсах западноевропейской литературы вообще и немецкой в частности. Наиболее крупным памятником университетской гетеаны следует признать довольно популярную в свое время книгу Шахова «Гете и его время», еще в 1908 г. встретившую сочувственный отклик Плеханова[83]. Книга Шахова—действительно единственный, более или менее оригинальный, обзор жизни и творчества Гете в русской историографии. Правда, самая цель, самая установка книги обуславливает ее не столько исследовательский, сколько популяризационный характер. Но как популяризацию всего того, что было сделано в области изучения Гете к семидесятым годам прошлого века, ее и до сих пор приходится считать незамененной никакой другой, несмотря на все ее дефекты, несмотря на просветительскую ограниченность автора, на его полную методологическую зависимость от тэновской школы. Монографические разработки отдельных проблем гетевского литературного наследия в русской академической историографии почти отсутствуют, если не считать двух этюдов о «Фаусте» Шепшелевича[84], как впрочем и книга Шахова, преследующих не столько исследовательские, сколько популяризаторские цели.

Даже такие темы, как «Гете и Россия», «Гете и русская литература», «Гете и русские писатели», почти совершенно не затрагивались русскими учеными. Единственная сколько-нибудь солидная работа, примыкающая сюда,—книга Розова «Гете и Пушкин»—солидна только по объему. С точки зрения качественной она представляет собою не более как ряд совершенно произвольных сопоставлений, не выдерживающих никакой критики[85].

Интерес к этой теме однажды, правда, обнаружился, но отнюдь не со стороны академической историографии. Его носителем выступил А. В. Половцов—заведующий общим архивом министерства двора и председатель «императорского» исторического общества. Имеем таким образом своеобразный рецидив того традиционного внимания к Гете со стороны официозных русских сфер, которое наблюдалось еще при жизни поэта[86]. В 1904 г. Половцов вручил Стасову для передачи Л. Н. Толстому письмо, в котором он высказал свое мнение о Гете. Стасов, хотя и объяснил Половцову, что Толстой «вовсе не любит и не обожает Гете», но письмо все же доставил по назначению. Ответа на него повидимому однако так и не последовало. Что сталось с собранными Половцовым материалами—неизвестно[87].

VI

Интерес к Гете, проявленный русской литературной общественностью конца прошлого века, как видим, был неглубок и не слагался в какую-то цельную картину. Русское гетеанство как цельное умственное движение иссякает к пятидесятым годам, а десятилетием позднее затихают последние дискуссии о Гете. Гете становится благородной окаменелостью, которую редко и без особой охоты извлекают из музейного ящика. Андрей Белый не слишком противоречил действительности, когда писал о старшем поколении: «и когда с нами спорили о поэзии, то оказывалось, что спорившие

не знают ни взглядов на поэзию Реми де Гурмона, Бодлера, ни прочих проклятых, ни Гете, ни даже Пушкина»[88].

Новая волна интереса к Гете подымается позднее, «на рубеже столетий», когда на сцену выступает поколение символистов. И то не сразу. Теперь является уже научным трюизмом положение о том, что русский символизм на всем своем протяжении не представляет собою чего-то единого. Необходимо различать три этапа, три фазы его исторического становления. Эти три фазы соответствуют трем ступеням исторического развития эстетической культуры русской буржуазии ее последнего, предсмертного, периода. Первая, когда в классовом сознании буржуазии свежо еще воспоминание о триумфальном шествии капитализма в пореформенную эпоху, когда буржуазия переживает чувство некоторого утомления своими победами; если она и обнаруживает какие-то признаки недовольства действительностью, то не потому, что видит в ней что-то враждебное себе, а потому, что она слишком утомлена, пресыщена этой действительностью, чтобы ограничиваться простым любованием ею. Такова социально-психологическая база раннего символизма, именующегося тогда еще модернизмом и декадентством.

В эстетике этого раннего символизма Гете не занимает и не может занимать сколько-нибудь значительного места. Характерна в этом отношении статья Бальмонта, которой откликнулся он на полуторастолетний юбилей со дня рождения Гете. Ни в какой мере не намереваясь развенчать Гете, признавая, что «он является единственным поэтом, достигшим идеальной красоты цельности и в смысле совершенства типического как художественная натура он превосходит всех поэтов, хотя по силе таланта он значительно уступает и Шекспиру, и Кальдерону»[89], Бальмонт в то же время вполне определенно подчеркивает общую чуждость гетевского наследия психо-идеологическим началам новой школы. Бальмонт пишет: «Есть еще другое отличие этого великого гения от целой группы поэтов, заставляющих нас, изнервничавшихся, утонченных и истомленных своей утонченностью, периодически возвращаться к уравновешенному Гете, покидая наши душистые и душные теплицы, и подобно верным богомольцам приносить ему обетный дар наших лучших симпатий. Это отличие заключается в том, что он—резкая противоположность коренящемуся в нас трагизму. В нем враждебное человеческой природе, вступая в междуусобную борьбу и создавая лирические грозы, всегда приводит к радуге»[90]. Итак Гете в сознании Бальмонта ни в какой мере не учитель,—он только объект «периодических возвращений», но не постоянный спутник, как Эдгар По или Бодлер.

Интересные штрихи имеются также в предисловии, которым снабдил Бальмонт свой перевод «Фауста» Марло. «Можно быть благодарным Гете за высоко интересную поэму, но можно и очень сетовать на него за то, что он совершенно исказил прекрасную легенду. Произведение Гете останется навсегда одним из самых блестящих созданий человеческого ума благодаря яркой интересности деталей, но в смысле цельной идеи, в смысле соотношения между предполагаемым типом героя и психологическим развитием драмы эта поэма является гигантским хаотическим сбором фактов и идей, не облеченных органической стройностью и лишенных поэтической гармонии. Трагедия Христофора Марло, представляющая из себя первую по времени драматическую разработку немецкой легенды, имеет то великое преимущество перед драмой Гете, что Марло уловил все основные

моменты народного предания, удержал его мрачный, средневековый характер... Конечно, трагедия Марло ограниченнее по содержанию мозаичной поэмы Гете. Но это не ограниченность бедности, а стройная замкнутость художественной цельности. Поэма Гете—это искусственно соединенные разнородные штрихи долгой и богатой жизни, полной холодных наблюдений ума. Трагедия Марло—это отдельный ярко выраженный психологический момент, полный неукротимого кипения» [91].

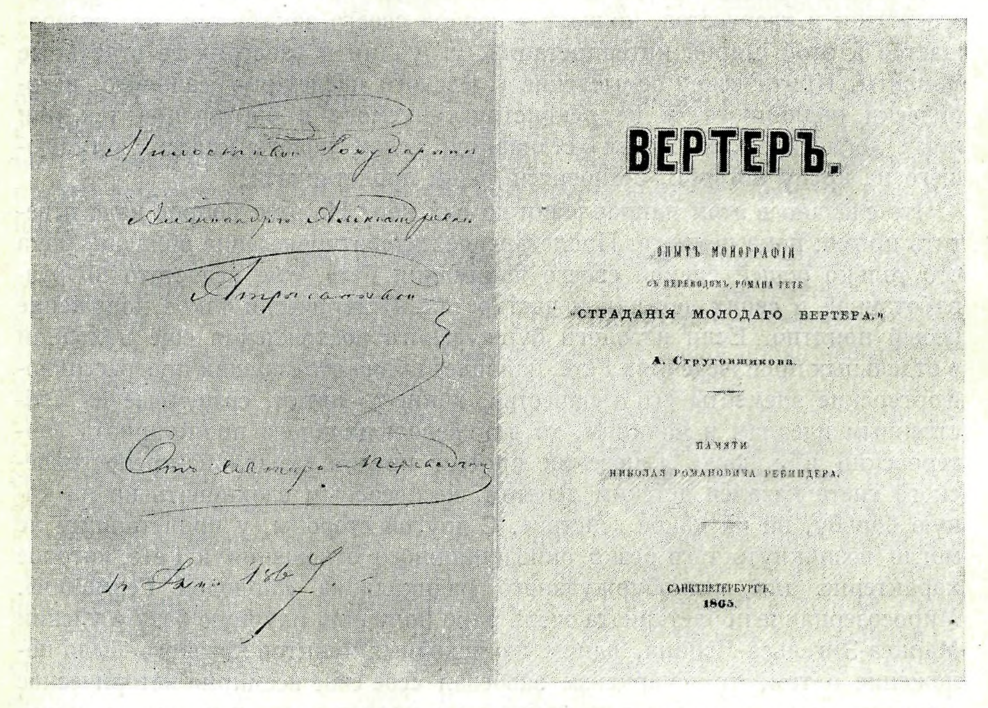
Эти две бальмонтовские заметки—почти все, чем откликнулось старшее поколение символистов на Гете. Другой мэтр символизма на первом этапе его развития—Брюсов—хотя и интересовался Гете и переводил его, но развернутого теоретического осмысления своих интересов к Гете не дал. Да и переводы его из Гете—скорее отзвук его общего литературного универсализма, общего тяготения к творческому наследию мировой поэзии, нежели проявление какого-либо гетеанства в точном смысле слова. Так же, как Гете, он переводил и Виргилия, и Данта, и армянских поэтов.

Положение меняется после 1905 г., когда явственно обнаруживаются уже все признаки загнивания капиталистического уклада, когда он трещит по всем швам под ударами, наносимыми ему извне, когда только что разгромленное, но готовое каждую минуту вспрянуть с новой силой рабочее движение сулит господству буржуазии скорый и окончательный крах. Тогда-то ее недовольство действительностью и принимает форму конфликта, стимулирующего вступление буржуазного искусства на его последний путь «от реального к реальнейшему», a realibus ad realioribus. Тут-то эстетика символизма и обнаруживает свое родство с эстетикой Гете, конечно Гете восьмисотых годов, Гете—автора «Фауста» и по преимуществу второй его части. Эту задачу—задачу приспособления поэтического и философского наследия Гете к идеологическим и эстетическим нормам символизма—выполняет Вячеслав Иванов, развивающий положение о том, что «принцип символизма, некогда утверждаемый Гете, после долгих уклонов и блужданий снова понимается в значении, которое придавал ему Гете, и его поэтика оказывается в общем нашею поэтикой последних лет» [22]. Этой же задаче подчинена у Вячеслава Иванова интерпретация отдельных произведений Гете. «Фауст» истолковывается как «предостережение против опасностей материалистической культуры», «Ифигения» объявляется не трагедией, а «проповедью гуманизма восемнадцатого столетия как этической системы, основанной на отвлеченном оптимизме», «ибо трагедия была движима духом Диониса, Диониса же Гете боялся и избегал сознательно» [93].

Теми же социальными соками, что и построения Вячеслава Иванова, питается интерес символистов к натурфилософскому наследию Гете, послужившему объектом довольно ожесточенной полемики между двумя теоретиками символизма: Э. Метнером и Андреем Белым. В 1914 г. вышла книга Метнера «Размышления о Гете. Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма». Ответом ей была вышедшая двумя годами позднее книга Андрея Белого «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности». Натурфилософское наследие Гете было использовано таким образом обоими авторами не как объект самостоятельного исследования, а в связи с исходящей от Штейнера попыткой связать как-то имя Гете с положениями его собственной антропософской системы. Эта попытка встретила оппозицию со стороны Метнера, высказавшего в противовес Штейнеру мысль о том, что «универсальность Гете

специфична, что это не принципиальное сбирание всего доброго и хорошего из всех областей и со всех концов, а идейный выбор очень многообразного, но в таком определенном сочетании, от твердыни которого неминуемо должно отпрянуть как рыхлое тесто всеобъемлющего, синтетического знания теософии, так и дробность кургузого специализма».

Метнеровская оппозиция в свою очередь встретила очень резкий отпор со стороны ортодоксального антропософа и штейнерианца в те годы— Андрея Белого. Пересказывать все содержание этой полемики вряд ли стоит:



ВЕРТЕРЪ.

ОПЫТЪ МОНОГРАФІИ

СЪ ПЕРЕВОДОМЪ РОМАНА ГЕТЕ

«СТРАДАНІЯ МОЛОДАГО ВЕРТЕРА.»

А. Струговщикова.

ПАМЯТИ

НИКОЛАЯ РОМАНОВИЧА РЕБИНДЕРА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
1865.

Титульный лист экземпляра „Вертера" в переводе А. Струговщикова (СПБ, 1865) с дарственной надписью переводчика
Институт Русской Литературы, Ленинград

она настолько густо пропитана кружковым жаргоном позднего символизма, что не только не может быть речи о каком-либо интересе ее для наших дней, но современному читателю часто просто даже непонятно, что утверждает один полемист и против чего возражает другой.

Интересу, проявляемому к Гете младшим поколением символистов, исторически и социально параллельно то внимание, которым окружает его имя русская идеалистическая философия того времени, правда во многом повторяя здесь настроения западноевропейской философии. Западноевропейская буржуазная мысль раньше, чем русская, усмотрела в Гете одного из адептов той борьбы за «цельное», «органическое» мировоззрение, которую повела она теперь, отказываясь от одного за другим из позитивистических и эмпиристических принципов научного знания, разработанных ею в период исторического восхождения буржуазии. В этой борьбе и родился отмеченный знаком высокой исторической характерности лозунг «от Канта к Гете», который русским метафизикам оставалось только подхватывать

и развивать. Разработке этой темы и посвящена например статья С. Л. Франка о гносеологии Гете [94]. По существу это довольно полное и стройное изложение на гетевском материале основополагающих принципов русского интуитивизма, с его учением об онтологической реальности познаваемого предмета, об интуиции как основном методе знания и т. д.

Так диалектически замыкается исторический путь русской буржуазной гетеаны. Начав сокрушительной критикой феодально-дворянской трактовки Гете в период своего исторического восхождения, буржуазия, так и не поняв Гете до конца, не осознав вполне трагических противоречий его жизни и творчества, кончает в период своего заката тем, что возвращается к этой старой интерпретации, углубляя и заостряя ее отдельные моменты. Критическое осмысление гетевского наследия—реального, исторически подлинного, а не реконструируемого в оправдание тех или иных догматических систем—становится делом нового класса, вступающего на арену истории, становится делом пролетариата.

Что сделано в этом направлении до сих пор? На этот вопрос надо ответить прямо: пока немного. Пролетарское литературоведение обладает пока что только общей схемой своего понимания Гете, еще недостаточно разработанной в своих деталях и частностях. Исторически такое положение вещей понятно. Если идеологи буржуазного восхождения еще находили в отдельных произведениях Гете, наиболее полно отразивших прогрессивно-бюргерские элементы его творчества, какие-то нотки, созвучные их собственным идеалам и чаяниям, то для революционного пролетариата вертеровский или даже гецевский протест против феодально-крепостнического гнета казался детским лепетом, неспособным вдохновить ни на какую борьбу, ни на какое действие. С другой стороны, у пролетариата не могло возникнуть того резко оппозиционного отношения к Гете, которое характерно для мелкобуржуазного радикализма «Молодой Германии». Миросозерцание пролетариата очень рано получило научную базу в учении Маркса-Энгельса-Ленина, одним из исходных пунктов которого было положение о том, что «марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое значение как идеология революционного пролетариата тем, что он, марксизм, отнюдь не отбросил ценнейшие завоевания буржуазной эпохи, а, напротив усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры. Только дальнейшая работа на этой основе и в этом же направлении, одухотворяемая (практическим опытом) диктатуры пролетариата как последней борьбы его против всякой эксплоатации, может быть признана развитием действительно пролетарской культуры» [95]. В свете этого положения какие бы то ни было попытки огульного отрицания всемирно-исторической ценности гетевского наследия представлялись вредными и бессмысленными. Речь должна была итти и шла не о том, принимать или не принимать Гете, а о том, чтобы научно понять его во всей его противоречивости.

Для этого прежде всего надо было освободить Гете от той реакционно-идеалистической шелухи, которою облепила его буржуазия в период своего исторического заката, отмести те ложные «объяснения» исторического дела Гете, которые в различное время возникали у буржуазной историографии и ее псевдомарксистских подголосков. Среди русских представителей последних нельзя не указать на статейку достаточно известного П. Струве «Маркс о Гете», пытающуюся превратить Маркса в буржуазного

«объективиста», а марксистскую эстетику подменить идеалистической, утверждающей, что «поэзия не имеет цели вне себя—она сама себе цель» [96]. К сожалению развернутой критики его статья своевременно не встретила.

В работах русских литературоведов-марксистов, работах, относящихся даже к раннему, первоначальному этапу исторического становления марксистского литературоведения, основным объектом которых является творчество самого Гете, а не буржуазных гетеведов, этот полемический момент, момент преодоления возводимой буржуазной историографией легенды о Гете, неизменно выступает на первый план. Статья А. Луначарского например о проблеме рока в трактовке великих художников прошлого в части, посвященной «Фаусту», прежде всего и в первую очередь направлена против буржуазных интерпретаторов «Фауста», в концепции которых Фауст на старости лет делается не только святым, но в конце концов даже и жандармом, которые утверждают, что фаустовская «борьба с морем и постройка плотин есть только символ, что под ним нужно понимать борьбу с революцией» [97].

Но такие работы—работы, которые своей задачей ставят анализ смысла и содержания исторического дела Гете, а не критику построений буржуазной гетеаны,—единичны в нашем марксистском литературоведении. Кроме только что указанной статьи А. Луначарского, имеющей право называться марксистской, кстати не без оговорок, можно назвать еще, пожалуй, книгу Лихтенштадта о Гете—натуралисте и натурфилософе [98]. Но это не монографическое исследование, а свод бегло прокомментированных фактических материалов, с небольшой вступительной статьей о работе Гете над построением «биологического фундамента» своего миросозерцания и «оправдании этого миросозерцания перед лицом гносеологического анализа». Претворить массу собранного материала в нечто законченное автор, писавший эту книгу в Шлиссельбургской тюрьме и погибший в первые годы гражданской войны, не успел. Кроме того, как и только что названная статья А. Луначарского работа Лихтенштадта может быть включена в число марксистских только с очень и очень большими оговорками. Груз богдановских установок чувствуется в ней настолько заметно, что под его тяжестью совершенно пропадают те моменты, где автор как-то пытается приблизиться к подлинному диалектико-материалистическому пониманию натурфилософского наследия Гете.

Остаются таким образом немногие страницы о Гете, которые есть в общих курсах западноевропейской литературы, писанные авторами-марксистами, каков например В. М. Фриче и приближавшийся к марксизму П. С. Коган [99]. Но тот ответ, который они дают на вопрос, чем был Гете и какими своими сторонами его историческое дело ценно для нашей эпохи, не может не быть самым суммарным, общим и приблизительным. С исчерпывающей полнотой ответить на этот вопрос должно, опираясь на оценку, данную Гете классиками марксизма, марксистское литературоведение наших дней.

Текущий 1932 год—столетняя годовщина со дня смерти Гете—оказался довольно плодоносным в этот отношении. Мы не можем здесь вдаваться в подробный анализ всех русских марксистских работ о Гете, появившихся в связи с этим юбилеем: эти работы только что начали появляться, и дать развернутый их обзор и суммировать их выводы—дело специальной работы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Фактический материал по русскому вертерианству с исчерпывающей полнотой собран в печатаемой выше работе В. М. Жирмунского «Гете в русской поэзии». Здесь мы ограничиваемся только общим освещением вопроса.

[2] Н. Марлинский. Второе полное собрание сочинений, изд. 4-е, СПБ, 1847, т. IV, ч. XI, стр. 197.

[3] О гетеанстве Кюхельбекера, а также о русском гетеанстве первых трех десятилетий XIX в. вообще подробнее см. в печатаемой выше работе С. Н. Дурылина «Русские писатели у Гете в Веймаре».

[4] «Литературный музеум на 1827 г.».

[5] А. И. Герцен. Былое и думы. С биограф. очерком, вступит. статьей и комментариями Л. Б. Каменева. ГИЗ, М.-Л., 1931 г., т. I, стр. 329.

[6] Н. В. Станкевич. Переписка. Ред. и изд. Алексея Станкевича. М., 1914 г., стр. 561.

[7] Указ. изд., стр. 704.

[8] Указ. изд., стр. 698.

[9] Указ. изд., стр. 565.

[10] Указ. изд., стр. 468.

[11] «Т. Н. Грановский и его переписка». М., 1897 г., т. II, стр. 380.

[12] Н. В. Станкевич. Переписка, стр. 250.

[13] Указ. изд., стр. 176—177.

[14] Указ. изд., стр. 569.

[15] Описание Неверова помещено в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» 1839 г., т. I, стр. 711.

[16] «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, стр. 438.

[17] Указ. изд., т. II, стр. 438.

[18] Указ. изд., т. II, стр. 616.

[19] Указ. изд., т. II, стр. 107.

[20] Указ. изд., т. II, стр. 195.

[21] Указ. изд., т. I, стр. 270.

[22] Н. В. Станкевич. Переписка, стр. 468.

[23] Указ. изд., стр. 370.

[24] Указ. изд., стр. 665.

[25] «Сын Отечества» 1831 г., т. XVII, стр. 397, сл.

[26] «Сын Отечества и Сев. архив» 1838 г., т. I, стр. 27.

[27] «Современник» 1838 г., т. X, стр. 11, сл.

[28] Я. Неверов. Германская литература в последнее десятилетие 1830—1840 гг. «Отечеств. Записки» 1840 г., т. III, стр. 42.

[29] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Под ред. С. А. Венгерова, т. IV, стр. 433.

[30] Указ. изд., т. IV, стр. 436.

[31] Н. В. Станкевич. Переписка, стр. 534.

[32] «Московский Наблюдатель» 1838 г., март, кн. I.

[33] В. Г. Белинский. Письма. Ред. и прим. Е. А. Ляцкого, П., 1914 г., т. II, стр. 196.

[34] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 73.

[35] Там же.

[36] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 471.

[37] В. Г. Белинский. Письма, т. I, стр. 317.

[38] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. V, стр. 281.

[39] В. Г. Белинский. Письма, т. I, стр. 333—334.

[40] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 379

[41] Указ. изд., т. VI, стр. 24.

[42] В. Г. Белинский. Письма, т. II, стр. 282.

[43] Указ. изд., стр. 349—351.

[44] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 148.

[45] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений. Под ред. М. К. Лемке, т. I, стр. 141.

[46] Специально этому вопросу посвящена статья Л. Крестовой, Гете под пером молодого Герцена, публикуемая во втором томе альманахов «Звенья».

[47] А. В. Дружинин. Собрание сочинений. Ред. и изд. Н. В. Гербеля, т. VII, стр. 637.

[48] Указ. изд., т. V, стр. 354—355.

[49] Аполлон Григорьев. Собрание сочинений. Под ред. В. Саводника, вып. II, стр. 8—9.

[50] В. П. Боткин. Собрание сочинений, СПБ, 1890—1891, г., т. II, стр. 35.

[51]. А. В. Дружинин. Собрание сочинений, т. VII, стр. 195.

[52] Указ. изд., т. VII, стр. 219.

№ 1695

Примечания к переводу первой части Фауста.

Русская литература имеет два перевода первой части Фауста. Один был сделан Вронченко, другой — Губером. [illegible]

Автограф примечаний Н. Чернышевского к переводу первой части „Фауста“

Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

[53] Указ. изд., т. VII, стр. 222.
[54] Указ. изд., т. VI, стр. 719.
[55] В. П. Боткин. Собрание сочинений, т. II, стр. 278.
[56] Аполлон Григорьев. Собрание сочинений, вып. II, стр. 5.
[57] Н. Г. Чернышевский. «Литературное наследие», 1929 г., т. I, стр. 499.
[58] Указ. изд., т. I., стр. 332.
[59] Указ. изд., т. I, стр. 315.
[60] Указ. изд., т. I, стр. 293.
[61] Указ. изд., т. I, стр. 318.
[62] Указ. изд., т. I, стр. 436.
[63] Указ. изд., т. I, стр. 439.
[64] Д. И. Писарев. Полное собрание сочинений, изд. 5-е Павленкова, СПБ, 1811 г., доп. т., стр. 315.
[65] Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, изд. М. Н. Чернышевского. П., 1906 г., т. II, стр. 15.
[66] Указ. изд., т. I, стр. 154.
[67] Указ. изд., т. III, стр. 727.
[68] Чернышевский в Сибири. Переписка с родными. Под ред. Е. А. Ляцкого. М., 1912 г., т. III, стр. 150.
[69] Н. Г. Чернышевский. Собрание сочинений, т. III, стр. 150.
[70] Указ. изд., т. III, стр. 588.
[71] Указ. изд., т. III, стр. 589—590.
[72] В. Зайцев, Гейне и Берне.—«Русское Слово» 1863 г., кн. IX, стр. 15.
[73] Указ. изд., стр. 18,19.
[74] Д. И. Писарев. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 290.
[75] Там же.
[76] Указ. изд., т. IV, стр. 102—103.
[77] «Новое Время» от 22 ноября 1912 г. Заметка эта указана мне И. С. Зильберштейном.
[78] «Голос Минувшего» 1915 г., № 1, стр. 99.
[79] А. Струговщиков, Вертер. Опыт монографии с переводом романа Гете. П., 1856 г., стр. III.
[80] Г. Думшин, Гете, его жизнь и произведения.—«Библиотека для чтения», 1857 г., №№ 2, 3, 5, 7, 9, 12; 1858 г., №№ 5, 11, 12.
[81] Они перечислены в печатаемом ниже указателе В. П. Зубова.
[82] «Русская Мысль» 1884 г., № 11, стр. 273.
[83] Подробнее см. в сообщении И. Ипполита «Неизвестная рецензия Плеханова
[84] А. Шепшелевич, Этюды о «Фаусте».
[85] О других работах на эту тему см. в уже упоминавшейся работе С. Н. Дурылина «Русские писатели у Гете в Веймаре» (введение).
[86] См. в той же работе гл. II, III, IV.
[87] См. Лев Толстой и В. Стасов. Переписка. Л., 1929 г., стр. 358 сл.
[88] Андрей Белый, На рубеже двух столетий. М., 1930 г., стр. 5.
[89] К. Бальмонт, Избранник жизни.—«Жизнь» 1899 г., № 7, стр. 13.
[90] Там же.
[91] К. Бальмонт, Несколько слов о типе Фауста.—«Жизнь» 1899 г., № 9.
[92] Вяч. Иванов, Гете на рубеже двух столетий. Издание «История западной литературы» под ред. проф. Ф. Д. Батюшкова, т. I, стр. 114.
[93] Указ. изд., т. I, стр. 129.
[94] С. Л. Франк, О сущности художественного познания (гносеология Гете).—«Вопросы теории и психологии творчества», т. V.
[95] В. И. Ленин. Собрание сочинений, 2-е изд., т. XV, стр. 409—410.
[96] П. Б. Струве, Маркс о Гете—«Мир Божий» 1898 г., № 2 (Струве имел здесь в виду статью Энгельса о книге Грюна, считавшуюся тогда принадлежащей Марксу); см. также его сборник «На разные темы», СПБ, 1902 г., стр. 257.
[97] А. В. Луначарский, Этюды. ГИЗ, М.-Л., 1923 г., стр. 188.
[98] В. П. Лихтенштадт, Гете. Борьба за реалистическое мировоззрение. ГИЗ, П., 1920 г.
[99] В. М. Фриче, Очерк истории западноевропейской литературы. М., 1931 г.; П. С. Коган, Очерки по истории западноевропейской литературы. М., 1930 г.; ср. его же статьи: «Русский ученый школы Тэна» (о книге Шахова «Гете и его время»), «Русская Мысль» 1897 г., № 12, и «Два биографа» (Бельшовский и Фаге о Гете)—«Русская Мысль» 1898 г., № 12.
[100] Сведения о них читатель найдет в печатаемой ниже хронике гетевских торжеств в СССР, а также в библиографическом указателе В. П. Зубова.

О Б З О Р Ы

М. ПЕТРОВСКИЙ

СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА ГЕТЕ

Первые прижизненные собрания сочинений Гете появляются в очень раннюю эпоху и без участия автора, представляя собой незаконные перепечатки отдельно выходивших произведений [1]. Еще 1775—1776 гг. датировано издание, вышедшее под заглавием: Des Herrn Göthe sämtliche Werke (Biel, In der Heilmannischen Buchhandlung). С него перепечатано вышедшее в 1775—1779 гг. в Берлине у Химбурга (Christian Friedrich Himburg) издание в шести томах; озаглавленное Goethes Schriften. Оно в свою очередь вызвало перепечатки, из которых самой известной является карлсруйское издание Шмидера (Christian Gottlieb Schmieder) 1778—1780 гг. в четырех томах. В эти собрания вошли следующие произведения: Вертер. Боги, герои и Виланд. Гец фон Берлихинген. Клавиго. Эрвин и Эльмира. Стэлла. Клаудина де Вилла Белла. Кукольное действо (Puppenspiel). Масленичное действо (Fastnachtspiel) и некоторые статьи и стихотворения. Первое «законное» издание собрания сочинений при участии самого Гете вышло по подписке у лейпцигского издателя Гешена (Georg Joachim Göschen) в 1787—1790 гг. в восьми томах и тогда же (в 1787—1791 гг.) повторено им же как малое издание в четырех томах (заглавие: Goethe's Schriften). В него вошли следующие произведения: Zueignung. Werther. Götz. Die Mitschuldigen. Iphigenie. Clavigo. Die Geschwister. Stella. Triumph der Empfindsamkeit. Die Vögel (сатирическая комедия в подражание Аристофану). Egmont. Claudine von Villa Bella. Erwin und Elmire. Tasso. Lila. Faust: Ein Fragment. Jery und Bätely. Scherz, List und Rache. Puppenspiel. Prolog zu Bahrdt. Vermischte Gedichte: Erste, Zweite Sammlung. Künstlers Erdewallen. Künstlers Apotheose. Die Geheimnisse (Посвящение. Вертер. Гец. Совиновники. Ифигения. Клавиго. Брат и сестра. Стэлла. Торжество чувствительности. Птицы. Эгмонт. Клаудина де Вилла Белла. Эрвин и Эльмира. Тассо. Лила. Фауст: Фрагмент. Йери и Бетели. Шутка, коварство и месть. Кукольное действо. Пролог к Барту. Смешанные стихотворения: первое и второе собрание. Земная жизнь художника. Апофеоз художника. Тайны). Из больших произведений здесь впервые напечатаны: Ифигения, Эгмонт, фрагмент Фауста, Тассо. Следующее собрание сочинений Гете осуществляет в 1792—1800 гг. у берлинского издателя Унгера (Johann Friedrich Unger) в семи томах под заголовком «Новые произведения» (Goethe's neue Schriften). Содержание по томам таково: I—комедия Der Gross-Cophta (Великий Кофта) с приложением статьи Des Joseph Balsamo, genannt Cagliostro, Stammbaum (Родословие Иосифа Бальзамо, по прозванию Кальостро). Der römische Carnaval (Римский карнавал; описание, включенное впоследствии в Итальянское путешествие); II—Reinecke Fuchs (Рейнеке-лис); III—VI—Wilhelm Meisters Lehrjahre (Годы учения Вильгельма Мейстера); VII—Lieder. Balladen und Romanzen. Elegien. Epigramme: Venedig, 1790. Weissagungen des Bakis. Vier Jahreszeiten. Theaterreden, gehalten zu Weimar (Песни. Баллады и романсы. Элегии. Венецианские эпиграммы 1790. Прорицания Вакида. Четыре времени года. Театральные речи в Веймаре). Свое издание Унгер затем перепечатал в восьми томах в 1801—1809 гг. в Мангейме.

С 1806 г. исключительное право издания собрания своих сочинений Гете передает книготорговцу и издателю Котта (Johann Friedrich Cotta) [2], у которого частично Гете и ранее печатался, начиная с основанного Коттой вместе с Шиллером в 1795 г. журнала «Оры» (Die Horen). Заслуживает быть отмеченным что, преследуя коммерческие цели и постепенно вовлекая Гете в круг своих издательских интересов, Котта не остался без влияния на само творчество Гете. Так, в 1800 г. он при посредстве Шиллера убеждал Гете закончить «Фауста», и отчасти под его воздействием возник эпилог к Шиллеровой «Песне о колоколе» (1805). Свое право издания Котта сумел удержать [3] в течение всей жизни Гете, и оно сохранялось за его фирмой вплоть до 60-х годов, а в начале XX в. Коттавская фирма в ознаменование столетия своих гетевских изданий осуществила одно из лучших собраний сочинений Гете—так называемое юбилейное издание, о чем ниже. Первое коттавское собрание вышло в три-

надцати томах в Тюбингене в 1806—1810 гг. под заглавием Goethe's Werke. Гете расположил в нем свои произведения по томам следующим образом: I (1806)—Lieder. Vermischte Gedichte. Balladen und Romanzen. Elegien. Episteln. Epigramme (Песни. Смешанные стихотворения. Баллады и романсы. Элегии. Эпистолы. Эпиграммы); II—III (1806)—Wilhelm Meisters Lehrjahre (Годы учения Вильгельма Мейстера); IV (1806)—Die Laune des Verliebten. Die Mitschuldigen. Die Geschwister. Mahomet. Tancred. Elpenor (Каприз влюбленного. Совиновники. Брат и сестра. Магомет. Танкред. Эльпенор); V (1807)—Götz. Egmont. Stella. Clavigo (Гец. Эгмонт. Стэлла. Клавиго); VI (1807)—Iphigenie. Tasso. Die natürliche Tochter (Ифигения. Тассо. Побочная дочь); VII (1807)—Claudine. Erwin und Elmire. Jery und Bätely. Lila. Die Fischerin. Scherz, List und Rache. Der Zauberflöte zweiter Teil (Клаудина. Эрвин и Эльмира. Йери и Бетели. Лила. Рыбачка. Шутка, коварство и месть. Вторая часть Волшебной флейты); VIII (1808)—Faust (первая часть). Puppenspiel. Fastnachtspiel. Prolog zu Bahrdt. Parabeln. Legende. Hans Sachsens poetische Sendungs. Auf Mieding Tod. Künstlers Erdewallen. Künstlers Apotheose. Epilog zu Schillers Glocke. Die Geheimnisse (Фауст. Кукольное действо. Масленичное действо. Пролог к Барту. Параболы. Легенда. Поэтическое призвание Ганса Закса. На смерть Мидинга. Земная жизнь художника. Апофеоз художника. Эпилог к Шиллерову Колоколу. Тайны); IX (1808)—Der Gross-Kophta. Der Triumph der Empfindsamkeit. Die Vögel. Der Bürgergeneral. Gelegenheitsgedichte (Великий Кофта. Торжество чувствительности. Птицы. Гражданский генерал. Стихотворения на случай); X (1808)—Reinecke Fuchs. Hermann und Dorothea. Achilleis (Рейнеке-лис. Герман и Доротея. Ахиллеида); XI (1808)—Werther. Briefe aus der Schweiz (Вертер. Письма из Швейцарии); XII (1808)—Das römische Carneval. Ueber Italien. Fragmente eines Reisejournals. Des Joseph Balsamo, genannt Cagliostro, Stammbaum. Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. Das Märchen (Римский Карнавал. Об Италии. Фрагменты путевого дневника. Родословие Иосифа Бальзамо, по прозванию Кальостро. Беседы немецких эмигрантов. Сказка); XIII (1810)—Die Wahlverwandtschaften (Избирательное сродство душ).

Второе коттавское издание составило уже двадцать томов (Goethe's Werke. 20 Bände. Stuttgart und Tübingen. 1815—1819). Последовательность расположения материала осталась в общем прежняя. Но включение новых произведений раздвинуло рамки издания и повлекло соответствующие изменения и частичные перестановки в содержании отдельных томов. Стихотворения занимают здесь уже два тома: I и II. Ученические годы В. Мейстера—соответственно III и IV тт. Дальнейшие томы дополнены против первого издания следующими вещами: V (=IV [1]) [4]—маленькой «поздравительной» пьесой Palaeophron und Neoterpe, двумя драматическими прологами к открытию театров («Was wir bringen») и театральными речами; VIII (=VII[1])—Maskenzüge. Carlsbader Gedichte. Des Epimenides Erwachen (Маскарадные шествия. Карлсбадские стихотворения. Пробуждение Эпименида); IX (=VIII [1])—Satyros (Сатир); X (=IX [1])—Die Aufgeregten (Мятежные); XI (=X [1])—Pandora (Пандора); XIII (=XII[1])—Die guten Weiber (Хорошие женщины). Начиная с XV тома мы имеем уже совсем новый материал против первого издания: XV, XVI (1818)—перевод Записок Бенвенуто Челлини; XVII, XVIII (1818), XIX (1819)—Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. 1—3 Theile (Из моей жизни. Поэзия и правда. 1—3 части); XX (1819)—Rameaus Neffe (перевод повести Дидро). Diderots Versuch über die Mahlerei (перевод Essais sur la Peinture Дидро). Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke. Der Sammler und die Seinigen. Summarische Jahresfolge Goethescher Schriften (Племянник Рамо. Опыт Дидро о живописи. О правде и правдоподобии художественных произведений. Собиратель и его присные. Хронологический перечень произведений Гете). До 1822 г. это издание было еще продолжено и доведено до XXV тома, включив в себя новые произведения, вышедшие за эти годы отдельно, как то: West-östlicher Divan, Wilhelm Meisters Wanderjahre (Западно-восточный Диван. Годы странствий Вильгельма Мейстера) и др. В то же время, дабы предупредить в дальнейшем австрийские перепечатки своего издания (в 1808—1811 гг. в Вене уже успела появиться у Антона Штрауса (Anton Strauss) пятнадцатитомная перепечатка первого коттавского издания), Котта предпринял свое собственное Венское параллельное издание в двадцати шести томах (Goethe's Werke. Original-Ausgabe. Wien, 1816—1821. Bei Chr. Kaulfuss und C. Armbruster. Stuttgart, In der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Gedruckt bei Anton Strauss), считающееся до сих пор одним из красивейших изданий Гете по своему художественному оформлению и важным в текстологическом отношении.

Наконец последним и самым полным прижизненным изданием сочинений Гете явилось так называемое Vollständige Ausgabe letzter Hand, вышедшее у Котта в Штутгарте и Тюбингене в сорока томах в 1827—1830 гг. Насколько

заботился Гете о тщательном выполнении этого «полного окончательного» издания, показывает обширная переписка его с K. Göttling'ом, которому он поручил подготовку текстов к печати, и с заведующим коттавской типографией W. Reichel'ем. Расположение произведений по томам, особенно интересное для нас как выражение последней авторской воли, таково: I—IV—Стихотворения (со включением сюда и некоторых небольших драматических вещей) [5]; V—Западно-восточный Диван; VI — Комментарии к Дивану; VII—Каприз влюбленного. Совиновники. Брат и сестра. Магомет. Танкред; VIII—Гец. Эгмонт; IX—Ифигения. Тассо. Побочная дочь; X—Эльпенор. Клавиго. Стэлла. Клаудина. Эрвин и Эльмира; XI—Йери и Бетели. Лила. Рыбачка. Шутка, коварство и месть. Волшебная флейта. Палеофрон и Неотерпа. Театральные прологи 1807 и 1814 гг. Театральные речи; XII—Фауст; XIII—Ку-

Goethe's

Schriften.

Achter Band.

Leipzig,

bey Georg Joachim Göschen,

1789.

Титульный лист восьмого тома сочинений Гете, изданного в Лейпциге в 1789 г.

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

кольное действо. Ярмарка в Плундерсвейлерне. Масленичное действо. Сатир. Барт. Парабола. Легенда. Ганс Закс. На смерть Мидинга. Земная жизнь и апофеоз художника. Эпилог к Шиллерову Колоколу. Тайны. Маскарадные шествия. Стансы. Карлсбадские стихотворения. Пробуждение Эпименида; XIV—Торжество чувствительности. Птицы. Великий Кофта. Гражданский генерал; XV—Мятежные. Беседы немецких эмигрантов. Хорошие женщины. Новелла; XVI—Вертер. Письма из Швейцарии; XVII—Избирательное сродство душ; XVIII—XX—Годы учения В. Мейстера; XXI—XXIII—Годы странствий В. Мейстера; XXIV—XXVI—Поэзия и правда; XXVII—XXIX—Итальянское путешествие; XXX—Campagne in Frankreich (Французский поход); XXXI—XXXII—Tag- und Jahreshefte. Herzogin Amalia. Wieland (Дневники и летописи. Герцогиня Амалия. Виланд); XXXIII—Рецензии. Прометей. Боги, герои и Виланд; XXXIV—XXXV—Записки Бенвенуто Челлини; XXXVI—Переводы из Дидро; XXXVII—XXXIX—статьи об искусстве; XL—Рейнеке-лис. Герман и Доротея. Ахиллеида. Пандора. Помогавшие Гете в подготовке этого собрания сочинений секретари его Ример и Экерман уже в год его смерти приступили к продолжению издания. За 1832—1834 гг. ими было выпущено пятнадцать томов (Goethes Nachgelassene Werke. Stuttgart und Tübingen), а впоследствии,

в 1842 г., они были дополнены еще пятью. Содержание по томам следующее: XVI—Faust. Der Tragödie zweiter Theil (Фауст. Вторая часть трагедии); XVII—Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen Hand, dramatisiert. Götz, für die Bühne bearbeitet (История Готфрида фон Берлихингена, железной руки, драматизированная. Гец, обработанный для сцены), XLIII—Швейцарское путешествие 1797 г. Рейнское путешествие 1814/15 г.; XLIV—статьи об искусстве; XLV—статьи о театре и немецкой литературе; XLVI—статьи об иностранной литературе и народной поэзии; XLVII—Jugendgedichte. Lieder für Liebende. Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten. Vermischte Gedichte. Original und Nachbildung. Festgedichte. Gedichte zu Bildern. Inschriften und Erinnerungsblätter. Politica. Zahme Xenien. Der neue Alcinous (Юношеские стихотворения. Песни для любящих. Китайско-немецкие времена года и дня. Смешанные стихотворения. Подлинник и копия. Праздничные стихотворения. Стихотворения к картинам. Надписи и памятки. Политика. Кроткие ксении. Новый Алкиной); XLVIII—Поэзия и правда, четвертая часть; XLIX—Einzelheiten. Maximen und Reflexionen (Отдельные заметки. Максимы и размышления); L—LV—естественно-научные труды; LVI—Vermischte Gedichte. An Personen. Invectiven. Zahme Xenien. Zum Divan. Maximen und Reflexionen. Verschiedenes Einzelne (Смешанные стихотворения. К отдельным лицам. Инвективы. Кроткие ксении. К Дивану. Максимы и размышления. Смесь); LVII—Die Wette, Lustspiel. Iphigenie in Prosa. Erwin und Elmire in der frühesten Gestalt. Claudine von Villa Bella in der frühesten Gestalt. Die ungleichen Hausgenossen. Zwei ältere Scenen aus dem Jahrmarktsfest zu Plundersweilern. Hanswursts Hochzeit. Paralipomena zu Faust, Fragmente einer Tragödie. Die natürliche Tochter, Schema der Fortsetzung. Pandora, Schema der Fortsetzung. Nausikaa (Спор, комедия. Ифигения в прозе. Эрвин и Эльмира в ранней редакции. Клаудина де Вилла Белла в ранней редакции. Неравные сожители. Две более ранних сцены из Ярмарки в Плундерсвейлерне. Свадьба Гансвурста. Паралипомены к Фаусту, фрагменты трагедии. Побочная дочь, схема продолжения. Пандора, схема продолжения. Навзикая); LVIII—LX—естественно-научные труды; кроме того в последнем томе (LX)—биографические мелочи (Biographische Einzelheiten) и хронология произведений. Параллельно с этим «карманным изданием» (Taschenausgabe) выходило за эти же годы (1827—1842) издание большего формата. Следует отметить в этой связи редактированное тоже Римером и Экерманом двухтомное (в четырех полутомах) издание 1836—1837 гг. как содержавшее некоторые впервые в нем опубликованные вещи (Goethe's poetische und prosaische Werke in 2 Bänden, hrsg. von F. W. Riemer und J. P. Eckermann, Stuttgart und Tübingen); затем сорокатомное издание 1840 г. (Goethe's sämtliche Werke in 40 Bänden. Vollständige, neugeordnete Ausgabe), шеститомное издание 1855 г., выпущенное Коттой специально для Америки, и позднейшие, начиная с 1866 г., издания, снабженные вступительными статьями Гедеке (Karl Goedeke).

Все эти издания не являются критическими в собственном смысле [6]. Некоторый шаг в этом направлении был сделан Мускулусом, составившим к коттавскому изданию 1840 г. алфавитный перечень имен упоминаемых лиц, а также некоторых произведений анонимных авторов, с указанием мест, в которых Гете упоминает или говорит о своих произведениях (Alphabetisches Namen-Register der in Goethe's Werken, Taschen-Ausgabe 1840, erwähnten Personen, ingleichen einiger Schriften von anonymen Verfassern; nebst einem Verzeichniss der Stellen an denen Goethe seine eigenen Productionen erwähnt oder bespricht, verfertigt von Christian Theodor Muskulus. Stuttgart und Tübingen. J. G. Cotta'scher Verlag. 1842), и тут же можно упомянуть изданные Боасом дополнения к собранию сочинений 1840 г., представляющие собой вновь открытые и опубликованные в отдельных работах неизвестные дотоле произведения Гете (Nachträge zu Goethe's sämtlichen Werken. Gesammelt und herausgegeben von Eduard Boas. Leipzig. 1841. 3 Bde). Резкая оппозиция преклонению перед Гете, характерная особенно для второй четверти XIX столетия и возникшая в противоположных общественных кругах, с одной стороны в либерально-радикальных (Менцель, Берне, Гервинус), упрекавших Гете в политическом индиферентизме, а то и прямо в реакционности [7], с другой—в ортодоксально-протестантских, видевших в Гете «язычника», не могла не сказаться отрицательно на изучении Гете в эту эпоху. Лишь к концу этого периода наступает возрождение научного интереса к Гете, и важной для судеб гетевского литературного наследия датой является 1848 год, когда лейпцигский издатель и книготорговец Хирцель (Salomon Hirzel) анонимно опубликовал описание своего богатейшего собрания рукописей и изданий Гете (Verzeichnis einer Goethe-Bibliothek. 1848. Gedruckt bei Breitkopf und Härtel in Leipzig [8]). Поскольку архив Гете, державшийся под спудом его наследниками (о чем ниже), оставался в это время недоступным для исследователей,

дело Хирцеля приобретает особое значение. Позднее Хирцелем было осуществлено не менее значительное издание—трехтомное собрание писем и произведений молодого Гете с обширным введением Михаила Бернайса (Der junge Goethe. Seine Briefe und Dichtungen von 1764—1776. Mit einer Einleitung von Michael Bernays. Leipzig, Verlag von S. Hirzel. 1875. 3 Bde). В значительно расширенном и переработанном виде, дополненное не только литературными материалами, но и рисунками, но без статьи Бернайса, оно переиздано в новое время Максом Моррисом и является важнейшим источником для изучения молодого Гете (Der junge Goethe. Neue Ausgabe in sechs Bänden besorgt von Max Morris. Leipzig, Inselverlag. 1909—1912).

Постепенно подготовилась почва и для первого критического собрания сочинений Гете, которое предпринято было однако не Коттавским издательством. Когда срок его прав истек, такое издание осуществил в 1868—1879 гг. в Берлине Хемпель (Gustav Hempel) под общей редакцией фон Лёпера (Gustav von Loeper) при участии Strehlke, Kalischer'a, von Biedermann'a и Düntzer'a (Goethe's Werke. Nach den vorzüglichsten Quellen revidierte Ausgabe. Nebst einer Biographie des Dichters von Fr. Förster. 36 Theile in 23 Bdn. Berlin, Hempel). Это хемпельское издание (переизданное в 1882—1884 гг.) оставалось основным для работ по Гете в течение ряда лет, и даже после того, как в значительной своей части уже вышло веймарское издание (см. ниже), на основе хемпельского издания продолжали появляться новые комментированные издания. Из них самое полное начало выходить с 1909 г. (Goethes Werke. Vollständige Ausgabe in 40 Teilen (20 Bde). Auf Grund der Hempelschen Ausgabe neu herausgegeben, mit Einleitungen und Anmerkungen sowie einem Gesamtregister versehen von Karl Alt in Verbindung mit Emil Ermatinger, S. Kalischer, Wilhelm Niemeyer, Rudolph Pechel, Robert Riemann, Eduard Scheidemantel und Christian Waas. Berlin—Leipzig, Wien—Stuttgart, Deutsches Verlagshaus Bong & Co. Goldene Klassiker-Bibliothek); из трех последних томов этого издания два (XVIII, XIX) заняты примечаниями, а третий (XX)—указателем по следующим разделам: 1. Гете о своих произведениях. 2. Предметный указатель. 3. Указатель имен. 4. Указатель мест. 5. Перечень всех произведений. 6. Перечень всех стихотворений по начальным строчкам и заглавиям.

Из изданий конца XIX в. следует выделить историко-критическое издание, вышедшее в популярно-научной серии Kürschners Deutsche Nationalliteratur (Goethes Werke. Berlin und Stuttgart, Verlag von W. Spemann (1882—1897). XXXVI Theile. Historisch-kritische Ausgabe hrsgg. von Joseph Kürschner); художественные и критические произведения (I—XXXII тт.) обработаны в нем Düntzer'ом, A. G. Meyer'ом, Schröer'ом и G. Witkowski'м; естественно-научные (XXXIII—XXXVI)—известным впоследствии антропософом Рудольфом Штейнером. Комментарии здесь чрезвычайно подробны, а в части дюнцеровских «толкований» текста превышают даже в этом смысле всякую меру.

Все наиболее значительные издания XX в., за исключением указанного выше в серии Goldene Klassiker-Bibliothek, опираются уже на веймарское издание, к которому теперь и переходим. Грандиозное издание это (Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Grossherzogin Sophie von Sachsen. Weimar, Hermann Böhlau 1887—1919), доведенное ныне до 133 томов (в 143-х книгах), могло быть осуществлено только много лет спустя после смерти Гете. Дело в том, что наследники семейного архива Гете, внуки его Вальтер и Вольфганг, в течение всей своей жизни не разрешали доступа к нему. Лишь после смерти последнего из них, старшего, Вальтера (15 апреля 1885 г.), по его завещанию весь архив перешел в распоряжение великой герцогини Софии Саксонской, которая немедленно открыла его для научной разработки, привлекши к ней виднейших ученых современной Германии [9]. Уже в июне 1885 г., учреждено было в Веймаре Гетевское общество (Goethegesellschaft), которое и поставило себе целью осуществить «в чистоте и полноте» (in der Reinheit und Vollständigkeit) издание всего литературного наследия Гете на основе всех ставших отныне доступными материалов и руководясь в планировке его собственной волей автора, выразившейся в установленных им самим нормах для последнего прижизненного издания (Ausgabe letzter Hand). Редакторами издания стали Густав фон Лёпер, Эрих Шмидт, Герман Гримм (заместивший умершего 6 августа 1886 г. Вильгельма Шерера), Бернгард Зейферт и Бернгард Зуфан; список сотрудников, опубликованный при первом томе издания, достигал 67 лиц.

Веймарское издание распадается на четыре раздела (Abtheilungen): I раздел содержит все литературные в широком смысле произведения (Werke); II—естественно-научные сочинения (naturwissenschaftliche Schriften); III—дневники (Tagebücher); IV—письма (Briefe). В первом разделе 53 тома и 2 тома указателя (Register); во втором—13 томов; в третьем—13 томов и 2 тома (3 книги) указателя; в четвертом—

50 томов; указатели ко второму и четвертому разделам размещены в отдельных томах по группам. Являясь почти исчерпывающим по полноте («почти», ибо нельзя предусмотреть новых находок каких-нибудь гетевских текстов, но все они очевидно должны найти себе место в дополнениях к изданию [10]) и каноническим по выверенности текста, веймарское издание дает кроме того свод всех разночтений и вариантов и все необходимые текстологические и библиографические сведения, что делает его единственным и незаменимым для исследователя. Скудные, сравнительно с многими другими изданиями, реально-биографические и историко-литературные комментарии образуют однако достаточный рабочий аппарат для подготовленного читателя.

Из последовавших за монументальным веймарским изданием более доступных собраний сочинений Гете на первом месте следует поставить так называемое юбилейное издание Коттавской фирмы (Goethes Sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe in 40 Bänden. In Verbindung mit Konrad Burdach, Wilhelm Creizenach, Alfred Dove, Max Hermann, Otto Heuer, Albert Köster, Richard M. Meyer, Max Morris, Franz Muncker, Wolfgang von Oettingen, Otto Pniower, August Sauer, Erich Schmidt, Hermann Schreyer und Oskar Walzel herausgegeben von Eduard von der Hellen. Stuttgart und Berlin. J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger [1902—1907]+Register von Ed. von der Hellen [1912]). Как видно из списка участников, большинство из них являются и основными сотрудниками веймарского издания. Не будучи совершенно полным, оно охватывает однако все произведения, предназначенные самим Гете для последнего, подготовленного им собрания, присоединяя к ним из посмертных (Nachlass) «только действительно значительные в художественном и научном отношении». Критически выверенный текст, обширные вступительные статьи, посвященные творческой истории отдельных произведений и историко-литературной их характеристике, и наконец толковые примечания, основанные на ученом исследовании, но обходящиеся без ученых форм выражения и имеющие целью способствовать более глубокому пониманию читателем отдельных мест произведений, делают его лучшим в Германии научно-популярным изданием. Художественные произведения занимают в нем 1—21 тт.; 22—30 тт. заключают в себе художественно-автобиографические произведения; 31—32 тт.—перевод Челлини; 33—35 тт.—статьи об искусстве; 36—38 тт.—статьи о литературе; 39—40 тт.—естественно-научные сочинения. Исключительные удобства для пользования этим изданием представляет занимающий особый дополнительный том подробнейший справочник (Register), дающий не только указатель произведений, имен и географических названий, но как совершенно новый опыт—указатель тем и идей (Sach- und Gedankenregister). В современной литературе о Гете обычны ссылки именно на это издание.

К первым же годам столетия относится тридцатитомное издание Библиографического института (Goethes Werke. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrten hrsgg. von Prof. Dr. Karl Heinemann. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe. Leipzig und Wien. Bibliografisches Institut [1901—1908]. 30 Bde), в котором кроме главного редактора Хейнемана приняли участие G. Ellinger, G. Klee, O. Harnack, Th. Matthias, V. Schweizer, H. Maync, R. Weber, K. Vossler и W. Bölsche; ценность его заключается в очень подробных историко-литературных комментариях. В недавнее время Библиографический институт выпустил новое восемнадцатитомное издание под редакцией Печа (Goethes Werke. Festausgabe herausgegeben von Robert Petsch. Leipzig, Bibliographisches Institut. 18 Bde).

С 1905 г. предприняла свое издание известная лейпцигская фирма Insel-Verlag (Goethes sämtliche Werke in sechzehn Bänden. Grossherzog Wilhelm Ernst-Ausgabe deutscher Klassiker). Ныне оно переиздано в семнадцати томах (Goethes sämtliche Werke in siebzehn Bänden. Herausgeben von Fritz Bergmann, Hans Gerhard Gräf, Max Hecker, Gunther Ipsen, Kurt Jahn und Carl Schüddekopf. Neue Ausgabe auf Dünndruckpapier). Хотя издание это не снабжено комментариями, оно представляет большую ценность по следующим своим качествам: оно чрезвычайно полно и экономно, умещая, благодаря особой тонкой бумаге, круглым счетом 15.000 страниц текста в свои семнадцать изящных томиков, текст в совершенстве выверен виднейшими современными текстологами Гете; различные редакции главных произведений даны полностью, а не отдельными разночтениями (Фауст, Вертер, Вильгельм Мейстер, Стэлла). Материал расположен по жанровым группам и в хронологической последовательности внутри каждой группы. В том же формате изданы дополнительно два тома писем и дневников (Goethes Briefe und Tagebücher. Herausgeben von Hans Gerhard Gräf) и два тома разговоров (Goethes Gespräche mit Eckermann.—Goethes Gespräche ohne die Gespräche mit Eckermann. Ausgewählt von Flodoard Freiherrn von Biedermann).

Единственным в своем роде является предпринятое мюнхенским издательством Георга Мюллера собрание сочинений Гете, только что законченное сорок пятым томом, с распределением материала по единому принципу: хронологической последовательности (Propyläen-Ausgabe von Goethes Sämtlichen Werken. Georg Müller Verlag. München [1909—1932]). Такой «календарный план», в котором отдельные стихотворения, драмы, повести, статьи, сопровождаемые отрывками из дневников и писем, перемежаются друг с другом в порядке творческой истории, конечно мог быть проведен только на основе всей огромной текстологической и биографической работы, продуктом которой явилось веймарское издание; полнейшей точности здесь конечно не достигнуто и никогда не может быть достигнуто, и кроме того в отно-

Титульный лист первого тома сочинений Гете, изданного в Мангейме в 1801 г.
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

шении крупных произведений, как Фауст, В. Мейстер и пр., писавшихся долгие годы и с перерывами, неизбежны были некоторые отступления. При всем том издание это имеет чрезвычайный интерес как воссоздающее творческий образ Гете в естественной, так сказать, монтировке его произведений и разумеется представляет исключительные удобства для справок. Оно не комментировано. При нем—дополнительный том, посвященный иконографии Гете (Die Bildnisse Goethes. Hrsgg. von Ernst Schulte-Strathaus. Propyläen-Ausgabe... Erstes Supplement. München 1910).

* * *

Объем понятия литературного наследия в широком смысле охватывает конечно и письма, и дневники писателя. Особенно же это относится к тому типу писателя, литературное творчество которого органически неразрывно связано с самой его жизнью, является исповедью его жизни, как и смотрел на свое творчество Гете. Если художественные его произведения представляют собой таким образом постоянный комментарий его жизни и непререкаемый «символический» источник всякой его биографии, то обратно: письма и дневники, представляя собой лучший комментарий его художественной продукции, в то же время сами являются ценнейшими ли-

тературными памятниками; граница между этими «автобиографическими документами» и литературными, в тесном смысле слова, произведениями почти стирается.

Дневники Гете охватывают его жизнь, начиная почти с двадцатилетнего возраста (страсбургские «Эфемериды» 1770 г.). Сам Гете не публиковал их, но широко пользовался ими для автобиографических своих сочинений, особенно для Анналов, доведенных им с года рождения до 1822 г. Ныне дневники занимают тринадцать томов веймарского издания и вошли также в Propyläenausgabe. Существует ряд отдельных изданий; прекрасную антологию из дневников и писем без комментариев, но с толковым указателем издал Греф (Goethes Briefe und Tagebücher. Herausgegeben von Hans Gerhard Gräf. 2 Bde. Leipzig, Insel-Verlag).

Не включая писем в собрания своих сочинений, сам Гете все же положил начало изданию их, опубликовав в конце жизни свою переписку с Шиллером (Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den Jahren 1794 bis 1805. 6 Theile. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1828—1829) и подготовив к печати переписку с Цельтером, изданную Римером в ближайшие годы после его смерти (Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832. Herausgegeben von Dr. Friedrich Wilhelm Riemer. 6 Theile. Berlin 1833—1834. Verlag von Duncker und Humbolt). Отдельные публикации писем Гете следуют одна за другой, пока не завершаются сводом его богатейшего эпистолярного наследия, круглым счетом 14.000 номеров, в веймарском издании, где они расположены в хронологической последовательности. Удобным для пользования и обозримым изборником этого необозримого материала является шеститомное издание фон дер Хеллена: Goethes Briefe. Ausgewählt und in chronologischer Folge herausgegeben von E. von der Hellen. Stuttgart 1901—1909 (Cottasche Bibliothek der Weltliteratur); наряду с ним следует рекомендовать собрание Рихарда М. Мейера как дающее также и соответствующие письма корреспондентов Гете (Goethe und seine Freunde im Briefwechsel. Herausgegeben und eingeleitet von Richard M. Meyer. 3 Bde. Berlin, Georg Bondi 1909—1911). Новонаходимые письма Гете больше всего публикуются в периодических изданиях: Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft, Weimar, и Jahrbuch der Sammlung Kippenberg, Leipzig, Insel-Verlag. Из новых отдельных изданий переписки Гете особенно интересны: длившаяся последние 44 года его жизни переписка с художником Генрихом Мейером (Goethes Briefwechsel mit Heinrich Meyer. Herausgegeben von Max Hecker. Weimar 1917—1922. Schriften der Goethe-Gesellschaft. Bde 32, 34, 35) и с супругами Сарториус (Goethes Briefwechsel mit Georg und Karoline Sartorius. Herausgegeben von E. von Monroy. Weimar, Böhlau 1931). Письма к Гете, хранящиеся в Гете- и Шиллер-Архиве, в громадной своей части еще не изданы. Число их доходит до 50.000.

От писем—естественный переход и к «разговорам» Гете. Разница здесь, в сущности,—между письменным и устным видом б е с е д ы, т. е. не столько по содержанию, сколько по степени документальной достоверности. А с другой стороны, разговорное высказывание, при условии его подлинности, особенно ценно, ибо особенно непосредственно запечатлевает самую минуту, так сказать, того или иного человеческого переживания. Бесспорно поэтому, что и разговоры Гете должны войти в понятие его литературного наследства, но эта часть литературного наследства требует особо строгого критического издания и особой методологии исследования степени ее подлинности. Можно смело сказать, что по количеству записей бесед Гете едва ли стоит не на первом месте в мировой литературе. Наиболее ценными записями гетевских бесед, изданными отдельными книгами, являются записи секретарей его Экермана (первое издание: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 1823—1832. Von Johann Peter Eckermann. 2 Theile. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1836; Id. Dritter Theil. Magdeburg, Heinrichshofen'sche Buchhandlung. 1848; лучшее критическое издание, дополненное по рукописям Экермана, принадлежит Хубену: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens von J. P. Eckermann. Einundzwanzigste Originalauflage. Nach dem ersten Druck, dem Originalmanuskript des dritten Teils und Eckermans handschriftlichem Nachlass neu herausgegeben von Professor Dr. H. H. Houben. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1925) и Римера (Mittheilungen über Goethe. Aus mündlichen und schriftlichen, gedruckten und ungedruckten Quellen. Von Dr. Friedrich Wilhelm Riemer. 2 Bde. Berlin, Verlag von Duncker und Humbolt. 1841; новое издание: Friedrich Wilhelm Riemer. Mitteilungen über Goethe. Auf Grund der Ausgabe von 1841 und des handschriftlichen Nachlasses herausgegeben von Arthur Pollmer. Leipzig 1921), затем канцлера фон Мюллера (Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedrich von Müller. Herausgegeben von C. A. H. Burkhardt. Stuttgart. Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1870; Id. 3. Auflage. Stuttgart und Berlin 1904), Фалька (Goethe aus näheren persönlichen Umgange

dargestellt. Ein nachgelassenes Werk von Johannes Falk. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1832) и естествоиспытателя Соре (его дневники были использованы Экерманом в третьей части его книги; рукопись их на французском языке хранится в Веймарском архиве; в 1905 г. издан был немецкий перевод: Goethes Unterhaltungen mit Friedrich Soret. Nach dem französischen Texte als eine bedeutend vermehrte und verbesserte Ausgabe des dritten Teils der Eckermannschen Gespräche, herausgegeben von Dr. C. A. H. Burkhardt. Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger; ныне критическое издание осуществлено Хубеном: Frédéric Soret. Zehn Jahre bei Goethe. Aus Sorets handschriftlichem Nachlass, seinen Tagebüchern und seinem Briefwechsel zum erstenmal zusammengestellt, übersetzt und erläutert von H. H. Houben. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1929; в прошлом году вышло французское издание: Frédéric Soret. Conversations avec Goethe. Collection de textes rares ou inédits. 1931).

Собрание всех устных высказываний Гете, монтировав их в хронологической последовательности, предпринял еще в восьмидесятых годах прошлого века Бидерман (Goethes Gespräche. Herausgeber W. Frhr. v. Biedermann. 10 Bde. Leipzig 1889—1896). Фундаментальный труд его продолжил и переиздал в очень расширенном виде сын его (Goethes Gespräche. Gesamtausgabe. Neu herausgegeben von Flodoard Frhr. von Biederman unter Mitwirkung von Max Morris, Hans Gerhard Gräf und Leonhard L. Mackall. 5 Bde. Leipzig, F. W. v. Biedermann 1909—1911). Являясь грандиознейшим сводом всех сообщений о «разговорах» Гете, начиная с пятилетнего его возраста, которыми до 1911 г. могла располагать наука о Гете, бидерманновское собрание имеет конечно непререкаемую ценность. Но в отношении своей достоверности весь этот богатейший материал требует серьезной критической проработки. Задача труднейшая, но первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Вопросу о Фальке посвящена диссертация Витте (Witte, Falk und Goethe. Rostock, 1912), который признал значительную достоверность его записей, хотя в отношении точности передачи слов Гете они несомненно уступают Экерману и Мюллеру. Гораздо важнее работы Хубена (H. H. Houben) по Экерману и Соре (в выше указанных его изданиях и в его биографии Экермана: J. P. Eckermann. Sein Leben für Goethe. Leipzig, H. Haessel 1925—1928. 2 Bde.) и особенно специальное исследование Петерсена о «возникновении экермановских разговоров и их достоверности» (Die Entstehung der Eckermannschen Gespräche und ihre Glaubwürdigkeit. Von Julius Petersen. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage mit einem Faksimile und einem Anhang ungedruckter Briefe von und an Eckermann. Frankfurt am Main, Verlag Moritz Diesterweg, 1925). Насколько ненадежно в этом вопросе основываться на оценках и свидетельских показаниях современников, видно из данных, приведенных Петерсеном в первой главе его книги (Bisherige Beurteilung der Glaubwürdigkeit). Ример например заклеймил Фалька прозвищем «назойливый болтун» (zudringlicher Schwätzer), тогда как Вильгельм фон Гумбольт дает ему совершенно иную характеристику (17 августа 1832 г.): «Фальку действительно удалось с такой верностью передать свои разговоры с Гете, что мнится слышишь самого Гете». Но экермановы разговоры вызвали почти единодушное признание современников, и канцлера фон Мюллера, и педантического Римера, и Соре, и самой гетевской семьи. Книга Экермана незаметно стала в уровень с произведениями самого Гете «как самая популярная книга Гете»; слова Гете в его передаче стали цитироваться как подлинные слова Гете, и нам уже трудно подчас сказать, откуда запечатлелась у нас в памяти та или иная «цитата из Гете»: из «Поэзии и правды», из Писем к Шиллеру или из Разговоров Экермана. Авторитет Экермана был настолько велик, что, как замечает Петерсен (стр. 5), даже когда мало-по-малу стали обнаруживаться в его сообщениях те или иные ошибки, обычно склонялись объяснять их слабеющей памятью старого Гете, а не неверной передачей его секретаря. Не излагая всей работы Петерсена, основанной главным образом на тщательном сопоставлении «Разговоров» с рукописями Экермана и с соответствующими местами из дневников Гете, приводим почти дословно окончательные ее выводы, важные методологически (VII. Die Glaubwürdigkeit, стр. 136 сл.).

Верность и непосредственность экермановских записей в отдельных разговорах далеко не одинакова. Ни одно слово Гете в передаче Экермана не должно быть принято как подлинное без обследования, к какой категории передачи (Überlieferungsschicht) принадлежит данный разговор. Экермановская проблема решается не интуитивным путем, но самой тщательной разработкой мельчайших деталей и классификацией всего материала по степени его достоверности. Результаты всего исследования даются в виде особой таблицы, по которой практически можно определить эту степень достоверности каждого отдельного разговора всех трех частей книги Экермана (за исключением элиминированных Петерсеном в его работе вставок из

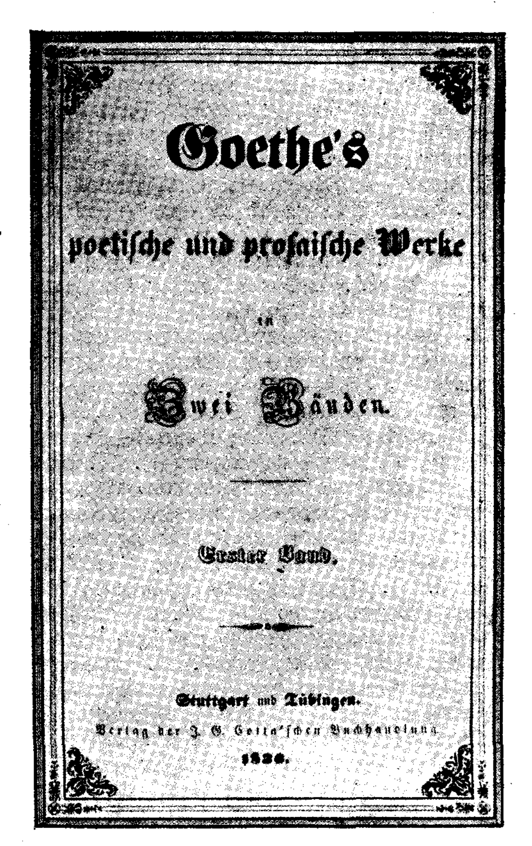
записей Соре). Таблица состоит из трех столбцов. В первом столбце даны последовательно даты всех отдельных разговоров; эти даты при помощи системы значков (звездочек, скобок, вопросительных знаков и др.) распределяются по следующим категориям: 1) случаи, когда экермановская датировка подтверждается дневником Гете или другими свидетельствами; 2) случаи, когда датировка сохранилась в непосредственной записи дневника Экермана; 3) случаи, когда наличествуют записи в дневниках и Гете, и Экермана для даты; 4) случаи, когда устанавливается другая верная дата, или же экермановская обработка является сводом нескольких разговоров; 5) случаи, когда дата не подтверждается дневником Гете и не может быть исправлена также иным каким-либо путем; 6) случаи, когда посещение Гете Экерманом в данный день остается невыясненным. Во втором столбце посредством римских цифр с буквами отдельные разговоры распределяются по категориям, относящимся к степени непосредственности записи и форме ее обработки: Ia обозначает непосредственное перенесение записи дневника без ее обработки, Ib—вероятность незначительных стилистических изменений; IIa—не приведенные в связь отдельные высказывания, IIb—попытку внешнего приведения их в связь; IIIa—последующую обработку, тесно примыкающую к форме дневника, IIIb—позднейшую вольную разработку на основе скудной записи; IVa—ошибочную датировку, IVb—намеренное перемещение или произвольное приурочение недатированных записей; Va—частичное использование чужого материала, Vb означает, что запись опирается исключительно на чужой материал; VIa—недостоверное воспоминание, VIb—тенденциозную обработку. Наконец в третьем параллельном столбце даются ссылки на соответствующие страницы предшествующего исследования.

Эта цифровка сама по себе еще не дает точной шкалы степеней достоверности; она обозначает прежде всего степень временной дистанции между разговором, его записью и окончательной обработкой. Чем ближе примыкают друг к другу эти даты, тем более подлинной должна быть признана передача. Отсюда—три раздела, по которым можно распределить установленные шесть категорий: в I и II категориях можно говорить о безусловной подлинности, в III и IV—об условной подлинности, в V и VI—о безусловной неподлинности передачи. И затем устанавливается уже следующая шкала достоверности: I группа (записи дневника о всем течении разговора): достоверна в отношении фактического течения разговора и его темы; II группа (отдельные высказывания): достоверна в отношении самого текста; III группа (проредактированные разговоры): достоверна в отношении даты. И три группы в обратной последовательности с точки зрения недостоверности: IV группа (сведение в одно нескольких разных разговоров): недостоверна в отношении даты; V группа (использование чужих материалов): недостоверна в отношении текста разговора как. не слышанного самим Экерманом; VI группа (вымышленные разговоры): недостоверна в отношении фактического течения и темы разговора.

Для установления хронологии Гетевых «трудов и дней» дают надежную основу таким образом только разговоры первой и третьей группы; о подлинных высказываниях Гете можно говорить только в первой и второй группе. Последовательность в направлении от первой к шестой группе означает постепенное удаление от биографической действительности. Несколько неожиданным может показаться дальнейшее развитие выводов Петерсена, которое однако в высшей степени показательно для идеалистического направления современной германской филологии. Цитируем их в переводе: «Но этому регрессивному движению соответствует в той же последовательности непрерывное движение вперед от материи к духовному образу (von Materie zu Geist, von Stoff zu Gestalt), от хроники к мифу, от пассивной регистрации к творческому созерцанию, от разрозненной множественности к жизненному единству, от случайной действительности к художественной правде... Вот что придает экермановской проблеме большое основополагающее значение для всех вопросов, связанных с исторической достоверностью» (стр. 144). И этим не только объясняет, но и оправдывает Петерсен то (очевидно уже интуитивное?!) ощущение достоверности, благодаря которому вложенные Экерманом в уста Гете неподлинные высказывания часто действуют убедительнее его подлинных слов, контекст и повод к которым утрачены.

В силу отмеченной выше типологии творческой личности Гете исключительную важность приобретают собственные его высказывания о своих произведениях. Весь этот материал, по обилию не имеющий себе равного в мировой литературе и включающий дневники, письма и разговоры, а также и соответствующие места из автобиографических произведений, собран в монументальном труде Грефа, без которого ныне не может обойтись ни одно серьезное исследование о Гете (Goethe über seine Dichtungen. Versuch einer Sammlung aller Äusserungen des Dichters über seine poeti-

Титульный лист двухтомного собрания сочинений Гете 1836 г.
Собрание Г. И. Чулкова, Москва



schen Werke von Dr. Hans Gerhard Gräf. 3 Theile. Frankfurt a./M., Literarische Anstalt Rütten & Loening, 1901—1914). Труд Грефа делится на три части по жанрам: первая часть (два тома) посвящена эпическим произведениям (стихотворным и прозаическим), вторая (четыре тома)—драмам, третья (два тома в трех книгах)—лирике. Внутри первой и второй части материал расположен по отдельным произведениям в хронологическом порядке; в третьей части выдержана единая сплошная хронологическая последовательность по всем трем книгам, в конце же приложен исчерпывающий алфавитный указатель отдельных стихотворений и циклов, по которому легко можно найти все требуемые сведения. Критический аппарат издания дает все справки по текстологии и библиографии произведений. Законченный восемнадцать лет назад труд Грефа требует конечно дополнений, так как литературное наследие Гете обогатилось за это время новыми находками, но как основной фонд он и в первом своем издании сохранит всегда свою ценность.

* * *

Несколько дополнительных слов еще об обществах и периодических изданиях, посвященных изучению литературного наследия Гете. Первое место здесь занимает веймарское Гетевское общество, о возникновении которого сказано выше. Органом его стал со второго года существования (1886) основанный в 1880 г. Людвигом Гейгером Гетевский ежегодник (Goethejahrbuch. Herausgegeben von Ludwig Geiger. Frankfurt a./M. Literarische Anstalt Rütten & Loenig), в котором и стали помещаться годичные отчеты Общества. Это издание закончилось на тридцать четвертом томе в 1913 г. и взамен его с 1914 г. выходит собственный Ежегодник Гетевского общества (Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft. Weimar. Verlag der Goethe-Gesellschaft). В нем кроме ежегодных отчетов публикуются отдельные архивные материалы и разнообразные статьи и исследования, касающиеся и самого Гете, и всего, что с ним связано. Наряду с этим основным органом Общества являются с года его основания также издаваемые ежегодными выпусками его «труды»: Schriften der Goethe-Gesellschaft, представляющие собой уже ряд монографических работ и публикаций как литературного, так и художественного наследия Гете и его окруже-

ния. Приводим перечень всего вышедшего в этой серии до последнего времени по томам: 1. (1885) Briefe von Goethes Mutter an die Herzogin Anna Amalia (Письма матери Гете к герцогине Анне Амалии). 2. Tagebücher und Briefe Goethes aus Italien an Frau von Stein und Herder (Дневники и письма Гете из Италии к госпоже фон Штейн и Гердеру). 3. Zweiundzwanzig Handzeichnungen von Goethe. 1810 (Двадцать два рисунка Гете 1810 г.). 4. Briefe von Goethes Mutter an ihren Sohn, Christiane und August von Goethe (Письма матери Гете к ее сыну, Христиане и Августу фон Гете). 5. Zur Nachgeschichte der italienischen Reise. Goethes Briefwechsel mit Freunden und Kunstgenossen in Italien 1788—1790 (К истории эпохи после итальянского путешествия. Переписка Гете с друзьями и товарищами по искусству в Италии 1788—1790 гг.). 6. Das Weimarer Hoftheater unter Goethes Leitung. Aus neuen Quellen bearbeitet von Julius Wahle (Веймарский придворный театр под управлением Гете. Разработано по новым источникам Юлиусом Вале). 7. Das Journal von Tiefurt (Тифуртский журнал—опубликование рукописного увеселительного журнала, издававшегося в 1781—1784 гг. в кружке герцогини Анны Амалии; анонимными участниками были Гете, Виланд, Гердер и др.). 8. Xenien 1796 (Ксении 1796 г.). 9. Schillers Demetrius (Шиллеров Дмитрий—фрагменты и наброски незаконченной трагедии Шиллера о Дмитрии Самозванце). 10. Aus dem Goethe-National-Museum. I. (Из собраний Гетевского Национального Музея—24 воспроизведения рисунков Гете и портретов его и нескольких его современников). 11. Gedichte von Goethe in Compositionen seiner Zeitgenossen (Стихотворения Гете, положенные на музыку его современниками—78 романсов за период с 1767 по 1814 г.). 12. Aus dem Goethe-National-Museum. II. (Из собраний Гетевского Национального Музея—25 воспроизведений, продолжающих серию X тома). 13/14. Goethe und die Romantik (Гете и романтизм—издание обширной переписки Гете с немецкими романтиками, комментированное Шюддекопфом и Вальцелем). 15. Elegie. September 1823 (Элегия. Сентябрь 1823 г., факсимильное воспроизведение подлинной чистовой рукописи Мариенбадской элегии, поднесенной Гете Ульрике фон Левецов с приложением ее юношеского портрета и факсимиле ее письма к Гете). 16. Goethe und Lavater. Briefe und Tagebücher (Гете и Лафатер. Письма и дневники—кроме переписки Гете с Лафатером содержит переписку последнего с родителями Гете, извлечения из дневников Лафатера и его «физиогномических фрагментов», относящиеся к Гете, и другие материалы). 17/18. Goethe und Österreich (Гете и Австрия—переписка Гете с австрийским обществом). 19. Aus dem Goethe-National-Museum. III. (Из собраний Гетевского Национального Музея—12 воспроизведений, продолжающих серию X и XII томов). 20. Zum 9. Mai 1905. Die Huldigung der Künste, Demetrius: Marfa's Monolog, Der Epilog zu Schillers Glocke (К 9 мая 1905 г. Служение искусствам, Монолог Марфы из Дмитрия [Шиллера], Эпилог к Шиллерову Колоколу [Гете]—факсимильное воспроизведение рукописей этих трех вещей в ознаменование столетия дня смерти Шиллера). 21. Goethe. Maximen und Reflexionen (Гете. Максимы и размышления—издание по рукописям). 22. Goethes Schweizer Reise 1775. Zeichnungen und Niederschriften (Гетево швейцарское путешествие 1775 г. Рисунки и записи—16 таблиц факсимиле рукописных заметок и рисунков из первого путешествия в Швейцарию). 23. Aus Goethes Archiv. Die erste Weimarer Gedichtsammlung in Faksimile-Wiedergabe (Из архива Гете. Первое веймарское собрание стихотворений в факсимильном воспроизведении). 24. Goethes Werke in sechs Bänden. Im Auftrage der Goethe-Gesellschaft ausgewählt und herausgegeben von Erich Schmidt (Сочинения Гете в шести томах. Избраны и изданы Эрихом Шмидтом от имени Гетевского общества—издание появилось в Лейпцигском Insel-Verlag). 25. Goethe und Tischbein (Гете и Тишбейн—монография Вольфганга фон Эттинген с воспроизведением рисунков Тишбейна на 25 таблицах). 26. Goethes eigenhändige Reinschrift des west-östlichen Divan. Eine Auswahl von 28 Blättern in Faksimile-Nachbildung herausgegeben und erläutert von Konrad Burdach) (Гетевский собственноручный чистовой список Западно-восточного Дивана. 28 избранных листов в факсимильном воспроизведении, изданные и комментированные Конрадом Бурдахом). 27/28. Aus Ottilie von Goethes Nachlass (Из архива Оттилии фон Гете—в первый из этих двух томов входят переписка и дневники невестки Гете, а также обращенные к ней отрывки из дневников ее мужа Августа, сына Гете, до 1832 г., во второй—переписка ее с 1806 по 1822 гг.). 29. Zwanzig Zeichnungen alter Meister aus Goethes Sammlung (Двадцать рисунков старых мастеров из собрания Гете). 30. Weimar und Deutschland. 1815—1915 (Веймар и Германия—монография Рудольфа Вустмана о культурной жизни Веймара за истекшее столетие). 31. Gedichte von Goethe in Kompositionen. Zweiter Band (Стихотворения Гете, положенные на музыку. Второй том —здесь собраны, в продолжение XI тома, романсы на слова Гете современников его и позднейших композиторов вплоть до Рихарда Штрауса).

32, 34/35. Goethes Briefwechsel mit Heinrich Meyer (Переписка Гете с художником Генрихом Мейером за время с 1788 по 1832 гг.). 33. Zeichnungen von Johann Heinrich Meyer (Рисунки Иоганна Генриха Мейера—21 воспроизведение со статьей Ганса Валя). 36. Hans Wahl. Die Dornburger Schlösser (Ганс Валь. Дорнбургские замки—монография об этом излюбленном местопребывании Гете в веймарскую эпоху). 37. Gedichte Goethes an Frau v. Stein (Стихотворения Гете к госпоже фон Штейн—факсимиле с послесловием Юлиуса Вале). 38. Die Bildnisse Carl Augusts von Weimar (Портреты Карла Августа Веймарского—свыше пятидесяти воспроизведений). 39,41. Herders Briefwechsel mit Caroline Flachsland (Переписка Гердера с Каролиной Флаксланд, его невестой, представляющая огромный интерес в силу близких и сложных отношений с ними Гете). 40. Carl August im niederländischen Feldzug 1814 (Карл Август в нидерландском походе 1814 г.—монография Германа фон Эглофштейна). 42. Faust. Der Tragödie letzter Akt. Fünfundzwanzig Blätter aus Goethes eigenhändigen Niederschriften ausgewahlt und in Faksimile-Nachbildung herausgegeben von Hans Wahl (Фауст. Последнее действие трагедии. Двадцать пять листов из собственноручных рукописей Гете избраны и изданы факсимиле Гансом Валем). 43.Zeichnungen von Georg Melchior Kraus (Рисунки Георга Мельхиора Крауса). 44. Carl Friedrich Zelters Darstellungen seines Lebens. Zum ersten Male vollständig nach den Handschriften herausgegeben von Johann-Wolfgang Schottländer (Карла Фридриха Цельтера записки о своей жизни. Впервые полностью по рукописям изданы Иоганном-Вольфгангом Шотлендером—автобиографические записки и дневники этого долголетнего друга Гете). 45. (1932) Goethes Stellung zu Tod und Unsterblichkeit. Von Franz Koch (Отношение Гете к смерти и бессмертию. Монография Франца Коха).

Из других посвященных Гете многочисленных обществ упомянем, как самое значительное, основанный в Вене в 1878 г. Goetheverein, издававший с 1886 по 1916 г. свою «Хронику» (Chronik des Wiener Goethevereins I—XXIX Bde), где появилось не мало разнообразных статей, сообщений и публикаций архивных материалов, существенных для изучения Гете. Как представляющую особый интерес для рукописного наследия Гете (который, как известно, предпочитал диктовать не только свои произведения, но и письма, а впоследствии и дневники) выделим здесь важную для установления хронологии рукописей работу Буркхардта «К изучению гетевских рукописей», в которой приведены пятнадцать факсимиле почерков разных «писцов» Гете (C. A. H. Burkhardt. Zur Kenntnis der Goethe-Handschriften. Nach den Quellen bearbeitet. Mit Faksimilen von Handschriften Goethescher Hilfsarbeiter. Chronik des Wiener Goethevereins. Bd. X—XII. Wien, 1896—1899).

Тут же следует еще указать одно периодическое издание, связанное с частной коллекцией Гетеаны, принадлежащей Антону Киппенбергу в Лейпциге,—издаваемый им с 1921 г. Ежегодник (Jahrbuch der Sammlung Kippenberg. Leipzig, Insel-Verlag). По содержанию он аналогичен Веймарскому Ежегоднику Гетевского общества, обильно иллюстрирован и чрезвычайно изящен по внешнему оформлению. До 1931 г. его вышло девять томов. Из отдельных статей и публикаций киппенберговского Ежегодника выделим как особо интересные для нашей темы: во-первых (в четвертом томе—1924 г.) публикацию нескольких новых документов о встречах и разговорах разных лиц с Гете (Begegnungen und Gespräche mit Goethe. Neue Dokumente und Funde), и во-вторых (в восьмом томе—1930 г.) обзор «топографии гетевских рукописей», (Wilhelm Frels, Topographie der Goethehandschriften). Кроме Ежегодника Киппенберг дважды издал каталог своего собрания (Katalog der Sammlung Kippenberg. Zweite Ausgabe. Leipzig im Insel-Verlag 1928. 2 Bde+Registerband).

В заключение нашего обзора можем рекомендовать: как содержательную энциклопедию по Гете и его литературному наследию—трехтомное издание Goethe-Handbuch... herausgegeben von Dr. Julius Zeitler. 3 Bde. Stuttgart, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung 1916—1918; как новейшую очень полную библиографию Гете—сводный каталог всех изданий Гете, вышедших до 1930 г., и 2700 произведений о Гете, находящихся в Прусской государственной библиотеке и пятидесяти прусских библиотеках, Goethe-Gesamtkatalog. Herausgegeben von der Preussischen Staatsbibliothek. Preussische Druckerei- und Verlags- A.-G. Berlin 1932; и как образцовый словарь языка Гете—Goethes Wortschatz. Ein sprachgeschichtliches Wörterbuch zu Goethes sämtlichen Werken von Prof. Paul Fischer. Leipzig, E. Rohmkopf, 1929.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] С первых шагов своей литературной деятельности Гете пришлось много терпеть от контрафакции. Отсутствие авторского права в тогдашней Германии и политиче-

ская ее раздробленность на множество мелких государств породили настоящее издательское разбойничество в этом смысле. Достаточно сказать, что одного «Вертера» появилось до восемнадцати контрафакций. Но если такая издательская практика имела результатом распространение гетевского текста в небрежном и порой неверном воспроизведении, то, с другой стороны, естественная конкуренция способствовала отчасти улучшению изданий с внешней стороны. Так, издание Химбурга было украшено гравюрами Ходовецкого и др.

[2] Коттавская фирма была основана Иоганном Георгом Котта и, перейдя в руки гетевского издателя в 1787 г., сохранила название J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

[3] Несмотря на сильную конкуренцию (особенно со стороны братьев Брокгаузов, предлагавших Гете в мае 1825 г. за право издания его произведений в течение двенадцатилетнего срока 50 тыс. талеров и уже в июне повысивших эту цифру до 70 тыс.) и не раз неся убытки от отдельных изданий.

[4] В скобках указываются соответствующие томы издания 1806—1810 гг.

[5] О распределении стихотворений Гете по циклам в авторских изданиях см. в комментариях к I тому юбилейного собрания сочинений Гете (М.-Л., ГИХЛ, 1932).

[6] Интересно, что еще при жизни Гете в печати было подвергнуто критике с этой точки зрения коттавское издание, именно в статье некоего Шютца (Kritik der neuesten Cotta'schen Ausgabe von Goethe's Werken, nebst einem Plane zu einer vollständigen und kritisch geordneten Ausgabe derselben. Eine Beilage zu dem Werke: Goethe's Philosophie u. s. w. Vom Professor Dr. Schütz. Hamburg 1828).

[7] Существенным коррективом к чему должна была бы послужить известная ныне характеристика Энгельса, если бы в то время (1847 г.) она прозвучала не только в анонимной рецензии «Немецкой Брюссельской газеты» («Deutsche Brüsseler Zeitung», №№ 93—98; см. Сочинения Маркса и Энгельса, т. V; ср. также Мариэтта Шагинян, Наследство Гете. «Новый Мир», кн. 3, М., 1932).

[8] Последующие издания 1862 и 1877 гг. и с добавлениями Людвига Хирцеля 1884 г. Ныне хирцелевское собрание входит в состав библиотеки Лейпцигского университета, и каталог его только что переиздан заново: Verzeichnis von Salomon Hirzels Goethe-Sammlung der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig. Nach Hirzels Verzeichnis von 1874 neu herausgegeben von Reinhard Fink. Leipzig, S. Hirzel, 1932.

[9] В 1889 г. к архиву Гете был присоединен хранившийся в замке Грейфенштейн шиллеровский архив. Так образовался Goethe- und Schiller-Archiv, который впоследствии обогатился архивным наследием и ряда других писателей.

[10] Из новых открытий гетевских произведений, не говоря о найденном еще 5 января 1887 г. Эрихом Шмидтом в Дрездене первоначальном тексте «Фауста», так называемом «Прафаусте» (Urfaust), который успел занять свое надлежащее место в XIV томе веймарского издания, самым значительным является обнаруженный 31 января 1910 г. Густавом Биллетером в одном цюрихском частном архиве полный список считавшейся утраченной первой законченной редакции «Вильгельма Мейстера», относящийся к 1777—1785 гг. и носящей заглавие «Театральное призвание Вильгельма Мейстера». Существенные отличия от позднейшей редакции Мейстера заставляют рассматривать «Театральное призвание» как особое самостоятельное произведение, которое, кстати сказать, давно заслуживает перевода на русский язык. Оно было опубликовано отдельно Майнком (Goethe. Wilhelm Meisters theatralische Sendung. Nach der Schulthess'schen Abschrift zum ersten Male herausgegeben von Harry Maync. Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger. 1911), а в веймарском издании занимает LI и LII томы первого раздела. Напротив, не включен еще в веймарское издание опубликованный в 1920 г. Пипером текст открытой им юношеской (датируется предположительно 1763/64 г.) поэмы Гете «Иосиф», известной по «Поэзии и правде» и по переписке с сестрой и считавшейся сожженной автором (Joseph, Goethes erste grosse Jugenddichtung wieder aufgefunden und zum ersten Male herausgegeben von Prof. Dr. Paul Piper. Faksimile-Ausgabe. Hamburg, W. Gente, Wissenschaftlicher Verlag. 1920). Любопытно, что рукопись «Иосифа» находилась в руках Пипера еще с 1894 г. и в течение долгих лет он не подозревал, каким сокровищем обладает. Впрочем, непосредственная эстетическая ценность этой огромной диалогизированной поэмы на библейский сюжет, состоящей из 2000 с лишком стихов и написанной в большей части однообразными попарно рифмованными александринами, очень относительна; по художественной наивности своей она пожалуй ближе стоит к каким-нибудь средневековым моралитэ, чем к зрелому творчеству Гете. Но тем интереснее «Иосиф» для всей истории творческого развития Гете.

Ф. ШИЛЛЕР

ГЕТЕ В ЗАПАДНОЙ КРИТИКЕ

Интерпретация творчества какого-нибудь писателя в классовом обществе является всегда интерпретацией классовой. Сколько бы буржуазные литературоведы ни прикрывались «объективностью» науки, сколько бы ни обвиняли именно марксистов в «тенденциозности» подхода к Гете—классовый характер их трактовки Гете обнажается слишком ярко, и многие из современных буржуазных исследователей творчества Гете уже не считают нужным набрасывать на свои работы какой-либо «объективный» покров. Об этой чрезвычайной классовой заостренности изучения Гете как нельзя лучше говорит вся ненаписанная еще *история гетеведения*; она ясно показывает, как на различных фазах развития буржуазного общества различные группировки буржуазии *по-разному* относятся к Гете, как они то отрицают его, то, наоборот, опираются на него и—в зависимости от своих классовых нужд—культивируют то регрессивно-феодальные элементы двойственного мировоззрения Гете, то его прогрессивные стороны. Для всего *не-марксистского* гетеведения характерна именно эта *однобокость* интерпретации, неспособность охватить всю противоречивость творчества Гете, и по мере превращения буржуазии из класса прогрессивного в реакционный эта интерпретация приобретает все больше и больше характер *исторического искажения* подлинного, целостного Гете: буржуазия вкладывает в творчество «своего гения» то, что ей нужно в данный момент для борьбы с рабочим классом, она «воскрешает» Гете в «обработанном» виде, вытравив из его творчества все революционное, чтобы прикрыть свою реакционную сущность авторитетом «величайшего немца». Вся история буржуазного гетеведения есть прежде всего собрание ряда «легенд» о Гете, «легенд», сплетенных для удовлетворения насущных задач буржуазии; вся литература о Гете—в сущности—борьба *за* Гете или *против* Гете; она является ярким и интересным документом *борьбы классов* в литературной критике. Буржуазное гетеведение как в зеркале отражает историческую кривую развития буржуазии.

В рамках настоящей статьи нет конечно никакой возможности дать обзор *всей* литературы о Гете. Поэтому здесь главный упор будет сделан *на последние два десятилетия* (начиная приблизительно со времени мировой войны), т. е. на литературу, наиболее ярко отражающую «обработку», проделываемую ныне буржуазией над творчеством Гете, чтобы использовать его в поисках выхода из глубокого идейного кризиса обреченного на гибель класса и для борьбы с надвигающейся социальной революцией; кроме того мы не будем принимать во внимание огромной массы работ *чисто биографического и историко-филологического характера*. Оставлены в стороне также «научные труды», носящие скорее курьезный характер и лишний раз свидетельствующие только о вырождении буржуазной науки о литературе (например исследования, о значительности которых можно судить по самим заглавиям: «Гете как техник водных сооружений», «Гете и состояние его зубов», «Гете и частное домовладение», «Гете и автомобиль» и т. д. и т. д.). Пришлось отказаться также от иногда не лишенных интереса работ, которыми особенно изобилует текущий юбилейный год: о связи Гете с определенными странами, городами, местностями, лицами и т. д. При выборе литературы для данного обзора мы преимущественно ограничивались, во-первых, книгами и статьями о *мировоззрении Гете*, нагляднее всего вскрывающими классовую сущность изучения и понимания творчества Гете на Западе за последние десятилетия, и во-вторых, немногочисленной литературой о нем, рассматривающей серьезные проблемы художественно-теоретического характера. Но для лучшего уяснения интерпретации Гете современной буржуазией необходимо хотя бы в конспективной, сжатой форме дать основную линию развития гетеведения в XIX в. и до мировой войны.

I

Борьба вокруг Гете разгорелась еще при жизни поэта. После победы Священного союза над Наполеоном наступила эпоха «органического» роста капитализма. Гете, примирившийся с действительностью, восхищался прогрессом производительных сил. Вторая часть «Фауста» проникнута пафосом строительства капитализма послереволюционного периода, хотя его автору и ясны отрицательные черты буржуазной цивилизации. Постепенное, эволюционное, но неудержимое движение вперед—вот евангелие старого Гете. И каким бы умеренным и буржуазно-ограниченным ни было его понимание общественного прогресса, он все же наряду с Гегелем являлся одним из гениальнейших идеологов восхогящего бюргерства и потому оставался равнодушным к лозунгам тевтоманов 1813 г.

Вследствие этого оппозиция против Гете образовалась как у «верных христианству германцев» и «романтиков-реакционеров», так и в среде «ублюдочных либералов», мечтавших в своих тайных обществах «о германском императоре в короне и порфире со скипетром и со всеми остальными атрибутами власти... императоре, окруженном собранием сословий, между которыми духовенство, дворянство, мещане и крестьяне распределены надлежащим образом» (Энгельс). «Из «романтиков-реакционеров» Фридрих Шлегель, бывший почитатель Гете, после своего перехода в лоно католической церкви мечет громы и молнии против него, а другой реакционный критик, Франц фон Шпанн, видит в нем дьявола и... плохого поэта. Образуется целая компания «борцов против Гете» из представителей консервативного мещанства и дворянства (Коцебу, Мерк, Мюльнер, Шюц, Пусткухен, Геррес, Гловер, Кнапп и мн. др.); она занимается систематической травлей «невозмутимого олимпийца» то из политических и национал-шовинистических, то из религиозных соображений»[1]. Так П у с т к у х е н пишет пародию на «Вильгельма Мейстера» и считает Гете представителем безнравственного времени: «Я обвиняю именно Гете больше, чем всех остальных, потому, что о н н е п р и з н а е т и с т и н н о н е м е ц к о й с у щ н о с т и, что он является лишь представителем дурной, бесформенной, распущенной новейшей эпохи, но не первоначального немецкого духа... И поэтому также я убежден, что всякий, кому еще дорого немецкое искусство, должен быть непримиримым врагом гетевской поэзии». Ф р и д р и х Г л о в е р в своем памфлете «Гете как человек и писатель» говорит о «Вильгельме Мейстере»: «Эта вещь не может понравиться ни одному порядочному человеку, так как скотина тыкалась в нее своим грязным рылом». Но знаменосцем всей этой антигетевской кампании стал небезызвестный критик и... полицейский доносчик Вольфганг Менцель; его журнал «Europäische Blätter» (особенно 1824—1825 гг.) сделался плацдармом антигетевских выступлений. Гете для Менцеля—олицетворение всего антинационального, антихристианского и аморального. «Гете,—пишет он,—плыл всегда по течению и всегда, как пробка». Поэт был для него воплощением «женственной расслабленности»... «Гете для Германии был внутренней, расслабляющей, разлагающей силой, работавшей наруку внешнему врагу, н а ш и м з л ы м г е н и е м, который помощью фантастического эгоизма, наслаждений иллюзиями и самообоготворения отвлекал нас от мысли о потере религии, родины и чести». Он даже грозил написать историю немецкой литературы без упоминания имени Гете, а в вышедшей в 1827 г. первым изданием «Истории литературы» пишет о «Фаусте»: «Если Фауст заслуживает царства небесного за то, что он соблазнил и бросил Гретхен, то каждая свинья, валяющаяся на цветочной грядке, достойна быть садовником».

Но уже при жизни поэта возникает и тот «культ Гете», который так пышно расцветает позднее. Не говоря уже о ранних романтиках, Ал. фон Гумбольдте и первых «истолкователях» сочинений поэта—К. Ф. Каннегисере и Эккермане, в противовес антигетевской кампании, которую всегда и с исключительной яростью поддерживала вся церковная реакция (особенно Генгстенберг с его «Evangelische Kirchen Zeitung») очень рано, в 20—30-х гг., образовались также гетевские «общины», состоявшие главным образом из эстетствующих литераторов-индивидуалистов, ученых и мещан. Доводили до абсурда этот «гетевский культ» «общины» в Веймаре и Берлине (Мориц, Варнгаген фон Энзе, Рахиль Левин, Генриэтта Герц, Беттина фон Арним и мн. др.). Критик О. Л. Вольф говорит об этих «кружках» и «чаепитиях»: «Когда Гете чихает, то весь Веймар кричит: «Будьте здоровы!» А Гейне называет Варнгагена «наместником Гете на земле» (игра слов: «Goethe» и «Gott»)[2]. Также рано начинается и толкование творчества Гете за пределами Германии, как то показывают известные работы Карлейля в Англии и Альберта Штапфера и Ж.-Д. Ампера во Франции.

Не нужно думать, что эти «защитники» Гете дают правильный анализ творчества своего «героя»: как мещанские его интерпретаторы, так и эстетствующие литераторы из цеха ученых вкладывают в него именно то, что им выгодно. Так консервативно-филистерский критик К. Шубарт в своих двух книгах [3] знает только тривиальную оценку

«гениально, классически, свято». Характерно, что уже Шубарт ставит антиреволюционную «Побочную дочь» Гете выше «Фауста». Другой тогдашний «почитатель» Гете К. Ф. Гешель [4], «ортодоксальный» гегельянец, проделывает симптоматическую «операцию» с творчеством Гете, предвосхищающую многочисленные попытки современных буржуазных критиков: он в противовес церковной реакции, видевшей в поэте «антихриста» и «аморального» человека, превращает «язычника» Гете в «религиозно-верующего христианина» и с небывалой ловкостью рук устанавливает в качестве «фундамента» всей «культуры Гете»... библию. Характерно также для Гешеля (как и всего буржуазного гетеведения XIX в.), что он при всем усердии истолковать метафизически гетевское творчество совершенно беспомощен в истолковании «Вильгельма Мейстера» и «Фауста».

Можно еще упомянуть о том узко филистерском «культе Гете», который также берет свое начало еще при жизни поэта и особенно усиливается после его смерти в связи с опубликованием его писем, разговоров, воспоминаний и всяких «реликвий Гете»,—культ, который силен также и ныне и который не умрет, пока живет мещанство. Этот культ состоит в том, что филистер имеет «своего Гете» в золотообрезных переплетах в шкафу (но не читает его); что для его надобностей фабрикуются трубки, разрезные ножи со скульптурной головой Гете, что везде и всюду в его доме встречаются гравюрки на гетевские темы и изречения из Гете. Сам великий поэт издевался над такого рода «культом», говоря:

Nun ich hier als Altmeister sitz,
Rufen sie mich aus auf Strassen und Gassen,
Zu haben bin ich wie der alte Fritz
Auf Pfeifenköpfen und Tassen.

«Тевтоманская» оппозиция против Гете имела своим исходным пунктом «германско-христианские» воззрения. Но вот в конце 20-х и в начале 30-х гг. выступает мелкобуржуазно-радикальная оппозиция во главе с Людвигом Берне. Берне был безусловно честным, но узко ограниченным радикалом. Для него как для бойца-революционера, признающего лишь насквозь тенденциозное искусство, ставящего политическую целеустремленность на первое место, идущий на компромисс, солидный и примирившийся с действительностью Гете был только тормозом в развитии бюргерской Германии. Толкование творчества Гете, данное Берне, становится руководящей нитью для писателей «Молодой Германии»: он признает лишь Гете-бунтаря, автора «Геца», «Вертера» и «Эгмонта» и отрицает Гете-классика, Гете-«примиренца». Для него Гете—«огромная тормозящая сила, он темное бельмо на глазу Германии», он «мог бы быть Геркулесом и очистить свою родину от великой грязи, но он только достал для себя золотые яблоки Гесперид и, сев затем у ног Омфалы, остался там ручной, терпеливый, беззубый гений». Узколобый радикал Берне совершенно не понимает того громадного исторического значения, какое имели классическая немецкая литература и философия для развития буржуазии, и тех специфически немецких социально-политических условий, в которых эти литература и философия возникли и вынуждены были развиваться. Он называет Гете «рифмованным», а Гегеля «нерифмованным» холопом.

По стопам Берне, как уже отмечено выше, пошли писатели «Молодой Германии». Они—идеологи либеральной буржуазии—боролись против всякого политического застоя, проповедывали, что младогерманская поэзия должна стать пламенным протестом против сословного и феодально-бюрократического государства, педантичности науки, фантастики, угнетения, дворянских привилегий, романтизации и идеализации средневековья, что цель поэзии—не красота, а служение политике, свободомыслию, умственным и социальным интересам; понятно, что для таких писателей был еще приемлем Гете-бунтарь, но во всяком случае не Гете-классик. И действительно Карл Гуцков [5], глава этого движения, питает большую любовь к молодому Гете [6], но отвергает позднего Гете и особенно вторую часть «Фауста» и «Вильгельма Мейстера». То же самое мы наблюдаем у Л. Винбарга, Т. Лаубе, Т. Мундта и Г. Кюне [7]. Но насколько сами младогерманцы, с другой стороны, узко филистерски подходили к творчеству Гете в целом, об этом свидетельствует например оценка Т. Кюне второй части «Фауста». Он пишет: «Музой поэта овладевает лень, отказывающаяся от сюжета, от жизни, даже от мысли о реальном. Дряблая ирония уничтожает живой интерес произведения, и там, где герой легенды после разрешения метафизических и средневеково-античных жизненных отношений должен был бы сделаться Фаустом нашего времени, поэзия оказывается несостоятельной. Фауст уходит от общественной жизни и обращается к экономически-буржуазной деятельности. Какая слабость мысли! Какая измена народу! Какой отказ от выявления всемирно-исторической истины на основе национальных интересов!» «Штурмующий небо» Фауст должен «удовлетвориться работой мостильщика улиц и пахаря».

Здесь Кюне совершенно не понял того исторического сдвига в развитии буржуазии, который начался после 1814 г., когда вслед за политическим пафосом Великой французской революции наступили «будни» капиталистического общества, сдвига, без которого нельзя уяснить себе второй части «Фауста».

Особняком среди толкователей Гете в 30—40-х гг. стоит Гейне; он как наиболее дальновидный поэт тогдашнего немецкого бюргерства прекрасно понимал историческое, революционное значение немецкой классической литературы и философии. Односторонняя трактовка Гете Людвигом Берне послужила, как известно, одной из причин полемики и ссоры между Гейне и Берне. Отношение Гейне к Гете прежде всего двойственно: он ценит в нем все прогрессивное, «языческое», гениально-художественное. Как политический борец, гениальнейший сатирик и революционный поэт немецкого восходящего бюргерства Гейне—за Гете-бунтаря и против Гете-примиренца, «холопа аристократии»; как беспощадный критик существующих порядков, с которыми Гете примирился, Гейне видит в Гете человека, презирающего свою эпоху. В 1827 г. он пишет о Гете:

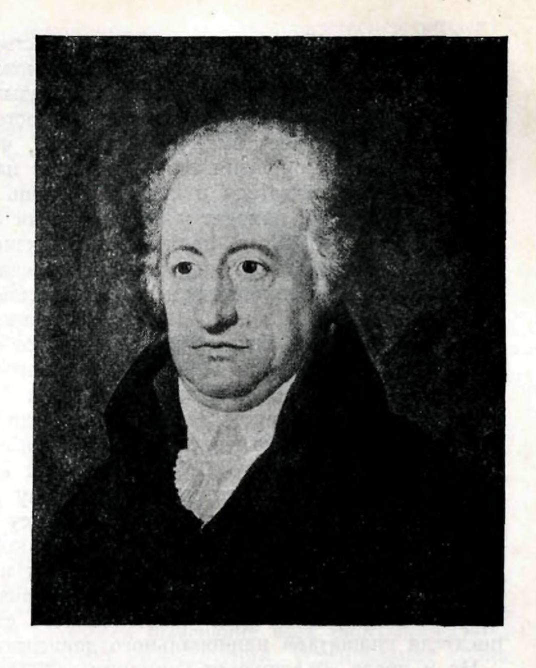
Girre nicht mehr wie ein Werther,
Welcher nur für Lotten glüht—
Was die Glocke hat geschlagen,
Sollst Du Deinem Volke sagen,
Rede Dolche, rede Schwerter.

Гейне резко выступает также против позднего Гете-примиренца, «министра, сглаживающего, затушевывающего», «слабого, отжившего свой век бога, раздраженного тем, что он не может больше творить», «представляющего теперь собой только здание, в котором некогда цвело великолепие». «Бедный старик-поэт в безотрадной своей наготе похож на виноградные лозы, которые мы видим зимою на холодных холмах, сухие и безлиственные, дрожащие на ветру и покрытые снегом, в то время как сладкое сусло, выжатое некогда из них, согревает в самых отдаленных странах сердца кутил, в упоении восхваляющих виноградники». Стиль Гете он сравнивает «с процессией королевских экипажей», а про вторую часть «Фауста» говорит, что у нее «паралич поясницы». С другой же стороны, Гейне жестоко высмеивает антигетевские походы «немецкой национальной ограниченности» Менцеля и «плоского пиэтизма». Он должен стоять за великого язычника quand même. Все эти Пусткухены, Менцели, Николаи и т. д. принимают, по его мнению, «действительных великанов за ветряные мельницы», и он, Гейне, всегда будет принадлежать к «гетевскому добровольческому отряду». Гейне таким образом выступал против «гетеедов» как из лагеря национал-тевтонцев Менцеля, так и из лагеря радикалов Берне. «Не было недостатка,—пишет Гейне о Гете,—в оппозиции, озлобленно бушевавшей против Гете, этого великого дерева. Староверы, ортодоксы сердились за то, что в стволе великого дерева не было алтаря с иконкой, нет, там даже колдовали обнаженные языческие дриады. И подобно святому Бонифацию, они охотно срубили бы освященной секирой этот старый волшебный дуб. Нововеров же, приверженцев либерализма, сердило то, что это дерево невозможно использовать как дерево свободы, или, в крайнем случае, для баррикады. Дерево действительно было слишком высоко, нельзя было нацепить красный колпак на его верхушку и танцовать под ним карманьолу. Широкая публика преклонялась перед этим деревом именно перед его независимостью и величием, тем, что оно так прекрасно наполняло весь мир своим благоуханием, что его ветви возносились к небу так роскошно, что звезды казались лишь золотыми плодами великого чудного дерева».

В этой оценке Гете видна вся индивидуалистически-эстетская сущность мировоззрения Гейне, и именно в этом вопросе у него никогда не было двух мнений о Гете.

Иначе к оценке Гете подошли те идеологи буржуазного либерализма 30—40-х гг., которые на практике осуществляли строительство буржуазного общества. Уже Гегель в своих лекциях об эстетике выдвигал мысли о неизбежности упадка искусства с развитием капитализма, противопоставлял жизненную прозу эстетическому бунту против действительности и считал возврат к поэзии регрессом в сравнении с уже пройденным этапом развития человечества. Маркс называет этот этап «эрой прозаического осуществления политического просвещения, которое раньше хотело превзойти самого себя, которое утопало в преувеличениях». И вот Г.-Г. Гервинус, представитель этого либерально-буржуазного «просвещения» 30—40 гг., в 1836 г. в своей статье «Гетемания нашего времени» выступает против филистерского «культа Гете» и в своей пятитомной истории немецкой поэзии (1835—1842), воздавая должное прогрессивным идеям Гете,

ГЕТЕ
Портрет маслом Ф. Ягемана (Веймар, июнь 1806 г.)
Landesbibliothek, Веймар



рассматривает классическую литературу как завершение всякой литературы вообще. Исходя из «прозаических» задач, стоящих перед буржуазией на данном этапе ее развития, он требует, чтобы поэзия, раньше служившая «гармоническому воспитанию человека», теперь уступила место «политическому воспитанию общества в духе государственности Гегеля». Писатель, по мысли Гервинуса, должен стать политическим борцом, *и поэтому Гервинус резко критикует Гете за его уход от действительности* в «мир идей» во время борьбы Германии с Наполеоном за национальную независимость. Требование своего класса он формулирует в словах: «Борьба искусств уже закончена, теперь мы должны поставить пред собой другую цель, которая у нас не находит еще приверженцев, хотя и здесь Аполлон дарует славу, в которой он не отказывал там». Понятно, что творчество Гете мало говорило классу, окунувшемуся в чистый «практицизм» капиталистического строительства, враждебному некоторым сторонам духовного творчества и прежде всего поэзии; это творчество мало говорило классу, считавшему «борьбу искусств» законченной.

С другой стороны, немецкое мещанство и его идеологи в 30—40-х гг. продолжали «почитать» и «обрабатывать» Гете по-своему. Классическим примером такого мещанского понимания является книга одного из вождей немецкого «истинного социализма»—Карла Грюна [8]. Об этой книге Энгельс пишет в своем письме Марксу от 15 января 1847 г.: «Грюн восхваляет всякое филистерство Гете как человеческое, он превращает франкфуртца и чиновника Гете в «истинного человека», между тем как все колоссальное и гениальное он обходит или даже оплевывает до такой степени, что эта книга представляет блестящее доказательство того, что *«человек равняется немецкому мещанину»*. Книге Грюна было суждено сыграть историческую роль в том отношении, что Маркс и Энгельс, только что закончившие теоретическое оформление диалектического материализма, в большой статье об этой книге в «Немецко-Брюссельской газете» впервые в истории литературной критики дали гениальный анализ двойственности мировоззрения и творчества Гете. Эта оценка Гете, данная Энгельсом, легла в основу дальнейшего изучения творчества «величайшего немца» представителями диалектического материализма.

II

Время обостренной политической борьбы буржуазии с феодализмом в домартовское время и в период революции 1848/49 г. было временем наибольшего упадка популярности Гете. Столетие со дня рождения поэта в 1849 г. прошло почти незаметно в разгаре оргий контрреволюции во всей Европе, и лишь отдельные литературные кружки устраивали скромные юбилейные чествования памяти Гете.

Но вот немецкая буржуазия из страха перед рабочим классом вступает в компромисс с реакцией и отказывается от активной политической и идеологической борьбы

с юнкерством и бюрократическим государством. Примирившиеся буржуа, развивающие капиталистическое производство и умножающие свои богатства, жаждут наслаждения и создают себе в писателях так называемой мюнхенской школы (Боденштедт, Гейбель, Гейзе и мн. др.) литературу эстетствующего эпикурейства; течение это считает произведение тем художественнее, чем дальше оно отстоит от актуальных вопросов дня. Буржуазия теперь смотрит на творца «Фауста» и «Вильгельма Мейстера», как на мечтателя и чудака, и лишь такие его произведения, как «Западно-восточный Диван», находят у них некоторый отклик. И когда с наступлением «либеральной эры» в 1858 г. политическая жизнь в Германии снова оживляется и развивается пропаганда за национальное объединение,—кумиром буржуазии, идеалом и передовым борцом становится не Гете, а Шиллер. В него она вложила именно все то, к чему стремилась, в нем, ей казалось, нашла она те идеи, которые ее волновали. Шиллер, а не Гете, был провозглашен—особенно во время празднования столетнего юбилея его рождения в 1859 г.—либеральным, национальным и идеальным поэтом. При этом буржуазно-либеральные критики с презрительным пожиманием плеч игнорировали как раз юные, революционные драмы Шиллера периода «бури и натиска»; их также не особенно увлекали его мощные драмы позднего периода: их привлекало в Шиллере то, что Геббель называет «неопределенно-расплывчатым» и «немецким национальным характером». Плоскому либерализму буржуазии, лизавшей сапоги юнкера Бисмарка, пришлась по вкусу «Песнь о колоколе»; особенно же нравились выступления Шиллера против Великой французской революции, маркиз Поза с его бесплодными разглагольствованиями и пошлым пафосом и главным образом то возвеличение «идеализма» над материализмом, которое она приписывала творчеству Шиллера, и те идеи «национального единства», которые якобы сделали этого писателя глашатаем национального движения 50—60-х гг.

Но и после объединения Германии в 1871 г. у немецкой буржуазии не оказалось предпосылок для действительного понимания творчества Гете. На протяжении всей второй половины XIX в., после революции 1848 г., вплоть до наступления эпохи империализма, буржуазная Германия увлекается Шиллером лишь в такой мере, в какой вообще можно говорить об у м с т в е н н ы х интересах буржуазии в этот период, особенно в период 1870—1885 гг. Блестящую характеристику разложения и упадка историко-теоретических интересов в буржуазном обществе Германии той эпохи дал Энгельс в «Людвиге Фейербахе»: «Немедленно после революции 1848 г. «интеллигентная» Германия распрощалась с теорией, взявшись за практическую деятельность.Основанные на ручном труде ремесла уступили место настоящей крупной промышленности. Германия снова появилась на мировом рынке: Новая малогерманская империя (1871 г.) устранила с пути этого развития по крайней мере самые вопиющие из тех препятствий, которые создавались существованием множества мелких государств, остатками феодализма и бюрократией. Но по мере того как спекуляция, покидая кабинеты философов, воздвигала себе новый храм на бирже, интеллигентная Германия забывала великий теоретический интерес, составлявший немецкую славу даже во время самого сильного политического упадка». И если Германия тогда была еще на высоте в области естествознания, то, «что касается исторических наук, до философии включительно, здесь вместе с классической философией совсем исчез старый дух ни перед чем не останавливающегося исследования. Его место заняли бессмысленный эклектизм, заботы о доходных местечках, об успехах по службе и даже самое низкое лакейство». Именно в этот период, во второй половине XIX в., буржуазия создавала для себя образ Гете—н е в о з м у т и м о г о о л и м п и й ц а, аполитичного поэта-эстета; она трактовала его биографию, его творчество, его отношение к правительствам и обществу своего времени под углом зрения «идеального» бюргера, спокойного, уравновешенного. Буржуазия периода господства вульгарного материализма, грюндерства и плоской эстетики наслаждения сделала из Гете «вечный» идеальный тип поэта, который, «раскаявшись» в устремлениях эпохи «бури и натиска», следовал якобы с ясным, неомраченным челом по избранному пути без внутренней борьбы и противоречий. Образ Гете, созданный либеральной буржуазией и мещанством эпохи грюндерства,—это старый «олимпиец» с орденом на груди, поэт, защищающий порядок, безмятежный, самодовольный. Конечно и тогда не было недостатка в травле Гете со стороны церкви и наиболее реакционных слоев Германии, видевших в нем воплощение атеизма и материализма, как не было недостатка и в узколобых, взбесившихся «ультралевых» мещанах, ругавших его за «аристократическое холопство». Но все же основная линия интерпретации его творчества в это время—«олимпийство».

В связи с господством позитивизма в буржуазной философии и с решающим влиянием историко-филологической школы в литературной критике и литература о

Гете данного периода принимает типично историко-биографо-филологическую окраску: творчество Гете было отдано в руки педантичным искателям всяческих филологических и текстологических деталей,—это время основания и расцвета «Goethe-Philologie». Обычно различают два этапа в развитии гетеведения подобного типа: более ранний, представленный главным образом в работах Генриха Дюнцера, и более поздний, возглавляемый историко-филологической школой Вильгельма Шерера.

Имя Дюнцера вошло в историю как синоним мелочного, педантичного буквоедства в литературной науке. Его совершенно не интересовали ни мировоззрение Гете, ни художественные или политические его взгляды, ни вообще проблемы литературы и искусства; в своих многочисленных статьях и книгах о Гете, начиная с 1836 г. («Faust in seiner Einheit und Ganzheit wider seine Gegner dargestellt») и кончая его большой работой о Гете, изданной в 1880 г., он применяет только один метод: голое изложение содержания сочинений Гете и хронологическое жизнеописание поэта от колыбели до могилы. При этом он настолько теряется в деталях, что квитанция о сдаче белья Гете в стирку приобретает значение факта исключительной важности в его глазах.

«Goethe-Philologie» как научно-текстологический подход к творчеству поэта также берет свое начало в 60—70-х гг. Берлинский издатель Густав Гемпель, выпустивший в 1868—1879 гг. собрание сочинений Гете, привлек к работе ряд филологов (Г. фон Лепера, В. фон Бидерманна, Г. Дюнцера, Калишера, Фр. Штрельке и др.) и положил этим изданием начало столь характерному для буржуазной Германии длившемуся многие десятилетия историко-филологическому изучению Гете. В. Шерер в своей статье «Goethe-Philologie» 1877 г. в журнале «Im Neuen Reich» подытожил требования этой «науки», сводящиеся в основном к «выяснению деталей и хронологии». С этого времени «научным» гетеведением считается выяснение всех биографических, хронологических и филологических подробностей произведения, установление срока написания, комментарии к «неясным» местам, объяснения встречающихся намеков, аллегорий и т. д. и т. д. Но при всей мелочности, ограниченности и педантичности за этой «Goethe-Philologie» нельзя не признать крупных заслуг в деле собирания материалов и издания научно-проверенных текстов Гете. Вскормленные филологическими школами А. Бека, К. Лахманна, Мюлленгофа и Морица Гаупта эти «гетеведы» накопили материал, на основании которого можно было приступить к огромному академическому веймарскому изданию сочинений Гете (так называемое Sophien-Ausgabe); первый том этого издания вышел в 1887 г., а последний—уже после войны (всего оно насчитывает 143 книги); этот капитальный труд незаменим для всякого, приступающего к научному исследованию всего творчества Гете в целом.

В этот период педантического буквоедства, биографо-филологического копания в деталях и мещански-ханжеского «культа Гете» лишь отдельные писатели прогрессивной буржуазии продолжали ценить Гете по-иному. Так например, Готфрид Келлер пишет по поводу этого культа: «В культе Гете есть особый вид ханжества, который поддерживается действительными, а не представляющимися таковыми филистерами, vulgo профанами. Во всех разговорах господствует священное имя, всякая новая статья о Гете встречается аплодисментами, его же самого больше не читают, и т. д. Такое состояние отчасти превращается в трусливую глупость, но, с другой стороны, как и религиозное ханжество, оно служит для прикрытия различных человеческих слабостей, которых не следует показывать». В то же время наиболее реакционная буржуазия, и особенно церковные круги, попрежнему считают Гете представителем «язычества», лишенным морального чувства исчадием ада, и отвергают его. Программной книгой для католических кругов (партия центра) например на целые десятилетия стал трехтомный «труд» иезуита Александра Баумгартнера [9], жалующегося на «безнравственность» сочинений Гете, ибо «он был решительным язычником как в искусстве, так и в жизни» (особенно достается «Римским элегиям»).

Подводя краткий итог изучению и толкованию Гете буржуазией доимпериалистического периода, можно охарактеризовать этот метод изучения как эмпирически-филологический, как метод «чистого позитивизма». Известный буржуазный гетевед лейпцигский профессор Г. Витковский называет почитателей Гете в эту эпоху «тихой общиной», а их метод истолкования—«благоговением перед мелочами» и пишет: «XIX век видел в нем преимущественно черты поэта, полного античного величия, достигшего гармонического спокойствия. Высочайшими достижениями считались «Ифигения в Тавриде», «Торквато Тассо», «Герман и Доротея»; юношеские сочинения обозначали движение ввысь через человеческую незрелость и художественные ошибки, и все созданное в последние 30 лет жизни Гете отвергалось как искусство упадка—в отношении поэзии, как бесплодные дилетантские усилия—в отноше-

нии научных стремлений... И речи не было о желании охватить полностью всю индивидуальность Гете. Постоянно пытались подогнать Гете под созданный Шиллером идеальный образец великого поэта и затушевывать и искажать все мешающее этому намерению» [10].

Если принять во внимание, что от буржуазного профессора трудно ожидать классового анализа подобной «интерпретации» Гете в 50—80-х гг., то интересно констатировать, что и по его мнению, основывавшемуся на классовой потребности в ином истолковании Гете, эти буржуазные гетеведы XIX в. занимались искажением, обработкой, фальсификацией подлинного Гете. Такой «переделке» Гете посвятил себя в те времена Герман Гримм [11], который в своих лекциях в Берлинском университете, с одной стороны, резко выступал против методов изучения Гете историко-филологической школой, отрицая всякое значение мелочей и «архивного» аппарата, и требовал исследования мировоззрения поэта в крупном масштабе; но, с другой стороны, как раз его концепция «больших линий» и есть концепция, охарактеризованная проф. Витковским; Гримм и не скрывал, что его интерпретация Гете—это его Гете. До известной степени в том же направлении продолжал гетеведение и другой видный либеральный литературовед Рихард М. Мейер в своей книге о Гете (1894). Несколько приблизив объект исследования к современности, он также исходил из «эстетических» и индивидуально-психологических установок. Но это не значит, что историко-филологическая интерпретация Гете прекратилась после работ Гримма и Мейера, нет, она существует и поныне. Даже такие считающиеся «фундаментальными» буржуазные исследования, как труды Карла Гейнемана («Goethe», 1895) и Альберта Бельшовского (первый том вышел в 1895 г.), в основном следуют еще этому методу. Гейнеман хочет быть в истории литературы тем, кем был Ранке, а именно «камердинером истории», т. е. рассказывать только о том, «что было», передавать лишь факты и документы. Бельшовский же во многих вопросах солидарен с Дюнцером и Гейнеманом, но так как он вдобавок вдается и в подробный анализ произведений, разбавляя его буржуазно-мещанской философской водой, то он стал на целые десятилетия любимым «гетеведом» германской школьной науки и обывательской читающей публики (до войны вышло 26 изданий его работы). Менее известны и популярны биографии Гете, написанные Г. Витковским (1899), Эдуардом Энгелем и Людвигом Гейгером, также построенные в основном на принципах школы Шерера.

III

Коренной поворот в буржуазном понимании Гете происходит с наступлением эпохи империализма, когда особенно обострились все основные противоречия капиталистического общества, когда оно вступило в фазу загнивания и кризиса не только в экономической, но и в идеологической области, когда буржуазия стала лицом к лицу с сильным организованным рабочим классом и его воинствующим стройным мировоззрением—марксизмом. И вот в поисках за «опорой» в обосновывании «фундаментального, цельного мировоззрения» для противопоставления его марксизму упадочническая буржуазия «воскрешает» гениев периода своего восхождения, тех самых гениев, которых она в период бурного развития производительных сил и торгашеских прибылей третировала как «дохлых собак»; уже в конце XIX в. в связи с этими устремлениями начинается «ренессанс» Канта, Гете и других идеологов классического периода немецкой буржуазии. И характерно, что теперь привлекает ее в Гете, и как она «обрабатывает его». Еще прогрессивная домартовская буржуазия, ценя, как мы видели на примере с «Молодой Германией», творчество раннего Гете-бунтаря, и такие произведения его, как «Гец», «Вертер» и «Эгмонт», целиком отрицала позднего Гете, выказывая удивительное пренебрежение к «Фаусту» и «Вильгельму Мейстеру». Центральное место в ее интерпретации Гете занимала и политически-прогрессивная сторона юношеских произведений Гете. Послемартовская буржуазия, заключившая перемирие с реакцией, по мере своего экономического утверждения, увеличения богатства и отказа от великих теоретических интересов своего революционного прошлого ценит Гете-классика, олимпийца, спокойного созерцателя и эпикурейца, совершенно игнорируя как молодого, так и Гете второй части «Фауста». Буржуазия империалистического периода разрушает этот образ невозмутимого олимпийца, «открывает» «старика» Гете, отказывается от переоценки биографо-филологического материала и видит всю сущность творчества поэта в «терзающих противоречиях» его «души». Буржуазия, бьющаяся в тисках экономических потрясений, заставляет Гете мучиться всеми «проклятыми вопросами» собственного бытия и превращает поэта по мере надобности то в предшественника германского империализма, то в антисемита, то в верующего христианина, то

в метафизика, то в оккультиста и т. д. и т. д. Центр тяжести в исследованиях переносится теперь на «Фауста» и «Вильгельма Мейстера», к которым с таким презрительным пренебрежением относились в течение целого столетия. Теперь «Фауст» зовет к вечной борьбе и действию, а «Мейстер» указывает путь из противоречий между «машиной» и «человеком», рабочим и капиталистом в самоотречении и труде.

Таким образом буржуазия на трех основных ступенях своего развития создавала по подобию своему свой образ Гете, каждый раз обрабатывая, приспосабливая, искажая творчество Гете в целом и выдвигая, смотря по своим политическим надобностям, то одну, то другую сторону противоречивого содержания его творчества. В соответствии с этим в период империализма методы изучения Гете меняются, и в связи с развитием буржуазного литературоведения вместо «эмпирического», биографического, позитивистического, историко-филологического и т. д. методов появляются методы: «интуитивно-психологический», духовно-исторический, метафизико-феноменологический, психо-аналитический, «социологический», расовый и т. д. и т. д. В растущей за последние два десятилетия в геометрической прогрессии литературе о Гете представлены все эти методы.

К «новому» толкованию Гете в период империализма приступают уже первые «великие скептики» буржуазной культуры—Ницше и Дильтей[12]. Но особенно ярко выявилась борьба вокруг Гете во время юбилеев 1882 и 1899 гг. и в последующие годы.

Прежде всего бросается в глаза то, что буржуазия в 1899 г. праздновала 150-летие со дня рождения поэта весьма торжественно. В многочисленных статьях и книгах по поводу этого юбилея подчеркивается актуальность творчества-мировоззрения Гете, при чем имя его выдвигается уже как определенный символ борьбы с рабочим классом. Прикрываясь авторитетом Гете, буржуазные и мелкобуржуазные идеологи требуют «перемирия» в борьбе классов; раздаются голоса, настаивающие на «пересмотре» образа Гете-олимпийца, характеризующие его как метафизика, антисемита, провозвестника расовой теории превосходства германцев и т. д., выдвигающие его против монизма Геккеля, материализма, марксизма, интернационализма и пр. При чем наиболее реакционные круги, особенно церковные, ведут борьбу за или против Гете в двух направлениях. Одни в 1899 г. все еще отвергают его как «язычника». Так венская клерикальная руководящая газета «Reichspost» в юбилейной статье 1899 г. «открыла», что слава Гете—лишь франкмасонский обман. Венский же «Vaterland», также в юбилейной статье, отдает Гете евреям, сожалеет, что такой гений принадлежал к неверующим, и ненавидит его как борца за «новое» мировоззрение. Другая же часть реакционной буржуазии проделывала тогда уже более тонкую операцию: она боролась за Гете, вытравляя из его творчества все прогрессивное; она «доказывала» например, что Спиноза не имел влияния на его миросозерцание, что Гете не был «язычником»—это, мол, еврейская выдумка: он был самым что ни на есть верующим христианином, и т. д.; одним словом, превращала поэта в глашатая своего реакционного мировоззрения, противопоставляя его всяческим «монистам» и марксистам[13]. Если вспомнить, что юбилей Гете 28 августа 1899 г. праздновался в самый разгар процесса Дрейфуса, то станет понятным, почему вся эта борьба вокруг его имени носила остро-политический характер.

Разоблачение классовой подоплеки этой борьбы вокруг Гете различных группировок буржуазии в 1899 г. взяла на себя социал-демократия. Нельзя сказать, чтобы с.-д. критика всегда строго придерживалась марксистского анализа при оценке Гете. Подчеркивая совершенно правильно вопрос об искажении его творчества буржуазными литературоведами, противопоставляя характеристикам Гете как метафизика, реакционера и т. д. прогрессивность его мировоззрения и творчества, выражавшего идеологию восходящей буржуазии, с.-д. критика далеко не всегда понимала противоречивость этого творчества и выдвигала лишь одну сторону мировоззрения Гете—прогрессивную, недооценивая или замалчивая сторону регрессивную, т. е. не рассматривала Гете в целом. Так автор юбилейной статьи в центральном органе австрийской с.-д. партии, венской «Arbeiter Zeitung», пишет: «Гете был одним из глубочайших и мощных революционеров, когда-либо появлявшихся на свет»[14]. Объяснение же причин, обусловливавших эту революционность, типично мелкобуржуазно-идеалистическое. Это потому,—продолжает автор,—что «Гете был настоящим человеком, и потому, что человек, стремящийся к истине и действительности, постоянно и на каждом шагу должен разбивать мертвые формы».

Основную, руководящую линию оценки Гете во время юбилея 1899 г. дал для германской с.-д. партии Ф. Меринг в нескольких статьях. Правильно разоблачая те легенды, которыми буржуазия окружала имя Гете, указывая на ряд положитель-

ных сторон его творчества, Меринг далеко не всегда по-марксистски разрешал проблему наследства Гете для пролетариата и не всегда должным образом уяснял противоречивость мировоззрения поэта. В его статьях 1899 г. видны также основные ошибки его литературоведческого метода, обнаруживается влияние на него идеалистической эстетики Канта и недостаточное понимание значения пролетарского искусства до завоевания власти рабочим классом. Нужно сказать, что как Меринг, так и другие с.-д. критики того времени не учитывали всей важности оценки Гете, данной Энгельсом в 1847 г., не брали ее за исходный пункт. Например сам Меринг не был согласен с некоторыми положениями этой оценки. Во всей тогдашней германской с.-д. партии в вопросе о культурном наследстве немецкого классицизма очень большой популярностью пользовалась идеалистическая постановка этой проблемы Л а с с а л е м, постановка с ориентацией на Канта-Шиллера в противовес Гете. Поэтому Меринг в юбилейной статье «Гете и рабочие», в передовой статье центрального органа германской с.-д. партии—берлинского «Vorwärts» от 27 августа 1899 г. (анонимно)—пишет следующее: «С первого взгляда ясно одно,—что из великих писателей нашей классической литературы Гете ни в коем случае не стоит ближе прочих к нынешнему пролетариату. В этом отношении его опережают Лессинг и Шиллер... Он был революционером только в художественной, но не в политической или социальной области». Правильно указывая на несостоятельность производившихся уже тогда попыток сделать из Гете социалиста, подчеркивая, что «совершенно нелепо видеть в отдельных фразах Гете какой-то «социализм», имеющий до некоторой степени точки соприкосновения с освободительной борьбой современного пролетариата», Меринг приходит к совершенно немарксистскому выводу о роли искусства и литературы в борьбе пролетариата за свое освобождение и к полукантианскому пониманию взаимоотношений политики и литературы. Он даже строит своеобразную «диалектику» механического чередования политики и искусства в общественном развитии человечества. Но предоставим слово ему самому: «Вряд ли Гете сделался бы таким великим художником,—пишет он,—если бы он был такой энергичной боевой натурой, как Лессинг и Шиллер». И подчеркивая отрицательное влияние реакционных политических воззрений Гете на его творчество, он продолжает: «Поэтому нынешний пролетариат не стоит конечно на точке зрения Берне, видевшего в Гете рифмованного холопа, а в Гегеле—нерифмованного. Если некогда и был необходим разрыв с односторонне-эстетической культурой, нашедшей свое воплощение в нашей классической литературе, то ныне это уже преодолено. Историческое развитие давно уже пролило яркий свет на то, чем обязана современная культура нашим классикам, они оставили наследство несравненного богатства, и это наследство досталось в первую очередь немецкому рабочему классу. В то время как немецкая буржуазия на словах безудержно восхваляет своих великих мыслителей и поэтов, в действительности она неминуемо должна отречься от их духа и поступков. И наоборот: немецкий пролетариат может решительно отвергать все то, что было преходящим в классических доктринах и писаниях, но в то же время он может или вернее должен—уже по всему своему классовому положению—перенести бессмертные элементы их творчества с заоблачных высот на равнину практической жизни. Когда Кант и Шиллер надеялись достичь политической свободы путем эстетической культуры, это было утопией, но в диалектических взаимодействиях истории пути политической свободы вновь ведут к эстетической культуре. Рабочий класс, борющийся за человеческие условия существования, не может никогда притти к бездушному чванству, подавляющему искусство в зародыше; свобода для него станет красотой, и он с радостным удивлением узнает, что не было более верного и благородного жреца красоты, чем Гете. Тогда сотрется и рассеется все то бесконечно мелкое, что мешает нам еще сейчас в его гордо высящемся образе, тогда в нем останется жить только бесконечно великое, и самому неискушенному взгляду станет ясно, как неповторим Гете в мировой литературе».

Наряду с правильными положениями во всей этой концепции литературного наследства вообще и в частности наследства Гете все же основная мысль неверна: выходит, что «во время битвы музы молчат», политика вытесняет искусство, а вот в социалистическом обществе—тогда будут наслаждаться прекрасными стихами Гете. Эту же концепцию Меринг защищает в своей более широко задуманной статье о Гете в 1899 г. в «Neue Zeit» «Гете и современность», где он пишет, что только с падением привилегированных классов «проснется художественное чувство, которое таится во всяком настоящем человеке, и тогда имя Гете ярко засияет на немецком умственном горизонте, как выступившее из облаков солнце. Ибо для каждого знающего немецкую культуру нет более великого, более бессмертного художника, чем Гете... Тот день, когда немецкий народ освободится экономически и политически, будет

днем торжества Гете, потому что в этот день искусство станет общим достоянием всего народа»[15].

Меринг, как мы уже отметили, в оценке Гете задавал тон в рядах германской с.-д. партии, но в 1899 г. были и более воинствующие и политически более заостренные с.-д. статьи о Гете. Так например, в гетевском номере журнала «Süddeutscher Postillon» (XVIII Jg., 1899, № 17) делается особый упор на молодого Гете и на революционное значение «Прометея». И несмотря на ряд промахов в статьях Меринга и других с.-д. критиков 1899 г., все же можно сказать, что пролетариат с большим энтузиазмом праздновал этот юбилей, противопоставляя свое понимание Гете, как идеолога восходящей буржуазии искажающему толкованию его творчества современной буржуазией. Во Франкфурте, где родился Гете, организовывались мощные рабочие демонстрации, устраивались публичные лекции и т. д. В некоторых городах пролетариат чествовал Гете прежде, чем «раскачалась» буржуазия, как это имело например место в Иене, где даже университет вначале «забыл» об юбилее[16]. Понятно, что такие рабочие вечера, на которых читались стихи Гете вроде «Прометея», не очень-то нравились Вильгельму II и его полиции, и поэтому, когда левый с.-д. критик Макс Грунвальд собрался выступить с публичным докладом о Гете на профсоюзном собрании в том самом Веймаре, где буржуазия торжественно «по-своему» чествовала поэта, этот доклад был запрещен полицией[17].

Книжка Грунвальда—одна из наиболее содержательных работ о Гете. Автор ее принадлежал к левому крылу партии; он в гораздо большей степени, чем другие с.-д. критики, подчеркивает противоречивость творчества Гете, дает краткую его эволюцию, освобождает его от ряда искажений и легенд и приходит к выводу, что наследником прогрессивной стороны творчества поэта может стать не реакционная буржуазия, а только пролетариат. Но в решающем вопросе о причинах противоречивости мировоззрения Гете и о ценности его поэзии для рабочего класса он стоит на точке зрения Меринга, на солидарность с концепцией которого он сам указывает. Так, приводя слова Энгельса о Гете (они тогда приписывались Марксу), он пишет: «Как и Маркс, мы должны отделять в нем [Гете] революционного мыслителя и поэта от человека привычки, который не в состоянии отказаться от традиции и веры. Это противоречие проходит через всю его жизнь. От начала до конца оно проявляется в его чувствованиях и действиях и исчезает только на высочайшей вершине жизни, когда гениальная интуиция создает синтез». Но Энгельс понимал это противоречие совсем не как влияние «традиций», а как классово обусловленное и вовсе не исчезающее в «гениальной интуиции». Что же касается значения искусства Гете для рабочего класса, то Грунвальд повторяет почти буквально слова Меринга о Гете и будущем социалистическом обществе.

Во время юбилея 1899 г. выступали с оценкой Гете и «ультралевые», т. е. анархисты. Специальный гетевский номер ежемесячника «Sozialist» сплошь занят брошюрой Г. Ландауэра[18]. Как в этой брошюре, так и в дальнейших своих работах Ландауэр рассматривает Гете как революционера, особенно высоко ставит его свободомыслие и выпады против церкви и религии, против узкой морали в вопросах любви, брака и т. п.; но как анархо-индивидуалист Ландауэр главным образом преклоняется перед индивидуализмом Гете и его противопоставлением героев-гениев массам. «Гений», «высшая индивидуальность», для Ландауэра является самоцелью, и «безразлично, из какого общественного класса происходит гений, ибо происхождение гения необъяснимо». Он тут же пользуется случаем лягнуть массовое рабочее движение, называя «грызней из-за куска хлеба» партию Бебеля и утверждая, что Гете стоит над всеми партиями, что он «гуманус будущего», который не может быть использован для политической борьбы.

Таким образом к концу XIX столетия, на первой стадии империализма, с заострением капиталистических противоречий и кризиса буржуазной идеологии уже вырисовываются основные классовые контуры борьбы вокруг Гете: наиболее реакционные круги все еще отвергают его как человека, лишенного веры и нравственности, основные группировки буржуазии отходят от «филологической» его интерпретации и «обрабатывают» для своих потребностей его мировоззрение, социал-демократическая партия разоблачает классовый смысл этого маневра и старается дать марксистский анализ творчества Гете—правда, совершая при этом не мало ошибок, мелкобуржуазный этический анархо-индивидуализм «приспосабливает» его творчество для своих целей.

IV

Наметившиеся на первой стадии империализма тенденции истолкования Гете усиливаются и расширяются со все большим обострением империалистических противоречий; либерализм, космополитизм, «позитивистическое обеднение»

и «материалистическое запустение», хотя бы в духе монизма Геккеля, не годились больше для идеологии империализма, готовящегося к кровавой схватке за новый передел мира и рынков сбыта. Для такой воинствующей идеологии мещанский пессимизм Шопенгауэра был вредной помехой: империализм нуждался в мировоззрении действия, власти, сильной воли. Это—с одной стороны. С другой же стороны, он нуждался также в подавлении рабочего класса, в «гражданском мире» и «сотрудничестве всей нации» внутри страны для обеспечения тыла. Чтобы успешнее вести свою экспансию и войны, необходимо было скрывать действительные цели империализма, окутывая их разными национальными, расовыми, религиозными, культурными и другими покрывалами. Оголтелая пропаганда того, что белая раса—соль земли, призвана властвовать над всеми остальными, что она является носительницей «культурной миссии» в колониях, и теория о том, что германская, англо-американская, романская и т. д. национальности каждая в отдельности лучше всех других белых народностей, что все ценное и гениальное, созданное в мире, сделано именно данной нацией и поэтому она должна быть облечена исключительной властью—эта пропаганда старалась опираться в каждой империалистической стране на авторитет своих классиков.

В Германии эти две линии «обработки» классиков—1) в духе сильной власти и расовой теории, противопоставления махрового национализма либерализму и 2) в духе фальсификации классиков, перенесения их в область «героизма» вне времени и пространства, превращения в надисторический «миф» и вместе с тем в «духовных вождей»—уже ярко выражены в литературе о Гете до и во время войны. В эту эпоху создаются «три кита» современного буржуазного гетеведения, три монументальных работы: Хаустона-Стюарта Чемберлена [19], Георга Зиммеля [20] и Фридриха Гундольфа [21]. Из этих «трех китов» книга Чемберлена служит преимущественно первой, а книги Зиммеля и Гундольфа—второй цели.

Чемберлен не скрывает, что он преследует определенное задание в своей работе о Гете. Он противопоставляет ее обычным исследованиям о поэте, не скрывая чисто субъективного подхода к фактам и материалам. «Я приступил к работе с бесцеремонной субъективностью,—пишет он в предисловии,—ибо только таким способом можно добиться объективной цели определенного импульса». Для него Гете—олицетворение всего германского, всего антисемитского, всего враждебного «восточному» в христианстве, он—истинный немец, воплощение любви к родине. «Никто,—пишет он,—не представил взору немца такой в одно и то же время наивно-реалистической и возвышенно-идеалистической картины германского рыцарства, как Гете в Геце, — вечный пример того, что называется благородством, свободой и верностью; никто не изобразил немецкого крестьянина так правдиво и в то же время так просветленно, как он в своем Германе. Спустя тысячелетия эта поэма будет свидетельствовать о лучших свойствах немецкого духа народностям, которые быть может сочтут достойным сохранения только этот дух». В ином разрезе написаны книги Зиммеля и Гундольфа: обе они чрезвычайно метафизичны и субъективны, обе отвлекаются от действительной жизни, переносят Гете в мир своего личного, делают его рупором метафизического мировоззрения, прикрывая его именем действительные цели и противоречия буржуазного общества. Зиммель в предисловии открыто заявляет, что «истолкование и оценка гетевской поэзии не является его задачей. Он ставит себе вопрос: каков духовный смысл гетевского существования вообще». Гундольф, так же как и его бывший учитель Стефан Георге, кладет в основу своей работы о Гете понятие «почитания героев», противопоставления сильной личности массам (это те же мысли Ницше, только в приложении к кастово-жреческому пониманию искусства и роли буржуазной интеллигенции). «Герой» Гундольфа не есть порождение окружающей его среды, он не формируется под влиянием общественных или иных факторов, а, наоборот, он сам созидает всю эпоху: эпоха, время становятся следствием первопричины—героя. И таким героем для Гундольфа является Гете, «величайшее единство, в котором воплотился немецкий дух». Гете Гундольфа—образ, подобный известному портрету поэта в старости, с орденской звездой и угрюмым выражением лица, образ «холодного» человека, недосягаемо высоко «стоящего над партиями» и всеми вопросами повседневной жизни.

Непосредственное использование авторитета Гете в империалистических целях особенно усилилось со времени объявления войны. Буржуазия Германии 1914—1918 гг. эксплоатировала «немецкий идеализм», классический период своего прошлого: Лессинг, Кант, Шиллер, Фихте, Гете, Гегель цитировались на каждом шагу, и во имя их германский империализм требовал от трудящихся масс огромных жертв на ведение войны до победного конца, их именами прикрывались все ужасы и пре-

ступления этой страшной бойни. Особенно эксплоатировала германская буржуазия Гете в качестве орудия пропаганды «единства» всех немцев, отказа от «классового раздора», «внутреннего мира» как необходимого условия победы над внешним врагом. Германскую армию забрасывали произведениями Гете, особенно «Фаустом». В своем предисловии к военному изданию комментариев к «Фаусту» немецкий литературовед Эрнст Траутман[22] пишет: «И когда цвет нашей университетской молодежи отправлялся в бой и на смерть со звучной песней бардов, подобно своим германским предкам, то повсюду—на запад и на восток, на север и на юг, на французский и на русский фронт, в захваченное англичанами море, далеко вглубь Малой Азии и на Балканы, и на границы Италии—миллионы этих воинов сопро-

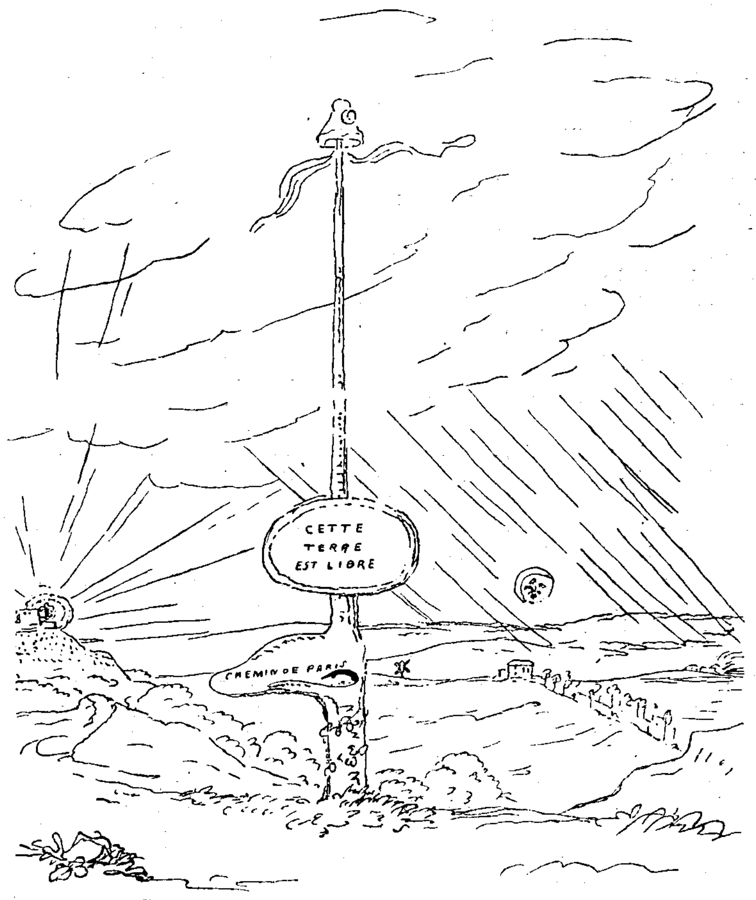


Рисунок Гете эпохи Великой французской революции
Рисунок находится в письме Гете к супругам Гердер от 16 октября 1792 г.
Goethe-und Schiller-Archiv, Веймар

вождало также, как духи-хранители, как их пенаты, священное завещание их величайших поэтов. Наследие Гете, «всеобъемлющего гения немцев»,—прежде всего. Он—«сияющий вождь». «Его сочинения тысячами следовали в поле и в окопы за нашими храбрецами». И в сумке всегда лежал «Фауст»: «он казался ему [солдату] палладиумом, духовным знаменем его народа, знаменем, которое он должен оберегать и охранять в этом ожесточеннейшем бою за защиту немецких идеалов». «Фауст»—«неосвященная светская библия», «символ народной борьбы», символ того, что Германия должна победить своих врагов так же, как Фауст победил Мефистофеля.

Но имя Гете использовалось германскими империалистами не только для такой «национально-воспитательной» пропаганды в армии; его идеологи не только «доказывали», что война ведется в защиту «великих идей» немецких классиков и германского народа; имя Гете использовалось на каждом шагу при каждом удобном случае. Появляется ряд статей на тему «Гете и патриотизм»; для опорочения англи-

чан и французов услужливые патриотические литературоведы выискивают все отрицательные высказывания Гете об этих народах, и они публикуются под заголовками: «Французы и англичане в жизни и оценке Гете», «Высказывания Гете о французах в побежденной стране», «Гете как боец за цеппелин», «Гете перед Верденом и в Вердене» и т. д. и т. п.

Конечно не одна Германия «спекулировала» своими классиками во время войны: то же самое и в такой же «утилитарно»-политической форме проделывали империалисты и социал-шовинисты Англии, Франции, Италии и т. д.—с той только разницей, что они давали своим солдатам в качестве «священных пенатов» своих классиков и на все корки ругали... Гете и немецких классиков, этих «варваров и гуннов». Так в Англии злобно брызжущие слюной беззубые профессора, слишком старые, чтобы приносить себя в жертву «на алтарь отечества» в окопах, писали длиннейшие статьи о Гете, приходя к «ученому» выводу, что в творчестве его были уже заложены все корни германского «гуннства» и что сам он «поэт гуннов». И это писали те самые профессора, идеологи английского империализма, которые клали в сумки своим солдатам... Байрона и Шелли! Итак, английский солдат должен был защищать свои «духовные ценности», своих «пенатов» от угрожавшего Байрону и Шелли... «поэта гуннов»—Гете! Трудно представить себе картину, более наглядно рисующую смысл «пропаганды» классиков во время войны.

В этой пропаганде, особенно же в травле Гете как «варвара» и идеолога «пангерманизма», не отставали от англичан и французские империалисты. Восхваляя своих классиков как «борцов за цивилизацию» и «гуманизм», идеологи французского империализма считают Гете «ответственным» за «организованное варварство» германцев. Националистический писатель Луи Бертран в своей статье «Гете и германизм»[23] перефразирует слова Фауста, что «вначале было дело», таким образом: вначале была сила, сила империализма Вильгельма II! Для автора—Гете антихрист, издевающийся над моралью и законами; поле деятельности Фауста—«научное варварство». Бертран делает Гете ответственным за все поступки Мефистофеля, ибо Фауст—соучастник этого «бандита», пользующийся плодами его разбоя. И резюмируя свою оценку «Фауста», он пишет: «Это—одно из проклятых, пораженных молнией мест, где древние сажали терновые кусты и которые они окружали изгородью. Не говорите нам больше о гуманности Гете! «Вы—человек, господин Гете!» Да, немецкий человек, и только немецкий,—понимать это иначе, значит непозволительно злоупотреблять словом. Со времен Гомера это прекрасное слово «гуманность» имеет для нас, европейцев, ясный смысл, не поддающийся никакому ложному истолкованию. Если гуманен Ахиллес, дарующий жизнь отцу своего самого смертельного врага, то как может быть гуманным Фауст, оправдывающий ужасными софизмами убийство двух безобидных старцев? В действительности шедевр Гете лежит за пределами великой благодетельной традиции западной гуманности. Он гуманистичен может быть, но ни в коем случае не гуманен. Под классической формой скрывается варварская поэма». Бертран не был одинок в такой «научной» интерпретации Гете во Франции. Во французских газетах, журналах и книгах во время войны можно найти множество подобных оценок Гете, хотя не всегда так ярко сформулированных. Предшественником германского империализма считал Гете и Морис Баррес. В опубликованном в этом году его женой наброске Баррес выводит это заключение из того обстоятельства, что Гете якобы на смертном одре начертал таинственную букву W..., что было завещанием идей пангерманизма... Рихарду Вагнеру!»[24]

V

С крушением мощи германского империализма меняется и господствовавшая во время войны интерпретация творчества Гете. В первый период послевоенного кризиса капитализма, особенно вслед за переворотом в Германии, созданием Венгерской и Баварской советских республик, под влиянием Октябрьской революции в России и непосредственной угрозы пролетарской революции в самой Германии и других странах идеологи капитализма ощущают определенную растерянность, охватившую все области буржуазной науки, и этот кризис не мог не отразиться и на критической литературе о Гете. В цитированной уже нами статье проф. Г. Витковского говорится о «трех китах» довоенного и военного гетеведения, т. е. о работах Чемберлена, Зиммеля и Гундольфа, следующее: «Из этих трех изложений в их совокупности, из многочисленных одновременных трудов и статей о различных сторонах творчества Гете выросло то представление о великом мудреце, в котором немецкий человек воплотился так совершенно, как никогда еще... Казалось, будто Гете должен подняться до господства над всем немецким духовным достоянием, будто из его сочинений, писем, произнесенных им слов, из всего этого материала проистекает все усиливаю-

щийся, просачивающийся в самые широкие слои народа жизненный поток. Эта надежда держалась еще во время мировой войны. Не только «Фауст» услаждал души бойцов; тоненькие тетрадки с изречениями Гете о религии и по вопросам житейской мудрости отправлялись на поля сражения и принимались с благодарностью. Письма образованной военной молодежи дают поразительное доказательство того, с каким доверием она взирала на Гете. Несокрушимая, как скала, вера в новую, более великую и более благородную немецкую национальность, которая расцветет как награда на удобренной кровью земле, черпала свою последнюю надежду из представления человека по образцу Гете». И вот эта борьба германского империализма, в которой, для того чтобы скрыть настоящие цели и одурачить широкие массы, так щедро использовалось имя Гете, эта борьба потерпела крах. И буржуазия вновь мобилизует то же имя для новых уже задач, направленных преимущественно на «внутреннего врага»—на марксизм, на рабочий класс, на пролетарскую революцию. Эрнст Траутман формулирует эти новые задачи буржуазного «гетеведения» в цитированном уже втором издании «Фауста», вышедшем после ноябрьского переворота в Германии, такими лозунгами: «Борьба за душу народа», «Против материализма» и «Назад к классикам, только немецкий идеализм может нас спасти».

Революция в Германии была подавлена социал-предателями; в Веймаре провозглашается конституция буржуазно-демократической республики. И вот вокруг имени Гете возгорается новая борьба между приверженцами новой буржуазной государственности и правыми, недовольными ею кругами, монархистами-националистами, национал-социалистами и др. Появляется ряд статей под заглавиями вроде «Гете и революция», «Гете и демократия», «Гете и социальный вопрос» и т. д., в которых идеологи новой буржуазной республики пытаются доказать, что в Веймарской конституции «дух Веймара», т. е. Гете, победил «дух Потсдама», т. е. Фридриха II и пруссачество вообще, и что «дух» демократии и гуманизма одержал окончательную победу над «духом» милитаризма и монархизма [25]. В ответ на это имеются многочисленные выступления наиболее отъявленных националистов и сторонников «старого пруссачества». Один из идеологов национал-фашизма, литературный критик Адольф Бартельс, в специальной книге «Веймар и немецкая культура» [26] «доказывает», что Потсдам и Веймар, пруссачество и гуманизм,—вовсе не «противники» и что «веймарский гуманизм был гораздо более национальным, чем это обычно думают». В обостренном националистическом духе составлена и книга цитат из Гете—Ernst Schrumpf, Der nationale Goethe. Ein Wegweiser für unsere Tage. Aufl. 1926. München, Lehmann, 1932. Сюда же относится и немалочисленная литература послевоенного времени на тему «Гете и евреи». В то время как «гетеведы» типа генерала Людендорфа и его круга считают поэта совершенным «прототипом потомка Авраама» и по своей сущности «гораздо больше семитом нежели немцем», основные круги национал-фашистов выдвигают Гете в качестве «вечного прототипа» всего немецкого и антисемита, называя Веймарскую конституцию, чтобы дискредитировать ее в широких мелкобуржуазных слоях, делом «международного еврейского банковского капитала» [27]. Насколько эта борьба вокруг формул о победе Веймара Гете над Потсдамом Фридриха II носит демагогический характер, можно судить хотя бы по тому «гуманизму», с которым правительство Веймарской конституции подавляло все рабочие восстания.

Но так или иначе имя Гете весьма усиленно эксплоатируется всеми группировками послевоенной немецкой буржуазии в ее непосредственной политической борьбе. Идет ли вопрос о новых жертвах и новых налогах, возлагаемых на плечи трудящихся масс, о «спасении западной цивилизации» против грозящей восточной революции, о защите капитализма от большевизма—буржуазия взывает к Гете. Не случайно в 1923 г., в период массовых рабочих восстаний, один из наиболее авторитетных немецких буржуазно-демократических писателей Томас Манн читает доклад на тему «Гете и Толстой» [28]. И не случайно Манн рисует здесь Толстого как представителя «допетровской, антицивилизованной России», как олицетворение «азиатчины», а Гете—воплощением «западной цивилизации», буржуазно-гуманистически-либеральной культуры. «Мы воочию видели, милостивые государыни и милостивые государи,—продолжает Манн,—крушение допетровской России, крушение, пророком которого был «великий писатель земли русской». Но не живо ли у нас чувство, что и для европейского Запада кончается буржуазно-гуманистически-либеральная эпоха, зародившаяся во время Ренессанса и достигшая власти со времени французской революции? Вопрос ныне в том, является ли классически-гуманистическая традиция делом человечества и потому человечески вечной, или же она была лишь формой духа, принадлежностью одной эпохи, именно эпохи буржуазно-либеральной, и может умереть вместе с ней. В России очевидно с нею покончено. Что же касается Германии,

то эта страна стоит между Востоком и Западом в нерешительности, полная противоречий. Гуманистический либерализм Запада, говоря политически—демократия, завоевал у нас большую территорию, но не всю. Та часть германского юношества, которая на вопрос «Рим или Москва?» отвечает «Москва», не плохая. Заблуждается также и молодежь, высказывающаяся за Рим; ответ должен гласить: не Рим и не Москва, а Германия. Германия наших надежд будет отличаться от царства сарматов и большевиков так же, как дух Гете отличался от духа Толстого. Этот дух знаменует собой для германца культуру, то-есть очищение, возвышение и очеловечение, но не рационально-радикальное искажение ее. Германский юноша будет не азиатом и дикарем, но европейцем, т. е. одаренным чувством расчленения, порядка, меры—и буржуа в самом старом, достойнейшем, средневеково-немецком значении, т. е. искусным и воспитанным действительностью...»

Здесь мы имеем классический пример того, как в период большой опасности для капитализма имя Гете неминуемо становится символом «вечно-человеческой» якобы сущности капиталистического способа производства, символом вечности основ буржуазного общества; Гете превращается в олицетворение уже «общечеловеческой», а не определенного исторического отрезка буржуазной культуры; имя его мобилизуется для спасения «общечеловеческой», «западной» (читай—капиталистической) цивилизации и противопоставляется «восточной» антицивилизации (т. е. антикапиталистической цивилизации, пролетарской революции).

Примеров подобной интерпретации Гете можно было бы привести еще много. Симптоматично, что в такие периоды обостренной классовой борьбы имя Гете становится одним из весьма актуально-политических факторов, имя того самого Гете, о котором буржуазные профессора-педанты-филологи утверждали, что он совершенно не пригоден для «борьбы партий». Укажем хотя бы еще на две статьи Г. Штреземана («Гете и Наполеон» и «Гете и освободительные войны»), опубликованные в 1927 г. Теперь, когда вышло в свет «завещание» Штреземана, делаются чрезвычайно ясными все детали и закулисные маневры, подчеркивающие опасность, в которой находилась—особенно в 1923—1924 гг.—буржуазная Германия: оккупация Рурской области французскими империалистами, сепаратистское движение в Рейнской провинции и Баварии, выступления рабочего класса. И Штреземан также заклинает немцев именем Гете, призывая к спасению капиталистической Германии: «Родиной Гете,—пишет он,—была не Пруссия и не Саксен-Веймар, но Германия. Его ощущение родины переходило в ощущение человечества и считало развитие культуры наиболее ценным из всего, к чему стремится человеческая деятельность».

В первый период послевоенного кризиса с критикой Гете—причем с резко отрицательной—выступает левое крыло немецких экспрессионистов, писателей-активистов. Эта анархо-индивидуалистическая группка взбесившихся мелкобуржуазных интеллигентов (с журналом «Die Aktion» Ф. Пфемферта) защищала архирадикальную, ультралевую теорию ликвидации всего культурного наследства прошлого. Они требовали уничтожения музеев, этих хранилищ «старого хлама», и не могли понять, как это Маркс мог читать Гете или так «возиться с Гейне». Буржуазные писатели для этой группы—первичное зло всего человечества, и прототипом такого писателя она считала именно Гете. Карл Штернгейм, известный сноб и один из идеологов этих обезумевших мещан, старается развенчать Гете как поэта «juste milieu» [29]. В своей книге он изображает его в виде ничтожного филистера,—и только. Творя обдуманно, окруженный довольством, никогда не выходя из рамок законности, он, Гете, избегает всяких потрясений. Он «окутывал нервы своих земляков и свои собственные в вату, так что под бдительным уходом крепко сколоченной мещанки он в состоянии был отпраздновать свое восьмидесятилетие». Гете проповедывал только подчинение без критики существующему, покорность трупа, и Штернгейм считает его «неслыханно трусливым и ограниченным». С этой оценкой Штернгейма солидаризируется и другой идеолог этой группки—поэт и критик Макс Герман-Нейсе, который вообще видит во всех классиках только представителей поэзии, сохраняющей и увековечивающей несправедливость. В отношении к Гете и ко всему буржуазному литературному наследству Герман требует: «отрыв и начало без всякой связи с прошлым» [30]. Буржуазная критика, чтобы дать «представление» о «варварстве» и «враждебности коммунизма к культуре», часто ссылается именно на эти высказывания анархо-индивидуалистов как на «произведения коммунистической критики». Нечего доказывать, что подлинная коммунистическая критика не имеет ничего общего с такой оценкой Гете, видящей в его мировоззрении только филистерскую сторону и совершенно игнорирующую прогрессивную, исторически ценную сторону творчества Гете. Весь этот «нигилистический» подход к культурному наследству прошлого, выражаю-

щийся в «теориях» активизма, дадаизма и т. д., является сам продуктом распада, загнивания капиталистического общества.

VI

Все же основная линия развития послевоенной буржуазной литературы о Гете идет в сторону обработки его творчества и философии, вытравливания из них всякого революционного и прогрессивного элемента и превращения поэта в основоположника и опору мистицизма, метафизики, религии, антропософии, психоанализа и т. д. Подобный процесс «обработки» затрагивает не только Гете, но и других представителей классического периода восхождения буржуазии. Фальсификация современной буржуазией Гегеля или Гете—вне Германии можно назвать другие имена—является попыткой осужденного на гибель общества использовать наследство прошлого для защиты своего реакционного настоящего, увековечить свое существование и помочь себе в борьбе с наступающим на него новым классом — пролетариатом.

Одним из важнейших факторов идеологической борьбы современной буржуазии являются церковь и религия. В былые времена, когда юный задорный класс буржуазии боролся с феодализмом, он наступал весьма решительно и на идеологическую надстройку феодальной формации—религию, церковь. Но сделавшись реакционным классом и поставленная в необходимость защищаться от наступающего пролетариата и его мировоззрения, диалектического материализма, буржуазия охотно бросилась в объятия церкви, чтобы с ее помощью держать в повиновении массы. Гете, как известно, и в период «бури и натиска», и в зрелый период своего творчества был врагом всякой церковной религии, жестоко издевался над догматами и бросал дерзкие вызовы тирану-богу в «Прометее». И если в старости у него и намечается некоторое примирение с религией, то все же он никогда не был тем «верующим христианином», в которого его потом начали постепенно превращать. Конечно взгляд на Гете как на «язычника» и «олимпийца» и в вопросах религии, или даже как на предшественника Дарвина, этот взгляд, распространенный в XIX в. в широких слоях буржуазии, никак не может удовлетворить современных буржуазных идеологов. Можно смело сказать, что почти все работы буржуазных критиков о Гете, написанные в эпоху империализма, требуют коренного пересмотра этой концепции: почти все они превращают Гете в защитника религии. Появляются—особенно после войны—сотни трудов, специально посвященных вопросу об отношении Гете к религии. Больше того: каждая работа о Гете, на какую бы тему она ни была написана, так или иначе затрагивает вопрос о «религиозной сущности» мировоззрения поэта. Особенно «благодарной» темой для этого оказался «Фауст», вообще стоящий в центре внимания всего буржуазного гетеведения последних трех десятилетий. Голоса богословской реакции, так рьяно метавшей гром и молнии на «язычника», антихриста и безнравственного Гете в XIX столетии, в XX постепенно замолкают. Лютеранская ортодоксия и всякие «свободные» секты и церкви сегодня уже давно забыли о своем «храбром рыцаре» «Evangelische Kirchenzeitung» и Генгстенберге, сражавшемся в первой половине XIX в. против Гете. Ныне они делают из поэта нового Лютера, а библию—основой его мировоззрения. Чрезвычайно отрицательная интерпретация Гете, заложенная в 1882 г. в книге иезуита А. Баумгартена, постепенно исчезает из католической критики, и после войны в печати германской партии центра все чаще появляются статьи, написанные также по большей части иезуитами, уже считающими Гете почти своим человеком. Ухватившись за конец второй части «Фауста» с ее церковной символикой, католическая критика утверждает, что и величайший писатель к концу своей жизни «усумнился» якобы во всем материальном, бренном, отвернулся от протестантизма и видел спасение в католицизме. Лютеранские богословы и «философы»-критики в этих спорах не отстают от католиков, и таким образом накопилась уже большая полемическая литература о Гете и религии, свидетельствующая о метафизации, которая так характерна для современной буржуазной философии.

Этот процесс «орелигизирования» Гете начался еще до войны и не является только делом всяких «литературных» богословов: как уже указано выше, этой интерпретацией в той или иной степени пронизана вся современная буржуазная критика о Гете. Так весьма известный сейчас философ Конрад Бурдах еще в 1912 г. читал в этом духе доклад в Прусской академии наук [31], а в своей последней статье «Религиозная проблема в гетевском «Фаусте» [32] пытается доказать, что в религиозной эволюции Гете вообще не было никаких существенных изменений от его «пиэтистсконеоплатонических» воззрений «бури и натиска» до второй части «Фауста»: «Искупление деятельного, работающего Фауста,—пишет он,—который в предвидении высшего бу-

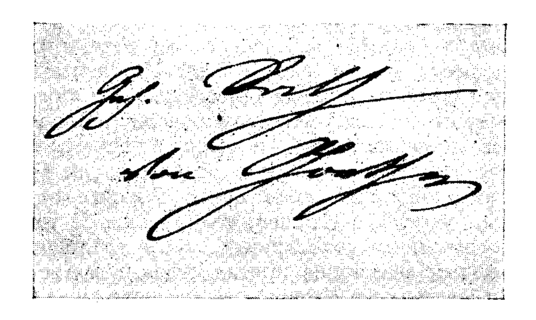
дущего возрастания своих забот об общем благе предчувствует то мгновение, которому он мог бы крикнуть: «Остановись! Ты так прекрасно!»,—это искупление заложено в самом сокровенном и самом давнем зародыше фаустовской концепции Гете. Оно не временное. Оно даже значительнее, чем внешний механизм божественного вмешательства по церковному представлению. Оно соответствует религиозности, которой всегда полны были глубины духа Гете. Ослепляющая легенда о великом язычнике Гете, о безмятежном олимпийце, о безбожном эгоисте и проповеднике эгоцентризма хотя живет еще поныне во всеобщем сознании, но исчезла по крайней мере из представления всех истинных гетеведов. Религиозность Гете является теперь предметом разносторонних серьезных исследований, в которых успешно принимают участие пользующиеся именем богословы наряду с философами и историками литературы». Бурдах все же считает себя «светским» философом, а не богословом и поэтому разграничивает Гете как поэта и естествоиспытателя от Гете как «нравственной личности». В первых двух случаях поэт относился к религии «иначе» (как—Бурдах не объясняет), но «в области нравственного он никогда не отрицал зародыша христианства или точнее, зародыша очищенной христианством веры в бога». И такая оценка религиозных воззрений Гете считается «либеральной» современной немецкой буржуазной критикой!

Параллельно с «философской» интерпретацией Гете как религиозно-верующего человека идет другая линия «философской» обработки его творчества, а именно: вытравливание из его мировоззрения всяких влияний революционной философии догетевского периода и «сращивание» Гете с метафизированным современными фашистскими и мистическими идеологами немецким классическим идеализмом. Это прежде всего относится к тому огромному влиянию, которое, по многократному заявлению самого Гете, оказала на формирование его мировоззрения философия восходящей нидерландской буржуазии—учение Спинозы. Известно, что Гете до конца жизни считал себя приверженцем этого философа, особенно же сильное влияние на него спинозизм имел в период «бури и натиска». Понятно, что при той метафизации, которой подвергается ныне Гете, буржуазные гетеведы прежде всего направили свои удары именно на Спинозу. Говорить о его влиянии на Гете уже считается теперь «дурным тоном». В качестве «замены» Спинозы выискиваются всякие реакционные по существу или превращенные в таковых милостью современных буржуазных «реставраторов» философы. Так известный литературовед Франц Кох в своей книге «Гете и Плотин» [33] выступает против спинозистских элементов в мировоззрении Гете и сближает его с Плотином и неоплатонизмом. В этой работе классовая сущность истолкования Гете видна особенно отчетливо: революционная философия Спинозы подменяется философией Плотина, в доктрине которого активный идеализм «обработан» в духе гностицизма и превращается в мистическую систему, где телесность, реальность является низшей, призрачной формой бытия. Другие сближают Гете с Лейбницем, в идеалистической философской системе которого проповедуется примирение науки и веры, признание средневекового христианства, от которого отказался Спиноза. Так Д. Манке высказывает мнение, «что и мировоззрение Гете нужно связывать не с покорным судьбе учением Спинозы, односторонне теоретического мудреца», но с «обосновывающей деятельность наукой» Лейбница, подлинно разностороннего философа [34]. Другие ставят на место Спинозы Джиордано Бруно [35] или Шеллинга [36], объясняя их влияние «метафизической потребностью» Гете.

Наибольшее количество попыток сближения Гете с немецким идеализмом за счет Спинозы исходит из среды неокантианцев. Особенно в этом деле постарался с.-д. профессор философии Карл Форлендер. Он еще в 1898 г. в «Jahrbuch der Goethegesellschaft» опубликовал статью, где выступает против спинозизма в мировоззрении Гете и сближает его с Кантом; эту свою «теорию» Форлендер защищал еще в целом ряде статей и книг до самого конца своей жизни [37]. За это «сближение» высказывается в своем труде и Г. Зиммель [38]. Проблему «Кант и Гете», хотя и в ином разрезе, поставил в своей работе [39] Л. фон Липпа. Для него развитие от Канта к Гете—путь от естественно-научных воззрений на жизнь—«основ марксизма»—к религиозной вере. Поэтому: «Прочь от Канта к Гете! Прочь от науки к религии!» (стр. 294). Самой апологической работой на тему «сближения Канта и Гете» является книга Г. Рабеля [40]. Опираясь на «достижения» Форлендера, Рабель устанавливает «полное тождество» мировоззрения Канта и Гете и делает поэта просто эпигоном и добросовестным учеником кенигсбергского философа.

Нет конечно недостатка и в попытках связать Гете с Гегелем, опять-таки в той форме «фальсифицированного» Гегеля, как его обрабатывают современные «неогегельянцы». Литература на эту тему делается все обильнее, по мере того как «неогегельянство» после войны стало вытеснять «неокантианство». Особенно

ярым защитником этой «интерпретации» является Рудольф Гонеггер[41]. Даже в естественно-научные работы Гете, главным образом в «учение о красках», вкладывают то «иррациональное», которым современные «неогегельянцы» с такой щедростью наделяют «немецкий идеализм». Так Г. Глокнер говорит в своем докладе о Гете: «Это объективно-иррациональное—его научное проникновение и философское обуздание—является самой выдающейся из всех волнующих нас ныне проблем. Обращаются к Гете, как уже обращались к Шеллингу и Гегелю. Говорят о гетевской теории наук. Стремятся ее обновить»[42]. Линия «сближения» Гете с «немецким» идеализмом «вообще» в понимании возрождения иррационального, метафизики и мистицизма—а не с определенным представителем немецкой классической философии—также служит темой множества работ о Гете: построение нового миропонимания при помощи метафизации гетевского мировоззрения—вот основной лозунг этих работ. Эти мысли сформулировал Г. Ипсен в своей статье следующим образом: «Философия в своем широком размахе вспомнила ныне снова о своем существенном содержании; мы снова знаем, что философия в основе своей—метафизика и что эта метафизическая глубина дает ей жизнь, если только она не хочет отказаться от самой себя. Мы верим, что это—наиболее свойственный ей предмет, чуждый науки и научности. Мы верим поэтому в ее обуздывающую, упорядочивающую мощь в хаосе, в распаде настоящего. Вопросы, которые мы ставим, почва, на которой мы стоим,—одновременно старое и новое: мы снова интересуемся смыслом существования человека, его положением в космосе, сущностью духа, души,



Автограф Гете на визитной карточке:
„Тайный советник фон Гете"
Институт Русской Литературы, Ленинград

действительностью. И почва, которой мы доверяем, это мы сами,—человек занимает центральное положение. В этом смысле мы называем сущность наших метафизических вопросов антропологией. В эту антропологию вливается наука Гете. Его мышление, его познание, если не вполне, то в конечном итоге, по своим побуждениям, по своей позиции, по своей структуре представляют собой антропологическую метафизику»[43].

В духе такой же «смычки» Гете не столько с определенным философом, сколько с «немецким идеализмом» вообще написана и статья названного уже выше Ф. Коха[44]. Хотя Гете и сохранял, говорит Кох, некоторые самостоятельные позиции, все же его «тянуло к немецкому идеализму метафизическое». Весьма знаменательна в этом отношении и книга известного гетеведа Э. Кюнемана[45]. Он прямо называет свое предисловие «Воспитание немецкого духа». Он обращается ко «всему немецкому народу», которому хочет помочь «еще раз пройти сначала школу своих величайших духовных вождей». Гете для него—мост к пониманию «немецкого идеализма». Характерно, что Кюнеман, относящийся к тем немногочисленным литературоведам, которые еще не совсем отказались от влияния Спинозы на Гете, хоть и допускает воздействия отдельных элементов философии великого голландца, но считает, что Гете был очарован только высоконравственной личностью Спинозы. Такое понимание «влияния» спинозизма вообще является уже давно предельной формой отношений Гете к Спинозе, допускаемой большинством буржуазных литературоведов. Оказывается никто иной, как Спиноза, «излечил» бунтаря Гете от бурных устремлений его молодости! Карл Фиэтор пишет в своей книге о молодом Гете[46]: «Успокоение, ясность, умиротворение исходят от этого образа [Спинозы]. Знаменитые слова об отречении как основе нравственного существования стоят в этих произведениях над Спинозой—

следовательно как раз то, чего не хватало молодой мятежности Гете. Во время жестоких страданий от своей мятежности, своего титанизма великолепное спокойствие и ясность Спинозы должны были казаться ему образцовыми» (стр. 102), «поэтому он говорит со своими друзьями о Спинозе-человеке, а не о его системе» (стр. 103). Такое же «очеловеченное» влияние допускает еще и Т. Капштейн[47].

Кроме этой основной линии философской интерпретации Гете как одного из столпов «немецкого идеализма» или по крайней мере мыслителя близкого к нему послевоенная буржуазная литература о Гете сближает мировоззрение Гете и с другими философскими метафизическими системами. Понятно, что в истолкованиях этих «школ» Гете прежде всего превращается в оплот против материализма и марксизма. Так К. Гейке еще в 1918 г. «понимал» Гете как представителя «индусско-прахристианского учения об искуплении, и путем соединения Будды, Христа, Гете и Ницше он намеревался создать мировоззрение, которое должно было нанести окончательный удар «господству старческого материализма»[48]. Совсем мистически, в духе своей антропософии, интерпретировал Гете и небезызвестный Рудольф Штейнер[49]. Без конца ссылаются на поэта и все немалочисленные буржуазные философы «интуиции», «подсознательного» и «философии жизни» как начала всякого мировоззрения. Г. Эмерих в своей книге о Гете, исходя из понимания интуиции, данного Бергсоном, опираясь далее на Г. Риккерта, Зиммеля и Гундольфа, приходит к выводу, что в зависимости от правильности или неправильности ссылок «философов жизни» на Гете находится вообще все существование этой системы[50]. Людвиг Клагес, основатель «философии жизни», рассматривает Гете как «открывателя подсознательного[51], а последователь Клагеса Вернер Дейбель идет еще дальше своего учителя в целом ряде работ о Гете. Не избежал также Гете и рук фрейдистов. Сам З. Фрейд подчеркнул в своей работе «Eine Kindheitserinnerung aus Dichtung und Wahrheit» братскую ревность ребенка Гете. А ученики Фрейда, исходя из всяких «комплексов» (отца, матери, сестры), сконструировали прямо-таки головокружительные «интерпретации» его творчества. Еще до войны фрейдисты писали «исследования» о роли любви, «комплекса» отца и сестры в произведениях Гете[52]. Эта литература особенно усилилась после опубликования книги Глазера об отце писателя[53]. Оказывается—как отца «тянуло» в Италию, так и сына. И так как отец был строгим, то мальчик Гете «вытеснил» свой протест, и все его творчество периода «бури и натиска»—не что иное, как «восстание против отца» в форме борьбы с «личностью бога» («Прометей»). Любовь к г-же Штейн—это «воспоминание о сестре»; он до того находился под влиянием «комплекса» матери и сестры, что не мог жениться, а отсюда и любовь к «низкому творению»—Христиане Вульпиус[54].

VII

Мы уже неоднократно подчеркивали, что с началом эпохи империализма и кризиса наступает «ренессанс Гете»; мы также пытались вскрыть классовый смысл этого «ренессанса» и того истолкования—скорее искажения,—которому подвергается Гете во многочисленных работах буржуазных идеологов.

Идеологи загнивающего капитализма нашли себе козла отпущения, виновника разразившегося с небывалой силой кризиса, в технике. Класс, сам когда-то поощрявший создание промышленно-технических предприятий, всемерно развивавший производительные силы природы, сделавший множество изобретений,—этот класс в эпоху, когда производительные силы вступили в противоречие с существующей системой, переросли руководство буржуазии, видит причины зла в технике и ее отношении к человеку; не в их действительной основе, не в капиталистическом применении техники, а во внешнем, в мертвых предметах. И вот, забредя в этот тупик, буржуазия опять взывает к духу Гете, который якобы дал уже разрешение этой проблемы.

Лейпцигский социолог Фрейер, сделавшийся теперь приверженцем «идейного» фашизма, формулирует эти мысли таким образом: «Девятнадцатый век—это путь, уводящий от Гете. Если приложить ко всем достижениям, которыми гордится этот век, мерку скрытого или высказанного суждения Гете, то они предстанут перед нами как явления сомнительного достоинства, даже вредные... А между тем немецкие судьбы развиваются по противоположному направлению. Без санкции, но и без возражений вступает немецкий народ с символического 1832 г. на путь, ведущий к индустриальному обществу. Эта цивилизация, которая повсюду нуждается в специалисте, но зато иссушает сердце,—все это реальности, испытываемые послегетевским веком, но в то же время сплошное отрицание гетевской воли к жизни и гетевской мудрости[55]. И подобно тому, как Гомер создал богов своего народа, так, по мнению проф. Фрейера, Гете создал богов для германцев,—этих богов только надо найти.

Развитие индустриального общества «засыпало» «внутреннюю законность человечества», и оно, по Фрейеру, обнаруживается сейчас в «пробуждении» народа в фашистском движении—вот те «пророчества», которые—по Фрейеру—оставил Германии Гете, предвидевший господство техники и социальную революцию.

«Презрения» к технике и «одухотворения» как единственного выхода из кризиса требуют очень многие «гетеведы». Т. Босс пишет по этому поводу: «Нам ведь нет иного пути, чтобы активно противостоять все увеличивающемуся внутреннему оскудению нашего века, как подобное презрение, из которого вырастает новая страстная жажда к духовным достижениям. Если не удастся отвоевать силы нашего века у техники, отвести их от ее разрушительного направления, от рабского служения промышленности и снова заставить служить духовным целям, всеобъемлющим ценностям, то у нас не останется никаких надежд на плодотворное для души будущее нашей порабощенной вещами части света»[56]. И выступая против «американизма» и «господства материального», Босс, предвещая Европе судьбу античного Рима, требует возврата к Гете, к «истинной гуманности» и господству духа. А Вальтер Линден в своей чрезвычайно характерной книге «Гете и немецкая современность»[57] прежде всего настаивает на разрушении образа Гете-олимпийца: «И перед этим образом спокойствия, твердости и гармонии стоит наша немецкая современность, раздираемая неслыханными духовными боями, потерявшая равновесие во всех колебаниях внутреннего и внешнего мира, потрясенная религиозно и, в экономически разбитом мире, неуверенная даже в насущном хлебе,—время, которое считает слово «гармония» насмешкой и издевательством и которому все крепкое, обеспеченное должно казаться безумием и миражем. Что этому времени до Гете?» И, создавая образ Гете «по образу своему», Линден продолжает: «Если наше немецкое настоящее хочет подойти к величайшей фигуре немецкого прошлого, то прежде всего надо уничтожить призрак, который препятствует нам, новым людям, понимать эту фигуру: призрак гармонического Гете. Этот образ Гете не соответствует действительности, это химерическая абстракция, не подлинное отображение живого». «Года 1775—1789 заключают для Гете эпоху сильнейшей борьбы за чувство государства и мировоззрение. Но старец видел приход нового века машин на смену его собственной, идеалистической эпохе, «времени Гете», и как никто другой понял он опасность, признавая в то же время и неизбежность развития. К его последним завещаниям относится предостережение, изложенное в «Годах странствия Вильгельма Мейстера», предостережение, что для нового мира и его требований нужно воспитать новых людей, что великой задачей века является единение мира машин с духовными запросами. Провидец заглянул в бездны наступающего времени, он предостерегал и поучал, но никто не хотел слушать. Между техникой и миром людей не только не установили связи, но разорвали всякую возможную связь. Современное человечество стоит на груде развалин,—человечество, в котором, несмотря на все «победы техники», в Средней Европе миллионы неизбежно терпят нужду, а в Китае еще больше миллионов умирают с голоду, в то время как в Канаде сжигают пшеницу, а аргентинское мясо перерабатывается на мыло. На фоне экономического краха наших дней ярче, чем когда-либо, выступает предупреждение Гете, что для новых машин требуются новые люди, иначе машины станут проклятием, чем они и стали в действительности». «Гармонический Гете»—«легенда прошедших времен»—он, оказывается, так же мучился над «проклятыми вопросами», как и современная буржуазия. Но может быть Линден делает из всего изложенного выше соответствующие выводы? Он призывает перестроить общество «изнутри», т. е. «из творческой идеи», из «религиозно-символического миропонимания Гете» путем «ревностной ежедневной работы» и сотрудничества «работающих» и «работодателей»,—только таким образом мыслится им преодоление «разрыва между человеком и машиной, душой и техникой». «Современному обществу недостает немецкой чувствительности» (deutsche Innerlichkeit) и «Гете показал своей жизнью, как немецкая чувствительность может завоевать мир». Те же мысли проводит в своей работе о Гете В. Виллиге[58]: «Век, истекший после телесной смерти Гете, мы признаем теперь веком упадка и разложения... Гете умер приблизительно в то время, когда на Западе бюргерство стало передавать руководство так называемой буржуазии, когда место «культуры» все больше и больше заступала «цивилизация»... Таким образом «промышленность и техника», вместо того чтобы служить, как прежде, основанием и средством для жизни в целом, сделались самостоятельными силами с собственным, неестественным развитием и разрастанием, высасывающими все больше и больше соков и энергии из круговорота всей жизни». Еще резче выступают против всего материалистического и рационалистического («логоцентрического») последователи «философии жизни» Л. Клагеса, превращая Гете в основателя философии иррационального, религиозного, подсознательного («биоцентрического»). В. Дейбель,

приверженец Клагеса, пишет в одной статье [59]: «Мы указали на «биоцентрические» ведущие линии творчества Гете, направленные к развитию культуры, поскольку они относятся к новым обоснованиям религии, преобладанию психически-бессознательного в мире человека и к определению новых целей человеческих исследований. Мы хотели показать, как и почему первая немецкая попытка осуществления этого культурного замысла продолжала исключительно «логоцентрическую» линию истории духа, не поняла религиозной установки Гете, оставила без внимания его энергичные призывы к изучению души, взятому не только в рационалистически-интеллектуально-психологическом разрезе, подчеркнула важность, придаваемую им материалистической естественной истории, машине и цивилизации, наступление которых уже «мучило и устрашало Гете». «Сущность этой цивилизации,—о которой Клагес в 1913 г. писал: она «носит облик разнузданной кровожадности, и ядовитое дыхание ее иссушает плоды земного изобилия», мы испытали ее в многочисленных проявлениях и влияниях, и в конце концов в мировой войне и ее последствиях, и в видимом противоречии этой цивилизации—в большевизме. Машина продолжает стремительно нестись вперед в своем триумфальном шествии, но в более глубоких слоях научное стремление к истине дошло уже до последних выводов разбитого жизнью, только формалистического «логоцентрического» исследования и стоит перед скепсисом и вавилонским столпотворением». Нечего добавлять, что Дейбель видит возможность спастись от этого «загнивающего мира—материализма» опять-таки в «биоцентризме» Гете.

Таких примеров «толкования» Гете как «прообраза» «трагического человека» буржуазной современности, как устранителя «разрыва» между человеком и машиной, как «вождя» в преодолении кризиса современной буржуазной культуры и идеологии можно было бы привести множество, и, повторяем, в той или иной степени эта проблема пронизывает работы всех буржуазных «гетеведов». И это не только работы литературоведов, политических деятелей, искусствоведов или философов. Историки, богословы и т. п.,—все они «связывают» кризис своей «науки» с мировоззрением Гете и ищут у него выход из этого кризиса. Приведем еще один пример: Г. Вюртенберг в своем исследовании «Гете и историзм» ставит себе целью: «осветить отношение Гете к истории с точки зрения историзма, выяснить, предвидел ли Гете, и насколько, современный кризис исторического мышления» [60], находит, что его отношение к истории «тесно роднится с современной проблемой историзма», что он один из родоначальников «субъективизма» и «интуитивного восприятия» и противник материалистического понимания истории.

В центре всех исследований о кризисе, человеке и машине, философии и мировоззрении Гете и т. д. стоят следующие его произведения: вторая часть «Фауста» и «Годы странствий В. Мейстера», т. е. как раз те, которые совершенно не привлекали внимания буржуазных идеологов в XIX в. Здесь же необходимо указать, что оба эти произведения пользуются уже давно особой любовью фашистов: немецкие национал-социалисты видят в «Мейстере» осуществление «умеренного социализма», а итальянские фашисты до известной степени предшественника-идеолога своих индустриальных «корпораций», противника демократии и «эгоизма индустриально-индивидуалистического мира», а, главное,—проповедника сотрудничества предпринимателей и рабочих [61]. Они считают «Мейстера» настолько «своим», что очень скоро после прихода к власти включили его в обязательном порядке в школьные программы.

Гете как «пророк» противоречий между «человеком и машиной», Гете как противник «чисто материального» развития общества, Гете как спаситель, который выведет буржуазное общество из современного кризиса,—все эти лозунги чрезвычайно распространены в послевоенной литературе о нем. Но с каким правом может современная погибающая буржуазия ссылаться в этих вопросах на Гете, идеолога буржуазии восходящей? Несомненно, отношение Гете к бурному развитию промышленного капитализма его времени было двойственным. Но что имеет эта двойственность общего с кризисом современного капитализма? Известно, что Гете относился к Великой французской революции по-филистерски и признал ее «благодетельные последствия» лишь после того, как Наполеон взял бразды правления в свои руки и расчистил дорогу умеренно-прогрессивной буржуазии. Но когда после 1789—1815 гг. буржуазная революция расчистила почву от феодальных пережитков и наступил период «мирного» роста буржуазной экономики, то и идеологи отсталого немецкого бюргерства нашли свое «примирение» в труде и воодушевлялись грандиозным развитием производительных сил капитализма. Вторая часть «Фауста» и является гимном этому творческому труду, этому высвобождению сил природы для служения человеку. Гете очень внимательно следил за всеми новыми техническими изобретениями, живо интересовался историей техники, геологией, добычей каменного угля и т. д. И после того как в 1790 г. он увидел первую паровую машину, вопрос ме-

ханизации производства усиленно занимал его до самого конца его жизни [62]. Он со своим широким историческим кругозором и бюргерски-прогрессивным сознанием сразу понял ту революционизирующую роль, которую суждено было сыграть машине и технике в развитии общества. Он не выступает, как идеологи дворянства (например Адам Мюллер), против машинного способа производства и вообще против «индустриальной эры»,—нет, любимым его лозунгом становится «паровой машины не приглушишь». Но Гете также понял, чем грозит человечеству машина в капиталистическом ее применении. Он говорил, что она отделяет человека от результата его труда, становится между производителем-рабочим и его продуктом производства. Гете считает развитие капиталистического способа необходимым и прогрессивным, но тут же чувствует и противоречия, которые он в себе содержит; он видит отрицательные черты капиталистической «цивилизации». Интересуясь, особенно в старости, новыми техническими усовершенствованиями (особенный энтузиазм его вызвали первая железная дорога в Англии в 1814 г. и первые английские пароходы на Рейне в 1818 г.), он всегда подчеркивает, что «технизация жизни» повлечет за собой целый ряд опасностей. Тогда он боялся, что развитие путей сообщения приведет к опошлению и измельчанию культуры, к распространению посредственности. Но в основном, повторяем, эти «сомнения» не могли омрачить его радости по поводу прогресса производительных сил капитализма, и он еще незадолго до смерти выразил желание прожить еще 50 лет, чтобы увидеть прорытие Панамского и Суэцкого каналов, соединение Дуная с Рейном—осуществление проектов этих технических сооружений.

Конечно понимание противоречий капитализма у Гете буржуазно-ограниченное. Пролетариат тогда еще не существовал как «класс для себя»; в эпоху Гете сами рабочие не видели еще настоящих корней этих противоречий и разрушали машины, ибо, как пишет Маркс в «Капитале», «требуется известное время и опыт для того, чтобы рабочий научился отличать машину от ее капиталистического применения и, вместе с тем, переносить свои нападения с материальных средств производства на общественную форму их эксплоатации» [63]. В это время другого, некапиталистического, социалистического типа развития в марксистском понимании еще не существовало, и Гете со своим буржуазно-ограниченным мировоззрением полагал, что эти противоречия являются лишь необходимыми сопутствующими явлениями при переходе к другой, новой форме труда. Живя в технически отсталой стране, он думал, что «у народов с наивысшим развитием техники величайшая точность будет сочетаться с величайшей скоростью» и что машины «снова превратятся в разумные органы». Но откуда тогда у Гете эти «сомнения» наряду с его непоколебимой верой в прогресс капиталистического способа производства? Чем объясняется отрицательное его отношение к ряду «завоеваний» буржуазной «цивилизации»? Эти «сомнения» проистекают из двух противоречивых источников мировоззрения Гете: с одной стороны, прогрессивного идеолога классического периода буржуазии и, с другой стороны, филистера, приспосабливающегося к существующим условиям отсталой Германии.

Гете был одним из последних великих классических универсальных гениев в длинной цепи развития буржуазии от Ренессанса до Великой французской революции. Блестящую характеристику этой линии развития и его представителей дал Энгельс в 1880 г. в старом введении к «Диалектике природы»: «В спасенных при гибели Византии рукописях, в вырытых из развалин Рима античных статуях перед изумленным Западом предстал новый мир—греческая древность; перед светлыми образами ее исчезали призраки Средневековья: в Италии достигло неслыханного расцвета искусство, которое явилось, точно отблеск классической древности, и которое в дальнейшем никогда уже не подымалось до такой высоты. В Италии, Франции, Германии возникла новая, первая современная литература; Англия и Испания пережили вскоре затем свою классическую литературную эпоху. Рамки старого Orbis terrarum были разбиты; только теперь, собственно, была открыта земля и положены основы для позднейшей мировой торговли и для перехода ремесла в мануфактуру, явившуюся, в свою очередь, исходным пунктом современной крупной промышленности. Духовная диктатура церкви была сломлена, германские народы в своем большинстве приняли протестантизм, между тем как у романских народов стало все более и более укореняться перешедшее от арабов и питавшееся новооткрытой греческой философией жизнерадостное свободомыслие, подготовившее материализм XVIII столетия.

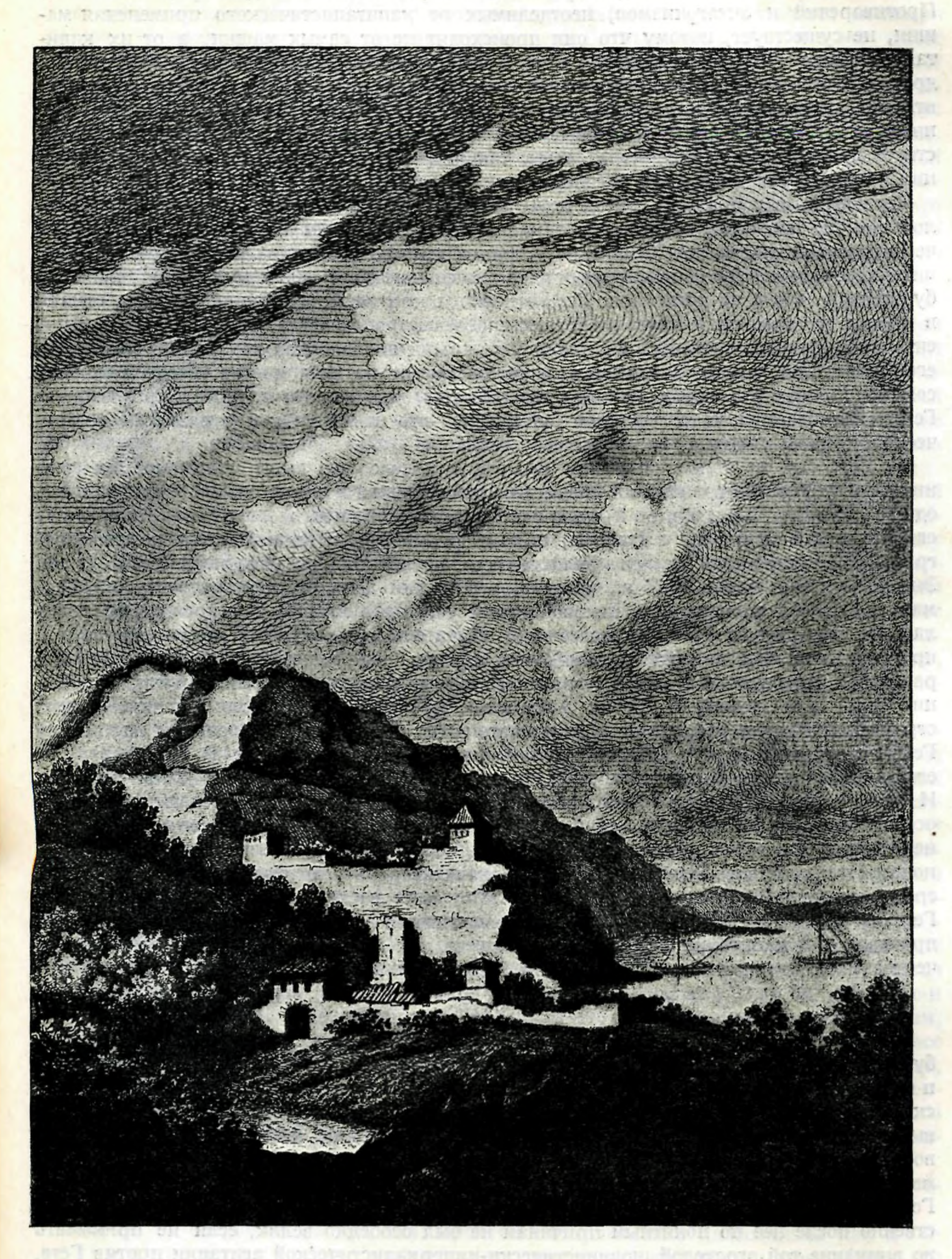
Это был величайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности характера, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современ-

ное господство буржуазии, были чем угодно, но только не буржуазно-ограниченными. Наоборот, они были более или менее обвеяны авантюрным характером своего времени. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества. Леонардо да Винчи был не только великим художником, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики; Альбрехт Дюрер был художником, гравером, скульптуром, архитектором и кроме того изобрел систему фортификации, содержащую в себе многие идеи, развитые значительно позднее Монталамбером и новейшим немецким учением о крепостях. Маккиавели был государственным деятелем, историком, поэтом и кроме того первым достойным упоминания военным писателем нового времени. Лютер вычистил не только авгиевы конюшни церкви, но и конюшни немецкого языка, создал современную немецкую прозу и сочинил текст и мелодию того пропитанного чувством победы хорала, который стал марсельезой XVI века. Люди того времени не стали еще рабами разделения труда, ограничивающее, калечащее действие которого мы так часто наблюдаем на их преемниках. Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут всеми интересами своего времени, принимают участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются—кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим. Отсюда и та полнота и сила характера, которая делает из них цельных людей. Кабинетные ученые являлись тогда исключениями; это либо люди второго и третьего ранга, либо благоразумные филистеры, не желающие «обжечь себе пальцев»[64].

Так вот, Гете был одним из последних этих «титанов мысли», «многосторонности и учености» класса буржуазии. Он был одним из величайших поэтов, но он же был и естествоиспытателем, мыслителем, археологом, искусствоведом, критиком и практическим государственным деятелем. Но он жил в период, когда разделение труда в связи с развитием капитализма успело уже «искалечить» своих «титанов мысли», и творил в стране, где «убожество» общественной жизни побеждало, «ограничивало» своего передового идеолога, и поэтому в Гете и его творчестве нет той «полноты и силы характера», нет того «цельного человека», мыслителя и борца, которых Энгельс находит в идеологах буржуазии от Ренессанса до XVIII в. Но тем не менее, если учесть все стороны мировоззрения Гете, ограничивающие классическую универсальность его гения, если учесть, что иногда он бывал типичным немецким филистером, все же для понимания «сомнений», которые он испытывал при виде развития капитализма после 1815 г., всегда нужно иметь в виду, что он был идеологом именно к л а с с и ч е с к о г о периода восхода буржуазии. В развитии буржуазного общества, как оно сложилось после 1815 г., не было места для тех «титанов мысли», которые, начиная с Ренессанса, заложили его основы. «Трезво-практическое буржуазное общество,—пишет Маркс в «18 Брюмера»,—нашло себе истинных истолкователей и представителей в Сэях, Кузенах, Ройэ-Колларах, Бенжамен-Констанах и Гизо; его настоящие полководцы заседали в коммерческих конторах, его политическим главой был жирноголовый Людовик XVIII. Ушедши с головой в накопление богатств и в мирную борьбу в области конкуренции, буржуазия забыла, что ее колыбель охраняли древнеримские призраки». Это «трезво-практическое буржуазное общество» со своим торгашеским духом построило себе «храм на бирже», и, как пишет Маркс в «Теории прибавочной стоимости»: «Капиталистическое производство враждебно некоторым отраслям духовного производства, каковы искусство и поэзия». Гете не был полководцем «в коммерческих конторах», и его отрицательное отношение к типично-капиталистическому применению машин и техники коренится именно в протесте универсально-классического «титана мысли» против разрушительных тенденций капитализма в области духовного творчества. Гете еще не знал социалистического выхода из этих противоречий; его рассуждения о том, что эти противоречия, как и «противоречие между человеком и машиной», будут устранены в высокоразвитом техническом обществе, вряд ли можно понять как намек на социалистический строй, ибо он еще не имел о нем представления, и его «утопия» должна была по необходимости вращаться в «буржуазно-ограниченных» рамках.

Но какое же отношение имеют эти «сомнения» Гете, его понимание противоречий капитализма к страданиям современных буржуазных «гетеведов», взывающих к духу великого писателя для указания им выхода из кризиса, для устранения «разрыва» между человеком и техникой? Ответ на эти вопли капиталистических идеологов о «господстве машины над человеком» дал уже Маркс в первом томе «Капитала»: «Не подлежит никакому сомнению,—пишет он,—что машины сами по себе не ответственны за те страдания, которые они приносят с собою. Не их вина, если они при совре-

Гравированный рисунок Гете
Воспроизведен в прижизненном Гете издании „Radierte Blätter nach Handzeichnungen (Skizzen) von Goethe“, hsg. v. Schwerdgeburth. Weimar, 1821
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва



Гравированный рисунок Гете
Воспроизведен в прижизненном Гете издании „Radierte Blätter nach Handzeichnungen (Skizzen) von Goethe“, hsg. v. Schwerdgeburth. Weimar, 1821
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

менных отношениях «освобождаю» рабочего и отделяют его от средств существования... Противоречий и антагонизмов, неотделимых от капиталистического применения машин, не существует, потому что они происходят не от самых машин, а от их капиталистического применениям [65]. А всем Фрейерам, Линденам, Виллинге, Дейбелям и другим «гетеведам», призывающим Гете спасти их от «господства машины», можно ответить опять-таки словами из «Капитала»: «Для них невозможно иное, кроме капиталистического, использование машины» [66] и «как в религии над человеком господствует продукт его собственной головы, так при капиталистическом производстве над ним господствует продукт его собственных рук» [67].

Иное дело—в социалистическом производстве. Тут не машина господствует над человеком, а, наоборот,—человек над машиной, и мы видим на примере социалистического строительства в СССР, как устраняются противоречия, неизбежные при капиталистическом строе, противоречия, так мучавшие Гете и так пугающие гибнущую буржуазию. Но в то время как Гете относился критически к буржуазному обществу в период его восхода и мечтал о новых способах производства, современные «воскресители» и «защитники» поэта являются уже ярыми апологетами капитализма в период его загнивания, реакционными его защитниками от натиска нового, более высокого, социалистического способа производства. Поэтому и в данном вопросе мировоззрение Гете и мировоззрение современной буржуазии—это начало и конец развития исторической кривой класса буржуазии.

Но Гете был не только «титаном мысли», и изложенное выше понимание им техники и исторического значения развития промышленного капитализма является лишь одной—правда, основной—стороной его двойственного мировоззрения: это—его прогрессивная сторона; но в этом же его понимании технического прогресса постоянно звучала и филистерская, регрессивная, узко мещанская нотка. Энгельс указал еще в 1847 г., что это—опять-таки дань отсталости тогдашней Германии, ибо «во времена Гете цеховой строй уже разрушался, конкуренция прорывалась со всех сторон. Гете как настоящий обыватель в одном месте своих мемуаров... предается душу раздирающим жалобам по поводу начинающегося гниения мещанства, разорения состоятельных семей, связанного с этим развала семейной жизни, ослабления домашних связей и прочих мещанских прелестей, которые в цивилизованных странах встречают презрение» [68]. Отпечаток этих мещанско-регрессивных настроений Гете лежит на всей его социальной «утопии» в «Странствованиях В. Мейстера», на его педагогических взглядах и т. д., в которых большое место отводится ремеслу. И вот именно эти отстало-мещанские воззрения привлекают фашистов, особенно немецких национал-социалистов, среди приверженцев которых находится не мало разоренного крупным производством мещанства и ремесленников. В большом почете эта «утопия» Гете и у всяких организаторов «антитехнических походов» из среды крупной буржуазии. Самый уже этот факт восхваления отсталых тенденций Гете и искажения его действительно прогрессивного для того времени понимания противоречий капиталистического производства как нельзя лучше доказывает историческое место, занимаемое ныне классом буржуазии.

VIII

Характерно, что в литературе о Гете эпохи империализма преобладавшие в прежней буржуазной критике «чисто эстетические» оценки все больше и больше уступают место политической интерпретации. Правда, филологические и формально-эстетические исследования весьма многочисленны и поныне, но они, во-первых, количественно вытесняются на второй план (если не считать специальной юбилейной литературы) и во-вторых, волей-неволей окрашиваются в политические тона. Это относится в равной мере и к исследованиям не-немецких авторов, хотя нужно сказать, что интерес к Гете в не-немецких капиталистических странах во время мировой войны и непосредственно после нее по понятным причинам не был особенно велик, если не принимать во внимание той оголтелой шовинистически-империалистической агитации против Гете, на которую было указано выше. Из наиболее ценных работ о Гете не-немецких авторов этого периода можно указать на книгу известного итальянского критика и философа Б. Кроче, написанную во время войны и вышедшую в 1919 г. [69]: она выдержана в идеалистически-эстетическом духе, так характерном для Кроче. В этой связи следует отметить и монографию датского критика Георга Брандеса, переведенную на немецкий язык и оказавшую своей био-психологической установкой и публицистической заостренностью в духе старого либерализма некоторое влияние на немецкое послевоенное гетеведение [70].

Излюбленный послевоенной буржуазией жанр биографии в беллетристической форме не прошел, как и следовало ожидать, мимо Гете. Сам создатель этого «жанра» Эмиль

Людвиг написал двухтомный труд о поэте [71], а за ним последовали уже и типичные представители «романа-жизни» великих писателей [72]. Работа Людвига, несмотря на свою поверхностность и изложение в виде цепи цитат и анекдотов, все же имеет некоторые достоинства в том отношении, что она не чрезмерно метафизична и уделяет довольно значительное место взглядам Гете на Французскую революцию. Вообще нужно отметить, что послевоенная буржуазия проявила довольно значительный интерес к политическим воззрениям Гете и к его высказываниям о революции и государстве. Конечно она и здесь ищет в поэте именно «союзника» в борьбе против современной пролетарской революции и прежде всего совершенно не понимает действительной позиции Гете в этом вопросе. Так, П. Мюллензифен, констатируя, что эта проблема (Французской революции) занимала Гете в 1789—1823 гг. как ни одно другое событие в его жизни, объясняет его симпатии к Наполеону исключительно тем, что Гете, во-первых, всегда мыслил в «полярностях» (т. е. крайностях) и во-вторых, что Наполеон «подавил революции». Автор опять-таки не видит другой стороны медали—исторически-прогрессивной роли Наполеона—и поэтому в конечном итоге сам признается, что позиция Гете загадочна: «Последний решительный момент этого отношения,—пишет он,—остается для нас, правда, скрытым» [73]. Исходя из установленного им принципа «полярности», Мюллензифен с легким сердцем пользуется легендой, созданной немецкими националистами вокруг поэмы Гете «Пробуждение Эпименида», и превращает писателя—после свержения Наполеона—в приверженца «старого Фрица».

Более радикально и более критически подходит к этой проблеме французский германист Ип. Луазо. В своей статье на эту тему [74] он приводит довольно исчерпывающие высказывания Гете о Французской революции и приходит к следующему выводу: «Идиллическое царство грез, мелочно-консервативный идеал узкого филистерства—вот, как говорят, все, что Гете смог противопоставить великой трагедии эпохи!» (стр. 55). Но конечно и он не понимает главной причины изменения отношений Гете к наполеоновской буржуазии и, говоря об идеальном для Гете государстве и общественном строе, формулирует его следующим образом: «Просвещенный деспотизм», подобный деспотизму Фридриха II и Карла-Августа, казалось ему, великолепно соответствует этой цели».

Живому интересу молодого Гете к политическим и государственным делам посвящена работа американского исследователя Ф. Г. Рейнша [75], являющегося скорее последователем историко-филологической школы. Но в своих трудах о политических взглядах Гете современная буржуазия интересуется, понятно, преимущественно «сближением» и «родством» Гете с такими идеологами, как Ницше, Бисмарк и т. д. [76].

Насколько яркую политическую интерпретацию получают в современном буржуазном гетеведении всякие «чисто эстетические» и литературоведческие темы, видно хотя бы на трактовке проблемы классицизма [77], при чем в зависимости от политической ориентации авторов эти оценки классицизма бывают иногда прямо противоположными. Прежде всего, в период ожесточенного кризиса капитализма, когда Гете изображается многими как «великий страдалец» за буржуазное общество, разрушается понятие классицизма как умиротворенной формы, как гармонии. Так, В. Линден пишет в своей книге: «Таким образом подлинно гетевский человек предстоит нам, как фаустовский человек: как вечно неудовлетворенный, тревожимый все новыми загадками, стремящийся после каждого достижения все дальше и дальше, как носитель нашей бесконечности, но не классического, скованного формой завершения. Под олимпийской маской—фаустовский человек, современный человек вечного становления и душевной неограниченности... Гармония в ее поверхности и филистерстве—легенда давно прошедших лет» [78].

Линден поэтому говорит о «независимом немецком классицизме», почти ничего общего не имевшим с античностью или Ренессансом.

Отсюда, из современного кризиса, проистекает толкование классицизма как действенности, активизации в противовес традиционному пониманию его как примирения. Это толкование встречается у наиболее политически-активных слоев буржуазии. И наоборот: подчеркивание понимания классицизма как примирения противоположностей, как отказа от борьбы имеет место в работах менее активных, большею частью неустойчивых мелкобуржуазных критиков, которые еще сегодня мечтают о примирении классовых противоречий, о ликвидации классовой борьбы и считают «гармонический классицизм» величайшим документом в доказательство того, что искусство якобы может развиваться только в атмосфере мира и спокойствия. Обе эти тенденции дополняют друг друга, обе они представлены в сборнике статей «Немецкий альманах на 1932 г.» [79], посвященном, в связи с юбилеем Гете, проблеме «Классицизм и современность». На понимание классицизма Гете как актив-

ного воздействия указывается уже в предисловии В. фон Эйнзиделя: «Мы чествуем не только Гете,—пишет он,—мы чествуем в нем его время, которое мы называем классическим. Мы чествуем наше сияющее прошлое, ибо наше будущее покрыто мраком» (стр. 11). «Слово и действие»—вот содержание классицизма: «Ибо слово не создается самодовлеющим; оно должно снова сделаться оформляющей силой, должно сделаться действием. Классическая поэзия есть следовательно искусство в высшем, не требующем целеустремленности, абсолютном, почти религиозном смысле, и в то же время она больше, чем искусство, ибо старается перерасти самое себя». И, называя классицизм своего рода «евангелием культуры», он подчеркивает, что это искусство можно понять только рассматривая его политически: «При этом с сознательной односторонностью выдвигается элемент активности, который так долго скрывали от нас историки литературы».

В противовес Линдену и Эйнзиделю В. Виллиге[80] и Л. Маркузе понимают классицизм Гете как примирение противоречий, как победу гармонии над действием, над фаустовским. «Говоря мифическими терминами,—пишет Виллиге,—аполлоновское обуздание и ограничение в продолжение всей жизни Гете все снова побеждает фаустовскую безграничность, как бы сильна она в нем ни была». Еще более отчетливо эти мысли сформулированы в статье Л. Маркузе: «Классическая душа,—говорится в ней,—есть душа в состоянии уравновешенности, «гармонии». «Классика—преодоление дисгармонии». «Духовность прошедшей и жизненная сила наступающей эпохи встретились на мгновение, слились на короткое время и примирили две враждебные души» (стр. 18). И он сравнивает классику с хождением по канату: она требует величайшей способности сохранять равновесие. «Она мыслима только в эпоху умиротворенного общества»[81]. Здесь мы видим, как мелкобуржуазный критик, проповедующий уже несколько лет теорию о том, что политика и искусство—вещи несовместимые, привносит свои взгляды и в истолкование классицизма. К интерпретации классицизма Гете как созерцательности, как победы «Гомера над Виргилием» и к пониманию Ренессанса до Гете как противопоставления искусства политике примыкают и американский критик К. фон Кленце[82], и французский исследователь Р. Бертло[83].

Еще большим успехом пользуется толкование классицизма Гете в националистическом и расово-фашистском духе. В. Элькe в своей книге о поэте пишет: «Немецкий дух перекочевал из старого рыцарского вооружения и песен бардов в античный мрамор, который он с того времени одухотворил. Ибо дух гречанки Ифигении—гетевский, немецкий дух, и конфликт между обоими равноправными мировоззрениями в «Тассо»—также гетевский и немецкий»[84]. Гете как основателя немецко-национального и даже «немецко-протестантского» классицизма рассматривает и проф. Э. Р. Курциус[85]. И то явление, что в определенные периоды своей жизни Гете был космополитом, Курциус считает весьма выгодным для Германии, ибо таким образом он больше влиял на другие народы. Чисто расово-националистически интерпретируют классицизм, как и вообще все творчество Гете, германские национал-социалисты (гитлеровцы). Один из главных «теоретиков» этого фашистского движения А. Розенберг уделяет поэту в своей книге «Мир XX века» довольно значительное место[86]. Национал-социалистов интересует в творчестве Гете действие, активная его борьба, и поэтому они всегда и всюду выдвигают вперед «Фауста»: «Гете,—пишет Розенберг,—неустанно, все в новых и новых формах, указывает на живительное влияние всякого дела, даже на скромное ремесло. Фауст—величайший гимн человеческой деятельности». Национал-социалисты отклоняют эллинство как «пассивную форму» проявления «арийской расы». И, опираясь на свою нелепейшую расовую теорию, они хотят по возможности освободить творчество Гете от влияния греческой античности и превратить его классицизм в проявление гения «северного Запада». Обрушиваясь на критиков и эстетику XIX в., Розенберг пишет: «Она не заметила, что восхищение Гете формально деятельным Лаокооном—одно, а деятельность Фауста—нечто существенно отличное, что германский инстинкт Гете был слишком мощен и что его творчество идет в разрез почти со всем авторитетом теоретического язычества».

Вся эта критическая литература о классицизме Гете носит на себе яркий утилитарно-пропагандистский отпечаток различных группировок буржуазии, старающихся приспособить Гете для политической защиты своих реакционных устремлений; вся она совершенно не затрагивает классовой сущности классицизма, того специфического значения, которое имело возрождение античности в борьбе восходящей буржуазии. Блестящий классовый анализ функций «масок античности», под которыми юный бюргерский класс совершал свое политическое восхождение, и трактовку классицизма XVII—XVIII вв. как «неправильно понятую форму» античности дал Маркс в «18 Брюмера» и в своем письме к Лассалю от 22 июля 1862 г.

IX

Повышенный интерес к Гете, столь характерный для послевоенной буржуазии, еще усилился в третий период послевоенного развития капитализма после краха всех «теорий» «организованного капитализма», после краха периода относительной его стабилизации и вступления его в невиданный доселе всеобщий кризис. Чем глубже становится кризис и чем ближе придвигается опасность социальной революции, тем настойчивей и громче взывает буржуазия к своим гениям прошлого и ищет у них спасения. В последние годы имя Гете выдвигается как знамя «вечной», «непоколебимой» «западной» культуры против «разрушительной восточной» (пролетарской). Этому интересу к Гете способствовало еще и то внешнее обстоятельство, что в марте 1932 г. исполнилось сто лет со дня его смерти. В истории человечества мало примеров, когда юбилей писателя, даже с таким мировым именем, как у Гете, чествовался бы так торжественно, как этот юбилей. Одна из характерных черт этого торжества— его подчеркнуто международный буржуазный характер. Не только в немецких, но и во всех решительно капиталистических странах память Гете, в зависимости от характера чествующих его буржуазных партий, использовалась, в той или иной степени, для укрепления шатающихся устоев буржуазного миропорядка. Так, орган германской тяжелой промышленности «Кельнская газета» пишет о Гете как о «германской мировой державе», «наместнике немецкого духа»; Гете, по его мнению, «сделался паролем для всех граждан мира», а «царство Гете»—«исповеданием западного человечества» [87].

Подгоняя творчество Гете к своим политическим потребностям, международная буржуазия использовала его юбилей в каждой капиталистической стране по-своему, но все же через всю ее литературу о Гете за последние годы красной нитью проходит превращение имени поэта в некое международное знамя спасения капиталистического мира. Старинный английский журнал «Девятнадцатый век» называет его «величайшим европейцем со времени Эразма» и, повторяя слова Карлейля, «нашим духовным учителем» [88]. Английский гетевед проф. Робертсон констатирует в своей книге [89]: «столетие со дня рождения Гете в 1849 г. дало повод к довольно сдержанному торжеству», так как тогда «слава Гете находилась на самом низком своем уровне», «в столетие же со дня его смерти в настоящем году слава эта достигла высочайшего предела». Другой английский гетевед, Невинсон, видит в произведениях Гете краеугольный камень нового общественного строя, и может быть его «пророчества» звучали бы сегодня иначе, если бы, по мнению Невинсона, последующие за Гете поколения больше читали и продумывали бы его творчество» [90].

Германский проф. Э. Р. Курциус также думает, что борьба буржуазного общества ближайших десятилетий развернется под знаменем Гете: «Мы живем с Гете,— пишет он.—Он наш спутник, он сопровождает нас в нашей жизни... В промежутке между этими двумя датами, 1832 и 1849, нескольким европейцам удастся может быть сохранить живым и образ, и деятельность Гете, что имело бы чрезвычайно важное значение для нашего ближайшего будущего» [91]. Француз А. Сюарэ называет Шиллера фарисеем и филистером, а Гегеля «карикатурой на Гете», выступая против интернационального коммунизма, противопоставляет им Гете как «величайшего европейца» и как общее знамя для европейских народов выдвигает имя Гете [92].

Такие же ноты слышны в американской, японской, чехо-словацкой и т. д. и т. д. буржуазно-юбилейной литературе о Гете. Международной буржуазии не так важен «действительный Гете», как использование его имени и наследства для своих политических целей, ей нужен «мифический Гете». «Действительно ли жил Гете?»—под таким заголовком «Немецкая Всеобщая Газета» помещает статью в номере от 20 марта 1932 г. и отвечает: «Несмотря на все филологические тонкости, с которыми исследовалась его жизнь, мы не видим больше перед собой биографически-цельного человека. Уже при его жизни, и еще больше после его смерти, духи боролись с его духом. Гете-миф вырос независимо от его земной действительности,—и образ его сделался настолько неустойчивым, что многие авторитеты неоднократно себе противоречили в своих суждениях о нем, как будто то действительного Гете никогда не существовало». Но это ничуть не мешало фашистской газете Гугенберга использовать юбилей этого «мифа» как «начало новой эры» для буржуазии, как средство пропаганды того, что «за материалистической эпохой и формальной демократией последует новая эпоха»—нужно только иметь смелость действовать. «Немецкий народ,—пишет о юбилее Гете прусский юнкер фон дер Остен,—переживает исторический час. Признает ли он его величие и увидит ли наконец — в особенности немецкий рабочий, — что его право голоса в судьбах Германии обусловлено его отказом от классовой борьбы и отношения четвертого сословия к государству»? [93]

В борьбе против материализма и марксизма, против требований рабочего класса и вообще против революционного движения пролетариата и крестьянства буржуазия проявляет удивительно трогательную «международную» солидарность в использовании имени Гете; особенно подчеркиваются отрицательное отношение его к демократии и массам и его философия «отречения», проповедуемая ныне международной буржуазией и социал-фашизмом рабочим массам как средство вырваться из кризиса. Об этой «философии отречения», связанной якобы с учением Спинозы, и о «священной серьезности» Гете вещает например «Таймс» в юбилейной статье [94]. Эти же мысли о «самоограничении» и «отречении», перенесении «страданий без жалоб» встречаются и в названном уже английском журнале «Девятнадцатый век» [95]. «Учение об отречении и самоограничении,—пишет автор,—составляло сущность его веры и деятельности. Следовать за ним—означало следовать за учителем, который идет торным путем... Терпение—условие действия, отречение—начало достижения. Это здравое учение и поныне остается таким». На «отречение» Гете как на «новую веру» и «новую бодрость» указывает и другой солидный английский журнал «Современное обозрение». Автор статьи о Гете пишет: «Гете—великий оптимист современного мира; даже его знаменитое Entsagung — не пессимистическое отречение, но спокойное приятие вещей, как они есть, и наилучшее использование их» [96].

Укажем хотя бы на один пример трактовки Гете как предшественника современной фашизирующейся буржуазии во Франции опять-таки на юбилейную статью в старинном журнале «Revue des deux Mondes» [97]. Автор пишет: «Парламентаризм был в его глазах одной из наиболее очевидных форм дезорганизаторского расчленения и одной из наиболее ярких иллюстраций бесплодности речей. В мире реальностей он признавал только одно действующее начало—абсолютную власть». И еще в одном вопросе достигнута некоторая «международная солидарность» буржуазии при чествовании памяти Гете: это в проповеди «сотрудничества наций», гуманизма и пацифизма во имя великого поэта в том случае, когда речь идет об обмане широких народных масс, о сокрытии противоречий империализма и истинных целей вдохновителей новых войн и интервенций. В этом вопросе гетевская буржуазная литература и высказывания дипломатов и руководителей буржуазных правительств напоминают те речи о «сотрудничестве наций», которые произносятся буржуазной дипломатией на женевской конференции по «разоружению» [98]. Так например, речи дипломатических представителей в Берлине по поводу юбилея Гете полны красивых слов о «современном гуманизме», о Гете как «первом европейце», как образце «гармонии» и «мира» для «западных народов», как «тихой пристани в страшной буре», раздирающей современную печальную историю человечества [99]. Подобные же мысли преобладали и на официальных празднествах в капиталистических странах. Но эти пацифистские разглагольствования оказались мыльными пузырями, лопнувшими при первом же соприкосновении с действительностью, о чем свидетельствует хотя бы полемика немецкой фашистской прессы с французской даже во время самого юбилея.

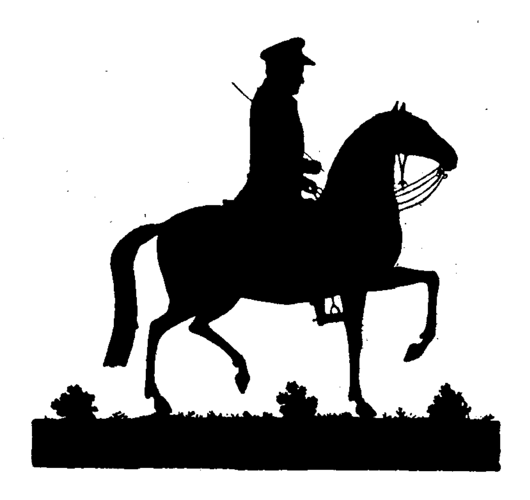
В некоторых кругах международной, главным образом мелкобуржуазной интеллигенции раздавались отдельные голоса против использования имени Гете для самозащиты современной буржуазии и вообще против такого торжественного празднования юбилея на том основании, что творчество Гете мало говорит современному обществу и современная молодежь им почти не интересуется. От лица такой молодежи, не надеющейся на «духов прошлого», выступает например Диккинсон в английском журнале «Нью Стейтсмэн» [100]: «Ныне люди страдают,—пишет он,—от всеобщего скептицизма. Напрасны попытки излечить этот скептицизм возрождением прошлого. Сирены, пытающиеся сделать это, в конце концов оказывались хищными зверями. Мы должны прорасти и перерасти сегодня, как это было с Гете. Нет ничего такого, что бы он пережил, и чего бы мы, в свою очередь, не переживали». И автор советует молодежи брать пример с Гете, не терять надежды и веры в лучшее будущее. Некоторая слабая оппозиция против юбилея наблюдалась вначале и в среде немецких мелкобуржуазных писателей, но вся немногочисленная «оппозиционно»-буржуазная литература не сыграла почти никакой роли и потерялась, как соринка, в общей юбилейной литературе о Гете.

X

Но было бы ошибочным думать, что международная буржуазия в последние годы интерпретировала творчество Гете по какому-то единому шаблону и праздновала его юбилей в полном единодушии: нет, противоречия между капиталистическими странами и между отдельными фракциями буржуазии внутри каждой страны обнаруживаются отчетливо и в этой гетевской литературе. Можно сказать, что каждая буржуазная политическая партия чествовала своего Гете, пересоздавала его «по образу и по-

добию своему» и «обрабатывала» его творчество для своих актуально-политических надобностей. Поэтому, чтобы дать более наглядную картину «путей изучения и понимания Гете на Западе» в обзоре литературы за самые последние годы, лучше всего проследить интерпретации Гете политическими партиями и, так как «нельзя объять необъятного» в одной статье-обзоре, то мы остановимся в основном на политических партиях Германии.

Из самых правых, открыто фашистских партий целиком отклоняет Гете только маленькая группа приверженцев генерала Людендорфа. Исходя из своей расовой теории, согласно которой действительными людьми признаются только северные германцы до нашей эры, Людендорф видит даже в Гитлере «наемника Рима» и в идеологической области отклоняет решительно все, что так или иначе связано с «иудаизмом, христианством, масонством, социализмом» и т. д. Для этой группки Гете—



ГЕТЕ ВЕРХОМ
Силуэт неизвестного художника (1810 г.)
Собрание А. Киппенберга, Лейпциг

позор «немецкой нации», ибо он был в течение 50 лет членом масонской ложи. Этот «поход» против Гете открыл «сам» Людендорф. А его жена выпустила к юбилею книгу, в которой «доказывает», ссылаясь также на работу Гуго Мейера «Правда о Шиллере», что Лютер был... убит Меланхтоном, Лессинг... Мендельсоном, Моцарт... Сальери, а Шиллер—«братом Гете», т. е. членом франк-масонской ложи [101]. (То обстоятельство, что Шиллер, так же как и Гете, был членом весьма безобидных масонских лож, жены Людендорфа, как будто, не касается). Но одного такого юбилейного «подарка» было повидимому недостаточно для группки Людендорфа. И поэтому другой единомышленник генерала, Э. Рост, также издал книгу под названием «Фауст» Гете—франк-масонская трагедия» [102], ибо, как он пишет: «Разъяснения по поводу Гете важны потому, что многие считают деятельность этого поэта одной из главных основ немецкой культуры» (стр. 5). И затем автор «развенчивает» стремления Гете, уверяя, что целью их было «установление мирового господства еврейства», называет Мефистофеля «типичным евреем», а Фауста Гете—его сообщником. В богатой символике «Фауста» он то находит «шестиконечную звезду царя Давида», то видит в Гретхен «образ обманутого германства, ослабленного христианством», и т. п. Хотя эти «глубокие мысли» Роста не очень новы (зачатки такой антисемитской «трактовки» «Фауста» встречаются уже у Евг. Дюринга [103], но мы вкратце остановились и на этой «интерпретации» Гете для того, чтобы показать, на что способен «цвет культурной Германии», которым считают себя эти люди, больше всех кричащие об «опасности» большевизма для «культуры».

«Интерпретация» Гете группкой Людендорфа может вызвать только улыбку, гораздо большего внимания требует к себе критическая литература о Гете национал-социалистической партии (гитлеровцев), ибо как вся программа этой партии, так и культурная ее политика содержат не мало социальной демагогии, рассчитанной на уловление мелкой буржуазии и малосознательных рабочих и крестьян. Основоположными работами для оценки Гете национал-социалистической критикой

51*

считаются книги Чемберлена, Ад. Бартельса и А. Розенберга, опирающиеся помимо прочего на расовую теорию, идею национальности и культ великой личности. Для Розенберга, сколько бы он ни расшаркивался перед Гете, этот писатель все же не может стать «вождем» в активной борьбе национал-социалистов, ибо он не был «образующей новые типы личностью». «Гете,—пишет он,—изобразил в Фаусте нашу сущность, пребывающую в нашей душе после каждого ее преобразования. Он сделался поэтому единственным для нашего народа хранителем и сторожем наших особенностей (Anlage). Когда минуют времена ожесточенных боев, Гете снова начнет оказывать действие вовне. В ближайшие же десятилетия он однако отойдет на задний план, ибо ему была ненавистна сила образующей новые типы идеи, и он не хотел как в жизни, так и в творчестве признавать диктатуру мысли... если бы он сейчас находился среди нас, он бы не был вождем в борьбе за свободу и пересоздание нашего века» [104].

Но по мере того как приближался юбилей и борьба вокруг Гете все разгоралась, национал-социалисты все больше «присваивали» себе Гете. В серии статей «Гетевские торжества Баварского государственного театра» центральный орган гитлеровской партии «Völkischer Beobachter» находит, что «сейчас «Гец» может быть современнее, чем когда-либо. Ведь современное хаотическое состояние Германии напоминает плачевную сумятицу в немецком государстве при Максимилиане I» [105]. «Эгмонт» Гете гитлеровцы также рассматривают «как захватывающую песнь атаки... созданную молодым Гете и звучащую в наше готовое для наступления время» [106]. Более программную статью гитлеровцы опубликовали, когда стал известен порядок официальных торжеств в Веймаре во время «гетевской недели» (20—26 марта). Национал-социалисты выступили против этих торжеств, но не потому, что они против Гете, а потому, что, по их мнению, программа юбилея была составлена в недостаточно националистическом и фашистском духе, что приглашены были «иностранцы, евреи, пацифисты и большевики». И дальше центральный орган Гитлера указывает на то, что они, фашисты, ценят в Гете: космополитизм, гуманизм и все прогрессивное в Гете они считают преходящим в его творчестве, это—«мертвый Гете»; а «вечно живым» является для них как раз все регрессивное и оголтело-расовое, которое они ему приписывают. Гете, говорят они, был «исключительно немцем» и стоял за «разумный социализм», хотя это не значит, спешат они прибавить, «что мы хотим подогнать Гете под национал-социалиста (что, кстати сказать, не потребовало бы слишком больших усилий)» [107]. И чтобы не оставалось никаких сомнений в том, что надо понимать под «немцем», фашист Шотт говорит в своем докладе о «Фаусте» в Мюнхене: «Перевес немецкого человека заключается в его религиозной силе» [108].

Но рекорд фашистской «интерпретации» Гете побил тот же д-р Георг Шотт в своей статье «Идеал вождя у Гете». Оказывается... Гете написал вторую часть «Фауста» специально для того, чтобы дать «образ вождя» для Гитлера. «Фауст, некоронованный представитель нового государства, полный могущества. Живое воплощение той силы, «которая испытывает блаженство, повелевая!» Прирожденный вождь народа, которого манит единственный, высший идеал, затмевающий все соображения данного момента: «обосноваться на свободной земле со свободным народом»». И распределив весьма прозрачно роли старого императора, Мефистофеля, архиепископа-канцлера вплоть до черных ворон во второй части «Фауста» между представителями государственной власти современной Германии, автор проводит ясную параллель между Фаустом и Гитлером. Само собой разумеется, что современную Германию может спасти только такой вождь. «С этих точек зрения,—продолжает Шотт,—нужно рассматривать Фауста, чтобы понять великий смысл его...» [109]

Излишне добавлять, что национал-социалисты используют Гете на каждом шагу для борьбы с материализмом и революционным рабочим движением, как это особенно подчеркнул примкнувший к фашизму писатель Ганс Иост в своем юбилейном докладе в «Фихтевском обществе» в Берлине. Национал-социалисты и в литературной критике, так же как и во всех других областях своей «борьбы», выказывают себя самыми заядлыми реакционерами. Люди, претендующие на роль «обновителей» Германии, протестовали против участия Гауптмана, В. фон Моло и французского германиста Лихтенберже в веймарских торжествах только на том основании, что они якобы «неарийского происхождения»!

В связи с оценкой Гете национал-социалистами интересно остановиться в кратких чертах и на интерпретации Гете итальянскими фашистами. Известно, что Италия придавала особенно важное значение гетевским торжествам. Фашистское правительство основало специальный институт германской культуры, и сам Муссолини открыл торжества речью на немецком языке, в которой он преимущественно останавливался на значении Рима для творчества Гете: «Рим,—говорит Муссолини,—который он пре-

возносит как высшую школу мира, Рим, который, по его словам, дает прибежище богам всего мира, выполняет ныне свою обязанность, торжественно справляя празднества, посвященные памяти этого великого ума. Дух и образ Рима тесно связаны с творчеством Гете». Фашистско-империалистическое понимание «миссии Рима», без которого якобы Гете не был бы Гете, и подчеркивание активизма в творчестве поэта—вот лейтмотивы, проходящие через многочисленные юбилейные статьи о Гете в Италии. Так, Эдменио Дживаннети писал в январе 1932 г.: «Немцы и итальянцы, сто лет спустя после смерти Гете, неожиданно оказались объединенными в идее Рима; как для латинских, так и для германских народов великолепная зрелость поэта и человека имеет тот же смысл, что и римское солнце... Но нам нравится в Гете уже не то, что он был полубогом литературы, а то, что он был человеком, прошедшим через все возрасты с удивительной жизнеспособностью!» Другими словами, подобно тому, как итальянские фашисты превратили Гегеля в предтечу фашизма и создали «активизированное» неогегельянство, т. е. фашизированно-искаженную и фальсифицированную философию Гегеля объявили своей «теорией государства», так и сейчас они проделывают приблизительно такую же операцию с творчеством Гете. О том значении, которое фашисты придают Риму в творчестве Гете, можно судить хотя бы по юбилейной статье фашистского философа Джентиле и по статьям в специальном гетевском номере журнала «L'Illustrazione Italiana» (Milano, 20/III 1932). Весьма характерными для отношения итальянского фашизма к Гете являются также две статьи—В. Пикколи [110] и Дж. де Лоренцо [111] в журнале «Иерархия», редактируемом самим Муссолини. Так, Пикколи пишет: «В Европе, мучимой и часто сбиваемой с пути чрезмерным интеллектуализмом, мы, итальянцы и фашисты, смогли выступить энергично, во имя более возвышенной идеи, основные истины которой коренятся скорее в живом действии, чем в убого-горделивом измышлении теорий. Поэтому мрачный монолог, которым начинается «Фауст», имеет для нас высшую и современную ценность». Как мы видим, итальянские фашисты «ценят» и фальсифицируют для своих реакционных политических целей Гете так же, как это делают германские национал-социалисты: они расходятся между собой только в некоторых специфических мелочах, объясняющихся разницей актуальных задач, которые ставят себе эти партии.

Из не-фашистской юбилейной литературы о Гете в Италии можно указать лишь на весьма безобидную и аполитичную статью Кроче [112].

Оценка Гете национал-социалистами во многом родственна литературе о Гете, исходящей из кругов фашизма типа Гугенберга и его «немецко-национальной партии». Особенно усердно эксплоатирует имя поэта «Немецкая Всеобщая Газета»: она уже в течение двух последних лет регулярно дает тенденциозно подобранные и вырванные из контекста «изречения» Гете и во время юбилея вела последовательную агитацию против «материализма», «техницизма» и рабочего движения, прикрываясь все тем же именем Гете. Для нее юбилей Гете только тогда достигнет цели, когда удастся мобилизовать массы на «действительную борьбу» с материализмом и убедить например ученых отказаться от «материалистической точности науки». Так, д-р Дросс пишет в одной статье от 17 февраля 1932 г.: «Поскольку мы окажемся в состоянии превратить это требование в действие, постольку мы сможем поднять столетний юбилей Гете от уровня благочестивого, но бесплодного жеста до сознательного построения духовного будущего». Теперь, по мнению автора, после ста лет «накопления столь непоэтических» материальных ценностей, мы приходим наконец к убеждению, что «сердце (Herzgedanke) побеждает голову (Kopfgedanke)». То-есть опять тот же неновый уже лозунг: долой технику, да здравствует дух и мистика.

Сюда же относится и ряд работ о Гете, исходящих из фашизирующихся националистических кругов, даже если их авторы и не всегда связаны организационно с «немецко-национальной партией». Ближе всего примыкает к ней националистическая пропаганда, развиваемая по поводу юбилея Гете многочисленными организациями «Auslandsdeutschtum», т. е. пропаганды среди немцев, живущих вне пределов Германии [113].

Для интерпретации Гете в кругах правых националистов характерна например книжка проф. Г. Майнка «Гете и Бисмарк» [114]. Обращаясь к студенчеству, Майнк жалуется, что есть такие бессовестные политические партии, которые хотели помешать празднованию юбилея Гете, принадлежащего «всем немцам» (под этими партиями подразумеваются германская компартия и СССР). Проф. Майнку горько даже подумать об этом: «Ведь мы в нашем хаотическом, покрытом мрачнейшими грозовыми тучами настоящем имеем, подобно нашим предкам после битвы у Иены, только наше лучшее прошлое, чтобы придать нам силы и бодрости для лучшего будущего» (стр. 4). И «сближая» Гете с Бисмарком, показывая, «как дух Гете» оформил «тело» царства Бис-

марка, давая своим политическим требованиям определение «Реакции прогресса» (!), проф. Майнк патетически восклицает: «Гете и Бисмарк—высочайшие вершины немецкого духа—означают чувство мира и чувство государства, означают Веймар и Потсдам в органическом слиянии как величайшую задачу будущего». И обращаясь с призывом к фашистской студенческой молодежи, оратор впадает в шовинистический экстаз реванша, напоминающий времена мировой войны: «Немецкая молодежь призвана сейчас к тому же, к чему была призвана французская после разгрома 1870—1871 гг.... Подражай исконному врагу... Колесо мировой истории повернулось с того времени, но оно будет вращаться до тех пор, пока Германия снова не очутится наверху... Тени Гете и Бисмарка сопровождают наш народ в отдаленнейшее его будущее как благословляющие духи-хранители и воодушевляющие вожди»... и т. д. и т. д.

Наряду с такой националистической пропагандой имя Гете было использовано и церковными организациями всех направлений как клятвенное показание в пользу библии и религии и против марксизма и атеизма. Вообще нужно отметить, что если почти вся буржуазно-критическая литература о Гете эпохи империализма стоит под знаком превращения Гете в религиозно-верующего человека, то тем более это относится к непосредственной юбилейной литературе. Даже Гергард Гауптман пишет в своей статье, что «нет мудрого человека без глубокой связи с религией» [115]. Для воинствующих пасторов из союза протестантской ортодоксии «Christliche Wehrkraft» в творчестве Гете содержатся «христианские корни немецкой культуры» [116]. И целая волна «новых интерпретаций» «Фауста» как апофеоза протестантского учения об искуплении затопила в связи с юбилеем книжный рынок [117].

Еще больше, чем непосредственно после войны, во время юбилея повернулась лицом к Гете и католическая критика. Иезуиты из партии центра поняли, что то резко отрицательное отношение, которое проявлял раньше католицизм по отношению к Гете, сегодня уже весьма непопулярно в среде буржуазии. Один из руководителей культурной политики партии центра—иезуит Фр. Муккерманн—проявляет в своей юбилейной книге о Гете [118] чрезвычайную «терпимость» не только к протестантизму, но даже к натур-деизму. И если иезуит Баумгартен в 1882 г. жаловался на безнравственно-языческие «Римские элегии», то Муккерманн считает теперь, что они отражают «еще не успокоенную совесть» и находит, что они «действуют по-католически». Он, далее, не скупится на похвалы «самовоспитанию» Гете и сравнивает его с «великими людьми католицизма», даже с основателем иезуитского ордена Игнатием Лойолой, а произведения Гете характеризуются как «гимн творению».

Еще более политически заостренно чествовал Гете орган католических клерикалов «Новая Империя». Баумгартен в том же 1882 г. назвал «Странствования Вильгельма Мейстера» сшитым из лоскутков романом, автор же статьи в «Новой Империи» считает его теперь познанием высшего порядка. Политический смысл творчества в интерпретации современных католических клерикалов раскрывается в следующем месте статьи: «Гете чувствует, что окружающий, фаустовский, мир уходит, он чувствует утомление государств и королей от потрясений политических переворотов. А гибель может быть предотвращена только ценой отречения, и для Гете на вопрос—в чем твой долг? может быть только один ответ: повинуйся требованиям дня. Общество и воля его гласит: труд и закон. И эти слова Гете были обращены к той Германии, которая пришла после него, которая воззвала к жизнеспособным людям и потребовала исповедания сообщества в государстве. В этом—завещание Гете немецкой политике» [119]. Отречение и «закон и порядок»—вот то «ценное», что находят в творчестве Гете воинствующие фашистские клерикалы, вожди культурной и политической реакции, и ради этого «ценного» они охотно превращают и «язычника», «безнравственного» Гете [120] в католика.

Таким образом фашизм, национализм и клерикализм в широком масштабе «приспосабливают» Гете к своим актуально-политическим целям. Как же к нему относятся буржуазно-«демократические» партии, теряющие за последние годы все больше свое влияние в Германии и усиленно фашизирующиеся? Эти партии раньше и громче всех говорили о «сотрудничестве наций» внутри страны и призывали «во имя Гете» к «классовому миру: «В международной игре интриг, в самораздирании немецких партий,—пишет «Vossische Zeitung» 20 марта 1932 г.,—эти дни, посвященные памяти Гете, должны означать передышку, отрешение от современного, предвидение той высоты, на которой повседневные заботы растворятся в служении духу». В таком же духе составлено известное воззвание по поводу юбилея, подписанное членами правительства и представителями литературы и искусства. Немногим от этого отличаются юбилейные статьи «Berliner Tageblatt». Чего ждет «демократическая» буржуазия от Гете—указывают статьи третьего руководящего органа современной германской «демократии», «Frankfurter Zeitung». «Посмотрим на самих себя,—

пишет Фридрих Зибург в номере от 20 марта 1932 г.—Взглянем на себя посреди нашего народа, теснящихся на скале времени, окруженных хаотическим напором волн политического и экономического бедствия. Это—великий час национального потрясения, и вдруг нам начинает казаться, что год Гете—передышка, мгновение, во время которого наша мысль проясняется, секунда раздумья, и в эту секунду мы можем уяснить себе, будет ли это потрясение вечной участью нашей или все-таки когда-нибудь наступит гармония и нашему народу предстоит обрести как внутренний, так и внешний мир, самосознание, нравственную верность и истинное спокойствие». И Зибург обращает свои взоры на Гете: он—«противоядие» хаосу—может быть спасет немецкое общество (читай капитализм), «и если не слишком поздно начать борьбу, то он [Гете] должен назначить час»...

Но, увы, и заклинание «духа Гете» не помогло и не поможет буржуазии преодолеть кризис. А насколько «серьезно» относится эта буржуазия к своим фразам о пацифизме и «классовом мире», об этом свидетельствует хотя бы статья одного «демократического» государственного деятеля в «Vossische Zeitung» от 20 марта 1932 г., где этот, с позволения сказать, «гетевед» пишет, что «общественные работы в крупном масштабе, как в «Фаусте», правда, разрешимая задача, но в настоящее время она кажется сделалась невозможной». «Я не отношу к категории невозможного,—продолжает он,—борьбу с наступающими враждебными государству элементами, потому что очевидно, что эта борьба, если действовать энергично, может увенчаться успехом... Нельзя предоставлять массу самой себе в ожидании ее гибели, по отношению к ней справедливы слова Гете Эккерману: «что мы не сможем побороть длящееся долгое время насилие добротой, кротостью и моральной деликатностью, если нам нужно считаться со смешанным и в то же время нечестивым миром». Таким образом я нахожу у Гете соответствующее моей природе выражение для всего». Такова проповедь «классового мира» на практике... И можно не сомневаться, что под этой «враждебной государству массой» подразумевается исключительно коммунистическое движение.

Но как же чествовал Гете «цвет» немецкой буржуазно-«демократической» интеллигенции? Нужно отметить то явление, что официальная Германия, склонявшая на все лады во время торжеств слова «культура» и «искусство»... не сочла нужным пригласить к участию в них организации даже своих архибуржуазных писателей! Но тем не менее десятки и сотни писателей и критиков, еще считающих себя «демократами», выступали с речами и в печати по поводу юбилея [121]. Так, основной темой многочисленных выступлений Томаса Манна было «Гете как представитель бюргерской эпохи». В понятие «Гете как бюргер» Манн включает все, начиная от любимых блюд писателя до «высот гетевского духа». Сущность «бюргерского», как такового, он видит в свободном духе Гете, «указующем на будущее». И объясняя «неудовлетворенность» Гете во второй части «Фауста» «индивидуализмом», Манн приходит к следующему выводу: «Смысл бюргерского в том, чтобы свободой бюргерского духа преодолеть бюргерство. Путь Гете в надбюргерское, к «недогматическому коммунизму», является примером, который дает этот величайший сын бюргерства бюргеру наших дней, задачей, которую должен взять на себя немецкий бюргер, если он не хочет быть отброшенным в сторону и сменен другой человеческой породой»[122]. Т. Манн повидимому забывает, что утопическое противопоставление буржуазно-интеллигентского «коммунизма» марксизму и пролетарскому коммунизму—совсем не новая идея, а старая избитая путаница, созданная еще немецкими левыми экспрессионистами.

В основном же высказывания буржуазно-«демократической» интеллигенции о Гете вращаются вокруг лозунгов выдвижения «царства духа против царства техники» и американизма, создания нового «гуманизма», противопоставления «сильной духовной индивидуальности» массам, вокруг бесконечных жалоб по поводу кризиса, причиной которого оказывается «служение маммоне», миру материального, вместо поклонения «духовному единству нации» и т. д. [123] Мечте о «humana civilitas», о построении такого общества, которое стояло бы «между индивидуализмом и коллективизмом», также уделяется место в гетевской литературе этой буржуазной интеллигенции, мечте, против которой Вернер Зомбарт, действуя в интересах крупной буржуазии, также мобилизовал имя Гете как свидетельствующее против «ложной гуманности», которая, следуя по пути гигиены, должна была неминуемо выродиться в заботы о калеках и общее социальное обеспечение.

Свою оценку Гете дала и более радикальная, мелкобуржуазная интеллигенция. В противовес Маннам, Гауптманам и т. д. эта группа вначале относилась довольно отрицательно ко всей буржуазной шумихе вокруг юбилея, но, во-первых, и она дальше филантропических требований не пошла, а во-вторых, она также выставляла лозунги «духовного царства» против «промышленности и техники» и быстро умолкла [124].

Другие мелкобуржуазные писатели, как например Ф. Меринг, выступают с критикой фашистской интерпретации Гете, но в то же время они совершенно не понимают исторического значения творчества этого писателя и еще меньше—позиции пролетариата в вопросах буржуазного литературного наследства [125].

Но как буржуазно-«демократические» писатели типа Манна или Гауптмана, являющиеся апологетами капитализма, так и мелкобуржуазные «критики» современного общества остаются в своей гетевской литературе внутри этого общества, не затрагивают его основ и в конечном итоге и их выступления по поводу юбилея—лишь «разночтения» в единой защите буржуазной культуры и капитализма.

XI

Там, где дело идет о спасении капитализма, хотя бы и именем Гете, не могут конечно не участвовать социал-фашисты. В прессе американской, французской, голландской и т. д., особенно же австрийской и германской с.-д. партий, появилось не мало юбилейных статей, мало отличающихся от статей остальных буржуазных органов; в общем о с.-д. юбилейной литературе можно сказать следующее: те же пацифистские фразы, те же лозунги о «законе и порядке» против «хаоса», те же требования «самоограничения», как и в буржуазной печати. Или же наиболее «левые» авторы, наряжаясь в марксистскую фразеологию, впадают в мелкобуржуазный радикализм, защищают Берне против Гете, отрицают за поэтом какое-либо значение для пролетариата или наоборот—приписывают ему, следуя за Ф. Мерингом, чрезмерное значение в будущем социалистическом обществе. Нужно сказать, что с.-д. юбилейная литература неоднородна и не выдержана с определенной точки зрения, иногда она даже резко противоречива. Но в ней мы напрасно искали бы марксистской оценки Гете, анализа историко-классовой обусловленности его творчества и его значения для пролетариата. Большинство с.-д. газет и журналов, особенно французских, вообще отделалось несколькими историко-филологическими заметками.

Возьмем статью А. Саломона в руководящем немецком социал-фашистском теоретическом органе, в журнале Р. Гильфердинга «Die Gesellschaft». Автор констатирует то печальное явление, что юбилей Гете совпадает с эпохой хаоса и беспорядка. «Но все силы раздробления и разрушения, отрицания и разложения всегда и снова вызывают силы противодействующие... Где опасность, там появляется и средство спасения» [126]. Этим «спасением» является «эпоха идеи и сущность великого». А действительное содержание этого «великого»—в «добровольном признании высшей заслуги и в смиренном и покорном согласии с установленной иерархией» (стр. 235—236). «Но простым и истинным всюду и всегда будет величие, ибо оно одно охватывает всякий произвол и все субъективное и укладывает их в законность и порядок вечных форм. Единственно величие создает меру, форму и закон. Мы взываем к памяти Гете, как к образцу и мере величия, и его чистый образ противопоставляется искаженному лику эпохи» (стр. 237). И наконец: «Так как Гете думал и творил величественно, то он не мог жить в мире озлобления (т. е. революции), ибо оно позорит человека и делает его несвободным» (стр. 261) и «в этом признании необходимого примирения закона и свободы в созидающем человеке заключено понятие отречения» (стр. 253). Эта статья, помещенная, повторяем, в руководящем органе германской с.-д. партии, могла бы вполне свободно появиться и в буржуазном журнале.

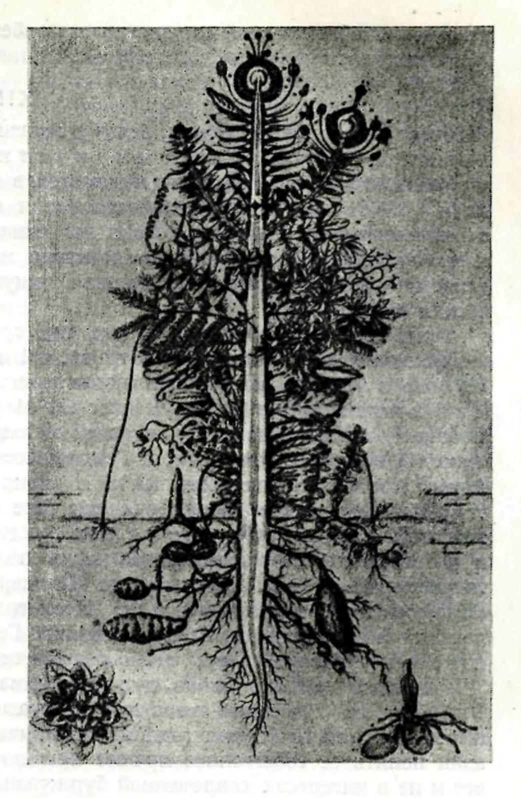
Об «эпохе хаоса» и Гете как гармонии твердит и Альфред Клейнберг [127], а считающийся наиболее радикальным критиком с.-д. партии Карл Шредер пишет: «Цель—полная оценка могущественного достижения духа, каким является творчество Гете,—эта цель будет достигнута только после завоевания рабочим классом общественной власти. До того возможно лишь «ограничение» [128]. А как эти «левые» с.-д. критики мыслят это использование Гете в социалистическом обществе, об этом говорит немецкий с.-д. критик Чехо-Словакии д-р Эмиль Францель в своей речи, где, рассматривая Гете как идеолога восходящего революционного бюргерства, но также и как великого провозвестника нового мира «социализма», считает, что «в новом мире, к которому стремится пролетариат, он вполне созреет и для понимания красоты языка Гете» [129]—и больше ничего! Как будто у Гете ценен только язык, и как будто этот язык—вечный идеал!

Но для многих с.-д. газет и журналов более характерна интерпретация Гете как чистого эстета и писателя, никакого значения для рабочего класса не имеющего, писателя исключительно эгоистичного, в полемике с которым Берне и писатели «Молодой Германии» были правы. «Для пролетариата Гете потерян,—восклицает В. Шуманн в своей статье [130],—ибо он был буржуа, и понятен только буржуазии!» Так же приблизительно думают и авторы руководящих теоретических органов австрийской и голландской с.-д. партии [131], хотя они допускают и некоторое прогрессивное зна-

Рисунок Гете

Схематическое изображение перворастения (Urpflanz)

Goethehaus, Веймар



чение за «эстетическим индивидуализмом» того времени. «Содержание «Фауста» не имеет для нас уже никакого значения», пишет орган германских «левых» [132]. В таком же духе —о правоте Берне, об отсутствии у Гете всякого политического чувства, о том, что «он жил не в истории, а в природе» и т. п.—выдержаны и все статьи Германа Венделя [133]. Но характерно, что в социал-фашистской прессе ни одна статья не ставит вопроса о действительных социально-экономических корнях творчества Гете, и даже Герман Вендель считает, что «мы, так же как Гете, должны перебросить мост от катастрофы к порядку и снова и снова восстанавливать разрушенное этими катастрофами».

Так же противоречива и юбилейная литература «левого крыла» германского социал-фашизма, отколовшегося от германской с.-д. партии, так называемой «социалистической рабочей партии», хотя вся серия статей принадлежит одному автору—проф. Анне Зимсен [134]. В одной статье она считает Гете только консерватором, в другой—почти марксистом. То она находит, что он мало говорит уму рабочих, то (3 апреля) пишет: «Никакая спортивная тренировка не сделает боеспособным голодающее тело. Никакая политическая выучка не даст голодному духу силу чувства и воли, веру в будущее человечества, в которой мы нуждаемся для победы. Гете для нашего духа—врата к красоте, к богатству, к прирожденной мудрости и доброте, в которых мы нуждаемся, как в хлебе, молоке и фруктах для нашего тела. Только в новом и лучшем общественном строе мы сможем вполне насладиться его миром. Ибо только тогда творчество Гете пробудится к истинной жизни». Такое антимарксистское понимание роли искусства и литературного наследства буржуазии коренится в худших традициях II Интернационала.

Можно в двух словах упомянуть и об интерпретации Гете современными анархо-индивидуалистами, той ничтожной горсточки, которая осталась еще от «детской болезни левизны» так называемой «Коммунистической рабочей партии Германии». В юбилейной статье газеты этой группки [135], в состав которой входит несколько анархо-индивидуалистов интеллигентов (газета выходит один раз в месяц), выставляются на первый план антирелигиозные стихи Гете, сам же он рассматривается как «революционер в области культуры и морали и реакционер в области политики». Революционность его оказывается состоит в «отрицательном отношении к моногамии». Из среды этих или подобных им групп вышла повидимому и книга под тремя псевдонимами [136], в которой также «волокитство» Гете считается весьма революционным. Это конечно

не помешало буржуазной критике вопить о «безобразиях» критики коммунистической, как будто марксистская оценка Гете имеет что-нибудь общее с выходками этих снобов.

XII

Совершенно по-иному, чем вся буржуазная и псевдомарксистская с.-д. критика, подошла к юбилею Гете коммунистическая критика. Она неустанно твердила, что пролетариат не нуждается в фальсификации Гете, не закрывает глаза на двойственность мировоззрения и творчества поэта, на прогрессивные и реакционные его стороны. Исходя из гениальной оценки Гете Энгельсом в 1847 г., коммунистическая критика дала поистине марксистскую его интерпретацию, всячески разоблачая приспособление буржуазией творчества Гете для своих политических целей.

Марксистская критика на Западе еще сравнительно слаба. Количественно она не выдерживает сравнения с рассматриваемой в настоящей статье буржуазной критикой. Но уже в 1930 г., когда «юбилейные приготовления» только намечались, П. Рейман в журнале «Unter dem Banner des Marxismus» поместил большую статью, разоблачающую излюбленные буржуазией методы искажения творчества и создания всяческих «легенд», особенно вокруг Гете и классического периода немецкой литературы [137]. Автор вскрывает лживость мифа о «покровительстве» классической литературе со стороны веймарского двора, очищает Гете от густого слоя благоглупостей, которыми этот писатель был забросан в работах Гундольфа и др., устанавливает прогрессивные и регрессивные стороны мировоззрения поэта, влияние на него Спинозы, отличие творческого метода Гете от метода Шиллера, указывает на истинный смысл поэмы «Пробуждение Эпименида» и т. д. Несмотря на переоценку революционности, диалектики и материализма в произведениях Гете, статья Реймана представляет большой интерес и особенно ценна своей разоблачительной ролью.

В этом же приблизительно духе П. Рейман написал и юбилейную статью о Гете [138]. Указывая на классовую сущность буржуазной шумихи вокруг юбилея, Рейман пишет: «В сущности говоря год Гете показывает только полную неспособность буржуазии понять ее собственное лучшее прошлое». Нужно только прибавить, что это вовсе и не в интересах современной буржуазии. Более подробный анализ дают обе юбилейные статьи К. А. Витфогеля. В первой из них автор проводит параллель между празднованием юбилея Гегеля и Гете и замечает: «Международная буржуазия одинаково плохо понимает этих гениев духа—как первого, так и второго. С одной стороны, буржуазии с классово обусловленной необходимостью не хватает методологических предпосылок, чтобы уяснить себе явления, подобные Гегелю и Гете, в их историческом аспекте, с другой стороны, угрожаемая отовсюду оборонительная позиция, занимаемая ныне буржуазией вследствие кризиса капитализма, сделала политически невозможным всякое, самое минимальное приближение к истинному их пониманию» [139]. В другой своей статье в в берлинском «Rote Fahne» Витфогель, разоблачая в связи с юбилеем маневры национал-социалистов, социал-фашистов и др., пишет: «Таким образом можно политически злоупотреблять Гете, но ни в коем случае не понимать его» [140]. И дальше, опираясь на статью Энгельса, автор дает краткий популярный анализ творчества Гете и его значения для рабочего класса.

В условиях террора, в которых приходится работать коммунистическим партиям в капиталистических странах Запада, пролетариат не имел достаточной возможности противопоставить буржуазной шумихе вокруг юбилея Гете пропаганду марксистско-ленинской оценки его и разоблачение искажений творчества Гете фашистами и социал-фашистами; попытки коммунистических рабочих и писательских организаций и союзов устроить свои публичные—даже в закрытых учреждениях—выступления в противовес буржуазным торжествам пресекались и запрещались полицией. Так, берлинский с.-д. полицей-президент запретил вечер, организованный марксистской рабочей школой с докладами «Гете в марксистском освещении». И когда берлинское отделение Всегерманского союза писателей осмелилось было допустить на устраиваемый им гетевский вечер наравне с буржуазными докладчиками и выступления писателей-коммунистов, то правление союза всячески боролось против такого «либерализма».

Но коммунистическая критика, несмотря на запреты и преследования, не молчала. И после окончания официальных юбилейных торжеств в ряде политико-теоретических и литературных журналов и газет компартии и связанных с ней организаций появились статьи, подвергающие творчество Гете марксистскому анализу [141]. Журнал союза революционных и пролетарских писателей Германии «Die Linkskurve» выпустил специальный номер, посвященный юбилею Гете (май 1932 г.), в котором кроме статей К. Витфогеля и Г. Лукача полностью перепечатана по-немецки — впервые после 1847 года—статья Энгельса о книге К. Грюна «Гете с человеческой точки зрения».

Не менее важны и статьи, разоблачающие фальсификацию творчества Гете в буржуазной и с.-д. юбилейной литературе[142]. И хотя эти статьи, особенно в теоретической своей части, иногда и содержат положения дискуссионного порядка, все же они, исходя из оценки Гете, данной Энгельсом, в основном дают политически правильный анализ как творчества самого писателя, так и фальсифицирующей его юбилейной литературы.

Ленин в «Государстве и революции» говорит, что после смерти революционных мыслителей делаются попытки превратить их в «безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для «утешения» угнетенных классов и для одурачивания их, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его». Если такое искажение было проделано «теоретиками» из II Интернационала с цельным и. революционным учением Маркса и Энгельса, то тем легче это удалось буржуазии, оперировавшей с таким двойственным творчеством, каковым является творчество Гете. Вся история буржуазной критической литературы о Гете показывает, как буржуазия, по мере превращения своего из класса восходящего, прогрессивного в класс нисходящий, загнивающий, оттирает, искажает прогрессивную сторону мировоззрения Гете и выдвигает и восхваляет в его двойственном творчестве именно то, что для нее приемлемо или кажется ей наиболее политически подходящим для защиты капитализма на данном этапе развития и соотношения классовых сил. Подобное искажение Гете, как мы видели в обзоре, особенно усиливается с наступлением эпохи империализма и достигает своего апогея во время юбилея в нынешнем году. Выше собирания, издания, текстологической и историко-филологической обработки произведений самого Гете и огромного количества материалов о Гете и его времени буржуазное гетеведение подняться не смогло. Правильного критического анализа и интерпретации творчества поэта буржуазия, несмотря на свои напыщенные декларации о «свободе» и «объективности» науки, по самой своей классовой сущности не может дать. Ее может дать и дает только пролетариат с помощью единственно научного метода—диалектического материализма. И это как нельзя нагляднее показало празднование юбилея Гете двумя противоположными мирами: капиталистическими странами и СССР.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Michael Holzmann, «Aus dem Lager der Goethegegner». Berlin, 1904 (Deutsche Literatur-Denkmäler, Bd. 129).

[2] F. Glower, «Goethe als Mensch und Schriftsteller» (1823).

[3] K. E. Schubarth, «Zur Beurteilung Goethes» (2 тома) и «Über Goethes «Faust» (Vorlesungen, Berlin, 1830).

[4] Karl-Friedrich Göschel, «Hegel und seine Zeit. Mit Rücksicht auf Goethe». Berlin, 1832; Его же, «Unterhaltungen zur Schilderung Goethescher Dicht- und Denkweise». 3 Teile. Schleusingen, 1834—1838.

[5] Karl Gutzkow, «Über Goethe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte». Berlin, 1836.

[6] Подробно см. об отношении «Молодой Германии» к Гете работу: Dr. Oskar Kanehl, «Der junge Goethe im Urteile des Jungen Deutschland». Greifswald, L. Bamberg, 1913.

[7] Gustav Kühne, «Portraits und Silhouetten». Hannover, 1843, 2 Teil, S. 1 u. f.

[8] Karl Grün, «Goethe vom menschlichen Standpunkte. Darmstadt», 1846.

[9] Alexander Baumgartner, «Goethe und seine Werke». 3 Bände (1882).

[10] Prof. Dr. George Witkowski, «An der Schwelle des Goethe-Jahres» («Minerva-Zeitschrift», 8 Jg., Jan.-Febr. 1932).

[11] Hermann Grimm, Vorlesungen über Goethe (1876).

[12] См. особенно статью В. Дильтея, «Goethe und die dichterische Phantasie» (1877), вошедшую затем в его известную книгу «Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing. Goethe. Novalis. Hölderlin von Wilh. Dilthey». 6 Aufl. Leipzig u. Berlin, 1919.

[13] Эти тенденции «отстранения» влияния Спинозы на Гете усиливались все больше и больше после 1899 г. Так один «исследователь» считает даже «неисторическими» слова Гете в его «Поэзии и правде» об определенном влиянии на него Спинозы (Fr. Warnecke, Goethe, Spinoza und Jacobi, 1908). Другой рьяно нападает на Э. Геккеля за то, что он осмеливается находить Гете спинозистом и материалистом; он называет дарвинизм «английской болезнью», превращает Гете в чистого метафизика, мистика, антисемита и... оккультиста.

[14] Max Seiling, «Goethe und der Materialismus» (Leipzig, 1904). Karl Federn, «Goethe» («Arbeiter-Zeitung», 27/VIII 1899).

[15] Аналогичную оценку творчества Гете Меринг дает и в двух других юбилейных статьях 1899 г. («Leipziger Volkszeitung», 2 Beilage zu № 195 от 24 авг. 1899 г. и в статье в юбилейном номере с.-д. журнала «Wahre Jakbi». Ср. также две его статьи о Гете, написанные позднее: «Goethe am Scheidewege» («Neue Zeit», 1909, 2 Band und «Goethe-Egmont» («Die Volksbühne», 1892—1893, 6 Heft).

[16] См. воспоминания Hans W. Fischer, «Der lebendige Goethe» («Vorwärts», New-York, 19/III 1932).

[17] Max Grünwald, «Goethe und die Arbeiter». Dresden, Kaden. С.-д. партия подала апелляцию, и доклад был разрешен полицией только несколько лет спустя; он был прочтен впервые в 1908 г. в Берлине.

[18] Gustav Landauer, «Goethe» (1749—1832), «Der Sozialist». Anarchistische Monatsschrift. August-Heft 1899.

[19] Houston-Stewart Chamberlain, «Goethe.» Bd. 1—2 (1 Auflage 1912), München, F. Bruckmann, 1923.

[20] Georg Simmel, «Goethe». Leipzig, 1913 (русск. перевод А. Габричевского. М., ГАХН, 1928).

[21] Friedrich Gundolf, «Goethe». Berlin, Bondi, 1920 (1-е издание 1916 г.).

[22] Goethes Faust, Nach Entstehung und Inhalt erklärt von Ernst Trautmann. In 2 Bänden. 2 Aufl. München, Beck, 1919.

[23] Louis Bertrand, «Goethe et le Germanisme» (первонач. опубликовано в «Revue des deux Mondes» 15/IV 1915; перепеч. в сб. статей Бертрана «Les grands coupables». Paris, p. 35—64).

[24] «Une page inédite de Maurice Barrès» («Revue de Littérature comparée». Numéro consacré à Goethe. Paris, Jan.-Mars 1932).

[25] См. например книгу Karl Bensinger, «Was bedeutet die Goethesche Faustdichtung dem Menschen und der Menschheit?» Mannheim, 1927 (S. 419). Автор рассматривает «Фауста» как высшую поэму человеколюбия, пацифизма, восхваления республики и преодоления «необузданности».

[26] Adolf Bartels, «Weimar und die deutsche Kultur». Weimar, Fritz-Fink-Verlag, 1921.

[27] См. по этому вопросу книгу Julius Bab, «Goethe und die Juden». Berlin, Philo-Verlag, 1926 (Die Morgen-Reiche, 3).

[28] Thomas Mann, «Goethe und Tolstoi». Aachen, Verlag «Die Kuppel», 1923.

[29] Karl Sternheim, «Tasso oder Kunst de juste Milieu», 1921.

[30] Max Herrmann (Neisse), «Die bürgerliche Literaturgeschichte und das Proletariat. Berlin, 1922.

[31] Konrad Burdach, «Faust und Moses» (Sitzungs-Berichte der Berliner Akademie der Wissenschaften. 1912).

[32] K. Burdach, «Das religiöse Problem in Goethes Faust» («Euphorion», Bd. 33, Heft 1—2, S. 3—83, 1932). Из другой важнейшей литературы на эту тему укажем на работы: Heinrich Hertz, «Fausts Himmelfahrt» («Die Ernte», Festschrift für Franz Muncker, Halle a/S., S. 59—72); Heinrich Rickert, «Fausts Tod und Verklärung» («Deutsche Vierteljahresschrift für Literatur und Geisteswissenschaft», Bd. 3, S. 1—74, 1924); Werner Schultz, «Goethes Urfaust und Faust II in ihrer religiösen Problematik (Zeitschrift für Theologie und Kirche, N. F. 8 Jg., S. 274—300, 1927); Hans von Schubert, «Goethes religiöse Jugendentwicklung». Leipzig, Quelle und Meyer, 1925; Erich Frantz, «Goethe als religiöser Denker». Tübingen, Mohr, 1931; Gustav Krüger, «Die Religion der Goethezeit». Tübingen, Mohr, 1931; Wilhelm Loew, «Goethe als religiöser Charakter». München, Chr. Kaiser-Verl., 1924; Dr. Paul Benrath, Goethe und Lüther. Tübingen, Mohr, 1919; Ernst Neubauer, «Goethes religiöses Erleben». Tübingen, 1925.

[33] Franz Koch, «Goethe und Plotin». Leipzig, 1925.

[34] Dietrich Mahnke, «Leibnitz und Goethe. Die Harmonie ihrer Weltansichten». Erfurt, 1924, S. 3.

[35] Werner Saenger, «Goethe und Giordano Bruno. Ein Beitrag zur Geschichte der Goetheschen Weltanschaung». Berlin, E. Ebeling, 1930.

[36] H. Berendt, «Goethe und Schelling» (Festschrift für B. Litzmann. Berlin, 1921, S. 77—104).

[37] C. Karl Vorländer, «Kant-Schiller-Goethe» (1. Aufl. 1907); 2. Aufl. Leipzig, 1922; Derselbe, «Die Philosophie unserer Klassiker. Lessing-Herder-Schiller-Goethe». Berlin, Dietz, 1923.

[38] Georg Simmel, «Kant und Goethe». Leipzig, 1916.

[39] Lazar von Lippa, «Der Aufstieg von Kant zu Goethe». Berlin, Mittler und Sohn, 1921.
[40] Gabriele Rabel, «Goethe und Kant». Wien, 1927. См. также статьи: Jonas Cohn, «Das Kantische Element in Goethes Weltanschauung» («Kantstudien», 1905) und Joseph Nadler, «Hamann-Kant-Goethe» (Schriften der Königsberger gelehrten Gesellschaft. Geisteswis-Reihe. 8 Jg., Heft 3, Halle, 1931).
[41] Rudolf Honegger, «Goethe und Hegel» («Jahrbuch der Goethegesellschaft, Bd. XI, S. 38—111, Weimar, 1925).
[42] Hermann Glockner, «Das philosophische Problem in Goethes Farbenlehre». Ein Vortrag. Heidelberg, 1924, S. 21.
[43] Gunther Ipsen, «Goethes Naturwissenschaft und die Philosophische Anthropologie» («Insel-Almanach auf das Goethejahr 1932», Leipzig, 1932, S. 162).
[44] Franz Koch, «Goethe und der deutsche Idealismus» («Euphorion», Bd. 33, Heft 1—2, S. 153—201, 1932).
[45] Eugen Kühnemann, «Goethe». Leipzig, Insel-Verl., Bd. 2, 1930.
[46] Karl Viëtor, «Der junge Goethe». Leipzig, Quelle und Meyer, 1930 (Wissenschaft und Bildung, Bd. 262).
[47] Theodor Kappstein, «Goethes Weltanschauung». München, 1921 (Philosophische Reihe, Bd. 6).
[48] Kurt Geucke, Goethe und das Welträtsel». Von künftigen Dingen. Berlin, 1918, S. 21.
[49] Rudolf Steiner, «Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung». 2. Aufl. Stuttgart, 1924; Derselbe, «Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust». Philos. Anthropolog. Verlag, Dornach, Bd. 2, 1922.
[50] Hermann Emrich, Goethes Intuition». Tübingen, Mohr, 1928.
[51] Ludwig Klages, «Goethe als Seelenforscher» (Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts, Frankfurt a/M. 1928).
[52] Напр.: J. Harnik, «Psychoanalitisches aus und über Goethes Wahlverwandtschaften» («Imago» I, 1912); Eduard Hitschmann, «Goethe als Vatersymbol» (Intern. Zeitschrift für Psychoanalyse, I, 1913); Derselbe, «Ein Dichter und sein Vater» («Imago» IV, 1915/16); Otto Rank, «Das Inzestmotiv in Sage und Dichtung» (1912).
[53] Rudolf Glaser, «Goethes Vater nach Tagebüchern und Zeitberichten». Leipzig, Quelle und Meyer, 1929.
[54] См. статью Ed. Hitschmann, «Psychoanalitisches zur Persönlichkeit Goethes» («Imago» XVIII, 1932). Проблеме «Любовь и Гете» посвящены также работы последователей Фрейда: Theodor Reik, «Warum verliess Goethe Friederike» («Imago» XV, 1929); Philipp Sarasin, «Goethes Mignon» («Imago» XV, 1929); Brunold Springer, «Der Schlüssel zu Goethes Liebesleben». Ein Versuch. Berlin, «Die Neue Generation». В стороне от ортодоксальной школы Фрейда стоит работа—Felix A. Theilhaber, «Goethe, Sexus und Eros». Berlin, Horenverlag, 1929.
[55] Prof. Dr. Hans Freyer, «Der Dichter und sein Volk» («Deutsche Allgemeine Zeitung», 20/III 1932).
[56] Dr. Georg Boss, «Erziehertum im Sinne Goethes und Fichtes. Gedanken zur Krisis der modernen Bildung». München, 1927, S. VIII.
[57] Walter Linden, «Goethe und die deutsche Gegenwart», 1932.
[58] Wilhelm Willige, «Goethe. Umrisse seiner geistigen Gestalt». Weimar, 1932.
[59] Werner Deubel, «Der Geist als Widersacher der Seele». Zur Metaphysik des Lebens bei Goethe und Klages («Deutsche Rundschau», 56 Jg., Berlin, Mai 1930).
[60] Gustav Württenberg, «Goethe und der Historismus». Leipzig, Teubner, 1929, S. 3.
[61] Paola Honegger, «Il pensiero politico e sociale di Goethe». Torino, 1924 (с предисл. G. Solari).
[62] Karl Muthesius, «Goethe und das Handwerk. Sein Verhältnis zum werktätigen Volk und zur handwerklich-künstlerischen Erziehung». Leipzig, 1927.
[63] К. Маркс, «Капитал», т. I. 8-е изд., стр. 329.
[64] Архив К. Маркса и Фр. Энгельса, т. II, 1925, стр. 155—157.
[65] К. Маркс, «Капитал», т. I, 8-е изд., стр. 339.
[66] Там же, стр. 340.
[67] Там же, стр. 493.
[68] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 151.
[69] См. нем. перевод—Benedetto Croce, «Goethe». Mit Genehmigung des Verfassers verdeutscht von Julius Schlosser. Amalthea-Verlag (1920).
[70] Georg Brandes, «Goethe». 4 Aufl. Berlin, 1922.
[71] Emil Ludwig, «Goethe. Geschichte eines Menschen». 2 B-de. Stuttgart und Berlin, Cotta, 1920.

[72] См. например романы Jean-Marie Carré, «La vie de Goethe» (русский перевод «Великий язычник». Повесть жизни Гете. Перев. с франц. З. Шамуриной. М., изд. Сабашниковых, 1930); Klara Hofer, «Frühling eines deutschen Menschen». Die Geschichte des jungen Goethe. Leipzig, Hesse und Becker, 1932; Walter Bloem, «Faust in Monbijou». Leipzig, Koehler, 1932.

[73] Paul Müllensiefen, «Die Französische Revolution und Napoleon in Goethes Weltanschauung» («Jahrbuch der Goethegesellschaft», Bd. 16, 1930, S. 93).

[74] Hippolyte Loiseau, «Goethe et la Révolution Française» («Revue de Littérature comparée». Jan.-Mars 1932, pp. 49—80).

[75] Frank-Hermann Reinsch, «Goethe's political interests to 1787». Berkeley, 1923 (University of California Publications in Modern Philology. Vol. 10, № 3, pp. 183—278).

[76] См. например работы: Ernst Bertram, «Nietzsches Goethebild» («Festschrift für Berthold Litzmann zum 60. Geburtstag». Berlin, 1921), или диссертацию Maria-Agnes Saleski, «Goethe als Erzieher Nietzsches», Leipzig, 1929.

[77] На формально-эстетической точке зрения в значительной мере стоит еще Оскар Вальцель («Das ästhetische Glaubensbekenntnis von Goethes und Schillers Hochklassizismus». In Jahrbuch der Goethegesellschaft. 16 Bd. 1930, S. 261—292).

[78] Walter Linden, l. c., S. 18.

[79] Deutscher Almanach für das Jahr 1932. Leipzig, Ph. Reclam, jun., 1932.

[80] Wilhelm Willige, «Goethe. Umrisse seiner geistigen Gestalt». Weimar, 1932, S. 82.

[81] Ludwig Marcuse, «Die Klassik. Ihr Reich und ihre Grenzen» («Deutscher Almanach für das Jahr 1932», S. 17—22).

[82] Camillo von Klenze, «From Goethe to Hauptmann». Studies in a Changing Culture. New-York, The Viking Press, 1926, p. 3—66.

[83] René Berthelot, «Goethe et l'esprit de la Renaissance» («La Nouvelle Revue Française», 1 mars 1932, pp. 438—444).

[84] Waldemar Oehlke, «Zurück zu Goethe, denn er ist unser Berlin», 1932, S. 19.

[85] Ernst-Robert Curtius, «Goethe ou le classique allemand» («La Nouvelle Revue Française», 1 mars 1932, pp. 321—350).

[86] Alfred Rosenberg, «Der Mythus des 20 Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit». München, 1930.

[87] «Die deutsche Weltmacht Goethe» («Kölnische Zeitung», 27/III 1932).

[88] Laurie Magnus, «Goethe a Hundred Jears after» («The Nineteenth Century», vol. CXI, № 661, March, 1932, pp. 376—384).

[89] J. G. Robertson, «The Life and Work of Goethe». 1927. New edition 1932.

[90] H. W. Nevinson, «Goethe as Man and Poet». 1932.

[91] E. R. Curtius, l. c., p. 330.

[92] André Suarés, «Goethe l'universel» («La Nouvelle Revue Française», 1 mars 1932, pp. 378—413).

[93] V. d. Osten, «Das Goethe-Jahr die Wende» («Deutsche Allgemeine Zeitung», 27/III 1932).

[94] Prof. Ernest Barker, «Goethe, Philosopher and Poet» («The Times», 22/III 1932).

[95] Laurie Magnus, «Goethe a Hundred Iears after» («The Nineteenth Century», vol. CXI, № 661, March 1932).

[96] Prof. H. A. Atkins, «Goethe after a century» («Contemporary Review», № 795, March 1932, p. 326).

[97] Robert d'Harcourt, «La sagesse, pratique de Goethe» («Revue de deux Mondes», 15/III 1932, pp. 343—371).

[98] Кстати, на параллель этих «двух событий» нередко указывает и критическая юбилейная литература о Гете.

[99] Эти высказывания напечатаны в журнале «Der Welt-Spiegel» № 10 от 6 марта 1932 г.

[100] G. Lowes Dickinson, «Goethe as Man and Poet» («The New Statesman and Nation», 14/XI 1931).

[101] Mathilde Ludendorf, «Der ungesühnte Frevel an Luther, Lessing, Mozart und Schiller». München, Ludendorf-Volkswarte-Verlag, 1932.

[102] E. Rost, «Goethes «Faust», eine Freimaurertragedie». Versuch einer Klärung— kein Kommentar. München, ibidem, 1932.

[103] Dr. E. Duhring, «Die Grossen der modernen Literatur». Bd. 1. Leipzig, Verl. Naumann.

[104] Alfred Rosenberg, «Der Mythus des 20 Jahrhunderts». München, 1930, S. 486—487.

[105] 1 Beiblatt, 23/II 1932.

[106] 2 Beiblatt, 26/II 1932.

[107] «Die Goethe-Gedächtnis-Woche in Weimar und wir» («Völkischer Beobachter», 10/II 1932).

[108] Ibidem, 5/III 1932.

[109] Dr. Georg S c h o t t, «Goethes Ideal vom Führer. Eine zeitgemässe Faustbetrachtung» («Völkischer Beobachter», 9/III 1932); см. также статью «Die Eiserne Goethefront», 27—29/III 1932).

[110] Valentino P i c c o l i, «Dal Werther all' Ortis» («Gerarchia». Rivista politica. Direttore Benito Mussolini. Anno XII (№ 2, Febbraio, 1932).

[111] Giuseppe de L o r e n z o, «Roma e Goethe» (Ibidem, № 8, 3/III 1932, pp. 190—200).

[112] Benedetto C r o c e, «Un contrasto tra la vecchia età e la nuova». Il «Palaephron und Neoterpe» di Vollgango Goethe («La Critica», Anno XXX, 20 marzo 1932). Статья представляет собою филологическое введение к переводу названной поэмы Гете.

[113] См. например юбилейный номер журнала «Der Auslandsdeutsche», Stuttgart, 1932.

[114] Harry M a y n c, «Goethe und Bismark. Ein Wort an die akademische Jugend». Festrede geh. am 18 Jan. 1932. Marburg, 1932.

[115] Gerhard H a u p t m a n n, «Goethes Wesen und Werk» («Pester Lloyd», 27/III 1932).

[116] Hans P f ö r t n e r, «Goethe und Golgotha». München, P. Müller, 1932.

[117] См. например книги: Gustav K o c h h e i m, «Faust im Zeichen des Kreuzes». Hamburg, 1932; Karl W i z e n m a n n, «Faust und der Weg zum Leben»; F. F i n k, «Hofdruckerei», 1932; Friedrich B a r t h, «Das Christentum nach Goethes Faust». Degerloch, A. Merian, 1932; специально против материализма направлена книга W. R o s s m a n, «Goethes «Faust». Bremen, Quelle und Meyer Nachf., 1932.

[118] Friedrich M u c k e r m a n n, «Goethe». Bonn, Verlag der Buchgemeinde, 1932.

[119] Dr. Marianne T h a l m a n n, «Ein Lebens- und Schicksalsbuch des deutschen Menschen. Zum 100 Todestag Goethes» («Das Neue Reich», Wochenschrift für Kultur, Politik und Volkswirtschaft. Wien etc, № 25 vom 19 März 1932).

[120] Клерикальная мюнхенская газета «Bayerischer Kurier» все еще по традиции считала нужным подчеркнуть в своей юбилейной статье «либертинаж» и аморализм Гете. Подобные высказывания встречаются ныне только в виде исключения.

[121] Одним из наиболее характерных документов гетевской литературы этой группы буржуазной интеллигенции является юбилейный номер журнала «Neue Rundschau», April 1932 со ст. Т. Манна, Г. Гауптмана, Г. Бенна, Э. Людвига, Г. Гессе, Я. Вассермана и нескольких других немецких авторов.

[122] Цитирую по «Vossische Zeitung» от 15/III 1932, 1 Beilage.

[123] См. статьи: Генрих М а н н, «Wir feiern Goethe» («Berliner Tageblatt», 22/III 1932, 1 Beilage); Eduard S p r a n g e r, «Goethe und der Wandel der Zeit» («Insel-Almanach» auf das Goethe-Jahr 1932; S. 88—103); Julius B a b, «Das Leben Goethes». Eine Botschaft. 4 Aufl. Leipzig, 1932, etc.

[124] См. например статью Рудольфа Панвица в «Literarische Welt» 22/III 1932.

[125] Walter M e h r i n g, «Pg. Goethe» («Die Weltbühne», 23/II 1932).

[126] Albert S a l o m o n, «Goethe» («Die Gesellschaft», hrsg. v. Dr. Rud. Hilferding. Berlin, März 1932, S. 233—259).

[127] Alfred K l e i n b e r g, «Goethe und unsere Zeit» («Der Sozialdemokrat». Soz.-dem. Monatschrift. 14 Jg. März 1932, S. 7—8).

[128] Т а м ж е, стр. 10. См. также более радикальную статью К. Ш р е д е р а, «Goethe im Lichte des Klassenkampfes» («Sozialistische Bildung», Heft 1, Januar 1932, Berlin).

[129] Цитирую по изложению доклада в «Prager Presse» № 64 от 4 марта 1932 г. Доклад Э. Францеля со статьями А. Клейнберга, К. Крауса, Ф. Меринга и отрывка из Энгельса напечатаны в сборнике чехо-словацкой с.-д. немецкой партии: G o e t h e-F e s t s c h r i f t. Sonderdruck aus dem Arbeiter-Jahrbuch. Prag, 1932, S. 48. Этот сборник нам был недоступен.

[130] Wolfgang S c h u m a n n, «Zum Goethetag» («Die Volksbühne», 6 Jg., № 12, März 1932, S. 493—503).

[131] Alfred A p s l e r, «Goethe, des Bürgertums grösster Sohn» («Der Kampf», XXV Jg., Heft 3, März 1932, S. 133—137); Johan W i n k l e r, «Goethe» («Die sozialistische Gids», Jg. XVII, März 1932, pp. 172—178).

[132] «Leipziger Volkszeitung», 21/III 1932.

[133] Hermann W e n d e l, «Goethe zu seinem 100 Todestag» («Arbeiter-Jugend» Berlin, März 1932, S. 90—92); D e r s e l b e, «Goethe und die Gegenwart» («Vorwärts», Berlin, 20/III 1932; D e r s e l b e, «Goethe und wir» (Ibidem, 22/III).

[134] Anna Siemsen, «Der Bürger Goethe» («Sozialistische Arbeiter-Zeitung», 18/III 1932); Dieselbe, «Goethe und wir» (Ebenda, 3/IV 1932); Dieselbe, «Goethe, der Mensch» (Ebenda, 10/IV) u. a.

[135] «Kommunistische Arbeiterzeitung», Organ der KAPD, 13 Jg., № 3, Berlin, März 1932.

[136] Viktor Grosshammer, «Kuno von Uachitta und Karlchen Marx: Kopfschüsse». Hanau-Frankfurt, Brüchenstube, 1932, S. 212.

[137] Paul Reimann, «Legendenbildung und Geschichtsfälschung in der deutschen Literaturgeschichte» («Unter dem Banner des Marxismus», 1930, Heft 2, S. 264—275; Heft 3, S. 376—400).

[138] «Das Goethe-Jahr» («Vorwärts». Kommunistisches Tageblatt für Nord- und Ostböhmen. Reichenberg, 12 März 1932).

[139] K. A. Wittfogel, «Zum 100 Todestag Goethes» («Internationale Pressekorrespondenz» № 23, 15/III 1932).

[140] Wittfogel, «Goethe» («Rote Fahne», Berlin, 22/III 1932; см. также статью в «L'Humanité». Deutschsprachiges Organ der K. P. Frankreichs. 22 März 1932).

[141] 1) Paul Reimann, «Goethe im Lichte der marxistischen Theorie» («Der Rote Aufbau», V Jg., Berlin, Heft 9, 1 Mai 1932); 2) K. A. Wittfogel, Goethe—«Feir?» («Die Linkskurve», Mai 1932).

[142] 1) G. Lucacz, «Der faschiestische Goethe» («Die Linkskurve», Mai 1932); 2) Franz Lesdinitzer, «Wie die Sozialdemokratie «Furen» Goethe feiert» («Der Rote Aufbau», 1 Juni 1932, S. 521—523).

А. ГАБРИЧЕВСКИЙ

АВТОГРАФЫ ГЕТЕ В СССР

В настоящем обзоре публикуются все важнейшие автографы поэта, которые до сих пор удалось обнаружить редакции «Литературного Наследства» на территории СССР. Воспроизводимый и описываемый здесь материал носит весьма пестрый и до известной степени случайный характер. Правда, количественно преобладают документы, связанные с русскими, как то: письма к Марии Павловне, Уварову, Яковлеву, Потоцкому, стихотворение в альбоме Жуковского и надписи на книгах, подаренных Марии Федоровне, Кюхельбекеру, жене дьякона Егорова. Однако все это—ничтожнейшая доля той внушительной корреспонденции, которую Гете вел с Россией и с русскими и одна часть которой (письма Гете) напечатана в Веймарском издании, а другая (письма к Гете) хранится в Веймарском архиве и в некоторой своей части впервые публикуется выше в работе С. Н. Дурылина. Мало того: в поисках за гетевскими автографами редакция заранее знала, насколько, вообще говоря, мало вероятия найти автограф неизданного еще гетевского текста. Действительно, не говоря уже о том, что рукописное наследие Гете пристально и тщательно опубликовано (Веймарское издание) и продолжает публиковаться в отдельных изданиях переписок и в периодических изданиях (Goethe-Jahrbuch, Schriften der Goethe-Gesellschaft, Chronik des Wiener Goethe-Vereins, Jahrbücher der Sammlung Kippenberg), оно легко поддается изучению, ибо дошло до нас в редкой полноте и неприкосновенности. Ведь уже начиная с 70-х годов XVIII столетия Гете занял настолько значительное место в мировой литературе, что его корреспонденты и хранители его рукописей обычно относились с большим пиэтетом к завещанным им документам. Кроме того, после своего возвращения из Италии Гете чем дальше, тем больше начинает рассматривать свое творчество и свое литературное наследие как культурную ценность и как достояние истории. Во вторую половину своей жизни, т. е. как раз в ту эпоху, на которую падает наиболее оживленное его общение с русскими, Гете окружает себя целой канцелярией, целым штатом секретарей, которые тщательно записывают диктуемые им дневники и письма, и мало таких «исходящих» документов, которые не сохранились бы в виде черновиков или во всяком случае не оставили бы какого-нибудь следа в Веймарском архиве. Неудивительно, что больше половины текстов опубликованных здесь автографов с незначительными вариантами уже напечатаны в Веймарском издании по сохранившимся в архиве писателя копиям или черновикам. Исключение составляют впервые вводимые в оборот тексты отрывка и наброска плана III книги «Вильгельма Мейстера», двух страниц Agenda 1816 г., одной записки 1819 г. и ряда надписей на подаренных книгах.

И все же этот первый свод гетевских автографов в СССР представляет собой крупный научный интерес в свете проблемы о связи Гете с Россией начала XIX века и с тогдашней русской культурой, проблемы, которая впервые во всем своем объеме ставится у нас в СССР и которой посвящается настоящий номер «Литературного Наследства». Конечно это только первые шаги хотя бы уже потому, что русские архивные материалы обследованы еще далеко не достаточно, а главное потому, что до сих пор лишь в незначительной своей части изданы письма русских корреспондентов Гете, хранящиеся в веймарских архивах. В ходе этой работы несомненно прольется и больше света на историю наших автографов, о которой мы при настоящем состоянии нашей осведомленности имеем самые смутные представления. Мало того: эти автографы по большей части уже известных текстов заживут новой жизнью как живые свидетели многообразного политического и культурного общения между величайшим европейским писателем и Россией первых двух десятилетий XIX века.

Автографы распределены по четырем группам, причем в пределах каждой группы материалы расположены в хронологическом порядке (за исключением отрывка из «Вильгельма Мейстера», составляющего как бы отдельную группу, и письма к Уварову, которое хронологически должно было бы помещаться между первым и вторым письмом к Яковлеву); I. Стихотворения и художественная проза; II. Письма; III. Дневники и черновые записи разного рода; IV. Надписи на книгах. Публикация каждого автографа составлена по следующей системе: 1. Репродукция автографа (в настоящей статье или в других местах этой книги в качестве иллюстраций к другим статьям); 2. Текст оригинала; 3. а) местонахождение документа, б) его описание, в) текстологические примечания (варианты Веймарского издания и т. д.); 4. Русский перевод текста; 5. Примечания к тексту (краткие библиографические и исторические справки). Все наши вставки в подлинные тексты или в их переводы заключены в квадратные скобки. При ссылках на Веймарское издание первая римская цифра обозначает раздел (I—художественные произведения, II— научные сочинения, III—дневники, IV—письма), вторая арабская—том, третья арабская—страницу.

I. СТИХОТВОРЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Девять автографов, составляющих эту группу, весьма разнообразны как по характеру письма, так и по своему документальному значению. Не говоря о двух печатных листовках (№№ 7 и 8), имеющих только подпись Гете, мы видим, с одной стороны, аккуратно и каллиграфически выписанные два стихотворения 1831 г. (№№ 5 и 6) на элегантных карточках с тиснеными рамками, вероятно адресованные каким-нибудь дамам и сопровождавшие ценные подарки, с другой—беглые записи двух четверостиший (№№ 3 и 4), в которых хочется видеть чуть ли не первые наброски. Автографы этих двух четверостиший из «Кротких Ксений», а также автограф стихотворения из «Западно-восточного Дивана» (№ 2) представляют особый интерес еще и потому, что они, насколько нам известно, являются единственными собственноручными записями этих произведений. Большой интерес в этом разделе автографов представляет карандашная запись отрывка и наброска плана III книги «Вильгельма Мейстера». Естественно, что все стихотворные автографы относятся уже к XIX веку, т. е. к тем годам, когда стали завязываться личные и письменные сношения Гете с Россией. Неудивительно поэтому, что половина этих документов (№№ 2, 3 и 4) написана латинским шрифтом, которым Гете пользуется все чаще и чаще во вторую половину своей жизни.

1. СТИХОТВОРЕНИЕ «EIGENTHUM» (СОБСТВЕННОСТЬ) ИЗ АЛЬБОМА В. А. ЖУКОВСКОГО. (См. репродукцию на стр. 359.)

Ich weiss dass mir nichts angehört
Als der Gedanke der ungestört
Aus meiner Seel' will fliessen[1]
Und jeder günstige Augenblick
Den mich ein liebendes Geschick
Von Grund aus lässt geniessen[2]

J W v Goethe

Weimar
d. 18. März
1828

Ленинград, Публичная Библиотека.—Вклейка в альбоме В. А. Жуковского против страницы, украшенной гравюрой с медальона Гете (работы Шадова) и несколькими вклеенными древесными листьями, с подписью рукой Жуковского: слева (под листьями)—Goethes Garten bey seinem Landhause, den 6 September (Сад Гете при его загородном доме, 6 сентября) и справа—Goethes Garten, den 5 September 1827 in Weimar (Сад Гете, 5 сентября 1827 в Веймаре). В Веймарском издании значится: [1] запятая [2] точка.

Я знаю, мне принадлежит
Лишь мысль, что струей из души бежит
Не зная преграждденья,
И каждый благосклонный миг,

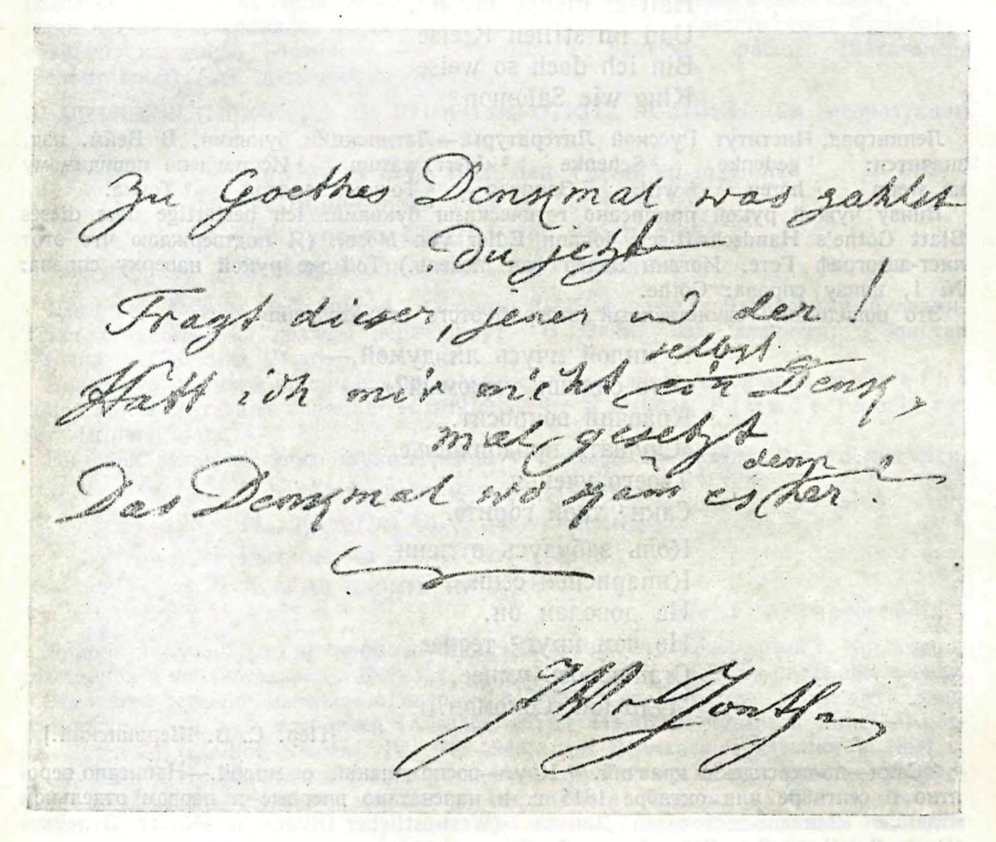
Что волею доброй судьбы возник,
Даря мне наслажденья.

Веймар
18 марта
1828

И В ф Гете

[Пер. В. В. Гиппиус.]

Запись Жуковского сделана им накануне отъезда из Веймара. Вклеенный автограф стихотворения был получен Жуковским не от самого Гете, а от канцлера Мюллера. Дата автографа написана не достаточно разборчиво (1823 или 1828), но благодаря сохранившемуся письму канцлера Мюллера Жуковскому (см. выше в работе С. Н. Дурылина) год (1828) устанавливают с точностью. Стихотворение


Zu Goethes Denkmal was zahlst
Du jetzt
Fragt dieser, jener und der!
Hätt ich mir nicht selbst ein Denkmal gesetzt
Das Denkmal wo kam es her?
JWGoethe

Автограф четверостишия Гете из VII книги „Кротких Ксений"
Институт Русской Литературы, Ленинград

это, напечатанное впервые в 1815 г. в первом томе собрания сочинений в разделе «Lieder» (Песни) под заглавием «Eigenthum» (Собственность), обычно датируется 1813 годом, так как 28 декабря этого года оно было внесено в альбом Генриетты Лёр (Henriette Löhr) с припиской: «С пожеланиями, чтобы дорогой обладательнице [альбома] навеки принадлежало самое лучшее». Кроме того оно почти дословно передает одну фразу из вышедшего в том же 1813 г. немецкого перевода «Записки» Бомарше, вдохновившей в 1774 г. Гете на создание «Клавиго». Однако датировать стихотворение семидесятыми годами, как это делают некоторые, едва ли возможно, так как в то время Гете пользовался не переводом (именно в этом месте неточном), а оригиналом. К тому же стилистические особенности противоречат такой датировке. Существует еще один автограф, помеченный февралем 1825 г. и вложенный в письмо к графу Рейнгарду, в котором Гете испрашивает себе привилегию для последнего полного собрания своих сочинений. Видимо Гете придавал этому стихотворению особое, как бы программное, значение.

2. СТИХОТВОРЕНИЕ ИЗ «ЗАПАДНО-ВОСТОЧНОГО ДИВАНА». (См. репродукцию на стр. 7.)

Wenn ich dein gedencke[1]
Fragt mich gleich der Schencke[2]:
Herr! Warum[3] so still?
Da[4] von deinen Lehren
Immer weiter horen[5]
Saki gerne will[6]

Wenn ich mich vergesse
Unter der Cypresse[7]
Hält er nichts davon[8],
Und im stillen Kreise
Bin ich doch so weise
Klug wie Salomon[9]

Ленинград, Институт Русской Литературы.—Латинскими буквами. В Вейм. изд. значится: [1] gedenke, [2] Schenke [3] «Herr, warum [4] Исправлено повидимому из wenn [5] hören [6] will». [7] Запятая [8] Точка с запятой [9] Точка.

Внизу чужой рукой приписано готическими буквами: Ich bestättige dass dieses Blatt Göthe's Handschrift sey Johann Edler von Mosel. (Я подтверждаю что этот лист-автограф Гете. Иоганн Эдлер фон Мозель.) Той же рукой наверху справа: № 1, внизу справа: Göthe.

Это повидимому единственный автограф этого стихотворения.

К милой мчусь ли думой,—
«Что сидишь угрюмый?»—
Кравчий вопросит.
«Слушать продолженье
Твоего ученья
Саки[1] твой горит».

Коль забудусь в лени
Кипарисной сени,
Не доволен он.
Но чем круг[2] теснее,
Становлюсь умнее,
Мудр как Соломон.

[Пер. С. В. Шервинский.]

[1] Саки—по-персидски кравчий. [2] Круг—воспоминаний о милой.—Написано вероятно в сентябре или октябре 1815 г. и напечатано впервые в первом отдельном издании «Западно-восточного Дивана» (West-östlicher Divan) в «Книге Зулейки» (Buch Suleika). Ср. Вейм. изд., I, 6.

3. ЧЕТВЕРОСТИШИЕ ИЗ VII КНИГИ «КРОТКИХ КСЕНИЙ». (См. репродукцию на стр. 819.)

Zu[1] Goethes[2] Denkmal was zahlst du jetzt[3]
Fragt dieser, jener und der![4]
Hätt[5] ich mir nicht selbst[6] ein Denkmal gesetzt[7]
Das Denkmal[8] wo käm[9] es denn[10] her?

J W v Goethe

Ленинград, Институт Русской Литературы.—Все кроме подписи—латинскими буквами. Подпись (готическими буквами) на вырезанном куске бумаги приклеена. В тексте Вейм. изд. значится: [1] «Zu [2] Goethe's [3] jetzt?» [4] der. [5] Hätt' [6] В автографе selbst вставлено над строкой [7] gesetzt, [8] Denkmal, [9] käm' [10] В автографе denn вставлено над строкой.

Характер рукописи как будто свидетельствует о том, что мы имеем дело с очень беглым, быть может первым наброском этого четверостишия. Подпись, вырезанная

из другой рукописи, несомненно приклеена позднее, вероятно в целях продажи. Других автографов этого стихотворения повидимому не существует.

«На памятник Гете сколько ты дал?»
Я слышу каждый миг!
Если б сам себе я его не создал,
Откуда бы он возник?

И В ф Гете
[Пер. Ф. А. Петровский.]

Это посмертное четверостишие опубликовано впервые в 1893 г. в Вейм. изд. (I, 5, 103) в седьмой книге «Кротких Ксений» («Zahme Xenien», VII) и вероятно написано в августе 1819 г., когда город Франкфурт постановил воздвигнуть памятник Гете в ознаменование семидесятилетия со дня его рождения. Сначала проектировалось сооружение типа храма Весты в Риме, что немало забавляло поэта. Однако Гете рассердился, когда узнал, что за недостатком средств город Франкфурт объявил народную подписку.—Франкфуртский памятник работы Шванталера (Schwanthaler) был поставлен в 1844 г.

4. ЧЕТВЕРОСТИШИЕ ИЗ IV КНИГИ «КРОТКИХ КСЕНИЙ». (См. репродукцию на стр. 823.)

Und wenn man auch den Tyrannen ersticht [1]
Ist immer noch viel zu verlieren [2]
Sie gonnten Cesarn [3] das Reich nicht
Und wussten's nicht zu regieren [4]

Дмитров, частное собрание А. Голицыной.—Карандаш. Латинскими буквами. Текст стихотворения дважды перечеркнут. В Вейм. изд. значится: [1] Запятая [2] Точка [3] gönnten Cäsarn [4] Точка.

Внизу чужой рукой приписано по-французски чернилами: Autographe de G o e t h e donné par Mr. Kraeuter Conseiller et Bibliothécaire à Weimar. P l u s d e l u m i è r e. Ses derniers mots.

Ни один автограф этого стихотворения в Веймарском издании не упоминается.

Пускай пронзили тирана мечом,
Не достигли того, что хотели,—
Цезарю не дали быть царем
А сами царить не сумели.

[Пер. Ф. А. Петровский.]

Приписка чужой рукой по-французски: «Автограф Гете, подаренный г. Крейтором, советником и библиотекарем в Веймаре. Б о л ь ш е с в е т а. Его последние слова».

Это четверостишие напечатано впервые в 1827 г. в 4-м томе последнего прижизненного собрания сочинений (Ausgabe letzter Hand) в четвертой книге «Кротких Ксений» («Zahme Xenien», IV, 942—945) и в Веймарском издании в 1890 г. (I, 4, 295). Дату написания точнее установить трудно. Во всяком случае стихотворение могло быть сочинено задолго до составления сборника в 1826 г.

Гете во все эпохи своего творчества едва ли когда-либо сочувственно относился к «тираноубийству», даже в юношеские свои годы, когда «тираноборчество» было модным—правда, только литературным—лозунгом передовой немецкой интеллигенции, одним из вождей которой был именно он. Вероятно и его юношеская (до нас не дошедшая, за исключением нескольких стихов) трагедия 70-х годов «Цезарь» была весьма умеренной в этом отношении, тем более, что все симпатии автора были видимо на стороне Цезаря. В 1808 г. Наполеон предложил Гете обработать сюжет «смерти Цезаря» «более достойно и величаво, чем Вольтер», конечно не подозревая Гете в каком-либо пристрастии к «тираноубийцам». Однако Гете за работу так и не принялся, хотя одно время серьезно об этом подумывал. Во всяком случае этот стихотворный афоризм весьма типичен для политического «эволюционизма» Гете.

Пояснение к французской приписке: Крейтор (Friedrich-Theodor Kräuter, 1790—1856)—личный секретарь Гете с 1818 г. и служащий Веймарской библиотеки; «Больше света»—якобы последние слова, произнесенные Гете перед смертью. Эта весьма распространенная легенда противоречит всем свидетельствам лиц, присутствовавших при кончине поэта.

5. СТИХОТВОРЕНИЕ ПРИ ПОСЫЛКЕ АРТИШОКА 11 АВГУСТА 1831 г. (См. репродукцию на стр. 45.)

Gegen Früchte aller Arten,
Saftig-süssen, schmacklich-zarten,
Aus gepflegtestem Revier—
Send' ich starre Disteln dir[1].

Diese Distel[2] lass sie gelten!
Ich vermag sie nicht zu schelten[3]
Die, was uns am besten schmeckt,
In dem Busen tief versteckt.

Weimar d. 11. Aug. 1831

J W v Goethe

Ленинград, частное собрание.—На листе с тисненой рамкой. В Вейм. изд.: [1] После первой строфы нет абзаца [2] Distel [3] schelten,

Вместо фруктов всех урочных,
Вкусно-нежных, сладко-сочных,
Как хозяйства образец,
Твердый шлю тебе волчец.

Пусть свое окажет действо,
Не браню волчца семейство;
Что вкусней всего, найди
Глубоко у них в груди.

Веймар 11 авг. 1831

И В ф Гете

[Пер. М. А. Кузмин.]

Это стихотворение напечатано впервые в 1856 г. в «Веймарском Ежегоднике» (Weimarisches Jahrbuch 5, 198) и затем в 1891 г. в Веймарском издании (1, 4, 301) под заглавием: An Frau von Martius bei Übersendung einer Artischocke (Г-же фон Марциус при посылке артишока). Жена мюнхенского ботаника Карла фон Марциуса (Karl v. Martius, 1794—1868), дружившего и переписывавшегося с Гете, была действительно в Веймаре в августе 1831 г., о чем свидетельствуют записи Гете в ее альбоме. (Ср. H. G. Gräf, Goethe über seine Dichtungen. Th. II, B. 2, S. 494, 856.) Помня о пристрастии Гете к артишокам, а также о его привычке посылать одно и то же стихотворение разным лицам в аналогичных случаях, можно предположить, что настоящий автограф был послан кому-нибудь еще в Россию. Ср. примечание к следующему стихотворению.

6. СТИХОТВОРЕНИЕ ПРИ ПОСЫЛКЕ МЕДАЛИ 3 НОЯБРЯ 1831 г. (См. репродукцию на стр. 47.)

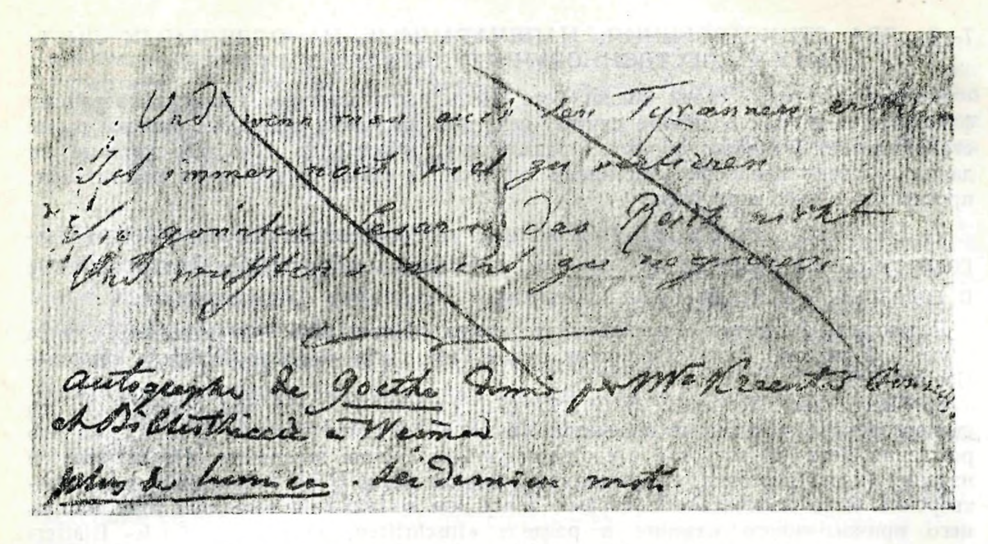
Von der Blüte[1] zu den Früchten,
Allerley Naturgeschichten,
Eigen sind sie deinem Hügel.
Löblich ist's nach Wurzeln graben;
Denn[2], um helle Tagesgaben[3],
Flattern alle Lebensflügel.

Von den Früchten zu den Blüten[4]
Niemals werden wir ermüden;
Den Genuss an solchen Gaben
Siehst du hier in Erz gegraben.
Wie dich auch Natur entzückt,
Kunst sei freundlich angeblickt.

Weimar
d. 3. Nov.[6]
1831

Dankbar[5]

J W v Goethe



Автограф четверостишия Гете из IV книги „Кротких Ксений"
Собрание А. С. Голицыной, Дмитров

Ленинград, частное собрание.—На листке с тисненой рамкой (иного рисунка, чем на предыдущем автографе). В Вейм. изд. значится: [1] Blüthe [2] нет запятой [3] нет запятой [4] Blüthen [5] Dankbar отсутствует [6] Дата: 4 ноября.

От цветов до созреваний—
Ряд естественных названий,
Вам подходят без усилья;
До корней копать похвально,—
К дару дня ведь беспечально
Запорхают жизни крылья.
От плодов же до цветенья
Не узнаем утомленья.
Радость дара беспечальна,
В меди врезана похвально.
Пусть природы сладок хор,—
Брось искусству дружный взор.

Веймар Благодарный
3 Нояб. И В ф Гете
1831

[Пер. М. А. Кузмин.]

Напечатано впервые в «Веймарском Ежегоднике» в 1856 г. (Weimarisches Jahrbuch 5, 198), а затем в 1891 г. в Вейм. изд., I, 4, 305 под заглавием: Bei Übersendung einer Medaille mit Abbildungen von Blumen und Früchten (При посылке медали с изображением цветов и плодов). Автограф, положенный в основу Веймарского текста, датирован 4 ноября. Настоящий автограф, датированный 3 ноября, упоминается как «пропавший» у H. G. Gräf, Goethe über seine Dichtungen (Th. III, B. 2, S. 863, 864). Адресат неизвестен. Возможно—неизвестная советница Вангеманн (Wangemann), которой Гете, согласно дневнику, послал 6 ноября «медаль и стихотворение». В эти дни Гете разослал несколько экземпляров медали (2-го варианта 1831 г.) работы Бови (Antonie Bovy), на обратной стороне которой изображена голова Януса между двумя рогами изобилия и которая, по его выражению, «удачно намекает на его дружбу с органической природой» (письмо к Цельтеру 24/XI 1831). Некоторые комментаторы, ссылаясь на «ботанические» образы в стихотворении, предполагают, что оно адресовано той же госпоже Марциус, которой посвящено предыдущее стихотворение. По всей вероятности Гете посылал эти стихи многим лицам, которым он дарил медаль Бови, в том числе может быть и кому-нибудь в России. Ср. примечание к предыдущему автографу.

7—8. ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПЕЧАТАННЫЕ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТКАХ С СОБСТВЕННОРУЧНЫМИ ПОДПИСЯМИ ГЕТЕ

В последние годы своей жизни Гете очень часто печатал (литографированные факсимиле или, как в данном случае, печатные листовки) отдельные оттиски своих стихотворений (главным образом праздничных, юбилейных и т. п.), которые он дарил со своею подписью участникам торжеств, а также знакомым и посетителям, просившим у него автографа.

7. Die Feier des Siebenten November 1825 dankbar zu erwiedern (Благодарственный ответ на празднество седьмого ноября 1825). Стихотворение в годовщину приезда Гете в Веймар.

Ленинград, Институт Русской Литературы.—Напечатано на отдельном листе с узорной рамкой. Внизу чернилами рукой Гете слева—Weimar (Веймар), справа—Goethe (Гете).

Ср. Вейм. изд. I, 4, 42; 5 (2), 27 (Sah gemalt, in Gold und Rahmen...). Это стихотворение написано и напечатано в виде листовки впервые в 1819 г. ко дню рождения Гете (28 августа) с соответствующим другим заглавием. После второго издания (наша листовка, напечатанная у Фромманна в Иене в июне 1826 г.) стихотворение было напечатано с первым заглавием в 1827 г. в четвертом томе последнего прижизненного издания в разделе «Inschriften, Denk- und Sende- Blätter» и наконец, опять-таки в виде листовки к 28 августа (т. е. с первым заглавием), в 1827 г. Некоторые варианты в знаках препинания очень незначительны. (Ср. H. G. Gräf, Goethe über seine Dichtungen. Th. III, B. II (2), S. 1155, а также все приведенные в этом месте ссылки.) На русский язык не переводилось.

8. Am acht und zwanzigsten August 1826 (Двадцать восьмого августа 1826). В день рождения Гете.

Москва, Публичная Библиотека им. В. И. Ленина. — Напечатано на отдельном листе с узорной рамкой. Внизу чернилами рукой Гете слева: Weimar (Веймар), справа: Goethe (Гете).

Ср. Вейм. изд. I, 4, 274 (Des Menschen Tage sind verflochten...). Написано 16 августа 1826 г. и напечатано у Фромманна в Иене в виде настоящей листовки 22 августа. Второй раз это стихотворение было напечатано в «Вечерней Газете» 13 сентября 1826 г. Второй тираж листовки был сделан ко дню рождения 1827 г. и наконец уже после смерти поэта стихотворение было включено в 1833 г. в седьмой том посмертных сочинений в разделе «Fest-Gedichte» и с неавторским заглавием «Den Freunden am 28 August 1826». После Вейм. изд. оно всегда помещается в разделе «An Personen». (Ср. H. G. Gräf, Goethe über seine Dichtungen. Th. III, B. II (2), S. 1031, а также все приведенные в этом месте ссылки.) На русский язык не переводилось.

9. КАРАНДАШНАЯ ЗАПИСЬ 1828 года, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ: А) ОТРЫВОК ИЗ ГЛ. 10 КН. III «ГОДОВ СТРАНСТВИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА МЕЙСТЕРА»; Б) НАБРОСОК ПЛАНА ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЧАСТИ ТОЙ ЖЕ ГЛАВЫ

(См. репродукции на стр. 827—828.)

А)

Wir haben[1] wie an dieser Stelle auffallend zu bemerken ist, die Rechte des Epischen Dichters uns anmassend[2] einen geneigten Leser nur allzu geschwind[3] in die Mitte leidenschaftlicher Darstellung gerissen[4], wir[5] sehen einen bedeutenden (Person) Mann in häuslicher Bedrängnis[6] ohne von ihm weiter etwas[7] erfahren zu haben; (und) deshalb wir denn für den Augenblick (räthlich finden), um nur einigermassen den Zustand aufzuklären[8] uns zu der guten Alten gesellen, und zu[9] horchen[10], was sie allenfalls vor sich hin, bewegt und verlegen [?][11] murmeln und[12] aussprechen[13] möchte.

Ich hab[14] es längst gedacht, ich hab[15] es vorausgesagt[16] ich habe die Gnädige[17] nicht geschont[18] habe[19] sie öfters[20] gewarnt[21] aber es ist stärker wie sie/Wie[22] der Herr sich Tags[23] auf den Canzlayn[24], in der Stadt[25] auf dem Lande in Geschäften abmüdet[26], findet er Abends ein leeres Haus[27] oder Gesellschaft die ihm nicht zusagt. Sie

Слова, заключенные в круглые скобки, в автографе зачеркнуты. Варианты окончательного текста: [1] запятая [2] запятая [3] allzuschnell [4] точка [5] Wir [6] Verwirrung [7] etwas weiter [8] запятая [9] und zu отсутствуют [10] horchend [11] leise [12] вместо und—oder laut [13] ausrufen [14] hab' [15] habe [16] запятая [17] gnädige Frau [18] запятая [19] habe отсутствует [20] öfter [21] точка с запятой [22] Wenn [23] des Tags [24] auf der Kanzlei [25] запятая [26] so [27] запятая.

А)

Как в этом месте ясно заметно, мы, присваивая себе права эпического поэта, чересчур поспешно ввели благосклонного читателя в самую середину драматического действия, мы видим солидного человека, угнетенного домашними обстоятельствами, ничего не узнав о нем предварительно; и поэтому мы теперь находим правильным, чтобы хоть несколько прояснить положение, присоединиться к славной старушке и прислушаться к тому, что она в своем волнении и смущении бормочет про себя и хотела бы высказать.

Я уже давно это думала, я предсказывала это, я не щадила барыню, частенько ее предупреждала, но это сильнее ее. Когда барин за целый день утомится делами в канцелярии, в городе, в деревне, находит он вечером пустой дом либо гостей, которые не по сердцу ему. Она

Б)

Diplomatische Sendung
Glück. Heyrath mit der schönsten
Bey Hof. Tochter des M.
...Prinzessin
als Mündel [?]
wächst auf an fürstl. Hofe
Sophronia
Wechselseitige Ansprüche
Geltend machen
doch Verzagen
Odoardo war in Verdacht einer
Neigung zu ihr
Unter dem Nahmen Aurora
...sie Unvorsichtigkeit, Charakter-
trotz
Sie müsse kein Auge haben um
solche Vorzüge nicht zu sehen
Heyrath mit der Tochter des ersten
Ministers
Beschwichtigung
Wieder Aufgeregt
Verdacht

Не разобрано: в четвертой строке слово перед Prinzessin, в четырнадцатой строке слово перед sie.

Б)

Дипломатическое поручение
Счастье. Брак с красавицей
При дворе. Дочь М.
...Принцесса
в качестве опекаемой [?]
растет при княж. дворе
Софрония

Взаимные требования
Придавание [этому] значения
И вместе с тем сомнения
Одоардо был заподозрен в
сердечной склонности к ней
Под именем Аврора
...она неосторожность, упорство
характера
Она должна быть слепой, чтобы
не видеть таких [его] преимуществ
Брак с дочерью первого
министра
Успокоение
Снова возбужден
Подозрение

Ленинград, Публичная Библиотека.—На двух сторонах серовато-голубоватой бумаги карандашом. На одной стороне—связный прозаический текст (А). Вся страница крест на крест перечеркнута двумя чертами красного карандаша (типа сангины). На другой стороне—запись плана, состоящая из коротких строк (Б) и несколько раз перечеркнутая более твердым карандашом. На этой же странице—чернильный набросок черновика письма к Штернбергу 5 октября 1828 (см. ниже № 21), написанный до карандашного текста, который тем самым не мог быть написан раньше указанной даты.

II. ПИСЬМА

Из двенадцати писем, которые здесь публикуются, восемь (№№ *10, 11, 12, 15, 16, 18, 19* и *21*) целиком написаны самим Гете. Остальные имеют только его подпись. Таким образом процент, так сказать, «полных» автографов весьма значителен, особенно если принять во внимание, что во вторую половину своей жизни Гете почти исключительно пользовался услугами секретарей в своей обширной официальной и деловой переписке. Первые три письма носят интимный характер и относятся еще к XVIII в. Естественно, что большинство гетевских писем, сохранившихся на территории СССР (кроме публикуемых здесь писем к Потоцкому—№ 13, Яковлеву—№№ 15 и 16, Уварову—№ 17 и Марии Павловне—№ 18 сюда относятся еще восемь других писем к Уварову, которые нами только упоминаются, поскольку они дважды уже издавались), адресовано к русским. Правда, хотя эти документы достаточно характеризуют круг русских корреспондентов Гете и его отношение к ним, все же приходится удивляться, как мало до нас дошло из всего того количества отправленных Гете в Россию писем, которые опубликованы или упоминаются в Веймарском издании на основании черновиков и дневниковых записей, хранящихся в веймарских архивах. Остается надеяться, что дальнейшие розыскания в архивах СССР значительно обогатят публикуемый здесь список. Все письма, обращенные к немцам, не говоря об их ценности как автографов (№№ 10—12), опубликованы в Веймарском издании и являются конечно совершенно разрозненными и случайно попавшими в Россию документами.

10. ПИСЬМО К СУПРУГАМ ГЕРДЕР *21* СЕНТЯБРЯ *1781* г. (См. репродукцию на стр. 27.)

[An J. G. und Caroline Herder]

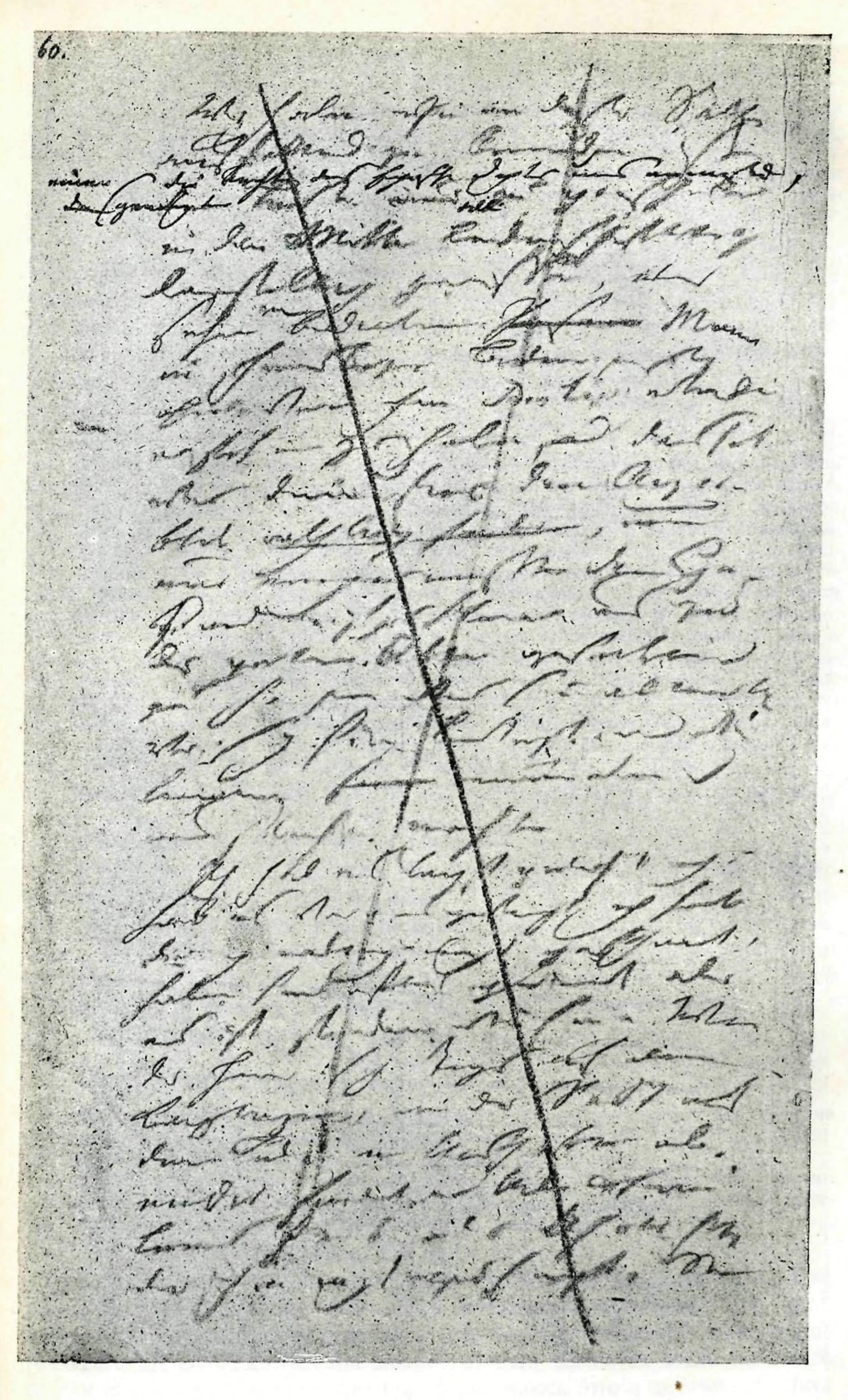
Morgen in aller Frühe geh ich nach Dessau und will der Hoheit zum Geburtstage[1] aufwarten und eine alte Versaümniss einbringen.

Ich werde bald und um so lieber zurückkehren, da ich auch von euch eines[2] freundlichen Empfangs versichert bin.

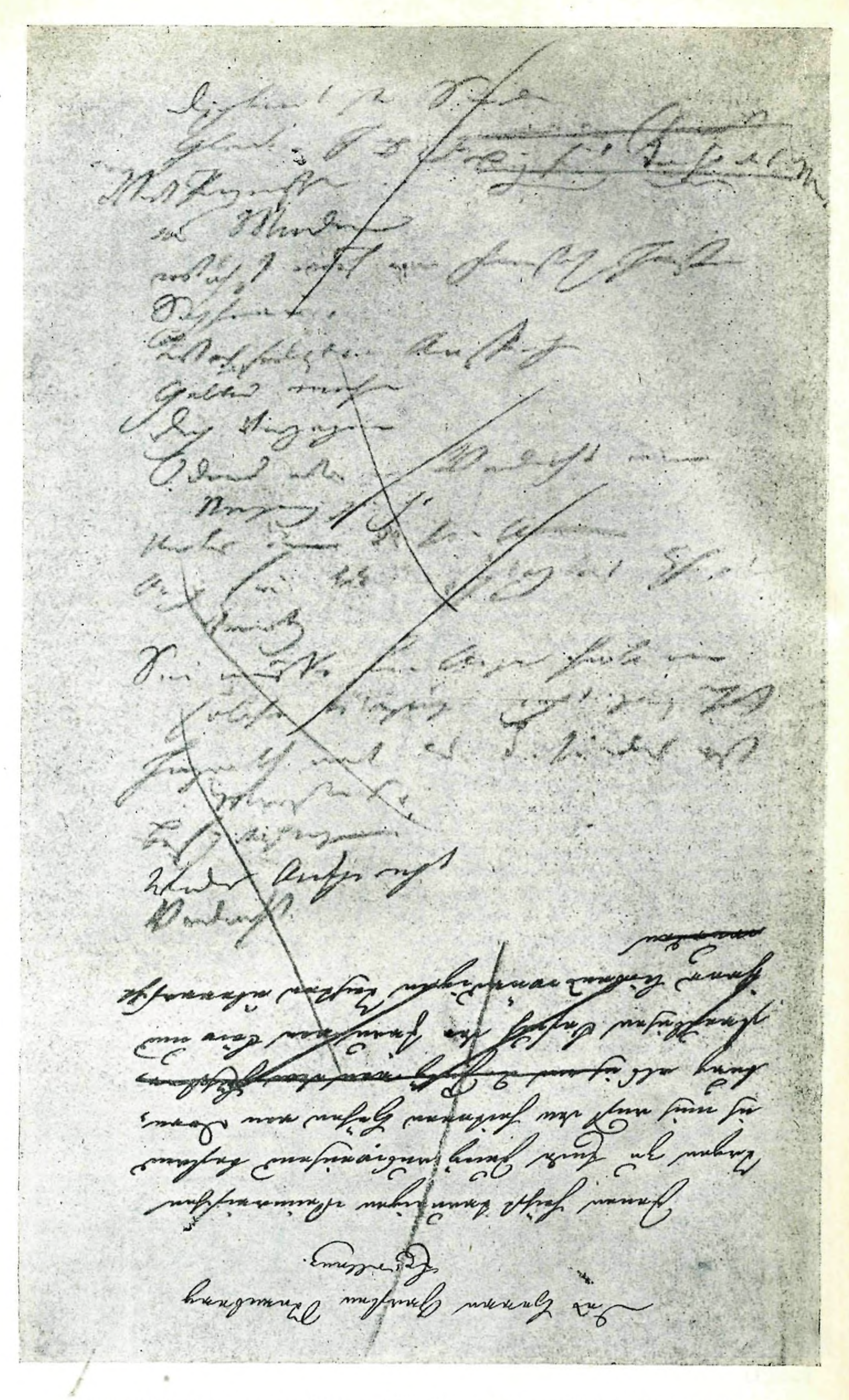
Herder hat von meinen Gedichten verlangt[3], hier[4] ist alles was ich einmal zusammengeschrieben, es fehlen einige die folgen sollen.

Lasst sie niemand sehen[6]. G[5]

[Weimar 1781, IX. 21.][7]



Автограф отрывка из главы 10-й книги III „Годов странствий Вильгельма Мейстера“ Гете
Публичная Библиотека, Ленинград



Автограф наброска плана главы 10-й книги III „Годов странствий Вильгельма Мейстера“ Гете
Внизу чернилами набросок черновика письма Гете к К. Штернбергу от 5 октября 1828 г.
Публичная Библиотека, Ленинград

Ленинград, Публичная Библиотека.—Автограф публикуется впервые. Текст письма (по копии из архива Гердера) был напечатан в Aus Herders Nachlass 1856—1857; I, 67 и в Вейм. изд. соч. Гете, IV, 5, 194, № 1316.

В копии, с которой текст письма печатался до сих пор, ошибочно значится: [1] Geburtstag [2] Eures [3] точка [4] Hier [5] Пропущено G и нет абзаца [6] добавлена подпись Goethe [7] дата по Вейм. изд.

[Супругам Гердер[1]]

Завтра, чуть свет, отправляюсь в Дессау и хочу поздравить Ее Высочество с днем рождения и возместить старое упущение[2].

Вернусь скоро и тем охотнее, что рассчитываю и на ваш милый прием.

Гердер хотел иметь мои стихотворения, вот все, что я в свое время настрочил[3], не хватает нескольких, которые будут досланы[4].

Не показывайте их никому. Г

[Веймар 1781. IX. 21.]

[1] Гердер (Johann-Gottfried v. Herder, 1744—1803)—крупнейший представитель немецкой мысли и литературы в конце XVIII в. и его жена, урожденная Флаксланд (Marie-Caroline v. Herder geb. Flachsland, 1750—1809), оставались, несмотря на частые расхождения, самыми близкими Гете людьми. [2] Княгиня Луиза-Генриетта-Вильгельмина (1750—1811), супруга дессауского князя Леопольда-Фридриха-Франца (1740—1817), дружившего с веймарским герцогом, ежегодно торжественно праздновала день своего рождения 24 сентября. В 1781 г. Гете и Фриц фон Штейн (сын Шарлотты фон Штейн) сопровождали герцога на это празднество. [3] Может быть Гете на время одолжил Гердеру тот собственноручный список 1777 г., который сохранился в наследии Шарлотты фон Штейн и факсимиле которого издано в Schriften der Goethe Gesellschaft, B. 23. Действительно в архиве Гердера сохранился список, написанный его рукой и почти что совпадающий по содержанию со списком Шарлотты фон Штейн. [4] Может быть семь стихотворений, переписанных Гердером и сохранившихся в его архиве. (Ср. Goethe Jahrbuch 2, 112 и H. G. Gräf, Goethe über seine Dichtungen. Th. III, B. 1, S. 70.)

11. ПИСЬМО К КАРОЛИНЕ ГЕРДЕР ОТ 3 ДЕКАБРЯ 1784 г. (См. репродукцию на стр. 29.)

[An Caroline Herder]

Hier schicke ich die Überreste der Lustbarkeiten voriger Tage. Mögen Sie Ihnen zur rechten Stunde kommen. Busstagsmässiger ist das Knochenwerk das ich dem Manne überschicke und bitte die Übersetzung durchzusehen. Ich schäme mich ihm mit dieser Kleinigkeit so oft zu plagen. Wenn die Hennen so lang über den Eyern sässen als ich mich mit diesen Dingen beschäftige ohne dass es ein Ende wird, die jungen Hüner[1] müssten teuer[2] seyn. Adieu

G.

[Weimar 3. XII. 1784][3]

Ленинград, Публичная Библиотека.—Автограф публикуется впервые. Текст письма (по копии из архива канцлера фон Мюллера) был напечатан в Aus Herders Nachlass 1856—1857; 1, 81 и в Вейм. изд., IV, 6, 403, № 2023.

В копии, с которой текст письма печатался до сих пор, исправлены две описки: [1] Hühner [2] theuer. [3] Дата по Вейм. изд. На полях рукописи в правом верхнем углу проставлена чужой рукой ошибочная дата: 1785.

[Каролине Гердер][1]

Посылаю остатки увеселений прошлых дней[2]. Да прибудут они к Вам в добрый час. Покаянному дню[3] более соответствует сочинение о костях[4], которое я пересылаю мужу и прошу его просмотреть перевод[5]. Мне стыдно так часто беспокоить его этой мелочью. Если бы куры столь же долго сидели на яйцах, сколько я без конца занимаюсь этими делами, цыплята были бы дороги. Прощайте.

Г.

[Веймар 3. XII. 1784]

[1] См. прим. 1 к предыдущему письму. [2] Стихотворения? [3] «День покаяния» справлялся в Веймаре в первую декабрьскую пятницу, на основании чего Веймарское издание и датирует настоящее письмо. [4] Трактат Гете о междучелюстной кости («Опыт по сравнительной остеологии в доказательство того, что междучелюстная кость верхней челюсти присуща человеку наравне с другими животными»). [5] Гете через посредство жившего в Иене Кнебеля (Carl-Ludwig v. Knebel, 1744—1834) просил иенского профессора остеологии Лодера (Justus-Christian Loder, 1753—1832, рижанин, впоследствии профессор в Галле и в Москве) перевести трактат о междучелюстной кости на латинский язык, для того чтобы послать его голландскому анатому Камперу (Peter Camper, 1722—1789). Предварительно Гете посылает этот перевод на рецензию Гердеру, а затем уже отправляет его Камперу через Мерка (Joh.-Heinrich Merck, 1741—1791), своего старого друга, жившего в Дармштадте.

12. ПИСЬМО К К. Л. ФОН КНЕБЕЛЮ ОТ ДЕКАБРЯ 1796 г. (См. репродукцию на стр. 59.)

[An K. L. v. Knebel]

Du wirst mir einen wahren Freundschaftsdienst erzeigen, wenn du beykommende Optica[1] mit Aufmerksamkeit lesen und deine Desiderata[2] über Stoff und Form mit Bleystift an den Rand schreiben magst. Auf diese hier vorgetragene Phänomene folgen die der Refraktion. Die Arbeit ist wirklich gross! zu[3] so viel hundert Erscheinungen die Versuche zu finden und die einzelnen Fälle unter die Versuche zu ordnen und die Versuche selbst zu rangiren![4] Ich kann als gewiss sagen dass ich, ohne freundschaftlichen, antreibenden Antheil, auch diesmal nicht durchkomme.

In der Einsamkeit mag es jetzt herrlich sein. Mir scheint die Sonne durchs Prisma mannigfaltiger Umgebungen.

Für den esbaren Theil deiner Sendung dankt das kleine Volk.

M. de Stael ist leider noch in Jena. Hier ein Horenstück.

lebe recht wohl

[Weimar, December 1796] G

Ленинград, Публичная Библиотека.—Автограф публикуется впервые. Чужой рукой карандашом в левом верхнем углу—J. W. v. Goethe, в левом нижнем углу—Brief an Knebel.

[1] Optica—латинскими буквами. [2] Desiderata—латинскими буквами. [3] zu над зачеркнутыми aus. [4] В Вейм. изд. точка.

[К. Л. фон Кнебелю][1]

Ты окажешь мне истинную дружескую услугу, если внимательно прочитаешь прилагаемые оптические материалы и карандашом напишешь на полях свои пожелания относительно содержания и формы. За этими, здесь изложенными явлениями следуют явления рефракции. Работа поистине огромная! подобрать опыты к стольким сотням явлений и подвести под эти опыты отдельные случаи и систематизировать самые опыты! Я могу с уверенностью сказать, что без дружеского, побуждающего меня участия я и на этот раз не выпутаюсь[2].

В одиночестве сейчас наверное чудесно[3]. Для меня солнце светит через призму многообразного окружения.

За съедобную часть твоей посылки благодарят малютки[4].

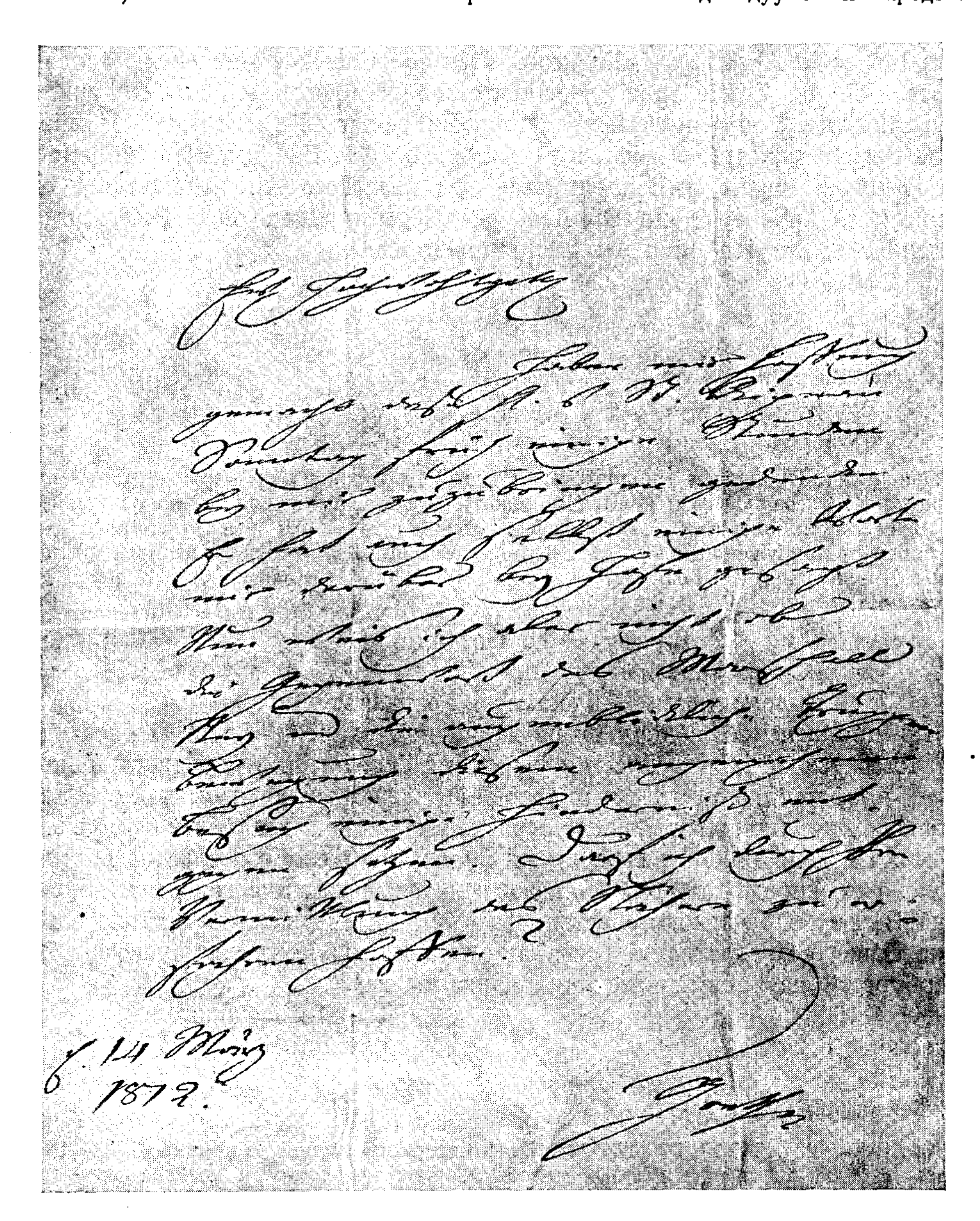
Г-жа де Сталь к сожалению еще в Иене[5]. Прилагаю номер «Ор».

Будь здоров

[Веймар, декабрь 1796] Г

Письмо датируется Вейм. изд. (IV, 18, 75, № 3439 а) декабрем 1796 г. [1] Карл-Людвиг фон Кнебель (Karl-Ludwig von Knebel, 1744—1834)—дворянин, офицер прусской армии, был в 70-х годах воспитателем веймарского принца Константина и познакомил Гете с веймарским герцогом в 1775 г. В 80-х годах он удалился от двора и всецело посвятил себя классической филологии (переводы Пиндара и Лукреция). Кнебель оставался до самой смерти поэта его ближайшим дру-

гом, с которым Гете постоянно переписывался, советовался и делился всеми своими литературными и научными работами. [2] Вероятно рукопись начала первой (дидактической) части «Учения о цветах» (Farbenlehre), вышедшей только в 1810 г. [3] Кнебель жил в Ильменау под Веймаром. [4] Жена и сын. [5] Имеется в виду не сама г-жа де Сталь (Anne-Germaine de Stael-Holstein, 1766—1817), посетившая Веймар в 1803 г., а ее сочинение «О влиянии страстей на счастие индивидуумов и народов»



Автограф письма Гете к Ф. фон Мюллеру от 15 марта 1812 г.
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

(De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, 1796), из которого Гете хотел поместить выдержки в издаваемом им совместно с Шиллером журнале «Оры». Экземпляр книги был видимо обещан Кнебелю, но находился еще у Шиллера в Иене. [6] Журнал «Оры» (Часы) выходил в 1795—1797 гг. под редакцией Шиллера и Гете. Отрывки из книги г-жи де Сталь помещены не были, так как ожидался немецкий перевод. Гете посылает Кнебелю 11-й номер «Ор».

13. ПИСЬМО К ГРАФУ С. О. ПОТОЦКОМУ ОТ 19 ИЮЛЯ 1804 г. (См. репродукцию на стр. 109—110.)

[An den Grafen S. Potoski]

Hochgebohrner Graf
Hochzuverehdender Herr[1],

Aus begliedendem gehorsamsten Promemoria werden Ew. Exzelz ersehen[2] was bisher in Absicht auf die Professuren zu[3] Charkow geschehen können[4]; wobey ich die Zufriedenheit Hochderselben[5] einigermassen erreicht zu haben wünschte. Von dem weiteren Erfolge soll seiner Zeit gleichfalls der schuldige Bericht erstattet werden, bis[6] dahin ich mich Ew. Excellenz günstigen Gesinnungen angelegentlich empfehle. Da mir Dero Aufenthalt nicht bekannt[7], so hab[8] ich[9] ein Duplicat des Gegenwärtigen nach Petersburg[10] gesendet[11]. Der ich mich verehrend unterzeichne

Ew. Exzell.
ganz gehorsamster Diener
J W v Göthe[13]

Weimar[12]
d. 19. Jul.
1804

Ленинград, Публичная Библиотека.—Рукою Гете только: ganz gehorsamster Diener и подпись. Слева наверху: Dupl. (Дубликат). В тексте черновика, воспроизведенного в Вейм. изд., значится: [1] Обращение отсутствует [2] zu ersehen geruhen [3] in [4] können пропущено [5] Ew. Exzellenz [6] werden. Bis [7] точка с запятой [8] habe [9] ich пропущено [10] Lemberg [11] gesandt. [12] w. [13] обращение и подпись отсутствуют.

[Графу С. О. Потоцкому]

Высокородный граф
Высокочтимый Милостивый Государь,

Из прилагаемой покорнейшей докладной записки Ваше Превосходительство усмотрит, что до сей поры удалось сделать в отношении харьковских профессур; при этом я руководился желанием хотя бы до известной степени удовлетворить Ваше Превосходительство. О дальнейшем успешном ходе дела будет в свое время точно так же обязательным образом доложено, впредь до этого остаюсь в надежде на милостивое расположение Вашего Превосходительства. Так как мне неизвестно местопребывание Вашего Превосходительства, я отправил дубликат настоящего в Петербург. С глубоким почтением подписываюсь

Вашего Превосходительства
покорнейший слуга
И В ф Гете

Веймар 19 июл. 1804

Ср. Вейм. изд., IV, 17, 161, № 4929. Граф Северин Осипович Потоцкий (1762—1829) был в 1803 г. назначен попечителем Харьковского округа, сейчас же принялся за организацию Харьковского университета (открытие 6—17 января 1805 г.) и обратился к Гете с просьбой рекомендовать профессоров по разным специальностям. Гете отвечает 27 ноября 1803 г. письмом и объяснительной докладной запиской (хранящейся до сих пор в Харькове), в которой он дает подробную характеристику Шада (Johann-Baptist Schad, бывший бенедиктинский монах, потом протестант, приват-доцент философии Иенского университета) как кандидата на кафедру морали, естественного права и общего государственного права, Шнауберта (Ludwig Schnaubert, ученый аптекарь) на кафедру химии и Фишера (Johann-Carl Fischer) на кафедру физики, при чем подробнейшим образом оговаривает материальные условия. (Ср. Вейм. изд., IV, 16, 357, № 4766.) Кафедра физики была уже занята, и Фишер не поехал. Шад (который впоследствии был уволен мини-

стром народного просвещения за приверженность к немецкой философии и за антиклерикальные взгляды) и Шнауберт выехали в мае 1804 г. Гете посылает вторую докладную записку, где он сообщает, что к Шаду примкнул некий педагог Рейниш (Antonius Reinisch), который, по мнению Гете, пригодится в Харькове, тем более, что Потоцкий просил о присылке педагогически опытных людей. Кроме того Гете, приводя мнение Сарториуса, что едва ли удастся найти преподавателя политической экономии, рекомендует некоего Пильгера (Hauptmann Pilger) из Гиссена (ср. IV, 17, 195, № 4964) на кафедру ветеринарии.

Воспроизводимое здесь письмо приложено к этой докладной записке. Настоящий автограф и является повидимому тем дубликатом, о котором пишет Гете (ср. выше примечание к немецкому тексту).

14. ПИСЬМО К Г.-К.-А. ЭЙХШТЕДТУ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1808 г. (См. репродукцию на стр. 159.)

[An H.-K.-A. Eichstädt]

Ew. Wohlgeboren

Danke zum allerbesten für das übersendete Münchener Diplom. Ich werde nicht verfehlen meinen Dank dorthin sogleich gelangen zu lassen.

Nach einer so grossen literarischen Fasten, als wir in Böhmen ausgehalten haben, ist uns besonders Ihre Literaturzeitung willkommen, wodurch wir zuerst wieder geistiges Leben und Bewegung gewahr werden.

Haben Sie über Oehlenschlägers Aladdin noch nichts bestimmt, so würde ich gern dieses problematische Buch in Ihrer Zeitung anzeigen. Bin ich nur erst einigermassen wieder in ruhigem Gange, so theile ich wohl noch einige andere Wünsche mit.

Bey meinem nächsten Aufenthalt in Jena hoffe ich auf das Vergnügen mündlich mit Ew. W.[1] zu sprechen.

Der ich mich bestens empfehle

Goethe

Weimar
den 23. September
1808

Ленинград, Институт книги, письма и документа.—Рукой Гете только подпись. Остальное рукой его секретаря Римера (?).

В Вейм. изд. значится: [1] Ew. Wohlgeboren.—В левом нижнем углу чужой рукой чернилами: Goethe.

[Г.-К.-А. Эйхштедту][1]

Ваше Благородие,

Весьма признателен Вам за пересылку Мюнхенского диплома[2]. Я непремину тотчас же направить туда свою благодарность.

После столь длительного литературного поста, выдержанного нами в Богемии[3], мы особенно приветствуем Вашу литературную газету, благодаря которой мы снова впервые ощутили духовную жизнь и движение[4].

Ежели Вы еще ни на чем не остановились касательно «Аладдина» Эленшлегера[5], я охотно бы прорецензировал эту проблематическую книгу в Вашей газете[6]. Лишь только я сколько-нибудь опять попаду в спокойную колею, я вероятно сообщу еще ряд других своих пожеланий.

Во время своего ближайшего пребывания в Иене я надеюсь на удовольствие устной беседы с Вашим Благородием.

Гете

Веймар
23 сентября
1808

Ср. Вейм. изд., IV, 20, 170, № 5601. Письма Гете к Эйхштедту хранились в архиве адресата и вышли отдельным изданием в 1872 г. (Goethes Briefe an Eich-

städt mit Erläuterungen hsg. von W. Freiherr v. Biedermann, Berlin, 1872), после чего они постепенно разошлись по частным рукам.— [1] Генрих-Карл-Абрагам Эйхштедт (Heinrich-Karl-Abraham Eichstädt, 1772—1848), профессор древних языков и главный библиотекарь Иенского университета, был с 1803 г. редактором «Иенской Всеобщей Литературной Газеты» («Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung»), в редакции которой Гете принимал деятельное участие, в особенности в первые годы ее существования. Об отношении этой газеты к России и к императорскому двору см. выше работу С. Н. Дурылина, Русские писатели у Гете в Веймаре. [2] Гете был избран почетным членом Мюнхенской Академии. [3] Гете в эту эпоху почти ежегодно проводил лето на богемских минеральных водах (Карлсбад, Мариенбад, Франценсбад). [4] См. прим. 1. [5] Адам Эленшлегер (Adam-Gottlieb Oehlens[ch]laeger, 1779—1850)—знаменитый датский поэт, писавший и по-немецки и близко стоявший к немецким романтикам, сочинил свою романтическую трагедию «Аладдин» в 1805 г. [6] Гете этого намерения не исполнил.

15—16. ПИСЬМА К Л. А. ЯКОВЛЕВУ ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 1810 г. И 10 ЯНВАРЯ 1812 г. (См. репродукции на стр. 243 и 245.)

[An Leon de Yacovleff]

Votre Excellence

sera persuadée que l'envoi que je viens de recevoir, en me surprenant très agréablement m'a fait un plaisir infini, tant comme gage précieux de Son souvenir, que comme pièce très interessante d'Histoire naturelle.

J'ose bien dire que je ne connois entre les pierres composées aucune, qui me paroisse valoir celle là, qui jusqu' ici a manqué à ma collection.

Votre Excellence aura la bonté[1] d'accepter avec les remercimens[2] les plus sincères une Pièce que je fais partir par Chariot de Poste. C'est une Chalcedoine a plusieures couches, qui, taillée et gravée sous Votre Direction, donnera lieu j'espère, à quelque Camée digne de Votre collection prétieuse.

Agrées[3] en même tems les assurances les plus respectueuses du parfait devouement decelui qui a l'honneur de se souscrire de Votre Excellence

le très humble et
très obéissant Serviteur
W de Goethe

Weimar
ce 5 Febr.
1810

Москва, Центральное Архивное Управление СССР.—В Вейм. изд., воспроизводящем текст собственноручного черновика, значится: [1] Ayes la bonté Mr. le Comte [2] remerciements [3] Ayes la bonté d'agréer.

[Л. А. Яковлеву]

Ваше Превосходительство

Будьте уверены, что только что полученная мною посылка, чрезвычайно приятно изумив меня, доставила мне бесконечное удовольствие и как драгоценный знак Вашей памяти, и как интересный предмет из области естествоведения.

Осмеливаюсь сказать, что среди камней мне не известен ни один, который казался бы мне стоящим этого, до сих пор отсутствовавшего в моей коллекции.

Ваше Превосходительство, будьте добры принять вместе с наиболее искреннею благодарностью вещицу, которую я отправил Вам с почтовой каретой. Это—халцедон с многими слоями, который, высеченный и вырезанный под Вашим руководством, обратится, надеюсь, в камею, достойную Вашей драгоценной коллекции.

Автограф памятного листка Гете на 8 июля 1816 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

Примите в то же время наиболее почтительные уверения в совершенной преданности того, кто имеет честь подписаться

Вашего Превосходительства нижайшим и покорнейшим слугою

В. фон Гете.

Веймар
5 февр. 1810

[An Leon de Yacovleff]

Monsieur.

Le nouvel an, Monsieur, n'aurait pu me saluer par un meilleur augure, que par celui de Votre envoi précieux. Je me vois en même temps honoré de Votre souvenir amical, que je chéris comme je dois, et d'un beau travail de l'art moderne qui me flatte personellement.

J'aurais souhaité, que Vous eussies été témoin du plaisir que j'ai exprimé à mes amis en leur faisant voir le bijou que je tiens de Votre bonté.

Je ne cherche pas de peindre ce contentement par beaucoup de paroles, d'autant moins que Vous n'auries pu, Monsieur, me donner une telle marque de Votre bienveillance si Vous ne senties pas profondement que j'en suis digne par un attachemant inviolable, et par la haute considération avec la quelle j'ai l'honneur de me souscrire

de Votre Excellence
le très humble et
très obéissant serviteur
de Goethe.

Weimar
ce 10 Jan.
1812.

Москва, Центральное Архивное Управление СССР.—Черновик, написанный рукой секретаря Римера и хранящийся в Веймарском архиве, в точности совпадает с воспроизводимым здесь оригиналом. Однако текст Веймарского издания составлен по исправлениям, внесенным в черновик красными чернилами проф. Лавэ (Louis-Daniel-Marie Lavés, учитель французского языка в Веймарской гимназии). Таким образом Гете не пожелал считаться с этими исправлениями, ибо трудно предположить, что они были внесены в черновик после отправления письма.

[Л. А. Яковлеву]

Милостивый Государь.

Новый год, Милостивый государь, не мог меня приветствовать лучшим предзнаменованием, чем Вашей драгоценной посылкой. Я вижу себя одновременно почтённым и Вашим дружеским воспоминанием, которым я дорожу как должно, и прекрасным произведением современного искусства, которое мне лично льстит.

Мне хотелось бы, чтобы Вы могли быть свидетелем той радости, которую я выражал своим друзьям, когда показывал им драгоценность, обладанием которой я обязан Вашей доброте.

Я не пытаюсь изобразить это удовольствие многими словами, тем более, что Вы, Милостивый государь, не могли бы оказать мне подобный знак Вашего благоволения, если бы глубоко не чувствовали меня достойным его за ту непоколебимую привязанность и высокое уважение, с которыми я имею честь подписаться

Вашего Превосходительства нижайшим и покорнейшим слугою

Веймар Гете.
10 янв.
1812.

Ср. Вейм. изд., IV, 30, 29, № 5902а и IV, 22, 4, № 6091-№ 6248а. Оба автографа были опубликованы в «Красном Архиве» 1923 г., т. III, стр. 307—309 с комментарием В. Нечаевой, к которому мы и отсылаем читателя. В дополнение к сведениям, приведенным в этой публикации, необходимо указать на следующие обстоятельства. Лев Алексеевич Яковлев (1766—1839), дядя Герцена, посол в Штутгарте (1809) и в Касселе (1810—1812), познакомился с Гете в Карлсбаде в 1807 г. 30 декабря 1809 г. он из Штутгарга послал Гете гранатовую табакерку, хранящуюся до сих пор в гетевском доме. Когда Гете узнал, что Яковлев переведен в Кассель, он пишет 22 апреля 1810 г. Рейнгарду (Karl-Friedrich Graf Reinhard, 1761—1834), послу Наполеона в Касселе: «ради меня окажите ему [Яковлеву] дружеский прием; он всегда в высшей степени мило ко мне относился и еще недавно преподнес мне табакерку из породы, весьма для меня интересной» (IV, 21, 245, № 5960). Что же касается халцедона, который Гете послал Яковлеву 5 февраля 1810 г. (см. первое письмо), история его такова. Узнав, что Яковлев хочет вырезать на нем его профиль, Гете пишет Рейнгарду 7 октября 1810 г.: «Передайте мой поклон господину Яковлеву. Я осведомлен о его милом намерении заказать в Риме резную камею с моим профилем для своего собрания. Подходящей гравюры не имеется, однако я посылаю Вам с почтой медальон, вылепленный господином фон Кюгельген (Gerhard von Kügelgen, 1772—1820, живописец, оставивший несколько портретов Гете), на этот раз лучшее, что я знаю. Если это не то же самое, что Вы привезли из Гамбурга, он, может быть, этим удовлетворится» (IV, 21, 395, № 6038). Затем Яковлев в апреле 1810 г. посылает камень резчику Морелли в Рим, вероятно с медальоном Кюгельгена для образца. Однако судя по переписке Гете с Рейнгардом, который в это время находился в Риме, мы узнаем, что этот камень был одно время потерян. Когда Гете узнал, что он нашелся, он пишет Рейнгарду 5 мая 1811 г.: «Мне очень приятно, что камень господина Яковлева снова нашелся. Это была драгоценность, которой долгое время обладал Эзер (Adam-Friedrich Oeser, 1717—1799, живописец, первый учитель рисования Гете). Через него он попал к герцогине Амалии (мать герцога), которая однако колебалась, заказать ли из него одну или несколько камей. Из ее рук он перешел в мои; я тоже долго его хранил, пока наконец не решился отдать его любителю, которому доставляет удовольствие тратить значительные суммы на такие вещи» (IV, 22, 85, № 6141). 20 декабря Яковлев посылает Гете два слепка (а не подлинник, как предполагает В. Нечаева) с мореллиевской камеи. 12 января 1812 г. Гете благодарит вторым, здесь воспроизводимым, письмом. Из этого следует, что оригинал камеи должен был остаться в собрании Яковлева. Письма Яковлева к Гете хранятся в Веймарском архиве.

17. ПИСЬМО К ГРАФУ С. С. УВАРОВУ ОТ 17 АВГУСТА 1811 г. (См. репродукцию на стр. 201.)

[An den Grafen v. Uwarow]

Hochwohlgeborner,

Insonders Hochgeehrtester Herr[1],

Ew. Hochwohlgeboren einigermassen zu beweisen, dass auch wir uns hier immerfort mit demjenigen beschäftigen, was für Sie soviel Interesse hat, lege ich einen kleinen Aufsatz bey, welcher durch Ihr schönes und ausführliches Memoire veranlasst worden. Er ist von Herrn Rath F r i e d r i c h M a j o r[2], welcher sich schon seit geraumer Zeit bey uns aufhält und sich um die asiatische Literatur manches Verdienst erworben hat.

Mögen diese Blätter Ew. Hochwohlgeboren nicht misfällig und unbrauchbar seyn. Ich sage nichts[3] mehr, um nicht eine Gelegenheit zu versäumen, wodurch Gegenwärtiges bald in Ihre Hände gelangen kann. Ich empfehle mich aufs angelegentlichste, und habe die Ehre mich mit ganz vorzüglicher Hochachtung zu unterzeichnen.

Ew. Hochwohlgeboren
ganz gehorsamster Diener
J W. v Goethe

Weimar
den 17n August
1811

Москва, Исторический Музей.—В первом томе писем иностранцев к Уварову, переплетенных в двух томах в алфавитном порядке корреспондентов.—Рукой Гете написано только ganz gehorsamster Diener и подпись. В тексте черновика, напечатанного в Веймарском издании, значится: [1] ! [2] Majer [3] nicht.

[Графу С. С. Уварову]

Ваше Высокоблагородие

Особливо высокочтимый Милостивый Государь.

Дабы до некоторой степени доказать Вашему Высокоблагородию, что и мы здесь непрестанно занимаемся тем, что столь Вас интересует, я прилагаю маленькое сочинение, поводом для коего послужила Ваша прекрасная и пространная докладная записка[1]. Оно написано господином советником Фридрихом Майором[2], который вот уже некоторое время как находится у нас и который не мало приобрел себе заслуг перед азиатской литературой.

Пусть эти страницы, Ваше Высокоблагородие, не покажутся Вам неугодными и ненужными. Я больше ничего не скажу, дабы не пропустить оказии, дающей мне возможность в скорейшем времени передать настоящее в Ваши руки. Остаюсь всегда готовый к услугам и имею честь подписаться с особо высоким уважением

Вашего Высокоблагородия
покорнейший слуга
И В. ф Гете

Веймар
17-го августа
1811

Ср. Вейм. изд., IV, 22, № 6180. [1] Проект Уварова об учреждении Азиатской академии (Projet d'une académie asiatique. S.-Ptsb., 1810 г.), [2] Майер (Friedrich Majer, 1772—1818) — ориенталист, приват-доцент Иенского университета. Его отзыв о проекте Уварова (Einige Gedanken beym Lesen des «Projet d'une académie asiatique») приложен к письму Гете и хранится в Историческом Музее.

Об отношениях Гете к Уварову см. выше работу С. Н. Дурылина. Мы приводим это письмо только как образец автографа и для полноты обзора. Из десяти писем Гете к Уварову, напечатанных в Вейм. изд. (I. 27 февраля 1811—IV, 22, № 6117. II. 17 августа 1811—IV. 22, № 6180. III. 9 мая 1814—IV, 24, № 6826. IV. 2 декабря 1815—IV, 26, № 7235. V. 28 марта 1817—IV, 28, № 7698. VI. 18 мая 1818—IV. 29, № 8077. VII. 21 декабря 1818—IV. 31, № 32. VIII. 22 декабря 1825—IV, 40, № 166. IX. 1827 (начало)—IV, 42, № 178. X. 28 ноября 1830—IV, 48, № 14), первое воспроизводит черновик Веймарского архива; остальные девять напечатаны по оригиналам Исторического Музея (из уваровского имения «Поречье»), переплетенным в первый из двух томов, содержащих письма иностранцев к Уварову в алфавитном порядке корреспондентов. Эти девять писем были опубликованы до Веймарского издания (вместе с 13 письмами Уварова к Гете из Веймарского архива) Г. Шмидтом в «Russische Revue» 1888, B. XVIII, 71, 2 в статье «Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel» (Гете и Уваров и их переписка). Незначительные разночтения между московскими оригиналами и веймарскими черновиками указаны в соответствующих томах Веймарского издания (см. выше).

В Историческом Музее хранится подаренный Гете Уварову экземпляр третьей части «Поэзии и правды» (Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Goethe. Dritter Theil. Tübingen in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1814) с надписью Уварова: «Erhalten von Goethe» (Получено от Гете).

18. ПИСЬМО К Ф. ФОН МЮЛЛЕРУ ОТ 15 МАРТА 1812 г.

(См. репродукцию на стр. 831.)

[An F. v. Müller]

Ew. Hochwohlgeb

haben mir Hoffnung gemacht, dass Herr[1] v. St. Aignan Sonntag früh einige Stunden bey mir zuzubringen gedenke[2]. Er hat auch

Agenda

d. 19 July 1816

Mathilde.

Paq an Zelter.

Paq nach Petersburg.

an Sulpiz.

An Meyer.

Medaillen Nachtrag

Medaillen Serenissimo

Zelter.

Sartorius.

Kaempfer. mineral. Wasser.

Schultze Brief.

[illegible]

Lieber.

Voigt Schumacher

Nummern Kirchner

Voigt an [illegible]

Автограф памятного листка Гете на 19 июля 1816 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

selbst einige Worte mir darüber bey Hofe gesagt. Nun weiss ich aber nicht ob die Gegenwart des Marschall Ney und die augenblickliche Truppen Bewegung[3] diesem angenehmen Besuch einige Hindernisse entgehen setzen. Darf ich durch Ihre Vermittlung das Nähere zu erfahren hoffen?

[Weimar]
d. 14. März — Goethe.
1812.

Москва, Публичная Библиотека им. Ленина (из собр. И. С. Остроухова). — Автограф публикуется впервые целиком. В Веймарском издании (IV, 22, 295, № 6275) текст обрывается на словах Truppen Bewegung... и напечатан в том виде, в каком он был опубликован в каталогах собрания Мальцана (Katalog der Maltzahnschen Autographensammlung, Berlin, Albert Cohn, 1890, № 154) и собрания Позоний (Katalog der Alexander Posony'schen Autographensammlung, Bonn, Fr. Cohen, 1900, № 120). Письмо целиком написано рукой Гете. В Веймарском издании значится: [1] Herr (в автографе — неразборчиво) [2] gedenken [3] На этом обрывается текст Веймарского издания.

[Ф. фон Мюллеру][1]

Ваше Высокоблагородие

обнадежило меня, что господин де Сэнт Эньян[2] предполагает провести у меня несколько часов в воскресенье утром[3]. Он и сам сказал мне об этом несколько слов при дворе. Между тем я все же не знаю, не воспрепятствуют ли этому приятному посещению присутствие маршала Нея и настоящее передвижение войск. Смею ли я надеяться узнать ближайшие подробности через Ваше посредство?

[Веймар]
14 марта — Гете.
1812

[1] Веймарское издание (IV, 22, 492) устанавливает, что настоящее письмо адресовано Теодору-Адаму-Генриху-Фридриху Мюллеру (Theodor-Adam-Heinrich-Friedrich Müller, 1779—1849, канцлер веймарского герцогства, ближайший друг Гете в последние два десятилетия жизни поэта, известный своими замечательными «Беседами с Гете», изданными после его смерти в 1870 г.) на основании его «Воспоминаний о военных годах 1806—1813» (Friedrich v. Müller, Erinnerungen aus den Kriegszeiten von 1806—1813, S. 271). [2] Барон Этьен де Сэнт Эньян (Baron Étienne de Saint Aignan) был назначен полномочным министром при саксонских дворах и французским послом в Веймаре в феврале 1812 г. Живо интересуясь искусством и литературой, он, судя по дневникам поэта, видался с ним почти ежедневно. Однако его близкое знакомство с Гете имело также и политическое значение. Об этом свидетельствуют следующие слова Гете в письме к Рейнхарду (Karl-Friedrich Reinhard, 1761—1834, уполномоченный наполеоновского правительства при «Немецком Союзе») от 13 февраля 1812 г. (ср. IV, 22, 276, № 6256) вскоре после назначения Сэнт Эньяна: «А теперь, в заключение, самое важное: что господин барон де Сэнт Эньян прибыл в качестве полномочного министра при герцогских саксонских дворах и первым долгом аккредитовался у нас. Несколько конфиденциальных слов приписываю собственноручно. Господин де Сэнт Эньян с первых же дней обнаруживает себя, согласно своей репутации, как человек приятный, вдумчиво сдержанный, внимательный; первые шаги его достойны, умеренны и вызывают самые лучшие надежды. Цель его назначения известна Вам лучше, чем кому-либо, поскольку Вы имеете подобное назначение при Ангальтских, Липпских и др. дворах. Говоря откровенно, я думаю, что все дело заключается в предупредительном и активном отношении к постою войсковых частей, а уже остальное наладится. Если бы Вы при случае пожелали сделать мне кое-какие указания, я сумел бы воспользоваться ими наилучшим образом. Правда, я отказался от всяких дел, но с некоторыми знаниями и доброй волей можно все же многое направить и продвинуть». [3] Судя по дневникам (ср. III, 4, 262) Сэнт Эньян посетил Гете 15 февраля в присутстви Мюллера и секретаря французского посольства Швебеля. [4] Михаил Ней (Michel Ney, 1769—1815) — французский маршал, командовавший 3-м корпусом армии, которая в то время формировалась

Наполеоном для похода против России. [5] К вопросу об отношении веймарского правительства к постою наполеоновских войск см. выше письмо Гете к Рейнхарду, цитированное в прим. 2.

19. ПИСЬМО К НАСЛЕДНОЙ ГЕРЦОГИНЕ ВЕЙМАРСКОЙ МАРИИ ПАВЛОВНЕ ОТ 10 МАРТА 1818 г. (См. репродукцию на стр. 135—137.)

[An die Erbherzogin *Maria Paulowna*]

Unsern theuren Prinzessinnen hat H. Prof. [1] von Münchow in dem vorigen Jahre nicht allein den auf Mathematic [2] bezüglichen Unterricht [3] in Jena ertheilt [4], sondern auch die Stunden des Professor Weichardt alhier [5] eingeleitet und, von Zeit zu Zeit herüberkommend, nachgesehen und geholfen; ferner [6] hat er auf Sittlichkeit, Gesinnung und Betragen eingewirkt, Aufmerksamkeit erregt und festgehalten, und was er sonst noch für Verdienste um die theuren [7] Zöglinge sich erworben hat [8].

Ihro Kayserl. Hoheit haben deshalb einigemal gnädigste Erkenntlichkeiten ihm zustellen lassen, die er dankbar empfing. Seine Reisen hierher waren frey, sowie dessen Wohnung und Verköstigung.

Alles dieses mochte für einen angehenden oder vorübergehenden Zustand gehörig sein. Da man aber höchsten Ortes [9] wünscht, dass bey nächstem Sommeraufenthalt [10] in Jena die Lectionen fortgesetzt, eine theilnehmende Bemühung beybehalten, auch in der Folge, von Zeit zu Zeit, ein Besuch alhier stattfinden möge, [11] so hat man zu Beruhigung beyder Theile annehmlich gefunden [12] irgend ein Fixum auszusetzen und sich wechselseitig auf das laufende Jahr zu verbinden. Prof. v. Münchow würde das was er bisher geleistet [13] fernerhin übernehmen, wogegen man demselben höchsten Orts Vierhundert Thaler Sächs. in vierteljährigen Raten auszahlen zu lassen geneigt wäre [14].

Wegen seiner Anherreise und hiesigem [15] Aufenthalt blieb es beym Alten [16]. In der Überzeugung dass hiedurch eine grössere Freiheit in dem wechselseitigen Verhältnis stattfinden [17] werde, hat man gegenwärtiges, nach manchem Bedacht, Ihro Kayserl. Hoheit [18] vorzulegen für Pflicht geachtet.

unterthänigst

I W v Goethe

Weimar.
d. 10 März 1818

Москва, Государственный Театральный Музей имени А. А. Бахрушина.—Письмо все написано на правой половине страницы. На полях первой страницы против первых строк неразборчиво другой рукой: vid ?? genehmigt (см. ?? исполнено). В Вейм. изд., воспроизводящем черновик из папки «Acte den Aufenthalt der Fürstl. Kinder in Jena und den Erfolg betreffend. 1817. 1818» (Дела, касающиеся пребывания княж. детей в Иене и успехов. 1817. 1818), значится: [1] Professor [2] Mathematik [3] Unterricht selbst [4] нет запятой [5] allhier [6] geholfen. Ferner [7] theuern [8] нет абзаца [9] Orts [10] Sommeraufenthalte [11] auch in der Folge ein hiesiger Aufenthalt statt finden möge; [12] запятая [13] was bischer geleistet worden [14] нет абзаца [15] dessen hiesigem [16] абзац [17] statt finden [18] Ihro Kayserl. Hoheit, nach manchem Bedacht,

[Наследной Герцогине Марии Павловне]

В прошлом году г. проф. фон Мюнхов не только преподавал нашим дорогим княжнам математику в Иене, но также подготовлял их здесь к урокам профессора Вейнхардта, наблюдал и помогал, наезжая время от времени; к тому же он влиял на нравственность, умонастроение и поведение, привлекал и удерживал внимание, не говоря о прочих его заслугах перед дорогими воспитанницами.

За что Ваше Императ. Высочество не раз препровождали ему доказательства всемилостивейшей признательности, каковые он и принимал

с благодарностью. Его поездки сюда были бесплатны, равно как и его жилище и пропитание.

Все это могло быть уместным в качестве предварительных или временных условий. Однако, поскольку Высочайше угодно, чтобы лекции продолжались во время ближайшего летнего пребывания в Иене, чтобы сохранилось участливое попечение, а также чтобы и впредь, время от времени, имели место поездки сюда, было признано желательным установить к удовлетворению обеих сторон определенную сумму и взаимно обязать друг друга на текущий год. Профессор фон Мюнхов взял бы на себя и далее те обязательства, кои он выполнял по сию пору, за что Высочайше соблаговолили бы выплачивать ему четыреста сакс. талеров квартальными взносами.

Что же касается его поездок сюда и его здешнего пребывания все осталось бы по-старому. В убеждении, что этим путем установится бо́льшая свобода во взаимных отношениях, мы, после многих размышлений, сочли своим долгом предложить настоящее на усмотрение Вашего Императ. Высочества.

всеподданнейше

И. В ф Гете

Веймар
10 марта
1818

Ср. Веймар. изд., IV, 29, 81, № 8005. По письмам и дневникам Гете 1817 и 1818 гг. история приглашения Мюнхова (Carl-Dietrich von Münchow, 1778—1836)— профессора астрономии Иенского университета и Вейхарда (Carl-Christian-Wilhelm-Adolph Weichard [Weikhard], 1786—1828)—профессора математики в Веймаре в качестве преподавателей веймарских великих княжен, Марии и Августы, дочерей Марии Павловны, во время их летнего пребывания в Иене, сводится вкратце к следующему. С весны 1817 г. Мюнхов преподавал великим княжнам математику и естествознание. 1 августа (IV, 28, 205, № 7829) Гете подает Марии Павловне отчет о летних занятиях перед переездом княжен в Веймар, где Гете предполагает облегчить курс обучения, сосредоточив все внимание на языках и на минералогических и ботанических прогулках. В тот же день он посылает Мюнхову золотую табакерку от Марии Павловны. (IV, 28, 208, № 7830). Однако считая необходимым все же не совсем прерывать занятия с Мюнховым, Гете начинает налаживать на сентябрь его поездки из Иены в Веймар. 16 августа он пишет гофмейстерше Гопфгартен (Sophie-Caroline Hopfgarten, geb. v. Fritsch, 1770—1829) с просьбой доложить об этом Марии Павловне (IV, 28, 217, № 7842) и Мюнхову, предлагая ему точно определить свое расписание на сентябрь (IV, 28, 220, № 7844). На следующий же день Гете сообщает Марии Павловне о принципиальном согласии Мюнхова (IV, 28, 221, № 7845) и 19-го числа (IV, 28, 222, № 7846) просит ее назначить свои условия. Здесь видимо возникают какие-то недоразумения. Гете вступает в письменные переговоры с гофмейстершей Гопфгартен, пытаясь воздействовать на Марию Павловну через ее посредство. Из письма от 18 января (IV, 29, 1, № 7943) видно, что и Вейхард, и Мюнхов недовольны своим вознаграждением. Дело с Вейхардом улаживается, но для Мюнхова Гете добивается и более крупного гонорара, и более регулярной его выплаты, так как, пишет он, «это дело деликатное». 20 января он пишет гофмейстерше: «Прилагаю записку по поводу Вейхарда и Мюнхова; по поводу Мюнхова у меня многое наболело на душе. Принимая во внимание личность этого человека, его привязанность к высочайшему семейству, старания и жертвы, которые он до сих пор приносил, было бы желательно, чтобы он получил на Пасху значительную сумму денег и затем чтобы было определено, сколько ему причитается в квартал. Если мы будем поступать так, как поступали до сих пор, мы слишком ему задолжаем. Поэтому я задержал посланные мне деньги. Нет надобности связываться друг с другом навсегда, однако было бы справедливо, прилично и спокойно договориться на один год» (IV, 29, 17, № 7954). Подготовив таким образом почву, Гете посылает Марии Павловне воспроизводимое здесь письмо и на следующий день сообщает об этом Мюнхову, говоря: «мне было бы очень приятно, если бы мы таким образом и на этот раз

избегли всякой двусмысленности» (IV, 29, 85, № 8007). Из этих слов, а также из визы («исполнено») на нашем письме можно заключить, что ходатайство Гете было наконец удовлетворено. Об отношениях Гете и Марии Павловны см. выше в работе С. Н. Дурылина, Русские писатели у Гете в Веймаре.

20. ПИСЬМО К ЛУИЗЕ ФОН КНЕБЕЛЬ ОТ 17 НОЯБРЯ 1819 г.

(См. репродукцию на стр. 61.)

[An Louise v. Knebel geb. Rudorff]

In Gefolg unserer früheren Verabredungen erbitte mir eine kleine Gefälligkeit. Eben war ich in Begriff an Herrn Grafen von Einsiedel ein schicklich-gemütliches Blatt abzusenden, als ich einen gar freundlichen Brief von demselben erhalte. Nun ersuche Sie:[1] mir den Namen der Neugeborenen[2], Geburts-und Tauftag derselben zu schreiben, damit ich mich darnach richten könne[3]. Was ich alsdann absende nehme mir die Freyheit durch Ihre Hände gehen zu lassen.

Grüssen Sie unsern Freund zum schönsten und lassen mich von Zeit zu Zeit durch Wellern wissen, ob Sie sich[4] alle wohl befinden.

treulichst

Weimar Goethe

d. 17-n[5] Nvbr. 1819

Ленинград, Публичная Библиотека. — Все кроме слов treulichst и Goethe — рукой секретаря Крейтора (Kräuter). Наверху рукой Гете (?): Rath Kräuter dict. (Советнику Крейтору продикт.).

В Вейм. изд. (по черновику Крейтора) значится: [1] точка [2] Neugebornen [3] абзац [4] sich [5] добавлено [18].

[Луизе ф. Кнебель, урожд. Рудорфф][1]

Согласно нашим прежним уговорам прошу о маленьком одолжении. Я как раз собирался послать господину графу фон Эйнзидель[2] пристойно-задушевную записку, как получаю от него весьма любезное письмо. Вот я и прошу Вас: написать мне имя новорожденной, день ее рождения и крестин, дабы я мог этим руководствоваться. Я беру на себя смелость препроводить через Ваши руки то, что я вслед за этим пошлю.

Поклонитесь нашему другу[3] и сообщайте мне время от времени через Веллера[4], все ли вы здоровы.

Ваш верный

Веймар Гете

17-го ноябр.

1819

См. Вейм. изд., IV, 32, 98, № 75. [1] Жена Кнебеля (см. прим. к № 12). [2] Граф Адольф ф. Эйнзидель-Вольkенбург (Adolf Graf von Einsiedel-Wolkenburg)—прусский полковник, которого между прочим не следует путать с Августом и Фридрихом Эйнзидель, веймарскими друзьями поэта, просил Гете быть восприемником его дочери Марии, родившейся 18 октября 1819 г. повидимому в Иене. Гете сначала отказался, потом согласился на заочное участие. 17 ноября Эйнзидель благодарит и просит о сувенире, на что Гете через Кнебелей посылает поздравительное стихотворение, обращенное к новорожденной (ср. Вейм. изд., I, 4, 45: «Töchterchen! nach trüben Stunden...»). Ср. H. G. Gräf, Goethe über seine Dichtungen. Th. III, B. 2, S. 283, 444. [3] Кнебелю. [4] Веллер (Christian-Ernst-Friedrich Dr. Weller, 1790—1854)—секретарь Гете в Иене, служивший в Иенской библиотеке.

21. НАЧАЛО ЧЕРНОВИКА ПИСЬМА К ГРАФУ К. ШТЕРНБЕРГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 1828 г.

(См. репродукцию на стр. 828.)

Dem Herrn Grafen Sternberg

Exzellenz.

Jenen höchst traurigen weimarischen Tagen zu Ende Juny ausweichend, befand ich mich auf den heiteren Höhen von Dornburg als ich am 2 July

von dem höchsterfreulichen Besuch der Frau von Löw und ihrer liebenswürdigen Tochter überrascht wurden
[Weimar, den 5 Oktober 1828]

Ленинград, Публичная Библиотека.—Чернилами, рукой Гете на листе с карандашной записью (см. выше № 9). Все перечеркнуто красным карандашом (типа сангины). Напечатанное в разрядку зачеркнуто. Последние строки (от ich до wurden) еще раз перечеркнуты тремя чернильными чертами. Приводим для сравнения окончательный вариант начала этого письма, напечатанного в Веймарском издании (IV, 45, 13): «Jenen höchst traurigen weimarischen Tagen zu Ende Juni ausweichend, befand ich mich auf den heitern Höhen von Dornburg, als ein trostreiches Schreiben, datirt Brzezina den 5 Juli, bei mir einlangte. Fürwahr trostreich, denn bei so grossem Verluste ist es höchst aufrichtend erinnert zu werden, was von Gutem, Vorzüglichem und Schätzbarem uns noch übrig bleibt. Am 2 August ward ich sodann von dem höchsterfreulichen Besuch der Frau v. Löw und ihrer liebenswürdigen Tochter überrascht, die an mir vorüber und dorthin gingen, wohin ich ihnen mit den treusten Gedanken und Empfindungen folgte...»
Напечатанное в разрядку приблизительно совпадает с текстом нашего черновика.

Его Превосходительству
Господину Графу Штернберг.

Пытаясь избегнуть тех, весьма печальных, веймарских дней конца июня, я находился на привольных высотах Дорнбурга, когда я 2 июля был застигнут высокорадостным посещением госпожи фон Лёв и ее милой дочери
[Веймар, 5 октября 1828]

Ср. Вейм. изд., IV, 45. 13.—15 июля 1828 г. умер герцог веймарский Карл-Август. 17 июля Гете уехал в Дорнбург (живописно расположенный на горе замок на реке Заале), где он пробыл до 11 сентября. В числе многочисленных посетителей к нему приехала 2 августа (а не 2 июня, как ошибочно значится в нашем черновике) некая госпожа фон Лёв (Freifrau Luise von Löw von und zu Steinfurt, geb. von Diede zum Fürstenstein) с дочерью. Они направлялись в Прагу к графу Штернбергу, к которому Гете снабдил их рекомендательным письмом (ср. дневник 2. VIII. 1828, Вейм. изд., III, 11, 255). Штернберг (Graf Kaspar v. Sternberg, 1761—1838), который после блестящей духовной и политической карьеры отдался исключительно науке (ботанике) и организации научных учреждений Праги, был, начиная с 1820 г., одним из самых интересных корреспондентов Гете и одним из самых близких ему людей в последние годы его жизни. Их переписка издана отдельно: A. Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg.

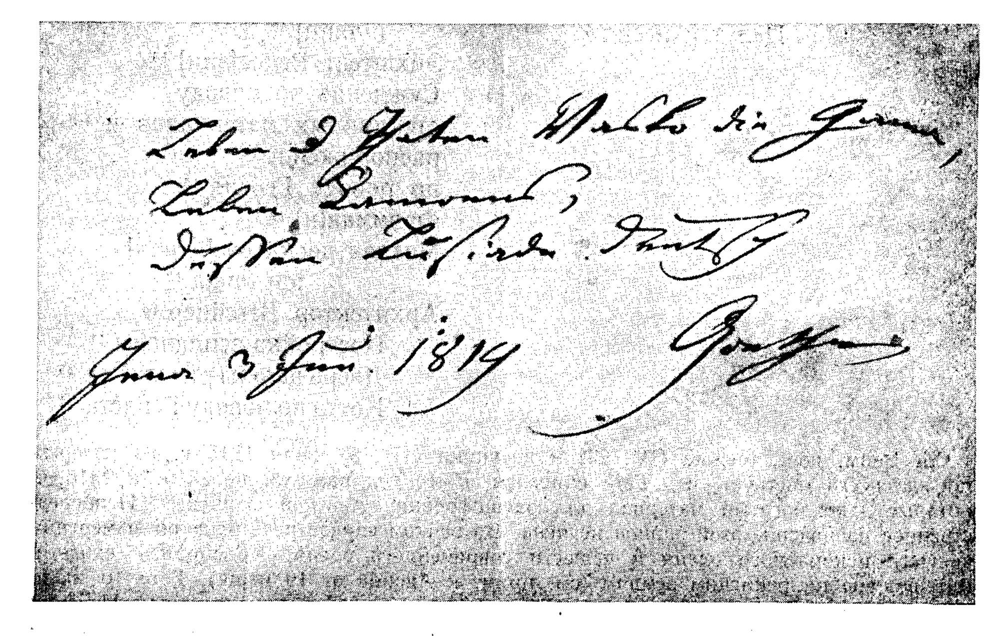
III. ДНЕВНИКИ, ЧЕРНОВЫЕ И СЛУЧАЙНЫЕ ЗАПИСИ

Эта группа представляет несомненно наибольший интерес для гетеведения. Среди действительно случайных записей, как листок с заглавием книг (№ 24), неоконченная опись гравюр (№ 25) и подпись на визитной карточке (№ 26), ярко выделяются две неизданных страницы Agenda (записи для памяти—№№ 22 и 23), которые, будучи сопоставлены с письмами и дневниками Гете этих дней, воссоздают картину делового дня великого писателя, изумляющего широтой и универсальностью своих интересов и совершенно невероятной внутренней дисциплиной и работоспособностью.

22. AGENDA (ПАМЯТНЫЙ ЛИСТОК) 8 ИЮЛЯ 1816 г. (См. репродукцию на стр. 835.)

Agenda
d. 8 Jul. 1810

Untere Hirsch Kinlade	Serenissimo
Fossil. 4 Z. 5 Lin	Russland
Natur 2 8 Lin	Meyer Blumen
Höhe von der Basis	Pietra fungaj Nees
bis auf die Zahn	Boisseree Rolle



Автограф записки Гете с заглавием книг от 3 июня 1819 г.
Публичная Библиотека, Ленинград

Kronen
Diplome
Rhein und Mayn.
Zelter Gesänge

Brief
Schadow
Gubi
Eichstedt Recen.
Votum wegen der Glaswaaren und Verordn.
wegen Goebels
Fromman.
Kupfer Platte vis. Karte
Architect Steiner
Bau Esplanade
Zeichen Schule Thüre.
Cotta wegen Genast

Ленинград, Институт Русской Литературы.—Все—рукою Гете, латинскими буквами. В левом столбце слово Diplome отчеркнуто слева боковым штрихом. В правом отчеркнута каждая строка, кроме слов Serenissimo и Russland, слово Gubi и последняя строка зачеркнуты. Дата 1810—описка Гете, читай: 1816. Б. В. Томашевский, опубликовавший этот автограф в юбилейном сборнике «Гете» Академии Наук СССР, читает в четырнадцатой строке справа не vis., а bis. Мы настаиваем на своем чтении.

Для памяти

8 июля 1810

Нижняя челюсть оленя
Ископ. 4 д. 5 лин.
Природа 2 8 лин.
Высота от основания
до коронок зубов [1]
Дипломы [2]
Рейн и Майн [3]

Его Светлости [5]
Россия [6]
Мейер цветы [7]
Pietra fungaj[a] Heec [8]
Буассере свиток [9]
Письмо [10]
Шадов [11]

Цельтер песни [4]

Губи[ц] [12]
Эйхштедт Рецен[зии] [13]
Суждение по поводу стеклянных материалов и распоряжение [14]
по поводу Гебеля [15]
Фромман[н] [16]
Медная доска виз[итная] карточка [17]
Архитектор Штейнер [18]
Постройка эспланады [19]
Дверь школы рисования [20]
Котта по поводу Генаста [21]

Ср. Вейм. изд., письма (IV, 27) и дневники (III, 5) июля 1816 г., из которых прежде всего явствует, что Гете описался и что год памятки не 1810, а 1816, и которые дают богатый материал для расшифровки гетевской записи. [1] Непосредственное назначение этой записи не ясно. Во всяком случае речь идет об измерении челюсти ископаемого оленя и челюсти современного оленя. [2] Собираясь ехать в путешествие по рейнским землям (см. прим. к Agenda от 19 июля), Гете 10 июля написал Ленцу (Johann-Georg Lenz, 1748—1832), профессору минералогии в Иенском университете (ср. Вейм. изд., IV, 27, 77, № 7447), с просьбой прислать ему двенадцать бланков для дипломов, вероятно для раздачи их ученым, которых он думал повидать во время своего путешествия. [3] Гете два лета под ряд (1814—1815) провел на Рейне, откуда он привез основное ядро «Западно-восточного Дивана» и ряд ценных историко-художественных наблюдений над древненемецким искусством. Весной 1816 г. он начал систематизировать свои впечатления, а в июле уже написал вторую часть «Путешествия по Рейну, Майну и Некару в 1814 и 1815 годах». (напечатано впервые в журнале «Kunst und Alterthum» в первом же номере 1816 г.). [4] Цельтер (Karl-Friedrich Zelter, 1758—1832), композитор, ближайший друг и музыкальный советник Гете, как раз этим утром уехал из Веймара в Висбаден, куда должен был приехать и Гете (см. прим. к Agenda от 19 июля). Накануне Гете занес в дневник: «несколько песен». Возможно, что он перед отъездом Цельтера хотел передать ему какие-нибудь новые стихотворения, чтобы тот их положил на музыку. [5] т. е. герцогу. Не отчеркнуто, вероятно потому что не было выполнено. Что именно—неизвестно. [6] Не отчеркнуто. Никаких следов в письмах и дневниках нет. [7] Художник и историк искусства Мейер (Johann-Heinrich Meyer, 1760—1852) был одним из самых близких Гете людей и его сотрудником по делам искусства во вторую половину его жизни. Накануне Гете катался с Мейером в экипаже. Возможно, что слово «Цветы» является напоминанием о каком-либо живописном или ботаническом разговоре. [8] В 1810 г. Гете получил из Италии экземпляр так называемого грибного камня. Он им заинтересовался как раз в эти дни и послал его 10 июля с письмом (Вейм. изд., № 27, 81, № 7450) ботанику Неесу фон Эзенбеку (Christian-Gottfried Nees von Esenbeck, 1776—1858)—автору исследова ий о водорослях и о грибах. [9] Буассере (Johann-Sulpiz-Melchior-Dominicus Boisserée, 1783—1854), гейдельбергский коммерсант, собравший замечательную коллекцию старонемецкой и старонидерландской живописи, с которой Гете познакомился во время своих путешествий 1814 и 1815 гг., оказал большое влияние на художественные взгляды Гете в эту эпоху. Гете с ним часто переписывался и советовался в художественных делах. 10 июля (Вейм. изд., № 27, 79, № 7449) он посылает ему между прочим работу (свиток, трубка) архитектора Рабе (Martin-Friedrich Rabe, 1775—1856), которому была поручена постройка нового здания Школы рисования в Веймаре (ср. ниже прим. 18—20). [10] Относится либо к 9, либо к 11. [11] Начиная с 1815 г., Гете являлся консультантом по проекту памятника генералу Блюхеру в Роштоке, над которым работал знаменитый скульптор Шадов (Johann-Gottfried Schadow, 1764—1850). Гете посвятил этому памятнику статью, и Шадов приезжал в Веймар за советами. Гете отправил ему письмо 10 июля (Вейм. изд., IV, 27, 77, № 7448). [12] Вероятно писатель и гравер Губиц (Friedrich-Wilhelm Gubitz, 1786—1870), издававший литературные сборники, в которых Гете опубликовал несколько стихотворений из еще не напечатанного «Западно-восточного Дивана». [13] Эйхштедт (Heinrich-Karl-Abraham Eichstädt, 1772—1848), профессор

филологии в Иенском университете, был редактором «Иенской Всеобщей Газеты» (ср. выше прим. к № 13). В письме от 9 июля Гете просит выслать ему оттиски всех рецензий, помещавшихся им в эйхштедтовской газете (ср. Вейм. изд., IV, 27, 76, № 7446). [14] Вероятно относится к эпизоду, о котором Гете пишет Фойхту (см. ниже прим. 14 к Agenda от 19 июля) в письме от 13 июля (ср. Вейм. изд., IV, 27, 87, № 7455): иенский профессор минералогии Ленц (см. выше прим. 2) вздумал заменить все шкафы, в которых хранились минералы, стеклянными витринами. Гете на это очень рассердился и отменил распоряжение Ленца (ср. дневник от 12 июля; Вейм. изд., III, 5). [15] Относится может быть к случаю, описанному в предыдущем примечании, поскольку Гебель (Karl-Christoph Goebel, 1794—1851) был тоже преподавателем Иенского университета (ср. ниже прим. к письму Августа Гете)[16] Фромманн (Friedrich-Johannes Frommann, 1797—1886)—иенский издатель, у которого Гете печатал свое «Путешествие в Италию». Письмо было отправлено 13 июля (Вейм. изд., IV, 27, 85, № 7454). [17] Образцы визитных карточек Гете хранятся в Институте Русской Литературы при Академии Наук СССР в Ленинграде (см. ниже № 26). [18] Августа Гете [19] В 1816 г. Гете был озабочен постройкой двух новых помещений для Школы рисования (Zeichenschule). Для этой цели было перестроено одно здание на Эспланаде и приспособлен так называемый Охотничий дом (Jägerhaus). Кроме Рабе (см. выше прим. 9) работами руководил архитектор Штейнер (Johann-Friedrich-Rudolf Steiner, 1783—1864) Ср. Вейм. изд., IV, 27, №№ 7412, 7439, 7470. [21] Генаст (Franz-Eduard Genast, 1797—1866), актер и певец, был сыном Антона Генаста (1765—1831), премьера веймарской сцены и ближайшего сотрудника Гете по управлению театром. Гете принимал горячее участие в судьбе молодого Генаста. В 1816 г. он отправляет его в Штутгарт с рекомендацией к издателю Котта и с просьбой, чтобы Котта записал деньги молодого человека на текущий счет своей конторы и выдавал бы ему по 4 гульдена в неделю. Письмо к Котта отправлено 12 июля (ср. Вейм. изд., IV, 27, 83, № 7452).

23. AGENDA (ПАМЯТНЫЙ ЛИСТОК) 19 ИЮЛЯ 1816 г.

(См. репродукцию на стр. 839.)

Agenda

d. 19. July 1816
Mathilde
Paq an Zelter
Paq nach Petersburg
an Vulpius
An Meyer
Medaillen Nachtrag
Medaillen Serenissimo
Zelter
Sartorius
Kaempfer. mineral. Wasser.
Schulze Brief
Seebeck [1]
Lieber
Voigt Schwanchen [2]
Nummern Kirchner [3]
Vergl. Anatomie [4]

Ленинград, Институт Русской Литературы.—[1], [2], [3], [4]—рукой Гете, остальное рукой секретаря. Все—латинскими буквами. Первые три строки перечеркнуты совсем. Остальные отчеркнуты в начале боковым штрихом. Против четвертой, шестой и седьмой строки—слева короткая черта.

Для памяти

19 июля 1816
Матильда [1]

Пак[ет] Цельтеру [2]
Пак[ет] в Петербург [3]
Вульпиусу [4]
Мейеру [5]
медали приложение [6]
Медали Его Светлости [7]
Цельтер [8]
Сарториус [9]
Кемпфер. минерал. вода [10]
Шульце письмо [11]
Зеебек [12]
Либер [13]
Фойгт лебеденок [14]
Нумера Кирхнер [15]
Сравн. анатомия

Ср. Вейм. изд., письма (IV, 27) и дневники (III, 5) июля 1816 г. 19 июля Гете записал в дневнике: «непрерывное устранение всяких обязательств». Действительно, почти все намеченное им в настоящей памятке было им выполнено в этот день. Дело в том, что он собирался на следующий день отправиться вместе со своим другом художником Мейером (ср. прим. 7 к № 22) в путешествие по прирейнским странам, откуда он в предыдущие два года привез обильную поэтическую («Западно-восточный Диван») и искусствоведную жатву (описание путешествий под заглавием «Рейн и Майн»). Ср. прим. 3 к № 22. Однако путешествие это не состоялось, так как при выезде из Веймара 20 июля опрокинулся экипаж. Мейер поранил себе голову, и Гете вернулся домой.— [1] Вычеркнуто. Веймарская дама? [2] Вычеркнуто. В дневнике не значится; см. прим. 8 [3] Вычеркнуто. Следов нет. [4] Вульпиус (Christian-August Vulpius, 1762—1827)—брат жены поэта, Христианы Вульпиус (умершей 6 июня этого года), романист и драматург, был библиотекарем Веймарской библиотеки с 1805 г. Гете вероятно имел в виду какое-нибудь устное распоряжение перед своим отъездом. [5] Неясно, о каком Майере идет речь. С художником Гете виделся ежедневно. [6]—[7] Речь идет о партии медалей, полученных из Парижа, которые Гете разбирал в течение нескольких дней и о которых упоминает в последнем пункте докладной записки к герцогу, посланной в Вильгельмсталь, где находился герцог (Вейм. изд., IV, 27, III, № 7470). [8] Цельтер (Karl-Friedrich Zelter, 1758—1832)—ближайший друг Гете и его постоянный советник по музыкальным делам, положивший множество его стихотворений на музыку. Гете в этот день отправил ему письмо в Висбаден, где Цельтер его ожидал (Вейм. изд., IV, 27, 101, № 7464). [9] Сарториус (Georg Sartorius, 1765—1828)—историк-ориенталист и политический деятель, друживший и переписывавшийся с Гете, находился в то время, так же как и Цельтер, в Висбадене, куда ему Гете и написал 19 июля (Вейм. изд., IV, 27, 101, № 7465). [10] Кемпфер (Johann-Gottfried Kämpfer, 1764—1823)—лейб-хирург веймарского герцога. [11] Шульце—читай: Шульц (Christoph-Friedrich Schultz, 1781—1834)—юрист и правительственный уполномоченный при Берлинском университете, был большим поклонником «Учения о цветах». На эти темы Гете ему и отправил письмо 19 июля (Вейм. изд., IV, 27, 103, № 7466). [12] Зеебек (Johann-Thomas Seebeck, 1770—1831)—химик и физик, помогавший Гете в его естественно-научной работе, и первый специалист, вставший на его сторону и на защиту его «Учения о цветах». Гете пишет ему в Нюрнберг 19 июля (Вейм. изд., IV, 27, 107, № 7467). [13] Либер (Karl-Wilhelm Lieber)—художник, преподаватель Веймарской художественной школы. Судя по дневнику, Гете с ним советовался по поводу «Франкфуртской картинки» (?). [14] Фойгт (Christian-Gottlob v. Voigt, 1743—1819)—веймарский министр. Лебеденок (Schwänchen)—слово прирейнского диалекта, обозначающее съедобное подношение, каковое Гете вероятно послал Фойгту перед своим отъездом. [15] Кирхнер вероятно—Johann-Andreas Kirchner, 1767—1823—строительный инспектор в Веймаре. Возможно—в связи с постройкой новых зданий для художественной школы (см. выше прим. 18—20 к Agenda от 8 июля 1816 г.).

24. ЗАПИСКА С ЗАГЛАВИЕМ КНИГ 3 ИЮНЯ 1819 г.

(См. репродукцию на стр. 845.)

Leben und Thaten Vasko die Gama,
Leben Camoens
Dessen Lusiade. Deutsch

Jena 3 Jun. 1819 Goethe

Ленинград, Публичная Библиотека.—Сверху карандашом чужой рукой: слева—80, посередине—К; в левом нижнем углу чужой рукой чернилами: Goethe.

Жизнь и деяния Васко ди Гама,
Жизнь Камоэнса,
Его Лузиада. По-немецки

Гете

Иена 3 июн. 1819

Записка представляет библиотечный заказ Гете, проводившего летние месяцы в Иене, в Веймарскую библиотеку. 25 июля из библиотеки были выданы Гете: «Camoens, Luiz, de. Die Lusiade. A. d. Portug. in deutsche Ottavereime übers. [von Kuhn u. Winkler]. Lpz. 1807» и «Camoens, Luiz de. La Lusiade: Poème héroïque sur la découverte des Indes Orientales. Trad. du Portugais par Duperon de Castra. T. 1—3. Paris, 1735». 11 августа 1819 г. книги были возвращены Гете в библиотеку (Ellse v. Keudell, Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek. Weimar, 1931, S. 201). Хотя «Западно-восточный Диван» («West-östlicher Divan») в это время находился уже в печати, Гете продолжал усиленно заниматься историей Востока, в особенности же путешествиями на Восток, которым он уделяет много места в своих примечаниях (Noten und Abhandlungen) к «Дивану». В эти дни он изучал Делла Валле (Pietro della Valle, итальянец, 1586—1632) и Марко Поло (Marco Polo, итальянец, 1254—1323). Неудивительно поэтому встретить имя Васко де Гама (Vasco de Gama, португальский мореплаватель, 1469—1524) и Камоэнса (Loius de Camoens, португальский поэт, 1523—1580), воспевшего плавания Васко де Гама в своей знаменитой эпической поэме «Лузиады». Кроме того следует напомнить, что интерес к испанской и португальской литературам пробудился в Гете в особенности в годы его работы над «Диваном».

25. НЕОКОНЧЕННАЯ ОПИСЬ ГРАВЮР

(См. репродукцию на стр. 851.)

1. Poesie n Raphael von Kauzig
2. Apoll von Belv. von Bury
3. Brutus Sohn von Tischbein.
4. Prophet nach Mic. Ang v. Bury
5. Jupiter.
6. Getödteter nach Raph. v. Kauzig
7. Statue nach Ant. v. Bury.
8. Antiker Fus. [?] von.

Ленинград, Публичная Библиотека.—Латинскими буквами на большом листе разграфленной в два столбца бумаги. Цифры—в первой графе, названия — во второй. Еще две пустых графы. Сверху посередине чужой рукой карандашом: Écriture de Goethe (рука Гете). В шестой рубрике в слове Kauzig большое K переправлено повидимому из большого B[ury?].

1. Поэзия по Рафаэлю работы Кауцига
2. Аполлон Бельв[едерский] работы Бури [1]
3. Сын Брута работы Тишбейна [2]
4. Пророк по Мик[ель] Андж[ело] работы Бури
5. Юпитер
6. Убитый по Раф[аелю] раб[оты] Кауцига

7. Статуя с ант[ичного] раб[оты] Бури
8. Античная нога [?] работы

Повидимому—начатая опись гравюр и рисунков. [1] Бури (Friedrich Bury, 1763—1823)—художник, с которым Гете познакомился в Италии и с которым он продолжал общаться и впоследствии. Бури нарисовал портреты Гете и Христианы в 1800 г. [2] Тишбейн (Johann-Heinrich-Wilhelm Tischbein, 1751—1829)—известный художник, с которым Гете сблизился в Риме и который написал там знаменитый портрет «Гете в Римской Кампаньи». Гете собирал рисунки Тишбейна в большом количестве и на многие из них писал стихи.

26. АВТОГРАФ НА ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКЕ

(См. репродукцию на стр. 791.)

Geh. Rath
von Goethe

Тайн. советник фон Гете.

Ленинград, Институт Русской Литературы.—Готическими буквами на визитной карточке.

Там же две печатных визитных карточки (см. репродукции на стр. 231 и 491).

а) Grossherzoglich Sachsen-Weimarischer
wirklicher Geheimrath und
Staatsminister
von Goethe

Великогерцогский Саксен-Веймарский действительный тайный советник и министр фон Гете

б) Geheim Rath
von
Goethe

Тайный Советник фон Гете

IV. НАДПИСИ НА КНИГАХ

Эти по содержанию своему незначительные и стереотипные обращения снова вводят в круг русских знакомств Гете. Наряду с громкими именами Марии Федоровны, вдовы Павла I, и декабриста Кюхельбекера всплывает имя некоей диаконицы Егоровой, которая известна только по нескольким упоминаниям в гетевских дневниках и которая не может не вызвать интереса в связи с мало исследованным вопросом об отношении Гете к русским, жившим в Веймаре, и к ближайшему окружению Марии Павловны.

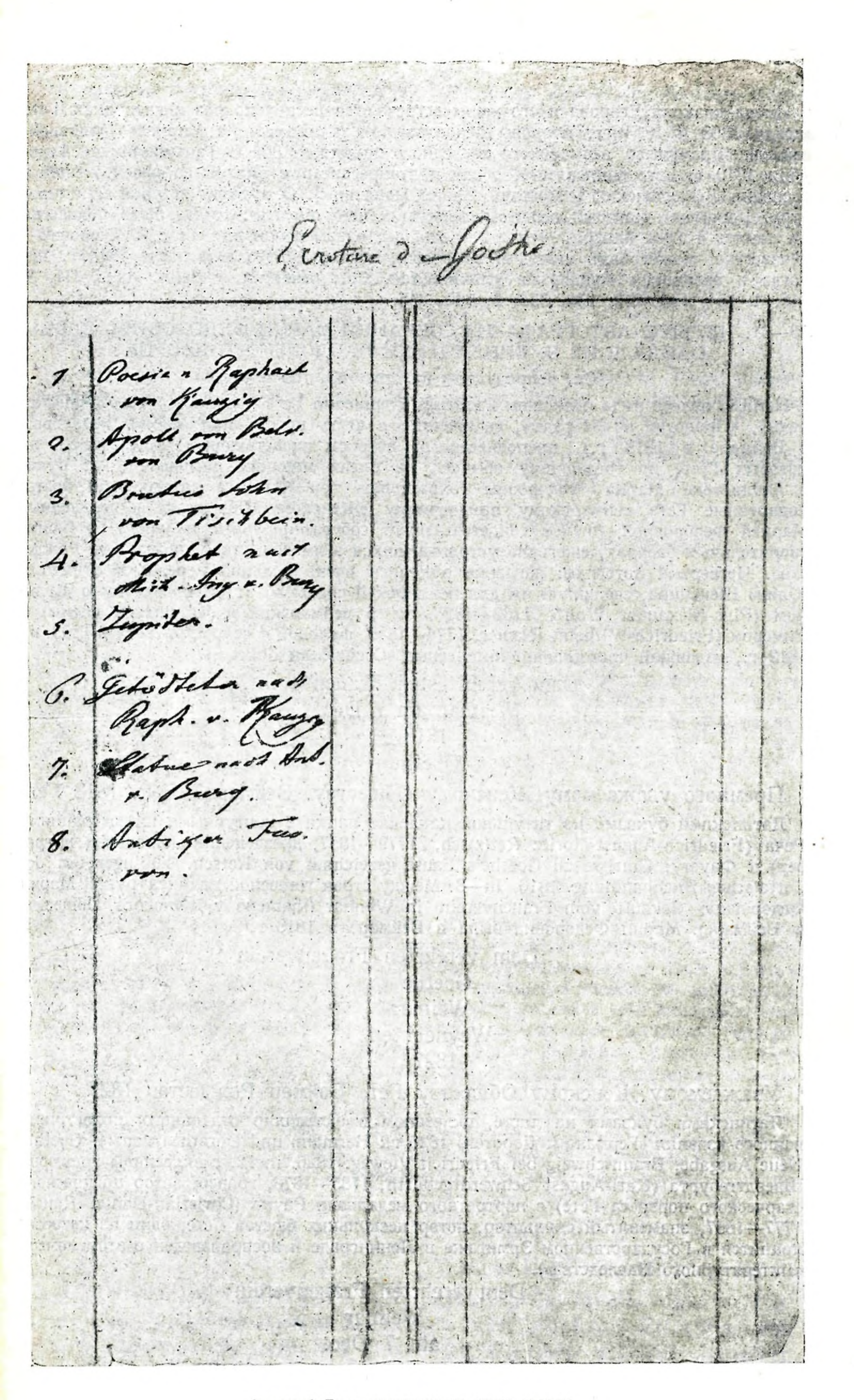
27. НАДПИСЬ НА КНИГЕ, ПОДАРЕННОЙ ЖЕНЕ ДИАКОНА ЕГОРОВА

(См. репродукцию на стр. 117.)

An Frau
Diaconus Egorow,
mit aufrichtigen
Seegenswünschen
zum 18-ten Januar,
von
Goethe
Weimar
1814

Ленинград, Институт Русской Литературы.—Латинскими буквами на форзаце экземпляра отдельного издания «Германа и Доротеи»: Hermann und Dorothea von Goethe. Stuttgart und Tübingen. In der Cotta'schen Buchhandlung. 1814. На титульном листе русская надпись: А. Егорова.

Супруге диакона Егорова, с искренними благопожеланиями к 18-му января, от Гете. Веймар 1814.


Ecritoire d. Goethe

1 Poesie n. Raphael von Kaaz
2. Apoll von Belv. von Bury
3. Brutus Sohn von Tischbein.
4. Prophet nach Mich. Ang. v. Bury
5. Jupiter.
6. Getödtete nach Raph. v. Kaaz
7. Statue nach Ant. v. Bury.
8. Antiker Fuss. von.

Автограф Гете—неоконченная опись гравюр
Публичная Библиотека, Ленинград

Имена диакона Егорова и его жены встречаются несколько раз в дневниках Гете между 1808 и 1814 гг. Егоровы вероятно приехали вместе с Марией Павловной, вышедшей замуж за веймарского наследного принца в 1804 г. Так например, 4 ноября 1810 г. Гете записал: «К обеду протопресвитер и диакон со своей женой и господин Левандовский [секретарь Марии Павловны]. О русской истории и литературе. Карамзин, который вводит немецкую манеру писать». Книга была поднесена на память о 18-м января. Чем этот день был ознаменован для Гете и Егоровой— неизвестно; может быть отъездом Егоровых, поскольку это имя после 1814 г. никогда в дневниках больше не упоминается. Ср. дневники в Вейм. изд., III, 3, 346; 4, 164, 198, 212, 250, 353; 5, 100, 345.

28—31. ЧЕТЫРЕ АВТОГРАФА ИЗ СОБРАНИЯ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ, ВДОВЫ ПАВЛА I, ИЗ Б. БИБЛИОТЕКИ ПАВЛОВСКОГО ДВОРЦА

(См. репродукции на стр. 163, 165 и 167.)

Помимо целого ряда роскошных изданий сочинений Гете (главным образом «Маскарады», «Прологи» и «Шарады», сочиненные в честь пребывания Марии Федоровны в Веймаре в 1818 г.), преподнесенных автором вдовствующей императрице, на которых Гете, по тогдашнему обычаю, не писал никаких посвящений от руки, в библиотеке Марии Федоровны сохранились три книги с автографами поэта, подаренные Гете веймарскому придворному «Женскому Обществу» и купленные Марией Федоровной (о чем свидетельствуют собственноручные надписи) на благотворительных базарах, ежегодно устраивавшихся этим обществом, обычно на Рождестве. Четвертый автограф: заглавие рукописи очень вольной переделки «Ромео и Юлии» Шекспира, сделанной им для веймарской сцены в 1811 г. совместно с Вольфом (Pius-Alexander Wolff, 1782—1828, актер веймарской и берлинской сцены) и Римером (Friedrich-Wilhelm Riemer, 1774—1845, филолог и секретарь Гете с 1803 по 1812 г., издавший чрезвычайно интересные «Сообщения о Гете»).

Dem verehrtesten Frauenverein.
Weimar am 7 Dec.
1818
Goethe

Премного уважаемому Женскому Обществу. Веймар 7 Дек. 1818 Гете

Латинскими буквами на титульной наклейке папки с контурными иллюстрациями Реча (Friedrich-August-Moritz Ret(z)sch, 1779—1857, дрезденский живописец и гравер) к Фаусту: Umrisse zu Goethe's Faust gezeichnet von Retsch. Tübingen, in der Cotta'schen Buchhandlung. 1816. In—8. Между строк гетевской надписи рукой Марии Федоровны: Gekauft vom Frauenverein in Weimar (куплено у Женского Общества в Веймаре). Мария Федоровна была в Веймаре в 1818 г.

Dem verehrten Frauenverein
Goethe
Weimar
Weynachten
1827

Уважаемому Женскому Обществу Гете Веймар Рождество 1827

Латинскими буквами на листе, вклеенном в экземпляр отдельного иллюстрированного издания «Германа и Доротеи» 1826 г.: Hermann und Dorothea von J. Goethe. Neue Ausgabe. Braunschweig bei Friedrich Vieweg. 1826. in 12. с вклеенной гравюрой Швердтгебурта (Karl-August Schwerdtgeburth, 1785—1878, гравер, автор прекрасного старческого портрета Гете) с портретного медальона Рауха (Christian-Daniel Rauch, 1777—1857, знаменитый скульптор, автор нескольких бюстов Гете, один из которых хранится в Государственном Эрмитаже в Ленинграде и воспроизведен в этом номере «Литературного Наследства»).

Dem verehrten Frauenverein
Weimar
am 7 Dec.
1818
Goethe

Уважаемому Женскому Обществу Веймар 7 дек. 1818 Гете

Латинскими буквами на форзацах двух томов книги Вильг.-Хр. Мюллера «Париж в зените»: Wilh.-Chr. Müller, Paris im Scheitelpunkte oder flüchtige Reise durch die Hospitäler und Schlachtfelder zu den Herrlichkeiten in Frankreichs Herrscherstadt im August 1815. Herausgegeben von Wilhelm-Christian Müller, Dr. zweitem Lehrer am Lyceum in Bremen. Zweites Bändchen mit 2 Kupfern. Bremen. Gedruckt bei Johann-Georg Heyse. 1818. 2 Bde, in—8. Сверху рукой Марии Федоровны: Gekauft im Frauenverein in Weimar (куплено в Женском Обществе в Веймаре).

Romeo und Julia
nach Schakespeare und Schlegel
von Goethe

Ромео и Юлия по Шекспиру и Шлегелю Гете

На титульном листе рукописного экземпляра гетевской переделки «Ромео и Юлии» Шекспира. Рукопись (in 4°) в папочном переплете, писана каллиграфически; ряд мест в ней подчеркнут.

32. НАДПИСЬ НА КНИГЕ, ПОДАРЕННОЙ В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРУ 23 НОЯБРЯ 1820 г. (См. репродукцию на стр. 393.)

Herrn von Küchelbecker zu freundlichem Andenken

Goethe

Weimar
d. 23 Nov.
1820

Ленинград, Публичная Библиотека.—Латинскими буквами на экземпляре отдельного издания «Маскарадного шествия» 1818 г. «Bey Allerhöchster Anwesenheit Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna in Weimar Maskenzug. 1818». (В высочайшем присутствии Ее Величества Августейшей Матери Марии Феодоровны в Веймаре Маскарадное Шествие. 1818).

Господину фон Кюхельбекер на добрую память

Гете

Веймар
23 нояб.
1820

В. К. Кюхельбекер находился в Веймаре как раз в этих числах ноября, и несомненно Гете сам преподнес ему эту книгу. Об отношениях Гете к Кюхельбекеру см. работу С. Н. Дурылина. Этот «Маскарад» является драматической кантатой, в которой, по словам автора, «должны были быть представлены местные плоды воображения и размышления и должны были содержаться намеки на многолетние и разнообразные удачные достижения». Текст кантаты вложен в уста многочисленных аллегорических фигур и действующих лиц из произведений Виланда, Гердера, Шиллера и самого Гете («Гец» и «Фауст»). В форме льстивого панегирика Гете дает пышную поэтическую картину развития немецкой литературы своего времени.

Для полноты обзора приводим автограф письма сына поэта Августа Гете (Julius-August-Walther v. Goethe, 1789 — 1830) к К. Гебелю от 1 октября 1825 г. (см. репродукцию на стр. 272—273). Письмо это ошибочно приписывается самому Гете Б. В. Томашевским, опубликовавшим его в юбилейном сборнике «Гете» Академии Наук СССР.

[An K. Chr. T. F. Göbel]

Weimar den 1-ten Octob. 1825

Auf Ew. Wohlgeb. anher gerichtetes Schreiben des Inhalts, dass im Fall Sie als Cavent (?)[1] für dortige Studirende hinsichtlich der Erlangung von Büchern aus der weimarischen Bibliothek eintreten wollten, denselben Bücher verabfolge werden könnten, ist von Seiten Grosshrzgr Oberaufsicht der Herr Bibliothekar Dr Güldenapfel hiezu, jedoch ausnahmsweise,

veranlasst worden, welches zu melden nicht verfehle und mich zugleich in geneigtes Andenken zurückrufe

Ew Wohlgeb.
ergebener Diener
A W v Goethe

Ленинград, Институт Русской Литературы.—Рукой секретаря, кроме слов ergebener Diener и подписи, написанных рукой Августа Гете. [1] Вероятно: Garant. Письмо сложено пакетом, запечатано Веймарской гербовой печатью и на обороте значится:

Sr Wohlgeb.
Herrn Professor Dr Göbel
zu
Jena

Gerichtet
v. Goethe

Его Высокородию господину профессору д-ру Гебелю в Иене. Слева: отправлено ф. Гете—той же рукой, что и подпись на письме

[К. Хр. Т. Ф. Гебелю]

Веймар 1-го октября 1825.

В ответ на полученное нами от Вашего Благородия письмо о том, чтобы, в случае если бы Вы пожелали выступить поручителем за тамошних студентов в деле получения ими книг из университетской библиотеки, выдача книг им была разрешена, господин библиотекарь доктор Гюльденапфель получил, однако в виде исключения, разрешение на это от Великогерцогской Оберинспекции, о чем я спешу поставить Вас в известность и в то же время прошу хранить обо мне добрую память.

Вашего Благородия
покорный слуга
А В ф Гете

Гебель (Karl Christian Traugott Friedemann Göbel 1794—1851), по образованию химик и фармацевт, обосновался в Иене в 1813 г., где состоял заведующим основанной им университетской (так наз. Гебелевской) аптеки, а затем с 1824 г. и профессором фармакологии. 3 марта 1828 г. он обращается к Гете с просьбой рекомендовать его в Дерптский университет, «так как, — пишет он (ср. Вейм. изд., III, 12, 375),—ведь и в России влияние Вашего Превосходительства столь велико и признано, что для меня едва ли может быть что-либо выгодней, чем слово, сказанное вами в мою пользу». Упоминаемый в письме Гюльденапфель (Georg Gottlieb Güldenapfel, 1776—1826) был профессором философии и библиотекарем Иенского университета.

Многочисленные сведения о целом ряде других автографов Гете, находившихся в руках русских знакомцев Гете, сохранились в различных печатных источниках. Так, кроме вышеприведенного автографа «Eigenthum», Жуковскому принадлежало еще три автографа Гете: первый—отрывок из второй части «Фауста» (стихи 1391—1424), подаренный Жуковскому Эккерманом в 1837 г., второй—«Мариенбадская элегия» и третий автограф—письмо Гете к Жуковскому от 16 ноября 1821 г. «Несколько поэтических строк» вписал Гете в июне 1821 г. в альбом жены Николая I Александры Федоровны. В 1830 г. художник Е. Р. Рейтерн прислал Гете «богатый, сделанный золотояркими красками рисунок, изображающий рамку, в которой оставлено пустое место», куда просил поэта вписать какое-нибудь стихотворение. Гете подарил Рейтерну автограф стихотворения «Gebildetes fürwahr genug». И еще в 1899 г. автограф этот, вклеенный в рамку, фигурировал на выставке произведений Рейтерна (см. «Каталог посмертной выставки рисунков и картин Е. Р. Рейтерна в память столетней годовщины со дня его рождения». П. 1894 г.; здесь под № 48 указано «Арабеска; в середине стихи Гете. Акварель на золотом фоне»). В 1836 г. А. И. Тургенев получил в Веймаре три рукописных клочка с поправками Гете. Дальнейшие розыски в архивохранилищах Союза несомненно помогут выявить и такие гетевские автографы, о которых никакие сведения не проникали в печать.

А. ЭФРОС

ГЕТЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДСТВЕ СССР

I

В кругу великих долголеток литературы никто не богат так портретами, как Гете. Ни старейшина, Вольтер, со своими восемьюдесятью четырьмя годами, еще заставший первые гетевские триумфы и умерший спустя несколько лет (1778) после появления «Вертера», ни герой послегетевского поколения Гюго, проживший те же восемьдесят три года, что и веймарский поэт, и проводивший его в могилу уже тридцатилетним человеком в начале расцвета собственной славы, ни даже Веньямин этой семьи, наш Лев Толстой, который родился, когда Гете был еще в живых, а умер восьмидесяти двух лет уже нашим современником,—ни один из них не может сравниться своей художественной иконографией с Гете. Вольтеру помешал его век, щедрый на восхваленья словом, но скупой на увековечивание искусством и исчерпавший свое внимание к «фернейскому крикуну» Латуром, Гюбером, Гудоном и несколькими граверами; Гюго пересекло дорогу открытие дагерротипа, и его портреты сводятся, в сущности, к живописи Бонна при жизни и скульптурам Родена после смерти, да к рою зарисовок и карикатур, кружившихся вокруг него и в прижизненном, и в посмертном состоянии. Наконец Толстого прямо аннексировала фотография, тогда как вялое русское искусство сочло достаточным удовлетвориться несколькими портретами Крамского, Репина и Ге, скульптурными эскизами Трубецкого и Гинзбурга и зарисовками Пастернака, сопровождавшимися не слишком густой сатирико-графической мошкарой; остальное стало доделываться уже без старика, наизусть, в мемориальных целях.

Портретная галерея Гете не только велика, но и цельна. От первой известности до смертного ложа, с 1770 по 1832 г., художники закрепляли гетевский облик всеми видами искусства: живописью, скульптурой, рисунком, гравюрой, силуэтом, воском, медалями, камеями. Это явилось не только следствием сочетания мировой славы и патриотического внимания, которым Германия со старонемецкой методичностью окружала Гете, но и особого интереса к своей иконографии, которое проявлял он сам. Гете ввел свое портретирование в систему; он считал это одной из основных норм поведения, которое должно было быть у общества по отношению к нему. Он проводил это с таким же размахом и настойчивостью, с каким осуществлял свои литературные замыслы. Раз в год, раз в два года должно было появляться его новое изображение. Христиан Раух, скульптор, записывая в дневник подробности своей работы над гетевским бюстом, отметил между прочим, что он начал работать «aufs Goethes Wunsch um den gegenwärtigen Augenblick zu fixieren»—«по желанию Гете, чтобы запечатлеть нынешний момент». Здесь характерная черта гетевской портретистики. Именно так, по этапам, вырастал весь ее ряд. Когда просматриваешь в ней вещь за вещью и видишь это развертывание дат, погодно сменяющих друг друга, испытываешь словно бы даже легкое потрясение от неуклонности, с какой складывалась их цепь.

Гете делал это открыто; он не прикидывался равнодушным, не лукавил с обществом, как Толстой, всегда охотно готовый нехотя отдать себя карандашу или фотографическому объективу. Для Гете портретироваться—значило осуществлять то, что было составной частью его натуры и что проявлялось так же властно, как проявлялся в нем эротизм или естествоиспытательство. В ранние годы интерес к вопросам физиономики побудил его принять участие в составлении знаменитых «Опытов» Лафатера, для которых в вертеровский период 1774—1775 гг. он написал ряд теоретических и описательных фрагментов. Уже тогда он сформулировал основной закон портретизма, утверждая, что физиономика—это «наука умозаключать от внешнего к внутреннему» («Diese Wissenschaft schliesst vom Äusseren aufs Innere»). Он сохранил эту догму до конца дней, повторив ее в знаменитых стихах: «Nichts ist

drinnen—Nichts ist draussen—Denn was innen—Das ist aussen...» Искусство портрета тем самым становилось значительнейшим из художеств, а собственная иконография—важным жизненным делом. «Человек есть высший и даже специфический предмет изобразительного искусства» («Der Mensch ist der höchste ja der eigentliche Gegenstand der bildenden Kunst») написал Гете во вступлении к «Пропилеям».

Для этого избалованного славой человека, который мог бы пресытиться знаками внимания к себе, но так до конца дней и не пресытился, каждый его новый портрет, будь то большая работа маслом, или только скромный медальон, являлся событием. Гете отмечает в дневнике сеансы, посылает сообщения в письмах к друзьям, разговаривает с окружающими о каждом новом детище своей иконографии. Он отзывается всегда благосклонно, словно ни неудачных, ни просто плохих портретов художники с него не писали. Он неизменно находит повод быть довольным и похвалить; в редких случаях—молчит. Это имеет вид, точно Гете наперед согласен с неизбежностью того, что он не таков, каков есть, а таков, каким его изображают.

Может быть тут сказывалось то, что он сам знал трудности ремесла. Прежде чем сделаться писателем, он готовился стать художником. У него были учителя; он много рисовал. Но поэтический гений быстро и легко обогнал в нем изобразительные способности и навсегда оставил его недорослем в искусстве. Несоразмерностью между своими литературными и художественными силами он тяготился. Упоминания и заметки в «Dichtung und Wahrheit» много говорят о его неудачах и затруднениях в искусстве, как его письма говорят о том, что перестать рисовать он не может, ибо это оказывается сильнее его. Так было в молодости, так оставалось до конца. «Я много рисую,—пишет он в 1776 г.,—но вижу ясно, что никогда не сделаюсь художником»; тут одна сторона медали, а вот другая: «У меня снова приступ рисовальной лихорадки» (1786). Шестидесятидвухлетним стариком в 1810 г. он все так же пишет об «изумительном порыве к рисованию», а в 20-х годах готовится собрать свои рисунки и выпустить их альбомом—итог труда маленького художника в великом поэте.

Несоизмеримость поэта и рисовальщика в Гете действительно огромна; однако если отвлечься от равнения по гению, оценить гетевские изобразительные опыты можно было бы иначе. В конце концов, его ландшафты не хуже, чем у какого-нибудь Филиппа Гаккерта, о котором он так лестно писал; они не слабее рисунков огромного большинства его немецких современников, числившихся признанными мастерами. Это были все средние техники, старательные, но не артистичные, педанты своих линий, перспектив и усвоенных приемов. Среди них Гете был совсем не последним. Во всяком случае его нельзя назвать просто дилетантом. Он многое знал и многое умел. Бытовой, «голландский» реализм, его ранневеймарских пейзажей, высокая классика рисунков итальянского путешествия, фантастика композиций к «Фаусту» отнюдь не отступают в тень, попадая в соседство с работами профессионального круга; их недостаток только в том, что они тем ровни. Однако среди рисунков Гете есть и такие, которые резко выделяются: у него встречаются листы, которые почти на столетие опережают эпоху, которые можно принять за рисунки конца XIX в. Эти беглые пейзажи, закрепленные как бы на лету, окутанные дымкой воздуха, с полусмутными абрисами деревьев и изгородей, дорог и канав, кажутся произведениями импрессиониста. Случайны ли они? Едва ли! В них есть повторяемость и сознательность эксперимента. Это видимо опыты такого же порядка, какие делал Гете в других областях; Гете-исследователь поднимал здесь до себя Гете-художника. Импрессионизмом набросков своего веймарского «Сада» он экспериментировал так же, как это делал, строя морфологию растений, учение о цветах и пр. Тут был бросок в будущее—гениальный намек на то, что развили и усложнили потомки. Этим прото-импрессионизмом в рисунке Гете становился равен себе.

Знаменательно, что у него нет автопортретов. То, что именуется так, именуется произвольно. Франкфуртский рисунок комнаты с неясной фигуркой у окна, за столом, может быть назван «Selbstporträt» лишь при наличии незаурядной уступчивости зрителя. Перед задачами самоизображения Гете отступал. Он портретировал себя только чужими руками. Он почти не изображал других; портретные наброски у него единичны; он явно робел перед ними. «Der eigentliche Gegenstand der bildenden Kunst» был ему не по плечу; дара сходства у него не было. Это должно было особенно располагать к удовлетворенности тем, что давали ему его портретисты. Удовлетворенность же у него переходила в нетребовательность.

И в самом деле гетевская портретная галлерея—скорее собрание свидетельств современников, нежели произведений искусства. Ее художественный уровень невысок. Он отразил провинциальность немецкого искусства гетевской эпохи, и ее портретной живописи в особенности. Тишбейн и Анжелика Кауфман для конца XVIII в. и

Штилер—для начала XIX—это лучшее (если не считать Антона Граффа), что у нее было и что она предоставила в распоряжение Гете. Но это было куда как немного в сравнении с руководящим искусством Франции и даже в сравнении с отстававшим русским искусством, имевшим все же Левицкого, Боровиковского и Рокотова для финала одного столетия и Кипренского—для начала другого. Не будь в немецкой скульптуре замечательных гетевских бюстов Шадова и Рауха, портретная галлерея Гете едва-едва выходила бы за пределы коллекции чисто иконографического материала.

Доля иностранного искусства в ней невелика. Она меньше, чем могла бы быть. В сущности, Англия, Франция и Россия дали Гете по одному портретисту: Англия—Джорджа Дау, Франция—Давида д'Анжер, Россия—Кипренского. Но вокруг них

Акварель Гете
Обвалившиеся штольни близ Ильменау
Goethehaus, Веймар

были младшие силы, изменявшие общую картину в соответствии с тем интересом, который проявляла к Гете каждая страна. Русская часть здесь больше остальных: гетевские связи русских людей были обширнее, чем у французов и англичан; недаром гетевская полоса в нашей литературе 1810—1830-х годов так определенна и ощутительна. Наличие гетевских реликвий в наших музеях и собраниях достаточно велико. Но оно пестро пестротой разновременного и случайного накопления, и его художественная часть делит ту же судьбу. В ней есть все, от лубка, притязавшего быть иллюстрацией к знаменитому произведению, до лучших реплик, которыми располагала немецкая портретная гетеана.

Собственно, о русских иллюстрациях к Гете можно почти не упоминать. Своих рисовальщиков и граверов русское искусство Гете не отдавало. В новейшую эпоху фотомеханического репродуцирования оно было избавлено от этого возможностью беззаботного воспроизведения готовых западных образцов; в середине столетия оно не делало для Гете ничего вообще; а в конце XVIII в. оно один раз перевело в лубочный лад немецкие иллюстрации к «Вертеру»: таковы гравированные картинки, сопровождавшие русский перевод 1796 г. «Страстей младого Вертера. Сочинение г. Гетте. С присовокуплением писем Шарлотты к Каролине, писанных во время ее знакомства с Вертером». Их изобразительный стиль был в соответствии с этой словесностью. Немецкие оригиналы сами не являлись первоисточниками; они тоже транс-

понировали для общедоступного издания более высокие образцы гравюры. Но их пониженный стиль был доведен русским безыменным гравером до чистейшей ярмарочности, до совершенного уподобления канонам отечественного лубка. Какое воображение надо было иметь, чтобы в этих фигурах признать вертеровских героев! Однако признавали и потрясались их страданиями.

II

Первое русское изображение Гете связано с Жуковским. Оно не его работы, но он был тем, кто впервые выбрал, оттиснул и распространил гетевский облик среди российских читателей. Он сделал это в качестве нового редактора «Вестника Европы»: в 1808 г. он возглавил издание. Портрет появился в ноябрьской—декабрьской книжке на титульном листе. После уединенного, четырехгодичного сидения в «Мценском» Жуковский входил признанным, почти уже знаменитым поэтом в большой свет словесности. Начинались годы его расцвета. Редактирование «Вестника Европы», числившего своим первым водителем Карамзина, знаменовало, что певец «Светланы» поднимает свой флаг над русской поэзией. Немецкие цвета, в противоположность традиционным французским, стали занимать в нем преобладающее место. Портрет Гете был в этом смысле отнюдь не случайностью. Мало ли модных имен, любимцев публики, могли украсить заглавную страницу журнала? Гетевский профиль был символом новых тяготений. Заветы недавно умершего друга, Андрея Тургенева, получили здесь своего рода общественное проявление. В этом же году Жуковский впервые сделал опыт стихотворного подражания Гете в «Моей богине». Знаменателен и повод, вызвавший появление портрета. Его надо искать в письме из Веймара, напечатанном в той же книжке «Вестника Европы». Там сообщается о великом местном событии, имевшем неожиданный историко-литературный финал. Событием явилось посещение Веймара обоими императорами после знаменитого Эрфуртского свидания; финал же заключался в апофеозе Гете, почтенного особым вниманием Бонапарта. В письме говорится: «...Наконец и Веймар, славный доселе одними учеными людьми, удостоился присутствия двух первых монархов во вселенной—Александра и Наполеона. Они провели в нем два дня вместе со многими коронованными особами Германии и некоторыми великими чиновниками обеих империй, Французской и Российской. Наш герцог, находившийся в Эрфурте, пригласил Александра и Наполеона в свою столицу на стрельбу оленей и зайцев... После обеда французские актеры, прибывшие из Эрфурта в Веймар, представляли Вольтерову трагедию «Кесарева смерть»... Герцогская ложа была занята дамами; при них находился старик Виланд. После театра был дан при дворе бал, который император Александр открыл с королевой Вестфальской. Наполеон между тем разговаривал с герцогиней, Виландом и Гете. Последний за несколько дней перед тем завтракал у императора; он очарован его разговором и почитает его величайшим из гениев. И Гете понравился Наполеону, который, говоря о нем, назвал его «un homme comme il faut...»

Российскому литературному мирку, еще сплошь чиновному, было над чем поразмыслить. Суть состояла в том, что Наполеон мог так встречаться с поэтом, но не с великогерцогским министром. Он отдал дань литературному гению, а его двойника, местного царедворца, он пожелал бы заметить еще меньше, нежели его хозяина, второстепенного немецкого князька. Провинциального Карла-Августа он предоставил его родственному покровителю, Александру, сам же занялся мировым поэтом. Так приблизительно определялся общественный смысл того, что произошло в Веймаре с точки зрения молодого Жуковского, еще не нашедшего чиновного покоя в лекторстве при дворе и воспитательстве великих князей. В Веймаре великий писатель встретился с великим завоевателем как носитель власти самостоятельной державы. Эта встреча как бы осветила будущие взаимоотношения власти и литературы в наступавшем буржуазном столетии. Титульное помещение портрета Гете в сочетании с корреспонденцией из Веймара явилось как бы маленьким общественно-литературным актом, не выходившим за российскую официальную благопристойность, но в то же время понятным для тех людей молодого поколения, кто умел читать, размышлять и чувствовать. Освященное первым примером Андрея Тургенева, русское увлечение Гете,—самоутверждающейся личностью, встающей на встречу веку, где ей будет отведено хозяйское место,—получало здесь свою социальную эмблему.

Но ежели этот внутренний смысл иконографической затеи «Вестника Европы» ясен, то ее внешняя история предположительна. Мы можем определить, что представляет собой портрет Гете на заглавном листе журнала, равно как и то, кто гравировал его, но не знаем, почему именно этот тип изображения был избран? Гравюра имитирует круглую миниатюру в металлической оправе; она воспроизводит известную работу Иоганна-Даниэля Багера, сделанную маслом, в предвертеровский

Гравюрная иллюстрация из книги „Страсти молодого Вертера, соч. г. Гетте" в переводе И. Виноградова (СПБ, 1796)

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

период, около 1773 г. Но как добрался прототип, хранящийся ныне в Вене, до московского гравера, выполнившего заказ Жуковского? Представляется правдоподобным единственное предположение, которое объясняет и характер композиции, и тип портрета: у Жуковского под руками видимо было какое-то немецкое издание с таким же портретом, который он приказал прикомпоновать к заглавию ноябрьской—декабрьской книжки своего журнала. Этим изданием мог быть второй том гомбургской контрафакции «Сочинений» Гете, самовольно выпущенных Хр.-Фр. Гомбургом в 1775 г. в Берлине и вызвавший у автора бурный припадок негодования, которое даже спустя пятьдесят лет, в «Dichtung und Wahrheit», нашло лютые слова для бесцеремонного издателя. Этот второй том содержит гравюру, сделанную Христ.-Гот. Гейзером (1747—1803) с оригинала Багера, полуфигурой, в овальном медальоне, заключенном в прямоугольник; под ним, в четырехугольной рамке, надпись: Goethe. Профиль обращен вправо. Московский гравер, скопировав гейзеровское изображение, получил при печати обратное направление рисунка, влево, к корешку журнала; всю же композицию он сделал по-московски, примитивнее и шаблоннее; подпись «Гете» прикрепил просто и незамысловато под снимком; двойную конструкцию овала и прямоугольника заменил нехитрой имитацией круглой миниатюры; соотношения заглавия журнала, места издания и даты печатания не выверил и не сладил, а главное—переложил совсем по-рассейски облик Гете: это больше схема, чем воспроизведение Гейзера-Багера,—своего рода портретный примитив, проявление ремесленничества, тяжелорукого и косноглазого. Первый знак иконографического внимания России к Гете был вполне провинциален: тут, так сказать, Чухлома отвешивала поклон Веймару. Мастер был как раз под стать этому. Под портретом нет подписи; но имя гравера определяется по той серии портретов, которую в 1808 году поместил на своих страницах «Вестник Европы». Все они однотипны, больше того — однообразны. Они помещены на одном и том же месте титульных листов, обведены общей круглой рамкой и снабжены надписями одинакового вида. Их делала одна и та же рука. Ее уменья и старанья хватило на то, чтобы вос-

производить чужие оригиналы, но не на то, чтобы перерабатывать их на единый лад. Внутри рамок — пестрая разнохарактерность портретов. Надписи гласят, что перед нами: Лафатер (март—апрель), Мунго Парк (май—июнь), Кант (июль—август), Клопшток (сентябрь—октябрь), Гете (ноябрь—декабрь). Первые три подписаны гравером, последние два безыменны. Но уже Ровинский в «Словаре граверов» объединил все пять под одним именем, и нет оснований отвергать его аттрибуцию. Тот московский гравер, Алексей Касаткин, который пометкой «гр. А. Касаткин» указал свое авторство под портретами Лафатера, Мунго Парка и Канта, — он же сделал Клопштока в фас и Гете в профиль. От приемов моделлировки лица и костюма до черной массы, заполняющей фон — все в них едино тем единством, которое создается бедной негибкостью техники. Лучшее, что о ней можно сказать, это то, что она старается быть тщательной и опрятной. Это примиряет с ее провинциальностью, но она же и подчеркивает ее.

Не лучше оказался и второй опыт портретной руссификации Гете, сделанный восемь лет спустя. Он появился в русском издании «Вертера» 1816 г. Это издание было простой перепечаткой перевода, сделанного в 1796 г., и носило то же заглавие «Страсти младого Вертера. Сочинение г. Гетте. С присовокуплением писем Шарлотты к Каролине, писанных во время ее знакомства с Вертером». Но в томике 1796 г. как раз портрета автора не было; теперь же читатель «Страстей» встречал на титульном листе облик знаменитого сочинителя. Гете было в эту пору уже шестьдесят семь лет; шло великое паломничество в Веймар; уже вышли в свет знаменитые переводы Жуковского, звучавшие почти конгениальными образами и ритмами; искательный Уваров, карьеры ради, уже морочил веймарского всечеловека азиатско-академическим прожектерством; вступало в жизнь уже второе поколение русских гетеанцев—московские любомудры; но российский «Вертер» 1816 г. преподносил опять, как «Вестник Европы» в 1808 г., все тот же образ Гете, еще раз переложенный на лубочный лад.

Это делалось не по высоким умозрениям о вечной молодости поэта и не для того, чтобы привести портрет автора в соответствие с текстом; дело обстояло проще: брали то, что лежало под руками, что не доставляло хлопот; под руками же был все тот же гомбургский незаконный томик 1775 г., использованный «Вестником Европы» восемь лет назад. Гравером снова был ремесленник; ни один из опытных мастеров русской гравюры привлечен не был. Портрет выполнен анонимом, еще менее искусным и артистичным, нежели в журнале Жуковского. Русская иконография Гете шла не вперед, а назад. К «Вертеру» издания 1816 г. приложен чистейший лубок, сделанный вульгарным резцом. Юношественность франкфуртского портрета Багера, еще сохраненная в медальоне «Вестника Европы», исчезла вовсе. Образ сочинителя «Вертера» выравнен по картинкам лубочной литературы, вариантом какой-нибудь портретной гравюры к сочинениям Матвея Комарова. Он менее всего молод, этот «г. Гетте», пребывающий в мрачном прямоугольнике, стоящем на мраморной доске с надписью. Эстетика тех кругов, для которых предназначался русский «Вертер», требовала, чтобы сочинитель был изъязвлен опытом страстей, а рука гравировщика-лубочника обладала нужными для этого достоинствами в самом своем негибком и прямодушном ремесленничестве, проводящем каждую черту лица, точно борозду, вспаханную жизненным роком. Такой именно доморощенный мещанский герой вылупился из гейзеро-багеровского прототипа в 1816 г. в Москве стараниями Университетской типографии; вероятно в составе ее рабочих сил находился и тот гравер, которому была вручена книжечка «Goethes Schriften» 1775 г. для воспроизведения ее фронтисписа соответственно традиционным образцам и вкусам.

III

Таково было двойное начало русской портретной гетеаны. Оно продолжило лубки наших первых гетевских иллюстраций. Но в промежутке между обоими портретами была проведена другая затея, иными приемами и с иным назначением. Свои русские лубки Гете едва ли видел, а на сей раз то, что делалось,—делалось специально для него. Речь идет о портретной камее 1811 г. Она связана с Л. А. Яковлевым. Этот Лев Александрович Яковлев, дядюшка А. М. Герцена, «сенатор» «Былого и дум», который в 1810 г. получил от Гете кусок халцедона на память, возымел спустя год намерение превратить кусок в камею с гетевским портретом и поднести ее веймарскому старцу. Он отправил халцедон тогда же в Италию своему поставщику, резчику Морелли, со следующим наказом (28 апреля 1811 г.): «...Я вам послал гипсовый слепок с портрета одного великого немецкого писателя, который мне хотелось бы видеть изображенным в виде камеи для кольца. Употребите для этого одну из частей верхнего слоя камня, благодаря чему голова будет белой на сердо-

ликовом фоне. Больше всего постарайтесь уловить сходство; так как этот писатель очень знаменит, то его портрет может вам доставить другие заказы в том же роде. Начинайте его тотчас же и немедленно высылайте мне». Резчик ответил, что на яковлевском материале выполнить камею нельзя—слишком тонок белый слой — и предложил свой камень; в декабре 1811 г. камень с двенадцатью гипсовыми слепками был выслан Яковлеву, который тут же отправил два оттиска слепка к Гете, ответившему дарителю 10 января 1812 г. письмом в привычных тонах высоколюбезной благодарности и восхищения.

Но оно было дипломатическим. Мореллиевская камея популярностью в Веймаре не пользовалась. Так осталось и после Гете. Не сохранилась она и у нас. Может быть так случилось потому, что гипсовые оттиски своей рельефной миниатюры Яковлев раздарил друзьям, которые не слишком старались беречь их, а время легко уничтожило хрупкий материал. Самая же камея повидимому затерялась; по крайней мере следов ее нет ни в наших, ни в зарубежных собраниях. Оригинал, по которому работал Морелли, установить не трудно. Уже из письма к резчику явствует, что «сенатор» отправил в качестве образчика для воспроизведения какой-то гипсовый слепок с изображения Гете. Даже если бы самой камеи не было, ее прототип нужно было бы искать среди портретных барельефов гетевской иконографии. Таких медальонов было сделано всего семь: первый—в год появления «Вертера» (в 1774 г.) в ученической интерпретации одного из питомцев берлинского скульптора Иог.-Авг. Наля (Nahl, 1710—1781); последний—в 1829 г. знаменитым французским мастером Давидом д'Анжер, перенесшем в медальонные формы профиль своего колоссального бюста Гете; между ними располагаются пять остальных в таком порядке: в 1775 г. два барельефа, сделанных Мельхиором и Гильпертом, в 1808 г.—восковой медальон Кюгельгена, в 1827 г.—два крупных рельефа Поша (Z. Posch) и Фишера (J. Fischer). Промежутки в этой пятерке равны тридцати трем годам в первом случае и девятнадцати—во втором. Между тем Яковлев дает своему итальянцу совершенно точное наставление «Постарайтесь уловить сходство», ибо лишь это может

Гравюрная иллюстрация из книги „Страсти молодого Вертера, соч. г. Гете" в переводе И. Виноградова (СПБ, 1796)

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

дать Морелли «другие заказы в том же роде». Это явно не могло иметь никакого отношения к медальонам 1774 и 1775 гг.: это могло касаться лишь единственной работы тех же лет—воска Кюгельгена 1808 г. Так и было на самом деле. Морелливская камея была лишь переводом воскового медальона Кюгельгена. Оттиск с него был получен Яковлевым от самого Гете. Намек Гете в письме на «камею, достойную вашей драгоценной коллекции», Яковлев галантно обратил в ответный подарок самому Гете.

По своему характеру восковой рельеф Кюгельгена как нельзя естественнее поддавался переносу в камею, ибо сам он имитировал формы резного камня, лишь разросшиеся в размерах. Тонкая отделанность, даже нежность моделировки, легкие переходы ее выпуклостей и впадин, а с другой стороны—классицирующая строгость и чеканность очертаний не только ничего не утрачивали, но и выигрывали от переноса в материал и масштабы настоящей камеи. Ежели бы Морелли был действительно мастером своего дела, а не просто ремесленником, письмо Гете, страстного коллекционера гемм, обладателя нескольких сотен античных образцов этого рода, могло бы быть выражением подлинного удовлетворения, а не традиционной благодарственной любезности. Однако характер мореллиевской работы не таков, чтобы взыскательная оценка могла им удовлетвориться. Черты воскового рельефа заострены и искажены: они декоративнее и простоватее, чем в оригинале; ни гибкости приемов, ни изящества характеристики камеи не сохранено; она вся грубее и даже вульгарнее. Это—отдаленное эхо Кюгельгена, которого Гете высоко ценил, и которому он дал обязывающую, а не только официозную характеристику:

«Человек и живописец сливались в нем воедино, и потому его произведения всегда будут иметь двойную ценность»; и хотя как раз за работой над барельефом Кюгельген сделал некоторого рода светский промах (желая оживить усталые черты Гете, он вступил с ним в нарочитый спор об эллинской живописи, но вызвал у старика только раздражение),—тем не менее медальон удался ему куда больше, нежели живописный портрет, который он сделал с Гете в это же время. Яковлев своей затеей должен был попасть в самый раз. Однако Морелли не слишком помог ему в этом.

IV

На пороге двадцатых годов у нас появляется первый большой, можно сказать даже официальный портрет Гете. Это уже не доморощенное художество, как гравюрные переложения «сочинителя Гетте», и еще не высокое русское искусство, как в рисунке Кипренского пять лет спустя; портрет был прислан из-за границы; прибыл он в роли представительного образца западной иконографии и был направлен Веймаром в петербургский адрес восходящего бюрократа, который на расстоянии казался Гете уже влиятельным царедворцем. Нетрудный на знаки внимания вообще, «олимпиец» был к таким персонам ласков в особенности, столько же по усвоенной придворной привычке, сколько и по естественному сочувствию к «экселленцам», «превосходительствам» всех стран и правительств. Адресатом был Уваров, Сергей Семенович, пока еще лишь зять министра просвещения, а затем и сам—министр, пребывавший в то время на чиновничьем бивуаке в должности попечителя петербургского учебного округа. Веймарский старец был одним из его служебных козырей: в игре на продвижение Гете был очень кстати. Негустой стопкой его писем Уваров размахивал как сертификатом своей европейской значимости, а ласковую обязательность гетевского стиля выдавал за свидетельство интимной близости к великому немцу. Он делал это так, как если бы не Жуковский и не любомудры, а именно он полномочно представлял гетеанство в России. В 1817—1818 гг. эта игра находилась в зените; перед глазами Гете раздувался мыльный пузырь Азиатской академии, переписка учащалась, Уваров закреплял свою связь с Веймаром. Присланный портрет знаменовал ее завершение. Это имело теперь тот вид, о котором несколькими годами позже писал, дразня Хвостова, Пушкин, сопоставляя его с Байроном: «Лорд он, граф ты, поэты оба,—се, мнится, явно сходство есть»... По-уваровски выходило так же: министр-ученый-поэт—в Веймаре, будущий министр-ученый-поэт (Уваров писал и стишки)—в Петербурге; как раз для придворного Петербурга это и предназначалось и уваровскому восхождению кое-чем могло помочь: Гете, поданный сквозь призму вел. кн. Марии Павловны веймарской, как бы благословлял Уварова на государственно-научную деятельность.

В этом отношении прибывший портрет был как нельзя более по адресату. Он торжественен и строг. Его сделал придворный художник. В огромной галлерее гетевских изображений это наиболее «министерский портрет» среди звездоносных, превосходительных вариантов. Гете представлен в натуральную величину по грудь,

прямолично, в сюртуке, подчеркнутом зубцами большой орденской звезды из-под плаща. В нем бездна этикета и капля искусства. Такова же и сама живопись. Это рядовая вещь рядовой профессиональной кисти. Никакая история искусств не стала бы беречь имя творца такого произведения; Гете спас от забвения еще одну посредственность, как стольких других в своем окружении. Художником был Фердинанд Ягеман (Ferdinand Jagemann), веймарский уроженец и выученик. Его лучшее качество состояло в том, что он занимал положение великогерцогского живописца; он был аккредитован искусством при самом Карле-Августе. Этим он был обязан двум вполне семейным обстоятельствам: во-первых, он был сыном библиотекаря герцогини-матери Анны-Амалии; во-вторых, что куда существеннее, он был братом Каролины Ягеман, доводившейся любовницей герцогу. Эти «родственные» связи обеспечили ему учение, путешествия и достаток. Он начал учиться у Крауса в Веймаре, продолжал с 1787 г. у второстепенного, но эффектного Фюгера в Вене, 1802—1805 гг. провел в Париже, потом на два года вернулся в Веймар, а в 1806 г. опять уехал за границу, направившись в Рим, где оставался в течение 1806—1810 гг. На этом его Wanderjahre кончились; с 1810 г. он в Веймаре портретистом двора, но на работе проводит всего лишь десять лет, скончавшись рано—на сорок первом году жизни. Среди портретов, сделанных им,—Карл-Август, Шиллер на смертном одре, Виланд, представлявший собой старшее поэтическое поколение Веймара, наконец сам Гете.

Ягеман писал его шесть раз, а возможно и больше. Это его патент на бессмертие и краеугольный камень его искусства. Ежели бы он сам и не знал, что такое Гете, ему сказали бы об этом повторные заказы на гетевское изображение. Но выйти сколько-нибудь смело за границы своих шаблонов Ягеман не сумел и на сей раз. Его гетевские портреты однообразны и не слишком похожи. Хуже всех пастель 1806 г., не имеющая даже простейшей иконографической ценности. Наоборот, лучше всех—большой профильный рисунок 1817 г. в натуральную величину; это—единственная удача Ягемана, если не художественная, то документальная. Подробная разработанность рисунка убедительна; это настоящее физиономическое свидетельство. Однако уваровский портрет, увы, с ним не связан; он относится к другой группе; в ней четыре варианта, более или менее однотипных. Ее начальное звено—погрудный портрет маслом 1806 г.; через двенадцать лет, в 1818 г., Ягеман еще раз повторил его, лишь переменив поворот с полупрофильного на прямоличный. Этот вариант имел успех и вызвал к жизни три таких портрета: один находится в веймарском Nationalmuseum'е, другой—в веймарской государственной библиотеке, третий же был послан Уварову. Основной портрет—библиотечный: он всех больше по размерам и всех параднее по характеру; он написан в натуральную величину, строго фронтально; Гете представлен стоящим у стола в торжественной позе, с министерской осанкой, во фраке, при трех орденских знаках: при русской Анне первой степени—на правой стороне груди, веймарском Falkenorden—на левой, а австрийском Leopoldsorden—на шее. Когда Гете позировал Ягеману, мы знаем точно: он отмечал в дневнике, что 10 июля 1818 г. сделана «Untermahlung», подмалевка, 19-го состоялся второй сеанс, а к концу месяца портрет был готов.

В каком отношении к нему стоят оба других варианта? Сделаны они раньше или позже, подготовительные ли это работы, или последующие? В частности, что представляет собой уваровский экземпляр? В каталоге «Поречья», уваровской усадьбы, где портрет находился с пятидесятых годов прошлого века по 1920 год, когда вместе с другими музейными ценностями он был перевезен в Исторический музей (ныне он в Эрмитаже),—значится: «Портрет Гете, писанный с натуры Ягеманом в 1816 году». Этот каталог—«Порецкий Музеум»—издан в 1853 г. еще при жизни Уварова и по его указаниям. Таким образом, владелец утверждал, что его оригинал был сделан на два года раньше большого портрета веймарской библиотеки. Тем самым и парная вещь из Nationalmuseum'а должна относиться к этой же поре; а между ними и библиотечной композицией вклинивается капитальный профильный рисунок 1817 года. Это неправдоподобно во многих отношениях. Было бы конечно излишне заподозреть Уварова в фальсификации даты; никаких выгод это ему не давало; он видимо просто ошибся, или это явилось следствием корректурного недочета при печатании усадебного каталога. О том же говорят и упоминания в гетевском дневнике о Ягемане; они, как всегда, точны: большой профильный рисунок занесен под 22 августа 1817 г., библиотечный портрет в рост—под 10-м и 19 июня следующего, 1818, года, оба же погрудных варианта не упоминаются вовсе. Но это значит не то, что Гете забыл отметить другие сеансы, а то, что Ягеман делал их, не тревожа старика. В этом отношении возможно, что указание

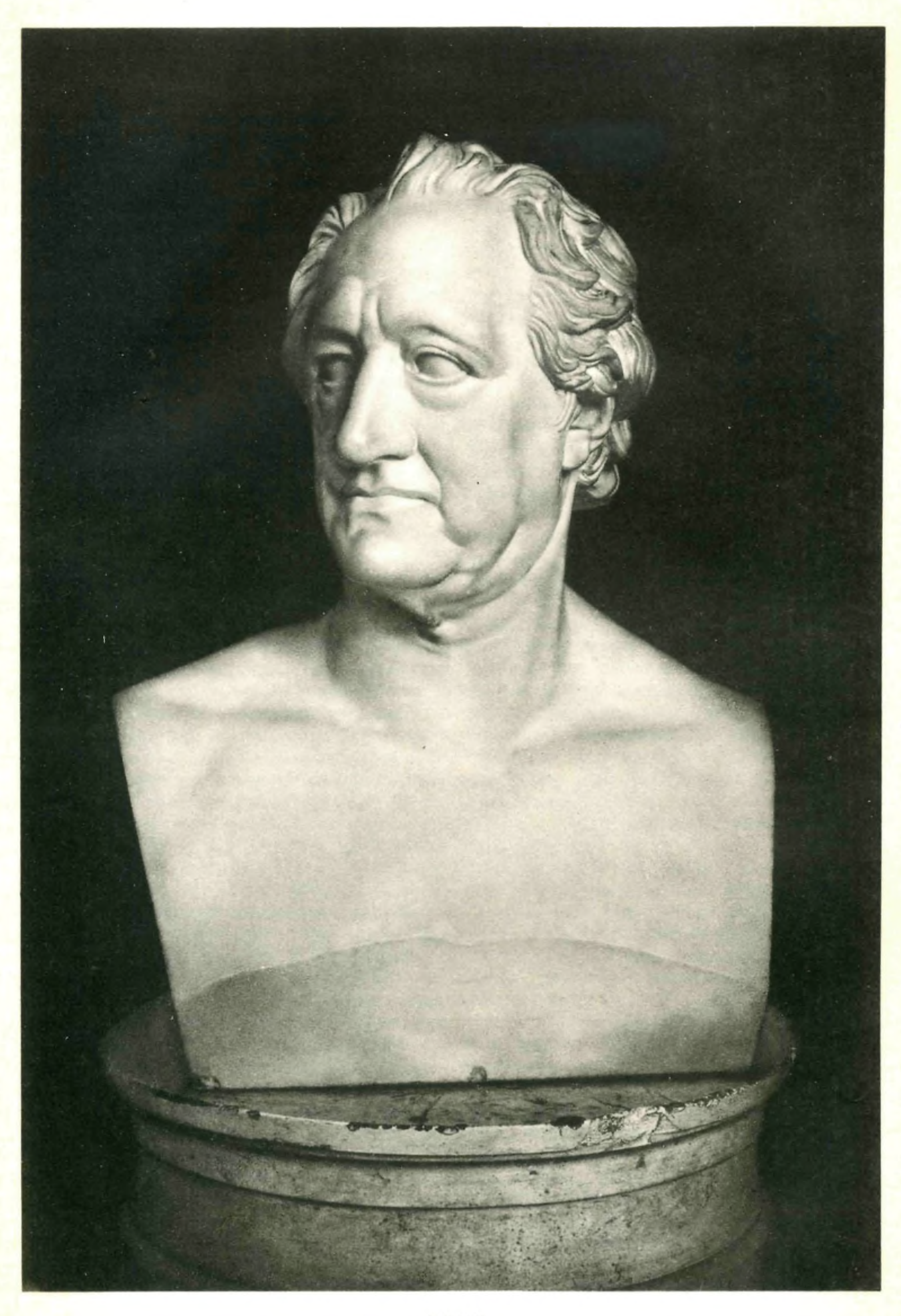
пореченского каталога сделано нарочито по-уваровски: слова «писанный с натуры» тщеславны, но вымышленны; Ягеман, по всей видимости, просто дважды скопировал свою большую композицию применительно к погрудному изображению, видоизменив околичности и в точности повторив голову и фронтальное положение фигуры. Изменение коснулось орденов и драпировок плаща, который он ввел, чтобы не заканчивать простым обрезом по низу; этот прием был вполне ходовым; то же сделали в подобном случае Раабе в гетевском портрете 1814 г. и Мюллер—в портрете 1821 г. Единственным аксессуарным различием между обоими ягемановскими репликами явились ордена: на уваровской—полуприкрытая плащем звезда Falkenorden, на веймарском—еще целая колодка орденских значков над ней, с русской Анной, австрийским Леопольдом, французским Почетным Легионом и почему-то еще раз веймарским Соколом.

Эти ягемановские автокопии уясняют и то, как мог попасть портрет к Уварову. Гете был тут не при чем; следов его участия нет; будь иначе, он помянул бы об этом в письмах к тому же Уварову или к друзьям в Германии, как делал обычно, когда его портреты отправлялись куда-либо, в особенности за границу. Портрет шел видимо прямо из мастерской Ягемана, а посредниками должны были быть все та же Мария Павловна и ее челядинцы. Характерно во всяком случае, что и сам Уваров оставил в тени обстоятельства, при каких добывался портрет. Главное состояло в том, что он прибыл, все остальное подразумевалось само собой, и в частности—участие Гете. Пометка «Порецкого Музеума» своей дипломатической редакцией била в 1853 г. в ту же цель, куда в предминистерский период 1817—1818 гг. била уваровская переписка с Веймаром.

V

Наиболее резкой противоположностью бюрократическому портрету Ягемана является бюст Рауха, находящийся сейчас в Эрмитаже. Он сделан из мрамора. Он попал в эрмитажное собрание уже после революции из частной коллекции. Жаль, что нельзя установить, какой путь проделал он на протяжении ста лет пребывания в России; это добавило бы еще одно имя к уже достаточно густому кругу россиян, которые связывали свои влечения и вкусы с Гете. Однако архивы бывшего музейного фонда, с тысячами описей и сотнями тысяч наименований, потребуют очень долгой переработки, прежде чем можно будет найти имя последнего обладателя рауховского бюста и от него проложить линию на ряд десятилетий назад, к первому собственнику.

Кто бы он ни был, в его руки попал самый замечательный памятник всей портретной галереи Гете. Бюст Рауха—ее высшая точка. Он занимает это место отнюдь не потому, что средний уровень гетевской иконографии вообще не высок и что она не блещет ни художественностью форм, ни значительностью характеристик. Рауховская работа, да еще бюст Шадова могут выдержать давление самой большой требовательности. Недаром «Гете» Рауха стал каноном, давшим как бы общеобязательное пластическое выражение гетевскому облику в мировой памяти. Скульптор находился в расцвете сил и на подъеме дарования. Он был среди первейших ваятелей Европы. В его стиле наличествовало все, что нужно было для выражения покоившегося в полноте и равновесии своего гения Гете. Рауху нечего было бы делать, если бы судьба столкнула его с молодым Гете «бури и натиска», ему должен был претить и реализм Шадова, снявшего в 1810 г. гипсовую маску с живого Гете,—величественно-комический отпечаток черт зажмурившегося «олимпийца», переносящего ради славы и потомства посмертную операцию в прижизненном состоянии; этот слепок лег в основу замечательного бюста Шадова 1823 г., самого человеческого среди гетевских скульптур. Рауху нужно было иное. Шадов был вождем отжившего поколения. Раух создал образ титана, каким Гете хотел быть и каким заочно воображали его себе современники. Раух поднял гетевский облик до тех пределов обобщения и пафоса, которые могло выдержать требование сохранения сходства с действительным видом модели. В этом отличие его бюста от шадовского. Тот будничен и почти интимен; тот может писать «Фауста», но может и вести дневники с пометками о состоянии желудка и встречах с каждодневными личностями. Рауховский Гете—только безмерность гения в великолепном человеческом сосуде. Этим обусловлено в нем сочетание реализма с классико-романтикой: Гете очень похож, но в то же время—это идеальный Гете, чудо рода человеческого, а не тот важный старик, который чопорным своим видом вызывал не раз даже разочарование у иногородних и иноземных людей, прибывавших к нему на поклон. Искусство Рауха состояло в том, что, идя следом за житейскими чертами модели, он мастерски переводил их в строй, так сказать, «созерцательной героики». Социальная сущность



ГЕТЕ

Бюст Христиана Рауха, мрамор, 1821 г.

Государственный Эрмитаж, Ленинград

Воспроизводится впервые

положения, занятого Гете в немецкой жизни начала девятнатцатого века,—его пассивно-созерцательный индивидуализм вместо действенно-боевого, французского и младогерманского, индивидуализм универсально-широкий в отношении к миру, вместо професионально-узкого в борьбе за реальные блага жизни,—получила в рауховской скульптуре действительно изумительное выражение, оправдывающее ее славу самого гетевского из гетевских портретов.

Стоит отметить, что скульптора на сей раз нашел для себя сам Гете. Обычно он мудро принимал то, чем угощали его случай, герцог и друзья. Он позировал каждому, кто считал себя в праве занять у него время для портретирования. Он считал, что в его иконографическом хозяйстве пригодится и веревочка. Но он исправлял то, что посылал бог, тем, что выбирал сам. Так было с Раухом; Гете хотел видеть его своим портретистом; он заявил об этом, когда выяснилось, что Иог. Даннекер, его знакомец еще по итальянскому путешествию, автор бюстов Шиллера и популярной «Ариадны на пантере», мастер способный, но средний, известность которого была прямо пропорциональна его незамысловатости,—совсем не торопится с выполнением заказа почитателей Гете на новый бюст. Гете писал 16 июля 1820 г. из Иены архитектору Буассере: «...что касается бюста, то охотно сознаюсь, что в прибытие сюда Даннекера я уже больше не верю. Я думаю и говорю это против воли, ибо в его скульптуре я уже вновь видел себя рядом с Шиллером», поэтому «...я делаю следующее, может быть и совершенно несуразное предложение (ganz unmassgeblichen Vorschlag): Р а у х, пользующийся в Берлине заслуженной славой, мне близок, и хотя личного знакомства между нами нет, он связан с моим домом и семьей; с ним можно будет легко договориться, он мог бы посетить меня в ближайшие месяцы, взять с собой сделанную модель, и при безграничной обработке мрамора (grenzenlosen Marmortätigkeit), которая царит ныне в Берлине, бюст скоро мог бы быть готов».

Это пожелание, чуть подчеркнутое нетерпением, если не раздраженностью, было подобающе понято друзьями, и скульптор предстал перед Гете не в ближайшие месяцы, как соглашалось письмо, а много быстрее, четыре недели спустя, в середине августа 1820 г., в гетевской летней резиденции, в Иене. Раух прибыл не один; тут было целое паломничество. Кроме тайного советника Шульца, старого почитателя, чтобы не сказать—клеврета, и знаменитого архитектора Шинкеля, приехал с Раухом еще другой скульптор, Фридрих Тик, который девятнадцать лет назад, в 1801 г., выполнил классицирующий, благородно-вялый бюст пятидесятидвухлетнего Гете. Нетактичность Даннекера окупалась с избытком. О гетевском удовлетворении свидетельствует ряд его записей. Он отмечает событие в житейском, в художественном, в эстетико-философском отношении. В «Tag- und Jahresheften» 1820 г., под пометкой о том, что «господа Тик и Раух моделировали мой бюст», значится: «живой и даже страстно-художественный разговор возник при этом, и я должен эти дни причислить к прекраснейшим дням этого года». Первое свидание прибывших с Гете произошло 16 августа; через день оба скульптора приступили к работе. Гете записал в дневник 18-го: «Die berliner Freunde. Sie fingen an die Buste vorzubereiten, indem sie die vorhandene Maske ausdruckten».—«Берлинские друзья. Они приступили к подготовительным работам для бюста, при чем отлили имеющуюся маску» (видимо, шадовскую). На следующий день Гете уже спешит сообщить Оттилии, снохе, в Веймар: «Тик и Раух прибыли вместе, и каждый заготовил глиняную массу, чтобы начать портрет папа («Um den Papa zu porträtieren»—так называл он себя в переписке с детьми)... Самое существенное в этом то, что довольно редко представляется случай наблюдать, как два художника обрабатывают один и тот же предмет; выводы, которые могут быть отсюда сделаны, прямо-таки необозримы (was hieraus erfolgen kann, lässt sich garnicht übersehen); я надеюсь, что и тебе это доставит удовольствие».

Впрочем неравенство сил обоих скульпторов должно было сказаться с самого начала. В дневнике Рауха 1820 г. есть замечание, свидетельствующее, что Тик вовсе не собирался решать заново задачу, над которой однажды уже поработал. Отметив 16 августа прибытие в Иену, Раух заносит: «Гете, с которым из всего общества не был знаком один я, встретил меня дружественнейшим образом. Тик начал модель гетевского бюста, а затем и я, чтобы выполнить желание Гете и запечатлеть настоящий момент, при чем Тик, в сущности, только вносил исправления в свой прежний бюст». Но это значило, что Тик сам себя снимал со счета в состязании. Во всяком случае интерес к нему у Гете пропал. Все сосредоточилось на Раухе, как и vice versa. Раух пишет в дневнике о беседе с Гете 22 августа, уже в Веймаре, куда они перебрались из Иены: «Гете показывал нам свои прекрасные маленькие бронзы в совершенно исключительном подборе; мы провели вечер в высочай-

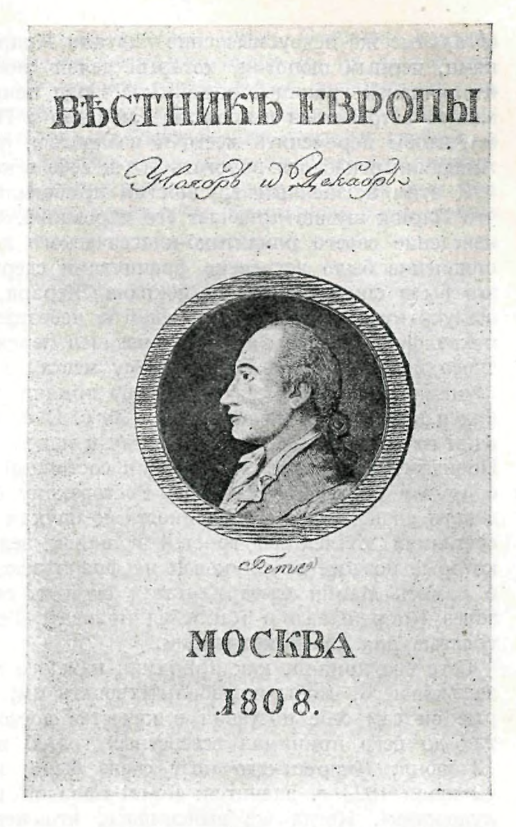
шем одушевлении и интересных беседах с этим божественным человеком». Гете же назвал рауховский бюст: «wirklich grandios»—«поистине грандиозным», и по этой оценке выравнялась целая череда отзывов друзей и современников. В октябре того же 1820 года Цельтер пишет Гете: «...Твой погрудный бюст я рассматривал вчера во второй раз, а сегодня—в третий. Наш художник с первого же опыта глубже проник в тебя (tiefer in dich hineingeblickt), нежели мне известные его предшественники»... В декабрьском письме другого почитателя, Квандта, к Юлиусу Шнорру фон Карольсфельду говорится на специфическом жаргоне гетевского окружения: «Этот рауховский бюст является совершеннейшим из изображений Гете; он соединяет изначально-прекрасные соотношения его лица, которые одновременно являют собой и основные черты его духа, со всеми теми бороздами и всхолмленностями (Einschnitten und Erhöhungen), которые жизнь и время напечатлели на подвижной поверхности его лица: несомненно, мало лиц, которые были бы подвержены более быстрой смене выражения, по которым шире проносились бы горе и наслаждение, любовь и ненависть, чем у него, а вместе с тем вечная ясность и покой утверждают себя на его высоком челе. К этому присоединяется еще та особенность, что природа протянула среднюю линию его лица не отвесно, но вбок, так что нос стоит явственно наискось по отношению ко лбу, а правый глаз значительно шире левого. Этот бюст так превосходно вылеплен, что я не могу противостоять желанию получить его для себя в мраморе и в связи с этим собираюсь написать Рауху».

Эту ассиметрию гетевского лица конечно не посмел передать ни один из его портретистов; мы узнали о ней только из письма Квандта, да и тот позволил себе нескромность лишь потому, что с ним заговорил об этом сам Гете, который в качестве физиономика, давнего сотрудника лафатеровских писаний, взял свой изъян исходной точкой для характерологических рассуждений о самом себе: «Гете шутливо выразился,—сообщает Квандт,—что природа дала ему шлепок, отчего правая часть его лобовой выпуклости оказалась несколько приплюснутой, а правый глаз расположился несколько ниже левого. Из этой аномалии выводил он строение своего лица и говорил, как физиолог, как художник, как поэт, как универсальный дух. В особенности поучительны были слова Гете о взаимоотношениях, которые должны быть у художника с действительностью, и о том, что не следует ее нарочито видоизменять, особенно в портретах». Этот разговор с Квандтом был видимо отголоском тех бесед, которые Гете вел с Раухом, и скульптор разрешил задачу в подлинно гетевском смысле: с одной стороны—ассиметрия дана, с другой—она дана в таком высоком обобщении, что ее не замечаешь: голове придан поворот, при котором движение светотени по впадинам и выпуклостям лица переводит физическую смещенность черт в пластическую подвижность объемов. Аномалия стала у Рауха печатью жизни на условном благородстве классического бюста. В таком смысле рауховская работа и была канонизована гетевскими кругами, и в очередном, третьем, томе «Über Kunst und Altertum», своего рода официоза гетеанства, была напечатана следующая апология, составленная Генрихом Мейером: «Сходство этого изображения едва ли оставляет желать чего-либо большего, но не в меньшей степени оно удовлетворяет и высочайшим художественным требованиям. Художнику не только удалось дать чрезвычайно одухотворенный, живой поворот головы, но он сумел одухотворить и самые черты лица и привести всю работу к заслуживающему самых больших похвал единству».

Несмотря на эту апробацию, начальный вариант рауховского бюста стал тут же подвергаться переработке. Она проявлялась как будто незначительно, можно сказать едва заметно, изменения прошли по частностям и околичностям, но они характерны вообще, а для нашего эрмитажного экземпляра— в особенности. Основной, гипсовый, подлинник состоит из головы с короткими предплечьями, опирающимися на небольшую ложноантичную подставку. В таком сочетании была некоторая доля интимизма, капля бытовой жизненности, согревавшая нарочитую величественность изображения. Но именно этого атома теплоты в эрмитажном варианте уже нет. Он удален начисто. Даже его ничтожная примесь воспринималась широкими кругами обожающих Гете обывателей как инороднее тело. Они требовали для своего поклонения чистейшего олимпийства. Эрмитажный бюст переработан по этой норме. Он тяжелее, патетичнее, отвлеченнее, чем первая редакция. У него нет легкого цоколя и срезанных предплечий. Они заменены массивным четырехгранником, образующим грудь и имеющим форму гермы, служащей самой себе пьедесталом. Вся композиция стала более грузной и более условной. Это уже больше памятник, чем интимная скульптура, это почти комнатный монумент. Такая переработка свидетельствует о двух вещах: о том, что ее выполнил сам мастер, и о том, что она сделана сравнительно поздно. Она позднее первого мраморного экземпляра, который заказал

Титульный лист „Вестника Европы“ за ноябрь—декабрь 1808 г. с портретом Гете, гравированным Алексеем Касаткиным

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва



для себя Квандт. О своем заказе Рауху он говорит в последних числах декабря 1820 г. Эрмитажный вариант нужно датировать предположительно 1821 годом.

VI

Непосредственным соседом Рауха по времени оказался наконец и русский художник, и при том самый замечательный из наших живописцев начала века. Это центральное событие русской иконографии Гете произошло летом 1823 г.; художником был Кипренский. *И для модели, и для портретиста дата была знаменательной.* Гете находился в Мариенбаде; наступили дни третьей встречи с Ульрикой фон Левецов, юношеских томлений семидесятичетырехлетнего поэта, его отважного сватовства, поддержанного перед вдовой-матерью самим великим герцогом, но и твердого отказа его домогательствам со стороны обеих женщин: старшей, понимавшей слишком много в этой страсти неутомимого старца, и младшей, не понимавшей ничего. Сердечный кризис быстро подходил к зениту; через несколько недель миру уже был дан гениальный отчет об обыденном происшествии, трагикомическая история была по-гетевски поднята до общеобязательной значимости; 5—7 сентября 1823 г., по дороге из Карлсбада в Егерь, Гете сочинил центральную часть поэтического триптиха «Trilogie der Leidenschaft», знаменитую «Мариенбадскую элегию».

Кипренский находился в ином, но не лучшем состоянии. Он недавно покинул Италию, где с его именем молва связывала ужасный случай, если не преступление, стоивший жизни женщине, с которой он сожительствовал: злорадный Иордан, академичнейший из русских граверов, ненавистник всякой романтики, в особенности житейской, собрал сплетни, ходившие по поводу смерти любовницы Кипренского, и рассказал в своих «Записках» о каких-то «ветошках», пропитанных скипидаром, зажженных и положенных на спящую женщину в отместку за то, что она якобы заразила художника дурной болезнью. Что произошло в действительности, так и осталось невыясненным. Приступы болезненной тоски и ожесточение, которыми был одержим Кипренский и которые вспыхивали по любому поводу, делали общение с ним, а тем более совместную жизнь, всегда трудными и часто непереносимыми. Он не ладил ни с одним из русских художников римской колонии; лучше других умел обходиться с ним жизнерадостный и солнечный Сильвестр Щедрин, но и у того не было охоты входить с ним в слишком частое и близкое соприкосновение;

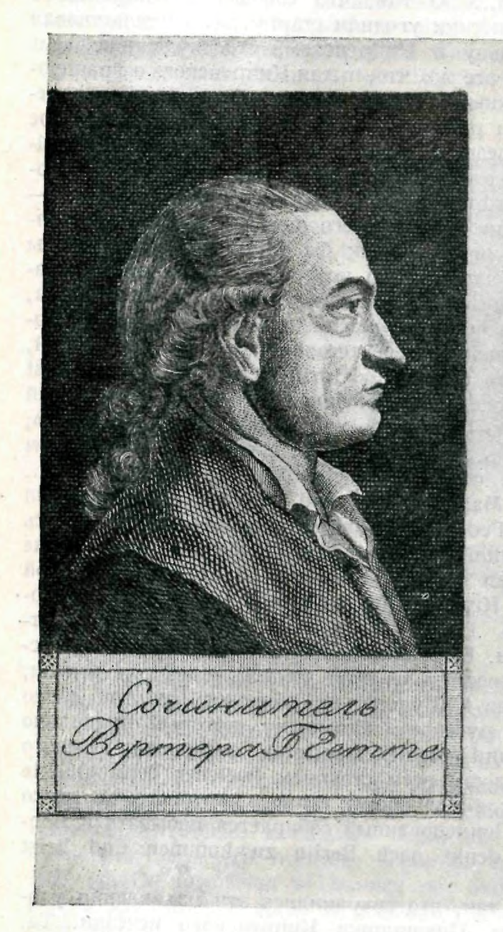
остальные же недвусмысленно платили Кипренскому чем могли: пересудами, выдумками, черным шопотом, который делал свое дело и шел так далеко, что даже за итальянской границей российские люди попроще, наслышанные об ужасах, отказывались встречаться с злодеем; так было в Париже, куда Кипренский уехал из Рима, чтобы переменить место и избавиться от воспоминаний и сплетен: товарищ по Академии отказался впустить его к себе в комнату.

К этим жизненным трудностям прибавились художественные. Кипренский ждал, что Париж шумно признает его дарование. Он привез и выставил капитальное произведение своего романтико-классического периода—«Анакреонову гробницу», но ее появление было встречено французами сдержанно. Это было хуже, чем неуспех,—это была снисходительная похвала Жерара, знак внимания к иностранцу, стремящемуся итти в ногу со временем и небезталанному, но провинциалу. Жераровской похвалой дело кончилось; дальше шел переход к делам мирового, сиречь французского, искусства, где Кипренскому места не было. Он отвечал на это новыми приступами меланхолии и гнева, затем принял решение вернуться на родину. Он отправился в Россию в начале лета 1823 г. В спутниках ему повезло. Его взял с собой один из сиятельных чудаков, богач и меценат, князь Александр Лобанов-Ростовский. Повидимому, в пределах различия состояний и знатности, оба чувствовали себя друг с другом не плохо: Лобанову-Ростовскому было 35 лет, но он уже не знал, куда девать свои деньги и склонности к наукам и искусствам. Он начинал куралесить: составлял коллекцию тростей и палок великих людей, собирал обеденные меню, которые позднее опубликовал на французском языке в целых двух томах, влюбился в память Марии Стюарт, начал скупать ее портреты и письма, и т. д. Он-то и завез Кипренского в Карлсбад повидать Гете,—может быть в погоне за очередной тростью для своей коллекции.

Гете его принял, как принимал каждого мало-мальски знатного путешественника, заезжавшего, чтобы полюбопытствовать им; это входило в круг обязанностей, которые он сам себе поставил в качестве достопримечательности своей страны и века; так до него принимал всесветных гостей в Фернее Вольтер. Свидание состоялось 12 июня. Кипренского поэт счел, было, княжеским челядинцем. В дневнике от 12 июля 1823 г. значится: «Fürst Lobanoff und sein Maler»—«Князь Лобанов и его художник». Когда же выяснилось, что перед ним не ни-весть кто, а «Herr von Kiprinsky, k.-russ. Rath der Academie der Schönen Künste aus Petersburg»—«г. фон Кипринский (так!), императорский российский советник Академии Художеств в Петербурге», который к тому же хотел бы набросать его портрет,—дело переменилось. Гете быстро и не чинясь согласился на завтра же назначить сеанс. Русскими связями он дорожил; иностранцы же вообще рисовали его редко; четыре года назад, в 1819 г., проездом из России на родину написал с него портрет англичанин Джордж Дау, да восемь лет спустя, в 1831 г., вылепил его огромный бюст француз Давид д'Анжер. Кипренский был, таким образом, всего вторым по счету, а его чин свидетельствовал, что в портретном искусстве он был не случайной фигурой. Свидание 13 июля заняло внимание Гете не только позированием, но и беседой с художником. И тем, и другим старик явно остался доволен. Об этом говорит подробная пометка в дневнике и позднейшие похвалы Кипренскому в письме к Шульцу: В дневнике от 13 июля значится: «Um 11 Uhr zeichnete der russische Maler mein Porträt. Unterhaltung mit ihm über gegenwärtige römische Kunst und Künstler, besonders deutsche. Zugleichen über Paris und dortige Verhältnisse. Mittag für mich. Der Maler nochmals».—«В одиннадцать рисовал русский художник мой портрет. Беседа с ним о современном римском искусстве и художниках, в частности, немецких. То же самое—о Париже и тамошних обстоятельствах. Полдень—для себя. Художник вторично».

Смысл их разговора восстановить не трудно. Оба собеседника должны были сходиться в оценке немецко-римской колонии живописцев 20-х годов. Для Кипренского она была всегда незначущей; такова была традиция русских пенсионеров Академии Художеств за границей; мнение Гете было едва ли не еще более уничижительным; в сущности, если Кипренский обладал нужным тактом, ему достаточно было только подтверждать суждения Гете, да помогать ему примерами и именами. Старец же был недоволен направлением, которое взяла его соотечественная молодежь в Риме. Она приезжала на классическую почву «heiliger Roma», чтобы фрондировать и провозглашать истинно-немецкие принципы искусства. В 20-х годах дело обстояло так же, как и в 30-х, когда Экерман записал гневные сентенции Гете о «варварстве» итало-немцев. Мы знаем то же и по русским отражениям; в письмах Батюшкова и Сильвестра Щедрина из Италии рассказывается о том же и почти теми же словами. Видимо символы веры немецких патриотов живописи были не-

сложны и провозглашались вызывающе и во всеуслышание. Экерман записал в марте 1831 г.: «За дессертом Гете прочел мне несколько отрывков из письма одного из своих друзей в Риме. Некоторые немецкие художники разгуливают там с длинными волосами, усами, в старонемецких кафтанах, с выложенными наружу воротниками рубашек, с трубками и бульдогами. Рафаэля они считают слабым, а Тициана только хорошим колористом. «Нибур был прав, видя приближение варварства,—сказал Гете,—*оно уже наступило*, мы уже погрузились в него; да и в чем же варварство, как не в неумении распознавать хорошее?».. Зашла речь о том, имеет



СТРАСТИ
МОЛОДАГО
ВЕРТЕРА.
СОЧИНЕНІЯ Г. ГЕТТЕ.
Съ присовокупленіемъ
ПИСЕМЪ
ШАРЛОТТЫ КЪ КАРОЛИНѢ,
писанныхъ
во время ея знакомства
съ Вертеромъ.

Вновь переведенныя.

Изданіе второе.

МОСКВА.
Въ Университетской Типографіи.
1816.

Титульный лист русского издания „Вертера“ 1816 г. с портретом Гете, гравированным русским гравером
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

ли безумство, распространившееся между молодыми художниками, своим источником несколько отдельных лиц, от которых оно и перешло к другим, как умственная зараза, или же это веяние времени... «Оно пошло от отдельных лиц,—сказал Гете,— и существует уже сорок лет... Стоит только высказать то, что льстит самомнению и лени, чтобы в среде посредственностей иметь огромный успех». Сильвестр Щедрин в 1820 г. описывает немцев в Италии совершенно так же: «Сюда пропасть понаехало немецких художников разного разбору, с усищами, с предлинными волосами, без галстухов, в дурацких шапках, с претолстыми дубинами...» Подобная характеристика стала видимо общим местом, и мы можем вложить ее и в уста Кипренского, беседовавшего с Гете об его соотечественниках в Италии.

Не иначе обстояло дело с французским искусством; собеседники были и здесь единомышленниками. Восстановить содержание их мнений можно с еще большей точностью; у Кипренского после парижских огорчений были опять-таки все внутренние и внешние поводы соглашаться и дополнять язвительную оценку Гете; о ней

мы знаем по записи Экермана, сделанной через несколько месяцев после посещения Кипренского. В воскресенье, 22 марта 1824 г., после обеда, Экерман и Гете «рассматривали большое собрание гравюр на меди новых живописцев французской школы. Изобретение в этих картинах почти сплошь слабо. Попался один недурной пейзаж в пуссеновском роде, при чем Гете заметил: «Эти художники усвоили общую манеру пуссеновских ландшафтов и работают при ее помощи. Их картины нельзя назвать ни дурными, ни хорошими. Они не дурны, потому что в них всюду проглядывает хороший образец; но их нельзя назвать хорошими, потому что в художниках нет великой личности Пуссена...» О том, что сообщение Кипренского сводилось к тому же и что его характеристики угодили старцу, засвидетельствовал сам Гете; он помянул в письме к Шульцу о Кипренском, что художник «gut dachte»—«правильно мыслил». Любопытно все же, что, пытая Кипренского о французской и немецкой живописи, Гете не счел нужным, хотя бы из внимания к своему портретисту, осведомиться о состоянии живописи русской, а Кипренский—поднять вопрос о ней; оба держались, так сказать, в пределах художественных явлений европейского порядка, и о «провинциальной школе», значительно превышавшей в 20-х годах немецкую, один молчал, ибо не слишком церемонился с художником, другой—потому, что едва ли знал, что Гете все-таки прежде всего поэт и человек его толка, и лишь затем—чиновная персона и министр. Как бы то ни было их сеансы этим омрачены не были: Гете охотно и благосклонно позировал, Кипренский тщательно и долго рисовал; гетевские записи в дневниках отмечают еще четыре дня, занятые Кипренским; 14 июля: «der russische Maler zeichnete fort»—«русский живописец продолжал рисовать»; 15-го при работе присутствовал Лобанов-Ростовский, видимо—своего рода контролером того, что сделано: «Kiprinsky Maler. Dazu Fürst Lobanoff»—«Кипринский живописец; тут же князь Лобанов»; 16-го предпоследний сеанс: «Der russische Maler nach 11 Uhr»—«Русский живописец после 11 часов»; наконец 18-го, после перерыва в один день, заключительная встреча дважды, утром и пополудни: «Am Porträt fortgearbeitet oder viel mehr dasselbe abgeschlossen... Mitag bey mir. Nach Tiesche kam der Maler wieder und entwarf die Figur am Tiesche sitzend, in der rechten Hand die Feder, die linke verborgen»—«продолжалась работа над портретом, или вернее, последний был закончен. Полдень у себя. После обеда снова пришел художник и набросал фигуру, сидящую за столом, в правой руке перо, левой не видно». Больше ни Кипренский, ни его князь у Гете не появляются; пометки исчезают; вероятно 19—20 июля оба путешественника отправились дальше, держа путь на Берлин. Гете оказался достаточно доволен искусством и беседами Кипренского, чтобы оповестить об этом друзей: через три недели, 9 августа 1823 г., в письме из Мариенбада к Шульцу, он сообщает: «не так давно одному воспитанному в Риме и Париже русскому живописцу, который правильно мыслил и ловко работал (der gut dachte und geschick arbeitete), позировал я много часов, которым посчастливилось дать радость всем сторонам (welcher denn glückte jedermann zufrieden zu stellen), в том числе и великому герцогу, которого не легко удовлетворить чем-либо в этой области. Поименованный собирается побывать в Берлине и именуется Кипринским» (dieser denkt nach Berlin zu kommen und heist Kiprinsky).

Дальнейшие обстоятельства сложились так, что сохранились эти изъявления удовольствия, но не сохранилось портретов. Подлинники Кипренского исчезли. То, что наличествует вместо них, является только литографским переложением одного из них, сделанным чужой рукой. Можно утверждать даже большее: литография Гревдона передает наименее значительный из его портретов. Записи Гете позволяют считать, что Кипренский сделал с него два рисунка. Фигура Гете за столом, с пером в руке, соответствует лишь последнему упоминанию дневника 18 июля о втором, послеобеденном сеансе: «после обеда снова пришел художник и набросал фигуру за столом» и т. д.; это описание дано явственно в качестве варианта к тому, что рисовал Кипренский целых пять дней раньше, в течение «mehrere Stunden»—«многих часов», как отмечено в письме к Шульцу. Этот усидчиво проработанный первый портрет должен был иметь капитальный характер, если принять во внимание опыт и навыки Кипренского. Его огромное техническое мастерство и великий портретный талант не часто расходовались таким количеством времени на рисунок (Гете все время точно указывает: zeichnete, рисовал, а не mahlte, писал красками). В итоге должно было появиться произведение типа наиболее значительных карандашных портретов Кипренского вроде «г-жи Прейс с ребенком» из бывшего остроуховского собрания или «Кн. С. Щербатовой» из «Ольгова», на худой конец—чего-либо вроде «Портрета Гурко» бывшей гиршмановской коллекции, и т. п. С исчезновением оригинала 1823 г. из иконографии Гете выпало одно из самых замечатель-

ных его изображений, а если исходить из уровня дарований, то может быть и самое замечательное: такое предположение законно потому, что ни один из живописцев и рисовальщиков, писавших Гете, не ровня Кипренскому: это все, в большей или меньшей степени, величины для внутренне-немецкого обихода: Мейер и Бюри, Ягеман и Шмеллер в лучшем случае—высокие ремесленники вроде Тишбейна для 70-х годов и Штилера—для 20-х; соперничество начинается лишь в области скульптуры, на высоте великолепного мастерства бюстов Шадова и Рауха, да разве еще живописного портрета Дау, такого же заезжего гостя, как и Кипренский, его английского дружки по романтическому стилю, но нескромно виртуозного в приемах техники и цинически-беспечного в задачах сходства.

Как случилось, что обе работы Кипренского исчезли? Гревдоновская литография, помещая двойную подпись: «O. Kiprinsky» слева и «H. Grevedon» справа, до известной степени объясняет это. Она выполнена и отпечатана в Париже; сам

Слепок с камеи работы Морелли
с изображением Гете
Слепок поднесен Гете в 1811 г.
сенатором Л. А. Яковлевым
Goethe-Nationalmuseum, Веймар

Кипренский там больше не появлялся; вернувшись в Петербург осенью 1823 г., он пробыл на родине до 1828 г.; потом опять отправился в Италию, где и остался до самой своей смерти в 1836 г. Его рисунок мог попасть к Гревдону только из других рук, можно сказать—из соседних и даже собственнических, ибо это несомненно было сделано тем кн. Лобановым-Ростовским, с которым он заезжал к Гете. Князь в России не любил задерживаться; он предпочитал воздух и небо Парижа; в течение двадцатых годов он возвращался во Францию неоднократно. Свидетельствами его поездок являются его издательские затеи, помеченные 1825, 1827 гг. Он пребывал в Париже тем охотнее, что российский двор его не жаловал, а французский Карл X, наоборот, к нему благоволил. Завезти в Париж гетевские портреты Кипренского он должен был в один из ближайших после 1823 г. наездов—вероятно в 1825 г. Надо думать, что и самые сеансы у Гете были результатом желания Лобанова-Ростовского и его заказа Кипренскому. Ни самому Гете, ни великому герцогу, которому они были показаны, как отмечает письмо к Шульцу, князь сделать презента не пожелал, хотя бы в половинном размере: один—им, другой—себе; будь иначе, веймарское благоговение к большим гетевским реликвиям сохранило бы рисунок. Самая надпись Гревдона на литографии говорит о том же. Кипренский мог бы отлитографировать работу для заказчика и сам. Он делал это не однажды, в разное время, разными манерами; таков «Л. Нарышкин» и «Г. Орлов»; посмертный «Александр I» 1825 г., «И. А. Дмитриевский» 1814 г. и др. Лобанов-Ростовский видимо тут же после окончания сеансов оставил оба гетевских портрета у себя, потом передал заказ Гревдону. Он же дал ему и начертание фамилии художника, но дал не точно, а так, как князь произносил сам и как сообщил он Гете «Kiprinsky», а не «Kiprenski», как подписывался художник, когда прибегал к латинским литерам.

Вообще говоря, такая работа по чужому оригиналу мало соответствовала навыкам Гревдона. Он был уже настолько моден, что только желание услужить русскому вельможе могло заставить его пойти на исключение; он был связан с великосветскими кругами Петербурга еще с 10-х годов, когда после скитаний приехал

попытать счастья на берега Невы, где был обласкан и быстро получил звание «назначенного», т. е. кандидата в «академики живописи», «по картине, представляющей смерть Гектора и по двум портретам: девочки с бабочкой и мальчика с зайцем», после чего ему была задана «программа для звания академика написать картину Амур и Псише» (материалы Акад. Художеств). Он обосновался в русской столице почти на три года, до 1812 г.; может быть он сидел бы и дольше, если бы не события Отечественной войны; он счел за благо не рисковать и перебрался в Стокгольм, а потом в Лондон; там он выждал финала и вернулся на родину в 1816 г., когда с беспокойствами наполеоновской эры было покончено и все опять стало устойчиво, ясно и старорежимно. Русские связи были снова возобновлены, а с ними—заказы и продажи; он сделал ряд литографированных портретов российской знати—Демидова, Гагарина, Самойлова, Шереметева, Сухозанета и т. д. Обращаясь именно к нему за переводом на камень гетевского портрета, Лобанов-Ростовский шел по модному и дорогому пути. Его разумение и расходы говорили, что француз был не ниже Кипренского, да еще с преимуществами светской культуры, отполированной всей требовательностью столицы Европы.

Соединение, вернее столкновение, обоих мастеров в гетевском портрете дало двойственный итог: одному оно прибавило, у другого—отняло. Это не вполне Кипренский и не слишком Гревдон. Французский литограф скорее подчинился, чем подчинил. Среди его листов нет другого столь же выразительного, здорового, можно сказать—плебейского. Он отлитографировал портрет с тщательностью, которая соответствовала его роли переводчика, а не переделывателя. Две надписи, стоящие на оттисках, распределяли ответственность lege artis, по гравюрной традиции, когда один delinevit, другой sculpsit. Кипренский отвечал за характер композиции, Гревдон—за технику выполнения. Для обычных гревдоновских моделей крепкая изобразительность гетевского изображения была вульгарна и неприлична. Его заказчики хотели видеть себя приглаженнее, щеголеватее, изящнее,—возможно ближе к тем «têtes historiques» и «têtes de fantaisie», вымышленным портретам исторических личностей и воображаемым обликам несуществующих красавиц, которые Гревдон изображал и сбывал сериями и пачками. Этому способствовала и его манера работать карандашом: она ловка и мягка, округла и паркетна,—блестяще-посредственна.

Кипренского она тоже пригладила и утихомирила, но и только. Представить себе, каков был мариенбадский подлинник, не трудно. Есть с чем сравнить крепость штрихов и контуров этой гетевской фигуры за столом; Кипренский шел тут по своей большой дороге, а не по окольным. В виртуозно-дряблых формах гревдоновской передачи можно узнать экспрессию приемов, которая отличает портреты Кипренского 20-х годов. Тут все его недостатки, но еще больше—все качества. Гете сидит напряженно, он явно позирует, он дан в условном движении, но в эту нарочитость врывается его крепкое жизненное своеобразие, действительная особенность его облика. Видимо в самом деле исчезнувший прототип гревдоновской литографии был из числа лучших проявлений реалистических тенденций Кипренского. Может быть надо сказать, что он не стал церемониться с Гете, как часто церемонился со своими отечественными моделями. Свой лощеный «Гревдон» сидел в его романтическом стиле; в последнем счете именно этой светскостью принижен знаменитый портрет Пушкина с пледом через плечо. Но в изображении Гете только декоративный контрапункт складок на халате да мертвенная расставленность рук с неживой прилаженностью пера в правой и академической расставленностью пальцев на левой говорят о схематизме. Думается даже, что эти подробности отделки были вообще проработаны позднее, наизусть, без модели, как бы по шаблону, перед тем как окончательно сдать рисунок заказчику—князю. Этим объясняется и расхождение между одной деталью описания в дневнике Гете и композицией в литографии: у Гете сказано: «die linke verborgen», «левой руки не видно»,—на листе же она лежит всей пятерней на столе. Все вероятия за то, что во время последнего, послеобеденного, сеанса 18 июля околичности были набросаны Кипренским обще и широко и что пальцы, складки, имитация почерка на листе под гетевским пером появились впоследствии, при отделке рисунка начисто; на месте же, лицом к лицу с Гете, все ушло на голову, на поиски жизненного сходства.

Этого Кипренский добился; даже в гревдоновской передаче выразительность этой старческой маски убедительна. Выпуклости и завалы морщин и бугров кожи, неточное смыкание губ (у Гете уже не было зубов—см. письмо Гейне от 2 окт. 1824 г.: «...der zahnlose Mund»), впалые мешечки глаз, столь контрастирующие с еще горячей живостью взгляда, высота лба с пухом уже редких волос, огромная величавость общего выражения, перекрывающая обезьянью заостренность складок вокруг носа и рта,—все говорит о правдивости рисунка. Пожалуй только один

ГЕТЕ
Литография И. С. Мальцова (1827 г.)
Музей Изобразительных Искусств, Москва
Портрет этот был воспроизведен с подписью художника в „Московском Вестнике" 1827 г., ч. VI

профиль старого Гете, сделанный Людвигом Зебберсом спустя три года после Кипренского, в 1826 г., столь же человечески убедителен, но он сух сухостью копииста природы, а не художника; это скорее топография лица, нежели портрет.

Для самого Кипренского обостренный реализм мариенбадского рисунка был новинкой. Это было время распада его первой манеры. Ее романтическая целостность к 1823 г. расщепилась; метания из Италии во Францию и из Франции на родину были метаниями и человека, и его искусства. В больших композициях это принимало форму неоакадемизма, который через десять лет блистательно развернул Карл Брюллов; в портретах же Кипренский то повторял прежние, уже начисто использованные романтические формулы, то рывком и броском давал ход беспокойной зоркости раннего реализма, который пять-шесть лет спустя станет отправной точкой для Тропинина. Эти реалистические пробы карандаша и кисти тянутся по линии портретов Шишкова, Философова, Шишмарева, Кушелева и всех позднейших автопортретов, раздражительных, пристально сделанных, с саможалящей беспощадностью. Но их сюита открывается мариенбадским рисунком 1823 г. — портрет Гете служит всем им преддверием.

VII

Спустя три года, в 1830 г., Кипренского сменил Рейтерн. Это второе и последнее имя настоящего профессионала русского искусства, связанного с серией гетевских портретов. Зарисовка Рейтерна была до сих пор известна только по упоминаниям в источниках. Воочию ее обнаружил юбилей 1932 г.; она принадлежит одному ленинградскому коллекционеру и опубликовывается впервые.

Самый факт ее существования менее всего неожидан. Скорее наоборот: казалось странным, что настойчивое общение Рейтерна с Гете не оставило никаких иконографических следов; они могли быть не такими обильными, как рейтерновские зарисовки с Жуковского, связанного с ним и родственно, и дружески, но отсутствие хотя бы единичных набросков удивляло. Теперь пробел заполнен. Однако он заполнен скорее формально, нежели действительно; «Гете» Рейтерна обманывает ожидания и в портретном, и в художественном отношении. Он не соответствует уровню рейтерновских возможностей; он интересен скорее тем, что существует, нежели тем, что дает. В рейтерновском Гете нет ничего, чего не было бы в других гетевских портретах. Художник не самостоятелен; он больше копиист, комбинатор отдельных элементов, чем портретист. Рейтерн довольствуется поправками к чужому оригиналу; ни характеристики, ни образа он не меняет. Говоря по-гетевски, тут было «усвоение» или «присвоение» («Zueignung»—одно из характернейших гетевских слов) чужого понимания. Особенно любопытно, что Рейтерн делал так по внутреннему побуждению, бескорыстно, для самого себя, без каких-либо обнародовательских намерений. Его набросок—не подготовка к будущему портрету, а семейная реликвия, память о человеке, которому он так восторженно поклонялся и который был так ласков к нему и к его искусству.

Рейтерн не прячет заимствования. Его собственноручная пометка с откровенностью дневниковой записи говорит о том, как компилировал он своего Гете. Под рисунком написано: «Nach einer Handzeichnung in Aquarell von J. Stieler und eigner Erinnerung. Weimar, den 23-ten May 1830. 81 Jahre alt».—«По акварельному рисунку И. Штилера и собственному воспоминанию. Веймар, 23 мая 1830. В возрасте 81 года». Художник в самом деле почти в точности перевел в линейную графику черты известного портрета, сделанного в 1828 г. Иосифом Штилером, придворным художником баварского Людвига I; это штилеровское изображение занимает в кругу живописных портретов Гете такое же первенствующее место, как бюст Рауха среди скульптурных, однако с той основной поправкой, что Раух—огромный художник, а Штилер—только способный мастер. Воспроизводя штилеровский оригинал, Рейтерн ввел, в сущности, всего лишь одно изменение, которое можно назвать существенным: он переменил направление гетевского взгляда: у Штилера глаза Гете обращены вбок, влево,—у Рейтерна они глядят почти прямо, так что сразу замечаешь особенности их выражения. Это видимо и есть самое важное, что составляло для Рейтерна «eigene Erinnerung». Гейне, видевший Гете после болезни в 1824 г., писал к Р. Христиани: «Nur sein Auge war klar und glänzend»—«только глаза у него были ясны и блестящи», а Рожалин в 1829 г., в письме к Авдотье Елагиной, нашел даже, что взгляд Гете «невыносим и даже неприятен, может быть оттого, что темные глаза его обведены каким-то странными, светлосерыми кругами и кажутся птичьими». Именно эту блестящую пристальность взгляда, которая поражала и запоминалась, внес Рейтерн как свой вклад в штилеровское изображение. Его «вариант» можно назвать иллюстрацией к рожалинским замечаниям. В остальном

он послушно воспроизводит Штилера: так же непокорно лежат волосы кругом высокого, в морщинах, лба, так же изогнуто сомкнуты губы, те же складки бегут по щекам и шее, так же обводит шею круглый воротник камзола; в костюмной части изменения сводятся к совсем мелким деталям: к отсутствию разрезов и петлиц на воротнике, да к застегнутой верхней пуговице камзола, свободной у Штилера; наконец в общем характере композиции штилеровская сидящая полуфигура дана стоящей. Рейтерн явственно хотел передать облик Гете, выходящего к посе-

ГЕТЕ
Гравированный портрет работы А. Афанасьева, воспроизведенный в „Московском Телеграфе“ 1827 г., № 5

тителю,—впечатление гостей, к которым выходит в приемную высокий хозяин, вбирая в свой взгляд их почтительно вставшие фигуры. В каком отношении рейтерновский вариант стоит к акварели, о которой говорит надпись Рейтерна на рисунке? И действительно ли кроме штилеровского оригинала маслом была еще штилеровская акварель? В 1828 г. художник Фридрих Дюрк (Fr. Dürck) сделал для Гете копию с мюнхенского оригинала Штилера, которую Гете принял за подлинник и даже послал Штилеру благодарность. Немецкие исследователи (E. Schulte-Strathaus, «Die Bildnisse Goethes») считает, что копию с копии, акварелью, сделал с Дюрка

именно Рейтерн, при чем она была выполнена тремя днями позже, нежели рисунок («Weimar, den 26 May»). Видимо это и есть то второе изображение Гете, сделанное Рейтерном, которое хранилось долго в его семье, было в 1894 г. на посмертной выставке рисунков и картин Рейтерна в Петербурге и значится в каталоге под № 45. С тех пор оно пропало или где-то запропастилось. Оно может еще выплыть наружу. Но это ничего не меняет в надписи Рейтерна на первом рисунке с положительным указанием на акварель самого Штилера. Не ее ли скопировал Рейтерн, а не Дюрка? Однако где она? О ней источники молчат. Не было ли в ней того варианта композиции, который использовал в своем рисунке Рейтерн?

Так или иначе, собственного изображения Гете он не создал. Он удовлетворился перерисовкой, в которой кое в чем исправил чужой оригинал. Почему он ограничился этим? Он видел Гете достаточно много и подолгу. Со стороны поэта была даже какая-то особенная подчеркнутая внимательность к нему, может быть объясняемая тем, что этот русский немец, потерявший правую руку под Лейпцигом в грандиозной битве коалиции с Наполеоном и запомнившийся Гете еще с того, 1814, года, проявил изумительную настойчивость и взрослым человеком научился так виртуозно владеть левой рукой, что стал несомненным мастером в утонченной и сложной области акварельного искусства, которому он сам, Гете, отдавал дань не слишком успешно и где он ясно чувствовал несоизмеримость своего умения и своих желаний; с мужеством гения он сказал об этом в «Dichtung und Wahrheit». Он считал себя тут ниже однорукого Рейтерна. «Какой же талант и навык нужны для того, чтобы уметь схватить в рисунке широкий и безграничный ландшафт», воскликнул он в шестой книге «Поэзии и правды», а Экерману сказал о Рейтерне (1 апр. 1831 г.): «Простодушные люди уверяют, что г. фон Рейтерн никому не обязан в искусстве, а все у него свое. Как будто человек сам по себе может дойти до чего-либо, кроме глупости и неловкости. Если у этого художника и не было учителя, на которого можно указать, то у него была связь с хорошими мастерами, и он учился у них и у их великих предшественников, и у природы, которая всюду налицо. Природа дала ему настоящий талант, а искусство вместе с природой обучили его. Он превосходен, а во многих вещах—единствен; но нельзя сказать, что у него все от себя. Только о совсем сумасшедшем и плохом художнике можно сказать, что у него все от себя,—а о хорошем нельзя». Эта высочайшая апробация, резюмировавшая ряд таких же пометок и суждений Гете об искусстве Рейтерна («Ясно созерцаемая природа, верное чувство ее, восприятие характерного и прекрасного, всюду чутье композиции», 1827; «великая правдивость, верная трактовка частей, изящная соразмерность целого», 1829),—могла бы легко обеспечить Рейтерну непринужденное, сердечное согласие «великолепного старца», по рейтерновскому выражению, на несколько сеансов для портрета. Наконец Рейтерн мог не итти так далеко и сделать менее ответственную зарисовку, походя, за беседой—своего рода беглый портретный экспромт, которому можно было бы за живое впечатление простить и приблизительность исполнения, и легкость характеристики.

Рейтерн не осмелился ни на то, ни на другое. Он был мастером ландшафтной и жанровой акварели, но в портрете еще себя не пробовал. Начинать с Гете он видимо не решался. Свое портретное искусство он выработал позднее, поднимаясь по ступенькам не обязывающих набросков с семейных и друзей, чтобы дойти до той превосходной акварели, изображающей Жуковского в рост, которая свидетельствует, что иконографические способности были у Рейтерна не хуже пейзажных. Но это пришло слишком поздно, когда Гете уже не было в живых, да и теперь рейтерновское занятие портретами оставалось побочным и не частым. В 1830 же году он предпочел не рисковать ни собственной неудачей, ни высоким мнением Гете и ограничиться двумя копиями с лучшего из чужих оригиналов. Это было тем естественнее, что зарисовка делалась в смутном душевном состоянии, проездом в Россию, куда он возвращался не совсем по вольной воле и где он должен был провести в разлуке с семьей целых два года (1830—1832). Вероятно копии со Штилера—одни из наиболее ранних опытов Рейтерна в портрете, опасливая проба руки, соединившая технический копиизм ученика с характерологическими поправками зрелого человека. Для истории рейтерновского искусства это имеет значение известного этапа; для истории гетевской иконографии рисунки Рейтерна, так сказать,—бесследны.

VIII

Они не дали да и не могли дать никаких дальнейших ростков в русской гетеане. Они остались побочным эпизодом между Кипренским и его сателлитами. Гревдоновское переложение рисунка Кипренского породило, в самом деле, целое семейство

Гравюра на дереве В. Фаворского (1931 г.), сделанная для нового русского перевода „Избранной лирики“ Гете, выходящей в издании „Academia“

литографских последышей, и не только русских. Известны два западных воспроизведения: одно—Kaufmann'a (по определению Heitzmann'a в «Portraitskatalog», 1858), веймарского уроженца (р. 1811), племянника знаменитой художницы Анжелики Кауфман, сделавшей самый несхожий из всех портретов Гете; племянник в точности скопировал Кипренского-Гревдона, такой же полуфигурой за столом; литография отпечатана в Карлсруэ у S. Helfen; другой вариант выполнен Mogford'ом, очевидно английским мастером, одним из членов многочисленной художественной семьи Могфордов, работавших в первой половине XIX в.; он переработал гревдоновский оригинал в портретное изображение, под которым факсимильно воспроизведен автограф стихов Гете: «Die Nachtigall, sie war entfernt...» и дата: «Weimar, den 6 Mai 1827».

Этот могфордовский лист ближе всего к русскому портрету Гете, появившемуся в том же 1827 г. Он был помещен в шестом номере «Московского Вестника» и имел подпись: «Рис. И. Мальцов». Это было выражением сугубого интереса к Гете, которое проявляли московские любомудры. В первом номере был помещен перевод Веневитинова: «Монолог Фаустов в пещере»; в № 3 появилась характеристика Гамлета из «Вильгельма Мейстера», а итогом этого гетеанства «архивных юношей» было напечатанное там же в 1828 г. письмо Гете к Борхарду—первое и единственное официальное обращение веймарского патриарха к русскому писательству. Мальцовская литография с Гете таким образом была своего рода почетным дополнением к гетевской сюите лейб-органа русских гетеанцев. Литография была воспроизведена по-могфордовски, по грудь, но в обратную сторону: лицо Гете повернуто вправо, а не влево, как в оригинале; это явилось следствием того, что литограф копировал так, как ему было легче, в точности перерисовывая черты в том же направлении, что и у Гревдона: при печати это дало обратный поворот—признак известного дилетантизма рисовальщика.

В самом деле, с портретом Гете выступал не профессионал-художник, а один из членов редакции, молодой любомудр Иван Сергеевич М а л ь ц о в. Ему было в это время двадцать лет (род. 1807). Он принадлежал к уже знаменитой семье пионеров русского промышленного капитализма, успешно богатевших на первичном сочетании крепостного труда с фабричной техникой. Иван Мальцов был на перегоне: он вел жизнь молодости, задавал пирушки, предавался любомудрию и вкладывал деньги в журнал, для которого переводил Шиллера и Вальтер Скотта и составлял

статейки. Но с положения «архивного юноши», праздно числившегося при московском архиве иностранных дел, он уже готовился к переходу на дипломатическую службу, переехал скоро в Петербург, через год был в Персии старшим секретарем при посольстве Грибоедова, пережил в Тегеране убийство шефа и в 1830 г. вернулся в Россию; спустя восемь лет он тоже почувствовал наконец зов мальцовских семейных традиций и вместе с пушкинским Соболевским стал строить бумагопрядильную фабрику.

Портрет Гете в «Московском Вестнике» показывает, что в рисовании двадцатилетний любомудр не был новичком, хотя и был лишь любителем. Явно, что это не первый опыт. Мальцов видимо не раз и достаточно уверенно делал наброски в своем кругу, так же как это делало множество людей его среды в 10—30-х годах, когда рисование было такой же составной частью светскости, как музыка, танцы и альбомное сочинительство; но журнальное празднество в честь Гете впервые побудило его выступить со своим карандашом публично. Едва ли не решающим обстоятельством было то, что книжка журнала должна была предстать перед глазами Гете; недаром Мальцов подписал свою литографию, а не остался анонимом. Об иконографических вкусах Гете он не мог не знать по рассказам людей, бывавших в Веймаре; своею подписью он как бы вводил себя в круг гетевского внимания. Для этого у него было и известное художественное право; в его дилетантизме жили крупицы действительного дарования. Он несомненно легко схватывал сходство; у него была не черствая и не спотыкающаяся, а уверенная и подвижная рука; он без особого труда преодолевал трудности литографирования. Но конечно это не мастер. У него нет артистичности, его штрихи негибки, часто грубоваты, детали приблизительны, приемы однообразны, весь портрет держится на одной графической ноте, он довольствуется тем примитивным, основным сходством, которое ведет уже к прямым искажениям, если само становится исходной точкой дальнейшего воспроизведения и подражания. Так и в самом деле было с последующим приложением— с лубочным уродцем, сопровождавшим перевод «Клавиго», сделанный Федором Кони в 1836 г. Но Мальцов виноват лишь в качестве невольного посредника, а вовсе не как автор литографии «Московского Вестника». Она была не хуже ряда рисунков со стареющего Гете, вошедших в обязательный круг его портретов. Так восприняли это и друзья по журналу, и он сам; об этом свидетельствуют несколько литографированных листов без подписи, которые были отпечатаны отдельно, вне отношения к «Московскому Вестнику»; их можно ныне найти в гравюрных отделах наших музеев. Видимо они были оттиснуты по желанию членов мальцовского кружка и когда-то находились у них в руках своего рода памяткой русско-гетеанских дел 1827 г. Об успехе Мальцова говорит и другое обстоятельство: в том же году, окрыленный первым успехом, он выступил еще раз в XVII книжке (V часть) «Московского Вестника» с таким же литографированным портретом Вальтер Скотта. Но этим его публичное рисовательство было исчерпано: все вошло в берега, и Мальцов навсегда исчез из круга русских литографов.

Он оказался вдохновителем не только уродливого лубка, сопровождавшего перевод «Клавиго» 1836 г. Косвенно он вызвал к жизни и более значительную работу, давшую русской иконографии и новый тип гетевского портрета. В том же 1827 г. журнальный соперник «Московского Вестника»—орган Николая Полевого, «Московский Телеграф», поместил в свою очередь изображение Гете. Оно очень отличалось от мальцовского и по технике, и по характеру, и по художнику. Портрет был выполнен гравюрой, пунктиром, взят в полный профиль, и автором его был профессионал-гравер. Но художественный уровень изображения не выше мальцовского, а много ниже его. Правда, он не спускается до площадной картинки «Клавиго» в переводе Кони, но названия искусства он не заслуживает. Мастером, поставившим свою подпись, был Афанасий А ф а н а с ь е в. Это—выученик крепостной школы граверов Платона Бекетова, издателя и мецената 1800—1830 гг., один из тех его ремесленников, посаженных за пунктирную гравюру, которые изготовили своему владельцу серию в 300 слишком листов для его издательской затеи: «Портреты знаменитых россиян». Афанасьев был не самый способный среди бекетовской гравюрной дворни, но это один из наиболее ровных и старательных гравировщиков. У него чистая работа. Он опрятен и даже иногда щеголеват. Портрет Гете выбирал конечно не он сам, а скорее всего Бекетов, который извлек образец для воспроизведения из своей огромной коллекции портретов. Можно с достоверностью указать, какой оригинал был взят за образец. Существует несколько западных гравюр того же рода; все они выполнены пунктирной манерой. В основе их лежит известный профильный рисунок Ягемана, сделанный в 1817 г. Его воспроизводили неоднократно разные мастера гравюры и всяческой техникой. Насчитывается около че-

тырех десятков его вариантов. В их числе есть и ряд обработок пунктиром: Cooper'a, Feldler'a, Coupé, Bollinger'a и ряда анонимов. Одни оформлены в виде овала, другие—многоугольника, третьи не дают очертаний границ вообще. Прототипом, бывшим в руках Афанасьева, надо считать пунктирную гравюру, сделанную Боллингером. Она отличается от афанасьевской сложными очертаниями фона, имеющими восьмиугольную форму. В этом отношении Афанасьев за оригиналом не последовал и поступил по шаблону, заключив портрет в овал, как это делалось обычно в бекетовских сериях. Вместе с тем он ввел в воспроизведение одну деталь, которая выдает заимствование у Боллингера и свойственна только боллингеровской гравюре: выступающий правый борт камзола, оттеняющий своей черной полосой гофрированное белое кружево галстука; в вариантах других граверов этой подробности нет, как нет ее и в самом оригинале Ягемана. В смысле сходства работа Боллингера не очень высокого качества, но она куда точнее афанасьевской. Бекетовский гравер только усидчив, но отнюдь не удачлив. Надо наперед знать, каково было задание, чтобы сказать, кого он изобразил; что это Гете—сразу не скажешь; перед нами просто некая чиновная особа со звездой и разными атрибутами иконографического порядка; их надо мысленно собрать воедино и исправить, чтобы дойти до оригинала. Можно сказать, что афанасьевский Гете—высший вид лубка, но низший вид портрета.

IX

Гравюра Афанасьева была еще раз повторена в год смерти Гете, в 1832 г., как литография Мальцова—в 1836. Первая прельстила Олина, вторая—Кони. Это два последних изображения Гете в России; потом наступил перерыв в столетие. В. Н. Олин—«черная мурашка» или «тощая пиявка» пушкинского «Собрания насекомых»,—старьевщик русской журналистики двадцатых-тридцатых годов,—счел уместным приложить Афанасьева ко второму изданию своей «Карманной книжки для любителей русской словесности», в которой он поместил некрологическую заметку о Гете. В олинской перепечатке не было ни интереса, ни новизны. Как ему и полагалось, он попросту перетянул в свой мешок то, что лежало под рукой; Афанасьев стал у него только еще упрощеннее и лубочнее. Приложение, данное Кони к «Клавиго», довело это ухудшение до конца. Скромный мальцовский оригинал кажется недосягаемым образцом искусства. Литография 1836 г. спустилась до графических низин, до дна: дикое существо, деклассированный барин, тайный советник из ночлежки глядит с выходной страницы кониевского перевода; видно, дешевейшие, архремесленные руки выполняли поручение. Последнее звено русской графической гетеаны вернулось к своим исходным образцам—к иллюстрированным лубкам «Страстей Вертера» 1796 г.

Иллюстрация Иг. Нивинского к новому переводу „Римских элегий“ Гете, выходящих в издании „Academia“

Вековой промежуток, протекший с тех пор, в художественно-изобразительном отношении интереса не представляет. Русская графика, русский портрет шли мимо Гете. Русские переводы гетевских произведений просто воспроизводили то, что делала Западная Европа. Они питались репродукциями немецких образцов. Так «Художественный Листок» 1868 г. дал шесть литографий с каульбахских рисунков к Гете; перевод «Фауста», сделанный Фетом и выпущенный в 1889 г., был снабжен рисунками Зейцберца, а новейшее издание сочинений Гете, выпущенное А. Е. Грузинским, содержало целый репродукционный «меланж».

Реванш дала уже советская графика в нынешнем 1932 г. Несколько наших художников, отмечая юбилейную дату, создали новые портреты Гете и иллюстрации к его книгам. В. Фаворский, крупнейший мастер сегодняшней гравюры на дереве, создал портрет молодого Гете для нового перевода лирики Гете. А. Гончаров, его ученик, быстро складывающийся в самостоятельного художника, дал плакат с большой силуэтной фигурой веймарского старца. Обе работы полноценны и индивидуальны. В них есть собственное толкование гетевского облика и собственное применение графических средств. Они вносят в русскую иконографию Гете новые типы его изображений, как когда-то, сто десять лет назад, это сумел сделать Кипренский и как мог, но не решился сделать Рейтерн. Основное различие— в существе интерпретации: Кипренский видел, Рейтерн вспоминал, наши же воображают. Реалистической документации обоих старых портретов здесь противостоит вымысел, опирающийся на историческую иконографию. И Фаворский, и Гончаров дали «portraits imaginaires». У первого—портрет молодого Гете. Это—сложный состав жеманства и силы, условностей и огня, этикета и порыва—настоящая графическая формула «бури и натиска», где парик и камзол, розан и церемонная поза сковывают стремительность и заостренность облика, почти грубоватую плечистость и плотность стана. Это—«буржуа-жентильом» в подлинном, некомедийном, двойственно-едином смысле слова, настоящая социально-художественная характеристика Гете предвеймарских лет. Фаворский в этой работе остался гравером-мыслителем—редчайшей разновидностью в кругу собратьев по искусству.

Гончаров декоративнее, проще, забавнее, непритязательнее. Его большой силуэтный профиль Гете, с книгой в руке, вышел из мира китайских теней. Он запоминается остротой очертаний, но художник скорее остроумен, чем одухотворен. В его веймарском старце есть церемонная суетливость и парадоксальная нарочитость, нечто от гофманского неправдоподобного существа. Художник взглянул на него не очень почтительным, лукавым, почти мальчишеским глазом. Это свежо как прием, но неглубоко как образ. Гончаров разом заинтересовывает и заставляет морщиться.

Он мог бы наперед понять, каким двойственным будет итог его замысла, если бы вспомнил, что то же однажды уже было с таким большим дарованием, как К. Сомов, когда в 1906 г. он сделал силуэтный титул для немецкого издания «Tagebuch der italienischen Reise», вышедшего у Julius Bard'а. Профильную фигуру Гете, созданную применительно к знаменитым веймарским силуэтам Антинга, он окружил любимыми подробностями своего собственного графического арсенала, эротически-глумливого подражания XVIII веку; в его композиции кукольная муза, своего рода барышня с крылышками, и смешной амур со стрелой и кисейно-прозрачным шарфиком летит навстречу гвардейски-молодцеватому Гете, выгнувшему стан среди виноградной листвы над смешными колышками руин и колонн, под белыми точками звездного неба. Это по-сомовски уныло и язвительно, цинично и безнадежно, утонченно и жалко. Было трудно глядеть на это уже в годы появления бардовского издания и совсем невыносимо сейчас.

Более того: как ни велика разница художественных дарований между Сомовым и новым иллюстратором «Римских элегий» Игн. Нивинским (его рисунки были показаны на гетевской выставке в Ленинской библиотеке и ныне печатаются в издании «Academia»)—опустошенный сомовский Гете, со всей изощренной техничностью силуэтов и виньет, далеко уступает истовым и серьезным композициям Нивинского. Способный мастер бьет блестящего виртуоза, бьет, так сказать, моральной опрятностью своего искусства. Она дала ему возможность спокойно предстать нам, читателям 1932 г., рядом с Гете в должном и вполне выносимом соотношении с его гением. Это лучшее, что может пожелать себе взыскательный художник, знающий, к чему обязывает его дистанция сил и положений.

С. ПОПОВ

ГЕТЕ В РУССКОЙ МУЗЫКЕ

Предлагаемый обзор произведений русских композиторов, написавших музыку на оригинальные и переводные тексты Гете или связанную с сюжетами из его литературных сочинений, не претендует на исчерпывающую полноту. Составитель ясно сознавал, что раньше, чем приступать к изложению самого обзора, необходимо проделать предварительно еще большую и сложную работу по розыску и выяснению многих музыкальных произведений, так или иначе связанных с именем Гете. Но необходимость написать обзор в очень короткий срок не позволила выполнить эту работу с должной полнотой. Главные трудности в подготовительной работе, с которыми пришлось столкнуться, сводятся к следующим положениям.

Прежде всего, отсутствие в печати полных систематических указателей русских переводов сочинений Гете, позволяющих без затруднения устанавливать по заглавиям и начальным словам перевода соответствующий ему оригинальный текст.

Не заполняет этого пробела и новое юбилейное издание Собрания сочинений Гете в русских переводах, издаваемое ГИХЛ. Найти по этому изданию нужный текст в книге, при отсутствии алфавитного оглавления или указателя по заглавиям и начальным словам переводов параллельно с немецкими оригиналами, представляет для справляющегося большие затруднения, так как самый розыск требует от него не только предварительного, но и основательного знания гетевских текстов.

Еще хуже обстоит дело с наличием у нас справочных изданий по печатной музыкальной литературе и главным образом с разыскиванием самих печатных изданий музыкальных произведений, особенно в старых оригинальных изданиях, из которых многие или совершенно исчезли или стали величайшей библиографической редкостью.

Кроме того в старинных изданиях вокальных произведений и их позднейших перепечатках часто совершенно отсутствует фамилия автора текста (не говоря уже о фамилии автора оригинального текста при переводах). Это обстоятельство очень осложняло работу, особенно тогда, когда приходилось устанавливать авторство текста при фактическом отсутствии старых изданий только по различным каталогам и другим справочникам. Особые трудности возникали в тех случаях, когда русский текст являлся свободной обработкой гетевских стихотворений или очень далеко отходил от подлинника по смыслу при переводе (например в романсе Алябьева «Я вижу образ твой»). Также не легко было установить гетевский текст в тех случаях, когда он использован композитором в переводе не весь полностью, а частично, особенно если взят из середины стихотворения или из его конца (например в дуэте Даргомыжского «Счастлив, кто от хлада лет»).

Сочинения Гете, нашедшие свое художественное истолкование в музыкальных произведениях русских композиторов, распадаются на две группы. Первую и самую большую группу представляют естественно стихотворения Гете, положенные на музыку, т. е. вокальные произведения, написанные для одного или нескольких голосов с сопровождением или без сопровождения различных музыкальных инструментов (кроме оркестра). Таких композиций, написанных на немецкий или переводный русский текст, нам удалось зарегистрировать 123. Цифру эту следует признать довольно скромной, особенно в сравнении с данными относительно стихотворений Гете, положенных на музыку немецкими композиторами [1].

Ко второй группе сочинений Гете, связанных с именами русских композиторов, следует отнести те из них, которые послужили сюжетами или текстами для чисто инструментальных или смешанных вокально-инструментальных композиций, балетов и опер. Количество произведений русских композиторов этой категории по сравнению с количеством аналогичных произведений иностранных композиторов представляется также довольно незначительным.

Кроме того остались не включенными в обзор два музыкальных произведения, о которых считаем необходимым все же упомянуть. Это, во-первых, вокально-инструментальное произведение, включенное в библиографический список Б. Бухштаба «Русские переводы Гете»—«Первая Вальпургиева ночь» («Die erste Walpurgisnacht»), баллада для соло, хора и оркестра. Киев, 1879, 8 стр. В списке Б. Бухштаба не указана фамилия композитора; нам также не удалось установить ее, так как сведения о балладе получили перед самой сдачей статьи в печать. Во-вторых, романс С. Рахманинова, ор. 8, № 6, «Молитва» («О, боже мой, взгляни на грешную меня!») («Gebet»), сочиненный и изданный им у А. Гутхейля в Москве в 1893 г. В этом издании на первой странице после заглавия напечатано: «Слова А. Плещеева. (Из Гете)». Среди «Стихотворений А. Н. Плещеева» (см. напр. 3-е доп. изд. СПБ, 1898 г., стр. 229, в отделе «Переводы и подражания») действительно помещен вышеупомянутый перевод из Гете («Молитва»). Между тем найти аналогичное стихотворение в сочинениях Гете в немецком подлиннике нам не удалось.

Чем объяснить наличие такого сравнительно небольшого количества музыкальных произведений русских композиторов, написанных на тексты и сюжеты Гете?

Причины этого таятся в самом существе дела—в общих политико-социальных и историко-культурных условиях и их особенностях, диктовавших пределы широкому и глубокому проникновению творчества Гете в музыкальную культуру прежней России в сравнении например с лирикой Гейне. Творчество Гете находилось в идейно-политическом несозвучии с русским музыкальным искусством.

Художественные и поэтические темы, затронутые в сочинениях Гете, не всегда вполне близко подходили к творчеству русских композиторов для глубокого художественного их перевоплощения в музыкальных формах, как не содержавшие в себе элементов для яркого выражения особенностей «национального» характера, столь свойственного русским композиторам, особенно в сфере вокальной музыки.

Следует указать и на то, что сочинения Гете стали известны в России много позже времени своего первого появления в печати в Германии в оригинальном виде. Прежде всего потому, что свободно читать и понимать поэзию Гете в оригинале на немецком языке могли далеко не все русские композиторы, в особенности в начале XIX века, когда сильно господствовало французское влияние в русской жизни и быту. Ознакомление с сочинениями Гете было тесно связано поэтому с изданием их в русских переводах, в наиболее художественной обработке крупных русских поэтов. Но такие переводы стали появляться в более значительном количестве только в 20-х, 30-х и 40-х гг. И подобно тому как в Германии например до появления в печати в 1789, 1800 и 1806 гг. больших собраний стихотворений Гете насчитывалось сравнительно немного композиторов, писавших музыку на гетевские тексты,—так точно и в России знакомство композиторов с поэзией Гете было тесно связано со временем появления в печати его стихотворений в русских художественных переводах как в виде отдельных номеров в современных журналах, альбомах, альманахах, так и целыми книжками.

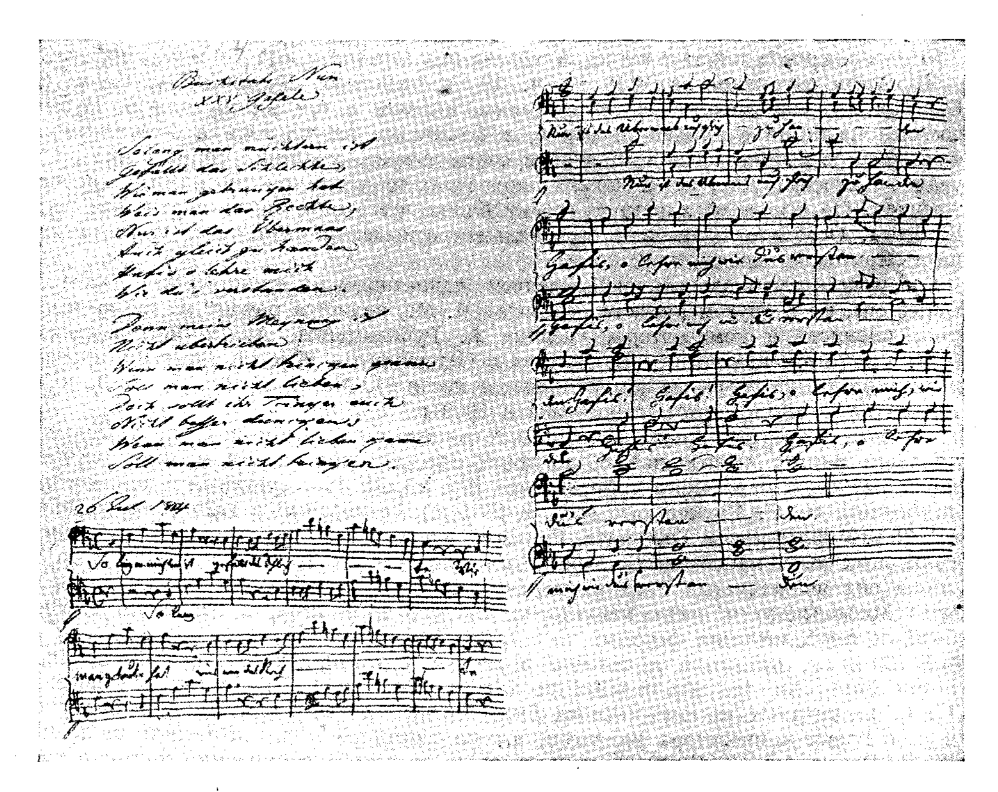
Переходя к русским композиторам, современникам Гете, писавшим «российские песни» в стиле камерного «романса» [2], можно почти с полной уверенностью утверждать, что среди их вокального наследия (известного главным образом только по названиям, так как то немногое, что было издано, до нас не дошло и стало теперь величайшей библиографической редкостью) не имеется произведений, написанных на гетевские тексты при жизни поэта, кроме двух изданных в год его смерти.

Эти произведения принадлежат: одно—композитору-дилетанту Н. Н. Норову, второе—никому теперь не известному композитору-иностранцу Г. Бэлингу (H. Behling), быть может какому-нибудь оркестровому музыканту из иностранцев, служившему в одном из оркестров казенных театров в Петербурге, или какому-нибудь приезжему из-за границы артисту-виртуозу, или певцу, концертировавшему в то время в России.

Николай Николаевич Норов (1802—1860) служил в министерстве финансов, впоследствии был товарищем министра финансов, потом сенатором. Был знаком с 1828 г. с М. И. Глинкой, который с большой симпатией отзывается о нем в своих «Записках» [3]. Композиции Норова, ныне совершенно забытые и в большинстве своем до нас не дошедшие, печатались при жизни композитора главным образом в различных музыкальных альбомах 20-х и 30-х гг. в Петербурге. В одном из них, а именно в «Лирическом альбоме» на 1832 г., изданном И. Ласковским и Н. Норовым в Петербурге в литографии И. Беггрова и представляющем теперь большую библиографическую редкость [4], и напечатана среди других произведений Норова его «Песня» для голоса с фортепиано: «Trost in Thränen. Lied von Goethe in Musik gesetzt von N. Noroff», написанная на оригинальный немецкий текст, без русского перевода.

На титульном листе песни «Trost in Thränen» имеется цензурная дата: «Печатать позволено. СПБ. 22 сентября 1831 г. Цензор В. Семенов», показывающая, что музыка была сочинена еще при жизни Гете. Песня эта содержит в себе всего 25 тактов, написана в e-moll'ной тональности, в медленном темпе Andante con moto при $^4/_4$-тактовом делении, для среднего голоса, в куплетной форме (2 стихотворных строфы на куплет), всего 4 куплета, с небольшим фортепианным заключением в конце в 6 тактов. Музыка песни написана со вкусом и для своего времени удачно иллюстрирует в куплетной форме стихи Гете. Вокальная партия мелодична, с итальянским оборотом в середине песни.

В том же альбоме напечатана песня для голоса с фортепиано вышеупомянутого композитора Г. Бэлинга на оригинальный немецкий текст гетевского стихотво-



Автограф романса Цельтера на текст Гете
Рукою Гете слева написан текст, рукою Цельтера — ноты и текст между ними
Собрание Стефана Цвейга, Зальцбург

рения: «Jägers Abendlied von Goethe. In Musik gesetzt von H. Behling. Печ. позволено. СПБ. 28 октября 1831 г. Цензор А. Крылов». Песня написана в B-dur'ной тональности, в умеренном темпе Allegretto при $^3/_8$-тактовом делении, в куплетной форме, всего 4 куплета, с 8 вступительными и заключительными тактами фортепианного сопровождения. Вступление построено на фанфарообразном ходе в басу, напоминающем звуки охотничьего рога. Заключение построено на характерной для двух валторн фразе в басу, удачно подражающей звукам охотничьих рогов. По сравнению с песней Норова пьеса Бэлинга менее удачна, но интересна как попытка дать изобразительную музыку.

На то же стихотворение «Trost in Thränen», но в русском переводе В. Жуковского («Утешение в слезах») написано А. С. Даргомыжским (1813—1869) вокальное трио для двух теноров и баса с сопровождением фортепиано «Скажи, что так задумчив ты?» Трио издано в Петербурге в 1852 г. Ф. Стелловским и впоследствии переиздано А. Гутхейлем (Москва).

На тот же перевод В. Жуковского написано еще два романса для голоса с фортепиано. Один—Н. И. Бахметевым (1807—1891), композитором-любителем, бывшим одно время директором Придворной певческой капеллы в Петербурге (1861—1883).

Романс был издан в начале 60-х гг. в Петербурге К. Ф. Гольцем, а впоследствии переиздан Ф. Стелловским (СПБ) и А. Гутхейлем (Москва). Другой романс тогда же написан и издан почти никому не известным композитором И. Игнатьевым, автором многих романсов, напечатанных в 50-х и 60-х гг. фирмой М. Бернарда (СПБ), впоследствии переизданных П. Юргенсоном (Москва). Оба романса—и Бахметева, и Игнатьева—в художественном отношении мало интересны.

Следующим по времени появления в печати после песен Норова и Бэлинга вокальным произведением на гетевский текст «Nähe des Geliebten» («Ich denke dein») был романс для голоса с фортепиано «Я вижу образ твой» известного русского композитора А. А. Алябьева (1787—1851) в вольном русском переводе Бистрома (?). По определению биографа Алябьева—Г. Н. Тимофеева, романс этот был впервые издан в 30-х гг. [5] Ленгольдом (Москва) и впоследствии переиздан Ю. Грессером и П. Юргенсоном (Москва) [6].

Русский перевод текста романса Алябьева под заглавием «Из Гете» был напечатан в «Дамском журнале» за 1825 г., ч. 10, с подписью «Козельск, А. Б-т-м» (не Бистром ли, чьи стихотворения печатались и ранее в том же журнале?). Музыка романса написана в куплетной форме, с 4-тактовым вступлением и 6-тактовым заключением в сопровождении, и вполне соответствует куплетной форме стихов. Она удачно иллюстрирует текст в мягких лирических тонах с триолиобразным сопровождением. По основному характеру своему ближе всего напоминает лирические песни Шуберта. Особенно удачными в музыкальном отношении являются заключительные шесть тактов и переход к репризе.

Следующим музыкальным произведением, написанным на стихотворение «Nähe des Geliebten», но в другом русском переводе—М. М., является романс «С тобою мысль моя» пианиста и композитора, ученика А. Рубинштейна, А. И. Миклашевского (род. в 1874 г.), изданный у В. Бесселя в Петербурге в 90-х гг. Третьим произведением на те же гетевские стихи является песня Н. Метнера, ор. 15, № 9, написанная на немецкий текст подлинника в 1909 г.[7]

Наконец четвертым произведением на те же стихи в русском переводе А. Дельвига является романс «Близость любовников» («Блеснет заря, а все в моем мечтаньи лишь ты одна») для голоса с фортепиано (ор. 22, № 4) современного композитора-симфониста Н. Я. Мясковского (род. в 1881 г.), сочиненный в 1925 г. и изданный в 1926 г. Муз. сектором Госиздата. В музыкальном отношении это одна из лучших вокальных пьес, написанных на стихотворение Гете «Nähe des Geliebten». В то же время она является одной из удачнейших среди всех вокальных произведений самого Мясковского и очень характерна для его творчества, в целом тяготеющего более к симфоническим формам.

К 30-м гг. относится появление в печати дуэта на два гол. с ф.-п. на слова песни Гете «An den Mond» («Füllest wieder Busch und Tal») в русском переводе Н. Станкевича «К месяцу» («Снова блеск твоих лучей») [8] с музыкой популярного в свое время композитора романсов, автора известной песни «Красный сарафан»—А. Е. Варламова (1801—1848), начало композиторской деятельности которого относится к следующему после смерти Гете году [9].

На текст, взятый из той же песни Гете «An den Mond» (последние две строфы, начинающиеся словами: «Selig, wer sich vor der Welt»), но в русском переводе В. Жуковского, написан другой дуэт для двух однородных голосов с ф.-п. «Счастлив, кто от хлада лет» с музыкой А. С. Даргомыжского. Дуэт этот был впервые издан в 1858 г. у М. Бернарда (СПБ) и впоследствии переиздан у П. Юргенсона (Москва).

Оригинальные стихи баллады Гете «Der Rattenfänger» послужили текстом для музыки известного музыкального писателя, критика и композитора А. Н. Серова (1820—1871). Баллада «Der Rattenfänger», написанная для голоса с ф.-п., является одним из первых опытов Серова в области композиции, она относится к 1841 г. и не была никогда напечатана. Подробности ее сочинения мы узнаем из опубликованных писем самого композитора к другу его юности В. В. Стасову [10] и воспоминаний последнего [11]. Приводим здесь выдержки из этих писем, касающиеся сочинения баллады.

21 апреля 1841 г. Серов писал Стасову: «...Скоро пришлю тебе совершенно изготовленные: «Cantique pour le Violoncelle»,... потом еще маленькую балладу для голоса на слова Гете: «Der Rattenfänger» (которых, если ты не знаешь, то советую тебе заранее прочитать, потому что жду от тебя подробной и совестливой критики)... Мне кажется, что я в Гете найду самый обильный источник для такого рода музыкальностей, как шубертовы «Lieder». Но всегда, как ты уже давно знаешь, моим девизом будет простота (которую ты не так-то любишь—que faire)...»

В следующем своем письме от 11 мая 1841 г. Серов писал: «Corde tremente [т. е. с дрожащим сердцем] посылаю тебе первый образчик моих слабых попыток («Rattenfänger»). Опасений у меня куча, а именно: во-первых, эта вещь почти совершенно в немецком духе (если еще в ней есть какой-нибудь дух); во-вторых, тебе, может быть, не понравится самый выбор сюжета, поелику в нем нет ничего великого, напротив, это чистая безделка; в-третьих, ты вероятно будешь упрекать меня за излишнюю простоту, которая иногда даже может казаться бедностью мелодии и гармонии... P. S. Если ты не разберешь слов в моей балладе, то советую тебе приискать ее в любом издании сочинений Гете под сим же заглавием. Вообще читай эти ноты пожалуйста тихонько, с толком, а то получишь совсем ложное понятие».

Получив от Серова рукопись баллады, Стасов остался ею недоволен. Впоследствии, вспоминая про то, как в 1841 г. в письмах к Серову «постоянно настаивал на том, чтобы он [т. е. Серов] принимался пробовать себя в сочинении», и что Серов «долго не смел отважиться», но «наконец-таки решился», Стасов формулировал свое тогдашнее отношение к этой композиции Серова в следующих словах: «Но он начал бог знает с каких странных сюжетов: с «Rattenfänger'a» Гете! Я был приведен в необычайное удивление, как можно такой ничтожный, плоский сюжет брать себе задачей, да еще в первые минуты позыва к творчеству».

В ответ на критический отзыв Стасова о новом своем произведении Серов писал 18 мая 1841 г.: «Я полон блаженства: сию минуту получил твою критику моего «Rattenfänger'a». Очень, очень и очень благодарен тебе за твою откровенность... Я пять раз перечитал твой разбор, сличил его с своим произведением и совершенно убедился, что вряд ли кто может меня понять так, как ты меня понимаешь, и от этого я вне себя, потому что теперь вопрос «быть или не быть» для меня решен. Я ждал только твоего приговора, а ты, несмотря на все выходки твои против моей «Deutscherei» (немцузятины), ожидаешь от меня чего-то! И этого довольно, постараюсь всеми силами оправдать твои ожидания... Я знал, что выбор сюжета для моей баллады тебе не понравится. Постараюсь несколько перед тобой оправдать этот выбор: «prenons d'abord l'historique» [т. е. возьмем сначала историческую сторону]. Я раз перелистывал гетевы мелкие стихотворения вместе с приятелем моим, студентом Якубовским, который так же влюблен в Гете, как и я: мы прочли «Rattenfänger'a», и мне особенно понравилось в нем это единство в разнообразии, которое составляет, по-моему, первое условие изящного продукта; потом эта простота, эта наивность и притом тонкое лукавство меня прельстили, и мне тотчас показалось, что «вот бы хорошо положить на музыку!» Я сказал об этом Якубовскому, он весьма одобрил. Тотчас вслед за этим я начал перечитывать несколько раз гетеву балладу, и у меня сейчас появилась 2-я (ненавистная тебе) мелодия; когда я ее уже написал, то случайно откуда-то слетела и 1-я мелодия; надобно тебе раз навсегда сказать, что все мелодии приходят мне в голову или, лучше сказать, родятся, когда я про себя что-нибудь напеваю, но отнюдь не за органом и не за виолончелем. От этого теперь я более всего сочиняю, как ты думаешь, когда? На довольно длинном пути от нас до Сената [12] и обратно (я ведь всегда хожу пешком). Теперь тебе надобно покаяться: первоначальный вид первой мелодии был точно таков, как ты мне советовал ее написать, т. е. в виде речитатива, почти без всякого аккомпанимента, но мне присоветовали, и именно Луфт [13], который иногда меня руководит (он впрочем очень хвалил мои мысли, которые тогда только что были набросаны), присоветовал сделать что-нибудь вроде того аккомпанимента, который я после написал или, лучше сказать, приделал. Ту мелодию, которую ты даже и в счет не поставил, я и сам нахожу слабою, но делать нечего, так пришлось! При третьей, которая тебе нравится, именно я нашел ее совершенно не думавши и незаметно, мимоходом, записал ее, и боюсь даже теперь, что она не моя, потому что чересчур легко мне досталась, тем более, что я и развить ее не умел! Прочее все доделывалось мало-помалу. Вот тебе подробные «confession» моих трудов».

Другим произведением, написанным Серовым на оригинальный текст Гете, была его «Mailied» («Zwischen Weizen und Korn»), сочиненная для голоса с сопровождением виолончели и ф.-п. в июне 1841 г. Произведение это также не было никогда напечатано и осталось в рукописи. О нем мы получаем представление только на основании тех же писем композитора к В. В. Стасову, которые приводим здесь в выдержках.

Из письма Серова от 1 июня 1841 г.: «Вторая моя пьеса—«Mailied» Гете, миленькое стихотворение, без всяких претензий. Касательно того, каков в самом деле сюжет этой весенней песенки и как я его понял и обделал, самым лучшим разъ-

яснением будет тебе служить le fait même [т. е. сама вещь]. Я препровождаю тебе при сем письме свою «Майскую песню» в голосах cato и violoncello, без фортепианного аккомпанимента, для которого я теперь не имею достаточно времени, чтоб списать тебе с чернового, но который ты легко себе представишь, если прищешь под каждый такт голоса самые простейшие из всех возможных аккордов, исключая может быть двух-трех не совсем ожиданных модуляций,—и старого «Rattenfänger'a» в новом его виде. Обе эти пьесы просмотрены и исправлены Шубертом...[14] Когда познакомишься коротко с шубертовскими переделками, то перейди к «Майской песне» и сделай подробный анализ, который впоследствии непременно сообщи мне. Но ты сделай это, если можно, поскорее».

Получив от Стасова критический письменный отзыв о своей «Майской песне», Серов писал ему в ответ 25 августа 1841 г.: «...Из твоего разбора «Mailied» я вижу, что ты ею, кажется, весьма доволен, чему бы я никак не поверил. Но даже и в этом разборе я никак не могу с тобою согласиться во всем... «Mailied» сама по себе мне не нравится по самой начальной идее. Ты знаешь, что она была почти делана на срок. Я выбрал эти стихи, потому что в тогдашних обстоятельствах мне надобно было что-нибудь легкое; теперь же я жалею об этом выборе. Маленькую, простенькую песенку не должно было наполнять широкими музыкальными фразами с некоторыми претензиями; даже не должно было писать особенную музыку на каждый куплет. Это была ошибка, и важная ошибка в концепции. Шуберт не только не удержал меня от этого bévue [т. е. промаха], но, не понявши духа стихов Гете, иногда довольно вычурными приделками обезобразил мою музыку. Жаль, что я не могу тебе показать примитивной формы «Mailied», потому что она была написана весьма неразборчиво карандашом, а виолончель еще теноровым ключом, которого ты не знаешь; но я уверен, что в более простом, наивном виде это сочинение тебе бы более понравилось. Я удивляюсь, впрочем, как тебе не пришло в голову пожурить меня за несоответственность музыки сюжету, т. е. не в отдельных мелодиях, а im Ganzen [т. е. в целом]. Это вот был бы минус поважнее тех, которые ты наставил... «Песня Мефистофеля» почти готова».

Из письма от 2 сентября 1841 г.: «...Мне кажется, что никто из поэтов так хорошо не понимал природы, как мой неподражаемый Гете, и я желал бы чрезвычайно, чтоб моя к нему симпатия довела и меня до такого же всеобъемлющего взгляда на мир. Гармония природы всегда будет лучшим источником для музыкальных вдохновений... Хотел послать к тебе полуготовую «Песню Мефистофеля», но раздумал, потому что я, кроме нескольких тактов сначала, намерен предать ее уничтожению как неудачную работу. Я впал в этом опыте в большой грех, в котором чистосердечно каюсь, а именно, старался за недостатком настоящих мыслей вылепить всю последовательность сочинения по некоторым принятым формам и по почерпнутым из теории аккордам: вышла довольно связная, но бесцветная размазня. Боже сохрани тебя и меня от этой musique sculptée [т. е. лепленой музыки]...»

Из письма от 8 сентября 1841 г.: «...Я давно отступился от своей «Mailied», которой бы не нужно было писать вовсе или писать—так уж вовсе не в том духе, как она написана. Le sujet est totalement manqué [т. е. сюжет совершенно негодный]. Вперед буду осторожнее. Теперь пока я долго буду держаться правила: выбирать для омузыкалений только такие поэтические произведения, для которых сами творцы их уже предполагали музыку. В таких случаях колорит обозначается гораздо явственнее. Если какой-нибудь поэт надписывает над своим творением: Chanson, Ballade, даже Hymne, или Marche, Ronde, то он этим выражает желание свое слышать свои слова в звуках музыки, которые, может быть, ему по-своему и чудились уже когда-нибудь...»

Никаких других более конкретных сведений о «Песне Мефистофеля» Серова, кроме приведенных, мы не имеем. Несомненно однако, что речь идет здесь о произведении Серова на какой-то оригинальный текст из «Фауста» Гете. Но какие именно стихи из «Фауста» были взяты композитором для этой песни, неизвестно. Это могла быть и песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха «Es war einmal ein König» и его же серенада «Was machst du mir vor Liebchens Tür» и др. В январе 1843 г. Серов обдумывал еще, по совету В. Стасова, проект сочинения оратории на сюжет баллады Гете «Бог и баядера», но проект этот остался неосуществленным.

Одним из первых русских композиторов, сочинившим музыку для голоса в сопровождении фортепиано на стихотворение Гете «Wandrers Nachtlied» («Ueber allen Gipfeln ist Ruh») в вольном русском переводе М. Ю. Лермонтова «Горные вершины» (стих. изд. впервые в 1840 г.), надо считать А. Е. Варламова. Его романс «Горные вершины» был сочинен и впервые напечатан повидимому в начале 40-х гг. Ю. Грессером в Москве, а затем уже переиздан в полном собрании романсов и песен

Malheureusement, Mesdames, etant
condamné a partir demain il ne me
reste que de soigner mes lèvres informes
que je déteste de tout mon coeur
Je me vois a grand regret privé de
l'aimable société qui me preparoit
une si belle soirée, et je crois tout
à fait inconsolable si je ne me re-
petois toujours en prose ce que j'ai
osé dire en Vers, y joignant l'esperance
de me rejouir bientot à Weimar du
plus beau talent et de la plus intéressante
société qu'on puisse imaginer
Adieu donc, Mesdames, gardés moi
Votre precieux Souvenir

M B
19 Août
823.

G

Автограф письма Гете к пианистке Марии Шимановской от 19 августа 1823 г.
Музей Мицкевича, Париж

Варламова под ред. его сына Г. А. Варламова Ф. Стелловским (СПБ) и позднее А. Гутхейлем (Москва). Существовали также издания этого романса в переложениях на два голоса и для фортепиано в две руки. Но были ли эти переложения сделаны самим композитором или кем-либо другим—нам неизвестно. Романс «Горные вершины» по своей мелодической проникновенности очень характерен для вокального творчества Варламова,—композитора, чья мелодическая изобретательность при всей наивности эмоционального содержания стояла на большой художественной высоте.

Другим композитором, написавшим одним из первых музыку для голоса с фортепиано на тот же свободный лермонтовский перевод «Из Гете» вскоре после появления его в печати, был повидимому композитор-дилетант, «дедушка русского романса» Н. А. Титов (1800—1875), бывший еще современником великого германского поэта в начальную эпоху своей композиторской деятельности (20-е гг.). Время сочинения или по крайней мере время выхода в свет его романса, названного в издании «Отдохнешь и ты»,—точно не известно (вероятно 40-е гг.). Романс этот у Титова не из лучших, а потому не заслуживает особого внимания.

Последующими вокальными произведениями для голоса с фортепиано на тот же текст Гете-Лермонтова в порядке времени появления их в печати были романсы нижепоименованных композиторов. Во-первых, И. Игнатьева и А. Станюковича, композиторов-дилетантов, ныне совершенно забытых, вокальные произведения которых печатались главным образом в музыкальном журнале «Нувеллист» за 50-е и 60-е гг. Романсы их на лермонтовский текст были изданы первоначально у М. Бернарда в Петербурге. Романс Игнатьева кроме того был напечатан в переложении для вокального квартета или смешанного хора (без сопровождения), а также в сборнике «Венок из русских любимых романсов для пения» (изд. М. Бернарда, № 19), что свидетельствует о его известной популярности. Затем романс также незначительного композитора Г. А. Демидова (1838—1871), бывшего сослуживцем М. П. Мусоргского по Преображенскому полку, инспектора Петербургской консерватории в первые годы ее существования, издавшего свое произведение впервые у Ф. Стелловского (СПБ) в 60-х гг.; впоследствии романс был переиздан А. Гутхейлем (Москва). Далее, романсы еще менее известных композиторов: Н. Забусова, романс которого был напечатан фирмой А. Битнера в Петербурге, вероятно в 70-х гг., и Эвл. Венцеля, издавшего свой романс в 1881 г. у В. Бесселя (СПБ). Во второй половине 70-х гг. написал свой дуэт для сопрано и альта с ф.-п. «Горные вершины» С. И. Танеев (1856—1915). Дуэт этот принадлежит к ранним произведениям композитора, никогда не был напечатан и сохранился в копии в его архиве[15]. Затем следует романс московского композитора А. Ю. Симона (1851—1916), француза по происхождению, автора многочисленных музыкальных произведений, печатавшихся П. Юргенсоном, в большинстве впоследствии почти забытых, из которых только некоторые, наиболее удачные, не лишены порой некоторой доли французского изящества и теплого лиризма, близкого по стилю к музыке Чайковского. Романс Симона принадлежит к ранним его произведениям и был издан в 1884 г. После него следует композитор петербургской школы Н. Римского-Корсакова—Ф. М. Блуменфельд (1863—1930), автор музыки довольно удачного романса для сопрано или тенора на интересующий нас текст. Романс относится к ранним его произведениям, написан в 1883 г. и издан в 1886 г. у Д. Ратера в Гамбурге, а затем переиздан фирмой М. П. Беляева в Лейпциге. Музыка романса сочинена со вкусом, в покойных, теплых тонах, удачно иллюстрирует содержание текста; вокальная партия его менее значительна, чем сопровождение, которое написано в широких гармониях, красиво звучащих с фортепианной педалью.

После мало кому известного композитора В. Вердеревского, романс которого был напечатан в 1899 г. П. Юргенсоном (Москва), следующим будет Н. К. Метнер: его романс, ор. 6, № 2, был написан в 1904 г. и издан в 1905 г. В 1909 г. вышел из печати романс «Горные вершины» неизвестного нам композитора М. Милорадовича, изданный у П. Юргенсона (Москва).

Последним будет недавно умерший композитор и пианист С. М. Ляпунов (1859—1924), талантливый, но не яркий по творческой индивидуальности музыкант: в его произведениях сильно сказывается влияние Балакирева. Романс Ляпунова относится к последнему периоду его творчества (ор. 52, № 5), издан в 1913 г. фирмой Ю. Г. Циммермана в Лейпциге. Музыка романса удачно иллюстрирует картину природы, описываемую в стихах, отличается присущей творчеству Ляпунова красивостью, изяществом фантазии, благородством стиля, характерными, но не яркими гармониями, прекрасно звучащими в интересно разработанном фортепианном сопровождении, особенно в последних десяти тактах романса, но бледна в вокальной партии, в общем мало выразительной.

Тот же лермонтовский перевод гетевского стихотворения послужил двум композиторам основой при сочинении ими своих дуэтов для голосов с фортепиано. Одним из этих вокальных произведений является популярный долгое время дуэт с музыкой А. Рубинштейна (1829—1894), сочиненный им еще в конце 40-х или в начале 50-х гг. и изданный в первоначальной своей версии у М. Бернарда в Петербурге в 1852 г. Другой дуэт, незначительный по музыке, принадлежит совершенно забытой теперь композиторше С. А. Зыбиной, издававшей свои довольно многочисленные вокальные произведения в 60-х гг. К этому же времени относится и ее дуэт «Горные вершины», изданный первоначально М. Бернардом в Петербурге и впоследствии переизданный П. Юргенсоном в Москве.

Существуют еще хоры семи различных композиторов, написанные на те же стихи М. Лермонтова «Из Гете». К числу этих композиторов относятся: известный в свое время преподаватель пения и композитор хоровой музыки Г. Я. Ломакин (1812—1885); хор его, написанный еще в 70-х гг., был напечатан посмертным изданием в Петербурге в 90-х гг.; композиторы петербургской школы Н. Римского-Корсакова Н. А. Соколов (1859—1922) и А. А. Копылов (1854—1911): хор первого из них написан для однородных мужских голосов без сопровождения, ор. 15, № 5, и был издан в 1893 г. М. П. Беляевым в Лейпциге; хор второго, для трех женских или детских голосов с сопровождением фортепиано, ор. 24, № 1, был издан тем же издательством в 1894 г.; композитор и дирижер, ученик Н. Римского-Корсакова, тяготеющий в своем творчестве ближе к музыке П. Чайковского,—ныне живущий народный артист республики М. М. Ипполитов-Иванов (род. 1859 г.): его двухголосный хор для женских голосов в фортепиано, ор. 16, № 2, был издан П. Юргенсоном в 1897 г.; московский композитор «представитель русского провинциального модернизма», по выражению Б. Асафьева,—В. И. Ребиков (1866—1920): его 4-голосный хор (a capella) был издан П. Юргенсоном в Москве в 1901 г.; московский композитор «танеевской школы», один из видных деятелей национального направления в еврейской музыке, музыкальный писатель и критик Ю. Д. Энгель (1868—1927): напечатал свой хор, ор. 8, № 2, для однородных голосов в 1909 г. в издательстве П. Юргенсона (Москва); наконец современный московский композитор А. М. Дианов (род. в 1882 г.): его хор для смешанных голосов был напечатан в 1914 г. издательством Б. Решке (Москва).

На текст баллады Гете «Der Fischer» сочинили музыку для голоса с фортепиано четыре известных нам композитора. Это, во-первых, никому теперь неизвестный композитор Ленгард, издавший в 1844 г. у А. Миллера в Москве свой романс-балладу «Рыбак» («Бежит волна, шумит волна») на переводный текст В. Жуковского (перевод напечатан впервые в 1818 г.). Издание этого романса, очень редкое, нам видеть не удалось, один экземпляр его имеется в Гос. Публичной библиотеке в Ленинграде. [16] Кто был этот Ленгард, установить теперь очень трудно. Быть может это был пианист и композитор А. Ленгард, иностранец по происхождению, служивший одно время (1817—1820) капельмейстером московских казенных театров, для которых он сочинял музыку к различным представлениям, исполнявшимся на сценах этих театров. Из таких его произведений известны: одна опера-водевиль, четыре оперы, пять балетов и четыре представления с его музыкой (в том числе одно, написанное в сотрудничестве с К. А. Кавосом и исполнявшееся в Петербурге в 1825 г.) [17].

Другим композитором был военный капельмейстер А. А. Дерфельд (1810—1869), написавший свой романс «Волна шумит, волна бушует» (баллада для голоса с фортепиано) на переводный текст неизвестного нам переводчика; музыка этой баллады была издана повидимому в 50-х гг. у М. Бернарда (СПБ), впоследствии была переиздана П. Юргенсоном (Москва).

Третьим композитором была теперь почти совершенно забытая композиторша романсов и песен Е. Шашина, известная в свое время главным образом благодаря популярному романсу «Выхожу один я на дорогу», печатавшая свои музыкальные произведения в 60-х—70-х гг., а также помещавшая их в петербургском музыкальном журнале «Нувеллист» [18]. Ее романс «Рыбак» («Волна шумит, волна бушует») на переводный текст того же повидимому неизвестного переводчика, как и у предыдущей песни, был издан вероятно в 70-х гг. у М. Бернарда (СПБ), впоследствии переиздан у П. Юргенсона.

Четвертым был композитор, виолончелист и дирижер С. В. Заремба (род. в 1861 г.), дирижировавший одно время концертами Музыкального отделения Русск. муз. о-ва в Воронеже. Его баллада написана в 1897 г. на переводный текст кн. Д. Цертелева («В прибое волн был рев и гром») и издана под opus'ом 17 музыкальным магазином В. Кастнера в Воронеже в 1898 г.

Теперь мы подходим хронологически к стихотворным отрывкам из «Фауста» (часть I), положенным на музыку русскими композиторами. Из этих отрывков больше всех были использованы для вокальных произведений для голоса с фортепиано стихи известной «Песни Маргариты» (Gretchen am Spinnrade allein: «Meine Ruh ist hin». «Faust», I Teil, Gretchens Stube), на которые написаны романсы шестью композиторами: М. Глинкой, И. Романусом, В. Ельховским, И. Пишной, Гагариным и А. Манном. Затем был использован еще отрывок—песня Мефистофеля о блохе (Lied des Mephistopheles: «Es war einmal ein König». «Faust», I Teil. Auerbachs Keller in Leipzig), музыку к которой написал М. Мусоргский, и упоминавшаяся уже неизвестная «Песня Мефистофеля» с музыкой А. Серова.

Первым композитором, написавшим романс на текст «Песни Маргариты» в русском переводе Э. Губера («Тяжка печаль и грустен свет»), был М. И. Глинка (1803—1857); романс его был сочинен в 1848 г., когда он жил в Варшаве, и издан впервые у В. Деноткина в Петербурге в 1850 г. О времени сочинения этой песни мы имеем свидетельства как самого композитора, так и его знакомого П. П. Дубровского. Вот что сообщает по этому поводу сам композитор в своих «Записках» [19]:

«Осенью, в сентябре [1848 г.], появилась холера в Варшаве; из предосторожности я не выходил из комнаты, тем более, что мимо нашего дома на Рымарской улице ежедневно провожали много похорон. Сидя дома, я принялся за дела, написал романсы: «Слышу ли голос твой», слова Лермонтова, «Заздравный кубок» Пушкина... и Маргариту из «Фауста» Гете, переведенн[ого] Губером. Стихи из этих романсов указал мне бывший тогда цензором в Варшаве П. П. Дубровский. Я познакомился с ним еще в 1847 г. в проезд мой через Варшаву. В 1848 г. он постоянно навещал меня и со свойственной ему услужливостью сопутствовал часто мне на прогулках; очень часто он читал мне, и мы прочли с ним большую часть русских писателей и других авторов, в особенности Шекспира».

П. П. Дубровский в своих воспоминаниях о М. И. Глинке [20] пишет: «Расскажу теперь историю его других произведений, в то же время, т. е. в 1848 г., в Варшаве им написанных. Я сам навел на них Михаила Ивановича. Однажды мы вместе читали гетева «Фауста» и остановились на песне Маргариты:

«Meine Ruh' ist hin,
Mein Herz ist schwer» и т. д.

Я намекнул ему, как прекрасно было бы воссоздать эту песню в музыкальных звуках; даже принес ему на другой день русский перевод Губера (изд. 1838 г.), и превосходная музыка на него была готова через несколько дней».

Заслуживают особого внимания также воспоминания А. Н. Серова по поводу исполнения «Песни Маргариты» самим композитором и критический разбор этой песни автора воспоминаний [21].

«...Еще в январе 1849 г. я представил Глинке двух лиц, с которыми постоянно делился своими музыкальными впечатлениями,—сестру мою, С. Н. Дю-тур, и товарища моего по училищу, В. В. Стасова.

Перед маленьким кружком слушателей из нас трех, Дон-Педро [22], да иногда двух-трех из своих родственников Глинка вдохновенно певал новое свое вокальное произведение «Песнь Маргариты» из гетева «Фауста» (написанную в 1848 г. на слова в переводе Губера).

В этой музыке чисто славянский характер ее не в совершенном согласии с задачею основного текста. Это не «Гретхен» Гете, а скорее опять Горислава [23] женщина русская. Уже и в переводе Губера настоящий характер немецкой Гретхен не уловлен.

«Тяжка печаль и грустен свет,
Ни сна, ни покоя мне бедной нет».

Хорошие стихи, проникнутые чувством, но именно в чувстве этом крайне м а л о п о х о ж и е на безысходную и лаконически высказанную «тоску» оригинала.

«Meine Ruh' ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmer mehr!»

Музыка Глинки со своей шопеновскою мягкостью очертаний и расплывчатостью лирического чувства уводит впечатления еще дальше от фаустовой Гретхен, мечтающей за самопрялкою. Музыка Франца Шуберта на текст Гете несравненно объективнее передает мысль поэта. Несмотря на все это, однако, Маргарита Глинки как

Титульный лист „Лирического альбома на 1832 год", в котором напечатаны романсы русских композиторов — современников Гете — на его тексты

Собрание С. С. Попова, Москва

отдельная вещь, без отношения к Гете и к его Фаусту—музыка восхитительная и одно из лучших созданий Глинки вообще.

Драматическая сила (vis tragica) в этом романсе необыкновенно глубока...

В расположении, в ходе гармонии, даже в ритме (3/4) эта музыка имеет очень много родственного с каватиною Гориславы («Любви раскошная звезда»); задача драматическая в главном одна и та же: «тоска» любящего женского сердца; этим оправдывается некоторое сходство в самых звуках, кроме того и особенность «стиля» Глинки тут, если не больше вдохновения, то наверное еще больше свободы в овладении средствами декламации музыкальной и тончайшими переливами гармонии. Особенно одна модуляция поражала меня каждый раз своим новым неожиданно-прелестным эффектом.

Главн[ая] тон[альность] пьесы—si mineur (h-moll). Через параллельн[ую] мажорн[ую] тон[альность] (re maj., D-dur), музыка приходит к тон[альности] si b. maj. (B-dur).

«Его улыбка и жар страстей,
И стан высокий, и блеск очей,
И сладкие речи, как говор струй,
Восторг объятий и поцелуй...»

Остановившись на высоком ré (d) в мелодии, Маргарита после светло-страстного, любовного эпизода возвращается опять к своему гореванью,—и вот одним аккордом музыка из тон[альности] si b. maj. переходит опять в главную, меланхолическую, тональность si naturel mineur (h-moll).

Любуясь чудесною и драматическою красотою этой энгармонической модуляции (через аккорд ais-d-fis или la dièze, ré, fa dièze), я выразил свое восхищение автору.

«У Шопена тоже не редки такие модуляции. Это наша с ним родная жилка», заметил Михаил Иванович...»

Кроме Глинки на текст «Песни Маргариты» в русских переводах написали музыку для голоса с фортепиано, как мы уже говорили, еще пять композиторов. Во-первых, И. Р. Романус—композитор-дилетант, современник М. Глинки, автор 27 романсов и песен, напечатанных фирмой Ф. Стелловского (СПБ) в середине XIX века [24].

Его «Песня Маргариты», написанная на переводный текст А. Струговщикова («Прости, мой покой») издана Ф. Стелловским во второй половине 50-х гг. Позднейшая перепечатка песни с тех же досок принадлежит фирме А. Гутхейль в Москве. Во-вторых, В. Ельховский—композитор мало кому известной оперы «Дочь старосты» и 39 романсов, изданных как собственность автора у М. Бернарда в Петербурге, повидимому в середине XIX ст. Его «Песня Маргариты» написана на переводный текст неизвестного нам переводчика («Улетел мой покой») и издана в 60-х гг. тем же Бернардом. В-третьих, Иосиф Пишна—чех по происхождению, был в 60-х и 70-х гг. прошлого века хорошо известен в Москве как фортепианный педагог, состоял преподавателем музыки в Сиротском институте при Воспитательном доме в Москве и занимался между прочим также и композицией, печатая свои композиторские опыты как собственность автора за счет богатых родителей своих учеников и учениц, которым и посвящал преимущественно свои произведения. Музыка его «Песни Маргариты» написана, как и глинкинская, на переводный текст Э. Губера («Тяжка печаль») и издана в 1872 г. в Москве как собственность автора. В-четвертых, Гагарин, совсем нам неизвестный композитор, чья «Песнь Маргариты» на переводный текст А. Струговщикова («Прости, мой покой») была напечатана издательством И. А. Соколова в Петербурге в 90-х гг. Наконец, в-пятых, А. И. Манн (род. в 1864 г., ум. в первые годы русской революции)—композитор, ученик по теории композиции Н. Соловьева, автор неизданной оперы «Корсар», нескольких оркестровых, хоровых и фортепианных произведений и свыше 40 романсов, из которых некоторые пользовались наибольшим успехом среди всех произведений Манна благодаря своей мелодичности. Написал музыку своей «Песни Маргариты за прялкою» на переводный текст Н. Холодковского («Покоя нет, душа скорбит»), изданную в 1907 г. как собственность автора у И. Юргенсона в Петербурге; песня не является удачной среди его вокальных произведений.

На стихи шуточной песни Мефистофеля из I ч. «Фауста» написал в 1879 г. свою замечательную «Песню Мефистофеля (о блохе) в погребке Ауэрбаха» М. П. Мусоргский (1839—1881) на переводный текст А. Струговщикова («Жил-был король когда-то»).

О сочинении этой песни мы имеем свидетельство самого композитора в его краткой автобиографической записке, написанной, как это установлено мною [25], после июня 1880 г. (в июле—августе?) для готовившегося изданияримановского музыкального словаря в Лейпциге. В ней композитор пишет [26]:

«...В 1879 г. знаменитая драматическая русская певица Леонова пригласила Мусоргского предпринять большое артистическое путешествие по России в Малороссию, Крым и по Дону и Волге. Поездка эта в продолжение трех месяцев была настоящим триумфальным шествием двух крупных русских артистов: талантливого композитора и известной певицы. На пути автор задумал передать в музыке никем еще не обработанное с музыкальной стороны творение великого Гете: Песнь Мефистофеля в погребке Ауэрбаха о блохе...»

Довольно странно и непонятно, почему Мусоргский говорит здесь, что он явился первым композитором, положившим на музыку стихи Гете, «никем еще не обработанные с музыкальной стороны». Не может быть, чтобы он мог забыть про музыку на гетевский текст «Песни о блохе» Л. Бетховена (Aus Goethes «Faust». 1810) и из драматической легенды «Осуждение Фауста» Г. Берлиоза (Deuxième partie, № 9. Chanson de Méphistophelès: Une puce gentille. 1846)? Тем более это непонятно, что писал он свою автобиографию для немецкого словаря. Вероятнее всего в данном случае предположить, что этой фразой Мусоргский хотел сказать, что никто из р у с с к и х композиторов не обрабатывал этот текст с музыкальной стороны.

Свое намерение «передать в музыке ...творение великого Гете» композитор привел в исполнение повидимому лишь в самом конце своего путешествия или быть может даже после его окончания, вернувшись в Петербург, так как в сохранившихся программах его концертов с Д. Леоновой из времени путешествия до 17 октября 1879 г. (Тверь) произведение это не фигурирует, подобно некоторым другим, написанным во время путешествия, что объясняется повидимому тем, что в то время оно не было еще сочинено [27]. Между тем в конце 1879 г. в Петербурге композитор стал уже исполнять свою песню с Леоновой в разных концертах. К сожалению, в настоящее время не известно, где находится подлинная автографная рукопись «Песни о блохе», на которой вероятно дата записи сочинения обозначена, как почти во всех других автографных рукописях композитора. Выпущенное в свет в 1931 г. Гос. Муз. изд-вом в Москве академическое издание этой песни под ред. П. Ламма выполнено по копии с подлинной рукописи Мусоргского, писанной рукой В. Стасова. Большинству же

произведение это известно в редакционной обработке Н. Римского-Корсакова в посмертном издании, вышедшем в свет в 1883 г. у В. Бесселя в Петербурге.

Не безынтересно будет здесь напомнить про то впечатление, какое производило авторское исполнение «Песни о блохе» на современников. Приведем отрывок из опубликованного недавно воспоминания ныне уже умершего проф. Ленинградской консерватории Н. С. Лаврова, бывшего одним из современников Мусоргского и слышавшего эту песню в исполнении автора [28]. По воспоминаниям Лаврова, вскоре после возвращения в Петербург из концертного путешествия по югу России в 1879 г., Мусоргский был приглашен вместе с Леоновой в Петербургский музыкально-драматический кружок любителей.

«Мусоргский частенько аккомпанировал на очередных еженедельных музыкальных вечерах кружка и с первого раза поразил... необыкновенной картинностью, талантливостью и увлечением своей игры, которая производила неотразимое впечатление на слушателей». Наиболее яркие воспоминания от этого времени оставили у Лаврова исполнения Мусоргским с Леоновой его «Песни о блохе» и фантазии «Буря». По словам Лаврова: «Песнь о блохе» произвела к кружке сенсацию и вызвала в публике взрыв аплодисментов. Здесь особенно ярко сказалась способность Мусоргского к картинности сопровождения, временами просто казалось, что слышишь, как скачет блоха. Арпеджио в средине романса звучали изумительно, в них было положительно что-то рубинштейновское. Такого исполнения арпеджио ...[мне] не пришлось слышать ни прежде, ни после: при страшном fortissimo рояля голос Леоновой не был заглушаем ни на одну секунду, и было слышно каждое слово романса».

К цитированному отзыву можно добавить ещё воспоминание другого современника Мусоргского, А. А. Врубель, не раз слышавшей композитора в последние годы его жизни в доме Ф. М. Валуева, где им исполнялась с демонической силой «Песня о блохе», по словам А. А. Врубель, «еще лучше Шаляпина» [29].

После самой значительной по количеству группы вокальных произведений, написанных на переводный стихотворный текст «Горные вершины», наибольшей является группа романсов и песен для голоса с фортепиано, сочиненных на гетевские стихи из «Вильгельма Мейстера» (часть I). Здесь мы имеем 11 произведений, написанных на текст первой «Песни Миньоны» («Kennst du das Land»), 4—на текст третьей «Песни Миньоны» («Heiss' mich nicht reden»), 6—на текст второй «Песни Миньоны» («Nur wer die Sehnsucht kennt»), 3—на текст пятой «Песни арфиста» («An die Türen will ich schleichen») и 2—на текст второй «Песни арфиста» («Wer nie sein Brot mit Tränen ass»), считая в их числе и 5 песен из цикла вокальных пьес, различных по виду, под названием «Gedichte und das Requiem für Mignon» с музыкой А. Рубинштейна, op. 91,

Первая страница романса Н. Норова на текст стихотворения Гете „Trost in Thränen" из „Лирического альбома на 1832 год"
Собрание С. С. Попова, Москва

состоящей из 14 номеров. Весь последний цикл мы отнесли ко 2-й группе и сделаем его обзор в целом при рассмотрении отдельных ее номеров.

Первым по времени появления в печати вокальным произведением на гетевский текст первой «Песни Миньоны» («Kennst du das Land»), написанным в России, следует признать песню для сопрано или тенора с фортепиано выдающегося польского композитора С. Монюшки (1819—1872), изданную первоначально с одним только переводным польским текстом в Вильне, по подписке, на средства композитора, в конце 40-х гг., в составе 4-й тетради его «Сборника песен» («Śpiewnik»), как № 15 («Znasz-li ten kray»), а затем напечатанную с одним только переводным русским текстом («Миньона». «Знаешь ты край, где небо пламенеет») издательской фирмой В. Бесселя в Петербурге, на второй год ее существования (в 1870 г.).

По поводу первого издания песни с польским текстом имеется интересный (печатный) отзыв современника Монюшки—А. Н. Серова, относящийся к 1856 г. [30] Приводим из него интересующую нас выдержку:

«В четвертой тетради затруднителен выбор лучшего: все нумера отличны. Однако, по моим понятиям, пальму [первенства] присудить надобно № 15 «Znasz-li ten kray» (из Гете: «Kennst du das Land») и № 1, «Aniolek». В музыке на поэтическую гетеву тему, которую уже столько раз выбирали разные композиторы, в том числе и Бетховен, автор «Спевника» поднялся высоко в широком, лирическом полете. Тут в каждом аккорде музыкальные красоты высшего разряда. Оригинальность гармонии так же прелестна, как в иных романсах Шумана, только здесь побольше свободы вдохновения. Такая вещица сделала бы честь композитору первоклассному...»

Следующей по времени издания была «Песнь Миньоны» А. Рубинштейна, написанная на оригинальный немецкий текст, вошедшая в его ор. 91 («Стихи и реквием по Миньоне»), № 4, напечатанная в 1873 г. [31]

Третьим произведением, написанным на стихи Гете «Kennst du das Land» в переводе Ф. Тютчева («Ты знаешь край, где мирт и лавр растет»), нужно считать «Песню Миньоны» П. Чайковского (1840—1893), изданную в 1875 г. у В. Бесселя в Петербурге в составе его ор. 25 (Шесть романсов. № 3).

Шесть романсов, ор. 25, сочинены Чайковским в самом конце 1874 или в начале 1875 г. по просьбе его петербургского издателя В. В. Бесселя (это устанавливается нами впервые по неопубликованным письмам П. Чайковского к В. Бесселю от 9 ноября 1874 г. и 22 марта 1875 г. [32]

Современник и близкий друг композитора Г. А. Ларош в своем критическом отзыве о всем цикле романсов, ор. 25, напечатанном вскоре после выхода его в свет, писал об этой песне следующее: «Третий романс («Песнь Миньоны»; из многих русских переводов композитор выбрал тютчевский) очень элегантен и певуч, но мне кажется холодным и лишенным той глубокой поэтической тоски, которая звучит в бессмертных строфах Гете. Впрочем, если сравнить романс г. Чайковского с наиболее знаменитым из однородных сочинений на эти слова, с песнью Листа «Kennst du das Land», этим напомаженным и раздушенным ничтожеством, то способ, каким русский композитор разрешил задачу, покажется вполне правдивым и даже превосходным. Но это относительно.» (См. сборник «Музыкально-критических статей» Г. Лароша, П., 1894).

Остальные песни для голоса с фортепиано, сочиненные другими восемью композиторами, не заслуживают подробного обзора, так как по своему художественному значению не выходят за пределы среднего уровня вокальных сочинений, написанных в лучших случаях добропорядочно второстепенными и третьестепенными композиторами.

Сюда относятся: «Песня Миньоны» на русский переводный текст Ф. Тютчева («Ты знаешь край») петербургского композитора, органиста и дирижера, чеха по происхождению В. И. Главача (1849—1911), изданная у М. Бернарда (СПБ) в конце 70-х гг. и впоследствии переизданная П. Юргенсоном (Москва).

«Песня Миньоны» композитора, пианиста и дирижера, писавшего романсы на немецкие тексты,—Э. Ю. Гольдштейна (1851—1887) издана фирмой А. Иогансена в Петербурге в 80-х гг. с русским переводом неизвестного автора («Ты знаешь ли край») [33].

Романс «Mignon» («Connais tu le pays») петербургского пианиста-аккомпаниатора и композитора многочисленных салонных романсов Э. Я. Длусского (1857—?) был написан повидимому на французский переводный текст или на русский, тоже переводный («Знаешь, где та страна») и изданный вместе с французским переводом русского текста. Появился в печати в средине 80-х гг. XIX ст. у М. Бернарда (СПБ), впоследствии переиздан П. Юргенсоном (Москва).

«Песня Миньоны» («Знаешь ли край тот»), ор. 18, № 2, петербургского композитора-дилетанта, написавшего свыше 100 романсов, печатавшихся преимущественно фирмой

М. П. Беляева в Лейпциге, А. А. Алфераки (1846—?) была издана тем же издательством в 1894 г.

«Современный романс» («Ты знаешь край») с русским переводным текстом Ф. Тютчева (?) известного в 70-х и 80-х гг. оперного певца (тенора) и преподавателя пения Д. А. Усатова (род. в 1840-х гг., ум. в 1913 г.) был издан в 90-х гг. у П. Юргенсона (Москва).

Песня «Ты знаешь край», с русским переводом Ф. Тютчева (?), неизвестного нам композитора Рокиджана издана как собственность автора в Петербурге в 90-х гг.

«Песня Миньоны», ор. 18, № 4, современного дирижера и композитора, народного артиста республики, чеха по происхождению, В. И. Сука (род. в 1861 г.) написана им повидимому на оригинальный немецкий текст и напечатана с русским переводом у Ю. Г. Циммермана в Лейпциге в 1905 г. Рецензент «Русской музыкальной газеты» в кратком своем отзыве о всем цикле романсов В. Сука, ор. 18 [34], вскоре по выходе их в свет отметил общую их мелодичность и нашел, что «из четырех номеров больше всего выделяется красивая и выразительная «Песнь Миньоны», в которой аккомпанимент требует «хорошей техники», и что в этом цикле «композитор хорошо справляется с текстом».

Песня «Ты знаешь край» с русским переводом Ф. Тютчева московского композитора П. И. Бларамберга (1841—1907) была напечатана как посмертное издание у В. Бесселя в Петербурге в 1909 г. Один из наиболее удачных романсов этого композитора, у которого более ранние вокальные произведения признавались Ц. Кюи «сухими, длинными, мало красивыми» [35].

Стихи песни «Mignon» («Heiss mich nicht reden») в переводе А. Струговщикова «Не спрашивай». Из Гете («Не спрашивай, не вызывай признанья») вскоре после появления перевода в печати (изд. в 1845 г.) были положены на музыку известным московским композитором-дилетантом А. Л. Гурилевым (1802—1856). Его песня для голоса с ф.-п. была впервые издана во второй половине 40-х гг. у Ю. Грессера в Москве, а впоследствии переиздана Ф. Стелловским (СПБ) и А. Гутхейлем (Москва). Песня эта не принадлежит к числу особенно популярных романсов Гурилева, но так же, как и большинство из них, мелодична.

Следующим после Гурилева композитором, сочинившим музыку на тот же текст в том же переводе А. Струговщикова, был П. И. Чайковский. Свой романс он написал во время кратковременного, 3-недельного, пребывания своего в Париже (с 20-х чисел ноября по 10-е числа декабря) в 1884 г.

Наконец третьим композитором, написавшим музыку на текст стихотворения «Heiss mich nicht reden», в том же переводе А. Струговщикова, был мало кому известный композитор Л. Фризе, издавший свой романс в 80-х гг. у А. Гутхейля в Москве.

На текст «Второй песни Миньоны» («Nur wer die Sehnsucht kennt») писали музыку для голоса с фортепиано следующие шесть композиторов:

Первым был упоминавшийся уже композитор А. А. Дерфельд (1810—1869), романс которого «Нет, только тот, кто знал» в русском переводе Л. Мея был напечатан впервые у М. Бернарда (СПБ) в 1856 г., впоследствии переиздан П. Юргенсоном (Москва).

Вторым был П. И. Чайковский, написавший свой романс «Нет, только тот, кто знал» на меевский перевод в декабре 1869 г. вместе с другими пятью романсами, входящими в ор. 6, изданными у Юргенсона в Москве в 1870 г. Любопытно припомнить одну деталь в биографии П. И. Чайковского, а именно, что во время пребывания его в Париже в 1888 г. там вышел из печати роман французского писателя Э. Гудо «Le Froc», в котором большую роль играет романс «Нет, только тот, кто знал». По словам биографа композитора, «Петр Ильич ужасно был польщен и шутя хвастался этим гораздо более, чем восторженными отзывами музыкальной критики» [36].

Третьим композитором, сочинившим музыку на оригинальный текст второй «Песни Миньоны» («Nur wer die Sehnsucht kennt»), был А. Рубинштейн: она написана у него в виде дуэта на два голоса—Миньоны и старого арфиста, как это описано в романе Гете. Дуэт Рубинштейна был издан в 1873 г. в составе его ор. 91 («Стихи и реквием по Миньоне», № 7. Mignon und der Harfner).

Четвертым и пятым были упоминавшиеся уже композиторы: В. И. Главач (1849—1911), чья «Песня Миньоны» на известный переводный текст Л. Мея («Нет, только тот, кто знал») была напечатана в 80-х гг. в издании автора и А. Н. Алфераки (1846—?), чей романс «Лишь кто разлуку знал», ор. 28, № 3, на переводный русский текст неизвестного автора был издан в 1898 г. фирмой М. П. Беляева в Лейпциге.

Шестым является Н. К. Метнер, написавший музыку своей песни на оригинальный немецкий текст «Mignon», op. 18, № 7, которая была издана в 1910 г.

На текст пятой «Песни арфиста» из Вильгельма Мейстера (Lied des Harfenspielers. «An die Türen will ich schleichen») написали музыку для голоса с фортепиано, насколько известно, только три композитора: М. Мусоргский, А. Рубинштейн и Н. Метнер.

Песня Мусоргского сочинена в 1863 г. на неизвестный нам русский переводный текст—возможно самого композитора—и вошла в состав сборника его романсов «Юные годы» как № 11. В автографной рукописи она озаглавлена «Песня старца из «Вильгельма Мейстера» Гете» и имеет в конце автографа дату: «13 августа 1863 г. Село Канищево». Сохранилась часть письма Мусоргского к Ц. А. Кюи от 22 июня 1863 г. из Торопца; в письме композитор сообщает интересные подробности о сочинении этой песни. Приводим здесь выдержки из этого письма[37]:

«...и скучно, и грустно, и досадно, и чорт знает что такое!... И нужно было управляющему напакостить в имении.—Думал заняться порядочными вещами, а тут производи следствие, наводи справки, толкайся по разным полицейским и неполицейским управлениям. Куда как много впечатлений!... На-днях попались мне стишки Гете коротенькие, я обрадовался... и на музыку; одно место вышло не дурно по фразе...[38] большего ничего не придется сочинять, голова моя находится, благодаря управляющему, в полицейском управлении, а заняться маленькими вещицами можно.—Содержание слов Гете—Нищий, кажется из Вильгельма Мейстера: нищий мою музыку может петь без зазрения совести,—я так думаю...»

Дата на автографной рукописи (13 августа) показывает, что хотя песня и была сочинена Мусоргским еще в июне 1863 г. в Торопце (как это следует из цитированного письма), но была записана в окончательной редакции только 13 августа того же года в селе Канищеве (вероятно название одного из имений, принадлежавших братьям Мусоргским в совместном владении в Псковской губернии). Впервые издана с одним французским текстом в переводе Л. Лалуа в приложении к журналу «Bulletin français de S. I. M.» 1909, № 5 (Париж). С русским текстом подлинника впервые напечатана в Петербурге в 1911 г. как посмертное издание, под редакцией В. Каратыгина. Новое издание по подлинной авторской рукописи вышло в свет в 1931 г. в академической редакции П. Ламма в составе сборника «Юные годы» (№ 11) в совместном издании Гос. муз. изд-ва РСФСР в Москве и Универсального изд-ва в Вене с русским и оригинальным немецким текстом, подписанным редактором издания.

Интересно отметить, что в этом произведении, написанном Мусоргским в 1863 г., чувствуется уже реалистически-бытовой уклон, столь характерно выраженный в позднейших его произведениях, начиная с «Калистрата» (1864 г.), и в особенности в «Народных картинах», написанных осенью 1866 г., как это отмечает и сам композитор в своей автобиографической записке 1880 г.

А. Рубинштейн написал свою музыку на оригинальный текст пятой «Песни арфиста» («An die Türen will ich schleichen») в 1872 г.; она вошла в состав его op. 91 (стихи и реквием по Миньоне), № 9 и была издана в 1873 г.

Песня Н. Метнера на тот же оригинальный текст Гете «An die Türen will ich schleichen», op. 15, № 2, была сочинена и издана в 1908 г. Первым по времени сочинения и издания на текст второй «Песни арфиста» из Вильгельма Мейстера («Wer nie sein Brot mit Tränen ass») была песня А. Рубинштейна, написанная на оригинальный немецкий текст в 1872 г. и тогда же изданная за границей в составе его op. 91 (Стихи и реквием по Миньоне), № 2. Вторым произведением, написанным на тот же текст второй «Песни арфиста», но в русском переводе А. Струговщикова, был романс для голоса с ф.-п. «Кто не едал с слезами хлеба» третьестепенного композитора, получившего свое музыкальное образование за границей, известного в свое время в Петербурге музыканта-педагога, немца по происхождению В. В. Кюнера (1840—1911), издавшего свой романс в 1880 г. у В. Бесселя (СПБ).

Переходя после цикла песен из «Вильгельма Мейстера» к другим стихотворениям Гете, положенным на музыку русскими композиторами, мы должны будем сказать несколько слов о вокальных произведениях А. Рубинштейна, написанных на оригинальные немецкие тексты и изданных впервые в начале 50-х гг. за границей. К этим произведениям относится прежде всего его вокальный четырехголосный квартет для мужских голосов, op. 31, № 4, написанный на два стихотворения, соединенные вместе,—«Meeres Stille» и «Glückliche Fahrt», изданный у Фр. Кистнера в Лейпциге. В начале 70-х гг. он был переиздан у В. Бесселя (СПБ) с оригинальным немецким и переводным русским текстом, сделанным В. Крыловым. Сле-

На днях попались мне стихи Гете — арфиста, я обрадовался... и на музыку; одно место вышло не дурно по фразам:

bis

lento

etc. . . . . . до высшего, нечего не придется сочинять, голова народится, благодаря управляющему, во полицейском управлении, а заодно маленьким ведомствам можно. — Содержание слов Гете — нищий, кажется из Вильгельма Мейстера; нищий мою музыку отпоет пожалуй без зазрения совести, — я так думаю. — В этом приготовлении, во всяком случае Intermezzo, инструментовка будет интересна. — Кстати, милый Цезарь, я полагаю, как-то уже едва ли и за многое другое принимаешься, — напишите: как и что вы произвели, меня ваши труды сердечно интересуют и известие о них будет мне очень приятно и облегчит меня. — Пишите прямо ко мне в Торопецъ, c'est pas long. Кланяйтесь от меня.

Страница письма М. П. Мусоргского к В. В. Стасову от 22 июня 1863 г. с нотным автографом отрывка из „Песни Старца", написанной на текст Гете

Публичная Библиотека, Ленинград

дующими произведениями будут песни для голоса с ф.-п. «Clärchens Lied» («Freudvoll und leidvoll), ор. 57, № 4, на стихи из «Эгмонта» и «Freisinn» («Lasst mich nur auf meinem Sattel gelten»), ор. 57, № 5. Они были первоначально изданы у Б. Зенфа в Лейпциге, а в 1872 г. переизданы у В. Бесселя (СПБ) с оригинальными немецкими и переводными русскими текстами, сделанными тем же В. Крыловым: «Песня Клэрхен» («Горе и радость») и «Жажда свободы» («Крепко я в седле сижу»).

Отдельно на текст стихотворения «Meeres Stille» («Tiefe Stille herrscht im Wasser») в русском переводе А. Голенищева-Кутузова известны три вокальных произведения трех разных композиторов и одного на оригинальный немецкий текст—четвертого. Первым из написанных на русский переводный текст будет романс для голоса с фортепиано «На водах покой глубокий», ор. 7, № 2, современного, ныне живущего композитора Н. Н. Черепнина (род. в 1873 г.), изданный в 1900 г. фирмой М. П. Беляева в Лейпциге. Вторым написан на тот же переводный текст сольный квартет для мужских голосов «Тишина», ор. 77, № 2, композитора и дирижера, чеха по происхождению Э. Ф. Направника (1839—1916), изданный в 1906 г. у П. Юргенсона (Москва). Третьим написан на тот же переводный текст романс для голоса с фортепиано «Тишина», ор. 52, № 2, С. М. Ляпунова (1859—1924), ранее уже упоминавшегося. Его романс издан у Ю. Г. Циммермана в Лейпциге в 1913 г. По своему музыкальному содержанию романс этот равноценен другому романсу из того же ор. 52, № 3 «Горные вершины».

Следующим произведением, написанным на оригинальный немецкий текст «Tiefe Stille herrscht im Wasser», будет песня для голоса с фортепиано Н. Метнера «Meeres Stille», ор. 15, № 7, изданная в 1909 г.

Первым из известных нам композиторов, написавшим музыку на текст баллады Гете «Der König in Thule» и притом несомненно на оригинальные немецкие стихи, был композитор, пианист, дирижер и хормейстер петербургских казенных театров, датчанин по происхождению, О. И. Дютш (1827—1863).

В московском архиве издательской фирмы А. Гутхейль сохранялась автографная рукопись О. И. Дютша, содержащая в себе его романсы и песни на немецкие тексты, распределенные по opus'ам и перенумерованные по порядку от № 1 до № 42. Часть из них в рукописи почему-то отсутствовала (№№ 13—18 и 40—41). Среди этих романсов находились и две песни на тексты Гете: ор. 6, № 1,—«Der König in Thule» и ор. 26, № 4,—«Gefunden». Изданы они не были.

На текст баллады Гете «Der König in Thule» в русском переводе неизвестного автора написана также музыка четырехголосного смешанного хора «Царь Фулеский» (баллада) ранее уже упоминавшегося композитора А. А. Дерфельда (1810—1868). Хор этот был издан в 1866 г. у М. Бернарда (СПБ), впоследствии переиздан П. Юргенсоном (Москва). На текст той же баллады в русском переводе неизвестного автора у того же композитора А. Дерфельда имеется романс «Царь Фульский» для голоса с фортепиано, изданный также в 60-х гг. у Ф. Стелловского (СПБ), переизданный впоследствии А. Гутхейлем (Москва).

На слова песни Гете «Gefunden» нам известны три романса: один принадлежит О. И. Дютшу, другой С. И. Танееву и третий Н. К. Метнеру.

О судьбе песни Дютша «Gefunden», сочиненной повидимому в 50-х гг. (ор. 26, № 4), мы уже говорили одновременно с другой его песнью «Der König in Thule». Обе они остались в рукописи и поэтому могли быть известны только очень ограниченному кругу лиц, близко стоявших к композитору.

С. И. Танеев написал свой романс на немецкий текст Гете в 1883 г., как об этом мы впервые узнаем из следующих строк неопубликованного письма московского нотоиздателя П. И. Юргенсона к П. И. Чайковскому от 23 сентября 1883 г. [39]: «...Танеев наконец продал мне одно сочинение: романс на немецкий текст Гете. Для начала это не дурно. Я поспешил послать романс для перевода в Петербург,... но где такие вещи делаются? Между тем, это так «по-русски»: Гете, Танеев, Юргенсон, Петербург, Тюменев» [40]. Какой это был романс Танеева на слова Гете, из цитированных строк письма не видно.

Среди печатных произведений Танеева известен только один романс для голоса с фортепиано на оригинальный текст Гете. Это именно «Gefunden» («Ich ging im Walde»), записанный композитором 14 февраля 1914 г. в альбом Е. Ф. Цертелевой, по ее просьбе, что мы узнали впервые от самой владелицы альбома. Этот романс Танеева был издан как посмертное сочинение, с русским переводом В. Коломийцева («Находка». «Я шел привольно через лес и дол»), в начале 20-х гг. Российским музыкальным изд-вом в Берлине. Можно предположить, что романс «Gefunden» был сочинен раньше 1914 г. и является именно тем романсом на гетевский текст, о котором говорится в цитированном выше письме П. Юргенсона. В 1914 же году

он подвергся только новой авторской редакции, как это зачастую бывало со многими вокальными произведениями С. Танеева ранней поры его творчества[41]. Остается только неясным, почему издатель, приобретя романс у Танеева в 1883 г., так и не напечатал его в своем издательстве.

Романс Танеева «Gefunden» отличается присущим его творчеству большим мастерством фактуры, классически прост по музыке и, несмотря на всю серьезность ее стиля, содержит в себе лучшие стороны созерцательной лирики композитора, хорошо гармонирующей с гетевскими стихами.

На оригинальный текст стихотворения Гете «Gefunden» написана также песня Н. Метнера, ор. 6, № 9 (Эпиталама), изданная в 1905 г.

Стихи песни «Selbstbetrug» в русском переводе М. М. («Шелохнулась занавеска»), напечатанном впервые в 1859 г. и переизданном в 1865 г., послужили текстом при сочинении музыки романса для голоса с фортепиано «Соседка» композитора-самоучки, автора многочисленных хоров и романсов, из которых некоторые в свое время пользовались популярностью, В. Т. Соколова (1830—?). Его романс «Соседка» был впервые издан в 1874 г. в журнале «Нувеллист» М. Бернарда (СПБ) и впоследствии переиздан П. Юргенсоном (Москва).

На то же стихотворение в русском переводе М. М. написан романс «Шелохнулась занавеска» (из Гете) для голоса с фортепиано выдающегося виолончелиста и композитора, бывшего директора Петербургской консерватории К. Ю. Давыдова (1838—1889), изданный в конце 70-х гг. фирмой Д. Ратера в Гамбурге, впоследствии переиздан у А. Гутхейля (Москва). То же стихотворение «Selbstbetrug» в оригинальном своем виде послужило текстом для песни Н. Метнера, ор. 15, № 3, изданной в 1909 г.

Необходимо также упомянуть о двух песнях на слова Гете знаменитой французской певицы, вокальной преподавательницы и композиторши Полины Виардо-Гарсиа (1821—1910), изданных в русском переводе И. С. Тургенева фирмой А. Иогансона в Петербурге в 60-х и 70-х гг. Первая песня—«Перед судом» (Vor Gericht)—была издана первоначально в 1869 г. только с одним переводным русским текстом. Вторая—«Финская песня» (Finnisches Lied)—издана впервые в 1874 г. с оригинальным немецким и переводным русским текстами. Обе песни были переизданы в 80-х гг. под общим заголовком: «Стихотворения Гейбеля, Гете, Кольцова, Лермонтова, Мериме, Поля, Пушкина, Тургенева, Тютчева, Тюркети и Фета, положенные для пения с аккомпаниментом фортепиано Полиною Виардо-Гарсиа».

На стихотворение Гете «Nachtgesang» («O gieb vom weichen Pfühle») в русском переводе И. П.[авлова?] написан один романс, для голоса с ф.-п. «О дай полувниманье» (ор. 4, № 2) малоизвестного композитора П. Лобанова, изданный в 1882/83 г. у П. Юргенсона (Москва).

На стихотворение «An die Entfernte» в русском переводе Ф. Миллера нам известен только один романс «К отсутствующей» («Итак, с тобой я в разлуке») для голоса с фортепиано композитора и дирижера, известного в свое время главным образом благодаря романсам «салонного пошиба», Ю. И. Блейхмана (1868—1909). Романс его был издан в 80-х гг. фирмой М. Бернарда (СПБ), а впоследствии переиздан П. Юргенсоном (Москва).

Стихи песни «Mailied» («Wie herrlich leuchtet mir die Natur») в русском переводе неизвестного автора послужили текстом для романса «Майская песня» для голоса с фортепиано совершенно не известной теперь композиторши М. П. Кавелиной. Романс ее был издан в конце 80-х гг. у А. Гутхейля (Москва).

На то же стихотворение «Mailied» в русском переводе неизвестного автора был написан хор с сопровождением фортепиано «Как чудно прекрасен мир» композитора П. В. Воротникова (1810—1876), напечатанный как посмертное сочинение в 1890 г. у П. Юргенсона (Москва).

На текст песни «Neue Liebe, neues Leben» («Herz, mein Herz, was soll das geben?») в русском переводе К. Аксакова написал музыку своей цыганской песни для голоса с фортепиано «Новая любовь и новая жизнь» («Сердце, сердце, что с тобой») композитор романсов салонного, цыганского пошиба А. Балабанов; его песня издана в 80-х гг. фирмой «Северная лира» в Петербурге («Цыганское раздолье», № 2).

Стихи песни «Erster Verlust» в русском переводе неизвестного автора послужили текстом для романса «Первая потеря» для голоса с фортепиано некоего композитора Л. Е. Иванова. Романс был издан в Петербурге в 1911 г. как собственность автора. Это же стихотворение в своем оригинальном виде было художественно положено на музыку Н. Метнером, ор. 6, № 8; издано в 1905 г. На текст того же стихотворения в русском переводе М. Михайлова («Кто возвратит мне») был написан популярный в свое время романс для голоса с фортепиано московского композитора

и этнографа Б. А. Подгорецкого (ум. в 1919 г.); романс был издан в 1911—1912 гг. фирмой Ю. Г. Циммермана в Лейпциге.

Переходим к обзору вокальных произведений, написанных на гетевские стихи современным композитором Н. К. Метнером (род. в 1879 г.), который является единственным из всех русских композиторов, наиболее полно и высоко художественно отобразившим поэзию Гете в русской музыке. Всего у Метнера 30 песен на слова Гете, написанных для голоса с фортепиано. Из них 29 сочинены на оригинальные немецкие тексты и одна на переводный русский текст А. Фета. Три серии песен Гете, op. 6, 15 и 18, Н. Метнера были премированы в 1912 г. «Глинкинской премией», присужденной композитору Попечительным советом для поощрения русских композиторов и музыкантов, основанном в 1903 г. М. П. Беляевым.

По opus'ам песни Метнера распределяются следующим образом. Одна входит в op. 3 в качестве его № 3; это песня «Auf dem See», сочиненная на переводный текст Ф. Фета: «На озере»; издана в 1904 г. у П. Юргенсона в Москве с русским и немецким текстами («Три романса»). Следующие «Девять песен Гете» (1-я серия), op. 6 (Neun Lieder von Goethe), сочиненные в 1904—1905 гг., изданы тем же издателем в 1905 г. с оригинальным немецким текстом и переводным русским, неизвестно кому принадлежащим. В opus'е они следуют в таком порядке: № 1, «Wandrers Nachtlied» («Über allen Gipfeln ist Ruh»)—«Ночная песнь странника» («На вершинах гор тишина»); № 2, «Mailied» («Zwischen Weizen und Korn»)—«Майская песнь» («Меж пшеницы и ржи»); № 3, «Elfenliedchen» («Um Mitternacht»)—«Песенка эльфов» («В полночный час»); № 4, «Im Vorübergehen» («Ich ging im Felde»)—«Мимоходом» («Однажды в поле»); № 5, «Aus Claudine von Villa-Bella» («Liebliches Kind, kannst du mir sagen»)—Песня из «Клаудины» («Дай мне ответ, если ты можешь»); № 6, «Aus Erwin und Elmire I» («Inneres Wühlen»)—«Из Эрвина и Эльмиры I» («Чувствовать вечно»); № 7, «Aus Erwin und Elmire II» («Sieh mich, Heil'ger»)—«Из Эрвина и Эльмиры II» («Взор склони, отец святой»); № 8, «Erster Verlust» («Ach! Wer bringt die schönen Tage»)—«Первая утрата» («Кто вернет мне дни златые»); № 9, «Gefunden» («Ich ging im Walde»)—Эпиталама («Однажды лесом шел я»).

Другие двенадцать песен Гете (2-я серия), op. 15 («Zwölf Goethe-Lieder, 2-te Folge) изданы тем же издательством в 1909 г. с оригинальным немецким и переводным русским текстом, сделанным М. Слоновым. Порядок расположения в opus'е: № 1, «Wandrers Nachtlied I» («Der du von dem Himmel bist»)—«Ночная песнь странника» («Ты, с неба ниспосланный»); № 2, Aus «Wilhelm Meister» («An die Türen will ich schleichen»)—Из «Вильгельма Мейстера» («У чужих дверей блуждая»); № 3, «Selbstbetrug» («Der Vorhang schwebet»)—«Самообман» («Шелохнулась занавеска»); № 4, Aus «Erwin und Elmire» («Sie liebt mich»)—Из «Эрвина и Эльмиры» («Да, любит она»); № 5, Aus «Lila» («So tanzet»)—Из «Лилы» («И танцы, и игры»); № 6, «Vor Gericht» Ballade («Von wem ich habe»)—«Перед судом» («Кого люблю я»); № 7, «Meeresstille» («Tiefe Stille herrscht im Wasser»)—«Тишь на море» («Тишь глубокая на море»); № 8, «Glückliche Fahrt» («Die Nebel zerreissen»)—«Счастливое плавание» («Туманы редеют»); № 9, «Nähe des Geliebten» («Ich denke dein»)—«Близость милого» («С тобою я»); № 10, «Der untreue Knabe». Ballade («Es war ein Knabe»)—«Неверный юноша» («Красавец рыцарь»); № 11, «Gleich und Gleich» («Ein Blumenglöckchen»)—«Друг для друга» («Душистый ландыш»); № 13, «Geistergruss» («Hoch auf dem alten Turme»)—«Привет духа» («Там на вершине башни»).

Потом следуют «Шесть стихотворений Гете» (3-я серия, op. 18) (Sechs Gedichte von Goethe), изданные Российским музыкальным издательством в Берлине в 1910 г. с оригинальным немецким и переводным русским текстом, сделанным О. Каратыгиной. Порядок расположения в opus'е: № 1, «Die Spröde» («An dem reinsten Frühlingsmorgen»)—«Недоступная» («Утром майским, светлым, ясным»); № 2, «Die Bekehrte» («Bei dem Glanze der Abendröte»)—«Обращенная» («При сияньи зари вечерней»); № 3, «Einsamkeit» («Die ihr Felsen und Bäume bewohnt»)—«Одиночество» («Вы, что в скалах живете, в лесах»); № 4, «Mignon» («Nur wer die Sehnsucht kennt»)—«Миньона» («Ах, кто любил, поймет»); № 5, «Das Veilchen». Ballade («Ein Veilchen auf der Wiese stand»)—«Фиалка». Баллада («Фиалка на лугу росла»); № 6, «Jägers Abendlied» («Im Felde schleich ich»)—«Вечерняя песнь охотника» («В полях брожу я»).

Наконец последними будут две песни для голоса с ф.-п. из op. 46: «Sieben Lieder nach Dichtungen von Goethe, Eichendorf und Chamisso» на оригинальные гетевские тексты: № 1 «Praeludium» («Wenn im Unendlichen») и № 2 «Geweihter Platz» («Wen zu den Reihen der Nymphen»), которые были изданы в 1927 г. фирмой Jul.-Heinr. Zimmermann в Лейпциге с немецким и переводным английским текстами.

Сам композитор изложил свой взгляд на песни Гете в предисловии и программе концерта, в котором исполнялись его произведения М. А. Олениной-д'Альгейм и

89. С. Ш[е в ы р е в]. Разбор «Гец фон Берлихингена» в переводе Погодина.—«М. в.» 1828, ч. XII, стр. 109—128.

90. С. Ш[е в ы р е в]. Разбор «Манфреда» Байрона.—«М. в.» 1828, ч. X, стр. 56—69. [На стр. 57—58].

91. Т и т о в В. О романе как представителе образа жизни новейших европейцев.—«М. в.» 1828, ч. VII, стр. 169—184. [На стр. 183—184].

92. Э к ш т е й н. Разбор Chefs d'œuvre du theâtre allemand. Goethe. [Из «Le Catholique»]—«М. тел.» 1828, ч. 20, стр. 319—343.

1828—1829

93. П у ш к и н В. Капитан Храбов. Повесть в стихах (1828—1829). [Печаталась главами в разных изданиях в 1829—1830 г.]—Соч. 1893, стр. 106—113. [На стр. 109—110 и 112.]

1828—1831

94. С е м е в с к и й М. А. Бестужев в Якутске. Неизданные письма его родным. «Р. в.» 1870.

На стр. 245 и 246 № 5-го и стр. 507 № 6-го [в письмах 1828—1831 гг.].

1829

95. А л о в В. [Г о г о л ь Н.] Ганс Кюхельгартен. 1829. [Написано в 1827 г.].

Упоминание Гете в обращении к Германии (4 последних стиха эпилога). По 10-му изд. М. 1889, т. V, стр. 43.

96. В о л к о н с к а я З. Отрывки из путевых впечатлений (1829). Сочинения. Париж и Карлсруэ. 1865. (Первоначально в «Северных цветах на 1830 г.»). [Стр. 3—4].

97. Литературная жизнь Гете. Отрывок из Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe par Albert S......r, пер. В. Н. Олина.—Карманная книжка для любителей русской старины и словесности на 1829 г. (Изд. 2-е. 1832, стр. 41—77).

98. О р л о в-Д а в ы д о в В. Биографический очерк графа В. Г. Орлова. П. 1878.

Т. II, стр. 335: о посещении Веймара и свидании с Гете В. П. Орлова-Давыдова в 1829 г.

99. Рецензия на рожалинский перевод «Вертера».—«М. тел.» 1829, ч. XXV, стр. 98.

100. Рецензия на «Сочинения Д. В. Веневитинова, ч. I».—«Галатея» 1829, ч. 2, № 7, стр. 38—41.

Об отношении Веневитинова к Гете—стр. 39—40.

101. Т у р г е н е в А. Письмо к В. А. Жуковскому от 3 сентября 1829 г.—«Р. ст.» 1903, № 8, стр. 439—445. [О Гете—на стр. 440—441. Ср. «Р. ст.» 1890, № 11, стр. 479—480.]

102. Ш е в ы р е в С. Письмо к А. П. Елагиной от 28 мая 1829 г. из Флоренции.—«Р. а.» 1879, кн. I, стр. 138—139. [Напечатано неполно и неисправно. Ср. статью С. Н. Дурылина в настоящем номере.]

О свидании его и Рожалина с Гете.

1829—1830

103. Н. М. Рожалин (Выдержки из его писем).—«Р. а.» 1909, № 8, стр. 563—606.

О Веймаре, свидании с Гете, постановке «Фауста» в Дрезденском театре, Гете и «врагах философии»—в письмах от 4/VI 1829 г. (стр. 565—567), 16/IX 1829 г. (стр. 577—583) и 25/IV 1830 г. (стр. 583—588).

104. Г. [Р о ж а л и н Н.] Отрывки из частных писем русского путешественника.—«М. в.» 1830, ч. 11, стр. 296—303.

О Веймаре и Гете—стр. 300—301 (письмо от 4 июня 1829 г. из Дрездена).

1830

105. К а т е н и н П. Размышления и разборы.—«Лит. г.» 1830. Т. II, № 68, стр. 259—260: о «Фаусте».

106. К и р е е в с к и й И. Обозрение русской словесности за 1829.—1) Альманах «Денница» на 1830 г. 2) П. с. с. т. II, М. 1911, стр. 14—39.

Стр. 23—об «Эгмонте»; стр. 36—о рожалинском переводе «Вертера».

107. К р о н е б е р г И. Исторический взгляд на эстетику.—«Брошюрки» 1830, № 1, стр. 1—36. [На стр. 11.]

108. К р о н е б е р г И. Отрывки.—«Брошюрки» 1830, № 2, стр. 3—48. Стр. 3—13 о «Фаусте», стр. 13—17 о «Тассо»; стр. 30—31 о Гете и Шиллере.

109. N a d e z d i n, N. De origine, natura et fatis poeseos, quae romantica audit. M.—1830. [На стр. 128, 129, 137, 139. Часть в русск. пер. в «Атенее» и «В. Е.» за 1830 г. (в частности ср. в № 1 «В. Е.» стр. 129—130 и 135.)]

110. Некоторые мысли Гете о богемской словесности. С польского Крмнц.—«Лит. г.» 1830, т. II, № 57, стр. 168—169.

111. Р. [П у ш к и н А.]. Рецензия на «Историю русского народа» Н. Полевого.—1) «Лит. г.» 1830, т. I, № 4, стр. 31—32, № 12, стр. 96—98. 2) Сочинения, т. IV, 1910, стр. 540—542. [Упоминание Гете на стр. 541.]

112. Рецензия на «Иоанн Фауст или чернокнижник» Клингемана.—«Атеней», 1830, № 6, стр. 554—555. [Здесь же о «Фаусте» Гете].

113. Р о ж а л и н Н. Письмо к С. П. Шевыреву (от 10 ноября 1830 г.)—«Р. а.» 1906, № 2, стр. 235—236. [Упоминание об издании переписки Шиллера и Гете.]

Первая страница автографа романса П. И. Чайковского „Нет, только тот, кто знал" (1869 г.) на слова Гете в переводе Л. Мея
Библиотека Московской Консерватории

А. В. Стенбок в Москве в январе 1909 г. на вечере «Дома песни», во втором его отделении[42]. Укажем также, что о песнях Метнера на тексты Гете существует пространный отзыв Андрея Белого в «Золотом руне» 1906 г.[43]

На этом мы заканчиваем обзор сочинений Гете, отнесенных нами к первой группе, и переходим к обзору сочинений второй группы.

Здесь прежде всего стоит обратить внимание на то обстоятельство, что, подобно тому как в западноевропейской музыке среди музыкальных произведений, связанных с творчеством Гете, отнесенных ко второй группе, преобладают произведения на сюжеты, заимствованные из трагедии «Фауст», созданной гением великого германского поэта-мыслителя, так точно среди музыкальных произведений русских композиторов той же категории больше всего таких, которые имеют связь с сюжетами из гетевского «Фауста».

Укажем еще и на то, что «Фауст» как сюжет для музыкального оформления вызывал у наших музыкальных критиков довольно различные взгляды. Так например, А. Н. Серов утверждал[44] о «положительной немузыкальности главной идеи гетева «Фауста» и считал, что Берлиоз (в своей драматической легенде «Гибель Фауста») обратился как француз только к внешним эффектам и тем исказил самый сюжет трагедии[45]. Между тем другой, не менее авторитетный музыкальный критик, Г. Ларош, был совершенно другого мнения и находил, что «легенда о докторе Фаусте» является сюжетом в высшей степени пригодным для лирической оперы, а самую идею «Фауста», взятую в самом общем и широком смысле,—как нельзя более музыкальной и способной возбудить фантазию и у композиторов, пишущих чисто инструментальные произведения[46].

Первым из русских композиторов, использовавшим сюжет гетевского «Фауста» для своего инструментального произведения, был Антон Рубинштейн (1829—1894), русский по происхождению, но тяготевший в своем творчестве благодаря воспитанию и музыкальному образованию более всего по манере письма к немецкой романтической школе в музыке первой половины XIX столетия. Он сочинил свою «музыкально-характеристическую картину» для оркестра «Фауст» (Ein musikalisches Charakterbild für Orchester, B-dur) в молодые годы, в 1854 г., в Германии и под несомненным влиянием произведений немецких композиторов на тот же сюжет, в частности симфонии «Фауст» Ф. Листа, как об этом мы узнаем из кратких заметок его в переписке с Ф. Листом осенью 1854 г.

Как раз в то время Лист был поглощен сочинением своей симфонии «Фауст» (по Гете) и в письме к Рубинштейну, без точной даты (середины августа 1854 г.),

извещал последнего об окончании первой части («треть всего здания») этого произведения [47]. «Остальные две части, надеюсь, будут готовы к ноябрю... У меня будет дружеский спор с вами,—сохраняю его для бесед за чаепитием». Под «дружеским спором» здесь повидимому нужно подразумевать горячие споры Листа с Рубинштейном на музыкальные темы и в частности спор о музыкальном оформлении гетевских образов из «Фауста». После свидания с Листом в Веймаре в сентябре 1854 г. Рубинштейн в письме к нему от 6 октября того же года из Лейпцига, с извещением о неудачах в своих концертах и в издательских делах и о своем печальном душевном настроении, в конце кратко сообщает [48]: «Я решил сочинить «Фауста» и скоро начну».

В ответ на это письмо Лист писал Рубинштейну 19 октября 1854 г. «Мой «Фауст» кончен, и в ближайшие два дня я отдам его в переписку. Мне крайне любопытно познакомиться с вашим [«Фаустом»] и посмотреть, в чем и как сходясь, расходятся высокие умы! Ваши лейпцигские «murrendos» [так Лист шутливо называл рубинштейновские ворчливые и угрюмые настроения] благоприятствуют вашим беседам с музой, и я ожидаю прекрасной симфонии...»

Последняя фраза дает основание предполагать, что Рубинштейн, по примеру Листа, хотел первоначально сочинить на тему гетевского «Фауста» целую симфонию, но потом переменил свое намерение и ограничился только «характеристической картиной» для оркестра.

По поводу первого исполнения «Фауста» Рубинштейна в его концерте в Петербурге 28 февраля 1865 г. начинавший тогда свою музыкально-критическую деятельность Ц. А. Кюи писал в следующих резких выражениях [49]: «Так как теперь всюду идет речь об истории «Юлия Цезаря», то я начну изречением этого знаменитого мужа: «Tu quoque, Brute!» С подобным изречением легко могла обратиться к г. Рубинштейну тень Гете по поводу исполненной в его концерте увертюры «Фауст», как сказано в афише, или вернее ein charakteristisches Bild, как сказано в партитуре. Знаменитое произведение Гете породило великое множество самых разнокачественных музык»... Здесь, далее, следует перечисление произведений разных композиторов, сочинявших музыку, связанную с сюжетом «Фауста» Гете. «Но из всех поименованных лиц,—продолжает Кюи,—музыкально-творческие способности г. Рубинштейна чуть ли не менее всех соответствуют избранной им задаче. Не скажу, чтобы в его «Фаусте» не было никаких намерений; напротив, краски оркестра (впрочем безэффектно, как и во всех его сочинениях) силятся очертить гетевские образы: такое назначение имеют сладкозвучные виолончели в andante и мрачные фаготы с контрфаготом на нижних нотах; но краски не составляют еще картины, а ультра-мендельсоновское направление, которое составляет главный fond творчества г. Рубинштейна, лишено поэзии и глубины, необходимых для Фауста, Гретхен и Мефистофеля. Независимо от невыполненной задачи, музыка «Фауста» сама по себе менее чем посредственна и ничем не отличается от бесчисленного ряда сочинений г. Рубинштейна, бедных по идеям и содержанию, длинных и рутинных по форме».

Из других музыкальных произведений, так или иначе связанных с сюжетом из «Фауста» Гете, известны: отрывки музыки к «Фаусту» А. Гусаковского, первая фортепианная соната С. Рахманинова, вторая симфония А. Гедике и ряд вокальных пьес для голоса с фортепиано на тексты из «Фауста»: «Песнь Маргариты» (Глинки, Романуса, Ельховского, Пишны, Гагарина и Манна), «Песня Мефистофеля» А. Серова и «Песня Мефистофеля о блохе» Мусоргского,—пьес, уже рассмотренных в первой группе сочинений Гете.

Об отрывках музыки к «Фаусту» А. С. Гусаковского (1841—1875), ученика М. Балакирева, одного из первых участников его кружка, талантливого композитора, подававшего большие надежды, но рано оставившего занятия композицией, нам известно только со слов В. Стасова (в биографии Мусоргского) и Н. Римского-Корсакова (в его «Летописи»); музыка эта сочинялась в начале 60-х годов и не была закончена и издана.

В печатном издании первой фортепианной сонаты d-moll, ор. 28, С. В. Рахманинова (род. 1873 г.), написанной им в 1907 г. и изданной А. Гутхейлем в 1909 г., нигде не сказано о программном ее содержании. Программа ее стала известна только по некоторым концертным афишам. О программности сонаты говорит и автор очерка о творчестве Рахманинова—Гр. Прокофьев [50]. В нем он пишет: «Для Рахманинова новостью является и основной замысел сонаты: здесь впервые он попробовал передать звуками свои литературные впечатления, а именно—впечатления от гениальной трагедии Гете—«Фауст», т. е. дал образец идейно-программной музыки». Отмечая далее, что этот программный замысел не одинаково во всех частях сонаты

удался композитору, автор очерка пишет: «Лучше всего, цельнее всего вышло первое allegro moderato, т. е. воплощение мятущегося пытливого духа Фауста». Это свое утверждение, т. е. что здесь композитору «удалось передать свой замысел», Прокофьев подтверждает цитатой из своей рецензии, написанной, когда он не знал еще о программе композитора: «основное настроение 1-й части—какой-то вопрос, один из тех проклятых вопросов, которые умрут лишь одновременно с исчезновением человеческой жизни земного шара». Разбирая первую часть, Прокофьев находит и во вступлении, и в первой «вопросительной» теме, «на которую не дает ответа и вторая, по идее сонатной формы контрастирующая первой»,—«непрерывную работу колеблющегося сознания». Появляющуюся перед кодой «задушевную тему второй части сонаты, тему l e n t o в мажоре» (D-dur)—он называет «темой Гретхен». «Сама по себе главная тема lento,—по словам Прокофьева,—красива и покойна, но, право, образ Гретхен гораздо непосредственнее, гораздо проще, чем бесконечно тонкие паутинки полифонической ткани этой части сонаты. 3-я часть сонаты ярка, пикантна, саркастична, хотя конечно образ Мефистофеля только частично может отобразиться в музыкальных формах музыкальными средствами. Появление тем двух первых частей объединяет сонату в стройное целое и, быть может, подчеркивает единство этих трех главных элементов драмы Гете. Очень красива 3-я тема финала, но ее роль в характеристике Мефистофеля мало понятна. Заключается соната торжественно, победно звучащей темой Фауста».

Вторая симфония для большого оркестра, A-dur, ор. 16, современного московского композитора А. Ф. Гедике (род. в 1877 г.) написана под впечатлением стихотворного отрывка (в 49 строк) из II части «Фауста» Гете (1-я сцена) «Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig». Симфония была сочинена в 1907 г., исполнена впервые (по рукописи) под управлением автора в 4-м симфоническом собрании Русского музыкального общества в Москве 29 ноября 1908 г. и издана в 1909 г. Российским музыкальным издательством в Берлине. В печатном издании оркестровой партитуры (и 4-ручного фортепианного переложения, сделанного автором) перед первой страницей музыки напечатан немецкий текст и его русский перевод (Н. Голованова) названного отрывка из II части «Фауста» Гете (сцена 1-я) «Бьется жизнь ключом и радостной игрою приветствует рассветный проблеск дня». После него следует такое примечание автора: «Вышеприведенный отрывок отнюдь не должен быть понимаем как «программа» симфонии, а лишь как пояснение о с н о в н о г о характера и настроения ее музыки».

Из вокально-инструментальных композиций типа лирико-эпической кантаты, связанных с текстами гетевской поэзии, следует прежде всего назвать музыку на «Стихи и реквием по Миньоне из Вильгельма Мейстера Гете» А. Рубинштейна (Die Gedichte und das Requiem für Mignon aus Goethes «Wilhelm Meisters Lehrjahre» mit Pianoforte) для голосов соло и смешанного хора с сопровождением фортепиано и фисгармонии, ор. 91. Музыка написана на оригинальный немецкий текст и состоит из следующих 14 номеров:

№ 1. Для баритона соло с ф.-п. Der Harfner: «Was hör ich draussen vor dem Thor». № 2. Для баритона соло с ф.-п. Der Harfner: «Wer nie sein Brot mit Tränen ass». № 3. Для баритона соло с ф.-п. Der Harfner: «Wer sich der Einsamkeit ergiebt». № 4. Для сопрано соло с ф.-п. Mignon: «Kennst du das Land». № 5. Для тенора соло с ф.-п. Tenor: «Ich armer Teufel, Herr Baron». № 6. Для баритона соло с ф.-п. Der Harfner: «Ihm färbt der Morgensonne Licht». № 7. Дуэт для сопрано и баритона с ф.-п. Mignon und der Harfner: «Nur wer die Sehnsucht kennt». № 8. Для сопрано соло с ф.-п. Philine: «Singet nicht in Trauertönen». № 9. Для баритона соло с ф.-п. Der Harfner: «An die Thüren will ich schleichen». № 10. Для сопрано соло с ф.-п. Mignon: «Heiss mich nicht reden». № 11. Для альта соло с ф.-п. Aurelie: «Ich hatt' ihn einzig mir erkoren». № 12. Для сопрано соло с ф.-п. Mignon: «So lasst mich scheinen, bis ich werde». № 13. Реквием для солистов и смешанного хора с сопровождением фортепиано и фисгармонии. Requiem für Mignon: «Wer bringt ihr uns zur stillen Gesellschaft». № 14. Для тенора соло с ф.-п. Friedrich: «O, ihr werdet Wunder sehen».

Музыку эту Рубинштейн написал в 1872 г. на родине Моцарта, в г. Зальцбурге, где он проводил лето этого года, отдыхая от зимнего сезона и готовясь к новому предстоящему грандиозному концертному турнэ по Северной Америке. Она издана у Б. Зенфа в Лейпциге в 1873 г. и у В. Бесселя в Петербурге в 1900 г. Русское издание напечатано с оригинальным немецким и переводным русским текстом, сделанным М. Давыдовой. По словам биографа А. Рубинштейна—Н. Финдейзена[51], «Миньона» была исполнена впервые и единственный раз в Петербурге 20 ноября ст. ст. 1880 г. на частном музыкальном собрании в честь композитора и больше там не

исполнялась, «несмотря на свои многие серьезные достоинства, особенно в партии самой Миньоны, в которой имеются две благородные и прекрасные по музыке песни Миньоны—едва ли не лучшие из всех известных на этот текст». Другой биограф Рубинштейна сообщает: «В Германии часто исполняются номера из этого opus'a [52]. Особенные восторги вызывал там № 12, начинающийся словами Миньоны: «So lasst mich scheinen», и № 7, дуэт арфиста и Миньоны «Nur wer die Sehnsucht kennt». № 13, Requiem für Mignon—необыкновенно трудная для солистов и хора вещь, очень глубоко задумана и является хорошим воспроизведением идеи Гете... Кроме прелестных поэтических песней №№ 1 и 4, в которых сперва баритон-арфист спрашивает: «Wass hör' ich draussen vor dem Thor», а дальше Миньона (сопрано) поет: «Kennst du das Land»,—очень интересен № 5 (тенор) «Ich armer Teufel, Herr Baron»—комическая вещь, в которой Рубинштейн показал нам свой большой юмористический талант».

Из других лирических кантат на тексты Гете нам известны три, написанные на текст баллады «Erlkönig» в русском переводе В. Жуковского («Лесной царь»), с музыкой, принадлежащей трем русским композиторам: А. Аренскому, Н. Щербачеву и Ю. Сахновскому.

Кантата А. С. Аренского (1861—1906) «Лесной царь» или, как она названа в печатном издании, баллада для соло, хора и оркестра, при жизни композитора издана не была, а появилась в печати только после его смерти, в 1906 г., как посмертное издание у П. Юргенсона в Москве в переложении для пения с фортепиано С. Танеева. Оркестровая партитура осталась в рукописи. Кантата является ранним произведением композитора (ор. 3), написанным в качестве экзаменационной работы при окончании им Петербургской консерватории по классу композиции Н. Римского-Корсакова, в мае 1882 г., и тогда признанным выдающимся. Большое сочувствие встретило новое произведение тогда же со стороны В. В. Стасова, который в письме своем к Н. Римскому-Корсакову из Петербурга 26 мая 1882 г. восторженно пишет о нем [53]: «Ведь это просто прелесть что такое» и справляется у Римского-Корсакова, говорил ли он своей жене об Аренском и не будет ли она аранжировать его «Лесного царя» для пения с фортепиано. Кантата была исполнена в 1-й раз в Москве, в концерте А. С. Аренского 5 марта 1889 г. под управлением автора с участием солистов: М. А. Эйхенвальд (сопрано), А. М. Успенского (тенор), С. Е. Трезвинского (бас) и хора «Русского хорового общества» [54]. В противоположность хвалебным отзывам о «Лесном царе» Аренского 80-х гг. рецензент «Русской музыкальной газеты» [55] отзывался о балладе по поводу ее посмертного издания (1906) менее благоприятно и находил, что «ее чисто художественное достоинство не блещет сильным и оригинальным вдохновением. Но, как и все у Аренского, баллада показывает, что написана [она] талантливым музыкантом. До Аренского мало кто пытался конкурировать с Шубертом в музыкальной иллюстрации этой баллады Гете. Только в двух случаях [у Аренского]: «Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул» и «О нет, то белеет туман над водой»—чувствуются реминисценции Шуберта. Интереснее всего участие хора, которому поручена роль повествователя, и оркестра с его удачной фигурой, подражающей конскому топоту. Здесь Аренскому удалось дать нечто свое и наиболее красивое в его произведении. И фраза хора, и некоторые очень удачные эпизоды аккомпанимента располагают к этой новой музыкальной иллюстрации «Лесного царя».

О кантате «Лесной царь» петербургского композитора, принадлежавшего к балакиревскому кружку композиторов так называемой «Новой русской музыкальной школы», Н. В. Щербачева (1853—?), нам почти ничего не известно, так как сочинение это не было напечатано и повидимому даже не было вполне закончено композитором. Единственный пока печатный отзыв о нем мы находим у В. В. Стасова, который в письме к Н. А. Римскому-Корсакову из Петербурга 24 июня 1884 г. писал [56]: «...он [т. е. Щербачев] мне играл пропасть всего своего старого и нового, и опять-таки скажу, что на мои глаза всего лучше у него «Erlkönig» (впереди [т. е. в будущем] для оркестра, с голосами или нет,—не знаю)...»

Кантата-баллада «Лесной царь» московского композитора и известного в свое время музыкального критика Ю. С. Сахновского (1866—1930), написанная для голосов соло, хора и оркестра, так же как и кантата Аренского, была экзаменационной работой этого композитора при окончании им Московской консерватории в 1899 г. по классу свободного сочинения М. Ипполитова-Иванова и осталась в рукописи неизданной. При первом своем исполнении по рукописи в Москве в 8-м симфоническом концерте Русского музыкального общества 3 марта 1900 г. под управлением В. Сафонова баллада молодого композитора имела несомненный успех у слушателей и встретила сочувствие музыкальной критики [57].

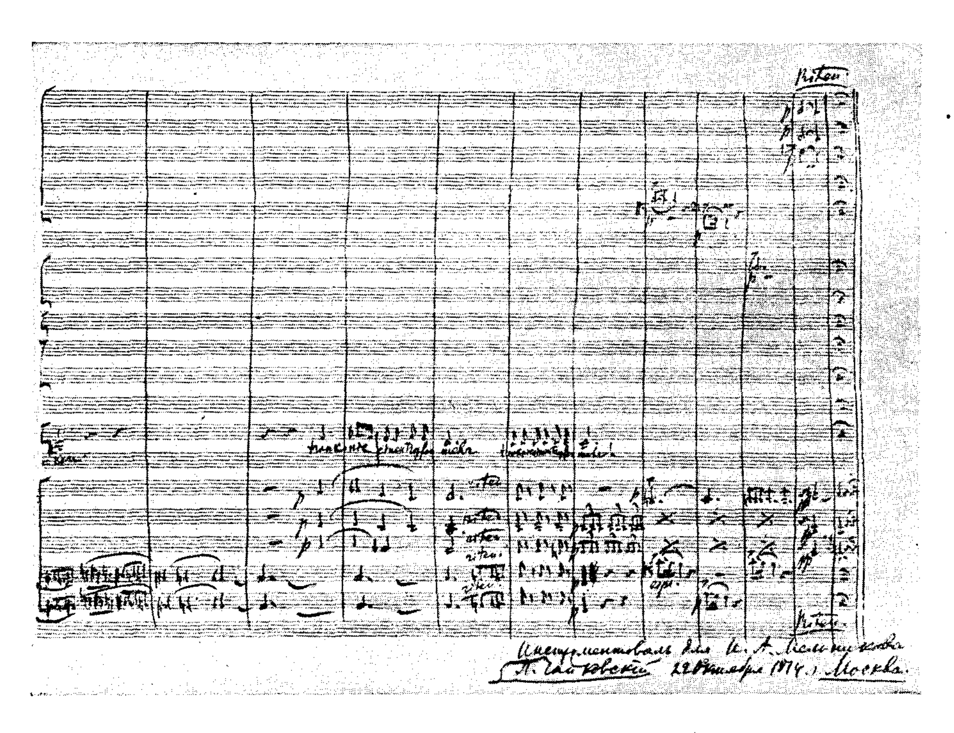
Из опер и балетов русских композиторов, написанных на сюжеты из сочинений Гете, нам известны только три: один балет, одна опера-водевиль и одна опера. Два первых из них по содержанию связаны с романом Гете «Страдания молодого Вертера» («Die Leiden des jungen Werther's»), написаны и исполнялись в России еще при жизни великого германского поэта.

Это, во-первых, балет в одном действии «Новый Вертер» «Le nouveau Werther. Ballet pantomime en 1 acte de M-r Walberg mis en musique par Titoff»)[58] сочинения петербургского русского танцора и балетмейстера И. И. Вальберга (Лесогорова. 1766—1819)[59] с музыкой А. Н. Титова (1769—1827). Балет был впервые исполнен в петербургском Каменном театре 30/I 1799 г.[58] и в Москве в театре в доме Пашкова 11/II 1808 г.[60] Музыка Титова сохранилась в 16 рукописных оркестровых партиях[58] в Центральной музыкальной библиотеке Гос. ак. театров в Ленинграде.

Во-вторых, опера-водевиль в одном действии «Вертер или заблуждение чувствительного сердца», перевод с французского драматического писателя и летописца русского театра, П. Н. Арапова (1796—1861)[61], с музыкой «придворного камер-музыканта», гобоиста второго петербургского казенного оркестра (1786—1800), чеха по происхождению, Франца Турека или Турика (Franz Tureck)[62]. Водевиль этот был впервые исполнен в Москве в театре на Моховой 18/IX 1824 г.[61] Перевод текста водевиля сделан, вероятно, с французского зингшпиля «Werther et Charlotte»—Дежора (Dejaure), исполненного впервые в Париже 1/II 1792 г. с музыкой Р. Крейцера[63]. Музыка Турека осталась в рукописи и, повидимому, до нашего времени не сохранилась.

Кроме того, на сюжет баллады Гете «Die Braut von Korinth» написана была одноактная опера «Коринфская невеста» уже упоминавшегося композитора Э. Я. Длусского (1857— ?), сочиненная до 1903 г. на неизвестно кем составленное либретто и, повидимому, неизданная и нигде неисполнявшаяся, а потому почти никому неизвестная[64].

Остается сказать еще об инструментальных произведениях Н. К. Метнера, по творческому своему замыслу связанных с поэзией Гете. Прежде всего, о сонатной триаде для фортепиано, ор. 11 (Sonaten-Triade für Klavier: № 1—As-dur, № 2—d-moll, № 3—C-dur), сочиненной композитором в 1904—1906 гг., как это обозначено в издании, и напечатанной в 1907 г. у П. Юргенсона в Москве.



Страница автографной партитуры П. И. Чайковского (22 октября 1874 г.) — инструментовки романса Франца Листа „König von Thule“

Публичная Библиотека, Ленинград

Автор критико-библиографических статей отдела библиографии «Русской музыкальной газеты», скрывший свою фамилию под буквой «М», при разборе в 1910 г. изданий шести opus'ов Н. Метнера (ор. 11—15 и ор. 1, № 1) [65] по поводу сонатной триады писал следующее: «Многие из композиций Н. Метнера свидетельствуют о том культе Гете, которым питаются художественные вкусы и инстинкты композитора. К числу их принадлежит и Sonaten-Triade, ор. 11. Произведению этому, состоящему из трех одночастных сонат, предпослан следующий эпиграф гетевской «Trilogie der Leidenschaft»:

И легче стало сердцу, и открылось,
Что и живет оно и жаждет жить,
Да в чистый дар за все свое богатство
Оно себя в созвучьях принесет.
Живи ж всегда—отныне и до века—
Двойное счастье звуков и любви [66].

Но пианисту, изучающему произведения Метнера, нельзя ограничиваться одними этими строками, а следует перечесть трилогию Гете, ибо ясно (хотя бы из одноименного названия 2-й сонаты и 2-го стихотворения Гете «Elegie»), что трем частям ее «An Werther», «Elegie», «Aussöhnung» соответствуют три сонаты цикла. Здесь не должно возникать представления о программе, но об аналогии чувств и настроений, ищущих выражения: там в слове, здесь в звуке. Несмотря на отсутствие внешнего мотивного единства, все три сонаты по духу, по особенностям склада речи являются очень цельными произведениями. С чисто музыкальной точки зрения, отстраняя аналогии с поэтическим источником, впечатление, оставляемое ими, растет crescendo».

Другим инструментальным произведением Н. Метнера, написанным под впечатлением гетевской поэзии, является его ор. 16: Три ноктюрна для скрипки и фортепиано: № 1, d-moll, № 2, g-moll, № 3, c-moll, или, как они озаглавлены на немецком языке в печатном издании, вышедшем впервые в свет в 1909 г. в Российском музыкальном издательстве в Берлине,—«Drei Nachtgesänge». Первому ноктюрну предшествует мотто на текст стихотворения Гете «Nachtgesang», напечатанного как в оригинале, на немецком языке, так и в русском переводе, сделанном Г. А. Рачинским: «В грезах, на ложе спокойном».

Ко второй группе сочинений Гете приходится отнести также и два вокальных произведения Н. Метнера для голоса с ф.-п., без слов, но с определенным мотто из стихотворения Гете «Geweihter Platz» («Wenn zu den Reihen der Nymphen»), напечатанного перед каждым из них: ор. 41, № 1, Sonate vocalise, напечатанная у Ю.-Г. Циммермана в Лейпциге в 1927 г. и ор. 41, № 2, Suite vocalise, изданная у Wilhelm'a Zimmermann'a в Лейпциге (в издании год не обозначен, повидимому в 1931 г.). Последняя сюита состоит из интродукции и четырех частей, имеющих каждая свое заглавие: I.—«Introduction. Gesang der Nymphen» (Пение нимф); II.—«Geheimnisse» (Тайны); III.—«Zug der Grazien» (Шествие граций); IV.—«Was der Dichter spricht» (Что говорит певец).

Музыка Метнера является наиболее органическим явлением русского музыкального гетеанства. Она наиболее показательна в отношении влияния гетевской лирики на русскую музыкальную культуру недавней, но уже отодвинутой в историческую даль эпохи.

Наша работа, задуманная в основном как описательная, не является музыкально-историческим исследованием в собственном смысле слова. Нашей задачей было дать лишь материал для такого исследования, зарегистрировать и сгруппировать в определенном порядке факты, не спеша с «всеобъемлющими обобщениями». Тем не менее, обзор позволяет сделать общий вывод об отрывочности, пестроте и все же узости отражений поэзии Гете в русской музыке. Даже лирика Гете охвачена русскими композиторами не полно и частично и воспринята во многих случаях сквозь сложные «переводческие» преломления. Своеобразие музыкальной культуры, как она сложилась на русской почве, ее резко выраженные характеристические «национальные» признаки (например в творчестве «Новой русской школы»), весьма далекие от всего круга «идей Гете», обусловили скудость и за немногими исключениями (Метнер) случайность русского «музыкального гетеанства». Для яркого выражения особенностей русской национальной музыки в ее прошлом поэзия Гете не содержала в себе нужных элементов. Проследить и проанализировать всю социально-историческую закономерность указанных явлений—дело будущего историка.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См., напр., A. Bielschowsky, Goethe. Sein Leben und seine Werke. Zweiter Band, 15. Auflage, München, 1908. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. Anmerkungen, S. 700—703, или. M. Friedlender, Gedichte von Goethe in Compositionen seiner Zeitgenossen. Schriften der Goethe-Gesellschaft. Bd. II, 1896.

[2] См. о них С. Булич, «Дедушка русского романса» Н. А. Титов. Изд. ред. «Русск. музык. газета», СПБ, 1900, стр. 6.

[3] М. И. Глинка, Записки. Изд. «Academia», 1930, стр. 88.

[4] Краткое содержание «Лирического альбома на 1832 год» см. в «Русск. музык. газете» 1899, № 751, стр. 1323.

[5] Григорий Тимофеев, А. А. Алябьев. Очерк жизни и творчества. П. Юргенсон, М., 1912.

[6] См. печатный «Реэстр романсов, песен и прочих сочинений А. Алябьева, продающихся в музыкальных магазинах в Москве у г. Ленгольда, а в С.-Петербурге у г. Пеца. Цена сборника 6 руб.»

[7] О нем будет сказано более подробно в подготовляемом нами к печати общем обзоре всех вокальных произведений Метнера на гетевские тексты.

[8] Перевод Н. Станкевича «Подражание Гете» напечатан в 1832 г.

[9] Первые романсы Варламова были напечатаны в сборнике, вышедшем в свет в начале 1833 г.

[10] В. В. Стасов (сообщ.), Александр Николаевич Серов. Материалы для его биографии. 1841—1842.—«Русская Старина» 1876, январь-февраль.

[11] Его же «Училище правоведения сорок лет тому назад. 1836—1842 гг. «Русская Старина» 1881, № 6; перепеч. в «Собр. соч. В. В. Стасова», т. III, стр. 1679.

[12] Серов служил в 1841 г. в уголовном департаменте Сената в Петербурге.

[13] Первый гобоист тогдашнего оркестра в Петербурге.

[14] Карл Шуберт (1811—1863)—отличный виолончелист, хороший композитор для своего инструмента и дирижер. Серов был его учеником по изучению игры на виолончели и пользовался его советами при своих композиторских опытах.

[15] См. статью «Неизданные сочинения и работы С. И. Танеева» в сборнике статей «С. И. Танеев. Личность, творчество и документы его жизни» (1915—1925). Изд. Музсектора Госиздата 1925, стр. 127.

[16] Экземпляр издания романса Ленгарда, имеющийся в Гос. Публичной библиотеке, упомянут в рукописном списке Б. Саитова (об этом списке см. в предисловии к библиографии «Русская музыка на тексты Гете»).

[17] В. П. Погожев, Столетие организации импер. московских театров (опыт исторического обзора).—«Ежег. импер. театров». Сез. 1905/6 г. Прилож.

[18] М. М. Иванов, Исторический очерк пятидесятилетней деятельности музыкального журнала «Нувеллист». СПБ, Типогр. Ю. Штрауфа, 1889.

[19] М. И. Глинка, Записки, изд. 1930, стр. 334.

[20] П. Дубровский, Воспоминания о М. И. Глинке.—«Исторический Вестник» 1885, № 4, стр. 575.

[21] А. Серов, Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке.—«Искусство» 1860, №№ 1—5, а также критические статьи А. Серова, т. III, СПБ, 1895, стр. 1314.

[22] Дон Педро Фернандец, испанец родом, фактотум Глинки, заведывавший всеми его делами во время совместных путешествий.

[23] Горислава—одно из действующих лиц в опере М. Глинки «Руслан и Людмила».

[24] Издал в 1831 г. музыкальный альбом «Album musical pour 1831. Redigé et dédié au Beau Sere par J. de Romanus, Gravé et imprimé chez C. Steding. Le vend chez J. Brieff, libraire et éditeur de musique. St.-Petersbourg», состоящий преимущественно из танцев для фортепиано в 2 и 4 руки.

[25] М. П. Мусоргский, Письма и документы. Собрал и приготовил к печати А. Н. Римский-Корсаков, изд. Гос. муз. изд-ва, М.-Л., 1932, стр. 418.

[26] Автобиографическая записка М. П. Мусоргского была впервые опубликована в «Музыкальном современнике» 1917, № 5—6, под ред. и с прим. Влад. Каренина и перепеч. в кн. «М. П. Мусоргский, Письма и документы», 1932.

[27] М. П. Мусоргский, Статьи и материалы юбилейное издание 1881—1931). Гос. муз. изд-во, М., 1932, стр. 315—321.

[28] Там же, стр. 154—156.

[29] Там же, стр. 151.

[30] См. «Музыкальный и театральный вестник» 1856, № 14, статья, подписанная Псевдонимом Серова «Модест З-н»—«Музыкальные сочинения Станислава Монюшки» Перепеч. в т. I «Критических статей» Серова, СПБ, 1892, стр. 480.

[31] Об opus'е 91 А. Рубинштейна см. выше, стр. 903.

[32] Оригиналы хранятся в библиотеке МГК в Москве.

[33] Тщетные розыски издания этой песни не позволили установить точно, была ли она написана на ориг. нем. текст и кто переводчик русского его перевода.

[34] «Русская музыкальная газета» 1906, № 2 от 8 января, стр. 63.

[35] Ц. А. Кюи, Русский романс, 1896, стр. 200.

[36] М. Чайковский, Жизнь П. И. Чайковского, 1902, т. III, стр. 229.

[37] М. П. Мусоргский, Письма и документы, 1932, стр. 93—94.

[38] В этом месте письма приведен нотный пример, здесь пропускаемый. Он воспроизведен здесь на 897-й странице вместе со страницей из письма Мусоргского.

[39] Подлинник письма хранится в Доме-музее П. И. Чайковского в Клину.

[40] И. Ф. Тюменев—известный переводчик текстов вокальных произведений, печатавшихся фирмой П. Юргенсона в Москве.

[41] См. сборник статей «Сергей Иванович Танеев. Личность, творчество и документы его жизни». Изд. Музсектора Госиздата. М., 1925, стр. 110.

[42] В программу вечера, составленную самим Метнером, в первое его отделение вошли песни Шумана (5), Брамса (8), Вагнера (1) и самого Метнера (3): «Nähe des Geliebten», «So tanzet» и «Der untreue Knabe». Второе отделение целиком состояло из песен Метнера (14). См. «Русск. музык. газета» 1909, № 4 от 25 января. Отдел «Московские концерты».

[43] Андрей Белый, 9 песен Гете Н. Метнера.—«Золотое руно» 1906, № 4, стр. 105—107.

[44] А. Серов, Моцартов Дон Жуан и его панегиристы.—«Пантеон» 1853, № 4. Перепеч. также в т. I его «Критических статей», СПБ, 1892, стр. 256.

[45] А. Серов, «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила».—«Русский Мир» 1860, № 67; перепеч. также в т. III его «Критических статей», стр. 1297.

[46] Г. Ларош, По поводу листовской Faust-Symphonie в симфоническом собрании Р. муз. общ.—«Московские Ведомости» 1889 от 16 ноября.

[47] Liszt, Briefe, gesammelt und herausgegeben von La Mara, Band I, Leipzig, 1893, S. 166 u. weiter. Русский перевод взят из книги Игоря Глебова, А. Г. Рубинштейн в его муз. деятельности и отзывах современников. Музс. Госизд. М., 1929.

[48] См. Briefe hervorragender Zeitgenossen an Franz Liszt, herausgegeben von La Mara, Band I, 1898, S. 351 u. weiter.

[49] Ц. Кюи, Концерт г. Рубинштейна.—Первый концерт Филармонического О-ва («Фауст» А. Рубинштейна).—«С.-Петерб. Ведомости» 1865, № 63 от 11 марта. Перепеч. в его «Собр. муз. критических статей», т. I, 1917, Пгр.

[50] Г. Прокофьев, Певец интимных настроений (С. В. Рахманинов).—«Русск. муз. газ.» 1910, № 40, стр. 843—844.

[51] Ник. Финдейзен, А. Г. Рубинштейн. Очерк его жизни и музыкальной деятельности, изд. П. Юргенсона, 1907, стр. 70.

[52] С. Кавос-Дехтерева, А. Г. Рубинштейн. Биографический очерк и музыкальные лекции, СПБ, 1895.

[53] «Письма В. В. Стасова и Н. А. Римского-Корсакова». С предисловием и примечаниями В. Каренина.—«Русская Мысль» 1910, № 8, стр. 128.

[54] См. печ. афишу «Концерт А. С. Аренского. Воскресенье 5 марта [1889 г.]».

[55] «Русская музыкальная газета» 1907, № 32—33 от 12—19 августа, стр. 711—712.

[56] «Письма В. В. Стасова и Н. А. Римского-Корсакова».—«Русская Мысль» 1910, № 8, стр. 128.

[57] Отзыв о ней см. в «Русск. музык. газ.» 1900, № 11, 12 марта, стр. 321.

[58] В. П. Погожев, А. Е. Молчанов и К. А. Петров, Архив дирекции имп. театров. Вып. I, отд. III. СПБ, 1892, стр. 227.

[59] А. Плещеев, Наш балет (1673—1896). СПБ, 1896, стр. 52 и 78 и Архив дирекции. Вып. I, отд. III, стр. 76.

[60] В. Погожев, Столетие организации имп. московских театров. Ежег. имп. театров. Сезон 1905—1906 гг. Приложение, стр. XI.

[61] Там же, стр. CXVII.

[62] Архив дирекции, Вып. I, отд. III, стр. 128.

[63] N. Riemann, Opern-Handbuch. Leipzig, 1887, Koch's Verlagsbuchhandlung, S. 608.

[64] Всеволод Чешихин, История русской оперы. Изд. П. Юргенсона, М., 1905, стр. 625.

[65] «Русская музыкальная газета» 1910, № 14 от 4 апреля, стр. 398—401.

[66] Кому принадлежит русский перевод этого шестистишия из третьего номера «Aussöhnung» (Примирение) стихотворного цикла Гете «Trilogie der Leidenschaft», напеч. вместе с ориг. нем. стихами в виде мотто в печатных экземплярах сонатной триады, перед первой из них,—в нотных изданиях не указано.

Н. ВОЛКОВ

ГЕТЕ В РУССКОМ ТЕАТРЕ

I

Судьба иностранных классиков на русской сцене пестра и многообразна. О том, как ставили и играли Мольера, Шиллера или Шекспира, можно писать целые монографии. Мочалов и Каратыгин в роли Гамлета, Ермолова—Лауренсия в «Фуэнте Овехуна» или Орлеанская дева—это огромные главы не только в истории русского сценического искусства, но и в истории русской интеллигенции. Влияние театра здесь несомненно и покоряюще.

Гете вошел в русскую культуру и русское мировоззрение не как автор для театра, но как автор для чтения. Книги Гете решительно перевесили его пьесы. Гете—поэт, мыслитель, прозаик оставил в тени Гете-драматурга. Многократно переводимый «Фауст» целые десятилетия был спутником читателя, но не предметом восторга зрителя. Гете в русском театре—это всего лишь несколько разрозненных страниц, небольшой рассказ о разбросанных на протяжении полутора века постановках «Клавиго», «Эгмонта» и наконец первой части «Фауста».

Хронологически первое место принадлежит «Клавиго», так как здесь мы переносимся в 80-е годы XVIII века. Однако комплекты выходивших в то время газет дают о постановке «Клавиго» лишь самые скудные сведения: в прибавлениях к «Петербургским Ведомостям» от 9 октября 1780 г. мы находим сообщение, что в понедельник, 12-го числа, будет «на Немецком театре представлена немецкая трагедия «Клавиго». Честь первой постановки «Клавиго» на русском языке принадлежит Москве, где в 1782 г. «Клавиго» был показан на сцене Петровского театра М. Е. Меддокса. Можно думать, что дата постановки «Клавиго» у Меддокса является датой первой русской постановки пьес Гете.

О том, как шел «Клавиго» и как играли его русские актеры, сведений мы не имеем. Но «Драматический словарь», изданный в Москве в 1787 году «в пользу любящих театральные представления», уделяет среди «показаний по алфавиту всех российских театральных сочинений и переводов» постановке «Клавиго» обширное место. Автор словаря дает такие сведения:

«Клавиго. Трагедия г. Гете славного Немецкого автора, который написал отличную книгу, похваляемую повсюду, Страдание младого Вертера. Мысль в сей трагедии, так как и во всех сочинениях его, подражание единой натуре и не следуя правилам; следственно сия трагедия писана не принужденным, а естественным слогом. Приключение г. Бомарше, служившее основанием следующей трагедии, случилось в Испании в 1762 году. Расположение и слог ее соответствуют тогдашнему состоянию действующих лиц и месту действия. Сия трагедия на немецком языке повсюду часто представляема, також и в Санктпетербурге у Двора; переведена на российский язык в прозе, представлена была на Московском публичном театре два раза. Напечатана вторым исправленным изданием 1780 года в Санктпетербурге в вольной типографии Вейтбрехта и Шнора».

Эта словарная выписка, несмотря на высокую оценку трагедии Гете, ясно дает понять, что «Клавиго» в репертуаре русского театра XVIII в. не занял прочного положения, даже принимая во внимание, что количество представлений в тогдашнее время вообще было для отдельных пьес весьма не велико.

II

Вопрос о постановке «Эгмонта» в России возник в начале 20-х годов XIX столетия. Но прежде чем трагедия Гете увидела свет рампы, ей предшествовали длительные цензурные мытарства, которые дают в своей совокупности яркое представление об убожестве политической мысли чиновников российского самодержавия.

Цензура 20-х годов мотивировала запрещение «Эгмонта» тем, что «в пьесе находятся многие прения о правах государей на их подданных и содержание ее заключается в возмущении нидерландцев, которое, вместо того чтобы внушить зрителям повиновение правительству, может возбудить в них совсем противные чувства».

Прошло несколько десятилетий, пока снова всплыл вопрос о постановке «Эгмонта». Искромсанная значительными сокращениями трагедия была представлена в цензуру в 1860 г. директором императорских театров Сабуровым. Любопытно, что в качестве положительных доводов указывалось, что в 1859 г., во время пребывания Александра II и его жены в Дармштадте, «Эгмонт» шел «в высочайшем присутствии»

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ Петровскаго Театра.

Сегодня представлена будетъ мещанская Трагедія *Клавиго*, сочиненія Господина *Гете*, переведенная съ Нѣмецкаго, и которая никогда еще не была здѣсь играна, а послѣ оной будетъ балетъ, сочиненія Господина *Морелліа*.

Театральное объявление о первом на русском языке представлении трагедии Гете „Клавиго“, напечатанное в № 92 „Московских Ведомостей“ за 1782 г.

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Аргументация шла таким образом по линии не качеств «Эгмонта», а чисто придворных соображений. Кроме того указывалось, что «Эгмонт» беспрепятственно играется в Остзейских губерниях. Цензура была склонна дать на этот раз разрешение, но министр императорского двора граф В. Ф. Адлерберг решительно протестовал против постановки и добился вновь запрещения. Адлерберг считал, что «Эгмонт» есть «апология демагогии и в достаточной степени безнравственное произведение, поскольку представляет в соблазнительных красках маленькую девочку, любовницу главного героя пьесы». Исключения и вымарки, которые могли быть сделаны в пьесе, по мнению министра нисколько не меняют ее существа, и поэтому «нет вовсе необходимости, неприлично и неосторожно вытаскивать из архива произведение, пробывшее там около полувека и по существу революционное, хотя основанное на исторических фактах».

Как вывод из «неуместного» ходатайства Адлерберг пишет, что «директор заслуживает порядочный нагоняй (и получит его) за то, что просил разрешения III Отделения, не осведомившись предварительно о моем мнении».

Через два года, в 1862 г., снова зашла речь о разрешении «Эгмонта». Повод был чисто случайный: артистка немецкой драматической труппы Шенгоф-Гаазе пожелала поставить в свой бенефис «Эгмонта» и обратилась за покровительством к санктпетербургскому военному генерал-губернатору князю А. А. Суворову. Суворов согласился быть ходатаем перед директором императорских театров графом А. М. Борхом не потому, что он был поклонником запрещенной трагедии, но потому что он, как гласит его пост-скриптум на официальном письме, уже «пятнадцать лет знает прелестную мадам Шенгоф-Гаазе». Несмотря на все доводы сиятельного заступника, граф Борх не пожелал получать нагоняй, подобно своему предшественнику, и «прелестная мадам Шенгоф-Гаазе» должна была выбрать другую пьесу для своего бенефиса (все документы о запрещениях «Эгмонта» опубликованы ниже в работе С. Рейсера «Запрещенные переводы из Гете»).

Только в сезон 1887/1888 г. «Эгмонт» впервые прошел на русской сцене в качестве бенефисных спектаклей. В Москве эту трагедию Гете выбрала для своих «театральных именин» артистка Малого театра М. Н. Ермолова, в Петербурге — артист Александринского театра В. П. Далматов. Московская постановка выдвинула исполнителя заглавной роли А. И. Южина, в репертуаре которого эта роль являлась одной из наиболее законченных и выдающихся. Это вероятно послужило основанием к тому, что в сезон 1899/1900 г. «Эгмонт» был снова возобновлен в московском Малом театре, как и в первый раз, в сопровождении музыки Бетховена. Затем «Эгмонт» выпал из репертуара русских театров, ставши достоянием симфонической эстрады, где он исполняется очень часто и в наши дни, обычно с участием народных артистов Республики В. И. Качалова или Ю. М. Юрьева в качестве чтецов монолога «Эгмонта».

III

Русская театральная публика познакомилась впервые с «Фаустом» в виде балета Перро и оперетки Герве «Фауст наизнанку». Этот опереточный «Фауст» шел в конце 60-х годов на Александринской сцене, когда легкий жанр особенно процветал в императорском драматическом театре. Первое представление французской оперетки было дано в бенефис режиссера Яблочкина, при чем русский текст делал поэт В. Курочкин. Занимавшийся в то время рецензенством А. С. Суворин писал, что «судя по тщательной постановке оперетки Герве, можно думать, что господин Яблочкин сумел бы поставить хорошо и порядочную пьесу». О либретто Суворин отзывается неодобрительно, хотя и признает, что Курочкину удалось внести в текст некоторое остроумие. Но тем не менее налицо оказались и пошлость, и сальность. Поэтому «Сам Фауст оказался выставленным пошляком и болваном, который говорит, что учит девиц естествознанию, дает им элементарные познания из анатомии, разъясняет, где какие нервы и жилы проходят, и тому подобное». «Не забыто конечно,—пишет Суворин,—резание лягушек и женский вопрос. Девицы выходят кокотками... У нас естествознание и так заброшено, и бить лежачего, по меньшей мере, бестактно».

К сожалению «Фаустом наизнанку» можно было назвать не только оперетку Герве, но и то драматическое представление, которое было показано в московском Малом театре в 1877 г. в бенефис артистки Н. Васильевой с Ермоловой в роли Маргариты. На афише этого спектакля стояло: «Фауст». «Несколько сцен из трагедии Гете. Перевод Вронченко». Что же это были за сцены? Н. А. Попов, обследовавший хранящийся в архиве Малого театра рукописный режиссерский экземпляр сценического текста этого «Фауста», сообщил нам, что всего шло в тот вечер 5 картин, при чем весь текст сводился к 340 строкам. Но самое любопытное это то, что первый «Фауст» на русской сцене, согласно режиссерской пометке на рукописи, шел всего лишь 40 минут. Это делает спектакль конечно скорее сценическим курьезом, чем сценической попыткой осуществить поэму Гете.

Этот сорокаминутный «Фауст» шел с одним коротеньким антрактом, при чем исполнялась только та часть трагедии, которая была переработана для оперного либретто. Но даже и оперное либретто было полнее, чем «Фауст» на сцене Малого театра.

В результате нещадных сокращений в картине «комната Маргариты» и во второй картине «сад» осталось по 39 строчек текста, в сценах «сад Марты», «перед домом» и «тюрьма»—по 80—95. Роль Мефистофеля была сведена на-нет. Такой изувеченный

А. И. Южин в роли графа Эгмонта в „Эгмонте“ Гете
Постановка Малого Театра (Москва, 7 февраля 1888 г.)
Собрание М. Н. Южиной, Москва

и искалеченный «Фауст» конечно не мог удержаться в репертуаре Малого театра и после трех представлений исчез с афиш.

В Петербурге «Фауст» прошел впервые в 1897 г., когда Гнедич его поставил в театре Литературно-Художественного Общества для бенефиса Г. Г. Ге. Это снова был чрезвычайно искаженный текст Гете, сведенный опять-таки почти что к оперному либретто и по отзыву рецензента «Театра и Искусства», журнала, только что начавшего выходить в том же году, напоминавшего «провинциальный театр, в котором драматические артисты исполняют либретто «Жидовки». Цензура также постаралась в деле искажения текста. Одной из наиболее резких вымарок цензурного карандаша было запрещение пролога «на небесах».

Когда П. П. Гнедич был назначен управляющим труппой Александринского театра, он вновь решил поставить первую часть трагедии, что и было осуществлено 11 февраля 1902 г. Столкновение с цензурой опять произошло на почве пролога.

Гнедич в своих воспоминаниях так передает свой разговор с тогдашним начальником цензуры, кн. Шаховским:

«Когда я изложил ему в чем дело, он сказал:

— Мы господа бога на сцену выпускать не имеем права.

— Нецензурен?

— Я не помню, что он говорит такое у Гете. Я прочту пролог, подумаю и тогда поговорим. Саваоф конечно не может говорить нецензурных вещей, но ведь это говорит старый немец, прикрывшись именем Саваофа, а не сам Саваоф».

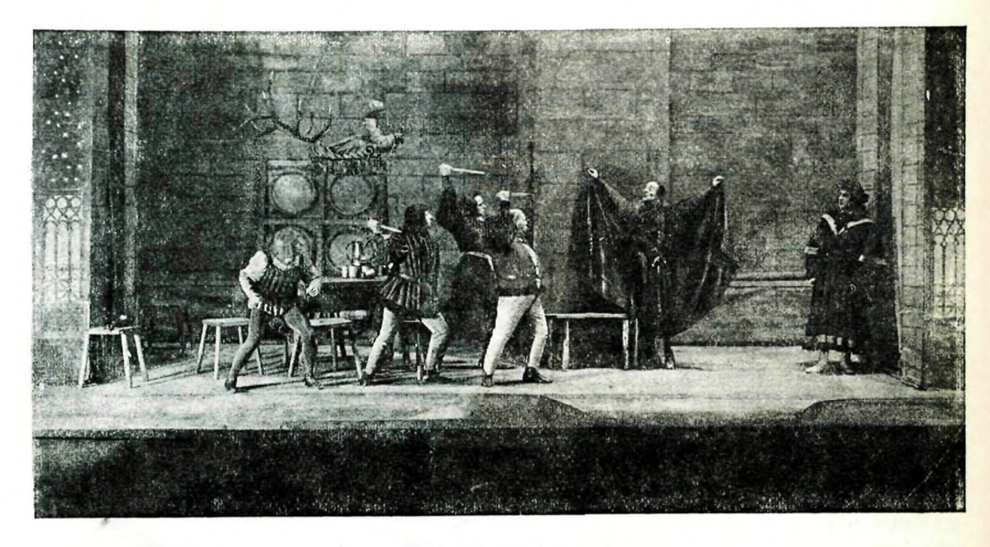
Когда же Шаховской нашел, что Гете остался в пределах цензурности, то он поставил два условия: «первое, чтобы бог был изображен отнюдь не среброкудрым старцем, а чем-то вроде доброго пастыря катакомб—в коротенькой рубашечке, с овечкой». Гнедич продолжал торговаться, и в результате торговли ему удалось убрать овечку и сменить короткую тунику на длинный хитон.

«Но Шаховской,—пишет Гнедич,—неожиданно прибавил:—Но необходимое условие : господа бога должна играть молоденькая женщина с контральтовым голосом и не играть, а декламировать. На афише она должна быть названа «первым светлым духом».

Приехав на генеральную репетицию, Шаховской велел у ангелов, одетых в оперные костюмы, убрать крылья и не допустил кадила и огненного меча. «Особенно кадила («чего добраго еще вы дым припустите») он не одобрил, ссылаясь на то, что предметы богослужения запрещено показывать на сцене».

Из 25 картин трагедии было поставлено 15, при чем была пропущена и Вальпургиева ночь, и Кухня ведьмы.

Декорации для этого «Фауста» были заимствованы из опер «Фауст», «Мефистофель» и «Волшебный стрелок». Только кабинет Фауста был написан заново.



Погреб Ауэрбаха
Мизансцена из „Фауста“ в постановке Ф. Комиссаржевского (Москва, 1912 г.)
Собрание А. Э. Шахалова, Москва

Ф. Ф. Комиссаржевский за переводом „Фауста". Карикатура из № 38 журнала „Рампа и жизнь„ за 1912 г.

А. Р. Кугель писал, что в постановке Александринского театра не было никакого решительно плана, что к поэме Гете отнеслись, как к самой обыкновенной текущей новинке: надо что-нибудь ставить, и потому поставили «Фауста».

Из трагедии по существу было вытравлено всякое философское содержание, на первый план выперли оперные традиции, и сам Гнедич впоследствии признавался, что успех у публики имела только сцена в погребе Ауэрбаха, где «вспыхнувшее вино, песни завсегдатаев и Мефистофеля нравились зрителю».

Театр таким образом не только ничего не прибавлял к чтению «Фауста», но явно опошлял его, превращая это насыщенное философской мыслью произведение в более или менее занимательную пьесу о черте и об обольщении Маргариты Фаустом. Это была та же линия балетов, феерий и опер, которая нужна была буржуазному зрителю, чтобы провести вечер в театре, не скучая и не задумываясь над теми вопросами, которые волновали и мучили великого поэта.

Под знак философии попытался вернуть «Фауста» режиссер Федор Комиссаржевский, когда осенью 1912 г. он поставил на сцене театра Незлобина в Москве первую часть трагедии в своем прозаическом переводе, осуществленном в сотрудничестве с Зенкевичем.

Это была несомненно очень серьезная попытка дать русскому зрителю не упрощенного гетевского «Фауста», но «Фауста» циклопического, в котором, по выражению его постановщика, заключен «хаос мыслей и чувств мудрого человека, выросший вокруг наивной народной легенды о докторе Фаусте». Идея представления о трагедии Гете, как о хаосе, превращенном в гармонию, настолько увлекла Комиссаржевского, что он даже статью-комментарий к своей режиссерской постановке озаглавил «Хаос и гармония». Эта гармония, согласно идеалистическому истолкованию Комиссаржевского, заключалась в деятельном боге, присутствие которого в земной жизни превращает земной хаос в гармонию. Отсюда вытекало соответственное толкование самого Фауста как величины вечной: «Этот Фауст, сидящий перед нами, когда открывается занавес театра, в неподвижной позе, в мучительном раздумье у пульта, а потом в одиночестве изливающий мысли своего воспаленного мозга и чувства своей страдающей за все человечество души,—для меня величина вечная». Мефистофеля Комиссаржевский трактовал как особого фаустовского черта. Он хотел, «чтобы на сцене его лицо и фигура напоминали Фауста; некоторые черты последнего должны быть в нем усилены, другие должны едва намечаться, третьи—совершенно пропадать». В действительности этого не получилось, и Мефистофель спектакля гораздо более напоминал традиционного Мефистофеля, чем того фаустовского двойника, о котором мечтал режиссер.

В общей композиции спектакля Комиссаржевский шел от готики, стремясь создать как бы синтез переходной поры, начиная с XIV и кончая XVI веком.

В основу декоративного оформления был положен архитектурный примитив, т. е. примитив трех измерений без живописных плоскостей на тех сценических планах, где действуют люди. На сцене находились лишь самые необходимые вещи, нужные для характеристики места действия, не более. В отдельных сценах давали чувствовать себя различные ассоциации режиссера. Сад Маргариты был не садом мещанки Марты, а лирическим обнаружением самой души Маргариты. Скамейки, на которых сидели действующие лица, были взяты с картин древнегерманских и нидерландских живописцев, изображавших сидящих мадонн. Поскольку режиссер считал, что в «Фаусте» Гете передавал не только идею гуманистов, но и итальянского Возрождения, он внес в отдельные картины итальянские штрихи. Скульптурная лестница, на которой встречались Фауст и Маргарита, напоминала лестницы итальянских церквей. Сцена в тюрьме шла в громадном зале с крошечным казематом— реминисценция тюрем Пиранези. Готический портал обрамлял и внешне объединял всю трагедию. По мнению режиссера, этот портал «указывает на величие и вечность трагедии, напоминает о том, что в действии трагедии все время участвует бог пролога, объединяющий собой все ее сцены, созданные под самыми противоположными и сложными впечатлениями великого человека на фоне простой легенды».

Истолкование Комиссаржевского было законченным истолкованием идеалиста, метафизика и эстета, отрывавшего великую поэму от той действительности, на почве которой развивалось творчество Гете. Но Комиссаржевский первый сломал ужасную традицию оперных постановок драматического «Фауста», вывел трагедию на широкий путь философского истолкования и попытался дать ей стройное сценическое воплощение. На деле, правда, все вышло значительно беднее и грубее, чем в замысле. Особенно неприятной и отталкивающей получилась «Вальпургиева ночь», где зритель не чувствовал никакого оргиастического подъема, но видел бесформенную груду копошащихся актеров и актрис.

Рецензии того времени в общем сходятся к одинаковой оценке спектакля как первой серьезной и ответственной постановки «Фауста» на русской сцене. По-разному истолковывая отдельные детали и образы спектакля, все подчеркивают, что среди маленьких и ничтожных пьес современности «Фауст» в постановке Комиссаржевского высится, как монументальная и громадная постройка. Но этот «Фауст» 1912 года настолько ярко запечатлел в себе сумеречное состояние буржуазной культуры, что он никак не мог бы войти в культурное наследство русского театра, которое получило и критически осваивает советское государство.

Вот почему одной из задач театра наших дней и является новое сценическое раскрытие поэмы Гете. Эта мысль время от времени возникает в театральных кругах, и например при обсуждении плана сезона 1921/1922 г. на совещании АКТЕО был не только поднят вопрос о необходимости осуществить постановку обеих частей «Фауста» Гете, но была по предложению А. И. Южина образована комиссия для разработки вопроса о создании особого театра для такой постановки.

Гете-драматургу уделил внимание и театральный отдел Наркомпроса, выпустивший в числе своих первых изданий в серии «Драматические писатели» специальный биографический очерк Н. А. Холодковского—«В. Гете». Здесь мы находим и краткую биографию поэта, и передачу содержания главнейших драматических произведений Гете: «Геца фон Берлихингена», «Клавиго», «Стэллы», «Ифигении в Тавриде», «Эгмонта», «Торквато Тассо» и «Фауста».

С. РЕЙСЕР, А. ФЕДОРОВ

ГЕТЕ В РУССКОЙ ЦЕНЗУРЕ

I. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ ГЕТЕ

1

В период 1796—1804 гг. положения, точно определявшего задачи и круг деятельности цензуры, в России не существовало. Указом от 16 сентября 1796 г. Павел I «признал за нужное» учредить цензуру «в прекращение разных неудобств, которые встречаются от свободного и неограниченного печатания книг». Естественно, что такая расплывчатая формулировка давала бесконечный простор произволу и самодурству отдельных чиновников. Особенно прославился на этом поприще рижский цензор Федор Осипович Тимковский. Достаточно сказать, что из общего числа задержанных в период 1797—1799 гг. 639 книг 552 запрещения, т. е. 86%, падают на долю Тимковского. Свифт, Бокаччио, Виланд, Шиллер, Кант, Гердер, Клопшток, Руссо, Вольтер, Гете—вот список запрещенных Тимковским авторов. А в 1800 г. он запретил даже и немецкий перевод «Писем русского путешественника» Карамзина! Тимковский кончил тем, что подал Александру I донос на «якобинцев города Риги», в числе которых будто бы находились все официальные чины города во главе с генерал-губернатором. Отставленный «с пенсией» от должности, он вскоре скончался [1].

Первый касающийся Гете документ, так сказать знакомство Гете с русской цензурой, относится к 1797 г., когда Тимковский особым рапортом генерал-прокурору Сената предложил запретить «Вильгельма Мейстера». Речь шла об издании 1796 г. («Goethes neue Schriften», IV Band). «Безусловное утверждение, будто блаженство наше состоит в том, чтобы всеми силами достигать того, что нам справедливым и хорошим кажется, противно правилам истинной мудрости, чтобы во всех своих желаниях и намерениях и деяниях сообразжаться законам государственным и правилам веры. На стр. 110 [автор] отвергает достоверность священного писания. На 202 предлагает новый образ воспитания, чтобы погрешностей не предварять или в первом оных начале не истреблять, но допустить первее к преисполнению меры. Сие новое у новейших писателей часто нам встречающееся учение кажется зловредно для воспитания, да и опасно для юношества. И тут же на 224-й опорачивает доселе существовавшее нравоучение и гражданские о том установления. И другие новые выражения о жизни, владении имениями и прочая на стр. 23, 32, 40, 206, 208, 238, 239 и т. д.» [2].

Характерны и два следующие рапорта, также касающиеся «Вильгельма Мейстера» [3]; за недостатком места привожу их без всяких комментариев и без подробных цитат из соответствующих мест книги. Первый из рапортов касается I тома в изд. 1795 г. «Четвертый том сея книги запрещен уже под № 57, а в сем томе находятся следующия сумнения: на стр. 21 и 22 собрание смешное и сатирическое в куклах, представляющих царя Саула, Ионафана, пророка Самуила, Давида и прочих. Стр. 85 и 87: ежели государи овладев всем, со всего получают доход и пошлины, для чего не торговать и нам оными. Стр. 105 «Кто воспрещает тебе быв в объятиях одного мыслить о другом»—кажется есть неблагопристойно и для девиц и жен соблазнительно. (Разрядка моя.—*С. Р.*) Стр. 159. Кафедру проповедников и театр поставляя в одно достоинство, желает чтобы проповедники и комедианты жили в согласии. Стр. 172 отвергает промысел божий, приписывая в свете все необходимости и случайности. И прочие страницы: 168, 203, 204, 206, 207, 233, 237, 238, 316, 325, 338, 350 и проч. [4]

Второй рапорт о III томе (1795 г.) «Вильгельма Мейстера» таков: «Четвертая часть сего романа запрещена, а в сей части следующие сумнения: стр. 31 и 32 не хвалит различения в обществе состояний дворянства и мещанства. Стр. 141 и 142 неприличные рассказы о царском достоинстве. Стр. 241, 242 и 247 легкомысленности о благоговении к богу, стр. 284 сокрытая и весьма тонкая сатира на внеш-

ность веры и обряды в молитвах. Стр. 290 странное толкование о грехе, отделяющем человека от Бога, с коим всегда быть должно. Стр. 300 смеется над стихословием царя и пророка Давида, над Псалтырью» [5].

В 1797 г. подвергся запрещению и X том того же издания, содержащий «Рейнеке-Лис». «Содержание шутливого и замысловатого сатирического в нравоучении: коль часто злодеи торжествуют над праведными, потому что первые и хитры и лживы, а последние токмо честны и усердны. Но в следующих местах выражения для читателей кажется сумнительны: стр. 132—две последние строки и на стр. 133 первая строка. Стр. 142 призывание духа святого лисицею кажется весьма не кстати. Стр. 219 легкомысленное рассуждение о присяге, стр. 280 от слов Raubt der König ja selbst so gut als einer... до слов на стр. 283 Kleine Diebe hängt man so weg... сокрытая сатира на самодержавные правительства. От стр. 301 до 304 сатира на правление и деяния римского папы» [6].

Чтобы закончить перечень трофеев Тимковского, следует привести еще один рапорт о книге «Aufsätze in Stammbüchern. Aus den Schriften Wielands, Goethes, Klopstocks u. a. gesammelt. Galle». К сожалению в ленинградских книгохранилищах не нашлось этого издания и потому нельзя точно определить, что и в каких размерах касается Гете. Содержание смутивших цензуру мест в рапорте более или менее подробно изложено. Тимковскому показались подозрительными следующие места: «Стр. 41 статья 293 касательно рабства и бедности государей в друзьях. Статья 276. Якобы к существу покоя, вольности и народного блаженства потребные по временам кровопролития и слезы. На стр. 45 статья 296 якобы титло великих заслуживающие редко бывают добрые люди, что конечно обидно для заслуживающих потом и трудами сие титло. На стр. 86 статья 591 якобы тот умный человек, кто слову или хвалу в подвигах презирает; там же статья 593 якобы смерть государя, министра и проч. ничто, поелику их место всяк заступить может» [7].

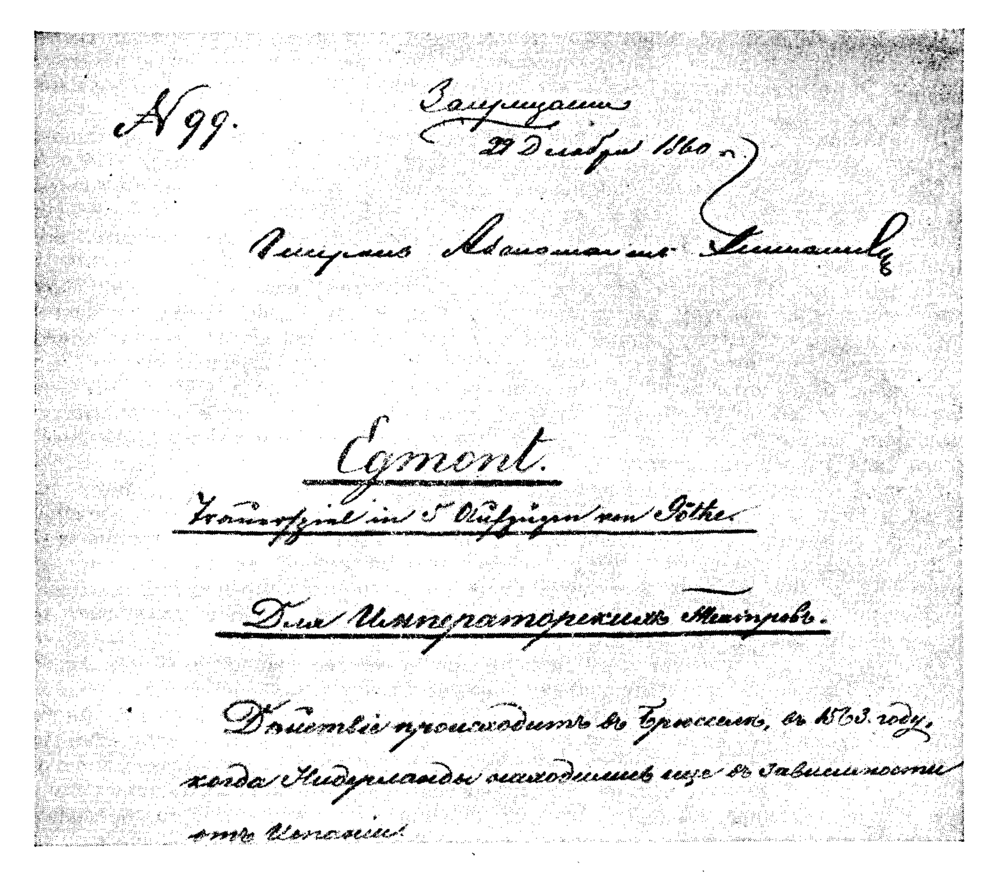
2

Другие ранние произведения Гете в русских переводах, насколько можно судить по материалам ленинградского отделения Центрархива, вернее говоря, по отсутствию этих материалов, не вызывали цензурных запретов. Первое произведение Гете на русском языке — «Клавиго» в переводе О. П. Козодавлева. Перевод этот, выдержавший в течение года с небольшим два издания [8], не встречал, как впрочем и последующие, цензурных препятствий. В 1816 г. это произведение Гете было одобрено к представлению на сцене; то же в 1835, 1842 и 1862 гг. [9] Точно так же свободно проходил, не возбуждая сомнений, и перевод «Геца фон Берлихингена» [10].

Далеко не так благополучно проходил через цензурные чистилища «Фауст». Первая попытка издать полный русский перевод была произведена поэтом и переводчиком Эдуардом Ивановичем Губером около 1835 г. Перевод этот был цензурой полностью запрещен. Этот эпизод в делах ленинградского отделения Центрархива никак не отмечен, и судить о нем можно только по свидетельству третьих лиц. Существует не вполне достоверный рассказ о том, что когда Губер узнал о решении цензуры, он в бешенстве разорвал рукопись—результат многолетнего труда. Традиция и сам Губер утверждают, что уже вскоре он «по настоятельному желанию Пушкина с новой силою принялся за вторичный перевод «Фауста»; под его [Пушкина.—*С. Р.*] надзором, труд... быстро подвигался вперед» [11]; во всяком случае в конце 1837 или начале 1838 г. вторичный перевод был уже почти готов и имел быть представленным в цензуру. Книга вышла в самом конце 1838 г. (цензурное разрешение от 12 сентября).

Как проходила книга через цензуру, мы в точности не знаем, но можем судить по результатам. Книга вышла с огромным количеством пропусков сцен, реплик, стихов и даже отдельных слов. Всего в этом издании было исключено около 40 отрывков большего или меньшего размера. Достаточно сказать, что полностью исключен «пролог на небесах»; нечего говорить о второй части: от нее в этом издании вовсе не осталось следа.

Когда А. Г. Тихменев через 11 лет после смерти Губера (в 1847 г.) и почти через 20 лет после первого издания, возбудил ходатайство о разрешении издать перевод Губера вторым изданием, дополнив его поправками, еще не бывшими в печати, испуганный Санктпетербургский цензурный комитет переслал все дело в Главное управление цензуры; последнее, усмотрев в этом нарушение каких-то норм, определило: «предложить сему комитету рассмотреть вышеозначенную книгу с рукописными в ней вставками на основании существующих цензурных постановлений» [12].



№ 99.

Запрещается
22 Декабря 1860 г.

Генералъ Адъютантъ Тимашевъ

Egmont.

Trauerspiel in 5 Aufzügen von Göthe

Для Императорскихъ Театровъ.

Дѣйствіе происходитъ въ Брюсселѣ, въ 1563 году, когда Нидерланды находились еще въ зависимости отъ Испаніи.

Рапорт цензора драматических сочинений при Главном управлении цензуры Ив. Нордстрема об „Эгмонте“ Гете с резолюцией начальника штаба корпуса жандармов генерала А. Е. Тимашева
Ленинградское Отделение Центрархива

Второе издание «Фауста», тоже далеко не полное, все-таки вышло в 1859 г., и таким образом мы можем установить, что именно в переводе Губера так пугало цензуру [13].

Что до театральной цензуры, то она в противоположность общей цензуре относилась к первой части «Фауста» в общем не особенно враждебно.

Первый встречающийся документ относится к 1834 г. Вот заключение цензора Ольдекопа, свидетельствующее о том, что «Фауст» был произведением, давно уже разрешенным и не вызывавшим цензурных тревог.

«Cette piece a été deja representee plusieurs fois à St.-Petersbourg; c'est Mr. W. A. Wahlberg qui me l'a presentée avant de quitter St.-Petersbourg pour la jouer à Riga et Revel» [14].

Перевод:

«Эта пьеса уже много раз шла в Петербурге. В. А. Вальберг перед своим отъездом из Петербурга представил мне ее для постановки в Риге и Ревеле».

Пять лет спустя городской театр в Ревеле снова просит о разрешении возобновить постановку «Фауста».

«Можно» начертал на представлении Ольдекопа генерал-майор Дуббельт [15].

Впрочем когда в том же году Немецкий театр в Петербурге просил разрешения о постановке «Фауста», то Ольдекоп счел нужным в заключение своего представления заметить:

«Plusieurs auteurs ont arrangé cette poésie de Goethe pour la scène dramatique, et tous ces arrangements ont été permis en russe et en allemand. Cet arrangement de Tick peut être permis avec les mêmes restrictions que les précédentes».

Перевод:

«Ряд авторов перерабатывал это произведение Гете для драматической сцены, и все эти аранжировки были разрешаемы к постановке на русском и немецком языках. Эта аранжировка Тика может быть разрешена с теми же ограничениями, как предыдущие» [16].

Это замечание даст основание заключать, что какие-то сокращения или изменения в тексте «Фауста» в обработке Тика все же были. Нам они неизвестны.

Следующее несущественное упоминание о «Фаусте» в делах цензурного ведомства находим только 21 год спустя [17], когда в 1860 г. «Фауст» предназначался к постановке на сцене императорских театров. Постановка 1-й части была разрешена беспрепятственно [18].

Несмотря на такое, почти благожелательное, отношение, отдельные издания «Фауста» заставляли цензуру настораживаться. Так, когда А. Ф. Маркс задумал в 1888 г. издать иллюстрированный перевод «Фауста», снабдив его гравюрами немецких художников, понадобилось дать цензурному комитету обещание в том, что: 1) издание будет отпечатано в ограниченном числе экземпляров (1550) и 2) цена ему будет от 30 до 40 рублей. Так как немецкое издание с теми же рисунками было уже разрешено к ввозу в Россию, цензурному комитету не осталось ничего иного, как разрешить издание [19].

Наконец последнее известное мне дело о «Фаусте» относится к 1912 г., когда начальник Главного управления по делам печати А. В. Бельгард признал пьесу «Фауст» для народных сцен неудобной. Речь шла о переделке Д. А. Мансфельда [20].

Все сказанное относится к первой части. Что до второй, то для иллюстрации отношения к ней цензуры достаточно будет привести два сохранившихся поздних документа: они относятся к 1889 г., когда начальником Главного управления по делам печати был Е. М. Феоктистов.

Оба рапорта принадлежат перу цензора драматических сочинений И. П. Альбединского. На обоих—запретительные резолюции Феоктистова:

«Действительный студент императорского Казанского университета артист Анатолий Николаевич Кремлев просит о разрешении для сцены двух частей «Фауста» в вышеназванном переводе [Холодковского.—*С. Р.*]. Сделав необходимые многочисленные [разрядка моя.—*С. Р.*] исключения в первой части «Фауста», я таковую к представлению дозволяю. Что же касается до второй части, то, признавая оную вполне непригодной для сцены, я в этой части просьбы г. Кремлева удовлетворить его не могу, и так как вторая часть «Фауста» по содержанию и объему своим составляет вполне самостоятельное сочинение, то о ней я имею честь представить настоящий доклад» [21].

Следующий рапорт, содержащий подробный разбор второй части «Фауста», несравненно интереснее; он необычайно ярко характеризует «цензурную поэтику» 80—90-х годов.

«Вторая часть «Фауста» разрешена к представлению в приспособленной для сцены версии Волгейма в 1875 г. покойным Е. И. Кейзер-фон-Нилькгеймом. В русском переводе она запрещена 30 прошлого марта, по моему докладу.

Не говоря подробно о непригодности вообще такого рода философского сочинения к представлению перед всякой публикой, я нахожу еще, что по разным местным условиям вторая часть «Фауста» в настоящее время неудобна на сцене в России.

Все те места драмы, в которой появляется анонимный император (хотя и чисто немецкий), могут вызвать в публике неудобные демонстрации. Так например в 1-м действии (стр. 8)

Der Bürger, hinter seinen Mauern,
Der Ritter auf dem Felsennest
Verschworen sich uns auszudauern
Und halten ihre Kräfte fest [22].

Это место публикой может быть применено к той части жителей Прибалтийских губерний, которые недовольны настоящими преобразованиями. (Разрядка моя.—*С. Р.*)

Сцена маскарада, кончающего[ся] фейерверком, долженствовавшая изобразить первую французскую революцию, тоже по моему мнению неудобна.

Император, обращающийся к чарам, к нечистой силе для победы над подданными, тоже для сцены неуместен.

Еще могу отметить:

Сцену выпуска бумажных денег, по наущению Мефистофеля (стр. 39). Она совсем не для малообразованной публики.

Сцену сотворения человека в реторте химическим способом (стр. 62а).

Заключительные сцены, в которых ангелы уносят душу Фауста на небо и появляются Pater Ecstaticus, Pater Profundus, Pater Seraphicus, Mater Gloriosa (Божия матерь), Св. Мария Египетская (стр. 20 и посл.).

В разрешенной в 1875 г. сокращенной версии этой второй части «Фауста» все мной вышеуказанное тоже существует. Также в заключительной сцене появляются Pater Seraphicus, Mater Gloriosa и ангелы.

Вычеркивать же красными чернилами отдельные места я полагаю неудобным. Творения Гете настолько известны, что такое вычеркивание может только обратить особое внимание публики на эти места и придать им даже более важности, чем они действительно имеют.

Мне кажется, что было бы для дела выгодно сообщить лифляндскому губернатору про существующую уже разрешенную версию «Фауста» и указать ему на некоторые неудобства допущения оной на рижской сцене в настоящее время» [23].

Характерно, что в 1889 г. цензуру смущали те же самые места, что и за 50 с лишним лет до того, когда в 1835 г. цензурой был запрещен перевод Э. Губера. Впрочем запрещение творения Гете в другом случае, тоже по одним и тем же мотивам, продержалось гораздо дольше. Я имею в виду «Эгмонта».

3

Пока, как видим, придирки «богомольной важной дуры или чопорной цензуры» (Пушкин) шли все время по линии религиозной. Вальпургиева ночь, излишне пытливые высказывания Фауста и Мефистофеля, рождение Гомункулуса в реторте, ночные похождения бога (хотя бы и индийского—об этом ниже), сомнения в бессмертии души—все это старательно удалялось из сознания русского читателя и зрителя Гете в самом буквальном смысле ad majorem Dei gloriam.

«Потрясение политических основ» цензура усмотрела в «Эгмонте», на цензурных злоключениях которого следует остановиться особо. Это произведение долгие годы было под безусловным и совершенным запретом [24]. Никакие компромиссы в виде сокращений или переделок пьесы, как в «Фаусте», были невозможны. Эгмонт—борец за национальную независимость Нидерландов—был слишком революционен в представлении цензоров Главного управления цензуры, даром что в произведении борьба протекает на фоне столкновения католиков с реформистами. Впервые «Эгмонт» был запрещен к представлению на Немецком театре в 1806 г. на том основании, что «в пьесе находятся многие прения о правах государей на их подданных, и содержание ее заключается в возмущении нидерландцев, которое, вместо того чтобы внушить зрителям повиновение правительству, может возбудить в них совсем противные чувства» [25].

Это запрещение было подтверждено в 1808 г. В деле «О рассмотренных Санктпетербургским цензурным комитетом и дозволенных к напечатанию сочинениях и переводах...» находим постановление от 24 марта о запрещении постановки пьесы на сцене. (Представление цензора Зона.) [26]

Пьеса была запрещена всерьез и надолго, и в течение четверти века мы не находим никаких попыток ни получить разрешение на постановку на сцене, ни издать перевод «крамольной» пьесы. К 1832 г. относится освещенный в делах ленинградского отделения Центрархива эпизод с запрещением «Эгмонта» к печати. Перевод, о котором идет речь, принадлежал А. А. Шишкову. Цензор Семенов, о котором в связи с Гете речь будет итти и дальше, запретил издание перевода трагедии Гете: «...ибо в оной яркими красками представлено возмущение нидерландцев против власти испанского короля, делать же в оной какие-либо значительные перемены комитет почел себя не в праве, поелику сочинение сие относится к классическим произведениям словесности».

Характерна деликатность цензора, не решающегося исправлять Гете!

По жалобе не согласившегося с этим решением переводчика (так помечено в деле, в действительности Шишков умер 27 сентября) Санктпетербургский цензурный комитет 17 ноября передал дело на заключение Главного управления цензуры, которое 28 ноября подтвердило решение Комитета [27].

Это дело касается повидимому «Немецкого театра» А. Шишкова, изданного М. Погодиным (см. его письмо Пушкину от 18 апреля 1832 г.). В 4 вышедших частях «Эгмонта» нет; 5-я часть, в которой он должен был быть помещен, не вышла.

Этот эпизод несомненно находится в связи с другим, тоже связанным с именем Шишкова эпизодом, когда предстательство за него перед цензурою косвенно взял на себя Пушкин. Когда Российская Академия приняла предложение Пушкина об издании трудов Шишкова, встретились какие-то цензурные затруднения, опять-таки в связи с «Эгмонтом», намеченным к включению и в это издание. В бумагах Пуш-

кина сохранился написанный его рукой черновой набросок заявления Уварову, который вдова должна была подать от своего имени. В этом прошении Е. Шишкова (resp. Пушкин) между прочим писала: «встретились затруднения со стороны цензуры, задержавшей перевод Гетева «Эгмонта». Трагедия эта входит в состав «Немецкого театра», который покойный муж вознамеривался издать. «Эгмонт», изданный не особливой книжкою, но помещенный в числе других пяти или шести трагедий, кажется может быть дозволен».

Спасти «Эгмонта» все же не удалось. В изданных Российской Академией «Сочинениях и переводах А. Шишкова» (чч. 1—4, СПБ, 1834—1835) «Эгмонта» нет. Перевод остался ненапечатанным и неизвестен доселе [28].

Следующая по времени попытка добиться легализации «Эгмонта» в русской литературе и на русской сцене относится только к 1860 г., когда дирекция императорских театров в лице директора А. И. Сабурова обратилась в III Отделение с просьбой разрешить постановку пьесы.

17 декабря 1860 г. А. И. Сабуров писал шефу жандармов кн. В. А. Долгорукому:

«Милостивый государь князь Василий Андреевич!

Препроводив вместе с сим в III Отделение собственной его императорского величества канцелярии для рассмотрения в цензуре немецкую трагедию Гете «Эгмонт», долгом поставляю представить на внимание вашего сиятельства, что хотя эта пьеса и была запрещена к представлению лет пятьдесят тому назад, но теперь я решаюсь ходатайствовать пред вами, милостивый государь, о благосклонном дозволении представления ее на здешней немецкой сцене к тому уважению, что она с разрешения означенной [карандашом на полях вставлено «местной».—*С. Р.*] цензуры играется в Остзейских губерниях и что во время пребывания в последний раз государя императора и государыни императрицы в Дармштадте избрана была эта трагедия для торжественного спектакля, данного в присутствии их величеств на домашнем театре» [29].

Заключение цензора Нордстрема было вполне благоприятно для Сабурова.

Излагая содержание «Эгмонта», Нордстрем в своем представлении писал:

«Действие происходит в Брюсселе, в 1563 году, когда Нидерланды находились еще в зависимости от Испании.

Преследование католическим правительством укоренявшегося в Нидерландах реформатского учения вызвало неудовольствие в народе. Хотя для подавления религиозного волнения принимаемы были самые строгие меры сестрою короля Филиппа II, герцогинею Маргаритою Пармской, управлявшею страною, но эти меры не удовлетворяли испанское правительство: Филипп II поручил управление Нидерландами вместо Маргариты герцогу Альбе, человеку жестокому и честолюбивому, который решился для восстановления безусловной покорности лишить народ прав и привилегий, дарованных ему прежними государями. Народ с своей стороны полагал всю надежду свою на принца Вильгельма Оранского и графа Эгмонта, нидерландских вельмож, отстаивавших пред правительством эти вековые права и привилегии его. Граф Эгмонт, герой этой трагедии, нидерландец по происхождению, воспитанный при испанском дворе, был искренне предан королю и в то же время любим народом по открытому, честному характеру своему, щедрости и по храбрости, которою он отличался во многих битвах, прославивших его родину. Но Эгмонт пользовался своим влиянием на народ только для удержания его в полном повиновении пред правительством. К несчастью графа Эгмонта, новый правитель, герцог Альба, был с самого детства враг его. Тотчас по прибытии своем в Брюссель Альба, желая овладеть любимцами народа, пригласил к себе всех знатных нидерландцев, в том числе принца Оранского и графа Эгмонта. Принц Оранский как опытный и проницательный человек, поняв коварное намерение Альбы, удалился из Брюсселя, Эгмонт же явился немедленно в полной надежде на личное расположение короля к нему и не сознавал за собою никакой вины, несмотря на предупреждение принца Оранского. При свидании с Альбою Эгмонт высказывает свое убеждение, что взволнованный народ могут успокоить только кроткие меры и обещание упрочить за ним вековые права и привилегии и что мнение это он сочтет долгом повторить и пред лицом самого короля. Но герцог Альба, решившийся во что бы то ни стало погубить Эгмонта, пользуясь неограниченным уполномочием своим, приговорил Эгмонта к смертной казни будто бы за государственную измену, и таким образом голова Эгмонта пала на плахе как жертва личной ненависти Альбы. Между тем граф Эгмонт, охранявший права своего народа, по убеждению в необходимости их огра-

ждения для спокойствия самого правительства, не был ни революционером, ни изменником, ни даже демагогом.

Прекрасный эпизод в этой трагедии составляет умилительная любовь к графу Эгмонту простой девушки Клары. Узнав об осуждении его на смерть, Клара убеждает, хотя безуспешно, своих сограждан освободить Эгмонта из темницы и, по произнесении над ними приговора, отравляет себя ядом.

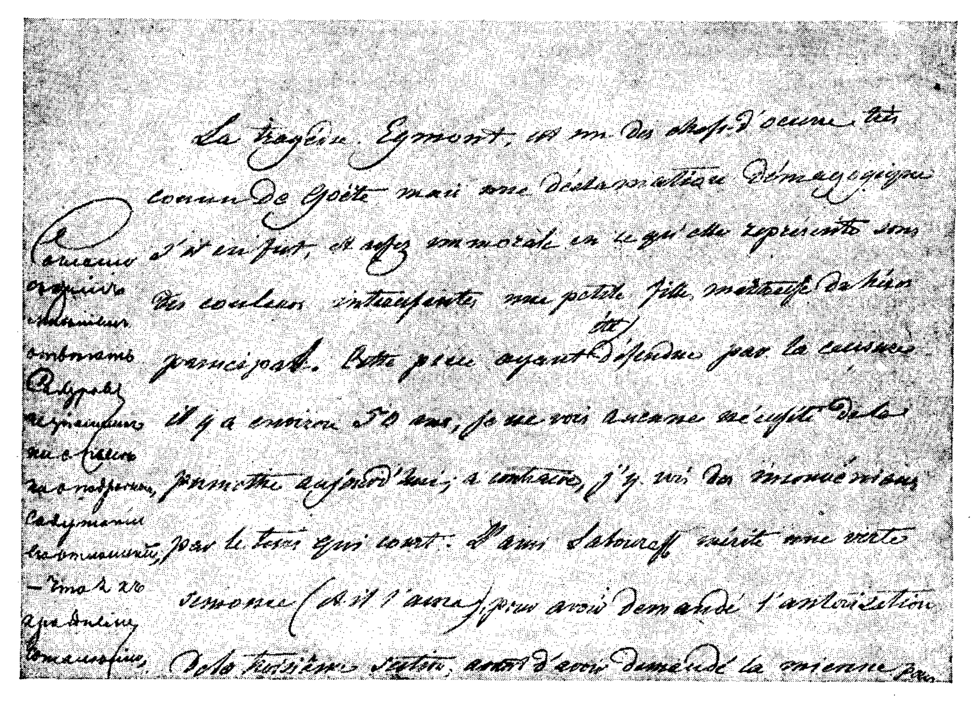
Трагедия эта была запрещена цензурою еще в 1813 году. Между тем она играется не только на всех германских сценах, не исключая и Вены, но с разрешения местной цензуры и в Риге, составляя повсюду как классическое произведение Гете любимую пьесу. К тому же к ней написана Бетховеном превосходная увертюра.

Ныне дирекция императорских театров ходатайствует о дозволении представления этой трагедии на здешней немецкой сцене в том внимании, что пьеса эта играется в Остзейских губерниях и что во время пребывания в прошедшем году государя императора и государыни императрицы в Дармштадте она избрана была для торжественного спектакля, данного в присутствии их величеств на тамошнем театре.

На случай соизволения на сие, в трагедии сделаны весьма значительные сокращения, с пропуском даже двух действующих лиц, и вообще пьеса получила тот вид, в котором она играется в Вене и, судя по представленной при сем афише, и в Риге. Ив. Нордстрем»[30].

Можно было ожидать благоприятного исхода ходатайства, но в дело неожиданно вмешался министр императорского двора В. Ф. Адлерберг, в ведении которого находились театры. Его хранящееся ныне в Центрархиве письмо к В. А. Долгорукому положило конец просьбам Сабурова и заступничеству Нордстрема.

«La tragédie: «Egmont», est un des chefs-d'oeuvre très connu de Goethe, mais une déclamation démagogique s'il en faut et assez immorale en ce qu'elle représente sous des couleurs interessantes une petite fille maîtresse du héros principal. Cette piece ayant été dénfendue par la censure il y a environ 50 ans, je ne vois aucune nécessité de la permettre aujourd'hui: au contraire, j'y vois des inconvénins par le tems qui court. L'ami Sabouroff mérite une verte semonse (et il l'aura) pour avoir demandé l'autorisation de la troisième section, avant d'avoir démandé la mienne pour faire cette demarche; entre nous deux (lui et moi) la chose aurait passé inaperçue, tandis que


La tragédie Egmont, est un des chefs-d'oeuvre très
connu de Goethe mais une déclamation démagogique
s'il en faut, et assez immorale en ce qu'elle représente sous
des couleurs interessantes une petite fille maîtresse du héros
principal. Cette piece ayant été défendue par la censure
il y a environ 50 ans, je ne vois aucune nécessité de la
permettre aujourd'hui; au contraire, j'y vois des inconvéniens
par le tems qui court. L'ami Sabouroff mérite une verte
semonce (et il l'aura) pour avoir demandé l'autorisation
de la troisième section, avant d'avoir demandé la mienne pour

Письмо министра двора графа В. Ф. Адлерберга шефу жандармов князю В. А. Долгорукому с требованием запрещения постановки „Эгмонта" на сцене

Ленинградское Отделение Центрархива

maintenant le refus de représentation pourra donner lieu à des propos. Néanmoins je maintiens le refus comme nécessaire.

Les retranchemens et coupures qu'on a pu faire ne changent rien au fond de la piéce. A l'assertion de la prétendue représentation solennelle à Darmstadt l'an passé en présence de L.L.M.M. est aussi fausse que nulle comme motif pour donner la piéce ici D'abord L. L. M. M. n'ont pas été à Darmstadt l'an passé, mais en 1857 et alors on n'a donné que deux ou trois scènes pour faire valoir le talent d'un acteur et d'une actrice réputés qui étaient en passage; puis en Allemangne «Egmont» n'a jamais eté prohibé et ne pouvait l'être étant un chef-d'oeuvre d'un poéte reveré par toute la nation. Chez nous il n'y a pas ni urgence, ni convenance (mais maladresse) a retirer des cartons ou elle a été enfoncé pendant un demisiècle, une piéce dont la tendence est révolutionnaire tout en étant la reproduction poétisée d'un fait historique. Veto.

Tout à vous

Adlerberg.

27 Decembre 1860»[31].

Перевод этого письма звучит так:

«Трагедия «Эгмонт», один из известнейших шедевров Гете, есть в то же время апология демагогии и в достаточной степени безнравственное произведение, поскольку она представляет в соблазнительных красках маленькую девочку, любовницу главного героя пьесы. Трагедия была запрещена цензурой приблизительно 50 лет назад, и я не вижу надобности дозволять ее и в настоящее время; наоборот, по моему мнению, к тому сейчас есть большие препятствия. Директор Сабуров заслуживает порядочного нагоняя (и получит его) за то, что просил разрешения III Отделения, не осведомившись предварительно о моем мнении; между нами обоими история прошла бы незамеченной, между тем как сейчас отказ в разрешении пьесы может породить разнообразнейшие толки. Тем не менее я всецело поддерживаю настоятельность запрещения. Исключения и вымарки, которые могли быть сделаны в пьесе, нисколько не меняют ее существа. Что же касается до указания на представление пьесы в Дармштадте в присутствии их величеств, то оно также неверно как повод дать трагедию здесь. Прежде всего их величества не были в Дармштадте в прошлом году, а в 1857 г., и тогда были даны лишь две-три сцены, дабы показать во всем блеске таланты двух знаменитостей: одного актера и актрисы, бывших в Дармштадте проездом. Наконец в Германии «Эгмонт» никогда не был и не мог быть запрещен, принадлежа к числу шедевров поэта, известного всему народу, У нас же нет вовсе необходимости, неприлично и неосторожно вытаскивать из архива произведение, пробывшее там около полувека и по существу революционное, хотя основанное на исторических фактах. Veto. Преданный вам Адлерберг. 27 декабря 1860»[32].

После вмешательства Адлерберга нечего было и думать о разрешении пьесы. На представлении Нордстрема значится краткая резолюция начальника штаба корпуса жандармов А. Е. Тимашева «Запрещается. 22 декабря 1860 г.».

Атака на «Эгмонта» была повторена спустя два года (в 1862 г.), когда санкт-петербургский военный генерал-губернатор кн. А. А. Суворов возбудил ходатайство о разрешении пьесы, на этот раз для немецкого театра. Он обратился со следующим письмом к директору императорских театров гр. А. М. Борху:

«Артистка СПБ немецкой драматической труппы Шенгоф-Гаазе желала бы поставить в свой бенефис трагедию «Эгмонт», но встречает к тому препятствия со стороны театральной цензуры. Соображения, стесняющие, по всей вероятности, в этом деле цензуру, по моему глубокому убеждению, не вполне оправдываются характером означенного произведения, в котором автор имел только в виду опоэтизировать в исторической личности пламенное стремление к освобождению отечества от власти чужой страны. При этом нельзя не обратить внимания и на то, что лишение здешних немецких жителей возможности наслаждаться представлением любимого национального произведения, дозволенного на всех иностранных театрах, было бы тем более несправедливо, что побуждения, по коим некоторые драматические пьесы, разрешенные у нас в чтении, не допускаются на сцене, не могут относиться к немецкой публике, и по характеру и по настроению далекой от той впечатлительности, при которой превратно понятая мысль автора может иметь вредные последствия. P. S. J'ai la conviction, qu'on ne peut pas raisonablement refuser cette tragédie; je connais depuis 15 ans la charmante Madame Schengoff-Haase». (Перевод: «Я убежден в том, что нет оснований запрещать эту трагедию: я знаю очаровательную г-жу Шенгоф-Гаазе в течение 15 лет».)[33]

И это ходатайство не увенчалось успехом. Да и момент для него был выбран крайне неудачно. Взволнованное нараставшим революционным движением во время резкого обострения польского вопроса правительство менее чем когда бы то ни было склонно было разрешать постановку произведения, вызывавшего напрашивающиеся сами собой нежелательные аналогии.

В третий раз попытку ввести «Эгмонта» в репертуар театров России сделал новый директор императорских театров А. М. Гедеонов.

15 октября 1869 г. он обратился в III Отделение с просьбой о разрешении постановки «Эгмонта». Попытка оказалась столь же безуспешной, как и две первые. «В виду запрещения, которому подвергалась эта пьеса в прежнее время, не признается и ныне удобным разрешить ее к представлению», отвечал Гедеонову начальник Главного управления по делам печати М. Н. Похвиснев [34].

Многострадальный «Эгмонт» был разрешен к постановке лишь 30 сентября 1883 г., когда дальнейшие репрессии явно потеряли всякий смысл. Было вытащено из архивов старое представление Нордстрема, написанное в благожелательных для «Эгмонта» тонах, и на копии его ниже запретительной резолюции Тимашева рукою Е. Феоктистова была положена следующая резолюция: «Считаю возможным разрешить к представлению» [35].

Но злоключения «Эгмонта» на этом не кончились. В 1901 году (!) пьеса дважды (8 марта и 1 мая) в переводе на латышский язык была представлена в цензуру и оба раза запрещена. Нельзя не привести мотивировки этого запрещения: «Я полагал бы,—писал цензор,—не разрешать ее к исполнению в латышском переводе, находя, что возбуждение в инородческих элементах сочувствия к деятелям политической революции, направленной против национальности и религии, нельзя признать безвредным» [36].

Такова цензурная история «Эгмонта» по материалам ленинградских архивов.

4

И «Фауст», и «Эгмонт»—крупные произведения Гете, и в них цензурные затруднения шли сразу по двум линиям—общей цензуры и особой театральной, подчиненной непосредственно министру императорского двора и III Отделению; в отношении «Фауста» нападки шли по линии главным образом второй части: первая проходила цензуру более или менее благополучно.

Из мелких произведений Гете удалось найти лишь одно дело: можно предполагать, что особых волнений лирика Гете в умах цензурных мужей не производила. Зато содержание единственного найденного дела искупает их количественный недостаток.

В конце 1831 г. в петербургскую цензуру в числе прочего материала, намеченного к печатанию в альманахах «Северные Цветы» и «Альциона», поступили стих. «Горные вершины», соч. Ставелова (для «Северных Цветов») и «Баядера» в переводе барона Розена (для «Альционы»). Рассматривавший их цензор В. Семенов, а вслед за ними и Санктпетербургский цензурный комитет признали: «что в первом из сих стихотворений выражается повидимому сомнение касательно бессмертия души, а во втором «индийский главный бог «Магадё» властитель земли, ниже названный всеведцем, нисшедший с неба для испытания людей, проводит ночь с распутною баядеркою, которую воспламеняет чистейшей любовью, что производит страшное смешение понятий божества и разврата».

Главное управление цензуры, в которое было передано все дело для окончательного решения, «согласилось с мнением Комитета о невозможности позволить первое из оных; во втором хотя не усмотрело предосудительного ни в изложении ни в намерении автора, но, чтоб избежать могущих произойти неприличных применений, признало за лучшее не дозволить оного» [37].

Неясно, о каком стихотворении «Горные вершины» идет речь. Стихотворение названо в рапорте цензора «Сочинением Ставелова», но, судя по выделению его в одно дело с «Баядерой», оно являлось если не буквальным переводом элегии Гете, то подражанием [38]. Лермонтовский перевод тех же строк, напечатанный девять лет спустя в «Отечественных Записках» (1840, № 7), не вызвал никаких возражений со стороны цензуры.

Вообще самое изощренное воображение будет бессильно усмотреть «сомнение в бессмертии души» в 8-строчной элегии Гете. Очевидно цензора смутили заключительные строки, в которых он и усмотрел кощунственное неверие:

«Warte nur: balde
Ruest du auch» [39].

Что же до злополучной «Баядеры» и ее похождений с «индийским главным богом Магадё», то самое интересное во всей истории заключается в том, что за 4 года до возникновения этого дела «Брама и Баядера. Индийская повесть из Гете» была в переводе Ч—ва преблагополучно и полностью напечатана в «Славянине» за 1827 г. (часть III, стр. 62—65, цензурное разрешение цензора К. Сербиновича от 30 июня 1827 г.), а в 1828 г. «Магадев и Баядера. Индийская песня» была столь же благополучно целиком напечатана в «Опытах» Александра Ардалионовича Шишкова (М., 1828, стр. 33—37. Цензурное разрешение П. Гаевского от 18 марта 1828 г.). Далее: в 1838 г. в «Московском Наблюдателе» были помещены два перевода «Магадева и Баядеры»—один П. Петрова, другой К. А[ксакова] [40]. Судя по тому, что Шевырев организовал своего рода состязание переводчиков, печатая следом два перевода, можно думать, что произведения проходили через цензуру совершенно свободно, не возбуждая никаких подозрений.

Однако оправдывая изречение о неисповедимых судьбах русской цензуры, шестому переводу «Баядеры» снова не повезло. Когда Алексей Толстой в 1867 г. хотел напечатать в «Русском Вестнике» свой перевод легенды, цензура произвела ряд изменений, и в этом искаженном виде стихотворение и увидело свет [41].

По возможности было устранено частое упоминание божества и «сладострастные» мотивы; наемница же предпочтительно именуется девой.

Так вместо слов: «Лик наемницы облит»—стояло: «Дева плачет и дрожит».

Вместо: «И стан изгибая, обходит кругом»—было: «И поступью легкой обходит кругом»... и т. д.

Впервые полный перевод под заглавием «Бог и баядера» (вместо первоначального «Магадёв и баядера») появился в 1876 г. [42]

В заключение обзора следует еще упомянуть о двух отзывах цензуры, касающихся пьесы Голлан (по новелле А. Шюкинга) «Goethe in Darmstadt oder der gefangene Dichter», разрешенной к постановке в 1862 г., и биографии Гете, принадлежащей перу Д. Льюиса.

Содержание названной пьесы довольно подробно изложено в рапорте Нордстрема. «Действие происходит в 1772 г. Молодой Гете, гуляя в саду Дармштадтского дворца, встретился в пещере с супругою ландграфа Гессенского, которая, узнав в нем поэта, пригласила его на вечер во дворец. Но по уходе ее Гете по ошибке был заперт в той пещере и, пробыв там целый день в уединении, начал писать свою трагедию «Торквато Тассо». Между тем садовник ландграфа Альтгейер, рассердясь на помощника своего Вильгельма за его любовь к Минетте, дочери его, садовника, упросил ландграфа сдать Вильгельма в солдаты. Вильгельм, схваченный около пещеры, был принят за поэта Гете и ландграфом по ходатайству супруги последнего освобожден от рекрутства. Таким образом случайное заточение Гете помогло бедняку избавиться от военной службы, к которой он не имел никакого призвания.

Этот анекдот служит основанием настоящей пьески, в которой предосудительного нет ничего» [43].

В 1865 г. цензор А. Смирнов представил цензурному комитету рукопись перевода книги Д. Льюиса «Жизнь Гете».

Цензор считал возможным разрешить книгу за исключением отдельных мест вроде «циничной выходки против значения брака в XVIII столетии», «сопоставления пророков и апостолов со Спинозою и Макиавелем» и т. д.

Санктпетербургский цензурный комитет нашел, что рукопись не представляет ничего противного правилам цензуры и как превышающая по объему 20 листов может быть напечатана без предварительной цензуры [44].

С. Рейсер

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Общую характеристику рижской цензуры см. в ст. В. В. Сиповского, Из прошлого русской цензуры. «Русская Старина» 1899, №№ 4 и 5. О Тимковском см. у Коцебу, Une annee mémorable de ma vie (Berlin, 1802). Ср. Н. И. Греч, Записки. «Academia», Л., 1930 г., стр. 151 сл.

[2] «Дело канцелярии генерал-прокурора правит. Сената. Донесения цензур Рижской, Московской, Санктпетербургской, Радзивилловской о задержанных печатных произведениях...» 1797 г., № 193, л. 36—36 об. Рапорт № 57. (То же дело за № 163, 1797 г. имеется во втором экземпляре.)

Привожу краткие цитаты из соответствующих мест: стр. 110 (ч. VII, гл. 6)—очевидно цензуру смутило рассуждение Терезы: «Ich kann überhaupt nicht begreifen,

III Отдѣленіе
Собственной
Его Императорскаго
Величества
Канцеляріи.
Экспедиція
Цензурная.
Декабря 1860 г.
№

Милостивый Государь,

Андрей Ивановичъ!

На отношеніе Вашего Превосходительства, отъ 17го сего Декабря за № 710, о разрѣшеніи къ представленію на Императорскихъ театрахъ драмы Гёте, подъ названіемъ: „Egmont," имѣю честь увѣдомить Васъ, Милостивый Государь, что, при всей готовности моей сдѣлать Вамъ угодное, я, къ крайнему сожалѣнію, нахожусь въ невозможности исполнить желаніе Ваше, изъясненное въ означенномъ Вашемъ отношеніи.

Примите, Ваше Превосходительство, увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніи и преданности.

Его Превосход[ительст]ву
А. И. Сабурову

Ответ III Отделения „Собственной его императорского величества канцелярии" директору императорских театров А. И. Сабурову о запрещении постановки „Эгмонта"
Воспроизводится по отпуску с поправками шефа жандармов В. А. Долгорукова
Ленинградское Отделение Центрархива

für sie fort, wie man hat glauben können, das Gott durch Bücher und Geschichten zu uns spreche...», стр. 202 (гл. 9) «...nicht vor Irrthum zu bewahren, ist die Pflicht des Menschenerziehers, sondern den Irrenden leiten, ja ihn seinen Irrthum aus vollen Büchern ausschlurfen zu lassen, das ist Weisheit der Lehrer..», стр. 224 (ч. VIII, гл. I) O. der unnöthigen Strenge der Moral... O. der seltsamen Anforderungen der bürgerlichen Gesellschaft...» За недостатком места не привожу более мелких отрывков, отмеченных в конце рапорта. Приведенное дает достаточное представление о том, что именно волновало цензуру.

[3] Оба эти рапорта найдены А. В. Федоровым. Благодарю его за разрешение использовать их в настоящем сообщении.

[4] «Дело по рижской цензуре»... 1800 г., № 2416 (2889—6205). Рапорт № 1038, л. 229.

[5] Там же, рапорт № 1073, л. 238 (факсимиле начала этого рапорта см. на стр. 930.)

[6] «Дело 1797, № 193»... Рапорт № 581, л. 377. Вот некоторые из волновавших цензуру отрывков:

Стр. 132—133

Und der König sprach zu einem seiner Vertrauten:
Freilich ist Reinecke boshaft, allein man sollte bedenken,
Viele seiner Verwanden sind nicht zu entbehren am Hofe.

Стр. 142

Spiritus Domini. Helfe mir nun...

Стр. 219

. . . . besser geschworen
Als verlohren. So sagte mir ernst ein Weiser im Berchstahl
Ein gezwungen Eid bedeute wenig. Das kann mich
Keinen Katzenschanz hindern. Ich meine den Eid vesteht nur...

Особенно ярки два последних места, но привести их в виду обширности невозможно. Они соответствуют средине и концу восьмой песни.

[7] Там же, рапорт № 271, л. 162.

[8] Сопиков (ч. V, стр. 27, № 11916) не знает двух изданий и описывает только первое. При этом он ссылается на Смирдина («Роспись», СПБ, 1828, № 6917) и Геннади (Справочный словарь, Берлин, 1876, т. I, стр. 213), которые описывают вторые издания. 1-е издание, в самом деле очень редкое, имеется между прочим в Государственной Публичной Библиотеке в Ленинграде. Ср. в статье П. Н. Беркова, К истории первоначального знакомства русского читателя с Гете. В сборнике «Гете», изд. Академии Наук СССР, л., 1932.

[9] «Рапорты о пьесах, рассмотренных... в 1862 г.», л. 219. (В дальнейшем просто «Рапорты...»)

[10] Там же, л. 222 и «Рапорты... 1835 г.», л. 130.

[11] См. «Литер. прибавл. к «Русскому Инвалиду» 1837, № 34, стр. 335; ср. в статье А. Г. Горнфельда, Сцена из Фауста, «Пушкин», сочин. под ред. С. А. Венгерова, СПБ, 1908, т. II, стр. 410 и в статье С. А. В[енгерова] об И. А. Беке в «Крит.-биогр. словаре...» СПБ, 1891, т. II, стр. 384 сл.

[12] «Дело канцелярии министра народного просвещения по Главному управлению цензуры по представлению С.-Петербургского цензурного комитета о дозволении напечатать вторым изданием «Фауст», соч. Гете, пер. Э. Губера». 1858 г., № 333.

[13] «Сочинения» Э. И. Губера, изд. под ред. А. Г. Тихменева, т. II, «Фауст», трагедия Гете, СПБ, 1859. Цензурное разрешение В. Бекетова от 13 января 1859 г. В настоящей заметке, преследующей целью исключительно публикацию цензурного материала, анализ цензурных сокращений и дальнейшая история издания этого перевода «Фауста» не дается. О ней см. в настоящем номере в статье В. М. Жирмунского.

[14] «Рапорты...1834 г.», л. 201.

[15] Вот это представление: «Cette piéce est deja permise a plusieurs reprises pour la scène de St.-Petersbourg et pour d'autres theatres de l'Empire». Перевод: «Эта пьеса была уже многократно разрешена к представлению в Петербурге и других городах империи».

[16] Разрядка моя.—*С. Р.* — Там же, л. 61.

[17] Перед тем в 1837 г. «Фауст» был разрешен к постановке в Немецком театре в Риге («Рапорты... 1837 г.», л. 194), а в «Рапортах о пьесах... 1847 г.» (л. 179) находим заключение М. Гедеонова о либретто на тему «Фауст»: «Эта легенда писана

не для театра, а для концерта и должна быть исполнена г-ном Берлиоз. Она состоит из разных песен и регистров, не заключающих в себе ничего предосудительного». (Разрешено 27 февраля 1847 г.)

[18] «Рапорты... 1860 г.», л. 256.

[19] «Дело Санктпетербургского цензурного комитета» по издаваемому А. Марксом иллюстрированному переводу «Фауста» Гете. 1888, № 151.

[20] «Рапорты... 1912 г.», л. 24. В «Алфавитном каталоге изданиям на русском языке, запрещенным к обращению и перепечатке в России на 1 января 1894 г.» (СПБ, 1894. Изд. Гл. упр. по делам печати) на стр. 15 (№ 236) находим запрещение Львовского издания (ч. 1 «Фауста», 1882 г. в переводе Ив. Франко).

[21] «Рапорты... 1889 г.», л. 55.

[22] В переводе Холодковского эти строки звучат так:

Упрямый бюргер за стенами
И рыцарь в Каменном гнезде
Сидят себе, смеясь над нами,
И нас не слушают нигде...

[23] Там же, л. 148—149.

[24] Беспрепятственно разрешались к печати лишь совершенно нейтральные отрывки вроде «Песни Клары». Перевод этого отрывка см. в «Деннице» 1838 г., стр. 64 (*то же в сочинениях Д. Веневитинова, изд. 1831 г. Там же «Сцена из «Эгмонта»*). См. еще в стихотворениях А. Струговщикова (1845 г., стр. 83 и 85) и др. Полный перевод «Эгмонта» в «Сочинениях В. Гете», изд. 1865 г., т. 11; переп. в «Европ. театре» П. Вейнберга в 1875 г., т. I.

[25] «Журнал заседаний Санктпетербургского цензурного комитета», 1806 г., л. 204—205. Цит. по М. И. Сухомлинову, Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. I, СПБ, 1889, стр. 436. От Сухомлинова без указания источника эта цитата перешла к А. М. Скабичевскому, Очерки истории русской цензуры, СПБ, 1892, стр. 166, а от Скабичевского—к Н. В. Дризену, Материалы к истории русского театра, М., 1905, стр. 125.

[26] № 38764. К. I. 317. 1805—1811 гг., лл. 521 об.—523. Ср. «Описание дел архива министерства народного просвещения». Под ред. А. С. Николаева и С. А. Переселенкова, т. II, П., 1921, стр. 13—14.

[27] Дело № 365 (К. 5991, № 147228) по представлению Санктпетербургского цензурного комитета о переводе трагедии «Граф Эгмонт» соч. Гете. 24/XI—12/XII 1832 г.

[28] См. И. А. Шляпкин, Из неизданных бумаг А. С. Пушкина, СПБ, 1903, стр. 93, 167, 168; Пушкин, Соч. под ред. П. А. Ефремова, т. VIII, стр. 540. Переписка, акад. изд. под ред. В. И. Саитова, т. III, стр. 23—24; П. Е. Щеголев, Заметки о Пушкине. Изв. 2-го отд. русск. яз. и слов. Акад. Наук, 1903 г., т. VIII, кн. 4. П. Е. Щеголев датирует это прошение временем до 18 августа 1833 г. В Центрархиве сохранились лишь документы, касающиеся первых двух частей, проходивших цензуру без задержек. См. «Дело № 9 по отношению разных мест с препровождением на рассмотрение рукописей и книг...», л. 33 и сл. и «Дело № 1 1834 г., л. 42 и сл. Ср. еще в статье В. М. Жирмунского в этом номере.

[29] См. «Дело собственной е. и. в. канцелярии по III Отделению, 5-й экспедиции, № 3, 1860 г. о пьесе «Эгмонт». К письму приложена афиша на немецком языке городского театра в Риге, свидетельствующая о том, что «Эгмонт» шел там 11 декабря 1860 г. (л. 7). Это специально посвященное «Эгмонту» дело было неизвестно Дризену, вообще использовавшему материал театральной цензуры в своей книге крайне случайно и несистематично.

[30] «Рапорты о пьесах... 1860 г.», лл. 258—259. Везде разрядка подлинника.

[31] «Рапорты... 1860 г.», л. 257 и сл. На письме Адлерберга рукой шефа жандармов В. А. Долгорукова положена следующая резолюция: «Согласно с этим мнением отвечать Сабурову, не упоминая ни о пьесе, ни о подробностях содержания его отношений, что я, к крайнему сожалению, при всей готовности моей делать ему угодное, нахожусь в невозможности исполнить желание, выраженное им в означенном отношении 27 декабря». Составленный в духе этой резолюции проект ответа Сабурову находится в названном деле III Отделения и воспроизводится в настоящей статье.

[32] Перевод цит. по книге Н. Дризена, стр. 211—212.

[33] Там же, стр. 283—284.

[34] Цитированное выше дело III Отделения, л. 11 и сл.

[35] «Рапорты... 1901 г.», л. 20 и 21.

[36] «Рапорты... 1883 г.», л. 41 и сл. Ср. аналогичную формулировку относительно «Фауста» в гл. 2.

[37] «Дело по представлению попечителя Санктпетербургского учебного округа о стихотворении «Горные вершины» и «Баядера», 1831 г., № 429.

[38] Насколько мне известно, стихотворение Ставелова так и не увидело света. Перевод Розена, найденный в его бумагах в Историческом Музее, печатается в настоящем номере.

[39] «Подожди немного
Отдохнешь и ты»—в переводе Лермонтова.

[40] «Московский Наблюдатель» 1838 г., ч. XVI, стр. 39, пер. П. Петрова; ценз. разр. В. Булыгина от 11 апреля 1838 г. и ч. XVII, стр. 16, пер. К. Аксакова; ценз. разр. И. Снегирева от 11 июня 1838 г.

[41] «Русский Вестник» 1867 г., т. 71, стр. 259—262.

[42] В подлиннике заглавие «Der Gott und die Bajadere». См. собрание сочинений А. К. Толстого (изд. 1876 г., т. II) и примечания С. А. Венгерова к полн. собр. сочинений в издании А. Ф. Маркса. СПБ, 1907, т. I, стр. 525. Есть и более поздние переводы легенды, см. напр. в «Деле» за 1870 г., № 7, стр. 158—160 «Баядерка», пер. Д. Минаева или в «Афишах и объявлениях» 1884 г., № 376 от 20 мая «Магадег и баядера», пер. А. Г.; были кроме того и отдельные оттиски этого перевода.

[43] «Рапорты... 1862 г.», л. 221.

[44] «Дело Санктпетербургского цензурного комитета о рукописи... 2. «Жизнь Гете Д. Льюиса», 1865, № 114. «Книга вышла в 1867 г. О том же в «Журнале заседаний Санктпетербургского цензурного комитета» от 1 декабря 1865 г.

II. КНИГИ ГЕТЕ И «КОМИТЕТ ЦЕНСУРЫ ИНОСТРАННОЙ»

1

Проникновение в Россию иностранной книги с 1828 г. зависело от особого Комитета цензуры иностранной, учрежденного при Главном управлении цензуры. С 1815 по 1828 г. иностранные книги рассматривались Цензурою при министерстве полиции, но это был, так сказать, доисторический период существования иностранной цензуры: материалы, относящиеся к этому времени, сравнительно скудны, и в самой постановке дела не было отчетливой системы—начиная от делопроизводства и кончая принципами оценки чужеземных авторов. Цензура при министерстве полиции рассматривала только особо сомнительные книги, доставленные с пограничных пунктов местными таможенными цензорами. О большом количестве книг, не обративших на себя внимание местных цензоров и благополучно пропущенных, сведений вовсе не сохранилось.

Иностранная цензура вступает в исторический период своего существования лишь после издания Устава о цензуре 1828 г. Лишь начиная с этого года, мы видим полную и подробную картину судеб иностранной книги в России; лишь с этого года имеются точные сведения о всех книгах, проходивших через цензуру (как запрещенных, так и дозволенных к продаже).

В общем положение в России иностранной книги было более благоприятно, чем положение книги русской, еще в рукописи поступавшей на предварительную цензуру. Конечно в иностранном произведении, возникшем в особых, далеких от России, более свободных условиях, могло быть много такого, что не встретилось бы в сочинении русского автора, писавшего в русской обстановке и учитывавшего возможность цензурных препятствий для своей книги. Доза революционного яда в книге иностранной всегда могла оказаться неизмеримо большей, чем в отечественном произведении времен Николая I. Но этот яд выступал в гораздо более откровенном, заметном виде, и потому со стороны цензуры иностранной большей частью не проявлялось такого настороженного и подозрительного отношения к мелочам (якобы скрывающим опасный смысл), какое часто наблюдается в истории внутренней цензуры XIX века.

В частности цензурная судьба гетевских подлинников, проникавших в Россию, была в общем более благоприятной, чем судьба русских переводов из Гете. Запрещения, которым на исходе XVIII в. подверглись со стороны рижского цензора Ф. О. Туманского отдельные тома сочинений Гете, в цензурной судьбе подлинного Гете остались единственным и неповторимым фактом.

Однако отдельные моменты гетевского наследия встречались русской цензурой с известной подозрительностью и позднее.

Так в 1834 г. у рижского цензора Граве возбудили сомнения два места в третьем и четвертом томах «Переписки Гете с Цельтером» («Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832. Herausgegeben von Dr. Friedrich-Wilhelm Riemer. Berlin, 1834). В своем рапорте от 20 июня 1834 г. он доносил:

«Эта переписка содержит сообщения личного характера о предметах литературы и искусства, преимущественно о произведениях того и другого, известия о небольших поездках, совершаемых Г. Цельтером, замечания по поводу интересных лиц и происшествий. Лишь немногие слова должны быть приведены. См. т. III, стр. 268 и 269, где Гете смеется над выражением: «побелевший в крови христовой», найденным им в стихотворении Вернера, которое он называет «сонетом сумасшедшего»—выражением однако библейским. В т. IV, стр. 267 речь идет о большом наводнении в С.-Петербурге, и Гете говорит: «С тех пор, как великое несчастие сделало очевидным неудачное местоположение громадного города, я невольно думаю об этом положении, если только барометр начинает опускаться (стр. 268), больше всего ночью, когда буря шумит моими соснами. Когда люди, вынужденные необходимостью, подобно венецианцам, селятся в болоте, или подобно первым римлянам, по случайности основываются на плохо выбранном месте, то это понятно; но по доброй воле причинить величайшее бедствие своим подданным, как это сделал великий император,—это слишком печальное следствие принципа безусловной монархии. Старый рыбак, по преданию, предостерегал его, говоря, что это не место для города...

Комитет должен будет решить, следует ли уничтожить эти строки»[1].

Комитет разрешил сомнения цензора, позволив книгу целиком. В журнале заседания № 38 от 13 сентября 1834 г. сказано:

«Комитет, по рассмотрении этих сомнительных мест, нашел, что приведенные в оных изъяснения Гете как частные мнения иностранного писателя не могут произвести на читателей в России вредного впечатления и потому *положил*: 3-й и 4-й томы «Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter» позволить в целости»[2].

2

Вообще внимание цензоров в материалах о Гете останавливали не столько суждения политические (и не эти суждения играли решающую роль при определении позволительности или непозволительности книги). Места, отмеченные цензурой, относятся к другой категории. Это—высказывания, в которых выразилось недоверчивое и ироническое отношение Гете к священному писанию, к библейской традиции, к вопросам христианской веры, где вопросы эти рассматривались в свете естественно-научной правдоподобности, исторической критики и понятий современной поэту философии.

Характерен в этом смысле рапорт Г. Д. Дукшинского о «Разговорах Гете с Экерманом в последние годы жизни, 1823—1832» («Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, 1823—1832». Von J. P. Eckermann, Leipzig, 1836):

«В течение нескольких лет будучи почти ежедневным посетителем Гете и пользуясь его дружественным расположением, Экерман держал род журнала беседам своим с сим знаменитым человеком и сообщает ныне оные публике с присовокуплением некоторых сведений о себе и о домашней жизни Гете. Читатель найдет в сей книге суждения Гете о разных предметах, преимущественно же о литературе, но системы и порядка ждать не должен; это просто собрание разговоров и писем различного времени, интересное по литературной славе автора. В цензурном отношении следующие места обращают на себя внимание:

«Ч. 1, стр. 119. «Обращаясь к французским газетам, Гете сказал: «Либералы могут говорить, ибо всяк слушает их с удовольствием, когда они говорят рассудительно; но роялистам, имеющим в руках исполнительную власть, рассуждать вовсе неприлично, они должны действовать. Их дело посылать войска, гилиотинировать и вешать, слова нет, но в публичных местах опровергать мнения и оправдывать принимаемые меры, это уже им не идет вовсе. Еслиб публика составлена была из государей, о, тогда можно бы им было отличаться».

«Ч. 2, стр. 21. «Разговор зашел о том, должно ли принимать, что все люди происходят от одной четы Адама и Еввы? Г-н Марциус держался предания, изложенного в Св. Писании, и как естествоиспытатель доказывал оное тем, что природа действует в своих произведениях весьма экономически. «Я должен противоречить этому мнению, возразил Гете, и утверждаю, что природа, напротив того, является всегда изобильною и расточительною. Посему гораздо сообразнее с природою полагать, что она вместо одной бедной четы начала вдруг производить людей дюжинами и сотнями. Когда земля достигла известной точки зрелости и по стечении вод позеленела, тогда наступило время образования человека; и люди начали образоваться

всемогуществом Божиим везде, где земля дозволяла, и может быть прежде всего на возвышениях. Я нахожу такое мнение благоразумным, но почитаю совершенно бесполезным рассуждать, как это случилось». Конечно Священное Писание говорит только об одной чете людей, которую Бог сотворил в шестый день; но одаренные люди, начертавшие слово Божие, сохраненное в Библии, заняты были преимущественно своим избранным народом, и мы не отнимаем у них чести происхождения от Адама. Но что касается до нас, до Арапов, Лапландцев и статных людей еще красивее нас всех, то у нас наверно были другие родоначальники, и вы, господа, конечно согласитесь сами, что между нами и настоящими потомками Адама происходит слишком значительное в разных отношениях различие, в отношении же денег они превзошли нас совершенно».

«Ч. 2, стр. 265. «Речь зашла о Новом Завете по случаю прочитанного мною места, где Христос грядет по морю, а Петр идет ему навстречу. Не читав долго Евангелистов, сказал я, надобно всякий раз вновь удивляться нравственному величию употребляемых ими фигур. Сильное впечатление на нравственную силу воли заключает в себе некоторый род категорического повелительного (т. е. категорического императива.—*А. Ф.*).—Особенно же, сказал Гете, категорическое повелительное веры, которое простерто Магометом еще далее.—Впрочем, сказал я, если присмотреться ближе, то можно заметить, что Евангелисты наполнены отступлениями и противоречиями, и их книги вероятно подверглись дивным случаям судьбы, прежде нежели соединены были в настоящем их виде.—Историческое и критическое исследование сего предмета, отвечал Гете, есть неисчерпаемое море; лучше всего держаться того, что у нас есть действительно, и заимствовать из сего то, чем можно воспользоваться для нравственного своего образования и укрепления. Впрочем не худо познакомиться с местным расположением, и для сего я не могу рекомендовать вам ничего лучшего, как сочинения Рера о Палестине».

«Мы представляем об исключении двух последних мест при выпуске сей книги в публику, почитая оные противными § 3 Устава, первое же место как относящееся до французской публики полагаем возможным позволить» [3].

Ссылка на § 3 Цензурного устава 1828 г. относится несомненно к пункту «а» этого параграфа:

«Произведения словесности, наук и искусств подвергаются запрещению Цензуры на основании правил сего Устава: а) Когда в оных содержится что-либо, клонящееся к поколебанию учения Православной церкви, ее преданий и обрядов, или вообще истин и догматов христианской веры»...

Комитет цензуры иностранной и Главное управление цензуры согласились с мнением Дукшинского, и «Разговоры с Экерманом» были позволены «для публики по исключении только предосудительных мест на страницах 21 и 265 второй части, о чем объявлено Комитету предложением Г. Министра Народного Просвещения от 9 Ноября 1836 года № 372».

3

Если здесь с точки зрения цензуры представляли опасность мнения уже старого и сановного Гете, то в другом случае аналогичная опасность представилась в книге с материалами о Гете молодом, о Гете франкфуртского периода. Дело шло о книге Генриха Деринга «Гете во Франкфурте-на-Майне» («Goethe in Frankfurt am Main» или «Zerstreute Blätter aus der Zeit seines dortigen Aufentrhaltes in den Jahren 1757 bis 1775». Gesammelt von Dr. Heinrich Döring. Jena, 1839). Г. Д. Дукшинский писал в своем рапорте:

«В этой книжке собраны мелкие сочинения Гете в стихах и прозе, писанные им во Франкфурте, с присовокуплением в конце суждений о некоторых важнейших его произведениях.

«Ценсурою не могут быть одобрены: Послание к одному пастору о веротерпимости на стр. 5—24, Статья под заглавием Два важные, доселе неисследованные библейские вопроса, ныне в первый раз основательно разрешенные—стр. 24—39 и место на стр. 77.—

«В послании автор основывает веротерпимость на разрушении главных начал христианской веры и введении вместо религии совершенного равнодушия к положительным ее учреждениям.—В статье о библейских вопросах доказывает, 1, что заповеди не были написаны на каменных скрижалях, Моисеем полученных, и что мнение о том основано на заблуждении сочинителя книги Моисея и, 2, что говорить различными языками (способность, дарованная Апостолам), не значит объясняться на них, а только сообщать восторжение духа.—

«Чтобы дать ближайшее понятие о предосудительности статей, приведем собственные слова автора:

«...стр. 16. «Богословы чудные люди. Они требуют невозможного: из христианской религии сделать вероисповедание. Уже Петр думал, что в Посланиях Павла есть много непонятного, а Петр был не то, что наши суперинтенденты. Он прав, Павел писал вещи, которых вся христианская церковь in corpore до нынешнего дня не понимает. Страшно и подумать приводить в систему все, что есть в Библии»...

«Стр. 17. «Нет сомнения в том, что при учреждении причастия ученики принимали хлеб и вино точно так, как реформированная церковь; ибо учитель сидел вместе с ними, они обещали повторять то же в его память, потому что его любили, и Христос более не требовал ничего. Поистине Иоанн, лежавший на его лоне, не имел надобности в хлебе, чтобы удостовериться в личном присутствии Господа; словом, у учеников кружилась вероятно голова весь вечер, ибо они не поняли ни одного слова...»

Goethes neue Schriften. Sechster Band. Berlin 1796. а подъ другимъ титуломъ: Wilhelm Meisters Lehrjahre vierter Band.

Безусловное утвержденіе будто блаженство наше состоитъ въ томъ, чтобы всѣми силами достигать того, что намъ справедливымъ и хорошимъ кажется, противно правиламъ истинной мудрости: чтобъ во всѣхъ своихъ

Начало рапорта цензора Ф. О. Туманского, предполагавшего запретить „Вильгельма Мейстера" Гете

Рапорт сохранился в деле „Канцелярии генерал-прокурора Правительствующего Сената, донесение цензур Рижской, Московской, Санктпетербургской и др." 1797 г.

Ленинградское отделение Центрархива

«Подобные же вещи можно читать еще на стр. 11, 15, 18, 28, 29, 33 и т. д. Мы думаем, что это достаточно доказывает предосудительный дух статей и потому на основании § 78 Устава представляем о запрещении книжки, так как упомянутые статьи занимают почти половину оной» [4].

«Комитет, соглашаясь с мнением Г. Цензора, положил: запретить эту книжку для публики по требованию §§ 3 и 78 Устава о цензуре».

Параграф 78-й, на который (так же, как и на § 3) здесь сделана ссылка, гласил: «Из книг духовного содержания подвергаются запрещению все те, кои заключают в себе умствования и мнения, противные главным началам Христианской веры, или опровергают учение Православной Церкви, или же ведущие к безбожию, материализму, неуважению Священного Писания и т. п.»

4

Если художественное творчество Гете и фактические данные его биографии не являлись одиозными в глазах иностранной цензуры, то выводы, которые из этих данных и из самих произведений делались комментаторами, те мнения, которые высказывались по поводу них, могли приобрести непозволительный характер. В январе 1833 г. на рассмотрение Комитета поступила книга «Размышления о поэзии

и философии Гете и его неизбежном переходе от натурализма к рациональному христианству, посвященные достойному старцу одним из его искреннейших почитателей» («Reflexionen über Goethe's Poesie und Philosophie und dessen naturnotwendigen Uebergang vom Naturalismus zum rationalen Christianismus. Dem würdigen Greis selbst vorgelegt von einem seiner aufrichtigsten Verehrer». Altenburg. 1832). Привожу рапорт (Г. Д. Дукшинского):

«Излагая краткое понятие о духе сочинений Гете, автор сей брошюрки доказывает, что сей писатель при вступлении на литературное поприще обнаружил решительное стремление к материализму, но мало-по-малу изменил образ мыслей и в зрелом возрасте и старости сблизился с христианскою философиею. Оправдывая при сем Гете против делаемых ему упреков в безбожии, он показывает, что сей вдохновенный поэт и философ не мог следовать примеру умов обыкновенных и, склонясь к христианской вере, должен был избрать лучшую и основательнейшую систему, то-есть систему рационализма.

«Нижеприводимые места удостоверяют, что автор не только одобряет, но и разделяет вполне убеждение Гете, почему книжка сия и подлежит, по нашему мнению, запрещению...

...Стр. 78. «Я не могу порицать и упрекать вас [Гете] в том, что вы не хотели изъявить обыкновенным образом вашей веры, приобретенной путем необыкновенным, что вы не посещали церковь, не участвовали в причащении, ибо вы не нуждались или полагали, что не нуждаетесь в сих духовных упражнениях, подобно обыкновенным христианам»... [5]

Книга была подвергнута запрещению.

Что явствует из этих примеров?

Из сопоставления цитируемых «предосудительных» мест с содержанием §§ 3 и 78 Цензурного устава, на которые сделана ссылка, обнаруживается отнюдь не случайный характер цензорских опасений и подозрений. Уже рассуждения о веротерпимости или о библейских вопросах делали Гете неблагонадежным в мнении цензуры. Даже фразеология была подозрительно скептическая: «одаренные люди, начертившие слово божие» (о евангелистах—в «Разговорах с Экерманом»); сопоставление христианства с мусульманством по поводу категорического императива (там же), замечание о том, что у «учеников вероятно кружилась голова» (в книге Деринга), и т. д. Даже вполне традиционные выражения вроде фразы о том, что «люди начали образоваться всемогуществом божиим», оказывались в таком контексте, который совершенно нейтрализовал их.

Попытки же комментаторов и апологетов доказать или оправдать «христианство» Гете достигали с точки зрения цензуры совершенно противоположного: они скорее способствовали представлению о поэте как о скептике, как о «великом язычнике». Если мировоззрение Гете, выраженное в его стихах, драмах и прозаических вещах, еще являлось приемлемым, то раскрытие этого мировоззрения и его истолкование выходили за пределы дозволенного. То, чего не договорил Гете, не должны были, по мнению цензуры, опубликовывать или договаривать комментаторы, не должны были настаивать на этом.

В данном отношении очень любопытна цензурная судьба, постигшая много позднее—уже в 1852 г.—один из комментариев ко второй части «Фауста»—книгу Г. Дюнцера «Goethe's Faust. Zum erstenmal vollständig erläutert. Zweiter Teil. Leipzig. 1851». Чтобы правильно оценить факт запрещения этой книги, нужно конечно учесть и время, к которому оно относится,—время семилетнего цензурного террора, время бутурлинского комитета и максимального обострения реакции.

Вторая часть «Фауста» была беспрепятственно пропущена цензурою в составе I тома посмертного издания сочинений Гете (в 1833 г.). Что касается комментария Дюнцера, то многие места, в числе прочих приведенные в цензорском рапорте и послужившие основанием к запрету, были почти что пересказом трагедии, всего лишь изложением отдельных ситуаций; лишь порой подчеркивалась, выделялась та или иная деталь. Вот рапорт об этой книге (от 8 апреля 1852 г.), принадлежащий перу цензора Л. Роде:

«Сочинение, второй том которого служит предметом настоящего донесения, представляет комментарий к драматической поэме «Фауст». Первый том этого комментария касается первой части названной поэмы; он дозволен цензурой. Что до второго тома, относящегося ко второй части поэмы, то в нем есть вещи, которые мы считаем нужным представить на суд Комитета...»

Затем цензор приводит целый ряд пространных цитат, подчеркивающих социальные мотивы и раскрывающих отдельные положения второй части «Фауста» в соци-

ально-историческом плане. Опуская некоторые из этих цитат, привожу наиболее показательные места рапорта Л. Роде:

Стр. 30—69. «Глава, занимающая эти страницы, озаглавлена словом «Mummenschanz», что означает маскарад. Фауст и Мефистофель прибыли ко двору римского императора. Какого, не сказано; во всяком случае это император средневековый, и поэт рисует его юношей, который, вместо того чтобы серьезно и добросовестно править государством, пользуется своей неограниченной властью только затем, чтоб наслаждаться жизнью, и проводит время в удовольствиях и развлечениях, убаюкиваясь однако при мысли, что он любим своим народом и что народ счастлив под его скипетром,—заблуждение, в котором еще укрепляют его министры и вообще льстецы. Как бы то ни было, автор разбираемой книги, истолковывая эту часть поэмы, пытается показать, что поэт между прочим желал в ней выразить бедственность такого порядка вещей и несчастные последствия, вытекающие из него, и по этому поводу встречаются следующие семь мест:

Стр. 58. «Конец маскарада представляет намек на революцию, разразившуюся по вине правителя и окружающих его и являющуюся противоположностью мудрого правления, которое представлено в образе Победы, богини деятельности во всех смыслах...»

Стр. 60. «Не требуется большой проницательности, чтобы понять, что под маской сатира здесь выведен легкомысленный ум монарха, который злоупотребляет своей властью, считает народ за породу, лишенную силы и могущества, обреченную рабству и не имеющую никакого права на свободу и на независимое развитие».

Стр. 62. «Если фавны, сатиры и гномы изображают пороки, которыми монарх губит свое могущество, а именно жажду чувственных наслаждений, оскорбительное презрение к народу и корыстолюбие, никогда не останавливающееся перед тем, чтобы попрать права, то великаны спутники Пана изображают лживых советчиков престола, нисколько не заботящихся о развитии и духе народа, который, правда, может быть угнетаем некоторое время, но не может навсегда застыть в рабстве, стремящихся попрать ногами все, что противится неограниченной власти, непреклонной и руководимой одним эгоизмом...»

Стр. 66. «Мы останавливаем здесь внимание на словах Гете о том, что каждая великая революция является следствием не вины народа, а вины правительства».

«...Меж тем как император и его советники верят коварным словам Мефистофеля, что нужны только деньги и что государство стало бы счастливым, как только удалось бы их раздобыть,—Фауст, напротив, показывает нам, что благосостояние империи может быть лишь следствием разумной деятельности, что монарх, служащий лишь собственным эгоистическим целям и угнетающий народ, который он призвал сделать счастливым, только подготовляет бурное сотрясение существующего строя...»

Стр. 125. «Слыша упоминание о городе Фарсале, где Цезарь одержал великую победу над Помпеем, Мефистофель вспоминает многочисленные бои за освобождение народа, где по большей части сражаются лишь тираны против тиранов, а дело свободы, за которое якобы бьются, служит лишь поводом, которым тираны с большей или меньшей ловкостью умеют пользоваться, чтоб поднять народ для собственных целей...»

Стр. 321. «Не колеблясь, император приписывает победу всемогущему богу и приказывает петь Te Deum. Здесь поэт бичует сатирой странный обычай—запевать в честь царя небес Te Deum laudamus после кровавой битвы, в которой победа часто одерживается средствами, весьма достойными осуждения, например изменой и коварством, и, несмотря на то, что война всегда есть несчастие, празднество дьявола...»

Заключение цензора было однако вполне благоприятно для книги: он считал ее позволительной, если не в целости, то во всяком случае по исключении предосудительных мест:

«Относительно мест, указанных на стр. 58, 59, 60, 62, 65, 66 и 68, мы должны заметить, что речь идет очевидно о Римской империи средних веков, империи, чьи установления разумеется менее всего годились, чтобы служить примером, и где порядок слишком часто сменялся беспорядком; что следовательно речь идет не о государстве вообще или государях вообще, а лишь об одном государе, который, предаваясь наслаждениям, не исполняет своих обязанностей главы государства. Поэтому мы держимся того мнения, что следовало бы позволить главу «Mummenschanz» в целости, тем более, что она находится в сочинении очень серьезного характера и отнюдь недоступном всякому. Уже вторая часть самой поэмы такова, что находит мало читателей, и мы полагаем возможным утверждать с полной уверенностью, что даже большая часть многочисленных обладателей полного собрания сочинений Гете не читала ее. То же самое в еще большей мере относится к этому

комментарию, который, мы не думаем ошибиться, найдет покупателей лишь среди немногих из числа ультрапоклонников великого поэта. Однако приведенные места— несколько щекотливого свойства, и вот почему мы воздерживаемся от окончательного суждения... В случае, если Комитет не разделит нашего вышеизложенного мнения, мы считаем, что будет достаточным исключить лишь стр. 58—68.

«Что до других мест, о которых мы говорили в этом рапорте, то мы не находим их особенно опасными, и от Комитета будет зависеть пропустить и их, позволяя всю книгу в целости».

Комитет однако обманул ожидания Л. Роде: вместо того чтобы позволить ее в целости или хотя бы с исключением отдельных мест, он запретил ее целиком. Решение его сформулировано так:

«Комитет, рассмотрев приведенные Г. Цензором места, нашел, что оные не могут воспользоваться снисхождением Цензуры и, по множеству их, признал за лучшее весь второй том сочинения Дюнцера «Goethe's Faust» запретить для публики, не подводя впрочем сего запрещения под статьи Уложения о наказаниях».

Еще один мелкий штрих к цензурной «критике» «Фауста». Самая трагедия была дозволена. Но в одном рапорте 1839 г. (донесении цензора Соца о драме Жорж Занд «Семь струн лиры») вскользь, ради сравнения, упоминается трагедия Гете. О произведении Занд «Les sept cordes de la lyre» Соц, изложив ее сюжет, представляющий некоторые черты сходства с «Фаустом», отозвался, что

«эта волшебно-мистическая драма отличается от известного произведения Гете отсутствием сцен, оскорбляющих благопристойность»...

А. Федоров

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Рапорты ценсурных комитетов в Одессе, Вильне и рижских ценсоров» 1834, № 649, л. 203. Оригинал рапорта писан ломаным французским языком, которым в своих донесениях считал нужным изъясняться цензор Граве и который местами (в первой фразе) затемняет смысл; имеется ряд синтаксических ошибок, неудачных оборотов, неуместно выбранных слов. Цитаты из немецкой книги тоже даны по-французски.

[2] Журналы заседаний Комитета ценсуры иностранной в СПБ, 1834, л. 199.

[3] Рапорты Комитета ценсуры иностранной в СПБ, 1836, т. II, № 911, лл. 386 — 388.

[4] Рапорты Комитета ценсуры иностранной в СПБ, 1839, т. II, № 1104, лл. 360 — 361.

[5] Рапорты Комитета ценсуры иностранной в СПБ, 1833, т. I, № 17, лл. 33 — 34.

[6] Рапорты Комитета ценсуры иностранной в СПБ, 1852, т. I, № 488, лл. 728 — 731.—Перевод с французского языка, на котором писал всегда свои рапорты цензор Л. Роде.

[7] Журналы заседаний Комитета ценсуры иностранной за 1852 г., лл. 115—116, журнал заседания 8 апреля № 15.

[8] Рапорты Комитета ценсуры иностранной в СПБ, 1839, т. II, № 917, л. 168. Помимо указанных изданий Гете рижская цензура столкнулась и с Гете-журналистом. В августе 1797 г. ею были запрещены издаваемые Шиллером при ближайшем участии Гете сборники «Horen», при чем среди других «недозволительных» произведений в одной книге «Horen» (№ 1 за 1795 г.) цензурой отмечена гетевская вводная новелла к «Беседам немецких эмигрантов». Разыскания об этом сделаны т. Морозовым.

СООБЩЕНИЯ

ЭПИГРАММЫ МАРКСА О ГЕТЕ

Публикуемые ниже эпиграммы Маркса, относящиеся к Гете и Шиллеру, по-русски печатаются впервые. По-немецки они вышли во втором полутоме международного издания собрания Маркса и Энгельса [1]; они составляют часть объемистой тетради стихов, которые Маркс писал в зимний семестр 1836/37 г., будучи студентом Берлинского университета; тетрадь эту он послал отцу к пятидесятилетию со дня его рождения «как слабый знак детской любви».

Литература и искусство играли большую роль в развитии молодого Маркса. Как показывает сохранившаяся переписка Маркса с родителями, отцу его казалось, что удачное художественное произведение, написать которое он в течение ряда лет уговаривал сына, является прекрасной рекомендацией при вступлении в свет и для начала карьеры ученого или общественного деятеля. И Маркс-студент действительно, следуя указаниям своего отца, написал и сохранившуюся вышеназванную тетрадь со стихами и набросками драмы и романа и (не дошедшие до нас) три тетради стихов для своей невесты Женни фон Вестфален. Эпиграммы на Гете и Шиллера написаны еще до наступления кризиса в его развитии, когда Маркс осознал, что его предназначение не в поэтическом творчестве и оставил его. В большом письме отцу от 10 ноября 1837 г., рассказывая об этом кризисе, Маркс пишет: «В конце семестра я снова обратился к музам и их пляскам, и уже в последней тетради, посланной мною вам, идеализм пробивается через вымученный юмор (Скорпион и Феликс) [2], через неудачную фантастическую драму (Ouланем), пока под конец он не превращается целиком в чистое искусство формы, по большей части без вдохновляющих объектов, без высокого парения идей. И однако только в этих последних стихотворениях блеснуло мне внезапно, как бы по удару волшебной палочки—ах, удар этот вначале был уничтожающим,—царство искренней поэзии, подобно далекому дворцу фей, и все созданное мной распалось прахом».

Как в доме родителей, так и в доме своего будущего тестя фон Вестфалена молодой Маркс воспитывался на идеях французского просвещения и немецкого классического идеализма. И вот, столкнувшись, особенно в Берлине, с убогим филистерством, ханжеской религиозной ортодоксией, мещанской эпигонской литературой, плоской тупостью и реакционностью германской общественной жизни, молодой студент в ряде эпиграмм и стихов беспощадно иронизирует над узостью и ханжеством этого филистерского мира и жестоко издевается над ним. Мишенью для своих сатирических стрел он выбрал между прочим отрицательное отношение к Гете, которое было широко распространено в кругах консервативного мещанства, особенно в 20—30-х гг.; это отношение поощрялось реакционными и церковными кругами, видевшими в Гете великого отступника от религии, «язычника», портящего своими произведениями нравы, проповедника «аморализма», либертинажа, всего чужеземного и т. д. и т. п. Главным выразителем этих антигетевских настроений был Иоганн-Фридрих-Вильгельм Пусткухен-Глянцов (1793—1834), против которого и направлено большинство эпиграмм Маркса. Лютеранский пастор Пусткухен был очень продуктивным писателем, опубликовавшим множество давным-давно забытых работ педагогического, богословского, беллетристического и исторического характера. Самой большой известностью пользовались в свое время его пародии на роман «Годы странствий Вильгельма Мейстера» Гете. За период 1821—1828 гг. он выпустил пять частей своего Анти-Гете «Wilhelm Meisters Wanderjahre» [3] и два приложения к ним, являющиеся самостоятельными книгами [4]. За этими пародиями, вызвавшими сенсацию своими резкими нападками на все прогрессивное в творчестве и мировоззрении Гете, возводившими на великого писателя обвинения в богохульстве, аморализме, «отрицании духа» и т. п., последовал целый ряд подражаний в том же духе, но результатом их явилась и большая полемическая литература. «Это произведение,—пишет проф. Людвиг Гейгер,—было встречено большим одобрением со многих сторон... Произведение это однако важно не по своей художественной ценности, но как свидетельство глубоко укоренившейся в консервативно-пиэтических кругах антипатии к Гете, нашедшей здесь свое выражение» [5]. Как образец характера и «стиля» выска-

зываний Пусткухена о Гете приведем его подытоживающую оценку из «Wilhelm Meisters Tagebuch». Обвиняя Гете в том, что он ни немец, ни грек, Пусткухен пишет: «Это пристрастие к чужеземному, это отвращение к религии, эта нравоучительная слабость и противонравственные вольности, эти художественные формуляры, эти модные переходы вкуса от чахоточной сентиментальности в Вертере (Клавиго) к шутовской естественности в Геце, условным парижским манерам в Gross Kophta, веймарской античности в Ифигении, проперциевской чувственности в элегиях, нравоучительной двусмысленности в Эгмонте, Побочной дочери, придворной иронии над мещанской жизнью в Германе и Доротее, натурфилософскому дилетантизму в Сродстве душ и т. д.—все это делает Гете исключительно символом партии прошлого столетия и как подобный символ он заслуживает ее защиты и внимания».

Если Пусткухен стал знаменосцем похода против Гете консервативно-пиэтических, мещанских и вообще реакционных кругов, то его книги, повторяем, вызвали не мало полемических выступлений и в защиту Гете. Сам Гете жестоко высмеял Пусткухена в ряде ксений; из работ крупных писателей того времени, давших резкую отповедь «фальшивому Гете», т. е. Пусткухену, можно отметить две статьи Грильпарцера, новеллы Тика, работы Иммермана и Варнгагена фон Энзе. Особое возмущение нападки Пусткухена вызвали в берлинских либерально-буржуазных литературных кружках, в которых царствовал культ Гете (Варнгаген и Рахиль фон Энзе). Молодой студент Маркс, приехавши в Берлин, ознакомился повидимому с книгами Пусткухена в связи с все еще продолжавшейся тогда полемикой и написал под ее влиянием помещаемые ниже эпиграммы. Они не имеют особой художественной ценности, но все же являются небезынтересным документом для биографии и развития мировоззрения молодого Маркса, когда он критиковал реакцию и мещанскую пошлость еще с высот немецкой классической литературы.

Эпиграммы публикуются в переводе О. Румера.

Ф. Шиллер

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Marx-Engels, Gesamtausgabe, I Abt., 1 Bd., 2 Halbband, Berlin 1929, S. 43—45. Русский перевод этих стихов и набросков драмы и романа будет опубликован в одном из ближайших номеров «Литературного Наследства».—*Ред.*

[2] Название наброска романа.

[3] «Wilhelm Meisters Wanderjahre». Quedlinburg und Leipzig, Gottfried Basse, 1821—1822.

[4] «Wilhelm Meisters Tagebuch». Ibid.,1822; u. Gedanken einer frommen Gräfin. Vom Verfasser der Wanderjahre. Ibid., 1822.

[5] Prof. Dr. Ludwig Geiger, Goethe und Pustkuchen. 2 Aufl. Berlin, 1914, S. 43.

[ЭПИГРАММЫ]

* * *

А Гете любит красоту сверх меры:
Ему милее черни лик Венеры;
Хоть образы из жизни он берет,
Он их возносит до таких высот,
Что все они, их все переживанья
Душевное теряют содержанье.
Нам с Шиллером уж больше по пути:
По крайней мере, у него найти
Мы можем в строчки влитые идеи,
Понять их смысла, правда, не умея.

ПУСТКУХЕН

1

Поэтом Шиллер был бы хоть куда;
Знал Библию он плохо,—вот беда!

VIII [illegible]

[illegible]

Автограф эпиграммы Маркса „Пусткухен“
Институт Маркса-Энгельса-Ленина, Москва

В своем он «Колоколе» к сожаленью
Не посвятил ни строчки вознесенью;
А в драме «Валленштейн»—ведь вот обида!—
Ни слова нет о подвигах Давида.

2

Для женщин Гете—мерзости сосуд:
Что для себя старушки в нем найдут?
Глаза его в природу проникали —
Увы! — без помощи очков морали;
Ему бы катехизис изучать,
Чтобы в стихи его перелагать!
Прекрасного у Гете, правда, много,
Но нет признания: «Оно от бога».

3

За что возносят Гете до небес?
Кто радуется этому? Лишь бес.
Он проповеди дал ли что церковной?
Нет, низменен был строй его духовный.
В нем нет ядра, в нем все один обман;
Чему он мог бы научить крестьян?
Печати гения лишен он без сомненья:
Он не был тверд в таблице умноженья.

4

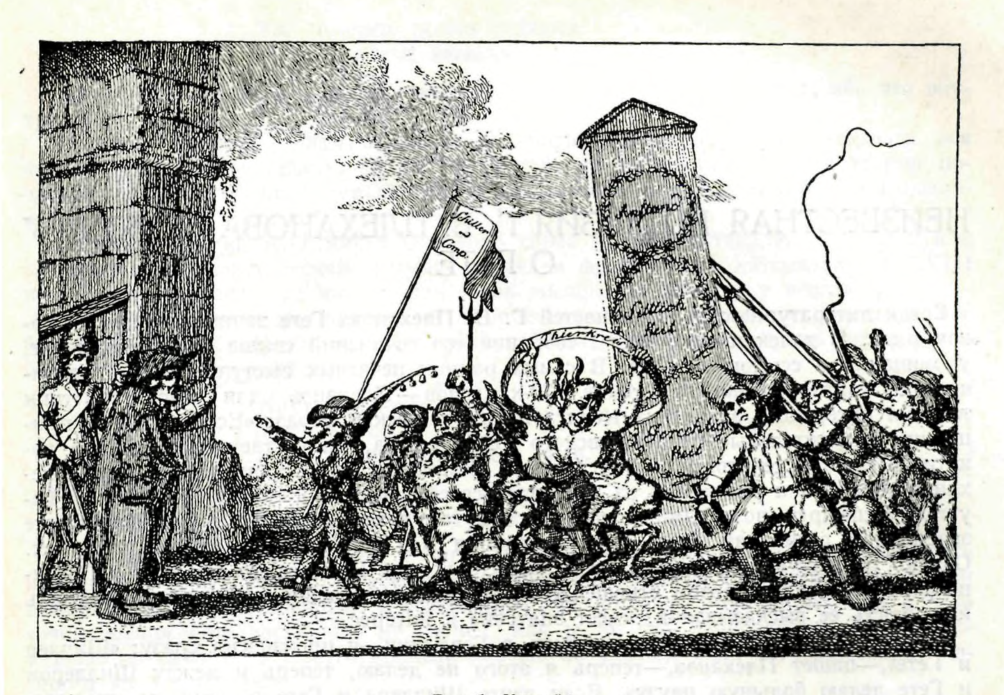
В действительности Фауст повесой был;
Его историю нам Гете извратил.
Распутством мерзким и игрой картежной
Вогнав себя в долги, сей муж безбожный
На господа надежду потерял
И гибели скорейшей возалкал.
Тогда, предвидя злые муки ада,
Решил он, что умом раскинуть надо:
В чем нашей жизни смысл, что смерть сулит,
Что человеку знание дарит,—
И наболтал с три короба об этом
В туманных фразах, свойственных поэтам.
Что ж, разве Гете показать не мог,
Как беспощаден с должниками рок,
Как жизнь людей, лишившихся кредита,
Безжалостно и навсегда разбита?

5

Фауст смеет размышлять в пасхальный день,—
И Сатане возиться с ним не лень?
Ведь все равно: кто в Пасху размышляет,
Себя на муки ада обрекает.

6

К тому же правдоподобья в драме нет:
Ужель полиция спала б так долго?
В тюрьму попасть давно бы Фаусту след:
Ведь он удрал, не уплативши долга.



„Борьба Ксений"

Современная реакционная карикатура на Гете и Шиллера

На рисунке изображены ворота города Иены, охраняемые часовым и привратником. В ворота стремятся проникнуть Ксении, изображенные в виде сброда беснующихся, вульгарных, одетых в лохмотья существ, предводительствуемых гансвурстом. На знамени, которое несет гансвурст, написано: „Шиллер и его компания". В центре толпы — Гете в образе сатира. Он держит над собой обруч с надписью „круг зверей" (Thierkreis — серия эпиграмм в „Ксениях", вызвавших наибольшие нападки). Рядом — Шиллер в неуклюжих сапогах со шпорами; в одной руке у него кнут, которым он замахнулся, чтобы ударить, другой он ухватился за хвост Гете-сатира, держа в то же время фляжку с вином. Толпа Ксений, вооруженная копьями, вилами и дубинами, стремится опрокинуть колонну, на которой начертаны слова: Приличие, Нравственность, Справедливость (в намеренном ниспровержении этих добродетелей упрекались, как известно, „Xenien" Гете-Шиллера).

7

Кто Фауста хвалит, тот душой не чист:
Ведь сомневался этот атеист,
Что божий мир—прекрасное творенье,
Забыв, какого Моисей был мненья:
Он Гретхен-дурочку влюбил в себя,
И скрыла от него она, любя,
Что будет он в день светопреставленья
Навеки ввергнут в адские мученья.

8

«Душе прекрасной», чтобы нам годиться,
Монахинею надо нарядиться:
«Без господа преуспеянья нет!»—
Так начинает истинный поэт.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭПИГРАММА НА ПУСТКУХЕНА

Пеки ты пирожки свои и впредь,
Старайся пекарем успех иметь!
А оценить великого поэта
Не можешь ты,—да и понятно это:
Профаном был он в ремесле твоем,—
Недаром гения мы видим в нем.

НЕИЗВЕСТНАЯ РЕЦЕНЗИЯ Г. В. ПЛЕХАНОВА НА КНИГУ О ГЕТЕ

Среди литературных привязанностей Г. В. Плеханова Гете занимает место в первом ряду. В далеком от полноты собрании его сочинений свыше полусотни цитат, упоминаний и ссылок на Гете. В самых ранних печатных выступлениях—народнических корреспонденциях конца 70-х годов — Плеханов для характеристики тактики питерского заводчика Кенига нашел гетевский образ: «Если читатель припомнит защитительные речи гетевского Рейнеке-лиса, он составит себе полное понятие о смысле кениговских объяснений» [1]. Известно, как широко пользовался Плехановобразами и речениями из «Фауста»—своей любимой книги. И не только «Фауста»! Испещрен пометками почти каждый том сохранившегося в его библиотеке экземпляра сочинений Гете. Есть замечания о Гете и в его записных книжках. Однако сколько-нибудь развернутой характеристики Гете мы до сих пор у Плеханова не встречали. В этом отношении публикуемая рецензия, несмотря на сжатость и скупость ее высказываний, имеет значение и интерес.

«Когда я был молод—любят говорить в Германии—я произносил сразу: «Шиллер и Гете»,—пишет Плеханов,—теперь я этого не делаю, теперь я между Шиллером и Гете делаю большую паузу». Если взять Шиллера и Гете со стороны их классовой природы, идеологического содержания творчества, у нас все основания поставить их рядом: оба они выразили мировоззрение молодой германской буржуазии поры ее лучших дней. Но, сопоставляя их под углом зрения уровня, глубины, философской осмысленности мировоззрения, между ними нельзя—в этом Плеханов совершенно прав—не сделать большой «паузы».

Маркс и Энгельс, отдавая должное немалым заслугам Шиллера, не раз и не два отмечали метафизическо-идеалистическую основу его творчества, мещанскую узость его произведений. Они противопоставляли Шиллера Шекспиру как два противоположных метода драматургии, при чем их сочувствие было целиком на стороне Шекспира. Отвечая Лассалю на присылку его трагедии «Франц фон Зикинген», Маркс писал: «...Тебе само собой пришлось бы тогда больше шекспиризировать, между тем как сейчас я считаю шиллеровщину, превращение индивидов в простые рупоры духа времени, твоим крупнейшим недостатком» [2]. Показательно, что Маркс в том же письме наряду с Шекспиром упоминает и историческую драму Гете «Гец фон Берлихинген», вызвавшую его одобрение потому, что темой ее взят исторического значения классовый конфликт и передан в адэкватной форме [3]. Энгельс в известной статье о Гете прямо противопоставляет его Шиллеру: «Гете был слишком универсален, слишком активная натура, слишком плоть, чтобы искать спасения от убожества в шиллеровском бегстве к кантовскому идеалу» [4]. Как видим, основоположники марксизма проводили глубокую грань между Гете и кантианцем-Шиллером.

Вслед за Марксом и Энгельсом Плеханов делал «паузу» между прославленными диоскурами. Л. И. Аксельрод, вспоминая о литературных вкусах Плеханова, говорит: «Из немецкой литературы он был глубоким почитателем Гете. Шиллера не любил» [5]. Это можно проследить и по его работам, где, обращаясь в противоположность Шиллеру к Гете, Плеханов выдвигает на первый план моменты, в какой-то мере созвучные материализму. Критикуя, к примеру, гносеологию идеализма, Плеханов вспоминает известную эпиграмму Гете: «Гете чутьем гениального поэта-мыслителя лучше «трансцедентального идеалиста» Канта и даже лучше материалиста Гольбаха понял, где истина. Он сказал:

Nichts ist innen, nichts ist draussen,
Denn was innen, das ist aussen.
So ergreifet ohne Säumniss
Heilig öffentliche Geheimniss...

В переводе:

Что внутри—во внешнем сыщешь;
Что вовне—внутри отыщешь,

Так примите ж без оглядки
Мира внятные загадки.

Точный перевод первых двух стихов: «Ничто—внутри, ничто—вовне, ибо что внутри, то и вовне».

«В этих немногих словах заключается,—пишет Плеханов,—можно сказать вся «гносеология» материализма; но ни этих слов, ни материалистической теории познания до сих пор не могут понять те схоластики, которые толкуют о непознаваемости внешнего мира» [6].

В статьях против К. Шмидта Плеханов снова противопоставляет этот стих как «истинно материалистический взгляд» взглядам французских материалистов XVIII века, утверждавших, что мы познаем лишь внешность, «скорлупу вещей» [7].

Несомненно Гете здесь подошел к природе как истый диалектик; Плеханов мог бы привлечь еще строки из «Freundlicher Zuruf», где та же мысль выражена с большей силой и ясностью:

Natur hat weder Kern
Noch Schale
Alles ist sie mit einem Male.

В переводе:

«У природы нет ни ядра, ни скорлупы, она—все разом».

В полном согласии с Марксом и Энгельсом Плеханов подчеркнул и необходимость изучения Гете «в разрез с устаревшим мнением о его мнимом равнодушии к «юдоли печали и скрежета зубовного»». С сожалением надо признать, что до сих пор с этой точки зрения Гете достаточно не изучен, как и то, что марксистское литературоведение до самого последнего времени вообще не уделило Гете того внимания, которого он заслуживает.

Плеханов оговаривает, что книга Шахова также не отвечает этому требованию: автор ее не увидал многого из того, что составляет «доподлинную сущность» Гете. В равной степени книга Шахова не поможет понять, по словам Плеханова, «паузы», глубокого различия между Гете и Шиллером. Между тем, как мы только что показали, это и были два основных вопроса, на которые обратил внимание Плеханов, подойдя к Гете. Ни на один из них книга Шахова не дала удовлетворительного ответа. Спрашивается: почему же Плеханов объявил ее «прекрасной» и «замечательной» во всех отношениях»?

На наш взгляд, работа Шахова не заслуживает подобных похвал. Автор ее, А. А. Шахов (1850—1877), был типичным представителем так называемой культурно-исторической школы, русским последователем Тэна и единомышленником Брандеса. По сути его даже нельзя причислить к «шестидесятникам», как это делает Плеханов. Типичным представителем революционных демократов той эпохи—«шестидесятников», если уж употребить этот неудачный термин,—был конечно Н. Г. Чернышевский. Но Шахов никакой стороной не принадлежит к числу последователей Чернышевского. Н. Г. Чернышевский до конца дней своих был «фейербахианцем» и—вопреки мнению некоторых исследователей—«сумел остаться на уровне цельного философского материализма», Шахов же был идеалист, контианец и кантианец, считавший «Критику чистого разума» «высшим проявлением» философии времени Гегеля и Гете. Шахов сделал шаг назад от «шестидесятников».

Дюжинный позитивист, он путал диалектику со схоластикой комментаторов «Фауста»; вторая часть «Фауста» для Шахова вообще осталась за семью печатями, в чем он сам честно сознавался: «Развитие элементов этого произведения, его художественная организация для нас непонятны», писал он, добавляя, что ему «скучно следить за этими вычурными комбинациями ослабевшего воображения» [8]. Нечего сказать, «прекрасна» книга, которая сама расписывается в неспособности понять предмет своего исследования! Чем же однако объяснить комплименты, с неожиданной щедростью расточаемые Плехановым? Чем объяснить—беря шире—самый вообще интерес Плеханова к старой, полузабытой книге?

Тому есть своя причина. В явной хвале можно видеть замаскированный упрек. «У нас,—говорит Плеханов,—нет ничего равноценного этой книге о Гете. Шахов знает Гете и его время по самым непосредственным источникам...» Допустим! Но кто еще писал у нас о Гете? В том же 1908 г. появились «Очерки по истории западноевропейской литературы» В. Фриче, где в частности говорилось и о Гете. Незадолго перед ним посвящает Гете несколько статей А. В. Луначарский. И Фриче, и Луначарский, как известно,—политические и литературные противники Плеханова, шедшего в 1908 г. во главе русских меньшевиков. И в данной рецензии он

ведет, пусть не называя имен, полемику с ними. Плеханов, возможно, для того и взялся за книжку Шахова, чтобы ударить по своим противникам, и похвалы Шахову являются таким образом лишь изнанкой порицания Фриче, Луначарскому и др. Наконец—и это не последнее—Плеханову мог импонировать ученик Тэна потому, что сам он был не свободен от влияния учителя. Известно, что отношение Плеханова к буржуазным критикам и историкам литературы не всегда отличалось непримиримостью (вспомним его отзывы о Тэне, Лансоне и др.). Нельзя объяснить эту долю «либерализма» иначе, как ограниченностью литературоведческой концепции Плеханова, мешавшей ему до конца понять порочность буржуазной критики.

В заключение—два слова об «истории» печатаемой ниже рецензии. Мы извлекли ее из декабрьской книги журнала «Современный Мир» за 1908 г., где она была помещена, подписанная инициалами Г. П., в отделе библиографии. Рязанов прошел мимо нее, оставив ее незамеченной, в собрание сочинений Плеханова она не вошла, и никогда и нигде доселе указаний на нее в печати не встречалось. Как раз в годы 1905—1912 Плеханов снова обращается к вопросам искусства и литературы, часто выступает по ним, пишет ряд статей, из которых многое печатается, а еще больше оставляет незаконченным, и лишь теперь мы знакомимся с плехановскими работами той поры по его архиву. Таким образом рецензия на Шахова лежит целиком в плане тогдашних взглядов, работ и интересов Плеханова. Характерный плехановский стиль и наличие созвучных другим плехановским высказываниям мыслей не оставляет сомнений в принадлежности этой заметки Г. В. Плеханову.

И. Ипполит

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Земля и Воля», № 3 (15 января 1879). «С бумагопрядильной фабрики Кенига». См. Г. В. Плеханов, Сочинения, М., 1923, т. I, стр. 39.

[2] Письмо от 19 апреля 1859 г. См. «Маркс и Энгельс о трагедии Лассаля».— «Литературное Наследство», кн. III, стр. 16.

[3] Там же, стр. 15—16.

[4] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 140.

[5] Л. И. Аксельрод, Об отношении Г. В. Плеханова к искусству по личным воспоминаниям.—«Под знаменем марксизма» 1922, № 5—6, стр. 17.

[6] Г. В. Плеханов, Сочинения, т. VIII, стр. 387.

[7] Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XI, стр. 99.

[8] А. Шахов, Гете и его время. СПБ, 1908, стр. 263—266.

[РЕЦЕНЗИЯ Г. В. ПЛЕХАНОВА НА КНИГУ ШАХОВА «ГЕТЕ И ЕГО ВРЕМЯ»]

Это старая книга в новом четвертом издании. Но старая книга уже тем хороша, что пополняет старый, давнишний пробел в нашей литературе. Гете в России не посчастливилось. Его совсем не знают, во всяком случае, меньше, чем Шиллера. Для нас это понятно. Но на родине германских диоскуров этому бы сильно изумились. Когда я молод был—любят говорить в Германии—я произносил сразу: «Шиллер и Гете», теперь я этого не делаю, теперь я между Шиллером и Гете делаю большую паузу. К сожалению, понять необходимость этой паузы прекрасная книга Шахова нас не научит. Труд его во всех отношениях замечательный. У нас, если не ошибаюсь, нет ничего равноценного этой книге о Гете. Шахов знает Гете и его время по самым непосредственным источникам, и книга его еще долго будет нужной и полезной. Но Шахов ограничен своим временем и смотрит на Гете глазами русского шестидесятника и, конечно, не видит многого из того, что согласно новейшим данным о жизни и творчестве Гете составляло его доподлинную сущность. Гете все еще—равнодушный к делам всего мира олимпиец, не знавший ни муки, ни сомнений. Короче, книгу Шахова можно снова с благодарностью принять, но только с тем ограничением, что индивидуальность Гете должна быть заново изучена и обязательно в разрез с устаревшим мнением о его мнимом равнодушии к «юдоли печали и скрежета зубовного».

ПОМЕТКИ И. С. ТУРГЕНЕВА НА ПЕРЕВОДЕ «ФАУСТА» М. ВРОНЧЕНКО

I

В библиотеке Института Русской Литературы при Академии Наук в Ленинграде хранится поступивший из архива Полонских экземпляр книги «Фауст. Трагедия. Соч. Гете. Перевод первой и изложение второй части М. Вронченко, 1844. В привилегированной типографии Фишера. Санкпетербург». Автограф-подпись на титуле книги удостоверяет ее начальную принадлежность И. С. Тургеневу, а беглое ознакомление с многочисленными пометками и замечаниями, нанесенными на ее полях прежним владельцем, убеждает, что это был рабочий экземпляр, которым И. С. Тургенев пользовался в период писания статьи о русском переводе «Фауста» [1].

Статья была написана с необычной для Тургенева быстротой. Перевод М. Вронченко вышел в конце 1844 г., в январском номере «Отечественных Записок» 1845 г. была анонимно напечатана коротенькая о нем рецензия, обещавшая в дальнейшем подробный разбор перевода, а уже в следующей, февральской, книжке журнала появилась обстоятельная статья И. С. Тургенева. Н. Л. Бродский, установивший принадлежность Тургеневу анонимной рецензии в январской книжке «Отечественных Записок», писал по поводу быстроты появления статьи о «Фаусте»: «Блестящая характеристика германской литературы половины XVIII века, широкая осведомленность в литературе вопроса (ссылки на труды Бётхера, Ротчера, Гешеля, Фишера и др. ученых)—черты, резко бросающиеся в глаза при чтении статьи Тургенева,— все это лишний раз подтверждает исключительную образованность молодого Тургенева, способного в короткий срок дать ценный научный этюд, облеченный в яркую форму, за которой совсем не видны леса черной подготовительной работы» [2]. Быстрота, с которой была написана статья, свидетельствует однако еще в большей мере об остроте интереса Тургенева к творчеству Гете и об его осведомленности в критической литературе о немецком поэте, за которою очевидно писатель внимательно следил и ссылки на которую мог мобилизовать в короткий срок [3]. О том же говорят многочисленные пометки и записи на полях тургеневского экземпляра книги Вронченко, показывающие, что заключительная часть статьи, посвященная оценке и разбору русского текста «Фауста», была основана на очень тщательном изучении переводов и сличении его с подлинником.

Статья Тургенева о «Фаусте» явилась одной из первых крупных критических работ писателя и представляет особый интерес для установления теоретических принципов его философской художественной критики, остающейся до настоящего времени научно необследованной [4]; эта статья является одновременно знаменательным этапом в истории интерпретации трагедии Гете на русской почве. Тургенев подходил к «Фаусту» с позиций гегелианства и в ряде положений сходился с немецким критиком-гегелианцем Фр. Фишером, на которого неоднократно и ссылался как в своей статье, так и в заметках на полях русского перевода «Фауста» [5]. В задачи настоящей статьи не входит однако постановка вопроса о гегелианской интерпретации «Фауста» Тургеневым, задание ее—опубликовать наиболее значительные из заметок писателя к русскому «Фаусту», заметок, показывающих, с каким напряжением велась борьба за новую трактовку трагедии Гете. Маргиналии Тургенева представляют интерес в том отношении, что в них с большей резкостью формулированы некоторые положения его статьи. В настоящей заметке приходится остановиться только на наиболее значительных маргиналиях Тургенева, так как разнообразные пометки—отчеркнутые строки, подчеркнутые слова, нотабене, восклицательные знаки, односложные замечания—буквально испещряют книгу, и опубликование их вместе с текстом, к которому они относятся, привело бы к перепечатке доброй половины перевода М. Вронченко.

Прежде чем перейти к публикации намеченного материала, необходимо сделать одно общее замечание. Сличение пометок на книге по почерку и по чернилам убе-

ждает, что все они были нанесены Тургеневым в течение ограниченного промежутка времени. По содержанию своему все они относятся к работе над большой статьей-рецензией на перевод М. Вронченко, хотя часть их осталась в ней неиспользованной. Таким образом все пометки Тургенева в книге должны быть приблизительно датированы декабрем 1844—январем 1845 г.

Книга М. Вронченко состоит из следующих частей: 1) коротенькое предисловие переводчика (стр. 1—4); 2) стихотворный перевод «Посвящения», обоих прологов и первой части трагедии (стр. 1—232); 3) сокращенный прозаический перевод второй части трагедии (стр. 249—362); 4) заключительная статья М. Вронченко «Обзор обеих частей «Фауста» (стр. 395—432). Страницы 233—248 и 363—394 заняты примечаниями.

Наибольшее число заметок Тургенева касается перевода первой части трагедии; наиболее резкие и развернутые замечания вызвал «Обзор» переводчика. Страницы прозаического перевода второй части «Фауста» не носят никаких следов пометок писателя.

II

Пометки на полях предисловия не представляют существенного интереса. В четырех местах нотабеной отмечены строки, с которыми Тургенев полемизирует в статье.

Из пометок к «Посвящению», прологам и первой части «Фауста» необходимо, первым долгом, выделить общие оценки перевода отдельных сцен или больших отрывков из них.

Стр. 1. К переводу «Посвящения» отнесено общее замечание «(плохо, зачем без цезуры?)».

Стр. 121. В конце сцену «Кухня ведьмы» Тургенев помечает: «Эта сцена хорошо перев[едена]».

Стр. 135. Против заглавия сцены «Дом соседки» та же пометка: («Эта сцена хорошо переведена»).

Стр. 164. Под заглавием «Комната Гретхен» помечено: «плохо».

Стр. 209. Наверху страницы, перед сценой «Сновидение в Вальпургиеву ночь или золотая свадьба Оберона и Титании» пометка: «оч[ень] хорошо перев[едено]»[6].

С одобрением отмечены также отрывки:

Стр. 38. Хор женщин

Елеем и миром
Его мы омыли и т. д.

На полях: «хорошо».

Стр. 45. Монолог Фауста

От светлого взора весны животворной и т. д.

На полях: «хорошо».

Неудовлетворенным остался Тургенев переводом песни Маргариты

Стр. 130. Жил царь с своей подругой
Подруга умерла... и т. д.

На полях: «плохо».

Другие заметки, относящиеся к отдельным строкам и выражениям стихотворного перевода М. Вронченко, указывают 1) на неточность перевода, проистекающую в отдельных случаях от неправильного понимания текста, 2) на стилистические неровности перевода и 3) на формальные дефекты стиха.

Замечания первой группы обычно формулированы кратко: «не то», «совсем не то», «неясно». Развернутые формулировки встречаются реже, некоторые из них будут ниже приведены.

Стр. 1. И грусть о всем, чем бытие земное
Изукрашало прежде свой полет[7].

На полях: «совсем не то».

Стр. 25. Тогда ты бег светил познаешь,
И, научен природой, там

И. С. ТУРГЕНЕВ

Рисунок карандашом К. Горбунова (1846 г.)

Третьяковская Галлерея, Москва

Душой окрепшей испытаешь,
Как духи говорят духам [8].

На полях: «NB не понят смысл подлинника».

Стр. 31. Ищи ты выгод честною стезею,
Не будь трещеткой площадною! [9]

Слова, набранные разрядкой, подчеркнуты Тургеневым, на полях его пометка «не понят подл[инник]».

Стр. 122. И кажется, при том, умна! [10]

На полях: «schnippisch, не то?»

Стр. 168. Природа ж — звук и дым,
Темнящий огнь небесный [11].

Слово, набранное разрядкой, подчеркнуто Тургеневым. На полях: «Name?»

Стр. 186. По книжке наобум
Лепетала молитвы [12].

На полях: «Не знает немецкого языка».

Стр. 221. Фауст
Что-то сеют, над чем-то кадят. [13]

На полях: «В[ронченко] не понял глагола: weihen».
В ряде случаев Тургенев набрасывает свой собственный прозаический перевод.
Стр. 15. Против стихов из «Пролога на небе» [14]

Моря колеблются; на бреге
Недвижны горы и поля —
Недвижны там, но в общем беге
С собой их двигает земля.

Тургенев ставит «NB» и дает свой перевод: «Вскипает море широкими струями у подножия скал... И скалы и море увлечены в вечно быстром стремлении миров».
Стр. 16. Такой прозаический перевод набросан со значком «NB» против строк

Но в целом нет уничтоженья
И стройность неизменна в нем [15].

«Но слуги господа чтут тихое шествие дня».

Стр. 192. И вдруг растелется нитями
И водометом вверх забьет!

На полях: «не вверх водометом — вниз потоком». [16]
Наиболее многочисленна группа пометок, имеющих в виду стилистические неловкости русского текста, построение перевода на лексическом материале, смысловая окраска которого расходится с подлинником.

Стр. 33. Глупец — он все еще надеждами богат!

Слово, набранное разрядкой, подчеркнуто Тургеневым. На полях: «NB Ф[ауст]у не до ругательств».

Стр. 33. Быть к вечной истины зерцалу близким.

К этой строке Тургенев делает примечание: «род. падеж перед имен.! — между тем как у Г[ете], при всей торжественности слога язык естественный».

Стр. 44. Пускай друг друга дуют в рыло

Набранное разрядкой подчеркнуто Тургеневым. На полях: «фуй!»

Стр. 77. И кончит время свой полет!

На полях: «казенно».

Стр. 81. Конечно микрокозмом я
Назвал бы ваше высокостепенство.

На полях: «у х!»

Стр. 221.

Мефистофель
Пускай их! едем!

На полях: «М[ефистофель] просто говорит: Мимо! мимо!»

Гораздо меньше внимания обращено Тургеневым на формальные элементы стиха. Из незначительного числа замечаний этого рода отметим два. В цитированной уже оценке перевода «Посвящения» Тургенев отмечал: «плохо, зачем без цезуры» (стр. 1). Несколько дальше, на стр. 7, он подчеркнул недостаточные, с точки зрения дворянской поэтики 30—40-х годов, рифмы

Особенно ж дай больше приключений,
В театре зритель хочет зреть!
Когда возня идет на сцене.

Следует оговорить еще две-три тургеневских заметки на полях, остающиеся вне названных трех основных рубрик.

Одно из них вызвано цензурным искажением русского текста «Фауста».

Стр. 16.

Перед творцом и я уничтожен;
Но чуждый вас объемлющей любови,
Я не способен к песням славословий—
Восторг мой был бы странен и смешон [17].

К этим строкам из монолога Мефистофеля М. Вронченко дает примечание: «В подлиннике эта часть мефистофелевой речи гораздо сильнее выражает характер чорта, нежели в переводе».

Тургенев же отмечает против этого четверостишия: «Не следовало бы переводить».

Иного рода пометка сделана к монологу Фауста

Стр. 51.

Блажен, кто все еще надеждою питаем
Увидеть свет сквозь заблуждений тьму!

Против этих стихов Тургенев отмечает: «Сравнить с переводом Веневитинова» [18].

Стр. 130. Против песни Маргариты

Жил царь с своей подругой

Тургенев намечает себе задание: «перевести это».

Все приведенные заметки Тургенева носят дробный характер, касаются преимущественно техники перевода и, будучи сведены в одно, могут—самое большее—характеризовать отношение писателя к проблеме перевода. Но перевод художественного текста не является механическим перенесением произведения из одной языковой системы в другую, перевод является одновременно своеобразной интерпретацией произведения, приспособлением его к новой читательской аудитории, к новой социальной среде. В лице рецензента И. С. Тургенева и переводчика М. Вронченко столкнулись два интерпретатора «Фауста», исходившие в своем осмыслении трагедии Гете из резко отличных, социально-антагонистических установок. Философская, гегелианская, интерпретация трагедии у Тургенева определялась его позицией идеолога прогрессивного обуржуазивающегося либерального дворянства, оформлявшего в сороковых годах систему своих художественных, общественных и политических воззрений на путях усвоения и переработки буржуазной гегелевой философии. М. Вронченко—идеолог реакционного аграрного дворянства, резко враждебного к философским увлечениям либерального дворянского молодняка. Вражда эта была тем сильнее, что путь от теоретических споров в московских философских кружках к разрушительной революционной деятельности Герцена и Бакунина был уже проиллюстрирован на примере эволюции радикального разночинца Белинского, пришедшего через период «примирения с действительностью» к общественной критике последнего периода своей деятельности. Отсюда враждебность Вронченко как идеолога своего класса к философской интерпретации художественных произведений и противопоставление «лукавому мудрствованию» здравого смысла и освященной официальным православием патриархально-крепостнической морали. Если для Тургенева Мефистофель—«олицетворенный элемент целого человека Фауста», «смело выговоренный Фауст» и вместе с тем «олицетворенное отрицание» и «новое время», «XVIII век» (но «всякое, даже положительное начало должно при первом появлении

своем носить характер отрицательный»), а трагедия Фауста—трагедия замкнувшегося в эгоистических стремлениях человека, то для М. Вронченко Мефистофель—«дух зла», почти христианский чорт, а трагедия Фауста сбивается у него на трагедию христианина, предавшегося пустым мудрствованиям и сошедшего с пути праведного. Такую интерпретацию трагедии Гете, обоснованную в статье М. Вронченко «Обзор обеих частей Фауста», Тургенев осыпает стрелами сарказма в своей рецензии, но эта интерпретация сказалась также в самом тексте перевода М. Врончеко. Тургенев зорко следил за переводчиком и отмечал на полях все строки русского текста, в которые М. Вронченко влагал свое толкование произведения Гете.

Стр. 18. Рад мудрствовать во весь свой век,
А мудрствуя нельзя не заблуждаться.

К этим строкам из «Пролога на небе» М. Вронченко делает примечание: «В точности: «стремясь (т. е. вперед)» или «домогаясь (т. е. желаемого)». В подлиннике это выражено одним словом «streben». Тургенев многозначительно помечает против приведенных строчек «NB!»

Стр. 26. Не властен ум их разгадать

На полях: «NB t r o c k n e s S i n n e n».

Стр. 50. Но сбившись с толку, все к одной головоломной
Своей системе приводил

На полях: «О п я т ь з а м а ш к и п р о т и в ф и л о с о ф [и и].

Стр. 84. И мать уговорил сюда меня пустить,
Хочу чем дельным г о л о в у н а б и т ь

Набранное разрядкой подчеркнуто Тургеневым. На полях: «З а э т о н а д о б н о В р [о н ч е н к о] п о с е ч ь».

Стр. 88. Не в философию ль з а л е з т ь мне наконец?

Слово, набранное разрядкой, подчеркнуто Тургеневым. На полях укоризненная пометка: «Г. В [р о н ч е н к] о!»

«Замашки» против «мудрствования», против философии, которая была переводчиком подставлена на место теологии в последнем примере, естественно сочеталась у М. Вронченко с откровенно реакционными политическими выпадами, отмеченными Тургеневым.

Реплику Мефистофеля в сцене «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге»

Das Volk ist frei, seht an, wie wohl's ihm geht!

Вронченко переводит, вкладывая в нее отсутствующий в подлиннике политический смысл.

Стр. 104. Что, славное свободы торжество?

Пометка на полях: «Э т о о п я т ь ч т о з а в з д о р?»

III

Вызванная столкновением двух систем интерпретации трагедии полемика между рецензентом и переводчиком только слабо намечена на полях стихотворного текста первой части «Фауста». Решительный бой был дан Тургеневым на дальнейших страницах книги, его критические удары сыпались здесь на прямые высказывания переводчика в статье «Обзор обеих частей Фауста». Нотабены и вопросительные крючки рецензента сменяются развернутыми замечаниями, в которых насмешка над ненавидящим «лукавые мудрствования» переводчиком перемежаются с обвинениями в непонимании текста и уличением в сервилизме.

Маргиналии к «Обзору обеих частей Фауста» представляют наибольший интерес из всех пометок Тургенева на полях книги М. Вронченко и приводятся полностью, вместе с текстом, к которым они относятся, в последовательном порядке. Неоговоренными остаются некоторые нотабены и графические знаки.

Стр. 369. Шмуцтитул.

«ОБЗОР ОБЕИХ ЧАСТЕЙ ФАУСТА».

Под заглавием статьи итоговое заключение И. С. Тургенева: «NB. С к а з а н н о е о 2-й ч а с т и в с е с п р а в е д л и в о; н о п е р в о й ч а с т и Г-н В р [о н ч е н к о]

ФАУСТЪ,

ТРАГЕ́ДІЯ

Соч. Гете.

Переводъ Первой и Изложеніе
Второй Части.

М. ВРОНЧЕНКО.

1844.

ВЪ ПРИВИЛЕГИРОВАННОЙ ТИПОГРАФІИ ФИШЕРА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Титульный лист экземпляра „Фауста“ Гете в переводе М. Вронченко (СПБ, 1844) с автографом И. С. Тургенева
Институт Русской Литературы, Ленинград

поетъ

Въ подвалъ разъ крыса жить пошла,
Какъ на спокойный хуторъ,
Все ѣла жиръ тамъ и была
Толста, какъ докторъ Лютеръ.
Ей поваръ яду далъ, и вотъ
У крысы заболѣлъ животъ,
Какъ отъ любовной страсти. [73]

ХОРЪ

Какъ отъ любовной страсти.

БРАНДЕРЪ

Бѣдняжка бѣгаетъ и пьетъ
Водицу въ каждой лужѣ,
И все скребетъ, и все грызетъ,
И все бѣдняжкѣ хуже!
Вотъ, стала прыгать, и не въ мочь
Пришло ей наконецъ, точь въ точь
Какъ отъ любовной страсти!

ХОРЪ

Какъ отъ любовной страсти.

БРАНДЕРЪ

Тоска среди бѣла-дня вдругъ
Ее на кухню гонитъ;
Тамъ крыса пала и отъ мукъ
Дрожитъ, пыхтитъ, да стонетъ;
А поваръ съ смѣхомъ говоритъ:
Ай, славно, кумушка! и —,
Какъ отъ любовной страсти!

ХОРЪ

Какъ отъ любовной страсти.

Пометки И. С. Тургенева на экземпляре „Фауста" Гете в переводе М. Вронченко (СПБ, 1844)
Институт Русской Литературы, Ленинград

ОБЗОРЪ

ОБѢИХЪ ЧАСТЕЙ

ФАУСТА.

Мнение о 2-й части всё справедливо,
но первой части г-н Вр. не понял вовсе.
В одном здравом рассудке, противополож-
ном Мефистофельской злобе к рассудку — далеко
не уйдешь.

Пометки И. С. Тургенева на экземпляре „Фауста“ Гете в переводе М. Вронченко (СПБ, 1844)
Институт Русской Литературы, Ленинград

чувственная, слѣдственно и своекорыстная. Невинное, простосердечное дитя, Маргарита падаетъ, едва подозрѣвая, что такое значитъ паденіе женщины. Вслѣдъ за тѣмъ опомнившійся Фаустъ покидаетъ свою жертву, удаляется въ пустыню, предается тамъ созерцанію природы и собственной души своей. Но для Мефистофиля недостаточно одного паденія Маргариты; онъ желаетъ завлечь Фауста далѣе, снова разжигаетъ чувственность въ его сердцѣ, и Фаустъ возвращается къ Маргаритѣ, хотя видитъ, что губитъ тѣмъ ее и себя самаго.

Послѣдствія возвращенія ужасны: мать Маргариты умираетъ отъ слишкомъ сильнаго, или можетъ быть частаго, пріема опіуму; Валентина убиваетъ Фаустъ; Маргарита дѣлается матерью, утапливаетъ свое дитя и какъ убійца осуждается на смерть. Между тѣмъ Мефистофиль заманиваетъ Фауста на шабашъ вѣдьмъ и «тѣшитъ тамъ его пошлостями» то есть, говоря яснѣе, увлекаетъ въ грязные вертепы разврата. Фаустъ однако не закоснѣлъ въ порокѣ; и среди шабашнаго разгулья онъ угадываетъ бѣдственное положеніе Маргариты; умственнымъ окомъ видитъ ее, неподвижную, мертвоглазую, съ красной на шеѣ чертою, намёкомъ на ударъ палачовой сѣкиры; видитъ, и спѣшитъ къ ней на помощь. Препятствіемъ къ избавленію служитъ сама Маргарита: полупомѣшанная отъ горя, она медлитъ; время проходитъ, настаетъ утро — Фауста уводитъ Мефистофиль, Маргарита остается во власти общественнаго суда, карающаго убійство смертію.

Пометки И. С. Тургенева на экземпляре „Фауста“ Гете в переводе М. Вронченко (СПБ, 1844)
Институт Русской Литературы, Ленинград

ствомъ утилитарности и умираетъ, мечтая о достиженіи своей утилитарной цѣли. По смерти Фаустъ прощенъ. Когда же онъ перестаетъ мудрствовать? когда находитъ путь истинный? Разглагольствовать тутъ нѣчего: піеса, ясно и явственно, пришла не къ тому концу, къ которому придти долженствовала — единства мысли въ ней нѣтъ. Авторъ это видѣлъ и для поправленія дѣла сказалъ въ послѣдней сценѣ, что прощеніе заслуживается «безпрерывностью исканія». Дѣло чрезъ то не поправлено ни мало, а между тѣмъ въ замѣну прежняго Положенія (душа находитъ путь истинный) введено въ піесу Положеніе новое, о которомъ дотолѣ не было и помину. Положеніе это можетъ быть оспариваемо съ большою основательностію; независимо же отъ своей зыбкости оно вовсе не согласуется съ прочими данностями піесы, выраженными въ Прологѣ: попробуемъ поставить его на мѣстѣ Положенія прежняго — выйдетъ, что Мефистофилю нѣчего и хлопотать о Фаустѣ, потому что безпрерывность Фаустова исканія чортъ ужъ знаетъ, слѣдственно навѣрное знаетъ и будущій неуспѣхъ свой.

Зачѣмъ же авторъ привелъ піесу къ такому концу, который у ней отнимаетъ единство мысли? Откуда вышелъ новое для піесы Положеніе? Не заключается ли причина всего этого въ чемъ либо, существенно принадлежащемъ къ Фаустову характеру? посмотримъ — перейдемъ къ обзору нѣкоторыхъ лицъ и сценъ отдѣльно.

Пометки И. С. Тургенева на экземпляре „Фауста“ Гете в переводе М. Вронченко (СПБ, 1844)
Институт Русской Литературы, Ленинград

годъ за другимъ, до 1823-го. Ни той ни другой, конечно, не должно вѣрить во всемъ—трудно положиться на безпристрастіе старика, говорящаго о своей молодости; въ обѣихъ однако не подвержены сомнѣнію: во первыхъ событія, во вторыхъ тѣ черты, на которыя авторъ смотрѣлъ, какъ на прежніе свои недостатки. Изъ сличенія мѣстъ вѣроятнѣйшихъ видно слѣдующее.

Въ Гете рано началъ проявляться самобытный поэтъ и мыслитель. Съ самой первой молодости ему было противно господство общепринятыхъ въ литературномъ мірѣ тѣсныхъ теорій, равно какъ и слѣпое уваженіе къ произведеніямъ, называвшимся тогда образцовыми. Никому не подражая, но стараясь проникать въ человѣческую природу собственнымъ взоромъ, онъ во всякомъ сочиненіи за важное и главное почиталъ сущность, единство, смыслъ, направленіе; все же остальное, отдѣлку и языкъ, называлъ одеждою, которая можетъ быть сдѣлана такъ или иначе, лучше или хуже, безъ значительнаго вліянія на достоинство цѣлаго. При томъ, замѣтимъ, молодой поэтъ ставилъ выше всего природу, слѣдственно и естественность: даже по части живописи занимали его преимущественно тѣ картины, въ которыхъ изображенные предметы можно было сравнивать съ природою, а восхищали тѣ, въ которыхъ искуство побѣдило природу.

Ужасное вранье!

Еще раньше, нежели самостоятельныя сужденія, развернулась въ Гете страсть, или лучше сказать неодолимая потребность: высказывать на бумагѣ все

Пометки И. С. Тургенева на экземпляре „Фауста“ Гете в переводе М. Вронченко (СПБ, 1844)
Институт Русской Литературы, Ленинград

не понял вовсе. С одним здравым рассудком, приправленным малороссийской злобой к разуму,—далеко не уедешь».

Стр. 375. ...если слушать мистиков, то Фауст ясно и неоспоримо написан в духе мистицизма; если слушать отъявленных врагов их, приверженцев Гегеля, то Гете Фаустом нанес мистицизму удар решительный!

На полях: «откуда, батюшка, изволили это почерпнуть?»

Стр. 376. ...Мы слышим [Фауст] есть произведение и «понятное только для посвященных в глубочайшие таинства философии» и «могущее быть понятным не теперь, а только в будущее время»...

На полях: «NB. Цитировать тут надобно Вишера».[19]

Стр. 377. При обзоре мы позабудем даже о самом существовании каких-либо философических систем, а по мере сил наших постараемся руководствоваться единственно—здравым рассудком: этот вождь надежнее всякого другого; по приговору этого нелицемерного судии остается жить или умирает все, что ни создается как умом, так и воображением.

На полях: «в самом деле?»

Стр. 378. Сноска под строкой: * Études de Philologie et de Critique par M. Ouvaroff. S. Petersbourg, 1843. Страница 347.

На полях: «здравый смысл видно умеет и поподличать».

Стр. 379. Мефистофиль находит на земле дурным все, вообще и в частностях.

На полях: «NB—хорошо понял Меф[истофеля]».

Стр. 380. Сноска под строкой: * Слово мудрствовать, взятое отдельно, не может служить переводом немецкого streben; но в настоящем случае оно, кажется, выражает мысль подлинника довольно верно, а потому мы удержим его, за недостатком лучшего, впродолжение всего обзора.

На полях: «NB»

Стр. 381. Фауст найдет путь истинный—найдет именно тогда, когда перестанет мудрствовать...

На полях: «каково-с?»

...Заметим это последнее положение—когда перестанет мудрствовать: оно неизбежно истекает из двух предыдущих—из того, что «мудрствуя, нельзя не заблуждаться» и что душу Фауста «бог оденет светом». И так впродолжение пьесы Фауст должен: сперва, мудрствуя, итти путем Мефистофелевым, а потом перестать мудрствовать и, следуя неясному своему стремлению, найти путь истинный, озариться светом.

На полях: «браво!»

Стр. 385. В следующей сцене (после появления пуделя в кабинете Фауста) однако он встречает Мефистофеля, как знакомого—это дает нам знать, что у них были свидания промежуточные.

На полях: «Об этом ни слова не сказано в поэме».

Стр. 387. ...избравши же плен и освобождение Мефистофеля, он [Гете] не мог не представить плена следствием случайности, потому что Мефистофель не мог иметь охоты попасть под власть Фауста умышленно, а Фауст не только не желал завладеть Мефистофелем, но и не думал о нем вовсе до самого пуделева видоизменения.

На полях: «О—деревянная башка».

Стр. 388. Со времени знакомства с Мефистофелем в нем [Фаусте] исчезли все утешительные мысли.

Набранное разрядкой подчеркнуто Тургеневым. На полях: «Только с этого времени?»

Стр. 390. Маргарита падает, едва подозревая, что такое значит падение женщины. Вслед за тем опомнившийся Фауст покидает свою жертву, удаляется в пустыню, предается созерцанию природы и собственной души своей.

На полях: «У Гете явно сказано, что это падение совершается после возвращения Фауста, что опять важно. См. стр. 170 и 171 перевода».

Стр. 391. [Мефистофель] видит, что вместе с гибельною для Маргариты страстию в сердце Фауста пробудились и другие чувствования, вовсе для чорта не желательные: страх, жалость, даже раскаяние.

На полях: «Понят Гете, нечего сказать».

Стр. 393. Он покидает Маргариту—покидает потому, что с любовью стал знать и жалость, видеть преступность своего поведения, стыдиться своего эгоизма.

Набранное разрядкой подчеркнуто Тургеневым. На полях: «О!»

Стр. 404. По смерти Фауст прощен. Когда же он перестает мудрствовать? когда находит путь истинный? Разглагольствовать тут нечего: пиеса, ясно и явственно, пришла не к тому концу, к которому притти долженствовала—единства мысли в ней нет. Автор это видел и для поправления дела сказал в последней сцене, что прощение заслуживается «беспрерывностью искания».

На полях: «Что 2-ая часть Ф[ауста] глупа — это несомненно; но не так глупа, как бы хотел ее сделать г-н В[ронченко].

Стр. 408. ...Гете-мужа, сказавшего в Прологе, что Фауст должен перестать мудрствовать, найти путь истинный, озариться светом.

Слово, набранное разрядкой, подчеркнуто Тургеневым. На полях: «Однако — чорт возьми—это слишком! — сам г-н В[ронченко] говорит, что он ложно перевел слово streben, и потом все строит на этом ложном переводе!!»

Стр. 410. Родительницы. Собрав в одно целое главные черты, которыми изображают Родительниц Фауст и Мефистофель, мы находим вот что: Родительниц можно бы было понять за сокровенные силы человеческой души.

На полях: «Это вовсе не понято».

Стр. 412. Где по поводу личности породилась острота общепонятная... там мы тешимся остротою и забываем о ее происхождении, но где частность осталась частностью—например в словце об Ильзенштейнской сове—там она кажется излишней вставкою...

На полях: «Это что еще? Эта сова — уверяю г-на В[ронченко]— вовсе не аллегория».

Стр. 418. Никому не подражая, но стараясь проникать в человеческую природу собственным взором, он [Гете] во всяком сочинении за важное и главное почитал сущность, единство, смысл, направление; все же остальное, отделку и язык, называл одеждою, которая может быть сделана так или иначе, лучше или хуже, без значительного влияния на достоинства целого.

На полях: «какое вранье!»

Стр. 427. Что ни одно из мнимых открытий [Гете] не признано впоследствии за дельное, и что все они в ученом мире уже забыты—разумеется само собою.

На полях: «Исключая теории о цветах, понемногу принятой всеми».

Стр. 431. Что именно в ней [2-й части «Фауста»] высоко ценится теми, которые ее предпочитают и первой части и всему на свете?

На полях: «кто же те?»

Стр. 431—432. ...в наше время уже позволительно сознать, что непомерно высокое мнение о второй части породилось и еще кое-как поддерживается только потому, что она есть—сочинение Гете.

На полях: «Как будто Вр[онченко] первый. — NB цитировать Фишера»

В статье о «Фаусте» Тургенев писал: «...несколько лет назад, при появлении перевода «Фауста» г-на Вронченко, мы готовы были бы отделаться похвалами, назвать труд переводчика «событием» и т. д. Теперь же... мы не намерены расточать преувеличенные похвалы нашей публике... мы не скажем ей, что в последнее время она окончательно поняла и изучила Гете и дошла, например, до ясного сознания того, что такое «Фауст», как произведение немецкое, и в какой степени это произведение должно занимать нас—русских... сознание нашей публики в последние годы возмужало и окрепло... ее здравый смысл требует положительных доказательств ...действительно ли «Фауст» такое громадное создание?»

В этих строках речь шла разумеется не только об эстетической оценке трагедии Гете («время безотчетных порывов и восторгов прошло... безвозвратно», «нам теперь нужны не одни поэты»). Тургенев ставил своей задачей выяснение общественной актуальности «Фауста» («в какой степени это произведение должно занимать нас—русских»), интерпретацию произведения в свете общественных задач, вставших перед «людьми сороковых годов». Тургеневское понимание трагедии и смысл его борьбы за это понимание устанавливается при анализе его статьи, но в ней острота постановки темы сглаживается нормами иронически-вежливой речи библиографического отдела «толстого» журнала. В пометках на полях она проявляется с непосредственной резкостью. В этом основной интерес маргиналий Тургенева.

М. Клеман.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Книга была на Тургеневской выставке 1909 г., в каталоге которой описана под № 235: «Фауст. Трагедия. Соч. Гете. Перевод первой и изложение второй части М. Вронченко. 1844. СПБ. С автографом И. С. Тургенева. Экземпляр этот интересен и важен тем, что весь исписан собственными замечаниями И. С. Тургенева о неверностях и неточностях перевода, вроде таких: «не то», «не ясно», «что это за вздор?» и т. п. Собств. Б. Я. Полонского». См. Ф. А. Витберг и Б. Л. Модзалевский, Каталог выставки в память И. С. Тургенева. 2-е изд., СПБ., 1909, стр. 39—40.—Кроме воспроизводимых на стр. 949—954 шести страниц из этого экземпляра, две страницы воспроизведены к статье В. Жирмунского (на стр. 637—638).

[2] Н. Л. Бродский, Анонимная рецензия И. С. Тургенева.—См. сборник «И. С. Тургенев» (Центрархив. Документы по истории литературы и общественности. Выпуск второй). ГИЗ. М.-Л., 1923, стр. 103.

[3] О повышенном интересе писателя к «Фаусту» в начале 40-х годов свидетельствует между прочим появление незадолго до выхода книги М. Вронченко тургеневского перевода «Последней сцены первой части «Фауста» («Отеч. Зап.» 1844, кн. VI. Под переводом дата: сентябрь 1843 и подпись Т. Л.). Интерес этот, как известно, не оставлял писателя и позднее. Так в 1852 г. он обещал Н. А. Некрасову для первого номера «Современника» за 1853 г. статью «О Мерке», «Человеке, с которого Гете списал своего Мефистофеля» (см. письмо И. С. Тургенева к Н. А. Некрасову от 18 ноября 1852 г.—«Русская Мысль» 1902, кн. I, стр. 118).

[4] Робкие попытки в этом направлении намечены в брошюре В. Н. Горбачевой, Молодые годы Тургенева. Казань, 1926.

[5] Ссылки Тургенева на Фишера носят беглый характер; из сопоставления их следует, что имелась в виду работа «Die Litteratur über Göthe's Faust. Eine Uebersicht von Fr. Vischer», печатавшаяся с 10 января по 19 марта 1839 г. в издании «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst, №№ 9—67.

[6] В статье о «Фаусте» только две сцены из перевода заслужили одобрения Тургенева: «Сцена у ведьмы», сцена в «Доме соседки» даже очень хорошо переведены».

[7] В оригинале:
Der Schmerz wird neu, es weiderholt die Klage.
Des Lebens labyrinthisch irren Lauf.

[8] В оригинале:
Erkennest dann der Sterne Lauf,
Und wenn Natur dich unterweist,
Dann geht die Seelenkraft dir auf,
Wie spricht ein Geist zum andern Geist.

[9] В оригинале:
Such' Er den redlichen Gewinn!
Sei Er kein schelenlauter Thor!

[10] В оригинале:
Und etwas schnippisch doch zugleich.

[11] В оригинале:
Name ist Schall und Rauch,
Umnebelnd Himmelsglut.

[12] В оригинале:
Aus dem vergriffnen Buchelchen
Gebete lalltest

[13] В оригинале:
Sie streuen und weihen.

[14] По цензурным соображениям «Пролог в небе» озаглавлен в переводе Вронченко: «Пролог II. В пространстве» («Горнее пространство»—в другом месте перевода); из цензурных же соображений имена архангелов Рафаила, Гавриила и Михаила переданы: 1-й дух, 2-й дух, 3-й дух.

[15] Эти строки соответствуют следующим строкам подлинника:

Doch deine Boten, Herr, verehren
Das sanfte Wandeln deines Tags.

[16] Нелепую ошибку переводчика отмечает также Тургенев на стр. 96. См. воспроизведение этой страницы.

[17] Весь монолог Мефистофеля в «Прологе на небе», совершенно неприемлемый для цензуры Николая I, в переводе искажен.

[18] Тургенев имеет в виду «Отрывки из Фауста. I Фауст и Вагнер (За городом)». См. «Сочинения Д. В. Веневитинова, часть первая. Стихотворения 1829», стр. 119—123.

[19] Повидимому описка—следует «Фишера». В гетеане 30—40-х годов работ Вишера не зарегистрировано.

НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО Л. Н. ТОЛСТОГО О ГЕТЕ

18 мая 1909 г. Л. Н. Толстой получил от издательства Дитрих в Лейпциге выпущенный им «Goethe-Kalender auf das Jahr 1909». Вместе с книгой получено было и письмо, в котором издательство обращалось к Толстому с просьбой высказаться о Гете: «В чем Вы видите главное значение Гете; какие произведения Гете оказали на Вас наиболее сильное действие; полагаете ли Вы, что Гете распространится шире, чем это до сих пор имело место?»

Толстой имел обыкновение делать для себя отметки на конвертах получаемых писем. На этот раз он пометил: «Можно написать?», выразив вопросительным знаком свою неуверенность в том, исполнит ли он желание издательства. Письмо однако было написано, вернее—оно было продиктовано Толстым 27 мая (9 июня); оно воспроизводится нами по сохранившейся копии.

В течение нескольких вечеров (утрами Толстой не читал, отдавая все свои силы писанию), предшествовавших письму, он читал присланную книгу. Его особенно заинтересовали приведенные в книге в большом количестве разговоры Гете с разными лицами. Как говорят об этом Д. П. Маковицкий в своих неизданных «Яснополянских записках» и Н. Н. Гусев в книге «Два года с Л. Н. Толстым» (М.,1912, стр. 282), Толстой неоднократно делился с окружающими тем или другим прочитанным изречением Гете. По обыкновению Толстой читал с карандашом в руке. Книга с его пометками сохранилась в яснополянской библиотеке («Goethe-Kalender auf das Jahr 1909. Zu Weihnachten 1908 herausgegeben von Otto-Julius Bierbaum, mit Schmuck von C.-R. Weiss und 12 Netzätzungen nach lebensgrossen Steinzeichnungen von Karl Bauer im Dietrich'schen Verlage bei Theodor Weicher in Leipzig»). Отметки Толстого четырех видов: отчеркивания на полях, подчеркивания слов в тексте, нотабене (NB) и знаки вопроса. По этим пометкам можно судить о том, что восьмидесятилетний Толстой в Гете принимал, что его особенно привлекало и что отталкивало. В этом отношении весьма интересны те высказывания Гете, которые со стороны Толстого вызвали отметку вопросительным знаком; в них столкнулись два противоположные миросозерцания—Гете и Толстого. Идеалист, сторонник Канта и Шопенгауэра в вопросах гносеологии, Толстой недоумевает по поводу следующего рассказа Шопенгауэра, относящегося к 1813 г. (стр. 88): «Этот Гете в такой полной степени был реалистом, что ему никогда и в мысль не могло притти, чтобы предметы, как таковые, существовали лишь постольку, поскольку они представлялись познающим субъектом. «Как,—сказал он мне однажды, взглянув на меня своими юпитеровскими глазами,—свет существует лишь постольку, поскольку Вы его видите? Нет. Вас бы не существовало, если бы свет Вас не видел». Вызывает недоумение у автора «Крейцеровой сонаты» и следующее признание 73-летнего Гете, сделанное им Мюллеру 22 мая 1822 г.: «Плохо мне, потому что я не влюблен и в меня никто не влюблен». Двумя восклицательными знаками сопровождает Толстой замечание Гете (в разговоре с Мюллером и Римером 31 марта 1823 г., стр. 99): «Нет ничего вреднее, как всегда себя пилить и желать сделать лучшим, никогда не приходя ни к какому заключению; это препятствует всякой продуктивности». Наоборот, с сочувственным вниманием отмечает Толстой, борец против религиозного ханжества и лицемерия, такие слова И.-Х. Кестнера о Гете: «Он не ходит в церковь, не ходит причащаться и редко молится, потому что, говорит он, я для этого недостаточно лжив» (стр. 33).

Кроме «разговоров Гете» Толстым отмечены в книге некоторые его стихи, приведенные в первой части. Это короткие изречения по большей части в виде одного-двух стихов, главным образом из стихотворений Гете. Отмечались Толстым преимущественно те стихи, в которых нашла свое выражение гетевская жизнерадостность.

Человек противоположного миросозерцания, считавший Гете «язычником», Толстой при чтении его изречений и избранных стихов не мог не поддаться обаянию его гениальности, о чем свидетельствует красноречиво карандаш, с которым Толстой читал книгу, и что подтверждает его письмо.

Н. Гусев

[ПИСЬМО Л. Н. ТОЛСТОГО В ИЗДАТЕЛЬСТВО DIETRICH]

27 мая 1909 г. Ясная Поляна.

Милостивый Государь.

Благодарю Вас очень за присылку Вашего «Гетевского календаря на 1909 год». Я просмотрел его с большим интересом. Что меня особенно заинтересовало, это—разговоры Гете с разными лицами. В этих разговорах я нашел для себя много нового и ценного, как напр. то, что он в разговоре с Фальком высказал о науках, которые сделались слишком дальнозорки [1], или с Римером о растительных умах и eleutheroi [2], или что природа—это оргàн, на котором играет наш господь бог, а дьявол раздувает мехи [3].

Особенно замечателен его разговор с Мюллером 3 февраля 1823 г.[4] Так же то, что он еще в 1824 г. говорил о вреде, приносимом журналами и критиками [5], и что особенно верно в наше время.

Но было бы слишком долго перечислять все то глубокомысленное и разумное, что я нашел в этой книге [6].

Не осудите меня, что я по причине большой занятости не могу исполнить Вашего желания высказаться о сочинениях Гете.

Еще раз благодарю Вас за книгу, которая для меня была так ценна.

Лев Толстой

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Разговор с Фальком о науке происходил в 1809 г. Толстым отмечено в разговоре следующее место: «Все в науках сделалось слишком дальнозорким. На наших кафедрах отдельные предметы по плану насильственно растягиваются до полугодовых чтений. Ряд действительных открытий ничтожен, в особенности если их рассматривать во взаимной связи на протяжении двух столетий. Большая часть того, чем занимаются, есть ведь только повторение того, что сказал тот или другой знаменитый предшественник. О самостоятельном знании почти нет и речи. Молодых людей, как стадо, загоняют в комнаты или аудитории и кормят их, за недостатком действительных предметов, цитатами и словами. Воззрение, которого часто недостает самому учителю, ученики пусть после приобретают себе! Не много нужно, чтобы понять, что это совершенно ошибочный путь. Если же профессор в совершенстве обладает ученым аппаратом, то от этого не лучше, а только еще хуже. Темноте тогда уже нет конца» («Goethe-Kalender», стр. 74).

[2] Разговор с Римером относится к марту 1814 г. Приводим место, отчеркнутое Толстым: «Есть умы растительные и умы животные наподобие растений и животных или женщин и мужчин. Одним нужна, так сказать, почва, на которой они укрепляются и из которой извлекают себе пищу (какая-нибудь наука); другие, которые свободно ходят повсюду (eleutheroi), всем питаются и изо всего извлекают себе пользу: поэты и художники («Goethe-Kalender», стр. 88).

Эту мысль Толстой отмечает на полях нотабене, однако вычеркивает в ней слова «или женщины и мужчины», не признавая очевидно разницы женской и мужской натуры, которую усматривает Гете.

[3] Афоризм Гете, отмеченный Толстым нотабене, взят из разговора Гете с Буассере: «Природа такова, что тройца не могла бы сделать ее лучше. Это оргàн, на котором господь бог играет, а дьявол раздувает меха» («Goethe-Kalender», стр. 92).

[4] Слова Гете, сказанные им в беседе с Мюллером 3 февраля 1823 г. и привлекшие особенное внимание Толстого, следующие: «Если бы я имел несчастие быть обязанным состоять в оппозиции, я бы лучше стал производить восстания и революцию, чем бездельничать в мрачном кругу вечного порицания существующего. Я никогда в жизни не желал стать во враждебную бесполезную оппозицию к преобладающему течению большинства или к господствующему принципу; я лучше, как улитка, забирался в свою собственную скорлупу и жил там так, как мне

того хотелось. К чему ведет вечная *оппозиция* и капризное критиканство и отрицание, это мы видим на Кнебеле: оно сделало из него недовольнейшего, несчастнейшего человека; то, что внутри его, подобно раку, все выедено; двух дней нельзя прожить с ним в мире, потому что он на все нападает, что кому-либо мило. Что мы в себе питаем, то растет; это вечный закон природы. Есть в нас орган недоброжелательства, недовольства, так же как есть орган оппозиции, духа сомнения. Чем больше пищи мы ему доставляем, чем более мы его упражняем, тем он становится сильнее, пока наконец из органа не превращается в болезненный нарыв и все вокруг себя пагубно пожирает. Тогда приходят раскаяние, упреки и прочие нелепости, мы делаемся несправедливы по отношению к другим и к себе самим. Радость по поводу чужих и своих удач и успехов потеряна; в отчаянии отыскиваем мы наконец причину всего зла вне нас, вместо того чтобы искать ее в нашей собственной ошибке. Бери каждого человека, каждое происшествие в их собственном смысле, выходи из себя, чтобы тем свободнее снова углубиться в себя» («Goethe-Kalender», стр. 98).

[5] Разговор о критиках и журналах, отмеченный Толстым, приведен в записи Эккермана от 2 января 1824 г.: «Кто не хочет верить, что многое в величии Шекспира принадлежит его великому, мощному веку, тот пусть только спросит себя, считает ли он возможным возникновение такого изумительного явления в теперешней Англии 1824 г., в эти скверные дни все критикующих и все разлагающих журналов. То невозмутимое, невинное творчество во время ночных скитаний, при которых только и может вырастать что-либо великое, теперь уже совершенно невозможно. Все наши теперешние таланты лежат на подносе гласности. Ежедневно в пятидесяти различных местах появляющиеся критические листки и шум, производимый ими в публике, не дают появиться ничему здоровому. Кто ныне не удаляется от этого и не изолирует себя насильственно, тот пропал. Правда, через этот плохой, большей частью отрицательный, разводящий эстетику и критику журнализм появляется некоторый род полукультуры в массах; однако для творческого таланта это вредный туман, падающий сверху яд, который разрушает дерево его творческой силы от зеленой красы листвы вплоть до глубочайшей сердцевины и самых скрытых волокон. И потом, как вяла и слаба стала сама жизнь за эти два дрянные столетия. Где теперь еще встретишь открытую оригинальную натуру? И у кого есть сила быть правдивым и показывать себя тем, что он есть? Но ведь все это воздействует на поэта, который должен отыскивать все в себе самом, так как извне он ничего не получит». («Goethe-Kalender», стр. 130).

[6] Помимо приведенных выше пяти разговоров Гете, особо отмеченных Толстым в письме, им отмечен еще целый ряд разговоров с разными лицами о самых различных предметах: об искусстве, о женщинах, о религии, о чтении книг, о науках, о медицине, о национальной ненависти, о национальных различиях...

Приводим перечень сделанных Толстым отметок «Разговоров Гете» с указанием темы разговора, начальных и конечных слов отчеркнутых Толстым мест и страниц, на которых они напечатаны в «Goethe-Kalender». Об искусстве: «Künste müssen... und die Leitern kennen (46—47). О женщинах и об отношении к ним: 1. «Die Weiber, auch die gebildetsten... sei es an sich noch so vortrefflich» (52); 2. «Wer die Weiber hasst... dieser hofft noch mit ihnen fertig zu werden» (79); 3. «Die Verhältnisse mit Frauen... zur vollkommenen Leere» (92). О религии: 1. «Er geht nicht... nicht genug Lügner» (33); 2. «Wie viel... überlassen müssen» (82); 3. «pflege ich auf Ideen... ausschliessenden Werth zu legen» (83); 4. «Er wird ihnen... nicht nennen mögen» (101); 5. «Mir bleibt Christus... in den Köpfen sich kreuzen» (119); 6. «Fragt man mich... sich beherrschen zu lassen» (121). О свойствах человека: «Der Mensch ist wohl ein seltsames Wesen... Was wir anfangen sollten» (95—96). О профессорах: «Ein andermal... über Wegstunde tagelang zubringe» (102). О мелочах: «Es giebt nichts Unbedeutendes in der Welt. Es kommt nur auf die Auschaungsweise an» (97). О книгах и о критиках: «Ein Buch... zum richtigen Urtheil darüber kommen» (98). О нравственности: «Neue Erfindungen... da findet man erstaunliche Sachen» (100). О потомстве и современниках: «Die gerechtere Nachwelt... ich habe es ihnen nie recht zudanke gemacht» (102—103). О постоянном движении вперед и «жизни народов»: «Die Zeit aber ist... beabsichtigen Revolutionen solcher Art ohne Erfolg» (104). Об отношении «толпы» к гению: «Die ganze Geschichte mit dem Genie... was er will und Lust hat» (87).

Кроме перечисленных мест есть в книге и много других более мелких отметок, подчеркиваний отдельных слов и выражений, которые мы здесь опускаем.

БИБЛИОГРАФИЯ

Б. БУХШТАБ

РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ ГЕТЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Переводы Гете были в свое время библиографированы Н. В. Гербелем в его издании сочинений Гете (1878—1880). Но список Гербеля включает лишь переводы произведений, избранных Гербелем для его издания; он и в этой части не только не полон. но просто случаен по материалу; в нем много ошибочных указаний; наконец, он устарел. Существует еще список переводов «Фауста», приложенный к книге Г. Бойезена «Фауст Гете. Комментарий к поэме», перевод Н. В. Арского, П. 1899. Этот список страдает теми же недостатками. Случайные и непроверенные указания дает и новое издание Гете (ГИХЛ, 1932). Не обогатила литературы появившаяся в № 5-6 «Марксистско-ленинского искусствознания» «Русская гетеана»: из приводимых ниже около 900 названий русских переводов Гете составителям этого указателя оказались известными лишь 63. Больше печатных материалов, вносящих что-нибудь новое по сравнению с указанными, нет,—из рукописных исследователь может воспользоваться карточками архива С. А. Венгерова, на которых расписаны основные журналы и альманахи XIX века, но лишь в качестве чернового материала, так как по количеству ошибок это материал рекордный. Весь этот материал после проверки каждого указания лег в основу предлагаемого списка наряду с самостоятельными разысканиями его составителя.

Список этот не претендует на полноту регистрации переводов и еще менее на полноту регистрации последовательных изданий каждого перевода. Напротив, для каждого перевода указан лишь канонический текст в собрании сочинений данного переводчика или—если такого нет—в собрании сочинений Гете и первый печатный текст перевода, если он был помещен в журнале или неавторском сборнике, а не в сборнике (собрании сочинений) данного переводчика. Только для отдельно изданных переводов сделано исключение—описываются все издания.

Наличие разночтений в разных изданиях перевода не регистрируется.

Стихи, входящие в состав большого прозаического или поэтического произведения, регистрируются отдельно только, если они где-либо напечатаны отдельно или принадлежат не тому автору, который перевел все произведение. Ранее напечатанные отрывки произведения, впоследствии изданного целиком, обозначены по техническим причинам тем же шрифтом.

Везде, где удалось установить соответствие, приведены кроме названий переводов и названия немецких оригиналов. К сожалению спешность работы по составлению списка более всего отразилась именно на этой части работы, и остались неуказанными немецкие заглавия, для установления которых требовалось только время.

Кроме русского и немецкого заглавия для мелких стихотворений приводится первая строка перевода. Это сделано не только потому, что рекомендуется библиографическими инструкциями, но главным образом потому, что названия переводных стихотворений часто изменяются их авторами и редакторами при переходе из одного издания в другое, и так как мы этих переходов не регистрируем, то даем по крайней мере возможность идентификации стихотворений с разными заглавиями. С другой стороны, бывает, что одно стихотворение дважды переводится тем же поэтом под тем же заглавием, и здесь уже приведение первого стиха показывает неидентичность переводов. Кроме того первый стих дает возможность диференцировать одноименные анонимные переводы и компенсирует невыразительность заглавий типа «Из Гете», «Подражание Гете», «На мотив Гете» и т. п.

Из «подражаний» зарегистрированы те, которые текстуально базируются на каком-либо гетевском оригинале, но не включены такие самостоятельные произведения с гетевскими персонажами, как «Сцена из Фауста» Пушкина или многочисленные стихотворения, начинающиеся словами «Ты знаешь край» и воспевающие разнооб-

разные местности; здесь кроме ставшего поэтической формулой зачина «Ты знаешь край» нет никакой близости к соответствующему стихотворению Гете.

Указания «Из Гете», «Перевод» и т. п. вносятся только, когда они являются заглавием, указания же на то, что данная вещь—подражание произведению Гете, всегда включаются в описание.

Собрания сочинений, на которые делаются ссылки, описываются подробно только при первой дате данного переводчика; в дальнейшем они называются сокращенно: П. с. с. (Полное собрание сочинений), П. с. ст. (Полное собрание стихотворений), Соч. (Сочинения), Стих. (Стихотворения), Перев. (Переводы); к этому названию прибавляются цифры без буквенных пояснений: римские цифры означают том, часть, книгу и т. д., арабские—страницу.

При ссылках на некоторые собрания сочинений Гете нами приняты следующие обозначения:

Б—Сочинения Гете. 3 вып. (III вып. в трех тетрадях с отд. титульными листами).—П. 1842—1843. (Переводы, помещенные в этом издании, мы приписываем И. Бочарову на основании рецензии В. Межевича в № 172 «Северной пчелы» за 1842 г.

В[1]—Сочинения Вольфганга Гете в русском переводе под ред. Петра Вейнберга. 6 тт. П. 1865—1871.

Г—Собрание сочинений Гете в переводе русских писателей, изд. под ред. Ник. Вас. Гербеля. 10 тт. П. 1878—1880.

В[2]—Собрание сочинений Гете в переводе русских писателей. 2-е изд. под ред. Петра Вейнберга. 8 тт. П. 1892—1895.

О—В. Гете в трех томах под ред. А. Е. Грузинского. М. «Окто» 1912 («Европейские классики»).

Кроме указанных существуют еще следующие собрания сочинений Гете:

Сочинения Вольфганга Гете в русском переводе под ред. Петра Вейнберга. Изд 2-е. Тт. I—III. П. 1875—1876.

Гете, его жизнь и избранные стихотворения. П. А. С. Суворин. 1887. 140 стр. То же, изд. 2-е, значительно дополненное. П. 1889, 262 стр.

Иоганн-Вольфганг Гете (1749—1832). Биографический очерк поэта с приложением отрывков из его произведений. М. Общ. распространения полезных книг. 1901. 48 стр.

Лирика. Переводы русских поэтов. Ред. и вступительная статья Б. В. Гиммельфарба. М.-Л. ОГИЗ. 1931. 127 стр. (Дешевая библиотека классиков).

Гете. Собрание сочинений в тринадцати томах. Юбилейное изд. под общей ред. Л. Б. Каменева, А. В. Луначарского и М. Н. Розанова. Вступит. статья А. В. Луначарского. Тт. I и II. М.-Л. ГИХЛ. 1932.

В. Гете. Лирика. Переводы С. Шервинского. М. Журнально-газетное объединение. 1932.

Произведения, опубликованные в двух последних собраниях, за исключением посмертных стихотворений Брюсова из первого тома юбилейного издания, в наш указатель не включены. Не включены в него также произведения впервые печатаемые в этом номере «Литературного Наследства».

При ссылках на оригиналы приняты следующие сокращения:

V. J.—Vier Jahreszeiten.
WOD—West-Oestlicher Divan.
W. d. B.—Weissagungen des Bakis.
Z. M.—Zur Morphologie.

Цифры при названиях оригиналов обозначают: римские—более крупные деления (часть, книга, действие), арабские—более мелкие (явление, глава и т. п.). Для ссылок на первую часть «Фауста» мы перенумеровали сцены; таким образом цифры соответствуют следующим сценам:

I, 1—Nacht. (Faust. Habe nun, ach! Philosophie...)
I, 2—Vor dem Thor.
I, 3—Studirzimmer. (Faust. Verlassen hab'ich Feld und Auen).
I, 4—Studirzimmer. (Faust. Es klopft? Herein! Wer will mich wieder plagen?).
I, 5—Auerbachs Keller in Leipzig.
I, 6—Hexenküche.
I, 7—Strasse (Faust. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen...)
I, 8—Abend.
I, 9—Spaziergang.
I, 10—Der Nachbarin Haus.
I, 11—Strasse. (Faust. Wie ist's? Will's fördern? Will's bald gehn?)
I, 12—Garten.
I, 13—Ein Gartenhäuschen.
I, 14—Wald und Höhle.
I, 15—Gretchens Stube.
I, 16—Marthens Garten.
I, 17—Am Brunnen.
I, 18—Zwinger.

I, 19—Nacht. (Valentin. Wenn ich so sass bei einem Gelag...)
I, 20—Dom.
I, 21—Walpurgisnacht.
I, 22—Walpurgisnachtstraum.
I, 23—Trüber Tag. Feld.
I, 24—Nacht, offen Feld.
I, 25—Kerker.

При ссылках на журналы нами приняты следующие сокращения:

«Б. для чт.»—«Библиотека для чтения».
«В. Е.»—«Вестник Европы»
«В. ин. л.»—«Вестник иностранной литературы».
«Жив. об.»—«Живописное обозрение».
«Илл.»—«Иллюстрация».
«Л. пр. к Р. инв.»—«Литературные прибавления к «Русскому инвалиду».
«Лит. г.»—«Литературная газета».
«М. в.»—«Московский вестник».
«М. набл.»—«Московский наблюдатель».
«М. тел.»—«Московский телеграф».
«Москв.»—«Москвитянин».
«О. з.»—«Отечественные записки».
«Р. в.»—«Русский вестник».
«Р. и п.»—«Репертуар и пантеон».
«Р. м.»—«Русская мысль».
«Р. об.»—«Русское обозрение».
«Р. сл.»—«Русское слово».
«Р. сц.»—«Русская сцена».
«С. от.»—«Сын отечества».
«Сев. в.»—«Северный вестник».
«Совр.»—«Современник».

Кроме основного списка, в котором переводы расположены в порядке алфавита переводчиков, дан указатель немецких заглавий. При расположении немецких заглавий по алфавиту инверсирован определенный член во всех падежах.

Составитель приносит благодарность за ряд ценных библиографических указаний В. М. Жирмунскому и С. А. Рейсеру и за любезное содействие при использовании новых описаний русских книг Гос. Публичной Библиотеки в Ленинграде редактору каталога Н. Н. Мустафиной.

Библиографические результаты разысканий В. М. Жирмунского, изложенные в его статье в этом же номере «Литературного Наследства», а равно и те разыскания, на которые он ссылается в этой статье, использованы в указателе без особых ссылок.

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕВОДОВ

АВЕРКИЕВ Д.

Границы человечества. Grenzen der Menschheit. «Когда предвечный...»—«Заря» 1871, № 7, пагин. I, стр. 101—103.

Коринфская невеста. Die Braut von Korinth. «Юный путник из Афин приходит...»—«Заря» 1869, № 10, пагин. III, стр. 1—8.

Муж да жена. Gutmann und Gutweib. «Вот подошел Мартынов день...»—«Заря» 1869, № 3, пагин. II, стр. 130—131.

Песнь духов над водами. Gesang der Geister über den Wassern. «Душа человека...»—«Заря» 1871, № 7, пагин. I, стр. 103—104. Подпись: Д. А.

Прометей. Prometheus. («Bedecke deinen Himmel...») «Греми, Зевес...»—«Заря» 1871, № 7, пагин. I, стр. 99—101.

АКСАКОВ К.

Из «Фауста». Faust I, 18. «Ах склони, Многоскорбящая...»—1) К. Аксаков. Сочинения. Т. I. П. 1915. Стр. 140. 2) «О. з.» 1839, т. 4, отд. III, стр. 82—83.

Из «Фауста». Faust. Из «Prolog im Himmel». «Рафаил. С мирами солнце съединяет...»—1) Сочин. I, 139. 2) «О. з.» 1839, т. 4, отд. III, стр. 241—242.

Из «Фауста». Faust. Из сцены I, 2. «Ручьи и потоки катятся свободно...»—1) Сочин. I, 141—142 (в «Сочинениях» напечатано как два стихотворения; второе—начинается со слов: «Оглянись и с высоты...»). 2) «Москв.» 1841, ч. 1, стр. 61—62.

Из «Фауста». Faust. Из сцены I, 2. «Фауст. О счастлив тот, кто верует мечтам...»—1) Сочин., I, 137—138. 2) «О. з.» 1839, т. 5, отд. III, стр. 1—2.

Коринфская невеста. Die Braut von Korinth. «Юноша, оставивши Афины...»—Сочин. I, 146—148.

Магадэва и баядера. (Индийская легенда). Der Gott und die Bajadere. «В шестой раз отец творенья...»—1) Сочин. I, 132—134. 2) «М. набл.» 1838, ч. 17, стр. 16—19. Подпись: К. А.

На озере. Auf dem See. «Как освежается душа...»—1) Сочин. I, 130. 2) «М. набл.» 1838, ч. 16, стр. 92—93.

«Не иссыхайте, не иссыхайте...» Wonne der Wehmuth.—Сочин. I, 144.

Новая любовь, новая жизнь. Neue Liebe, neues Leben. «Сердце, сердце, что с тобою?..»—1) Сочин. I, 129. 2) «М. набл.» 1838, ч. 16, стр. 45—46.

Пастух. Schäfers Klagelied. «Там, на горе, так высоко...»—Сочин. I, 143—144.

Певец. Der Sänger. «Что слышу там я за стеной...»—1) Сочин. I, 136—137. 2) «Одесский альманах на 1840 г.», стр. 201 — 203.

Посещение. Der Besuch. «К милой я хотел притти сегодня...»—Сочин. I, 144—146.

Рыбак. Der Fischer. «Волна идет, волна шумит...»—1) Сочин. I, 135—136. 2) «М. набл.» 1839, ч. 1, стр. 32—33.

Спасение. Rettung. «Мне изменил друг милый мой...»—Сочин. I, 142—143.

Счастливый путь. Glückliche Fahrt. «Туманы редеют...»—1) Сочин. I, 135. 2) «М. набл.» 1839, ч. 1, стр. 24.

Тишина на море. Meeres Stille. «Тишина легла на воды...»—1) Сочин. I, 135. 2) «М. набл.» 1839, ч. 1, стр. 15—16.

Утренние жалобы. Morgenklagen. «Ветреная девушка, скажи мне...»—1) Сочин. I, 130—132. 2) «М. набл.» 1838, ч. 16, стр. 268—270.

Элегия. Römische Elegien. XIV. «Мальчик! зажги мне огня!—Светло еще, тратишь ты только...»—Сочин. I, 144.

АЛМАЗОВ Б.

Восток. Hegire (WOD. Buch des Sängers). «Запад, Юг в крови дымятся...»—1) Б. Алмазов. Сочинения. Т. I. М. 1892. Стр. 28. 2) «Заря» 1870, № 9, отд. I, стр. 143—144.

Классики. Studien. «Природа—жизнь и мать искусства...»—Сочин. I, 22.

Рим (Из Римских элегий Гете). Römische Elegien. I. [Подражание]. «Ты ль это, царственный Рим? Да, это ты, вечный город...»—1) Сочин. I, 20—21. 2) «Заря» 1871, № 1, отд. I, стр. 133—134.

АННЕНСКИЙ И.

Из Гете. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln...»). «Над высью горной...»—И. Анненский. Посмертные стихи. П. 1923. Стр. 137.

АНОСОВА Т.

Фауст. трагедия. Ч. II. Faust, II. Житомир. 1883. 368 стр.

АРАПОВ П.

Певец. Баллада. Der Sänger. «Что слышу я перед дворцом?»—«Радуга, литер. и музык. альманах на 1830 г.» Отд. II, стр. 3—5.

АРЕФЬЕВ Ф.

Герман и Доротея. Поэма в IX песнях. Hermann und Dorothea. [Перев. в прозе]. М. 1842. VIII, 155 стр.

Душа. Gesang der Geister über den Wassern. «Душа человека...»—Г I, 75—76.

БАЛЬМОНТ К.

Границы человечества. Grenzen der Menschheit. «Когда престарелый...»—«Жизнь» 1899, т. 9, стр. 3—4.

Из «Фауста» Гете. Faust. Из сц. I, 4 (Начало сцены).—«Почин. Сборник общества любит. росс. словесности на 1895 г.» М. 1895. Стр. 131—134.

Ночь. Faust. Из сц. I, 1. «Ну вот, изведан знаний круг...»—«Почин. Сборник общ. любит. росс. словесности на 1896 г.». М. 1896. Стр. 45—50.

«О как ликует...» Mailied.—«Помощь голодающим». Научно-лит. сборник. М. 1892. (В статье Н. Стороженко «Юношеская любовь Гете»). Стр. 509.

«Осенний, серый день на небе...» «Ein grauer, trüber Morgen...»—«Помощь голодающим», стр. 505.

Прометей. Prometheus. («Bedecke deinen Himmel...») «Закрой, Зевес, парами облаков...»—«Р. м.» 1896, кн. 6, стр. 70.

Сцены из I части «Фауста» Гете. Faust. Zueignung; I, 14, 20, 23, 24, 25.—«Жизнь» 1899, т. 9, стр. 17—32.

«Так я на век тебя утратил?..» An die Entfernte.—«Помощь голодающим», стр. 512.

«Я скоро-скоро буду с вами!» Nach Sesenheim.—«Помощь голодающим», стр. 506.

БЕК И.

Отрывки из «Фауста». Faust. I, 1, 2.—«Совр.» 1837, т. 6, стр. 301—338. Подпись: Э. Губер. (О истории этой ошибки см. в «Критико-биогр. словаре» С. А. Венгерова, т. II, стр. 384—385. П. 1891).

БЕНЕДИКТОВ В.

«Гремят барабаны...» «Die Trommel gerühret...» (Egmont)—B[1] II, 184 (в перев. «Эгмонта»).

«И радость! И горе!..» «Freudvoll und leidvoll...» (Egmont)—B[1] II, 234 (в перев. «Эгмонта»).

БЕРГ Н.

Из «Фауста». Faust. Из сц. I, 1. «В а г н е р. О я остался бы и доле...»—1) Н. Берг. Переводы и подражания. П. 1860. Стр. 179—187. 2) «Б. для. чт.» 1858, т. 148, отд. I, стр. 183—188.

БЕРГ Ф.

Певец (Из В. Мейстера Гете). Harfenspieler («Wer sich der Einsamkeit ergiebt...») «Ах! кто захочет жить один...»—«Б. для чт.» 1864, март, пагин. IV, стр. 18.

БОРИСОВ А.

Призраки прошлого. Faust. Zueignung. «Вы близко вновь, туманные виденья...»—«Жив. об.» 1896, № 19, стр. 406.

БОРН И.

Близость любезного. Nähe des Geliebten. «Ты мысль моя, когда от моря луч...»—«Свиток муз», кн. II. П. 1803. Стр. 24.

Здравствуй и прощай. Willkommen und Abschied. «Сердце билось, сел верхом...»—«Свиток муз», кн. I, П. 1802. Стр. 102—103.

Прекрасная ночь. Die schöne Nacht. «Оставляю домик сей...»—«Свиток муз», кн. I. П. 1802. Стр. 91.

Прощание. Der Abschied. («Lass mein Aug den Abschied sagen...») «Пусть про-

ститея глаз с тобою...»—«Свиток муз», кн. I. П. 1802. Стр. 41.

БОЧАРОВ И.

Брат и сестра. Комедия в 1 д. Die Geschwister.—Б I, отд. I, стр. 1—24. [Все переводы в этом издании анонимны. Об основаниях приписания их. И. Бочарову см. в предисловии к указателю].

Добрые женщины. Die guten Weiber—Б I, отд. II, стр. 1—27.

Заклад. Комедия в 1 д. Die Wette—Б II, отд. I, стр. 8—100.

Значение индивидуального—Б I, отд. IV, стр. 1—2.

Из моей жизни (Отрывок). Aus meinem Leben. Fragmentarisches.—Б I, отд. IV, стр. 3—7.

Из письма к консулу Шенборну в Алжире—Б I, отд. IV, стр. 11—12.

Клавиго. Трагедия. Clavigo—Б I, отд. I, стр. 25—82.

Коцебу.—Б I, отд. IV, стр. 8—10.

Новелла. Novelle.—Б II, отд. II, стр. 29—53.

О Лаокооне. Ueber Laokoon—Б I, отд. III, стр. 8—23.

Об эпической и драматической поэзии. Ueber epische und dramatische Dichtung—Б II, отд. III, стр. 25—28.

Отрывки об Италии. Ueber Italien—Б II, отд. IV, стр. 15—22.

Правила для актеров. Regeln für Schauspieler—Б II, отд. III, стр. 47—65.

Простое подражание природе, манера, стиль—Б I, отд. III, стр. 1—7.

Свидание с Иффландом во время моего путешествия чрез Мангейм в Швейцарию в 1776 г.—Б I, отд. IV, стр. 13—14.

Стэлла, трагедия. Stella.—Б II, отд. I, стр. 101—156.

Ученические годы Вильгельма Мейстера. Wilhelm Meisters Lehrjahre.—Б III [Перевод оборван на IV главе II книги].

Отрывок из «Вильгельма Мейстера» (I, 1—5)—«Р. и п.» 1843, кн. 2, стр. 120—133.

Шекспир—Б II, отд. III, стр. 29—46.

Ergo bibamus. Ergo bibamus. «На доброе дело мы здесь собрались...»—И. Бочаров. Стихотворения. П. 1842. Стр. 15—16.

БРАНДТ Р.

Песнь луне. An den Mond. «Снова льешь на лес и дол...» Орест Головнин. Переложения. Киев. 1886, стр. 54—55.

БРЖЕСКИЙ А.

Песня. Selbstbetrug. «У соседки занавесь...»—«Илл.» 1848, т. 6, стр. 211.

Подражание из Гете. Epigramme (Venedig 1790). 12. «Много песчинок на взморье...»—«Илл.» 1846, т. 3, стр. 753.

БРЮСОВ В.

«Весь Восток до края—божий!..» Talismane (WOD. Buch des Sängers).—Гете. Собрание сочинений. Т. I. М.-Л. 1932. Стр. 608—609.

Из второй части Фауста. Faust. Из сц. II, 1,2 и II, 1,4.—«Лит. г.» 1932, № 14 (183).

Ночная песнь странника. Wandrers Nachtlied («Ueber allen Gipfeln...») «На всех вершинах...»—В. Брюсов. Опыты по метрике и ритмике. М. 1928. Стр. 72.

Свидание и разлука. Willkommen und Abschied. «Звал сердца стук: в седло скорее!»—Гете. Собр. соч. Т. I. М.-Л. 1932. Стр. 541—542.

Фауст. Faust I. Перевод Валерия Брюсова. Ред. и комментарии А. В. Луначарского и А. Г. Габричевского. М.-Л. Госизд․ 1928. 348 стр. (Русские и мировые классики. Под общей ред. А. В. Луначарского и Н. К. Пиксанова).

«Что ж еще нам, мандаринам...» Chinesisch-deutsche Tages- und- Jahreszeiten.1.—Гете. Собр. соч. Т. I. М.-Л. 1932. Стр. 663.

БУТКОВСКИЙ Я.

Reinecke Fuchs. 1) Рейнеке-Лис. Заимствовано с немецкого. Переложение Я. Н. Бутковского. П. Мясников и Бутковский. 1883. 208 стлб. 2) Похождения Рейнеке-Лиса. Поэма. Перевод Я. Бутковского. С.-Петербургское изд-во 1887. 309 стр. 3). Бутковский, Я. Рейнеке-Лис. Заимствовано из поэмы Гете. П. 1902. 12 стр. 4) Рейнеке-Лис. Поэма в переводе Я. Н. Бутковского. П. А. А. Каспари. 1903. 140 стр. (Книга «Родины» 1903 г. № 13).

ВАНЕЦКИЙ О.

Из Гете. Meeres Stille. «Тишь глубокая на водах...»—«Семейный круг» 1858, № 3, стр. 10.

ВАЙСБЛИТ И.

Лис Патрикеевич. Reinecke Fuchs. Передано [в прозе] И. Вайсблитом. Киев. П. И. Бонадурер. [1913]. 155 стр. (Сказочная библиотека).

ВВЕДЕНСКИЙ А.

Проказы Лисы-Патрикевны. По поэме И. В. Гете. (В стихах). Reinecke Fuchs. Переделка для юных читателей Дяди Саши (А.М. Введенского). М. Журнал «Малютка». 1913. 94 стр.

ВЕЙНБЕРГ П.

Диллетант и критик. Dilettant und Kritiker. «У мальчика был голубок — такая...»—1) B^2 I, 262. 2) «Жив. об.» 1890, № 40, стр. 210.

Кристель. Christel. «Подчас больна душа моя...»—B^2 I, 67—68.

Кубок. Der Becher. «Полный кубок с чудною резьбою...»—B^2 I, 100—101.

Молодой дворянин и мельничиха. Der Edelknabe und die Müllerin. «Д в о р я н и н. Куда, куда поспешно так...»—1) B^2 I, 117—118. 2) «Р. об.» 1890, т. 4, стр. 649—650.

Новый Амадис. Der neue Amadis. «С детства в комнате одной...»—В² I, 63—64.

О правде и правдоподобности в художественных произведениях. Разговор. Ueber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke.—В² VII, 421—425.

Обоготворение художника. Драма. Des Künstlers Vergötterung.—В² II, 147—148.

Парк Лили. Lilis Park. 1) «Обойдите все страны земли...»—В² I, 87—91. 2) «Сев. в.» 1890, № 11, стр. 249—253.

Писатели. Autoren. «Вдоль ручья, на зеленом лужке...»—1) В² I, 263. 2) «Жив. об.» 1890, № 41, стр. 226.

Подмастерье и мельничный ручей. Der Junggesell und der Mühlbach. «Подмастерье. Куда, прозрачный ручеек...»—1) В² I, 118—120. 2) «Р. об.» 1890, т. 4, стр. 651—652.

Рецензент. Recensent. «Здесь у меня на этих днях...»—1) В² I, 262—263. 2) «Жив. об.» 1890, № 43, стр. 266.

Степная розочка. Heidenröslein. «Мальчик степью шел за ней...»—В² I, 62—63.

Фауст. Трагедия. Faust. 1) Перевод прозой Петра Вейнберга с его примеч. и с новейшими иллюстрациями. П. Редакция «Нового журнала иностр. литературы». 1902. 247 стр. 2) Перев. в прозе Петра Вейнберга с примеч. переводчика. П. «Знание». 1904. 468 стр.

Шекспир—и без конца Шекспир. Shakespeare und kein Ende.—В² VII, 426—433.

ВЕНЕВИТИНОВ Д.

Апофеоза художника. Künstlers Apotheose.—Д. Веневитинов. Полное собр. соч. П. 1862. Стр. 127—139.

Земная участь художника. Künstlers Erdewallen.—П. с. с., 121—126.

Монолог Фауста. Faust. Из сц. I, 14. «Всевышний дух! ты все, ты все мне дал...»—1) П. с. с., 146—148. 2) «М. в.» 1827, ч. 1, стр. 11—12.

Песнь Маргариты. Faust. I, 15. «Прости, мой покой!»—П. с. с., 145—146.

Сцены из Эгмонта. Из «Egmont».—П. с. с., 240—260.

На стр. 251 стихотв. «Стучат барабаны...» («Die Trommel gerühret...»)—«Денница на 1830 г.», стр. 64.

Фауст и Вагнер. Faust. Из сц. I, 2. «Ф а у с т. Блажен, кто не отверг надежды...»—П. с. с., 141—144.

ВЕРДЕРЕВСКАЯ С.

Герман и Доротея. Hermann und Dorothea. С немецкого перевела [прозой] С. Вердеревская. С рис. М. И. Д. Сытин. 1904. 83 стр.

ВЕРЕСАЕВ В.

«Безумство к юности идет...»—В. Вересаев. Полное собрание сочинений. Т. XII М. 1928. Стр. 203.

«Бесплодно твой горит во мраке пламень».—П. с. с. XII, 200.

Блаженная тоска. Selige Sehnsucht. (WOD. Buch des Sängers). «Речь моя к одним лишь мудрым!..»—П. с. с. XII, 196—197.

Бодрость. Muth. «Через равнину беспечно вперед...»—П. с. с. XII, 193.

«В мороз наш пруд я видел...».—П. с. с. XII, 200.

«В недрах матери, во глубине души...»—П. с. с. XII, 196.

«В час ночной, когда в молчаньи...»—П. с. с. XII, 196.

«Вам поэт не на зло правит...»—П. с. с. XII, 217.

Во всяком случае. Физику. Allerdings. Dem Physiker. «Не сможет внутрь природы никогда...»—П. с. с. XII, 204.

«Возможно ли измыслить бога хуже...»—П. с. с. XII, 197.

«Возможно ли что-либо выше назвать...» П. с. с. XII, 200.

«Возможно ли это, любовь моя, греза?..» «Ist's möglich, dass ich...» (WOD. Buch Suleika)—П. с. с. XII, 213.

Вражеский взгляд. Feindseliger Blick (Epigrammatisch) «В твоих глазах и злость и страх...»—П. с. с. XII, 221.

Впуск. Einlass. (WOD. Buch des Paradieses). «Г у р и я. У ворот блестящих рая...»—П. с. с. XII, 214—215.

«Все мы равно изнываем от жажды...»—П. с. с. XII, 202.

«Все ты хандришь, о несбыточном мыслишь...»—П. с. с. XII, 194.

«Все, что угодно, в мире сносней...»—П. с. с. XII, 195.

Gingo biloba. Gingo biloba (WOD. Buch Suleika). «Это дерево доверил...»—П. с. с. XII, 215.

«Глуп, кто историческим подобьям...»—П. с. с. XII, 202.

«Глядит ребенок наш кругом...» «Wenn Kindesblick...» (Zahme Xenien)—П. с. с. XII, 218—219.

«Гораздо легче венок сплести...»—П. с. с. XII, 219.

«Да, от совершенства я далек...»—П. с. с. XII, 216—217.

«Дайте мне делом упиться...»—П. с. с. XII, 218.

«Д о б р а лишиться—малого лишиться...»—П. с. с. XII, 194.

«Если хочешь в Бесконечном находиться...»—П. с. с. XII, 197.

Жизнь и искусство. (Сонет). Natur und Kunst. «На вид искусство с жизнью несовместно...»—П. с. с. XII, 211—212.

«Зачем глядишься в зеркало так зло?..» «Was hat dir das arme Glas gethan?» (Sprüche).—П. с. с. XII, 220.

«Зачем на север смотрится игла?..» «Was will die Nadel nach Norden gekehrt?..» (Sprüche)—П. с. с. XII, 198.

«Ты слишком долго каштан свой пек...»— П. с. с. XII, 220.

«Ты так беспечно бодр всегда...»—П. с. с. XII, 217.

«Тысячу мух я избил ввечеру...» «Tausend Fliegen hatt'ich...» (Sprüche)—П. с. с. XII, 220.

«Тяжелый выпал в жизни нам удел...»— П. с. с. XII, 218.

«Упейся тем, что скорбь дала тебе в остатке...»—П. с. с. XII, 195.

Условие. «Вы пристаете: «дай совет!»— П. с. с. XII, 201.

Хвалите ж бога, времени сыны...» «Drum danket Gott, ihr Sohne der Zeit...» (Sprüche)—П. с. с. XII, 198.

Ход вещей. Lauf der Welt. «Когда еще я молодым...»—П. с. с. XII, 222.

Человеческое чувство. Menschgefühl. «О властительные боги...»—П. с. с. XII, 193.

«Чистой рифмою не дорожить нельзя...» П. с. с. XII, 203.

«Что есть филистер?..»—П. с. с. XII, 201.

«Я знаю, кого вы усердно так славите!..» П. с. с. XII, 219.

«Я мастеров всегда усердно сторонился!...»—П. с. с. XII, 203.

«Я рад оригинальным быть...»—П. с. с. XII, 219.

«Я—эгоист? Оставьте, ради бога!..» «Ich, Egoist!..» (Sprüche)—П. с. с. XII, 218.

ВИНОГРАДОВ И.—см. ГАЛЧЕНКОВ Ф.

ВОДОВОЗОВ В.

Ифигения в Тавриде. Трагедия. Iphigenie auf Tauris. 1) П. 1857. 84 стр. [Оттиск. См. 4]. 2) П. Я. А. Исаков. 1874. 108 стр. (Классная библиотека. Лит. пособие для ср.-уч. зав. Вып. 10.) 3) П. 1888. 108 стр. (Классная библ. Лит. пос. для ср.—уч. зав. Вып. 11.). 4) «Журнал Мин. Нар. Просв.» 1857, ч. 94, отд. II, стр. 109—192.

Свидание и разлука. Willkommen und Abschied. «Как бьется сердце! на коня живее...»—1) В. Водовозов. Переводы в стихах и оригинальные стихотворения. П. 1888. Стр. 399—400. 2) «Б. для чт.» 1856, т. 138, отд. III, стр. 152—153.

ВОСТОКОВ А.

Надежда. «Молюсь споспешнице Надежде...»—А. Востоков. Стихотворения. П. 1821. Стр. 208.

ВРАНГЕЛЬ Н.

Фауст. Трагедия. Faust, I. П. 1889. 203 стр.

ВРОНЧЕНКО М.

Фауст. Faust, I. 1) Трагедия. Перевод первой и изложение второй части. П. 1844. IV, 432 стр. 2) Драматич. поэма в двух частях. Текст I части. Изложение II части Объяснит. статьи. П. И. Глазунов. 1900. VI, 196 стр. (Русская классная библ., изд. под ред. А. Н. Чудинова. Серия 2-я. Классич. произвед. иностр. литератур в переводах русских писателей. Вып. 19).

ВЯЗЕМСКИЙ П.

Гондола. Подражание Гете. Epigramme (Venedig 1790). 8. «Гондола колыбелью зыбкой...»—П. Вяземский. Полное собр. сочинений. Т. XI. П. 1887. Стр. 83.

Сицилийская песня. Sicilianisches Lied. «Этим глазкам, черным глазкам...»— П. с. с. XI, 218.

ГАЛЧЕНКОВ Ф.

Страсти молодого Вертера. Die Leiden des jungen Werther. Переведена с Немецкого. Ч. 1—2. 1) П. 1781. 249 стр. 2) 2-м тиснением. П. 1794. 249 стр. 3) Страсти молодого Вертера, с присовокуплением писем Шарлотты к Каролине, писанных во время ее знакомства с Вертером. Вновь переведенные. В 2-х частях. Спб. Иждивением Т. Полежаева и Г. Зотова. 1796. [Тот же перевод, исправленный, повидимому, И. Виноградовым]. 242, 230 стр. 4) Изд. 2-е. В 4-х частях. М. 1816. 158, 157, 136, 158 стр. [Во всех изд. без указания переводчика. Существование указываемых Сопиковым изданий 1798 и 1817 гг. составитель не имел возможности проверить.]

ГАЛЬПЕРИН М.

«Гурия. Я стою у двери рая...»— О I, 37—38.

«Зулейка. Снилось мне, что в глубь Евфрата...» «Suleika. Als ich auf dem Euphrat schiffte...» (WOD. Buch Suleika).— О I, 37.

«Нам опьяненность всем нужна...» «Trunken müssen wir...» (WOD. Das Schenkenbuch.)—О I, 37.

Песнь мая. Mailied («Wie herrlich leuchtet...») «Как дивно светит...»—О I, 4—5.

Ушедшей. An die Entfernte. «Так это правда? Неужели...»—О I, 23.

Хатэм и Зулейка. «Locken, haltet mich umfangen» (WOD. Buch Suleika). «Кудри, вейтесь все резвее...»—О. I, 36—37.

ГЕРБЕЛЬ Н.

Амур. «Amor, du eigensinniger...» (Italienische Reise). «Амур, легкомысленный, дерзкий, упрямый и хитрый мальчишка...»—1) Н. Гербель. Полное собрание стихотворений. Т. II. П. 1882. Стр. 174. 2) «В. Е.» 1879, т. 1, стр. 5.

Блуждающий колокол. Die wandelnde Glocke. «Ребенок в церковь не любил...»— П. с. ст. II, 173.

Боги, герои и Виланд. Сцена. Götter, Helden und Wieland.—Г III, 272—292.

Брат и сестра. Комедия в 1 действии. Die Geschwister.—Г III, 255—275.

Гец фон Берлихинген, Железная рука. Трагедия в 5 д. Götz von Berlichingen—Г III, 1—116.

Добрые женщины. Повесть. Die guten Weiber.—Г VIII, 321—346.

Извинение. Entschuldigung. «Ты упрекаешь жену—зачем льнет то к тому, то к другому...»—Г IX, 139.

Купидон. «Mit Pfeilen und Bogen...» (Götz v. Berlichingen)—П. с. ст. II, 174—175.

Лаокоон. Статья. Ueber Laokoon.—Г VIII 347—360.

Лиде. An Lida. «Лида, кого полюбить одного лишь могло твое сердце...»—П. с. ст. II, 176.

Миньона. Mignon («Kennst du das Land..») «Ты знаешь ли тот край, где апельсин с лимоном...»—«Пантеон» 1855, т. 20, кн. 3, отд. III, стр. 1.

Миньона. Mignon. («Kennst du das Land...») «Ты знаешь край, где рдеет померанец...»—1) П. с. ст. II, 169—170. 2) «В. Е.» 1875, Т. 3, стр. 671.

Перед судом. Vor Gericht. «Кто мой желанный,—умру—не скажу я...»— В[1] I, 368—369.

Перед судом. Vor Gericht. «Кто он—вам того никогда не узнать...»—1) П. с. ст. II, 170. 2) «В. Е.» 1874, т. 3, стр. 85.

Песня Клары. «Die Trommel gerühret» (Egmont). «Гремят барабаны...»—П. с. ст. II, 175—176.

Песня Клары. «Freudvoll und leidvoll» (Egmont). «И веселых, и тяжолых...»—Г I, 22.

Посещение. Der Besuch. «Подхожу к дверям моей я милой...»—1) П. с. ст. II, 171—172. 2) «Еженед. Новое время» 1879, т. I, стр. 508—509.

Римские элегии. Römische Elegien. III, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX.—П. с. ст. II, 177—180.

Тайная вечеря Леонарда да-Винчи. Критич. ст. Joseph Bossi. Ueber Leonard da Vinci Abendmahl zu Mailand.—Г VIII, 361—394.

Угрозы. Verschiedene Drohung. «Я в лес пошел за черноокой...»—В[1] I, 393.

Угрозы. Verschiedene Drohung. «Однажды в рощу я забрел...»—1) П. с. ст. II, 176. 2) «Отголоски» 1858, ч. 1, стр. 137.

Утренняя песнь художника. Künstlers Morgenlied. «Вам, музы чистые, давно...»—Г IX, 15—17.

Царская молитва. Königlich Gebet. «Я царь земли—меня боготворят...»—П. с. ст. II, 174.

Чудная ночь. Die schöne Nacht. «Я с тоскою покидаю...»—1) П. с. ст. II, 170—171. 2) «В. Е.» 1877, т. 6, стр. 738.

Эгмонт. Трагедия в 5 д. Egmont.—Г III, 117—208.

ГИЛЯРОВСКАЯ Н.

Герман и Доротея. Hermann und Dorothea.—О II, 11—58.

ГЛЕБОВ А.

Неразлучность с любезным. Nähe des Geliebten. «Я мыслю о тебе, когда луч солнца знойный...»—«В. Е.» 1824, сент. и окт., стр. 44—45.

ГОЛОВАНОВ Н.

Фауст. Faust. 1) М. А. А. Карцев. 1889. 214 стр. [I часть]. 2) Изд. 2-е, испр., с обширными комментариями, составл. по Юрьеву, Дюнцеру, Каро, Куно Фишеру, Каррьеру и др. М. С. С. Мошкин. 1898. [749 стр.] [ч. I и II]. 3) М. 1899. 2 т. («Поэты—мыслители». Серия иллюстрированных и комментированных европейских классиков»). 4) Изд. 4-е ч. I. М. 1900 («Поэты-мыслители. Серия илл. и комм. европ. классиков»). 188 стр.

Первая сцена второй части «Фауста» Гете. Faust II, 1.—«Сборник в пользу недостаточных студентов Моск. Университета». М. 1897. Стр. 106—109.

ГРЕКОВ Н.

Фауст. Трагедия. Faust, I. 1) П. 1859. 152 стр. 2) Изд. 2-е. М. 1871. 227 стр.

1) I, 1—«О. з.» 1858, т. 116, отд. I, стр. 497—514. 2) I, 4—«О. з.» 1858, т. 119, отд. I, стр. 35—52. 3) I, 12, 13, 18—«Р. и п.. 1847, т. 5, пагин. IV, стр. 1—31. 4) I,15—«Р. и п.» 1847, т. 4, отд. И, стр. 121—122. 5) I, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20.—«О. з.» 1857, т. 113, стр. 219—238. 6) I, 25—«О. з.» 1856, т. 117, отд. I, стр. 101—108.

ГРИБОЕДОВ А.

Отрывок из Гете. Faust. Vorspiel auf dem Theater—1) А. С. Грибоедов. Полное собрание сочинений. Т. I. П. 1911. Стр. 9—13. 2) «Полярная звезда на 1825 г.», стр. 306—312.

ГРИГОРЬЕВ А.

Божественное. Das Göttliche. «Прав будь, человек...»—1) А. Григорьев. Стихотворения. М. 1916. Стр. 44—45. 2) «Р. и п.» 1845, т. 11, стр. 273—274.

Вильгельм Мейстер. «Wilhelm Meisters Lehrjahre» I. II.—«Москв.» 1852, т. 1, отд. II, стр. 1—46; т. 2, отд. II, стр. 1—36; т. 3, отд. II, стр. 1—18; т. 6. отд. II, стр. 14—48.

«Внутри души своей живущей...» Из «Vermächtniss». («Kein Wesen kann...»)—1) А. Григорьев. Собрание соч. Вып. 10. М. 1915. Стр. 89. 2) «Р. сл.» 1859, VI, отд. II, стр. 43.

«Единого, Лилли, кого ты любить могла...» An Lida.—«Москв.» 1851, ч. 4, отд. I, стр.7.

«Кто со слезами свой хлеб не едал...» Harfenspieler («Wer nie sein Brot»)—

Москв.» 1852, т. 6, отд. II, стр. 41. [В перев. «Вильгельма Мейстера».]

Лесной царь. Erlkönig. «Кто мчится так поздно под вихрем ночным...»— 1) Стих., 508—509. 2) «Москв.» 1851, ч. 4, отд. I, стр. 7.

Молитва парии. Paria. I. Des Paria Gebet. «Вечный Брама, Боже славы...»— 1) Стих., 47—48. 2) «Р. и п.» 1845, т. 11, стр. 228.

«О, кто одиночества жаждет...» Harfenspieler («Wer sich der Einsamkeit...»)— «Москв.» 1852, т. 6, отд. II, стр. 42. [В перев. «Вильгельма Мейстера».]

Певец. Der Sänger. «Что там за песня на мосту...»—1) Стих., стр. 510—511. 2) «Москв.» 1852, т. 6, отд. II, стр. 34—35. [В перев. «Вильгельма Мейстера».]

Перемена. Wechsel. «На камнях ручья мне лежать и легко и отрадно...»— Стих., стр. 51.

Песня художников. «Голос. Снова ночь застала нас...»—1) Стих., 7—9. 2) «Илл.» 1845, т. 1, стр. 414.

Покаянье. «Sie mich, Heilger, wie ich bin...» (Erwin und Elmire) «Боже правый, перед Тобой...»—Стих., 49—50.

Похоронная песня. Trauerloge. «На пустынный жизни край...»—Стих., стр. 27.

ГРУЗИНСКИЙ А.

«В дни солнца и весны и света...»— О 1, 35.

Восходящей полной луне. «Хочешь ты меня покинуть?»—О 1, 41.

Из «Венецианских эпиграмм». Epigramme (Venedig. 1790). 1, 2, 5, 8, 14, 17, 20, 21, 29, 34, 35, 37, 47, 49, 51, 54, 56, 58, 84, 97.—О I, 24—27.

«Как? Преступлением было, что я вдохновлялся когда-то...» Hermann und Dorothea («Also das wäre Verbrechen...»)— О II, 9—10.

Любимец муз. Der Musensohn. «Чрез лес, луга и долы...»—О I, 7.

Прощание с «Фаустом». «Готов закончить я свое творенье...»—О I, 35.

ГУБЕР Э.

Границы человечества. Grenzen der Menschheit. «Когда всеведущий...»—Э. Губер. Сочинения. Т. I. П. 1859. Стр. 223—224.

Подражание Гете. «Лучшее в свете...»— Соч. I, 225.

Подражание Гете. «Пусть счастье с ним гостит...»—Соч. I, 225.

Странник. Der Wandrer. «Да благословит тебя...»—Соч. I, 226—232.

Фауст. Faust, I. 1) П. 1838. XXXIV, 248 стр. 2) Киев—Харьков. Ф. А. Иогансон [1899] XXVI, 325. («Всеобщая библиотека» № 19 и 20). 3) П. Г. Гоппе. [1902]. XXII, 151 стр. 4) П. (1908). 176 стр. (Бесплатное приложение к «Современному журналу». «Литературная библиотека»). 5) П. А. А. Каспари. (1909). 144 стр. (Беспл. прилож. к журн. «Родина»). 6) Киев. «Гонг» [1910]. 140 стр. (Библ. «Гонг» № 12—13). 7) Соч. II

1) Zueignung—«С. от.» 1838, т. 1, отд. I, стр. 18—19. 2) I, 14—«Совр.» 1837, т. 8, стр. 257—265. 3) I, 20—«Л. пр. к Р. инв.» 1838, № 9, стр. 166. 4) I, 25—«Альманах на 1838 г.», стр. 157—168.

[Отрывки в статье «Вторая часть Фауста»] Faust. Из II.—«Б. для чт.» 1840, т. 38, отд. I, стр. 173—218.

ДЕЛЬВИГ А.

Близость любовников. Nähe des Geliebten. « Блеснет заря, а все в моем мечтаньи...»—А. Дельвиг. Неизданные стихотворения. П. 1922. Стр. 94.

ДЕРЖАВИН Г.

Цепочка. Mit einem goldenen Halskettchen. «Послал я средь сего листочка...»—Г. Державин. Сочинения. 2-е акад. изд.. Т. II. П. 1869. Стр. 394.

ДМИТРИЕВ И.

Размышление по случаю грома. Grenzen der Menschheit. [Подражание]. «Гремит!.. благоговей, сын персти!»—1) И. Дмитриев. Сочинения. П. 1893. Стр. 232. 2) «Приятное и полезное препровождение времени» 1795, ч. VIII, стр. 209—210. [Без подписи, под заглавием: «На случай грома. Подражание Германскому Поэту Г. Гете».]

ДМИТРИЕВ М.

Божественность. Das Göttliche. «Будь благотворен...»—М. Дмитриев. Стихотворения. Ч. I. М. 1830. Стр. 126—129.

Водяные соловьи. Die Frösche. [Подражание]. «Столица древняя Лягушачья народа...»—1) Стих. I, 191—193. 2) «Памятник отечественных муз на 1827 г.» П. 1827. Стр. 235—237.

Гробница Анакреона. Anakreons Grab. «Где роза пышная живее расцветает...»— 1) Стих. I, 116. 2) «В. Е.» 1824, март и апрель, стр. 190.

Персидские песни. WOD. Из «Buch Suleika»—Стих. I, 85—90.

1. «Зюлейка. Восходит солнце!.. Блеск чудесной!» «Suleika. Die Sonne kommt...»—«В. Е.» 1820, ч. 113, стр. 262—263.

2. «В каких бы видах ты от взоров ни таилась...» «In Tausend Formen...»— «В. Е.» 1820, ч. 113, стр. 263—264.

3. Зюлейка. Чрез Евфрат переплывая...»—«Suleika. Als ich auf dem Euphrat schiffte...»

Пределы человечества. Grenzen der Menschheit. «Когда Ветхий деньми...»— Стих. I, 123—125.

Промифей. Prometheus. («Bedecke deinen Himmel...»)—Стих. I, 119—122.

Уединение. Einsamkeit. «Вы, жительницы древ и камней сей пустыни...»— 1) Стих. I, 117. 2) «В. Е.» 1824, март и апрель, стр. 190.

ДОСТОЕВСКИЙ М.

Рейнеке-Лис. Поэма. Reinecke Fuchs. 1) П. 1861. 239 стр. 2) П. 1902. (Беспл. прилож. к журн. «Природа и люди»). 3) П. 1904. 3) «О. з.» 1848, т. 56, отд. I, стр. 265—313; т. 57, отд. I, стр. 1—49.

ЖУКОВСКИЙ В.

Жалоба пастуха. Schäfers Klagelied. «На ту знакомую гору...»—В. Жуковский. Полное собрание сочинений. II. П. 1902. Стр. 133.

К месяцу. An den Mond. «Снова лес и дол покрыл...»—П. с. с. II, 118—119.

«Кто слез на хлеб свой не ронял...»—Harfenspieler («Wer nie sein Brot...»)—П. с. с. II, 117.

Лесной царь. Erlkönig. «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?»—П. с. с. II, 129.

Мина. (Подражание Гете). Mignon («Kennst du das Land...») «Я знаю край! Там негой дышит лес...»—П. с. с. II, 133.

Мотылек. Die Freuden. [Подражание]. «Вчера я долго веселился...»—П. с. с. II, 44.

Моя богиня. Meine Göttin. «Какую бессмертную...» — 1) П. с. с. I, 63 — 64. 2) «В. Е.» 1809, ч. 47, стр. 31—36. [Подпись: В. Ж. Подзаголовок: «Подражание Гете»].

Мысли. 1. «Чист душой ты был в ч е р а». 2. «Будь несолнечен наш глаз...» «Wär nicht das Auge sonnenhaft...» (Zur Farbenlehre)—П. с. с. III, 78.

Новая любовь—новая жизнь. Neue Liebe—neues Leben. «Что с тобой вдруг, сердце, стало?»—П. с. с. II, 133—134.

Обеты. Ländliches Glück. «Будьте, о духи лесов, будьте, о нимфы потока...»— 1) П. с. с. III, 56. 2) «М. тел.» 1827, ч. 16, отд. II, стр. 4 [Без подп.].

«Опять ты здесь, мой благодатный гений...» [Вступление к повести «Двенадцать спящих дев»]—Faust. Zueignung. [Подражание]. 1) П. с. с., I, 71. 2) «С. от.» 1817, ч. 39, стр. 226—227 [под загл. «Мечта. (Подражание Гете)»].

Орел и голубка. Adler und Taube. «С утеса молодой орел...»—П. с. с. IV, 21—22.

Памятники. «То место, где был добрый, свято!»—П. с. с. III, 78.

Путешественник и поселянка. Der Wandrer.—1) П. с. с. III, 22—24. 2) «С. от.» 1823, ч. 84, стр. 27—33 [под загл. «Путешественник»].

Рыбак (Баллада). Der Fischer. «Бежит волна, шумит волна!...—П. с. с. II, 132—133.

Утешение в слезах. Trost in Thränen. «Скажи, что так задумчив ты?»—П. с. с., II, 118.

Утро на горе. Gedichte. Zueignung. [Перевод первых двух строф] «Взошла заря. Дыханием приятным...»—П. с. с. III, 22.

ЗАГОРСКИЙ М.

Царь Фульский. Der König in Thule. «Был в Фуле царь. Ему друг милый...»—«Северные цветы на 1825 г.», стр. 325—326.

ЗАЙМОВСКИЙ С.

Гец фон Берлихинген. Götz von Berlichingen.—О I, 61—118.

Учебные годы Вильгельма Мейстера. Wilhelm Meisters Lehrjare.—О II,65—357.

Эгмонт. Egmont.—О I, 191—237.

ИВАНИЦКИЙ Н.

Гете и Гретхен. Из Dichtung und Wahrheit.—«Совр.» 1846, т. 43, стр.129—174. [Подпись: Н. И.]

ИВАНОВ В.

[Три восьмистишия из «Новелы»]. Novelle. 1) Борозды и межи. Сб. статей. М. 1916, стр. 228 и 229. 2) «Труды и дни», тетр. 7-я (1913) (в статье «Границы искусства»).

«Того во имя, Кто себя творил...» «Prooemion. [Перевод первых двадцати стихов]—«История западной лит.». Под ред. Ф. Батюшкова. Т. I. М. «Мир». 1912. Стр. 142—143. (В статье «Гете на рубеже двух столетий»).

К. Р.

Ифигения в Тавриде. Iphigenie auf Tauris.—К. Р. Стихотворения. 1879—1912. II. П. 1911. Стр. 63—267.

КАРТАМЫШЕВ К.

Из Гете. «Тебя уж нет, но поцелуй прощальный...»—«Москв.» 1851, ч. 3, отд. I, стр. 52.

КАТЕНИН П.

Певец. Der Sänger. [Подражание]. «В стольном Киеве великом...»—П. Катенин. Сочинения и переводы в стихах. Ч. 2. П. 1832. Стр. 27—29.

КАТКОВ М.

Свидание и расставание. Willkommen und Abschied. «Коня скорее—сердце бьется!..»—«О. з.» 1840, т. 13, отд. III, стр. 115.

КАФТЫРЕВ Д.

Из Фауста—Faust I, 15, 18, 20.—«Р. сц.» 1864, т. 5, № 9, стр. 21—26.

Из Фауста—Faust I, 25—«Р. сц.» 1865, т. 4, № 4—5, стр. 121—133.

КОЗЛОВ В.

Ери и Бетели. Опера в 1 действии. Jery und Bätely.—«Журнал драматич.» 1811, ч. 3, стр. 3—44.

КОЗОДАВЛЕВ О.

Клавиго. Трагедия в пяти действиях. Clavigo. 1) П. 1780. 86 стр. 2) 2-е испр. изд. П. 1780. 104 стр. [Оба издания без указания переводчика].

КОЛАЧЕВСКИЙ Н.

Безветрие и попутный ветер. 1) Meeres Stille. 2) Glückliche Fahrt.—«Тишиной объяты волны...»—«М. тел.» 1831, ч. 38, стр. 181.

Новый Амур. Der neue Amor. «С гордой улыбкой Амур, не малютка, но юноша бодрый...»—«О. з.» 1841, т. 19, отд. III, стр. 198.

Рыбак. Der Fischer. «Кипит поток, ревет поток...» — «М. тел.» 1831, ч. 39, стр. 181—182.

КОМИССАРЖЕВСКИЙ Ф. и ЗЕНКЕВИЧ В.

Фауст. Первая часть трагедии (22 картины и пролог в сокращении). Faust I. [Перев. в прозе]. Музыка Н. Маныкина—Невструева. Репертуар театра К. Н. Незлобина в Москве. М. С. Ф. Рассохин. 1912. 72 стр. Литогр.

КОНИ Ф.

Клавиго. Трагедия. Clavigo. М. 1836. 114 стр.

Любовь и жизнь. V. J. Sommer. 37. «Живи и люби! Любви есть конец, так как и жизни...»—«С. от.» 1837, ч. 186, стр. 147.

Песнь Маргариты (из «Фауста»). Faust I, 15. «Ах, исчез мой покой...» — «Л. пр. к Р. инв.» 1837, № 10, стр. 93.

КОРИНФСКИЙ А.

К Белинде. An Belinden. «О, зачем влечешь неудержимо...» — «В. ин. л.» 1899, № 9, стр. 48.

Фульский король. Der König in Thule. «Царствовал в старые годы...» —«В. ин. л.» 1899, № 9, стр. 152.

КРАСОВ В.

Король. Der König in Thule. «Король был на острове Фуле...» — 1) В. Красов. Стихотворения. М. 1859. Стр. 138—139. 2) «О. з.» 1841, т. 19, отд. III, стр. 182.

КРАСОВСКИЙ В.

К удаленной. An die Entfernte. «Так я на век с тобой расстался?..» — «Свиток муз», кн. II. П. 1803. Стр. 105.

КРЕСТОВСКИЙ В.

Из Гете. Die schöne Nacht. «И иду я глухими шагами...» — «Общезанимательный вестник» 1858, № 2, стр. 112.

Из Римских элегий Гете. Römische Elegien. I, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII. — Вс. Крестовский. Стихи. Т. II. П. А. Озеров. 1862. Стр. 135—153.

КРЕШЕВ И.

Амур-живописец. Amor als Landschaftsmaler. «Утром рано сидел я на дикой скале, неподвижно...»—1) И. Крешев. Переводы и подражания, 1862. Стр. 105. 2) «Памятники искусств.» 1840, т. 2, стр. 71.

КРОНЕБЕРГ А.

Ганимед. Ganymed. «Весна моя милая, как озаряешь...»—«О. з.» 1841, т. 15, отд. III, стр. 262.

Оттилия. Роман. Die Wahlverwandschaften.—1) B[1] I, 77—361. 2) «Совр.» 1847, № 7, отд. I, стр. 5—108; № 8, отд. I, стр. 298—404. [Подпись: А. Кр—ъ].

КРОПОТКИН Д.

Вымысел и истина (Из Гете). — «Маяк» 1840, ч. 5, отд. I, стр. 23—27. [Подпись: К—зь К—нъ]

Herz, mein Herz. Neue Liebe—neues Leben. «Сердце, что с тобой случилось...»—«Маяк» 1840, ч. 12, отд. I, стр. 17.

КРЫЛОВ В.

Жалоба пастуха. Schäfers Klagelied. «Вон там на горе, на высокой...» — В. Крылов. Стихотворения. П. 1898. Стр. 26—27.

Забота. Sorge. «Полно вечно возвращаться...»—Стих., 28.

Куда не кинь, все клин. «Скромный должен принижаться...»—Стих., 28.

На море. 1) Meeres Stille. 2) Glückliche Fahrt. «Тишь царит в воде—и море...»—Стих., 24.

Общество. Gesellschaft. (Epigrammatisch). «Был один ученый в обществе большом...»—Стих., 29.

Песнь духов над водами. Gesang der Geister über den Wassern. «Душа человека...»—Стих., 22—23.

Пред судом. Vor Gericht. «От кого я ребенка под сердцем ношу...»—1) Стих., 24. 2) «Пчела» 1877, № 13, стр. 200.

Собственность. Eigenthum. «Ничего нет у меня—я знаю...»—Стих., 27.

КУЛЬЧИЦКИЙ А.

Ночная песнь путника. Wandrers Nachtlied («Der du von dem Himmel bist...»). «Ты, который с тех высот...»—«Молодик на 1843 г.», стр. 85.

Первая встреча. Erster Verlust. «Кто воротит упоенье...»—«Молодик на 1843 г.», стр. 85.

КЮХЕЛЬБЕКЕР В.

Амур живописец (Подражание Гете). Amor als Landschaftsmaler. «До зари сидел я на утесе...»—«Мнемозина», ч. 4. М. 1825. Стр. 63—65.

ЛЕБЕДЕВ В.

Всегда и везде. Immer und Überall. «Тьма ль немая в горном лоне...»—«В. ин. л.» 1899, № 8, стр. 182.

Земной удел. «О, властители, о боги...»— «В. ин. л.» 1899, № 8, стр. 182.

Лягушки. Die Frösche. «Холодным льдом покрылся пруд...»—«В. ин. л.» 1899, № 8, стр. 182.

Над рекой. «О песнь любви, волной напева...»—«В. ин. л.» 1899, № 8, стр. 182.

Общество. Gesellschaft (Epigrammatisch). «Из светского круга,—его болтовней утомленный...»—«В. ин. л.» 1899, № 8, стр. 182.

Призрак. Geistesgruss. «На старой башне в вышине...»—«В. ин. л.» 1899, № 8, стр. 182.

ЛЕОНТЬЕВ Г.

Лила. Lila. «Пантеон русского и всех европ. театров» 1841, ч. 3, № 8, стр. 22—37.

ЛЕОНТЬЕВ К.

Герман и Доротея. Hermann und Dorothea. Перевод с нем. по изданию Манштейна. Одесса. «Порядок». 1912. 95 стр. (Избранные произведения немецких писателей).

ЛЕРМОНТОВ М.

Завещание. Из «Die Leiden des jungen Werther». «Есть место: близ тропы глухой...» (Стихотворное переложение отрывка из предсмертного письма Вертера).— М. Лермонтов. Полное собрание сочинений. М.-Л. 1926. Стр. 80.

Из Гете. Wandrers Nachtlied. «Über allen Gipfeln...» «Горные вершины...»— 1) П. с. с., 13. 2) «О. з.» 1840, т. 11, отд. III, стр. 1.

ЛИХАЧОВ В.

Лис Патрикеевич. Поэма в 12 песнях. Reinecke Fuchs. П. А. Ф. Маркс. 1902. 236 стр. (Иллюстр. библиотека «Нивы» 1902 г. Вып. I—XII).

ЛИХОНИН М.

Отрывок из «Фауста». Faust. Из сц. I, I. «Ф а у с т. Громовые и сладостные звуки...»—«Сиротка», альманах на 1831 г., стр. 52—53.

ЛИХТЕНШТАДТ В.

Анализ и синтез. Analyse und Synthese.—В. О. Лихтенштадт. Гете. Борьба за реалистическое мировоззрение. Искания и достижения в области изучения природы и теории познания. Ред. и предисловие А. Богданова. П. Гос. изд. 1920. (Труды Социалистич. Академии). Стр. 335—337.

Афоризмы. [Из Kunst und Altertum, Zur Naturwissenschaft, Farbenlehre, посмертных афоризмов, писем и т. д.]— Гете, 351—396.

Афоризмы по морфологии. [Из Maximen und Reflexionen, позднейших дополнений к «Die Metamorphose der Pflanzen», писем, разговоров и т. д.]—Гете, 190—202.

Влияние новейшей философии. Einwirkung der neuern Philosophie.—Гете, 478—482.

Гипотеза.—Гете, 304—305.

Два отрывка из диалогов об искусстве. Из «Der Sammler und die Seinigen».—Гете, 319—321.

Два типа мышления.—Гете, 321—322.

Дружеский призыв.—Гете, 499—500.

Ж. Воше. Физиологическая история европейских растений. Женева. 1830.— Гете, 188—190.

Значительный стимул от одного единственного меткого слова. Bedeutende Förderniss durch ein einziges geistreiches Wort.—Гете, 490—493.

Из «Материалов для истории учения о цветах». Из Materialien zur Geschichte der Farbenlehre.—Гете, 254—295.

История моих ботанических занятий. Der Verfasser theilt die Geschichte seiner botanischen Studien mit (Z. M.).—Гете, 166—185.

История морфологических занятий.— Гете, 120—125.

Кристаллизация и произрастание.— Гете, 299—301.

Критический эмпиризм.—Гете, 316—318.

Лекции по трем первым главам наброска общего введения в сравнительную анатомию. Vorträge über die drei ersten Capitel des Entwurfs einer allgemeinen Einleitung in die Vergleichende Anatomie (Z. M.).—Гете, 107—117.

Ленивцы и толстокожие, изображенные, описанные и сопоставленные д-ром Э. д'Альтоном. Бонн. 1821. Die Faulthiere und die Dickhäutigen (Z. M.).—Гете, 125—127.

Математика. [Из Wilhelm Meisters. Wanderjahre и др.]. Гете, 323—326.

Метаморфоза растений. Второй опыт. Из Metamorphose der Pflanzen. II Versuch. Einleitung (Z. M.).—Гете, 163—166.

Морские уточки (Lepades). Die Lepaden (Z. M.).—Гете, 128—131.

Мысли о морфологии вообще.—Гете, 91—94.

Наблюдение и обобщение. Beobachtung und Denken.—Гете, 318—319.

Натурфилософия.—Гете, 496—497.

Несправедливое требование. — Гете, 187—188.

О математике и о злоупотреблении ею. Ueber Mathematik und deren Missbrauch.— Гете, 326—328.

О фантазии [Письмо к веймарской наследной герцогине Марии Павловне 1816 г.].—Гете, 485—487.

Образование и преобразование органических существ.—Гете, 149—157.

Объяснение явлений [Афоризмы].—Гете, 347—350.

Опыт и идея [Афоризмы].—Гете, 328—335.

Горнфельда. П. Гос. изд. 1922. 132 стр. (Всемирная литература. Германия).

МАРЕВА М.

«Зачем я вновь сажусь тебе писать...» Die Liebende abermals (Sonette. IX)—«В. ин. л.» 1896, № 12, стр. 10.

Из Гете. Warnung (Sonette. XIII). «В тот день, когда настанет страшный суд...»—«В. ин. л.» 1897, № 1, стр. 138.

«Свершилось все... Все кончилось меж нами...»—«В. ин. л.» 1897, № 1, стр. 130.

МАРЛИНСКИЙ А.

Всегда и везде. Immer und Überall. «Ключ бежит в ущелья гор...»—1) А. Марлинский. Полное собрание сочинений. Т. IV. Ч. XI. П. 1847. Стр. 98. 2) «С. от.» 1831, т. 20, стр. 116. [Подпись: А. Б. Заглавие: «Каждому свое».]

Зюлейка. «S u l e i k a. Nimmer will ich dich verlieren...» (WOD. Buch Suleika). «Нет, ты мой—и мой навечно!»—П. с. с., ч. XI, стр. 99.

Из Гафиза. «Lass deinen süssen Rubinenmund...» (WOD. Buch Suleika) «Прильнув к твоим рубиновым устам...»—П. с. с., ч. XI, стр. 100.

Из Гете. (Подражание). Nähe. «Как часто, милое дитя...»—П. с. с., ч. XI, стр. 97.

Из Гете (С персидского). «Trunken müssen wir».—(WOD. Schenkenbuch). «Пейте: самых лет весна...»—П. с. с., ч. XI, стр. 97.

Магнит. «Вечно ли тайна магнита...»—«С. от.» 1831, т. 19, стр. 281. [Подпись: А. Б.]

С персидского. «Bist du von deiner Geliebten getrennt...» (WOD. Buch Suleika). «Будь любезная далеко...»—П. с. с., ч. XI, стр. 99.

Юность (Подражание Гете). «Реют ласточки весною...»—1) П. с. с., ч. XI, стр.98. 2) «С. от.» 1831, т. 19, стр. 281. [Подпись: А. Б. Без заглавия.]

МАТЕРН Э.

Брат и сестра. Пьеса в одном действии. Die Geschwister.—«Артист» 1891, № 18, стр. 1—8.

МЕЙ Л.

Вильгельм Мейстер, ч. III. Wilhelm Meisters Lehrjahre. III.—«Москв.» 1852, т. 6, отд. II, стр. 49—102. [Без подписи переводчика. В оглавлении переводчиком указан А. Григорьев. См. об этом в ст. В. М. Жирмунского.]

«Нет, только тот, кто знал...» Mignon («Nur wer die Sehnsucht kennt...») — Л. Мей. Полное собрание сочинений. Т. I. П. 1911. Стр. 479.

Песня Миньоны. Mignon («Kennst du das Land...») «Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут...»—1) П. с. с., I, 479. 2)«Москв.» 1852, т. 6, отд. II, стр. 49. [В переводе «Вильгельма Мейстера».]

«Я нищий, господин барон...»—«Москв.» 1852, т. 6, отд. II, стр. 84 [В переводе «Вильгельма Мейстера».]

МЕЙСНЕР А.

Прелесть ночи.—«Невский альманах на 1840 г.», стр. 216.

МЕРЕЖКОВСКИЙ Д.

Песнь Маргариты. Faust I, 18. «Склони твой взор...» — «Артист» 1893, № 30, стр. 121.

Пролог на небе (Из «Фауста» Гете) Faust. Prolog im Himmel.—«Р. об.» 1892, т. II, кн. 3, стр. 202—206.

МИЛЛЕР Ф.

Алексис и Дора. Alexis und Dora. «Ах, беспрерывно несется корабль по пенистой влаге...»—1) Ф. Миллер. Стихотворения. Изд. 2-е, испр. и доп. [кн. I] М. 1860. Стр. 217—224. 2) «Москв.» 1846, ч. II. № 3, стр. 27—32.

Аминт. Amyntas. «Никий, чудесный целитель недугов и тела и духа...»—Г IX, 95—96.

Амур—ландшафтный живописец. Amor als Landschaftsmaler. «Рано утром на скале сидел я...»—1) Стих. I, 205. 2) «Москв.» 1843, ч. 4, стр. 3—5. [Нач.: «На заре сидел я на утесе...»]

Аполлон и Гермес. Phöbos und Hermes. «С славным властителем Делоса спорил сын Майи лукавый...»—1) Стих. I, 199—200. 2) «Москв.» 1845, ч. 3, отд. II, стр. 85.

Благодарность певца. Dank des Sängers. «Кто не слыхал про тех певцов..:» Г IX, 19—20.

Верный Эккарт. Der getreue Eckart. «Зачем не вернулись мы раньше домой?..»—Г IX, 33—34.

Вечерняя песнь художника. Künstlers Abendlied. «Пусть творческим огнем горит...»—Г IX, 11.

«Вижу, как рушатся стены и вновь созидаются стены...» W. d. B. 13.—1) Стих. I, 199. 2) «Москв.» 1842, ч. 2, стр. 11.

Выбор. «Злые люди много толков...»—Г I, 14.

Горный замок. Bergschloss. «Вон там, на вершине утеса...»—Г IX, 13—14.

Евфросиния. Euphrosyne. «Вот уж с зубчатых и снегом покрытых вершин исчезает...»—Г IX, 82—86.

Жалоба пастуха. Schäfers Klagelied. «Как часто на горной вершине...»—Г I, 9.

Зюлейка и Гатем. «S u l e i k a: Als ich auf dem Euphrat schiffte...» «З ю л е й к а. По Евфрату раз плыла я...»—1) Стих., I, 225—226. 2) «Москв.» 1845, ч. 3, отд. II, стр. 84—85.

Измена мельничихи. Der Müllerin Verrath. «Откуда раннею порою...»—Г IX, 47—49.

Из Гете. «Мир земной—наковальня, молот тяжелый — влажитель...» — «Известия отделения русского языка и словесности Академии Наук» 1910,—Г XV, кн. 4, стр. 208.

К непреклонной. An seine Spröde. «Ты видишь померанец...»—«Москв.» 1843, ч. 3, стр. 22.

К отсутствующей. An die Entfernte. «И так—с тобою я в разлуке...»—Г I, 8.

Кладокопатель. Der Schatzgräber. «Жертва нужд и испытаний...»—Г I, 36—38.

Крысолов. Der Rattenfänger. «Я музыкант—певец чудесный...»—Г IX, 39—40.

Монолог из трагедии «Ифигения в Тавриде». Iphigenie auf Tauris. Из I, 2.—«Москв.» 1846, ч. 3, № 5, стр. 33—39.

Монолог Ифигении. Iphigenie auf Tauris. I, 1. «Под вашу тень, деревья вековые...»—«Москв.» 1848, ч. 4, отд. I, стр. 77—78.

Морская тишь. Meeres Stille. «Все спокойно над волнами...»—1) Стих., I, 193. 2) «Москв.» 1842, ч. 5, стр. 4 [Заглавие: «Тишина моря».]

Муж и жена. Древне-шотландская баллада. Gutmann und Gutweib. «Вот завтра день Мартына!»—1) Г I, 56—57. 2) «Р. в.» 1876, т. 124, отд. I, стр. 286—287.

Ночь. Nachtgedanken. «Жаль мне вас, несчастливые звезды!»—1) Стих. I, 204. 2) «Москв.» 1843, ч. 2, стр. 4.

Пария. Paria.—Г I, 50—55.

1. Молитва Парии. Des Paria Gebet. «Брама мудрый и всесильный...»

2. Легенда. Legende. «За водой приходит рано...»

3. Благодарность Парии. Dank des Paria. «Брама мощный и великий!..»

Песнь духов над водами (Из Гете, размером подлинника). «Душа человека...»—«Москв.» 1842, ч. 3, стр. 21—22.

Песня. Cophtisches Lied. «Пусть все ученые спорят, бранятся...»—Г I, 18.

Побочная дочь. Трагедия в пяти действиях. Die natürliche Tochter—Г IV, 333—436.

Посвящение. Gedichte. Zueignung. «Проснулся я, рассветом пробужденный...»—Г IX, 5—8.

Пробуждени Эпименида. Драма в двух д. Des Epimenides Erwachen—Г IX, 143—181.

Прощание. Der Abschied («Lass mein Aug den Abschied sagen...») «Пусть мой взор тебе откроет...»—Г IX, 12—13.

Римские элегии. Römische Elegien I, II, IV, VII—Г IX.

Свадебная песнь. Hochzeitlied. «Хотите ль споем вам про графа того» —Г IX, 23—25.

Свадебная поездка рыцаря Курта. Ritter Kurts Brautfahrt. «Рыцарь Курт—жених; он мчится...»—Г IX, 34—35.

Сладкие заботы. Süsse Sorgen. «Прочь от меня вы, заботы! но, ах, я напрасно гоню их...»—«Москв.» 1842, ч. 2, стр. 12.

Сон и дремота. Die Geschwister. «Сном и дремотою прежде одни только боги владели...»—1) Стих., I, 198. 2) «Москв.» 1842, ч. 3, стр. 21.

Странник и мызница. Wandrer und Pächterin. «О н. Я устал, красотка молодая...»—Г IX, 36—37.

Счастливое плавание. Glückliche Fahrt. «Туманы редеют...»—1) Стих. I, 194. 2) «Москв.» 1842, ч. 5, стр. 5.

Счастье и сон. Glück und Traum. «Как часто сны тебе являли...»—Г I, 20.

Утренние жалобы. Morgenklagen. «О ты злая, милая красотка!..»—1) Стих., I, 227—229. 2) «Москв.» 1845, ч. 2, отд. I, стр. 12—14.

Царь лесов. Erlkönig. «Кто скачет сквозь ветер под мраком ночным?..» — «Развлечение» 1875, т. 34, № 33, стр. 113—114.

Чудесный цветок. Песнь пленного графа. Das Blümlein Wunderschön.—«Г р а ф. Чудесный я знаю цветок...»—Г IX, 28—31.

Эльпенор. Трагедия в 2 д. Elpenor. Г IX, 247—282.

«Эту гондолу с покойною можно сравнить колыбелью...» Epigramme (Venedig. 1790). 8.—1) Стих., I, 199. 2) «Москв.» 1842, ч. 3, стр. 21.

МИНАЕВ Д.

Баядерка. Индейская легенда. Der Gott und die Bajadere. «С небес Магадева, владыка земной...»—«Дело» 1870, № 9, пагин. II, стр. 158—160.

В театре. Faust. Vorspiel auf dem Theater—«Дело» 1869, № 12, пагин. I, стр. 138—144.

Сцена из II части «Фауста». Faust. Из II. «М е ф и с т о ф е л ь. Бедняк не раскрывает глаз...»—«Дешевая библ. для легкого чтения» 1871, № 4—5, отд. I, стр. 183—190.

МИХАЙЛОВ М.

Блаженство грусти. Wonne der Wehmuth. «Не высыхайте, не высыхайте...»—1) М. Л. Михайлов. Полное собр. сочинений. Т. I. П. Изд. А. Ф. Маркса, стр. 86. 2) Г I, 17. [Поднись: М. М., как и под др. стихотв. Михайлова в этом изд.]

Благодать. W. d. B. 17. «Небо разверзлось, и дождь зашумел, и щедрою влагой...» П. с. с. I, 96.

Близость. Nähe. «Часто мы друг другу чужды...»—1) П. с. с. I, 88 2) «Б. для чт.» 1855, т. 129, отд. I, стр. 15—16.

Близость милой. Nähe des Geliebten. «С тобою мысль моя—горят ли волны моря...»—1) П. с. с. I, 88. 2) «Сборник литерат. статей, посвященных русскими писателями памяти покойного книгопро-

давца-издателя А. Ф. Смирдина». Т. VI. П. 1859. Стр. 126.

Вечерняя песнь охотника. Jägers Abendlied. «Я крадусь полем, тих и дик...»— 1) П. с. с. I, 87—88. 2) «Москв.» 1851, ч. 6, отд. I, стр. 217.

«Вижу ли я богомольца—от слез не могу удержаться...» Epigramme (Venedig. 1790). 6.—1) П. с. с. I, 97. 2) ГI, 126.

Границы человечества. Grenzen der Menschheit. «Когда предвечный...»—1) П. с. с. I, 90. 2) «Илл.» 1847, т. 4, стр. 157.

«Жизнью украсил художник свои саркофаги и урны...»—Epigramme (Venedig 1790)1.—1) П. с. с. I, 93—94. 2) ГI, 121—122.

«Жить мы должны и любить. И жизнь и любовь прекратятся...» V. J. Sommer. 37.—1) П. с. с. I, 97. 2) ГI, 127.

«Долго ль вдаль тебе стремиться...» Erinnerung.—1) П. с. с. I, 95. 2) ГI, 124.

Землевладельцу. Dem Ackermann. «Тонким слоем земля покрывает зерно золотое...»—1) П. с. с. I, 95. 2) ГI, 124.

Мидас. «Мидас, горька твоя участь была: в деснице дрожащей...»—1) П. с. с. I, 94. 2) «Илл.» 1847, т. 4, стр. 157.

Избранный утес. Erwählter Fels. «Здесь в одинокой тиши о милой думал любовник...»—1) П. с. с. I, 94. 2) ГI, 122.

Китаец в Риме. Der Chinese in Rom. «В Риме китайца я видел. Все здания вечного града...»—1) П. с. с. I, 93. 2) «Илл.» 1848, т. 7, стр. 247.

Миньона. Mignon. («Kennst du das Land...») «Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут...»—1) П. с. с. I, 89. 2) «Р. сл.» 1859, т. 12, стр. 243—244.

Могила Анакреона. Anakreons Grab. «Где роза юная в тиши благоухает...»— 1) П. с. с. I, 93. 2) «Сборник лит. статей...», т. 6. П. 1859. Стр. 124. 3) [В первонач. виде] «Илл.» 1847, т. 4, стр. 156.

Морская тишь. Meeres Stille. «Тишь глубокая над морем...»—1) П. с. с. I, 91. 2) ГI, 104.

Неравный брак. Ungleiche Heirat. «Равенства нет и в небесных союзах. Психея с годами...»—1) П. с. с. I, 96. 2) ГI, 126.

Новая любовь—новая жизнь. Neue Liebe, neues Leben. «Сердце, сердце, что с тобою?»—1) П. с. с. I, 86. 2) «Москв.» 1851, ч. 6. отд. I, стр. 217—218.

Новый Амур. Der neue Amor. «Амур— не дитя, а юноша, нежной Психеи прельститель...»—1) П. с. с. I, 96. 2) «Илл.» 1847, т. 4, стр. 156.

Ночная песня странника. Wandrers Nachtlied. («Der du von dem Himmel bist...») «Ты, небесный, ты, святой...»— 1) П. с. с. I, 87. 2) «Б. для чт.» 1855, 129, отд. I, стр. 16.

Обман. Selbstbetrug. «Шелохнулась занавеска...»—1) П. с. с. I, 87. 2) «Сборник лит. статей...», т. VI. П. 1859. Стр. 125.

Осеннее чувство. Herbstgefühl. «Тучней зеленейте...»—1) П. с. с. I, 91. 2) ГI, 75.

Первая потеря. Erster Verlust. «Кто возвратит мне прекрасные дни...»—1) П. с. с. I, 86. 2) ГI, 11.

Перед судом. Vor Gericht. «От кого я беременна—вам не скажу...—1) П. с. с. I, 89. 2) «Дело» 1869, № 11, пагин. II, стр. 151.

Песня Клары. «Freudvoll und leidvoll...» (Egmont). «Радостных и тягостных дум так много...»—П. с. с. I, 88.

«Порою мнится мне: на голове моей...»— 1) П. с. с. I, 92—93. 2) «Лит. г.» 1847, № 18, стр. 278.

Прометей. Драматический отрывок. Prometheus. Dramat. Fragment.—1) П. с. с. I, 98. 2) «Неделя» 1871, стр. 23—32.

Пряха. Die Spinnerin. «В тихой горенке своей...»—1) П. с. с. I, 90. 2) «Дело» 1869, № 11, пагин. II, стр. 192.

«Пусть сумасброд, как морского песку, набирает адептов!» Epigramme. (Venedig. 1790). 12.—1) П. с. с. I, 97. 2) ГI, 127.

«Пышные кудри свои заплела ты в косы, Фракея...»—1) П. с. с. I, 97. 2) ГI, 127.

«С нами садится в корабль, на коня, в колесницу забота...»—V. J. Sommer. 24.

Свиданье и разлука. Willkommen und Abschied. «Коня! Я долго дожидался...»— П. с. с. I, 91—92.

Сладкие заботы. Süsse Sorgen. «Прочь от меня вы, заботы! Но, смертных, нас покидают...»—1) П. с. с. I, 95. 2) ГI, 125.

Сознанное счастье. Erkanntes Glück. «Что между многих всегда природа рассчетливо делит...» 1) П. с. с. I, 95. 2) ГI, 123—124.

Сон и дремота. Die Geschwister. «Сон и Дремоту, двух братий, служенью богов обреченных...—1) П. с. с. I, 95. 2) «Лит. г.» 1848, № 25, стр. 386.

Счастливое плавание. Glückliche Fahrt. «Туманы редеют...»—1) П. с. с. I, 91. 2) ГI, 104.

«Сядь на коня, на корабль—и Забота с тобою засядет...»—V. J. Sommer. 24.— 1) П. с. с. I, 97. 2) ГI, 126.

«Тщетно ты веешь, Морфей, надо мной усыпительным маком...»—1) П. с. с. I, 97. 2) ГI, 126.

«Ты не знаешь кому тебе верить? Верь жизни: научит...» V. J. Herbst. 47— 1) П. с. с. I, 97. 2) ГI, 126.

«Факел возьми Прометеев: людей оживи ты им, муза!..» V. J. Herbst. 41—1) П. с. с. I, 97. 2) ГI, 127.

Фауст. Собор. Faust I, 20.—1) П. с. с. I, 111—112. 2) «Лит. г.» 1848, № 20, стр. 306—307.

Филомела. Philomele. «Видно Амуром вскормлена, всхолена ты, о, певица!»— 1) П. с. с. I, 96. 2) ГI, 412.

«Эта гондола мне кажется тихо-качаемой люлькой...» Epigramme (Venedig. 1790). 8.—1) П. с. с. I, 94. 2) Г I, 123.

МОДЕЛЬ М.

Избранные афоризмы и мысли. С предисл. Т. Б. Сондерса. Научные афоризмы выбраны и проредактированы проф. Гэксли, литературные—проф. лордом Лейтоном. Пер. с англ. П. В. И. Губинский. 1903. 60 стр.

ОБОДОВСКИЙ П.

Близость милой (Подражание Гете). Nähe des Geliebten. «Мечтаю о тебе, тобой душа полна...»—«С. от.» 1829, т. 1, стр. 342—343.

Песнь Миньоны. Mignon. («Kennst du das Land...») «Ты знаешь ли страну, где золотой лимон...»—«Утренняя заря» на 1841 г., стр. 13—14.

ОВЧИННИКОВ А.

Фауст. Faust II. Полная немецкая трагедия, вольнопереданная по-русски. Рига. 1851. XIV, 340 стр.

ОГАРЕВ Н.

Дяде Кроносу. An Schwager Kronos. «Ну, скорей, Кронос!..»—1) Н. Огарев. Стихотворения. Т. I. М. 1904. Стр. 303—304. 2) «О. з.» 1845, т. 40, отд. I, стр. 173—174.

Из Фауста. Faust. I, 18, 20.—1) Стих. I, 252—256. 2) «О. з.» 1841, т. 18, отд. III, стр. 1—3.

Faust II [Из последней сцены]. Chorus mysticus. «Все проходящее...»—«Русская старина» 1890, т. 67, стр. 224.

См. еще переводы—пародии Огарева в «Русской мысли» 1889 г., кн. IV, отд. I, стр. 13.

ОХТЕНСКАЯ О.

Из Гете. «Всех ты радуешь, Господь...»—«Жив. об.» 1878, № 15, стр. 297.

ПАВЛОВ И.

Фауст. Два пролога и первые 15 сцен. Faust. Vorspiel Prolog. I, 1—15. М. 1875.

1) I, 1—а) «Р. в.» 1867, т. 70, стр. 169—182. б) Оттиск без указ. переводчика. На тит. л.: «Фауст. Трагедия Гете». М. 1867. 16 стр. 2) «Р. в.» 1873, т. 104, стр. 155—166. 3) «Р. в.» 1874, т. 109, стр. 697—718.

ПАСТЕРНАК Б.

Тайны. Die Geheimnisse. Введение проф. Г. А. Рачинского. М. «Современник». 1922. 32 стр.

ПЕСКОВСКИЙ М.

Рейнеке-Лис. Reinecke-Fuchs. Применено к детскому возрасту. М. Л. Песковским [в прозе]. 1) П. М. О. Вольф [1889]. 211 стр. 2) То же. П. 1912.

ПЕТРОВ И.

Пляска мертвецов. Баллада. Der Totentanz. «В полночь на кладбище взглянул часовой...»—«Л. пр. к Р. инв.» 1832, стр. 79—80.

ПЕТРОВ П.

Магадэва и баядера. Индийская легенда. Der Gott und die Bajadere.—«М. набл.» 1838, ч. 16, стр. 39—42.

ПЕТРОВ ПЛ.

Из второй части «Фауста». Faust, II, 1, 1—Пл. Петров. Из конторки старого певца. Казань. 1884. Стр. 47—50.

ПЛЕЩЕЕВ А.

Молитва. «Sieh mich, Heilger, wie ich bin...» (Erwin und Elmire). «О мой Творец! о Боже мой!»—1) А. Плещеев. Стихотворения. 4-е изд. П. 1905. Стр. 237—238. 2) «Совр.» 1845, т. 38, стр. 115—116. [Подпись: П--въ].

Тишь на море. Meeres Stille. «Тишина немая в море...»—1) Стих., стр. 238. 2) «Совр.» 1844, т. 36, стр. 371. [Подпись: А. П--въ].

ПОГОДИН М.

Гец фон Берлихинген, Железная рука. Трагедия в пяти действиях. Goetz von Berlichingen. М. 1828. 217 стр. [Без указания переводчика].

Действие первое—«Русский зритель» 1828, ч. 1, стр. 76—136.

ПОЗНЯКОВ Н.

Рейнеке-Лис-Хитродум. Reinecke-Fuchs. Переделано с нем. [в прозе]. 1) П. А. Ф. Девриен. 1897. 2) Изд. 2-е (1907). 92 стр.

ПОКРОВСКИЙ И.

Могила Анакреона. Anakreons Grab. «Здесь, где нарцисс цветет, где лавр сплелся с лозою...»—«Благонамеренный» 1819, ч. 7, стр. 207.

ПОЛЕВОЙ П.

Годы странствований Вильгельма Мейстера или Отрекающиеся. Роман в трех книгах. Wilhelm Meisters Wanderjahre.—Г VI.

Ученические годы Вильгельма Мейстера. Wilhelm Meisters Lehrjahre.—В[1] V и VI.

ПОЛИЛОВ Н.

Далекой. An die Entfernte. «И так, с тобою мы в разлуке!»—«В. ин. л.» 1895, № 6, стр. 96.

Штиль. Meeres Stille. «Мертвый штиль на море сонном...»—«В. ин. л.» 1895, № 6, стр. 96.

ПОЛОНСКИЙ Я.

Рыбак. Вольный перевод из Гете. Der Fischer. «Волна бежит, шумит, колышет...» 1) Я. Полонский. Полное собрание сочи-

нений. Т. I. П. 1885. Стр. 111 — 112. 2) «Совр.» 1852, т. 31, отд. I, стр. 87—88.

РЕПМАН Э.

Все виноваты. Комедия в трех действиях. Die Mitschuldigen. М. 1889. XXXVIII, 100 стр.

РОЖАЛИН Н.

Вот где был предатель! (Эпизод из Гетева романа «Странствования Вильгельма Мейстера»). Wilhelm Meisters Wanderjahre. I, 8.—«М. в.» 1827, ч. 2, стр. 17—47 и 125—145.

Страдания Вертера. Die Leiden des jungen Werther. М. 1828—29. 2 части. 151, 182 стр.

РОМЕР Ф.

Штиль. Meeres Stille. «Тишь глубокая на водах...»—«Р. в.» 1860, т. 28, стр. 516.

САН-ВАЛЬЕ Г.

Лесной царь (Вольный перев. с Немецкого). Erlkönig. «Полуночь. Все молчит...»—«Литературные досуги». Вып. I. М. 1843. Стр. 63—68.

САХАРОВА А.

Ученические годы Вильгельма Мейстера. Роман в 8 книгах. Кн. 1—5. Wilhelm Meisters Lehrjahre I—V. П. М. М. Ледерле. 1897. («Моя библиотека». № 197—201).

СЕМПЕРВЕРО М.

Песня Миньоны. Mignon. («Kennst du das Land...») «Ты знаешь ли тот край желанный...»—Мих. Семперверо. Переводы в стихах из Гете, Шиллера, Шекспира, Гюго и Барбье. С присоединением текста. М. 1860. Стр. 153—158.

Фауст. Ч. I. Сцена «Вальпургская ночь», стх. 72—стх. 117. Faust. Из сц. I, 21.—Перев., 27—33.

Фауст. Ч. I. Сцена «Кабинет», стх. 221—стх. 276. Faust. Из сц. I, 4.—Перев., 9 — 16.

Фауст. Ч. I. Сцена «Комната Гретхен». Faust I, 15.—Перев., 147—152.

Фауст. Ч. I. Сцена «Ночь», стх. 335—стх. 431. Faust. Из сц. I, 1.—Перев., 93—102.

Фауст. Ч. I. Сцена «Темница». Стх. 161—стх. 208. Faust. Из сц. I, 25.—Перев., 133—140.

СИБИРСКИЙ К.

Художник и крестьянка. Идиллия. Der Wandrer. [Перев. прозой].—«Ипокрена» 1800, ч. 6, стр. 513—521. [Подпись: К. Ф. С.]

СИДОРОВ А.

Тайны. Фрагмент. Die Geheimnisse. Предисл. Г. А. Рачинского. М. («Лирика») 1914. XX, 27, [15] стр.

СМИРНОВ ВЛ.

Эгмонт. Трагедия в пяти актах. Egmont.—B¹ II, 159—305.

СОКОЛОВСКИЙ А.

Великий Кофта. Комедия в 5 д. Der Gross-Cophta.—Г III, 395—476.

К Белинде. An Belinden. «Для чего меня неудержимо...»—В I, 66—67.

К золотому сердечку, носившемуся на шее. An ein goldenes Herz, dass er am Halse trug. «Счастья прежнего залог священный...»—В I, 67.

Письма из Швейцарии. Briefe aus der Schweiz.—Г VIII, 395—464.

Поэзия и правда моей жизни. Dichtung und Wahrheit aus meinem Leben.—Г X.

С горы. Vom Berge. «Когда б тебя, Лили, не обожал я..»—В I, 66.

Сатир или обоготворенный лесной дух. Драма в пяти действиях. Satyros.—Г IV, 309—331.

Совиновники. Комедия в трех действиях. Die Mitschuldigen.—Г IV, 251—308.

Стэлла. Трагедия в 5 д. Stella.—Г. III, 349—394.

Торжество чувствительности. Драматич. шалость в 5 д. Der Triumph der Empfindsamkeit.—Г IX, 329—389.

Фауст. Трагедия. Faust. В переводе и объяснении А. Л. Соколовского. В настоящем изд., кроме построчного прозаич. перевода обеих частей трагедии помещены статья о значении «Фауста» и 923 объяснит. примеч. П. 1902. XX, 362 стр.

Хандра влюбленного. Пастушечья комедия в 1 д. Die Laune des Verliebten.—Г IV, 217—250.

Ярмарка в Плундерсвейлере. Драматич. шутка в 1 д. Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern.—Г IX, 183—210.

СТАНКЕВИЧ Н.

К месяцу (Подражание Гете). An den Mond. «Снова блеск твоих лучей...»—1) Н. Станкевич. Стихотворения.—Трагедия.—Проза. М. 1890. Стр. 27. 2) «Телескоп» 1832, ч. 9, стр. 28—30.

Песнь духов над водами. Gesang der Geistern über den Wassern. «Душа человека...»—1) Стих., 27. 2) «Сев. цветы на 1832 г.», отд. II, стр. 147—148.

СТАРОСТИН Я.

Рыбак. Der Fischer. «Шумит поток, бежит поток...»—«Дело» 1875, № 4, стр. 34.

СТАХОВИЧ М.

Песня к милой. Nähe des Geliebten. «Блеснет заря, сверкающей волною...»—«Соврем.» 1855, т. 51, отд. I, стр. 220.

СТРУГОВЩИКОВ А.

Аполлон и Гермес. Phöbos und Hermes. «С светлым властителем Делоса спорил неистовый Гермес...»—1) А. Струговщиков. Стихотворения, заимствованные из Шиллера и Гете. П. 1845. Стр. 167. 2) «О. з.» 1840, т. 12, отд. III, стр. 227.

Арфист. (Из «Вильгельма Мейстера» Гете). Harfenspieler. («An die Thüren will ich schleichen...») «Встану скромно у порога...»—1) Стих., 41. 2) «О. з.» 1842, т. 20, отд. I, стр. 239.

Арфист. (Из «Вильгельма Мейстера» Гете). Harfenspieler. («Wer nie sein Brot...») «Кто не едал с слезами хлеба...»—1) Стих., 40. 2) «Б. для чт.» 1835, т. 11, отд. I, стр. 95. [Заглавие: «Гусляр»].

Боги, герои и Виланд. Götter, Helden und Wieland. 1) А. Струговщиков. Переводы статей в прозе, кн. 1. П. 1845. Стр. 135—160. 2) «О. з.» 1839, т. 2, отд. III, стр. 143—162.

Богиня фантазии. Meine Göttin. «Какую бессмертную...»—1) Стих., 24—28. 2) «Вчера и сегодня». Лит. сборник. Кн. I. П. 1845. Стр. 111—114.

Брат и сестра. Представление в 1 д. Die Geschwister.—«С. от.» 1835, т. 49, стр. 65—91. [Подпись: А. С.]

Водворение прав. Ballade. («Herein, o du Guter!..») «Старичок наш, голубчик, не бойся, войди!»)—1) Стих., 109—114. 2) «О. з.» 1845, т. 38, отд. I, стр. 315—317. [Заглавие: «Водворение законных прав».]

Встреча. Сонет. Freundliches Begegnen. (Sonette. II). «Лесами, вдоль реки, и пашнею, без цели...»—«О. з.» 1847, т. 52, отд. I, стр. 117.

Второй акт из драмы Гете «Прометей». Prometheus. Dram. Fragment. II.—«С. от.» 1839, т. 6, отд. I, стр. 8—16.

Ганимед. Ganymed. «Как в утро твое лучезарное...»—1) Стих., 74—76. 2) «О. з.» 1842, т. 25, отд. I, стр. 270—271.

Гений. Mahomets Gesang. «Взгляните на горный источник...»—1) Стих., 9—11. 2) «О. з.» 1844, т. 37, отд. I, стр. 1—2. [Заглавие: «Горный источник».]

Геркулесу. «Нет, не из чаши богов ты божеству причастился...»—Стих., 176.

Грани человечества. Grenzen der Menschheit. «Древле-владычный...»—1) Стих., 80—82. 2) «О. з.» 1842, т. 20, отд. I, стр. 125.

Дяде Кроносу. An Schwager Kronos. «Что задумался, возница...»—1) Стих., 62—64. 2) «О. з.» 1843, т. 30, отд. I, стр. 209—210. [Заглавие: «Дорога жизни».]

Земная жизнь и апофеоз художника. 1. Künstlers Erdewallen. 2. Künstlers Apotheose. П. 1848. 26 стр.

Утро художника. Künstlers Erdewallen, I.—«О. з.» 1840, т. 12, отд. III, стр. 246—247.

Зеркало Музы. Spiegel der Muse. «Утренний свой наряд совершая, Муза смотрелась...»—1) Стих., стр. 135. 2) «О. з.» 1841, т. 16, отд. III, стр. 132.

Знаток и художник. Kenner und Künstler. «З н а т о к. Прекрасно, сударь мой...»—«Новоселье», ч. III. П. 1846. Стр. 73—74.

Из «Вильгельма Мейстера» (Часть IV, гл. XX) Wilhelm Meisters Lehrjahre IV, 20.—«Дагерротип». Тетрадь VII. П. 1842. Стр. 32—36.

Из поэмы «Герман и Доротея». Обручение. Hermann und Dorothea. IX.—Стих., 145—164.

К художнику. «Взгляни, как все собою помрачает...»—1) Г IX, 99. 2) «Б. для чт.» 1835, т. 13, отд. I, стр. 19.

Китаец в Риме. Der Chinese in Rom. «В Риме я видел китайца; Римом он был недоволен...»—1) Стих., 139—140. 2) «О. з.» 1844, т. 36, отд. I, стр. 364.

Клавиго. Clavigo. Драма в 5 действиях. [П. 1840] 60 стр.

Марианна. Роман, заимствованный из соч. Гете «Вильгельм Мейстер». Из «Wilhelm Meisters Lehrjahre.»—«О. з.» 1843, т. 29, отд. I, стр. 177—228.

Молитва Маргариты. Faust I, 18. «О склони, склони, многострадалица...»—1) Стих., 51—53. 2) «Утренняя заря на 1839 г.», стр. 171—172.

Мудрец и его ученик. Legende vom Hufeisen. [Подражание]. «Жил в Греции мудрец Платон...»—1) Стих., 136—138. 2) «Дагерротип». Тетрадь II. П. 1842. Стр. 3—4. [Заглавие: «Мудрец Платон и ученик его Ктезипп»].

Муж. Seefahrt. «Ждет корабль у пристани погоды...» — 1) Стих., 66 — 67. 2) «О. з.» 1841, т. 15, отд. III, стр. 44—45. [Заглавие: «Ждет корабль»].

Народный писатель. «Много, народный писатель, друзей у тебя и собратий...»—Стих., 173.

Настоящее. «Что впереди? я не знаю; будемте ждать и надеяться...»—Стих., 174.

Не спрашивай. Mignon. («Heiss mich nicht reden, heiss mich schweigen...») «Не спрашивай, не вызывай признанья!..»—Стих., 3.

Неверная жена. Entschuldigung. «В непостоянстве жену ты свою упрекаешь? Напрасно!..»—Стих., 179.

Нектар. Die Nektartropfen. «В час, когда Минерва...»—1) Стих., 141—142. 2) «Утренняя заря на 1840 г.», стр. 302—303.

Неравенство браков. Ungleiche Heirat. «Вот и еще вам пример неравенства браков. Психея...»—Стих., 179.

Орел и голубка. Adler und Taube. «В погоне за добычей...»—Стих., 131—133.

Певец. Der Sänger. «Звучит ли арфа за стеной...»—1) Стих., 105—107. 2) «Б. для чт.» 1834, т. 7, отд. I, стр. 124—125. [Начало: «Я слышу песню за стеной...»].

Песнь Клары. «Die Trommel gerühret...» (Egmont). «Музыка играет...»—Стих., 83—84.

Песнь Маргариты. Faust I, 15. «Прости, мой покой...»—1) Стих., 48—50. 2) «Утрен-

няя заря на 1839 г.», стр. 168—170. [Начало: «Ты прости, мой покой...»].

Песнь Миньоны. Mignon. («Kennst du das Land...») «Ты знаешь ли тот край, где кипарис растет...»—1) Стих., 36—37. 2) «Б. для чт.» 1835, т. 13, отд. 1, стр. 18. [Начало: «Ты знаешь ли тот край, где алый апельсин...»].

Песок и жемчужина. Epigramme (Venedig. 1790). 15. «Словно на взморье песку друзей у него; но песками...»—Стих., 177.

Пляска мертвецов. Der Totentanz. «При лунном сияньи, в ночной тишине...»—Стих., 117—119.

Поездка на Гарц. Harzreise im Winter. «Осень. Утро. Из-под тучи...»—1) Стих., 54—59. 2) «О. з.» 1841, т. 19, отд. III, стр. 332—334 [Заглавие: «Зимняя поездка на Гарц»].

Посещение. Der Besuch. «Я сегодня собрался к любезной...»—1) Стих., 126—128. 2) «О. з.» 1844, т. 36, отд. 1, стр. 1—2.

Предание. Legende («In den Wüsten ein heiliger Mann...») «В заулке грязном у забора...»—«О. з.» 1842, т. 23, отд. I, стр. 151.

Признание Миньоны. Mignon. («Nur wer die Sehnsucht kennt...») «Лишь тот меня поймет...»—Стих., 38—39.

Признания прекрасной души. Wilhelm Meisters Lehrjahre, VI.—1) Б. о. м. и. г. 2) Перев., 1—129.

Природа. Die Natur.—«Всемирный труд» 1868, сентябрь, стр. 97—99. В статье «Два фазиса мыслящего Гете».

Прозерпина. «Стонут от тяжких ударов своды Плутонова царства...»—Стих., 179.

Прометей. Prometheus (Dramat. Fragment.).—«Утренняя заря на 1839 г.», стр. 283—308. 2) Оттиск. Б. о. м. и. г. 26 стр.

III («Bedecke deinen Himmel...») — Стих., 68—71.

Римские элегии. Römische Elegien. I—XII, XV—XX. П. [1839]. 60 стр.

1) VII, X, XVII—«С. от.» 1839, т. 7, отд. I, стр. 7—8. 2) VIII, XII—«Л. пр. к Р. инв.» 1837, № 13, стр. 122—123. [Подпись: А. С—въ]. 3) XVII и XI—«Альманах на 1838 г.», стр. 219—220.

Рыцаря Курта свадебный поезд. Баллада. Ritter Kurts Brautfahrt. «Голова еще трещала...»—«Всемирный труд» 1868, сентябрь, стр. 72—73.

Совет. «Ты сомневаешься в средствах? Скорее берися за дело...»—Стих., 177.

Современный век. «Век современный, торгующий, враг Пиерид вдохновенных»—Стих., 175.

Сон Амура. Warnung («Wecke den Amor nicht auf!..») «Спит он, маленький бог? оставь, не буди и скорее...»—Стих., 174.

Сон и дремота. Die Geschwister. «Сон и Дремоту, двух близнецов олимпийских, служенью...»—Стих., 178.

Справедливость. Erkantes Glück. «Все, чем благая природа порознь людей наделила...»—Стих., 176.

Страдания молодого Вертера. Die Leiden des jungen Werther.—1) А. Струговщиков. Вертер. Опыт монографии с переводом романа Гете «Страдания молодого Вертера». П. 1865. LX, 178. 2) Гете. Страдания молодого Вертера. Роман. С опытом монографии А. Струговщикова. П. 1875. LX, 178 стр.

Сцена из Торквато Тассо. Из Torquato Tasso.—«Пантеон русского и всех европ. театров» 1840, т. I, № 3, стр. 101—102.

Талисман. [Первые две строфы—подражание балладе «Der Schatzgraber»]—Стих., 115—116.

Утешение. «Воли лишенному в жизни оставлено поприще мысли...»—Стих., 180.

Утро художника—см. Земная жизнь и апофеоз художника.

Фантазия Клары. «Freudvoll und leidvoll...» (Egmont) «Веселиться, грустить...»—Стих., 85.

Фауст. Faust, I.—1) П. 1856. 150 стр. 2) Берлин. Русское универсальное изд. 1921. 126 стр. («Всемирный пантеон», № 3—4). 3) «Совр.» 1858, т. 59, отд. I, стр. 131—280.

1) I, 4—«С. от.» 1838, т. 3, отд. I, стр. 7—16. 2) I, 12, 13—«О. з.» 1841, т. 14, отд. III, стр. 39—44. 3) I, 20—«Одесский альманах на 1840 г.», стр. 286—290. 4) I, 25—«Л. пр. к Р. инв.» 1838, № 14, стр. 264—266.

Царская молитва. Königlich Gebet. «Я царь земли...»—1) Стих., 65. 2) «О. з.» 1844, т. 37, отд. I, стр. 107.

Царство Вулкана. «Вижу Плутоновых братий огнем распаленные лики...»—Стих., 178.

Царь Фулы. Der König in Thule. «Царь счастлив был подругой...»—Стих., 103—104.

Человеку. Das Göttliche. «Будь, человек, благороден!..»—1) Стих., 18—21. 2) «О. з.» 1842, т. 24, отд. I, стр. 1—2.

Эльпенор и Антиопа (сцена). Elpenor.—«О. з.» 1845, т. 39, отд. I, стр. 1—10.

Principes de philosophie zoologique discutés en Mars 1830.—«Всемирный труд» 1868, окт., стр. 166—175; ноябрь, стр. 207—214. В статье: «Два фазиса мыслящего Гете».

СТРУГОВЩИКОВ М.

Фауст. Фантастическая трагедия, приноровленная для сцены. Faust I. [В прозе]. В 5 актах. П. 1903. 84 стр.

СТРУЖКИН Н.

Виноватая компания или совиновники. Ком. в 3 д. Die Mitschuldigen.—«Теат-

ральная библиотека» 1879, № 3, стр. 1—76.

ТЕПЛЯКОВ В.

К***. Nähe des Geliebten. «Я твой, я твой, когда огонь Востока...»—1) В. Тепляков. Стихотворения. М. 1832. Стр. 27—28 2) «М. тел.» 1828, ч. 19, стр. 327—328. [Подпись: В. Т.]

ТИЛЛО В.

Анакреонова могила. Anakreons Grab. «Здесь, где кузнечик поет, где горлица нежно воркует...»—«Новости литературы» 1824, кн. 8, стр. 64.

Филомела. Philomele. «Отрок Амур тебя верно вскормил, о певица!» 1) Г I, 125.—2) «Новости литературы» 1823, кн 3, стр. 48.

ТИМОФЕЕВ К.

Певец. Der Sänger. «Чей голос звонкий на мосту...»—«Лит. библиотека» 1867, т. 4, стр. 147—148.

ТОЛСТОЙ А.

Бог и баядера. Der Gott und die Bajadere. «Магадев, земли владыка...»—1) А. К. Толстой. Полное собрание сочинений. Т. I. П. 1907. Стр. 449—451. 2) «Р. в.» 1867, т. 71, № 9, стр. 259—262. [Заглавие: «Магадева и баядера. Индейская легенда».]

Коринфская невеста. Die Braut von Korinth. «Из Афин в Коринф многоколонный...»—1) П. с. с. I, 452—457. 2) «В. Е.» 1868, т. 2, стр. 1—8.

(Отрывок). «То древний дуб. Могучий дуб широко...»—П. с. с. I, 457.

ТРУНИН П.

Фауст. I часть. Faust, I. 1) М. 1882. 336 стр. 2) Изд. 2-е, испр. М. Е. Гербек. 1892. 290 стр. 3) М. 1894. 60 стр. (Премия журнала «Будильник» на 1894 г.) 4) Изд. 3-е, испр. М. Е. Гербек. 1896. 288 стр. 5) Фауст. Мелодрама в 3 д. и 4 картинах. Пер. Трунина. Переделана для маленьких сцен Н. А. Ханеневым.—Н. А. Ханенев. Сборник драматических пьес. Том I. Н.-Новг. 1889. Стр. 117—152.

ТУМАНСКИЙ В.

Счастливый путь (Подражание Гете). Glückliche Fahrt. «Рассеялись тучи...»—1) В. Туманский. Стихотворения и письма. П. 1912. Стр. 56—57. 2) «Благонамеренный» 1818, ч. II, стр. 278.

ТУРГЕНЕВ А.

Письмо к другу. Из «Die Leiden des jungen Werther» I. [Перевод письма Вертера от 10 мая]—«Приятное и полезное препровождение времени». Ч. 19. М. 1798. Стр. 107—109. [Подпись: С Немец. Андр. Тург.]

ТУРГЕНЕВ И.

«Одной лишь любовью...» «Freudvoll und leidvoll...» (Egmont.)—«Русские пропилеи», Т. III. М. 1916. Стр. 78.

Перед судом. Vor Gericht. «Под сердцем моим чье дитя я ношу...»—«Русские пропилеи», III, 81.

Последняя сцена первой части «Фауста». Faust I, 25.—1) Полное собрание сочинений. Т. IX. П. 1898. Стр. 284—292. 2) «О. з.» 1844, т. 34, отд. I, стр. 220—226. [Подпись: Т. Л.]

Римская элегия, XII. Römische Elegien. XII. «Слышишь? веселые крики с фламинской дороги несутся...»—1) П. с. с. IX, 282—283. 2) «Петербургский сборник» 1846 г., стр. 512—513.

ТЮТЧЕВ Ф.

«Запад, норд и юг в крушеньи...» Hegire (WOD. Buch des Sängers)—Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений. П. 1913. Стр. 244—245.

Из Вильгельма Мейстера. «Кто с хлебом слез своих не ел...» Harfenspieler. («Wer nie sein Brot...»)—1) П. с. с., 248. 2) Альманах «Сиротка» 1831 г., стр. 198.

Из Вильгельма Мейстера. «Кто хочет миру чуждым быть...» Harfenspieler. («Wer sich der Einsamkeit ergiebt...»)—1) П. с. с., 248 (напечатано, как два стихотворения; второе—начиная со слов «Как крадется к милой любовник тайком...»). 2) «Сиротка» 1831 г., стр. 198—199.

Ночные мысли. Nachtgedanken. «Вы мне жалки, звезды-горемыки!»—1) П. с. с., 249. 2) «Телескоп» 1832, ч. 9, № 10, стр. 154.

Певец. Der Sänger. «Что там за звуки пред крыльцом?..»—1) П. с. с., 246—247. 2) «Галатея» 1830, ч. 19 [на титульном листе—18], стр. 226—228.

Перемена. Wechsel. «Лежу я в потоке на камнях... Как рад я!»—1) П. с. с., 240. 2) «М. набл.» 1838, ч. 18, стр. 55. [Подпись: Т—ъ]. (Вероятна принадлежность этого стихотворения не Тютчеву, а К. Аксакову. См. об этом в ст. В. М. Жирмунского).

Приветствие духа. Geistesgruss. «На старой башне у реки...»—1) П. с. с., 245. 2) «Галатея» 1830, ч. 19 [на тит. л.—18], стр. 39.

Сaконтала. Sakontala. «Что юный год дает цветам?»—1) П. с. с., 240. 2) «Северная лира» на 1827 г., стр. 430.

«Ты знаешь край, где мирт и лавр растет...» Mignon. («Kennst du das Land...»)—1) П. с. с., 247. 2) Сборник «Раут». М. 1852. Стр. 201—202.

Фауст. Faust.

1. «Кто звал меня?—О страшный вид...» Из сц. I, 1.—1) П. с. с., 241. 2) Варианты в статье Г. Чулкова «Переводы Тютчева из Фауста Гете».—«Искусство» 1927, кн. 2—3, стр. 164—167.

2. «Зачем губить в унынии пустом...» Из сц. I, 2.—1) П. с. с., 242. 2) «Галатея» 1830, XI, № 5, стр. 283—284. 3) Вари-

ант в указ. выше ст. Г. Чулкова, стр. 165.

3. «Был царь, как мало ныне...» Из сц. I, 8.—П. с. с., 243.

4. «Звучит, как древле, пред тобою...» Из «Prolog im Himmel»—ст. Г. Чулкова, стр. 167—168.

5. «Чего вы от меня хотите...» Из сц. I, 1.—Ст. Г. Чулкова, стр. 168.

6. «Державный Дух! ты дал мне, дал мне все...» Из сц. I, 14.—Ст. Г. Чулкова, стр. 168—169.

Egmont. «Freudvoll und leidvoll...» «Радость и горе в живом упоеньи...»—П. с. с., 249.

ФЕДОРОВ Б.

К Лизе (Подражание Гете). «Прекрасна как весна...»—«Кабинет Аспазии» 1815, кн. 4, стр. 53. [Подпись: Б. Ф—въ].

К пастушке, просившей фиалки. «Веселья верная подружка...»—«Благонамеренный» 1825, ч. 29, стр. 273.

ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ А.

Проказы Рейнеке-Лиса. Reinecke-Fuchs. Народные сказки. Пересказано [в прозе] по поэме Гете. М. 1913. 60 стр.

ФЕТ А.

Герман и Доротея. Hermann und Dorothea.—1) А. Фет. Полное собрание стихотворений. Т. II. П. 1912. Стр. 243—302. 2) «Совр.» 1856, т. 58, отд. I, стр. 5—56.

Границы человечества. Grenzen der Menschheit. «Когда стародавний...» — 1) П. с. с. II. 230—231. 2) Г I, 67.

«Девой—слово назовем...» WOD. Buch des Hafis. Epigraph.—П. с. с. II, 187.

Зимняя поездка на Гарц. Harzreise im Winter. «С коршуном сходно...»—П. с. с. II, 232—234.

Лесной царь. Erlkönig. «Кто поздний верховый под ветром ночным?»—П. с. с. II, 362.

Майская песня. Mailied. («Wie herrlich leuchtet...» «Все нежит взоры...»)—П. с. с., II, 378—379.

На озере. Auf dem See. «И силу в грудь, и свежесть в кровь...»—1) П. с. с. II, 235. 2) «Р. сл.» 1859, т. 1, отд. I, стр. 82—83.

Новая любовь—новая жизнь. Neue Liebe, neues Leben. «Сердце, сердце, что такое?..» —П. с. с. II, 241.

Ночная песнь путника. Wandrers Nachtlied. («Der du von dem Himmel bist...») «Ты что с неба и вполне...»—П. с. с. II, 241.

Ночные думы. Nachtgedanken. «Как вы жалки мне, бедняжки-звезды...»—П. с. с. II, 379.

Паж и мельничиха. Der Edelknabe und die Müllerin. «П а ж. Куда ж ты прочь?..»—П. с. с. II, 236—237.

Первая потеря. Erster Verlust. «Кто воротит мне дни блаженные...»—II, 379.

Прекрасная ночь. Die schöne Nacht. «Вот с избушкой я прощаюсь...»—II, 229.

Прекрасная ночь. Die schöne Nacht. «Оставляю домик милой...»—II, 173.

Рыбак. Der Fischer. «Неслась волна, росла волна...»—II, 240.

Самообольщение. Selbstbetrug. «Соседкин занавес в окне...»—1) II, 242. 2) «О. з.» 1857, т. 110, отд. I, стр. 708.

Утренняя жалоба. Morgenklagen. «О скажи мне, милая резвушка...»—II, 382—383.

Фауст. Трагедия. Faust. Ч. I.—М. 1882. 320 стр. Ч. II.—1) М. 1883. 2) Изд. 2-е, испр. М. 1889. XLI, 437, CVIII стр. Ч. I и II.—1) П. А. Ф. Маркс. 1889. 173, 218, XXIX стр. 2) П. А. Ф. Маркс. 1899. («Иллюстриров. библиотека Нивы 1899 г.») 3) П. А. Ф. Маркс. 1901. 821, CVIII стр.

1) Zueignung—«Р. и п.» 1845, т. 9, отд. I, стр. 649—650. 2) Из «Vorspiel auf dem Theater»—«Б. для чт.» 1857, г. 144, отд. I, стр. 4.

Юноша и мельничный ручей. Der Junggesell und der Mühlbach. «Ю н о ш а. Куда ты, светлый ручеек...»—П. с. с. II, 238—239.

«Я слышу песню,—у ворот...»—П. с. с. II, 380—381.

ФИШЕР В.

В полночный час. Um Mitternacht. «В полночный час ходил дорогой трудной...»—О I, 39.

Жених. Der Bräutigam. «В полночь я спал, но в сердце, полном неги...»—О I, 41.

Истинное наслаждение. Der wahre Genuss. «У злата нет над сердцем власти...»—О I, 3—4.

Летом. «Как сверкают в росе...»—О I, 8.

Мариенбадская элегия. Trilogie der Leidenschaft. Elegie. «Чего мне ждать от нового свиданья?..»—О I, 39—40.

ХАНЕНЕВ Н.—см. ТРУНИН П.

ХВОСТОВ Н.

Из Гете. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). «Стихли к ночи горы...» Н. Б. Хвостов (Н. Борисович). Собрание стихотворений. Кн. I. П. 1901, стр. 86.

ХИТРОВА.

Из Фауста. Гретхен перед иконой. Faust. I, 18. «Благая! Твой лик преклсняя...»—Иоганн-Вольфганг Гете. Биогр. очерк поэта, с прилож. отрывков из его произведений. М. Общ. распростр. полезных книг. 1901. Стр. 32—33.

Присвоение. Faust. Zueignung. «Минувших дней туманные виденья...»—Там же, 34—35.

ХМЕЛЕВА О.

Гец фон Берлихинген, рыцарь с железной рукой. Трагедия в пяти действиях.

Götz von Berlichingen. С предисл. Густава Вендта. П. М. М. Ледерле и К°. 1893. XIV, 154 стр. (Моя библиотека. № 30 и 31).

Страдания молодого Вертера. Die Leiden des jungen Werther. С предисл. Густава Вендта. П. М. М. Ледерле и К°. 1893. 190 стр. (Моя библиотека. № 4 и 5).

ХОЛОДКОВСКИЙ Н.

Баллада об изгнанном и возвратившемся графе. Ballade. («Herein, o du Guter!..) «Войди к нам, войди, старичок дорогой!..» —Г IX, 25—28.

Брачная ночь. Brautnacht. «В покое сна, вдали от пира...»—Г I, 19.

В полночный час. Um Mitternacht. «В полночный час я робкою стопою...»— Г I, 16.

Влияние издали. Wirkung in die Ferne. «Зал высокий дворца пышным блеском горит...»—В² I, 140—141.

«Возле двери, отдыхая...» Harfenspieler («An die Thüren will ich schleichen...»)— Г I, 101—102.

Восточная песня. «An vollen Büschelzweigen...» (WOD. Buch Suleika).—Г IX,19.

Встреча. Freundliches Begegnen (Sonette. II) «Меж диких скал, людского чужд привета...»—Г IX, 96.

Девушка. Das Mädchen spricht (Sonette. IV) «Ты так суров, мой милый! Ты на диво...»—В² I, 156.

Девушка и поэт. «M ä d c h e n. Ich zweifle doch...» (Sonette. XV).—В² I, 157—158.

Завещание. Vermächtniss. (Kein Wesen kann...) «Распасться Сущее не может...»— В² I, 240—241.

Застольная песня. Tischlied. «Я объят, не знаю сам...»—В² I, 253—255.

Зеркало Музы. Spiegel der Muse. «Утренний свой совершая наряд, напрасно искала...»—Г IX, 138.

Зимняя поездка на Гарц. Harzreise im Winter. «Как сокол в небе...»—Г IX, 58—60.

«З ю л е й к а. По Евфрату раз плыла я...» «S u l e i k a. Als ich auf dem Euphrat schiffte...» (WOD. Buch Suleika)—В² I, 247.

Инквизиторы. Из Paralipomena zu Faust. «Горячей крови тяжкий пар...»—Г IX, 44—45.

К Гафизу. An Hafis. (WOD. «Hafis, dir sich gleich zu stellen...» «О Гафиз! С тобой сравниться...»—В² I, 249.

К Зюлейке. «H a t e m. Nicht Gelegenheit macht Diebe...» (WOD. Buch Suleika) «Случай—не союзник вора...»—В² I, 246.

К Зюлейке. An Suleika («Dir mit Wohlgeruch zu kosen...—WOD. Buch des Timur). «Чтоб извлечь благоуханья...»—1) В² I, 245—246. 2) «Сев. в.» 1892, № 4, отд. I, стр. 64.

Легенда. Legende («In der Wüsten ein heiliger Mann...») «Когда-то жил в пустыне муж святой...»)—Г IX, 101—102.

«Меж горами, меж холмами...» «Von dem Berge zu den Hügeln...» («Wilhelm Meisters Wanderjahre».)—Г IX, 100.

Мера времени. Zeitmass. «Ты ли это, Эрот? С часами песочными в каждой...»— В² I, 230.

Метаморфоза животных. Metamorphose der Tiere. «Если решаться ныне на высшую точку подняться...»—Г IX,89—90.

Метаморфоза растений. Die Metamorphose der Pflanzen. «Тысячью разных цветов мой обширный цветник разукрашен...»—Г IX, 86—88.

Могучая неожиданность. Mächtiges Ueberraschen (Sonette. I). «Из мрачных гор, с подоблачной вершины...»—В² I, 155.

Мысли при виде Шиллерова черепа. Bei Betrachtung von Schillers Schädel. «Стоял я в тихой, полутемной зале...»— В² I, 106—107.

«Не тоску уединенья...» Philine («Singet nicht in Trauertönen...»)—Г I, 109—110.

Неверный юноша. Der untreue Knabe. «Красавец-рыцарь молодой...»—Г IX, 1, 49—50.

Новый Павзий и цветочница. Der neue Pausias und sein Blumenmädchen. «О н а. Высыпь сюда из корзины цветы к ногам, моим, милый!..—В² I, 180—184.

Ноябрьская песня. Novemberlied. «Стрельцу—не древнему стрельцу...»— Г I, 13.

«О, не проси меня открыться...» Mignon. («Heiss mich nicht reden...»)—Г I, 103.

Обманутый любовник. Der Müllerin Verrath. «В одном плаще, в часы рассвета...»—Г IX, 399—401.

Обманчивая смерть. Scheintod. «Рыдайте, девы: бог любви лежит...»—Г I, 114.

Одежды белой не снимайте...» Mignon. («So lass mich scheinen, bis ich werde...»)— Г I, 103—104.

Орфические слова. Urworte. Orphisch. «Д е м о н. Каким ты был, когда на свет явился...»—В² I, 238—239.

«Отчего везде, повсюду посреди людей...» «Wie kommt's...» (WOD. Buch der Sprüche).—В² I, 250.

Пандора. Праздничное представление. Pandora.—В² IV, 531—566.

Парк. Der Park. «Что за божественный сад возник из пустыни бесплодной...»— В² I, 228.

Первая Вальпургиева ночь. Драматич. отрывок в 2 сценах. Die erste Walpurgisnacht.—Г I, 172—176.

Песнь странника в бурю. Wandrers Sturmlied. «Кого не покидает гений...»— В² I, 81—83.

Плавание. Seefahrt. «Мой корабль стоял и дни и ночи...»—Г I, 73—74.

Пляска мертвецов. Der Totentanz. «Звонарь на погост с колокольни глядит...»—Г IX, 31—32.

Подмастерье ювелира. Der Goldschmiedsgesell. «Напротив, в лавочке, живет...»—Г IX, 43—44.

«Поселиться ль нам придется...» «Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben...» («Wilhelm Meisters Wanderjahre»)—Г IX, 101.

«Похвал герою не жалеют...» «Einen Helden mit Lust...»—В² I, 249—250.

Поэзия и правда из моей жизни. Dichtung und Wahrheit aus meinem Leben. Со вступит. ст. и примеч. Е. М. Браудо. Ч. 1—2. П. Гос. изд. 1923. 188, 208 стр. (Всемирная литература. Германия).

Поэт и виночерпий. «Dichter. Schenke, komm...» (WOD. Das Schenkenbuch). «Поэт. Мальчик, дай еще мне кубок!..»—В² I, 248.

Предостережение. Warnung. (Sonette. XIII). «В день страшного суда, как над гробами...»—В² I, 157.

«Приди, мой друг, и роскошью тюрбана...» «Komm, Liebchen, komm...» (WOD. Buch Suleika.)—1) В² I, 46. 2) «Сев. в.» 1892, № 4, отд. I, стр. 64. [Заглавие: «Тюрбан»].

Причина. Beweggrund. «Когда читает наставленье...»—Г I, 110.

Разлука. Abschied (Sonette. VII). «Не насыщенный тысячью лобзаний...»—В² I, 156—157.

Разрушенье Магдебурга. «О Магдебург, мой град...»—Г IX, 45—46.

Раскаяние мельничихи. Der Müllerin Reue. «Юноша. Прочь, смуглая ведьма! Мой дом не пятнай...»—В² I, 122—124.

Римские элегии. Römische Elegien. XIII, XV, XIX.—Г IX.

Сакунтала̀. Sakontala. «Чтоб и весенних цветов, и осенних плодов изобилье...»—В² I, 230.

Свиданье. Das Wiedersehn. «Он. Дай же один, хоть один поцелуй, дорогая подруга...»—В² I, 172—173.

Священное место. Geweihter Platz. «В час, когда нимф хороводы в сиянии месяца пляшут...»—В² I, 227.

Сельское счастье. Ländliches Glück. «Добрые гении леса, кроткие нимфы речные...»—В² I, 228.

Серенада. Nachtgeseng. «Ты спишь, мой друг прекрасный...»—Г IX, 17—18.

Сицилийская песня. Sicilianisches Lied. «Только вы, чорные...»—Г IX, 18.

Сказано-сделано. Kurz und gut (Sonette. III). «Ужель я к ней привыкну совершенно?»—В² I, 156.

Слова Тимура. Timur spricht (WOD. Buch des Unmuts) «Как, вы браните взрыв могучих сил...»—В² I, 250.

Тайна. Geheimes. (WOD. Buch der Liebe). «Взор моей подруги милой...»—В² I, 245.

«Ты говоришь, что так утратил много...» —В² I, 250.

Уединение. Einsamkeit. «Вы, что живете в горах и лесах, благотворные нимфы...»—В² I, 227.

Ученик чародея. Der Zauberlehrling. «Наконец пришлось отсюда...»—Г IX, 40—43.

Учители. Die Lehrer. «В бочке своей Диоген, суету презирая, ютился...»—В² I, 230.

Фауст. Faust. Ч. I.—1) Г, II. 2) Изд., исправленное переводчиком. П. А. С. Суворин. (1890). Ч. I. 252 стр. (Дешевая библиотека). 3) То же, изд. 2-е, исправленное переводчиком. (1893). 252 стр. 4) То же, изд. 3-е (1897). 250 стр. 5) Изд. 4-е (1900). 250 стр. 6) Изд. 5-е (1903). 250 стр. 6) Изд. 5-е (1903). 250 стр. 7) Изд. 6-е, вновь пересмотренное и исправл. (1909). 254 стр. 8) Изд. 7-е, вновь пересм. и исправл. (1913). 244 стр. Ч. II. П. А. С. Суворин. (1910) 408 стр. (Дешевая библиотека). Ч. I и II.—1) М. «Окто». 1912. XX. 207 стр. (Библиотека всемирной литературы. Европейские классики). 2) П. А. Ф. Девриен. 1914. 2 т. VI, 436; 350 стр. 3) Под ред. М. Л. Лозинского. Предисл. В. М. Жирмунского. Ч. I—II. П.-М. [Гос. изд.] 1922. 2 т. 319, 344 стр. (Всемирная литература).

1, 5, 21—«В. Е.» 1878, т. 2, стр. 266—280.

«Чтоб все относились к тебе осторожно...» «Sich im Respekt...» (WOD. Buch der Sprüche).—В² I, 249.

«Чтоб творить—в уединенье...»—Künstlerlied.—Г IX, 97—98.

Шутка, коварство и месть. Оперетта в 4-х д. Scherz, List und Rache.—Г IX, 283—327.

Эрвин и Эльмира. Оперетта в 2 д. Erwin und Elmire.—Г IX, 211—246.

Ergo bibamus. «Собрался, о други, наш радостный хор...»—Г I, 25—26.

Vanitas! Vanitatum Vanitas! «Я прахом пустил свои все дела...»—В² I, 255—256.

ЦЕРТЕЛЕВ Д.

Мировая душа. Weltseele. «Покинув разом этот пир священный...»—1) В² I, 237. 2) «Р. об.» 1890, т. 5, стр. 156—157. [Заглавие: «Из Гете».]

Фауст. Трагедия. Часть I. Faust. I. 1) М. 1899, 203 стр. 2) М. 1901, 203 стр.

1) Zueignung—«Р. в.» 1878, т. 133, стр. 789—790. 2) Vorspiel auf dem Theater—«Р. в.» 1897, т. 250, кн. 2, отд. II, стр. 183—190. 3) Prolog im Himmel.—«Р. в.» 1897, т. 247, кн. 2, стр. 63—68. 4) I, 4—«Р. об.» 1890, т. 2, кн. 3, стр. 298—316. 5) I, 5—«Почин. Сборник общества любит. росс. слов. на 1895 г.» М. 1895. Стр. 135—151. 6) I, 6—«Р. в.» 1899, т. 262, кн. 1, стр. 23—34. 7) I, 7—20, 23—25—«Р. об.»

1894, т. 27, кн. 5, стр. 136—165; кн. 6, стр. 627—654. 8) I, 21, 22—«Р. в.» 1898, т. 255, кн. 2, стр. 1—25.

ЧЕБЫШЕВ-ДМИТРИЕВ А.

Песня Гретхен. (Из Фауста). Faust I, 15. «Не знать мне вновь...»—«Молва» 1857, № 29, стр. 338.

ЧЕЧУЛИН Н.

Алексей и Дора. Элегия. Alexis und Dora. Перев. с нем. размером подлинника. П. 1911. 12 стр.

ЧИЖОВ Ф.

Мнение Гете о Манцони.—«Совр.» 1846, т. 44, стр. 292—316.

ШАБЕЛЬСКИЙ П.

«В горах торжественный покой...»—«Звезда» 1897, № 5, стр. 3.

ШЕВЫРЕВ С.

Отрывок из междудействия к Фаусту: Елена, сочинение Гете. Faust. Из сц. II, 3.—«М. в.» 1827, ч. 6, стр. 3—8.

Прекрасный цвет (Песнь заключенного рыцаря). Das Blümlein Wunderschön. «Прелестный знаю я цветок...»—«Северная лира на 1827 г.», стр. 163—168.

Разговор об истине и правдоподобии в искусстве. Ueber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke—«М. в.» 1827, ч. 2, стр. 335—348. [Подпись: Ш.]

ШЕЛЛЕР-МИХАЙЛОВ А.

Прометей. Prometheus («Bedecke deinen Himmel...») «Закрой свое небо, Зевес...»—1) А. Михайлов. Сочинения. Т. I. П. 1873. Стр. 139—140. 2) «Дело» 1870, № 4, стр. 217—218. [Подпись: А. Ш.]

ШИДЛОВСКАЯ З.

Путешествие в Италию—Г VII.

ШИШКОВ А.

Директор театра (Из Гетева Фауста). Faust. Vorspiel auf dem Theater.—1) А. А. Шишков. Сочинения и переводы. Ч. I. П. 1834. Стр. 76—83. 2) «Одесский альманах на 1831 г.», стр. 310—319.

Мадагог и баядера, индейская песня. Der Gott und die Bajadere. «Не впервые к нам слетает...»—1) А. Шишков 2-й. Опыты 1828 года. М. 1828. Стр. 35—37.

ШКЛЯРЕВСКИЙ П.

Mignon. («Kennst du das Land...») («Ах ты знаешь ли край с вечно юной весной?..»)—П. Шкляревский. Стихотворения. П. 1831. Стр. 3—4.

Певец. Der Sänger. «Чей глас звучит там, слышу я...»—Стих., 67—68.

Прекрасная ночь. Die schöne Nacht. «Оставляю кров бесценный...»—Стих., 35.

ЭЙГЕС А.

Страдания молодого Вертера. Роман. Die Leidenschaften des jungen Werther. 1) П. А. С. Суворин. 1893. 202 стр. (Новая библиотека Суворина). 2) Изд. 2-е. 1904. 184 стр.

ЯКУБОВИЧ Л.

Надежда. Hoffnung. «Молю, отрадная надежда...»—«Л. пр. к. Р. инв.» 1832, № 11, стр. 87.

Филомела. Philomele. «Не отрок ли Амур вскормил тебя, царица...»—1) Л. Якубович. Стихотворения. П. 1837. 2) «Лит. г.» 1831, т. 3, № 20, стр. 159.

ЯРОСЛАВЦОВ А.

О картине Леонардо-да-Винчи «Тайная вечеря». Joseph Bossi. Ueber Leonard da Vinci Abendmahl zu Mailand. П. 1858. 50 стр.

ЯХОНТОВ А.

Венецианские эпиграммы. Epigramme (Venedig. 1790).—Г IX, 113—134.

Епистолы. Episteln.—Г IX, 105—110.

Значение женщины. «Кто хочет уяснить себе точней...»—А. Яхонтов. Стихотворения. П. 1884. Стр. 201.

Ифигения в Тавриде. Iphigenie auf Tauris.—1) Европейские классики в русском переводе под ред. П. Вейнберга (с примечаниями и биографиями), вып. I. Гете. П. 1874. 143 стр. (Для учащихся). 2) «Светоч» 1860, кн. 6, отд. I, стр. 1—108.

Настоящее. Gegenwart. «Все возвещает тебя...»—Стих., 202.

Оправдание поэта.—Стих., 262.

V-я римская элегия. Römische Elegien. V. «Радостно чувствую я вдохновенье на этой классической почве!..»—Стих., 83.

Торквато Тассо. Драма в 5 д. Torquato Tasso.—1) Г IV, 85—216. 2) «О. з.» 1844, т. 35, отд. I, стр. 133—188.

ПЕРЕВОДЫ ПОД НЕРАСКРЫТЫМИ ИНИЦИАЛАМИ.

А. Г.

Бог и баядерка. Der Gott und die Bajadere. «Магадег, земли властитель...»—1) [М. 1884]. Без тит. листа и обложки. 5 стр. 2) «Афиши и объявления» 1884, № 376, стр. I.

А. Р.

Из Гете. Faust. Zueignung. Из «Vorspiel auf dem Theater». [М. 1908]. 8 стр.

А. Ф. С.

Изречения в прозе. Из «Ethisches, Eigenes und Angeeignetes.»—В² VII, 359—391.

Б. Д.

К жестокой. An seine Spröde. «Ты видишь померанец?..—«Л. пр. к Р. инв.» 1835, № 55, стр. 436.

В. М.

Зерцало музы. Spiegel der Muse. «Нарядиться желая, Муза рано однажды гналась...»—«Русский зритель» 1828, ч. 2, стр. 54.

В. Л.

Из жизни Гете, им самим описанной.—«С. от.» 1825, ч. 103, стр. 3—42.

Д. Л.

Гец фон Берлихинген. Драма в 5 действиях. Götz von Berlichingen. Киев. Ф. А. Иогансон. 1903. 104 стр.

Е. М. Ш.[ЕРШЕВСКАЯ?]

Первоначальный «Фауст». Urfaust.—«Новый журнал иностранной литературы» 1899, № 11, стр. 161—163. (Перевод отрывка, отличающегося от окончательной редакции, из I, 4 и первоначальной редакции I, 25).

З.

Благодать. W. d. B. 17. «Небо разверзлось и дождь восшумел, и щедрою влагой...»—1) Г I, 125. 2) «М. в.» 1828, ч. 8, стр. 361.

Время и поэт. W. d. B. 11. «Тихо от Зевса несетесь вы, бурно-текущие воды...»—1) Г IX, 138. 2) «М. в.» 1828, ч. 8, стр. 141.

Поэзия. W. d. B. 10. «Дома одна облекается в шолк и золото дева...»—1) Г IX, 139. 2) «М. в.» 1828, ч. 8, стр. 5.

И. П.[АВЛОВ?]

«Безмолвья требуй, а не слова!..» Mignon. («Heiss mich nicht reden...»)—«Р. в.» 1878, т. 136, стр. 881.

«О дай полувниманье...» Nachtgesang—«Р. в.» 1878, т. 136, стр. 882.

Л. Ш.

Заклад. Шутка в 1 действии. Die Wette.—Г III, 333—348.

М.

Освященное место. Geweihter Platz. «В тихий тот час, как украдкою Греции Нимф в хороводы...»—«Атеней» 1830, ч. 1, стр. 181.

М. Л. [В оглавлении—Л. М. Н.]

Песня Миньоны (Из Гетева Вильгельма Мейстера). «Не совлекайте сей одежды белой...»—«М. тел.» 1827, ч. 17, отд. II, стр. 74.

Н...

Одна глава из жизни Вильгельма Мейстера. Вторая глава II-й книги. Из «Wilhelm Meisters Lehrjahre. II, 2»—«М. в.» 1830, ч. 3, стр. 8—23.

Н. Б—КИЙ.

Посвящение к Фаусту. Faust. Zueignung. «Вы снова здесь, туманные виденья...»—«Колосья» 1892, № 12, стр. 193—194.

О.

Первая потеря. Erster Verlust. «Ах! кто отдаст весны моей...»—«Москв.» 1841, ч. 3, стр. 298.

П.

Тишина на море и счастливое плавание. 1) Meeres Stille. 2) Glückliche Fahrt.—«Урания» на 1826 г., стр. 242.

Ф. С.

Отрывок из трагедии «Торквато Тассо». Torquato Tasso. II, 1.—«Москв.» 1842, ч. 6, стр. 268—280.

Ч—ВЪ

Брама и баядера. Индейская повесть. Der Gott und die Bajadere. (Подражание Гете). «С Неба на юдоль земную...»—«Славянин» 1827, ч. 3, стр. 62—65.

Я.

«Покойно на светлых водах...» Meeres Stille.—«С. от.» 1843, кн. 5, отд. III, стр. 4.

АНОНИМНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Герман и Доротея. Эпическая поэма. Hermann und Dorothea. [Пер. прозой]—1) Киев-П.-Харьков. Ф. А. Иогансон. 1901. 95 стр. (Библиотека немецких писателей в русском переводе). 2) То же. [1908]. 100 стр. 3) Изд. 2-е. Киев-П.-Одесса. П. И. Бонадурер, владелец Южно-русского издательства Ф. А. Иогансон. 1914. 61 стр.

Древние.—«М. в.» 1830, ч. 3, стр. 257—260.

Записки Гете. Dichtung und Wahrheit aus meinem Leben. П. 1851. 173 стр. [В сокращении].

Поэзия и правда моей жизни. I—III.—Совр.» 1849, т. 16, отд. V, стр. 1—51 и 143—188; т. 17, отд. V, стр. 77—131 и 199—213.

Идолопоклонство.—«М. в.» 1830, ч. 3, стр. 261—262.

Из «Фауста» Гете. Faust I, 18.—«Звезда» 1895, № 13, стр. 304.

Изречения в прозе Гете.—1) П. В. Берман и С. Войтинский. 1885. 200 стр. (Европейская библиотека). 2) 2-е изд. П. В. Л. Берман. [1888]. 147 стр.

Iphigenie auf Tauris. П. «Благо» [1914]. 205 стр. (Библиотека языкознания. Немецкие писатели в обработке для русских. №№ 1—2. Бесплатное прилож. к журналу «Die lustige Welt» за 1914 г. [Здесь же «Die Geschwister»].

Лесной царь. Erlkönig. «Кто по лесу мчится, стрелою летя?»—«Иллюстрированный листок» 1863, № 54, стр. 102—103.

Миньона. (Из «Вильгельма Мейстера). М. «Народная библиотека» В. Н. Маракуева. 1889. Стр. 7—84.

Морская тишь. Meeres Stille. «Тишина царит над морем...»—«Русский мир» 1859, № 2, стр. 37.

Мысли Гете. О дружбе. Об изящном.— «М. в.» 1827, ч. 2, стр. 283—286.

Новый владыка. «Царственный странник пришел на хладном почить изголовье...»—«Русский зритель» 1828, ч. 3, стр. 61.

Одна из римских элегий. Römische Elegien. V. «Чудною жизнью живется здесь на классической почве...»—«Общезанимательный вестник» 1857, № 5, стр. 176.

Отрывок из «Записок» Гете. Из «Dichtung und Wahrheit».—«М. тел». 1825, ч. 2, стр. 3—13.

Первая Вальпургиева ночь. Die erste Walpurgisnacht. Баллада для соло, хора и оркестра. Киев. 1879. 8 стр.

Песни. «Нет, мой друг, небесных песен...»—«Русский зритель» 1828, ч. 3, стр. 61.

Письма Гете [2 письма Л. А. Яковлеву на франц. яз. с перев.]—«Красн. архив» 1923, т. 3, стр. 307—308.

[Письма к гр. Штольберг в ст.:] Гете и графиня Штольберг.—«О. з.» 1843, т. 26, отд. II, стр. 43—67.

Письмо Гете о Байроне.—«М. тел.» 1825, ч. 5, стр. 32—37.

Письмо от Гете к Г. Борхарду—«М. в.» 1828, ч. 9, стр. 327—333.

Пляска мертвецов. Баллада. Der Totentanz. «На башне высокой стоит часовой...»—«Р. и п.» 1843, т. 2, № 5, стр. 234.

Природа. Die Natur. Fragment. — «Жизнь» 1899, т. 9, стр. 1—2.

Размышление. «Что полезней человеку?...»—1) Г IX, 100—101. 2) «Общезанимат. вестник» 1857, № 7, стр. 273.

Рейнеке-Лис. Поэма Гете, передел. в стихах для детей. П. М. О. Вольф. [1864]. 32 стр.

Совет. Cophtisches Lied, II. «В путь иди с моим советом...»—1) Г IX, 98. 2) «Общезанимат. вестник.» 1857, № 5, стр. 176.

«Сонные, спите по вашим шатрам...» Freisinn. (WOD. Buch des Sängers)—«М. в.» 1828, ч. 10, стр. 214.

Спящий и бодрствующий. W. d. B., 14. «Дай мне покой, я сплю...»—«Мне так не спится!»—«Неправда...»—«Русский зритель» 1828, ч. 3, стр. 60—61.

Фауст. Из Faust I. Избранные страницы из первой части трагедии в переводах русских писателей со вступит. статьей и под ред. Ал. Дейча. М. Акц. изд. общ. «Огонек» 1929. (Библиотека «Огонек» № 419).

Характер Гамлета (Из Гетева романа— Вильгельм Мейстер, гл. 3 и 13 кн. IV). Из «Wilhelm Meisters Lehrjahre». «М. в.» 1827, ч. 1, стр. 217.

Художник и поселянка. Der Wandrer. [Перев. в прозе].—«В. Е.» 1814, ч. 76, стр. 3.

Шекспир по Гете.—«М. набл.» 1835, ч. 2, стр. 34—53.

Э! э! так вот где был предатель! Это, вот видите ли не то, что быль но... впрочем назовите как хотите. «Wilhelm Meisters Wanderjahre» I, 8.—«Фантастические чудеса, повести и рассказы Бальзака, Гете, Проспера Дино». Ч. I. М. 1837. Стр. 3—76.

Эгмонт. Трагедия в 5 действиях. Egmont.—1) Киев-Харьков. Ф. А. Иогансон. 1898. 150 стр. 2) То же [1908]. 151 стр. (Библиотека немецких писателей в русском переводе).

Эпиграмма. Entschuldigung. «На что твердить нам всякой час...»—«Друг просвещения» 1804, ч. 4, стр. 31.

УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ ОРИГИНАЛОВ

I. ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СТИХАХ

Studien—Б. Алмазов.
S u l e i k a. Als ich auf dem Euphrat schiffte... (WOD. Buch Suleika) — М. Гальперин, М. Дмитриев, Ф. Миллер.
S u l e i k a. Nimmer will ich dich verlieren... (WOD. Buch Suleika) — А. Марлинский.
Suleika spricht. (WOD. Buch der Betrachtungen)—В. Вересаев.
Süsse Sorgen.—Ф. Миллер, М. Михайлов.
Talismane (WOD. Buch des Sängers) — В. Брюсов.
«Tausend Fliegen hatt'ich am Abend geschlagen...» (Sprüche)—В. Вересаев.
Timur spricht (WOD. Buch des Unmuts)— В. Вересаев, Н. Холодковский.
Tischlied—Н. Холодковский.
Torquato Tasso — А. Струговщиков, А. Яхонтов, Ф. С.
Totentanz (Der)—И. Петров, А. Струговщиков, Н. Холодковский, анон.
Trauerloge—А. Григорьев.
Trilogie der Leidenschaft. Elegie—В. Фишер.
Triumph (Der) der Empfindsamkeit—А. Соколовский.
Trost in Thränen—В. Жуковский.
«Trunken müssen wir...» (WOD. Das Schenkenbuch)—М. Гальперин, А. Марлинский.
Ultimatum—В. Вересаев.
Um Mitternacht—В. Фишер, Н. Холодковский.
Ungleiche Heirat—М. Михайлов, А. Струговщиков.
Untreue Knabe (Der)—Н. Холодковский.
Urfaust—Е. М. Ш.
Urworte. Orphisch—Н. Холодковский.
Vanitas! Vanitatum Vanitas!—Н. Холодковский.
Vermächtniss («Kein Wesen kann...») — А. Григорьев, Н. Холодковский.
Verschiedene Drohung—Н. Гербель (2).
Vier Jahreszeiten—Ф. Кони, М. Михайлов.
Vom Berge—А. Соколовский.
«Vom Vater hab'ich...» (Zahme Xenien)— В. Вересаев.
«Von dem Berge zu den Hügeln...» (Wilhelm Meisters Wanderjahre)—Н. Холодковский.
Vor Gericht—Н. Гербель (2), В. Крылов, М. Михайлов, И. Тургенев.
Wahre Genuss (Der)—В. Фишер.
Wandelnde Glocke (Die)—Н. Гербель.
Wanderers Sturmlied—Н. Холодковский.
Wandrer (Der)—Э. Губер, В. Жуковский, К. Сибирский, анон.
Wandrer und Pächterin—Ф. Миллер.
Wandrers Nachtlied («Der du von dem Himmel bist...»)—А. Кульчицкий, М. Лозинский, М. Михайлов, А. Фет.
Wandrers Nachtlied («Ueber allen Gipfeln...»)—И. Анненский, В. Брюсов, М. Лермонтов, Н. Хвостов.
«Wär' nicht der Auge sonnenhaft...» (Zur Farbenlehre)—В. Жуковский.
Warnung. («Wecke den Amor nicht auf...») А. Струговщиков.
Warnung. (Sonette. XIII)—М. Марева, Н. Холодковский.
«Was hat dir das arme Glas gethan?..» (Sprüche) — В. Вересаев.
«Was will die Nadel nach Norden gekehrt?..» (Sprüche)—В. Вересаев.
Wechsel—А. Григорьев, Ф. Тютчев (или К. Аксаков).
Weissagungen des Bakis—Ф. Миллер, М. Михайлов, З., анон.
Weltseele—В. Вересаев, Д. Цертелев.
«Wenn im Unendlichen Dasselbe...» (Zahme Xenien)—В. Вересаев.
«Wenn Kindesblick...» (Zahme Xenien)— В. Вересаев.
«Wer uns am strengsten kritisiert?» (Sprüche)—В. Вересаев.
«Wie kommt's...» (WOD). Buch der Sprüche)—Н. Холодковский.
Wiedersehn, (Das) — Н. Холодковский.
Willkommen und Abschied — И. Борн, В. Брюсов, В. Водовозов, М. Катков, М. Михайлов.
Wirkung in die Ferne—Н. Холодковский.
«Woher ich kam?..» (WOD. Buch der Betrachtungen)—В. Вересаев.
Wonne der Wehmuth—К. Аксаков, М. Михайлов.
Zauberlehrling (Der)—Н. Холодковский.
Zeitmass—Н. Холодковский.
Zueignung (Gedichte)—В. Жуковский, Ф. Миллер.

II. ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ПРОЗЕ

Aus meinem Leben. Fragmentarisches— И. Бочаров.
Briefe aus der Schweiz—А. Соколовский.
Bürgergeneral (Der)—Н. Майков.
Clavigo — И. Бочаров, О. Козодавлев, Ф. Кони, А. Струговщиков.
Dichtung und Wahrheit—А. Соколовский, Н. Холодковский, Н. И., анон. (3).
Egmont—Н. Гербель. С. Займовский, Вл. Смирнов, анон. См. еще в I отд.: «Die Trommel gerühret...» «Freudvoll und leidvoll...»
Eigenes und Angeeignetes—А. Ф. С.
Geschwister (Die)—И. Бочаров, Н. Гербель, Э. Матерн, А. Струговщиков, анон. (при «Iphigenie auf Tauris»).
Götter, Helden und Wieland—Н. Гербель, А. Струговщиков.
Götz von Berlichingen—Н. Гербель, С. Займовский, М. Погодин, О. Хмелева, Д. Л. См. еще в I отд.: «Mit Pfeilen und Bogen...»
Gross-Cophta (Der)—А. Соколовский. См. еще в I отд.: «Cophtisches Lied» I и II

В. ЗУБОВ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА О ГЕТЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Сколько-нибудь полной библиографии русской гетеаны нет. Исследователям приходится обращаться к самого различного рода пособиям, по частям и крохам разыскивая нужные сведения. Идеальным было бы составление исчерпывающего хронологического перечня на основании цензурных дат, точных дат писем и т. п. данных, с приведением in extenso тех отрывков, которые непосредственно касаются Гете. Но такая работа—работа не одного года и не одного лица. Настоящий указатель имеет целью дать лишь материалы к подобной развернутой летописи судеб гетевского наследия в русской культуре (поэтому заголовок нашей работы весьма условен).

Ставя себе задачи собрать материалы, касающиеся преломления гетеанства в русской литературе, мы ориентировались на языковые границы. Поэтому в указатель включены например работы, выходившие на территории Украины, но писанные на русском языке. Из иностранных публикаций приняты во внимание лишь те, которые специально посвящены русскому гетеанству. Все замечания Гете о России и русских гетеанцах в его письмах, дневниках или статьях в указатель не вошли, поскольку темой указателя являются не взаимоотношения Гете и русских, а Гете в русском понимании и освоении.

Отказаться от включения переводных статей и монографий не представлялось целесообразным. Уже самый выбор переводов свидетельствует о вкусах и господствующих точках зрения, и зачастую то, что сначала появлялось в хорошем переводе, позднее лишь повторялось в плохом «оригинальном» исследовании. Грань делалась подчас неуловимой. Проследить судьбу переводов из Менцеля, Гейне, Берне, Брандеса и др. представлялось поэтому небезынтересным.

В основу указателя положен хронологический принцип, при чем, как правило, во внимание принят год опубликования (все последующие издания помещаются под годом первого издания). Исключение сделано для архивных и т. п. публикаций, для которых год опубликования является случайным. В этом случае принят во внимание год написания, а в некоторых отдельных случаях, когда год написания отделен от года описываемого события значительным промежутком времени,—год этого последнего. Ригористическое соблюдение одной схемы могло бы причинить ущерб рельефности материала. Перекрестные ссылки и именной указатель упрощают пользование материалом и, думается, в значительной мере отводят возможные упреки.

Ограниченность времени и места не позволила составителю дать в развернутом виде все помещаемые материалы. Во многих случаях пришлось отказаться от разнесения по годам отдельных писем, высказываний, статей и ограничиться ссылкой на именные указатели, приложенные к книгам. Так поступлено в отношении «Архива Тургеневых», «Писем Белинского», «Дневника» Чернышевского и др. Наличие обстоятельной «Летописи жизни Белинского» (Ред. Н. К. Пиксанова. М. 1924) в значительной мере избавляет от необходимости подробной проработки писем этого критика. Статьи и высказывания Герцена, Стасова, Серова в основном разнесены по годам, но более мелкие высказывания (цитаты, реминисценции) не включены; за ними приходится отослать к указателям. Не включены и менее значительные упоминания Гете у Н. П. Барсукова («Жизнь и труды Погодина»). Более мелкие упоминания о Гете в письмах Тургенева и воспоминаниях о нем отмечены в библиографическом указателе С. П. Петрашкевич (Тургеневский сборник, П. Стр. 135—215). Произведения Пушкина приводятся по изданию Венгерова. При разыскании беглых упоминаний, не вошедших в наш указатель, полезен указатель к академическому изданию (т. IX, Л. 1928—1929). По той же, ранее указанной причине не пришлось включить и эпиграфы из Гете—темы столь же интересной, сколь и кропотливой. Ограничимся указанием имен Погодина, К. Аксакова, В. Ф. Одоевского, И. С. Тур-

генева, Льва Толстого. Упомянем наконец вскользь и о «любимых» цитатах («Ohne Hast, ohne Rast» у Тургенева, «Mut verloren, alles verloren»—у Герцена).

Сознательно не включаются произведения, в которых заметно то или иное влияние Гете, но в которых не упомянуто ни имени Гете, ни его произведений. На этом основании не включены некоторые из вертерианских произведений, указываемых исследователями, «Русские ночи» Одоевского, в которых Замотин усматривал влияние «Вильгельма Мейстера», и др.

Кроме сокращений названий журналов, принятых в указателе Б. Бухштаба «Русские переводы из Гете», я пользуюсь следующими:

«Веч. М.»—«Вечерняя Москва».
«Ж. М. Н. П.»—«Журнал Министерства Народного Просвещения».
«Изв.»—«Известия ЦИК СССР».
«Ист. в.»—«Исторический вестник».
«Лит. н.»—«Литературное наследство».
«М. вед.»—«Московские ведомости».
«Муз. и т. в.»—«Музыкальный и театральный вестник».
«Н. ж. ин. л.»—«Новый журнал иностранной литературы».
«Р. а.»—«Русский архив».
«Р. б.»—«Русское богатство».
«Р. инв.»—«Русский инвалид».
«Р. ст.»—«Русская старина».
«С. пч.»—«Северная пчела».
«Сов. иск.»—«Советское искусство».
«Спб. вед.»—«С.-Петербургские ведомости».
«Т. аф. и антр.»—«Театральные афиши и антракт».

В статьях и книгах, не целиком посвященных Гете, страницы к нему относящиеся указываются в прямых скобках. В тех случаях, когда это не представляется возможным (например в газетной статье), наличие абзацев, трактующих о Гете, или упоминаний о нем зачастую вовсе не отмечается, и в таком случае уже самое включение статьи свидетельствует о наличии тех или иных упоминаний Гете и сопоставлений с ним.

Критические разборы, посвященные произведениям русской музыки на тексты и сюжеты из Гете и совершенно не касающиеся вопроса об интерпретации Гете, во внимание не принимались.

В основу этого указателя легли: 1) материалы, несколько лет назад собранные составителем при сплошном просмотре журналов 30-х, 60-х и 70-х гг.; 2) материалы архива С. А. Венгерова (в оценке их можно вполне согласиться с т. Бухштабом); 3) самостоятельные разыскания, произведенные ad hoc (сведения библиографических справочников, журнальных указателей, историко-литературных монографий в подавляющем большинстве случаев проверялись de visu). В то время, когда моя работа была уже значительно продвинута, мне удалось ознакомиться с статьями, помещаемыми в настоящем номере. Ряд ценных библиографических указаний был мною почерпнут в статьях С. Н. Дурылина, В. М. Жирмунского, И. В. Сергиевского и др. Г. И. Чулкову за указания в области тютчевианы и С. С. Попову, сделавшему мне ряд ценных указаний в отношении музыкально-критической литературы, выражаю свою признательность.

В заключение несколько слов о недавно напечатанном «библиографическом» указателе «Русская гетеана» («Марксистско-ленинское искусствознание» 1932, № 5—6, стр. 132—143). Можно поверить авторам, что они не стремились к «исчерпывающему своду», однако нельзя согласиться, что указатель «дает представление о зарождении и развитии интереса русского читателя и критика к Гете» и что «названия наиболее значительные и интересные нашли в нем место». В указателе «нашли место» те названия, которые составители нашли в наиболее известных, ходовых указателях: старых указателях Межова, указателях к «Журналу Министерства Народного Просвещения», «Историческому вестнику» и др. Самостоятельными разысканиями авторы затрудняли себя мало: им, повидимому, осталось неизвестным, что рецензия на «Фауста» в переводе Вронченко, помещенная в «Отечественных записках» и зарегистрированная у Межова, принадлежит перу Тургенева и печатается в собраниях его сочинений, что рецензия на тот же перевод в «Москвитянине», указанная тем же Межовым, написана И. В. Киреевским и точно так же помещена в сочинениях последнего. В тех случаях, когда авторы отваживались на самостоятельные разыскания, их опыты не всегда увенчивались успехом: таким плодом самостоятельных разысканий явилось включение клингеровского «Фауста» (изд. Некрасова, 1912) и статьи Шаховского «Фауст на английской сцене» («Р. в.» 1881), в которой речь о «Фаусте» Марлоу и ни звука о Гете. Пользуясь «Журнальной летописью», авторы не всегда с достаточной внимательностью оперировали списком сокращений, в результате чего статья Г. И. Чулкова «Переводы Тютчева из Фауста Гете» оказалась помещенной в журнале «Искусство в школе» (вместо «Искусство», органа ГАХН). Стоит ли говорить о том, что ни одно библиографическое описание не было про-

верено de visu и в большинстве случаев прозрачно обнаруживает источник своего заимствования. Сказанное касается раздела II B («Работы других авторов»). Составление раздела II A («Маркс, Энгельс и Ленин о Гете») также не представляло особого труда при наличии именных указателей, к которым авторы отнеслись с полным доверием. Поэтому в их список попала лишь одна из цитат Ленина и ускользнули от внимания другие, где имени Гете не дано explicite.

1780

1. Рецензия на перевод гетевского «Клавиго» (О. П. Козодавлева) и «Эльфриды» Бертуха.—«Санктпетербургский вестник» 1780, ч. VI, стр. 58—60.

«Подлинники обеих сих театральных сочинений приобрели сочинителям своим похвалу; российский оных перевод сделан и напечатан с отличным тщанием; для опыта оного сообщаем мы одну монологу из книги первой трагедии»...

1781

2. Рецензия на книгу «Страсти молодого Вертера», ч. I и II. П. 1781 (пер. Ф. Галченкова).—«Санктпетербургский вестник» 1781, ч. VII, стр. 138—144.

1787

3. Баранов С. Шарлотта при гробе Вертера.—«Зеркало света» 1787, ч. II, стр. 768—773.

4. Драмматической словарь. М., в типографии А. А[нненкова], 1787. (Переизд. П. 1880).

На стр. 68—69 о «Клавиго»—«трагедии г. Гете, славного Немецкого автора, которой написал отличную книгу, похваляемую повсюду, страдание молодого Вертера».

1789

5. [Вельяшев-Волынцев.] Стихи на гроб Вертера.—«Полезное упражнение юношества». М. 1789, стр. 376—377.

1790

6. Радищев А. Путешествие из Петербурга в Москву. П. 1790. (Точное воспроизведение издания—П. 1888).

Стр. 202 (226 по изд. П. 1905): «...и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером».

1791

7. С. Шарлотта на Вертеровой гробнице. Пер. с фр. «Московский журнал» 1791, ч. VI, стр. 122—124.

1791—1792

8. Карамзин Н. Письма русского путешественника.—«Московский журнал» 1791—1792. (Соч., т. II, П. 1848).

Стр. 138—154 (по собр. соч.)—о Веймаре и Гете. (Июль 1789 г.) Ср. о «Вертере» и о «Новой Элоизе» стр. 304, примеч.

1792

9. Заметка о «Göthe's neue Schriften. 1792».—«Московский журнал» 1792, ч. VII, стр. 377.

«Тот же Гете—тот же великой писатель, которого дарованиям удивлялись мы в прежних его творениях».

1793

10. Кл[ушин] А. Несчастный М—в. «С.-Петербургский Меркурий» 1793, ч. I, стр. 138—176, 177—226. (Отдельно под заглавием: «Вертеровы чувствования или несчастный М. [Маслов]». П. 1802). [О гетевском «Вертере» на стр. 159 и 196—197.]

1794

11. Несколько писем моего друга.—«Приятное и полезное препровождение времени» 1794, IV.

Стр. 184: чтение стихотворения «Шарлотта при гробе Вертера» героем.

1795

12. Карамзин Н. Послание к женщинам [1795].—«Аониды» 1796, I, стр. 219—249. (Соч., т. I. П. 1848, стр. 96—111).

Стр. 103: «Злощастный Вертер не закон:
Там гроб его: глаза рукою
закрываю...»

1796

13. Горчаков Д. Пламир и Раида. М. 1796.

Стр. 27—29: совместное чтение «Вертера» героем и героиней повести.

1797

14. Тургенев Андрей. Четверостишие, написанное на экземпляре «Вертера», подаренном Жуковскому (1797).—Веселовский (№ 647), стр. 53—54. Ср. А. Тургенев (№ 168). Воспроизведено с подлинника в этом № «Лит. насл.».

1798

15. Шаликов. Весна.—«Плод свободных чувствований». М. 1798, ч. I, стр. 21—26.

Стр. 26: «...иногда хожу в поле с книжкою, Вертер, Новая Элоиза»...

1799

16. Галинковский И. Часы задумчивости, ч. I—II. М. 1799.

Упоминания о «Вертере»—ч. I, стр. 41; ч. II, стр. 26, 29, 34—35.

1801

17. Сушков М. Российский Вертер. П. 1801.

1803

18. Славнейшие стихотворцы трагические.—«Корифей или ключ литературы», кн. II (П. 1803), стр. 37—55.

На стр. 45—упоминание о «нежном Гёте».

1803—1810

19. Тургенев А. Письма и дневник геттингенского периода (1802—1804 гг.) и письма к А. С. Кайсарову и братьям в Геттинген 1805—1811 гг. С введ. и примеч. В. М. Истрина. П. 1911. (Архив братьев Тургеневых. Вып. 2).

О Гете—в дневнике и письмах периода 1803—1810 гг. (По указателю).

1804

20. Науки, искусства, ученые, художники и университеты в Германии. (С французского Д. Дашков).—«И отдых в пользу. Труды воспитанников Университетского благородного пансиона». М. 1804, стр. 107—128.

Стр. 121: «За холодными Лессинговыми пиэсами следовали сочинения Гете, в которых видны все недостатки Эврипида, а некоторые только красоты его». (Ср. о Гете также стр. 122).

1805

21. Историческое известие о Шиллере. (Из журнала «Archives litteraires»).—«Сев. в.» 1805, ч. VIII, стр. 142—156.

На стр. 143, 146, 147 и 155 упоминается «Гет».

1806

22. Арабский Вертер.—«Аврора» 1806, ч. II, стр. 222—228.

23. О сказках и романах.—«Аврора» 1806, ч. II. [О Гете и Руссо на стр. 205 и 217.]

24. Сухомлинов М. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т. I. П. 1889.

Стр. 436: О запрещении петербургским цензурным комитетом представления «Эгмонта» на сцене (1806).

1807

25. О сказках и об английских читательницах. (С французского).—«В. Е.» 1807, ч. 34, стр. 88—98. [На стр. 89].

1808

26. Гете изображенный Лафатером.—«В. Е.» 1808, ч. 42, стр. 44—48.

1809

27. Мерзляков А. Краткая риторика. М. 1809. 2-е изд. М. 1817. 3-е изд. М. 1821. 4-е изд. М. 1828.

Стр. 76 (82 по 3-му изд.): «В новейших романах немцы сравнились со всеми лучшими народами. Отличные писатели в сем роде: Галлер, Виланд, Гете, Николаи [и др.]».

28. Тургенев Н. Дневники и письма за 1806—1811 гг. Под ред. и с примеч. Е. И. Тарасова. П. 1911. (Архив братьев Тургеневых. Вып. 1).

Дневник 6/18 марта 1809 г. (стр. 215): «Я читал несколько из Готе и мне он совсем не понравился»... (Другие упоминания по указателю).

1811

29. О книге «Вертер». [Из «Mercure de France»—«Улей», 1811 ч. II, стр. 266—280.

30. Тургенев Н. Дневники за 1811—1816 гг. Под ред. и с примеч. Е. И. Тарасова. П. 1913. (Архив братьев Тургеневых. Вып. 3).

Стр. 8—10: пребывание в Веймаре в июне 1811 г.

1812

31. Нечаева В. Письма Гете [к Л. А. *Яковлеву, 1812*].—«Красный Архив» 1923, т. III, стр. 307—309.

1813

32. Батюшков К. Письмо к Н. И. Гнедичу из Веймара [30 октября 1813 г.]—Соч., т. III, П. 1886, стр. 235—243.

Стр. 239: «В отчизне Гете, Виланда и других ученых я скитаюсь как скиф». Стр. 240: «Здесь Гете мечтал о Вертере, о нежной Шарлотте». Там же: «Гете я видел мельком в театре».

33. Батюшков К. Письмо к А. Н. Батюшковой из Веймара [10 ноября 1813 г.]—Соч., т. III. П. 1886, стр. 243—245.

Стр. 245: «Веймар есть отчизна Гете, сочинителя Вертера, славного Шиллера и Виланда».

1813—1814

34. Бегичев С. Записка о Грибоедове [1854]. 1) «Р. в.» 1892, № 8, стр. 305—316. 2) «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников». Ред. Н. К. Пиксанова. Комментарии И. С. Зильберштейна. М. 1929, стр. 3—15.

Стр. 310: «Грибоедов первый познакомил меня с «Фаустом» Гете и тогда уже, [1813—1814] знал почти наизусть Гете, Шиллера и Шекспира».

1814

35. Гете, Виланд и Шиллер, изображенные госпожею Сталь. (Из ее нового сочинения о Германии).—«В. Е.» 1814, ч. 77, стр. 120—127, 181—190.

36. Кобеко Д. О суздальском иконописании.—«Изв. отд. русск. яз. и словесности Академии Наук» 1896, т. I, кн. 3, стр. 587—592.

Сведения, собранные О. П. Козодавлевым для Гете в 1814 г. Ср. № 619 и И. Грабарь. Ист. русск. искусства, т. VI, стр. 5.

37. Шишков А. Записки, мнения и переписка. Берлин. 1870. [Т. I, стр. 303: о свидании с Гете в 1814 г.]

1816—1824

38. Тургенев Н. Дневники и письма за 1816—1824 гг. Под ред. и с примеч. Е. И. Тарасова. П. 1921. (Архив братьев Тургеневых. Вып. 5). [По указателю].

1817

39. Греч Н. Путевые письма. Поездка во Францию, Германию и Швейцарию в 1817 г.—Соч., т. II, П. 1855. [На стр. 487—491 о Веймаре и Гете].

Ср. отзыв А. И. Тургенева в письме к П. А. Вяземскому от 25 мая 1823 г. (Остафьевский архив, т. II, стр. 326).

40. Жуковский В. Письмо к Д. В. Дашкову. [Начало 1817 г.] 1) «Р. а.» 1868. № 4—5; 2) Соч., П. 1878, т. VI, стр. 439—443.

О плане издания переводов из «образцовых немецких писателей», в том числе Гете.

1818

41. Вигель Ф. Записки, ч. I—VII. М. 1892—1895.

Ч. V, стр. 98—99: о пребывании в Веймаре с Блудовым в 1818 г. Ср. ч. II, стр. 215 (об Ал-дре Тургеневе и Гете); ч. III, стр. 123—124 (о драмах Гете).

42. Тургенев А. Письмо к Вяземскому (26 ноября 1818 г.).—Остафьевский архив, т. I, П. 1899, стр. 154—156.

Стр. 155: «Гете не принадлежит уже нашему веку, по крайней мере по своей поэзии».

1819

43. Жуковский В. К портрету Гете. [Четверостишие, 1819].—П. с. с., т. III. П. 1902, стр. 33. (Соч. Изд. 10-е. П. 1901, стр. 188).

44. Туманский. Вертер к Шарлотте. Подражание французскому.—«Благонамеренный» 1819, ч. VI, стр. 5.

1820

45. Горчаков В. Выдержки из дневника об А. С. Пушкине.—1) «Москв.» 1850. 2) М. А. Цявловский. Книга воспоминаний о Пушкине. М. 1931, стр. 52—171.

Стр. 112. «По стенам [в гостинице в Балте, декабрь 1820 г.] картины: Понятовский, Костюшко и история Шарлотты и Вертера».

46. Кюхельбекер В. Отрывок из путешествия по Германии.—«Мнемозина» 1824, ч. I, стр. 61—110.

Стр. 89—о Гете и Веймаре (в письме от 10/22 ноября 1820 г.).

47. Колосов Ю. и Кюхельбекер М. В. К. Кюхельбекер.—«Р. ст.» 1875, № 7, стр. 333—382.

Стр. 341—342: письмо Кюхельбекера к матери из Веймара от 17/29 ноября 1820 г.

1821

48. Жуковский В. Письма к вел. кн. Александре Федоровне из первого его заграничного путешествия в 1821 г.—«Р. ст.» 1902, № 5, стр. 337—358.

Стр. 357: О свидании с Гете (в письме от 1/13 ноября 1821 г.)

1822

49. Жуковский В. Письмо к Гете [1822].—«Р. а.» 1870, стлб. 1817—1822.

50. Мерзляков А. Краткое начертание теории изящной словесности. В 2-х частях. М. 1822.

Стр. 176—упоминание Гете среди «отличнейших элегических стихотворцев», стр. 195—среди «сочинителей песен», стр. 243—среди «лучших романических писателей», стр. 300—среди «лучших комиков», стр. 313—314—среди «лучших трагиков». (Ср. также стр. 328).

51. Хвостов Д. На прибытие вел. княгини Марии Павловны 1822 г. ноября 26 дня.—Разные стихотворения, сочиненные после полного собрания, т. V, П. 1827, стр. 10—11 и примеч. на стр. 266.

См. здесь о Веймаре, «Музах германских» и Гете.

1822—1823

52. Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. I, П. 1888, стр. 144, 234, 237 (занятия Погодина Гете в 1822—1823 гг.).

1823

53. Жуковский В. Письмо к И. И. Дмитриеву от 11/23 февраля 1823 г.—1) «Р. а.» 1866. 2) Соч., т. VI, П. 1878, стр. 430—431. [В связи с посылкой портрета Гете].

54. Плетнев П. Путешественник. Стихотворение Гете в переводе Жуковского.—1) «Журнал изящных искусств» 1823, кн. 2, стр. 126 сл. 2) Соч. и переписка, т. I, П. 1885, стр. 82—96.

55. Тургенев А. Переписка с кн. П. А. Вяземским. Т. I (1814—1833). П. 1921. (Архив братьев Тургеневых. Вып. 6). [По указателю].

1824

56. Бестужев А. Знакомство с А. С. Грибоедовым (1824).—«О. з.» 1860, № 10, отд. 1, стр. 633—640. [аН стр. 634—636].

57. Кюхельбекер В. О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие.—«Мнемозина» 1824, ч. II, стр. 29—44. [На стр. 33, 35 и 41].

58. Кюхельбекер В. Разговор с Ф. В. Булгариным.—«Мнемозина» 1824, ч. III, стр. 157—177. [На стр. 160, 164, 170—172].

59. Панин Н. Письмо к дочери от 13 ноября 1824 г.—А. Брикнер. Материалы для жизнеописания гр. Н. И. Панина, т. VII, П. 1892, стр. 246. [О пребывании в Веймаре В. Н. Панина и его свидании с Гете].

60. Пушкин А. Письмо к П. А. Вяземскому (?) (март 1824 г.).—1) Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, М.-Л. 1926, стр. 74—75. 2) Соч., изд. под ред. С. А. Венгерова, т. V. П. 1911, стр. 523. [Упоминание о Гете].

61. Пушкин А. Письмо к А. А. Бестужеву (29 июня 1824 г.).—1) Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. Т. I, М.—Л. 1926, стр. 86—87. 2) Соч. Изд. под ред. С. А. Венгерова, т. V, 1911, стр. 528—529. [«Гете-полупокойник».]

62. Шипулинский Ф. А. Мещевский (Забытый ссыльный поэт).—«Искусство» 1927, кн. 2—3, стр. 171—198. [На стр. 180—181 о стихотворении «Близость милой» (1824). Ср. его же заметку в кн. 4 (1927), стр. 219.]

1825

63. Арто. О духе поэзии XIX в. [Из «Revue Encyclopedique»]. Пер. А. Б[естужева].—«С. от.» 1825, ч. 102, стр. 276—283, 386—398.

64. И. Р. . . ин. Нечто о споре по поводу Онегина. Письмо к редактору «Вестник Европы».—«В. Е.» 1825, ч. 144, № 17, стр. 26—28.

65. [Полевой Н.] Примечание к переводу «Отрывка из записок Гете».—«М. тел.» 1825, ч. II, стр. 3—4.

66. Пушкин А. Письмо к П. А. Вяземскому (25 мая 1825 г.).—1) Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. 131—132. 2) Соч. под ред. С. А. Венгерова, т. V, 1911, стр. 547. [Упоминание о Гете].

67. Пушкин А. Письмо к Н. Н. Раевскому. [конец июля 1825 г.].—1) Письма, т. I, стр. 147—148. 2) Соч. т. VI. П. 1915, стр. 3—4. [Упоминание].

68. Языков Н. Письма к родным за дерптский период его жизни (1822—1829). П. 1913. (Языковский архив. Вып. 1).

«Гетев Фауст возмутительно прекрасен» (письмо от 18 февраля 1825 г., стр. 153). Другие упоминания по указателю.

1826

69. Веневитинов Д. К Пушкину. [1826, стихотворение]. П. с. с. Изд. под ред. А. Пятковского. 1862, стр. 101—102. [О Гете—строки 28—52.]

70.*—[Кюхельбекер В.] К Гете [Стихотворение].—«М. тел.» 1826, ч. XI, отд. 2, стр. 3—5. [Перепеч. в настоящем № «Лит. Насл.»].

1826—1827

71. Тургенев А. И. Письма к Н. И. Тургеневу. Лейпциг. 1872. (Выдержки в «Р. а.» 1895, кн. III, стр. 33—76, 194—200).

О Гете—в письмах 1826—1827 гг., стр. 62—66, 114—116 и 147 (по «Р. а.»—48—50, 58—59, 208.)

72. Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. II (Годы 1826—1828), П. 1889. [На стр. 28, 180 и 292].

73. Анекдоты о Гете.—«М. в.» 1827, ч. VI, стр. 121—123.

74. Гете и Шиллер (С немецкого Р***).—«М. тел.» 1827, ч. 15, стр. 5—16.

75. Елагина А. Письмо к В. А. Жуковскому конца 1827 г.—Уткинский сборник. Под ред. А. Грузинского, М. 1904, стр. 46. [О Рожалине—переводчике Гете].

76. Жуковский В. К Гете. [Стихотворение. Сентябрь 1827]. П. с. с., т. III, 1902, стр. 71. Соч. Изд. 10-е. 1901, стр. 243—244).

Впервые напечатано в «Письмах А. И. Тургенева», стр. 115. (См. № 71).

77. Иоганн-Вольфганг Гете.—«М. тел.» 1827, ч. XIV, стр. 92—97. [С приложением автографа в ч. XVIII].

78. Пушкин А. [Заметка о Байроне]. 1827.—Соч. т. IV, П. 1910, стр. 500. [См. здесь отзыв о «Фаусте»].

79. Пушкин А. [О смелости выражений]. 1827.—Соч. т. IV, стр. 504. [Упоминание Гете].

80. С. Ш[евырев]. Елена... Междудействие к «Фаусту» из соч. Гете.—«М. в.» 1827, ч. VI, стр. 79—93.

81. Э. А. [Тургенев А.]. Письма из Дрездена. [3/15 и 9/21 января 1827 г.]—«М. тел.» 1827, ч. XIII, № 4, стр. 341—305.

1828

82. Борхард Н. Письмо к издателю «Московского вестника».—«М. в.» 1828 г., ч. IX, стр. 326—333.

Здесь помещен немецкий текст и русский перевод письма Гете к Борхарду от 1 мая 1828 г.

83. Журналистика.—«М. тел.» 1828, № 17, стр. 120—125.

84. О «Goethe's Werke. Vollstaendige Ausgabe».—«М. тел.» 1828, ч. 22, стр. 567—569.

85. Обозрение русских журналов за 1827 г.—«М. в.» 1828, ч. 8, стр. 61—105, 398—424. [Стр. 91: о статье «Гете и Шиллер» в «М. тел.» (Ср. № 74)]

86. Пиктэ А. Классицизм и романтизм. С франц. И. Б-н.—«М. тел.» 1828, ч. XXIII, стр. 3—35. [На стр. 13—14].

87. Пушкин А. Письмо к издателю «Московского вестника» [М. П. Погодину]. (1 июля 1828 г.).—1) Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, М.—Л. 1928, стр. 52—53. 2) Соч., т. VI, П. 1915, стр. 37—38.

88. Разбор «Kritische Schriften von A.-W. v. Schlegel. Berlin. 1828». [Из Morgenblatt'a].—«М. в.» 1828, ч. XI, стр. 360—364.

О Гете и Фоссе—стр. 362—363, о рисунках Корнелиуса к Фаусту, стр. 364.

89. С. Ш[е в ы р е в]. Разбор «Гец фон Берлихингена» в переводе Погодина.— «М. в.» 1828, ч. XII, стр. 109—128.

90. С. Ш[е в ы р е в]. Разбор «Манфреда» Байрона.—«М. в.» 1828, ч. X, стр. 56—69. [На стр. 57—58].

91. Т и т о в В. О романе как представителе образа жизни новейших европейцев.—«М. в.» 1828, ч. VII, стр. 169—184. [На стр. 183—184].

92. Э к ш т е й н. Разбор Chefs d'œuvre du theâtre allemand. Goethe. [Из «Le Catholique»]—«М. тел.» 1828, ч. 20, стр. 319—343.

1828—1829

93. П у ш к и н В. Капитан Храбов. Повесть в стихах (1828—1829). [Печаталась главами в разных изданиях в 1829—1830 г.]—Соч. 1893, стр. 106—113. [На стр. 109—110 и 112.]

1828—1831

94. С е м е в с к и й М. А. Бестужев в Якутске. Неизданные письма его родным. «Р. в.» 1870.

На стр. 245 и 246 № 5-го и стр. 507 № 6-го [в письмах 1828—1831 гг.].

1829

95. А л о в В. [Г о г о л ь Н.] Ганс Кюхельгартен. 1829. [Написано в 1827 г.].

Упоминание Гете в обращении к Германии (4 последних стиха эпилога). По 10-му изд. М. 1889, т. V, стр. 43.

96. В о л к о н с к а я З. Отрывки из путевых впечатлений (1829). Сочинения. Париж и Карлсруэ. 1865. (Первоначально в «Северных цветах на 1830 г.»). [Стр. 3—4].

97. Литературная жизнь Гете. Отрывок из Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe par Albert S......r, пер. В. Н. Олина.—Карманная книжка для любителей русской старины и словесности на 1829 г. (Изд. 2-е. 1832, стр. 41—77).

98. О р л о в-Д а в ы д о в В. Биографический очерк графа В. Г. Орлова. П. 1878.

Т. II, стр. 335: о посещении Веймара и свидании с Гете В. П. Орлова-Давыдова в 1829 г.

99. Рецензия на рожалинский перевод «Вертера».—«М. тел.» 1829, ч. XXV, стр. 98.

100. Рецензия на «Сочинения Д. В. Веневитинова, ч. I».—«Галатея» 1829, ч. 2, № 7, стр. 38—41.

Об отношении Веневитинова к Гете—стр. 39—40.

101. Т у р г е н е в А. Письмо к В. А. Жуковскому от 3 сентября 1829 г.—«Р. ст.» 1903, № 8, стр. 439—445. [О Гете—на стр. 440—441. Ср. «Р. ст.» 1890, № 11, стр. 479—480.]

102. Ш е в ы р е в С. Письмо к А. П. Елагиной от 28 мая 1829 г. из Флоренции.—«Р. а.» 1879, кн. I, стр. 138—139. [Напечатано неполно и неисправно. Ср. статью С. Н. Дурылина в настоящем номере.]

О свидании его и Рожалина с Гете.

1829—1830

103. Н. М. Рожалин (Выдержки из его писем).—«Р. а.» 1909, № 8, стр. 563—606.

О Веймаре, свидании с Гете, постановке «Фауста» в Дрезденском театре, Гете и «врагах философии»—в письмах от 4/VI 1829 г. (стр. 565—567), 16/IX 1829 г. (стр. 577—583) и 25/IV 1830 г. (стр. 583—588).

104. Г. [Р о ж а л и н Н.] Отрывки из частных писем русского путешественника.—«М. в.» 1830, ч. 11, стр. 296—303.

О Веймаре и Гете—стр. 300—301 (письмо от 4 июня 1829 г. из Дрездена).

1830

105. К а т е н и н П. Размышления и разборы.—«Лит. г.» 1830. Т. II, № 68, стр. 259—260: о «Фаусте».

106. К и р е е в с к и й И. Обозрение русской словесности за 1829.—1) Альманах «Денница» на 1830 г. 2) П. с. с. т. II, М. 1911, стр. 14—39.

Стр. 23—об «Эгмонте»; стр. 36—о рожалинском переводе «Вертера».

107. К р о н е б е р г И. Исторический взгляд на эстетику.—«Брошюрки» 1830, № 1, стр. 1—36. [На стр. 11.]

108. К р о н е б е р г И. Отрывки.—«Брошюрки» 1830, № 2, стр. 3—48. Стр. 3—13 о «Фаусте», стр. 13—17 о «Тассо»; стр. 30—31 о Гете и Шиллере.

109. N a d e z d i n, N. De origine, natura et fatis poeseos, quae romantica audit. M.—1830. [На стр. 128, 129, 137, 139. Часть в русск. пер. в «Атенее» и «В. Е.» за 1830 г. (в частности ср. в № 1 «В. Е.» стр. 129—130 и 135.)]

110. Некоторые мысли Гете о богемской словесности. С польского Крмнц.—«Лит. г.» 1830, т. II, № 57, стр. 168—169.

111. Р. [П у ш к и н А.]. Рецензия на «Историю русского народа» Н. Полевого.—1) «Лит. г.» 1830, т. I, № 4, стр. 31—32, № 12, стр. 96—98. 2) Сочинения, т. IV, 1910, стр. 540—542. [Упоминание Гете на стр. 541.]

112. Рецензия на «Иоанн Фауст или чернокнижник» Клингемана.—«Атеней», 1830, № 6, стр. 554—555. [Здесь же о «Фаусте» Гете].

113. Р о ж а л и н Н. Письмо к С. П. Шевыреву (от 10 ноября 1830 г.)—«Р. а.» 1906, № 2, стр. 235—236. [Упоминание об издании переписки Шиллера и Гете.]

114. Средний-Камашев И. Несколько замечаний на рассуждение г. Надеждина: О происхождении, свойствах и судьбе поэзии, так называемой романтической.—«М. в.» 1830, ч. III, стр. 44—57. [На стр. 54.]

1831

115. Велланский Д. Опытная наблюдательная и умозрительная физика. 1831. [О теории цветов Гете—на стр. 123 и 127—128.]

116. Колюпанов Н. Биография А. И. Кошелева. Т. I, кн. 1—2, М. 1889, т. II, М. 1892. [Т. II, стр. 3—4 празднование годовщины рождения Гете (Дневник Кошелева 1831); стр. 7—Кошелев у Гете (1831). Ср. «Р. а.» 1884, № 1, стр. 298 и №№ 418 и 478.]

117. Кронеберг И. Эгмонт (Трагедия Гете).—«Брошюрки» 1831, № 7, стр. 26—29.

118. Менцель В. Шиллер и Гете. Пер. с нем. Дмитриев.—«С. пч.» 1831, ч. 17, стр. 397—410, ч. 18, стр. 17—32; 91—104; 145—161; 207—222; 274—289.

119. П. Б[артенев]. Рецензия на «Уткинский сборник».—«Р. а.». 1904, № 6, обложка. [О Кошелеве у Гете в 1831 г.]

1832

120. [Некролог Гете].—«С. пч.» 1832, № 70 (от 26 марта.)

121. Некрологические подробности о Гете.—«Телескоп» 1832, ч. 10, стр. 116—138. [Из Allgemeine Literatur - Zeitung.]

122. О Гете и его веке (отрывок).—«Телескоп» 1832, № 24, стр. 552—560.

123. Последнее образцовое произведение Гете.—«Радуга» 1832, кн. 4, стр. 299.

124. Розен Е. Рецензия на «Стихотворения Пушкина, 3 часть». «С. пч.» 1832, № 81. [Здесь о Гете.]

1832—1841

125. Кюхельбекер В. Дневник [1831—1845]. Предисловие Ю. Н. Тынянова. Ред., введение и примечания В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. Л. 1929. [По указателю (записи периода 1832—1841).]

1833

126. Боратынский Е. На смерть Гете [стихотворение]. 1) «Новоселье» 1833, ч. 1, стр. 179—180. 2) П. с. с., т. 1, П. 1914, стр. 123—124. (Ср. примечания М. Л. Гофмана на стр. 284—285.)

126а. Берков П. «Заметка по поводу Гете» графа С. С. Уварова.—«Вестник Академии Наук СССР» 1932, № 9, стр. 47—54. [Ср. № 134.]

127. [Вольф]. Немецкая словесность в девятнадцатом столетии. [Извлечение из его книги «Die schöne Literatur Europas».]—«Телескоп» 1833, № 9, стр. 83—103; № 10, стр. 214—238; № 12, стр. 494—514. [На стр. 92—94 и 231—232].

128. Герцен А. Письмо к Н. П. Огареву (5 июля 1833 г.).—П. с. с., т. I, П. 1915, стр. 113—115.

Стр. 113: «первая задача, которую себе предложил я,—изучить Гете».

129. Гоголь Н. Письмо к А. С. Пушкину (от 23 декабря 1833 г.). Письма. Ред. В. И. Шенрока. Т. I, П. [б. г.], стр. 270—272.

130. Кине Э. Состояние искусства в Германии.—«Телескоп» 1833, № 1, стр. 17—43. [На стр. 17—22.]

131. Марлинский А. [Бестужев]. О романе Н. Полевого «Клятва при гробе Господнем».—1) «М. тел.» 1833, № 16—18. 2) Второе полное собр. соч., т. IV, ч. XI, П. 1847, стр. 159—224. [На стр. 197.]

132. Некрологический список ученых и литераторов за 1832 г.—«Телескоп» 1833, № 3. [Гете на стр. 443.]

133. Полевой Н. Разбор «Бориса Годунова» Пушкина.—«М. тел.» 1833, ч. X, LIX, № 1, стр. 117—147; № 2, стр. 289—327. [На стр. 125, 145 и 294.]

134. [Уваров С.] Notice sur Goethe, lue à la séance générale de l'Académie impériale des sciences de St.-Petersbourg le 22 mars 1833, par M. le Président de l'Académie. St.-P. 1833. [Русск. пер. И. И. Давыдова в «Уч. Зап. Моск. Ун-та» 1833, № 1, стр. 74—94 (и отдельно).]

135. Шишкова Е. Письмо к графу Уварову.—И. А. Шляпкин. Из неизданных бумаг Пушкина. П. 1903, стр. 93—94:

Черновик письма писан рукою Пушкина и касается перевода «Эгмонта», сделанного А. С. Шишковым. П. Е. Щеголев относит это письмо к середине 1833 г. (Заметки о Пушкине.—«Изв. 2-го отд. русск. яз. и словесности А. Н.» 1903, т. VIII, кн. 4, стр. 380). Ср. еще письмо Шишковой к Пушкину (второй половины июня 1833 г.), напечатанное в «Переписке» Пушкина, изд. В. И. Саитова (т. III, П. 1911, стр. 23—24).

136. Ѳ. У. Граф Сергей Семенович Уваров.—«Б. для чт.» 1856, № 3, отд. 7, стр. 66—79. [О записке Уварова о Гете—на стр. 73—74.]

1834

137. Белинский В. Литературные мечтания.—1) «Молва» 1834, № 38—52; 2) П. с. с., т. I, П. 1900, стр. 308—396. [На стр. 385—386].

138. Герцен А. Встречи [1834].—П. с. с., т. I, П. 1915, стр. 285—300. [На стр. 290—298].

139. Е. К. [Карлгоф В.] Гете в посмертных его сочинениях. [Из Foreign Quarterly Review]. «Б. для чт.» 1834, ч. 6, отд. 2, стр. 65—92.

140. К. П.[о л е в о й]. О сочинениях Гете, изданных после его смерти.—«М. тел.» 1834, ч. 55, № 1, стр. 3—32.

Об этой статье см. у М. И. Сухомлинова. «Н. А. Полевой и его журнал «Московский Телеграф»—«Ист. в.» 1886, № 4, стр. 29. (Выписки «предосудительных мест» из нее в записке Уварова 1834 г.).

141. [М а р м ь е К.] Предания о Фаусте. [Из «Revue de Paris»].—«Телескоп» 1834, ч. 21, стр. 385—411.

Стр. 385 примечание издателя [Н. И. Надеждина]: «Мы помещаем статью как материал к изучению знаменитого «Фауста» Гете».

142. Некрология за 1832 и 1833 годы.—«М. тел.» 1834, ч. 55, № 1, стр. 187—194.

Стр. 188: «И о г а н н В о л ь ф г а н г Г е т е, сконч. 10 марта. Имя всемирное».

143. О Гете и Шиллере (Из Гейне).—«Телескоп» 1834, ч. 19, стр. 129—143. [Из «Europe Littéraire».]

144. Остроты Гете.—«Б. для чт.» 1834, т. VII, отд. 7, стр. 119—120.

145. Х в о с т о в Д. Надгробие славному германскому поэту Гете, скончавшемуся в марте месяце 1832 г. в г. Веймаре.—Стихотворения, т. VII, П. 1834, стр. 225 и примеч. на стр. 275.

146. Ш л е г е л ь Ф. История древней и новой литературы, ч. I—II. П. 1834. [О Гете—ч. II, стр. 346—347].

147. Б е л и н с к и й В. Рецензия на «Опыт нравственной философии» А. Дроздова.—1) «Телескоп» 1835, т. 30. 2) П. с. с., т. III, П. 1901, стр. 63—78. [О «Фаусте» на стр. 66.]

148. Е. К. [К а р л г о ф В.]. Новейшая изящная словесность в Германии. «Б. для чт.» 1835, т. 12, отд. 2, стр. 92—118. [На стр. 101—102. 118.]

149. M e s t c h e r s k i E. Weimar. «Revue universelle» 1835, tome V, pp. 329—334.

150. О книге Гешеля «Unterhaltungen zur Schilderung Goethe'scher Dicht- und Denkweise».—«Ж. М. Н. П.» 1835, ч. VI (апрель), стр. 130—131.

151. Разбор книги Фогеля «Goethe in amtlichen Verhaeltnissen. Jena. 1834».—«Ж. М. Н. П.» 1835. ч. V, стр. 187—188.

1836

152. Б е л и н с к и й В. О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя».—1) «Телескоп» 1836, ч. 32, стр. 120—154, 217—287. 2) П. с. с., т. II, П. 1900, стр. 456—514. [На стр. 491—493.]

153. Г е р ц е н А.—1) «Телескоп» 1836, кн. 3. 2) П. с. с., т. I, П. 1915, стр. 138—154. [На стр. 141 и 145—146.]

154. К е н и г. О теперешнем состоянии немецкой литературы.—«М. набл.» 1836, ч. 7, стр. 465—501. [На стр. 469—489.]

155. П х н в М. [П о х в и с н е в]. Гете. [Из «Foreign Review».]—«С. от.» 1836, ч. 179, стр. 65—91.

156. Новейшая изящная словесность. Соч. г. Вольфа.—«Б. для чт.» 1836, ч. 16, отд. 2, стр. 1—24. [Стр. 23—о Гете и Менцеле.]

157. О книге «Gespraeche mit Goethe» Эккермана.—«Ж. М. Н. П.» 1836, ч. XII, стр. 522—524.

158. П е т р о в И. Мефистофель. Рассказ.—«Телескоп» 1836, ч. 33, стр. 26—50. [На стр. 50—цитата из кронеберговского разбора «Фауста».]

159. Рецензия на «Клавиго» (пер. Кони).—«Б. для чт.» 1836, ч. 17, стр. 35—36.

160. Ш е в ы р е в С. Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов М., 1836. Изд. 2-е. П. 1887. [О Гете—стр. 285—291 и 303—304 (201—205 и 213—214 по 2-му изд.).]

1837

161. Гете в своих беседах и переписке.—«Б. для чт.» 1837, ч. 20, отд. 2, стр. 59—145.

162. Г у б е р Э. Литературное объяснение.—«Л. пр. к Р. инв.» 1837, № 34, стр. 335.

По поводу перевода из «Фауста» (И. Бека), помещенного в «Совр.» 1837, т. 6, стр. XXXII.

163. Дружеские разговоры Гете.—«Л. пр. к Р. инв.» 1837, № 12, стр. 113—114. [Об Эккермане.]

164. K o e n i g H. Goethe in Russland.—«Frankfurter Telegraph» 1837, N. F., Nr. 17, April, SS. 129—131.

165. [О д о е в с к и й В.] Напечатанная в собрании сочинений Гете сцена, которую он прибавил к Фаусту для музыки кн. Радзивилла.—«Л. пр. к Р. инв.» 1837, № 14, стр. 132—133.

166. [О д о е в с к и й В.] О музыке кн. А. Радзивилла на «Фауста» Гете.—«Л. пр. к Р. инв.» 1837, № 12, стр. 111—113.

167. Рецензия на «Немецкую словесность (из книги В. Менцеля). П. 1837».—«Б. для чт.» 1837, ч. 25, отд. 6, стр. 64—65.

168. Т у р г е н е в А. Отрывки из записной книжки путешественника. (Веймар. Тифурт. Дом и кабинет Гете. Письмо к нему В. Скотта). «Совр.» 1837, т. V, стр. 294—310.

169. Ш е в ы р е в С. Гердер, Шиллер и Гете. Отрывок из нового сочинения: Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов.—«М. набл.» 1837, ч. X, декабрь, кн. 2, стр. 129—159. [О Гете—стр. 152—159.]

1837—1847

170. Б е л и н с к и й В. Письма. Ред. Е. Ляцкого. П. 1914, т. I—III. По указателю—в письмах периода 1837—1847 гг.

1838

171. Бакунин М. Предисловие к гимназическим речам Гегеля. «М. набл.» 1838, март, кн. 1-я.

«Примирение с действительностью есть великая задача нашего времени, и Гегель и Гете—главы этого примирения».

172. Бек И. Литературное объяснение. —«Совр.» 1838, т. 9, стр. 64. [О переводе из «Фауста». Ср. № 162.]

173. Герцен А. Письмо к Н. А. Захарьиной (26 февраля 1838).—П. с. с., т. II, П. 1915, стр. 99—105.

174. Грановский Т. Переписка. Т. I—II. М. 1897.

Т. II, стр. 355—356: о переписке Шиллера и Гете (в письме от 12 июня 1838 г.). Другие упоминания Гете—см. по указателю.

175. Литтре Э. Об «Oeuvres d'histoire naturelle de Goethe. P. 1838».—«С. от.» 1838, т. III, отд. 4, стр. 1—26.

176. Рахель Варнгаген фон Энзе.—«С. от.» 1838, т. I, отд. 6, стр. 7—17. [Стр. 15—16: Гете о ней.]

177. Рецензия на книгу «Немецкая словесность. Из книги В. Менцеля».—«Б. для чт.» 1838, ч. 29, отд. 6, стр. 31—36.

178. Рецензия на ту же книгу.—«С. от.» 1838, т. IV, отд. 4, стр. 47—48. [О Гете на стр. 48.]

179. Самарин Д. Данные для биографии Ю. Ф. Самарина за 1840—1845 гг. —Сочинения Ю. Ф. Самарина, т. V, М. 1880, стр. XXXV—XCII.

Стр. XXXV—XXXVI: о ненапечатанной статье Ю. Самарина о «Вертере» (1838).

180. Станкевич Н. Переписка. М. 1914.

См. в письмах 1838 г. о Веймаре и Гете (стр. 176—178 и 568—570) и по указателю.

1838—1839

Рецензии на «Фауста» в пер. Губера.

181. «Б. для чт.» 1838, т. XXXI, отд. 6, стр. 41—58.

182. «М. набл.» 1839, ч. 2, отд. 5, стр. 18—24.

183. «О. з.» 1839, т. I, отд. 6, стр. 1—34. (Ср. об этом разборе у Герцена в письме к Н. Х. Кетчеру. П. с. с., т. II, П. 1915, стр. 239.)

184. «Р. инв.» 1838, № 309.

185. «С. пч.» 1838, №№ 272—274.

186. «Совр.» 1839, т. XIII, стр. 73—78.

187. «С. от.» 1838, т. VI, отд. 4, стр. 20—63.

1839

188. Герцен А. Письмо к жене (18 дек. 1839 г.). П. с. с., т. II, П. 1915, стр. 352—355. [Стр. 352: Гете о Шекспире.]

189. Герцен А. Письмо к Н. Х. Кетчеру (16 марта 1839 г.).—П. с. с., т. II, П. 1915, стр. 244—246.

Стр. 244: о Гете и молодой Германии; стр. 245: «Я смело говорил всегда, что Гете—Эгоист»...

190. Герцен А. Былое и думы, ч. III, гл. 24. 1) «Полярная звезда» на 1857 г., кн. III; 2) П. с. с., т. XII, П. 1919. [На стр. 476—477. Содержание главы относится к 1839.]

191. Гете о Каталани.—«Л. пр. к Р. инв.» 1839, т. I, стр. 178.

192. Елагина А. П. Письмо к В. А. Жуковскому (от 7 декабря 1839 г.). Уткинский сборник. Под ред. А. Грузинского. М. 1904, стр. 65—66.

Планы переводов из Гете.

193. Ефимович И. Гете и Шиллер, или Превращение растений и философия Канта.—«Л. пр. к Р. инв.» 1839, т. I, стр. 337—339.

193а. Летопись русских журналов за 1839 г.—«С. от.» 1839, ч. 7, отд. 4. [На стр. 50—о статье в «О. з.», посвященной переводу Губера (см. № 183).]

194. Неверов Я. Дом Гете в Веймаре (Из путевых записок).—«Л. пр. к Р. инв.» 1839, т. I, стр. 7—11.

195. Некоторые мысли и слова Гете. [Мысли Гете о Байроне. Гете о Шиллере].—«Л. пр. к Р. инв.» 1839, т. I, стр. 253—254.

196. О книге Ulrici «Ueber Shakespeare's dramatische Kunst und sein Verhaeltnis zu Calderon und Goethe. Halle, 1839».—«О. з.» 1839, т. III, отд. 7, стр. 93—94.

197. Об издании A. Stahr «Goethe's Iphigenie auf Tauris in ihrer ersten Gestalt, 1839».—«О. з.» 1839, т. II, отд. 7, стр. 207.

198. Полевой Н. Очерки русской литературы. Ч. I—II. П. 1839. [На стр. 177, 179, 283—284, 322—323, 326—327 и др.]

199. Русская литература в 1838 г.—«О. з.» 1839, т. I, отд. 7, стр. 1—60. [На стр. 4.]

200. Шевырев С. Дорожные эскизы на пути из Франкфурта в Берлин.—«О. з.» 1839, т. III, отд. 3, стр. 101—130. О Веймаре и Гете—стр. 112—126.

1840

201. Белинский В. Менцель, критик Гете.—1) «О. з.» 1840, т. VIII, отд. 2, стр. 25—64. 2) П. с. с., т. IV, стр. 448—483.

202. Бурачек С. Видение в царстве духов.—«Маяк» 1840, ч. X, стр. 59—65.

Критическая статья в форме разговора, в котором участвуют Пушкин, Гете, Байрон, Поэзия (Жуковский?), юноша-поэт и автор. В отрывках—у Каллаша. Puschkiniana. Киев 1902, стр. 127—130.

203. Губер Э. Вторая часть Фауста. —«Б. для чт.» 1840, т. 38, отд. I, стр. 173—218.

204. Корсаков П. Первообразы Дон-Жуана и Фауста.—«Маяк» 1840, ч. IV, гл. 3, стр. 123—135. [См. в особенности стр. 123 и 133—135.]

205. Одоевский В. 4338-й год. Петербургские письма. Ред. и вступит. статья О. Цеховницера. М. 1926. (Написано в 1837—1839 г. Отрывок напечатан в «Утренней Заре» на 1840 г.)

Стр. 26: «Дейчеры—народ знаменитый, от которого даже язык сохранился в нескольких отрывках, оставшихся от их поэта Гете»...

206. Первообраз Вертера. (Из «Foreign Quarterly Review»).—«Маяк» 1840, ч. II, гл. 3, стр. 69.

207. Тургенев А. Письмо к В. А. Жуковскому (от 20 июля 1840).—Остафьевский архив, т. IV, П. 1899, стр. 119—121.

Стр. 120: «Фауст произвел во мне тяжелое ощущение. Нет! я бы не написал его!»

1840—1841

Рецензии на «Римские элегии» в переводе Струговщикова.

208. Белинский В. Г.—1) «О. з.» 1841, т. XVII, отд. 5, стр. 24—48; 2) П. с. с. Под ред. Венгерова, т. VI, стр. 241—272.

209. «Б. для чт.» 1840, т. XXXIX, отд. 6, стр. 13—14.

210. «Лит. г.» 1840, № 42, стр. 980—982.

211. «Совр.» 1840, т. XIX, стр. 161—162.

1841

212. Белинский В. Стихотворения М. Лермонтова.—1) «О. з.» 1841, т. XIV, № 2. 2) П. с. с., т. VI, П. 1903, стр. 1—62. [На стр. 9, 15, 38.]

213. Герцен А. Письмо к Н. П. Огареву (1841 г., февраль).—П. с. с., т. II, П. 1915, стр. 414—421.

214. Жуковский В. Письмо к А. П. Юшковой (Зонтаг) от 8 апреля 1841 г.—Уткинский сборник. Под ред. А. Грузинского. М. 1904, стр. 116. [См. здесь о стихе Гете: «Leid und Freunde wird Gesang».]

215. Искандер [Герцен А.] Еще из записок одного молодого человека.—1) «О. з.» 1841, кн. VIII. 2) П. с. с., т. II, П. 1915, стр. 437—468. [На стр. 455—456 и 459—467.]

216. Искандер [Герцен А.] Записки одного молодого человека. 1) «О. з.» 1840, т. XIII, кн. 12. 2) П. с. с., т. II, П. 1915, стр. 380—404. [На стр. 400—401.]

217. Стасов В. А. Н. Серов. Очерки и заметки о музыке.—«Р. ст.» 1876, кн. I, стр. 129—143; кн. II, стр. 348—363. Серов о Гете—стр. 132—133 (в письме от 21 апр. 1841 г.), о своих романсах на тексты Гете—стр. 134, 139, 141, 142, 350—351, 358, 361. Ср. «Автобиографию» Стасова.—Собр. соч., т. III, П. 1894, стр. 1679.

218. Струговщиков А. Случай из жизни Гете и его зимняя поездка на Гарц.—«Русская беседа» 1841, т. II, стр. 1—26.

1841—1860

219. Сабинина М. Записки (1841—1860).—«Р. а.» 1900—1902. [О Веймаре—passim. Упоминания Гете—1901, кн. I, стр. 140; кн. II, стр. 584—585; кн. III, стр. 52, 57, 63, 64, 77, 245, 247, 424 и др.]

1842

220. Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. VII. П. 1893. [Стр. 31—32: Погодин в Веймаре в 1842 г.]

221. Белинский В. Рецензия на «Речь о критике» А. В. Никитенко.—1) «О. з.» 1842, тт. XXIV—XXV (№№ 9—11). 2) П. с. с., т. VII, П. 1904, стр. 294—312. [На стр. 304.]

222. Белинский В. Рецензия на «Стихотворения Боратынского».—1) «О. з.», П. 1904, стр. 465—495. [На стр. 487—488.]

223. Липперт К. Гете. Статья 1—4.—«О. з.» 1842, т. XX, отд. 2, стр. 1—36 и 43—67; т. XXI, отд. 2, стр. 1—28; т. XXII, отд. 2, стр. 1—26.

224. Липперт К. Рецензия на «Goethe und Klopstock, von F. Pfeifer».—«О. з.» 1842, т. XXIV, отд. 7, стр. 12—13.

225. Суждения Гете о самом себе.—«Лит. г.» 1842, № 23, стр. 458.

1842—1844

Рецензии на «Сочинения Гете, ч. I и II».

226. А. С.—«Москв.» 1842, ч. IV, № 8, стр. 395—396.

227. Межевич В.—«С. пч.» 1842, № 172.

228. Полевой Н. «Р. в.» 1842, т. V, стр. 153—154.

229. «Лит. г.» 1844, № 30, стр. 515.

230. «О. з.» 1842, т. XXI, отд. 6, стр. 16—17 и т. XXII, отд. 6, стр. 33—35.

1843

231. Б-тк-н В. [Боткин В.] Германская литература.—«О. з.» 1843, т. XXVI, отд. 7, стр. 35—50. (Сочинения, т. II, П. 1891, стр. 275—290.) [Стр. 37 (278—279 *по* Собр. соч.)—о стихотворениях Гете.]

232. Галахов А. Философия анатомии.—«О. з.» 1843, т. XXVI, отд. 2, стр. 68—80; т. XXVII, отд. 2, стр. 1—26. [На стр. 69.]

232а. Гете и графиня Штольберг.—«О. з.» 1843, т. XXVI, отд. 2, стр. 43—67.

233. Искандер [Герцен А.]. По поводу одной драмы.—1) «О. з.» 1843, кн. 8; 2) П. с. с., т. III, П. 1915, стр. 244—266.

Стр. 262: «Жаль его,—а ведь пустой малый был Вертер!»

234. Ис-ръ [Герцен А.]. Дилетантизм в науке.—1) «О. з.» 1843. 2) П. с. с., т. III, П. 1915, стр. 163—233. [На стр. 172, 189—193, 202, 217, 221—222 и 225.]

235. Шевырев С. Разбор «Полной русской хрестоматии» Галахова, ч. I—II.—«Москв.» 1843, № 5, стр. 218—248; № 6, стр. 501—533. [Стр. 511—512: О переводах Струговщикова и И. И. Дмитриева из Гете.]

Рецензии на «Герман и Доротея», пер. Ф. Арефьева.

236. «Б. для чт.» 1843, т. 56, отд. 6, стр. 57—59.

237. «О. з.» 1843, т. 26, отд. 6, стр. 12—13.

238. «Совр.» 1843, т. 30, стр. 118.

1844

239. [Одоевский В.] Отзыв о книге «Основания краниоскопии К. Г. Каруса».—«О. з.» 1844, т. 34, отд. 6, стр. 79—82. [Стр. 80—о Гете, основателе новой науки.]

240. Рецензия на «Избранные сочинения знаменитого немецкого писателя Гете».—«О. з.» 1844, т. 35, отд. 6, стр. 49.

241. Герцен А. Дневник за 1844—1845 гг.—П. с. с., т. III, П. 1915 [На стр. 329, 359 и 445.]

1844—1845

Рецензии на «Фауста», пер. Вронченко.

242. [Киреевский И.]—«Москв.» 1845, ч. I, № 1, стр. 10—14. (П. с. с., т. II, М. 1911, стр. 128—131).

243. С. Б. [урачек].—«Маяк» 1845, т. XIX, кн. 37, стр. 26—28.

244. [Тургенев И.]—«О. з.» 1845, т. 38, отд. 5, стр. 1—66 и отд. 6, стр. 1—2 (П. с. с., т. X, изд. 2-е, П. 1884, стр. 214—258).

245. «Б. для чт.» 1844, т. 67, отд. 6, стр. 35—42.

246. «Р. инв.» 1844, № 264.

247. «Совр.» 1844, т. 36, стр. 360—363.

248. «Финский вестник» 1845, т. I, отд. 5, стр. 60—68.

1845

249. Белинский В. Рецензия на «Стихотворения А. Струговщикова, заимствованные из Гете и Шиллера».—«О. з.» 1845, т. 42, № 10 (П. с. с., т. X, П. 1914, стр. 4—10).

250. [Герцен А.] Публичные чтения г-на проф. Рулье.—1) «М. вед.» 1845, № 147 и 148; 2) П. с. с., т. IV, П. 1915, стр. 377—386. [На стр. 384 о морфологии Гете.]

251. Майков В. Общественные науки в России. Статья первая.—«Финский вестник» 1845. (Критические опыты, П. 1891, стр. 547—590). [Стр. 557—о «Вертере» и «Фаусте». Ср. также стр. 588.]

252. Струговщиков А. [перев.] О Шиллере и Гете. (Из писем современника). «Вчера и сегодня». Лит. сборник. П. 1845, стр. 97—111.

253. Искандер [Герцен А.] Письма об изучении природы.—1) «О. з.» 1845—1846. 2) П. с. с., т. IV, П. 1915, стр. 1—182. [На стр. 1, 20, 22, 23, 28, 41, 43, 48, 109, 124, 155, 173, 182.]

1845—1850

254. Салтыков-Щедрин М. Глава [вторая половина 40-х гг.].—Сборник «Звенья». I. М.-Л. 1932, стр. 167—184. [Стр. 171—172 о «Wahlverwandtschaften».]

1846

255. Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. VIII, П. 1894. Стр. 421—отзыв Погодина о «Фаусте» (1846).

256. Н. И.—Гете и Гретхен.—«Совр.» 1846, т. 43, стр. 129—174.

257. Чижов Ф. Мнение Гете о Мансони.—«Совр.» 1846, т. 44, стр. 292—319.

1847

258. Белинский В. Современные заметки.—«Совр.» 1847, т. I, № 2 (П. с. с., т. XI, П. 1917, стр. 62—74). [На стр. 67—68.]

259. Граббе Н. Записная книжка (1828—1869).—«Р. а.» 1888—1889. [1888, кн. II, стр. 183: о Гете под 20 августа 1847 г.]

260. Стасов В. Разбор «Schillers Briefwechsel mit Korner».—1) «О. з.» 1847, т. 31, отд. 7, стр. 1—28. 2) Собр. соч., т. III, П. 1894, стр. 893—925. [На стр. 894—895, 897, 902, 907, 917—921, 923—925.]

1848

261. Белинский В. Взгляд на русскую литературу 1847 г. 1) «Совр.» 1848, т. VII, № 1, т. VIII, № 4. 2) П. с. с., т. XI, П. 1917, стр. 75—149. [На стр. 103—104.]

262. Достоевский М. Предисловие к переводу «Рейнеке-Лис».—«О. з.» 1848, т. 56, отд. 1, стр. 265—271.

263. Из записок А. О. Смирновой.—«Р. а.» 1895, кн. II—III.

Отзыв Николая I о Гете (1848) в кн. III, стр. 84—85. Ср. А. О. Смирнова. Записки, дневник, воспоминания, письма. Со статьями и примеч. Л. В. Крестовой. Под ред. М. А. Цявловского. М. 1929, стр. 261.

264. Рецензия на «Земная жизнь и апофеоз художника».—«О. з.» 1848, т. 58, отд. 6, стр. 9—11.

1848—1853

265. Чернышевский Н. Дневник. (1848—1853). Под ред. Н. А. Алексеева,

ч. I и II, М. 1931—1932. (Ср. также Н. Г. Чернышевский. «Литературное наследие», т. I, М.-Л. 1928.) [По указателю.]

1849

266. Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. X, П. 1896 [стр. 346— о переводе «Моя богиня», сделанном М. И. Михайловым (1849)].

267. Гросгейнрих К. Елисавета Кульман и ее стихотворения.—«Б. для чт.» 1849, тт. 94—96, отд. 2 (и отдельно: П. 1849). [Стр. 9—10 тома 94 и стр. 118 тома 96.]

268. Жуковский В. Две сцены из Фауста [1848].—1) «Москв.» 1849, т. I, стр. 13—18. 2) П. с. с., т. X. П. 1902, стр. 124—126.

269. Примечание к переводу «Поэзия и правда моей жизни. Записки Гете». «Совр.» 1849, т. 16, отд. 5, стр. 1—4. (Ср. также «Дополнение» в т. 17, стр. 214—217.)

270. Столетний юбилей дня рождения Гете.—«Совр.» 1849, т. XVII, отд. 5, стр. 367—372.

1850

271. Бумаги, оставшиеся после Гете.— «Ж. М. Н. П.» 1850, ч. 67, отд. 7, стр. 20.

272. Герцен А. Письма из Франции и Италии [1850].—П. с. с., т. VI, П. 1917, стр. 1—132. [Стр. 31—32: Гете об Италии.]

273. Герцен А. С того берега [1850].— П. с. с., т. V, П. 1915, стр. 382—501. [На стр. 465—466, 743 и 489.]

274. Дружинин А. Рецензия на «Греческие стихотворения» Н. Щербины.— 1) «Совр.» 1850, т. 21, отд. 5, стр. 25—50. 2) Собр. соч., т. VII, П. 1865, стр. 7—30. [На стр. 10—11.]

275. Фауст и Маргарита.—«Москв.» 1850, № 18, отд. 6, стр. 15—16. [О драме Карра. Здесь же о Гете.]

1851

276. Боас Э. Шиллер и Гете в борьбе Ксений [из Allg. Zeit.].—«Москв.» 1851, № 17, отд. 1, стр. 148—155.

277. Дружинин А. Письма иногороднего подписчика. Письмо 24-е.— 1) «Совр.» 1851, т. 26, № 3, отд. 6, стр. 72—105. 2) Собр. соч., т. VI, П. 1865, стр. 495—526. [На стр. 519—522.]

278. Об изданной в Германии переписке Гете с Кнебелем.—«Москв.» 1851, № 25, отд. 2, стр. 243—244.

279. Рецензия на «Записки Гете. Поэзия и правда его жизни».—«О. з.» 1851, т. 77, отд. 6, стр. 53—56.

280. Толстой Л. Дневник.—Дневник молодости Л. Н. Толстого, т. I, М. 1917.

Стр. 63 (под 25 марта 1851 г.): «Дома засиделся от рассеянности и без внимания читал Вертера, торопливость».

281. Тютчев Ф. Письма к Н. В. Сушкову.—Мурановский сборник. Вып. I, М. 1928, стр. 64—73. [Стр. 67 о переводах песни Миньоны.]

1851—1852

Рецензии на «Фауста», пер. Овчинникова.

282. «Москв.» 1851, № 22, кн. 2, стр. 331—343.

283. «О. з.» 1851, т. 79, отд. 5, стр. 37—40.

284. «Совр.» 1851, т. 30, отд. 5, стр. 13—23.

285. «С. пч.» 1852, кн. I, отд. 7, стр. 78—86.

1852

286. Григорьев А. Русская изящная литература в 1852 г.—1) «Москв.» 1853, № 1, отд. 5, стр. 1—64. 2) Соч., изд. Н. Н. Страхова. Т. I, П. 1876, стр. 45—107. 3) Собр. соч. под ред. В. Саводника. Вып. IX. 4) П. с. с. и писем под ред. В. Спиридонова. Т. I, П. 1918, стр. 141—203. [Стр. 114 по изд. Саводника.]

287. Новая родословная Гете и Канта.— «Москв.» 1852, № 7, отд. 7, стр. 106—107.

288. Памятник Рауха Шиллеру и Гете.— «Москв.» 1852, № 3, отд. 7, стр. 65.

1853

289. Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. XII. П. 1898. [Стр. 483—484: Погодин в Веймаре в 1853 г.]

290. Боткин В. Литература и театр в Англии до Шекспира.—1) «Совр.» 1853, № 11. 2) Полное собрание драматич. произведений Шекспира в переводе русских писателей. Т. I. П. 1865, стр. IX—XLVI. 3) Сочинения, т. II, П. 1891, стр. 64—128.

Стр. 68 (по собр. соч.)—Гете о Гамлете («Характеристика, которую можно назвать ключом ко всем произведениям английского поэта»).

291. Дружинин А. Письма иногороднего подписчика. Письмо 72-е.—1) «Б. для чт.» 1853, № 2, отд. 7, стр. 159—178. 2) Собр. соч., т. VI, П. 1865, стр. 700—729. [На стр. 718—720.]

292. Серов А. Моцартов Дон-Жуан и его панегиристы.—1) «Пантеон» 1853, № 4; 2) Критич. статьи, т. I, П. 1892, стр. 241—358.

Сравнение Гете и Моцарта («Моцарт, этот Гете музыки»)—стр. 255, 256, 304, 345, 351, 354.

293. Чернышевский Н. Рецензия на «Dichterkanon» Нейкирха.—1) «О.з.» 1853. 2) П. с. с., т. I, П. 1906, стр. 8—12. [На стр. 10—11.]

294. Шевырев С. О значении Жуковского в русской жизни и поэзии.— «Москв.» 1853, т. I, отд. I. (Также «Речи и отчет, произнесенные в торж. собрании Имп. Моск. Ун-та 12 января

1853 г.». М. 1853). [На стр. 124—195 и 153—154.]

1854

295. Чернышевский Н. Об искренности в критике.—1) «Совр.» 1854, VII. 2) П. с. с., т. I, П. 1906, стр. 148—158. [На стр. 154.]

1855

296. Анненков П. Материалы для биографии А. С. Пушкина. (Сочинения Пушкина. Т. I. П. 1855). [Стр. 182—185: о Пушкине и Гете].

297. Герцен А. Былое и думы. Ч. IV, гл. 25.—П. с. с., т. XIII, П. 1919. (Первоначально в «Полярной звезде» 1855 г., кн. I.)

«Знание Гете, особенно второй части «Фауста»... было столько же обязательно, как иметь платье» [относится к нач. 40-х гг.]. Ср. стр. 19 и 29.

1856

298. Боткин В. и Тургенев И. Неизданная переписка. 1851—1869. По материалам Пушкинского дома и Толстовского музея приготовил к печати Н. Л. Бродский. М.-Л. 1930. [На стр. 94—95, 99 и 106—107 (в письмах 1856 г.).]

299. Вечер у Гете. Из лит. сборника Рельштаба.—«Муз. и т. в.» 1856, № 21, стр. 387—388. [Перепечатка из «Нувеллиста».]

300. Водовозов В. «Ифигения» Гете.—«Б. для чт.» 1856, № 8, отд. 3, стр. 99—158, № 9, стр. 1—32.

Резюме статьи дано в предисловии к его переводу «Ифигении» («Ж. М. Н. П.» 1857, № 5, отд. 2, стр. 109—112).

301. Герцен А. Былое и думы. Ч. I, гл. 6.—П. с. с., т. XII. П. 1919. (Первоначально в «Полярной звезде» на 1856 г., кн. II). [Стр. 118—о Гете и Уварове.]

302. Герцен А. Былое и думы. Ч. V. Западные арабески, тетр. 2.—П. с. с., т. XIII, П. 1919. (Первоначально в «Полярной звезде» на 1856 г., кн. 2.) [На стр. 387—388.]

303. Гете и Теккерей.—«Пантеон» 1856, № 2, стр. 1—5. [По поводу книги «Левеса» (sic!)]

304. Гете как директор театра.—«О. з.» 1856, т. 108, № 10, стр. 174—177. [Тоже—«Р. инв.» 1856, № 205.]

305. Григорьев А. О правде и искренности в искусстве.—1) «Русская беседа» 1856, III. 2) Собр. соч. под ред. В. Саводника. Вып. II. [На стр. 3—6 и 8—9.]

306. Дружеские письма Гете и его жены к Н. Мейеру, с 1800 по 1831 г.—«О. з.» 1856, т. 107, № 7, стр. 61—65. [Ср. «Р. инв.» 1856, № 122.]

307. Дружинин А. Критика гоголевского периода и наши к ней отношения.—1) «Б. для чт.» 1856, № 11, стр. 1—30; № 12, стр. 31—64. 2) Собр. соч., т. VII, П. 1865, стр. 189—242. [На стр. 194—195 и 219—222.]

308. Иногородний подписчик [Дружинин А.] Письма об английской литературе и журналистике. Письмо 5-е.—1) «Совр.» 1856, т. 56, отд. 5, стр. 133—161. 2) Собр. соч., т. V, П. 1865, стр. 349—378.

Стр. 138—149 (354—357 по Собр. соч.): книга Льюэза «Жизнь Гете».—Гете и английские критики.—Лорд Джеффри.—Карлейль и его взгляд на Гете.—Достоинство новой книги Льюэза.—Гете как благотворительный человек.—Его письма. —Образ его жизни.

309. Лист Ф. Музыка Бетховена к «Эгмонту» Гете. [Из «Neue Zeitschrift für Musik» 1854, № 20].—«Муз. и т. в.» 1856, № 11, стр. 197—200.

310. Литературные заметки. [О книге Льюиса и письме Теккерея о Гете.]—«М. вед.» 1856, № 1 (лит. отд.), стр. 4.

311. Переписка Шиллера и Гете.—«Р. инв.» 1856, № 265.

312. Письмо Теккерея о пребывании его в Веймаре и свидании с Гете.—«Б. для чт.» 1856, № 1, отд. 7, стр. 51—54.

313. Серов А. Музыкальные сочинения Станислава Монюшко.—1) «Муз. и т. в.» 1856, № 14 2) Критич. статьи, т. I, 1892, стр. 480—463. [Стр. 482—о «Песне Миньоны».]

314. Серов А. Русалка. Опера Даргомыжского.—1) «Муз. и т. в.» 1856. 2) Критич. статьи, т. I, 1892, стр. 531—627. [Стр. 537: о музыкальных элементах в гетевом «Фаусте».]

315. Стасов В. Первый концерт концертного общества.—1) «Муз. и т. в.» 1856, № 12, стр. 219. 2) Собр. соч., т. III, 1894, стр. 170—179. [Об исполнявшихся впервые антрактах «Эгмонта». Ср. № 309.]

316. Тургенев И. Письмо к И. И. Панаеву от 3/15 октября 1856 г. Панаев. «Лит. воспоминания» 1888, стр. 403—404.

Стр. 403: «Вы хорошо делаете, что помещаете перевод гетева «Фауста», боюсь только, чтобы этот колосс, даже в (вероятно) недостаточном переводе Струговщикова, не раздавил бы моего червяка». [Рассказ «Фауст».]

317. Тургенев И. Фауст. Рассказ в 9 письмах.—«Совр.» 1856, т. 59, отд. 1, стр. 91—130. (П. с. с., т. VI, 2-е изд. 1884, стр. 179—229)

318. Я. Т[урунов]. Записки Гете, переведенные на французский язык.—«Р. инв.» 1856, № 235.

1856—1857

319. Чернышевский Н. Лессинг, его время, его жизнь и деятельность.—

1) «Совр.» 1856—1857. 2) П. с. с., т. III, 1906, стр. 585—780. [На стр. 588—590 и 727—743.]

1856—1858

320. Боборыкин П. За полвека. (Мои воспоминания). Ред., предисл. и примеч. Б. П. Козьмина. М.—Л. 1929.

Гл. 3, стр. 93 (о своем интересе к Гете в 1856—1858 гг.), стр. 94—95 (о «Вильгельме Мейстере») и гл. 7, стр. 242. (Глава 3-я—первоначально в «Р. м.» 1906, № 11, глава 7-я—в «Голосе минувшего» 1913, № 2-3.)

1857

321. Анненков П. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года.—1) «Б. для чт.» 1857, №№ 2 и 11. 2) «Лит. воспоминания». Л. 1928, стр. 1—157. [На стр. 59 и 95 об отношении Гоголя к Гете.]

322. Боткин В. А. А. Фет.—1) «Совр.» 1857, т. 61, отд. 3, стр. 1—42. 2) Сочинения, т. II, 1891, стр. 352—394. [На стр. 370.]

323. Дубровский П. Воспоминания о М. И. Глинке.—«Р. в.» 1857, т. 8, стр. 571—580. [Стр. 575; о романсе Глинки «Песня Маргариты» (1848).]

324. Думшин Г. Гете, его жизнь и произведения. (По Льюису).—«Б. для чт.» 1857, т. 141, стр. 149—212; т. 142 стр. 79—144, 145—198; т. 143, стр. 57—104; т. 144, стр. 47—80; т. 145, стр. 39—76; т. 146, стр. 69—132. (отд. 3—4). [Ср. «Подснежник» 1858, № 5, 11 и 12.]

325. Рачинский С. Несколько слов по поводу книги Льюиса о Гете.—«Р. в.» 1857, № 22, т. XII, стр. 91—101.

326. Характер Гете и его нравственное влияние. (Из «Edinburgh Review»)—«С. от.» 1857, №№ 39—41.

1858

327. М-ль А. Разбор книги Шефера «Жизнь Гете» и книги Льюиса «Жизнь и сочинения Гете».—«О. з.» 1858, т. 121, отд. 3, стр. 1—11.

328. Барсуков Н. Жизнь и труды П. П. Погодина. Т. XVI, 1902. [Стр. 243—235: Письмо И. Г. Покровского к Погодину о своем переводе «Вертера» (1858).]

329. Брион Ф. Молодость Гете.—«Муз. и т. в.» 1858, №№ 23, 24 и 26—28.

330. Мать Гете.—«С. от». 1858, № 5.

331. Памятник Гете и Шиллеру.—«Живописная русская библиотека» 1858, № 37.

332. Серов А. Письма из-за границы. IV.—1) «Муз. и т. в.» 1858, № 27. 2) Критич. статьи, т. II, 1892, стр. 993—998.

Стр. 993—о «Фаусте» в франкфуртском театре.

333. Станкевич А. Классический период немецкой литературы. (Weimar und Jena in den Jahren 1794—1806. Von Jul. Schmidt.).—«Атеней» 1858, ч. I, стр. 416—437, 463—485, ч. II, стр. 40—68.

1859

334. Алмазов Б. О поэзии Пушкина.—«Утро» М. 1859, стр. 139—192. [На стр. 140—141.]

335. Заметка о книге Schoeffer'а «Goethes's Leben» и книге Dietzmann'а «Goethe und die lustige Zeit in Weimar».—«Моск. обозрение» 1859, кн. 2, отд. 3, стр. 19.

336. М. Л. О «Фаусте», пер. Н. Грекова.—«Р. сл.» 1859, № 12, стр. 50—63.

337. Писарев Д. Мысли по поводу произведений Марко Вовчка. [Написано в 1859 г. для журнала «Рассвет».]—П. с. с., дополнит. выпуск (3-е изд. 1913). [На стр. 15.]

1860

338. Гейне Г. Литература до смерти Гете. Поэты-романтики. (Пер. Ю. Пальховского).—«М. в.» 1860 № 8, стр. 128—131; № 9, стр. 143—145; № 11, стр. 178—179; № 18, стр. 287—289; № 21, стр. 345—346; № 22, стр. 360—362; № 25, стр. 396—399; № 26, стр. 410—413; № 27, стр. 430—432; № 33, стр. 529—531; № 34, стр. 544—546; № 39, стр. 623—626; № 50—51, стр. 830—834.

339. Серов А. Воспоминания о М. И. Глинке.—1) «Искусство» 1860, № 1—5. 2) Критич. статьи, т. III, 1895, стр. 1314—1356. [Стр. 1354—1356: о «Песне Маргариты» (1848).]

340. Серов А. «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила»—1) «Русск. мир» 1860, № 67. 2) Критич. статьи, т. III, 1895, стр. 1286—1314.

Стр. 1297—о «Фаусте» Берлиоза. («Главным делом для Берлиоза были ничуть не идея целого, не мысль «Фауста», а частности».)

341. Серов А. Пятый, шестой и седьмой вечера русского Музыкального Общества.—1) «Муз. и т. в.» 1860, № 3. 2) Критич. статьи, т. II, П. 1892, стр. 1218—1225.

Стр. 1220. О вагнеровской увертюре «Фауст» («Смех Мефистофеля, характер самого Фауста в главной теме переданы совершенно в духе великого произведения германской поэзии»).

342. Серов А. Рих. Вагнер и его реформа в области оперы. 1) «Искусство» 1860, № 1 и 2. 2) Критич. статьи, т. III, 1895, стр. 1357—1389. [Стр. 1367—1368—о вагнеровской увертюре «Фауст» и вагнеровском истолковании Гете.]

343. Эраст Моховоев—последний эпик. [Гербель Н.] Из Гете. Только не немецкого. [Пародия

на «Горные вершины».] «Развлечение» 1860, т. III, № 6, стр. 76.

1861

344. Гете и Бетховен в Бонне. «Иллюстр. семейный листок» 1861, № 190.

345. Из жизни Гете.—«Лит. прибавл. к Нувеллисту» 1861, № 10, стр. 77—78.

346. Миллер О. Шиллер и его время.—«Ж. М. Н. П.» 1861, ч. 109 отд. 2, стр. 21—47; ч. 110, стр. 1—22, 23—46, 47—87; ч. III, ст. 1—28. [На стр. 23, 39, 45, 47 части 109-й.]

347. Пальма Гете в Падуе. «Иллюстрация» 1861, № 168.

348. Стасов В. В. Г. Шварц. 1) «Вестник изящных искусств» 1884, в. I, стр. 25—64, в. II, стр. 65—95. 2) Собр. соч., т. II, 1894, стр. 329—388. [На стр. 353 о картине Шварца «Вальпургиева ночь» (1861).]

1862

349. Вирхов Р. Гете как естествоиспытатель и особенное отношение его к Шиллеру. 1862.

Рецензия: «Книжный вестник» 1862, № 24, стр. 499—500.

350. Гарусов, И. Очерки литературы древних и новых народов. Поэзия драматическая. М. 1862. 2-е испр. изд. 1890, ч. I—II. [На стр. 83—129 (ч. II) по 2-му изд.]

351. Писарев Д. Гейнрих Гейне.—1) «Р. сл.» 1862. 2) П. с. с., т. II, 5-е изд., 1911. [На стр. 290.]

352. Тур Е. Выдержки из текущей литературы и путевые заметки. [По поводу переписки де Сталь с принцессою Луизою Веймарскою.]—«Б. для чт.» 1862, № 11, стр. 75—76.

1863

353. Вейнберг П. Новые материалы для биографии и характеристики Гейне.—«Р. сл.» 1863, № 10, отд. 1, стр. 201—234. [На стр. 221—222.]

354. Зайцев В. Гейне и Берне.—«Р. сл.» 1863, № 9, отд. 1, стр. 1—34. [На стр. 15—21.]

355. Заметка о «Briefwechsel des Gross-Herzogs Karl-August von Sachsen-Weimar Eisenach mit Goethe».— «О. з.» 1863, № 8, стр. 160.

356. Иванов А. Летопись Малого театра.—«Совр. летопись» 1863, № 3, стр. 11. [«Шиллер и Гете—почти неизвестные имена на нашем театре»].

357. М. Р[аппапорт]. Театральная летопись.—«С. от». 1863, № 250. [Стр. 1977—о «Геце фон Берлихингене».]

358. Мусоргский М. Письмо к Ц. А. Кюи [от 22 июня 1863 г.].—1) «В. Е.» 1881, № 5—6. 2) «Мусоргский». Письма и документы. Собр. и обр. А. Н. Римский-Корсаков. М.-Л. 1932, стр. 93—95. [См. здесь о «Песне нищего» (на текст Гете).]

359. Серов А. «Фауст», опера Гуно на петербургской итальянской сцене.—1) «Якорь» 1864, № 2 и 3. 2) Критич. статьи, т. 4, П. 1895, стр. 1569—1579. [Здесь о Гете.]

1864

360. Ам-дъ. Московская итальянская опера. «Фауст», опера Гуно. «Р. сц.» 1864, № 12, стр. 115—134. [Здесь о Гете.]

361. Арсеньев К. Заграничные заметки. VI. [Веймар]—«Спб. вед.» 1864, № 217.

362. Голубев П. Записки петербургского чиновника старого времени [1864].—«Р. о.» 1896, кн. 1, стр. 402—432, 513—554; кн. 2, стр. 47—109. [Стр. 425—отзыв о «Вертере».]

363. Гр. П... Знакомство Теккерея с Гете. (Извлечение из соч. Т. Тайлора).—«Т. аф. и антр.» 1864, № 204. [Из «С. от.».]

364. Заметки об итальянской опере.—«Весть» 1864, № 5, стр. 9—11. [Здесь о Гете по поводу «Фауста» Гуно.]

365. *** [Кюи Ц.] Оперный сезон в Петербурге.—«Фауст» Гуно. «Спб. вед.» 1864, № 218 (и в «Собр. муз.-критич. статей», т. 1, П. 1918, стр. 124—132).

366. Л. П. Итальянская опера в Петербурге. «Фауст» опера Гуно.« Спб. вед.» 1864, № 10.

367. О предполагаемой постановке II-й части «Фауста» в Берлине в переделке Эккермана.—«Т. аф. и антр.» 1864, № 127.

368. О «Фаусте» и «Геце» в венском Burgtheater.—«Т. аф. и антр.» 1864, № 153.

369. Островский А. Письмо к П. В. Анненкову. [Начало 1864 г.] «Островский». Новые материалы. Письма. Труды и дни. Статьи. Под ред. М. Д. Беляева. Л. 1924, стр. 259—260.

Стр. 260: ...«те минуты, которые во время юности переживал, читая с восхищением Фауста Гете»...

370. Пальмин Л. Гете как драматург. (Из Шпильгагена.)—«Р. сц.» 1864, № 9, стр. 25—40, № 10, стр. 41—55.

371. Писарев Д. Нерешенный вопрос. [Реалисты.] 1) «Р. сл.» 1864. 2) П. с. с., т. IV, П. 1911 (изд. 5), стлб. 1—146. [На стлб. 43—44 и 100—103.]

372. Серов А. Письмо к редактору журнала «Русская сцена» об опере «Фауст».—1) «Р. сц.» 1864, № 2. 2) Критич. статьи, т. IV, П., 1895, стр. 1628—1633. [См. здесь о Гете.]

373. Скудо. Фауст [Гуно].—«Т. аф. и антр.» 1864, № 179 и 181. [См. здесь о Гете.]

374. С-н. Зигзаги и арабески русского туриста.—«Совр. летопись» 1864. [О Гете—№ 5, стр. 7—10, № 9, стр. 10—15.]

375. Тарновский К. Итальянская опера (Бенефис г. Виалетти).—«Совр. летопись» 1864, № 37, стр. 8—10. (О «Фаусте» Гуно и Гете).

376. [Толстой Ф.?] «Фауст» опера Гуно на нашей итальянской сцене.— «Голос» 1864, № 10.

376а. Шерр И. Всеобщая история литературы. Пер. А. Пыпина. П. 1864. 2-е изд. П. 1867. 3-е. 2 т. П. 1879—1880. [На стр. 233—241 и 47—251 2-го тома.]

377. *** Итальянская опера. «Фауст».— «Весть» 1864, № 43, стр. 19—20. [Здесь о Гете и Гуно.]

1865

378. Заметка о работе Вебера «К истории веймарского театра».—«Антракт» 1865, № 94 (театральная библиография).

379. Заметка о «Рейнеке-Лис». Поэма Гете, переделанная в стихах для детей».— «Книжник» 1865, № 2, стр. 90.

380. *** [Кюи Ц.] Концерт г. Рубинштейна.—Первый концерт филармонического общества.—«Спб. вед.» 1865, № 63 (и в «Собр. муз.-крит. статей», т. 1, П. 1918, стр. 221—231). [О «Фаусте» А. Г. Рубинштейна.]

381. Р[аппопорт] М.—Фельетон.— «С. от.» 1865, № 254. (Здесь по поводу слухов о возобновлении «Фауста» Гете.)

382. Никитенко А. Дневник (под 4 января 1865).—Записки и дневник, т. II, изд. 2-е. П. 1905, стр. 214.

«Фауст» Гете выше Байронова Манфреда настолько, насколько человечество выше отдельной личности человека».

383. Новое издание «Фауста» [с рисунками Э. Зейберца].—Картины и фотографии к соч. Гете.—«О. з.» 1865, № 3, отд. 2, стр. 63.

384. Об издании I части «Фауста» с рис. Э. Зейберца.—«Антракт» 1865, № 52 (театральная библиография).

385. Писарев Д. Пушкин и Белинский.—1) «Р. сл.» 1865. 2) П. с. с., т. V, 5-е изд. 1911. [На стр. 12 и 63—65.]

386. Соловьев Н. Об отношении естествоведения к искусству.—«О. з.» 1865, ноябрь-декабрь (и в сборнике его статей «Искусство (sic) и жизнь». Ч. 1, М. 1869, стр. 219—297). [Стр. 245—248 и 257—о теории цветов Гете.]

387. Струговщиков А. Вертер. Опыт монографии с переводом романа Гете. П. 1865.

Рецензия: «Книжный вестник» 1865, № 23, стр. 444—445.

388. Эмерсон Р. Представители человечества. III. Гете или писатель.—«Заграничный вестник» 1865, № 3, стр. 393—409.

1865—1866

Рецензии на «Сочинения Гете», пер. под ред. П. Вейнберга.

389. «Голос» 1865, № 164; 1866, № 63.

390. «Книжный вестник» 1865, № 4, стр. 70.

1866

391. Гельмгольц Г. Популярные научные статьи. Вып. I, П. 1866. [Стр. 37—66: «О естественно-научных трудах Вольфганга Гете».]

Рецензия: «Книжный вестник» 1866, № 23—24, стр. 449—450.

392. Грыцко [Елисеев Г.]. Очерки истории русской литературы по современным исследованиям. Статья 3.—«Совр.» 1866, стр. 185—217.

Стр. 213—217: о Гете и его взглядах на искусство.

393. И. Л. Г. [Ласкос И.] Фани Япаушек.—«Весть» 1866, № 33. [См. здесь об «Ифигении».]

394. Очерк истории германских женщин (по Шерру).—«Заграничный вестник» 1866, №№ 1—3. [На стр. 430—432 (№ 3).]

395. Герцен А. Былое и думы. Ч. VIII, гл. 1. (В отрывках—в «Колоколе» 1867.) П. с. с., т. XIV, П. 1920, стр. 701.

«Не совсем складные, но умные сны 2-й части «Фауста».

1867

396. Дорожные записки 1865 г.—«Русский» 1867. О Веймаре—№ 14, стр. 213.

397. Лессинг и Гете на петербургской сцене.—«Антракт» 1867, № 2, стр. 8.

О предпол. постановке «Фауста» в бенефис Самойлова.

398. Льюис Дж. Г. Жизнь И.-В. Гете. Пер. с 2-го англ. изд. под ред. А. Н. Неведомского. 2 части. П. 1867.

Об этом переводе ср. «Антракт» 1867, № 29, стр. 4.

399. О книге Готтгарда «Очерки веймарского театра из времени Гете».—«Антракт» 1867, № 29, стр. 3—4.

400. Полонский Я. Прозаические цветы поэтических семян.—«О. з.» 1867, т. 171, стр. 714—749. [Стр. 741—742: Тэн о Гете.]

401. Разбор книги Каро «La philosophie de Goethe».—«О. з.» 1867, т. 171, отд. 2, стр. 23—27.

402. Серов А. Заметки против заметки.—1) «Музыка и театр» 1867, № 6. 2) Критич. статьи, т. IV, П. 1895, стр. 1755—1764. [Стр. 1762—1763: об увертюре «Фауст» Вагнера (по поводу статьи Ц. Кюи в № 136 «Спб. вед.»).]

403. Сочинения о Гете.—«О. з.» 1867, т. 173, отд. 2, стр. 12-18. [О книге Bernays'а «Ueber Kritik und Geschichte des Goethe'schen Textes» и отзыве Жанэ о книге Каро.]

1868

404. О картине Каульбаха «Гретхен».— «Неделя» 1868, № 41, столб. 1373—1376.

405. Струговщиков А. Два фазиса мыслящего Гете.—«Всемирный труд» 1868, № 9, стр. 94—102.

406. Струговщиков А. Последний фазис мыслящего Гете.—Там же, № 10, стр. 164—175; № 11, стр. 207—218.

407. Z. [Буренин В.] Журналистика.—«Спб. вед.» 1868, № 70. [См. здесь о пер. «Коринфской невесты» А. Толстого.]

1869

408. Берне Л. Сочинения. Пер. П. Вейнберг. 2 т. П. 1869. 2-е [менее полное] изд. П. 1896. [Т. 1. стр. XXVI, 127—129, 136—139, 154—162, т. II, стр. 24, 79—85 и др.]

409. Боев Н. [Берг Ф Н.]. Заметки из путевой книжки.—«Заря» 1869, № 10, стр. 1—53; № 11, стр. 37—63; № 12, стр. 16—44; (№ 10, стр. 42—53; № 11, стр. 37—38 о Веймаре).

410. В-о [Чуйко В.] Из Парижа.—«Спб. вед.» 1869, № 116. [См. здесь «Несколько слов о постановке Фауста».]

411. М. Р[аппопорт] Беглые заметки [о «Le Petit Faust»].—«С. от.» 1869, № 16. [Здесь о Гете.]

412. Из записок В. С. Печерина (1869).—«Р. а.» 1870, стр. 1333—1342. [На стр. 1339.]

Ср. М. Гершензон. Жизнь В. С. Печерина. М. 1910, стр. 8—9 и В. Печерин. Замогильные записки. М. 1932, стр. 41.

413. Серов А. Hector Berlioz.—1) Journal de St.-Petersbourg 1869. 2) Критич. статьи, т. IV, П. 1895, стр. 1933—1993.

414. Серов А. Музыкальная хроника.—1) Journal de St.-Petersbourg 1869. 2) Критич. статьи, т. 4, П. 1895, стр. 2005—2013. [Стр. 2012—2013: о «Фаусте» Гуно и «Фаусте» Гете.]

415. Серов А. Музыкальная хроника.—1) Journal de St.-Petersbourg 1869, № 279. 2) Критич. статьи, т. 4, П. 1895, стр. 2023—2032.

Стр. 2026: «...отвратительная музыка Шумана к «Фаусту» Гете (бедный Фауст!)». Ср. стр. 2019.

416. Серов А. Музыкальная хроника.—1) Journal de St.-Petersbourg 1869, № 290. 2) Критич. статьи, т. IV, П. 1895, стр. 2032—2042.

Стр. 2033—2035: о «Фаусте» Гуно и «Фаусте» Гете.

417. *** [Кюи Ц.] Музыкальные заметки.—«Спб. вед.» 1869, №№ 264 и 304. (О «Фаусте» Гуно и «Фаусте» Шумана).

1870

418. Кошелев А. Записки. Берлин, 1884. [Стр. 35—37: о посещении Гете в Веймаре в 1831 г. (эта часть записок писана в 1870 г.)]

419. Серов А. Первое в нынешнем сезоне симфоническое собрание «Русского Музыкального общества».—1) «Голос» 1870, № 307. 2) Критич. статьи, т. IV, П. 1895, стр. 2092—2097. [Стр. 2093—2096: О симфонии «Фауст» Листа и листовской интерпретации «Фауста».]

420. Толстой Л. Письмо к А. А. Фету (4 февраля 1870). Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П. А. Сергеенко. М. 1910, стр. 89—90.

Стр. 89: «Я очень много читал Шекспира, Гете, Пушкина, Гоголя, Мольера, и обо всем этом многое хочется вам сказать».

421. *** [Кюи Ц.] Музыкальные заметки.—«Спб. вед.» 1870, № 320. [См. здесь о «Фаусте» Листа.]

1871

422. Висковатый П. О «Фаусте» Гете.—«Ж. М. Н. П.» 1871, ч. 155, отд. 2, стр. 269—296; ч. 157, отд. 2, стр. 47—103.

422а. О книге A. Stahr. «Kleine Schriften zur Literatur und Kunst. Berlin. 1871».—«Беседа» 1871, № 10, отд. 2, стр. 79—81. [На стр. 80.]

422б. Рецензия на книгу: «Aus F. H. Jacobi's Nachlass. Ungedruckte Briefe von und an Jacobi und Andere. Nebst ungedruckten Gedichten von Goethe und Lenz». «Ж. М. Н. П.» 1871, ч. 155, отд. 2, стр. 332.

423. Рецензия на книгу: «Goethe's Unterhaltungen mit dem Kanzler F. von Müller».—«Ж. М. Н. П.» 1871, ч. 155, отд. 2, стр. 332—333.

423а. *** [Кюи Ц.] Музыкальные заметки.—«Спб. вед.» 1871, № 57.

См. здесь о финале «Осуждения Фауста» Берлиоза («незрелое, юное его произведение»): «Он отправляет Фауста в ад, не справляясь ни с Гете, ни с легендой, ради изображения ада».

1872

424. А. В[еселовский]. Разбор «Goethes Briefe an Eichstaedt».—«Беседа» 1872, № 8, стр. 65—66.

425. Леонтьев К. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения. [Писано в 1872 и 1884.]—Собр. соч., т. VI, М. 1912, стр. 5—79. [О «Фаусте» на стр. 12.]

1873

426. Рецензия на сборник «Природа», кн. 2.—«Дело» 1873, № 11, стр. 1—37.

Стр. 36—37: о научных трудах Гете.

427. Шерр И. Гете. Его жизнь и произведения в чтениях для женщин.—«Сияние» 1873, № 8, стр. 124—125: № 9, стр. 139—141; № 10, стр. 156—158; № 11, стр. 173—174; № 13, стр. 202—207; № 14, стр. 219—223.

428. Jnn. Заметки об университетских занятиях в Германии.—«Гражданин» 1873, № 37, стр. 100—106. [На стр. 1003—о лекциях К. Фишера по «Фаусту».]

1873—1874

429. Шахов А. Гете и его время. [Лекции, читанные в 1873—1874 г.] П. 1891, 2-е изд. П. 1897. 3-е изд. П. 1903. 4-е изд. П. 1908.

430. Легенда о Фаусте как содержание для опер.—«Литературные прибавления к Нувеллисту» 1874 (№ 3, стр. 17—18, № 4, стр. 25—26).

«У французов и испанцев... сказание не нашло для себя Гете... Герцог Роберт Нормандский и Дон Жуан Севильский суть французский и испанский Фаусты». [Об них гл. обр. речь.]

431. Ставрин С. [Шашков С.] И. А. Крылов.—«Дело» 1874, № 7—8, стр. 59—74. [На стр. 69—70.]

432. Толстой А. Автобиографический очерк [1874].—П. с. с., т. 1, П. 1898, стр. IX—XVI. [Стр. X.—воспоминание о Гете, относящееся к 1827 году. Ср. А. А. Кондратьев. Граф А. К. Толстой. Материалы для истории жизни и творчества. П. 1912, стр. 10.]

1875

433. Геттнер Г. История всеобщей литературы XVIII в. Т. III, кн. 3. Пер. П. Барсова. М. 1875. 2-е изд. П. 1896—1897. [На стр. 102—211.]

434. Леонтьев К. Византизм и славянство. 1875. Собр. соч., т. 5. М. 1912, стр. 111—260. [На стр. 188, 195, 201 и 224].

435. Стасов В. Двадцать писем Тургенева и мое знакомство с ним.—«Сев. в.» 1888, № 10, стр. 145—194.

Стр. 176 (письмо от 5 сент. 1875 г.): «Радуюсь также Вашему суждению о Пушкине, Гете и Моцарте; оно в порядке вещей. Еще бы вы их любили! Вот уж тут бы я «ужасно» удивился».

436. Шерр И. Шиллер и его время. М. 1875. (Passim.)

437. Ларош Г. Рецензия на 6 романсов Чайковского ор. 25.—«Муз. листок». Сезон 1875—1876 г., № 2. (И в собрании его музыкально-критических статей. П. 1894, стр. 139—143.) [Стр. 141—о «Песне Миньоны».]

1876

438. Стасов В. Столицы Европы.—1) «В. Е.» 1876, № 2, стр. 505—544, № 3, стр. 254—279. 2) Собр. соч., т. I, П. 1894, стр. 387—442.

Стр. 405—о «Фаусте» Гете («портрет немца, гнушающегося тем, что его окружает»).

439. Шерр И. Гете в молодости и его поэтические произведения. П. 1876.

Рецензии на книгу Шерра.

440. «Неделя» 1875, № 47, стлб. 1560—1561.

441. «Дело» 1875, № 12, стр. 409—413.

1877

442. Языков Н. [Шелгунов Н.] Идеалы литературы Европы XIX в. (По Брандесу: «Лекции о литературе XIXв.»)—«Дело» 1877, № 10, стр. 100—131; № 11, стр. 216—239. [Стр. 112—115 о Вертере; стр. 219—221 о Гете.]

1878

443. Гете (Биография).—Собр. соч., изд. Н. В. Гербеля. Т. I, П. 1878, стр. XI—LVI.

444. Каро Е. Философские теории второй части «Фауста». Пер. А. Н. Яхонтова.—Собр. соч. Гете, изд. Гербеля. Т. II, П. 1878, стр. IX—LIII.

445. Рецензия на книгу «Немецкие поэты в биографиях и образцах. Под ред. Н. В. Гербеля. П. 1877».—«Дело» 1878, № 1, стр. 28—31. [На стр. 31.]

446. Рецензия на книгу «Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne von Willemer».—«Ж. М. Н. П.» 1878, ч. 195, отд. 2, стр. 429—430.

447. Чернышевский Н. «Литературное наследие.» Т. II, М.-Л. 1928». В письмах от 8 и 31 марта 1878 г. [Стр. 500 и 532.]

1879

448. Манускрипт народных песен Гете. [Заметка о манускрипте, приобретенном Страссбургским университетом].—«Российская библиография» 1879, № 13, стр. 40.

449. Мусоргский М. Автобиографическая записка.—1) «Муз. совр.» 1917, № 5—6. 2) «М. П. Мусоргский». Письма и документы. М.-Л. 1932. [Стр. 423—о «Песне Маргариты» (1879).]

450. Тургенев И. Письмо к М. М. Стасюлевичу (от 17/5 января 1879 г.).—1) «В. Е.» 1911, № 12. 2) «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке». Т. III, П. 1912, стр. 157—158.

О гербелевском стихотворении «Рим. Из Гете [Овидия]» в «В. Е.» 1879, № 1.

1879—1880

Рецензии на «Собрание сочинений Гете» под ред. Гербеля.

451. Буренин В. «Новое время» 1879, №№ 1352, 1364.

452. В-ский А. [Введенский А. И.] «Русская правда» 1879, № 12.

453. «В. Е.» 1880, № 1, обложка.

454. «Отголоски» 1879, № 50.

455. «Русская речь» 1880, № 4.

1880

456. Анненков П. Замечательное десятилетие. 1838—1848.—1) «В. Е.» 1880. 2) «Литерат. воспоминания». Л. 1928, стр. 161—601. [Стр. 189, 227—228, 233—Белинский о Гете.]

457. Открытие памятника Гете в Берлине.—«Нива» 1880, № 28, стр. 568 (с рис. на стр. 569).

458. Толстой Л. Письмо к Н. Н. Страхову (30 декабря 1880 г.). Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым (Толстовский музей, т. II), П. 1914, стр. 265. [«...дребедень из дребеденей Фауст Гете».]

459. Я[синский]. Столетний юбилей Лоренца Окена (по речи А. Эккера).—«Слово» 1880, № 1, стр. 105—112. [Упоминания о Гете.]

1881

460. Брандес Г. Главные течения литературы XI столетия. Пер. В. Неведомского. М. 1881. [На стр. 14—20.]

461. Весин С. Очерки истории русской журналистики 20-х и 30-х годов. П. 1881. [На стр. 66—69 и 364—370.]

462. Н. Н. [Гончаров И. А.] Е. Е. Барышов. (Некролог.)—«Порядок» 1881, № 284. (Перепеч. в книге «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке». Т. V, П. 1912, стр. 219—222). [См. здесь о переводе «Фауста», сделанном Барышовым.]

463. Портрет Гете. [Заметка о печатающемся во Франкфурте портрете.]—«Российская библиография» 1881, № 11, стр. 245.

464. Чернышевский в Сибири. Письма к родным, т. I—III, М. 1912—1913.

См. письмо от 7 марта 1881 г., т. III (стр. 150). Ср. также письма от 25 апреля 1877 (т. II, стр. 157) и 10 августа 1883 г. (т. III, стр. 228).

1881—1882

465. Веселовский Алексей. Западное влияние в русской литературе.—«В. Е.» 1881—1882. Отдельно: 1-е изд. 1883; 2-е перераб. 1896; 3-е перераб. 1906; 4-е дополненное—1910; 5-е значит. дополн. М. 1916. [По указателю.]

1882

466. Е. Н. О «Фаусте» в пер. Трунина.—«Р. м.» 1882, № 12, стр. 50—62.

467. Зотов В. История всемирной литературы в общих чертах, биографиях, характеристиках и образцах. Т. IV. П. 1882. [На стр. 123—188].

468. Корелин М. Западная легенда о докторе Фаусте. Опыт исторического исследования.—«В. Е.» 1882, № 11, стр. 263—294; № 12, стр. 699—734. [На стр. 727.]

469. Незеленов А. А. С. Пушкин в его поэзии. П. 1882. (Записки Ист.-Филол. ф-та Спб. Ун-та, ч. X). 2-е изд. 1901 (и в Собр. соч., т. I, П. 1903). [Стр. 265—268 по 2-му изд.]

1882—1883

О «Фаусте» в переводе Фета.

470. Фет А. А. Мои воспоминания (1848—1889). Ч. I—II. М. 1890 [На стр. 367 ч. II-й.]

471. Соловьев В. Письмо к А. А. Фету (апрель 1883 г.).—Письма, т. III. П. 1911, стр. 109. (Первоначально в «Северных цветах» на 1901 г., стр. 147—148.)

«Как мне горько, и обидно, и стыдно за русское общество, что до сих пор ни о «Фаусте», ни о «Вечерних огнях» ничего не было сказано в печати». (Ср. стр. 107 и 108.)

472. К.—«Р. м.» 1882, № 6, стр. 11—12.

473. Казанский И.—«Загр. вестник» 1882, № 6, стр. 121—139.

474. «Дело» 1883, № 7, стр. 66—72.

475. «Р. м.» 1882, № 6, стр. 11—14.

1883

476. Мицкевич А. Гете и Байрон. Пер. П. Н. Полевого. Собр. соч., т. IV, П. 1883. Изд. 2-е, П. 1902, стр. 199—209.

477. Рецензия на «Goethes Werke. Illustrierte Pracht-Ausgabe von H. Duentzer».—«Нива» 1883, № 51, стр. 1242 (с рис. на стр. 1244).

1884

478. Бартенев П. Некролог А. И. Кошелева.—«Р. а.» 1884, № 1, стр. 246—249.

Стр. 248: о Кошелеве в Веймаре в 1831 г. (несколько отличный от «Дневника» и «Записок» вариант рассказа о свидании с Гете).

479. Борзенков Я. Чтения по сравнительной анатомии. М. 1884. (Ученые записки Моск. Ун-та. Естественно-историч. отд. Вып. 4.) [Стр. 85—93: о Гете-мыслителе и натуралисте.]

480. Булгаков Ф. Иов, Прометей и Фауст. Опыт этико-исторической параллели.—«Ист. в.» 1884, т. XVI, апрель, стр. 195—213.

481. Городок любимый Гете [Дорнбург близ Веймара].—«Ист. в.» 1884, т. XVII, сент., стр. 639—642.

482. О переводе «Фауста» Т. Аносовой.—«О. з.» 1884, № 4, стр. 205—251.

483. Случевский К. В герцогском склепе в Веймаре. [Стихотворение.]—«XXV лет». Сборник Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. П. 1884, стр. 298—301.

484. Юрьев С. Опыт объяснения трагедии Гете «Фауст».—«Р. м.» 1884, кн. XI, отд. I, стр. 261—299; кн. XII, отд. I, стр. 204—244 (отдельно—М. 1886).

1885

485. Гетевское общество.—«Нива» 1885, № 30, стр. 726.

486. Последний потомок Гете.—«Нива» 1885, № 32, стр. 773.

487. Рецензия на книгу: «Выбор стихотворений Гете и Шиллера, с подробными замечаниями, для употребления в VII

классе гимназий и др. средне-учебных заведений. Составил А. Месс».—«Ж. М. Н. П.» 1885, ч. 241, отд. 3, стр. 23—29.

488. Сайм Дж. Краткая история немецкой литературы. П. 1885. [На стр. 70—93.]

489. Фишер К. «Фауст» Гете. Возникновение и состав поэмы. Пер. И. Городецкого. М. 1885. М. 1887.

490 Чернышевский Н. «Литературное наследие». Т. III. М.-Л. 1928. [На стр. 105, в письме от 18 февраля 1885 г.]

491. Штерн А. Всеобщая история литературы. Пер. с нем. П. 1885. [На стр. 384—399, 401 и 405.]

1886

492. В шумные годы. Роман. (Из жизни Гете).—«Колосья» 1886, № 1, стр. 231—288; № 2, стр. 122—185; № 3, стр. 152—223.

493. Стасов В. По поводу романа Золя «L'œuvre». 1) «Новости» 1886, №№ 179 и 185 1-го изд. 2) Собр. соч., т. II, П. 1894, стр. 967—980. [На стр. 970—971].

494. Чашка Гете.—«Нива» 1886, № 1, стр. 25—26.

1887

495. Боденштедт Ф. Письмо к М. И. Семевскому. [Перевод.]—«Р. ст.» 1887, кн. 5, стр. 470—472.

Стр. 471: «Фауст Гете был любимым стихотворением Тургенева. Первую часть его он знал почти всю наизусть».

496. Гете, его жизнь и избранные стихотворения. П., изд. А. Суворина, 1887. 2-е доп. изд. П. 1889.

Заметка—«Нива» 1887, № 42, стр. 1046.

497. Зыков В. Поэт-естествоиспытатель. М. 1887.

498. Мюллер М. Гете и Карлейль. [Пер. с англ.]—«Р. м.» 1887, № 1, отд. 2, стр. 22—48.

499. Фришмут М. Тип Фауста в мировой литературе.—«В. Е.» 1887, № 7, стр. 89—129; № 8, стр. 503—542; № 9, стр. 199—227; № 10, стр. 470—501. (Вошло в его «Критические очерки и статьи». П. 1902.)

1888

500. Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения. Пер. В. Н. Неведомского. М. 1888. 2 тома. (Passim.)

501. Мензбир М. Поэзия и правда естествознания.—«Р. м.» 1888, кн. XI, стр. 109—132. [На стр. 110—111.]

502. Новое роскошное иллюстрированное издание [«Фауст» в пер. Фета].—«Нива» 1888, № 48, стр. 1224.

503. Яхонтов А. Воспоминание царскосельского лицеиста. 1832—1838.—«Р. ст.» 1888, кн. 10, стр. 101—124. [На стр. 115.]

504. Schmidt G. Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel.—«Russische Revue» 1888, II, 131—182 (и отдельно).

1889

505. Запольский Н. О внеклассном чтении произведений иностранной словесности. «Герман и Доротея» Гете.—«Педагогический сборник» 1889, кн. 1, стр. 29—62; кн. II, стр. 129—155.

506. Ларош Г. Музыкальная хроника.—«М. вед.» 1889, 15 ноября [о листовской «Faust-Symphonie»].

507. Русские переводы «Фауста» (по поводу перевода Н. Голованова).—«Неделя» 1889, № 41, стр. 1320—1322.

О «Фаусте» в пер. Фета

508. «Ист. в.» 1889, т. XXXV, январь, стр. 229—230.

509. «Р. м.» 1889, № 3, стр. 92—93 (библиогр. отд.)

1890

510. Бизе А. Историческое развитие чувства природы. Пер. Д. Коропчевского. П. 1890. [На стр. 311—342.]

511. Вейнберг П. «Парк Лили» (к истории любовных увлечений Гете).—1) «Сев. в.» 1890, № 11. 2) Страницы из истории западных литератур. П. 1907, стр. 341—354.

512. Плеханов Г. Н. Г. Чернышевский. Статья 1-я. 1) «Социал-демократ» 1890. 2) Соч., т. V, стр. 121—122. [Стр. 114—о «Wahlverwandtschaften». Ср. в изд. «Шиповника», П. 1910 (стр. 180, т. V по Собр. соч.).]

513. Рецензия на «J. W. v. Goethe's «Hermann und Dorothea». С объяснит. примеч. и словарем для употребления в средних мужских и женских учебных заведениях. Составил Я. Вельм. М. 1880».—«Ж. М. Н. П.» 1890, ч. 271, отд. 3, стр. 52—55.

514. Строганов А. Разговор с Гете. (У Biedermann'a. Gespräche Goethe's. Bd. VIII, Leipzig. 1890, SS. 213—228. 2-te Aufl., Bd. IV, Leipzig 1910, SS. 403—412).

Вопрос о датировке до сих пор не может считаться решенным (см. статью С. Н. Дурылина, № 829).

515. Harnack. Goethe's Beziehungen zu russischen Schriftstellern.—1) «Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte und Renaissance-Literatur» 1890, Band III, Heft 4—5. 2) Essays und Studien zur Literaturgeschichte. Braunschweig. 1899. SS. 231—237.

1891

516. Гайм Р. Романтическая школа. Пер. В. Неведомского. М. 1891. [По указателю.]

517. Гете и Пушкин.—«Ист. в.» 1891, т. XLV, июль, стр. 217—218.

518. Рецензия на «Hermann und Dorothea von W. v. Goethe mit Anmerkungen und fortlaufendem Wörterverzeichnis hrsg. v. Max Fischer».—«Ж. М. Н. П.» 1891, ч. 275, июнь, отд. 3, стр. 26—27.

519. Толстой Л. Письмо к А. А. Толстой (август-сентябрь 1891 г.).—Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. П. 1911 (Толстовский музей, т. I), стр. 368—369.

Стр. 369: «Экермана разговоры не читал и на днях только вспоминал о них. Гете-то я не очень люблю. Не люблю его самоуверенное язычество».

520. Холодковский Н. Вольфганг Гете. Его жизнь и литературная деятельность. П. 1891. («Жизнь замечательных людей». Биографическая библиотека Ф. Павленкова).

521. Эккерман. Разговоры Гете, собранные Эккерманом. Пер. с нем. Д. В. Аверкиева. Ч. I—II, П. 1891.

Рецензии: 1) Вл. З[отов].—«Ист. в.» 1891, т. XLIII, март, стр. 861—864, т. XLVI, ноябрь, стр. 502—504. 2) «Сборник Нивы» 1892, № 3, стр. 734.

1892

522. Брандес Г. Гете и Шарлотта ф. Штейн. Перевод В. С.—1) «Р. м.» 1892, № 12, стр. 56—68. 2) «Читатель» 1896, № 45, стр. 66—88.

523. Кирпичников А. Время Гете и Шиллера. Возникновение романтической школы в Германии.—Всеобщая история литературы, под ред. В. Ф. Корша и А. Кирпичникова. Т. IV, П. 1892, стр. 178—284. [См. в особенности стр. 178—206, 213—223, 231—232, 241—247, 276—284 и в предшествующих томах по указателю.]

524. Плеханов Г. Примечания к русск. пер. книги Энгельса «Л. Фейербах». Женева, 1892 (Соч., т. VIII). [На стр. 387 (по Собр. соч.)—о гносеологии Гете.]

525. Скабичевский А. Очерки истории русской цензуры. П. 1892. [Стр. 166—Гете и Шиллер под русскою цензурою.]

526. Стороженко Н. Юношеская любовь Гете.—1) «Помощь голодающим». Научно-литературный сборник. 1892, стр. 501—516. 2) «Читатель» 1896, № 14, стр. 111—132. (И в сборнике его статей «Из области литературы». М. 1902, стр. 120—135.)

1892—1894

527. Рубинштейн А. Мысли и афоризмы. Пер. с нем. Н. Н. Штрах. П. б. г. [Написано в 1892—1894 гг.)

Стр. 160: «Я сужу о величии поэта по созданным им женским типам. Вот почему Шекспир и Гете кажутся мне величайшими поэтами».

1893

528. Блок М. Матери великих людей. Пер. с фр. Н. М. Дементьевой. М. 1893. [На стр. 89—98.]

529. В. А. Гравюра Гете.—«Нива» 1893, № 16, стр. 382. [С факсимиле на стр. 384.]

530. Веселовский Ал-ей, Бекетов А., Петрушевский Ф. Гете.—Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. VIII, П. 1893, стр. 586—596. (Ср. «Новый Энциклопедический словарь», т. XIII, стр. 371—386.)

531. Гете и Шарлотта фон Штейн.—«Ист. в.» 1893, т. LI, март, стр. 928—929.

532. Иванов И. Гете как человек.—«Мир Божий» 1893, № 11, стр. 37—62, № 12, стр. 54—69.

533. Рецензия на книгу Э. Остерлов. «Краткое извлечение из «Вильгельма Мейстера» Гете. Книга для чтения в старших классах средних учебных заведений. Тифлис, 1892».—Ж. М. Н. П., 1893, ч. 289, отд. 3, стр. 29—31.

534. Рецензия на «Собрание сочинений Гете» [2-е изд., тт. I—III, VI и VII.]—«Сборник Нивы» 1893, № 9, стр. 218.

535. Ф. Т. Любовь Гете и Шарлотты фон Штейн. (По этюду Г. Брандеса.)—«В. ин. л.» 1893, № 2, стр. 175—183.

536. Шерер В. История немецкой литературы. Пер. под ред. А. Н. Пыпина. Ч. I—II. П. 1893. [Ч. II, стр. 125—173, 226—228, 265—269, 286—301 и по указателю.]

537. Юрьев С. Вторая часть «Фауста» (Отрывки из комментария).—«Артист» 1893, № 23, стр. 10—15.

1893—1894

538. Записки А. О. Смирновой.—«Сев. в.» 1893—1894. Отдельно—2 ч. П. 1895. Ч. 1, стр. 56 и 155—157 (Жуковский о Гете); стр. 85—88 (Николай I о Гете); стр. 186 (Пушкин о «Фаусте»). Ср. стр. 94. Об этих «Записках» см. статью Л. В. Крестовой: К вопросу о достоверности т. н. «Записок» А. О. Смирновой [№ 263].

1894

539. Культ Гете.—«Ист. в.» 1894, т. LVI.

539. Культ Гете. — «Ист. в.» 1894, т. LVIII, октябрь, стр. 283—285.

540. Последняя любовь Гете.—«Ист. в.» 1894, т. LVI, июнь, стр. 851—852.

541. Р. С. Т. Театр г. Корша.—«Артист» 1894, № 34, стр. 241—244.

На стр. 243—244 об одноактной пьесе В. М. Михеева «Гете в Страссбурге», поставленной в бенефис Кудриной (28 января).

541а. «Каталог посмертной выставки рисунков и картин Е. Р. Рейтерна в память столетней годовщины со дня его рождения». П. 1894.

Здесь под № 48 указано «Портрет Гете 1832. Акварель». Под № 48 «Арабеска; в середине стихи Гете. Акварель на золотом фоне».

542. Рецензия на книгу: «Goethe. Egmont. Текст с введением, примечаниями и словарем. Объяснил Е. А. Леве. П. 1893».—«Ж. М. Н. П.» 1894, ч. 295, отд. 3, стр. 41—42.

543. Спасович В. Д. Дружба Шиллера и Гете.—«В. Е.» 1894, № 2, стр. 672—705; № 3, стр. 166—202; № 4, стр. 611—654. (И в его «Сочинениях», т. 8, Спб. 1896.)

544. Овсянико - Куликовский Д. Н. И. С. Тургенев.—«Сев. в.» 1894—1896 (Сочинения, т. II, изд. 3-е, 1910; изд. 5-е, М.-Л. 1923). [О тургеневском и гетевском «Фаусте»—стр. 117—148 (по 5-му изд.). Ср. «Сев. в.» 1895, № 5, стр. 148—182.]

1895

545. Вейнберг П. И. Два дня в Веймаре [1895].—Страницы из истории западных литератур. П. 1907, стр. 355—368.

546. Гете в характеристике Дюринга.—«Новое слово» 1895, № 9, стр. 214—250.

547. Гете и его новые афоризмы.—«Ист. в.» 1895, т. LX, апрель, стр. 312—313.

548. Новое о Шекспире и Гете.—«Ист. в.» 1895, т. LXII, октябрь, стр. 272—276.

549. Посмертное произведение Гете.—«Нива» 1895, № 2, стр. 48.

550. Рецензия на книгу: «Избранные немецкие писатели для школ с введ., примеч. и словарем Ф. К. Андерсона. Egmont. Ein Trauerspiel von Goethe. П. 1894».—«Ж. М. Н. П.» 1895, ч. 297, отд. 3, стр. 17—20.

1896

551. За и против Гете.—«Ист. в.» 1896, т. LXVI, октябрь, стр. 337—340.

552. Мадзини Дж. Байрон и Гете.—«Мир Божий» 1896, № 12, стр. 43—61.

553. Мережковский Д. Пушкин.—Сб. П. Перцова «Философские течения русской поэзии». П. 1896, стр. 317—335. Вошло в «Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы». П. 1897. 2-е изд. 1899. 3-е изд. П. 1910. П. с. с. М. 1914, т. XVIII. (Кроме того в 1908 г. в П. вышло отдельно под заглавием «Вечные спутники. Пушкин».)

О Пушкине и Гете—стр. 271—272, 274, 277, 281, 301, 302, 303, 324—327 (по изд. 1910 г.); 94—95, 97, 101, 106, 129, 130, 131, 156—160 (по П. с. соч.).

554. Молодость Гете.—«Ист. в.» 1896, т. LXIV, апрель, стр. 341—343.

555. Столетов А. Леонардо да Винчи как естествоиспытатель.—1) «Р. м.» 1896, № 1. 2) Общедоступные лекции и речи А. Г. Столетова. М. 1897, стр. 233—260. [На стр. 233—238 сопоставление Леонардо да Винчи и Гете.]

556. Чешихин В. Гетевский Фауст как художественная натура. Критический этюд.—«Наблюдатель» 1896, № 4, стр. 262—286; № 5, стр. 194—210; № 6, стр. 279—297.

1896—1897

557. Толстой Л. Дневник. Т. 1 (1895—1899). [Упоминания Гете на стр. 36, 65 и 80, относящиеся к 1896—1897 гг.]

1896—1898

558. Шерр И. Иллюстрированная всеобщая история литературы. Пер. П. Вейнберга. 2 т. М. 1896—1898. [На стр. 261—269, 275—280 тома II-го.]

1897

559. Вл. С-н. «Роман» Гете.—«Семья» 1897, № 6, стр. 10.

560. Головин К. Русский роман и русское общество. П. 1897. [Стр. 16—17: «Обособленность Гете среди романтического движения».]

561. Дюринг Е. Великие люди в литературе. Пер. Ю. Антоновского. П. 1897. [На стр. 127—169.]

562. Иванов И. Заразительная книга. [По поводу сочинения W. Appell'я Werther und seine Zeit].—«Мир Божий» 1897, № 3, стр. 87—106.

563. Каменский Н. [Плеханов Г.] Литературные взгляды В. Г. Белинского.—1) «Новое слово» 1897, 1, стр. 1—24, II, стр. 1—23. 2) Соч., т. X, стр. 253—304. [На стр. 279 и 286.]

564. Коган П. Русский ученый школы Тэна. (Шахов. Гете и его время).—«Р. м.» 1897, № 12, стр. 79—89.

565. Кожевников В. Философия чувства и веры в ее отношениях к литературе и рационализму XVIII в. и к критической философии. Ч. 1, М. 1897. [На стр. 152—154, 169—171, 197, 272—274, 277—279, 292—293, 617, 629, 643, 647—652, 655, 663—665, 671—672, 682—684, 692 и др.]

566. Любовь Гете к прекрасной миланке.—«Ист. в.» 1897, т. LXVII, март, стр. 1131—1132.

567. N. «Фауст».—«Театр и искусство» 1897, № 8, стр. 149. [О постановке «Фауста» в Панаевском театре в бенефис Ге.]

1898

568. Белоусов И. М. Заметки по литературе. 1. Главные моменты в истории развития теории поэзии.—«Филологические записки» 1898, вып. 1, стр. 1—17 (и отдельно). [На стр. 14.]

569. Боцяновский В. Белинский о корифеях иностранной литературы.—«Н. ж. ин. л.» 1898, кн. 2, стр. 118—126.

[Стр. 121—122, 123 и 125—Белинский о Гете.]

570. Гейне Г. К истории религии и философии в Германии. Пер. М. Г. Сухотиной.—1) Собр. соч., т. III, П. 1898, стр. 448—617. 2) П. с. соч., изд. 2-е, т. III, П. 1904, стр. 9—117. [На стр. 584—590, (95—99).]

571. Гейне Г. Людвиг Берне. Перевод П. И. Вейнберга.—1) Собр. соч. т. II, П. 1898, стр. 329—520. 2) П. с. с., изд. 2-е, т. I. П. 1904, стр. 513—637. [На стр. 343—346 (522—525) о Гете и Берне.]

572. Гейне Г. Романтическая школа. Пер. П. И. Вейнберга.—1) Собр. соч., т. III, П. 1898, стр. 227—447. 2) П. с. с., изд. 2-е, т. III, П. 1904, стр. 258—393. [На стр. 275—301 (289—305).]

573. Гете и граф Торенк.—«Ист. в.» 1898, т. LXXI, февраль, стр. 765—766.

574. Деген Е. Губер как поэт и переводчик «Фауста».—«Космополис» 1898, т. X, № 4, стр. 34—46; № 5, стр. 162—169.

575. Коган П. Два биографа (Бельшовский и Фагэ).—«Р. м.» 1898, № 12, стр. 27—35.

576. Котляревский Н. Мировая скорбь в конце XVIII и в начале XIXв. П. 1898. 2-е испр. изд. П. 1910. 3-е испр. изд. П. 1914. [См. стр. 51—128, 315—335 (по 2-му изд.) и 51—102, 311—332 (по 3-му).]

577. О любви Гете.—«Н. ж. ин. л.» 1898, № 2, стр. 233—237.

578. Рецензия на «Фауста», пер. А. И. Мамонтова и «Фауста», пер. Маклецовой.—«Р. б.» 1898, № 1, стр. 34—36.

579. Рецензия на «Фауста», пер. Н. Голованова.—«Р. б.» 1898, № 5, стр. 47—49.

580. Струве П. Маркс о Гете.—«Мир божий» 1898, № 2, стр. 177—182 (и в сборнике его статей «На разные темы». П. 1902, стр. 252—258). [В действительности разобранная Струве статья принадлежит Энгельсу.]

581. Шаховской Л. Новые исследования о Гете. [О статьях Э. Рода.]—«Читатель» 1898, № 3, стр. 129—144.

1898—1901

582. Крупская Н. Воспоминания о Ленине. Вып. 1. М.-Л. 1930.

Стр. 179: «Помнится, в Сибири [1898—1901] был также «Фауст» Гете на немецком языке».

Цитаты и ссылки на «Фауста» см. в статьях периода 1901—1905 гг.: т. IV, стр. 251; т. VI, стр. 82; т. VIII, стр. 380 (по 2-му изд.). Ср. также №№ 738 и 742.

1898—1908

583. Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения. Пер. О. А. Рохмановой, под ред. П. Вейнберга. Т. I—II. П. 1898—1908.

1899

584. Балталон Ц. Пособие для литературных бесед и письменных работ. (Вопросы изучения произведений Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, Гончарова, Тургенева, гр. Л. Толстого, Островского, Достоевского, Короленко, Шекспира, Гете, Мольера.) М. 1899.

585. Бальмонт К. Избранник земли. (Памяти Гете).—«Жизнь» 1899, № 9, стр. 12—16.

586. Бальмонт К. Несколько слов о типе Фауста.—«Жизнь» 1899, № 7, стр. 171—177.

587. Бойезен Г. «Фауст» Гете. Комментарий к поэме. Пер. Н. В. Арского. П. 1899.

588. В. К. Рецензия на «Фауста», пер. Фета.—«Ист. в.» 1899, т. LXXV, февраль, стр. 693—695.

589. Вейнберг П. Жизнь Генриха Гейне.—1) Собр. соч. Гейне, т. VI, П. 1899, стр. 3—120. 2) П. с. соч. Гейне, изд. 2-е, т. I, П. 1904, стр. 5—108. [О Гете и Гейне—стр. 54—57 (48—50).]

590. Вейнберг П. Памяти Гете (очерк).—«Журнал для всех» 1899, № 9, стр. 1081—1092; № 10, стр. 1153—1164.

591. Веселовский А-ей. Пушкин и европейская поэзия.—1) «Жизнь» 1899, № 5; 2) «Памяти А. С. Пушкина». Юбилейный сб., изд. ред. журнала «Жизнь». П. 1899, стр. 108—129. [На стр. 124—125.]

592. Гейне Г. Рецензия на книгу Менцеля «Немецкая литература». Пер. О. А. Рохмановой.—1) Собр. соч., т. VI, П. 1899, стр. 421—439. 2) П. с. соч., изд. 2-е, т. IV, П. 1904, стр. 451 462. [На стр. 435—439 (460—462).]

593. Гете и его чествование.—«Н. ж. ин. л.» 1899, т. IV, № 10, стр. 62—69.

594. Гольтхоф К. Воззрения Гете в области естественных наук и их отношение к дарвинизму. (Пер. с немецкого.)—«Жизнь» 1899, № 9, стр. 5—11.

595. Дашкевич Н. Пушкин в ряду великих поэтов нового времени. «Памяти Пушкина». Сб., составленный профессорами и преподавателями Ун-та св. Владимира. Киев, 1899, стр. 85—257. [О Пушкине и Гете—стр. 150—152, 250 и 155.]

596. Деген Е. Патриах немецкой литературы.—«Мир божий» 1899, № 11, стр. 102—116.

597. Е. М. Ш[ершевская]. Первоначальный «Фауст».—«Н. ж. ин. л.» 1899, № 11, стр. 161—163.

598. Ковров А. Юбилей Гете.—«Жизнь» 1899, № 9, стр. 33—52.

599. Н. Н-в. В. Гете.—«Жив. об.» 1899, № 34, стр. 684—687.

600. Овсянико-Куликовский Д. Гений Гете.—1) «Жизнь» 1899, № 12, стр. 1—21. 2) Сборник его статей «Вопросы психологии творчества», П. 1902, стр. 179—205. 3) Собр. соч., т. V, П. 1909, стр. 93—114.

601. Отголоски юбилея Гете.—«Ист. в.» 1899, т. LXXVIII, октябрь, стр. 375—377.

602. Полуторастолетний юбилей Гете.—«Ист. в.» 1899, т. LXXVII, сентябрь, стр. 1043—1045.

603. Пономарев А. А. С. Пушкин в отношениях к западноевропейским поэтам-классикам (Данте, Шекспиру, Гете) и сравнительно с ними, как народный русский поэт-гений.—«Христианское чтение» 1899, № 6, стр. 1169—1181 (и отдельно).

604. С. Т-в. Царь поэтов.—«Семья» 1899, № 33, стр. 4—5.

605. Сиповский В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». П. 1899. [О влиянии Гете на Карамзина—стр. 352—354 и по указателю.]

606. Спасович В. Новый опыт критической оценки Гете в книге Эд. Рода.—Сб. «Дело», М. 1899, стр. 245—274.

607. 150-летие дня рождения Гете.—«Нива» 1899, № 33, стр. 622—624 и 626.

608. Шаблевич В. Вольфганг Гете. М. 1899.

609. Шепелевич Л. «Фауст». Опыт характеристики. (По поводу 150-летнего юбилея Гете).—«Образование» 1899, № 11—12. Отдельно—П. 1900 и в его «Историко-литературных этюдах». Серия II. П. 1905, стр. 37—89.

1900

610. Веселовский Ю. Пушкин как европейский писатель.—Литературные очерки. М. 1900, стр. 392—402. [О Пушкине и Гете—стр. 398.]

В переработанном виде под загл. «Пушкин и западноевропейские литераторы». «Лит. очерки». Т. I, изд. 2-е, М. 1910, стр. 375—384. [На стр. 380—381.]

611. Девятнадцатый век. Обзор науки, техники и политических событий. Под общей ред. М. М. Филиппова. П. 1900. [На стр. 70—74 и 317—322].

612. Липаев И. Из Москвы.—«Русская музыкальная газета» 1900, № 11, стр. 321—323. [Стр. 321—о кантате-балладе «Лесной царь» Ю. Сахновского.]

613. Некрасов Ф. Д. В. Веневитинов как поэт и критик; «Московский Вестник», журнал русских шеллигианцев веневитиновского кружка и А. С. Пушкина; их взаимные историко-литературные отношения.—Пушкинский сборник студентов Московского университета под ред. А. И. Кирпичникова. М. 1900, стр. 41—99. [Стр. 43 и 83—99: Отношение Веневитинова и Пушкина к Гете.]

614. Рыбинский В. О «Фаусте» Гете.—Иллюстрированный сборник Киевского Литературно-артистического общества. Киев. 1900, стр. 92—99.

615. Седов А. Педагогические идеи Гете. М. 1900.

616. Чешихин Вс. Пушкин и Гете.—«Наблюдатель» 1900, № 1, стр. 48—64.

1901

617. Викторов П. Фауст и Мефистофель как основные типы в трагедии общественных настроений. Очерк 1. М. 1901.

618. Гете. Биографический очерк поэта с приложением отрывков из его произведений. М. 1901. (Изд. О-ва распространения полезных книг).

619. Гете о русских иконах. Сообщил Г. Бахман.—«Р. а.» 1901, № 10, стр. 251—252.

Перевод отрывка, опубликованного в Sophien-Ausgabe, с примеч. Бартенева.

620. Матушевский И. Дьявол в поэзии. Этюд по сравнительной истории литературы. Пер. с польского В. М. Лаврова. М. 1901. [Стр. 156—165 о гетевском Мефистофеле.]

621. Розанов М. Поэт периода «бурных стремлений»—Якоб Ленц. М. 1901. [На стр. 94—97, 99—100, 111—120, 267—269, 307—309, 320—335, 387—419 и др.]

622. Стасов В. Искусство XIX века.—1) Напечатано с большими пропусками в «Ниве» за 1901 г. 2) Собр. соч., т. IV, П. 1906, стр. 1—338.

Стр. 66: об иллюстрациях Делакруа к «Фаусту» Гете. Стр. 93: о «зловредном» влиянии классицизма на Гете. Стр. 241—242: о романсах Шуберта на тексты Гете.

623. Фогт Ф. и Кох М. История немецкой литературы от древнейших времен до настоящего времени. П. 1901. [По указателю.]

1902

624. А. Б. Критические заметки.—«Мир божий» 1902, № 9, отд. 2, стр. 95—101. Стр. 97: сравнение Гете с Толстым.

625. Айхенвальд Ю. Из мыслей Гете и о Гете. (По поводу книги Siebeck'a Goethe als Denker. 1902.)—Отдельные страницы. Сб. 1, М. 1910, стр. 153—171.

626. Брандес Г. Главные течения в литературе XIX века. Литература эмигрантов.—Собр. соч. в 12 томах. Пер. с датского под ред. М. В. Лучицкой. Т. III, Киев. 1902. [Стр. 32—39: «Вертер».]

Во втором испр. и доп. издании «Сочинений» (П. 1908—1910), т. 5, стр. 51—63.

627. Булгаков С. Иван Карамазов как философский тип.—«Вопросы философии и психологии» 1902, кн. 1 (61), стр. 826—863. (Вошло в сборник его

статей «От марксизма к идеализму». П. 1903, стр. 83—112.) [Стр. 106—110: сопоставление Карамазова с Фаустом.]

628. Веселовский Ал-р. Жуковский о Байроне, Гете и Шиллере.—«Научное обозрение» 1902, № 12, стр. 1—20.

628а. Висковатый П. Об отношениях Жуковского и Гете.—«Лит. вестник» 1902, кн. 5.

629. Волжский. Торжествующий аморализм. (По поводу «Русского Фауста» А. Луначарского.) «Вопросы философии и психологии» 1902, кн. 4 (64), стр. 889—905. [Стр. 889: о параллели Фауста и Карамазова.]

630. Гнедич П. Книга жизни. Воспоминания. Л. 1929. [Стр. 280—283: о постановке «Фауста» в Александринском театре в 1902 г.]

631. Гранстрем М. Шиллер и Гете. Три рассказа из истории немецкой литературы по Огорну и Эрлиху. П. 1902.

Рецензия—в «Педагогическом сборнике» 1902, кн. VI, стр. 526.

632. Каллаш В. Русские отношения Гете.—«Под знаменем науки». Юбилейный сборник в честь Н. И. Стороженка. М. 1902, стр. 178—184.

633. Луначарский А. Русский Фауст.—«Вопросы философии и психологии» 1902, кн. 3 (62), стр. 783—795. (Вошло в его «Этюды критические и полемические». М. 1905, стр. 179—190.)

По поводу статьи Булгакова (№ 627).

634. Паульсен Ф. Шопенгауэр, Гамлет и Мефистофель. Киев. 1902.

634а. Рецензия на «Фауста», пер. Мамонтова.—«Р. б.» 1902, № 4, стр. 65—66.

635. Федоровский С. Переводы и переделки стихотворений Гете в русской литературе.—«Записки Харьковского университета» 1902, № 2, стр. 1—95.

636. Шаровольский И. Юношеская идиллия Гоголя.—«Памяти Гоголя». Сб. под ред. Н. П. Дашкевича. Киев. 1902, отд. 2, стр. 13—52. («Чтения в историч. о-ве Нестора Летописца» кн. 16, вып. 1—3.)

Стр. 49—о влияниях Гете в «Гансе Кюхельгартене».

1903

637. Белый Андрей [Бугаев Б.] Символизм как миропонимание (1903). «Арабески». М. 1911, стр. 220—238. [Стр. 225—226: о Гете и Ницше.]

638. Брандес Г. Немужественность героев Гете. Перевод В. С.—«Р. м.» 1903, № 9, отд. 2, стр. 41—61.

639. Брюсов В. Ф. И. Тютчев. Летопись его жизни.—«Р. а.» 1903, III, № 11, стр. 481—498. [На стр. 488 и 492.]

640. Жуковский В. Дневники. С примеч. И. А. Бычкова. П. 1903. Стр. 167 (под 22 октября 1821 г.), 203 (под 4—6 сентября 1827 г.) и др.

641. Замотин И. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе. Т. I. Варшава, 1903.

642. Коган П. Очерки по истории западноевропейской литературы. Т. I. М. 1903. 2-е изд. [измененное], 1905. 3-е [без изм.] М. 1908. 7-е вновь пересм. П. 1914. 8-е [без изм.] П. 1923. 9-е испр. М.-Л. 1928. 10-е перераб. М.-Л. 1931. [На стр. 279—298 (по 8-му изд.), 313—347 (по 9-му), 210—233 (по 10-му).]

643. Козмин Н. Очерки из истории русского романтизма. Н. А. Полевой. П. 1903. [По указателю.]

644. Лафатер и Гете.—«Ист. в.» 1903, т. XCII, май, стр. 748—751.

645. Луначарский А. Пред лицом рока. К философии трагедии. «Образование» 1903, № 10, стр. 1—27; № 11, стр. 142—161; № 12, стр. 38—61.

«Доктор Фауст»—стр. 38—61. Ср. его «Этюды критические и полемические». М. 1905, стр. 86—110. Этюды. М. 1922, стр. 161—186 (и в издании «Фауста», пер. В. Брюсова. М.-Л. 1928, стр. 9—33).

646. Мать Гете.—«Ист. в.» 1903, т. XCI, март, стр. 1183—1184.

646а. Популярность Гете и Бисмарка в Германии.—«Ист. в.» 1903, т. XCIV, октябрь, стр. 316—317.

1904

647. Веселовский Ал-р. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». П. 1904, П. 1918. [На стр. 328—360 (303—333) и по указателю.]

648. Коган П. Опыт исторической хрестоматии западноевропейских литератур для школ и самообразования. М. 1904. [Стр. 303—308: Гете и его произведения. Ср. №№ 693 и 780.]

649. Луначарский А. Н. Ленау и его философские поэмы.—1) В изд. «Фауста» Ленау, пер. В. Анютина (Луначарского]. П. 1904. 2) В сб. его статей «Этюды критические». М.-Л. 1925, стр. 35—122. [На стр. 41—44.]

650. По поводу статуи Гете в Риме.—«Ист. в.» 1904, т. XCVII, сентябрь, стр. 1067—1069.

651. Последняя любовь Гете.—«Ист. в.» 1904, т. XCVI, май, стр. 725—728.

652. Радлов Э. Рецензия на «Фауста», пер. П. И. Вейнберга.—«Ж. М. Н. П.» 1904, ч. 353, отд. 2, стр. 229—232.

653. Рецензия на тот же перевод.—«Р. б.» 1904, № 9, стр. 94—96.

654. Современное влияние Гете и Шиллера.—«Ист. т.» 1904, т. XCVI, апрель, стр. 367—368.

655. Стасов В. Письмо к Л. Н. Толстому от 4 октября 1904.—Л. Толстой и В. В. Стасов. Переписка. Л. 1929, стр. 358—360. [Здесь же помещено письмо А. В. Половцова, собиравшего материал по вопросу «Гете и Россия». Другие места (в письмах 1898 и 1905 гг.)—по указателю.]

656. Франке К. История немецкой литературы в связи с развитием общественных сил. П. 1904. [По указателю.]

1905

657. Де-ля Барт Ф. Шатобриан и поэтика мировой скорби во Франции в XVIII и в начале XIX столетия. Киев. 1905. (Оттиск из «Университетских известий».) [О «Вертере»—стр. 69, 134—137 и 149.]

658. Влияние Гете и Байрона на современных им немцев.—«Ист. в.» 1905, т. CI, июль, стр. 281—283.

659. Иванов Вяч. О Шиллере.—«Вопросы жизни» 1905, № 6 (и в сб. его статей «По звездам». П. 1909, стр. 70—85). [Стр. 83—о характере творчества Гете.]

660. Одна из жертв эгоизма Гете.—«Ист. в.» 1905, т. CI, сентябрь, стр. 975—978.

661. Петухов Е. Письма В. А. Жуковского к канцлеру Ф. фон Мюллеру.—Новый сборник статей по славяноведению. П. 1905, стр. 336—343.

Описание сборника № 445, хранящегося в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре. (О Гете—на стр. 337—339.)

662. «Фауст» Гете и его комментаторы.—«В. ин. л.» 1905, № 9, стр. 295—299.

1905—1907

663. Мишеев Н. Русский Фауст. Опыт сравнительного выяснения основного художественного типа произведений Достоевского.—«Русский филологический вестник» 1905—1907, тт. 53—57. [Т. 56 (1906), стр. 11—28: немецкий и русский «Фауст».]

1906

664. Белый Андрей [Бугаев Б.] Николай Метнер.—1) «Золотое руно» 1906, № 4, стр. 105—107. 2) Арабески. М. 1911, стр. 372—375. [Стр. 374—375: о музыке Метнера и поэзии Гете.]

665. Еще о Гете [по статье Бордо в «Фигаро»].—«Ист. в.» 1906, т. CV, июль, стр. 305—307.

666. Замотин И. Романтический идеализм в русском обществе и литературе 20—30-х гг. XIX ст. (Романтизм двадцатых годов XIX ст. в русской литературе, т. II. П. 1907. Из «Записок историко-филологического факультета Спб. Университета», ч. LXXXVII).

667. Источники произведений Гете.—«Ист. в.» 1906, т. CVI, декабрь, стр. 1124—1126.

668. Сиповский В. Влияние «Вертера» на русский роман XVIII в.—«Ж. М. Н. П.» 1906, № 1, стр. 52—106.

1907

669. Белый Андрей [Бугаев Б.] Детская свистулька. [1907]. Арабески. М. 1911, стр. 263—268. [Стр. 264 о Ницше и Гете.]

670. Г. П[рокофьев].—Новые произведения Николая Метнера.—«Русская музыкальная газета» 1907, № 13, стр. 392—394. [Стр. 394: о «Neun Goethe-Lieder», op. 6.]

671. Мечников И. Этюды оптимизма [пер. с франц.] М. 1907. Изд. 2-е испр. и доп. автором. М. 1909. [«Гете и Фауст»—стр. 193—223 (222—252 по 2-му изд.).]

1908

672. Г. П[леханов]. Рецензия на книгу Шахова «Гете и его время».—«Современный мир» 1908, № 12, отд. 2, стр. 138.

Более мелкие упоминания Гете и «Фауста» (цитаты и использование тематики и образов «Фауста» в полемике) см. Соч. 1, 39, 111, 198, 200, 327; II, 52, 77, 86, 181, 307; III, 62; IV, 237; VII, 118, 214 247; VIII, 125, 317, 401; IX, 264—265; X, 227; XI, 27, 99, 181; XII, 211, 332; XIII, 34—39, 308; XIV, 227, 256, 266; XV, 239, 426; XVII, 45; XVIII, 73. Ср. И. Ипполит (№ 832).

673. Горнфельд А. Сцена из Фауста.—Соч. А. С. Пушкина, под ред. С. А. Венгерова, т. II, П. 1908, стр. 408—416.

674. Зиммель Г. Кант и Гете. Пер. с нем. С. Л. Франка.— «Р. м.» 1908, № 6, стр. 41—67.

675. Иванов Вяч. Две стихии в современном символизме.—«Золотое руно», №№ 3—5 (и в сборнике его статей «По звездам». П. 1909, стр. 247—308). [Стр. 268—270: о символизме Гете.]

676. Ленин В. Оценка Маркса международным либерализмом.—1) «Пролетарий» 1908, № 25. 2) Соч., 2-е изд., т. XII, М.-Л. 1930, стр. 165—168.

Стр. 165—перефразировка стихов Гете (из Тургеневского «Дыма»).

677. Розов В. Пушкин и Гете.—«Университетские известия» 1908, апрель, стр. 1—42; май, стр. 43—72; июнь, стр. 73—103; июль, стр. 105—152; август, стр. 153—182; сентябрь, стр. 183—311 (и отдельно: Киев, 1908).

Рецензии: 1) И. К.—«Правительств. вестник» 1908, № 168. 2) Лернер Н.—«Критич. обозрение» 1908, вып. V (X), стр. 39—42. 3) М. Б.—«Ист. в.» 1909, ст. CXV, янв., стр. 328—329. 4) «Речь» 1908, № 186.

678. Стороженко Н. Очерк истории западноевропейской литературы, 1908. 4-е изд. М. 1916. [На стр. 381—393 и 403—408.]

679. Фриче В. Очерк развития западных литератур, 1908. Перераб. изд. М. 1922. 3-е перераб. изд. Харьков, 1927. 4-е изд., Харьков 1930. [На стр. 102—108 (по 2-му изд.), 78—88 (по 3-му), 78—87 (по 4-му).]

680. Чудаков Г. Отношение творчества Гоголя в западноевропейским литературам. Киев, 1908. (Оттиск из «Университетских известий».) [Об отношении Гоголя к Гете—стр. 26, 32, 60 и 73.]

681. Шекспир и Гете в области сверхестественного.—«Ист. в.» 1908, т. CXII, май, стр. 749—750.

1909

682. Белый Андрей [Бугаев Б.]. Символизм. [1909].—Арабески. М. 1911, стр. 241—248. [Стр. 246—о символизме «Фауста».]

683. Метнер Н. Предисловие к программе восьмого вечера в «Доме песни» [8 января 1909 г.].

684. Поэтическое сотрудничество Гете и г-жи Вильмер.—«Ист. в.», т. CXVIII, октябрь, стр. 326—330.

685. Прокофьев Г. Певец интимных настроений.—«Русская музыкальная газета» 1909/1910. [№ 40, стр. 843—844: о сонате Рахманинова, ор. 28, на тему «Фауста».]

1910

686. Анненский И. Таврическая жрица у Эврипида, Ручелаи и Гете.— 1) «Гермес» 1910, № 14—19. 2) «Театр Еврипида». Пер. И. Ф. Анненского под ред. и с коммент. Ф. Ф. Зелинского, т. III, М. 1921, стр. 125—165.

686а. Бобров Е. Д. В. Веневитинов как переводчик.—«Известия отделения русского языка и словесности Академии Наук» 1910 г., т. XV, кн. I, стр. 91—99.

О Веневитинове—как переводчике Гете.

687. Кон И. «Страннические годы Вильгельма Мейстера» (Их смысл и значение для нашего времени).—«Логос» 1910, кн. 2, стр. 115—154.

688. М. Сочинения Н. Метнера.—«Русская музыкальная газета» 1915, № 14, стр. 398—401.

О «Sonaten-Triade» ор. 11 и 12-ти песнях Гете, ор. 15.

689. Модзалевский Б. Библиотека А. С. Пушкина. П. 1910. (Отд. отт. издания «Пушкин и его современники», вып. IX—X.) [По указателю.]

690. Эллис [Кобылинский Л.]. Русские символисты. М. 1910. [Стр. 14—16: толкование 1-й сцены II-й части «Фауста» (в вводной статье «О сущности символизма»).]

1911

691. Из дневников Вольфганга Гете. [С примеч. П. Бартенева]. «Р. а.» 1911, кн. II, стр. 449—451. [Выдержки, касающиеся России и русских.]

692. Лютер А. Письмо из Германии. «Русский библиофил» 1911, № 7, стр. 96—101. [Стр. 96—98: о «Wilhelm Meisters theatralische Sendung». Ср. № 6, стр. 90—91.]

1911—1912

693. Коган П. Хрестоматия по истории западноевропейских литератур, 2 т. М. 1911—1912. [Т. II, стр. 243—245: Гете и его произведения.]

1911—1913

694. Замотин И. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе. Т. I—II. 2-е просмотренное и дополненное изд. П. 1911—1913. [По указателю.]

1912

695. Иванов Вяч. Гете на рубеже двух столетий. История западноевропейской литературы, под ред. Ф. Д. Батюшкова, т. I, М. 1912, стр. 112—156.

696. Коган П. и Тимирязев К. Гете.—Энциклопедический словарь Гранат. Т. XIV, стлб. 436—455.

697. Козмин Н. Николай Иванович Надеждин. П. 1912. [По указателю.]

698. Лютер А. Новый роман Гете.— «Р. М.» 1912, № 6, отд. 3, стр. 30—35.

699. Лютер А. Письмо из Германии.— «Русский библиофил» 1912, № 1, стр. 73—77. [Стр. 75—76: о статье Р. Майера «In Goethes Bibliothek».]

700. Львов Я. «Фауст» на сцене театра Незлобина.—«Рампа и жизнь» 1912, № 37, стр. 5—6.

701. Михайлов К. Гете, Пушкин и Хомяков о Константинополе.—«Новое время» 1912 (22 ноября).

702. Мишеев Н. Очерки по истории всеобщей литературы.—Ч. III. Литература нового времени. П. 1912. Изд. 2-е (испр. и доп.) П. 1917. [Глава 5-я. Гете. (стр. 111—132 по 2-му изданию).]

703. Н. Эф[рос]. «Фауст» (Театр Незлобина).—«Русские ведомости» 1912, № 207, стр. 3—4.

Ср. о той же постановке в той же газете № 206, стр. 4.

704. Соловьев С. Эллинизм и церковь. [1912].—Богословские и критические очерки. М. 1916, стр. 3—30. [На стр. 7—9.]

705. Фишер В. Гете.—Собр. соч. Гете под ред. А. Е. Грузинского. Т. I, М. 1912, стр. I—XXX.

706. Харламов Н. Словарь иностранных писателей в критико-биографических очерках, тт. I—II. Киев. 1912.

(Иностранные писатели. Жизнь и творчество. Киев, б. г., стр. 266—275.)

707. Цветков Н. Геккель и Гете.— «Вера и разум» 1912, № 16, стр. 495—510.

1913

708. Дейч А. История доктора Фауста.—«Ежемес. прилож. к Ниве» 1913, № 1, стлб. 113—136, № 2, стлб. 319—342.

709. Иванов Вяч. Границы искусства.—«Труды и дни», тетр. VII (1913), стр. 81—106 (и в сб. его статей «Борозды и межи». М. 1916, стр. 189—229).

710. Мережковский Д. Гете.— 1) «Р. сл.» 1913, № 144. 2) В сб. его статей «Было и будет». П. 1915, стр. 45—68. 3) П. с. с., т. XVII, М. 1914, стр. 136—153.

711. Метнер Э. Введение (к отделу Goetheana).—«Труды и дни» на 1913 г., тетр. 1—2, стр. 1—7.

712. Сакулин П. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Т. I, ч. I и 2, М. 1913. [Ч. 2, стр. 365—367— влияние Гете на Одоевского. Остальные упоминания—по указателю.]

713. Топорков А. Лесной царь. (Речь на заседании Общества «Свободной эстетики»).—«Труды и дни» на 1913 г., тетр. 1—2, стр. 8—18.

714. Франк С. Зиммель и его книга о Гете.—«Р. м.» 1913, № 3, отд. 3, стр. 32—36.

1914

715. Де-ла-Барт Ф. Литературное движение на Западе в первой трети XIX столетия. Лекции. М. 1914.

Мировая скорбь в произведениях Гете и Шиллера (стр. 59—69). Эллинизм в произведениях Гете и Шиллера (стр.74—79).

716. Гливенко И. Чтения по истории всеобщей литературы. Киев. 1914. [На стр. 345—365.]

717. Иванов Вяч. Речь на публичном «Диспуте о современной литературе» (Петербург, январь 1914 г.).—«Заветы» 1914, кн. II, отд. 2, стр. 80 сл. (и в сб. его статей «Борозды и межи». М. 1916, стр. 160—163 под заглавием «О секте и догмате»).

Стр. 161: «Со времени Гете определенно намечается в истории художественного сознания стремление к символическому обоснованию искусства».

718. Иванов Вяч. Чурлянис и проблема синтеза искусств.—«Аполлон» 1914, № 3 (и в сб. его статей «Борозды и межи». М. 1916, стр. 315—347). [Стр. 326, 327, 331—ссылки на Гете.]

718а. Кауфман А. Российские Вертеры.—«Наша старина» 1914, № 7, стр. 672—678.

719. Коган П. Романтизм и реализм в европейской литературе. 1914, М. 1923. [На стр. 8.]

720. Метнер Э. Размышления о Гете. Кн. I. М. 1914.

721. Рачинский Г. Предисловие к «Тайнам» в пер. А. А. Сидорова. М. 1914, стр. VII—XX. (Перепечатано в издании пер. Б. Л. Пастернака, М. 1922, стр. 5 — 14.)

722. Сидоров А. Гете и переводчик.—«Труды и дни», тетр. 7-я, М. 1914, стр. 33—47.

723. Топорков А. Гете и Фихте.— Там же, стр. 11—20.

724. Фагэ Э. История всеобщей литературы. Пер. с франц. П. Егунова. П. 1914. [На стр. 64, 102—105, 118.]

725. Флоренский П. Столп и утверждение истины. М. 1914. [Стр. 561—563: о гетевской теории цветов.]

726. Франк С. О сущности художественного познания. (Гносеология Гете.)— «Вопросы теории и психологии творчества», т. V, Харьков, 1914, стр. 104—130.

727. Чечулин Н. Отдаленная параллель «Скупому рыцарю» [«Scherz, List und Rache» Гете]. — «Ж. М. Н. П.» 1914, № 12, стр. 193—199.

728. Шагинян М. Воля к власти.— «Труды и дни», тетрадь 7, М. 1914, стр. 21—32. [На стр. 26—32.]

1915

729. Брюсов В. Материалы для биографии К. Павловой.—Соч. К. Павловой. Т. I—II. М. 1915, стр. IX—XLIX. [На стр. XX—XXI об отзыве Гете о немецких переводах К. Павловой и его письме к ней.]

730. Гете в роли военного репортера.— «Ист. в.» 1915, т. CXLII, октябрь, стр. 318—320.

731. Финдейзен Н. Сюжет Фауста в музыке.—«Русская музыкальная газета» 1915, № 1, стр. 1—7; № 2, стр. 34—37; № 4, стр. 87—93; № 5, стр. 105—110; № 6—7, стр. 121—126; № 9—10, стр. 169—175; № 11, стр. 193—198; № 14, стр. 241—247; № 15, стр. 282—285.

732. Фишер В. Гете и воинственная Пруссия.—«Голос минувшего» 1915, кн. 1, стр. 88—99.

733. Флоренский П. Смысл идеализма.—«В память столетия Московской духовной академии». (Сб. статей.) Ч. II, Серг. пос. 1915, стр. 41—134. [Стр. 85—86: о «Матерях» второй части «Фауста».]

1916

734. Соловьев С. Альфред Мюссэ и его «Ночи».—Богословские и критические очерки. М. 1916, стр. 209—220. [На стр. 219—220.]

1917

735. Белый Андрей [Бугаев Б.]. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. М. 1917.

736. Соловьев С. Гете и христианство.—«Богословский вестник» 1917, февраль—март, стр. 238—266; апрель—май, стр. 478—522.

1918

737. Анекдоты и краткие воспоминания о писателях. (Предсмертные минуты Пушкина, Гете и Чернышевского.)—«Красный огонек» 1918, № 6, май, стр. 10.

738. Ленин В. Как организовать соревнование? [1918].—Соч., 2-е изд., т. 22, стр. 158—167.

На стр. 165 цитата из «Фауста».

1919

739. Холодковский Н. Вольфганг Гете. Очерк. М. 1919. (Драматические писатели, вып. X.) (Изд. Театр. отд. Нар. Ком. Просв.)

740. Эйгес И. Новые разыскания о стихотворениях Лермонтова и Жуковского.—«Сирена» 1919, № 4—5, стр.76—80.

О стихотворении Лермонтова «Завещание. Из Гете» (1831) и стихотворении Жуковского «Мотылек» (подражание гетевскому «Die Freude»).

1920

741. Горнфельд А. «Вертер» Гете и «Вертер» Масснэ. П. 1920.

742. Ленин В. Заметки публициста.— 1) «Комм. интернационал» 1920, № 9. 2) Соч., изд. 3-е, М.-Л., 1931, т. XXV, стр. 29—39.

На стр. 37 (ср. примеч. на стр. 599)— намек на слова Вагнера в гетевском «Фаусте».

743. Лихтенштадт В. Гете. Борьба за реалистическое мировоззрение. М. 1920. (Труды Социалистической академии).

Рецензии: 1) Е. Браудо.—«Летопись дома литераторов» 1921, № 2, стр. 7. 2) Натуралист. Гете и природа.—«Книга и революция» 1921, № 12, стр. 58—59.

744. Эттингер П. (Р. Е.) Гете в изображении Кипренского. — «Художественная жизнь» 1920, № 2, стр. 45—47.

1921

744а. Александровская Н. Два голоса (Тютчев и Гете).—«Посев». Лит.-критич. и научно-худож. альманах. Одесса. 1921, стр. 95—99.

745. Иванов Вяч. и Гершензон М. Переписка из двух углов. П. 1921. [На стр. 13, 14, 19, 30, 31, 33 и др.]

746. Котляревский Н. Девятнадцатый век. П. 1921. [На стр. 72—83.]

747. Zabel E. Goethe und Russland.— «Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft». B. VIII, 1921, SS. 27—48.

1922

748. Аксельрод Л. Об отношении Г. В. Плеханова к искусству, по личным воспоминаниям.—«Под знаменем марксизма» 1922, № 5—6, стр. 13—21 (и в сборнике статей Плеханова об искусстве. М. 1922).

Стр. 17. «Из немецкой литературы он был глубоким почитателем Гете». Стр. 18— Плеханов о «Фаусте».

749. Жирмунский В. Проблема «Фауста». (В издании «Фауста». П.-М. 1922, стр. 7—21).

750. Манн Т. Гете и Толстой.—«Жизнь искусства» (П.), 1922, № 32 (855), стр. 3.

751. Шагинян М. «Веймар». [Дата: июль 1921 г.]—«Литературный дневник М. Шагинян». П. 1922, стр. 5—11. 2-е изд. М.-П. 1923, стр. 11—17.

752. Шагинян М. Новая книга о Гете. [О книге Гундольфа.]—«Книга и революция» 1922, № 7 (19), стр. 25—27.

Вошло в сб. ее статей «Лит. дневник». (Изд. 2-е, М. 1923, стр. 196—203.)

753. Шагинян М. У Гете в Веймаре.—Сб. «Парфенон». П. 1922, кн. 1, стр. 84—91. [Глава из книги «Путешествие в Веймар» (см. № 758).]

754. Шпет Г. Эстетические фрагменты. I. П. 1922. [Стр. 76—80—о Фаусте и Гете.]

1923

755. Бирюков П. Биография Л. Н. Толстого. Т. I—IV, М.-П. 1923. [По указателям.]

756. Браудо Е. Вступительная статья к переводу «Поэзия и правда». Ч. I. М.-П. 1923, стр. 7—10.

757. Луначарский А. Джузеппе Мадзини и конец мещанства. (Мадзини о Байроне и Гете.)—В сб. его статей «Мещанство и индивидуализм». М. 1923, стр. 197—201.

758. Шагинян М. Путешествие в Веймар. М.-П. 1923.

Рецензия А. Стрелкова.—«Печать и революция» 1923, кн. 5, стр. 276—277.

759. Шпенглер О. Закат Европы. Т. I. С предисл. А. М. Деборина. Пер. Н. Ф. Гарелина. М.-Л. 1923. [На стр. 49, 112, 141, 159 и др.].

760. Шюкэ А. История немецкой литературы. Пер. с фр. Е. А. Некрасовой, под ред. И. И. Гливенко. М.-П. 1923. [На стр. 141—170.]

1924

761. Бельчиков Н., Будков П. и Оксман Ю. Летопись жизни Белинского. Ред. Н. К. Пиксанова. М. 1924. [По указателю].

762. Интерес к Гете. (Хроника. На Западе. Франция.)—«Печать и революция» 1924, кн. 6, стр. 267—268.

763. Коган П. Гете (1749—1832).— «Красная Нива» 1924, № 35, стр. 846—847.

764. Луначарский А. История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах. Ч. I—II. М. 1924,

2-е испр. изд. М.-Л., 1930. [На стр. 54—74 (50—71) ч. 2-й.]

765. Меринг Ф. Мировая литература и пролетариат. Пер. Е. А. Гурвич, под ред. А. С. Мартынова. М. 1924.

Стр. 120—124: Гете и современность. Стр. 125—135: Идеализм Гете и Шиллера. Стр. 136—144: Эстетические заметки.

1925

766. Маркс К. Отрывки об искусстве.—«Вопросы искусства в свете марксизма». Сб. статей под ред. Я. С. Розанова. Харьков, 1925, стр. 242—245.

Стр. 242—243—о Гете (из разбора книги Грюна «Гете с человеческой точки зрения»). Ср. Струве (№ 580). [В действительности разбор принадлежит Энгельсу.]

767. Розанов И. Поэты двадцатых годов XIX века. М. 1925. [Стр. 49: о Дельвиге и Гете.]

1926

768. Тынянов Ю. Архаисты и Пушкин.—Сб. «Пушкин в мировой литературе». Л. 1926, стр. 215—286 и 384—393.

Стр. 392—о конспекте прозаической части «Дивана», составленном В. Кюхельбекером [перепечатан в настоящем номере].

769. Эйгес И. Отзвуки «Вертера» в творчестве Лермонтова.— «Атеней», историко-литературный временник, кн. 3, Л. 1926, стр. 155—156. (Ср. № 740.)

1927

770. Чулков Г. Переводы Тютчева из «Фауста» Гете.—«Искусство» 1927 (т. III), кн. 2—3, стр. 164—170.

1928

771. Вальцель О. Художественная форма в произведениях Гете и немецких романтиков.—Сб. «Проблемы литературной формы». Л. 1928, стр. 70—104.

772. Виглер П. Великая любовь. Пер. под ред. Т. Щепкиной-Куперник. М. 1928. [Стр. 65—74: Домик в саду. Любовь тайного советника Гете. Стр. 169—178: Смерть Гете.]

773. Габричевский А. Гете и Фауст. В изд. «Фауста», пер. В. Брюсова, М.-Л. 1928, стр. 34—63 (и в издании «Фауста» 1932, стр. 12—18).

774. Дурылин С. Тютчев в музыке.— «Урания». Тютчевский альманах. М. 1928, стр. 269—285. [На стр. 281—283.]

775. Зиммель Г. Гете. Пер. А. Г. Габричевского. М. 1928.

776. Пигарев К. Тютчев—переводчик Гете. — «Урания». М. 1928, стр. 85—113.

777. Пумпянский Л. Поэзия Ф. И. Тютчева.—«Урания». М., 1928, стр. 9—57. [На стр. 22—25, 30, 43, 53 и 57].

777а. Cyzevs'kyi D. T'utcev und die deutsche Romantik. — «Zeitschr. f. slav. Philologie» 1927—1928, Heft 4. [Seite 301.]

1928—1931

778. Энгельс Ф. О книге К. Грюна «Гете с человеческой точки зрения».— Маркс и Энгельс. Сочинения. М.-Л. (1928—1932), т. V, стр. 133—156. [См. также по указателям к тт. I, II, III, V, VI, IX, XIV, XXI, XXII и XXIII.]

1929

779. Беньямин В., Иков В., Пуришев Б., Зубов В., Соболь С. и Тумерман Л. Гете.—«Большая советская энциклопедия», т. XVI, М. 1929, стр. 530—559.

780. Коган П. Хрестоматия по истории западноевропейской литературы. Т. I, М.-Л., 1929. [Стр. 596—597: Гете и его произведения (Ср. №№ 648 и 693).]

781. Пуришев Б. Гете.—«Литературная энциклопедия», т. II, М. 1929, стр. 503—526 (и отдельно, М. 1931, в качестве выпуска «Б-ки лит. энциклопедии»).

782. Пуришев Б. Гете.—«Малая советская энциклопедия», т. II, М. 1929, стр. 482—483.

1930

783. Белый, Андрей [Бугаев Б.]. На рубеже двух столетий. М.-Л. 1930. Изд. 2-е. М.-Л. 1931. [Стр. 168—169 (171—172)—о «Лесном царе» (и по указателю).]

784. Карре Ж.-М. Великий язычник. Повесть жизни Гете. Перевод З. Шамуриной. М. 1930.

785. Лежнев А. Разговор в сердцах. М. 1930. [Стр. 93—101: Тютчев, Гете, Пушкин. Отрывок из спора.]

1931

786. Гиммельфарб Б. Вступительная статья к сб. Гете «Лирика. Переводы русских поэтов». М.-Л. 1931.

787. Смирнова А. Автобиография. Неизданные материалы. Подг. к печати Л. В. Крестова. С предисл. Д. Благого. М. [1931]. [Стр. 227—228. О постановке «Эгмонта» в Висбадене.]

1932

788. А. Д. Предисловие к «В. Гете. Лирика. Переводы С. Шервинского. М. 1932», стр. 3—7.

789. Авербах Л. Вначале было дело.—«Лит. г.» 1932, 23 марта.

790. Авербах Л. Гете и современная эпоха. «Лит. г.» 1932, № 4—5.

791. Авербах Л. О великом гении и узком филистере.«Правда»1932, 23 марта.

792. Алексеев С. Иоганн-Вольфганг Гете. (К столетию со дня смерти).— «Нижегородская коммуна» 1932, 23 марта.

793. Бачелис И. Дважды побежденный.—«Комсомольская Правда» 1932. 22 марта.

794. Бедный Д. «Гретхен из Таннрода» или социальный внутренний мир Германии.—«Правда» 1932, 22 марта.

795. Бескин Э. Гете-драматург.—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

795а. Богданова А. Гете.—«Просвещение Сибири» 1932, № 4—5, стр. 67—68.

796. Браудо Е. Поэт и композиторы.—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

797. Бубнов А. Памяти Гете. Выступление на торжественном собрании, посвященном столетию со дня смерти Гете. «Изв.» 1932, 28 марта.

Ср. «Правда» 1932, 28 марта; «Пролетарский авангард» 1932, № 4, стр. 165—168; «Книга и пролетарская революция» 1932, № 2—3, стр. 20—32.

798. Бухарин Н. Гете и его историческое значение. Л. 1932. (Ср. «Красная газета» 1932, 29 марта, и № 913.)

799. Вечер в Доме союзов.—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

800. Вечер памяти Гете.—«Изв.» 1932, 24 марта.

801. Вечер памяти Гете.—«Правда» 1932, 24 марта.

802. Вечер Всесоюзного общества культурной связи.—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

803. Витфогель К. Гете. (К столетию со дня смерти.)—«Ленингр. Правда» 1932, 23 марта.

804. Витфогель. Трагедия величайшего германского поэта.—«За коммунистическое просвещение» 1932, 23 марта.

805. ВОКС. К юбилейным дням.—«Лит. г.» 1932, 23 марта.

806. ВОКС ко дням Гете.—«Изв.» 1932, 22 марта.

807. Волков Н. Гете в русском театре.—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

808. Волков Н. Два юбилея.—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

809. Все великое, гениальное в Гете принадлежит пролетариату. (Вечер в Доме союзов).—«Комсомольская правда» 1932, 24 марта.

810. Высоцкий А. Не хватает только... свиста.—«Советская Сибирь» 1932, 22 марта. [Два абзаца посвящены Гете.]

811. Высоцкий А. Столетие со дня смерти Гете.—«Сибирские огни» 1932, № 4, стр. 83—87.

812. Выставка в Малом театре.—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

813. Выставка к столетию со дня смерти Гете [в Малом театре].—«Изв.» 1932, 23 марта.

814. Габричевский А. Автографы Гете в СССР.—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

815. Габричевский А. Лирика Гете.—Собр. соч. Гете, т. I, стр. 13—36.

816. Габричевский А. Молодой Гете.—Собр. соч. Гете, т. II, стр. 11—30.

817. Гейне о Гете.—«Смена» 1932, 22 марта.

818. Гете и театр. [О выставке в Малом театре.]—«Лит. г.» 1932, 23 марта.

819. Гетевские дни на Западе.—«Красная газета» (веч. вып.) 1932, 23 марта.

820. Гетевский номер журнала «Литературное наследство».—«Изв.» 1932, 23 марта.

821. Голлербах Э. Гете как коллекционер. — «Советский коллекционер» 1932, № 3, стр. 68—70.

822. Городинский В. Популяризировать творчество Гете.—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

823. Гусев Н. Неизданное письмо Толстого о Гете.—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

824. Дейч А. Вольфганг Гете.—«Огонек» 1932, № 8, стр. 8—9.

825. Державин Н. Гете в плену реакции.—«Смена» 1932, 26 марта.

826. Динамов С. Буржуазия и Гете.—«Изв.» 1932, 22 марта.

827. Динамов С. Юбилей Гете.—«Книга и пролетарская революция» 1932, № 2—3, стр. 23—27.

828. Динамов С. Юбилей Гете и капиталистический Запад.—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

829. Дурылин С. Русские писатели у Гете в Веймаре.—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

830. Жирмунский В. Гете в русской поэзии.—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

831. Иоганн-Вольфганг Гете. (Хронологич. канва.)—«Лит. г.» 1932, 23 марта.

832. Ипполит И. Неизвестная рецензия Плеханова о Гете.—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

833. К столетию со дня смерти Гете.—«Изв.» 1932, 11 марта.

834. К столетию со дня смерти Гете.—«Красная газета» 1932, 19 марта.

835. Каменев Л. Вольфганг Гете.—«Веч. М.» 1932, 21 марта.

836. Каменев Л. Гете и мы.—«Изв.» 1932, 22 марта. (Ср. «Труд» и «За коммунистическое просвещение» от того же числа.)

836а. Каменев Л. Предисловие к статье «Гете в русской критике».—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

837. Карпинский А. Поэт и ученый.—«Красная газета» 1932, 22 марта.

838. Кинжалы творчества.—«Смена» 1932, 22 марта.

839. Коган П. Вступительная статья к I части «Фауста» в пер. В. Брюсова. (М.-Л. 1932, стр. 3—11).

840. Коган П. Гете.—«Прожектор» 1932, № 6, стр. 9—11.

841. Коган П. Ценнейшее литературное наследие.—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

842. Концерт Большого театра.—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

843. Крейслер Н. Наследие Гете прочтем материалистическим оком.—«Смена» 1932, 22 марта.

844. Кристаллов В. Плач над гробом индивидуализма.—«Смена» 1932, 22 марта.

845. Кут А. Выставка Гете.—«Веч. М.» 1932, 19 марта.

846. Кут А. Кому принадлежит Гете? На заседании в Доме союзов.—«Веч. М.» 1932, 23 марта.

847. Лукач Г. Чем является для нас Гете?—«Октябрь» 1932, кн. 4, стр. 130—137.

848. Луначарский А. Вольфганг Гете.—Собр. соч. Гете, т. I, стр. IX—LXXIX. (Ср. «Молодая гвардия» 1932, кн. 4, стр. 132—147.)

849. Луначарский А. Гете и его время.—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

850. Луначарский А. Гете и его время.—«Красная газета» 1932, 27 марта.

851. Луначарский А. Гете и мы.—«Веч. М.» 1932, 15 марта.

852. Луначарский А. Мир чествует Гете.—«Изв.» 1932, 23 марта.

853. Луначарский А. Фауст в позе Гамлета. (Письмо из Женевы.)—«Веч. М.» 1932, 24 мая.

854. Луппол И. Гете как мыслитель.—«Красная новь» 1932, № 5, стр. 150—160.

855. Луппол И. Естественно-научные взгляды Гете.—«Изв.» 1932, 23 марта.

856. Москвин И. По-новому понять «Фауста».—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

857. Н. П. Беседы с автором «Эгмонта».—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

858. Обнаружены неопубликованные рукописи Гете.—«Изв.» 1932, 14 марта. Ср. «Moskauer Rundschau» 1932, 20 марта.

859. Обнаружены новые документы о Гете.—«Комсомольская правда» 1932, 16 марта.

860. Огиз к юбилею Гете (беседа с зав. Огизом А. Б. Халатовым).—«Изв.» 1932, 23 марта.

861. Осипов А. Столетие со дня смерти Иоаганна-Вольфганга Гете.—«Прожектор» 1932, № 7, стр. 25.

862. Открытка в память Гете.—«Советский коллекционер» 1932, № 4, стр. 99.

863. П. Гете и театр.—«Рабис» 1932, 30 марта.

864. Памяти Гете.—«Веч. М.» 1932, 22 марта.

865. Пельше Р. Драматург, мыслитель, ученый.—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

866. Передача по радио.—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

867. Петровский М. Судьба литературного наследства Гете.—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

868. Польский иезуит о Гете и о прочем.—«Лит. г.» 1932, 23 марта.

869. Попов С. Гете в русской музыке.—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

870. Прайс В. Косички Гретхен в Веймаре.—«Веч. М.» 1932, 27 марта.

871. Путь Гете.—«Комс. Правда» 1932, 22 марта.

872. Радек К. От Гете к Гитлеру.—«Изв.» 1932, 21 марта.

873. Рейсер С. Запрещенные переводы из Гете.—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

874. Розанов М. Из литературной истории.—«Лит. г.» 1932, 23 марта.

875. Розенцвейг Б. «Фауст» и кризис.—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

876. Роллан Р. К столетию годовщины смерти Гете.—«Красная новь» 1932, кн. 3, стр. 166—177. (Ср. «Лит. г.» 1932, 23 марта и «Прожектор» 1932, № 6, стр. 11.)

877. Сегодня сто лет со дня смерти И.-В. Гете.—«Красная газета» 1932, 22 марта.

878. Семашко Н. Гете и естествознание.—«Веч. М.» 1932, 22 марта.

879. Сергиевский И. Гете в русской критике.—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

880. Спокойный Л. К столетию со дня смерти Гете.—«За ленинские кадры» 1932, № 14, 2 апреля.

881. Сто лет со дня смерти Гете.—«Красная газета» (веч. вып.) 1932, 10 марта.

882. Столетие со дня смерти Гете. Торжественное собрание Академии Наук СССР в Ленинграде и Коммунистической академии в Москве. Новые материалы о Гете.—«Изв.» 1932, 9 марта.

883. Столетие со дня смерти Гете.—«Лит. г.» 1932, 11 марта.

884. Столетие со дня смерти Гете в СССР. (Вечер в Доме союзов.)—«Лит. г.» 1932, 29 марта.

885. Столетие со дня смерти Гете.—«Рост» 1932, № 7, 2 стр. обложки.

886. Столетие со дня смерти Гете.—«Смена» 1932, 21 марта.

887. Столетие со дня смерти Гете. [Москва, Новосибирск, Берлин].—«Советская Сибирь» 1932, 26 марта.

888. Стэн К. Вокруг юбилея Гете.—«Веч. М.» 1932, 22 марта.

889. Таиров А. Образец философской драмы.—«Сов. иск.» 1932, 21 марта.

890. Торжественные вечера памяти Гете в Москве.—«Коме. Правда» 1932, 11 марта.

891. Торн А. Великий пленник.—«Красная газета» (веч. вып.) 1932, 22 марта.

892. Трансляция вечеров, посвященных Гете.—«Изв.» 1932, 23 марта.

893. 13 томов сочинений Гете.—«Веч. М.» 1932, 12 марта.

894. Федоров А. Книги Гете в «Комитете цензуры иностранной».—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

895. Федоров Л. Чествование Гете в Академии Наук.—«Вестник Академии Наук» 1932, № 4, стр. 61—62.

896. Чествование памяти Гете.—«Ленингр. правда» 1932, 12 марта.

897. Шагинян М. Гете-практик.—«Изв.» 1932, 26 марта.

898. Шагинян М. Наследство Гете.—«Новый мир» 1932, кн. 3, стр. 5—19.

899. Шиллер Ф. Вольфганг Гете. К столетию со дня смерти. М.-Л. 1932. (Ср. «Пролетарская литература» 1932, № 1—2, стр. 137—166; «На лит. посту» 1932, № 8, стр. 10—15.)

900. Шиллер Ф. Гете в западной критике.—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

901. Шиллер Ф. Гете и современность.—«Лит. г.» 1932, 23 марта.

902. Шиллер Ф. Литературное наследство Гете и пролетариат.—«За коммунистическое просвещение» 1932, 22 марта.

903. Штейнман З. Комментарии к докладу.—«Красная газета» (веч. вып. 1932, 26 марта.

904. Энгельс о Гете.—«Изв.» 1932, 23 марта.

905. Эфрос А. Гете в художественном наследстве СССР.—«Лит. н.» 1932, № 4—6.

906. Bem A. Goethe im Briefwechsel V. P. Botkins und J. S. Turgenevs.—«Germanoslavica» 1931—1932, Heft 3, SS. 489—491.

907. Chronik. (Neue Goetheausgaben zum Jubilaeum, Moskauer Zeitschriften zur Goethe-Feier. Goethe-Feiern. Ausstellungen zur Goethefeier. Neue Goethe-Dokumente)—«Moskauer Rundschau» 1932, 20 марта.

908. Jagoditsch R. Goethe und seine russischen Zeitgenossen.—«Germanoslavica» 1931—1932, Heft 3, SS. 347—381.

909. Pogodin A. Goethe in Russland.—«Germanoslavica» 1931—1932, Heft 3, SS. 333—347.

910. Rosanow M. Goethe und die russische Literatur.—«Moskauer Rundschau» 1932, 20 марта.

911. Tukalevskij. Goethefeiern in den slavischen Laendern, U. d. S. S. R.—«Slavische Rundschau» 1932, Nr. 3, SS. 222—228.

912. Научно-исследователь- Институт Иностранной Библиографии. Гетеана. М. 1932 (Серия библиографических листовок. Художественная литература. № 1.)

Содержит статьи и рецензии Ф. Шиллера, М. Розанова, И. Аксенова, М. Шагинян, А. Брусиловского и др.

913. Академия Наук СССР. Гете. 1832—1932. Доклады [А. Карпинского, Н. Бухарина, М. Мензбира, В. Комарова и М. Розанова], прочитанные на торжественных заседаниях в память Гете 26 и 30 марта 1932. Л. 1932.

В приложении—статьи и публикации Б. Томашевского, Л. Модзалевского и П. Беркова.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

С. ПОПОВ

РУССКАЯ МУЗЫКА НА ТЕКСТЫ ГЕТЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Настоящий список лег в основу статьи «Гете в русской музыке». Но тогда как в статье обзор музыкальных произведений изложен в хронологической последовательности их сочинения или появления в печати, в нашем списке они приводятся в алфавитном порядке по авторам и по заглавиям произведений, а при наличии авторских обозначений opus'ов у произведений—и в порядке opus'ов. Параллельно с заглавием произведения приводятся начальные слова текста, а также заглавие и начальная строка оригинального немецкого текста. Это сделано главным образом для того, чтобы облегчить пользование указателем при установлении невыясненных еще фамилий авторов русских переводов текстов, особенно в тех случаях, когда их заглавие изменено композитором.

Далее указываются последовательно все, по возможности, о с н о в н ы е издания каждого произведения, начиная с самых ранних. Под основными изданиями здесь разумеются только первые издания произведения, при переходе его от одного издателя к другому. Все промежуточные, являющиеся в большинстве случаев простой перепечаткой,—н е р е г и с т р и р о в а л и с ь (исключение сделано для романсов П. Виардо, известных большинству по переизданиям 80-х гг., почему их пришлось упомянуть в указателе), тем более, что многие трудно отличить друг от друга при отсутствии цензурных дат, являющихся почти единственным источником для определения времени выхода издания в свет, и следовательно для установления последовательности промежуточных изданий требовалось детальное их сравнение. Между тем выполнить подобную работу почти не представлялось возможным из-за отсутствия в СССР специального государственного хранилища всех таких нотных изданий, из которых только некоторые случайно находились в главнейших музыкальных библиотеках Москвы, где производилась работа по составлению указателя. Не внесены в список заграничные переиздания при наличии параллельных русских. Во многих случаях, особенно для редких старых изданий, приходилось при выявлении основных изданий пользоваться не самими изданиями, а другими печатными и рукописными источниками. Подобный же способ был применен для определения в некоторых случаях времени выхода в свет издания, особенно когда в нем отсутствовала цензурная дата или когда нельзя было найти самого печатного экземпляра.

Не вошли в указатель также издания, отличающиеся только новыми переводами текстов на разные языки. Хотя таких изданий сравнительно не много, так как русские издатели обычно не рассчитывали на возможность их большого распространения за границей, но включение их в указатель излишне загрузило бы его и усложнило бы работу по его составлению. В основных изданиях различные тексты отмечаются особо.

Заглавие и начальные слова текста произведения приводятся сначала на немецком языке в тех случаях, когда известно, что оно написано на оригинальные стихи Гете. Для произведений чисто инструментальных такие заглавия взяты из титульного листа издания. Во всех остальных случаях у вокальных произведений заглавие дается вначале на том языке, на котором написан словесный текст, взятый в основу произведения.

Не вносились в список издания различного рода переложений основного вида произведения, если не было известно, что эти переложения (редакции) сделаны самим композитором. Исключения допущены только, в тех случаях, когда издание переложения заменяло собой основной вид произведения, оставшийся в рукописи.

Не поименованы полностью в списке все названия отдельных произведений, входящих в состав opus'ов 6-го (9 песен), 15-го (12 песен) и 18-го (6 песен) Н. Метнера

и opus'а 91-го (Стихи и реквием по Миньоне, 14 №№) А. Рубинштейна, поскольку они подробно перечислены в статье «Гете в русской музыке», где это являлось необходимым для уяснения приводимых сведений о каждом из них в отдельности.

Остальные сведения о времени сочинения произведения, об особенностях его издания, о переводах текстов (в вокальных сочинениях) и об авторах таких переводов даются в нашей статье.

В списке приняты следующие условные обозначения:

1. Сведения о произведении, не помещенные на титульном листе его издания, взятые из самого издания или добавленные составителем, приводятся в круглых и прямых скобках.

2. Многоточие между словами, взятыми из титульного листа нотного издания, означают пропуск в тексте титульного листа в целях избежания излишней загруженности указателя повторением заглавий и проч., не дающим ничего существенного против уже сказанного ранее.

3. Приняты сокращения некоторых отдельных слов, как например: Авт.-автор.—Аккомп.-аккомпанимент.—Дозв.-дозволено.—Испр.-исправленный(ое).—М.-Москва.—М.-сопр.— меццо-сопрано.— Ор.— opus.— Ориг.— оригинальный(ое).— Орк.— оркестр(овый).—Позв.—позволено.—Посм.-посмертное.—Ром.-романс.—П.—Петербург.—Сект.—Сектор.— Скр.— скрипка.—Сопр.— сопрано.— Сопров.— сопровождение.— Ф.-п.— фортепиано, фортепианный.

При составлении указателя и отчасти для своей статьи автор пользовался рукописным «Списком сочинений русских композиторов на тексты В. Гете, имеющихся в Отделе нот Гос. Публичной Библиотеки в Ленинграде», составленным для «Литературного Наследства» заведующим отделом Б. В. Саитовым, и библиографическим указателем Б. Я. Бухштаба «Русские переводы из Гете» до появления его в печати в настоящем издании. Во время своей работы автор пользовался еще советами и указаниями: Б. В. Асафьева, С. А. Макашина, П. А. Ламм, В. В. Яковлева, В. А. Киселева и В. П. Зубова, которым выражает здесь благодарность за оказанную помощь.

АЛЯБЬЕВ А.

Я вижу образ твой. Nähe des Geliebten. («Ich denke dein»). Романс для гол. с ф.-п.— 1) Шесть романсов № 1. [Изд. муз магаз. П. Ленгольда в Москве. 1830-е гг., после 1833 г.]. 2) Романсы и песни, музыка А. А. Алябьева. Первое собрание. Северный певец. № 38... Собств. изд. М., у Ю. Грессера (1859). 3) Ром. и песни. I-е собр. Северный певец. № 38... Собств. изд. П. Юргенсона в М. (1898).

АЛФЕРАКИ А.

[Ор. 18, № 2]. Песня Миньоны. («Знаешь ли край тот»). Mignon. Ballade. («Kennst du das Land»). Романс для гол. с ф.-п.— Четыре романса. № 2...Собст. изд. М. П. Беляев, Лейпциг. 1894.

[Ор. 28, № 3]. Лишь кто разлуку знал. Aus Wilhelm Meister. («Nur wer die Sehnsucht kennt»). Романс для гол. с ф.-п.— Четыре романса. № 3... Собств. изд. М. П. Беляев, Лейпциг. 1898.

АРЕНСКИЙ А.

[Ор. 3]. Лесной царь. Баллада. («Кто скачет, кто мчится»). Erlkönig. Ballade. («Wer reitet so spät»). Для соло (солистов), хора и орк. Перелож. для пения с ф.-п. (С. Танеева).— Посмертное изд. Собст. изд. П. Юргенсона, М. [1906].

БАЛАБАНОВ А.

Новая любовь и новая жизнь. («Сердце, сердце, что с тобою»). Neue Liebe, neues Leben. («Herz, mein Herz, was soll das geben?») Романс для гол. с ф.-п.—Цыганское раздолье. № 2... [Изд. «Северная лира» в П., 1880-е гг.].

БАХМЕТЕВ Н.

Утешение в слезах. («Скажи, что так задумчив ты»). Trost in Thränen. («Wie kommt's, dass du so traurig bist»). Романс для гол. с ф.-п.—1) Романсы и песни Н. И. Бахметева. № 2... (Сл. Жуковского). Собст. изд. П., у К. Ф. Гольца. [1850-е гг.]. 2) Ром. и песни...№2. Собств. изд. П., у Ф. Стелловского [60-е гг. XIX стол.]. 3) Ром. и песни...№ 2... Собств. изд. М., у А. Гутхейль [1880-е гг.].

БЛАРАМБЕРГ П.

Ты знаешь край. Mignon. Ballade. («Kennst du das Land»). Песня для гол. с ф.-п.—Романсы и песни. № 23... Слова Гете [Посм. изд.]. Собст. издателей... В. Бессель и К°. П. [1909].

БЛЕЙХМАН Ю.

К отсутствующей. («Итак, с тобою я в разлуке»). An die Entfernte. («So hab'ich wirklich dich verloren?»). Романс для гол. с ф.-п.—1) Собств. изд. П. у М. Бернарда [1880-е гг.]. 2) Собст. изд. П. Юргенсона. М. [1890-е гг.]

БЛУМЕНФЕЛЬД Ф.

(Ор. 1, № 2). Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Романс для тен. или сопр. с ф.-п.—1) Шесть

романсов. Муз. Феликса Блуменфельда. № 2... Собств. изд. Гамбург, Д. Ратер (П. А. Битнер). [1886]. 2) Собств. изд. И. А. Соколова. П. [1890-е гг.]. 3) Собств. изд. М. П. Беляев, Лейпциг. 1900.

БЭЛИНГ Г.

Jägers Abendlied. («Im Felde schleich ich still und wild»). Песня для гол. с ф.-п.— «Jägers Abendlied von Göthe. In Musik gesetzt von H. Behling». (Печ. позв. П. 28 октября 1831 г.). «Лирический альбом на 1832 год, изданный И. Ласковским и Н. Норовым». П. Литогр. И. Беггрова.

ВАРЛАМОВ А.

Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Романс для гол. с ф.-п.—1) Собрание романсов и песен, сочинение А. Варламова. В трех частях. Часть I, № 22. Собств. изд. М., у Ю. Грессера. [1840-е гг., до 1845 г.]. 2) Собр. ром. и песен. Часть I, № 22. Собств. изд. М., в музык. маг. К. И. Мейкова, бывш. Ленгольда и Грессера. (Дозвол. ценз. М. 12 мая 1868 г.). 3) Полное собр. романсов и песен. Нов. испр.... изд., напечатанное под редакцией сына его Г. А. Варламова. № 60. (Том III)... Собств. изд. П., у Ф. Стелловского [1850-е гг.]. 4) Полн. собр. музык. соч. № 60 (том III. Романсы №№ 41—60). Собств. изд. М., у А. Гутхейль. [1880-е гг.]. 5) Ром. и песни. № 49... Собств. изд. Муз. сект. Гос. изд. М. 1921.

То же, как дуэт на 2 гол. с ф.-п.— 1) Полн. собр. ром. и песен... № 202 (Том IX)... П., у Ф. Стелловского. 2) Полн. собр. муз. соч. № 202 (Том. IX. Романсы на два гол. №№ 190—207)... М., у А. Гутхейль [1880-е гг.].

К месяцу («Снова блеск твоих лучей»). An den Mond. («Füllest wieder Busch und Tal»). Дуэт на два гол. с ф.-п.—1) Первое ориг. изд. нам найти и установить не удалось. 2) Полн. собр. ром. и песен. № 193 (Том IX)... П., у Ф. Стелловского. 3) Полн. собр. муз. соч. № 193 (Том. 9. Ром. на два гол. №№ 190—207)... М., у А. Гутхейль [1880-е гг.].

ВЕНЦЕЛЬ Э.

(Ор. 1). Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Романс для гол. с ф.-п.—Собств. издателей В. Бессель и К°. П. [1881].

ВЕРДЕРЕВСКИЙ В.

Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Романс для контральто с ф.-п.—Романсы и песни. № 4. Собств. изд. П. Юргенсона в М. [1899].

ВИАРДО-ГАРСИА П.

Перед судом. («Под сердцем моим чье дитя я ношу»). Vor Gericht. Ballade. («Von wem ich's habe, das sag'ich euch nicht»). Романс для гол. с ф.-п.—1) «Два романса на слова Гете и Е. Тюркети в переводе И. С. Тургенева. Музыка Полины Виардо-Гарсиа». № 1... Сл. Гете. П., у А. Иогансена. (Дозв. ценз. П., 13 ноября 1869 г.). 2) «Стихотворения Гейбеля, Гете, Кольцова, Лермонтова, Мöрике, Поля, Пушкина, Тургенева, Тюркети, Тютчева и Фета, положенные для пения с акк-ом ф.-п. Полиною Виардо-Гарсиа». № 1... Собств. изд. П., у д. А. Иогансена. (Дозв. ценз. П. 1 сент. 1887 г.).

Финская песня. («Лишь бы милый встретился»). Finnisches Lied. («Käm'der liebe Wohlbekannte»). Романс для гол. с ф.-п.— 1) «Пять стихотворений Гете, Пушкина, Мöрике, Гейбель и Поля, положенные на музыку Полиною Виардо-Гарсиа». № 2... В. Гете («Fünf Gedichte von Göthe, Puschkin, Mörike, Geibel und Pohl in Musik gesetzt von Pauline Viardot Garcia»). Собств. изд. П., у А. Иогансена. (Дозв. ценз. П. 20 июня 1874 г.). 2) «Стихотворения Гейбеля, Гете... положенные для пения с акк-ом ф.-п.». ...№ 9... Собств. изд. П., у А. Иогансена [1880-е гг.].

ВОРОТНИКОВ П.

Как чудно прекрасен наш мир. Mailied. («Wie herrlich leuchtet mir die Natur»). Для 4-голосного хора с ф.-п. [Посм. изд.]. Собрание 3- и 4-голосных хоровых песен с акк. ф.-п. (Собр. песен... Для хора с акк-ом ф.-п.). № 8... Собств. изд. П. Юргенсона, М. [1890].

ГАГАРИН.

Песнь Маргариты. («Прости, мой покой»). Gretchen am Spinnrade aus «Faust». 1 Teil. Gretchens Stube. («Meine Ruh'ist hin»). Для гол. с ф.-п.—Собств. изд. И. А. Соколова. П. [1890-е гг.].

ГЕДИКЕ А.

(Ор. 16). Симфония (№ 2), A-dur, для большого оркестра. Moto: отрывок из «Фауста». II часть, 1-я сцена («Бьет жизнь ключом»). Fragment aus «Faust». II Teil, 1. Szene. («Des Lebens Pulse schlagen frisch, lebending»).—Орк. партитура, голоса и 4-ручное фп.-ое перелож. автора. Собст. Российск. Музык. Изд-ва, Берлин, 1909.

ГЛАВАЧ В.

Нет, только тот, кто знал. Aus Wilhelm Meister. Mignon. («Nur wer die Sehnsucht kennt»). Песня для гол. с ф-п.—Изд. Собст. автора. № 23... у М. Бернарда. [1880-е гг.].

Песня Миньоны. («Ты знаешь край»). Mignon. Ballade. («Kennst du das Land»). Для гол. с ф.-п.—1) Ром. и песни № 3... Собств. изд. П., у М. Бернарда. [1870-е гг.]. 2) Ром. и песни. № 3... Собств. изд. П. Юргенсона. М. [1880-е гг.].

ГЛИНКА М.

Песнь Маргариты. Из трагедии Гете («Тяжка печаль и грустен свет»). Gretchen am Spinnrade aus «Faust». I. Teil. Gretchens Stube. («Meine Ruh' ist hin»). Для гол. с ф.-п.—1) [Первое ориг. изд. Романсы и песни. № 16. Собств. изд. Василия Деноткина в П. [1850]. 2) Ром. и песни М. И. Глинки. № 5... Собств. изд. П., у М. Бернарда [1850-е гг.]. 3) Ром. и песни. № 5... Собств. изд. В. Юргенсона. М. [1880-е гг.]. 4) Романсы. № 55 (а и б.)... Собст. изд. Музык. сект. Гос. изд. М. 192...

ГОЛЬДШТЕЙН Ю.

Песнь Миньоны. («Ты знаешь ли край»). Mignon. Ballade. («Kennst du das Land»). Для гол. с ф.-п.—Собств. изд. П., у А. Иогансена [1880-е гг.].

ГУРИЛЕВ А.

Не спрашивай, не вызывай признанья. Aus Wilhelm Meister. Mignon. («Heiss'mich nicht reden»). Песня для гол. с ф.-п.— 1) Первое ориг. изд. нам найти и установить не удалось. 1) Полное собр. ром. и песен. Нов. испр. и удешевл. изд. № 65 (том II)... Собств. изд. П., у Ф. Стелловского [1860 или 1870-е гг.]. 3) Ром. и песни (том II). № 65. Собст. изд. М., у А. Гутхейль [1880-е гг.].

ГУСАКОВСКИЙ А.

Музыка к «Фаусту». В рукописи, не закончена. Подлинник в Ленингр. Публичной Библиотеке.

ДАВЫДОВ К.

(Ор. 26, № 3). Шелохнулась занавеска. Selbstbetrug. («Der Vorhang schwebet hin und her»). Романс для гол. с ф.-п.— 1) Три романса... №3... из Гете... Собств. изд. П., А. Битнер. Гамбург, Д. Ратер [1870-е гг.]. 2) Ром. и песни... Соч. 26, № 3... Собств. изд. М., у А. Гутхейль (Дозв. ценз. М. 18 июля 1890 г.).

ДАРГОМЫЖСКИЙ А.

Скажи, что так задумчив ты. Trost in Thränen. («Wie kommt's, dass du so traurig bist»). Трио для двух тен. и баса с ф.-п.—1) Романсы и песни, № 9... Собст. изд. П., у Ф. Стелловского. (Печ. позв. П., ноября 30 дня 1852 г.). 2) Ром. и песни. №9... Собст. изд., М., у А. Гутхейль [1880-е гг.].

Счастлив, кто от хлада лет. An den Mond. (...«Selig, wer sich vor der Welt». Отрывок: 8-е и 9-е четырехстишия). Дуэт для двух голосов с ф.-п.—1) Романсы и песни. Музыка А. Даргомыжского. № 53... (на два голоса)... Собст. изд. П., у М. Бернарда (1858). 2) Ром. и песни... № 53... Дуэт... Собств. изд. П. Юргенсона. М. [1880-е гг.].

ДЕМИДОВ Г.

Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Романс для гол. с ф.-п.—1) Романсы и песни... № 5... Собств. изд. П,, у Ф. Стелловского [1880-е гг.]. 2) Ром. и песни. № 5... Собств. изд. М., у А. Гутхейль [1890-е гг.].

ДЕРФЕЛЬД А.

Волна шумит, волна бушует. Der Fischer. Ballade. («Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll»). Романс для гол. с ф.-п.—1) Собств. изд. П., у М. Бернарда [1850-е гг.]. 2) Собств. изд. П. Юргенсона, М. [1880-е гг.].

Нет, только тот, кто знал свиданья жажду. Aus Wilhelm Meister. Mignon. («Nur wer die Sehnsucht kennt»). Песня для гол. с ф.-п.—1) Собств. изд. П., у М. Бернарда (1856 г.). 2) Собст. изд. П. Юргенсона, М. [1880-е гг.].

Царь фульский. Баллада. Der König in Thule. Ballade. («Es war ein König in Thule»). Для смеш. 4-гол. хора (без сопров.).—1) Собрание четырехголосн. песен. № 3.—Собств. изд. П., у М. Бернарда (1866). 2) Собств. изд. П. Юргенсона [1880-е гг.].

Тоже. Романс для гол. с ф.-п.— 1) Ром. и песни. № 34... Собств. изд. П., у Ф. Стелловского [1860-е гг.]. 2) Романсы. № 34. Собст. изд. М., у А. Гутхейль [1880-е гг.].

ДИАНОВ А.

Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Для смеш. хора.— Изд. Б. Решке. М. 1914.

ДЛУССКИЙ Э.

Коринфская невеста. Die Braut von Korinth. Ballade. Опера (одноактная). В рукописи.

Mignon. («Connais tu le pays»). Миньона. («Знаешь, где та страна»). Mignon. Ballade. («Kennst du das Land»). Песня для гол. с ф.-п.—1) Романсы. № 4... Собств. изд. П., у М. Бернарда [1880-е гг.]. 2) Ром. № 4... Собств. изд. П. Юргенсона. М. [1880-е гг.].

ДЮТШ О.

(Ор. 6, № 1). Der König in Thule. Фульский король. Романс для гол. с ф.-п. Повидимому, не был напечатан, хотя на обложке: «Романсов и песен для пения с ф.-п., музыка Отто Дютша» (№№ 1—65). Собств. изд. П., у Ф. Стелловского (с ценз. датой: 30 июня 1880 г.) он значится под № 50.

(Ор. 26, № 4). Gefunden. («Ich ging im Walde»). Цветок. Романс для гол. с ф.-п.—Повидимому, также не был напечатан, хотя и значится на обложке, названной в предыдущем пункте, под № 63—для тенора и № 64—для альта.

ЕЛЬХОВСКИЙ В.

Песня Маргариты. («Улетел мой покой»). Gretchen am Spinnrade aus «Faust». I. Teil. Gretchens Stube. («Meine Ruh'ist hin»). Для гол. с ф.-п.—Собрание соч. № 2. Изд. собств. автора (у М. Бернарда в П.). [1860-е гг.].

ЗАБУСОВ Н.

Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Романс для гол. с ф.-п.—Романсы. № 3... Собств. изд. П. А. Битнер [1870-е гг.].

ЗАРЕМБА С.

(Ор. 17). Рыбак. («В прибое волн был рев и гром»). Der Fischer. («Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll). Романс для тен. с. ф.-п.—Романсы для пения с акк. ф.-п. Ор. 17. Рыбак. Баллада из Гете. Слова кн. Цертелева... Собств. изд. музыкальный и инструментальный магаз. В. Кастнера... в Воронеже. (Лит. В. Гроссе М.)... (Дозв. ценз. М. 3 янв. 1898 г.)

ЗЫБИНА С.

Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Дуэт на два гол. с ф.-п.—1) Романсы. № 5... Собств. изд. П., у М. Бернарда. [1860-е гг.). 2) Ром. № 5... Собств. изд. П. Юргенсона. М. [1880-е гг.].

ИВАНОВ Л.

Первая потеря. Erster Verlust. («Ach, wer bringt die schönen Tage»). Романс для гол. с ф.-п.—Изд. автора. П. 1911.

ИГНАТЬЕВ И.

Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Романс для гол. с ф.-п. (То же для 4-гол. хора).—1) Романсы и песни. № 3а (№ 3б)... Собств. изд. П., у М. Бернарда [1850-е гг.]. 2) Ром. и песни. № 3а (3б)... Собств. изд. П. Юргенсона [1880-е гг.].

Утешение в слезах. («Скажи, что так задумчив ты»). Trost in Thränen. («Wie kommt's, dass du so traurig bist»). Романс для гол. с ф.-п.—1) Романсы и песни, № 11а... Собств. изд. П., у М. Бернарда. [1850-е гг.]. 2) Ром. и песни. № 11а... Собств. изд. П. Юргенсона. М. [1880-е гг.].

ИППОЛИТОВ-ИВАНОВ М.

(Ор. 16, № 2). Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Двухгол. хор для женск. гол. с ф.-п.—Десять двухгол. хоров для женск. гол. с аккомп. ф.-п. № 2... Собств. изд. П. Юргенсона. М. (1897).

КАВЕЛИНА М.

Майская песня. Mailied. («Zwischen Weizen und Korn»). Романс для гол. с ф.-п.—Собств. изд. М., у А. Гутхейль [1880-е гг.].

КОПЫЛОВ А.

(Ор. 24, № 1). Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Хор для трех женск. или детск. гол. с сопр. ф.-п.—Два хора... № 1... Собств. изд. М. П. Беляева в Лейпциге. 1894.

КЮНЕР В.

Кто не едал с слезами хлеба. Aus Wilhelm Meister. Harfenspieler. («Wer nie sein Brot mit Tränen ass»). Песня для м.-сопр. или бар. с ф.-п. [тексты русский и нем.].—Собств. изд. В. Бессель и К°. П. [1880].

ЛЕНГАРД.

Рыбак. Баллада. («Бежит волна, шумит волна»). Der Fischer. Ballade. («Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll»). Для гол. с ф.-п.—Собств. изд. М., у А. Миллера (1844).

ЛОБАНОВ П.

(Ор. 4, № 2). О, дай полувниманье! Nachtgesang. («O gieb, vom weicher Pfuhle»). Романс для гол. с ф.-п.—Четыре романса. № 2... Собств. изд. П. Юргенсона. М. [1882—3].

ЛОМАКИН Г.

Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Хор для женск. гол.—[Посм. изд.]. Хоры... № 10... Собств. авт. у И. Юргенсона. П. [1890-е гг.].

ЛЯПУНОВ С.

(Ор. 52, № 2). Тишина. («На водах покой глубокий»). Meeres Stille. («Tiefe Stille herrscht im Wasser»). Романс для гол. с ф.-п. [Тексты русск. и ориг. нем.].—Ром. и песни (№№ 38—41). Ор. 52, № 2. Собств. изд. Юлий-Генрих Циммерман. Лейпциг... [1913].

(Ор. 52, № 3). Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Романс для гол. с ф.-п. [Тексты русск. и нем.]. Ferne Bergesgipfel (nach Goethe).—Романсы и песни (№№ 38—41). Ор. 52. № 3... Собст. изд. Юлий-Генрих Циммерман. Лейпциг. [1913].

МАНН А.

Песнь Маргариты за прялкою. Gretchen am Spinnrade aus «Faust». I. Teil. Gretchens Stube. («Meine Ruh' ist hin»). Для гол. с ф.-п.—Романсы № 3... Изд. собств. авт. у И. Юргенсона. П. (1907).

МЕТНЕР Н.

(Ор. 3, № 3). На озере. («И силу в грудь, и свежесть в кровь»). Auf dem See. («Und frische Nahrung, neues Blut»). Романс для гол. с ф.-п. [Тексты русск. и ориг. нем.].—1) Три романса... № 3... Собств. изд. П. Юргенсона. М. (1904). 2) Три романса... № 3... Собств. изд. Гос. Муз. изд. М. 1920.

(Op. 6). Neun Goethe-Lieder. [1-te Folge]........ für Gesang und Klavier... [Тексты ориг. нем. и перев. русск.].—1) Собств. изд. П. Юргенсона. М. (1905). 2) Собств. изд. Гос. Муз. изд. М. (1920, 1926).

(Op. 11). Sonaten-Triade für Klavier: № 1. As-dur. № 2. d-moll. № 3. C-dur. [Мотто из Trilogie der Leidenschaft. № 3. Aussöhnung (...«Und so das Herz erleichtert merkt behende»... Fragment.). Примирение («И легче стало сердцу»)].—1) Собств. изд. П. Юргенсона. М. (1907). 2) Собств. изд. Муз. Сект. Гос. изд. М. 1921.

(Op. 15). Zwölf Goethe-Lieder (2-te Folge). Für Gesang und Klavier. [Тексты ориг. нем. и пер. русск.].—1) Собств. изд. П. Юргенсона. М. (1909). 2) Гос. Муз. изд. М. (1920, 1926).

(Op. 16). Drei Nachtgesänge. Три ноктюрна для скр. и ф.-п. № 1. d-moll. № 2. g-moll. № 3. c-moll. [Мотто: Nachtgesang. («O gieb, vom weichen Pfühle»). Ночная песнь. («В грезах, на ложе спокойном»).]—Собств....Росс. Музык. изд. Берлин. (1909).

(Op. 18). Sechs Gedichte von Goethe (3-te Folge). Für eine Singstimme und Klavier. [Тексты ориг. нем. и перев. русск.]. Собств.... Российск. Музык. изд-ва. Берлин. (1911).

(Op. 41, № 1). Sonate vocalise für Gesang [без слов] und Klavier, mit einem Motto «Geweihter Platz» von Goethe. («Wenn zu den Reihen der Nymphen»).—Изд. Jul.-Heinrich Zimmermann. Leipzig. (1927).

(Op. 42, № 2). Suite vocalise. (Introduzione.—I. Gesang der Nymphen. Пенье нимф.—II. Geheimnisse. Тайны.—III. Zug der Grazien. Шествие граций.—IV. Was der Dichter spricht. Что говорит певец). Для гол. (без слов. с ф.-п. (Motto: Geweint Для гол. (без слов) с ф.-п. (Motto: Geweihter Platz (Goethe).—Musik-Verlag Wilhelm Zimmerman. Leipzig [1930 ?].

(Op. 46) № 1. Praeludium. («Wenn im Unendlichen das selbe sich wiederholend ewig fliesst»). № 2. Geweihter Platz. («Wenn zu den Reihen der Nymphen»). (Goethe)... für Gesang und Pianoforte. [Тексты ориг. нем. и перев. англ.].—Sieben Lieder nach Dichtungen von Goethe, Eichendorf und Chamisso... Изд. Jul.-Heinr. Zimmermann, Leipzig... (1927).

МИКЛАШЕВСКИЙ А.

С тобою мысль моя. Nähe des Geliebten. («Ich denke dein»...) Романс для сопр. или тен. с ф.-п.—(Шесть романсов и песен). № 3... Собств. издателей В. Бессель и К°. П. [1890-е гг.].

МИЛОРАДОВИЧ М.

Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Романсы. № 4... Собств. изд. П. Юргенсона. М. [1909].

МОНЮШКО С.

Znasz-li ten kraj. Миньона («Знаешь ты край»). Mignon. Ballade. («Kennst du das Land»). Романс для сопр. или тен. с ф.-п.—1) «Spiewnik».[Сб. песен. Тетр. IV, № 15. Текст только перев. польск.]. Изд. собств. автора. Вильна. [Конец 1840-х гг.]. 2) Романсы и песни. № 2 [текст только перев. русск.]... Собств. издателей В. Бессель и К°. П. (1870).

МУСОРГСКИЙ М.

Песнь старца. («Стану скромно у порога»). Aus Wilhelm Meister. Harfenspieler. («An die Türen will ich schleichen»). Для барит. или баса с ф.-п.—Посм. изд.: 1) Прилож. к журн. «Bulletin français de le S. I. M.» (Paris). 1909, № 5. [Четыре романса Мусоргского]. № 4. Chant du vieillard. [Текст только перев. франц.]. 2) Романсы и песни М. Мусоргского (под ред. В. Г. Каратыгина). № 25... [Тексты русск. и ориг. нем.]. Собств. издателей В. Бессель и К°. П. 1911. 3) Années de Jeunesse. Recueil de mélodies de M. Moussorgsky (1857—1865). Revision du texte musical... de Louis Laloy. № 11... [Тексты перев. франц. и русск.]. Propriété des éditeurs... W. Bessel & C-ie, Éditeurs, Paris. (1923). 4) Юные годы. Сборн. романс. и песен (Полн. собр. соч. Том V. Вып. 1—2. Ред. Павла Ламм). № 11. [Тексты русск. и ориг. нем.]. Собств. издателей Гос. Муз. изд. М.—Унив. изд. Вена. 1931.

Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха (о блохе). («Жил был король когда-то»). Lied des Mephistopheles im Auerbachs Keller, aus «Faust». I Teil («Es war einmal ein König»). Для низк. гол. с ф.-п.—1) Романсы и песни М. Мусоргского. № 19. (Посм. изд. под ред. Н. А. Римского-Корсакова). Собств. издателей. П., у В. Бесселя и К°. (Дозв. ценз. П. 5 марта 1883 г.). 2) Юбилейный сборник (1881—1931). Избр. песни [№ 18]. (Ред. П. Ламм). Собств. изд. Гос. Муз. изд-во. М. 1931.

МЯСКОВСКИЙ Н.

(Op. 22, № 4). Близость любовников. («Блеснет заря»). Nähe des Geliebten. («Ich denke dein»). Романс для гол. с ф.-п. [Тексты русск. и ориг. нем.].—«Венок поблекший». Музыка к восьми стихотворениям А. Дельвига. Тетр. I, № 4... Собств. изд. Муз. сект. Гос. изд. М. 1926.

НАПРАВНИК Э.

(Op. 77, № 2). Тишина. («На водах покой глубокий»). Meeres Stille («Tiefe Stille herrscht im Wasser»). Квартет для мужск. гол. (без сопров.).—Шесть сольных квартетов. № 2... Собств. изд. П. Юргенсона. М. (1906).

НОРОВ Н.

Trost in Thränen. («Wie kommt's, dass du so traurig bist»). Песня для гол. с ф.-п.— «Trost in Thränen. Lied von Goethe in Musik gesetzt von N. Noroff». (Печ. позв. П. 22 сент. 1831 г.). «Лирический альбом на 1832 год, изданный И. Ласковским и Н. Норовым». П. Литогр. Беггрова.

ПИШНА И.

(Ор. 19, № 1). Песнь Маргариты. («Тяжка печаль и грустен свет»). Gretchen am Spinnrade aus «Faust». I Teil. Gretchens Stube. («Meine Ruh' ist hin»). Для гол. с ф.-п. [Тексты русск. и ориг. нем.].— Три романса... Муз. И. В. Пишна, ор. 19. № 1... М., у П. Юргенсона и Гутхейля. Собств. автора. (Дозв. ценз. М. 5 янв. 1872 г.).

ПОДГОРЕЦКИЙ Б.

Кто возвратит мне. Erster Verlust. («Ach, wer bringt die schönen Tage»). Романс для гол. с ф.-п.—Романсы. № 7... Собств. изд. Юлий-Генр. Циммерман. Лейпциг. [1911—12].

РАХМАНИНОВ С.

(Ор. 28). Соната для фортепиано (№ 1, d-moll.). [Программа на сюжет «Фауста» Гете в издании не указана]. Propriété de l'Éditeur. Moscou chez A. Gutheil [1908].

РЕБИКОВ В.

Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). 4-гол. хор (без сопров.).—Школьные песни. Сборник 4-гол. хоров. (a capella). № 6... Собств. изд. П. Юргенсона. М. (1901).

РОКИДЖАНА.

Ты знаешь край. Mignon. Ballade. («Kennst du das Land»). Песня для гол. с ф.-п.—Изд. собств. автора, у И. Юргенсона. П. [1890-е гг.].

РОМАНУС И.

Песня Маргариты (из Гете). Gretchen am Spinnrade aus «Faust». I Teil. Gretchens Stube. («Meine Ruh' ist hin»). Для гол. с ф.-п.—1) Романсы и песни. № 16... Собств. изд. П., у Ф. Стелловского. [1850-е гг.]. 2) Ром. и песни. № 16... Собств. изд. М., у А. Гутхейль. [1880-е гг.].

РУБИНШТЕЙН А.

(Ор. 31, № 3). Meeresstille und Glückliche Fahrt. (Морская тишь и счастливое плаванье. Два стихотворения вместе). Квартет для мужск. гол., без аккомп. (2 тен., 2 баса).—1) Sechs Gesänge für vier Männerstimmen. № 3... [Текст нем.]. Eigentum des Verleg. Fr. Kistner, Leipzig. [1850-е гг.]. 2) Шесть четырехголосных квартетов для мужск. гол. № 3... [Текст русск.]. Собст. издателей В. Бессель и К°. П. (1871).

(Ор. 48, № 2). Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Дуэт на два гол. с ф.-п. (1-я и 2-я версии).— 1) Шесть романсов на два голоса [ор. 48. Тетр. I]. № 2... Собств. изд. П., у М. Бернарда (1852). 2) Музыкальные вечера. Собр. ром. и дуэтов (№№ 19—24. Тетр. IV). № 20.—Собств. изд. М., у П. Юргенсона. (1855).—3) Ром. и песни... Собств. изд. Муз. сект. Гос. изд. М. 1923.

(Ор. 57), № 4 Clärchens Lied [aus «Egmont»]. («Freudvoll und leidvoll»). Песня Клэрхен [из «Эгмонта»]. («Горе и радость»). № 5. Freisinn. («Lasst mich nur auf meinem Sattel gelten»). Жажда свободы. («Крепко я в седле сижу»)... Для гол. с ф.-п.—1) Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pfte. №№ 4, 5... Eigentum des Verlegers. B. Senff, Leipzig. [1850-е гг.] 2) Шесть песен (№№ 19—24). №№ 22, 23... [Тексты перев. русск. и ориг. нем.]. Собств. издателей. В. Бессель и К°. П. (Дозвол. ценз. П. 10 янв. 1872 г.).

(Ор. 68). Faust. Ein musicalisches Characterbild für Orchester (B-dur). 1) Партит. и орк. гол. Eigentum des Verlegers. Siegel. Leipzig. [1850-е гг.]. 2) «Фауст». Музыкальная картина для орк. Перелож. для ф.-п. в 4 руки (Aug. Horn.). Собств. издателей. П., у В. Бессель и К°. [1870-е гг.].

(Ор. 91). Die Gedichte und das Requiem für Mignon aus Goethe's «Wilhelm Meister's Lehrjahre». Стихи и реквием по Миньоне из «Вильгельма Мейстера» Гете. (14 №№). Для солистов и смеш. хора с сопр. ф.-п. и фисгармонии.—1) [С одним нем. текстом]. Eigentum des Verlegers B. Senff, Leipzig. [1870-е гг.). 2) [С одним итальянским текстом]. Ed. G. Ricordi. Milano. 3) [С ориг. нем. и перев. русск. текстами]. Собств. издателей В. Бессель и К°. П. (1900).

САХНОВСКИЙ Ю.

Лесной царь. Баллада. («Кто скачет, кто мчится»). Erlkönig. Ballade. («Wer reitet so spät»). Для солистов, хора и орк.—В рукописи.

СЕРОВ А.

Mailied. («Zwischen Weizen und Korn»). Песня для гол. с виолонч. и ф.-п. (1841 г.)— В рукописи.

Der Rattenfänger. («Ich bin der wohlbekannte Sänger»). Баллада для гол. с ф.-п. (1841 г.).—В рукописи.

СИМОН А.

(Ор. 14, № 1). Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Романс для гол. с ф.-п.—Десять романсов. № 1... Собств. изд. П. Юргенсона. М. (1884).

СОКОЛОВ В.

Соседка. («Шелохнулась занавеска»). Selbstbetrung. («Der Vorhang schwebet

hin und her»). Романс для гол. с ф.-п.— 1) Музык. журн. «Нувеллист». П. 1874, № 7. 2) Романсы, № 84... Собств. изд. П., у М. Бернарда [1870-е гг.]. 3) Ром. № 84... Собств. изд. П. Юргенсона. М. [1880-е гг.].

СОКОЛОВ Н.

(Ор. 15, № 5). Горные вершины спят во тьме ночной. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Хор для мужск. гол. (без сопровожд.).—Пять хоров. № 5... Собств. изд. М. П. Беляев. Лейпциг. 1893.

СТАНЮКОВИЧ А.

Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Романс для гол. с ф.-п.—1) Собств. изд. П., у М. Бернарда [1860-е гг.]. 2) Собств. изд. П. Юргенсона. М. [1880-е гг.].

СУК В.

(Ор. 18, № 4). Песня Миньоны. Mignon. Ballade. («Kennst du das Land»). Для гол. с ф.-п.—Шесть романсов. № 4... Собств. изд. Юлий-Генрих Циммерман. Лейпциг. (1905).

ТАНЕЕВ С.

Gefunden. («Ich ging im Walde»). Находка. («Я шел привольно»). Романс для гол. с ф.-п. [Тексты: ориг. нем. и перев. русск.].—Propriété de l'Editeur... Edition Russe de Musique. (Russischer Musikverlag.). Berlin. [1922 ?].

Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Романс для гол. с ф.-п. [Соч. в 1870-х гг.].—В рукописи.

ТИТОВ А. Н.

Новый Вертер. (Le nouveau Werther). Die Leiden des jungen Werther's. Музыка к балету в 1 д. соч. И. И. Вальберга (1799).—В рукописи (16 рук. орк. партий), хранятся в Центр. муз. библ. Гос. ак. т-ов в Лгр.

ТИТОВ Н. А.

Отдохнешь и ты. («Горные вершины спят во тьме ночной»). Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Песня для гол. с ф.-п.—1) Первое ориг. изд. нам найти и установить не удалось. Относится, вероятно, к 1840-м гг. 2) Романсы и песни. № 12... Собств. изд. П., у Ф. Стелловского, бывш. И. Пеца... [Печ. позв. цензор А. Очкин б. г. Переиздание 1850-х гг.] 3) Ром. и песни. № 12... Собств. изд. М., у А. Гутхейль [1880-е гг.].

ТУРЕК ФР.

Вертер или заблуждение чувствительного сердца. Die Leiden des jungen Werther's. Музыка оперы-водевиля в 1 д., перев. с франц. П. Н. Арапова (1824). Не издана, не сохранилась (?).

УСАТОВ Д.

Современный романс. («Ты знаешь край»). Mignon. Ballade. («Kennst du das Land»). Для гол. с ф.-п.—Романсы и песни. № 61... Собств. изд. П. Юргенсона. М. [1890-е гг.].

ФРИЗЕ Л.

Не спрашивай. Aus Wilhelm Meister. («Heiss' mich nicht reden»). Песня для гол. с ф.-п.—Собств. изд. М., у А. Гутхейль. [1880-е гг.].

ЧАЙКОВСКИЙ П.

(Ор. 6, № 6). Нет, только тот. Aus Wilhelm Meister. Mignon. («Nur wer die Sehnsucht kennt»). Романс для гол. с ф.-п.—1) Шесть романсов... П. Чайковского. Соч. 6. № 6... (Из Гете). Собств. изд. М., у П. И. Юргенсона. (Дозв. ценз., М. 17 дек. 1869 г.). 2) Ром. и песни. № 6... Собств. изд. Муз. сект. Гос. изд. М. 1922.

(Ор. 25, № 3). Песнь Миньоны («Ты знаешь край»). Mignon. Ballade. («Kennst du das Land»). Для гол. с ф.-п.—1) Шесть романсов (№№ 7—12), № 9... Собств. издателей В. Бессель и К°. П. (Дозв. ценз. П. 29 марта 1875 г.).

(Ор. 57, № 3). Не спрашивай. Aus Wilhelm Meister. Mignon. («Heiss' mich nicht reden»). Романс для гол. с ф.-п.—1) Шесть романсов... Соч. 57. № 3... Сл. А. Струговщикова (из Гете)... [Тексты русск. и нем.]. Собств. изд. М., у П. Юргенсона (М., дозв. ценз. 9 марта 1885 г.). 2) Романсы и песни. № 42... Собств. изд. Муз. сект. Гос. изд. М. 1921.

ЧЕРЕПНИН Н.

(Ор. 7, № 2). На водах покой глубокий. Meeres Stille. («Tiefe Stille herrscht im Wasser»). Романс для гол. с ф.-п.—Шесть романсов. № 2... Собств. изд. М. П. Беляев. Лейпциг. 1900.

ШАШИНА Е.

Рыбак. («Волна шумит, волна бушует»). Der Fischer. Ballade. («Das Wasser rauscht', das Wasser schwolll). Романс для гол. с ф.-п.—1) Романсы и песни. № 17... Собств. изд. П., у М. Бернарда [1870-е гг.]. 2) Ром. и песни. № 17... Собств. изд. П. Юргенсона. М. [1880-е гг.].

ЩЕРБАЧЕВ Н.

Лесной царь. Баллада. («Кто скачет, кто мчится»). Erlkönig. Ballade. («Wer reitet so spät»). Для солистов и хора с орк. (?) [Соч. в 1880 гг. ?].—В рукописи.

ЭНГЕЛЬ Ю.

(Ор. 8, № 2). Горные вершины. Wandrers Nachtlied. («Ueber allen Gipfeln»). Для однородного хора (без сопров.).—Три хора. № 2... Собств. изд. П. Юргенсона. М. 1909.

ХРОНИКА

ГЕТЕВСКИЕ ДНИ В СССР

Исполнившееся 22 марта 1932 г. столетие со дня смерти Гете было отмечено в капиталистическом мире целым потоком празднеств, торжественных заседаний, речей, статей, книг и брошюр. Политический смысл этих выступлений, сводившийся к использованию всего реакционного и отсталого в литературном наследии Гете в интересах укрепления «духовного авторитета» буржуазии периода ее умирания, разъяснен в напечатанных выше статьях тт. Луначарского, Авербаха, Динамова и Шиллера. Принципиально иной смысл имело празднование юбилея в СССР—в стране строящегося социализма. Столетняя годовщина со дня смерти Гете послужила здесь поводом к критическому пересмотру жизни и творчества великого немецкого поэта с марксистско-ленинских позиций и для освоения пролетариатом классического наследства. Юбилей Гете вызвал широкий отклик по всему СССР. Общественные, литературные и научные организации Москвы, Ленинграда, Харькова, Минска и других крупных центров страны ознаменовали юбилейную дату устройством целого ряда торжественных вечеров, заседаний, памятных выставок, концертов, наконец выпуском в свет и подготовкой к печати различного рода сборников, специальных изданий и т. п. Мы даем краткий обзор наиболее значительных фактов, относящихся к чествованию памяти Гете в Советском Союзе. В составлении хроники приняли участие В. Базилевич, Е. Лисенков, С. Макашин, Н. Машковцев и П. Эттингер.

П. Д. Эттингеру редакция обязана кроме того сообщением целого ряда других ценных сведений и материалов, вошедших в данную книгу, за что и выражает ему свою благодарность.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ, ВЕЧЕРА, ДОКЛАДЫ В МОСКВЕ И ЛЕНИНГРАДЕ

В ДОМЕ СОЮЗОВ

В Москве, в Колонном зале Дома союзов, 22 марта состоялось торжественное заседание, организованное Наркомпросом РСФСР и Комакадемией совместно с ОГИЗ, научыми, литературными и общественными организациями Москвы. Заседание открылось вступительным словом председателя—наркома по просвещению А. С. Бубнова:

«Нашим торжественным собранием мы чтим память великого немецкого поэта и мыслителя—Гете... Когда-то Ленин, оценивая Толстого, говорил, что в его наследстве есть то, что принадлежит прошлому, и то, что принадлежит будущему. И именно над усвоением того, что в Толстом принадлежит будущему, должен работать пролетариат. Мы можем то же сказать и о Гете: мы работаем над критическим освоением и переработкой тех элементов творчества великого поэта эпохи «Sturm und Drang'a», которые принадлежат будущему. Мы не можем забыть того, что Гете и в области художественного творчества, и в области философии оставил миру такие идеи, которые переплетаются с великими идеями, претворяемыми в жизнь революционным пролетариатом...» (Выступление т. Бубнова было опубликовано в «Правде» за 28 марта).

Под знаком выявления тех элементов гетевского наследства, которыми Гете перекликается с нашим временем и принадлежит последнему из классов—пролетариату, прошли все доклады заседания. Обширный доклад А. В. Луначарского был посвящен характеристике и анализу, в свете марксистско-ленинского понимания истории, эпохи и общества, в котором протекала деятельность великого поэта. Отметив особенности немецкой действительности гетевского времени, живучесть немецкого феодализма и слабость молодой немецкой буржуазии, т. Луначарский показал, что Гете был скорее жертвой своего времени, нежели вождем. Однако силой своего гения и ценою больших уступок своему обществу он сумел пронести через головы современников и протест против общественного застоя, и некоторые замечательные предвидения. Прославляя труд, науку, технику, Гете апеллировал к нашим дням. Возражая против претензии буржуазных писателей и ученых целиком присвоить себе всего Гете, докладчик

проводил мысль, что не дряхлеющей буржуазии,—до сих пор не сумевшей взять у Гете действительно новое,—дано завершить живущую в наши дни гетевскую «программу», но пролетариату—классу революционной борьбы и труда. (В дополненном и расширенном виде доклад т. Луначарского напечатан в настоящем номере «Литературного Наследства».)

Гете как великий художник слова был показан в докладе проф. П. С. Когана «Творчество Гете». Гете как философ—в сообщении И. К. Луппола «О естественно-научных взглядах Гете». (Доклад этот лег в основу статьи т. Луппола «Гете как мыслитель», напечатанном в 5-й книжке журнала «Красная Новь»; см. также статью того же автора «Естественно-научные взгляды Гете» в номере «Известий ЦИК СССР» от 23 марта.)

С речью на тему «Гете и современная эпоха» выступил Л. Авербах, посвятивший свое слово выяснению отношений к Гете современной буржуазии и подлинного политического смысла борьбы, разгоревшейся сейчас вокруг имени поэта на Западе. «...Фашисты хватаются за все больное, что есть у Гете, потому что буржуазия не в состоянии унаследовать гениальность поэта. «Фауст» второй части ничего общего не имеет с современной буржуазией, которая тормозит развитие человечества, которая дряхлеет и загнивает. Только мы, молодость человечества, с полным правом принимаем наследство Гете. Все великое в Гете принадлежит нам—стране строящегося социализма, победившего пролетариата». (В дополненном и расширенном виде речь т. Авербаха напечатана в настоящем номере.)

Заседание закончилось большим концертом, в котором приняли участие: народный артист республики Ю. М. Юрьев, заслуженная артистка К. Г. Держинская, артисты Е. Н. Гоголева, А. А. Орочко, В. А. Подгорный и оркестр Московской государственной филармонии под руководством народного артиста Республики Л. П. Штейнберга. В фойэ зала демонстрировалась выставка иконографии Гете и иллюстраций к его произведениям, организованная Государственным Музеем Изобразительных искусств.

ЧЕСТВОВАНИЕ ПАМЯТИ ГЕТЕ В АКАДЕМИИ НАУК СССР

Столетие со дня смерти Гете было отмечено Академией Наук СССР устройством двух торжественных заседаний—26 и 30 марта. Заседание 26 марта, состоявшееся в зале Государственной филармонии, было организовано совместно с ленинградской секцией научных работников, обл. профсоветом, Ленинградским объединением советских писателей и Ленинградской ассоциацией пролетарских писателей.

Заседание открыл вступительным словом президент Академии ак. А. П. Карпинский. Ак. А. В. Луначарский сделал доклад на тему «Гете и его время». (Краткое содержание доклада, прочитанного А. В. Луначарским и на заседании в Москве, см. выше.)

В докладе «Метаморфоза растений в произведениях Гете» ак. В. Л. Комаров, остановившись на естественно-научных, в частности ботанических работах и взглядах Гете, показал его как пролагателя путей эволюционному учению, при чем такого, который конкретными научными опытами в области культуры высших растений доказал возможность прямого воздействия человека на ход органической жизни и подчинения природы целям человека и общества.

Следующий затем обширный доклад был сделан ак. Н. И. Бухариным на тему «Гете и его историческое значение». В первой части («эпоха») докладчик подробно иллюстрировал примерами и анализировал двойственность, которая была присуща и представителям германского феодализма той эпохи, и молодому немецкому бюргерству, слабому и трусливому,—черты, особенно резко выразившиеся в отношении к Французской революции. На основе конкретного сочетания классовых сил в эпоху грандиозного исторического перевала формировалась и идеология германской буржуазии; она не могла конечно быть ориентирована на прямую революционную борьбу. Но эпоха все-таки выдвинула людей, «схвативших» ее в самых высоких всемирно-исторических определениях. Таковы Гете, Бетховен, Гегель.

Развивая во второй части доклада («гений») характеристику Гете, данную Энгельсом, Н. И. Бухарин дал всесторонний анализ внутренней расщепленности (а отнюдь не « цельности») Гете, совпадающей с описанной двойственностью положения немецкого бюргерства той эпохи. Подчеркивая черты исключительного универсализма творчества Гете, докладчик различает в его философских и естественно-научных воззрениях, так сказать, «большие и малые круги», гениальные прозрения и теологические филистерские привески. Так, с одной стороны, мы находим у Гете зародыши диалектики, частичные предвосхищения дарвиновского учения и т. д., а с другой, например, наивный, естественно-научный «руссоизм», приводящий его к ряду грубейших ошибок. Однако творческая доминанта Гете лежит в его натуре как художника. В художест-

Общий вид торжественного заседания памяти Гете в Колонном зале Дома союзов в Москве 22 марта 1932 г.

венном богатстве форм мы находим дух бунта и протеста, искания, трагические коллизии между титанами—носителями нового—и косным миром. «Фауст» —не поэтический уход в мир идеальных символов, а трагедийная поэма с пафосом борьбы, состязание разных начал. Трагедия находит свое разрешение в апофеозе коллективного труда. Поиски истины растворяются в практике труда, а мятущаяся личность сливается с обществом. Это—апология грядущего человечества. В этом именно, в этих зародышах социалистической идеологии ак. Бухарин видит влияние Гете в «веках». (Доклад ак. Н. И. Бухарина выпущен изд. Академии Наук в виде отдельной брошюры.)

Второе торжественное заседание Академии Наук состоялось 30 марта в помещении Большого конференц-зала Академии Наук. После вступительного слова президента ак. А. П. Карпинского были прочитаны следующие доклады: ак. М. Н. Розановым—«Гете и Байрон», ак. В. Л. Комаровым—«Метаморфоза растений в произведениях Гете», ак. М. А. Мензбиром—«Гете в истории морфологии животных» и проф. П. П. Кравецом—«Физика в произведениях Гете». К заседанию были выпущены специальные программы и пригласительные билеты, художественно оформленные.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Торжественное заседание Ленинградского университета совместно с Литературно-лингвистическим институтом состоялось 24 марта в актовом зале университета. Были заслушаны следующие доклады.: проф. Бухаркина—«Гете и пролетарско-революционная современность», проф. В. М. Жирмунского—«О творчестве Гете» и вице-президента Академии Наук ак. В. Л. Комарова—«О Гете-естествоиспытателе». Во время заседания в фойэ демонстрировалась выставка немецких и русских изданий Гете, а также литературы о нем, организованная фундаментальной библиотекой университета.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ГЕРЦЕНА

Вечер памяти Гете, организованный Ленинградским Государственным Педагогическим Институтом им. Герцена, состоялся 26 марта. Были заслушаны: сообщения В. Голубевой «Значение Гете» и доклад проф. А. А. Гвоздева «Творческий путь Гете». В зале заседания

демонстрировалась выставка, организованная фундаментальной библиотекой института и состоявшая из разделов: 1. Творчество Гете (издания произведений Гете); 2. Критика о Гете; 3. Классики марксизма о Гете и 4. Советская печать о Гете.

30 марта на неофилологическом отделении института проф. В. М. Жирмунским был сделан доклад на тему «Классовое самоопределение Гете».

ВЕЧЕР ВОКС

Всесоюзное Общество культурной связи с заграницей отметило столетнюю годовщину смерти Гете организацией 26 марта торжественного вечера-концерта в Колонном зале Дома союзов в Москве. Открылся вечер вступительным словом председателя ВОКС проф. Ф. Н. Петрова: «...Вечера, подобные данному, не только являются выражением чувств советской общественности к памяти великого художника и ученого, но и служат делу культурного сближения между СССР и другими странами. Народы Советского союза, строящие свою культуру, не могут отказаться от изучения и освоения лучших образцов великого культурного наследия мировой литературы, среди которой столь выдающееся место занимает творчество Гете...»

С докладом на тему «Гете и мировая литература» выступил ак. М. Н. Розанов. Проф. Е. М. Браудо сделал на немецком языке сообщение «Гете в отражении мирового музыкального творчества» (на русском языке это сообщение напечатано в газете «Советское искусство» в номере от 21 марта—статья «Поэт и композиторы»). За выступлениями последовал большой концерт, в котором приняли участие: народная артистка А. В. Нежданова, народный артист В. И. Качалов, заслуженная артистка Н. А. Обухова, К. Г. Держинская и проф. К. Н. Игумнов. Новые переводы произведений Гете прочли артисты О. В. Гзовская и В. Г. Гайдаров. Симфонический оркестр Радиоцентра под управлением проф. Н. С. Голованова исполнил «Эгмонта» Бетховена и увертюру Вагнера «Фауст». К заседанию были изготовлены художественно оформленные программы и пригласительные билеты с портретами и силуэтами Гете.

ВЕЧЕР В СЕКЦИИ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Своеобразный интерес представил вечер, организованный Секцией переводчиков при Федерации объединения советских писателей в Москве. После доклада Ф. П. Шиллера «Творчество Гете» было организовано чтение новых переводов произведений Гете. Читали сами авторы переводов—крупнейшие представители советского переводческого искусства.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ

В Ленинградском доме печати состоялся большой литературно-художественный вечер, организованный совместно с ленинградским отделом Федерации объединения советских писателей. Торжественное заседание прошло под председательством Ильи Садофьева. С развернутым докладом на тему «Наследство Гете» выступила Мариэтта Шагинян, охарактеризовавшая Гете как мыслителя, ученого и поэта.

«..Все 100 томов собрания сочинений Гете,—закончила свою речь Шагинян,—которые объемлют все, начиная от легкомысленных светских мадригалов до обстоятельных трудов по разнообразным вопросам науки, философии и промышленности, показывают, что Гете являл собой великолепный пример диалектического единства теории и практики...»

С дополнениями к докладу выступали Б. Великин и Зел. Штейман. Художественная часть вечера была посвящена новым переводам стихов Гете в исполнении самих переводчиков (В. А. Зоргенфрей, В. П. Коломийцев, М. А. Кузмин, Всеволод Рождественский).

ВЕЧЕР В ОБЩЕСТВЕ ФИЛАТЕЛИСТОВ

Секция собирателей книг и экслибрисов московского отдела Всесоюзного Общества Филателистов отметила гетевский юбилей устройством специального торжественного заседания, состоявшегося 31 марта 1932 г. в Москве.

С докладами выступали А. Г. Габричевский и П. Д. Эттингер; кроме того были прочитаны стихи, посвященные памяти Гете: Е. А. Баратынского, скончавшегося несколько лет назад молодого поэта Д. Кузнецова и современного немецкого поэта Стефана Георге (стихотворение последнего из цикла «Der siebente Ring» было специально переведено для данного заседания В. П. Зубовым).

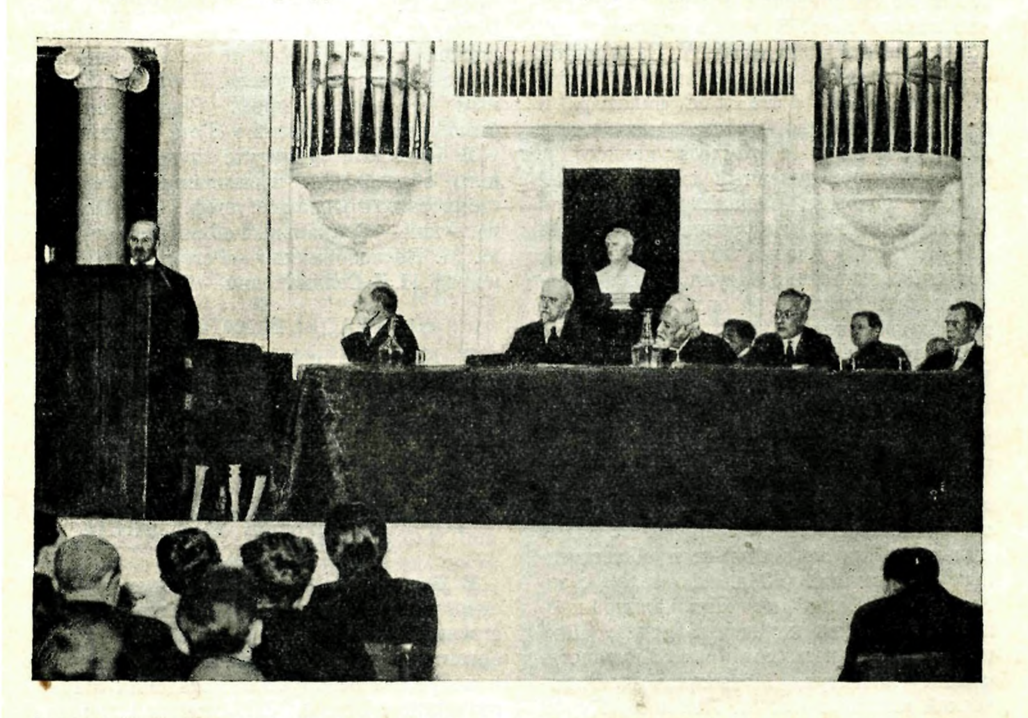
А. Г. Габричевский в своем докладе «Гете и искусство» (в печатной программе заглавие доклада приведено не точно) охарактеризовал отношение Гете к классическим искусствам на протяжении всей его длительной жизни. Докладчик наметил те эволюции, которым последовательно подвергались воззрения и вкусы поэта в данной области, и дал представление об их связи с общими течениями эстетики и искусствознания эпохи. До-

кладчик уделил также много внимания и собственному пластическому творчеству Гете, подвергнув общей оценке его многочисленные рисунки и выявив этапы их создания, равно как и кардинальную роль, которую сыграло в художественном творчестве Гете путешествие в Италию.

В докладе П. Д. Эттингера «Гете и Россия» в первую очередь подчеркивалось то резкое различие в отношении ко всему миру Гете, которое так определенно сказывается у русских поэтов, с одной стороны, и русских художников— с другой. В то время как в длинной цепи первых, начиная с Державина и кончая Пастернаком, беспрерывно заметен живейший интерес к творчеству и личности писателя, выразившийся в бесчисленных переводах его сочинений, Гете в русском изобразительном искусстве прошлого, за несколькими исключениями, не оставил заметных следов, и в иллюстрированных русских изданиях Гете почти исключительно фигурируют иностранные художники. Докладчик, дав обзор наиболее выдающихся русских переводчиков Гете, обратил внимание на сильную их тягу главным образом к «Фаусту», двадцать различных переводов которого занимают одно из первых мест в мировой переводной литературе гениальной гетевской трагедии. «Фауст» вдобавок является и единственным сочинением Гете, которое нашло себе отражение и в русском пластическом искусстве. И если иллюстрации передвижника К. А. Савицкого к «Фаусту» в издании «Будильника» не заслуживают внимания, статуя Антокольского «Мефистофель» не совсем адэкватна творению Гете, то Врубель в некоторых своих живописных композициях на темы из «Фауста», особенно в «Полете Мефистофеля», дал почти конгениальные произведения и должен быть причислен к самым выдающимся иллюстраторам «Фауста».

Заседание секции собирателей книг и экслибрисов, во время которого была устроена небольшая выставка гетевских изданий, увековечено художественно оформленной памяткой.

Дополнением к юбилейному вечеру «С. С. К. и Э.» явилось 58-е заседание секции (2 июня), на котором тем же П. Д. Эттингером сделано было сообщение о печатных и гравюрных произведениях малых форм (пригласительные билеты, программы, памятки, портреты и т. п.), к созданию которых дали толчок гетевские торжества в разных городах Советского союза. Вместе с этим докладчик демонстрировал некоторые иностранные издания, выпущенные к юбилею.



Академик Н. И. Бухарин читает доклад „Гете и его историческое значение“ на торжественном заседании Академии Наук СССР памяти Гете, состоявшемся 26 марта в зале Государственной Филармонии в Ленинграде

За столом президиума сидят (слева направо) академики: А. В. Луначарский, В. Л. Комаров, А. П. Карпинский, В. П. Волгин

ВЕЧЕР ЛЕНИНГРАДСКИХ БИБЛИОФИЛОВ

16 марта на очередном заседании Секции библиофилов северо-западного отдела Всероссийского Общества Филателистов в клубе научных работников в Ленинграде были прочитаны доклады М. Н. Куфаева «Гете и библиофилия» и Э. Ф. Голлербаха «Гете-искусствовед» (см. его статью «Гете как коллекционер» в № 3 журнала «Советский коллекционер»). Поэт Всев. Рождественский сделал сообщение о новых переводах лирики Гете и прочел свои переводы из цикла венецианских эпиграмм Гете. В зале заседания была устроена выставка русских изданий сочинений Гете и советская литература о нем. Ко дню заседания была издана (в количестве 100 экз.) программа с силуэтным портретом Гете работы Э. Голлербаха и силуэтом работы К. Сомова. В программе кроме тезисов прочитанных докладов помещено одно из стихотворений Гете в новом переводе М. А. Кузмина и воспроизведен книжный знак работы Гете (для семьи Шейнкопф).

ДОКЛАДЫ В ДОМЕ УЧЕНЫХ, КОМАКАДЕМИИ И В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ

Памятные собрания в Москве состоялись также в Доме ученых и Комакадемии (на немецком языке), где с докладами выступали: проф. П. С. Коган, И. К. Луппол и Ф. П. Шиллер. Кроме того на одном из очередных заседаний Общества содействия литературному музею при Публичной библиотеке СССР им. Ленина М. Гинзбургом был прочитан доклад на тему «Пушкин и Гете».

ЧЕСТВОВАНИЕ ПАМЯТИ ГЕТЕ НА УКРАИНЕ, В БЕЛОРУССИИ И НА КАВКАЗЕ

ДОКЛАДЫ В КИЕВЕ

24 марта в Киевском государственном театре оперы и балета им. Карла Либкнехта состоялось расширенное заседание президиума Всеукраинской Академии Наук вместе с представителями научных, партийных, профессиональных и общественных организаций Киева, посвященные памяти Гете. В этом заседании были прочитаны доклады: проф. А. Камышаном —«Гете и Французская революция», проф. Я. Розановым—«Гете как философ» и проф. Д. Загулом—«Гете как поэт». После докладов состоялось концертное отделение: объединенный симфонический оркестр оперы и радиотеатра исполнил «Эгмонта» Бетховена, увертюру Вагнера «Фауст» и «Осуждение Фауста» Берлиоза; артисты Лозинская, Вагула, Донец и Сокол исполнили арии из опер на гетевские тексты и сюжеты.

27 марта в заседании сессии 2-го отдела Всеукраинской Академии Наук проф. П. Филипповичем был прочитан обширный доклад на тему «Гете в украинской литературе».

30 марта в помещении радиотеатра «Дома коммунистического просвещения» состоялось чествование памяти Гете рядом культурно-просветительных и общественных организаций («Общество связи с заграницей», «Бюро интернациональной пропаганды», «Дом народов Запада», «Дом техники», «Дом литературы», Лингвистический институт, Музыкально-драматический институт им. М. Лысенко, Курсы иностранных языков, Немецкая трудовая школа и др.). В заседании произнесли речи проф. И. Сияк—«Гете и пролетариат» и проф. Зеберг—«Гете как поэт и писатель». После докладов состоялся концерт на темы, связанные с Гете. Вся программа была исполнена на немецком языке.

Киевский институт социального воспитания откликнулся на юбилей организацией специального заседания с докладами проф. С. Родзевича—«Творческий путь Гете», проф. Филипповича—«Гете в украинской литературе» и проф. П. Карвовского—«Гете-природовед». Перед концертным отделением проф. Беклемишевым было сделано сообщение «Гете в музыке».

В Киевском институте профессионального образования чествование Гете состоялось по программе: проф. И. В. Шаровольский—«Социальный облик Гете», проф. М. М. Воскобойников—«Гете-природовед» и проф. И. Б. Селиханович—«Гете-педагог».

ДОКЛАДЫ В ХАРЬКОВЕ

В Харькове столетие со дня смерти Гете было отмечено специальным заседанием в Институте марксизма (доклады тт. Авербаха и Юренца) и заседанием в Институте Шевченко (доклад проф. Белецкого).

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В МИНСКЕ

В Белоруссии (Минск) столетие со дня смерти Гете было ознаменовано торжественным заседанием в Доме писателя, организованным Институтом литературы и искусства белорусской Академии Наук совместно с Бел. ФОСП. Основной доклад был сделан проф. Е. И. Боричевским. После заседания состоялся концерт, в котором исполнялись новые переводы

Гете на белорусский язык. 4 апреля в Институте литературы и искусства проф. Е. И. Боричевским был прочитан доклад о «Фаусте».

ГЕТЕВСКИЕ ВЕЧЕРА В ТИФЛИСЕ И ЭРИВАНИ

В Закавказской социалистической федерации советских республик юбилей Гете был отмечен большим литературно-художественным вечером в Тифлисе, устроенным Наркомпросом, федерацией писателей и другими организациями. Основной доклад о творчестве Гете был сделан проф. Ш. Нуцебидзе. В художественной части помимо музыкальных произведений исполнялись также новые переводы сочинений Гете на грузинский язык. Специальное заседание памяти Гете состоялось также в Институте марксизма в Эривани (Армянская ССР).

КОНЦЕРТЫ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ

Богатство и разнообразие мировой музыкальной литературы, связанное с творчеством Гете, дало возможность строить программы юбилейных концертов целиком из музыкальных произведений, написанных на тексты или сюжеты Гете. Отметим ряд таких концертов, которыми советская музыкальная и театральная общественность ознаменовала юбилейные даты.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Большой концерт был устроен 21 марта гос. академическим Большим театром Союза ССР в Бетховенском зале.

В концерте участвовали: народная артистка Нежданова, заслуженные артисты: Обухова, Петров, Баклина, Козловский, Максакова, Малышев, Матова, Норцов, Содомов, Стрельцов, Елена Лунц (скрипка), Клушевицкий (виолончель), Горелова (арфа), Фукс, Сахаров (ф.-п.). Вокальная часть программы включала следующие произведения на тексты Гете: Шуберт—«Морская тишина», «Маргарита за прялкой», «Лесной царь»; Моцарт—«Фиалка»; Бетховен—«Миньона», «Круг цветочный», «Радость страдания»; Шуман—романсы; Гуно—дуэт Фауста и Маргариты и серенада Мефистофеля; Рубинштейн—«Горные вершины»; Варламов—«Горные вершины»; Чайковский—«Нет, только тот, кто знал»; Метнер—«И танцы и игры», «Самообман», «Одиночество»; Мусоргский—«Песня о блохе», и др. Кроме того была исполнена фантазия «Фауст» для оркестра и скрипичные и виолончельные произведения современников Гете.

ФИЛАРМОНИЯ

27 и 29 марта состоялись в Большом зале консерватории симфонические концерты Московской филармонии под управлением германского дирижера Ганса-Вильгельма Штейнберг. Центральное место в программах этих концертов принадлежало увертюре Вагнера «Фауст» и бетховенской музыке к трагедии Гете «Эгмонт».

МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ

В том же зале был устроен под управлением проф. Н. С. Голованова симфонический концерт Московской консерватории. Концерту предшествовал краткий доклад т. Пшибышевского.

РАДИОПЕРЕДАЧИ

Сектор художественного радиовещания (Москва) отметил юбилей рядом специальных трансляций: 23 марта передавался доклад «Творчество Гете» Ф. П. Шиллера; 26 марта транслировался концерт под управлением проф. Н. С. Голованова, в котором были исполнены «Эгмонт» Бетховена и «Фауст» Вагнера; 9 апреля передавался концерт со следующей программой: Бетховен—«Эгмонт» с двумя пе-

Занавес Государственного театра оперы и балета в Ленинграде в день торжественного заседания памяти Гете (24 марта)

сенками Клэрхен и чтением монолога, песни Шуберта (баллада «Лесной царь», «Кронос» и романс «Миньона»), песни Шумана, Листа и Метнера (с виолончелью), симфонические поэмы «Тассо» и «Фауст» Фр. Листа, наконец увертюра Вагнера «Фауст». Кроме того в середине апреля было подготовлено п о л н о е концертное исполнение «Эгмонта» с участием симфонического оркестра, хора и солистов.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Большой концерт был устроен Ленинградским государственным театром оперы и балета (24 марта). Кроме симфонических произведений Бетховена («Эгмонт») и Вагнера («Фауст») были исполнены арии из опер «Вертер» Маснэ (артист Печковский) и «Миньоны» Тома (артисты Барсова и Журавленко). В заключение полностью исполнялась «Гибель Фауста» Берлиоза для оркестра, хора и солистов. Дирижировал концертом В. А. Дранишников. Концерту предшествовал доклад «О творчестве Гете» проф. Комакадемии А. Ф. Спокойного.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ

29 апреля состоялся концерт в Ленинградской государственной консерватории, исполнителями в котором явились: дирижер Юлиус Эрлих и профессора консерватории: С. В. Акимов, М. М. Бриан, Г. А. Боссэ и Э. С. Миклашевская.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Ленинградской государственной филармонией были устроены следующие концертные собрания, посвященные памяти Гете: 3 апреля—опера Гуно «Фауст» в камерном исполнении; 10 апреля—закрытый концерт для учащихся трудшкол с программой: вступительное слово проф. Соллертинского, «Эгмонт» Бетховена в оркестровке Григорьева, увертюра «Фауст» Шумана, романсы Шуберта, Шумана и Вольфа (артист Завалов), увертюра «Фауст» Вагнера (под управлением дирижера Гаук); 14 апреля—концерт симфонического оркестра под управлением германского дирижера Себастьяна, в котором после вступительного слова проф. Соллертинского были исполнены увертюра «Фауст» Вагнера, симфоническая поэма «Тассо» и симфония «Фауст» Франца Листа.

О-ВО КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

Общество камерной музыки в Ленинграде посвятило памяти Гете торжественное заседание и интересно составленный концерт (22 марта). Доклад на тему «Классовая природа творчества Гете» сделал т. Федоров (ЛИЯ Комакадемии), потом было заслушано сообщение В. П. Каломийцева—«Гете, его поэзия и порожденная ею музыка». Концерт был составлен главным образом из песенного репертуара. При составлении программы имелось в виду осветить не только различные этапы и периоды творчества Гете, но и различные формы преломления этого творчества у разных композиторов и в разные эпохи. Были исполнены произведения Бетховена, Шумана, Шуберта, Мендельсона, Гуго Вольфа и др. Кроме того квартетом имени Ауэра была исполнена музыка к «Эгмонту» в специально сделанном квартетном переложении.

Гетевскому юбилею был посвящен также концерт членов Общества камерной музыки А. Д. Дмитрова (пение) и В. П. Клиан (фортепиано) на тему «Гете в музыке Шуберта».

ПАМЯТНЫЕ ВЫСТАВКИ

Помимо отдельных небольших выставок, организованных рядом учреждений в фойэ и в залах торжественных заседаний памяти Гете, в течение марта-апреля были открыты для обозрения большие стационарные выставки в Москве, Ленинграде и Киеве, краткие отчеты о которых мы здесь приводим.

ВЫСТАВКА В ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ СССР

Памятная выставка Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина в Москве открылась 28 марта 1932 г. в помещении Музея Книги.

Выставка имела следующие отделы: 1. Автографы Гете; 2. Первые и прижизненные издания сочинений Гете; 3. Иллюстрированные издания; 4. Документальные издания; 5. Русские переводы сочинений Гете; 6. Биографические материалы и исследования; 7. Критика; 8. Легенда о Фаусте; 9. Юбилейная литература; 10. Музыка на тексты и сюжеты произведений Гете; 11. Иконография Гете и его современников; 12. Иллюстрации к произведениям Гете; 13. Гете в русском театре.

Большинство витрин выставки было заполнено материалом Ленинской библиотеки. Но ряд существенных экспонатов был доставлен другими московскими книгохранилищами, музеями (б-ка 1-го МГУ, б-ка иностранной литературы, Исторический музей, Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Музей изобразитель-

ных искусств, Музей нового западного искусства, Третьяковская галлерея, ред. журнала «Литературное Наследство») и частными книжными собраниями (А. Г. Габричевского, Б. В. Горнунга, Л. В. Култашевой, Н. Г. Машковцева, П. А. Нейштат, М. А. Петровского, Ю. Д. Соколова, П. Д. Эттингера, А. М. Эфроса).

Выставка открывалась небольшой витриной с подлинными автографами Гете. Из этих экспонатов наиболее ценным следует признать письмо Гете к герцогине веймарской Марии Павловне (Бахрушинский музей) и шесть писем Гете к гр. С. С. Уварову (Исторический музей). Единственный автограф Гете, принадлежащий Ленинской библиотеке, значительно менее интересен. Он представляет собою листик с отпечатанным в рамочке текстом стихотворения «Am Acht u. zwanzigsten August 1826». Внизу под печатным текстом рукою Гете сделана подпись «Weimar. Goethe». Автограф поступил в библиотеку из собрания А. С. Норова.

Уже после закрытия выставки собрания библиотеки обогатились еще одним автографом Гете, а именно его письмом к Ф. фон Мюллеру. Автограф поступил из собрания И. С. Остроухова; он воспроизведен и описан в настоящем номере «Литературного Наследства».

Афиша открытия гетевской выставки в Публичной Библиотеке СССР им. Ленина в Москве

Центральной частью выставки являлись две витрины, сплошь заполненные первыми и прижизненными изданиями сочинений Гете и книгами о нем, вышедшими до его смерти. Отметим «Goethes Schriften» (8 v. Leipzig 1787—1790), экземпляр, поступивший в Ленинскую библиотеку из собрания И. С. Остроухова, и мангеймское переиздание первых его четырех томов (1801) с перегравированной гравюрой-фронтисписом и сплошь гравированным титулом в отличие от первого издания, на титульном листе которого имеется гравюра, текст же наборный. В издании 1801 г. детали некоторых гравюр и оформление титула переработаны и освобождены от ряда деталей, характерных для виньетки XVIII в. Живописное развитие образов гетевской поэзии дают гравюры Рамберга (Альманах «Minerva» 1821, 1823, 1824, 1828, 1832 гг.). «Вертер» во французских переводах оказался представленным если не более полно, чем немецкие издания, то во всяком случае более интересно. На выставке имелись: издание 1776 г. с великолепными гравюрами Д. Ходовецкого, издание 1797 г. с иллюстрациями Р. Бартона и знаменитое издание 1809 г. с фигурами Моро-младшего. Соревнование первого и последнего особенно поучительно. Моро-младший и в XIX в. оказывается верным носителем традиции аристократического XVIII в., в то время как согретые уютом домашней жизни гравюры Ходовецкого дают впечатляющий образ буржуазной Германии.

Заслуживают внимания два венских издания: «Вильгельм Мейстер» (1810) с фронтисписом Ф. Грунера (гравюра очерком) и «Theater von Goethe» (1816) с гравированным фронтисписом J. Blaschke. Упомянем еще книжку о первом гетевском юбилее «Goethes goldener Jubeltag» Weimar 1826» и прижизненную биографию Гете Doring'a, изданную в 1828 г. Отметим также экземпляр чешского перевода «Ифигении в Тавриде», изданный в Праге в 1822 г. с гравированным титулом. Экземпляр имеет красный штемпель библиотеки Ганки.

Довольно богато были представлены иллюстрированные издания «Фауста». Помимо общеизвестных фолиантов и альбомов с рисунками M. Retzch, E. Seibertz, Lizen-Mejer на выставке находились: издание, украшенное F. H. Ehmke (1908—1909), издание с деревянными гравюрами W. Klemm (1913) и четыре французских иллюстрированных издания: с литографиями Делакруа (1828), с гравюрами с ри-

сунков Tony Jouannot (1847), с офортами A. Lalauze (1880) и J.-P. Laurens (1855). Наряду с известными русскими переизданиями Маркса (1899) и Вольфа (с иллюстрациями Зейбертца и Лизен-Майера) на выставке находилось мало популярное издание «Фауста» (вышедшее в 1894 г. как премия к журналу «Будильник») с десятью большими иллюстрациями К. А. Савицкого (репрод. фототипией), трактовка которых очевидно навеяна образами оперы Гуно. Эти иллюстрации находились в одной витрине с репродукциями работ М. А. Врубеля на темы «Фауста», также идущими в значительной степени от впечатлений театра.

Из других иллюстрированных изданий отдельных сочинений Гете отметим «Hermann und Dorothea» с гравюрами Кателя, «Вертер» 1799 г. с гравюрами Лалоза, «W. Meisters Lehrjahre» с иллюстрациями F. Pecht (гравюры раскрашены от руки).

С чисто типографской точки зрения заслуживают внимания «Вертер», отпечатанный в типографии Doves-Press, Hammer-Smith и «Фауст» работы типографии E. L. Presse, Darmstadt.

Переиздания первых изданий, репродукции рисунков и автографов Гете были представлены на выставке достаточно обильно, отчасти восполняя неизбежные ее лакуны.

К этому же отделу следует отнести немногочисленные листы иллюстраций к Гете («Вертер» с оригиналов Бартолоцци и S. Aman, листы Делакруа, Корнелиуса 1817 г. и др.). Отдел иллюстраций замыкался большим полотном Квадаля, изображающим «Вертера, рисующего детей» (1796).

Несомненно, что одним из самых занятных экспонатов выставки были две куклы, изображающие отца и мать Гете, сделанные очень тонко из дерева и прекрасно раскрашенные. Их костюмы сделаны из старинных материй, с большим чутьем стиля, их лица очень верно передают облик родителей Гете. Отсутствие подобных кукол среди описанных гетевских материалов позволяет пока считать их уникальными. Их провенанс точно не выяснен. Театральный музей им. А. А. Бахрушина знает только, что они были приобретены А. А. Бахрушиным в Веймаре.

Иконография самого Гете была представлена исключительно в гравюрах и литографиях (если не считать поздней копии с медали ф. Шадова 1828). Здесь следует отметить превосходный лист (из собр. Музея изобразительных искусств, как и все прочие портреты Гете) Мюллера (1780—1824), исполненный пунктиром с профильного портрета работы Ягемана, литографию без подписи (Мальцова) на листе с большими полями, представляющую частичное воспроизведение (в обратную сторону без рук, аксессуаров и фона) так загадочно исчезнувшего портрета Кипренского. Несомненно тот же портрет послужил оригиналом для литографии, приложенной к «Клавиго», изданному в 1838 г. в переводе Ф. Кони (?). Портрет Гете, награвированный на обложке «Вестника Европы» за 1808 г., восходит к лафатеровскому силуэту (последний также имелся на выставке). Упомянем еще гравюру на стали Зихлинга (из «Пантеона») с оригиналом Дж. Дау (1819), долгое время находившегося в России и теперь украшающего собрания Веймарского национального музея. Отметим наконец деревянную гравюру работы А. С. Гончарова, дающую облик Гете, не воспроизводящую какого-либо известного оригинала.

Наибольшего внимания заслуживал отдел русских переводов Гете, хотя его нельзя было назвать исчерпывающим. Был представлен первый русский перевод трагедии «Клавиго», затем следовали многочисленные издания «Вертера» (1781, 1794, 1796 и 1816), как оказалось, недостаточно полно зарегистрированные русской библиографией. Далее шли многочисленные тексты «Фауста» сперва в отрывках, переведенных В. А. Жуковским (1817 г., подражание посвящению), А. С. Грибоедовым (1825), Д. Веневитиновым (1827 и 1829), С. И. Шевыревым (1827), И. С. Тургеневым (1844) и Ф. И. Тютчевым, затем первой и наконец второй части. На выставке находился экземпляр первого полного перевода «Фауста» (ч. I) Э. Губера с добавлениями текста, выкинутого цензурой (собственность ред. «Литературное Наследство»). За Губером следовали переводы М. Вронченко (1844), А. Овсянникова (1851), А. Струговщикова (1856), Н. Грекова (1859), Мих. Семперверо (1859—1860) с многочисленными литографиями и гравюрами на дереве с иностранных оригиналов: И. Павлова (1875), Н. Холодковского (1878), А. Фета (1882), Т. Аносовой (1883), Н. Голованова (1889), Н. Е. Врангеля (1889), Б. В. Трунина, Д. Н. Цертелева, А. И. Мамонтова (1897), Н. Маклецовой (Саратов, 1897), А. Л. Соколовского (1902), Ив. Рукавишникова (отрывок, 1902), П. Вейнберга (1904), на украинский язык—в переводе М. Г. Улезко (1926) и В. Я. Брюсова (1928). Сравнительно с другими произведениями Гете многочисленные переводы (и переделки) «Рейнеке Лиса», выходившего неоднократно в иллюстрированных изданиях, но с заимствованными с иностранных оригина-

Уголок гетевской выставки — иконография Гете и иллюстрации к его произведениям в Публичной Библиотеке СССР им. Ленина в Москве

лов иллюстрациями. Собрания сочинений Гете были представлены в переводах В. Вейнберга (1865, 1875 и 1892), Н. В. Гербеля (1878) и разных авторов под редакцией А. Е. Грузинского (1912). Демонстрировались также два первых тома юбилейного тринадцатитомного издания, вышедших к юбилейным дням в издании ГИХЛ.

Отражения идей и тем Гете в русской литературе были представлены пушкинской сценой из «Фауста» (1826), «Российским Вертером» М. Сушкова (1801), «Лисом-Хитроумом» (автор И. Р., 1834), «Фаустом» И. С. Тургенева (1855) и «Фаустом и Городом» А. В. Луначарского (1918).

Целый щит был занят рисунками И. И. Нивинского к изданию «Римских элегий», подготовляемому изд. «Академия». Сделанные легкими штрихами тушью, с прозрачными тенями они дают возникающие, как воспоминания, образы античной скульптуры на пронизывающем их фоне римской архитектуры.

Иконография переводчиков Гете заключала в себе ряд любопытных и редких портретов. Отметим портрет Н. П. Огарева в молодости (неизв. художника, собств. Ленинской б-ки), Аполлона Григорьева с его автографом (рис. карандашом на бумаге работы Бруни. Собр. Третьяковской галлереи), фотографический портрет М. М. Достоевского (из музея Ф. М. Достоевского), портрет Б. Пастернака (автолитография Л. Пастернака).

Не описывая многочисленной гетеаны (как немецкой, так и русской), отметим два редких издания поминальной речи гр. Уварова, произнесенной им в торжественном собрании Академии Наук (1833 и 1844) и уваровское издание «Nonnos von Panopolis der Dichter» с греческим текстом и посвящением Гете (1817).

Три витрины были заняты нотным материалом (из собр. Ленинской б-ки и б-ки Московской консерватории). В русской части этого отдела выставки наибольший интерес представлял «Лирический Альбом на 1832 г.», изданный И. Лесковским и Н. Норовым, с титульным листом, гравированным А. Мельниковым с рис. Ф. Толстого, содержащий два романса на слова Гете композитора Н. Норова («Trost in Thränen») и композитора Н. Behling'a («Jägers Abendlied»). Экземпляр Ленинской библиотеки в прекрасном тисненом кожаном переплете и имеет дарственную надпись Д. Н. Блудову от Н. Норова и ex libris В. Ф. Одоевского.

ВЫСТАВКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Выставка, организованная Государственной Публичной Библиотекой имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, открывшаяся в марте, была построена в основном по тому же плану и на том же книжном материале, что и выставка Ленинской библиотеки в Москве. Однако исключительное богатство книго- и архивохранилищ библиотеки позволили устроителям демонстрировать ряд редких и ценных экспонатов, отсутствовавших на московской выставке. К ним относятся

прежде всего автографы Гете: стихотворение, позднее названное в печатных текстах «Eigentum», написанное Гете в альбом В. А. Жуковского, письмо Гете к графу Северину Потоцкому, две записки Гете— одна к Гердеру, другая к жене Гердера, дарственная надпись Гете на экземпляре книги «Maskenzug», подаренная им В. Кюхельбекеру, и др. Обильно была представлена критическая литература о Гете. Из русских материалов особенный интерес представляли книги и документы (частично в рукописях), позволявшие проследить все этапы и периоды влияния Гете на русскую литературу от Радищева до наших дней. Значительным оказался подбор различных переводов из Гете. Одних переводов «Фауста» оказалось около тридцати. В особой витрине под названием «Гете в СССР» были собраны многочисленные переводы из Гете, книги и статьи о нем, появившиеся на русском языке после Октябрьской революции. Наконец отдельный щит был посвящен теме «Гете и Французская революция».

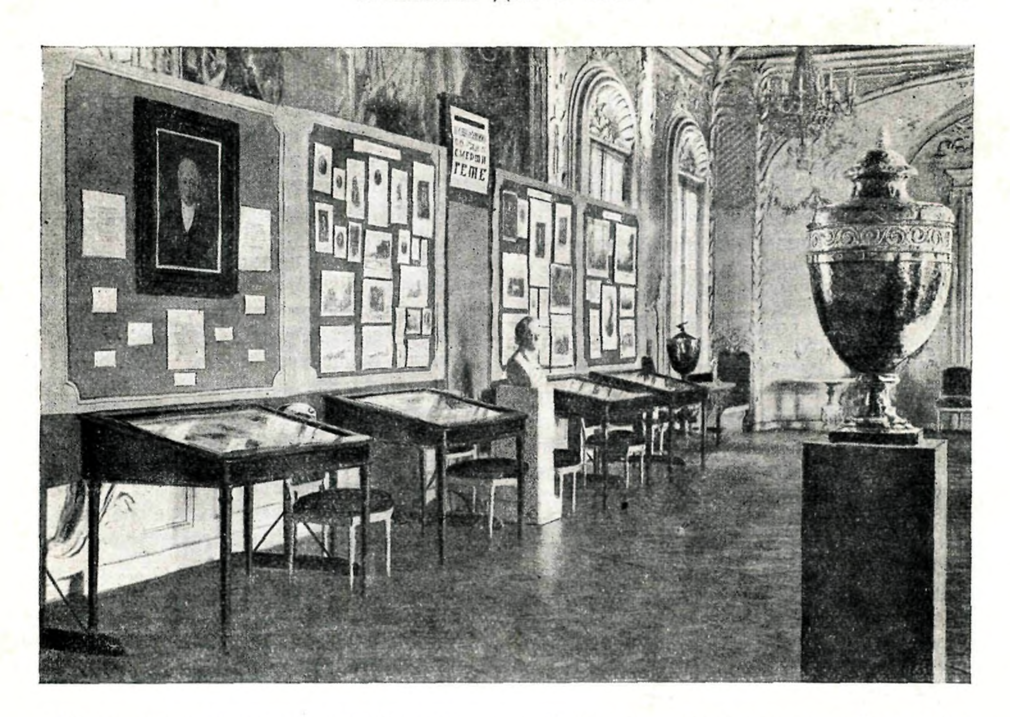
ВЫСТАВКА В ЭРМИТАЖЕ

В апреле открылась выставка «Столетие со дня смерти Гете» в государственном Эрмитаже. На шести щитах и стольких же витринах был расположен графический материал и медали, относящиеся к Гете и его эпохе. В центре выставки на особом постаменте помещен был мраморный бюст Гете (1820) работы известного немецкого скульптора Христиана Рауха (1777—1857).

Одной из главных достопримечательностей выставки служил портрет Гете масляными красками работы веймарского живописца Фердинанда Ягемана (1880—1820), лишь недавно поступивший в Эрмитаж. Кроме упомянутого портрета Ягемана на выставке имелись еще две литографии, сделанные с рисунков Ягемана: одна работы Жакоба в литографии Ластери в Париже и другая работы К. Вальтера (в Ревеле). На первой из них имеется сделанная рукой известного русского гравера Уткина (тогдашнего смотрителя Гравюрного кабинета) карандашная пометка с датой поступления эстампа в Эрмитаж— 29 марта 1819 г., т. е. явно вскоре после выхода в свет в Париже.

Портреты Гете имелись и на выставленных шестнадцати медалях (работы Бови, Брант, Кенига, Трояновского и Стасного). Любопытна еще медаль с портретом Х.-В. Виланда работы Абрамсона, по рисунку самого Гете. На выставке был показан также довольно обширный подбор иллюстраций произведений Гете. Наибольший интерес представляла витрина с графикой, иллюстрирующей «Вертера» (английские эстампы XVIII в. и иллюстра-

Витрина автографов Гете на гетевской выставке в Публичной Библиотеке в Ленинграде



Щиты и витрины выставки к столетию со дня смерти Гете, устроенной государственным Эрмитажем в Ленинграде

ции Ходовецкого, Дюплесси-Берто, Буальи, Рамберга, Швинда, Тони Жуано и т. д.). Отдельные щиты были посвящены темам «Гете и Французская революция», «Гете и наполеоновские войны», «Юность Гете», «Гете в Веймаре», «Итальянское путешествие Гете». Среди выставленного материала обращали на себя внимание: 1) прекрасная гуашь, представляющая собою вид на Веймар,—гуашь исполнена, вернее всего, Карлом-Августом Рихтером (1778—1848), отцом живописца романтика Людвига Рихтера, часто помогавшего отцу в изготовлении его ландшафтов (гуашь эта является оригиналом гравюры очерком) и 2) акварель по офортному очерку с собственноручными подписями французского живописца и архитектора Ж.-Л. Депре (1740—1804), путешествовавшего в Италию незадолго до Гете. Всего на выставке фигурировало более 150 экспонатов.

ВЫСТАВКА В МАЛОМ ТЕАТРЕ

К столетию со дня смерти Гете театральная библиотека при Малом театре в Москве открыла небольшую выставку, рассчитанную главным образом на работников московских театров. На выставке были подобраны материалы как иконографического, так и книжного характера. Главный упор библиотека сделала на разработку темы «Гете и театр». Здесь был показан веймарский театр (директором которого был одно время Гете) и даны снимки с многочисленных постановок произведений Гете на драматической и оперной сценах («Гец фон Берлихинген», «Эгмонт», «Фауст», «Вертер» и т. д.). На выставке были собраны также фотографии крупнейших оперных артистов, исполнявших главные роли в этих постановках. Вызывало лишь недоумение, каким образом устроители выставки, довольно богато показав Гете на русской оперной сцене, обошли полным молчанием вопрос о постановках Гете на сцене самого Малого театра, где, как известно, шел «Эгмонт» с А. И. Южиным в главной роли.

ВЫСТАВКА В КИЕВЕ

С 25 марта по 9 апр. в зале Всенародной библиотеки Украины при Всеукраинской Академии Наук была открыта памятная юбилейная выставка Гете. Всех экспонатов было около пятисот, в том числе книг, портретов и гравюр 423 и нот 68. Из изданий произведений Гете, бывших на выставке, назовем наиболее полное, так называемое Веймарское издание в 143 томах (Weimarer Ausgabe, Weimar, 1887—1920). Ранние переводы сочинений Гете были представлены изданиями: «Werther. Traduction de l'allemand de Goethe par C. Aubry. A Paris, 1797». «Страсти молодого Вертера. СПБ., 1796» и др. Здесь же было выставлено издание «Werthérie. Tt. I—II. A Paris, 1791»,—подражание, принадлежащее Pierre Perrin.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГЕТЕ И НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ

В ознаменование столетия со дня смерти Гете Государственное издательство художественной литературы предприняло выпуск юбилейного издания его произведений в 13 томах под общей редакцией ак. А. В. Луначарского, ак. М. Н. Розанова и Л. Б. Каменева (работа была начата в 1929 г.). Это издание должно явиться первым опытом воссоздания и критической переработки культурного наследия Гете на советской почве. Редакция поставила изданию следующие основные требования: дать возможно полного Гете, т. е. выбрать из громадного оставленного им литературного наследства максимум того, что может быть ценного как для широкого читателя, так и для учащегося и для специалиста-литературоведа; обеспечить максимально близкий и доброкачественный перевод, соответствующий высоким требованиям, предъявляемым к тексту одного из величайших художников слова; в статьях и примечаниях к отдельным томам и произведениям по возможности полно и детально осветить творчество Гете на основе огромного добытого мировой и особенно немецкой наукой фактического материала, критически переработав его с точки зрения принципов марксистского литературоведения.

Принципы отбора, которыми руководствуется редакция, оговариваются в предисловиях и вступительных статьях к соответствующим томам. В системе распределения материала соблюдается общепринятое членение на литературные жанры, как то: лирика, эпос, драма, роман, автобиография, научные и критические произведения, письма и дневники. В пределах каждой из перечисленных групп по возможности выдерживается хронологический принцип как наиболее показательный и научно плодотворный для изучения гетевского столь долгого и столь многообразного творческого пути. В отношении полноты советское юбилейное издание далеко оставляет за собой прежние русские издания сочинений Гете и включает в себя огромное количество никогда не переводившихся на русский язык произведений (главным образом лирика, письма и дневники, научные и критические произведения).

Сообщаем содержание отдельных томов, из которых первые два вышли в свет к юбилейным дням.

Том I.—Лирика.

Вступительная статья ко всему изданию ак. А. В. Луначарского. Редакция А. Г. Габричевского и С. В. Шервинского; статья и комментарий А. Г. Габричевского. Этот том содержит 751 лирическое стихотворение (свыше 13 тыс. стихов), из них 144 переведены на русский язык впервые, 259 даны в новых переводах и 248—в старых.

Том II.—Юношеские пьесы и эпические поэмы.

Статьи, комментарии и редакция А. Г. Габричевского. Среди пьес довеймарского периода, вошедших в этот том, отметим «Совиновников», «Магомета», «Прометея». Из эпических поэм «Вечный жид» напечатан в новом переводе П. Антокольского,

«Рейнеке Лис»—в новом переводе Б. Ярхо и «Герман и Доротея» в старом переводе А. Фета. Сюда же вошли некоторые фрагменты и сатиры того же довеймарского периода.

Том III.—Пьесы в прозе.

«Гец фон Берлихинген», «Клавиго», «Стэлла», «Торжество чувствительности», «Брат и сестра», «Рыбачка», «Эгмонт», «Великий Кофта», «Пари», «Мятежные». Статьи, комментарии и редакция ак. М. Н. Розанова.

Том V.—«Фауст».

Том IV.—Пьесы в стихах.

«Ифигения в Тавриде», «Эльпенор», «Торквато Тассо», «Побочная дочь», «Пробуждение Эпименида», «Пандора». Комментарий и редакция ак. М. Н. Розанова.

«Фауст» дается здесь в новом переводе: первая часть—в коллективном переводе, вторая—в посмертном переводе Валерия Брюсова. Комментарии и редакция ак. М. Н. Розанова.

Том VI.—Романы и новеллы.

«Страдания молодого Вертера», «Письма из Швейцарии», «Беседы немецких эмигрантов», «Сказка», «Хорошие женщины», «Избирательное сродство», «Новелла». Статья проф. П. С. Когана, комментарии и редакция М. А. Петровского.

Том VII.—«Годы учения Вильгельма Мейстера».

Статьи проф: П. С. Когана и М. А. Петровского. Комментарии и редакция М. А. Петровского.

Том VIII.—«Годы странствий Вильгельма Мейстера».

Статья проф. П. С. Когана, комментарии и редакция М. А. Петровского.

Том IX.—Поэзия и правда, часть I.

Статьи Л. Б. Каменева и проф. В. М. Жирмунского; комментарии и редакция проф. В. М. Жирмунского.

Том X.—Поэзия и правда, часть II. Критические статьи.

Комментарии проф. В. М. Жирмунского и А. Г. Габричевского.

Том XI.—Путешествие в Италию.

Статья, комментарии и редакция проф. В. М. Жирмунского.

Том XII.—Письма и дневники.

Статья, комментарии и редакция Б. С. Пшибышевского

Том XIII.—Научные произведения.

Статья, комментарии и редакция ак. В. И. Вернацкого и М. Левина.

Большинство произведений Гете печатается в новых переводах. Многие переведены на русский язык впервые.

Из переводчиков принимают участие в издании: П. Г. Антокольский, Н. Н. Вильям-Вильмонт, А. Г. Габричевский, С. В. Герье, В. В. Гиппиус, С. Г. Займовский, С. С. Заяицкий, В. Зоргенфрей, В. И. Иванов, В. Книпович, А. С. Кочетков, М. А. Кузмин, М. Л. Лозинский, В. Э. Мориц, Д. С. Недович, М. А. Петровский, Г. А. Рачинский, В. А. Рождественский, В. А. Ромм, О. Б. Румер, С. М. Соловьев, М. П. Столяров, Д. С. Усов, М. В. Усова, С. В. Шервинский, Б. И. Ярхо, Г. И. Ярхо.

В издании дается 40—50 портретов, много факсимиле и рисунков.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ «ФАУСТА» В ПЕРЕВОДЕ В. БРЮСОВА

В том же Государственном издательстве художественной литературы вышла отдельным изданием первая часть «Фауста» в переводе Валерия Брюсова со вступительными статьями проф. П. С. Когана и А. Г. Габричевского. Первое издание этого посмертного брюсововского перевода первой части появилось в 1928 г. и уже стало библиографической редкостью.

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ «ФАУСТА»

Полное издание «Фауста» (обе части) в переводе Валерия Брюсова выпускает издательство «Academia». Вторая часть брюсовского перевода полностью появится таким образом в печати впервые здесь (отрывок из этой части опубликован впервые в этом номере «Литературного Наследства»). Издание сопровождается обширным комментарием Б. Пуришева. Художественное оформление книги и иллюстрации к ней выполняются художником В. Фаворским.

ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА ГЕТЕ

В издательстве «Academia» выходит том «Избранной лирики» Гете под редакцией А. Г. Габричевского и С. В. Шервинского с предисловием и комментариями А. Г. Габричевского. Эта книга, аналогичная по содержанию с первым томом юбилейного издания, включает лишь главнейшие и совершеннейшие образцы

ГЕТЕ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИНАДЦАТИ ТОМАХ

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
Л. Б. КАМЕНЕВА, А. В. ЛУНАЧАРСКОГО
М. Н. РОЗАНОВА

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

ТОМ I

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1932 ЛЕНИНГРАД

ГЕТЕ

ЛИРИКА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. Г. ГАБРИЧЕВСКОГО и С. В. ШЕРВИНСКОГО

СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
А. Г. ГАБРИЧЕВСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВ 1932 ЛЕНИНГРАД

Титульные страницы первого тома гизовского юбилейного издания Гете

лирики Гете. Количество стихотворений, вошедших сюда, поэтому меньше, чем в первом томе юбилейного издания, но вместе с тем здесь будет напечатано и несколько произведений, отсутствующих в издании ГИХЛ и появляющихся на русском языке впервые. Все произведения даются в новых переводах.

Хронологический принцип, положенный в основу издания, позволит читателю проследить художественную эволюцию Гете. Оформление «Избранной лирики» (обложка, фронтиспис, форзац) сделаны художником В. Фаворским. Им же исполнен специально для данного издания портрет молодого Гете (см. репродукцию этой гравюры в настоящем номере.)

«РИМСКИЕ ЭЛЕГИИ» ГЕТЕ

В том же издательстве «Academia» выходят отдельным томом «Римские элегии» Гете в новом переводе С. Шервинского. Это будет «édition de luxe» с тиражом в 1000 экземпляров. Русский текст дается здесь параллельно с оригинальным немецким. В этом издании впервые на русском языке появятся четыре посмертных элегии, отсутствовавшие не только во всех предыдущих русских изданиях, но и почти во всех немецких (по соображениям «морального» характера). Художественное оформление сделано И. Нивинским (обложка, форзац, титул и ряд офортов).

«ЛИРИКА» ГЕТЕ

Небольшая книга стихов Гете («Лирика») в переводе С. Шервинского вышла в изд. Жургазобъединения (быв. «Огонек»). Сборник, снабженный предисловием А. Д[ейча] и примечаниями переводчика, рассчитан на массового читателя.

ГЕТЕ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Государственное издательство Украины выпускает первое на украинском языке собрание сочинений Гете в 10 томах. Редактирует издание Д. Загул. Первый том (лирика) со вступительными статьями М. Барана и Д. Загула находится в печати. Кроме того в этом же издательстве выйдет том избранного Гете.

ПЕРЕВОДЫ ИЗ ГЕТЕ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

Новые переводы из Гете (небольшие фрагменты и мелкие произведения) появлялись кроме того во многих периодических журналах в юбилейные дни на русском языке в журналах и газетах: «Красная Новь» (книга 3-я, «Фауст», «Пролог на небесах», пер. С. Шервинского), «Новый Мир», «Прожектор», «Огонек», «Литературная газета», «Смена», и т. д.; на украинском языке в журналах: «Життя и революція», «Глобус» и др.; на белорусском языке —в журнале «Літаратура і мастацтва» и в вышедшем значительно позднее юбилейных дней номере 3—4 журнала «Полымя», где в переводах белорусского поэта Ю. Таубина появились «Прометей», «Коринфская невеста» и др.; на грузинском языке—в журн. «Мушь»; на татарском языке—в газете «Кзыл-Татарстан» и др.

ЛИТЕРАТУРА О ГЕТЕ И ОТКЛИКИ ПРЕССЫ

В юбилейные дни во всех центральных и большинстве провинциальных газет были напечатаны многочисленные статьи, специальные подборки, отчеты, сообщения и т. д., связанные с гетевскими торжествами. Отклики на юбилей в виде статей и публикаций поместили также почти все «толстые журналы», имеющие литературно-художественный отдел. Весь этот обширный материал в основном еще не зарегистрирован (статьи, появившиеся в столичных журналах и газетах, учтены в напечатанном выше библиографическом указателе В. П. Зубова). Здесь мы ограничимся поэтому лишь указаниями: 1) на специальные издания, посвященные Гете и 2) на некоторые статьи, появившиеся на языках отдельных народов СССР.

ГЕТЕВСКИЙ СБОРНИК АКАДЕМИИ НАУК СССР

Академия Наук СССР выпустила сборник, специально посвященный Гете, бывшему, как известно, почетным членом нашей Академии. В сборнике напечатаны доклады, прочитанные на торжественных заседаниях Академии в память Гете 26—30 марта 1932 г.: вступительное слово акад. А. П. Карпинского: «Гете и его историческое значение»—акад. Н. И. Бухарина; «Значение Гете в истории морфологии животных»—акад. М. А. Мензбира; «Гете как ботаник»—акад. В. Л. Комарова; «Гете и Байрон»—акад. М. Н. Розанова. Кроме того в качестве приложений в сборнике опубликованы автографы Гете, хранящиеся в собраниях Академии Наук (приготовлены к печати и комментированы Б. В. Томашевским), и два сообщения: «Гете—почетный член Петербургской Академии Наук» (историческая справка Л. Б. Модзалевского) и «К истории пер-

воначального знакомства русского читателя с Гете» (библиографические материалы, сообщенные П. Н. Берковым).

Следует указать, что из восьми опубликованных и воспроизведенных автографов только семь принадлежат Гете. Письмо к проф. К.-Х. Гебелю от 1 октября 1825 г. является автографом не самого Гете, а его сына Августа, как это установлено в публикации А. Г. Габричевского, напечатанной в настоящем номере «Литературного Наследства».

В сборнике имеется и еще ряд неточностей и пропусков, идущих по линии недостаточного ознакомления с уже приведенными в известность данными о русских связях Гете. Так например, в специальном исследовании акад. М. Н. Розанова «Гете и Байрон» совершенно не упомянут разговор с Гете о Байроне Г. А. Строганова, равно как и отзыв о Гете самого Байрона, с которым автор разговора был лично знаком. А между тем этот источник является одним из основных для характеристики взаимоотношения двух поэтов (см. об этом в шестой главе работы С. Н. Дурылина в настоящем издании). В комментариях к письму В. А. Жуковского к Гете от 9 марта 1822 г. не указано, что этот документ был уже опубликован ранее, а именно в «Русском Архиве» 1870 г. (стр. 1817—1821). Наконец отсутствуют необходимые пояснения к гравюрному портрету Гете работа Алексея Касаткина, воспроизведенному в сборнике. Сохранившийся в архиве Академии Наук листок с портретом представляет собою лишь вырезку печатной гравюры, которая была сделана Касаткиным для «Вестника Европы» и воспроизведена в № 11—12 журнала за 1808 г.

УКРАИНСКИЕ ИЗДАНИЯ О ГЕТЕ

Всеукраинская Академия Наук также осуществляет издание сборника со статьями о Гете проф. А. Камышана, проф. Я. Розанова, проф. Д. Загула и др. Государственное издательство Украины выпустило кроме того большим тиражом брошюру на украинском языке «Маркс и Энгельс о Гете».

СТАТЬИ О ГЕТЕ В СБОРНИКЕ «ЗВЕНЬЯ»

Во втором номере историко-литературных сборников «Звенья» будут напечатаны следующие материалы, исследования и сообщения: 1. Л. Каменев—Гете и мы; 2. Гл. Глебов—Пушкин и Гете; 3. И. Эйгес; Перевод М. Ю. Лермонтова из «Вертера» Гете; 4. А. Вейнберг—Перо Гете у Пушкина; 5. Л. Крестова — Портрет Гете под пером молодого Герцена; 6. Н. Г. Чернышевский—Примечания к переводу Фауста. Неопубликованная статья; 7. М. Чистякова—Толстой и Гете.

БЕЛОРУССКИЕ ИЗДАНИЯ О ГЕТЕ

При непосредственном участии Института Литературы и Искусства белорусской Академии Наук выпущен специальный номер журнала «Полымя» (№ 3—4), посвященный Гете. В нем напечатаны: обширная работа проф. Е. Боричевского о «Фаусте» и другие материалы.

ГАЗЕТНЫЕ ОТКЛИКИ НА ЯЗЫКАХ НАЦМЕНЬШИНСТВ

Из юбилейных откликов периодической прессы, выходящей в СССР не на русском языке, укажем на следующие.

Большую подборку из материалов и статей дала немецкая газета—выходящая в Москве «Moskauer Rundschau» (№ 12/165 от 20 марта 1932). В номере были помещены статьи ак. М. Н. Розанова «Гете и русская литература» (Prof. M. N. R o s a n o w, «Goethe und die russische Literatur») и «Гете в русских переводах» («Goethe in russischen Übersetzungen»), воспроизведены (с ошибками в подписях) автограф и портрет Гете, работы русского художника Мальцова, предоставленный «Moskauer Rundschau» редакцией «Литературного Наследства», наконец дана хроника гетевских дней в Москве. Ряд информаций и заметок появился также в двух английских газетах, выходящих

Обложка В. Фаворского к книге „Избранная лирика" Гете, выходящей в издании „Academia"

в Москве—«Moscow News» и «Daily News».

Украинская печать откликнулась рядом статей, из которых назовем следующие: И. Сияка, «До сотих роковин з дня смерти Йогана-Вольфганга Гете» («Пролетарская Правда»); Д. Загула в газете «За Радяньську Академію» (изд. коллектива ВУАН) и в журналах «Життя й революція» и «Глобус» (№ 9).

В белорусской прессе были напечатаны: на белорусском языке статья проф. А. Боричевского в газете «Література і мастацтва» (от 28 марта), здесь же приведен известный отзыв Энгельса о Гете; на русском языке—критико-библиографический очерк в газете «Рабочий» (от 21 марта) и на еврейском языке биография Гете в газете «Октябрь» (от 22 марта).

Статьи, сообщения и перепечатки материалов из центральных газет имеются также в следующих газетах, выходящих на языках нацменьшинств: в армянской газете «Пролетарий» (№ 58 от 10/III, № 68 от 22/III и № 69 и № 74 от 29/III); в грузинских газетах «Муша» (№ 73 от 29/III) и «Коммунисте» (№ 74 от 29/III и № 68 от 22/III); в татарской газете «Кзыл Татарстан» (№ 68 от 22/III); узбекской «Заре Востока» (№ 74 от 29/III) и др.

ROSSICA НА ЮБИЛЕЙНЫХ ВЫСТАВКАХ ГЕТЕ В ГЕРМАНИИ

В связи со столетней годовщиной кончины Гете Германия нынешним летом покрылась целой сетью юбилейных выставок крупного и мелкого масштаба. Не говоря уже о родном городе великого писателя—Франкфурте-на-Майне—и Веймаре, месте его жительства и смерти, где приходилось лишь придавать издавна существующим музеям имени Гете юбилейно-праздничный налет, специальные выставки открылись в Берлине, Лейпциге (целых две), Дрездене, Мюнхене, Дюссельдорфе, Галле, Дармштадте и целом ряде других германских городов, включая сюда и столицу австрийской республики — Вену. Естестественно, что часть экспозиционного материала повторяется на многих из этих выставок, но каждая в отдельности представляет собой и специфический интерес, так как всюду с особенной четкостью выявлены отношения Гете к данному городу и ближайшей провинции, связи писателя с местными деятелями науки и искусства, а в области иконографии и автографов тут раскрылось много нового, до сих пор не учтенного биографами Гете, исследователями его широкого окружения.

Внимательный просмотр каталогов этого цикла юбилейных выставок поэтому является неотложной задачей того, кто занимается жизнью и творчеством Гете, а в известной степени эти издания не лишены значения и для изучения отношений поэта с Россией.

Начнем со столиц. В Берлине гетевская выставка разместилась в залах «Прусской Академии Художеств». Материалом для нее послужили исключительно известные коллекции проф. Антона Киппенберга в Лейпциге, считающиеся самым крупным и богатым частным собранием по Гете. Каталог берлинской выставки не был издан, так как киппенберговская коллекция обладает уже капитальным трехтомным научно составленным каталогом, второе издание которого вышло в свет в 1928 г. Выпущен лишь краткий путеводитель по выставке «Goethe und seine Welt», отпечатанный с большим изяществом. К описанию 8-го зала выставки, целиком посвященного поездке Гете в Италию, приложена репродукция подлинного рисунка швейцарской художницы Анжелики Кауфман, долженствующего изображать самого автора вместе с ее римскими друзьями. В знатоке русской иконографии это оглавление рисунка швейцарской портретистки вызывает не малое удивление. Дело в том, что перед нами точный эскиз группового портрета семьи Барятинских в натуральную величину — кн. Е. П. Барятинская, ур. Гольштейн-Бек (1750 — 1811) с сыном, замужней дочерью и ее супругом, писанного Кауфман в Риме и находящегося в настоящее время в московском Музее Изобразительных искусств. Недоразумение тут совершенно исключено, так как огромный холст происходит из национализированного после революции имения Барятинских «Ивановское» в б. Курской губ. и фигурировал на первой выставке «Национального музейного фонда», устроенной в Москве в 1918 г. Карандашный рисунок в собрании проф. Киппенберга, до мелочей тождественный с полотном московского музея, очевидно является одним из приготовительных набросков Анжелики Кауфман к большому масляному портрету. Следует еще заметить, что сам по себе данный рисунок вообще по всей своей композиции мало похож на автопортрет в кругу интимных друзей художницы, так что фантастическое оглавление эскиза ничем не оправдано.

Сюрпризом для русского посетителя на первый взгляд обладает и гетевская выставка в Вене, опять же в области иконографии. Выставка эта в помещении из-

вестного под именем «Альбертины» венского гравюрного кабинета устроена местным «Wiener Goethe-Verein», существующим уже с 1876 г. и издающим ценную периодическую «Хронику», доведенную в нынешний юбилейный год до 37-го тома. Среди обильного портретного отдела выставки обращает на себя внимание литография с известного портрета Гете работы Ореста Адамовича Кипренского, исполненная неким Гартенштейном (Hartenstein) и значащаяся под № 772 каталога венской «Goethe-Gedächtniss-Ausstellung».

Не совсем удачно средактированное описание места в названном каталоге наводит на мысль, что дело идет о неизвестной до сих пор литографии, исполненной в Мариенбаде в 1823 г. прямо с оригинального рисунка русского портретиста и, значит, еще до литографии французского мастера Анри Гревдона, напечатанной в Париже в 1826 г. в заведении C. Momm, где вероятно и затерялся подлинник Кипренского. По наведенным в Вене справкам однако оказалось, что выставленный в «Альбертине» литографированный портрет Гете не является новинкой и уже отмечен в литературе по иконографии Гете, а именно в обстоятельном труде венского исследователя д-ра Германа Роллет «Die Goethe-Bildnisse» (Вена 1883, изд. Вильгельма Браумюллер).

Автор этого издания уделяет много места портрету Гете работы Кипренского и воспроизвел его с гревдоновской литографии прекрасной деревянной гравюрой, исполненной в графическом заведении Р. фон Вальдгейма. Д-р Роллет указывает, что существует две западных копии с листа Гревдона—русские конечно не были известны венскому автору,— а именно литография Кауфмана (отпечатанная в Карлсруэ у изд. И. Фельдтена) и Могфорда (без обозначения места печати). Литография, выставленная теперь в Вене, тождественна с первой, ибо уже д-р Роллет отметил, что на листе имеется подпись Гартенштейна, хотя он приписал его Кауфману, базируясь на «Портретном каталоге» Гейцмана (Мюнхен, 1858 г.). С художественной точки зрения гартенштейновское повторение портрета Кипренского не представляет интереса, и д-р Роллет аттестует эту литографию как «скверную копию с отличного листа Гревдона».

Из двух выставок, открывшихся в Лейпциге, более значительная под флагом« Гете в мировом книжном искусстве» привлекает своей ставкой на современность и широким международным охватом; вторая же, посвященная специально «Фаусту», — своим ретроспективным ладом включается в цикл большинства юбилейных гетевских выставок в Германии. Выставка «Фауст и его мир», устроенная в «Музее им. Грасси», целиком состоит из собрания д-ра Г. Штумма в Лейпциге и с возможной всесторонностью иллюстрирует возникновение легенды о Фаусте, ее превращения в течение нескольких столетий и творческие отражения в разных областях искусства вплоть до наших дней. Выставка приводит на память и своеобразную личность Фридриха-Максимилиана Клингера (1758—1831), автора драмы «Sturm und Drang», давшей целой эпохе свое название, и одного из пропагандистов темы «Фауста» в немецкой литературе. Клингер, уроженец Франкфурта-на-Майне и друг детства Гете, как известно, в 1780 г. прибыл в Петербург, где одно время состоял воспитателем при дворе в. кн. Павла Петровича, а служебную свою карьеру закончил куратором университета в Дерпте, где и скончался. В Петербурге Клингер в 1791 г. выпустил свой сугубо реалистический роман «Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt» в издании Иоганна-Фр. Криле, украшенном нарядным гравированным титульным листом. Последний воспроизведен в «Путеводителе» по Фаустовой выставке, на котором между прочим имеется и две отдельных витрины с переводами гетевского «Фауста» на славянские языки. Д-р Штумме, владелец всей коллекции, однако не очень сведущ в данном направлении, так как в его «Путеводителе» говорится, что среди славянских народов Польша занимает первое место двенадцатью различными переводами гетевской драмы. На деле же первенство тут принадлежит русской переводной литературе, где, начиная с Губера и кончая Брюсовым, до двадцати авторов прозой и стихами пытались адэкватно переложить «Фауст» на русский язык.

Небольшая группа этих русских изданий «Фауста» заполняет советский отдел второй лейпцигской выставки «Goethe in der Buchkunst der Welt», сорганизованной «Немецким союзом художников книги» в трех разрезах. Названный союз поставил себе задачей дать обзор изданий сочинений Гете (и о Гете), отмеченных изяществом типографского оформления и художественной внешней формой, которые были выпущены в разных странах света на протяжении текущего столетия. Намеченную программу удалось осуществить со значительной полностью, ибо на лейпцигской выставке собраны гетевские издания на 37 различных языках, а среди прочих стран представлены также Исландия, Персия, Египет; Китай

же и Япония блеснули очень обильными образцами своих переводов о Гете, отпечатанных в последние десятилетия.

Как и следовало ожидать, на выставке фигурируют и вышедшие к юбилею два первых тома большого советского издания собрания сочинений Гете. Этими двумя томами и четырьмя петербургскими довоенными изданиями «Фауста» исчерпывается в Лейпциге русская гетеана. Из изданий, выпущенных в Советском союзе, имеется еще «Фауст» на украинском языке (Харьков, 1926) и четыре грузинских гетевских издания (Тифлис, 1908 — 1928). Выставленные армянские издания—не советского происхождения.

Ни советские типографии, ни художники Советского союза к сожалению не приняли участия в остальных двух отделах Лейпцигской выставки, где сосредоточены иллюстрации на мотивы из «Фауста», исполненные выдающимися художниками специально для данной выставки, типографские композиции кратких отрывков из сочинений Гете, набранные известными печатниками Европы и Америки по предложению выставочного комитета.

Гетевская выставка в Дрездене, инициатором которой был «Sachsischer Kunstverein», представляет большой интерес с точки зрения связей Гете с Саксонией и именитыми ее людьми. Состав дрезденской выставки исчерпывающе зафиксирован в прекрасно изданном каталоге. Экспонатов, любопытных специально для русского исследователя или имеющих какое-либо отношение к России, в нем не значится.

То же самое следует сказать о путеводителях, открывшихся позднее гетевских выставок в Дюссельдорфе, Дармштадте—здесь главным образом выявлена связь молодого Гете с уроженцем данного города Иоганном-Генрихом Мерк—и в Галле. Подробные сведения о выставке в Мюнхене не успели еще дойти до нас в момент, когда пишутся эти строки.

Редакционная коллегия: *Л. Авербах, И. Ипполит (Ситковский) и Ф. Раскольников*
Отв. редактор — *И. Ипполит* Зав. редакцией — *И. Зильберштейн*

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОРЫ

СООБЩЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

ХРОНИКА

В ТОМЕ 257 ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Адрес редакции: Москва, 6, Страстной бульвар, 11, тел. 3-91-48.

INHALT

UMSCHAU

MITTEILUNGEN

BIBLIOGRAPHIE

CHRONIK

DER GOETHE-BAND ENTHÄLT 257 ILLUSTRATIONEN

Adresse der Redaktion: Moskau, 6, Strasstnoj Boulevard, 11, Fernspr. 3-91-48

План гетевского тома, литературная редакция,
подбор иллюстраций и оформление

И. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН

С. МАКАШИН и И. СЕРГИЕВСКИЙ

Технический редактор

Г. БЕЛИНСКИЙ

Технические секретари редакции

М. РАБИНОВИЧ и З. САХАРОВА

Корректор

Н. СКАЛОВА

Супер-обложка

И. РЕРБЕРГ

Заказ тип. № 3344
Бумага $Б_5$—$72 \times 110^{1}/_{16}$
Сдано в набор 1/VIII 1932 г.
Подписано к печати 2/XII 1932 г.
Печат. знаков в печатн. листе 71.280
Уполномоченный Главлита
В-39432. Издан. № 1520
Тираж 10.000

3-00

8479/262

Цена 30 руб.